

Павел Мельников

На горах

Книга I

Все примечания, данные в скобках, принадлежат автору.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

От устья Оки до Саратова и дальше вниз правая сторона Волги «Горами» зовется. Начинаются горы еще над Окой, выше Мурوما, тянутся до Нижнего, а потом вниз по Волге. И чем дальше, тем выше они. Редко горы перемежаются – там только, где с правого бока река в Волгу пала. А таких рек немного.

Места на «Горах» ни дать ни взять окаменелые волны бурного моря: горки, пригорки, бугры, холмы, изволоки грядами и кряжами тянутся во все стороны меж долов, логов, оврагов и суходолов; реки и речки колятся во все стороны, пробираясь меж угорий и на каждом изгибе встречая возвышенности. По иным местам нашей Руси редко такие реки найдутся, как Пьяна (Пьяна упоминается в летописях. Русские поселились на ней в половине XIV века, и тогда еще по поводу поражения нижегородской великокняжеской рати ордынским царевичем Арапшой сложилась пословица: «За Пьяной люди пьяны»). Свияга да Кудьма. Еще первыми русскими насельниками Пьяной река за то прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя верст пятьсот закрутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть не возле него в Суру выливается. Свияга – та еще лучше куролесит: подошла к Симбирску, версты полторы до Волги остается, – нет, повернула-таки в сторону и пошла с Волгой рядом: Волга на полдень, она на полночь, и верст триста реки друг дружке навстречу текут, а слиться не могут. Кудьма, та совсем к Оке подошла, только бы влиться в нее, так нет, вильнула в сторону да верст за сотню оттуда в Волгу ушла. Не захотелось сестрицей ей быть, а дочерью Волгиной.

Так говорят... И другие реки и речки на Горах все до единой извилисты.

Издrevле та сторона была крыта лесами дремучими, сидели в них мордва, черемиса, булгары, буртасы и другие языки чужеродные; лет за пятьсот и поболее того русские люди стали селиться в той стороне. Константин Васильевич, великий князь Суздальский, в половине XIV века перенес свой стол из Суздаля в Нижний-Новгород, назвал из чужих княжений русских людей и расселил их по Волге, по Оке и по Кудьме. Так летопись говорит, а народные преданья вот что сказывают:

"На горах то было, на горах на Дятловых (В «Книге Большого Чертежа»: «А Нижний-Новгород стоит на Дятловых горах».): мордва своему богу молится, к земле-матушке на восток поклоняется... Едет белый царь по Волге реке, плывет государь по Воложке на камешке. Как возговорит белый царь людям своим: «Ой вы гой еси, мои слуги верные, слуги верные, неизменные, вы подите-ка, поглядите-ка на те ли на горы на Дятловы, что там за березник мотается, мотается-шатается, к земле-матушке преклоняется?»...

Слуги пошли, поглядели, назад воротились, белому царю поклонились, великому государю такую речь держат: «Не березник то мотается-шатается, мордва в белых балахонах богу своему молится, к земле-матушке на восток преклоняется». Вопросил своих слуг белый русский царь: «А зачем мордва кругом стоит и с чем она богу своему молится?» Ответ держат слуги верные: «Стоят у них в кругу бадьи могучие, в руках держит мордва ковши заветные, заветные ковши большинабольшие, хлеб да соль на земле лежат, каша, яичница на рычагах висят, вода в чанах кипит, в ней говядину янбед (Один из прислужников „возати“ – мордовского жреца.) варит». Как возговорит белый русский царь: «Слуги вы мои, подите, дары от меня мордве отнесите, так ей на моляне (Общественное моление.) скажите: „Вот вам бочонок серебра, старики, вот вам бочонок золота, молельщики“. На мордовский молян вы прямо ступайте, мордовским старикам серебро, золото отдайте». Верные слуги пошли царский дар старикам принесли, старики серебро, золото приняли, сладким

суслон царских слуг напояли; слуги к белому царю приходят, вести про мордву ему доводят: «Угостили нас мордовски старики, напоили суслон сладким, накормили хлебом мягким». А мордовски старики, от белого царя казну получивши, после моляна судили-рядили: что бы белому царю дать, что б великому государю в дар от мордвы послать. Меду, хлеба, соли набрали, блюда могучие наклали, с молодыми ребятами послали. Молодые ребята приустановили сели: мед, хлеб-соль поели, «старики-де не узнают».

Земли да желта песку в блюда накладали, наклавши пошли и белому царю поднесли. Белый русский царь землю и песок честно принимает, крестится, бога благословляет: Слава тебе, боже царю, что отдал в мои русские руки мордовску землю". И поплыл тут белый царь по Волге реке, поплыл государь по Воложке на камешке, в левой руке держит ведро русской земли, а правой кидает ту землю по берегу... И где бросит он горсточку, там город ставится, а где бросит щепоточку, тамо селенье".

Таковы сказанья на Горах. Идут они от дедов, от прадедов, И у русских людей и у мордвы с черемисой о русском заселенье по Волге преданье одно.

Русские люди, чуждую землю заняв, селились в ней по путям, по дорогам. Вдаль они не забирались, чтоб среди враждебных племен быть наготове на всякий случай, друг ко дружке поближе. Путями, дорогами – реки были тогда. И доселе только по рекам приметны следы старорусского расселенья. По Волге, по Оке, по Суре и по меньшим рекам живет народ совсем другой, чем вдали от них, – ростом выше, станом стройней, из себя красивей, силою крепче, умом богаче соседей – издавна обрусевшей мордвы, что теперь совсем почти позабыла и древнюю веру, и родной язык, и преданья своей старины. Местами мордва сохраняет еще свою народность, но с каждым поколеньем больше и больше русеет. Так меж Сурой и Окой. Ниже Сурского устья верст на двести по обе стороны Волги сплошь чужеродцы живут, они не русеют: черемисы, чуваша, татары. И ниже тех мест по нагорному берегу Волги встретишь их поселенья, но от Самарской луки вплоть до Астрахани сплошь русский народ живет, только около Саратова, на лучших землях пшеничного царства, немцы поселились; и живут они меж русских тою жизнью, какой жила на далекой своей родине, на побережьях Рейна и Эльбы... Велика, обширна ты, матушка наша, земля святорусская!.. Вволю простора, вволю раздолья!.. Всех, матушка, кормишь, одеваешь, обувашь, всем, мать-кормилица, хлеба даешь – и своим, и чужим, и родным сынам, и пришлым из чужа пасынкам. Любишь гостей угощать!.. Кто ни пришел, всякому: «Милости просим – честь да место к русскому хлебу да соли!..» Ну ничего, нас не объедят.

В стары годы на Горах росли леса кондовые, местами досель они уцелели, больше по тем местам, где чуваша, черемиса да мордва живут. Любят те племена леса дремучие да рощи темные, ни один из них без нужды деревца не тронет; ронить лес без пути, по-ихнему, грех великий, по старинному их закону: лес – жилище богов. Лес истреблять – божество оскорблять, его дом разорять, кару на себя накликают. Так думает мордвин, так думают и черемис и чувашанин.

И потому еще, может быть, любят чужеродцы родные леса, что в старину, не имея ни городов, ни крепостей, долго в недоступных дебрях отстаивали они свою волюшку, сперва от татар, потом от русских людей... Русский не то, он прирожденный враг леса: свалить вековое дерево, чтобы вырубить из сука ось либо оглоблю, сломить ни на что не нужное деревцо, ободрать липку, иссушить березку, выпуская из нее сок либо снимая бересту на подтопку, – ему нипочем. Столетние дубы даже ронит, ободрать бы только с них желуди свиньям на корм. В старые годы, когда шаг за шагом Русь отбивала у старых насельников землю, нещадно губила леса как вражеские твердыни. Привычка осталась; и теперь на Горах, где живут коренные русские люди, не помесь с чужеродцами, а чистой славянской породы, лесов больше нет, остались кой-где рощицы, кустарник да ёрники... По иным местам таково безлесно стало, что ни прута, ни лесинки, ни барабанной палки; такая голь, что кнутовища негде вырезать, парнишку нечем посечь. Сохранились леса в больших помещичьих имениях, да и там в последние годы сильно поредели... Лесные порубки в чужих дачах мужиками в грех не ставятся, на совести не лежат. «Лес никто не сажал, – толкуют они, это не сад. Сам бог на пользу человекам вырастил лес, значит, руби его, сколько тебе надо».

Хлебопашество – главное занятие нагорного крестьянина, но повсюду оно об руку с каким ни на есть промыслом идет, особенно по речным берегам, где живет чистокровный славянский

народ. В одних селеньях слесарничают, в других скорняжничают, шорничают, столярничают, веревки вяжут, сети вяжут, проволоку тянут, гвоздь куют, суда строят, сундуки делают, из меди кольца, наперстки, кресты-тельники да бубенчики льют, – всего не перечесать... Кроме того, народ тысячами каждый год в отхожи промысла расходится, кто в – лоцмана, кто в Астрахань на вонючие рыбны ватаги, кто в Сибирь на золотые прииски, кто в Самарские степи пшеницу жать. Всего больше уходило прежде народу в бурлаки; теперь пароходство вконец убило этот тяжелый и вредный промысел. И слава богу!..

Охоч до отхожих работ нагорный крестьянин, он не степняк-домосед, что век свой на месте сидит, словно мед киснет, и, опричь соседнего базара да разве еще своего уездного города, нигде не бывает. Любит нагорный крестьянин постранствовать, любит людей посмотреть, себя показать. «Дома сидеть, ни гроша не высидишь, – он говорит, – под лежащий камень и вода не течет, на одном месте и камень мохом обрастет». Нет годного на стороне промысла – в извоз едет зимой... Не то избойну, мочену грушу да парену репу по деревням поедет менять на кость, на тряпье, на железный полom.

До того велика у нагорных крестьян охота по чужой стороне побродить, что исстари завелся у них такой промысел, какого, опричь еще литовских Сморгонь, на всем свете нигде не бывало. В Сергачском уезде деревень до тридцати медвежатным промыслом кормилось, – жилось не богато, а в добрых достатках. Закупали медвежат у соседних чуваш да черемис Казанской губернии, обучали их всякой медвежьей премудрости: «как баба в нетоплёной горнице угорела, как малы ребята горох воровали, как у Мишеньки с похмелья голова болит». Хаживали сергачи со своими питомцами куда глаза глядят, ходили вдоль и поперек по русской земле, заехали ли и в Немечину на Липецкую (Лейпциг.) ярмарку. Исстари велся тот промысел: еще на Стоглавом соборе, жалуясь Грозному на поганские обычаи, архиереи про сергачей говорили, что они «кормяще и храняще медведя на глумление и на прельщение простейших человек... Велию беду на христианство наводят» (Стоглав, гл. 93.). Силён, могуч, властен и грозен был царь Иван Васильевич, а медвежатников извести не мог – изводил их саксонский король, а вконец погубило заведенное недавно общество покровительства всяким животным, опричь человека. Тому назад лет с пятьдесят потешали сергачи на Липецкой ярмарке тамошний люд медвежьей пляской. Какой-то немец с лесным боярином обошелся невежливо, и снял с него Михайло Иваныч костяную шапку.

В ужас впали немцы – шутка ль? Целого подданного лишился саксонский король, а их у него и без того не ахти много. Пожаловались. Воспретили сергачам по чужим царствам медведей водить. Нипочем бы это было медвежатникам – русская земля длинна, широка, не клином сошлась, есть где лесному боярину разгуляться, потешиться. Сердобольные покровители животных вступились за Мишеньку: как, дескать, можно по белу свету его на цепи таскать, как, дескать, можно Михайла Иваныча палкой бить, в ноздри кольцо ему пронимать?.. Воспретили. В тридцати деревнях не одну сотню ученых медведей мужики перелобанили, а сами по миру пошли; все-таки – отхожий промысел.

А что в прежни времена с сергачами бывало, того не перескажешь. Но к слову пришлось рассказать, как ученых медведей пленным французам на смотр выставляли. Когда французы из московского польяма попали на русский мороз, забирали их тогда в плен сплошь да рядышком, и тех полоняников по разным городам на житье рассылали. И в Сергач сколько-то офицеров попало, полковник даже один. На зиму в город помещики съехались, ознакомились с французами и по русскому добродушию приютили их, приголубили. Полоняникам не житье, а масленица, а тут подоспела и настоящая весела, честна Масленица, Семикова племянница. Сегодня блины, завтра блины – конца пированьям нет. И разговорились пленники с радушными хозяевами про то, что летом надо ждать. «Не забудет, говорят, Наполеон своего сраму, новое войско сберет, опять на Россию нагрянет, а у вас все истощено, весь молодой народ забран в полки – не сдобровать вам, не справиться». Капитан-исправник случился тут, говорит он французам: «Правда ваша, много народу у нас на войну ушло, да это беда еще невеликая, медведей полки на французов пошлем». Пленники смеются, а исправник уверяет их: самому-де велено к весне полк медведей обучить и что его новобранцы маленько к службе уж привыкли – военный артикул дружно выкидывают. Послезавтра милости просим ко мне на блины, медвежий баталион на смотр вам представлю". А медвежат-

ники по белу свету шатались только летней порой, зимой-то все дома. Повестили им от исправника, вели бы медведей в город к такому-то дню. Навели зверей с тысячу, поставили рядами, стали их заставлять палки на плечо вскидывать, показывать, как малы ребята горох воровали. А исправник французам: «Это, говорит, ружейным приемам да по-егерски ползать они обучаются». Диву французы дались, домой отписали: сами-де своими глазами медвежий батальон видели. С той, видно, поры французы медведями нас и стали звать.

Чуть не по всем нагорным селеньям каждый крестьянин хоть самую пустую торговлю ведет: кто хлебом, кто мясом по базарам переторговывает, кто за рыбой в Саратов ездит да зимой по деревням ее продает, кто собирает тряпье, овчины, шерсть, иной строевой лес с Унжи да с Немды (Реки в Костромской губернии текут по лесам.) гоняет; есть и «напольные мясники», что кошек да собак бьют да шкурки их скорнякам продают. Мало-мальски денег залежных накопилось, тотчас их в оборот. И ежели по скорости мужик не свихнется, выйдет в люди, тысячами зачнет ворочать. Бывали на Горах крепостные с миллионами, у одного лысковского (Лысково – село на Волге.) барского мужика в Сибири свои золотые промыслы были. Теперь на Горах немало крестьян, что сотнями десятин владеют. Зато тут же рядом и беднота непокрытая. У иного двор крыт светом, обнесен ветром, платья что на себе, а хлеба что в себе, голь да перetyка – и голо и босо и без пояса. Такой бедности незаметно однако ж поблизости рек, только в местах, от них удаленных, можно встретить ее. Общинное владенье земель и частые переделы – вот где коренится причина той бедности. Чуть не каждый год мир-община переделает поля, оттого землю никто не удобряет, что-де за прибыль на чужих работать. На дворах навозу – пролезть негде, а на поле ни воза, землю выпалили; пошли недороды. Нет корысти в переделах, толкует каждый мужик, а община-мир то и дело за передел... И богатые и бедные в один голос жалуются на те переделы, да поделать ничего не могут...

Община!.. Зато кому удастся выбиться из этой – прах ее возьми – общины да завестись хоть не великим куском земли собственной, тому житье не плохое: земля на Горах родит хорошо.

В лесах за Волгой бедняков, какие живут на Горах, навряд найти, зато и заволжским тысячникам далеко до нагорных богачей. Только эти богачи для бедного люда не в пример тяжелей, чем заволжские тысячники. Лесной народ добродушней, проще, а нагорному пальца в рот не клади. Нагорный богач норовит из осмины четвертину вытянуть, из блохи голенище скроить.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С краю исстари славных лесов Муромских, в лесу Салавирском, что раскинулся по раздолью меж Сережей и Тешей (Теша близ Мурома впадает в Оку, Сережа – в Тешу.), в деревушке Родяковой, что стоит под самым почти Муромом, тому назад лет семьдесят, а может, и больше, жил-поживал бедный смолокур и потом темный богач Данила Клементьев. Гнал он смолу: до десятка казанов (Большой котел для добыванья смолы.) в лесу было у него ставлено. Много годов работал, богатства смолою не нажил, и вдруг сразу так разбогател, что не только с муромскими, с любым московским купцом в вёрсту мог стать. Ломали лесники головы над скороспелым богатством Данилы, не могли додуматься, отколе взялось оно. Кто говорил, что клад Кузьмы Рощина (Знаменитый разбойник Муромских лесов, грабивший особенно проезжавших на Макарьевскую ярмарку московских купцов, во второй половине XVIII столетия. Говорят, он много кладов зарыл по лесам.) достался ему, кто заверял, что знает Данила с разбойниками, а в Муромских лесах в те поры они еще «пошаливали», оттого и пошла молва по народу, будто богатство Даниле на дуване (Дележ добычи разбойниками.) досталось. Много разного вздору говорено было, а истинной правды никто попытаться не мог.

От Андрея Поташова нажился Данила. О том Поташове вот какой сказ:

Во дни Петра Великого, посадские люди из Мурома, братья Железняковы да третий Кирилл Мездряков руду железную на Оке сыскали. Слыхали те посадские про тульского кузнеца Демидова, как наградил его царь-государь и какие богатства взял тот кузнец с непочатых еще Уральских рудников. Заявили и они про находку, и за год до смерти первый император земли на Оке им пожаловал, ставили бы там заводы железные. Не пошло муромцам во прок царско жалованье – по

лесам возле Оки разбойники хозяйничали: с заряжёнными ружьями приходилось дудки (Колодезь для добычи руд, шахта.) копать, завод рвами окапывать, по валам пищали да пушки расставлять...

Работали кой-как, кончилось дело тем, что пропившийся рабочий изменил хозяевам и завод передал разбойникам. Разграбили они его, выжгли, валы срыли, пушки, пищали с собой увезли... И за то благодарили бога заводчики, что головы у них целы на плечах снесли. Через много годов на место неудачливых муромцев на Оку новые заводчики приехали: два туляка, братья Андрей да Иван Родивоновы – дети оружейника Поташова. Они в четырех губерниях четырнадцать заводов по скорости поставили. Андрей дело вел. «Образ правления его считался безотчетным и необыкновенным» (Впоследствии, когда возникли нескончаемые тяжбы о наследстве, это выражение встречалось не только в частных записках, но даже в официальных бумагах.). Чего не наделал он при том образе правления! Пруды заводские выкопал на диво: верст по девяти в долину, с трехверстными плотинами; по тем прудам суда под парусами у него хаживали. В каждом заводе по господскому дому поставил, и каждый дом дворцом глядел. Что было в тех домах картин, мраморных статуй, дорогих мебели, какие теплицы были при них, какие цветы редкостные, плоды, деревья... И все прахом пошло, все сгубло в омуте пятидесятилетних тяжб и в бездонных карманах ненасытной ватаги опекунов.

Поташов в короткое время скопил несметные богатства, скопил умом, трудом, неистомной силой воли, упорной стойкостью в делах, а также и темными путями. Безнаказанные захваты соседних имений, прием беглых людей, стекавшихся со всех сторон под кров сильного барина, тайный перелив тяжеловесной екатерининской медной монеты умножали богатство тульского оружейника. Кто Поташову становился поперек дороги: деревни, дома, лошади, собаки, жены, дочери добром не хотел уступить, того и в домну (Плавильная печь.) сажали. Слова супротивного молвить никто не смел, все преклонялось перед властным оружейником. Перевел Поташов разбои в лесах Муромских, но не перевел разбойников.

Подобравшись под сильное крыло неприкосновенного барина, лесная вольница по-прежнему продолжала дела свои, но только по его приказам – так говорит предание. И не было на Андрея Родивоныча ни суда, ни расправы; не только в Питере, в соседней Москве не знали про дела его... Все было шито да крыто.

А все оттого, что умел с нужными людьми ладить. Ладил он сначала с князем Григорьем Орловым, во-время от него отвернулся и во-время прилепился к другому князю Григорью – к Потемкину. Одного закала были, хоть по разным дорогам шли. С Потемкиным Поташов сроду не видался, а был в дружеской переписке и в безграмотных письмах своих «братцем» его называл. Ценными подарками Таврического удивить было нельзя, зато нарочные то и дело скакали с поташовских заводов то в Петербург, то под Очаков с редкими плодами заводских теплиц, с солеными рыжиками, с кислой капустой, либо с подновскими огурцами в тыквах. Старики рассказывают, что однажды Потемкин зимой в Москве проживал; подошел Григорий Богослов (25 января) – его именины; как раз к концу обеда прискакал от Поташова нарочный с такими плодами, каких ни в Москве, ни в Петербурге никто и не видывал. При них записка Андреевой руки: «Сии ананасы тамо родятся, где дров в изобилии; а у меня лесу не занимать, потому и сей дряни довольню».

– Уважил! – на весь стол крикнул Потемкин. – Спасибо!.. Захотел бы Поташов ремень из спины у меня выкроить, я бы сейчас.

Через Потемкина выпросил Андрей Родивоныч дозволенья гусаров при себе держать. Семнадцать человек их было, ростом каждый чуть не в сажень, за старшего был у них польский полоняник, конфедерат Язвинский. И те гусары за пояс заткнули удалую вольницу, что исстари разбои держала в лесах Муромских. Барыню ль какую, барышню, поповну, купецкую дочку выкрасть да к Андрею Родивонычу предоставить – их взять. И тех гусаров все боялись пуще огня, пуще полымя.

А когда помирал Андрей Родивоныч, были при нем две живых жены; обе вкруг ракитова кустика венчаны; у каждой дети, и все какими-то судьбами законные.

– Кому покидаешь именье? – спросили умиравшего.

– Кто одолеет, – с усмешкой Андрей отвечал, и те злобные слова последними его словами

были.

Затрещали, застонали заводы поташовские, дрогнуло правдой и неправдой нажитое богатство.

Тяжбы начались, опеки... Кто ж одолел? Опекуны да те еще, что вершали дела...

Таков богатырь был Андрей Родивоныч. Богатырю на подмогу богатыри бывали нужны. На иные дела гусаров нельзя посылать – их берег Поташов, а надо же бывало иной раз кому язык мертвой петлей укоротить, у кого воза с товарами властной рукой отбить, кого в стену замуровать, кого в пруд послать карасей караулить. Медные деньги переливать тоже не стать была гусарам, ходившим в мундирах службы ее императорского величества. Для того водились у Поташова нужные молодцы; на заводах они не жилали, в потаенных местах по лесам больше привитали, в зимницах да в землянках.

Смолокур Данило Клементьев из таких был... Но держалось им это втайне от чужих и своих. По месяцам Данило дома своего не видывал, а когда являлся в деревню, рассказывал, что бродил по лесам, нового смоля (Сосновые корья, из которых смолу сидят.) разыскивал. А разжился Данила вот как... Был у него на руках мешок с золотом, не успел его передать Поташову, когда смерть застигла властного барина... Помер Андрей Родивоныч, и смолокур с тем мешком подалше от Муромских лесов убрался – в уездном своем городе в купцы записался. Покинул смолокурный промысел, зачал канаты да веревки вить, с Астраханью по рыбной части дела завел.

Трех годов на новом месте не прожил, как умер в одночасье. Жена его померла еще в Родякове; осталось двое сыновей неженатых: Мокей да Марко. Отцовское прозвище за ними осталось – стали писаться они Смолокуровыми.

Зараз двух невест братья приглядели – а были те девицы меж собой свойственницы, сироты круглые, той и другой по восемнадцатому годочку только что минуло. Дарья Сергевна шла за Мокея, Олена Петровна за Марку Данилыча. Сосватались в филипповки; мясоед в том году был короткий. Сретенье в прощено воскресенье приходилось, а старшему брату надо было в Астрахань до водополи съездить. Решили венчаться на Красну горку, обе свадьбы справить зараз в один день. Прошел великий пост, пора бы домой Мокею Данилычу, а его нет как нет. Письма Марко Данилыч в Астрахань пишет и к брату и к знакомым; ни от кого нет ответа. Пора б веселым пирком да за свадебку, да нет одного жениха, а другой без брата не венчается. Минул цветной мясоед, настало крапивное заговенье (Цветной мясоед – от Пасхи до петровок; крапивное заговенье – воскресенье через неделю после Троицы.). Петровки подоспели, про Мокея Данилыча ни слуху, ни духу. Пали, наконец, слухи, что ни Мокея, ни смолокуровских приказчиков в Астрахани нет, откупные смолокуровские воды пустуют, остались ловцам не сданные. Перед Ильиным днем прибрел к Марку Данилычу астраханский приказчик его, Корней Евстигнеев, по прозвищу Прожженный. Вести принес он недобрые. Вот что рассказывал.

По съеме на откуп казенных вод Мокею Данилычу, до той поры как с ловцами рядиться, гулевых дней оставалось недели с три. Дело было великим постом, вздумалось ему на померзлом море потешиться – на «беленького» (Мелкий тюлень, еще не покинувший матери, иначе «белок».) съездить. Подобрал товарищей, всех своих приказчиков взял, «разъездных», и поехали они артелью человек в тридцать на саях в Каспийское море. Напрасно опытные люди их отговаривали, напрасно пугали, что время выбрали они ненадежное, потому что ветра стоят сильные. Не послушалась молодежь – поехала. Дня три везли до вольной воды на саях съестные припасы, дрягалки, кротилки, чекмари и ружья (Орудия для тюленьего боя. Дрягалка – небольшая ручная дубинка, кротилка – то же, но побольше, чекмарь или чекуша – большая деревянная колотушка или долбня.). Видят, на закрайне шихану (Взгромоздившиеся ребром и боком льдины.) видимо-невидимо; лов, значит, будет удачный. В тех огражденных от ветра шиханах тюлени детенышей выводят и оставляют там до весны, по несколько раз на дню вылезая из воды через «лазки» (Отверстия во льду, которые тюлени продувают снизу.) покормить детенышей. Набили неудалые охотники беленьких множество, стоном стоял тогда крик тюленят, сходный с плачем ребенка... Рук не покладывали охотники, работали на славу и, до верхов нагрузив сани богатой добычей, стали собираться домой. Вдруг зафыркали лошади, стали копытами о лед бить... Бывалые охотники всполошились – «На конь!.. – кричат, – назад поскорей!..» Шест в тюлений лазок опустили – маячит, – льдину,

значит, оторвало. Поскакали назад по своему следу, глядь – синее вода, а вдали сверкает и белеет крайна матерого льду... Туда, сюда – море кругом... Остались охотники на ледяном острове: ветер гонит их в море на огромной льдине... Носиться им на тающем плоту по Каспийскому морю, и если не переймут бедовиков на раннюю косовую (Большая ловецкая лодка, рано выходящая на морской промысел.), погибнуть им всем в хвалынских волнах!..

«Пятнадцать ден нас по морю носило, – рассказывал Корней Евстигнеев, ни берега не видать, ни лодок, ничего живого... Запасы приели, голодать стали. Долго крепились, да нечего делать – пришлось согрешить: лошадей стали резать, конину есть, тюленья мясо даже ели... А тут красные дни наступили, ветру нет уйму, дует-подувает от Астрахани, а нас все дальше да дальше в море уносит, а льдина все тает да тает, и час от часу она рыхлей да рыхлей... Опасно стало всем в одной кучке быть, провалиться боялись... По сторонам разбрелись, сани расставили друг от дружки подале... Ночью однажды слышим – треснуло что-то, потом зашумело; бросились на шум – вода... Забрзжилось в небе... Глядим – льдину надвое разломило, меж половинок широкий пролив. На нашей половинке пять человек, на той двадцать четыре, там и хозяин. Солнышко встало, а их уж чуть видно. Ихня половинка меньше нашей была, гнало ветром ее поскорей. К полудням совсем из виду скрылись они... Дён пять еще нас носило, ветер сменился, нас на восток потянуло. Уральски казаки с морских кусовых нас увидали, переняли, и были мы с ними на Эмбинских промыслах вплоть до петровок, оттуда нас привезли в Гурьев, а из Гурьева по своим сторонам разошлись мы. И я, Христовым именем питаюсь, вот до домов доволокся».

Марко Данилыч тотчас в Астрахань сплыл, в Красной Яр ездил, в Гурьев городок, в Уральск, везде о брате справлялся, но нигде ничего проведать не мог... Одно лишь узнал в Астрахани, что по тем удалцам, кои ездили с ним, давно панихиды отпели.

Домой воротясь, Марко Данилыч справил по брате доброе поминовенье: по тысяче нищих каждую субботу в его доме кормилось, целый год канонницы из Комарова «негасиму» стояли, поминали покойника по керженским скитам, по черниговским слободам, на Иргизе, на Рогожском кладбище. Честно устроил братнюю душу Марко Данилыч. Потужив, после рождества свадьбу он справил, женился на Олене Петровне.

Пышная свадьба была. Из многих городов гостей наехало, люди все богатые, первостатейные, пирам конца не было. Шумны и веселы были пиры, но горем и печалью с них веяло. Грустил по брате Марко Данилыч; грустила и его молодая жена Олена Петровна, тяжело ей было глядеть на подругу, что, не выдав брачного венца, овдовела. Много о Дарье Сергевне она тихих слез пролила; люди тех слез не видали, знали про них только бог да муж... А муж жену не тревожил, печалью во дни радости ее не попрекал, сам горевал вместе с Оленушкой о безмолвной, на все слова безответной Дарье Сергевне...

Убедила Оленушка бездомную сиротку-сестрицу жить у нее, всяким довольством ее окружила, жениха обещалась сыскать. Безродная Дарья Сергевна перешла жить к «сестрице», но с уговором – не поминали б ей никогда про брачное дело. «Остаток дней положу на молитвы», – сказала она, надела черный сарафан, покрылась черным платом и в тесной, уютной горенке повела жизнь «христовой невесты».

Только четыре годика прожил Марко Данилыч с женой. И те четыре года ровно четыре дня перед ним пролетели. Жили Смолокуровы душа в душу, жесткого слова друг от дружки не слыхивали, косога взгляда не видывали.

На третий год замужества родила Олена Петровна дочку Дунюшку, через полтора года сыночка принесла, на пятый день помер сыночек; неделю спустя за ним пошла и Олена Петровна.

Когда она умирала, позвала Дарью Сергевну. Богом ее заклинала – скинула б черное платье, женой была бы Марку Данилычу, матерью Дуне сиротке.

Не восхотела того Дарья Сергевна. Наотрез отказала кончавшей дни сестрице-подруге.

– Матерью Дуне буду я, – сказала она. – Бога создателя ставлю тебе во свидетели, что, сколько смогу, заменю ей тебя... Но замуж никогда не посягну – земной жених до дня воскресенья в пучине морской почивает, небесный царит над вселенной... Третьего нет и не будет.

Замолкла Олена Петровна и, собравшись с силами, тихо, сквозь слезы промолвила, взглянув на подошедшего Марка Данилыча:

– Его не оставь ты советом своим... попеченьем... заботой... Глядеть бы мне на вас да радоваться... Дунюшку, Дунюшку ты не покинь!

А Дунюшка тут. Посадили ее на кровать возле матери. Белокуренька девочка смеется аленьким ротиком и синенькими глазками, треплет розовую ленточку, что была в вороту материной сорочки... Так и заливается ясным, радостным смехом.

– Господи!.. Царю небесный, милостивый!.. – глядя на дочку, с трудом шептала умиравшая. – Даруй ей, господи, быть всегда радостной... даруй ей, господи... не знать большой кручины...

Замолкла. А в тишине еще слышен веселый младенческий смех Дуни, по-прежнему она играет ленточкой на груди матери. И при звуках ангельского веселья малютки-дочки к ангелам полетела душа непорочной матери.

– Оленушка! – вырвалось из наболевшей груди Марка Данилыча... Потеряв сознание, снопом покатылся он у одра почившей.

– Отошла? – горько воскликнул он, придя в память.

– К богу духов и всякия плоти, – печально, но торжественно молвила Дарья Сергевна и, подав ему на руки все еще смеявшуюся дуню, – подите с ней, – сказала, – надо опрятать покойницу.

С Дуней на руках в другую горницу перешел Марко Данилыч. Окна раскрыты, яркое майское солнце горит в поднебесье, отрадное тепло по земле разливая; заливаются в лазурной высоте жаворонки, а в тенистом саду поет соловей – все глядит весело, празднично... Девочка радостно хохочет, подпрыгивая на отцовских руках и взмахивая пухленькими ручками.

Новый вдовец клонится наземь, клонится, клонится и, бережно опустив на пол дочку, так зарыдал, что сбежались домашние и его, недвижимого, почти бездыханного, перенесли на постель.

И когда пришел в себя Марко Данилыч, ему вспомнилось участие отца его в кровавых делах Поташова. И так говорил он:

– Родитель помер в одночасье!.. Брат в море потонул!.. Она, в таких молодых годах, померла!.. Господи! Ты, по писанию, мстишь до седьмого колена!.. Но ты ведь, господи, и милостив... Излей на меня всю ярость свою, но Луню мою сохрани, Дуню помилуй!..

И после того потекли дни за днями. Марко Данилыч торговым делам предался. Трудом, заботами, работой неустанной утолял он, сколько было возможно, заевшее жизнь его горе. Каждый год не по одному разу сплывал он в Астрахань на рыбные промысла, а в уездном городке, где поселился отец его, построил большой каменный дом, такой, что и в губернском городе был бы не из последних... Рядом с тем домом поставил Марко Данилыч обширные прядильни, и скоро смолокуровские канаты да рыболовные снасти в большую славу вошли и в Астрахани и на Азовском поморье. На Унже лесные дачи скупал, для каспийских промыслов строил кусовые и ловецкие, реюшки и бударки, сгонял строевой лес в безлесные места низового Поволжья и немало барышей от того получал. В неустанной деятельности старался он утопить свое горе, но забыть Оленушку не мог... Мрачно стал смотреть на мир и на всех людей, опричь подраставшей Дуни, – в нее же душу свою положил. И трудился и работал для ней только. «Мне, – говаривал он, – ничего не надо, ей бы только, голубушке, побольше припасти, чтоб не ведала нужды, не знавала недостатков».

Мрачен, грозен, властен стал с другими, скуп, суров, неподступен для всех подначальных. С утра до ночи черною, хмурою тучей ходил, но как только взглянет на отца веселыми синенькими глазками Дуня – он тотчас просияет, и тут проси у него, что хочешь.

И любили за то Дуню, и много молитв за нее возносилось от старых, от бедных, от подначальных...

Богатства росли с каждым годом – десяти лет после братниной смерти не минуло, а Марка Данилыча стали уж считать в миллионе, и загремело по Волге имя его. А годов ему еще немного было – человек в самой поре, и хоть вдовец, а любой невесте жених завидный. И московские и по-

волжские семейные купцы с дум своих его не скидали, замыслили с ним породниться. По старорусским свычаем-обычаям не повелось с невестиной стороны сватовство начинать, однако же многие купцы к Смолокурову свах подсылали. Выхваляли свахи своих невест пуще божьего милосердия, хвастали про них без совести и всеми мерами уговаривали Марка Данилыча, делом не волоча, перстнями меняться, златой чарой переливаться. Но от него один свахам ответ бывал: «Бог вас спасет, что из людей меня не выкинули, а беспокоились вы, матушки, попусту. Невесты не хаю, а думаю так: нашел бы я в ней жену добрую и разумную, да не сыскал бы родной матери Дунюшке. До гробовой доски не возьму я дочке мачехи!..» И сколь ни старались свахоньки в надежде на богатые милости невестиных родителей, сколь ни тарантили перед золотым женишком, сколько ни краснобаяли, не удалось им подцепить на удочку сумрачного Марка Данилыча. На все уговоры, на все увещанья их даже от писания оставался он непреклонным и данного себе слова не рушил... После каждого отказа досужим свахам больше и больше полнилось его сердце любовью и жалостью к ненаглядной безматерней сиротиночке. Со всеми мрачный, со всеми суровый, зачастую даже жестокий, таял он душой перед дочкой. Стоило ей словечко промолвить за кого из провинившихся домочадцев, тотчас гнев на милость сменялся. И не было из них ни единого, кто бы за Дуню в огонь и в воду не пошел бы.

Марко Данилыч богател. Дуня красотой и добром полнилась. Росла под умным, нежным присмотром Дарьи Сергевны... Безмужняя вдовица как сказала, так и сделала – заменила она Дуне родную мать, всю любовь непорочного сердца перенесла на дочку незабвенной подруги, вся жизнь ее в Дуне была... Ради милой девочки покинула она жизнь христовой невесты, горячей любовью, материнскими ласками, деннонощными заботами о сиротке наполнились ее дни, но не нарушила Дарья Сергевна строгого поста, не умаляла теплых молитв перед господом об упокоении души погибшего в море раба божия Мокея. К тем молитвам прибавила столь же горячие, столь же душевные молитвы о здравии, душевном спасении и честном возрастании рабы божией младенца Евдокии. Из любви к названной дочке приняла Дарья Сергевна на себя и хозяйство по дому Марка Данилыча, принимала его гостей, сама с Дуней изредка к ним ездила, но черного платья и черного платка не сняла. Незримо для людей веда суровую жизнь строгой постницы, о доме и всем мире теплая молитвенница, Дарья Сергевна похудела, побледнела, но всегда прекрасно было крытое скорбью и любовью лицо ее, святым чувством добра и любви сияли живые, выразительные очи ее. Удивлялись вдовице все знавшие ее, но были и прокаженные совестью, не веря чистым побуждениям, на подвижную жизнь ее метали грязными сплетнями. Никто, кроме самого Марка Данилыча, не знал, что покойница Олена Петровна на смертном одре молила подругу выйти за него замуж и быть матерью Дуне. Да и узнали бы, веры тому не дали бы... Как можно было поверить, чтоб молодая бедная девушка не захотела стать полноправной хозяйкой в доме такого богача?.. Как поверить, чтоб она из одной бескорыстной любви к безматерней сиротке решилась беззаветно посвятить ей дни свои.

– «Не спроста тут», – говорили смотники. Ретивые до клевет и напраслин, кумушки поддакивали на такие речи. Бродячие приживалки, каких много по городам, перелетные птицы, что век свой кочуют, перебегая из дому в дом: за больными походить, с детьми поводить, помочь постряпать, пошить, помыть, сахарку поколоть, – уверяли с клятвами, что про беспутную Дарёнку они вернехонько всю подноготную знают – ходит-де в черном, а жизнь ведет пеструю; живет без совести и без стыдения у богатого вдовца в полюбовницах. И никто тем сплетням не был так рад, как свахоньки, что неудачно предлагали невест Марку Данилычу. Много доставалось ему от досужих их языков – зачем, дескать, на честных, хороших невестах не женится, а, творя своей жизнью соблазн, других во грех, в искушение вводит... И много при том бывало непрошенных забот об участи Дуни. «Попало милое, неразумное дитяtko в мерзость греховную, – говорили смотницы... – Чего насмотрится, чему научится?.. Вырастет большая, сама по тем же стопам пойдет». Так говорили приживалки, так говорили и обманувшиеся в расчетах свахоньки.

Недобрых слухов до Марка Данилыча никто довести не смел. Человек был крутой, властный – неровен час, добром от него не отделаешься. Но дошли, добежали те слухи до Дарьи Сергевны.

Раз поутру забежала к ней одна из бродячих приживалок Ольга Панфиловна. Была она вдова губернского секретаря, служившего когда-то в полиции и скончавшего пьяные дни свои под забором недалеко от питейного. Много гордилась Ольга Панфиловна званием «чиновницы» и тем, что муж ее второй чин имел. Звала себя «благородною» и потому шляпки носила да чепчики, шлялась по дворянским домам и чиновничьим, но, не видя там большого припену, нисходила своими посещениями до «неблагородных», даже до самых последних мещан. Не было у ней постоянного жилища – где день, где ночь привитала. И пожитки ее по всему городу были раскиданы: у исправницы сундук, у стряпчихи ларец, у казначейши постелишка – все у «благородных». И мыкалась век свой бездомная Ольга Панфиловна промеж дворов, переноса сплетни из дома в дом. Редкий творческий дар имела она – иной раз такое выдумает, что после сама надивиться не может. Много бранили ее, бывало дело – и колачивали, но, возверзая печаль на господа, мирилась она с оскорбителями, а работать языком все-таки не переставала. Ничем не оскорблялась Ольга Панфиловна, кроме только одного: ежели кто усомнится в ее «благородстве», ежели скажет кто, что чин губернского секретаря не важен. Глаза тому выцарапает, если сказавший чином еще не повыше.

Когда Ольга Панфиловна бойко влетела в горенку Дарьи Сергевны, та сидела за самоваром. Большим крестом (Двуперстным.) помолившись на иконы и чопорно поклонясь «хозяйшечке», перелетная гостейка весело молвила:

– Чай да сахар!

– К чаю милости просим, – не особенно приветно отозвалась ей Дарья Сергевна.

– Как живете-можете?.. Все ли здоровы у вас, матушка?.. Дунюшка-светик здорова ли? – зачастила Ольга Панфиловна, снимая капор и оправляя старомодный и крепко поношенный чепчик.

– Слава богу, все живы, здоровы, – молвила Дарья Сергевна. – Садитесь, чайку покушайте.

– Ну, и слава богу, что здоровы, здоровье ведь пуще всего...затарантила Ольга Панфиловна. – Не клади-ка ты, сударыня, в накладку-то мне, сахар-от нонче ведь дорог. Мы ведь люди недостаточные, вприкусочку все больше. Да не один сахар, матушка, все стало дорогим-дорогохонько, ни к чему нет приступу... Вышла я сегодня на базар, пришла раным-ранешенько, воза еще не развязывали, хотелось подешевле купить кой-чего на масленицу... Ничего, сударыня, не купила, как есть ничего – соленый судак четыре да пять копеек, топлёно масло четырнадцать, грешнева мука полтинник (Цены в небольших городках на Горах лет двадцать пять тому назад.). Икорки бы надо к блинкам – купила б исправской, хорошенькой, да купил-то (Купилы – деньги.), Сергевнушка, нет, так я уж пробоечек (Остатки в грохоте, после приготовления зернистой икры.) думала взять – и те восемнадцать да двадцать копеек, самы последние... Как жить, чем бедным людям питаться? Сама посуди... Опять же дрова как вздоражали! Хоть мерзни с холоду, хоть помирай с голоду... Вот тебе хорошо, Сергевнушка, живешь безо всякой заботы, на всем на готовом, все у тебя есть, чего только душеньке угодно, а вспомни-ка прежде-то время, как с маткой у нас в слободе проживала. Покойница твоя тоже ведь, что и наша сестра, и горе и нужду видала, век свой колотилась, сердечная... Ну, а тебе за красоту за твою вишь какое счастье досталось... Про Марка Данилыча нет ли вестей?.. Приедет, чай, к масленице-то?

Хоть Дарья Сергевна не поняла злого намека благородной приживалки, но как-то неловко стало ей, краска показалась на бледном лице.

– Надо бы приехать, – ответила. – В Астрахани дела к сретенью кончил, со дня на день его ожидаем.

– Надо ему приехать, надо, Сергевнушка, – тоже ведь заговенье, – с усмешкой сказала Ольга Панфиловна, лукаво прищутив быстро бегавшие глазки. До кого ни доведись, всяк к заговенью к своей хозяйшечке торопится. А ты хоть и не заправская, а тоже хозяйка.

Пуще прежнего вспыхнула Дарья Сергевна, вполне поняв, наконец, ядовитый намек благородной приживалки. Дрогнули губы, потупились очи, сверкнула слезинка. Не ускользнуло ее смущенье от пытливых взоров Ольги Панфиловны; заметив его, уверилась она в правоте сплетни, ею же пущенной по городу.

– Я ведь, Сергевнушка, спроста молвила, – облокотясь на угол стола и подгорюнясь, загово-

рила она унылым голосом. – От меня, мать моя, слава богу, сплеток никаких не выходит... Смерть не люблю пустяков говорить... Так только молвила, тебя жалеючи, сироту беззаступную, знать бы тебе людские речи да иной раз, сударыня моя, маленько и остеречься.

– Да чтой-то вы, Ольга Панфиловна?.. Про что говорите? – с горькими слезами в голосе спросила растерявшаяся Дарья Сергевна.

– Ах, Сергевнушка, Сергевнушка! Куда какво мне жалко тебя, горемычную!.. – участливо покачивая головой, даже со слезами на красных маслянистых глазах, молвила Ольга Панфиловна. – Весь город ведь что в трубы трубит, а ты и не знаешь ничего, моя горе-горькая!.. Вот уж истинная-то правда, что в сиротстве жить – только слезы лить, все-то обидеть сироту хотят, поклепы несут на нее да напраслины, а напраслина-то ведь, что уголь: не обожжет, так запачкает... В трубы трубят, сударыня, в трубы трубят!.. А все Аниська Красноглазиха – первая всяким злыдням заводчица... Сейчас на базаре попалась – так и судачит, так и судачит. И что уж за язык у этой подлюхи – так ведь и режет, так и режет... А уж она ли, кажется, не оставлена милостями Марка Данилыча да твоими, Сергевнушка... И рыбкой-то ее не оставляете, и мучкой-то, и дровишками; и шубейку по осени справили злоязычнице... Вот те и благодарность!.. Да и ждать другого от Аниськи нечего... Кровь-то в ней какая? Самая подлая: подкидыш ведь она, девицына дочка... Если б в ней хоть единая капелька благородной крови была, стала бы разве она такие речи нести про свою благодетельницу?.. Говорит этакая подлая, будто ты, Сергевнушка, летось ребеночка принесла!.. Вот ведь аспид-от какой, вот ехидна-то!.. Не стерпела я, Сергевнушка, выругала ее, так выругала, что надолго ей памятно будет. Тебе бы, я говорю, денно и ночью бога за Дарью Сергевну молить, а ты, бесстыжая, гляди-ка, каки новости распускаешь... Сама ты, говорю ей, паскуда, и мать-то твоя паскудная была, да и тетка тоже. Матрешка-то калачница, весь, говорю, род твой самый подлеющий, а ты смеешь этак честную девицу порочить... Да тебе, говорю, плетей мало за такие сплетки... Что Сергевнушка, говорю, сирота, так ты и думаешь, что на нее всякую канитель можно плести... Нет, говорю, сударыня, я тебе этого не спущу; хоть, говорю, и не видывала я таких милостей, как ты, ни от Марка Данилыча, ни от Сергевнушки, а в глаза при всех тебе наплюю и, что знаю, все про тебя, все расскажу, все как на ладонке выложу... Вот она какая, Сергевнушка, а ты еще оделяешь ее всем. И сегодня на базаре похваляется, что это, говорит, за рыба – соленый судак?.. мне, говорит, от Смолокуровых осетрины к масленице-то пришлют, да малосольной белужины по большому звену, да зернистой икры бурак; приходи, говорит, ко мне, хорошими блинками угощу... А я ей: совести, говорю, в тебе нет, искариотка ты подлая... Кто тебя кормит да жалует, на тех ты сплетки плетешь... Плюнула я на нее, матушка, да и прочь пошла... А она хоть бы бровью моргнула, хоть б что – такая бесстыжая... Ахти, матушки!.. Закалякалась я с тобой, Сергевнушка, а у меня квашня поставлена, творить надо – хлебы-то не перекисли бы... На минуточку ведь забежала, только проведать, живы ли вы все, здоровы ли, да вот грехом и заболталась...

Не отвечала Дарья Сергевна. Как убитая, сидела она, поникнув головою.

Размашисто надела и завязала свой капор Ольга Панфиловна, помолилась на иконы и стала на прощанье целовать Дарью Сергевну.

– Да ты, Сергевнушка, не огорчайся, – утешала она ее. – Мало ль чего не наврет Аниська Красноглазиха – всего от нее, паскуды, не переслушаешь. Плюнь на нее – собака лает, ветер носит. К чистому срамота не пристанет... А это вот скажу: после таких сплеток я бы такую смотницу не то что в дом, к дому-то близко бы не подпустила, собак на ее на смотницу с цепи велела спустить, поганой бы метлой со двора сбила ее, чтоб почувствовала она, подлая, что значит на честных девиц сплетки плести... Прощай, моя сердечная, прощай миленькая... Дунюшку поцелуй... А если милость будет, пришли мне на бедность к масленице-то рыбешки какой ни на есть, да икорочки, – ведь у вас, поди, погреба от запасов-то ломаются... Не оставь, Сергевнушка, яви милость, а Аниську Красноглазиху и на глаза не пушай к себе, не то, пожалуй, и еще бог знает чего наплетет.

По уходе Ольги Панфиловны Дарья Сергевна долго за чайным столом просидела. Мысли у ней путались, в уме помутилось. Не вдруг она сообразила всю ядовитость речей Ольги Панфиловны, не сразу представилось ей, как люди толкуют про ее положение. В голове шумит, в глазах растилается туман, с места бедная двинуться не может. Все ей слышится: «В трубы трубят, в трубы трубят!..»

Вдруг тихо-тихонько растворилась дверь, и в горницу смиренно, степенно вошла маленькая, тщедушная, не очень еще старая женщина в черном сарафане, с черным платком в распуск. По одежде знать, что христова невеста. Положив уставной поклон перед иконами, низко-пренизко поклонилась она Дарье Сергевне и так промолвила:

– Мир дому сему и живущим в нем!.. С преддверием честной масленицы проздравляю, сударыня Дарья Сергевна.

Это была Анисья Красноглазова, того же поля ягода, что и Ольга Панфиловна. Разница между ними в том только была, что благородная приживалка водилась с одними благородными, с купцами да с достаточными людьми из мещанства, а Анисья Терентьевна с чиновными людьми вовсе не зналась, держалась только купечества да мещанства... Ольга Панфиловна хоть и крестилась большим крестом в старообрядских домах, желая тем угодить хозяевам, но, как чиновница, не считала возможным раскольниковать, потому-де, что это неблагородно. Оттого водилась она и с матушкой протопопицей, и с попадьями, и с просвирнями. Анисья Терентьевна старинки держалась – была по спасову согласию. Раскольники этого толка хоть крестят и венчают в церкви, но скорей голову на отсечение дадут, чем на минутку войдут в православный храм, хотя б и не во время богослужения. Терентьевна не то что в церковь, к церковнику в дом войти считала таким тяжким грехом, что его ни постами, ни молитвами не загладишь. Потому Красноглазихе в старообрядских домах и было больше доверия, чем прощельге Ольге Панфиловне, что, хотя по раскольникам из-за подарков, прикидывалась верующею в «спасительность старенькой веры» и уверяла, что только по своему благородству не может открыто войти в «ограду спасения» и потому и живет «никонимски». Как Никодим (Никодимами у раскольников зовутся православные, тайно придерживающиеся старообрядчества.) тайно приходил ко Христу, так и она тайно приходит на поучения и беседы о старой вере. На свадьбах, на именинах, на обедах и вечерних столах у никониан Ольга Панфиловна бывала непременною участницей, ее не сажали за красным столом, не пускали даже в гостинные комнаты, приспешничала она в задних горницах за самоваром, распоряжалась подачей ужина, присматривала, чтобы пришедшая прислуга не стащила чего. Анисья Терентьевна не то что у церковных, и у раскольников на пирах сроду не бывала, порицая их и обзывая «бесовскими игрищами». Зато каждый раз получала от согрешивших «даяние благо», потому что очень уж была горда отмаливать грехи учреждавших в угоду дьяволу и на прельщение человекам демонские празднества.

У Анисьи Терентьевны были еще два промысла; Ольге Панфиловне, как церковнице, они были не с руки. У кого из раскольников покойник случится – Анисья Терентьевна псалтырь над ним читает, праздник господень либо хозяйские именины придут – она службу в моленной справляет. Был и еще у ней промысел: «мастерицей» она была, грамоте детей обучала. Получала за труды плату съестными припасами, кой-чем из одежды, деньгами редко. Брала за выучку с кого погодно, с кого так; за азбуку плата, за часовник другая, за псалтырь третья. По домам обучать Красноглазиха не ходила, разве только к самым богатым; мальчики, иногда и девочки сходились к ней в лачужку, что поставил ей какой-то дальний сродник на огороде еще тогда, как она только что надела черное и пожелала навек остаться христовой невестой. Дети всякие домашние послушки отправляли ей – воду носили, дрова кололи, весной гряды копали, летом пололи их. Хоть эти работы при отдаче в науку ребят в уговор не входили, однако ж родители на Терентьевну за то не скорбели, а еще ей же в похвалу говаривали: «Пуцай-де к трудам пострелов приучает». Розог на ребят Красноглазиха не жалела, оплеухи, подзатыльники в счет не ставились. Ленивых и шалунов пугала «букой» либо «турлы-мурлы, железным носом», что впотьмах сидит, непослушных детей клюет и железными когтями вырывает у них из бока куски мяса. Когда дети, подрастая, переставали резвиться, когда зачинали, по выражению Анисьи Терентьевны, часослов дёрма драть, тогда турлы-мурлы в сторону, и праздное место его заступал дьявол с хвостом, с рогами и с черной эфиопской образиной... «Рыскает он, – поучала учеников Анисья Терентьевна, – рыскает окаянный враг божий по земле, и кто, богу не помолясь, спать ляжет, кто в никонианскую церковь войдет, кто в постный день молока хлебнет аль мастерицу в чем не послушает, того железными крюками тотчас на мученье во ад преисподний стащит». Поученья о дьяволе и аде мастерица расширяла, когда ученики станут «псалтырь говорить», – тут по целым часам рассказывает, бывало, им про

козни бесовские и так подробно расписывает мучения грешников, будто сама только что из ада выскочила. Еще подробней рассказывала она про антихриста. Он уж пришел, по ее словам, и царствует в никонианах: церковные попы – его жрецы идольские, власти – слуги творящие волю сына погибельного, всяко «скоблено рыло» (Бреющие бороду.), всякий щепотник, всякий табашник запечатлен его печатью. Сидит он в церкви, в судах, кроется в щепоти (Трехперстное крестное знамение.), в четвероконечном кресте, в пяти просфорах, в еретических никонианских книгах. Все в мире растлено его прелестью: земля осквернена вглубь на тридцать сажен, реки, озера, источники нечисты от его тлетворного дыхания; потому и нельзя ни пить, ни есть ничего, не освятив наперед брашна или питья особой молитвой. Запугав антихристом и дьяволом учеников, поучает, бывало, их мастерица, как должно жить и чего не творить, дабы не впасть во власть врага божия, не сойти вместе с ним в тартарары преисподние. О господних заповедях, о любви к богу и ближнему ни слова; пьянство, обманы, злоречье, клевета, воровство, даже распутство все извинялось – то не грехи, но токмо падение, покаянием можно очистить их... Уставные поклоны, пост в положенные дни, а пуще всего «необщение со еретики» вражда и ненависть к церкви и церковникам – вот и все нравственные обязанности, что внушают раскольничьим детям мастерицы. Творить брань со антихристом и со всеми его слугами – подвиг доблестный, доставляющий в здешнем мире гонения, а в будущем неуядаемые, светозарные венцы. Так учила Анисья Терентьевна, и далеко разносилась о ней слава, как о самой премудрой учительнице.

Хоть Марко Данилыч был по поповщине, однако ж Анисья Терентьевна сильно надеялась, что, как только подрастет у него Дуня, он позовет ее обучать дочку грамоте.

Мастериц из поповщинского согласия во всем городе ни одной не было, а Красноглазиха была в славе, потому и рассчитывала на Дуню. Тут не куль муки за часослов, не овчинная шуба за выучку «всему до крошечки» – обучение единственной дочери первого во всем уезде богача не тем пахло... И Анисья Терентьевна, еще ничего не видя, утешала уж себя мыслию, что Марко Данилыч хорошенький домик ей выстроит, наполнит его всем нужным, да, oprичь того, и деньжонок на разживу пожалует. Потому и забегала она частенько к Дарье Сергевне, лебезила перед Марком Данилычем, а Дунюшку так ласкала, что всем было на диво. За то и не оставлял ее Смолокуров подарками... И это самое распаляло злобой благородную Ольгу Панфиловну, спать не давало ей.

Семь лет Дуне минуло – срок «вдавати отрочат в поучение чести книг божественного писания». Справив канон, помолясь пророку Науму да бессеребренникам Кузьме и Демьяну, Марко Данилыч подал дочке азбуку в золотом переплете и точеную костяную указку с фольговыми завитушками, а затем сам стал показывать ей буквы, заставляя говорить за собой: «аз, буки, веде, глаголь...»

Дуня, как все дети, с большой охотой, даже с самодовольством принялась за ученье, но скоро соскучилась, охота у ней отпала, и никак не могла она отличить буки от веде... Сидевшая рядом Анисья Терентьевна сильно хмурилась. Так и подмывало ее прикрикнуть на ребенка по-своему, рассказать ей про турлы-мурлы, да не посмела. А Марко Данилыч, видя, что мысли у дочки вразброд пошли, отодвинул азбуку и, ласково погладив Дуню по головке, сказал:

– На первый раз будет с тебя, моя грамотница. Сам-от учить я не горазд, да мне же и некогда... Самому хотелось только почин положить, учить тебя станет тетя Дарья Сергевна. Слушайся ее да учись хорошенько – гостинца привезу.

Улыбнулась Дуня, припала личиком к груди тут же сидевшей Дарьи Сергевны. Ровно мука, побелела Анисья Терентьевна, задрожали у ней губы, засверкали глаза и запрыгали... Прости-прощай, новенький домик с полным хозяйством!... Прости-прощай, капитал на разживу! Дымом разлетаются заветные думы, но опытная в житейских делах мастерица виду не подала, что у ней на сердце. Скрепя досаду, зачала было выхвалять перед Марком Данилычем Дунюшку: и разуму-то она острого, и такая девочка понятливая, да такая умная. Смолокуров самодовольно улыбался, гладил умницу по головке и велел выдать Анисье Терентьевне фунт чаю да голову сахару.

С того часу невзлюбила Красноглазиха и Марка Данилыча, и Дарью Сергевну, и даже ни в чем перед ней неповинную Дуню... Но про злобу ту знали только грудь ее да подоплёка... Пуще прежнего стала она лебезить перед Смолокуровым, больше прежнего ласкать Дунюшку и при каждом свиданье удавалось ей вылестить у «Марка богатого» то мучки, то крупки, то рыбки, то

дровешек на бедность. Дарью Сергевну главной злодейкой своей она почитала за то, что перебила у ней прибыльную ученицу, какой досель не бывало и вперед не будет. Лытя в глаза в надежде на подарки, заглазно старалась она всеми мерами насолить своему недругу. А чем крепче насолишь, как не злым языком?..

Не об одной любви сердце сердцу весть подает, тайный враг тем же сердцем чутся. Не слыхивала Дарья Сергевна от Красноглазихи слова неласкового, не видывала от нее взгляда не-приветного, а стало ей сдаваться, что мастерица зло на нее мыслит. Невзлюбила она Анисью Терентьевну и, была б ее воля, не пустила б ее на глаза к себе; но Марко Данилыч Красноглазиху жаловал, да и нельзя было идти наперекор обычаям, а по ним в маленьких городках Анисьи Терентьевны необходимы в дому, как сметана ко щам, как масло в каше, – радушно принимаются такие всюду и, ежели хозяева люди достаточные да тороватые, гостят у них подолгу.

– Все ли в добром здоровье, сударыня? – с умильной улыбочкой спрашивала Анисья Терентьевна, садясь на краешек стула возле двери.

– Слава богу, – сухо отвечала ей Дарья Сергевна, силясь оправиться от смущенья, наведенного на нее только что ушедшей Ольгой Панфиловной.

– Дунюшка здоровенька ли?

– Слава богу.

– Учится каково?

– Учится – ничего.

– Далеко ль ушла?

– Часослов покончили, за первую кафизму села, – ответила Дарья Сергевна.

– Так, сударыня... Так впрямь и за псалтырь села... Слава богу, слава богу, – говорила Анисья Терентьевна и, маленько помолчав, повела умильные речи.

– А я на базар ходила, моя сударыня, да и думаю, давно не видала я болезную мою Дарью Сергевну, сем-ка забреду к ней, сем-ка погляжу на нее да узнаю, как вы все живете-можете... Вдругорядь когда-то еще выпадет досужее времечко – дела ведь тоже, сударыня, с утра до ночи хлопоты, да и ходить-то, признаться, далеконок к вам, а базар-от от вас рукой подать, раз шагнула, два шагнула – и у вас в гостях... А до базару заходила я к Шигиным, забежала на единую минутку – мальчонка-то ихний азбуку прошел, за часослов сажать пора, да вот друга неделя ни каши не несет, ни плата, ни полтины (Кроме условной платы за учение, мастерица при каждой перемене учеником книги, то есть при начале часослова и при начале псалтыря, получает горшок сваренной на молоке каши, платок, в котором ученик несет этот горшок, и полтину деньгами. Кашу съедают ученики, платок и деньги поступают в карман мастерицы. Старинный обычай, упоминаемый еще в XV веке, сохраняется доселе у раскольников.).

Сами посудите, Дарья Сергевна, как же я за часословец-от его без даров посажу?.. Не водится... И посмотрела же я на ихне житье-бытье: беднота-то какая, нищета-то, печь не топлена, мерзнут в избе-то, а шабры говорят – по троим-де суткам не пьют, не едят. Где полтину им взять, где платок купить, да еще кашу варить? Сама вижу – не из чего... А стары обычаи не представишь... Нельзя, не годится: в мале порушишь – все предание порушишь... Нечего делать, велю Федюшке, мальчонке-то ихнему, сызнова учить азбуку, пущай его зады твердит, покамест батька с маткой не справятся... Да где горемычным им справиться, где справиться!.. Совсем подрезались, все, что было, и одежонку и постеленку, все продали, одно божие милосердие покуда осталось... А большачок-от (Большак, большачок – муж.) все курит, сударыня, все курит, каждый божий день... Иной раз в кабаке, что супротив Михайлы архангела, с утра до ночи просидит, а домой приволочется, первым делом жену за косы таскать. Она во всю мочь «караул», а он-то ее перекрикивает: «Жена да боится своего мужа!..» Дело ночное, шабры сбегутся – сраму-то что, содом-от какой!.. Да этак, сударыня моя, кажинный-то день, кажинный день!.. Не раз усостыжить его хотела: «Что, говорю, срамник ты этакой, делаешь?.. Что ты и себя и жену-то срамишь? Побойся, говорю, бога, ведь ты не церковник какой, что тебе по кабакам дневать-ночевать!.. Ведь ты, говорю, на все обчество, на всю святую нашу веру поношение наводишь. Послушай-ка, мол, что никониане-то говорят про тебя!..» Неймется, сударыня, хоть говори, хоть нет! И бога не боится и людей не стыдится!.. Ох-ох-ох-охо! Дела наши, дела, как подумаешь!..

Молча слушала Дарья Сергевна трещащую, как заведенное колесо, мастерицу. Жалко ей стало голодавших Шигиных, а больше всего бойкого, способного на ученье Федюшку. Вынула из сундука бумажный плат и денег полтину. Подавая их мастерице, молвила:

– Вот тебе, Терентьевна, платок, вот тебе и полтина, велю работнице крупы на кашу отсыпать, доучивай только Федюшку как следует, сажай его скорей за часослов. Знаю я мальчика – славный такой.

– Что ты, сударыня?.. – с ужасом почти вскрикнула Анисья Терентьевна. Как сметь старый завет преставлять!.. Спокон веку водится, чтобы кашу да полтину мастерицам родители посылали... От сторонних книжных дач не положено брата. Опять же надо ведь мальчонке-то по улице кашу в плате нести – все бы выдели да знали, что за новую книгу садится. Вот, мать моя, принялась ты за наше мастерство, учишь Дунюшку, а старых-то порядков по ученью и не ведаешь!.. Ладно ли так?.. А?..

– Да не все ль равно? – молвила было Дарья Сергевна.

– Что ты, что ты, сударыня!.. Окстись!.. опомнись! – вскрикнула громко Анисья Терентьевна. – Как возможно только помыслить преставлять старину?.. После того скажешь, пожалуй: «Не все ль едино, что в два, что в три перста креститься!..»

– Эх к чему применила!.. – начала было Дарья Сергевна, но мастерица и договорить ей не дала.

– Всяка премена во святоотеческом предании, всяко новшество, мало ль оно, велико ли – богу противно, – строго, громко и внушительно зачала Анисья Терентьевна. – Ежели ты, сударыня, обучая Дунюшку, так поступаешь, велик ответ перед господом дашь. Про тех, что соблазняют малых-то детей, какое слово в писании сказано? «Да обесится жернов осельский на выи его, да потонет в пучине морстей». Во что, сударыня!..

– Чем же я соблазняю? – спросила Дарья Сергевна.

– А пременою древнего чина, – подхватила Анисья Терентьевна. – Сказано: «Мал квас все смешение квасит...» Сама мала отмена святоотеческого предания все тщетным и греховным творит... Упрямится у тебя Дунюшка-то иной раз?

– Бывает... – ответила Дарья Сергевна. – Нельзя же – ребенок.

– А ты что с ней делаешь, как она заупрямится, учиться не захочет аль зашалит? – спросила мастерица.

– Когда пожурю, а больше все лаской... Она ведь у нас кроткая, послушливая, – сказала Дарья Сергевна.

– Пожурю! Лаской! – с насмешкой передразнила ее Анисья Терентьевна. – Не так, сударыня, моя, не так... Что про это писано?.. А?.. Не знаешь?.. Слушай-ка, что: «Не ослабляй, бия младенца, аще бо лозою биеша его – не умрет, но здравее будет, ты бо, бия его по телу, душу его избавляешь от смерти; дщерь ли имаши – положи на ню грозу свою и соблюдеши ю от телесных, да не свою волю приемши, в неразумии прокудит девство свое» («Домострой», XVII. Прокудить – шалить, проказничать. Прокудить девство – лишиться целомудрия.). Так-то, сударыня моя, так-то, Дарья Сергевна.

– Ну уж этого никогда не будет, – вспыхнула Дарья Сергевна. – Да и Марко Данилыч пальцем тронуть ее не позволит.

– И тем погубит свое рождение. Беспременно погубит, – возвысив голос, горячо заговорила мастерица. – Сказано: «Наказуй дети в юности, да покоят ты на старости, аще же дети согрешат отцовским небрежением, ему о тех гресех ответ дати». Скажи ты это от меня Марку Данилычу... Опосле, как вырастет Дуня да согрешит, будет ему от бога грех, а от людей укор и посмех. Так-то, сударыня... Намедни, как была я у вас, поглядела на Дунюшку, и поболела сердцем, ох, какво горько поболела... Девочка махонькая, а по всем горницам бегают, по стульям скачет, да еще, прости господи, мирски песня поет... Тут бы сейчас дубцом ее, а тятенька смеется, хохочет, да и ты тоже, сударыня... Хорошо ль это?.. Что про это сказано? «Воспитай детище с прещением и не смейся к нему, игры творя: в мале бо ся ослабиши, в велице поболелиши, скорбя» («Домострой», XVII.). А Василий-то Великий, что юношам и отроковицам заповедал?.. А?.. Не знаешь разве, сударыня?.. «Бесстрастие телесное имети, ступание кротко, глас умерен, слово благочинно, пищу и

питие немятежно»; а она у вас намеренна за обедом кричит, шумит, даже, прости господи, мирскую песню запела... А отец-от ровно и не слышит, а тебе ровно и дела нет... Что дальше Василий-от Великий гласит?.. При старейших молчание, премудрейшим послушание... А я намеренна стала было ее уговаривать маленько с пристрастием, про турлы-мурлы молвила ей, а она мне язык высунула... благочинно ли это, по писанию ли?.. Отроковице, по Василию Великому, «не дерзкой быти на смех», а она у вас только и дела, что гогочет, «стыдением украшаться» надобно, а она язык мне высунула, долгу зрение имети подобает, а она, ровно коза, лупит глаза во все стороны... Хорошее ли это дело, совместимо ли с законом святоотеческим?.. Сама, сударыня, посуди! Девушка ты не глупая, скажи по чистой совести: хорошо ли такую волю отроковице давать?

– По-моему, вреда тут нет, – молвила Дарья Сергеевна. – Ребенок еще, пушай ее порезвится...

– Нет, мать моя! – возразила Анисья Терентьевна. – Послушала бы ты, что в людях-то говорят про твоё обучение да про то, как учишь ты свою ученицу... Уши вянут, сударыня. Вот что.

– Мало ли что люди говорят, – молвила Дарья Сергеевна, – всех людских речей не переслушаешь.

– Что тут люди! Не люди, а я тебе говорю, – вспыхнула Анисья Терентьевна. – Я, матушка, слава тебе господи, не одну сотню ребят переобучила. Знаю это дело в досталь...

Насчет чего другого – так, а уже насчет учбы со мной, сударыня, не спорь. Может, верст ста на полтора кругом супротив меня другой мастерицы нет. Не в похвальбу скажу, сколько ребятенков грамоте ни обучила, мужеска пола и женска, все до единого в древнем благочестии крепко пребывают, свято хранят отеческие предания... А вы, сударыня, со своим Марком Данилычем неповинную от бога отводите, с бесом же на пагубу приводите. Да!.. Нечего, сударыня, лицо-то косить – не бойсь, не испугаюсь, всю правду-матку выложу тебе, как на ладонке... Губите вы, сударыня, со своим Марком Данилычем отроковицу непорочно, губите!.. Да-с!..

– Да чтой-то ты, Анисья Терентьевна?.. Помилуй, ради Христа, с чего ты взяла такие слова мне говорить? – взволнованным голосом, но решительно сказала ей на то Дарья Сергеевна. – Что тебе за дело? Кто просит твоих советов да поучений?

Спохватилась мастерица, что этак, пожалуй, и гостинца не будет, тотчас понизила голос, заговорила мягко, ластиво, угодливо. Затаенной язвительности больше не было слышно в ее речах, зазвучали они будто сердечным участием.

– Ах, сударыня ты моя Дарья Сергеевна! Ведь жалеючи вас, моя болезная, так говорю. Может, что негодное молвила – не обессудьте, не осудите, покройте нашу глупость своей лаской-милостью... Из любви к вам, матушка, из единой любви сказала, помнючи милости Марка Данилыча и ваши, сударыня... Люди ведь зазирают, люди, матушка. Теперь у всех только и речи, что про вас да про Дунюшкино ученье... Известно, сударыня, Марко Данилыч такой богатеи, дочка у него одна-единственная. До кого ни доведись, всякому занятно посудить, порядить...

– Да что кому за дело? – с досадой молвила Дарья Сергеевна.

– Народ – молва, сударыня. Никто ему говорить не закажет. Ртов у народа много – всех не завяжешь... – Так говорила Анисья Терентьевна, отираясь бумажным платком и свертывая потом его в клубочек. – Ох, знали бы вы да ведали, матушка, что в людях-то про вас говорят.

– Что такое? – чуть слышно спросила Дарья Сергеевна. Вспомнились ей слова Ольги Панфиловны.

– Да вот хоть бы сейчас на базаре, – ответила Анисья Терентьевна. Стоит Панфилиха у воез с рыбой, а сама так и рассыпается, так и рассыпается... И все-то про вас, все-то про вас да про Марка Данилыча... Им, говорит, греховодникам и без венца весело живется. Без стыда, говорит, живут, ровно муж с женой... Да и пошла и пошла... А еще барыня, благородная!.. Ну да как же не благородная?.. Стоит взглянуть на харю анафемскую, тотчас по рылу знать, что не простых свиной... Отец-от отопком щи хлебал, матенка на рогожке спала, в одном студеном шушуншке (Шушун – верхнее платье, вроде кофты, из крашенины. Студеный шушун – сшитый не на вате.) по пяти годов щеголяла, зато какая-то, пес их знает, была елистраторша, а дочку за секретаря, что ли, там за какого-то выдала... Родословная, видишь!.. А какое у них родословье? От ёрника балда, от балды шишка, от шишки ком!.. (Ёрник – кривой, низкорослый кустарник по болоту, а также беспутный, плут, мошенник; балда – лесная кривулина, дубина, а также дурак, полоумный; шишка –

нароств на дереве, а также бес, черт (шишка, шишига); ком – сук в виде клуба на древесном наросте, а также драчун, забияка (комша).). А вы еще, сударыня, такую паскуду до себя допускаете! Перво-наперво – неверная, у попов у церковных, да у дьяконов хлеб ест, всяко скоблено рыло, всякого табашника и щепотника за добрых людей почитает, второ дело смотница, такая смотница, что не приведи господи. Только на самое себя сплеток не плетет, а то на всех, на всех, что ни есть на свете людей... А вы еще на глаза ее к себе допускаете. Не дело, Дарья Сергевна, не дело!.. Видите, какая от нее благодарность-то – у кого ест да пьет, на того и зломыслит.

Не ответила Дарья Сергевна.

– Ахти, засиделась я у вас, сударыня, – вдруг встрепенулась Анисья Терентьевна. – Ребятенки-то, поди, собрались на учьбу, еще, пожалуй, набедокурят чего без меня, проклятики – поди, теперь на головах чать по горнице-то ходят. Прощайте, сударыня Дарья Сергевна. Дай вам бог в добром здоровье и в радости честную масленицу проводить. Прощайте, сударыня.

И тихой походкой, склоня голову, пошла вон из горенки.

Убитая неожиданными вестями, Дарья Сергевна вся погрузилась в не испытанное еще ею доселе горе от клеветы. Вся она была поглощена тем горем. Краем уха слушала рассказы мастерицы про учьбу ребятишек, неохотно отвечала ей на укоры, что держит Дуняшу не по старинным обычаям, но, когда сказала она, что Ольга Панфиловна срамит ее на базаре, как бы застыла на месте, слова не могла ответить... «В трубы трубят, в трубы трубят!» – думалось ей, и, когда мастерица оставила ее одну, из-за густых ресниц ее вдруг полилися горькие слезы. Пересела Дарья Сергевна к пальцам, хотела дошивать канвовую работу, но не видит ни узора, ни вышиванья, в глазах туманится, в висках так и стучит, сердце тоскует, обливается горячею кровью. Опираясь на столы и стулья, вышла она в другую горенку, думала стать на молитву, но ринулась на кровать и залилась слезами.

Клевета что стрела, человека разит. На себя не похожа стала Дарья Сергевна: в очах печаль, в лице кручина. Горе, коль есть его с кем размыкать, – еще не горе, а только полгоря. А ей кому поделиться печалью? Не Марку ж Данилычу сказать, не с Дунюшкой же про напраслину разговаривать! С нянькой, с работницами тоже говорить не доводится. Поймут разве они ее кручину?... Пожалуй, еще больше насплетничают! Уйти из дому Смолокурова?... А обет, данный Олене Петровне на смертном одре ее? Бога ведь ставила ей она во свидетели, что заменит сиротке родную мать... Все обиды надо стерпеть, все оскорбления перенести, а данной клятвы не изгубить!.. Опять же Дунюшку жаль... Как ее с нянькой да с работницами одну оставить!.. Марко Данилыч?

Его дело мужское – где ему до всего доходить, опять же почасту надолго из дому отлучается... Нельзя одну Дуню оставить, нельзя...

Долго думала Дарья Сергевна, как бы делу помочь, как бы, не расставаясь с Дуней, год, два, несколько лет не жить в одном доме с молодым вдовцом и тем бы заглушить базарные пересуды и пущенную досужими языками городскую молву. Придумала, наконец.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прошла масленица, наступил великий пост. Дарья Сергевна таила в сердце скорбь, нанесенную ей благородной приживалкой и халдой мастерицей! Три недели еще прошло – «пролетье» наступило, Евдокия-плющиha пришла весну снаряжать (1 марта празднуют преподобной мученицы Евдокии. В народе тот день зовут «пролетьем», «Евдокией-плющихой» (потому что снег тогда настом плющат). Говорят еще в народе, что Евдокия весну снаряжает.). В тот день Дуня именинница была, восемь годков ей минуло. Марко Данилыч подарил имениннице разных подарков и, называя ее уже «отроковицей», веселился, глядя на дочку и любясь расцветавшею ее красотой. Рада была Дуня подаркам, с самодовольством называла она себя «отроковицей» – значит, стала теперь большая – и нежно ластилась то к отцу, то к Дарье Сергевне. Евдокиин день в том году приходился в среду на четвертой неделе поста; по старинному обычаю, за обедом подали «кресты» из тертого на ореховом масле теста. В одном из крестов запечен был на счастье двугривенный, он достался имениннице. Девочка так и засияла восторгом.

– Да, Марко Данилыч, вот уж и восемь годков минуло Дунюшке, – сказала Дарья Сергевна,

только что встали они из-за стола, – пора бы теперь ее хорошенько учить. Грамоту знает, часослов прошла, втору кафизму читает, с завтрашнего дня думаю ее за письмо посадить... Да этого мало... Надо вам подумать, кому бы отдать ее в настоящее ученье.

– Кому же, как не вам ее учить, Дарья Сергевна?.. – молвил Марко Данилыч. – Не Терентьюху же приставить...

– Всей бы душой рада я, Марко Данилыч, да сама не на столь обучена, чтоб хорошенько Дунюшку всему обучить... Подумали бы вы об этом, – сказала Дарья Сергевна.

– Не в Москву же в пенсион везти, – слегка нахмурясь, сказал Смолокуров. – Пошло нынче это заведение по купечеству у старообрядцев даже, только я на то не согласен... Потому – одно развращенье! Выучится там на разных языках лепетать, на музыке играть, танцам, а как персты на молитву слагать, которой рукой лоб перекрестить – забудет... Видал я много таких, не хочу, чтоб Дуня моя хоть капельку на них походила. Надо обучить ее всему, что следует по древнему благочестию, ну и рукодельям тоже... Так это, я полагаю, и вы все можете.

– Ну нет, Марко Данилыч, за это я взяться не могу, сама мало обучена, возразила Дарья Сергевна. – Конечно, что знаю, все передам Дунюшке, только этого будет ей мало... Она же девочка острая, разумная, не по годам понятливая – через год либо через полтора сама будет знать все, что знаю я, – тогда-то что ж у нас будет? Марко Данилыч задумался.

– Учителей, что ли, каких бы приискали... – начала было Дарья Сергевна, но Смолокуров поспешно ее перебил:

– Это из училища-то, что ли? Ни за что на свете!.. Чему научат?.. Какому бесу, прости господи!

– Так другого кого поищите, – молвила Дарья Сергевна. – Подумайте об том, Марко Данилыч.

– Ладно, подумаем, – отрывисто ответил он и круто повернулся к окну. Помолчала немножко Дарья Сергевна, другой разговор повела:

– Сегодня поста перелом. Христов праздник не за горами. Кого располагаете звать стрastную службу да светлу заутреню в моленной отправить?..

– Кого позвать? Опрichь Красноглазиhi, некого, – ответил Марко Данилыч.

– Путает много она по минеи-то, – сказала Дарья Сергевна. – По псалтырю (Домашняя служба у старообрядцев отправляется по псалтырю, то есть читается псалтырь и после каждой кафизмы тропари празднику. Службою по минеи, или уставною, называется та, что отправляется по уставу. Великим постом справляют уставную службу по книге «Минея постная», от поста до Троицы по книге «Минея цветная», в прочие дни – по «Минеи общей».) еще бредет, а по минеи ей не сладить. Чтob опять такого ж соблазну не натворила, как в прошлом году.

– Это за часами-то в великую пятницу? Из пятницы в субботу переехала, засмеялся Марко Данилыч, отворачиваясь от окна.

– А в позапрошлом году, помните, как на Троицу по «Общей минеи» стала было службу справлять да из пятидесятницы простое воскресенье сделала?.. Грехи только с ней! – улыбаясь, сказала Дарья Сергевна. – К тому ж и то надо взять, Марко Данилыч, не нашего ведь она согласу...

– Это еще не беда, – заметил Смолокуров. – Разница меж нами не великая – та же старая вера, что у них, что у нас. Попов только нет у них, так ведь и у нас были да сплыли.

– Все-таки не единого стада, – молвила Дарья Сергевна.

– А вы уж не больно строго, – сказал на то Марко Данилыч. – Что станешь делать при таком оскудении священства? Не то что попа, читалок-то нашего согласу по здешней стороне ни единой нет. Поневоле за Терентьюху примешься... На Керженц разве не спсылать ли?.. В скиты?..

– Оченно бы это хорошо было, Марко Данилыч, – обрадовалась Дарья Сергевна. – Тогда бы настоящая у вас служба была. Все бы нашего согласу благодарны вам остались. Можно бы старицу позвать да хоть одну белицу для пения... Старица-то бы в соборную мантию облеклась, белица-то демеством бы Пасху пропела... Как бы это хорошо было! Настоящий бы праздник тогда!.. Вот и Дунюшка подросла, а заправской божией службы еще и не слыхивала, а тут поглядела бы, хорошо-хонько помолилась бы. Послушала бы певицу...

– Зачем певицу? Брать так уж пяток либо полдюжину. Надо, чтоб и пение и служба вся были как следует, по чину, по уставу, – сказал Смолокуров. Дунюшки ради хоть целый скит приволоку, денег не пожалею... Хорошо бы старца какого ни на есть, да где его сыщешь? Шатаются, шут их возьми, волочатся из деревни в деревню – шатуны, так шатуны и есть... Нечего делать, и со старочкой, бог даст, поспразднуем... Только вот беда, знакомства-то у меня большого нет на Керженце. Послать-то не знаю к кому.

– Да вы бы к Лещовым отписали, у них по всем скитам есть знакомство, ответила Дарья Сергевна. – Они мигом бы весточкой дохнули на Керженец. Теперь четверта неделя, к вербному воскресенью и старочка и белицы были бы здесь. Нынче же Пасха ранняя, благовещение на страстной придется, реки пропустят. Разойдутся не раньше мироносицкой.

– Не раньше, – согласился Смолокуров. – И в самом деле к Лещовым на Ветлугу разве писать. Никите Петровичу точно все Керженски обители знакомы, для меня он сладит дело, сегодня же погоню к нему нарочного.

Нефед Тихоныч Лещов свойственник был Смолокурову, на двоюродной сестре Олены Петровны женат. Человек с достатком был, но далеко не с таким, как у Марка Данилыча, оттого и старался он при всяком случае угодить богатому сватушке. Только что получил он письмо, тотчас же снарядился в путь-дорогу – сам поехал на Керженец, сам все дело обделал; и накануне Лазарева воскресения на двор Смолокурова въехали три скитские кибитки, нагруженные старицей Макриной да пятью белицами. Старица и певчие девицы были с Каменного Вражка, из обители игуменьи Манефы Чапуриной.

Макрина уставщицей была. Несмотря на великий праздник, Манефа отправила ее к Марку Данилычу, приказав ее помощнице матушке Аркадии заправлять службой в обительской часовне. Когда Лещов рассказал дальновидной игуменье про Смолокурова, про его богатства, про то, что у него всего одна-единственная дочь, наследница всему достоянью, и что отцу желательно воспитать ее в древнем благочестии, во всей строгости святоотеческих преданий, мать Манефа тотчас смекнула, что из этого со временем может выйти... Потому, исполняя желание Марка Данилыча, хоть и в ущерб благолепию службы в своей часовне, послала она опять наилучших певиц правого крылоса, а с ними уставщицу Макрину, умную, вкрадчивую, ловкую на обхождение с богатыми благодетелями и мастерски умевшую обделывать всякие дела на пользу обители.

Отправив страстную и пасхальную службу, Макрина не тотчас поехала от Смолокурова. Марку Данилычу старица божия понравилась: целые вечера проводил он с ней в беседах не только от божественного писания, но и о мирских делах; ловкая уставщица была и в них сведуща...

Много ездила она по делам обительским, по всему старообрядству вела обширное знакомство, и ее рассказы очень были заняты Марку Данилычу. Стал он упрашивать ее прогостить святую и на радунице хорошенько помянуть родителей. Потом отъезд келейниц замешкался оттого, что дороги испортились, от распутицы реки стало опасно переезжать. Вскрылись реки, Марко Данилыч стал Макрину упрашивать остаться до его именин (День св. Марка 25 апреля.), потом до именин погибшего в море брата, чтоб отпеть за него поминальный канон (Св. Мокия 11 мая.). А тут дня через четыре Троица – не ехать же от такого праздника; через неделю после Троицы память по Олене Петровне (Св. Елены 21 мая.). Таким образом, откладывая отъезд день за день, неделя за неделю, комаровские гости прожили у Смолокурова вплоть до Иванова дня.

Смолокуров до того времени в скитах никогда не бывал, и совсем не знал жизни обительской. Макрина в продолжение гостин много ему рассказывала про житье-бытье матушек, про их занятия, хозяйственность, богомолье. Марку Данилычу ее рассказы пришили по сердцу; щедро наградив Манефу за службы, в его домашней моленной Макриной отправленные, обещал на будущее время быть благодетелем честной обители, если же мать Манефа с сестрами будут согласны, то, пожалуй, и ктиторм сделать. Оставаясь с глазу на глаз с Макриной, Дарья Сергевна иные разговоры вела: советовалась с ней насчет обучения Дунюшки. Жаль было расставаться ей с воспитанницей, в которую положила всю душу свою, но нестерпимо было и оставаться в доме Смолокурова, после того как узнала она, что про нее «в трубы трубят». Чтоб, не разлучаясь с Дуней, прожить несколько лет вне смолокуровского дома и тем заглушить недобрые слухи, вздумала она склонить Марка Данилыча на отдачу дочери для обучения в Манефину обитель. Только что

намекнула об этом она матери Макрине, та с обычной для нее ловкостью на лад затеянное дело поставила. И были и небылицы по целым вечерам стала она рассказывать Марку Данилычу про девиц, обучавшихся в московских пансионах, и про тех, что дома у мастериц обучались. Называла по именам дома богатых раскольников, где от того либо другого рода воспитания вышли дочери такие, что не приведи господи: одни бога забыли, стали пристрастны к нововводным обычаям, грубы и непочтительны к родителям, покинули стыд и совесть, ударились в такие дела, что нелеть и глаголати... другие, что у мастериц обучались, все, сколько ни знала их Макрина, одна другой глупее вышли, все как есть дуры дурами – ни встать, ни сесть не умеют, а чтоб с хорошими людьми беседу вести, про то и думать нечего. Смолокуров соглашался с красноглаголивой уставщицей, говорил, что самому ему доводилось и тех и других видать и что он не знает, которые из них хуже. «И то еще я замечал, – говорил он, – что пансионная, выйдя замуж, рано ли поздно, хахалая заведет себе, а не то и двух, а котора у мастерицы была в обученье, дура-то душой окажется, да к тому ж и злобы много накопит в себе...» А Макрина тотчас ему на те речи: «С мужьями у таких жен, сколько я их ни видывала, ладов не бывает: взбалмошны, непокорливы, что ни день, то в дому содом да драна грамота, и таким женам много от супружеских кулаков достается...» Наговорившись с Марком Данилычем о таких женах и девицах, Макрина ровно обрывала свои рассказы, заводила речь о стороннем, а дня через два опять, бывало, поведет прежние речи... Дарья Сергеевна в одно слово с ней говорила. Сумрачно глядел Марко Данилыч, молчал и, глубоко вздыхая, гладил по головке ненаглядную дочку. Потом Макрина зачнет, бывало, рассказывать про житье обительское и будто мимоходом помянет про девиц из хороших домов, что живут у Манефы и по другим обителям в обученье, называет поименно родителей их: имена все крупные, известные по всему купечеству. Называет обучавшихся и прежде в скитах, а теперь вышедших замуж и ставших добрыми, домовитыми, умными, попечительными хозяйками... Знал Марко Данилыч иных из названных Макриной и соглашался со старицей, что в самом деле жены они добрые, матери хорошие, потому, главное, прибавлял он, что живут во страхе господнем. "Страх божий при обученье девиц у нас в обителях первое дело, – спешит тогда отвечать Макрина, – потому что и в писании сказано: «Страх божий начало премудрости...» И, сказавши, опять замолчит либо сведет речь на другое. Потом через день, через два опять зачнет рассказывать, как строго в обителях смотрят за девицами, как приучают их к скромному и доброму житию по господним заповедям, каким рукодельям обучают, какие книги дают читать и как поучают их всякому добру старые матери.

– Все это хорошо и добро, – молвил как-то раз Марко Данилыч, – одно только не ладно, к иночеству, слышь, у вас молоденьких-то дев склоняют, особливо тех, что побогаче... Расчетец – останется девка в обители, все родительское наследие туда внесет... Таковы, матушка Макрина, про скиты обносятся повсюдные слухи.

– Не верьте, Марко Данилыч, пустым наносным речам. Эти сплетни идут от недоброхотов, – с горячностью вступилась Макрина. – Мало ль чего не говорят про нас, убогих, незащитных!.. Не верьте... Бывает, что старые матери иным девицам внушают покрыть себя черною рясой... Таить не стану, точно бывает. Только такие советы не отецким дочерям, не богатым девицам внушаются, а сироткам, что с малолетства призрены в обители Христа ради. Ни отца у сироты, ни матери, ни ближних, ни сродников, где ж ей, сердечной, в миру главу приклонить? А в обители ей завсегда готово... Таких точно что уговариваем, а богатых ни-ни... никогда... Родных своих тоже уговариваем, у которой старицы племянница есть бедная, либо другая сродница, таких берем на воспитанье и, точно, иной раз склоняем принять ангельский чин... А отецких дочерей как можно?.. Помилуйте!

Разговаривая так с Макриной, Марко Данилыч стал подумывать, не отдать ли ему Дуню в скиты обучаться. Тяжело только расстаться с ней на несколько лет... «А впрочем, – подумал он, – и без того ведь я мало ее, голубушку, выдаю... Лето в отъезде, по зимам тоже на долгие сроки из дому отлучаюсь... Станет в обители жить, скиты не за тридевять земель, в свободное время завсегда могу съездить туда, поживу там недельку-другую, полюбуюсь на мою голубушку да опять в отлучки – опять к ней».

И вот однажды под вечерок, сидя за чаем, сказал Смолокуров Макрине при Дарье Сергеевне, что думает он Дуню к ним в обученье отдать.

Другая на месте Макрины тотчас бы возрадовалась, но ловкая уставщица бровью даже не повела. Напротив, приняла озабоченный вид и медленно, покачивая головой, промолвила:

– Не знаю, что сказать вам на это, Марко Данилыч, не знаю, как вам посоветовать. Дело такое, что надо об нем подумать, да и подумать.

А Дарья Сергевна, хоть и радехонька речам Марка Данилыча, но хмурится, будто ей неприятную весть сказал он. Не молвила ни единого слова.

– Чего тут раздумывать?.. – нетерпеливо воскликнул Марко Данилыч. – Сама же ты, матушка, не раз говорила, что у вас девичья учьба идет по-хорошему... А у меня только и заботы, чтобы Дуня, как вырастет, была б не хуже людей... Нет, уж ты, матушка, речами у меня не отлынивай, а лучше посоветуй со мной.

– Ничего не могу я тут вам советовать, Марко Данилыч, никакого без матушки Манефы ответа дать не могу, – смиренно, покорным голосом отвечала Макрина. – Такого родителя дочку принять не безделица!.. Конечно, если б это дело сбылось, матушка Манефа Дунюшку поближе бы к келье своей поместила, в своей бы «стае». Да теперь вряд ли там возможно поместить ее... Чапурина Патапа Максимыча не изволите ль знать?.. Братец матушке-то нашей по плоти: двух дочерей отдал к ней да третью дочку не родную, а богоданную; сиротку он одну воспитывает. Четвертая с ними живет матушкина воспитанница, тоже сирота безродная... Вот четыре, пятая с ними живет головщица. А горниц-то всего три и то не великие... Из этакого дома Дунюшке-то и тесненько покажется у нас – скучать бы не стала. Опять же не одну ее в обитель привезете, кто-нибудь тоже будет при ней...

– Ну вот этого я уж и не знаю, как сделать... И придумать не могу, кого отпустить с ней. Черных работниц хоть две, хоть три предоставлю, а чтоб в горницах при Дунюшке жить – нет у меня таковой на примете.

– Работниц нам не надо, Марко Данилыч, в обители своих трудниц довольно. Дунюшке все они сготовят: и помыть, и пошить, и поштопать, и новое платье могут сшить, даже башмачки, пожалуй, справят, – сказала Макрина.

– Ну это ладно, хорошо, – молвил Марко Данилыч. – А где ж такую взять, чтоб завсегда при ней была, безотлучно смотрела бы за ней?

– А я-то на что? – вступилась Дарья Сергевна, вскинув глазами на Смолокурова. – Я с Дуняшей поеду.

– Как? – удивился и с досадой промолвил Марко Данилыч. – А дом-от как же?.. Хозяйство-то?.. Дом-от тогда на кого я покину?

– Марко Данилыч, – пристально глядя на него, сказала Дарья Сергевна. Разве вам не известно, что живу я у вас не ради хозяйства, а для Дунюшки?.. Клятву дала я Оленушке Петровне, на смертном одре ее, обещалась ей вместо матери Дунюшке быть – и то обещанье, перед творцом создателем данное, сколько господь мочи дает, исполняю... А насчет вашего хозяйства покойница мне ничего не говорила, и я слова ей в том не давала... При Дунюшке до ее возраста останусь, где б она ни жила, – конечно, ежели это вашей родительской воле будет угодно, – а отвезете ее, в дому у вас я на один день не останусь.

Повисла слеза на реснице у Марка Данилыча, когда вспомнилась ему женина кончина. Грустно покачал он головою и с легким укором промолвил:

– А не просила разве она вас, умираючи, чтоб и меня не оставили вы своим советом да заботами?.. Попомните-ка?.. Не говорила разве того вам покойница?

– Говорила, – потупляя глаза и слегка вспыхнув, ответила Дарья Сергевна. – Но ведь вы и того, думаю я, не забыли, после каких уговоров, после какого от меня отказа про то она говорила?

Смолк Марко Данилыч, нахмурил брови и почесал в затылке.

– Все-таки, однако ж... – начал было он, но не знал, что дальше сказать. Подумав недолгое время, он молвил:

– Вы у меня в дому все едино, что братня жена, невестка то есть. Так и смотрю я на вас, Дарья Сергевна... Вы со мной да с Дуней – одна семья.

– А люди как на это посмотрят, Марко Данилыч? – строго взглянув на него, взволнованным голосом тихо возразила Дарья Сергевна. – Ежели я, отпустивши в чужие люди Дунюшку, в вашем

доме хозяйкой останусь, на что это будет похоже?.. Что скажут?.. Подумайте-ка об этом...

– Чего сказать? Никто ничего не посмеет сказать, – Резко и мрачно ответил Марко Данилыч.

– Не говорите... – с горячностью сказала Дарья Сергевна. – Может, и теперь уж не знай чего на меня ни плетут!.. А тогда что будет? Пожалейте хоть маленько и меня, Марко Данилыч.

– Кто смеет сказать про вас что-нибудь нехорошее?.. – вскрикнул Марко Данилыч и, быстро вскочив с дивана, зашагал по горнице крупными шагами. Головы на плечах не унесет, кто посмеет сказать нехорошее слово!..

– Перестанем говорить о том, – спокойно промолвила Дарья Сергевна. – От басен да от сплетен никому не уйти, заказу на них положить невозможно. Последнее мое вам слово: будет Дунюшка жить в обители, и я с ней буду, исполню завет Оленушки, не захотите, чтоб я была при ней, дня в дому у вас не останусь... Христовым именем стану кормиться, а не останусь... А если примет меня матушка Манефа, к ней в обитель уйду, иночество надену, ангельский образ приму и тем буду утешаться, что хоть издали иной раз погляжу на мою голубоньку, на сокровище мое бесценное.

И, закрыв руками лицо, зарыдала. Марко Данилыч продолжал, насупясь и молча, ходить по горнице.

– Эх, Дарья Сергевна, Дарья Сергевна! – горько он вымолвил. – Бог с вами!.. Не того я ждал, не то думал... Ну да уж если так – ваша воля... Дуню в таком разе уж вы не оставьте.

– Мое дело сторона, – вмешалась при этом Макрина. – А по моему рассуждению, было бы очень хорошо, если б и при Дунюшке в обители Дарья Сергевна жила. Расскажу вам, что у нас в Комарове однажды случилось, не у нас в обители, – у нас на этот счет оборони господи, – а в соседней в одной.

И пошла рассказывать ни так, ни сяк не подходящее к делу. Ей только надо было отвести в стороны мысли Смолокурова; только для того и речь повела... И отвела... мастерица была на такие отвороты.

Дён пять прошло после тех разговоров. Про отправленье Дунюшки на выучку и помина нет. Мать Макрина каждый раз заминает разговор о том, если зачнет его Марко Данилыч, то же делала и Дарья Сергевна. Иначе нельзя было укрепить его в намеренье, а то, пожалуй, как раз найдет на него какое-нибудь подозренье. Тогда уж ничем не возьмешь.

Раз при Макрине и при Дарье Сергевне посадил Марко Данилыч Дуню к себе на колени и, лаская ее, молвил:

– Хочешь, Дунюшка, учиться уму-разуму?

– Хочу, тятя, – весело улыбаясь синенькими глазками, отвечала девочка.

– Отдам я тебя матушке Макрине, увезет она тебя к себе домой и там всему хорошему тебя научит, – сказал Марко Данилыч. – Поедешь с матушкой Макриной?

На минутку Дуня задумалась. И, быстро вскинув головкой, блеснула на отца взорами и спросила:

– А тетя Даша поедет?

– Нет, не поедет, – молвил Смолокуров.

– Так и я не поеду, – ответила девочка.

– И учиться не станешь?

– И учиться без тети не стану, – решительней прежнего молвила Дуня.

– А если мать Макрина без тети тебя увезет?

– Убегу.

– А поймают?

– Тогда умру. Как мама померла, так и я помру, – сказала Дунюшка – и так спокойно, так уверенно, как будто говорила, что вот посидит, посидит с отцом, да и побежит глядеть, как в огороде работницы гряды копают.

Заискрились взоры у Марка Данилыча, и молча вышел он из горницы. Торопливо надев картуз, пошел на городской бульвар, вытянутый вдоль кручи, поднимавшейся над Окою. Медленным шагом, понунив голову, долго ходил между тощих, нераспустившихся липок.

Река была в полном разливе, верст на семь затопило луга, полои (Низменное место, затопляемое весной) и кустарники левого берега. Попутным ветром вниз по реке бежал моршанский хлебный караван; стройно неслись гусьанки и барки, широко раскинув полотняные белые паруса и топсели, слышались с судов громкие песни бурлаков, не те, что поются надорванными их голосами про дубину, когда рабочий люд, напирая изо всей мочи грудью на лямки, тяжело ступает густо облепленными глиной ногами по скользкому бечевнику и едва-едва тянет подачу. Шамра (Рябь на воде во время ровного, не очень сильного ветра.) бежит в одну сторону с судами, «святой воздух» (Так бурлаки зовут попутный ветер.) доплыва выдувает «апостольскую скатерть» (Так бурлаки зовут надутый ветром парус.), и довольные попутным ветром бурлаки, разметавшись по палубе на солнышке, весело распевают про старые казацкие времена, про поволжскую вольную вольницу. Громко разносится в свежем воздухе удалая песня:

Разыгралася, разгулялася Сура-река -
Она устьицем пала в Волгу-матушку,
На том устьице на Сурском, част ракитов куст,
А у кустика ракитова бел-горюч камень лежит.
Кругом камешка того добрые молодцы сидят,
А сидят они, думу думают на дуване,
Кому-то из молодцев что достанется на долю...

На другой гусьанке раздался дружный, громкий хохот – какой-то бурлак, взяв за обору истоптанный лапоть и размахивая им, представляет попа с кадилом, шуткой отпевая мертвецки пьяного товарища, ровно покойника, а бурлаки заливаются веселым смехом... А на третьей гусьанке неистовый вопль слышится: «Батюшки, буду глядеть!.. отцы родные, буду доваривать! батюшки бурлачечки, помилуйте!.. родимые, помилуйте!» То бурлацкая артель самосудом справляется с излюбленным кашеваром за то, что подал на ужин не проваренную как следует пшеничную кашу...

По лону реки мелькают лодочки рыбных ловцов, вдали из-за колена реки выбегает черными клубами дымящийся пароход, а клонящееся к закату солонце горит о высоком небосклоне, осыпая золотыми искрами речную шамру; ширятся в воздухе и сверкают под лучами небесного светила белоснежные паруса и топсели, вдали по красноватым отвесным горам правого берега выделяются обнаженные, ровно серебряные, слои алебаstra, синеют на венце гор дубовые рощи, зеленеет орешник, густо поросший по отлогим откосам. Ничего не видит, ничего не слышит Марко Данилыч, ходит взад и вперед по бульвару, одно на мыслях: «Приходится с Дуней расстаться!»

До глубоких сумерек проходил он вдоль кручи. Воротясь домой, весь ужин промолчал, а перед отходом ко сну молвил Дарье Сергевне да матери Макрине:

– Решил я. Стану просить мать Манефу, приняла бы к себе Дуню... А вы уж ее не оставьте, Дарья Сергевна, поживете с ней, покамест будет она в обученье. Она ж и привыкла к вам... Обидно даже немножко – любит она вас чуть ли не крепче, чем родного отца.

Радостно блеснули взоры Дарьи Сергевны, но она постаралась подавить радость, скрыть ее от Марка Данилыча, не показалась бы она ему обидною. «Тому, дескать, рада, что хозяйство покидает и дом бросает бог знает на чьи руки».

Макрина еще больше, чем Дарья Сергевна, рада была решению Марка Данилыча. «Большое спасибо скажет мне мать игуменья, что сумела я уговорить такого богатея отдать в обитель свою единственную дочку», – так думала довольная успехом своим уставщица. Перечисляет в мыслях, сколько денег, сколько подарков получит обитель от нового «благодетеля», а уж насчет запасов, особенно рыбных, нечего и думать – завалит Смолокуров обительские погреба, хоть торг заводи: всю рыбу никак тогда не приесть. Но этого мало показалось ревностной до обительских выгод уставщице, вздумалось ей еще пожить на счет Марка Данилыча.

– О вашем решении надо скорей отписать матушке, – обратилась она к нему. – Вы как располагаете дочку-то к нам привезти?

– Да уж лето-то пушай ее погуляет, пушай поживет со мной... Ради ее и на Низ не поеду –

побуду останное время с Дунюшкой, нагляжусь ка нее, голубушку, – сказал Смолокуров.

– Значит, по осени? – молвила Макрина.

– Да, после Макарья – в сентябре, что ли, – ответил Марко Данилыч.

– Так я и отпишу к матушке, – молвила Макрина. – Приготовилась бы принять дорогую гостейку. Только вот что меня сокрушает, Марко Данилыч. Жить-то у нас где будет ваша Дунюшка? Келий-то таких нет. Сказывала я вам намеренно, что в игуменьиной стае тесновато будет ей, а в других кельях еще теснее, да и не понравится вам – не больно приборно... А она, голубушка, вон к каким хоромам приобыкла... Больно уж ей у нас после такого приволья не покажется.

– Как же тому пособить? – сказал Марко Данилыч и задумался.

– Уж не знаю, как сделать это, Марко Данилыч, Ума не приложу, благодетель, не придумаю, – отвечала на то хитрая Макрина. – Отписать разве матушке, чтобы к осени новую стаю келий поставила... Будет ли ее на то согласие, сказать не могу, не знаю.

– А место, где построиться, есть в обители? – спросил Марко Данилыч.

– Места за глаза на двадцать, а пожалуй, и на тридцать стай достанет, сказала Макрина.

– Так за чем дело стало? – молвил Марко Данилыч. – Отпишите матушке, отвела бы местечко поближе к себе, а я на том месте домик выстрою Дунюшке... До осени поспеем и построить и всем приукрасить его.

– Разве что так, – молвила Макрина. – Не знаю только, какое будет на то решение матушки. Завтра же напишу ей.

– Да, уж пожалуйста, поскорее напишите, матушка, – торопил ее Марко Данилыч. – Завтра же, кстати, день-от почтовый, можно будет письмо отослать.

– Сегодня ж изготовлю, – молвила Макрина и, простясь с Марком Данилычем, предовольная пошла в свою горницу. «Ладно дельца обделалось, думала она. – После выучки дом-от нам достанется. А он, золотая киста, домик хороший поставит, приберет на богатую руку, всем разукрасит, души ведь не чаёт он в дочке... Скажет матушка спасибо, поблагодарит меня за пользу святой обители».

Недели через полторы получила Макрина ответ от игуменьи. С великой охотой брала Манефа Дуню в обучение и обещалась для ее домика отвести место возле своих келий. Насчет лесу писала, что по соседству от Комарова, верстах в пяти, в одной деревне у мужика его запасено довольно, можно по сходной цене купить, а лес хороший, сосновый, крупный, вылежался хорошо – сухой. Одно только не знает она, как строить домик. Галки, что пришли на Керженец плотничать, теперь все при местах, подряжённой работы будет им вплоть до осени; а иных плотников приискать теперь и за дорогую плату никак невозможно.

– Не матушкина беда, справимся без нее, – молвил Марко Данилыч, когда Макрина прочитала ему Манефино письмо. – Плотников я пошлю в Комаров. Отписать только надо, чтобы тот лес, коли хорош, тотчас бы купили и на место перевезли. Что будет стоить – сочтемся, завтра же пошлю рублей с тысячу впредь до расчета.

Зачинала бы только матушка дело скорей. Надо дом ставить пятистенный, немного помолчав, примолвил Марко Данилыч. – В передней три либо четыре горницы для Дунюшки да для Дарьи Сергеевны, в задней работнице горенку да стряпущую.

– Стряпущую-то, пожалуй, и не надо, – молвила Макрина, – кушанье будет им от обители, из матушкиной кельи станут приносить, а не то, если в угоду, с чапуринскими девицами станет обедать и ужинать. Поваднее так-то будет, они ж ей погодки (Одного возраста.), ровесницы – подружками будут.

– Этого, матушка, нельзя, – возразил Смолокуров. – Ведь у вас ни говядинки, ни курочки не полагается, а на рыбе на одной Дунюшку держать я не стану. Она ведь мирская, иночества ей на себя не вздевать – зачем же отвыкать ей от мясного? В положенные дни пускай ее мясное кушает на здоровье... Как это у вас? Дозволяется?

– Конечно, дозволяется, Марко Данилыч, – поспешила ответить Макрина. – И чапуринские девицы без курочки аль без гуська за обед в скромные дни не садятся. Особо готовят им в матушкиной стряпущей. Вот насчет говядины али свинины, насчет, значит, всякого – этого до сей поры у нас не водилось... Потому, знаете, живем на виду, от недобрых людей клеветы могут пой-

ти, по миру – говядину, дескать, едят у Манефиных, скоромничают. Ради соблазна не допускаются... Да ваша дочка ина статья – матушка Манефа разрешит ей на всеядение... Можно будет когда и говядинки...

– Ладно, хорошо, – молвил Марко Данилыч. – А вот еще, чай-от, я знаю, у вас пьют, а как насчет кофейю? Дунюшка у меня кофей полюбила.

– Так что же? – спросила Макрина.

– Да ведь кто пьет кофей, тот ков на Христа строит, – усмехнулся Марко Данилыч. – Так, что ли, у вас говорится?

– Полноте, Марко Данилыч. – Никогда от нас этого вы не услышите, возразила Макрина. – Всяк злак на службу человеком, сказано...

– А табак?.. Ведь тоже злак?.. – прищурился и усмехнувшись, спросил уставщицу Марко Данилыч.

– А что же табак? – сказала она. – И табак на пользу человеком. Ломота случится в ногах – ничем, как табаком, лучше не пользует. Обложи табачным листом больную ногу, облегчение получишь немалое... Опять же мух изводить чего лучше, как табаком? Червяк вредный на овощ нападет, настой табаку да sprysni – как рукой снимет... Вот курить да нюхать – грех, потому что противу естества... Естеством и божьим законом носу питания не положено, такожде и дымом питания не положено, а на полезную потребу отчего ж табак не употреблять – божье создание, все едино как и другие травы и злаки.

– А насчет картофелю как? – спросил Смолокуров. – У меня Дунюшка большая до него охотница.

– Это гулёна-то, гульба-то (Так зовут за Волгой картофель.), – молвила Макрина. – Да у нас по всем обителям на общу трапезу ее поставляют. Вкушать ее ни за малый грех не поставяем, все едино что морковь али свекла, плод дает в земле, во своем корню. У нас у самих на огородах садят гулёну-то. По другим обителям больше с торгу ее покупают, а у нас садят.

– Ладно, хорошо, – довольным голосом сказал Марко Данилыч. – А как насчет служеб?.. Которы девицы у вас обучаются, в часовню-то ходят ли?

– Как же не ходить? Ходят, без того нельзя, – ответила Макрина. Марко Данилыч поморщился.

– Неужто за все службы? – спросил он. – Ведь у вас они долгие, опять же к утрени поднимаются у вас раным-ранехонько.

– Зачем же живущим девицам за всякую службу ходить? Не инокини они, не певчи белицы, – сказала Макрина.

– По воскресеньям бы часы только стояла, а к утрени ходила бы разве только большие праздники – а то ее отнюдь не неволить: ребенок еще, – молвил Марко Данилыч.

– Так у нас и делается, Марко Данилыч, так у нас и водится, – сказала Макрина. – Вот чапуринские – вздумают, пойдут в часовню, не вздумают – в келье сидят, – никто не неволит их.

– А насчет одёжи? – спросил Смолокуров. – Неужели Дунюшке черное вздеть на себя?

– Зачем же это, Марко Данилыч?.. Что она за инокиня? У нас и белицы, как сами видите, цветны передники да цветны платочки носят на головах. А вашей дочке и сарафанчики цветные можно пошить. Одного только для живущих девиц у нас не полагается – платьица бы немецким покроем не шили да головку бы завсегда покровенну имели, хоть бы маленьким платочком повязывались, потому что так по писанию. Апостол-от Павел женскому полу повелел главу покровенну имети... А косы с лентами – можно. Еще перстеньков да колечек на перстках не носить. На этот счет у нас строго.

– Если все так, так, по мне, ничего, – молвил Марко Данилыч. – А как насчет обученья? Это и для Дуни и для меня самое первое дело.

– Насчет обученья вот как у нас дело пойдет, – сказала Макрина. Конечно, никто бы так не обучил Дунюшку, как если бы сама матушка взялась за нее, потому, что учительное нашей матушки по всему Керженцу нет да и по другим местам нашего благочестия едва ли где такая сыщется. Однако ж самой матушке тем делом обязать себя никак невозможно. И немощна бывает и забот да хлопот много – обителью-то править ведь не легкое дело, Марко Данилыч. Опять же пе-

реписка у нее большая и все... Невозможно, никак невозможно. Чапурински девицы родные племянницы ей по плоти, кажись бы своя кровь, и от них отступилась, сердечная, мне препоручила их обучать... Конечно, под ее надзором и руководством обучаю... Рукодельям старшие девицы обучат Дуню, а самое-то нужное, самое-то главное обучение от самой матушки пойдет. Каждый божий день девицы вечером чай кушать к ней собираются, и тут она поучает их, как надо жить по добру да по правде, по евангельским, значит, заповедям, да по уставам преподобных отец... Таково учительно говорит она с ними, Марко Данилыч, что не токма молодым девицам, и нам, старым инокиням, очень пользительно для души послушать ее наставлений... И все так кротко да любовно, поучительно... Для выучки, коли я в угоду вам буду, так я, а не то и, опричь меня другие старицы найдутся... Божественным книгам обучим, и гражданской грамоте, и писать – и всему, что следует хорошей девице. В этом, сударь, будьте спокойны.

– Да вы, пожалуй, на чернецкую стать обучите ее? – молвил Марко Данилыч. – Запугаете... Вон у нас мастерица есть Терентыха: у той все турлы-мурлы, да антихрист, да вся супротивная сила.

– Как это возможно, Марко Данилыч?.. – возразила Макрина. – Не в инокини Дунюшку готовить станем, зачем же ее на чернецкую стать обучать? Носила бы только в сердце страх божий, да опасно хранила бы себя от мирских соблазнов... К родителю была бы почтительна, любовь бы имела к вам нелицемерную, повиновалась бы вам по бозе во всем, старость бы вашу, когда ее достигнете, чтילה, немощь бы вашу и всякую скорбь от всея души понесла б на себе. Душевную бы чистоту хранила и бесстрастие телесное, от злых бы и плотских отлучилась, стыдение бы себя украшала, в нечистых беседах не беседовала, а пошлет господь судьбу – делала бы супругу все по благожитию, чад воспитала бы во благочестии, о доме пеклась бы всячески, простирала бы руце своя на вся полезная, милость бы простирала к бедному и убогому и тем возвеселила бы дни своего сожителя и лета бы его миром исполнила... Вот чему у нас мирских девиц обучают.

– Это все добро, все хорошо, все по-божьему, – молвил Марко Данилыч. Насчет родителя-то больше твердите, чтоб во всем почитала его. Она у меня девочка смышленная, притом же мягко-сердая – вся в мать покойницу... Обучите ее, воспитайте мою голубоньку – сторицею воздам, ничего не пожалею. Доброту-то ее, доброту сохраните, в мать бы была... Ох, не знала ты, мать Макрина, моей Оленушки!.. Ангел божий была во плоти!.. Дунюшка-то вся в нее, сохраните же ее, соблюдайте!.. По гроб жизни благодарен останусь...

По лету Дунюшке домик в Манефиной обители поставили и как надо, по богатому, отделали его. От Макарья Марко Данилыч на убранство его всего навез: и обоев, и зеркал, и столов, и стульев, а все красного да орехового дерева, посуды медной, хрустальной, фарфоровой и всякой всячины для домашнего обихода куплено было множество. Все было хорошее, ценное. Поварчивала мать Манефа на Смолокурова, зачем, дескать, столь дорогие вещи закупаешь, но Марко Данилыч отвечал;

«Нельзя же Дуню кой-как устроить, всем ведомы мои недостатки, все знают, что она у меня одна-единственная дочь, недобрые, позорные слухи могут разнестись про меня по купечеству, ежели на дочь поскуплюсь я. Аред, скажут, этакой, родной дочери денег пожалел, устроил в скиту ее, ровно сироту бесприданную. Такие слухи, матушка, могут мне и кредит подорвать... Нет уж, я лучше все широкой рукой справлю, – чего и не надо, пусть будет надобно... Не перечьте вы мне, Христа ради, отучится Дуня, вам же все останется, – не везти же мне тогда добро из обители...» И на то поворчала Манефа, хоть и держала на уме: «Поддай-ка, господи, побольше таких благодетелей...» И сдержал свое обещанье Марко Данилыч: когда взял обученную дочку из обители – все покинул матери Манефе с сестрами. Тогда Манефа посуду и всякое убранство к себе забрала, Фленушкины горницы скрасила, а иное что и к себе в келью взяла, домик отдала на житье матери Макрине за ее усердие. И когда года через полтора Макрина померла, Манефа передала тот домик матери Таифе, казначее обительской.

Перед Вздвиженьем поселилась в своем новеньком домике маленькая хозяйка с «тетей» Дарьей Сергевной. На новоселье сам Марко Данилыч привез их и больше двух недель прогостил в обители – все-то жалко было ему расставаться с Дунюшкой... Глядел сумрачно, невесело, мало с кем говорил, тяжкая кручина одолевала сердце его. Пришла, наконец, пора расставанья, насили

оторвался Марко Данилыч от дочки, а уехавши, миновал свой город и с последним пароходом сплыл в Астрахань, не глядеть бы только на опустелый без Дунюшки дом. И всю осень, всю зиму до самой весны провел он на чужой стороне.

Все обительские полюбили Дуню Смолокурову, все – от матушки Манефы до последней трудницы. А полюбили ее не только в чаянии богатых подарков от Марка Данилыча, а за то больше, что Дуня была такая добрая, такая умница, такая до всех ласковая. Мать Макрина по книгам учила ее, иногда Таифа место ее заступала, на досуге и сама Манефа поучала девочку, как жить по-доброму да по-хорошему... Рукодельным работам Фленушка с Марьюшкой обучали Дуню наряду с чапуринскими девицами: то у нее в горницах собирались, то в горницах Фленушки. Дарья Сергевна на шаг не отпускала от себя Дуни – в часовне ли, на гулянках ли, на учебе ли, не отойдет, бывало, от нее. Никто из девиц; сама даже Фленушка, не смели при ней лишних слов говорить, оттого, выросши в обители, Дуня многого не знала, о чем узнали дочери Патапа Максимыча. Ни соловьев в перелесок слушать вместе с приезжими купчиками не хаживала, ни разговоров нескромных не слыхивала, ни проказ девичьих не видывала. Ходила гулять и в лесок и на Каменный Вражек, но вместе с Дарьей Сергевной, каждый почти раз сама Манефа ходила с Дуней погулять. Здоровьем тогда еще богата была мать игуменьи. Из всех девиц Дуня больше свыклась с Груней, богоданной дочкой Чапурина. И хоть та лет на пять была постарше ее, но дружба завязалась между ними неразрывная. Дарья Сергевна тому не препятствовала, видя, как скромна, как добра, чиста и в мыслях своих непорочна тихая, нежная, всегда немножко грустная, всегда к чужому горю чуткая богоданная дочка Патапа Максимыча. Груня имела большое влияние на подраставшую девочку, ее да Дарью Сергевну надо было Дуне благодарить за то, что, проживши семь лет в Манефиной обители, она всецело сохранила чистоту душевных помыслов и внедрила в сердце своем стремление к добру и правде, неодолимое отвращение ко всему лживому, злему, порочному.

Раз по пяти, иной год и чаще наезжал в Комаров Марко Данилыч на дочку поглядеть и каждый раз гасивал у нее недели по две и по три. Строя домик, нарочно сбоку прирубил он две небольшие для своего приезда горенки. Каждый приезд Смолокурова праздником бывал не для одной Манефиной обители, но для всего скита Комаровского. Навезет, бывало, он Дуне всяких гостинцев, а как побольше выросла, целыми кусками ситцев, холстинок, платков, синих кумачей на сарафаны, и все это Дуня, бывало, от всех потихоньку, раздаст по обителям и «сиротам», да, кроме того, самым бедным из них выпросит денег у отца на раздачу... Марко Данилыч сам никому ничего не давал, опричь рыбных и разных других запасов, что присылал матушке Манефе, Дуня всем раздавала, от Дуни все подарки шли; за то и блажили ее ровно ангела небесного. За год до того, как Дуне домой под отеческий кров надо было возвратиться, еще новый домик в Манефиной обители построился, а убран был и разукрашен, пожалуй, лучше Дунина домика – Марья Гавриловна жить в Комаров из Москвы переехала. Марко Данилыч с богатой вдовой познакомился, просил ее не оставить Дунюшки. Ото всей души Марья Гавриловна полюбила девочку, чуть не каждый день проводила с нею по несколько часов; от Марьи Гавриловны научилась Дуня тому обращенью, какое по хорошим купеческим домам водится.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Семь лет выжила в скиту Дуня и, когда воротилась в родительский дом, не узнала его. Поджидая дочку и зная, что года через два, через три женихи станут свататься, Марко Данилыч весь дом переделал и убрал его с невиданной в том городке роскошью – хоть в самой Москве любому миллионщику такой дом завести. Но, кроме отделанных под мрамор стен залы, кроме саженных зеркал, штофных занавес, бронзы и мелкоштучного паркета, еще одна новость появилась в доме Смолокурова. Живя в мрачном одиночестве, Марко Данилыч стал книги читать и помаленьку пристрастился к ним. Стал собирать сначала только печатные при первых пяти патриархах да старописьменные, а потом и новые, гражданские. Когда воротилась Дуня и увидела шкапы со множеством книг, весело кивнула отцу миловидной головкой, когда он, указав ей на них, сказал: "Читай, Дунюшка, на досуге, тут есть чего почитать. Хоть ты теперь у меня и обученная, а все-таки храни

старую нашу пословицу: «Век живи, век учись».

Возвратясь на старое пепелище, довольна была и Дарья Сергевна. В семь лет злоречие кумшек стихло и позабылось давно, теперь же, когда христовой невесте стало уж под сорок и прежняя красота сошла с лица, новые сплетки заводил даже благородной вдовице Ольге Панфиловне было не с руки, пожалуй, еще никто не поверит, пожалуй, еще насмеется кто-нибудь в глаза вестовщице. А это было бы ей пуще всего. По-прежнему приняла на свои руки Дарья Сергевна хозяйство в доме Марка Данилыча и по его просьбе стала понемногу и Дуню приучать к домоводству.

Жизнь у Смолокуровых шла тихо, однообразно. В Манефиной обители если не живей, то гораздо шумней и веселее было, чем в полном роскоши и богатства доме Смолокурова. Там у Дуни были девицы-ровесницы, там умная, добрая, приветливая Марья Гавриловна, ласковая Манефа, инокини, белицы, все надышаться не могли на Дунюшку, все на руках ее носили. Дома совсем не то: в немногих купеческих семействах уездного городка ни одной девушки не было, чтоб подходила она к Дуне по возрасту, из женщин редкие даже грамоте знали; дворянские дома были для Дуни недоступны – в то время не только дворяне еще, приказный даже люд, уездные чиновники, смотрели свысока, на купцов и никак не хотели равнять себя даже с теми, у кого оборотов бывало на сотни тысяч. С мещанскими девицами нельзя было водиться Дуне: очень вольны, сойдишься с ними – нехорошая слава пойдет... Все одна да одна, только и свету в окошке, что Дарья Сергевна. И вышло так, что, воротясь из монастыря, обе точно в затвор попали. Принялась Дуня за отцовские книги. Старые черные кожаные переплеты старинных книг и в обители пригляделись ей, принялась она за новые, за мирские. Путешествия, описания разных городов и стран, сказанья о временах минувших читала она и перечитывала. Другого рода книг не было в шкапах Марка Данилыча, другие считал он либо «богоотводными», либо «потешными». Чтение книг раскрыло Дуне новый, неведомый дотоле ей мир, целые вечера, бывало, просиживала она над книгами, так что отец начинал уж немножко хмуриться на дочку, глаз бы не попортила либо сама, борони господи, не захворала.

Шестнадцати лет еще не было Дуне, когда воротилась она из обители, а досужие свахи тотчас одна за другой стали подъезжать к Марку Данилычу – дом богатый, невеста одна дочь у отца, – кому не охота Дунюшку в жены себе взять. Сунулись было свахи с купеческими сыновьями из того городка, где жили Смолокуровы, но всем отказ, как шест, был готов. Сына городского головы сватали – и тому тот же ответ.

Сын дворянского предводителя, часто гуляя по бульвару, под которым в полугоре стоял дом Смолокурова, частенько поглядывал в подзорную трубку на Дуню, когда гуляла она по садику либо сидела на балконе с книжкой в руках. Влюбился в нее через трубку... Не мудрое дело, – у его отца именье на волоске висело, а Дуня – наследница первого богача по окрестности, миллионщика.

Свах не засылали, сам предводитель к Марку Данилычу приехал сына посватать. Думал он, что Смолокуров вспрыгнет до потолка от радости, вышло не то: Марко Данилыч наотрез отказал ему, говоря, что дочь у него еще молода, про женихов ей рано и думать, да если бы была постарше, так он бы ее за дворянина не выдал, а только за своего брата купца, с хорошим капиталом. После того никто из помещиков не захотел венчаться с «мужичкой», хоть каждому хотелось породниться со Смолокуровым ради поправки обстоятельств. Стали свататься купцы-женихи из больших городов, из самой даже Москвы, но Марко Данилыч всем говорил, что Дуня еще не перестарок, а родительский дом еще не надоел ей. Когда же минуло Дуне восемнадцать лет, отец подарил ей обручальное колечко, примолвив, чтоб она, когда придет время, выбирала жениха по мыслям, по своей воле, а он замужеством ее нудить никогда не станет. Говорено это было великим постом, и после того Смолокуров ни разу вида не подавал, намеку никакого не сделал насчет этого, сам же с собой таку думу раздумывал: «Где ж в нашем городе Дуне судьбу найти? Людей здесь не видать, да и видеть-то, признаться, некого, мало-мальски подходящих нет». Придумал свозить ее к Макарью на ярманку, а оттуда в Ярославль на пароходе прокатиться. Москву после того показать. А до тех пор вздумалось ему свозить Дуню на Ветлугу, в село Воскресенское, к сроднику ее Лещову. Сам-от каждый год он к нему к Нефедову дню на именины ездил. У Лещовых гостей бы-

ло много, но Дуня никого даже не заметила, но, бывши с отцом в Петров день на старом своем пепелище, в обители матушки Манефы, казанского купчика Петра Степаныча Самоквасова маленько заприметила.

К первому спасу Марко Данилыч Дуню к Макарью повез, поехала с ними и Дарья Сергевна. Оптовый торг рыбой прямо с судов ведут; потому и не было у Смолокурова в ярманке лавки ни своей, ни наемной, каждый год жилал он на которой-нибудь из баржей, каюты хорошие были в баржах-то устроены. Но нельзя же Дуню на баржу везти, всякий непривычный человек за полверсты от рыбного каравана нос затыкает, уж не хорошо больно пахнет. Поместились в гостинице, на городской стороне, а не на ярманке, там уж очень шумно и беспокойно было.

Устроившись на квартире, Марко Данилыч поехал с Дунай на ярманку. Как ни уговаривал он Дарью Сергевну ехать вместе «под Главный дом», она не согласилась.

Обширное здание Главного дома стоит в самой середине ярманки, под арками его устроены небольшие лавочки с блестящими, бьющими в глаза товарами. Тут до самых, невысоких впрочем, сводов развешаны персидские ковры, закавказские шелковые ткани, роскошные бухарские халаты, кашмировые шали, разложены екатеринбургские работы, из малахита, из топазов, аквамарин, аметистов, бронза, хрусталь, мраморные изваяния. При ярком вечернем освещении все это горит, блестит, сверкает и переливается радужными лучами. В середине на дощатом возвышении и музыка играет, кругом кишит разнообразная толпа. Теснятся тут и разряженные в пух и прах губернские щеголихи, и дородные купцы с золотыми медалями на шее, и глубокомысленные земские деятели с толстыми супругами под руку, и вертлявые, тоненькие молодые чиновники судебного ведомства, и гордо посматривающие вокруг себя пехотные офицеры. Вот казанские татары в шелковых халатах, с золотыми тюбетейками на бритых головах, важно похаживают с чернозубыми женами, прикрывшими белыми флеровыми чадрами густо набеленные лица; вот длинноносые армяне в высоких бараньих шапках, с патронташами на чекменях (Чекмень – короткий полукафтан с перехватом.) и кинжалами на кожаных с серебряными насечками поясах; вот евреи в засаленных донельзях длиннополых сюртуках, с резко очертанными, своеобразными обличиями; молча, как будто лениво похаживают они, осторожно помахивая тоненькими тросточками; вот расхаживают задумчивые, сдержанные англичане, и возле них трещат и громко хохочут французы с наполеоновскими бородками, вот торжественно тихо двигаются гладко выбритые широколицые саратовские немцы; и неподвижно стоят, разинув рты на невиданные диковинки, деревенские молодички в московских ситцевых сарафанах с разноцветными шерстяными платками на головах... Разноязычный говор чуть не заглушает музыку, когда не гремит она трескучими трубами, оглушающими Дуню и шум, и блеск, и пестрая тесная толпа. Много людей, ни одного знакомого лица, и там и тут говорят непонятно, не по-русски, везде суетливость, тревожность. Мутится у Дуни в очах, сердце так и стучит, голова кружится, стало ей страшно, тихонько просит она отца удалиться от этого шума и гамма. Но не слышит Марко Данилыч дочерних речей, встретив знакомого, пустился с ним в разговоры про цены на икру да на сушь (Сушеная на солнце рыба.).

Вдруг перед Дуней Петр Степаныч Самоквасов. Поздоровался он с Смолокуровым. Марко Данилыч рад нечаянной встрече. Кончив с знакомцем разговор о судак, заботливо стал он расспрашивать Самоквасова, давно ль он на ярманке, откуда приехал и долго ль останется у Макарья. Петр Степаныч почтительно и с едва заметной радостью во взоре поклонился Дуне. Просияла она, улыбнулась ясной, открытой улыбкой, потом вспыхнула и опустила синенькие глазки. Заметил Петр Степаныч и улыбку и разлившийся по лицу румянец, и вдруг стало ему с чего-то весело. Но осторожно и сдержанно выражал он радость, вдруг охватившую душу его. Нежно поглядывая на Дунюшку, рассказывал, он Марку Данилычу, что приехал уже с неделю и пробудет на ярманке до флагов (Спуск ярмарочных флагов 25 августа.), что он, после того как виделись на празднике у Манефы, дома в Казани еще не бывал, что поехал тогда по делам в Ярославль да в Москву, там вздумалось ему прокатиться по новой еще тогда железной дороге, сел, поехал, попал в Петербург, да там и застрял на целый месяц.

– А вы давно ли здесь, Марко Данилыч? – спросил Петр Степаныч, кончив рассказ про свою петербургскую поездку.

– Сегодняшним пароходом, – ответил Марко Данилыч. – Ярманку дочке хочу показать, –

прибавил он, улыбаясь и с любовью поглядывая на Дуню.

– А вы еще никогда не бывали на ярманке? В первый раз? – спросил Самоквасов, быстро повернув голову и взглянув Дуне в лицо.

– В первый раз, – проговорила она и потупилась.

– Что ж, понравилось вам? – опять спросил Петр Степаныч, обливая взором разгоревшееся личико девушки.

Шумно очень, – ответила она. – А вы не любите шума? – продолжал он спрашивать.

– Не люблю, – потупив глаза, сказала Дуня.

– Дело непривычное, – улыбаясь на дочь, молвил Марко Данилыч. – Людей-то мало еще видала. Город наш махонький да тихой, на улицах ни души, травой поросли они. Где же Дунюшке было людей видеть?.. Да ничего, обглядится, попривыкнет маленько. Согрешить хочу, в цирк поведу, по театрам поедem.

– Нешто грех? – усмехнувшись, спросил Самоквасов.

– А нешто спасенье? – засмеялся Смолокуров. Расстались. На прощанье узнали друг от друга, что остановились в одной гостинице.

– Значит соседи, видеться будем. Милости просим нас посетить, чайку когда покушать, – с теплым радушием молвил Самоквасову Марко Данилыч.

– С великим моим удовольствием, – отозвался Петр Степаныч. Скромно, вежливо поклонился он сначала отцу, потом дочери и скрылся в толпе.

– Поедем, тятенька, домой, – сказала Дуня отцу тотчас по уходе Самоквасова.

– Рано еще, всего восьмой час, – молвил Марко Данилыч. – Погуляем... Может, еще кого из знакомых повстречаем.

– Что-то голову ломит... С дороги, должно быть... – сказала Дуня.

– Какое с дороги? – сказал Смолокуров. – Ехали недолго, шести часов не ехали, не трясло, не било, ни дождем не мочило... Ты же все лежала на диванчике – с чего бы, кажись, головке разболеться?.. Не продуло ль разве тебя, когда наверх ты выходила?

– Тепло была одета я, – ответила Дуня.

– Это с непривычки. Вишь, народу-то что!.. А музыка-то?.. Не слыхивала такой? Почтище нашего органа? А? Ничего, привыкай, привыкай, Дунюшка, не все же в четырех стенах сидеть, придется и выпрыгнуть из родительского гнездышка.

Не ответила Дуня, но крепко прижалась к отцу. В то время толпа напирала, и прямо перед Дуней стал высокий, чуть не в косую сажень армянин... Устремил он на нее тупоумный сладострастный взор и от восторга прищмокивал даже губами. Дрогнула Дуня – слыхала она, что армяне у Макарья молоденьких девушек крадут. Потому и прижалась к отцу.

Протеснился Марко Данилыч в сторону, стал у прилавка, где были разложены екатеринбургские вещи.

– Выбирай, что по мысли придется, – сказал он, становясь рядом с дочерью.

Продавец тотчас стал снимать с полок замшевые коробочки, сафьянные укладочки, маленькие ларчики и раскладывать их перед Дуней. Но блестящие, играющие разноцветными лучами самоцветные камни не занимали ее. Душно ей было, на простор хотелось, а восточный человек не отходит, как вкопанный сбоку прилавка стоит и не сводит жадных глаз с Дуни, а тут еще какой-то офицер с наглым видом уставился глядеть на нее. Робеет Дуня, не глядит на разложенные перед ней вещи и почти сквозь слезы просит отца: «Поедем домой, пожалуйста, поедem!» Сogласился Смолокуров, поехали.

Когда воротились, Дарья Сергевна встревожилась, взглянув на названную племянницу... На себя была она не похожа – лицо разгорелось, нижняя губка дрожала. Старалась Дуня успокоить «тетю», делала над собой усилие, чтоб не выказать волнения, принужденно улыбалась, но волнение выступало на лице, дрожащий блеск вспыхивал в синеньких глазках, и невольная слезинка сверкала в темных, длинных ресницах. Перепугался и Марко Данилыч, никогда не видывал он Дуню такою, сама Дуня удивилась, взглянув на себя в зеркало. Засуетились и отец и Дарья Сергевна... Несмотря на уверенья Дуни, что никакой боли она не чувствует, что только в духоте у нее голова закружилась, Марко Данилыч хотел было за лекарем посылать, но Дарья Сергевна угово-

рила оставить больную в покое до утра, а там посмотреть, что надо будет делать. Не очень жаловала она лекарей, не хотелось ей, чтоб лечили они Дунюшку.

– Прохватило, должно быть, на пароходе, – вполголоса говорил встревоженный Марко Данилыч Дарье Сергевне, когда Дуня пошла раздеваться. Сиверко было, как она наверх-от выходила.

– Бог милостив, пройдет, – успокаивала его сама беспокойная Дарья Сергевна. – Горяченьким на ночь ее напою, горчишник приложу. Нельзя же иной раз не прихворнуть.

– Ох, боюсь я, Дарья Сергевна! Ну как, сохрани господи!.. Что тогда?.. – с отчаяньем говорил Смолокуров, поникнув головой и ходя взад и вперед по комнате.

– Полноте, Марко Данилыч, ничего не видя, убивать себя. Как это не стыдно! А еще мужчина! – уговаривала его Дарья Сергевна. – На таком многолюдстве она еще не бывала, что мудреного, что головка заболела? Бог милостив! Вот разве что? – быстро сказала Дарья Сергевна.

– Что? – вдруг остановясь и зорко глядя на нее, спросил Смолокуров.

– Не сглазил ли ее кто? Мудреного тут нет. Народу много, а на нее, голубоньку, есть на что посмотреть, – молвила Дарья Сергевна. – Спрысну ее через уголек – бог даст, полегчает... Ложитесь со Христом, Марко Данилыч; утро вечера мудренее... А я, что надо, сделаю над ней.

Смолокуров вошел в комнату дочери проститься на сон грядущий. Как ни уверяла его Дуня, что ей лучше, что голова у ней больше не болит, что совсем она успокоилась, не верил он, и, когда прощаясь, поцеловал ее в лоб, крупная слеза капнула на лицо Дуни.

– Тятенька! – вскрикнула она. – Что ты?

– Ничего, ничего, моя дорогая, – подавляя волнение, сказал Смолокуров, потом, перекрестя дочь, быстро вышел из комнаты. Оставшись с Дуней, Дарья Сергевна раздела ее и уложила в постель, в соседней горнице с молитвой налила она в полоскательную чашку чистой воды на уголь, на соль, на печинку (Кусочек глины, выковыренный из связи печных кирпичей.), нарочно на всякий случай ее с собой захватила, – взяла в рот той воды и, войдя к Дуне, невзначай спрыснула ее, а потом оставленную водой принялась умыть ей лицо, шепотом приговаривая:

– От стрешного, поперечного, от лихого человека помилуй, господи, рабу твою Евдокею! От притки, от приткиной матери, от черного человека, от рыжего, от черемного, завидливого, урочливого, прикошливого, от серого глаза, от карего глаза, от синего глаза, от черного глаза!.. Как заря-Амнитария исходила и потухала, так бы из рабы божией Евдокеи всякие недуги напущенные исходили и потухали. Как из булату, из синего укладу камнем огонь выбивает, так бы из рабы божией Евдокеи все недуги и порчи вышибало и выбивало... Притка ты, притка, приткина мать, болести, уроки, призор очес; подите от рабы божией Евдокеи во темные леса, на сухи дерева, где народ не ходит, где скот не бродит, где птица не летает, где зверье не рыщет... Соломонида бабушка (Апокрифическая баба Соломея, или Соломонида, будто бы принимавшая Христа при рождении его, упоминается в апокрифических евангелиях и в некоторых церковных книгах (например, «Синаксарь»). У старообрядцев поминается она, когда дают молитву роженицам. Празднуют бабе Соломее на другой День Рождества (26 декабря), в этот день варят кашу и угощают бабушек-повитух. Обычай этот называется «бабы каши».) Христоправушка, Христа мыла, правила, нам окатышки оставила!.. Запираю приговор тридевяти тремя замками, тридевяти тремя ключами... Слово мое крепко!.. Аминь. И, взяв чистую сорочку, подала ее Дуне утереться изнанкой.

Затем, надев чистую сорочку и напоив девушку липовым цветом с малиной, укутала ее с ног до головы и велела тотчас глаза закрыть. Сама, не раздеваясь, возле Дуниной кровати прилегла на диване.

Стихло в гостинице, лишь изредка слышится где-то в дальних коридорах глухой топот по чугунному полу запоздавшего постояльца да либо зазвенит замок отпираемой двери... Прошумело на улице и тотчас стихло, – то перед разводкой моста через Оку возвращались с ярманки последние горожане... Тишина ничем не нарушается, разве где в соседних квартирах чуть слышно раздается храп, либо кто-нибудь впросонках промычит, пробормочет что-то и затем тотчас же стихнет.

На соборной колокольне полночь пробило, пробило час, два... Дуня не спит... Сжавшись под одеялом, лежит она недвижимо, боясь потревожить чуткий сон заботливой Дарьи Сергевны... Вспоминает, что видела в тот день. В первый раз еще на пароходе она ехала, в первый раз и ярманку увидала. Виденное и слышанное одно за другим оживает в ее памяти.

Вот раннее свежее утро, со светом вместе поднялись Смолокуровы в ожиданье бегущего сверху парохода. Небо чисто и ясно, утренняя заря румянцем разливается по небу и, отражаясь в тихих зеркальных водах Оки, обливает их розовым сияньем. Вдали за песчаной косой засвистел пароход, стали спешно укладывать на долгушу чемоданы, сами в коляске съехали к пристани. Все занимает Дуню: и необычное раннее вставанье, и свежесть июльского утра, и кроткое сиянье зари... Вот паром и несколько лодок стоят у пристани, наполняются те лодки молодцами и девушками с подойниками, крытыми чистыми тряпицами. Идут меж ними шуточные перебранки и веселые разговоры, порой вырываются громкие, визгливые крики. Паром отвалил, за ним и причаленные к нему лодочки поплыли на луговой берег. Ни при городе, ни при слободе, что возле него длинным поселком вытянулась по берегу, ни пяди нет выгонной земли – луга за рекой. Только сольет река с поймы, скот перевозят обонпол (На ту сторону реки.), там и пасется он до поздней осени... Оттого каждый день на утренне заре к перед солнечным закатом бабы да девки ездят за Оку коровушек доить. С детства о том Дуня слыхивала, но доселе еще не видала переезда через реку доильщиц... Жалко ей стало их, и вот теперь в ночной тиши про их труды она думает... Хорошо было ей: ясно, тихо, тепло... А каково бедняжкам в дождь, непогоду, каково им тогда, как по реке ветры разыграются и не только мелкие лодки, даже паром волнами, как мячик, кверху подкидывает... Как помочь, как пособить?... Не придумает Дуня...

С оглушительным свистом подбежал пароход. Причалил, забирает охотников ехать. Робко вступает Дуня на палубу, дрожащей поступью идет за отцом а уютную каюту, садится у окна, глядит на маленький свой городок, что причудливо раскинулся по берегу полугорьям и на верху высокой кручи... Опять пронзительно свистнуло, Дуня вздрогнула невольно... Раз, два, зашумели колеса, побежал пароход по желто-синему лону Оки... Яркое, приветно сияющее солнце поднимается над горами правого берега. Длинной-предлинной полосой растянутые на восточной стороне неба облака серебром засверкали от всплывшего под ними светила, хлынули с небесной высоты золотые лучи и подернули чуть заметную рябь речного лона сверкающими переливами яркого света. Вверху небосклона появились ясные, сероватые облака с нежно-серебристыми краями и над сверкающей золотистыми огнями и багровым отблеском рекой стали недвижно в бездонной лазури...

Шумит, бежит пароход, то и дело меняются виды: высятся крутые горы, то покрытые темно-зеленым орешником, то обнаженные и прорезанные глубокими и далеко уходящими врагами. Река извивается, и с каждым изгибом ее горы то подходят к воде и стоят над ней красно-бурыми стенами, то удаляются от реки, и от их подошвы широко и привольно раскидываются ярко-зеленые сочные покосы поемных лугов. Там и сям на венце гор чернеют ряды высоких бревенчатых изб, белеют сельские церкви, виднеются помещичьи усадьбы.

Шумит, бежит пароход... Вот на желтых, сыпучих песках обширные слободы сливаются в одно непрерывное селенье... Дома все большие двухэтажные, за ними дымятся заводы, а дальше в густом желто-сером тумане виднеются огромные кирпичные здания, над ними высятся церкви, часовни, минареты, китайские башенки... Реки больше не видать впереди – сплошь заставлена она несчетными рядами разнovidных судов... Направо по горам и по скатам раскинулись сады и здания большого старинного города.

Одно за другим вспоминается не могущей заснуть Дуне. Вспоминается теснота, шум и блеск, что испугали ее на ярманке. Все вспоминается – и пароход, и берега Оки, и бабы, переезжавшие за реку к коровушкам, – но почему-то все сливается с памятью о Петре Степаныче. Его образ то и дело перед душевными очами Дуни. То вдруг вышел он из береговых кустов, то перерезывает реку в легкой лодочке, то входит в ее каюту, то с яростью отталкивает армянина, когда тот нагнулся было к ней и, крепко обняв, хочет целовать ее... Вот он выводит ее из тесной толпы, ведет в какой-то сад, она оглядывается, а это их сад, вот ее грядки, вот ее цветочки, вот и раскрашенная узорчатая беседка, где каждый день сидит она с работой либо с книжкой в руках... Он зовет ее в беседку... Робко и медленно идет она на зов, но – не стало ни его, ни беседки, стоит прилавок с ящиками, аметистами, а тут и армянин с офицером... они хватают ее, куда-то тащат... Какая-то неведомая Дуне барыня, вся в черном, тощая, бледная спешит к ней издали... Все кружится в глазах Дуни, все туманится, все кроется мраком, за ней гонятся какие-то чудовища с огненными глазами,

чарующие огненные взоры черной барыни ровно насквозь пронизывают страдающую девушку, но вдали в слабо мерцающем свете – он. Хочет Дуня бежать к нему, но не может отделить ног от земли, точно приросли они, а черная барыня и страшные чудища ближе и ближе... и опять все кружится, опять все темнеет...

Сняв сапоги, в одних чулках Марко Данилыч всю ночь проходил взад и вперед по соседней горнице, чутко прислушиваясь к тяжелому, прерывистому дыханию дочери и при каждом малейшем шорохе заглядывал в щель неотворенной двери.

На другой день Дуня поздно поднялась с постели совсем здоровая. Сиял Марко Данилыч, обрадовалась и Дарья Сергевна.

– Говорила я, что сглазу, – разливая чай, сказала она. – Моя правда и вышла: вечор спрыснула ее да водицей с уголька умыла, и все как рукой сняло... Вот Дунюшка теперь у нас и веселенькая и головка не болит у ней.

Но Дуня вовсе не была веселенькою. Улыбалась, ласкалась она и к отцу и к названной тете, но нет-нет, да вдруг и задумается, и не то тоской, не то заботой подернется миловидное ее личико. Замолчит, призадумается, но только на минуту. Потом вдруг будто очнется из забытья, вскинет лазурными очами на Марка Данилыча и улыбнется ему кроткой, ясной улыбкой.

– Что ж, Дунюшка, поедем, что ли, сегодня на ярманку? – спросил он, допивая пятый или шестой стакан чаю.

– Нет, тятя, зачем же? Лучше я с тетей посижу, – отвечала Дуня.

– С тетей-то и дома насиделась бы, – молвил Марко Данилыч. – Коль на месте сидеть, так незачем было и на ярманку ехать... Не на то привезена, чтоб взаперти сидеть. Людей надо смотреть, себя показывать.

– Что мне показывать себя? Узоры, что ли, на мне? – улыбнулась Дуня.

– Как зачем? – тоже улыбнулся Смолокуров. – Знали бы люди да ведали, какова у меня дочка выросла: не урод, не ряба, не хрома, не кривобокая.

– Чтой-то ты, тятенька? – зардевшись, молвила Дуня. – Нешто ты меня, ровно товар какой, привез на ярманку продавать?..

– А почем знать, что у нас впереди? – улыбнулся Марко Данилыч. Думаешь, у Макарья девичьего товара не бывает? Много его в привозе... Каждый год со всех концов купецких девиц возят к Макарию невеститься.

Поникла Дуня головкой и, глубоко вздохнув, замолчала.

– Отовсюду купцы дочерей да племянниц сюда привозят, – шутливо продолжал Смолокуров. – И господа тоже; вот и я тебя привез... Товар у меня без обману, первый сорт!.. Глянь-ка в зеркало – правду ль я говорю?..

Кто-то кашлянул в соседней горнице. Выглянул туда Марко Данилыч.

– Добро пожаловать, – весело сказал он. – А мы еще за чаем. С дороги, должно быть, долго, признаться, проспали... Милости просим, пожалуйста сюда!

И ввел Петра Степаныча в ту комнату, где Дуня с Дарьей Сергевной за чаем сидели.

Обе встали, поклонились. Дуня вспыхнула, но глаза просияли. Дарья Сергевна зорко на нее посмотрела.

– Садитесь-ка к столику, Дарья Сергевна, да чайку плесните дорогому гостю. Подвинь-ка, Дунюшка, крендельки-то сюда и баранки сюда же. Аль, может быть, московского калача желаете? – ласково говорил Смолокуров, усаживая Петра Степаныча.

– Напрасно беспокоитесь, – отвечал Самоквасов, – я уж давно отпил.

– От чаю, сударь, не отказываются, – молвил Марко Данилыч, – особенно здесь, у Макарья. Здесь весь самый главный чайный торг. Ну как дела? Расторговались ли?

– Да ведь я без дела здесь. Марко Данилыч, так попусту проживаю. Покамест не отделен, делов своих у меня нет, и за чужими напоследях что-то неохота и время-то терять.

- Не чужие, кажись бы, дела-то? – молвил Марко Данилыч.
- В Ярославле последнюю дядину порученность выполнил, – такой у нас уговор был, – ответил Самоквасов.
- Раздел-от скоро ли? – немножко помолчав, спросил Марко Данилыч.
- Да вот после Макарья, – ответил Петр Степаныч. – Сведет дядя годовые счета, тогда и разделимся.
- Тимофей-от Гордеич приедет на ярманку?
- Ко второму спасу, – нехотя ответил Петр Степаныч. – Нельзя ему не приехать, расчеты тоже надо свести, долги кой-какие собрать.
- Платежи-то, говорят, ноне будут тугоньки, – заметил Смолокуров.
- Толкуют, что не больно подходящие, – рассеянно отозвался Самоквасов.
- А покончивши с дяденькой, как располагаете?.. Рыбкой не займетесь ли? – с улыбкой спросил гостя Марко Данилыч.
- Не знаю еще как вам сказать... Больно уж вы меня тогда напугали, в Комарове-то, – ответил Петр Степаныч. – Не совладать, кажись, с таким делом... Непривычно...
- Напрасно так говорите, – покачивая головой, сказал Смолокуров. – По нынешнему времени эта коммерция самая прибыльная – цены, что ни год, все выше да выше, особливо на икру. За границу, слышь, много ее пошло, потому и дорожает.
- Рыбы-то, сказывают, меньше стало, – заметил Петр Степаныч. Переводится. Пароходы, что ли, ее, слышь, распугали.
- Как на это сказать? – раздумчиво отозвался Марко Данилыч. – Красной рыбы точно что меньше стало. От пароходов ли это, от другого ли чего – бог ее знает. А частиковой не выловишь. От Царицына по воложкам да по ильменям (Воложка – рукав Волги. Ильмень – озеро, образующееся от разлива вешней воды, с берегами, поросшими камышом, тростником и мокрою порослью. Озером на низовье Волги зовут только соленое, пресноводному имя – ильмень.) страсть ее что, а ниже Астрахани и того больше. У меня хоть на ватагах взять – ловы имею большие, а разве с осетра аль с белужины главную пользу получаю? Не было бы частику, все бы рыбное дело хоть брось. Первое дело судак, да еще вот бешенка пошла теперь в ход (Рыба *Cyprinus cultratus*, иначе «волжская сельдь»). Ее множество. Прежде считали рыбу эту вредною, стали ловить не больше сорока лет тому назад.). Вечор справлялся, красной рыбы: осетра, белуги, севрюги, да икры с балыками все-то сот на шесть тысяч на Гребновской наберется, а частику больше трех миллионов.
- Все это так... Однако ж для меня все-таки рыбная часть не к руке, Марко Данилыч, – сказал Самоквасов. – Нет, как, бог даст, отделюсь, так прежним торгом займусь. С чего прадедушка зачинал, того и я придержусь – сальцом да кожей промышлять стану.
- Заводы-то как поделите? Ведь их в разны руки нельзя, – спросил Смолокуров.
- Как-нибудь да поделим, – молвил Петр Степаныч. – Я и на то, пожалуй, буду согласен, чтоб деньгами за свою часть в заводах получить... Новы бы тогда построил...
- В Казани же?
- Нет, по нынешним обстоятельствам, с салом сходней будет в Самаре устроиться... Кожей, пожалуй, можно на старом пепелище, – ответил Самоквасов.
- Давай бог, давай бог! – радушно промолвил Марко Данилыч. – А по-моему, чего бы лучше рыбная часть... Коммерция эта завсегда с барышом! Право.
- Нет уж увольте, Марко Данилыч, – с улыбкой ответил Петр Степаныч. – По моим обстоятельствам, это дело совсем не подходящее. Ни привычки нет, ни сноровки. Как всего, что по Волге плывет, не переймешь, так и торгов всех в одни руки не заберешь. Чего доброго, зачавши нового искать, старое, пожалуй, потеряешь. Что тогда будет хорошего?
- Ну, как знаете, – с небольшой досадой молвил Смолокуров и, встав со стула, к окну подошел.
- Батюшки светы! Никак Зиновий Алексеич?.. – вскрикнул он, чуть не до половины высушившись из окошка. – Он и есть! Вот не чаял-то! И, подойдя к двери, кликнул коридорного:
- Слушай-ка, друг любезный, добеги, пожалуйста, до крыльца – тут сейчас купец подъехал, высокий такой, широкоплечий, синий сюртук, седа борода. Узнай, голубчик, не Доронин ли это

Зиновий Алексеич. Пожалуйста, сбегай поскорее... Ежели Доронин, молви ему: Марко, мол, Данилыч Смолокуров зовет его к себе.

– Да они у нас в гостинице стоят, – сказал коридорный. – Другу неделю здесь проживают. В двадцать первом и в двадцать втором номере, от вас через три номера. С семейством приехали.

– Как? И с семейством? – вскрикнул Марко Данилыч. – И с женой и с дочками?

– Так точно-с, и с супругой с ихней и с двумя барышнями.

– Спасибо, любезный. На-ка тебе. И, вынув из кармана какую-то мелочь, сунул ее коридорному; тот молча поклонился и тотчас спросил:

– Еще чего не потребуется ли вашему степенству?

– Нет, покамест, кажись, ничего... А вот что: зайти-ка ты к Зиновью-то Алексеичу, молви ему, что и я у вас же пристал.

– Слушаю-с, – сказал коридорный и полетел вон из горницы, ухарски размахивая руками.

– Вот тебе, Дунюшка, и подруги, – молвил Марко Данилыч, весело обращаясь к дочери. – Зиновий Алексеич великий мне приятель. Хозяюшка его, Татьяна Андревна, женщина стоящая, дочки распрекрасные, скромные, разумные, меньшая-то ровесница тебе никак будет, а большенькая годом либо двумя постарше... Вот уж ознакомитесь... Сегодня же надо будет повидаться с ними.

– Какой это Доронин? – спросил Петр Степаныч. – Не из Волжска ли?

– Волжской, – подтвердил Смолокуров. – Пшеном торгует. А нешто вы его знаете?

– Большого знакомства не имел, а кой у кого встречались, – ответил Петр Степаныч. – Мельница еще у него на Иргизе, как раз возле немецких колоний.

– Самый он и есть, – молвил Марко Данилыч. – Зиновий Алексеич допреж и сам-от на той мельнице жил, да вот годов уж с пяток в городе дом себе поставил. Важный дом, настоящий дворец. А уж в доме – так чего-чего нет...

– С большим, значит, капиталом? – спросил Самоквасов.

– С порядочным, – кивнув вбок головой, слегка наморщив верхнюю губу, сказал Смолокуров. – По тамошним местам он будет из первых. До Сапожниковых далёко, а деньги тоже водятся. Это как-то они, человек с десяток, складчину было сделали да на складочны деньги стеариновый завод завели. Не пошло. Одни только пустые затеи. Другие-то, что с Зиновьем Алексеичем в долях были, хошь кошель через плечо вешай, а он ничего, ровно блоха его укусила.

– Много в Волжске-то таких богачей? – спросил Самоквасов.

– Есть, – ответил Марко Данилыч. – Супротив таких, каков был Злобин аль теперь Сапожников, нет, а вот хоть бы Зиновья Алексеича взять – человек состоятельный, по всей Волге известен.

Такие разговоры вели меж собой Марко Данилыч с Самоквасовым часа два, если не больше. Убрали чай, Дарья Сергевна куда-то вышла. Дуня села в сторонке и принялась вязать шелковый кошелек, изредка вскидывая глазами на Петра Степаныча. В мужские разговоры девице вступать не след, оттого она и молчала. Петр Степаныч и рад бы словечком перекинуться с ней, да тоже нельзя – не водится.

Зато его карие очи были речисты. Каждый украдкою брошенный на Дунюшку взор приводил ее в смущенье. От каждого взгляда сердце у ней ровно вздрагивало, а потом сладостно так трепетало.

Когда Петр Степаныч собрался домой, простившись со Смолокуровым, поклонился он Дуне. Та молча привстала, слегка наклонила головку и взглянула на него такими сияющими, такими ясными очами, что глубоко вздохнулось добру молодцу и голубем встрепенулось ретивое его сердце.

– Так вы заходите же к нам, когда удосужитесь... Посидим, покалякаем. Очень будем рады, – провожая гостя, говорил Марко Данилыч. – По ярманке бы вместе когда погуляли, Зиновья Алексеича в компанию прихватили бы... Милости просим, мы люди простые, и жалуйте к нам попросту без чинов.

Вышел Петр Степаныч, а Марко Данилыч, пройдясь по комнате, молвил вполголоса: – Важный парень! И с достатком! Быстро вскинула глазами на отца Дуня и тотчас их опустила. Кошелек, что ли, не вязался, петли путались, что ли.

– Ты что? – чуть улыбнувшись, спросил ее отец.

– Ничего, – едва слышно промолвила Дуня и пристально стала вглядываться в работу. Марко Данилыч вышел из комнаты.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На низовых и каспийских (Низовыми называются в Волге, каспийскими – в море.) промыслах рыбу так солят: в «крутой» рассол бузуна (Озерная самосадочная соль.) кладут рыбу, а после ее посола свежего рассола не заводят. Прибавят в старый рассол немного соли да нальют туда воды, в том и солят новую рыбу. Такой рассол, называемый «тузлуком», держат во все время посола, и каждый раз, когда надобно класть свежую рыбу, прибавляют воды и соли. Оттого коренная рыба скоро «доспевает», оттого и делается она таким товаром, который никак нельзя причислить к разряду благовонных. Хотя в соседних озерах бузуну ввек не исчерпать, но соль обложена большой пошлиной, а воровать ее не всегда легко. Оттого рыбным промышленникам и нет расчета для каждого посола свежий рассол заводить. Опять же рыбу, как ни посоли, всю съедят, товар на руках не останется; серому человеку та только рыба и лакома, что хорошо доспела, маленько, значит, пованивает.

Когда рыбный караван приходит к Макарью, ставят его вверх по реке, на Гребновской пристани (Гребновская пристань на левом берегу Оки, выше Железной.), подальше ото всего, чтоб не веяло на ярманку и на другие караваны душком «коренной». Баржи расставляются в три либо в четыре ряда, глядя по тому, сколь велик привоз. На караван ездят только те, кому дело до рыбы есть. Поглядеть на вонючие рыбные склады в несколько миллионов пудов из одного любопытства никто не поедет – это не чай, что горами навален вдоль Сибирской пристани.

Целый ряд баржей стоял на Гребновской с рыбой Марка Данилыча; запоздал маленько в пути караван его, оттого и стоял он позадь других, чуть не у самого стержня Оки. Хозяева обыкновенно каждый день наезжают на Гребновскую пристань... У прорезей (Садки с живой рыбой.), что стоят возле ярманочного моста, гребцы на косной со смолокуровского каравана ждали Марка Данилыча. В первый еще раз плыл он на свой караван.

Величаво и медленно спустился по ступенькам с моста на плашкот Марко Данилыч, молча уселся на ковер, разостланный на средней лавочке лодки, слегка приподнял картуз в ответ на приветствие гребцов, разодетых на его счет в красные кумачовые рубахи и с шляпами на головах, украшенными алыми лентами. В пути молчал Смолокуров, когда удалые гребцы, бойко, редко но зараз, будто по команде, взмахивали веслами и легкая косная быстро неслась по стержню Оки, направляя путь к Гребновской пристани. Молчит хозяин, молчат и гребцы, знают они, что без нужного дела заводить разговоры с Марком Данилычем – только прогневлять его. Суров, неречист бывал он с подначальными... Поглядеть на него в косной аль потом в караване, поверить нельзя, чтоб этот сумрачный, грозный купчина был тот самый Марко Данилыч, что, до свету вплоть, в одних чулках проходил по горнице, отирая слезы при одной мысли об опасности нежно любимой Дуни.

Подъезжает к каравану Марко Данилыч. Издали узнал косную и своего хозяина главный его приказчик, длинный, сухой, сильно оспой побитый Василий Фадеев. Был он в длиннополом, спереди насквозь просаленном нанковом сюртуке, с бумажным платом на шее – значит, не по древнему благочестию; истый старовер плата на шею ни за что не взденет, то фряжский обычай, святыми отцами не благословенный. Увидав подъезжавшего хозяина, Фадеев стремглав бросился в размалеванную разными красками казенку (Рубка или каютка на речном судне, в ней живет хозяин или приказчик, хранятся деньги, паспорта и разные бумаги.), стоявшую в виде беседки на кормовой части крайней баржи. Там, наскоро порывшись в разложенных по столу бумагах, взял одну и подошел к трапу, ожидая подъезда Марка Данилыча.

– Хозяин плывет! – мимоходом молвил лоцману Василий Фадеев. Тот бегом в казенку на второй барже и там наскоро вздел красну рубаху, чтоб достойным образом встретить впервые приехавшего на караван такого хозяина, что любит хороший порядок, любит его во всем от мала до велика. Пробегая к казенке, лоцман повестил проходившего мимо водолива о приезде хозяина,

и тотчас на всех восьми баржах смолокуровского каравана раздались голоса:

– Хозяин плывет! Смолокуров! Крепи трап-от ладнее!.. Эй, ну вы, ребята, вылезай на волю! Хозяин!

И полезли рабочие на палубы из одной мурьи (Мурья – трюм, пространство между грузом и палубой, где укрываются бурлаки во время непогоды и где у них лежит лишняя одежда и другой скарб.), из другой, из третьей, на всех восьми баржах полезли наверх и становились вдоль бортов посмотреть-поглядеть на хозяина. Никто из рабочих еще не видывал его, а уж все до единого были злы на него. Четвертый день, как они поставили баржи в пристани как следует, но, несмотря на мольбы, просьбы, крики, брань и ругань, не могут получить заслуженных денег от Василия Фадеева. На том уперся приказчик, что, покамест сам хозяин баржей не осмотрит, ни одному рабочему он копейки не даст.

Подъехал Смолокуров, лоцман с водоливом подали трап на косную и приняли под руки поднимавшегося хозяина. Почтительно сняв картуз, Василий Фадеев молча подал ему «лепортицию». Молча и Марко Данилыч просмотрел ее и медленными шагами пошел вдоль по палубе. На всем караване примолкли: и лоцмана, и водоливы, и рабочий люд – все стояли без шапок... Наперед повестил Василий Фадеев всех, кто не знал еще Марка Данилыча, что у него на глазах горло зря распускать не годится и, пока не велит он головы крыть, стой без шапок, потому что любит почет и блюдет порядок во всем.

– Был кто за рыбой? – отрывисто спросил Василия Фадеева Смолокуров, не поднимая глаз с бумаги и взглядом даже не отвечая на отдаваемые со всех сторон ему поклоны.

– Вечорашний день от Маркеловых приезжали, – подобострастно ответил приказчик.

– Ну?

– Дешевенько-с, – вертя указательными пальцами и вскидывая плутовскими взглядами на хозяина, молвил Василий Фадеев.

– Почему?

– Девять гривен судак, два с четвертью коренная, других сортов не спрашивали.

– Жирно будет, – сквозь зубы процедил Марко Данилыч, не глядя на приказчика, и сунул в карман его «лепортицию».

Ладно ль пароход-от поставили? – насупясь, спросил у приказчика Марко Данилыч.

– Как следует-с, – отвечал Василий Фадеев, судорожно вертя в руках синий бумажный платок.

– Много ль народу на нем?

– Капитан, лоцман, водолив, да пять человек рабочих.

– Рассчитаны?

– По день прихода рассчитаны-с.

– Которо место пароход поставили?

– К низу, с самого краю (Когда баржи с грузом поставят на место в Гребновской или в другой какой-либо макарьевской пристани, пароходы отводят на другую пристань ниже по течению Волги – под кремль и под Егорьевский съезд. Это делается для безопасности от огня.).

– Для че так далеко?

– Ближе-то водяной не пускает, там, дескать, место для пассажирских, а вам, говорит, где ни стоять – все едино...

– Все едино! Известно, им все едино, ихни же солдаты крайни пароходы обкрадывают... Трех рабочих еще туда поставь, караул бы был бессменный: день и ночь караулили бы.

– Слушаю-с, – молвил Василий Фадеев. По доскам, положенным с борта на борт, перешли на вторую баржу.

– На баржах много ль народу? – спросил Марко Данилыч, быстро оглядывая все, что ни лежало на палубе.

– Сто двадцать восемь человек, – ответил Фадеев и сдержанно кашлянул в сторону, прикрывая рот ладонью.

– Денег в пути давал?

– Помаленьку иные получали, – отвечал приказчик.

– Для чего?

– Надобности кой-какие бывали... у них... – запинаясь, отвечал приказчик. – У кого обувь порвалась, кому рубаху надо было spravить... Не помногу давано-с.

– Баловство! – недовольно промолвил Марко Данилыч.

– Пристают, – робко проговорил приказчик.

– Мало ль что пристаут! А тебе б их не слушать. Дай им, чертям, поблажку, после не справишься с ними... Заборы-то записаны?

– Как же-с! Все в книге значатся, и с ихними расписками.

– Лепортицу об этом сготовь.

– Слушаю-с.

И перешли на третью баржу.

Грязный, кудластый щенок выскочил из казенки. С ласковым визгом и радостным бреханьем, быстро вертя хвостиком и припадая всем телом к полу, бросился он к ногам вступивших на палубу.

– Кто смел в караване собак разводить? – грозно вскрикнул Марко Данилыч, изо всей силы пихнув сапогом кутяшку. С жалобным визгом взлетела собачонка кверху, ударилась о пол и, поджав хвост, прихрамывая, поплелась в казенку.

– Чей пес? – продолжал кричать Смолокуров.

– Водолива, должно быть, – тихо, вполголоса промолвил Василий Фадеев.

– Должно быть! – передразнил приказчика Марко Данилыч. – Все должен знать, что у тебя в караване. И как мог ты допустить на баржах псов разводить? А?.. Рыбу крали да кормили?.. Где водолив? Водолив немножко выдвинулся вперед.

– Виноват, батюшка Марко Данилыч, – боязливо промолвил он, чуть не в землю кланяясь Смолокурову. – Всего-то вчерашний день завел, тонул, сердечный, жалко стало песика – вынул его из воды... Простите великодушно!.. Виноват, Марко Данилыч.

– То-то виноват!.. Из твоей вины мне не шубу шить! – вскрикнул Смолокуров. – Чтоб духу ее не было... За борт, назад в воду ее, проклятую. Ишь что выдумали! Ах вы, разбойники!..

И, обругав водолива, молча перешел с Фадеевым на четвертую баржу.

– Это судак? – спросил Марко Данилыч приказчика.

– Первы три баржи все с судаком-с, – молвил Василий Фадеев.

– С соленым?

– Так точно-с.

– Бешенка где?

– На пятой-с.

– На четвертой что?

– Сушь.

– Вся?

– Вся-с.

– Коренная где?

– На шестой белужина с севрюгой, на седьмой осетёр. Икра тоже на седьмой-с, пробойки, жиры, молоко.

– На восьмой значит ворвань?

– Так точно-с.

Замолчали и молча прошли на другую баржу... Набрался тут смелости Василий Фадеев, молвил хозяину:

– Расчету рабочие требуют, Марко Данилыч. Промолчал, ровно не ему говорят, Марко Данилыч.

– Галдят, четвертый, дескать, день простой идет, харчимся, дескать, понапрасну работу у других хозяев упускаем. Опять промолчал Марко Данилыч.

– Говорю им, обождите немножко, вот, мол, хозяин подъедет, без хозяина, говорю, я не могу вам расчетов дать, да и денег при мне столько не имеется, чтобы всех ублаготворить... И слушать не хотят-с... вечор даже бунта чуть не подняли, насилу улестил их, чтобы хоть до сегодняшнего

то дня обождали.

– Это все судак? – спросил, не слушая Фадеева, Марко Данилыч.

– Так точно-с.

– Зачем ворвань далёко поставили? С того бы краю сподручнее было.

– Не велят-с, – встряхнув волосами, молвил приказчик. – Духу, дескать, очень много... Железняки, слышь, жалобились (Железный караван станоят на Оке рядом с рыбным, невдалеке.).

– Гм, – промычал Марко Данилыч. – Не отвалились бы у них носы-то. Тебе бы водяному (Начальник пристани.) поклониться.

– Кланялся... Не берут-с, – быстро вскинув глазами на хозяина, молвил приказчик.

– Гм!.. – опять промычал Марко Данилыч. – Покажь-ка сушь-то.

– Мироныч! – крикнул Василий Фадеев ходившему вслед за ними лоцману. Суши достань из мурьи каждого сорта по рыбине; и судака, и леща, и сазана, и воблы – всего... Да живей у меня!..

Ни слова не молвил, бегом побежал толстый Мироныч, нырнул в мурью и минуты через четыре поднес Марку Данилычу четыре рыбины.

Смолокуров молча осмотрел каждую, поковырял ногтями и, отведав по кусочку, поколотил каждой рыбиной о причал (Кол на палубе для причала баржи.) баржи, прислушиваясь к звукам.

– Жидка! Плохо сушена, – строго молвил он Василью Фадееву.

– Солнцов (Солнечного припеку.) мало было, Марко Данилыч, все время дожди шли неумные! – поникнув головой, отвечал приказчик.

– Солнцов мало! – передразнил его Смолокуров. – Знаю я, какие дожди-то шли!.. Лень! Вот что! Гуляли, пьянствовали! Вам бы все кой-как да как-нибудь! Раченья до хозяйского добра нет. Вот что!

– Помилуйте, Марко Данилыч, мы бы со всяким нашим усердием, да не наша вина-с... Су-против божьей воли ничего не поделаешь!..

– Воли божьей тут не было. Лень ваша была, а не божья воля, – сурово молвил Смолокуров, гневно посмотрев на приказчика. – Про погоду мне из Астрахани каждую неделю отписывали... Так ты не ври.

– Да помилуйте... – начал было совсем оробевший приказчик.

– А тебе бы нишкнуть, коли хозяин разговаривает! – крикнул Марко Данилыч, швырнув в приказчика бывшим у него в руке лещом. – Перечить!.. Я задам вам мошенникам!.. Что это за сушь?.. Глянь-ка, пощупай!.. Копейки на две против других будет дешевле!.. Недобор доправлю – ты это знай!..

– Власть ваша, Марко Данилыч, – дрожащим голосом проговорил приказчик, а только вот, как перед самым истинным богом, мы тут нисколько не причинны.. Хоша весь караван извольте обойти – у всех сушь жидковата, твердой в нынешнем году нигде не найдете.

– И обойду, и посмотрю, и на весах прикину, и свою и чужую, – гневно говорил Смолокуров. – А уж копейки разбойнику не спущу... Знаю я вас, не первый год с вами хоровожусь!.. Только и норовят, бездельники, чтобы как ни на есть хозяину в шапку накласть...

Замолчал приказчик. По опыту знал он, что чем больше говорить с Марком Данилычем, тем хуже. Примолк и Марко Данилыч. Обойдя восьмую баржу, спросил он.

– У других продавали?

– Перед постом с ореховских баржей саму малость свезли соленого... Лодок с пяток... В лавки на ярманку брали да в Обжорный ряд.

– Почему?

– Таят-с. Уж я было пытал спрашивать – не сказывают.

– Узнать! – повелительно молвил Смолокуров.

– Не скажут-с.

– А ты кого ни на есть из ихних приказчиков в трактир сведи да чайком попой, закуской угости, – приказывал Марко Данилыч. И, вынув из бумажника рублевую, примолвил: – Получай на угощение!..

С кислой улыбкой принял приказчик рублевую. Цены-то ореховские он уже знал, но не сказал хозяину, чтоб хоть рублишком с него поживиться. «С паршивой собаки хоть шерсти клок», –

думал Василий Фадеев, кладя бумажку в карман.

– Ко мне на квартиру зайди, расценочну ведомость дам, – молвил Смолокуров. – Да чтоб никто ее не видал... Слышишь?

– Слушаю, Марко Данилыч, – отвечал приказчик.

– Эй ты! – крикнул Смолокуров стоявшему вблизи рабочему. – Пробеги на первую баржу, молви гребцам, косную-то сюда бы подвели, да трап притащи.

Видя, что хозяин собирается уехать, трое рабочих робко подошли к нему и, низко поклонясь, стали.

– Чего вам? – угрюмо спросил их Марко Данилыч.

– До вашей милости, – робко заминаясь, проговорил стоявший впереди рослый, молодой, чуть не дочерна загоревший парень в синей пестрядинной рубахе с расстегнутым воротом.

– Ну?

– Расчетец бы нам, – проговорил загорелый парень.

– Тебя как звать-то? – почти ласково спросил его Марко Данилыч.

– Сидором.

– По батюшке как?

– Аверьянов.

– Здешний аль низовый?

– Сызранский. Села Елшанки.

– Так... Знаю я вашу Елшанку – село хорошее.

– Живет, – молвил загорелый парень.

– А ты откудова? – обратился Марко Данилыч к приземистому, коренастому пожилому рабочему, весело глядевшему на него своими маленькими серенькими глазами.

– Мы-то? Мы здешни, Балохонского уезда, из-под Городца, – Кобылиху деревню слышал?

– Нет, не слышал, и зовут-то тебя как?

– Меня-то?... А Карп Егоровыч.

– А тебя как? – спросил третьего рабочего Марко Данилыч.

– Его-то... А племянник мне-ка по хозяйке будет, – добродушно ответил за него Карп Егоров. – Софронкой звать, Бориса Моркелыча знаешь?... Сынок ему... Он у нас грамотей, письма даже писать маракует. Вот у Василья Фадееча, у твоего приказчика, в книге за всех расписывается, которые в путине заборы забирали.

– Так чего ж вам от меня надобно? – спросил Марко Данилыч.

– Деньжонок бы надо, ваше степенство, – сказал Карп Егоров. – Расчетец бы получить. Шутка ли?... Четвертый день, как мы твой караван на место поставили.

– Так что же что четвертый день? Хоть бы шестой был али седьмой, так и то невелика беда, – сказал Смолокуров.

– Как же не беда? – молвил Карп Егоров. – Что ж нам попусту-то у тебя проживаться, ваше степенство. На други бы места пора поступать.

– Поспеешь... – молвил Смолокуров и повернул от рабочих.

– Хорошо вашей милости так говорит! – сказал Сидор Аверьянов. – А поспрошать бы нас, нам-то каково...

– Подождешь, успеешь! – сказал с досадой Марко Данилыч и отвернулся от рабочих; но те все трое в один голос смелее стали просить расчета.

– Ведь ты, батюшка, за эти за лишни-то дни платы нам не положишь, добродушно молвил Карп Егоров.

– Не положу, – спокойно ответил Марко Данилыч.

– Так почто же нам харчиться-то да работу у других хозяев упущать? – громко заговорили все рабочие. – Власть ваша, а это уж не порядки. Рассчитайте нас, как следует.

– Это вы что вздумали?... Бунт поднимать?... А?... – наступая на рабочих, крикнул Смолокуров. – Да я вас...

Рабочие немного попятились, но униматься не унимались.

– Своего, заслужённого просим!.. Вели рассчитать нас, как следует!.. Что ж это за порядки

будут!.. Задаром людей держать!.. Аль на тебя и управы нет? – громче прежнего кричали рабочие, гуще и гуще толпясь на палубе. С семи первых баржей, друг дружку перегоняя, бежали на шум остальные бурлаки, и все становились перед Марком Данилычем, кричали и бранились один громче другого.

– Нечего нам у тебя проживаться. Расчет подавай! Просили, просили приказчика, четвертый день прошел, а рассчитывать нас не рассчитывает... Так сам рассчитай – ты хозяин, дело твое...

– Так вы так-то, кособрюхие! – зычным голосом крикнул на них Смолокуров. – Ах вы, анафемы!.. Сейчас к водяному поеду, он вас переберет по-своему!.. По местам, разбойники!

Но разбойники по местам не пошли, толпа росла, и вскоре почти вся палуба покрылась рабочими. Гомон поднялся страшный. По всему каравану рабочие других хозяев выбегали на палубы смотреть да слушать, что деется на смолокуровских баржах. Плывшие мимо избылецкие (Избылец – село на Оке возле города Горбатого. В нем много садов. Яблоки и ягоды отправляют оттуда каждый почти день в лодках на Макарьевску ярманку в огромном количестве. Возят ягоды и яблоки больше бабы.) лодки с малиной и смородиной остановились на речном стержне, а сидевшие в них бабы с любопытством смотрели на шумевших рабочих.

– Расчет давай!.. Сейчас расчет!.. Нечего отлынивать-то!.. Жила ты этакой!.. Бедных людей обирать!.. Не бойсь, не дадут тебе потачки... И на тебя суд найдем!.. Расчет подавай!..

Клики громче и громче. Сильней и сильней напирают рабочие на Марка Данилыча. Приказчик, конторщик, лоцман, водоливы, понутив головы, отошли в сторону.

Смолокуров был окружен шумевшей и галдевшей толпой. Рабочий, что первый завел речь о расчете, картуз надел и фертотом подбоченился. Глядя на него, другой надел картуз, третий, четвертый – все... Иные стали рукава засучивать.

– Сейчас же расчет!.. Сию же минуту!.. – кричали рабочие, и за криками их нельзя было расслышать, что им на ответ кричал Смолокуров.

Косная меж тем подгребла под восьмую баржу, но рабочий, что притащил трап, не мог продраться сквозь толпу, загородившую борт. Узнав, в чем дело, бросил он трап на палубу, а сам, надев шапку, выпучил глаза на хозяина и во всю мочь крикнул:

– Расчет подавай, такой-этакой! Расходилась толпа, что волна. Нет уйму. Ни брань ни угрозы, ни уговоры Смолокурова не в силах остановить расходившегося волнения. Но не сробел, шагом не попятился назад Марко Данилыч. Скрестив руки на груди, гневен и грозен стоял он недвижно перед толпою.

– Молчать! – крикнул он. – Молчать! Слушай, что хочу говорить. Передние грубо, с задором ему отвечают:

– Чего еще скажешь?.. Ну, говори... Эй, ребята, полно галдеть – слушай, что он скажет... Перестань же, ребята!.. Нишкни!.. Что глотку-то дерешь, чертовой матери сын, – зарычали передние на кричавшего пуще всех Сидора Аверьянова из сызранской Елшанки.

А Марко Данилыч по-прежнему стоит, скрестив руки на груди. Сам ни слова.

Унялась толпа, последним горлопанам, что не хотели уняться, от своей же браны досталось вдоволь и взрыльников и подзатыльников. Стихли.

– Сказывай, что хотел говорить, – говорили передние Марку Данилычу. Слушаем!..

– А вот что я хотел говорить, – ровным, твердым голосом начал протяжно речь свою Марко Данилыч. – Кто сейчас, сию же минуту, на свое место пойдет тот часа через два деньки получит сполна. И за четыре дня, что лишнего простояли, получит... А кто не пойдет, не уймется от буйства, не от меня тот деньки получит, а от водяного – ему предоставлю с теми рассчитывать, и за четыре простояных дня тот гроша не получит... Сидор Аверьянов, Карп Егоров, Софрон Борисов – вы зачинали, вы и унимайте буянов!.. Имена ваши знают – плохо вам будет, коли не умете товарищей!.. Лозаны у водяного здоровые!.. А кто по местам пойдет, для тех сию минуту за деньгами поеду – при мне нет, а что есть у Василия Фадеева, того на всех не хватит. Первые, кто на свои места пойдут, тем до моего возврата Василий Фадеев деньги выдаст и пачпорты.. Слышали?

Пуще прежнего зашумели рабочие, но крики и брань их шли уже не к хозяину, между собой стали они браниться – одни хотят идти по местам, другие не желают с места тронуться. Где один другого за шиворот, где друг друга в зубы – и пошла на барже драка, но добрая доля рабочих по-

шла по местам, говоря приказчику:

– Василий Фадеич, пиши нас по именам да деньги сейчас подавай – мы тотчас же пошли по приказу хозяйскому.

Пользуясь сумятицей, перемахнул Марко Данилыч за борт, спустился по канату в косную и, немного отплыв, крикнул на баржу:

– Фадеев! Денег никому не давать!.. Погодите вы у меня, разбойники!.. Я с вами расправлюсь, с мошенниками!.. Сейчас же привезу водяного.

– Упустили! – в один голос крикнули бурлаки, оставшиеся на восьмой барже... И полились брань и ругань на удалявшегося Марка Данилыча. Быстро неслась косная вниз по течению.

– Теперь он, собака, прямехонько к водяному!.. Сунет ему, а тот нас совсем завинит, – так говорил толпе плечистый рабочий с сивой окладистой бородой, с черными, как уголь, глазами. Вся артель его уважала, рабочие звали его «дядей Архипом». – Снаряжай, Сидор, спину-то: тебе, парень, в первую голову отвечать придется.

– Посмотрим еще, кто кого! – бодрится Сидор, а у самого душа в пятки ушла. Линьки у водяных солдат были ему знакомы. Макарьевских только покамест не пробовал.

– И порют же здесь, братцы! – весело подхватил молодой парень, присевши на брус переобуться. – Летось об эту самую пору меня анафемы здесь угощали... В Самаре здорово порют, и в Казани хорошо, а супротив здешнего и самарские розги и казанские звания не стоят.

– А за что мне в первую-то голову отвечать? – тоскливо заговорил Сидор Аверьянов, хорошо знакомый и с Казанью и с Самарой. – Что я первый заговорил с проклятым жидом... Так что же?.. А галдеть да буянить, разве я один буянил?.. Тут надо по-божески. По справедливости, значит... Все галдели, все буянили – так-то.

– Вестимо, все, – подтвердил Карп Егоров, тоже помышляя о линьках макарьевских.

– Всех перепороть нельзя, – спокойно молвил переобувшийся парень. Линьки перепортишь, да и солдатики притомятся.

– Знамо, всех нельзя, не следует, – согласились с ним все другие бурлаки.

– А ведь не даст он, собака, за простой ни копеечки, не то что нам, а и тем, кто его послушал, по местам с первого слова пошел, – заметил один рабочий.

– Известно, не даст, – все согласились с ним. – Это он только ради отводу молвил, чтобы утечь, значит, А мы, дураки, и упустили...

И много тосковали, и долго промеж себя толковали про то, чему быть и чего не отбыть...

Много спустя, когда рабочие уgomонились и, почесывая спины, укоряли друг друга в бунте, подошел к ним Василий Фадеев.

– Что?.. Небось теперь присмирели? – с усмешкой сказал он. Обождите-ка до вечера, узнаете тогда, как бунты в караване заводить! Земля-то ведь здесь не бессудная – хозяин управу найдет. Со Смолокуровым вашему брату тягаться не рука, он не то что с водяным, с самим губернатором он водит хлеб-соль. Его на вас, голопятых, начальство не сменяет...

– Да что ж это такое будет, Василий Фадеич?.. – заговорили двое-трое из рабочих. – Вечор ты сам учил нас говорить покрепче с хозяином, а теперь вон что зачал толковать... Нешто это по-божески?..

– Так нешто я вас бунтовать учил? – вспыхнул приказчик. – Говорил я вам, чтоб вы его просили покрепче, значит пожалостливей, а вы, чертовы куклы, горланить вздумали, ругаться, рукава даже стали засучивать, бестии... Этому, что ли, учил я вас?... А?

– Вестимо, не тому, Василий Фадеич, – почесывая в затылках, отвечали бурлаки. – Твои слова шли к добру, учил ты нас по-хорошему. А мы-то, гляди-ка, чего сдуру-то наделали... Гляка-сь, како дело вышло!.. Что теперича нам за это будет? Ты, Василий Фадеич, человек знающий, все законы произошел, скажи, Христа ради, что нам за это будет?

– Перепорют, – равнодушно ответил приказчик.

– Ежели только перепорют, это еще не беда – спина-то ведь не на базаре куплена, – молвил один рабочий. – А вот как в кутузку засадят да продержат в ней с неделю или дён с десять!..

– Дольше продержат, – молвил Василий Фадеев. – В один день сто двадцать человек не перепорешь... Этого нельзя.

– То-то вот и есть, – жалобно и грустно ответил рабочий. – Ведь десять-то дён мало-мальски три целковых надо положить, да здесь вот еще четыре дня простою. Ведь это, милый человек, четыре целковых – вот что посуди.

– Верно, – подтвердил Василий Фадеич. – По нынешним ценам у Макарья, пожалуй, и больше четырех-то целковых пришлось бы. Плотники ноне по рублю да рублю двадцати на серебро брали, крючники по полтине да по шести гривен, солоносы по семи... Вот каки нынешним годом господь цены устроил... Да!..

– Василий Фадеич! Будь отец родной, яви божеску милость, научи дураков уму-разуму, при советуй, как бы нам ладненько к хозяину-то?.. Смириться бы как?.. – стали приставать рабочие, в ноги даже кланялись приказчику.

– Смирится он!.. Как же! Растопырь карман-от! – с усмешкой ответил Василий Фадеев. – Не на таковского, брат, напали... Наш хозяин и в малом потакать не любит, а тут шутка ль, что вы наделали?.. Бунт!.. Рукава засучивать на него начали, обстали со всех сторон. Ведь мало бы еще, так вы бы его в потасовку... Нечего тут и думать пустого – не смирится он с вами... Так доймет, что до гроба жизни будете нынешний день поминать...

– Ахти, господи батюшка, истинный Христос!.. Да что ж это такое будет? – тосковали бурлаки, понунив с отчаянья головы. Крепко задумавшись, Сидор Аверьянов сидел одаль на косяке (Толстый канат, на котором кабестанный, иначе шкивной пароход тянет подачу). Вдруг быстро вскочил и шепнул, подойдя к приказчику:

– Подь-ка со мной к сторонке, Василий Фадеич. Приказчик отошел с ним к самой корме.

– Так как мне теперича доводится без трех гривен шесть целковых... начал Сидор.

– Ну? – спросил приказчик, когда тот немного замялся.

– Возьми ты их себе, Василий Фадеич, эти самые деньги... Поступаюсь ими, пачпорт только выдай – я бы котомку на плечи да айда домой. Ну вас тут и с караваном-то!..

– Мудрено, брат, придумал, – засмеялся приказчик. – Ну, выдам я тебе пачпорт, отпущу, как же деньги-то твои добуду?.. Хозяин-то ведь, чать, расписку тоже спросит с меня. У него, брат, не как у других – без расписок ни единому человеку медной полушки не велит давать, а за всякий прочет, ежели случится, с меня вычитает... Нет, Сидорка, про то не моги и думать.

– Эх, горе-то какое! – вздохнул Сидорка. – Ну ин вот что: сапоги-то, что я в Казани купил, три целкача дал, вовсе не хожены. Возьми ты их за пачпорт, а деньги, ну их к бесу – пропадай они совсем, подавись ими кровопийца окаянный, чтоб ему ни дна, ни покрыва.

Василий Фадеич раздумывал, пристально разглядывая Сидоровы сапоги.

– Полно-ка пустое-то городить, – молвил он, маленько помолчав. – Ну что у тебя за сапоги? Стоит ли из-за них грех на душу брать?.. Нет уж, брательник, неча делать, готовь спину под линьки да посиди потом недельки с две в кутузке. Что станешь делать?.. такой уж грех приключился... А он тебя беспрременно заводчиком выставит... Пожалуй, еще вспороть-то тебя вспорют да на придачу по этапу на родину пошлют. Со всякими тогда, братец, острогами дорогой-то сознакомисься.

– Мерлушчату шапку на придачу. Знатная шапка, настоящая мурашкинская... И совсем как есть новенькая... Двух-то целковых стоит. Христа ради, Василий Фадеич, будь аки бог, вызволь меня из беды неминуемой...

– Полно-ка ты, перестань! Что вздор-от молоть понапрасну?.. – молвил Василий Фадеев и, повернувшись, пошел к казенке.

Сидор за ним. Стал у дверей. В казенку рабочим ходу нет, не посмел и Сидор войти туда за приказчиком.

– Помилосердуй, Василий Фадеич, – слезно молил он, стоя на пороге у притолоки. – Плат бумажный дам на придачу. Больше, ей-богу, нет у меня ничего... И рад бы что дать, да нечего, родной... При случае встретились бы где, угостил бы я тебя, и деньжонок аль чего-нибудь еще дал

бы... Мне бы только на волю-то выйти, тотчас раздобудусь деньгами. У маня тут купцы знакомые на ярманке есть, седни же найду работу... Не оставь, Василий Фадеич, Христом богом прошу тебя.

И повалился в ноги и завопил, не поднимая головы от полу.

– Эх ты!.. – с досадой молвил ему приказчик. – Да не валяйся – увидят... Подь сюда в казенку.

Сидор встал и подошел к приказчику. Тот сказал ему:

– Хозяину-то что скажу? Об этом-то подумал ли ты? Скажет: Сидор всему бунту зачинщик, а куда он девался? Что я скажу?

– Сбежал, мол.

– А пачпорт спросит?

– Пачпорт спросит! – задумался Сидор. – А ты скажи, что я был из слепеньких... Ведь есть же у нас на баржах слепеньки-то (Слепыми у бурлаков зовутся не имеющие письменного вида, беспаспортные.).

– Так при водяном-то и сказать? Хорошо вздумал – нечего! – усмехнулся Василий Фадеич.

– Допрежь ему молви, упреди... Аль не знает, что на его баржах слепые-то водятся?

– Знать-то знает... как не знать... Только, право, не придумаю, как бы это сделать... – задумался приказчик. – Ну, была не была! – воскликнул он, еще немножко подумавши. – Тащи шапку, скидай сапоги. Так уж и быть, избавлю тебя, потому знаю, что человек ты добрый – языком только горазд лишнее болтать. Вот хоть сегодняшнее взять – ну какой черт совал тебя первым к нему лезть?

– Брательники просили, ты-де всех речистей, потому-де самому ты и зачинай. С общего, значит, совета всей артели мы с Карпом да с Софронкой пошли. Что ж, ведь я, кажись, говорил с ним по-хорошему?

– По-хорошему! А как загалдели, так орал пуще всех да еще рукава засучал... – сказал приказчик.

– Рукавов я не засучивал, Василий Фадеич, а что кричать, точно кричал... Так разве я один? – говорил Сидор.

– Полно растабарывать-то. Неси скорей, а я пачпорт отыщу.

Сиял от радости Сидор, сбежал в мурью и минут через десять вылез оттуда в истоптанных лаптях, с котомкой за плечами и с сапогами в руках. Войдя в казенку, поставил он сапоги на пол, а шапку и платок на стол положил. Молча подал приказчик Сидору паспорт, внимательно осмотрев перед тем каждую вещь. Сидор взял паспорт, приосанился и уж не так робко и покорно, как прежде, сказал:

– Ты уж мне, Василий Фадеич, какую-нибудь шапчонку пожертвуй.

– Где мне про тебя шапок-то набраться? – строго взглянув на него, воскликнул приказчик. – Вот еще что вздумал!

– Да как же я по ярманке-то без шапки пойду? Там казаки по улицам так и шныряют, – пожалуй, как раз заподозрят в чем да стащут меня...

– Слезь в мурью да украдь у кого-нибудь картуз либо шапку, – молвил Василий Фадеев. – А то вдруг шапку ему пожертвуй. Выдумает же!

– И то, видно, украсть... Счастливо оставаться, Василий Фадеич, сказал Сидор.

– С богом, – пробурчал приказчик, взял перо и наклонился над бумагами.

Сидор в лаптях, в краденном картузе, с котомкой за плечами, попросил одного из рабочих, закадычного своего приятеля, довезти его в лодке до берега. Проходя мимо рабочих, все еще стоявших кучками и толковавших про то, что будет, крикнул им:

– Прощайте, братцы!

– Куда ты, Сидор, куда? – закричали рабочие, прибегая к нему.

– Сбежать задумал, – молвил Сидор. – Так-то сходнее: и спина целей и за работу седни же...

– А деньги-то?

– Пес с ними! Пушай анафема Маркушка ими подавится, – молвил Сидор. Денег-то за ним не сполна шесть целковых осталось, а как засадят недели на две, так по четыре только гривенника

поденщину считай, значит пять рублей шесть гривен. Один гривенник убытку понесу. Так нешто спина гривенника-то не стоит. Рабочие захохотали.

– Ну, прощай, Сидор Аверьяныч, прощай, милый человек, – заговорили они, прощаясь с товарищем.

– А пачпорт-от как же? – спросил его Карп Егоров.

– Пес с ним! – молвил Сидор. – И без него проживу ярманку-то. У меня купцы есть знакомые – примут и слепого. И, сев в косную, поплыл к песчаному берегу.

– А ведь Сидорка-от умно рассудил, – молвил парень, что знаком был с линьками самарскими, казанскими и макарьевскими. – Чего в самом деле?.. Айда, ребята, сбежим гуртом... Веселее!.. Пушай Маркушка лопнет с досады!

– А расчет-от? А деньги-то? – заговорили рабочие.

– Мне всего три целковых получки... А как засадят, так в самом деле накладно будет... Дороже обойдется... Я сбегу.

– А пачпорт-от как же?.. Васька Фадеев нешто отдаст? – спрашивали у него.

– Я из слепых, да и Сидорка-от тоже никак. Эй, ребята!.. Кто слепой да у кого денег много забрано – айда!..

И полез в мурью снаряжаться. С ним сбежало еще десятеро слепых. Те слепые, у которых мало денег было в заборе, не пошли за Сидоркой, остались. Он крикнул им из лодки:

– Дурни!.. Хоть бы и вовсе заборов не было, и задатков ежели бы вы не взяли, все же сходнее сбежать. Ярманке еще целый месяц стоять – плохо-плохо четвертную заработаешь, а без пачпорта-то тебя водяной в острог засадит да по этапу оттуда. Разве к зиме до домов-то доплететесь... Плюнуть бы нам, братцы слепые!.. Эй помянете мое слово!..

– А ведь он дело сказал, – заговорили рабочие.

– Сбежать точно что будет сходнее, – тосковала они.

– Что ж, ребята?.. Айда, что ли?.. – почти уж у берега закричал отплывший слепой.

– Айда!.. Айда, ребята! – закричали зычные голоса, и много бурлаков кинулись в мурьи собираться в путь-дорогу.

На шум вышел из казенки заснувший было там Василий Фадеев.

– Что такое? – спросил он.

– Слепые сбежали, – ответили ему. Взглянул приказчик на реку – видит, ото всех баржей плывут к берегу лодки, на каждой человек по семи, по восьми сидит. Слепых в смолокуровском караване было наполовину. На всем Низовье по городам, в Камышах (Камышами называются берега Волги и острова на ней в Астраханской губернии.) и на рыбных ватагах исстари много народу без глаз (Глаза – паспорт на языке бурлаков, а также на языке московских жуликов, петербургских мазуриков.) проживает. Про Астрахань, что бурлаками Разгуляй-городок прозвана, в путевой бурлацкой песне поется:

Кому плыть в Камыши -

Тот паспорта не пиши,

Кто захочет в Разгуляй -

И билет не выправляй.

Рыбные промышленники, судохозяева и всякого другого рода хозяева с большой охотой нанимают слепых: и берут они дешевле, и обсчитывать их сподручней, и своим судом можно с ними расправиться, хоть бы даже и посечь, коли до того доведется. Кому без глаз-то пойдет он жалобиться? Еще вдосталь наклоняется, только, батюшки, отпустите. Марко Данилыч слепыми не брезговал – у него и на ловлях и на баржах завсегда их вдоволь бывало... Потому, выгодно.

– Ах, дуй их горой! – вскрикнул Василий Фадеев. – Лодки-то подлецы на берегу покинут!.. Ну, так и есть... Осталась ли хоть одна косная? Слава богу, не все захватили... Мироныч, в косную!.. Приплавьте, ребята, лодки-то... Покинули их бестии, и весла по берегу разбросали... Ах, чтоб вас розорвало!.. Ишь что вздумали!.. Поди вот тут – ищи их... Ах, разбойники, разбойники!.. Вот вздрать-то бы всех до единого. Гляка-сь, что наделали!..

Василий Фадеев не горевал: и хозяин не в убытке, и он не в накладе. Притом же хлопот да привязок от водяного за слепых избыли. А то пошла бы переборка рабочих да дознались бы, что

на баржах больше шестидесяти человек беспаспортных, может из Сибири беглых да из полков, – тогда бы дешево-то, пожалуй, и не разделались. А теперь, слава богу, всем хорошо, всем выгодно: и хозяину, и приказчику, и слепым. Зрячим только не было выгоды: пригорюнились они, особенно Карп Егоров с племянником. Вместе с Сидором зачинщиками Марко Данилыч их обозвал – им первым отвечать.

– Батюшка, Василий Фадеич, пожалей ты нас, дураков, умоли Марка Данилыча, преклони гнев его на милость!.. – вопили они, валяясь в ногах у приказчика.

Другие бурлаки тоже не чаяли добра от водяного. Понадеясь на свои паспорта, они громче других кричали, больше наступали на хозяина, они же и по местам не пошли. Теперь закручинились. Придется, сидя в кутузке, рабочие дни терять.

– Ничего я тут не могу сделать, – говорит Василий Фадеев бурлакам.

– Как же не можешь? Вся сила в тебе... Ты всему каравану голова... Кого же ему, как не тебе, слушать! – кланялись и молили его рабочие.

– Сговоришь с ним!.. Как же!.. – молвил Василий Фадеев. – Не в примету разве вам было, как он, ничего не видя, никакого дела не разобравши, за сушь-то меня обругал? И мошенник-от я у него, и разбойник-от! Жиденька!.. Веслом, что ли, небо-то расшевырять, коли солнцов нет... Собака так собака и есть!.. Подойди-ка я теперь к нему да заведи речь про ваши дела, так он и не знай что со мной поделает... Ей-богу!

– Нет, уж ты, Василий Фадеич, яви божеску милость, попечалуйся за нас, беззаступных, – приставали рабочие. – Мы бы тебя вот как уважили!.. Без гостинца, милый человек, не остался бы!.. Ты не думай, чтобы мы на шаромыгу!..

– Полноте-ка, ребята, чепуху-то нести, – молвил отходя от них, приказчик. – Да и некогда мне с вами растабарывать, лепортицу велел сготовить, кто сколько денег из вас перебрал, а я грехом проспал маленько... Пойти сготовить поскорее, не то придет с водяным – разлутуется.

И ушел в свою казенку.

Стоят на месте бурлаки, понутив думные головы. Дело, куда ни верни, со всех сторон никуда не годится. Ни линьков, ни великих убытков никак не избыть. Кто-то сказал, что приказчик только ломается, а ежели поклониться ему полтиной с души, пожалуй упросит хозяина.

– На полтину с брата согласен не будет, – молвил дядя Архип. Считай-ка, сколько нас осталось.

Стали считать, насчитали как раз шестьдесят человек.

– Всего, значит, тридцать целковых, – сказал дядя Архип. – И подумать не захочет... Целковых по два собрать, тогда может статья возьмется, и то навряд...

Зашумели рабочие, у кого много забрано денег, те кричат, что по два целковых будет накладно, другие на том стоят, что можно и больше двух целковых приказчику дать, ежели станет требовать. Без перекогов и перебранок сходка не стоит. Согласились, наконец, дать приказчику сто целковых. Так порешив, стали смекать поскольку на брата придется; по пальцам считали, на бирках резали, чурочками да щепочками метали; наконец, добрались, что с каждого по целковому да по шестидесяти шести копеек надо. Ради верности по рукам чурочки да щепочки разобрали и потом в грудку метали их. Рты разинули от удивленья, когда, пересчитав чурочки увидели, что целых сорока копеек не хватает. Опять зачались толки да споры, куда сорок копеек девались.

Сладились, наконец. Дядя Архип робко подошел к казенке и, став в дверях, молвил сидевшему за лепортицей приказчику:

– Батюшка, Василий Фадеич, прикажи слово молвить.

– Чего еще? – с досадой крикнул приказчик. – Мешаете только! Делом заняться нельзя с вами, буянами.

– Да я все насчет того же, порадей ты об нас, помоги в нашей беде, говорил дядя Архип.

– Сказано ведь вам! Так нет, лезут!

– По рублику бы с брата бы поклонились вашей милости – шестидесятью целковыми... Прими, сударь, не ломайся!.. только выручи, Христа ради!.. При расчете с каждого человека ты бы по целковому взял себе, и дело бы с концом.

– Ишь что еще вздумали! – гневно вскрикнул приказчик. – Стану из-за такой малости я руки

марать!.. Пошел прочь!.. Говорят тебе, не мешай.

– Ты, Василий Фадеич, не гневись. Скажи свою цену. Бог даст, сойдемся как-нибудь, – не трогаясь с места, говорил дядя Архип.

Замолк Василий Фадеев, стал писать свою лепортицу, а дядя Архип не отходит от дверей казенки.

– Полтораستا! – вполголоса пробурчал приказчик после короткого молчания, кладя перо и глядя в упор на дядю Архипа.

– Не многонько ли будет, Василий Фадеич?.. – посмелей прежнего заговорил дядя Архип. – Пожалей нас хоть маленечко, не под силу будет такой суймой (Сумма.) нам поступиться твоей милости.

– Полтораستا, – еще тише промолвил приказчик и снова взялся за перо.

Помялся на месте дядя Архип. Протягивая в казенку руку, сказал:

– Так и быть, куда ни шло, получай три четвертухи, семьдесят пять целковых, значит. Молчит Фадеев.

– Будет с тебя, милый человек, ей-богу будет, – продолжал Архип, переминаясь и вертя в руках оборванную шляпенку. – Мы бы сейчас же разверстали, поскольку на брата придется, и велели бы Софронке в книге расписаться: получили, мол, в Казани по стольку-то, аль там в Симбирске, что ли, это уж тебе виднее, как надо писать.

– Сколько вас? – не поднимая с бумаги глаз, спросил приказчик.

– Шестьдесят человек, – ответил дядя Архип.

– По два целковых с брата, – чуть слышно проговорил Василий Фадеев.

– Нет, уж ты сделай такую милость, возьми три четвертухи, пожалей нас, родимый, ведь кровь свою отдаем – ты это подумай, – умолял дядя Архип.

– Как задержат у водяного да по этапу домой погонят, так не по два целковых убытку примете, – шепотом почти сказал Фадеев.

– Да, оно так-то так, что про это говорить. Вестимо, больше потерпишь, да уж ты помилосердуй, заставь за себя бога молить... Ведь ты наша заступа, на тебя наша надежда – как бог, так и ты. Сделай милость, пожалей нас, Василий Фадеич, – слезно умолял дядя Архип приказчика.

Сладились, наконец. Сошлись на сотне. Дядя Архип пошел к рабочим, все еще галдевшим на седьмой барже, и объявил им о сделке. Тотчас один за другим стали Софронке руки давать, и паренек, склонив голову, робко пошел за Архипом в приказчикову казенку. В полчаса дело покончили, и Василий Фадеев, кончивший меж тем свою лепортицу, вырядился в праздничную одежду, сел в косную и, сопровождаемый громкими напутствованиями рабочих, поплыл в город.

Меж тем во всем караване кашевары ужин сготовили. Пользуясь отъездом Василия Фадеева и тем, что водоливы с лоцманом, усевшись на восьмой барже, засаленными, полуразорванными картами стали играть в три листика, рабочие подсластили последнюю свою ужину – вдоволь накрали рыбы и навалили ее во щи. На шестой да на седьмой баржах щи были всех вкусней – с севрюгой, с осетриной, с белужиной. Супротив других обижены были рабочие на восьмой барже – там нельзя было воровать: у самого лаза в мурью лоцман сидел с водоливами за картами; да и кладь-то к еде была неспособная – ворвань... Хорошо поужинали, на руку было рабочим, что вдвое супротив обычного ели, щи-то заварены и каша засыпана были еще до того, как слепые сбегали. Иным и в рот уж не лезло, да не оставлять же добро – понатужились и все дочиста поели.

Две трети рабочих, наевшись, тотчас же спать завалились, человек с двадцать в кучку собралось. Опять пошло галденье.

Как на каменную стену надеялись они на Василья Фадеева и больше не боялись ни водяного, ни кутузки, ни отправки домой по этапу; веселый час накотил, стали ребята забавляться: боролись, на палках тянулись, дрались на кулачки, а под конец громко песню запели:

Как споем же мы, ребята, про кормилицу,

Про кормилицу про нашу. Волгу-матушку,

Ах, ну! Ох ты мне! Волгу-матушку.

Мы поплавали по матушке и вдоль и поперек,

Истоптали мы, ребята, ее круты бережки.

Ах, ну! Ох ты мне! Ее круты бережки.
Исходили мы на лямке все ее желты пески,
Коли плыли мы, ребятушки, от Рыбной к Костроме,
Ах, ну! Ох ты мне! Как от Рыбной к Костроме.
А вот город Кострома – гульливая сторона.
А пониже ее Плёс, чтоб шайтан его пронес.
Ах, ну! Ох ты мне! Чтоб шайтан его пронес.
За ним Кинешма да Решма – тамой девушки не честны,
А вот город Юрьевец – что ни парень, то подлец.
Ах, ну! Ох ты мне! Что ни парень, то подлец.
В Городце-то на дворе по три девки на дворе,
А вот город Балахна – стоят полы распахня,
Ах, ну! Ох ты мне! Стоят полы распахня.
А вот село Козино – много девок свезено,
Еще Сормово село – соромники наголо.
Ах, ну! Ох ты мне! Соромники наголо.
А вот Нижний городок – ходи гуляй в погребок,
Вот Куманино село, в три дуги меня свело,
Ах, ну! Ох ты мне! В три дуги меня свело!
А вот Кстово-то Христово, развеселое село,
Хоша чарочка маленька, да винцо хорошо,
Ах, ну! Ох ты мне! Да винцо хорошо.
Вот село Великий Враг – в каждом доме там кабак,
А за ним село Безводно – живут девушки зазорно,
Ах, ну! Ох ты мне! Живут девушки зазорно.
Рядом тут село Работки – покупай, хозяин, водки,
Вот Слопинец да Татинец – всем мошенникам кормилец,
Ах, ну! Ох ты мне! Всем мошенникам кормилец*. *Путевая бурлацкая песня. В ней больше, чем тремстам местностей от Рыбинска до Бирючьей Косы (ниже Астрахани на взморье), даются более или менее верные приметы.

Громче и громче раздается по каравану удалая песня. Дядя Архип молча и думчиво сидит у борта и втихомолку ковыряет лапотки из лык, украденных на барже соседнего каравана. На своем красть неловко – кулаки у рабочих, пожалуй, расходятся.

– Чего заорали, чертовы угодники? Забыли, что здесь не в плесу? – крикнул он распевшимся ребятам. – Город здесь, ярманка!.. Оглянуться не успеешь, как съедут с берега архангелы да линьками горла-то заткнут. Одну беду избыли, на другую рветесь!.. Спины-то по плетям, видно, больно соскучились!..

Смолкли певуны, не допели разудалой бурлацкой песни, что поминает все побережье Волги-матушки от Рыбной до Астрахани, поминает соблазны и заманчивые искушенья, большею частью рабочему люду недоступные, потому что у каждого в кармане-то не очень густо живет. Не вскинься на певунов дядя Архип, спели б они про «Суру реку важную – доньшко серебряно, круты бережки позолоченные, а на тех бережках вдовы девушки живут сговорчивые», спели бы, сердечные, про свияжан-лещевников, про казанских плаксивых сирот, про то, как в Тетюшах городничий лапоть плел, спели бы про симбирцев гробокрадов, кочанников, про сызранцев ухорезов, про то, как саратовцы собор с молотка продавали, а чилимники (Чилим – водяные орехи, *Tapa natans.*), тухлая ворвань, астраханцы кобылятину вместо белой рыбыцы в Новгород слали. До самой Бирючьей Косы пропели бы, да вот дядя Архип помешал.

И дело говорил он, на пользу речь вел. И в больших городах и на ярманках так у нас повелось, что чуть не на каждом шагу нестерпимо гудят захожие немцы в свои волынки, наигрывают на шарманках итальянцы, бренчат на цимбалах жида, но раздайся громко русская песня – в кутузку певцов.

Смолкли рабочие, нахмурясь кругом озирались, а больше на желтый сыпучий песок куна-

винского берега: не идет ли в самом деле посуленный дядей Архипом архангел. Беда, однако, не грянула. Иные забавы пошли у рабочих. Скучно. Здоровенный, приземистый, но ширь в плечах парень, ровно из перекатного железа скроенный, Яшка Моргун, первый возвеселил братию, первый нову забаву придумал. Опрокинул порожнюю из-под сельдей кадку, сел из нее и крепко обвил ногами. Вызывает охотников треснуть его кулаком во всю ширь аль наотмашь, как кому сподручнее: свалится с кадки, платит семитку (Двухкопеечная медная монета.), усидит – семитка ему; свалится вместе с кадушкой, ног с нее не спуская – ни в чью. Сыскались охотники, восемь раз Моргун не свалился, два раза кадка свалилась под ним, и повалился он плашмя, не выпустив кадки из ног. Четвертак без малого у Яшки в кармане, за косушкой послал.

– Хочешь, ребята, стану орехи лбом колотить? – так после подвигов Яшки голосом зычным на всю артель крикнул рябой, краснощекий, поджаристый, но крепко сколоченный Спирька, Бешеным Горлом его прозывали на всех караванах первый силач. – Не простые орехи грецкие стану сшибать. Что расшибу, то мое, а который не разобью, за тот получаю по плюхе – хошь ладонью, хошь всем кулаком.

С шумом, с криком, со смехом артель приняла вызов Спирьки. Софронку к бабенке перекупке на берег послали, два фунта грецких орехов Софронка принес; шесть оплеух, все кулаком, Бешену Горлу достались, остальными орехами Спирька вдоволь наладомился.

Кузьма Ядреный, родом алатырец, сильный, мощный крепыш, слова не молвя, на палубу ринулся навзничь. Звонко затылком хватился о смоленые гладкие доски. Лежа на спине, он так похвлялся:

– Катай поленом по брюху, по грошу за раз. Весело захохотали рабочие и, нахватав поленьев, принялись за работу. Дядя Архип стал было их останавливать: что-де, вы, лешие, убийства, что ли хотите?

– Дурень ты, дядя, – крикнул Кузьма Ядреный ему на ответ. – Спина, что ли, брюхо-то?.. Кости в нем, что ли?.. Духу наберусь, вспучу живот – что твой пузырь. Катай, ребяташки, не слушай его!..

И катали ребята. На целу косушку выиграл Кузька Ядреный и встал как ни в чем не бывало.

И долго еще, пока не стемнело, так забавлялся, так потешался рабочий народ. Не хитры за теи, дики забавы, да что же делать, когда нет иных налицо. Надо же душу чем-нибудь отвести...

Поздно, к самой полночи, воротился на баржи приказчик. Безмолвной, тяжело вздыхающей толпой бурлаки его обступили. Двигаясь важно к казенке, отрывисто молвил Василий Фадеев:

– Милости ждите. Завтра расчет. И в ночной тиши раздались радостные клики по всему смолокуровскому каравану.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Себя не помня, на легкой косной стрелою летел разъяренный Марко Данилыч. К устью Оки путь его был. Там на песчаной низменной стрелке (Стрелка (в старину «стрелица») – острая, долгая коса у слияния двух рек.), середь балаганов и горами наваленных громоздких товаров, стоял деревянным, невзрачным, в дикую краску окрашенный домик с белыми пристенными столбами и с широким крыльцом на набережную. Возле домика стоял высокий шест, на верхушке его веял флаг, белый с зелеными полосами, нашитыми крестом с угла на угол. В том домике хозяева судов и кладчики предъявляли накладные и паспорта, платили судоходные пошлины и разделялись по иным статьям. Тут же чинились суд и расправа... Вздерут, бывало, забулдыжного буян-бурлака, как сидорову козу, да ему же велят грош-другой на розги пожертвовать, потому что место казенное, розги дело покупное, а на них из казны сумм не полагается.

На грязном донельзя крыльце молча сидел одетый в белый холщовый китель молодой солдат из евреев. Штопал израилев сын рваный суконный мундир с зеленой выпушкой. Вкруг крыльца на сыпучем песке, переминаясь с ноги на ногу, жарясь под лучами полуденного солнца и тихонько ругаясь крепкой русскою бранью, толпился серый народ, поджидая «водяного». Были тут судовщики, были кладчики, были приказчики, лоцмана, водоливы и многое множество простого рабочего люда. Тщетно, однако, все ожидали, – тем утром чайники, отпав благодарный молебен Мака-

рию за исправный приход баржей с кяхтинским чаем, собрались на радостях у Никиты (Лучший у Макарья ресторан.) и завтраком кормили у него «начальство». Смотрителю судоходства, стало быть, не до просителей. Нет его в «канцелярии», а на нет и суда нет...

Краем уха не слушая юркого, торопливого еврейчика, с жаром уверявшего, что «его благородия гасшпадина капитана нема», Марко Данилыч степенно прошел в канцелярию, где до десятка мрачных, с жадными взорами, вольнонаемных писцов перебирали бумаги, стучали на счетах и что-то записывали в просаленные насквозь толстые книги. Никто не хотел сказать ему, где «водяной» и скоро ли он воротится. Ровно все оглохли и с досадой отмахивались рукою – отвяжись, мол, не до тебя. Двугривенный развязал язык одному писцу, узнал от него Марко Данилыч, что лучше побывать вечерком, потому что капитан с праздника раньше шести часов не воротится, да и то будет «устамши». Досадно, да нечего делать: иди с чем пришел. В чайные другого двугривенного, а глядя по делу и целого рублевика, проглаголавший писарь вскочил поспешно со стула, отвел Марка Данилыча в сторону и, раболепно нагнувшись к плечу его, вполголоса стал уговаривать, чтоб он рассказал свою надобность, уверяя, что и без капитана он всякое дело может обделать. Не таково было дельце Марка Данилыча, чтоб говорить о нем с писарями. Слова не молвив в ответ, важно он повернулся и вышел. Сморщился писарь, злобно взглянул на купчину и, сплюнув в сторону, отер рукавом нанкового сюртука пот, от духоты выступавший на сизо-красном лице его. Потом, поглядев в окно, не воротится ли проситель, сел с досадой на место, крякнул сердито и снова принялся за бумажную работу.

Слова домашним не молвил Марко Данилыч о том, что случилось с ним в караване. Тепел, любезен бывал он во всякое время к дочке любимой, но теперь встретил угрюмо ее... На ласки Дуни, на приветы ее отмалчивался, только что гладил жесткой рукой по нежной головке да только раз холодно поцеловал белоснежное чело ненаглядной своей красавицы... Зло разбирало его. Кипела душа, туманила ум, только и думы – как бы покрепче, как бы покруче расправиться с бунтовщиками... Всем доставалось – клял и ругал в уме своем Марко Данилыч бурлаков, клял и ругал водяного за то, что уехал на завтрак, чайников клял-проклинал, что вздумали в самый тот день завтраком задобрить начальство, даже Никиту клял и ругал, зачем завтрак сготовил... Всем сестрам по серьгам! А Дуня вьется вокруг отца, увивается.

– Соскучилась я без тебя, тятя. Глаза проглядела. Все смотрела, не едешь ли ты...

Так чистым голубем ворковала красавица Дуня, ласкаясь к отцу... Но только и могла добиться сухого:

– Спасибо, доченька!.. Спасибо.

Сама еще не вполне сознавая неправду, Дуня сказала, что без отца на нее скука напала. Напала та скука с иной стороны. Много думала Дуня о запоздавшем к обеду отце, часто взглядывала в окошко, но на память ее приходил не родитель, а совсем чужой человек – Петр Степаныч. Безотвязно представлял он в ее воспоминаниях...

Светлый образ красивого купчика в ярком, блестящем, радужном свете она созерцала...

Обед прошел в строгом молчанье, не было веселой застольной беседы. Мерны в ухе сурские стерляди, не Марку Данилычу мстится (Мститься – мерещиться, казаться, чудиться... Северовосточное слово.), будто навар в ней не вкусен... Сочна и жирна осетрина, но не приглядна ему; вкусны картофельные оладьи с подливой из свежих грибов, но вспало на ум Марку Данилычу, что повар разбойник нарочно злодейскую шутку с ними сшутил, в великие дни госпожинок на скромном масле оладьи изжарил. Досадливо ни за что, ни про что ворчал Смолокуров на угодливого полового, но голоса не возвышал – у дочери на глазах никогда не давал он воли гневным порывам своим.

Лишь тогда, как на смену плотного обеда был принесен полведерный самовар и Марко Данилыч с наслаждением хлебнул душистого лянсину, мысли его прояснились, думы в порядок пришли. Лицо просияло. Весело зачал он с дочерью шутки шутить; повеселела и Дуня.

Лицо ее новым отцу показалось. Глаза ни с того ни с сего вспыхивали дрожащим блеском, а томная, будто усталая улыбка с румяных пухленьких губ не сходила. Полсамовара покончили, когда вошел Самоквасов. Радостно вспыхнула Дуня, взглянув на него, и тотчас опустила заискрившиеся глазки... Тщетно силилась она скрыть свою радость, напрасно хотела затуманить ясные

взоры, подавить улыбку светлого счастья... Нет, не могла. Замялась с минуту и, тихо с места поднявшись, пошла в свою комнату... «Ровно ангел господень с даром небесным прошел», – так подумалось Петру Степановичу, когда глядел он вслед уходящей красавицы.

Помолчав немножко и оправившись от минутного смущенья, бойко, развязно молвил он Марку Данилычу:

– А я к вам с известьем. Сейчас пили чай вместе с Зиновьем Алексеичем. К вам собирается с Татьяной Андревной и с дочками.

– Милости просим. Рады гостям дорогим, – радушно ответил Марко Данилыч. – Дарья Сергевна, велите-ка свеженький самоварчик собрать да хорошенького чайку заварите... Лянсин фу-чу-фу! Понимаете? Распервейший чтобы был сорт, по восьми рублей фунт! А вы садитесь-ка, Петр Степаныч, погостите у нас.

Дарья Сергевна вышла Дуню принарядить и по хозяйству распорядиться. Самоквасов остался вдвоем с Марком Данилычем.

Чтобы угодить ему, Петр Степаныч завел любимый его разговор про рыбную часть, но тем напомнил ему про бунт в караване... Подавляя злобу в душе, угрюмо нахмутив чело, о том помышлял теперь Марко Данилыч, что вот часа через два надо будет ехать к водяному, суда да расправы искать. И оттого не совсем охотно отвечал он Самоквасову, спросившему: есть ли на рыбу покупатели?

– Какие тут покупатели! – промолвил он.

– Давеча встретился я с одним знакомым, он сказывал, будто бы на орошинском караване дела зачинаются, – молвил Петр Степаныч.

– То Орошин, а то мы! – нехотя промолвил Марко Данилыч. – Всяк по своему расчету ведет дела. Орошину, значит, расчет, а нам его нет.

И вдруг замолк. Крепко стиснув зубы, пальцами стал по столу барабанить, – бурлаки у него из головы не шли. Минуты две длилось молчанье. Не по себе стало, наконец, Петру Степановичу, не может он придумать, что случилось с Марком Данилычем; всегда с ним был он ласков и разговорчив, а тут ровно что на него накатило. Не осерчал ли, что частенько ходить к нему повадился? – думает Самоквасов. И, взглянув на диван, увидел на нем шелковый голубенький платочек... Вздрыгнул весь – будь он один в комнате, так бы и расцеловал его... «Не приметил ли разве чего Марко Данилыч? – продолжал он думать про себя. – Эти отцы ух какие зоркие – насквозь тебя видят... Что же?.. Разве дурное на мыслях держу?.. И она ровно бы сердитая, только вошел я – тотчас из горницы вон». И грустно и досадно стало Петру Степановичу, а на что досадно, сам того не знает.

– Вечерком опять на ярманку? – робко спросил он смолкшего Марка Данилыча.

– Еще не знаю, – мрачно отвечал ему Смолокуров. – Гости к нам будут, да еще мне съездить надо кое-куда... Ненадолго, а надобно съездить... Хотелось бы повеселить мою баловницу, – прибавил Марко Данилыч после короткого молчанья, – да не знай, удосужусь ли.

– Всем бы вместе ехать, – молвил Самоквасов, робко взглянув на угрюмого Марка Данилыча. – Дорониным и вам бы с семейством. Ежели угодно, я бы и коляски достал... У меня тут извозчики есть знакомые, а без знакомых трудно здесь хорошую коляску достать...

– На всякий случай похлопочите, – небрежно выронил слово Марко Данилыч.

– Трех четырехместных будет достаточно? – быстро спросил Петр Степаныч на радостях от ласкового взгляда Смолокурова.

– За глаза, – отвечал тот. – В самом деле, вместе-то ехать будет охотнее... Да вот не знай сам-от, удосужусь ли.

И снова подумалось Петру Степановичу, что Марко Данилыч осерчал на него... И оттого словно черная хмара разлилась по лицу его... В это самое время вошли Доронины.

– Друг любезный!.. Марко Данилыч!.. – весело и громко здоровался Зиновий Алексеич и, приняв друга в широкие объятия, трижды поликовался с ним со щеки на щеку.

– Здравствуй, Зиновий Алексеич!.. Вот где господь привел свидеться! – радостным голосом говорил Марко Данилыч. – Татьяна Андревна, здравствуйте, сударыня! Давненько с вами не видались... Барышни, Лизавета Зиновьевна, Наталья Зиновьевна!.. Выросли-то как!.. Господи!.. Да какие стали раскрасавицы!.. Дуня, а Дуня! Подь скорее, примай подружек, привечай барышен-то...

Дарья Сергевна, пожалуйста-ка сюда, матушка!

Показалась в дверях Дуня и зарделась, как маков цвет. Положив здоровенную ладонь на круглое, пышное плечико дочери, Марко Данилыч подвел ее к Татьяне Андревне, а потом к дочерям ее. И Дарью Сергевну с Татьяной Андревной познакомил.

Перецеловались, как водится. Дарья Сергевна тотчас увела Татьяну Андревну в соседнюю комнату поближе к самоварчику и там разговорилась с ней о том, какво хорошо огурцы уродились и какое-то господь яблокам совершенье пошлет... Затем домовитые хозяйшкы повели нескончаемую беседу про то, с чем лучше капусту рубить, с анисом аль с тмином, сколько надо селитры класть, чтобы солонина казалась пригляднее, каким способом лучше наливки настаивать, варенья варить, соленья готовить.

Дошло дело и до квасу на семи солодах и до того, как надо печь папушники, чтоб были они повсхожее да попышнее, затем перевели речь на поварское дело – тут уж ни конца, ни краю не виделось разговорам хозяйшечкам..

В приемной комнате девицы, усевшись на широком, хоть и не очень мягком диване, отрывисто перебрасывались тихими, скромными речами, а Марко Данилыч сел с приятелем у открытого окна и завел речь про торговые дела у Макарья. Волей-неволей и Петр Степаныч присоседился к ним. Охотней сел бы он в девичий круг, да не повелось того за обычаем у людей старого завета... Зазорно у них молодому да притом еще холостому на людях в разговоры вступать с девицами, ежели с ними из старших кто-нибудь не сидит. Украдкой мечет Самоквасов на Дуню страстные взоры, а сам то и дело оглядывается, не заметил бы отец. И, когда его взоры встречались со взорами Дуни, ярким багрецом рделись свежие ее ланиты и, хмуря слегка белое, ровно кипень, чело, стыдливо глаза она опускала, либо спешила скорее в сторону их отвести.

Не может налюбоваться на Дуню Наташа, меньшая Дорониных дочь, но не может и понять, отчего так она волнуется, отчего беспокойно на месте сидит – нет-нет, да и вспыхнет вся, ровно маков цвет раскраснеется... Чиста, непорочна Наташа была, сердечных тревог еще не извела – ее пора еще не пришла. Но Лизавета Зиновьевна, что постарше своей сестрицы была и много поопытнее, кое-что сразу заметила, – не скрылось от взоров ее ничего. С теплым, добрым участием смотрела она то на таявшего в безмолвье Самоквасова, то на рдевшую от его взглядов Авдотью Марковну. Тихая, ясная, хоть и грустная несколько улыбка скользила по пурпурным устам старшей Дорониной. «Так вот отчего он целое утро у нас про нее одну говорил». Так думала Лизавета Зиновьевна, глядя на Дуню кроткими своими очами.

– А что, Марко Данилыч? Как у вас, примерно сказать, будет насчет тюленьего жиру? – спрашивал между тем Зиновий Алексеич у приятеля, принимая поднесенный ему стакан редкостного лянсина фу-чу-фу.

– А тебе что? – усмехнулся Марко Данилыч. – Закупать не хочешь ли?.. Не советую – дело по нынешним временам бросовое.

– Стану я на новы дела метаться!.. – степенно вскрикнул Доронин. – И заведенными остаемся, славе богу, довольны.

– Так что ж тебе за дело до тюленя? – пристально посмотрев на приятеля, спросил Марко Данилыч.

– Человек у меня есть. Для него спрашиваю, – ответил Доронин, смотря на что-то в окошко.

– Что за человек такой? – прищуря глаза, спросил Смолокуров.

– Человек хороший, – молвил Зиновий Алексеич. – На Низу у него много-много-таки этого тюленьего жиру. И рыбий есть – топил из бешенки... Да делишки-то у него маленько теперь позамялись – до сей поры не весь еще товар на баржи погружен. Разве, разве к рождеству богородицы прибудет сюда.

Не очень бы, казалось, занятен был девицам разговор про тюлений жир, но две из них смутились: Дуня оттого, что нечаянно взглядами с Самоквасовым встретила, Лизавета Зиновьевна – кто ее знает с чего. Сидела она, наклонившись над прошивками Дуниной работы, и вдруг во весь стан выпрямилась. Широко раскрытыми голубыми глазами с незаметной для других мольбой посмотрела она на отца.

– Не след бы мне про тюлений-от жир тебе рассказывать, – сказал Марко Данилыч, – у само-

го этого треклятого товару целая баржа на Гребновской стоит. Да уж так и быть, ради милого дружка и сережка из ушка. Желаете знать напрямик, по правде, то есть по чистой совести?.. Так вот что скажу: от тюленя, чтоб ему дохнуть! прибыли не прытки. Самое распоследнее дело... Плюнуть на него не стоит – вот оно что.

Лизавета Зиновьевна вдруг схватила из рук сестры зонтик и стала то открывать, то закрывать его.

Чуть-чуть покачал головой Зиновий Алексеич и крикнув с досады, крикнул жене в соседнюю комнату:

– Татьяна Андревна! А Татьяна Андревна! Подь-ка сюда на словечко.

Медленно встала со стула Татьяна Андревна, к дверям подошла, стала в них и пытливыми глазами посмотрела на мужа.

– Слышь, что Марк-от Данилыч сказал? – молвил Доронин. – Тюлень-от, слышь, плевка ноне не стоит... Вот оно что!..

На миг, на один только миг, сверкнули искры в очах Татьяны Андревны и дрогнули губы. Пригорюнилась она и тихим, чуть слышным голосом покорно промолвила:

– Власть господня! -

И затем тихою поступью пошла к Дарье Сергевне, остановившейся на какой-то кулебяке с рыбой и гречневой кашей. Закусив нижнюю губку, чуть удерживая слезы, Лизавета Зиновьевна за матерью пошла.

– Да, – продолжал Смолокуров, – этот тюлень теперича самое последнее дело. Не рад, что и польстился на такую дрянь – всего только третий год стал им займаться... Смолоду у меня не лежало сердце к этому промыслу. Знаешь ведь, что от этого от самого тюленя брательнику моему, царство ему небесное, кончина приключилась: в море потоп...

В соседней горнице стук послышался. Чайную чашку выронила из рук Дарья Сергевна, и та разбилась вдребзги.

– Колотите больше, – усмехнулся Марко Данилыч. – Это, говорят, на счастье. Ни слова не ответила Дарья Сергевна.

– Уж как мне противен был этот тюлень, – продолжал свое Смолокуров. Говорить даже про него не люблю, а вот поди ж ты тут – пустился на него... Орошин, дуй его горой, соблазнил... Смутил, пес... И вот теперь по его милости совсем я завязался. Не поверишь, Зиновий Алексеич, как не рад я тюленьему промыслу, пропадай оно совсем!.. Убытки одни... Рыба – дело иное: к Успеневу дню расторгнемся, надо думать, а с тюленем до самой последней поры придется руки сложивши сидеть. И то половины с рук не сойдет.

– Отчего ж это так? – спросил Зиновий Алексеич.

– Новый тариф!.. – с досадой ответил Марко Данилыч.

– Какое ж в новом тарифе может быть касательство до тюленьего жира? Не из чужих краев его везут; свое добро, российское.

– Свое-то свое, да ведь не с кашей его есть, – молвил Марко Данилыч. На ситцевы фабрики жир-от идет, в краску, а с этим тарифом, – чтоб тем, кто писал его, ни дна, ни покрышки, – того и гляди, что наполовину фабрик закроется. К тому ж ноне и хлопку что-то мало в Петербург привезли, а это тюленьему жиру тоже большая вреда... Потому, куда ж его денешь, как не на ситцевы фабрики? На мыло думаешь?.. Так немца какого-то, пес его знает, бес угораздил какую-то кислоту олеинову выдумать... От стеариновых свечей остается; на выброс бы ее следовало, а немцы, бесовы дети, мыло стали из нее варить. А допрежь тюлений жир на мыло много требовался. От эвтих от самых причин в нонешнем году его и подкузьмило. Того и гляди, весь на руках останется... Понял? В коммерции-то ведь каждая вещь одна за другую цепляется, одна другой держится. Все едино, что часы, – попорть одно колесико, все станут.

– Да, поди-ка вот тут! – думчиво молвил Доронин.

– Во всем так, друг любезный, Зиновий Алексеич, во всем, до чего ни коснись, – продолжал Смолокуров. – Вечор под Главным домом повстречался я с купцом из Сундучного ряда. Здешний торговец, недалний, от Старого Макарья. Что, спрашиваю, как ваши промысла? «Какие, говорит, наши промысла, убыток один, дело хоть брось». Как так? – спрашиваю. «Да вот, говорит, в Китае

не то война, не то бунт поднялся, шут их знает, а нашему брату – хоть голову в петлю клади».

– Какое же касательство может быть Китаю до сундучников? – с удивлением и почти с недоверьем, спросил Зиновий Алексеич. – Пушай бы их там себе воевали на здоровье, нам-то какое тут дело?

– То-то вот и есть... – молвил Смолокуров. – Вот оно что означает коммерция-то. Сундуки-то к киргизам идут и дальше за ихние степи, к тем народам, что китайцу подвластны. Как пошла у них там завороха, сундуков-то им и не надо. От войны, известно дело, одно разоренье, в сундуки-то чего тогда станешь класть?.. Вот поди и распутывай дела, в Китае дерутся, а у Старого Макарья «караул» кричат. Вот оно что такое коммерция означает!

– Значит, плохо будет тюленю? – маленько помолчав, еще раз спросил Зиновий Алексеич.

– Плохо, – отозвался Марко Данилыч. – Хоть бы господь привел бы на двадцать на четыре месяца, и то бы слава богу...

Сморщился Доронин и смолк. Кинул он мимолетный взгляд на вышедшую от Дарьи Сергевны дочь, и заботливое беспокойство отразилось в глазах его. Не подходя к дивану, где сидели Дуня с Наташей, Лизавета Зиновьевна подошла к раскрытому окну и, глаз не сводя, стала смотреть на волжские струи и темно-синюю даль заволжских лесов...

– А много ль жиру-то у твоего знакомца? – немного помолчав, спросил у Доронина Марко Данилыч.

– Баржи на три... Почти весь капитал усадил, – ответил Доронин.

– Плохо, – молвил Марко Данилыч. – Здорово не выдерется... Да кто таков? Я промышленников всех знаю, и рыбных и тюленьих.

– Маркелов Никита Федорыч, саратовский, – ответил Доронин.

– Молоденький-от? Что в кургузом-то сюртучишке стал щеголять? Ровно собаки у него полы-то обгрызли? – отозвался Марко Данилыч. – Дрянцо! Ветрогон! С ног до головы никуда не годится! К тому же и в вере не крепок – повелся с колонистами, с нехристью дружбу завел, богоборную их веру похвалает... Не больно знаю его, да и знать не имею желания... Родителя его, Федора Меркулыча, знал достаточно, иной год соседями по ватагам бывали, в Юсуповских водах (Юсуповские воды находятся в Поморье, от Синего Морца к северу. Они обыкновенно сдаются на откуп участками.) участки рядом снимали. Обстоятельный был человек, благочестивый, к истинной, старой, значит, вере большую ревность имел. И деды были таковы же и прадеды. Со дней Никонова гоненья до дня блаженной кончины Федора Меркулыча у них в доме канонницы на один час не переводились, негасимую по усопшим читали, божественные службы правили. И священство древлего благочестия у Меркуловых в доме завсегда пребывало. Преисполнен был дом благочестия, а вот какому блудному сыну достался он! Да еще блудному нераскаянному! Чем бы святые, древлеписанные иконы собирать, смехотворные картины да языческих богов изображения скупает! Чем бы хорошие книги покупать, он – скоморошные, нечестивые, богоотметные!.. Совсем пропащий человек!

Быстро откинулась от окна Лизавета Зиновьевна. Лицо ее пылало, ярим блеском глаза загорелись. Гневно окинув очами Марка Данилыча, строго, спокойно, молча прошла она к Дарье Сергевне.

– Да, Федор Меркулыч человек был мудрый и благочестивый, – продолжал Смолокуров. – Оттого и тюленем не займывался, oprичь рыбы никогда ничего не лавливал. И бешенку на жир не топил, «грешно, говорил, таку погань в народ пускать, для того что вкушать ее не показано...» Сынок-от не в батюшку пошел. В тюленя весь капитал засадить... Умно, неча сказать... Променял шило на свайку... Нет, дружище, ежели и вперед он так пойдет, так, едучи в лодке, пуще, чем в бане, угорит.

– А как по-твоему? Можно поправить его дела? – спросил Зиновий Алексеич.

– Умненько надо вперед поступать, тем только и можно их поправить, ответил Марко Данилыч. – Завсегда так надо делать, чтобы каждого сорта товар хоть по сколько-нибудь, хоть по самой малости налицо был. На одном принял убыток, на другом вернешь его... Понял?.. А он ни с того ни с сего весь капитал ухнул в тюленя!.. Ну, не дурова ли голова?.. Сядет теперь малый на бобах, беспрерменно сядет... А капитал-от у родителя был изрядный, тысяч ста полтора, надо полагать.

Много ль сыновей-то после Федора Меркулыча осталось?

– Один всего только и есть, – ответил Доронин. – Сестра еще была, да та еще при жизни родителя выделена. Матери нет... Так ему проторговаться, говоришь?

– Не миновать, – молвил Марко Данилыч. – Говорю тебе: нет на тюленя покупателей и вперед не предвидится. Пуще прежнего накупился Зиновий Алексеич.

– Неужто ж дело его совсем непоправное? – после долгого молчанья спросил Доронин.

– Как тебе сказать?.. – молвил Марко Данилыч. – Бывает, и курица петухом поет, бывает, и свинья кашлит... Может, чудом каким и найдет покупателей... Только навряд... Да у тебя векселя, что ли, на него есть?

– Какие векселя! – отозвался Зиновий Алексеич.

– Так что ж тебе сухотиться?.. Сам кашу заварил, сам и расхлебывай, сказал Смолокуров.

– Парня-то было жаль. Парень-от хорош больно, – с сердечным участием промолвил Доронин.

– Какое хорош! – с досадой сказал Марко Данилыч. – Как есть шалыган, повеса... С еретиками съякшался, с колонистами!..

– С покойным его родителем мы больше тридцати годов хлеб-соль важивали, в приятельстве были... – продолжал Зиновий Алексеич. – На моих глазах Никитушка и вырос. Жалко тоже!... А уж добрый какой да разумный.

– Разумный! – насмешливо возразил Марко Данилыч. – Где ж у него ты разум-от нашел? В том нешто, что весь капитал в тюленя усадил?

– Это уж его несчастье. Со всяким такое может случиться, – продолжал Зиновий Алексеич защищать Меркулова. – А что умен он, так умен, это уж кого хочешь спроси – на весь Саратов пошлюсь.

– Умен, да не догадлив, – усмехнулся Марко Данилыч. – А ум без догады – шут ли в нем? И по Волге плывешь, так без догады-то как раз в заманиху (Заманиха – глухое русло, ложный фарватер, глубина, замкнутая с трех сторон невидимыми подводными отмелями.) попадешь. А не хватило у самого догады (То же, что и догадка. Употребляется в нагорном Поволжье, в Пензенской и Тамбовской губерниях.), старых бы людей спросил... Посоветовался бы с кем... Так нет – мы-де, молодые, смыслим больше стариков, им-де нас не учить. А на поверку и вышло, что Никитушка, ровно молодой журавль, – взлетел высоко, а сел низенько. А все нечестие! Все оттого, что в вере повихнулся, с нехристью повязался... Безбожных, нечестивых колонистов, в истинного бога не верующих, похваляет!.. А! чего еще тебе?.. Теперь при его несчастье кто из нашего благочестия руку помощи ему протянет? Кто из беды выручит? А нечестивцы себе на уме, им бы только барыш взять, а упавшего поднять – не их дело!.. Да... Ну что бы ему с кем из нашего брата посоветоваться? Добрым словом не оставили бы... То-то и есть: молодые-то люди, что новы горшки, то и дело бьются, а наш-от старый горшок, хоть берестой повит, да три века живет. Молоды опенки, да черви в них, а стар дуб, да корень свеж... А вы, сударь Петр Степаныч, к стариковским-то речам поприслушайтесь, да, ежели вздумаете что затевать, с бывалыми людьми посоветуйтесь – не пришлось бы после плакать, как вот теперь Меркулову...

– Сами знаете, Марко Данилыч, что не падок я на новости. Дело, дедами насиженное, и то дай бог вести, – молвил Самоквасов.

– Ну, рыбну-то часть я бы вам советовал, – возразил Марко Данилыч. Очень бы даже не мешало ее испробовать... У вас же нашлись бы люди, что на первях помогли бы советом... Вы ведь не Меркулов, шалопайства за вами, кажись, не видится, опять же и в благочестии не шатаетесь... Оттого, что бы там по вашим делам ни случилось, ото всех наших во всякое время скорая вам будет помощь... В каку ямину ни попадете – на руках, батюшка, вытащим, потому что от старой веры не отшатываетесь. Будьте в том уповательны – только по греховным стопам не ходите... Только это одно.

– Нет, уж от рыбного-то дела увольте, Марко Данилыч, – весело смеясь, сказал Петр Самоквасов. – Гривна в кармане дороже рубля за морем.

– Молод телом, а старенек, видно, делом, – кивнув на Петра Степаныча, заметил Зиновий Алексеич, напрасно стараясь вызвать улыбку на затуманившемся лице своем.

– Что ж? За это хвалю, – молвил Марко Данилыч, – но все-таки, – прибавил, обращаясь к Самоквасову, – по рыбной-то части попробовать бы вам. Рыба не тюлень... На ней завсегда барыши...

– Нет уж, Марко Данилыч, какие б миллионы на рыбе ни нажить, а все-таки я буду не согласен, – с беззаботной улыбкой ответил Самоквасов.

– Напрасно, – слегка хмурясь, сказал Марко Данилыч и свел разговор на другое.

– А что, Зиновий Алексеич, возил ли хозяйшку с дочками на ярманку? – спросил он у Доронина.

– Показал маленько, – отозвался Зиновий Алексеич. – Всю, почитай, объехали: на Сибирской (Сибирская пристань на Волге, где, между прочим, разгружаются чаи.) были, Пароходную смотрели, под Главным домом раз пяток гуляли, музыку там слушали, по бульвару и по Модной линии хаживали. Показывал им и церкви иноверные, собор, армянскую, в мечеть не попали, женский пол, видишь, туда не пускают, да и смотреть-то нечего там, одни голы стены... В городе – на Откосе гуляли, с Гребешка на ярманку смотрели, по Волге катались.

– Ишь как разгулялись! – молвил Марко Данилыч. – А в театрах?

– Нет еще, а грешным делом собираюсь, – отвечал Доронин. – Стоящие люди заверяют, что, хоша там и бесу служат, а бесчиния нет, и девицам, слышь, быть там не зазорно... Думаю повеселить дочек-то, свожу когда-нибудь... Поедем-ка вместе, Марко Данилыч!

– Со всяким моим удовольствием, – отвечал Смолокуров. – Ты без нас уж не езд. Не пове-ришь, сколь я рад, видевшись с тобой да с Татьяной Андревной... Видишь ли, у меня Дарья Сергевна, покойника брата Мокея невеста – по хозяйству золото, а по эвтой части совсем никуда не годится... Смиреница, постница, богомольница, что твоя инокиня... Ни за что на свете не поедет она не токма в театр, а хоша б и под Главный дом... А без старшей из женского полу как девицу в люди везти?... А с Татьяной-то Андревной оно и можно... Ты уж сделай милость, Зиновий Алексеич, с сей минуты от нас ни на пядь... По старой дружбе не откажи, пожалуйста.

– Радехонек, Марко Данилыч, – отвечал Доронин. – И девицам-то вместе поваднее будет.

– Главное, на людях-то было бы пристойно да обычливо, – поддакнул Марко Данилыч. – Вот и Петра Степаныча прихватим, – с улыбкой прибавил он.

Быстро с места вскочил Самоквасов и с сияющими глазами стал благодарить и Марка Данилыча и Зиновья Алексеича, что не забыли его.

Решили на другой же день в театр ехать. Петр Степаныч взялся и билеты достать.

– Вот и согрешим, – с довольством потирая руки и ходя по комнате, говорил Марко Данилыч. – Наше от нас не уйдет; а воротимся домой, как-нибудь от этих грехов отмолимся. Не то кер-женским старицам закажем молиться. Здесь же недалече... Там, брат, на этот счет ух какие масте-рицы!.. Первый сорт!..

– По-моему, и грех-от не больно велик, – отозвался Зиновий Алексеич. Опять же ярманка!

– Конечно, – согласился Марко Данилыч. – А потом выберем денек, да к ловцам рыбу ловить. Косных у меня вдоволь... Вверх по Оке махнем, не то на Волгу покатым... Уху на бережку сварганим, похлебаем на прохладе!.. Так али нет, Зиновий Алексеич? – прибавил он, хлопнув по плечу друга-приятеля.

– Идет, – весело ответил Зиновий Алексеич. – Песенников не прихватить ли?

– Можно и песенников, – согласился Смолокуров. – У Петра Степаныча ноги молодые да прыткие, а делов на ярманке нет никаких. Он нам и смастерит. Так али нет, Петр Степаныч?

Самоквасов с радостью согласился. Об одном только просил – не мешали бы ему и ни в чем не спорили. Согласились на то Смолокуров с Дорониным.

Вплоть до сумерек просидели гости у Марка Данилыча. Не удосужилось ему съездить к водяному. «Делать нечего, подумал, завтра пораньше поеду».

Только что вышли гости, показался в передней Василий Фадеев. Разрядился он в длиннопо-лую сибирку тонкого синего сукна, с мелкими борами назади, на шею повязал красный шелковый платок с голубыми разводами, вздел зеленые замшевые перчатки, в одной руке пуховую шляпу держит, в другой «лепортицу». Ровно гусь, вытянул он из двери длинную шею свою, зорко, но робко поглядывая на хозяина, пока Марко Данилыч не сказал ему:

– Войди!

Фадеев вошел и стал глядеть по углам, отыскивая глазами икону. Увидев, наконец, под самым потолком крохотный, невзрачный образок и положив перед ним три низких поклона, еще пониже, с подобострастной ужимкой поклонился хозяину, затем, согнувши спину в три погибели, подал ему «лепортицу».

– Насчет рабочих давеча по утру приказали сготовить, – сказал он сладеньким и подленьким голосом. – Насчет, значит, ихних заборов.

Молча взял бумагу Марко Данилыч. Быстро просмотрел ее и, вскинув глазами на приказчика, строго спросил:

– Это что у тебя за отметки? Сбежал, сбежал, сбежал.

– Давеча, только что изволили съехать с баржей, они гурьбой-с!..пожимая левым плечом и слегка откинув правую руку, ответил грозному хозяину Фадеев. – Цела половина сбежалась. Шестьдесят человек.

– А пачпорты как же? – спросил Марко Данилыч.

– Слепые были-с, – не разгибая спины, но понизив голос, молвил Василий Фадеев.

– Все шестьдесят?

– Так точно-с, – ответил Фадеев. Заискивающим взором только что побитой собаки робко, умильно взглядывал он на хозяина.

– Гм! – под нос себе промышчал Смолокуров и, потирая губу о губу, продолжал рассматривать «лепортицу», чистенько переписанную, разлинованную, разграфленную – хоть самому губернатору подавай.

– Более четырехсот целковых экономии-с, – хихикнул Василий Фадеев.

– Жаловаться не стали бы, – думчиво молвил Марко Данилыч.

– Как же смеют они жалобиться?.. Помилуйте-с!.. – возразил Василий Фадеев. – Ни у кого никакого вида нет-с... Жалобиться им никак невозможно. В остроге сидеть аль по этапу домой отправляться тоже не охота. Помилуйте! – говорил Фадеев.

– А другие что? – спросил Марко Данилыч.

– Смирились-с. На всю вашу волю полагаются. Очень просят вашу милость, простили б их супротивленье, – умиленным голосом и с покорным видом наклонясь, говорил Василий Фадеев.

– А тот сызранский-от? Из Елшанки, Сидор Аверьянов? – спросил Марко Данилыч.

– Сбежал-с, – тряхнув головой и погладив прилизанные виски, быстро ответил Фадеев и, ровно в чем провинился, уставился на хозяина широкими глазами.

– Без вида был?

– Как есть-с... Замолчал Смолокуров.

– Самый буянственный человек, – на все стороны оглядываясь, говорил Василий Фадеев. – От него вся беда вышла... Он, осмелюсь доложить вашей милости, Марко Данилыч, на все художества завсегда первым заводчиком был. Чуть что не по нем, тотчас всю артель взбудоражит. Вот и теперь – только что отплыли вы, еще в виду косная-то ваша была, Сидорка, не говоря ни слова, котомку на плечи да на берег. За ним все слепые валом так и повалили.

– Впрямь сызранский он? – спросил Марко Данилыч.

– Навряд-с... – тряхнув головой, ответил Фадеев. – По речам надо быть ему ярославцем... Из служивых, должно быть, солдатик горемычный... беглый... попросту сказать.

– То-то, солдатик. А ты будь пооглядчивей да поопасливей...внушительно сказал приказчику Марко Данилыч. – Не ровен час – могут неприятности последовать. Больно-то много слепых не набирай.

– Вашей же милости сходнее, Марко Данилыч, – пожав плечами, с плутовской ужимкой, ответил Василий Фадеев. – Слепые-то супротив зрячих много дешевле. Опять же слепенького, когда понадобится, и укротить сподручнее; жалобиться не пойдет, значит, из него хоть веревку вей... Вот хоша бы сегодняшна ваторга (Ваторга – шум, буйство, драка.) – будь они с пачпортами-то, всей бы оравой сейчас к водяному, а не то и к самому губернатору. Судьбище пошло бы, вам неприятности от начальства, а теперича и жалобщиков нет, и без малого пятьсот целковых в экономии.

– Так-то оно так, а все-таки промеж дверей пальца не тычь, – сказал Марко Данилыч. – Нынче, брат, не прежнее время... Строгости!..

– Известно, по нынешним годам много строже пошло, – встряхнув волосами, молвил приказчик. – Однакож никто как господь... Бог милостив.

Марко Данилыч отвернулся от Фадеева, молча прошел к окну и стал разглядывать улицу. После короткого молчанья Фадеев, неслышно шаг за шагом ступая вперед и вытянув шею погусиному, спросил вполголоса Марка Данилыча:

– Насчет остальных какое будет от вашей милости приказание? Ни слова не ответил Марко Данилыч.

– Дрожмя дрожат-с, до конца сробели... Милости просят, – немножко помолчав, опять стал кланяться у хозяина Василий Фадеев.

– А те?... Дядя-то с племянником, что в первых были? – спросил Смолокуров, продолжая глядеть в окошко.

– Не они были зачинщиками, Марко Данилыч, – проворно отвечал Фадеев. Все дело голова Сидорка. Он всю ваторгу затеял; он всех подбил, а Карпушка с племянником люди тихие, смиренные... Им бы и в голову не могло прийти, чтоб супротив хозяина буйство поднять... Карпушка-то придурковат маленько; Сидорка ему и пригрозил: не полезешь, дескать, вперед, в воду тебя кину... Он сдуру-то и поверь, да по глупости своей и полез. Ежели б не Сидорка, Карп словечка не молвил бы, потому человек он не смелый... А Софронка, племянник-от его, и вовсе рта не разевал. Мальчишка еще глупый – куда ему?... Просто разиня рот возле дяди стоял.

– Кто ж, oprичь Сидорки, больше всех бунтовал? – спросил Марко Данилыч, все еще не повертываясь к приказчику.

– У меня они все переписаны, – быстро сказал Василий Фадеев и, вынув из кармана записочку, стал читать по ней: – Лукьян Носачев, Пахомка Заплавной, Федька Квасник, Калина Затиркин да Евлашка Кособрюхов... Только их теперь донять невозможно.

– Отчего? – повернувшись к Фадееву, спросил Смолокуров.

– Сбежали-с. Тоже из слепеньких были, – проворно перебирая пальцами, с плутовской ужимкой молвил приказчик.

Опять к окну повернулся Марко Данилыч, опять на улице начал прохожих считать.

– По правде сказать, как я уж вам и докладывал, одни слепые и озорничали, – после короткого молчанья заискивающим голосом опять заговорил Фадеев. – Останные, кажись бы, стояли смиренхонько... Потому нельзя им буйства заводить – пачпорты. Молчал Смолокуров.

– Опять же и то взять, – опять помолчав, продолжал свое нести Фадеев. Только что приказали вы идти каждому к своему месту, слепые с места не шелохнулись и пуще прежнего зачали буйнить, а которы с видами, те, надеясь от вашего здоровья милости, по первому слову пошли по местам... Самым главнеющим озорникам, Сидорке во-первых, Лукьяну Носачеву, Пахомке Заплавному, они же после в шею наклали. «Из-за вас, говорят, из-за разбойников, нам всем отвечать...» Народ смиренный-с.

И покорно поник головой и глубоко вздохнул Василий Фадеев.

– Много ль народу осталось? – спросил Смолокуров.

– Шестьдесят человек ровнехонько.

– На разделку хватит?

– Должно бы хватить.

– Разочти завтра, – молвил Марко Данилыч.

– Слушаю-с, – ответил приказчик и, прокашлявшись в руку, спросил, глядя в сторону: – За простойные дни как прикажете?

– Черт с ними, отдай! – сказал Смолокуров.

– Слушаю-с, – молвил Василий Фадеев и после короткого молчанья спросил: – Не будет ли еще каких приказаний?

– Никаких, – угрюмо молвил Марко Данилыч. Сбираясь уходить, Фадеев, как водится, стал креститься на угол, на едва видимый образ.

– Постой, погоди, – остановил его Смолокуров. – Завтра явись ко мне за расценочной ведо-

мостью, поутру, часу в девятом, а теперь сейчас на баржи... Смотри, на ярманке не загуляй; отсель прямо на караван... Да чтобы все у меня было тихо. Понял?

– Слушаю-с, – приниженным голосом ответил Фадеев и, бойко положив три поясных поклона перед образом, низко-пренизко поклонился хозяину, промолвивши:

– Засим счастливо оставаться-с. Вышел было за дверь, но Смолокуров его воротил.

– На тюленя как цены? – отрывисто спросил у него.

– Еще не обозначились-с, – быстро мигая, проговорил Фадеев.

– Дурак!.. Не обозначились!.. Без тебя знают, что не обозначились, крикнул на него Марко Данилыч. – Что на эвтом счет говорят по караванам? Вот про что тебя, болвана, спрашивают... Слухи какие ходят ля эвтого предмету?.. На других-то есть караванов?

– Розно толкуют-с, – перебирая пальцами и глядя в сторону, ответил Фадеев. – На орошинских баржах был наемни разговор, что тюленю надо быть рубля на два, а по другим караванам толкуют, что будет два с гривной, даже двух рублей с четвертаком ожидают. Дело закрытое-с...

– Примечай, – мотнув головой, промолвил Марко Данилыч.

– Слушаю-с.

– Чуть что услышишь, тотчас ко мне.

– Слушаю-с.

– С богом! – махнув рукой, сказал Смолокуров.

Сызнова Фадеев помолился на образок, сызнова отвесил низкий поклон хозяину, быстро юркнув за дверь, осторожно притворил ее за собою.

Долго после его ухода Марко Данилыч сидел у окна, долго ногтями тихонько по стеклу барабанил... Сходил в свою спальную комнату, вынес оттуда счета и с полчаса щелкал на них костями. Что-то высчитывал, над чем-то раздумывал, вдруг его ровно ветром с места сорвало... Вскочил и с радостным взором не то что прошелся, а чуть не пробежал раз и другой взад и вперед по комнате. Потом к Дуне прошел, нежно простился с ней и, обещав привезти гостинца с ярманки, торопливо схватил картуз и спешно, чуть не бегом, выбежал вон из гостиницы.

– На ярманку!.. – громко крикнул извозчику, садясь в широкие на лежащих рессорах дрожки, порядочно, впрочем, потертые. Бойкий кузнечевец (В Нижнем большая часть легковых извозчиков из подгородных деревень, преимущественно из Кузнечихи.) быстро тронулся с места. Через несколько минут въехав на мост через Оку, он спросил седока:

– Которо место в ярманке прикажете?

– В трактир пошел!.. В тот, куда рыбны торговцы по вечерам чай ходят пить, – сказал ему Марко Данилыч.

– А в коем же трактире они чай-от пьют?

– Как же ты этого не знаешь!.. Какой же ты после этого извозчик! – с досадой крикнул Смолокуров.

– А как же нашему брату знать, где какое купечество чаи распивает? – спокойно ответил кузнечевец. – Здесь, ваше степенство, трактиров не перечесть. Кто их знает, кто куда ходит.

– А ты поменьше говори да поменьше умничай! – с досадой молвил Марко Данилыч.

– Нисколько мы не умничаем, господин купец, – продолжал нести свое извозчик. – А ежели нашему брату до всех до этих ваших делов доходить вплотную, где то есть каждый из вас чаи распивает аль обедает, так этого нам уж никак невозможно. Наше дело – сказал седок ехать куда, вези и деньги по такции получай. А ежели хозяин добрый, он тебе бесприменно и посверх такции на чаек прибавит. Наше дело все в том только и заключается.

– Говорят тебе: много не разговаривай! – крикнул Марко Данилыч. – Чем лясы-то распускать, лучше бы поспрошал у кого-нибудь, где тот трактир...

– Вот что дело, то дело, – согласился невозмутимый кузнечевец. Пospрошать, это можно. Мост-от переехамши, куда же ворочать-от? Направо аль налево?

– К Гребновской пристани ближе ступай... Там спросим.

Хлестнул извозчик добрую красивую обвенку (Порода небольших, кругленьких, крепких, доброезжих и очень выносливых лошадей. Называются по реке Обве (Пермской губернии), где разведены Петром Великим.), и дробной рысцей побежала она по шоссейной дороге Сундучного

ряда... После долгих расспросов, после многих переездов от одного трактира к другому Марко Данилыч отыскал, наконец, тот, где в этом году рыбные торговцы по вечерам собирались.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Из крупных торговцев, из тузов, что ездят к Макарью, больше половины московских. Оттого на ярманке и порядки все московские. Тех порядков держатся там и сибиряки и уральцы, народ верховый и низовый – словом, все «городовые» (Городовыми как в Москве, так и у Макарья, называются купцы не московские.). Как и в московском городе, все торговые сделки ладятся по трактирам. И хозяева и приказчики из лавки целый день ни ногой, но, только что сморкнется, только что зажгут фонари, валом повалят по трактирам. Огонь в лавках воспрещен, а в палатках над ними, где купцы живут, хоть и дозволяют держать огонь часов до одиннадцати, но самовары запрещены. Правда, на эти запреты никто почти внимания не обращает, в каждой лавке ставят самовары и курят табак безо всякой опаски, однако ж по привычке купцы все-таки каждый вечер расходятся по трактирам чайком побаловаться да, кстати, и дельцо, ежели повернется, обладать.

По вечерам и ярманочные и городские трактиры битком набиты. Чаю выпивают количество непомерное. После, как водится, пойдут в ход закуски, конечно с прибавленьем. В Москве – в Новотроицком, у Лопашева и в других излюбленных купечеством трактирах – можно только чай пить, но закусывать, а пуще того винца рюмочку выпить – сохрани господи и помилуй!.. Зазорное дело!.. У Макарья не то: там и московским и городовым купцам, яко в пути находящимся, по все дни и по вся ночи – разрешения на вся.

На сто восемьдесят миллионов, а годами и больше того товару на Макарьевскую свозится, на сто шестьдесят и больше продается, и все обороты делаются по трактирам. Лет шестьдесят тому, когда ставили ярманку возле Нижнего, строитель ее, ни словечка по-русски не понимавший, а народных обычаев и вовсе не знавший (Генерал Бетанкур.), пожелал, чтоб ярманочные дела на новом месте пошли на ту же статью, на какую они в чужих краях идут. Для того прежде всего позаботился он выстроить огромный дом, наподобие не то амстердамской, не то гамбургской биржи, и назвал тот дом «Главным домом». Двери и окна его разукрасил кадуцеями Меркурия; теперь они уж сняты... В верхнем ярусе Главного дома устроил семь ли восемь обширных зал да еще внизу четыре и в каждой из них приказал быть ежедневно собраниям купцов. Возле зал небольшие комнаты для маклерских дел устроены были. И все убрали, все разукрасили роскошно, одних зеркал больше пятисот поставили в Главном доме... Все бы, кажется, было приспособлено к потребностям торговцев, обо всем подумали, ни о чем не забыли, но, к изумленью строителя, купцы в Главный дом не пошли, а облюбовали себе трактиры, памятуя пословицу, что еще у Старого Макарья на Желтых Песках сложилась: «Съездить к Макарью – два дела сделать: поторговать да покуликать». Поминая Петра Великого, властный чужеземец к строгостям было вздумал прибегнуть: по его веленью чуть не палками купцов в Главный дом загоняли... Не помогло. Так дом и остался пустым. Благо, что лет через десять на городской стороне Оки сгорел деревянный летний дом, где на время ярманки жил губернатор. В пустой, ни на что не нужный Главный дом посадили тогда губернатора – не пропадать же даром казенному месту. Кадуцеи с дверей и с окон сняли, может быть потому, что губернатору торговать не полагается. На всякий случай для биржи оставили одну залу. И до сих пор в ней собираются разные комитеты, но торговых сделок никогда не бывает.

А биржа появилась-таки на ярманке, но сама собой и не там, где было указано. По всякой торговле было удобно сделки в трактирах кончать, но хлебным торговцам это было не с руки. У них – главное дело поставки, им надо бурлаков рядить, с артелями толковать, в трактир их с собой не потащишь. И стали они каждый день толпами сходить на берег, возле моста. По времени хлебные торговцы не только стали тут рабочих нанимать, но и всю торговлю свою туда перевели. Хлебная биржа с каждым годом становилась люднее, густые толпы неповоротливых бурлаков мешали свободному движению людей, обозов и экипажей, и потому у мостовых перил над самой Окой деревянный навес поставили. Стоял тот навес на длинных шестах; в хороший ветер его со всеми людьми могло бы сдунуть в самую глубь реки. Перевели биржу на берег, устроили для нее красивый дом из железа, тут она и уселась. И теперь каждый день в положенные часы собираются

туда кучи народа. Бурлаков уж нет: пароходство убило их промысел, зато явились владельцы пароходов, капитаны, компанейские директоры, из банковых контор доверенные, и стали в железном доме ладиться дела миллионные. А без трактира все-таки не обошлось – бок о бок с железным домом на самом юру, ровно гриб, вырос трех– либо четырехъярусный каменный трактир ермолаевский. На бирже потолкуют, с делом уладятся, а концы сводить пойдут к Ермолаеву. Там за чайком, за водочкой аль за стерляжьей селяночкой и стали дела вершать.

Стоном стоят голоса в многочисленных обширных, ярко освещенных комнатах Рыбного трактира. Сверху из мезонина несутся дикие, визгливые крики цыганок и дрожмя дрожит потолок под дробным топотом беснующихся плясунов. Внизу смазливые немки, с наглыми, вызывающими взорами, поют осиплыми голосами, играют на струнных инструментах, а потом докучливо надоедают, ходят с нотами от столика к столику за подаванием. Не чив степенный торговец до немецких певуний, с досадой отмахивается он от их назойливых требований «на ноты», но голосистые немки не унывают... Не со вчерашнего дня знают они, что, стоит только купечкой молодежи раскуражиться, кучами полетят на ноты разноцветные бумажки... Ровно с цепи сорвавшись, во все стороны мечутся ярославцы в белых миткалевых рубашках, с белыми полотенцами чрез плечо, в смазных со скрипом сапожках... Разносят они чайники с чашками, графинчики с рюмками, пышные подовые пироги, московские селянки, разварную осетрину, паровые стерлядки – кому что на потребу... Топот толпы бегающих половых, стук ложками и ножами, говор, гомон по всем комнатам не перемежаются ни на минуту. Изредка раздается хлопанье пробки от холодненького – это значит сделку покончили.

Степенной походкой вошел Марко Данилыч, слегка отстранив от себя ярославцев, хотевших было с его степенства верхнюю одёжу снять. Медленными шагами прошел он в «дворянскую» – так назывались в каждом макарьевском трактире особые комнаты, где было прибрано почище, чем в остальных. Туда не всякого пускали, а только по выбору.

Зоркий глаз Марка Данилыча разом приметил в углу, за большим столом, сидевших рыбных торговцев. Они угощались двенадцатью парами чая.

– Марку Данилычу наше наиглубочайшее! – с легкой одышкой, сиплым голосом промолвил тучный, жиром оплывший купчина, отирая красным платком градом выступивший пот на лице и по всей плешивой до самого затылка голове.

Быстро подскочил половой и подставил стул для Марка Данилыча.

– Чай да сахар! – молвил Смолокуров, здороваясь со знакомцами.

– К чаю милости просим, – отвечал тучный лысый купчина и приказал половому:

– Тащи-ка, любезный, еще шесть парочек. Да спроси у хозяина самого наилучшего лянсину. Не то, мол, гости назад отошлют и денег копейки не заплатят.

Что есть мочи размахивая руками, быстро кинулся половой вон из комнаты.

– Давно ли пожаловали? – спросил Марка Данилыча седой старый купец в щеголеватом, наглухо застегнутом кафтане тонкого синего сукна и в глянцевитых сапогах с напуском. Ростом он был не велик, но из себя коренаст. Здоровое красное лицо, ровно камчатским бобром, опушенное окладистой, темно-русой, с седой искрой бородою было надменно и горделиво, в глазах виднелись высокомерье и кичливая спесь. То был самый богатый, самый значительный из всех рыбников – Онисим Самойлыч Орошин. Считали его в пяти миллионах – потому великий почет ему отдавали, а ему на всех наплевать...

– Вечор только прибыли, – кладя на окошко картуз, мягко, приветливо ответил Орошину Марко Данилыч. – Вы давненько ли в здешних местах, Онисим Самойлыч?

– Шестой день без пути здесь болтаемся. Делов еще нет. Надоело до смерти! – молвил Орошин.

– Без того нельзя, – заметил Смолокуров.

– Вестимо, нельзя, – отозвался Сусалин Степан Федорыч, тот лысый тучный купчина, что первый встретил приветом Марка Данилыча.

То же промолвил Иван Ермолаич Седов, бородастый широкоплечий купчина лет пятидесяти, богатырь богатырем... Поглядеть на него – протодьяконом бы реветь ему, ан нет: пищит, визжит, ровно старая девка. Был тут еще Веденеев Дмитрий Петрович, человек молодой, всего друго лето

стал вести дела по смерти родителя. Посмотреть на него – загляденье: пригож лицом, хорош умом, одевается в сюртуки по-немецкому, по праздникам даже на фраки дерзает, за что старуха бабушка клянет его, проклинает всеми святыми отцами и всеми соборами: «Забываешь-де ты, непутный, древнее благочестие, ересями прельщаешься, приемлешь противное богу одеяние нечестивых...». Капиталец у Веденева был кругленький: дела он вел на широкую руку и ни разу не давал оплошки; теперь у него на Гребновской караван в пять баржей стоял... По молодости Веденева старые рыбники обращались с ним немножко свысока, особенно Орошин. Хоть Марко Данилыч негодовал на Меркулова за то, что с колонистами водится и ходит в кургузой одежде, но на богатом Веденееве будто и не замечал ее...

И Орошин и другие рыбники Митенькой звали Веденева, хоть этот Митенька ростом был вершков тринадцати, а возрастом далеко за двадцать лет. Но как не был еще сполна хозяином, хозяйкой то есть пока не обзавелся, то и оставался покудова Митенькой. Он кой-чему учился, видел пошире, глядел на дела пояснее, чем старые рыбники. Родитель его, не то чтобы по своему изволению, и не то чтоб по желанью сына, а по приказу губернатора, отдал его учиться в Коммерческую академию.

Заметив в маленьком Веденееве способности, начальник губернии безо всяких обиняков объявил его отцу, что не утвердит за ним каких-то выгодных подрядов, ежели не пошлет он сына учиться в академию. Подряд, по всем расчетам, должен был озолотить старика, – делать нечего, свез сына в Москву, не слушая ни вопля жены, ни проклятий матери. Новым человеком воротился в свой город Дмитрий Петрович. А приехал он на родину уж единственным наследником после умерших вскоре один за другим отца, старшего бездетного брата и матери. Хоть и молод, хоть и ученый, а не бросил он дела родительского, не порвал старых торговых связей, к старым рыбникам был угодлив и почтителен, а сам вел живую переписку со школьными товарищами, что сидели теперь в первостатейных конторах, вели широкие дела или набирались уму-разуму в заграничных поездках... Старого закала рыбники понять не могли, отчего это у Митеньки так все спорится, отчего это он умеет вовремя купить, вовремя продать, и хоть бы раз споткнулся на чем-нибудь. «Счастье, видно, такое, – говорили они, – такой уж, видно, талант ему от бога дан, а все за молитвы родительские».

Разбитной половой подал шесть пар «отменного лянсину». Митенька стал разливать, с особенным вниманьем обращаясь к Марку Данилычу.

– Где пристал? – спросил Орошин у Смолокурова. – На караване, что ль?

– Нельзя мне нонешний год на караване жить, – прихлебывая чай, отвечал Марко Данилыч. – Дочку привез с собой, хочу ей показать Макарьевскую. В каюте было бы ей беспокойно. Опять же наши товары на этот счет не больно подходящие – не больно пригоже пахивают.

– Есть того дела, точно что есть, – тоненьким голосом весело захихикал копне подобный Седов Иван Ермолаич, – товарец наш девичью носу по нутру не придется. Скривит его девка, ежель понюхает.

Ровно кольнуло что Марка Данилыча. Слегка нахмурился он, гневно очами сверкнув, но не ответил ни слова Седову. Простой был человек Смолокуров, тонкостям и вежливостям обучен не был, но, обожая свою Дуню, не мог равнодушно сносить самой безобидной насчет ее шутки. Другой кто скажи такие слова, быть бы великому шуму, но Седов капиталом мало чем уступал Смолокурову – тут поневоле смолчишь, особенно ежели не все векселя учтены... Круто поворотясь к Орошину, Марко Данилыч спросил:

– Что, Онисим Самойлыч?.. Как будут ваши делишки? Какие цены на рыбу хотите уставить?

– Тебя спросить надо, – лукаво подмигнув собеседникам, отвечал Орошин. У тебя на Гребновской-то восемь баржей, а у меня четыре. Значит, ты вдвое сильнее меня...

– А в ходу-то сколько у тебя? Тех, видно, не считаешь!.. Забыл, должно быть? – тоже подмигнув собеседникам, молвил Марко Данилыч.

– Что на ходу, то еще в руке божией, а твой товар на месте стоит да покупателя ждет... – насмешливо улыбаясь, ответил Орошин. – Значит, мне равняться с тобой не приходится.

– Не приходится!.. Эко ты слово молвил, – с досадной усмешкой сказал Смолокуров. – По всей Волге, по всей, можно сказать, России всякому известно, что рыбному делу ты здесь голова.

На всех пошлюсь, – прибавил он, обводя глазами собеседников. – Соврать не дадут.

– Знамо дело, – один за другим проговорили и пискливый Седов и осипший Сусалин. Веденеев смолчал.

– Одна пустая намолвка, – с важностью, пожимаясь, молвил Орошин. – Вот нашей песни запевало, – прибавил он, указывая пальцем на Марка Данилыча. Шутка сказать!.. Восемь баржей!..

– Одну-то выкинь – порожняя! – молвил Смолокуров. – А у тебя четыре на месте, да шесть либо семь в ходу. Тут, сударь мой, разница не маленькая.

– А когда придут? Скажи, коли с богом беседовал, – с досады мотнув головой, отрезал Орошин. – По нашему простому человечьему разуменью, разве что после рождества богородицы придут мои баржи на Гребновскую, значит, когда уж квартальные с ярманки народ сгонят...

– С пристаней-то не сгонят, – возразил Смолокуров.

– Что ж из того?.. – ответил Орошин. – Все-таки рыбно решение о ту пору будет покончено. Тогда, хочешь не хочешь, продавай по той цене, каку ты нашему брату установишь... Так-то, сударь, Марко Данилыч!.. Мы теперича все тобой только и дышим... Какие цены ни установишь, поневоле тех будем держаться... Вся Гребновская у тебя теперь под рукой...

– Больно уж много ты меня возвеличиваешь, – пыхтя с досады, отозвался Марко Данилыч. – Такие речи и за смех можно почесть. Все мы, сколько нас ни на есть, – мелки лодочки, ты один изо всех – большущий корабль.

– Полно-ка вам друг дружку-то корить, – запищал Седов-богатырь, заметив, что тузы очень уж обозлились. – В чужи карманы неча глядеть – в своем хорошенько смотри. А не лучше ль, господа, насчет закусочки теперь нам потолковать?.. Онисим Самойлыч, Марко Данилыч, Степан Федорыч, какие ваши мысли на этот счет будут?.. Теперь госпожинки, значит, нашим же товаром будут нас и потчевать...

– В нонешнем посту рыба-то, кажись, не полагается, – молвил Сусалин. По правилам святых отец, грибы да капуста ноне положены.

– Грибам не род, капуста не доспела, – с усмешкой пискнул Седов. – Опять же мы не дома. А в пути сущим пост разрешается. Так ли, Марко Данилыч?.. Ты ведь в писании боек – разреши спор...

– Есть такое правило, – сухо ответил Марко Данилыч.

– Значит, по этому самому правилу мы холодненькой осетрины, либо стерлядок в разваре закажем... Аль другого чего? – ровно сытый кот щуря глазами, пищал слоновидный Седов.

– Не будет ли вкуснее московска селянка из стерлядок? – ласковым взором всех обводя, молвил Веденеев. – Майонез бы еще из судака...

– Ну тебя с твоей немецкой едой! – с усмешкой пропищал Седов. Сразу-то и не вымолвишь, какое он кушанье назвал... Мы ведь, Митенька, люди православные, потому и снесь давай нам православную. Так-то! А ты и невесть что выдумал...

– Так селянка селянкой, а еще-то чего потребуем?.. Осетринки, что ли? – добродушно улыбаясь, молвил Веденеев.

– Что ж, и селянка не вредит, и осетрины пожевать противного нет, молвил Сусалин. – Еще-то чего?

– Банкет, что ль, затеваете?.. – сумрачно молвил Орошин. – Будет и осетрины с селянкой...

– Судаки у них, я видел, хороши. Живехонькие в лохани плавают. Лещи тоже, – сказал Веденеев.

– Всей рыбы не переешь, – решил Орошин. – Осетрины да селянку... Так уж и быть – тебя ради, Митенька, судак куда ни шел. Пожует и судака... А леща, ну его к богу – костлив больно... Еще коим грехом да подавишься.

Заказали, а покамест готовят ужину, водочки велели себе подать, икорки зернистой, огурчиков малосольных, балыка уральского.

– Народец-то здесь продувной! – поднимаясь с места сказал Веденеев. Того и норовят, чтобы как-нибудь поднадуть кого... Не посмотреть за ними, такую тебе стерлядь сготовят, что только выплунуть... Схожу-ка я сам да выберу стерлядей и ножом их для приметы пристукну. Дело-то будет вернее...

– Подь-ка, в самом деле, Митенька, – ласково пропищал Седов. – Пометь, в самом деле, стерлядок-то, да и прочую рыбу подбери... При тебе бы повар и заготовку сделал... А то в самом деле плутоват здесь народ-от...

Веденеев ушел. В это самое время подлетела к рыбакам одна из трактирных певиц...

– На ноты! – приседая и умильно улыбаясь, проговорила молоденькая немочка в розовой юбке, с черным бархатным корсажем. Рыбники враждебно на нее покосились.

– Не подаем, – молвил Орошин, грубо отстраняя немку широкой ладонью. Та кисло улыбнулась и пошла к соседнему столику.

– Что этого гаду развелось ноне на ярманке! – заворчал Орошин. Бренчат, еретицы, воют себе по-собачьему – дела только делать мешают. В какой трактир ни зайди, ни в едином от этих шутовок покою нет. И плюнул в ту сторону, куда немка пошла.

– Кто нас с тобой помоложе, Онисим Самойлыч, тем эти девки по нраву, усмехнувшись, пискнул Седов.

– Оттого и пошла теперь молодежь глаза протирать родительским денежкам... Не то, что в наше время, – заметил Сусалин.

Под эти слова вернулся Веденеев и объявил, что выбрал двух важнеющих стерлядок и припятил их ножом, чтобы не было обмана.

Вслед подбежал за Веденеевым юркий размашистый половой с водкой, с зернистой икрой, с московским калачом, с уральским балыком и с малосольными огурцами. Выкушали по одной. По малом времени повторили, а потом Седов сладеньким голоском пропищал, что без троицы дом не строится.

Когда принялись за жирную, сочную осетрину, Орошин спросил Смолокурова:

– Давеча молвил ты, Марко Данилыч, что у тебя на Гребновской одна баржа порожняя... Нешто продал одну-то?

– Хвоста судачьего не продаывал, – с досадой ответил Марко Данилыч. Всего пятый день караван на место поставили. Какой тут торг?.. Запоздал – поздно пришел, на самом стержне вон меня поставили.

– Отчего ж у тебя баржа-то пустует?.. – продолжал свои расспросы Орошин. – Не порожнюю же ведь гнал. Аль по пути продавал?..

– Пустовать баржа не пустует, а все едино, что ее нет, – ответил Марко Данилыч. – Товарец такой у меня стоит, что только в Оку покидать.

– Как так? – спросил Орошин, зорко глядя на Смолокурова. – До сей поры про такие товары мне что-то не доводилось слышать... Стоят же чего-нибудь!..

– Тюлений жир. В нонешню ярманку на него цен не будет, – сказал Марко Данилыч.

– Отчего ж вы это думаете? – с удивленьем спросил Веденеев.

– Некому покупать, – молвил Марко Данилыч. – Хлопку в привозе нет, значит красному товару застой. На мыло тюленя не требуется – его с мыловарен-то кислота прогнала. Кому его нужно?

– Понадобится, – сказал Веденеев.

– Жди!.. Как же!.. Толокном Волгу прежде замесишь, чем этот окаянный товар с рук сбудишь! – отозвался Смолокуров.

– Продай мне, Марко Данилыч. Весь без остатку возьму, – молвил Орошин.

Подумал маленько Марко Данилыч, отвечает: – Для че не продать, ежели сходную цену дашь.

– Рубль восемь гривен, – молвил Орошин. Марко Данилыч только головой мотнул. Помолчавши немного, с усмешкой сказал он:

– Сходней в Оку покидать.

– Без гривны два.

– Ну тебя к богу, Онисим Самойлыч! Сам знаешь, что не дело говоришь, отвернувшись от Орошина, с досадой проговорил Смолокуров.

– Два целковых идет?

Ни слова не говоря, Марко Данилыч только головой помотал.

– Два с четвертаком?

Молчит Марко Данилыч, с удивленьем поглядывает на Орошина, а сам про себя думает: «Эк расшутился, собака! Аль у него в голове-то с водки стало мутиться».

– Два рубля тридцать – последнее слово, – сказал Орошин, протягивая широкую ладонь Марку Данилычу. У того в глазах зарябило.

– Идет? – приставал Орошин. Марко Данилыч рукой махнул. Думает, что шутки вздумал Орошин шутить.

– Два рубля тридцать пять, больше ни полукопейки, – настойчиво продолжал свой торг Орошин.

Разгорелись глаза у Марка Данилыча. То на Орошина взглянет, то других обведет вызывающим взглядом. Не может понять, что бы значили слова Орошина. И Седов и Сусалин хоть сами тюленём не занимались, а цены ему знали. И они с удивленьем посматривали на расхोдившегося Орошина и то же, что Марко Данилыч, думали: «Либо спятил, либо в головушке хмель зашумел».

– Пять копеечек и я б с своей стороны прикинул! – ровным, спокойным голосом самоуверенно сказал Веденеев, обращаясь к Марку Данилычу.

Как вскинется на него Орошин, как напустится. Так закричал, что все сидевшие в «дворянской» оборотились в их сторону.

– Куда суешься?.. Кто тебя спрашивает?.. Знай сверчок свой шесток – слышал это?.. Куда лезешь-то, скажи? Ишь какой важный торговец у нас проявился! Здесь, брат, не переторжка!.. Как же тебе, молодому человеку, перебивать меня, старика... Два рубля сорок пять копеек, так и быть, дам... – прибавил Орошин, обращаясь к Марку Данилычу.

Ровно красным кумачом подернуло свежее лицо Веденева, задрожали у него побледневшие губы и гневом сверкнули глаза... Обидно было слушать окрик надменного самодура...

– Даст и с полтинкой, и с шестью гривнами даст! – с злорадным смехом сказал он Смолокурову. – Оплести ему вас хочется, Марко Данилыч. Вот что!.. Не поддавайтесь...

– Замолчишь ли?.. – из себя выходя, во все горло закричал Орошин и так стукнул по столу кулаком, что вся посуда на нем ходенем заходила. – Чего смыслишь в этом деле?.. Какое тут есть твое понимание?..

– Вы, Онисим Самойлыч, должно быть так о себе представляете, что почта из Питера только для вас одних ходит, – лукаво прищурился, с язвительной усмешкой сказал Веденеев. – Слушайте, Марко Данилыч, настоящее дело вам расскажу: у меня на баржах тюленя нет ни пуда; значит, мне все равно – есть на него цена, нет ли ее. А помня завсегда, что тятеньке покойнику вы были приятелем, хлеб-соль с ним важивали, и, кажется, даже бывали у вас общие дела, хочу на сей раз вам услужить. Натек-ка, вот, почитайте, что пишут из Питера. Сегодня перед вечером только что получил.

И, вынув письма из бумажника, подал одно Смолокурову.

Читает Марко Данилыч: ждут в Петербург из Ливерпуля целых пять кораблей с американским хлопком, а перед концом навигации еще немало привоза ожидают... «Стало быть, и ситцы, и кумачи пойдут, и пряжу станут красить у Баранова, только матерьялу подавай». Такими словами заключал письмо веденеевский приятель.

Прочитав его, Марко Данилыч отдал Веденееву и с поклоном сказал ему:

– Покорно вас благодарю. Вовеки не забуду вашей услуги... Завсегда по всяким делам буду вашим готовым услужником. Жалуй к нам, Митень... Ох, бишь Дмитрий Петрович... Жалуйте, сударь, к нам, пожалуйста... На Нижнем базаре у Бубнова в гостинице остановились, седьмой, восьмой да девятый нумера... Жалуй когда чайку откусать, побеседовать... У нас же теперь каждый день гости – Доронины из Вольска в той же гостинице пристали, Самоквасов Петр Степаныч...

– Это что с дядей-то судиться хочет? Казанский? – пропищал Седов.

– Судиться он не думает, – заметил Марко Данилыч, – а свою часть, которая следует ему, получить желает.

– Шиша не получит! – молвил Седов. – Знаю я дядю-то его Тимофея Гордеича – кремень. Обдерет племянника, что липочку, медного гроша не даст ему.

– Суд на то есть, закон, – вступился Веденеев.

– Что суд?.. Рассказывай тут! – усмехнулся Седов. – По делу-то племянник и выйдет прав, да по бумаге в ответе останется. А бумажна вина у нас ведь не прощенная – хуже всех семи смертных грехов.

Меж тем взбешенный Орошин, не доужинав и не сказав никому ни слова, схватил картуз и вон из трактира.

Завязалась у рыбаков беседа до полночи. Поздравляли «холодненьким» с барышами Марка Данилыча, хвалили Веденева, что ловко умел Орошину рог сшибить, издевались над спесью Орошина и над тем, что дело с тюленем у него не выгорело. Не любили товарищи Онисима Самойлыча, не жаловали его за чванство, за гордость, а пуще всего за то, что не в меру завистлив был. Кто ни подвернись, каждого бы ему в дураки оплести, у всякого бы дело разбить. Тем еще много досаждал всем Орошин, что года по четыре сряду всю рыбу у Макарья скупал, барыши в карман клал богатые, а другим оставлял только объедашки.

Когда засидевшиеся в трактире рыбаки поднялись с мест, чтоб отправляться на покой, в «дворянской» было почти уж пусто. Но только что вышли они в соседнюю комнату, как со всех сторон раздались разноязычные пьяные крики, хохот и визг немецких певуний, а сверху доносились дикие гортанные звуки ярманочной цыганской песни:

Здесь ярманка так просто чудо.

Одна лишь только в ней беда -

Что к нам не жалуют покуда

С карманом толстым господи!..

– А что, Митенька, не туда ли? – с усмешкой пропищал Седов, подмигнув левым глазом и указав на лестницу, что вела наверх к цыганкам.

Веденеев не сразу ответил. Промелькнула по лицу его легкая нерешительность, маленькая борьба. Но сдержался... Презрительно махнув рукою, он молвил:

– Ну их к шуту!.. Невидадь!.. Спать пора...

– И умно. По-моему, право умно, – сказал Марко Данилыч. – Что там, грех один – беса тешить... Лучше милости просим завтрашний день ко мне чаи распивать... Может статься, и гулянку устроим. Не этой чета... Веденеев обещался быть непременно. Вышли на крыльцо. Тут новый Содом и Гомор. Десятка полтора извозчиков, ломя и толкая друг друга, ровно звери, с дикими криками кинулись на вышедших.

– Куда ехать?.. Куда, господин купец?.. Вот со мной на серой!.. На хорошей!

Пробраться сквозь крикливую толпу было почти невозможно. А там подальше новая толпа, новый содом, новые крики и толкотня... Подгулявший серый люд с песнями, с криками, с хохотом, с руганью проходил куда-то мимо, должно быть еще маленько пображничать. Впереди, покачиваясь со стороны на сторону и прижав правую ладонь к уху, что есть мочи, заливался молодой малый в растерзанном кафтане:

Нам трактиры надоели.

Много денежек поели -

Пойдем в белую харчевню

Да вспомним про деревню,

Наше родное село!

Насилу выбрались рыбаки. Но не отъехали они от трактира и ста саженой, как вдруг смолкли шумные клики. Тихо... Ярманка дремлет. Лишь издали от тех мест, где театры, трактиры и разные увеселительные заведения, доносятся глухие, нестройные звуки, или вдруг откуда-нибудь раздастся пьяный крик: «караул!..» А ближе только и слышна тоскливая песня караульщика-татарина, что всю ночь напролет просидит на полу галереи возле хозяйской лавки с длинной дубиной в руках.

Въехал на мост Марко Данилыч. Гулко и звонко раздаются удары копыт и шум колес. Длинным серебристым столбом отражается луна в речных дрожащих струях и на золотых главах соседнего монастыря, великанами поднимаются темные горы правого берега, там и сям мерцают сигнальные фонари пароходов, пышут к небу пламенные столбы из труб стальных заводов... Чуд-

ная картина – редко где такую увидишь, но не любитесь на нее Марко Данилыч, не видит даже ее. Смежив очи, думает он сам про себя: «А ведь, ежели б не Митенька Веденеев, он бы, старый хрен, объегорил меня... Кого бы мне теперь обработать, пока еще не пошли в огласку петербургские новости?..»

Когда Смолокуров домой воротился, Дуня давно уж спала. Не снимая платья, он осторожно разулся и, тихонечко войдя в соседнюю комнату, бережно и беззвучно положил Дуне на столик обещанный гостинец – десяток спелых розовых персиков и большую, душистую дыню-кенталупку, купленные им при выходе из трактира. Потом минуты две постоял он над крепко, безмятежным сном заснувшей девушкой и, сотворив над ее изголовьем молитву, тихонько вышел на цыпочках вон.

Долго после того сидел он один. Все на счетах выкладывал, все в бумагах справлялся. Свеча догорала, в ночном небе давно уж белело, когда, сложив бумаги, с расцветшим от какой-то неведомой радости лицом и весело потирая руки, прошелся он несколько раз взад и вперед по комнате. Потом тихонько растворил до половины дверь в Дунину комнату, еще раз издали полюбовался на озаренное слабым неровным светом мерцавшей у образов лампадки лицо ее и, взяв в руку сафьяновую лестовку, стал на молитву.

Немного пришлось отдыха на его долю. Еще к ранним обедням не начинали благовеста, как, наспех одевшись, чуть не бегом побежал он к Доронину. Зиновий Алексеич один еще был на ногах. Когда вошел к нему Марко Данилыч, он только что хотел усесться за столик, где уж кипел самовар.

– А я к тебе спозаранок, ни свет ни заря, – говорил Смолокуров, здороваясь с Зиновьем Алексеичем.

– Просим милости, – радушно ответил Доронин. – Дорогим гостям завсегда рады: рано ли, поздно ли, и в полночь, и за полночь... Чайку чашечку!

– От чаю, от сахару отказу у меня не бывает, – молвил Марко Данилыч, – я ж и не пил еще – оно будет и кстати. Так вот как мы!.. Встал, умылся, богу помолился, да и в гости. Вот как мы ноне, Зиновий Алексеич.

– Что ж? Дело доброе. Пока мои не встали, покалякаем на досуге, сказал Доронин.

– И то ведь я пришел покалякать с тобой, – ответил Марко Данилыч, принимаясь за налитую чашку. – Скажи ты мне, Зиновий Алексеич, по самой сущей, по истинной правде, вот как перед богом... Что это у тебя вечор так гребтело, когда мы с тобой насчет этого Меркулова толковали.

– Паренек-от, говорю тебе, хороший... Жалко... По человечеству жалко! – как бы нехотя отвечал Зиновий Алексеич.

– Только-то?.. – слегка прищурясь и зорко поглядев на приятеля, протяжно и с лукавой усмешкой проговорил Марко Данилыч. – А я думал, что у тебя с ним какие дела зачинаются.

– Какие дела?.. Ни с ним, ни с родителем его дел у меня никаких не бывало, – маленько, чуть-чуть смутившись, ответил Доронин. – По человечеству, говорю, жалко. А то чего ж еще? Парень он добрый, хороший – воды не замутит, ровно красная девица.

– А я полагал, что ты затеваешь с ним дело какое? – прихлебывая чай, протяжно проговорил Марко Данилыч.

Пуще прежнего замялся Доронин. Хотел что-то сказать, но придержался, не вымолвил.

– Никаких теперь у меня делов с Никитой Федорычем нет... – твердо и решительно сказал он. – Ничего у нас с ним не затеяно. А что впереди будет, как про то знать?.. Сам понимаешь, что торговому человеку вперед нельзя загадывать. Как знать, с кем в каком деле будешь?..

– Так... – протянул Марко Данилыч. – А я вечор с нашими рыбниками в трактире сидел. Чуть не до полночи прокаляли... Про меркуловские дела тоже говорили... Получил кой-какие вести... Кажись бы, полезные для Меркулова... Просиял Зиновий Алексеич.

– Все в один голос его жалеют... Ведь он не женат еще? – вдруг спросил Марко Данилыч.

– Холостой, – ответил Доронин.

Зорко глядя на приятеля, думает сам про себя Смолокуров: «Врешь, не обманешь, Лизавету за него ладишь. Насквозь вижу тебя... Недаром вечер она, ровно береста на огне, корчилась, как речь зашла про Меркулова».

– Хозяйку бы ему добрую, говорят наши рыбники, – молвил, глядя в сторону, Марко Данилыч. – Да тестя бы разумного, чтобы было кому научить молодого вьюношу, да чтобы он не давал ему всего капитала в тюленя садить... Налей-ка чашечку еще, Зиновий Алексеич.

Поспешно налил чашку Доронин и подал ее Марку Данилычу.

– Ноне на ярманке эвта кантонка, прах ее побери, куда как шибко пошла... – небрежно закинул иную речь Марко Данилыч. – Звания чаю нет, просто-напросто наша сенная труха, а поди-ка ты, как пошла... Дешева – потому... Пробовал ли ты, Зиновий Алексеич, эту кантонку?

– Доводилось, – ответил Доронин.

– Брандахлыст, – решил Марко Данилыч.

– Почти одно, что наша копорка (Копорка, Иван-чай – растение *Epilobium angustifolium*. Его собирали, сушили, преимущественно в Петербургской губернии, и мешали с кяхтинским чаем. Такая подделка строго преследовалась.), – заметил Доронин.

– За копорку-то по головке не гладят, в тюрьму даже сажают, а на кантонку пошлины сбавили. Вот тут поди и суди!.. – молвил Марко Данилыч.

– Соображения!

– Вестимо, соображения! – согласился Марко Данилыч. – А много ль капиталу Меркулов в тюленя-то усадил?

– Много, – покачав головой, ответил Доронин.

– Однако как?

– Тысяч до шестидесяти.

– Не пустячные деньги! – покачал головою и Марко Данилыч. – Да неужто у него только шестьдесят тысяч и было? – спросил он после короткого молчания. – Отец-от ведь у него в хорошем капитале был...

– Еще столько же наберется, может, и побольше, – сказал Зиновий Алексеич. – К слову ведь только говорится, что весь капитал засадил. Всего-то не засаживал... Как же это возможно?

– А много ль пудов?... тюленя-то?... – спросил Смолокуров, как бы от нечего говорить.

– Пятьдесят ли, пятьдесят ли пять тысяч, наверно сказать не могу, ответил Зиновий Алексеич.

– А сюда не ближе сентября будет?

– Сказывал он, что прежде рождества богородицы никакими способами ему не управиться, – молвил Доронин.

– Нешто пишет? – спросил Смолокуров.

– Незадолго до нашего отъезда был он в Вольском, три дня у меня выгостил, – сказал Доронин. – Ну, и кучился тогда, не подышу ль ему на ярманке покупателя, а ежели приищу, запродам бы товар-от... Теперь пишет, спрашивает, не нашел ли покупателя... А где мне сыскать?... Мое дело по рыбной части слепое, а ты еще вот заверяешь, что тюлень-от и вовсе без продажи останется.

– Ежели у него теперича пятьдесят тысяч пудов на шестьдесят тысяч рублей, значит, пуд-от по рублю с двумя гривнами обойдется, – рассчитывал Марко Данилыч.

– Должно быть, что так, – подтвердил Зиновий Алексеич.

– А он тебе только на словах говорил, чтоб до его приезда тюленя запродам?

– Доверенность на всякий случай дал. Доверенность у меня есть, отвечал Доронин.

– Так!.. – протянул Марко Данилыч. – Прямо – и доверенность дал... Что ж, искал ты покупателей-то? – спросил он потом, немножко помолчавши.

– Да ведь говорю я тебе!.. Где я буду их искать? – отозвался Зиновий Алексеич. – До твоего приезда спрашивал кой у кого из рыбников. И от них те же речи, что от тебя.

– Кого спрашивал-то?

– Да кого я спрашивал? Сусалина спрашивал, Седова, еще кой-кого... Все в одно слово: никаких, говорят, в нынешнюю ярманку цен не будет.

– Верно!.. Еще, пожалуй, в убыток продашь... Вот какова она, наша-то коммерция... Самое

плевое дело!.. – молвил Марко Данилыч.

– К Орошину, думаю, съездить, – после недолгого молчания сказал Доронин. – Он ведь у вас главный скупщик – не один раз весь рыбный товар до последнего пуда на ярманке скупал. Он не возьмет ли?

– Постой, погоди! – спешно перебил Смолокуров. – Денек-другой подожди, не ездик Орошину... Может, я сам тебе это дельце облажу... Дай только сроку... Только уж наперед тебе говорю – что тут ни делай, каких штук ни выкидывай, а без убытков не обойтись. По рублю по двадцати копеек и думать нечего взять.

– Да уж хоть сколько бы нибудь да взять... Не в воду ж в самом деле товар-от кидать!.. Похлопочи, сделай милость, Марко Данилыч, яви божескую милость... Век не забуду твоего одолженья.

– Эк как возлюбил ты этого Меркулова... Ровно об сыне хлопчешь, лукаво улыбнувшись, молвил Смолокуров. – Не тужи, бог даст, сварганим. Одно только, к Орошину ни под каким видом не ездик, иначе все дело изгадишь. Встретишься с ним, и речи про тюленя не заводи. И с другим с кем из рыбаков свидишься, и тем ничего не говори. Прощай, однако ж, закалякался я с тобой, а мне давно на караван пора.

Воротаясь на квартиру, Марко Данилыч тотчас за счеты. Долго щелкал костями, то задумываясь, то самодовольно улыбаясь. Ловкий оборот затевал. Баш (Баш – по-татарски голова. Взять баш на баш – взять рубль на рубль. Выражение употребительно в Поволжье.) на баш, пожалуй, возьмет...

И нимало не совестно было ему перед другом-приятелем, хоть он и догадывался, что Меркулов скоро своим будет Доронину. «Почище обработаю, чем Орошину хотелось меня... – думает Марко Данилыч, расхаживая по комнате. Обьегорю!.. Что ж?.. До кого ни доведись, всяк бы то же сделал... Купец, что стрелец, – оплошного ждет... Друзья мы приятели с Зиновьем Алексеичем – так что ж из этого?.. Сват сватом, брат братом, а денежки не родня... Всё ведь так, всё... Упустилка я случай насчет ближнего погреться – меня же дураком обзовут... А обдуй кого-нибудь получше, над ним смеяться станут – учись, мол, плати за науку... Да что мне до людей!.. Ну их... Мне бы только Дунюшке, Дунюшке, моей голубке, побольше накопить... А то что мне люди?.. Плевать!»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Доронина в мильоне считали. Был он одним из самых сильных хлебных торговцев. Тысяч до двух десятин земли у него засевалось в Самарском Заволжье, близ Балаковской пристани, да без малого тысяча возле Сызрани. За Волгой пшеницу он сеял, в сызранской окольности – просо. Муку молот на десятипоставной мельнице-крупчатке, что была строена еще его родителем на реке на Иргизе, а просо шастал на пшено на двенадцати круподержках, что сам вокруг Сызрани поставил. И чужого хлеба немало скупал, часть его перемалывал на иргизской мельнице; муку и зерно на своих расшивах ставил в Рыбную и другие верховые города. Хлеб и в Москву, а годами и в Питер на Калашникову пристань возил, а у Макарья торговал больше пшеном. Супротив Доронина по пшену на всей Волге не было ни единого человека.

Сыновьями не благословил бог Зиновья Алексеича, не было у него по делам родного, кровного помощника, на кого бы он мог, как на самого себя, во всем положиться. Весь труд, все заботы ему довелось на одних своих плечах выносить. Наемным приказчикам большой веры не давал; хоть и добрый был человек, благодушный, и всякому был рад помощь оказать, но приказчикам на волос не верил. «Ему что? – говаривал Зиновий Алексеич. – Как ему довериться? Ноне не старые годы, народ стал плут плутом – каждый обойдет, что мертвой рукой обведет, надует тебя, ровно козий мех. Мигнуть не успеешь, как он тебя обобрал да и прочь отошел. Ищи, дескать, на меня, только меня-то не сыщешь». Дальних людей к большим делам не приставлял; пробовал, да от каждой пробы сундук тощал. Из ближних взять было некого, народ все ненадежный, недаром про него исстари пословицы ведутся: «В Хвалыне ухорезы, в Сызрани головорезы», а во славной слободке Малыковке двух раз вздохнуть не поспеешь, как самый закадычный приятель твой обогреет

тебя много получше, чем разбойник на большой дороге. Не имея надежных помощников, чуть не круглый год Зиновий Алексеич мыкался из стороны в сторону, все в разъездах да в разъездах, все от семьи в отлучке; то на севе, то на жниве, то на иргизской мельнице, то на сызранских круподержках, не то в Рыбной, в Питере, в Москве, у Макарья. А в родном насиженном гнездышке светил Зиновий Алексеич, ровно молодой месяц: покажется да тотчас и спрячется. К жене, к дочерям, ровно званый гость, наезжал на великие только праздники да на чьи-нибудь именины. Дом же господарский, гнездо свое семейное свил Зиновий Алексеич чуть не на самом краю так называемых Гор, в раскинувшемся привольно по правому берегу Волги, красиво обстроеном Вольске. Доронинский дом, каменный, двухъярусный, с зеркальными стеклами, с ярко горевшими на солнце оконными приборами, с цветниками перед жильем, с плодовыми деревьями назади, чуть ли не был лучшим во всем городе. В любую столицу можно было поставить доронинский домик – улиц не испортил бы.

У русского простонародья нет ни летописных записей, ни повестей временных лет, ни иных писанных памятей про то, как люди допрежь нас живали, какие достатки, богатства себе добывали, кто чем разжился, что богатею тому аль другому помогло сделаться. Но есть живучие преданья: народная память их молвой по белу свету разносит... Строго, правдиво молва говорит, но безобидно, ибо бесстрашна она. Спокойный дух народа в молве о былых временах сказывается; нет у русского человека ни наследственной злобы, ни вражды родовой, ни сословной ненависти... Добр, незлопамятен русский человек; для него что прошло, то минуло, что было, то былью поросло; дедовских грехов на внуках он не взыщет ни словом, ни делом. Про начало доронинских достатков молва ходила не славная, но никто не корил Зиновья Алексеича за несправедные стяжанья родительские.

С сотню годов и побольше того, когда еще красивый Вольск был дворцовой слободой Малыковкой, дедушка Зиновья Алексеича перебивался с копейки на копейку, а в пугачевщину и совсем разорился. Сын его, родитель Зиновья Алексеича, жил в бедной, ветхой, полуразвалившейся избенке на самом всполье. Промысел его не из важных был; в дырявых лаптях, в рваной рубахе, с лямкой на груди, каждое лето он раза по два и по три грузными шагами мерял неровный глинистый бечовник Волги от Саратова до Старого Макарья али до Рыбной. Бурлачил, в коренных ходил и в добавочных (Коренными бурлаками зовут порядившихся на всю путину и взявших при этом задатки; добавочными – взятых на пути, где понадобится, без сроку и без задатка.), раза два кашеваром был, но та должность ему не по нраву пришлась: не доваришь – от своей братьи на орехи достанется, переваришь, хуже того; не досолишь – не беда, только поругают; пересолил, ременного масла бесприменно отведаешь. Бывал Доронин и в косных, был мастак и на дерево лазить, и по райнам ходить, и бечеву ссаривать; но до дяди, за пьянством, не доходил, ни разу в шишках даже не бывал (Ременное масло – на языке бурлаков удары линьком или концом лямки. Дерево – мачта, райна – поперечное дерево на мачте, к которому прикрепляется парус, по-морски рея. Бечеву ссаривать – отцеплять ее от кустов и деревьев, перекидывая бечеву через них. Это дело косных. Косными зовут на судне двух бурлаков, что при парусах, они обшивают их и насаживают на райну; один из них кашевар, то есть повар бурлацкой артели; дядя, то есть лоцман, управляет ходом судна; шишка – передовой бурлак во время тяги бичевою.). На плесу (То есть на Волге. Собственно плес – часть реки от одного изгиба до другого.) человек был бедовый, а дома самый смиренный, ровно с него взята была волжская поговорка: «дома баран, на плесу буян». Горемыке-бурлаку как деньгу на черный день заработать? А у Алешки Доронина к тому ж был обычай: на плесу, коли шапка либо рвань какая-нибудь от рубахи не пропита, ни единого кабака не минует. Пропащая, бесшабашная был голова... Так и звали его «Алешка беспутный», другого имени не было.

Сплыл один год бесшабашный Алешка в Астрахань, поплыл из дому ранней весной с ледоходом. После того нигде по пристаням его не видали; слухи, как в яму, вести, как в воду, – никто

ничего про Алешку не знал. Сгиб да пропал человек. Поговаривали, что где-то в пьяной драке зашибли его, болтали, что деревом пришибло его до смерти, ходили слухи, что пьяный свернулся он с расшивы и потонул, но верного никто не знал. Год толковали, на другой перестали, – новые толки в народе явились, старые разводить было не к чему, да и некогда. Совсем позабыли про Алешку беспутного. А меж тем домишко у него сгорел, жена с ребятишками пошла по миру и, схоронив детей, сама померла в одночасье... И как метлой смело память о Дорониных.

На седьмой год воротился Доронин на родину, воротился не Алешкой беспутным, а «почтеннейшим Алексеем Степанычем». Не в истерзанном рубище, не с котомкой за плечами явился он в родном городе, а с возами дорогих товаров, с туго набитой мошной, в синей тонкого сукна сибирке, в шелковой алой рубахе. В возах были у него не одна сотня кусков канауса и термаламы, бухарские да кашемировые шали, бирюза, индийские кисеи и разные другие азиатские ткани. А деньги, что привез были не наши, не русские, а все золотые туманы да тилле, серебряные кираны да рупии (Туман или томан – персидская золотая монета в 2 р. 80 к.; тилле – бухарская золотая в 3 р. 90 к.; киран – серебряная персидская в 30 к.; рупия – индийская серебряная в 60 к.). Отколь у бурлака такое богатство? Новые толки, новые пересуды пошли, и опять-таки не было в них ничего, кроме бестолочи. Кто говорил, что Доронин по Волге в разбое ходил, сначала де был в есаулах, потом в атаманы попал; кто уверял, что разжился он мягкой денежкой (Мягкая деньга – фальшивая.), кто божился, клялся, что где-то на большой дороге богатого купец уходил он... Нашлись и такие, что образ со стены снимали, заверяя, что Доронин попал в полон к тухменцам, продан был в Хиву и там, будучи в приближении у царя, опоил его сонным зельем, обокрал казначейство и с басурманскими деньгами на Русь вышел... Слушая такие небылицы, припоминали, однако, ходившие когда-то и потом скоро загложшие слухи, что Доронина в Мертвом Култуке (Мертвый Култук – залив в северо-восточной стороне Каспийского моря.) видали. Мудрено ль оттуда в хивинский полон попасть, мудрено ль и дослужиться у неверного царя до почестей!.. Бывали примеры!.. Было же, что пленная мешанка из Красного Яра Матрена Васильева, угодив хану печеньем пирогов, попала в тайные советницы его хивинского величества!

А на Мертвом Култуке Доронин в самом деле каждое лето бывал. Ходил он туда на промысла, только не рыбные.

Около того времени, как француз на Москву ходил, серебряный рубль целковый стал в четыре рубля ассигнациями, а медные пятаки да гривны в прежней цене оставались. А медные екатерининские деньги не теперешним были чета; из пуда меди только на шестнадцать рублей ассигнациями их выбивали. Персиане за пуд денежной меди с радостью по сороку да по пятидесяти рублей ассигнациями давали, платя больше своими товарами. И стали русские пятаки да гривны пропадать бесследно; зорко стали тогда присматривать за медниками, за литейщиками, за колокольными заводчиками; не нашлось, однако, на них никакого подозренья. Да и как каждый год по несколько сотен тысяч пудов медных денег тайком перелить? В каком подполье, в каком овраге такие горны наделаешь? Со временем приметили, что гривны да пятаки вниз по Волге плывут и назад в середку России не ворочаются, а в Астрахани стали они чуть не реже золотых. Вся мелкая торговля там на персидские да на бухарские товары пошла. Съестного надо купить, сдачу сдать с синенькой, либо с целкового, давали отрезки бурмети, ханагая, алачи и канауса (Бурметь – нечто вроде холста из хлопчатобумажной пряжи персидского изделия, простая бурметь зовется шиле, лучшая – ханагай. Алача или аладжа – шелковая или полушелковая полосатая ткань персидского изделия. Канаус – известная шелковая ткань.); бурлак в питейный забредет, спросит шкалик (Шкалик – полкосушка.) и бязью (Бязь – то же почти, что бурметь, но не персидского, а среднеазиатского изделия.) платит. Это называлось пяташной торговлей. Тою торговлей разжился и Алешка Доронин.

А придумали и устроили ту торговлю именитые греки да армяне. Сами в Астрахани сидели, ровно ни в чем не бывало, медали, кресты, чины за усердие к общей пользе да за пожертвования получали, а, отправляя пятаки к кизильбашам (Кизильбашами зовут персиан. Старинное их название. Значит – красноголовый.), нагревали свои руки вокруг русской казны. Самых отчаянных, самых отважных сорванцов, каким жизнь копейка, а спина и полушки не стоит, набирали они на астраханских пристанях да по рыбным ватагам, ихними руками и жар загребали. Головорезы от

своих хозяев, именитых армян да греков, получали бочонки с медью, тайно спроваживали их к Гурьеву городку, а оттоль в телегах на Мертвый Култук. На пустынных песчаных берегах того залива, в едва проходимых высоких камышах там и сям гнили тогда лежавшие вверх дном расшивы. Казалось, бурей они были на берег выброшены, а в самом деле нарочно вытащены из воды и опрокинуты. Под ними складывались бочонки с медной монетой. Сюда персиане приезжали и за свои товары получали гривны с пятаками. По зиме, когда по восточным берегам Каспийского моря на сотни верст живой души не бывало, кизильбаши увозили медь к себе домой на санях, не боясь ни казацких караулов, ни набегов хищных тухменцев.

Доронин попал к самому первостатейному греку, к тому, что и выдумал пяташную торговлю. С самого начала «Алешка беспутный» выказал себя на воровское дело самым способным человеком. В Мертвом Култуке зелено вино редко важивалось, и волен-неволен он понемножку отвык от чарочки. А у него непохмельного и голова и руки были золотые. И первый год и второй греку верой и правдой служил он, на третий, сведя знакомство с кизильбаши и даже выучась говорить по-ихнему, стал и свои пятаки продавать. И как только слышал, что в Питере свести, куда пятаки да гривны идут, сразу зашабашил, не поставив во грех надуть благочестивого грека. Получив за его бочонки два воза персидских товаров, не сдал их хозяину, а когда тот стал требовать, сказал ему: «Хочешь товар получить, так подавай на меня губернатору жалобу, без того последней тряпки не дам». Грек расшумелся, да нечего делать, плюнул на Доронина и рукой махнул.

На родине ни дома, ни жены, ни ребятишек не нашел. Постоял на поросшем лопухом и чернымбылом месте, где когда-то стояла избенка его, почесал в затылке, выругался сам про себя и, перекрестившись, пожелал жене царства небесного. Потом крикнул с горя, махнул рукой и пошел на постоялый двор, где тогда у него воза стояли. Наутро беглый поп, что жил в Вольске при богатой часовне, строенья знаменитого откупщика Злобина, отпел Доронину канон за единоумершую и за то хорошие деньги получил на негасимую свечу и годовое чтение псалтыря по покойнице. Устроив душу жены, в тот же день Доронин уехал к Макарью, там выгодно продал товары, разменял басурманские деньги на русские и воротился в Вольск с крупным наличным капиталом.

На руках носили все Алексея Степаныча, не знали, чем угодить, чем почет воздать ему... Однако ж хоть все земляки от мала до велика перед ним лебезили, не захотелось ему остаться на родине. И в кабаках-то сидели еще те самые целовальники, которым он последнюю шапчонку, бывало, закладывал, и в полиции-то служили те самые будочники, что засыпали ему в спину горяченьких, и товарищи прежней беспутной жизни теперь одолели его – еле стоя на ногах, лезли к нему с увереньями в дружбе и звали с собой разгуляться по-старинному. Накупил Алексей Степаныч за Волгой да вокруг Сызрани земель и выстроил на Иргизе возле немецких колоний мельницу. А была та мельница на удивленье. Дом при ней поставил, разукрасил его на славу и привез из Сызрани на новоселье молодую хозяйку, женился он там на богатой купеческой дочке.

Были у него сын да дочь – красные дети. Вырастил их Алексей Степаныч в страхе господнем, дочку выдал замуж в Саратов за хлебного торговца, сына на богатой сиротке женил. И только что успел устроить детей, кончил жизнь свою позорною смертью. Поехал он в Саратов по какому-то делу да кстати поглядеть на молодое хозяйство новобрачной дочери. А тогда по Волге шел неведомый, еще впервые появившийся на Руси мор. Ужас и уныние шли вместе с холерой; вечером и на рассвете по всем церквам гудел колокольный звон, чтобы во всю ночь между звонами никто не смел выходить на улицу; на перекрестках дымились смрадные кучи навоза, покойников возили по ночам арестанты в пропитанных дегтем рубахах, по домам жгли бесщадно все оставшееся после покойников платье, лекаря ходили по домам и все опрыскивали хлором, по народу расходились толки об отравлении колодцев... Страшное было время, особенно в Саратове. Доронин стосковался по жене, боялся за нее, за сына и молодую сноху, бросил дела на произвол судьбы и поехал домой. Его остановили и посадили в карантин В тоске, в смертном страхе и горе подкупил он сторожей и с помощью их бежал из карантина. Его поймали, в двадцать четыре часа осудили и среди двух сторожей вздернули раба божия на виселицу.

Зиновий Алексеич рос под неусыпными, деннонощными заботами матери. Отцу некогда было заниматься детьми; то и дело в отлучках бывал. Только у него об них и было заботы, чтоб, возвращаясь из какой-нибудь поездки, привезти гостинцев: из одежды чего-нибудь да игрушек и лакомств. Мать Зиновья Алексеича женщина была добрая, кроткая, богомольная; всю душу положила она в деток. И вылился в них весь нрав разумной матери.

Из Зиновья Алексеича вышел человек ума недюжинного, нрава доброго, честного, всегда спокойного и во всем с рассудком согласного. Ему, воспитанному в страхе божием, было с раннего младенчества внушено беззаветное уважение к дедовским обычаям, любовь к родине безграничная, честность ни в чем не колебимая, милосердие ко всякому бедному и несчастному. Когда исполнилось ему восемнадцать лет, мать, опасаясь, чтобы не смутил его враг рода человеческого и не ввел бы во грех, затворяющий, по ее убеждению, райские двери, стала ему невесту приискивать. Искала недолго, давно она сноху себе наметила – дальнюю свойственницу, круглую сироту с покорным нравом и с богатым приданым. Татьяна Андревна – так звали молодую жену Зиновья Алексеича – вся вышла в свекровь: такая же добрая жена, такая же заботная мать.

После плачевной кончины Алексея Степаныча его вдова то жила у сына, то гостила у дочери – ни того, ни другой обидеть ей не хотелось. В обоих домах порядок держала и во всех делах, по хозяйству ли, насчет маленьких внучат, слово ее было законом. Внуков у дочери и внучек у сына нянчила, с детства в добре и правде их наставляла, молодым хозяевам советами во всем помогала. Десять годов с половиной так прожила честная вдовица и столь же тихо угасла, сколь тихо протекла жизнь ее, полезная для всех, кто ни знал ее. Много горя-печали кончина ее принесла и своим и чужим, пуще всех горевали по ней бедные вдовы да сироты.

Зиновий Алексеич, как и родитель его, вел жизнь непоседную, разъездную; в дому у него чуть не круглый год бабье царство бывало. К Татьяне Андревне сродницы гостить приезжали, матери да канонницы с Иргиза да с Керженца, бедные вдовы да старые девы – больше никого. Вкруг дома жили одни рабочие, ближними соседями были немцы-колонисты. Скучненько было подраставшим дочерям Зиновья Алексеича, и частенько он подумывал: «Хорошо бы в городе домик купить, либо новый построить: все-таки Лиза с Наташей хоть маленько бы света божьего повидали». Но вслух о том заикнуться не смел, зная, как дорог был дом на мельнице старухе, его матери. По пятнадцатому году, когда тот дом только что обстроен был, вступила она под его кровлю хозяйской, всю почти жизнь провела в нем безвыездно и ни за что бы на свете не согласилась на старости лет перебраться на новое место.

Схоронивши мать, Зиновий Алексеич переселился в Вольск. Выстроил там лучший дом в городе, разубрал его, разукрасил, денег не жалея, лишь бы отделать все в «наилучшем виде», лишь бы каждому кидалось в глаза его убранство, лишь бы всяк, кто мимо дома ни шел, ни ехал, – все бы время на него любовался и, уехавши, молвил бы сам про себя: «Сумел поставить хоромы Зиновей Алексеич!»

В городе житье на иной лад пошло. Зиновий Алексеич был душа-человек: радушный, ласковый, доброжелательный, хлебосольный, гостям бывал рад обо всякую пору. Весело, радостно похаживал он по разубранным своим горницам, когда они бывали гостями полнехоньки; тут от него и шутки и смехи так и сыплются, а без гостей приказчики да рабочие иной раз от хозяина слова добиться скоро не могут, только и разговорится, что с одними семейными. Всякому гостю званому и нежданному привет от него был один, только чванных, спесивых да ломливых гостей он не жаловал. Веселые гостины у Доронина бывали, однако временами, когда хозяин в дому, а во время отлучек его только женский пол у Татьяны Андревны гащивал: знакомые купчихи из Вольска да из Балакова, подружки подраставших дочерей да матушки и келейные девицы из иргизских монастырей да из скитов керженских и чернораменных бывали в дому у нее.

И Зиновий Алексеич и Татьяна Андревна в дочерях своих души не чаяли, обеих равно лелеяли, обеих равно берегли, и не было из них ни отцовской баловницы, ни материной любимицы. Держали девиц просто, воспитали их бесхитростно, брали лаской да любовью, а не криками и строгостями. Читать и писать полууставом выучила их проживавшая при домашней моленной читалка-канонница; девочки были острые, к ученью способны и рачительны; еще детьми прочитали

они все двадцать кафизм псалтыря даже Ефрема Сирина и Маргарит Златоуста. Зиновий Алексеич рассуждал, что растит дочерей не для кельи и не ради манатеи; и, к великому огорченью матушек, к немалому соблазну кумушек, нанял бедного старичка, отставного учителя, обучать Лизу с Наташей читать и писать по-граждански и разным наукам, какие были пригодны им. Татьяна Андревна тому не препятствовала, но, когда приходил учитель, на шаг не отходила от дочерей и ни единого слова учителя мимо ушей ни пропускала. Советовали знакомые Зиновью Алексеичу свезти дочерей в Казань либо в Москву в хороший пансион, где ихние дочери обучались, а если жаль надолго расставаться, принять в дом учительницу, чтобы могла она их всему обучить, что по нынешним временам от дочерей богатых купцов требуется. Зиновий Алексеич на то не согласился. "Как, говорил, приму в дом чужого человека?..

Кто ее знает – какова навернется, чего доброго еще перепортит девчат... Да, пожалуй, по средам да пятницам скоромничать вздумает, – так разве это в христианском доме можно?" Зато стал покупать дочерям книги не только божественные, но и мирские. Ни сам он, ни Татьяна Андревна не знали, какие книги пригодны и какие дочерям в руки брать не годится, потому и спрашивали старичка учителя и других знающих людей, какие надо покупать книги. Но и тут Татьяна Андревна тогда только давала дочерям книгу, когда наперед сама, бывало, прочитает ее от доски до доски. С раннего детства Лиза с Наташей на полной свободе росли, не видывали они сурового взгляда родительского, оттого и не таились ни в чем пред отцом-матерью. Еще бабушка на мельнице с самых пеленок внушала им, что нет на свете ничего хуже притворства и что всякая ложь, как бы ничтожна она ни была, есть чадо диавола и кто смолodu лжет, тот во все грехи потом вступит и впадет на том свете в вечную пагубу.

По смерти бабушки Татьяна Андревна то же самое дочерям внушала. И не было в них притворства, никогда с их языка не сходило лживого слова. На глазах родителей девочки делали, что хотели – и хорошее и дурное, за хорошее их не хвалили, за дурное не бранили и ничем не грозили; а кротко объясняли, почему это дурно и почему того делать не след. Откровенность девочек с бабушкой, с отцом и с матерью была безгранична; каждое свое помышление они им рассказывали.

Живя на мельнице, мало видели они людей, но и тогда, несмотря на младенческий еще почти возраст, не были ни дики, ни угрюмы, ни застенчивы перед чужими людьми, а в городе, при большом знакомстве, обходились со всеми приветно и ласково, не жеманились, как их сверстницы, и с приторными ужимками не опускали, как те, глаз при разговоре с мужчинами, не стеснялись никем, всегда и везде бывали веселы, держали себя свободно, развязно, но скромно и вполне безупречно.

По образу жизни родителей Лиза с Наташей были удалены от сообщества мещанских девушек, потому и не могли перенять от них вычурных приемов, приторных улыбок и не совсем нравственных забав, что столь обычны в среде молодых горожанок низшего слоя. На их подругах заметно было влияние мещанства, и это было противно Лизе с Наташей; не умевшие лгать и притворствоваться, они высказывали это подругам напрямик. За то подруги на них досадовали, а иные даже ненавидели, но никогда ни одна не посмела про них сплетку сплести.

Словом сказать, выросли Лиза с Наташей в строгой простоте коренной русской жизни, не испорченной ни чуждыми быту нашему верованиями, ни противными складу русского ума иноземными новшествами, ни доморощенным тупым суеверием, все порицающим, все отрицающим, о чем не ведали отцы и деды, о чем не писано в старых книгах.

Хоть Лиза двумя годами была постарше сестры, но в их наружности почти никакой разницы не было: похожи друг на дружку, ровно две капли воды. Не такие были они красавицы, каких мало на свете бывает, каких ни в сказках сказать, ни пером описать, но были так миловидны и свежи, что невольно останавливали на себе взоры каждого. Острый, спокойный ум так и блистал в их ясных темно-синих очах. Только что заневестилась старшая, молодежь стала на нее заглядываться, стала она заглядываться и на младшую, а старые люди, любясь на сестриц-красавиц, Зиновью Алексеичу говаривали: «Красён, братец, дочками – умей зятьев подобрать, а выбрать будет из кого, свахи все пороги у тебя обобьют».

И в самом деле обили. Еще годов не выходило Лизавете Зиновьевне, как матушки да тетушки мало-мальски заметных по купечеству женихов стали намекать насчет сватовства, но Татьяна

Андревна речи их поворачивала на шутку. Когда ж исполнились года, городские свахи и приезжие из Саратова, Хвалыня и Сызрани зачастили к Дорониным. Сватались к Лизе молодые и степенные, сватались бедные и богатые, сватались те, кому жениным приданым хотелось карман починить, засылали свях и такие, что, думая завести торговое дело пошире, рассчитывали на доронинские денежки...

Сватались из-за невестинной красоты, из-за хорошего родства, а больше всего из-за денег: таких только отчего-то не виделось, что думали жениться в надежде найти в Лизавете Зиновьевне добрую жену, хорошую хозяйку и разумную советницу. От прямых ответов свахам Татьяна Андревна уклонялась, говорила, что дочь у нее еще не перестарок, хлебом-солью отца не объела, пущай, дескать, в девичестве подольше покрасуется, подольше проживет под теплым материнским крылышком.

Не дивили свях речи Татьяны Андревны – речи те были обычные, исстари заведенные; всегда говорятся они, будь невеста хоть совсем старуха, хоть такая перезрелая дева, по народному присловью, на том свете какой козлов пасти. То смущало свяхонек, то странным и чудным казалось им, что Доронины, и муж и жена, им сказывали, что воли с дочерей они не снимают, за кого хотят, за того пускай и выходят, а их родительское дело благословить да свадьбу сыграть. Такое нарушение старых порядков свахи сочли ересью и потом сомневались даже, в своем ли уме такой ответ Доронины держали.

Года полтора от свях отбоя не было, до тех самых пор, как Зиновий Алексеич со всей семьей на целую зиму в Москву уехал. Выгодное дельце у него подошло, но, чтоб хорошенько его обладить, надо было месяцев пять в Москве безвыездно прожить. И задумал Доронин всей семьей катить в Белокаменную, кстати ж ни Татьяна Андревна, ни Лиза с Наташей никогда Москвы не видали и на Рогожском кладбище сроду не маливались.

В Москве у Зиновья Алексеича знакомство по купечеству было обширное. А водил он хлеб-соль и был в дружбе-приязни не с одними старообрядцами. И церковные уважали его за прямоту души. По приезде в Москву оказалось у чего столько знакомых, что Татьяне Андревне две недели пришлось изо дня в день разъезжать по Москве, знакомства делать. Не привыкла она к такой жизни, неприятны ей были разъезды с одного конца города на другой; но делать было нечего; Зиновий Алексеич сказал, что так надо, – противоречить ему в голову не прихаживало Татьяне Андревне. Вступив в круг новых знакомых, Доронины старались доставлять дочерям удовольствия, какие были возможны и доступны им.

Поездки в гости, в театр, на вечера отуманили Лизу с Наташей; ничего подобного до тех пор они не видали, было им боязно и тягостно среди нового общества. Все им чудилось, что они и из себя-то хуже всех, и глупее-то всех, и говорить-то ни о чем не умеют; все им казалось, что москвичи смотрят на них, как на привозные диковины, и втихомолку над ними насмеваются. Бойки и резвы в своем Вольске они выросли, а теперь сидят себе да помалчивают, боясь слово сказать, сохрани бог не осмеяли бы, а у самих сердце так и щемит, так и ноет – расплакаться, так в ту же пору...

В самом начале московских выездов Доронины всей семьей были на именинах; хозяйская племянница села за фортепиано; начались танцы. Невыносимо стало Лизе с Наташей: их зовут танцевать, а они не умеют. Глядят на девиц и видят, что платья на них и проще и дешевле ихних, а сидят на них и лучше и красивее; одни они одеты, ровно «кутафьи роговны»... (Кутафья – неуклюжая, безобразно одетая женщина, также неуклюже построенное здание (в Москве башня Кутафья так прозвана народом, а не официально). Кутафья роговна – столь безобразно одетая женщина, что над нею все смеются.). И скучно и тошно показалось им в Москве, поскорей бы домой, на родную сторонку, где живетя проще да привольней, где завсегда бывали они всех приглядней, всех наряднее.

Зиновий Алексеич рассудил иначе. Тоже не легко было ему на сердце, как увидел он дочерей в несродной им среде. Обижало его и крепко огорчало, что Лиза с Наташей во всем от других отстали, и не раз он успокаивался, что не послушался друзей-приятелей, не принял в дом учительницы...

Плакала потихоньку и Татьяна Андревна, хоть и громко ворчали на нее рогожские матери,

но Зиновий Алексеич не внял тому, нанял учительницу, обучила б скорей дочерей танцевать, накупил им самых модных нарядов и чуть не каждый день стал возить их в театры, в концерты и по гостям, ежели знал, что танцев там не будет. Танцы – наука не хитрая, была бы только охота, а Лизе с Наташей очень хотелось им выучиться. У выросших без грозы девушек все движения и приемы были свободны, и в каждом выражалась прелесть красоты и непорочности, – выучиться танцам было им не трудно. Месяца через полтора никто бы не узнал их. Заговорили про дочерей Доронина по всему купечеству...

Нарадоваться не мог Зиновий Алексеич. Самодовольно похаживал он на званых вечерах в Купеческом клубе, видя, как его дочери привлекают на себя общее внимание, как блестят красой, ловкостью и разумными разговорами. Тихой радостью сияла Татьяна Андревна, видя, как молодые сыновья самых первых московских тузов-миллионщиков не сводят жадных взоров с ее дочерей и как люди пожилые, степенные, поглядывают на них с довольной и одобрительной улыбкой. И вот что всего было удивительнее: блистая в новой среде, Лиза с Наташей не возбуждали к себе ни чувств недоброжелательства и пренебрежения в матерях неказистых из себя невест, ни зависти и затаенной злобы в новых подругах. Так обаятельна была прелесть их чистоты, так всемогуща была непорочность их помыслов, что выражалась в каждом слове, в каждом взоре, в каждом движении поволжских красавиц...

Всем были ведомы недостатки Доронина, все знали, что каждой из его дочерей половина его состоянья достанется. Тетушки и бабушки неженатых московских купчиков в разговорах с Татьяной Андревной стали загадывать всем понятные, исстари по Руси ходячие загадки:

«Не век-де Лизавете Зиновьевне маком сидеть, не век-де ей русой косой красоваться, не пора ль де ей за свое хозяйство приниматься, свой домик заводить?» Татьяна Андревна, тоже как исстари ведется, от прямого ответа уклонялась, не давала, как говорится, ни приказу, ни отказу. Тогда тетушки да бабушки заводили сватовство напрямки: «У вас, дескать, товар, а у нас на товар купец найдется». И называли купца по имени и отчеству. Но Татьяна Андревна и тут, не давая прямого ответа, обычные речи говаривала: «Наш товар не продажный, еще не поспел; не порогом мы вам поперек стали, по другим семьям есть товары получше нашего». И сколько ни затевалось сватовства, толку не выходило. Лизавета Зиновьевна знала все, мать от нее ничего не таила, однако она ни на минуту не задумывалась ни над одним женихом. Все они были ей равны, ничьи страстные взоры, ничьи сладкие речи не отзывались в ее сердце. Оно, чистое, непорочное, было еще безмятежно, как зеркальная поверхность широко раскинувшегося озера в тихий, ясный июньский вечер.

Пришел Зиновей с порошей – охотничий праздник (30 октября.). Хоть снежку на первую порошу Зиновей в тот год и не принес, а Доронин, не будучи псовым охотником, про Зиновьев праздник и не слыхивал, однако ж задумал было в тот день на всю знакомую Москву пир задать. Зиновьи раз только в году бывают – всем знакомым, кто в святцы поглядывают, было известно, что их поволжский гость в тот день именинник... Обед задать, или вечеринку устроить – советовали меж собой Зиновей Алексеич с Татьяной Андревной. Но как ихняя квартира в нанятом доме-особняке на Земляном валу еще не была как следует устроена, а именины пришлось в пятницу, значит, стола по всей красе устроить нельзя, то и решили отложить пир до Татьянина дня (12 января.), благо он приходился в скромный понедельник. Так всем знакомым и сказывали.

В день ангела Зиновий Алексеич со всей семьей съездил на Рогожское, отстоял там часы, отслушал заказной канон преподобному и, раздав по всем палатам щедрую милостыню, побывал в келье у матушки Пульхерии и вдоволь наслушался красноглазовых речей знаменитой по всему старообрядству старой-престарой игуменьи. Татьяна Андревна с дочерьми от Пульхерии домой поехали, а именинник по какому-то делу в город отправился, обещавшись к обеду воротиться. Подошла обеденная пора, а хозяина нет. Захлопоталась Татьяна Андревна: не пересидела бы, сохрани бог, кулебяка, не переварилась бы осетрина, не перекипела бы рыбная селянка... А время идет да идет, доброй хозяйшке жутко уж становится, чуть не до слез дело дошло... «Каждый год, – думает она, – к именинному пирогу из-за тысячи верст приезжал, а теперь в одном городе, да ровно сгиб-пропал... Не случилось ли уж чего?.. Лошади не разбили ль?.. Не захворал ли вдруг?» Обливается тоской сердце Татьяны Андревны, а смущенные не меньше матери дочери давно все окна проглядели – не едет ли тятенька из города.

– Едет! – радостно вскрикнула, наконец, Наташа и бросилась встречать отца.

Татьяна Андревна три раза набожно перекрестилась, глядя на иконы, и спокойной походкой к дверям пошла.

– С каким-то гостем, – молвила Лизавета Зиновьевна, еще не отходившая от окошка.

В самом деле, в щегольских парных орехового дерева санях рядом с Зиновьем Алексеичем сидел кто-то, закутанный в ильковую шубу и дорогую соболью шапку.

«С кем бы это? – размышляла Татьяна Андревна, проворно подходя к окну, мимо которого заворачивали на двор сани. – Уж не из наших ли, не из Вольских?.. Да шубы-то такой во всем Вольске нет».

– Может, из московских кто-нибудь, – заметила Лиза.

– Привезет ли он кого из здешних на именины, когда пиры да гостины отложены? Так не водится, – молвила Татьяна Андревна.

Вошел в прихожую Зиновий Алексеич. Наташа быстро подскочила к отцу, сняла с него шапку и повисла у него на шее, целуя заиндевевшую от мороза родительскую бороду.

– Заждались мы тебя! Чуть-чуть не заплакали. Думали, не случилось ли уж чего с тобой, – говорила она, весело улыбаясь и снимая с отца шубу.

– И впрямь, батька, где это ты запропастился?.. – стоя в дверях залы, сказала Татьяна Андревна. – Как это тебе, Алексеич, не стыдно мучить нас?.. Чего-чего, дожидаясь тебя, мы ни надумали!.. А кулебяка-то, поди-чать, перегорела, да и рыба-то в селянке, думать надо, перепрела.

– Запоздал маненько, – молвил Зиновий Алексеич.

– Како тут маненько? – возразила Татьяна Андревна. – Погляди на часы-то. Битых два часа тебя поджидали, а ему про нас и думушки нет... А еще именинник!.. Постылый ты этакой! – с напускною досадой промолвила Татьяна Андревна, отворачиваясь от мужа.

– Ну, простите, Христа ради. Ни впредь, ни после не буду, – ласково потрепав хозяйку по плечу, сказал Зиновий Алексеич. – Что делать?.. Линия такая вышла! Зато и дельце сварганили... Ну, да ведь соловья баснями не кормят, а ты, Андревнушка, спроворь-ко нам поскорее закусочку: водочки поставь да мадерцы, икорки зернистой, да грибочков, да груздочков, да рыжичков, да смотри, огурчиков солененьких не забудь. А за обедом извольте поздравлять меня холодненьким – значит, шампанское чтоб было подано... А этого молодца признала? – сказал Зиновий Алексеич, указывая на выходившего из передней молодого человека.

– Не могу признать, – пристально глядя на гостя и слегка разводя руками, молвила Татьяна Андревна.

– Вот оно каково!.. – шутил Зиновий Алексеич. – Вот оно что значит в Москву-то забраться!.. Своих не узнаешь!.. Наших палестин выходец, волжанин сын (Волжанин или волжанин сын – так зовут уроженцев Поволжья, особенно среднего и низового.), саратовец, да еще нам никак и сродни маленько приходится!

Тут Татьяна Андревна совсем уж растерялась. Сложив руки на груди и умильно поглядывая на молодого человека, сказала ему:

– Ни за что на свете старым моим глазам не признать вас, батюшка... Скажите, сделайте милость, как вы нам родня-то?

Молодой человек был смущен не меньше Татьяны Андревны. Мнет соболью свою шапку, а сам краснеет...

Не спал, не грезил – и вдруг очутился среди красавиц, каких сроду не видывал, да они же еще свои люди, родня.

– Федора Меркулыча помнишь? – спросил у жены Зиновий Алексеич.

– Как же, батька, не помнить Федора Меркулыча? Двоюродным братцем матушке покойнице доводился, – отвечала Татьяна Андревна...

– Так это его сынок, Никита Федорыч, – сказал Зиновий Алексеич.

– Микитушка! – радостно вскрикнула Татьяна Андревна. – Родной ты мой!.. Да как же ты вырос, голубчик, каким молодцом стал!.. Я ведь тебя еще махоньким видала, вот этаким, – прибавила она, подняв руку над полом не больше аршина. – Ни за что бы не узнать!.. Ах ты, Микитушка, Микитушка!

И с любовной лаской принялась со щеки на щеку лобызать новоявленного сродника.

– Ну что, как у тебя домашние-то? – с родственным участием спрашивала Татьяна Андревна.

– Батюшка летошний еще год помер, – тихо промолвил Никита Федорыч.

– Слышали, родной, слышали... Пали и к нам вести об его кончине, говорила Татьяна Андревна. – Мы все как следует справили, по-родственному: имечко святое твоего родителя в синодик записали, читалка в нашей моленной наряду с другими сродниками поминает его... И в Вольске при часовне годовая была по нем заказана, и на Иргизе заказывали, и на Керженце, и здесь, на Рогожском. Как следует помянули Федора Меркулыча, дай господи ему царство небесное, – три раза истово перекрестясь, прибавила Татьяна Андревна.

Меж тем в гостиной на особый столик закуски поставили, и Зиновий Алексеич, взяв гостя под руку, подвел к ней и молвил:

– Покойникам вечный покой, а живым – хлеб да соль. Милости просим, Никита Федорыч!.. Водочки-то! Икорки, балычка!

– Дома-то, слышали мы, мало живешь!.. – продолжала расспросы свои Татьяна Андревна. – Все больше, слышь, в разъездах.

– Такое уж наше дело, – отвечал Меркулов. – Ведь я один, как перст, ни за мной, ни передо мной нет никого, все батюшкины дела на одних моих плечах остались. С ранней весны в Астрахани проживаю, по весне на взморье на ватагах, летом к Макарью; а зиму больше здесь, да в Петербурге.

– В Питере-то что у тебя за дела? Не хлебом, батька, торгуешь? – спросила Татьяна Андревна.

– По нынешним обстоятельствам нашему брату чем ни торгуй, без Питера невозможно, – ответил Никита Федорыч. – Ежели дома на Волге век свой сидеть, не то чтобы нажить что-нибудь, а и то, что после батюшки покойника осталось, не увидишь, как все уплывет.

– Это так, это верно, – подтвердил Зиновий Алексеич. – До какого дела ни коснись – без Питера нельзя, а без Москвы да без Макарья – тем паче.

– Нынешняя коммерция не то, что в старые годы, Татьяна Андревна, прибавил Никита Федорыч, обтираясь салфеткой после закуски.

И хотел было подробнее о том разговориться, но Татьяна Андревна тут на него прикрикнула:

– Да что я тебе за Татьяна Андревна такая далась?... Опомнись, батька, перекрести лоб-от!.. Твоему родителю внучатной сестрой доводилась, значит, я тебе тетка, а не Татьяна Андревна!.. А это тебе дядюшка Зиновей Алексеич, а это сестрица – Лизавета Зиновьевна да Наташа – до Наташи-то Зиновьевны она еще не доросла. Ты у меня и не смей иначе звать, как меня тетушкой, его дядюшкой, их сестрицами... На что это похоже?... Люди свои, сродники, а меж собой ровно бы чужие разговаривают!.. Басурмане, что ли, мы? Так и те родню почитают... Ты у меня и думать не смей по имени по отчеству нас величать... Слышишь!..

За столом Меркулов, по приказу Татьяны Андревны, называл ее тетушкой, называл было Зиновья Алексеича по имени и отчеству, так и тот на него вскинулся:

– Разве я не теткин муж? – сказал он. – Коль она тебе тетка, я, значит, тебе дядя. Так-то, сударь!

Стал Никита Федорыч и Доронина дядюшкой называть, но девиц сестрицами называть как-то не посмел, оттого мало и разговаривал с ними. А хотелось бы поговорить и сестрицами назвать...

После обеда именинник пошел на часок отдохнуть, а гость домой стал собираться, но тетушка его не пустила.

– Куда это ты, Микитушка? – говорила она. – Посумерничай, батька, у нас, покалякаем; встанет Зиновий Алексеич, чайку попьем да еще покалякаем до ужина-то. Отведи до конца дядины-то именины, гости у нас до ночи.

И остался племянник у дяди до полночи, говорил с ним о делах своих и намереньях, разговаривал и с сестрицами, хоть ни той, ни другой ни ты сказать, ни «сестрицей» назвать не осмелился. И хотелось бы и бояться бы, кажется, нечего, да тех слов не может он вымолвить; язык-то ровно за порогом оставил.

А ехавши домой, всю дорогу про ласковых, пригожих сестриц продумал; особенно старшая вспоминалась ему. Вплоть до зари больше половины ночи продумал про нее Никитушка; встал поутру – а на уме опять та же сестрица.

Сердце сердцу весть подает. И у Лизы новый братец с мыслей не сходят... Каждое слово его она вспоминает и каждому слову дивится, думая, отчего это она до сих пор ни от кого таких разумных слов не слыхивала... Пришел ее час.

А Наташа ничего. Братец за дверь, она про него и забыла. Ее час еще не пробил.

Через какую-нибудь неделю Меркулов у Дорониных совсем своим человеком стал. Как родного сына, холила и лелеяла «Микитушку» Татьяна Андревна, за всем у него приглядывала, обо всем печаловалась, каждый день от него допытывалась: где был вчера, что делал, кого видел, ходил ли в субботу в баню, в воскресенье за часы на Рогожское аль к кому из знакомых в моленну, не оскоромился ль грехом в среду аль в пятницу, не воруют ли у него на квартире сахар, не подменивают ли в портомойне (Прачешное заведение.) белье, не надо ль чего заштопать, нет ли прорешки на шубе аль на другой одежде какой. Покажется Татьяне Андревне, что у Микитушки глаза мутны аль в лице побледнел, тотчас зачнутся расспросы: не болит ли головка, лихоманка не напала ли, не съел ли чего лишнего, не застудил ли себя. За расспросами советы пойдут: напиться на ночь той либо другой травки, примочить голову уксусом, приложить горчишник. Взгрустнется Никите Федорычу аль раздумье на него нападет, опять тетушкины расспросы: не случилось ли в делах изъяну, не гребтит ли срочный вексель, не обчел ли его кто-нибудь, не обидел ли словом али делом.

Иной раз Никите Федорычу докучны бывали тетушкины заботы, но он и виду не показывал, что они ему надоели. Знал, что радушное о делах его беспокойство Татьяны Андревны, усердные вокруг него хлопоты идут от бескорыстной любви, от родственного чувства, хоть на самом-то деле какой уж он был ей сродник? В седьмом колене доводился, а Лизе с Наташей – в восьмом. В Сибири, на севере и в широких степях заволжских, кто живет за полтора ста, за двести верст, тот ближний сосед, а родство, свойство и кумовство считается там чуть не до двадцатого колена. Седьма вода на киселе, десята водина на квасине и всякая сбоку припёка из роду, из племени не выкидается. Даже тот, кто на свадьбе в поезжанах был, век свой новобрачным кумом, а их родителям сватом причитается. Хранить родство, помогать по силе возможности сродникам по тем местам считается великой добродетелью, а на того, кто удаляется от родных, близких ли, дальних ли, смотрят, как на недоброго человека. Зиновий Алексеич и Татьяна Андревна свято хранили заветы прадедов и, заботясь о Меркулове, забывали дальность свойства: из роду, из племени не выкинешь, говорили они, к тому ж Микитушка сиротинка – ни отца нет, ни матери, ни брата, ни сестры; к тому ж человек он заезжий – как же не обласкать его, как не приголубить, как не призреть в теплом, родном, семейной кружке. «Бог счастье отнимет, кто родню на чужбине покинет», – говаривала Татьяна Андревна.

Никита Федорыч матери не помнил. В пеленках остался после нее. Рос на попечение няnek да мамок. Родитель его в людях человек душевный, веселый, добродушный, обходительный, ко всякому радушный и ласковый, в стенах своего дома бывал всегда угрюм, суров и своеобразен. Из домашних на него никто угодить не мог – вечно ворчит, вечно чем-нибудь недоволен и гневен. А ежели рассердится, – а сердился он почти ежечасно, – изъязвит, бывало, словами человека. Рукам воли не давал, но подначальные говаривали: "Не в пример бы легче было, ежели бы хозяин за всяко просто в ус да в рыло... А то пилит-пилит, ругается над тобой, ругается – не видно ни конца, ни краю... А ведь ругается-то как: каждое словечко больней плети треххвостки! И редкие работники

подолгу у Меркулова уживались, хоть платил он им хорошо, а поил, кормил не в пример лучше, чем другие хозяева.

По смерти жены, то одну, то другую сродницу звал хозяйствовать да за сыном приглядывать – больше полугода ни одна не уживалась. Чужих стал звать, большие награды давал – те и месяца не выдерживали. Вырос Микитушка на руках двух нянек, безответных старушек; за душевный подвиг они себе поставили претерпеть все невзгоды и ругательства хозяина ради «маленького птенчика, ради сироты, ни в чем не повинного».

Канонница из Иргиза, что при моленной жила, тоже решила себя на смиренномудрое долготерпение в доме Федора Меркулыча, но сделала это не из любви ко птенчику сиротке, а за то, что ругатель-хозяин в обитель ее такие суммы отваливал, что игуменья и соборные старицы, бывало, строго-настрого наказывают каноннице: «Вся претерпи, всяко озлобление любовью покрой, а меркуловского дома покинуть не моги, велия бо из него благодать неоскудно истекает на нашу честную обитель». Канонница Микитушку читать-писать выучила: нянькам и за то спасибо, что ребенок вырос ни кривым, ни хромым, ни горбатым каким. Лет десять ему было уж, Микитушке, как родитель его, наскучив одинокой жизнью и тем, что в его богатом доме без бабы пустым пахло, без прямой хозяйки все лезло врознь, – вздумал жениться на бедной молоденькой девушке. Была она мещанская дочь; отец ее чеботарил.

Видал ее Федор Меркулыч каждое лето, когда, бывало, пробудясь от послеобеденного сна, прохлаждался он, сидя за чаем в гулянке (Беседка), что стояла вскрай его сада, рядом с садишком чеботаря. Видал он ее еще тогда, как девчонкой-чупахой, до пояса подыма подол, бегала она по саду, собирая опавшие дули и яблоки, видал и подростком, когда в огороде овощ полола, видал и бедно в ситцевый сарафанчик одетою девушкой, как, ходя вечером по вишеннику, тихонько распевала она тоскливые песенки. Влюбился старый брюзга, слова с девушкой не перемолвя, послал он за чеботарем и, много с ним не говоря, с первого слова объявил ему, что хочет зятем ему учиниться. Чеботарь от неожиданного счастья белугой заревел и в ноги поклонился Федору Меркулычу. На другой день седовласый жених, все еще не выдавшись с невестой, поехал к беглому попу, что проживал при злобинской часовне.

– Так и так, отче святой, жениться хочу.

– Не старенько ли твое дело, Федор Меркулыч? – спросил у него поп.

– Помоложе тебя буду, а живешь же с попадьей да детей еще плодишь, ответил сурово жених. – Не гляди на меня, что волосом бел, то знай, – что я крепостью цел. Году не минет – крепить позову.

– Ох, чадо, чадо! Что мне с тобой делать-то? – вздохнул беглый поп, покачивая головой и умильно глядя на Федора Меркулыча. – Началить тебя – не послушаешь, усювестить – ухом не поведешь, от писания святых отец сказать тебе – слушать не захочешь, плюнешь да прочь пойдешь... Что мне с тобой делать-то, старче божий?

– Чего делать? – усмехнулся Федор Меркулыч. – Бери деньги да венчай, вот, и все твое дело.

– Ох-ох-ох!.. Грехи наши, грехи тяжкие! – вздыхал поп по-прежнему. – О душе-то надо бы подумать, Федор Меркулыч. Ведь немало пожито, немало и грехов-то накоплено... Каяться бы тебе да грехи оплакивать, а не жениться!

– Не на дух к тебе, батька, пришел, законный брак повенчать требую, вспыхнул Меркулов. – Ты ляссы-балясы мне не точи, а сказывай: когда ехать в часовню и сколько возьмешь за труды?..

– Ох-ох-ох! – вздыхал поп и, видя, что седого жениха не возьмешь ни мытьем, ни катаньем, спросил: – С кем же браком сочетаться есть твое произволение? Жених назвал невесту.

– Ах, Федор Меркулыч, Федор Меркулыч!.. – покачивая головой, сказал на это поп. – Да ведь ей только что семнадцатый годок пошел, а тебе ведь седьмой десяток в доходе. Какая ж она тебе пара?.. Ведь она перед тобой цыпленок.

– Цыпленок! – с самодовольствием молвил Федор Меркулыч – Что ж из того?.. Всяк человек до цыплятинки-то охотник!.. Ты не охотник разве, отче святой?.. А?..

– Ох, грехи, грехи! – глубоко вздыхая, молвил поп и, зная, что упрямого Федора Меркулыча в семи ступах не утолчешь, да притом рассчитывая и на благодать, какой, может быть, еще сподобится, назначил день свадьбы.

Женился Федор Меркулыч. Десятилетний Микитушка на отцовской свадьбе благословенный образ в часовню возил и во все время обряда глаз с мачехи не спускал. Сам не знал, отчего, но с первого взгляда на нее невзлюбила невинная отроческая душа его розовой, пышно сияющей молодостью красавицы, стоявшей перед наложником рядом с седовласым его родителем. Сердце вещун – и добро оно чувствует и зло, особенно в молодых годах.

В русских семьях хитрая молодая жена зачастую подбирает к рукам мужа старика, вертит им, как себе хочет, и живет он у нее во смирение и послушание до самого смертного часа. Так и с Федором Меркулычем случилось: семнадцатилетняя женка, наслушавшись советов матери и других родственниц, сумела вконец заполонить семидесятилетнего мужа. Федор Меркулыч не выходил из ее воли: что ни вздумала, чего бы ни захотела «свет душа Паранюшка» у него, тотчас вынь да положь. И стал бедный цыпленок царить в богатом доме, все под ноготок свой подвела Прасковья Ильинишна, всем распоряжалась по властному своему хотенью. Заспесивилась перед сверстницами-подругами, загордилась перед давними знакомыми, зачванилась перед близкими и дальними сродниками. Живучи у родителей, и в великие праздники сладкого куса не знавшая, подчас голодавшая и холодавшая, – много злобы и зависти накопила Прасковья Ильинишна в своем девичьем сердце, а когда начала ворочать тысячами, стала ровно каменная, заледенела. Опричь денег, ни к чему сердце у ней не лежало.

И родных своих по скорости чуждаться стала, не заботили ее неизбывные их недостатки; двух лет не прошло после свадьбы, как отец с матерью, брат и сестры отвернулись от разбогатевшей Параши, хоть, выдавая ее за богача, и много надежд возлагали, уповая, что будет она родителям под старость помощница, а бедным братьям да сестрам всегдашняя пособница. Ото всех отшатнулась, на всех подула холодком, и, ласкаясь к старому и полному немощей мужу, страстно его уверяла, всеми клятвами заклинаясь, что, кроме его, нет у нее ничего заветного, что даже отец с матерью стали остудой для нее. Верил старый и души не чаял в молодой жене.

Дух алчности и злобы совсем осетил ее. Мужу только угождала, и то из корысти, день и ночь помышляя, как бы добиться, чтоб старый, отходя сего света, ей все имение отдал. Своих деток не родилось, пасынок поперек дороги стоял, и оттого возненавидела она беззащитного мальчика... Тюрьмы да каторги опасаясь, со свету сжить Никитушку не решалась, зато вздумала сбыть его из дому, не вертелся бы он на отцовских глазах. Вырастивших его нянек со двора долой согнала; иргизскую канонницу, что грамоте его обучила, сменила старой, злой, бранчивой керженской читалкой. Не с кем стало словечко перемолвить Никитушке; отца видал он редко, а от мачехи да от прислуги только бранные речи слышал и каждый день терпел обиды: и щипки, и рывки, и целые потасовки. Любил его только серый Волчок – старая цепная собака, и того мачеха извести велела. А из дому выходу Никитушке не было, и к нему из сверстников никто не хаживал. Рос мальчик в полном одиночестве.

Болезнью о забитом Никитушке, други-приятели Федора Меркулыча на беседах ему советовали, отдал бы он сына в ученье в Москву либо в Питер. Узнавши о том, Прасковья Ильинишна день и ночь стала докучать старому, чтобы отправил он в ученье Никитушку. Слушать не хотел Меркулов друзей-приятелей, но Прасковья Ильинишна на своем поставила. Правду пословица говорит: ночная кукушка денную перекукует. Решил Федор Меркулыч отправить сына в Питер, отдать его там в коммерческое училище, а отучится – на контору куда-нибудь; пущай, дескать, к делам приучается. Выйдет человеком, слава богу, свихнется – значит, была на то воля божия. И послали Никитушку при отцовском рыбном обозе в Москву, а оттоль в Питер переправили и там с грехом пополам в училище пристроили. Весела и радостна стала Прасковья Ильинишна, лет на десяток помолодел Федор Меркулыч от любовных ласк молодой жены. А детушек у Прасковьи Ильинишны нет как нет, не шлет их господь.

Хоть живи, не живи, а годы возьмут свое – ослаб, одряхлел Федор Меркулыч и совсем захилел, когда ему за половину восьмого десятка перевалило. А Прасковья Ильинишна тогда во всю красу вступила. Живой живого ищет, молодость живет молодым. И грустно и тошно стало ей жить со стариком. С тоски да с печали слюбилась она с молодым пригожим приказчиком. По зимам и в темные ночи осенние, когда Меркулов в отлучках бывал, видалась она с полюбивником в уютной спальне, до вторых петухов с ним просиживала возле изразцовой печки на теплой лежаночке, а

летом миловалась с ним в зеленом саду, в частом вишенье, орешенье и весело над постылым мужем посмеивалась. И не день, не месяц молодая жена старого мужа обманывала, любила она со дружкой два годочка.

Раз перед Троицей Федору Меркулычу прихворнулось; гостил на пиру, на беседе, покушал ботвинья да жирной кулебяки, грибков в сметане сковородку-другую уплел да жареного поросеночка с гречневой кашей. Только что воротился домой, как его схватило, – сейчас за попом. В сенях Прасковья Ильинишна попа перехватила, обещала ему сколько-то тысяч, уговорил бы больного написать духовную в ее-пользу. Поп так и сделал, и едва успел Федор Меркулыч подписать завещанье, как канонница стала у него в изголовьях и стала читать канон на исход души. Под вечер больной забылся, и все, кто при нем были, один по другому из душевной горницы вышли. Только что забрезжило, Федор Меркулыч проснулся и встал с постели, как встрепанный. Огляделся, видит: перед налоем, растянувшись на полу, вся в поту спит мертвым сном канонница...

Душно, жажда мучит старика. Обул Федор Меркулыч ичеги (Сафьянные спальные сапоги татарской работы.), накинул на плечи легонький халат и вышел тихонько в сад прохладиться.

А в те поры «хмелевые ночки» стояли – по людям ходил веселый Яр и сладким разымчивым дыханьем палил в них кровь молодую. Разутешенная мужниной духовной, Прасковья Ильинишна тихонько прошла в вишенье с милым дружкой повидаться. Радостно было свиданье, веселы речи про то, как заживут они теперь в любви и довольстве. Шепотом беседу вели, но старый подслушал. Кол под руку ему попался, и дал он волю ярости и гневу. Приказчик через забор, а Прасковья Ильинишна с разбитой головой едва доползла до горницы. Дня через два в пышных хоромы Меркулова гроб стоял...

Схоронив жену и замаяв дело о внезапной ее смерти, Федор Меркулыч сам захворал уж не в шутку. Чувствуя близость смерти, велел он к сыну писать, ехал бы как можно скорей закрывать глаза родителю. Никита Федорыч поездкой поспешил, но отца в живых не застал. Каждый уголок в родительском доме, каждый стол, каждый стул напоминал ему горькую жизнь; каждодневные обиды мачехи да суровые речи отца. В городе никого он не знал, для всех тамошних был чужим человеком...

Справляя поминки, сзывал все старообрядство, но по сердцу никому не пришелся. Тараторили с досадой матушки да бабушки молодых невест: «По всему бы жених хорош – и пригож, и умен, и богат, да в вере не тверд: ходит по-модному, проклятый табачище курит, в посты дерзает на скоромное и даже водит дружбу с колонистами, значит сообщается со еретики». Пытались старики молодого человека усовещивать, но он на их уговоры только улыбался. И промчалась про Никиту Федорыча по всему поволжскому старообрядству молва недобрая: совсем-де погиб человек.

Не знавший ласки материнской, Никита Федорыч и в Петербурге не знал женского общества. Принятый с лаской, с участием и бескорыстной родственной любовью у Дорониных, он почувствовал, что нашел то, чего не знал, но чего давно искала душа его. Все семейство Зиновья Алексеича, особенно мать с дочерьми, произвели на него какое-то таинственное обаяние, и того отрадного чувства, что испытывал он, находясь в их кругу, он не променял бы теперь ни на что на свете... Каждый день бывая у Дорониных и каждый раз вынося из дома их чувство чистоты, добра и свежести, сознавал он, что и сам делается лучше и добрее. Татьяна Андревна на первых же порах стала его понемножку журить за нетвердость в старой вере и за открытое пренебрежение дедовских обычаев. И он, только улыбающийся на попреки саратовских стариков, тотчас послушался доброй тетюшки: и посты стал держать, и при людях табак перестал курить, и одёжу стал носить постепеннее.

Полюбил Никита Федорыч сестриц своих, но любовь к той и к другой была разная. Младшую любил, как брат сестру, а к Лизавете Зиновьевне с самого начала иное чувство в нем зародилось и разгоралось с каждым днем, с каждым свиданьем. С Наташей был он шутилив и весел, иной раз, бывало, как маленький мальчик с нею резвится, но с Лизаветой Зиновьевной обращался сдержанно и, как ни близок был в семействе, робел перед ней. И она тоже дичилась его, и ей как-то стыдно бывало, когда Никита Федорыч с ней заговаривал. Потом мало-помалу привыкла, и хорошенький братец не стал выходить из мыслей сестрицы. Великим постом Доронины стали домой

сряжаться, а Никите Федорычу надо было в Астрахань ехать на ватаги; тут он решился намекнуть Татьяне Андревне, что Лизавета Зиновьевна крепко ему полюбилась. Тетушка ни «да» ни «нет» ему не сказала, стала с мужем советоваться. Зиновий Алексеич был не прочь от такого зятка, по-усомнился только, можно ль будет их повенчать – брат ведь с сестрой. Татьяна Андревна в «Кормчую» заглянула и нашла, что браки воспрещаются только до седьмого колена; посчитали – Лиза Никитушке в восьмом приходится. Спросили ее, по мысли ль ей названной братец, – ни слова она не ответила, но, припав к материну плечу, залилась слезами. В то самое время в передней послышался голос Меркулова. Лиза отерла глаза, и лицо ее расцвело радостью, засияло счастьем.

Решили свадьбу сыграть по осени, перед филипповками; к тому времени и жених и нареченный его тесть покончат дела, чтобы пировать на свободе да на просторе. А до тех пор был положен уговор: никому про сватовство не поминать – поменьше бы толков да пересудов было.

Перед отъездом на Низовье услышал Никита Федорыч от знакомых ему краснорядцев, что по зиме много тюленя для фабрик потребуется. Вспомнилось тут Меркулову, как иные не очень богатые люди от рыбного товара в короткое время делались миллионщиками. Тот всего судака вовремя закупил и продал его по высокой цене у Макарья, другой икру в свои руки до последнего пуда забрал и ставил потом на нее цены, какие вздумалось. Отчего ж и ему тюленя не купить и не продать на ярманке по высокой цене. Надеясь на счастье-талан нареченной своей невесты, решил он пустить на авось весь наличный капитал, а потом весь барыш, сколько ни выручит его, подарить новобрачной жене. Осторожный в делах Зиновий Алексеич уговаривал его больше половины денег наудачу не бросать; счастье-де вольная птичка, садится только там, где захочет... Не внимал Меркулов словам нареченного тестя, но с одного слова Лизаветы Зиновьевны на все согласился.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Придя от Доронина и высчитав, сколько придется получить барышей от закупки меркуловского тюленя, Марко Данилыч пошел было к Дуне, но пришел другой ранний гость, Дмитрий Петрович Веденеев. Рассчитав, что услуга, оказанная накануне этим гостем, принесет на плохой конец полсотни тысяч, Марко Данилыч стал к нему еще ласковей, еще приветливее. Явился на столе самовар, и пошло угощение дорогого гостя редкостным лянсином фу-чу-фу. Самоквасов вскоре подошел, познакомился с Веденеевым, и зачалась беседа втроем за чайничаньем.

– Ну что?.. Новенького чего нет ли на ярманке? – спросил Смолокуров у Петра Степаныча.

– Кажись, ничего особенного, – отвечал Самоквасов. – Останний караван с железом пришел, выгружают теперь на Пески. С красным товаром, надо полагать, чуть ли не покончили.

– Что больно рано? – удивился Смолокуров.

– Линия такая вышла, – молвил Самоквасов, ставя на стол допитой стакан и отирая фуляровым платком пот, обильно выступивший на лице его.

– Кто сказывал? – спрашивал Марко Данилыч.

– Про краснорядцев?.. Никто не говорил, а надо полагать, что расторговались, – сказал Самоквасов. – В семи трактирах вечор кантовали (Кантовать – весело пировать на каких-нибудь радостях.): ивановские у Барбатенка да у Веренинова, московские у Бубнова да у Ермолаева, а самые первые воротили – у Никиты Егорова. И надо полагать, дела завершили ладно, с хорошими, должно быть, остались барышами.

– А что?

– Спрыски-то уж больно хороши были, – молвил Петр Степаныч. – До того, слышь, кантовали, что иные до извозчика четверней ехали. И шуму было достаточно – дошли до того, что хоть гору на лыки драть.

– Барыши, значит, – сказал Марко Данилыч. – А вот у нас с Дмитрием Петровичем рыбки до сей поры с баржей сойти не охота. Ни цен, ни дел – хоть что хошь делай.

– Наше дело, Марко Данилыч, еще не опоздано, – заметил Веденеев. – Оно всегда под самый конец ярманки решается. Не нами началось, не нами и кончится.

– Да так-то оно так, – промолвил Смолокуров. – Однако уж пора бы и начинать помаленьку,

а у нас и разговоров про цены еще не было. Сами видели вчера, какой толк вышел... Особливо этот бык круторогий Онисим Самойлыч. Чем бы в согласие вступать, он уж со своими подвохами. Да уж и одурачили же вы его!.. Долго не забудет. А ништо!.. Не чванься, через меру не важничай!.. На что это похоже?.. Приступу к человеку не стало, ровно воевода какой – курице не тетка, свинье не сестра!

– А вы погодите, – слегка усмехнулся Веденеев. – Орошин не из таковских, чтоб обиды спускать. Помяните мое слово, что ярманка еще не покончится, а он удерет какую-нибудь штуку.

– Бог не выдаст – свинья не съест, – равнодушно промолвил Марко Данилыч. – А у вас, Дмитрий Петрович, разве есть с ним дела либо расчеты какие?

– Слава богу, никаких нет, – ответил Веденеев.

– Так вам и опасаться нечего, – сказал Марко Данилыч.

– Я не про себя, про всех говорю, – молвил Дмитрий Петрович.

– Ну, со всеми-то ему не справиться! – возразил Смолокуров. – Хоть шея у него и толста, а супротив общества не бойсь и она сломится.

– Да, – сказал Веденеев, – сломилась бы, ежели б промеж нас мир да совет были, ежели бы у нас все сообща дела-то делали. А то что у нас?.. Какое согласие?.. Только и норовят, чтобы врозь да поперек, да нельзя ли другу-приятелю ножку подставить...

– Ну, уж будто и все? – слегка поморщась, промолвил Марко Данилыч.

– Конечно, не все, – ответил Веденеев. – А и то сказать, всяк до поры только до времени. Вот хоть Сусалина взять Степана Федорыча. Вечор, как ушел из трактира Орошин, ведь больше всех над ним издевался, да про дела его рассказывал. А сегодня захожу я порану в рыбный трактир, калоши вечор позабыл – глядь, а Степан Федорыч в уголку с Орошиным чаи распевают, шепчутся – по всему видно, что какое-то дело затевают. Народу-то в трактире никого еще не было, так буфетчик сказывал, что они на безлюдье счета потребовали и долго считали да костями стучали, а говорили все шепотом.

– Мудреного нет, – заметил Смолокуров. – У Орошина сусалинских векселей довольно...

– То-то и есть, Марко Данилыч, – молвил Веденеев – Векселя!.. И поди ведь, чай, скупленные?

– Пожалуй что и скупленные, – барабаня по столу пальцами, сказал Марко Данилыч.

– И на другого и на третьего рыбника, пожалуй, таких векселей немало у Онисима Самойлыча, – продолжал Веденеев – А его векселей ни у кого нет. Оттого у него и сила, оттого по рыбной части он и воротит, как в голову ему забредет.

– Нельзя же без векселей, – нахмурясь, промолвил Марко Данилыч. – На векселях вся коммерция зиждется... Как без векселей?.. В чужих краях, сказывают, у немцев, аль у других там каких народов, вся торговля, слышь, на векселях идет.

– Это так, – согласился Веденеев, – зато там по векселям-то совсем другие-порядки, чем у нас... У нас бы только скупить побольше чьих-нибудь векселей да прижать голубчика, чтоб пикнуть не смел. А по банкам так любят у нас бронзовыми орудовать.

– Какими это бронзовыми? – спросил у Веденева Петр Степаныч, удаленный дядей от торговых дел и потому не имевший никакого понятия о кредите.

– А вот, к примеру сказать, уговорились бы мы с вами тысячу по двадцати даром получить, – стал говорить Веденеев. – У меня наличных полтины нет, а товару всего на какую-нибудь тысячу, у вас то же. Вот и пишем мы друг на дружку векселя, каждый тысячу по двадцати, а не то и больше. И ежели в банках по знакомству с директорами имеем мы доверие, так вы под мой вексель деньги получаете, а я под ваш. Вот у нас с вами гроша не было, а вдруг стало по двадцати тысяч.

– Да ведь это, по-моему, просто надувательство, – молвил удивленный Самоквасов. – На что же это похоже?.. Как же это так?.. Вдруг у меня нет ни копейки – и я двадцать тысяч ни за что, ни про что получаю?.. Да это ни с чем не сообразно... Ну, а как сроки выйдут?

– Заплатите, – сказал Веденеев.

– А ежели нечем?

– Несостоятельным объявитесь, – с усмешкой молвил Дмитрий Петрович. Только на этот конец надобно не на двадцать тысяч, а сколь можно побольше и в банках и у купцов окредитоваться.

Потом все как по маслу пойдет – администрация там али конкурс... Хорошее-то платьице припрятывайте тогда подальше, дерюжку наденьте, ходите пешечком, на нищету встречному и поперечному жалуйтесь, иной раз на многолюдстве не мешает и Христа ради на пропитание у кого-нибудь попросить... Конечно, ваш дом, движимость, которая на виду осталась, продадут, банки да кредиторы по сколько-нибудь копеек за рубль получат... А как только кончилось ваше дело, припрятанный-то капитал при вас, а долгу ни копейки. Опять пускайтесь тогда в коммерцию и опять лет через пяток бронзовых векселей побольше надавайте... Разика три обанкрутитесь, непременно будете в миллионе.

Только плечами пожал Петр Степаныч, а Марко Данилыч, сильно нахмурившись, молвил:

– На то кредит... Без кредиту шагу нельзя ступить, на нем вся коммерция зиждется... Деньги что? Деньги что вода в плесу, – один год мелко, а в другой дна не достанешь, омут. Как вода с места на место переливается, так и деньги – на то коммерция! Конечно, тут самое главное дело: «не зевай»... Умей, значит, работать, умей и концы хоронить.

– Пословица-то, Марко Данилыч, кажется, не так говорится, – прищулив один глаз, заметил Веденеев.

– Как же, по-вашему? – спросил Смолокуров.

– Умей воровать, умей и концы хоронить, – сказал Дмитрий Петрович.

– Молоденьки еще, сударь, про такие важнейшие, можно сказать, дела таким родом толковать, – насупившись, кинул сердитое слово Марко Данилыч и даже в сторону отворотился от дорожного гостя.

– А какой я вам смех расскажу, Марко Данилыч, – вступился Самоквасов, заметив, что и у нового его знакомого брови тоже понахмурились: долго ль до греха, свары бы не вышло.

– Что такое? – сухо спросил Смолокуров.

– У Сергея Филиппыча у Орехова, слышали, я думаю, баржа с рыбой под Чебоксарами затонула, – начал рассказывать Петр Степаныч. – И рвет и мечет, подступиться к нему невозможно, ко всякому придирается, шумит, что голик, и кто ему на глаза ни попал, всякого ругает на чем свет стоит.

– Заругаешься, как баржа с товаром затонет... Не орехов горстка, сумрачно молвил Марко Данилыч.

– Я не про то, слушайте, какой смех-от из этого вышел, – перебил Самоквасов. – Матушку Таифу знаете?

– Какую там еще Таифу? – спросил Смолокуров.

– Комаровскую. Казначей у матери Манефы, – отвечал Самоквасов. – В Петров день, как мы с вами там гостили, ее дома не было, в Питер, слышь, ездила.

– Ну, знаю, – молвил Марко Данилыч. – Только смеху-то покамест не вижу.

– Зашел я намерен в лавку к Панкову, к Ермолаю Васильичу, из Саратова, может тоже знаете, – продолжал Петр Степаныч, – приятель мой у него в приказчиках служит. Наверх в палатку прошли мы с ним, а там Орехов сидит да изо всей мочи ругается. Мы ничего, слушаем, никакого супротивного слова не говорим, пусть его тешится. Вдруг шаст в палатку мать Таифа со сборной книжкой. Не успела она начать положить, не успела Ермолаю Васильичу поклониться, как вскинется на нее Сергей Филиппыч да с кулаками. «Вы, кричит изо всей мочи, – какой ради причины бога-то плохо молили?.. Ах, вы, чернохвостницы, кричит, этакие!.. Деньги берете, а богу молитесь кое-как!.. Я вам задам!» Мать Таифа кланяется ему чуть не в землю, а он пуще да пуще. «Летось, кричит, пятьдесят целковых вам пожаловал, и вы молились тогда как следует: на судаке я тогда по полтине с пуда взял барыша... Сто рублей тебе, чернохвостнице, дал, честью просил, чтоб и на нынешний год побольше барыша вымолили... А вы, раздуй вас горой, что сделали? Целая баржа ведь у меня с судаком затонула!.. Разве этак молятся?.. А?.. Даром деньги хотите брать?.. Так нет, шалишь, чернохвостница, шалишь, анафемская твоя душа! Подавай назад сто рублей!.. Подавай, не то к губернатору пойду!» Мы так и покатались со смеху.

– Чему же смеяться-то тут? – холодно промолвил Марко Данилыч. – Не лиха беда от такого несчастья и совсем с ума своротить... Шутка сказать, целая баржа судака!.. На плохой конец двадцать тысяч убытку.

– Да матери тут при чем же? – спросил Самоквасов. – Они-то чем виноваты?.. Неужто в самом деле ореховский судак оттого затонул, что в Комарове плохо молились?

– Значит, веру в силу молитвы имеет, – молвил Марко Данилыч. – Сказано: по вере вашей будет вам. Вот ему и досадно теперича на матерей... Что ж тут такого?.. До кого ни доведись!.. Над кем-нибудь надо же сердце сорвать!

– Чем же у них кончилось? – спросил во все время самоквасовского рассказа насмешливо улыбавшийся Веденеев.

– Насилу ноги унесла мать Таифа, – ответил Петр Степаныч. – Так с кулаками и лезет на нее. Маленько бы еще, искровенил бы, кажется.

– После того нагнал я Таифу, – после недолгого молчанья продолжал Самоквасов, обращаясь к Марку Данилычу. – Про знакомых расспрашивал. Матушка Манефа домов в ихнем городке накупила – переселяться туда желает.

– Да, ихнее дело, говорят, плоховато, – сказал Смолокуров. – Намедни у меня была речь про скиты с самыми вернейшими людьми. Сказывают, не устоять им ни в каком разе, бесприменно, слышь, все порешат и всех черниц и белиц по разным местам разошлют. Супротив такого решения никакими, слышь, тысячами не откупиться. Жаль старух!.. Хоть бы дожить-то дали им на старых местах...

Опять немножко помолчали. Петр Степаныч с видом сожаленья сказал:

– В большом горе матушка-то Манефа теперь, Таифа говорит, не знают, перенесет ли даже его...

– Легко ль перенести такое горе, особенно такой немощной старице, – с участием отозвался Марко Данилыч. – С самых молодых лет жила себе на едином месте в спокойстве, в довольстве, и вдруг нежданно-негаданно, ровно громом, над ней беда разразилась... Ступай долой с насиженно-го места!.. Ломай дома, рушь часовню, все хозяйство решай, все заведение, что долгими годами и многими трудами накоплено!.. С кем век изжила, те по сторонам расходись, живи с ними врозь и наперед знай, что в здешнем свете ни с кем из них не увидишься!.. Горько, куда как горько старице!

– Не в том ее горе, Марко Данилыч, – сказал на то Петр Степаныч. – К выгонке из скитов мать Манефа давно приготавилась, задолго она знала, что этой беды им не избыть. И дома для того в городе приторговала, и, ежели не забыли, она тогда в Петров-от день, как мы у нее гостили, на ихнем соборе других игумений и стариц соглашала, чтоб заранее к выгонке готовились... Нет, это хоть и горе ей, да горе жданное, ведомое, напередки знакомое.

А вот как нежданная-то беда приключилась, так ей стало не в пример горчее.

– Что ж такое случилось? – спросил Марко Данилыч.

– Племянницу-то ее помните? Патапа Максимыча дочку? Жирная такая да сонливая... Когда мы у Манефы с вами гостили, она тоже с отцом там была.

– Как не помнить? – ответил Марко Данилыч. – Давно знаю ее, с Дуней вместе обучались.

– Замуж вышла, – молвил Петр Степаныч. И так он сказал это слово, как будто сегодня только узнал про им же состряпанное дельце.

– Какое же тут горе Манефе?.. – удивился Марко Данилыч. – Не в черницы же она ее к себе прочила.

– Прочить в черницы, точно, не прочила, – сказал Петр Степаныч. – Я ведь каждый год в Комарове бываю, случалось там недели по три, по четыре жива, оттого ихнюю жизнь и знаю всю до тонкости. Да ежели б матушке Манефе и захотелось иночество надеть на племянницу, не посмела бы. Патап-от Максимыч не пожалел бы сестры по плоти, весь бы Комаров вверх дном повернул.

– Так чего же ради горевать матушке, что племянницу замуж выдали?спросил Марко Данилыч.

– В том-то и дело, что ее не выдавали... Уходом!.. Умчали!.. А умчали-то из Манефиной обители.

Говорит, а сам хоть бы мигнул лишний разок, точно не его дело.

– Ай-ай-ай!.. Как же это не доглядела матушка!.. У нее завсегда такой строгой порядок ве-

дется. Как же это она такого маху дала?.. – качая головой, говорил Марко Данилыч.

– Самой-то не было дома, в Шарпан соборовать ездила. Выкрали без нее... – ответил Самоквасов. – И теперь за какой срам стало матушке Манефе, что из ее обители девица замуж сбежала, да сшей венчалась-то в великороссийской!.. Со стыда да с горя слегла даже, заверяет Таифа.

– Вот, чать, взбеленился Чапурин-от!.. – сказал Марко Данилыч.

– Радехонек, такие, слышь, пиры задавал на радостях, что чудо. По мысли зять-то пришелся, – отвечал Петр Степаныч.

– Да кто таков? – с любопытством спросил Смолокуров.

– Знакомый вам человек, – ответил Самоквасов. – Помните, тогда у матушки Манефы начетчик был из Москвы, с Рогожского на Керженец присылали его по какому-то архиерейскому делу.

– «Искушение»-то? – весело спросил Марко Данилыч.

– Он самый!..

– Ха-ха-ха-ха! – на всю квартиру расхохотался Смолокуров. – Да что ж это вы с нами делаете, Петр Степаныч? Обещали смех рассказать да с полчаса мучали, пока не сказали... Нарочно, что ли, на кончик его сберегали! А нечего сказать, утешили!.. Как же теперь «Искушение»-то? Как он к своему архиерею с молодой-то женой глаза покажет... В диакониссы, что ли, ее?... Ах он, шут полосатый!.. Штуку-то какую выкинул!.. Дарья Сергевна! Дунюшка! Подьте-ка сюда – одолжу! Угораздило же его! Ха-ха-ха!..

Вошла Дарья Сергевна с Дуней. Марко Данилыч рассказывал им про женитьбу Василья Борисыча. Но не заметно было сочувствия к его смеху ни в Дарье Сергевне, ни в Дуне. Дарья Сергевна Василья Борисыча не знала, не видывала, даже никогда про него не слыхала. Ей только жалко было Манефу, что такой срам у нее в обители случился. Дуня тоже не смеялась... Увидав Петра Степаныча, она вспыхнула вся, потупила глазки, а потом, видно, понадобилось ей что-то, и она быстро ушла в свою горницу.

На прощанье с гостями Марко Данилыч, весело улыбаясь, сказал Самоквасову:

– А что же, Петр Степаныч, как у нас будет насчет гулянок? Больно хочется мне Дунюшку повеселить да кстати и Зиновья Алексеича дочек... Помнится, какой-то добрый человек похлопотать насчет этого вызвался...

– В театр имели сегодня намерение? – весело отвечал обрадованный Самоквасов. – Я сим же моментом за билетами.

– Нет, Петр Степаныч, насчет театра надо будет маленечко обождать, сказал Марко Данилыч. – Вечор советовались мы об этом с Зиновьем Алексеичем и с Татьяной Андревной – положили оставить до розговенья... Успенье-то всего через неделю. Все-таки, знаете, лучше будет, ладнее. Нынешний-от пост большой ведь, наряду с великим поставлен, все одно, что первая да страстная. Грешить, так уж грешить в мясоед... Все-таки меньше ответу будет на том свете. – И, обращаясь к Веденееву, примолвил: – правду аль нет говорю я, Дмитрий Петрович?

– Оно каждому как по его рассуждению, – уклончиво ответил Дмитрий Петрович. – Впрочем, и то сказать, театр не убежит, побывать в нем завсегда будет можно.

– Мы вот что сделаем, – сказал Марко Данилыч. – До розговенья по Оке да по Волге станем кататься. У меня же косные теперь даром в караване стоят.

– И распрекрасное дело, – кудрями тряхнув, весело молвил и даже пальцами прищелкнул удалой Петр Степаныч. – Когда же?

– Да хоть сегодня же, только что жар свалит, – сказал Смолокуров. Сейчас пошлю, сготовили бы косную, а мало – так две.

– Записочку-с! – протягивая руку, молвил Петр Степаныч Марку Данилычу.

– Какую?

– К караванному к вашему – отпустил бы косных, сколько мне понадобится. Остальное наше дело. Об остальном просим покорно не беспокоиться. Красны рубахи да шляпы с лентами есть?

– Есть на двенадцать гребцов, – отвечал Марко Данилыч.

– А павлиньи перушки тоже водятся? – спросил Петр Степаныч.

– Перушки у нас не водятся, – сказал Марко Данилыч.

– Слушаем-с, – отозвался Самоквасов. – Все будет в должной исправности-с.

– Быть делу так, – молвил Марко Данилыч, отходя к столу, где лежали разные бумаги, конторские книги и перья с чернильницей.

Написав записку Василью Фадееву, Марко Данилыч отдал ее

Самоквасову и примолвил:

– Ваше дело, сударь, молодое. А у молодого в руках все спорится да яглится (Яглиться – повожское слово, употребляемое от Нижнего до Астрахани, значит – двигаться, шевелиться, сгибаться, а говоря о деле каком – спориться, ладиться, клеиться.), не то, что у нас, стариков. Похлопочите, хлопочите, сударь Петр Степаныч, пожалуйста, оченно останемся вами благодарны и я и Зиновий Алексеич. Часика бы в три собрались мы на Гребновской, да и махнули бы оттолль куда вздумается – по Волге, так по Волге, по Оке, так по Оке... А на воде уж будьте вы нашим капитаном. Как капитан на пароходе, так и вы у нас на косной будете... Из вашей воли, значит, не должен никто выступать... Идет, что ли, Петр Степаныч? – примолвил Смолокуров, дружелюбно протягивая руку Самоквасову.

– Принимаем-с, – с веселой усмешкой ответил Петр Степаныч. – Значит, из моей воли никто не смей выходить. Это оченно прекрасно!.. Что кому велю, тот, значит, то и делай.

– Да ты этак, пожалуй, всех перетопишь! – засмеялся Марко Данилыч. "Полезай, мол, все в воду"... Нечего тут будет делать! Поневоле полезешь!

– Безумных приказов от нас, Марко Данилыч, не ждите. Насчет эвтого извольте оставаться спокойны. А куда ехать и где кататься, это, с вашего позволенья, дело не ваше... Тут уж мне попечить никто не мог.

– Только послушай его, – трепля по плечу Петра Степаныча, ласково молвил Марко Данилыч. – А вы, Дмитрий Петрович, пожалуе к нам за компанию? Милости просим.

Веденеев благодарил Марка Данилыча и напросился, что и ему было дозволено сообща с Петром Степанычем устраивать гулянье и быть на косной если не капитаном, так хоть кашеваром.

– Что ж вы нам кашу варить будете? – шутливо спросил у него Марко Данилыч.

– Кашу ли, другое ли что, это уж мне предоставьте, – улыбаясь, ответил Дмитрий Петрович.

– Кашу-то вместе сварим, – сказал Самоквасов. – Засим счастливо оставаться, – примолвил он, обращаясь к Смолокурову. – Часика в три этак, значит, припожалуете?

– Ладно, ладно, – говорил Марко Данилыч. – Эх, молодость, молодость!.. Так и закипела... Глядя на вас, други, и свою молодость вспомянешь... Спасибо вам, голубчики!

Расстались, и Самоквасов с Веденеевым поехали прямо на Гребновскую.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Солнце стояло еще высоко, когда разубранная, разукрашенная косная отвалила от пристани. Впереди лодки, на носу, сидят восемь ловких, умелых гребцов в красных кумачовых рубахах и в пояровых шляпах с подхватцем, убранных лентами и павлиньими перьями. Всё удосужили Самоквасов с Веденеевым. Дружно и мерно сильные руки гребцов рассекают длинными веслами воду, и легкая косная быстро летит мимо стай коломенок и гусянок (Коломенка – барка от пятнадцати до двадцати сажен длины, поднимает от семи до двенадцати тысяч пудов груза. Гусьянка – крытая барка с четвероугольной палубой, свешенною к корме и к носу (не как у тихвинки или шитика, у тех палубы округлые), в длину бывает до двадцати сажен и грузу поднимает пудов тысяч по десяти и больше.), что стоят на якоре вдоль берегов. С гребцами шесть человек песенников; взял их Самоквасов на вечер из московского хора, певшего в одном из лучших трактиров. Все певцы одеты одинаково, в голубые канаусовые рубахи-косоворотки, обшитые серебряным позументом, все в шляпах кашниках, перевитых цветочными кутасами (Цветочный кутас – гирлянда из цветов, плетеница, длинный венок.)!

Среди косной, вплоть до самой кормы, стоит на железных прутьях парусный намет (Тент.) для защиты от солнца, а днище лодки устлано взятыми напрокат у кавказского армянина персидскими коврами; на скамьи, что ставлены вдоль бортов, положены мягкие матрацы, покрытые красным таганским сукном (Цветочные сукна, выделяемые на фабрике Понятовского при селе Таганче (Каневского уезда, Киевской губернии), известны в ярмарочной торговле под именем

таганских.) с золотым позументом. Таково красно разубрал Петр Степаныч косную с помощью нового своего знакомого Веденева.

Еще до отвала, когда, гости подъехали к пристани, Марко Данилыч не узнал косной. С довольным, веселым видом тотчас он стал журить молодых людей:

– Что это вы вздумали? Это на что? Эх, грозы-то на вас нет! Как вам это не стыдно, Петр Степаныч, в такой изъязь входить? Не могли разве мы покататься в простой косной? Глядика-сь чего тут понаделали!.. Ах, господа, господа! Бить-то вас некому!

Сиял радостью Петр Степаныч, слушая попреки смолокуровские и по лицу замечая, что Дуне нравится разубранная на славу косная.

– Уговор помните, Марко Данилыч? – молвил Самоквасов.

– Какой еще уговор?

– А ведь я говорил вам, чтобы мне никто не мешал и ни в чем бы со мною не спорил... Забыли?

– Да могло ль прийти в голову, что вы эдак деньгами швырять станете? Ведь за все за это на плохой конец ста полтора либо два надо было заплатить!.. Ежели б мы с Зиновеем Алексеичем знали это наперед, неужто бы согласились ехать с вами кататься?

– Поздно теперь рассуждать, – молвил Петр Степаныч. – Милости просим в косную.

Расселись по скамьям: Марко Данилыч с Дуней, Доронин с женой и с обеими дочерьми. Петр Степаныч последний в лодку вошел и, отстранив рукой кормщика молодецки стал у руля.

– Уговор помните, Марко Данилыч? – спросил он у Смолокурова.

– Какой еще?

– А давеча, вот при Дмитрие Петровиче говорили, чтоб мне на косной быть за капитана и слушаться меня во всем.

– Ну так что же?

– Нет, я это так только сказал... К слову, значит, пришлось... – молвил Петр Степаныч и молодецки крикнул:

– Эй вы, гребцы-молодцы! Чур не зевать!.. – и, повернув рулем, стал отваливать. Косная слегка покачнулась и двинулась.

– Права гребь, лева табань (Табанить, таванить, нередко таланить – гребти веслом назад. Гребля с одного бока вперед, а с другого назад употребляется при заворотах лодки.)! – громким голосом крикнул Петр Степаныч, по его веленью гребцы заработали, и косная, проплыв между тесно расставленными судами, выплыла на вольную воду (На которой нет ни судов, ни лодок.).

– Молись богу, православные! – снимая шапку, крикнул Петр Степаныч.

Разом гребцы поставили двенадцать весел торчком к небу и, сняв шляпы, но не вставая со скамей, принялись креститься. И другие бывшие в косной обнажили головы и сидя крестились.

– Дай бог добрый час! – молвил Марко Данилыч, кончив молитву.

– Весла! Оба гребь! Дружнее, ребята, дружней! – кричал Самоквасов.

Быстро косная вылетела на стрежень (Фарватер.) и понеслась вверх по реке. Высятся слева крутые, высокие горы красноватой опоки, на венце их слышатся барабаны, виднеются кучки солдат. Там лагерь – ученье идет... Под горой пышет парами и кидает кверху черные клубы дыма паровая мукомольня, за ней версты на полторы вдоль по подолу тянется длинный ряд высоких деревянных соляных амбаров, дальше пошла гора, густо поросшая орешником, мелким березником и кочерявым (Кочерявый, коряжистый – суковатый, кривоствольный кустарник. Кочерявый дуб вырастает от корней срубленного, но не выкорчеванного (вырытого с корнем) леса. Он годится только на дрова.) дубняком. Направо, вдоль лугового берега, тянутся длинные подгородные слободы, чуть не сплошь слившиеся в одну населенную местность. Красиво и затейливо они обстроены – дома все большие, двухъярусные, с раскрашенными ставнями, со светелками наверху, с балкончиками перед ними. Чуть не у каждого дома на воротах либо на балкончике стоит раскрашенная маленькая расшива, изредка пароходик.

Из слобод и со всего левого берега несется нескончаемый, нестройный людской гомон (Гомон – громкий, нестройный шум от множества человеческих голосов, в котором за отдаленностью или за сильным криком нельзя распознать ни единого слова.), слышится скрип телег, ржанье ло-

шадей, бляенье пригнанных на убой баранов, тяжелые удары кузнечных молотов, кующих гвоздь и скобы в артельных шиповках (В так называемых шиповках куют гвозди и скобы для судов. Работа большей частью артельная. У каждого наковальня и железо свои, а уголь общий.), звонкий лязг перевозимого на роспусках (Роспуски – станок, дроги для перевозки клади.) к стальным заводам полосового железа, веселые крики и всплески купальщиков, отдаленные свистки пароходов. Все сливается в один, никаким словом невыразимый поток разнородных звуков.

Летит косная, а на ближних и дальних судах перекликаются развалившиеся на палубах под солнпеком бурлаки, издалека доносятся то заунывные звуки родимой песни, то удалой камаринский наигрыш (Наигрыш – старинное слово, в киевских былинах употребляемое, – голос песни, напев.) второй Сизовской гармоники (Гармоники изобретены не более пятидесяти лет тому назад туляком Сизовым. Они давно уже совсем вытеснили старинную нашу балалайку. Гармоник, исключительно тульской работы, на одной Макарьевской ярманке продается каждый год до 250 тысяч штук. Сорта гармоник: пятитонная в 10 к., семитонная в 20 к., редкая от 25 до 30 к., вторная от 35 до 45 к., двухсторонняя от 50 до 65 к., детский свист от 50 до 90 к., трехваторная от 1 р. 30 к. до 1 р. 80 к., десятинная от 2 до 3 р. Высшие сорта есть по 5 и 6 рублей.). Всюду ключом кипит жизнь промышленная, и на воде и на суше. А там, дальше, вверх по реке, друг за дружкой медленно, зато споро, двигаются кладнушки с покатыми шире бортов палубами, плоскодонные уемистые дощаники (Кладнушка – небольшое плоскодонное судно длиной сажень в шесть. Дощаник – с палубой не над всем судном, а только над серединой – гребное, а в случае благоприятной погоды и парусное. Шитик – мелкое судно, крытое округлою палубой. Шитик и дощаник поднимают до тысячи пудов груза. Кладнушка – тысяч до двух.), крытые округлою палубой шитики, на ходу легче тех судов нет никакой посуды (Посуда, посудина – всякое парусное судно на Волге, кроме лодок.). Тянутся суденышки не как по Волге – там их тянут бурлаки, здесь лошади тащат речные суда. Идут себе шажком по бечевнику крепкие, доброезжие обвенки (Обвенки – крепкие малорослые лошади, первоначально разведенные на реке Обве (Пермской губернии) Петром Великим. Их также называют вятками.) и тянут судно снастью, привязанною к дереву (Дерево – мачта на судне; снасть – не очень толстый канат.). На Волге сделать того невозможно – таковы у ней берега.

Несется косная по тихому лону широкой реки, вода что зеркало, только и струится за рулем, только и пенится что веслами. Стих городской и ярманочный шум, настала тишь, в свежем прохладном воздухе не колыхнет. Петр Степаныч передал руль кормщику и перешел к носу лодки. Шепнул что-то песенникам, и тотчас залился переливчатыми, как бы дрожащими звуками кларнет, к нему пристал высокий тенор запевалы, песенники подхватили, и над широкой рекой раздалась громкая песня:

Уж вы, горы ль мои, горы, круты горы да высокие,
Ничего-то на вас, горы, не повыросло;
Вырастал на вас один только ракитов куст,
Расцветал на вас один только лазорев цвет.
Как на том ли на кусту млад сизой орел-сидит,
Во когтях держит орел черна ворона.
Он и бить его не бьет, только спрашивает:
«Где ты, ворон, побывал, что ты, черный, повидал?»
– А я был-побывал во саратовских степях,
А я видел-повидал чудо дивное...
Растет тамо не ракитов куст,
Цветет тамо не лазорев цвет,
Как растет ли порастает там ковыль-трава,
А на той ковыль-траве...

– Шабаш! – крикнул Самоквасов. Не хотел он, чтоб песенники продолжали старинную песню про то, как на лежавшее в степи тело белое прилетали три пташечки: родна матушка, сестра да молода вдова. Пушай, мол, подумает Авдотья Марковна, что про иное диво чудное в песне пелось – пушай догадается да про себя хоть маленько подумает.

– Что не дал допеть? – спросил у Самоквасова Марко Данилыч. – Песня годная.

– Очень заунывна, – молвил Петр Степаныч. – Катай, ребята, веселую!..крикнул он песенникам. Залилась веселая песня:

Ах ты, бражка, ты, бражка моя!
Дорога бражка подсыченная!
Что на речке ль бражку смачивали,
На полатях рассолаживали,
Да на эту ль бражку нету питухов,
Нет удалых добрых молодцев у нас.

И под песенку о бражке Петр Степаныч с Веденеевым из серебряной раззолоченной братины пошли разливать по стаканам «волжский квасок». Так зовется на Волге питье из замороженного шампанского с соком персиков, абрикосов и ананасов.

Стали гостей «кваском» обносить. Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем опять стали журить молодых людей:

– Бога не боитесь вы, что вздумали!.. Сами, что ль, деньги-то делаете, аль они к вам с неба валятся!.. Бесшабашные вы, безумные!

Однако взяли по стаканчику и с удовольствием выпили во славу божию, потом повторили и еще повторили.

Вышло так, что, обойдя старших, в одну и ту же минуту Петр Степаныч поднес стакан Дуне Смолокуровой, а Дмитрий Петрович – Наталье Зиновьевне. Палючими глазами глядят оба на красавиц.

Багрецом белоснежное нежное личико Дуни подернулось, когда вскинула она глазами на пышущего здоровьем, отвагой и весельем, опершись в бок левой рукой стоявшего перед ней со стаканом Самоквасова. Хочет что-то сказать и не может.

– Пожалуйте-с! – говорит ей Петр Степаныч. – Сделайте такое ваше одолжение!

А сам ног под собой не слышит. Так бы вот и кинулся, так бы и расцеловал пурпуровые губки, нежные ланиты, сверкающие чудным блеском глаза. Молчит Дуня. Сгорела вся.

– Не задерживайте-с!.. Покорно прошу! – шепчет, наклонясь к ней, Петр Степаныч.

У Дуни слеза даже навернулась. Не знает, куда ей деваться.

– Что ж ты, Дунюшка, не берешь? – весело молвил ей Марко Данилыч. Возьми, голубка, не чинись, с этого питья не охмелеешь. Возьми стаканчик, не задерживай капитана. Он ведь теперь над нами человек властный. Что прикажет, то и делай – на то он и капитан.

Дрожащей рукой взялась Дуня за стакан и чуть не расплескала его. Едва переводя от волнения дух, опустила она подернутые непрошеной слезою глаза.

Дорониных Дмитрий Петрович прежде не знал; впервые увидал их на пристани. Когда рассаживались в косной по скамьям, досталось ему место прямо против Наташи... Взглянул и не смог отвести очей от ее красоты. Много красавиц видал до того, но ни в одной, казалось ему теперь, и тени не было той прелести, что пышно сияла в лучезарных очах и во всем милом образе девушки... Не видел он величавого нагорного берега, не любовался яркими цветными переливами вечернего неба, не глядел на дивную игру солнечных лучей на желтоватом лоне широкой, многоводной реки...

И величие неба, и прелесть водной равнины, и всю земную красу затмила в его глазах краса девичья!.. Облокотясь о борт и чуть-чуть склонясь стройным станом, Наташа до локтя обнажила белоснежную руку, опустила ее в воду и с детской простотой, улыбаясь, любовалась на струйки, что игриво змеились вокруг ее бледно-розовой ладони. Слегка со скамьи приподнявшись, Веденеев хочет взглянуть, что там за бортом она затевает... Наташа заметила его движение и с светлой улыбкой так на него посмотрела, что ему показалось, будто небо раскрылось и стали видимы красоты горного рая... Хочет что-то сказать ей, вымолвить слова не может... Тут подозвал его Самоквасов на подмогу себе разливать по стаканам волжский квасок...

Подавая Наташе стакан, Веденеев опять-таки слов доискаться не мог, не мог придумать, что бы такое ей молвить. Горячею кровью обливается и сладостно трепещет его сердце... Когда же, принимая стакан, Наташа с младенческой улыбкой бросила на него ясный, приветливый взор, тихо сиявший чистотой непорочной души, Веденеев совсем обомлел... А слов все-таки придумать не

может... Сам на себя не может надивиться – смел и игрив он в последнее время среди женщин был, так и сыпал перед ними речами любезными, веселил их шутками и затейными разговорами, а теперь же слова промолвить не может. Какая-то застенчивость крепко связала язык...

Не укрылось это от «капитана». Подошел он к запевале, шепнул ему что-то и отошел к корме. Запевало в свою очередь пошептался с песенниками и, глядя на Самоквасова, ждал.

– Гей!.. Певцы-молодцы!.. Развеселенькую!.. – крикнул Петр Степаныч. Грянула живая, бойкая песня:

Здравствуй, светик мой Наташа,
Здравствуй, ягодка моя!
Я принес тебе подарок,
Подарочек дорогой.
Подарочек дорогой:
С руки перстень золотой,
На белую грудь цепочку,
На шеюшку жемчужок!
Ты гори, гори, цепочка,
Разгорайся, жемчужок!
Ты люби меня, Наташа,
Люби, миленький дружок!

Не догадываясь, что песня поется по заказу Петра Степаныча, Веденеев еще больше смутился при первых словах ее. И украдкой не смеет взглянуть на Наталью Зиновьевну. А она, веселая, игривая, кивает сестре головкой и с детским простотой говорит:

– Лиза, ведь это моя песенка, мне поют ее. Лизавета Зиновьевна только улыбнулась, оправила на сестре взбившийся кисейный рукав, но в ответ ничего не промолвила.

– Говорят: «Сказка – складка, а песня – быль», – усмехнулся, вслушавшись в Наташины слова, Марко Данилыч. – Пожалуй, скоро и в самом деле сбудется, про что в песне поется. Так али нет, Татьяна Андревна?..

– Все во власти господней, – улыбаясь тихонько, проговорила ему Татьяна Андревна.

Наташа смеялась и весело на всех посматривала. А Дмитрий Петрович – хоть в воду, так в пору.

Солнце все ниже и ниже, косная все дальше и дальше по темной глади речной. Медленно тускнут лучи дневного светила, полупрозрачные тени багряно-желтых облаков темно-лиловыми пятнами стелются по зеркальной водной поверхности, а высокая зеленая слуда (Слуда – высокий, бугристый, поросший лесом берег большой реки.) нагорного берега, отражаясь в прибрежных струях, кажется нескончаемой, ровно смоль черной полосой.

Под слудой пышут огнем и брызжут снопами рассыпчатых огненных искр высокие трубы сталного завода, напротив его на луговом, таловом (Поросший тальником, то есть кустарной ивой, вербой, *salix amigdalina*, иначе лоза, шелюга.) берегу там и сям разгораются ради скудного ужина костры коноводов (Коноводами зовутся на Оке бурлаки на судах, которые тянутся лошадьми.). По реке вдоль и поперек тихо, чуть слышно разъезжают в маленьких ботниках ловцы-удальцы (На Волге и в устьях Оки рыболовов зовут ловцами, а не рыбаками. Рыбак – это торговец рыбой.), раскидывая на ночь шашковые снасти для стерляжьего лова (Черная, или шашковая, снасть – длинная веревка (хребтина), которую опускают на дно; к ней на веревочках прикреплены железные крючки (кованцы). Каждый крючок держится в воде от хребтины вверх посредством шашки (поплавка) из деревянной чурки, держащейся в верхних слоях воды.).

Вот по слуде желтой ленточкой вьется середь низкорослого чапыжника (Чапыжник – чистый, едва проходимый кустарник.) дорожка к венцу горы, к Ровнеди, где гордо высится роща полустаростелетних густолиственных дубов. Последний бедный остаток дремучих дубовых лесов, когда-то сплошь покрывавших нагорный берег Оки. От Ровнеди как бы отщепилась скала и нависла над рекой. Она тоже поросла дубами и внизу вся проточена прорытыми для ломки алебаstra пещерами. То место Островом зовется. Красив, величав вид на эти места с водной равнины Оки. Шумы, шуми, зеленая дуброва, зеленейте, дубы, предками холеные, возвращенные! Пока жив

я, не коснется топор древних стволов ваших! Шумы, лес, зеленей, родная дуброва (Ровнедь и Остров входят в состав владений автора.)!

На косной меж тем широкой рукой идет угощение. В ожиданье привала к ближайшей ловецкой ватаге чая не пили. Подносы с мороженым, конфетами и волжским кваском Петр Степаныч и Дмитрий Петрович то и дело гостям подносили. Доволен-предоволен был Марко Данилыч, видя, как его чествуют: не ворчит больше за лишнюю трату денег...

«Добрые парни, – думает он, – умны и разумны, один другого лучше». И Дуня и судьба ее при этом забрели на мысли почтенного рыбника. «Что ж, думает он, – дочь – чужое сокровище, расти ее, береги, учи разуму, а потом, рано ли, поздно ли, в чужи люди отдай!..»

А девицы расшутились, красные развеселились – может быть, от волжского кваску. Живо и резво заговорила с подругами молчаливая Дуня, весело смеялась, радостно щебетала нежная Наташа, всегда думчивая, мало говорливая Лизавета Зиновьевна будто забыла деннонощную заботу о тяжелой разлуке с женихом – расшутилась и она. Татьяна Андревна по-своему благодушествовала; она осыпала теплыми, задушевными ласками Самоквасова с Веденеевым, то журила их за лишние, расходы, то похваливала, что умеют старшим уважить. А Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем меж собой повели разговоры, пошла у них беседа про торговые дела. Об меркуловском тюлене ни полслова. То понимает Марко Данилыч: брат братом, а святы денежки хоть в одном месте у царя деланы, а меж собой не родня. Дружба, родство – дело святое, торги да промыслы – дело иное.

И Ровнедь минули, и Щербинскую гору, что так недавно еще красовалась вековыми дубовыми рощами, попавшими под топор промышленника, либо расхищенными людом, охочим до чужого добра. Река заворотила вправо; высокий, чернеющий чапыжником нагорный берег как бы исполинской подковой огибал реку и темной полосой отражался на ее зеркальной поверхности. Солнце еще не село, но уж потонуло в тучах пыли, громадными клубами носившейся над ярманкой. В воздухе засвежело; Татьяна Андревна и девицы приукутались.

– Не назад ли? – обратился Марко Данилыч к Самоквасову.

– Я капитан, воля моя; по-моему, рано еще ворочаться, – подхватил Петр Степаныч. И крикнул гребцам:

– Живей, живее, ребята! Глубже весло окунай, сильнее работай – платы набавлю!

Дружно гребцы приударили, косная быстрее полетела.

Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем продолжали беседу о торговых делах. Об векселях зашла речь.

– Ни на что стало не похоже, – заговорил Смолокуров. – Векселя у тебя, а должник и ухом не ведет. Возись с ним, хлопочи по судам. Не на дело трать время, а на взысканья. А взыскивать станешь – пять копеек за рубль. А отчего? Страху не стало, страху нет никакого... Конкурсы, администрации?... Одна только повадка!.. От немцев, что ли, такую выдумку к нам занесли, только не по плечу она нам скроена да сшита... А ты вот как сделай: вышел векселю срок, разговоров не размножай, а животы продавай (Имение); не хватает, сам иди в кабалу, жену, детей закабали. Так бывало в стары годы, при благочестивых царях, при патриархах... Не то Сибирь – заселяй ее должниками, люди там нужны... А теперь что это такое? Мошенникам житье, а честному купцу только убытки... А вон зачали еще толковать, чтоб и яму порушить, должника неисправного в тюрьму бы не сажать! Да что ж после этого будет? Как липочку, всех обдерут.

Что ж после этого будет значить вексель? Одна пустая бумага. Так али нет говорю, Зиновей Алексеич?

– Оно, пожалуй бы, что и так, Марко Данилыч, – отозвался Доронин. Только уж это не больно ли жестоко будет? Легко сказать, в кабалу! Да еще жен и детей!

– Уложено так царем Алексием Михайловичем, когда еще он во благочестии пребывал, благословлено святейшим Иосифом патриархом и всем освященным собором. Чего тебе еще?... Значит, святым духом кабала-то уставлена, а не заморскими выходцами, – горячился Марко Данилыч. – Читывал ли ты «Уложение» да «новоуказные статьи»? Прочитай, коли не знаешь.

– Знаю я их, Марко Данилыч, читывал тоже когда-то, – ответил Доронин. Хорошо их знаю. Так ты и то не забудь, тогда было время, а теперь другое.

– Что ж, по-твоему? Иосиф-от патриарх без ума, что ли, подписом своим те правила утверждал? – вспыхнув досадой на противоречие приятеля, возвысил голос Марко Данилыч. – Не грехи, Зиновей Алексеич, то памятуй, что праздное слово на страшном судище взыщется. Ведь это, прямо сказать, богохульство. Так али нет?

– Какое же тут богохульство? – с живостью возразил Зиновий Алексеич. Год на год, век на век не подходят. Всякому времени довлеет злоба его. Тогда надо было кабалу, теперь другое дело. Тогда кабала была делом благословенным, теперь не то.

– Времена мимо идут, слово же господне не мимо идет, – тяжело вздохнув и нахмурясь, молвил Марко Данилыч.

– Так господнее слово, а не человеческое, – слегка улыбнувшись, заметил Зиновий Алексеич.

– А святые-то отцы на что? Каково, по-твоему, ихнее-то слово? сумрачно спросил у него Марко Данилыч.

– Непреложно, – ответил Доронин.

– А Иосифа патриарха выкинешь разве из святых-то? – задорно спросил Смолокуров.

– Свят ли он, не свят ли, господь его ведает, знаем только, что во святых он не прославлен, – молвил Зиновий Алексеич. – Да и то сказать, кажись бы не дело ему по торговле да кабалам судить. Дело его духовное!

– Богохульник ты, одно слово, что богохульник!.. – воскликнул Марко Данилыч. – Как можно на святейшего патриарха такие хулы возносить...

– Никто насчет кабалы с тобой согласен не будет... – немножко помолчавши, сказал Зиновий Алексеич.

– Ой ли? – с усмешкой сказал Смолокуров. – Дмитрий Петрович! А Дмитрий Петрович!

Но Дмитрий Петрович не слышит, загляделся он на Наташу и заслушался слов ее в разговоре с сестрой да с Дуней. Тронул его Смолокуров за плечо и сказал:

– Человек вы ученый, разрешите-ка наш спор с Зиновием Алексеичем. Как, по-вашему, надо по вексям долги строже взыскивать аль не надо?

– То есть как это? – спросил, не понимая, в чем дело, Дмитрий Петрович.

– Ну вот, к примеру сказать про Красилова, Якова Дмитрича. Слыхали про его обстоятельства?

– Не платит, говорят, – молвил Веденеев.

– Объявился несостоятельным: вчера об этом я письмо получил. Моих тысячи тут за три село, – продолжал Марко Данилыч. – Администрацию назначат либо конкурс. Ну и получай пять копеек за рубль. А я говорю: ежели ты не заплатил долгу до последней копейки, иди в кабалу, и жену в кабалу и детей – заработали бы долг... Верно ли говорю?

– Нет, Марко Данилыч, – отвечал Веденеев. – По-моему, не так...

– А как же? – вскрикнул Смолокуров. – Благочестивыми царями так уставлено, патриархом благословлено...

– Двести лет назад можно было в кабалу отдавать, а теперь нельзя, сказал Дмитрий Петрович. – Господень закон только вечен, а людские законы временные, потому они и меняются.

– Ладно, хорошо, – молвил Смолокуров. – А как, по-вашему, Евангелие вечно?

– Вечно, – ответил Веденеев.

– А помните ль, что там насчет должников-то писано? – подхватил Марко Данилыч. – Привели должника к царю, долгов на нем было много, а расплатится нечем. И велел царь продать его, и жену его, и детей, и все, что имел. Христовы словеса, Дмитрий Петрович?

– Так ведь это в притче сказано, – возразил Дмитрий Петрович. – А в повелении Христовом, в молитве господней что сказано? «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим».

– Увертки не хватки, Дмитрий Петрович, – молвил с досадой Марко Данилыч.

– По-моему, никаких бы взысканий по вексям не делать, – сказал Веденеев. – Коли деньги даете, так знайте кому. Верьте только надежному человеку.

– Вот еще что! – хмуря лоб, усмехнулся Смолокуров. – Значит, после этого векселю и веры нет никакой?

– То-то и есть, Марко Данилыч, – подхватил Веденеев, – что у нас не по-людски ведется: верим мы не человеку, а клочку бумаги. Вера-то в человека иссякла; так не на совесть, а на суд да на яму надежду возлагаем. Оттого и банкротства.

– А ежели в человеке совести-то нет? – возразил Смолокуров.

– Такому не верьте.

– Да кто ему в душу-то влезет? – с жаром молвил Марко Данилыч.

– Кого хорошо не знаете, того не кредитуйте, – отвечал Веденеев.

– Значит, и векселей не надо? – насмешливо спросил Марко Данилыч.

– Вексель нужен, – ответил Дмитрий Петрович, – но только для памяти. И для счетов он не обходим.

– Пропадали у вас деньги в долгах?

– Бог милостив, копейки пока еще не пропало, – ответил Дмитрий Петрович.

– То-то и есть, оттого вы так и говорите. А вот как огреют вас разика три, четыре, так не бойсь другую песню запоете.

– Не запою, – уверенно отвечал Веденеев. Ничего не сказал на то Марко Данилыч и обернулся назад, будто рассматривать темневшую больше и больше с каждой минутой даль.

Петр Степаныч стал на корму; гребцы сильнее приударили в весла. Чайкой несется косная мимо низины под горным кряжом, ровно на крыльях летит она мимо дикого, кустарником заросшего ущелья, мимо длинного, высокого откоса Теплой горы. Миновав ту гору, Самоквасов взял «право руля» («Право руля», «лево руля» – волжские выражения. Взять право руля значит повернуть дышло руля вправо, тогда лодка или судно поворотит влево.), и косная, плавно повернувши влево, тихо пристала у берега. Там ярко горел и весело потрескивал огромный костер, а по песчаному побережью разостланы были ковры и на них расставлена столовая и чайная посуда. Самоквасов с Дмитрием Петровичем наперед в особой косной послали туда все нужное для гулянья. Выйдя из косной, Марко Данилыч опять забрюзжал: зачем молодежь так бестолково транжирит деньги. Петр Степаныч с Веденеевым ему на то ни слова не отвечали.

Подбежали к косной трое бойких ловцов, все трое одеты по-праздничному – в новых ситцевых рубашках, в черных плисовых штанах, с картузами набекрень. Петр Степаныч наперед откупил у них вечерний улов в шашковых снастях. По песку был раскинут невод из ботальной дели (Ботальная дель – двойная рыболовная сеть. Снаружи – режь, то есть самая редкая сеть, по четверти аршина в каждой ячейке; внутри ее другая сеть, частая. Делью называется всякая сеть.), изготовили его ловцы на случай, если купцы вздумают не только рыбу ловить, но на бель тони закидывать (На Волге и низовьях Оки у ловцов рыбой зовется только осетровая порода, остальное – бель или частик.). Одадь рашни и ботала лежали (Рашня – то же, что раковина – снаряд для ловли раков – сетчатый кошель на обруче. Ботало – шест с дощечкой или деревянным стаканом на конце; этим орудием «ботаю» воду, то есть бьют обо дно и мутят ее для загона рыбы или раков в сети или в рашню.). Тоже на всякий случай ловцы их припасли.

Слова два молвил ловцам Самоквасов, и они, молодецки прыгнув в легкий ботник (Ботник – легкая маленькая рыбацья лодка, не больше как на трех человек.), стрелой полетели на стрежень.

За ними в угон понеслась и косная. Став на середине реки, одинловец захватил конец хребтины, и, меж тем как товарищ его, спускаясь вниз по реке возле опущенной снасти, веслом работал потихоньку, он вытягивал ее понемногу в ботник, а третийловец снимал с крюков стерлядей, когда они попадались. Косная следила за ними. Равнодушно глядел на стерляжью ловлю Марко Данилыч, – ему, владельцу обширных рыбных ватаг на волжском низовье, здешняя ловля казалась делом пустяшным. «Вот если бы пуда в три осетра вытянули, – он говорил, – либо белугу, тогда бы дело иное, а это что? Плевое дело, одно баловство». Зато с веселым вниманьем следили за хребтиной девицы, не выдавшие никогда рыбной ловитвы. Каждый раз, когдаловец снимал задевшую за бок стерлядку, громко они с радости вскрикивали, брали рыбину в руки, любясь ею, пока не попадал крюк с новой стерлядкой. Не одну снасть вытащили, а каждая ста на четыре крючка была, но поймали только штук двадцать пять небольших стерлядей, три были покрупнее, а в одной от глаза до пера аршин с вершком, мерная (Мерными на средней Волге зовут стерлядей в аршин и более; от трех четвертей до аршина зовется полумерною.), значит. Улов не богатый, зато

все довольны, а больше всего были довольны ловцы, взявши за снасти чуть не вчетверо больше, чем бы выручили они от продажи рыбы на Мытном дворе (Так называется рынок.).

К берегу пристали, на коврах уселись; Татьяна Андревна стала хозяйничать вокруг самовара; Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем за стаканами лянсина продолжали спор о векселях; Дуня немножко разговорила с Самоквасовым, Дмитрий Петрович осмелел перед резвой, веселой Наташей. Одна Лизавета Зиновьевна, задумавшись, молча сидела возле матери, дела жениховы с ума у нее не сходили. Молчала Татьяна Андревна, изредка глубоко вздыхая; те ж невеселые думы бродили на мыслях у ней. А небо меж тем тускней становилось, солнце зашло, и вдали над желто-серым туманом ярманочной пыли широко раскинулись алые и малиново-золотистые полосы вечерней зари, а речной плес весь подернулся широкими лентами, синими, голубыми, лиловыми. Вдали край небосклона засверкал тысячами искр; это зажглись огни в фонарях, это огни заблестали в неисчетных зданиях ярманки.

– Неводком не будет ли в угоду вашей милости белячка половить? – снимая картуз и нагибаясь перед Самоквасовым, спросил старший ловец. По всем его речам и по всем приемам видно было, что он из бывалых, обхождению в трактирах обучился.

– Закидывай, – ответил ему Петр Степаныч и, не вникая ворчаньям Смолокурова, сам принялся хлопотать вокруг невода вместе с ловцами.

Проворно подвели к берегу новую лодку, уложили в нее двухсотсаженный невод, и возле ковра, где распивали чай Смолокуровы с Дорониными, в землю пяткой кол (Пятным колом (от пята) называется кол, к чему привязывается конец невода, с которого начинают его закидывать.) вколотили. Прикрепив к нему мертвый кодол, тихо, веслами чуть касаясь воды, полегоньку поплыли ловцы поперек реки, выметывая из лодки пятное крыло невода. Доплыв до стржня, поворотили они вдоль по течению, выкинули мотню и, продолжая выметывать ходовое крыло, поворотили к берегу, причалили и на руках вынесли ходовой кодол (Пятное крыло – та половина невода, с которой начинается его выкидка в воду, затем следует мотня – середка невода; это кошель из самой частой и крепкой дели (сети), в которой при вытаскивании невода остается наловленная рыба. Крыло невода по другую сторону мотни называется ходовым. Кодол – веревка, на которую навязан невод; один конец ее, привязываемый к колу, называется мертвым, или глухим, противоположный – ходовым.).

– Маленько бы погодить вытаскивать-то, ваше степенство, – молвил ловец Самоквасову. – Тем временем порачить не желаете ли?

– Валяй, – сказал Петр Степаныч, и ловцы принялись за раков.

Босиком, штаны засучив выше колена, бойко ловцы похватавши рашни и боталы, бросились с ними на покрытую водою отмель. Одни воду толкут и мутят ее, загоняя раков, другие рашни расставляют. Набежали мальчишки, сами охотой полезли в реку и безо всяких снарядив принялись руками раков таскать из нор, нарытых в берегу под водою. Вынул ловец первую рашню – тихо вошло там десятка полтора крупных и мелких раков.

– Вот они! – молвил ловец, опрастывая рашню у ног Самоквасова, и потом, взявши за ус самого крупного рака, приподнял его кверху и молвил: – Вот так мастеровой, скоро его не признаешь: по ножницам швец, по щетине чеботарь (Ножницы – клешни, щетина – усы.). Два рога да не бык, шесть ног да без копыт!

Через четверть часа не одна уже сотня раков была наловлена.

– Будет, – молвил ловцам Самоквасов. – Тащите-ка невод теперь, молодцы. Посмотрим, чем бог благословил нашу ловлю.

Уговаривают ловцы повременить, чтоб бели набралось побольше, но уж темно становилось, и Самоквасов велел им тотчас за невод приняться.

Схватив концы кодолов, ловцы потянули на берег невод. Минут через десять мотня подошла; ее вытянули да песок: там трепетало с десятков красноперых окуней, небольшой с бледно-розовым брюшком лещ, две юркие щуки, четыре налима, десятка два ершей да штук пятьдесят серебристой плотвы. Улов незавидный. Кроме того, были в мотне пара раков да одна лягушка...

– Говорил, что надо подождать, – почесывая затылок, будто с обиженным видом молвил старшой из ловецкой артели. – Что это за тоня! Разве такие бывают! Только званье одно...

– Ничего, всей рыбы в Оке не выловишь. С нас и этой довольно, – молвил Петр Степаныч. – А вот что, молодцы. Про вас, про здешних ловцов, по всему нашему царству идет слава, что супротив вас ухи никому не сварить. Состряпайте-ка нам получше ушицу. Лучку, перчику мы с собой захватили, взяли было мы и кастрюли, да мне сказывали, что из вашего котелка уха в тысячу раз вкуснее выходит. Так уж вы постарайтесь! Всю мелкоту вали на привар. Жаль, что ершей-то больно немного поймали.

– Ничего, ваше степенство, плотвой, окунями добавим, да вот еще у нас два налима. Навар будет знатный – за первый сорт, – ответил ловец. – А щука да лещ в уху не годят (То есть не годятся.), – прибавил он.

– Щук дарю, кушай их на здоровье, а леща мы зажарим, – молвил Петр Степаныч. – А как ты думаешь?.. Для навару-то раков в котелок не пустить ли?

– Зачем поганить уху? – крикнул с ковра Марко Данилыч. – Рак ведь погань, водяной сверчок, христианам есть его не показано. Вы бы уж и лягушку-то тоже в уху положили!

– Все раков едят, – молвил Петр Степаныч.

– Мало ль чего! Татары и кобылятину жрут, господа зайцев едят да похваляют. Вотяки с чувашами и житничками (Житнички – хлебные мыши, что водятся в житницах.) не брезгают. Так им закон не писан, а мы люди крещеные, от мерзости нам вкушать не подобает. Нет уж, Петр Степаныч, пожалуйста, не паскудь ухи.

– Да оно и не годит раков-то класть, – молвил ловец, – не будет от них никакого навару.

– Ну, так ладно, – сказал Самоквасов. – Живей, ребята, берись за стряпню.

Ловцы проворно вычистили бель и подвесили котелок над маленьким, нарочно для стряпни разведенным костром. Всю бела свалили в котелок и потом принялись стерлядей потрошить.

– Дмитрий Петрович, вам досталось на нынешний день быть в кашеварах. Давайте-ка жарить леща, – сказал Веденееву Петр Степаныч, и оба тотчас принялись за работу.

– А хорошо ведь на вольном-то воздухе в такую пору середь друзей-приятелей доброй ушицы похлебать, – молвил Зиновий Алексеич, обращаясь к Марку Данилычу.

– Ничего, дело не плохое, – отвечал Смолокуров. – Тут главное дело – охота. Закажи ты в любой гостинице стерляжью уху хоть в сорок рублей, ни приятности, ни вкуса такого не будет. Главное дело охота... Вот бы теперь, мы сидим здесь на бережку, – продолжал благодушествовать Смолокуров, – сидим в своей компании, и семейства наши при нас – тихо, приятно всем... Чего же еще?

И, маленько помолчав, наклонился к Зиновию Алексеичу и тихо промолвил:

– А ты приходи-ка завтра пораньше ко мне, а не то я к тебе зайду. С тюленем бы надо покончить. Время тянуть нечего.

– Ладно, приду, – так же тихо ответил Доронин. – А сегодня я с нарочным письмом послал к Меркулову, обо всем ему подробно отписал. На пароход посадил с тем письмом молодца. В две недели обернется. Завтра потолкуем, а делу конец, когда ответ получу. Лучше как хозяйско согласие в руках – спокойнее...

– Напрасно, – насупившись, прошептал Смолокуров. – Как ему, сидя в Царицыне, знать здешни дела макарьевски? Смотри, друг, не завалялось бы у нас... Теперь-то согласен, а через два либо через три дня, ежели какая линия подойдет, может статься и откажусь... Дело коммерческое. Сам не хуже меня разумеешь.

– Конечно, это доподлинно так! Супротив этого сказать нечего, вполголоса отозвался Доронин. – Только ведь сам ты знаешь, что в рыбном деле я на синь-порох ничего не разумею. По хлебной части дело подойди, маху не дам и советовать не стану ни с кем, своим рассудком оборудую, потому что хлебный торг знаю вдоль и поперек. А по неизвестному делу как зря поступить? Без хозяйского то есть приказа?.. Сам посуди. Чужой ведь он человек-от. Значит, ежели что не так, в ответе перед ним будешь.

– Да ведь у тебя доверенность? – с досадой тихонько молвил Марко Данилыч и, нахмурясь, засверкал глазами.

– Что ж из того, что доверенность при мне, – сказал Зиновий Алексеич. Дать-то он мне ее дал, и по той доверенности мог бы я с тобой хоть сейчас по рукам, да боюсь, после бы от Мерку-

лова не было нареканья... Сам понимаешь, что дело мое в этом разе самое опасное. Ну ежели продешевлю, каково мне тогда будет на Меркулова-то глаза поднять?... Пойми это, Марко Данилыч. Будь он мне свой человек, тогда бы еще туда-сюда; свои, мол, люди, сочтемся, а ведь он чужой человек.

– Ой ли? – лукаво усмехнувшись, громко сказал Марко Данилыч. – Так-таки совсем и чужой? – прибавил он, ударив по плечу приятеля.

– Разумеется, чужой, – немножко смутившись, ответил Зиновий Алексеич. Причитается племянником, сродником зовется, да какая ж в самом-то деле родня? Седьмая водина на квасине, на одном солнышке онучки сушили.

– Ладно, ладно, – с лукавой усмешкой трепля по плечу Зиновья Алексеича, сказал Марко Данилыч. – Так совсем чужой?

Доронин не сразу ответил, а Татьяна Андревна даже совсем обомлела. Уставив на Смолокурова зоркий, пристальный взор, она думала: «Неужто спроведал? От кого же это?... Неужели Никитушка кому проболтался?» А Лизавета Зиновьевна, хоть солнце и село, а распустила зонтик и закрыла им смущенное лицо.

– Сказано тебе, какая родня, – сказал Зиновий Алексеич пристававшему Марку Данилычу. – Такой родни до Москвы не перевешаешь. А что человек он хороший, то верно, зато и люблю его и, сколько смогу, ему порадею.

– Не хитри, дружище! – молвил Смолокуров, погрозив пальцем.

– Чего хитрить-то мне? Для чего? – сказал Зиновий Алексеич. – Да и ты чудной, право, повел речь про дела, а свел на родство. Решительно тебе сказываю, дольше двух недель прямого ответа тебе не дам. Хочешь жди, хочешь не жди, как знаешь, а на меня, наперед тебе говорю, не погневайся.

– Да ты не ори, – шепотом молвил Марко Данилыч, озираясь на Веденеева. Что зря-то кричать? А скажи-ка мне лучше, из рыбаков с кем не покалякал ли? Не наплели ли они тебе чего? Так ты, друг любезный, не всякого слушай. Из нашего брата тоже много таковых, что ему сказать да не соврать – как-то бы и зазорно. И таких немалое число, и в каждом деле, какое ни доведись, любят они помутить. Ты с ними, пожалуйста, не растабарывай. Поверь мне, они же после над тобой будут смеяться.

Так говорил едва слышно Марко Данилыч, а Доронин слушал его и молчал. И тут вспало ему в голову: «С чего это он так торопится и ни с кем про тюленя говорить не велит? Уж нет ли тут какого подвоха?»

– Так смотри же ты у меня, Зиновей Алексеич, прималчивай покамест, после недолгого молчания стал опять ему шептать Марко Данилыч. – Две недели куда ни шли, можно обождать. Только уж, сделай милость, ни с кем про это дело и языка не распускай. Вот тебе перед богом, все дело перепортишь и мне и Меркулову. Поверь слову. И этому не моги говорить, – прибавил он, указывая глазами на отвернувшегося в сторону Веденеева. – Ты его не знаешь, а мы давно ведаем – птичка мала, да ноготок востер... А в голове-то ветер еще ходит. В деле недавно, а каких уж делов успел натворить. Пуще всего его берегись, его словам из наших рыбаков никто не верит. Как узнал про какое дело, тотчас норовит помутить его, а не то и расстроить.

– Что же мне с ним говорить? С какой стати? – ответил Зиновий Алексеич.

– Уха сейчас готова! – крикнул Самоквасов. – Дмитрий Петрович, вы ведь у нас за кашевара, готовьте чашки да ложки скорее.

Веденеев на особом в сторонке разостланном коврике проворно расставил привезенную из города закуску: графинчики с разными водками, стерляжьей икры жестянку, балык донской, провесную елабужскую белорыбицу, отварные в уксусе грибы, вятские рыжички, керженские груздочки.

– Эк что наставили, – покачивая головой, сказал Дмитрию Петровичу Смолокуров. – Да этого, сударь, десятерым не съесть. Напрасно, право напрасно так исхарчились. Знал бы, ни за что бы в свете не поехал с вами кататься.

Однако подошел к закуске и, налив четыре рюмки, взял одну, другую подал Зиновью Алексеичу, примолвив:

– Хватим по одной, разогреемся, свеженько от воды-то стало!.. А вы, Дмитрий Петрович, вы, сударь Петр Степаныч. Без вас и пить не станем, принимайтесь за рюмочки.

Выпили хорошо, закусили того лучше. Потом расселись в кружок на большом ковре. Сняв с козлов висевший над огнем котелок, ловец поставил его возле. Татьяна Андревна разлила уху по тарелкам. Уха была на вид не казиста; сварив бель, ловец не процедил навара, оттого и вышла мутна, зато так вкусна, что даже Марко Данилыч, все время с усмешкой пренебреженья глядевший на убогую ловлю, причмокнул от удовольствия и молвил:

– Уха знатная-то!

– Бесподобная, – подтвердил Зиновий Алексеич, а Татьяна Андревна, радушно обращаясь к кашеварам, сказала, что отроду такой чудесной ухи не едала.

После ухи появились на ковре бутылки с разными винами и блюдо с толстыми звеньями заливной осетрины. Рыба прекрасная, заготовка еще лучше, по всему видно, что от Никиты Егорова.

– Осетрина первый сорт, редкостная, – похвалил ее Смолокуров, – а есть ее, пожалуй, грешно.

– Отчего ж это, Марко Данилыч? – спросил Веденеев.

– А водяных-то сверчков на кой прах вокруг напихали? – сказал Смолокуров, указывая на раковые шейки, что с другими приправами разложены были вокруг сочных звеньев осетрины.

– Откинь, коль не в угод, – молвил Зиновий Алексеич, – а рыба сготовлена так, что ни у тебя, ни у меня так вовек не состряпают.

Марко Данилыч в раздумье только головой покачал, но осетрина так лакомо глядела на него, что не мог он стерпеть, навалил себе тарелку доверху.

Ужин, как водится, кончился «холодненьким», нельзя уж без того. Две белоголовые бутылки опорожнились.

Малиновые переливы вечерней зари, сливаясь с ясным темно-синим небосклоном, с каждой минутой темнели. Ярko сверкают в высоте поднебесной звезды, и дрожат они на плесу, отражаясь в тихой воде; почернел нагорный берег, стеной поднимаясь над водою; ярче разгорелись костры коноводов и пламенные столбы из труб стального завода, а вдали виднеется ярманка, вся залитая огнями. То и дело над нею вспыхивает то белое, то алое, то зеленое зарево потешных огней, что жгут на лугах, где гулянья устроены.

– Пора и по домам, – с места поднявшись, сказала Татьяна Андревна. – Ишь до коей поры загостились.

И, помолясь на восток, стала она потеплей одеваться и укутывать дочерей своих и Дуню.

– Пора, пора, – подтвердили и Марко Данилыч и Зиновий Алексеич. Заторопились отъездом.

Щедро награжденные молодыми людьми ловцы и деревенские ребяташки громкими криками провожали уезжавших, прося их жаловать почаще, и, только что двинулась по реке косная, стали высоко метать горящие головни, оглашая вечернюю тишь громким радостным криком.

А певцы на косной дружно грянули громкую песню и далеко она разнеслась по сонной реке.

Полночь была недалеко, когда воротились с катанья. Все остались довольны, но каждый свою думу привез, у всякого своя забота была на душе.

Доронин был встревожен неуместными приставами Марка Данилыча. «Что это ему на разум пришло? И для чего он так громко заговорил про это родство, а про дело вел речь шепотком? Не такой он человек, чтобы зря что-нибудь сделать, попусту слова он не вымолвит. Значит, к чему-нибудь да повел же он такие речи». И долго, чуть не до самого свету, советовался он с Татьяной Андревной, рассказав ей, что говорил ему Марко Данилыч. Придумать оба не могли, что бы это значило, и не давали веры тому, что сказано было про Веденева. Обоим Дорониным Дмитрий Петрович очень понравился. Татьяна Андревна находила в нем много сходства с милым, любезным Никитушкой.

Пала кручина на сердце Лизаветы Зиновьевны, не добро подумала она о Марке Данилыче.

Насмехаться ли хочет, аль беду какую готовит Никитушке? Невзлюбила его, первого человека в жизни своей она невзлюбила.

Оставшись вдвоем с сестрой, стала она раздеваться. Наташа все у столика сидела, облокотясь на него и положила на ладонь горевшую щеку.

– Что сидишь, не раздеваешься? – спросила у ней Лиза. – Поздно уж, спать пора.

Не вдруг ответила Наташа. Подумав немного, быстро подняла она головку и, поглядев на сестру загоревшимися небывалым дотоле блеском очами, сказала:

– А ведь он славный!

– Кто? – спросила Лиза.

– Да он.

– Кто он?

– Дмитрий Петрович! Взглянула Лиза на сестру и улыбнулась.

– Такой пригоженький, такой хорошенький, веселый такой! – продолжала Наташа.

– А ты раздевайся-ка с богом да ложись спать, – сказала, улыбаясь, Лиза. Пришла и Наташе пора.

Марко Данилыч, с Дуней простясь, долго сидел над бумагами, проклиная в душе Зиновья Алексеича. Шутка сказать, тюлень из рук выскользнул, на плохой конец сорок тысяч убытку. Хотя не то, что убыток, а разве не все едино, что почти держать в руках такие деньги, а в карман их не положить. Это ведь что в сказках говорится: «По усу текло, а в рот не попало». Как же не досадовать, как не проклинать друга-приятеля, что пошел было на удочку, да вильнул хвостом. Долго думал, долго на счетах выкладывал, наконец, ровно чем озаренный, быстро с места вскочил, прошелся раз десяток взад и вперед по комнате и сел письмо писать.

Писал он к знакомому царицынскому купцу Володерову, писал, что скоро мимо Царицына из Астрахани пойдет его баржа с тюленем, – такой баржи вовсе у него и не бывало, – то и просил остановить ее: дальше вверх не пускать, потому-де, что от провоза до Макарья будут одни лишь напрасные издержки. Тюлень, писал он, в цене с каждым днем падает, ежели кому и за рубль с гривной придется продать, так должен это за большое счастье сочесть. И много такого писал, зная, что знакомый его непременно расскажет о том Меркулову, и полагая, что в Царицыно нет никакого Веденева, никто из Питера коммерческих писем не получает. Тот расчет был у Марка Данилыча, что как скоро Меркулов узнает про неслыханный упадок цен, тотчас отпишет Доронину, продавал бы его за какую ни дадут цену.

Написал, запечатал, чтобы завтра поутру послать с письмом нарочного в Царицын. Придет сутками позже доронинского письма. Авось дело обладится.

И успокоилась душа у Марка Данилыча; радостный, благодушный пошел он себе на покой. Проходя мимо Дуниной горницы, тихонько отворил дверь поглядеть на свою ненаглядную. Видит: стоит на молитве.

«Молись, голубушка! И меня помяни во святых молитвах твоих. Ты ведь еще ангел непорочный. От тебя молитва до бога доходна... Молись, Христос с тобой...» – так подумал Марко Данилыч и, неслышно притворив дверь, пошел в свою спальню. Тих, безмятежен был сон плутоватого рыбака.

Грустна, молчалива Дуня домой воротилась. Заела незнаемая прежде кручина победное ее сердце. Испугалась Дарья Сергевна, взглянув на бледное лицо и горевшие необычным блеском очи своей любимицы.

– Ох уж эти мне затеи! – говорила она. – Ох уж эти выдумщики! Статочно ль дело по ночам в лодке кататься! Теперь и в поле-то опасно, для того что росистые ночи пошли, а они вдруг на воду... Разум-то где?... Не диви молодым, пожилые-то что? Вода ведь теперь холодна, давно уж олень копытом в ней ступил. Долго ль себя остудить да нажать лихоманку. Гляди-ка, какая стала, – в лице ни кровинки. Самовар поскорее поставлю, липового цветку заварю. Напейся на ночь-то. – Да у меня, тетенька, ничего не болит, я совсем здорова, – молвила Дуня тревожно суетившейся вокруг нее Дарье Сергевне.

– Здорова!.. Много ты знаешь!.. Хорошо здоровье, нечего сказать, отвечала Дарья Сергевна. – Погляди-ка в зеркало, погляди на себя, на что похожа стала.

И, не слушая речей Дуни, вышла из комнаты, велела поставить самовар и, заварив липового цвета с малиной, напоила свою любимицу и, укутав ее в шубу, положила в постель.

«Пропотеет, авось хворь-то снимет», – сказала сама про себя Дарья Сергевна и, заметив, что Дуня, закрыв глаза, успокоилась, отошла тихонько от ее постели и, прочтя молитвы на сон грядущий, неслышными шагами отошла за ширмы, где стояла ее кровать.

Дуня не спала. Закрыв глаза, все про катанье вспоминала, и ровно живой восставал перед ней удалой добрый молодец, веселый, пригожий красавчик. То и дело в ушах ее раздавались звуки его голоса. «Не брежу ли я? В самом деле не схватила ли меня лихоманка?» – подумала Дуня.

Но эта дума так же скоро промчалась, как скоро налетела. А сон нейдет, на минуточку не может Дуня забыться. На мыслях все он да он, а сердце так и стучит, так его и щемит.

И приходит на память ей беседа, что вела она с Груней перед отъездом из Комарова.

От слова до слова вспоминает она добрые слова ее: «Если кто тебе по мысли придется и вздумаешь ты за него замуж идти – не давай тем мыслям в себе укрепляться, стань на молитву и богу усердней молись».

«Замуж! – подумала Дуня. – Замуж!.. Да как же это?..»

Подошла к столику, вынула из него заветную свою коробочку, вынула из нее колечко, отцом подаренное, когда минуло ей восемнадцать годков. Сидит, глядит на него, а сама родительские слова вспоминает.

«Слушай, Дуня: ни мать твою, ни меня родители венцом не неволили. И я тебя неволить не стану. Даю тебе кольцо обручальное, отдай его волей тому, кто полюбится...»

И слезы закапали на колечко. Да разве может это случиться? – думает Дуня. – Господи, господи! что ж это со мной?"

А сердце так и стучит, кровь молодая так и кипит ключом.

«Стань на молитву и богу усердней молись! – опять приходят ей на память слова доброй Груши. – Стань на молитву, молись, молись со слезами, сотворил бы господь над тобой святую волю свою».

«Стану, стану молиться... – думает Дуня. – Но что ж это будет?.. Как это будет?.. Бедная, бедная я...»

И разметалась в постели. Высоко поднимается белоснежная грудь, заревом пышут ланиты, глаза разгорелись, вся как в огне.

Опять приходят на память Груни слова: «И ежели после молитвы станет у тебя на душе легко и спокойно, прими это, Дуня, за волю господню, иди тогда безо всякого сомненья за того человека».

И потихоньку, не услышала бы Дарья Сергевна, стала она на молитву. Умною молитвой молилась, не уставной. В одной сорочке, озаренная дрожащим светом догоравшей лампы, держа в руках заветное колечко, долго лежала она ниц перед святыней. С горячими, из глубины непорочной души идущими слезами долго молилась она, сотворил бы господь над нею волю свою, указал бы ей, след ли ей полюбить всем сердцем и всею душою раба божия Петра и найдет ли она счастье в том человеке.

Кончив молитву, стала Дуня середь горницы и судорожно закрыла лицо руками. Отдернула их – душа спокойна, сердце не мутится, так ей хорошо, так радостно и отрадно.

«Благословляет бог!» – подумала, взглянув на иконы, и слезы потоком хлынули из очей ее.

– Боже, милостив буди ко мне! – шептала она. И, веселым взором обведя комнату, тихо улеглась в одинокую постельку. Тих, безмятежен был сон ее.

А куда девались молодцы, что устроили катанье на славу? Показалось им еще рано, к Никите Егорычу завернули и там за бутылкой холодненького по душе меж собой разговаривали. Друг другу по мысли пришлились. А когда добрались до постелей, долго не спалось ни тому, ни другому. Один про Дунюшку думал, другой про Наташу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Велика пречиста пришла (Августа 15-го Велика пречиста (успение богородицы), а сентября

8-го (рождество богородицы) – Мала пречиста.), день госпожин. Из края в край по всей православной Руси гудят торжественно колокола, по всей сельщине-деревенщине, по захолустьям нашей земли с раннего утра и стар и млад надевают лучшую одежду и молитвой начинают праздник. В половине августа рабочая страда самая тяжелая: два поля надо убрать да третье засеять: но в день госпожин ни один человек за работу не примется, нельзя: Велика пречиста на другой год не даст урожаю. Оттого церкви, обыкновенно пустые в летние праздники, в тот день полнехоньки народом, а в раскольниковых моленных домах чуть не всю ночь напролет всенощные поют да часы читают. На Горах по дальним от городов захолустьям справляют в тот день

«дожинки», старорусский обычай, теперь всюду забытый почти. Если к Успеньеву дню успеют дожать яровое, тогда праздник вдвое, тогда бывает «сноп именинник» и празднуются «дожинки» – древний русский обычай, теперь почти повсеместно забытый. Сжав ярь без остатка, оставляют накануне дожинок рученьку овсяных колосьев не сжатою «волотку на боротку» (Волот – великан, сказочный богатырь. Кости допотопных животных считаются костями волотов. Волоты почитаются в некоторых местах покровителями земледелия.), а последний сжатый сноп одевают в нарядный сарафан, украшают его монистами и лентами, на верхушку надевают кокошник и водят вокруг его хороводы. Это и есть «сноп именинник».

Одни жнеи песни поют имениннику в честь, другие катаются с боку на бок по сжатому полю, а сами приговаривают: «Жнивка, жнивка, отдай мою силку на пест, на мешок, на колотило, на молотило да на новое веретено».

В самый день дожинок после обедни идут, бывало, с веселыми песнями на широкий двор помещичий, высоко держа над головами именинный сноп. У каждой жнеи в руке обвитый соломой серп. Сноп именинный вносили в комнаты, ставили его в передний угол под образа, и на том месте красовался он до первого воскресенья. Сняв в этот день его со стола и сняв с него украшения, берегли до Покрова, тогда делили его, и каждый хозяин примешивал доставшуюся ему долю к корму скота, чтобы он всю зиму добрел да здоровел. А когда жнецы и жнеи с обвитыми серпами и со снопом именинником подходили к помещичьему дому, хозяин с хозяйкой и со всей своей семьей выходили навстречу дорогому гостю, за ворота и, трижды перекрестясь, низкими поклонами «хлебушку встречали», приговаривая: «Жнеи молодые, серпы золотые – милости просим откушать, нового хлебца порушать».

А на широких дворах уж столы стоят, а вокруг них переметные скамьи либо доски, положенные на чураки, кадушки и бочонки. Обнесут рассевшийся народ чаркой-другой и ломтями хлеба, испеченного из новой ржи, потом подадут солонины с квасом и огурцами, щи с бараниной либо со свининой, пироги с творогом и кашу с маслом, а перед каждым кушаньем браги да пива пей сколько хочешь. В конце «дежень» подавали, непременно кушанье на «дожинках» – кислое молоко с толокном. После обеда до самой вечерней зари за околицей либо возле гумен, а иной раз и на барском дворе молодежь водит хороводы и под сумрак наступающей ночи громко распевают:

Закатилось красно солнышко

За зелен виноград,

Целуемся, милуемся

Кто кому рад.

На тех хороводах долго загуливаться нельзя – чем свет иди на страду, на работу, гни спину до ночи.

Расходятся мирно и тихо по избам и там в первый раз после лета вздувают огни. Теперь барские дожинные столы перевелись, но у зажиточных крестьян на Успеньев день наемным жнеям и жнецам ставят еще сытный обед с вином, с пивом и непременно с деженем, а после обеда где-нибудь за околицей до поздней ночи молодежь водит хороводы, либо, рассевшись по зеленому выгону, поет песни и взапуски шелкает свежие, только что созревшие орехи.

По большим и малым городам, по фабричным и промышленным селеньям Велика пречиста честно и светло празднуется, но там и в заводе нет ни дожинных столов, ни обрядных хороводов, зато к вечеру харчевни да кабаки полнехоньки, а где торжок либо ярманка, там от пьяной гульбы, от зычного крику и несвязных песен – кто во что горазд – до полуночи гам и содом стоят, далеко разносясь по окрестностям. То праздничанье не русское.

По многим монастырям в тот день большие собрания бывают. Из дальних и ближних мест богомольцы тысячами стекаются в Печерскую лавру к киевским угодникам, в Саровскую пустынь, к Троице-Сергию и на Карпаты – в Почаев. Много ярманок в тот день бывает: и в Харькове, и в Калаче, и за Уралом, и на Крестовском поле, что возле Ивановского (Шадринского уезда, Пермской губернии.), и по разным другим городам и селеньям. Но нигде так не кипит народная жизнь, никуда так много русского люда в тот день не стекается, как к Макарью. На Успеньев день там самый сильный разгар ярманки. Утро молитве дань – в соборе четыре обедни одну за другой служат, и все время церковь также переполнена богомольцами, во многих лавках поют молебны Успенью и святому Макарию.

Армянская церковь также переполнена богомольцами, даже бугор, где стоит она, целое утро усеян ими ради храмового праздника и торжественного освящения винограда. По молитве наступает обычное неустанное движение по всей ярманке; разряженные толпы снуют около Главного дома, по бульвару, по рядам. Биржа полнехонька, даже ступени ее железного здания усеяны тесной, сплошной толпой народа; в трактирах вереницы ловких половых едва успевают разносить кушанья, – праздник большой да к тому ж и розговенье. Минул час обеда, и загремела музыка, по трактирам запели хоры московских песенников родные песни; бешено заголосили и завизжали цыгане, на разные лады повели заморские песни шведки, тирольки и разодетые в пух и прах арфистки, щедро рассыпая заманчивые улыбки каждому «гостю», особенно восточным человекам.

Вокруг самокатов чуть не с самой обедни раздаются роговая музыка, хриплые голоса подгулявших спозаранок певунов, нестройные звуки дешевых оркестров; пищат шарманки, дерут уши пронзительные звуки волынок, шум, крик, музыка, песни, но веселья, задухованного веселья не видится. Так чествуют у Макарья день госпожин, а вечером кончают его театрами, ристаньями в цирках, пьяным разгулом и диким безобразием в увеселительных заведениях особого рода.

У степенных людей старого закала Успеньев день иными собраниями отличается. В кипучем водовороте ярманочной жизни те собрания не заметны тому, кто мало знаком с местными обычаями.

Когда торговали на Желтых песках у Старого Макарья, ярманка кончалась раньше; в первых числах августа купцы уж по домам разъезжались, концом торга считался праздник первого спаса (Августа 1-го. В 1816 году 16 августа Макарьевская ярманка сгорела дотла (после чего и переведена в Нижний); тогда на ней не было уже ни единого человека и ни единого тюка с товарами.). В тот день, после обычного крестного хода на воду, купцы по лавкам служили благодарные молебны за окончание дел и раздавали при этом щедрую милостыню. Верст из-за полутора и больше пешком сходилась к тому дню нищая братия, водой из-за трех– и четырехсот верст приплывала она. Целыми лодками, целыми дощаниками приплывала. И тем лодкам и дощаникам было имя «Христовы кораблики».

Плывут, бывало, нищие по Волге, плывут, громогласно распевая про Алексея божия человека, про страшный суд и про то, как «жили да были два братца родные, два братца, два Лазаря; одна матушка их породила, да не одно счастье господь им послал». Далеко по широкому раздолью разносятся, бывало, заунывные голоса, доносятся они и до прибрежных сел и деревень. И от каждого села, от каждой деревни vyplывают ко Христову кораблику лодочки с христоробцами, и подают те христоробцы Христовым корабельщикам доброхотное даяние – хлеба караваи, бочонки квасу, печеные яйца, малину, смородину, не то новины отрезок, либо восковую свечу к иконе преподобного Макария. Деньгами подавали редко, но иной раз какой-нибудь богачей раскошелится и пошлет на Христов корабль ставешок (Деревянная точеная чашка.) медных грошей да копеек, молили бы бога о спасенье души его. Хворает ли кто у него, трусит ли он затейного не больно надежного дела – непременно пошлет деньги на каждый Христов кораблик, когда плывет он мимо его жилища.

И щедрый же бывали подаянья на пути и на ярманке; нищие собирались артелями, и особые дощаники нанимали на две путины, туда и обратно, должно быть выгодно бывало им. Теперь и в заводях этого нет, не плавают больше по Волге Христовы кораблики, не видать на ее широком раздолье Христовых корабельщиков – только искрами, дымом и паром дышащие пароходы летают по ней. По лону могучей реки, вместо унылых напевов про Лазаря, вместо удалых песен про бать-

ку атамана Стеньку Разина, вместо бурлацкого стога про дубинушку, слышится теперь лишь один несмолкаемый шум воды под колесами да резкие свистки пароходов.

Стародавний, дедами, прадедами уставленный обычай раздавать милостыню под конец ярманки и на новом месте ее сохранился. Но в Нижнем ярманка чуть не с каждым годом запаздывает, оттого запоздала и раздача. Не по старине теперь творят дело божие, подают не на первый спас, а на день госпожин. Дающих рука не оскудела, но просящих стало меньше, чем у Старого Макарья. Не плетутся теперь на ярманку по пыльным дорогам певучие артели слепцов и калик переходящих, не плывут по Волге Христовы корабельщики, не сидят на мостах с деревянными чашками в руках слепые и увечные, не поют они про Асафа царевича, – зато голосистых немоч что, цыганок, шарманщиков!

Таясь от взоров полиции, успенская раздача подающих еще не вывелась. Лишь осторожнее стали и просящие и дающие, но в урочный час божье дело по укромным местам без помехи творится.

Не расхаживают, как бывало на Желтых песках, по торговым рядам вереницы нищей братии и толпы сборщиков на церковное строенье, но оттого не оскудела рука сердобольных гостей макарьевских... Небольшими кучками в день госпожин собираются нищие по лугам и по выгонам и молча стоят с головами непокрытыми. С книжками в руках сходятся туда же и сборщики на церковное строение. Крестьясь и поминая родителей, доброхотные датели в строгом молчанье творят Христову заповедь; так же крестьясь и так же безмолвно принимают их подаяния голодные и холодные, неимущие и увечные, и те сборщики, что божьему делу отдали труд свой и все свое время.

И раскольничьи сборщики на день госпожин к Макарью собираются. Сибирь – золотое дно, Урал – покрывка серебряная, тихий Дон Иванович, станицы кубанские, слободы стародубские, дальше Поморье, ближний Керженец и славное кладбище Рогожское высылают сюда к Успеневу дню сборщиц и сборщиков. И те люди не нищие, не убогие; привитают они в палатках богатых купцов; либо в укромных покойчиках постоялых дворов, что содержатся их одноверцами. Не грошами, не гривнами, а крупными суммами подают им христороубцы милостыню; а в день госпожин сборщики и сборщицы все-таки блюдут стародавний обычай: с книжками за пазухой чуть свет сходятся они на урочных местах и ждут прихода благодетелей.

И не коснят благодетели исполнить извечный, предками уставленный обряд милосердия. Затем в палатках богатых ревнителей древнего благочестия, и в лавках, где ведется торговля иконами, старыми книгами и лестовками, сходятся собравшиеся с разных концов России старообрядцы, передают друг другу свои новости, личные невзгоды, общие опасенья и под конец вступают в нескончаемые, ни к чему, однако, никогда не ведущие споры о догматах веры, вроде того: с какой лестовкой надо стоять на молитве с кожаной али с холщовой. Так у Макарья проводят раскольники день госпожин.

В обширной, из нескольких комнат, палатке, над собственной лавкой в Лубянках (Лубянками зовут каменные корпуса лавок, преимущественно с красным товаром, построенные между Обводным каналом и шоссе. Зовут их также Ивановскими (по фабричному селу Иванову).) помещался московский богач Сырохватов. Ревнитель австрийских попов и их архиереев, любил он надо всем верховодить, везде любил быть первым, поклоны и почет любил ото всех принимать. Что было у него на душе, каких мыслей насчет веры Илья Авксентьевич держался, дело закрытое, но все знали, и сам он того не скрывал, что в правилах и соблюденье обрядов, был он слабенец. «Славу мира возлюбил, – говорили про него строгие поборники старообрядства, – возлагает он надежду на князи и на сыны человеческие, в них же несть спасения, водится с ними из-за почестей и ради того небрежет о хранении отеческих преданий».

Но всехвальная рогожская учительница мать Пульхерия на то, бывало, говаривала: «Был бы в вере тверд, да был бы всегдашним нашим заступником пред сильными внешнего мира, и все согрешения его вольные и невольные, яже словом и яже делом, на свою душу беру». И действительно, Сырохватов при каждом случае являлся ходатаем за своих одноверцев перед властями и в самом деле о прощении его грехов усердно молились по многим часованиям и кельям.

Развалившись в мягких, обитых малиновым бархатом креслах, после плотного обеда и доб-

рой выпивки отдыхает Илья Авксентьич. Возле него стоит столик, а на нем стакан чаю и пачка заклеенных пакетов. Сидит Сырохватов, слушает разговоры гостей, а сам пальцами барабанит по пакетам. А сам ни словечка.

На стульях, на креслах, на длинном турецком диване десять скитских матерей с черными платами на головах да пятеро пожилых степенных купцов сидят. В смежной комнате краснощекий толстый приказчик хозяйничает за ведерным самоваром, то и дело отирая платком пот, обильно выступавший на громадной его лысине.

Матери были недалгие, все керженские да чернораменные, из Комарова, из Улангера, из Оленева. От матери Манефы да из Шарпана не было ни одной. Пришли старицы к щедрому благодетелю с великим горем своим: со дня на день ожидают они за Волгу петербургского генерала; значит, скоро будет скитам конец положен, скоро настанет падение славного Керженца, скоро настанет мерзость запустения на месте святе. Молча слушает Илья Авксентьич жалобы и плач черноризниц на бедность и нужды, что их впереди ожидают, но равнодушно глядит на слезные токи, что обильно текут по бледным ланитам скорбных матерей. Молчит, а сам по пакетикам пальцами постукивает.

– Хоть бы наш скит к примеру взять, – плачется величаявая, смуглая, сухоощавая мать Маргарита оленевская, игуменья знаменитой обители Анфисы Колычевой. – У нас в Оленеве больших и малых обителей восемнадцать да сорок сиротских домов. Стариц да белиц будет за тысячу, это одних «лицевых», которы, значит, по паспортам проживают; потаенных еще сотни две наберется. Жили мы, благодаря первее бога, а по нем христолубивых благодетелей, тихо и безмятежно; всем удовлетворены, забот мирских и не знавали, одна у всех была забота: бога молить за своих благодетелей и о всемирной тишине.

А теперь с котомками по чужим сторонам нам брести доводится. Христовым именем под оконьем питаться! В Комарове такое ж число наберется; в Улангере положить хоть наполовину, а по всем скитам с сиротами нашей сестры тысячи за три наберется. Как нам будет жить на чужой стороне с чужими людьми незнакомыми? Особливо старушкам в преклонных годах. Великое горе, несчастная доля всем нам предстоит! А как того горя избыть, сами не знаем. Одно упование на царицу небесную да на наших благодетелей, что не забывают нища, стара и убога. А ежели и они забвенью нас предадут, погибнем, аки червь.

– Да ведь слышно, матушка, что вас по своим местам разошлют, на родину, значит. Какие ни на есть сродники ведь тоже у каждой найдутся, они не оставят родных, – сказал высокий, седой, сановитый ивановский фабрикант Старожилов.

– Ах, Артемий Захарыч, Артемий Захарыч! Какая родина, какие сродники! возразила ему мать Маргарита. – У нас по всему Керженцу исстари такое заведение бывало, чтобы дальним уроженкам в ближние к нам города и волости переписываться, поближе бы пачпорта было выправлять. И зачастую бывает, что в том городе али волости не токма сродников, и знакомых-то нет никого. А которы хоть и остались приписаны к родине, кого они там найдут? Ведь каждая почесть сызмальства живет в обители, иная, может быть, лет пятьдесят на родине-то и не бывала, сродники-то у ней примерли, а которые вновь народились, те, все одно, что чужие.

– Пожалуй, что и так, – подумав маленько, согласился Старожилов и смолк.

– Иваныч! – кликнул хозяин. Вошел тучный, лысый приказчик, что за самоваром сидел. Илья Авксентьич подманил его пальцем; приказчик наклонился, и хозяин пошептал ему что-то на ухо.

– Слушаю-с, – тихо молвил приказчик, взял со стола пакеты и унес их.

– А опять теперь насчет строения, – скорбно заговорила мать Юдифа улангерская. – Сломают, и все пропадет ни за денежку. Кому лес продавать и другое прочее, что от часовен да келий останется? Мужикам не надо, у них у каждого свой хороший дом. Так задаром и погниет все добро наше, так и разорятся веками насиженные наши гнездышки. И помыслить-то тяжело!.. Вспадет на ум, так сердце кровью обольется... А с нами что станется, как придет час разоренья? Хоть бы прибрал заране Христос, царь небесный, не видать бы нам беды неизбывной.

Под это слово приказчик вошел и подал Илье Авксентьичу пакеты. Тот положил их на столик и по-прежнему, слова не молвя, стал по ним барабанить.

– На своз бы кому продали, – в ответ Юдифи тихо, чуть слышно промолвил приземистый,

седенький, рябоватый, с болезненно слезящимися глазками, московский купец Порохонин.

Был человек он богатый, на Кяхте торговлю с китайцами вел, не одна тысяча цыбиков у него на Сибирской (Сибирская пристань на Волге возле Макарьевской ярманки; там громадные склады кяхтинских чаев.) с чаем стояла, а в Панском гуртовом – горы плисов, масловых да мезерицких сукон ради меня с Китаем лежали. – Продать-то кому, милосердный благодетель Никифор Васильич? Покупщиков-то где взять? – молвила ему мать Юдифа. – Окольным мужикам, говорю вам, не надо, да и денег у них таких нет, чтобы все искупить. А далёко везти – кто повезет? Вот здесь в городе и много стройки идет, да кто повезет сюда за сотню без малого верст? Провоз-от дороже леса станет. Нет уж, гноить надо будет, девать больше некуда. Хорошо еще тем скитам, что поблизости нашего городка стоят, там еще можно, пожалуй, сбыть, хоть тоже с большими убытками.

– Да, слезовое ваше дело, – горько вздыхая, с участием промолвил Никифор Васильич.

– Поистине слезовое, – согласился и Старожилов. Стали высказывать матерям свое участие и другие гости: здоровенный, ростом в косую сажень, непомерной силищи, Яков Панкратыч Столетов, туляк, приехавший с самоварами, подсвечниками, паникадилами и другим скобяным товаром; приземистый, худенький, седой старичок из Коломны Петр Андреяныч Сушили́н – восемь барж с хлебом у него на Софроновской (Софроновская пристань на городской стороне, на самом устье Оки, против ярманки. Там становятся караваны с зерновым хлебом.) было, и толстый казанский купчина с длинной, широкой, во всю богатырскую грудь, седой бородой, оптовый торговец сафьяном Дмитрий Иванович Насекин. Ласковыми речами стараются они хоть сколько-нибудь облегчить горе злополучных стариц; один хозяин ни слова.

– Жили мы жили, не знали ни бед, ни напастей, – на каждом слове судорожно всхлипывая, стала говорить мать Таисея Комаровская, игуменья обители Бояркиных. – Тихо мы жизнь провождали в трудах и молитвах, зла никому не творили, а во дни озлоблений на господу печаль возверзали, молясь за обидящих и творящих напасти. А ныне богу попускающе, врагу же действующу, презельная буря воздвигается на безмятежное наше жительство. Где голову приклоним, как жизненный путь свой dokonчим?.. В горе, в бедах, в горьких великих напастях!..

И, зарывав, закрыла руками лицо. Другие матери тоже заплакали. Купцы утешают их, но Сырохватов, как и прежде, ни слова, молчит себе да пальцами постукивает по пакетам.

– Иваныч! – крикнул он.

Опять вошел толстый приказчик, опять что-то шепнул ему хозяин, и опять тот, взявши пакеты, из комнаты вон вышел. Мать Таисея меж тем жалобы свои продолжала:

– Красота-то где будет церковная? Ведь без малого двести годов сияла она в наших часовнях, двести годов творились в них молитвы по древнему чину за всех христиан православных... И того лишиться должны!.. Распудится наше словесное стадо, смолкнет пение за вся человеки и к тому не обновится... Древнее молчание настанет... В вертепах и пропастях земных за имя Христово придется нам укрываться...

Вошел приказчик и, положив на столик пакеты, тотчас удалился. Ни слова, ни взгляда хозяин ему. Стучит по-прежнему пальцами по новым пакетам.

Долго еще Таисея жалобилась с плачем на скитские напасти. Встал, наконец, с места Илья Авксентыич и, взявши пакеты, сказал матерям:

– Вам, матери, надо теперь, поди, у других христиан побывать, да и мне не досужно. Вот вам покамест. – И, набожно перекрестясь, подал каждой старице по пакету. – Перед окончаньем ярманки приходите прощаться, я отъезжаю двадцать седьмого, побывайте накануне отъезда, тогда мне свободнее будет.

В ноги поклонились матери благодетелю, а потом сотворили начал на отход свой.

– К нам, честные матери, милости просим, – молвил Петр Андреич Сушили́н. – На хлебный караван на Софроновской пристани пожалуйста. В третьей барже от нижнего края проживанье имеем. Всякий дорогу укажет, спросите только Сушили́на. Не оставьте своим посещеньем, сделайте милость.

– Благодарим покорно за ваше неоставленье, – отвечала за всех Маргарита оленевская, и все старицы поклонились Сушили́ну великим обычаем.

– И меня не забудьте, – примолвил Старожилов. – Мы отсель недалеко, всего через лавку.
– Не преминем, благодетель Артемий Захарыч, безотменно побываем, сказала мать Маргарита.

И перед Старожиловым сотворили матери уставное метание.

– Нас-то, матушки, не обойдите, нас не оставьте своим посещеньем, молвил старик Порохонин. – В Панском гуртовом по второй линии. Знаете?

– Как не знать, Никифор Васильич, – сказала Маргарита. – Старинные благодетели, никогда не оставляли нас, убогих, великими своими милостями. Благодарим вас покорно. И ему сотворили метание.

– И к нам в лавку милости просим, – пробасил купец-исполин Яков Панкратьич Столетов. – Возле флагов, на самом шоссе в Скобяном ряду. Не оставьте!..

И его благодарит мать Маргарита оленевская, и ему все матери творят метания. С тем и вышли они вон из палатки.

За матерями один по другому пошли и купцы; остался один туляк-богатырь Яков Панкратьич Столетов.

Сойдя с лестницы, встретил Сушилин сырохватовского приказчика.

– Зачем это ты, Петр Иванович, пакетцы-то менял? – спросил он у него, поглаживая свою жиденькую седенькую бородку.

– Надо полагать, очень уж разжалобили хозяина-то. Спервоначалу велел в каждый пакет по радужной положить, потом по двести велел, а под конец разговора по триста.

– Ишь ты! – молвил хлебный торговец. – По триста!.. Вон оно как! И, задумавшись, пошел вон из лавки.

– А что, Яша? Дернем? – спросил Илья Авксентьич у Столетова, когда они остались один на один.

– Пожалуй! – равнодушно пробасил Столетов.

– К Бубнову, что ли? К цыганкам?

– Ладно.

– А с полночи закатимся?

– Пожалуй.

– К Кузнецову аль к Затыкевичу?

– Куда повезешь, туда и поеду.

– Да тебе, может, неохота?

– Эка выдумал! Одевайся-ка лучше, чем пустяки городить. И закатились приятели до свету.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На другой день Великой пречистой третьему спасу празднуют. Праздник тоже честной, хоть и поменьше Успеньева дня. По местам тот праздник кануном осени зовут; на него, говорят, ласточкам третий, последний отлет на зимовку за теплое море; на тот день, говорят, врач Демид (Август 16 празднуют св. врачу Диомиду.) на деревьях листву желтит. Сборщикам и сборщицам третий спас кстати: знают издавна они, что по праздникам благодетели бывают добрей, подают щедрее.

Мать Таисея, обойдя приглашавших ее накануне купцов, у последнего была у Столетова. Выходя от него, повстречалась с Таифой – казначеей Манефиной обители. Обрадовались друг дружке, стали в сторонке от шумной езды и зачали одна другую расспрашивать, как идут дела. Таисея спросила Таифу, куда она пробирается. Та отвечала, что идет на Гребновскую пристань к Марку Данилычу Смолокурову.

С того года как Марко Данилыч отдал Дуню в Манефину обитель на воспитанье, Таифа бывала у него каждую ярманку в караване. Думала и теперь, что он по-прежнему там на одной из баржей проживает.

– Пойдем вместе, – молвила ей Таисея. – И я собиралась поклониться Марку Данилычу, да не знаю, где отыскать его.

– Пожалуй, пойдем, – согласилась Таифа, и старицы побрели по сыпучим наметанным у берега Оки пескам к Гребновской пристани.

Там не скоро добились, в коем месте стоит караван смолокуровский. По берегу кучками сидели рабочие с рыбных баржей разных хозяев, хлебая из уемистых ставцов квас с луком, огурцами и с краденой рыбной сушью. На спрос стариц ни слова они не сказали: некогда, мол, – рты на работе; один только паренек, других помоложе, жуя из всей силы, ложкой им указал на Оку. Спросили старицы у торговки, что сидели в шалашиках за прилавками, уставленными вареными рыбцами, гороховым киселем, студенью и жареной картошкой. Торговки сказали, что не знают, какой-то такой Смолокуров и на свете-то есть. У ломовых (Извозчиков.), что с длинным рядом роспусков стояли вдоль берега, спросили инокини; те только головой потряхивают – не знаем, дескать, такого. Совсем выбились из сил, ходя по сыпучему песку; наконец, какой-то добрый человек показал им на баржи, что стояли далеко от берега, чуть не на самом стрежне реки.

Притомились матери, приустали, чуть не битый час бродючи по глубокому песку, раскаленному солнпеком. Рады были они радехоньки, когда, порядив паренька свезти их на задний караван, уселись в его ботничок, залитый наполовину водою. Подплыв к крайней барже смолокуровского каравана, видят матери, у борта стоит и уплетает один за другим толстые арбузные ломти долговязый, не знакомый им человек. В пропитанном жиром нанковом длиннополом сюртуке, с сережкой в ухе, с грязным бумажным платком на шее, стало быть, не ихнего поля ягода, не ихнего согласу, по всем приметам, никонианец. Ревнитель древлего благочестия плата на шею не наматывает и серьги в ухо не вденет... Обратилась к нему Таифа с вопросом:

– Господин честной, это Марка Данилыча караван? Смолокурова?

А господин честной, ровно ничего не видит и ничего не слышит, уплетает себе арбуз да зернышки в воду выплевывает.

– Это, мол, смолокуровские баржи али где в ином месте стоят? – немножко погода опять спросила его Таифа.

Головой лишь кивнул и, только когда покончил с арбузом, грубо ответил:

– Здесь смолокуровский караван.

– Марка Данилыча бы нам повидать.

– А на што вам его? – облокотясь о борт руками и свесив голову, спросил долговязый. – Ежели по какому делу, так нашу честь прежде спросите. Мы, значит, здесь главным, потому что весь караван на отчете у Василья Фадеича, у нас, это значит.

– Нам бы самого хозяина. До него самого есть дельце, – отвечала на то мать Таифа.

– Этого никак невозможно, – сказал, ломаясь, Василий Фадеев. – Самого хозяина вам в караване видеть ни в каком разе нельзя. А ежели у вас какая есть к нему просимость, так просим милости ко мне в казенку; мы всякое дело можем в наилучшем виде обделать, потому что мы самый главный приказчик и весь караван на нашем отчете.

– Да нет, нам бы самого Марка Данилыча, – настаивала Таифа. – Наше дело не торговое.

– А какое ж ваше дело? – вытянув шею, с любопытством спросил Василий Фадеев. – Объясните мне вашу просимость, а я совет могу подать, как вам подойти к Марку Данилычу. Ведь с ним говорить-то надо умеючи.

– Да мы не впервые, давно его знаем, умеем, как говорить, – молвила Таифа.

– Да вы из каких мест будете? – спросил Василий Фадеев.

– Из-за Волги, родной, из Комарова, – ответила Таисея.

– Та-а-ак-с, – протянул Василий Фадеев. – Из-за Волги, из Комарова... Не слыхивал про такой... Это город, что ли, какой, Комаров-от?

– Монастырь старообрядский, – объяснила Таифа.

– Та-а-ак! По-нашему, значит, раскольничий скит? Что ж вы там поите, что ли? Ведь у вас, слышь, там девки да бабы за попов служат? – глумился над матерями Василий Фадеев.

Они промолчали, смолк и Фадеев. Немножко погода зевнул он во весь рот, громогласно прокашлялся и молча стал приглядываться к чему-то на берегу.

– Так как же бы нам, Василий Фадеич, Марка-то Данилыча повидать? – заискивающим голосом спросила Таифа. – Сделайте милость, скажите, дома он или отъехал куда с каравана?

– Этого знать я не могу, – нехотя ответил приказчик и снова зевнул.

– Да на которой барже он проживает? – приставала Таифа.

Промычал что-то под нос себе Василий Фадеев. Матери не расслышали.

– Что изволили сказать? – переспросила Таифа. Злобно откинулся от борта Василий Фадеев и злобно крикнул на них:

– Убирайтесь, покамест целы!.. Убирайтесь, говорю вам, не то велю шестами по вашему ботничкишку... Искушаетесь тогда у меня!

– Да что это ты, батько, сердитый какой? – возвысила голос Таифа. – Не к тебе приехали, а к хозяину, тебя честью просим.

– Сказано, убирайтесь!.. – во всю мочь закричал Фадеев. – И говорить не хочу с вами, чертovsky угодницы!

И плюнул в ботник, а затем быстро прошел в свою казенку.

– Поезжай, паренек, вдоль каравана, авось добьемся толку, – молвила Таифа, и ботник поплыл вниз по реке.

На крайней барже у самой кормы сидел на рогожке плечистый рабочий. Лапоть он плел, а рядом с ним сидел грамотный подросток Софронко, держа отрепанный клочок какой-то книжки. С трудом разбирая слова, читал он вслух про святые места да про Афонскую гору.

Разлегшись по палубе, широко раскинувши ноги и подпирая ладонями бороды, с десятков бурлаков жарили спины на солнопеке и прислушивались к чтению Софронки.

– На которой барже Марко Данилыч живет? – спросила Таифа, поровнявшись с ними.

– Ни на коей не живет он, матушка, – положив лапоть, добродушно ответил дядя Архип. – В городе проживает, в гостинице.

– Как так? – удивилась Таифа. – Да он доселе каждую ярманку жывал в караване.

– Дочку привез, – сказал дядя Архип, – с дочкой, слышь, прибыл. Как же ей здесь проживать с нашим братом бурлаком, в такой грязи да в вонище? Для того и нанял в гостинице хорошу хвату.

Обрадовались матери. Любили они добрую, нежную Дуню.

– А в какой же гостинице он пристал? – спросила Таифа.

Не сумел дядя Архип путем о том рассказать, не умели и другие бурлаки, что теперь, повскакав с палубы, столпились вдоль борта разглядывать стариц. Только и узнали матери, что живет Смолокуров на Нижнем базаре, а в какой гостинице, господь его знает.

Пошли они на Нижний базар. По дороге купили по душистой дыне да по десятку румяных персиков на поклон Дунюшке, опричь поясков, шитой шелками покрывки на стол и других скитских рукоделий. Опытная в обительском хозяйстве Таифа знала, что скупой сам по себе Марко Данилыч за всякую ласку дочери не пожалеет ничего. Добрались они, наконец, до его квартиры.

Радужно встретил Смолокуров старую знакомую, мать Таифу. Узнав, что она уж с неделю живет у Макарья, попенял ей, что до сей поры у него не побывала, попрекнул даже, что, видно-де, у ней на ярманке и без него знакомых много. И мать Таисею ласково принял. Про Дуню спросила Таифа и про Дарью Сергевну.

– Обе здесь со мной, – отвечал Смолокуров. – Чутьку их не захватили, в гости пошли ненадолго. С женой да с дочерьми приехал сюда приятель мой Доронин, Зиновей Алексеич, хлебом торгует.

– Довольно знаем и Зиновья Алексеича и Татьяну Андревну, и девиц ихних, – отвечала Таифа. – Не раз у них гащивала, как они еще на мельнице жили.

– К им вот и пошли мои, – молвил Марко Данилыч. – Девицы-то подруги Дунюшке, одна ровесница, другая годком постарше. Вместе-то им, знаете, охотнее. Каждый день либо моя у них, либо они у нас. Молодое дело, нельзя.

– Известно, – согласилась Таифа. – Выросла, поди, Дунюшка-то, похорошела? – прибавила мать казначея, умильно поглядывая на Марка Данилыча.

– Как, матушка, не вырасти, года такие. Старое-то старится, молодое растет, – с лаской молвил в ответ Смолокуров. – А мы и у вас маленько погостили на старом Дунюшкином пепелище... Вас-то, матушка, только не захватили.

– Уж как я жалела, как жалела, Марко Данилыч, что не привел господь вас с Дунюшкой-то с вашей в обители видеть... Дела-то ведь у нас знаете, какие...

– Знаю, матушка, все знаю, – ответил с участием Марко Данилыч. – Из Питера-то не привезли ли чего утешительного? Там-то как смотрят на ваше дело?

– Дело наше, Марко Данилыч, как есть совсем пропащее, – с глубоким вздохом отвечала Таифа, и слезы сверкнули на ее скорбных глазах. – Выгонки не избыть никакими судьбами... Разорят наш Керженец бесприменно, бревнышка не останется от обителей. И ровно буйным ветром разнесет всех нас по лицу земли. Горькая доля, Марко Данилыч, самая горькая...

И громко зарыдала. Мать Таисея, глядя на Таифу, тоже заплакала.

– Не покинет господь своей милостью вас, – утешает матерей Марко Данилыч. – Не плакать, богу надо молиться, на него возложить упование.

– Кто ж у нас и прибежище, дак не господь царь небесный? – утирая слезы, сказала Таифа. – На него да на заступницу нашу, пресвятую богородицу, все упование возлагаем.

– Стало, все и будет по-хорошему, – молвил Марко Данилыч. – На бога, матушка, положишься, так не обложишься. Господь-от ведь все к лучшему строит, стало быть плакать да убиваться вам тут еще нечего. Может, еще лучше будет вам.

– Куда уж лучше, Марко Данилыч! О лучшем-то нечего и помышлять, сказала Таифа. – Хоть бы в вере-то господь сохранил, а то вон ведь какие напасти у нас пошли: в единоверческую многие хотят...

– Полноте, матушка! – вскрикнул Смолокуров.

– Не лгу, благодетель, – горячо сказала Таифа. – Есть хромые души, что паче бога и отеческой веры возлюбили широкое, пространное житие, мало помышляя о вечном спасении. Осиновские матери к единоверью склоняются, и в Керженском скиту сам отец Тарасий начал прихрамывать.

– Не может того быть, матушка, – решительно сказал Марко Данилыч. – В жизнь не поверю...

– И мы, благодетель, не давали веры, да вот на правду стало походить, молвила Таифа.

– С чего ж это они? – спросил Смолокуров.

– Славы мира, должно быть, восхотели, тесного пути не желают, пространным шествовать хотят.

– А куда пространный-то путь приведет их? – покачав головой, воскликнул Марко Данилыч.

– То не неведомо им, благодетель, – с грустью сказала Таифа. – Люди они умные, слову божию наученные начетчики великие.

– Ах, дела, дела!.. Какие дела-то у вас деются, – в недоумении качая головой, говорил Смолокуров.

– Да, батюшка, Марко Данилыч, дожили мы до слезовых дней, – отвечала Таифа. – Думано ли, гадало ли было?... Какие бы, кажется, столпы благочестия были? Адаманты! А вот что вышло. Истину глаголет писание: «Несть правды под небесами».

И замолчали. И немалое время в кручинной думе сидели.

– Как матушка Манефа поживает? – спросил, наконец, Марко Данилыч.

– Плохо, благодетель, очень даже плохо! – пригорюнясь, жалобно ответила мать Таифа. – У всех нас горе, а у ней вдвое... Слышали, может, про неприятности, что после вашего посещения у нас случились?

– Какие, матушка? – спросил Марко Данилыч.

– Про племянненку-то про нашу любезную, про толстуху-то нашу, Прасковью Патаповну, нешто не слыхали? – спросила Таифа.

– Замуж вышла, – сказал Марко Данилыч.

– Головушку с плеч снесла матушке! – со слезами стала говорить Таифа. Во гроб ее уложила!.. Вот чем заплатила за любовь ее и за все попечения. Души в племянненках матушка не чаяла, и что же теперь? Одна горе принесла – преставилась, другая всю обитель осрамила, позор навела и на матушку...

Потерпи ей господи за такое озлобление... И одно за другим: Марья Гавриловна без бытно-

сти матушки сбежала, потом родная племянница замуж уходом ушла!.. Слава-то ведь какая пойдет теперь про нашу обитель! Никогда таких бесчиний в ней не бывало, а теперь и вдовы и девицы замуж сбегают да еще венчаются по-никониански... А тут еще горестные-то наши обстоятельства да еще отпадение от веры в Осинках и в Керженском!..

Тут, батюшка Марко Данилыч и не с таким здоровьем, как матушкино, до смертного часа недолго, а она ведь у нас на Пасхе-то все едино, что из мертвых восстала... Выдался годик, такой годик, что подай только господи крепости да терпения!

– Патап-от Максимыч, слышь, ничего. Не больно гневился на дочку, а зятяка, говорят, возлюбил, – сказал Марко Данилыч.

– Что Патап Максимыч! – с горечью молвила Таифа. – Ему бы только самому было хорошо, о других он и думать забыл. Балагурить бы ему только да смехи разводить!.. Ежели ему жених по мысли приходился и дочку он за него замуж хотел выдать, ну и венчал бы как следует, честью. А то на-ко что устроили! Из обители выхватили девицу... Сраму-то что теперь! Соблазну-то! Почитали б вы, что Гусевы пишут из Москвы да Мартыновы, а они ведь наши первые по всей Москве благодетели. К вам, пишут, мы по духовному делу посланника послали, а вы его сосватали да женили... Иноческое ли это дело свахами вам быть? – пишут... Каково это сносить, благодетель?.. Сами посудите, Марко Данилыч. Как еще переносит наша матушка такие неприятности!

– Да как же это в самом деле жениться-то его угораздило? Поглядел я тогда на него, воды, кажись, не замутит, – сказал Марко Данилыч.

– А пес его знает, проклятика, как его, окаянного, угораздило! – вскрикнула в сердцах Таифа. – Известно, что без вражьей силы тут не обошлось. Выбрал окаянный себе нечистый сосуд в том проклятике... Колдунья одна есть, возле нашего скита проживает. Не раз она была приличена в волхвовании. Марья Гавриловна к ней же по утренним зарям тайно хаживала, а потом вот и сбежала...

Кто знает? Может, и Параша с любезным своим к ней же бегивала?.. Не иначе надо думать, что колдунья назло нашей матушке бесовскою силой все это дело оборудовала. Такое у нас рассуждение держат, и сама я так понимаю. Сжечь бы ее, еретицу поганую, и со всем бы домом ее. Угодное бы господу то дело было. Ведь это хуже чумы. Хуже чумы, благодетель.

– Чего бы, мне кажется, много-то об этом заботиться матушке Манефе? – после недолгого молчанья сказал Марко Данилыч. – Ежели бы еще черница сбежала или канонница, ну так еще, пожалуй. А то ведь мирская девица, гостья. Никакого, по-моему, тут и сраму-то нет ни матушке, ни обители.

– Как же нет сраму, Марко Данилыч? – с горячностью перебила его Таифа. – Сохранить, значит, девицу не сумели, приглядеть не могли за ней. Разве это не стыд, разве не срам? А опять же этот Василий Борисыч, иссохнуть бы ему... Какую остуду у московских навел на нас! Теперь ведь по всему христианству про нас худая слава пронеслась. Вот, скажут, на Керженце-то какие дела делаются! Рогожских послов в великороссийской венчают!.. Какого еще больше сраму, Марко Данилыч?..

Помилуйте! А по нашим-то скитам? Нешто нет у нас завистниц, особливо по тем обителям, где вольненько живут? Матушка-то Манефа, сами знаете, старица строгая и над другими обителями держит верх. За непорядки, бывало, началит самих игумений... А теперь?.. Чего-чего теперь они не плетут на нас!.. Волос даже вянет...

– Все бы не след матушке убиваться, – сказал Марко Данилыч. – Кто довольно ее знает, тот худа об ней не помыслит, а ежели непутные языки болтают, плюнуть на них, да и вся недолга.

– Хорошо так вам говорить, Марко Данилыч, – с горячностью молвила Таифа. – А из Москвы-то, из Москвы-то что пишут?.. И здесь, к кому ни зайдешь, тотчас с первого же слова про эту окаянную свадьбу расспросы начинаются... И смеются все. «Как это вы, спрашивают, рогожского-то посла сосватали?» Легко ль это слушать, благодетель, легко ли терпеть? Нет, Марко Данилыч, велика наша печаль. Это... это... И, горько заплакав, Таифа замолчала.

– Жаль мне матушку. Очень жалко, – помолчав недолго, молвил Марко Данилыч.

Не смеялся он теперь, как в то время, когда Самоквасов впервые рассказывал ему про свадьбу Василья Борисыча. Жалко ему стало Манефу и Таифу жаль; они ведь так пеклись о Дунюшке,

так много любят ее.

– А у нас-то в обители, Марко Данилыч, какое дело сделалось, – начала в свою очередь жалобиться мать Таисея. – Помните, как на Петров-от день гостили вы у нас в Комарове, Самоквасов Петр Степаныч да панковский приказчик Семен Петрович были у нас?

– Помню, – сказал Марко Данилыч.

– В обители у нас приставали, – продолжала Таисея.

– Помню.

– После вашего отъезда еще с неделю прогостили. И вдруг Петр Степаныч ни с того ни с сего срядился вдруг и уехал.

– Здесь он теперь, – заметил Марко Данилыч.

– Вот видите, – сказала Таисея. – И Семен Петрович тоже уехал, оба даже не простившись. Очень было это тогда нам обидно, кажется ничего худого от нас не видали, рады мы были им всей душой, и вдруг не простившись... Хорошо ли это с их стороны?

– Не хорошо, – сказал Смолокуров. – Люди молодые, ветер в голове...

– Да как же это не простясь-то? Помилуйте! Как же это возможно? Нешто так делается?

– Не делается, матушка, не делается, – ответил Марко Данилыч и вдруг, чтоб как-нибудь отвязаться от рассказов Таисеи, сказал: – Что же это я? Хорош хозяин! Сколько времени толкуем, а нет, чтобы чайком попотчевать дорогих гостей... Вот что значит без хозяек-то.

– Напрасно беспокоитесь, Марко Данилыч, сейчас от чаю, – отирая глаза, молвила Таифа.

– Сбери-ка нам, любезный человек, поскорее самоварчик, – приказал Смолокуров влетевшему на звонок коридорному.

– Сею секундой-с, – быстро ответил тот и вихрем полетел назад.

– Право, напрасно беспокоитесь, благодетель, – говорили старицы, но за чаем замолкли.

Когда Марко Данилыч распивал лянсин с матерями, бойко вошел развеселый Петр Степаныч. Здороваясь с хозяином, взглянул на стариц... «Батюшки светы! Мать Таисея! Вот встреча-то! И Таифа тут же. Ну, – думает себе Петр Степаныч, – как они про свадьбу-то разнюхали да про все Марку Данилычу рассказали!.. Пропадай тогда моя головушка долой!» И веселый вид его смутился. «Не прогнал бы, не запретил бы дочери знаться со мной», – думал он про себя.

Однако, притворяясь спокойным, с улыбкой обратился он к Таисее:

– Вот уж не думал, не гадал с вами встретиться, матушка. Как ваше спасение? (Иноков и инокинь не спрашивают с здоровье, а всегда о спасении.) Все ли у вас здоровы?

– Слава богу, поколь господь грехам терпит, – молвила Таисея и тотчас же попрекнула Петра Степаныча: – А вы тогда на неделю от нас поехали да так и не бывали.

– Дела такие подошли, матушка, – озабоченно отвечал Самоквасов. – В Москве был, в Питер ездил, теперь вот здесь третью неделю живу. Нонешним годом, не знаю, в другорядь-то и попаду ли я к вам.

– А в будущем-то не к кому, пожалуй, будет и приехать, – грустно промолвила мать Таисея.

– Как не к кому? Опять к вам же. Авось не прогоните? – сказал Самоквасов.

– Самих-то нас к тому времени разгонят на все четыре стороны, – тихо промолвила мать Таисея. – Приедешь в Комаров, ай нет Комарова. Пожалеешь, чать, тогда?

– Э, матушка, страшен сон, да милостив бог, – сказал Самоквасов. Поживете еще, а мы у вас погостим, как прежде бывало.

– Хорошо бы так, сударик мой, только этому не бывать... Последние дни доживаем...

– Полно вам, матушка, верного-то покамест еще никто не знает, – говорил Самоквасов.

– Как же нет верного? – возразила мать Таисея. – Генерал едет из Питера, строгий-настрогий. Как только наедет, тотчас нам и выгонка.

– Приедет, уедет, за ним другой приедет да уедет, а там и третий и четвертый. Бывали ведь и прежде не раз такие дела.

– Нет, Петр Степаныч, понапрасну не утешай. Дело наше кончено, и нет ему возврата, – сказала мать Таисея и смолкла.

Пока Самоквасов разговаривал с Таисеей, Марко Данилыч вел с Таифой речи про Дунюшку. Разговорясь про наряды, что купил ей на ярманке, похвалился дорогой шубой на чернобурых

лисицах. Таифе захотелось взглянуть на шубу, и Смолокуров повел ее в другую комнату, оставив Таисею с Петром Степанычем продолжать надоевшие ему хныканья о скитском разоренье.

– Ну, как поживали без меня, матушка? – обратился Самоквасов к Таисее.

– Ох, житье наше! – со вздохом отвечала она. – Такие дела были, что просто беда. На казанскую, только что съехал ты со двора, и Семен-от Петрович пропал.

– Да ведь он со мной поехал, – подхватил Самоквасов, зорко глядя на мать Таисею.

– С тобой?... А ведь мы думали... Да как же это с тобой? Ты ведь один на три, что ли, дня поехал. И не простился даже путем, сама до ворот тебя провожала... Я ведь помню хорошо, – говорила мать Таисея.

– К Жжениным заходил Сеня прощаться, а я заторопился, – нисколько не смущаясь, сказал Самоквасов. – От нас повернул было я к Жжениной обители, а Сеня навстречу, я его в тележку да и айда-пошел! Мы так завсегда!.. На живую руку.

– Вот оно что! – сказала Таисея. – Так это ты его умчал. А я-таки на него погневалась, посерчала. Думаю, как же это так? Гостил, гостил, рады ему были ото всей души, всячески старались угодить, а он хоть бы плюнул.

– Моя вина, матушка, простите, ради Христа! – молвил на то Самоквасов. – Дело-то больно спешное вышло тогда. Сеня и то всю дорогу твердил, как ему было совестно не простившись уехать. Я в ответе, матушка, Сеня тут ни при чем.

– Ну господь с тобой, – ласково сказала мать Таисея и, понизив голос, примолвила:– А ты только что уехал, беда-то какая у нас в Комарове стряслась!

– Что такое? – озабоченно спросил Самоквасов.

– Помнишь, матушка Манефа тогда в Шарпан уехала, а Василья-то Борисыча ко мне перевела на время отлучки. Он в тот самый день и пропади у нас, а тут неведомо какие люди Прасковью Патаповну умчали... Слышим после, а это он ее выкрал да у попа Сушилы и побрачился.

– Слышал я кой-что насчет этого, в Москве сказывали мне, – сказал Петр Степаныч. – Родители-то ведь, слышно, простили и зятя приняли в дом.

– Верно, сударь мой, верно, – подтвердила мать Таисея. – А вышло на проверку, что все это дело самого Патапа Максимыча. Наперед у него все было слажено...

– Полноте, матушка! – возразил удивленный Петр Степаныч. – Зачем же бы ему после того свадьбу уходом справлять?

– Экой недогадливый, – усмехнулась мать Таисея. – Будто не может и понять?.. А помнишь мои речи, что говорила я тебе на черствые твои именины?

– Какие, матушка? Что-то не припомню, – ответил Самоквасов.

– Про Дунюшку-то, про Авдотью-то Марковну, – шепнула она ему на ухо. Забыл небось? Смутился маленько, но не выдал себя Самоквасов.

– Что ж? – спросил он игуменью.

– А то, что ежели мои речи походят на правду, так стану я Марку Данилычу советовать, венчал бы тебя в великороссийской.

– Своих-то попов разве у нас нет? – с улыбкой возразил Самоквасов.

– А чтобы венец-от у тебя на голове покрепче держался. Вот для чего.

– Не понимаю матушка, не знаю, к чему ваши речи, – сказал Самоквасов.

– А к тому мои речи, что все вы ноне стали ветрогоны, – молвила мать Таисея. – Иной женится, да как надоест жена, он ее и бросит, да и женится на другой. Много бывало таких. Ежели наш поп венчал, как доказать ей, что она венчана жена? В какие книги брак-от записан? А как в великороссийской повенчались, так уж тут, брат, шалишь, тут не бросишь жены, что истопку (Истоптанный лапоть.) с ноги. Понял?

– Понять-то понял, а все-таки придумать не могу, что за надобность Патапу Максимычу была уходом дочернюю свадьбу играть, – молвил Самоквасов.

– Честью дочь отдавать да у церковного попа венчать ему нельзя, внушительно сказала мать Таисея. – По торговым делам остуду мог бы принять. Разориться, пожалуй, мог бы... А как уходом-то свадьба свенчана, так он перед обществом не в ответе. Понял?

– Вот оно что! – молвил Петр Степаныч. А сам думает: «Ай да матери! Этого бы нам с Сеней

в год не выдумать». Таифа вспала ему на ум – толкует она там с Марком Данилычем да вдруг как брякнет что-нибудь про ту свадьбу... Потому и спросил Таисею, каких мыслей о том матушка Манефа.

– Таких же, как и все, – ответила Таисея. – Сначала-то в недоуменье была, и на того думала и на другого; чего греха таить, мекала и на тебя, и как приехала из Питера Таифа, так все это дело и распутала, как по ниточкам. А потом и сам Патап Максимыч сказывал, что давно Василья Борисыча в зятя себе прочил.

«Эка умница какая мать-то Таифа! – подумал Петр Степаныч. – Надо будет купить ей ковровый платок».

– Стало быть, матушка Манефа теперь успокоилась? Не убивается, как давеча говорила мать Таифа? – мало погода, спросил Самоквасов.

– Как же это не убиваться, сударь ты мой, как ей не убиваться? – отвечала Таисея. – Ведь ослабилась обитель-то. То вдова сбежит, то девку выкрадут!.. Конечно, все это было, когда матушка в отлучке находилась, да ведь станут ли о том рассуждать?.. Оченно убивает это матушку Манефу. А тут еще и Фленушка-то у нее.

– А что такое? – быстро спросил Петр Степаныч.

– Господь ее знает, что такое с ней приключилось: сначала постричься хотела, потом руки на себя наложить, тоска с чего-то на нее напала, а теперь грешным делом испивать зачала.

– Славная шубка, славная! – говорила Таифа, выходя в это время из Дуниной комнаты с Марком Данилычем. – Отродясь такой еще не видывала. Да и все приданство бесподобное.

Петр Степаныч наскоро простился с Марком Данилычем.

Сумрачен, пасмурен вышел и тихо пошел, не размышляя куда и зачем. Молча и дико смотрит вокруг, и все ему кажется в желтом каком-то тумане. Шумный говор, громкие крики людей, стук и скрип тяжело нагруженных возов, резкий пронзительный стук целых обозов с железом – не слышны ему. Холод по телу его пробежал, хоть знойный полдень в то время палом палил.

Острою, жгучею болью, ровно стрелой, пронзило сердце его, когда узнал он про Фленушку... «Бедная, бедная!..» – думает. И вспоминает.

Вот она, легкая станом, чудной прелести девушка, резво, будто на крыльях, несется вдоль по зеленому всполью.

Едва поспеваешь за ней, достигнуть нет сил. Вот перелесок, и в прохладной тени, на сочной, пушистой траве вдруг упала, лежит недвижимо, пурпурные губки раскрыв. Темные очи из-под густых соболиных бровей, звездами сверкнув, на минуту закрылись. Подбежал и как вкопанный стал, жадно смотря на ее красоту, Чуть-чуть слегка развела белоснежные руки, открыла глаза – они затуманены негой. Вот низко наклонился он над пылающим лицом, хочет сорвать поцелуй, но, как будто бы резвая птичка, она встрепенулась и резвого бежит...

Вот сидит он в мрачном раздумье, склонясь над столом, в светелке Манефы. Тихо, безмолвно, беззвучно. Двери настежь, и с ясным радостным смехом птичкой влетела она. Шаловлива, игрива, как рыбка, быстро она к нему подбежала, обвила его шею руками, осияла очами, полными ясных лучей, и уста их слились. Сам не помня себя, вскочил он, но, как сон, как виденье, исчезла она.

Вот в знойный полдень на всполье она на Каменном Вражке, в кругу подруг молодых, под надзором двух стариц смиренных и сонных. Чинно, чуть слышно девицы беседу между собою ведут, шепотом молитву творят инокини, ради отгнания «срящего беса полуденного». Вдруг у ней загорелись ланиты, темные очи зажглись, как огни. Руки в боки, и лихая веселая песня раздалась по долине. Мечутся матери, хотят унять проказницу...

Остановишь ли в поле ветер, удержишь ли водный поток? Одни за другим пристают голоса, звучит песня громче и громче, заглушая крикливую брань матерей.

Вот, сидя возле него, нежно смотрит она ему в очи, играет кудрями, треплет по румяной щеке и целует... Едва переводя дух, шепчет он ей о любви, шепчет страстные моленья; но чуть резкий порыв, чуть смелое движение – хлоп по лбу ладонью, и была такова.

По три года каждым летом в Комарове он гащивал. Каждый божий день увещал, уговаривал ее повенчаться, каждый раз обещалась она, но до другого года откладывала. А как после дедовой

кончины сам себе хозяином стал, наотрез ему отказала. «Побаловались и шабаш, – она молвила, – и мне и тебе свой путь-дорога, ищи невесту хорошую». Пугала, что будет злою женой, неугодливой.

И запила! Бедная Фленушка, бедная". Идет да идет Петр Степаныч, думы свои думая. Фленушка из мыслей у него не выходит. Трепетанье минувшей любви в пораженном нежданным известием сердце. Горит голова, туманится в глазах, по телу дрожь пробегает.

Идет, идет и на гору поднялся. Вот уж он внутри кремля, на венце Часовой горы.

Внизу, под крутой высокой горой, широкий съезд, ниже его за решеткой густо разросшийся сад, в нем одинокая златоглавая церковь. Еще ниже зубчатой каменной лентой смелыми уступами сбегает с высоты древние кремлевские стены и тянутся по низу вдоль берега Волги. Круглые башни с бойницами, узенькие окна из давно забытых проходов внутри стены, крытые проемы (Амбразуры.) среди шумной кипучей жизни нового напоминают времена стародавние, когда и стены и башни служили оплотом русской земли, когда кипели здесь лихие битвы да молодецкие дела. Еще ниже стен виднеются кучи друг над другом возвышающихся кирпичных домов, а под ними важно, горделиво и будто лениво струится широкая синяя Волга. Влево, за множеством домов, церквей, часовен и бесчисленных торговых лавок виднеется мутно-желтая Ока.

Не уже она своей матери Волги, но, сплошь заставленная стройными рядами разного вида и устройства судов, почти не видна. За Окой в тумане пыли чуть видны здания ярмарки, бесчисленные ряды лавок, громадные церкви, флажные столбы, трех- и четырехэтажные гостиницы, китайские киоски, персидский караван, минарет татарской мечети и скромный куполок армянской церкви, каналы, мосты, бульвары, водоподъемная башня, множество домов каменных, очень мало деревянных и один железный.

То и дело взад и вперед, вверх и вниз по Волге, пыхтя черными клубами дыма, бегут пароходы. Дробя речные струи на седые волны и серебристую пыль, поражая слух нескончаемыми свистками, мчатся они мимо города. Нигде по России, ни в Петербурге, ни в Одессе, ни в Кронштадте, ни в других приморских портах никогда одновременно не бывает и третьей доли стольких пароходов (Их теперь по Волге с притоками плавает больше пятисот, и для всех почти их рейсов целью служит устье Оки.) и стольких парусных судов.

Это внутренний русский порт, как назвал его Петр Великий. А за широким раздольем Волги иной широкий простор расстилается. Зеленые заливные луга, там и сям прорезанные серебристыми озерами и речками, за ними ряды селений, почти слившихся одни с другими, а среди их белые церкви с золочеными и зелеными верхами. А за теми за церквями и за теми деревнями леса, леса и леса. Темным кряжем далеко они протянулись, и с Часовой горы не видать ни конца им, ни краю. Леса, леса и леса!

Ни города, ни ярмарки, ни Волги с Окой, ни судов не видит Петр Степаныч. Не слышит он ни городского шума, ни свиста пароходов, не видит широко разостлавшихся зеленых лугов. Одно только видит: леса, леса и леса. Там в их глуши есть Каменный Вражек; там бедная, бедная Фленушка.

Солнце стояло еще высоко, как Петр Степаныч спешно скакал к перевозу.

Привез с того берега перевозный пароход толпу народа, притащил за собой и паром с возами. Только что сошел с них народ, Петр Степаныч туда чуть не бегом. Тройку с тарантасом, что взял он на вольной почте, первую на паром поставили. Когда смеркаться стало, он уже ехал в лесах.

Про Дуню Смолокурову ни думы, ни помину. Ровно и на свете ее не бывало.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Тотчас по уходе Самоквасова воротилась Дуня с названною тетенькой. Обе были рады керженским гостям.

За полдень было. Марко Данилыч распорядился обедом. Старицы, как водится, стали чиниться, от хлеба, от соли отказываться, уверять, что обедали. Марко Данилыч им свое говорил:

– Супротив сытости не спорим, а позора на меня не кладите. Как это мне возможно вас отпу-

стить без обеда? Сами недавно у вас угощались, и вдруг без хлеба, без соли вас пустим! Нельзя. Извольте оставаться; в гостях – что в неволе; у себя как хочешь, а в гостях как велят. Покорнейше просим.

– Да как же это, Марко Данилыч? – молвила мать Таисея. – Нам, сущим во ангельском чину, не подобало бы в «корчемнице» пищу принимать.

– Здесь, матушка, не корчемница, станете кушать в дому у меня, ответил на то Марко Данилыч.

С таким хозяином матерям не стать было спорить. Нечего делать, остались.

И не раскаялись. Перед обедом Дарья Сергевна поставила закусочку из рыбных запасов богатого рыбника ради домашнего обихода. Была тут разная икра, и стерляжья, и белужья, и севрюжья, и осетровая, вислая спинка белой рыбыцы, вяленая севрюжья тешка, копченая стерлядь и сочные уральские балыки. А за обедом поставили борщевое ботвинье с малосольной белужиной, стерляжью уху с налимьими печенками, расстегаи с жирами да с молоками, заливную осетрину, какой и у Макарья не вдруг сыскать, жареного леща, начиненного яйцами, да крупных карасей в сметане. Хорошо едят по скитам, а таких обедов, каким угостил матерей Марко Данилыч, сама Таифа не то что на Керженце, ни в Москве, ни в Питере, у самых богатых людей не видывала. После обеда долго чай распивали.

Маленько соснувши, Марко Данилыч на караван поехал. Таисея ушла по каким-то своим делам, осталась Таифа с Дуней да с названною тетенькой ее.

Плакалась Таифа на грозящие беды, жалобилась на тяжкое обстояние и, зная, что собеседницы из избы сору не вынесут, принялась рассказывать, как мать Манефа по совету с нею полагает устроиться после выгонки.

– Еще будучи в Питере, – говорила Таифа, – отписала я матушке, что хотя, конечно, и жаль будет с Комаровым расстаться, однако ж вконец сокрушаться не след. Доподлинно узнала я, что выгонка будет такая же, какова была на Иргизе. Часовни, моленные, кельи порушат, но хозяйства не тронут. Все останется при нас. Как-нибудь проживем. В нашем городке матушка места купила. После Ильина дня хотела туда и кельи перевозить, да вот эти неприятности да матушкины болезни задержали...

– Какие неприятности? – спросила Дуня.

– А про свадьбы-то наши разве вестей до вас не доходило? – отозвалась Таифа.

– Это про Парашину-то? – с участием и печально промолвила Дарья Сергевна.

– Да, – отвечала Таифа. – И Прасковья Патаповна и Марья Гавриловна! Срамом покрыли обитель, ославили нас! Каково было это вынести матушке!.. А все братец родимый, Патап Максимыч.

– Он при чем же тут? – с живым любопытством спросила Дарья Сергевна.

– Его, сударыня, затейки, ничьи что его, – досадливо ответила Таифа. Теперь, слышь, хохочет, со смеху помирает. Любо, вишь, ему.

– Кажись бы, человек он такой обстоятельный и по вере ревнитель, – в недоумение качая головой, молвила Дарья Сергевна.

– По карману он, сударыня, ревнитель, а не по вере, – досадливо сказала на то мать Таифа. – Погряз в мирских вещах, о духовных же не радит.

Стала Дарья Сергевна расспрашивать про заволжских знакомых. Дуня про Аграфену Петровну спросила ее.

– Здесь ведь Грунюшка-то, – ответила ей мать Таифа. – Вечером мы с ней повстречались. В лавку к себе зазвала, погостила я маленько у них.

– Где она? Как ее отыскать? – радостно вскрикнула Дунюшка.

– С мужем приехала, с Иваном Григорычем, а пристала не в ярманке, а у ихнего годового приказчика, где-то на Почайне.

– В чьем доме?

– А вот уж это я и не знаю, любезненькая, – отвечала Таифа. – Знаю только, что третий дом от угла. Завтра собираюсь у ней побывать.

– Скажите, матушка, ей, чтоб она у нас побывала, – сказала Дуня и вся покраснелась, а глаза

так и блестят. – Пожалуйста, не забудьте.

– Как можно забыть, родная! А для памяти запиши-ка лучше на бумажке, как ваша-то гостиница прозывается, – сказала Таифа. Дуня написала и подала Таифе бумажку.

– Завтра же у нас побывала бы. На целый бы день приходила, – говорила Дуня.

– Ну, целый-то день в гостях сидеть ей не приходится: с детками ведь приехала, – молвила Таифа. – Сам-от Иван Григорьич с приказчиком да с молодцами на ярманке живет, а она с детками у приказчика на квартире. Хоть приказчикова хозяйка за детками и приглядывает тоже, да сама ведь знаешь, сколь заботлива Грунюшка: надолго ребятишек без себя не оставит.

До ночи просидела Таифа, поджидая возврата Марка Данилыча. Еще хотелось ей поговорить с ним про тесное обстояние Манефиной обители. Знала, что, чем больше поплачет, тем больше возьмет. Но так и ушла, не дождавшись обительского благодетеля.

Тихо и ясно стало на сердце у Дунюшки с той ночи, как после катанья она усмирила молитвой тревожные думы. На что ни взглянет, все светлее и краше ей кажется. Будто дивная завеса опустилась перед ее душевными очами, и невидимы стали ей людская неправда и злоба. Все люди лучше, добрее ей кажутся, и в себе сознает она, что стала добрее и лучше. Каждый день ей теперь праздник великий. И мнится Дуне, что будто от тяжкого сна она пробудилась, из темного душного морока на высоту лучезарного света она вознеслась.

С восторгом узнала, что ее сердечный друг и добрая советница завтра с нею увидится. Все ей скажет она, все выльет, что есть на душе. Велика отрада мыслями с другом делиться, но Дуне не с кем было по душе говорить, некому тайные думы свои передать. Отцу, он хоть и любит ее и хоть не раз говорил, что в сердечных делах воли с нее не снимает, стыдится, однако, признаться, робеет, смелость теряет. Он всегда такой занятой, всегда озабоченный, сумрачен, важен, степенен. Любит ее и Дарья Сергевна, но как с ней начать разговоры? Для нее все суета, все мирская прелесть, греховное дело. Изнывала Дуня в одиночестве, с тех пор как проснулось ее сердце и неясной, еще не вполне сознаваемой любовью впервые встрепелось. И вдруг она милую, добрую Груню увидит!

Утром, только что встала с постели Дуня, стала торопить Дарью Сергевну скорей бы сряжалась ехать вместе с ней на Почайну. Собрались, но дверь широко распахнулась, и с радостным, светлым лицом вошла Аграфена Петровна с детьми. Веселой, но спокойной улыбкой сияла она. Вмиг белоснежные руки Дуни обвились вокруг шеи сердечного друга. Ни слов, ни приветов, одни поцелуи да сладкие слезы свиданья.

Минут через двадцать все сидели за чаем. Дарья Сергевна девочек возле себя посадила и угощала их сдобными булками; Марко Данилыч разговаривал с Груней, Дуня глаз с нее не сводила.

– Как это вы нас разыскали? – спросил Марко Данилыч.

– Рано поутру сегодня мать Таифа ко мне приходила и сказывала, что вчера целый день у вас прогостила. Я, как узнала, тотчас и к вам.

– Оченно вам благодарны за вашу любовь и за ласку, – весело молвил Марко Данилыч. – Праздник вы сделали Дунюшке.

Добрым любящим взором взглянула на Дуню Аграфена Петровна.

– Ну что, матушка, каково торгуете на ярманке? – спросил у ней Марко Данилыч.

– Об этом меня не спрашивайте, Марко Данилыч, – ответила Аграфена Петровна. – Ничего тут не знаю. Однако же Иван Григорьич, кажется, доволен.

– От кого ни послышишь, все хоть помаленьку торгуют, а у нас с восьми баржей восьми фунтов до сих пор не продано, недовольным голосом промолвил Марко Данилыч.

– Ваш торг иной, – ответила Аграфена Петровна. – Наш идет по мелочи, а вы хоть долго ждете, зато разом решите.

– Так-то оно так, а все-таки берет досада, – молвил Марко Данилыч. – Да и скучно без дела-

то. Покончить бы и по домам.

– Погодите маленько, повеселите дочку-то, – молвила Аграфена Петровна. Ведь у вас Дунюшка-то впервые на ярманке-то?

– В первый раз, – сказал Марко Данилыч. – Да мы уж маленько повеселились и на ярманке раз пяток побывали, по реке катались, рыбачили.

– Ну вот, видите, – молвила Аграфена Петровна. – А вы ее еще повеселите, чтоб помнила ярманку.

Немного погодя Марко Данилыч стал на караван собираться. Он просил Аграфену Петровну остаться с Дуней на весь день. Та не согласилась.

– Хвост-от велик у меня, Марко Данилыч, – сказала она. – Две вот со мной да две на квартире, да Гришенька хоть и у отца в лавке, а все ж надо и за ним присмотреть.

– В такие молодые годы да такая семья у вас, – приветно глядя на Аграфену Петровну, молвил Марко Данилыч. – Много вам забот, много хлопот.

– Забота не работа, – шутливо, с ясной улыбкой ответила Груня.

– Так хоша пообедаем вместе, – немного помолчав, сказал Смолокуров. Видите, Дунюшка-то как вам обрадовалась.

Погостите у нас, сударыня, сделайте такое ваше одолжение.

– Останься, – тихо промолвила Дуня, крепко держа Груню за руку.

– Ин вот как сделаем, – решила Аграфена Петровна. – Теперь я у вас посижу немножко, а потом на часок домой съезжу, погляжу, что мои птенчики поделявают, да к обеду и ворочусь. А после уж не держите, пожалуйста. Право, нельзя.

– После-то обеда я бы к ней, тятенька? – ласкаясь к отцу, молвила Дуня.

– Что ж, с богом, – согласился Марко Данилыч. Так и решили. Марко Данилыч уехал, Дарья Сергевна занялась с девочками, а Аграфену Петровну Дуня увела в свою укромную горенку.

Лишь только вошли туда, Дуня бросилась к ней на шею и осыпала горячими поцелуями. А сама плачет, разливается.

– Как я рада тебе, моя дорогая! Дня не миновало, часа не проходило, чтоб я не вспоминала про тебя. Писать собиралась, звать тебя. Помнишь наш уговор в Каменном Вражке? Еще гроза застала нас тогда, – крепко прижимая пылавшее лицо к груди Аграфены Петровны, шептала Дуня.

– Помню, милая, помню, – обнимая Дунюшку, ласково говорила Аграфена Петровна.

– Не чаяла я с тобой свидеться! Все сердце изныло без тебя.

– Ну что? – с ясным взором и улыбкой, полной участия, спросила Аграфена Петровна.

Дуня зарыдала у ней на груди, слова не может вымолвить от рыданий.

– Перестань! Хоть не с горя льешь слезы, а все тяжело. Полно же, полно! – уговаривала ее Аграфена Петровна.

Перестала Дуня рыдать, но тихие слезы все еще струились из ясных ее очей. И вся она сияла сердечной радостью и блаженством.

Сидя рядом, обе молчали. Аграфена Петровна нежно гладила по головке склонившуюся к ней девушку.

– Знаешь что, Груня? – наконец, чуть слышно промолвила Дуня, еще крепче прижавшись к сердечному другу.

– Что, милая? – тихо ответила Груня.

– Я... кажется, я... нашла... – в сильном душевном волнении едва могла проговорить Дуня.

– По душе человека? – шепнула Аграфена Петровна.

– Да, – отрывисто ответила Дуня и закрыла руками пылавшее лицо.

– Ну и слава богу, – ласково отвечала ей Груня.

– Все тебя поминала, – тихим, чуть слышным голосом говорила Дуня. Сначала боязно было, стыдно, ни минуты покоя не знала. Что ни делаю, что ни вздумаю, а все одно да одно на уме. Тяжело мне было, Грунюшка, так тяжело, что, кажется, смерть бы легче принять. По реке мы катались, в косной. С нами был... – Добрый такой... Правдивый... И как он глядел на меня и таким голосом говорил со мной, что меня то в жар, то в озноб.

И замолчала. Ни слова не сказала Аграфена Петровна, лишь молча гладила Дуню по головке

и, кротко улыбаясь, поглядела ей в подернутые слезами очи.

– Дома твои слова вспомнула, твой добрый совет, не давала воли тем мыслям, на молитву стала, молилась. Долго ль молилась, не знаю, – продолжала Дуня.

– Что ж после? – спросила Аграфена Петровна.

– Не мугились мысли после молитвы, – ответила Дуня. – Стало на душе и легко и спокойно. И об нем спокойнее прежнего стала я думать... И когда на другой день увидала его, мне уж не боязно было.

– Пошли тебе господи счастливую долю. Видима святая воля его, – горячо поцеловав Дуню, с задушевной теплотой сказала Аграфена Петровна.

– Ты каждый день у нас бывай, Груня, – говорила Дунюшка. – Он к нам частенько похаживает. Поговори хорошенько с ним, вызнай, каков он есть человек. Тебе виднее. Пожалуйста!

И обвила Аграфену Петровну руками и, крепко прижав ее к груди, целовала.

– Да кто ж он таков? – с доброй улыбкой спросила у ней Аграфена Петровна. – Ты мне пока еще не сказала.

– Да тот... – тихо, чуть слышно промолвила Дуня, склонясь на плечо сердечного друга.

– Какой тот?

– Да тот... В Комарове-то... Помнишь, – прошептала Дуня и залилась слезами.

– Петр Степаныч?

– Ну да, – шепнула Дуня и, вскинув ясными очами улыбнулась светлой, радостной улыбкой.

А между тем столбом пылит дорога и гремят мосты под тройкой быстрых звонкокопытных коней. Мчится Петр Степаныч по Керженским лесам.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На ловецких ватагах, на волжских караванах, по пристаням, по конторам немало по найму служило народа у Марка Данилыча. Держал он наймитов (Начиная от Тверской губернии по Заволжью употребляется слово наймак, а по Горному Поволжью до устья Суры – наймит. И то и другое означает наемник.) в страхе и послушанье, праздного слова никто перед ним молвить не смел. Всегда угрюм и молчалив, редко говаривал он с подначальными, и то завсегда рывком да с ругней. Кончая брань, вздыхал он глубоко и вполголоса богу жалобился, набожно приговаривая: «Ох, господи, царю небесный, прости наши великие согрешения!..» А чуть что не по нем – зарычит, аки зверь, обругает на чем свет стоит, а найдет недобрый час – и тычком наградит.

Безответно терпели подначальные от крутонравного хозяина, лебезили перед ним, угодничали, лезли на глаза, чтобы чем-нибудь прислужиться. Знал наемный люд, что так поступать вперед пригодится. Смолокуров платил хорошо, гораздо больше других старых рыбаков, расчеты давал верные, безобидные и, опричь того, раза по три в году награды и подарки жаловал, глядя по усердию. Мелких людей: ловцов, бурлаков и других временных каждый раз обсчитать норовил хоть на малость, но с приказчиками и с годовыми рабочими дела вел начистоту.

Все терпел, все сносил и в надежде на милости всем, чем мог, угождал наемный люд неподступному хозяину; но не было ни одного человека, кто бы любил по душе Марка Данилыча, кто бы, как за свое, стоял за добро его, кто бы рад был за него в огонь и в воду пойти. Между хозяином и наймитами не душевное было дело, не любовное, а корыстное, денежное. Одного только приказчика Марко Данилыч особливо жаловал, одного его отличал он от других подначальных. Лет уж двадцать служил тот приказчик ему, и не то чтобы пальцем тронуть, обидного слова никогда Смолокуров ему не говаривал. Был тот приказчик смел и отважен, был бранчив, забиячлив и груб.

С кем ни свяжется, с первых же слов норовит обругать, а не то зачнет язвить человека и на смех его поднимать, попрекать и делом и небылью. С хозяином зачнет говорить, и то бы ему в каждое слово щетинку всучить, иной раз ругнет даже его, но Марко Данилыч на то никогда ни полслова. Самый вздорный, самый сварливый был человек, у хозяина висел на ушке, и всех перед ним обносил, чернил, облыгал, оговаривал. И за то его ненавидели, а боялись чуть ли не пуще, чем самого Марка Данилыча. А когда полезно было ему смиренником прикинуться, напускал на себя

такое смирение, что хоть в святцы пиши его между преподобными. Не было у него никакой особой части на отчете, его дело было присматривать, нет ли где какого изъяна аль не порядка, и, ежели что случится, о том хозяину немедля докладывать. Кроме того, «хитрые дела» ему поручались, и он мастерски их обделывал.

Поддеть ли кого половчее, провести ли простачка поискусней, туману ль кому в глаза подпустить, Марко Данилыч, бывало, его за бока, а сам будто в сторонке, ничего будто не знает, ничего не ведает. Рад был приказчик таким порученьям, любил похвастать хитрым своим разумом, повеличаться ловкой находчивостью, похвалиться умением всякого человека в дураки посадить, да потом еще вдоволь насмеяться над его оплошкой и недогадкой.

На брань, на попреки обманутого только, бывало, хихикает да его же корит: «А кто тебе, умному человеку, говорит, велел от нас, дураков, гнилой товар принимать? Кто тебе указывал на торгу глаза врозь распускать?.. Коли ты умный человек называешься, так, когда берешь, чванься, а взял, так кланяйся».

И не было тому приказчику другого имени как «Прожженный». А крещеное имя было ему Корней Евстигнеев. Был он тот самый человек, что когда-то в молодых еще годах из Астрахани пешком пришел, принес Марку Данилычу известие о гибели его брата на льдинах Каспийского моря. С той поры и стал он в приближение у хозяина.

Восстав от сна на другой день после катанья в косной, Марко Данилыч послал за Корнеем Прожженным. Тот не замедлил.

Размашисто помолясь на иконы и молча поклонясь хозяину, стал он у стола и, опершись на него рукой, спросил:

– Посылали за мной?

– Да, Евстигнейч, – сказал Марко Данилыч. – Дельце есть, для того и позвал.

– Знамо, что за делом. За бездельем-то бегать сапогов не напасешься, пробурчал Прожженный и, подняв голову, стал потолок оглядывать.

– Тебе сегодня же поутру надо в путь-дорогу, – молвил ему Марко Данилыч.

– Куда?

– В Царицын.

– За коим лешим? По арбузы аль по горчицу? Новы торги, видно, заводить охота пришла, – насмешливо молвил Корней.

– Володерева знаешь? – спросил Смолокуров.

– Как не знать! Первый вор и мошенник, – слегка усмехнулся Прожженный.

– К нему, – сказал Марко Данилыч.

– Видно, почты не стало и штафеты (Эстафеты.) гонять перестали? – сердито проворчал Корней.

– Дело не в письме, а в твоём уменье, – молвил Смолокуров.

– Что за нужда наскорь приспела? – хмурясь, Прожженный спросил. Володерева поучить аль другого кого объеменить? (Обмануть, как Емлю дурака.). Ежели Володерева, так его не вдруг обкузьмишь (Не обманешь, не проведешь.). Сам огонь и воду прошел.

– Он будет тебе на подмогу, – молвил Марко Данилыч.

– Смерть не люблю!.. – с сердцем, отрывисто воскликнул Корней, отвернувшись от Марка Данилыча. – Терпеть не могу, ежели мне кто в моих делах помогает. От помощников пособи мало, а пакостей вдоволь. Кажись бы, мне и не учиться стать хитрые дела одной своей башкой облаживать?..

– А ты так поверни, чтобы Володерева и на разум не пришло, что он под твою дудку пляшет, – молвил Марко Данилыч.

– Вот это дело – важнец!.. – тряхнув головой, радостно воскликнул Прожженный. – Вокруг такой статьи не грех поработать... Что за дельце такое?

– Меркулова знаешь? – понизив голос, спросил Марко Данилыч.

– Видать не видал, а слыхом немало слыхал, – отвечал Корней. – Говорят, парень не больно удатный, прямо сказать, простофиля.

– Его-то и надо объехать, – сказал Смолокуров. – Видишь ли, дело какое. Теперь у него под

Царицыным три баржи тюленьего жиру. Знаешь сам, каковы цены на этот товар. А недели через две, не то и скорее, они в гору пойдут. Вот и вздумалось мне по теперешней низкой цене у Меркулова все три баржи купить. Понимаешь?

– Чего тут не понять? Не хитрость какая! – с усмешкою молвил Корней. На кривых, значит, надобно его объехать? Это мы можем. Володеров-от при чем же тут будет?

– Больше бы веры Меркулов дал. Пишу я Володерову – остановил бы мою баржу с тюленем, как пойдет мимо Царицына, и весь бы товар хоть в воду покидал, ежели не явится покупателя, а баржу бы в Астрахань обратил, сказал Смолокуров.

– Кака баржа? Давно все выбежали, – молвил на то Прожженный.

– Та баржа еще не рублена, да и тюлень не ловлен. Писано ради отвода, улыбаясь, промолвил Марко Данилыч. – Нешто не понял?

– Мекаем, – мотнув головой, ответил Корней Евстигнеев. – Еще что будет приказу?

– Доронину, Зиновью Алексеичу, на продажу тюленя Меркулов доверенность дал, – продолжал Марко Данилыч. – Давал я ему по рублю двадцати; отписал он про то Меркулову да с моих же слов известил его, что выше той цены нечего ждать. Написать-то Доронин написал, а дела кончать не хочет, – дождусь, говорит, какое от Меркулова будет решение. Вечор нарочного послал к нему. Как только ты отдашь мое письмо Володерову, он тотчас его Меркулову покажет, они ведь приятели. Тогда Меркулов тотчас же вышлет согласие на продажу. Сам-от ему ты не больно на глаза суйся, сомненья не подай. Пробудешь в Царицыно день и тогда с богом на Низ. И говори всем: у меня, мол, дело спешное: велено баржу опростать и с пути, где ни встречу, ее воротить.

– Пой, хозяин, молебен, пиши, барыши, – вскрикнул Прожженный. – Дело в шляпе; не будь я Корней Евстигнеев, ежели у нас это дело самым лучшим манером не выгорит.

Часа через два Корней Евстигнеев отправился. На пароходе вел себя важно, говорил отважно. Умел он себя показать на народе.

Отпустив Прожженного, Марко Данилыч долго и напрасно дожидался прихода Доронина. Сильно хотелось ему еще гуще ему тумана подпустить, дела бы не затягивал, скорей бы решал с ним, не дожидаясь вестей из Царицына.

И за чай не раз принимался Смолокуров, и по горнице взад да вперед ходил, и в торговые книги заглядывал, а Зиновья Алексеича нет как нет. И чем дольше шло время, тем больше разбирал нетерпеж Марка Данилыча, расходилось, наконец, сердце его полымем, да сорвать-то его, как нарочно, не на ком, никто под глаза не подвертывался. Самому бы идти к другу-приятелю, да то вспало на ум, что ежели станет он спешить чересчур, Доронин, пожалуй, подумает: нет ли тут какого подвоха.

"Пятьдесят тысяч верных! – рассуждает сам с собою Марко Данилыч. – И во сне такого дельца не грезилось – ровно само с лука спрянуло. На плохой конец сорок пять! Дунюшке на приданство пойдет. Соверши только, господи, подай успех. А нейдет, пострел его возьми, вечер поутру обещался придти, а нейдет, чтоб иссохнуть бы ему! С Митькой уж не покалякал ли?..

Да нет, некогда было с ним увидаться. Здесь ни у кого теперь по малой цене тюленя не купишь. Веденеев при всех прочитал письмо. Пароход в пятницу в Царицыне будет, тем же днем и Корней все обладит... Господи многомилостивый, подаждь совершение! На Смоленскую владычицу, на родительское мое благословенье ризу червонного золота справлю с жемчугами, с бурмицкими зернами, с дорогими камнями! День и ночь стану теплить лампаду перед тобой, царица небесная!.. А все нейдет, пес этакой. Ну, была не была, пошла такова! Сам к нему пойду".

И пошел к Доронину неторопко и полегоньку. Зиновий Алексеич со всей семьей вокруг самовара сидел. Увидя Смолокурова, быстро встал он с места, пошел навстречу и поздоровался.

Про катанье потолковали. Вспомнула добрым словом Татьяна Андревна Самоквасова с Веденеевым и примолвила, что, должно быть, оба они большие достатки имеют... С усмешкой ответил ей Марко Данилыч:

– Пиво варит не кто богат, а кто тороват. Так стары люди говаривали, Татьяна Андревна. Оно, правда, Петру Степанычу после дедушки наследство хорошее досталось, и ежели у него с дядей раздел на ладах повершится, будет он с хорошим достатком, ну, а насчет Веденеева не знаю, что вам сказать... Из ученых ведь он, в Москве обучался, торговым делом орудует не по-старому. Не слыхать, чтобы оплошек каких-нибудь наделал, да ведь это до поры до времени. Не больно прочны, видятся, у нас эти ученые, особливо по рыбному делу. Тут нужна особа сноровка. А так вести дело, как Митенька ведет, не без опаски сегодня удастся, завтра удастся, а когда-нибудь и сорвется...

И много сильнее да смышленей его с сумой за плечами хаживали. Отважен уж очень. У него валяй, не гляди, что будет впереди, – улов не улов, а обрыбиться надо.

– А удается? – спросил Зиновий Алексеич.

– Покуда счастье везет, не исполошился ни разу, – отвечал Марко Данилыч. – Иной раз у него и сорвется карась, – глядишь, щука клюнула. Под кем лед ломится, а под ним только потрескивает. Счастье, говорю. Да ведь на счастье да на удачу крепко полагаться нельзя: налетит беда – растворят ворота, а беда ведь не ходит одна, каждая семь бед за собой ведет.

– Кажется, он добрый такой и умный, – молвила Татьяна Андревна.

– Добрый-то добрый, может статься и умен, да только не разумен. Ветер в голове, – отозвался Марко Данилыч.

– Что ж такое? – спросила Татьяна Андревна, пытливо взглянув на Смолокурова.

– Да все то же. Смело уж больно поступает, отважен не в меру, – молвил Марко Данилыч. – Тут от беды недалёко. Опять за ним примечено, вздорные слухи больно охоч распускать. Развесить только уши, и не знай чего тебе не наскажет: то из Москвы ему пишут, то из Питера, а все врет, ничего никто ему не пишет, похвастаться только охота. И не один раз он враньем своим хороших людей в беду вводил. Кто поверит ему, у того, глядишь, из кармана и потекло. Теперь по всей Гребновской ему никто не верит. Известное дело, кто проврался, все едино что прокрался: люди ведь помнят вранье и вруну вперед не поверят.

– Для чего ж это он так делает? Какой ради корысти? – спросила Татьяна Андревна.

– Что ж ему? – сказал Марко Данилыч. – Врать не цепом молотить, не тяжело. Из озорства, а не из корысти людей он обманывает. Любо, видите, как другой по его милости впросак попадется. Говорю вам, ветер в голове. Все бы ему над кем покуражиться.

– Нехорошо, – покачавши головой, заметила Татьяна Андревна.

– Хорошего немного, сударыня, – сказал Марко Данилыч, допивая третий стакан чая. – Если бы жил он по-хорошему-то, много бы лучше для него было. Без людей и ему века не изжить, а что толку, как люди тебе на грош не верят и всячески норовят от тебя подальше.

То алела, то бледнела Наташа. Разгорелись у нее ясные глазки, насупились соболиные брови. Вещее сердце уму-разуму говорило: «Нет правды в речах рыбака злого».

– С чего ж это случилось с ним, Марко Данилыч? – участливо спросила Татьяна Андревна. – Когда ж это он, сердечный, у добрых-то людей так изверился?

Рта не успел разинуть Марко Данилыч, как Наташа, облив его гневным взором, захохотала и такое слово бросила матери:

– При царе Горохе, как не горело еще озеро Кубенское.

– Наталья! – строго крикнул на нее отец. Но ее уж не было. Горностайкой выпрыгнула она из комнаты. Следом за сестрой пошла и Лизавета Зиновьевна.

– Не обессудьте глупую, батюшка Марко Данилыч, – смиренно и кротко сказала Смолокурову Татьяна Андревна. – Молода еще, неразумна. Ну и молвит иной раз, не подумавши. Не взыщите, батюшка, на ее девичьей неумелости.

– Что это вы себя беспокоите, – благодушно улыбаясь, отвечал Марко Данилыч. – Мало ль сгоряча что говорится. Наталья же Зиновьевна из подросточков еще только что выходит. Чего с нее требовать?

– Все ж таки... Как же это возможно. Пойду пожурю ее, – молвила Татьяна Андревна. И с тем словом пошла к дочерям. По уходе жены Зиновий Алексеич дружески упрашивал Смолокурова не гневаться на неразумную. Марко Данилыч не гневался, а только на ус себе намотал.

– А как насчет тюленя? – спросил он после того. Нового ничего нет, ответил Доронин. – Что вчера говорил, то и сейчас скажу: буду ждать письма от Меркулова.

– По-моему, напрасно, – заметил Марко Данилыч. – По-дружески говорю, этого дела в долгий ящик не откладывай.

– Делом спешить, людей насмешить, – с добродушной улыбкой ответил Зиновий Алексеич.

– Спешить не спеши, а все-таки маленько поторапливайся, – перебил Доронина Марко Данилыч. – Намедни, хоть я и сказал тебе, что Меркулову не взять по рублю по двадцати, однако ж, обдумав хорошенько, эту цену дать я готов, только не иначе как с рассрочкой: половину сейчас получай, пятнадцать тысяч к Рождеству, остальные на предбудущую ярманку. Процентом не начинать.

– Тяжеленьки условия-то, – усмехнувшись, молвил Доронин. – При таких условиях и с барышом находишься нагишом.

– Условия хорошие, – не смущаясь нимало, ответил Смолокуров. – По теперешним обстоятельствам отец родной лучше условий не предложит. Мне не веришь, богу поверь. Иду наудачу. Может, тысяч двадцать убытков понесу. Третьего дня ивановцы говорили, что они сокращают фабрики, тюленя, значит, самая малость потребуется... А на мыло он и вовсе теперь нейдет... Прямо тебе говорю – иду наудачу; авось хлопку не подвезут ли, не прибавится ли оттого дела на фабриках. Удастся – тысяч пять наживу, не удастся – на двадцать буду в накладе. По-дружески, откровенно открыл я тебе все дело, как на ладонке его выложил. Подумай да не медли. Сегодня по рублю по двадцати даю, а может, дня через три и рубля не дам. Есть у тебя доверенность, так и думать нечего, помолимся да по рукам.

– Нет, Марко Данилыч, я уж лучше письма подожду. Сам посуди, дело чужое, – немножко подумав, решил Зиновий Алексеич.

– Ваше дело, как знаешь, – сердито ответил, вставая со стула, Марко Данилыч.

Молчит Зиновий Алексеич. Не по рукам ли? – думает. Но нет.

– Лучше погожу, – решительно сказал он.

– Как знаешь, – беря картуз, с притворной холодностью молвил Смолокуров. – Желательно было услужить по приятельству. А и то, по правде сказать, лишняя обуза с плеч долой. Счастливого оставаться, Зиновий Алексеич. На караван пора. И распрощались друзья-приятели холодно.

Когда встревоженная выходкой Наташи Татьяна Андревна вошла к дочерям, сердце у ней так и упало. Закрыв лицо и втиснув его глубоко в подушку, Наташа лежала как пласт на диване и трепетала всем телом. От душевной ли боли, или от едва сдерживаемых рыданий бедная девушка тряслась и всем телом дрожала, будто в сильном приступе злой лихоманки. Держа сестру руками за распаленную голову, Лиза стояла на коленях и тревожным шепотом просила ее успокоиться.

– Что с тобой, что с тобой, Наташенька? – всплеснула руками, вполголоса, чтоб гостю не было слышно, спрашивала Татьяна Андревна.

Не дала ответа Наташа и крепче прежнего прижалась к подушке.

Не знает, за что взяться Татьяна Андревна, не придумает, что сказать, кидается из стороны в сторону, хватается то за одно, то за другое – вконец растерялась, бедная. Стала, наконец, у дивана, наклонилась и окропила слезами обнаженную шею дочери.

И сушат и целят материнские слезы детище, глядя по тому, отчего они льются. Слезы Татьяны Андревны целебным бальзамом канули на полную сердечной скорби Наташу. Тихо повернулась она, открыла ярко пылавшее лицо и тихо припала к груди матери. Татьяна Андревна обняла ее и тихонько, чуть слышно сказала:

– Что с тобой, милая? Что с тобой, моя ненаглядная?

Ни слова не может ответить Наташа, а слезы градом, а рыдания так и надрывают молодую грудь.

– Дай-ка мне водицы, Лиза, – догадалась Татьяна Андревна.

Спешно налив холодной воды, Лиза подала стакан матери, а та внезапно sprysнула Наташу, обрядно примолвив:

– Да воскреснет бог и разыдутся врази его! Крест – святым слава и победа, крест – бесом язва, а рабе божией, девице Наталии, помощь и утверждение!

Ровно от тяжелого сна очнулась Наташа, медленно провела по лицу руками и, окинув мать и сестру кротким взором, чуть слышно проговорила:

– Я... ничего...

Татьяна Андревна легонько обняла, поцеловала ее в лоб и, немножко помолчав, спросила:

– Что это с тобой?

– Зачем он его обижает? – прошептала Наташа, и глаза ее разгорелись.

– Наташа! – с изумленьем молвила Татьяна Андревна.

– Он добрый такой, хороший, а этот злой, недобрый... – в сильном волнении заговорила Наташа.

– Полно-ка ты, полно, успокой себя... Как можно такие слова говорить? – уговаривала дочь Татьяна Андревна. – Лучше ляг да усни, сном все пройдет... На-ка, выпей водицы. Жадно выпила Наташа воду и горько промолвила:

– Он клевет, он со зла напраслину взводит на него. Не верь ему.

– Да полно же, полно, голубка моя. Засни лучше, – уговаривала Татьяна Андревна Наташу, но та еще не скоро успокоилась.

Только что ушел Смолокуров, спешными шагами прошла к мужу Татьяна Андревна и рассказала ему свои догадки. Изумился Зиновий Алексеич, но решил пока в это дело не мешаться, и если сама Наташа не заведет речи про Веденева, не говорить об нем ни полслова.

– На волю господню положимся, – сказал он под конец советного разговора.

Встречаясь с знакомыми, Доронин под рукой разузнавал про Веденева – каков он нравом и каковы у него дела торговые. Кто ни знал Дмитрия Петровича, все говорили про него похвально, отзывались, как о человеке дельном и хорошем. Опрichь Смолокурова, ни от кого не слыхал Зиновий Алексеич худых вестей про него.

– Хорошо об нем отзываются, – говорил Зиновий Алексеич Татьяне Андревне. – Ежели дело заварится, чего еще лучше?

– По-моему, тут главное то, что у него, все едино, как у Никитушки, нет ни отца, ни матери, сам себе верх, сам себе голова, – говорила Татьяна Андревна. – Есть, слышно, старая бабушка, да и та, говорят, на ладан дышит, из ума совсем выжила, стало быть ему не будет помеха. Потому, ежели господь устроит Наташину судьбу, нечего ей бояться ни крутого свекра, ни лихой свекрови, ни бранчивых деверьев, ни золовок-колотовок.

А Наташа про Веденева ни с кем речей не заводит и с каждым днем становится молчаливей и задумчивей. Зайдет когда при ней разговор о Дмитрие Петровиче, вспыхнет слегка, а сама ни словечка. Пыталась с ней Лиза заговаривать, и на сестрины речи молчала Наташа, к Дуне ее звали – не пошла. И больше не слышно было веселого, ясного, громкого смеха ее, что с утра до вечера, бывало, раздавался по горницам Зиновья Алексеича.

В Успенев день, поутру, Дмитрий Петрович пришел к Дорониным с праздником и розговеньем. Дома случился Зиновий Алексеич и гостю был рад. Чай, как водится, подали; Татьяна Андревна со старшей дочерью вышла, Наташа не показалась, сказала матери, что голова у ней отчего-то разболелась. Ни слова не ответила на то Татьяна Андревна, хоть и заметила, что Наташина хворь была притворная, напущенная.

– За чаем про разные разности толковали, и про дела и про веселье; речь зашла про Марка Данилыча.

– Совсем пропал, – сказал про него Зиновий Алексеич. – Сколько уж ден не вижу его; и утром завернешь, и в обед, и вечером, – все дома нет.

– Рыбные дела начинаются, – заметил Веденеев, – верховые покупатели стали трогаться по-маленьку. Покамест еще вяло идет, а бог даст по скорости немножко расторгнемся. Марко Данилыч теперь весь день на караване сушь продает.

– А как вообще дела-то? – спросил Зиновий Алексеич. – Цены каковы?

– Покуда так себе, – отвечал Дмитрий Петрович. – Да ведь теперь еще нет настоящих цен, у нас развязка всегда под конец ярманки бывает. Через неделю дела пойдут бойчее.

– А вы как? Начали торги? – спросил Зиновий Алексеич.

– Я не тороплюсь, – отвечал Веденеев, – и надивиться не могу, с чего другие горячку порют. Вот хоть бы Марко Данилыч. Развязку только задерживает, а покупатели крепятся, да такие рас-срочки платежей предлагают, что согласиться никак невозможно – двенадцать да осьмнадцать месяцев.

– А как теперь цены на ваши товары? – спросил Зиновий Алексеич.

– Сушь рубля полтора да по два, коренная три с полтиной, белуга три с гривной. Других сортов покамест еще не продавали.

– А тюлень? – спросил Доронин, зорко поглядев на Дмитрия Петровича.

– Еще никаких цен нет, – отвечал Веденеев.

– А скоро ли будут?

– К самому концу, – ответил Дмитрий Петрович. Хотел было Доронин подробнее про тюленя расспросить, но вспомнил слова Смолокурова. «Кто его знает, этого Веденева, – подумал он, – мягко стелет, а пожалуй, жестко будет спать, в самом деле наврет, пожалуй, короба с три. Лучше покамест помолчать». И свел разговор на иное.

– Не забывайте нас, Дмитрий Петрович, – сказала на прощанье Татьяна Андревна, – жалуйте почаще к нам. Завсегда вам рады.

С веселой улыбкой Веденеев обещался бывать почаще. Затем, поговорив с Лизаветой Зиновьевной, спросил про Наташу.

– Нездоровится что-то ей, – сказала Татьяна Андревна.

– Что с ней? – тревожно спросил Веденеев, и румянец мгновенно облил лицо его. Не укрылось то ни от отца ни от матери, не утаилось и от Лизаветы Зиновьевны.

– Голова что-то разболелась, – молвила Татьяна Андревна. – Да ничего, с кем этого не случается?

– Однако ж... – начал было Веденеев, но смутился и еще больше покраснел... Потом, схватив шляпу, стал торопливо прощаться с Зиновьем Алексеичем.

– Когда же увидимся? – спросил его Доронин.

– Да я... завсегда очень рад... – слегка запинаясь, говорил Дмитрий Петрович. – Пожалуй, хоть завтра.

– И прекрасно, – ласково молвил ему Зиновий Алексеич – Пообедаем вместе.

– Очень рад... – ответил Веденеев.

– Так мы будем ждать вас, – сказал Зиновий Алексеич, провожая Дмитрия Петровича.

Не успел уйти Веденеев, как Лиза, отворив дверь в свою комнату, наткнулась на сестру. Все время Наташа простояла у двери и в щелочку все глядела на Веденева. Проводя гостя, Зиновий Алексеич к жене подошел.

– Заметил? – спросила его Татьяна Андревна.

– Еще бы не заметил! Что ж? Давай бог! Обоих бы разом!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ниже истока Ахтубы с лишком на двадцать сажен высится правый берег широкой Волги. Здесь край так называемых Гор. Дальше пойдут отлогие берега, песчаные степи, кочевья калмыков. Берег глубоким оврагом разрезан. По дну того оврага речка струится; про эту речку такое сказанье идет от годов стародавних.

Стоял на ее берегах дивный дворец: всюду блистало золото, всюду горели самоцветные камни. Двери серебряные, на полах разостланные мазандеранские ковры, диваны были крыты рытым

бархатом, подушки низаны жемчугом, занавесы из шелковых китайских тканей, по всем чертогам носится благовонный дым аравийских курений. Вкруг дворца тенистые сады, цветники с редкими цветами, целые рощи гилянских роз и высоко бьющие холодными, кристальными струями водометы. Толпою сродниц и роем молодых невольниц окруженная, жила там прекрасная собой и добрая сердцем ордынская царица, дочь хорасанского хана...

Как нежная роза в темной листве сияет, так сияла она середь красавиц, что с нею в том дворце обитали. Подобной красоты во всем мире не было видано ни прежде, ни после. Оттого и звали ту царицу «Звездой Хорасана».

Ее супруг, грозный, могучий царь Золотой Орды, часто к ней приезжал из Сарая, самые важные только дела заставляли его с печалью на сердце покидать роскошный дворец Хорасанской Звезды. Сколько царь ни уговаривал ее переселиться в столицу, Звезда Хорасана ему не внимала, не хотела менять тихого житья в прохладных садах и роскошных палатах на шум ордынской столицы. Ханские жены, что жили в Сараях, в глаза не видали Звезды Хорасана, но много слышали про ее красоту неземную. Черная зависть их обуяла, стало им нестерпимо, что хан любит эту жену больше всех остальных. И стали они плести ему наговоры. «О грозный, могучий хан Золотой Орды и многих царств-государств повелитель, – так они говорили ему, – иль ты не знаешь, отчего любимая твоя царица не хочет жить в славной столице твоей? Там, в пустынных чертогах, ей жизнь не в пример веселее, наехать бы тебе к ней расплохом, обыскать бы сады и дворец, может статься, кого-нибудь там нашел бы». Вспыхнул яростью хан, услышав речи жен, и излил гнев на злых завистниц.

Долго ли время шло, коротко ли, стали говорить хану думные люди его: «О грозный, могучий хан Золотой Орды, многих государств повелитель, многих царств обладатель! Обольстила тебя Звезда Хорасана; ради ее, недостойной, часто ты царские дела свои покидаешь. А не знаешь того, солнце земли, тень аллаха, что она, как только ты из ее пустынных чертогов уедешь, шлет за погаными гяурами и с ними, на посмех тебе, веселится». Вскипел гневом владыка ордынский и велел головы снять думным людям, что такие слова про Звезду Хорасана ему говорили.

Долго ли время шло, коротко ли, приходит к царю старая ханша и такие слова ему провещает: «Сын мой любезный, мощный и грозный хан Золотой Орды, многих царств-государств обладатель! Не верь ты Звезде Хорасана, напрасно сгубил ты слуг своих верных. Доподлинно знаю, что у нее в пустынном дворце по ночам бывает веселье: приходят к царице собаки-гяуры, ровно ханы какие в парчовых одеждах, много огней тогда горит у царицы, громкие песни поют у нее, а она у гяуров даже руки целует. Вот каким срамом кроет твою царскую голову Звезда Хорасана». Хан замолчал. Хотя ярость и гнев и кипели на сердце, но на мать родную он излить их не мог. А старая ханша свое продолжает: «Верно я знаю, сын мой любезный, что на другой день джумы (Пятница – мусульманский праздник.), вечером поздно, будет у ней в гостях собака-гяур, ее полюбовник. Будут там петь и играть и позорить тебя, сын мой любезный, грозный хан для неверных, милосердный царь ко всем, чтущим аллаха и его святого пророка». На те слова старой ханши промолчал грозный царь Золотой Орды.

Джума прошла: с рассветом коня царю оседлали, и поехал он к царице с малым числом провожатых. Уж полночь минула и звезды в небе ярко горели, когда подъехал он к пустынным чертогам... Видит – дворец весь внутри освещен, из окон несутся звуки радостных песен. Точно победу какую там воспевают. Одаль оставя дружину, тихо подъехал хан к окнам. И видит: Звезда Хорасана, сродницы и ее рабыни все в светлых одеждах, с веселыми лицами, стоят пред гяуром, одетым в парчеву, и какую-то громкую песню поют. Вот Звезда Хорасана подходит к гяуру и целует его в уста. Свету не взвидел яростный хан, крикнул дружину, ворвался в палаты и всех, кто тут ни был, избить повелел.

А было то в ночь на светлое Христово воскресенье, когда, под конец заутрени, Звезда Хорасана, потаенная христианка, первая с иереем христосовалась. Дворец сожгли, остатки его истребили, деревья в садах порубили. Запустело место. А речку, что возле дворца протекала, с тех пор прозвали речкою Царицей. И до сих пор она так зовется.

На Волге с одной стороны устья Царицы город Царицын стоит, с другой – Казачья слободка, а за ней необъятные степи, и на них кочевые кибитки калмыков.

До железной дороги городок был из самых плохих. Тогда, недалеко от пристани, стояла в нем невзрачная гостиница, больше похожая на постоялый двор. Там приставали фурщики, что верховый барочный лес с Волги на Дон возили. Постояльцам, кои побогаче, хозяин уступал комнаты из своего помещенья и, конечно, оттого в накладе не оставался. Звали его Лукой Данилычем, прозывался он Володеров.

Главным его делом было сводить продавцов с покупателями да исполнять порученья богатых торговцев. Кроме того, Лука Данилыч переторговывал всяким товаром, какой под руку ему попадался. Один год сплавкой из Верховья лес продавал, другой – хлебом да рыбой торговал, а не то по соседству елтонскую соль закупал и на волах отправлял ее с чумаками в Воронеж. Главным же делом был меновой с калмыками торг. Хлеб, красный товар, кирпичный чай он посылал к ним в улусы, а оттоль пригонял косяки лошадей с табунами жирных ордынских баранов. Калашня большая была у него, больше десятка хлебников каждый день в ней крендели да баранки пекли, и Лука Данилыч возами отсылал их в улусы. Ловкий был, изворотливый человек, начал с копейки и скоро успел нажить большой капитал.

Вот уж без малого месяц в доме его живет-поживает молодой рыбный торговец Никита Федорыч Меркулов. Два чистеньких, прибранных опрятно покойчика из своих хозяин отвел ему и всем успокоил. Но не спокойно жилось постояльцу: дня два-три пробудет в Царицыне и поплывет вниз по Волге до Черного Яра, там день-другой поживет, похлопочет и спешит воротиться в Царицын.

Шли у него с моря бурлацкою тягой три баржи с тюленьим и рыбьим из бешенки жиром, добежали те баржи до Черного Яра, и лоцман тут бед натворил. Большой паводок поднялся тогда от долгих дождей проливных; лоцман был пьяный да неумелый, баржи подвел к самой пристани в Черном Яру. А та пристань, кроме весны, всегда мелководна, летом лишь мелким судам к ней подходить неопасно, дощаник да осянка (Осянка, иначе осланка – небольшое мелкосидящее судно.) еще могут стоять в ней с грехом пополам, а другая посудина как раз на мель сядет.

Так и с меркуловским караваном случилось – паводок спал за одни сутки, и баржи с носов обмелели. На одну всех бурляков согнали, те принялись перетираться на шпильях (Шпиль – длинный шест с костью либо шишкой сверху, о который упираются плечом рабочие. Перетираться на шпильях – то же, что идти на шестах, значит судно вести, упираясь шпильями во дно реки.) и с великим трудом вывели ее на полую воду. За другую баржу принялись – ни с места. Бились, бились с раннего утра до позднего вечера, не пивши, не евши, никакого нет толку.

Вдруг, ровно по чьему приказу, бурлаки разом шпильи побросали и в сотню голосов с бранью, с руганью стали задорно кричать. – Давай паузки (Паузок – мелководное судно для перегрузки клади с больших судов на мелкой воде.), хозяин.

– Да где их взять? – отвечал смущенный Меркулов. – Время глухое теперь, по всему Низовью ни единого паузка не сыщешь.

– На Верх посылай, а не то мы сейчас же котомки на плечи да айда по домам, – горланила буйная артель.

– Разве так можно? – крикнул Меркулов. – Нешто вы бессудный народ? Попробуй сбежать, паспорта все у меня и условие тоже. За побег с судна вашего брата по головке не гладят.

– Видали мы таких горячих! У нас, брат, мир, артель. Одному с миром не совладать, будь ты хоть семи пядей во лбу!

– Молчать! – гневно крикнул Меркулов. – Сейчас за работу. Берись за шпильи!

Бурлаки в кучу столпились, сами ни с места. Один из них, коренастый, широкоплечий парень лет тридцати, ступил вперед, надел картуз и, подперши руки в боки, нахально сказал Меркулову:

– Ты не кипятись; печенка лопнет. Посылай-ка лучше за паузками, авось найдешь за Саратовом, а не то за Самарой. Тут три таких артели, как наша, ничего не поделают. Ишь как вода-то сбывает, скоро баржи твои обсохнут совсем.

– За паузками посылай мое дело. Вам меня не учить стать, – строго молвил бурлакам Меркулов. – Ваше дело работать – ну и работай, буянить не смей. Здесь ведь город, суд да расправу

тотчас найду.

– Нас этим не напугаешь, не больно боимся. И никто с нами ничего не может сделать, потому что мы артель, мир то есть означаем. Ты понимай, что такое мир означает! – изо всей мочи кричал тот же бурлак, а другие вторили, пересыпая речи крупною бранью.

До того дошли крики, что стало невозможно слова понимать. Только и было слышно:

– Посылай за паузками!.. Сейчас шли за паузками!

– Ну и пошлю, – сказал Меркулов. – А работу бросать у меня не смей, не то я сейчас же в город за расправой. Эй, лодку! Стихли бурлаки, но все-таки говорили:

– За паузками посылай, а даром на тебя работать не станем. Хоть самому губернатору жалобись, а мы не согласны работать. В условие не ставлено того!

– Плачу за простой, – молвил Меркулов.

– Ну, это иная статья, – заговорили бурлаки совсем другим уж голосом и разом сняли перед хозяином картузы и шапки. – Что ж ты, ваше степенство, с самого начала так не сказал? А то и нас на грех и себя на досаду навел. Тебе бы с первого слова сказать, никто бы тебе супротивного слова не молвил.

– Ну, Христов народ, берись за шпиль! – гаркнул тот самый бурлак, что нагло выступал из толпы перед хозяином. – Берись, берись, ребяташки! Хозяин за вином пошлет.

Меркулов в самом деле за водкой послал. Бурлаки пили, благодарили, но, как усердно ни работали, баржа не трогалась с места, а вода все убывала да убывала.

Послал Меркулов за паузками, наняли два в Саратове, но их не хватило и одну баржу распозвать. Дальше послал, а вода все сбывает да сбывает, баржи стало песком заносить. Выведенную в самом начале на полую воду баржу взвели до Царицына, на стержне у Черного Яра оставить ее было ненадежно, неровно поднимется буря, совсем разобьет. Думал Меркулов пароход кабестанный (Кабестан – ворот. Прежде на Волге были коноводные суда, на которых бывало по сотне и более лошадей. Они приводили в движение ворот, на который навивался канат, конец которого с якорем впереди судна брошен в воду. Оттого судно и двигалось, хотя и очень медленно. Теперь сила лошадей заменена силой пара.) нанять – и тут неудача: пароходов по Волге в то время еще немного ходило, и все они были заподряжены на целое лето. Набрали, наконец, паузков, и Никита Федорыч вздохнул свободней: хоть поздно, а все же поспеет к Макарью, ежели новой беды в пути не случится.

Баржи с паузками пришли, наконец, к царицынской пристани. Велел Меркулов перегрузить тюленя с паузков на баржи, оставив на всякий случай три паузка с грузом, чтоб баржи не слишком грузно сидели. Засуха стояла. Волга мелела, чего доброго на перекате где-нибудь выше Казани полногрузная баржа опять сядет не мель.

Кончились хлопоты, еще ден пятак, и караван двинется с места. Вдруг получает Меркулов письмо от нареченного тестя. Невеселое письмо пишет ему Зиновий Алексеич: извещает, что у Макарья на тюленя цен вовсе нет и что придется продать его дешевле рубля двадцати. А ему в ту цену тюлень самому обошелся, значит доставка с наймом паузков, с платой за простой и с другими расходами вон из кармана. Вот тебе и свадебный подарок молодой жене!

Ходит Никита Федорыч по пристани, ровно темная ночь. Торопит рабочих, а сам все раздумывает: «Что работай, что нет – все едино, денег пропасть потратил, а все-таки остался в накладе. Вот тебе и тюлень!»

Совсем к отвалу баржи были готовы, как новое письмо от Доронина получил горемычный Меркулов. Пишет, что цены ему кажутся очень уж низки и потому хоть и есть в виду покупатель и весь груз берет без остатка, но сам Доронин без хозяйского письма решиться не может, потому и просит отвечать поскорей, как ему поступать.

Не верится Меркулову, чтобы цены на тюленя до такой меры упали. Знал он, что и хлопку мало в привозе и что на мыльные заводы тюлений жир больше не требуется, а отчего ценам упасть до того, что своих денег на нем не выручишь, понять не может. «Что-нибудь да не так, – думает он, – может, какой охотник до скорой наживы вздумал в мутной водице рыбку поймать, подъехал к Зиновею Алексеичу, узнав, что у него от меня есть доверенность, а он в рыбном деле слепой человек». И решил до приезда к Макарью тюленя не продавать. Так и в письме писал.

Письмо еще не было послано, как к Царицыну с Верху прибежал буксирный (Буксирным парохом называется такой, который ведет за собой несколько барж с грузом.) пароход. На пристани пошла обычная суетня. Мигом сбежалась толпа девок и молодежи. Живо, со смехом, с веселыми криками, принялась она таскать на пароход дрова. Сойдя на берег, путники рассыпались по берегу: кто калачи покупал да крендели, кто запасался икрой и рыбой, кто накинудся на дешевые арбузы, на виноград, на яблоки. Шум, гам, крик! С полгорода от скуки сбежалось на пристань поглазеть на проезжих. Приезжих в Царицын был только один смолокуровский приказчик Корней Евстигнеев. Сойдя по сходням с парохода, увидел он стоявшего неподалеку Володерева с каким-то молодым человеком, не то барином, не то купчиком. То был Меркулов.

– Наше вам, Лука Данилыч! – лениво приподняв картуз, молвил Корней Евстигнеев и протянул здоровенную лапищу царицынскому трактирщику. – Вас-то мне и надоть.

– Что за надобность? – сухо спросил у него Володерева.

– А ты не вдруг... Лучше помаленьку, – грубо ответил Корней. – Ты, умная голова, то разумеи, что я Корней и что на всякий спех у меня свой смех. А ты бы вот меня к себе в дом повел, да хорошеньку фатеру отвел, да чайком бы угостил, да винца бы поднес, а потом бы уж и спрашивал, по какому делу, откуда и от кого я прибыл к тебе.

– Ну, говори, коли с делом приехал. Чего баклажаться-то? – с досадой молвил трактирщик Корнею.

– А ты, брат, не нукай, и сам свезешь, – огрызнулся Корней. – Айда, что ли, к тебе чаи распивать.

– Поспеешь, – сказал Володерева и отошел от Корнея к Меркулову.

А Корней, взвалив на плечи чемодан, пошел к постоялому двору.

– Кто такой? – спросил Меркулов у Луки Данилыча.

– Смолокуровский приказчик, – ответил Володерева. – Знаете Смолокурова Марка Данилыча?

– Как не знать? Старый рыбак, один из первых у нас, – молвил Меркулов. – Только этого молодца я что-то у него на ватагах не видывал.

– При себе больше держит, редко куда посылает, разве по самым важным делам, – отвечал Володерева. – Парень ухорез, недаром родом сызранец. Не выругавшись, и богу не помолится.

– При каких же делах он у Смолокурова? – спросил Меркулов.

– Да при всяких, когда до чего доведется, – отвечал трактирщик. – Самый доверенный у него человек... Горазд и Марко Данилыч любого человека за всяко облаять, а супротив Корнея ему далеко. Такой облай, что слова не скажет путем, все бы ему с рывка. Смолокуров, сами знаете, и спесив, и чванлив, и держит себя высоко, а Корнею во всем спускает. Бывает, что Корней и самого его обругает на чем свет стоит, а он хоть бы словечко в ответ.

Что ж бы это значило? – спросил Никита Федорыч.

– Какие-нибудь особенные дела у них есть, – сказал Володерева. – Может статься, Корней знает что-нибудь такое, отчего Марку Данилычу не расчет не уважить его.

Меж тем на пароход бабы да девки дров натаскали. Дали свисток, посторонние спешат долой с парохода, дорожные люди бегом бегут на палубу... Еще свисток, сходни приняты, и пароход стал заворачивать. Народ с пристани стал расходиться. Пошли и Никита Федорыч с Володеревым.

Воротясь на квартиру, Меркулов велел подать самовар. И только что успел налить стакан чаю, как дверь отворилась и на цыпочках вошел Володерева.

– Чай да сахар! – молвил Лука Данилыч.

– К чаю милости просим, – ответил Меркулов. – Садитесь-ка – самая пора.

– Покорнейше благодарим, Никита Федорыч. Я к вам по дельцу. Очень для вас нужное, – вполголоса сказал Володерева.

– Что такое? – немножко встревожившись, спросил Меркулов.

– Да насчет вашего товара желаю доложить, – еще больше понижая голос, отвечал Володерева.

– Что такое? – совсем уж смутившись, спросил Меркулов.

– Этот Корней с письмом ко мне от Смолокурова приехал, – шепотом продолжал Володерева. – Вот оно, прочитайте, ежели угодно, – прибавил он, кладя письмо на стол. – У Марка Дани-

лыча где-то там на Низу баржа с тюленем осталась и должна идти к Макарью. А как у Макарья цены стали самые низкие, как есть в убыток, по рублю да по рублю с гривной, так он и просит меня остановить его баржу, ежели пойдет мимо Царицына, а Корнею велел плыть ниже, до самой Бирючьей Косы (На устье Волги на Каспийском взморье.), остановил бы ту баржу, где встретится.

При первых же словах Володерева Никита Федорыч вскочил со стула и крупными шагами стал ходить по горнице. В сильном волнении вскрикнул:

– Не может быть, чтоб по рублю!.. Никак этого не может быть!.. Что-нибудь да не так... Или ошибка, иль уж не знаю что.

– Вот письмо, извольте прочесть, – сказал Лука Данилыч.

Меркулов стал читать. Побледнел, как прочел слова Марка Данилыча: «А так как предвидится на будущей неделе, что цена еще понизится, то ничего больше делать не остается, как всего тюленя хоть в воду бросать, потому что не будет стоить и хранить его...»

– Ах ты, пропасть какая! – отчаянным голосом вскрикнул Никита Федорыч. – Это бог знает на что похоже! Ниже рубля!.. Что ж это такое?

И, не кончив самовара, поблагодарив Володерева за участие, пошел на пристань освежиться в вечерней прохладе.

Подошел к своим баржам... Возле них Корней Евстигнеев стоит, с приказчиком его растаба-рывает.

– Невеселые вести от Макарья привез, – сказал, указывая на Корнея, приказчик Меркулову.

– Какие вести? – спросил Никита Федорыч, будто не знает ничего.

– Да вот-с насчет тюленя, – ответил приказчик.

– Что ж такое насчет тюленя? – обратился Меркулов к Прожженному.

– А то могу доложить вашей милости, что по нонешнему году этот товар самый что ни на есть анафемский.

Провалиться б ему, проклятому, ко всем чертям с самим сатаной, отвечал Корней.

– За что ж вы так честите наш товарец... Кажется, он всегда ходок бывал... – сказал Никита Федорыч, а у самого сердце так и разрывается.

– Ходкий, неча сказать!.. – захохотал Корней. – Теперь у Макарья, что водке из-под лодки, что этому товару, одна цена. Наш хозяин решил всего тюленя, что ни привез на ярманку, в Оку покидать; пушай, говорит, водяные черти кашу себе маслят. Баржа у нас тут где-то на Низу с этой дрянью застряла, так хозяин дал мне порученность весь жир в воду, а баржу погрузить другим товаром да наскоро к Макарью вести.

– А как, однако, цены теперь на тюлень? – спросил Меркулов.

– Какие цены? Вовсе их нет. Восьми гривен наприсишься, – отвечал Корней Евстигнеев.

– Уж и восемь гривен, – с недоверьем отозвался Никита Федорыч. – Знаем тоже кой-что...

– Знаешь ты с редькой десять! – вскинулся на него Корней. – Врать, что ли, я тебе стану? Нанимал, что ли, ты меня врать-то?.. За вранье-то ведь никакой дурак денег не даст... Коли есть лишние, подавай – скажу, пожалуй, что пуд по пяти рублей продавали...

– Управилась, что ли? – спросил Меркулов своего приказчика, отвернувшись от Корнея.

– Совсем почти, – отвечал приказчик. – Самая малость осталась, завтра к полдням все будет готово.

– Так пообедавши, бог даст, и отвалим, – сказал Меркулов и пошел на квартиру.

– Валил бы лучше в Волгу свое сокровище. Выгоднее, право выгодней будет, – кричал ему вслед Корней Евстигнеев. – Вот так купец-торговец!.. Три баржи с грузом, а сам с голым пузом! Эй, воротись, получай по два пятака за баржу – все-таки тебе хоть какой-нибудь барыш будет.

Не слушал Никита Федорыч ни речей Корнея, ни бурлацкого хохота, раздававшегося на его слова, быстрыми шагами удалился он от пристани. А сердце так и кипит от гнева и досады... Очень хотелось ему расправиться с нахалом.

Долго, до самой полночи ходил он по комнате, думал и сто раз передумывал насчет тюленя. "Ну что ж, – решил он, наконец, – ну по рублю продам, десять тысяч убытку, oprичь доставки и других расходов; по восьми гривен продам – двадцать тысяч убытку. Убиваться не из чего – не по миру же, в самом деле, пойду..."

Барышу наклад родной брат, то один, то другой на тебя поглядит... Бог даст, поправимся, а все-таки надо скорей с тюленем развязаться!..

И, разорвав приготовленное письмо, стал писать другое. Извещал он Зиновья Алексеича, что отправляется с баржами из Царицына, и просил его поторопиться продажей, по какой бы цене ни было.

Утомившись от дневных тревог и волнений, поздно за полночь лег Меркулов в постель. Не спалось ему – тюлень с ума не сходил. «Эх, узнать бы повернее ярманочные цены!.. От рыбников толку не добьешься... К кому ни пиши – все кулаки с первого до последнего, правды от них не жди... Кто бы это такой у Зиновья Алексеича тюленя торгует?.. Что бы написать ему!.. Не из наших, должно быть, не из рыбников, да из них Зиновий Алексеич, кажется, ни с кем знакомства не имеет... Разве написать к кому... К Орошину? И не подумает ответить, меня же еще на смех поднимет, станет носиться с моим письмом по всем караванам. К Смолокурову, к Седову, к Сусалину? Одного сукна епанча!.. Засмеют, а что обманут – в том и сомненья нет».

Думал, думал, ничего придумать не мог. А кручинные думы неотвязчивы, ты гони их, а они, ровно мухи, так и лезут к тебе.

Вдруг ровно его осветило. «Митя не в ярманке ли? – подумал он. – Не собирался он к Макарью, дел у него в Петербурге по горло, да притом же за границу собирался ехать и там вплоть до глубокой осени пробыть... Однако ж кто его знает... Может быть, приехал!.. Эх как бы он у Макарья был».

А Дмитрий Петрович Веденеев был великий друг и приятель Меркулову. Земляки, сверстники по возрасту, почти одногодки. Торговому делу обучались не в лавке, не в амбаре, а на школьной скамье. Оба промышляли на ватагах, и оба торги вели не по-старому. Старые рыбники на них обоих глядели свысока, подшучивали над их ученьем и крепко недолюбливали за новые, неслыханные дотоль на Волге порядки, что завели они у себя на промыслах и в караванах. Ловцы у них были на готовых харчах, оттого и воровали меньше, чем на других ватагах. Старым рыбникам было то за большую досаду, боялись, что молодежь все дело у них перепортит.

Живучи в Москве и бывая каждый день у Дорониных, Никита Федорыч ни разу не сказал им про Веденева, к слову как-то не приходилось. Теперь это на большую досаду его наводило, досадовал он на себя и за то, что, когда писал Зиновью Алексеичу, не пришло ему в голову спросить его, не у Макарья ли Веденеев, и, ежели там, так всего бы вернее через него цены узнать.

Засветил огня Никита Федорыч, распечатал приготовленное к нареченному тестю письмо и приписал в нем, чтобы он попытал отыскать на Гребновской пристани Дмитрия Петровича Веденева и, какую он цену на тюленя скажет, по той бы и продавал... Написал на случай письмо и к Веденеву, просил его познакомиться с Дорониным и открыть ему настоящие цены.

Когда Никита Федорыч запечатал письма, у него отлегло на душе, и стал он гораздо спокойнее. Тревоги ровно не бывало, беспокойство стихло. Про баржи да про убытки и на разум не вспадает, думает про одну невесту да по пальцам высчитывает, через сколько дней с ней увидится. И сдается ему, что, как только увидит он милый лик любимой девушки, все скорби и печали, все заботы и хлопоты как рукой снимет с него и потекут дни светлые, дни счастья и тихой радости... Минуют черные дни, и она, никто как она, избавит его от бед и напастей.

На другой день рано поутру Меркулов отправил с письмами двуконную эстафету. Ради верности сам на почту ходил, сам письма сдал. Выходя из почтовой конторы, встретился с Корнеем Евстигнеевым.

– Мне бы штафету надо послать, – сказал Корней, войдя в контору.

– Куда? – отрывисто спросил у него сумрачный почтмейстер.

– В Нижний, на ярманку.

– Письмо аль посылка? – немножко поласковой спросил почтмейстер.

– Одно письмо.

– Тридцать восемь рублей двадцать пять копеек, – молвил почтмейстер.

Рад он был. Не серым волком, а сизым голубком поглядел на Корнея Прожженного, садиться просил его, приветные слова говорил. Эстафете все едино – два ли, три ли письма везти. Значит, без малого сорок рублей почтмейстеру перепало.

Сел Корней у стола деньги считать. Отдавая, спросил у почтмейстера:

– От Меркулова другая-то штафета? Почтмейстер молча кивнул головой.

– Мы ведь по одному с ним делу, – заметил Прожженный. – К Доронину, надо полагать, он послал? Раскрыл почтмейстер книгу и вслух прочитал:

– В Нижний-Новгород, на Гребновскую пристань, вольскому купцу Зиновью Доронину и... и почетному гражданину Дмитрию Веденееву от почетного гражданина Никиты Меркулова". А от вас кому?

– На ту же Гребновскую к Смолокурову Марку Данилычу, – молвил Корней Евстигнеев.

– В одно, значит, место.

– И место одно, и дело одно, и во всех трех письмах писание одно, подтвердил Корней. – А скоро ль штафета пойдет?

– Слышите колокольчик, – молвил почтмейстер. – Письмецо-то ваше пожалуйста.

– Как же мне быть? – молвил Корней, вынимая письмо. – Мне бы надо было еще словечка два приписать хозяину.

– Печатка с вами?

– При мне, – отвечал Корней Евстигнеев, взяв в руку подвешенную к часам сердоликовую печать.

– Так садитесь и приписывайте. Вот вам конверт, вот сургуч, бумажки понадобятся – и бумажки дадим.

Распечатавши письмо, Корней приписал, что с той же эстафетой идут письма от Меркулова: одно к Доронину, другое к Веденееву.

Сорок рублей до того раздобрили почтмейстера, что он ради будущего знакомства пригласил Корнея к себе на квартиру, а так как у него на ту пору пирог из печки вынули, предложил ему водочки выпить да закусить. Корней не отказался и, прощаясь с гостеприимным почтмейстером, сулил ему красненькую. Тот стал было отнекиваться, однако принял...

Через час после того плыл вверх по Волге Никита Федорыч, провожаемый добрыми пожеланиями Володерева и насмешливыми взглядами Корнея Прожженного.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Резво и бойко одна за другой вверх по Волге выбегали баржи меркуловские. Целу путину ветер попутный им дул, и на мелях, на перекатах воды стояло вдоволь. Рабочие на баржах были веселы, лоцмана радовались высокой воде, водоливы вёдру, все ровному ветру без порывов, без переминок. «Святой воздух» широко расстилал «апостольские скатерти» (Бурлацкие выражения. Святой воздух – ветер, апостольская скатерть – паруса.), и баржи летели ровно птицы, а бурлаки либо спали, либо ели, либо тешились меж собою. Один хозяин не весел по палубе похаживал – тюлень у него с ума не сходил.

Как ни быстро бежал караван Никиты Федорыча, посланные из Царицына эстафеты его упредили.

Дня через четыре после отправки тех эстафет, рано поутру, только что успел Марко Данилыч протереть заспанные очи и помолиться по лестовке, крадучись, ровно кошка, робкими стопами вошел к нему Василий Фадеев. Помолясь богу и отдав низкий поклон хозяину, осторожно развязал он бумажный платок и подал письмо.

– Штафета из Царицына, – вполголоса промолвил он и глубоко вздохнул, ровно непосильную тяжесть с плеч сбросил.

Жадно схватил письмо Смолокуров, быстро сорвал печать и принялся читать неразборчивое посланье Корнея. Сначала лицо его радостно просияло, потом он весь, как кумач, покраснел: и глаза загорелись гневом... Таково крепко он при этом выругался, что Фадеев на всякий случай отступил шага на четыре поближе к двери.

– Зарезал!.. – закричал Марко Данилыч, бросая смятое письмо. Потом, заложа руки за спину, принялся шагать взад и вперед по горнице.

А Василий Фадеев попятился к самому порогу. В знак покорности склонил он низко голову,

робко вытянул вперед гусиную шею свою, а сам искоса то и дело поглядывает на всплывшего хозяина.

– Чтоб его вдоль и поперек!.. Чтоб ему ни гроба, ни савана!.. продолжал тот браниться. И вдруг ни с того ни с сего накинута на Фадеева:

– Ты чего торчишь?.. Вон пошел!.. Мошенники!.. Ироды проклятые!..

Богу не помолясь, хозяину не поклонясь, юркнул из комнаты Василий Фадеев.

«Не выгорело! – сам с собой рассуждал Марко Данилыч. – Теперь дело бросовое!.. И как это мне на мысли не вспало, что Митька с Микиткой земляки?.. Они друг дружке известны, к тому ж одной масти, одной выучки... Что бела собака, что чёрна собака – все один пес... Да я же с большого-то ума и свел Митьку с Дорониными... Позвал тогда его на катанье!.. Прометнулся!.. Вот те и барыш, вот те и тюлень!.. Господи, батюшка, ризу ведь я обещал на владычицу!.. Червонного золота! Мало разве?.. Так я бы прибавил!...»

Чуть-чуть отворилась входная дверь, и высунулось побитое оспой лицо Василия Фадеева.

– Еще два письма почтальон привозил на пристань, – робко промолвил он.

– Знаю, – крикнул Марко Данилыч. – Ступай до греха!.. Да убирайся же, чтоб черти тебя на том свете жарили да всякой мерзостью заместо масла поливали!

И неистово затопал ногами.

– Одного не нашли, – настойчиво молвил Василий Фадеев и тотчас же скрылся за дверью.

– Кого не нашли?.. Ступай сюда, – крикнул ему Смолокуров. Приказчик опять появился в дверях.

– Доронина какого-то искал почтальон, – сказал он, входя в комнату. – А такого у нас по всей пристани нет. А на письме означено: «На Гребновскую». Спрашивал почтальон, не знает ли кто, где тот Доронин живет – не знает никто. Так ни с чем и уехал.

– С письмом?

– С письмом, – ответил Фадеев. – Говорил, что отдаст его в почтову контору, – что говорит, там хотят, то пушай с ним и делают.

– А-а!.. Ну, за это тебе спасибо, – маленько повеселей промолвил Марко Данилыч. – Другое-то письмо к Веденееву? – спросил он, маленько помолчавши.

– Так точно-с, – посмелей прежнего отвечал Фадеев.

– Сам получал?

– Никак нет-с, приказчик получал. Веденеев на караване не живет.

– Тотчас повез приказчик письмо? – спросил Марко Данилыч.

– Никак нет-с. Сам, говорил, скоро на баржи приедет, тогда и отдам, отвечал Василий Фадеев.

Рублевку дал ему Марко Данилыч за приятные вести.

– Это тебе за то, что письмо поспешил привезти... – промолвил он, когда Фадеев раболепно целовал щедрую руку. – С богом.

Отвесил низкий поклон Фадеев и молча ушел. Мрачно ходил Марко Данилыч по комнате, долго о чем-то раздумывал... Дуня вошла. Думчивая такая, цвет с лица будто сбежал. Каждый день подолгу выдается она с Аграфеной Петровной, но нет того, о ком юные думы, неясные, не понятые еще ею вполне тревожные помышленья. Ровно волной его смыло, ровно ветром снесло. «Вот уж неделя, как нет», – думает Дуня... Думает, передумывает и совсем теряется в напрасных догадках.

Только что взглянул на Дуню Марко Данилыч, вдруг сам изменился в лице. Ни гнева, ни досады. С нежностью поцеловал он дочь.

– Что это, погляжу я на тебя, Дунюшка, ровно ты не по себе? – спросил он, одной рукой обнимая ее, другой ласково глядя по шелковистым волосам.

Чуть-чуть вспыхнула Дуня. Тихо подняла она на отца голубые глаза и, сиюсь казаться беззаботной, с улыбкой ему отвечала.

– Нет, я ничего.

– Да ты здорова ли? – заботно спрашивал отец, прикладывая широкую заскорузлую ладонь к белоснежному челу дочери.

– Здорова.

– Что ж это глаза-то у тебя какие?.. Ровно бы плакала?..

Смутилась Дуня, поалела, однако ж твердо, спокойно, с улыбкой промолвила:

– О чем же плакать мне, тятя?

– То-то, ты у меня смотри, – молвил Смолокуров. И, нежно поцеловав Дуню, отошел к окну. А она в самом деле чуть не половину ночи проплакала от неотвязчивых дум.

– Давно ли с подругами-то виделась, с Дорониными? – спросил Марко Данилыч, пристально глядя на что-то в окошко.

– Дня три не видались, – ответила Дуня.

– Что ж это ты? Побывай у них... Девицы хорошие, любят тебя, – молвил Марко Данилыч, по-прежнему глядя на улицу. – А то с одной Аграфеной Петровной хороводишься... Только у тебя и света в окошке... Так, ласточка ты моя, делать не годится.

– Груня меня любит. Опять же знала меня еще махонькой.

– Видаться с ней запрета тебе не кладу, – сказал Марко Данилыч. – Баба она хорошая, дельная, разумная. А все же нельзя ради ее других покидать. Так не водится, моя сердечная.

– Сегодня же побываю у Дорониных, – тихо ответила Дуня.

– А вот попьешь чайку да тотчас же к ним и ступай. По малом времени я и сам подойду, – сказал Марко Данилыч.

Молча, головку склонивши, пошла Дуня к Дарье Сергевне, а там уж стоял самовар на столе.

Когда в Царицыно Меркулов писал письма, он, от бессонной ночи и душевного волнения, написавши адрес Веденеева: На Гребновскую пристань, бессознательно поставил его и на письме к Зиновью Алексеичу. Из этого путаница вышла. Хорошо еще, что Веденеев был у Макарья, а то бы письмо к Доронину так и завалялось в почтовой конторе.

Дуня еще сидела у Дорониных, а Марко Данилыч еще не приходил к ним, как с праздничным лицом влетел в комнату Дмитрий Петрович. Первым словом его было:

– Получили эстафету?

– Какую? – с удивлением спросил Зиновий Алексеич.

– От Меркулова, от Никиты Федорыча, из Царицына, – сказал Дмитрий Петрович.

Еще больше удивился Зиновий Алексеич... Лизавета Зиновьевна вспыхнула. Татьяна Андревна, руки сложив на груди, умильно спросила Веденеева:

– А вы нешто Никитушку-то знаете?

– Друг и приятель закадычный. К тому ж земляки, – отвечал Дмитрий Петрович.

– Не сродни ли как? – озабоченно спросила Татьяна Андревна, пристально глядя на Веденеева.

– Ни родства, ни свойства, а живем с ним дружно, союзно. Дай бог и сродникам так жить, как живем мы с Меркуловым, – сказал Дмитрий Петрович.

– Да что за штафета такая? – перебил их Зиновий Алексеич.

– Читайте, что пишет ко мне Никита Сокровенный, – сказал Веденеев, подавая письмо Зиновью Алексеичу.

– Как это вы, батюшка, назвали его? – добродушно спросила Татьяна Андревна.

– Никита Сокровенный, – весело улыбаясь, ответил Веденеев. – Так его у нас в дружеском кружке зовут: Никита Сокровенный да Никита Сокровенный, а иной раз и просто Сокровенный. Он уж знает свою кличку.

– За что ж это вы его так прозвали, батюшка? – спросила Татьяна Андревна.

– А за то, что человек он в самом деле скрытный. Лишнего слова не молвит, все подумавши, не то что наш брат, – сказал Дмитрий Петрович.

– Дело не худое, – молвила Татьяна Андревна. – Сказанно слово серебряное, не сказано – золотое.

– Конечно, не худое дело, – ответил Веденеев. – Опять же и именинник-от он бывает на Никиту Сокровенного, на другой день рождества богородицы. Оттого больше его и прозвали.

– Вот это уж нехорошо, – заметила Татьяна Андревна. – Грех!.. Божьих угодников все поминать не следует. И перед богом грех, и люди за то не похвалят... Да... Преподобный Никита Сокровенный великий был угодник. Всю жизнь в пустыне спасался, не видя людей, раз только один Созонт диакон его видел. Читал ли ты, сударь, житие-то его?

– Благодетель! – прочитав письмо, воскликнул Зиновий Алексеич и стал обнимать Веденева. – Какая ж цена-то?

– Покамест никакой, товар еще нетроганный, – отвечал Дмитрий Петрович, недельки через две настоящая цена объявится, не раньше. Будет два с полтиной, а не то и два шесть гривен.

Назад даже попятился от удивленья Зиновий Алексеич. Два рубля шесть гривен!.. Мелькнули у него на уме смолокуровские слова, что Дмитрий Петрович ради потехи любит пустые слухи распускать, но из письма Меркулова видно, что они меж собой дружны, стало быть не станут друг дружку обманывать.

– Как два рубля шесть гривен, – громко воскликнул Зиновий Алексеич. – Да я от ваших же рыбников слыхал, что тюленя ни на фабрики, ни на мыльны заводы в нынешнем году пуда не требуют, и вся цена ему рубль, много, много, ежели рубль с гривной.

– Орошин, что ли, это вам сказывал? Онисим Самойлыч? – улыбаясь, спросил Веденеев.

– Не он, – молвил Зиновий Алексеич и чуть было не назвал Смолокурова... Взглянувши на Дуню, примолк он.

– А тот, кто сказывал вам такие цены, не торговал ли у вас тюленя-то?

– Было дело, – усмехнулся Доронин.

– То-то и есть, – молвил Дмитрий Петрович. – Намедни на том же тюлене хотели Марка Данилыча провести... Я его тогда выручил, в нашем Рыбном трактире при всех показал ему письмо из Петербурга... Оно со мной. И, подав письмо Зиновью Алексеичу, промолвил:

– Извольте прочитать.

Прочел Зиновий Алексеич и думает: «Так это ты, Марко Данилыч, вокруг нас ручки погреть хотел... Ай да приятель!.. Хорош!.. Можно на тебя положиться!.. Нечего сказать!»

– Где же мое-то письмо? Ко мне его не приносили, – вдруг сказал Зиновий Алексеич.

– За письмом надо будет вам самим съездить в почтовую контору, а не то дайте ваш паспорт, я за вас получу. Без того не выдадут, – сказал Веденеев.

– Как так? Ко мне бы на квартиру должны принести.

– Маленько напутал Никита Федорыч, – сказал Дмитрий Петрович. – Написал на вашем письме, что вы на Гребновской. Почтальон искал вас там и повез письмо в контору. Дайте паспорт, мигом слетаю. И минут через пять Дмитрий Петрович катил уж на почту.

Во все время разговора мужа с Веденеевым Татьяна Андревна словечка не проронила. И она и Лизавета Зиновьевна со слезами немой благодарности смотрели на Дмитрия Петровича, а Наташа с каким-то величавым самодовольством поглядывала то на мать, то на сестру и будто говорила ясными взорами: «Что? Чья правда? Станете теперь журить меня? Так ли бы еще надо было обойтись тогда с этим злым, с этим обманщиком?» Ничего не видя, ничего не слыша, сидела Дуня; у ней на душе своя заботная дума была, своя горькая кручина. «Где-то он? Что-то с ним?» – думала она и с нетерпеньем ждала отца, чтоб уйти поскорей от Дорониных и замкнуться в своей горенке с Аграфеной Петровной.

Только что уехал Веденеев, Лиза с Наташей позвали Дуню в свою комнату. Перекинувшись двумя-тремя словами с женой, Зиновий Алексеич сказал ей, чтобы и она шла к дочерям. Смолокуров-де скоро придет, а с ним надо ему один на один побеседовать.

Марко Данилыч не замедлил. Как ни в чем не бывало, вошел он к приятелю, дружески поздоровался и даже повел о чем-то шуточный разговор. Когда Зиновий Алексеич велел закуску подать, он ел и пил как следует.

– Ну что? Как на Гребновской дела? – спросил Доронин.

– Ничего. Полегоньку стали расторговываться, – отвечает Марко Данилыч, разрезывая окорочок белоснежного московского поросенка. – Сушь почти всю продали, цены подходящие, дви-

нулась и коренная. На нее цены так себе. Икра будет дорога, Орошин почти всю скупил, а он охулки на руку не положит, такую цену заворотит, что на масленице по всей России ешь блины без икры. Бедовый!..

– А насчет тюленя как? – спросил Доронин, прищурился левый глаз и облокотился щекой на правую руку.

– Цен еще не обнаружилось, – преспокойно ответил Марко Данилыч, уписывая за обе щеки поросенка под хреном и сметаной. – Надо полагать, маленько поднимутся. Теперь могу тебе рубль восемь гривен дать... Пожалуй, еще гривенку нажину. Денег половина сейчас на стол, останная к Рождеству. По рукам, что ли? И протянул руку.

– А по два рубля по шести гривен желаешь? – усмехнулся Доронин, наливая другу стакан красного кахетинского.

– Успел, видно, покалякать с Веденеевым? – тоже усмехнулся Марко Данилыч.

– Успел, – подвигая гостью стакан, сказал Зиновий Алексеич.

– Значит, тюленя мне у тебя не купить?

– Видно, что так, – шутливо промолвил Доронин.

– Дело, – сказал Марко Данилыч. – Важный у тебя поросенок, Зиновий Алексеич!.. Неужто здесь поён?

– Московский, – сказал Зиновий Алексеич. – Где, опричь Москвы, таких поросят найти?.. И в Москве-то не везде такого найдешь – в Новотроицком да в Патрикеевском, у Гурина да в Эрмитаже, а по другим местам лучше и не спрашивай.

– Верно, – согласился Марко Данилыч. – И селедка у тебя важная... Почем покупал?

– Три целковых бочонок. Цена известная, – ответил Зиновий Алексеич.

– Ведь вот поди ж ты тут. У нас в Волге этой селедки видимо-невидимо, а такой, как голландская, не водится, – молвил Марко Данилыч.

И пошел разговор об разных разностях. Пересыпался он веселыми шутками, ясным искренним смехом, сердечностью. Лишь под конец беседы с рюмками мадеры в руках, пожелав друг другу здоровья, всякого благополучия, опять вспомнили про тюленя.

– А больно тебе хотелось поддеть нас с Меркуловым? – усмехнулся Зиновий Алексеич.

– Еще бы! – смеясь, отвечал Марко Данилыч. – На плохой бы конец тысяч сорок в карман положил. На улице не поднимешь!

– Ан вот тебе и шиш, – добродушно захохотал Доронин, подняв палец перед приятелем.

– Ничего! – отшутился Марко Данилыч. – Дней у господ много впереди: один карась сорвется, другой сорвется, третий, бог даст, и попадетсЯ.

– А за что ж бы ты Меркулова-то обездолил? – спросил Зиновий Алексеич.

– Беды б ему от того не было... – сказал Марко Данилыч. – Убытки ум дают. А Меркулов человек молодой, ему надо ума набираться.

Потом други-приятели повернули беседу на иные дела и долго разлюбезно беседовали.

Узнав, что Дмитрий Петрович дружен с Никитушкой, Татьяна Андревна считала и его близким к своей семье человеком. Та ее догадка, что пришла на ум после Наташиной выходки против Смолокурова, с каждым днем казалась сбыточнее. Зоркий материнский глаз по взглядам Веденеева и Наташи замечал, что было у них на сердце. По совету мужа, положилаcь она во всем на волю господню и ни малейшего виду не подавала дочери, что догадывается о ее чувствах к Веденееву. Однако, каждый день молясь богу о Наташе, не забывала поминать на молитве и раба божия Дмитрия. Оттого-то, когда узнала она о дружбе Дмитрия Петровича с нареченным ее зятем, тотчас она и спросила, не в родстве ли они. То было у Татьяны Андревны на разуме, что, ежели они сродни, тогда, пожалуй, нельзя будет обе свадьбы-то венчать.

Когда Наташа узнала о дружбе Веденеева с Меркуловым, стало ей весело и радостно, а вместе с тем почувствовала она невольный страх и какую-то робость.

Когда же у отца зашел разговор с Дмитрием Петровичем про цены на тюлений жир и вспомнила она, как Марко Данилыч хотел обмануть и Меркулова и Зиновья Алексеича и какие обидные слова говорил он тогда про Веденеева, глаза у ней загорелись полымем, лицо багрецом подернулось, двинулась она, будто хотела встать и вмешаться в разговор, но, взглянув на Дуню, опустила глаза, осталась на месте и только кидала полные счастья взоры то на отца, то на мать, то на сестру. А когда Дмитрий Петрович, перед тем как ехать на почту, подошел к ней и взглянул на нее так ясно и радостно, Наташа поняла его, пуще прежнего зарделась она, и лучезарные очи ее ослепили не вспомнившего себя от восторга Веденеева. Хотел он что-то сказать, но не мог, и быстро вышел, почти бегом побежал вон из комнаты.

Пока Зиновий Алексеич дружелюбно разговаривал про тюленя с Марком Данилычем, а потом благодушно беседовал с ним за закуской, обе его дочери с Дуней сидели. Лишь изредка красавицы перекидывались отрывочными словами, но больше молчали, — каждая про свое дело раздумывала. Лиза сгорала нетерпением увидеться, наконец, с женихом и радовалась, что не попался он в сети, расставленные старым плутоватым рыбником; не дни, а часы считала она, что оставались до желанного свиданья... В золотых мечтах она воображала первую встречу, радость, слезы счастья, крепкие объятия, горячие поцелуи... А Наташа думала: «Когда ж мой Митенька скажет словами то, что так ясно очами говорит...» Было бы скучно сидеть с ними Дунюшке, но сама она потонула в думах. Думы тяжкие, думы мрачные, не такие, как у счастливых подруг ее. Только и было теперь у ней на уме: «Скоро ли, скоро ль тятенька кончит свои разговоры?». Насилу дождалась.

Только что ушли Марко Данилыч с Дуней от Дорониных, воротился с почты Дмитрий Петрович. Прочитали письмо меркуловское и разочли, что ему надо быть дня через три, через четыре. Такой срок Лизавете Зиновьевне показался чересчур длинным, и наворачнулись у ней на глазах слезы. Заметил это отец и шутиливо спросил:

— Али не рада?

— Долго, — чуть слышно ответила Лиза.

— Ну, матушка, четыре месяца ждала, четырех дней не хочешь подождать, с доброй улыбкой сказал дочери Зиновий Алексеич, да тут и вспомнил, что выдал перед чужим семейную тайну.

А Татьяна Андревна и не заметила того. Совсем уж своим считала она Дмитрия Петровича.

Догадаться Веденееву было нетрудно. Эх, как бы нам с Сокровенным быть свояками!.. — подумал он, — то-то бы хорошо было!" И взглянул он на Наташу и видит — сияет она пышной красотой и ясной радостью.

— Старуха! — молвил жене Зиновий Алексеич. — Никак я обмолвился?.. Никак проболтался?.. Наш-от гость дорогой, пожалуй, теперь догадался. Не сказать ли уж ему всю правду, всю истинную? Друг ведь он, приятель Никитушке-то. Почитай-ка, что пишет он про него... Все едино, что братья... Ась?.. Как, супруга ты моя благоверная, в таком разе мне присоветуешь?

— Чего еще рассказывать-то? — добродушно улыбаясь, отвечала Татьяна Андревна. — Без того, батька, все рассказал, как размазал... Вот невеста вашего приятеля, Дмитрий Петрович, — промолвила она, показав Веденееву на старшую дочь.

С радостным чувством поздравил Веденеев невесту, сказал ей, что теперь они будут свои, что ежели Никита Федорыч ему за брата, так она будет ему за сестру. И взяв невестину руку, крепко поцеловал ее.

«Не надо бы так, не водится, — подумала Татьяна Андревна, — ну да он человек столичный, с новым обхождением. То же, что Никитушка... Опять же не при людях». И ни слова супротив не молвила.

Поздравил Веденеев и Татьяну Андревну и у нее поцеловал руку.

— Чтой-то ты, батька, с ума, что ли, спятил? — вскрикнула она. — Нешто я поп?.. Опрочь дочерей, никто у меня сроду рук не целовывал...

— На радостях, Татьяна Андревна, ей-богу на радостях, — сказал Дмитрий Петрович и, если бы можно было, козлом проскакал бы по комнате.

К Наташе подошел. Как стрелой пронзило его сердце, когда прикоснулся он к нежной, стройной руке ее. Опустила глаза Наташа и замлела вся... Вздохнула Татьяна Андревна, глядя на

них... А Наташа?.. Не забыть ей той минуты до бела савана, не забыть ее до гробовой доски!..

Трижды, со щеки на щеку, расцеловался с Дмитрием Петровичем Зиновий Алексеич. Весел старик был и радостен. Ни с того ни с сего стал «куманьком» да «сватушкой» звать Веденеева, а посматривая, как он и Наташа друг на дружку поглядывают, такие мысли раскидывал на разуме: «Чего еще тянуть-то? По рукам бы – и дело с концом».

Весело, незаметно летело время в задушевных разговорах. Про жениха больше речи велись. Рассказывал Веденеев про их петербургское житье-бытье, про разные случаи, встречи, знакомства; каждый рассказ его милым и дорогим казался всей семье доронинской. Кончит Дмитрий Петрович, примолкнет, а им бы еще и еще его слушать, еще бы что-нибудь хорошее узнать про Никитушку.

Так время вплоть до обеда прошло. Сколько ни отговаривался Веденеев, какие доводы ни приводил о крайней надобности побывать там и сам, Зиновий Алексеич не пустил его, а Татьяна Андревна, лишних речей не разводя, спрятала его картуз в своей комнате.

– Теперь, сватушка, ты у нас под караулом, – молвил Зиновий Алексеич. Выпустим на волю, когда захочем. – И залился веселым, добродушным смехом.

Тихо, мирно пообедали и весело провели остаток дня. Сбирались было ехать на ярманку, но небо стало заволакивать, и свежий ветер потянул. Волга заволновалась, по оконным стеклам застучали крупные капли дождя. Остались, и рад был тому Дмитрий Петрович. Так легко, так отменно было ему. Век бы гостить у Дорониных.

– Когда же, Татьяна Андревна, думаете вы окрутить друга моего любезного? – спросил он.

– Поскорей хотелось бы, Дмитрий Петрович, да не знаю, управимся ли, отвечала Татьяна Андревна. – Захария и Елизаветы – Лизины именины в среду будут, а жениховы в первое после того воскресенье. Не в те, так в другие именины желательно было бы их повенчать. Да навряд ли управимся к тому времени. Все готово, все припасено, хоть сейчас ступай под венец, да не знаем, дела как порешатся. Домой придется сплыть, и на то время надо... Как ни думай, как ни гадай, к ихним именинам не поспеть. Видно, Покров девке голову покроет.

– Больше месяца, значит, придется ждать, – молвил Веденеев.

– Что ж делать, батюшка, – сказала Татьяна Андревна. – Долго ждали, маленько-то подождут. Да вот еще бог знает, скоро ли Никитушка со своим тюленем покончит...

– Скоро покончит, Татьяна Андревна, скоро, – молвил Дмитрий Петрович. Орошин хочет скупать, охота ему все, что ни есть в привозе тюленя, к своим рукам подобрать. Статья обозначилась выгодная. Недели две назад про тюленя и слушать никто не хотел, теперь с руками оторвут.

– Стало быть, как приедет Никитушка, так и покончит? – спросила Татьяна Андревна.

– На другой же день, – сказал Веденеев. – Я его сведу с покупателями. А мой бы совет не топириться. Дольше повыдержит, больше барыша возьмет.

– Долго-то ждать неохота бы. И то наши князь со княгиней стосковались совсем, – молвила, улыбаясь, Татьяна Андревна.

– До Покрова ведь решили же отложить?.. – сказал Веденеев.

– Ох, уж и не знаю, как сказать вам, Дмитрий Петрович! – со вздохом промолвила Татьяна Андревна. – Как господь устроит.

А Дмитрий Петрович держит свое на уме: «Авось и мое дело до Покрова выгорит. Скорей бы Никита Сокровенный приезжал. Я ему тюленя сосватаю, а он Наташу мне сватай...»

Взглянул он тут на нее. Облокотясь на правую руку, склонив головку, тихим взором смотрела она на него. И показалось ему, что целое небо любви сияет в лучезарных очах девушки. Хотел что-то сказать – не может, не смеет.

Поздно вечером пришлось ему оставить приятную, милую семью, где блаженство он ощущал, где испытал высшую степень наслаждения души. И когда вышел он из доронинской квартиры, тоска напала на него, тяжело, ровно свинец, пало на душу одиночество... Мнилось ему, что из светлого рая вдруг попал он на трудную землю, полную бед, горя, печали, лишений...

Выйдя из гостиницы, стал на крыльце. Дождь так и хлещет, тьма стоит непроглядная, едва светятся уличные фонари, с шумом и звоном стучат крупные дождевые капли о железные листы наддверного зонта.

Сам не зная зачем, ровно вкопанный стоит на крыльце Веденеев. Все еще видится ему милый лик дорогой девушки, все еще слышатся сладкие, тихие речи ее. Задумался и не может сообразить, где он, зачем тут стоит, что ему надобно делать... С громом подкатил к крыльцу извозчик в крытой пролетке.

– Извозчика вашей чести требуется?

– Да, – бессознательно молвил Дмитрий Петрович и, не торгуясь, быстро вскочил в пролетку. Застегнув кожаный запон и сев на козлы, извозчик спросил:

– Куда прикажете?

– Туда, – махнув рукой к ярманке, оказал Веденеев и тотчас же погрузился в сладкие думы. С хитрой улыбкой извозчик кивнул головой и, не молвив ни полслова, поехал к мосту, а потом повернул налево вдоль по шоссе.

Едут, едут... Приехали в какую-то песчаную немощеную улицу... Своротили. Еще повернули, остановились перед большим, ярко освещенным домом.

– Приехали... – весело осклабясь, молвил извозчик. – Подождать вашу честь прикажете?

Занес было ноги вон из пролетки Дмитрий Петрович... но вдруг огляделся. Видит растворенные настежь двери, ведут они в грязный коридор, тускло освещенный лампой с закопченным стеклом. Едва держась на ногах, пьяным шагом пробирается там вдоль стенки широкоплечий купчина с маслянистым лицом. Осторожно поддерживает его под руку молодой человек, надо думать, приказчик, взятый хозяином ради сохранности. Заботливо, почтительно старому кутиле он приговаривает: «Полегче, батюшка Алексей Сампсоныч, не оступитесь – тут ступенька». А батюшка Алексей Сампсоныч, в награду за такую заботливость, хриплым голосом ругает приказчика на чем свет стоит. Огляделся Дмитрий Петрович и ровно проснулся.

– Куда ты завез меня? – напустился он на извозчика.

– Куда приказывали, – бойко тот отвечал.

– Когда я приказывал? Что ты городишь? – закричал Веденеев.

– Изволили сказать: «Пошел туда», я и поехал, – оправдывался извозчик. Дело ночное, непогода... «Туда» известно, значит, куда...

Стоявшая у подъезда толпа извозчиков во все горло расхохоталась. Залился смехом даже сам городской, приставленный к дверям на всякий случай.

А из раскрытых окон слышатся звуки разбитого фортепиано, топот танцующих, звон стаканов, дикие крики и то хриплый, то звонкий хохот не одного десятка молодых женщин, сопровождаемый их визгом и руганью.

– На Театральную площадь, к Ермолаеву, – крикнул раздраженный Дмитрий Петрович.

– Так бы и говорили, – ворчал извозчик. – А то: «туда». Ночь, ярманка – известно, куда в эту пору ездят купцы.

– Без разговоров! – крикнул Веденеев. И всю дорогу отплевывался.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Когда Меркулов доплыл до Казани, там на Бакалде (Бакалда – казанская пристань на Волге. Иначе называется Устьем (реки Казанки). застал он небольшой пароход. Пароход совсем был готов к отвалу, бежал вверх по Волге к Нижнему. Тогда еще мало ходило пароходов, и Никите Федорычу такая нечаянность показалась особенным, неожиданным счастьем. На плохой конец двумя сутками раньше увидит он теперь невесту.

Сдав баржи надежному, испытанному приказчику, взял он место на пароходе и в самом веселом расположении духа ступил на палубу. Все ему казалось так хорошо, так красиво – и борты, и машины, и убранство кают, хоть в самом-то деле тут ничего особенного не было. Угрюмый капитан показался Никите Федорычу таким прекрасным, таким душевным человеком, что, познакомившись с ним, он с первого же слова едва не бросился обнимать его. Капитан, не говоря ни слова, с ног до головы мрачно оглядел восторженного купчика и подумал: «Должно быть, здорово хлебнул на проводах». Рабочий, что перетаскивал на богатырских своих плечах грузный чемодан Меркулова, показался ему таким хорошим и добрым, что он об этом высказал ему напрямик и по-

дарил рубль серебром. Рабочий выпучил удивленные глаза на Меркулова, но, опомнившись, крепко сжал в увесистом кулаке бумажку и, наскоро отвесив низкий поклон щедрому купчику, бегом пустился вдоль по палубе, думая про себя: "Подгулял, сердечный!..

Уйти от греха, а то, пожалуй, опомнится да назад потребует". И все пассажиры показались Никите Федорычу такими хорошими и добрыми, а речи их такими разумными, что он тотчас же со всеми перезнакомился и до такой степени стал весел и разговорчив, что и пассажиры про него то же самое подумали, что и капитан с богатырем рабочим. Грязная, плохими лачугами обстроенная Бакалда восторженным глазам Меркулова представлялась прекрасно устроенной пристанью; самое небо с нависшими свинцовыми тучами – ясным, лучезарным, как будто итальянским. Одно лишь было ему не по мысли – очень уж долго, по его мнению, медлили сборами, долго не отваливали.

Подняли, наконец, сходни (Сходня или сходни – доска с набитыми на ней брусками для схода с судна на берег.), и пароход, заворотив вверх, быстро побежал, извергая из железных уст клубы густого черного дыма и снопы огненных искр... Мерно бьет он крылами многоводное лоно русских рек и ручьев, кипит по бокам его мощно рассекаемая влага, а он летит все быстрее, все вперед. Берега так и мелькают. На широких, белых как снег, парусах и топселях (Топсель – верхний парус; он поменьше нижнего – коренного, или ходового.) одни за другими вылетают длинные расшивы с высокими носами, с узкими кормами, с бортами, огороженными низкими перильцами; вдогонку за ними бегут большие, грузные, но легкие на ходу гусянки с небольшой оснасткой и с низкими, открытыми бортами; дальше черепашым шагом плетутся нагруженные пермскою солью уемистые, неуклюжие ладьи, бархоты, шитики и проконопаченные мочалом межеумки, вдали сверкают белизной ветлужские сплавные беляны, чернеют густо осмоленные кладнушки. Всех далеко за собою оставляя, вольной птицей летит по реке пароход, а Меркулову кажется, что он чуть ли не на мель сел... Ох, если бы крылья – так бы вот и ринулся он вперед соколиным полетом...

Не сидится Никите Федорычу в тесной, душной каюте, вышел он на палубу освежиться. С левого берега подувало холодным ветром, то и дело начинался косой дождик, но, только что припустит хорошенько, тотчас притихнет, а потом опять и опять. Быстро тучи несутся по небу, берега и река вечерним сумраком кроются...

Пассажиры, укрываясь от непогоды, все сидят по каютам, один Меркулов остается на кормовой палубе. Походил он, походил взад и вперед, к паровику подошел и долго, пристально глядел, как ровно, мерно, почти беззвучно поднимаются и опускаются рычаги машины. Долго стоял он тут, защищенный от ветра и дождя каютками капитана и лоцмана, что построены над колесными кожухами. Насмотревшись вдоволь на машину, Никита Федорыч подошел к перильцам, отделявшим палубу третьего класса, и окинул глазами там бывших. Одно лицо показалось ему знакомым. Русский, лет сорока, невысокого роста, в теплой суконной сибирке, только что потрапезовал он на сон грядущий и, сбираясь улечься на боковую, обратился лицом к востоку, снял картуз и стал на молитву, крестясь по старине двуперстно. Стоял он прямехонько перед Меркуловым. Вглядываясь в лицо его, Никита Федорыч больше и больше убеждался, что где-то видал он этого человека...

Усильно старается он вспомнить, где и когда встречался с этим русым, но, как нарочно, совсем захлестнуло у него в памяти... А любопытство меж тем возбудилось до крайности, и, только что русский кончил молитву, Меркулов подошел и спросил:

– Кажется, мы где-то с вами видались? Пристально поглядел русский на Меркулова.

– Ах, батюшки! – воскликнул он. – Никак господин Меркулов будете?

– Он самый, – молвил Никита Федорыч, радуясь, что русский признал его. Скажите, однако, где мы с вами видались? У меня что-то из памяти вон.

– В Питере, сударь, в Питере, – весело отвечал русский. – В Питере, у Дмитрия Петровича Веденеева. – В приказчиках у его милости служу. Флор Гаврилов, ежели припомните...

– Ах, Флор Гаврилыч! Как я рад, что встретился с вами! – говорил с увлечением Меркулов. – Где теперь Дмитрий Петрович?

– У Макарья в ярманке, – отвечал Флор Гаврилов. – Еду к нему с отчетами из Саратова.

– Как я рад, как я рад такой приятной встрече, – говорил Никита Федорыч, обнимая и крепко

целуя Флора Гаврилова, к немалому изумлению веденеевского приказчика. Что за светло воскресе-
сение нашло на него, – думает Флор Гаврилов. И вспало ему на ум то же самое, что подумалось и
капитану, и рабочему с богатырскими плечами, и пассажирам: «Хлебнул, должно быть, ради сы-
рой погоды».

– Давно ли Митенька в ярманке? – спросил Меркулов у Флора Гаврилова.

– Дмитрий-от Петрович? Да как вам доложить – дня за три либо за четыре до первого спаса
туда прибыли. Теперь вот уж без малого месяц, – сказал Флор Гаврилов.

– Где пристал? На Гребновской, что ли; на барже? – спрашивал Никита Федорыч.

– Как возможно!.. – молвил Флор Гаврилов. – И далеко там и грязно, а уж вонь такая, что не
приведи господи. Теперь на самой ярманке много гостиниц понастроили, хозяевам по пристаням
не след теперь проживать.

– Где ж остановился он? Флор Гаврилов сказал, где остановился Веденеев. Никита Федорыч
ног под собой не слышал от радости скорого свиданья не только с невестой, но и с самым близким
другом-приятелем... «Кстати, очень кстати приехал Митенька к Макарью, – думает он про се-
бя, теперь он мою эстафету, значит, уж получил. Пособит моему горю, развяжет меня с тюленем».
И крепко жал Меркулов руку Флору Гаврилову, звал его в рубку (Светлая каюта, поставленная у
кормы на пароходной палубе над сходом в каюты.) чайку напиться, поужинать, побеседовать.
Надивиться не может приказчик таким ласкам хозяйского приятеля. «Пьян, бесприменно пьян», –
он думает.

– Покорнейше благодарим, Никита Федорыч, только увольте, пожалуйста, отвечает он на
приглашенья Меркулова. – Нам ведь нет туда ходу, мы ведь третьего класса – на то порядок. Вы
вот в первом сели, так вам везде чистый путь, а нашему брату за эту перегородку пройти нельзя.

– Ничего, я скажу там, – перебил Меркулов.

– Нет, уж увольте, – на своем стоял Флор Гаврилов. – Я же... Очень благодарны за ваши
ласки... Я уж, признаться, и чайку попил, и чем бог послал поужинал, спать надо теперь. Пора.
Наши за Волгой давно уж спят (Поговорка, употребляемая на Горах, она значит: поздно. На левом
берегу Волги, в Лесах, эта поговорка не употребляется.).

– Где ж вы ляжете? – заботливо спросил Меркулов.

– А вот тут же на палубе.

– На ветру, на дожде? Как это можно! – воскликнул Никита Федорыч.

– Не сахарные, не растаем, – с улыбкой ответил Флор Гаврилов.

– А постель-то где же у вас?

– Постель-то! – усмехнулся Флор Гаврилов. – Один кулак в головы, другой под бок – вот и
постель.

– Как это возможно! – воскликнул Меркулов.

– Дело, сударь, привычное, – отозвался Флор Гаврилов. – Наше вам наиглубочайшее, и вам
тоже пора, чать, на боковую. И не хотелось, а пошел Меркулов на кормовую палубу.

Темнело. Один за другим пассажиры стали укладываться на опочив. В третьем классе
невзыскательные мужики, бабы, солдаты, татары, поужинав здоровыми ломтями черного хлеба с
огурцами и незрелыми яблоками, развалились по палубе. Зипун под голову, постель – дощатый,
рубчатый помост, одеяло – синее небо, хоть в тот вечер было оно вовсе не синее, а ровно смоль
черное. Ни единой звездочки, ни одного клочка светлого небесного свода...

Нет, нет, а дождичек и почнет накрапывать, а потом и припустит и зачастит, а те спят себе во
славу божью, только лишь изредка который-нибудь с холоду да от сырости маленько пожмется...
Поужинали и в первом классе. Долго тут бегала пароходная прислуга с мисками, с тарелками, с
блюдами. Там не то, что на носу в третьем классе: ели дольше и больше, не огурцы с решетным
хлебом, а только что изловленных стерлядей, вкусные казанские котлеты, цыплят и молодую дичь
из Кокшайских лесов. Наконец, все поужинали, все по местам разлеглись. Ходит сон по людям,
спят все, ровно маковой воды напились.

Меркулов взял особую каюту, чтоб быть одному, чтобы ночным думам его не мешали сосе-
ди... Лег на койку – не спится: то невеста мерещится, то тюлень. Пароход бежал и ночью – паво-
док тогда стоял высокий, погода была мокрая, татинцовский (Лучшие волжские лоцмана на села

Татинца, что немного повыше Лыскова.) лоцман Волгу знает, как ладонь свою, – значит, перека-тов да мелей бояться нечего. Мерный шум колес, мерные всплески воды о стены парохода, мер-ные звуки дождя, бившего в окно каюты, звон стакана, оставленного на столе рядом с графином и от дрожанья парохода певшего свою нескончаемую унылую песню, храп и носовой свист во всю сласть спавших по каютам и в общей зале пассажиров – все наводило на Меркулова тоску невыно-симую. Лампа в общей зале погасла, и стала повсюду тьма непроглядная. И вдруг голоса. Будто издали несутся они.

- Пять! Тише колеса шумят, малым ходом пошел пароход.
- Пять! Еще меньше шума, еще медленней идет пароход.
- Четыре с половиной!
- Бери налево, – отозвался другой голос немножко поближе.
- Есть налево! – раздается третий голос вдали.
- Пять!
- Пять!

Знакомы Меркулову волжские клики «Мель, – подумал он. – Неужто мы Козловку пробежа-ли, неужто в Анишенском затоне теперь? (Козловка – село Чебоксарского уезда и пристань на правом берегу Волги в 45 верстах выше Казани. Выше Козловки, верстах в четырех с левой сторо-ны, впадает в Волгу река Илеть, напротив ее устья – Анишенская мель и затон (речной залив) того же названия,). Солнышко уж совсем почти село, когда мы отваливали от Бакалды. Неужто пятьде-сят верст выбежали?..»

Хотел было на часы взглянуть, но лампы нет, спичек нет, наверх сходить – одеваться неохо-та. Под хлест дождя, под шум колес, под мерные всплески волны так хорошо пригрелся он под теплой шинелью, что раскрыться было бы ему теперь немалым лишением... Да и как взойти наверх?.. Темь страшная, ходы незнакомые, ощупью идти, чего доброго – в люк угодишь... Пой тогда «вечную память». Зачем же теперь умирать?.. И невеста ждет и приятель, да и тюленя, даст бог, хоть с маленькой выгодой можно будет продать.

- Пять с четвертью!
- Шесть!
- Шесть!

"Что ж это они? С ума, никак, спятили? – думает, лежа в темноте, Меркулов. – Пять с чет-вертью, шесть, наконец, а промерщик все еще не кладет шеста, все меряет да кричит. Морской глубины, что ли, надо ему? А пароход все тише да тише... не случилось ли чего? И вдруг шум... Секунда – он удвоился, еще секунды две – утроился, учетверился... Блеснул в окно каюты яркий кроваво-красный свет и тотчас исчез. Страшная громада несется мимо парохода... Какой-то испо-линский зверь странной осанки плывет навстречу всего в трех-четырех саженьях... Вот другой огонь загорелся, зеленый, под тем огнем громадные крылья мелко воду дробят... Быстро, неудо-ержимо несется чудовище... Вот оно миновало – и опять блеснуло красным огнем... Живей заходи-ли колеса, быстрее побежал пароход... И не может понять Меркулов: во сне он видел все это или наяву ему померещилось.

«Значит, мы в узком месте. Речной стержень чудищу отдали, а сами к бочку. Оттого-то, вид-но, и мерили по пяти да по шести... А если б нельзя было уйти, если бы чудище столкнулось с нами!.. Что скорлупу, раздавило бы наш пароход... Принимай тогда смерть неминуемую, о спасе-нье тут и думать нечего!.. Намедни в Царицыно чумак собачонку фурой переехал – не взвизгнула даже, сердечная... Так бы и с нами было – пошел бы я ко дну и был бы таков».

И напал на него страх смерти, и одолела его тоска. "Утонуть!.. Утонуть накануне свиданья с Лизой... Помилуй господи и сохрани от напрасныя смерти!.. Мне что... Захлебнулся – и дело с концом, а ей-то, бедняжке, каково будет?.. Станет убиваться, изноет вся, истоскуется... А впро-чем, молода еще – поплачет, потоскует, по времени забудет и утешится... Молода еще – другого найдет...

А ты лежи себе в могиле... Холодно, сыро, темно!.. Вот и здесь и холодно, и сыро, и тёмно... Господи! не в могиле ли я?.. Вот и шевельнуться не могу, холодно и сыро. Когда это чудище сверкнуло кроваво-огненными глазами, оно, может быть, ударило об наш пароход и затопило

его... От удара я не вспомнился, обеспамятел, а теперь очнулся в могиле...

Да нет – у меня мысли в голове, значит я жив, в могиле мыслей не бывает... Сидели мы раз с Митенькой у Брайтона в Петербурге... Чай пили... Англичанин из Америки был тут – как бишь его?... Нет, не вспомню!.. Еще так хорошо по-нашему говорит. Какой-то особенной веры – в Америке много ведь вер, что ни город – то вера... Какой бишь он веры?... Не могу вспомнить... У нас в России нет такой... Так он говорил тогда... что бишь он говорил?... Тогда я много думал над тем, что он сказывал, и поверил и теперь верю; если женюсь, и Лизе велю верить, дети родятся – им велю верить...

Что же он говорил?... Не могу вспомнить... Ах да... Человек не умирает, в минуту смерти он только что забудется, тотчас очнется – и увидит себя на страшном суде... И все тут с ним, все – от Адама до последнего человека, и всем кажется, что они забылись мертвенным сном на одну лишь секунду... Тысячи лет прошли, а каждому они секундой показались... И всем так, всем – от Адама до самого последнего человека... Ведь у бога, что миг, что тысяча лет – все одно... Значит, я еще не умер, а то бы стоял теперь на страшном суде... А хорошо говорил тот американец, – так бы все и слушал его... Если я думаю, значит живу, он говорил, стало быть я не умер... А как темно, как холодно и сыро... Господи! да когда ж это кончится, скоро ли свету нам дашь?... А, вот и свет!.. Рассветает!.. Отчего ж это сегодня рассвет так быстро идет!.. Не успела заря заняться, а уж совсем светло... Это что-то особенное, что-то невозможное... Живу ли я?... Нет, нет, вспомнил – у нас в Коммерческой академии физике учили... Оптические явления... Нет, не в физике, а в физической географии...

Ну да, конечно, в физической географии – еще учитель такой был рябенькой, приземистый, как бишь его звали – забыл... Он это рассказывал, а физике учил высокий учитель, гладкий такой, с рыжими баками. А ведь Флор Гаврилов ничего не знает об оптических явлениях, и, как я думаю, он теперь удивляется такому скорому рассвету... И все удивляются... Даже боятся... Народ суеверен, ничего не знает он про оптические явления... Сходить разве к Флору Гаврилову, объяснить ему?... Да нет, холодно, сыро; кажется, сними только шинель, тотчас замерзнешь... А! пристаем... Скоренько же доехали... Как не хочется одеваться... А надо... Ну ничего, оденемся... Ничего, теперь тепло, не сыро... Что это за колокольчик?..

В городах ведь запрещено ездить с колокольчиками... Звенит, и не простой колокольчик, а ровно серебряный, либо стеклянный... Что ж это такое?... Это не Макарий... А!.. Устье Иргиза... Должно быть, лоцман впросонках давеча назад повернул... Прошу покорно! И по Иргизу бежит пароход... Какие нынче, однако, стали у нас хорошие пароходы строить – по песку ходят... Приехали!.. Доронинская мельница!.. Ишь как шумит, ишь как плещут волны... Десять поставов!.. Кому-то отдаст ее Зиновий Алексеич? Лизе или Наташе?... Я бы тут иное завел – тюленя бы стал молоть... Славный у них дом на мельнице... И зачем было им в Вольск переезжать, понапрасну только тратились?... Цветы-то какие!.. Осень на дворе, а у них розыны в полном цвету... А розыны-то какие... Без малого аршин поперек... Яблоки-то!.. Котлы пивные. И как это они сучьев не обломают?..

А! это оттого, что Лиза садами занимается, она все может... А!.. На крыльцо Татьяна Андревна вышла... С чулком. Чулок вяжет, а спицы в руках так и вертятся... Зиновья Алексеича, должно быть, дома нет... Ну конечно, нет дома – ведь он в Астрахань уехал, там у него белугу поймали – двадцать сажень длины... Икры-то сколько должно быть!.. Чуть не на целую баржу... А Лизы нет... Что ж это такое?... А!.. Колокольчик!.. Едут... Таратайка подъехала – Наташа с Веденевым... А Лизы нет... Спросить бы – да нет, не могу, силы нет... А!.. Мчится чудовище, и все тонет в кровавом блеске страшных глаз его... Жив ли я?... Нет, думаю – значит, живу... Американец так говорил... Опять же я не на страшном суде, стало быть не умирал!.. Что ж это?... А, догадался... Давеча на Бакалде хотел я рубашку сменить, да позабыл... Это теперь не я думаю, а рубашка... Ну да, да... Экая скверная!.. Вот я же тебя... В клочки изорву!.."

И только что поднял руку, как рубашка его в зубы. Проснулся Никита Федорыч с синяком на скуле: с вечера положил он на верхнюю койку тяжелую суковатую козмодемьянскую палку – свалилась она и прямо ему на лицо...

Оделся, вышел на палубу. Последние тучи минувшей непогоды виднелись еще на западе, а

солнце уж довольно высоко стояло. Посмотрел на часы – восемь. На палубе уж сидело несколько человек. Никита Федорыч прошел в третий класс, но не нашел там Флора Гаврилова.

Поднялся наверх к самому рулю, там сидели капитан, лоцман и еще два-три человека. Хотя по правилам вход наверх запрещен, но первоклассных пассажиров пускают. Ласково поздоровался Меркулов с капитаном и спросил у него:

– Что это ночью случилось?

– Ничего не случилось, – отвечал капитан.

– Как ничего! Делали промеры до шести футов. И потом что-то такое чудное, странное.

– «Сампсон» навстречу нам попался. Место было узенько, пришлось принять в сторону, – сказал капитан.

– «Сампсон»? – спросил Меркулов.

– Да, «Сампсон» – первенец наших больших пароходов, – отвечал капитан. Без малого пятьсот сил. Такому богатырю поневоле дашь дорогу!

– Слышать-то слышал я про «Сампсона», но до сих пор не видывал, молвил Меркулов. – А сколько баржей он водит?

– Как случится, – отвечал капитан. – По пяти, по шести.

– Шесть барж! – удивился Меркулов и пошел к Флору Гаврилову.

Его все-таки не было видно. Думая, что сошел он вниз за кипятком для чая, Никита Федорыч стал у перегородки. Рядом стояло человек десять молодых парней, внимательно слушали они рассказы пожилого бывалого человека. Одет он был в полушубок и рассказывал про волжские были и отжитые времена.

– А вот на этой на самой горе разбойник Галаня в старые годы живал. На своих на косных с молодцами удалыми разъезживал Галанюшка от Саратова до Нижнего и много на Волге бед натворил. Держался больше в Жигулях, а только что зачнется торг у Старого Макарья, переберется сюда. Тут у него в горе выходы вырыты были, и каких богатств тут не было схоронено. Окопов наделал Галаня, валы насыпал на случай обороны, – и теперь их знать. Пушки на окопах у него стояли. Сколько раз солдат на него высылали, – каждый раз либо отобьется, либо на Низ, в Жигули уплывет. Обиды были от него великие, никому спуску не бывало, одну только Хмелевку не трогал; там ему бабы хлебы пекли и всякий харч его артели доставляли. Оттого и не трогал, оттого и было хмелевцам житье повольное, хорошее, вдоволь нажились они тогда от Галани... Вон она, Хмелевка-то! – прибавил рассказчик, указывая на выглянувшую из-за нагорного мыса слободу, что раскинулась в полугоре вдоль по течению Волги.

– Хмелевка! – с удивлением сказал Меркулов. – Неужто в самом деле? Значит, к Васильсурску подходим.

– Еще один мысок обогнем, будем на Суре, – заметил рассказчик.

Скоро же идем, – сказал Меркулов, взглянув на чаем. – Десяти еще нет, а мы больше половины пути пробежали.

– Гораздо бежим, – молвил рассказчик. – Солнышко не закатится, будем на месте. – И, маленько помолчав, снова повел рассказы про старинных волжских разбойников.

Бежит, стрелой летит пароход. Берега то и дело меняются. Вот они крытые густой изумрудной зеленью, вот они обнаженные давними оползнями, разукрашенные белыми, зеленоватыми, бурыми и ясно-красными лентами опоки. Впереди желтеют пески левого берега и пески отмелей; видится, будто бы водный путь прегражден, будто не будет выхода ни направо, ни налево. Но вот выдвинулся крутой мыс, снизу доверху облепленный деревянными домиками, а под ним широкая, синеводная Сура, славная своими жирными, янтарными стерлядями.

Пароход стал на стрежне, к пристани не причалил. Дров до Исад (Пристань Исады в 68 верстах от Васильурска и в 88 верстах от Нижнего.) было достаточно, надо было только свезти на берег пассажиров, ехавших до Василя, и принять оттуда новых, если случатся. Несколько лодок окружили пароход. Приплывшие бабы протягивали вверх третьеклассным пассажирам колоба пшеничного хлеба, сайки, крендели, яблоки, огурцы, печеные яйца, пироги с рыбой. Зазыванья торговков, их перебранки и звонкие крики разносились по всему плесу. Напрасно водолив и рабочие во все горло кричали на баб, чтоб не лезли они к пароходу, – лодчонки кругом его облапили.

Наконец, привезли новых пассажиров, пароход слегка двинулся и минут через пять летел уж по реке, меж пологих песчаных берегов... Суры не видно уж было, стала из виду теряться и высокая крутая гора Васильсурская.

Новых пассажиров всего только двое было: тучный купчина с масляным смуглым лицом, в суконном, тоже замасленном сюртуке и с подобным горе животом. Вошел он на палубу, сел на скамейку и ни с места. Сначала молчал, потом вполголоса стал молитву творить. Икота одолевала купчину.

Села еще на пароход какая-то странная женщина. По виду и одежде ее трудно было догадаться, кто она такая.

Была не молода, но и не стара, следы редкой красоты сохранялись в чертах лица ее. Одета была она в черное шелковое платье, подпоясана черным шагреневым поясом, на голову надет в роспуск большой черный кашемировый платок. Ни по платью, ни по осанке не походила она ни на скитских матерей, ни на монахинь, что шатаются по белу свету за сборами, ни на странниц-богомолок. Все было на ней чисто, опрятно, даже изящно. Стройный стан, скромно опущенный взор и какой-то особенный блеск кротких голубых глаз невольно остановили на ней внимание Меркулова. «Не из простых», подумал он, глядя на прекрасные ее руки и присматриваясь к приметам странной женщины.

– Воды бы выкушали, – сказала она, обращаясь к тучному купчине.

– Не годится, матушка! Не поможет, – едва мог ответить тот.

– Отчего ж не поможет? Попробуйте.

– Не годится, матушка... Потому это от ботвинья... Отдышусь, бог милостив.

Через несколько минут купчина в самом деле отдышался, а отдохнувши, вступил в разговор:

– Из Талызина, матушка, изволите ехать?

– Из Талызина.

– На сдаточных до Василья-то ехали?

– На сдаточных.

– Дорогонько, чать, дали? – молвил купчина и, не дождавшись ответа, продолжал: – Нонича, сударыня, эти ямщики, пес их возьми, и с живого и с мертвого дерут, что захотят. Страху не стало на них. Знают, собаки, что пешком не пойдешь, ну и ломают, сколько им в дурацкую башку забредет... На ярманку, что ли, собрались, Марья Ивановна?

– Придется денька два либо три и на ярманке пробывать, – отвечала Марья Ивановна.

– А после того опять в Талызино?

– Нет, в Муроме надобно мне побывать. Поблизости от него деревушка есть у меня, Родяково прозывается. Давненько я там не бывала – поглядеть хочется... А из Родякова к своим проберусь в Рязанскую губернию.

– А в Талызино-то когда же?

– И сама не знаю, Василий Петрович. Разве после Рождества, а то, пожалуй, и всю зиму не приеду. В Рязани-то у меня довольно дел накопилось, надо их покончить.

– Эх-ма! А я было думал опять к вашей милости побывать... Насчет леску-то, – сказал Василий Петрович.

– Да ведь у нас с вами об этом лесе не один раз было толковано, Василий Петрович, – отвечала Марья Ивановна. – За бесценок не отдам, а настоящей цены вы не даете. Стало быть, нечего больше и говорить.

– Растащут же ведь его у вас, матушка. Сами знаете: что ни год, то порубка, – сказал Василий Петрович.

– Ежели три-четыре дубочка, да десяток-другой осиннику срубят, беда еще не велика, – заметила Марья Ивановна. – Опять же лес у меня не без призору.

– Караулы-то ваши не больно чтобы крепки были, сударыня, – сказал Василий Петрович.

– Нет, – молвила Марья Ивановна. – Сергеюшкой я очень довольна и другими, кто живет с ним. Берегут они лесок мой пуще глаза.

– Уж больно велики хоромы-то вы им в лесу поставили. Что твой господский дом!

– Пуцай живут просторнее, – с кроткой улыбкой сказала Марья Ивановна. Что ж? Лес свой,

мох свой, кирпич свой, плотники и пильщики тоже свои. За железо только деньги плачены... И отчего ж не успокоить мне стариков?.. Они заслужили. Сергеюшка теперь больше тридцати годов из лесу шагу почти не делает.

– Намолвка не больно хороша про него, – прищурясь, молвил Василий Петрович.

– Что такое? – вскинув глазами и пристально поглядевши на тучного купчину, спросила Марья Ивановна.

– Кудесничает, слышь, колдует в лесу-то, – промолвил Василий Петрович...

Едва заметный румянец мгновенно пробежал по лицу Марьи Ивановны, но тотчас же исчез бесследно. Лежавшая вдоль бортового поручня рука ее чуть-чуть вздрогнула. Но голос ее был совершенно спокоен.

– Какой вздор! – улыбнувшись, она молвила. – Мало ли каких глупостей народ ни наскажет. Нельзя же всякому глупому толку веру давать.

– Оно, конечно, может, и врут, – согласился Василий Петрович. – Однако ж вот это я и сам замечал, что Сергей почти совсем отстал от божьей церкви, да и те, что с ним в лесу живут, тоже редко в храм господень заглядывают.

– Церковь-то от них далеконок, Василий Петрович, – сказала Марья Ивановна. – А зимой ину пору в лесу-то из сугробов и не выдерешься. А не случалось ли вам когда-нибудь говорить про Сергеюшку с нашим батюшкой, с отцом Никифором? Знаете ли, что Сергеюшка-то не меньше четырех раз в году у него исповедуется да приобщается... Вот какой он колдун! Вот как бегают он святой церкви. И не один Сергеюшка, а и все, что в лесу у меня живут, и мужчины и женщины, точно так же. Усердны они к церкви, очень усердны.

– Это я точно слыхал и не один даже раз разговаривал про них с отцом Никифором, – молвил Василий Петрович. – В том только у меня сумнительство на ихний счет, что ведь с чего-нибудь взял же народ про Сергея так рассказывать. Без огня дыма, матушка, не бывает.

– Людских речей, Василий Петрович, не переслушаешь, – сухо ответила ему Марья Ивановна. – Однако же что-то холодно стало. Сойти было в каюту да чаю хоть, что ли, спросить. Согреться надобно. И медленной, величавой походкой пошла.

– Кто такая? – спросил Меркулов у Василия Петровича.

– Алымова, помещица, – отвечал Василий Петрович. – Соседка нам будет. Мы и сами прежде алымовские были, да я еще от ее родителя откупился, вольную, значит, получил.

– Зачем же это она так рядится? – спросил Никита Федорыч. – Старица не старица, а бог знает на кого похожа. В дорогу, что ли, она так одевается?

– Завсегда так: и дома, и в гостях, и в дороге, – сказал Василий Петрович.

– Что за чудиха?

– Кто ее знает... Теперь вот уж более пятнадцати лет, как этакую дурь на себя напустила, – сказал Василий Петрович. – Теперь уж ей без малого сорок лет... Постарела, а посмотреть бы на нее, как была молоденькой. Что за красота была. Просто сказать – ангел небесный. И умная она барыня и добрая.

А много ли крестьян у нее? – полюбопытствовал Меркулов.

– Сот шесть, пожалуй и больше наберется, – молвил Василий Петрович. – В нашей вотчине три ста душ, во Владимирской двести да в Рязанской с чем-то сотня. У барина, у покойника, дом богатейший был... Сады какие были, а в садах всякие древа и цветы заморские. – Опять же ранжереи, псарня, лошади... Дворни видимо-невидимо – ста полтора. Широко жил, нечего сказать.

– А все Марье Ивановне досталось?

– До последней капельки. Одна ведь только она была. При ней пошло не то житье. Известно, ежели некому добрым хозяйством путем распорядиться, не то что вотчина, царство пропадает. А ее дело девичье. Куда же ей? Опять же и чудит без меры. Ну и пошло все врознь, пошло да и поехало. А вы, смею спросить, тоже из господ будете?

– Нет, я саратовский купец Никита Федоров Меркулов.

– Так-с. Хорошее дело, подходящее, значит можно с вашей милостью про господ повольтоней маленько говорить... Я и сам, государь мой, алатырский купец Василий Петров Морковников. Маслами торгуем да землями заимствуемся помаленьку, берем у господ в кортому, в годы. Заво-

дишки тоже кой-какие имеем, – живем благодаря бога, управляемся всевышней милостью.

Теперича для нашего брата купца времена подошли хорошие: господа почитай все до единого поистратились, кармашки-то у них поизорвались, деньжонкам не вод, – нам, значит, и можно свой интерес соблюдать. Вот теперь про волю толки пошли – дай-ка, господи, пошли свое совершение. Тогда, сударь, помаленьку да потихоньку все дойдет до наших рук, – и земли и господские дома, все. Заверяю вас. Одно только нашему брату теперича надо в помышление держать: «не зевай»... Смекалку, значит, имей в голове. А вы, государь мой, чем торгуете?

– Рыбой да тюленем, – отвечал Меркулов. – Ловим по волжским низовьям да в море, а продаем у Макарья.

– Вот господь-от свел! – весело молвил Морковников. – Не имеется ль у вас, Никита Федорыч, тюленька у Макарья-то?

– Теперь нет, а дня через два либо через три будет довольно, – ответил Меркулов. – Я сам от Царицына ехал при тюлене, только в Казани сел на пароход, чтоб упредить караван, оглядеться до него у Макарья, ну и к ценам приноровиться.

– Так-с! Дело это хорошее, – поглаживая бороду и улыбаясь, сказал Морковников. – Может, и сойдемся... Поставил я, изволите видеть, заводец мыловаренный.. Поташных у меня два давненько-таки заведены, а с Покрова имею намерение мыловарню пустить в ход. По нашим местам добротного мыла не надо, нашим чухахам, особливо мордовкам, не яичным рожито мыть, им годит и тюлень. А рубахи да портки стирать и тюлень будет им на удивление, все-таки лучше мыловки али волнянки (Мыловка – ископаемое, мыловатое на ощупь, из породы талька, вещество, употребляемое при валянье сукон. Волнянка – растение *Diantus superus*. И мыловка и волнянка употребляются по захолюстьям вместо мыла.). Советовался я кое с кем... Свел меня однажды господь этак же вот, как и с вами, на пароходе с одним барином.

Из Петербурга его от высшего начальства посылали осматривать да описывать здешние заводы и фабрики. Свиделся я еще после того с ним у одного нашего помещика. Ну и побеседовали. Ума, сударь, палата, а к настоящему делу речи не подходящи. Надо, говорит, варить мыло из оленки (Олеин.) да из соды. Про тюленя да про поташ и слышать барин не хочет. А кажись бы, человек хороший, душевный, хитрости в нем не видать ни на капельку... Ну, я его не послушался, – на поташе с тюленем хочу испробовать. Куда нашим мордовкам соду да оленку! Толстоногие чухахи (Мордовки навивают на ноги множество портянок и полотенец, так что ноги у них, ровно бревно. Это почитается большой красотой и щегольством. Оттого морденок и зовут толстоногими либо толстопятыми.), пожалуй, заместо пряников хорошее-то мыло сожрут. Не можно ль у вас, Никита Федорыч, тюленька мне получить? Только мне потребуется не мало. Найдется ли столько у вас?

– А сколько? – спросил Меркулов.

– Да тысяч восемь пудов потребуется, – с важным видом молвил Морковников.

– Найдется, – сказал Никита Федорыч. – В десять не в десять раз, а в восемь раз больше того удовлетворить вас могу.

«Э! Да это, видно, из коренных рыбников», – подумал Василий Петрович и со сладкой улыбкой масленого лица обратился к Меркулову, прищулив левый глаз.

– А как ваша цена будет?

– Не знаю еще. Завтра, ежели вам угодно, повидайтесь со мной, тогда скажу, – ответил Никита Федорыч.

– Не в пример бы лучше теперь же здесь на досуге нам порешить это дельце, – с заискивающей улыбкой молвил Морковников. – Вот бы мы сейчас с вами пошли в общу каюту да ушицу бы стерляжью али московскую соляночку заказали, осетринки бы хорошенькой, у них, поди, и белорыбицы елабужской можно доспеть. Середа ведь сегодня – мясного не подобает, а пожелаете, что же делать? Можем для вас и согрешить – оскоромиться. Бутылочку бы холодненького распили, – все бы как следует.

– Ежели хотите, пожалуй, позавтракаем вместе, теперь же и время, сказал Меркулов. – Только наперед уговор: ни вы меня, ни я вас не угощаем – все расходы пополам. Еще другой уговор: цена на тюлень та, что будет завтра на бирже у Макарья, а теперь про нее и речей не заводить.

Маленько нахмурился Василий Петрович.

– Два бы рублика за пуд положили, и по рукам бы, – сказал он.

«Два рубля! – подумал Меркулов. – Вот оно что! А писали про рубль да про рубль с гривной... Не порешить ли?» Однако не решился. Сказал Морковникову:

– Через сутки, даже раньше узнаете мою цену. А чтоб доказать вам мое к вам уважение, наперед согласен десять копеек с рубля уступить вам против цены, что завтра будет на бирже у Макарья... Идет, что ли? – прибавил он, протягивая руку Морковникову.

– Идет, – радостно и самодовольно улыбаясь, воскликнул Василий Петрович. – А не в пример бы лучше здесь же, на пароходе, покончить. Два бы рублика взяли, десять процентов, по вашему слову, скидки. По рублю бы по восьми гривен и порешили... Подумайте, Никита Федорыч, сообщитесь, ей-богу, не останетесь в обиде. Уверяю вас честным словом вот перед самым господом богом. Деньги бы все сполна сейчас же на стол...

– Нет, нет, оставим до завтра, – решительно сказал Никита Федорыч. Пойдемте лучше завтракать.

– Пожалуй, – лениво и маленько призадумавшись, проговорил Морковников и затем тяжело привстал со скамьи.

– Эй ты, любезный! – крикнул он наскоро проходившему каютному половому.

– Что требуется вашей милости? – спросил тот, укорачивая шаг, но не останавливаясь.

– Уху из самолучших стерлядей, что есть на пароходе, с налимьими печенками, на двоих, – сказал Морковников. – Да чтобы стерлядь была сурская, да не мелюзга какая, а мерная, от глаза до пера вершков тринадцать, четырнадцать. Половой приостановился.

– Телячьи котлеты с трюфелями, – в свою очередь приказал Меркулов. Половой еще ближе подошел к ним.

– Холодненького бутылочку, – приказал Василий Петрович.

– Заморозить хорошенько, – прибавил Никита Федорыч.

– Редеру прикажете али клико?

Клику давай, – сказал Василий Петрович. – Оно, слышь, забористее, обратился он к Никите Федорычу.

– Слушаю-с, – проговорил половой, почтительно стоя перед

Меркуловым и Морковниковым.

– Зернистой икры подай к водке да еще балыка, да чтоб все было самое наилучшее. Слышишь? – говорил Морковников.

– Слушаю-с. Все будет в настоящей готовности для вашей милости.

– Рейнвейн хороший есть? – спросил Меркулов.

– Есть-с.

– Бутылку. Да лущенного гороха со сливочным маслом. Понимаешь?

– Можем понимать-с, – утвердительно кивнув головой, сказал каютный.

– Можно бы, я полагаю, и осетринки прихватить, – будто нехотя проговорил Морковников. – Давеча в Василе ботвиньи я с осетриной похлебал – расчудесная, а у них на пароходе еще, пожалуй, отменнее. Такая, я вам доложу, Никита Федорыч, на этих пароходах бывает осетрина, что в ином месте ни за какие деньги такой не получишь... – Так говорил Василий Петрович, забыв, каково пришлось ему после васьильсурской ботвиньи.

– Осетрины холодной с провансалем, – приказал Никита Федорыч. – Вы любите провансаль?... – обратился он к Василию Петровичу.

– А это что за штука такая? – с недоумением спросил Морковников. – Мне подай, братец, с хренком да с уксусом, – промолвил он, обращаясь к половому.

В это самое время из окна рубки, что над каютами, высунулся тощий, болезненный, с редкими прилизанными беловатыми волосами и с желто-зеленым отливом в лице, бедно одетый молодой человек. Задыхаясь от кашля, кричал он на полового:

– Телячьи ножки тебе приказаны, а ты ни с места!.. Что ж это такое? На что похоже? Что у вас за дикие порядки?

И, страшно закашлявшись, оперся обеими руками о подоконник.

– Сейчас-с, – небрежно отвечал ему половой, видимо предпочитавший новый заказ заказу чахоточного.

«Медной копейки на чай с тебя не получишь, – думал он, – а с этих по малости перепадет два двугривенных».

– Обличить вас надо!.. В газетах пропечатать!.. Погодите!.. Узнаете вы меня!.. – задыхаясь от злобы и кашля, неистово кричал чахоточный. – Капитана мне подай!.. Это ни на что не похоже!

Капитана не подали, а ножки тотчас принесли. С жадностью накинута на них чахоточный, успев перед тем опорожнить три, либо четыре уемистых рюмки очищенного.

– Из кутейников, должно быть, – тихонько заметил Морковников. – Теперь ведь очень много из поповичей такого народа разводится.

Завтракать подали в рубку. Расправившись с телячьими ножками, попович куда-то скрылся, должно быть на боковую отправился; а может быть, писать обличительную статью насчет пароходных телячьих ножек. В рубке остался Меркулов один на один с новым знакомцем. Морковников опять было стал приставать к Никите Федорычу насчет тюленя, но Меркулов устоял и наотрез сказал ему, что до приезда на ярманку ни слова не скажет ему по этому делу. Нечего было делать Морковникову, пришлось уступить. Зато уж и позавтракал же он.

Ни васьильсурской ботвиньи, ни мучительной икоты ровно и не бывало, ел, будто ему сказано было, что вперед трое суток у него во рту маковой росинки не будет. И закуска, и уха, и котлеты, и осетрина исчезли ровно в бездне. Умел Василий Петрович покушать. Когда завтрак был покончен, он с довольной улыбкой сказал Меркулову:

– Обедать-то, видно, позднеенько придется, часика этак через три.

– Ох, уж, право, не знаю, – отвечал Никита Федорыч. – Я сытехонек.

– Как так? Да нешто можно без обеда? – с удивленьем вскрикнул Морковников. – Сам господь указал человеку четырежды во дню пищу вкушать и питье принимать: поутру завтракать, потом полудничать, как вот мы теперь, после того обедать, а вечером на сон грядущий ужинать... Закон, батюшка...

Супротив господня повеленья идти не годится. Мы вот что сделаем: теперича отдохнем, а вставши, тотчас и за обед... Насчет ужина здесь, на пароходе, не стану говорить, придется ужинать у Макарья... Вы где пристанете?

– У Ермолаева, если там найдется свободный номер, – сказал Никита Федорыч.

– И разлюбезное дело, – молвил Морковников. – Я сам завсегда у Федора Яковлича пристаю. Хорошо у него, ото всего близко, опять же спокойно, а главное дело всякое кушанье знатно готовят.

– Скажите, пожалуйста, Василий Петрович, зачем эта барышня, Марья-то Ивановна, чудит при таком состоянии? – спросил Меркулов, перед тем как им пришлось расходиться по каютам.

А спросил о том Меркулов так, спросту, не то чтоб из любопытства, не то чтоб очень занимала его Марья Ивановна; молвил так, чтобы сказать что-нибудь на прощанье Василью Петровичу.

– Должно быть, по ихней вере так надо, – тихо промолвил Василий Петрович.

– По какой вере? – спросил с удивленьем Меркулов.

– По ихней.

– А что ж у них за вера такая?

– А шут их знает, – молвил Василий Петрович. – Фармазонами зовут их. А в чем ихняя вера состоит, доподлинно никто не знает, потому что у них все по тайности... И говорить-то много про них не след.

– А много у вас таких? – спросил Меркулов.

– Есть, – ответил Василий Петрович. – Довольно-таки... Носятся слухи, что и дом-от в лесу Марья Ивановна ради фармазонства поставила. Сергей-от лесник за попа, слышь, у них!..

– Значит, есть и господа в той вере? – спросил Никита Федорыч.

– И господ не мало, – ответил Морковников. – В роду Марьи Ивановны довольно было фармазонов. А род алымовский, хороший род, старинный, столбовой... Да что Алымовы?.. Из самых, слышь, важных, из самых сильных людей в Петербурге есть фармазоны.

И, зевнув во весь рот, протянул руку Никите Федорычу:

– Приятного сна... Наше вам наиглубочайшее! И сонным шагом в каюту пошел.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Номер Никите Федорычу у Ермолаева нашелся. Номер хороший, удобный, по возможности чистый, но главное – в одном коридоре с номером Веденева. По правде сказать, несмотря на все усердие чистивших номер чуть ли не двое суток сряду, не вышли из него ни смрад, ни вонь от живших перед тем астраханских армян и других восточных чело­веков. Заплеванные обои, испачканный пол, порядочное во всей мебели количество клопов достаточно свидетельствовали о свинстве прежних обитателей. Никите Федорычу, как ни привык он к лучшим удобствам жизни, это было нипочем. Главное – рядом с Митенькой. Тотчас же, как приехал он в гостиницу, прямо к нему. Заперт номер Дмитрия Петровича, и никто не знает, куда он уехал. Наскоро переодевшись, поскакал Меркулов к Дорониным. И там нет никого; куда уехали, тоже не знают. В досаде и волнение вышел Меркулов на улицу. «Немного погодя опять заверну», – подумал он и пошел пешком по мосту на свою квартиру.

Темнело. И на мосту и по улицам зажигали фонари; один за другим загорались огни и на пародах, что стройными рядами стояли на Оке и на Волге. Неспешным шагом, оглядываясь по сторонам, идет Никита Федорыч. То разглядывает он баржи, подошедшие к мосту в ожидание его разводки, то смотрит на пламенные столбы стальных заводов, на множество ярманочных огней и на отражавшийся в воде полный месяц, нырявший среди ostatnich туч минувшего ненастья. Перейдя мост, Меркулов прямо пошел к номерам Ермолаева, но и тут все еще смотрел по сторонам, только бы чем время скоротать.

Пришел на квартиру. Веденев нет еще. Тут только пришло на ум Меркулову, что не мешает записочку приятелю написать, чтобы он, воротившись без него, подождал бы его. Написавши, вспомнил, что не худо такую же записку и у Дорониных оставить, И вот, сунув рублевку коридорному, сказал ему, чтоб отдал он записку Веденеву, как только он воротится, а сам к Дорониным поехал. Чтоб затянуть еще как-нибудь время, слез он с извозничьей пролетки и пошел через мост пешком. Шел медленнее прежнего и опять то и дело останавливался либо, облокотясь на мостовые перила, пристально оглядывал проходящих. Разъезжавшие по мосту казаки подозрительно стали на него поглядывать.

Только что перешел мост, издали стали доноситься мерные удары колокола. Часы били. Раз, два, три... Семь... ну еще! – восемь... ну еще! нет, больше не бьют, такая досада. И так озлобился на часы Никита Федорыч, что, попадись тут ему под руку несносный колокол, он в куски бы его раздробил... «Верны ли городские часы? Дай погляжу на свои, они всегда верны». А до тех пор он нарочно не смотрел на часы, чтобы как-нибудь затянуть время, не зная его... Хватит – нет часов, видно забыл надеть, в номере оставил их...

Нет... Выходя от Дорониных, вынимал он часы, хотел посмотреть, но не смотрел и назад в карман положил – тоже чтобы не зная, который час... Тут вспомнил Никита Федорыч, что, не застав Дорониных, он, перейдя мост, встретил страшную грязь от выпавшего накануне дождя. У железного дома биржи стал он пробираться сторонкой, а тут толпа серого люда, тут и ловкие «вольные промышленники» (Карманные воры).

Вспомнил Никита Федорыч, что двое молодцов, в грязных, истасканных пальтах, с очень короткими рукавами, сжимали его с обеих сторон, а третий сильно напирал сзади...

Так и есть. Улыбнулись часики, достались московским жуликам либо петербургским мазурикам, ведь их множество ездит на Макарьевскую для своей коммерции... А жаль, очень жаль часов... Были они подаренье Брайтона... Опустя голову, медленными шагами идет Никита Федорыч, вспоминая об украденных часах, а сердце так и занывает... На часах был треугольник из голубой эмали, в нем круг, по ободку какая-то надпись; сначала он ее не мог разобрать. Даря часы, добрый англичанин что-то много говорил о бесконечном времени, о бесконечном пространстве и о том, что дух превыше и бесконечного времени и бесконечного пространства. И показал на треугольник и надпись... "Очень любил меня Брайтон, – думает Никита Федорыч, – даря часы, сказал он мне:

«С ними проникнете туда, куда немногие проникают»...

Долго спустя после отъезда его на родину, надо было Меркулову по одному порученью часы купить. Приходит к часовщику-немцу, выбирает дорогой хронометр и вынимает свои часы сверить их... Часовщик так и впился в них глазами. «Давайте, говорит, на промен». – Не хочу. – «Два хронометра даю». Не хочу. – «Три хронометра и пятьсот рублей придачи». Не согласился Меркулов и ушел поскорей от соблазна. И с той поры считал он брайтоновы часы своим талисманом... И вдруг пропали... И когда же?.. Только что приехал к невесте после долгой разлуки. Всегда думал он, что, как скоро у него тех часов не станет, беды и напасти найдут на него... «Господи! да что ж это такое?.. думает он теперь. – Счастье свое потерял!.. Нужно же было пешком идти, нужно же было в толпу черни входить!.. Ах, Лиза, Лиза! Что-то будет нам с тобой впереди?»

И тут только опознал на месте. С версту прошел он дальше квартиры Дорониных. Взойдя на Ивановскую гору, Меркулов стоял почти перед самым кремлем. Тут по ночам место не чисто. Один так называемый Переплетчиковский дом чего стоит. Петербургского Вяземского да московского Шипова с Хитровым рынком на придачу мало дать за этот дом. Да, кроме его, тут же по соседству дом Махотина, больше зовут его «полицеймейстерским». Тот, пожалуй, еще будет лучше...

Слышал Никита Федорыч о нравах и обычаях тех домов и бегом пустился от них под гору. За ним раздалась клики – ловить ли его хотели, грабить ли, бог их знает, но, благодаря резвости молодых ног, он успел сбежать к устью Зеленского съезда. Тут безопаснее. Едва переводя дух, сел он на тротуарную надолбу и стал раздумывать о покраденных часах. Ровно половина души с теми часами пропала у него... Вспоминал и о таинственной надписи. После, долго после того, как Брайтон подарил ему эти часы, один магистр-протопоп сказал ему, что писано на них по-гречески: "εοσ τισ синтелиас ту эонос", что в этой надписи таится великий смысл и что по-русски она значит: «до скончания века», а треугольник с кольцом – знак масонов... Знак масонов!.. А тут встреча с фармазонкой и тотчас после встречи пропажа заветных часов!.. "Что же все это значит? – думает Никита Федорыч и, совсем истомленный духом и телом, опустил голову на руки, сидя на столбе.

– Чего ты тут, – крикнул городской. – Проваливай... Мошенники этикие!.. Спокою с вами нет! Хочешь к господину квартальному?

Как холодной водой обдало Меркулова. Встал он, и тотчас же раздался часовой бой... Девять... Только-то! И когда бой перестал и начали играть куранты, в их звуках чудилось ему: «εοσ τισ синтелиас ту эонос». ("..." – до скончания века. Надпись, употреблявшаяся как у масонов, так и у русских хлыстов образованного общества.)

Наняв ехавшего шажком порожняка, сел Никита Федорыч в пролетку и поехал вдоль по Нижнему базару к гостинице Бубнова, где жили Доронины. Пробежав наверх, свернул направо.

– Дома?

– Никак нет-с, не приезжали, – отвечал коридорный.

– Записочку напишу. Дайте, пожалуйста, бумажки да карандашик.

Отдав записку с приложением рублевки, Меркулов пошел назад. Проходя коридором, в полуотворенной двери одного номера увидел он высокую женщину в черном платье. Она звала прислугу.

– Четыре раза звонила, все-таки нет никого, – кротко она говорила. Самовар дайте мне, пожалуйста, да чайный прибор.

Взглянул на нее мимоходом Никита Федорыч – «фармазонка»!

Воротясь домой, еще на лестнице осведомился Меркулов, не воротился ли Дмитрий Петрович. Нет, не приезжал еще. Досада стала разбирать Меркулова, горячился он, сердился, а на кого – и сам не знал. Надобно ж было в один день случиться стольким неудачам!.. «Дурной знак, нехорошая примета!..» – думал он, бросая картуз и пальто на первый попавшийся стул. В сильном волнении прошелся раза три по комнате, заглянул за ширмы, где ему приготовлена была постель...

Глядь, на ночном столике часы... Как так?.. Как они туда попали?.. Часы те самые, что Брайтон ему подарил, вот и круг, вот и треугольник и надпись... Появление часов на столике объяснялось очень просто: воротясь в первый раз в номер, Меркулов бессознательно снял их и положил у постели, а потом и забыл. Но теперь это казалось ему делом необычайным, непостижимым,

сверхъестественным. «Добрый знак, хорошая примета», – решил он и вдруг рассвистался. За несколько минут перед тем дразнили и сердили его слышные издалика крики цыганской песни и звуки роговой музыки. Теперь и роговая музыка показалась приятной, даже чрезвычайно изящной, а песни цыган просто восхитительными...

Даже в звуках турецкого барабана, что без умолку бухал в каком-то сколоченном из барочных досок комедиантском балагане, Никита Федорыч находил что-то прелестное, что-то необычайно гармоничное... Взглянул на часы – десять... Ну теперь Митенька скоро воротится, может быть и от Дорониных пришлют, может быть сам Зиновий Алексеич приедет... Чем бы до тех пор заняться? Позвонил, спросил каких-нибудь газет. Подали «Ярмарочный листок», и он углубился в его чтение. Читает, сколько ржи на пристанях, сколько овса, пшеница, муки – все цифры, цифры и цифры... Глядит он на эти цифры внимательно, но ничего в них не видит и вовсе не об них думает... Думает про невесту, думает про Веденева, про тюленя, про Морковникова, про Брайтона и про Марию Ивановну, но ни над чем не может остановиться, ни над каким предметом не может сосредоточиться... Больше все Брайтон да Брайтон да его подаренье... С год прошло, как не вспоминал англичанина, а сегодня он у него беспрестанно на уме...

«Это от того сна, – думает Меркулов. – Как, однако, я живо видел его, как есть наяву... Так же точно и после смерти – тогда ведь все равно, что день, что тысяча, миллион лет... Американец тогда у Брайтона правду говорил... А у нас мытарства!.. Нет, так лучше, как американец говорил: только что умрешь, тотчас тебе и суд, тотчас тебе и место, где господь присудит... Как он милосерд, как он премудр, как это хорошо он устроил! Что час, что тысяча лет – ему все одно... А что это за вера фармазонская?.. Тайная... Как бы узнать?.. Морковников не знает ли?.. Разве с Марьей Ивановной познакомиться, ее расспросить?.. Не скажет, пожалуй... тайности ведь у них». Дверь с шумом растворилась.

– Наконец-то! – вскрикнул Никита Федорыч и кинулся было обнимать Веденева. Но это был не Веденев.

– Давеча, в обеденну пору, стучал я, к вам стучал в каюту, государь мой, так-таки не мог дождаться. Нечего делать – один пообедал... теперь уж не уйдете от меня. Пойдемте-ка ужинать... Одиннадцатый уж час...

Так говорил Василий Петрович, растопыря врозь руки, будто в самом деле хотел изловить Меркулова, ежели тот вздумает лыжи от него наострить.

– Я ведь не ужинаю, Василий Петрович. Да и есть-то вовсе не хочется, сказал Меркулов.

– Как так?.. – с удивлением вскрикнул Морковников. – Не обедал, да и ужинать не хочет!.. На что это похоже?.. Смирять, что ли, себя вздумали?.. Нет, батюшка, этого я не позволю. Покончим с тюленем, тогда хоть совсем от еды откинись, хоть с голоду помри – тогда мне все равно... А до тех пор не позволю, ни под каким видом не позволю. Извольте-ка, сударь, идти со мной в общую залу. У Федора Яковлиха рыба отменная, по всей ярманке лучше нет. Куда до него Барбатенке, да хоша б и самому модному вашему Никите Егорову...

У них насчет рыбного тех же щей да пожире влей. Подают красиво, любо-дорого посмотреть, да еда-то нам по брюху не приходится, не по русскому вкусу она... Идем же, идем, нечего попусту ляссы точить. И схватил Меркулова за руку.

– Хоша и силком, а уж стащу друга поужинать, – говорил он. – Сердись, не сердись, по мне, брат, все едино... А на своем уж бесприменно поставлю!.. Как это можно без ужина?.. Помилуйте!

– Да ей-богу же в горло кусок не пройдет. Я так с вами давеча назавтракался, что, кажется, и завтрашний день есть не захочу.

– Нельзя, голубчик, нельзя, – стоял на своем Морковников. – Ты продавец, я покупатель, – без того нельзя, чтобы не угоститься... я тебя угощаю... И перечить ты мне не моги, не моги... Нечего тут – расходы пополам... Это, батюшка, штуки немецкие, нашему брату, русскому человеку, они не под стать... я угощаю – перечить мне не моги... Ну, поцелуй меня, душа ты моя Никита Федорыч, да пойдем скорей. Больно уж я возлюбил тебя.

И, не дождавшись ответа, купчина облапил Меркулова и стал целовать его со щеки на щеку.

– Какие бы цены на тюленя завтра ни стали, тотчас сполна чистоганом плачу, – говорил Василий Петрович. – Слова не вымолвлю, разом на стол все до последней копейки. Помни только

давешний уговорец, – гривну с рубля скостить... Уговор пуще денег... Да ну же, пойдем!.. Чего еще корячиться-то?.. Зовут не на беду, а на еду, а ты еще упираешься!.. Еда, любезный ты мой, во всяком разе первеющее дело!.. Чтоб мы были без еды?.. Опостылел бы тогда весь белый свет. А я и на предбудущую ярманку и навсегда твой покупатель. Коли хорошо пойдет завод, второе, вчетверо больше буду брать у тебя... Только того из памяти не выкидывай – гривна скидки... Да ну же пойдем... Нечего тут еще кочевряжиться!.. Пойдем, говорю, – больно уж я возлюбил тебя. И потащил Меркулова за руку.

А Митеньки все нет как нет. Что станешь делать? Пошел Никита Федорыч с безотвязным Морковниковым, хоть и больно ему того не хотелось. «Все равно, подумал, – не даст же покоя с своим хлебосольством. Теперь его ни крестом, ни пестом не отгонишь». И наказал коридорному, как только воротится Веденеев либо другой кто станет Меркулова спрашивать, тотчас бы повестил его.

Никита Федорыч с Морковниковым едва отыскиали порожний столик, – общая зала была полным-полнехонька. За всеми столами ужинали молодые купчики и приказчики. Особенно армян много было. Сладострастные сыны Арарата уселись поближе к помосту, где пели и танцевали смазливые дочери остзейцев. За одним столиком сидели сибиряки, перед ними стояло с полдюжины порожних белоголовых бутылок, а на других столах более виднелись скромные бутылки с пивом местного завода Барбатенки. Очищенная всюду стояла.

Подлетел половой в синей канаусовой рубаше, отороченной тоненькими серебряными позументами. Ловко перекинув на левое плечо салфетку и низко нагнувшись перед Морковниковым, спросил у него:

- Что потребуется вашему почтению?
- Сперва-наперво, милый ты мой, поставь нам водочки да порцию икорки хорошенькой, – сказал Василий Петрович.
- Зернистой прикажете али паюсной? – почтительно опуская глаза, спросил половой.
- Знамо, зернистой, – паюсну сам ешь, – ответил Морковников. – Самой наилучшей зернистой подавай.
- Стерляжьей не прикажете ли? Сейчас только вынули, – осклабясь во весь рот, сказал половой.
- Тащи порцию. Да балыка еще подай. Семга есть?
- Есть-с, только для вашей чести не совсем будет хороша, – ответил половой.
- Так ну ее ко псам. Икры подай да балыка, огурчиков свежепросоленных, приказывал Василий Петрович. Нехорошее подашь – назад отдам и денег не заплачу, Федору Яковличу пожалуюсь. Слышишь?
- Слушаю-с, – с лукавой улыбкой молвил половой. – Еще чего не пожелается ли вашей милости?
- Расписанье подай, – сказал Василий Петрович.
- Какое расписанье? – в недоуменье спросил половой.
- Роспись кушаньям, какие у вас готовят, – повыся голос, крикнул на него с досадой Морковников.

Карточку, значит? Сию минуточку-с, – сказал половой и подал ее Василию Петровичу.

– «Закуски, – по складам почти читает Морковников. – Икра паюсная конторская...» Мимо, – закуски мы уж заказали. «Мясное: лангет а ланглез, рулет де филе де фёб, ескалоп о трюф». Пес их знает, что такое тут нагорожено!.. Кобылятина еще, пожалуй, али собачье мясо... Слышишь? – строго обратился он к улыбавшемуся половому.

– Другой карточки не имеется-с, – ответил половой. Отчего же не имеется? – вскрикнул Василий Петрович. – Не одна же, чать, нехристь к вам в гостиницу ходит, бывают и росейские люди – значит, православные христиане. Носом бы тыкать вот сюда Федора-то Яковлича, чтобы поряд-

ки знал, – прибавил Морковников, тыкая пальцем в непонятные для него слова на карточке.

– Зачем же-с? Помилуйте, – вступился за хозяина половой. – Осетринки не прикажете ли, стерляди отличные есть, поросенок под хреном – московскому не уступит, цыплята, молодые терева.

– Слушай, давай ты нам ракову похлебку да пироги подовые с рыбой... Имеется?

– Раковый суп? Имеется-с.

– Стерлядку разварную.

– Слушаю-с.

– Осетрины хорошей с хреном.

– Слушаю-с.

– Поросенка под хреном. Это я для тебя, – обратился Морковников к Никите Федорычу. – Мне-то не следует – середя.

Меркулов не отвечал. Далеко в то время носились его думы.

– Слушаю-с, – отвечал между тем половой Морковникову.

– Цыплят жареных можно?

– Можно-с.

– Цыплят порцию да леща жареного на подсолнечном масле.

– Слушаю-с.

– Чего бы еще-то спросить? – обратился Морковников к задумавшемуся Никите Федорычу.

– Помилуйте, Василий Петрович, да и того, что заказали, невозможно съесть, – сказал Меркулов.

– Коли бог грехам потерпит, – всё, голубчик, сжует во славу господню, все без остаточка, – молвил Морковников. – Тебе особенного чего не в охотку ли? Так говори.

– Я уж сказал, что вовсе есть не хочу, – отвечал Меркулов.

– Это ты шалишь-мамонишь. Подадут, так станешь есть... Как это можно без ужина?.. Помиосердуй, ради господя! – И, обращаясь к половому, сказал: – Шампанского в ледок поставь да мадерки бутылочку давай сюда, самой наилучшей. Слышишь?

– Слушаю-с, – ответил половой.

– С богом. Ступай. Готовь живее. Лётом вылетел половой вон из залы. А на помосте меж тем бренчит арфа, звучат расстроенные фортепьяны, визжит неистово скрипка, и дюжина арфисток с тремя-четырьмя молодцами, не то жидами, не то сынами германского отечества, наяривают песенки, чуждые русскому уху. Но когда которая-нибудь из толстомясых дочерей Liv– Est– und Kurlанда выходила на середку, чтоб танцевать, и, подняв подол, начинала повертывать дебелыми плечами и обнаженною грудью, громкое браво, даже ура раздавалось по всей зале. Полупьяные купчики и молодые приказчики неистовыми кликами дружно встречали самый бесцеремонный, настоящий ярманочный канкан, а гайканский народ (Армяне.) даже с места вскакивал, страстно губами причмокивая.

– Экая гадость! – отплюнувшись брезгливо и потрянув седой головой, молвил Василий Петрович. – Сколько ноне у Макарья этих Иродиад расплодилось!.. Беда!.. Пообедать негде стало как следует, по-христиански, лба перед едой перекрестить невозможно...

Ты с крестом да с молитвой, а эта треклятая нежить (Нежить – все, что живет без души и без плоти, но в виде человека. Это не дьявол, не мертвец и не привиденье, но особые существа. По народным понятиям, к нежити относятся: домовый, леший, водяной, кикимора, шишига, лобаста, русалка и пр.) с пляской да с песнями срамными! Ровно в какой бусурманской земле!

Хорошего тут, конечно, немного, однако ж... – начал было Никита Федорыч.

– Чего тут «однако ж»? – вскинулся вдруг на него Василий Петрович. Обойди ты теперь всю здешнюю ярманку, загляни в любой трактир, в любую гостиницу – везде вопль содомский и гоморрский, везде вавилонское смешение языков... В прежние времена такого нечестия здесь и в духах не бывало. На последних только годах развелось...

Купечество того не желает, непотребство ему противно, потому хоша мы люди и грешные, однако ж по силе возможности кобей (Кобь – погань, скверность, также волхование.) бесовских бегаем... И ведь нигде, oprичь Макарья, ни на единой ярманке нет такой мерзости... Гляди-ка,

гляди, высыпал полк сатанин, расселись по стульям на помосте скверные еретицы, целая дюжина, никак...

И у каждой некошной (Некошный – нечистый, дьявольский, сатанинский.) руки, плечи и грудь наголо ради соблазна слабых, а ежели плясать пойдет которая, сейчас подол кверху, – это, по-ихнему, значит капкан (Канкан.). И подлинно капкан молодым купцам, особливо приказчикам... Распалются, разжигаются и пойдут с этими немецкими девками пьянством да всяким срамным делом займаться... И где прокудят бесу в честь эти лобасты окаянные (Лобаста – род русалки, живущей в камышах. Это некрещенные младенцы и проклятые родителями дети, нетерпеливо ожидающие конца мира, а до тех пор забавляющиеся разными проказами над людьми.), там же и крещенные трапезуют...

Глянь-ка, в углу-то что... Догадлив Федор Яковлич, и богу и черту заодно угодить хочет – на помост-от ораву немецкой нечисти нагнал, а над помостом богородичен образ в золоченой ризе поставил, лампаду перед ним негасимую теплит...

Под святыней-то у него богомерзкие шутовки (Шут, шутовка – в смысле нечистой силы. Шут – черт, шутовка – русалка и всякая другая нежить женского пола.) своему царю сатане служат бесовские молебны... У неверных, не знающих бога калмыков, доводилось мне на ярманках бывать, и у них такой срамоты я не видывал как здесь под кровом преподобного Макария, желтоводского чудотворца!..

Первостатейные купцы не один раз приговоры писали – прекратить бы это бесчинство, однако ж ихние хлопоты завсегда втуне остаются... С крестом да с молитвой пообедаешь, а места не сыщешь, а шутовкам ширь да простор. Начальство!..

Под это слово подлетел быстроногий, чистотелый любимовец и ловко поставил закуску на стол.

– А вот и икорка с балычком, вот и водочка целительная, – сказал Василий Петрович. – Милости просим, Никита Федорыч... Не обессудьте на угощение – не домашнее дело, что хозяин дал, то и бог послал... А ты, любезный, постой-погоди, – прибавил он, обращаясь к любимовцу. Половой как вкопанный стал в ожидание заказа.

– Вот что я скажу тебе, милый человек, – молвил Морковников. – Заказали мы тебе осетринку. Помнишь?

– Как можно забыть, ваше степенство? Готовят-с...

– Подай-ка ты нам ее с ботвиньей. Можно?

– Можно-с.

– А коли можно, так, значит, ты хороший человек. Тури-ка, поди, да потуривай.

Половой ушел... За водочкой да закусочкой Василий Петрович продолжал роптать и плакаться на новые порядки и худые нравы на ярманке.

– Я еще к Старому Макарью на ярманку ездил, – рассказывал он Меркулову, – так и знаю, какие там порядки бывали. Не то что в госпожинки, в среду аль в пятницу, опричь татарских харчевен, ни в одном трактире скоромятины ни за какие деньги, бывало, не найдешь, а здесь, погляди-ка, что... – Захочешь попостничать, голодным насидишься... У Старого Макарья, бывало, целый день в монастыре колокольный звон, а колокола-то были чудные, звон-от серебристый, малиновый – сердце, бывало, не нарадуется...

А здесь бубны да гусли, свирели да эти окаянные пискульки, что с утра до ночи спокою не дают христианам!.. Кажись бы, не ради скоморохов люди ездят сюда, а ради доброго торга, а тут тебе и волынщики, и гудочники, и гусяры, и свирельщики, и всякий другой неподобный клич... Слаб ноне стал народ. Последни времена!.. Ох ты, господи милостивый.

И при этом так громко зевнул, что все на него оглянулось.

Принес половой ботвинью и, перекинув салфетку через плечо, ожидал новых приказов.

– Значит, ты, милый мой человек, из места родима, из города Любима? – спросил у него Василий Петрович, разливая ботвинью по тарелкам.

– Так точно-с, любимовские будем, – тряхнув светло-русыми кудрями, с ужимкой ответил половой.

– Козу пряником, значит, кормил? – улыбаясь, примолвил Василий Петрович. (Про люби-

мовцев все эти поговорки издавна сложены народом.).

– Должно быть, что так-с... – кругом поводя голубыми глазами, с усмешкой отозвался половой.

– Ведь у вас в Любиме не учи козу – сама стянет с возу, а рука пречиста все причистит... (Про любимовцев все эти поговорки издавна сложены народом.). Так, что ли? – прищурясь, продолжал шутить Морковников.

– Кажинному городу своя поговорка есть, – молвил любимовец, перекинув салфетку с одного плеча на другое. – Еще что вашей милости потребуется?

– А вот бы что мне знать требовалось, какое у тебя имя крещеное? – спросил Василий Петрович.

– Поп Васильем крестил, Васильем с того часу и пошел я называться... отвечал половой.

– Тезка, значит, мне будешь. И меня поп Васильем крестил, – шутливо примолвил Морковников. – А по батюшке-то как тебя величать?

Петровым.

Ну, брат, как есть в меня. И я ведь Василий Петров. А прозвание-то есть ли какое?

– Как же прозванью не быть? – тряхнув кудрями, молвил половой. – Мы ведь Ярославцы – не чувашска лопатка (Чувашей зовут «чувашска лопатка»; у них все Васильи Иванычи, а прозваний нет.) какая-нибудь. У нас всяк человек с прозвищем век свой живет.

– Как же тебя прозывают?

– Полушкины пишемся.

– Ну вот прозвание-то у тебя, тезка, не из хороших, – сказал Василий Петрович. – Тебе бы, братец ты мой, Рублевым прозываться, а не Полушкиным.

– Капиталов на то не хватает, ваше степенство, – подхватил разбитной половой, лукаво поводя глазами то на Морковникова, то на Меркулова. Удостоить-те хотя маленьким каким капитальцем – Червонцевым бы стал прозываться, оно б и сходней было с настоящим-то нашим прозвищем.

– Нешто у тебя два прозвания-то? – спросил Морковников.

– А то как же-с? Полушкины пишемся, а Червецовы прозываемся, – отвечал любимовец. – По нашей стороне все так... Исстари так ведется... Как же насчет капитальцу-то, ваше степенство?.. Прикажете в надежде оставаться?немного помолчав, бойко обратился половой к Василию Петровичу.

– Надейся, тезка, надейся. Молод еще, бог даст и до денег доживешь. Дождешься времени, к тебе на двор солнышко взойдет, – сказал Василий Петрович.

– Эх, ваше степенство, ждатель-то неохота бы. Пожаловали бы теперь же тыщонку другую – и делу бы конец, – закинув назад руки и склонившись перед Морковниковым, говорил половой.

– Малого захотел! – засмеялся Василий Петрович. – Пожалуй, не снесешь такую кучу.

– На этот счет не извольте беспокоиться. Постарались бы, понатужились, – сказал половой.

– Ну, ладно, ладно, – молвил Морковников. – А ты слетай-ка к буфетчику да спроси у него еще другую бутылочку мадерцы, да смотри, такой, которую сам Федор Яковлич по большим праздникам пьет... Самой наилучшей!

Схватя порожние тарелки, Полушкин-Червецов опрометью кинулся вон из залы.

Поужинали и бутылочку с белой головкой распили да мадеры две бутылки. Разговорился словоохотный Морковников, хоть Меркулов почти вовсе не слушал его. Только и было у него на уме: «Не воротился ли Веденеев, да как-то завтра бог приведет с невестой встретиться, да еще какие цены на тюленя означатся?» То и дело поглядывал он на дверь, – «Авось Митенька не подойдет ли», – думал он. Оттого и редко отвечал он на докучные вопросы Морковникова.

– Чего молчишь? Тебя спрашиваю, – сказал, наконец, Василий Петрович, тронув Меркулова за коленку.

– Что такое? – ровно ото сна очнувшись, спросил Никита Федорыч.

– Чего нос-от повесил?..

– Спать хочется, – молвил Меркулов и зевнул во весь рот.

И впрямь, брательник, на боковую пора, – согласился Василий Петрович. Выпьем еще по ка-

лишке (Калишка – стакан, рюмка. От латинского *calix*. В великорусский народный язык перешло из Белоруссии еще в XVII столетии.), да и спать.

Взявшись за рюмку мадеры, Никита Федорыч сказал Морковникову:

– А я давеча на Нижнем базаре в гостинице знакомых разыскивал. Ту барыню встретил...

– Какую барыню? – спросил, зевая, Морковников.

– А что на пароходе-то с нами ехала, – сказал Никита Федорыч.

– Марью Ивановну? Ну вот, сударь! – молвил Василий Петрович. – Так впрямь она в гостинице пристала? Надо думать, что из своих никого здесь не отыскала... Не любят ведь они на многолюдстве жить, им бы все покой да затишье. И говорят все больше шепотком да втихомолку; громкого слова никто от них не слыхивал.

Отчего ж это? – спросил Меркулов. – Такое уж у них поведение, – сказал Морковников. – По уставу, видно, по ихнему так требуется, а, впрочем, леший их знает, прости господа.

– Да что это за фармазоны такие, Василий Петрович?.. Растолкуйте мне, пожалуйста, – с любопытством спрашивал Никита Федорыч.

– Вера такая. Потаенная, значит, – молвил Василий Петрович, отирая лицо платком и разглаживая бороду.

– Что ж это за вера? В чем она состоит? – с возрастающим любопытством спрашивал Меркулов.

– Кто их знает, в чем она состоит... Все ведь по тайности, – сказал Морковников. – У них, слышь, ежели какой человек приступает к ихней вере, так они с него берут присягу, заклиняют его самыми страшными клятвами, чтобы никаких ихних тайностей никому не смел открывать: ни отцу с матерью, ни роду, ни племени, ни попу на духу, ни судье на суде. Кнут и плаху, топор и огонь, холод и голод претерпи, а ихнего дела не выдай и тайностей их никому не открой. И еще у них, слышь, такой устав – неженатый не женись, а женатый разженись...

Хмельного в рот не берут, ни пива, ни вина, ни браги, ни даже сыченого квасу. На пиры, на братчины, на свадьбы и на крестины не ходят, песен не поют, ни на игрища, ни в хороводы, ни на другие деревенски гулянки ни за что на свете. Мясного в рот не берут, а молочное есть и в велику пятницу не ставят во грех... А впрочем, народ смирный, кроткий, обиды от них никому нет и до церкви божьей усердны... Худого за ними не видится.

– И между крестьян есть такие? – спросил Никита Федорыч.

– А то как же! – отозвался Морковников. – Сергей-то лесник, про коего вечер на пароходе у меня с Марьей Ивановной разговор был – за попа у них, святым его почитают...

– А из господ много в этой вере?

– Всякого там есть сословия: и господ, и купцов, и мужиков, – отвечал Василий Петрович. – У Марьи Ивановны вся родня, говорят, в этой самой фармазонской вере состоит... Дядя ей родной, богатый барин, Луповицким прозывается, по этой вере у них, слышь, самым наибольшим был, ровно бы архиерей... Так его в монастырь услали, в Соловках так и помер... У него Марья-то Ивановна по смерти родителей и проживала, да там этого духа и набралась...

Да что Марья Ивановна, что господин Луповицкий! Толкуют, будто из самых что ни на есть важнейших людей, из енералов да из сенаторов по той фармазонской вере немало есть... А все по тайности... Иному и хотелось бы, пожалуй, из той веры вон как-нибудь, да нельзя – в одночасье помрешь.

– Как так, Василий Петрович? – спросил Меркулов.

И сон у него прошел, про Веденеева, про невесту, про тюленя перестал думать.

– Сам я того не знаю, – отвечал Морковников, – а по людям в нашей стороне идет такая намолвка: ежели кто в ихню веру переходит, прощается он со всем светом и ото всего отрекается. «Ты прости-прощай, говорит, небо ясное, ты прости-прощай, солнце красное, вы прощайте, месяц и звезды небесные, вы прощайте, моря, озера и реки, вы прощайте, леса, поля и горы, ты прости-прощай, мать-сыра-земля, вы простите, ангелы, архангелы, серафимы, херувимы и вся сила небесная». Ото всего, значит, отрекается, со всем прощается...

И после того с него пишут портрет, а ежели некому портрета написать, берут рукописанье – и тут бывает волхвованье... Ежели кто потом в ихней вере станет не крепок, либо тайность какую

чужому откроет, на портрете лицо потускнеет, и с рукописанья слова пропадут. По тому и узнают они неверных... И тогда в тот портрет стреляют, а рукописание жгут на огне. И оттого человек тотчас помирает, хоша бы на другом конце света был... От того от самого фармазонам и нельзя из ихней веры выйти...

– Как же вы-то об этом узнали, Василий Петрович? – спросил увлекаемый любопытством Меркулов.

– Слухом земля полнится, Никита Федорыч, – отвечал Морковников. – С чего-нибудь говорят же люди... Вон за Волгой в низовых степях таких фармазонов довольно есть. Только там с чего-то их монтанами называют. А все те же фармазоны. А то еще «вертячками» их там прозывают. Года три назад довелось мне за Самару съездить, баранов в степи на вытопку сала закупал. Прожил тогда я в одном селе больше двух недель и довольно-таки наслушался про этих монтанов. Старых девок больше всего в той вере, бывают, однако, и молодые. А живут те девки от своих семейных отдельно, кельи у них на задворках особые поставлены. Про себя говорят: «Хлеба не сеем, работы не работаем, потому что сеем слово господне и работаем на бога, по вся дни живота своего в трудах и в молитве пребываем». А по вечерам, особливо под праздники, сходятся они в келью, котора попросторней, и там сначала божественные книги читают, а потом зачнут петь свои фармазонские песни. И под те песни скачут они и пляшут да вертятся по избе, оттого «вертячками» их и прозвали. А ходят завсегда в черном, когда же сойдутся на беседы, надевают белы рубахи, длинные, до самого полу... И мужчины ихнего согласу на тех беседах в таких же белых рубахах бывают – такое, значит, у них заведение. По уставу, что ли, по какому, пес их знает...

– Странно все это, Василий Петрович, – в раздумье молвил Меркулов. – А мне бы, признаться, хотелось узнать хорошенько, что это за вера такая...

– Узнавать-то нечего, не стоит того, – ответил Морковников. – Хоша ни попов, ни церкви божьей они не чуждаются и, как служба в церкви начнется, приходят первыми, а отойдет – уйдут последними; хоша раза по три или по четыре в году к попу на дух ходят и причастье принимают, а все же ихняя вера не от бога. От врага наваждение, потому что, ежели б ихняя вера была прямая, богоугодная, зачем бы таить ее? Опять же тут и волхвования, и пляска, и верчение, и скаканье. Божеско ли это дело, сам посуди...

– Странное дело! – молвил Меркулов.

– Чудное, как есть чудное, – сказал Василий Петрович. – А никак невозможно понять, потому тайность... Опять же вот еще что у них есть. Раз у хозяина, где приставал я в степях-то, с сестрой с его, с девкой, разговорился, с монтанкой тоже. Многого-то она мне не открыла, а сказала, что, по-ихнему, бог человека не всего сотворил, от бога, слышь только одна душа, а плоть от дьявола. Душа-де, как в темнице, заперта в дьявольской плоти, страдает в ней, и мучится, и тоскует, на волю-то, вишь, ей хочется вырваться. И для того-де следует плоть свою ненавидеть, потому что она – сам дьявол.

– А попы что говорят про них? – спросил Никита Федорыч.

– Что попы? Попам от них хорошо, – ответил Василий Петрович. – Говорил ведь я, что монтане по три да по четыре раза на дух ходят; попу, значит, доход. Да, кроме того, кто холстика попадье, кто овощей со своего огорода, работа какая у попа случится, без зова придут и медной копейки с него не возьмут. Оттого попы и берегут их, оттого и говорят, что они по всему приходу самые усердные... Однако ж закалякались мы с тобой, Никита Федорыч. Глянь-ка, последни остались – даже и еретицы-то спать захотели, разбрелись по своим мурьям. Выпьем-ка еще по калишке, покончим бутылку-то, да и спать айда.

Покончили бутылку и пошли. Прощаясь с Меркуловым у дверей его номера, Василий Петрович сказал:

– Так уж завтра, пожалуйста, порешим с тюленем-то. Я на тебя в полной надежде. Встанем пораньше, я схожу на Гребновскую, поразузнаю там про последние цены, и ты узнай, а там, бог даст, и покончим... Пожалуйста, не задержи. Мне бы ко дворам поскорей – завод пора в ход пускать. Если бы завтра с тобой мы покончили, послезавтра бы отправился, а товар принять приказчика оставил бы. Завтрашнего числа он должен беспрерывно сюда приехать.

Меркулов обещал.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Маленько под хмельком воротился Меркулов в свою комнату. Было уж за полночь, а Веденеева нет как нет. Придумать не может Меркулов, куда он запропастился; а еще пуще его тревожится Флор Гаврилов. В том же доме Ермолаева, в нижнем жилье, на постоялом дворе, устроенном для серого люда, нанял он крошечную каморку. Ни сон, ни еда нейдут на ум заботному приказчику, то и дело ходит он наверх проведать, не воротился ли хозяин. Чем позже становилось, тем чаще он наведывался, и каждый раз заглядывал в комнату Меркулова, не там ли хозяин. «Куда б мог деваться он?» Напрасно Меркулов успокаивал приказчика, напрасно уверял его, что Дмитрий Петрович где-нибудь в гостях засиделся. Флор Гаврилов на те речи только с досады рукой махнет, головой тряхнет да потом и примолвит:

– Ярманка, сударь, место бойкое, недобрых людей в ней довольно, всякого звания народу у Макарья не перечесть... Все едут сюда, кто торговать, а кто и воровать... А за нашим хозяином нехорошая привычка водится: деньги да векселя завсегда при себе носит... Долго ль до греха?... Подсмотрит какой-нибудь жулик да в недобром месте и оберет дочиста, а не то и уходит еще по жалуй... Зачастую у Макарья бывают такие дела. Редкая ярманка без того проходит.

Напрасно Меркулов успокаивал Флора Гаврилова, напрасно говорил он, что его хозяин не такой человек, чтобы ночью по недобрым местам шататься. Головой только покачивал приказчик.

– Бес-от силен, Никита Федорыч, – сказал он Меркулову. – Особливо силен он на таком многолюдстве при таком нечестии, как здесь. И со старыми людьми у Макарья бывают прорухи, а Дмитрий Петрович человек еще молодой... Мало ли что может случиться!..

Когда Морковников утащил Меркулова ужинать, Флор Гаврилов вышел вон из гостиницы и сел на ступеньках входного крыльца рядом с караульным татаринцем (На ярмарке обыкновенно в караульщики нанимают сергачских и васьинских татар. Это народ честный и трезвый. Чернорабочие, крючники, перевозчики – тоже больше из татар.).

Заволокло месяц тучками, и темно-синяя ночь раскинула свою пелену над сонной землей. С каждой минутой один за другим тухнут огни на земле и стихает городской шум, реже и реже стучат где-нибудь в отдаленье пролетки с запоздалыми седоками, слышней и слышнее раздаются тоскливые напевы караульных татар и глухие удары их дубинок о мостовую. С реки долетают сдержанные клики, скрип дерева, лязг железных цепей – то разводят мост на Оке для пропуска судов. С городской горы порой раздаются редкие, заунывные удары колоколов – то церковные сторожа повещают попа с прихожанами, что не даром с них деньги берут, исправно караулят от воров церковь Божию.

Грустно склонив голову, сидит Флор Гаврилов на ступеньке крыльца. С каждой минутой растет его беспокойство, и думы мрачнее и мрачнее...

– А что, знаком?... Как нынешний год на ярманке?... Ночным временем пошаливают? – немного помолчав, спросил он у татарина.

Помолчал немного и татарин, а потом сквозь зубы лениво промолвил отрывисто:

– Иок! (Нет..)

– Не слышно, чтобы кого ограбили?... аль в канаве утопили?... – продолжал Флор Гаврилов спрашивать татарина.

– Иок, – ответил, зевая, татарин.

– Хозяин мой где-то запропастился... Не попал ли на лихих людей.

– Молода хозяин? – спросил татарин.

– Молодой еще... Дмитрий Петрович Веденеев. У вас тут в номере наверху стоит, – сказал Флор Гаврилов.

– Волгам шатал, Кунавин гулял, – осклабляясь, молвил татарин. – Гулят... Кунавин... Карашо!.. – прибавил он, прищуря маленькие глазки и выказав зубы, белее слоновьей кости.

Вздыхнул Флор Гаврилов. И ему давно уж вспало на ум, что Дмитрий Петрович «гуляет». «А

как ограбят, ужокошат да в воду?..» – думает и телом и душой преданный ему приказчик.

Между тем и татарин призадумался. Разговор про то, что купец «гулят», раздражил его азиатское воображение. Ежели бы только деньги, – и он бы, Разметулла, гулял! «Много, – думает он, – здесь красавиц, только без хороших денег к ним не пускают!..» Вздыхнул, плюнул и, мерно постукивая кузьмодемьянкой (Толстая палка с сучками из можжевельника. Их делают около приволжского города Козьмодемьянска, отчего и зовутся они «кузьмодемьянками».) о каменные плиты крыльца, завел вполголоса песенку про чернооую красавицу. Пел он о том, как всемогущий аллах сотворил ее красным яхонтом, награбил лицом краше луны, алыми ланитами, что горят рубинами, бровью ночи черней, взором огненным (Перевод одной татарской песни.).

Не понимал смысла татарской песни Флор Гаврилов, но от тоскливого, однозвучного напева ее стало ему еще тошней прежнего.

– А что, князь (Татар зовут «князьями», особенно казанских. Зовут их также «знаком», хоть и в первый раз видят человека.), не слышать в самом деле, чтоб нынешней ярманкой дурманом кого-нибудь опоили да ограбили? – спросил он, когда татарин кончил песню свою.

Тот опять процедил сквозь зубы неизменное «иок». И, немного помолчав, снова завел песню про какую-то Зюльму, тоже награжденную аллахом и лицом краше полной луны, и рубиновыми щеками, и черными очами... А Флор Гаврилов, сидя рядом с татарским певцом, думает сам про себя: "Господи!.. Да что ж это такое?.. Что с ним поделалось?..

Этак совсем истоскуешься!" И только что кончил песню татарин, опять стал расспрашивать его насчет «шалостей» на ярманке. Надоед он караульщику. Сердито промолвив новое «иок» и схватив свой халат, он ушел на другое крыльцо и там завел новую песню про какую-то иную красавицу.

И час и два сидит на крыльце приказчик Дмитрия Петровича... Пусто на ярманке, ни езды, ни ходу, все стихло, утомилось. Ни на площади, ни по соседним улицам, ни по берегу Обводного канала ни души, oprичь одних караульных. Заря еще не занималась, но небосклон становился светлее... Чу!.. Кто-то по грязи шлепает... Вглядывается Флор Гаврилов – ровно бы хозяин... Вот кто-то, медленно и тяжело ступая, пробирается вдоль стенки...

Подошел под фонарь... Тут узнал Флор Гаврилов Дмитрия Петровича... «Он!.. зато весь в грязи... Никогда такого за ним не водилось!.. Шибко, значит, загулял!.. Деньги-то целы ли?.. Сам-от здоров ли?»

– Дмитрий Петрович! Вы ль это, батюшка? – воскликнул Флор Гаврилов. Что это с вами, сударь, случилось?..

– Ничего, – спокойно ответил Веденеев. – Давно ли ты приехал?

– Перед сумерками, батюшка... Перед сумерками... Да что это с вами?

– Ничего. В грязь попал, – ответил Дмитрий Петрович.

– Стосковался я, вас дожидаясь. Чего только не передумал! – говорил Флор Гаврилов. – Глядите-ка, как перепачкались, – как есть все в глине... Что это с вами случилось?

– В гостях был на той стороне, засиделся, мост развели, я нанял лодку. На перевозе темно, грязно, скользко, поскользнулся, упал, выпачкался... Вот и вся недолга, – сказал Дмитрий Петрович.

– Пальто-то просушить бы надо, да и брюки тоже... Пойдемте-ка, я вас раздену. Ишь как изгряднились.

– Не надо. Я сам, – ответил Дмитрий Петрович. – Ты где пристал?

– Да здесь же, внизу, на постоялом. Нарочно здесь остановился, к вам поближе.

– Ну, и прекрасно, – молвил Веденеев. – Завтра, как встану, тотчас ко мне приходи. Счета принеси и все. Ты на пароходе, видно, приехал?

– Так точно.

– Где сел?

– В Богородском (Село и пристань против устья Камы.)

– А баржа?

– Дня через два станет на Гребновской, я ее на буксир пароходу сдал. Мартын Семенов при ней остался, а рабочих я расчел, – ответил Флор Гаврилов.

– Дельно, – сказал Веденеев. – Сушь и коренная на ярманке в ход пошли... Долго не стану тянуть – скорей бы с рук долой... Приходи же поутру.

– Слушаю-с, – молвил Флор Гаврилов. – Ай, забыл вам сказать: в Казани знакомый ваш на пароход к нам подсел, прибыли сюда вместе. И пристал он в здешней гостинице, с вами рядом почти – семнадцатый номер. Все вас поджидал и тоже очень по вас беспокоился...

– Кто такой? – спросил Дмитрий Петрович, входя уже в дверь гостиницы.

– Меркулов, Никита Федорыч, – сказал приказчик.

– Меркулов! – радостно вскрикнул Веденеев и бегом пустился по лестнице. – Семнадцатый, говоришь? – крикнул он оставшемуся внизу Флору Гаврилову.

– Так точно. Семнадцатый. Только теперь, надо полагать, спать уж легли.

Долго взад и вперед сновал Никита Федорыч по комнате. Волнение не утихало в нем. От вина, выпитого с Морковниковым, оно еще увеличилось, и чем дольше шло время, тем волнение сильнее становилось. Разделся Меркулов, в постель было лег, но ни сон, ни дрема его не берут. Роятся думы, путаются одни с другими. Мысль о невесте сменяется докучным беспокойством о запропавшем куда-то приятеле... А он ведь получил уж письмо из Царицына, был, конечно, у Дорониных, виделся с Лизой, знает, здорова ли она, если еще больше чего-нибудь не знает... Задумается над этим, и вдруг нападет забота о тюлене. И опять: "Куда Митенька запропастился? он бы настоящую цену сказал. Барыш ли, убыток ли – только бы узнать поскорей..."

Убыток так убыток... А не должно бы, кажется, быть убыткам – вон какую цену Морковников дает..." Про Морковникова задумает Меркулов, и вспомнятся ему фармазоны. "Что за чудные люди? Что за тайная вера?... И в кого это они веруют и как они веруют?... Зачем у них клятвы и прощанье с землей, с небом, с людьми, с ангелами? Зачем они отрекаются от отца с матерью, от жены с детьми, от всех людей?... И что это за волшебные портреты?..."

С чего-нибудь пошла же об них молва... Было же что-нибудь... Неженатый не женись, а женатый разженись!.. Эх что выдумали!.. Я бы в такую веру ни за что не пошел.. На Лизе не жениться!.. Да разве это можно?.. И опять начинает думать про невесту, но вдруг ни с того ни с сего восстанет пред ним величавый образ Марьи Ивановны... И чувствует он невольное влечение к этой женщине и к ее таинственной вере.

Вдруг распахнулась дверь, и весь облепленный грязью и глиной влетел Дмитрий Петрович.

– Никита Сокровенный! – вскричал он и кинулся обнимать поднявшегося с постели Меркулова.

– Откуда это ты? – с удивленьем спросил у него Меркулов.

И он, как Флор Гаврилов, при взгляде на приятеля, сначала подумал, что он шибко где-нибудь «загулял».

– Ты-то откуда? По твоему письму к воскресенью надобно было тебя ждать. А ты вон какой прыткий! – не слушая Меркулова, говорил Веденеев и снова принялся обнимать и целовать приятеля...

– Да не грязни же меня!.. – закричал Никита Федорыч. – Скинь пальто да сюртук... Посмотри на себя, полюбуйся, весь в глине... мокрый, грязный – юша юшей (Юша -то же, что зюзя: насквозь мокрый от дождя или грязи. Слово «юша» употребляется в Москве, во Владимирской, Тамбовской, Нижегородской губерниях и далее вниз по Волге до Сызрани. Ниже Сызрани его не слышать.).

– Где это тебя угораздило?

– Да вони там, – махнув рукой в сторону, ответил Дмитрий Петрович и, подсев к Меркулову на кровать, всю ее перепачкал...

– Господи! Да что ж это такое? – вскрикнул Никита Федорыч, толкая его с постели. – Теперь надо все белье сменить. Скинешь ли ты грязное платье?..

– Сейчас, сию минуту! – быстро молвил Дмитрий Петрович. А сам ни с места. В разговоры

пустился.

– Зачем обманул? Обещался к концу недели, а сам как снег на голову... Тут хлопчут, стараются, как бы получше встретить его, подарки готовят, время рассчитывают по минутам, а он – прошу покорно!.. Невестины подарки ведь только к субботе поспеют.

– Какие подарки? Что за невеста? – вскрикнул Меркулов, а сам весь покраснел.

– Как «что за невеста»?.. Отлынивать вздумал, отречься?.. Нет, брат, шалишь – этого нельзя, – весело смеясь, говорил Дмитрий Петрович. – По нем тоскуют, убиваются, ждут его не дождутся, а он: «Что за невеста?» Завтра же нажалуюсь на тебя Лизавете Зиновьевне.

– Да с чего ты?.. Кто тебе сказал?.. – в изумленье спрашивает Никита Федорыч, а сам думает: «Как же это так? Никому ведь не хотел говорить, и вдруг Митенька все знает».

– Кто сказал? – молвил ему в ответ Веденеев. – Первый сказал мне Зиновей Алексеич, потом Татьяна Андревна, потом сама Лизавета Зиновьевна, и... Я ведь с ними еще до письма твоего познакомился. В лодке катались, рыбачили... Сегодня в театре вместе были... Ну молодец же ты, Никита Сокровенный!.. Сумел невесту сыскать!.. Это бог тебе за доброту... Право!

И снова принялся обнимать приятеля и тут совсем уж его перепачкал и вдобавок чуть не задушил в медвежьих своих объятиях.

– Да ты стой!.. Стой, говорят тебе!.. Все кости переломал, – изо всей мочи кричит Меркулов, не понимая, с чего это Веденеев вздумал на нем пробовать непомерную свою силу. – Разденешься ли ты?.. Посмотри, как меня всего перепачкал... Ступай в ту комнату, переоденься... На вот тебе халат, да и мне по твоей милости надо белье переменить.

И, вынув чистое белье, Меркулов стал переодеваться и приводить в порядок постель.

– Где ты до сей поры пропадал? – спросил он между тем Веденеева.

– Говорят тебе, в театре был с Дорониными, – кидая на пол грязное платье, отвечал Дмитрий Петрович. – На-ка вот спрячь под замок, Никита Сокровенный, – прибавил он, надевая халат и подавая Меркулову толстый бумажник.

– Театр-от в первом часу еще кончился, а теперь четвертый скоро, принимая бумажник, молвил Меркулов.

– Из театра со всей твоей нареченной родней к тезке к твоему поехали, к Никите Егорову, – сказал

Дмитрий Петрович. – Поужинали там, потолковали... Час второй уж был... Проводил я невесту твою до дому, зашел к ним, и пошли тут у нас тары да бары да трехгодовалы; ну и заболтались. Не разгони нас Татьяна Андревна, и до сих пор из пустого в порожнее переливали.

– Стой!.. – перебил Меркулов. – Разве не знали там, что я приехал?

– Да как же было узнать-то? Святым духом, что ли? – молвил Дмитрий Петрович.

– Да ведь я два раза там был, записку оставил, – сказал Меркулов. Наказывал коридорному, как только воротится Зиновий Алексеич, тотчас бы подал ему записку. Еще на чай дал ему.

– Никакой записки не подавали, и никто про тебя не сказывал, – молвил Веденеев. – Воротились мы поздненько, в гостинице уж все почти улеглись, один швейцар не спал, да и тот ворчал за то, что разбудили. А коридорных ни единого не было. Утром, видно, подадут твою записку.

– Ах он, скотина, скотина! – заочно принялся бранить Никита Федорыч коридорного, быстро ходя крупными шагами из угла в угол по номеру.

– А ты слушай, что дальше-то со мной было, – продолжал Дмитрий Петрович. – Поехал я домой – хват, на мосту рогатки, разводят, значит... Пешком было хотел идти – не пускают. «Один, говорят, плашкот уж совсем выведен». Нечего делать, я на перевоз... Насилу докликался князей (Князь – татарин. В Нижнем все почти перевозчики из татар.), пошел к лодке, поскользнулся да по глине, что по масленичной горе, до самой воды прокатился... Оттого и хорош стал, оттого тебя и перепачкал... А знаешь ли что, Никита Сокровенный?

– Что?

– Хорошо бы теперь холодненького. Поздравить бы надо тебя с нареченной... Как думаешь?..

– Где ж теперь взять его? – отозвался Меркулов.

– Мое дело. Всех перебужу, а надо будет, до самого хозяина доберусь.

– Оставим до завтра... Теперь все заперто.

– Экая важность, что заперто!.. – воскликнул Дмитрий Петрович. – Были бы деньги, и в полночь и за полночь из земли выкопают, со дна морского достанут.. Схожу распоряжусь... Нельзя же не поздравить.

И, не слушая Меркулова, пошел вон из номера. Исходил он все коридоры, перебудил много народа, но, чего искал, того не достал. И бранился с половыми, и лаской говорил им, и денег давал – ничего не мог поделать. Вспомнил, что в номере у него едва початая бутылка рейнвейна. И то хорошо, на безрыбье и рак рыба.

– Видишь! – воскликнул он, входя к Меркулову и поднимая кверху бутылку. – Стоит только захотеть, все можно доспеть!.. Холодненького не достал – так вот хоть этой немецкой кислятиной поздравлю друга любезного... Ай, батюшки!.. Как же это?.. Посудины-то нет... Из чего пить-то станем?.. А!.. нашел!..

Схватил стакан, что возле графина с водой стоял, сполоснул другой, что на чайном приборе был, и налил оба до краев.

– Здоровье жениха с невестой!.. Ура!.. – во всю мочь закричал Веденеев.

С обеих сторон в соседних номерах послышалось ворчанье, но Веденеев не унялся... У соседей послышалась брань... Кто-то, наконец, в дверь кулаком стал колотить.

– Безобразники!.. Пьяницы, черт бы вас побрал!.. Ночи на вас нет!.. Ишь разорались, беспутные!.. Прospаться не дадут!.. – неистово охрипшим голосом кричал спросонья какой-то сильно, должно быть, подгулявший купчина.

– Ай вай мир!.. Да это же никак невозможно!.. Да это же ни на что не похоже! – резким, гортанным голосом, судорожно кашляя и тоже колотя в дверь рукой с другой стороны, кричал какой-то жидок. А за ним подняли «гевалт» и другие сыны Авраама, ровно сельди в бочонке набитые в соседнем номере.

– Не кричи, – сказал Меркулов Дмитрию Петровичу. – Слышишь, всех перебудил...

– Не стану, не стану! – вполголоса заговорил Веденеев. – Это я ведь с радости... Поцелуемся, Никита Сокровенный! И опять принялся тискать в объятиях Никиту Федорыча. Тот насилу освободился от его восторгов.

– Да что ты такой? – спросил Меркулов. – Никогда таким я тебя не видывал... О деле даже спросить его нельзя.

– Дела завтра... Или нет – послезавтра... Просить буду, в землю поклонюсь, ручки, ножки у тебя расцелую!.. Ты ведь друг, так смотри же выручай меня... Выручай, Никита Сокровенный!.. Вся надежда на тебя. И, крепко обняв Меркулова, закричал:

– Удружи, не дай с тоски помереть. По гроб жизни не забуду!.. Голубчик!

Снова раздалась хриплая брань подкутившего купчины, снова завизжали горластые чада Израиля.

– Передохнуть бы вам! – плюнув на жидовскую сторону, воскликнул Дмитрий Петрович. – Дай ты мне, Никита Сокровенный, честное слово, что безо всяких отговорок исполнишь мою просьбу.

– Какую? – спросил Меркулов.

– Завтра скажу, а еще лучше – послезавтра, – волнуясь, говорил Веденеев. – А теперь вот что – слушай: не пособишь – петлю на шею, удавлюсь!.. Да!..

– Ты пьян, Митенька?

– И вовсе не пьян. И несколько даже не выпивши... После скажу, после... Дай только слово, что исполнишь просьбу... Эх, Никита Сокровенный!.. Такое дело, такое... Ну да пока помолчим... А теперь покончим бутылочку.

И, разлив по стаканам оставшееся вино, Веденеев воскликнул восторженно:

– За благополучный конец нашего дела!

– Про тюленя говоришь? – спросил у него Меркулов.

– Сам ты тюлень! Я ему, как другу, про всю свою участь, а он про тюленя!.. – вспыхливо воскликнул Дмитрий Петрович. И плюнул даже с досады.

– Да говори толком, что за дело такое? – сказал Никита Федорыч.

– Завтра скажу, – ответил Веденеев и сильно нахмурился.

– Хорошо, – молвил Меркулов. – А теперь скажи насчет тюленя. Как цена?.. Завтра поутру придется мне одно дельце покончить...

– Два рубля шесть гривен, – недовольным голосом сквозь зубы процедил Дмитрий Петрович.

– Как? – с места даже вскочив, воскликнул Меркулов. – Два шесть гривен?.. Быть не может?..

– Врать, что ли, я стану тебе?.. Вчера начались продажи малыми партиями. Седов продал тысячи полторы, Сусалин тысячу. Брели по два по шести гривен, сроки двенадцать месяцев, уплата на предбудущей Макарьевской... За наличные – гривна скидки. Только мало наличных-то предвидится... Разве Орошин вздумает скупать. Только ежели с ним захочешь дело вести, так гляди в оба, а ухо держи востро.

«Два рубля шесть гривен! – думал Меркулов. – Слава тебе, господи!.. С барышом, значит, на Лизино счастье... Пошли только, господи, доброе совершение!.. Тогда всем заботам конец!»

– Спасибо, Митенька, – сказал он, крепко сжимая руку приятеля. – Такое спасибо, что и сказать тебе не смогу... Мне ведь чуть не вовсе пропадать приходилось. Больше рубля с гривной не давали, меньше рубля даже предлагали... Сидя в Царицыно, не имел никаких известий, как идут дела у Макарья, не знал... Чуть было не решился. Сказывал тебе Зиновей Алексеич?

– Говорил, – промолвил Дмитрий Петрович. – Сколько у тебя тюленя-то?

– Тысяч шестьдесят пудов.

– Значит, тысяч восемьдесят целковых у тебя слизнули бы... Ловок!.. Умел подъехать!.. Хорошо, что остерегся Зиновий Алексеич... Не то быть бы тебе, голубчик, у праздника.

– Да кто торговал-то? – спросил Меркулов.

– Смолокуров, – сказал Дмитрий Петрович. – Марко Данилыч Смолокуров... Я ж ему и сказал, что цены на тюлень должны повыситься... Это еще было в начале ярманки... Орошин вздумал было поддеть его, цен тогда еще никаких не было; а Орошину хотелось всего тюленя, что ни есть его на Гребновской, в одни свои руки прибрать. Два рубля тридцать давал.

– Два рубля тридцать!.. В начале-то ярманки! – воскликнул Меркулов.

– Около первого спаса. В рыбном трактире тогда собрались все Гребновские, и я тут случился... Досадно мне стало на Орошина, я и покажи всей честной компании письмо, что накануне из Петербурга получил. Видят – цены в гору должны пойти... И озлобился же на меня с тех пор Орошин... До сей поры злятся...

А Смолокуров стал к себе зазывать, чествовать меня всячески... Катанье затеял в лодках, меня позвал, тут я с семейством Зиновья Алексеича и познакомился... А потом, как пришли твои письма из Царицына, Зиновий Алексеич и открылся мне, что Смолокуров, узнавши про твою доверенность, ровно с ножом к горлу стал к нему приставать, продай да продай тюленя. Цен, уверял, нет и не будет, в воду кидать доведется... По рублю с гривной, однако, давал... Хорошо, что укрепился Зиновий Алексеич... Не то бы Марко Данилыч твоим добром зашиб себе барыши, каких сроду не видывал.

– Знаком разве Смолокуров с Зиновьем Алексееичем?

– Старинные знакомые и друзья закадычные, – отвечал Веденеев. – Смолоду слыли приятелями.

– А теперь как? – спросил Меркулов.

– Так же все... – сказал Дмитрий Петрович.

– Как?.. После того, что он хотел нас обмануть?.. После того, как вздумал меня обобрать кругом?..

– Дело торговое, милый ты мой, – усмехнулся Дмитрий Петрович. – Они ведь не нашего поля ягода. Старого леса кочерги... Ни тот, ни другой даже не поморщились, когда все раскрылось... Шутят только да посмеиваются, когда про тюленя речь заведут... По ихнему старому завету, на торгу ни отца с матерью нет, ни брата с сестрой, родной сын подвернется – и того объегорь... Исстари уж так повелось. Нам с тобой их не переделать.

– Будет же когда-нибудь конец этому безобразию? – молвил Меркулов.

– Мы с тобой не доживем, хоть бы писано на роду нам было по сотне годов прожить... Сразу старых порядков не сломаешь... Поломать сильной руке, пожалуй, и можно, да толку-то из того не

выйдет... Да хотя бы и завелись новые порядки, так разве Орошины да Смолокуровы так вдруг и переведутся?.. Станут только потоньше плутовать, зато и пошире.

– Пойдет правильная торговля – не будет обманов, – молвил Меркулов.

– Правильная торговля! Правильная торговля! Из книжек ты знаешь ее, Никита Сокровенный, а мы своими глазами ее видали, – перебил Дмитрий Петрович. – Немало, брат, покатался я за границей, всю Европу исколесил вдоль и поперек... И знаю ее, правильную-то торговлю... И там, брат, те же Смолокуровы да Орошины, только почище да поглаже... И там весь торг на обмане стоит, – где деньги замешались, там правды не жди... И за границей, что и у нас ладят с тобой дело, так спереди целуют, а сзади царапают... Один громко о чести кричит, другой ловко молчит про нее, а у всех одно на разуме: как бы половчей бы тебя за нос провести.

– Помилуй!.. Да ведь там и правильный кредит, и банки, и банкиры везде.

– Распервейшие мошенники, – молвил Веденеев и стал собираться в свой номер. – Знаешь, когда пойдет честная, правильная торговля?

– Когда?

– Когда из десяти господних заповедей пять только останется, – сказал Дмитрий Петрович. – Когда люди до того дорастут, что не будет ни кражи, ни прелюбодеяния, ни убийств, ни обид, ни лжи, ни клеветы, ни зависти... Одним словом, когда настанет Христово царство... А до тех пор?.. Прощай, однако, спать пора...

И в меркуловском бухарском халате, в запачканной фуражке на голове, с грязным платьем под мышкой, со свечкой в руках пошел он вдоль по коридору. Немного не доходя до своего номера, увидел Дмитрий Петрович – кто-то совсем раздетый поперек коридора лежит... Пришлось шагать через его, но, едва Веденеев занес ногу, тот проснулся, вскочил и, сидя на истрепанном войлоке, закричал:

– Что ты тут делаешь? – и схватил Веденеева за полу.

– Видишь, иду, – отвечал Дмитрий Петрович.

– А это что?.

– Платье.

– Чье?

– Мое.

– Так, любезный, не водится... – вскочил и, заступая дорогу Веденееву, закричал тот. – По чужим номерам ночью шляться да платье таскать!.. За это вашего брата по головке не гладят.

– С ума ты сошел? – вскинулся на него Веденеев. – Как ты смеешь?

– Нечего тут: «как смеешь»!.. Куда идешь? – грубо ухватив Дмитрия Петровича за руку, с угрожающим видом кричал коридорный.

– В девятый.

– Откуда?

– Из семнадцатого.

– Там спят теперь!

– Нет, не спят, пойдем, коли хочешь, туда.

– Пойдем.

И, схватив под руку Дмитрия Петровича, потащил его к Меркулову.

– Ишь какой народец проявился!.. Из Москвы, должно быть!.. – громко дорогой ворчал коридорный. – Не проснись я во-время, и концы бы в воду... Пойдем брат, пойдем, а поутру расправя... Перестанешь чужое платье таскать...

Дверь у Меркулова была уж заперта. Веденеев подал голос. Дело тотчас разъяснилось. Новый коридорный, еще не знавший в лицо жившего с самого начала ярманки Дмитрия Петровича, растерялся, струсил и чуть не в ногах валялся, прося прощения. Со смеху помирили Меркулов с Веденеевым.

– Однако ж ты, Митенька, целую ночь с приключениями, – весело смеясь, шутил Никита Федорыч. – То в грязи вывалиешься, то воровать пойдешь. Хорош, нечего сказать!

– Как же ты не узнал меня? – спрашивал коридорного Веденеев. – Ведь я три недели уж здесь живу. Мог бы, кажется, приглядеться.

– Сегодня только поступил, ваше степенство, – отвечал коридорный. Внове еще. Простите Христа ради.

– Ничего, братец, ничего. Ты молодец, увижу завтра Федора Яковлича, похвалю тебя, – говорил Веденеев. – Как тебя звать?

– Парменом, – тихо промолвил коридорный.

– По батюшке?

– Сергеев.

– Вот тебе, Пармен Сергеич, рублевка за то, что исправно караулишь. А теперь возьми-ка ты мое платье да утром пораньше почисти его хорошенько... Прощай, Никита Сокровенный!.. Покойной ночи, приятного сна.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Не вдруг забылся сном Никита Федорыч, хоть и было теперь у него много полегче на душе... "Лиза здорова, подарки готовит, ждет не дождется, думает он. – Что за встреча будет завтра!.. Истосковалась, говорит Митенька...

Голубушка!.. Зато это уж в последний раз – не будем больше разлучаться... Дела, слава богу, поправились, да еще как поправились-то, не чаял... Два рубля шесть гривен!.. Это почем же Морковникову придется?.. Двадцать шесть вон. Два рубля тридцать четыре... Так... Остальное Смолокуров либо Орошин не купят ли?.. Любят они товарец к одним рукам прибирать!.. С такими, как мой объедало Василий Петрович, не в пример лучше водиться!.. А все-таки и он норовит хоть чем-нибудь поприжать. Ничего не видя и сам еще цены не зная, десять копеек успел-таки выторговать... Лесом тоже промышляет... У той, как бишь ее... у Марьи Ивановны у этой... Что это за вера такая?.. От неба, от земли, от людей отрекаются!.. Зачем?.. Кому служат?.. Во что веруют?.. А Митенька-то как перепачкался!.. Умора!.. Везде обман, говорит... Спросить его про фармазонов... Не знает ли, зачем они отрекаются?..

И, думая о фармазонах, крепко заснул.

Дмитрий Петрович весел был, радостен. Один в номере, а то и дело смеется. Вспомнит, как его за вора сочли, – хохочет, вспоминая, как по глине катился, – хохочет, вспомя, как Меркулова всего выгрязнил, – еще пуще хохочет. Вечер, проведенный в театре, весело настроил его. Показалось ему, что и Наташа как-то особенно на него поглядывала, и у него при каждом ее взгляде сердце билось и чаще и сильнее... Плясать бы, скакать бы – да в театре нельзя, такая досада... За ужином рядом с Наташей сидел. Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем все про дела толковали, а Татьяна Андревна с Дуней да с Лизой разговаривала, он с Наташей словами перекидывался. Говорили о пустяках, но пустой разговор казался ему и умным, и острым, и занимательным – так было ему весело...

Когда входили в гостиницу, ночник догорал, на лестнице было темно. Идя сзади всех, взял он ее за руку, взял выше локтя, чтобы не оступилась впотьмах, и, когда почувствовал теплоту ее тела, невыразимо сладостное чувство разлилось по всему существу его... Дома она тотчас же ушла в свою комнату, долго и напрасно он дожидался, чтобы хоть разок еще взглянуть на нее... Не вышла... Сидя в лодке, потом пробираясь пешком к гостинице, все рассчитывал, скоро ли придет Меркулов... Все хотел рассказать ему, все до последней капельки и потом просить его, высватал бы ему Наташу. «Ему теперь можно, – думал Дмитрий Петрович, – он теперь у них свой человек...» Оттого так и обрадовался он, когда узнал от Флора Гаврилова о неожиданном приезде приятеля... Сейчас же, как только встретился с ним, хотел высказаться, но отдумал, решил до другого дня оставить... А тут Меркулов с тюленем да с торговыми порядками...

Не скоро забылся он. И в мечтах наяву и во сне виделись ему маленький ротик, тоненький носик, алые щечки да ясные глазки.

Несмотря на плотный ужин и на две бутылки мадеры, целиком почти оставшиеся за одним Василием Петровичем, он встал еще задолго до ранней обедни и тотчас пошел пешком на Гребновскую. Толкнулся на тот, на другой караван, везде в одно слово: третьего дня началась продажа тюленя; прежде цен вовсе не было, а теперь поднялись до двух рублей шесть гривен. Дён через пяток, говорили ему на Гребновской, до трех целковых, пожалуй, дойдет... Поморщился Морковников, не ожидал он таких цен... «Хоть бы маленько дешевле купить у Меркулова, – думает он. – Опрочь обещанной гривны, еще бы две, три, а не то и четыре с костей долой... Парень он, кажется, простой, нетертый, в переделах, видится, еще не бывал, кажись бы можно его обойти... Попробую!»

Походив по Пескам, Василий Петрович и на обратный путь извозчика не взял. Зачем лошадей гонять, коли свои ноги носят?... Устанешь – так можно отдохнуть... В белую харчевню зашел чайку испить. На горах городской стороны раздался в это время звон с пятидесяти колоколен – обедня, значит, девять часов. Посмотрел Василий Петрович на старинные серебряные, луковицей, часы, что висели у него на перекинутой через шею голубой бисерной цепочке. Верны – и на них девять часов. "Авось проснулся Меркулов, – подумал Морковников и пошел в гостиницу Ермолаева, но у Меркулова, как говорится, и конь еще не валялся. В свой номер прошел Василий Петрович, от нечего делать самовар потребовал и в другой раз напился чаю. Опять понаведаясь к Меркулову – спит... «Эх, его с дороги-то как развальяло, подумал Василий Петрович, – десять часов скоро, а он, ровно барин, почивать изволит; немного, видно, заботушки в молодой головушке. А у нашего брата забот да хлопот не оберешься, оттого и сон воробыный». Что же, однако, делать? Не сидеть же сложа руки. И вздумалось Василью Петровичу в мыльные ряды сходить, они же рядом почти. «Товар посмотрю, – думает он, – с кем-нибудь из мыльников потолкую, может статься на пользу себе узнаю что-нибудь».

Обширные лавки мыльных рядов с полу до потолка завалены горами разного мыла, ящиками со стеариновыми и сальными свечами и бочками с олеином. Позадь лавок по широким дворам едва можно пройти – бунты с мылом и свечами, укрытые от дождей плотными циновками, навалены там в громадном количестве. Подошел Василий Петрович к угловой лавке. В дверях стоит казанский татарин – ростом невелик, зато в плечах широк, с продолговатым лицом, с узенькими выразительными глазками и с редкой бородкой клином. Был одет татарин в коричневый кафтан особого покроя, на крючках, с ситцевыми отложными воротничками и в блестящей, золотом расшитой тюбетейке на гладко выбритой голове. Видя, что Морковников внимательно присматривается к стоявшим на прилавках золотом и яркими красками испещренным коробочкам, счел он его за городского (Городовыми на Макарьевской ярманке называются все не московские купцы. Нижегородские тоже зовутся городовыми.) и тотчас зазвал к себе.

– Мыла надо, знаком? – скороговоркой начал татарин. – Гляди, розова мыла, яична мыла, первый сорт, сама лучша мыла... Купи – карошим девкам мыть... Нюхай... Нюхай, знаком, ничего.

И ткнул прямехонько в нос Василью Петровичу коробочкой с розовым мылом.

– Бергамотова надо?... Бери бергамота. Вот она сама лучша бергамотова мыла – нюхай!.. Гвоздична надо? Вот гвоздична сама перва сорт – нюхай... Миндална хочешь, вот миндална – сама лучша, бальши гаспада миндална мыла моют – нюхай... Бела ядра хочешь? Бери бела ядра, вот сама лучша бела ядра: в бане болна караша.

Перенюхал Морковников и розовое мыло, и бергамотовое, и гвоздичное, и миндальное, а в глыбу белого ядра пальцем ткнул, попробовал, насколько крепко плотно сварено.

– Не такого мне надо... – сказал. – Покажь ты мне, князь, самого простого.

– Желта мыла хочешь? Вот желта мыла, гляди, говорил татарин, подводя его к простому мылу.

– Не этого, а того, что из рыбьего жира. Тюлень... Знаешь, тюлень?

Мотнул татарин головой, сказал, что нет у него такого нехорошего мыла, и, отвернувшись, не стал больше разговаривать с Василием Петровичем.

Нашел, наконец, Морковников такое мыло, что задумал варить. Но русский мыловар из одного маленького городка не был разговорчив. Сколько ни расспрашивал его Морковников, как

идет у него на заводе варка, ничего не узнал от него. Еще походил Василий Петрович по мыльным рядам, но, нигде не добившись толка, стал на месте и начал раздумывать, куда бы теперь идти, что бы теперь делать, пока не проснется Дмитрий Петрович.

Идет навстречу в потертой синей сибирке молодой парень, плотный, высокий, здоровый, с красным лицом и подслеповатыми глазами. Несет баклагу со сбитнем, а сам резким голосом покрикивает:

– Эй, сбитень горячий, медовый, самый горячий, с гвоздичкой, с коричкой, с лимонной корочкой! Сбитень горячий – пьют его подъячи, сбитень-сбитенёк – пьет его щеголек, пьет-попивает, сам похваливает... Наливать, что ли-с?

– Налей стакашек от нечего делать, – молвил сбитенщику Василий Петрович.

Хоть сейчас он в два приема не одну дюжину чашек чаю опростал, но принялся прихлебывать горячий сбитень, чтобы только чем-нибудь время убить. Потом подошел к горам арбузов, наваленных на разостланные по мостовой рогожки. Тоже от нечего делать стал арбузы выбирать, перерыл едва не все кучи, каждый арбуз и на ладонях-то подбрасывал, и жал изо всей силы руками, и прикладывал к нему ухо, слушая, каково трещит, а когда торговаться зачал, так продавец хоть бы бежать от такого покупателя. Купил-таки Василий Петрович пару арбузов и отправился с ними в гостиницу... Одиннадцать было, и сказали ему, что Меркулов за чаем сидит...

Очень обрадовался тому Василий Петрович и тотчас пошел к нему. У Меркулова сидел Веденеев. Досадно было это Морковникову – при стороннем человеке как-то неловко было ему дела по тюленю кончать, но не вон же идти – остался.

– Ходил на Гребновску, – начал Василий Петрович, отирая синим бумажным платком раскрасневшееся и вспотелое лицо. – Со вчерашнего, слышь, только дня торговля у них маленько зашевелилась. Про цены спрашивал – сказали, по два рубля по сороку продают.

– По два рубля по сороку? – с улыбкой спросил Меркулов, переглядываясь с Дмитрием Петровичем. – Неужели только, Василий Петрович?

– По два рубля по сороку, – нимало не смущаясь, повторил Морковников. – Все, почитай, караваны обошел – везде в одно слово: два рубля сорок.

На то рассчитывал Морковников, что Меркулову не от кого еще было настоящих цен узнать.

– А я полагал, Василий Петрович, что цены-то маленько повыше, – сказал Меркулов. – Неужли в самом деле только два рубля сорок копеек?..

– Врать, что ли, стану? Говорят тебе, все караваны обошел, – отвечал Морковников.

Не ответил ни слова Меркулов и о чем-то постороннем спросил Веденева. Маленько обождав, молвил Василий Петрович:

– По вечорошнему уговору, надо, значит, с меня по два рубля по шестнадцати копеек получить. Бери задаток!.. Останные тотчас, как только у маклера покончим...

– Зачем торопиться, Василий Петрович?.. Баржи мои еще дня через два либо через три прибегут. Успеем, – сказал Меркулов.

– Теперь бы лучше решить. По рукам бы и шабаш, – заметил Морковников.

– Нет уж, лучше подождем денька-то три, – молвил Никита Федорыч. – Дело ведь не убежит, а я меж тем на Гребновской и сам побываю.

– Напрасно, – с недовольным видом сказал Морковников. – Право, напрасно. Лучше бы теперь покончить. Я бы, пожалуй, все деньги сейчас же на стол положил.

– Дня через три все покончим. Потерпите немножко, – стоял на своем Никита Федорыч.

А это как же у нас будет? – спросил Морковников. – Вечор уговорились мы по той цене продать, какая будет сегодня стоять... Так али нет?

– Так, – подтвердил Меркулов. А ежели через три-то дня цены поднимутся? – спросил Морковников.

– Не отрекусь от слова, по уговору отдам, по той цене, что сегодня будет, – ответил Меркулов. – Мы вот как сделаем, Василий Петрович. Ужо часа в три будьте дома, я зайду за вами и вместе поедем на биржу. Там узнаем настоящую цену, там, пожалуй, и условие напишем.

– Напрасно, – вздохнувши, молвил Морковников. – Теперь бы не в пример лучше было покончить... Ей-богу!.. Ну, а ежели к трем-то часам цены поднимутся?..

– По биржевой цене решим – так везде водится, сказал Меркулов.

– Это уж будет маленько обидно... Вы уж сделайте такую милость, из двух рублей из сорока копеек расчесть со мной учините.

– Послушайте, Василий Петрович, вы ведь знаете, что цена на тюленя каждый день поднимается? – сказал Меркулов.

– Потому и прошу, – ответил Морковников. – А тебе еще на три дня вздумалось откладывать. Ну как в три-то дня до трех рублей добежит?.. Тогда уж мне больно накладно будет, Никита Федорыч. Я был в надежде на твое слово... Больше всякого векселя верю ему. Так уж и ты не обидь меня. Всего бы лучше сейчас же по рукам из двух рублей сорока... Условийцо бы написали, маклерская отсель недалече, и было б у нас с тобой дело в шляпе...

– Нет, мы вот как сделаем, – с места вставая, решительно молвил Меркулов. – На бирже по вчерашней цене расчет сделаем. Согласны?

Делать было нечего. Извернуться Морковникову уж никак нельзя. Замолчал он и в досаде, глухо, сквозь зубы промолвил:

– Ладно.

– Так я в исходе третьего буду вас ждать, – сказал Никита Федорыч.

– Ладно... Будем, – отвечал Морковников и, сумрачный, тихо пошел вон из номера.

– Ловчак же у тебя этот Василий Петрович!.. Провор! (Ловчак и провор – ловкий, расторопный, а также и плут.) – молвил Веденеев по уходе Морковникова. – Где это ты этакого выкопал?

– От Василя на пароходе вместе бежали, – ответил Меркулов... – От скуки разговорились; он мыловарню заводит, ну и стал у меня тюленя торговать...

– А ты сейчас и расщедрился. Не говоря худого слова, тотчас ему десять процентов и спустил! – с усмешкой молвил Дмитрий Петрович.

– Побывать бы тебе в моей шкуре, так не стал бы подшучивать, – сказал на то Меркулов. – Пишут: нет никаких цен, весь товар хоть в воду кидай... Посоветоваться не с кем... Тут не то что гривну, полтину с рубля спустишь, только хоть бы малость какую выручить... Однако ж мне пора... Где сегодня свидимся?

– Право, не знаю – отвечал Дмитрий Петрович. – Я бы и сам к Зиновью Алексеичу поехал, да теперь как-то неловко.

– Что ж тут неловкого-то? – спросил Меркулов.

– Как же?.. Ты приедешь... встреча... тут не до сторонних... Стеснишь... Совестно как-то...

– Э, полно! Там ведь знают, что мы с тобою приятели...

– Знать-то знают. Только мне уж лучше в иное время у них побывать... А сегодня бы мне поговорить с тобой надо.

– Говори, покамест одеваюсь, – сказал Меркулов.

– Нет, так нельзя... После... – немножко заминаясь в речах, говорил Дмитрий Петрович. – Ужо как-нибудь... Вечерком, что ли, когда от невесты воротиться... Ты ведь к ней на весь день?..

– А на биржу-то с Морковниковым? – молвил Меркулов.

– А потом?

– Потом... Потом опять к ним...

– То-то же. Нет уж лучше вечером об моем деле потолкуем, – сказал Веденеев и пошел от Меркулова.

«Что бы это значило? – мелькнуло в уме Никиты Федорыча. – Что за дело такое?.. Отчего это он такой?..»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Спешно Меркулов катит на свиданье. Сверкая копытами, резво вдоль по мосту несется запряженная в щегольские легкие дрожки казанка (Казанка, иначе татарка, – лошадь казанской породы, малорослая, плотная, долгогривая, саврасой или бурой масти; часто из казанок бывают иноходцы.). Горя нетерпением увидеть невесту, чуть не на каждом шагу Меркулов сердито кричит лихачу, ехал бы шибче, мчался бы вскачь, во весь опор... То бранится, то щедро на водку сулит,

но ухарский лихач, сколько ему ни усердствует, разгонять иноходца больше не может – не ломать же воза, не давить же народ – недаром, нагайки подняв, шажком разъезжают по мосту взад и вперед казаки. Досада берет жениха, что мешкотно едет извозчик, так бы взял и махнул за Оку да как лист пред травой стал бы перед милой невестой.

"Как обрадуется! – думает он, представляя любящее, правдой и девственной чистотой сияющее личико Лизы... – Кинется навстречу, крепко обнимет!.. Какой поцелуй после долгой разлуки!.. Тоскует, ждет не дождется, говорил вчера Веденеев... Ах, милая, милая!.. А может быть, он только так сказал, выдумал!.. Не такая она, чтобы сторонним открывать свои думы и чувства. Матери и сестре не скажет, а не то что Митеньке – такой уж скрытный, таймный (Таймный – скрытый, неоткровенный.) нрав у нее. Это он из дружбы ко мне говорил, порадовать хотел... Слово зря сорвалось у него..."

Целых пять месяцев не виделись мы... Сколько в эти месяцы она передумала, сколько перевидала людей... Может, стала уж не та, как прежде была?.. Может, узнала кого-нибудь лучше меня, и умнее, и красивее..."

И от одной мысли об этом сердце скорбной грустью у него заныло и на душу пала тревога.

"А ежели разлюбила?.. Прямо спрошу у нее, как только увижусь... не по ответу – а по лицу правду узнаю. На словах она не признается – такой уж нрав... Из гордости слова не вымолвит, побоится, не сочли б ее легкоумной, не назвали бы ветреницей... Смолчит, все на душе затаит... Сторонние про сватовство знают. Если Митеньке сказано, отчего и другим было не сказать?..

Хоть бы этому Смолокурову?.. Давний приятель Зиновью Алексеичу... Нет ли сына у него?.."

Колеблемый невесть отколе налетевшим сомнением, смущаясь перед им же самим созданными страхами, тихо поднимался Меркулов по ступеням лестницы в гостинице Бубнова... «Как-то встретит, каково-то приветит?» – вертится у него на уме.

Шуршит тяжелое, плотное шелковое платье. Поднял Никита Федорыч голову... Вся в черном, стройная станом величавой, осанистой походкой медленно навстречу ему сходит с лестницы Марья Ивановна... Поверставшись, окинула его быстрым, пристальным взглядом... Что-то таинственное, что-то чарующее было в том взоре... Узнала, должно быть, пароходного спутника, улыбнулась строгой, холодной улыбкой... И затем медленно мимо прошла.

«Фармазонка!.. Перед добром ли?» – подумалось Меркулову, и томительным чувством сжалось его сердце.

Подошел к номеру Зиновья Алексеича. «Господи помилуй!» – прошептал он, робкой рукой растворяя входную дверь...

Вся в белом Лиза стоит у окна, склонясь над связкой поставленных в воду ярких цветов. Заслышав шаги, быстро она обернулась:

– Как это ты?.. Как же вы?.. Так скоро! Мы вас ждали к воскресенью!..

Смутилась и смолкла. Стыдливым румянцем подернулось оживленное радостью личико, восторгом вспыхнули очи, но вдруг застенчиво поникли... Пять месяцев назад, чуть не накануне отъезда Меркулова из Москвы, она дала ему слово. Не успели еще тогда жених с невестой договориться до сердечного «ты». Под впечатленьем неожиданной встречи, полная любовью и счастьем, забыв заведенные обычаи, Лиза «ты» сказала желанному гостю. Так привыкла она его называть в своих думах...

Но только что успела выронить задушевное слово, стало ей совестно и стыдно... И потушила она заблиставшие счастьем глаза... Меркулов понял иначе... Захолонуло у него сердце, омрачилось, побледнело лицо. Подошел он к Лизе, чинно протянул руку и холодно молвил:

– Здравствуйте, Лизавета Зиновьевна! Сбежал румянец с ее лица. Широко раскрыв испуганные глаза, в изумленье глядит она на своего Никитушку... Чинно поцеловал он протянутую руку, и вздрогнула Лиза от его холодного поцелуя... Чуть сдерживая слезы, усиленно подавляя вздохи, отступила она шага на два...

Влажные глаза и легкое вздрагиванье всего тела ясно выражали, каково ей было. «Разлюбил... Раздумал!» – сверкнуло в мыслях, и будто стальными тисками кто-то сдавил ей голову. «Господи боже мой! Что ж это будет?» – подумала она и не могла больше сдерживать слез... Мел-

кими струйками полились хрусталики по бледным ланитам.

Таково вышло первое свиданье после долгой разлуки... И бог знает, чем бы оно кончилось, если б сидевшей в смежной комнате Татьяне Андревне не послышался тихий, сдержанный голос Никитушки. Распахнув быстро двери, вбежала она и, сияя весельем и радостью, обняла голову Меркулова, горячо целовала его и кропила слезами омрачившееся его лицо.

– Никитушка!.. Родной ты мой! – воскликнула она. – Насилу-то!.. Дождаться тебя не могли!.. Голубчик ты мой!.. Погляди на нее, извелась ведь вся – ночей не спит, не ест ничего почти, слова не добьешься от нее. Исстрадалась, измучилась... Шутка сказать – без малого пять месяцев!..

Зиновий Алексеич вышел на говор и крепко обнял нареченного зятя. С веселым смеющимся лицом вбежала Наташа. Меркулов подал ей руку.

– Прошу покорно! Ровно с чужой здоровается!.. – хлопнув Меркулова по руке, засмеялась Наташа и потом, обняв «брatца Никитушку», крепко поцеловала его.

– А мы по твоему последнему письму раньше воскресенья тебя не ждали, молвил Зиновий Алексеич. – Как это удалось тебе таково скоро выплыть из Царицына?

– В Казани сел на пароход, – ответил Никита Федорыч.

– Сегодня приехал?

– Да... сегодня... то бишь вчера... Перед вечером – часов этак в семь, должно быть, – рассеянно и как-то невпопад говорил Меркулов, то взглядывая на Лизу, то, видимо, избегая ее огорченных взоров.

– Отчего ж до сих пор глаз не показал?.. А еще жених! – попрекнула его Татьяна Андревна.

Вчера вечером два раза к вам приезжал, записку даже оставил. Долго за полночь ждал, не пришлете ли за мною, – говорил Меркулов.

– Как так? Никакой записки от тебя не было, – сказал Зиновий Алексеич. И позвонил.

Пришел на зов коридорный и разъяснил все дело. Вчерашний дежурный, получив от Меркулова рублевку, делом не волоча, тотчас же выпил за его здоровье. А во хмелю бывал он нехорош, накричал, набуянил, из постояльцев кого-то обругал, хозяина заушил и с меркуловской запиской в части ночевал.

– А вы вчера веселились, были в театре, у Никиты ужинали?.. – говорил Меркулов Зиновью Алексеичу, чуть взглядывая на безмолвно стоявшую одаль невесту.

– Успел, значит, с приятелем повидаться! – отозвался Доронин. – Какой славный твой Дмитрий Петрович!.. Редкостный человек, неописанный... Про цены-то сказывал тебе?

– Сказал, – ответил Меркулов. – Ужо на бирже частицу продам.

– Экой провор! – ласково ударив по плечу нареченного зятя, молвил Зиновий Алексеич. – Молодцом, Никитушка! Не успел приехать, и товар к нему еще не пришел, а он уж и сбыл его... Дело! Да что ж мы стоим да пустые лясы-балясы ведем? – вдруг спохватился Доронин. – Лизавета Зиновьевна, твое, сударыня, дело!.. Что не потчуешь жениха?.. Прикажь самоварчик собрать да насчет закусочки похлопочи...

Рада была Лиза отцову приказу. Тяжко и скорбно было у ней на душе, выплакаться хотелось... Выйдя в другую комнату, распорядилась она и чаем и завтраком, а потом ринулась на диван и болезненно зарыдала. «За что это? скорбно шептала она. – Господи, за что это?.. Что я такое сделала, чем провинилась? Разлюбил!.. Раздумал!.. Другую нашел?..»

И, только что мелькнула у ней ревнивая мысль, как раненая львица, вскочила она с дивана, гневным огнем вспыхнули очи ее, руки стиснулись, и вся она затрепетала... Но ни слез, ни жалоб, ни стенаний...

Села в уголок, призадумалась. Не об нем кручинные мысли, о самой себе Лиза размышляет. До тех пор злоба еще никогда не мучила души ее, никогда еще не бывало в ней того внутреннего разлада, что теперь так мучил ее. Всегда, сколько ни помнила себя Лиза, жила она по добру и по правде, никогда ее сердце не бывало причастно ни вражде, ни злой ненависти, и вдруг в ту самую минуту, что обещала ей столько счастья и радостей, лукавый дух сомненья тлетворным дыханьем возмущил ее мысли, распалил душу злобой, поработил ее и чувства, и волю, и разум. Содрогнулась при мысли, что подчинилась врагу, что дух неприязни осетил ее... Пала ниц перед иконами...

А Зиновий Алексеич осыпал меж тем нареченного зятя расспросами о делах его. С добро-

душной усмешкой рассказывал он, как подъезжал к тюленю Смолокуров, как подольщался и хитрил, ища барышей... Перебивая чуть не на каждом слове мужа, Татьяна Андревна расспрашивала Никитушку, каково было его здоровье, тужила о пережитых невзгодах, соболезновала неудачам и, наконец, совсем перебив мужнины расспросы, повела речь о самом нужном, по мнению ее, деле – о приданом. Подробно рассказала, с каким именно «божиим милосердием» отпустят Лизу из дома, сколько будет за ней икон, в каких ризах и окладах, затем перечислила все платья, белье, обувь, посуду, серебро, дорогие наряды и, наконец, объявила, сколько они назначают ей при жизни своей капиталу...

Затем спешно было пошла из комнаты за рядною записью (Письменное условие по случаю брака с росписью приданого.). Напрасно Меркулов уговаривал ее не беспокоиться, напрасно говорил, что он и знать не хочет о приданом, а на рядную запись даже не взглянет.

– Нельзя, батька, нельзя без того, – говорила Татьяна Андревна. – Как же это возможно жениху наперед не знать, чем награждают невесту родители?... Так, мой голубчик, в добрых людях не водится... А ты вот денька два либо три отдохни с дороги-то и, когда оглядишься, я тебе по описи все приданое покажу, какое здесь с нами, а остальное покажу, когда домой воротимся. Тогда и рядную подпишем. Без того, сударь, нельзя...

Старых обычаев, что от дедов, от прадедов ведутся, рушить, голубчик, нельзя; особливо на свадьбах. И перед богом грех и перед людьми будет стыдно. Не нами, сударь, повелось, не нами и кончится.

И все-таки пошла за рядною записью. Увидев Лизу в слезах, руками только всплеснула Татьяна Андревна.

– Что это с тобой, Лизанька? – в тревожном удивлении она спросила ее. В кои-то веки жениха дождалась, чем бы радоваться да веселиться, шагу от него не отходить, а она, поди-ка вот, забила в угол да плачет... Поди, поди, бесстыдница! Ступай к жениху... Я ему рядную сейчас стану показывать... Тебе надо быть при этом беспрерывно.

– Не по себе мне что-то, маменька... нездоровится... – тихо промолвила Лиза.

– А ты подь туда да сядь рядом с женихом-то. Всяку болезнь как рукой снимет, – говорила Татьяна Андревна. – Поди же, поди, Лизавета, ступай, говорят тебе, ступай к нему поскорее – твое место там, а не здесь. На что это похоже?... Приехал жених, а она хорониться от него вздумала. Ступай же, ступай!

И, взяв за руку, вывела Лизу в ту комнату, где оставался Меркулов. А у самой рядная запись в руках.

Посадив возле себя за стол с одной стороны Меркулова, а с другой Лизу, Татьяна Андревна медленно стала вычитывать:

– Образ всемилостивого спаса в серебряной ризе позолоченной, с таковыми ж венцом и цатою, да образ пречистые богородицы Тихвинские, риза и убрус жемчужные, звезда на убрусе двенадцать камней бриллиантовых да камень рубин красный. Образ преподобных Захария и Елизаветы, риза серебряная позолочена с таковыми ж венцами; да образ Николы Святителя, риза серебряная позолочена, да образ Гурия, Симона и Авива в серебряной ризе позолоченной; да образ великомученицы Варвары, оклад серебрян позолочен. А всего четыре образа в серебряных позолоченных ризах, да один низан жемчугом с камнями, да один в серебряном золоченом окладе. Да приданого ж: серьги бриллиантовые трои, ожерелье бриллиантовое на шею да жемчуга кафимского пять фунтов крупного, низан на двенадцать ниток...

Больше четверти часа Татьяна Андревна читала рядную. Лиза сидела, потупя глаза и поникнув головою, а жених, облокотясь о стол, казалось, внимательно слушал.

Но чтение о бархатных салопах, о шелковых платьях, о белье голландского полотна, о серебряной посуде и всяком другом домашнем скарбе, заготовленном заботливой матерью ради первого житья-бытья молодых, скользили мимо ушей его; о другом были думы Меркулова... «Неужель она в самом деле променяла меня на другого?» Так думалось Меркулову, и сердце не так уж кипело у него, как в первые минуты свиданья... Взглядывая на Лизу, замечал он теперь в лице ее выражение тяжелой, но напрасной обиды, и стало ему ее жалко, заговорила в нем совесть...

Кончила Татьяна Андревна, чай стали пить, завтракать, а жених понемножку словами с не-

стой начал перекидываться. «Нет, – думал он, – нет, таким голосом с постылыми не говорят... Напрасно я... Это все фармазонка!.. Нужно ж было ей навстречу попасться. Как встретил ее, так и утвердился в тех мыслях!..»

После завтрака Татьяна Андревна, догадавшись поговору материнского сердца, что меж женихом и невестой проскочило что-то неладное, приказала Наташе что-то по хозяйству и сама вышла, сказав мужу, что надо ей с ним о чем-то неотложном посоветоваться, остался Меркулов с Лизой один на один. Уйти нельзя, молчать тоже нельзя. «Дай расспрошу», – подумал он и повел речь издалека.

– Кажется, вы не очень мне рады, – с трудом промолвил он, подойдя ко вставшей с места невесте. Она зарыдала и страстно припала к плечу жениха... Получаса не прошло, а они уж весело смеялись, искали, кто виноват, и никак не могли отыскать... Забыты все тревожные думы, нет больше места подозрениям, исчезли мрачные мысли. В восторге блаженства не могут наглядеться друг на друга, наговориться друг с другом. И не заметил Меркулов, как пролетело время. Половина третьего, пора на биржу ехать с Васильем Петровичем. Нечего делать – пришлось расстаться.

Наскоро покончив с Морковниковым, Никита Федорыч поспешил к невесте. Встреча была иная. Таким поцелуем, о каком он во время разлуки мечтал, встретила теперь его Лиза... В самозабвенном наслаждении душевным блаженством оба они утопали...

Долго за полночь просидели... пока Татьяна Андревна, зевая и крестя рот, не сказала:

– Не время ль невесте держать опочив, не пора ль жениху со двора съезжать?

Наверстал же Никита Федорыч Веденееву за прошлую ночь. Сидит у невесты, а приятель жди-пожди.

– Наконец-то! – воскликнул Дмитрий Петрович, встречая приятеля. – Куда это до сей поры запропастился? Третий уж час.

– Известно, где был, – позевывая, ответил ему Меркулов. – А ты что не приезжал? Спрашивали про тебя.

– Кто спрашивал? – с живостью спросил Веденеев.

– Все спрашивали: и Зиновий Алексеич, и Татьяна Андревна, и Наташа, отвечал Меркулов.

– И она? – с живостью быстро спросил у него Веденеев.

– Кто она?

– Да Ната... Наталья-то Зиновьевна, – слегка смешавшись, молвил Дмитрий Петрович.

Зорко взглянул на него Меркулов, а потом проговорил:

– Кажется, и она спрашивала... Да, точно, спрашивала. Вспомнил теперь...

Быстро вскочил Веденеев со стула, взъерошил волосы и, раза три пройдясь взад и вперед по комнате, стал перед приятелем... Взволнованным голосом он сказал ему:

– Слушай. Я ведь, брат, люблю все сразу, я ведь без лишних разговоров. Люблю решать дела без проволочек... Слушай, Никита Сокровенный... И вдруг речь его оборвалась...

– Что же замолчал? – улыбаясь и пристально глядя в глаза приятелю, спросил Меркулов. – Говори, слушаю.

– Вот что я хотел сказать тебе... – снова начал Дмитрий Петрович. – Так как, значит, мы с тобой приятели... Не знаю, как у тебя, а у меня вот перед богом, опричь тебя, другого близкого человека нет в целом свете... И люблю я тебя, Никита, ото всей души. И опять замолчал. Слов не находил.

– Дальше что еще будет? – усмехнулся Меркулов.

– Да ты не смейся, – вскричал Веденеев. – Нечего сказать, хорош приятель. Ты ему про дело, а он на смех.

– А ты говори толком, – сказал Меркулов. – «Люблю сразу, люблю без лишних слов», а сам тянет окоlesiцу, слушать даже тошно... Ну, распрастывайся!..

– Видишь ли что, Никита Сокровенный, – собравшись с духом, начал опять Веденеев. – Так

как я очень тебя люблю, а еще более уважаю, так и захотелось мне еще поближе быть к тебе.

– Как же это?

– Породниться.

– Как же нам с тобой родниться? – добродушно улыбаясь, спросил Меркулов.

– Высватай мне Наташу. Славно будет... – сказал Веденеев.

– Вот тебе на! – весело засмеялся Никита Федорыч. – Значит, мне свахой быть, говорить Татьяне Андревне: «У вас, мол, товар, а у меня купец, за нашу куницу дайте красную девицу, очень мол, мы про нее много наслышаны: сама-де умненька, прядет тоненько, точит чистешенько, белит белешенько...»

– Полно дурить-то. Ах ты, Никита, Никита!.. Время нашел! – с досадой сказал Веденеев. – Не шутя говорю тебе: ежели б она согласна была, да если бы ее отдали за меня, кажется, счастливее меня человека на всем белом свете не было бы... Сделай дружбу, Никита Сокровенный, богом прошу тебя... Самому сказать – язык не поворотится... Как бы знал ты, как я тебя дожидался!.. В полной надежде был, что ты устроишь мое счастье.

– Пожалуй, закину словечко. Хоть завтра же, – молвил Меркулов. – Татьяне Андревне сказать? Нет – вот как лучше будет: Лизе скажу, а она уж там все уладит.

– Пожалуйста, яви милость! – вскрикнул Веденеев и по-вчерашнему чуть не задушил приятеля в медвежьих своих объятьях.

На другой день вечером у Дорониных по уголкам две парочки сидели: два жениха, две невесты. А третья пара, Зиновий Алексеич с Татьяной Андревной, глядя на них, не нарадовались.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Чуть брезжится сырое, холодное утро. Темно-серыми тучами кроется небо, кругом к непогоде его замолаживает (Замолаживать – заволакивать тучами, клониться к ненастью (говоря о небе)). Белым туманом дымятся поля, луга и болота, ровно сквозь падымок (Падым, падымок – мгла, сухой туман, дым, занесенный с дальних лесных пожаров.) тускло виднеется лес вдали. Намокшие травы низко склонились к земле, примолкло все живое, притихло, лишь изредка на роняющей желтые листья березе закаркает отчаянно мокрая ворона, либо серый, летом отъевшийся русак, весь осклизлый от мокрети, высунет, прядая ушами, головку из растрепанного ветром, ползасохшего бурьяна и, заслышав вдали топот лошадиных копыт, стремглав метнется в сторону и с быстротой вольного ветра клубом покатится по полю, направляя пугливый свой бег к перелеску.

По грязному, скользкому проселку медленно катятся густо облипшие глиной колеса небольшой тележки, запряженной парой доброезжих, но сильно притомленных и припотелых коней. В той тележке, плотно укутавшись в синий суконный, забрызганный грязью чекмень (Чекмень – короткий полукафтан, обычная осенняя, а иной раз и зимняя верхняя одежда зажиточных молодых людей в Поволжье и восточных губерниях. На Дону, на Урале и по линейным станицам чекменем зовут казацкий кафтан.), дрожа всем телом от сырости и студеного ветра, ежился и покачивался дремавший Самоквасов. При каждом встречном толчке Петр Степаныч пробуждался из забытья, но, оглянувшись по сторонам, опять закрывал глаза, еще больше нахлобучивал шапку и, склоняя ниже и ниже сонную голову, снова погружался в дремоту. Истомила его холодная, бессонная, многотуманная ночь.

Заутреню допевали в моленных и часовнях скита Комаровского, когда Петр Степаныч подъезжал к Каменному Вражку.

– В кою обитель въезжать? – спросил у него полусонный, тоже продрогший ямщик, поворачиваясь спиной против ветра и лениво помахивая коротеньким кнутовищем над приусталыми лошадками.

Вопрос ямщика застал врасплох Петра Степаныча. До тех пор еще не подумал он, у кого бы ему пристать в Комарове... Не то на мыслях у него носилось – Фленушка, одна Фленушка всю дорогу у него с ума не сходила. Теперь стал он рассуждать сам с собою: «У Бояркиных пристать без матери Таисеи не годится, – праздного, лишнего говору много пойдет. К Манефиным въехать никак невозможно, – кто их знает, что там творится, о чем говорится, почем знать, как встретит Ма-

нефа? Прежде чем свидеться с ней, надобно осторожно, с оглядкой, кое-что стороной разузнать... У кривой Измарагды пристать аль у толстухи Евтропии, у Глафириных, у Московкиных? Так все они теперь из-за этих списков не в добрых ладах с Манефиными, истинной правды там не добьешься... Другие обитатели скудны, в тягость им будешь... И то надо взять, что Рассохины, Напольная, Марфина, Заречная из Манефиной воли не выходят, правды не скажут и там... Лучше из „сирот“ у кого-нибудь... У кого бы?... А!.. Совсем было вон из ума!.. Иконник-от на что? Ермил-от Матвеич?... Дом у него большой, поместительный, и хоть обедать он сам-шестнадцать садится, а местечко для меня найдет, отведет каморочку не хуже обительской светелки».

– Куда ж везти-то, господин честной? – громко повторил вопрос свой продрогший ямщик, расталкивая Петра Степаныча.

Выпрямился Самоквасов, зевнул, слегка потянулся и спросил у извозчика:

– Сурмина иконника знаешь?

– Ермилу-то Матвеича?

– Да.

– Как же не знать Ермилу Матвеича? Достаточно известны.

– К нему.

– Ладно, – молвил ямщик и, ободрясь, хлестнул по лошадкам, прикрикнув: Эх вы, сердечные! Своротил он налево и кривыми закоулками доехал до построенного на скитский лад большого дома с раскрашенными ставнями с узорчатой резьбой над окнами. Перед тем домом длинным рядом стояли пустые кадки и пересеки (Пересек, перерез, обрез, переруб, полубочье – кадка из распиленной пополам бочки.). Хоть рань была еще на дворе, но коренастый, седовласый Сурмин и пятеро сыновей его, с бочарными теслами (Тесло (от тесать) – топор с лазом поперек топорница, как у мотыги или у кирки. Бочарное тесло – маленькое и желобковатое.) в руках, дружно работали, набивая обручи на рассохшиеся кадки. Матери, не зная доподлинно, разгонят их до зимы аль не разгонят, помнили, что на Сергиев день (25 сентября.), по старым обычаям, непременно надо капусту рубить.

Кроме того, от благодетелей с ярманки рыбки они ожидали про зимний запас, стало быть и под капусту и для рыбного посола надо исправить пересеки. А по всему Комарову набивать обручи только один Сурмин умел. Был он в том многлюдном скиту не только бондарем, но и мастером на все руки. В обычном деревенском обиходе досужество его было бы, пожалуй, излишне, но для быта обительских стариц необходимо. Икону ли написать, поветшалую ли поновить, кацею иль другую медную вещь спаять, книгу переписать, стенные часы починить, а по надобности и новые собрать, самовар вылудить, стекла вставить, резьбу по дереву вырезать и даже позолотить ее, постолярничать, башмаки, коты, черевики поправить – на все горазды были сам Ермил и сыновья его.

И кузнечили они, ежели надобность бывала, – возле самой верхотины Каменного Вражка кузница у них стояла. Сам родом с Гор, лет уж тридцать живет Сурмин «сиротой» (В скитах все живущие своим хозяйством вне обители, и нищие и богачи, одинаково зовутся «сиротами».) в Комарове. Жена у него, трое сынов женатых да двое холостых, дочерей три невесты да трое внучат. Семья не малая, но советная, любовная, завсегда в ней тишь да крышь, мир, да лад, да божья благодать. И любовно и грозно держал свою семью Ермило Матвеич, с разумом правил хозяйством.

– Здорово, Ермило Матвеич! – крикнул Самоквасов, поровнявшись с Сурминым.

– Ваше степенство!.. Петр Степаныч!.. Какими судьбами опять в наши палестины? – ласково, радостно даже отозвался ему Ермило Матвеич.

– Делишки тогда не совсем с матерями покончил, – сказал Самоквасов. Доделать заехал.

– Доброе дело, – молвил Сурмин. – Всяко дело концом красно. Дело без конца – что кобыла без хвоста... К кому из матерей-то?

– Да я, признаться, не к ним нынешний раз думал взъехать, – сказал Самоквасов. – Генерала они ждут, что едет скиты поверять. Ежели застанет он меня в которой обители, и сам в беду попадешь и на матерей наведешь лишнюю обиду...

– Верно, – согласился Сурмин и, положив тесло на дно опрокинутой кадки, примолвил, – к нам милости просим, место найдется, ежели не побрезгуете.

– О том просить хотел тебя, Ермило Матвеич, – сделай милость, пусти не на долгое время, – сказал Петр Степаныч.

– Милости просим, милости просим! Хоть всю осень гости, хоть зимы прихвати – будем радехоньки, – говорил Сурмин вылезавшему из тележки Самоквасову. – Андрей, – обратился он к старшему сыну, – вели своей хозяйке светелку для гостя прибрать, а Наталье молви, самовар бы ставила да чай в мастерской собрала бы. Милости просим, Петр Степаныч, пожалуйста, ваше степенство, а ты, Сережа, тащи в светелку чемодан, – приказывал другому сыну Ермило Матвеич.

Дом у него был построен по-скитски – со светлицами, с боковушами, со множеством чуланов и солнышей, со светлыми и темными переходами и проходами, с подклетной теплой волокушей и с холодным летником на чердаке – как есть обительская стая (В северо-восточной части России солнышем, шолнышем, шолмышем зовут «бабий угол», «стряпной кут» – комнату в избе за перегородкой, возле устья печи; но в скитах солнышем зовут всякую комнату окнами на полдень. Волокуша – подклеть с печкой под жилыми покаями. летник – то же, что светлица – комната для летнего только житья, без печи. Стая – несколько изб, поставленных одна возле другой и соединенных между собой сенями и переходами (коридорами).) Мастерская, пристроенная к жилой стаяе лицом в огород, была обширна и отделялась от большой избы и горницы невеликими сенцами. Та мастерская была также по-скитски построена – ни дать ни взять обительская келарня, только без столов, без скамей и без наложницы перед божницей. Стоял в ней столярный станок, возле него с одной стороны стол со слесарными снарядами, с другой – столярный верстак; в углу, у окна кожей обитый полук (Покатый стол.) для чинки и сборки часов, к печи приставлен небольшой горн с раздувальным мехом для плавки, литья, паянья и для полуды; у другого окна стоят на свету два пристолья (Пристолье – стол равной с подоконником вышины, приставленный к нему.) для резьбы и золоченья, а по полкам расставлены заготовленные иконы и разная утварь, дожидавшая очереди для починки или переделки. В ту мастерскую всякого рода ремесл ввел гостя Сурмин. Скинув загрязненный чекмень и умывшись, Петр Степаныч, сидя у окна в ожиданье самовара, стал беседовать с радушным хозяином.

– Ведь это, кажется, Манефина обитель? – спросил он, указывая на строенья, что возвышались над забором обширного сурминского огорода.

– Ее, – ответил Ермило Матвеич. – Да вот ломать собирается. В городе накупила местов, заходя хочет до выгонки переехать туда... Сказывают, выгонки нам никоим образом не избыть. Такое горе!..

– Тебе-то, Ермило Матвеич, какое тут горе? – сказал Самоквасов. – Ты не старец, дом твой не обитель, тебя не тронут.

– Тронуть-то не тронут, это верно, – сумрачно отвечал Сурмин. – А придется и мне покинуть насиженное место, в город, что ль, перебираться. Ежели разгонят матерей, какая мне будет здесь работа? С голоду помрешь на безлюдье... Призваться, и я, как Манефа же, местечко в городе себе приискал.

– Что ж, – молвил Самоквасов. – В городе больше будет работы.

– Бог ее знает, больше ли будет, – отвечал Сурмин. – Часовщик там есть, заправский часовщик, не то, что мы с Андрюхой, и карманные чинит да собирает, не только что стенные: слесарей там четверо, серебряник есть, столяров трое, иконописцев, правда, что нет, да ведь на одних иконах далеко не уедешь, особенно ежели теперь часовни везде порешат. Опять же здесь у меня промысел вольный, а там в цех записывайся, да пошлины плати, да oprичь того поземельные. Тяжеленько будет, ваше степенство, Петр Степаныч, ох, как тяжеленько!

– Да, – согласился Самоквасов, – расходов прибудет.

– Да так, сударь, прибудет, что не знаю, как и справлюсь при такой семье, – сказал Сурмин. – Здесь под боком у матерей, надо правду говорить, житье нам приволье, а там еще господь ведает, каково оно будет... Не к добру, сударь, вздумали эту выгонку. Матерям что! У матерей по кубышкам довольно. Станет на что век доживать... То бы, кажись, надо было принять в расчет, что вокруг каждого скита по скольку деревень кормится... Земли здесь, знаете, каковы, без промыслов мужику дохнуть нельзя, а промыслы-то все по скитам. Разгонят матерей, чем тогда мужикам будет кормиться? За новы промысла приниматься?.. Так к новым-то промыслам ведь не легко

привыкать. В пять лет не устроишь нового хозяйства, а в пять-то годов можно и до суммы дойти... Хоша теперь и много окольных крестьян в хороших достатках живет, а залежных денег почитай ни у единого нет... Крутые, сударь, времена подходят... Крутые времена!.. И призадумался Ермило Сурмин.

– Что матушка Манефа? – после недолгого молчанья, смотря в окно на ее обитель, спросил Петр Степаныч. – Слышал я, что все хворает.

– Не богата здоровьем, – молвил Ермило Матвеич. – А впрочем, старица тверда. По моему рассуждению, какие бы ей беды впереди ни были, все-таки до ста годов проскрипит... Плотию хоша немощна, зато духом ух какая крепкая! Кремень старица, как есть железная!..

– Фленушка, слышь, у нее тоже не больно здорова? – спросил Петр Степаныч, отвернувшись от хозяина и глядя в окошко. – Таисею Бояркиных видел я на днях у Макарья, она сказывала.

– Кажись бы, ничего, – ответил Ермило Матвеич. – Вечор к моим девкам Манефины белицы забегали, ничего про ее болести не сказывали.

Чуть-чуть отлегло от сердца у Петра Степаныча, но не совсем успокоили его слова Сурмина. Знал он, что Фленушка, если захочет, на людях будет одна, дома другая.

– У них, слышь, тут приключения разные были? – сказал Самоквасов, по-прежнему глядя в окошко.

– Уж именно приключения, – ответил с улыбкой Ермило Матвеич. – Зараз двух невест снарядила иноческая обитель: Марья Гавриловна сама уехала да замуж вышла, матушкину племянницу силком выкрали да с архиерейским послом повенчали... Того и гляди, чтоб и Фленушка с Марьей головщицей с кем-нибудь не улепетнули.

– Уж будто и Фленушка? – быстро оборотясь к хозяину, сказал Самоквасов.

– Девка озорь, от нее всего можно ждать, – молвил Ермило Матвеич. Бедовая! Я так полагаю, что ежели они в город переедут, она беспрерывно там замуж выскочит. Не черницей девка глядит, не на иночество смотрит.

И сколько ни расспрашивал Сурмина Петр Степаныч про Фленушку, нового ничего не узнал от него. «Не врет ли Таисея? – подумал он. – Ведь это матери судачить да суторить мастерицы. Того навывают, чего никто и во снах не видал».

– А как матушка Манефа насчет этих свадеб? – спросил Петр Степаныч.

– Что же ей? Не обительские сбежали, – отвечал Ермило Матвеич. – Одна своим домом жила, другая гостила, обе мирские... Да хоша б и обительские?.. Где, в каком скиту, в какой обители того не случилось? А у них, в Манефиной то есть обители, и такие дела бывали, что сами игуменьи замуж сбегивали. Перед Манефой-то у них мать Екатерина в игуменьях сидела, а перед ней Вера Иевлевна. Обителью целый год правила, да и сбежала с игуменства, а после того дошли слухи, что повенчалась... И то сказать, чем белицам сегодня с одним, завтра с другим баловаться, не в пример им лучше замуж выходить... Тут по крайней мере закон. А то чего-то, чего не бывает у них... Особливо когда вашей братьи, молодых благодетелей, понаедет. Тут уж только знай да прималчивай, гляди да не разглядывай... – усмехнувшись, примолвил Сурмин. Ни слова на то не ответил Самоквасов.

– А знаете ли что, Петр Степаныч? – немного погодя сказал Ермило Матвеич. – Как племянницу-то у Манефы умчали, так ведь мы на вас было спервоначалу-то думали. Да уж после, дней этак через пяток, узнаем, что это дело архиерейский посланник состряпал, а потом слышим, что сам невестин родитель ту свадьбу устроил. Недели две тому назад в Городце на базаре я с ним виделся – хохочет над Манефой, помирает со смеху... А как подумать – зачем бы, кажется, ему на такие дела подыматься? Выдал бы дочку честью, как водится, – так нет, на вот поди ты с ним... Озорной, даром что голову-то инеем уж побил. Тогда, как на Петров-от день вы у Манефы гостили, он, слышь, все эти дела и подстроил...

И лошади-то, слышь, его на подхват невесты были высланы... Потешный!..

– А как у вас про Фленушку говорят? Причастна к тому делу была али нет? – спросил Петр Степаныч.

– Говорить-то все говорят, что она тут была ни при чем, да я что-то мало веры тому даю... Не такая девка, чтобы в тако дело не впутаться. Добра, а уж такая озорная, такая баламутка, что

нигде другой такой не сыскать, – отвечал на то Сурмин.

Напившись чаю, Ермило Матвеич проводил гостя в приготовленную светелку, что была над мастерской, и, наказав старшей снохе сготовить хороший обед, пошел бондарничать. Петр Степаныч, оставшись один, долго стоял у окна, долго глядел на Манефину обитель. Фленушкина горница прямо перед ним была, ставни были уж растворены, но внутри горниц через белые занавески ничего не видно было. На обительском дворе было пустехонько, лишь у крыльца келарни две дебелие, здоровенные белицы перемывали кадки, да на конном дворе копошился над дорожной кибиткой конюх Дементий... Моросил дождик – везде пусто, везде тихо, только удары бондарей слышались. «Может быть, это все вздор, одни только выдумки матери Таисеи, – подумал Петр Степаныч и прилег на высоко взбитый пуховик. – Немножко погода схожу я к Бояркиным, там с Ираидой либо с матерью Арсенией повидаюсь, авось от них разужнаю что-нибудь».

Но сон сломил усталого с дороги, и проспал Петр Степаныч до самого полудня, проспал бы и дольше, да Сурмин пришел гостя обедать звать.

Тотчас после обеда Самоквасов спешно собрался в обитель Бояркиных. Там за отлучкой Таисеи правила казначея мать Ираида. Обрадовалась она и с тем вместе изумилась неожиданному появлению Самоквасова. Узнавши, что остановился он у иконника, начала пенять ему:

– Мы-то чем перед вами провинились, благодетель наш Петр Степаныч? – заговорила она. – До сих пор завсегда в нашей обители приставали, и завсегда мы были рады вам ото всей души, а тут вдруг за что-то прогневались. В те поры, как поехали вы от нас, на казанскую-то, сказывали вы матушке, что всего на недельку от нас отъезжаете. Уж мы ждали вас, ждали, а потом и ждать перестали – теперь вот уж восьмая неделя после казанской пошла, а вас все нет да нет. А приехали, так и тут нас обидели – мимо объехали. За что же такая немилость? Чем мы, убогие, прогневали вас, чем вас на сердце навели?

– Дела, матушка, дела подошли такие, что никак было невозможно по скорости опять к вам приехать, – сказал Петр Степаныч, – ездил в Москву, ездил в Питер, у Макарья без малого две недели жил... А не остановился я у вас для того, чтобы на вас же лишней беды не накликать. Ну как наедет тот генерал из Питера да найдет меня у вас?... Пойдут спросы да расспросы, кто, да откуда, да зачем в женской обители проживаешь... И вам бы из-за меня неприятность вышла... Потому и пристал в сиротском дому.

– У Ермила Матвеича? Так, сударь, так, – промолвила мать Ираида. – А все ж нам обидно, что нас миновали. Сами посудите, сколько годов у нас приставали, а тут вдруг и объехали... А что ж? Нешто тот генерал скоро наедет? Тогда на Петров день матушка Манефа весточку из Питера получила, на днях бы ждали его, да вот восемь недель прошло, а бог нас миловал.

– Скоро, говорят, приедет, а в какой день, того никому неизвестно, сказал Петр Степаныч.

– Поскорей бы наша-то матушка приезжала... – подгорюнясь и печально вздыхая, молвила мать Ираида. – Ну как вдруг да без ее бытности накатит незванный гость... Что без нее я стану делать?

– Вечор виделся я с вашей матушкой, – сказал Петр Степаныч.

– Что, как она, сердечная? Здорова ли? – с живостью спросила мать Ираида.

– Ничего, здорова, все хлопочет, – ответил Петр Степаныч.

– Домой-то скоро ли сряжается? – спросила мать казначея.

– О том, матушка, у меня речей с ней не было, – отвечал Самоквасов. Мельком виделись-то мы, в людях. Когда я говорил с ней, не думал еще тогда так скоро у вас быть, полагал даже, что вряд ли нынешним годом и удастся мне в Комаров-от попасть. Повидавшись с матушкой Таисеей, воротился на квартиру, гляжу – письмо меня ждет, прочитал, вижу, то дело, по коему у Макарья я проживал, отложено. Других особенных делов у меня нет, подумал я, подумал, да и поехал к вам. Тогда, как уезжал на казанскую-то, матушка Манефа в отлучке была, а мне еще следовало немножко деньжонок ей на раздачу додать – поэтому теперь нарочно и приехал. Ну что, как она, матушка-то Манефа, теперь?

– Да все в беспокойствах, все в хлопотах, – участливо промолвила Ираида. – В город на житье собирается, до выгонки хочет там устроиться... А тут еще эти неприятности одна вслед за другой: Марья Гавриловна замуж вышла, Прасковья Патаповна...

– А еще-то что? – спросил Самоквасов.

– Больше-то ничего, – несколько даже удивившись такому вопросу, отвечала мать Ираида. – Что же еще-то?.. И того вдоволь... Слава теперь пошла на ихнюю обитель, праздная молва... Разве легко это матушке?

– Что ж ей очень-то печалиться? – успокоившись несколько насчет Фленушки, молвил Петр Степаныч. «Видно, мать Таисея ради красного словца пустяков наплела», – подумал он и продолжал свои речи, обращаясь к Ираиде: – Марья Гавриловна была не из обительских, не под матушкиным началом жила. Прасковьи Патаповны свадьбу отец устроил...

– Так-то оно так, благодетель, а все же нелегко перенести это матушке, – сказала на то Ираида. – Хоша бы насчет племянницы – конечно, не жила она в обители, погостить лишь на краткое время приехала, и выкрали ее не из кельи, а на гулянке, опять же и всю эту самокрутку сам родитель для дурацкой, прости господи, потехи своей состряпал... Да на Москве-то не так посудили... Оскорбляются... «Мы, – пишут, – посла к вам по духовному делу послали, а вы его оженили, да еще у церковного попа повенчали!» Такую остуду от первейших благодетелей принять большой расчет, особливо при надлежащей нужде. От того от самого матушка Манефа и к Макарью не поехала. «Глаза, говорит, стыдно показать перед московскими...» Марья Гавриловна замуж ушла – матушке убыток, да какой еще убыток-от. Пришла ведь она к ней на неисходное житие. У нас в скиту так полагали, да и сама матушка Манефа так думала, что, когда скончалась бы Марья Гавриловна, все бы, что после нее ни осталось – пошло в обитель. Она же и в город с матушкой обещалась переехать... Тут, благодетель, такой убыток, что сразу-то и не сосчитаешь... Да еще что выходит теперь!.. Муженек-от ее присылал сюда, чтобы домик-от Марьи Гавриловны на своз продать али чтоб матушка Манефа деньги за него уплатила... Вот какого гуся подхватила себе наша вдовушка... Ни стыда нет в глазах, ни совести... Да не что взял – никаких бумаг на то, что домик Марьи Гавриловны, нет... Поверенный-от его, не солоно хлебавши, подобру-поздорову и отъехал. Судом беспутный грозит... Пожалуй, еще бы матушке хлопот не нажить...

– А Фленушка что? – немножко помолчав и зорко глядя на Ираиду, спросил Петр Степаныч. – Матушка Таисея такие мне страсти про нее рассказала, что не знаю, как и верить. Постричься, слышь, хотела, потом руки на себя наложить вздумала...

– Это точно, что на постриг совсем было она согласилась. Матушка-то Манефа давно ведь склоняет ее надеть иночество, – сказала мать Ираида. – Ну согласилась было, а там через сколько-то дней опять: «Не хочу да не хочу...» Ну и пошумела, опечалила матушку... Девница ведь неразумная! – примолвила Ираида. – Ведь, ежели она примет иночество, матушка-то Манефа при своем животе благословит ее на игуменство, и никто из обительских слова против того не молвит. А пошлет господь по душу матушки, а Фленушка в белицах будет – ну тогда и отошли ее красные дни. Кого б ни избрали тогда во игуменьи, никто уж такой воли, как теперь, ей не даст. Всего натерпится, со всяким горем спознается. Пока матушка Манефа жива, ей во всем воля, а преставится матушка, из чужих рук придется глядеть. Матушка Манефа старица мудрая, все это хорошо понимает, оттого и желательно ей поскорее Фленушку присовокупить к ангельскому чину. А она ровно бешеная, пользы своей не познает – только и слов, что «не хочу» да «не хочу».

– А руки-то как же хотела на себя поднять? – спросил Петр Степаныч.

– Чудила! – добродушно улыбаясь, молвила мать Ираида. – Она ведь из всего скиту у нас самая затейная, самая потешная... Ножик схватила: «Зарежусь, кричит, а иночества (Здесь под словом „иночество“ разумеется коротенькая манатейка вроде пелеринки, носимая старообрядскими иноками и инокинями.) не вздену».

Ну, и пошумела в келарне, а не то чтобы вправду думала руки на себя наложить. Наши девичи были притом, они сказывали. А мать Виринея, знаете ее, испужалась да к матушке Манефе побегла... и наделала пуще шуму еще... Тем все и покончилось. Раздосадовали очень тогда Флену-то Васильевну, оттого так и расходилась. А перед тем, надо полагать, зубки пополоסקала, под турахом (Турах – состояние немного пьяного; под турахом – то же, что навеселе – быть пьяну слегка.) маленько была.

Схватившись за локотник кресла, Самоквасов тихо промолвил:

– Неужто вправду?

– Правда, благодетель, истинная правда. Что же мне хвастать?.. Из-за чего?.. Не сама она творила да пустяшные слова говорила – бальзамчик говорил... – равнодушно промолвила мать Ираида.

– Неужто вправду? – еще тише повторил Петр Степаныч.

– Что ж делать, благодетель? Скука, тоска, дела никакого нет, – молвила мать Ираида. – До кого ни доведись. Она же не то, чтоб очень молоденькая, двадцать седьмой, никак, весной-то пошел...

Головой только покачал Петр Степаныч. «И я тому виной... – подумал он. Ах ты, Фленушка, Фленушка!» И лицо его потускнело.

– До кого, батюшка, ни доведись, до кого ни доведись, сударик ты мой!.. – продолжала между тем мать Ираида. – Соблазн, искушение, а враг-от силен... Ох! – вздохнула мать казначея. – Про себя как вспомнить, что со мной было перед постригом-то!.. Вот уж теперь без году тридцать лет прошло, как вздела я иночество, а была тогда еще моложе Флены Васильевны – на двадцать втором годике ангельского чина сподобилась я, многогрешная. Тетенька была у меня, в здешней обители жила, старица была умная, рассудительная, все ее почитали – уставщицей при моленной была. Родом мы, сударь, дальние, из-под Москвы, гуслицкие. Родитель помер, осталась я круглой сиротой, матушку-то взял господь, как еще я махонькой была; брат женатый поскорости после ба-тюшки тоже покончился, другой братец в солдаты ушел.

Опречь снохи да ее ребятишек, племянников, значит, моих, на родине у меня ни души не осталось из сродников. Ну, известно, каковы снохи живут – богоданны-то сестрицы, – крапива жгучая. Нет ни нужды, ни заботы ей, что золовка не ела – сохни, издохни – ей все нипочем... И бывала я, сударь, по целым дням не пиваючи, не едаючи. А мне всего только семнадцатый годок в ту пору пошел. Была я перед снохой как есть безответная. В то кручинное, горькое безвременье много я бед приняла, много слез пролила. Больше года со сношенькой маялась, дольше стерпеть не могла, уехала к тетеньке горе размыкать, да вот и осталась здесь... У тетеньки под крылышком жизнь была мне хорошая, а все-таки хотелось, грешнице, вольной волюшки, не могла я мира забыть... Всего на уме тогда перебрало... А тетенька меж тем захирела – годы брали свое: на восьмой десяток тогда она поступила. Стало слезно меня уговаривать, надела б я на себя иночество, прочное бы место получила в обители. Не то ведь я гостья, не обительская белица, «убирайся, скажут матери, на все на четыре стороны». Знала я это, и то знала, что негде будет мне головы приклонить. А мир смущает да смущает, вольной волюшки хочется...

А тетеньке все хуже да хуже, молит, просит меня ангельский образ принять... Игуменья, мать Феонилла была тогда у нас, тоже уговаривает меня. Бывало, поучает, поучает от святого писания, да иной раз, как не слушаюсь, и пригрозит. Нечего было мне делать, хоть вилай, хоть ковылай, а черной рясы не избудешь... Дала согласие, девять недель только сроку попросила.. Дали.. И что я в те девять недель претерпела, что перенесла, рассказать тебе, благодетель, невозможно... Тоска со всего света вольного!..

Господи, думаю, хоть бы за пастушонка какого, хоть бы за старика-калеку богаделенного выйти!.. – Своим бы домком только пожить, свое бы хозяйство держать, ни из чьих рук бы не смотреть!.. Тоже в колодце хотела топиться, тоже проклятым винищем пытала тоску залить... Голоса даже слышались мне: «Пей, гласят, пей – пройдет тоска...» А те голоса и та тоска и винное забытье – все от врага. Обидно ведь ему, супротивному, ежели человек, особливо в молодых годах – ангельский чин восприимлет... Всячески действует он, окаянный, тогда. Так и Флены Васильевны дело – идет она, голубушка, к тихому невлаемому (От старого глагола вляться – колебаться.) пристанищу, ну враг-от ее и смущает... Пострижется, легче будет, – знаю по себе. Хоть тоже станет враг искушать, – он ведь не дремлет, – а все-таки не в пример легче будет ей, голубушке... Ох, уж этот враг рода человеческого!.. Денно и ночью стреляет он демонским своим стрелянием, денно и ночью смущает нас, многогрешных!.. Особливо нас, ангельский чин восприимших!.. К мирскому-то человеку по одному ведь только бесу сатана приставляет, а к приявшему ангельский образ – по десяти. Так и в писании святых отец говорится... Ох, жизнь наша, жизнь!.. Думаешь, легко житие-то наше иноческое?.. Ох, как тяжело оно, благодетель ты наш!.. Так тяжело, так тяжело, что тяжеле его и на свете нет ничего!..

И половины речей многоглаголивой Ираиды не слышал Петр Степаныч. Теперь как день стало ему ясно, что Фленушка дошла до отчаянья ввиду неизбежной черной рясы.

«Хоть теперь она и не мирская девица, – думает он, – но как любимица властной игуменьи, живет на всей своей воле, а надевши манатейку, уж нельзя ей будет по-прежнему скакать, песни петь да проказничать... Тогда хочешь, не хочешь, смиренницей будь... А это ей хуже всего!.. Как переломить себя, как на другую стать себя переделать?.. Нет, надо, во что бы ни стало, надо вырвать ее из обители, пока совсем она не погибла... Пойду уговаривать!.. В Казань увезу, женюсь!.. Пой, веселись тогда, Фленушка!.. То-то будет житье, то-то будет счастье!..»

Так раздумывает сам с собой, идучи из обители Бояркиных, Петр Степаныч... Старая любовь долго помнится, крепче новой на сердце она держится: побледнел в его памяти кроткий милостивый образ Дуни Смолокуровой, а Фленушки, бойкой, пылкой, веселой Фленушки с мыслью согнать нельзя... Вспоминаются ночные беседы в перелеске, вспоминаются горячие ее поцелуи, вспоминаются жаркие ее объятия!.. «Ох, было, было времечко!..» – думает он.

«Какими бы речами уговорить упрямую, несговорчивую, чтобы бежала со мной сегодня же и не куколом, а брачным венцом покрыла победную свою голову?.. Упряма – и в малом и в большом любит она на своем поставить!..»

Так думает, стоя перед задним крыльцом Манефиной кельи, Петр Степаныч. А сердце так и замирает так и трепещет...

ГЛАВА ПЯТАЯ

В то самое время, когда, утомленный путем, Самоквасов отдыхал в светелке Ермила Матвеича, Фленушка у Манефы в келье сидела. Печально поникши головой и облокотясь на стол, недвижна была она: на ресницах слезы, лицо бледнехонько, порывистые вздохи трепетно поднимают высокую грудь. Сложив руки на коленях и склонясь немного станом, Манефа нежно, но строго смотрела на нее.

– Ради тебя, ради твоей же пользы прошу и молю я тебя, – говорила игуменья. – Помнишь ли тогда на тихвинскую, как воротились вы с богомолья из Китежа, о том же я с тобой беседовала? Что ты сказала в ту пору? Помнишь?..

– Помню, матушка, – чуть слышно промолвила Фленушка.

– Сказала ты мне: «Дай сроку два месяца хорошенько одуматься». Помнишь?

– Помню, – прошептала Фленушка.

– Исполнились те месяцы, – немного помолчав, продолжала Манефа. – Что теперь скажешь? Молчит Фленушка.

– В эти два месяца сколько раз соглашалась ты приять ангельский чин? – продолжала Манефа. – Шесть раз решалась, шесть раз отдумывала... Так али нет?

– Так, – едва могла промолвить Фленушка, подавляя душившие ее слезы.

– Решись, Фленушка, поспеши, – ласково продолжала свои речи Манефа. – Не видишь разве, каково мое здоровье?.. Помру, куда пойдешь, где голову приклонишь? А тогда бы властной хозяйкой надо всем была, и никто бы из твоей воли не вышел.

– Ох, матушка, матушка! Что мне воля? На что мне власть? – вскрикнула Фленушка. – Что за жизнь без тебя? Нищей ли стану, игуменьей ли, не все ль мне одно? Без тебя мне и жизнь не в жизнь... Помрешь, и я не замедлю.

Так отчаянным, надорванным голосом говорила, горько плача, Фленушка.

– Един бог властен в животе и смерти, – молвила на то Манефа. – Без его воли влас с головы не падет... Премудро сокрыл он день и час кончины нашей. Как же ты говоришь, что следом за мной отойдешь? Опричь бога, о том никто не ведает.

– Не снести мне такого горя, матушка! – тихо промолвила Фленушка.

– Хорошо... – сказала Манефа. – Так не все ли ж тебе равно будет, что в белицах, что в черницах дожидаться моего скончания?.. Примешь постриг, и тогда тебе будет такая же жизнь, как теперь... Одежда только будет иная... Что бы с тобой ни случилось, все покрою любовью, все, все... Не знаешь ведь ты, сколь дорога ты мне, Фленушка!.. А если бы еще при моей жизни-то, под

моей-то рукой начала бы ты править обителью!.. Все бы стало твоим... Нешто в мир захотела? – прибавила, помолчав немного, Манефа, зорким, пронизательным взором поглядев на Фленушку. Та, закрыв лицо руками, не дала ответа. Мало повременив, опять к ней с вопросом Манефа:

– Может, страсти обуревают душу? Мир смущает? По-прежнему молчит Фленушка, а дышанье ее с каждой минутой становится порывистей.

– Может, враг смутил сердце твое? Полюбила кого? – понизив голос, спросила Манефа.

Молчит Фленушка. Но вскоре прервала молчанье глухими рыданиями.

– Что ж? – покачав печально головою, сказала Манефа. – Не раз я тебе говорила втайне – воли с тебя не снимаю... Втайне!.. Нет, не то я хотела сказать – из любви к тебе, какой и понять ты не можешь, – буду, пожалуй, и на разлуку согласна... Иди... Но тогда уж нам с тобой в здешнем мире не видеться...

– Матушка, матушка! – вскрикнула Фленушка и кинулась к ногам ее.

– Встань, моя ластушка, встань, родная моя, – нежным голосом стала говорить ей Манефа. – Сядь-ка рядом, потолкуем хорошенько, – прибавила она, усаживая Фленушку и обняв рукой ее шею... – Так что же? Говорю тебе: дай ответ... Скажу и теперь, что прежде не раз говаривала: «На заторную жизнь нет моего благословенья, а выйдешь замуж по закону, то хоть я тебя и не увижу, но любовь моя навсегда пребудет с тобой. Воли твоей я не связываю».

– Как же мне покинуть тебя, матушка, при тяжких твоих болезнях? Как мне с тобой разлучиться?... – с плачем говорила Фленушка, склоня голову на грудь Манефы. – Хоша б и полюбила я кого, как же я могу покинуть тебя? Нет, матушка, нет!.. Царство сули мне, горы золотые, не покину я тебя, пока жизнь во мне держится.

– Ах ты, Фленушка, Фленушка! – взволнованным голосом сказала Манефа. Вижу, что у тебя на душе теперь... Две любви в ней борются... Знаю, как это тяжело. Ох, как тяжело!.. Бедная ты моя!.. Бедная!

И не стерпела всегда сдержанная в своих порывах Манефа.. Крепко прижала она к сердцу Фленушку и сама зарыдала над ней.

– Скажи ты мне, – шептала она. – Скажи, не утай. Молчит Фленушка.

– Скажи, богом тебя прошу... Полюбила кого?... – продолжала Манефа.

– Да что ж это такое, матушка?! Зачем ты меня об этом спрашиваешь? – совсем упавшим голосом промолвила Фленушка. – Игуменское ли то дело?..

Ровно в сердце кольнуло то слово Манефу. Побледнела она, и глаза у ней засверкали. Быстро поднялась она с места и, закинув руки за спину, крупными, твердыми шагами стала ходить взад и вперед по келье. Душевная борьба выделась в каждом ее слове, в каждом ее движении. Вдруг остановилась она перед Фленушкой.

– Призовешь ли ты мне бога во свидетели, что до самой своей кончины никому не откроешь того, что я скажу тебе... По евангельской заповеди еже есть: ей-ей и ни-ни?..

Изумилась Фленушка. Никогда не видала она такую Манефу... И следа нет той величавости, что при всяких житейских невзгодах ни на минуту ее не покидала... Движенья порывисты, голос дрожит, глаза слезами наполнены, а протянутые к Фленушке руки трясутся, как осиновый лист.

– Призовешь ли передо мной имя господя? – чуть слышно она проговорила.

– Призываю господне имя! Ей-ей, никому не поведаю твоей тайны, сказала Фленушка, с изумлением смотря на Манефу.

– Слушай же! – в сильном волнении стала игуменья с трудом говорить. "Игуменское-ли то дело" – сказала ты... Да, точно, не игуменьино дело с белицей так говорить... Ты правду молвила, но... слушай, а ты слушай!.. Хотела было я, чтобы нашу тайну узнала ты после моей смерти. Не чаяла, чтобы таким словом ты меня попрекнула...

– Матушка! Что ты? Сказала я неразумное слово без умысла, без хитрости, не думала огорчить тебя... Прости меня, ежели... – начала было Фленушка, но Манефа прервала ее.

– Не перебивай, слушай, что я говорю, – сказала она. – Вот икона владычицы Корсунской пресвятой богородицы... – продолжала она, показывая на божницу. – Не раз я тебе и другим говаривала, что устроила сию святую икону тебе на благословенье. И хотела было я благословить тебя тою иконою на смертном моем одре... Но не так, видно, угодно господу. Возьми ее теперь же...

Сама возьми... Не коснусь я теперь... В затыле тайничок. Возьми-же царицу небесную, узнаешь тогда: «игуменьино-ли то дело».

И спешным шагом пошла вон из кельи. Недвижима стоит Фленушка. Изумили ее Манефины речи, не знает, что и думать о них. Голова кружится, в очах померкло, тяжело опустилась она на скамейку.

Две либо три минуты прошло, и она немножко оправилась... Тихими стопами подошла к божнице, положила семипоклонный начал, приложилась к иконе Корсунской богородицы и дрожащими руками взяла ее.

Открыла тайничок – там бумажка, та самая, что писала Манефа тогда, как Фленушка, избавясь от огненной смерти в Поломском лесу, воротилась жива и невредима с богомолья из невидимого града Китежа.

Положив на стол икону, трепещущими руками Фленушка развернула бумажку.

Взглянула – вскрикнула. В ее клике была и радость, был и ужас.

На бумажке было написано:

«Ведай, Флена Васильевна, что ты мне не токмо дочь о господе, но и по плоти родная дочь. Моли бога о грешной твоей матери, да покрывает он, пресвятой, своим милосердием прегрешения ея вольные и невольные, явные и тайные. Родителя твоего имени не поведаю, нет тебе в том никакой надобности. Сохрани тайну в сердце своем, никому никогда ее не повеждай. Господом богом в том заклинаю тебя. А записку сию тем же часом, как прочитаешь, огню предай».

Как только поуспокоилась Фленушка от волнения, что овладело ею по прочтенье записки, подошла она к божнице, сожгла над горевшею лампадой записку и поставила икону на прежнее место. Потом из кельи пошла. В сенях встретила ее Марья головщица.

– Не видала ли, куда прошла матушка?

– В часовню, – ответила Марьюшка. Бегом побежала туда Фленушка. Отворила дверь. В часовне Манефа одна... Ниц распростерлась она перед иконами... Тихо подошла к ней Фленушка, стала за нею и сама склонилась до земли.

Когда обе воротились из часовни, Фленушка села у ног матери, крепко обняла ее колена и, радостно глядя ей в очи, все про себя рассказала. Повела родной свое горе сердечное, свою кручину великую, свою любовь к Петру Степанычу.

– Сначала я над ним тешилась да подсмеивалась, – говорила она, – шутила, резвилась, баламутила. Любо мне было дурачить его, насмех поднимать, надо всяким его словом подтрунивать... Зачнет он, бывало, мне про любовь свою рассказывать, зачнет меня уговаривать, бежала бы я с ним, повенчалась бы, а я будто согласие даю, а сама потом в глаза ему насмеюсь. Припечалится он, бедненький, повесит голову, слезы иной раз из глаз побегут, а мне то и любо – смеюсь над ним, издеваюсь...

Вечера да ночи темные в перелеске мы с ним просиживали, тайные, любовные речи говаривали, крепко обнимались, сладко целовались, но воли над собой ему не давала я... В чистоте соблюла я себя, матушка... Как перед богом тебе говорю...

Замолкла на минуту и потом, прижав голову к коленам матери, тихо продолжала сердечную исповедь.

– Третье лето так прошло у нас, каждое лето пуще и пуще он ко мне приставал, бежала бы я с ним и уходом повенчалась, а я каждый раз злее да злее насмехалась над ним. Только в нынешнем году, вот как в петровки он был здесь у нас, стало мне его жалко... Стала я тогда думать: видно, вправду он сильно меня полюбил... Больно, больно стала жалеть его – и тут-то познала я, что сама-то люблю его паче всего на свете. И зарыдала, прижавшись к Манефе. Ласкает, нежит Манефа дочку свою, гладит ее по волосикам, целует в головку, а у самой слезы ручьем.

– И раздумалась тут я, матушка, – всхлипывая, продолжает Фленушка. Уехать, выйти за него замуж, в богатом доме быть полной хозяйкой, жить с ним неразлучно!.. Раем казалась такая мне жизнь!.. Но как только, бывало, вспомню я про тебя – сердце так и захолонет, и тогда нападет на меня тоска лютая... Жаль было мне тебя, матушка, не смогла я на побег согласия дать, видно чуяло сердце, что ты родная мне матушка, а я тебе милое детище!.. Переломила себя... Распрошались мы с ним навеки, и дорога ему сюда мною заказана. Не видаться мне с ним, не говаривать. И за-

рыдала, прижавшись к Манефе.

– Полно-ка, полно, моя доченька!.. Не надрывай сердечушка, родная моя!.. – Так говорила Манефа, сама обливаясь слезами и поднимая Фленушку. Успокой ты себя, касатушка, уйми свое горе, моя девонька, сердечное ты мое дитятко!..

Встала Фленушка, отерла слезы и, выпрямившись станом, твердым, резким голосом сказала матери:

– Все я открыла тебе. Все тебе поведала... Во всем созналась... И больше никогда о том ни единого слова ты от меня не услышишь... Теперь для меня все одно, что помер он... Вот еще что скажу... Нудила ты меня, много раз уговаривала принять иночество... Смущала тогда меня суета, с ума он у меня не сходил, хоть мы и расстались навеки... Отказалась я от него ради тебя, матушка, жаль мне было расстаться с тобой... А теперь, когда знаю, что я твое рождение, когда знаю, какова у тебя власть надо мной, вот тебе, родная, речи мои: положим начал перед иконами, благослови меня принять пострижение.

Крепко обняла Манефа Фленушку, и, ни слова не молвив в ответ, стала с нею на молитву. Сотворив начал, положила игуменья обе руки на Фленушкину голову и сказала:

– Добр извол твой о господе! Благослови тебя господь и пресвятая богородица на житие иноческое, а мое грешное благословение навсегда да пребудет с тобою. Поди теперь, успокойся!..

Поклонилась Фленушка в ноги Манефе, испросила у ней прощения и благословения.

– Бог простит, бог благословит! – сказала игуменья, и Фленушка медленно пошла вон из кельи.

Воротаясь в свою комнату, остановилась она посередке ее. Ровно застыла вся, ровно окаменела. Унылый, неподвижный взор обращен в окно, руки опущены, лицо бледно, как полотно, поблекшие губы чуть заметно вздрагивают.

«Клонит ветер деревья, – думает она, глядя на рощицу, что росла за часовней. – Летят с них красные и желтые поблекшие листья. Такова и моя жизнь, такова и участь моя бесталанная... Пришлось куколом голову крыть, довелось надевать рясу черную!.. Иначе нельзя!.. Родная мать велит – надо покориться!.. А он-то, мой милый, желанный... Чует ли твое сердце, Петенька, что со мной теперь деется?.. Где уж тут?.. И думать, чать, забыл... Хоть бы разок еще на него взглянуть!.. Да где уж тут!.. Ты прости, прощай, мой сердечный друг, ты прости, прощай, голубчик мой Петенька!.. Не видаться нам с тобой, не просиживать ночки темные!.. Ах ты, жизнь моя, жизнь горькая, сокрушила ты победную мою голову, иссушила ретиво сердце!.. Хоть бы размыкать чем кручину».

Пошла в спальню и там, отворивши шкафчик, протянула руку к бутылке с бальзамом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Посидевши у Бояркиных, побеседовавши с Ираидой, направил Петр Степаныч свой путь в Манефину обитель. Отворил дверь с заднего крыльца, Марьюшка по сеням бежит. Удивилась, стала на месте как вкопанная.

– Какими судьбами? – черные брови нахмутив и глазами сверкнув, спросила она у Петра Степаныча.

– Ну, что? – вокруг себя озираясь, шепотом спросил у нее Самоквасов.

– Насчет чего? Насчет казанской-то, что ли? – тоже шепотом, тоже чуть слышно промолвила Марьюшка.

– Ну, да. Знает матушка?

– Не знает, не ведает, – ответила Марьюшка. – На Патапа Максимыча поворочено. Спервоначалу-то на моего пострела у них дума была, знают, что сызмальства с Васькой приятелем был. Опять же видели его Бояркины, как он с Васькой пешком куда-то пошел. Потом говорила матушка, ровно бы его, непутного, в городе видела – у Феклиста трактирщика под окном, слышь, сидел... А тут поскорости, как стал Патап Максимыч свои басни плести, будто по его хотенью то дело состряпалось, про Сеньку и толковать перестали. Где он, непутный?.. Что не привез с собой?

– Со старыми хозяевами дела он кончает, нельзя ему теперь отлучиться, ответил Петр Степа-

ныч. – А Фленушка что?

– Ничего, – спокойно промолвила Марьюшка. – Постригаться собирается, и я, глядя на нее, – прибавила головщица.

– Тоскует, слышь?

– Еще бы не тосковать!.. До кого ни доведись... При этакой-то жизни? Тут не то что встосковаться, сбеситься можно, – сердито заворчала Марьюшка. Хуже тюрьмы!.. Прежде, бывало, хоть на беседы сбегашь, а теперь и туда след запал... Перепутал всех этот Васька, московский посланник, из-за каких-то там шутов архиереев... Матери ссорятся, грызутся, друг с дружкой не выдаются и нам не велят. Удавиться – так впору!..

– Фленушка и то, слышь, руки на себя... – начал было Петр Степаныч.

– Дурила, – перебила его головщица. – Хлебнула маленько, ну и пошумела.

– Неужто в самом деле пить зачала? – тоскливо спросил Петр Степаныч.

– А что же не пить-то? – на ответ ему Марьюшка. – С этакой-то тоски, с этакой муки как иной раз не хлебнуть?.. Тебя бы посадить на наше место... И ты не стерпел бы... И тебе не под силу бы стало!

– Можно к матушке? – помолчав немножко, спросил Петр Степаныч.

– Спит, – отвечала Марьюшка. – К нам покамест пойдем, краля-то твоя дома...

И, взяв Самоквасова за руку, повела его по темным переходам. Распахнув дверь во Фленушкины горницы, втокнула туда его, а сама тихим, смиренным шагом пошла в сторону.

Фленушка сидела у стола, какое-то рукоделье лежало перед ней, но она до него не дотрогивалась. Взглянул Петр Степаныч и едва узнал свою ненаглядную – похудела, побледнела, глаза до красноты наплаканы...

– Здравствуй, Фленушка! – радостно вскрикнул он. В голосе его слышались и любовь, и тревога, и смущенье, и душевная скорбь.

Руками всплеснула Фленушка, стремительно вскочила со стула, но вдруг, неподвижно став среди комнаты, засверкала очами и гневно вскрикнула:

– Ты зачем?.. Тебя кто звал?.. Смущать?.. Покоя не давать?.. Забыл разве, что навек мы с тобой распрощались?..

– Фленушка! – нежно молвил ей Петр Степаныч, тихо взяв ее за руку. Гневно выдернула она руку.

– Зачем, я тебя спрашиваю, зачем ты приехал сюда? – в сильном раздражении она говорила. – Баловаться по-прежнему?.. Куролесить?.. Не стану, не хочу... Будет с тебя!.. Зачем же ты кажешь бесстыжие глаза свои мне?

– Истомился по тебе я, Фленушка, – со слезами в голосе заговорил Петр Степаныч. – А как услышал, что и ты зачала тосковать, да к тому еще прихварывать, таково мне кручинно стало, что не мог я стерпеть – наспех собрался, лишь бы глазком взглянуть на тебя.

– Ну, что же?.. Взглянул? Видел меня?.. – прищурясь и надменно улыбаясь, молвила Фленушка. – Ну, и будет с тебя!.. Убейся!..

– Да что ж это, Фленушка? Что с тобою? – в изумленье спрашивал ее Петр Степаныч и протянул было руки, чтобы охватить стройный, гибкий стан ее.

– С глаз долой! – увернувшись и топнув ногой, вскрикнула Фленушка. Прочь!.. Чтобы я никогда тебя не видала.

– Что ты, что ты, Фленушка? – начал было Самоквасов.

Но ее уж не было. Стремительно кинулась она в спальню боковушу. Не успел опомниться Петр Степаныч, как она и на ключ заперлась. Раз-другой торкнулся, ответа нет.

– Фленушка, Фленушка!.. Выдь на минуточку!.. Пусти меня!

Но как ни молил, как ни просил, дверь не отворилась. Маленько погодя, Марьюшка вошла,

– Встала матушка, можно теперь к ней, – сказала она.

– Что это с Фленушкой-то? Убежала, заперлась, говорить не хочет со мной, – спрашивал у головщицы Петр Степаныч.

– Нешто не знаешь ее? – брюзгливым голосом она ответила. – Чудит.

«Не выпила ль?» – мелькнуло в мыслях Самоквасова. Недовольный и сумрачный пошел он к

Манефе.

– С чего это она зачудила? – дорогой спросил головщицу.

– Как с чего? – досадливо и насмешливо ответила

Марьюшка. – Да на такую жизнь ангел с неба сойди, и тот, прости господи, взбесится... Тоска!.. Слова не с кем молвить, не с кем ни о чем посоветоваться!.. Ни потужить, ни порадоваться!.. Опять же нудят ее в иночество... Каждый божий день уговоры, да слезы, да ворчанья... Как тут с ума не сойти?.. Посадить бы тебя на ее место, петлю бы на шею накинул. Не тебе бы, Петр Степаныч, попреки ей делать!.. Да. Кто на такую печаль да на горе навел ее? Кто напустил на нее такую кручину? Подумай-ка хорошенько, на чьей душе лежит ее горькая жизнь?..

– Нешто на моей? – сказал Самоквасов, останавливаясь перед кельей игуменьи.

– А то на чьей же? На куричьей, что ли? – вскинув кверху голову, задорно промолвила Марьюшка, указывая на наседку, что с дюжиной цыплят забрела в сени игуменьиной кельи. – Шишь, богovy! – тотчас же накинулась она на курячье племя, то в ладоши похлопывая, то с шумом вширь передник распуская.

– Расскажи ты мне, Марьюшка, все, что знаешь ты, до тонкости... Улучи минуточку, сделай дружбу – приходи куда-нибудь потолковать со мной... Хотя на самое короткое время... – Так моллил головщицу взволнованный речами ее Петр Степаныч.

– Ишь что вздумал!.. – с досадой ответила Марьюшка. – Теперь не прежняя пора: разом подстерегут... Началить-то не тебя станут!.. И взялась было за скобку игуменьиной двери.

– Ступай к матушке, дожидается, – молвила она Самоквасову.

– Пстой! – удерживая ее руку, сказал он. – Шерстяной сарафан, батистовы рукава, шелковый алый платок на голову хочешь?

– Ну тебя, с платками-то! – огрызнулась Марьюшка.

– Через неделю пришло, а хочешь деньгами – сейчас же получай, продолжал он.

– А много ли деньгами-то? – опустив глаза, тихо промолвила Марьюшка.

– Двадцать рублей.

– Маловато, парень. Накинь еще красненькую, – сказала Марьюшка, бойко взглянув в глаза Самоквасову.

– Ладно, – сказал Петр Степаныч и, вынув деньги, подал их Марьюшке. Поспешно спрятала она подарок под передником.

– Теперь баловать с тобой мне некогда, да и нельзя. Неравно матушка выйдет, – сказала головщица. – Ты где пристал? У Бояркиных, что ли?

– У иконника, – ответил Петр Степаныч.

– Ну, парень, туда мне ходу нет, – молвила Марьюшка. – Вот что: зачнет темнеть, приходи в перелесок... Туда, где в прежни года со своей принцессой соловьев слушал... Ждать тебя буду и все расскажу. А теперь ступай поскорее к матушке. И растворила дверь в ее келью. Во всей обрядной одежде, величаво и сумрачно встретила Манефа Самоквасова. Только что положил он перед иконами семипоклонный начал и затем испросил у нее прощения и благословения, она, не поднимаясь с места, молча, пытливо на него поглядела.

– Как ваше здравие и спасение, матушка? – спросил Петр Степаныч, присев по указанию Манефы на скамейку, крытую цветным суконным полавошником.

– Здоровье плохо, а о спасении един господь ведает, – слегка поникая головой и медленно опуская креповую наметку, молвила Манефа.

И настало затем молчанье. Только маятник стенных часов в тиши мерно постукивает.

– Из Казани, что ли, бог принес? – спросила, наконец, Манефа.

– Нет, матушка. В Казани я с весны не бывал, с весны не видал дома родительского... Да и что смотреть-то на него после дедушки?.. Сами изволите знать, каковы у нас с дядей дела пошли, – отвечал Петр Степаныч. – В Петербург да в Москву ездил, а после того без малого месяц у Макарья жить довелось.

– Слышала, что у Макарья давненько живешь, – молвила Манефа. – В Петербурге-то бывши, не слыхал ли чего полезного про наши обстоятельства?

– Ничего полезного не слыхал я, матушка. Нового нет ничего. Одно только сказывают, не в

дальнем, дескать, времени безотменно выйдет полное решение скитам, – сказал Петр Степаныч.

– Знаем, – спокойно ответила Манефа. – Знаем и то, что конечного решения покамест не будет. Зато впереди благополучия не предвидится. Из наших кого не видал ли в Питере?

– С Дрябиными виделся, у Громова, у Василия Федулыча, раз-другой побывал, – отвечал Самоквасов.

– Что они? – спросила Манефа,

– Славу богу, здоровы, – ответил Петр Степаныч.

– Рада слышать, что здоровы, – молвила Манефа. – Разговоров об наших трудных обстоятельствах у тебя с ними не было ли?

– С Дрябиными раза два говаривал, очень жалеют, и, по ихним словам, невозможно беды отвести. Милостыней обещались не покинуть вас, матушка...сказал Петр Степаныч.

– Спаси их Христос, а что Громы?

– Не удосужился поговорить со мной Василий Федулыч. Не время ему было.

– Что же так?

– Гости на ту пору у него случились, – отвечал Петр Степаныч. – Съезд большой был: министры, сенаторы, генералы. В карты с ними играл, невозможно ему было со мной говорить!

– Гм! Спасительное дело в картах себе поставляет!.. – с презрительной улыбкой, досадливо промолвила Манефа. – А дедовский завет не его дело помнить!..

Дураки, дескать, были у нас старики-то, мы люди умные, ученые! Дедушка-то Василия Федулыча гуслицким мужиком ведь был, капиталы пол Москвой скопил немалые и завещал своим детям, внукам и правнукам всячески и безотложно на вечные времена помогать нашим керженским обителям. Не по дедушке Василий Федулыч пошел, иного стал духу, иссякло в нем древнее благочестие!.. Уты, утолсте, ушире, дабы бога и честных обители, во славу его согражденные.

И, как будто непосильным трудом истомленная, низко наклонила она голову.

– Нельзя было ему, матушка, никак невозможно заняться со мной, вступился было Петр Степаныч за Громова после короткого молчания.

– Знаю, что некогда, – быстро подняв голову и сверкая гневными очами, воскликнула Манефа. – Знаю, что беса надо было ему картами тешить, – в порыве горячей запальчивости говорила она. – В евангельские времена Иуда за сребреники Христа продал; петербургские благодетели наши радехоньки в карты его проиграть, только бы потешиться с министрами да с игемонами, сиречь с проконсулами да с Каиафами... Что им бог? В чести бы да в славе пожить, а бог и душа – наплевать им!.. Не постави им, господи, во грех, – помолчав и немного успокоившись, тихим голосом прибавила разгневанная игуменья.-Покрой, господи, великим своим милосердием их прегрешения... Сохрани их, господи, в вере своей праведной, святоотеческой!.. И набожно возвела очи на иконы.

– Василий Федулыч в древнем благочестии тверд, матушка. И сам и домашние... За верное могу вам доложить! – сказал Самоквасов.

– Злобин еще тверже был, – тихо склоняя голову и оправляя креповую наметку, ответила Манефа. – Им одним держался Иргиз... Какую часовню-то в Вольске поставил он!.. Как разукрасил ее!.. Внес плащаницу дней царя Константина и матери его Елены (В поповщинской часовне, построенной в Вольске Злобиным (теперь единоверческая церковь), есть старинная плащаница, купленная в прошлом столетии в Киеве женой Злобина, большой ревнительницей раскола. На той плащанице (XVI века) есть греческая надпись ямбическими стихами, не вполне сохранившаяся. Старообрядцы говорят, будто она устроена святым Митрофаном, первым цареградским патриархом, современником Константину Великому. Но при внимательном рассмотрении поврежденной и наклеенной на новый бархат надписи, оказывается, что стоит (начальник старцев, игумен какого-либо греческого монастыря). Во дни Константина, Елены и патриарха константинопольского Митрофана не было еще ни плащаниц, ни службы в великую субботу над плащаницей, ни такого шитья. нет и не было. В Византии был один патриарх Митрофан, современник Константину, но почему ж плащаница не могла быть у патриарха александрийского или иерусалимского, носившего имя Митрофана, в XVI столетии.).

Ни богатству его счету, ни щедротам его не было сметы... А как сдружился он со знатными

людьми, с министрами да с сенаторами – погряз в греховных суетах – исчез. И все прахом пошло, и с шумом погибла память Злобина... Приказчик был у него, Сапожниковым прозывался, отца его за пугачевский бунт в Малыковке (Слобода Малыковка, ныне уездный город Вольск.) повесили. Разжился и он вкруг Злобина. Правдами и неправдами таково туго набил кошню, что подобных ему богачей нет и не бывало. Велико и громко повсюду было имя его, а достаткам счету не было...

А когда и его отуманила мирская слава, когда и он охладел к святоотеческой вере и поступил на неправду в торговых делах, тогда хоть и с самыми великими людьми мира сего водился, но исчез, яко дым, и богатства его, как песок, бурей вздымаемый, рассеялись... Так за лишения суетных господь полагает им злая!.. Так он, всесильный, низлагает человека, егда возгордится!.. Исчезоша и погибоша за беззакония!.. Всегда бывает так, любезный мой Петр Степаныч, ежели кто веру отцов на славу мира сменяет... Верь ты мне, что ключ к богатству в старой вере, отступникам же от нее нищета и стыдение... Твердо помни это, Петр Степаныч...

Скоро станешь ты своим капиталом владеть, скоро будешь на всей своей воле, большого над тобой не будет – не забывай же слов моих... Забудешь – до тяжких дней доживешь, бдит бо и не коснит господь, ненавидяй беззакония... Злобиным, Сапожниковым, Громовым не уподобься!.. Не ходи по широкой стезе, ими проложенной, – во тьму кромешную она ведет... Там, в вечной жизни, геенна огненная, здесь, на земле, посмеяние твоей памяти – вот что себе уготоваешь!.. Помни же слово мое.

– Матушка, да разве нет пользы древлему благочестию от того, что почтенные наши люди с сильными мира знают?.. – возразил Петр Степаныч. Сами же вы не раз мне говаривали, что христианство ими ото многих бед охраняется...

– Господь пречистыми устами своими повелел верным иметь не только чистоту голубину, но и мудрость змеину, – сказала на то Манефа. – Ну и пусть их, наши рекомые столпы правоверия, носят мудрость змеину – то на пользу христианства... Да сами-то змиями-губителями зачем делаются?.. Пребывали бы в незлобии и чистоте голубиной... Так нет!.. Вникни, друг, в слова мои, мудрость в них. Не моя мудрость, а господня и отец святых завещание. Ими заповеданное слово говорю тебе. Не мне верь, святых отцов послушай. И низко опустила на лицо наметку. Замолчал Самоквасов. Немного повременя спросила у него Манефа:

– Как теперь с дядюшкой-то, с Тимофеем-то Гордеичем?

– По судам дело наше пошло, – отвечал Петр Степаныч. – Обнадеживают, что скоро покончат. По осени надо будет свое получить.

– Дай тебе господи! – молвила Манефа. – Будешь богат – не забудь сира, нища и убога, делись со Христом своим богатством... Неимущему подашь – самому Христу подашь. А паче всего в суету не вдавайся, не поклонничай перед игемонами да проконсулами.

– Я, матушка, завсегда рад по силе помощь подать неимущему, – сказал Петр Степаныч. – И на святые обители тоже... Извольте на раздачу принять. И подал ей две сотенных.

– Это, матушка, от самого от меня, – примолвил он. – Досель из чужих рук глядел, жертвовал вам не свое, а дядино. Теперь собственную мою жертву не отриньте.

– Спаси тебя Христос. Благодарна за усердие, – сказала Манефа и, вставши с лавки, положила перед иконами семипоклонный начал. – Чайку не покушаешь ли? – спросила она, кончив обряд. И, не дождавшись ответа, ударила в стоявшую возле нее кандию.

Келейная девица вошла... То была Евдокеюшка, племянница добродушной Вириinei, что прежде помогала тетке келарничать. Теперь в игуменьиных комнатах она прислуживала. Манефа велела ей самовар собрать и приготовить что следует к чаю.

– Пали до нас и о тебе, друг мой, недобрые вести, будто и ты мирской славой стал соблазняться, – начала Манефа, только что успела выйти келейница. – Потому-то я тебе по духовной любви и говорила так насчет Громова да Злобина. Мирская слава до добра не доводит, любезный мой Петр Степаныч. Верь слову – добра желая говорю.

– Чем же соблазняюсь я, матушка? Помилуйте!.. – с удивлением спросил Самоквасов.

– Говорят, сборы какие-то там были у Макарья на ярманке. Сбирали, слышь, на какое-то никонианское училище, – строго и властно говорила Манефа. – Детским приютом, что ли, зовут. И кто, сказывали мне, больше денег дает, тому больше и почестей мирских. Медали, слышь, разда-

ют... А ты, друг, и поревновал прелестной славе мира... Сказывали мне... Много ль пожертвовал на нечестие?

– Сто целковых, – тихо, приниженным голосом ответил Петр Степаныч.

– Сто целковых! Деньги порядочные! – молвила Манефа. – И на другое на что можно б было их пожертвовать. На полезное душе, на доброе, благочестивое дело.. А тебе медали захотелось?

– Разве худое дело, матушка, на бедных сирот подать? – возразил Петр Степаныч, пристально глядя на строгую игуменью.

Еще ниже спустила она на лицо наметку, еще ниже склонила голову и чуть слышным голосом учительно проговорила:

– В писании, друг, сказано: «Аще добро твориши, разумей, кому твориши, и будет благодать благам твоим. Добро сотвори благочестиву и обрящеши воздаяние аще не от него, то от вышнего. Дажь благочестиву и не заступай грешника, добро сотвори смиренному и не даждь нечестивому, возбрани хлеба твоя и не даждь ему» (Сираха, XII, 1-5.). Понял?

– Сиротки ведь они, матушка, пить-есть тоже хотят, одним подаяньем только и живут, – промолвил на то Петр Степаныч.

– То прежде всего помни, что они – никониане, что от них благодать отнята... Безблагодатны они, – резко возвысила голос Манефа. – Разве ты ихнего стада? Свою крышу, друг мой, чини, а сквозь чужую тебя не замочит. О своих потужи, своим помощь яви, и будет то угодно перед господом, пойдет твоей душе во спасенье. Оглянись-ка вокруг себя, посмотри, сколь много сирых и нищих из наших древлеправославных христиан... Есть кому подать, есть кому милость явить... Ну, будет начать тебя, довольно... Долго ль у нас прогостишь?

– Не знаю, как вам сказать, матушка. – отвечал Самоквасов. – Признаться, долго-то заживаться мне некогда, в Казань дела призывают.

– Лучше бы вам миролюбиво как-нибудь с дядей-то покончить, – думчиво промолвила Манефа. – Что хорошего под иноверный суд идти? Выбрать бы обоим кого-нибудь из наших христиан и положиться бы во всем на его решение. Дело-то было бы гораздо праведнее.

– Самому мне, матушка, так хотелось сделать, да что же я могу? – сказал Самоквасов. – Дядя никаких моих слов не принимает. Одно себе заладил: «Не дам ни гроша» – и не внимает ничьим советам, ничьих разговоров не слушает...

– Сам-от ты говорил с ним? – помолчавши маленько, спросила Манефа.

– На глаза не пускает меня, – ответил Петр Степаныч. – Признаться, оттого больше и уехал я из Казани; в тягость стало жить в одном с ним дому... А на квартиру съехать, роду нашему будет зазорно. Оттого странствую – в Петербурге пожил, в Москве погостил, у Макарья, теперь вот ваши места посетить вздумал.

– Злобность и вражда ближних господу противны, – учительно сказала Манефа. – Устами царя Давыда он вещает: «Се что добро иль что красно, но еже жити братии вкупе». Очень-то дяде не противься: «Пред лицом седого восстани и почти лицо старче...» Он ведь тебе кровный, дядя родной. Что-нибудь попусти, в чем-нибудь уступи.

– На все я был согласен, матушка, на все, – молвил на те слова Самоквасов. – Все, что мог, уступал, чужие дивились даже... А ему все хочется без рубашки меня со двора долой. Сами посудите, матушка, капитал-от ведь у нас нераздельный; он один брат, от другого брата я один... А он что предлагает?. Изю всего имения отдай ему половину, а другую дели поровну девяти его сыновьям да дочерям, десятому мне... На что ж это похоже?.. Что это за татарский закон?.. Двадцатую долю дает, да и тут, наверное можно сказать, обсчитает. Шел я вот на какую мировую – бери себе половину, а другую дели пополам, одну часть мне, другую его детям. Так нет, не хочет... Все ему мало. Еще меня же неподобными словами обзывает. Каково же мне терпеть это?.. Хочется дяде ободрать меня, ровно липочку.

– Мудреные дела, мудреные!.. – покачивая головой, проговорила Манефа и, выславши вошедшую было Евдокею келейницу, стала сама угощать Самоквасова чаем, а перед тем, как водится, водочкой, мадерцей и всякого рода солеными и сладкими закусками.

– Патап Максимыч как в своем здоровье? – спросил Самоквасов после короткого молчанья.

– Здоров, – сухо и нехотя ответила Манефа. Как ни старался Петр Степаныч свести речь на

семейство Чапурина, не удалось ему. Видимо, уклонялась Манефа от неприятного разговора и все расспрашивала про свою казначею Таифу, видел ли он ее у Макарья, исправилась ли она делами, не говорила ль, когда домой собирается. Завел Петр Степаныч про Фленушку речь, спросил у Манефы, отчего ее не видно и правду ли ему сказывали, будто здоровьем она стала не богата. Быстрым взором окинула игуменья Петра Степаныча, сжала губы и, торопливо поправив наметку, медленно, тихо сказала:

– В своем месте, надо думать, сидит, не то в иную обитель ушла... На здоровье точно что стала почаще жаловаться... Да это минет.

И тотчас свела разговор на предстоящее переселение в город.

– Места куплены, лес заготовлен, стройка началась, под крышу вывели, скоро зачнут и тесом крыть, – говорила Манефа. – Думала осенью перебраться, да хлопоты задержали, дела. Бог даст, видно, уж по весне придется перевозиться, ежели господь веку продлит. А тем временем и решение насчет наших обстоятельств повернее узнаем.

Не мало время сидел Петр Степаныч у Манефы. Прежде, бывало, в ее келье то Фленушка с Марьюшкой, то из матерей кто-нибудь сидит – теперь никого. Даже Евдокея келейница, поставивши на стол самовар, хоть бы раз потом заглянула. Никогда так прежде не важивалось.

На прощанье Манефа еще раз поблагодарила Самоквасова за его приношение, но в гости не звала, как бывало прежде.. Простилась сухо, холодно, тоже не по-прежнему.

Зашел было снова к Фленушке Петр Степаныч, но ее горницы были заперты, даже оконные ставни закрыты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Седьмой час после полудня настал, закаталось в сизую тучу красное солнышко, разливалась по вскраю небесному заря алая, выплывал кверху светел месяц. Забелились туманы над болотами, свежим холодком повеяло и в Каменном Вражке и в укротном перелеске, когда пришел туда Петр Степаныч на свиданье с Марьей головщицею... На урочном месте еще никого не было. Кругом тишь. Лишь изредка а вечернем перелете протрещит в кустах боровой кулик (Иначе «слука» – *Scolopax rusticola*. У охотников и поваров эта дичь известна под названием вальдшнепа.), лишь изредка в древесных ветвях проворчит ветютень (*Columba palumbus*.), лишь изредка там либо сям раздадутся отрывистые голоса лежанок, барашков, подкопытников (Лежанка – *Scolopax major*, охотники дупелем ее зовут. Барашек – *Scolopax media* – по-охотничьи и по-поварски бекас. Подкопытник, иначе крошка, стучик – *Scolopax minor*, самая маленькая из породы *Scolopax* птичка, у охотников зовется гаршнепом.). Не заметно ни малейшего признака, чтобы кто-нибудь из людей перед тем приходил в перелесок, трава нигде не примята. Переждав несколько времени, раз, другой аукнул Самоквасов, но не было ни отзыва, ни отклика. «Обманула Марьюшка! – ему подумалось. – Деньги в руках – больше ей не надо ничего!..»

О Фленушке раздумался?.. «Отчего это она слова со мной не хотела сказать?.. Зачем заперлась, ставни даже закрыла? За какую провинность мою так осерчала?.. Кажется, я на все был готов – третье лето согласья добиваюсь, а она все со своей сухою любовью... Надоел, видно, ей, прискучил... или обнесли меня чем-нибудь?.. По обителям это как раз... На что на другое, а на сплетни да напраслину матери с белицами куда как досужи!..»

Так, раскинувшись на сочной, зеленой траве, размышлял сам с собою Петр Степаныч. Стали ему вспоминаться веселые вечера, что бывало, проводил он с Фленушкой в этом самом перелеске. Роем носятся в памяти его воспоминанья об игривых, затейных забавах резвой, бойкой скитянки... Перед душевными его очами во всем блеске пышной, цветущей красы восстает образ Фленушки...

Вспоминается мельком и нежная, скромная Дуня Смолокурова, но бледнеет ее образ в сравнении с полной жизни и огня, с бойкой, шаловливой Фленушкой. Тихая, робкая, задумчивая и уж вовсе неразговорчивая Дуня представляется ему каким-то жалким, бедным ребенком... А у той баловницы, у Фленушки, и острый разум, и в речах быстрота, и нескончаемые веселые разговоры. «Из Дуни что-то еще выйдет, – думает Самоквасов, – а Фленушка и теперь краса неописанная, а душой-то какая добрая, какая сердечная, задушевная!..»

Где-то вдали хрустнул сушник. Хрустнул в другой раз и в третий. Чутким ухом прислушивается Петр Степаныч. Привстал, – хруст не смолкает под чьей-то легкой на поступь ногой. Зорче и зорче вглядывается в даль Петр Степаныч: что-то мелькнуло меж кустов и тотчас же скрылось. Вот в вечернем сумраке забелелись чьи-то рукава, вот стали видимы и пестрый широкий передник и шелковый рудожелтый (Оранжевый.) платочек на голове. Лица не видно – закрыто оно полотняным платком. «Нет, это не Марьюшка!» – подумал Петр Степаныч.

Побежал навстречу... Силы небесные!.. Наяву это или в сонном мечтанье?.. Фленушка. От радости и удивленья вскрикнул он. – Тише!.. – руку подняв, шепотом молвила Фленушка. – Следят!.. Тише, как можно тише!.. Дальше пойдем, туда, где кустарник погуще, к Елфимову. Там место укромное, там никто не увидит.

– Пойдем!.. Пойдем, моя милая, дорогая моя, – начал было Петр Степаныч, в жарком волненье схватив Фленушку за руку. Отдернула она руку и чуть слышно прошептала ему:

– Словечка не смей молвить, лишний раз не вздохни, услышать могут... Накроют...

– Да я, Фленушка... – зачал было Самоквасов.

– Потерпи же!.. Потерпи, голубчик!.. Желанный ты мой, ненаглядный!.. До верхотины Вражка не даль какая. – Так нежно и страстно шептала Фленушка, ступая быстрыми шагами и склоняясь на плечо Самоквасова. – Там досыта наговоримся... – ровно дитя, продолжала она лепетать. – Ох, как сердце у меня по тебе изболело!.. Исстрадалась я без тебя, Петенька, измучилась! Не брани меня. Марьюшка мне говорила... знаешь ты от кого-то... что с тоски да с горя я пить зачала... И закрыла руками побледневшее лицо.

– Фленушка! – воскликнул Самоквасов. – Неужель это правда?

– А ты пока молчи... Громко не говори!.. Потерпи маленько, – прервала его Фленушка, отрывая лицо. – Там никто не услышит, там никто ничего не увидит. Там досыта наговоримся, там в последний разок я на тебя налюбуюсь!.. Там... я... Ой, была не была!.. Исстрадалась совсем!.. Хоть на часок, хоть на одну минуточку счастья мне дай и радости!.. Было бы чем потом жизнь помянуть!.. – Так страстно и нежно шептала Фленушка, спеша с Самоквасовым к верхотине Каменного Вражка.

Давно уж село солнышко. Вечерний подосенный сумрак небо крыл, землю темнил. Белей и белей становились болота от вздымавшегося над ними тумана, широкими реками, безбрежными озерами казались они. Смолкли осенние птички, разве изредка вдали дергач прокричит, сова ребенком заплачет, филин ухнет в бору.

Пришли. Быстрым, порывистым движеньем сдернула Фленушка драповый плат, что несла на руке. Раскинула его по траве, сама села и, страстно горевшим взором нежно на друга взглянув, сказала ему:

– Садись рядком, как прежде... Посидим, голубчик, по-прежнему... В останышки с тобой посидим.

– Фленушка? – вскрикнул Петр Степаныч, сядясь возле нее и обняв дрожащей рукой стан ее. Сам себя он не помнил и только одно мог выговорить: – Ах ты, Фленушка моя, Фленушка!..

Выскользнула она из его объятий и, слегка притронувшись ладонью к пылавшей щеке его, с лукавой улыбкой пальцем ему погрозила.

Припал он к высокой груди, и грустно склонилась над ним головою Фленушка.

– Ах ты, Петенька, мой Петенька! Ах ты, бедненький мой! – тихо, в порыве безотрадного горя, безнадежного отчаянья заговорила она, прижимая к груди голову Петра Степаныча. – Кто-то тебя после меня приласкает, кто-то тебя приголубит, кто-то другом тебя назовет?

Не частой дробный дождичек кропит ей лицо белое, мочит она личико горячими слезами... Тужит, плачет девушка по милом дружке, скорбит, что пришло время расставаться с ним навеки... Где бывшие затеи, где проказы, игры и смехи?.. Где веселые шутки? Плачет навзрыд и рыдает Фленушка, слова не может промолвить в слезах.

– Фленушка. Фленушка!.. Что с тобой? – кротко, нежно лаская ее, говорил Самоквасов.

Миновал первый порыв – перестала рыдать, только тихие слезы льются из глаз.

– Давеча я к тебе приходил... С глаз долой прогнала ты меня... Заперлась... – с нежным укором стал говорить ей Петр Степаныч. – Видеть меня не хотела...

Опустила низко голову Фленушка и, закрыв лицо передником, тихо и грустно промолвила:

– Стыдно мне было... Дело еще непривычное... Не хотелось, чтобы ты видел меня такой!..

Выпила ведь я перед твоим приходом.

– Зачем это? – с горьким участием чуть слышно сказал Петр Степаныч. Что тут хорошего?..

Тихо, бережно взял он ее за руку. Опустив передник, она взглянула на него робким, печальным взором... Слезу заметила на реснице друга.

И полились у ней у самой из очей слезы. Горлицей, чуть слышно, воркует она, припав к плечу Самоквасова.

– А я думала... а я думала... бранить меня станешь... Корить, насмехаться!

– Насмехаться!.. Бранить!.. – горько улынувшись, – заговорил Петр Степаныч. – Какое слово ты молвила?.. Да могу ли я над тобой насмехаться! Крепко прижалась к нему безмолвная Фленушка.

– Не я, Петя, пью, – заговорила она с отчаяньем в голосе. – Горе мое пьет!.. Тоска тоскучая напала на меня, нашла со всего света вольного... Эх ты, Петя мой, Петенька!.. Беды меня породили, горе горенское выкормило, злая кручинушка вырастила... Ничего-то ты не знаешь, мил сердечный друг! И надорванным голосом тихо и грустно запела:

Ноет сердце мое, ноет,

Ноет, занывает -

Злодейки кручинушки

Вдвое прибывает.

Ах ты, молодость моя, молодость,

Чем тебя мне помянути?

Тоской да кручиной,

Печалью великой.

Доля уж такая мне,

На роду так писано,

И печатью запечатано -

Не знаять мне счастья, радости,

С милым другом в разлученье быть!

Ах, туманы ль вы, туманушки,

Вы часты дожди осенние.

Уж не полно ль вам, туманушки,

По синю морю гулять,

Не пора ли вам, туманушки,

Со синя моря долой?

На мое ли на сердечушко,

На мое ли ретиво

Налегала грусть, кручинушка,

Ровно каменна гора...

Не пора ль тебе, кручинушка,

С ретива сердца долой?

Аль не видывать, не знать мне

Радостных, веселых дней?..

Упал голос. Смолкла Фленушка.

– Нет, не видывать!.. Не видывать!.. – чрез малое время, чуть слышно она промолвила, грустно наклонив голову и отирая слезы передником.

И снова запела. Громче и громче раздавалась по перелеску ее печальная песня:

Родила меня кручина,

Горе выкормило,

Беды вырастили,

И спозналась я, несчастная,

С тоскою да с печалью...

С ними век мне вековать,
Счастья в жизни не видать.

– Эх ты, Петенька, мой Петенька!.. Ох ты, сердечный мой! – вскрикнула она, страстно бросаясь в объятия Самоквасова. – Хоть бы выпить чего!

– Что ты, Фленушка? Помилуй! – сказал Петр Степаныч. – Нешто тебе не жаль себя?

– Чего мне жалеть-то себя?.. – с каким-то злорадством, глазами сверкнув, вскрикнула Фленушка. – Ради кого?.. Не для кого... И меня-то жалеть некому, опричь разве матушки... Кому я нужна?.. Ради кого мне беречь себя?.. Лишняя, ненужная на свет я уродилась!.. Что я, что сорная трава в огороде – все едино!.. Полют ее, Петенька... Понимаешь ли? полют... С корнем вон... Так и меня... Вот что!.. Чуешь ли ты все это, милый мой?.. Понимаешь ли, какова участь моя горькая?.. Никому я не нужна, никому и не жаль меня...

– Про меня-то, видно, забыла, – с нежным укором сказал Самоквасов. – Нешто я не жалею тебя?.. Нешто я не люблю тебя всей душой?..

– Поди ты, голубчик! – с горькой усмешкой молвила Фленушка. – Не знаешь ты, как надо любить... Тебе бы все мимоходом, только бы побаловать...

– Да сколько ж раз я молил тебя, уговаривал женой моей быть?.. Сколько раз богом тебя заклинал, что стану любить тебя до гробовой доски, стану век свой беречь тебя... – дрожащим голосом говорил Петр Степаныч.

– Говорить-то ты, точно, это говаривал, и я таковые твои речи слыхивала, да веры у меня что-то нейдет им, – с усмешкой молвила Фленушка. – Те речи у тебя ведь облыжные... Не раз я тебе говаривала, что любовь твоя, ровно вешний лед – не крепка, не надежна... Жиденек сердцем ты, Петенька!.. Любви такой девки, как я, – тебе не снести... По себе поищи, потише да помирнее. Что, с Дуней-то Смолокуровой ладится, что ли, у тебя?

– Что она!.. Ровно неживая... Рыба как есть, – с недовольством ответил Петр Степаныч.

– И рыбка, парень, вкусненька живет, коль ее хорошенько сготовишь... с усмешкой молвила Фленушка и вдруг разразилась громким, резким, будто безумным хохотом. – Мой бы совет – попробовать ее... Авось по вкусу придется... – лукаво прищуриль глаза, она примолвила.

Прежняя Фленушка сидит с ним: бойкая речь, насмешливый взор, хитрая улыбка, побывалому трунит, издевается.

– Тиха уж больно, не сручна... – сквозь зубы процедил в ответ Петр Степаныч.

– А тебе бы все бойких да ручных, – подхватила Фленушка. – Ишь какой ты сахар медович!.. Полно-ка, дружок, перестань, – примолвила она, положив одну руку на плечо Самоквасову, а другую лаская темно-русые кудри его. – Тихая-то много будет лучше тебе, Петруша, меньше сплеток про вас будет... Вот мы с тобой проказничали ведь только, баловались, до греха не доходили, а поди-ка, уверь кого... А все от того, что я бойковата...

Нет, ты не покидай Дунюшки... Не сручна, говоришь, – сумей сделать ее ручной... Настолько-то у тебя умишка хватит, дурачок ты мой глупенький, говорила она, а сама крепко прижималась разлевшейся щекой к горящей щеке Самоквасова.

– Ну ее! И думать не хочу... Ты одна моя радость... Ты одна мне всего на свете дороже! – со страстным увлечением говорил Петр Степаныч и, крепко прижав к груди Фленушку, осыпал ее поцелуями...

– А ты не кипятись... воли-то рукам покамест не давай, – вырываясь из объятий его, со смехом промолвила Фленушка. – Тихая речь не в пример лучше слушается.

– Ах, Фленушка, Фленушка!.. Да бросишь ли ты, наконец, эти скиты, чтоб им и на свете-то не стоять!.. – стал говорить Петр Степаныч. – Собирайся скорее, уедем в Казань, повенчаемся, проживем в любви да в совете. Стал я богат теперь, у дяди из рук не гляжу.

Вспыхнула Фленушка и, раскрыв пурпурные губки, страстным взором его облила... Но вдруг, как злым стрельцом подстреленная птичка, поникла головкой, и алмазная слеза блеснула в ее черных, как смоль, и длинных ресницах...

– Молви же словечко, моя дорогая, реши судьбу мою, ненаглядная! – молил Самоквасов.

Крепко прижав к лицу ладони, ровно дитя, чуть слышно она зарыдала.

– Матушка-то... Матушка-то как же?

– Что ж? Матушке свое, а нам свое... – резко ответил Петр Степаныч. Сама говоришь, что не долго ей жить... Ну и кончено дело – она помрет, а наша жизнь еще впереди...

– Молчи! – властно вскрикнула Фленушка, быстро и гневно подняв голову.

Слез как не бывало. Исчезли на лице и страстность и нежность. Холодная строгость сменила бурные порывы палившей страсти. Быстро с лужайки вскочив, резким голосом она вскрикнула:

– Уйду!.. И никогда тебе не видать меня больше... Сейчас же уйду, если слово одно молвишь мне про матушку! Не смей ничего про нее говорить!.. Люблю тебя, всей душой люблю, ото всего сердца, жизнь за тебя готова отдать, а матушки трогать не смей. Не знаешь, каково дорога она мне!..

– Ну не стану, не стану. – уговаривал ее Петр Степаныч и снова привлек ее в объятия.

Безмолвна, недвижима Фленушка. Млеет в страстной истоме.

– Чего жалеть себя?.. Кому блюсти?.. Ох, эта страсть!.. – чуть слышно шепчет она. – Зачем мне девство мое? К чему оно? Бери его, мой желанный, бери! Ах, Петенька, мой Петенька!..

Почти до свету оставались они в перелеске. Пала роса, поднялись едва проглядные туманы...

Возвращаясь домой, всегда веселая, всегда боевая Фленушка шла тихо, склонивши голову на плечо Самоквасова. Дрожали ее губы, на опущенных в землю глазах искрились слезы. Тяжело переводила она порывистое дыхание... А он высоко и гордо нес голову.

– Как же после этого ты со мной не поедешь? – говорил он властным голосом. – Надо же это венцом покрыть?

– Ох, уж я и сама не знаю, Петенька!.. – покорно молвила Фленушка. Уезжай ты, голубчик мой милый, уезжай отсюда дня на три... Дружок, прошу тебя, мой миленький!.. Богом тебя прошу...

– А когда через три дня ворочусь – поедешь ли в Казань?

Выйдешь за меня замуж?

Немного подумавши, она отвечала: – Поеду... Тем временем я в путь соберусь... уедешь?..

Сегодня же, сейчас... Уеду, – сказал Петр Степаныч.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не великая охота была Самоквасову выполнять теперь причуды Фленушкины. Прихотью считал ом внезапное ее требованье, чтоб уехал он на три дня из Комарова. "Спешным делом ступай, не знай куда, не знай зачем! – думалось ему, когда он возвращался в светелку Ермилы Матвеича... – Что за блажь такая забрела ей в голову? Чем помешал я сборам ее?..

Чудная, как есть чудная!.. А досталась же мне!.. Заживу теперь с молодой женой – не стыд будет в люди ее показать, такую красавицу, такую разумницу!.. Три дня – не сколь много времени, зато после-то, после!.. А ехать все-таки охоты нет. Просидеть разве в светелке три дня и три ночи, никому на глаза не показываясь, а иконнику наказать строго-настрого – говорил бы всем, что я наспех срядился и уехал куда-то?.. Нельзя – от келейниц ничего не укроется, пойдут толки да пересуды, дойдут до Фленушки, тогда и не подступайся к ней, на глаза не пустит, станет по-прежнему дело затягивать... Нет, уж, видно, ехать, выполнить, что велела, – отговорок чтобы после у ней не было".

Наскоро уложив в чемодан скарб свой, разбудил он Ермила Матвеича и упросил его тотчас же везти его до Язвицкой станции. Уверял Сурмина, что нежданно-негаданно спешное дело ему выпало, что к полдням непременно ему надо в соседний город поспеть. Подивился иконник, но ни слова не вымолвил. Покачал только седой головой, медленно вышел из избы и велел сыновьям лошадей закладывать. Не совсем еще обутрело, как Андрей, старший сын Ермилы Матвеича, скакал уж во весь опор с Самоквасовым по торной, широкой почтовой дороге.

В Язвцах, только что въехали они в деревенскую околицу, встретился Петру Степанычу старый знакомый – ухарский, разудалый ямщик Федор Афанасьевич. На водопой коней он вел и, как только завидел Самоквасова, радостно вскрикнул ему:

– А! Ваше степенство! По добру ль, по здорову ль? Давно не видались!

– Здравствуй, Федор Афанасьич! – вылезая из телеги, отвечал на привет его Самоквасов. –

Каково поживаешь? Лошадок бы мне.

– Можно, – молвил ямщик. – Лошади у нас всегда наготове. Много ль потребуется?

– Пару, – сказал Петр Степаныч, отходя с ямщиком в сторону от тележки иконниковой.

– Что мало? – подмигнув Самоквасову с хитрой улыбкой, молвил ямщик. – Я было думал троек пять либо шесть вашему степенству потребуется, думал, что опять скитскую девку задумано красть...

– А ты потише... Зря-то не болтай... Нешто забыл уговор?.. – понизив голос, сказал Петр Степаныч, оглянувшись на Ермилова сына.

Но коренастый, дюжий Андрей, откладывая усталых лошадей, ни на что не обращал внимания.

– Зачем нам, ваше степенство, твой уговор забывать? Много тогда довольны остались вашей милостью. Потому и держим крепко заказ, – бойко ответил ямщик. – Ежели когда лишняя муха летает, и тогда насчет того дела молчок... Это я тебе только молвил, а другому кому ни-ни, ни гу-гу. Будь надежен, в жизни от нас никто не узнает.

– То-то, смотри, – молвил ему Петр Степаныч, ставши возле колодца у водопойной колоды. – Ненароком проболтаешься – беда.

– Кажись бы, теперича и беды-то опасаться нечего, – сказал Федор Афанасьев. – Тогда мы с тобой от Чапурина удирали, а теперь он на себя все дело принял – я-де сам наперед знал про ту самокрутку, я-де сам и коней-то им наймовал... Ну, он, так он. Пущай его бахвалится, убытку от него нам нет никакого... А прималчивать все-таки станем, как ты велел... В этом будь благонадежен...

– Ладно, хорошо, – молвил Петр Степаныч. – Пой же скорей лошадей да закладывай. К полдням мне надо в городе быть безотменно.

– К Феклисту Митричу? – с усмешкой спросил Афанасьев.

– К нему, – сказал Петр Степаныч, а сам подумал: "В самом деле к Феклисту зайти... Квартирку ему заказать..."

Пристанем на перепутье, как покатым в Казань".

– Опять келейную хочешь красть, – усмехнулся Федор ямщик. – Что же? В добрый час... Расхорошее дело! Со всяким удовольствием послужим на том.

– Придет время, тогда повешу, – молвил Самоквасов.

– А много ль троек потребуется?.. Сколь народу на отбой погони готовить? – потрянув кудрями, спросил разудалый ямщик.

– Не такое дело. Больше тройки не надо будет, – сказал Петр Степаныч.

– Значит, сироту красть? Погони не чаешь... Дело!.. Можем и в том постараться... Останется много довольны... Кони – угар. Стрижена девка косы не успеет заплесть, как мы с тобой на край света угоним... Закладывать, что ли, а может, перекусить чего не в угоду ли? Молочка похлепать с ситненьким не в охотку ли?.. Яичницу глазунью не велеть ли бабам состряпать? Солнышко вон уж куда поднялось – мы-то давно уж позавтракали.

– Нет, нет, – торопил его Петр Степаныч. – Скорей готовь лошадей – еду наспех, боюсь опоздать.

Десяти минут не прошло, как ухарский Федор Афанасьев во весь опор мчал Самоквасова по хрящевой дороге.

Подъехав к дому Феклистову, Петр Степаныч вошел к нему в белую харчевню. Были будни, день не базарный, в харчевне нет никого, только в задней горнице какие-то двое приказных шарамы на биллиарде постукивали. Едва успел Петр Степаныч заказать селянку из почек да подовый пирог, как влетел в харчевню сам хозяин и с радостным видом кинулся навстречу к богатому казанцу.

– Какими это судьбами? – заговорил он, крепко сжимая руку Петра Степаныча. – Каким ветром опять принесло вашу милость в наш городишко?.. Да зачем же это вы в харчевню... Прямо бы ко мне в горницы!.. Дорога-то, чать, известна вашему степенству?.. Люди мы с вами маленько знакомые... Пожалуйте, сударь, кверху, сделайте такое ваше одолжение... Никитин, обратился он к отставному солдату, бывшему в харчевне за повара, – отставь селянку с пирогом, что их милость

тебе заказали... Уважим дорогого гостя чем-нибудь послаще... Пожалуйте, сударь Петр Степаныч, пожалуйста-с...

– Да ведь я дня на три сюда, не больше, – сказал Самоквасов. – Думал на постоялом дворе пристать, а у вас в харчевне перекусить только маленько.

– Пушу я вас на постоялый!...–сказал Феклист Митрич. – Как бы не так. Те самые горницы, что тогда занимали, готовы, сударь, для вас... Пожалуйте... Просим покорно!

– Да право же, мне совестно стеснять вас, Феклист Митрич, – говорил Самоквасов. – Тогда было дело другое – не стать же новобрачной на постоялом дворе ночевать; мое одиночное дело иное.

– Как вам угодно, а уж я вас не отпущу, – настаивал Феклист и силком почти утащил Петра Степаныча в свои покои...

Как водится, сейчас же самовар на стол. Перед чаем целительной настоечки по рюмочке. Авдотья Федоровна, Феклистова жена, сидя за самоваром, пустилась было в расспросы, каково молодые поживают, и очень удивилась, что Самоквасов с самой свадьбы их в глаза не видал, даже ничего про них и не слыхивал.

– Как же это так? – изумилась Авдотья Федоровна. – Как же вы у своих «моложан» до сей поры не бывали? И за горным столом не сидели, и на княжом пиру ни пива, ни вина не отведали (На север и северо-восток от Москвы молодыми, а на юге молодожанами называют новобрачных целый год. В Поволжье, особенно за Волгой, «моложанами» считаются только до первой после брака пасхальной субботы. Горной стол и княжой пир – обеды у новобрачных или у их родителей на другой и третий день после венчания.). Хоть свадьбу-то и уходом сыграли, да ведь Чапурин покончил ее как надо быть следует – «честью» (То есть со всеми обрядами.). Гостей к нему тогда понаехало и не ведомо что, а заправских-то дружек, ни вас, ни Семена Петровича, и не было. Куда же это вы отлучились от ихней радости?

– По разным местам разъезжал, – сказал Петр Степаныч. – В Москве проживал, в Петербурге, у Макарья побывал на ярманке. К тому же недосуги у меня разные случились, дела накопились... А вы, однако, не сказали ли кому, что свадьбу Прасковьи Патаповны мы с Сеней состряпали?

– Полноте!.. Как это возможно! – вступился Феклист. – Ни вашего приказанья, ни ваших милостей мы не забыли и в жизнь свою не забудем... А другое дело и опасаться-то теперь Чапурина нечего – славит везде, что сам эту свадьбу состряпал... Потеха, да и только!..

– С чего ж это он? – спросил Самоквасов.

– Потому что гордан (Гордан, гордяня – то же, что гордец.). Уж больно высоко себя держит, никого себе в версту не ставит. Оттого и не хочется ему, чтобы сказали: родную, дескать, дочь прозевал. Оттого на себя и принял...– с насмешливой улыбкой сказал Феклист Митрич. – А с зятем-то у них, слышь, в самом деле наперед было слажено и насчет приданого и насчет иного прочего. Мы уж и сами немало дивились, каких ради причин вздумалось вам уходом их венчать.

– Так было надо, – отвечал Самоквасов. – А вы все-таки никому не рассказывайте, что это дело мы с Семеном обработали... Хоть до зимы помолчите...

– Слушаем, сударь, слушаем. Лишнего слова от нас и после зимы не проскочит, – молвил Феклист. – Да не пора ли гостю и за стол?.. Федоровна! Готово ли все у тебя?

– Милости просим, гость дорогой, мало жданный да много желанный! Пожалуйте нашей хлеба-соли откусать, – низко кланяясь, сказала Феклистова хозяйка.

Сели за стол. Никитину строго-настроено приказано было состряпать такой обед, какой только у исправника в его именины он готовит. И Никитин в грязь лицом себя не ударил. Воздал Петр Степаныч честь стряпне его. Куриный взварец (Суп из курицы), подовые пироги, солонина под хреном и сметаной, печеная репа со сливочным маслом, жареные рябчики и какой-то вкусный сладкий пирог с голодухи очень понравились Самоквасову. И много тем довольны остались Феклист с хозяйшкой и сам Никитин, получивший от гостя рублевку.

– Ежели бы теперича рыба была у нас свежая, стерлядки бы, к примеру сказать, да ежели бы у нас по всему городу в погребках лед не растаял, мог бы я, сударь, и стерлядь в разваре самым отличным манером сготовить, мог бы свертеть и мороженое. Такой бы обедец состряпал вам, каким

разве только господина губернатора чествуют, когда его превосходительство на ревизию к нам в город изволит заезжать... А при теперешних наших запасах поневоле, ваше степенство, репу да солонину подашь. В эвтом разе уж не взыщите... Так говорил осчастливленный рублевкой Никитин.

– Ладно, ладно. Спасибо и за то, что сготовил, – сказал Феклист Митрич. – Спасибо, ступай себе с богом!..

Но Никитин, маленько хлебнувший ради лучшего успеха в стряпне, не сразу послушался хозяина, не пошел по первому его слову из комнаты.

– Когда еще, ваше степенство, находился я в службе его императорского величества, – не слушая хозяина, говорил он Петру Степанычу, – в Малороссийском гренадерском генерал-фельдмаршала графа Румянцева Задунайского полку в денщиках у ротного командира находился. Бывало, как только приедет начальство на инспекторский смотр: бригадный ли, дивизионный ли, либо сам корпусный, тотчас меня к полковому на кухню прикомандируют. Потому что я из ученых – до солдатства дворовым человеком у господина Калягина был и в клубе поварскому делу обучался, оттого и умею самым отличным манером какие вам угодно кушанья сготовить, особенно силён я насчет паштетов. Майонезы опять, провансали по моей части. Генералы кушали и с похвалой относились... А здесь только над селянкой да над подовыми и сидишь... Распоганный на этот счет городишко! И есть-то путем не умеют.

– А ты ступай к своему месту, – крикнул, наконец, Феклист Митрич на захмелевшего повара. – Гостю отдохнуть пора, а ты лезешь с разговорами. Ступай же, ступай!

И едва мог выжить из комнаты не в меру разговорившегося Никитина.

Здорово соснул Петр Степаныч после бессонной ночи, тряской дороги и плотного обеда. Под вечер от нечего делать пошел по городу бродить. Захолустный городок был невелик – с конца на другой поля видны. Местоположение неважное – с трех сторон болота, с четвертой косогор. Широкие прямые улицы и обширные необстроенные площади поросли сочной травой. Кроме немногих обитаемых чиновниками домов, все ставлены на подклетах, – дома обширные, высокие, из толстого сосняка да ельника. Сторона лесная, есть из чего хорошо и прочно построить. Все ворота затворены, иные даже заперты, а на притолоке у каждой почти прибит на белой бумажке медный крест, и, кроме того, записочка с полуустановною надписью: «Христос с нами уставиися, той же вчера и днесь и во веки веков. Аминь». Значит, хозяева старой вере последуют...

Там и сям середь улицы вырыты колодцы, над ними стоят деревянные шатры на толстых столбах. Тихо, чуть не безлюдно повсюду – нет звуков в сонном городке. Разве где-нибудь прогудит струна шерстобита, зашурчит станок ложкаря. Из иных домов глухо доносится тихое, гнусливое пение женских голосов – всенощную там староверы справляют. Строго, сурово повсюду – ни вольной, как птица небесная, песни, ни веселого задушевного говора, ни бойких, спорливых разговоров, Куры, что копаются на улицах в песке, свиньи, что усердно разрывают на соборной площади луговину, и те делают свое дело тихо, смирно. Пустыня не пустыня, а похоже на то.

Почти весь город обошел Петр Степаныч, а повстречал либо пять, либо шесть человек. И каждый встречный с удивленьем останавливался, с любопытством глядел на незнаемого человека и потом еще долго смотрел ему вслед, узнать бы, куда и к кому держит он путь. Тоска напала на Самоквасова, и сильно он обрадовался, когда на всполье у казенных, давным-давно запустелых соляных анбаров, охраняемых, однако, приличною стражей из инвалидной команды, увидел он Феклиста Митрича. Тотчас к нему подошел.

– Гуляете? – с радушной улыбкой спросил у него Феклист.

– Да, вышел было немножко пройтись. Исходил весь город и живой души не встретил, – отвечал ему Самоквасов.

– Будни, – со сладкой потяготой зевая и набожно крестя разинутый рот, лениво промолвил Феклист Митрич. – Кому теперь у нас по улицам шляться?.. Всяк при своем деле – кто работает, кто отдыхает... Хоша и до меня доведись – нешто стал бы я теперь по улицам шманяться, ежели б не нужное дело... Не праздник седни, чтобы слоны-то продавать (Слоняться, слоны продавать, а также шманяться, шмонить, шмоничать – шататься без дела, бродить от безделья, отбивать от дела.).

– Разве у вас не гуляют после работы? – спросил Петр Степаныч.

– Гуляют, да только по воскресеньям и по праздникам, – отвечал Феклист Митрич, – по четвергам еще гуляют, потому что базар, а в будние дни почто народу гулять? День-то деньской над работой умаются, зашашабают – тотчас ко щам, а после щей на боковую... Город наш благочестивый, не бездельный какой-нибудь, все при деле. Маленький мальчишка и тот с утра до ночи ложки ковыряет. Встал, умылся, оделся, богу помолился, хлебца перекусил, и за тесличку (Тесличка (тесло) – железное орудие, употребляемое для выделки деревянных ложек.). Вон те так никоим путным делом не займутся, – примолвил Феклист, указывая на большой двухъярусный дом со множеством пристроек, со всех сторон его облепивших, и с закрытыми наполовину окнами. – Вон эти чернохвостые не орут, не сеют, а слаще да больше нашего едят. От нечего делать и пошли бы они, может быть, прогуляться, да ходу им на улицу нет, oprичь того, что разве по самому нужному делу. Нельзя же черницам по улицам слоняться – не водится...

– А чей это дом? – любопытствовал Петр Степаныч.

– Келейницы живут, – ответил Феклист. – Мать Серафима оленевская. После дяди достался ей дом-от, она его летошний год и обрядила по-скитскому. Ишь сколь боковуш да светелок приляпала... Старицы к ней набрались и белицы; всего человек с пятнадцать теперь тут у нее живет. Как есть заправская обитель... Теперь у нас в городе много таких развелось и еще больше того разведется, потому что выгонка, слышь, скоро, матерей-то поразгонят. Загодя стали у нас селиться... Вишь, какие хоромы Манефа Комаровская городит. Тетенька вашей-то моложаны будет, сестра родная Чапурину. – Так говорил Феклист желчно и досадливо, указывая на недостроенные и еще не покрытые кровлями дома возле соляных анбаров на самом всполье.

– Три дома! – молвил Самоквасов, поглядев на Манефины постройки.

– Четыре, – перебил Феклист. – Четвертой-эт позади. С руки тут им будет – потаенного ли кого привезти, другое ли дельцо спроворить по ихнему секту (В православном простонародье вместо секта иногда говорят сект.), чего лучше как на всполье. И овраг рядом, и лес неподалеку – все как нарочно про них уготовано... Нашему брату, церковнику, смотреть на них, так с души воротит... Зачем они это живут... К чему?... Только небо коптят. А пошарь-ка в сундуках – деньжищ-то что? Гибель!..

– Зачем же мать Манефа так широко строится? – спросил Самоквасов. Незаконных вещей ведь она не творит...

– Широко, значит, жить захотелось, – с усмешкой ответил Феклист Митрич. – Навезет с собой целый табор келейниц. Все заведет, как надо быть скиту. Вон и скотный двор ставит, и конный!.. Часовни особой только нельзя, так внутри келий моленну заведет... Что ей, Манефе-то?.. Денег не займовать... И у самой непочатая куча и у брата достаточно.

– С братом-то, слышь, повздорила, – сказал Петр Степаныч.

– Что ж из того, что повздорила? Не важность! – молвил Феклист. – Ихни побранки подолгу не живут. А точно, что была у них драна грамота. А все из-за вашей самокрутки. Как принял все на себя Чапурин, Манефа и пошла ругаться. «Зачем, говорит, ославил ты мою обитель? Зачем, говорит, не от себя из дому, а от меня из скита девку крал?» А он хохочет да пуще сестрицу-то подзадоривает... Шальной ведь он!..

– А что у вас в городе про ту свадьбу говорят? – немного помолчав, спросил Самоквасов.

– Чего говорить-то? Ничего не говорят, – молвил Феклист. – Спервоначалу, правда, толков было достаточно, а теперь и поминать перестали.

– А много было толков?

– Довольно, – ответил Феклист. – Наши-то, церковники то есть, да и староверы, которые за матерей не больно гораздо стоят, помирают, бывало, со смеху, а ихней статьи люди, особливо келейные, те на стены лезут, бранятся... Не икалось нешто вам, как они тогда поминки вам загибали?

– Разве узнали про меня? – с живостью спросил Петр Степаныч.

– По имени не называли, потому что не знали, а безыменно вдоволь честили и того вам сулили, что ежели б на самую малость стало по ихним речам, сидеть бы вам теперь на самом дне кромешной тьмы... Всем тогда от них доставалось, и я не ушел, зачем, видишь, я у себя в дому

моложан приютил. А я им, шмотницам, на то: «деньги плачены были за то, а от вас я сроду пятака не видывал... Дело торговое...» Унялись, перестали ругаться.

– А не доходило ли до вас про мать Манефу? – спросил Петр Степаныч. – Не было ли у ней на нас подозренья?

– Какое ж могло быть у ней подозренье? – отвечал Феклист Митрич. – За день до Успенья в городу она здесь была, на стройку желалось самой поглядеть. Тогда насчет этого дела с матерью Серафимой у ней речи велись. Мать Манефа так говорила: «На беду о ту пору благодетели-то наши Петр Степаныч с Семеном Петровичем из скита выехали – при ихней бытности ни за что бы не случилось такой беды, не дали бы они, благодетели, такому делу случиться».

– Это хорошо, – молвил Самоквасов, входя в дом Феклиста. А там Федоровна, сидя за самоваром, давно уж ждала и мужа и гостя.

На другой день воскресенье приходилось. Поутру зычно раздался звон большого соборного колокола. Вторя ему, глухо задребезжал надтреснутый напольный (Напольная церковь – кладбищенская.), и резко забряцал маленький серебристый колокол единоверческой церкви. День выдался красный, в небе ни облачка: ветер не шелохнет, пряди паутины недвижно висят в чистом, прозрачном воздухе, клонящееся к осени солнышко приветно пригревает высыпавшие на улицу толпы горожан. Чинно, степенно одетые в темно-синие кафтаны и сибирки с борами назади, ходом неспешным идут старики и пожилые люди. С удалью во взорах, с отвагой в движениях, особыми кучками выступают люди молодые, все до единого в ситцевых рубахах с накинутыми поверх суконными чуйками.

Старухи все в синем, с темными матерчатыми (Матерчатый – из шелковой ткани.), затканными золотом головными платками; молодницы в ситцевых и шелковых сарафанах с яркими головками (Головка – головная повязка замужних горожанок из шелкового платка или косынки преимущественно яркого цвета. Встречаются головки и по деревням в зажиточных семействах. В последнее время они стали выходить из употребления, заменяясь шелковыми платками в выпуск.), а заневестившиеся девицы в московских сарафанах с белоснежными рукавами и с цветными платочками на головах. Все идут, все спешат, а ребятишки и девчонки давным уж давно снуют по улицам. Все глядят весело, празднично. Не много народа в собор прошло, меньше того в напольную, чуть-чуть побольше в единоверческую, зато густыми толпами повалил народ в дома келейниц. Всюду тихо – все молятся, каждый по-своему.

Чинно, степенно, без шума, без говора после молитвы по домам разошлись. Опустели улицы, и стар и мал за столом сидят, трапезуют чем кому бог послал. Пообедавши, старые люди на спокой пошли, кто помоложе – на улицу. Тут чуть-чуть оживился, тут едва развернулся мертвенный в обычное время городок. В лучших нарядах девушки и молодницы расселись под окнами. Рядышком по три да по четыре сидят безмолвные красавицы, ровно в землю врытые. Ни хоровода, ни песен, ни бойких веселых речей. Оборони господи молодицу, а пуще того девицу на выданье – громкое слово сказать. Засмеют вольницу, ославят, что смела нарушить давний обычай. И станут за то ее женихи обегать, а мужнюю жену сожителю зачнет поколачивать... Особыми кучками, также под оконья к кому-нибудь, старики попозже собираются и до позднего вечера толкуют про свои дела. Тут и громкий говор и споры, иной раз до ссоры даже дойдет, но и бранятся чинно, степенно. Холостым много вольнее – с увесистыми палками в руках заводят они середь улицы любимую свою игру в городки. Расставив рядами деревянные чурки, мечут в них издали палками; кто больше сшиб, тот и выиграл. Тут смех, даже громкие крики, но чинность, степенность блюдетсся и середь молодежи.

Так веселятся в городке, окруженном скитами. Тот же дух в нем царит, что и в обителях, те же нравы, те же преданья, те ж обиходные, житейские порядки... Но ведь и по соседству с тем городком есть вражки, уютные полянки и темные перелески. И там летней порой чуть не каждый день бывают грибовные гулянки да ходьба по ягоды, и там до петухов слушает молодежь, как в кустиках раковых соловушки распевают, и там... Словом, и там, что в скитах, многое втайне творится...

Все улицы с переулками и со всеми заулками исходил Петр Степаныч. Людно везде, но столь строго и чинно, что ему, заезжему человеку, безжизненным, мертвым все показалось. Скуч-

но стало ему – кругом незнакомые люди, не с кем речь повести, не с кем в разговор вступить. Пробовал, и не один раз пробовал, но ему отвечали сухо, нехотя, поглядывая на него недобрыми глазами. Тоска напала на Петра Степаныча среди чужих людей.

Томимый скукой одиночества, вплоть до ночи пробродил он по городу, а на ночлеге другая беда – словоохотный Феклист подсел с докучными рассказами, несколько для гостя не любопытными. Рад бы не слушать, да хозяину рта не зашьешь. Стал отмалчиваться, и то не помогает, рассказы Феклиста о городских пользах и выгодах были нескончаемы. На головную боль стал жаловаться Самоквасов, думая, что хоть больному-то дадут покой. Не тут-то было – Феклист, а пуще его дородная и сильно к вечеру под влиянием настоячки разговорившаяся Федоровна, перебивая друг друга, стали ему предлагать разные снадобья, клятвенно заверяя, что от них всякую болезнь с него как рукой снимет. Чтоб избавиться от надоевшей болтовни, Петр Степаныч хотел было спать идти, но радушные хозяева его не пустили. «Как можно, – с изумлением они говорили, – как возможно без ужина гостю держать опочив?..» Насилу отделался Самоквасов от докучного хлебосольства.. Радостно, свободно вздохнул он, запершись в отведенной ему комнате.

Жарко, душно. Воздух сперся, а освежить его невозможно. Перед тем как приехать Петру Степанычу, завернули было дожди с холодами, и домовитый Феклист закупорил окна позимнему... Невыносимо стало Самоквасову – дела нет, сон нейдет... Пуще прежнего и грусть и тоска... Хоть плакать, так в ту же пору...

А Фленушка с ума нейдет. Только и мыслей, только и дум, что об ней да об ней. Жалко ее. Клянет и корит себя Самоквасов, что прежде законной поры до конца исканья свои довел... Но тут же и правит себя...

(Оправдывает.) «Как же было стерпеть, как воздержаться?»... и тем старается успокоить свою совесть. А меж тем жалостью растопляется его сердце, любовь растет и объемлет все существо его... «Что-то теперь она, моя ластовка, что-то теперь, моя лебедь белая? К отъезду ли тихонько собирается или с Манефой на последышках беседует?.. Ох, скорей бы, скорее проходили эти дни! Обнять бы ее скорей, увезти бы из скучного скита на новую жизнь, на счастье, на радость, на любовь бесконечную!.. Целый день еще остается!.. И зачем она так упорно домогалась, чтоб уехал я на то время, как станет она сряжаться?.. Чем помешал бы я ей?.. Прихоть, причуда!.. Такой уж нрав – ни с того ни с сего заберет что-нибудь себе в голову. Тут вынь да положь – тешь девичий обычай!..»

Не сходит с ума Фленушка, не сходит она и со взоров духовных очей у Петра Степаныча. Наяву стала чудиться, ровно живая...

Раскидался в сонном бреду Петр Степаныч на высоко взбитой пуховой перине. Призраки стали являться ему... И все Фленушка, одна только Фленушка. Но не такова, какою прежде обычно бывала. Не затейница веселых проказ, не бойкая, насмешливая причудница. Иная Фленушка теперь видится, какою под конец последнего свиданья была: тихая, безмолвная, в робком смятенье девичьей стыдливости, во всей красоте своей, во всей прелести. Закинулась назад миловидная головка, слезой наслаждения подернулись томные очи, горят ланиты, трепещут уста пурпуровые... Распахнулась белоснежная сорочка, и откинулась наотлет, будто резцом художника из мрамора иссеченная, стройная рука... Не звонкий хохот, не резкая речь слышится в мертвой тиши темной ночи Петру Степанычу; слышится ему робко слетающий с трепетных уст страстный лепет, чудится дрожащий шепот, мечтаются порывистые, замирающие вздохи...

На другой день Петр Степаныч придумать не мог, куда бы деваться, что бы делать с собой. После бессонной ночи в душной горнице, после дум беспокойных, после страстных горячих мечтаний едва мог он с постели подняться. Увидав его, бледного, истомленного, – Феклист Митрич не на шутку перепугался. Не тертый картофель, не кочан капусты к голове стал теперь ему предлагать, но спрашивал, не сбегать ли за лекарем. Петр Степаныч наотрез отказался.

Пуще всего тому дивился Феклист, что, выпив две чашки чаю, Петр Степаныч не согласился позавтракать. Ни жаренные в сметане белые грибы, ни копченая семга, ни сочный уральский балык, ни сделанный самой Федоровной на славу жирный варенец, ни стряпня того повара, что лакомил когда-то командиров, не соблазнили его. Много Феклист за гостем ухаживал, много его потчевал, но не принял приветно и ласково речей его Петр Степаныч... А много было Феклист

хлопотал, потому что думал, ежели побольше да слаще поест казанский наследник, щедрее заплатит ему за постой. Отказ от завтрака за убыток себе он почел.

Вышел Самоквасов на улицу. День ясный. Яркими, но не знойными лучами обливало землю осеннее солнце, в небе ни облачка, в воздухе тишь. Замер городок по-будничному – пусто, беззвучно... В поле пошел Петр Степаныч.

Без цели, без намеренья, выйдя за городскую околицу, зашел он на кладбище. Долго бродил меж поросших густою травой надмогильных насыпей, меж старых и новых крестов и голубцов. Повидней да побогаче памятников было немного – ставлены они были только вокруг церкви над почетными горожанами, больше над чиновниками. Из дворян во всем захолустном уезде никого не живет, а купечество почти сплошь старинки держится и хоронится в особом участке отдельно от церковников, оттого и нет возле церкви очень богатых памятников. Походил Самоквасов по кладбищу, бессознательно перечитал все надгробия. Было немало смешных и забавных.

Вот на чугунном столбике без знаков препинания начертано: «Господи! в селениях твоих подаждь ему успокоение от супруги его Ольги Ивановны». Вот на каменной плите иссечено произведение доморощенного стихотворца и в нем завещание в бозе усопшей боярыни Анны супругу ее, оставшемуся в земной плачевной юдоли «Помяни ты мое слово – на другой ты не женись». Вот на кирпичном, ржавой жестью обитом мавзолее возвещается «прохожему», что тут погребен «верный, усердный раб церкви – удельный крестьянин такой-то, в двух жалованных из кабинета его императорского величества кафтанах, один кафтан с позументами, а другой с золотым шитьем и таковыми ж кистями». Бессознательно читает Петр Степаныч кладбищенские сказанья, читает, а сам ничего не понимает. Далеко его думы – там на Каменном Вражке, в уютных горенках милой, ненаглядной Фленушки.

Всюду тихо, лишь кузнечики неустанно трещат в надмогильной траве и в спелой яри на несыжатых еще яровых полях. Изредка в поднебесье резко пропищит ястреб, направляя бойкий полет к чьему-нибудь огороду полакомиться отставшим от наседки цыпленком. В немой тиши один с заветной думой бродит Петр Степаныч по божьей ниве...

Весь мир им забыт, одна Фленушка только на мыслях. «Завтра, завтра, только что стемнеет, мы с ней в Казань. В людном, большом городе, в шумной жизни забудет она Манефу и скит... К новой жизни скоро привыкнет... Разряжу ее на зависть всем, на удивленье... Игры, смехи, потехи любит она, – на жизнь веселую ее приведу...»

С поля ветер пахнул, далекие голоса слышались: "Воистину суета всяческая! Житие бо ее – сон и сень, и все мятется всяк земнородный... (Седален 6 гласа в «Службе усопшим». Текст по Филаретскому «Потребнику» 1623 года. Лист 660.).

Ровно ножом полоснуло по сердцу Петра Степаныча... "Что это?.. Надгробная песня?.. Песня слез и печали!.. – тревожно замутилось у него на мыслях. – Не веселую, не счастливую жизнь они напевают мне, горе, печаль и могилу!.. Ей ли умирать?.. Жизни веселой, богатой ей надо. И я дам ей такую жизнь, дам полное довольство, дам ей богатство, почет!..

«Аще и весь мир приобрящем и тогда в гроб вселимся, иде же купно цари же и убозии...» – доносится пение келейниц...

– О будь вы прокляты!.. вскрикнул Петр Степаныч...

И, смущенный, в тревожном смятенье медленным шагом пошел он на те голоса... Нехотя идет, будто тайной, непонятной силой тянет его туда... «Суета!.. Сон и сень!.. Во гроб вселимся!..» – раздается в ушах его. Страх осетил рассудок и все помышленья его... Не венчальных же ликов, не удалых, веселых песен ждать ему на могилах, но это и в голову ему не приходит. Идет на голоса и вот видит – на дальнем староверском участке, над свежей, дерном еще не покрытой могилой скитские черницы стоят... На могиле чайная чашка с медом, кацея с дымящимся ладаном. Справляют канон... «По ком бы это?» – подумал Петр Степаныч и слышит:

«Рабе божией преставльшейся сестре нашей иноке Филагрии вечная память!..»

«Что за Филагрия такая?» – думает Самоквасов... Кончили матери «службу об усопшей». А Петр Степаныч все на том же месте в раздумье стоит... «Сон и сень!.. Сон и сень!.. Все мятется всяк земнородный!.. Что это за Филагрия?..» Никакой Филагрии до той поры он не знал. Даже имени такого не слыхивал, а теперь с ума оно не сходит. Черные думы вконец обуяли его...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Едва мог дожидаться вечера Петр Степаныч. Чтобы в точности выполнить Фленушкино желание, надо бы ему было приехать в Комаров поутру. Но не в силах он был медлить так долго. Только что смерклось, поскакал он из города к Каменному Вражку, помчал стороной от большой дороги, по узкому, едва проезжному проселку. Скачет то по горелому, то по срубленному лесу, ни мостов там нет через речки, ни гатей по болотам, зато много короче. Доставалось бокам Самоквасова от пней, от корневищ, от водороев, но не чувствует он ни толчков, ни ударов, торопит ямщика то и дело. Заря еще не занималась, как подскочил он к дому Ермилы Матвеича. Спрашивает:

– Что в скиту? Нет ли каких новостей? Все ли живы-здоровы?

– Все слава богу живы-здоровы, – отвечает Ермил Матвеич. – А новостей никаких не предвидится. С ярманки кое-кто воротились: мать Таифа Манефиных, мать Таисея Бояркиных. Больше того нет никаких новостей.

– Слава богу, – молвил Петр Степаныч и вздохнул глубоко и легко.

Подивился на гостя Сурмин, но не молвил ни слова. Один остался в светелке Петр Степаныч. Прилег на кровать, но, как и в прошлую ночь, сон не берет его... Разгорелась голова, руки, ноги дрожат, в ушах трезвон, в глазах появились красные круги и зеленые... Душно... Распахнул он миткалёвые занавески, оконце открыл. Потянул в светлицу ночной холодный воздух, но не освежил Самоквасова. Сел у окна Петр Степаныч и, глаз не спуская, стал глядеть в непроглядную темь. Замирает, занывает, ровно пойманный голубь трепещет его сердце. «Не добро вещует», – подумал Петр Степаныч.

Забрезжилось. На восточном вскрае неба забелелся рассвет; стали из тьмы выделяться очерки скитских строений. Тихо и глухо везде... По обителям не видать огоньков. Только в Манефиной стае тускло мерцают лампы перед божницами... Глядит Петр Степаныч, неустанно глядит на окна Фленушкиных горниц, и сладкие мечты опять распаляют его воображение... Ту ночь вспоминает, забыть ее не может... «А моя-то красotka разметалась теперь в постельке своей, – мечтает он, – обо мне мечтает... Волной поднимается грудь, и жарко дыханье ее... От сонной истомы раскрыты алые губки, и в сладкой дремоте шепчут они любовные речи, имя мое поминают...»

Свет в окне показался... «Неужели встает?.. Что это так рано поднялась моя ясынька?.. Видно, срягается... Но всего еще только четыре часа... О милая моя, о сердце мое!.. День один пролетит, и нас никто больше не разлучит с тобой... Скоро ли, скоро ль пройдет этот день?..»

Погас свет во Фленушкиных горницах, только лампа перед иконами теплится... В било ударили... Редкие, резкие его звуки вширь и вдаль разносятся в рассветной тиши; по другим обителям пока еще тихо и сонно. «Праздник, должно быть, какой-нибудь у Манефиных, – думает Петр Степаныч. Спозаранку поднялись к заутрени... Она не пойдет – не великая она богомольница... Не пойти ли теперь к ней? Пусть там поют да читают, – мы свою песню споем...»

Схватил картуз, побежал, но тотчас одумался. «Увидят, как раз на кого-нибудь навернешься... Еще ночь не минула... Огласка пойдет – лучше остаться».

Поют у Манефы заутреню. По другим обителям тоже стали раздаваться удары в било. Резче и резче носятся они в сыром, влажном воздухе... А у Манефы в часовне поют да поют.

Совсем рассвело, но ровно свинцовые тучи висят над землей. В воздухе белая мгла, кругом над сырыми местами туманы... Пышет север холодом, завернул студеной утренник, побелели тесовые крыши. Ровно прикованный к раскрытому оконцу, стоит в раздумье Самоквасов.

Кончилась служба. С высокого крутого крыльца часовенной паперти старицы с белицами попарно идут. Различает их, узнает иных Петр Степаныч – вот мать Таифа, приехала, значит, от Макарья, вот уставщица Аркадия, мать Лариса, мать Никанора, самой Манефы не видно. Перед старицами певчие белицы, впереди их, склонив голову, медленным шагом выступает Марья головщица. Заунывное пение их раздаётся:

«Послушай Христа, что вопиет, о дево!» «Что поют, зачем поют?» – думает, слушает необычное пение Петр Степаныч. Пристально смотрит он на шествие келейниц, внимая никогда до-

толе не слыханной песне:

«Иди, отвержися земных, да не привлечет тебя страсть...»

К Манефиной келье идут. Что ж это такое? Что они делают? – в недоуменье рассуждает Петр Степаныч и с напряженным вниманием ловит каждое слово, каждый звук долетающего пения... Все прошли, все до одной скрылись в Манефиной келье.

Ермилу Матвеич, увидав из огорода, что гость его стоит у раскрытого окна, тотчас пошел навестить его.

– Раненько, сударь, поднялись – ни свет, ни заря!.. Каково после дороги спали-почивали? Отдохнули ли? – спрашивал он, входя в светелку.

Не ответил ни слова ему Самоквасов. Сам с вопросом к нему.

– Что это такое у Манефиных? После заутрени всей обителью к игуменье в келью пошли, с пением! Что за праздник такой?

Постриг, – молвил Ермилу Матвеич. – Постриг сегодня у них... Не знавали ль вы, сударь, мать Софию, что прежде в ключах у Манефы ходила? Тогда, великим постом как болела матушка, в чем-то она провинилась. Великий образ теперь принимает... Девки мои на днях у Виринеи в келарне на посидках сидели. Они сказывали, что мать София к постриженью в большой образ готовится. Вечор из Городца черного попа (Черный поп – священник-инок, иеромонах. По правилам, он только имеет право постригать в монашество, но «нужды ради», за недостатком черных попов, у раскольников нередко и без них дело обходится.) привезли.

– Так это постриг? – в раздумье проговорил Петр Степаныч.

– Постриг, – молвил Сурмин. – Мои девицы и обе снохи давно уж туда побежали... Самоварчик не поставить ли, чайку не собрать ли? Совсем уж обутрело. Молвлю хоть старухе – молодые-то все убежали на постриг глядеть...

– Можно этот постриг посмотреть? – спросил Петр Степаныч.

– Нет, никаким образом нельзя, – ответил Сурмин. – Мужчинам теперь вход в часовню возбранен. Раздевают ведь там постриженицу чуть не донага, в рубахе одной оставляют... Игуменья ноги ей моет, обувает ее... Нельзя тут мужчине быть, нельзя видеть ему тело черницы. Ни слова на то не сказал Самоквасов.

– Как же насчет самоварчика-то? – снова спрашивал у него Ермилу Матвеич. – Чайку бы теперь хорошо было выпить... И я бы не прочь.

– Пожалуй, – бессознательно ответил Петр Степаныч.

Скоро старушка, жена Ермила Матвеича, самовар и чайный прибор принесла. Чай пили только вдвоем Самоквасов с хозяином.

– Про Софию много тогда нехорошего шушукали, – сидя за чаем, говорил Ермилу Матвеич. – Правда ли, нет ли, а намолвка в ту пору была, что деньги будто тогда она припрятала, не чая, что Манефа с одра болезни встанет... Марья Гавриловна тогда распорядилась, все отобрала у Софии. А как поднял господь матушку, ей все и рассказали. Она от ключей Софию и отставила.

Вот теперь постригом в великий образ хочет оправиться... А пуще всего – желается ей с Манефой в городе поселиться, келью бы свою там иметь, оттого больше и принимает великий постриг... Вон в часовню идут, – прибавил Сурмин.

Двинулось по обительскому двору новое шествие. Впереди попарно идут матери и белицы обеих певчих стай. Марьюшка всех впереди. За певицами матери в соборных мантиях и черный поп, низенький, старенький, седой, во всем иночестве и в епитрахили. Сзади его величавым шагом выступает Манефа. Она тоже в соборной мантии, игуменский посох в руке. Поднята голова, на небо смотрит она. За ней две старицы под руки ведут с ног до головы укрытую Софию. Идет она с поникшей головой, чуть не на каждом шагу оступаясь... По сторонам много чужих женщин. Мужчин ни одного, кроме попа. Пристально смотрит на всех Петр Степаныч, ищет глазами Фленушку – не видит ее. «Не любит она постригов, – думает он, – осталась одна на спокойе в своих горенках... Что ей до Софии? Вечер придет – вольной птицей со мной полетит...»

Прошли в часовню, затворили двери на паперть, заперли их.

– Начинается теперь. – молвил Ермилу Матвеич, допивая шестую чашку чая.

Тихо, ничего не слышно. Но скоро раздалось в часовенной паперти пение:

«Последуем, сестры, благому владыце, увядим мирския похоти, бежим лестыца и мирдержателя, будем чисти и совершенны...»

– Это они теперь раздевают Софию, – сказал Сурмин. И, сотворив крестное знаменье, примолвил:

– Подай, господи, рабе твоей страстей умирение, подай ей, святой, достойно прияти ангельский чин. Опять послышалось пение:

«Умый ми позе, честная мати, обуи мя сапогом целомудрия, да не пришед враг обрящет пята моя наги и запнет стопы моя...»

– Это значит, Манефа теперь умывает ей ноги... А вот теперь, – объяснял Сурмин, – калиги (Калиги – иноческая обувь.) на ноги ей надевает.

Ни слова Петр Степаныч. Свои у него думы, свои пожеланья. Безмолвно глядит он на окна своей ненаглядной, каждый вздох ее вспоминая, каждое движенье в ту сладкую незабвенную ночь.

«Объятия отча отверсти ми потщися», – поют там. Громче всех раздается голос Марьюшки. Слезы звучат в нем.

«Пускай поют, пускай постригают!.. Нет нам до них дела!.. А как она, моя голубка, покорна была и нежна!.. Как вдруг задрожала, как прижалась потом ко мне!..»

«Блудне мое изживше житие...» – доносится из часовни.

А он, все мечтая, на окна глядит, со страстным замираньем сердца помышляя: вот, вот колыхнется в окне занавеска, вот появится милый образ, вот увидит он цветущую красой невесту... «А как хороша была она тогда! – продолжает мечтать Петр Степаныч. – Горячие лобзанья! Пыл страстной любви!.. И потом... такая тихая, безответная, безмолвная... Краса-то какая в разгоревшихся ланитах...»

«Где есть мирская красота? Где есть временных мечтание? Не же ли видим землю и пепел? Что убо труждаемся всеу? Что же не отвержемся мира?» – поют в часовне.

– Антифоны запели, – молвил Сурмин. – Настоящий постриг теперь только начинается. Сейчас припадет София перед святыми, сейчас подадут ей ножницы добровольного радистрижения влас.

Что Самоквасову достриженья влас? Что ему до Софии? Одна Фленушка на мыслях. Иное все чуждо ему.

– Вот теперь ее черный поп вопрошает: «Имаши ли хранитися в девстве и целомудрии? Сохраниши ли даже до смерти послушание?» – говорит Сурмин.

Не слушает слов его Петр Степаныч, не сводит он глаз со Фленушкиных окон...

Распахнулась там занавеска... «Проснулась, встает моя дорогая... думает Петр Степаныч. – Спроважу Еремилу, к ней пойду... Пущай их там постригают!.. А мы?.. Насладимся любовью и все в мире забудем. Пускай их в часовне поют! Мы с нею в блаженстве утонем... Какая ножка у нее, какая...»

– Долго еще пройдет это пострижение? – спросил Петр Степаныч Сурмина.

– Не очень скоро еще до конца, – ответил Еремилу Матвеич. – А после пострига в келарню новую мать поведут.

Хотел было идти Петр Степаныч, но, взглядевшись, увидал, что у окна стоит не Фленушка... Кто такова, не может распознать, только никак не она... Эта приземиста, толста, несуразна, не то что высокая, стройная, гибкая Фленушка. «Нельзя теперь идти к ней, – подумал Самоквасов, – маленько обожду, покамест она одна не останется в горницах...»

И стал продолжать беседу с Сурминым. Мало сам говорил, больше с думами носился; зато словоохотен и говорлив был Еремилу Матвеич. О постригах все рассказал до самых последних мелочей.

Кончилась служба. Чинно, стройно, с горящими свечами в руках старицы и белицы в келарню попарно идут. Сзади всех перед самой Манефой новая мать. Высока и стройна, видно, что молодая. «Это не Софья», – подумал Петр Степаныч. Пытается рассмотреть, но креповая наметка плотно закрывает лицо. Мать Вирина с приспешницами на келарном крыльце встречает новую сестру, а белицы поют громогласно:

«Господи, господи, призри с небеси и виждь и посети винограда своего» (Все эти песни,

употребляемые старообрядцами при пострижении инокинь, дословно взяты из Филаретовского «Потребника» 1631 г. Теперь чин пострижения в монашество значительно сокращен и большая часть духовных песен отменена, но старообрядцы сохранили все, что делалось и пелось при первых московских патриархах.).

На частые удары била стекаются в келарню работные матери и белицы, те, что, будучи на послушаниях, не удосужились быть на постриге... Вот и та приземистая белица, что сейчас была во Фленушкиных горницах, а самой Фленушки все нет как нет... «Дома, значит, осталась. Теперь самое лучшее время идти к ней...» – думает Петр Степаныч.

Пошел, но только что вступил в обительскую ограду, глядит – расходятся все из келарни. Вот и Манефа, рядом с ней идет Марья головщица, еще две белицы, казначея Таифа, сзади всех новая мать. "Они теперь у Манефы все будут сидеть, а я к ней, к моей невесте!.. – подумал Петр Степаныч и бойко пошел к заднему крыльцу игуменьиной стаи, что ставлено возле Фленушкиных горниц.

Быстрым движеньем двери настежь он распахнул. Перед ним Таифа.

– Нельзя, благодетель, нельзя! – шепчет она, тревожно махая руками и не пуская в келью Самоквасова. – Да вам кого?.. Матушку Манефу?

– К Флене Васильевне, – молвил он.

– Нет здесь никакой Флены Васильевны, – ответила Таифа.

– Как? – спросил как снег побелевший Петр Степаныч.

– Здесь мать Филагрия пребывает, – сказала Таифа.

– Филагрия, Филагрия! – шепчет Петр Степаныч. Замутилось в очах его, и тяжело опустился он на стоявшую вдоль стены лавку.

Вдруг распахнулась дверь из боковушки. Недвижно стоит величая, строгая мать Филагрия в черном венце и в мантии. Креповая наметка назад закинута... Ринулся к ней Петр Степаныч...

– Фленушка! – вскрикнул он отчаянным голосом. Как стрела, выпрямилась станом мать Филагрия. Сдвинулись соболиные брови, искрометным огнем сверкнули гневные очи. Как есть мать Манефа.

Медленно протянула она вперед руку и твердо, властно сказала:

Отыди от мене, сатано!..

А на ярманке гусли гудят, у Макарья наигрывают, развеселое там житье, ни тоски нету, ни горяшка; и не знают там кручинушки!

Туда, в этот омут ринулся с отчаянья Петр Степаныч.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ни у Дорониных, ни у Марка Данилыча о Самоквасове ни слуху ни духу. Сгинул, пропал, ровно в воду канул. В последнее время каждый день бывал он то у Дорониных, то у Марка Данилыча; все полюбили веселого Петра Степаныча; свыклись с ним. Бывало, как ни войдет – на всех веселый стих нападет; такой он, был затейник, такой забавник, что, кажется, покойника сумел бы рассмешить, а мало того – и плясать бы заставил...

Думали теперь, передумывали, куда бы он мог запропасться; пуще всего гребтелось о нем добродушной, заботной Татьяне Андревне. День ото дня больше и больше она беспокоилась. А тут как нарочно разные слухи пошли по ярманке: то говорят, что какого-то купчика в канаве нашли, то затолкуют о мертвом теле, что на Волге выплыло, потом новые толки: там ограбили; тут совсем уходили человека... Большей частью слухи те оказывались праздной болтовней, всегда неизбежной на многолюдстве, но Татьяне Андревне в каждом утопленнике, в каждом убитом или ограбленном мерещился Петр Степаныч. Бывало, как только услышит она про утопленника, тотчас почнет сокрушаться. «Батюшки светы! не наш ли сердечный?»

Еще до возврата Меркулова как-то вечером Дмитрий Петрович чай пил у Дорониных, были тут еще двое-трое знакомых Зиновью Алексеичу. Беседу вели, что на ярманке стали пошаливать. Татьяна Андревна, к тем речам прислушавшись, на Петра Степаныча речь навела.

– Как же это так? – говорила она. – Как же это вдруг ни с того ни с сего пропал человек, ровно клад от аминя рассыпался?.. Надо бы кому поискать его.

Дмитрий Петрович, кой что зная от Самоквасова про его дела, молвил на то:

– В Казань не уехал ли? Там он с дядей по наследству тягается, может быть понадобилось ему лично самому там быть.

Но Татьяна Андревна твердо на своем стояла. Почти со слезами говорила она, что сердечному Петру Степанычу на ярманке какая-нибудь беда приключилась.

И Лизу с Наташей припечалили те разговоры. Стали обе они просить Веденеева, поискал бы он какого-нибудь человека, чтобы весточку он дал про Самоквасова, к дяде его, что ли, бы съездил, его бы спросил, а не то разузнал бы в гостинице, где Петр Степаныч останавливался.

К просьбам дочерей и свою просьбу Татьяна Андревна приставила:

– Поезжай, Дмитрий Петрович, разузнай хоть у старика Самоквасова, у дяденьки его, – говорила она. – Хоша и суды меж ними идут, как же, однако, дяде-то родному не знать про племянника?..

Веденеев на другой же день обещал съездить и в гостиницу и к дяде Петра Степаныча, хоть и знал наперед, что от старика Самоквасова толку ему не добиться, разве что на хитрости какие-нибудь подняться.

На другой день отправился он в гостиницу, но там ничего не мог разузнать. «Съехал, говорят, а куда съехал, не знают, не ведают. – Много-де всякого звания здесь людей перебивает, где тут знать, кто куда с ярманки выехал».

Нечего делать, поехал Дмитрий Петрович к старику Самоквасову. Застал его в лавке за какими-то расчетами. Поглядев на него, тотчас смекнул Веденеев, что ежели спроста спросить его о племяннике, он и говорить не захочет, скажет «мне недосуг» и на дверь покажет. Пришлось подняться на хитрости. Заявил Веденеев себя покупателем. С первого же слова узнав, что покупает он товар на чистые деньги, Тимофей Гордеич Самоквасов посмотрел на Дмитрия Петровича ласково и дружелюбно, отложил расчеты и попросил гостя наверх в палатку пожаловать. Там, наговорившись о торговых делах, Веденеев спросил угрюмого Тимофея Гордеича, не родня ли ему молодой человек, тоже Самоквасовым прозывается, а зовут его Петром Степанычем. Незадолго-де перед ярманкой на железной дороге с ним познакомился.

– Племянником доводится, – сухо и нехотя промолвил Тимофей Гордеич.

– Из Петербурга в Москву вместе ехали, – сказал Дмитрий Петрович, – в Москве тоже видались и здесь, на ярманке. Хотелось бы мне теперь его повидать, делишко маленькое есть, да не знаю, где отыскать его. Скажите, пожалуйста, почтеннейший Тимофей Гордеич, как бы мне увидеть вашего племянника?

– Не знаю, сударь, – сердито насупив брови, ответил старик Самоквасов. Пес его знает, где он шляется... Праздный человек, тунеяд, гуляка... Я его, шаталу, и на глаз к себе не пущаю...

– Какая досада! – молвил Дмитрий Петрович и с нетерпением мотнул головой. – А как бы нужно мне повидать его. Просто сказать – до зарезу надо...

– Не могу ничего ответить на ваши спросы, – неласково промолвил Тимофей Гордеич. – Так что же-с? Как вам будет угодно насчет ваших закупок?..

– Видите ли, почтеннейший Тимофей Гордеич, – с озабоченным видом свое говорил Веденеев. – То дело от нас не уйдет, бог даст на днях хорошенько столкнемся, завтра либо послезавтра покончим его к общему удовольствию, а теперь не можете ли вы мне помочь насчет вашего племянника?.. Я и сам теперь, признаться, вижу, не надо бы мне было с ним связываться.

– Нешто дело у вас какое с ним? – с любопытством спросил старый Самоквасов, зорко глядя в глаза Веденееву.

– То-то и есть, почтеннейший Тимофей Гордеич. Нешто без дела стал бы я вас беспокоить, спрашивать об нем?.. – с притворной досадой молвил Дмитрий Петрович.

– Какое же дело у вас до Петьки касается? – откашлянувшись и поглядывая искоса на Веде-

неева, спросил Самоквасов. – Глядя по делу и говорить станем... Ежель пустошное какое, лучше меня и не спрашивайте, слова не молвлю, а ежель иное что, может статься и совет вам подам.

– Должишко есть за ним маленький, – сказал Дмитрий Петрович. – А мне скоро домой отправляться. Хотелось бы покончить с ним насчет его долга.

– По векселю? – все-таки искоса посматривая на Веденева, отрывисто спросил старик Самоквасов.

– По сохранной расписке, – ответил Дмитрий Петрович.

– По сохранной!.. Гм?.. Так впрямь по сохранной!.. Наличными, значит, одолжался?

– Да, рублей тысячу наличными взял, – сказал Веденев.

– Тысячу!.. Ишь его как!.. Тысячами стал швыряться!.. А давно ль это было, спрошу я вас? – спросил Тимофей Гордеич.

– Да вот через три дня месяц исполнится... Обещал непременно в ярманке расплатиться, да вот и застрял где-то. Расписка-то, впрочем, писана до востребования, – сказал Дмитрий Петрович.

Так-с, – протянул Самоквасов. – Расплатится он! Как же!.. Держите карман шире!.. На гулянки бы только ему, по трактирам да в непотребных местах отличаться!.. А долги платить – дело не его... На беспутное что-нибудь и деньги-то у вас, поди, займовал?

– Нет, – молвил Веденев, – на беспутство я не дал бы, он мне тогда говорил, что дело у него какое-то есть... По судам, говорил, надо ему хлопотать. Раздел какой-то поминал.

– Раздел поминал!.. Так это он у вас на раздел займовал!.. – злобно захохотав, вскрикнул Самоквасов. – Охота была вам ссужать такого бездельника, шалыгана непутного... Плакали, сударь, ваши денежки, плакали!.. Это ведь он со мной тягается – выдели его из капитала, порушь отцами, дедами заведенное дело... Шиш возьмет!.. Вот что!.. Совсем надо взбеситься, чтобы сделать по его... Подлец он, мерзкий распутник!..

– Это ваше дело, Тимофей Гордеич... – сказал Веденев. – А вот хоть и говорите вы, что пропали мои денежки, однако ж я надеюсь на доброе ваше расположение и, чтобы нам и теперь и вперед дела вести, буду вас покорнейше просить не оставить меня добрым советом насчет вашего племянника и помочь разыскать его. Потому что, как скоро отыщу его, тотчас куда следует упрячу голубчика. Предъявлю, значит, ему расписку, потребую платежа, а как, по вашим словам, он теперь не при деньгах, так я расписочку-то ко взысканию, да и упрячу друга любезного – в каменный дом за решеточку... Не отвертится, в бараний рог согну его.

– Вот это так, вот это настоящее дело, – весело потирая руки и похаживая взад и вперед по комнате, говорил Самоквасов. – Это вы как надо быть рассуждаете... Приятно даже слушать!.. Мой совет, вашего дела вдаль не откладывать. Засадите поскорей шельмеца – и дело с концом... Пожалуйста, поторопитесь, не упустите шатуна, не то он, пожалуй, туда лыжи наострит, что в пять лет на разыщешь.

– Сыскать-то где мне его, Тимофей Гордеич? – сказал Веденев. – Знал бы я, где он скрывается, так не стал бы чиниться. Дохнуть бы не дал ему, разом скрутил бы!.. Да не могу добиться, где он теперь. Вот беда-то моя!

– Болтали наемни ребята – на другой день, слышь, либо на третий день Успенья за Волгу он удрал, – молвил старик Самоквасов.

– А он как раз через день после Успенья обещал мне деньги принести, молвил Веденев.

– Извольте видеть! – злорадно вскрикнул Тимофей Гордеич. – Значит, он от вашего долга тягача-то и задал... Нет, уж вы, пожалуйста, богом вас прошу, не милуйте его. Упрячьте поскорее в долговую – пушай его отведает, каково там живется... Я бы, скажу вам откровенно, сам его давно бы упек – провинностей за ним достаточно, да сами можете понять, что мне неловко... Сродство, толков не оберешься, опять же раздел. А ваше дело особая статья, человек вы сторонний, вам ничего. Закон, мол, и вся недолга.. Нет уж, вы приструньте его, пожалуйста. Век не забуду вашего одолженья!.. Хотите, при вас расспрошу про него молодцов?

И крикнул какого-то Ваську. Лётом влетел вверх по лестнице парень лет двадцати, кровь с молоком, сильный, здоровый, удалый.

– Слушай, Васька, – властным голосом стал говорить Самоквасов. – Правду скажешь – кушак да шапка мерлушчатая; соврешь – ни к Рождеству, ни к святой подарков как ушей своих не

увидишь... Куда Петр Степаныч уехал?

Замаялся было Васька, но кушак и шапка, особенно эта заманчивая мерлушчатая шапка, до того замерещилась в глазах молодца, что, несмотря на преданность свою Петру Степанычу, все, что ни знал, рассказал, пожалуй еще кой с какими прибавочками.

– Коней за Волгу рядили, – сказал он. – При мне была рада, я у них тогда на квартире случился. До Комаровского скита подряжали, на сдаточных.

– До Комарова? – молвил Тимофей Гордеич. – Ты ведь не то в прошлом, не то в позапрошлом году туда ездил с ним?

– Так точно-с, я самый с ним ездил, – отвечал Васька. – В прошлом году это было, четыре недели там выжили.

– Как думаешь, Васютка, зачем бы теперь ему в Комаров ехать? – ласково спросил Тимофей Гордеич.

– К Бояркиным, надо думать, поехал, – ответил Васютка. – У них завсегда ему пристанище.

– Не может быть, – молвил на то Тимофей Гордеич. – Мать Таисея вечер у меня была и сама про него спрашивала.

– Нешто к Манефиным? – молвил Васютка. – Там зазнобушка есть у него...прибавил он, осклабясь и тряхнув головой молодецки.

– Кто такая? – спросил Тимофей Гордеич.

– Племянницей матушки Манефы зовут ее. В приемыши, слышь, взята... В скитах настоящего дела по этой части не скоро разберешь, – с усмешкой прибавил Васютка. – Фленой Васильевной звать ее.

– Что ж у него с этой Фленой? – спросил Самоквасов.

– Известно, что, – ухмыльнулся Васютка. – Соловьев по ночам вместе слушают-с, по грибы да по ягоды по лесочкам похаживают. Были у них ахи, были и махи, надо полагать, всего бывало. На эти дела в скитах очень просто. Житье там разлюли-малина, век бы оттоле не вышел.

– Так ты думаешь, что он к этой Флене поехал? – немного помолчав, спросил Самоквасов.

– Так надобно думать, – ответил Васютка. – Как турился он ехать и укладывался, так я ему помогал... А он нет-нет, да и вздохнет, а вздохнувши, и промолвит тихонько: «Ах ты, Фленушка, Фленушка!» Безотменно к ней собрался.

– Ступай к своему делу, – приказал Васютке Тимофей Гордеич... – Кушак да шапка за мной. Завтра получишь.

– Чувствительнейше вас благодарим, Тимофей Гордеич, – низко кланяясь, молвил Васютка, и лицо его просияло. Шапка не простая, а мерлушчатая! Больно хотелось такой ему. «Заглядятся девки, как зимой, бог даст, с кулаками в голицах на Кабан (Кабан – озеро в Казани. На льду его бывали, а может, и теперь бывают еще кулачные бои между русскими и татарами.) пойду, – думает он. – Держись, татарва окаянная, – любому скулу сворочу!»

– Ну вот, извольте видеть, – сказал Тимофей Гордеич Веденееву, когда, стуча изо всей мочи тяжелыми сапогами, сходил по лестнице в лавку Васютка. Вот вам и путь его, вот и дорога. Сцапайте его, батюшка, сделайте такое ваше одолжение... По гроб жизни не забуду!.. Потрудитесь, пожалуйста... А мы завсегда ваши радетели.

Мне что? Мне бы только очуствовался он, молод ведь еще, может статься маленько погода и образуется... Грозы на него мало было, оттого и беда вся. Прихлопните его, сударь, прихлопните! Это не вредит, право не вредит... Его же душе во спасенье пойдет. Верно говорю...

До того был рад старик Самоквасов, что, как только ушел от него Веденеев, не только Васютке кушак и шапку купил, но и другим молодцам на пропив деньжонок малую толику пожаловал.

В тот же день вечером Веденеев, сидя за чайным столом у Дорониных, рассказал, как собирал он вести про Петра Степаныча. Много шутили, много смеялись над тем, как провел он старого Самоквасова, но не могли придумать, зачем понадобилось Петру Степанычу ехать в скиты за Волгу. При Лизе с Наташей Веденеев смолчал о Фленушке, но, улучив время, сказал о том и Зиновью Алексеичу и Татьяне Андревне. Зиновий Алексеич улыбнулся, а Татьяна Андревна начала ворчать.

– Вот какие вы ноне стали ветрогоны! Вот за какими делами по богомольям разъезжаете! Святые места порочите, соблазны по людям разносите! Не чаяла я таких делов от Петра Степаныча, не ожидала... Поди вот тут каков лукавец! И подумать ведь нельзя было, что за ним такие дела водятся... Нехорошо, нехорошо, ой как нехорошо!

На другой день Дарья Сергевна за каким-то делом завернула к Дорониным, и Татьяна Андревна все рассказала ей, что накануне узнала про Самоквасова. Не забыла и Фленушку помянуть. Живя с Дуней долгое время у матери Манефы, Дарья Сергевна хорошо знала обительскую баловницу, игривый, веселый нрав ее, озорные шалости и затейные проказы. И то знала, что Фленушка чересчур уж вольно обходится с мужчинами, но не верила, чтоб у нее с кем-нибудь дело далеко зашло.

«А впрочем, – подумала она, – чего с человеком не может случиться. Враг ведь силен, горами качает, долго ль и тут до греха!...» Аграфене Петровне сказала, но та совсем не поверила, чтоб у Фленушки было что-нибудь с Самоквасовым... А что за Волгу он уехал, о том она еще накануне знала: ихний приказчик ездил за товаром в Вихорево и вблизи Комарова повстречал Петра Степаныча.

Под Главным домом, у лавочки с уральскими камнями, часу в первом дня стоял Веденеев, и, купив целую кучу красно-красных рубинов, голубых сапфиров, сине-алых аметистов, малиновых турмалинов и белых, будто алмазы блестящих, тяжеловесов, укладывал их в большую малахитовую шкатулку для первого подарка нареченной невесте. Едва отвел он глаза от игравших разноцветными переливами камней, увидел быстро с озабоченным видом проходившего мимо Петра Степаныча.

Остановил его Дмитрий Петрович и, несмотря на отговорки спешными делами, пустился в длинные расспросы. Самоквасов сказал, что он в самом деле ездил за Волгу, но вот уж четвертый день как воротился оттуда и теперь страшно завален работой и хлопотами. Сказал, что получил известие об окончании дела о разделе в его пользу и что послезавтра во что бы ни стало поедет в Казань. Дмитрий Петрович рассказал ему, как дивились у Дорониных внезапному его отъезду, как в первые дни, когда еще неизвестно было, что с ним случилось, все об нем беспокоились, особенно Татьяна Андревна... Рассказал и о том, что по его порученью разведывал об нем у дяди его и выпытал у него, что было нужно, заявивши о небывалой сохранной расписке. Самоквасов все только краем уха слушал... Сказал ему Веденеев о радости Дорониных, что дождались, наконец, жениха Лизаветы Зиновьевны. Петр Степаныч равнодушно улыбнулся и не сказал ни слова...

Когда же, крепко и горячо сжимая ему руку, Дмитрий Петрович поведал и о своей радости, Петр Степаныч так равнодушно поздравил его, что счастливому жениху такое поздравление показалось даже обидным. Звал его Веденеев к себе, звал к Зиновью Алексеичу...

Самоквасов сказал, что до отъезда постарается непременно повидаться со всеми знакомыми, и тотчас своротил речь на свои недосуги. Молвил ему Дмитрий Петрович и про Дуню Смолокурову, что она жалуется на нездоровье, что очень похудела, смотрит такой грустной, задумчивой. Хоть бы словечко Петр Степаныч сказал, и, уверяя, что ему необходимо сейчас же куда-то ехать, убежал почти от Веденева.

И день и другой каждую минуту ждали у Дорониных Петра Степаныча, но понапрасну. На третий день кто-то сказал, что он на Низ на пароходе побегал. Подивились, что он не зашел проститься. Татьяна Андревна досады не скрывала.

– Придумать не могу, чем мы ему не угодили, – обиженным голосом говорила она. – Кажись бы, oprичь ласки да привета, от нас ничего он не видел, обо всякую пору были ему рады, а он хоть бы плюнул на прощанье... Вот и выходит, что своего спасибо не жалеет, а чужого и ждать не смеет... Вот тебе и благодарность за любовь да за ласки...

Ну да господь с ним, вольному воля, ходячему путь, нам не в убыток, что ни с того ни с сего отшатился от нас. Ни сладко, ни горько, ни солоно, ни кисло... А все-таки обидно...

– Да с чего ты так к сердцу принимаешь? – говорил жене Зиновий Алексеич. – Жили без него и вперед будем жить, не тужить, никому не служить. Не бечи ж (Бежать.) за ним, не знай зачем. Был, провалил; ну и кончено дело. На всех, мать моя, не угодишь, на всех и солнышко не усевит... По-моему, нечего и поминать про него.

– Обидно ведь, батька... До кого ни доведись, всяк оскорбится, продолжала брюзжать Татьяна Андревна. – Словно родного привечали, а он, видишь ли, как заплатил. На речи только, видно, мягок да тих, а на сердце злобен да лих... Лукавый человек!.. Никто ж ведь его силком к себе не тянул, никто ничем не заманивал; ну, не любо, не знайся, не хочешь, не водись, а этак, как он поступил, на что это похоже?

– Дела у него, слышь, спешные, – заметил Меркулов. – Митенька сказывал ведь, как он तो-ропился. Минуты, слышь, свободной у него не было.

– Захотел бы, так не минуту сыскал бы, а час и другой... – молвила Татьяна Андревна. – Нет, ты за него не заступайся. Одно ему от нас ото всех: «Забудь наше добро, да не делай нам худа». И за то спасибо скажем. Ну, будет! – утоля воркотней расхोдившееся сердце, промолвила Татьяна Андревна. – Перестанем про него поминать... Господь с ним!.. Был у нас Петр Степаныч да сплыл, значит, и делу аминь... Вот и все, вот и последнее мое слово.

От Дорониных вести про Петра Степаныча дошли и до Марка Данилыча. Он только головой покачал, а потом на другой аль на третий день – как-то к слову пришлось, рассказал обо всем Дарье Сергевне. Когда говорил он, Дуня в смежной комнате сидела, а дверь была не притворена. От слова до слова слышала она, что отец рассказывал.

Быстро встала она со стула, нетвердым шагом перешла на другую сторону комнаты, оперлась рукой на стол и стала как вкопанная. Ни кровинки в лице, но ни слез, ни вздохов, ни малейшего движенья, только сдвинула брови да устремила неподвижный взор на свою руку. Через полчаса Аграфена Петровна пришла...

Дуня сказала ей про все, что узнала, но говорила так равнодушно, так безучастно, что Аграфена Петровна только подивилась... Затем больше ни слова о Самоквасове. По-видимому, Дуня стала даже веселей прежнего, и Марко Данилыч тому радовался.

Домой собралась Аграфена Петровна. Накануне отъезда долго сидела она с Дуней, но сколько раз ни заводила речь о том, что теперь у нее на сердце, она ни одним словом не отозвалась... Сначала не отвечала ничего, потом сказала, что все, что случилось, было одной глупостью, и она давным-давно и думать перестала о Самоквасове, и теперь надивиться не может, как это она могла так много об нем думать. «Ну, – подумала Аграфена Петровна, – теперь ничего. Все пройдет, все минет, она успокоится и забудет его».

Тяжело было Петру Степанычу на ярманочном многолюдстве. Не вытерпел, ни с кем не видевшись, дня через два он поехал в Казань.

Только что отвалил пароход от нижегородской пристани, увидел Петр Степаныч развеселого ухарского парня, маленько подгулявшего на расставанье с ярманкой. В красной кумачовой рубаше, в черных плисовых штанах и в поярковой шляпе набекрень стоит он середь палубы. Выступив вперед правой ногой и задорно всех озирая, залихватски наяривает на гармоники, то присвистывая, то взвизгивая, то подпевая:

Уж и быть ли, не быть ли беде?

Уж расти ль в огороде лебеде?

«Быть беде!..» вспало на ум Петра Степаныча...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Когда Дуня от Дарьи Сергевны узнала об отъезде Петра Степаныча за Волгу, сердце у ней так и упало. В тоске и кручине после того целые дни она проводила. Ни отцовской ласки, ни заботливости Дарьи Сергевны будто не замечала, даже говорила с ними неохотно. Только и речей было у ней, что с Аграфеной Петровной, да и с той не по-прежнему она разговаривала, зато тихого, немного плача было довольно. Как ни уговаривала ее Аграфена Петровна, что убиваться тут не из чего, что мало ль какие могли у него дела случиться, мало ль зачем вдруг ехать ему понадоби-

лось.

Дуня речам ее не внимала, а все больше и больше тосковала и плакала. Заметив перемену в дочери, Марко Данилыч, сколько ее ни расспрашивал, ничего не мог добиться, советовался он и с Дарьей Сергеевной и с Аграфеной Петровной, и они ничего не могли ему присоветовать. Старался развлечь Дунины думы забавами, гостей сзывал, в театр ее возил, ничто не помогало, ничто не могло рассеять тайной ее кручины... Исстрадался весь Марко Данилыч, замечая, что Дуня с каждым днем, ровно воск, тает. Приходило ему в голову, не пришла ли пора ее, не нашла ли она по душе человека, и подумал при этом на Петра Степаныча. Не раз и не два заговаривал он об этом с дочерью... но, опричь дочерниных слез, ничего не мог добиться.

Аграфена Петровна говорила Дуне, что поездка Петра Степаныча не долгая, что, должно быть, какие-нибудь дела с матерями у него не покончены...

Может быть, дела денежные, и вот теперь, прослышав о близком скитов разоренье, поехал он туда, чтобы во-время наградить обители деньгами. Равнодушно слушала все это Дуня. Теперь ей было все равно – в скиты ли уехал Петр Степаныч, в Казань ли, в другое ли место; то ей было невыносимо, то было горько, что уехал он, не сказавшись, ни с кем не простясь. Когда же Татьяна Андревна передала Аграфене Петровне вести, принесенные Веденевым, и помянула про Фленушку, та виду не подавала и ни словечка о том Дуне не молвила. Зато говорливая мать Таисея невпопад разболталась при Дунюшке. Сбираясь домой, зашла она к Марку Данилычу еще разок поклоняться, не оставил бы их обитель милостями при грозивших бедах и напастях. Тут она разговаривалась о Комаровских вестях, привезенных накануне наперсницей ее, часовой головщицей Варварушкой. Матери Таисеи стало за великую обиду, что Петр Степаныч, пока из дядиных рук глядел, всегда в ее обители приставал, а как только стал оперяться да свой капитал получать, в сиротском доме у иконника Ермилы Матвеича остановился...

– Уж мы ли не угождали ему, уж мы ли не были рады ему, а теперь ровно плюнул он на нашу святую обитель!.. – со слезами говорила мать Таисея. Известно, у других жизнь веселее, а наша обитель не богатая, и пустяшных делов у меня, слава богу, не водится... Живем скромно, по закону, ну а по иным обителям и житье другое: есть там девицы веселые и податливые, поди теперь с ними ровно сыр в масле катается... А мы терпи да убытки неси. Ведь, бывало, что ни пожалует к нам погостить, меньше двух сотенных никогда не оставит... А все эта баламутница Флена Васильевна, она его от нашей обители отвадила... У ней только и есть на уме, чтобы каждого молодого паренька взбаламутить да взбудоражить...

Промеж их давно замечалось. А Ермилы Матвеича дом возле самой Манефиной обители и прямехонько супротив Фленушкиных окон... Теперь им воля: матушка больным-больненька, а Фленушка и к винцу возымела пристрастие. Свертит она, скружит она сердечного Петра Степаныча, бесприменно споит сердечного.

Зелень у Дуни в глазах заходила, когда услышала она Таисеины речи. Не то, чтобы слово промолвить, бровью не повела, пальчиком не двинула... Одна осталась – и тут не заплакала. Стала ровно каменная. Сама даже Груня стала ей противна. Одной все быть хотелось, уйти в самое себя. Вечером Марко Данилыч в театр ее повез с Дорониными. Безмолвно исполнила Дуня отцовский приказ, оделась, поехала; но лютой мукой показались ей и сиденье в ложе и сиденье за ужином у Никиты Егорова: однако все перенесла, все безропотно вытерпела.

На другой день, а это было как раз в то утро, когда Никита Федорыч впервые приехал к невесте, в грустном безмолвье, в сердечной кручине сидела, пригорюнясь, одинокая Дуня. Вдруг слышит – кто-то тревожно кричит в коридоре, кто-то бежит, хлопают двери, поднялась беготня... Не пожар ли, не горит ли гостиница?..

Нет... «Задавили, задавили!» – кричат... И все вдруг стихло.

Снова поднялся беспокойный говор, снова послышались топот бегущих и шум... Вдруг входная дверь распахнулась... Бледная, как смерть, с трудом переводя дыхание и держа за руку старшую девочку, в страшном испуге нетвердыми шагами вошла Аграфена Петровна и тяжело опустилась на первый попавшийся стул. Следом за ней вошла высокая, странная, статная женщина, с ног до головы во всем черном, покрыта была она черною же, но дорогою кашмировою шалью. Сильными, крепкими руками внесла она меньшую дочку Аграфены Петровны – всю в пыли,

с растрепанными волосами и в измятом платье... Бережно она поставила ее середь комнаты, погладила по головке и нежно поцеловала. Лицо этой женщины незнакомо было и Дуне и прибежавшей на шум Дарье Сергевне... Общими силами кое-как успокоили Аграфену Петровну.

Каждый день она перед полуднем хаживала навестить скорбную Дуню и брала с собой обеих маленьких девочек. День был ясный, и она, потихоньку пробираясь в тени по другой стороне улицы, поверсталась с гостиницей, где жили Смолокуровы. По улице взад и вперед тянутся нескончаемые обозы, по сторонам их мчатся кареты, коляски, дрожки, толпится и теснится народ; все шумят, гамят, суетятся, мечутся во все стороны, всюду сумятица и толкотня; у непривычного человека как раз голова кругом пойдет на такой сутолоке. Взяв за руки девочек, Аграфена Петровна стала переходить кипевшую народом улицу и уж дошла было до подъезда гостиницы, как вдруг с шумом, с громом налетела чья-то запряженная парой борзых коней коляска.

Раздался детский крик, обмерла Аграфена Петровна... Меньшая девочка ее лежала на мостовой у колес подъехавшей коляски. Сшибло ль ее, сама ли упала с испугу – бог ее знает... Ястребом ринулась мать, но ребенок был уж на руках черной женщины. В глазах помутилось у Аграфены Петровны, зелень пошла... Едва устояла она на ногах.

– Успокойтесь, не тревожьтесь, – ласково и тихо говорила добрая женщина. – Девочка ничем невреждена... Один испуг. В самом деле, ребенок поплатился только смятым платьем да растрепанными волосами, но с испугу дрожал, бился и трепетал всем тельцем, ровно голубок, попавший в силки. Девочка не могла идти, а мать не в силах была поднять ее.

– Не беспокойтесь, моя милая, я донесу вашу бедную крошку, – кротко промолвила черная женщина и, охватив сильными руками девочку, бодро понесла ее вверх по ступеням...

У Смолокуровых она сказала, что живет рядом с их номером, и назвала себя помещицей села Талызина Марьей Ивановной Алымовой.

По душе прилась скорбной Дуне Марья Ивановна. Голос тихий и кроткий, речь задушевная, нежная, добрая улыбка, скромные, но величавые приемы и проницательные ясные взоры чудным блеском сиявших голубых очей невольно, бессознательно влекли к ней разбитое сердце потерявшей земные радости девушки.

Между тем Марко Данилыч воротился с Гребновской в самом веселом расположении духа. Всю коренную рыбу, что у него ее ни было, по хорошей цене без остатка он продал. Увидавши в окно подъезжавшего хозяина, Дарья Сергевна поспешила к нему навстречу рассказать наперед, что у них без него случилось. Встревожился Марко Данилыч только за Дуню. Зная привязанность ее к Аграфене Петровне, опасался он, чтоб испуг еще пуще не повредил ей, но Дарья Сергевна его успокоила. Стал Марко Данилыч расспрашивать, что это за Марья Ивановна такая, и узнал, что какая-то она мудреная, сама из дворянского роду, а ходит черноризницей. Еще порасспросил об ней у Дарьи Сергевны и, узнав прозвание Марьи Ивановны, Марко Данилыч призадумался, а потом тихонько промолвил:

– Не дочка ли нашему?... И та, слышь, тоже чудит... Тоже, слышь, в черном ходит и живет не по-господски... У старых девок, у келейниц, слышь, часто на беседах бывает. А добрая, говорят про нее, милосердая барышня.

Войдя в комнаты, познакомился он с Марьей Ивановной, о том о сем поговорил и потом спросил у ней:

– Не Ивана ль Григорьича дочка вы будете?

– Да, – ответила Марья Ивановна, – отца моего Иваном Григорьичем звали.

– Так деревня Родякова, что в лесу под Муромом, ваша будет?

– Да, это моя деревня, – подтвердила Марья Ивановна.

– Матушка!.. Марья Ивановна!.. – радостно вскрикнул Марко Данилыч... Ведь вы нашего барина дочка!.. Мы сами родяковские родом-то.

– Как так? – с любопытством спросила Марья Ивановна.

– Мой-от родитель вашего батюшки крестьянином был, потом на волю откупился, а там и в купцы вышел... Ах вы, матушка наша Марья Ивановна!.. Вот привел господь встретиться!.. Мы вашим батюшкой завсегда довольны были... Барин милосердый был, жили мы за ним, что у Христа за пазухой.

– Вот как! – добродушно улыбаясь, молвила Марья Ивановна. – Давно ли ж то было? Я что-то не помню...

– Где ж вам помнить, матушка, – весело, радушно и почтительно говорил Марко Данилыч. – Вас и на свете тогда еще не было... Сам-от я невеличек еще был, как на волно-то мы выходили, а вот уж какой старый стал... Дарья Сергевна, да что же это вы, сударыня, сложа руки стоите?.. Что дорогую гостью не потчуете?.. Чайку бы, что ли, собрали.

– Пили уж, – ответила Дарья Сергевна. – Сейчас самовар со стола сняли...

– Так закусить прикажите подать, – молвил Марко Данилыч. – Да поскорее. Да получше велите подать. Такую дорогую гостью без хлеба, без соли нельзя отпустить!.. Как это возможно!..

Как ни отговаривалась Марья Ивановна, а Марко Данилыч упрямился-таки ее воздать честь его хлебу-соли.

– Погляжу я на вас, сударыня, как на покойника-то, на Ивана-то Григорьяча, с лица-то вы похожи, – говорил Марко Данилыч, разглядывая Марью Ивановну. – Хоша я больно малешенек был, как родитель ваш в Родяково к себе в вотчину приезжал, а как теперь на него гляжу – осанистый такой был, из себя видный, говорил так важно... А душа была у него предобреющая. Велел он тогда собрать всех нас, деревенских мальчишек и девчонок, и всех пряниками да орехами из своих рук оделил... Ласковый был барин, добрый.

– Отца я мало помню, – сказала Марья Ивановна. – После его кончины я ведь по восьмому году осталась.

– Вы ведь никак у дяденьки выросли?.. От наших только родяковских я про то слыхивал... – молвил Марко Данилыч.

– После батюшки я круглой сиротой осталась, матери вовсе не помню, отвечала Марья Ивановна. – У дяди Луповицкого, у Сергея Петровича, выросла я...

– Что ж это вы, сударыня, до сих пор себя не пристроили? Достатки у вас хорошие, сами из себя посмотреть только... – заговорил Смолокуров.

– Не всем замуж выходить, Марко Данилыч, надо кому-нибудь и старыми девками на свете быть, – сказала, улыбнувшись на радужные слова Смолокурова, Марья Ивановна. – Да и то сказать, в девичьей-то жизни и забот и тревог меньше.

– Все бы оно лучше, – заметил Марко Данилыч.

– Кому как, – молвила Марья Ивановна. – Я своей участью довольна... Никогда не жалею о том, что замуж не вышла.

– В Родякове-то редко бываете? – после недолгого молчания спросил Смолокуров.

– Делать-то мне нечего там, – ответила Марья Ивановна. – Хозяйства нет, крестьяне на оброке.

– Знаем мы это, сударыня, знаем, – сказал Смолокуров – Довольно наслышаны... Родитель ваш до крестьян был милостив, а вы и его превзошли. Так полагаю, сударыня, что, изойди теперь весь белый свет, такого малого оброка, как у вас в Родякове, нигде не найти...

– Много-то взять с родяковских и нельзя, – спокойно ответила Марья Ивановна. – Самим едва на пропитанье достает. Земля – голый песок, да и его не больно много, лесом, сердечные, только и перебиваются... Народ бедный, и малый-то оброк, по правде сказать, им тяжеленек.

– Ну это они врут, матушка, – молвил Марко Данилыч. – Слушать их в этом разе не следует – дурят. Земля точно что неродима и точно что ее маловато – это верно. А сколько они в год-от этой смолы в вашем лесу накурят, сколько дегтю насидят, сколько кадок наделают, да саней, да телег!.. А ведь за лес-от попенных вам ни копейки они не платят... Знаю ведь я, матушка, ихнее-то житье-бытье. Нет, при таких ваших милостях бога гневить им не надо, а денно и ночью молиться должно о вашем здоровье... Не в Родяково ль отселе думаете?

– Не знаю еще, как вам сказать, – отвечала Марья Ивановна. – В Рязанскую губернию к братьям Луповицким пробираюсь. Отсюда до Муром на пароходе думаю ехать. А оттоль до Родякова рукой подать – может быть, и заверну туда. Давно не бывала там.

– Ежели туда поедете, сделайте ваше одолжение, удостойте нас своим посещением, – встав с места и низко кланяясь, просил Марью Ивановну Смолокуров. – По дороге будет. Домишко у меня, слава богу, не тесный, найдется место, где успокоить вас. У меня ведь только и семейства что

вот дочка Дунюшка да еще сродница Дарья Сергевна... Очень бы одолжили, Марья Ивановна. Мы вас завсегда за своих почитаем, потому родителем вашим очень были довольны и много от него видали милостей. Так уж не оставьте втуне просьбы моей. Дунюшка, проси, голубка, Марью Ивановну!..

Краснея и потупив глаза, стала Дуня просить Марью Ивановну, но она ни того, ни сего в ответ не сказала. Не обещалась и не отказывала.

За обедом, как ни потчевал ее Марко Данилыч, пальцем не тронула рюмки с вином. Пивом, медом потчевал, не стала пить. Шампанского подали, и пригубить не согласилась. И до мясного не коснулась, ела рыбное да зелень, хоть день и скоромный был...

– Что ж это вы, матушка, постничаете? – спрашивал Марко Данилыч. Обещанье, что ли, наложили, душе во спасение?

– Нет, – скромно ответила Марья Ивановна. – Мясное, признаться, мне с детства противно. Не привыкла к нему, оно ж и вредно мне. Вино и пиво тоже. Чай да вода, вот и все мое питье.

– Удивительное дело! – молвил Марко Данилыч. – Насчет питья у нас, по простому народу, говорится: «Пить воду не барскому роду». А насчет постничанья так ноне господи и во святую четьредесятницу едят что ни попало. А вы, матушка, и в мясоед таково строго поститесь...

– Привычка, – сказала Марья Ивановна. Марье Ивановне Дуня очень понравилась. Фармазонка говорила, что ее дела на ярмарке затянулись и ей приходится пока в Нижнем оставаться. Каждый день навещала она Дуню, а Марко Данилыч рад был тому. Лыстило его самолюбию, что такая важная особа, дочь знатного генерала, бывшего их господина, так полюбила его Дуню, что дня без нее не может пробыть. Дарья Сергевна тоже довольна была посещениями Марьи Ивановны, еще не зная ее хорошенько, чтילה как строгую постницу и молитвенницу, презиращую мир и суету его. Даже на то, что старой вере она не последует, смотрела снисходительно и, говоря с Марком Данилычем, высказывала убеждение, что хорошие люди во всякой вере бывают и что господь, видя добродетели Марьи Ивановны, не оставит ее навсегда во тьме неверия, но рано или поздно обратит ее к древлему благочестию.

Каждый день по несколько часов Марья Ивановна проводила с Дуней в задушевных разговорах и скоро приобрела такую доверенность молодой девушки, какой она до того ни к кому не имела, даже к давнему испытанному другу Аграфене Петровне. Беседуя с Дуней, Марья Ивановна расспрашивала об ее жизни и занятиях, во все вникала до подробностей, на все давала полезные советы. Она хвалила Дуню за ее доброту, о которой знала от Дарьи Сергевны, и за то, что ведет она жизнь тихую, скромную, уединенную, не увлекается суетными мирскими забавами. Расспрашивала, какие книги Дуня читает, и, когда та называла их, одни хвалила, о других говорила, что читать их не следует, чтобы не вредить внутренней своей чистоте. Раз сказала ей Марья Ивановна:

– Жаль, что вы, милая, иностранным языкам не обучались, а то бы я прислала вам книжек, они бы очень полезны были вам. Впрочем, есть и русские хорошие книги. Читали ли вы, например, Юнга Штиллинга «Тоска по отчизне?»

– У нас нет такой книги, – ответила Дуня.

– «Правила жизни» госпожи Гион не случалось ли вам читать? – продолжала расспрашивать Марья Ивановна.

– И такой нет у нас, – сказала Дуня, и стало ей немножко стыдно, что не читала она хороших книг, даже не знает про них...

– Жаль, – промолвила Марья Ивановна. – Ежели бы эти книжки вы прочитали, новый бы свет увидали.

– Я скажу тятеньке, он купит. Позвольте, я запишу, как они называются... И еще про другие, какие полезнее, скажите, – с живостью молвила Дуня.

– Ну, этих книг Марко Данилыч вам не купит, – сказала Марья Ивановна. Эти книги редкие, их почти вовсе нельзя достать, разве иногда по случаю. Да это не беда, я вам пришлю их, милая, читайте, и не один раз прочитайте... Сначала они вам покажутся непонятными, пожалуй даже скучными, но вы этим не смущайтесь, не бросайте их – а читайте, перечитывайте, вдумывайтесь в каждое слово, и понемножку вам все станет понятно и ясно... Тогда вам новый свет откроется, других книг тогда в руки не возьмете.

– Ах, пожалуйста, пришлите, Марья Ивановна, – говорила Дуня. – А о чем же в тех книжках говорится? – спросила она с любопытством.

– Трудно это рассказать, невозможно почти, – молвила Марья Ивановна. – Одно только могу теперь сказать вам, милая, что от этих книг будет вам большая польза. И не столько для ума, сколько для души...

– Стало быть, книги божественные? – простодушно спросила Дуня.

– Конечно, только не в том смысле, как вы, может быть, думаете, уклончиво ответила Марья Ивановна. – Подождите, увидите, узнаете...

Дошли ли до Марьи Ивановны слухи, сама ли она догадалась по каким-нибудь словам Дуни, только она вполне поняла, что молодая ее приятельница недавно перенесла сердечную бурю. Однажды, когда снова зашел разговор о книгах, она спросила Дуню:

– Какие же книги из тех, что вы прочитали, больше всего вам понравились?

– Истории разные, путешествия, – отвечала Дуня.

– А не попадалось ли вам «Путешествие молодого Костиса»? – спросила Марья Ивановна.

– Нет, такой не попадалось, – отвечала Дуня.

– Хорошая книга... я вам тоже пришлю ее, – сказала Марья Ивановна. – Не всякую, друг мой, историю, не всякое путешествие можно читать в ваши годы безнаказанно, без дурных последствий... В нынешние времена, друг мой, дух неприязни больше и сильнее всего через книги разливает свой тлетворный яд по душам неопытных и еще не утвердившихся молодых людей. Чтением таких книг, писанных по злему внушению врага, он распаляет страсти, раздражает мечты и помыслы, истребляет душевную чистоту. Ах, если бы вы знали, сколько хороших людей оттого пропадает, сколько из чистых и непорочных делается друзьями и служителями врага божия! Остерегайтесь, милая, таких книг, остерегайтесь, моя чистая, непорочная Дунюшка, храните чистоту...

Легко ее потерять, но возвратить невозможно... Особенно пагубны молодым людям романы... В руки их не берите – это сети, связанные злою рукой темного противника божия. Сколько людей ежечасно уловляет он в эти сети, омрачая невинные их души нечистым пламенем страстей. Теми погибшими наполняет он свои мрачные легионы... Берегитесь, милая, берегитесь, чистая голубица моя, этих книг, храните свое сердце от непосильных искушений.

– Ни одного романа я не читала, у нас их даже и нет, – заметила Дуня.

– И не заводите их, – сказала Марья Ивановна. – Но надо вам сказать, моя дорогая, что дух злобы и неприязни не одними романами прельщает людей. Много у него разных способов к соращению и пагубе непорочных... Не одними книгами распаляет он в их сердцах ту страсть, что от бога и от святых его ангелов отлучает... Пуще всего берегитесь этой злой, пагубной страсти...

– Что ж это за страсть, Марья Ивановна? – спросила у нее Дуня.

– Люди богохульно зовут эту греховную страсть именем того блаженства, выше и святее которого нет ничего ни на земле, ни в небесах. Пагубную страсть, порождаемую врагом Божиим, называют они священным именем – любовь.

– Любовь! – тихо прошептала Дуня и глубоко задумалась.

– Никогда, мой друг, не помышляйте о земной, страстной любви к какому бы то ни было мужчине, – с жаром заговорила Марья Ивановна. – Чтоб ее никогда даже в воображении вашем не было... Дальше гоните ее от себя, как можно дальше от непорочного вашего сердца. Эта страсть одно лишь горе, одно лишь несчастье приносит людям. Счастья никогда в той любви не бывает. Сначала человек, когда в его сердце вспыхнет этот нечистый пламень, зажженный духом неприязни, чувствует будто наслаждение, думает даже, что он испытывает блаженство. Но это обман, это ложь, творимая отцом лжи. Пройдет немного времени, обман рассеется, и вместо наслаждения останутся печаль, отчаяние да вечная боль разочарованного, разбитого сердца. Раскаяние, угрызения совести всю жизнь будут преследовать того человека, и до самой смерти он будет терпеть адские мученья... И там, за гробом, будет вечно терпеть... Это-то и есть адский пламень, это-то и есть бесконечные муки!... Но есть иная любовь, святая, блаженная, к ней должна стремиться всякая душа непорочная.

– Какая же это? – спросила Дуня.

– Небесная, мой друг, святая, чистая, непорочная... От бога она идет, ангелами к нам на зем-

лю приносится, – восторженно говорила Марья Ивановна. В той любви высочайшее блаженство, то самое блаженство, каким чистые души в раю наслаждаются. То любовь таинственная, любовь бесстрастная... Ни описать ее, ни рассказать об ней невозможно словами человеческими... Счастлив тот, кому она в удел достается.

– К кому же та любовь? – спросила Дуня.

– К богу и ко всему, что живет в нем, – отвечала Марья Ивановна. – А духовного супруга он сам укажет...

– Марье Ивановне наше наиглубочайшее! – входя в комнату, весело молвил Марко Данилыч. – А я сегодня, матушка, на радостях: останнюю рыбку, целых две баржи, продал и цену взял порядочную. Теперь еще бы полбаржи спустить с рук, совсем бы отделался и домой бы сейчас. У меня же там стройка к концу подходит... избы для работников ставлю, хозяйский глаз тут нужен беспрерывно. За всем самому надо присмотреть, а то народец-от у нас теплый. Чуть чего не доглядел, мигом растащут.

Молча в каком-то полузабытьи сидела Дуня. Новые мысли, новые чувства!.. Властно овладели и умом и разбитым сердцем ее восторженные, таинственные слова Марьи Ивановны. Страстно захотелось Дуне дослушать ее, на этот раз разговор тем и кончился.

По уходе Марьи Ивановны Дуня села за работу и раздумалась. "Правду она говорит, истинную, сущую правду, – так размышляет Дуня. – Обман, а за ним печаль, отчаянье... Нет, такой любви я не хочу... Ни его и никого другого не хочу. Нет счастья в земной любви. Но как же той достигнуть?..

И что это значит – духовный супруг?.. Духовный супруг!.. Ах, тятенька, тятенька!.. Нужно же было тебе прийти так не во-время!.. И долго носилась мыслями Дуня над словами Марьи Ивановны. Чудными, таинственными казались они ей, но всего чудней, всего таинственней был для нее «духовный супруг».

Долго на другой день Дуня ожидала прихода дорогой гостии, но та что-то позамешкалась. Сгорая нетерпением, сама побежала к Марье Ивановне.

– Здравствуйте, моя милая, – ласково сказала Марья Ивановна, здороваясь с Дуней. – Что это вы такие бледные? Дурно ночь провели?

– Да, мне что-то не спалось, – ответила Дуня.

– Отчего ж это? – с участием спросила Марья Ивановна.

– Что это за «духовный супруг» такой? – еще больше потупляясь, тихо промолвила Дуня.

– Этого вы покамест не поймете. Это тайна... Великая тайна, – сказала Марья Ивановна.

– Над вашими словами всю ночь и раздумывала, – потупив глаза, робко и нерешительно молвила Дуня. – Много из того, что вы говорили, кажется, я поняла, а иного никак понять не могу...

– Чего же вы особенно, друг мой, не можете понять? – ласково улыбаясь, спросила Марья Ивановна.

– Что ж надо делать, чтоб узнать эту тайну? – с живостью спросила Дуня.

– Прежде всего надо постигнуть божественной любви, а это дело не легкое, моя дорогая. Во-первых, тут необходимы чистота и непорочность не только телесная, но и душевная... А главное дело – девственность. Знай-те, моя милая, и навсегда сохраните в памяти слова мои: девственность сближает нас с ангелами, с самим даже богом, а земная страстная любовь, особенно брачная жизнь, равняет с бессловесными скотами. Плотская любовь – корень греха, девственность – райские врата... Но одной девственности мало еще для достижения небесной любви, того блаженного состояния, о каком вы теперь и помыслить не можете... Нужно для того умереть и воскреснуть.

– Значит, это на том свете? – спросила удивленная словами Марьи Ивановны Дуня.

– Нет, мой друг, не там, а здесь, на этом свете, где мы теперь живем с вами, – сказала Марья Ивановна. – Надо умереть и воскреснуть раньше гроба и зарыванья в землю, раньше того, что люди обыкновенно называют смертью... Но это вам трудно пока объяснить – не поймете...

«Как же это умереть прежде смерти? Умереть и воскреснуть!» – теряясь в мыслях, думала Дуня и потом стремительно бросилась к Марье Ивановне, стала обнимать ее, руки у ней целовать и со страстным увлечением молить ее:

– Голубушка, Марья Ивановна, не томите вы меня, расскажите, расскажите! Все пойму, все, что ни скажете.

– Трудно, милая, трудно, – отвечала Марья Ивановна. – В тайны сокровенные надо входить постепенно, иначе трудно понять их... Вам странными, непонятными показались мои слова, что надо умереть прежде смерти... А для меня это совершенно ясно... Ну поймете ли вы, ежели я вам скажу: не той смертью, после которой мертвого в землю зарывают, надо умереть, а совсем иною – тайною смертью.

– Как это тайною? – спрашивала Дуня.

– Слушай, горлица моя, постараюсь ясней рассказать, хоть и думаю, что слова мои будут тебе непонятны, – сказала Марья Ивановна. – Всему начало, как я сказала тебе, в девственной чистоте. Обладая этой чистотой для достижения блаженства небесной любви, надо умерщвлять в себе все помыслы, все желанья, все хотенья телесные и душевные... Трудное это дело, едва выносимое!.. Когда умертвишь таким образом в себе ветхого Адама, то есть человека греха, тогда ты достигнешь бесстрастия... Но для того надо претерпеть все беды, все напасти и скорби, надо все земное отвергнуть: и честь, и славу, и богатство, и самолюбие, и обидчивость, самый стыд отвергнуть и всякое к себе пристрастие... Все надо отвергнуть, все: и свою волю, и свои желанья, и память, и разум, и все, что дотоле в тебе было... Об одном лишь имей попечение, одного лишь желай... И замолчала.

Едва переводя дух, раскрыв уста и содрогаясь всем телом, пылающими глазами смотрит в исступлении Дуня на Марью Ивановну. Ровно огненный пламень, чудные, полупонятные слова разгорелись в сокровенных тайниках сердца девушки... Она была близка к восторженному самозабвению, когда постигнутый им человек не сознает, в себе он или вне себя...

– Чего желать? Чего желать? – в исступлении молила Дуня.

– Воли божией, чтоб она над тобой совершилась, – торжественно сказала Марья Ивановна.

– Дальше, дальше! – задыхаясь, говорила Дуня. И в глазах у нее все закружилось.

– И тогда затмится у тебя разум и отнимется память, дыхание прекратится, и ты умрешь... Умрешь, но будешь жива... Эта смерть не тебе, а греху, смерть ветхому Адаму, он в тебе умрет. И тут-то невестственным огнем все земное в тебе попадется, и ты услышишь в самой себе глас божий и, услышавши, оживешь... То и есть таинственное воскресение... И после того таинственного воскресения ты и на земле будешь святою... Тогда уж не будет в тебе ни воли твоей, ни разума твоего, ни мыслей твоих, все твое уже попалено и умерло... будет тогда в тебе и воля, и разум, и мысли все божии... И что ты ни станешь делать – не ты будешь делать, а бог, в тебе живущий... И не будет тогда над тобой ни начала, ни власти, ни закона, ибо праведному закон не лежит... Будешь ты в семье херувимской, будешь в лике серафимском... Если бы ты во ад сошла, и там никакая сила не могла бы коснуться тебя, если б в райские светлицы вошла, и там не нашла бы больших радостей и блаженства...

Как полотно побледнела Дуня, и глаза ее разгорелись... Хотела что-то сказать, но не могла... Задрожала вся и без памяти упала на руки Марьи Ивановны.

– Благ сосуд избранный! – тихо прошептала Марья Ивановна и, бережно положив Дуню на свою постель, низко склонилась над ней и чуть слышно запела каким-то диким и восторженным напевом...

Уж вы, птицы, мои птицы,

Души красные девицы,

Вам от матушки царицы

Дорогой убор-гостинец!

Вы во трубушку трубите,

Орла-птицу соманите,

Светильники зажигаите,

Гостя батюшку встречайте,

Небесного жениха

И духовного супруга*. * Хлыстовская песня.

Весь день не в себе была Дуня. Не вдруг она оправилась от нашедшего на нее исступления...

Сколько ни добивались от нее отец и Дарья Сергевна, что такое с ней случилось, не сказала она ни слова. Весь вечер ожидала с нетерпением Марью Ивановну, но та не приходила. На другой день зашла она к Смолокуровым и сказала, что дела ее кончились и она в тот же день собирается ехать. Как ни уговаривал ее Марко Данилыч повременить денька два-три, чтоб ехать вместе на пароходе, Марья Ивановна не согласилась. В полдень она распрощалась. Оставшись на несколько минут наедине с Дуней, советовала ей помнить, о чем она ей говорила, а главное, чистоту блюсти. С горькими слезами простилась с ней Дуня, несколько раз принимаясь целовать ее руки и кропить их сердечными слезами.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Верстах в четырех от того городка, где у Смолокурова была оседлость, вдоль суходола, бывшего когда-то речкой, раскинулась небольшая деревня. Сосновкой она прозывалась. Населена была та деревушка людьми вольными, что звались во время оно экономическими. Деды их и прадеды в старые годы за каким-то монастырем были, потом поступили в ведомство Коллегии экономии и стали писаться «экономическими», а управляться наравне с казенными крестьянами. Земли при Сосновке было немного, полевые участки самые маломерные. Глинистая почва каждый год требовала сильного удобрения, а скота у сосновских мужиков была самая малость, потому что лугов у них не было ни десятины, и навозу взять было неоткуда. При самом лучшем урожае у сосновцев своего хлеба дольше великого поста никогда не хватало, и нужда заставляла их приняться за промысла – все-таки подспорье убогому хозяйству.

От края до края Сосновки при каждом из тридцати пяти дворов стояли небольшие прядильни, там и мужчины и женщины всю зиму и часть лета сасовку (Сасово – село Тамбовской губернии, Елатомского уезда. Оттуда много идет пеньки, и ее зовут по имени села «сасовкой».) пряли, сбывая пряжу в соседний город канатным заводчикам, особенно Марку Данилычу. Не больно выгодный промысел, а все-таки подсоба малоземельным.

Изо всех сосновских хозяев один только был зажиточный. У него водились и синь кафтан ради праздника, и добрые кони на дворе, – и дом во всем исправный. По всему околотку только у него одного каждый божий праздник мясные щи да пироги с говядиной на стол ставились, каждый год к Васильеву дню свиная голова к обеду подавалась, на Никиту-репореца – гусь, на Кузьму-Демьяна – курица, на Петра и Павла – жареная баранина (Васильев день – 1 января; Никиты-репореца, иначе гусаря, гусятника – 15 сентября; Кузьмы-Демьяна – 1 ноября; Петра и Павла – 29 июня.). Звали того крестьянина Силой Петровым, прозвали Чубаловым. Никогда бы ему не выбраться из ряда бедных однодеревенцев, если бы счастье не помогло. Был у него дядя, человек бессемейный, долго служил он в Муроме у богатого купца в приказчиках, и по смерти своей оставил племяннику с чем-то две тысячи потом и кровью нажитых денег. Такие деньги для крестьянина богатство немалое, ежели сумеет он путем да с толком в оборот их пустить. Сила Петров мужик был непьющий, толковый, расчетливый, бережливый, вел хозяйство, не разиня рот. Слышал, что по иным местам денежные мужики от торговли бычками хорошую пользу получают, расспросил кой-кого, как они это делают, раскинул умом, раскумекал (Раскумекать – смекнуть, сообразить, а потом и понять, в чем дело.) разумом. С Дукола, как телятся жуколы (День св. Вукола 6 февраля. Жуколы – коровы, обходившиеся во время первого сгона на поле. По заволжью, особенно в Костромском, жуколами зовут также всех черных коров.), вплоть до поздней весны стал он разъезжать по ближним и дальним местам и скупал двухи трехнедельных бычков почти за бесценок. Телятины простой народ ни за что на свете в рот не возьмет, в город возить ее из далекого захолустья накладно, а вскормить бычка тоже не барыш какой, другое дело телушка, та по времени хозяйку молоком за корм да за уход наградит. Рассчитывая так, мужики с радостью продавали Чубалову бычков, брали деньги хоть и небольшие, да все-таки годились они, коли не на соль, не на деготь, так хоть на выпивку.

А Сила Петрович сбирал да сбирал бычков, откармливал их бардой, а брал ее даром с городской пивоварни. После трех-четырех лет продавал раскормленных быков на бойню, либо сам развозил по деревням мясо, продавал бурлакам на суда солонину, а кожи сырьем отвозил на заводы.

Навозу было вдоволь, и вскоре наделные его полосы всем соседям стали на зависть и удивление. Своего хлеба теперь у него не только до самой нови (Новый хлеб.) на прожиток становилось, но оставалось и бычкам на зимний корм. Многие годы так хозяйствовал Сила Петрович и стал одним из первых мужиков по целому уезду, был он в почете не у одних крестьян, и господа им не брезговали. Жил себе да поживал Чубалов, копил денежки да всякое добро наживал, и никому в голову не приходило, чтобы его богатый дом когда-нибудь мог порушиться.

Было у Силы Петрова трое сынов, двое больших, Иван да Абрам, третий подросток, материн баловник Гаранюшка. Старшие парни были смирные, работающие; с самого раннего возраста много они отцу помогали. Гаранюшка сызмала не туда смотрел. Двенадцатый годок пошел ему, а из трех пеньковых прядей воровины (Воровина (от вервь) – самая простая веревка. В Оренбургском крае – аркан, в Вятском – сапожная дратва.). свить еще не умел, хоть отец не раз порченную веревку на спине его пробовал. К полевой работе Герасим тоже не прилагал старанья – люди пашню пахать, а он руками махать, люди на поле жать, а ему бы под межей лежать... С грустью, с досадой смотрел работающий, домовитый отец на непутевое чадо, сам про себя раздумывал и хозяйке говаривал: "Не быть пути в Гараньке, станет он у бога даром небо коптить, у царя даром землю топтать. Будет толку от него, что в омете от гнилой соломы, станет век свой бродить да по людям бобы разводить".

Робко заступалась мать за своего любимца, тем его оправдывала, что он еще махонький, а вот, дескать, бог даст в разум войдет, тогда поправится. Крепко стоять за сына не смела – хозяин подчас крутенок бывал.

Ускрай Сосновки, в келье на бобыльском ряду, жил старый книжник, Нефедычем звали его. Смолоду крестьянским делом он брезговал, все бы ему на молитве стоять да над книжками сидеть. Жизни был доброй, сам великий постник, смиренный, к тому же начетчик большой.

У окольных раскольников был он за наставника, на дух к нему много народа прихаживало, и все требы он исправлял им, опричь крестин да свадеб. По спасову согласью Нефедыч был, а в том согласии крестят и браки венчают только у церковного попа, великороссийского... Не орал Нефедыч, не сеял, а денежкам в мошне перевода у него не бывало, жил себе не тужил, у всех в любви и почете был, о чем кого ни попросит, всяк ему с радостью услужит, чем только сможет.

Полюбилась жизнь Нефедыча меньшому сыну Чубалова. Каждый божий день, бывало, к нему да к нему в келейку. «Чем тебе зря болтаться да шалопайничать, – молвил однажды старик лентяю Герасиму, – хоть бы грамоте, что ли, учился. Может, вперед пригодится, слышал чать поди, что люди говорят про ученье? Кто грамоте горазд, тому не пропасть... Хочешь, посажу тебя за азбуку?» Герасим согласился, давно припадала ему охота учиться, но не знал, как приняться. Положил перед ним Нефедыч букварь, дал в руки указку, учить стал. Грамота далась Герасиму. Нефедыч надивиться не мог, как это скоро сумел мальчуган все понять и, что раз учил, никогда того не забывал... Недели через две Герасим читал уж по складам, через месяц по толкам (Читать по толкам – бегло читать, зная притом хорошо титлы и подтитлы.), часовник живо прочел... Нефедыч за псалтырь его посадил, и году не минуло, как Герасим уж двадцату кафизму (Конец псалтыря, состоящего из 20 кафизм.) дочитывал.

Не по нраву пришлось это Силе Петрову. «Грамотей не пахарь, – говорил он, – а Гараньке не попить (Быть за попа, исполнять поповские требы.), ни приказным быть. Много стало ноне грамотных, да что-то мало сытых из них видится, и ему, пожалуй, придется с грамотой век свой по миру бродить». Видеть не мог сына за книгой Чубалов – тотчас, бывало, расправа. Что было дражня, что колотушек, потасовок, ничто не помогало. Побои не отвдили от книг тринадцатилетнего мальчика; чем больше его били, тем прилежней он читал их, и притом всякая работа больше да больше ему противела. Прежде, бывало, хоть дров в избу натаскает, хоть воды принесет, либо за курами да за бычками присмотрит, а теперь на все махнул рукой. Только и отрады было у малого, что к Нефедычу за книгами бегать, а учитель в книгах ему никогда не отказывал. Налюбоваться не мог старик на ученика своего; и нередко целые вечера беседовал с ним от святого писания. Как ни был уважаем Нефедыч своими детьми духовными, как ни любил его Сила Чубалов, однако ж стал его побранивать за то, что сбивает у него парнишку с пути, что грамотой его от всякой работы отвдил. Добродушный, смиренный, незлобивый Нефедыч на брань и покоры только кланялся. Чуть

не земные поклоны клал он перед Силой Петровым и тихим, смиренным голосом одно только слово ему приговаривал: «Прости Христа ради». Когда же отец, грозно потребовал, чтобы он не портил больше Герасима, не давал бы ему книг, а каждый раз, как к нему забежит, палкой бы гнал от себя, Нефедыч ответил: «Нет, этого я сделать не могу». Грозился Чубалов, что ежели так, так он со всей семьей отшатнется от старой веры и уйдет в великороссийскую, но и это не подействовало на Нефедыча. «Свой разум в голове имеешь, Сила Петрович, – сказал он. – Как знаешь, так и поступай, коль о душеньке своей думать не хочешь».

Говорил, однако ж, учитель ученику, чтобы он ходил к нему пореже, не раздражал бы отца, а книги все-таки давал по-прежнему. Заберется, бывало, Гаранька на чердак и зимним временем, плотно прижавшись к чуть теплой трубе, сидит по несколько часов над каким-нибудь «Цветником» либо «Прологом», а по воскресеньям и понедельникам уходил в не совсем еще остывшую после субботней топки баню и там до поздних сумерек просиживал над книгой. Летом ему было привольнее: на неделю, на две убежал он в лес, и там, читая книги Нефедыча, питался им же данными сухарями. Иногда спускался вниз по горе из лесу и там на берегу Оки читал ловцам жития угодников, за то они кормили чтеца ухой да жареной рыбой, а иной раз и на дорогу краюху мягкого хлеба снабжали. Пустынное житье полюбились юному грамотею, и, под шум ветвистых, густозеленых дубов читая сказания о сирийских и фиваидских отшельниках, он ревновал их житию и положил в своем сердце завет провести свои дни до скончания живота в подвигах, плоть изнуряющих, дух же возвышающих.

Склоняется, бывало, день к вечеру, в лесу потемнеет, со всех сторон повеет прохладой. Стихнет шум деревьев, и станет трава росой покрываться. Тогда сложит книгу юный отшельник и полной грудью начнет вдыхать свежий, ароматный воздух. Неподвижен, безмолвен стоит он, устремив взоры на померкающее небо, что сквозит меж высоких древесных вершин. Сладким потоком разольется тогда по душе его умиление, и он счастливым считает себя в своем от людей отчужденье. Струятся по лицу неслышные ему слезы, и сама собой слетает с уст его пустынная песня:

Ты, пустыня, моя матушка,
Помилей мне отца с матерью,
Вы, леса мои кудрявые,
Помилей мне роду-племени,
Вы, луга, луга зеленые,
Помилее красна золота,
Вы, раздольища широкие,
Помилее чиста серебра,
Вы, кусты, кусты ракитовы,
Помилее скатна жемчугу.
Вы, залетны мелки пташечки,
Схороните мои косточки
На чужой дальней сторонushке,
Во прекрасной во пустынюшке.

Совсем, бывало, стемнеет, зелеными переливчатыми огоньками загорятся в сочной траве Ивановы червяки, и станут в тиши ночной раздаваться лесные голоса; то сова запищит, как ребенок, то дергач вдали затрещит, то в древесных ветвях птица впросонках завопит, а юный пустынный, не чуя ночного холода, в полном забытии, стоит, долго стоит на одном месте, подняв голову и вперив очи в высокие небо, чуть-чуть видное в просветах темной листвы деревьев...

Каждый раз, когда возвращался отшельник в деревню, его встречали попреками, бранью, побоями, но все он сносил безропотно и в духовной радости любезно принимал озлобления, памятуя мучеников, за Христа когда-то еще не то потерпевших. На пятнадцатом году Герасим совсем скрылся... Не нашли его ни в лесу, ни у ловцов; сам Нефедыч не знал, куда он девался. Думали, в реке потонул, но вода нигде мертвого тела не вынесла; думали – не волки ли съели его, но сколько по лесу ни ходили – ни косточки, ни остатков Герасимовой одежды не нашли. Отец куда следует подал объявление; Герасима по всем городам и уездам будто бы разыскивали, извели на то не ма-

ло бумаги, но так как нигде не нашли, то и завершили дело тем, что зачислили Герасима Чубалова без вести пропавшим.

Чтение книг без разбора и без разумного руководства развило в нем пытливость ума до болезненности. Еще в лесу много начитался он об антихристе, о нынешних последних временах и о том, что истинная Христова вера иссякла в людях и еще во дни патриарха Никона взята на небо, на земле же сохранилась тобою у малого числа людей, пребывающих в сокровенности, тех людей, про которых сам господь сказал в Евангелии: «Не бойся, малое стадо».

Но где же оно, где это малое стадо? В каких пустынях, в каких вертепах и пропастях земных сияет сие невидимое чуждым людям светило? Не знает Герасим, где оно, но к нему стремятся все помыслы молодого отшельника, и он, нося в сердце надежду быть причтенным когда-нибудь к этому малому стаду, пошел искать его по белу свету.

Из книг и рассказов Нефедыча Герасим подробно знал учение и обрядность почти всех раскольничьих толков и, думая над ними, уразумел, что истинной, правой веры Христовой ни в одном из них нет... Спасово согласие чуждается и церковников, и поповщины, и беспоповщины, а само дробится на множество толков, один другого строже, один другого нетерпимее. Всякий из них крепко стоит за каждую букву, за каждый обряд не одной церковной, но даже обиходной жизни, всяк почитает великороссийскую церковь погибельною, еретическою, ведущею широким путем в вечные муки, а между тем от нее же принимает и освящение браков и самое крещение. «Как же это так? – рассуждает Герасим. – Говорим и читаем: „Таинства ея несть таинства“, а сами их принимаем... Говорим и читаем, что она погибельна, что антихрист царит в ней и что ее „крещение еретическое“, и потому оно „несть крещение, но паче осквернение“, а сами тем крещением крестимся... Стало быть, скверним себя и заранее души свои сатане продаем... Как же это?.. Поповщина, как и мы, зовет господствующую церковь отпавшею от истины, и все ее действия и чиновства считает безблагодатными, а сама священный чин от нее приемлет, а через него и всё освящение, все таинства... И тут что-то не так, и тут истины что-то не видится... Беспоповцы ни таинств, ни освящения не имеют и отрицают Христову церковь в нынешние последние времена, а ведь Христос обещал пребывать в церкви до скончания мира... Как же это?.. Где же истина, где правая вера?»

Так еще в пустынном лесу на глинистых берегах Оки по целым часам рассуждал Герасим, но, сколько ни думал, ответа на свои пытливые вопросы он не находил... Со слезными мольбами, припадая к ногам Нефедыча, и его о том спрашивал, но даже и седой наставник не мог удовлетворить пытливого юношу... Где же она, в самом деле, где та правая вера Христова, в ней же единой можно спастись? Ведь есть же она где-нибудь, ведь без нее мир не мог бы стоять. И с каждым днем распалялся он необоримым стремлением искать на земле «малое стадо» Христово и, в нем пребывая, достигнуть вечного спасенья... Для того и оставил он отца своего и мать свою и последовал по пути искания правой, истинной веры. В «странство» Герасим пошел.

Во все времена, во всех сторонах много бывало на Руси таких искателей правой веры. В стремлении к вечному блаженству жадно, но тщетно ищут они разрешенья вопросов, возникающих в пытливых умах их и мятущих смущенную душу. Негде, неоткуда, не от кого получить ответов на такие вопросы, и пытливый человек целую жизнь проищет их... Некому научить, некому указать на путь правый... И пойдет пытливый ум блуждать из стороны в сторону, кидаться из одной крайности в другую, а все-таки не найдет того, чего ищет, все-таки не услышит ни от кого растворенного любовью живого, разумного слова... Отсюда наши расколы, отсюда и равнодушие к вере высших слоев русского народа... Кто виноват?.. Дьявол, конечно... А кроме его?..

Странствовал Герасим по разным странам ни мало, ни много пятнадцать годов с половиной. В десяти верах перебивал и в каждой вере бывал не рядовым человеком. Огромная начитанность, необычайная память, быстрое соображение, мастерское умение вести споры и побеждать сопросника давали ему первые места в каждой секте, в какую он ни вступал. За учительные беседы еще тогда звали его Златоустом, когда у него еще ус едва пробивался, когда же Герасим возмужал, в какой толк ни перейдет он, в каждом сразу делается наставником, учителем, большаком. А это и самолюбию его льстило и достаток умножило – щедры ведь старообрядцы к тому, кто полюбится им, кому они вверятся и вручат свою совесть и помышленья. А Герасим везде требы исправлял,

езде бывал пастырем и учителем. Лучше и более знающего в делах веры никогда не могли найти раскольники. Укоряли они его, проклятиями даже осыпали за переходы из веры в веру, но в совести своей Герасим был спокоен: он ищет истинную веру и правую церковь, но, куда ни придет – ее нет как нет... нигде не находит их. Сначала ревностно вдастся в учение и обрядность избранного толка, но тотчас же убедится, что в нем и не бывало никогда истины, что и в этот толк антихрист пустил тлетворную свою прелесть...

После долгих размышлений, после мучительных колебаний совести отступал он, наконец, от избранной было веры, отрицался сатаны и всех дел его и опять уходил искать истинную, правую веру. Переходя из одного толка спасова согласия в другой, переходя потом из одной секты беспоповщины в иную, шесть раз Герасим перекрещивался и переменял имя, а поступая в Бондаревскую секту самокрещенцев (Секта самокрещенцев возникла еще в прошлом столетии. В нынешнем – саратовский купец Бондарев дал ей организацию, написав так называемые «Бондаревские ответы». По имени его и, секта называется Бондаревскою.), сам себя окрестил в дождевой воде, собранной в купель, устроенную им самим из молодых древесных побегов и обмазанную глиной, вынутой из земли на трех саженьях глубины, да не осквернится та купель дыханием везде присутствующего антихриста, владеющего всем видимым миром, всеми морями, всеми реками и земными источниками... И тут не нашел он ни правды, ни истины... Перешел в секту «Петрова крещения» (Отрасль так называемой «Глухой нетовщины»), где уж не надо было вновь перекрещиваться ни в речной воде, ни в небесной (Дождь.), но той креститься, какую Петр апостол крестился после отречения от Христа, той водою, что течет из живого источника, сердца человеческого. Слезами крестил себя Герасим, в умилении стоя перед Спасовым образом. То был последний его переход из веры в веру. Петровым крещеньем кончилось пятнадцатилетнее хождение Чубалова в странстве, ради обретения истинной правой веры Христовой, ради отыскания «малого стада» избранных, но сокровенных людей божиих.

Все из книг узнал и все воочию видел Герасим, обо всем горячий искатель истины сто раз передумал, а правой спасительной веры так-таки и не нашел. Везде заблужденье, всюду антихрист... И запала ему на душу тяжелая дума: «Нет, видно, больше истинной веры, все, видно, растлено прелестью врага божия. Покинул свой мир господь вседержитель, предал его во власть сатаны...» И в душевном отчаянье, в злобе и ненависти покинул он странство...

И к людям и к себе самому та злоба была. Отчего ж вдруг напала она на Герасима?.. Не задавался он этим вопросом да никогда бы ответа на него не придумал. Жил доселе одним умом, сердце у него молчало, никогда не бывало у Герасима никаких привязанностей. Он искал истины ради удовлетворения пытливости ума, но любви и добра, исходящих от сердца, не искал, даже никогда и не думал о них. Это был сухой аскет, все человеческое было ему чуждо, никогда любовь не озярляла его загрубевшего сердца, оттого злоба и свила в нем гнездо свое.

Воротился на родину. Не пешеходом с котомкой за плечами он домой воротился – три подводы с добром в Сосновку привел. Всем было то видимо, а про то, что Герасим был опоясан чересом (Кожаный кошель, сшитый в виде кишки, с пряжками и застежками. В него кладут деньги и им опоясываются. В старину чересл (от этого слова «чресла») значило окружность тела над тазом.) и что на гайтане вместе с тельником (Гайтан – шнурок, на котором носят тельник, то есть крест.) висел у него на шее туго набитый бумажник, того никто не видел. Много ли зашито серебра и золота в чересе, много ль ценных бумаг положено в бумажнике, про то знал да ведал один лишь Герасим. И после никто никогда о том не узнал.

Воротясь в Сосновку, тщетный искатель истины по-прежнему стал называться Герасимом Силиным Чубаловым, а до того, меняя имена при каждом новом перекрещиванье, бывал он и Никифором, и Прокопием, и Савельем, и Никитою, Иринархом и Мефодием. Оттого прежние друзья единоверные, теперь возненавидевшие его за отступничество, называли его «десятиверным» да «семиименным». До Сосновки об этом слухов не дошло.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда Герасим разошелся с последователями Петрова крещения и решился прекратить

напрасные искания правой веры, захотелось ему возвратиться в покинутый мир. Легко было подумать «возвратиться», а каково сделать?.. Куда идти, где поселиться, к какому обществу приписаться пятнадцать лет пропадавшему без вести? Звался он где Прокофьем, где Савельем, проживал либо с чужими, либо с фальшивыми паспортами, проживал и вовсе без них, а иногда и с паспортом «из града бога вышнего, из сионской полиции» (Паспорты странников или бегунов сопелковского согласия имеют преимущественно такую форму: «Объявитель сего раб Иисуса Христа имя рек, уволен из Иерусалима, града божия, в разные города и селения ради души прокормления, грешному же телу ради всякого озлобления. Промышлять ему праведными трудами и работами, еже работати с прилежанием, а пить и есть с воздержанием, против всех не прекословить, но токмо бога славословить; убивающих тело не бояться, но бога бояться и терпением укрепляться, ходить правым путем по Христе, дабы не задержали беси раба божия нигде. Утверди мя, господи, во святых твоих заповедях стояти и от Востока – тебе, Христе, к Западу, сиречь ко антихристу, не отступати. Господь просвещение мое и спаситель мой – кого ся убою, господь защититель живота моего – кого ся утрашу? Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Покой мне – бог, прибежище – Христос, покровитель и просветитель – дух святой. А как я сего не буду соблюдать, то после много буду плакать и рыдать. А кто странного мя прияти в дом свой будет бояться, тот не хочет с господином моим знаться, а царь мой и господин сам Иисус Христос, сын божий. А кто мя ради веры погонит, тот яве себя с антихристом во ад готовит. Дан сей пачпорт из града бога вышнего, из Сионской полиции, из Голгофского квартала. Приложено к сему пачпорту множество невидимых святых отец рук, еже бы бояться страшных и вечных мук. Дан сей пачпорт от нижеписанного числа на один век, а по истечении срока явиться мне в место нарочито – на страшный Христов суд. Прописаны мои приметы и лета в радость будущего века. Явлен пачпорт в части святых и в книгу животну под номером будущего века записан». Это паспорт пошехонских бегунов (Ярославской губернии). Есть и другие варианты. С такими паспортами странники или бегуны приходят в дома незнакомых им лично «странноприимцев», иначе «жиловых христиан» и принимаются ими как самые близкие родные.). Куда явишься с такими письменными видами?..

А ему хотелось покинуть скитальческую жизнь со всеми ее опасностями и лишениями, жить в тишине и покое, занимаясь каким-нибудь делом. Денег успел он накопить довольно, да oprичь было у него другое богатство очень ценное: до тысячи книг старопечатных и старописьменных, собранных во время странствий от Поморья до Кавказа и от беспоповских селений в Пруссии до отдаленных мест Сибири.

Думалось Чубалову в купцы где-нибудь приписаться и заняться торговлей старинными книгами, иконами и другой старинной утварью церковной и обиходной, сделаться «странщиком». Знал он немало таких, и ему всегда по душе приходились их занятия. Поиски за старинными вещами, необходимые для старинщика, были для него делом не столь трудным, как другому. Он знал, что где искать. Не поедет он, как иной неумелый, на авось да наобум, деньги и время даром терять. Погоня за стариной по глухим захолустьям своего рода странство, а к нему Герасим Чубалов очень приобык, и оно ему, непоседе, очень нравилось. Таков уж сроду был: на одном месте не сиделось, переходить бы все с места на место, жить бы в незнакомых дотоль городах и селеньях, встречаться с новыми людьми, заводить новые знакомства и, как только где прискучит, на новые места к новым людям идти.

Было время, когда наши предки, мощной рукой Петра Великого выдвинутые из московского застоя в жизнь западную, быстро ее усвоили, не разбирая дурного от хорошего, пригодного русскому человеку от непригодного. Напудренное и щеголявшее в расшитых золотом французских кафтанах поколение ничем не походило на бородатых отцов и дедов. С детским увлечением опрометью кинулось оно в омут новой жизни и стало презрительно глядеть на все прежнее, на все старинное, дедовское. С легкомыслием дикаря, меняющего золотые слитки на стеклянные бусы, напудренные щеголихи опрастывали дедовские кладовые, где в продолжение не одного столетия

накоплялось много всякой всячины.

И все продавали за бесценок, отдавали почти задаром, обзавестись бы только поскорей на вырученные деньги игрушками новой роскоши. Старинные братины, яндовы, стопы и кубки, жалованные прежними царями ковши и чары с пелюстками, чумы, росольники, передачи и крошни, сулеи и фляги, жбаны и четвертины (Братина – горшок с поддоном и крышкой. Яндова – род горшка, кверху с развалом, ко дну узкий, с носком, как у чайника. Стопа – большой стакан с крышкой и с рукоятью на поддоне. Кубки бывали разнообразной формы: «на братинное дело» (то есть в форме братины), на стаканное дело, на тыквенное (в форме тыквы) и пр. Чара, или чарка – круглый глубокий сосуд. Чары делались всегда на поддонах с небольшими рукоятками, но еще чаще с пелюстками – плоскими в виде расплюснутого листа рукоятками, прикрепленными к верхнему краю чары. Чум, или чумич – ковш с длинной рукоятью; посуда поваренная. Росольник – блюдечко на ножке с поддоном, на него клали разные сласти и плоды. Передача – большая чаша с рукоятками и крышкой вроде нынешней миски. Крошня – корзина в виде чаши с крышкой на поддоне; крошни были разнообразных форм. Сулея – сосуд в виде большой бутылки с пробкой из того же металла, которая завинчивалась; вместо рукояток у сулеи бывали цепи, прикрепленные по бокам. Фляга – то же, что сулея, только без горлышка. Жбан – род кружки, кверху несколько поуже, с крышкой, рукояткой и носком, как у чайника. Четвертина – сосуд со втулкой и тискам (завинчивавшаяся крышка, к верху которой приделывалось кольцо). Четвертины бывали четверугольные, шестиугольные и осьмигранные. Все эти вещи дельвались обыкновенно из серебра и золотились. У менее достаточных людей вся эта посуда была по форме такая же, но сделана из олова.) безжалостно продавались в лом на переплав. На придачу иногда шли туда же и ризы и оклады с родительских икон...

Всего бывало. Хвастались даже тем. Иной как выгодным делом хвалился, что купил породистого жеребца да борзого кобеля на деньги, вырученные от продажи старого, никуда, по его мнению, не годного хлама: расшитых жемчугами и золотыми дробницами бабушкиных убрусов, шамшур из волоченого золота, кик и ряс с яхонтами, с лалами, с бирюзой и изумрудами (Убрус – головной убор замужних женщин, из шелковой ткани, большей частью – тафты; концы убруса (застенки), висевшие по сторонам головы, вышивались золотом и бывали унизаны жемчугами и маленькими дробницами (золотые дощечки). Шамшура, или волосник – головная сетка, вязанная или плетенная из волоченого (пряденного) золота и серебра; наперед волосника надо лбом носили прикрепленное к нему очелье с подзором (каймою), богато расшитое золотом и унизанное жемчугом и дорогими камнями. Кика – самый нарядный головной убор, вроде нынешнего мужского картуза без козырька. Ряса – длинная прядь из жемчуга вперемежку с драгоценными камнями и золотыми пронизками (бусы). По три, по четыре рясы висело по бокам кики.). Другой, бывало, на радоваться не может, променяв дедовскую богомольную золотую греческого дела кацею (Кацея – ручная кадьница.) на парижскую табакерку.

Третий тем, бывало, кичится, тем бахвалится (Бахвалиться – хвастаться, похваляться.), что дорогой дамаский булат, дедом его во время чигиринской войны в бою с турками добытый, удалось ему променять на модную французскую шпажонку. Кой-что из этих легкомысленно расточаемых остатков старины попадало в руки старообрядцев и спасалось таким образом для будущей науки, для будущего искусства от гибели, беспощадно им уготованной лекоумием обезьянствовавших баричей...

Когда иное время настало, когда и у нас стали родною стариной дорожить, явились так называемые «старинщики», большей частью, если не все поголовно, старообрядцы. С редкою настойчивостью, доходившею до упорства, они разыскивали по захолустьям старинные книги, образа, церковную и хоромную (Хоромная утварь, иначе обиходная, – всякие домашние вещи, за исключением икон и всего, до веры относящегося.) утварь. Этим и обогатились наши книгохранилища и собрания редкостей. Одним из таких спасателей неоцененных памятников старины был Герасим Силыч Чубалов.

Летом, в петровки, в воскресный день у колодца, что вырыт был супротив дома чубаловского, сидел подгорюнясь середний сын Силы Петровича – Абрам. Видит он: едут по деревне три нагруженные кладью воза и становятся возле его дома. «Проезжие торговцы коней хотят попить», – думает Абрам, но видит, что один из них, человек еще не старый, по виду и одеже зажиточный, сняв шапку, тихою поступью подходит к Абрамову дому и перед медным крестом, что прибит на середке воротной притолоки (Воротная притолока – верхний брус, или перекладина, что лежит на верях. У старообрядцев, а также и у живущих среди их православных сохранился старинный благочестивый обычай прибавать к притолоке медный крест.), справляет уставной семи-поклонный начал. Диву дался Абрам, встал с места, подходит. А тот человек его спрашивает:

– Дома ль Сила Петрович?

– Помер давно, – отвечал Абрам. Поник проезжий головой, снова спрашивает Абрама:

– А хозяйшка Силы Петровича? Федосья Мироновна?

– Тоже давно померла. Вздохнул и еще ниже поник головою проезжий.

– А Иван Силыч? – спросил он.

– Ивана Силыча по жеребью в солдаты отдали, На чужой стороне жизнь покончил. А жена Иванова и детки его тоже все примерли. Один я остался в живых.

– Абрамушка! Братан!.. (Братан – старший брат.) – вскрикнул Герасим, и братья горячо обнялись.

«Не чаял я тебя видеть таким, – думает воротившийся в отчий дом странник. – Был ты здоров, кровь с молоком, молодец, ясный сокол. Осмину хлеба, бывало, ровно лутошку на плеча себе скидывал – богатырь был как есть... И был ты веселый забавник, всех, бывало, смешишь, потешаешь. На осенних ли посидках, на святочных ли игрищах только, бывало, появишься ты – у всех и смехи, и потехи, и забавы... Девушки все до единой на тебя заглядывались, гадали об тебе, ворожили, каждая только то на мыслях и держала, как бы с тобой повенчаться.. А теперь – облысел, сморщился, ровно гриб стал, бледен как мертвец!.. Босой, в ветхой рубахе!..»

– Что за беда случилась с тобою, братан? – спросил после долгого молчания Герасим.

Тот только голову низко-пренизко склонил да плечами пожал. Глядит Герасим на дом родительский: набок скривился, крыша сгнила, вместо стекол в окнах грязные тряпицы, расписанные когда-то красками ставни оторваны, на улице перед воротами травка-муравка растет, значит, ворота не растворяются. «Нет, видно, ни коней доброезжих, ни коров холмогорских, ни бычков, что родитель, бывало, откармливал», – подумал Герасим. И в самом деле, не было у Абрама ни скотины, ни животины, какова есть курица – и той давным-давно на дворе у него не бывало.

На говор братьев вышла из калитки молодая еще женщина, босая, в истасканном донельзя сарафанишке, испитая вся, бледная, сморщенная. Только ясные, добрые голубые глаза говорили, что недавно еще было то время, когда пригожеством она красилась. То была братаниха (Братаниха – жена братана.) Герасиму, хозяйка Абрамова – Пелагея Филиппьевна. За нею высыпал целый рой ребятишек мал мала меньше. Все оборваны, все отрепаны, бледные, тощие, изнуренные... Это племянники да племянницы Герасима Силыча. Окружив со всех сторон мать и держась ручонками за ее подол, они, разинув рты ровно галчата, пугливо исподлобья глядели на незнакомого им человека. Взглянув на полунагих и, видимо, голодных детей, Герасим Силыч ощутил в себе новое, до тех пор незнакомое еще ему чувство. Решаясь заехать в родную деревню, к отцу-матери на побывку, так думал Герасим в своей гордыне: "Отец теперь разжился, а все же нет у него таких капиталов, какие мне нажить довелось в эти пятнадцать годов... Стукну, брякну казной да и молвлю родителю: «ну вот, мол, батюшка, ни пахать, ни боронить, ни сеять, ни молотить я не умею и прясть на прядильне веревки тоже не горазд... Учил ты меня, родной, уму-разуму, бивал чем ни попало, а сам приговаривал: вот тебе, неразумный сын, ежели не образумишься, будешь даром небо коптить, будешь таскаться под оконьем!.. Ну, родитель-батюшка, скажи, не утай – много ль ты в эти пятнадцать годов нажил казны золотой?.. Давай-ка меряться да считаться!» И выкажу отцу свои капиталы... И поникнет он головою и передо мною, перед пропадшим сыном, смирится... "Вот тебе грамотей, а не пахарь, – скажу я родителю. – За что бивал меня, за что бранивал?..

« Смирится старый, а я из деревни вон – прощай, мол, батюшка, лихом не поминай... И ни

копейки не дам ему...»

Не то на деле вышло: черствое сердце сурового отреченника от людей и от мира дрогнуло при виде братней нищеты и болезненно заныло жалостью. В напыщенной духовною гордыней душе промелькнуло: «Не напрасно ли я пятнадцать годов провел в странстве? Не лучше ли бы провести эти годы на пользу ближних, не бегая мира, не проклиная сует его?..» И жалким сумасбродством вдруг показалась ему созерцательная жизнь отшельника... С детства ни разу не плакивал Герасим, теперь слезы просочились из глаз.

И с того часа он ровно переродился, стало у него на душе легко и радостно. Тут впервые понял он, что значат слова любимого ученика Христова: «Бог любви есть» (Первое послание Иоанна, IV, 16.). «Вот она где истина-то, подумал Герасим, – вот она где правая-то вера, а в странстве да в отречение от людей и от мира навряд ли есть спасенье... Вздор один, ложь. А кто отец лжи?.. Дьявол. Он это все выдумал ради обольщенья людей... А они сдуру-то верят ему, врагу божию!..»

Братнина нищета и голод детей сломили в Чубалове самообольщенье духовной гордостью. Проклял он это исчадие ада, из ненавистника людей, из отреченника от мира преобразился в существо разумное – стал человеком... Много вышло из того доброго для других, а всего больше для самого Герасима Силыча.

Еще не успел возвратившийся странник войти под кровлю отчего дома, как вся Сосновка сбежала поглазеть на чудо дивное, на человека, что пятнадцать годов в мертвых вменяем был и вдруг ровно с того света вернулся. Праздник был, все дома... Скоро пропасть народу набралось у колодца и у избы чубаловской. Дивились на Герасима, еще больше дивились на его воза с коробами и ящиками, в каких купцы товары развозят. «Вон он куда вылез? Глянь-ка, каким стал богате-ем!» Зависть и досада звучали в праздных словах праздного народа... Те, что были постарее, признали в приезжем пятнадцать лет перед тем сбежавшего бог весть куда грамотея и теперь как старые знакомцы тотчас вступили с ним в разговор. Глядя на его тонкого сукна черный кафтан и на пуховую шляпу, а пуще всего поглядывая на воза, мелким бесом они рассыпались перед Чубаловым, называя бывшего Гараньку то Герасимом Силычем, то «почтенным», то даже «вашим степенством».

Воза свели с ума и матерей, у которых дочери заневестились. Умильно они поглядывали на Герасима и закидывали ему ласковые словечки, напоминая на былое прошлое время, а сами держа на уме: «Коли не женат, так вот бы женишок моей девчурке»; но приезжий вовсе не глядел женихом, и никто не знал, холост он или женатый... А молодки, стоя особняком возле колодца, завистливо косились на жену Абрамову и такими словами между собой перекидывались: «Вот те Чубалиха, вот те и нищенка! Доселева была Палашка – рвана рубашка, теперь стала Пелагеей Филиппьевной! Пустые щи, и то не каждый день, отопком (Стоптаный, изношенный лапоть.) хлебала, а теперь, глядика-сь, в какие богачихи попала! Вот дурам-то счастье! Правда молвится, что дура спит, а счастье у ней в головах сидит!..»

И молодые парни и те, у кого в бороде уже заиндевело, ровно великой радостью спешили Герасима порадовать – известили его, что теперь в Сосновке у них свой кабак завелся, и звали туда его с приездом поздравить. Герасим отказался, но на четвертуху (Четверть ведра.) денег дал. Тут весь мир собрался и решительно объявил, что четвертухи очень мало, надо целое ведро для такой радости поставить, потому что в пятнадцать лет Герасимовой отлучки ревизских душ у них в Сосновке много понабавилось. На полведра дал Чубалов. Мир остался недоволен. "Мы за тебя, Герасим Силыч, сколько годов подати-то платили? Из ревизии ты еще ведь не выписан ", – сказал деревенский староста, плут мужик, стоило только взглянуть на него.

«С твоего брата взято нечего, – говорили другие, – ему и за свою-то душу нечем платить... И то на нем столько недоимки накопилось, что страсть! Твоя душа, да родителя твоего, да брата Ивана, что в солдаты пошел, – все ваши души на мир разложены. Поэтому самому, ваше степенство, тебе и следует целое ведро миру поставить, чтобы выпили мы на радостях про твое здоровье. Больно ведь уж мы рады тебе, что ты воротился... Так-то, почтенный!»

Дал Герасим на ведро. Мир и тем не удовольствовался. Немного погодя, когда Герасим уж в родительском доме сидел, шасть к нему староста. Вошел, богу как следует помолился, всем поклонился, «здравствуйте» сказал, а потом и зачал доказывать, что ведерка на мир очень недоста-

точно, и потому Герасиму Силычу беспрерывно надо пожертвовать на другое. Не до старости было тогда Герасиму, не до мирской попойки; ни слова не молвя, дал денег на другое ведро и попросил старосту мир-народ угостить. Староста дачей денег остался доволен, а потом начал из кожи лезть, упрашивая обоих Чубаловых, ровно бог знает о какой милости, чтоб и они шли на лужок у кабака с миром вместе винца испить.

Оба брата отказались, и староста, уходя из избы, изо всей мочи хлопнул дверью, чтобы хоть этим сердце сорвать. Надивиться он не мог, отчего это не пошли на лужок Чубаловы. «Ну пущай, – говорил он шедшему рядом с ним десятнику, – пущий Абрамка не пьет, а не пьет оттого, что пить доселе было не на что, а этот скаред, сквалыга, этот распроклятый отчего не пьет?» То же говорил староста и на лужайке мир-народу, разливая по стаканам новое ведро, и мудрый мир-народ единогласно порешил, что оба Чубаловы, и тот и другой, дураки. Потом мир-народ занялся делом общественным. Составился вокруг порожнего ведерка сход, и на том сходе решено было завтра же ехать старосте в волость, объявить там о добровольной явке из бегов пропадавшего без вести крестьянина.

Герасима Чубалова, внести его в списки и затем взыскать с него переплаченные обществом за него и за семейство его подати и повинности, а по взыскании тех денег, пропить их, не откладывая, в первое же после того взыска воскресенье. Постановив такой всем по душе пришедшийся приговор, мир-народ еще выпил на радостях. Играли на гармониках, орали песни вплоть до рассвета, драк было достаточно; поутру больше половины баб вышло к деревенскому колодцу с подбитыми глазами, а мужья все до единого лежали похмельные. Так радостно встретила Герасима Силыча родимая сторонушка.

Когда Герасим вошел в родительский дом и, помолившись семейным иконам, оглянул с детства знакомую избу, его сердце еще больше упало. Нищета, бедность крайняя... Нигде, что называется, ни крохи, ни зерна, везде голым-голо, везде хоть шаром покати: скотины – таракан да жу-желица, посуды – крест да пуговица, одежды – мешок да рядно. Двор раскрыт без повети стоит: у ворот ни запора, ни подворотни, да и зачем? – голый что святой: ни разбоя, ни воров не боится. В первую пору странства, когда Герасим в среде старообрядцев еще не прославился, сам он иногда голодовал, холодовал и всякую другую нужду терпел, но такой нищеты, как у брата в дому, и во сне он не видывал.

Вспомнил про надельные полосы, при выкормке бычков родителем до того удобренные, что давали они урожая вдвое и втрое супротив соседних наделов, и спросил у брата, каково идет у него полевое хозяйство. Молчит Абрам, глаза в землю потупя... Со слезами отвечает невестка, что вот уж-де больше пяти годов, как нет у них никакого хозяйства, и у нее нет никаких бабьих работ – ни в поле жнитва, ни в огороде полоть. «Вот каким пахарем стал», подумал Герасим. И в самом деле избной пол стал у Абрама, как в людях молвится, под озимым, печь под яровым, полати под паром, а полавочье под покосом. Таково было хозяйство, что даже мыши перевелись с голодухи в амбаре.

Молчанье брата, грустный, жалобный голос невестки, скучившиеся в углу у коника полунагие ребятишки вконец растопили сердце Герасима.

Пуще всего жаль было Герасиму малых детей, а их было вдосталь и не для такой скудости, в какой жил его брат: семеро на ногах, восьмой в зыбке, а большему всего только десятый годок.

– А что, невестушка, чем станешь гостя потчевать? – спросил, садясь на лавку, он Пелагею.

Та, закрыв лицо передником, тихо, безмолвно заплакала. Молчит и Абрам, сумрачно смотрит на брата, ровно черная туча.

– Болезный ты мой, родной, притоманный! – с трудом могла, наконец, промолвить хозяйка. – Было щец маленько, да за обедом поели все. С великой бы радостью, тебя, мой душевный, попотчевала, да нетути теперь у нас ничего.

А хозяин голову перед братом повесил и потупил глаза. Слеза прошибла их.

– На нет и суда нет, невестушка, – сказал Герасим и тоже печально склонил свою голову.

– Нет, вот что, родненький, – вспомнив, молвила Пелагея. – Сбегаю я к Матрене Прокофьевне, – обратилась она к мужу, – к нашей старостихе, – пояснила деверю, – покучусь у ней молочка хоть криночку, да яичек, да маслица, яишенку-глазунью гостю дорогомому состряпаю. Может, не

откажет: изо всех баб она до меня всех милостивей.

И, накинув на плечи истрепанный, дырявый шушун (Шушуном, смотря по местности, называется разная верхняя женская одежда. За Окой на юг от Москвы, в губерниях: Рязанской, Тамбовской, Тульской и др., где сарафанов не носят, Шушуном зовут холщовую женскую рубашку, длиною немного пониже колен, с алым шитьем и кумачными красными прошивками; он надевается к паневе сверх рубахи. На севере (губернии: Новгородская, Вологодская, Вятская) шушуном называется крашенинный старушечий сарафан, а в Олонецкой и по иным местам – сарафан из красного кумача с воротом и висячими назади рукавами. В Волжском верховье (Тверская, Ярославская, Костромская) шушуном зовется кофта с рукавами и отложным воротником, отороченная кругом ленточкой – шугой. На Горах, начиная с Нижегородской губернии, шушун – верхняя крашенинная короткая сорочка-расстегай вроде блузы, надеваемая поверх сарафана.), спешно пошла из избы.

– Постой, невестушка, постой, родная, – остановил Пелагею Герасим. – Так не годится. У вас на деревне, слышь, кабак завелся, чать при нем есть и закусовая? – обратился он к брату.

– Как не быть, есть, – тихо ответил Абрам.

– На-ка тебе, – молвил Герасим, подавая Абраму рублевку. – Сходи да купи харчей, какие найдутся. Пивца бутылочку прихвати, пивцо-то я маленько употребляю, и ты со мной стаканчик выпьешь. На всю бумажку бери, сдачи приносить не могли ни единой копейки. Пряников ребятам купи, орехов, подсолнухов.

– Что это, брательник? (Брательник – меньшой, младший брат.) Зачем? – молвил Абрам. – Они у нас непривычны, не надо.

– А ты, Абрамушка, делай не по-своему, а по-моему, – улыбаясь, добродушно ответил Герасим. – Подь-ка, а ты, подь поскорее.

Постоял маленько Абрам, вздохнул и, взявши с колка (Деревянный гвоздь или тычок, вбитый в заднюю стену избы у входа, для вешанья шапок.) шапку, пошел из избы, почесывая в затылке.

– Ну, невестушка, – сказал по уходе брата Герасим, – ты бы теперь мне маленько местечка где-нибудь опростала. Одну-то телегу надо скорей опростать.

– Да вон тащи, родной, хоть в заднюю избу, – молвила Пелагея, – а не то в клеть – пустым-пустехоньки. А ежели больно к спеху, так покамест в сенях положи; сени у нас больше, просторные, всю свою поклажу уложишь.

– Ладно, – ответил Герасим. – В сенях, так в сенях. И, выйдя из избы, сказал возчикам – сняли бы с одного воза кладь, а в опростанную телегу заложили лошадь. Пока они перетаскивали коробка и ящики, Герасим подсел к столу и, вынув из кармана бумагу, стал что-то писать карандашом, порой останавливаясь, будто что припоминая. Кончив писанье, вышел он на двор и, подзвав одного из приехавших с ним, сказал:

– Ну, Семенушка, сослужи ты мне, братец, теперь не в службу, а в дружбу. Хоть ты и устал и давно бы пора отдохнуть тебе, да уж, пожалуйста, похлопочи, сделай для меня такую милость.

Семен Ермолаич был у Чубалова за приказчика. Человек пожилой, степенный, тоже грамотей и немалый знаток в старинных книгах, особенно же в иконах. Рад был он сослужить службу хозяину.

– Здешни места знаешь? – спросил у него Чубалов.

– Как мне не знать здешних местов? – молвил Семен Ермолаич. – Сам недалний отселе.

– Так вот что, – сказал Чубалов. – В город дорогу найдешь?

– Как не найти? Ехали сюда, в виду у нас был.

– Моих денег есть ли сколько-нибудь при тебе? – спросил Чубалов.

– Есть довольно...

– Сделай же все по этой записке. Только сделай милость, управляйся скорее, засветло бы тебе назад поспеть. Успеешь, думаю, тут всего четыре версты, да и тех, пожалуй, не будет, – молвил Чубалов.

– Как не поспеть засветло, – сказал Ермолаич. – Далеко ли тут? Для братана, что ли? – примолвил он, бегло взглянув на записку.

– Да, – молвил Герасим. – Не чаял я, Семенушка.

– Жалости даже подобно, – сказал Семен Ермолаич. – Покалякал я кой с кем из здешних про твоего братана. Мужик, сказывают, по всему хороший, смирный, работающий, вина капли в рот не берет. Да как пошли, слышь, на него беды за бедами, так его, сердечного, вконец и доконало. Опять же больно уж много ребяток-то он наплодил, что, слышь, ни год, то под матицу зыбку подвязывай (Матица – брус поперек избы, на ней кладется потолочный тес. Зыбка – колыбель, люлька, в крестьянских домах обыкновенно подвешиваемая к потолочной матице. Есть в каждой избе и другая матица – балка, на которую пол настилается.).

Поглядеть на богатых – дети у них не стоят, родился, глядь ай и гробик надо ладить, а у Абрама Силыча все до единого вживе остались... Шутка ли, восемь человек мал мал меньше... Работник-от он один, а ртов целый десяток. Как тут не пойти под оконья?..

– Нешто побираются? – мрачно насупясь, спросил у Ермолаича Герасим.

– Сам-от нет, сам, слышь, и день и ночь за работой, и хозяйка не ходит, от дому-то ей отлучаться нельзя. Опять же Христа ради собирать ей и зазорно – брата она из хорошего дома, свои капиталы в девках имела, сродники, слышь, обобрали ее дочиста... А большеньки ребятки, говорили бабенки, каждый, слышь, день ходят побираться.

Пуще прежнего нахмурился Герасим Силыч, смотрит ровно осенняя ночь.

– Поезжай поскорее, Ермолаич, – вдруг заторопил он приказчика. Засветло надобно быть здесь тебе непременно. Пожалуйста, поторапливайся!

– Как засветло не воротиться, воротимся, – молвил разговорившийся Ермолаич, оправляя супонь на лошади. – Эки собаки, прости господи! И супонь-то кой-как затянули, и гужи-то к оглоблям не пристегнули. Все бы кой-как да как-нибудь, а дорогой конь распряжется. Глядишь остановка, меледа... ' Мешкотное дело, задержка. ' Да, Герасим Силыч, правда в людях молвится: «Без детей горе, а с детьми вдвое...» Только уж паче меры плодлив братан-от у тебя... Конечно, ежели поможет ему господь всех на ноги поставить – работников будет у него вдоволь, пять сынов, все погодки... Тогда бог даст справится.

– А ты поезжай, поезжай, Семенушка, – торопил его Герасим.

Ермолаич сел, наконец, в телегу, а все-таки свое продолжал:

– Да, плодлив, беда какой плодливый... Шутка сказать, восьмеро ребятишек!.. И у богатого при такой семье голова кругом пойдет. Поди-ка вспой, вскорми каждого да выучи!.. Ой, беда, беда!

Наконец-то двинулся в путь. Выйдя из ворот, Герасим, посмотрев вслед Ермолаичу, в избу вошел.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Облокотясь на стол и припав рукою к щеке, тихими слезами плакала Пелагея Филиппьевна, когда, исправивши свои дела, воротился в избу Герасим. Трое большеньких мальчиков молча стояли у печки, в грустном молчанье глядя на грустную мать. Четвертый забился в углу коника за наваленный там всякого рода подранный и поломанный хлам. Младший сынок с двумя крошечными сестренками возился под лавкой. Прикутанный в грязные отрепья, грудной ребенок спал в лубочной вонючей зыбке, подвешенной к оцепу (Оцеп, иначе очеп, журав, журавец – перевес, слега или жердь, прикрепленная к матице.).

– Что, невестушка, пригорюнилась? О чем слезы ронишь, родная? – ласково, участливо спросил Герасим, садясь возле нее на лавку.

– Как мне не плакать, как не убиваться?.. – захлебываясь слезами, чуть могла промолвить Пелагея Филиппьевна. – Не видишь разве, желанный, каково житье наше горе-горькое?.. А живали ведь и мы хорошо... В достатке живали, у людей были в любви и почете. И все-то прошло, прокатилось, ровно во сне привольное-то житье я видела... Ох, родной, родной!.. Тебя и в живых мы не чаяли, и вот господь дал – приехал, воротился. Радоваться бы твоему приезду нам да веселиться, а у нас куска хлеба нет покормить тебя... Тошно, родимый, тошнехонько!..

И бросив на стол белые, исхудалые, по локоть обнаженные руки, прижала к ним скорбное

лицо и горька зарыдала. У Герасима сердце повернулось...

– Полно, родная, перестань убиваться, – любовно молвил он ей, положив руку на ее плечо. – Бог не без милости, не унывай, а на него уповай. Снова пошлет он тебе и хорошую жизнь и спокойную. Молись, невестушка, молись милосердному господу – ведь мы к нему с земной печалью, а он, свет, к нам с небесной милостью. Для того и не моги отчаиваться, не смей роптать. То знай, что на каждого человека бог по силе его крест налагает.

– Не ропщу я, родной, николи бога ропотом я не гневил, – сказала Пелагея тихо, поднявши голову и взглянув на деверя чистым, ясным, правдой и смиреньем горевшим взором.

– И хорошее дело, невестушка. За это господь тебя не покинет, воззрит на печаль твою. Надейся, Пелагеюшка, надейся... На бога положишься, не обложишься. Утри-ка слезы-то да покажь мне деток-то. Я ведь хорошенько-то еще и не знаю своих племянников. Показывай, невестушка, начинай со старшенького.

Отерла слезы Пелагея. Теперь она была уже уверена, что деверь не покинет их в бедности, даст вздохнуть, выведет из нищеты и горя.

– Подь сюда, Иванушка, подойди поближе к дяденьке, – сказала она старшему мальчику.

Тихо, но не робкой поступью подошел беловолосый, бледный, истощенный Иванушка с ясными, умными глазками. Подойдя к дяде, он покраснел до ушей.

– Это наш большенький, – молвила Пелагея, – Иванушкой звать.

– Много ль ему? – спросил Герасим, глядя по голове племянника.

– Десятый годок на Ивана Богослова перед летним Николой пошел, ответила Пелагея Филиппьевна.

– Умненький мальчик, – молвил Герасим, поглядев в глаза Иванушке.

– Ничего, паренек смысленный, – скорбно улыбнулась мать, глядя на своего первенца.

– Грамоте учишься? – спросил у него дядя и тотчас же одумался, что напрасно и спрашивал о том. «Какая ему грамота, коли ходит побираться?»

Еще больше мальчик зарделся. Тоскливым, печальным взором, но смело, открыто взглянул он дяде прямо в глаза и чуть слышно вымолвил: – Нет.

– Какая ему грамота, родимый!.. – дрожащими от приступа слез губами прошептала мать. – Куда уж нам о грамоте думать, хоть бы только поскорее пособниками отцу стали... А Иванушка паренек у нас смысленный, понятливый... Теперь помаленьку и придельному делу стал навекать.

– Дело хорошее, Иванушка, – думчиво молвил Герасим, глядя племянника по белым, как лен, волосенкам. – Доброе дело отцу подмогать. И замолчал, вперив очи в умненькое личико мальчика. Вспали тут на разум бывшему страннику такие мысли, что прежде бы он почел их бесовским искушеньем, дьявольским наваждением... "Дожил я слишком до тридцати годов, а кому послужил хоть на малую пользу?.. Все веру искал, в словопрениях путался... Веру искал, и мыкался, мыкался по всему свету вольному, а вот сегодня ее дома нашел... А в пятнадцать годов шатанья, скитанья, черноризничанья успел от добрых людей отстать... Нешто люди те были, нешто сам-от я был человеком?.. Гробы повапленные!.. Вот тогда в Сызрани, два года тому назад, соборная беседа у нас была...

Я сидел в первых... и долгое шло рассуждение, в каком разуме надо понимать словеса Христовы: «Милости хочу, а не жертвы...» Никто тех словес не мог смыслом обнять; судили, рядили и врозь и вкось. Меня, как старшего по званию догматов церковных, спросили... наставлял я собеседникам и невесть чего: и про жертву-то ветхозаконную говорил, и про милости-то царя небесного к верным праведным, а сам ровнехонько не понимал ничего, что им говорю и к чему речь клоню... Однако же много довольны остались, громко похваляли меня за остроту разума, за глубокое ведение святого писания...

Не доступны были тогда моему разумению простые и святые словеса евангельские, а теперь, только что поглядел я на этих мальцов да поболел о них душою, ровно меня осиял свет господень и дадеса мне от всевышнего сила разумения... Познаю разум слов твоих, Спасе... Милости, милости хочешь ты, господи, а не черной рясы, не отречения от людей, не проклятия миру, тобой созданному!"

– А хотелось бы тебе грамоте-то поучиться? – мягким, полным любви голосом спросил по-

сле долгого молчанья Герасим Силыч у племянника.

– Как же не хотеться? – потупив в землю глаза, чуть слышно ответил Иванушка. – Я бы, пожалуй, и самоучкой стал учиться, без мастерицы (Мастерица – деревенская учительница грамоте.), только бы кто показал... Да ведь азбуки нет.

– Завтра же будет она у тебя, – молвил Герасим. – И станешь ты учиться не самоучкой, не у мастерицы, я сам учить тебя стану... Хочешь ли?

– Хочу, дяденька, больно хочу, – радостно вскрикнул маленький Иванушка, и голубые глазенки его так и запрыгали...

– Ну, вот и ладно, вот и хорошо, – с добрым чувством промолвил Герасим, перебирая пальцами Иванушкины кудри. – Станем, племянничек, станем учиться... Только смотри у меня, с уговором – учись, а отцовского дела покинуть не смей. Старайся прясть хорошенько. Учись этому, Иванушка, навыйкай. Грамота дело хорошее, больно хорошее, однако ж если у грамотея мирского дела никакого не будет, работы то есть никакой он не будет знать, ни к какому промыслу сызмальства не обикнет, будет ему грамота на пагубу. Станешь ли при грамоте прясть хорошенько? Станешь ли при грамоте отцу пособлять?

– Стану, дяденька, стану, – порывисто ответил Иванушка, веселыми глазами глядя на дядю и прижимаясь к нему.

– Ежели б годиков семь нашим грехам господь потерпел да сохранил бы в добром здоровье Абрама Силыча, мы бы, родимый, во всем как следует справились, тихо промолвила Пелагея. – Иванушке пошел бы тогда семнадцатый годок, а другие сынки все погодки. Саввушке, меньшенькому, и тому бы тогда было двенадцать лет, и он бы уж прял... И тягло бы по-прежнему тогда на себя мы приняли, и земельку бы стали опять пахать, скотинушку завели бы... А теперь ведь у нас ни пашенки, ни скотинушки, какова птица курица, и та у нас по двору давненько не браживала...

– Знаю, родная, все знаю, – со вздохом ответил Герасим. – Только ты смотри у меня, невестушка, не моги унывать... В отчаянье не вдавайся, духом бодрись, на света Христа уповай... Христос от нас грешных одной ведь только милости требует и только за нее милости свои посылает... Все пошлет он, милосердный, тебе, невестушка, и пашню, и дом справный, и скотинушку, и полные закрома...

– У меня только и есть надежды, что на его милость. Тем только и живу, – слезным, умиленным взором смотря на иконы, ответила Пелагея. – Не надеялись бы мы с Абрамом на милость божию, давно бы сгибли да пропали...

– Показывай других деток, невестушка, – молвил немного погодя Герасим.

– Вот другой сынок наш – Гаврилушка, – сказала она, подводя к деверю остроглазого крепыша мальчугана. – За неделю до благовещенья девятый годок пошел.

– Ну что же ты, Гаврилушка, прядешь, что ли? – приласкавши племянника, спросил у него Герасим.

– Тятка не дает, – бойко ответил мальчик, глядя дяде прямо в глаза.

– Куда еще ему, родной? – улыбаясь и мягким, полным любви взором лаская мальчика, сказала Пелагея Филиппьевна. – Разве с будущего лета станет отец обучать его помаленьку.

– Давай, мамка, пеньки, – сейчас напряду, – вскричал Гаврилушка.

– Как тебе не пеньки?... Ишь какой умелый, – улыбнувшись сквозь слезы, проговорила Пелагея Филиппьевна и, приложив ладонь к сыновнему лбу, заботно спросила: – Прошла ли головушка-то у тебя, болезный ты мой?

– Прошла, – весело ответил Гаврилушка.

– Ну, слава богу, – молвила мать, погладив сына по головке и прижав его к себе. – Давеча с утра, сама не знаю с чего, головушка у него разболелась, стала такая горячая, а глазыньки так и помутнели у сердечного... Перепугалась я совсем. Много ль надо такому маленькому? – продолжала Пелагея Филиппьевна, обращаясь к деверю.

И по взглядам и по голосу ее Герасим смекнул, что Гаврилушка материн сынок, любимчик, баловник, каким сам он был когда-то у покойницы Федосьи Мироновны.

– А тебе чего хочется, Гаврилушка? Вырастешь большой, чем хочешь быть? – спросил у него дядя.

– Марком Данилычем, – с важностью ответил Гаврилушка.

– Каким Марком Данилычем? – спросил Герасим.

– Купец у нас есть в городе. Смолокуров Марко Данилыч, – усмехнулась на затейный ответ своего любимчика Пелагея. – На него по нашей деревне все прядут. Богатеющий. Вишь куда зашел! – глядя по головке сына, обратилась она к нему. – Губа-то у тебя, видно, не дура.

– Смолокуров? Помню что-то я про Смолокурова, – молвил Герасим. – Никак батюшка покойник работал на него?

– Надо быть так, – ответила Пелагея.

– Работай хорошенько, Гаврилушка, да смотри не балуй, по времени будешь таким же богачом, как и Марко Данилыч, – промолвил Герасим и спросил Пелагею про третьего сына.

– Вот и он, – молвила Пелагея Филиппьевна. – Харламушка, подь к дяденьке.

– Тебе который год? – спросил Герасим у подошедшего к нему и глядевшего исподлобья пузатенького мальчугана, поднимая ему головку и взявши его за подбородок.

– Восьмой, – отвечал Харламушка.

– Что поделываешь?

– Хожу побираться, – бойко ответил он. Промолчал Герасим, а Пелагея отвернулась, будто в окно поглядеть. Тоже ни слова.

– А четвертый где? – спросил у нее Герасим после недолгого молчания.

Подошла Пелагея к углу коника, куда забился четвертый сынок, взяла его за ручонку и насильно подвела к дяде. Дикий мальчуган упирался, насколько хватало у него силенки.

– Этот у нас не ручной, как есть совсем дикой, – молвила Пелагея. Всего боится, думаю, не испортил ли его кто.

– Как тебя зовут? – спросил четвертого племянника Герасим, взявши его за плечо.

Всем телом вздрогнул мальчик от прикосновенья. Робко смотрел он на дядю, а сам ни словечка.

– Скажи: Максимушкой, мол, зовут меня, дяденька, – учила его мать, но Максимушка упорно молчал.

– Который годок? – спросил Герасим. Сколько мать Максимушке ни подсказывала, сколько его ни подталкивала, он стоял перед дядей ровно немой. Наконец, разинул рот и заревел в источный голос.

– Что ты, Максимушка? Что ты, голубчик? Об чем расплакался, – ласково уговаривал его Герасим, но ребенок с каждым словом его ревел сильнее и сильнее.

– Страшливый он у нас, опасливый такой, всех боится, ничего не видя тотчас и ревку задаст, – говорила Пелагея Филиппьевна. – А когда один, не на глазах у больших, первый прокурат (Прокурат – проказник, шутник, забавник, от слова прокудить, – шалить, проказничать. На севере и на востоке, а также на Украине Великой России и в Белоруссии «прокудить» – значит делать вред, то же, что бедокурить и прокуратить, а также обманывать, притворяться.). Отпусти его, родной, не то он до ночи проревет. Подь, Максимушка, ступай на свое место. Не успела сказать, а Максимушка стрелой с лука прынул в тот уголок, откуда мать его вытащила. Но не сразу унялись его всхлипывания.

– А меньшенькой-то где же у тебя, невестушка? – спросил Герасим.

– Саввушка, где ты, родной? – крикнула мать, оглядываясь.

– Здесь! – раздался из-под лавки детский голосок.

– Зачем забился туда?

– С Устькой да с Дунькой в коски игьем, под стьяпной лавкой (Великорусская изба на севере, на востоке и по Волге имеет везде одинаковое почти расположение: направо от входа в углу – печь (редко ставится она налево, такая изба зовется «непряхой», потому что на долгой лавке, что против печи от красного угла до коника, прясть не с руки, – правая рука к стене приходится и не на свету). Угол налево от входа и прилавок от двери до угла зовется коник, тут место для спанья хозяина, а под лавкой кладутся упряжь и разные пожитки. Передний угол направо – красный, святой, там образа, перед ними стол. Лавка от коника до красного угла зовется долгой. Передний угол налево от входа – бабий кут или стряпной; он часто отделяется от избы дощатой перегородкой.

Лавка от святого угла до стряпного называется большою, а иногда красною. Прилавок от бабьего кута к печке – стряпная лавка, рядом с нею до самой печи – стряпной ставец, вроде шкапчика и стола вместе; на нем кушанье готовится.», – картавил маленький мальчик.

– Ну вы, котятки мои, – ласково молвила мать, – вылезайте скорее к дяденьке... Дяденька пряничков даст.

Пятилетний мальчик проворно вылез из-под лавки, за ним выползли две крошечные его сестренки.

– Пьяников, пьяников!.. – радостно смеясь и весело глядя на Герасима, подобрав руки в рубашонки и прыгая на одной ножке, весело вскрикивал Саввушка.

Девочки, глядя на братишку, тоже прыгали, хохотали и лепетали о пряниках, хоть вкусу в них никогда и не знавали. Старшие дети, услышав о пряниках, тоже стали друг на дружку веселенько поглядывать и посмеиваться. Даже дикий Максимушка перестал реветь и поднял из-под грязных тряпок белокурую свою головку... Пряники! да это такое счастье нищим, голодным детям, какого они и во сне не видывали.

– Это вот Устя, а это Дуняша, – положив руку на белокурую головку старшей девочки и взявши за плечо младшую, сказала Пелагея Филиппьевна. Сколько ни заговаривал дядя с братанишнями (Братанишна – дочь старшего брата, братана.), они только весело улыбались, но ни та, ни другая словечка не проронила. Крепко держа друг дружку за рубашки, жались они к матери, посматривали на дядю и посмеивались старому ли смеху, что под лавкой был, обещанным ли пряникам, господь их ведает.

– А в зыбке Федосеюшка, – молвила Пелагея деверю, показав на спавшего ангельским сном младенца. – В духов день ее принесла, восьма неделка теперь девчурке пошла.

– Да, семейка! – грустно покачав головой, молвил Герасим. – Трудновато мелюзгу вспоить, вскормить да на ноги поставить. Дивиться еще надо братану и тебе, невестушка, как могли вы такую бедноту с такой кучей детей перенести.

– Господь! – вздохнула она, набожно взглянув на святые иконы.

Под это самое слово Абрам с покупками воротился. Следом за ним пришла и закусочница, бабенка малого роста, разбитная, шустрая солдатка – теткой Ариной ее звали. Была бабенка на все руки: свадьба ли где – молодым постелю готовить да баню топить, покойник ли – обмывать, обрядать, ссора ли у кого случится, сватовство, раздел имений, сдача в рекруты, родины, крестины, именины – тетка Арина тут как тут. Без нее ровно бы никакого дела и сделать нельзя. А как все эти дела случались не каждый день, так она, как только кабак в Сосновке завели, к нему присоседалась, стала закусочницей и принялась торговать нехитрыми снедями да пряниками, орехами и другими деревенскими сладостями.

Торговля не бог знает какие барыши ей давала, но то было тетке Арине дороже всего, что она каждый день от возвращавшихся с работ из города сосновских мужиков, а больше того от проезжих, узнавала вестей по три короба и тотчас делилась ими с бабами, прибавляя к слухам немало и своих небылиц и каждую быть красным словцом разукрашивая. Возврат пятнадцать годов пропадавшего без вести Герасима такой находкой был этой вестовщице, какая еще сроду ей не доставалась. Прослышав, что мужики хотят опивать чубаловский приезд, она с жадным нетерпением ждала, когда соберется мир-народ на заветной лужайке и Герасим Чубалов станет рассказывать про свои похождения. Опешила она, узнавши, что мужики пьют на счет приезжего, но самого его залучить к себе никак не могут. Как же раздобыться новостями, как узнать их?.. От самого ли Герасима, от брата ль его, или от невестки?.. Идти самой Арине к Пелагее нельзя – больно уж часто обижала она и ее самое и ребятишек. В самый тот день поутру до крови нарвала она уши материну любимчику Гаврилушке, когда он у нее Христа ради кусочек хлебца попросил. И вдруг Абрам перед нею...

Ровно рассыпанному мешку золота обрадовалась Арина Исаишна его приходу. Не знает, где

посадить, не знает, как улестить, а перед тем близко к лавчонке своей его не подпускала, неравно, дескать, стянёт что-нибудь с голодухи. Отрезала по его спросу добрый кусок соленой рыбы; дала пучок зеленого луку, хлеба каравай, два десятка печеных яиц, два пирога с молитвой (В Великой России слово пирог употребляется не везде в смысле хлебного печенья из пшеничной муки с какой-нибудь начинкой. На север от Москвы пирогом зовут ситный хлеб из лучшей ржаной муки, чисто смолотой и просеянной (той, которую пеклевали, – отсюда пеклеванный хлеб). Еще дальше на север – в Вологодской, Вятской и Пермской губерниях – пирогом зовется хлеб из ячной или полбенной муки. На юг от Москвы (в Тульской, Рязанской, Тамбовской и отчасти Владимирской губерниях) пирогом зовут пшеничный хлеб безо всякой начинки. В Костромской и Нижегородской пирогом зовется печенье с начинкой, зовут пирогом и хлеб без начинки, но больше такой хлеб в виде пирога зовется пирогом с молитвой. Ниже по Волге, в Нижегородской, Казанской и дальше, пирогом зовут уж одно только печенье с начинкой, а хлеб без начинки зовется папушником и калачом.).

Только всего и оставалось у ней, все остальное мужики разобрали, чтобы было чем чубаловское винцо закусывать. Отпустила и пряников, и каленых орехов, и подсолнухов, нашелся и десяток маковников, а больше ничего не нашлось. Не дожидаясь Абрамова спроса, Арина нацедила большой жбан холодного квасу, говоря, что после рыбы братцу беспрременно надо будет кваску испить. Хотел было Абрам заплатить за квас, но тетка Арина, сколь ни жадна была, удивленными глазами поглядела, поглядела и такое слово промолвила: «Никак ты, Силыч, в разуме рехнулся с радости-то? Нешто за квас деньги берут? Окстись, милый человек!» У тетки Арины тот расчет был: все покупки да жбан Абраму зараз захватить несподручно, и она, ровно бы добрая, вызвалась сама донести ему до его избы кое-что."

А там Герасима увижу, – думала она, – и все от самого от него разузнаю, а вечером у старостина двора бабам да молодкам расскажу про все его похождения". Надивиться не мог Абрам такой неожиданной услужливости вздорной, задорной тетки Арины.

Повстречавши дорогой деревенских девчонок, что из лесу шли с грибами да с ягодами, тетка Арина посоветовала Абраму купить у ее дочурки за трешницу лукошко ягод. «Безотменно купи, – трещала она, – да скажи брательнику-то, ягодки, мол, из самого того леску, куда он, подростком будучи, спасаться ходил, – верь мне, по вкусу придутся».

Взял Абрам лукошко со смешанной ягодой: больше всего было малины, но была и темно-синяя черника, и алая костяника, и сизый гонобобель, и красная и черная смородина, даже горькой калины попало в лукошко достаточно. Подходя к дому, Абрам поблагодарил тетку Арину за квас и беспокойство, сказал было, что парнишка ее ношу в избу к нему внесет, но Арина и слушать того не захотела. «Дай, батька, на брательника-то поглядеть, – сказала она, я ведь его целых пятнадцать годов не видела... Чать, не убудет его у тебя, коли минуточку-другую погляжу на него да маленько с ним покалякаю». Не посмел Абрам прекословить закусочнице...

Войдя в избу и поставив жбан на стряпной поставец, тетка Арина сотворила перед иконами семипоклонный начал. Клала крест по-писанному, поклоны вела по-наученному, потом приезжему гостю низехонько поклонилась и с ласковой ужимкой примолвила:

– Доброго здоровья вашей чести, Герасим Силыч, господин честной! С приездом вас!..

И еще раз поклонилась. Встал с лавки Герасим и молча отдал Арине поклон.

К хозяйке тетка Арина подошла, поликовалась с ней трижды, крест-накрест, со щеки на щеку, и тотчас затараторила:

– Здоровенько ли поживаешь, Филиппьевна? Ну вот, матка, за твою простоту да за твою доброту воззрил господь на тебя радостным оком своим. Какого дорогого гостя, сударыня моя, дождалась!.. Вот уж, как молвится, не светило, не горело, да вдруг припекло. Родной-эт твой, притоманный-эт твой, и вживе-то его не чаял никто, и память-то об нем извелась совсем, а он, сердечный, гляко-сь, да вон поди, ровно из гроба восстал, ровно из мертвых воскрес, ровно с неба свалился, ровно из яичка вылупился... Ах ты, матушка, матушка, сударыня ты моя, Пелагея Филиппьевна!.. Какую радость-то тебе бог послал, какую радость-то!.. Теперь, матка, все печали да болести в землю, могут в тело, душа заживо к богу...

Жить тебе, сударыня, да богатеть, добра наживать, а лиха избыывать... Дай тебе царица

небесная жить сто годов, нажить сто коров, меренков стаю, овец полон хлев, свиней подмостье, кошек шесток... Даст бог, большачок-от (Большак – глава семьи, а также глава какой-либо беспоповщинской секты либо толка спасова согласия.) твой, сударыня, опять тягло примет, опять возьмется за сошку, за кривую ножку. Подай вам господи прибыли хлебной в поле ужином, на гумне умолотом, в сусеке спором, в квашне всходом... Из колоска бы тебе, Филиппьевна, осмина, из единого зернышка каравай. И смолкла на минуту дух перевести.

– Садись, Арина Исаишна, гостя будешь, – обычный привет сказала ей Пелагея Филиппьевна.

О том помышляла хозяйка, чтобы как-нибудь поскорей спровадить незваную гостью, но нельзя же было не попросить ее садиться. Так не водится. Опять же и того опасалась Пелагея Филиппьевна, что, не пригласи она присесть первую по всему околотку вестовщицу, так она таких сплетен про нее назвонит, что хуже нельзя и придумать.

– Напрасно, мать моя, беспокоишь себя. Не устала я, сударыня, сидела все, – отвечала тетка Арина и повела приветы свои с причитаньями.

Не надивуется Пелагея Филиппьевна сладким речам первой по деревне зубоскальницы, злой пересмешницы, самой вздорной и задорной бабенки. С той поры как разорились Чубаловы, ни от одной из своих и окольных баб таких насмешек и брани она не слыхивала, таких обид и нападков не испытывала, как от разудалой солдатки Арины Исаишны. А сколько ребятишки терпели от ее ехидства.

Наговорив с три короба добрых пожеланий, тетка Арина ловко повернулась осередь избы и, бойким взглядом окинув Герасима Силыча, спросила его нараспев умильным голосом со слащавой улыбкой:

– А вы меня не признаете, Герасим Силыч? Не узнали меня?

– Не могу признать, – сухо ответил Герасим.

– Как же это так, сударь мой? – молвила тетка Арина, ближе и ближе к нему подступая. – Да вы взгляните-ка в меня хорошенько... Как бы, кажись, меня не узнать, хоть и много с тех пор воды утекло, как вы нашу деревню покинули? Неужто не узнали?

– Нет, – с досады хмуря лоб, отрывисто ответил Герасим. – Не могу вас признать.

– А ведь у вас сызмальства память острая такая была, сударь мой Герасим Силыч, – покачивая головой, укорила его тетка Арина. – Да ведь мы от родителей-то от ваших всего через двор жили... Исаину избу нешто забыли? Я ведь из ихней семьи – Арина. Вместе, бывало, с вами в салазках катались, вместе на качелях качались, вместе по ягоды, по грибы, по орехи хаживали... При вашей бытности и замуж-то я выходила за Миронова сына. Помните чать Мирона-то. Вскрай деревни у всполья изба была с зелеными еще ставнями, расшивка на воротах стояла? (В среднем Поволжье, особенно в тех местах, где занимаются судостроением, часто можно встретить на воротах небольшую оснащенную и раскрашенную расшиву или другое судно. В последнее время стали появляться и модели пароходов.)

– Что-то не помнится, – нехотя ответил Герасим.

– Коротка же у вас стала память! Коротенька!.. – продолжала тетка Арина обиженным голосом. – Ну а сами-то вы, сударь, в каких странах побывали?

– В разных местах, всего не припомнишь.

– Коротенька память, коротенька!.. – продолжала свое неотвязная тетка Арина. – Где же вы в последнее-то время, сударь мой, проживали, чем торговали?

– По разным местам проживал, – сквозь зубы промолвил Герасим и, отворотясь от надоедницы, высунул голову в окошко и стал по сторонам смотреть.

– Видно, где день, где ночь, куда пришел, тотчас и прочь... Дело! – насмешливо молвила Арина Исаишна.

Герасим больше не отвечал. Молчал и Абрам с Пелагеей. Дети, не выдавшие дома такой лакомой еды, какую принес отец, с жадностью пожирали ее глазами, и как ни были голодны, но при чужом человеке не смели до нее дотронуться. Стала было тетка Арина расспрашивать Абрама, где был-побывал его брательник, чем торг ведет, где торгует, но Абрам и сам еще не знал ничего и ничего не мог ей ответить. А уж как хотелось закусочнице хоть что-нибудь разузнать и сейчас же

по деревне разблаговестить. Увидела она, наконец, что, видно, хоть вечер и всю ночь в избе у Абрама сиди, ничего не добьешься, жеманно сузила рот и вполголоса хозяйке промолвила:

– Опростала бы ты мне, Филиппьевна, посудинку-то. Пора уж, матка, домой мне идти. Мужики, поди, на лужайке гуляют, может им что-нибудь и потребуется. Перецеди-ка квасок-от, моя милая, опростай жбан-от... Это я тебе, сударыня, кваску-то от своего усердия, а не то чтобы за деньги...

Да и ягодки-то пересыпала бы, сударыня, найдется, чай, во что пересыпать-то, я возьму; это ведь моя Анютка ради вашего гостя ягодок набрала.

Низко поклонилась и поблагодарила тетку Арину Пелагея. Ягоды высыпала на лавку в стряпном углу, а квас не во что было ей перелить, опричь пустого горшка из-под шей. С злорадством глядела тетка Арина на ее смущенье, и злоба ее разбирала при мысли, что пришел конец убожеству Чубаловых. А когда домой шла, такие мысли в уме раскидывала. "Чем лукавый не шутит? Заживет теперь Палашка – рвана рубашка, что твоя барыня. Шутка сказать, три воза товаров, да воза-то все грузные, один опростали, и то чуть не все сени коробами завалили... А деньжищ-то что, чать, у него лоботряса!..

Видимо-невидимо, казна бессчетная. А он, побродяга, и говорить-то со мной не хотел... Слова от проклятика не добила. «Забыл да не помню» – только и речей от него. Может, по ночам на большой дороге да в лесу торговал, мерил не аршином, а топором да кистенем... Где пятнадцать-то годов, в самом деле, шатался, по каким местам, по каким городам? Еще угодишь, может быть, к дяде в каменный дом... (В острог. Дядя – палач.) Не увернешься, разбойник, не увернешься, душегубец... А Палашка-то, Палашка-то, поди-ка, как нос-от вверх задерет...

Фу ты, ну ты, вот расфуфырится-то!.. Ведьма ты этакая, эфиопка треклятая! Первым же бы сладким куском тебе подавиться, свету бы божьего тебе не взвидеть, ни дна бы тебе, ни покрышки, ни дыху (Дыхание.), ни передышки!.. Приступу к ней не будет, поклонов ото всех потребует... Только уж ты на меня, сударыня, не надейся, моих поклонов вовеки тебе не видать, во всю твою жизнь не дожждаться. И не жди их, анафемская душа твоя! И не жди, поганая!.."

И уж чего-то, чего не наплела тетка Арина про Чубаловых, придя на лужайку, где пьянствовал на даровщину сосновский мир-народ.

Только что вышла тетка Арина, Абрам положил перед братом на стол сколько-то медных денег и молвил ему:

– Сдача.

– Что же ты, братан, не послушал меня? Сказано было тебе, на все покупай. Зачем же ты этак?.. – попрекнул брата Герасим.

– Брать-то больше нечего, – ответил Абрам. – Что видишь, только-то и было у Арины в закусоной.

– Так пряников бы побольше купил, – молвил Герасим.

– Зачем, родимый? – вступилась Пелагея. – И того с них станет, ведь они у нас к этому не привычны. И то должны за счастье почесть.

– Так возьми же ты эти деньги к себе, невестушка, да утре похлопочи, чтобы ребятишкам было молоко, – молвил Герасим, подвигая к Пелагее кучку медных.

– Моёко, моёко! – закартавил и радостно запрыгал веселенький Саввушка. Глазенки у него так и разгорелись, все детишки развеселились, улыбнулся даже угрюмый Максимушка.

– Право, напрасно, родной, – легонько отодвигая от себя деньги, говорила Пелагея. – Они ведь у нас непривычны.

– Так пусть привыкают, – перебил Герасим. – Как же это можно малым детям без молока?.. Особенно этой крошке, – прибавил, указывая на зыбку. – Нет, невестушка, возьми, не обижай меня. Да не упрямясь же. Эх, какая непослушная! Взяла деньги Пелагея, медленно отошла к бабьему куту и, выдвинув из-под лавки укладку (Укладка, иначе коробья, – маленький сундучок.), положи-

ла туда деньги. На глазах опять слезы у ней показались, а Абрам стоял перед братом, ровно не в себе – вымолвить слова не может.

– Садитесь, родные, закусим покамест, – весело сказал Герасим. – А ты, невестушка, хозяйничай. Иванушка, Гаврилушка, тащите переметку (Переметка, или переметная скамья, – скамейка, приставляемая к столу во время обеда или ужина.), голубчики, ставьте к столу ее. Вот так. Ну, теперь богу молитесь. И все положили по семи поклонов перед иконами.

– Усаживайтесь, детушки, усаживайтесь. Вот так. Ну, теперь потчуй нас, хозяйюшка, да и сама кушай.

Пелагея накрошила коренной с маленьким душком рыбы и хлеба в щанную (Щанная чашка – из которой щи хлебают.) чашку, зеленого луку туда нарезала, квасу налила. Хоть рыба была голая соль, а квас такой, что, хлебни, так глаза в лоб уйдут, но тюря (Хлебная или сухарная окрошка на квасу.) голодной семье показалась до того вкусно, что чашка за чашкой быстро опрастывались. Ели так, что только за ушами трещало.

– А вам бы, ребята, не больно на тюрю-то наваливаться; питье одолеет. Бог пошлет, получите вам будет еда, – сказал Герасим. – Хозяйюшка, давай-ка сюда яйца...

После яиц и пирога с молитвой поели, большие пивца испили, малых дядя ягодами оделил.

Встали из-за стола, богу помолились, и Абрам, громко зарывав, младшему брату в ноги поклонился.

– На доброте на твоей поклоняюсь тебе, братец родной, – через силу он выговаривал. – Поклон тебе до земли, как богу, царю али родителю!.. За то тебе земной поклон, что не погнушался ты моим убожеством, не обошел пустого моего домишка, накормил, напоил и потешил моих детушек.

И Пелагея со слезами в ноги повалилась деверю. Ребятишки, глядя на отца с матерью, подумали, что всем так следует дядю благодарить, тоже в ноги упали перед ним.

– Полноте, полноте, – говорил смущенный Герасим, подымая с полу невестку и брата. – Как вам не стыдно? Перестаньте ж господра ради!.. Нешто разобидеть меня хотите?.. И вы, мелюзга, туда же... Идите ко мне, божьи птенчики, идите к дяде, ангельски душеньки... Держите крепче подолы, гостинцами вас оделю.

И стал в подолы детских рубашонок класть пряники, орехи, подсолнухи. Дети ног под собой не слышали.

– Федосьюшке ни орехов, ни подсолнухов не дам, – шутливо молвил Герасим. – Не заслужила еще такой милости, зубов не вырастила, а вот на-ка тебе жемочков, невестушка, сделай ей сопочку, пушай и она дядиных гостинцев отведаст. Сама-то что не берешь? Кушай, голубка, полакомись.

Пелагея только кланялась, речей больше не стало у ней.

– Рыбку-то я тебе, родной, к ужину схороню, – сказала она потом, ставя тюрю в стряпный поставец.

– Не прймай лишней заботы, – молвил Герасим.

– Родной ты мой, нет ведь у меня ничем-ничегохонько... Это я было тебе поужинать.

– Сказано, не хлопочи. Обожди маленько; скоро мой Ермолаич приедет из города.

Замолчала Пелагея, не понимая, про какого Ермолаича говорит доверь. Дети с гостинцами в подолах вперегонышки побежали на улицу, хвалиться перед деревенскими ребятишками орехами да пряниками. Герасим, оставшись с глазу на глаз с братом и невесткой, стал расспрашивать, отчего они дошли до такой бедности. Вот что узнал он.

Скоро после Герасимова ухода старшего женатого брата в солдаты забрали. По ревизским сказкам и по волостным спискам семейство Силы Чубалова значилось в четверниках: отец из годов еще не вышел, а было у него два взрослых сына да третий подросток, шестнадцати лет. Когда сказан был набор и с семьи чубаловской рекрут потребовался, отцом-матерью решено было – и сам Абрам, тогда еще холостой, охотно на то соглашался – идти ему в солдаты за женатого брата, но во время приема нашли у него какой-то недостаток.

Надо было женатому идти в службу. Сдали его, и году не прошло с той поры, как новобранцев в полки угнали, пали вести в Сосновку, что помер рядовой Иван Чубалов в какой-то больнице.

Двоих ребятишек, что остались после него, одного за другим снесли на погост, а невестка-солдатка в свекровом доме жить не пожелала, ушла куда-то далеко, и про нее не стало ни слуху ни духу... Тут оженили Абрама. Женился он на круглой сироте, а брал он ее из-за Волги, из казенной деревеньки, что стоит в «Чищи» (Узкая безлесная полоса вдоль левого берега Волги.), неподалеку от лесов керженских и чернораменных.

Одна-одинешенька Пелагея Филиппьевна осталась после родителей. Только что восемь годов ей свершилось, как оба они в коротком времени померли: отец, в весеннюю распутицу переезжая Волгу, в полынье утонул, а мать после того недель через восемь померла в одночасье... Оставалось восьмилетней Палаше после родителя-тысячника завидное для крестьянского быта имение: большой новый дом, и в нем полная чаша; кроме того, товару целковых тысячи на полторы, тысяча без малого в долгах, да тысячи две в наличности. Отец-от «теплым товаром» промышлял, при заведении работников держал, а сам по базарам да у Макарья сапогами да валенками торговал. И по закону и по заведенному обычаю мир-народ должен был принять сироту на свое попечение и приставить к наследству надежного опекуна. В той волости исстари велся обычай опекунов к сиротам назначать из посторонних, потому что сродники чересчур уж смело правят именем малолетних, свои, дескать, люди, после сочтемся. Но тут подвернулся двоюродный дядя сиротки, что жил у ее отца в работниках; он укланял и упоил мир, чтобы ему сдали опеку: я-де все дела покойника знаю и товар сбуду и долги соберу, все облажу как следует.

Сделавшись опекуном, взял он племянницу к себе в дом, а ее дом и что было в доме продал, товар тоже распродал и долги собрал, всего целковых тысяч шесть было им выручено. Торговать опекун на эти деньги стал и всем говорил, что желает умножить имение сродницы до ее совершенных годов.

А торговал он так, что когда Палаша заневестилась, оставалось у нее именья: голик рощи да кусок земли, гребень да веник, да три алтына денег. Однако, опричь опекуна, про то никто не знал, все считали сиротку богатой невестой. Стали к ней свах засылать, но опекун их от дома отваживал. Тут судьба свела Палашу с Абрамом...

Честью опекун не выдал ее; они сыграли свадьбу уходом. Стала молодая требовать родительского именья, а опекун будто не его дело... Жалобу принесла – пошли суд да дело. Много раз сходил мир по этому делу, сначала решили учесть опекуна, а сиротское имение отдать наследнице сполна, но каждый раз сходка кончалась тем, что ответчика опивали. Тяжба шире да дальше, дело дошло до окружного, до палаты, но как у опекуна ничего не оказалось, то праведные решили: на нет и суда нет. Не досталось Пелагее Филиппьевне ни гроша, да и дядя остался без барыша – что у него было, все по воде сплыло. Суды да палаты недешево стоят, – семья опекуна пошла по миру, а сам по кабакам.

Скоро после женитьбы Абрама помер Сила Петрович, а следом за ним отнесли на погост и Федосью Мироновну. Остался Абрам в доме полным хозяином. Сначала все у него шло, как было отцом заведено, и года полтора жил он в полном достатке, а потом и пошел по бедам ходить. Скотина зачумела и вся до последнего бычка повалилась, потом были сряду два хлебных недорода, потом лихие люди клеть подломали и все добро повытаскали, потом овин сгорел, потом Абрам больше года без вины в остроге по ошибке, а скорей по злому произволу прокурора, высидел. Врозь разлезлось и совсем хизнуло хозяйство, самый справный по деревне дом упал, а у Пелагеи Филиппьевны что ни год, то ребенок. Скоро до того дошел Абрам, что и пахать перестал. Сдав землю миру, на одной канатной пряже остался.

А прядильный промысел не спор, за ним двумя руками десять ртов не накормишь. И стала чубаловская семья с корочки на корочку перебиваться, с крохи на кроху перекалачиваться.

Выслушав про беды и несчастья брата, Герасим долго молчал, сидя неподвижно на лавке. То представлялась ему горько плачущая, обиженная, кругом до ниточки обобранная сиротка, что вступила к свекру в дом тысячницей, а на поверку вышла бесприданницей; то виделся ему убитый напастями брат... Вот он из сил выбивается, стараясь удержать в заведенном порядке родительское домоводство, но беды за бедами на него падают, и он в изнеможенье от непосильной борьбы опускается все ниже и ниже. Вот он в арестантском халате на тюремных нарах, с болью в сердце, с отчаянием в душе, а рядом с ним буйный разгул товарищей по заключенью, дикий хохот, громкие

песни, бесстыдная похвальба преступностью, ругательства, драки...

А в деревне у Пелагеи Филиппьевны недостатки, бедность, нищета и – голодные дети. Так одно за другим представлялось Герасиму, и недавний странник, с гордостью про себя говоривший «града настоящего не имею, но грядущего взыскую», вполне почувствовал себя семьянином, сознавая, что он с братом одно, одного отца и матери рожденья, и что должно им «друг друга тяготы носить». Тут же положил он крепкий завет в обновленном своем сердце: жить с братом и с его семьей за единого, что есть – вместе, чего нет – пополам. Но ни брату, ни невестке пока того не поведал. «Не хвальна, – думал он, – похвала до дела».

Высоко еще солнышко в небе стояло, когда с грузным возом воротился Семен Ермолаич. Одно за другим вместе с Абрамом в избу вносил он... Пелагея Филиппьевна только руками всплескивала. Вносили и раскладывали по лавкам и одежду, и обувь, и посуду, и припасы: мешки с мукой, крупой, солодом, пшеном, картофелем, свеклой, морковью, мясо, соленую рыбу, капусту, квасу бочонок, молока три кунгана, яиц два лукошка. Опрichь того, привез Семен Ермолаич на уху свежей рыбы и даже самовар с полным чайным прибором. Глазам не верили Абрам с Пелагеей, а дети так и прыгали от радости.

– Разводи огонь, невестушка, вари ушицу к ужину, давненько не едал я рыбы из родной Оки, – говорил Герасим. – Да обнови самовар-от свой, сахарцу накопи, чайку завари да попотчуй нас.

В сумерки старые бабы, девки, молодки, малы ребята, все, oprichь мужиков да парней, что попойку вели на лужайке, густой толпой собрались у колодца. Прибежали даже туда из трех околных деревень, что стоят с Сосновкой с поля на поле. И никто не мог вдоволь надивиться на чудеса небывалые. В убогой избе Абрамовой не лучина дымит, а свечи горят, и промеж тех свечей самовар на столе ровно жар горит, и вокруг стола большие сидят и малые, из хороших одинаких у всех чашек чай распивают с мягким папушником.

А в печке на шестке на железном тагане новая медная кастрюля стоит. «Уху, видно, хлебать собираются, – толкуют меж собой бабы на улице. Пелагея-то на стряпном поставце рыбу чистила, да все-то стерлядей... Вот те и Палашка – рвана рубашка!»

После ужина пошел Герасим в заднюю избу, там постель ему невестка постлала. Заперся он изнутри, зажег перед иконой свечу и стал на молитву. Молился недолго. Но чудное дело: бывало, ночи напролет на молитве он стаивал, до одуренья земных поклонов сот по двенадцати отвешивал, все, бывало, двадцать кафизм псалтыря зараз прочитывал, железные вериги, ради умерщвления плоти, одно время носил, не едал по неделям; но никогда еще молитва так благотворно на его душу не действовала, как теперь после свиданья с братом и голодной семьей его.

Такую отраду, такое высокое духовное наслаждение почувствовал он, каких до тех пор и представить себе не мог... То была действенная сила любви, матери всякого добра и блага. Еще впервые осияла она зачерствелое сердце отреченника от мира, осияла сердце, полное гордыней ума, нетерпимое ко всему живому, человеческому. «Бог есть любви», – благоговейно и много раз повторял в ту ночь Герасим Силыч.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Герасим в скором времени поставил брата на ноги. Избу поновил, два новых венца под нее подвел, проконопатил, покрыл новым тесом, переложил печи, ухитил двор, холостые строения кои исправил, кои заново поставил, словом – все в такой привел вид, что чистый, просторный чубаловский дом опять стал лучшим по деревне и по всей околности. Абрам принял родительское тягло, но тех полос, что удобрены были бычками покойника Силы Чубалова, мир возратить не пожелал, а отрезал воротившемуся в общину тяглецу самые худые полосы из запольных, куда спокон веку ни одной телеги навоза не вывозили. Сколько ни жалобился на то Абрам, мужики и

слушать его не хотели. «Что мир порядил, то бог рассудил», – говорили они, а между собой толковали: «Теперь у Чубаловых мошна-то туга, смогут и голый песок доброй пашней сделать, потому и поступиться им допрежними их полосами миру будет за великую обиду...»

Чубаловы поспорили, поспорили, да так и бросили дело... Как с миром сладишь?.. Хоть мир и первый на свете разбойник, а суда на него не сыщешь... Двух работников нанял Герасим Чубалов, много скотины завел и, по родительскому примеру, опять стал бычков скупать. Пошло дело на лад по-прежнему. Себе Герасим поставил на усаде не келью, а большую пятистенную избу и поселился в ней с Семеном Ермолаичем да с Иванушкой. Думали – женится, однако не пожелал Герасим женой да детьми себе руки вязать.

Иванушку взял в дети, обучил его грамоте, стал и к старым книгам его приохочивать. Хотелось Герасиму, чтоб из племянника вышел толковый, знающий старинщик, и был бы он ему в торговле за правую руку. Мальчик был острый, умен, речист, память на редкость. Сытен хлеба стали ему книги; еще семнадцать лет не минуло Иванушке, а он уж был таким сильным начетчиком, что, ежели кто не гораздо боек в писании – лучше с ним и не связывайся, в пух и прах такого загоняет малец.

Герасим, только что устроил дом, тотчас и принялся за свою торговлю. Не одни книги теперь у него были, много стало икон, крестов, лестовок, кацей и других старинных вещей. Попадутся под руку и гражданской печати подержанные книги, он и их покупал, попадутся старинные жемчужные кики и кокошники, серебряная посуда, старое оружие, седла, древняя конская сбруя, все покупал, и все у него в свое время сходило с рук. Разъезжая по ярмаркам и для поисков за старинкой, он всегда брал с собой Иванушку, чтобы смолоду он на людей насмотрелся, вызнал их свычаи и обычаи и копил бы разум.

Дома сидеть – ничего не высидишь, а чужбина всему научит. Не нарадовался Герасим на братанича (Братанич, братыч – племянник, сын старшего брата; сестренич, сестрич – племянник по сестре.), любил его пуще, чем отец с матерью; не мог налюбоваться на своего выучка (Выучек – кончивший учение ученик относительно своего учителя.).

Сколько денег привез с собою Герасим, доподлинно никто того не знал. Не было у него об этом речей ни с братом, ни с невесткой, а когда вырос Иванушка, и тому ни слова не молвил. При возврате Герасима на родину у всех было на виду, что три полных воза с товарами было при нем. Уложены были те товары точно в такие коробья, в каких офени развозят красный товар. Думали, что тут ситцы, холстинки, платки, сарпинки, иголки, булавки, гребни, наперстки, ножницы, тесемки и всякий другой красносельский и сидоровский товары (Медные, бронзовые и оловянные безделушки с самоцветными камнями, то есть с цветными стеклышками, – серьги, перстни, кольца, цепочки, брошки, булавки и т. п. Их делают в селах Сидоровском и Красном, Костромской губернии. Чрезвычайно дешевы (брошка 7 коп., булавка с камнем-самоцветом 3 кол.). Расходится этот товар во множестве по деревням, идет даже за границу (в Галицию).).

Бабы тотчас стали смекать, сколько тут какого товару должно быть положено и чего он стоит – считали, считали, счет потеряли, так и бросили. Но все в один голос решили, что Герасим Чубалов темный богач, и стали судить и рядить, гадать и догадываться, где б это он был-побывал, в каких сторонах, в каких городах и каким способом столь много добра накопил. Вдруг откуда ни возьмись в бабьем кругу тетка Арина и понесла околесную.

Уши развесив, бабы ее слушают, набираются от закусочницы сказов и пересудов, и пошла про Герасима худая молва, да не одна: и в разбои-то он хаживал, и фальшивые-то деньги работал, и, живучи у купца в приказчиках, обокрал его, и, будучи у купчихи в любовниках, все добро у нее забрал...

Столько было болтовни, столько было про Герасима сплетен, смутков (Смуток – наговор, навет.) и клеветы, что послушать только, так уши завянут. Когда же узнали, что он привез не холстинки, не сарпинки, а одни только старые книги, тогда вера в несметность его богатства разом исчезла, и с тем вместе и молва про его похождения замолкла.

По времени приходили к Герасиму старики изо всей околности, из ближних и дальних селений. Кланялись ему, величали, звали на праздное после смерти Нефедыча место наставника. «Ты у нас книжный, ты у нас поученый, в писании силу разумеешь, жизни степенной – ступай за

попа». Но, как ни улещали старики Герасима, как слезно они его ни упрашивали, он наотрез отказался. Горьким для души, тяжелым для совести опытом дошел он до убеждения, что право веры не осталось на земле, что во всех толках, и в поповщине, и в беспоповщине, и в спасовщине, вера столько же пестра, как и Никонова. "Нет больше на земле освящения, нет больше и спасения, – думал он, – в нынешние последние времена одно осталось ради спасения души от вечной гибели – стань с умилением перед спасовым образом да молись ему со слезами: «Несть правых путей на земле – сам ты, Спасе, спаси мя, ими же веши путями». Укрепясь в таких мыслях, Герасим стал крайним «нетовцем» («Нетовщина» отвергает и таинство, и освящение, и общую молитву... По ее убеждениям теперь нет ничего. Оттого и получила еще в прошлом столетии название нетовщины.) и считал делом постыдным, противным и богу и совести делаться слепым пастырем стада слепых.

Годы шли один за другим, Иванушке двадцать минуло. В семье семеро ревизских душ – рекрут скоро потребуется, а по времени еще не один, первая ставка Иванушке. Задолго еще до срока Герасим положил не довести своего любимца до солдатской лямки, выправить за него рекрутскую квитанцию, либо охотника приискать, чтоб шел за него на службу.

Сказал о том брату с невесткой, те не знают, как и благодарить Герасима за новую милость... А потом, мало погодя, задрожал подбородок у Пелагеи Филиппьевны, затряслись у ней губы и градом полились слезы из глаз, вскочив с места, она хотела поспешно уйти из избы, но деверь остановил ее на пороге.

– О чем припечалилась, невестушка? – спросил он у нее.

Долго не хотела сказать про свое горе Пелагея, наконец после долгих, неотступных уговоров деверя робко и тихо промолвила:

– Стало, Гаврилушке надо будет в солдаты идти, голубчику моему ненаглядному, пареньку моему несчастному, бесталанному?

Задумался Герасим. Материно горе, слезы ее и рыдания нашли отклик в любящем сердце. Бодро поднял он склонившуюся голову и с веселой улыбкой сказал Пелагее:

– Не рони напрасно слез, Филиппьевна, придет пора да пособит господь, и Гаврилушку выслободим. Не плачь, родная, не надрывай себя попусту.

Тут Абрам повесил голову и руки опустил. Третий сын Харламушка был любимцем его. Парень вырос толковый, смысленый, смиренный, как красная девушка, а на работу огонь. И по крестьянскому и по прядильному промыслу такой вышел из него работник, что не скоро другого такого найдешь. Голландскую ли бечеву, отбойную ли нитку (Голландская бечева, в толщину вязальной иглы, идет на сшивку парусов; отбойная нитка употребляется плотниками и столярами для отбоя прямой черты мелом.) так чисто выпрядывал он, что на обширной прядильне Марка Данилыча не выискивалось ни одного работника, чтобы потягаться с Харламушкой. Оттого больше и любил его отец, больше всех на него надеялся и больше всех боялся за него. Но ни слова не сказал Абрам, виду брату не подал.

– О Харламушке задумался? – улыбаясь, спросил его Герасим.

– Как же мне об нем не задуматься? – грустно ответил Абрам. – Теперь хоть по крестьянству его взять – пахать ли, боронить ли – первый мастак, сеять даже уж выучился. Опять же насчет лошадей... О прядильном деле и поминать нечего, кого хошь спроси, всяк тебе скажет, что супротив Харлама нет другого работника, нет, да никогда и не бывало. У Марка Данилыча вся его нитка на отбор идет, и продает он ее, слышь, дороже против всякой другой.

– До его череды время еще довольно, – молвил Герасим. – Бог даст и для Харламушки что-нибудь придумаем... Смотри ж у меня, братан, головы не вешай, домашних не печаль.

Потом, немного помолчав, сказал Герасим брату и невестке:

– Значит, по времени на царскую службу надо будет идти либо Максиму, либо Саввушке.

– Надо же кому-нибудь, семья большая, – едва слышно промолвил Абрам.

– Который палец ни укуси, все одина боль, – со скорбным вздохом сказала Пелагея.

Ни слова не молвил на то Герасим и молча пошел к себе на усад.

На другой день стал он хлопотать, чтобы все братнино семейство освободить от рекрутства. Для этого стоило им из казенной волости выписаться и выйти в купцы.

Когда еще была в ходу по большим и малым городам третья гильдия, куда, внося небольшой годовой взнос, можно было записываться с сыновьями, внуками, братьями и племянниками и тем избавляться всем до единого от рекрутства, повсеместно, особенно по маленьким городкам, много было купцов, сроду ничем не торговавших. Такие города бывали, что из семисот горожан ста по три купцов бывало, а лавок всего три, четыре. По двадцати да по двадцати пяти человек к одному капиталу, бывало, приписывалось, и никто из них не боялся солдатства. Часто у таких купцов денег сроду и не важивалось, и перед взносом гильдейских пошлин они на гильдию Христа ради собирали. Герасим, хоть для того же, чтоб избавить всю братнину семью от рекрутчины, выходил в купцы, но собирать денег ему не довелось, своих было достаточно. Выход в купечество значительно умалил его капитал и сократил ежели не торговлю, так поиски за стариной, но он не задумался над этим.

Записаться в купцы! Скоро сказать, да не скоро сделать. И времени ушло много на хлопоты, и дело обошлось не дешево. Без малого полгода чуть не каждую неделю, а в иную и по два раза надо было поить мир-народ сначала деревни Сосновки, а потом чуть не целой волости. Пришлось задаривать писаря и волостного голову с заседателями и добросовестными; рассыльных, сторожей и тех нельзя было обойти, чтоб по их милости дела чем-нибудь не испортить. Из волостного правления дело об увольнении Чубаловых из общества государственных крестьян пошло к окружному. Там пришлось мощну еще пошире распустить, а когда поступило дело в палату, так и больно ее растрести.

В большую копейку стали Герасиму хлопоты, но он не тужил, об одном только думал – избавить бы племянников от солдатской лямки, не дать бы им покинуть родительского дома и привычных работ, а после что будет – то бог даст. Ни на минуту не выходила из помышлений Герасима судьба племянников, особливо Иванушки, и беспокойные, начетистые хлопоты его не тяготили. Как-то здоровей он стал, и духом бодрей, весел был всегда и доволен всем. Перемежатся, бывало, хлопоты на неделю либо на две, ему уж и скучно, и дома ему не сидится, тотчас сбегается и поедет кого надо поторапливать. Зато, когда все заботы и суеты кончились и Герасим воротился в отчий дом с купеческим свидетельством по третьей гильдии и родная семья встретила его как избавителя, такую он отраду почувствовал, такое душевное наслаждение, каких во всю жизнь еще не чувствовал.

Сели обедать: купец, купецкий брат, купецкие племянники. После обеда молвил брату Герасим:

– А ведь давеча как я посчитал, во что обошлось все дело, выходит мы ровнехонько на тысячу целковых в барышах остались.

– Как это в барышах? – изумился Абрам.

– А как же? Считай, – сказал Герасим. – Иванушка, подай счета, голубчик, вон они на полочке. Гляди, братан, – снова обратился к Абраму и стал на счетах выкладывать.

– Вина миру пропоено на двести на десять целковых... Здешнему старосте две синеньких – десять рублей... писарю сотня... голове пятьдесят... в правлении тридцать... окружному пятьсот... помощнику окружного да приказным пятьдесят... управляющему тысяча... палатским приказным триста... да по мелочам, на угощенья да на извозчиков приказным, секретаря в баню возил, соборному попу на ряску купил – отец секретарю-то, – секретарше шаль, всего двести пятьдесят; итого, значит, две с половиной тысячи. В думе за приписку да по рукам двести рублей разошлось, да на пошлыны, да на гербову бумагу, как раз три тысячи. А квитанцию ли купить, охотника ли нанять, дешевле восьмисот целковых и думать нечего. Значит, за пятерых-то надо бы было четыре тысячи заплатить. Как же тут не барыш в тысячу целковых? Сам считай. И засмеялся добрым смехом новый купец.

Только что избыл Герасим одни хлопоты, другие подоспели. И сам он и братняя семья сосновским мужикам стали отрезанным ломтем. Раз они уж воспользовались на диво удобренной отцом Чубаловым землею, теперь разгорелись у них зубы и на запольные полосы, что отрезаны были

Абраму по возвращенье Герасима и в десять лет из худородных стали самыми лучшими из всей сосновской окружной межи. Чужим здоровьем болея, мир-народ говорил: "Они-ста теперь стали купцы, для чего же на нашей на мирской земле сидят и тем крестьянскому обществу чинят поруху?"

Коли ты купец, живи в городе. Не след твоей чести середь серых мужиков болтаться! У нас в деревне общество, значит, здесь тебе нечего делать – в город ступай, там себе хоромы ставь, а твой дом на нашей мирской земле ставлен, значит, его следует в общество отдать". После столь мудрых и справедливых рассуждений пришел от лица мир-народа к Чубаловым староста и объявил мирское решение: перебирались бы они все на житье в город, а дом и наделные полосы отдали бы в мир. Сколько ни спорили Чубаловы, мир-народ на своем стоял: «Ступай вон из деревни», да и только.

Посулили Чубаловы мужикам вина и всякого другого угощения за приговор, чтобы за ними оставалось все по-прежнему. Вино мир-народ выпил, угощение съел, а от своего не отстал. Опять староста во двор, опять усадьбу и землю требует именем мира. За старостой стой весь мир-народ к чубаловскому двору привалил. Пытался было Герасим с Абрамом убедить мужиков, что не дело они требуют, не по правде поступают – толку не вышло. Говорили Чубаловы с тем, с другим мужиком порознь, говорили и с двумя, с тремя зараз, и все соглашались, что хотят из деревни их согнать не по-божески, что это будет и перед богом грех и перед добрыми людьми зазорно, но только что мир-народ в кучу сберется, иные речи от тех же самых мужиков зачнутся: «Вон из деревни! и дело с концом...»

Такова правда в пресловутой русской общине, такова справедливость у этого мир-народа, что истари крепкими стопами на ведерках водки стоит... Сам народ говорит: «Мужик умен, да мир дурак». Никто так не тяготится общинным владением земли и судом мир-народа, как сам же народ.

Сколько ни убеждали Чубаловы, мир-народ их слушать не хотел. Мужичий мир, что твоя рогатина: как упрется, так и стоит – не возьмет его ни отвар, ни присыпка. Суд да дело пошли, опять хлопоты в немалую копейку стали Герасиму. Усадьбу отхлопотали, палата без году на сто лет укрепила ее за Чубаловыми за сходную плату, но земельного надела, как ни старались отхлопотать, не смогли. Второй раз сильно удобренные трудом и коштом Чубаловых полосы мир-народу достались. А покинуть соху с бороной Чубаловым неохота была: дело привычное, к тому ж хлеб всему голова, а пахота всякому промыслу царь. На их счастье о ту пору один молодой барин по соседству наследство после отца получил и вздумал доставшимся именем разом распорядиться по-своему. Попросту сказать, спустить с рук имя, чтобы поменьше было хлопот. Пустошь у него была десятин в пятьдесят возле Сосновки, межа к самым овинам подошла; барин и вздумал сбыть ее. Герасиму же было то на руку, купил он пустошь, к немалой досаде завидующего мир-народа.

– Земелька-то нам за полцены досталась, – сказал брату Герасим, воротясь из города с купчей крепостью.

– Как за полцены?

– Да как же? Ведь по сороку рублей десятина-то пошла, – сказал Герасим, – выходит, всего две тысячи. Одну тысячу из залежных барину-то я выдал, а другу из барышей.

– Из каких барышей? – спросил Абрам.

– Забыл уж! – засмеялся Герасим. – Эка память-то у тебя коротка стала, братан! Летось, как о купчестве-то хлопотали, ведь тысяча в барышах-то осталась, ну вот она теперь и пригодилась. Оно правда – купчая наша, ну и расходы тоже были, без того уж нельзя...

Да что об этом толковать – теперь у нас своя земелька, миру кланяться не пошто, горлодеров да коштанов (Коштан – мироед, живущий на мирской счет, ходок, ходатай по мирским делам, горлан и коновод на мирских сходках, плут, обманщик, пролаз, тяжебник.) ни вином, ни чем иным уважать не станем, круговая порука до нас не касается, и во всем нашем добре мы сами себе хозяева; никакое мирское начальство с нас теперь шиша не возьмет. И землицы, слава богу, досталось достаточно, по семи десятин на душу выходит. Где, в каком селе, в какой деревне такой надел найдешь?..

– Ох! Денег-то у тебя что на нас изошло! – с глубоким вздохом молвила Пелагея, глядя уми-

ленным взором на деверя.

– Не деньги нас наживали, а мы их нажили, – добродушно улыбаясь, молвил Герасим. – Чего их жалеть, коль на пользу пошли...

Глядя на расходы Герасима, все, даже его семейные, думали, что у него деньгам ни счета, ни края нет, и никогда не будет им заговенья. На деле, однако, выходило не так. Возвращаясь на родину, правда, он привез очень большие для крестьянского обихода деньги, но после устройства дома, приписки в купцы и покупки земли залежных у него осталось всего только две тысячи. Торговлей добывал он достаточно, но по роду ее необходимо было ему всегда иметь при себе немалые деньги. Вдруг падет слух, что в таком-то месте, у такого-то человека можно купить такие-то старинные вещи, надо тотчас же ехать, чтоб другой старинщик не перебил, а иной раз ехать надо очень и очень далеко. На всё расходы, а редкостные вещи всегда покупаются на наличные. Тут ни сроков нет, ни векселей, ни переводов, ни рассрочек: деньги в руки – и дело с концом.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Вскоре после покупки земли, когда мошна у Герасима Силыча поистошилась, узнал он, что где-то на Низу можно хорошие книги за сходную цену купить. Сказывали, что книги те были когда-то в одном из старообрядских монастырей, собираемы были там долгое время, причем денег не жалели, лишь бы только купить. Временем не медля, делом не волоча, Герасим тотчас же сплыл на Низ, недели две проискал, где находятся те книги, и нашел их, наконец, где-то неподалеку от Саратова. Книг было до трехсот, и все редкие, замечательные. Тут были все почти издания первых пяти патриархов, было немало переводных («Переводными книгами» старообрядцы зовут напечатанные преимущественно в прошлом столетии книги с книг Иосифа-патриарха буква в букву, титло в титло, строка в строку, перенос в перенос.), были даже такие редкости, как «Библия» Скорины, веницейские издания Божидаровича, виленские Мамоничей и острожские" («Библия Русска выложена доктором Франциском Скориною из славного града Полоцька. Богу почти и людям посполитым к доброму наученью. Прага Чешска. 1517-1519»). Издание чрезвычайно редкое. Венецианские издания типографии Божидача Вуковича, а после него сына его Викентия Божидаровича печатались с тридцатых по семидесятые годы XVI столетия. В типографии, бывшей в Остроге, книги печатались в семидесятых годах XVI столетия; последняя известная нам книга этой типографии («Часослов») относится к 1612 году. Типография Мамоничей была в Вильне и печатала книги с семидесятых годов XVI столетия до начала XVII.). Кроме старопечатных книг, в отысканном Чубаловым собрание было больше двух десятков древних рукописей, в том числе шесть харатейных, очень редких, хотя и неполных. Продавец дорожил книгами, но, не зная ни толку в них, ни цены, не очень дорожился, все уступал за три тысячи целковых, но с обычным, конечно, условием: деньги на стол.

Внимательно рассмотрел Герасим книги, увидел, что уступают их за бесценок, и ухватился за выгодную покупку. Но вот беда, денег при нем всего только две тысячи, дома ни копейки, а продавец и не спускает цены и в розницу не продает. Чубалов туда-сюда за деньгами, ничего не может поделать. А упустить такого редкого случая неохота: знает Герасим, что такие собрания и такая сходная покупка, может быть, в двадцать, в тридцать лет один раз выпадут на долю счастливому старинщику и что, ежели эти книги продать любителям старины да в казенные библиотеки – второе, вчетверо выручишь. а пожалуй, и больше того... Но тысячи целковых нет как нет.

В тоскливом раздумье, в безнадежном унынье, ничего не видя, ничего круг себя не слыша, проходил Герасим Силыч по шумной саратовской пристани и в первый раз возроптал на себя, зачем он почти весь свой капитал потратил. Но, взглянув на шедшего рядышком Иванушку и вспомнив скорбный взгляд Абрама, каким встретил он его при возвращенье на родину, вспомнив слезы на глазах невесткиных и голодавших ребятишек, тотчас прогнал от себя возникшую мысль, как нечестивую, как греховную... в самую эту минуту лицом к лицу столкнулся с Марком Данилычем. В то время у Смолокурова баржи сухим судаком да лещом грузились, и он погрузкой распоряжался.

– Ба, земляк! – ласково, даже радостно вскрикнул Марко Данилыч. Здорово, Герасим Силыч.

Как поживаешь? Какими судьбами в Саратов попал?

– Дельцо неподалеку отсело выпало, – отвечал Чубалов. Он тоже обрадовался неожиданной встрече со Смолокуровым.

– Аль на золоту удочку хочешь редкостных вещиц, половить? – спросил Марко Данилыч.

– Есть около того, – молвил Чубалов.

– Клюет? – спросил Смолокуров.

– То-то и есть, что клевать-то клюет, да на удочку нейдет. Ничего, пожалуй, и не выудишь, – усмехаясь, сказал Герасим.

– Как так?

– Удочка-то маловата, Марко Данилыч. Вот что, – молвил Чубалов. А сам думает: «Вот бог-от на мое счастье нанес его. Надобно вокруг его покружить хорошенько... На деньги кремь, а кто знает, может быть и расщедрится».

– Что лову? – с любопытством спросил Марко Данилыч.

Смолокуров тоже любил собирать старину и знал в ней толк, но собирал не много, разве уж очень редкие вещи.

– Книги все, – отвечал Герасим. – Редкостные и довольно их. Такие, я вам скажу, Марко Данилыч, книги, что просто на удивленье. Сколько годов с ними вожусь, а иные сам в первый раз вижу. Вещь дорогая!

На ловца, значит, зверь бежит, – молвил Марко Данилыч. – А какие книги-то... Божественные одни, аль есть и мирские?

– Книги старинные, Марко Данилыч, а в старину, сами вы не хуже меня знаете, мирских книг не печатали, и в заводях их тогда не бывало, – отвечал Чубалов. – «Уложение» царя Алексея Михайловича да «Учение и хитрость ратного строя» («Уложение», Москва, 1649. «Учение и хитрость ратного строя», Москва, 1647; обе в лист.), вот и все мирские-то, ежели не считать учебных азбук, то есть букварей, грамматик да «Лексикона» Памвы Берынды " («Лексикон славянорусский и имен тлъкование». Киев, 1627. Второе издание в Кутеине, 1653. Оба в четвертку. Лексикон Берынды перепечатан Сахаровым во втором томе «Сказаний русского народа»). Памва-то Берында киевской печати в том собрание, что торгую, есть; есть и Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого (Л. Зизания, «Граматика словенска съвершеннаго искусства осми частей слова», Вильно, 1396, в восьмушку... Мелетия Смотрицкого «Граматика словенская», 1619. Второе издание в Москве, 1648, с переменами и дополнениями. Обе в четвертку.).

– Других нет?

– Нет, других нет, – ответил Чубалов.

– купишь – покажи, может что отберу, ежели понравится. Наперед только сказываю: безумной цены не запрашивай. Не дам, – сказал Марко Данилыч.

– Зачем запрашивать безумные цены? – отозвался Чубалов. – Да еще с земляка, с соседа да еще с благодетеля?

– Земляк-от я тебе точно земляк и сосед тоже, – возразил Смолокуров, а какой же я тебе благодетель? Что в твою пользу я сделал?..

– Как знать, что впереди будет? – хитрое словечко закинул Чубалов.

Марко Данилыч догадлив был. Разом смекнул, куда гнет свои речи старинщик. «Ишь как подъезжает, – подумал он, – то удочки ему маловаты, то в благодетели я попал к нему».

– А не будет ли у тебя, Герасим Силыч, «Минеи месячной», Иосифовской? (Миней в церковном круге три: «Минея общая», где, как сказано в первом ее московском издании 1599 года, помещены: «службы общии, певаемы на праздники на господския и на праздники богородичны и коемуждо святому, во вселетное годище». «Минея служебная, или месячная», 12 книг. По предисловию к первому ее московскому изданию 1607 года, «в ней написани неизреченного божия смотрения тайны и похвалы и того пренепорочные матери и божественным бесплотным невестственным силам и всем святым: праотцем и отцем, пророкам и апостолам, святителям и мучеником и пр.», «Минея четьи» (то есть для чтения) жития святых. Иосифовская «Месячная минея» печатана в Москве в 1645-1646 годах.) – спросил он.

– Есть, только неполная, три месяца в недостатке, – отвечал Чубалов.

– Да мне полной-то и не надо, – молвил Марко Данилыч. – У меня тоже без трех месяцев. Не пополнишь ли из своих?

– Отчего ж не пополнить, ежели подойдет месяца, – ответил Чубалов. – У вас какие в недостатке?

– Ну, брат, этого я на память тебе сказать не могу, – молвил Марко Данилыч. – Одно знаю, апреля не хватает.

– Апрель у меня есть, – сказал Чубалов.

– Вот и хорошо, вот и прекрасно, ты мне и пополнишь, – молвил на то Смолокуров. – А то на мои именины на Марка Евангелиста, двадцать пятое число апреля месяца, ежели когда у меня на дому служба справляется, правят ее по «Общей минеи» – апостолам службу, а самому-то ангелу моему, Марку Евангелисту служить и не по чем.

– Можно будет подобрать, можно, – сказал Чубалов. – На этот счет будьте благонадежны.

– Ладно. Ежели на этот раз удружишь, так я коли-нибудь пригожусь, молвил Марко Данилыч. Герасим тут же денег у него хотел попросить, но подумал: «Лучше еще маленько позаманить его».

– Есть у меня икона хороша Марка-то Евангелиста, – сказал он. Редкостная. За рублевскую (Инок Андрей Рублев – знаменитый московский иконописец первых годов XV века. Старинные иконы, подходящие к его пошибу (стилю), зовутся рублевскими.) выдавать не стану, а больно хороша. Московских старых писем (Старинные иконы московские разделяются на иконы старых писем, до XVII века, вторых писем, первой половины XVII века, и фряжское – конца XVII века. В иконах старых писем преобладает зеленый цвет, на них тени резкие, свет (поле, фон) всегда красочный, а не золотой.). Годов сот четырех разве что без маленького.

– Ой ли? – с сомнением покачав головой, молвил Марко Данилыч. – Неужто на самом деле столь древняя?

– Толк-от в иконах маленько знаем, – ответил Чубалов. – Приметались тоже к старине-то, понимать можем...

– Да не подстаринная ли (Иконники, а также иные и из старинщиков нередко подделывают под старинные иконы, и эти подделки называются «подстаринными». Чтобы более походило на старину, пишут иконы темными красками, с темными лицами и на темном поле. Особенно занимаются этим в Холуе (Владимирской губернии, Вязниковского уезда). Подделка производится так искусно, что только опытный глаз может ее заметить; подделывают даже трещины, места, отставшие от грунта, скоробленные доски и другие признаки старинной работы.)? – лукаво усмехнувшись и прищулив левый глаз, спросил Смолокуров.

Это взорвало Чубалова. Всегда бывало ему обидно, ежели кто усомнится в знании его насчет древностей, но ежели на подлог намекнут, а он водится-таки у старинщиков, то честный Герасим тотчас, бывало, из себя выйдет. Забыл, что денег хочет просить у Марка Данилыча, и кинул на его грубость резкое слово:

– Мошенник, что ли, я какой? Ты бы еще сказал, что деньги подделываю... Кажись бы, я не заслужил таких попреков. Меня, слава богу, люди знают, и никто ни в каком облыжном деле не примечал... А ты что сказал? А?..

– Ну, уж и заершился, – мягким, заискивающим голосом стал говорить Марко Данилыч. – В шутку слова молвить нельзя – тотчас и закипятится.

Марка-то Евангелиста не хотелось ему упустить. Оттого и стал он теперь подъезжать к Чубалову. Не будь того, иным бы голосом заговорил.

– Какая же тут шутка? Помилуйте, Марко Данилыч. Не шутка это, сударь, а кровная обида. Вот что-с, – маленько помягче промолвил Чубалов.

– А ты, земляк, за шутку не скорби, в обиду не вдавайся, а ежели уж очень оскорбился, так прости Христа ради. Вот тебе как перед богом говорю: слово молвлено за всяко просто, – заговорил Смолокуров, опасавшийся упустить хорошего Марка Евангелиста. – Так больно хороша икона-то? – спросил он заискивающим голосом у Герасима Силыча.

– Икона хорошая, – сухо ответил тот. У меня тоже не из худых ангела моего икона есть. Только много помоложе будет. – Баронских писем (Баронские или «третьи строгановские» иконы

писались в конце XVII столетия и в XVIII. Иконопись в них переходит во фряжское письмо и даже отчасти в живопись; краски светлые, пробелы в ризах и других изображаемых одеяниях золотые.).

– Что ж, и баронское письмо хорошо, к фряжскому (Фряжское письмо, то есть западное, европейское, живописное. Фрягами или фряжинами называли у нас итальянцев. Фряжское письмо, составляющее переход от старинной иконописи к живописи, распространилось в Московском государстве в конце XVII века.) подходит, – промолвил Чубалов.

– Твоя-то много будет постарше. Вот что мне дорого, – сказал Смолокуров. – Ты мне ее покажи. Беспременно выменяю (Никогда не говорится купить икону, крест или другое священное изображение, а выменять. В иных местах набожные люди и о церковных свечах, деревянном масле и т. п. ни за что не скажут: купил, но «выменял».).

– Да моя ста на полтора годов будет постарше, – сквозь зубы промолвил Чубалов.

– С орлом?

– Неужто со львом? (Символическое изображение при Марке – лев, при Иоанне – орел. Но у старообрядцев наоборот, потому что при первых пяти патриархах так изображались евангелисты. Так велось в XVI и в первой половине XVII столетия, но древнейшие изображения таковы же, как и теперь употребляемые церковью. Так, например, в самом древнейшем русском рукописном Евангелии 1056 года, Остромировом, Марк Евангелист изображен со львом. В том же Евангелии на изображении Иоанна Богослова, находящемся в узорчатой кайме, дух святой в виде орла подает ему Евангелие, а над каймой нарисован идущий лев, но без венчика, то есть без очертания сияния вокруг головы (символ святости).)– усмехнулся Чубалов. – Сказывают тебе, что икона старых московских писем. Как же ей со львом-то быть?..

– Ну да, ну, конечно, – спохватился Марко Данилыч. – Так уж ты, пожалуйста, Герасим Силыч, не позабудь. Так скоро восвояси прибудем, ты ко мне ее и тащи. Выменяю непременно. А нет ли у тебя кстати старинненькой иконы преподобной Евдокии?

– Преподобной Евдокии, во иночестве Ефросинии?.. Нет, такой нет у меня, – сказал Чубалов.

– Какая тут Афросинья! Евдокию, говорю, преподобную Евдокию мне надо. Понимаешь!.. Знаешь, великим постом Авдотья-плющиха бывает, Авдотья – подмочи подол. Эту самую.

– Первого марта? – спросил Чубалов.

– Как есть! Верно. Ее самую, – подтвердил Марко Данилыч.

– Так ведь она не преподобная, а преподобно-мученица, – с насмешливой улыбкой заметил Чубалов. – Три Евдокии в году-то бывают: одна преподобная седьмого июля, да две преподобно-мученицы, одна первого марта, а другая четвертого августа.

– Господь с теми. Мне Плющиху давай. Дунюшка у меня на тот день именинница, на первое-то марта, – сказал Смолокуров.

– Найдется, – молвил Чубалов. – Есть у меня преподобно-мученицы Евдокии чудо, а не икона.

– Старая?

– Старенька. Больше двухсот годов. При святейшем патриархе Филарете писана царским жалованным изографом Иосифом (В XVII столетии при Оружейной палате для государевых дел (работ) находились постоянные жалованные и кормовые иконописцы, изографы. Ими управлял оружейничий и дьяк. Жалованные состояли на службе, получали денежное жалованье и кормы и находились при палате постоянно; кормовые работали временно по мере надобности. Жалованные были искуснее кормовых. Изограф Иосиф жил при царе Михаиле Феодоровиче. Жалованные иконописцы раскрашивали также игрушки царевичам и царевнам.). Другой такой, пожалуй, всю Россию обшарь – не сыщешь. Самая редкостная.

– А меры какой? – спросил Марко Данилыч.

– Штилистовая (Штилистовая – шести вершков вышины.) благословенная, ответил ему Чубалов. – Таковую и требуется, – с радостью сказал Марко Данилыч. – Оставь за мной, выменяю. И Марка Евангелиста и Евдокею выменяю. Так и запиши для памяти. Дунюшка у меня теперь в такие года входит, что, пожалуй, по скорости и благословенная икона потребуется. Спасом запаса, богородица есть хорошая, Владимирская – это, знаешь, для благословенья под венец, а ангела-то ее и не хватает. Есть, правда, у меня Евдокея, икона хорошая, да молода – поморского письма, на

заказ писана (Поморского письма иконы приготавливались в поморских беспоповщинских монастырях (Данилове и Лексе Олонецкой губернии). Иконы, что писались в Москве на Преображенском кладбище, похожи на поморские и часто за них были выдаваемы.). Хотя и по древнему преданию писана, однако же, все-таки новость. А ежели твоя, как ты говоришь, царских жалованных мастеров, чего же лучше? Под пару бы моей богородице, та тоже царских изографов дело, на затылке подпись: "Писал жалованный иконописец, Поспеев (Сидор Поспеев, жалованный иконописец, писал иконы для московского большого Успенского собора в 1644 году.).

– Сидор Поспеев? – спросил Чубалов.

– Верно, – подтвердил Смолокуров.

– Хорошая должна быть икона, добрая. Поспеевских не много теперь видится, а все-таки годиков на двадцать она помоложе будет моей Евдокии, заметил Чубалов.

– Разница не велика, – молвил Марко Данилыч.

– Моя Евдокия вельми чудная икона, – немного помолчавши, сказал Чубалов. – Царицы Евдокии Лукьяновны комнатная (То есть из образной царицы.).

– Полно ты! – сильно удивился, а еще больше обрадовался Марко Данилыч.

– Знающие люди доподлинно так заверяют, – спокойно ответил Чубалов. Опять же у нас насчет самых редкостных вещей особые записи ведутся (Такие записи есть, или по крайней мере бывали, у некоторых старинщиков; впрочем, им далеко не всегда можно веру давать.). И та икона с записью. Была она после также комнатной иконой у царевны

Евдокии Алексеевны, царя Алексея Михайловича меньшей дочери, а от нее господам Хитровым досталась, а от них в другие роды пошла, вот теперь и до наших рук dospela.

– В окладах иконы те? – спросил Марко Данилыч.

– Царицына в золотой ризе сканного дела (Сканное дело – скань, сканье (от старинного глагола скать – сучить, свивать, тростить). Скань – волоченное, вытянутое в тонкую проволочку золото или серебро, мелкая проволочная работа, филогран. Сканное дело – одно из красивейших металлических производств, зато и труднейшее. Сканые старинные вещи очень ценны. Из проволоки составляли разные узоры в сетку. Лучшие изделия были греческие или турецкие. В XVII столетии мастера сканного дела, наученные греками, появились и в Москве.) с лазуревыми яхонты; с жемчугами, работа тонкая, думать надо – греческая, а Марк Евангелист в басменном окладе (Басмённое дело от басма – тонкое, легковесное, листовое серебро, на котором тиснили разные узоры (травы). На иконах басмёнными делались только оклады, то есть каймы образа. По легкости и дешевизне басмённое дело было очень распространено. В Москве была особая слобода басмёнщиков – теперь Басманная.).

У Марка Данилыча, еще не видя редких икон, глаза разгорелись.

– За мной оставь, Герасим Силыч, пожалуйста за мной, – стал он просить Чубалова. – А ежели другому уступишь, и знать тебя не хочу, и на глаза тогда мне не кажись... Слышишь?

– Слышу, Марко Данилыч, – сказал Чубалов. – Отчего ж не сделать для вас удовольствия?... На то и выменены, чтоб предоставить их кому надобность случится или кто хорошую цену даст.

– А ведь дорого, поди, возьмешь? Слупишь так, что после дома не скажешься, – с усмешкой молвил ему Смолокуров.

– Дешево взять нельзя, – ответил Герасим. – Сами увидите, каковы иконы. Насчет божьего милосердия сами вы человек не слепой, увидите, чего стоят, а увидите, так меня не обидите.

– Ну ладно, ладно... За деньгами не постою, ежели полюбятся, самодовольно улыбаясь, молвил Марко Данилыч. – Так ты уж кстати и «минею»-то мне подбери.

Как ворочусь домой, в тот же день записочку пришлю тебе, каких месяцев у меня не хватает.

– Насчет других двух месяцев, опричь апреля «минеи», теперь не могу сказать вам доподлинно, – молвил Чубалов. – Достанется ли она мне, не достанется ли, сам еще не знаю. Больно дорого просят за все-то книги, а рознить не хотят. Бери все до последнего листа.

– Ну и бери все до последнего листа, – сказал Смолокуров. – Нешто хламу много?

– Какой хлам! Хламу вовсе нет, книги редкостные и все как на подбор. Клад, одно слово клад, – говорил Чубалов.

– Так что же не покупаешь? – молвил Марко Данилыч. – Бери дочиста; я твой покупатель.

Как до дому доберемся, весь твой запас перегляжу и все, что полюбится, возьму на себя. Нет, Герасим Силыч, не упускай, послушайся меня, бери все сполна.

– Не под силу мне будет, Марко Данилыч, – молвил на то Чубалов. Денег-то велику больно сумму за книги требуют, а об рассрочке и слышать не хотят, сейчас все деньги сполна на стол. Видно, надо будет отказаться от такого сокровища.

– Полно скряжничать-то, – вскрикнул Смолокуров. – Развязывай гамзу-то (Гомон, гамза – бумажник, кошель, вообще хранилище денег. Гамза (но никогда гомон) употребляется и в смысле – деньги, капитал. Говорят также гамзить – копить деньги; гамзила – тот, кто деньги копит.), распоясываясь. Покупай, в накладе не останешься.

– Гамзы-то не хватает, – горько улыбнувшись, ответил Чубалов. – Столько наличных при мне не найдется.

– А много ли не хватает? – сдержанно спросил у него Марко Данилыч.

– Целой тысячи, – молвил Чубалов. – Просил, Христа ради молил, подождал бы до Макарья, вексель давал, поруку представлял, не хотят да и только...

– Утресь зайди ко мне пораньше, – слегка нахмурясь, после недолгого молчания сказал Смолокуров. – Авось обдадим как-нибудь твое дело. И сказал, где сыскать его квартиру.

– Заходи же смотри, – молвил Марко Данилыч на прощанье. – А скоро ли домой?

– Да ежели бы удалось купить, так я бы дня через два отправился. Делать мне больше здесь нечего, – сказал Чубалов.

– И распрекрасное дело, – молвил Марко Данилыч. – И у меня послезавтра кончится погрузка. Вот и поедем вместе на моей барже. И товар-от твой по воде будет везти гораздо способнее. Книги не перетрутся. А мы бы дорогой-то кое-что из них и переглядели. Приходи же завтра непременно этак в ранни обедни. Беспременно зайди... Слышишь?

На другой день Марко Данилыч снабдил Чубалова деньгами и взял с него вексель до востребования, для лучшей верности, как говорил он. Проценты за год вычел наперед.

– Нельзя без того, друг любезный, – он говорил, – дело торговое, опять же мы под богом ходим. Не ровен случай, мало ль что с тобой аль со мной сегодня же может случиться? Сам ты, Герасим Силыч, понимать это должен...

Чубалов не прекословил. Сроду не бирал денег взаймы, сроду никому не выдавал векселей, и потому не очень хотелось ему исполнить требование Марка Данилыча, но выгодная покупка тогда непременно бы ускользнула из рук. Согласился он. Проценты взял Смолокуров за год вперед, – подумал Герасим Силыч, – стало быть, и платеж через год... А я, не дожидаясь срока, нынешним же годом у Макарья разочтусь с ним...

Дня через три отправил он на баржу Марка Данилыча коробка с книгами. Медной полушки никогда не упускал Смолокуров и потому наперед заявил Герасиму Силычу, что при случае вычитет с него какую следует плату за провоз клади и за проезд его самого.

Вместе вверх по Волге выплывали, вместе и воротились восвояси. Дня через три по приезду в Сосновку Герасим Силыч, разобрав купленные книги и сделав им расценку, не дожидаясь записки от Марка Данилыча, поехал к нему с образами Марка Евангелиста и преподобной Евдокии и с несколькими книгами и рукописями, отобранными во время дороги Смолокуровым. Образа очень полюбились Марку Данилычу, рад был радехонек им, но без того не мог обойтись, чтоб не прижать Чубалова, не взять у него всего за бесценок. За две редких иконы, десятка за полтора редких книг и рукописей Чубалов просил цену умеренную – полторы тысячи, но Марко Данилыч только засмеялся на то и вымолвил решительное свое слово, что больше семисот пятидесяти целковых он ему не даст. Чубалов и слышать не хотел о такой цене, но Смолокуров уперся на своем.

– Нет, уж, видно, мы с вами, Марко Данилыч, не сойдемся! – сказал после долгого торгovanja Чубалов.

– Видно, что не сойдемся, Герасим Силыч, – согласился Смолокуров.

– А не сойдемся, так разойдемся, – молвил Герасим и стал укладывать в коробью иконы и книги.

Видно, что надо будет разойтись, – равнодушно проговорил Марко Данилыч и при этом зевнул с потяготой, – со скуки ли, от истомы ли – кто его знает. Пошли тебе господи тороватых да слепых покупателей, чтобы полторы тысячи тебе за все за это дали, а я денег зря кидать не хочу.

– Найдем и зрячих, Марко Данилыч, – усмехнулся Чубалов, завязывая коробью. – Не такие вещи, чтоб залежаться, бог даст у Макарья с руками оторвут... На иконы-то у меня даже и покупатели есть в виду. Я ведь к вашей милости единственно потому только привез, что чувствую и помню одолжение, что тогда сделали вы мне в Саратове. Без вашей помощи тех книг я бы как ушей своих не видел. На другой же день как купил их, двое книжников приезжало – один из Москвы, другой из Ржева... Не случись вас, они как раз бы перебили. Очень благодарен остаюсь вами, Марко Данилыч, никогда не забуду вашего одолженья...

– И за то спасибо, что помнишь, – сухо промолвил Марко Данилыч.

– Как же можно забыть? Помилуйте! Не бесчувственный же я какой, не деревянный. Могу ли забыть, как вы меня выручили? – сказал Чубалов. – По гроб жизни моей не забуду.

– Домой, что ли сряжаешься? – дружелюбно спросил у Чубалова Марко Данилыч, когда тот, уложивши свое добро, взялся за шапку. – Посидел бы у меня маленько, Герасим Силыч, покалякали бы мы с тобой, потрапезовали бы чем бог послал, чайку бы испили.

– Нет уж, Марко Данилыч, увольте. Никак мне нельзя, недосужно. Дела теперь у меня по горло – к Иванову дню надо в Муром на ярмарку поспеть, а я еще и не укладывался, да и к Макарью уж пора помаленьку собираться, – говорил Чубалов...

– Да, не за горами и Макарьевская, – заметил Марко Данилыч. – Время-то, подумаешь, как летит, Герасим Силыч. Давно ли, кажется, Пасха была, давно ли у меня пьяницы работные избы спалили, и вот уже и Макарьевская на дворе. И не видишь, как время идет месяц за месяцем, года за годами, только успевай считать. Не успеешь оглянуться, ан и век прожил. И отчего это, Герасим Силыч, чем дольше человек живет, тем время ему короче кажется? Бывало, маленьким как был, зима-то тянется, тянется, и конца, кажись, ей нет, а теперь, только что выпал снег, оглянуться не успеешь, ан и Рождество, а там и масленица и святая с весной. Чудное, право, дело!

– Такова жизнь человеческая, Марко Данилыч, – Молвил Чубалов. – Так уж господь определил нам. Сказано: «Яко сень преходит живот наш и яко листвие падают дни человеци».

– Это откуда? В псалтыри таких слов, помнится, не положено, – заметил Смолокуров.

– Денисова Андрея Иоанновича, из его надгробного слова над Исакием Лексинским, – молвил Чубалов. – Ученнейший был муж Андрей Иоаннович. Человек твердого духа и дивной памяти, купно с братом своим, Симеоном, риторским красноречием сияли, яко светила, и всех удивляли...

– Знаю я... Как не знать про Денисовых? По всему старообрядству знамениты... – молвил Марко Данилыч.

– Затем счастливо оставаться, – сказал Чубалов, подавая Смолокурову руку.

– Прощай, Герасим Силыч, прощай, дружище. Да что редко жалуешь? Завертывай, побеседовали бы когда, – сказал Марко Данилыч, провожая гостя. Воротишься из Мурома – приезжай непременно. Твоя беседа мне слаще меду... Не забывай меня...

– Постараюсь, Марко Данилыч, – отвечал Чубалов и, взяв коробью, пошел вон из горницы.

Смолокуров проводил его до крыльца, а когда Чубалов, севши в телегу, взял вожжи, подошел к нему и еще раз попрощался. Чубалов хотел было со двора ехать, но Марко Данилыч вдруг спохватился.

– Эка память-то какая у меня стала! – сказал он. – Из ума было вон... Вот что, Герасим Силыч, деньги мне, братец ты мой, необходимо надо послезавтра на Низ посылать, на ловецких ватагах рабочих надобно рассчитать, а в сборе наличных маловато. Такая крайность, что не придумаю, как извернуться. Привези, пожалуйста, завтра должок-от.

– Какой должок? – с удивлением спросил озадаченный неожиданным вопросом Чубалов.

– И у тебя, видно, память-то такая ж короткая стала, что у меня, – усмехнулся Марко Данилыч. – Давеча, как торговались, помнил, а теперь и забыл... Саратовский-от должок! Тысяча-то!..

– Да ведь тому долгу уплата еще в будущем году, – придерживая лошадь, с изумленным ви-

дом молвил Герасим Силыч.

А у него на ту пору и двухсот в наличности не было а в Муром надо ехать, к Макарью сряжаться.

– В векселе сроку, любезный мой, не поставлено, – с улыбкой сказал Смолокуров. – Писано: «До востребования», значит, когда захочу, тогда и потребую деньги.

– Да как же это, Марко Данилыч?.. – жалобно заговорил оторопевший Чубалов. – Ведь вы и проценты за год вперед получили.

– Получил, – ответил Смолокуров. – Точно что получил. Что ж из того?.. Мне твоих денег, любезный друг, не надо, обижать тебя я никогда не обижу. Учет по завтрашний день учиним; сколько доведется с тебя за этот месяц со днями процентов получить, а остальное, что тобой лишнего заплачено, из капитала вычту, тем и делу конец.

– Я так располагал, Марко Данилыч, чтобы у Макарья с вами расплатиться, – молвил Чубалов.

– Не могу, любезный Герасим Силыч... И рад бы душой, да никак не могу, – сказал Смолокуров. – Самому крайность не поверишь какая. Прядильщиков вот надо расчесть, за лес заплатить, с плотниками, что работные избы у меня достраивают, тоже надо расплатиться, а где достать наличных, как тут извернуться, и сам не знаю. Рад бы душой подождать, не то что до Макарья, а хоть и год и дольше того, да самому, братец, хоть в петлю лезть... Нет уж, ты, пожалуйста, Герасим Силыч, должок-от завтра привези мне, на тебя одного только у меня и надежды... Растрясись мошну-то, что ее жалеть-то? Важное дело тебе тысяча рублей!.. И говорить-то тебе об ней много не стоит...

– Ей-богу, не при деньгах я, Марко Данилыч, – дрожащим голосом отвечал Чубалов на речи Смолокурова. – Воля ваша, а завтрашнего числа уплатить не могу.

– Льготных десять дней положу, – молвил Марко Данилыч.

– Не то что через десять, через тридцать не в силах буду расплатиться... – склонив голову, сказал на то Чубалов. – Помилосердуйте, Марко Данилыч, явите божескую милость, потерпите до Макарьевской.

– Не могу, любезный, видит бог, не могу, – отвечал Смолокуров.

– Вся воля ваша, а я не заплачу, – решительным голосом сказал Чубалов и хотел было ехать со двора. Смолокуров остановил его.

– Как же так? – вскрикнул он. – Нешто забыл пословицу: «Умел взять, умей и отдать»?.. Нельзя так, любезнейший!.. Торгуешься – крепись, а как деньги платить, так плати, хоть топись. У нас так водится, почтеннейший, на этом вся торговля стоит... Да полно шуток-то шутить, Герасим Силыч!.. Знаю ведь я, что ты при деньгах, знаю, что завтра привезешь мне должок!.. Приезжай часу в одиннадцатом, разочтемся да после того пообедаем вместе. Севрюжки, братец ты мой, какой мне намерении прислали да балыков – объединье, пальчики оближешь!.. Завтра с ботвиньей похлебаем. Да смотри не запоздай, гляди, чтобы мне не голодать, тебя дожидаясь.

– Марко Данилыч, истинную правду вам докладываю, нет у меня денег, и достать негде, – со слезами даже в голосе заговорил Чубалов. – Будьте милосерды, потерпите маленько... Где ж я к завтраму достану вам?.. Помилуйте!

– Нет уж, ты потрудись, пожалуйста. Ежели в самом деле нет, достань где-нибудь, – решительно сказал Смолокуров. – Не то, сам знаешь: дружба дружбой, дело делом. Сердись на меня, не сердись, а ежели завтра не расплатишься, векселек-от я ко взысканию представлю... В Муром-от тогда, пожалуй, и не угодишь, а ежели после десяти дней не расплатишься, так и к Макарью не попадешь.

– Как же это я в Муром-от не угожу?.. Как же это к Макарью не попаду?.. Эх что сказал!.. – вскрикнул сильно взволнованный Чубалов.

– Так же и не угодишь, – спокойно ответил ему Марко Данилыч. – Не знаешь разве, что городской голова и земский исправник оба мне с руки? И льготного срока не станут ждать – до десяти дён наложут узду... Да. Именье под арест и тебя под арест, – они, брат, шутить не любят. Ну да ведь это я так, к слову только сказал... Этого не случится, до того, я знаю, дела ты не доведешь. Расплатишься завтра, векселек получишь обратно – и конец всему... Прощай, любезный Герасим

Силыч... Пожалуйста, не запоздай, до обеда бы покончить, да тотчас и за ботвинью.

Кончилось дело тем, что Чубалов за восемьсот рублей отдал Марку Данилычу и образа и книги. Разочлись; пятьдесят рублей Герасим Силыч должен остался. Как ни уговаривал его Марко Данилыч остаться обедать, как ни соблазнял севрюжиной и балыком, Чубалов не остался и во всю прыть погнал быстроногую свою кауренькую долой со двора смолокуровского.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

– После холодных дождей, ливших до дня Андрея Стратилата, маленько теплынью было повеяло: «Батюшка юг на овес пустил дух». Но тотчас же мученик Лупп «холодок послал с губ» – пошли утреники...

Брусника поспела, овес оброне́л (Народные приметы и поверья. Андрея Стратилата – 19 августа. Св. Луппа – 23 августа. Обронеть – осыпаться, говоря о хлебных зернах.), точи косы, хозяин – пора жито косить: «Наталья-овсяница в яри спешит, а старый Тит перед ней бежит», велит мужикам одонья вершить, овины топить, новый хлеб молотить (Наталья-овсяница – 26 августа, апостола Тита – накануне ее памяти 25 августа.).

Много на лету тенетнику, перелетные гуси то и дело садятся на землю, скворцы не летят на Вырей, значит, «бабье лето» (Народные поверья. Вырей или Вирей – сказочная страна, волшебное за морем царство в теплых краях, куда на зиму улетает вся перелетная птица, а с Воздвижения (14 сентября) змеи и другие гады двигаются. Туда ж бежит и всякий зверь от злого лешего целыми стаями, косяками. Бабье лето с 1 по 8 сентября.), а может, и целая осень будет сухая и ведряная... Зато по тем же приметам ранней, студеной зимы надо ждать. Радостью радуется сельщина-деревенщина: и озими в меру поднимутся и хлеб молотить сподручно будет. А будет озимь высокая, то овечкам в честь, погонят их в поле на лакому кормежку, и отравят' (Съедят траву озими.) овечки зелена (Зелена – осенняя озимь.), чтобы в трубку они не пошли.

По городам, тем паче на временном Макарьевском торжище, иные людям в ту пору заботы. Торг к концу подходит: кто барыши, кто убытки смекает. Оптовые сводят счета с розничными; розничные платят старые долги, делают новые заборы. Сидя с верителями за чаем по трактирам, всячески они перед ними угодничают, желая цен подешевле, отпуска побольше, сроков уплаты подольше. Платежи да получения у всех в голове, везде только и речи о них. Придет двадцать пятое августа, отпоят у флагов молебн, спустят их в знак окончания вольного торго́, и с той минуты уплат начнут требовать, а до тех пор никто не смей долга спрашивать, ежели на векселе глухо написано: «Быть платежу у Макарья...» С того дня по всей ярманке беготня и суетня начинаются. Кто не успел старых долгов получить или не сделался как-нибудь иначе с должником, тот рассылает надежных людей по всем пристаням, по всем выездам, не наострил бы тот лыжи тайком. Скроется – пиши долг на двери, а получка в Твери. Глядишь, через месяц, через другой несостоятельным объявится, а расплатится разве на том свете калеными угольями.

Суетня кипит по всей ярманке. Разъезжаться начинают. С каждым днем закрытых лавок больше и больше. В соборе с утра до вечера перед сверкающей алмазами иконой Макария Желтоводского один торговец за другим молебны служат благодарные и в путь шествующим. Тепло и усердно молится люд православный перед ликом небесного покровителя ярманки. Тихо раздаются под сводами громадного храма возгласы священника и пение причетников, а в раскрытые двери иные тогда звуки несутся: звуки бубнов, арф и рогов, пьяные клики, завыванья цыган, громкие песни арфисток и других торгующих собою женщин... Рядом с собором за узким каналом стоит громадный храм сатане.

Самый наглый, самый открытый, во всем христианстве беспримерный разврат царит там. Царит он теперь и на всей ярманке. Каждый почти трактир, каждая гостиница с неизбежными арфистками обращены в дома терпимости. Но главный храм, как бы в насмешку над русским благочестием, поставлен почти рядом с храмом бога живого, чтоб кликом своим заглушать молитвенные песнопения. Какие чувства должны возбуждаться в душе твердых еще в православном благочестии людей, когда, стоя на молитве, слышат они, как церковное пение заглушается кликами и песнями пьяного разгула!..

А еще дивятся, отчего вокруг ярманки раскол в последние годы усилился. Как ему не усилиться при виде такого безобразия, такого поругания православной святыни. Сколько раз купечество жаловалось на такие постыдные порядки, сколько раз составляло о том приговоры. На все один ответ – глубокое молчанье.

В два и в три ряда, чуть не на каждом шагу затрудняя движение городских экипажей и пешеходов, по улицам, ведущим к речным пристаням и городским выездам, тянутся нескончаемые обозы грузных возов. По всем рядам татары в пропитанных салом и дегтем холщовых рубашках, с белыми валяными шляпами на головах, спешно укладывают товары – зашивают в рогожи ящики, уставляют их на телеги. «Купецкие молодцы» снуют взад и вперед с озабоченными лицами, а хозяева либо старшие приказчики, усевшись на деревянных, окрашенных сажей стульях с сиденьем из болотного камыша (Ситняк, рогоза, куга - *Typha latifolia* – болотное круглолистное бесстебельное растение, идет на оплет самых простых стульев. В Нижегородском уезде мордва делает черные деревянные стулья с сиденьем из рогозы. В Нижегородской губернии слов ситняк, рогоза, куга не знают, говорят – камыш.) или прислонясь спиной к дверной притолоке, глубокомысленно, преважно, с сознанием само достоинства, поглядывают на укладку товаров и лишь изредка двумя-тремя отрывистыми словами отдают татарам приказанья.

Крики извозчиков, звон разнозвучных болхарей, гормотух, гремков (Болхарь – большой бубенчик в кулак величиной, гормотуха (в Нижегородской и Пензенской губерниях) – то же, что глухарь – большой бубенчик с глухим звоном, гремок – бубенчик с резким звуком.) и бубенчиков, навязанных на лошадиную сбрую, стук колес о булыжную мостовую, стук заколачиваемых ящиков, стукотня татар, выбивающих палками пыль из овчин и мехов, шум, гам, пьяный хохот, крупная ругань, писк шарманок, дикие клики трактирных цыган и арфисток, свистки пароходов, не смолкающий нестройный звон в колокольном ряду и множество иных разнообразных звуков слышатся всюду и далеко разносятся по водному раздолью рек, по горам и по гладким, зеленым окрестностям ярманки. Все торопится, все суетится, кричит во всю мочь, кто с толком, кто без толку. Дело кипит, льет через край...

В том году, по весне, у Марка Данилыча несчастье случилось. Пришла Пасха, и наемный люд, что работал у него на прядильнях и рубил суда, получив расчет в великий четверг, разошелся на праздник, по своим деревням; остались лишь трое, родом дальние; на короткую побывку не с руки было им идти. Дождались они светлого праздника, помолились, похристосовались, разговелись как следует да с первого же дня и закурили вплоть до Фоминой.

Они бы и в фомин понедельник опохмелились и радуницу к похмелью, пожалуй, прихватили бы, да случилось, что вовсе пить перестали. В самую полночь с фомина воскресенья на похмельный понедельник загорелась изба, где они жили... От той избы занялась другая, третья, и к утру ото всех строений, что ставлены были у Марка Данилыча для рабочих, только угли да головешки остались. От чего загорелось, никто не знал. Сказали бы, может быть, те трое дальних, что в полной радости Святую провели, да от них остались одни только обгорелые косточки.

Больше недели бесновался Марко Данилыч, отыскивая виноватых, метался на всех, кто ни навертывался ему на глаза, даже на тех, что во время пожара по своим деревням праздничную гульбу доканчивали. Дело весеннее, лето на дворе, из разного никуда не годного хлама сколотили на живую руку два больших балагана, чтобы жить в них рабочим до осени. С Петрова дня, воротясь из Саратова, Марко Данилыч принялся за стройку новых строений: одно ставил для прядильщиков, другое для дельщиков (Дель – толстая пеньковая нитка для неводов. Бывает четырех сортов: одноперстник, для ячей в палец, двухперстник, трехперстник и ладонник, то есть для ячей в ладонь. Делью называется также часть сети в восемь сажень длины и в полтора аршина ширины. Дельщик – работающий дель.), третье для лесопилов и плотников, что по зимам рубили у него кузовые лодки, бударки и реюшки (Суда для рыбной ловли на Каспийском море.). Больше чем на сотню человек поставил он строений. В трех санях было двенадцать больших зимних изб, да, кро-

ме того, на чердаках шесть летних светелок. Лес свой, плотники свои, работа закипела, а к концу ярманки и к концу подошла.

Получил Марко Данилыч из дома известье, что плотничная работа и вчерне и вбеле кончена, печи сложены окна вставлены, столы и скамьи поставлены, посуда деревянная и глиняная заготовлена – можно бы и переходить на новоселье, да дело стало за хозяином. Писавший письмо приказчик упомянул, что в одном только недостача – божьего милосердия нет, потому и спрашивал, не послать ли в Холуй (Холуй – село Вязниковского уезда, Владимирской губернии; тамошние крестьяне промышляют иконописанием.) к тамошним богомазам за святыми иконами, али, может статься, сам Марко Данилыч вздумает на ярманке икон наменять, сколько требуется. Марко Данилыч решил, что на ярманке это сделать удобнее, и к тому и дешевле... Опять же и то было на уме, что сам-от выберет иконы, какие ему полюбятся. И стал он смекать, сколько божьего милосердия в новые избы потребуется. "Двенадцать изб да шесть светелок – выходит восемнадцать божниц, – высчитывал он, меньше пятка образов на каждую божницу нельзя – это выходит девяносто икон... Вон какая прорва, прости господи!..

Без малого сотня. А беспреренно надо, чтобы каждая божница виднее да казистей глядела, потому и придется образов покрупней наменять. Да по медному кресту на каждую божницу, да по медным складням... Пелены под божницы справить надобно – полторы – дюжины будничных, полторы дюжины праздничных. Ситцу надо купить – бабы да девки пелены-то дома сошьют. Псалтырей с часословами надо, кадильниц ручных – на праздниках покадить... Полсотней рублей не отделаешься – вон оно каково!.. А менять не в Иконном ряду, там дорого – у подфурников надо будет выменять либо у старинщиков" (Подфурниками зовут в Холуе тех иконописцев, что подделывают иконы под старинные. Старинщиками – торговцев всякими старинными вещами.).

И тут вспал ему на память Чубалов. «Самое распрекрасное дело, – подумал Марко Данилыч. – Он же мне должен остался по векселю, пушай товаром расплатится – на все возьму, сколько за ним ни осталось. Можно будет взять у него икон повальяжней да показистее. А у него же в лавке и образа, и книги, и медное литье, и всякая другая нужная вещь».

Когда так размышлял Смолокуров, вошел к нему Василий Фадеев. Добрые вести он принес: приехали на караван покупатели, останний товар хотят весь дочиста покупать. Марко Данилыч тотчас поехал на Гребновскую, а Василию Фадееву наказал идти на ярманку и разузнать, в каком месте иконами торгует Герасим Силыч Чубалов.

На другой день Марко Данилыч пошел разыскивать лавку Чубалова. Дело было не к спеху, торопиться не к чему, потому он и не взял извозчика, пошел на своих на двоих. Кстати же после бывшей накануне в рыбном трактире крепкой погулки захотелось ему пройтись, маленько бы ноги промять да просвежить похмельную головушку. Идет по мосту Марко Данилыч; тянутся обозы в четыре ряда, по бокам гурьбами пешеходы идут – все куда-то спешат, торопятся, чуть не лезут друг на друга. Звонкий топот лошадиных копыт по дощатому полотну моста, гул колес, свист паровозов, крики бурлаков и громкий говор разноязычной, разноплеменной толпы нестерпимо раздражает уши Смолокурова. Начинает он понемножку сердчать, но не на ком сердце сорвать: а это пуще всего раздражает Марка Данилыча. Перебрался он кой-как через мост, пришел на ярманку, а тут перед самым Железным домом биржи вся улица кипит сплошной густой толпой судорабочих, собравшихся туда в ожидание найма на суда. В тесноте и давке середь грязной бурлацкой толпы пришлось Марку Данилычу усердно поработать и локтями и кулаками, чтобы как-нибудь протолкаться сквозь бесшабашное сходбище...

Не обошлось без того, чтоб и самому толчков не надавали. Только что успел он выдраться из кучи оборванцев, как пришлось стать на месте: нагруженные воза и десятки порожних роспусков на повороте к шоссе дорожке столпились, перепутались, и не стало тут ни езды, ни ходу. Крики, ругательства. Дело дошло и до драки встречных извозчиков. Охочи бурлаки до сшибок, и ежели самим не с руки подраться да поругаться, так бы хоть на других полюбоваться. И вот целой ватагой, человек в сотню, с гамом, со свистом и неистовым хохотом кинулись они от Железного дома и смяли все, что ни попалося им на пути. Тем только и спасся Марко Данилыч, что вовремя вскочил на паперть возле стоящей Печерской часовни, иначе бы плохо пришлось ему.

Гневом и злобой кипел он на всех: и на бурлаков, и на извозчиков, и на полицию за то, что ее

не видно, и на медленном шагом разъезжавших казаков, что пытаются только криками смирить головорезов – нет чтобы нагайкой хорошенько поработать ради тишины и всеобщего благочиния...

Насилу дождался Марко Данилыч, когда улеглась сумятица, освободился проезд, бурлаки воротились к Железному дому, и стало ему удобно выбраться на шоссе на дорогу. Но и там – только что завернул за угол, и чинным, степенным шагом пошел вдоль сундучного ряда, отколь ни возмись нищие бабенки, с хныканьем, с причитаньями стали приставать к нему, прося на погорелое место. С одного взгляда на них Марко Данилыч догадался, что их погорелое место в кабаке. С резкой руганью он отказал им. Нахальные, безотвязные, тем не унялись; не отставали от угрюмого купчины, шли за ним по пятам и пуще прежнего канючили о копеечках. Это опять вскипятило успокоившегося было Смолокурова... Наконец-то, кой-как освободился он от пьяных бабенок, но вдруг перед ним разбитной мальчуган с дерзким взглядом, с отъявленным нахальством во всей своей повадке. Стал поперек дороги и, повертывая лотком перед Марком Данилычем, кричит во всю мочь звонким голосом:

– А вот пирожки, пирожки! Горячи, горячи, с мачком, с лучком, с перечком.

– Убирайся, пока цел!.. – сердито крикнул на него Марко Данилыч.

Голосистый мальчишка не унялся, выюном вертится перед Смолокуровым и, не давая ему дороги, во все горло выкрикивает свои причеты:

– Горячи, горячи!.. С пылу, с жару горяченькие!..

– Пошел прочь, щенок! – сердито крикнул Марко Данилыч, поднимая над ним камышовую трость.

Но пирожник не робкого десятка был, не струсил угроз и пуще прежнего вертелся перед Смолокуровым, чуть не задевая его лотком и выкрикивая:

– Пирожки горячи! Купец режь, купец ешь... Жуй, берегись – пирожком не обожгись. Купи, купец, не скупись, не то камнем подавись. Кой-кто из проходивших остановился поглазеть на даровую «камедь». Хохотом ободряли прохожие пирожника... и это совсем взбеси-ло Марко Данилыча. К счастью, городской, считавшим до тех пор ворон на другой стороне улицы, стал переходить дорогу, заметив ухмылявшуюся ему востроглазую девчонку, должно быть, коротко знакомую со внутренней стражей.

– А городского хочешь? – крикнул Смолокуров мальчишке, указывая на охранителя благочиния.

Пирожник высунул язык, свистнул каким-то необычным, оглушительным свистом и проворно юркнул в толпу, много потише выкрикивая:

– А вот горячи, горячи ел их подъячий! С пылу, с жару – ел барин поджарый! С горохом, с бобами, ел дьякон с попами!

– Запыхался даже Марко Данилыч. Одышка стала одолевать его от тесноты и с досады. Струями выступил пот на гневном, раскрасневшемся лице его. И только что маленько было он успокоился, другой мальчишка с лотком в руках прямо на него лезет.

– Свечи сальны, светильны бумажны, горят ясно, очень прекрасно! – распевает он во все горло резким голосом.

Этот не пристаёт по крайней мере, не вертится с лотком, и за то спасибо. Прокричал свое и к сторонке. Но только что избавился от него Марко Данилыч, яблочница стала наступать на него. Во всю мочь кричит визгливым голосом:

– Садовые, медовые, наливчатые, рассыпчатые, гладкие, сладкие, с кваском с маленьким!..

А тут еще на каждом шагу мальчишки-зазывалки то и дело в лавки к себе заманивают, чуть не за полы проходящих хватают, да так и трещат под ухо: «Что покупать изволите! У нас есть сапоги, калоши, ботинки хороши, товар петербургский, самый настоящий аглицкий!..» На этих Марко Данилыч уж не обращал внимания, радехонек был, что хоть от нищих, от яблочниц да от пирожников отделался... Эх, было бы над кем сердце сорвать!..

Дошел, наконец, до платочных рядов, там посвободней вздохнул и маленько поуспокоился. Отыскал поскорости и лавку Чубалова.

Между шоссе и дорогой, обстроенной с обеих сторон рядами лавок, и песчаным берегом

Оки, до последнего большого на ярманке пожара (В 1864 году,), тянулись в три порядка тесные неказистые деревянные, где дранью, где дубом крытые платочные ряды. Там в непомерной тесноте, в непролазной грязи во время ненастья, в непроглядных тучах пыли во время ветра при сухой погоде, издавна вели розничный торг красным товаром вязниковские и ковровские офени, ходебщики, коробейники и те краснорядцы, что век свой разъезжают со своим всегда ходким товаром по деревенским ярманкам и по сельским базарам.

Круглый год странствуя по углам и уголкам России, каждый август съезжаются они к Макарью для расплаты с фабрикантами и оптовыми торговцами и для забора в долг новых товаров. Больше бабы сидели в старых платочных рядах; мужья, сыновья их и братья с утра до ночи спуют, бывало, по ярманке, отыскивая неисправных должников либо приглядываясь к свежим товарам и условливаясь с оптовыми торговцами насчет будущих цен и сроков платежа. Там, в платочных рядах, было несколько лавок и не с красным товаром: в иной воском торговали, в другой мерлушками, в третьей игольным товаром. Была одна лавка с иконами и со всякого рода старинкой. Торговал в ней Герасим Силыч Чубалов.

В его лавке все полки были уставлены книгами и увешаны образами, медными крестами и пучками кожаных лестовок заволжской семеновской (Работают их в заволжском раскольниковом городе Семенове, Нижегородской губернии.) работы. Более редкие вещи и древняя утварь церковная и хоромная хранилась в палатке наверху. Там же старинщики обыкновенно держали раскольниковы бумажные венчики, что полагаются на покойников, разрешительные молитвы, что кладутся им в руку во время отпеванья, и вышедшие из одних с ними подпольных типографий «Скитские покаяния», «Соловецкие челобитные» (Скитское покаяние", где есть «чин како самому себе исповедати», во множестве распространено между раскольниками спасова согласия – что сами перед спасовым образом исповедуются. Спасова согласие утверждает, будто «Скитское покаяние» составлено апостолом Павлом, передано им ученику его Дионисию Ареопажиту, от него дошло до Иоанна Дамаскина, а от него и до раскольников. Старопечатных «Скитских покаяний» не было. Первые два издания, 1787 и 1789, печатаны в Супрясле, потом тайно печатались в Клинцах под видом почтаевских, а теперь печатаются по разным местам, особливо в Гжатском уезде. «Соловецкая челобитная» находится в печатном сборнике, начинающемся «Историей о отцах и страдальцах соловецких». Места печатания не означено, но шрифты клинцовские, а фабрикантские знаки в бумаге 1787 и 1789. Есть и позднее, но редко.), буквари и другие книги, в большом количестве расходящиеся между старообрядцами. В палатках держали также рукописные «Цветники», «Сборники челобитные», «Ответы» и другие сочиненья, писанные расколоучителями («Ответы»: Диаконеры или Керженские, Поморские, Фомина, Егора Гаврилова, Пешехонова, Никодимовы. «Челобитные»: Соловецкая, старца Авраамия, Лазаря, Саввы Романова и пр.).

Все это товар продажный, но заветный... Не всякому старинщик его покажет. До тех пор не покажет, пока не убедится, что от покупателя подвоха не будет. Только избранным, надежным людям, что сору из избы не выносят, у старинщика все открыто. При незнакомых он с самым близким человеком слова напрямки не скажет, а все обиняком, либо по-офенски (Искусственный язык, употребляемый офенями (ходебщиками, разносчиками). Он называется также ламанским. Составлен из переиначенных русских слов, неполон, ограничивается словами, самыми нужными для быта ходебщиков. Грамматика русская. Есть у нас еще такие же искусственные языки: галифонский в Галиче, в Нерехотском и других уездах Костромской губернии, матрайский в Муромском уезде и под Арзамасом в селе Красном, кантюжный – воровской язык в Рязанской, Московской и Тверской губерниях, язык ковровских шерстобитов, петербургских мазуриков (байковый). Все эти языки из переиначенных или придуманных слов с русской грамматикой и все до одного в ходу у раскольников той или другой стороны.).

Придет покупатель, лавка полным-полнехонька народом, десятка полтора человек сидят в ней по скамейкам либо стоят у прилавка, внимательно рассматривая в книгах каждую страницу. Снимет вошедший картуз, всем общим поклоном поклонится, а хозяину отдельно да пониже всех, скажет ему «здравствуйте». Тот ему тем же ответит, и другие, кто в лавке случится, тоже поклонятся. Замолчит потом новый покупатель и зачнет внимательно разглядывать какую-нибудь книгу, рассматривает ее долго, а потом, положив ее на место, молвит хозяину:

- Ну, что скажете?
- А что спросите? – в свою очередь, задаст ему вопрос хозяин.
- Чать, знаешь что?
- Мало ли что я знаю?
- Оно, конечно, что знаешь, того и знать не хочется, – молвит покупатель.
- Верны ваши речи: что известно, то не лестно, – ответит старинщик.
- Так-то оно так, а все же таки попрошу я у вас.
- Спрашивайте. Убытков от того ни вам, ни нам не будет.
- Да вот в путь-дорогу сряжаюсь, так не знаю, где бы здесь у Макарья шапчонку на голову

купить да в руку подожок.

– Шапку в шляпном ряду найдете, вот что рядом с почтой стоит, а палочку под Главным домом можно сыскать, а ежели подешевле желаете, так в щепяном ряду поищите.

Хозяин уж смекнул, про какую шапчонку и про какой подожок его спрашивают. Пошлет он знакомого покупателя по шляпным да по щепяным рядам только тогда, когда в лавке есть люди ненадежные, а то без всяких разговоров поведет его прямо в палатку и там продаст ему сколько надо венчиков, то есть шапчонок, и разрешительных молитв – подожков.

Не то прибежит в лавку, ровно с цепи сорвавшись какой-нибудь паренек и, ни с кем не здороваясь, никому не поклонясь, крикнет хозяину:

– Хлябышь в дудоргу хандырит пельмиги шишлять!.. И хозяин вдруг встревожится, бросится в палатку и почнет там наскоро подальше прибираться, что не всякому можно показывать. Кто понял речи прибежавшего паренька, тот, ни слова не молвив, сейчас же из лавки вон. Тут и другие смекнут, что чем-то нездоровым запахло, тоже из лавки вон. Сколько бы кто ни учился, сколько б ни знал языков, ежели он не офеня или не раскольник, ни за что не поймет, чем паренек так напугал хозяина. А это он ему по-офенски вскричал: «Начальство в лавку идет бумаги читать».

Запретными вещами Чубалов не торговал, терпеть того не мог, однако же и на его долю порой выпадали немалые хлопоты по невежеству надзирающих за торговлей старопечатными и рукописными книгами. Раз большие убытки он понес на Сборной ярманке в Симбирске – попы да полиция горячо нагрели там карман Герасиму Силычу... Невежество надзирающих за продажей старинных книг совсем почти подорвало столь важную для русской науки торговлю старинщиков. Не строгость, а бестолковость надзора за той продажей возмутительна. Подвергаемые неприятностям и убыткам, торговцы стариной поневоле бросают ее и прекращают поиски по глухим захолустьям за скрывающимися от взоров науки сокровищами. Памятники старины между тем гниют в сырых подвалах либо горят в пожарах, обычно опустошающих наши города и деревни. Печатные книги еще не так много гибнут, – у них два только врага: сырость да огонь, но рукописи, даже и не церковного содержания, то и дело губятся еще более сильным врагом – невежеством надзирающих.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Когда Марко Данилыч вошел в лавку к Чубалову, она была полнехонька. Кто книги читал, кто иконы разглядывал, в трех местах шел живой торг; в одном углу торговал Ермолаич, в другом Иванушка, за прилавком сам Герасим Силыч. В сторонке, в тесную кучку столпясь, стояло человек восемь, по-видимому из мещан или небогатых купцов. Двое, один седой, другой борода еще не опушилась, горячо спорили от писания, а другие внимательно прислушивались к их словам и лишь изредка выступали со своими замечаньями.

Чуть-чуть приподнявши картуз и поклонясь общим поклоном, приветствовал всех Смолокуров, сквозь зубы процедивши чуть слышно: «Здравствуйте!» Все поклонились ему, и затем, ни слова не молвивши, каждый принялся за свое дело. Чубалов вышел из-за прилавка, попросил сидевших на скамейке потесниться, обмахнул полую местечко для Марко Данилыча и заботливо усадил его.

- А я к тебе, Герасим Силыч, по дельцу, – немного помолчав, промолвил Марко Данилыч.
- Что вашей милости требуется? – сухо отозвался Чубалов, вспомняв про Марка Евангели-

ста да про Евдокию преподобно-мученицу. После продажи тех икон он еще впервые видел земляка и соседа любезного.

Надобно бы мне у тебя, друг любезный, кой-какого божьего милосердия выменять, – сказал Смолокуров.

– Каких угодно будет вам? – маленько хмурясь, спросил у него Чубалов. Хорошие иконы у меня в палатке, туда не угодно ли?

И стал было расчищать дорогу почетному, но не совсем приятному покупателю.

– Не надо, не трудись, – не трогаясь с места, молвил Марко Данилыч. Неважных мне надобно, таких, чтобы только можно было в красный угол поставить. Холуйских давай, да сортом пониже, лишь бы по отеческому преданию были писаны, да не было б малаксы (Именословное сложение перстов для благословения. Раскольники называют его малаксой, потому что в конце первой части «Скрижали» (стр. 717) патриарх Никон напечатал: «Николаа священнаго Малакса протопopa Навплийскаго о знаменовании соединяемых перстов руки священника внегда благословити ему христоименитые люди». Первый пустивший в ход название именословного перстосложения малаксой был протопоп Аввакум, один из первых по времени расколоучителей.) на них.

– С малаксой икон у нас и в заводе не бывало, – сказал на то Чубалов. Имеем только писанные согласно с древними подлинниками (Рукописи с рисунками образцов, по которым пишутся иконы, и наставления, как их писать. Взяты с греческого. Древнейший греческий подлинник Дионисия издан в 1845 году в Париже Дидроном без рисунков под заглавием «Manuel d'iconographie chretienne, Paris. 1845»). С малаксой и в лавку не внесем.

– Это ты хорошо говоришь, то есть как надо по-божески, благочестиво, важно промолвил на то Марко Данилыч. – Только не знаю я, подберешь ли все, что надобится. Не мало ведь требуется и все почитай одинаких.

– Подберем сколько угодно, – отозвался Чубалов. – Ежели у меня не достанет, у холуйских доспеем. Сегодня же все готово будет.

– Ладно, – сказал Марко Данилыч и, вынув из бумажника памятку (Памятка – записка для памяти, памятная книжка.), продолжал свои речи: – Известно тебе, что после божия посещения сызнова я построился. Две связи рабочим, чтоб всех их в дугу скрючило, поставил... Все теперь начисто отделано, как с ярманки приеду, так и переведу их, подлецов, на новоселье. К тому времени и требуется мне божьего милосердия. Надо в каждую избу и каждую светлицу иконы поставить. А зимних-то изб у меня двенадцать поставлено, да шесть летних светлиц. На каждую надо икон по шести. Выходит без четырех целу сотню...

Понимаешь? Целую сотню икон мне требуется, да десятка с два литых медных крестов, да столько же медных складней. Да на каждую избу и на каждую светелку по часослову, да на всех с десятков псалтырей... Нечего делать, надо изубытчиться: пущай рабочие лучше богу молятся да божественные книги по праздникам читают, чем пьянствовать да баловаться. У меня же грамотных из них достаточно – пущай их читают, авось будут посмирнее, ежели страх-от господень познают... Вот по этой записке ты мне и отпусти... Видишь, каков я у тебя покупатель?.. Гуртовой... Потому и должен ты взять с меня супротив других много дешевле.

– Зачем с вас дорого брать? – молвил Чубалов. – Кажись бы, за мной того не водилось. В убыток отдавать случалось, а чтобы лишнее взять – на этот счет будьте спокойны. Сами только не будьте очень прижимисты.

– Лишнего не передам, а что следует, изволь получать до копейки. На этот счет я со всяким моим удовольствием... Завсегда каждому готов, – важно и напыщенно проговорил Марко Данилыч, спесиво оглядывая по сторонам сидевших и стоявших.

– Разве что так, – прищутив глаз и глядя в лицо Смолокурову, молвил Чубалов. – А то ведь, ежели правду сказать, так больно уж вы стали прижимисты, Марко Данилыч.

– Что ты городишь? – громче прежнего заговорил Смолокуров. – Кто тебе такие речи довел про меня – наплюй тому в глаза.

– Не попадешь, Марко Данилыч, никак не изловчишься... Как самому себе в глаза можно плюнуть? – усмехнулся Чубалов.

– Что еще такое загордил? – с досадой молвил Марко Данилыч.

– А Марка-то Евангелиста с Евдокией забыли?

– То совсем иное дело, – медленно, важно и спокойно промолвил Марко Данилыч. – Был тогда у нас с тобой не повольный торг, а долгу платеж. Обойди теперь ты всю здешнюю ярманку, спроси у кого хочешь, всяк тебе скажет, что так же бы точно и он с тобой поступил, ежели бы до него такое дело довелось. Иначе нельзя, друг любезный, на то коммерция. Понимаешь?

Видит Герасим Силыч, что совесть у Смолокурова под каблуком, а стыд под подошвой, ничего ему в ответ не промолвил.

– Каких же во имя требуется? – спросил он у Смолокурова.

– Пиши, записывай, – стал высчитывать по записке Марко Данилыч. Восемнадцать спасов – какие найдутся, таких и давай: иседниц, и убрусов, и Эммануилов (Термины холуйских иконников: седница – спаситель, сидящий на престоле; убрус – нерукотворенный образ; Эммануил – главное или пошейное изображение Христа в отроческом возрасте.).

Богородиц тоже восемнадцать, и тоже какие найдутся – все едино... А нет, постой... отбери ты побольше Неопалимой Купины – знаешь, ради пожарного случая. Авось при ней, при владычице, разбойники опять не подожгут у меня работной избы (Неопалимой Купине молятся «ради избавления от огненного запаления».); Никол восемнадцать положь да подбирай так: полдюжину летних, полдюжину зимних, полдюжину главных (Иконники зовут образ св. Николая в митре – зимним, без митры – летним, пошейный, до плеч, главным.).

Останные три дюжины с половиной каких знаешь, таких и клади... Нет, постой, погоди... набери ты мне полторы дюжины мученика Вонифатия, для того, что избавляет он, батюшка, угодник святой, от винного запойства... В каждой избе, в каждой светелке по Вонифатию поставлю. Потому народ ноне слабый, как за работником ни гляди – беспрерывно как зюзя к вечеру натянется этого винища. На любого погляди вечером-то – у каждого язык ровно ниткой перевязан, чисто говорить не может, а ноги – ровно на воде, не держатся.. Вон и тогда, и на Фоминой-то, спяную ведь избы-то у меня спалили... И себя, дурачье, не пожалели, живьем ведь сгорели, подлецы... Им-то теперь ничего, а мне убытки!

– Моисею Мурину от винного запойства тоже молятся, – вступил в разговор Иванушка.

– А я и не знал, – молвил на то Марко Данилыч, обращаясь к Герасиму Силычу. – Вонифатиево житие знаю, не раз читывал... А Моисею-то Мурину почему молиться велят?

– И он потому же, – свое продолжал Иванушка. – Сказано в житии его: «Уби четыре овцы – чужие, мяса же добрейша изъяде, овчины же на вине пропи».

– Верно? – спросил Смолокуров у Чубалова.

– Верно, – ответил он.

А Иванушка с полки книгу тащит, отыскал в ней место и показывает Марку Данилычу. Тот, прочитавши, примолвил:

– Да. Это так... Верно... Только в правду ли ему молятся от винного-то запойства?.. Теперь постой, вот что я вспомнил: видел раз у церковников таблицу такую, напечатана она была, по всем церквам ее рассылали, а на ней «Сказание киим святым, каковые благодати исцеления от бога даны» (Такие таблицы были разосланы по церквам и висели в алтарях на стенке. Теперь можно встретить их в редкой уже сельской церкви. «Сказание» это напечатано, между прочим, в «Русском архиве» 1863 года.).

И там точно что напечатано про Моисея Мурина. Только думал я, не новшество ль это Никоново... Как по-твоему, Герасим Силыч?

– Какое уж тут новшество? – возразил Чубалов. – Исстари ему, угоднику, от пьянства молились, еще при первых пяти патриархах.

– Так ты вот что сделай, друг мой любезный, Герасим Силыч, – полторы-то дюжины отбери мне Вонифатьев, а полторы дюжины Моисеев – дело-то и будет ладнее.

– Еще чего потребуется? – спросил Чубалов, записавши заказ на бумажке.

– Дюжину полниц (Так иконники называют икону Воскресения с двенадцатью праздниками вокруг нее.) положь, – молвил Марко Данилыч. – В каждую избу по одной, а в светлицы, пожалуй, и не надо, останну дюжину клади каких сам знаешь...

Да уж для круглого счета четыре-то иконы доложь, чтобы сотня сполна была... Да из книг,

сказано тебе, десяток псалтырей да полторы дюжины часословов... Да, oprичь того, полторы дюжины литых крестов шестивершковых да полторы дюжины медненьких икон, не больно чтобы мудрящих... Кажись, теперь все. Да смотри ты у меня, чтобы в каждой избе и в каждой светлице хоть по одной подуборной (Подуборная икона – обложенная окладом, то есть каймой по краям, вычеканенной из меди с золочеными или посеребренными медными венцами.) было, клади уж так и быть две дюжины подуборных-то – разница в деньгах будет не больно велика...

А!.. вот еще – не знаешь ли, какому угоднику от воровства надо молиться?.. Работники шельмецы тащма тащут пеньку по сторонам, углядеть за ними невозможно. Как бы еще по такой иконе в каж – ду избу и каждую светелку, чтобы от воровства помогала – больно бы хорошо было... Есть ли, любезный, у бога таковые святые?

– Есть, как не быть, – ответил Чубалов. – Федору Тирану об обретении покраденных вещей молятся.

– И помогает? – с живостью спросил Марко Данилыч.

– По вере помогает, а без веры кому ни молись, толку не выйдет, ответил Чубалов.

– Так ты, oprичь сотни, отбери еще полторы дюжины Федоров, – сказал Марко Данилыч. – Авось меньше станут пеньку воровать.

– Велики ль мерой-то иконы вам надобятся? – спросил Чубалов.

– Меры-то? Меры надо разной, – ответил Марко Данилыч. – Спасы – десятирики, богородицы да Николы – девятирики да восьмерики, останны помельче... Можно и листоушек (Икона десятирик – десяти вершков в вышину, девятирик – девяти вершков и т. д. Листоушка – небольшая икона от одного до четырех вершков.) сколько-нибудь приложить, только не мене бы четырех вершков были, а то мелкие-то и невзрачны, да, грехом, и затеряться могут. Народ-от ведь у меня вольный, вор на воре, самый анафемский народ; иной, как разочтешь его за какие-нибудь непорядки, со зла-то, чего доброго и угодником не побрезгует, стянет, собачий сын, из божницы махонькой-то образок да в карман его аль за пазуху. Каков ни будь образишка – все-таки шкалик дадут в кабаке... Сущие разбойники!.. Ну, какую же цену за все положишь?

Ни слова не молвив, Чубалов молча стал на счетах класть, приговаривая:

– Псалтырей десяток, часословов восемнадцать – сорок восемь рублей...

– Что ты, что ты? – руками замахав на Чубалова, вскрикнул Марко Данилыч. – Никак рехнулся, земляк?.. Как это вдруг сорок восемь рублей...

– Псалтыри по три целковых за штуку, часословы по рублю, – ответил Чубалов. – Считайте.

– Как по три целковых да по рублю?.. На что это похоже? – во всю мочь кричал Марко Данилыч и схватил даже Чубалова за руку.

– Цена казенная, Марко Данилыч, – спокойно ответил Герасим. – Одной копейки нельзя уступить, псалтыри да часословы печати московской, единоверческой, цена им известная, она вот и напечатана.

– Хоша она и напечатана, а ты все-таки должен мне уважить. Нельзя без уступки, соседущка, – я ведь у тебя гуртом покупаю, – говорил Смолокуров.

– Как же я могу уступить, Марко Данилыч? Свои, что ли, деньги приплачивать мне? – ответил Чубалов. – Эти книги не то что другие. Казенные... Где хотите купите, цена им везде одна.

Призадумался маленько Марко Данилыч. Видит, точно, цена напечатана, а супротив печатного что говорить? Немалое время молча продумавши, молвил он Чубалову:

– Ну, ежели казенная цена, так уж тут нечего делать. Только вот что – псалтырей-то, земляк, отбери не десяток, а тройку... Будет с них, со псов, чтоб им издохнуть!.. Значит, двадцать пять рублей за книги-то будет?

– Двадцать семь, Марко Данилыч, – немного понижая голос сказал Герасим.

– Экой ты, братец, какой! За всякой мухой с обухом!.. – промолвил Марко Данилыч. – Велика ли важность каких-нибудь два рубля? Двадцать ли пять, двадцать ли семь рублей, не все ли едино? Кладу тебе четвертную единственно ради круглого счета.

– Коли вам для круглого счета надобно, так я заместо восемнадцати, шестнадцать часословов только положу. Оно и выйдет как раз двадцать пять рублей, – сказал Герасим Силыч.

Думал Марко Данилыч, не раз головой pokrутил, сказал наконец:

– Ну, пожалуй. Так-то еще лучше будет... Али нет, постой, часословов дюжину только отбери – в светелки не стану класть. Это выйдет...

– Двадцать один рубль, – сказал Герасим Силыч-

– Скости рублишко-то, земляк. Что тебе значит какой-нибудь рубль? Ровно бы уж было на двадцать рублей... Ну, пожалуйста, – канючил богатый, сотнями тысяч ворочавший рыбак.

– Нельзя мне и гривны уступить вам, Марко Данилыч... Цена казенная... Как же это возможно? – отвечал ему Чубалов.

– Ну ладно, казенная так казенная, пусть будет по-твоему: двадцать с рублем, – согласился, наконец, Смолокуров. – Только уж хочешь не хочешь, а на божьем милосердии – оно ведь не казенное, – рублишко со счетов скошу. Ты и не спорь. Не бывать тому, чтоб ты хоть маленькой уступочки мне не сделал.

– Посмотрим, поглядим – усмехнулся Герасим и опять стал на счетах выкладывать. – Полторы дюжины десятиерику да подобранных – три рубля, – говорил он, считая.

– Окстись, приятель!.. Христос с тобой! – воскликнул Марко Данилыч с притворным удивлением отступив от Чубалова шага на два. – Этак, по-твоему, сотня-то без малого в семнадцать рублей въедет... У холуйских богомазов таких икон – хоть пруды пруди, а меняют они их целковых по десяти за сотню да по девяти... Побойся бога хоть маленько, уж больно ты в цене-то зарываешься, дружище!.. А еще земляк!.. А еще сосед!..

– Лет сорок тому, точно, за эти иконы-то рублей по десяти и даже по восьми бирали, а ноне по пятнадцати да по пятнадцати с полтиной. Сами от холуйских получаем. Пользы ведь тоже хоть немножко надо взять. Из-за чего-нибудь и мы торгуем же, Марко Данилыч.

– Жила ты, жила, греховодник этакой!.. – вскрикнул Марко Данилыч. – Бога не боишься, людей не стыдишься... Неправедну-то лихву с чего берешь?.. Подумал ли о том?.. Ведь со святыни!.. С божьего милосердия!.. Постыдись, братец!..

– А с рыбы-то нешто не берете? – спросил, усмехнувшись, Герасим.

– Ишь ты! – вскрикнул на всю лавку Марко Данилыч. – Применил избу к Строганову двору!.. К чему святыню-то приравнял?.. Хульник ты этакой!.. Припомнят на том свете тебе это слово, припомнят!.. Там ведь, друг, на страшном-то суде Христове всяко праздно слово взыщется, а не то чтобы какое хульное?.. Святые иконы к рыбе вдруг применил!.. Ах ты, богохульник, богохульник...

Битый час торговались. У обоих от спора даже во рту пересохло. Ровно какой благодати возрадовался Марко Данилыч, заведя проходившего платочным рядом парня: по поясу лубочный черес со стаканами, хрустальный кувшин в руке. Во всю ивановску кричит он:

– А вот малиновый хороший, московский кипучий! Самый лучший, с игрой, с иголкой – бьет в нос метелкой! Не пьян да ядрён, в стаканчик нальем!.. Наливать, что ли, вашей милости-с?

Один за другим четыре стакана «кипучего, самого лучшего» выпил Марко Данилыч и, только что маленько освежился, опять принялся торговаться. На сорока восьми рублях покончили-таки... Стали иконы подбирать – и за этим прошло не малое время. Каждую Смолокуров оглядывал и чуть на которой замечал хоть чуть-чуть видное пятнышко, либо царапинку, тотчас браковал, подавай ему другую икону, без всякого изъяну. Без малого час прошел за такой меледой, наконец все отобрали и уложили. Надо расплачиваться.

Вынул бумажник Марко Данилыч, порылся в нем, отыскал недоплаченный вексель Чубалова, осмотрел его со всех сторон и спросил перо да чернилицу. Чубалов подал.

– И это в уплату запишем, – сказал Смолокуров, обмакивая перо.

– Так точно, – слегка нахмурясь, молвил Чубалов. – Только зачем же вам, Марко Данилыч, утруждать себя писаньем? Останные сейчас же отдам вашей милости как есть полной наличностью, а вы потрудитесь только мне векселек возвратить.

– И так можно, – сказал Марко Данилыч, кладя перо на прилавок. – Я, брат, человек сговорчивый, на все согласен, не то, что ты, – измучил меня торговавшись. Копейки одной не хотел уступить!.. Эх, ты!.. Совесть-то где у тебя?.. Забыл, видно, что мы с тобою земляки и соседи, – прибавил он...

– Нельзя, Марко Данилыч, богу поверьте, – возразил Герасим Силыч...

– Ну ладно, ладно, бог уж с тобой, сердца на тебя не держу, – сказал Смолокуров. – Неси-ка ты, неси остальные-то. Домой пора – щи простынут...

– Сию минуту, – молвил Чубалов и пошел наверх в палатку.

Подошел Марко Данилыч к тем совопросникам, что с жаром, увлечением вели спор от писания. Из них молодой поповцем оказался, а пожилой был по спасову согласию и держался толка дрождников, что пекут хлебы на квасной гуще, почитая хмелевые дрожди за греховную скверну.

– Да почему же не след хлеб на дрождах вкушать? – настойчиво спрашивал у дрождника поповец.

– Потому и не след, что дрожди от диавола, – отвечал дрождник. – На хмелю ведь они?

– На хмелю.

– А хмель-от кем сотворен?

– Творцом всяческих господом, – отвечал молодой совопросник.

– Ан нет, – возразил дрождник. – Не господом сотворен, а бесом выращен, на пагубу душам христианским и на вечную им муку. Такожде и табак, такожде и губина, сиречь картофель, и чай, и кофей – все это не божье, а сатанино творение либо аггелов его. И дрожди хмелевые от него же, от врага божия, потому, ядый хлеб на дрождах, плоти антихристовой приобщается, с ним же и пребудет во веки... Так-то, молодец!

– А покажи от писания! – с задором отвечал ему на то молодой поповец.

– Изволь, – промолвил дрождник и, вынув из-за пазухи рукописную тетрадку, стал по ней громогласно читать: "... Сатана же, завистию распаляем, позавиде доброму делу божию и нача со бесы своими беседовати, как бы уловити род человеческий во свою геенну пианством, наипаче же верных христиан.

И выступи един бес из темного и треклятого их собора и тако возглагола сатане: "Аз ведаю, господине, из чего сотворити пианство; знаю бо иде же останеся тоя трава, юже ты насадил еси на горах Аравитских и прельсти до потопа жену Ноеву...

Пойду аз и обрящу траву и прельщу человек". И восстав сатана со престола своего скверного, и поклонися тому бесу, честь воздая ему, и посади его на престоле своем... и нарече ему имя «пианый бес». И научи той пианый бес человека, како растити солод и брагу делати... Тако умудри его бес на погибель христианом" (Сказание «О хмельном питии» встречается в раскольничьих сборниках, не ранее, однако, начала XVIII столетия.).

– А какое ж это писание? Кто его написал? В коих летех и кем то писание свидетельствовано?.. Которым патриархом или каким собором? – настойчиво спрашивал у старого дрождника молодой совопросник.

– Захотел ты в наши последние времена патриархов да соборов! – с укоризной и даже насмешливо ответил ему дрождник. – Нешто не знаешь, что благодать со дней Никона взята на небо и рассыпая чин освящения, антихрист поплени всю вселенну, и к тому благочестие на земле во веки не воссияет...

– Не «Цветником», что сам, может, написал, а от писания всеобдержного доказывай. Покажи ты мне в печатных патриарших книгах, что ядение дрождей мерзость есть пред господом... тем книгам только и можно в эвтом разе поверить. – Так говорил, с горячностью наступая на совопросника, молодой поповец. – Можешь ли доказать от святого писания? – с жаром он приставал к нему.

– Могу, – спокойно отвечал дрождник. – Проклятие на дрожди в десятой кафизме положено, во псалме Давыдове: «Исповемся тебе, боже». Забыл?.. «Дрождие его не изгидошася испиют вси грешние земли» (По ныне употребляемому переводу вместо «изгидошася» поставлено «истошася»). Ну-ка, ответь, что сии словеса означают?

– Да где же тут проклятие-то? – спросил несколько озадаченный поповец. – На дрожди-то где проклятие? Проклятие на дрожди покажь ты нам!

– Изгидошася! Что означает, по-твоему, это самое слово? Как скажешь? – спрашивал молодого поповца седоватый дрождник и проговорил свои слова так властно и решительно, будто спорный вопрос о догмате на Вселенском соборе решал.

– Изгидошася?.. Ты говоришь: «изгидошася»... – начал было отвечать ему смущенный

нежданным вопросом поповец. – А ну-ка, сам скажи мне, что такое означают те святые словеса Давыдовы?

– Изгидошася... – решительно сказал дрожник, будто тем словом все писание истолковал.

– Да что ж такое означает то слово «изгидошася»? – приставал рьяный в словопрениях молодой, но много начитанный поповец.

– То и означает, что прокляты дрожжи. Одно слово –

«изгидошася»... Понимаешь али нет? – Толковал свое дрожник. Изгидошася – проклято значит. Вот тебе и сказ.

И доспорились до раздраженья, особливо молодой. Глаза горят, лицо пылает, кулаки сжаты, а что такое «изгидошася», ни тот, ни другой не разумеют.

Таковы у раскольников богословские прения. Только и толков, только и споров, что можно ли квашню на хмелевых дрожжах поставить, с кожаной аль с холщовой лестовкой следует богу молиться, нужно ли ради души спасения гуменцо на макушке выстригать. А чаще и больше всего споров ведется про антихриста, родился он, проклятый, или еще нет, и каков он собой: «чувственный», то есть с руками, с ногами, с плотью и с кровью, или только «духовный» – невидимый и неслышимый, значит духом противления Христу и соблазнами рода человеческого токмо живущий...

Много таких споров, много и толков сыздавна идет на Руси среди простого народа... А сколько иногда в тех спорах бывает ума, начитанности, ловкости в словопрениях, сколько искусства!.. И весь этот народный ум дрожжами, лестовками да антихристом занят!..

Сошел сверху Герасим Силыч, подал деньги Смолокурову. Долго разглядывал Марко Данилыч принесенные бумажки. И меж пальцев-то тер их, и на свет-то смотрел, и, уверившись, наконец, что бумажки годны, сунул их в бумажник, а Чубалову отдал вексель. Взял Герасим Силыч вексель, с начала до конца внимательно два раза прочел его и, уверившись в подлинности, надорвал.

– Ужо, после вечерни, приказчика с записочкой пришлю, – молвил Марко Данилыч Чубалову. – С ним товар-от и отпусти.

Пошел было Смолокуров из лавки вон, но у дверей на ворох подержанных книг гражданской печати наткнулся.

– Это что у тебя за хлам такой? – спросил он Чубалова.

– Да так... Всякая всячина, разрозненные больше. А впрочем, есть хорошие книжки, – молвил Герасим Силыч.

– А я и не знал, что ты беззастежными (Беззастежными раскольники зовут книги не духовного содержания, переплетаемые обыкновенно без застёжек.) торгуешь, – заметил Смолокуров.

– Не торгую, а есть, – отвечал Чубалов. – А ежели под руку что попадет, отчего же и не взять. И на них ину пору охотники бывают...

Посмотрел Марко Данилыч, видит – одни не при нем писаны (На иностранных языках.), другие что-то больно мудрены... Несколько путешествий попалось, историй. Вспомнил, что Дунюшкин учитель такие советовал ей покупать, вспомнил и то, что она их любит. Отобрал дюжины две, спросил у Чубалова:

– Что возьмешь?

– Все чехом берите – уступлю, – молвил Чубалов, небрежно переглядывая отобранные Смолокуровым книги.

– Сколько всех-то? – спросил Марко Данилыч.

– За сотню наберется, – отвечал Чубалов.

– Сколько станешь просить? – прищурясь и похлопывая ладонью по книгам, спросил Смолокуров.

– А вы что пожалуете? – в свою очередь, спросил Герасим Силыч.

– Рублик.

– Что это вы, Марко Данилыч? – усмехнулся Чубалов. – По копейке за книгу, да еще и помене того жалуете! Нет, сударь, ежели теперича на подвертку свечей их продать аль охотникам на ружейны патроны, так и тут больше пользы получишь. Дешевле пареной репы купить желаете!..

Ведь тоже какие ни на есть книги... Тоже бумага, печать, переплет... Помилуйте!..

– Да что тебе в них? Место ведь только занимают... С ярманки поедешь, за провоз лишни деньги плати, вот и вся тебе польза от них, – говорил Марко Данилыч, отирая о полы сюртука запывившиеся от книг руки. – Опять же дрянь все, сам же говоришь, что разрознены... А в иных, пожалуй, и половины листов нет.

– Не все же без листов, не все и разбиты; есть тоже и цельные, – сказал Чубалов. – И много занятных книжек тут. Вот вы как-то мне говорили, что любите путешествия по разным землям на досуге почитывать. Вот вам «Омаровы путешествия» две части, – говорил Герасим Силыч, хлопнув книга о книгу. – А вот вам и «Путешествие молодого Костиса». Вот, коли в угод, театральная, вот и романы (Грамотное простонародье и даже захоластное чиновничество, особливо вышедшее из семинарий, всегда говорит роман вместо роман. И это идет с прошлого века. Некто из духовных отец, в прошлом еще столетии писал, впрочем, «келейне», что следует говорить «роман», дабы отличить название богомерзкого писания от христианского имени Роман.).

«Садовник городской и деревенский», по части цветков, значит, а вот «Коновал городской и деревенский» – книга полезная, ежели у кого лошадка захворает... «Торжество благодеяния» («Омаровы путешествия», 2 части. Москва, 1819, и «Путешествия молодого Костиса», Спб, 1801. Обе мистического содержания. Сочинение Эккартсгаузена. Остальные книги прошлого столетия, не мистические.).

Все полезные книги, занимательные. А французских-то сколько! Может, из них которые и редкостные. Ежели на знающего человека – так хорошие деньги можно взять.

– Мне их и даром не надо. На кой шут?.. Кому читать-то? – сказал Марко Данилыч.

– Это уж ваше дело, – молвил Чубалов, продолжая вынимать книгу за книгой. – А все ж таки хоша книга и французская, ее за копейку не купишь. Кого хотите спросите...

– Да ты говори толком, настоящую, значит, цену сказывай, – прервал его Смолокуров.

– Рубликов двадцать надо бы за весь-от короб получить, – склонив немножко на сторону голову и смотря прямо в глаза Марку Данилычу, вполголоса промолвил Герасим Силыч.

– С ума ты спятил? – вскрикнул Смолокуров и так вскрикнул, что все, сколько ни было в лавке народу, обернулись на такого сердитого покупателя. По двугривенному хочешь за дрянь брать, – нимало тем не смущаясь, продолжал Марко Данилыч. – Окстись, братец!.. Эк что вздумал!.. Ты бы уж лучше сто рублей запросил, еще бы смешней вышло... Шутник ты, я вижу, братец ты мой... Да еще шутник-от какой... На редкость!

– Какая же ваша-то настоящая цена будет? – спросил Чубалов.

– Сказана цена, полушки не накин, – отвечал Марко Данилыч.

– За десять рубликов извольте получать, ежели угодно... – сказал Чубалов.

– Нет, брат, видно с тобой пива не сварить, да и мне не время у тебя проклажаться. Щи, говорю тебе, простынут... Прощай, Герасим Силыч... Так я около вечерень за иконами-то пришлю. С запиской. Без записки никому не отдавай.

И пошел было вон из лавки.

– Да купите книжки-то, Марко Данилыч, – удержал его Чубалов. – Поверьте слову, хорошие книжки. С охотника, ежели б подвернулся – втрое бы, вчетверо взял... Вы посмотрите «Угроз Световостоков» («Угроз Световостоков», 30 небольших книжек, сочинения Юнга Штиллинга, Спб, 1806-1816. Мистическая.) – будь эти книжки вполне, да за них мало бы двадцати рублей взять, потому книги редкостные, да вот беда, что пять книжек в недостатке... Оттого и цена им теперь другая.

Снова пошли торговаться и долго торговались. Наконец, Марко Данилыч весь короб купил, даже с французскими. «В домашнем обиходе на что-нибудь пригодятся, – сказал он. – Жаль, что листики маловаты, а то бы стряпухе на пироги годны были».

В купленном коробе нашлось довольно мистических книг, выходивших у нас в екатерининское время и особенно в начале нынешнего столетия. Тогда не только печатались переводы Бема, Ламотт-Гион, Юнга Штиллинга, Эккартсгаузена, но издавался даже особый мистический журнал «Сионский вестник».

Все это хоть и было писано языком затемненным, однако в большом количестве проникало в

полуграмотное простонародье. Городские и деревенские грамотеи читали те книги с большой охотой, нравилось им ломать голову над «неудобь понимаемыми речами», судить и рядить об них в дружеских беседах, толковать вкривь и вкось. В искреннем убеждении полагали грамотеи, что, читая те книги, они проникают в самую глубину человеческой мудрости. И теперь еще можно найти в каком-нибудь мещанском или крестьянском доме иные из тех книг, ставших большой редкостью. Особенно эти книги держатся у молокан да у приверженцев разных отраслей хлыстовщины. Иные, начитавшись тех книг, вступали в «корабли людей божиих» (Так называются общины хлыстов.). Хлыстовские учителя и пророки, в иступленных своих речах и в писанных сочинениях, ссылались на те книги (Например, Василий Радаев, христос арзамасских хлыстов, в 1849 году писал к приходскому священнику села Мотовилова, ссылаясь на «сочинения госпожи Гион». У хлыстов московских, рязанских, калужских, самарских находили названные здесь книги, а также: «Облако над святилищем» Эккартсгаузена, Спб, 1803, ". «Ключ к тайнствам натуры», его же, 4 части, сочинение, имевшее два издания в Петербурге в 1804, 1820 и 1821 годах. «Тоска по отчизне», сочинение Юнга Штиллинга, в переводе Дубянского, Спб. 1816. «Победная повесть», также Юнга Штиллинга, Спб. 1815. «Изъяснение на апокалипсис» г-жи Гион, Москва, 1816, и другие. У молокан те книги также в большом почете.).

Начитавшиеся «Сионского вестника» образовали даже особую секту «Сионскую церковь» или «Десных христиан». Эти десные христиане зовутся также и «лабзинцами», по имени издателя того журнала, сосланного в Симбирск.

Привез Марко Данилыч короб на квартиру и тотчас Дуню позвал. Вышла она к отцу задумчивая, невеселая.

– Что ты все хмуришься, голубка моя?.. Что осенним днем глядишь? – с нежностью спрашивал у дочери Марко Данилыч, обнимая ее и целуя в лоб. Посмотрю я на тебя, ходишь ты ровно в воду опущенная... Что с тобой, моя ясынька?.. Не утай, молви словечко, что у тебя на душе, мое сокровище.

– Скучно, тятенька... Домой бы скорее, – склоняя русую головку на отцовское плечо, тихо, грустно промолвила Дуня.

– Послезавтра беспременно выедем, – глядя дочь по головке, сказал Марко Данилыч. – Да здесь-то с чего на тебя напала скука такая? Ни развеселить, ни потешить тебя ничем невозможно... Особенных мыслей не держишь ли ты каких на уме?.. Так скажи лучше мне, откройся... Али не знаешь, каково я люблю тебя, мою ластушку?

– Знаю, тятя, знаю, – крепко прижимаясь к отцу, вполголоса молвила Дуня.

– Зачем же таишься? Верно, есть что-нибудь на душе, – заботливо говорил Марко Данилыч, смущенный словами дочери.

– Ничего нет, – потупя глаза, ответила Дуня. – Просто так, скучно...

– А я тебе от скуки-то гостинца привез, молвил Марко Данилыч, указывая на короб. – Гляди, что книг-то, – надолго станет тебе. Больше сотни. По случаю купил.

Недоверчиво взглянула Дуня на закрытый короб. Речи Марьи Ивановны о книгах припомнились ей. Однако же велела перетащить короб к себе в комнату.

Только что отобедали, Дуня за книги. Стала разбирать их.

«Французская, еще французская, – откладывая первые попавшиеся под руку книги, говорила она сама с собой... – Может быть, тут и такие, про которые Марья Ивановна поминала... Да как их узнаешь? И как понять, что в них написано?.. „Удольфские таинства“, роман госпожи Коттень... Роман!»

И с отвращением бросила в сторону книгу. «Опять роман, опять... опять, – продолжая кидать в угол книги, думала Дуня. – И на что это тятенька накопил их?.. Яд, сети, раскинутые врагом божиим. – Так говорила Марья Ивановна... В руки не возьму их!.. Выкинуть либо в печке сжечь!.. Праху чтоб от них не осталось!.. Комедия, комедия – все театральные... Такие же!.. Была я в театре, глядела, слушала... И там все про нечистую любовь говорится... Вот тетенька-то Дарья Сергеевна говорит, что театр поставлен бесам на служенье... Верно это она говорит, верно.. Сама Марья Ивановна то же скажет... Да, бесы, бесы, враги божи!.. Они, они!..»

И полетели в угол театральные книги.

«Домашний лечебник»... Эта пригодится, ежели кто занеможет когда... «Полная поваренная книга», – отдам тетеньке, ей пригодится... «История Елизаветы, королевы Английской», – можно будет прочитать... «Лейнард и Термилд, или Злосчастная судьба двух любовников...» (Книги, напечатанные в конце прошлого столетия.).

Молча разорвала книгу и молча метнула обрывки ее под диван.

"Зачем накопил таких? Зачем?.. Книги все пагубные!.. От врага!.. Грешно и в руки их брать... Это еще что? Путешествия, – ну, вот это хорошо, за это тятя спасибо... Путешествие в Западную Индию, – прочитаю... «Путешествие г. Вальяна... с картинками».

И, взглянув затем на одну книгу, вскочила со стула и вскрикнула от радости. «Путешествие младого Костиса»... Хвалила ту книгу Марья Ивановна.

И тотчас принялась за чтение. Прочла страницу, другую – плохо понимает. «Ничего, ничего, – бодрит себя Дуня, – Марья Ивановна говорила, что эту книгу сразу понять нельзя, много раз она велела читать ее и каждое слово обдумывать».

До позднего вечера просидела она над Костисом. И с тех пор и дни и ночи стала Дуня просиживать над мистическими книгами. По совету Марьи Ивановны, она читала их по нескольку раз и вдумывалась в каждое слово... Показалось ей, наконец, будто она понимает любезные книги, и тогда совсем погрузилась в них. Мало кто от нее с тех пор и речей слышал. Марко Данилыч, глядя на Дуню, стал крепко задумываться.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Среди холмов, ложбин и оврагов, середь золотистых полей и поросших кудрявым кустарником пригорков, меж тенистых рощ и благовонных сенных покосов, верстах в пятидесяти от Волги, над сонной, маловодной речкой, по пологому склону горы больше чем на версту вытянулась кострикой и пеньковыми оческами заваленная улица с тремя сотнями крестьянских домов. Дома все большие, высокие, но чрезвычайно тесно построенные. Беда, ежели вспыхнет пожар, не успеют оглянуться, как все село дотла погорит.

Дома стареньки, зато строены из здорового унжинского леса и крыты в два теса. От большой улицы по обе стороны вниз по угорам идут переулки; дома там поменьше и много беднее, зато новее и не так тесно построены. Во всем селенье больше трехсот дворов наберется, опричь келейных рядов, что ставлены на задах, ближе к всполью. В тех келейных рядах бобыльских да вдовьих дворов не меньше пятидесяти.

На самом верху горы большая каменная пятиглавая церковь стоит. Старинной постройки она, – помнит еще дни царя Алексея Михайловича... Видно, что в старые годы была она богата, но потом обедняла до нищеты и вконец обветшала. Зеленая черепица на главах вполовину осыпалась, железна крыша проржавела, штукатурная облицовка облезла, карнизы, наличники, сандрики (Сандрик – карнизик над окном.) и узорочный кафельный вокруг церкви пояс обвалились, от трех крылец, на кувшинных столбах с висячими арками, уцелело только одно, на колокольне березка выросла. Вокруг церкви грязная базарная площадь, обстроенная деревянными низенькими, ветхими лавчонками. Кроме такого «гостинного двора», стоят на той площади два старых каменных дома: в одном волостное правление, в другом – белая харчевня. И в том и в другом доме зимой, сколько дров ни жги – вода мерзнет. Под горой вдоль речки в два ряда тянутся кузницы, а на горе за селом к одному месту скупилось десятков до трех ветряных мельниц. Не для размолы муки, не для обдирки крупы, не для битья конопляного масла ставлены те мельницы, – рыболовные уды точат на них.

Село Миршенью зовется, оно казенное, а в старые годы бывало «вотчиной дома Жывоначальные троицы и преподобного Сергия, Радонежского чудотворца», самого крупного во время оно русского помещика, владевшего больше чем ста тысячью душами крепостных крестьян. Земля при Миршени добрая, родит хорошо, но на тысячу душ ее маловато.

К тому же земли от села пошли клином в одну сторону, и на работу в дальние полосы приходится ездить верст за десяток и дальше, оттого заполья (Заполье – самые дальние полосы пахотной земли.) и не знали сроду навоза, оттого и хлеб на них плохо родился. Промыслами миршен-

ские мужики кормятся отхожими и домашними. Из бедных кто в бурлаки идет, кто на Низу на ловецких ватагах работает, кто в самарских степях пшеницу жнет либо гурты скота в верховые города прогонять нанимается. Которые и позажиточнее, те сами голов по тридцати крупного скота да по сотням баранов на ярманке у Ханской ставки скупают, мясо продают по базарам, а зимой мороженое отвозят в Ростов и Ярославль на продажу.

Сало топят, кожи да овчины выделывают. Другие денежные люди осенью ездят в Уральск и Саратов и там, накупив коренной рыбы, развозят ее зимой по деревням. А которые за наживой на сторону не отлучаются, те дома два промысла знают – сети для низовой рыбной ловли вяжут да уды для нее же работают. Бабы треплют коноплю, прядут ее вместе с мужиками и вяжут сети от одноперстника до ладонника (Одноперстник – сеть с мелкими ячейками в палец величиной, ладонник – с крупными ячейками в ладонь.).

Кто подостаточнее, те проволоку тянут из железа и раздают ее односельцам на выделку рыболовных уд. Эти секут ее на жеребье и мальчишкам да подросткам дают оттачивать на ветряных мельницах, устроенных с особыми точильнями. С Покрова до вешнего Николы все мальчишки лет от десяти до пятнадцати, с раннего утра до поздней ночи, оттачивают жеребейки, взрослые глянчат (Глянчить – наводить лоск, полировать.) их и гнут на уды. Большие уды, что зовутся «кованцами», что идут на белугу и весят по пяти да по шести фунтов каждая, кузнецы куют на кузницах.

Так кормятся миршенцы, но у них, как и везде, барыши достаются не рабочему люду, а скупщикам да хозяевам точильных мельниц, да тем еще, что железо сотнями пудов либо пеньку сотнями возов покупают. Работая из-за низкой платы, бедняки век свой живут ровно в кабале, выбиться из нее и подумать не смеют.

Ропшут на судьбу миршенцы и так говорят: "Старики нам говаривали, что в годы прежние, когда прадеды наши жили за монастырщиной, житье всем было привольное, не такое, какое нам довелось. Доброе было житье и во всем изобильное. И пахоты богатство (Вместо богатство в Нижегородской губернии и ниже по Волге народ говорит богатство, богатство и богасство.), и лугов вдоволь, и лесу руби не хочу, сукрома (Сукром – то же, что сусек, закрот – отгороженный в анбаре ларь для ссыпки зернового хлеба.) в анбарах от хлеба ломаются, скирды да одонья ровно горы на гумнах стоят, года по три нетронутые, немолоченные.

И птицы и животные в каждом доме водилось с залишком, без мясных щей никто за обед не садился, а по праздникам у каждой хозяйки жарилась гусятина либо поросятина. В лесу свои бортевые ухажья (Бортъ – колода, выдолбленная вверх стоящего на корню дерева для пчеловодства. Бортовой ухажей – место в лесу, где наделаны борти.), было меду ешь, сколько влезет, брага да сычёны квасы без переводу в каждом доме бывали. Да, деды живали, мед да пиво пивали, а мы живем и корочки хлеба порой не сжуем; прадеды жили – ни о чем не тужили, а мы живем – не плачем, так ревом". Про старые годы так миршенцы говаривали, так сердцем болели по былым временам, вспоминая монастырщину и плачась о ней, как о потерянном рае. «Не нажить прошлых дней, – они жалобились, – не светить на нас солнышку по-старому».

Так говорили, не зная монастырских порядков, не помня ни владычных десятильников, ни приказчиков, ни посельских старцев, ни тиунов, что судили и рядили по посулам да почестям... Славил миршенцы старину, забывши доводчиков, что в старые годы на каждом шагу в свою мошну собирали пошлыны.

Славил монастырщину, не зная, не ведая о приказных старцах и монастырских слугах и служебниках (Приказчик управлял монастырскою вотчиной, посельский старец из монахов вел монастырское хозяйство в том или другом селе либо в целой вотчине, он же заведовал и полевыми работами крестьян, мельницами и пр. Тиун, тивун – судья, назначаемый монастырскими властями для судных разбирательств в освобожденных от светского суда вотчинах.), что саранчой налетали и все поедали в вотчинах. И того не помнили миршенцы, как тиуны да приказчики с их дедов и прадедов, опричь судных пошлын, то и дело собирали «бораны». Кто из дома в дом перешел на житье, готовь «боран перехожий», кто хлеб продал на торгу, «спозём» подавай, сына выделил – «деловое», женил его – и с князя и с княгини (Князь и княгиня – новобрачные.) «убрусный алтын», да, кроме того, хлеб с калачом; а дочь замуж выдал – «выводную куницу» плати. А доводчикам да недельщикам (Недельщики – те же доводчики, но исправлявшие должности не постоянно, а поне-

дельно. Вроде нонешних сотских и десятских при станowych квартирах.), что ни ступил, то деньги заплатил: вора он поймал – плати ему «узловое», в кандалы его заковал – плати «пожелезное», поспоришь с кем да помиришься – и за то доводчику выкладывай денежки, плати «заворотное».

До сих пор в Миршени за базарными лавками поросший лопухом и чернобыльником пустьрь со следами заброшенных гряд и погребных ям – «Васьяновым правежом» (Правеж – взыскание недоимок и вообще долга посредством истязаний. Били батогами, пока не заплатит.) зовется.

Тут во дни оны стоял монастырский двор, а живали в нем посельские старцы, и туда же наезжали чернцы и служебники троицкие. На том дворе без малого сорок годов проводил трудолюбивую жизнь свою преподобный отец Вассиан, старец лютой из поповского рода. Сильной и грозной рукой все сорок лет над Миршенью он властвовал. Перед самыми окнами чернической кельи своей смиренный старец каждый день, опричь воскресенья, перед божественной литургией людей на правеж становил, батогами выбивая из них недоимки. Вымучивал старец немалые деньги и в свой карман, а супротивников в погребах на цепь сажал и бивал их там плетью и ослопьем (Ослоп – дубина, кол), а с неимущих, чтоб насытить бездонную утробу свою, вымогал платежные записи (Платежная записка – по-нынешнему заемное письмо, вексель.).

Зачастую бывало, что святой отец пьяным делом мужиков и ножом порол. От Васьяновой тесноты (Теснота – в старину означало, что нынешнее слово притеснение. Посулы, почести, приносы – взятки, гостинцы, поборы. Доводчики – низшие монастырские слуги, так называвшиеся служебники (ныне служки) из непостриженных, исправлявшие разные полицейские обязанности в монастырских вотчинах, сыщики и судебные следователи, находившиеся в распоряжении приказчиков или посельских старцев и получившие в свою пользу особо установленные пошлыны, именно езд – прогоны по деньге за две версты, в случае поездки доводчика за ответчиком или за свидетелем; хоженое – по одной и по две деньги по окончании дела; ссадное, или заворотное – при окончании тяжёбного дела мировую, пожелезное – за наложение оков на ответчика и за караул его – по две деньги в сутки за человека, узловое, или вязчее – за арестование воров и убийц с поличным. Приказчик вместе с доводчиком получал смотреное – за осмотр людей убитых, раненых, избитых; выводную куницу – с девок, выдаваемых в замужество; убрусный алтын – с новобрачных: явочное – с нанимавших работников. Приказчик или тиун вместе с доводчиком получали ротное или верное с тяжущихся, прибежавших для решения дела к присяге; жеребейное – если спор решался вынугием жеребья, кроме того еще разные пени (штрафы). Приказчик или тиун без раздела с доводчиком получал в свою пользу: судное или правый десяток – за производство суда по тяжбе с виновного по цене иска (пять процентов), боран (от слова «брать»); межевой – если дело шло о повреждении межевых знаков; полевой, дворовый, огуменный, огородный, поженный – когда спор был о поле, о дворе, гумне, пожне; переносный – ежели кто перепахивал чужие пожни; потравной – если дело шло о потраве; перехожий – за переход на жительство из села в село или из дома в дом; стожарное и спозем – пошлыны с крестьянина при продаже им сена или хлеба; деловое – пошлина при выделе отцом детей или при разделе; кроме того, пошлыны за пиры, за братчины и пр.), боя и увечья крестьяне врознь разбегались, иные шли на Волгу разбои держать, другие, насильства не стерпя, в воду метались и в петле теряли живот.

В Миршени за каменным трактиром, что прежде бывал тож монастырским двором, есть местечко за огородом, «Варламовой баней» зовется оно. Миршенские бабы да девки баню ту не забыли: в попреках подругам за разгульную жизнь и теперь они ее поминают. Под самый почти конец монастырщины в доме том проживал посельский старец честный отец Варлаам. Распалем бесами, искони века сего прю со иноки ведущими и на мирские сласти их подвигающими, старец сей, предоставляя приказчикам и доводчикам на крестьянских свадьбах взимать убрусные алтыны, выводные куницы и хлебы с калачами, иные пошлыны с баб и с девок собирал, за что в пятнадцать лет правления в два раза по жалобным челобитьям крестьян получал от троицкого архимандрита с братиею памяти (Память – письмо, предписание.) с душеполезным увещанием, о еже бы сократил страсти своя и проводил жизнь в трудах, в посте и молитве и никакого бы дурна на соблазн православных чинить не отваживался...

Сохранился у миршенцев на памяти «пожар Нифонтов», когда на самую Троицу все село без

остатку сгорело. Схмень (Сухмень – сухая погода, продолжительное бездождие.) стояла, трава даже вся пригорела, и в такое-то время, в самый полдень поднялась прежестокая буря, такая, что дубы с корневищем из земли выдирали. А тут, спасенным делом обедню да лежащую на листу вечерню (В троицын день вечерня поется после обедни безрасходно... На вечерне читаются молитвы с коленопреклонением, а в старину лежат ниц, с «травками», говоря по старине, то есть с цветами в руках. При лежанье ниц «травы» клались под лицо молящимся. Отсюда выражения «лежать на листу» и «лежащая на листу вечерня», иногда просто «лежащая вечерня») отпевши, посельский старец Нифонт с дорогими гостями, что наехали из властного монастыря, – соборным старцем Дионисием Поскочиным, значит барского рода (В старину монахи из дворян сохраняли и в иночестве родовые фамилии, означавшиеся и в официальных бумагах, например: Авраамий Палицын, Симой Азарьян, Игнатий Римский-Корсаков, Георгий Дашков и пр. В XVIII столетии и не дворяне монахи стали писаться с фамилиями, но не в официальных бумагах, но это уже не имело и теперь не имеет ни малейшего значения.), да с двумя рядовыми старцами, да с тиуном, да с приказчиком и с иными людьми, – за трапезой великий праздник пятидесятницы справляли да грешным делом до того натянулись, что хоть выжми их. Во хмелю меж ними свара пошла, посельский с соборным старцем драку учинили – рожи друг у друга рвали, брады исторгали, за честные власы и в келарне и в поварне по полу друг дружку возили. Все было как следует быть по монастырскому обычаю. Гости от хозяев не отставали, и они одни пошли на других, и сталась боевая свалка и многое политие крови. В такое шумное время, богу попускающе, паче же врагу действующу, возгорелся Нифонтова поварня и от огненного прещения во всей Миршени ни кола, ни двора не осталось. Преподобный же отец Нифонт, спасая от пламени туго набитую кубышку, огненную смертью живот свой скончал. Оттого тот пожар «Нифонтовым» и до наших дней зовется.

Знали все это по преданьям миршенцы, а все-таки тужили и горевали по монастырщине, когда и пашни, и покосов, и лесу было у дедов в полном достатке, а теперь почти нет ничего.

Васьянов правож, Варламова баня, Нифонтов пожар, полузабытые дела минувших лет не возбуждали в миршенцах столь тяжких воспоминаний, как Орехово поле, Рязановы пожни да Тимохин бор. Правож чернобылью порос, от бани следов не осталось, после Нифонтова пожара Миршень давно обстроилась и потом еще не один раз после пожаров перестраивалась, но до сих пор кто из церкви ни пойдет, кто с базару ни посмотрит, кто ни глянет из ворот, у всякого что бельмы на глазах за речкой Орехово поле, под селом Рязановы пожни, а по краю небосклона Тимохин бор. Все эти уголья, теперь чужие, заказные, в старые годы миршенскими были. Пахали миршенцы Орехово поле, косили Рязановы пожни, в Тимохин бор по дрова да по бревна въезжали безданно, беспошлинно. И все то было во дни монастырщины.

Когда у монахов крестьян отбирали, в старых грамотах сыскано было, что Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохин бор значились отдельными пустошами. Даваны они были дому Живоначальные троицы иными вкладчиками, а не тем, что на помин души дал Миршень с коренной землей. Оттого и поле, и пожни, и бор в казну отошли, а спустя немного время были пожалованы полковнику Якимову за раны и увечья в войне с турками.

И до сей поры оставались они в роде Якимова. Невтерпеж стало миршенцам смотреть, как якимовские мужики пашут Орехово поле и косят заливные луга на Рязановых пожнях. Почасту бывали бои жестокие. Только что придут якимовские на пожню, вся Миршень с дубьем, с топорами да с бердышами на них высыплет. И в тех боях бывали увечья, не мало бывало и смертных убийств. Суд наедет, миршенских бойцов из девяти десятого кнутом отобьют, в Сибирь сошлют, остальных перепорют розгами. Спины заживут, а как новое сено поспеет, миршенцы опять за дубье, опять пойдут у них с якимовцами бои не на живот, а на смерть. И сколько в Миршень начальства ни наезжало, сколько мужикам законов ни вычитывали, на разум они прийти не могли. Одно, бывало, твердят: «Отцы наши и деды Орехово поле потом своим обливали, отцы наши и деды Рязановы пожни косили... Наши те уголья – знать ничего не хотим».

Больше десяти годов бывали такие бои около летнего Кузьмы Демьяна на Рязановых пожнях, а потравам в Ореховом поле и лесным порубкам в Тимохином бору и счету не было – зараз, бывало, десятинами хлеб вытравливали, зараз сотнями деревья валили. От штрафов да от пеней, от платы за порубки и потравы, от воинского постоя, что в такое разбойное село за наказание стави-

ли, вконец обеднели миршенцы. Село обезлюдело – много народу в Сибирь ушло. Стало в Миршени хоть шаром покати. Тогда только унялись дубинные и топорные споры, зато начались иные бои – не колом, а пером; не кровь стали проливать, а чернила. Сколько просьб было подавано, сколько ходоков в Петербург было послано, а все-таки дело не выгорело, только пуще прежнего разорились миршенцы. Когда же пришлось им сумы надевать да по миру за подаяньем брести, они присмирели.

Смирились, а все-таки не могли забыть, что их деды и прадеды Орехово поле пахали, Рязановы пожни косили, в Тимохином бору дрова и лес рубили. Давно подобрались старики, что жили под монастырскими властями, их сыновья и внуки тоже один за другим ушли на ниву божью, а Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохин бор в Миршени по-прежнему и старому и малому глаза мозолили. Как ни взглянут на них, так и вспомнят золотое житье дедов и прадедов и зачнут роптать на свою жизнь горе-горькую.

Тихо, спокойно жили миршенцы: пряли дель, вязали сети, точили уды и за дедовские угожья смертным боем больше не дрались. Давние побоища остались, однако, в людской памяти: и окольный и дальний народ обзывал миршенцев «головотяпами»... Иная память осталась еще от старинных боев: на Петра и Павла, либо на Кузьму Демьяна каждый год и в начале сенокосов в Миршени у кузниц, супротив Рязановых пожней, кулачные бои бывали, но дрались на них не в дело, а ради потехи.

Из-за трех верст якимовские мужики на те бои ровно на праздник прихаживали. Всеми деревнями поднимутся, бывало, с бабами, с девками, с малыми ребятами. Миршенцы, пообедавши, все поголовно, опричь разве старых старух, вырядятся в праздничную одежду и спешно выходят на подугорье (Подугорье, подгорье – полоса под горой.) гостей встречать. Молодые парни в красных кумачовых либо ситцевых рубахах, в смазанных чистым дегтем сапогах, с княгининскими (В городе Княгинине, Нижегородской губернии, особенно в подгородных слободах его весь народ шьет шапки да картузы.) шапками набекрень, кружками собираются на луговине.

Девушки и молодичицы в ситцевых сарафанах, с шерстяными и матерчатыми платочками на головах, начинают помаленьку «игры заводить». Громкие песни, звуки гармоник, игривый говор, веселый душевный смех, звонкие клики разносятся далеко. Люди степенные садятся ближе к селу под самой горой. В их кружках одна за другой распиваются четвертухи и распеваются свои песни. Особыми кружками на зеленой мураве сидят женщины и друг друга угощают городецкими пряниками (Из села Городца на Волге. Городецкие пряники славятся в Поволжье больше, чем вяземские или тульские.) да цареградскими стручками, щелкают калены орехи – либо сладкие подсолнухи.

Каждый год на этом гулянье ровно из земли вырастал разносчик. У него на подводе всегда много ящиков, расставляет, бывало, он их и раскладывает деревенские лакомства; и внакладе никогда не остается. Мальчишки и подростки борются либо играют: кто в козны, кто в крегли, кто в чиж, кто в лапту (Козны – бабки, известная и самая обычная игра деревенских мальчишек. Крегли, или городки: тонкие, круглые столбики, вершка в четыре вышиною, ставятся рядами, их сшибают издали палками. Чиж – заостренная с обоих концов палочка в четверть длины; бьют чиж по концу, он летит вверх, его подбивают на воздухе. и он летит дальше. Лапта – игра в мяч.), с гиком, с визгом, с задорными криками. Но вот голосистая бойкая молодичица выходит из толпы, весело вкруг себя озирается и, ловко подбоченясь, заводит громким голосом «созывную» песню:

Собирайтесь, девицы,
Собирайтесь, красные,
На зелен на лужок.
Собирайтесь, девицы,
Собирайтесь, красные.
Во един во кружок.

И девицы и молодницы дружно подтягивают запевалке:

На травке-муравке, рвите цветочки,

Пошли в хоровод!

Пошли в хоровод!

В хороводе веселитесь,

По забавушкам пуститесь,

Песни запевайте,

Подружек собирайте!

Пошли в хоровод!

Пошли в хоровод!

Запоемте, девки, песню нову,

Нашу радость хороводу!

В хоровод, в хоровод!

Пошли в хоровод!

Собрались девицы, подошли к ним молодцы, но стали особым кружком. В хороводе песню за песней поют, но игра идет вяло, невесело. Молодица, что созывную песню запевала, становится середь хоровода и начинает:

Как нам, девушки, хоровод собирать.

Как нам, красны, ионы песни запевать?

Хоровод продолжает:

Диди ладо, диди ладушки!

Вы, подруженьки любимые,

Вы, красавицы забавницы,

Сходятесь на лужок,

Становитесь во кружок.

Диди ладо, диди ладушки!

Вы сцепитесь все за ручки,

Да примите молодцов!

Приходите, молодцы, во девичий хоровод,

Выходите, удалые, ко красным во кружок,

Диди ладо, диди ладушки!

В пары становитесь – сохи собирать,

В пары, в пары собирайтесь – пашеньку пахать.

Пашеньку пахать, сеять бел ленок,

В пары, в пары, в пары, во зеленый во садок.

Диди ладо, диди ладушки!

Гурьба молодцов к хороводу идет. Тихо, неспешно идут они охорашиваясь. Пары в круг становятся. Тут и миршенские и якимовские. Вместе все весело, дружно играют.

Вот середь круга выходит девица. Рдеют пышные ланиты, высокой волной поднимается грудь, застенчиво поникли темные очи, робеет чернобровая красавица, первая по всей Миршени невеста Марфуша, богатого скупщика Семена Парамонова дочь. Тихо двинулся хоровод, громкую песню запел он, и пошла Марфуша павой ходить, сама беленьким платочком помахивает. А молодцы и девицы дружно поют:

Как на кустике зеленом

Соловеюшко сидит,

Звонко, громко он поет,

В терем голос подает,

А по травке, по муравке

Красны девицы идут.

А котора лучше всех -

Та сударушка моя.

Белым лицом круглоличка

И наряднее всех.

Как Марфушу не признать,

Как милую не узнать?

Лётом влетает в круг Григорий Моргун, самый удалой молодец изо всех якимовских. В ситцевой рубаше, синь кафтана болоком (Одеваться болоком – надевать одежду внакидку.), шляпа с подхватцем, к тулье пристегнуты павлиньи перышки. Красавец Григорий из богатого дома, из тысячного, два сына у отца, две расшивы на Волге. Идет Гриша, улыбается – редко шагает, крепко ступает – знать сокола по полету, знать молодца по выступке. Подходит он к Марфуше, шляпу снимает, низко кланяется, берет за белые руки красавицу, ведет за собой. Сильней и сильней колыхнется девичья грудь, красней и красней рдеют щеки Марфуши... Вот глаза подняла – и всех осияла, взглянула на молодца – сама улыбнулась. А хоровод песню свою допевает:

Признавал, узнавал

Гриша молодец удал,

За рученьку ее брал,

От подруг прочь отзывал,

Полой ее одевал,

При народе целовал.

И под эти слова Гриша, накинув на Марфушу полу кафтана, целует ее в уста алые. Первый силач, первый красавец, изо всех деревень якимовских, давно уж Гриша Моргун в чужой приход стал к обедням ходить, давно на поле Ореховом, на косовице Рязановой, чуть не под самыми окнами Семена Парамоныча, удалой молодец звонко песни поет, голосистым соловьем заливается... Не свивать гнезда соловью на высоком дубу – не видать тебе, Гриша Моргун, Марфы Семеновны женой своей. Казенный тысячник за барского дочери не выдаст, хоть гарнцами ему отсыпай золотую казну.

Песня за песней, игра за игрой, а у степенных людей беседа живей да живей. Малы ребятки, покинувши козны и крегги, за иную игру принялись. Расходились они на две ватажки, миршенская становилась под горой задом к селу, одаль от них к речке поближе другая ватажка собиралась – якимовская.

Стали якимовские супротивников на бой вызывать. Засучив рукава и сжав кулачки, мальчишки лет по тринадцати шагнут вперед, остановятся, еще шагнут, еще остановятся и острыми тоненькими голосками, нараспев клич выкликают:

– Камча камча, маленьки! Камча, камча, маленьки! То – вызывной клич на бой (Камча – собственно плеть, нагайка, а также удар, битье – слово татарское, употребляемое русскими в восточных губерниях, особенно в Оренбургской, Уфимской, Казанской, Самарской. Это же слово служит и кликом на кулачных боях. В иных местах на боях это слово несколько искажается: вместо камча кричат качма.).

Спешным делом миршенские парнишки в ряд становились и, крикнув в голос «камча!», пошли на якимовских. А те навстречу им, но тоже с расстановками: шагнут – остановятся, еще шагнут – еще остановятся. Близо сошлись бойцы-мальчуганы, но в драку покуда не лезут, задорнее только кричат:

– Камча, камча, маленьки!.. Камча, камча, маленьки!

Мало повременя, стали мальцы друг на дружку насакивать, но это еще только заигрыши... (Заигрыши – заигрыванье, задиранье, затрогиванье шутками.) Вот, наконец, с якимовской стороны выступает паренек лет двенадцати, удалой, задорный, забиячливый, недаром старостин сын. Зовут его Лёска Баран. Засучив рукавишки, тряхнув белыми, как лен, волосенками, низко нагнув голову, ястребенком ринулся он на миршенских. Подбежал, размахнул ядреными ручонками ровно две тростинки подрезал двух мальчуганов, а потом, подняв важно голову, к своим пошел. Не вставая с земли, зажмуря глаза, раскрыв рты, сбитые с ног мальчуганы хотели было звонкую ревку задать, по стоявшие сзади их и по сторонам миршенские подростки и выростки (Подросток – от 14 до 16 или 17 лет, выростки – от 17 до 19.) окрысились на мальцов и в сердцах на них крикнули:

– Не смей визжать, заревыши! (Заревыш – кто начинает реветь. Зарев – начало рева.). Охота реветь – ступай к матери...

Стихли ребятенки и, молча поднявшись с земли, стали глаза утирать кулачками. Ватажки своей они не покинули. Нельзя. И мальчикам неохота срама принимать. А хуже того срама, что с боя сбежать, нет и никогда не бывало. Житья после не будет и от чужих и от своих.

Лёска Баран стал впереди своей ватаги, молодецки подбоченился и гордо поглядывал на миршенских. А те языки ему высовывают, выпевают, вычитывают:

Лёска дурак
Повадился в кабак.
Там его били,
Били, колотили
Во три дубины.
Четвертый костыль
По зубам вострил,
Пята дубина
По бокам возила,
Шесто колесо
Всего Лёску разнесло,
По всем городам,
По всем сёлкам, деревням.

Глазом не моргнул Лёска на задорные, обидливые напевы миршенских парнишек. Стоит на месте, ровно в землю врос, стоит, а сам охорашивается: «Глядите, дескать, на меня, каков я богатырь уродился». Не стерпел того Васютка Черныш из миршенских. Подобрал пестрядинные, домотканые штанишки, подтянув пояс и засучив рукава сарпинковой косоворотки, маленький, пузатенький, но сильный и смелый Васютка, сверкая исподлобья темно-карими глазенками и слегка переваливаясь с ноги на ногу, мерным, неспешным шагом выступал на якимовских. Те в голос ему:

Требухан, требухан,
Съел корову да быка,
Овцу, яловицу.
Пятьдесят поросят,
Девяносто утят.

Не серчает Черныш, не ругается, не его будто бранят, не его корят. Был он на ногу скор, на походку легок, напускался на ватажку якимовскую, пошел косить направо и налево – мальчуганы вокруг него так и валятся. Тут Лёска Баран наспех выскакивал, ниже пояса склонял белокурую курчавую голову, со всех ног на Васеньку бросился, хочет его с копыт долой, да Васютка Черныш тут увертлив был – вбок отскочил, Лёску как сноп повалил, сел верхом на него... Тут начинался задорный бой, смешались миршенские с якимовскими, давай колотить друг друга направо... Дрогнули ребятки миршенские, смяли их якимовские, погнали с луговицы в село.

Тут миршенские подростки и выроски засвистали громким посвистом, созывали товарищей выручать своих маленьких.

– Камча! – крикнули они якимовским подросткам.

– Камча! – отвечали якимовские.

И те и другие спешно в ряды становились, крепко плечом о плечо упирались и, сжав кулаки, пошли стена на стену. Тут уж пошел прямой и заправский бой (Заправский – настоящий, неподдельный, нешуточный.).

А побитые парнишки с синяками на скулах бегом к отцам, к матерям силой, удалью своей хвастаться. Маленьких бойцов похваливают, по головкам их поглаживают, одевают орехами да пряниками. У Лёски Барана да у Васютки Черныша полны подолы орехов, рожков и подсолнухов.

А хороводы идут своим чередом, играют там песни (Вместо «петь песни» часто говорят «играть песни») по-прежнему. Вот в середь круга выступает молодой рослый парень. Алешей звать, Мокея Сергеева сын. У отца у его две мельницы-точильни возле Миршени стоят. Русые кудри, искрометные очи, сам чистотел, белолиц, во всю щеку румян; парень – кровь с молоком, загляденье. В ситцевой голубой рубахе, опоясан шелковым алым поясом, сапожки со скрипом, шапка на ухо,

скосырем (Скосырь – щеголь, а дальше от Волги на восток слово это значит надменный, нагловатый человек.) московским глядит. Величаво приосанившись, важно в хороводе он похаживает, перед каждой девицей становится, бойко, зорко с ног до головы оглядывает, за руки, за плечи потрогивает. И на то молодицы с девицами песню поют ему:

Что по гридне князь,
Что по светлой князь,
Наше красное солнышко похаживает,
Что соколий глаз,
Молодецкий глаз,
На малых пташек – на девиц – он посматривает.
Что у ласточки,
У касаточки,
Сизы крылья – у красных белы руки он потрогивает.
Парчевой кафтан,
Сапожки сафьян,
Золоту казну, дорогих соболей им показывает.
Веселым лицом
Да красным словцом.
Мысли девичьи светлый князь разгадывает.
Не мани нас, князь,
Не гадай нас, князь,
Наше красное солнышко, незакатное,
Не златой казне,
А твоей красе
Ретивы сердца девичьи покоряются:
Ты взгляни хоть раз,
Ты вздохни хоть раз,
Любу девицу выбирай из нас.

Становился Алеша Мокеев перед Аннушкой Мутовкиной. Была та Аннушка девица смиренная, разумная, из себя красавица писаная, одна беда – бедна была, в сиротстве жила. Не живать сизу орлу во долинушке, не видать Алеше Мокееву хозяйкой бедную Аннушку. Не пошлет сватовьев спесивый Мокей к убогой вдове Аграфене Мутовкиной, не посватает он за сына ее дочери бесприданницы, в Аграфенином дворе ворота тесны, а мужик богатый, что бык рогатый, в тесны ворота не влезет.

Бой подростков меж тем разгорается. Старые люди степенные встают с луговины посмотреть на свою молодежь, удалых бойцов похваливают, неудатных подзадоривают:

– Дерись, дерись, ребяташки!.. Плохо станете драться, невест не дадим.

Кипит рукопашная... Не одними кулаками молодцы работают, бьются ногами и коленками, колотят зря по чем ни попало, лежачего только тронуть не смеют – таков закон на кулачных боях. Возрастные парни из хоровода поглядывают, крепко ль их сторона держится, не пора ль и им выходить на подмогу, на выручку. Един по единому покидают они круг девичий, выходят на бой ради своей молодецкой потехи... Разгорелась потеха, рассыпались бойцы по лугу, а красные девицы, ровно спугнутая лебединая стая, без оглядки понеслась под угорье – там старики, люди пожилые, молодицы и малолетки, стоя гурьбами, на бой глядят.

Не смолоченный хлеб на гумне люди веют, не буён ветер, доброе зерно оставляя, летучую мякину в сторону относит, – один за другим слабосильные бойцы поле покидают, одни крепконогое, твердорукие на бою остаются. Дрогнула, ослабела ватага якимовская, к самой речке миршенцы ее оттеснили. Миршенские старики с подгорья радостно кричат своим:

– Молодцы! молодцы!.. Меси их!.. Катай!.. Вали в реку!

Всей силой наперли миршенские; не устоять бы тут якимовским, втоптали бы их миршенцы в грязную речку, но откуда ни возьмись два брата родных Сидор да Панкратий, сыновья якимовского кузнеца Степана Мотовилова. Наскоро стали они строить порушенную стену, быстро рас-

ставили бойцов кого направо, кого налево, а на самой середке сами стали супротив Алеши Мокеева, что последний из хоровода ушел, – больно не хотелось ему расставаться с бедной сироткою Аннушкой.

– Алеша!.. Родимый!.. Постой за себя – ломи их, голубчик! – кричат старики с подугорья.

Не слышит Алеша громких их кликов, помнятся ему только тихие, нежные речи Аннушки, что сказала ему на прощанье, когда уходил он из хоровода: «Алеша, голубчик, не осрами себя. Попомни мое слово, желанный...»

И в хороводах и на боях везде бывал горазд Алеша Мокеев. Подскочил к одному Мотовилкову, ткнул кулаком-резуном в грудь широкую, падал Сидор назад, и Алеша, не дав ему совсем упасть, ухватил его поперек дебелыми руками да изо всей мочи и грянул бойца о землю.

– Хоть ты и кузнец, а сам-от, видно, не железный, – громко на весь народ похвалился Алеша. А Сидорушку одолела скорбь несносная, стало ему за обиду великую, что Мокеев сломил его, бросил на землю, ровно цыпленка, и теперь еще над ним похваляется. Не до того было Панкратью, чтоб вступить за брата: двое на него наскочило, один губы разбил – посыпались изо рта белые зубы, потекла ручьем алая кровь, другой ему в бедро угодил, где лядвея в бедро входит, упал Панкратий на колено, сильно рукой оземь оперся, закричал громким голосом: «Братцы, не выдайте!» Встать хотелось, по померк свет белый в ясных очах, темным мороком покрыло их. Тут, засучив рукава, влетел в середину стены красавец Григорий Моргун, ринулся он на миршенцев и пошел их косить железной своей пятерней. Дружно, крепко стали якимовские, всей силой пошли напирать на миршенских. Держалась сельщина только богатырской силой да ловким умением Алеши Мокеева; но подбежал Григорий Моргун, крикнул зычным голосом:

– Камча, сельщина, камча, дельщина! (Работающие дель – пряжу и сети.). И сквозь кипящие боем ватаги пробился к Алеше Мокееву. Не два орла в поднебесье слетались – двое ярых бойцов, самых крепких молодцов грудь с грудью и лицом к лицу сходились. Не железные молоты куют красное железо каленое – крепкорукие бойцы сыплют удары кулаками увесистыми. Сыплются удары, и чернеют белые лица обоих красавцев. Ни тот, ни другой набок не клонится, оба крепко на месте стоят, ровно стены каменные.

Стоны, дикие крики, стукотня кулачных ударов и громкая ругань носятся над луговиной и сливаются в один страшный гул. Всюду искаженные злобой, окровавленные, свирепые лица, рассеченные скулы, вспухшие губы, расшибленные руки и груди.

Во время самого разгара боя подошел к бойцам старый Моргун, якимовский тысячник. Шапкой махая, седыми кудрями потряхивая, кричит изо всей мочи он сыну любезному:

– Выручай, Гришутка!.. Выручай, золотой!.. Меси супротивников!

Услыхал отцовский приказ Григорий Моргун – и больше стало валиться миршенцев от тяжелых его ударов. Как стебли травяные ложатся под острой косой, так они направо и налево падают на мать сыру землю. Чуть не полстены улеглось под мощными кулаками Гришиными.

Тут на него, как жестокая буря, налетел Алеша Мокеев. Разом поднялись два страшных кулака, разом грянули – Гриша Моргун на сажень отлетел, но устоял на твердых ногах, а у красавца Алеши подломились колена, назад он подался. Не садовый мак, от дождя тяжелея, набок клонит головку, тяжело склоняется на траву-мураву Алешина буйна голова. Пал навзничь, протянул руки к товарищам, но ни слова не вымолвил... Куда девалась твоя сила, Алеша?.. Где твои крепкие руки, где твои быстрые ноги? Пластом лежит красавец на зеленой траве, обливая ее горячею кровью.

Пал Алеша, и одолела сила якимовская. Ровно овечье стадо вогнала она миршенцев в село, и на улице еще долго колотила их.

Все остались живы, но все обессилели: кто без руки, кто без ноги, у кого лицо набок сворочено. Ночь кроет побоище и разводит бойцов по домам.

Каждый год на зелён покос потешные бои у миршенцев с якимовскими бывали. А кроме того, зимой каждый праздник от Крещения до крестова воскресенья (Крестово воскресенье – третье

воскресенье великого поста.) кулачные боя бывали, но прежней вражды между ними не бывало. Жили в миру да в добром ладу, как подобает добрым соседям. Роднились меж собой: с охотой миршенцы брали якимовских девок – добрые из них выходили работницы, не жаль было платить за них выводное (Выводное – плата за позволение крепостным и удельным девкам и вдовам выходить замуж за стороннего. Обыкновенно брали рублей по 20 за девку и рублей по 10 – 15 за бездетную вдову. Во многих казенных селениях общества также брали выводное, но оно в мирские суммы не поступало, а обыкновенно пропивалось.), но своих девок за якимовских парней не давали.

Не то кручило отцов и матерей, что их детище барской работой завалят, того они опасались, не вздумал бы барин бабенку во двор взять. Еще пуще боялись, чтоб крестьян не продал на вывоз он, либо не выселил в дальние вотчины – не видать тогда дочки до гробовой доски, не знать и ей ни рода, ни племени, изныть и покончить жизнь на чужой стороне.

Про былую тяжбу из-за пустошей миршенцы якимовским словом не поминали, хоть Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохин бор глаза им по-прежнему мозолили. Никому на ум не впадало, во сне даже не грезилось поднимать старые дрязги – твердо помнили миршенцы, сколько бед и напастей из-за тех пустошей отцами их принято, сколь долго они после разоренья по миру ходили да по чужим местам в наймитах работали. Но вдруг ровно ветром одурь на них нанесло: заквасили новую дёжу (Дёжа – кадка, в которой квасят и месят тесто на хлебы, то же, что квашня.) на старых дрожжах.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Раз летом в страдную пору, с котомкой за плечьями, с седой, щетинистой, давно не бритой бородой, с серебряным Егорьем и тремя медалями на шинели, проходил по Горам старый, но рослый и крепкий солдат. К Волге служивый путь свой держал, думал сплыть водой до Перми, а оттоль на своих на двоих в Сибирь шагать на родину. Отслужив двадцать пять лет богу и великому государю и получив «чистую» (Отставку.), пробирался он тысячи за четыре верст от полка своего. Никого из сродников не чаял встретить он на родине, а все-таки хотелось старому служаке хоть разок еще полюбоваться на родные поля, побродить перед смертью по родным лесам, на церковном погосте поклониться могилкам родителей, а по времени и самому там лечь.

Поутру на самый Ильин день приходил он в Миршень, день был воскресный, базарный – праздник, значит, тройной. Пришел служивый в село в самый благовест к обедне. Никуда не заходя, ни с кем ни слова не молвя, прямо в церковь он и стал у правого крылоса. Положив к сторонке котому и поставив в уголок походный посошок фунта в два весом, взошел он на крылос и стал подпевать дьячкам да поповичам, что на летнюю побывку пришли из семинарии. Заслушались солдата православные, даже сам поп выслал из алтаря дьякона узнать, что за знатный такой певчий у них в Миршени проявился. А церковный староста, мужик богатый и тороватый, нарочно подошел к служивому осведомиться: кто он, откуда и куда путь-дорогу держит. Служивый на все дал ответ, а на спрос, отчего петь столь горазд, сказал, что больше двадцати годов в полковых певчих находился, и тут же попросил позволенья «Апостол» прочитать. Сказали попу, тот благословил, как зачал солдат густым басом забирать громче да громче, так все диву дались, а церковный староста даже на корточки присел от сердечного умиленья. А когда солдат повел под конец: «Илия человек бе подобострастен нам», так в окна стекла задрожали, а по церкви такой гул пошел, что бабы подумали, не сам ли Илья-пророк на туче едет. А на крылосе дьячок да пономарь так рассуждали с поповичами.

– Ну голосина! – молвил дьячок.

– В любой собор в протодьяконы! – подтвердил пономарь.

– Наш архиерейский Ефрем в подметки ему не годится – козел перед ним, просто смрадное козлище! – жиденьким голоском промолвил один из поповских сыновей.

– Э, дернуть бы ему «многая лета» али «жена да боится своего мужа» – вот бы потешил! – тряхнув головой, сказал пономарь, но не договорил – подошло время «аллилуйю» петь.

Церковный староста после обедни зазвал к себе служивого ильинской нови поесть, ильин-

ской баранины покушать, ильинского сота отведать, на ильинской сололке – деревенской перинке – после обеда поспать-подремать (Ильинская новь (нова, новина) – хлеб из первосжатых снопов. На востоке России, особенно в северо-восточных губерниях, к Ильину дню режут барана и часть его относят в церковь для освящения, как кулич и яйца на Пасху. Это – моленый кус. В Вятской губернии его зовут жертвой, большая часть этой жертвы поступает попом. По другим местам режут барана на Петров день. Первый ильинский сот – бывает на Илью-пророка, тогда ульи заламывают, бывает ранняя подрезка сотов. Ильинска сололка – деревенска перинка – свежая солома, оставшаяся от молотбы снопов для ильинской нови.). Служивый поблагодарил и хотел было взвалить котому на старые плечи, но староста того не допустил, сыну велел солдатское добро домой отнести.

Винца да пивца служивый у старосты выпил, щец с солониной похлебал, пирога поел с грибами да ильинской баранины, полакомился и медком. Пошли после того тары да бары, стал служивый про свое солдатское житье-бытье рассказывать.

– Тяжела служба-то ваша солдатская? – утирая рукавом слезы, умильно промолвила старостиха. У нее старший сын пять годов, как в солдаты пошел, и два года не было о нем ни слуху ни духу.

– Как кому, – отвечал служивый. – Хорошему человеку везде хорошо, а ежели дрянь, ну так тут уж известное дело...

– А все-таки тяжело, чать, и хорошему-то, – пригорюнясь, молвила старостиха.

– Ничего, – ответил служивый. – Вся наша солдатская наука в том состоит: стоп – не шатайся, ходи – не спотыкайся, говори – не заикайся, колен не подгибай, брюха не выставляй, тянись да прямись, вбок не задавайся и в середке не мотайся. Вот и все. А насчет иного прочего, так уж не взыщи, матушка. Известно – расейский солдат промеж неба на земле мотается, так уж ему на роду писано. Три деньги тебе в день – куда хочешь, туда и день, сыт крупой, пьян водой, помирай как умеешь, только не на лавке под святыми, а в чистом поле, под ясным небом.

Зарыдала старостиха, вспомнивши старшенького. Представилось ей, что лежит он, сердечный, на поле под небесами, а кровь из него так и бежит, так и бежит.

И, когда служивый улегся в клети на мягкой ильинской соломе, развязала она походную его котому и, сколько было в ней порожнего места, столько наложила ему на дорогу и хлеба, и пирогов, и баранины, что от обеда осталось, картошки в загнетке (Загнеток, или загнетка – то же, что по иным местам горнушка, печурка, бобурка, нароток – зауголок с ямкой налево от шестка русской печи, куда загребают жар и золу.) напекла, туда же сунула, луку зеленого, стручков гороховых первого бранья, даже каленых орехов, хоть служивому и нечем было их грызть.

Наполнив съестным котому, добрая старушка набожно перекрестилась. Все одно, что тайную милостыню на окно бобылке положила (Тайная милостыня очень распространена на Горах. Ночью подходят тихонько к избе бедняка и на подоконье кладут кусок хлеба либо что другое из съестного, потом, несколько раз перекрестившись, тихонько удаляются. Иные набожные старушки, кладя правою рукой тайную милостыню, левую руку прячут под передник либо в рукав шубы, чтоб она не видала, что правая рука делает. Есть секта (из хлыстовских), последователи которой тайную милостыню называют «ангелом женского пола». Случается, нередко, что положенная на подоконник милостыня делается добычей собак. Если подавший о том спроведает, непременно подаст новую. Прежняя, значит, богу не угодна была.).

Хозяин с гостем маленько соснули. Встали, умылись, со сна бражки напились, и позвал староста солдата на беседу возле кабака. Пошли.

Базар уж разъехался; десяти порожних возов не оставалось на засоренной всякой всячиной площади. Иные после доброго торгу кто в кабаке, кто в трактире сидел, распивая магарычи с покупателями, но больше народа на воле по селу толпилось. Жар свалил, вечерней прохладой начало веять, и честная беседа человек в сорок весело гуторила у дверей кабака. Больше всего миршенцев тут было, были кое-кто из якимовских, а также из других деревень. Сам волостной голова вышел на площадь с добрыми людьми покалякать.

Не все же дела да дела – умные люди в старые годы говаривали: «Мешай дело с бездельем – с ума не сойдешь». Про голосистого солдата беседа велась. В церкви у обедни народу в тот день

было не много: кого базарные дела богу помолиться не пустили, кто старинки держался – раскольничал, но все до единого знали, каков у прохожего «кавалера» голосок – рывкнет, успевай только уши заткнуть... Подошел и кавалер с церковным старостой, со всеми поздоровался, и все ему по поклону отдали. Присел на приступочке, снял фуражку, синим бумажным платком лицо отер.

– Отколь, господин служба, бог несет? – ласково, приветливо спросил волостной голова.

– Из Польши идем, из самой Аршавы, – ответил служивый.

– А путь куда держишь? – продолжал расспрашивать голова.

– Покамест до Волги, до пристани, значит, – сказал кавалер.

– Ну, эта дорога недалняя, – молвил голова. – До пристани отсель и пятидесяти верст не будет. А сплыть-то куда желаешь? В Казань, что ли?

– Какая Казань? – усмехнулся служивый. – В Сибирь пробираемся, ваше степенство, на родину.

– Далеко ж брести тебе, кавалер, – с участием, покачав головой, сказал голова.

– Отсель не видать! – добродушно усмехнулся служивый.

– Что же? Сродники там у тебя?

– А господь их знает. Шел на службу, были и сродники, а теперь кто их знает. Целый год гнали нас до полков, двадцать пять лет верой и правдой богу и великому государю служил, без малого три года отставка не выходила, теперь вот четвертый месяц по матушке России шагаю, а как дойду до родимой сторонushки, будет ровно тридцать годов, как я ушел из нее. Где, чать, найти сродников? Старые, поди, подобрались, примерли, которые новы народились – те не знают меня.

– Зачем же такую даль идешь? – спросил волостной голова.

– Эх, ваше степенство, – молвил с глубоким вздохом старый солдат. – Мила ведь сторона, где пупок резан, на кого ни доведись; с родной-то стороны и ворона павы красней... Стар уж я человек, а все-таки встосковались косточки по родимой земле, хочется им лечь на своем погосте возле родителей, хочется схорониться во гробу, что из нашей сосны долблен.

– Вестимо, – сказал голова. – Не то что человек, и конь рвется на свою сторону, и пес тоскует на чужбине.

– Ну, а в Польше-то каково житье? – спросил плешивый старик, что рядом с солдатом уселся. – Сынок у меня там в полках службу справляет. Тоже, чать, тоскует, сердечный, по родимой сторонushке.

– Что Польша! – махнув в сторону рукою, молвил с усмешкой служивый. Самая безначальная сторона!.. У них, в Польше, жена мужа больше – вот каковы там порядки.

– Значит, бабы мужьями владеют! – с удивленьем вскрикнул плешивый. Дело!.. Да что ж мужья-то за дураки? Для че бабье не приберут к рукам?

– С бабьем в Польше сладу нет, никоим способом их там к рукам не приберешь, – отвечал кавалер. – Потому нельзя. Вот ведь у вас ли в Расеи, у нас ли в Сибири баба мужика хоша и хитрее, да разумом не дошла до него, а у них, у эвтих поляков, бабы и хитрей и не в пример умнее мужа. Чего ни захотела, все на своем поставит.

– Ну, сторона! – о полы хлопнув руками, молвил плешивый. – Жены мужьями владеют!.. Это ведь уж самое распоследнее дело!

И вся беседа подтвердила слова плешивого.

– И ты смотри, кавалер, нашим-то бабам про это не сказывай, усмехаясь, молвил рослый старик с широкой белой бородой. – Ежели узнают, тотчас подол в зубы – и драло в Польшу, некому тогда будет нам и рубахи стирать.

Захохотала во все горло беседа.

– А что, кавалер, тяжеленька служба-то ваша? – спросил голова.

– Как тебе сказать?.. Пошел на службу, потерпи и нужду, без того нельзя, – отвечал солдат. – А ежели держишь себя строго и нет за тобой никакого художества, не пропадешь и в солдатстве. Особливо ежели начальство доброе, солдата, значит, бережет... Вот у нас полковой был – отец родной, двадцать лет с годами довелось мне у него под командой служить: ротным был, потом ба-

тальянским, после того и полковым – во все двадцать лет слова нехорошего я от него не слыхивал. И любили же его мы все... Перед самой моей отставкой помер он, сердечный... Весь полк, братцы, ровно бабы, воймя по нем выл... Да, таких командиров, как был наш господин Якимов, пожалуй, теперь во всей государевой армии не осталось... Дай ему бог царство небесное!

– Якимов, говоришь? А как его по имени да по батюшке звали? – спросил тот же плешивый, что про Польшу расспрашивал.

– Петром Александрычем, – отрывисто молвил и быстро махнул рукавом перед глазами, будто норовясь муху согнать, а в самом-то деле, чтобы незаметно смахнуть с седых ресниц слезу, пробившуюся при воспоминанье о добром командире. – Добрый был человек и бравый такой, – продолжал старый служака. – На Кавказе мы с ним под самого Шамиля ходили!..

– Не наш ли это? – молвил плешивый. – И наш ведь тоже Петр Александрыч, и тоже полковник, тоже в Польше стоял, и на Кавказе воевал. Ему тогда и оброк туда высылали...

– Высокий такой, из себя чернявый, кудрявый, – сказал солдат.

– На вотчине он у нас николи не бывал, мы его отродясь не видавали, а что Петр Александрыч и что в Польше стоял и на Кавказе воевал – это верно. А полк-от, где служит, Московским прозывается. В тот полк теперь и оброк ему посылаем в польский город Аршаву.

– Он самый и есть, – сказал служивый. – И вот вспомнилось мне теперь, что сам я слыхал, как господин полковник, царство ему небесное, в разговорах с господами офицерами поминал, что у него есть вотчины где-то на Волге.

– Да вот отсель с поля на поле, – молвил плешивый, протянув руку к якимовским деревням. – Так вот оно что! Значит, барин-от наш жизнь кончил. Что же – царство ему небесное – жили мы за ним, худа никогда не видали. Милостивый был господин. Лет десять тому недород был у нас, а на другой год хлеб-от градом выбило, а потом еще через год село выгорело, так он кажинный год половину оброка прощал, а пожар у кого случится, овин либо баня сгорит, завсегда велит леску на выстройку дать. Хороший барин, нечего сказать, добрая душа.

– Значит, и барин хороший и командир хороший, – заметил служивый. Кому ж теперь-то вы достанетесь? – спросил он немного погодя у плешивого.

– Нешто деток не осталось? – спросил плешивый.

– Ни единого, – отвечал солдат. – Барыня у него года три померла, и не слышно, чтоб у него какие сродники были. Разве что дальние, седьма вода на киселе. Барыниных сродников много. Так те поляки, полковник-от полячку за себя брал, и веры не нашей была. А ничего – добрая тоже душа, и жили между собой согласно...

Как убивался тогда полковник, как хоронил ее, – беда!

– Кому ж мы теперича достанемся? – сказал в раздумье плешивый.

– Найдутся наследники, – молвил волостной голова, – не сума с котомой, не перья после бабушки Лукерьи, не от матушки отопочки, не от батюшки ошметочки, целая вотчина осталась. Молитесь богу, достались бы такому же доброму.

– Навряд такой отыщется, – угрюмо крутя седой ус, промолвил служивый. Таких господ, как полковник Якимов, не вчастью бывает.

– А ежели сродников не отыщется, тогда мы кому?.. – сказал плешивый. Выморок-от (Выморок – выморочное имение.) на мир ведь идет. Стало быть, и у нас все угодыя миру достанутся?

– Выморок идет на мир только у крестьян, – сказал волостной голова. Дворянским родам другой закон писан. После господ выморок на великого государя идет. Царь барскому роду жаловал вотчину, а когда жалованный род весь вымрет, тогда вотчина царю назад идет. Такой закон.

Значит, будем государевыми, казенными то есть, как вы, миршенские, – молвил плешивый.

– Там уж как присудят, – решил голова. – Ваше дело теперь не шумаркать, а тихо да смирно выжидать, какая вам линия выпадет. Вот что!..

– А все же таки со знающими людьми не мешает покалякать, – сказал плешивый.

– Отчего же со знающими людьми и не покалякать? – молвил голова. – Это можно. Только вот вам совет мой: оброков не задерживайте, управляющего слушайте, а зачнете возиться да гомозиться – до беды недалеко.

– Это так, это как есть самое настоящее дело, – мотнув головой, поддакнул служивый.

Опять тары да бары. Четвертуху на крылечко кабака вынесли, распили, за другой послали. Стало еще веселее, еще говорливей. Кавалер рассказывал про разные места, где ему бывать довелось, да все с прибаутками, и всю беседу морил он со смеху. Говорил про хитрого немчина, что на русском хлебе жирно отъедается, а сам без шутки и с лавки не свалится – ноги тонки, глаза быстры, а хвостиком шлеп-шлеп, шлеп...

Рассказывал про литвина колдуна, про шведа, нерублену головушку, про Финляндию, чертову сторонушку (Солдаты Финляндию зовут «чертовой сторонушкой» за ее каменья. По их поверью, теми каменьями черти играли, но когда преподобные Варлаам и Герман принесли на остров Валаам честной крест, черти перепугались, в воду побросались; а камни, как они играли, так и остались.), что вся каменьем поросла, про крымского грека, малосольного человека, что правду только раз в году говорит да сейчас же каяться к попу бежит в великом своем согрешении. Рассказывал служивый и про то, как первого татарина свинья родила, отчего татары свинины не едят, родной бабушкой боятся оскормиться.

А первого черемиса, уверял кавалер, лешего жена родила, оттого черемисы и живут в лесу. И про русских немало болтал балагур, да все чинно таково и степенно, глазом не моргнет, бровью не шевельнет, ни на самую крошечку не улыбнется. Говорил он, рассказывал, ровно маслом размазывал, как стояли они в Полтаве, в городе хохлацком, стоит город на горе, ровно пава, а весь в грязи, ровно жаба, а хохлы в том городе народ христианский, в одного с нами бога веруют, а все-таки не баба их породила, а индюшка высидела – из каждого яйца по семи хохлов.

Оттого и глуп хохол, а все-таки пальца ему в рот не клади, вороны глупей, зато черта хитрей, поверить ему можно только с опаской: соврать не соврет, да и правды не скажет, а сам упрям, как бык али черт карамышевский. Рассказывал служба про глупую Вязьму, что в пряниках увязла, про бестолковый Дорогобуж, про смольян-польскую кость, что на наших годах собачьим мясом обросла. Говорил про елатомцев-бабешников, про морщанцев-сомятников, что заодно с кадомцами-целовальниками сома в печи ловили.

Рассказывал бывалый солдатушка про мордву толстопятую тамбовскую, про темниковцев-совятников, что в озере сову крестили, гайтан с крестом на нее надели, крещёна сова полетела, на церковный крест села, да там на гайтане и удавилась, а темниковцы за то воеводе поплатились, со двора по двадцати алтын за давлену сову царев слуга сорвал.

Рассказывал кавалер и про ливенцев, что губернатора с саламатой (Саламата – жидкий пресный кисель из какой угодно муки.) встречали, повезли ему навстречу с каждого двора по корчаге да мост и обломили. Говорил солдат и про знатный град Севск, как там поросенка на насест сажали, а сами приговаривали: «Цапайся, цапайся, поросеночек, – курочка о двух лапках, да и та держится, а у тебя четыре» (Чуть не каждому городу и многим селам и деревням исстари даны подобные затейные прозванья. Их гораздо больше тысячи. Некоторые вошли в далевское «Собрание пословиц».).

Распотешил служивый рассказами своими и прибаутками весь мир-народ миршенский, весь мир-народ якимовский и мир иных сел и деревень. Напоили миры кавалера как следует, и сами нарезались ради хорошего случая. Церковный староста и ужином служивого угостил, позвал на ужин и голову с плешивым мужиком и еще кой-кого из приятелей. Пришли незваные, непрошенные поп с дьячком, дьякон с пономарем да ватага поповичей послушать высокогласного воина, коему сам Ефрем протодьякон в подметки не годится. И по усиленной их просьбе прохожий кавалер многолетие выкликивал, «Кто бог велий» выпевал и так проревел «Разумейте, языцы, и покоряйтесь», что перебудил всех соседей, а ребятишек до того исполошил, что с иными родимец приключился. Наутро честно проводили служивого. Тем же шагом, каким под турку, под венгерца и на горцев хаживал, зашагал он, направляя путь к пристани, чтобы плыть до Перми, а оттоль опять шагать да шагать до сибирской дальней родины...

С той поры по всем якимовским деревням пошли суды да пересуды, кому доставаться им по-

сле безнаследного барина. Поскорости исправник бумагу им вычитал, что ихний помещик в самом деле покончил жизнь и над вотчиной, пока не объявятся наследники, опека назначена. Года два прошло после этого, наследников нет как нет, пришла, наконец, бумага, делить якимовскую вотчину на пятнадцать долей. Именье пошло вразброд, и то якимовским мужикам пришлось не по нраву. А все-таки все у них шло тихо, смиренно, спокойно, за то в Миршени сыр-бор загорелся.

Мирно, полюбовно разделила стая наследников якимовское имение, бывшее в разных губерниях. Одному из них, какому-то и телом и умом жиденькому баричу, ни слова по-русски не знавшему, тщедушный свой век где-то на теплых водах в чужих краях изживавшему, доставались и Орехово поле, и Рязановы пожни, и Тимохин бор. Заморский выкидыш русской земли и взглянуть не захотел на свое наследство и прислал на Горы поверенного сбыть его с рук поскорей. На лес охотники тотчас же нашлись, купили на сруб, а на пашни да на луга покупателей не являлось. А наследник меж тем поверенному то и дело отписывает: «Продавай да продавай, за что хочешь отдавай, только деньги скорей высылай».

Жалко было якимовским с угодьями расставаться, однако ж они не очень тем обижались, потому что новые помещики их всех до последнего с барщины на оброк перевели и отдали под пахоту господские поля, что подошли под самые деревни. Зато в Миршени ни с того ни с сего сумятица поднялась.

Из службы ли выгнанный, отставной ли какой приказный незадолго перед тем поселился в Миршени у своего сродника волостного писаря. За хлеб, за соль, за тепло да за свет обещался он ему бумаги переписывать. А на пропой добывал деньги писаньем мужикам просьб по судам да пишем к сродникам, бывшим в солдатах либо на работах в Астрахани. Этот самый приказный в надежде на поживу и стал вбивать миршенцам в голову, что Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохин бор теперь по закону им должны поступить. «Жалованы были, – говорил он, – те пустоши господину Якимову в потомственное владение, а те господа, что теперь поделили его именье, ему не потомки; оттого пустошами им владеть и не следует, а следует владеть тому, кто, до пожалованья Якимова, хозяином над ними был, значит вашему миршенскому обществу».

Слушали миршенцы речи приказного, и показались они им верными, безотменными. Что якимовским пустошам по закону надо к ним отойти, стало для них делом видимым, ясным, как в синем небе солнышко красное. И по домам, и в кабаке, и на базаре только и толков пошло, что о пустошах. Стали сходки собирать и на них о том же судить да рядить...

Сколько волостной голова мужиков ни разговаривал, порешили-таки миршенцы просить начальство о возвращенье им выморочных пустошей. Выбрали ходоков, послали к окружному. Окружной обозвал их дураками и назад погнал. Воротились ходоки в Миршень – сейчас же сходку давай, а приказный тут уж похаживает да сам себе ухмыляется. "Судиться не богу молиться, – говорит он миршенским мужикам, – одними поклонами дела такого не сделаешь. Зачем с пустыми руками к окружному ходили? Руки-то у него не в кандалы ведь скованы. На что-нибудь они к плечам да подвешены..."

И того-то вы, люди разумные, в толк не сумели взять!" Так говорил подьячий, и советов его миршенский мир послушался... Почесали седые затылки старики, побряхтели, поохали, а денежки на мирское дело собрали и понесли окружному. Тот ходоков и мир не обидел, принося не отверг, но все-таки под конец беседы молвил им: «Пустое дело, старики, затеваете – не видать вам якимовской земли, как ушей своих». Старики его слову не вняли, других ходоков в Петербург послали там хлопотать и, ежели случай доведется, дойти до самого царя.

Не раз и не два миршенских ходоков из Петербурга по этапу назад выпроваживали, но миршенцы больше всякого начальства верили подьячему да его сроднику волостному писарю, каждый раз новые деньги собирали и новых ходоков в Петербург снаряжали. Кончилось тем, что миршенское общество обязали подписками об якимовских пустошах ни в каких судах не хлопотать, а подьячего с писарем за писанье кляузных просьб услатить в дальние города на житье. Тут миршенцы успокоились.

Пока они хлопотали, Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохин бор не продавались. Дальним было не с руки покупать, а ближние боялись потрав, захватов, разбоев на сенокосе да поджогов убранного хлеба. Когда же в Миршени все успокоилось, дошли вести, что Орехово поле, Ряза-

новы пожни и земли из-под Тимохина бора куплены помещицей не очень дальней деревни Родяковой, Марьей Ивановной Алымовой. И те вести объявились верными: месяца через полтора ее ввели во владение.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

За Ореховым полем, возле Тимохина бора, между двух невысоких, но как стены стоящих крутых угоров, и вширь и вдаль раскинулась привольно долина Фатьянка. Будто шелковый зеленый ковер, расстилается по ней сочная, мягкая мурава, испещренная несметным множеством цветов, сплошь покрывает ее. Извиваясь серебристой змейкой среди зеленеющей Фатьянки, бежит быстрый ручей. Вытекает он из родника, бьющего с необычной силой из-под каменного угора. Под тем родником вкопан в землю огромный дубовый чан, бог знает когда и кем сделанный. Переливаясь через край чана, вода светлым потоком течет по долине и выливается в речку под самой Миршенью.

Чудная вода в том чану: летом в жары так студена, что рука не терпит холода, а в трескучие морозы от нее, ровно из бани, пар столбом. Возле родника стоит деревянная ветхая часовенка, на ней старинный образ живоносного источника, а в заднем углу огромный дикарь (Гранитный валун, крепкий известняк или песчаник, годный на бут и на постройки, зовется дикарем.), песок из-под него вырыт чуть не наполовину. Это могила преподобного Фотина, жившего в давние времена в долине, по имени его названной Фотиновой. Со временем название переделали и стали называть долину попросту Фатьянкой. В летнюю пору, особенно по воскресеньям, сходятся туда богомольцы. Помолясь перед иконой живоносного источника, умываются они водой из чана и пьют ее ради исцеления от недугов, а потом берут песочку с могилы преподобного.

Теперь родник «Святым ключом» зовется, а прежде звали его «Поганым». Вот что старые люди про него рассказывают. Записи даже такие есть.

Когда жившие на Горах люди еще не знали истинного бога, у того родника под высоким кряковистым (Кряковистый дуб – кряжевистый, толстый, крепкий, здоровый. Слово, нередко встречаемое в былинах.) дубом своим богам они поклонялись. В урочные дни собирались они и справляли тут богомерзкую службу. И тогда в дубовых ветвях слышались бесовские гласы и кличи, и в очию всех являлись диавольские мечты и коби, а в долине и по всем угорам раздавались срамный шум, бесчинный толк, и рев, и зык, и львиное рыканье, и шип змииный. То бесы творили свои пакости на смущенье людей и на их погубление – возлюбили они, окаянные враги божии, то место и на нем воцарились. И ежели который человек, ведением или неведением, волей или неволею, хотя перстом единым прикасался к кряковистому дубу или омывался водой из «Поганого ключа», тем же часом распалялся он на греховную страсть, и оттого много скверны творилось в долине и в рощах, ее окружавших. Если же кто вкушал от воды, на того нападал темен облак бесовских мечтаний: становился тот человек людей ненавистником, скорым на гнев, на свару и на пролитие крови. Таковы в старые годы бывали в Фатьянке бесовские позоры и дьявольские наваждения.

Когда свет Христова учения осиял живущих в стране той, неведомо отколь пришел святой муж, преподобный отец Фотин. Срубил он у Поганого ключа келью и стал пребывать в ней пустынножительно. Постом и молитвой отогнал он супротивную силу, и поганое место стало святым. Гласит предание, и в старинных записях так записано: когда отец Фотин впервые пришел в бесовскую долину и, приступя к Поганому ключу ради утоления жажды, осенил его крестным знамением, возгремело в высоте слово божие, пала на землю из ясного неба палючая молонья и в мелкие куски расщепала кряковистый дуб.

Поганый ключ в один миг иссяк, и возле него из-под камня хлынул иной поток – цельбоносный. И назвали его «Святым ключом». С того дня просвещенные евангельским светом люди едиными усты и единым сердцем о преподобном Фотине исповедовали: «воистину божий человек сей!..»

Преподобный Фотин жил сначала один на Святом ключе. Дивясь знамениям, бывшим при его пришествии, никто из окольных не смел приближаться к нему. Великим и чудным казался им

преподобный – а он, проходя подвиг безмолвия, тщательно людей избегал. С кем, бывало, ни встретится, падет ниц и лежит на земле, пока от него удалятся. Многие годы прошли в таком от людей отчуждении, потом, умолен будучи слезными мольбами народа, да укажет ему прямой путь к правой жизни и к вечному спасенью, паче же памятуя словеса Христовы: «Грядущего ко мне не иждену», стал отец Фотин на дух принимать приходивших. Низенький, сгорбленный, венцом седин украшенный старец, в белом, как снег, балахончике (Балахон – летняя крестьянская холщовая одежда, халатного покроя, без боров назади. Солдатскую летнюю холщовую одежду называли по-немецки кителем, но народ знать не хочет немчины и зовет китель по-своему – балахоном.), в старенькой епитрахили, с коротенькой ветхой манатейкой на плечах, с холщовой лестовкой в руках, день и ночь допускал он к себе приходящих, каждому давал добрые советы, утешал, исповедовал, приобщал запасными дарами и поил водой из Святого ключа...

Как море-океан от концов до концов земли разливается, так слава об отце Фотине разнеслась по близким местам и по дальним странам. По малом времени в его долине поселились искавшие спасения благочестивые люди – и возникла невеликая обитель инок. Не желая пребывать на многолюдстве, скрылся преподобный неизвестно куда, но сряду пятнадцать годов приходил к ученикам своим на Пасху и дни живота скончал между ними в светозарную ночь воскресения. По завету преподобного, братия предала его тело земле возле Святого ключа и над могилой поставила часовенку.

По кончине Фотина насельники долины, один по другому, по разным местам разбрелись, но святое место пока не оставалось пусто. По челобитью властей Троице-Сергиева монастыря, Фотинова пустынь была приписана к их обители, а по времени окрестные села, деревни, леса, пожни, рыбные ловли, бобровые гоны были даны из дворовых волостей тому же монастырю на помин души царя Михаила Федоровича. Опричь того, разных чинов люди, владевшие землями и селами вокруг Фатьянки, отдавали их в дом Живоначальные троицы на помин родительских душ. Так достались богатейшему в России монастырю и Орехово поле, и Рязановы пожни, и Тимохин бор, и самое село Миршень с деревнями. Монастырские власти о селах и угодьях радели больше, чем о Фотиновой пустыни, и с той поры, как в Миршени завелись Васианы, Варлаамы да Нифонты, от обители преподобного только и остались ветхая часовенка с гробницей да чан с цельбоносной водой.

Спустя много лет жители окольных селений стали замечать в Фатьянке чудные какие-то сходбища. Летней порой по темным ночам тайком собирались туда человек по двадцати мужчин и женщин. Там они совершали какие-то странные действия. Ребятишки, водившие коней на ночную пастбу, говорили, что видали они, как эти люди в длинных белых рубахах пляшут вокруг Святого ключа, прыгают, кружатся, скачут и водят хороводы, только необычные. И про то ребятишки рассказывали, что слыхали они, как ночью в Фатьянке песни поют, – слов разобрать нельзя, а слышится голос песен мирских. По времени стали замечать, что в келейных рядах да в задних избах по иным деревням у старых девок в зимние ночи люди собираются будто на супрядки, крепко изнутри запираются, плотно закрывают окна ставнями и ставят на дворе караульных, а потом что-то делают втайне...

Слыхали, как они песни поют, слыхали какие-то дикие клики и топот ножной. И много чудились тому, и не знали, что думать о тех людях... То колдовством их дело почитали, то думали, что они справляют мерзкую службу бесам... А попы тех людей за приверженность к церкви весьма похваляли! Каждый из них всякий день бывал у обедни, у вечерни, у заутрени, каждый раза по четыре в году приобщался. Все до единого были они строгие постники, никто мяса не ел, никто хмельного в рот не брал, на свадьбы, на крестины, даже на похороны никто ни к кому не хаживал, ни с кем не ссорился, и каждому во всем старался угодить... Юродивые бог знает отколь к ним приходили, нередко из самой Москвы какой-то чудной человек приезжал – немой ли он был, наложил ли подвиг молчания на себя, только от него никто слова не слыхивал – из чужих с кем ни встретится, только в землю кланяется да мычит себе, а в келейных рядах чтут его за великого человека...

Не то пятнадцать, не то двадцать годов так велось в Миршени и в окольных селеньях. Вдруг наехали из Петербурга, накрыли тайное сходбище и всех бывших на нем увезли. Никто не воро-

тился... Тут пошли по народу слухи, что люди те от истинного Христа отреклись и к иному христу прилепились; но что это за новый христос, никто не знал и не ведал. А веру ихнюю с чего-то стали звать «фармазонскою»... Брали из Миршени в Петербург фармазонов давно, еще когда царица Екатерина русскую землю держала, оттого память о них почти совсем перевелась. Изредка лишь старики говорили, что про тех фармазонов они от отцов своих слыхали, но молодые мало веры словам их давали.

Вскоре после того, как Марью Ивановну ввели во владение пустошами, сама она приехала на новые свои земли. У миршенского крестьянина, что жил других позажиточней, весь дом наняла она. Отдохнувши после приезда, вздумала она объехать межи своего владенья. Волостной голова, двое миршенских стариков и поверенный вместе с нею поехали.

На вершине горы, что высится над Фатьянкой, Марья Ивановна вышла из коляски и с радостным видом посмотрела на испещренную цветами долину.

– Какое славное место! – сказала она. – Мое ведь оно?

– Ваше, сударыня, в вашем теперь владении, – отвечал голова. – Вся Фатьянка ваша, и Святой ключ тоже в вашей земле.

– Святой ключ? – переспросила Марья Ивановна.

– Святой, матушка, – сказал волостной голова. – По вере подает исцеления во всяких болезнях и недугах. Вон он, батюшка, в самом-то заду долины, где угоры-то сходятся. Видите часовенку? Возле самого Святого ключа она поставлена. Тут и гробница преподобного Фотина.

– Отца Фотина? – спросила Марья Ивановна. И голова рассказал ей, что у них говорят про отца Фотина и про Святой ключ. О фармазонах не помянул, не зная, правду ль о них говорят, или вздор один болтают.

Марья Ивановна поехала на Святой ключ и усердно молилась на могиле Фотина. Помолившись, сказала поверенному – Мне очень нравится это место. Маленькую усадьбу я тут построю – домик на случай приездов, – сказала Марья Ивановна.

– Летом тут ничего, – заметил голова, – а зимой совсем вас снегом занесет. Меж угоров такие сугробы бывают, что страсть.

– Ничего. И в сугробах люди живут, – улыбаясь, молвила Марья Ивановна, я же ведь летом стану сюда приезжать.

С неделю прожила Марья Ивановна в Миршени, распоряжаясь заготовкой леса и другого для постройки усадьбы. Уехала она, обещаясь поскорости прислать управляющего для найма плотников и надзора за стройкой. Каждый день угощала она новых соседей, поила миршенцев чаем с кренделями, потчевала их медом, пирогами с кашей, щедро оделяла детей лакомствами, а баб и девок дарила платками да ситцем на сарафаны; но вином никого не попотчевала. Иные, кто посмелее, и напрашивались было у нее на чарочку, но щедрая барышня им наотрез отказала, сердилась даже. Дивились тому, а пуще всего тому подивились, какая она постница, не то что хмельного, мясного в рот не берет.

Закипели работы в Фатьянке, и месяца через два саженьях в двадцати от Святого ключа был выстроен поместительный дом. Много в нем было устроено темных переходов, тайников, двойных стен и полов, жилых покоев в подвалах с печами, но без окон. И дом и надворные строения были обнесены частоколом с заостренными верхушками, ворота были только одни прямо перед домом, а возле частокола внутри двора насажено было множество деревьев и кустарников. Неподалеку от усадьбы с полдюжины крестьянских изб срубили.

Когда стройка была кончена, приехала Марья Ивановна на новоселье. С нею было человек двадцать прислуги, поселившейся внутри двора, обнесенного частоколом. Семь крестьянских семей, переведенных из симбирского поместья, заняли избы. Как только разместились все, тяжелые, железом окованные ворота усадьбы были заперты на три замка. Кто бы ни пришел, кто бы ни приехал, долго ему приходилось звонить в подвешенный у ворот колокол, пока выйдет, наконец, из

караулки привратник и после долгих опросов не впустил пришедшего.

Поселок был назван Фатьянкой. Так его и в губернских списках записали.

Проведя в Фатьянке три недели, Марья Ивановна поехала в Рязанскую губернию, к двоюродным братьям Луповицким. Верстах в сорока от Миршени свернула она с прямой дороги и заехала к Марку Данилычу Смолокурову.

Рад был такой чести Марко Данилыч; не веря глазам, бегом он выбежал из дома встречать знатную, почетную гостью и слов придумать не мог, как благодарить ее. Только что вошла в комнаты Марья Ивановна, вбежала радостная Дуня и со слезами кинулась в объятия неожиданной гостьи.

Подивились ее приезду и Марко Данилыч и Дарья Сергевна. Еще больше подивились они Дуниной радости. Почти целый год, с самого приезда от Макарья, никто не видал улыбки на ее миловидном, но сильно побледневшем лице. Мало кто слышал и речей. Всегда сумрачная, угрюмая, задумчивая, редко выходила она из своей спальни, разве только к обеду да к чаю; день-деньской сидела она над книгами. Похудел даже Марко Данилыч, глядя на дочь; ни журьба, ни ласки отцовские ее не трогали. Что бы ни говорили ей, она только молчала, вздыхала, а потом долго и неутешно плакала. Иной раз хоть и говорила с отцом, но ее речи были какие-то чудные, совсем ему непонятные. С сердечной болью стал Марко Данилыч придумывать, уж не тронулась ли в разуме дочка его ненаглядная. «Говорят же, – рассуждал он сам с собой, – говорят же, что люди Библии зачитываются и сходят от того с ума, может, и от других книг бывает не легче». Но сколько он ни советовал Дуне поменьше читать, его уговорам она не внимала... И другое иногда приходило на разум Марку Данилычу: «Девка на возрасте, кровь играет, замуж бы ее поскорей...»

И приезжали женихи, все люди хорошие, богатые, а из себя красавцы – двое из Москвы, один из Ярославля, один из Муромы... Ни с кем ни слова Дуня, а когда отец стал намекать ей, что вот, дескать, жених бы тебе, она напомнила ему про колечко и про те слова, что сказал он ей, даря его: «Венцом неволить тебя не стану, отдай кольцо волей тому, кто полюбится...» Ни слова в ответ не сказал ей Марко Данилыч...

Дарья Сергевна была иных мыслей: она думала, что Дуню испортили лихие люди, либо по ветру тоску на нее напустили, либо след у ней вынули... Но ни шепот причитаний над сонной Дуней, ни заговоры, ни умыванья с уголька, ни spryskivaniya наговоренной водой – ничто не помогало. Дуня видимо стала удаляться от доброй Дарьи Сергевны, хоть названная тетенька по-прежнему души в ней не чаяла... Вспомнил Марко Данилыч про Аграфену Петровну, писал ей слезные письма, приехала бы к Дуня хоть на самое короткое время. Приехала Аграфена Петровна, и Дуня сначала ей обрадовалась, разговорилась было, даже повеселела, но на другой же день опять за книги села, и «сердечный ее друг» не мог слова от нее добиться. С неделю прогостила Аграфена Петровна у Смолокуровых и поехала домой с тяжелой мыслью, что Дуня стала ей совсем чужим человеком.

Не то случилось, когда неожиданно-негаданно явилась Марья Ивановна. Ни на шаг Дуня не отходит от нее, не может наслушаться речей ее и до того вдруг повеселела, что даже стала шутить с отцом и смеяться с Дарьей Сергевной.

– Как обрадовали вы нас посещеньем своим, Марья Ивановна, – сидя за чайным столом, с доброй веселой улыбкой говорил Марко Данилыч. – А Дуня-то, моя Дуняшка-то, поглядите-ка, ровно из мертвых воскресла... А то ведь совсем было извелась. Посмотрите на нее, матушка, такая ли в прошлом году была, у Макарья тогда?

– Что ж это с тобой, душенька? – пристально посмотрев на Дуню, спросила Марья Ивановна. – Нездоровится, что ли?

– Нет, у меня ничего не болит, – несколько потупясь, ответила Дуня.

– Грустит все, о чем-то тоскует, слова от нее не добьешься, – молвил Марко Данилыч. – Сама из дому ни шагу и совсем запустила себя. Мало ли каких у нее напасено нарядов – и поглядеть

на них не хочет... И рукоделья покинула, а прежде какая была рукодельница!.. Только одни книжки читает, только над ними сидит.

– Какие же ты книжки читаешь, милая моя девочка?.. – пытливо глядя на Дуню, спросила Марья Ивановна.

– «Правила жизни» госпожи Гион, – робко взглянув на Марью Ивановну, тихо промолвила Дуня.

– Хорошая книга, полезная, – сказала Марья Ивановна, обращаясь к Смолокурову.

– Хоша она и хорошая, хоша и полезна, а все же не след над ней почти целый год сидеть, – слегка нахмурившись, молвил Марко Данилыч.

Не ответила ему Марья Ивановна. И, чтобы переменить разговор, сказала:

– А ведь я, Марко Данилыч, сделалась вашей близкой соседкой. Неподалеку отсюда маленькое именье купила.

– Слышал, матушка, слышал и много тому порадовался, – молвил Марко Данилыч. – Думаю: теперь почаще будем видаться с нашей барышней... Когда сам к ней с Дуняшкой съезжу, а когда и она, может быть, к нам пожалует...

– Ну, вот видите, а я уж и пожаловала, – улыбаясь, сказала Марья Ивановна. – Прямо из Фатьянки... Еду в Рязань к братьям Луповицким, а вы от прямой-то дороги всего верстах в двенадцати.

– И того не будет, матушка, десятка не наберется, – заметил Марко Данилыч.

– Как же было не заехать-то? – сказала Марья Ивановна. – Я так люблю вашу Дунюшку, что никак не могла утерпеть, чтобы с ней не повидаться... А погостивши у братьев, может быть, и совсем в Фатьянку на житье перееду. Я там и домик уж себе построила и душ двадцать пять крестьян туда перевела.

– Наслышаны, матушка, и об этом наслышаны, – молвил Марко Данилыч. – У Святого ключа, слышь, построились?

– Возле самого Святого ключа, – сказала Марья Ивановна. – Очень понравилось мне тамошнее место, тихое такое, уединенное.

– Местечко хорошее, – подтвердил Смолокуров. – Доводилось мне раза два там побывать. Только не знаю, каково будет там весной во время водополи. Место-то низенько, всю долину сплошь водой заливают.

– Я ведь немножко повыше построилась, а впрочем, ежели б и стала вода одолевать – канав нарую, спущу ее, – ответила Марья Ивановна.

– В большую копейку это вам въедет, – сказал Марко Данилыч. – Канавы-то надо ведь на две версты вести, коли еще не больше, а они каждую весну будут илеть, каждое лето надо будет их расчищать. Дорогонько обойдется.

– Деньги, Марко Данилыч, дело наживное, – с улыбкой молвила Марья Ивановна. – Не жалеть, ежели они на пользу идут.

– Оно конечно, – сказал Смолокуров – А все-таки, по-моему рассуждению, не в пример бы лучше было на угоре построиться.

– Место-то очень уж мне понравилось, – не совсем охотно проговорила Марья Ивановна.

– Место точно что красота, на редкость, можно даже сказать, – молвил Марко Данилыч. – Да расходов-то лишних много с тем местом будет.

Не ответила Марья Ивановна. Напившись чаю, пошла она в отведенную ей комнату. Дуня за ней. Заперла она дверь на крючок и стремительно бросилась к госте.

– Родная, святая душа!.. Как благодарить? Как рассказать, что теперь у меня на душе?.. Свет увидала я... – Так в порывистых рыданиях говорила восторженная Дуня.

– Встань, дитя мое, встань, возлюбленная моя горлица! – тихо, с какой-то важностью в голосе, с какой-то торжественностью сказала Марья Ивановна. – Сядем поговорим.

Сели на диван. Обняв шею Дуни и с нежностью глядя ее по волосам, Марья Ивановна молвила ей полупшепотом:

– Так ты уж и «Правила жизни» читаешь? Это хорошо... Все ли, однако, ты понимаешь?..

– Кажется, немножко понимаю, а, впрочем, там много такого, что мне не по уму, – с просто-

душной, детской откровенностью и милой простотой отвечала Дуня, восторженно глядя на Марию Ивановну и горячо целуя ее руку. – И в других книжках тоже не всякое слово могу понимать... Неученая ведь я!.. А уж как рада я вам, Мария Ивановна!.. Вы ученая, умная – теперь вы мне все растолкуете.

– Какие еще ты книги читала, голубок ты мой беленький? – с нежной лаской спросила Мария Ивановна. Дуня назвала несколько мистических книг.

– Откуда тебе бог послал таких хороших книг? – с легким удивлением спросила Мария Ивановна.

– Тятенька на ярманке в прошлом году купил, – ответила Дуня.

– Эти книги теперь очень редки, – заметила Мария Ивановна. – Иные можно купить разве на вес золота, а пожалуй, и дороже. А иных и совсем нельзя отыскать. Сам бог их послал тебе... Вижу перст божий... Святой дух своею благодатью, видимо, ведет тебя на путь истинного знания, к дверям истинной веры... Блюди же светильник, как мудрая дева, не угавай его в ожидании небесного жениха.

Замолчала Мария Ивановна... Дуня тоже ни словечка...

– Полон короб старых книг купил мне тогда тятенька, – после недолгого молчания сказала Дуня. – Много было комедий и романов; те я сожгла.

– Покажи-ка мне свои книги, – сказала Мария Ивановна.

Целый ворох принесла Дуня. Мария Ивановна, севши к столу, стала пересматривать.

– Хорошие книги, хорошие, – говорила она, внимательно перебирая одну за другой. – Какие же ты из них прочитала?

– Все, – ответила Дуня, – все до одной.

– И все поняла? – спросила Мария Ивановна.

– Нет, не все, – немножко смутясь, ответила Дуня. – По вашим словам, я каждую книгу по многу раз перечитывала и до тех пор читала одну и ту же, пока не казалось мне, что я немножко начинаю понимать. А все-таки не знаю, правильно ли понимаю. Опять же в иных книжках есть иностранные слова, а я ведь неученая, не знаю, что они значат.

– Эти книги нельзя читать как попало. Надо знать, какую после какой читать, – сказала Мария Ивановна. – Иначе все в голове может перепутаться. Ну, да я тебе растолкую, чего не понимаешь... Нарочно для того подольше у вас погощу.

– Голубушка!.. Мария Ивановна!.. – радостно вскрикнула Дуня. – Погостите подольше!.. Вы мне свет и радость! При вас я ровно из забытья вышла, ровно из мертвых встала... А без вас и день в тоске и ночь в тоске – не глядела бы на вольный свет...

С восторгом и радостными слезами, сама себя не помня, горячо целовала Дуня руки у Марии Ивановны.

Вечером того же дня Марко Данилыч при Дуне и при Дарье Сергеевне говорил своей гостье:

– Осчастливили вы нас, матушка Мария Ивановна, своим драгоценным посещением. И подумать вы, сударыня, не можете, какую радость нам доставили!.. Такой праздник сделали, что и сказать не умею... Дунюшка-то моя, Дунюшка-то!.. Посмотрите-ка вы на нее, на мою голубушку!.. Ведь совсем другая стала при вас... Прежде от нее и голосу было не слышать; и сама-то она ровно ничего не слышала, ровно ничего не видела, что вокруг нее делается... А вы точно осияли ее: и тоску ее и печаль как рукой сняли. Очень уж она полюбила вас... Как хотите, Мария Ивановна, гневайтесь, не гневайтесь, а уж я буду униженно и слезно просить вас, в ножки стану кланяться и не встану, покамест не получу вашего согласия. Погостите у нас подольше, порадуйте Дунюшку, авось при вас совсем спадет с нее тоска незнаемая... И бог знает, с чего она напала на нее.

– Рада у вас погостить, Марко Данилыч, благодарна за доброе приглашение, – сказала Мария Ивановна. – Братья не воротились еще из воронежских деревень, очень-то торопиться пока мне еще нечего. Недельки две могу погостить.

– Ах, Марья Ивановна!.. Зачем же так мало? – воскликнула Дуня, сердечно ласкаясь к ней. – Много ли это две недели? Вы бы месяца три погостили, а то и побольше...

– Нельзя, мой друг, – улыбаясь и целуя Дуню, сказала Марья Ивановна. Ведь у меня тоже дела, хозяйство... Особенно теперь, как Фатьянку купила. Везде нужен свой глаз. Кому ни поручи, все не так выйдет. Так ли, Марко Данилыч?

– Истинная правда, сударыня, – отозвался он. – Хозяйский глаз дороже всего... Чужой человек железным обручем свяжет, и то лопается, а хозяин-от и лычком подвяжет, так впрок пойдет.

Печально посмотрела Дуня на Марью Ивановну. Отцовский глаз уловил ее взгляд. Он сказал:

– А ведь у вас на новоселье-то, поди, не все еще в полном порядке?

– Какой еще порядок! – отвечала Марья Ивановна. – В полный порядок разве через год приведу. Еще много хлопот впереди...

– Еще, поди, и горницы-то не прибраны как надо, – продолжал расспросы Марко Данилыч. – Не спокойно, думаю, вам?

– Конечно, еще не все устроено, – сказала Марья Ивановна. – Какой еще покой? И печи не все сложены, и двери не все навешены, надо оштукатурить, обоями оклеить, полы выкрасить, мебель перевезти из Талызина. Много еще, много хлопот. Ну, да бог милостив. Полегоньку да потихоньку, с божьей помощью, как-нибудь устроюсь по времени.

– Так уж я стану просить вас, милостивая наша барышня, чтобы сделали вы нам великое одолжение и милость несказанную, и мне и Дунюшке, – говорил Смолокуров.

– О чем же это, Марко Данилыч? – спросила Марья Ивановна.

– Будьте милостивы, обещайте наперед, что нашу просьбу непременно исполните... – вставши с места и низко кланяясь, сказал Марко Данилыч.

– Душой рада сделать что могу, но как же можно, не зная ничего, наперед обещать исполнить ваше желанье. Может быть, оно и не по силам мне будет? – говорила Марья Ивановна.

– По силам, барышня, по силам. Обещайте только, Христа ради!.. – еще ниже, с покорностью и смиреньем, кланяясь почти до земли, умолял ее Смолокуров.

– Ежели можно будет исполнить ваше желанье, всегда готова, – сказала Марья Ивановна. – Только я, право, не знаю...

– Нижайше благодарим за ваши золотые слова, – радостно воскликнул Марко Данилыч. – Вот в чем дело, барышня!.. Домишко у меня, изволите видеть, не тесный, есть где разгуляться... Так вы бы, пока не устроились в Фатьянке, погостили у нас... Порадуйте... Так бы одолжили, так бы одолжили, что и сказать не умею... Матушка, сударыня Марья Ивановна!.. Хоша я теперь, по милости господней, и купец первой гильдии, хоша и капиталом владею, хоша и не малые дела по рыбной части веду, а все же я не забываю, что мы ваши прирожденные слуги... И деды наши и прадеды вашим родителям, матушка, вашему светлому, столбовому роду были верными слугами... И теперь, сударыня, не инаково почитаю, что мы ваши слуги, а вы милостивая наша барышня... Удостоите же за нашу любовь!.. Вам будет хорошо и спокойно; никакой заботы не доведем до вас... А до Фатьянки отсюда ведь рукой подать – летом часов пять езды, а зимой и три за глаза... Вздумается взглянуть на имение – коней у меня не занимать стать, и возки найдутся и кибитки, угодно, так и карету доспеем. Вздумается съездить в Фатьянку – поезжайте, осмотрите там все, распорядитесь, опять к нам, как в свой дом, милости просим... А уж как бы Дунюшка-то рада была... Утешьте ее – согласитесь!..

Сначала Дуня не догадывалась, к чему отец речи клонит, но когда услышала последние слова его, стремительно кинулась к Марье Ивановне, опустилась перед ней, положила русую головку ей на колени и со слезами в голосе стала молить о согласии.

– Марья Ивановна!.. Голубушка!.. Ясное солнышко!.. – всхлипывая, говорила она вполголоса. – Согласитесь!.. Умру без вас!.. Не жаль разве будет вам меня?

– Полно, Дунюшка, полно, радость моя, – тихо поднимая ее, нежно промолвила Марья Ивановна и, горячо поцеловав взволнованную девушку, посадила ее рядом с собою.

– Проси и ты, Дуня, проси, голубка! – дрожащим голосом говорил Марко Данилыч. – Дарья Сергевна, вы-то что же не просите?

– Уважьте ихнюю просьбу, сударыня! – сухо и не совсем охотно, но с низким поклоном проговорила Дарья Сергевна.

Сама не зная почему, с самого первого знакомства с Марьей Ивановной невзлюбила ее добрая, незлобивая Дарья Сергевна, почувствовала даже незнакомую дотоле ей неприязнь. Когда же увидала, что давно уже чуждавшаяся ее Дуня внезапно ожила от встречи с Марьей Ивановной, безотчетная неприязнь выросла в ней до ненависти. То не зависть была, не досада, а какое-то темное, непонятное Дарье Сергевне предвиденье чего-то недоброго...

После долгих колебаний Марьи Ивановны, после усиленных просьб Марко Данилыча, после многих слез Дунюшки барышня согласилась.

– Но с условием, – сказала она.

– С каким, милостивая барышня? – с живостью спросил обрадованный Марко Данилыч. – С каким, сударыня?

– Иной раз как поеду я в Фатьянку, отпустите со мной Дунюшку. Я полюбила ее, как самую близкую родственницу... Отпустите? – сказала Марья Ивановна...

– С вами-то? – вскрикнул Смолокуров. – Да не то что в Фатьянку, хоть на край света... Опричь добра, Дуня от вас ничего не может набраться... Навсегда вам благодарен останусь, милостивая, добрая барышня, за вашу любовь. За счастье почту, ежели Дунюшка при вас будет неотлучно...

Все были довольны и радостны, кроме Дарьи Сергевны. Низко опустив голову, сидела она грустная; порой слезинка вздрагивала на ее ресницах, чуть слышно шептала: «Господи помилуй!.. Господи помилуй!..»

А Марко Данилыч, ко сну отходя и даже стоя на молитве, иное в разуме держал. «Слава те господи, – думал он. – Какая, подумаешь, честь!.. Богатая барышня, дочь нашего барина, станет у меня проживать... И ведет себя с нами, как равная... „Люблю Дуню, говорит, как близкую сродницу!..“ Ну-ка, Онисим Савельич, дождись-ка этакой чести!.. Вот озлится-то! Городничего когда залучит к себе на гостины, и тогда высоко голову носит, а тут знатная барышня, без малого тысяча душ! Лопнет пес с зависти, первым куском подавится!.. А Дунюшка-то, Дунюшка-то как рада, голубонька!.. Ожила, повеселела... Ох, Дуня, Дуня моя, Дунюшка! Милое ты мое, сердечное дитятко!.. Встала бы теперь покойница Олена Петровна!.. Посмотрела бы на свою доченьку... Ох, Оленушка, Оленушка!..». И засверкали слезы на глазах Марка Данилыча. Но вдруг иные мысли зароились у него в голове: «Отписывает Корней, всю, слышь, икру Орошин, подлец, на месте скупил в одни свои руки... Свинья чудская!.. Теперь у Макарья что хочет, то и почнет по части икры делать! Издохнуть бы тебе, окаянному!»

И долго на разные лады ругал он мысленно знаменитого поволжского рыбника.

«А наплел же я Марье Ивановне!.. И теперь будто считаю ее за госпожу свою!.. Холопом ее считаю себя!.. А она-то сердечная... уши-то господские и развесила!.. А мне бы только подобрить ее, на Унже лесные дачи есть у Марьи Ивановны. Поддобрю, так, бог даст, задаром куплю их. Тысчонок сотенку достанется тогда Дуне-голубушке. Ах, Дунюшка, Дунюшка!.. Для тебя, ради одной тебя, все говорится, все и делается! Для тебя, милое сокровище, на то ли еще готов!.. На плаху, на костер взойду – было бы только тебе хорошо. Как вспомню я про мой горький день, как кончала свою жизнь Оленушка!.. Младенчиком Дуня была тогда, посадили ее возле матери... Оленушка в последние разочки вздыхает, а младенчик смеется, веселехонько играет ленточкой, что была в вороту у покойницы... Господи, господи!.. Взглянула тогда Оленушка... на меня и на Дунюшку... „Люби!“ – чуть-чуть промолвила... Дунюшка радостно смеется, ангельски веселится, а душа Оленушки летит, летит в небеса к господу».

И обильно смочил слезами Марко Данилыч подушку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

На другой день по приезде Марьи Ивановны Смолокуров проснулся спозаранок. Не спалось ему в душной комнате. В спальне возле постели стоял железный сундук с деньгами. Хоть и был он привинчен и к полу и к стенам, хоть в окнах комнаты и вделаны были толстые железные решетки,

но Марко Данилыч всегда помнил, что на свете много охотников до чужого добра. Потому зимних рам в спальне он не выставял, а дверь всегда держал на заперти. Никому, кроме Дуни да еще Дарьи Сергевны, приходившей постель оправить да в комнате прибрать, без особого зова ходу туда не было.

Не спится Марку Данилычу. То об ненаглядной Дунюшке мыслями раскидывает, то о ненавистном Орошине помышляет. Давно он послал в Астрахань наперсника своего, Корнея Евстигнеева, ухитрился б там подставить ножку не в меру расходившемуся Орошину, но что-то долго от него никаких известий нет. Дождался, наконец, письма. Пишет Корней, что с Орошиным нет никакого сладу, все норовит к своим рукам прибрать, всем делом хочет завладеть, икру до последнего пуда заподрядил, теперь к суши подбирается. Денег привез кучу, Корнею с какими-нибудь двадцатью тысячами нечего и думать тягаться с ним.

"Пес смердящий, – мысленно ругает Марко Данилыч Орошина. – Причта во языцех!.. Ефипская образина!.. Эх, надо бы мне самому сплыть в Астрахань, да поздно теперь! Привезти бы денег побольше, вырвать бы у собаки лакомый кус!.. А Корнею больше двадцати тысяч как доверить?.. Да, опоздал, упустил дорогой случай!.. Голову-то теперь как заломит, чертова плешь, рукой не достанешь... Потонуть бы твоим баржам, бесова кукла, всем бы до последней погореть у проклятика... (Проклятый.)

А самого пострелом (Пострел – апоплексическим удар.) бы положило, рукам, ногам отсохнуть бы у анафемы!..

Не совсем доругавшись, встал Марко Данилыч с постели и подошел к окну освежиться. Увидел его со двора Василий Фадеев и тотчас к нему пошел. Постучался у дверей.

– Кто там? – с досадой крикнул Марко Данилыч.

– Я-с, Василий Фадеев, – робко ответил за дверью приказчик.

– Какого тебе дьявола надо? Черти еще на кулачки не дрались, а ты, подлец, уж и лезешь ко мне! – пуще прежнего кричал Смолокуров, отпирая дверь.

– Штафету пригнали, – протягивая в полуотворенную дверь гусиную шею, робко промолвил Фадеев.

– Отколь?

– Из Астрахани, сказал почтальон, – молвил Фадеев, протягивая в дверь руку с письмом. В спальню войти не посмел он.

Быстро сорвал печать Марко Данилыч и стал читать письмо. Из Астрахани оно было, от Прожженного.

– Почтмейстер наказывал напомнить вашей милости насчет осетрины... начал было Василий Фадеев, но Марко Данилыч гневно прикрикнул:

– Убирайся, покамест цел! Аки бес, опаленный крестным знаменьем, исчез Василий Фадеев.

Читает Марко Данилыч:

"Милостивейшему государю моему, благодетелю и отцу Марку Данилычу, во-первых, приношу нижайшее почитание с пожеланием со всем благословенным вашим семейством паче всего многолетнего здравия и всякого благополучия, а наиболее в делах скорого и счастливого успеха с хорошим прибытком и доброй наживой. Сим самонужнейшим с нарочитою штафетой письмом спешу почтеннейше вашей милости донести, что в препорученных делах тружусь со всяким моим усердием паче всякие меры, только в деньгах объявляется великая недостача, и о том я уж два раза отписывал вам, отец наш и великий благодетель, Марко Данилыч. Доносил я также вашей милости, что Онисим Самойлыч, будучи лично сам на Низу, завладел всем делом насчет икры и суши, однако ж благодаря всевышнему того сделать ему не сгодилося.

В сем деле помешали ему известные вам господа саратовские купцы Меркулов Никита Федорыч да Веденеев Дмитрий Петрович. В пятницу на прошедшей неделе оба они прибыли в Астрахань и тотчас зачали скупать икру и рыбу большими партиями и таким манером на весь рыбный товар много цены подняли, а платят все наличными без рассрочек и задатки наличными же дают, а задатки дают большие. А Онисим Самойлыч желает производить уплаты векселями на двенадцать да на осьмнадцать месяцев, и потому ему тягаться с ними не под силу. Он же по великой жадности своей наперед сего ни с кем письменных условий не заключал, потому что жалко было уплачивать

пошлины. От того от самого, которые ему контрактом не обязались, теперь все до единого перешли к Меркулову да к Веденееву, а которые задатки от Онисима Самойлыча заполучили, те отплывают в Енотаевск да на Бирючью Косу и оттуда по почте деньги ему посылают, чтоб он не отперся в случае, что ихние задатки он не получил. Никто на его честь по здешним местам по всем ватагам ни одна душа с уверением положиться не может. Онисим Самойлыч с таковой досады теперь и рвет и мечет. Вечорашний день довелось мне видеть его: охрип, сердечный, от ругани, а третьего дня в трактире одному промышленнику (Промышленник – рыболов, имеющий свою козовую лодку.) с сердцов в ухо даже заехал, а тот с своей стороны уважил и угостил его ладошками препорядочно, чуть-чуть обоих не забрали на съезжую. А Меркулов с Веденеевым, как только поженились на дочерях вашего благоприятеля Зиновья Алексеича Доронина, так свои капиталы и женины приданные деньги да и тестевых, может, половину, а пожалуй, и больше, вкупе сложили и повели в Астрахани дела на самую большую руку, никто таких больших делов не запомнит.

И теперь у них товарищество на паях, а прозывается «Зиновий Доронин с зятьями». Сам Доронин тут ни при чем, для того что сами вы, отец наш и благодетель, по своей прозорливости лучше меня, неразумного, знать изволите, что рыбного дела он смыслом своим обнять не годится. Пребывание сам имеет в городе Вольске да на своей иргизской мельнице, а зятья в Астрахани икрой да рыбой ворочают.

По моему рассуждению, Онисим Самойлыч по своей ненасытности и по великой отважности беспрерывно в большом накладе останется, дело завел широкое, а закончить не стало силы. Намедни при моей бытности расхвастался, что при расчетах у Макарья он получит большие барыши, а на поверку выходит, что дал бы только ему бог свои воротить. Думал, заграбаставши и сушь и икру, поднять цены у Макарья копеек на сорок с каждого рубля, а Меркулов с Веденеевым ежели, как ходят слухи, повысят цены, так много, что разве гривну на рубль помимо того, во что самим обойдется.

Только, по моему глупому разуму, вашей милости радоваться неудаче Онисима Самойлыча, кажись бы, не приходится, потому что все его подходы всякому человеку известны, как свои пять пальцев, во всякое, значит, время ему можно какой ни на есть подвох учинить, а Меркулов с Веденеевым люди тонкие, полированные; с ними ладить не в пример мудренее. Опять же и ловцам, и солельщикам, и икряникам, и жиротопам, и клеевщикам, и разъездным всем ни с того ни с сего они плату повысили, и это самое всем рыбным торговцам стало за великую обиду.

Да еще обносится молва по народу, будто бы они и казенные и казачьи воды, а равно и вольный промысел и владельческих знатную часть берут себе на откуп на двенадцать лет (Солельщик – солит рыбу, икряник – вынимает икру и пропускает ее через грохот, жиротоп – вытапливает жир из бешенки или из тюленя, клеевщик – вынимает и сушит рыбий клей. Казачьи воды – принадлежащие астраханскому казачьему войску. Вольный промысел – воды в Каспийском море от земли уральских казаков или от Гранного Бугра до острова Ракуши, а отсюда до Жилой Косы (реки Эмбы) и дальше до Мангышлакских гор с заливами Мертвым Култуком и Сартажем.). Тогда на всех ватагах будет вся ихняя воля. И на Волге, на Низу, и на море станут одни властвовать, другие, значит, из их рук гляди. От того от самого и нет стати, по моему рассуждению, очень радоваться, что Онисима Самойлыча они крепко прижали.

Господина Меркулова до сей поры я нигде не видал, да ежели и довелось бы столкнуться с ним, так полагаю, что он зло на меня мыслит большое за то, что в прошедшем году в Царицыне по вашему приказанию намеревался его обделать. А с Дмитрием Петровичем столкнулись вчера в трактире – ласковый такой и приветливый, чаем угостил и про вашу милость много расспрашивал. Наказывал безотменно об его почтении отписать вашей милости, а также и Авдотье Марковне от ихней супруги кланяться. Затем, прекратя сие письмо, с достаточным уважением и нижайшею покорностью остаюсь, милостивейший отец, и благодетель наш, всегда верный ваш приказчик Корней Евстигнеев".

И рад и не рад был Марко Данилыч астраханским вестям. Потешало его известье о неудаче Орошина, и не мог он вспомнить без смеха, что промышленник ему в Харьковскую губернию заехал, в Зубцовский уезд, в город Рыльск, в село Рождествино, но очень не радовало известие о Меркулове с Веденеевым... Дело, многими годами насиженное, чего доброго испакостят эти мо-

локососы!

Гневит и сильно заботит это Марка Данилыча, и переносит он злобу свою с Орошина на зятёв Зиновья Алексеича. "Угораздило же меня летось свести Доронина с Веденеевым – вот те и свел на свою голову... То хорошо, что сбили спеси у анафемы, да ведь того и гляди, что и всем рыбникам накладывают в шапку окаянные слётышки..."

Цены спускать! Эх, что вздумали, отятые!.. (Отятой – проклятый, отверженный, негодяй.). Сквозь бы землю им в тартарары провалиться... А испек же промышленник, дай бог ему доброго здоровья, Орошину лепешку во всю щечку. Молодец!.. Чать, искры из глаз посыпались, небо с овчинку показалось!.. Молодец промышленник!.. Люблю таких!.."

В одной рубаше, заткнув большие пальцы за шелковый скитский пояс, долго босыми ногами ходил взад и вперед по спальной Марко Данилыч. Сто раз на все лады передумывал, как бы и от доронинских зятёв без убытка остаться и проклятику Орошину насолить хорошенько. Не вольная пташка с сука на сук перепархивает, хитрый ум разгневанного рыбника с мыслей на мысли переносится. Мыслей много, а домысла (Догадка, достигнутая путем размышлений.) нет. Ничего на разум не приходит. Хватил Смолокуров с досады кулаком по столу, плюнул, выругался и стал одеваться. Чай пора пить с Марьей Ивановной.

– Вот, сударыня Марья Ивановна, – сидя за чаем, сказал Марко Данилыч, указывая на Дуню. – Хоть бы вы ее вразумили. Родительских советов не принимает и слушать не хочет их.

Что такое, Марко Данилыч? – с удивлением спросила Марья Ивановна.

– Девица она, видите, уж на возрасте, пора бы и своим домком хозяйничать, – продолжал Марко Данилыч. – Сам я, покамест господь грехам терпит, живу, да ведь никем не узнано, что наперед будет. Помри я, что с ней станется? Сами посудите... Дарья Сергевна нам все едино что родная, и любит она Дунюшку, ровно дочь, да ведь и ее дело женское. Где им делами управить? Я вот и седую бороду нажил, а иной раз и у меня голова трещит.

Вспыхнула немного Марья Ивановна. Сжавши губы и потупив глаза, сморщила она брови.

– К чему говорить об этом прежде времени, – сказала она. – Бог даст, поживете, ваши годы не слишком еще большие.

– Шестой десяток, барышня, доживаю, до седьмого недалеко... А знаете, что татары говорят?... «Шестьдесят лет прошел, ума назад пошел», – с усмешкой молвил Марко Данилыч. – Ежели скоро и не помру, так недуги старости одолеют, да, по правде сказать, они, сударыня, помаленьку-то уж и подходят. А там впереди – труд и болезнь, как царь Давыд в псалтыре написал... А хворому да старому, барышня-сударыня, не до дел. Помощник нужен ему, а его-то у меня и нет. А ежели бы господь сыном богоданным благословил меня, всем бы тогда я доволен был. И о Дунюшке не гребтелось бы, и дело-то было бы кому передать... А теперь одни только думы да заботы!..

– Живут же, не выходя замуж, – возразила Марья Ивановна. – Возьмите хоть меня, а осталась я после батюшки не на возрасте, как Дуня теперь, а ребенком почти несмышленным.

– Ваше дело, барышня, дворянское. У вас девицам можно замуж не выходить, а у нас по купечеству – зазор, не годится, – сказал Марко Данилыч. – Опять же хоша вы после батюшки и в малолетстве остались, однако же у вас были дяденька с тетенькой и другие сродники. А Дунюшка моя одна, как перстик. Опрочь Дарьи Сергевны, нет никого у ней.

– Сироту не покинет господь, – молвила Марья Ивановна. – Говорится же: «Отца с матерью бог прибирает, а к сироте ангела приставляет».

Конечно, так, барышня, – отвечал Марко Данилыч. – Еще сказано, что «за сирого сам бог на страже стоит», да ведь мы люди земные – помышляем о земном.

– То-то и есть, Марко Данилыч, что мы только о земном помышляем, а о небесном совсем позабыли, да и знать его не хотим, – сказала Марья Ивановна. – А на земле-то ведь мы только в гостях, к тому же на самый короткий срок, – настоящая-то наша жизнь ведь там.

– Против этого неможно ничего сказать, Марья Ивановна. Ваши речи как есть правильные, –

отозвался Марко Данилыч. – Да ведь я по человечеству сужу, что, пока не помер я, Дунюшке надо к доброму, к хорошему человеку пристроиться.

– Полноте, Марко Данилыч, не невольте вы ее, – сказала Марья Ивановна. Станете неволить – великий грех примете на душу. Нет больше того греха, как у человека волю отнимать... Великий грех, незамолимый!..

– Не греховное наше тело, ведь разум и свободная воля составляют образ и подобие божие... Как же сметь отнимать у человека свободную волю? Бог дал, а человек отнять хочет великий дар божий... Это значит бога обкрадывать. Подумайте об этом хорошенько. Нет, Марко Данилыч, – не принуждайте Дунюшки. Иначе бога обидите, и он вас накажет.

Со страстным увлечением, громко, порывисто говорила взволнованным голосом Марья Ивановна. Глаза горели у ней, будто у иступленной. Не мало тому подивился Марко Данилыч, подивилась и Дарья Сергевна, а Дуня, опустья взоры, сидела, как в воду опущенная. Изредка лишь бледные ее губы судорожно вздрагивали.

– Нешто ее неволю я? – воскликнул с досадой Марко Данилыч. – Да сохрани меня господи!.. А ваши речи, Марья Ивановна, скажу вам по душе и по совести, уж больно мудрены. Моему разуму их, пожалуй, и не понять... Говорите вы, что в свободе да в воле образ и подобие господне, а нас, сударыня, учили, что смиренность да покорность угодны господу... И в писании сказано:

«В терпении стяжите души ваши». И хоша мне ваших речей не домыслить, а все-таки я с Дунюшки воли не снимаю – за кого хочет, за того и выходи. Об этом я давно уж ей говорю, с самого того времени, как она заневестилась, шестнадцать годов когда, значит, ей исполнилось.

– Дело доброе, – несколько спокойнее молвила Марья Ивановна. – И вперед не невольте: хочет – выходи замуж, не хочет, пускай ее в девицах остается. Сейчас вы от писания сказали, и я вам тоже скажу от писания: «Вдавай браку, деву добре творит, а не вдавай лучше творит». Что на это скажете?

– По писанию-то оно, пожалуй, и так выходит, да по человечеству-то не так, – отвечал Марко Данилыч. – Мало ль чего в писании-то: велено, к примеру сказать, око вырвать, ежели оно тебя соблазняет, а ведь мы все соблазняемся, без соблазна никому века не прожить, а кривых что-то немного видится. Опять же в писании-то не сказано, что худо тот творит, кто замуж дочь выдает, а сказано «добре творит». Хоша мы люди непоученные, а святое писание тоже сколь-нибудь знаем. Апостол точно сказал: «Не вдавай лучше творит», да ведь сказал он это не просто, а с оговоркой: «Сие же глаголю по совету, а не по повелению» и паки: «О девах же повеления господня не имею» («Послание к Коринфянам», IX, 38, 6, 25.). Вот тут, сударыня Марья Ивановна, и извольте-ка порассудить.

– Вот до чего мы с вами договорились, – с улыбкой сказала Марья Ивановна. – В богословие пустились... Оставимте эти разговоры, Марко Данилыч. Писание – пучина безмерная, никому вполне его не понять, разве кроме людей, особенной благодатью озаренных. Тех людей, что имеют в устах «слово живота»... А такие люди есть, – прибавила она, немного помолчав, и быстро взглянула на Дуню. – Не в том дело, Марко Данилыч, – не невольте Дунюшки и все предоставьте воле божией, господь лучше вас устроит.

– Кто же ее неволит? – с ясной улыбкой ответил Марко Данилыч. – Сказано ей: кто придется по сердцу, за того и выходи, наперед только со мной посоветуйся, отец зла детищу не пожелает, а молоденький умок старым умом крепится. Бывали у нас и женишки, сударыня, люди все хорошие, с недостатками. Так нет – и глядеть ни на кого не хочет.

– Пускай ее не глядит, – перебила Марья Ивановна. – Как знает, пусть так и делает. Верьте, Марко Данилыч, что господь на все призирает, все к лучшему для нас устроит. Положитесь на него. Сами знаете, что на каждую людскую глупость есть божья премудрость. На нее и уповайте.

Тем беседа и кончилась. Разошлись, осталась в столовой одна Дарья Сергевна.

"Эк богослов у нас проявился, – думала она, перетирая чайную посуду. Послушать только! Чем бы уговаривать Дунюшку, она на-ка вон поди!.. В иночество, что ли, прочит ее? Так сама-то отчего же нейдет в монахини? Сбивает только у нас девку-то... А ведь как было распыхалась, глаза-то так и разгорелись, голос так и задрожал, ровно кликуша какая!.. Ох, Дунюшка, Дунюшка, чует мое сердце, что на горе да на беду подружилась ты с этой барышней!.. Как только спозналась

с ней, бог знает, что забродило у Дуни в головушке. А что думает, о чем горюет – никому ни словечка. А вот принесла нелегкая эту анафему, шагу от нее не отходит... И что за тайности с ней, что за разговоры!..

Книжки какие-то все, вчера про каких-то «божьих людей» она рассказывала. Что за «божьи люди» такие? Все мы божьи, все его создание... Ах, Дунюшка, Дунюшка, голубушка ты моя милая!.. Мудрена эта Марья Ивановна, вчера песню какую-то пела она, по голосу, выходит «По улице мостовой», а святой дух поминается и пречистая богородица!.. Надо сказать Марку Данилычу – да как скажешь-то?.. Очень уж рад он ей, доволен-предоволен, что барышня гостит у него. Попробуй теперь сказать ему что-нибудь про нее, зарычит, аки зверь, – ног не унесешь... О господи, господи! Какую напасть ты послал на нас... Не думано, не чаяно... И что б такое было у этой окаянной, чем она прельщает Дунюшку?.. Добьюсь, бесприменно добьюсь. Рядом каморка, оттоль слышно... Добьюсь, выведу на чистую воду еретицу, и только она со двора, все расскажу Марку Данилычу, все до последней ниточки. Хоть на весь свет раскричись тогда, пожалуй хоть побей, а уж выведу наружу все козни этой проклятой барышни".

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Больше недели прошло с той поры, как Марко Данилыч получил письмо от Корнея. А все не может еще успокоиться, все не может еще забыть ставших ему ненавистными Веденеева с Меркуловым, не может забыть и давнего недруга Орошина. С утра до ночи думает он и раздумывает, как бы избыть беды от зятьев доронинских, как бы утопить Онисима Самойлыча, чтобы о нем и помину не осталось. Только и не серчал, что при Дуне да при Марье Ивановне, на Дарью Сергевну стал и ворчать и покрикивать.

Рвет и мечет Смолокуров. У приказчиков, у рабочих каждая вина стала виновата – кто ни подвернись, всякого ни за что ни про что сейчас обругает, а расходится рука, так, пожалуй, и прибьет, а что еще хуже, со двора сгонит. В иную пору не стали бы у него рабочие ни брани, ни побой терпеть, теперь все они безответны. Ни в дому, ни на прядильнях, ни на лесном дворе вот уж два месяца с великого еще поста громкого слова не слышно.

Все присмирели, все бродят, как тени, ни живы ни мертвы... Такое время было: пролетье (Конец весны.) проходит, петровки на дворе; а по сельщине, деревенщине голодуха. В летошном году везде был недород, своего хлеба до масленицы не хватило, озими от голой зимы (Голая зима – бесснежная.) померзли, весной яровые залило, на новый урожай не стало никакой надежды. Покупной хлеб дорог, нового нет, Петров день не за горами – плати подати да оброки. В каждой семье лишний рот стал накладен, оттого рабочие и дорожили местами. В иное время у Марка Данилыча работники – буян на буяне, а теперь от первого до последнего тише воды, ниже травы, ходят, как линь по дну, воды не замутят. Нужда учит обиды терпеть.

Пришел троицын день, работные избы и деловые дворы у Марка Данилыча опустели. Рабочие из соседних деревень пошли домой справлять зеленые святки, дальние гурьбой повалили в подгородную рощу, гулянье там каждый год бывает на Троицу. И в доме было нелюдно. В густом тенистом садике, под старыми липами и цветущей сиренью, вечером троицына дня сидел Смолокуров за чаем с Дуней, с Марьей Ивановной, с Дарьей Сергевной. Пили чай на прохладе – тоже зеленые святки справляли. Ради праздника немножко повеселел Марко Данилыч, забыл на время астраханские заботы. Напились чаю, наговорились, в это время надвинулись сумерки. Василий Фадеев, убирая самовар, раболепно наклонился к хозяину и шепнул ему на ухо:

– Корней Евстигнеев приехал.

– Как? – вскрикнул Марко Данилыч, вскочив с дерновой скамейки. – Что случилось? Что ж он нейдет?

– Наказывал доложить вашей милости, самим бы вам к нему пойти, опять-таки шепотом сказал на ухо хозяину Фадеев.

– Это что за новости! – зычным голосом вскрикнул Марко Данилыч. – Тащи его сюда!

Василий Фадеев взялся было за опорожненный ведерный самовар, но...

– Успеешь! – Смолокуров гневно крикнул. – Корнея зови.

Склонив голову, зайцем в калитку Фадеев юркнул, но тотчас же назад воротился.

– Ну? – крикнул раздраженный Марко Данилыч.

– Ругается-с... Нельзя, говорит, ему на людях с вашей милостью разговаривать. Надо, говорит, однолично... Старик какой-то с ним... – пятась от распалившегося хозяина, еле слышно прошептал Василий Фадеев.

– Не смей умничать! Сию бы минуту здесь был! – во все горло закричал Марко Данилыч, забывши и про Марью Ивановну.

– Сыро что-то становится, – вставая с места, сказала Марья Ивановна. Пойдем-ка, Дунюшка, Марко Данилыч делами здесь займется.

И, взявши Дуню под руку, скорыми шагами пошла из сада. За ними тихими неровными стопами поплелась и Дарья Сергевна.

Увидев, что хозяин один в саду остался, Корней бегом подбежал к нему. Василий Фадеев пошел было за ним вслед, но тот, грубо оттолкнув его, запер калитку на задвижку.

– Чего толкаешься! – вскинулся на Корнея Фадеев. – Чать надо самовар принять да посуду.

– А ты ухай, да не бухай, – с наглой усмешкой молвил Прожженный. Убрать поспеешь, а ежели вздумаешь уши наостривать, так я их тебе засвечу, – прибавил он, поднимая увесистый кулак.

– Это что такое? – вскрикнул Марко Данилыч, завидев Корнея. – От делов уехал без спросу, да и глаз еще не кажет... Сам хозяин изволь к нему бежать... Я, брат, этого не больно жалую.

– Ругани-то я много слышал, меня руганью не удивишь, – сердито пробурчал Корней Евстигнеев. – Чем бы орать, лучше путем спросить, для чего я, побросавши дела, наспех приехал.

– Что случилось? – уж без задора, но с тревожным беспокойством спросил Смолокуров. – Орошин, что ли?... Аль еще что накуролесили зятьки доронинские?..

– Иная статья, – прищулив лукаво глаза и закинув руки за спину, промолвил Корней.

– Да говори же толком, леший ты этакой! Морить, что ли, вздумал меня? – во всю мочь закричал на него Смолокуров.

– Мокей Данилыч велел кланяться да про здоровье спросить, – с хитрой улыбкой протяжно проговорил Прожженный.

Как ярый гром из тихого ясного неба грянули эти слова над Марком Данилычем. Сразу слова не мог сказать. Встрепенулось было сердце радостью при вести, что давно оплаканный и позабытый уже брат оказался в живых, мелькнула в памяти и тесная дружба и беззаветная любовь к нему во дни молодости, но тотчас же налетела хмарая мрачная дума: «Половину достатков придется отдать!.. Дунюшку обездолить!.. Врет Корней».

– Что за рыба принесла тебе поклон от покойника?... Тюлень морской, что ли, с тобой разговоры водил? – захохотав недобрым смехом, сказал Марко Данилыч. – Сорока на хвосте басни принесет, а он в самое нужное время бросает дела и мчится сюда без хозяйского спросу!.. С ума ты, что ли, сошел.

– Не сорока мне вести принесла, Хлябин Терентий Михайлов, что тогда на «беленького» с нами ездил, – сказал Корней. – Привез я его, пушай сам расскажет.

– Что за Терентий такой? – спросил Марко Данилыч.

– Из здешних местов он будет, – ответил Корней. – Оттого и кучился мне довести его со сродниками повидеться. Летошним годом он от басурманов утек, а Мокей Данилыч и до сих пор у них в полону. Кликнуть, что ли, его, Терентья-то?

– Пошли, – немного повременя сказал Марко Данилыч. – А сам ступай отдыхать, надобен будешь – кликну.

Вышел из сада Корней, а Марко Данилыч, склонивши голову, медленными шагами стал ходить взад и вперед по дорожке, обсаженной стоявшею в полном цвету благоуханной сиренью.

Пришел необычайно рослый и собой коренастый пожилой человек. Борода вся седая, и в голове седина тоже сильно пробила: русых волос и половины не осталось. Изнуренный, в лице ни кровинки, в засаленном оборванном архалуке из адряса (Адряс, или падчай – полушелковая ткань с волнистыми пестрыми узорами по одинаковому полю.), подошел он к Марку Данилычу и отвесил низкий поклон.

Сел на скамейке Марко Данилыч и зорко посмотрел прямо в глаза незнакомцу.

– Что скажешь, любезный? – нахмурясь, спросил он его, наконец.

– Про Мокея Данилыча доложить вашей милости, – вполголоса проговорил Терентий.

Не ответил на то Марко Данилыч. Низко наклонясь, стал он тросточкой по песку чертить.

– Сказывал Корней... – после долгого молчания промолвил Смолокуров. – Да не врешь ли ты? – поднявши голову и вскинув глазами на Терентья, прибавил он.

– Как возможно мне врать вашему степенству? – скорбно и даже обидчиво промолвил Терентий Михайлов. – Помилуйте!.. Столько годов с вашим братцем мыкали мы подневольную жизнь, и вдруг я стану врать!.. Да сам господь того не попустит!.. Всего мы с Мокеем Данилычем нагляделись, всего натерпелись... Как же поворотится у меня язык сказать неправду?

– Сам-то ты кто таков? – спросил Марко Данилыч.

– Здешней округи (Прежде (с екатерининского учреждения о губерниях до начала нынешнего столетия) уезды назывались округами. В народном языке местами и до сих пор это слово в ходу.) деревни Обуховой. Терентий Михайлов. Хлябины прежде звались, как теперь – не знаю. Дома-то еще не бывал.

– Барский? – спросил Марко Данилыч.

– Был барским, господ Раменских, а теперича, будучи выходцем из хивинского полону, стал вольным, – ответил Хлябин.

– Ишь ты! – насмешливо промолвил Марко Данилыч. – Недальний, значит, отсюда.

– Сорока верст не будет, – ответил Хлябин. – Да ведь я, ежели на памяти у вашего степенства, в работниках у вас служил. Тогда с Мокеем Данилычем и в Астрахань-то мы вместе сплыли. Вот и Корней Евстигнеев тоже с нами в те поры поехал... Конечно, время давнее, можно забыть. И братца-то, пожалуй, плохо стали помнить... Много ведь с той поры воды утекло... Давно, да, очень давно, – со вздохом промолвил Терентий Михайлов.

– Время давнее... точно что давнее, сквозь зубы процедил Смолокуров.

Неохота была ему вдаваться в дальние расспросы. И верил он, и не хотелось ему верить. Немного погодя Хлябин сам начал рассказывать.

– Когда на море разорвало нашу льдину, на большой половине нас с Мокеем Данилычем было двадцать четыре человека, а кормов ничегохонько. Лошадь была, зарезали, съели кобылятину и чаяли потонуть либо голодную смерть принять... А ветер все крепче да крепче. Гонит нас на восток, подумали, авось живых принесет к Мангышлаку...

Да где доплывешь до берега! Изноет льдина, растает – и сгинем мы в морской пучине. На четвертый день рано поутру видим – одна за другой выплывают три посудины, а какие – разглядеть не можем, далеко... Подняли мы крик, авось услышат и переймут нас... Услыхали ли на лодках наши крики, увидали ль нас, про то неизвестно, а к нашей льдине поворотили...

Как стали они подъезжать, так мы и ужаснулись... трухменцы с самопалами, с чеканами (Самопал – фитильное ружье вроде пищали без замка, иногда с замком, но не с кремнем, а с тлеющим фитилем. Чекан – топорик с молотком на короткой рукоятке. У трухменцев до последнего времени держались самопалы, а лет 25 тому назад было их довольно много.).

Стали они перенимать нас со льдины. Кого возьмут, первым делом руки тому назад да ремнем либо арканом скрутят, как белугу, на дно лодки и кинут. Ног не вязали, знали, собаки, что по морю нам не бежать... На каждую лодку нас пришлось по восьми человек, а их было по пяти; для того и вязали, чтоб мы не одолели да не отплыли бы с ними к русскому берегу... Не догадайся разбойники перевязать нас – так бы дело и было... На полдень злодеи путь свои держали – и на другой день рано поутру верстах в десяти завидели мы черни (Черни – плоский берег, видный с моря, когда еще мало на нем что-нибудь можно различить глазом. Это слово в ходу только на Каспийском море.).

С того часу трухменцы черней не завешивали (Завесить черни – уйти из виду от берегов. Слово каспийское.), тут и мне стало боязно – русских по тем местам нет. А держали окаянные, как и прежде, все на полдень, на пятый день выплыли в Киндерли (Залив на восточном берегу Каспийского моря, южнее полуострова Мангышлака, севернее залива Карабугаза.).

Сил не жалели, веслами здорово работали. Лодки не плыли, а ровно скакали по морю, – вид-

но, разбойники ждали погони. Навряд ли русских они опасались, у самих у них есть много разных родов, и каждый род только и выжидает, как бы у другого добычу отбить. Самый разбойный народ.

Хоть бежать и было нельзя подумать, куда в голодной-то степи-то убежишь? Однако ж тухменцы и на берегу не дремали – боялись, чтобы мы у них не пропали. Были у них ножные железы – лошадиные путы, да всего только трое; шестерых нас перековали по двое ногу с ногой, в паре со мной довелось быть Мокею Данилычу. Других арканами скрутили, тоже нога с ногой. И ровно стадо стреноженных коней, погнали нас по степи. А есть давали только по чуреку (Пресный хлеб в виде лепешки.) в день на человека, а как руки-то у нас были назад скручены, так басурманы из своих рук нас кормили...

Погано, да с голодухи мы и тому были рады. Отошли от берега верст с десяток – тут у них временное кочевье; расковали нас злодеи, развязали, распутали, раздели донага и каждого, ровно продажную лошадь, стали осматривать и зубы во рту смотрели, и щупали везде, и пальцами ковыряли. Потом дележ добычи пошел у них. Целый день с утра до ночи шумели да спорили, а что говорят – понять не можем.

Они спорят, а мы сидим на горячем песке голодные. К вечеру поделили нас. Мы с Мокеем Данилычем к одному хозяину достались – Чулим-ходже из адаевского рода. Был человек он богатый и властный, все его слушались, боялись и почитали, во всем ихнем кочевье старше Чулима никого не было. Дня через два тухменцы перекочевали от моря верст за двести. Всего тут много мы натерпелись: степи голые, безводные, ежели и попадется вода – в рот не возьмешь: голая соль. Ни деревца, ни кустика. Травы даже мало, и то одна полынь.

А ящерицы, скорпионы, тарантулы по степи так и шныряют, а мы пеши и босы – сапоги-то еще в лодках разбойники с нас снимали и одежду всю ограбили. Сами-то адаевцы с женами да с детьми на конях да на верблюдах, а мы двести верст пешечком. Думали, тут и жизни конец, однако же господь помиловал, кое-как доплелись. На новой кочевке травы хорошие и колодцы с пресной водой, отдавало немножко солью, да ничего, по нужде пить можно. Тут Чулим заставил нас коней да баранов пасти – вот и попали мы в пастухи. Хозяин много говорил с нами по-своему, ино слово и по-русскому скажет, а больше руками маячит: «Ежели, дескать, бежать вздумаете, голову долой». Чего тут бежать?.. Куда?.. Прожили мы на этой кочевке недель шесть, пожалуй, и больше. Все полоняники проживали в одном месте, а потом зачали нас поодиночке, либо по два и по три в Хиву продавать. Нарочно приезжали хивинцы к адаевцам за продажными кулами (Кул – раб.).

Дошла и до меня очередь, продали меня купцу, в какую цену пошел я тогда – не знаю. Горько было расставаться с товарищами, поплакали на прощанье, я только тем себя утешал, что Хива хоша и басурманский, а все-таки город, работа, может, будет там и потяжеле, зато кормить посылнее станут. Опять же наслышаны мы были, что в Хиве русских полоняников много, значит хоша и в неволе, а все-таки со своими... А купец, что купил меня у адаевцев, Зерьян Худаев, человек был богатый, и торговал он только одним русским полоном. Во всех тухменских родах были у него друзья-приятели, они ему и доставляли русских.

Занимался Худаев таким торгом лет уж сорок и, водясь с русскими, научился с грехом пополам по-нашему говорить. Едем мы с ним, а он и говорит: очень, дескать, хотелось ему и товарища моего купить, Мокея, значит, Данилыча, да дорого, говорит, просят адаевцы, за такую цену его не перепродашь. Стал я расхваливать Мокея Данилыча: и моложе-то он, говорю, меня, и сильнее-то, а ежели до выкупа дело дойдет, так за него, говорю, не в пример больше дадут, чем за меня.

– А зачем хвастал? – прервал Марко Данилыч Терентья Хлябина.

– Думал, не купит ли Худаев и Мокея Данилыча, – отвечал Хлябин. – Вместе бы тогда жили.

– Напрасно, – с недовольством тряхнув головой, молвил Марко Данилыч.

Хлябин продолжал рассказ:

– У Худаева я недолго оставался – недели полторы либо две... Продав он меня самому хану, царю, значит, ихнему, басурманскому. А перед тем больно серчал. Плетью даже меня выхлестал... «Зачем, говорит, такой-сякой, выходил ты на улицу, когда хан мимо моего дома проезжал. Теперь он тебя к себе берет, а денег даст те же пятьдесят золотых, что и я за тебя дал адаевцам. Через тебя, русская собака, убыток мне. Напрасно я хлопотал, напрасно ездил в степь за тобой!.. Помни же

ты меня, помни, русская неверна собака, помни Зерьяна Худаева». А сам плетью да плетью по голым плечам. И вот, подумаешь, судьба-то что делает: не прошло двух годов, как этот самый Зерьян сряду дня по три в ногах у меня валялся, чтобы я похлопотал за него у хана. А тогда ему за одну провинность хан голову хотел было срубить...

Поминаючи божью заповедь, укланял я тогда хана – помиловал бы он Худаева. Велел только четыреста плетей ему влепить, нос окорнать да уши отрезать, и после этого много благодарил меня Зерьян Худаев и до самого конца благодетелем звал. Тридцать золотых подарил да – что греха таить, тогда еще я молодой был – свою племянницу, Селимой звали, в полюбовницы дал мне. Славная была девчурка, только ее до меня еще очень опорочили на базаре, убить даже хотели. За муж, значит, она ни за кого из басурманов не годится, ну а мне ничего – можно.

– Ну тебя, про девок поганных расписывать, – молвил Марко Данилыч и плюнул даже в сторону

– Слушаю, ваше степенство, не буду, хоша и занятно, – сказал Хлябин. И стал продолжать рассказ: – Наутро отвели меня к самому хану. И велел он мне на страже у дворцовых дверей стоять. Рост мой ему понравился, охоч был до высоких, по всему царству их отыскивал и набирал себе в прислугу, полонянных высоких тоже брал к себе. А рослые у него больше все из русских – иные из них даже побасурманились, детьми обзавелись, и хан дает им всякие должности, и они живут в довольстве и почете. И меня уговаривали перейти в ихнюю бахметову веру, да господь бог помог – я укрепился. Мало кто из русских в полону веру свою оставляет, редкий который от креста отречется.

А хан, хоть какой ни есть, все же государь, живет не больно по-государски – уж очень просто. Хоша и ковры везде, и серебряной посуды вдоволь, и дорогих халатов, и шуб, и камней самоцветных довольно, а по будням ходит, так срам поглядеть – халатишко старенький, измасленный, ичеги в дырах – а ему нипочем. А жен и дочерей водит в ситцевых платьях, самого дешевенького ивановского ситца, линючего. А еды у них только и есть что пилав да бишбармак, питья – айрян да кумыс (Бишбармак – в переводе «пятипалое», потому что его едят горстью. Это вареная и накрошенная баранина с прибавкой к навару муки или круп. Айрян – разболтанная на воде простокваша.).

Иной раз и наше зелено вино хан испивает. Ихний закон хмельного не позволяет, да они то ставят в оправданье: запрещено-де виноградное вино, а русское – из хлеба, значит, его пить не грех. Любит еще хан пироги. Попала к нему наша полонянка, из Красного Яра, мешанка, Матреной Васильевной звали. Купил ее хан и велел стряпать на своих жен. И привел бог Матрену Васильевну в стряпках жить у хановых жен. Они очень ее полюбили за то, что рисовую кашу на кобыльем молоке с изюмом да с урюком больно вкусно варила им. Раз как-то любимая ханова жена вздумала попотчевать муженька русским пирогом с бараниной, Матрена испекла ей. Пирог хану пришелся по вкусу, и с того дня Матрена Васильевна каждый день должна была ему пироги печь. За дрожжами нарочно в Оренбург купцов посылали, и в такую силу вошла Матрена Васильевна, что ханские министры боялись ее пуще бухарского царя али персидского шаха. Матрена Васильевна, дай бог царство ей небесное, баба бойкая была, расторопная, развеселая.

Ханши без ума от нее были, и хан много дорожил ею. Полцарства бухарского не взял бы он за ее пироги с бараниной. А когда какой-то купец осетра в Хиву привез и поклонился им хану, так Матрена Васильевна такую кулебяку состряпала, что хан трое суток, сказывали, пальцы у себя лизал, и с той поры повариха в самой великой власти стала при нем находиться. Чего, бывало, Матрена Васильевна ни пожелает, все делается по ее хотенью. И смотреть ни на кого не хочет: придет на поварню бусурманский вельможа да подвернется ей не в добрый час, Матрена Васильевна, много не говоря, хватъ его скалкой по лбу да на придачу еще обругает. А русским много добра делала, заступница была за них у хана. Многих даже от смерти освободила своими просьбами у хана. А ежели, бывало, не захочет он ее прошенья уважить, так она крикнет на него да ногой еще притопнет: «Так нет же тебе пирогов, ищи другую стряпку себе; а я стряпать не стану». Ну, хан по желанью Матрены Васильевны все и сделает. Много за нее бога молили, вот и мне с Мокеем Данилычем по милости ее много было в рабстве облегченья. Дай бог ей царство небесное!

Примолк Хлябин, а Смолокуров все сидит, все молчит, склонивши думную голову.

– Рассказывай, а ты рассказывай, – молвил он, наконец. – Оченно занятно рассказываешь...

Года этак через два, как стал я у хана проживать, – говорил Хлябин, иду раз по базару, навстречу мне русский – там издали своего брата узнаешь. Идет, едва ноги волочит, в одних кожаных штанах, без рубахи, и на избитых голых плечах полубатманный (Батман – в Хиве и Бухаре – восемь пудов, крымский и закавказский – 26 пудов, поволжский – 10 фунтов.) мешок с пшеницей тащит. Батюшки светы!..

Мокей Данилыч!.. Едва мог узнать – трудненько, вижу, его житье. И он узнал меня, разговорились. «Живу, говорит, у хозяина немилостивого, работой завален, побоев много, а кормят впроголодь». Тем же часом я к Матрене Васильевне: «Так и так, говорю, помилосердуй». Дён этак через пяток пристроила она его к ханскому дому – тут ему стало полегче. И выжили мы тут с вашим братцем без малого двадцать годов, и было нам житье хорошее, вольготное, а как померла Матрена Васильевна, и нам с Мокеем Данилычем и всем русским стало гораздо тяжелее...

Тут я бежать надумал. Сговорился с двумя астраханцами тайком выйти на Русь, молвил о том и Мокею Данилычу, он побоялся. И хорошо сделал на ту пору – пятидесяти верст мы не отъехали на краденых ханских лошадях, как нас поймали. Хан распорядился живо – одного астраханца велел повесить, другому нос и уши окорнать, а меня помиловал, дай бог ему здоровья, портить человека рослого не захотел, а выше меня у него никого не было.

Дали мне двести плетей да к виселице ухом пригвоздили – вот поглядите, ухо-то у меня поротое. Потом ничего, опять хан держал меня в милости, опять мне стало вольготно, да тоской уж я вовсе измучился – так вот и тянет на родину... Опять бежать решился – пушай, думаю, меня повесят, лучше смерть принять, чем с тоски погибать. Подговорил товарища из уральских казаков, летом прошлого года было это дело, – в ту пору хан на кочевке был, верстах во ста от города. Украли мы у него четырех аргамаков что ни на есть лучших из-под его седла. Вынес бог, слава те господи!..

А ехали только по ночам, днем в камышах залегали, лошадей стреножили да наземь валили их, чтоб хивинцы аль киргизы нас не заприметили. Как собирались бежать, опять уговаривал я Мокея Данилыча и опять не согласился он на побег, а только мне и тому уральскому казаку слезно плачучи наказывал: «Ежели, говорит, вынесет вас бог, повестите, говорит, братцы моего родимого Марка Данилыча, господина Смолокурова, а ежели в живых его не стало, племянников моих аль племянниц отыщите. Попросите их Христом богом – поболели бы сердцем по горьком, несчастном житье моем. Хан в деньгах теперь нуждается, казна у него пустехонька. Сот пять тиллэ, тысячу, значит, целковых, радехонек будет взять за меня».

– А дело надо делать, – прибавил Хлябин, – через оренбургского купца Махмета Субханкулова. Каждый год он ездит в Хиву торговать. С ханом в большой дружбе, иной раз по целым ночам с глазу на глаз они куликают. Вишневой наливкой всего больше хану он угождает. Много привозит ее, а денег не берет, а хан-от до вишневки больно охоч. Оттого и уважает Субханкулова. Немало русского полону тот татарин выкупил, ходок на это дело. Только и ему надо сот пять рублей за труды дать.

Кончил Хлябин, а Марко Данилыч все сидит, склонивши голову... Жалко ему брата, но жалко и денег на выкуп... Так и сверкает у него мысль: «А как воротится да половину достатков потребует? Дунюшка при чем тогда?.. Да врет Корней, врет и этот проходимец, думает за сказки сорвать с меня что-нибудь. Народ теплый. Надобно, однако, чтобы ни он, ни Корней никому ни гугу, по народу бы не разнеслось. Дарья Сергевна пуше всего не проведала бы... Обоих – и Корнея и выходца – надобно сбить куда-нибудь... А жаль Мокеюшку!.. Шутка ли, двадцать с лишком годов в басурманской неволе? Сколько страху, сколько маяты принял сердечный!.. Да врет проходимец... Не может быть того».

А долговязый Хлябин все стоит да стоит, все ждет ответа на свои речи.

– Рассказал ты, братец, что размазал, – молвил, наконец, ему Марко Данилыч. – Послушать

тебя, так и сказок не надо... Знатный бахарь! (Бахарь – краснобай, а также сказочник.). Надо чести приписать! А скажи-ка ты мне по чистой правде да по совести – сам ты эти небылицы в лицах выдумал или слышал от какого-нибудь бахвала?

– Истинную правду вам рассказываю, вот как перед самим Христом, вскрикнул Терентий и перекрестился. – Опречь меня, других выходцев из хивинского полона довольно есть – кого хотите спросите; все они знают Мокея Данилыча, потому что человек он на виду – у хана живет.

– Знаю я вас, хивинских полонянных, – молвил, нахмурясь, Марко Данилыч. – Иной гулемыга (Гулемыга – праздный гуляка, шатун.), бежит от господ аль от некрутчины, да, наштавшись досыта, и скажется хивинским выходцем. Выгодно – барский, так волю дадут, а от солдатчины во всяком разе ушел... Ты господский, говоришь?

– Был господским, – отвечал Хлябин.

– Я наперед это знал, – молвил Смолокуров. – И чего ты не наплел! И у самого-то царя в доме жил, и жены-то царские в ситцевых платьишках ходят, и стряпка-то царем ворочает, а министров-то скалкой по лбу колотит! Ну, кто поверит тебе? Хоша хивинский царь и басурманин, а все же таки царь, – стать ли ему из-за пирогов со стряпкой дружбу водить. Да и как бы она посмела министров скалкой колотить? Ври, братец, на здоровье, да не завирайся. Нехорошо, любезный!

– Не верите мне, так у Корнея Евстигнеича спросите, – сказал на то Хлябин. – Не я один про Мокея Данилыча ему рассказывал, и тот казак, с коим мы из полону вышли, то же ему говорил. Да, oprечь казака есть и другие выходцы в Астрахани, и они то же самое скажут. А когда вышли мы на Русь, заявляли о себе станичному атаману. Билеты нам выдал. Извольте посмотреть, прибавил Хлябин, вынимая бумагу из-за пазухи.

Внимательно прочитал билет Марко Данилыч и, сложивши его, молча отдал Терентью. А ведь дело-то на правду похоже! – подумал он. – Эх, Мокеюшка, Мокеюшка!.. Сердечный ты мой!.. Как же теперь быть-то? Дунюшку ведь этак совсем обездолишь.. Ах ты, господи, господи!.. Наставь, вразуми, как тут поступить".

– Вот что, – надумавшись, сказал он Хлябину. – По билету вижу, что ты в самом деле вышел из полону. Хоша и много ты насказал несодеянного, а все-таки насчет брата я постараюсь узнать повернее, а потом что надо, то и сделаю. Этот оренбургский татарин к Макарью на ярманку ездит?

– Каждый год ездит; там у него и лавка в Бухарском ряду, – отвечал Хлябин.

Даст бог, повидаясь, потолкую с ним, ярманка не за горами, – сказал Смолокуров. – И ежели твои слова справедливы окажутся, уговорюсь с ним насчет выкупа. А теперь вот тебе, – прибавил Марко Данилыч, подавая Хлябину пятирублевую.

Тот с низким поклоном поблагодарил.

– Вы Субханкулову, ваше степенство, больше тысячи целковых ни под каким видом не давайте, – пряча бумажку в карман, молвил Хлябин. – Человек он хороший, добрый, зато уж до денег такой жадный, что другого такого, пожалуй, и не сыскать. Заломит и невесть что, узнавши про ваши недостатки. А вы тогда молвите ему: "Как же, мол, ты, Махметушка, летошний год казачку Пелагею Афанасьевну у куш-бека (Куш-бек – вроде министра.)

Рим Берды за пятьдесят тиллэ только выкупил, значит, меньше двухсот целковых. как же, мол, ты, дружище, енотаевского мещанина Илью Гаврилова у мяхтыря (Мяхтыр – вельможа.) Ата-Бишуева за семьдесят тиллэ выкупил?.. Я вам записочку напишу, за сколько кого он выкупал. А ежели Субханкулов скажет, что Мокея Данилыча надо у самого хана выкупить, а он дешево своих рабов не продает, так вы молвите ему: «А как же, мол, ты Махметушка, два года тому назад астраханского купеческого сына Махрушева Ивана Филипыча с женой да с двумя ребятишками у хана за сто, за двести тиллэ выкупил?» Да тут же и спросите его: «А сколько, мол, надо тебе вишневки на придачу киевской, скажите, отпущу, знаю-де, что его ханское величество очень ее уважает». Только скажите – перестанет лишки запрашивать.

– Сам же ты говоришь, что цена на полонянных ниже тысячи рублей на серебро. Так за что же я этой бритой плеши, Субханкулову, тысячу, а пожалуй, и больше отвалю?

– Хана не согласишь взять дешево за Мокея Данилыча, – молвил Хлябин. Ему известно, что он из богатого рода. И другие, что с нами вместе в полон попали, про то говорили, и сам Мокей Данилыч не скрывался.

– Вот нужно было! – молвил с досадой Марко Данилыч. – Языки-то больно долги у вас там! Говорили бы да оглядывались, а то сдуру, как с дубу!

– Купца Богданова семипалатинского летошний год из полону выкупали, сказал Хлябин. – Хлопотал не Субханкулов, а сибирский купец, тоже татарин. Узнали в Хиве, что Богданов из богатой семьи, так восемьсот лобанчиков (Лобанчик – золотая двадцатифранковая монета времен Реставрации и Людовика Филиппа. До Крымской войны она была в большом ходу в России.) сорвали, значит, больше тысячи тиллэ (Тиллэ – золотая бухарская монета, по достоинству равняется 3 рублям 84 копейкам металлическим.), без малого, значит, четыре тысячи целковых. А про Мокея Данилыча тоже знают, что он из богатых. Ведь иные хивинцы и сами на Макарьевскую ездят и оттоле всякие вести привозят. Мокею Данилычу про свои достатки было никак невозможно скрыть – и без того бы узнали. Прежний-то его хозяин для того больше и мучил его, что был в надежде хорошие деньги за него взять.

Замолчал Марко Данилыч и, зорко поглядев на Хлябина, сказал:

– Что же ты теперь хочешь с собой делать?

– Перво-наперво в деревне у себя побываю, сродников повидаю, – отвечал Хлябин, – а потом стану волю от господ выправлять...

– А потом? – спросил Смолокуров.

– А потом буду работы искать, – сказал Хлябин. – Еще в Астрахани проведаль от земляков, что сродников, кои меня знали, ни единого вживе не осталось, хозяйка моя померла, детки тоже примерли, домом владеют племянники – значит, я как есть отрезанный ломоть. Придется где-нибудь на стороне кормиться.

– Хочешь ко мне? – спросил Марко Данилыч.

– Не оставьте вашей добротой, явите милость, – низко кланяясь, радостно промолвил Терентий. – Век бы служил вам верой и правдой. В неволе к работе привык, останетесь довольны... Только не знаю, как же насчет воли-то?

– Я сам об ней стану хлопотать, – вставая со скамьи и выпрямляясь во весь рост, сказал Смолокуров. – Скорее, чем ты, выхлопочу. А тебя пошлю на Унжу, лесные дачи там я купил, при рубке будешь находиться.

– Всячески буду стараться заслужить вам, Марко Данилыч, не оставьте, Христа ради, при моей бедности, – сказал Терентий Михайлов.

– Насчет жалованья потолкуем завтра, теперь уж поздно. Да и тебе с дороги-то отдохнуть пора, – сказал Марко Данилыч, направляясь из сада вместе с Хлябиным. – Все будет сделано... Не забуду, что братнину участь ты облегчил. Не оставляю... Ступай с богом да кликни Корнея, в горницы бы ко мне шел... Вот еще что: крепко-накрепко помни мой приказ. Ни здесь, ни в деревне у сродников, ни на Унже и слова одного про Мокея Данилыча не моги вымолвить. Ранней болтовней, пожалуй, все дело испортишь. Про свои похождения что хочешь болтай, а про братанича и поминать не смей. Слышишь?

– Слушаю, Марко Данилыч, исполню ваше приказанье, – ответил Хлябин. Мне что? Зачем лишнее болтать?

– Ступай же со Христом. Спроси там у стряпки поужинать, да и ложись с богом спать, – сказал Марко Данилыч. – Водку пьешь?

– При случае употребляем, – сладко улыбаясь, ответил Хлябин.

– Пришлю стаканчик на сон грядущий, – молвил Смолокуров. – Прощай. Не забудь же кликнуть Корнея, сейчас бы шел, – промолвил он, входя по ступеням заднего крыльца.

Пришел Марко Данилыч в душную горницу и тяжело опустился на кресло возле постели... «Ровно во сне, – размышлял он. – Больше двадцати годов ни слуху, ни духу, и вдруг вживе... Что за притча такая?.. На разум не впадало, во снах не снилось... Знать бы это годика через три, как пропал на море Мокеюшка, то-то бы радости было... А теперь... Главное, Дуня-то у меня при чем

останется?.. Еще женится, пожалуй, на Дарье Сергевне, детей народят... А жаль Дарью Сергевну, не чувствует сердечная, что он вживе!.. Как бы не узнала?.. Поскорей надо отсюда Корнея в Астрахань. А Терентья на Унжу. Не то, наливши зенки, спьяну-то кому-нибудь и наболтают... А Субханкулова отыщу непременно...».

Вошел Корней. Не успел он положить уставного начала, как Марко Данилыч на него напустился:

– Тебя-то зачем нелегкая сюда принесла? Ты-то зачем, покинувши дела, помчался с этим проходимцем? Слушал я его, наказывал сказок с три короба, только мало я веры даю им. Ты-то, спрашиваю я, ты-то зачем пожаловал? В такое горячее время... Теперь, пожалуй, там у нас все дело станет.

– Насчет этого нечего беспокоиться. Все дело в должном ходу, и всему будет хорошее совершение, – с обычной грубостью ответил Корней. – А насчет Терентья, будучи в Астрахани, я так рассудил: слышу – на каждом базаре он всякому встречному и поперечному рассказывает про свои похождения и ни разу не обойдется без того, чтобы Мокея Данилыча не помянуть. Думаю: «Как об этом посудит хозяин? Порадуется али задумает дело-то замять? На то его воля, а мне надо ему послужить, чтобы лишней болтовни не было».

Пуще всего того я опасался, чтобы Хлябина речи не дошли до Онисима Самойлыча, пакости бы он из того какой не сделал. Оттого и вздумал я Терентья спровадить подальше от Астрахани и обещал свезти его на родину. А он тому и рад. Сам я для того поехал, чтобы дорогой он поменьше болтал. Глаз с него все время не спускал. Хорошо аль худо сделано?

– Хорошо, – помолчавши немного, сказал Марко Данилыч.

– То-то и есть, а то орать без пути да ругаться, – ворчал Корней. – И у нас голова-то не навозом набита, а мы тоже кой-что смекаем. Так-то, Марко Данилыч, – добавил он с наглой улыбкой.

– Ладно, ладно, – сказал Марко Данилыч. – Смотри только никому ни гу-гу, да и за выходцем приглядывай, не болтал бы. К себе его беру, на Унжу...

– Что ж? Дело не худое, – молвил Корней. – Отсюдова подальше будет.

– А насчет выкупа подумаю, – продолжал Марко Данилыч. – Надо будет у Макарья с этим Субханкуловым повидаться... Ну, что в Астрахани? Что зятя доронинские? Орошин что?

Обо всем стал Корней подробно хозяину докладывать, и просидели они далёко за полночь. Марко Данилыч остался Корнеем во всем доволен.

Через день Корней сплыл на Низ, а Хлябин к сродникам пошел. Воротился он с горькими жалобами, что нерадостно, неласково его встретили. Понятно: лишний рот за обедом, а дом чуть ли не самый бедный по всей вотчине. Терентий, однако ж, не горевал, место готово. Скоро на Унжу поехал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В духов день Марко Данилыч, с семьей и с Марьей Ивановной, утром за чаем сидел. Весна была, радовалась вся живая тварь, настали праздники, и люди тоже стали веселы, а у Марка Данилыча не тем пахло. Все сидели сумрачны, все молчали, каждый свою думу думал. Как ни силился Смолокуров отделаться от тягостных мыслей, пленный брат, в непосильной работе, не сходил у него с ума. Но чуть только взглянет на Дунюшку, ровно искра стрекнет у него в голове: «Его избавить – ее обездолить!..» Борьба застывшей любви к брату с горячей любовью к дочери совсем одолела его.

Дарья Сергевна сидела мрачная и злобно молчала, искоса поглядывая на ненавистную Марью Ивановну. Сколько ни сидела она в каморке, сколько ни подслушивала, не могла понять хорошенько, о чем говорит барышня с Дуней. Всем было тоскливо.

Первый заговорил, наконец, Марко Данилыч, нельзя ж было хозяину при такой гостье молчать. Однако разговор не вязался. Марья Ивановна была задумчива и в рассеянье иногда отвечала невпопад. Жаловалась на нездоровье, говорила, что голова у ней разболелась.

Марко Данилыч стал беспокоиться, за лекарем хотел посылать, но Марья Ивановна наотрез отказалась от всякого лечения.

– В саду долго вчера сидели, – сказал Марко Данилыч, – а было сыровато. Дело ваше нежное, господское, много ли вам надо, чтобы простудиться.

– Нет, это бывает со мной, – молвила Марья Ивановна, взявшись руками за голову. – Здоровьем-то ведь я не богата. Пойду лучше прилягу. Умеешь делать горчичники, Дунюшка?

– Умею, – ответила Дуня.

– Сделай мне, пожалуйста, – сказала Марья Ивановна. – Прощайте, Марко Данилыч. Обойдется, бог даст, и без доктора.

В Дуниной комнате Марья Ивановна прилегла на диване. В самом деле, она чувствовала себя не совсем хорошо. Дуня уселась возле нее на скамеечке и полными любви взорами уныло глядела на больную наставницу.

Марья Ивановна в эти дни возбудила в душе Дуни сильное, ничем неудержимое стремление к таинственной вере, которую она называла единою истинной. Взросшая на строгом соблюденье внешних обрядов, привыкшая только в них одних видеть веру, молодая впечатлительная девушка, начитавшись мистических книг, теперь равнодушно стала смотреть на всякую внешность. Дарья Сергевна еще до приезда Марьи Ивановны с ужасом стала замечать, что Дуня иной раз даже спать ложится, не помолившись. Не раз журила ее за то, и Дуня не оправдывалась, ссылаясь на забывчивость. С приездом Марьи Ивановны стала она еще равнодушнее к обрядам, хоть та сама не раз говорила ей, что должна непременно их соблюдать, не навести бы домашних на мысль, что хочет она идти «путем тайной веры к духовному свету».

И то говорила Марья Ивановна, что в церковных обрядах ничего худого нет, что они даже спасительны для тех, кто не может постигнуть «сокровенной тайны», открытой только невеликому числу избранных.

– Обещали вы, душечка Марья Ивановна, рассказать мне о «живом слове», сказала Дуня, сидя на скамеечке возле Марьи Ивановны. – Или, может быть, вам тяжело теперь говорить?

– Изволь, мой друг – ответила Марья Ивановна. – Расскажу кое-что, насколько ты сможешь понять. Помнишь ли, говорила я тебе про людей, просветленных благодатью, озаренных непреступным духовным светом. Своей жизнью и стремлением к духовному получают они блаженство еще здесь на земле. Сам бог вселяется в них, и что они ни говорят, что ни приказывают, должно исполнять без рассужденья, потому что они не свое говорят, а вещают волю Божию. Их речь и есть «живое слово». Перед тем, как говорить, они приходят в восторг неописанный, а потом читают в душе каждого, узнают чужие мысли и поступки, как бы скрытно они ни были сделаны, и тогда начинают обличать и пророчествовать... Увидишь таких.

Задумалась Дуня, ни слова не молвила в ответ. Разгорелась у ней душа, и чувствовала она неодолимое желание как можно скорей увидеть этих чудных людей и услышать живое их слово.

– Помнишь ли, Дунюшка, еще в прошлом году ты меня спрашивала, что такое значит «духовный супруг», – продолжала Марья Ивановна. – Тогда я не сказала тебе, потому что ты не поняла бы моих слов, а теперь, как ты прочитала столько полезных книг и приняла сердцем все в них написанное, понять ты можешь, хоть покамест и не все еще. Слушай. Ежели кто проникнет во всю «сокровенную тайну», ежели кто всю ее познает и будет к ней «приведен», тот вступает в супружество с тем пророком, который его принял, или с тем человеком Божиим, на которого ему укажет пророк. В духовное супружество вступает, не в плотское.

Между людьми, познавшими «тайну», есть и мужчины и женщины, они водятся духом, они обитаемы богом. Такие мужчины приводят в тайну женщин, женщины – мужчин. Это и есть «духовное супружество». Оно вечно. Плотское супружество длится до смерти жены или мужа, духовное не прекращается во веки веков. Оно сохраняется в будущей жизни, и нет конца ему... Тут великая премудрость... Нельзя постичь ее умом человеческим, нельзя и рассказать обыкновенным словом.

– Стало быть, у духовного супруга бывает по несколько жен? – спросила удивленная Дуня.

– Что ж из того, – сказала Марья Ивановна. – Ведь это не плотские муж с женой. Не телесная между ними связь, а духовная. Все равно, что союз бестелесных ангелов. Тебе пока еще это непонятно, но, когда познаешь «сокровенную тайну», будет ясно как день. Тут творится божие дело, а не вражье. Враг в человеке только телом владеет, оттого что им оно сотворено, а богу принадле-

жит им созданная душа. Потому плотское супружество – служение врагу, а духовное – служение богу. Для того-то и надо всю свою жизнь хранить девство, чтобы не поработить себя врагу погубителю, для того-то и надо свое тело всяческими изнурять трудами, мучить его постом, страданиями... Тело – враг твой, оно – темница твоей души, ломай ее, разрушай, освобождай из нее свою душу. Но лишений и трудов еще мало, для спасения надо непременно проникнуть «сокровенную тайну», тогда только можешь бога вместить в себя.

А вместишь – тогда уж враг тебе не страшен и плоть над тобой владеть уж не может. Праведницей станешь, и не будет в тебе греха, не будет над тобой ни власти, ни закона, потому что «праведнику закон не лежит». Будешь свободна все делать, будешь блаженна и здесь, на земле, будешь блаженна, как ангел небесный, будешь райские радости видеть, будешь сладкое ангельское пение слышать.

В это время за перегородкой возле дивана послышался какой-то шорох. Вздрыгнула Марья Ивановна.

– Что это? – спросила она.

– Должно быть, мыши, – спокойно ответила Дуня. – Тут каморка есть, в ней никогда никого не бывает. Тетенька Дарья Сергевна иногда ставит там кое-что из съестного. Тем и развела их. А вы разве боитесь мышей?

– Не мышей я боюсь, а людей, не подслушал бы кто, – сказала Марья Ивановна.

– Кому же подслушать? – с улыбкой молвила Дуня. – – Никогда тут никого не бывает. Да и услышал бы кто – разве поймет?

Марья Ивановна успокоилась.

– Ах, милая моя, дорогая Марья Ивановна, – после короткого молчания, нежно ласкаясь к ней и целуя руку, заговорила Дуня. – Хоть бы глазком взглянуть на тех чудных людей, хоть бы словечко одно услышать от них.

– Имей терпение, мой друг, сказала Марья Ивановна. – Ждать недолго, если ты твердо решилась «идти на путь» и принять «сокровенную тайну».

– Всей душой хоть сейчас, – вся дрожа от волнения, ответила Дуня. Покажите их мне, Марья Ивановна, ради Христа, – покажите... Все сделаю, все, что нужно...

– Как же это сделать? – в раздумье сказала Марья Ивановна. – Разве вот что... Отпустит ли тебя Марко Данилыч погостить ко мне ну хоть на месяц, хоть на три недели?... Я бы тебе показала.

– Не знаю, – грустно ответила Дуня. – Кажись бы, отчего не пустить? Сам он тоже собирается ехать на месяц... Попросите, Марья Ивановна, вас-то он послушает...

– Попробую... – сказала Марья Ивановна. – А теперь почитай мне, Дунюшка, что-нибудь из «Таинства креста» (Мистическое сочинение Дю Туа. Перевод на русский язык И. Ястребцова напечатан в 1820 году в Петербурге.), а я буду тебе пояснять, что ты не вдруг поймешь.

Все утро просидела в каморке Дарья Сергевна, жадно прислушиваясь к словам Марьи Ивановны, но никак не могла взять в толк, о чем та говорила. Поняла только, что речь идет о вере и что Марья Ивановна чем-то смущает Дуню, в иную веру, что ли, хочет ее свести. В какую же? "Конечно, в никонианство, в свою смущенную великороссийскую церковь, – догадывалась Дарья Сергевна. – Ох, господи, господи!.. И отца убьет и себя на веки вечные погубит!.. Ох, уж эта проклятая Марья Ивановна!.. А насчет замужества уж так темно, так мудроно говорит, что и понять невозможно... Господи, господи!

Принесло же эту еретицу на нашу беду – совсем расстроит она Дунюшку, сгубит ее, сердечную!.. Да еще в гости зовет к себе. Нет, бесприменно обо всем расскажу Марку Данилычу. А как не примет он слов моих?... Она и его-то ровно околдовала. Что ни скажет, окаянная, то у него и свято... А все же попытаюсь, будь что будет, а уж скажу непременно".

И тотчас же решилась поговорить с Марко Данилычем.

Все еще волновали Смолокурова привезенные Корнеем вести. Пленный брат из ума не вы-

ходил, а любовь к дочери и жадность к деньгам не позволяли решиться на выкуп. А тут еще Дарья Сергевна со своими опасениями.

– Свободно вам, Марко Данилыч? – спросила она, осторожно входя в его комнату. – Мне бы чуточку поговорить с вами.

«Не проболтался ли Корней? – подумал Марко Данилыч, и вся кровь бросилась ему в голову. – За жениха не пришла ли просить?»

С нетерпением вскинул он на Дарью Сергевну горевшие, как уголь, глаза.

– Что случилось? – тревожным голосом спросил он у нее.

– Покамест ничего еще особенного, – ответила Дарья Сергевна. – Насчет Дуни хотела поговорить с вами.

– Что такое? – спросил Марко Данилыч.

– Видите ли... Как бы это сказать?... – робко начала Дарья Сергевна. Мне сдается, что-то не больно хорошее.

– Что такое? – сверкнув очами, беспокойно и громко вскрикнул Марко Данилыч. – Что такое случилось?

– Пока ничего еще, а стала я замечать, что, как только приехала к нам эта Марья Ивановна, Дунюшка совсем другая стала, – понизив голос, отвечала Дарья Сергевна.

– Повеселела? Ну и слава богу! – молвил Марко Данилыч.

– Богу перестала молиться... Вот что! – прошептала Дарья Сергевна.

– Как богу перестала молиться? – спросил, нахмурясь, Марко Данилыч.

– Ни вечером на сон грядущий, ни поутру, как встанет, больше трех поклонов не кладет и то кой-как да таково неблагочестно. Не раз я говорила ей, не годится, мол, делать так, а она ровно и не слышит, ровно я стене говорю. Вам бы самим, Марко Данилыч, с ней поговорить. Вы родитель, ваше дело поучить детище. Бог взыщет с вас, ежели так оставите.

– Поговорю, надо поговорить. В самом деле, так не годится... Как можно бога забывать!.. – ходя взад и вперед, говорил Марко Данилыч. – Сегодня же поговорю... Напрасно прежде не сказали... Молода еще... А надо поначалить, надо.

– Опять же вот что я замечаю, Марко Данилыч, – продолжала, ободренная успехом разговора, Дарья Сергевна. – Как только приехала эта Марья Ивановна, Дунюшка пост на себя наложила, мясного в рот не берет.

– Ну, в этом беды еще немного, – сказал Марко Данилыч. – Ее дело. Пушай постится, коли хочет.

– А в пятницу зашла к ней – сидит с Марьей Ивановной и пьет чай со сливками... По какому же это уставу? А все с Марьи Ивановны примеры берет. Во всем по ее следам идет.

– Хорошего тут не много, да и больно-то худого не вижу, – сказал Марко Данилыч. – Мы вот и до старости дожили, и то иной раз согресишь – оскоробишься, особенно в дороге либо в компании. А поговорить и про это поговорю. Надо правила исполнять, надо.

– Главное-то вот в чем, Марко Данилыч, – продолжала Дарья Сергевна. Прислушивалась я давеча к ихним разговорам – да никак не могу обнять их разумом. Что-то уж очень мудрено, а хорошего, кажись, немного. Хотите – верьте, хотите – не верьте, а Марья Ивановна Дунюшку смущает.

– Чем же это? – быстро спросил Марко Данилыч.

– Насчет веры, Марко Данилыч, все насчет веры, – с глубоким вздохом, покачивая головой, отвечала Дарья Сергевна. – Про какие-то сокровенные тайны ей толкует, про каких-то безгрешных людей... что в них сам бог пребывает.

– Что же тут худого? – возразил Марко Данилыч. – Должно быть, про святых угодников говорила. Вредного не замечаю.

– А тайны-то сокровенные? – полушепотом спросила Дарья Сергевна.

– Какие сокровенные тайны? – спросил Марко Данилыч.

– Сама не знаю и домыслиться не могу, что за сокровенные тайны, – в недоумении разводя руками, отвечала Дарья Сергевна. – А сдается, что тут что-то не доброе. Сбивает она нашу голу-бушку с пути истинного. В свою, должно быть, великороссийскую церковь хочет ее совратить.

Вот чего боюсь, вот чего опасаясь, Марко Данилыч... Как подумаю, так сердце даже кровью обольется, так и закипит... Ох, господи, господи!.. До каких бед мы дожили.

– Какие тут беды? Где они? – сказал Марко Данилыч. – Помстилось вам, что Марья Ивановна в великороссийскую хочет Дуню свести... Поп, что ли, она консисторский? Нужно ей очень! Толком не поняли, – сами же говорите, – да не знай, каких страхов и навывдумали.

– Истосковалась я, Марко Данилыч, совсем истосковалась, глядя на Дунюшку, – продолжала, горько всхлипывая, Дарья Сергевна. – Вот ведь что еще у них затеяно: ехать Марья-то Ивановна собирается и хочет вас просить, отпустили бы вы погостить к ней Дунюшку.

– Отчего же не пустить? – сказал Марко Данилыч. – Я с первого же раза, как она приехала, обещался. Слова назад не ворочу.

– Ох, Марко Данилыч, Марко Данилыч! Быть, сударь, беде! Помяните мое слово! – плача навзрыд, говорила Дарья Сергевна.

– Полно хныкать-то, ничего не видя, – с досадой сказал Марко Данилыч. Подите-ка лучше закусить припасите чего-нибудь – белужинки звено да провесной белорыбицы, икорки зернистой поставьте да селедочек копченых, водочки анисовой да желудочной, мадерцы бутылочку. Обедать еще не скоро, а пожевать что-то охота пришла.

И Дарья Сергевна тихими шагами пошла вон из комнаты.

На другой день вечером не совсем еще здоровая Марья Ивановна сидела за круглым чайным столом, укутавшись в большой теплый платок. Дуня с ней рядом, а напротив Марк Данилыч и Дарья Сергевна.

– Э, какую вдруг погодушку надуло, – молвил Марко Данилыч, прислушиваясь, как частый крупный дождик стучал в стекла, а от порывистого ветра тряслись оконницы, свистело и визжало по железным крышам и заунывно гудело в трубе.

– Боюсь, надолго бы не испортилась погода, – сказала Марья Ивановна. Загостились я у вас, Марко Данилыч, пора бы вам такую наянливую гостью и со двора долой.

– Что ж это вы, сударыня Марья Ивановна, так уж очень заторопились? Погостите, – отозвался Марко Данилыч. – Переждите хоть ненастье-то. Теперича не осеннее дело, дожди да холода долго не простоят.

– Пора мне, очень пора, Марко Данилыч, – ответила Марья Ивановна. – Вот уж ведь две недели, как я у вас гощу. Братья, наверно, теперь домой воротились, ждут меня не дождутся.

– Успеете повидаться с ними, барышня, а нас бы еще хоть сколько-нибудь деньков порадовали... Дунюшка у меня совсем без вас стоскуется, – говорил Марко Данилыч.

С полными слез глазами прижалась Дунюшка к Марье Ивановне и шепотом просила ее:

– Хоть немножко погостите... Без вас с тоски помру.

– Нельзя, Дунюшка, никак нельзя, моя милая. В другое время наговоримся, – с ласковой улыбкой отвечала на горячие просьбы Дуни Марья Ивановна. – Через месяц буду в Фатьянке. Тогда, надеюсь, Марко Данилыч посетит меня на новоселье и тебя привезет. Ягоды поспеют к тому времени, за ягодами будем ходить, за грибами. Ты любишь грибы брать?

– Никогда не хаживала, – отвечала Дуня. – Не с кем.

– Ну, бог даст, со мной ходить будешь. Это очень весело. Вы позволите? – спросила Марья Ивановна, обращаясь к Марку Данилычу.

– С вами-то не позволить! – молвил Марко Данилыч.

А здесь точно что ей скучновато; подруг таких, с какими бы можно ей знакомство водить, нет ни одной у нас в городе. Купцов хороших ни единого, дворян хороших тоже нет, одно только крапивное семя – чиновники. А с ихними дочерьми, с мешчанками да с крестьянками не позволю я водиться Дунюшке. Народ балованный. Мало ли чего можно от них набратся.

– Могу вас уверить, Марко Данилыч, что ваша Дуня не такова, чтобы могла от кого-нибудь набратся дурного. Мало я встречала таких строгих к себе девушек, – сказала Марья Ивановна. –

Бояться вам за нее нечего.

– Не о том речь веду, сударыня, – возразил Марко Данилыч. – Тут главная причина в том, что будет ей очень зазорно, ежели с простыми девками она станет водиться. Не знаете вы, что за народ у нас в городе живет. Как раз наплетут того, что и во сне не виделось никому.

– Да, должно быть, ей скучно, бедненькой, – заметила Марья Ивановна. – А знаете ли, что мне пришло в голову, – прибавила она, немножко повременя. Как-то вы мне говорили, что вам куда-то по делам нужно ехать. На месяц, помнится?

– Безотменно нужно, – отвечал Марко Данилыч. – В Астрахань, а оттоль в Оренбург, может статья!

– С месяц проездите? – спросила Марья Ивановна.

– Да, с месяц проезжу, – ответил Марко Данилыч. – Да навряд ли еще месяцем-то и управлюсь. Перед самым Макарьем придется домой воротиться.

– Отпустите-ка ко мне на это время Дунюшку-то, – сказала Марья Ивановна. – Ей бы было повеселее: у меня есть племянница ее лет, разве маленько будет постарше. Они бы подружились. Племянница моя девушка хорошая, добрая, и ей тоже приятно было бы видеть у себя такую милую гостью, и Дуне было бы весело. Сад у братьев огромный, десятинах на четырех, есть где погулять. И купанье в саду и теплицы. Отпустите, Марко Данилыч, привезу ее к вашему возврату в сохранности.

– Право, не знаю, что вам на это сказать, барышня, – молвил нерешительно Марко Данилыч. – Как же ехать-то ей к незнакомым людям?

– К каким незнакомым? Ведь она ко мне поедет? Обещали же ее ко мне отпускать? – сказала Марья Ивановна.

– К вам, барышня, в Фатьянку, значит. А как же я пушу ее к господам Луповицким? Ни я их не знаю, ни они ни меня, ни Дунюшки не знают, – говорил Марко Данилыч.

– Она не к Луповицким поедет, а ко мне, – возразила Марья Ивановна. Ведь у меня и в Луповицах есть часть имения после матушки. Там и флигелек у меня свой и хозяйство кой-какое. Нет, отпустите ее в самом деле. Полноте упрямитесь, недобрый этакой!

– Тятенька, пожалуйста! – тихо промолвила Дуня, склонивши русую головку на отцовское плечо. – Скучно мне ведь будет здесь – без тебя не буду знать, куда и деваться. Пожалуйста, отпусти!

А Дарья Сергевна так и сверкает глазами. Была бы ее воля, наотрез отказала бы.

– Отпустите, Марко Данилыч, – продолжала Марья Ивановна. – Каково в самом деле целый месяц ей одной быть. Конечно, при ней Дарья Сергевна останется; да ведь у нее и без того сколько забот по хозяйству. Дунюшке одной придется скучать.

– Одна не останется, об этом не извольте беспокоиться, – обидчиво промолвила Дарья Сергевна, злобно взглянувши на Марью Ивановну.

– Как же решите вы, Марко Данилыч? – спросила Марья Ивановна, не обращая внимания на слова Дарьи Сергевны.

– Право, не знаю, что вам и сказать, – молвил в раздумье Марко Данилыч. – Дело-то, видите, новое, непривычное. Еще никогда она у меня в чужих людях не бывала.

– Так вы не доверяете мне, Марко Данилыч? Ай, ай, ай, как стыдно! Между друзьями так не делается, – с укоризной покачивая головой, говорила Марья Ивановна. – Согласились, да и слово назад. Не ожидала я этого.

– Тятенька, да отпусти же, ради господа, сделай такую для меня милость, – нежно обвивая руками отца, молила Дуня.

– Как тут устоишь, как не согласишься? – сказал, наконец, Марко Данилыч, глядя Дуню по головке. – Ну так и быть – поезжай.

Вспрыгнула от радости Дуня, схватила отцовскую руку и покрыла ее горячими поцелуями.

– Ну, полно, полно, Дунюшка, полно, голубушка, будет, – говорил Марко Данилыч. – А вы, милостивая наша барышня, поберегите уж ее у меня. Я на вас полагаюсь. Сделайте милость.

– Не беспокойтесь, Марко Данилыч, – сказала в ответ Марья Ивановна. Дурного она у меня ничего не увидит, шагу прочь от нее не ступлю, с глаз не спущу.

– Дико будет ей, непривычно, – глубоко вздохнувши, промолвил Марко Данилыч. – Господский дом – совсем иное дело, чем наше житье. Из головы у меня этого не выйдет. Съедутся, например, к вашим братцам гости, а она на таких людях не бывала. Тяжело будет и совестно, станет мешаться, в ответах путаться. Какое уж тут веселье?

– Не знаете вы, Марко Данилыч, как мои братья живут, – возразила Марья Ивановна. – Какие у них гости, какие собранья? Просто-напросто монастырь. Старший брат, Николай Александрыч, почти совсем уж старик, чуть бродит. Андрей Александрыч, опричь хозяйства, знать ничего не хочет, жена у него домоседка, и целый год, может быть, раза два либо три к самым близким соседям выедет. А у них в доме чужих почти никогда не бывает, особенно летом, во время полевых работ. Живут тихо, уединенно. Говорю вам, монастырь, как есть монастырь.

На другой день начались Дунины сборы. Не осушая глаз, больше всех хлопотала угрюмая Дарья Сергевна, а ночью по целым часам стояла перед иконами и клала поклоны за поклонами, горячо молясь, сохранил бы господь рабу свою, девицу Евдокию, ото всяких козней и наветов вражиих.

Павел Мельников На горах

Книга II

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В степной глуши, на верховьях тихого Дона, вдали от больших дорог, городов и людных селений стоит село Луповицы. Село большое, но строенье плохое в нем, как зачастую бывает в степных малолесных местах – избы маленькие, крыты соломой, печи топят по-черному, тоже соломой, везде грязь, нечистота, далеко не то, что в зажиточном, привольном Поволжье. Зато на гумнах такие скирды хлеба, каких в лесах за Волгой и не видывали.

Овраг, когда-то бывший порядочной речкой, отделяет крестьянские избы от большой, с виду очень богатой господской усадьбы. Каменный дом в два яруса, с двумя флигелями лицевой стороной обращен на широкий двор и окружен палисадником, сплошь усаженным сиренью, жимолостью, таволгой, акацией и лабазником (Жимолость – *Lonicera tatarica*. Таволга – *Spirea crenata*. Лабазник – *Spirea ulmaria*.).

За домом старинный тенистый сад с громадными дубами и липами. С первого взгляда на строенье кидается в глаза их запущенность. Видно, что тут когда-то жила на широкую руку, а потом или дела хозяина расстроились, или поместье досталось другим, изменившим образ жизни прежних владельцев и забросившим роскошные палаты в небрежение. В стороне от усадьбы был огромный, но уж наполовину совсем развалившийся псарный двор, за ним – театр без крыши, еще дальше – запустелый конный завод и суконная фабрика. Зато хозяйственные постройки были в редком порядке – хлебные амбары, молотильня, рига на славу были построены из здорового леса, покрыты железом, и все как с иголочки новенькие.

Отец Луповицких был одним из богатейших помещиков той стороны. Смолоду служил, как водится, в гвардии, но после возврата наших войск из Франции вышел в отставку, женился и поселился в родовом своем именье. Заграничная жизнь хоть и порасстроила немножко его дела, но состояния не пошатнула. Луповицкий барином жил, гости у него не переводились: одни со двора, другие на двор. Пирывывали чуть не каждый день, охоты то и дело, и никто из соседей-

помещиков, никто из городских чиновников даже помыслить не смел отказаться от приглашения гостеприимного и властного хлебосола.

Иначе беда: Луповицкий барин знатный, генерал, не одно трехлетие губернским предводителем служил, не только в своей губернии, но в Петербурге имел вес. Связи у него в самом деле были большие – оставшиеся на службе товарищи его вышли в большие чины, заняли важные должности, но со старым однополчанином дружбу сохранили. Приязнь их тщательно поддерживалась породистыми конями Луповицкого, отводимыми в Петербург на конюшни вельможных друзей. На псарном дворе у Луповицкого было четыреста псов борзых да триста гончих. Оркестр крепостных музыкантов управлялся выписанным из Италии капельмейстером. Была и роговая музыка, было два хора певчих, актеры оперные, балетные, драматические, живописцы, всякого рода ремесленники, и всё крепостные. Так широко и богато проживал в своем поместье столбовой барин Александр Федорыч Луповицкий.

Под шумок поговаривали, будто Луповицкий масонства держится. Немудрено – в то время каждый сколько-нибудь заметный человек непременно был в какой-нибудь ложе. Масонство, однако ж, не мешало шумной, беспечной жизни богатых людей, а не слишком достаточные для того больше и поступали в ложи, чтобы есть роскошные даровые ужины. Ежели Луповицкий и был масоном, так это не препятствовало ни пирам его, ни театру, ни музыке, ни охоте. Иное случилось, когда он прожил в Петербурге целую зиму. Воротившись оттуда, к удивлению знакомых и незнакомых, вдруг охладел он к прежним забавам, возненавидел пиры и ночные бражничанья, музыку и отъезжие поля – все, без чего в прежнее время дня не мог одного прожить.

Музыканты, актеры, живописцы распущены были по оброкам, псарня частью распродана, частью перевешана, прекратились пиры и банкеты. Для привычных гостей двери стали на запоре, и опустел шумный дотоле барский дом. Луповицкий с женою стали вести жизнь отшельников. Вместо прежних веселых гостей стали приходить к ним монахи да монахини, странники, богомольцы, даже юродивые. Иногда их собиралось по несколько человек разом, и тогда хозяева, запершись во внутренних комнатах, проводили с ними напролет целые ночи. Слыхали, что они взаперти поют песни, слыхали неистовый топот ногами, какие-то странные клики и необычные всхлипывания. Через несколько времени, опричь странников и богомольцев, стали к Луповицким сходить на ночные беседы солдаты, крестьяне, даже иные из ихних крепостных. Никто понять не мог, что этот сброд грубых невежд и шатунов-дармоедов делает у таких просвещенных, светских и знатных людей, как Луповицкие. Александр Федорыч и в другом изменился: любил он прежде выпить лишнюю рюмку, любил бывать навеселе, любил хорошо и много покушать – а теперь ни вина, ни пива, даже квасу не пьет, только и питья у него чай да вода. Не только мясного – рыбного за столом у него больше не бывало, ели Луповицкие только хлеб, овощи, плоды, яйца, молочное, и больше ничего. Зато и в светлое воскресенье и в великую пятницу с сочельниками подавалась у них одна и та же пища.

Сестра Луповицкого была замужем за Алымовым, отцом Марьи Ивановны, умерла она раньше перемены, случившейся с ее братом. Вскоре умер и муж ее, тогда Луповицкие маленькую сиротку, Марью Ивановну, взяли на свое попечение. Воспитанье давали ей обыкновенное для того времени – наняты были француженка, немка, учительница музыки, учительница пения, а русскому языку, русской истории и закону божью велели учить уволенному за пьянство из соседнего села дьякону. Два сына Александра Федорыча тоже дома воспитывались – целый флигель наполнен был их гувернерами и разного рода учителями от высшей математики до верховой езды и фехтованья. Все иностранцы были, а русскую премудрость и сынки с Марьей Ивановной почерпали у пропившегося дьякона. Петербургские вельможные друзья в благодарность за резвых рысаков предлагали Луповицкому выхлопотать его сыновьям звание пажей, но Александр Федорыч, до поездки в Петербург сильно тосковавший, что, не будучи генерал-лейтенантом, не может отдать детей в пажеский корпус, и слышать теперь о том не хотел. Хочу из них сделать сельских хозяев, – писал он к старым своим приятелям, и нельзя было разуверить друзей его, что бывший их однополчанин обносился умом, и на вышке у него стало не совсем благополучно.

Все дивились перемене в образе жизни Луповицких, но никто не мог разгадать ее причины. Через несколько лет объяснилась она. Был в Петербурге духовный союз Татариновой (Екатерина

Филипповна Татаринова, жена директора рязанской гимназии, урожденная Буксгевден, во втором десятилетии нынешнего столетия собирала таинственные собрания в квартире своей матери в Петербурге, в Михайловском замке. Это было собрание хлыстов из высшего общества, во многом сходное с нынешней редстоковщиной или пашковщиной. Оно называлось «духовным союзом». После того как собрания Татариновой были прекращены, они возобновились в Петербурге же за Московской заставой и в тридцатых годах снова были закрыты. В это время Татаринова и некоторые из ее последователей были разосланы по монастырям.).

Принадлежавшие к нему собирались в ее квартире и совершали странные обряды. С нею через одного из вельможных однополчан познакомился и Александр Федорыч. Вскоре и сам он и жена его, женщина набожная, кроткая и добрая, вошли в союз, а воротясь в Луповицы, завели у себя в доме тайные сборища.

Между тем, когда о духовном союзе узнали и участников его разослали по монастырям, добрались и до Луповицких. Ни их богатства, ни щедрые пожертвования на церкви, больницы и богадельни, ни вельможные однополчане, ничто не могло им помочь. Кончил свои дни Александр Федорыч в каком-то дальнем монастыре, жена его умерла раньше ссылки.

И сыновья и племянница хоть и проводили все почти время с гувернерами и учительницами, но после, начитавшись сначала четьи-миней и «Патериков» об умерщвлении плоти угодниками, а потом мистических книг, незаметно для самих себя вошли в «тайну сокровенную». Старший остался холостым, а меньшой женился на одной бедной барышне, участнице «духовного союза» Татариновой. Звали ее Варварой Петровной, у них была дочь, но ходили слухи, что она была им не родная, а приемыш либо подкидыш.

Ссылка отца научила сыновей быть скрытней и осторожнее.

Не прекратились, однако, у них собрания, но они стали не так многочисленны. Не было больше на них ни грязных юродивых, ни шатунов-богомольцев, ни странников; монахи с монахинями хоть и бывали, но редко. Притаились и молодые Луповицкие, как-то проведавшие, что и за ними следят. Тогда Марья Ивановна из Луповиц переехала в свое Талызино и там выстроила в лесу дом будто для житья лесника, а в самом деле для хлыстовских сборищ. В тех местах хлыстовщина меж крестьянами велась истари, и Марья Ивановна нашла много желавших быть участниками в «тайне сокровенной». Но через несколько лет, узнав, что об лесных ее сборищах дошли вести до Петербурга, она решилась переехать на житье в другую губернию. Кто-то сказал ей, что продается пустошь Фатьянка, где в старые годы бывали хлыстовские сходбища с самим Иваном Тимофеичем, Христом людей божиих; она тотчас же купила ее и построила усадьбу на том самом месте, где, по преданьям, бывали собрания «божских людей» («Божьими людьми» называют сами себя хлысты. Иван Тимофеич Суслов, христос людей божских, жил в конце XVII и в начале XVIII столетия, проповедовал свое учение в нынешних Владимирской, Нижегородской, Костромской и Ярославской губерниях, а также в Москве, где и умер.).

Рады были Луповицкие сестрину приезду, давно они с ней не видались, обо многом нужно было поговорить, обо многом посоветоваться. Письмам всех своих тайн они не доверяли, опасаясь беды. Потому раза по два в году езжали друг к другу для переговоров. Луповицкие сначала удивились, что Марья Ивановна, такая умная и осторожная, привезла с собой незнакомую девушку, но, когда узнали, что и она желает быть «на пути», осыпали Дуню самыми нежными ласками. С хорошенькой, но как смерть бледной племянницей Марьи Ивановны, Варенькой, Дуня Смолокурова сблизилась почти с первого же дня знакомства. Молодая девушка с небольшим лет двадцати, с умными и немножко насмешливыми глазами, приняла Дуню с такой радостью, с такой лаской и приветливостью, что казалось, будто встречает она самую близкую и всей душой любимую родственницу после долгой разлуки.

Обстановка дома Луповицких поразила Дуню, до тех пор сидевшую в четырех стенах отцовского дома и не видавшую ничего подобного. Налюбоваться не могла она на убранство комнат, сохранивших еще остатки былой роскоши. Огромные комнаты, особенно большая зала с беломраморными стенами и колоннами, с дорогими, хоть и закоптелыми люстрами, со стульями и диванчиками, обитыми хоть и полинявшею, но шелковой тканью, другие комнаты, обитые гобеленами, китайские вазы, лаковые вещи, множество старого саксонского и севрского фарфора, вся эта по-

бледневшая, износившаяся роскошь когда-то изящно и свежо разубранного барского дома на каждом шагу вызывала громкое удивление Дуни. Варенька снисходительно улыбалась ей, как улыбается взрослый человек, глядя на любопытного ребенка. На восторженные похвалы Дуни она холодно, презрительно даже сказала:

– Суета! Язычество!.. Удивляюсь, как до сих пор не выкинут всего этого в помойную яму.

– Как это можно! – вскрикнула Дуня. – Такие прекрасные, такие красивые вещи.

– Суета и пустота! – молвила Варенька. – Это ведь все от врага, это все на усладу язычникам.

– Каким язычникам? Кажется, теперь их больше нет, – с удивлением сказала Дуня.

– Земля полна язычниками; избранное стадо не велико, – отвечала Варенька.

– Кто ж язычники? – спросила Дуня.

– Все, – ответила Варенька. – Все, кого до сих пор вы знали, кроме разве одной тетеньки, – сказала Варенька и, не дав Дуне слова вымолвить, спросила у нее:

– Сколько вам лет?

– Девятнадцать, – ответила Дуня.

– Пора отложить суету, время вступить вам на «путь». Я сама в ваши годы пошла путем праведным, – понизив голос, сказала Варенька. – Однако пойдемте, я вам сад покажу... Посмотрите, какой у нас хорошенький садик – цветов множество, дядя очень любит цветы, он целый день в саду, и мама тоже любит... Какие у нас теплицы, какие растения – пойдемте, я вам все покажу.

И девушки, взявшись под руку, вышли на обильно установленную цветами мраморную террасу, а потом медленными шагами спустились в сад по широким ее ступеням.

Меж тем Марья Ивановна сидела в комнате старшего брата с меньшим братом и с его женою.

– Ну как, Машенька, устроилась ты в Фатьянке? – спросил Николай Александрыч.

– Слава богу, совсем почти обстроилась, остается внутри кой-что обделать да мебель из Талызина перевезти, – отвечала Марья Ивановна. – К осени, бог даст, все покончу, тогда все пойдет своей колеей.

– Что ж? В самом деле был там корабль Ивана Тимофеича? (Кораблем называется общество хлыстов.) – спросила Варвара Петровна.

– В самом деле, – отвечала Марья Ивановна. – И по преданиям так выходит и по всем приметам. Тут и Святой ключ и надгробный камень преподобного Фотина, заметны ямы, где стоял дом, заметны и огородные гряды.

– Хорошо, что в твои руки досталось место, – сказала Варвара Петровна. Летом на будущий год непременно у тебя побываю. Теперь, говоришь, ничего еще у тебя не приспособлено?

– Еще ничего, – отвечала Марья Ивановна. – Сионскую горницу (Сионской горницей у хлыстов называется комната, где происходят их собрания.) сделали, не очень велика, однако человек на двадцать будет. Место в Фатьянке хорошее – уютно, укомно, от селенья не близко, соседей помещиков нет, заборы поставила я полторы сажени вышиной. Шесть изб возле дома также поставила, двадцать пять душ перевела из Талызина. Все «наши».

– А поблизости есть ли божьи-то люди? – спросил Андрей Александрыч.

– Еще не знаю, – отвечала Марья Ивановна, – пока до меня не доходило. Да я, впрочем, и разыскивать не стану. Не такое время теперь. Долго ли до беды?

– Ну а эта девушка, что с тобой приехала? в самом деле близка она к «пути»? – спросил Николай Александрыч.

– Совсем готова, – сказала Марья Ивановна. – Больше восьми месяцев над Штиллином, Гион и Эккартсгаузенем сидела. И такая стала восторженная, такая мечтательная, созерцательная и нервная. Из нее выйдет избранный сосуд.

– Ну, это еще не угадано, – молвил меньшой Луповицкий. – Бывали и восторженные, бывали и мечтательные, а после назад возвращались в язычество, замуж даже выходили.

– Эта замуж не пойдет, – сказала Марья Ивановна. – Любовь житейская ей противна, в этом я успела настроить ее. И другая есть тому причина – я и той воспользовалась, хоть и ни разу даже не намекнула Дуне об ее сердечных ранах. Понравился ей какой-то купчик, познакомилась я с нею тотчас после разрыва, поговорила с ней, посоветовала читать мистические книги, а теперь, проживши у них больше двух недель, кажется, совсем ее укрепила. Много порассказала я ей, и теперь она горит желанием услышать «живое слово». В первое же собрание можно будет ее допустить, разумеется, пока без «приводу» («Привод» – обряд поступления в секту.).

Я уверена, что она озарится. Когда будет у вас собрание-то?

– Хотелось бы в субботу на воскресенье, – сказал Николай Александрыч. Не знаю, соберутся ли.

– А по многу ль теперь собираются? – спросила Марья Ивановна.

– Умалился корабль, очень умалился, – скорбно промолвил Николай Александрыч. – Которых на земле не стало, которые по дальним местам разошлись. Редко когда больше двадцати божьих людей наберется... Нас четверо, из двора пять человек, у Варварушки в богадельне семеро. Еще человека два-три со стороны. Не прежнее время, сестрица. Теперь, говорят, опять распыхались злобой на божьих людей язычники, опять иудеи и фарисеи (Иудеями и фарисеями хлысты называют православные власти, преимущественно духовные.) воздвигают бурю на Христовы корабли. Надо иметь мудрость змиину и как можно быть осторожней.

И с покорным видом, с умильным взором на Спасителя с апостолами во время бури на Галилейском море, знаменитой кисти известного художника Боровиковского, запел Николай Александрыч вполголоса заунывную песню. Другие вполголоса припевали ему, а у него щеки так и орошались слезами.

Кораблик заливают морскими волнами,
Сверху грозят тучи, стоячи над нами,
Заставляют бедных страдать под водами,
Скудны мы, бедны – нищета вся с нами,
Скудость и бедность всегда жила с нами,
Как в прежних веках, так и ныне тоже.
Ох, много зачинающих, да мало скончевающих!

Припадем коленами на мать-сыру-землю,
Пролием мы слезы, как быстрые реки,
Воздохнем в печали к создателю света:

"Боже ты наш, боже отец наших,
Услыши ты, боже, сию ти молитву,
Сию ти молитву, как блудного сына,
Приклони ты ухо к сердечному стону,
Прими ты к престолу текущие слезы,
Пожалей, создатель, бедное создание,
Пределам нам, боже, к избранному стаду,
Запиши, родитель, в животную книгу,
Огради нас, бедных, своею оградой,
Приди в наши души с небесной отрадой
Всех поставь нас, боже,
Здесь на крепком камне,
Чтоб мы были крепки во время печали;
Мы всегда желаем быть в избранном стаде,
Ты наш учитель, ты наш попечитель,
Просим милости богатой у тебя, владыки,
И всегда ходить желаем под твоим покровом,
Ты нас, батюшка, питаешь и всем оделяешь,
В наших скорбях и печалях сам нас подкрепляешь,
Тебе слава и держава в пречистые руки*.

*Эта песня не без основания приписывается одно-

му из участников татаринского корабля (рязанскому помещику Дубовицкому), отправленному лет пятьдесят тому назад в Саровскую пустынь, а потом едва ли не в Соловки. Первоначальная же редакция принадлежала Александру Ивановичу Шилову, крестьянину из Орловской губернии, сначала хлысту, а потом скопческому Иоанну Предтече, умершему в самых последних годах прошлого столетия в Шлиссельбурге.

Все сидели с благоговением и плакали. Не вдруг успокоились, долго сидели после того молча, вздыхая и отирая слезы. Наконец Марья Ивановна спросила у Николая Александрыча:

– А в «слове» кто теперь ходит? (Ходить в «слове» – пророчествовать во время исступления, находящего на иных хлыстов во время радения и после него.).

– Да все те же. Племянница наша, Варенька, стала в слове сильна и с каждым разом сильнее становится, – сказал Николай Александрыч. – Златой сосуд! По времени, будет в нем благодать великая.

– Слава в вышних богу! – благоговейно поднявши глаза, проговорила Марья Ивановна. – На Дуню я тоже много рассчитываю. Помните, как в прошлом году я под осень гостила у вас, про нее тогда я вам сказывала, что как скоро заговорила я с ней, едва открывая «тайну», дух на нее накатил (Дух накатил, то есть сошел дух (по понятиям хлыстов, святой дух).) – вся задрожала, затрепетала, как голубь, глаза загорелись, и без чувств упала она ко мне на руки. Великим знамением тогда я это сочла. А теперь, как гостила у них, каждый почти день бывала она в восторге, так и трясет ее всю: судороги, истерика, пена у рта. Ни словом ей не заикнулась я, что бывает у нас на радениях, а все-таки ее поднимало.

– Дай господи такую подвижницу, подай истинный свет и новую силу в слове ее, – сложив руки, набожно сказал Николай Александрыч. – Ежели так, можно будет ее допустить на собрание, и если готова принять «благодать», то можно и «привод» сделать... Только ведь она у отца живет... Помнится мне, говорила ты, Машенька, что он раскольник, и совсем плотской язычник, духовного в нем, говорила ты, нет ни капельки.

– Это так, – подтвердила Марья Ивановна. – Как есть плотской – только деньги на уме.

– Как же Авдотьюшка, познав тайну, станет в Гоморре жить? – сказал Николай Александрыч. – Тяжело ведь ей будет меж язычниками... Некому будет ни утешить ее, ни поддержать в ней святого пламени. Устоит ли тогда она на «правом пути», сохранит ли «тайну сокровенную»? Об этом надо обсудить хорошенько. То помни, Машенька, что ангелы небесные ликуют и радуются, когда языческая душа вступает в ограду спасения, но все небесные силы в тоске и печали мечутся по небу, ежели «приведенная» душа возвратится вспять и снова ступит на погибельный путь фарисейский.

– Со мной часто будет видаться, я буду ее поддерживать. Отец обещал отпускать ее ко мне в Фатьянку.

При мне не пойдет она в адские ворота, не возвратится в язычество, твердо и решительно сказала Марья Ивановна. – На «приводе» я, пожалуй, буду ее поручницей и все время, пока обитаю в этом греховном теле, стану поддерживать ее на «правом пути».

– А дашь ли за нее страшное священное зарученье? – строго спросил у сестрицы Николай Александрыч.

– Дам, – ответила Марья Ивановна. – Дам, потому что ручаюсь за нее, как за самое себя.

– Но ведь ты знаешь, Машенька, что бывает с заручниками, если приведенные ими отвергнутся «пути»? – спросил Николай Александрыч.

– Знаю, – слегка кивнув головой, ответила Марья Ивановна.

– Отлучение от части праведных, отлучение от небесных сил, отторжение от святейшего сонма поющих хвалебные песни пред агнцем, вечное страданье души в греховном теле, низведение в геенну на нескончаемую власть врага

(Хлысты никогда не употребляют слов: «дьявол», «сатана», «черт» и тому подобных, дабы не осквернить проклятым именем своего языка. Одно у них имя ему – «враг», иногда «враг божий», редко «враг человеческий». Некоторые учителя их о дьяволе так говорят: «Какой он враг человекам? – он друг им и покровитель, как любимым своим созданиям. Он враг только нам, пришедшим из внешнего мира и познавшим правый путь и сокровенную тайну». Хлысты вполне уве-

рены, что смертное тело человека сотворил Сатанаил по образу и подобию своему, потому он и владеет телом, а бог в это тело вдунул дыхание жизни, то есть душу, по своему образу и подобию, оттого душа и бессмертна. Только познавший правый путь и сокровенную тайну, по мнению их, войдут в селения праведных, остальные вечно будут мучиться, заключенные в тела и находясь в полной власти отца своего Сатанаила.), – торжественно говорил Николай Александрыч, – вспомни, сестрица, вспомни, душевная моя.

– Не давала б я, Николаюшка, великого и страшного заручения, не ставила б за чужую душу в залог свою душу, ежели б не знала Дунюшки, – а иступленье, диким, дрожащим голосом сказала брату Марья Ивановна.

И, крепко стиснув руками грудь, со слезами на глазах, задыхаясь от непрерывных вздохов и сильных судорожных движений тела, стала она «выпевать»: («Выпевать» – в беспамятстве говорить с рифмами, импровизировать.).

– Высоко будет ходить во «святом во кругу» («Святым кругом» у хлыстов называется нечто вроде хоровода, исполняющего религиозные пляски.). Высока ее доля небесная, всем праведным будет она любезная. Велики будут труды, да и правильны суды...

Все встали. На Марью Ивановну «накатило». Она была в восторге, в иступленье, слово ее было «живое слово, святое, вдохновенное, пророческое». Всем телом дрожа и сжимая грудь изо всей силы, диким, но торжественным каким-то голосом запела она:

Изведет из темниц
Сонмы чистых девиц.
Привлечет в божий чин
Сонмы грешных мужчин.
Сам спаситель ей рад,
Возведет в вышний град,
Осенит святой дух
Ее огненный дух,
И на радость она
Будет богу верна.
Поручусь за нее,
И молюсь на нее,
То – невеста Христа,
Снимет нас со креста,
Силу вышнюю даст,
Благодать преподаст.

С поникшими головами и сокрушенным сердцем слушали Луповицкие сестрицу свою, затрубившую в трубу живогласную, возглашавшую златые вещания, чудоносные, цельбоносные (Трубой живогласною и златыми вещаниями, чудоносными, цельбоносными хлысты называют слова пророков, сказанные во время иступления.).

В изнеможение, без чувств упала Марья Ивановна на диван. Глаза ее закрылись, всю ее дергало и корчило в судорогах. Покрытое потом лицо ее горело, белая пена клубилась на раскрытых, трепетающих губах. Несколько минут продолжался такой припадок, и в это время никто из Луповицких не потревожился – и корчи и судороги они считали за действие святого духа, внезапно озарившего пророчицу. С благоговеньем смотрели они на страдавшую Марью Ивановну.

Мало-помалу она успокоилась, корчи и судороги прекратились, открыла она глаза, отерла лицо платком, села на диван, но ни слова не говорила. Подошла к ней Варвара Петровна со стаканом воды в руке. Большими глотками, с жадностью выпила воду Марья Ивановна и чуть слышно промолвила:

– Еще.

Другой стакан подала Варвара Петровна, Марья Ивановна и его выпила, волнение стало в ней прекращаться, только грудь поднималась тяжело и порывисто.

«Живым словом» Марьи Ивановны была решена участь Дуни. Луповицкие с радостью согласились открыть ей всю «сокровенную тайну». В слове Марьи Ивановны и в постигшем ее после

того припадке они видели явную на то волю Божию.

– Я пойду... разденусь... лягу в постель... – слабым, упавшим голосом проговорила Марья Ивановна, приподнимаясь с дивана. Варвара Петровна подхватила ее под руку и тихонько, с осторожностью повела едва передвигавшую ноги пророчицу.

В родительском доме в последнее время все дни с утра до ночи Дуня проводила с Марьей Ивановной, в Луповицах стала она неразлучна с Варенькой. Погода на ту пору стояла тихая, теплая, и обе девушки из саду почти не выходили, они бывали в доме только за обедом и за чаем. Постель Дуни на первое время поставили в Варенькиной спальне, пока не приготовили заезжей гостею особой комнаты. Все это сделано было по желанию Марьи Ивановны. И во время прогулок, и по ночам, лежа в постелях, Дуня водила с Варенькой такие же разговоры, как прежде с Марьей Ивановной. Рассказы молодой девушки о таинственной вере нравились Дуне больше, чем рассказы Марьи Ивановны. Они были ей проще и понятнее. Иногда приходили к ним в сад и Варвара Петровна и Марья Ивановна, но всегда на короткое время. В совете Луповицких Дуня отдана была для вразумлений Вареньке, потому что эта ближе подходила к ней возрастом и потому могла иметь больше на нее влияния.

Однажды Варенька с Дуней, крепко обнявшись, сидели на уютном диванчике в обширной теплице, уставленной одними пальмами. Других растений в теплице не было. Говорили девушки о «союзе», к которому так неудержимо влеклась мечтательная Дуня.

– Варенька, я тебе еще, кажется, не сказывала, что Марья Ивановна обещалась мне здесь, в Луповицах, показать таких праведных, что говорят «живое слово», – сказала Дуня. – Теперь каждый день я ее спрашиваю, когда ж это будет, а у нее только и ответов: «погоди да погоди».

– А тебе хочется видеть их? – с улыбкой спросила Варенька.

– Господи! Да я бы жизнь отдала, только бы взглянуть на них, только бы одно «живое слово» услышать, – с живым нетерпением отвечала Дуня.

– Разве ты никогда не видала их? – улыбаясь, спросила Варенька.

– Где ж мне видеть их? – грустно промолвила Дуня... – Не такая жизнь выпала на долю мне. Не знаешь разве, что я выросла в скиту, а потом жила у тятеньки в четырех стенах. До знакомства с Марьей Ивановной о духовности и понятия у меня не было. Только она открыла мне глаза.

– А ты и не догадалась, что сама она «просветлена», что в ней самой дух Божий живет, что сама она вещает «глаголы живота»? – спросила Варенька.

– Как? Неужели? – в изумлении вскрикнула Дуня и порывисто вскочила с диванчика.

– Да, «просветлена», – сказала Варенька. – Она уж давно таинственно умерла и давно таинственно воскресла. Нет в ней греховного человека, нет в ней ветхого Адама. Не доступны ей ни грех, ни страсти, свойственные человеку.

Припомнила Дуня слова Марьи Ивановны о людях, что после таинственной смерти таинственно воскресают. Ее слова были памяты ей, в сердце носила их.

– Так в ней сам бог?.. Так от нее от самой можно слышать слово вечной жизни? – воскликнула Дуня задрожавшим от волнения голосом.

– Да, она «труба живогласная», – молвила Варенька. – Она святая пророчица, устами ее дух волю свою вещает.

– А я и не знала... И в голову мне не приходило... – тихо опускаясь на диванчик, едва слышно промолвила Дуня.

– Чужому знать этого нельзя, – сказала Варенька.

– Зачем же она не сказала мне?.. Зачем говорила, что увижу таких людей только здесь, в Луповицах?.. – тоскливо говорила Дуня, не слушая Вареньки.

– Услышишь... И ее услышишь и других услышишь, – сказала Варенька. – В пророческом слове не одна она ходит.

– Кто же еще? – спросила Дуня.

– Дядюшка и еще другие, – ответила Варенька.

– Как? Николай Александрыч?

– Да. Силен в нем дух, сильнее, чем в тете Машеньке. Он ведь кормщик корабля, всем руководит. В нем давно уж нет своей воли, она вся попалена небесным огнем, совсем уничтожена. В нем одна только святая воля духа. Что б он ни приказал, чего б ни захотел, все исполняй, как божье повеленье. Что б ни сказал он, во всяком слове его премудрость божия. Слепым, что живут языческой жизнью в плене вавилонском, тем, что валяются в смрадной тине грехов, слова его, конечно, покажутся безумием. Но помни, Дунюшка, слово, сказанное в писании: «Безумное божие мудрее людей, и немощное божие сильнее человеков» (1. Коринф, 1-25.). Всякий кормщик такой, как дядюшка, что бы ни сделал, все свято сделал. Как бы его поступок ни показался скверным, даже незаконным, все-таки он безмерно выше, нравственнее и законнее высшей чистоты и праведности человеческой. Не кормщик так поступает, а живущий в нем дух. Читала ли ты преподобного отца Макария Египетского?

– Как же не читать? – отвечала Дуня.

– Вспомни, что говорит он: «Душа, которую дух, уготовляющий себе в престол и жилище, удостоит приобщиться его света, осияет неизреченною красотой его славы. Она сама вся становится светом, в ней не остается ни одной части, которая бы не была исполнена духовных очей». А со многими очами многоочитые кто?

– Херувимы, – сказала Дуня.

– Ну да, – подтвердила Варенька. – Так ты понимай, кому подобны божьи люди, особенно кормщики кораблей, одаренные духом сугубой благодатью. Макарий Египетский вот еще что говорит: «Не остается в той просветленной душе ничего темного, она вся делается светом и духом. Такие люди, соединенные с духом Божиим, делают подобными самому Христу, сохраняя в себе постоянно силы духа и являя для всех духовные плоды, потому что когда они духом соделаны чистыми и непорочными – то невозможно, чтобы вне себя приносили они плоды злые. Всегда и во всем являются у них добрые плоды духа» (Св. Макария Египетского «Беседа» I, п. 2, «Слово о любви», п. 7.).

Долго ничего не могла сказать на это Дуня.

– Когда ж и где Николай Александрыч или Марья Ивановна говорят «живое слово»? Когда бы послушать их, Варенька?.. – после долгого молчания спросила Дуня.

– Когда корабль соберется, когда властью и велением духа будут собраны люди божьи во едино место в сионскую горницу, – ответила Варенька, – если будет на то воля божия и тебя допустят посмотреть и послушать, хоть ты пока еще и язычница... Кто знает? Может быть, даже слово будет к тебе. Редко, а это иногда бывает.

– Ах, всем бы сердцем, всей бы душой я хотела войти в корабль, – с глубоким вздохом сказала Дуня.

– Покамест нельзя, Дунюшка. Вдруг никак невозможно, – отвечала Варенька. – Может быть, собрание-то, когда побываешь в нем, соблазнит тебя. Может быть, ты станешь избегать его, как греховного.

– Что ты, что ты, Варенька! – вскрикнула Дуня. – Я и так, кажется, довольно уж знаю... Сколько книг перечитала, сколько Марья Ивановна со мной говорила. Во все, во все верю, и всей душой стремлюсь к раскрытию «сокровенной тайны».

– Не говори так, Дунюшка, – прервала ее Варенька, – не говори с такой уверенностью. Сказала я тебе, что божие безумное премудрей человеческой мудрости, но ведь обыкновенные люди, язычники, в проявлениях духа видят либо глупость, либо юродство, либо даже кощунство и богохульство, кликушами божьих людей называют, икотниками да икотницами, даже бесноватыми

(Кликуши, на северо-востоке икотницы – люди, одержимые особого рода падучей болезнью, в припадках которой теряется сознание и больная (у мужчин эта болезнь бывает чрезвычайно редко) в корчах и судорогах беспрестанно икает либо кричит звериными голосами, изрыгая брань, ругательства и даже богохульство. Народ приписывает эту болезнь напуску от злых колдунов. Сами кликуши всегда почти выкликают, что такой-то испортил их. Считая эту нервную болезнь, истерику в самой сильной степени, за притворство, пробовали лечить баб розгами, иным это лекарство

помогало, но в большей части случаев сводило больных в могилу.).

Когда явишься ты в среде малого стада, в сонме племени нового израиля, и божьи люди станут молиться на твоих глазах истинной молитвой, не подумаешь ли ты по-язычески, не скажешь ли в сердце своем: «Зачем они хлопают так неистово в ладоши, зачем громко кричат странными голосами?...»

А когда услышишь вдохновенные, непонятные тебе речи, не скажешь ли: «Безумие это, сумасбродство»?.. Мало того – не скажешь ли ты самой себе: «Это кошунство». Так всегда говорит про божьих людей слепой и глухой языческий мир, так, пожалуй, скажешь и ты, потому что ты язычница.

– Зачем же, однако, на молитве хлопать в ладоши? – с удивлением спросила Дуня. – Помоему, это нехорошо. Так не водится.

– Псалтырь читывала? – спросила Варенька.

– Как же не читать? Училась по псалтырю. Чуть не весь знаю наизусть, ответила Дуня.

– Помнишь: «Восплещите руками, воскликните богу...» А дальше: «Взыде бог во воскликновении», – сказала Варенька.

– Псалом сорок шестой, в конце о сынех Кореовых, – промолвила Дуня и смолкла.

– Оттого люди божьи и плещут руками. Царь-пророк их тому научил. И восклицают они громкими радостными голосами хвалебные песни, – сказала Варенька. – То не забудь, что сам бог ходит при восклицаниях и в гласе трубном, то есть с пением, с музыкой. Тебе покажется это соблазнительным, потому что привыкла ты к мертвому богопочтению. У вас только поклоны да поклоны. Знай одну спину гнуть – и будешь спасен... Так ведь по-вашему? А у божьих людей не так, у них все тело, все члены его поклоны бьют. А когда увидишь, как это делается, – непременно соблазнишься...

– Что ж это за поклоны всем телом? – с напряженным вниманием спросила у Вареньки Дуня.

– С первого взгляда похожи они на скачку, на пляску, на языческие хороводы, – ответила Варенька. – И если бы увидел язычник святое «радение» людей божьих, их, непременно назвал бы его неистовым скаканьем, богопротивною пляской. Но это «радение» к богу. Сказано: «Вселюся в них и похожу» – и вот, когда вселится он в людей своих, тогда и ходит в них. Божьи люди в восторге тогда пребывают, все забывают, землю покидают, в небесах пребывают.

– Как же это можно плясать на молитве? – сказала совсем изумленная Дуня. – Ведь это грех... Подумать так страшно...

– Службу на Пасху знаешь? – спросила Варенька. – Всю наизусть, ответила Дуня.

– «Богоотец убо Давид пред санным ковчегом скакаше, играя...» – помнишь? – спросила Варенька.

– Помню, – тихо в раздумье ответила Дуня.

– А в писании читала, как царь Давид плясал перед господом? – спросила Варенька.

– Что-то не помню, – ответила Дуня.

– Шел он в Иерусалим с кивотом божьим, скакал перед ним и играл. Мельхола, дочь Саулова, как язычница, над ним насмеялась, а он ей сказал: «Буду играть и плясать перед господом» (II. Царств., гл. 6.). Теперь он в райских светлицах препрославлен, а она в адских муках томится, во власти божия врага.

Не отвечала Дуня. Поражена была она словами Вареньки. Та продолжала:

– Увидишь людей божьих, и мужчин и женщин вместе, в одних белых рубашках, с пальмами в руках – и тоже соблазнишься?.. А между тем тут тайна. Почему святых, праведных зовут «людьми божьими»? Потому что запечатлены они печатью бога живого.

– Об этом я в книге госпожи Гион читала, – молвила Дуня (Госпожа Гион. «Изъяснение на апокалипсис». Москва, 1821.).

– Ну да, – подтвердила Варенька, – и в апокалипсисе тоже есть. Там сказано: «Вот множество людей ото всех племен стоят пред престолом и пред агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветками в руках и восклицают громким голосом...» (Апокалипсис, гл. 7.) Потому люди божьи и «радеют» господу в белых одеждах с пальмами в руках... Конечно, не везде можно достать пальм – а у нас вот их целая теплица для того заведена. По другим местам вместо пальм вербы держат в

руках, либо зеленые ветви от какого-нибудь дерева, не то белые платки либо жгутики... Вот отчего люди божьи молятся в одних белых рубашках... А тебе, пожалуй, и это за соблазн покажется. Не отвечала Дуня, погрузившись в сильное раздумье.

– А когда услышишь, что восклицают в то время божьи люди, какие слова говорят и поют они – соблазнишься, непременно соблазнишься, – продолжала Варенька.

– Что ж такое они восклицают? – пытливым взглядом глядя на Вареньку, спросила Дуня.

– Они поют, – сказала Варенька. – Поют «песнь нову», и, кроме их, никто не может научить-ся ее петь, – прибавила она после короткого молчания. – Певцы те искуплены, они первенцы богу и агнцу... В устах их нет лукавства... Непорочны они пред божьим престолом... На них печать божия (Апокалипсис, гл. 7.).

– То же читала я в книге госпожи Гион, – сказала Дуня. – Я бы, кажется, услышавши такую песню, слушала ее не наслушалась.

– А все-таки она бы соблазнила тебя, – ответила Варенька, устремляя пристальный взгляд на Дуню. – Не забывай, милый друг, что ты еще пока язычница и что враг имеет над тобой полную власть. Он-то и вложит в твою душу нечистый помысл, он-то и скажет тебе, что «новая песня» – безумие... Но помни всегда, всегда помни, моя милая, желанная, что «безумное божие премудрей человеческой мудрости». Что, если услышишь ты в собрание божьих людей не тот напев, к которому привыкла в своих часовнях? Услышишь, что новые песни поются на голос мирских песен – хороводных, например, или таких, что пьяные мужики поют на гуляньях, либо крестьянские девки на посиделках, иной раз плясовую даже услышишь?

– Зачем же так петь? – в сильном смущении спросила Дуня. – Разве нельзя петь как следует?

– Можно бы, – ответила Варенька. – Очень бы можно, ежели бы новую песню пели, как у вас, бездушные кимвалы бряцающие. Но ведь на раденьях людей божьих не сами они поют, не своей волей, не своим хотеньем; дух, живущий в них, и слова песен, и напев им внушает... Опять-таки прежде тебе скажу, не знаю уж в который раз, помни слова писания: «Безумное божие премудрей человеческой мудрости»... Да, во всем, во всем у людей божьих для языческого греховного мира тайна великая. Люди божьи ежечасно славят творца, что дал им познать его тайны, – прибавила Варенька. – Утаил он тайны от премудрых и разумных, открыл младенцам своим неразумным!

– Какие ж это песни? Ты знаешь какую-нибудь? – спросила Дуня.

– Знаю, но далёко не все, – ответила Варенька. – Песен много – на каждом почти собрании новая бывает, и не одна, а сколько дух святой захочет, столько и дает их. Ведь это не то, что у язычников по тысяче лет одно и то же поется. Прислушались, и в старых песнях смысла не понимают. А и те песни святы, потому что в свое время и они внушены были духом же святым. У божьих людей новые песни поются по наитию духа, и никто не может навывкнут петь эти песни, как сказано в писании... Но есть и старые песни, такие, что давно певались пророками и теперь по церквам и по вашим скитским часовням поются. Их тоже поют на собраниях люди, познавшие «тайну сокровенную».

– Если можно, богом тебя прошу, Варенька, спой какую-нибудь новую песню, – просила Дуня, крепко сжимая Вареньку в объятьях.

Немного призадумалась Варенька, сказала, наконец:

– Изволь, так и быть, спою одну, но смотри, наблюдай за собой – не посеял бы враг соблазна в твоём сердце.

– Нет, Варенька, нет. Не мне, самому богу поверь, что не соблазнюсь. Пой, Варенька, пой, – со страстным увлечением говорила Дуня. А сама так и млеет, так и дрожит всем телом.

Помолчала Варенька, потом ясным чистым голосом запела:

Бога человекам невозможно видети,

На него ж не смеют чины ангельские взирати.

– Да это и у нас поется, – сказала Дуня. – Напев только не тот. У нас этот тропарь поют на глас шестый. Не слыхала Варенька слов Дуни. Громче и громче раздавалась ее песня в теплице под сенью длиннолистных пальм.

Тобою, пречиста, дева благодатна,

К нам господь явился в плоти человека.
Люди не познали, что бог с ними ходит.
Над ним надругались – вины не сыскали,
Все не знали в злобе, что тебе сказать,
Рученьки пречисты велели связать,
На тебя плевали, венец накладали.
Отвели к Пилату, чтоб велел распять,
А ты милосердый, терпеливый агнец,
Грех со всех снимаешь, к отцу воздыхаешь:
«Отпусти им, отче, – творят, что не ведут»,
Благообразный Иосиф упросил Пилата
С древа тело снять, пеленой обвить,
На тебя глядевши, стал он слезы лить,
И во гробе нове положил, покрывши,
Зарыл тело в землю, камень положивши.

– Это псалма, – сказала Дуня. – Не эту самую, а другие такие же у нас по скитам поют, не в часовне только, а в келарне, либо в келье у какой-нибудь матери, где девицы на поседки собираются.

Не отвечала Варенька. Она уж пришла в восторг и, не слушая Дуни, продолжала:
Ныне наш спаситель просит отпущенья;
Плачем и рыдаем, на страды взираем -
Сокати святой дух царствовать на землю!..
Повелел спаситель – вам врагам прощати,
Пойдем же мы в царствие тесною дорогой,
Царие и князи, богаты и нищи,
Всех ты, наш родитель, зовешь к своей пище,
Придет пора-время – все к тебе слетимся,
На тебя, наш пастырь, тогда наглядимся,
От пакостна тела борют здесь нас страсти,
Ты, господь всемогущий, дай нам не отпасти,
Дай ты, царь небесный, веру и надежду,
Одень наши души в небесны одежды,
В путь узкий, прискорбный идем – помогай нам!
Злые духи тати ищут нас предати,
Идут в путь просторный – над нами хохочут,
Пышность, лесть и гордость удалить не хочут,
Злого князя мира мы не устрашимся,
Всегда друг ко другу, как птицы, слетимся...
Что же нам здесь, други, на земле делить?
У нас один пастырь, а мы его овцы.
Силен всем нам дати, силен и отнять,
Мы его не видим, а глас его слышим:
"Заповедь блюдите, в любви все ходите,
Во Христово имя везде собирайтесь.
Хоть вас и погонят – вы не отпирайтесь",
У пламя вы, други, стойте, не озябьте,
Надо утешать батюшку родного,
Агнца дорогого, сына всеблагого,
Авось наш спаситель до нас умилился,
В наших сокрушенных сердцах изволит явиться,
С нами вместе будет, покажет все лести,
Наших сил не станет тайну всю познати,

Надо крепким быть и всегда молиться,

Тогда и злодей всяк от нас удалится*. * Эта хлыстовская песня тоже принадлежит одному из участников общества Татариновой.

Пропев «новую песнь», Варенька склонилась на диванчик и долго оставалась в забытии. Слезы орошали бледные ее ланиты. Молчала Дуня, перебирая складки передника, и она погрузилась в какое-то особенное состояние духа, не то забытье, не то дремоту... Когда, наконец, Варенька пришла в себя, она спросила у нее:

– А в собраниях ваших крестятся ли?

– Как же можно без креста? – чуть слышно, слабым голосом проговорила Варенька. – Но ты и тут, пожалуй, соблазнишься, увидавши, как божьи люди крестятся. – прибавила она.

– Неужели щепотью? – тревожно спросила Дуня.

– Нет. Крестятся больше двумя перстами, но не одной рукой, а обеими, отвечала Варенька.

– Как обеими руками? Да разве это можно? – воскликнула Дуня.

– А что такое значит крестное знамение на молитве? Что такое значит самая молитва? – спросила Варенька.

– Кто ж не знает этого? – слегка улыбнувшись, молвила Дуня. – Молиться – значит молитвы читать, у бога милости просить.

– Молитва – возношение души к богу, – прервала ее Варенька. – Молитва – полет души от грешной земли к праведному небу, от юдоли плача к неприступному престолу господню. Так али нет?

– Конечно, – тихо ответила Дуня.

– А крестное знамение что значит в этом полете? – спросила Варенька

– Не знаю, как тебе сказать... – в недоумение ответила Дуня. – А как по-твоему?

– В полете к небу, паренье к огнезračному престолу творца крестное знамение крылья означает, – сказала Варенька.

– Да, и я, не помню, где-то об этом читала, – сказала Дуня. – Не в тех книгах, что Марья Ивановна советовала читать, а в отеческих... В «Цветнике» в каком-то или в «Торжественнике» – не припомню. Еще бывши в скиту, читала об этом.

– Ну хорошо, – молвила Варенька. – А где ж ты видала, чтобы птица летала одним крылом? Понимаешь теперь, почему божьи люди крестятся обеими руками?

Призадумалась Дуня. После короткого молчания спросила она:

– Когда ж я увижу все это?

– Скоро, – молвила Варенька. – Твердо ли только решила вступить на путь праведных?

– Целый год об этом только и думаю, – с увлечением ответила Дуня. Сердцем жажду, душой алчу, умом горю, внутреннее чувство устремляет меня к исканию истины, – говорила она языком знакомых ей мистических книг.

– А знаешь ли, как горька и тяжела, как полна скорбей и лишений жизнь божия человека? – сказала Варенька. – Тесный путь, тернистый путь избираешь ты... Совладаешь ли с собой, устоишь ли против козней врага?.. А ведь он ополчится на тебя всей силой, только бы сбить тебя с пути праведных, только бы увлечь в подвластный ему мир, исполненный грехов и суеты...

– Не послушаю я наветов диавола... – начала было Дуня, но порывистым движением Варенька крепко схватила ее за руку.

– Не поминай, не поминай погибельного имени!.. – оторопелым от страха голосом она закричала. – Одно ему имя – враг. Нет другого имени. Станешь его именами уста свои сквернить, душу осквернишь – не видать тогда тебе праведных, не слышать ни «новой песни», ни «живого слова».

Смутилась Дуня, но, оправившись, сказала:

– Не знала я этого хорошенько.

– То-то, смотри, – молвила Варенька. – Не только не называй его, даже в мыслях не держи скверных имен его. Не то станет он в твоей душе сеять соблазны. Возбудит подозрение и недоверие... Будешь тогда навеки лишена ангельских лобзаний.

– Это что за ангельские лобзанья? – с живым любопытством спросила Дуня.

– Взаимные поцелуи божьих людей на собраниях. Эти лобзанья – великая тайна, – ответила Варенька.

– Как? И с мужчинами целоваться? – с испугом вскрикнула Дуня.

– У божьих людей, как у ангелов – нет ни мужчин, ни женщин, – сказала Варенька.

– Все-таки стыдно, – вся зардевшись, промолвила Дуня.

– Видишь ли? Враг-от не дремлет. Едва сошло с языка твоего прескверное его имя, он уж тут, он уж тотчас к тебе с соблазном подъехал, – сказала Варенька. – Люди божьи, друг милый, живут не по-вашему, не по-язычески. Они живут в боге, в них вселена благодать, мирским людям недоступная. Нет у них приличий, нет запрещений, ни закона нет, ни власти, опричь воли божией. И греха у них нет, потому что они умертвили его в себе. Все они братья и сестры одного святого семейства, живут в чистоте небесной, в ангельской свободе. В их поцелуях ни стыда нет, ни соблазна, ничего нет дурного. Ангельские лобзанья – славословие бога. Великая в них тайна. К духовному супругу ведут они.

– Скажи мне, Варенька, пожалуйста, что это такое «духовный супруг»? – с живостью спросила Дуня. – Слыхала я об нем от Марьи Ивановны и в книгах тоже попадалось, но не могу ясно понять, что это такое...

– О! еще шагу не ступивши по правому пути, ты уж захотела проникнуть в одну из самых сокровеннейших тайн, – улыбаясь, сказала Варенька. – Но так как ты хорошо подготовлена, то можно перед тобой хоть немножко приподнять завесу этого таинства. Видишь ли – один человек не совершен. Сам бог сказал: «Не добро быть человеку единому» – и создал Еву для Адама. Это было еще до греха праотцев. Первые супруги, созданные богом, были «духовные супруги», на всю вечность супруги. Грех, внушенный им от врага, все изменил в них. С тех пор супружество стало только временным, на одну лишь земную жизнь. Со смертью одного супруга обыкновенному плотскому, языческому браку конец, он не может продолжаться на веки вечные. А между людьми, умертвившими в себе грех и ветхого Адама, заключается такое духовное супружество, в каком праотцы жили в раю. Духовное супружество бессмертно, как человеческая душа. Оно не разрывается при освобождении души из созданной врагом темницы смертью, – смертью, как зовете вы, язычники, освобождение души от вражеских уз и плачете притом и рыдаете. А люди божьи смерти праведника радуются – потому что освободил его господь, вывел из смрадной темницы тела, созданного врагом... Поняла?

– Кажется, немного понимаю, – думчиво ответила Дуня. – Но как же вступают в эти духовные супружества?

– Разумеется, они не так совершаются, как браки язычников, – ответила Варенька. – Нет ни предложений, ни сватовства, никаких обрядов. Нет даже выбора. Сам дух указывает, кому надо соединиться, кому из двух составить одно. Тут тайна великая!.. Знаю я ее, испытала, но теперь больше того, что сказала, тебе открыть не могу.

Весь день после этого разговора Дуня была сама не своя. Много думала она о том, что узнала от Вареньки, мысли роились у ней, голова кругом шла. Почти до иступленья дошедшая восторженность овладела ею.

Меж тем Варенька рассказала Луповицким и Марье Ивановне о разговоре с Дуней. Вовлеченную в сети девушку на весь вечер оставили в покое одну – пусть ее думает и надумается.

– Кажется, овечка на пажить готова, – сказала Варвара Петровна. – Когда ее приведем?

– До привода надо ей побывать на соборе, – сказал Николай Александрыч. Да и не все вдруг обнаруживать.

– Кажется, завтра и Лукерьюшка из Маркова в богадельню придет, сказала Варвара Петровна. – Надо и ее уговорить. Кажется, в ней много и силы и духа.

У Варвары Петровны было большое хозяйство – скотный двор, тонкорунные овцы, огромный птичник, обширные, прекрасно возделанные огороды, а за садом возле рощи вековых густо-

лиственных лип большая пасека.

Все было в таком порядке, что из соседей, кто ни взглянет, всяк позавидует. Полевое хозяйство в Луповицах также шло на славу, хоть и велось старинным трехпольным порядком и не было заведено хитрых заморских машин. Оба брата редко-редко, бывало, когда выедут в поле или на ригу, а меж тем ни у кого так хорошо хлеб не родится, хоть земля была и не лучше соседской. На садовые плоды тоже никогда почти не бывало неурожая, в реке и в озерах рыбы налавливалось чуть ли не больше, чем в целом уезде, о лесных порубках, потравах, прорывах мельничных плотин и слухов не бывало. Народ в имении Луповицких был хоть не богат, но достаточен. Все были богомольны, каждый праздник в церкви яблоку бывало негде упасть, воровства и пьянства почти во все не было, убийств и драк никогда. И ни малейшей от господ строгости. Все мужики, жены и дочери их барской грозы никогда не видавали, даже сурового слова от них не слыхивали. Луповицкие считали крепостных своих за равных себе по человечеству и, говоря с ними, звали их Иванушкой да Романушкой, Харламушкой да Егорушкой, а баб и девок – Маланьюшкой, Оленушкой, Катеринушкой (Хлысты своих и тех из непосвященных, что по общественному положению ниже их, всегда зовут ласкательными полуименами.).

Завидовали Луповицким соседи и не могли придумать, отчего у них все спорится. Сами летом они каждый день с утра до ночи в поле, за всякой безделицей следят зорко, каждое яблоко у них на перечеете, а все ровно ветром метется – нейдет в прок, да и полно. И народ совсем иной у них, чем у Луповицких, избаловался донельзя, воров не оберешься, пьяниц не перечесть, лень, нищета в каждом доме. А, кажется, все держится строго – всякая вина виновата. «Тут не без колдовства, – говаривали соседи про Луповицких, – отец, был фармазоном, зато на старости лет и в монастырь попал грехи замаливать. А что фармазонство, что чернокнижье – одно и то же. Пошло от колдуна Брюса и досель не переводится, проклятое. Сынки по стопам родителя пошли, яблочко недалеко от яблони падает, такие же фармазоны. С бесами знают. Чему ж тут дивиться, что им удастся все? Сатана на послугах – а такого работника не всякий наймет... Зато каково-то будет им, как на том свете очутятся в лапах у теперешних работников! Другую песню запоют!» То особенно досадно было соседям, что Луповицкие при таком состоянии отшельниками живут – ни псарни, ни отъезжих полей, ни картежной игры, ни безумной гульбы, ни попоек. Два-три раза в году зададут обед – и баста, а сами ни к кому ни ногой... Как ни досадовали соседуски, как ни честили они Луповицких, а ихних обедов не пропускали. Хоть и противно было Луповицким, а все-таки сзывали они изредка соседей на кормежку – иначе нельзя, не покормишь – как раз беду накачают.

Рано поутру осмотрев хозяйство, Варвара Петровна с пасеки пошла в богадельню. Устроенная ею женская богадельня стояла в самом отдаленном углу сада и была обсажена кругом густым вишнем. Только крыша виднелась из-за кустов, а окна совсем были закрыты вишневыми деревьями, оттого в комнатах даже и в летние дни был постоянный сумрак. Одна комната была во всю длину дома, и в ней, как в крестьянских избах, вдоль стен стояли скамьи. В переднем углу, как водится, киот с образами, рядом на стене «Распятие плоти»

(«Распятие плоти» – печатная мистическая картина, в особенности любимая хлыстами. Изображается распятый на кресте монах с замком на устах, с открытым сердцем в груди, в руках у него чаша с пламенем, а по сторонам диавол и мир, в виде вооруженного человека с турецкой чалмой на голове, стреляющего из лука в монаха, от его рта лента, на ней написано: «Сниди со креста». В Чернухинском ските на Керженце (поповщинского толка) было такое изображение, писанное на доске; оно стояло в часовне в виде местной иконы.), «Сошествие благодати» («Излияние благодати» рисуется красками от руки, оно изображает отрока в белой рубашке с поднятыми к небу руками и очами. В небесах изображен окруженный ангелами святой дух в виде голубя, изливающий на отрока благодать в виде сияния и огненных языков.) и два портрета каких-то истощенных бледноликих людей. Комната эта называлась «столовою», хоть в ней ни посуды, ни других домашних вещей не было видно. Сзади столовой, от конца дома до другого, был коридор, а из него двери в темные кельи. Их было семь, и в каждой жило по женщине. К богадельне примыкала пристройка, там была стряпущая, еще три кельи и множество чуланов.

Войдя в столовую, Варвара Петровна села у окна, и к ней медленным шагом одна за другою подошли семь женщин. Все были одеты в черные сарафаны и повязаны черными платками. Ни се-

рег, ни даже медных пуговиц, обыкновенно пришиваемых к бабьим сарафанам, ни у которой не было. Четыре женщины были пожилые, три помоложе, одной по виду и двадцати лет еще нельзя было дать. У всех в лице ни кровинки, глаза тусклые, безжизненные, не было видно в них ни малейшего оживленья. Ровно мертвецы из своих могил пришли на поклон к Варваре Петровне.

Одна за другой подходя к барыне, они с ней целовались.

– Здравствуй, сестрица, – обращалась к каждой из них Варвара Петровна.

– Здравствуй, Варварушка, – каждая ей отвечала. Затем уселись на скамьях по ту и другую сторону от Варвары Петровны.

– Ну что, Матренушка, как тебя государь святой дух милует? – обратилась Варвара Петровна к сидевшей возле нее старушке.

– Милует, Варварушка, милует. В нем, государе, каждый день пребываю. Велика милость, голубушка, велика благодать! – поникнув головой, отвечала старушка.

– Что дочка твоя духовная? – спросила Варвара Петровна, с ласковой улыбкой взглянув на севшую одаль молоденькую девушку.

– Приобывает, Варварушка, приобывает помаленьку, другиня моя, отвечала Матренушка. – Нельзя вдруг – не сразу благодать-то дается... А скоро можно будет ее и к «приводу», – шепотом примолвила Матренушка, наклонясь к уху Варвары Петровны. – Совсем на пути, хоть сейчас во «святой круг» (Нечто вроде хоровода пляшущих или вертящихся хлыстов.), родимая.

– Доброе дело, спасённое дело, Матренушка, – отвечала Варвара Петровна. – Приведет господь, так дён этак через десять, что ли, разом двух приведем.

– Еще-то кого? – спросила Матренушка.

– А ту девицу, что гостит у нас, – сказала Варвара Петровна. – С Волги, купеческая дочь, молоденькая, еще двадцати годов не будет, а уж во многом искусилась, знает даже кой-что и про «тайну сокровенную».

– Не та ли, что с Марьюшкой приехала? – спросила Матренушка.

– Та самая, – ответила Варвара Петровна. – Сам Николаюшка долго к ней приглядывался и говорит: велик будет сосуд.

– Хорошее дело, Варварушка, дело хорошее, – сказала Матренушка. – А родители-то ее? Тоже пойдут по правому пути?

– Не пойдут, – отвечала Варвара Петровна. – Матери у ней нет, только отец. Сама-то я его не знаю, а сестрица Марьюшка довольно знает – прежде он был ихним алымовским крепостным. Старовер. Да это бы ничего – мало ль староверов на праведном пути пребывает, человек-то не такой, чтобы к божьим людям подходил. Ему бог – карман, вера в наживе. Стропотен и к тому же и лют. Страхом и бичом подвластными правит. И ни к кому, опричь дочери, любви нет у него.

Под эти слова растворилась дверь, и в столовую вошла молодая крестьянская девушка, босая и бедно одетая. Истасканная понева из ватулы и синяя крашенинная занавеска

(Понева в Рязанской, Тамбовской, Тульской, а отчасти и в Курской губерниях – юбка из трех разнополосных полотнищ. Ватула или ватола – самая грубая деревенская ткань в Рязанской, Тамбовской и Воронежской губерниях. Основа ватулы из самой толстой пряжи, уток – из скрученных льняных охлопков. Идет больше на покрывку воев, на подстилку и на одеяла. То же самое, что рядом или веретнем по другим местам зовется. Занавеска – передник с лифом и рукавами. Иногда, особенно у бедных, она прикрывает только зад и бока женщины.) были у ней заплатаны разноцветными лоскутками. В одной руке держала она лукошко грибов, в другой – деревянную чашку с земляникой.

– Здравствуй, Лукерьюшка, здравствуй, родная, – приветливо молвила ей Варвара Петровна. – Как поживаешь, красавица?

– Все так же, – тихим, робким голосом сказала Лукерьюшка и, подойдя к Варваре Петровне, подала ей грибы и ягоды, примолвив: – Не побрезгуйте.

– Спасибо, родная, спасибо, – ласково ответила Варвара Петровна и поцеловала Лукерьюшку. – Поставь на скамейку, а ужайди ко мне, я тебе за этот гостинец платочек подарю, а то вон у тебя какой дырявый на голове-то.

– Не жалуйте платка, Варвара Петровна, – с горькой, жалобной улыбкой сказала Лукерьюш-

ка. – Тетенька отнимет, Параньке отдаст.

– Жаль мне тебя, сиротку бедную... Тяжело у дяди-то? – спросила Варвара Петровна.

– Как же не тяжело? – с глубоким вздохом молвила Лукерьюшка. – В дому-то ведь все на мне одной, тетенька только стряпает. Дров ли принести, воды ль натаскать, огород ли вскопать, корму ли коровушке замесить, все я да я.

– Что же нейдешь сюда, под начал к Матренушке? – спросила Варвара Петровна. – И сыта бы здесь была, и одета, и обута, и никогда работы на тебе не лежало бы.

– Этого мне никак сделать нельзя, сударыня Варвара Петровна. Как же можно из дядина дома уйти? – пригорюнившись, с наворачившимися на глазах слезами, сказала Лукерьюшка. – Намедни по вашему приказанью попросилась было я у него в богадельню-то, так он и слышать не хочет, ругается. Живи, говорит, у меня до поры до времени, и, ежели выпадет случай, устрою тебя. Сначала, говорит, потрудись, поработай на меня, а там, даст бог, так сделаю, что будешь жить своим домком...

– Замуж прочит тебя? – спросила Варвара Петровна.

– Не знаю, что у него на разуме, – отвечала Лукерьюшка.

– А самой-то охота замуж идти? – спросила старая Матренушка.

– Где уж мне об этом думать! Кто нынче возьмет бесприданницу? – отвечала Лукерьюшка.

– И сыщется, так не ходи, – строго сказала Матренушка. – Только грех один. Путного мужа по твоему сиротству и по бедноте тебе не найти, попадется какой-нибудь озорник, век будет над тобой потешаться, станет пить да тебя же бить, ломаться над тобой: «То сделай да это подай, это не ладно, да и то не по-моему!»... А все из озорства, чтобы только над тобой надругаться... С пьянства да с гульбы впутается в нехорошие дела, а ты должна ему будешь потакать да помогать – на то жена. Узнают, раскроется дело – угодишь с ним, куда ворон костей не заносит... А в богаделенке-то не такая б тебе жизнь была. Была бы ты здесь человек божий, все бы тебя почитали, и денежки бы завелись у тебя, а работы да заботы нет никакой. Знай только молись да душеньку спасай.

Приздумалась Лукерьюшка. Хотелось ей привольной жизни, хотелось отдохнуть от тяжелой, непосильной работы у дяди.

– Дяденька-то не пустит, – со слезами, жалобно она промолвила.

– Пустит ли он даровую работницу! – сказала старая Матренушка. – Да ты пришта, что ли, к нему?... Какой он тебе дядя? Вну чатным братом твоей матери доводился. И родства-то между вас никакого нет, хоть попа спроси, и он то же скажет. Сиротинушка ты одинокая, никого-то нет у тебя сродничков, одна сама, как перстик, – вот что... Как же может он насильно держать тебя на работе? Своя у тебя теперь воля... Набольшего над тобою нет.

– Не пустит, – чуть слышно промолвила Лукерьюшка.

– А как он не пустит-то? – сказала Матренушка. – Что у тебя пожитков, что ли, больно много? Сборы, что ли, долгие у тебя пойдут? Пошла из дому по воду, а сама сюда – и дело с концом... Да чего тут время-то волочить – оставайся теперь же. Барыня пошлет сказать дяде, чтоб он тебя не ждал. Как, Варварушка, по-твоему? – прибавила она, обращаясь к Варваре Петровне.

– Что ж? Это можно, – сказала Варвара Петровна. – Оставайся в самом деле, Лукерьюшка.

– Боязно мне, – вздрогнув, промолвила оторопелая девушка.

– Чего боишься?... Кого?... вскрикнула Матренушка. – Дяди, что ли, али тетки? Так уж сказано тебе, что нет у них над тобой власти. Плюнь на них, да и все тут.

– Прибьет тетенька-то... – шепотом сказала Лукерьюшка.

– Руки коротки – сюда не досягнут, – заметила Матренушка. – Ты то пойми, под чьей защитой будешь жить. Господа-то ведь сильнее твоего дяди.

– Скажет за хлеб за соль не заработала... – молвила Лукерьюшка, утирая рукавом слезы.

– Мало ль что скажут, да ведь на всякий сказ есть свой приказ, сказала Матренушка.

– Намедни как сказала я ему, что зовут меня в Луповицы за старушками в богадельне ходить, так и дядя и тетка так развоевались, что даже страшнехонько стало, – молвила Лукерьюшка. – «Судом, говорят, тебя вытребуем, никому, говорят, не уважим».

– Пустые речи, – молвила Матренушка. – Напугать только хотели. Не бойся, не выдадут. Так

али нет, Варварушка?

– Конечно, не выдадим, – отозвалась Варвара Петровна. – Нечего в самом деле тебе, Лукерьюшка, слушать ихние угрозы. Ну еще в самом деле родной бы дядя был, а то и сродником-то он тебе не доводится.

– Грозится дядя-то: «Господам, говорит, своим стану жалобиться, чтобы взяли из Луповиц ихнюю девку», – сказала Лукерьюшка.

– Я у Оброниных тебя выкуплю – будешь моя, – молвила Варвара Петровна. С Оброниным, с Михайлом Григорьевичем, с барином вашим, в ладах живем.

– Чего ж тебе еще, глупенькая? – подхватила Матренушка. – Целуй ручку, благодари барыню-то, да и пойдем, я тебе местечко укажу. А к дяде и не думай ходить – вот что. Живи с божьими людьми; в миру нечего тебе делать. Здесь будет тебе хорошо, никто над тобой ни ломаться, ни надругаться не станет, битья ни от кого не примешь, брани да попреков не услышишь, будешь слезы лить да не от лиха, а ради души спасенья.

Колебалась Лукерьюшка, но когда все пристали к ней с уговорами, выхваляя богадельню, где нет ни холоду, ни голоду, есть во что одеться, есть во что обуться, а жизнь ровно у птицы небесной – о завтрашнем дне и помышленья не имей, она согласилась остаться.

Выйдя из богадельни вдвоем с Матренушкой, Варвара Петровна сказала ей:

– Приучай ее помаленьку, учи, испытывай...

– Будет она, Варварушка, на корабле, безотменно будет. Об этом, голубушка, не беспокойся. Скоро уготоваем девицу к божьему делу... – сказала Матренушка. – Когда собрание-то думаете сделать? – спросила она. – Надо бы поскорее. Ох, как бы надо-то – давненько уж я не радела.

– С той субботы на воскресенье, думаю, соберемся, – отвечала Варвара Петровна. – Приводи Лукерьюшку-то.

– Приведу, Варварушка, приведу, моя родная. Как не привести? Пущай приобывает... Прощай, голубушка, прощай.

– Прощай, – сказала Варвара Петровна и медленными шагами пошла в дом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кормщик корабля возвестил верным-праведным, что в ночь с субботы на воскресенье будет собор. С радостной вестью Варвара Петровна поспешила к своим богаделенным и велела им, готовясь к великому делу, пребывать в посте, молитве и душевном смирении. Велела в субботу, как только смеркнется, приходить ко вратам сионской горницы и пребывать там в благоговейном молчанье, пока не отверзнутся врата истинной жизни и не снимется завеса с сокровенной тайны. Наказывала Варвара Петровна Матренушке, приводила б она и Лукерьюшку, пусть ее поглядит, как радеют господу верны-праведные. Сказала Варвара Петровна про собор и двум своим наперсницам: старой ключнице Прохоровне, что за нею еще в няньках ходила, да Серафимушке, молодой, но невзрачной и сильно оспой побитой горничной Вареньки.

Сам Николай Александрыч объявил «сионскую весть» дворецкому Сидору Савельеву, что без малого сорок годов, еще с той поры, как молодые барчата освободились от заморских учителей, находился при нем безотлучно. Сказал Николай Александрыч и пасечнику Кирилле Егорову, старичку седенькому, приземистому, что принят был в корабль еще покойником Александром Федорычем. Не часто «ходил в слове» Кирилло, зато грозно грехи обличал, громом гремел в исступленном восторге, в ужас и трепет всех приводил, в иное же время ни с кем почти не говаривал, редко кто слово от него слово от него слышал. Тих был и кроток, на все безответен, из пасеки ходу ему только и было – в церковь на каждую службу да в сионскую горницу на раденья.

За три дня до собрания призвал к себе Николай Александрыч конторщика Пахома Петрова. Был тот конторщик человек пожилой, немногим помоложе господ, грамоте знал, силен был в счетоводстве, вел книги по имению и служил правой рукой Андрею Александрычу по управленью деревнями. Целые дни корпел он в вотчинной конторе, но, ежели случалось послать куда-нибудь по делам, всегда его посылали; ловкий был человек, во всяких случаях находчив, умел обращаться с людьми, умел и дела обделывать с ними. Пахома рассылал Николай Александрыч и к божьим

людям с вестями о днях, назначенных для раденья.

– Надо потрудиться, Пахомушка, – говорил он ему, – объезжай святую братию, повести, что в ночь на воскресенье будет раденье. В Коршунову прежде всего поезжай, позови матроса Семинушку, оттоль в Порошино заверни к дьякону, потом к Дмитрию Осипычу, а от него в город к Кисловым поезжай. Постарайся приехать к ним засветло, а утром пораньше поезжай в Княж-Хабаров монастырь за Софронушкой.

– Не натворил бы он опять чего-нибудь, – молвил Пахом.

– А что?

– Да как в тот раз, – сказал Пахом. – В радельной рубахе к попу на село не побежал бы. Долго ль до огласки? И то, слышь, поп-от грозил тогда: «До архиерея, говорил, надо довести, что у господ по ночам какие-то сборища бывают.. и на них монахов в рубахи тонкого полотна одевают».

– Хорошенько надо смотреть за ним, с глаз не спускать, – молвил на то Николай Александрыч. – А без Софронушки нельзя обойтись, велика в нем благодать – на соборах ради его на корабль дух свят скоро нисходит.

– Не для словес на святой круг принимаем его, а того ради, что при нем благодать скорее с неба сходит.

– Говорит-то всегда такое непонятное – смущает иных, – заметил Пахом.

– Рассуждать о странных и непонятных словах, Пахомушка, нам с тобой не приходится, и смысла в них искать не следует, – молвил Николай Александрыч. Сказано: «Аще неблагоразумные, невразумительные значит, слова кто говорит на собрании верных языком странным и непонятным – как узнают, что он говорит? Будет он на воздух глаголющ...» А ежели я, или ты, или другой кто не понимаем странного языка, то глаголющий для нас все одно что иноязычный чужестранец. Как поймем его? А что Софронушка угодное духу творит и угодное ему на соборах глаголет, так и об этом сказано: «Ежели кто в собрании верных на странном, непонятном языке говорит, не людям тот говорит, а богу. Хоть его никто не понимает, а он все-таки тайны духом говорит» (I. Коринф., гл.14.).

Сомнительно покачал Пахом головою и, немного помолчав, сказал Николаю Александрычу:

– К игумну-то письмецо, что ли, пожелуете? Без того не пустит.

– Как к нему писать? – молвил в раздумье Николай Александрыч. – Дело неверное. Хорошо, если в добром здоровье найдешь его, а ежели запил? Вот что я сделаю, – вложу в пакет деньги, без письма. Отдай ты его если не самому игумну, так казначею или кто у них делами теперь заправляет. А не отпустят Софронушки, и пакета не отдавай... А войдя к кому доведется – прежде всего золотой на стол. «Вкладу, дескать, извольте принять». Да опричь того, кадочку меду поставь. С пуд, хоть, что ли, возьми у Прохоровны.

И, подавая Пахому запечатанный пакет и золотой, Николай Александрыч примолвил:

– Отправляйся же. Покров божий над тобою!.. Молви конюху Панкратью, заложил бы тебе рыженькую в таратайку... Спеша, пожалуйста, Пахомушка. Завтра к вечеру жду тебя. А о Софронушке не от меня проси, Марья Ивановна, мол, приехала и очень, дескать, желает повидать его. Ее там уважают больше, чем нас с братом; для нее отпустят наверно...

И через час Пахом на рыженькой кобылке ехал уж возвещать божьим людям радость велию – собирались бы они в Луповицы в сионскую горницу, собирались бы со страхом и трепетом поработать в тайне господу, узреть свет правды его, приять духа небесного, исповедать веру истинную, проникнуть в тайну сокровенную, поклониться духом господу и воспеть духу, и агнцу песню новую.

С поля на поле от Луповиц, в котловине, над безводной летом речкой раскинулась деревня Коршунова.

Еще за три часа до полудня Пахом был уж там. Проехав улицей в конце деревни, своротил он направо, спустился по кособогу в «келейный ряд», что выстроен курмышом (Курмыш – ряд

изб, построенных не улицей, а односторонкой на окраине селения, иногда даже за околицей. Келейным рядом в Нижегородской губернии и в соседних с нею зовут особый ряд избышек, вроде курмыша, где живут бестягольные, одинокие, солдаты, солдатки, а также вдовы и девки, склонные к отшельничеству, к иночеству, ко хлыстовщине.) возле овражка. Там остановил он свою рыженькую у низенькой, старенькой, набок скривившейся избышки. Ворота были заперты. Пахом постучал в окошко, отклика нет.

Бежит мимо девочка подросток с кузовками в руках.

Спрашивает у нее Пахом:

– Куда, красавица?

– В лес по грибы да по ягоды, – бойко отвечала ему девочка.

– Из коего дома? – спросил Пахом.

– У тетушки, у келейницы Катерины в сиротах живу, – молвила девочка.

– Семена Иваныча знаешь?

– Как не знать дедушки Семенушки? – улыбнулась девочка. – С тетушкой он в любви да в совете, в келью к нам похаживает, божественны книги почитывает.

– Что ж он? Ушел, что ли, куда из деревни? – спросил Пахом.

– На огороде работает, гряды полет. Завороты за угол-от, видно оттоль.

– Спасибо, девонька, спасибо, – молвил Пахом и, привязав рыженькую у ворот, пошел по указанию.

Над грядкой капусты наклонился восьмидесятилетний старик, седой как лунь, приземистый и коренастый. Полет он грядку, а сам что-то вполголоса напевает. То был отставной матрос Семен Петров Фуркасов. Тридцать лет с годом служил он в ластовых экипажах в Кронштадте и там вступил в корабль божьих людей. Много было тогда матросов, даже и офицеров, принявших тайну сокровенную. Сначала из любопытства хаживал в их собрании Фуркасов и в «братском обществе» (Так назывались сходбища хлыстов, бывавшие в Кронштадте, на Низкой Широкой улице, в доме Родионова.) сошелся с пророком Яковом (Яков Андреев Кушеровский, хлыстовский пророк – матрос, находившийся постоянно на вестях у корабельного мастера.) и был им увлечен в хлыстовскую веру. С Яковом Фуркасов ездил в Зеленецкий монастырь к старцам Пармену и Савватею (Зеленецкий монастырь в Петербургской губернии. В нем бывали хлысты, даже евнухи. Инок Савватий – в мире Софон Авдеев Попов, родом из Моршанского уезда, в молодости (в 1775 году) за сектаторство сеченный публично батогами и сосланный в Динаминд. Он с иноком Парменом увлек в секту самого зеленецкого архимандрита.), бывал с ними на сходбищах у Фролова в Царской Славянке (Царская (прежде Графская) Славянка близ Царского села. Там у купца Якова Фролова бывали хлыстовские сходбища.), у купца Ненастьева в Петербурге (В Басковом переулке. Дочь купца Ненастьева, Вера Сидоровна, была пророчицей и в ненастьевском корабле и у К. Ф. Татариновой.), а подружившись с пророком Никитушкой (Никитушка (Никита Иванов Федоров) – солдат, музыкант первого кадетского корпуса, был пророком сначала в корабле Ненастьева, а потом у Татариновой, где благодаря хлыстам из высокопоставленных лиц получал чины. И он и жена его за сектаторство сосланы были в новгородские монастыри.), был принят в сионскую горницу Татариновой. Там познакомился он со стариком Луповицким и с его женою. И когда генерал завел в Луповицах «дом божий», Фуркасов вышел в отставку и поселился на родине, в деревне Коршуновой, что была от Луповиц поля на поле. Тут он сделался одним из самых первых участников на соборах Луповицкого. Усердно радел на них престарелый матрос, и божьи люди надивиться не могли, как это он, такой дряхлый, с переломленной на государственной службе ногой, скачет, пляшет, кружится, ровно молоденький. «Свят дух укрепляет его, свят дух его водит», – говорили они.

– Христос воскрес! – сказал Пахом Фуркасову и поклонился ему до земли.

– Христос воскрес! – отвечал матрос и тоже до земли поклонился.

Сказал ему Пахом, зачем приехал. Ровно малый ребенок давно желанному гостинцу, обрадовался старый матрос.

– Пора бы, давно бы пора Николаюшке парусами корабль снарядить, оснастить его да в Сионское море пустить, – радостно сказал он Пахому. – Вот уж больше шести недель не томил я

грешной плоти святым раденьем, не святил души на божьем кругу.. Буду, Пахомушка, беспременно буду к вам в Луповицы... Апостольски радуюсь, архангельски восхищаюсь столь радостной вести. Поклон до земли духовному братцу Николаюшке. Молви ему: доброе, мол, дело затеял ты, старик Семенушка очень, дескать, тому радуется...

– Тебе бы, Семенушка, в Луповицы-то накануне пожаловать. Переночевал бы у меня, голубчик... Поговорили бы с тобой, побеседовали, прославили бы божию милость и чудеса господни, – сказал Пахом.

– Ладно, – ответил матрос. – Рад гостить у тебя, Пахомушка, рад и побеседовать, духом святым с тобой, духовный братец, утешиться. А теперь пойдем-ка в келью да потолкуем, сколько господь нам беседы пошлет.

Келья у Фуркасова была маленькая, но светлая и держалась чисто, опрятно. В божнице стоял литой из меди крест да три образа – спасителя, богородицы, Иоанна Предтечи. Под божницей лежали пять-шесть книг и небольшой запас восковых свеч. На стене «Распятие плоти».

Введя гостя в келью, Фуркасов накрыл стол скатерткой, поставил на нее деревянную чашку с медом, горшок молока да белый ровно снег папушник. Затем стал просить гостя преломить хлеб и, чем господь послал, потрапезовать.

– Много ль на соборе-то божьих людей чаете? – спросил за трапезой матрос у Пахома.

– Человек двадцать будет, а может, и больше, – ответил тот. – Домашних пятнадцать, ты, Семенушка, дьякона стану звать, Митеньку, Кисловых, в монастырь по Софронушку еду.

– Малится божие стадо, малится, – грустно покачав головой, промолвил Фуркасов. – Много больше бывало в прежние годы. С той поры, как услали родимого нашего Александрушку, зачал наш кораблик умяляться. При Александрушке-то, помнишь, иной раз святых праведных по пятидесяти и больше вкупе собиралось... В двух горницах зараз радели – в одной мужеск пол, в другой женский. А подула-повеяла погодушка холодная, пригнобила-поморозила зелен божий сад.

– Да, – с тяжелым вздохом молвил Пахом. – Великой злобой дышат духи поднебесные, злобные начальники, власти вражие, миродержатели тьмы века сего. Как противустать им в день лютый?.. Как их преодолеть?.. Как против них устоять?..

– И духом и умом надо молиться духу святому. Пой ему духом, пой и умом. Только тем и победишь злобу лукавого, – подняв седую голову, восторженно сказал Фуркасов... Ведь мы сыны света, Пахомушка, сыны дня, не стать же нам спать да дремать, как язычникам... Мы дети дня и света, они сыны ночи и тьмы... Их дело спать, нам же подобает бодрствовать и трезвиться... Тем только и победим врага, тем только миродержатель тьмы века сего и посрамится от светло сияющего зрака людей божиих... Со всех сторон видим козни супротивника, хочет он нас обокрасть, и аще возможет, то и погубить... Но не дает отец небесный в обиду своих детушек. Дарует милость, оградой оградит, покровом святым покроет нас...

С час времени беседовал Фуркасов с Пахомом, наконец они расстались. Резвая кобылка с конюшни Луповицких быстро побежала в соседнее село Порошино. Там на поповке (Поповка – слободка близ церкви, где живет сельское духовенство. Если при церкви нет крестьянских домов, а одни только поповские, поселок зовется погостом.), возле кладбища, стояла ветхая избенка дьякона Мемнона Панфилова Ляпидариева. Возле нее остановился Пахом Петрович.

Мемнон прежде служил в соборе уездного городка, потом за какую-то провинность был уволен за штат. В чем состояла провинность его, никто хорошенько не знал. Одни говорили, что владыка, объезжая епархию, нашел у него какие-то неисправности в метриках, другие уверяли, будто дьякон явился перед лицом владыки на втором взводе и сказал ему грубое слово, третьи рассказывали, что Мемнон, овдовев вскоре после посвящения, стал «сестру жену водить» и тем навел на себя гнев владыки. Близко знавшие Ляпидариева говорили, что все это неправда.

С архиереем Мемнон учился в одних классах. Прошли многие годы – вдовый дьякон служил себе да служил, а товарищ, его, постригшись в монахи и затем подвигаясь дальше и выше, сделал-

ся на родине владыкой. Сильно возрадовался тому Мемнон. Зароились в голове его золотые мечты, спит он и видит, как бы скорей повидаться со старым товарищем. Увидались наконец...

Мемнон был скор на язык, молвил владыке нечто неуютное, и с той поры черная полоса началась в его жизни. Его уволили за штат. В Порошине, где в прежние годы отец Мемнона был священником, оставалась ветхая его избенка. Там и поселился заштатный дьякон. Другой бы на его месте спился с кругу либо пустился во вся тяжкая, но он не упал духом. При веселом, шутилом и крайне беспечном нраве он относился к превратностям судьбы бесстрастно и оттого не знал ни горя, ни печали.

Прожив последние, что оставались от дьяконства, деньжонки, Мемнон должен был идти по миру; в это время об его судьбе узнали Луповицкие. Николай Александрыч, убедившись, что это был человек для него подходящий, звал его к себе, предлагая и стол, и квартиру, и все, что ему понадобится. Мемнон не согласился, но коротать время в беседах с Луповицким был рад, живал у них по неделям, беседуя о созерцательной жизни, о спасении души, об умерщвлении плоти и осыпая насмешками монашество, доставалось, впрочем, и белому духовенству.

Дал ему Николай Александрыч мистических книг, и пытливый ум Мемнона весь погрузился в них. Года через два пожелал он войти в общество сокровенной тайны и был «приведен». Со страстной пылкостью предался Мемнон учению людей божиих, усердно исполнял их обряды, но не всегда мог совладать с собой – нет, нет, да и отпустит какое-нибудь словечко на соблазн святым праведным. Все они, сами даже Луповицкие, смотрели на его выходки, как на юродство Христа ради, и нимало не соблазнялись. Привыкнув к дьяконству, Мемнон нередко нарушал заведенный на раденьях порядок пением церковной песни, а не то пустится в присядку во время раденья либо начнет ругать, кто ему подвернется. Но и это люди божьи почитали юродством и в выходках Мемнона думали видеть неизреченную тайну.

Палит июньский зной. Солнце только что своротило с полудня и льет с безоблачного неба на землю обильные потоки ослепительного блеска и нестерпимого, жгучего жара. По всему Порошину тихо, безмолвно, ни ветерок не потянет, ни воробушек не чиликнет, ни ласточка не прощечечет. Душно, чуть можно дышать – все примолкло, все притихло. Облитые потом на утренней полевой работе, крестьяне, пообедавши чем бог послал, завалились часок-другой соснуть, кто в клети, кто в амбаре, кто на погребнице. Высунув языки и тяжело дыша, приютившиеся в тени собаки ни одна не твякнет – все спят, свернувшись в кружок. Лишь изредка в какой-нибудь избе послышится слабый голосок сонного младенца и затем скрип оцепы зыбки – то полусонная мать укачивает своего ребенка. Издали по временам доносятся веселые клики, резкий хохот и пронзительный визг резвой, шумной гурьбы купающихся в пруде ребятишек. Изредка пропищит парящий в поднебесье ястреб; зорко следит он, не задремал ли где в прохладной тени оплошный, но годный на обед цыпленок. И на поповке все тихо, лишь из крайней, ближайшей к кладбищу избенки через растворенные окна несутся громогласные густые звуки здорового баса. Кто-то распевает духовное.

У той избенки остановился Пахом. Вошел в калитку, растворил ворота и, поставив рыженькую в тени крытого двора, по скривившемуся крылечку без перил и без двух ступенек вошел в тесную, грязную кельенку. Там, задрав ноги кверху и ловя рукой мух, осыпавших потолок и стены, лежал спиной на лавке, в одной рубахе, раскосмаченный дьякон Мемнон и во всю мочь распевал великий прокимен первого гласа: «Кто бог велий, яко бог наш...» Прерывал он пение только руганью, когда муха садилась ему на лицо либо залезала в нос или в уста, отверстые ради славословия и благочестного пения.

– Христос воскрес! – входя в избенку, сказал Пахом.

– «Ты еси бог творяй чудеса!» – допел дьякон прокимен и, лениво привстав на лавке, молвил: – ну, Христос воскрес!.. Эку жару бог послал, яйца на солнышке в песке пеку. Вечор вкрутую испек на завалинке. Что хорошенького?

– Заехал навестить тебя, Мемнонушка, – сказал Пахом. – На воскресенье будет у нас собрание. Придешь, что ли?

– Приду, – ответил дьякон, – чаю давно не пивал. Скажи там: целый бы самовар на мою долю сготовили.

Новую песню зато вам спою. Третий день на уме копошится, только надо завершить.

– Та только песня богу угодна и приятна, что поется по наитию, когда святой дух накатит на певца, – сказал Пахом. – А что наперед придумано, то не годится: все одно, как старая, обветшала церковная песня.

– Зато выходит складней, – молвил дьякон. – Так в субботу приходить?

– В субботу, – ответил Пахом.

– Жарко, – молвил дьякон. – Хоть бы дождичка.

– Бог-от лучше нас с тобой знает, Мемнонушка, как надо миром управлять, в кое время послать дождик, в кое время жар, зной и засуху, заметил Пахом. – Не след бы тебе на небесную волю жалиться.

Не ответил дьякон, опять лег спиной на лавку, опять задрал ноги и, глядя в потолок, забасил церковную стихиру на сошествие святого духа: «Преславная днесь видеша во граде Давидове».

Сколько Пахом ни заговаривал с ним, он не переставал распевать стихиры и не сводил глаз с потолка. Посидел гость и, видя, что больше ничего не добьется от распевшегося Мемнона, сказал:

– Поеду я, Мемнонушка. Покров божий над тобою! Дьякон только рукой махнул.

Дальше погнал Пахом. Проехав верст пяток реденьким мелким леском, выехал он на совсем опаленную солнцем поляну. Трава сгорела, озимые пожелтели, яровые поблекли. Овод тучей носился над отчаянно махавшей хвостом, прядавшей ушами и всем телом беспрестанно вздрагивавшей рыженькой кобылкой... Но вот почуяла, видно, она остановку, во всю прыть поскакала к раскинувшемуся вдоль пруда сельцу всего-то с двенадцатью дворами. За тем сельцом виднелась водяная мельница, а повыше ее небольшая усадьба одинокого помещика, отставного поручика Дмитрия Осипыча Строинского.

В молодости служил он в 34-м егерском полку, а в том полку в двадцатых годах сильна была хлыстовщина. Стоя на зимних квартирах в Бендерах, Строинский, как сам после божьим людям рассказывал, впал в плотские грехи и, будучи с самых ранних детских лет верующим и набожным, вдруг почувствовал в себе душевный переворот. Полная страстей жизнь вдруг показалась ему гадкою, и он с ужасом стал вспоминать об адских муках, считая их для себя неизбежными. День ото дня больше и больше приходил двадцатилетний юноша в умиление, плакал горькими слезами, часто исповедовался, приобщался и, по наставлению духовника, решился совершенно изменить образ своей жизни. Наложил на себя пост, стал все ночи напролет молиться богу, не пропускал ни одной церковной службы. Товарищи над ним подсмеивались, осыпали набожность его колкостями. Строинский все сносил, все терпел, не возражая ни единым словом насмешникам и не входя с ними ни в какие рассуждения. Не утаилось это от солдат, стали они с большим уважением глядеть на молодого поручика.

Раз приходит к нему с приказом по полку известный набожностью вестовой. Разговорился с ним Дмитрий Осипыч, и вестовой, похваливая его пост, молитву и смирение, сказал, однако, что, по евангельскому слову, явно молиться не следует, а должно совершать божие дело втайне, затворив двери своей клетки, чтобы люди не знали и не ведали про молитву. Призадумался Строинский, сказал вестовому:

– Да ведь в церкви-то молятся же явно.

– Оттого, ваше благородие, внешняя церковь и не дает полного спасенья, – сказал вестовой. – Господь-то ведь прямо сказал: «Не воструби пред собою, яко же лицемеры творят в сонмищах и на стогнах, яко да прославятся от человек». Путь ко спасенью идет не через церковь... Это путь не истинный, не совершенный... Есть другой, верный, надежный...

– Ты назвал церковь внешнею. Разве есть другая какая-нибудь? – спросил удивленный Строинский.

– Есть, ваше благородие, – ответил унтер-офицер.

– Какая же это?..

– Внутренняя, ваше благородие, – ответил унтер-офицер.

– Хорошо, ступай, – приказал он унтер-офицеру, и тот ушел.

Смутил он поручика... С неделю Строинский ходил ровно в тумане. Достал Евангелие и увидел, что в самом деле там сказание о тайне молитвы и что установлена спасителем только одна молитва: «Отче наш». Поразили его слова евангелия: «Молящиеся не лишше глаголите, яко же язычники, мнят да яко во многоглаголании услышаны будут, не подобитеся им...» Яко же язычники!.. Яко же язычники!.. А у нас в церквах молитв сотни, тысячи, по целым часам читают да поют их. А что поют и что читают, не разберешь. Дьячок что барабанщик вечернюю зорю бьет. Яко же язычники, яко же язычники!.. Вот кто мы... Многие молитвы Христом отвержены, и мы язычникам подобимся, читая много молитв", – так рассуждал поколебленный в основе верований Строинский и послал за смутившим его унтер-офицером. Тот пришел. Завязалась новая беседа.

– Ты уверил меня, – сказал поручик. – Читал я Евангелие и увидел, что твои слова правильны... Но если церковью нельзя спастись, где же верный путь?

– Знаю я, ваше благородие, «путь прямой и совершенный», – молвил унтер-офицер. – Идя по тому пути, человек здесь еще на земле входит в общение с ангелами и архангелами.

– Где ж этот путь? Укажи мне его, – сказал удивленный словами нижнего чина поручик.

– Есть, ваше благородие, на земле люди святые и праведные... На них господь животворящий дух святой сходит с небеси, – сказал унтер-офицер. – Он пречистыми их устами возвещает всем спасение, а кто в сомнение приходит, чудесами уверяет.

– Где ж такие люди? – со страстным любопытством спросил Дмитрий Осипыч.

– Много есть таких людей, ваше благородие, – отвечал унтер-офицер. – В Бендерах есть такие, и в нашем полку есть, только все они сокровенны.

– Кто же в нашем полку? – спросил поручик.

– До времени не могу сказать о том, ваше благородие, а ежели решитесь вступить на правый путь, открою вам всю сокровенную тайну, – сказал унтер-офицер. – Господь утаил ее от сильных и великих и даровал ее разумение людям простым, нечиновным, гонимым, мучимым, опозоренным за имя Христово...

– Можешь ли довести меня до этой «сокровенной тайны»? – спросил Строинский. – Можешь ли поставить меня на верный путь ко спасению?

– Могу, ваше благородие, – отвечал унтер-офицер. – Могу, ежели дух святой откроет на то свою святую волю.

После этого разговора Строинский по целым ночам просиживал с унтер-офицером и мало-помалу проникал в «тайну сокровенную». Месяцев через восемь тот же унтер-офицер ввел его в Бендерах в сионскую горницу. Там все были одеты в белые рубахи, все с зелеными ветвями в руках; были тут мужчины и женщины. С венком из цветов на голове встретил Строинского при входе пророк. Грозно, даже грубо спросил он:

– Зачем пришел? Тайны разведывать? Хищным волком врываться в избранное стадо Христо-во?

Изумился Дмитрий Осипыч, узнав в пророке капитана ихнего полка Бориса Петровича Созоновича (Созонович – штабс-капитан 34-го егерского полка, в 1821 году был сослан за ересь в Соловки, где, кажется, и умер. Во время ссылки ему было всего 22 года.), молодого сослуживца, скоро нахватавшего чинов благодаря связям. Больше всех насмехался он над постом и молитвами Строинского, больше всех задорил его, желая вывести из терпенья. Наученный унтер-офицером, Строинский с твердостью отвечал Созоновичу:

– Душу желаю спасти, а не тайну врагам предать, как Иуда... И сердцем и душой желаю вечного спасенья. Жажду, ищу.

– На то есть архиереи, на то есть попы и монахи, а я человек неученый, – возразил Созонович.

Но Строинский настаивал, чтоб допустили его на собрание, а потом и «привели» бы, ежели будет то угодно духу святому.

– Без надежной поруки того дела открыть тебе нельзя, – сказал Созонович. – Нельзя и в соборе праведных оставаться. Оставьте нас, Дмитрий Осипыч. Одно могу позволить вам – посмотрите, чем занимаемся мы, слушайте, что читаем... Кого ж, однако, ставите порукой, что никому не

скажете о нашей тайне, хотя бы до смертной казни дошло?.. Наученный унтер-офицером, Строинский отвечал:

– Христа спасителя ставлю порукой.

– Хорошо, – сказал на то Созонович. – Но в нашем обществе должно ведь навсегда удалиться от вина, от женщин, от срамословия и всякого разврата. Можешь ли снести это?.. Если не можешь, тайна тебе не откроется.

На все согласился Дмитрий Осипыч и с клятвой дал обещание. Его допустили на беседу. Читали на ней «Печерский патерик», сказания о жизни святых, об их молитвенных подвигах, о смирении, самоотвержении и полной покорности воле божией... И сам Созонович и другие объясняли читанное, и Строинскому понравилась тайная беседа хлыстов. Чаше и чаще стал он бывать на их собраниях, узнал, что такое радение, и сам стал в скором времени скакать и кружиться во «святом кругу». С каждым днем больше и больше увлекался он новою верою... Но вдруг о секте узнали, началось дело, участников разослали по монастырям, до Строинского не добрались. Тяжко ему было оставаться в полку после удаления собратьев по вере...

Вышел он в отставку и поселился в маленьком имении своем, в сельце Муравьевке. Это было в то время, когда генерал Луповицкий, возвратясь из Петербурга, завел у себя корабль людей божиих. Строинский стал ежедневным и больше всех любимым гостем генерала, а когда старик попался, Дмитрию Осипычу опять, как и в Бендерах, посчастливилось. Его даже не заподозрили. С молодыми Луповицкими Строинский сошелся еще ближе, чем со стариком. Ни одного собора без него не бывало.

Маленький, чистенький, уютный домик Дмитрия Осипыча со всех сторон окружен был цветниками. Садоводство и музыка только и остались от прежних страстей у достигшего полного бесстрастия человека. Летом с утра до вечера проводил он в саду, долгие зимние вечера за роялью. И в летние ночи нередко из раскрытых окон его домика лились звуки Гайдна, Генделя, Моцарта, Бетховена; новой музыки Строинский не любил и говаривал, что никогда не осквернит ею ни своего слуха, ни пальцев. Вековые дубы и липы, густолиственные клены, стройные тополи и чинары во множестве росли в саду Строинского. Плодовые деревья всех возможных сортов разведены были его руками и содержались прекрасно. Но всего больше заботился Дмитрий Осипыч о цветах.

Целые рощи высокостволовых розанов, красных, белых, желтых, бенгальских, чайных, моховых и центифольных, росли вокруг его домика, целые рабатки засажены были разнородными лилиями, нарциссами, тацетами, тюльпанами, гиацинтами. В трех теплицах содержались редкие растения, полученные большей частью из старинного луповицкого сада. Имея с маленького имения доход незначительный, Строинский больше половины его употреблял на растенья. Без страстей, без прихотей, ведя жизнь, подобную жизни древних отшельников, питаясь только молоком, медом да плодами и овощами, он почти ничего не тратил на себя. Одно еще доставляло ему утешение и удовлетворяло прирожденное чувство красоты и изящества, но оно ничего не стоило. По целым часам слушал он певчих птишек, а весной целые ночи перекликался с соловьями. Соловьи заливаются, а он отвечает им звуками рояля, и слезы, сладкие слезы ручьи текут из очей его.

Дмитрий Осипыч копался в цветниках, пересаживая из ящиков в грунт летники (Однолетние цветы.), как слышал конский топот и стук Пахомовой таратайки. Досадно ему стало, нахмурился. «Кому это нужно мешать мне?» подумал он, но, завидев Пахома, тотчас повеселел и радостно засмеялся, как смеется ребенок, когда после отчаянного, по-видимому, ничем неутешного плача вдруг сделают ему что-нибудь приятное. Не этим одним Строинский походил на ребенка, младенческая простота его души и полное незлобие, детская откровенность, чистота души, не искажившейся в омуте праздных и суетных страстей, привлекали к нему всех, кто только ни знал его. С распростертыми объятиями пошел он навстречу Пахому.

– Христос воскрес! – радостно сказал он.

– Христос воскрес! – с ясной улыбкой отвечал Пахом. – Все в трудах, все за цветочками!

– Люблю, Пахомушка, цветочки, люблю, мой дорогой... Утешают они меня, сказал Дмитрий Осипыч. – Налюбоваться не могу на них. И, глядя на цветочки и любуясь ими, ежечасно славлю и хвалю творца видимых всех и невидимых... Как он премудростью своей их разукрасил!.. Истинно евангельское слово, что сам Соломон никогда не украшался столь драгоценными одеждами, как

эти господни создания... Посмотри, какая свежесть красок, какая нежность в каждом цветочке... А запах!.. Это они, мои милые, молятся творцу всяческих, изливают из себя хвалебный фимиам, возносят к небесам его, как кадило, как жертву хваления.

– А все-таки суета! – едва слышно, но строго промолвил Пахом. Конечно, и цветы божья тварь, да все ж не след к ней иметь пристрастие. Душа, Митенька, одна только душа стоит нашего попечения.

– Да ведь и душа и цветы одного же создателя творенье. Не от врага же родились и древа и цветы, как невесту в брачный день украшающие землю, возразил Строинский. – Враг только злобу сеет, и потому все творенья его гадки, мерзки, противны... А взгляни на красоту этих цветочков... Разве они мерзки, разве противны?

Нет, Пахомушка, и в цветах и в плодах видится великая милость господня к нам. Любуешься на чистые, прекрасные его творения, а трудясь над ними до поту лица, как повелено первому человеку, с любовью лобызаешь край господней ризы...

– Нет, Митенька, не так говоришь, – возразил Пахом. – Особенно про невест да про брачные дни не то чтоб говорить, но и в помышление не след держать!.. Опричь души, что мы ни видим, что ни слышим, все от врага. Душа только дорога нам, тело и все ублажающее его – тюрьма души, темница, врагом согражденная.

Не любить, не ублажать надо эту темницу, а ненавидеть и всеми мерами сокрушать ее. По настоящему, человеку-то божьему не след бы и глядеть на видимый мир. Слеп и глух должен быть праведник ко всему тленному... Довольно с него заботы и о душе... И ту помоги бог упредить – а тут еще суета, мирские попечения, тщета плотской жизни – один только грех. Нельзя так, Митенька, нельзя, мой возлюбленный, ежели хочешь нескончаемые веки предстоять агнцу, пребывать на великой его брачной вечери и воспевать господу аллилуйю спасения, славу, честь и силу (Апокалипсис, гл. XIX.).

Не отвечал Дмитрий Осипыч – знал он, что упрямого Пахома не переспоришь. И Пахом замолчал, опустив в землю глаза, не соблазниться бы как-нибудь пышно расцветшими розами и душистыми пиониями.

– Что новенького? – после недолгого молчания спросил у него Строинский.

– Сестрица Марьюшка приехала, девицу с собой привезла, купеческая дочь – кажется, желает на путь праведный стать. Приезжай в субботу, в ночь на воскресенье будет собрание. Повестить велел тебе Николаюшка, – сказал Пахом.

– Насилу-то надумал, давно бы пора, – молвил Дмитрий Осипыч.

– Приедешь?

– Как же не приехать! Жаждет душа духа святого, алчет небесной пищи и новых песен, – сказал Строинский. – Кого еще повещал?

– В Коршунове у матроса побывал, в Порошине у дьякона, от тебя проеду в город к Кисловым, а от них в монастырь за Софронушкой.

– Чайку не желаешь ли? – спросил Строинский, но Пахом отказался наотрез.

– Ехать пора, засветло, покамест у Кисловых спать не легли, надо в город поспеть, – сказал он. – Отдохну маленько у них, да пораньше и в монастырь. К вечеру завтра надо домой поспеть...

– Выпей хоть чашечку. Успеешь, – уговаривал его Дмитрий Осипыч.

– Нет, Митенька, не должно плоти угождать, когда творишь дело божие, сказал, выходя из сада, Пахом. – Кстати ли чай распивать, когда не успел еще повестить всю братию?..

И, не слушая уговоров Строинского, спешно влез в таратайку и крупной рысью погнал со двора. Дмитрий Осипыч к цветочкам воротился.

Среди необозримых, засеянных хлебом полей стоит уездный городок на речке, впадающей в Дон в его маловодных верховьях. В сухое время та речка совсем иссякает, и горожане испытывают всякого рода невзгоды и лишения от недостатка в воде. Хотя при каждом почти доме выкопан ко-

лодезь, но колодезная вода жестка и для варки пищи непригодна. Городок бедный, крыт соломой, по окраинам и в подгородных слободах Казачьей да Солдатской не в редкость и черные курные избы без трубы, с одним дымоволоком (Волоковое окно для выхода из избы дыма.). Улицы прямые, широкие, но от малого езду травой поросли. Тонут дома в зелени яблонных, вишневых и грушевых садов, а кругом города ни лесинки – степь, голая степь. В том городишке нет никаких промыслов. Опрочь попов да чиновников, горожане пашут землю, а зимой ездят в извоз, только тем и кормятся. Торговля в городке грошовая, с выгодой одной водкой торгуют. Ярмарок нет, базары плохие, непривычному худо живется в том городишке.

Солнце уж закатилось, когда приехал Пахом. Почти на самом краю городка, в самом укромном уединенном уголке, стоял обширный деревянный дом, обшитый тесом, выкрашенный дикой краской с девятью окнами по лицу. И дом и надворные строения были построены из хорошего леса, а это большая редкость в том краю. Был тот дом даже железом крыт, а это уж совершенная невидаль в таком городишке. Обширный плодовый сад за домом был без малого на трех десятинах. Урожай плодов бывал в нем обильный, и каждый год горожане от первого до последнего завидовали Степану Алексеичу Кислову, отставному почтмейстеру, хозяину того дома, и обкрадывали его сад без всякого милосердия. Напрасно бы Степан Алексеич стал хлопотать по начальству об опустошении его садов – земля бессудная. К тому ж Кислов не охоч был до судов и тяжб. Кроткий и мирный, для всех безобидный нрав не позволял ему ни на кого жаловаться. Мирлобием и смиренством думал он обезоружить мелких врагов, но – воры и воришки в глаза насмехались над ним, больше и чаще опустошая его сад. И скоту Кислова порой доставалось; то барана, то теленка украдут, о курах да утках нечего и говорить, лошадей даже с конюшни сводили, и все оставалось без взысканья и наказанья. Тихоней горожане прозвали Степана Алексеича и открыто говаривали, что украсть у тихони и бог не взыщет и люди не осудят – тащи со двора, что кому полюбилось да под руку попало.

Кислов был старожил в том городке: и отец и дед его служили там, сам Степан Алексеич, не выезжая из своего захолустья, выслужил Владимирский крест за тридцать за пять лет. С ранней молодости был он набожен и до страсти любил церковную службу, жизнь вел тихую, скромную, удаляясь от шумных соборных, где господствовали картеж да водка. За то его не любили, звали святошей, чуждались. Любимым обществом Кислова были духовные, но и те мало удовлетворяли пытливую его душу. Любимым чтением его были церковные книги.

Сначала читал он четьи-минеи, «Прологи», «Патерики». Сказания о древних пустынножителях, об их отвержении от мира сильно занимали Степана Алексеича, возвышали нравственные его силы, но не могли удовлетворить любознательности. Знал он, что в пустыне ему не жить, что проводить жизнь, подобную жизни отшельников первых веков христианства, теперь невозможно; знал и то, что подвиг мученичества теперь больше немыслим, ни страданий, ни смертных казней за Христа не стало. И начал Степан Алексеич смотреть на жития святых, как на любопытные сказанья. Зато стал углубляться в значение церковных песнопений, от одних умилялся душой, от других приходил в священный восторг; поэзия Дамаскина его восхищала. Но, слушая его песнопения в церкви, слушая чтение возвышающих душу псалмов Давида и молитв, сложенных древними учителями, Кислов доходил до отчаянья. Небрежность служения, мертвенность в духовной среде, господство одной внешности раздражали его и не давали покоя беспокойному и пытливому уму. Хотел доискаться всемирной истины, действительно спасительной веры, обращался с вопросами к духовным, но они либо не понимали вопросов его, либо советовали ему не мудрствовать, а, положась на волю Божию, ходить усердно в церковь, чаще заказывать молебны да поднимать на дом иконы. Смеялись даже иные над ним, а искание истины называли ересью. Стал тогда Кислов углубляться в чтение священного писания, особенно Евангелия, – это подняло его нравственную силу и еще больше смягчило кроткий от природы нрав. А все-таки не мог он нигде сыскать духовного врача, ни от кого не мог услышать разумного слова. Тут он понял пословицу: «Бывали встарь сосуды деревянные, да попы, золотые, а ныне сосуды золотые, да попы деревянные». Неотвязная мысль, где же всемирная истина, неискаженная Христова церковь, мучительно тяготила Кислова. Тут познакомился он с Луповицкими и по их совету принялся читать мистические книги.

Кислову показалось, что эти книги все ему разъяснили. Дни и ночи проводил он за ними.

Еще больше удовлетворяли его пытливость беседы с Николаем Александрычем. Прошло три года, и Степан Алексеич вошел в корабль Луповицкого. За ним пошла и жена его, тихая, добрая, кроткая женщина, примерная жена и мать, преданная церкви. С восторженной радостью ринулись Кисловы в секту, где все казалось им новым, истинным, святым; церкви не покинули, как и вообще все божьи люди ее не покидают. Усердней других исполняли они церковные обряды, чаще других приступали к таинствам, чаще других принимали попов для служенья молебнов и щедро им за то платили. Духовенство считало их лучшими примерными чадами церкви.

Дочь росла у Кисловых – только всего и детей было у них. Из нее, выросшей в набожной семье, вышла богобоязненная и богомольная девушка. Никогда никто не слыхивал, чтоб она громко говорила, смеялась или пела мирскою песню, никто не видал, чтоб она забавлялась какими-нибудь играми либо вела пустые разговоры со сверстницами. Угрюмая, молчаливая, сосредоточенная в самой себе, никем, кроме отца с матерью, она не была любима. Ее считали полоумной, ни на что не годной. Время проводила она за работой либо за книгами. Читала те же, что и отец с матерью, и оттого, будучи еще лет пятнадцати, стала стремиться к созерцательной жизни, желала монастыря. И мать и отец ее от того отговаривали, представляя жизнь монахинь вовсе не такою, как она думала. Что за жизнь в монастыре? – убеждала ее мать. – Один только грех. По наружности там добры, приветливы и снисходительны, готовы на всякую посылку, благочестивы, набожны. А поживи-ка с ними, иное увидишь... Не внимала Катенька словам родителей. Случилось ей прогостить несколько дней в одном монастыре у знакомой монахини: там была она окружена такою любовью и внимательностью, провела время так приятно, что монастырь показался ей раем. Вспоминая о том, дни и ночи плакала она, умоляя отца с матерью позволить ей поселиться в какой-нибудь обители... Видя, что никакие убеждения не могут поколебать намерений дочери, Степан Алексеич сказал жене: «Отпустим, пусть насмотрится на тамошнее житье. Век свой после того ни в каком монастыре порога не переступит». Так и случилось. Полугода не выжила Катенька в честной обители. Послала к отцу письмо, слезно моля взять ее домой поскорее.

Болезненно отозвалась на ней монастырская жизнь. Дымом разлетелись мечты о созерцательной жизни в тихом пристанище, как искры угасли тщетные надежды на душевный покой и бесстрастие. Стала она приглядываться к мирскому, и мир показался ей вовсе не таким греховным, как прежде она думала; Катенька много нашла в нем хорошего... «Подобает всем сим быти», говорил жене Степан Алексеич, и Катеньку оставили в покое... И тогда мир обольстил ее душу и принес ей большие сердечные тревоги и страдания.

Вскоре после ее возвращения из монастыря был поставлен в городок на зимние квартиры гусарский полк. Постой большой, вовсе не по крохотному, бедному городку: квартир понадобилось много, и Степан Алексеич волей-неволей должен был принять к себе постояльца. У него в особом флигельке поселился красивый, с светским лоском молодой офицерик князь Рахомский, владелец восьмисот душ в одной из черноземных губерний. Приглянулась ему семнадцатилетняя Катенька, и он, помирая со скуки в уездной глуши, от нечего делать стал за ней ухаживать. Молоденькой, неопытной простушке трудно было устоять перед обаятельным красавцем – она полюбила его всем пылом сердца, еще не изведавшего любви. Зорко следили за ней отец с матерью, но не противились сближению ее с молодым человеком. "Что ж, – говорили Степан Алексеич с женой, – вступит ли она на правый путь, познает ли сокровенную тайну, еще неизвестно. Те ведь только праведны и святы, кого дух привлекает, а кто своей волей, не по избранию духа, входит в корабль, повинен вечному осуждению.

А в Катеньке нет «движений духа». Будет ли еще она угодна на служение богу, кто ее знает? Если ж не будет это, пускай ее в миру остается... И тогда чего бы лучше, если б стала она богатой княгиней. При нашей старости и нас бы призрела. А князь, по всему видится, человек хороший, к подвластным справедлив и милостив, много потаенного добра он делает. И умен, и благочестив, и родство у него знатное. Вдруг наша дочушка станет княгиней, с царскими вельможами в родстве... А впрочем, буди во всем власть господня".

Сближались молодые люди. Сказал князь Катеньке, что любит ее, она тем же ему отвечала. Он хотел было идти дальше, но, кроме поцелуев, ничего не получил. Тогда стал он уверять Катеньку, что женится на ней, только что съездит в Петербург на короткое время. Катенька сказала о

том отцу с матерью. Степан Алексеич завел с князем речь, князь смутился, но просил руки Катеньки. Согласие было дано, и князь с Катенькой стали женихом и невестой. Отъезд князя замедлялся; став в свободные отношения к невесте, молодой человек усилил исканья, но Катенька чиста и непорочна вышла из всех похаживаний с ним. Князь стал тревожен, сумрачен, осыпал невесту упреками и страстными своими порывами то и дело до слез доводил ее. Наконец, уехал, обещал через месяц воротиться и обвенчаться...

Получила от него два письма Катенька, одно другого холоднее; в последнем писал он, что раньше трех месяцев ему нельзя воротиться, и звал невесту в Петербург, обещая до свадьбы окружить ее такою роскошью, таким довольством, каких она и понять не может. По совету отца, Катенька отвечала, что приедет в незнакомый ей город не иначе, как с законным мужем. Ответа не было. Не прошло трех месяцев, как узнали о женитьбе князя Рахомского и об отъезде его с молодой женой за границу.

Когда узнала об этом Катенька, она вскрикнула, тяжело опустилась на стул и, сжав грудь ручками, затрепетала, как подстреленный голубь, но ни одного слова не молвила, ни одной слезинки не выронила. Вдруг быстро вскочила и бегом из дому. Едва успели оттащить ее от колодца. Три дня ни слова не сказала она, потом начались у ней припадочки падучей. Придя в себя, ничего не помнила, забыла и жениха. Прошлое исчезло для нее, как бы его совсем не бывало. Редко, редко вымолвит слово, все молчит, всегда в каком-то тяжелом раздумье.

Каждый отец, каждая мать убивались бы горем при таких страданиях дочери. Кисловы были им рады, ровно счастьем какому. «Открылись движения духа», – сказал Степан Алексеич, жена согласилась с ним, и оба благодарили бога за милости, излианные на их дочь. «Пророчицей будет во святом кругу», сказал Степан Алексеич. «Может быть, и богородицей!» – отвечала жена. И стали готовить Катеньку ко вступлению «на правый путь истинной веры»; когда ж привезли ее в Луповицы и она впервые увидела раденье, с ней случился такой сильный припадок, что, лежа на полу в корчах и судорогах, стала она, как кликуша, странными голосами выкрикивать слова, никому не понятные. Это людьми божьими было признано за величайшую благодать. Все стали относиться к Катеньке с благоговением, звать ее «златым сосудом», «избранницей духа», «божьей отроковицей».

Через неделю она была «приведена» и тотчас начала пророчествовать. И не бывало после того собранья людей божьих без участия в них Катерины Степановны. Прежде езжала она на соборы с отцом и матерью, но вот уж четыре года минуло, как паралич приковал к постели ее мать, и Катенька ездит к Луповицким одна либо со Степаном Алексеичем.

Приехал к Кисловым Пахом и, не входя в дом, отпряг лошадку, поставил ее в конюшню, задал корму, втащил таратайку в сарай и только тогда пошел в горницы. Вообще он распоряжался у Кисловых, как у себя дома. И Степана Алексеича и Катеньку нашел он в спальне у больной и вошел туда без доклада. Все обрадовались, сама больная издала какие-то радостные звуки, весело поглядывая на гостя.

– Христос воскрес, – сказал Пахом, входя в комнату.

– Христос воскрес, – отвечали и Степан Алексеич и Катенька. Больная тоже какое-то слово прошамкала.

– Как тебя дух святой соблюдает, Пахомушка? – спросил хозяин, когда приезжий уселся на стуле возле больной.

– Хранит покамест милостивый, – отвечал Пахом. – Слада в вышних ему!

– Давно ль из Луповиц? – спросила Катенька.

– С утра, – отвечал Пахом. – В объезд послан. Оповестить. Приезжайте. На воскресенье будет собранье. Ждать али нет?

– Будем, будем, – отвечал Степан Алексеич. – Как же не быть? И то давненько не святили душ.

– Лошадку-то я поставил к тебе на конюшню, Степанушка. Переночую у тебя, а только что поднимется солнышко, поеду в монастырь.

– К Софронушке? – спросил Кислов.

– Да. С собой возьму блаженного, ежели отпустят, – отвечал Пахом. – У тебя, друг, все ль по-

доброму да по-хорошему?

– Ничего. Все слава богу, – отвечал Степан Алексеич. – Хозяйка только вот нас с Катенькой сокрушает. Нет лучше, не поднимает господь.

Больная жалобно зашамкала, печальным взором взглянув на Пахома.

– Не испытывай, Степанушка, судеб божиих, – сказал Пахом. – Не искушай господа праздными и неразумными мыслями и словесами. Он, милостивый, лучше нас с тобой знает, что делает. Звезды небесные, песок морской, пожалуй, сосчитаешь, а дел его во веки веков не постигнешь, мой миленький. Потому и надо предать себя и всех своих святой его воле. К худу свят дух не приведет, все он творит к душевной пользе избранных людей, искупленных первенцев богу и агнцу.

Замолчал Степан Алексеич, благоговейно поникнув головою.

– Марья Ивановна не приехала ль? – спросила Катенька. – Ждали ведь ее в Луповицах-то?

– Приехала, Катеринушка, вот уже больше недели, как приехала, – ответил Пахом. – Гостейку привезла. Купецкая дочка, молоденькая, Дунюшкой звать. Умница, скромница – описать нельзя, с Варенькой водится больше теперь. Что пошлет господь, неизвестно, а хочется, слышь, ей на пути пребывать. Много, слышь, начитана и большую охоту к божьему делу имеет... Будет и она на собрание, а потом как господь совершит.

– Молодая, говоришь ты? – спросила Катенька.

– Молодая, – ответил он. – На вид и двадцати годков не будет. Сидорушка, дворецкий, говорил, что и в пище и в питии нашего держится, по-божьему, и дома, слышь, воздерживает себя и от мясного и от хмельного.

– Родители-то ее на пути? – спросил Степан Алексеич.

– Нет, – отвечал Пахом, – родитель у ней старовер и не такой, чтобы следовать по божьему пути.

– Откуда она?

– С Волги откуда-то. Там ведь Марьюшка-то наша купила именье, Фатьянку, где в стары годы божьи люди живали. Был там корабль самого батюшки Ивана Тимофеича.

– Наслышаны мы о том, Николаюшка сказывал, – молвил Степан Алексеич.

– Родитель нашей гостейки по соседству с Фатьянкой живет, – продолжал Пахом. – Оттого и знакомство у него с Марьюшкой, оттого и отпустил он дочку с ней в Луповицы погостить. Кажись, скоро ее приводить станут.

– Слава в вышних богу! – набожно промолвил Степан Алексеич. Катенька повторила отцовские слова.

После короткого молчанья Степан Алексеич, взяв с полочки книгу, сказал Пахому:

– Не почитать ли покуда? А после и порадеть бы для больной. Теперь при немощах ее редко ей, бедной, доводится освящать свою душу.

Согласился Пахом, и Степан Алексеич, раскрыв книгу, подал ее Катеньке. Та стала читать житие Иоасафа, индийского царевича, и учителя его, старца Варлаама.

После чтения началось пение и скаканье. «В слове ходила» Катенька. Придя в исступление, начала она говорить восторженно глядевшей на нее матери, а Степан Алексеич и Пахом, крестясь обеими руками, стали пред пророчицей на колени.

– Духом не мяться, сердцем не крушиться, – выпевала Катенька, задыхаясь почти на каждом слове. – Я, бог, с тобой, моей сиротой, за болезнь, за страданье духа дам дарованье!.. Радуйся, веселись верна-праведная!.. Звезда светлая горит, и восходит месяц ясный, будет, будет день прекрасный, нескончаемый век!.. Бог тебя просветит, ярче солнца осветит... Оставайся, бог с тобою, покров божий над тобою!

И накрыла лицо больной платком, что был у ней в руках во время раденья.

Перецеловались все, приговаривая: «Христос посреди нас со ангелами, со архангелами, с серафимами, с херувимами и со всею силою небесною».

Один за другим с теми же словами поцеловали и больную.

Затем перешли в другую комнату, там уж давно кипел самовар. Чаю напились, белого хлеба с медом поели, молока похлебали. Солнце стало всходить, и Пахом пошел закладывать быстроногую рыженькую. Не уснув ни на капельку, погнал он в Княж-Хабаров монастырь, чтобы к поздней

обедне поспеть туда.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Княж-Хабаров монастырь был основан больше двух с половиной веков тому назад. Строен он был вскоре после ляхолетия одним из самых родовитых московских служилых людей, князем Хабаровым. Было у князя пять сыновей, но все они изгибли в смутное время московской разрухи. Трое честно пали в бою с людьми литовскими, четвертый живьем погорел, когда поляки Китай и Белый город запалили, а пятым перекинулся ко врагам русской земли, утек за рубеж служить королю польскому, и не стало вестей о нем. Говорили, что помер, говорили, что в латинство ушел и стал католическим монахом, а наверное никто сказать не мог.

Изводился старый славный род князей Хабаровых, один последыш в живых оставался – престарелый князь Федор княж Иваныч, что, будучи еще в молодых годах, под Казань ходил с первым царем Иваном Васильичем... Много было у князя Хабарова и вотчин и всякого добра – денег, дорогих уборов, золотой и серебряной посуды ни взвесить, ни сосчитать. А после смерти его некому тем богатством владеть – не оставалось ни рода, ни подродка, ни близких сродников, ни дальних. То пуще всего крушило князя Федора, то всего больше его печалило, что некому было приказать свою душу, некому по смерти его быть помянником... И то немало его сокрушало, что в грядущих поколениях забудется громкое имя князей Хабаровых.

Однажды князь Федор Иваныч рано проснулся. Утренняя заря еще не загоралась. И был ли то сон, была ли явь, сам он не знал того, – видит у своего ложа святолепного старца в ветхой одежде, на шее золотой крест с самоцветными камнями, такой дорогой, что не только у князя, да и в царской казне такого не бывало. И сказал неведомый старец: «Почто всеу мятешися, человеце, помышляя о тленных сокровищах? Кто дал тебе богатство, тому и отдай его». Услышав старцевы речи, помыслил князь: «Кто ж дал мне мои имения? То моя отчина, то моя дедина, как же я могу отдать их родителям, дедам и прадедам, в давних летех скончавших живот свой?» И едва помыслил, старец сказал: "Не от родителей, не от дедов и прадедов получил ты богатства: Христос дал их роду твоему, Христу и отдай их, ибо род твой переходит на земле... Монастырь согради на горе возле твоего села, согради его во имя Спаса милостивого, и не будет забвенно на земле имя твое, станут люди честную обитель звать Княж-Хабаровым монастырем.

И много за то будет тебе милостей от господя, егда предстанешь пред лицо его". И по сем невидим был старец, князь же, рассудя о видении, познал, что он от самого бога, и все исполнил по велению святолепного старца. Так писано в старых монастырских записях о начале Княж-Хабаровской Спасской обители.

Княжеское наследство сразу сделало тот монастырь одним из богатейших в России, братии было в нем число многое, строения все каменные, церкви украшены иконами в драгоценных окладах, золотой и серебряной утварью, златотканными ризами и всяким иным церковным имуществом. За трапезу меньше четырех яств, а за ужином меньше трех не ставили. Меды, квасы сыченые, пиво мартовское бочками в монастырских погребах во льду засекались. По праздникам на трапезе, oprичь водки, ставились и фряжские вина и всякие сладкие овощи: дыни, арбузы, яблоки, груши и сливы. Рыбу из Саратова да из Черкаска каждый год по первопутице целыми обозами в монастырь привозили. Во всем было обилие и довольство.

По времени упал монастырь. Набеги разбойников и нередко бунтовавших инородцев, нескончаемые поземельные тяжбы, а больше всего неурядки, возникшие с тех пор, как люди из хороших родов перестали сидеть в настоятелях обители всемилостивого Спаса, а в монахи начали поступать лишь поповичи да отчасти крестьяне отъем населенных не одною тысячею крестьян имений – довели строенье князя Хабарова до оскуденья: затем в продолжение многих десятков лет следовал длинный ряд игуменов из поповичей, как всегда и повсюду, мало радевших о монастырских пользах и много о собственной мамоне и кармане. Тогда старинные сокровища были распроданы, и обитель вошла в неоплатные долги.

По такой рачительности поповичей, начиная с архиереев до последнего привратника, почти запустело строенье князя Федора княж Иваныча Хабарова. Прежде монахов считали сотнями, те-

перь их стало человек двадцать пять. Прежде, когда Княж-Хабаровым монастырем правили люди из хороших родов, призревалося в нем до сотни на войне раненных и увечных, была устроена обширная больница не только для монахов, но и для пришлых, а в странноприимном доме по неделям получали приют и даровую пищу странники и богомольцы, было в монастыре и училище для поселянских детей. И все это рушилось по милости жадных поповичей. Деньги, что шли на училище, велено архиереем доставлять в семинарию, в странноприимном доме срок дарового корма сокращался, а потом и совсем прекратился, больницу закрыли, перестали принимать увечных и раненных, потому-де, что монахи должны ежечасно проводить время в богомыслии, а за больными ухаживать им неуместно. Так угасли и былая слава и бывшее богатство обители, согражденной последышем в роде князей Хабаровых... Кутейники ее съели да пропили.

Правил тем монастырем честной старец игумен Израиль. Роду был, разумеется, поповского и сам попом прежде был, но потом волей-неволей должен был принять на себя ангельский чин. Ради насущного хлеба в монахи постригся, кстати ж был вдов и бездетен. Ловкий инок в гору пошел при новом владыке и через малое время был поставлен в игумны Княж-Хабарова монастыря. И вот уж лет двадцать доедает, допивает и в карман кладет скудные остатки богатств князя Хабарова. Четыре архиерея сидело при нем на владычном столе, и каждому из них отец Израиль приятен и весьма любезен был.

В Княж-Хабаровой обители жил рясофорный монах. Звали его отцом Софронием. Было ему лет за шестьдесят, а поступил он в монастырь лет десяти либо одиннадцати, будучи круглым сиротой. С детства нападала на него черная немочь: по часу и по два бьется, бывало, бедный, лежа на земле без памяти, корчит его и коробит, руки-ноги сводит судорогами. Такой ребенок был миру тягота, ни в работники взять, ни в солдаты отдать, одна маята с ним. Целой волостью кучились мужики игумну принять убогонького в монастырь, он-де ни на что не годен, разве только что богу молиться. Сложились мужики, поклонились, и был взят в монастырь полоумный. Когда мальчуган подрос, увидали монастырские поповичи, что польза из него может быть. Обительский приемыш не был чуток к холоду – в трескучие морозы босиком бегал, в одной рубашонке, и вел нескладные речи.

Вышел из него юродивый первого, самолучшего сорта. Хоть полоумных в монахи не постригают, но ради монастырской пользы его постригли и нарекли Софронием. С той поры приезжих богомольцев стало бывать помногу. Усердствующие с любовью и благоговеньем посещали блаженного Софронушку, а купчихи с дочерьми верст даже из-за двухсот и больше приезжали к нему за полезными словами и пророчествами. В купеческих семьях ни одной свадьбы не венчали без того, чтобы мать нареченную невесту не свозила прежде к блаженному узнать, какова будет судьба ее, не будет ли муж пьяница, жену не станет ли колотить, сударочек не заведет ли, а пуще всего не разорится ли коим грехом. Разболеется кто из богатых, тоже к Софронушке узнать, к животу али к смерти болезнь приключилась. Ребенок родится – едут к юроду проведать, будет ли жить, будет ли умен да счастлив. Затевают купец новое дело, без того не начнет его, пока не спросит Софронушку насчет удачи. От окрестных деревенских баб блаженному не было отбоя, то и дело лезут, бывало, к нему с вопросами: бычком али телочкой отелится коровушка, огурцы да капуста хорошо ль уродятся, выгодно ль на базаре масло да сметану баба продаст.

Софронушка когда коровой мычал, когда пел петухом, а иногда и человеческим языком бессмысленный вздор говорил. Но все это признавалось за пророчество, и жаждущие познания своей судьбы, подумавши меж собой, оставались уверенными, что они понимают и мычанье, и «кукуреку», и бессмысленные речи юрода. О будущем заключали даже по движеньям Софронушки. Язык высунет – к худу, выберит кого, а лучше того если ударит – к счастью, свечку подаст либо деревянного масла – к покойнику, просвирку – к изобилию. Блаженный юрод иногда пропадал из монастыря по целым неделям. Чаще всего уходил он в соседний городок: там купцы наперебой его друг у дружки в лавки зазывали, – войдет Софронушка в лавку – счастье, с пользой, значит, будут в ней торговать. А ежели возьмет что в лавке Софронушка, не то чтобы деньги с него спросить, наклоняются еще досыта за такую милость, руки и полы расцелуют, потому что если он хоть самую малость возьмет, значит хозяин весь залежалый товар поскорости с барышом распродаст.

Брал Софронушка пустяки – орехов с горсточку, два-три пряника, подсолнухов, пареной

груши, и все раздавал уличным мальчишкам, а кому даст, того непременно за вихор либо за ухо. И это за благодать почиталось. Денег в руки никогда не бирал. Ежели вздумает кто подать, благим матом закричит: «Жжется! ой жжется!» – и убежит сломя голову. Это очень не нравилось отцу Израилю – «зачем, – говаривал он юроду, – призревшая тебя обитель лишается достодождной благодостыни?» У себя в келье Софронушка только деревянное масло да восковые свечи принимал от приходивших узнавать судьбу. Иная купчиха, желая знать, кого она родит – сынка или дочку, пудовую свечу, бывало, с собой привезет, а невеста, что за судьбой приехала, и пять таких свечей притащит Софронушке. А блаженный все в церковь несет. И бывал от того Княж-Хабаровой обители немалый припен. Иные ревнители выпрашивали у отца Израиля Софронушку погостить к себе. Великим божьим благословением, несказанным счастьем почиталось, ежели он у кого в дому хоть ночь переночует, а с неделю прогостит – так благодати не огребешься, как говаривала благодостивая старуха, первостатейная купчиха Парамонова, век свой возившаяся с блаженными, с афонскими монахами, со странниками да со странницами. Отец Израиль много доволен бывал, ежели просили у него на время Софронушку – не даром ведь. Хорошей доходной статьей был юрод для обители.

Еще при жизни Александра Федорыча в Луповицах обратили на Софронушку внимание. Слышал генерал Луповицкий чуть ли не от самой Катерины Филипповны, что в старые годы у божьих людей и христос и апостолы бывали из юродивых. Таков был Иван Тимофеич, таков преемник его нижегородский стрелец Прокопий Лупкин, таков был и следовавший по стопам его загадочный человек, известный под именем лжехриста Андрюшки. В безумии несчастных, подверженных падучей болезни, божьи люди видели «златые сосуды благодати», верили, что в них святой дух пребывает, «ходит» в них и хождение свое припадками изъясляет. Ни мычаний, ни мяуканья юродов, ни их неразумных слов не понимали познавшие тайну сокровенную, но верили твердо, что люди, подобные Софронушке, вместилища божественного разума и что устами их говорит сама божественная премудрость. Они полагали, что присутствие таких людей в корабле ускоряет нашествие святого духа. Оттого в Луповицах и дорожили Софронушкой.

Когда Пахом подъезжал ко Княж-Хабарову монастырю, совсем уже обутрело, а с высокой колокольни благовестили к поздней обедне. Несмотря на давнюю запущенность монастыря, строения его были еще величественны. Кругом выведена высокая, толстая стена с огромными башнями и бойницами, не раз защищавшая обитель от бунтовавшей мордвы и других инородцев, что, прельщаясь слухами о несметных будто монастырских богатствах, вооруженными толпами подступали к обители и недели по две держали ее в осаде. Стены кой-где давно уж обвалились, зубцы давно пошли на выстройку бани, гостиницы и двух игуменских беседок, башни стояли без крыш... Построенные при царе Михаиле Федоровиче основателем монастыря, церкви были обширны, на них запечатлелась искусная рука знаменитого зодчего Возоулина, но они уж давно обветшали, обвалились, густо позолоченные главы собора облезли, черепица на других церквях и на высокой колокольне рассыпалась. Кельи, когда-то населенные не одной сотней монахов, теперь почти все пустовали. В них и в бывших училище, больнице, богадельне не было ни оконных рам, ни дверей, даже полы были выломаны. Печи разобраны, потолки провалились, а от крыш и следов не осталось. Обширный двор зарос бурьяном – на каждом шагу видно было запустенье.

Подъезжая ко святым воротам. Пахом увидел молодого, еще безбородого монаха. Сидел он на привратной скамейке и высоким головным голосом распевал что-то грустное, заунывное. Прислушался Пахом к иноческому песнопению:

Не спасибо игумну мому,
Не спасение бессовестному:
Молодохонька во старцы постриг,
Камилавочку на голову надел...
Не мое дело к обедне ходить,
Не мое дело молебны служить -
Мое дело поскакать да поплясать,
Мое дело красных девок целовать!
Уж и четки-то под лавочку,

Камилавочку на стол положу...

– Дома ль отец игумен? – поверставшись с певцом, спросил у него Пахом.

– Дрыхнет, – отвечал монах и продолжал:

Я на стол положу, мою кралю подарю.

Я кралечку подарю, гулять в рощу с ней пойду.

Я в рощице нагуляюсь, со игумном распрошаюсь:

«Ты прощай, мой лиходей, с кралечкой мне веселей».

С кадочкой меда пошел Пахом в игуменские кельи. В сенях встретился ему келейник.

– Встал отец Израиль? – спросил у него Пахом.

– Встал. Чаи распивает с казначеем, – отвечал келейник.

– Нездоров, слышь, он?

– Была хворость, точно что была, больше двух недель держала его. Третьего дня, однако ж, поправился, – сказал келейник.

– Чем хворал-то? – спросил Пахом.

– Известно чем, – отвечал келейник.

– А можно к нему? – спросил Пахом.

– Отчего ж не можно! Теперь к нему можно, – сказал келейник. – Обожди минуточку – доложу. От господ али сам по себе?

– От господ из Луповиц, – молвил Пахом. – Доложи отцу Израилю: приказчика, мол, господ Луповицкие до его высокопреподобия прислали с гостинчиком.

– Ладно, хорошо, – сказал келейник и через несколько минут позвал Пахома к игумну.

Высокий, плотный из себя старец, с красным, как переспелая малина, лицом, с сизым обьемистым носом, сидел на диване за самоваром и потускневшими глазами глядел на другого, сидевшего против него тучного, краснолицего и сильно рябого монаха. Это были сам игумен и казначей, отец Анатолий.

Войдя в келью, Пахом помолился на иконы и затем подошел к тому и другому старцу под благословенье.

– Здоровенько ли, Пахом Петрович, поживаешь? – недвижно сидя на кожаном диване, ласковым голосом спросил отец Израиль. – Господа в добром ли здоровье? Что Николай Александрыч?.. Андрей Александрыч? Барыня с барышней?

– Все слава богу, – отвечал Пахом. – Кланяться приказали вашему высокопреподобию. Гостинчик извольте принять от ихнего усердия.

И, положив на стол золотой, поставил кадочку у дивана.

– Медку своих пчелок прислали, – промолвил Пахом.

– Спасибо, друг, спасибо. Пошли господа здоровья твоим господам, что не оставляют меня, хворого, убогого. А я завсегда ихний богомолец. За каждой литургией у меня по всем церквам части за них вынимают, а на тезоименитства их беспереводно поются молебны Николаю чудотворцу, святителю мирликийскому, Андрею Христа ради юродивому, Варваре великомученице. Каждый раз во всей исправности справляем. А как яблочки у вас в саду?

– Яблоки хороши, – отвечал Пахом. – Ежели до съема хорошо выстоят – большой урожай будет. И груш довольно и дуль...

– А вишенки? – спросил отец Анатолий.

– И вишен довольно, – ответил Пахом. – Слава богу, все уродилось.

– А у нас и на яблонях, и на вишене цвету было хоть видимо-невидимо, весь сад ровно снегом осыпало, а плода господь не совершил, – с сокрушенным видом, перебирая янтарные четки, сказал игумен. – Червяк какой-то зловердный напал, всю завязь, самый даже лист паутиной затянул. Так все и погибло – теперь редко-редко где яблочко, а вишен, почитай, вовсе нет. Молви, друг, Андрею-то Александрычу, по осени не оставил бы своих убогих богомольцев – прислал бы яблочков на мочку, сколько господь ему на мысли положит, да и вишенок-то в уксусе пожаловал бы бочоночек-другой. А что, поди теперь у вас и дыни и арбузы?

– Есть, – молвил Пахом, – только не совсем еще дозрели.

– Станут дозревать, прислал бы Андрей Александрыч сколько-нибудь на утешение нашему

убожеству, а мы всегдашние его богомольцы, – сказал отец Израиль. – Да медку бы свеженького, сотовенького со своей пасеки пожаловал. Прошлого года, по осени, владыка изволил наш монастырь посетить, так очень похвалял он соты, что Андрей Александрыч прислал мне. Чего ни видал, где ни бывал владыка, в шестой, никак, епархии правит теперь, – казалось бы, ничем его удивить нельзя. А изволил говорить, что такого меду в жизнь свою-де не кушивал. Какой-то, говорит, особый, с нарочито прекрасным запахом. Повелел он тогда мне доподлинно разузнать, отчего у вас такой мед выходит...

– Резеду вокруг пасеки-то сеют, дикий жасмин тоже насажен – пчела-то с них обножь (Обножь, также взятки, колошка, поноска – все что пчела собирает с цветов и уносит на ножках.) берет, – сказал Пахом.

– Ишь ты! – качнув головой, молвил игумен отцу Анатолию. – Для пчелы сеют особые травы, особые цветы разводят. Вот бы тебе, отец Анатолий, поучиться...

– Куда уж нам! – сказал казначей. – Пошлет господь и простенького медку, и за то благодарни суще славим великие и богатые его милости. Где уж нам с резедами возиться!.. Ведь у нас нет крепостных, а штатные служители только одна слава – либо калека, либо от старости ног не волочит. Да и много ль их? Всего-то шесть человек. Да и из них, которые помоложе, на архиерейский хутор взятые.

– Не моги роптать, отец Анатолий, – внушительно сказал ему Израиль. Воля святого владыки. Он лучше нас знает, что нам потребно и что излишне. Всякое дело от великого до малого по его рассуждению строится, и нам судить об его воле не подобает.

– Да я и не сужу, отче святой, – робко ответил отец Анатолий. – Как можно мне судить о таком лице, как божий архиерей? Ума достаточно не имею на то... к слову только про штатных упомянул, говоря про наши недостатки.

– И того не держай, – рек игумен. – И к слову не моги поминать о владыке, разве только прославляя святую его жизнь, ангельскую кротость, душевное смирение, неумытное правосудие и иные многие архипастырские добродетели... Да... Повеждь людям о милостях, на нас бывших, о великой премудрости святителя... а ты вдруг про хутор да про штатных. Не годится, даже очень не годится. Одобрить не могу. О том помысли, что было бы, ежели б, коим ни на есть случаем, сведал владыка о таковых мятежных речах твоих? Похвалил бы тебя?.. Ась?.. Как думаешь, отец казначей?

Вскочил Анатолий и, припав к стопам игуменским, промолвил со слезами:

– Прости, отче святой. Не отринь покаяния. Прости великое мое прегрешение, прости мое неразумие и скаредную дерзость мою.

– Бог простит. Разрешаю и благословляю. Покаяние покрывает все грехи. Впредь не грехи, отец Анатолий.

Встал казначей и облобызал игуменскую десницу. А Пахом все стоит перед монастырскими властями. Наконец, игумен сказал ему:

– Вот, друг мой, Пахом Петрович, молви-ка господам, сколько мне труда и заботы предлежит по моей должности. Всякого научи, всякого наставь, иного ободри и похвали, иного же поначаль и в чувство приведи, а иного, по писанию, и жезлом, яко сына отец, поучи. Ох, любезненький ты мой, ежели бы господа дворяне знали нашу жизнь, много бы благоутробнее были до нашего убогого смирения... Рыбку-то с Дону привезут – не оставил бы Андрей Александрыч. Дорога нынче рыбка-то стала, в сапожках ходит. Нашей обители, аще забвенна будет благотворителями, и в рождество Христово и в светло воскресенье без рыбной яствы придется за трапезу сесть... Едина надежда на христоробцев. Молви, друг.

– Доложу, – ответил Пахом.

– Конек угас (Околел.) у меня по весне, любезный мой Пахом Петрович, мало повременя, сказал игумен. – А славный был коняшка, сильный, работающий. И что попритчилось с ним, ума не могу приложить. Должно быть, опоили горячего мошенники конюхи. На все был пригоден – в дорожку ль ехать, возы ли возить. И всего-то девять годков было ему. Теперь у меня на конном дворе всего шесть лошадок, без седьмой невозможно... Достатки скудные, денег ни копейки, а долгов, что грибов в лесу. Озарил наемни меня господь мыслию: стану, думаю, униженно просить я Ан-

дрея Александрыча, не пожалует ли какого-нибудь немудрого конька... Не могу наверно сказать тебе, любезный мой Пахом Петрович, а от старых иноков слышал я, что преславный боярский род господ Луповицких, по женскому колену, влечет племя свое от князей Хабаровых. Значит, господа твои сродственники приснопамятному зиждителю нашей обители. Возрадовал бы Андрей Александрыч преподобную душу по плоти своего сродника, ныне в небесных селениях пребывающего князя Феодора. Покусья, Пахом Петрович, не пожертвует ли от своих щедрот коняшку. Попомни, пожалуйста.

– Доложу, – молвил Пахом.

– Новенького нет ли чего у вас? – после недолгого молчанья спросил отец Израиль.

– Марья Ивановна приехала погостить, а больше того никаких нет новостей, – ответил Пахом.

– Ну вот! Впрямь приехала. Надолго ли? – спросил игумен.

– Не могу сказать.

– Не вздумает ли обитель нашу посетить? Давненько не жаловала, третий год уж никак... Поклон ей усердный от меня, да молви, отец, мол, игумен покорнейше просит его обитель посетить, – сказал Израиль.

– Доложу, – молвил Пахом. И, немного переждав, сказал: – Марья Ивановна, почитая отца Софрония, наказывала попросить у вашего высокопреподобия, отпустили бы вы его повидаться с ней.

Не сразу ответил отец Израиль. Нахмурился и принял вид озабоченный. Потом, не говоря ни слова, начал пальцами по столу барабанить.

– Ох, не знаю, что и сказать тебе на это, Пахом Петрович. Дело-то не совсем простое. Не в пример бы лучше было Марье Ивановне самой к нам пожаловать, здесь и повидалась бы она с Софронием. В прошлом году, как новый владыка посетил нашу обитель, находился в большом неудовольствии и крепко журил меня, зачем я его к сторонним людям пускаю. За ограду не благословил его пускать. Соблазну, говорит, много от него. Владыке-то, видишь, многие из благородных и даже из простых жалобы на него приносили – бесчинствует-де повсюду. Боюсь, Пахом Петрович, боюсь прогневить владыку. Он ведь строгий, взыскательный...

– Да ведь ежели, ваше высокопреподобие, отпустите отца Софрония, так я до самых Луповиц нигде не остановлюсь и назад так же повезу. А в Луповицах из барского дома ходу ему нет, – сказал Пахом. – Явите милость, Марья Ивановна крепко-накрепко приказала просить вас.

– Нет, друг, нельзя, – решительным голосом сказал Израиль. – Боюсь. Ну, как вдруг владыка узнает?.. Не тебя и не Марью Ивановну станет тазать. Так али нет, отец Анатолий?

– Известно, – молвил казначей, зевая всем ртом нараспашку и творя над ним крестное знамение.

– Видишь ли, – обратился игумен к Пахому. – Нет, друг, поклонись ты от меня благотворительнице нашей, Марье Ивановне, но скажи ей, что желания ее исполнить не могу. Очень, мол, скорбит отец игумен, что не может в сем случае сделать ей угодения... Ох, беда, беда с этими господами!..прибавил он, обращаясь к казначею. – Откажи – милостей не жди, сделаю по-ихнему, от владыки немилости дожидайся... Да... Нет, нет, Пахом Петрович, – не могу.

– Да ведь не на долгое время, ваше высокопреподобие. Пробыл бы он в Луповицах какую-нибудь неделю, много что две, – начал было Пахом.

– Ишь что сказал! – воскликнул отец Израиль. – А разве неизвестно тебе, что к отцу Софронию богомольцы частенько за благословеньем приходят. В две-то недели сколько, ты полагаешь, обитель от того получит?.. Мне от отца казначея проходу не будет тогда. Так али нет, отец Анатолий?

Вместо ответа казначей громогласно икнул и в строгом молчанье перекрестил уста свои.

Вынул Пахом из кармана пакет и, подержав его в руках минуты две, спрятал опять за пазуху.

– Это у тебя что? – любопытствовал отец Израиль.

– Нет, это так, – молвил Пахом. – Теперича, значит, оно не годится, – и, сказав засим: – Прощайте, ваше высокопреподобие, – подошел к благословению.

– Что за пазуху-то сунул? Письмо, что ли?.. – с живостью спросил игумен.

– Нет, это так... Пустое, значит, теперь дело, – молвил Пахом.

– Да что, что такое? – с нетерпением встав с места, сказал отец Израиль.

– Барышня Марья Ивановна приказала было отдать вашему высокопреподобию этот пакет с деньгами, ежели отпустите отца Софрония, – сказал Пахом.

– Так ты должен мне отдать его, когда барышня приказала?.. Для чего ж не подаешь?.. Странно!.. – молвил игумен.

– Барышня приказывала отдать пакет, когда получу отца Софрония, а ежели не получу, веле-ла деньги назад привезти.

– Гм!.. Вот что!.. Слышишь, отец, Анатолий? Отец казначей вместо ответа опять икнул.

– Что с тобой, отче?.. – спросил игумен.

– Со вчерашнего, – пробасил отец Анатолий.

– А-а! – протянул игумен.

– Кваску чрез меру испил... – молвил казначей. – Холодный, прямо со льду, а я был распотевши.

– Осторожней надо, отче, осторожней, – учительно промолвил отец Израиль. – Ты уж не молоденький, утроба-то обветшала.

– Точно, – заметил отец Анатолий и еще икнул на всю келью.

– Благословите, ваше высокопреподобие, на обратный путь, – сказал Пахом, подходя к игумену под благословенье.

– Постой, друг, погоди. Дай маленько сообразиться с мыслями, – сказал игумен Пахому, не подавая благословения. – Как бы это нам обладать по-хорошему? Отец Анатолий, как бы это?

– Мнение мое таково же, как и вашего высокопреподобия, – молвил казначей, сопровождая ответ свой икотой.

– Хоть бы водицы испил, – молвил игумен. – Слушать даже болезненно. Поди к келейнику – он даст тебе напиться. Да как стакан-от в руки возьмешь, приподними его да, глядя на донышко, трижды по трижды прочти: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его». Помогает. Пользительно.

Безмолвно поднялся с места отец Анатолий и, с поникшей головой и долу опущенными глазами, пошел из кельи. Молчал игумен, молчал и Пахом.

– Какое ж будет решение от вашего высокопреподобия? – спросил, наконец, Пахом.

– Не знаю, друг, что и сказать тебе, – покачивая в раздумье головой, сказал отец Израиль. – Дело-то опасное. Сам посуди! И обители изъян – ропот пойдет, молва меж братии. И Марье-то Ивановне желательно угодить и владычного-то гнева страшусь. «Ты, говорит, не смей Софрона никуда пускать». Так и сказал этими самыми словами. «И без того, говорит, много толков обносится про него, а читывал ли, говорит, ты „Духовный регламент“ Петра Великого? Помнишь ли, что там постановлено о ханжах и пустосвятах, а равно и о разглашении ложных чудес и пророчеств?..» Вот какие слова говорил владыка. Доложи господам, отец, мол, игумен рад бы всей душой, да опасается – в ответ не попасть бы.

– Так уж благословите меня, ваше высокопреподобие, в путь отправляться, – снова подходя к благословению, молвил Пахом.

– Да ты повремени, отдохни сколь-нибудь, – сказал Израиль, не подавая благословения. – Обожди маленько, обедня отойдет сейчас, в трапезу пойдешь, преломишь хлеб с братиею. Сам-то я не совсем домогаю, не пойду, так отец Анатолий тебя угостит.

– Нет уж, увольте меня, ваше высокопреподобие, – сказал Пахом. – Надо к вечеру домой поспеть.

– Да ты не торопись... Ишь какой проворный, – тебе бы тяп-ляп, да и корабль. Скоро, друг, только блины пекут, а дело спехом творить только людей смешить. Так не подобает, – говорил игумен.

Под это слово воротился казначей. Ему облегчало, и он спокойно уселся на оставленное место.

– Как посоветуешь, отец Анатолий? – молвил ему игумен. – Не отпустить ли уж отца-то Софрония?..

– Все в вашей власти, ваше высокопреподобие, – сквозь зубы пробурчал казначей.

– Конечно, дело такое, что колется, – сказал отец Израиль. Страшно... Однако ж и то надо к предмету взять, что нельзя не уважить Марью Ивановну – она ведь наша истая благодетельница. Как по-твоему, отец казначей, можно ль ей не уважить?

– Не уважить нельзя, – ответил отец Анатолий.

– И сам я тех же мыслей, – решил игумен. – Хоть маленько и погрешим, да ведь ни праведный без порока, ни грешный без покаяния не бывают на свете. Пушу я Софрона-то.

– Отчего ж и не пустить? – промолвил отец Анатолий. – Пускали же прежде.

– Так облегчись, отче, сходи за ним сам, собери его да приведи ко мне в келью, – сказал игумен. Поклонился отец Анатолий и пошел из кельи.

– Давай письмецо-то, – сказал игумен Пахому, как только вышел казначей.

Тот подал ему запечатанный пакет. Вскрыл его игумен – письма нет, только три синенькие. Нахмурил чело Израиль и, спешно спрятав деньги в псалтирь, лежавшую рядом с ним на диване, сказал вполголоса:

– Ох-ох-ох-ох-ох! На все-то теперь дороговизна пошла. Жить невозможно, особливо с этакой семейкой. А из братии никто и не помыслит попечиться о монастырских нуждах. Как встал поутру, первым делом кричит: «Есть хочу». А доходы умалились – благочестия в народе стало меньше, подаяния поиссаякли. Не знаешь, как и концы сводить. Хорошо другим обителям: где чудотворная икона, где ярманка, где богатых много хоронится, а у нас нет ничего. А нужды большие... Великие нужды! Попомни, Пахом Петрович, об этом Андрею Александрычу. Сделай милость.

Воротился казначей с Софронием. Блаженный пришел босиком, в грязной старенькой свитке (Монашеская рубаха.), подпоясан бечевкой, на шее коротенькая манатейка, на голове порыжевшая камилавочка. Был он сед как лунь, худое, бледное, сморщенное лицо то и дело подергивало у него судорогой, тусклые глаза глядели тупо и бессмысленно.

– Кланяйся, проси благословения у отца игумена, – сказал Анатолий, нагибая голову юродивому. Софроний засмеялся, но игумен все-таки благословил его и поднес руку к губам юродивого. А тот запел:

– Глас шестый, подымай шесты на игумена, на безумена.

– Дурак так дурак и есть, – сквозь зубы проворчал отец Израиль. – Что сегодня делал? – обратился он к Софрону.

– Ничего, – заливаясь смехом, тот отвечал.

– Для чего ж не потрудились над чем-нибудь? – спросил игумен.

– Грех!.. Седни праздник, – молвил юродивый.

– Какой праздник?

– Седни праздник – жена мужа дразнит, на печь лезет, кукиш кажет – на тебе, муженек, горяченький пирожок! – нараспев проговорил Софроний и опять захохотал.

– В гости хочешь? – спросил Израиль.

– Харалацы, маларацы, стрень брень, кремень набекрень! – зачастил Софроний и потом высунул игмуну язык. Игумен отвернулся.

– Запри его, отче Анатолий, покамест не срядится Пахом Петрович, сказал он. – В сторожку, что ли, на паперти. А то, пожалуй, еще забьется куда-нибудь, так целый день его не разыщешь.

– Да я бы сейчас же в обратный путь, ваше высокопреподобие, – начал было Пахом, но игумен не дал ему и договорить.

– Нет, друг, нет... Уж извини... Этого я сделать никак не могу. Хоть монастырь наш и убогий, а без хлеба, без соли из него не уходят. Обедня на исходе, отпоют, и тотчас за трапезу. Утешай гостя, отец, Анатолий, угости хорошенько его, потчуй скудным нашим брашном. Да мне ж надо к господам письмецо написать...

Да вели, отец Анатолий, Софрония-то одеть: свитку бы дали ему чистую, подрясник, рясу, чоботы какие-нибудь. Не годится в господском доме в таком развращении быть. Раздались редкие удары в подзвонки (Подзвонки – самый маленький колокол, которым пономари начинают трезвон.).

– Ну, вот и братия в трапезу пошла. Ступай, отец казначей, угощай Пахома Петровича, а Со-

фронию пици в сторожку поставить вели, – сказал Израиль. – Да чтоб чинно в трапезе сидели. А мне ушицу сварить вели – молви отцу эконому, да хоть звено осетринки с ботвиньей, что ли, подали бы, яичек в смяточку да творогу со сливками и с сахаром, да огурчиков молоденьких, да леща свеженького зажарить, яичками начинил бы его повар, и будет с меня. Неможется что-то, за трапезу не пойду – поем келейно. Ну, бог вас благословит – ступайте со Христом...

После трапезы, получив от игумна письмо и благословенье, Пахом отправился с блаженным Софронушкой в Луповицы.

– Тебе бы привязать его к таратайке-то веревкой, не то, пожалуй, соскочит, – советовал отец Анатолий, провожая Пахома. Пахом не принял совета.

Приближался день, когда в луповицком корабле надлежало быть собору «верных-праведных». Ни возни, ни суеты, никаких приготовлений не было, все шло в доме обычной чередой. Блаженного сдали на пасеку под смотренье престарелого Кириллы. Николай Александрч наказал ему, глаз бы не спускал он с Софронушки, на одну пядь от себя не отпускал бы, чтоб опять чего не накуролесил. В прежние приезды немало от него бывало проказ: то собак раздражит, а они ноги ему искусают, то с песнию «яко по суху путешествова Израиль» по пруду пойдет шагать и очутится на тинистом дне. Однажды, вообразив себя Христом, вспомнил, что пора ему возноситься на небеса, и вознесся с балкона второго этажа – едва вылезли. С того вознесенья блаженный стал еще глупее, зато стали считать его еще премудрее. «Харалацы да маралацы», «стрень да брень» стали чаще исходить из его уст, а божьи люди говорили одно: «Безумное божие превыше человеческой мудрости».

Вечером в пятницу пришел старый матрос Фуркасов прямо в вотчинную контору. Хоть от Коршунова до Луповиц и трех верст не было, но Семен Иванович с раннего утра шел почти до сумерек. Дорогой, что ни встретится ему живого на пути, надо всем-то он остановится и, не трогаясь с места, всем налюбуется. Жаворонок взвьется в поднебесье и начнет оттуда заливаться веселыми песнями, матрос замрет на месте, стоит ровно вкопанный, устремив взоры вверх и любуясь божьей пташкой. Заяц, заслышав шаги человека, порскнет из овсов к перелеску, присядет и, прядая ушами, начнет озиаться – Фуркасов и на него залюбуется, стоит, пока косой не скроется из виду. Желтенькая стрекогузка (Стрекогузка, трясогузка, иначе мухоловка – двух видов: голубоватая и желтая motacilla. Прыгая, она беспрестанно трясет длинным хвостом своим.) запрыгает вдоль по дороге – он ни с места, чтобы не потревожить чуткую птичку.

Рано в субботу в легоньком тарантасике, один, без кучера, приехал Дмитрий Осипыч Строинский, а вслед за ним, распевая во все горло «Всемирную славу», пришел и дьякон Мемнон, с сапогами за плечьями, в нанковом подряснике и с зимней шапкой на голове. Он тоже у Пахома пристал и, только что вошел в контору, полез в подполье и завалился там соснуть на прохладе вплоть до вечера. Кислов с дочерью приехал поздно, перед самым собраньем.

Часу в шестом Луповицкие с Дмитрием Осипычем поехали ко всенощной. Пошли в церковь и конторщик Пахом с матросом, и дьякон, и пасечник Кирилла с блаженным юродом. Пошли и богаделенки... Кисловы тогда еще не приезжали, а Марья Ивановна с Дуней остались дома. Несмотря на рабочую пору, церковь была полнехонька, точно в большой праздник. Особенно много было женщин. Разнеслось по селу, что Пахом привез блаженного, и все сошлись хоть поглядеть на него. Софронушка и в Луповицах пользовался всенародным уваженьем, и здесь его считали святым, принимая каждое слово юрода с благоговеньем.

Дьякон и матрос стали на крылосе дьячкам подпевать, а Софронушка к самому амвону подошел. Толпа расступилась перед ним, и он, усевшись середь церкви на полу, принялся грызть подсолнухи и кидать скорлупами в народ. Их тщательно подбирали и прятали. В кого бросит Софронушка – тому счастье. Кто удостоился такой милости, тот отходит в сторону, давая место другим, жаждущим благодати во образе подсолнушных скорлуп. Еще не отошла всенощна, как Софронушке вздумалось выйти из церкви. Стремительно вскочил он на ноги и, бормоча какую-то

бессмыслицу, быстро побежал к выходу. Народ расступался, давая блаженному дорогу, и весь почти вышел за ним из церкви. На погосте сел юрод на свежую могилу, и тотчас бабы окружили его, осыпая вопросами насчет судьбы. Одадь стоявшая старушка, опираясь на клюку, набожно крестилась и в сердечном умиленье плакала радостными слезами.

– На светика на моего, на Самойла Иваныча сел! – говорила недавно схоронившая мужа старушка. – Хорошо, надо быть, другу моему советному на том свете у Христа, у батюшки! Веселится, знать, мой Самойло Иваныч во светлом раю! Недаром сел на могилку его блаженненький.

Молоденькая женщина лет двадцати подошла к Софронушке. Протягивает к нему исхудалого, чуть живого ребенка, а сама умоляет:

– Молви святое слово, батюшка отец Софрон, не утай воли божией... Будет аль не будет жить раб божий младенец Архипушка?

Вскочил блаженный с могилы, замахал руками, ударяя себя по бедрам ровно крыльями, запел петухом и плюнул на ребенка. Не отерла мать личика сыну своему, радость разлилась по лицу ее, стала она набожно креститься и целовать своего первенца. Окружив счастливую мать, бабы заговорили:

– Будет жив паренек, будет жив, родная! Молись богу, благодари святого блаженного!

Вынула молодница из-за пазухи бумажный платок и, с низким поклоном подавая его блаженному, молвила:

– Прими, батюшка отец Софрон, от всего моего усердия. Сделай милость, прими.

Софронушка взял платок, скомкал его и бросил в стоявшую неподалеку девушку.

– Замуж скоро выйти тебе, Оленушка, – заговорили бабы. – Готовь ручники (Ручник – полотенце. Ручниками просватанные невесты дарят жениховых поезжан.), сударыня!

Закраснелась Оленушка, взяла платок и спрятала дар праведного мужа.

– Советно ли с мужем-то будет жить? В достатке ли?... Молви, батюшка отец Софрон! – пригорюнясь, спрашивала, насилу пробившись сквозь толпу, мать Оленушки.

– А у дедушки Кириллушки пчелки-то гудят, гудят, колошки на ножках несут да несут, – запел блаженный и, не допевши, захохотал во все горло.

– В богатстве жить Оленушке, – заговорили бабы.

– Советно ли жить-то будут – не утай, скажи, батюшка отец Софрон!..приставала Оленушкина мать.

В это самое время сквозь толпу продрался мальчишка лет девяти. Закинув ручонки за спину и настежь разинув рот, глядел он на Софронушку. А тот как схватит его за белые волосенки и давай трепать. В источник голос заревел мальчишка, а юрод во всю прыть помчался с погоста и сел на селе у колодца. Народ валом повалил за ним. Осталось на погосте человек пятнадцать, не больше.

– Нишкни, а ты, Ермолушка, нишкни! – унимают бабы разревевшегося парнишку. – Бог здоровья даст, а вырастешь большой, ума у тебя много будет. Счастливый будешь, талантливый.

Парнишка не унимался, хоть и отец его с матерью утешали и приказывали не реветь, а в церковь идти да за великую благодать богу помолиться. Насильно увели мальчугана с погоста.

– А Оленушке житецо-то придется, видно, не больно ахти, – говорили на погосте бабы. – Бить станет сердечную... Недаром блаженный Ермолке вихры-то натрепал.

– Вестимо, будет драчун, – говорили другие. – Ермолку на счастье блаженный потаскал, а Оленушке горьку судьбину напроорочил.

– Помните, бабы, как он Настасье Чуркиной этак же судьбу пророчил? – бойко, развязно заговорила и резким голосом покрыла общий говор юркая молодая бабенка из таких, каких по деревням зовут «урви да отдай». – Этак же спросили у него про ее судьбину, а Настасья в те поры была уж просватана, блаженный тогда как хватит ее братишку по загорбку... Теперь брат-от у ней вон какой стал, торгует да деньгу копит, а Настасьюшку муж каждый божий день бьет да колотит.

– А для че жену не поколотить, коли заслужила?... – с усмешкой молвил пожилой, мрачный и сердитый мужик. – Не горшок – не расшибешь!..

– А расшибешь, так берестой не обовьешь, – подскочив к нему, подхватила юркая бабенка. – Нам всем в заprimету, у всех чать на памяти, как мужья по две жены в гроб заколачивают. Теперь

и на третьей рады бы жениться, да такой дуры не сыскать на всем вольном свету, чтобы за такого драчуна пошла.

– Смотри, егоза, не больно сорочи (Сорочить – резко болтать вздор или пустяки, язык чесать.), не то тако словцо при народе скажу, что до утра не прочихаешься, – огрызнулся драчливый вдовец.

– Како тако слово?.. Како?.. Говори, говори! – приставала бабенка да так начала на вдовца насакивать, что тот, не говоря худого слова, долой с погоста.

А Оленушка стоит пригорюнившись, а у матери ее на глазах слезы. Бабы их уговаривают, хотят утешить:

– Эх, Оленушка, Оленушка! Да с чего ты, болезная, таково горько кручинишься?.. Такая уж судьба наша женская. На том свет стоит, милая, чтоб мужу жену колотить. Не при нас заведено, не нами и кончится! Мужнины побои дело обиходное, сыщица на свете хоть одну жену небитую. Опять же и то сказать: не бьет муж, значит не любит жену.

Не утешили уговоры Оленушку, не осушили они глаз ее матери.

А на селе у колодца вокруг юродивого такой сход собрался, что руки сквозь людей не просунуть. Все лезут к Софронушке про судьбу спросить, а иным хочется узнать: какой вор лошадушку свел со двора, кто новину (Новина – крестьянский суровый холст.) с луга скрал, кто буренушке хвост обрубил, как забралась она в яровое, какой лиходея бабу до того испортил, что собакой она залаяла, а потом и выкликать зачала. Бабы и руки и одежду у отца Софрона целовали. До того были усердны, что вздумали, во что бы ни стало, волосиков с блаженного добыть – пользительны, слышь, очень они, ежели водицы на них налить и той водицей напоить недужного. И до того бабы усердствовали, что блаженный крепился, крепился да как заорет во всю мочь. Насилу вытащили его из толпы дворецких с Пахомом и отвели из села в безопасное место – на пасеку. Бабы тем недовольны остались...

Увели блаженного, и все разошлись по домам. Дослушивать службу в церковь никто не пошел. Большухи (Большуха – старшая в семье женщина.), возвратясь домой, творя шепотом молитву, завертывали в бумажку либо в чистый лоскуток выплюнутые Софронушкой скорлупы, а те, что сподобились урвать цельбоносных волосиков со главы или из бороды блаженного, тут же их полагали, а потом прятали в божницу за иконы вместе с хлопчатой бумагой от мощей, с сухим артосом, с огарком страстной свечи и с громовой стрелкой (Артос – по-гречески, кислый хлеб. У нас артосом, или артусом, зовут хлеб, носимый на Пасху вокруг церкви, а в субботу святой недели раздаваемый народу. Страстная свеча – с которою стояли за Церковными службами вербного воскресенья, великой пятницы, великой субботы и светлого воскресенья. Громовая стрелка – пальчатая сосулька, образовавшаяся от удара молнии в песок, часть которого мгновенно расплавилась. Также – белемнит, окаменелый допотопный червь. И то и другое зовется также чертовым пальцем.).

В каждом доме за ужином только и речи было, что про батюшку отца Софрона – припоминали каждое его слово, каждое движенье, и всяк по-своему протолковывал, что бы такое они означали. Поужинавши, спать легли – кто в клети, кто на сеновале, кто на житнице, а кто и на дворе в уголку, либо на матушке на сырой земле в огороде... А в избах пусто. Жарко уж очень и душно, там никак не уснешь.

Сильней и сильнее темнеет, тихий безоблачный вечер сменяется такою же тихою, теплою, душною ночью. Луны нет, на бледно-сером небесном своде кой-где мерцают звездочки, а вечерняя заря передвигается с солнечного заката к востоку. Пала роса, хоть не очень обильная, но все-таки благоухание испарений с душистых трав и цветов наполнило воздух. Душно. Парит от долгой засухи, скоро, видно, дождется народ православный божьей благодати – грозы с дождем. Без того совсем беда, яровые пожелкли, озимый колос не наливается – травы выгорели. Чего уж ни делали православные! И молебны-то пели, и образа-то поднимали, и по полям со крестами ходили, и попов поили, кормили, – а все господь не шлет дождичка, что хочешь делай... По небесным закраям поминутно вспыхивает зарница. Быть грозе, быть дождю...

Сослал господь с тихого неба на шумную землю покой безмятежный. Ходит сон по селам, дрема по деревням: ни ближнего говора, ни дальнего людского гомона не слышно. Все затихло,

все замолкло; лишь кузнечики тянут неугомонные свои песни, перепела во ржи перекликаются да дергач (Дергач, иначе коростель – болотная птица, средняя между перепелом и водяной курочкой. *Rallus rex.*) резким голосом кричит на болоте.

Изредка собаки ни с того ни с сего поднимут бестолковый лай. Померещится кудлашке, что чужой на дворе, тьякнет раз, тьякнет другой, третий, и по всем дворам поднимается лай. Налаявшись досыта, один пес, опустив хвост, уляжется, бурча понемножку, зевнет и заснет. За ним и другая и третья собака, и опять на селе мертвая тишина, и опять нигде ни звука.

Спит село, а в барском доме глаз не смыкают. В ночной тиши незримо от людей нечто необычное там совершается.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В нижнем этаже барского дома, под той самой с мраморными стенами залой, что так понравилась Дуне в день ее приезда, была точно такая же обширная комната, хоть и не так разукрашенная. Никогда не отпиралась она, и ключ от нее всегда был в кармане у Николая Александрыча. Дневной свет не проникал в ту комнату, толстые ставни, вделанные в окна, не отворялись. Во время оно у генерала Луповицкого до перемены его бывало тут беспросыпное пьянство, и туда по бурмистрову приказу десятками приводили разряженных девок и молодежи... Теперь она зовется «кладовою», хоть ни старых, ни новых домашних вещей и никакого хлама в ней нет.

Это – сокровенная сионская горница. Тут бывают раденья божьих людей. Рядом вдоль всей горницы коридор, а по другую его сторону семь небольших комнат, каждая в одно окно без дверей из одной в другую. Во время оно в те комнаты уединялись генеральские собутыльники с девками да молодками, а теперь люди божьи, готовясь к раденью, облачаются тут в «белые ризы». Пред сионской горницей были еще комнаты, уставленные старой мебелью, они тоже бывали назаперти. Во всем нижнем этаже пахло сыростью и затхлостью.

Только что смерклось, в комнату, что перед сионской горницей, стали собираться люди божьи. Прежде всех пришли богаделенные. Привели они и Лукерьюшку, еще не выдавшую соборов людей, познавших тайну сокровенную. Привела Матренушка и дочку свою духовную, не вполне еще приобывшую к таинственным обрядам Василисушку. Раз а три бывала она на раденьях, слышала и словеса пророческие и новые песни, но еще не была «приведена».

На Лукерьюшке и на Василисе были надеты синие поневы, новенькие, с иголочки. В синих, а не в красных, как ходят девушки в той стороне, они были одеты – то знак отречения от суеты мира и от замужней жизни.

Богаделенные расселись по креслам и стульям, обитым обветшалым бархатом. Немного погодя пришел дворецкий Сидор с целым ворохом пальмовых ветвей. Молча, строгим взором окинул он богаделенных и приведенных ими девиц: нет ли на ком серег либо колец, чисты ль у всех платки и полотенца. За дворецким пришел приказчик Пахом с дьяконом и матросом, пасечник с Софронушкой, ключница с Серафимушкой. Все сидели молча, недвижно склонивши головы и не глядя друг на друга. Блаженный присел возле печки на полу и, рассыпав кучку лутошек, принялся строить из них домик. Никто на него не смотрел.

– Все, кажется, в сборе, – тихо промолвил дворецкий. – Пойти доложить господам. Время.

Ни словом, ни движеньем никто не отозвался ему. Только блаженный ни с того ни с сего захотел во всю мочь, приговаривая:

– Баре придут, медку принесут, чайком попят, молочка дадут...

Дворецкий пошел наверх, и не прошло пяти минут, как один за другим пришли: Николай Александрыч с братом, с невесткой и племянницей, Кислов с Катенькой, Строинский Дмитрий Осипыч.

Вошли, стали в круг и начали друг другу земно кланяться.

– Христос воскрес! – сказал Николай Александрыч.

– Свет истинный воскрес! – певучим голосом ответила Катенька Кислова.

– Бог истинный воскрес! – громко вскрикнул сам Кислов.

– Сударь батюшка воскрес! – еще громче закричал Дмитрий Осипыч.

– «Воскрес Иисус от гроба, яко же пророче, даде нам живот вечный и велию милость», – скороспешно заревел дьякон на церковный напев.

А другие продолжали обычные у божьих людей друг другу приветствия.

– Царь царям воскрес!

– Бог богам воскрес!

А блаженный, сидя на полу, строит себе домик да под нос выпевает «Христос воскрес из мертвых».

Вынул из кармана ключ Николай Александрыч и отпер тяжелый замок, висевший на железных дверях сионской горницы. Вошел он туда только с братом и дворецким. Прочие остались на прежних местах в глубоком молчанье. Один Софронушка вполголоса лепетал какую-то бессмыслицу, да дьякон, соскучась, что долго не открывают дверей, заголосил:

– «Возьмите врата князи ваша и возьмите врата вечные и внидет царь славы! Кто есть сей царь славы? Господь сил – той есть царь славы!» (Псалом XXIV.).

Как ни унимали Мемнона, уйму не было. Очень уж расходился зычный голос отца дьякона.

Растворились, наконец, двери, и божьи люди один за другим вошли в ярко освещенную сионскую горницу. Там в двух старинной работы люстрах, похожих на церковные паникадила со множеством граненых хрустальных подвесок, горело больше полусотни свеч. В трех углах и по сторонам дверей входной и другой, что выходила в коридор, стояли высокие бронзовые канделябры тоже с зажженными свечами, а в переднем углу перед образами теплилось двенадцать разноцветных лампад. Весь потолок был расписан искусной кистью известного в свое время художника Боровиковского (Советник Академии художеств, ученик Лампи (ум., в 1825 г.), был одним из деятельных членов хлыстовского корабля Татариновой. В 1819 году он на потолке сионской горницы, бывшей в квартире Татариновой, в Михайловском замке, написал святого духа, (окруженного девятью кругами небесных сил. Писал картину с портретами членов корабля и другие. Он ездил и в провинции к богатым хлыстам-помещикам.), бывшего в корабле Татариновой и приезжавшего в Луповицы для живописных работ в только что устроенной там сионской горнице.

На потолке были изображены парившие в небесах ангелы, серафимы, херувимы, девятью кругами летали они один круг в другом, а в середине парил святой дух в виде голубя с сиянием, озаряющим парящие круги небесных сил. По стенам развешаны были картины того же художника: «Распятие плоти», «Излияние благодати», «Ликовствование», «Ангельский собор» точно такой же, как на потолке, а возле него собор Катерины Филипповны (Татариновой.). Она была изображена сидящею среди участников «духовного союза», между ними генерал Луповицкий с женой, трое важных духовных особ, несколько человек со звездами, на одном низеньком гладко выбритом старичке была даже андреевская. Вдоль стен расставлены были стулья и диванчики, другой мебели в сионской горнице не было, кроме стола в переднем углу, накрытого чистой скатертью из гладкого серебряного глазета. На нем лежали золотой на престольный крест и в дорогом окладе Евангелие.

Кто ни входил в сионскую горницу, клал по несколько земных поклонов перед образами и перед картинами, и после того уходил в коридор. Остались Лукерьюшка с Василисой; по приказу Матрены они сидели у входной двери. Вскоре пришла Марья Ивановна в черном платье и привела Дуню. На ней было белое платье из пике, подпоясанное белой лентой, на голове и на шее белые из плотной шелковой ткани платки, даже башмачки были белые атласные. Ни серег в ушах, ни колец на пальцах. Одевая ее, Марья Ивановна даже золотой тельной крест сменила ей на деревянный и повесила его на белом шнурке.

Посадила Марья Ивановна Дуню возле Лукерьюшки, а по другую сторону сама села.

Поразил Дуню вид ярко освещенной и своеобразно убранной сионской горницы. Она пришла в недоумение и на все смотрела удивленными глазами.

– Что это такое? – спросила она у Марьи Ивановны, указывая на потолок.

– Девять чинов агельских в небесном восторге носятся кругами, а посреди их дух святой, – сказала Марья Ивановна. – Знаешь стихеру на Благовещенье: «С небесных кругов слетел Гавриил»? Вот они те небесные круги. Такими же кругами и должны мы носиться пред богом и прославлять его в «песнях новых». Увидишь, услышишь...

– А это что? – спросила Дуня, указывая на картину «Ликовствование». На ней изображен был Христос с овечкой на руках, среди круга ликующих ангелов. Одни из них пляшут, другие плещут руками, третьи играют на гуслях, на свирелях, на скрипках, на трубах. Внизу царь Давид пляшет с арфой в руках и плещущие руками пророки и апостолы. Подвела Марья Ивановна Дуню к картине.

– Читай, – сказала она. – Видишь, над Христом что написано? «Обретох овцу мою погибшую». Читай теперь нижнюю надпись: «Тако радость будет на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девяностах и девяти праведник, иже не требуют покаяния» (Луки. XV – 6 и 7.).

Такое ликовствование бывает на небесах, такое же и здесь у нас бывает. Увидишь. Не блазнишься только, но с верою твердо держи на уме, что враг не дремлет и такие теперь против тебя козни будет строить, каких никогда еще не страивал. Не хочется ему, чтоб ты, ругаясь его миру и злой его власти, вошла во святой круг божьих людей. Всячески будет он соблазнять тебя!.. Как только начнется святое дело, я ни на шаг не отойду от тебя. Сказывай мне каждую свою мысль, каждое сомненье, каждое недоуменье. Нарочно не пойду в святой круг, чтоб быть возле тебя.

– Что ж здесь такое? Ни такого убранства, ни такого множества свеч никогда я не видывала, – молвила Дуня.

– Здесь сионская горница, – сказала Марья Ивановна. – Такая же, в какой некогда собраны были апостолы, когда сошел на них дух святой. И здесь увидишь то же самое. Смотри, – продолжала она, подходя с Дуней к картине «Излияние благодати».

– Это что? – спросила Дуня.

– Видишь – отрок в белой одежде, – сказала Марья Ивановна. – Видишь, раскрылись над ним небеса, видишь, дух святой изливает на него свою благодать. Так и здесь, в сионской горнице, она невидимо на круг божьих людей изливается. «Тайная вечеря» здесь уготована, сокровенная небесная тайна земным людям здесь открывается. Блюди же себя, храни душу от лукавого, о каждом помысле мне говори... Забудь о мире и суетах его, забудь и о теле своем, будь равнодушна ко всему, что в мире. Тот лишь достигает блаженства, кто видя не видит, кто слыша не слышит...

Тот блажен, кто глух к говору сердца, тот лишь блажен и преблажен, кто в печали не скорбит и в счастье не радуется. Тот блаженства преисполнен, для кого и радость, и горе, и счастье, и несчастье равны. Главное – возненавидь свое тело, возненавидь его, как темницу души, построенную врагом бога и человеков...

Сама посуди, для чего это тело? На что оно уготовано? Чтобы черви потом съели его. Какая ни будь женская красота, хоть бы весь мир не мог надивиться ей, – что такое она?.. Пища могильных червей... Да и что это за тело? Полно нечистот, называть их даже за стыд почитается самими чувственными людьми. Кости, мясо, жилы, кровь, желчь – вот и все!.. Возьми каждое порознь – мерзость...

А все вместе красивая, состроенная лукавым тюрьма для святой и вечной души человеческой, излиянной из самого божества. Давно хотела я сказать тебе все это, но, обсудивши, оставила до теперешних минут, когда воочию увидишь корабль людей божьих, управляемый небесным кормщиком, святым духом. Убивай грешное тело, умерщвляй пакостную плоть свою, не давай врагу веселиться. Всячески утомляй тело постом и трудом, чтоб не смело оно, скверное, с твоим духом бороться.

Молчала Дуня, складывая в сердце своем слова Марьи Ивановны.

Вошел в сионскую горницу Николай Александрыч в длинной до самых пят рубашке из тонкого полотна, с необыкновенно широким подолом. Подпоясан он был малиновым шелковым снурком, на ногах одни чулки. В правой руке держал он пальмовую ветвь, в левой белый платок. Через плечо у него было перекинута тонкое полотняное полотенце без кружев, без вышивок. Точно так же были одеты и Андрей Александрыч, и Кислов, и Строинский. Варвара Петровна с дочерью и Катенька в таких же точно рубашках, шеи у них были повязаны батистовыми, а головы шелковыми белыми платками. Остальные люди божьи в таких же одеждах, только не голландского полотна, а тонкого крестьянского холста. У всех в руках пальмы, у всех белые платки, и у каждого через плечо полотенце. Платки «покрывцами», полотенца – «знаменами» назывались.

Медленным шагом, с важностью во взоре, в походке и голосе, Николай Александрыч подошел к столу, часто повторяя: «Христос воскресе, Христос воскресел!» Прочие стали перед ним полукругом – мужчины направо, женщины налево. И начали они друг другу кланяться в землю по три раза и креститься один на другого обеими руками.

– Зачем это они друг на друга молятся? – прошептала Дуня. – Разве можно молиться на людей? Ведь они не святые, не угодники.

– Именно они святые угодники, – сказала Марья Ивановна. – Великой ценой искуплены они богу и агнцу. Все мы святые праведные, нет между нами ни большого, ни малого, все едино во Христе. Ни муж, ни жена, ни раб, ни господин, ни богатый, ни убогий, ни знатный, ни нищий – не разнятся в сионской горнице. Все равны, все равно святые и праведны.

– Да зачем же молиться на людей? – в недоуменье спрашивала Дуня.

– А помнишь заповедь? – сказала Марья Ивановна. – «Не сотвори себе кумира, ни всякого подобия, да не поклониши им и не послужиши им»... Когда мы бываем в искаженной и забывшей божьи уставы мирской церкви, то и мы поклоняемся подобиям, то есть образам, но делаем это, чтоб избежать подозрений. А здесь, в тайне от темных людей, не разумеющих силы писания, поклоняемся единому истинному образу и подобию божью... В чем его образ и подобие?.. В человеке... Одного человека создал господь по образу своему и подобию. Не тело – снедь червей, а душа, излияние божества его, образ его и подобие. Ей божьи люди и поклоняются.

Сел у стола Николай Александрыч, остальные расселись по стульям и диванчикам. Мало посидя, встал он и, поклонясь собранию в землю, возгласил:

– Простите, братцы и сестрицы мои любезные, простите, ради государя нашего милостивого, ради батюшки нашего света искупителя, ради духа святого, нашего утешителя.

И все земно ему поклонились. И каждый, кланяясь, приговаривал:

– Ты нас прости, батюшка, ты нас прости, красное солнышко, ты нас прости, труба живогласная!.. Созови к нам с небес духа святого утешителя, покрой нас, грешных, господним покровом!..

Снова кормщик сел у стола, выдвинул ящик, вынул книгу, стал ее читать. Все слушали молча с напряженным вниманием, кроме блаженного Софронушки. Разлегся юрод на диванчике и бормотал про себя какую-то чепуху. А Николай Александрыч читал житие индийского царевича Иоасафа и наставника его старца Варлаама, читал еще об Алексее божием человеке, читал житие Андрея Христа ради юродивого. Потом говорил поучение:

– Прославляйте бога в грешных телесах, прославляйте его во святых душах ваших. Плоть смиряйте, без жалости умерщвляйте, душу спасайте, из вражьей темницы свободжайте. Лукавому не предавайтесь, бегайте его, храните чистоту телесную и душевную. Телесную чистоту надо постом хранить, трудами, целомудрием, больше всего целомудрием. Вы, мужеск пол, сколь можно реже глядите на жен и девиц. Вы, жены и девицы, пуще огня мужчин опасайтесь, враг не дремлет, много святых и праведных погублял он плотскою страстью. Ничего, что живет и что движется на земле и в воздухе, отнюдь не вкушайте, рыбу вкушать можно, а лучше и ее в рот не брать. Вина не пейте, ни браги, ни пива, ничего хмельного, – вино кровь самого князя врагов божьих – бойтесь к нему прикасаться, проклято оно богом вышним. Всего лучше, всего праведней – питаться духом, телесный голод утолять пением и радением. На свадьбы, на родины, на крестины, даже на похороны не ходите, суетных мирских веселий бегайте, как огня, всячески их чуждайтесь. То служение врагу, отцу лжи и всякого зла. Сердце чисто созиждете в себе, дух правды храните в душах своих праведных.

И долго, долго говорил Николай Александрыч поучение. Дуне понравилось оно.

Близко к полночи. Божьи люди стали петь духовные песни. Церковный канон пятидесятницы пропели со стихирами, с седальными, с тропарями и кондаками. Тут отличался дьякон – гремел на всю сионскую горницу. Потом стали петь псалмы и духовные стихи. Не удивилась им Дуня – это те же самые псалмы, те же духовные стихи, что слыхала она в Комаровском скиту в келарне добродушной матери Виринеи, а иногда и в келье самой матушки Манефы.

На колокольне сельской церкви ударило двенадцать. Донесли колокольные звуки и в сионскую горницу. Божьи люди запели церковную песнь: «Се жених грядет в полунощи», а потом но-

вую псалму, тоже по скитам знакомую Дуне. Хоть и не слово в слово, а та же самая псалма, что скитская.

Тайно восплещем руками,
Тайно воспляшем, духом веселяще,
Духовные мысли словесно плодяще!
Яко руками, восплещем устами -
Дух святой с нами, дух святой с нами!
Гласы различны днесь съединяйте,
Новые песни агнцу впевайте,
Дух свят нас умудряет,
Яко же хочет дары разделяет -
Дары превелики – апостольски лики,
Ангельское пенье, небесно раденье...
Дары премноги шлет дух во языки,
Шлет во языки, шлет во языки...
Мужие и жены, силы исполнися,
Яко пианы, язычником явишася,
Древле не знанны, сташа познанны,
Гласы преславны, гласы преславны!..
В немощах силу нам бог обещает,
Дух святой здесь приход совершает,
Из пастырей – царей, из немудрых рыбарей
Апостолов творит, апостолов творит!

Только что кончили эту псалму, по знаку Николая Александрыча все вскочили с мест и бросились на средину сионской горницы под изображение святого духа. Прибежал туда и блаженный Софронушка. Подняв руки кверху и взирая на святое изображение, жалобным, заунывным напевом божьи люди запели главную свою песню, что зовется ими «молитвой господней».

Дай к нам, господи, дай к нам Иисуса Христа,
Дай к нам сына божьего и помилуй, сударь нас!..
Пресвятая богородица, упроси за нас сына твоего,
Сына твоего, Христа бога нашего,

Да тобою спасем души наши многогрешные*. * Из производившихся о хлыстах дел известно, что эта молитва была у них в употреблении еще в начале XVIII столетия. Ею начинается каждое собрание божьих людей. Хлыстовских песен известна не одна тысяча: иные поются в одном корабле, другие – в другом, но «Дай к нам, господи» – во всех непременно. Ее певали у Татариновой, где участвовали очень знатные лица, ее в прошлом столетии певали в тех мужских и женских монастырях Москвы, откуда и распространилась по народу хлыстовщина. Ее поют и во всех крестьянских домах, где только собираются божьи люди. Есть несколько вариантов этой песни, но они незначительны. Здесь приведена она в том виде, как певалась у Татариновой и у других хлыстов из образованного общества.

Громче и громче раздавалась хлыстовская песня. Закинув назад головы, разгоревшимися глазами смотрели божьи люди вверх на изображение святого духа. Поднятыми дрожащими руками они как будто манили к себе светозарного голубя. С блаженным сделался припадок падучей, он грянулся оземь, лицо его исказилось судорогами, вокруг рта закружилась пена. Добрый знак для божьих людей – скоро на него «накатило», значит скоро и на весь собор накатит дух святой.

Только что кончилось пение «молитвы господней», женщины составили круг, а вне его составилась другой из мужчин. Новую песню запели.

Царство, ты царство, духовное царство,
Во тебе, во царстве, благодать великая,
Праведные люди в тебе пребывают,
Живут они себе, ни в чем не унывают...
Строено ты, царство, ради изгнанных,

Что на свете были мучимы и гнаны,
Что верою жили, правдою служили,
От чистого сердца бога возлюбили.
Кто бога возлюбит, его не забудет.
Часто вспоминает, тяжело вздыхает:
"Бог ты, наш создатель, всяких благ податель,
Дай нам ризы белы и помыслы целы,
Ангельского хлеба со седьмого неба,
Сошли к нам, создатель, не умори голодом,
Избави от глада, избави от ада,

Не лиши духовного своего царства!"* * Редакция песни из корабля Татариновой. Есть и варианты.

Еще половины песни не пропели, как началось «раденье». Стали ходить в кругах друг за другом мужчины по солнцу, женщины против. Ходили, прискакивая на каждом шагу, сильно топая ногами, размахивая пальмами и платками (Это называется «раденье кораблем»). С каждой минутой скаканье и беганье становилось быстрее, а пение громче и громче. Струится пот по распаленным лицам, горят и блуждают глаза, груди у всех тяжело поднимаются, все задыхаются. А песня все громче да громче, бег все быстрее и быстрее. Переходит напев в самый скорый. Поют люди божьи:

Как у нашего царя, Христа батюшки.
Так положено, так уложено:
Кому в ангелах быть и архангелом служить,
Кому быть во пророках, кому в мучениках,
Кому быть во святых, кому в праведных.
Как у нашего царя, Христа батюшки,
Уж и есть молодцы, все молоденькие,
Они ходят да гуляют по Сионской по горе,
Они трубят во трубы живогласные,
От них слышны голоса во седьмые небеса...
Как у нашей-то царицы богородицы -
У нее свои полки, все девические,
Они ходят да гуляют во зеленом во саду.
Во зеленом во саду, во блаженном во раю,
Они яблочки-то рвут, на златом блюде кладут,
На златом блюде кладут, в терем матушке несут.
Государыня примала, милость божью посылала,
Духа свята в них всеяла и девицам прорекала:
"Ай вы, девушки, краснопесушки,
Вы радейте да молитесь, пойте песни, не ленитесь,
За то вас государь станет жаловать, дарить,
По плечам ризы кроить, по всему раю водить".

Вдруг песня оборвалась. Перестали прыгать и все молча расселись – мужчины по одну сторону горницы, женщины по другую. Никто ни слова, лишь тяжелые вздохи утомившихся божьих людей были слышны. Но никто еще из них не достиг исступленного восторга.

– Ни на кого не накатило! – жалобно молвил старый матрос. – Никому еще не сослал господь даров своих. Не воздвиг нам пророка!.. Изволь, кормщик дорогой, отец праведный, святой, нам про духа провестить, – сказал он, встав с места и кланяясь в ноги Николаю Александрычу.

И другие подходили к кормщику и земно ему кланялись, прося возвестить от святого писания, как дух сходит на божьих людей. И мужчины подходили, и женщин большая часть.

Подошел к столу Николай Александрыч, взял крест и высоко поднял его. Стали на колени, и Софронушка стал. Стих припадок его.

– Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! – торжественным голосом возгласил

кормщик. – От бога, от Христа, от духа святого возвещаю вам слово, братцы и сестрицы любезные!.. Скажу вам, возлюбленные, не свои речи, не слова человеческие, поведаю, что сам бог говорит: «В последние дни излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши видения узрят, и старцы ваши сония увидят, и на рабов моих и на рабынь моих излию от духа моего, и будут пророчествовать... И дам чудеса на небеси и знамения на земле» (Деяния. II – 17 и 18.).

– Глаголет бог! – густым басом запел дьякон, и все другие тоже пропели.

И, стоя на коленях, подняв кверху руки, потрясая пальмовыми ветвями и махая платками, «манят» божьи люди святого духа:

Подай, господи!

Тебе, господи,

Порадеть, послужить,

Во святом кругу кружить,

Духа с небеси сманить

Да в себя заманить! Собирались мы, дружки,

Во святы божьи кружки,

Грешны плоти умерщвлять,

Души к небу обращать,

Бога петь, воспевать.

Уж мы пели, воспевали,

Руки к небу воздевали,

Сокола птицу манили:

Ты лети, лети, сокол,

Высоко и далеко,

Со седьмого небеси.

Нам утеху принеси -

Духа истинного,

Животворного,

Чудотворного!

Мы тем духом завладаем,

На соборе закатаем...

Накатись, накатись,

Святый дух, к нам принесись,

Согрей верны их сердца,

Сотвори в нас чудеса,

Избери себе слугу

На святом божьем кругу,

Прореки в нем, прорекай,

Грехи наши обличай,

А праведных утешай,

Ах ты!.. Дух свят, голубок,

Наш беленький воркунок!..

Не пора ли тебе, сударь,

На сыру землю слететь,

На труды наши воззреть?..

Скати, батюшка, скати,

Скати, гость дорогой,

Во чертог свой золотой,

В души праведные,

В сердца пламенные.

Богу слава и держава

Во века веков. Аминь.

Кончилась новая песня, но все еще оставались на коленях с воздетыми руками, умиленно взирав на изображение святого духа, парящего среди девяти чинов ангельских.

Стали потом божьи люди класть земные поклоны и креститься обеими руками, а Николай Александрыч читал нараспев:

– Благослови нас, государь наш батюшка, благослови, отец родной, на святой твой круг стать, в духовной бане омыться, духовного пива напиться, духом твоим насладиться!.. Изволь, батюшка творец, здесь поставить свой дворец, ниспослать к нам благодать – духом дай нам завладать.

Тут разом все вскочили. Большая часть женщин и некоторые из мужчин сели, другие стали во «святой круг». Николай Александрыч стоял посередине, вокруг него Варенька, Катенька, горничная Серафима и три богаделенные. За женским кругом стал мужской. – Тут были Кислов и Строинский, дворецкий Сидор, Пахом, пасечник Кирилла, матрос. И блаженный Софронушка, напевая бессмыслицу и махая во все стороны пальмовой веткой, подскакал на одной ноге и стал во «святом кругу». Началось «круговое раденье».

– Христос воскрес! – кричал Николай Александрыч. – Братцы, сестрицы! Хорошенько порадейте, батюшку утешьте!.. Не ленитесь, порадейте, своим потом вы облейте мать сырую землю!.. Освятите вы ее, чтоб враги не бродили, одни ангелы ходили, чистоту бы разносили промеж божьих людей!.. Братцы, сестрицы любезны, удаляйтесь вы бездны, походите во кругу – во святом божьем дому!.. Хорошенько порадейте, вы Марию позовите, грешну Марфу прогоните!.. (Хлысты, также последователи некоторых рационалистических сект (молокане, духоборцы и проч.), отрицают действительность существования евангельских сестер Лазаря, утверждая, что это притча и что Мария означает душу, а Марфа – плоть.). Поднимайте знамена во последни времена, послужите вы отцу, богу нашему творцу!..

И вдруг смолк. Быстро размахнув полотенцем, висевшим до того у него на плече, и потрясая пальмовой веткой, он, как спущенный волчок, завертелся на пятке правой ноги. Все, кто стоял в кругах, и мужчины и женщины, с кликами: «Поднимайте знамена!» – также стали кружиться, неистово размахивая пальмами и полотенцами. Те, что сидели на стульях, разостлали платки на коленях и скорым плясовым напевом запели новую песню, притопывая в лад левой ногой и похлопывая правой рукой по коленям. Поют:

Рай ты мой, рай,
Пресветлый мой рай!..
Во тебе, во рае,
Батюшка родимый
Красное солнышко
Весело ходит,
Рай освещает,
Бочку выкатает...
Бочка, ты, бочка,
Серебряна бочка,
На тебе, на бочке,
Обручья златые,
Во тебе, во бочке,
Духовное пиво.
Новое пиво,
Духа пресвятого,
Пророка живого...
Станемте мы, други,
Бочку расчинати,
Пиво распивати,
Бога государя
В помощь призывати,
Авось наш надѣжа

До нас умилится,
Во сердца во наши
Он, свет, преселится...
Завладал надежа
Душою и сердцем,
И всем помышленьем,
Он станет гостити,
Про все нам вестити.

Живей и живее напев, быстрее и быстрее вертятся в кругах. Не различить лица кружащихся. Радельные рубахи с широкими подолами раздуваются и кажутся белыми колоколами, а над ними веют полотенца и пальмы. Ветер пошел по сионской горнице: одна за другой гаснут свечи в люстрах и канделябрах, а дьякон свое выпевает.

– «Бысть шум яко же носиму дыханию бурну и исполни дом, иде же бяху седяще, и вей начаша глаголати странными глаголы, странными учении, странными повелении святыя троицы» (Из стихири на день пятидесятницы.).

Быстрее и быстрее кружатся. Дикие крики, резкий визг, неистовые вопли и стенанья, топот ногами, хлопанье руками, шум подолов радельных рубах, нестройные песни сливаются в один зычный потрясающий рев... Все дрожат, у всех глаза блестят, лица горят, у иных волосы становятся дыбом. То один, то другой восклицают:

– Ай дух! Ай дух! Царь дух! Бог дух!

– Накати, накати! – визгливо вопят другие.

– Ой ева! Ой ега! – хриплыми голосами и задыхаясь, исступленно в диком порыве восклицают третьи.

– Благодать! Благодать! – одни с рыданьем и стонами, другие с безумным хохотом голосят во всю мочь вертящиеся женщины.

Со всех пот льет ручьями, на всех взмокли радельные рубахи, а божьи люди все радеют, лишь изредка отирая лицо полотенцем.

– Это духовная баня. Вот истинная, настоящая баня паки бытия, вот истинное крещение водою и духом, – говорила Дуне Марья Ивановна, показывая на обливающихся потом божьих людей.

С удивленьем и страхом смотрела Дуня на все, что происходило перед ее глазами, но не ужасало ее невиданное дотоле зрелище... Чувствовала, однако, она, что сердце у ней замирает, а в глазах мутится и будто в сон она впадает.

– Что с тобой? – спросила Марья Ивановна, заметив, что вдруг она побледнела.

Дуня сказала.

– Благодарю бога, – молвила Марья Ивановна. – Это значит дух тебя, еще не приведенной в истинную веру, коснулся своей благодатью... Будешь, будешь по времени богом обладать!.. Велика будешь в божьем доме – во пресветлом раю.

Блаженный радел с великим усердием, выкликивая непонятные слова. Наконец, закричал:

– Пива, пива!

Быстрее закружились в кругах, а сидевшие, привскакивая на стульях, громче и еще более скорым напевом запели:

Эй, кто пиво варил? Эй, кто затирал?

Варил пивушко сам бог, затирал святой дух.

Сама матушка сливала, с богом вкупе пребывала,

Святы ангелы носили, херувимы разносили,

Херувимы разносили, архангелы подносили..

Скажи, батюшка, родной, скажи, гость дорогой,

Отчего пиво не пьяно? Али гостю мы не рады?

Рады, батюшка родной, рады, гость дорогой,

На святом кругу гулять, света бога прославлять,

В золоту трубу трубить, в живогласну возносить*. * Эта песня сделалась известною из доне-

сения святейшему синоду одного из калужских священников (Сергеева), который в первых годах нынешнего столетия сам участвовал в хлыстовских радениях. Песня эта несколько раз была напечатана.

Громче и еще неистовей кричит блаженный:

– Пива, пива!

И упал в судорогах и корчах на пол. Пена пошла у него изо рта. А дьякон церковным напевом громогласно поет из пасхального канона:

– "Приидите пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник, в нем же утверждаемся.

Тут Катенька вдруг вся затрепетала, задрожала и, перестав кружиться, звонким, резким голосом закричала в ужасе:

– Накатил!.. накатил!..

Все остановились. Едва переводя дыхание, пошатываясь, ровно пьяные, все пошли к стульям.

– Дух свят!.. Дух свят!.. накатил!.. накатил!.. – громче прежнего кричала Катенька и грянулась на руки подбежавшей Матренушке. Та довела ее до диванчика и с помощью Варвары Петровны уложила. На другом диванчике уложили бывшего о пол блаженного.

Только что уложили Катеньку, радостными голосами божьи люди запели:

Ай у нас на Дону

Сам спаситель во дому.

Со ангелами, со архангелами,

С серафимами, с херувимами

И со всей-то силой небесною...

Эка милость, благодать

Стала духом обладать!..

Богу слава и держава

Во веки веков. Аминь.

Пока пели, Катенька привстала. Она села на диванчик и раз десять провела пальцами по зардевшемуся, как маков цвет, лицу своему. Зарыдала она и, едва переступая, вышла на середину сионской горницы. Глаза горели у ней необычным светом. Они остолбенели, зрачки расширились, полураскрытые посиневшие губы беспрестанно вздрагивали, по лицу текли обильные струи пота и слез, всю ее трясло и било, как в черной немочи (Эпилепсия, то же почти, что падучая болезнь.).

Крепко стиснув руками голову и надрываясь от рыданий, неровными шагами, нетвердой поступью сделала она вперед несколько шагов и остановилась. Все встали и обеими руками начали креститься на Катеньку, а дьякон возгласил:

– Вонмем! Премудрость! Глаголет бог! Все встали на колени, и начала Катенька возглашать «живое слово» и «трубить в трубу живогласную». Сначала всему собранию «общую судьбу» говорила, «пророчество сказывала».

– Вы, любезные мои детушки! Святые, праведные агнцу и мне, богу, искупленные первенцы!.. Молите меня, отца, и будьте мне верны до конца, за то не лишу вас золотого венца... Я, дух свят, с вами пребываю, душеньки ваши в небесный убор убираю... все ваши помышления сам я, дух свят, в сердцах ваших читаю... За добрый помысел сторицей заплачу, а лукавого врага во гроб заколочу... Не смел бы пугать мой небесный синод, не смел бы тревожить моих верных рабов... А над вами, мои детушки, мой благодатный покров... Вот вам от бега сказ, от меня, духа свята, указ... Оставайтесь, господь с вами и покров божий над вами!..

И на всех махала Катенька платком, что был в руках у ней. Покровцем называют его божьи люди.

Все встали и расселись по стульям, один блаженный все еще бился в припадке на диванчике. Едва переступая, покачиваясь, медленно подошла Катенька к Николаю Александрычу и тот, хоть и кормщик, стал пред нею на колени. Стала Катенька ему «пророчество» выпевать:

– Здравствуй, верный, дорогой изобразанный воин мой... Со врагом храбрей воюй, ни о чем ты не горюй! Я тебя, сынок любезный, за твою за верну службу благодатью награжу – во царствие

пределю, с ангелами поселю. Слушай от меня приказ: оставайся, бог с тобой и покров мой над тобой.

И трижды махнула на него платком, а он ей еще раз до земли поклонился.

Пошла после того от одного к другому и каждому судьбу прорекала. Кого обличала, кого ублажала, кому семигранные венцы в рай обещала, кому о мирской суете вспоминать запрещала. «Милосердные и любовно все покрывающие обетования» – больше говорила она. Подошла к лежавшему еще юроду и такое слово ему молвила:

– Ты, блаженный, преблаженный, блаженная твоя часть, и не может прикоснуться никакая к тебе страсть, и не сильна над тобою никакая земна власть!.. Совесть крепкая твоя – сманишь птицу из рая. Ты радей, не робей, змея лютого бей, ризу белую надень и духовно пиво пей!.. Из очей слезы лей, птицу райскую лелей, – птица любит слезы пить и научит, как нам жить, отцу богу послужить, святым духом поблажить, всем праведным послужить!.. Оставайся, бог с тобой, покров божий над тобой!..

К Марье Ивановне подошла, хоть та и сидела одаль от круга божьих людей. Встала Марья Ивановна, перекрестилась обеими руками, поклонилась в землю и осталась на коленях. Затрубила пророчица в трубу живогласную:

– Тебе, любезная овца – живое слово от отца, всемирного творца, из небесного дворца. Пребуди в вере до конца. К богу сердцем ты пылай! свое сердце надрывай!.. Я тебя, бог, доведу, до Едемского края, до блаженного рая. Я тебя доведу, да и дочку приведу, будешь с нею ликовать, в вечной славе пребывать!.. Ты на месте на святом, над чистым ключом, устрояй божий дом, буду я, бог, жить в нем... Благодать наведу и к себе вас приведу. А последний тебе сказ, крепкий божий мой наказ – оставайся, бог с тобой, покров божий над тобой!..

Удивились люди божьи, когда Катенька, отступя от Марьи Ивановны, подошла к не приведенной еще Дуне, в первый только раз бывшей в собрании познавших тайну сокровенную. Подошла она к Дуне, хоть никогда ее прежде не видывала.

Оторопела Дуня, недвижно сидела она, вперя испуганный взор на Катеньку.

– На колени стань!.. на колени!.. – тихонько сказала ей Марья Ивановна.

Но Дуня будто не в себе была, ничего не слышала, ничего не видела, кроме исступленьем сверкавших глаз пророчицы и жаром пышущего ее лица.

– На колени становись!.. Крестись перед духом святым! В землю кланяйся! – заговорили вокруг нее, но Катенька вдруг «затрубила в трубу живогласную», и люди божьи смолкли.

– Стой, стой, крепко стой на ногах, зеленое мое древо, избранное, возлюбленное!.. Открою я тебе, отец, великое божие дело, утешу, ублажу, в сердце благодать вложу! Сокровенную тайну открою и чисту овечку, тебя, в седьмом небе устрою... Дам тебе ризу светлу, серафимские крылья, семигранный венец, и тут еще милости моей не конец. Я, бог, никогда тебя не оставлю, сотню ангелов к тебе приставлю. Со страхом и с верой, с надеждой и с любовью слушай, непорочная дева, мое пречистое слово живое: в тайну проникай, знамя божье поднимай, душу духу отдавай! Хоть головушку ты сложишь, зато верно мне послужишь, всем праведным угодишь, свою душу украсишь, будешь духом обладать, хвалы богу воссылать, будешь в трубушку трубить, в живогласную возносить. Оставайся, бог с тобой, покров божий над тобой!

И трижды по трижды махнула на нее покровцем.

Все были вконец изумлены. Редко ходящие в слове обращаются к неприведенным в корабль, не давшим страшных клятв сохранять сокровенную тайну. Вдруг такие обетования Дуне!

– Преславное видим, пречудное слышим здесь, братцы и сестрицы любезные! – возгласил Николай Александрыч. – Видим духа пришествие, слышим обетования. Да исполнятся наши надежды скорым исполнением пророчества! Да сбудется славное, великое проречение!

Как мертвец бледная, в оцепенении стояла Дуня. Вне себя была она, дрожала всем телом и плакала. Бережно довела ее Марья Ивановна до ближайшего диванчика и уложила. Варенька села возле Дуни, махая над ней пальмовой веткой.

А дьякон, обращаясь к Дуне, изо всей мочи заголо– сил из «Песни Песней»:

– «Вся добра еси, ближняя моя, и порока несть в тебе! Гряди от Ливана, невеста, гряди от Ливана!.. Прииди и преиди из начала веры, от главы Санира и Аэрмона, от оград Львовых, от гор

пардалеов...»

– Подальше от нее, отец Мемнон, она непривычна, – сказала дьякону Варвара Петровна.

Дьякон отошел, но не мог уняться. Восторг и его обуял. Лег он в переднем углу на спине и, неистово размахивая над собой пальмой, свое продолжал:

– «Сердце наше привлекла еси, сестро моя, невесто! Сердце наше привлекла еси единым от очию твоею, единым монистом выи твоея!.. Что удобреста сосца твоя, сестро моя, невесто? Что удобреста сосца твоя паче вина, и воня риз твоих паче всех аромат? Сот искапают устне твоя, невесто! Мед и млеко под языком твоим и благовоние риз твоих, яко благоухание Ливана!»

– Да уймись же ты, Мемнонушка! – тихонько сказал ему Николай Александрыч. – Зачем нестроение творишь в доме божием?

– Духом вещаю, – отвечал Мемнон.

– И вовсе не духом, – сказал Николай Александрыч. – Не возлагай хулы. Ведь это грех, никогда и никем не прощаемый. Уймись, говорю!

– По мне и замолчу, пожалуй, – молвил сквозь зубы дьякон и, севши на диванчик, низко склонил голову, думая: «Хоть бы чайку поскорей да поесть».

Очнулся блаженный, тоже на диванчик сел, зевнул раза четыре и, посидев маленько, платком замахал.

– На Софронушку накатило! На блаженного накатило!.. – заговорили люди божьи.

Вышел блаженный на середину сионской горницы и во все стороны стал платком махать. Потом, ломаясь и кривляясь, с хохотом и визгом понес бессмысленную чепуху. Но люди божьи слушали его с благоговением.

– Слушай лес-бор говорит, – начал юродивый... – игумен безумен – бом, бом, бом!.. Чайку да медку, да сахарцу! Нарве стане наризон, рами стане гаризон (Эти бессмысленные слова и подобные им в ходу у хлыстов, особенно на Кавказе, где тамошние «прыгунки» (то же, что хлысты) уверяют, будто это на иерусалимском языке. Непонятные слова в кораблях говорят больше безумными и юродивыми, которых охотно принимают в корабли, в уверенности, что при их участии на других дух святой сходит скорее.).

И, захохотав во все горло, начал прыгать на одном месте, припевая:

Тень, тень, потетень,
Выше города плетень,
Садись, галка, на плетень!
Галки хохлуши -
Спасенные души,
Воробьи пророки
Шли по дороге,
Нашли они книгу.
Что в той книге?

Хоть и знали люди божьи, что Софронушка завел известную детскую песню, но все-таки слушали его с напряженным вниманием... Хоть и знали, что «из песни слова не выкинешь», но слова: «нашли пророки книгу» возбудили в них любопытство. "А что, ежели вместо зюзюки (Детская песня. После слов «что в той книге», она так продолжается:

Зюзюка, зюзюка,
Куда нам катиться?
Вдоль по дорожке, и пр.

Зюзюка – картавый, шепелявый.) он другое запоет и возвестит какое-нибудь откровение свыше?"

В самом деле, блаженный не зюзюку запел, а другое:

А писано тамо:
"Савишраи само,
Капиласта гандря
Дараната шантра
Сункара пируша

Моя дева Луша".

(В двадцатых годах в корабле людей божьих отставного полковника Александра Петровича Дубовицкого этими словами говорил один из пророков. Члены корабля думали, что это по-индийски. Последний стих в нашей рукописи: «Майя дива луча»).

Только и поняли божьи люди, что устами блаженного дух возвестил, что Луша – его дева. Так иные звали Лукерьюшку, и с того времени все так стали звать ее. Твердо верили, что Луша будет «золотым избранным сосудом духа».

И стали ее ублажать, Варвара Петровна первая подошла к ней и поцеловала. Смутилась, оторопела бедная девушка. Еще немного дней прошло с той поры, как, угнетенная непосильной работой в доме названного дяди, она с утра до ночи терпела попреки да побои ото всех домашних, а тут сама барыня, такая важная, такая знатная, целует и милует ее. А за Варварой Петровной и другие – Варенька, Марья Ивановна, Катенька ее целовали.

– Приидите друг ко другу, люди божии, – церковным напевом запел Николай Александрыч. – Воздадим целование ангельское, лобызание херувимское. Тако дух снятый повеле.

И все стали целоваться, говоря «Христос воокресе!» Только к Дуне да к Лукерьюшке с Василисой никто не подходил – они не были еще «приведены».

Все вышли в коридор. Марья Ивановна осталась с Дуней в сионской горнице. Осталась там и Луша с Василисой.

– Ну что? – спросила Марья Ивановна у Дуни.

– Я как во сне, – ответила Дуня. – Все так странно, так диковинно. А сердце так и горит, так и замирает.

– Пресвятый голубь пречистым крылом коснулся сердца твоего, Дунюшка, – сказала Марья Ивановна. Верь и молись, больше углубляйся в себя, а будучи на молитве, старайся задерживать в себе дыханье (Хлысты на молитве и во время радений задерживают дыхание. Этому учили и древние отшельники и пустынножители. Это же в практике и у индийских факиров и у трамблеров Америки.) и тогда скоро придет на тебя благодать. На сколько сил твоих станет, не вдыхай и себя воздуха, ведь он осквернен врагом, день и ночь летающим в нем... Бывали такие праведники, что, задерживая дыханье, достигали высочайшего блага освобождения святой, чистой, богом созданной души из грязного, грешного тела, из этой тюрьмы, построенной ей на погибель лукавым врагом. Конечно, таких немного, но блаженны и треблаженны они в селениях горных. Место их среди серафимов, а серафимы самые великие чины небесного воинства. Они одни окружают огневидный престол царя царей и во всякое время видят лицо его.

Под эти слова воротились люди божии. Они были уже в обычной одежде. Затушив свечи, все вышли. Николай Александрыч запер сионскую горницу и положил ключ в карман. Прошли несколько комнат в нижнем этаже... Глядь, уж утро, летнее солнце поднялось высоко... Пахнуло свежестью в растворенные окна большой комнаты, где был накрыт стол. На нем были расставлены разные яства: уха, ботвинье с осетриной, караси из барских прудов, сотовый мед, варенье, конфеты, свежие плоды и ягоды. Кипел самовар.

И сидели божьи люди за трапезой чинно и спокойно. Проводили они время в благочестных разговорах. Послышался благовест к обедне, и тогда разошлись они по своим местам и улеглись, утомленные, на постелях.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Умаялись люди божьи от радельных трудов. Солнце давно уже с полдён своротило, а они все еще покоятся. Дуня пробудилась всех прежде. Тихо поднялась она с постели, боясь разбудить Вареньку, и не одетая села на кровати.

Сидит и вспоминает сновиденья... Вспоминает и виденное в сионской горнице. Мутится на уме, и не вдруг может она различить, что во сне видела и что наяву...

Не того она ждала от божьих людей. Не такие обряды, не такое моление духом она представляла себе. Иного страстно желала, к иному стремилась душа ее. Бешеная скачка, изуверное круженье, прыжки, пляска, топот ногами, дикие вопли и завыванья мужчин, иступленный визг

женщин, неистовый рев дьякона, бессмысленные крики юрода казались ей необычными, странными и возбуждали сомнение в святости виденного и слышанного. Ни о чем подобном в мистических книгах Дуне читать не доводилось. Говорили ей про тайные обряды и Марья Ивановна и Варенька, но не думала Дуня, что это будет так дико, неистово и бессмысленно.

"Не враг ли смущает меня? – приходит ей на мысль. – Ему хочется не допускать меня до общения с людьми божьими? Так и Марья Ивановна говорила, и Варенька, и все. Хитрой, злобной силой ополчается он на меня... Прочь, лукавый!.. Не смутить тебе меня, не совратить!.. Помню писание: «Безумное божие премудрей человеческой мудрости».

А на сердце болезненно. То сомнения пронесутся в отуманенной голове, то бывшая, давнишняя жизнь вдруг ей вспомнится.

Вот завывает вьюга, закидало снегом оконные стекла. В жарко натопленной келье Манефы обительские девицы, усевшись кругом стола, в строгом молчанье слушают мать казначею Таифу. Читает она «Стоглав», и после каждого «ответа» («Стоглав» состоит из вопросов царя Ивана Васильевича и Ответов московского собора.) Манефа толкует прочитанное. Все за рукодельем, кто шьет, кто вяжет, Дуня кончает голубой бисерный кошелек отцу в подаренье. До того места доходит Таифа, где собор отцов хулит и порицает пляски, скаканья, плещевания руками, ножной топот и клич неподобный. «Все сие от диавола, – учительно говорит Манефа, – сими кобыми приводит он к себе людей, дабы души их в вечной гибели мучились с ним».

И начнет, бывало, рассказывать про адские муки, уготованные уловленным в сети врага божия, отца лжи и всякого зла. «Не то ль и у них в сионской горнице?.. – приходит в голову Дуне. – Не то ли же самое, о чем в „Стоглаве“ говорится?» И сильнее и шире растут в ней сомнения, колеблются мысли, и нападает тяжелое раздумье... Вот она еще маленькая, только что привезли ее в Комаров... Лето, в небе ни облачка, ветерок не шелохнется, кругом кричат кузнечики, высоко в поднебесье заливаются песнями жаворонок; душно, знойно... С матерью Манефой да с тетенькой Дарьей Сергевной идет Дуня по полю возле Каменного Вражка.

Пробираются они в перелесок на прохладе в тени посидеть... Вот яркая зеленая луговина вся усеяна цветами – тут и голубые незабудки, и белоснежные кувшинчики, и ярко-желтые купавки, и пестро-алые одолени. Вскрикнула от радости маленькая Дуня и в детском восторге вихрем помчалась к красивым цветочкам... Манефа не может за нею бежать. Дарье Сергевне тоже не под силу догнать резвого ребенка... «Стой, Дуня, стой! – кричит ей Манефа. Тут болото!.. Загрязнешь, утонешь!..» И теперь только что вспомнит она про раденье, Манефы голос ей слышится: «Загрязнешь, утонешь!..»

«Отчего ж во время раденья так горело у меня в голове, отчего так пылало на сердце? – размышляет Дуня. – Отчего душа замирала в восторге? Марья Ивановна говорит, что благодать меня озарила, святой голубь пречистым крылом коснулся души моей... Так ли это?..»

И стали вспоминаться ей одно за другим только что оставившие ее сновиденья... Вот она в каком-то чудном саду. Высокие, чуть не до неба пальмы, рощи бананов, цветы орхидей и кактусов, да не такие, что цветут в луповицких теплицах, а больше, ярче, красивей, душистей. Бездна их, бездна.. Тут и диковинные деревья – золотые на них яблоки, серебряные груши, и на листочках не капли росы, а все крупные алмазы... птицы распевают на разные голоса, и тихая музыка играет где-то вдали...

А вот и луговина, усыпанная цветами, да не такими, что видала она когда-то у Каменного Вражка, здесь все чудные, нигде не виданные... А как светло, хоть солнышка и нет. Как тепло, хорошо... И вдруг все мраком подернулось. Гремит несмолкаемый гром, по всем сторонам сверкают синепламенные молнии... Мчатся в воздухе крылатые чудища, раскрыты их пасти, высунуты страшные клыки, распушены острые когти, зелеными огнями сверкают глаза. И по земле со всех сторон ползут седмглавые змии, пламенем пышут их пасти, все вокруг себя пожигая, громадными хоботами ломают они кусты и деревья. А из-под земли, из-за кустов, изо всех оврагов выбегают какие-то ужасные, неведомые люди, дикие крики их трепет наводят, в руках топоры и ножи... Всё на Дуню. Всё кидается на беззащитную... Нож у груди. Кто– то взмахнул топором над ее головой... Хочет бежать – недвижимы ноги, хочет кричать – безгласны уста...

И вдруг – Петр Степаныч... Не то на земле он, не то на воздусех... Недвижно стоит в вели-

чавом покое, светлые взоры с любовью смотрят на Дуню, проникая в глубь ее сердца... В руке у него пальмовая ветка. Раз махнул – исчезли чудовища, вдругорядь махнул – скрылись страшные люди... Опять светло, опять дивный сад, опять поют птички и слышится упоительная, тихая музыка...

Нет, это не музыка – это поют... Мужские голоса... Поют стройно и громко. Страстью, любовью дышит их песня:

Я принес тебе подарок,
Подарочек дорогой,
С руки перстень золотой,
На белую грудь цепочку,
На шею жемчужок.
Ты гори, гори, цепочка.
Разгорайся, жемчужок!..
Полюби меня, Дуняша,
Люби, миленький дружок!..

Замерло сердце у Дуни... Вспомнила песню... Вот по сонной, широкой реке тихо плывет разубранная, расцвеченная лодка... Вечереет, темно-вишневыми пятнами стелются тени облаков по зеркальному водному лону, разноцветными переливами блистает вечернее небо... Вот красавец собой, удалой молодец со стаканом «волжского кваса»... стоит перед нею... Низко склоняется он, и слышно Дуне перерывчатое, жаркое дыханье удалого добра молодца... «Пожалуйте-с! сделайте такое ваше одолжение!..» – говорит он, глядя на нее палючими глазами... Но где ж он, где ее избавитель от страшных чудовищ, от ужасных людей?.. Исчез... «Да, он уехал, уехал, – вспадает на ум Дуне. – Покинул, к Фленушке уехал!.. Бог с ним!.. Не надо мне его, не надо!»

И сменяются воспоминанья сновидений воспоминаниями о Манефиной келье. Сидит игуменья среди девиц. Вот и бойкая, разбитная Фленушка, вот и задумчивая Настя, и сонливая Параша, и всем недовольная Марья головщица... Вот и сама Дуня с бисерным кошельком в руках. Перебирая лестовку, кротко, любовно, учительно говорит им игуменья: «Блюдитесь, девицы, да не како лукавый коснется вас своими наважденьями – телесною страстью или душевным беснованием. Ежечасно, ежеминутно строит окаянный враг божий коби и козни, всякими способами соблазняет правоверующих, хотяй от благочестия к нечестью привести. Всякие соблазны творит он – даже в светлую ризу ангелов иногда облачается и слабых яко бы ко спасению ведет в ров вечной погибели. Чудеса даже творит премерзкий, яко бы от господа бываемые – ложных пророков воздвигает, влагая в уста их словеса неправды, яко бы слово господней истины».

Смущают Дуню забытые слова Манефы... «А ту пророчицу, что мне судьбу прорекала, неужели и ее враг воздвиг?.. Что, если и она от врага?.. Но нет!.. Ясно было видимо наитие свыше на Катеньку. В духе была она, в восторге неизреченном, преисполнена была благодати... Лицо сияло, из глаз огненные лучи лились. Дрожа и млея, в священном трепете не свои слова изрекала она дух, в нее вселившийся, устами ее говорил... Никогда меня она не знавала, никогда слышать обо мне не слыхивала, а что говорила!.. Ровно по книге читала в душе моей!.. Нет... Нет тут ни спора, ни сомнений... Зачем же этот „ключ неподобный“, зачем эти круженья, неистовые крики, бешеные пляски? О! кто бы вразумил, научил меня!..»

И решила Дуня богу помолиться, трижды по трижды прочесть псалом «Да воскреснет бог» на отогнание супротивного. «Тогда, по моей вере, господь пошлет извещение, где истина... там ли, откуда хочу уйти, там ли, куда иду... Пускай он сам спасает меня, какими хочет путями!.. Пожалееет же он создание свое!.. Должен же он пожалеть, должен вразумить, указать на путь истинный и правый!.. Если нет – так что ж это за бог!..»

И вот Дуня, еще так недавно, стоя на молитве, говорившая в сердечном сокрушении: «Не вниди в суд с рабой твоей», теперь гордостно и высокомерно вздумала судить бога вышнего!..

Встала с кровати, чтобы стать перед иконой, и нечаянно задела стоявший у изголовья столик. Он упал. Варенька от испуга проснулась.

– Что я наделала! – подбегая к ней, вскрикнула Дуня. – Ты так крепко спала, а я разбудила!..

Господи!.. Да что ж это!.. Прости меня, глупую, прости, Варенька, неопасливую.

– Полно, полно, – потягиваясь и зевая на постели, говорила Варенька. – Пора вставать. Который час?

– Третий, – отвечала Дуня.

– Вон как долго я нежилась, – молвила Варенька. А плоти не надо угождать, не надо нежиться, не надо пребывать в лени, не то Марфа как раз поборет Марию.

И, быстро спрыгнувши с кровати, стала надевать утреннее платье.

– А ты давно проснулась? – спросила она.

– Давненько уж, – ответила Дуня. – Часа полтора.

– Видишь, какая ты! – улыбнувшись, молвила Варенька.

– Нет, чтоб разбудить меня, сонливую, нерадивую. Что ж ты делала, сидя одна?

– Все думала, – чуть слышно проговорила Дуня.

– О чем?..

– Да все о том... о вашем раденье...

– Что ж ты думала?

– Чудно мне, Варенька, – прошептала Дуня.

– Да. Ты правду сказала. Дела поистине чудные. Устами людей сам бог говорит... При тебе это было. И чем говорил он, пророческий, всемогущий, всевысочайший разум? Телесными устами ничтожного человека, снудом червей, созданием врага!.. Поистине чудное тут дело его милосердия к душам человеческим.

– Не про то говорю я, – молвила Дуня. – То чудно мне, то непонятно, зачем у вас скачут, за чем кружатся, кричат так бесчинно?

– Враг тебя соблазняет, – строго сказала Варенька, став перед Дуней. – Сколько раз говорила я тебе, сколько и тетенька говорила: чем ближе час «привода», тем сильнее лукавый строит козни... Ежели теперь, именно теперь напало на тебя неверие в тайну сокровенную, явленную одним только избранным, – его это дело. Не хочется ему, чтобы вышла ты из-под его злой и темной власти, жаль ему потерять рабыню греха. Всегда так бывает... Погоди, не то еще будет. Тоску нагонит он на тебя, такую тоску, что хоть руки на себя наложить. Ему от того ведь польза, барыш, ежели кто руки на себя наложит... К нему пойдет... Лишнее ему козлице...

– Ах, Варенька! – в сильном смущении, всплеснувши руками, воскликнула Дуня.

И опустила на стул и закрыла руками лицо.

– Сама я, – медленно продолжала Варенька, не глядя на Дуню, – сама я перед самым «приводом» хотела с тоски посягнуть на свою душу... Из петли вынули... Вот здесь, в этой самой комнате... Видишь, крюк в потолке, лампа тут прежде висела...

И быть бы мне теперь в работе лукавого, быть бы вековечно в его тьме кромешной!.. Но избавлена была богом бедная душа моя. Наблюдали тогда за мной, на шаг от меня не отступали...

И я теперь не отступлю от тебя, ночи спать не буду, сидючи над тобою... И все будут наблюдать, чтобы враг не одолел тебя... Надо скорей «привести» тебя... Тогда наваждение врага как рукой снимется, и святой дух освятит твою душу. Как дым, исчезнут все сомненья, как восходящее солнце, возвысится душа твоя во свете, и посрамленный враг убежит... И с того часа навсегда пребудешь в неизглаголанном блаженстве, в общении с творцом.

– Ох, уж не знаю я, Варенька, что и сказать тебе на это, – с отчаянной тоской отвечала Дуня. – Влечет меня сокровенная тайна. Но зачем эти скаканья, зачем прыганья и круженья? Соблазняет... Зачем кричат, зачем машут полотенцами?.. Ей-богу, ровно пьяные...

– Ты правду сказала, – молвила Варенька. – Не ты первая это говоришь... Тысяча восемьсот лет, даже побольше того, то же самое говорили язычники, увидавши божьих людей, когда на них сошел дух святой. Да, мы все были пьяны, напившись духовного пива... Не глумись!..

Вспомни, что сказано в писании о сошествии святого духа на апостолов? Неверные, глядя на них, говорили, что они пьяны. «Ругающиеся глаголаху, яко вино исполнени суть». Не новое сказала ты, Дунюшка; восемнадцать веков тому назад... рабами лукавого твое слово было уж сказано.

– Да ведь апостолы не плясали, не кружились, сказала Дуня.

– О том в писании прямо не говорится, но предание осталось. А в самом писании нигде нет

отрицанья, чтоб у апостолов не было тех самых радений, какие дошли до нас, – сказала Варенька. – Говорится там: «Вселюся в них и похожду». Вот он и ходит в своих людях, и тогда не своей волей они движутся, но волей создателя их душ... И прежде, гораздо прежде апостольских времен бывало то же самое. Вспомни царя Давида, как плясал он перед кивотом. Что ты ни видела в сионской горнице, что ни слышала там – это все земное выражение небесной радости...

Пока ты еще не можешь постигнуть священного таинства, поймешь его, когда будешь приведена. Разверзнутся тогда очи твои, и все непонятное станет тебе ясно, как день... О!.. велика благодать постигнуть тайну сокровенную!

Задумалась Дуня. Спустилась с ее плеч сорочка, обнажилась белоснежная грудь. Стыдливо взглянула она и торопливо закрылась.

– Что? На тело свое полюбовалась? – с усмешкой спросила ее Варенька. – Что?.. Хороша пища для могильных червей? Красиво создание врага? На темницу своей души залюбовалась?.. Есть чем любоваться!.. Что росинка в море-океане, то жизнь земного тела в вечности!.. Не заметишь, как жизнь кончится, и станешь прахом... Гадко тогда будет живому человеку прикоснуться к твоей красе...

Презирай, угнетай, умерщвляй пакостное тело свое, душу только блюди, ее возвышай, поклони б она скверную плоть твою!.. Да будет мерзка тебе красота!.. Она от врага!.. Презирай, губи ее, губи ее, гадкую, мерзкую!..

Так говорила девушка в полном цвете молодости, пышная, здоровая, несмотря на давнее уж умерщвление плоти.

Промолчала Дуня. – Что ж, однако, эта за тайна сокровенная? – промолвила она после недолгого молчания. – Сколько времени слышу я про нее... Вот и на собрание была, а тайны все-таки не узнала... Где ж она, в чем?.. Не в пляске же, не в круженье, не в безумных речах Софронушки, не в дурацком реве дьякона...

– Тайна, от веков сокровенная, избранным только открыта, – строгим, не допускающим противоречия голосом, садясь на диван, проговорила Варенька. – Тайну от веков и родов сокровенную, ныне же одним святым только открытую, которым восхотел бог показать, сколь велико богатство славы его, сокрытое от язычников в тайне сей (Послание к Колоссеям, I, 26) Поняла?

Молчала Дуня.

– Ты внешний только образ сокровенной тайны видела, – продолжала Варенька, – а пока останешься язычницей, не можешь принять «внутренняя» этой тайны. Когда «приведут» тебя – все поймешь, все уразумеешь. Тогда тайна покажет тебе богатство господней славы... Помнишь, что сказал он тебе устами Катеньки?.. Не колебли же мыслей, гони прочь лукавого и будешь избранным сосудом славы... Истину говорю тебе.

А Дуне слышится голос Манефин: «Болото!.. Загрязнешь, утонешь!..»

– Не знаю, что тебе сказать... – молвила она Вареньке после долгого раздумья. – Сомненье... – чуть слышно она прибавила.

– А ты кто, что с богом споришь? – восторженно вскрикнула Варенька. – Господь тебя сотворил сосудом избранным, а ты смеешь спорить, сомневаться?.. Что Катенька сказала тебе?.. Не ее было слово, а слово вышнего... «Дам тебе ризу светлу, серафимские крылья, семигранный венец, и тут милости моей не конец!..» Вот слова духа святого о тебе, а ты вздумала с богом бороться!.. Он тебя призывает, а ты слушаешь врага!.. Не внимай козням его, плюнь на супостата, отвернись от него, обратись к богу истинному... Пощади душу свою, милая Дунюшка!

– Боюсь я... Страшно... – после недолгого молчания, трепетным голосом промолвила Дуня. – Все у вас так странно!.. Как же можно богу пляской молиться?

– Боязнь твоя от лукавого. Он вселяет в тебя страх, – сказала Варенька. – Не в телесных движениях, не в круженьях, не в пляске бог силу свою являет, но в откровеньях... Наитие святого духа – вот цель радений... Иного средства призвать его сошествие не знаем. Но так ли, этак ли привлечь его на себя – все равно... Видела Катеньку? Какова она была в святом восторге?.. А не все ли равно, каким путем благодать ни сошла на нее? Скаканьем ли, пляской ли, земными ли поклонами? Подумай хорошенько об этом, обсуди без пристрастия... Пойми, что слава божия, каким бы путем ни сошла она на избранных, – спасительна. Сомненья твои – хула на святого духа, а этот

грех не прощается. И в писании так сказано... Помнишь?

– Не то я в книгах читала, – дрожащим голосом скорбно промолвила Дуня.

– А ты хочешь, чтоб сокровенная тайна в книгах была открыта?.. – возразила Варенька. – Да ведь книгу-то всякий может читать, а тайна божия совершается тайно... Нельзя ее всякому открывать – сказано: «Не мечите бисера перед свиньями...» Ты только телесными очами видела и телесными ушами слышала, как совершается тайна; но ведь ты еще не познала ее. Вот когда будешь приведена, тогда очи души твоей откроются и уши твоего ума разверзнутся. Тогда и в прочитанных тобой книгах поймешь все. Сотканная врагом темная завеса спадет с твоих глаз и со слуха.

Молчала Дуня. Борьба веры с сомнениями все ее потрясала... И к тайне влекло, и радельные обряды соблазняли. Чувствовала она, что разум стал мутиться у ней. После долгого колебания сказала она Вареньке:

– Ни Марья Ивановна, ни ты не говорили мне про то, что видела и слышала я на раденьях. Я представить себе не могла, чтоб это было так иступленно, без смысла, без разума.

– «Безумное божие превышает человеческой мудрости»... Кто сказал это? – воскликнула Варенька. – Да, ни я, ни тетенька тебе не открыли всего, и сделано это не без разума. Скажи мы тебе обо всем прежде времени, не так бы еще враг осетил твою душу. Впрочем, я говорила, что радельные обряды похожи на пляску, на хороводы... Говорила ведь?

– Говорила, – тихо промолвила Дуня.

– Говорила, что в минуты священного восторга сам бог вселяется в людей и входит в них, по писанию: «Вселюся в них и похожду!» – с жаром продолжала Варенька.

– Говорила, чуть слышно ответила Дуня.

– А про то говорила, что в эти минуты люди все забывают, землю покидают, в небесах пребывают? – еще с большей горячностью в страстном порыве воскликнула Варенька.

– Да, помню... Под пальмами ты говорила это, – ответила Дуня.

– Что делают в то время избранные люди – они не знают, не помнят, не понимают... Только дух святой знает, он ими движет. Угодно ему – люди божьи скачут и пляшут, не угодно – пребывают неподвижны – Угодно ему – говорят, не угодно – безмолвствуют. Тут дело не человеческое, а божье. Страшись его осуждать, страшись изрекать хулу на святого духа... Сколько ни кайся потом – прощенья не будет.

– Непостижимо уму и страшно, – чуть слышно промолвила Дуня.

– Мысль вражья!.. – воскликнула Варенька. – Гони губителя душ, гони от себя!.. Веруй без рассуждений, без колебаний!.. Веруй, и вера твоя спасет тебя. На господа возложи тревожные думы – он избавит тебя от сети ловчей и от слов мятежных.

Долго говорила с Дуней Варенька. Одевшись, они пошли в пальмовую теплицу и там еще много говорили. Рассеялись отчасти сомнения Дуни.

Идут дни за днями, идет в Луповицах обычная жизнь своей чередой. На другой день после раденья разошлись по домам и матрос и дьякон, уехали Строинский и Кислов; Катенька осталась погостить. Остался на пасеке и блаженный Софронушка; много было с ним хлопот старому пасечнику Кириллу. Нет отбоя от баб... Из-за пятнадцати, из-за двадцати верст старые и молодые гурьбами приходили в Луповицы узнавать у юрода судьбу свою. С пасеки его никуда не пускали, бед бы не натворил, потому Кириллина пасека с утра до ночи была в бабьей осаде.

Катеньку поместили в комнате возле Вареньки и Дуни. Все вечера девушки втроем проводили в беседах, иной раз зайдет, бывало, к ним и Марья Ивановна либо Варвара Петровна. А день весь почти девушки гуляли по саду либо просиживали в теплице; тогда из богадельни приходили к ним Василиса с Лукерьюшкой. Эти беседы совсем почти утвердили колебавшуюся Дуню в вере людей божиих, и снова стала она с нетерпением ждать той ночи, когда примут ее во «святой блаженный круг верных праведных». Тоска, однако, ее не покидала.

Грустит, а сама не знает, о чем тоскует. По отце Дуня не соскучилась, к Дарье Сергевне дав-

но охладела, Груню забыла, забыла и скитских приятельниц. «По разным мы пошли дорогам, — думает она, — зачем же мне об них думать? Им своя доля, мне иная...» Не могла, однако, равнодушно вспомнить про Фленушку. Не знала еще Дуня, чем кончилась поездка к ней Самоквасова, и хоть всячески старалась забыть былое, но каждый раз, только что вспомнится ей Фленушка, ревность так и закипит в ее сердце. И вспадет ей тогда на память либо сон, что виделся после раденья, либо катанье в косной по Оке. Нет, нет и послышится песня гребцов:

Полюби меня, Дуняша,
Люби миленький дружок.

«Да ведь не мне была та песня пета... — думает она, а тоска щемит да щемит ей сердце. — Наташа замужем, а он меня покинул... Не надо его, не надо!.. И думать о нем не хочу!»

А сама все думает.

Раз с Катенькой вдвоем сидела Дуня в тенистой аллее цветущих лип. Было тихо, безмолвно в прохладном и благовонном местечке, только пчелы гудели вверху, собирая сладкую добычу с душистых цветов. Разговорились девушки, и обмолвилась Дуня, помянула про Самоквасова.

— Когда я в первый раз увидела тебя, Дунюшка, была я тогда в духе, и ничто земное тогда меня не касалось, ни о чем земном не могла я и помышлять, — сказала Катенька, взявши Дуню за руку. — Но помню, что, как только я взглянула на тебя, — увидела в сердце твоём неисцелёвшие еще язвы страстей... Знаю я их, сама болела теми язвами, больше болела, чем ты.

— Ах нет, ведь я покинутая. Как было мне горько, как обидно, — низко склонив голову и зардевшись, чуть слышно промолвила Дуня.

— Целовал он тебя?.. Обнимал? — бледнея и пылая глазами, спросила Катенька.

— Как можно!.. — пуще прежнего зардевшись, ответила Дуня. — Разве бы я позволила?

— Говорила ему, что полюбила его?

— Что ты?.. — почти с ужасом вскрикнула Дуня.

— Так он один говорил тебе про любовь?.. Что ж он? Уверял, заклинал, что век будет любить?.. Сватался?.. спрашивала Катенька.

А глаза у ней так и пышут, и трепетно поднимается высокая грудь. Едва переводит дыхание.

— Никогда не бывало того, — потупившись, отвечала Дуня.

— Верно говоришь?

— Верно.

— Значит, меж вас ничего и не было, — молвила Катенька. — Не о чем тут и говорить — не язва у тебя на сердце, а пустая царапинка... Не то я испытала... Не то я перенесла...

— Ах, Катенька, не знаешь ты, каково мне было тогда... Истрадалась я совсем, — крепко прижимаясь к подруге, вскрикнула Дуня. — Даже и теперь больно, как только вспомню... Царапина!.. Не царапина, а полсердца оторвалось, покой навек рушился, душа стала растерзана.

И, стремительно махнув рукой, вперила на Катеньку страстно загоревшиеся очи.

— Слушай теперь мою исповедь, — с грустной улыбкой молвила Катенька. — Слушай, словечка не пророни, а потом и равняй себя со мной...

Твоих лет я была, как спозналась с любовью. С собой красавец, тихий, добрый, умница, скромник, каких мало, богат, молод, со всей петербургской знатью родня, военный князь... Мне, бедной, незнатной, неученой, и в голову не приходило, что я могу понравиться такому человеку... А он ищет моей любви, открывается в ней...

И я полюбила его... И как любила — то!.. Присватался... Батюшка с матушкой согласны, обо мне и говорить нечего — себя не помнила от радости и счастья... И не видала я, как пролетели три месяца, пролетели они, ровно три минутки... Одни были у нас с ним чувства, одни думы, и ни в чем желанья наши не расходились...

Страстен и пылок он был, но смирал порывы... Предупреждал каждое мое желанье, а когда, бывало, по неумению не так что скажу, научит так кротко, с такою любовью...

Наглядеться на него я не могла... Возненавидела ночи, нельзя было по ночам оставаться с ним, жадно желала венца, чтобы после венчанья ни на миг не разлучаться с ним... Пришла надобность ему быть в Петербурге, поехал ненадолго, и уговорились мы на другой же день после его возврата венчаться... Сколько было слез на расставанье, и он рыдал, жгучими слезами плакал, а я

уж и не помню ничего, была вне ума... Писал... Сколько счастья, сколько радостей письма его приносили!.. В разлуке еще сильнее я полюбила его... И вдруг!..

Женился на другой, уехал за границу... С ума, слышь, сходила я... Поднял меня всемогущий отец, возвратил потерянный разум, возвратил и память... Тогда я возненавидела князя... Если бы, кажется, попался он мне, я б на куски его растерзала... Никому ни слова о нем не говорила, и все думали, что он у меня из памяти вон... Но я ничего не забыла... Все думала, как бы злом за зло ему заплатить... Не могла придумать... Писать к нему, осыпать проклятиями, но в объятьях жены он и не взглянет на мое писанье, а ежели и прочитает, так разве только насмеется... Ехать к нему собралась было, пощечиной думала в глазах жены его осрамить, либо подкупить кого-нибудь, чтоб его осрамили, – на поездку средств не достало...

Да и то – рассудила я – оплеуха женщины мужчине не бесчестье, они целуют ударившую руку и потом всякому поперечному рассказывают об этом и вместе смеются... Станут говорить о тебе, как о брошенной наложнице... Будь чиста, будь свята и непорочна – все-таки на тебе бесчестье...

С каждым словом Катенька воспламенялась больше и больше. И вдруг, облокотившись на столик руками и закрыв лицо ладонями, она замолкла, сдерживая подступавшие рыдания. Дуня ни слова.

Отвела руки от лица Катенька, гордо закинула назад красивую головку и сказала, ровно отчеканила:

– Что было, то минуло. От прожитого не осталось ничего.

Глаза горели, но уж не по-прежнему. Иной огонь, яркий и резкий, блистал в ее взорах, – то был огонь исступленья, огонь изуверства.

– Все с меня сошло, все во мне исчезло, – восторженно продолжала она. – Утолились сердечные боли, настал душевный покой. Новое счастье, ни с чьим не сравнимое, я познала... Не может рассказать о нем язык человеческий... Самое полное счастье земной любви ничто перед тем блаженством небесной любви, что ощущаешь в себе во время наития святого духа. То мрак, а это свет лучезарный, то земля, полная горя и плача, а это светлое небо, полное невообразимых радостей, то блужданье во тьме крошечной, это – паренье души в небеса.

– В чем же то счастье? В чем блаженство? Я все еще не могу понять, – после короткого молчанья спросила Дуня.

– Когда дух святой снидет на тебя, душа твоя и тело обратятся в ничто, – сказала Катенька. – Ни тело тогда не чувствует, ни душа. Нет ни мыслей, ни памяти, ни воли, ни добра, ни зла, ни разума, ни безумия... Ты паришь тогда в небесных кругах, и нет слов рассказать про такое блаженство... Не испытавши, невозможно его понять... Одно слово – соединение с богом. В самом раю нет радостей и наслажденья больше тех, какие чувствуешь, когда дух святой озарит твою душу.

– А в другое время? – спросила, подумавши, Дуня. – Тоскуешь? Ведь ежели кто узнал хорошее и потом нет его, тогда и скорбь, и грусть, и тоска.

– Душе, коснувшейся огненного языка святого духа, озаренной его светом, нет ни тоски, ни скорби, ни грусти. Нет для нее ни горя, ни печали, нет и греховных земных радостей... Бесстрастна та душа – и беды, и счастье, и горе, и радость, и скорбь, и веселье не могут коснуться ее... Она бесстрастна – нет для нее ни злобы, ни любви, ни желаний, ни стремлений... Она спит в вечном, невозмутимом покое...

Сердце умерло, страстей нет сожжены они огненным языком святого духа, их нет, и ничего нет, что исходит из страстей: злобы, лжи, вражды, зависти, нет и добра, нет и любви, нет и забот о чем бы то ни было... Одна только забота, одно желанье – поскорей разбить темницу, врагом для души построенную, умертвить греховную плоть... Все остальное чуждо таинственно умершему и таинственно воскресшему... Если б перед его глазами и земля, и весь небесный свод разрушились, и тогда бы он с полнейшим бесстрастьем, безучастно глядел на такое разрушение. Оно бы и не коснулось его, разрушилось бы только тленное тело, но туда ему и дорога!

Еще долго говорила Катенька и совсем склонила Дуню на прежнее. И душой, и сердцем стала теперь она стремиться к «приводу».

И ночь «привода» не замедлила.

Ровно через неделю после собора божьих людей, также в субботу, под вечер, приехали в Луповицы Кислов и Строинский, пришли матрос Фуркасов и дьякон Мемнон. Был на тот день назначен «привод» Дуни и Василисушки.

Смеркалось, собрались божьи люди перед входом в сионскую горницу. Когда Николай Александрыч, осветив ее, отворил двери, прежде всех вошли Дуня с Марьей Ивановной, Варенька с Катенькой, а за ней Василисушка с Варварой Петровной, с Матренушкой и еще с одной богаделенной старушкой. Из сионской горницы они тотчас пошли в коридор. Там в одной комнате Дуню стали одевать в «белые ризы», в другой Василисушку.

Когда другие божьи люди облеклись в «белые ризы», они пошли друг за другом в сионскую горницу, а Дуня и Василисушка остались в полном уединенье.

– Углубись в себя, Дунюшка, помни, какое время для души твоей наступает, – говорила ей перед уходом Марья Ивановна. – Отложи обо всем попечение, только о боге да о своей душе размышляй... Близишься к светозарному источнику благодати святого духа – вся земля, весь мир да будет скверной в глазах твоих и всех твоих помышленьях. Без сожаленья оставь житейские мысли, забудь все, что было, – новая жизнь для тебя наступает... Всем пренебрегай, все презирай, "возненавидь все мирское. Помни – оно от врага... Молись!!

Поцеловала Дуню, перекинула ей через плечо «знамя», а сама тихими шагами пошла в сионскую горницу.

Долго еще оставалась Дуня в одиночестве. Пока у божьих людей было общее прощение, пока кормщик читал жития и говорил поучение, она была одна в пустой комнате. И чего тогда она не передумала.

Вспомнила наставленье Марьи Ивановны – думать лишь о боге и душе – и стала молиться на стоявший в углу образ. В небреженье он был – весь в паутине...

Молилась Дуня, как с детства привыкла, – с крестным знаменьем, земными поклонами.

Много раз говаривала ей Марья Ивановна, говорила и Варенька, что, вступая на путь божий, должно отречься от мира, от отца с матерью, ото всего рода, племени. "Ведь сказано, – стоя на молитве, думает Дуня, – оставит человек отца своего и мать свою и грядет по мне...

Ах, тятя, тятя!.. Ах ты, милый мой, милый тятенька!.. Как же я покину тебя, как забуду, что я дочь твоя, рожденье твое?.. Притворяйся, – говорила намеренно Марья Ивановна, – притворяйся, чтоб отец не заметил в тебе перемены... Не умею я, не смогу притворяться... Ведь это значит лукавить... А лукавить – служить лукавому, его волю творить... А я от него бежать хочу... Как же это?"

С того времени, как познакомилась Дуня с Марьей Ивановной и начиталась мистических книг, ко всем ближним своим, даже к отцу, она стала холодна и неприветлива. Не то чтоб она разлюбила отца, но как-то, сама не постигая отчего, сделалась к его горячей, беззаветной любви совсем равнодушною. Не заботили ее отцовские заботы, не радовали его радости, не печалили его неудачи. А когда, поддаваясь увлечениям крутого, вспыльчивого нрава, Марко Данилыч оскорблял кого-нибудь, тогда Дуня почти ненавидела его. Охлаждение росло с каждым днем и особенно усилилось во время разлуки под влияньем Марьи Ивановны и других людей божьих. По нескольку дней отец даже на память ей не прихаживал...

И вдруг перед самым тем часом, как должна она разорвать навсегда сердечные с ним связи, воскресла в ее душе прежняя любовь. Так бы вот вольной птичкой и полетела к нему, так бы вот и бросилась в его объятья, так бы и прижалась к груди родительской.

Припоминает Дуня отцовские ласки, вспоминает его доброту к ней и заботливость, вспоминает и тот день, когда он подал ей обручальное кольцо... «К чему оно теперь!.. Кому?..» – думает Дуня, и вдруг перед душевными ее очами восстает Петр Степаныч... Неясные, однообразные звуки чтения Николая Александрыча едва доносятся из сионской горницы, но вместо их Дуне слышится песенка:

Я принес тебе подарок,
Подарочек дорогой,
С руки перстень золотой...

Вздрыгнула она, перекрестилась... «Искушение, – подумала она, – князь мира смущает... Отыди, исчезни!!»

Но не слышит князь мира ее заклинаний, по–прежнему слышится ей:

На белую грудь цепочку,
На шеюшку жемчужок,
Ты гори, гори, цепочка,
Разгорайся, жемчужок!..

«Господи, господи! – молится Дуня, взирая на подернутый паутиною образ. – Запрети лукавому... К тебе иду.. Порази его, супротивного, своей яростью...»

А Петр Степаныч ровно живой стоит перед ней. Вьются темно-русые кудри, пышет страстью лицо, горят любовью искрометные очи, гордо, отважно смотрит он на Дуню; а гул чтения в сионской горнице кажется ей страстным напевом:

Полюби меня, Дуняша,
Люби, миленький дружок!

Бросилась она на колени и, опершись локтями на кресло, закрыла руками лицо. Слезы ручьями текут по бледным щекам.

Звон на колокольне – двенадцать. Тихо, беззвучно растворилась дверь, – в белой радельной рубаше, с пальмовой веткой в руке, с пылающим взором вошла Марья Ивановна.

– Молилась? Это хорошо! – сказала она. – Идем. И, не выждав ответа, торопливо схватила Дуню за руку и повлекла в сионскую горницу.

Там сидели божьи люди, у всех в руках зажженные свечи, пальмы лежали возле. Стоя у стола, Николай Александрыч держал крест и Евангелие.

Дуня остановилась в дверях, рядом с ней ее восприемница Марья Ивановна. Божьи люди запели церковную песнь. «Приидите поклонимся и припадем ко Христу». Дьякон Мемнон так и заливался во всю мочь богатырского своего горла.

– Зачем ты пришла сюда? – строгим голосом спросил Дуню Николай Александрыч.

Дуня смешалась. Забыла наставленья, из памяти вон, что надо ей отвечать. Марья Ивановна подсказала, и она, опускаясь на колени, слабым голосом ответила:

– Душу спасти.

– Доброе дело, спасенное дело, – сказал Николай Александрыч. – Благо твое хотение, девица. Но без крепкой поруки невозможно мирскому войти во святой круг верных-праведных. Кого даешь порукой?

– Матушку царицу небесную, – чуть слышно промолвила Дуня.

– Хорошо, если так, – сказал Николай Александрыч.

– Смотри же, блюди себя опасно, не была б тобой поругана царица небесная.

– Всегда обещаюсь пребывать в заповедях истинной веры, никогда не поругаю свою поручительницу.

– Доброй ли волей пришла в сей освященный собор? – продолжал Николай Александрыч. – Не по страху ли, или по неволе, не от праздного ли любопытства?

– Доброй волей пришла. Спасенье получить желаю, – отвечала Дуня.

– А известны ль тебе тягости и лишения, что тебя ожидают? Не легко знать, не легко и носить утаенную от мира тайну, – сказал Николай Александрыч. – Иго тяжелое, неудобноносимое хочешь ты возложить на себя. Размыслила ли о том? Надеешься ли на свои силы?

– Размыслила, решилась и на себя надеюсь, – подсказала Дуне Марья Ивановна, и та повторила.

– Должна ты отречься от мира и ото всего, что в нем есть, – продолжал Николай Александрыч. – Должна забыть отца и мать, братьев, сестер, весь род свой и племя. Должна отречься от своей воли, не должна иметь никаких желаний, должна все исполнять, что б тебе ни повелели, хо-

тя б и подумалось тебе, что это зазорно или несправедно... Должна ты не помышлять о греховной мирской любви, ничего не вспоминать, ни о ком не думать. Должна избегать суеты, в гости не ходить, на пирах не бывать, мясного и хмельного не вкушать, песни петь только те, что в соборах верных поются.

Должна ты быть смиренною, из всех грехов нет тяжелей гордости, это самый великий грех, за гордость светлейший архангел был низвергнут во ад. Ничем не должна ты гордиться, ни даже своим целомудрием... Если б даже было тебе повелено лишиться его – не колеблясь, должна исполнить сказанную тебе волю... О тайне же сокровенной, о святом служении богу и агнцу не должна никому сказывать; ни отцу родному, ни отцу духовному, ни царю и никому, кто во власти...

Доведется пострадать за тайну, должна безропотно принять и гонения и всякие муки – огонь, кнут, плаху, топор, но тайны сокровенной никому не поведать... Если же предашь ее – будет тебе одна участь с Иудой. Исполнишь ли все, что говорю?

– Исполню, – дрожа от волнения, прошептала Дуня.

– Поди сюда, – сказал Николай Александрыч.

Дуня подошла к столу. Положив крест и Евангелие, кормщик взял ее за руку и трижды посо- лонь обвел вокруг стола. Марья Ивановна шла за нею. Все пели: «Елицы от Христа в Христа кре- стистесь, во Христа облекостесь».

Поставив Дуню перед крестом и Евангелием, Николай Александрыч велел ей говорить за со- бою:

– Пришла я к тебе, господи, на истинный путь спасения не поневоле, а по своей воле, по сво- ему хотенью. Обещаюсь я тебе, господи, про сие святое дело никому не открыть, даже пред смертною казнию, в чем порукою даю царицу небесную пресвятую богородицу. Обещаюсь я тебе, господи, на всякий день и на всякий час удаляться от мира и всей суеты его и всего разврата его. Обещаюсь я тебе, господи, не иметь своей воли, во всем творить волю старших, что б они ни по- велели мне, – все исполнять безо всякого сомнения...

Прости меня, господи, прости, владычица богородица, простите, ангелы, архангелы, херуви- мы, серафимы и вся сила небесная!.. Прости, небо, прости, солнце, простите, месяц, звезды, земля, озера, горы, реки и все стихии небесные и земные!..

После того Дуня приложилась ко кресту и Евангелию, и кормщик сказал ей:

– В сие время божий ангел сходил с неба. Он стоял перед тобой и записывал обещанья твои. Помни это.

По слову Марьи Ивановны, Дуня перекрестилась обеими руками и поклонилась в землю Ни- колаю Александрычу. Он тем же ответил ей. Потом Марья Ивановна подводила ее к каждому из людей божьих и на каждого она крестилась и каждому отдавала земной поклон.

И они тем же ей отвечали, поздравляя с обновлением души, с крещением святым духом. По- здравляли друг друга с прибылью для корабля, с приводом новой праведной души.

Подала Марья Ивановна Дуне белый батистовый платок, пальмовую ветку и рядом с собой посадила.

После того был «привод» Василисушки. Затем, обращаясь к обеим новым сестрицам, божьи люди запели «приводную песнь».

Ай вы, девушки, девицы,
Вы духовные сестрицы,
Когда богом занялись,
Служить ему задались -
Вы служите, не робейте,
Живу воду сами пейте,
На землю ее не лейте,
Не извольте унывать,
А на бога уповать,
Рая в нем ожидать.

Потом запели: «Дай к нам, господи», и началось раденье. Сначала тихо и робко Дуня ходила

в женском кругу, но потом стала прыгать с увлечением, потрясая пальмой и размахивая батистовым покрывцем.

На другой день после привода Дуни ей отвели особую от Вареньки комнату. В то же время привезли к Луповицким почту из города. Между письмами было и к Дуне от Марка Данилыча. Послано оно из Казани. Было в нем писано:

"Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас. Аминь. Любезной и дражайшей дочке моей Авдотье Марковне при сем кланяюсь и посылаю родительское мое благословение, навеки нерушимое. Желаю ото всего моего родительского сердца знать про здоровье и благополучно ли ты доехала с почтеннейшей и нами всегда уважаемой госпожою Марьей Ивановной до своего места.

Потому отпиши беспрерывно, единого дня не медля, на мое имя в Саратов, в гостиницу Голубова, для того, что там я располагаю пристать, а в Саратов намерение имею сплыть из Казани на пароходе после завтрашнего числа. А еще более того желаю знать, каково тебе в гостях; ты еще николи не покидала дома родительского, и для того мне очень желательно знать, как с тобой господи обходятся, потому что ежели что нехорошее, так я свое рождение в обиду не дам, и будь обидчик хоша разгенерал, добром со мной не разделается.

Всего имения и капиталов не пожалею, а до него доберусь и сделаю над ним свое дело. Так ты и скажи господам Луповицким и другим господам, которые компанию с ними водят, что, мол, тятенька за какую ни на есть обиду полмиллиона, а надо, так и больше не пожалеет, а обидчика, мол, доедет. Скажи им всем – потому они и поопасятся. Ежели какую, хоша самую малую, обиду от кого получила, отпиши без замедления на мое имя в Саратов, в гостиницу Голубова, а я тем же часом сряжусь и приеду, и тогда обидчик милосердия и ожидать не моги.

А ежели тебе, дражайшая моя дочка Авдотья Марковна, житие в Луповицах хорошее и безобидное, то живи у Марьи Ивановны дольше того срока, какой я тебе на прощанье дал, для того, что я из Саратова сплыву в Астрахань, а управившись там, проеду, может статься, в Оренбург по некоему обстоятельству, а домой ворочусь разве к самому Макарью. А потому или я сам приеду за тобой, или Дарью Сергевну с Корнеем пришлю, а не то с Васильем Фадеевым, чтобы доставила тебя домой в сохранности, ежели Марья Ивановна заблагорассудит долго гостить у сродников. А мне было бы желательно попрошлогоднему свозить тебя на ярманку и потешить в Нижнем, как прошлого года.

А ежели, паче чаяния, отпишешь ты ко мне про обиды, тогда не токма в Оренбург – и в Астрахань не поеду. Корнея заместо себя пошлю, а сам самолично приеду в Луповицы и за всякое зло воздам сторицею. Так они это и знай, так им скажи. Очень мне гребтит, что ты, любезная дочка, возлюбленное мое рождение, отчуждена, живучи у господ, от истинной, святоотеческой древле-православной веры – смотри же у меня, не вступай во двор козлиц, иже имут левое стояние пред господом на страшном суде. В ихнюю церковь входить не дерзай и ото всяких ересей блюди себя опасно, дабы не погрешить и к осужденным на вечные муки не быть сопричетной. А насчет рыбы дела плохие, одначе сего не сказывай никому. Веденеев с Меркуловым все дело испортили. Убытков хоша не приму, а барышей и половины не доспею супротив того, как по весне рассчитывал. Одно только и есть утешение, что Орошину при таких ценах совсем несдобровать, и ежели явит господь такую милость, так ему, пожалуй, по скорости придется и несостоятельным объявиться.

Очень вздонжили его Веденеев с Меркуловым – изо рта кусок вырвали. А здесь, будучи в Казани, повстречалась мне в Коровинской часовне комаровская мать Таифа. Покамест до Макарья поехала за сборами на Низ, сказывала она про твоих подруг: Флена Васильевна, благою часть избра, яже не отыметса от нее, – ангельский чин приняла и пострижение, и, как надо полагать, по кончине матушки Манефы, сидеть ей в игуменьях. А Патапа Максимыча дочка Прасковья Патаповна тяжела, на сносях, а зятка ихнего Таифа не одобряет: был-де архиерейский посол, а стал собачий мосол – от одного берега отстал, к другому не пристал.

Так этими самыми словами и говорит. Аксинья Захаровна, сказывала мать Таифа, очень скорбна, разболелась вся, на ладан, слышь), дышит. Аграфена Петровна тоже недомогает. От Дарьи Сергевны третьего дня письмо получил – в доме у нас все благополучно, только Василий Фа-

деев ненароком ногу себе топором порубил. А здесь, в Казани, в Рыбнорядском трактире третьего дня виделся с Петром Степанычем Самоквасовым – может, не забыла, тот самый, что в прошлом году у матери Манефы в обители с нами на Петров день кантовал (Кантовать – пировать, с гульбой, с песнями.), а после того у Макарья нас с Дорониными в косной по реке катал. Еще рыбу тогда ловили.

Дельцо у него есть с дядей по наследству. Хоша его дело и чисто, да у дяди, надо думать, рука сильна, не миновать, слышь, Петру Степанычу, чтоб до московского сената не дойти, – посудят ли там по-божески – один господь ведает, а теперь покаместь все закрыто. А Петр Степаныч ровно сам не свой: «Один конец, говорит, хоть в омут головой!» А насчет Коровинской часовни дела происходят не очень того чтобы ладные; склоняются многие на единоверие. Засим, прекратя сие письмо, еще посылаю тебе, любезная дочка моя Авдотья Марковна, заочное родительское благословение, навеки нерушимое, ото всего моего сердца желаю тебе доброго здравия и всякого рода благополучия, а засим остаюсь любящий тебя отец твой Марко Смолокуров. А от бояр и ото всяких господ мужеска пола всячески берегись, дражайшая моя дочка Авдотья Марковна, блюди себя во всякой сохранности, дабы не было бесчестья, на то посылаю тебе строгий мой родительский приказ.

Сколько ни люблю тебя и не жалею, а ежели, помилуй бог, такой грех случится, тогда не токмо ему, треклятому, но и тебе, моей дочке, с плеч голову сорву. Более сего писать не предвижу, прекратив сие письмо, посылаю тебе родительское благословение, навеки нерушимое".

Равнодушно прочитала отцовское письмо Дуня. Тому лишь порадовалась, что можно ей дольше гостить в Луповицах. Что за дело ей до разъездов отца, до Параши, до Аксины Захаровны, до всех, даже до Груни. Иные теперь мысли, иные стремленья. Злорадно, однако ж, подумала она о постриге Фленушки...

«Ото всяких ересей блюди себя опасно...» – при первом чтении письма эти слова прошли незамеченными, но потом то и дело стали звучать в ушах Дуни. Слышала она, ясно слышала, особенно в ночной тиши, голос отца, тихий и ласковый, каким всегда он говаривал с ней. И задумывалась Дуня, вспоминая, где она теперь, куда ее привели... Всеми силами старается прогнать тревожную мысль. «Вражье искушение! – думает она. – Отец – человек плоти, над ним власть лукавого. Он эти слова ему подсказал... Какая тут ересь?.. Служение богу и агнцу!»

А все-таки ни одной ночи Дуня не может провести спокойно: то звучат отцовские слова, то видится ей Петр Степаныч, скорбный, унылый... И становится Дуне жалко отца, жалко становится и Петра Степаныча.

Из писем к Николаю Александрычу одно всех порадовало. Прислано оно было из Тифлиса племянником Варвары Петровны Егором Сергеичем Денисовым. Ездил он на Кавказ по какому-то казенному порученью. Вот что писал он между прочим:

«Дела подходят к концу, скоро ворочусь в Россию, сверну с прямой дороги и заеду к вам в Луповицы. Был в Ленкоране и везде вокруг Александрополя, видел, беседовал, лично обо всем расскажу». Все, кроме не знавшей Денисова Дуни, просияли от этого послания.

– Егорушка приедет, Егорушка Денисов! – радостно говорил Николай Александрыч жене, брату, невестке и племяннице. И те были также в восторге.

Егор Сергеич Денисов повсюду у хлыстов был велик человек. Знали его и образованные люди божьи, и монахи с монахинями, и сестры женских общин, приведенные к познанию тайны сокровенной, слышали о нем по всем городам, по всем селам и деревням, где только живут хлысты. Не раденьями, не пророчествами достиг он славы, а беседами своими, когда объяснял собратьям правила сокровенной веры, служение богу и агнцу. Был еще он молодой человек с небольшим тридцати лет. Был бы редким красавцем, если б не мертвенная бледность истомленного лица, не вид полуживого человека. Зато большие черные глаза горели у него таким огнем, и было в них так много жизни, что он, смотря на человека, казалось, проникал в его душу. Никто не мог долго

смотреть на Денисова, невольно потуплялись глаза, не вынося блеска пронизательных глаз его. Еще в детстве лишившись отца с матерью, был он под опекой Луповицкого. В ранней молодости служил моряком, и тогда в Кронштадте хаживал в «братское общество», где уж мало тогда оставалось людей образованных: Татаринову из Петербурга уже выслали, одноверцев ее тоже разослали по монастырям (Это было в 1837 году. Татаринова сослана в Кашинский монастырь, тайный советник Попов – в Зилантов монастырь в Казани, Федоровы, муж и жена, – в новгородские монастыри, Дубовицкий – в Саровскую пустынь,, а потом в Суздальский Спасо-Ефимьев монастырь либо в Соловки и т.д.).

Еще в Луповицах, где жил он в детстве до поступления в морской корпус, Денисов знал кое-что про людей божьих, но был еще так мал, что не решались ему показать раденья. В Кронштадте случайно узнал он, что тамошнее «братское общество» те же божьи люди, что и в Луповицах. Стал он туда похаживать, но не могли матросы объяснить ему таинственной веры своей. Тогда решился Денисов искать разъяснений ее по хлыстовским кораблям. Рассудив, что на морском корабле не доехать ему ни до какого корабля людей божьих, он вышел в отставку и в гражданской службе занял должность небольшую, но и не маленькую. То было ему дорого, что она требовала дальних разъездов. Сряду несколько лет разъезжал Егор Сергеич то по средней России, то по Волге, то по Новороссии, был даже в Сибири и за границей, в Молдавии. Везде сводил он знакомство с людьми божьими и теперь возвращался из-за Кавказа, познакомившись там с «веденцами» («Веденцами» (от слова ведать) они только сами себя зовут, утверждая, что ведают духа святого. Зовут еще себя духовными. Посторонние, за то что они радеют, как хлысты, зовут их прыгунками, трясунами, а потому, что они уверяют, будто «ведают духа», – духами. Эта секта – смесь молоканства с хлыстовщиной возникла между сосланными за Кавказ с Молочных Вод молоканами. Она считает своим основателем Лукьяна Соколова. Большая часть прыгунков живет в деревне Никитиной, близ Александрополя. Есть они и в Эриванском уезде, и в Ленкоранском, и по другим местам Закавказья. Преемником Соколова был Максим Рудометкин, или Комар-христос, пророк, первосвященник и царь духовных. Он торжественно короновался в деревне Никитиной.), известными больше под именем «прыгунков».

С нетерпением ждали Луповицкие Егора Сергеича. Ехал он с подошвы Арарата, с верховьев Евфрата, из тех мест, где при начале мира был насажден богом земной рай и где, по верованиям людей божьих, он вновь откроется для блаженного пребывания святых – праведных, для вечного служения их богу и агнцу.

Доходили слухи до Луповиц, что там, где-то у подножья Арарата, явился царь, пророк и первосвященник, что он торжественно короновался и, облачась в порфиру, надев корону с другими отличиями царского сана, подражая Давиду, с гусями в руках, радел среди многочисленной толпы на широкой улице деревни Никитиной (Тут анахронизм. Комар коронован позже, именно 19 декабря 1857 года.). Доходило до Луповиц и то, что царь Комар, опричь плотской жены, взял еще духовную и что у каждого араратского святого есть по одной, по две и по три духовные супруги.

О духовных супругах Луповицкие имели самые неясные понятия. Читывали они про них в мистических книгах, знали, что тотчас после падения Бонапарта духовные супруги явились в высшем прусском обществе между придворными, принявшими секту мукеров; знали, что есть духовные жены у сектантов Америки, знали, что из Пруссии духовное супружество проникло и в Петербург, но не могли понять, как это учение проникло за Кавказские горы и как ссыльный крестьянин Комар мог усвоить учение кенигсбергского архидиакона Эбея, графини Гребен и других знатных дам и государственных людей Пруссии... «Денисов знаком с царем Комаром, он все разъяснит», – думали Луповицкие... Больше других ожидала гостя Марья Ивановна, хотелось ей хорошенько разузнать о духовных супругах. Дуня, с первого знакомства, то и дело приставала к ней с вопросами о духовном супружестве, но старая дева не умела ей вполне объяснить, в чем тут дело.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Управившись с делами в Астрахани и раздумавши ехать в Оренбург к Субханкулову, Марко

Данилыч домой поспешил. Дуня еще не возвращалась, и он написал к ней письмо с приказом ехать скорее домой. «Макарий на носу, – писал он, – а мне желательно тебя на ярманку свозить и потешить по-прошлогоднему».

– Что ж теперь делать? – спрашивала Дуня Марью Ивановну.

– Не ехать, – ответила та.

– Как же можно? – возразила Дуня. – Ведь он будет ждать; а не дождется, приедет сам либо пришлет кого за мной...

– На ярманку, что ли, тебе хочется? – улыбнувшись, спросила Марья Ивановна.

– Что мне до ярманки? – презрительно молвила Дуня. – Чего там не видала? В лодке катанья али театра?..

– Так вот что, – сказала Марья Ивановна. – Пиши отцу, что тебе на ярманку не хочется, а желаешь ты до осени прогостить в Луповицах, а впрочем, мол, полагаюсь на всю твою волю. Поласковой пиши, так пиши, чтоб ему не вспало никакого подозренья. Я тоже напишу.

Как сказано, так и сделано. Марья Ивановна писала Марку Данилычу, что Дуне у Макарья будет скучно, что девушка она строгая, степенная, веселостей и развлечений не любит. Изо всего, дескать, видно, что она дочь благочестивого отца и выросла в истинно христианском доме.

Льстивые слова знатной барышни понравились надменному купчине. «Видите, Дарья Сергевна, – говорил он, – видите, как знатные господа, генеральские дети об нас отзываются! Спасибо Дунюшке, спасибо голубушке, что так заслужила у господ Луповицких!» Он согласился оставить Дуню у Луповицких до сентября. Дарья Сергевна была тем недовольна. Расплакалась даже.

А плакала она при Марке Данилыче, такие слова приговаривая:

– Погубят ее! С толку собьют, сердечную!.. Ее ли дело с господами водиться? Не пристанет она к ним, никогда с ними не сравняется... Глядят свысока на нее: «ты, дескать, глупа ворона, залетела в высоки хоромы». А есть господа молодые – тут до греха недалеко... Им нипочем, а ей век горевать.

– Закаркала!.. – резким голосом, сурово вскрикнул Марко Данилыч. – Чем бы радоваться, что Дунюшка со знатными людьми в компании, она невесть что плетет. Я на Марью Ивановну в полной надежде, не допустит она Дуню ни до чего худого, да и Дуня не такая, чтоб на дурные дела идти.

– Дай бог, чтобы было по-вашему, Марко Данилыч, – с тоской и рыданиями отвечала Дарья Сергевна. – А все–таки заботно, все–таки опасливо мне за нее. Во сне ее то и дело вижу да все так-то нехорошо: либо раздетую, разубранную в шелках, в бархатах, в жемчугах да в золоте, либо мстится мне, что пляшет она с каким-то барином, а не то вижу всю в цветах каких-то диковинных... Не к добру такие сны, Марко Данилыч.

– Уж вы пойдете, – с досадой промолвил Марко Данилыч. А сам, задумавшись, поспешно вышел из горницы.

Долго еще, долго плакала Дарья Сергевна по любимой воспитаннице. Причитает в горячих слезах, такие речи приговаривает: "Не носила, не родила, не кормила я тебя, Дунюшка, а любила завсегда и теперь люблю, как родную дочь. Будь жива покойница Оленушка, и ей бы так не любить свою дочку, рожоную да кормленую... Растила я тебя, ненаглядная, учила всему доброму, на твою пользу душевную, положила в тебя сердце свое, свет очей моих!..

И всегда-то одну заветную думушку я думывала, как вырастешь, заневестишься и как выйдешь за человека доброго, хорошего, из честного роду–племени... Думала я, горемычная, что на старости лет повожусь с твоими деточками, поучу их уму-разуму, наставлю в божьих заповедях... По грехам моим не так сталося–случилося, не по моим гаданьям дело содеялось!.. Умчали белую лебедушку во чужие люди незнаемые, что незнаемые, завистливые, что завистливые, гордые, выскоумные!..

Счастливая ты была девушка, счастливая и таланная; ни тяжелой работой не была окружена, ни бранным словечком огрублена!.. Думала ль, гадала ль я, что придет такое горе великое?.. Думала ль я, что придется жить без тебя в тоске да в беде, в печалях да в горестях?.. Бьется сердце по тебе, убивается, и некому успокоить меня, утешить!.. Ни заем, ни запью горя великого! Ты, душа ль моя Дунюшка, – была ты, белая голубушка, белей снегу белого, была ты, румяная красавица,

румяней солнца красного, была ты, свет зорюшка ясная, милей месяца серебряного!.. Поднялись метели со снегами, расходились сизы тучи выюгой грозною – унесли от нас ненаглядный цвет... Ах ты, крошечка-малиновка, золотая моя рыбонька!.. Воротись скорей под батюшкин кров, убеги от людей недобрых, приезжай в свою светлую горенку, во родительский дом белокаменный..."

И ни на один миг не вспомнялась горько плакавшей Дарье Сергевне холодность к ней Дуни.

Первый спас на дворе – к Макарью пора. Собрался Марко Данилыч без дочери и поселился на Гребновской пристани в своем караване. Нехорошо пахивало, да Марку Данилычу это нипочем – с малых лет привык с рыбой возиться. Дня через два либо через три после сего приезда пришел на Гребновскую огромный рыбный караван. Был он «Зиновья Доронина с зятьями».

– Грому на вас нет! – стоя на своей палубе, вскричал Марко Данилыч, когда тот караван длинным строем ставился вдоль по Оке. – Завладели молокососы рыбной частью! – ворчал он в досаде. – Что ни помню себя, никогда больше такого каравана на Гребновской не бывало... Не дай вам бог торгов, не дай барышей!.. Новости затеяли заводить!.. Дуй вас горой!.. Умничать задумали, ровно мы, старые поседелые рыбники, дураками до вас жили набитыми.

А сам дивуется. Стали баржи на месте без руготни, без суетни, даже без лишних криков, никого не задели, никого не зацепили, никому выхода на плес не загородили. Много баржей пришло, а постановкой каравана только двое распоряжались, Меркулов с Веденеевым. На крайних баржах подавали они сигналы свистками. Смеялся на такое новшество Марко Данилыч, но в смехе его зависть и злоба слышались. Хохотали по всей Гребновской и хозяева, и приказчики, и рабочие. Не мало и таких было, что досадовали и злились на тихую постановку каравана – никого он не затронул, и не было ни брани, ни драки, ни свалки, а у гребновских молодцов кулаки давно уже почесывались.

Стал караван, и рабочие от первого до последнего на местах остались, никто не сбежал, никто ничего не украл, никто не запьянствовал, все было тихо и мирно. Много дивились тому.

Оба зятя Зиновья Алексеича с женами приехали на ярманку, с тестем и с тещею. Пристали они в той же гостинице Бубнова, где жили и прошлого года. Сам Зиновий Алексеич рыбным делом не занимался, не взглянул даже на караван, носивший имя его, а Меркулов с Веденеевым каждый день с утра до сумерек по очереди там бывали.

Едва успел установиться караван, на нем, как водится, явились покупатели. Не настоящие то были покупатели, а ищейки. Сами ничего они не покупают, но покупщики рыбного товара подсылают их разузнать цены да посмотреть, какова рыба. Рыбники, особенно приказчики, охотно принимают ищеек, хоть и знают, что ни один из них фунта не купит, но всего товара ни за что им не покажут, прямых цен не скажут, а заломят непомерные. Явились ищейки и на баржи «Зиновья Доронина с зятьями». Там им все показали, а Меркулов каждому сорту товара сказал настоящую цену. Подсылные подивились – низки уж очень были объявленные цены. Зато другая новинка их смутила – в кредит только третья доля товара отпускалась, за остальное наличные деньги клади на стол.

Вечером в Рыбном трактире собрались и рыбники и покупатели. Был тут Орошин, был Марко Данилыч, лысый Сусалин и копне подобный богатырь пискливый Иван Ермолаич Седов. И других рыбников, большого и малого полета, было тут довольно. Сидели они вкруговую за столом, уставленным чайниками, и мирно, благодушно опрастывали дюжины чашек с отваром китайской травки. Только и речи было у всех, что про зятьев Доронина. Ругали их ругательно, особенно Орошин, а покупатели подшучивали над рыбниками. Однако ж и они говорили, что без отдачи рыбы в кредит дело идти не может.

– А все-таки Меркулов-от настоящие цены открыл, и спасибо ему за то, – с усмешкой глядя в упор на Орошина, сказал маленький тщедушный старичок Лебякин, один из самых первых покупателей. – Теперича, примерно сказать, уж нельзя будет хоть вашей милости, Онисим Самойлыч, оченно-то высоко заламывать, потому что прямые цены уж известны.

– Мы знаем свою цену, – надменно взглянув на Лебякина, прошипел Орошин. – Хочешь дешево у них купить, припасай больше наличных. Мы возьмем свое, у нас все по старине будет – кредит, как бывало, а цены, какие меж собой постановим... Так али нет, Марко Данилыч?

– Вестимо, – пробурчал молчаливый на этот раз Смолокуров.

– А ежели и мы со своей стороны в сговор войдем? – вскричал Колодкин Алексей Никифорович, широкоплечий, объемистый телом купчина, с богатырской головой, обросшей рыжими курчавыми волосами. – Ежели, значит, и мы меж собой цены свои установим и выше их копейки не накинem? Куда рыбу-то тогда сбудете? Не в Оку ж ее пошвырять.

– Найдем место, – сурово взглянув на Колодкина, сквозь зубы промолвил Орошин. – Не одни вы покупатели.

– Оптовые все здесь наперечет, – сказал Лебякин. – Вы станете сговариваться, а мы – на вас глядя. Тогда, хочешь не хочешь, вся рыба-то у вас на руках и останется.

– Нешто по фунтикам станете продавать, ну тогда, пожалуй, расторгуетесь, – со смехом подхватил слова Лебякина Колодкин. – Тогда можно будет вас с барышами поздравить.

– Разве только и свету в окошке, что вы? – насмешливо пропищал, подбоченясь, Седов. – Не фунтиками, а тысячами пудов станем продавать и все распродадим беспременно.

– Кому распродать-то, Иван Ермолаич? – поворотив к Седову громадную голову, медленно проговорил Колодкин. – Разве по мелочным лавочкам думаете рассовать, так у мелочников ни денег, ни места на то не хватит.

– Сыщутся люди и помимо мелочников, – пропищал Седов. – Будьте спокойны, мы тоже знаем, что знаем: не вчера торговать-то зачали.

– Да кто сыщется-то? – приставал Колодкин к Седову, – Нешто заимуете здесь да морожену рыбу мужикам в развоз продавать (Зимой торговые крестьяне, покупая в Саратове соленую и вяленую рыбу, развозят ее на продажу по базарам среднего и верхнего Поволжья. Это называется «торговать в развоз».) будете?

– А хоша бы и в развоз, – пискнул Седов. – А вы все-таки ни с чем останетесь. Нешто клад выроете да наличными уплатите.

– И без клада, поможет бог, обойдемся, – молвил Колодкин.

– Вот это так. Что дело то дело... Это как есть совершенно верно, – захохотал Седов. – Ежели бог наличными поможет вам, ежели, значит, деньги на вас с неба свалятся, тогда можно вам и без клада обойтись.

– Не извольте беспокоиться, Иван Ермолаич, обернемся, это уж наше дело, – задорно проговорил Колодкин и поднялся с места. – Счастливо оставаться! – примолвил он.

И, поклонясь честной компании, вон пошел.

За ним и Лебякин ушел, а потом и все остальные. Остались одни рыбники. Молча поглядывали они друг на друга.

– Что, братцы, делать-то? – после долгого молчанья, вытирая вспотевшее от чая лицо бумажным платком, заговорил Степан Федорыч Сусалин.

– По-моему, надо об этом деле посудить, – молвил Марко Данилыч.

– Беспременно надо, – подхватили и Седов, и Сусалин, и другие рыбники.

– Только, чур, наперед уговор, – начал молчавший Орошин. – Ежели на чем порешим, каждую малость делать сообща, по совету, значит, со всеми. Друг от дружки дел не таить, друг дружке ножки не подставлять. Без того всем можно разориться, а ежели будем вести дела вкупе, тогда и барыши возьмем хорошие и досыта насмеемся над Лебякиным, над Колодкиным и над зятьями Доронина.

– Сам-от только не сфинти, Онисим Самойлыч, мы-то заодно будем, – насмешливо промолвил Марко Данилыч.

– Чего мне финтить-то? – гордо взглянув на недруга, воскликнул заносчиво Орошин.

– Не знаю, что напередки будет, а доселева еще ни одной ярманки не бывало, чтоб ты кого-нибудь не подкузьмил, – сказал ему Марко Данилыч и захохотал на всю комнату. – На всех плюсь, на всех, сколько здесь нас ни есть, – продолжал он. – Нечего узоры-то разводить, любезный друг!.. Достаточно все тебя знаем. Всем известно, что ловок ты на обманы-то.

Заметно было, что Смолокурову пришла смертная охота разозлить Орошина, чтоб ушел он из беседы. Орошин не замечал того.

– Что ж? – хихикнул он, окинув нахальным взглядом собеседников. – На войне обманом го-

рода берут, на торгу неумелого что липку обдерут. Для того не плошай да не глазей, рядись да оглядись, дело верши да не спеши... Так-то, почтеннейший Марко Данилыч.

– Да полно вам тут! – во всю мочь запищал Седов. – Чем бы дело судить, они на брань лезут. У бога впереди дней много, успеете набраниться, а теперь надо решать, как помогать делу. У доронинских зятьев видели, каков караван! Страсть!.. Как им цен не сбить? Как раз собьют, тогда мы и сиди у праздника.

Кой-кто пристал к Сусалину, и общими силами убедили Орошина со Смолокуровым на брань не лезть, а держать «рассуждение».

Молчат приятели, другие не заводят речей.

– Что ж не зачинаете? – пропищал Седов. – Молчанкой делу не пособить. Говори хоть ты, Марко Данилыч.

– Пушай Онисим Самойлыч начинает. Его дело большое, наше маленькое, – сказал с усмешкой Смолокуров.

– Маленькое! Хорошо маленькое! – прошипел Орошин. – А кто верховодит на Гребновской?.. Кто третьего года у всех цены сбил?

– А кто нынешней весной в Астрахани всю икру и рыбу хотел скупить?.. А?.. Ну-ка, скажи? Да, видно, бодливой-то корове бог рог не дает. Не то быть бы всем нам у праздника, всем бы карманы-то наизнанку ты по выворотил... Не выкинь Меркулов с Веденеевым своей штуки, всем бы нам пришлось по твоей милости зубы на полку класть.

– Да перестаньте вы, Христа ради! – вступился опять Сусалин. – Эдак нам никогда толку не дожждаться. Успеете, говорю, набраниться. Теперь дело не в споре, а в сговоре. Говори, что ли, впрямь, Онисим Самойлыч.

И стали все просить Орошина, сказал бы свое слово о том, что надо делать. Один Марко Данилыч сидел молча. Отвернувшись от Орошина, барабанил он по столу пухлыми красными пальцами.

Поломался Онисим Самойлыч, потом зачал говорить:

– Если, примерно будь сказано, теперича нам сложиться наличными, сколько у кого есть, и скупить у доронинских зятьев весь ихний товар, тогда бы, ставь покупатели цены, какие хотят, пуда никому из них негде будет купить. Поневоле к нам придут и заплатят, сколько мы ни запросим. А купивши у Меркулова с Веденеевым весь караван по объявленной ими цене, какие барыши мы получим!..

– Что ж это такое будет? – перебил Орошина Марко Данилыч. – Складчина, компания на акциях, как ноне стали называть?

– А хоша б и так, – тряхнув окладистой бобровой с искрой бородой и нахмурия брови, молвил Онисим Самойлыч, спесиво поглядев на Смолокурова.

– Складчиной торг барышей не дает, – отвернувшись от него, сказал Марко Данилыч.

Почти все согласились со Смолокуровым. То было у всех на уме, что, ежели складочные деньги попадут к Орошину, охулки на руку он не положит, – возись после с ним, выручай свои кровные денежки. И за то «слава богу» скажешь, ежели свои-то из его лап вытянешь, а насчет барышей лучше и не думай... Марку Данилычу поручить складчину – тоже нельзя, да и никому нельзя. Кто себе враг?.. Никто во грех не поставит зажилить чужую копейку.

Зубами даже скрипнул Онисим Самойлыч, видя, что лакомой складчине в руки его не пасть. Замолчал.

– А ведь Онисим-то Самойлыч сказал правду, – помолчав несколько, молвил Сусалин. – Ежели бы, значит, весь товар был в наших руках, барышей столько бы при шлось, что и вздумать нельзя. Ежели друг дружку не подсиживать, рубль на рубль получить можно. Потому все цены будут в наших руках... Что захотим, то и возьмем.

«Рубль на рубль! – подумал каждый из рыбаков. – Да ведь это золотое дно, сто лет живи, такого случая в другой раз не выпадет. Только вот беда – складчину кому поручить?.. Кому ни поручи – всяк надует...»

Долго молчали, потом опять запищал дородный Седов.

– Хоша я давеча над покупателями маленько и подтрунил, а ведь надо правду сказать, они

наличными-то, пожалуй, раздобудутся. Нонче вон эти банки завелись, что под заклад товаров деньгами за малые проценты ссужают.

– Да ведь товар-от надо купить, без того банк денег не даст, – промолвил рыбник – мелкая сошка, человек небогатый.

– Нешто доронински зятья на каку-нибудь неделю либо дён на десяток не поверят. Векселя возьмут, – сказал Седов.

– Как не поверить?.. Поверят, – заговорили рыбники. – Тогда, значит, у нас по усам текло, а в рот не попало, – продолжала та же мелкая сошка. – Бьем на барыши, а пожалуй, получим голыши (Голыш – твердый камешек, скатанный и оглаженный водою.). Беспременно надо у них перебить. А начинать, так начинать тотчас завтра же.

– Что правда, то правда, – вступился Белянкин Евстрат Михайлыч. Родом и жительствою был костромич, рыбник не крупный, такая же мелкая сошка. – Дело тут самое спешное, – сказал он, – товарищества на вере составить некогда, складочны деньги в одни руки отдать нельзя, потому что в смерти и в животе каждого бог волен. Примером сказать, поручили бы вы мне свои капиталы. Не к тому говорю, чтобы в самом деле такое доверие вы мне сделали, – человек я махонький, и мне этого ни в коем разе нельзя ожидать. Единственно для ради примера говорю. Ну-с, вот вы мне свои капиталы и препоручили, чтоб я завтрашний день раным– ранехонько сделал покупку. Хорошо. А я, прошедши отсюда, из Рыбного трактира, возьми да и помри. Потому в смерти и животе бог волен. Ну, вот я и помер, а деньги– то ваши у меня налицо, а у вас документов никаких на меня нет. Нешто, вы думаете, наследники-то мои отдадут вам деньги?..

Как же! держи карман... Ни в каком разе! Припрячут, и вся недолга. И всяк то же сделает, до кого ни доведись... Сами не хуже меня знаете. После там судись да возись, а денежки – пиши пропало... Потому, какие у вас доказательства?.. Какие документы можете вы в суде предъявить?

– Векселя можно взять, – заметил Сусалин.

– Ладно-с, оченно даже хорошо-с. Можно и векселя взять, – сказал Белянкин. – Да дело то, Степан Федорыч, завтра ранним утром надо покончить. Когда ж векселя-то писать? Ночью ни один маклер не засвидетельствует... А после давешнего разговора с Лебякиным да с Колодкиным они завтра же пойдут умамливать доронинских зятьев, чтоб поверили им на неделю там, что ли... Верно знаю о том, сам своими ушами вечор слышал, как они сговаривались.

Все замолчали, а Марко Данилыч ровно ото сна проснулся и, лениво позевывая, промолвил:

– Надо ковать железо, поколь горячо.

Орошин словечка не выронил, другие рыбники, и тузы, и мелкая сошка тоже помалчивают себе.

А Белянкин свое:

– К примеру, я вам про себя говорил. А ежели б у меня всего капитала не тридцать тысяч, а три миллиона было, а векселей-то с меня не взяли, тогда бы наследникам моим и прятать ваших денег не было надобности. «Тятенькины», да и дело с концом. Вот оно что!

Все молчали. Злобно смотрел Орошин на Белянкина,

– Что ж делать-то? – спросил, наконец, оглядывая собеседников, Сусалин.

Никто ни полслова. Немного подумавши, молвил Сусалин:

– А по-моему, вот бы как. Складчины не надо, ну ее совсем!.. Пушай всяк при своем остается. Смекнемте-ка, много ль денег потребуется на закуп всего каравана и сколь у кого наличных. Можем ли собрать столько, чтобы все закупить? Кто знает, чего стоит весь товар по заявленным ценам?

– Тысяч триста, пожалуй и больше, – молвил Белянкин.

– Хорошо, – сказал Сусалин и постучал ложечкой о чайную чашку. Стремглав вбежал половой, широко размахивая салфеткой.

– Вот что, любезный, – сказал ему Сусалин, – попроси ты у буфетчика чистый листок бумажки да перышко с чернилкой. На минутку, мол.

– Сейчас-с, – отрывисто промолвил проворный половой и полетел вон из комнаты.

Подали бумагу, перо, чернила. Сусалин сказал:

– Пушай каждый подпишет, сколько кто может внести доронинским зятьям наличными

деньгами. Когда подпишетесь, тогда и смекнем, как надо делом орудовать. А по-моему бы так: пушай завтра пораньше едет кто-нибудь к Меркулову да к Веденееву и каждый свою часть покупает. Складчины тогда не будет, всяк останется при своем, а товар весь целиком из наших рук все-таки не уйдет, и тогда какие цены захотим, такие и поставим... Ладно ль придумано?..

– Ладно, ладно, – заголосили все опричь Орошина, Марка Данилыча и Белянкина. У них у троих было что-то свое на уме.

– С молодых начинай, – пропищал Седов. – Большаки добавят, чего у мелкоты не хватит.

Белянкин протянул руку за бумагой, промолвив:

– Слабей меня здесь нет никого.

И подписал. Лист пошел вкруговую. Когда все, кроме первейших тузов, подписали его, лист подали Орошину.

Надменно передвинул он его к Смолокурову.

– Марко Данилыч завсегда говорит, будто я много его богаче, – с усмешкой сказал Онисим Самойлыч. Хоша это и несправедливо, да уж пушай сегодня будет по его. Уступаю... Пушай наперед меня пишет.

Усмехнулся Марко Данилыч, переглянувшись с Белянкиным. Не говоря ни слова, взял он перо, сосчитал, на сколько подписано, и затем, подписавшись на триста тысяч, подвинул лист к Орошину.

Вздел очки Онисим Самойлыч и весь посоловел, взглянув на бумагу.

– Мне-то что ж осталось? – злобно вскрикнул он, глядя зверем на Марка Данилыча.

Никто ни слова, а Онисим Самойлыч больше да больше злобится, крепче и крепче колотит кулаком по столу. Две чайные чашки на пол слетело.

– Подписывайтесь, – с легкой усмешкой сказал ему Белянкин. – После сделаем разверстку.

– Убирайся ты к черту с разверсткой!.. – зарычал Орошин, бросая на стол подписной лист. – Ни с кем не хочу иметь дела. Завтра чем свет один управлюсь... Меня на это хватит. Дурак я был, что в Астрахани всего у них не скупил, да тогда они, подлецы, еще цен не объявляли... А теперь доронинской рыбы вам и понюхать не дам.

И, плюнув, скорыми шагами пошел вон из комнаты. Рыбники, кроме Марка Данилыча да Белянкина, головы повесили... «Рубль на рубль в две-три недели – и вдруг ни гроша!» – думали они. Злобились на Орошина, злобились и на Марка Данилыча.

Взял Смолокуров подписной лист и громко сказал честной компании:

– Себе я возьму этот лист. Каждый из вас от меня получит за наличные деньги товару, на сколько кто подписался. Только, чур, уговор – чтоб завтра же деньги были у меня в кармане. Пушай Орошин хоть сейчас едет к Меркулову с Веденеевым – ни с чем поворотит оглобли... Я уж купил караван... Извольте рассматривать.

– Только, господа, деньги беспрременно завтра сполна, – сказал Марко Данилыч, когда рыбники рассмотрели документ. – Кто опоздает, пеняй на себя – фунта тот не получит. Согласны?

– Согласны, согласны! – закричали рыбники, и каждый от усердия старался всех перекричать.

Поднялись благодарности Марку Данилычу. Заказали ужин, какой только можно было состряпать в Рыбном трактире. Холодненького выпили. Пили за здоровье Марка Данилыча, за здоровье Авдотьи Марковны, на руках качали благодетеля, «многолетие» пели ему. Долго на весь Рыбный трактир раздавались радостно пьяные голоса:

Еще дай боже, еще дай боже,

Еще дай боже, еще дай боже,

Здравствovati!

Господину, господарю?..

Господину, господарю

Нашему!..

Свет ли Марку, свет ли Марку,

Свет ли Марку, свет ли Марку

Даниловичу!

Еще дай боже, еще дай боже,
Еще дай боже, еще дай боже,
Многая, многая,
Многая лета!
Многая лета!

Благодушно улыбался Марко Данилыч, глядя на воздаваемый ему почет. А больше всего тем был он счастлив, тем доволен, что подставил подножку Онисиму Самойлычу. «Лопнет с досады пес смердящий! – в радостном восторге думал Марко Данилыч. – Передернет его, как услышит он, что я весь караван скупил».

А обработал Марко Данилыч это дельцо тайком и совсем невзначай. Не он товара искал, сам товар привалил к нему.

Узнав, что Марко Данилыч живет на караване, Меркулов улучил минутку, чтоб, по прежнему знакомству, повидаться с ним, узнать про Авдотью Марковну и справить ей поклоны от жены, от тещи и свояченицы.

Не очень приветливо встретил его Смолокуров, но, как обычаев рушить нельзя, тотчас велел Василию Фадееву чайку собрать, мадерцы подать, водочки и разных соленых и сладких закусок.

– Ну что? Каково поживает тестюшка? – спросил гостя Марко Данилыч.

– Помаленьку, – отвечал Меркулов. – Здесь теперь, у Макарья. С нами вместе приехал.

– Вот как! А я и не знал... Где он на квартире-то пристал?

– Да там же все, в той же гостинице, что и в прошлом году.

– Надо будет навестить старого приятеля, беспрременно надо. Да вот все дела да дела, – говорил Марко Данилыч. – А Татьяна Андреевна тоже приехала?

– Здесь, – отвечал Меркулов.

– А вы с супругой?

– Как же, и Дмитрий Петрович с Натальей Зиновьевной. Всей семьей приехали.

– Вот как! Весело, значит, всем-то, нескучно в чужом городе.

– Конечно, – заметил Меркулов. – А вы Авдотьи-то Марковны, видно, не привезли?

– Нет, не привез, – сухо ответил Марко Данилыч.

– Что ж так?

– Да не случилось.

– Как она, в своем здоровье?

– Ничего, слава богу, здорова.

– Жена много ей кланяется, и Татьяна Андреевна, и Наталья Зиновьевна. Надеялись с ней повидаться, молвил Меркулов. – Что ж это она?.. Так и не приедет вовсе на ярманку?

– Так и не приедет, – сказал Марко Данилыч. В гостях теперь гостит.

– У сродников?

– У господ Луповицких в Рязанской губернии, – с важностью приподняв голову, с расстановкой проговорил Марко Данилыч. – Люди с большим достатком, знатные, генеральские дети – наши хорошие знакомые... Ихняя сестрица Алымова соседка будет нам. С нашим городом по соседству купила именье, Дунюшку очень она полюбила и выпросила ее у меня погостить, поколь я буду на ярманке.

– Алымова? Марья Ивановна? – спросил удивленный Меркулов.

– Так точно, – подтвердил Марко Данилыч.

– Не та ли, что прошлого года в той же гостинице жила, где и вы, и батюшка тесть останавливались?..

– Она самая, – отвечал Марко Данилыч. – А что?

– Нет... так, ничего, – с недоумением молвил Меркулов.

– Знакомы, что ли, с ней? – спросил Марко Данилыч.

– Нет, в прошлом году на одном пароходе с ней ехал, – ответил Никита Федорыч.

– Хорошая барышня, – заметил Марко Данилыч, разумная такая и ласковая. А ежесть взять ее насчет доброты, так лучше и не надо. И хоша знатная, а ни спеси, ни гордости в ней ни капельки.

Перестал расспрашивать Меркулов, а сам про себя думает: «С какой стати связалась Авдотья

Марковна фармазонкой? Вот наши-то удивятся, как узнают».

– Ну что, как пошли дела? – немножко погодя спросил Марко Данилыч. – Караванище-то какой вы пригнали на Гребновскую!.. Сколько ни торгую, такого у Макарья не видывал. Теперь вы у нас из рыбников самые первые...

– Да ведь тут не я один, – сказал Меркулов. – Дело общее: тут и мой капитал, и женин, и Дмитрия Петровича, и его жены, и батюшки Зиновья Алексеича доля есть.

– Значит, и он в рыбники записался, – с добродушной усмешкой молвил Марко Данилыч. – А бывало, как вздумаешь уговаривать его рыбой заняться, так «ни за что на свете» – говорит.

– Он и теперь в эти дела не входит, – сказал Меркулов. – Капиталом только участвует.

– Так, – протянул Марко Данилыч. – Продали сколько ни на есть рыбки-то?

– Где ж еще? – отозвался Меркулов. – Рано. Кажется, ни с одного каравана не было еще продаж.

– Опрichь мелочей, точно что не бывало, – подтвердил Смолокуров. – Как же вы насчет цен располагаете? Заодно со всеми будете устанавливать аль особняком поведете дело?

– У нас все наперед рассчитано, – сказал Меркулов. – Сегодня отдадим печатать объявление о ценах и об наших условиях, наклеим на столбах, разошлем по рыбным покупателям, в газете напечатаем.

Повернулся на стуле Марко Данилыч. «Всю торговлю вверх дном перевернут, проклятые. Эки штуки откалывают!» – подумал он.

– Не сходней ли будет вам, Никита Федорыч, келейно с кем-нибудь сделаться? – умильным голосом заговорил Марко Данилыч. – А то эти объявления да газеты!.. Перво дело – расходы, а другое, что вас же могут на смех поднять.

– Расходы пустячные, – сказал Никита Федорыч, а станут смеяться, так мы за обиду того не поставим. Смейся на здоровье, коль другого смеха нет.

– Так вы не будете цен таить? – спросил Марко Данилыч, зорко глядя в глаза Меркулову.

– И не подумаем, – тот отвечал.

– И условий таить не станете?

– Да как же таить-то их, Марко Данилыч, ежели на фонарных столбах объявления об них приколотим?.. смеясь, отвечал Никита Федорыч. – Вот наши условия, читайте... В кредит на двенадцать месяцев третья доля, а две трети получаем наличными здесь, на ярманке, при самой продаже.

– Тяжеленьки условия, Никита Федорыч, очень даже тяжеленьки, – покачивая головой, говорил Марко Данилыч. – Этак, чего доброго, пожалуй, и покупателей вам не найти... Верьте моему слову – люди мы бывалые, рыбное дело давно нам за обычай. Еще вы с Дмитрием-то Петровичем на свет не родились, а я уж давно всю Гребновскую вдоль и поперек знал... Исстари на ней по всем статьям повелось, что без кредита сделать дела нельзя. Смотрите, не пришлось бы вам товарот у себя на руках оставить.

– Ну и оставим, – равнодушно сказал Никита Федорыч.

– Анбары найдем, зима придет – рыбу гужом повезем на продажу.

– Останетесь в накладе, Никита Федорыч, – с притворным участием, покачивая головой, сказал Марко Данилыч. – За анбары тоже ведь платить надо, гужевая перевозка дорога теперь, поневоле цены-то надо будет повысить. А кто станет покупать дороже базарной цены? Да еще за наличные... Не расчет, право не расчет. Дело видимое: хоть по всей России развезите – фунта никто не купит у вас.

– Купят, да как еще раскупят-то!.. С руками оторвут, – спокойно улыбаясь, сказал Меркулов.

– Как же это так? – с недоумением спросил Марко Данилыч. – Разве тайна какая?

– Нашу тайну через три либо четыре дня на фонарных столбах можно будет всякому читать... А вам, пожалуй, сию ж минуту открою ее. Вот она, – сказал Меркулов, подавая Марку Данилычу приготовленное к печати объявление о ценах. – Извольте читать.

Глазам не верит Марко Данилыч – по каждой статье цены поставлены чуть ли не в половину дешевле тех, что в тот день гребновские тузы хотели установить за чаем в рыбном трактире.

– Никак вы с ума сошли, Никита Федорыч! – вскочив со стула, вскричал Марко Данилыч. –

По миру нас хотите пустить?.. Ограбить?.. И себя разорите и нас всех!.. Хорошее ли дело с ближними так поступать?

– С какими ж это ближними, Марко Данилыч? спокойно спросил Меркулов.

– С нами, значит, со всеми с нами, с гребновскими рыбниками!.. – кричал Смолокуров.

– Не одни рыбники, Марко Данилыч, наши ближние, – отвечал Никита Федорыч, оглядывая смолокуровскую каюту.

– Да вам-то какая тут польза? – горячился Марко Данилыч. – Ведь вы и десяти копеек на рубль не получите.

– Не получим, Марко Данилыч, – отвечал Меркулов. – Мы только на пять рассчитали. По этому расчету и цены назначили. Пять процентов, право, довольно. Мы ыкдь за скорой наживой не гонимся. За границей купцы-то много побогаче нас, а довольствуются и меньше чем пятью процентами.

– Да ну ее ко псам, вашу за границу-то! – вскричал во всю мочь Марко Данилыч. – Надо вести дела по– русски, а не по-басурмански!.. А то всех разорять... грабить!..

И вдруг стих Марко Данилыч... Вдруг прояснилось мрачное лицо его. Блеснула мысль: «А не скупить ли весь караван целиком? Тогда по ихней дурости какие можно взять барыши!»

– На сколько у вас в караване-то, Никита Федорыч?.. – кротко и ласково спросил он Меркулова.

– Тысяч на триста по нашей расценке, – ответил тот.

– Покупатели предвидятся?

– Пока еще нет, – сказал Меркулов. – Приходили вчера, им и цены и условия сказали и товар показали весь без остатка. Да ведь это не настоящие покупатели, – ищейки.

– А если б кто из рыбников предложил вам купить весь караван дочиста. Продали бы? – подумавши несколько, спросил Марко Данилыч.

– Отчего ж не продать? – ответил Меркулов.

– И уступочка будет?

– Ни копейки.

– Хоть бы процентик один, – прикинувшись казанским сиротой, молвил Марко Данилыч. – Важная вещь копейка в рубле! Пустое дело, плюнуть не на что.

– Сейчас вы сами говорили, Марко Данилыч, что наши пять процентов чуть не смертный грех, а теперь хотите, чтобы мы взяли четыре, – с ясной усмешкой ответил Никита Федорыч.

– Да вы все шутите!.. Балагур эдакий!.. Ей-богу, балагур... – с веселым смехом заговорил Марко Данилыч.

– Скиньте процентик-от... Право, надобно скинуть. Меркулов и слышать не хотел об уступке. Тогда Марко Данилыч на иные штуки поднялся, говорит ему:

– Так хоша условийца-то посягчите. Третью бы долю наличными после спуска флагов вам получить, а две трети на предбудущей ярманке.

– Ни от единой буквы условий не отступим. Ни от единой буквы, – сказал Меркулов.

– Так вот что, Никита Федорыч, – молвил Марко Данилыч, подойдя к Меркулову и дружески положивши ему на плечо увесистую руку. – С батюшкой с тестем вашим, как сами знаете, старинные приятели мы.

– Нельзя, нельзя, ни по какой причине нельзя менять условий, Марко Данилыч, – решительным голосом сказал Меркулов.

– Послушайте меня, старика, почтеннейший Никита Федорыч, – продолжал Марко Данилыч, положив и другую руку на плечо Меркулова. – Хоша для того облегчите условия насчет наличных, что я завсегда любил и уважал вашу супругу Лизавету Зиновьевну. Ей-ей, любил не меньше, чем свою Дунюшку. И теперь люблю, ей-богу. Мне не верите, богу поверьте... Сделайте такое ваше одолжение – сейчас же бы заключили мы с вами условие: третью долю наличными тут же вы бы с меня получили, другую, по вашему условию, оставили бы до предбудущей ярманки, а третью потерпите месяцев шесть – на ростовской бы с вами полный расчет учинил...

– Нельзя, Марко Данилыч, никак нельзя, – сказал Меркулов. – Мы положили ни одной йоты не опускать из условий.

– Я бы особую запись дал... Неустойку назначьте... Какую хотите, такую и назначьте.

– Нельзя, Марко Данилыч.

– Хоть на месяц...

– Нельзя.

– На три недели?

– Нельзя.

– На две?

– Нельзя.

– Ден на десять?

– Нельзя, нельзя и нельзя. Марко Данилыч. Лучше и не говорите... Лучше совсем оставим это, – сказал, вставая, Меркулов. – Прощайте... Засиделся я у вас, – давно уж пора кой-куда съездить.

– Послушайте, – крепко ухватившись за руку Никиты Федорыча, задыхающимся почти голосом вскричал Смолокуров. – Хоть на три дня!.. Всего только на три деньки!.. В три-то дня ведь пятой доли товара не свезти с вашего каравана... Значит, не выйду из ваших рук... На три дня, Никита Федорыч, только на три денечка!.. Будьте милостивы, при случае сам заслужу.

Подумал Меркулов и согласился, но с тем, что ежели Смолокуров через три дня не уплатит до последней копейки всего, что следует, то условие уничтожается, и Марко Данилыч заплатит неустойку в двадцать тысяч.

Решились и поехали к маклеру писать условие.

Возвращаясь от маклера на баржу, Марко Данилыч увидал на Гребновской Белянкина. Садился тот в лодку на свою тихвинку ехать.

– Евстрат Михайлыч! Куда, друг, спешишь? – крикнул ему Смолокуров.

– До своей тихвинки, – снимая картуз и почтительно кланяясь рыбному тузу, ответил Белянкин.

– Что за спех приспел? – весело спросил у мелкой рыбной сошки тузистый рыбак Марко Данилыч.

– Самый важный спех, – шутливо отвечал Белянкин. – На всем свете больше того спеху нет – есть, сударь, хочу, обедать пора.

– Охота есть одному!.. Скучно. Айда ко мне на баржу – пообедаем вместе, чем бог послал. У меня щи знатные из свежей капусты, щец похлебаем, стерлядку в разваре съедим, барашка пожужем, винца малу толику выпьем.

– Да мне, право, как-то совестно, Марко Данилыч, – говорил Белянкин, смущенный необычной приветливостью спесивого и надменного Марка Данилыча. Прежде Смолокуров и шапки перед ним не ломал, а теперь ни с того ни с сего обедать зовет.

Схватив Белянкина за руку, Марко Данилыч без дальнейших разговоров увез его в своей косной на баржу.

За обедом рассказал Смолокуров про сделку с зятьями Доронина... Белянкин даже рот разинул от удивленья.

– Говори ты мне, Евстрат Михайлыч прямо, начистоту, безо всякой, значит, утайки, – наливая ему рюмку диковинной вишневки, сказал Смолокуров. – Сколько у тебя наличных?

– Какие у меня деньги, Марко Данилыч! – смиренно отвечал Белянкин. – Ведь я человек маленький. Есть, конечно, невелика сумма – кой-чего для дома в ярманке надо испустить... А товар еще бог знает когда продам.

– Да сколько, спрашиваю я, наличных-то теперь при тебе? – сказал Марко Данилыч.

– Тысчонки две наберется, – смиренно промолвил Белянкин.

– Хочешь третью нажать, а может, и четвертую? пристально глядя на Белянкина, спросил Смолокуров.

– Как не хотеть. Марко Данилыч, – с веселой улыбкой ответил Евстрат Михайлыч.

– Так вот что: парень ты речистый, разговоры водить мастер. Такого мне теперь и надо, – сказал Марко Данилыч. – Сегодня вечером приходи в Рыбный трактир, там будут все наши. А дело будет тебе вот какое...

И подробно рассказал, что надо Белянкину делать и что говорить.

Затея Марка Данилыча удалась вполне.

На другой день после сиденья рыбников в Рыбном трактире, чуть не на рассвете, Орошин подъехал в лодке к каравану зятьев Доронина. Ему сказали, что они еще не бывали. Спросил, где живут, и погнал извозчика на Нижний Базар. Ровно молоденький, взбежал он на лестницу Бубновской гостиницы, спрашивает Меркулова, а ежели его дома нет, так Веденеева.

– Еще почивают, – ему отвечали.

Досадно, а нечего делать. Пришлось обождать. Ему, никого выше себя не признававшему, пришлось теперь дожидаться слетышков, молокососов!.. Зато никто из рыбников раньше его с зятьями Доронина не увидится, никто лакомого кусочка не перебьет. А все-таки жутко надменному гордецу дожидаться... Да еще, пожалуй, кланяться придется им, упрашивать. Что делать? Выпадет случай – и свинье в ножки поклонисься.

Ходит по гостинице Онисим Самойлыч, а сам так и лютует. Чаю спросил, чтоб без дела взад и вперед не бродить. Полусонный половой подал чайный прибор и, принимая Орошина за какую-нибудь дрянь, уселся по другую сторону столика, где Онисим Самойлыч принялся было чай распивать. Положив руки на стол, склонил половой на них сонную голову и тотчас захрапел. Взорвало Орошина, толкнул он полового, крикнул на всю гостиницу:

– Нет, что ли, тебе другого-то места?

– А ты, брат, не больно толкайся, – нахально отвечал половой.

Вскочил Орошин, схватил его за шиворот и прочь отпихнул.

– Мотри ты, проходимец! – закричал ярославец. Тронь – ка еще, попробуй. Половины зубов не досчитаешься.

Онисим Самойлыч вышел из себя, поднял палку. Быть бы непременно побоищу, если б вошедший приказчик Доронина не сказал, что господа проснулись.

Бросил Орошин деньги за чай, молча погрозил палкой половому и пошел вслед за приказчиком.

Встретил его Веденеев. Онисим Самойлыч не видал его с того вечера, как у них в Рыбном трактире вышла маленькая схватка из-за письма о тюлене.

– Онисим Самойлыч!.. – приветливо встретил его Дмитрий Петрович. – Какими судьбами?.. Да еще в такую рань?.. Садитесь, пожалуйста... Чаю скорее! – прибавил он, обращаясь к приведшему Орошина приказчику.

Угрюмо и мрачно молчал Онисим Самойлыч. Маленькие, хитрые глазки его так и прыгали. Помолчав, напрямки повел он речь к Веденееву.

– Наслышан я, Дмитрий Петрович, что вы на свой товар цены в объявку пустили. Нахожу для себя их подходящими. И о том наслышан, что желаете вы две трети уплаты теперь же наличными получить. Я бы у вас весь караван купил. Да чтоб не тянуть останной уплаты до будущей ярманки, сейчас же бы отдал все деньги сполна... Вот извольте – тут на триста тысяч билет. Только бы мне желательно, чтобы вы сейчас же поехали со мной в маклерскую, потому что мне неотложная надобность завтра дён на десяток в Москву отлучиться.

– Не можем вам продать, Онисим Самойлыч, – пожал плечами, сказал Веденеев.

– Отчего ж это? – повысив голос, промолвил озадаченный Орошин.

– Все продано, – отвечал Дмитрий Петрович.

– Как?.. Кому?.. Да когда ж это успели? – вскочив со стула, заговорил Онисим Самойлыч, и голос его задрожал от волнения.

– Вчера подписано условие, и деньги получены.

– Да кому? Кому? я спрашиваю. Целый караван!.. Нет такого человека в ярманке, чтобы мог все купить... Кто, говорю, купил, кто?

– Кому ни продано, Онисим Самойлыч, Сидору ли, Карпу ли, не все ли равно? – отвечал, улыбаясь, Дмитрий Петрович.

– Тайности, что ли, какие тут у вас?.. Сказывайте – ведь все одно, не сегодня так завтра узнается, – задышающимся от злобы голосом вскричал Орошин.

– Никаких тайностей у нас нет, да и быть их не может. Мы со свояком ведем дела в откры-

тую, начистоту. Скрывать нам нечего, – молвил Дмитрий Петрович. – А если уж вам очень хочется узнать, кому достался наш караван, так я, пожалуй, скажу – Марку Данилычу Смолокурову.

– Черт!.. Дьявол!.. Издохнуть бы ему! – неистово вскрикнул Онисим Самойлыч, хватив изо всей мочи кулаком по столу. Схватил картуз и, надев его в комнате, кивнул головой Веденееву и вон побежал.

– Чайку-то, Онисим Самойлыч? – сказал ему вслед Дмитрий Петрович, увидя приказчика, вошедшего с чайным прибором.

– Ну его к черту! – крикнул взбешенный Орошин и скрылся.

Только что проснулся Марко Данилыч, опрометью вскочил с постели и, богу не молясь, чаю не напившись, неумывкой поспешил ко вчерашним собеседникам. К первому Белянкину подъехал в косной. Тот еще не просыпался, но племянник его, увидав такого важного гостя, стремглав бросился в казенку дядю будить. Минуты через две, протирая глаза и пошатываясь спросонья, Евстрат Михайлыч стоял перед козырным тузом Гребновской пристани.

– Здорово, дружище, – протягивая ему руку, молвил Марко Данилыч. – Спасибо за вчерашнее. Ловко сварганил, надо тебе чести приписать. Заслушался даже я, как ты пошел валять. Зато и мной вполне останешься доволен. Пойдем в казенку, потолкуем.

Белянкин повел гостя в грязную, неприглядную казенку. Все там было невзрачно и неряшливо: у одной стены стояла неприбранная постель, на ней, весь в пуху, дубленый тулуп; у другой стены хромой на трех ножках стол и на нем давно не чищенный и совсем почти позеленевший самовар, немытые чашки, растрепанные счетные книги, засиженные мухами счеты, засохшие корки калача и решетного хлеба, порожние полуштофы и косушки; тут же и приготовленное в портомойню грязное белье. Обмахнув полый совсем почти развалившийся деревянный некрашенный стул, Белянкин просил присесть Марка Данилыча.

Присел тот. Предложил было ему Белянкин чайку напиться, но Марко Данилыч наотрез отказался, хоть и говаривал: «От чаю, от сахару отказов у меня нет».

– На дне тысячи подписал? – спросил он.

– Точно так, Марко Данилыч, – отвечал Белянкин.

– Давай.

Замялась мелкая сошка. Сам ни слова, только вздыхает да суется из угла в угол.

– Чего стал? Не ждать мне тебя! – нахмутив брови и повышая голос, сказал Марко Данилыч.

– Да я, ей-богу... Марко Данилыч... не знаю... Сами изволите знать... в смерти и в животе бог волен, робко заговорил Белянкин, увидав, что Смолокуров даже побагровел от досады.

– Что еще тут? – крикнул тот. – Деньги!.. Не задерживай!.. Много вас, надо ко всем поспеть.

– Да помилуйте, Марко Данилыч, тут ведь весь мой наличный капитал...дрожа от робости, чуть слышно проговорил Белянкин.

– Украду, что ль, я твои две тыщонки? – вскинулся на него Марко Данилыч. – Зажилю?.. Сегодня вечером получай товаром, а теперь – не смей задерживать!

– В смерти и животе бог волен...– шептал Белянкин.

– Да говори толком, чего тебе надо?.. – зарычал Марко Данилыч. Белянкин в угол со страха прижался.

– Векселек... потому в смерти и животе...– забормотал он, а сам ровно в лихорадке трясется.

– Дураком родился, дураком и помрешь, – грозно вскрикнул Марко Данилыч и плюнул чуть не в самого Белянкина. – Что ж, с каждым из вас к маклеру мне ездить?.. Вашего брата целая орава – одним днем со всеми не управись... Ведь вот какие в вас душонки-то сидят... Им делаешь добро, рубль на рубль представляешь, а они: «Векселек!..» Честно, по-твоему, благородно?.. Давай бумаги да чернил, расписку напишу, а ты по ней хоть сейчас товаром получай. Яви приказчику на караване и бери с богом свою долю.

Покорно исполнил Белянкин приказанье Марко Данилыча. Смолокуров стал писать, выговаривая вслух каждое слово:

– Предъявителю сего... Перо-то анафемское какое! вовсе не пишет... приказа... По Костроме, что ли, в гильдии-то?

– По Парфентьеву посаду, подати там маленько полегче, – перебирая пальцами, отвечал Бе-

лянкин.

– Парфентьева посада... купцу... По которой гильдии пинешься?

– По третьей, Марко Данилыч, мы ведь люди маленькие, чуть концы с концами сводим, – плаксиво проговорил Белянкин.

– Третьей гильдии... Евстрату Михайлову, сыну... Белянкину... отпустить под собственноручную... его расписку без промедления!.. Видишь, какие тебе милости: «без промедления»... Из купленного мною от господ Меркулова и Веденеева... рыбного... каравана, следующее... Сказывай, что требуется.

Белянкин стал говорить, а Марко Данилыч писал. Наконец, приказ был подписан, и Евстрат Михайлыч обменялся двумя тысячами на тот приказ со Смолокуровым.

– Прощай, Евстрат Михайлыч, – сказал Марко Данилыч, выходя спешными шагами из казенки. – Разживайся с моей легкой руки! А это, брат, не похвально, что мне не доверяешь.

Целый почти день разъезжал Марко Данилыч взад и вперед по Гребновской, а все-таки подписных денег не собрал. И Седов и Сусалин только половину отдали, а их подписки были самые крупные.

Посчитал собранные деньги Марко Данилыч, тридцати тысяч нет. Что делать, как извернуться? В банке заложить товар, да когда-то еще из банка-то приедут его смотреть, а деньги нужны через двое суток. Поехал по должникам – шестьдесят тысяч должны были они ему выплатить, но до срока платежа еще месяц оставался. Христом богом просит, молит их, кланяется, унижается, чуть не плачет и всеми святыми заклинает поплатиться раньше срока. Пошел даже на скидки было – пять, потом десять копеек с рубля скидывал, только ради господ уплатите хоть часть...

И рады бы должники на такую сделку идти, да ни у кого нет в сборе наличных. Пустились должники рыскать по ярманке денег искать, нашли самую малость. Ярманка была безденежная, только что начиналась, платежей никто еще не получал, свободных денег ни у кого не было. Измучился Марко Данилыч, измучились и должники его, а все-таки доставало на расплату с зятьями Доронина.

На другой день рано поутру подплыл Марко Данилыч к доронинскому каравану и крикнул громким голосом: – Есть ли из хозяев кто?

– Есть, – отвечал с палубы рабочий.

– Который?

– Дмитрий Петрович.

«Этот помягче будет, скорей Меркулова даст отсрочку, – подумал Марко Данилыч. – Он же, поди, не забыл, как мы в прошлом году кантовали с ним на ярманке, и ужинали, бывало, вместе, и по реке катались, разок согрелись – в театр съездили... Обласкан был он у меня... Даст, чай, вздохнуть, согласится на маленькую отсрочку!.. Ох, вынеси, господи!» – сказал он сам про себя, взлезая на палубу.

А на барже снял шапку и три раза набожно перекрестился.

В просторной каюте, по убранству во всем походившей на торговую контору, Веденеев встретил радушно Марко Данилыча.

– Сколько лет, сколько зим! Как поживаете? Авдотья Марковна как в своем здоровье?

И засыпал Марка Данилыча вопросами, усадил его в мягкое кресло, чаю подать приказал, любезен был с гостем, как нельзя больше.

Отлегло от души у Марка Данилыча. «С этим, бог даст, сладим», – подумал он.

– Так вы нашим покупателем стали, Марко Данилыч, – подавая стакан лянсина, с веселой улыбкой сказал Веденеев. – Да еще покупатель-от какой?.. Главный... единственный даже!..

– Привел господь и с вами, Дмитрий Петрович, делишки завести, – потирая руки, отвечал Марко Данилыч. – Напредки просим не оставить. А я ото всей души и во всякое время желаю вашим покупателем быть... Условийца только стеснительны. Так я думаю, что, сколько ни стоит Макарьевская ярманка, таких условий на ней никогда не бывало...

– Чем же тяжелы-то? – спросил Веденеев.

– Как же? Помилуйте! Слыхано ль по всей нашей коммерции, чтобы две трети платежа наличными сейчас на стол выкладывать? – сказал Смолокуров.

– А слыхано ли, Марко Данилыч, чтобы рыбу где-нибудь так дешево покупали? – молвил Веденеев.

– Это расчет особливый, Дмитрий Петрович. В цене хозяин волен, а в торговых порядках ему воли нет, – заметил Марко Данилыч.

– Дело добровольное: хотите берите, не хотите – просить не станем, – с улыбкой молвил Веденеев.

– Конечно, в этом спору быть не может, – сильно нахмурясь, отозвался Марко Данилыч. – Только послушайте вы меня, Дмитрий Петрович. Жизнь моя, вы сами знаете, не коротенькая. Чего, живучи на свете, не навидался я, вот уж именно, как пословица молвится: «И в людях живал, и топор на ногу обувал, и топорищем подпоясывался». Так я, по моей старости и опытности, скажу вам, Дмитрий Петрович: старые обычаи проставлять не годится – наши отцы, деды, прадеды не глупее нас с вами были, а заведенных порядков держались крепко. С умом, значит, делали. И по писанию выходит то же. Сказано: «Горе народу, иже отеческая предания преставляет». Где, сударь Дмитрий Петрович, новизна, там и кривизна. Поверьте мне – недаром дожил я до седых волос.

– Да нельзя же ведь, Марко Данилыч, и старым-то одним жить, – сказал Веденеев. – Времена и лета переходчивы. Что встарь бывало хорошо, то в нови зачастую никуда не годится.

– А все-таки не след ломать старое, – молвил Марко Данилыч. – Крой новый кафтан, да к старому почаще прикидывай, а то, пожалуй, не впору сошьешь.

Ничего на то не ответил Веденеев. Смолокуров меж тем вынул узелок из кармана, развязал его и подал пачки ассигнаций.

– Должок припас, – сказал он. – Извольте сосчитать и расписочку, как водится.

– Какой вы поспешный! – улыбнувшись, молвил Веденеев. – Срок-от ведь завтра еще...

– Не опоздано, значит, – сказал Марко Данилыч, смакуя лянсин. – Чаек-от новый, видно, купили? – спросил он.

– Где ж еще нового теперь достать? – развязывая пачки, сказал Дмитрий Петрович. – У кяхтинских дела еще не начинались. Это прошлогодний чай, а недурен; нынешний, говорят, будет поплоче, а все-таки дороже.

Не слышал, – промолвил Марко Данилыч и снова принялся за стакан. Веденеев продолжал деньги считать.

– Семьдесят пять тысяч? – сказал Дмитрий Петрович, вопросительно посмотрев на Смолокурова.

– Семьдесят пять, – подтвердил тот.

– Двадцать пять завтра додадите?

Постараюсь, – сказал Марко Данилыч, – Признаться, и наличности таких денег теперь при себе не имею, да не знаю, буду ли и завтра иметь, – дружески улыбаясь, прибавил он. – Теперича не то что двадцати пяти тысяч – ста рублей во всей ярманке не сыщете на самый короткий срок. Такое безденежье, что просто хоть волком вой...

– Да, – сказал Веденеев. – Денег на ярманке в самом деле недостаточно.

– Так я уж вам векселя принес, – кладя на стол три векселя, сказал Смолокуров. – Водопьянова на десять тысяч. Столбова на пять, Сумбатова на пять. Останные пять тысяч до спуска флагов, пожалуйста, обождите.

Взглянул Веденеев на векселя и сказал Смолокурову:

– Мы с Никитой Федорычем решили вести дела безо всякого кредита, на чистые. Сами не будем векселей давать и от других не станем брать. Спора нет, эти векселя надежные – и Столбов и Сумбатов люди крепкие, об Василье Васильиче Водопьянове и говорить нечего, да ведь уплата-то по их векселям после спуска флагов.

– Да как же вы с меня-то на сто тысяч векселей получили?... -прищулив правый глаз, спросил с усмешкой Марко Данилыч.

– Ошиблись. В другой раз не будет этого, – сказал Веденеев. – Если б знали мы, что на другой же день, как с вами мы покончили, явится другой покупатель и все триста тысяч наличными на стол выложит, не так бы распорядились, не согласились бы отдать вам третью долю товара на векселя...

Побагровел Марко Данилыч. Спрашивает Веденеева:

– Кто ж это был у вас?.. Триста тысяч разом на стол!.. Шутка сказать!.. При таком безденежье!.. Кует, что ли, он деньги-то?!

– Орошин, Онисим Самойлыч, – отвечал Веденеев.

– Так и есть, – проворчал под нос Смолокуров и, в досаде вскочив со стула, прошелся раза три взад и вперед по каюте.

Потом остановился и, закинув руки за спину, сказал Веденееву:

– Так как же у нас будет, Дмитрий Петрович?

– Завтра ровно в полдни будем ждать вас с полной уплатой, – с равнодушным спокойствием отвечал Веденеев.

– Надо обождать, Дмитрий Петрович, – перебирая пальцами, сказал Смолокуров.

– Нельзя. На то условие. А в нем что? Извольте-ка посмотреть.

И, вынув условие, прочел:

– «По уплате всей суммы сполна, я, Смолокуров, немедленно вступаю во владение купленным у нас, Меркулова и Веденеева, товаром, если же паче чаяния вся сумма сполна мною, Смолокуровым, к назначенному сроку уплачена не будет, условие сие уничтожается, причем мы, Меркулов и Веденеев, повинны уплатить мне, Смолокурову, деньги с меня ими полученные немедленно за вычетом двадцати тысяч неустойки».

Холодный пот выступил на широком, совсем побагровевшем лице Марка Данилыча. Так и растерзал бы он в ту минуту на клочки Орошина.

– Кстати, – сказал Веденеев. – Приходили к нам на караван кой-кто из рыбаков с вашими приказами насчет рыбы. Им не отпустили.

Отчего ж так?.. – весь вспыхнувши, воскликнул Марко Данилыч. – Нешто я ста тысяч рублей вам не выдал?.. На что ж это похоже, сударь мой?..

– А в условии-то, Марко Данилыч, что написано? – хладнокровно отвечал Веденеев раскипятившемуся Смолокурову. – Извольте-ка читать: «По уплате же всей суммы сполна, согласно сему условию, я, Смолокуров, вступаю во владение товаром». Значит, как отдадите вторые сто тысяч сполна, тогда и будете хозяином купленной вами товара, а до тех пор хозяева мы.

– Да вам бы почтеннейший Дмитрий Петрович, ей-огу, не грешно было по-дружески со мной обойтись, – мягко и вкрадчиво заговорил Смолокуров. – Хоть попомнили бы, как мы с вами в прошлом году дружелюбно жили здесь, у Макарья. Опять же ввек не забуду я вашей милости, как вы меня от больших убытков избавили, – помните, показали и Рыбном трактире письмо из Петербурга. Завсегда помню ваше благодеяние и во всякое время желаю заслужить...

– В деле я не один, Марко Данилыч. Со мной Никита Федорыч, – сказал Веденеев.

Передернуло Смолокурова. Вспомнил, как хотел он в прошлом году Меркулова на тюлене разорить... Однако не смутился.

– Вот вам расписка в семидесяти пяти тысячах рублей, а двадцать пять тысяч ожидаем завтра в полдень, сказал Дмитрий Петрович, написавши расписку и подавая ее Смолокурову.

– А ежели не исправлюсь? – спросил Марко Данилыч.

– Тогда будет нарушено условие. За вычетом неустойки, тогда вы сто пятьдесят пять тысяч и векселя обратно получите, а мы весь караван продадим Онисиму Самойлычу. Он и вчера вечером и сегодня чем свет присылал разведать, совсем ли мы покончили с вами, – сказал Дмитрий Петрович.

– Так не будет милости? – сумрачно спросил Смолокуров.

– Что за милости?.. Помилуйте, Марко Данилыч! – сказал Веденеев.

– В таком разе просим прощенья, – сказал Смолокуров и поспешно ушел.

Ругает мысленно Марко Данилыч Веденеева за его несговорчивость, злобится на Орошина, что того и гляди выхватит он у него из рук выгодное дело, такое, какого на Гребновской никогда еще не бывало, а пуще всего свирепеет на Седова, на Сусалина и других рыбаков, что не дали ему столько денег, на сколько подписались. Не правит и себя Марко Данилыч, досадует и на себя, сам с собой рассуждая. «Как это я обмишурился?.. На такое условие согласился. Заживо гроб себе сколотил... отдал себя своей волей недругам... Конечно – не уганешь (Вместо „угадаешь“.), где

упадешь, где потонешь, на всяк час ума не напасешься, а все-таки обидно... Молокососы, слетышки старого воробья объехали!.. Видно, стар становлюсь... Одурел годами – пустобородые мальчишки травленного волка загнали в тенёта».

А тут как нарочно Седов. Пищит Иван Ермолаич на всю Гребновскую, обманщиком, мошенником Марка Данилыча обзывает.

– Чужой товар облыжно за свой выдавать!.. Обманом денежки вытягивать из нас!.. Вот твой приказ! – смеются только над ним. Бери его, а деньги назад подавай, не то в полицию.

Сусалин тоже подходит, ругается, в драку лезет даже. И другие рыбники собираются и все с яростью кидаются на Марка Данилыча. Один Белянкин стоит одаль. Сам ни слова, а слезы дрожат на ресницах: «Пропали кровные, годами нажитые денежки!» Такую горькую думу он думает.

Закричал во всю мочь Марко Данилыч на рыбников:

– Эй вы, остолопы!.. Черти этикие!.. Дичь необразованная!.. Чего попусту горла-то дерете? Слушай, что хочу говорить!

Полюбились ли, не полюбились ли рыбникам такие речи Марка Данилыча, их надо спросить, но своего он добился. Без ругани, без крика, без шума выслушали его рыбники. А сказал он им вот что:

– Глядите: вот расписка в моих ста тысячах, что внес третьего дня. Вот расписка в семьдесят пять тысяч рублей, что с вас собрал. Двадцати пяти тысяч не хватает, а завтра в полдень надо их уплатить. Есть у меня довольно векселей – смотрите – люди верные: Водопьянов, Столбов, Сумбатов, а Веденеев за грош их не принимает. А ежели завтра к полудням останных двадцати пяти тысяч ему не уплачу – все пиши пропало. Орошин перебьет – он им сполна триста тысяч на стол кладет...

И ежели мы завтра всех денег не внесем – убыток всем... Орошин рыбным делом завладеет и каждого из нас под свой ноготь подогнет... То-то будет издеваться над вами!.. То-то заважничает!.. Да и покупатели и сторонние люди вдоволь над вами насмеются!.. Хотите того?.. Аль неохотп сраму принимать?

Крики осиплых голосов, вопли, гам, даже дикие завыванья раздались по Гребновской. Ругательства, проклятья, угрозы, стоны и оханья с каждой минутой усиливались...

– Да что ж вы, ровно псы, воете только да лаетесь? Путного слова, видно, от вас не дожидаться? – в источник голос закричал Марко Данилыч и покрыл все голоса. Хотите барышей, так нечего галдеть, – двадцать пять тысяч где хотите добывайте, а если вам барыши нипочем, в таком разе орите, ругайтесь, покамест печенка не лопнула... А если жалко заведенного дела, ежели неохота верных барышей смердящему псу Орошину под хвост метать – так нечего тут галдеть...

Хоть из земли копайте, а завтра к полудню двадцать пять тысяч чтоб были у меня в руках... Вот вам векселя на Водопьянова, на Столбова, на Сумбатова... Давайте за них чистоганом, а я на вас векселя переведу... Чого еще вам?.. Тут главное дело, чтоб треклятого Орошина одурачить... Не то он, пес треклятый, и барыши-то один заграбастает и всем делом на Гребновской завладеет, а вдобавок надо всеми над вами насмеется: «Было, дескать, у собачонок мяско во рту, да проглотить щенкам не довелось». А щенки-то кто? Вы, вы, гребновские рыбники.

Примолкли рыбники – кто чешет в затылке, кто бороду гладит. Будто и не бывало в них ни ярости, ни злобы на Марка Данилыча. Тузы молчали, призадумавшись, но из мелкой сошки иные еще покрикивали.

– Отчего ж нам по твоим распискам не выдают товару?

– Так поди вот с ними толкуй! – кротким обиженным голосом, вздохнув даже от глубины души, отвечал Марко Данилыч. – Тогда, говорит Веденеев, будешь хозяином в караване, когда все до копейки заплатишь.

– С чего ж они, бесовы угодники, взбеленились? Сроду на Гребновской так не водилось, – кричала мелкая сошка, кроме Белянкина. Тот молча столбом стоял.

– Поди вот с ним!.. – говорил Марко Данилыч. Сколько ни упрасивал, сколько ни уговаривал, – все одно что к стене горох. Сам не знаю, как теперь быть. Ежели сегодня двадцати пяти тысяч не добудем – все пойдет прахом, а Орошин цены какие захочет, такие и уставит, потому будет он тогда сила, и мы все с первого до последнего в ножки ему тогда кланяйся, милости у него про-

си. Захочет миловать – помилует, не захочет – хоть в гроб ложись.

Приздумалась и мелкая сошка. Стали рыбники советоваться.

– Что же нам делать теперь? – пропищал, наконец, Седов Марку Данилычу.

– Двадцать пять тысяч добыть! Вот что надо делать! – сказал Марко Данилыч. – Берите мои векселя на Водопьянова, на Столбова, на Сумбатову. Останные пять тысяч собирайте, как знаете... Что?.. И на пять-то тысяч силенки не хватит?.. А еще торговцы гребновские!.. Мочалка вы поганая, а не торговцы – вот что!.. На Гребновской у всех миллиона на три рыбных товаров стоит, а плевых пяти тысяч достать не могут!.. Эх, вы!.. Не рыбой бы вам торговать, а лапти плести – да и на тот промысел вряд ли сгодитесь! Была бы поближе Москва, я бы и слова не молвил, там в ломбарде у меня много побольше трехсот тысяч лежит... Да как их к завтраму доспеешь? А Веденеев ни векселями, ни билетами не берет.

Толковали, толковали рыбники. Наконец, Седов, Сусалин и еще двое-трое согласились купить векселя у Марка Данилыча и тут же деньги ему выложили. А пяти тысяч все-таки нет.

В Рыбный трактир пошли. Там за московской селянкой да за подовыми пирогами сладили дело.

Чуть свет на другой день кинулись к ростовщикам. Этого народу у Макарья всегда бывает довольно. Под залог чего ни попало добыли пять тысяч.

К полудню опять собрались на Гребновской. Шумно вели разговоры и, когда Марко Данилыч поплыл к доронинскому каравану, молча, с напряженным вниманием следили за ним, пока не спустился он в каюту.

И Онисим Самойлыч тоже глядел со своей палубы. Невольно сжимались у него кулаки.

Мало погода показался Марко Данилыч. Весело махнул он картузом рыбникам. У всех нахмуренные лица прояснились.

Волком взглянул на них Орошин, плюнул и тихо спустился в свою каюту.

Весел, радостен Марко Данилыч по своей каюте похаживает. Хоть и пришлось ему без малого половину дешевой покупки уступить товарищам, а все ж таки остался он самым сильным рыбником на всей Гребновской. Установил по своему хотенью цены и на рыбу, и на икру, и на клей, и на тюленя. Властвовал на пристани, и, как ни вертелся Орошин, должен был подчиниться недругу.

«Верных семьдесят тысяч, не той побольше, будет мне припену от этой покупки, – размышляет Марко Данилыч. – Дураки же, да какие еще дураки пустобородые зятья Доронина!.. Сколько денег зря упустили, все одно что в печке сожгли. Вот они и торговцы на новый лад!.. Вот и новые порядки!.. Бить-то вас некому!.. Да пускай их, – у Дунюшки теперь лишних семьдесят тысяч – это главное дело!»

С Сусалиным встретился. Тот говорит:

– Слышал, Марко Данилыч, новости какие? Меркулов да Веденеев только что получили наши деньги, в другую коммерцию пустились. Красный товар закупают и все без кредита, на чистоган. А товар все такой, что к киргизам да к калмыкам идет – красные плисы, позументы, бахту, бязь и разное другое по этой же самой части.

– Рыбой, видно, не хотят промышлять, – с насмешливой улыбкой молвил Марко Данилыч.

– Кто их знает, – сказал Сусалин. – Только слышал я от верного человека, что красного товара они тысяч на двести накупили и завтра, слышь, хотят на баржу грузить, да и на Низ.

В самом деле, Меркулов с Веденеевым на вырученные деньги тотчас накупили азиатских товаров, а потом быстро распродали их за наличные калмыкам и по киргизской степи и в какие-нибудь три месяца оборотили свой капитал. Вырученные деньги в степях же остались – там накупили они пушного товара, всякого сырья, а к рождеству распродали скупленное по заводам. Значит, еще оборот.

А рыбники над ними смеются да потешаются. «Всякой всячиной зачали торговать, – говорят они. – Обожди маленько – избоиной, пареной репой да грушевым квасом зачнут торговлю вести». Но по скорости зятьев Доронина считали в двух миллионах, опричь того, что получают они после тестя.

Чего ни хотелось Марку Данилычу – все исполнилось. Рыбой в том году торговали бойко, к Ивану Постному на Гребновской все до последнего фунта было раскуплено, и, кроме того, сделаны были большие заказы на будущий год. Покончив так удачно дела, Смолокуров домой собрался, а оттуда думал в Луповицы за дочерью ехать. Сильно соскучился он по Дуне, совсем истосковался, и во сне и наяву только у него и дум, что про нее. Ходит по лавкам, покупает ей гостинцы – бриллианты, жемчуга, дорогую шубу чернобурой лисицы и другие подарки... "Все годится на приданое..."

Ох, поскорей бы оно понадобилось!.. Тогда бы много забот у меня с плеч долой", – думает он. Марье Ивановне в благодарность за Дуню тоже хорошую шубу купил: «Совсем исправился, завтра домой», – решил он, наконец, и стал укладываться.

Тут только вспомнил он про брата полоняника да про татарина Субханкулова. В ярманочных хлопотах они совсем у него из ума и памяти вон, а ежели когда и вспоминал о Мокее, так каждый раз откладывал в долгий ящик – «успею да успею». Так дело и затянулось до самого отъезда.

«Надо будет повидать татарина, – подумал Марко Данилыч, укладывая дорогие подарки, купленные для Дуни. – Дорого запросит, собака!.. Хлябин говорит, меньше тысячи целковых нельзя!.. Шутка сказать!.. На улице не подымешь!.. Лучше бы на эту тысячу еще что-нибудь Дунюшке купить. Ну, да так уж и быть – пойду искать Махметку».

В темном углу каюты стоял у него небольшой деревянный ящик, весь закиданный хламом. Открыв его, Марко Данилыч вынул бутылку вишневки и сунул ее в карман своей сибирки. Отправляясь на ярманку, вспомнил он, как выходец из полону Хлябин сказывал ему, что Махмет Субханкулов русской наливкой поит царя хивинского, потому на всякий случай и велел уложить в дорогу три дюжины бутылок. А вишневку у Смолокурова Дарья Сергеевна такую делала, что подобной по другим местам и днем с огнем не сыщешь. В надежде соблазнить ею татарина, Марко Данилыч тихим, ровным шагом пошел с Гребновской в казенный гостинный двор.

Там в Бухарском ряду скоро отыскал он лавку Субханкулова. Богатый, именитый татарин, почитавшийся потомком Тамерлана, был тоже на отъезде. Перед лавкой стояло десятка полтора роспусков (Дроги для возки клади.) для отвоза товара на пристань, лавка заставлена была тюками. Человек шесть либо семь сергачских татар, сильных, крепких, с широкими плечами и голыми жилистыми руками упаковывали макарьевские товары, накупленные Субханкуловым для развоза по Бухаре, Хиве, киргизским степям. Другие татары, слегка побрякивая, перетаскивали на богатырских спинах заделанные тюки на роспуски. Возни было много, но не было ни шума, ни криков, ни ругани, столь обычных в ярманочных лавках русских торговцев, когда у них грузят или выгружают товары.

В стороне, в углу, за грязным деревянным столиком сидел татарин в полинялом, засаленном архалуке из аладжи и всем распоряжался. По сторонам сидело еще двое татар приказчиков; один что-то записывал в толстую засаленную книгу, другой клал на счетах.

Пробираясь между тюками, подошел Марко Данилыч к старому татарину и, немножко приподняв картуз, сказал ему:

– Мне бы хозяина надо повидать.

– Махмет Бактемирыч наверх пошла. У палатка, – отвечал татарин, оглянув с ног до головы Смолокурова. – Айда наверх!

Вошел Марко Данилыч наверх в домашнее помещение Субханкулова. И там короба да тюки, готовые к отправке. За легкой перегородкой, с растворенной дверью, сидел сам бай (бай – богат, сильный, влиятельный человек.) Махмет Бактемирыч. Был он в архалуке из тармаламы, с толстой золотой часовой цепочкой по борту; на голове сияла золотом и бирюзами расшитая тюбетейка, и чуть не на каждом пальце было по дороговому перстню. Из себя Субханкулов был широк в плечах и дороден, имел важный вид крупного богача.

Широкое, скулистое его лицо было как в масле, а узенькие, черные, быстро бегавшие глазки изобличали человека хитрого, умного и такого плута, каких на свете мало бывает. Бай сидел на

низеньких нарах, крытых персидским ковром и подушками в полуселковых чехлах. Перед ним на столе стоял кунган с горячей водой, чайник, банка с вареньем и принесенные из татарской харчевни кабартма, куштыли и баурсак (Татарские печенья к чаю: кибиртма вроде наших пышек, куштыли – то же, что у нас хворосты или розаны; баурсак – куски пшеничного теста, варенные в масле.). Бай завтракал.

– Сала маликам (Вместо эсслями алейкум – обыкновенное татарское приветствие при встрече, то же, что наше «здравствуй»). Алейкум селям – ответное приветствие.), Махмет Бактемирыч! – сказал Марко Данилыч, подходя к Субханкулову и протягивая ему руку.

– Алейкум селям, знаком! (Татары всякого и преимущественно незнакомых обыкновенно зовут «знаком».) – обеими руками принимая руку Смолокурова и слегка приподнимаясь на нарах, отвечал Субханкулов. – Как зовут?

– А я буду купец Смолокуров, Марко Данилыч, рыбой в Астрахани и по всему Низовью промышляем. И на море у нас свои ватаги есть. Сюда, к Макарью, рыбу вожу продавать.

Кивнул Субханкулов головой и стал пристально разглядывать Марка Данилыча, но в ответ не сказал ему ни слова.

– Дельце у меня есть до тебя, Махмет Бактемирыч, – помолчав немножко, заговорил Марко Данилыч. – Покалякать с тобой надо.

– Караша садийсь, калякай, – сказал Субханкулов, подвигаясь на нарах и давая место Марку Данилычу. Чай пить хочешь?

– Чашечку, пожалуй, хлебну, – сказал Смолокуров.

Тяжело поднявшись с нар, Субханкулов подошел к стоявшему в углу шкапчику, отпер его, достал чайную чашку и, повернув назад голову, с масляной, широкой улыбкой молвил через плечо Марку Данилычу:

– Арыш-маи хочешь?

– Какой такой арыш? – не понимая слов бая, спросил Смолокуров.

– Ржано масло, – по-русски пояснил Махмет Бактемирыч и, чтоб гостю было еще понятней, вынул из шкапчика бутылку со сладкой водкой и показал ее Марку Данилычу.

Улыбнулся Марко Данилыч и сказал, что не прочь от рюмочки ржаного масла.

Заварив свежего чаю, Субханкулов налил две рюмки водки и поставил одну перед гостем.

– Хватым! – тряхнув головой и принимаясь за рюмку, сказал веселый бай Марку Данилычу.

Выпили. Махмет Бактемирыч пододвинул к гостю тарелку с кабартмой, говоря:

– Кусай, кусай. Караша.

– А нешто можно это тебе употреблять, Махметушка? – с усмешкой молвил Марко Данилыч, показывая на водку. – Кажись бы, по вашему татарскому закону не следовало.

– Закон вина не велит, – сказал бай, так прищурившись, что совсем не стало видно узеньких глазок его. Вино не велит; «арыш-маи» можна. Вот тебе чай, кусай, караша, три рубля фунт.

Принялся за чай Марко Данилыч, а Субханкулов, развалился на подушках, сказал ему:

– Калякай, Марка Данылыш, калякай!

Откашлянулся Марко Данилыч и стал рассказывать про свое дело, но не сразу заговорил о полоняннике, а издалёка повел разговор.

– В Оренбурге проживаешь? – спросил он.

– Аранбург, так – Аранбург, – отвечал бай. Перва гильдя купса, три мендаль на шея, – с важностью отвечал татарин.

– А торговлю, слышал я, в степях больше ведешь? – продолжал Марко Данилыч.

– Киргизка степа торгум, Бухара торгум, Кокан торгум, Хива торгум, везде торгум, – с важностью молвил татарин и, подвигая к Марку Данилычу тарелку с куштыли, ласково промолвил: – кусай, куштыли. Марка Данылыш, – болна караша.

– Так впрямь и в Хиве торгуешь? – сказал Смолокуров. – Далеко, слышь, это Хивинско-то царство.

– Далека, болна далека, – отвечал бай. – С Макар на Астрахань дорога знашь?

– Как не знать? Хорошо знаю, – сказал Марко Данилыч.

– Два дорога, три дорога, четыре дорога – Хива, сказал Субханкулов, пригибая палец за

пальцем правой руки.

– Ой-ой какая даль! – покачав головой, отозвался Марко Данилыч. – А правду ль говорят, Махметушка, что в Хивинском царстве наши русские полоняники есть?

– Минога есть, очинна минога на Хива русска кул Кул – (раб.), даволна минога ест, – сказал Субханкулов.

– Что ж? Так им и нет возврата? – спросил Марко Данилыч.

– Не можна... Ни-ни! – жмуря глаза и трясая головой, сказал Субханкулов. – Кул бегял – бай ловил, кулу – так. И чтоб пояснить Марку Данилычу, что значит «так», стукнул себя по затылку ребром ручной кисти.

– А выкупить можно? – немного помолчав, спросил Марко Данилыч.

– Можна, очинна можна, – отвечал Субханкулов. Я болна много купал, очинна доволна. Наш ампаратар золоту мендаль с парсуной (Парсуна – персона, царский портрет.) давал, красна лента на шея. Гляди!

И, вынув из шкапчика золотую медаль на аннинской ленте, показал ее Марку Данилычу

– А как цена за русского полоняника? – спросил Марко Данилыч, разглядывая медаль и не поднимая глаз на Субханкулова.

– Разна цена – болша бывает, мала бывает, – ответил Субханкулов. – Караша кул – миног деньга, худа кул – мала деньга.

– У меня бы до тебя была просьбица, Махметушка, хотелось бы мне одного полоняника высвободить из Хивы... Не возьмешься ли?..

– Можна, болна можна, – сказал бай, и узенькие его глазки, чуя добычу, вспыхнули. – А ты куштаначи (Куштанач – гостинец.) кусай. Марка Данылыш, кусай – вот тебе баурсак, кусай – караша. Друга рюмка арыш-маи кусай!..

И, налив две рюмки водки, одну сам хлопнул на лоб, а другую подал Марку Данилычу.

– Видишь ли, Махметушка, надо мне некоего полоняника высвободить, – выпивши водки и закусив вкусной кабартмой, молвил Марко Данилыч. – Годов двадцать пять, как он в полон попал. А живет, слышь, теперь у самого хивинского царя во дворце. Можно ль его оттуда высвободить?

– Можна, болна можна, – отвечал Субханкулов. Только дорога кул. Хан дорога за кула брал, очинна дорога.

– А не случилось ли тебе, Махметушка, у ихнего царя полоняников выкупать? – спросил Марко Данилыч.

– Купал, многа купал русска кула... Купал у мяхтяра, купал у куш-бека (Мяхтяр – знатный вельможа. Куш-бек – министр.), у хана купал, – подняв самодовольно голову, отвечал Субханкулов. – А ты кусай баурсак. Марка Данылыш – болна кароша баурсак, сладка.

– А что б ты взял с меня, Махметушка, чтоб того полоняника высвободить? – спросил Марко Данилыч. – Человек он уж старый, моих, этак, лет, ни на каку работу стал негоден, задаром только царский хлеб ест. Ежели бы царь-от хивинский и даром его отпустил, изъяну его казне не будет, потому зачем же понапрасну поить-кормить человека? Какая, по-твоему, Махметушка, тому старому полонянику будет цена?

– Тысяча тилле и болше тысячи тилле хан за кула брал... давай пять тысяч рублей хану, тысячу мине!.. Шесть тысяч целкова, Марка Данылыш.

– Что ты, Махметушка? В уме ли, почтенный? – вскрикнул Марко Данилыч. Хоть и думал он, что бай заломит непомерную цену, но никак не ожидал такого запроса. – Эж, какое слово ты сказал, Махмет Бактемирыч!.. Ведь этот кул и смолоду-то ста рублей не стоил, а ты вдруг его, старого старика, ни на какую работу негодного, в шесть тысяч целковых ценишь!.. Ай-ай, нехорошо, Махметушка, ай-ай, больно стыдно!..

– Шесть тысяч, – крепко прищурясь, сказал Субханкулов. – Дешева не можна. Кул у хана – дешева не можна.

– А как же ты, Махметушка, Махрушева-то, астраханского купца Ивана Филиппыча, у царя за семьсот с чем-то целковых выкупил?.. – сказал Марко Данилыч, вспоминая слова Хлябина. – А Махрушев-от ведь был не один, с женой да с двумя ребятами. За что ж ты с меня за одинокого старика непомерную цену взять хочешь? Побойся бога, Махмет Бактемирыч, ведь и тебе тоже по-

мирать придется, и тебе богу ответ надо будет давать. За что ж ты меня хочешь обидеть?

– Кто калякал, Махрушева я купал? – весь вострепелувшись, спросил Субханкулов.

– Слухом земля полнится, Махметушка, – с усмешкой молвил Марко Данилыч. – И про то знаем мы, как ты летошний год солдатку Палагею Афанасьевну выкупал, взял меньше двухсот целковых, а за мещанина города Енотаевска за Илью Гаврилыча всего-навсего триста рублей.

– Кто калякал? – смущаясь от слов Смолокурова, спрашивал бай.

– Да уж кто бы там ни калякал, а ты сам знаешь, что говорю необлжно, – отвечал Марко Данилыч, глядя пристально на прищуренные глазки татарина.

Субханкулов что-то пробормотал сам с собой по-татарски.

– Так как же у нас дело-то будет, Махметушка? спросил Марко Данилыч.

Не сразу ответил татарин. Подумал, подумал он, посчитал на пальцах и сказал, наконец:

– Давай, Марка Данылыш, пять тысяч цалкова. Вывезу кула. Весна – получай.

– Не многонько ль будет, Махметушка? – усмехнувшись, молвил Смолокуров. – Слушай: хоть тот кул и старик, а Махрушев молодой, да к тому ж у него жена с ребятами, да уж так и быть, обижать не хочу – получай Семьсот целковых – и дело с концом.

– Не можна, Марка Данылыш, не можна, – горячо заговорил татарин. – Не можна семьсот цалкова. Четыре тысяча.

– Не дам, – сказал Смолокуров и, вставши с нар, взялся за картуз. – Дела, видно, нам с тобой не сделать, Махметушка, – прибавил он. – Вот тебе последнее мое слово – восемьсот целковых, не то прощай. Согласен деньги сейчас, не хочешь, как хочешь... Прощай...

– Не хады, Марка Данылыш, не хады, – схватив за руку Смолокурова, торопливо заговорил Субханкулов. Караша дела – караша сделам. Три тысячи дай.

– Не дам, – решительно сказал Марко Данилыч, выдергивая руку у Субханкулова. – А чтоб больше с тобой не толковать, так и быть, даю тысячу, а больше хочешь, так и калякать с тобой не хочу...

– Калякай, Марка Данылыш, пажалыста, калякай, – перебил Субханкулов, хватая его за обе руки и загораживая дорогу. – Слушай – караша дела тащи с карман два тысяча.

– Жирно будет, Махметушка – водой обопьешься! Сказано, тысяча – не прикину медной копейки. Прощай – Недосуг мне, некогда с тобой балясы-то точить, – молвил Марко Данилыч, вырываясь из жилистых рук татарина.

– Тысяча?... Караша. Еще палтысяча, – умильно, даже жалобно не сказал, а пропел Субханкулов.

– Сказано: не прибавлю ни копейки, – молвил Марко Данилыч, – а как вижу я, что человек ты хороший, так я от моего усердия дюжину бутылок самой лучшей вишневки тебе подарю. Наливка не покупная. Нигде такой в продаже не сыщешь, хоть всю Россию исходи. Домашнего налива – густая, ровно масло, и такая сладкая, что, ежели не поопасишься, язык проглотишь.

У татарина глазки запрыгали. Зачмокал даже.

– Такой тебе, Махмет Бактемирыч, наливки предоставлю, что хивинский царь за нее со всех твоих товаров копейки пошлин не возьмет. Верь слову – не лгу, голубчик... Говорю тебе, как перед богом.

Субханкулов только редкую бородку свою пощипывает. «У какой урус (Урус – русский.), – думает он. – Как он узнал?... Мулле скажет-ай-ай... ахун узнает – беда...»

– Не калякай, не калякай, Марка Данылыш, – тревожно заговорил он. – Не можна калякать! Пажалыста, не калякай.

– Что мне калякать? Одному тебе сказываю, – добродушно усмехаясь, весело молвил Марко Данилыч. Зачем до времени вашим абызам сказывать, что ты, Махметушка, вашей веры царя наливкой спаиваешь... Вот ежели бы в цене не сошлись, тогда дело иное – молчать не стану. Всем абызам, всем вашим муллам и ахунам буду рассказывать, как ты, Махметушка, богу своему не веруешь и бусурманского вашего закона царей вишневкой от веры отводишь.

– Малши, пажалыста, малши, – тревожно стал упрашивать татарин Марка Данилыча.

Не на шутку струсил бай, чтоб служители аллаха не провели про тайную его торговлю. Тогда беда, со света сживут, а в степях, чего доброго, либо под пулю киргизов, либо под саблю

трухмен попадешь.

– А доведется тебе, Махметушка, с царем вашей веры бражничать да попотчуешь ты его царское величество моей вишнебочкой, так он – верь ты мне, хороший человек, – бутылку-то наизнанку выворотит да всю ее и вылизет, – подзадоривал Субханкулова Марко Данилыч.

– С ханом не можна наливка пить, – чинно и сдержанно ответил татарин. – Хан балшой человек. Один пьет, никаво не глядит. Не можна глядеть – хан голова руби, шея на веревка, ножа на горла.

– Экой грозный какой! – шутливо усмехаясь, молвил Марко Данилыч. – А ты полно-ка, Махметушка, скрытничать, я ведь, слава богу, не вашего закона. По мне, цари вашей веры хоть все до единого передохни либо перетопись в вине аль в ином хмельном пойле. Нам это не обидно. Стало быть, умный ты человек – со мной можно тебе обо всем калякать по правде и по истине... Понял, Махметка?.. А уж я бы тебя такой вишневкой наградил, что век бы стал хорошим словом меня поминать. Да на-ка вот, попробуй...

И с этим словом Марко Данилыч вытянул из кармана бутылку вишневки и налил ее в рюмки. У бая так и разгорелись глазенки, а губы в широкую улыбку растянулись.

– На-ка, Махметка, отведай, да, отведавши, и скажи по правде, пивал ли ты когда такую, привозил ли когда этакую царю хивинскому.

Отведал Субханкулов и, ровно кот, зажмурил глаза.

– Якши, болна якши! Якши – хорошо. – промолвил он вне себя от удовольствия.

И, осушив рюмку, поспешно протянул ее Марку Данилычу, говоря:

– Якши!.. Давай... Ешшо давай!.. Болна караша.

– Что ж молчишь, Махметка? Говори – пивал ли такую? – спрашивает Марко Данилыч, а сам другую рюмку наливает.

– Ни... – молвил Субханкулов, принимая рюмку.

И дрожала рука татарина от удовольствия и волнения.

– Идет, что ли, дело-то? – спросил Марко Данилыч, держа в руке бутылку и не наливая вишневки в рюмку, подставленную баем. – Тысяча рублей деньгами да этой самой наливки двенадцать бутылок.

– Ладно... Пошла дела!.. Хлопай рукам!..

И ударили по рукам. Татарин тотчас же протянул рюмку, говоря:

– Ешшо, Марка Данылыш, пажалыста, ешшо давай!

Покончили бутылку. Грустно вздохнул Махмет Бактемирыч, глядя на порожнюю посудину.

– Как кула звать? – спросил он, вынимая из шкапчика бумажки клочок.

– Мокей... Мокей Данилов, – сказал Смолокуров.

Не назвал брата по прозванию, не в догадку бы было татарину, что полоняник братом ему доводится. Узнает некрещеный лоб, такую цену заломит, что только ахнешь.

– Давно ли в Хиве? – продолжал свои расспросы Субханкулов, записывая на бумажке ответы Марко Данилыча.

– Лет двадцать пять, – сказал Смолокуров. Спервоначалу грухмены Зерьяну Худаеву его продали, от Худаева к царю поступил. Высокий такой, рослый, чернявый.

– Зерьян Худаев, знаком, кунак до меня, – сказал Субханкулов. – Якши купса болна караша.

Дело сладилось. Марко Данилыч на прощанье с баем даже маленько пошутил.

– Слушай, Махмет Бактемирыч, – сказал он ему, – хоть ты и некрещеный, а все-таки я полюбил тебя, каждый год стану тебе по дюжине бутылок этой вишневки дарить... Вот еще что: любимая моя сука щенна, – самого хорошего кутенка Махметкой прозову, и будет он завсегда при мне, чтоб мне не забывать, что каждую ярманку надо приятелю вишневку возить.

Нимало не обиделся на то Субханкулов. Осклабился даже, головой потряхивая. Наливка-то уж очень хороша была.

Выдал Марко Данилыч деньги, а вишневку обещал принести на другой день. Субханкулов дал расписку. Было в ней писано, что ежели Субханкулову не удастся Мокея Данилова выкупить так повинен он на будущей ярманке деньги Марку Данилычу отдать обратно. К маклеру пошли для перевода расписки на русский язык и для записки в книгу.

Расстались. Воротясь домой и развалясь на подушках, Махмет Бактемирыч думал о том, как угодит он хану редкостной наливкой, за десяток бутылок Мокея выкупит а тысячу рублей себе в карман положит.

А Марко Данилыч, шагая на Гребновскую, так размышлял: «Тысяча целковых бритой плеши!.. Лбу некрещеному тысячу целковых!.. Легко сказать!.. Дунюшке изъян – вот оно главное – то дело!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На другой день после того как Марко Данилыч поладил с оренбургским «баем», поднялась с раннего утра сильная буря. Забелелись на Оке и Волге снежки-белячки (Снежками, а также беляками зовут белые пенистые верхи волн.), захлестали валы о пристани, и, громко скрипя, закачались суда, барки, беляны, иные даже с якорей сорвались.

С каждым часом буря лютует пуще и пуще, на лесных пристанях разбивает плоты унженские и немдинские (Строевой лес сплавляется преимущественно из притоков Волги (Костромской губернии) Унжи и Немды.) и по широкому волжскому лону разносит толстые бревна. Расплываются по могучей реке дрова из разбитых барок, захлестывает волнами дощаники и лодки, наносит на песчаные мели шитики, тихвинки, кладнушки (Шитик – небольшое судно, крытое округлою палубой. Тихвинка – такого же устройства судно, поднимающее от двух до двенадцати тысяч пудов груза. Кладнушка – судно с палубой шире бортов, поднимает до восьми тысяч пудов груза.).

Такая страшная, такая грозная буря разыгралась, что такой не запомнят и старожилы.

Опасно было бежать на пароходе, и Марко Данилыч поехал восвояси сухим путем на лошадах... Приехал домой; на дворе пусто, а на крыльце встретила его грустная, печальная Дарья Сергевна.

– А Дунюшка? – быстро спросила она, когда весь прозябший и промокший до костей Марко Данилыч, поохивая и побрякивая, медленно вылезал из тарантаса.

– Нешто она у Макарья была? – отрывисто, с видимой досадой ответил сумрачный Смолокуров. – А я было чаял ее дома найти. Так полагал, что Марья Ивановна привезла уж ее.

Ни словечка Дарья Сергевна не молвила, но две слезы заструились по бледным ее щекам. Недоброе что-то почуяло любящее ее сердце. Изныла она, изболела душой по Дунюшке, и не с кем было ей разделить неутешного горя. Три месяца одна-одинешенька выжила она в обширном и пустом смолокуровском доме, и не с кем ей было слова перемолвить, не с кем было размыкать гнетущее горе, некому рассказать про печаль свою. Только глухая старушка стряпка Степановна да разбитная, быстроглазая молодка Матрена, что приставлена была к горницам, видали Дарью Сергевну. Все дни проводила она либо на молитве, либо за чтением Ефрема Сирина.

Молча вошел в дом Марко Данилыч, молча шла за ним и Дарья Сергевна. Положив уставной семипоклонный начал перед родительскими иконами, оглянул он пустые комнаты и сказал вполголоса Дарье Сергевне:

– А я было думал, что Дуня воротилась. Пора бы, кажется. Двенадцату неделю гостит. Самому, видно, придется ехать за ней.

– Пора бы уж, давно бы пора ей воротиться, с глубоким вздохом промолвила Дарья Сергевна. – Уж не приключилось ли чего с ней? Оборони господи, грехом не захворала ли?

– Нет, этого нет, слава богу, – ответил Марко Данилыч. – Недели две тому получил я от нее письмоцо невеликое. Пишет таково весело, извещает, что жива и здорова и что Марья Ивановна зачала в дорогу сряжаться... А вот что на ум не пришло, – продолжал Марко Данилыч и кликнул в окно: – Фадеев!

– Что будет угодно вашей милости? – отвечал приказчик.

– Свежую тройку запрячь в тарантас. В Фатьянку поедешь.

– В какую Фатьянку? – робко спросил Василий Фадеев у хозяина.

– Дурова голова! – закричал зычным голосом Марко Данилыч. – Тебя же ведь я посылал туда, как с Низу воротился. Тебя посылал узнавать, не у тамошней ли барышни гостит Авдотья Марковна.

– Возле Миршени-то? – догадался Василий Фадеев.

– Ну да... возле Миршени. Новый поселок у ручья в долине, – сказал Марко Данилыч – Тут она Фатьянка и есть. Туда поедешь. Тамошняя помещица Марья Ивановна, что на Троицу гостила у нас, надо думать, теперича в Фатьянке, а с ней должна приехать и Авдотья Марковна. Так ты по-видай Авдотью-то Марковну да скажи ей от меня: тятенька, мол, седни только от Макарья приехали; ехали, мол, на лошадях, потому-де маленько приустиали, письма не пишут, а велели на словах вашей чести доложить, чтобы, дескать, на сих же самых лошадях безотменно домой жаловали... Понял?

– Как не понять?.. – сказал Василий Фадеев. – Попаду ли только я на барской-от двор. В тот раз не пустили, насилу ответа добился.

– Опасаться, – промолвил Марко Данилыч. – Люди новые, переселенцы, а место глуховато. Ежели Марья Ивановна в Фатьянке, тебя тотчас пустят. Да нечего балы-то точить-сряжайся... Эй вы!.. Черти!.. Что тарантас-от не закладаете? Ждать мне, что ли, вас, анафемские разбойники?.. Смотри у меня!.. Шевелись, пошевеливайся!.. Нешто забыли расправу!.. Ироды!..

И, еще крепче выругавшись, тихими стопами отошел домовладыка от косящата окна.

Тут подошла к нему Дарья Сергевна и такую речь повела:

– Послушайте глупого моего слова, Марко Данилыч. Как же это будет у нас? Как наша голубушка одна с Васильем поедет? Да еще даль такую, да еще ночью. Хорошо ли это, сами извольте рассудить. А по-моему, нехорошо, даже больно нехорошо. Как молоденькой девице ночью с мужчиной одной ехать! Долго ль до греха?

– Смеет он! – хватаясь за ручку кресла, не своим голосом вскрикнул Марко Данилыч. Потемнело суровое лицо, затряслися злобой губы, а из грозных очей ровно каленые уголья посыпались. Сам задрожал, голова ходенем пошла.

– Не о том я вам, Марко Данилыч, докладываю, спустя глаза и побледнев пуще прежнего, трепетным голосом промолвила Дарья Сергевна. – О том хочу сказать вам как отцу, как родителю, что после этого как раз, пожалуй, сплетки да худые рассказы пойдут по соседству. Чужие языки на цепь ведь не прикуешь. Окриком да грозой ничего тут не поделаете, пуще еще, пожалуй, смотники зачнут языки чесать. Девушкино дело обидливое, а сами вы знаете, сколь здесь недобрых людей. Превознес вас господь перед другими, а превознесенному всегда от людей бывает зависть и злоба!

Больше прежнего нахмурился Марко Данилыч, но ни словом, ни видом не возразил Дарье Сергевне. Мало подумав, сказал:

– Василий знает дорогу, его на козлы, а Степановну либо Матрену в тарантас. Вместе с Дунюшкой и приедут. Не будет тогда глупых речей, не из чего будет анафемам поганые языки свои разнуздывать.

– Нет, уж как хотите, Марко Данилыч, гневайтесь вы на меня, не гневайтесь, а того, что вы вздумали, сделать никак невозможно, – горячо вступилась Дарья Сергевна. – Как можно Дунюшке с глухой тетерей Степановной ехать? А Матрена не заграда. Про нее про самое и правды и неправды много плетут. Ехать с ней нашей голубушке, пожалуй, еще хуже, чем с одним Васильем. Нет, уж как вы хотите, а я сама съезжу. Тотчас сберусь, не успеют коней запрячь, как буду готова.

Подумал Марко Данилыч и молвил: – Пожалуй, так-то лучше будет. Только уж богом вас прошу, Дарья Сергевна, не мешкайте – пожалуйста, как можно скорей ворочайтесь. Не терпится, скорей хочется наглядеться на мою ненаглядную. Приедете в Фатьянку, тем же часом и обратно выезжайте. Ежели у Дунюшки пожитки какие не собраны, без нее сберут, а я завтра за ними подводу вышлю. Лишнего бы не хлопотала. скажите ей от меня... А ежели в Фатьянке нет еще их, тоже не медлите ни часу, скорей домой оборачивайте... Ежели не приехали, тогда завтра же придется самому за Дунюшкой ехать.

Лошадей заложили, и Дарья Сергевна с Васильем Фадеевым поехала в Фатьянку. Напившись чаю, Марко Данилыч пошел хозяйство осматривать: обошел прядильни и лесопильни, погреба и сараи, сад и огороды.

В конюшню зашел – лошадок навестил, на скотном дворе поглядел на коровушек, в овчарню завернул, в свиной хлев, в птичник, даже слазил на голубятню и любимых турманов (Турман – голубь, который кувыркается в воздухе. Одни турмана перекидываются через голову, другие – нич-

ком через хвост, третьи – боком через крыло.) маленько погонял. А на душе как-то все неспокойно – смотрит на хозяйство, глядит в таз с водой (Голубятники на лет голубей смотрят не прямо (так как света глаз не выносит), а в медный таз со свежей водой. В ней, как в зеркале, отражается голубиный полет.), любясь, как турмана кувыркаются в поднебесье, а ровно ничего не видит. Не о том дума. Никогда еще в голову ему не прихаживало, чтобы злые люди чистую, непорочную Дунюшку осмелились сплетнями позорить. Дарья Сергевна разговорами своими возбудила в нем незнаемое до тех пор чувство. «Всё могут, всё, анафемы, могут, – думает он. – Всякую пакость сделать смогут... А главное, никого не доищешься – некому головы будет свернуть... Ну да попробуй они, окайнные!.. Первому встречному такую встряску задам, что во веки веков не забудет... Ох, не роди вас на свет мать сыра земля!..»

Под конец дня Дарья Сергевна доехала до Миршени, и, не останавливаясь там, своротила в Фатьянку. Не совсем еще наступила ночь, когда Фадеев остановил коней у ворот усадьбы Марьи Ивановны. Полный месяц, то и дело выходя из туч, разливал серебристый свет по долине, сверкал в струйках Святого ключа и озарял новые, еще белые постройки. Людей заметно не было, в избах огня не видно, все будто вымерло. Ворота в помещичью усадьбу были заперты изнутри, и, сколько ни стучался в них Василий Фадеев, отклика не было, одни собаки, заливаясь в пять либо шесть голосов, лаяли, рычали и визжали на дворе, просовывая злобные, оскаленные морды в низкую подворотню. Наконец, послышался сдержанный людской говор. Василий Фадеев громче прежнего стал стучать и кричать.

То бранился он на чем свет стоит, то умильно просил отпереть ворота либо подойти поближе и дать ответ какой-нибудь. Но нет ответа. А меж тем ночь наступает и тучки начинают сплошь заволакивать западный вскрай небосклона. Потянуло свежим ветром, месяц прячется за облака, а на западе то и дело вспыхивает. То не зарница, что хлеб зарит, а то грозовая туча надвигается. Пошел вдоль по поселку Фадеев: у одного дома постучится, у другого в источник голос покричит – везде ровно мертвые.

– Что ж нам делать теперь, Дарья Сергевна? – отчаянным голосом спросил Василий Фадеев. – Гроза!.. Не ночевать же под дождем... Пожалуй, волки еще набегут... По здешним местам этого врага много.

– Делать нечего, Васильюшка, поедem на село, сказала Дарья Сергевна. – Должно быть, они еще не приезжали. На селе узнаем. Да вряд ли приехать Марье Ивановне: во всем ее дому темнехонько, а время еще не позднее – всего только семь часов, восьмой.

Поехали в Миршень. Крупные капли дождя дробно стучали по крыше тарантаса, когда подъезжали к селу.

Блеснула и ослепила путников яркая молния, грянули трескучие раскаты грома.

Стоит на краю села большая, но ветхая, убогая изба. Только взглянуть на нее, так заметно, что приютились в ней голь да нищета. А было время, и не очень чтобы давнее, когда эта изба лучшим и богатейшим домом по всей Миршени была. Кой-где виднелась еще прежняя домовитость – полусгнившая изба строена высоко и широко, а поросшая серо-зеленым мохом крыша была крыта в два теса. Ставни в старые годы были выкрашены, а теперь краска облезла, ворота набок покосились, в красных окнах вместо стекол промасленная бумага да грязные тряпки. Видно, что какая-то невзгода разразилась над хорошим, исправным домом и превратила его исподволь в развалину. Так было и на самом деле.

Во время оно жил в том доме богатый, домовитый крестьянин Степан Мутовкин. Мельницу имел, торговым делом занимался, говядиной по базарам промышлял, барыши бирал хорошие и жил с семьей припеваючи. Да не в меру был горяч – и ушел туда, где ловят соболей, а следом за ним и двое взрослых сыновей за ним туда же пошло.

Осталась ни вдова, ни мужня жена Аграфена Ивановна Мутовкина с шестерыми детьми, мал мала меньше... Поднимала их мать одного за другим на ноги, но как только подрастет работник, смерть тотчас придет к нему. Осталась Аграфена с двумя дочерьми, и пошло бабье хозяйство врознь да мимо.

В окнах Аграфенина дома свет еще виден был. Постучался кнутовищем под оконьем Фадеев. Отворилось оконце, выглянула пожилая женщина. Добрым ласковым голосом спросила она:

– Чего вам надо, добрые люди?

– В дороге, тетушка, запоздали, – отозвался Василий Фадеев.

А вот дождик припустил, гроза поднимается. Пусти на ночлег, родимая.

– Да вы сами-то кто будете? – спросила Аграфена.

– Проезжает по своему делу купчиха Дарья Сергевна.

Слыхали, может, про Смолокуровых, про Марка Данилыча – из его семьи, – отвечал Василий Фадеев.

– Куда мне с вами, батюшка! – повысив голос, сказала Аграфена Ивановна. – Мне ль, убогой, таких гостей принимать?.. И подумать нельзя! И не приборно-то у меня и голодно. Поезжайте дальше по селу, родимые, – много там хороших домов и богатых, в каждый вас с великим удовольствием пустят, а не то на площади, супротив церкви, постоялый двор. Туда въезжайте – хороший постоялый двор, чистый, просторный, и там во всем будет вам уважение. А с меня, сироты, чего взять? С корочки на корочку, любезный, перебиваемся.

– Нет, уж пожалуйста, матушка, позвольте нам у вас грозу обождать. Сделайте такое одолжение, – выходя из тарантаса, сказала Дарья Сергевна. – Женщина, видится, вы добрая, очень бы хотелось мне у вас пристать. Не в пример было бы мне спокойнее, чем на постоялом дворе.

– Да как же это будет, сударыня?.. Мне ведь и попотчевать вашу милость нечем, и изба-то у нас не приборна, – возразила Аграфена Ивановна. – Наше дело убогое, сиротское. Сама одна с двумя дочками девицами. Какое тут хозяйство.

– Никакого, матушка, угощения мне не надобно, и убранства не надобно. Пустите только, бога ради, укройте от непогоды.

Подумала Аграфена Ивановна и на просьбы Дарьи Сергевны, мокнувшей под расхлывшимся дождем, сказала:

– Ин нечего делать... Подь, Аннушка, отопри калитку да посвети гостье по крыльцу пройти, чтоб, грехом, не зашиблась как-нибудь.

Молодая девушка, редкой красоты, с зажженной лучиной в руке, встретила Дарью Сергевну и проводила ее в избу. То была первая миршенская красавица, сердечная зазноба удалого молодца, отцовского сына Алеши Мокеева, старшая дочка убогой вдовы Аграфены Мутовкиной.

«Экая красавица. Словно Дунюшка голубушка», – подумала Дарья Сергевна. Больше такой похвалы она придумать не могла.

Василий Фадеев растворил меж тем ворота и поставил тарантас с лошадьми на крытом дворе. Овес взят был из дома, задал он его по гарнцу каждой лошадке и завалился спать в тарантасе.

– Добро пожаловать, милости просим, сударыня, – встречая в сенях Дарью Сергевну, радушно привечала ее Аграфена Ивановна. – Только уж вы не обессудьте на наших недостатках. Было, матушка, время, и нас из хороших людей не выкидывали, и мы живали в достатке, и у нас дом полная чаша был, да вот господь горем посетил. Согрешили перед ним мы, окаянные. В разор теперь пришли... Божья воля да царский указ – супротив них не пойдешь!.. Сиротствуем, слезами обливаемся, а роптать не ропщем – хранил бог от такого греха. Ему, батюшке, свету, известно, что с коим человеком надо поделаться... Святая воля!.. Скорбеть скорбим, а ропотом дал господь, – не согрешали.

И поникла головой и тяжелым вздохом облегчила грудь.

– Садитесь, матушка, – обметая передником лавку в красном углу под иконами, сказала Аграфена Ивановна.

– Садитесь, сударыня, гостья будете. Аннушка, возьми-ка там в чулане яичек да состряпай яиченку.

– Зачем это? Полноте, пожалуйста! Совсем этого не нужно, – сказала Дарья Сергевна.

– Как же можно, сударыня? Без того нельзя. Мы ведь тоже люди крещенные, свят закон памятуем: «Сущего в пути напой, накорми, без хлеба, без соли из дома своего не отпусти», – сказала Аграфена.

– Нет, пожалуйста, не хлопочите, матушка. Напрасно утруждаете себя, – возразила Дарья Сергевна. – Лучше вот что: скажите моему кучеру, поискал бы у кого-нибудь на селе самоварчика. Чай, сахар у меня есть, и вы бы со мной искушали.

– Ох, самоварчик, самоварчик! – скорбно вздохнув, проговорила Аграфена Ивановна, и слезы навернулись на глазах ее. – Два у нас было самовара; раза по три да по четыре на дню-то чай распивали. Бывало, кто из сторонних как переступит порог в избе, сейчас самовар, на стол... Дарёнушка! – кликнула в сени Аграфена Ивановна, и на зов ее вошла молодая девушка, такая же высокая, стройная, как и Аннушка, такая ж, как и сестра ее была бы она и красивая, да оспа лицо ей испортила. – Сбегай, родная, к Родивону Захарычу, покучься у него самоварчика. Гостей, мол, господь кнам прислал – чайку испить гостям желательно.

Не говоря ни слова, схватила Даренушка с печи заплатанный шушун и, накрывшись им с головы, пошла по материнскому приказу. Как ни уговаривала ее Дарья Сергевна не ходить в такую непогоду, она-таки пошла.

– Вон какая грязь, а дождик так и хлещет! – говорила Дарья Сергевна.

– Не сахарная, не растает, – сказала Аграфена Ивановна. – Опять же и недалеко, всего через два двора – не заплутается.

– Что ж у вас за несчастье случилось, матушка?... Отчего лишились вы достатков? – с участием спросила у Аграфены Ивановны Дарья Сергевна, как только вышла Даренушка.

– Ох, сударыня!.. Велико наше несчастье!.. – со слезами сказала Аграфена Ивановна. – Такое несчастье выпало нам, что горше его на свете, кажется, нет. Двадцать годов теперь уж прошло, как хизнул наш богатый дом.. Хозяина да двух сынов работников: одному было двадцать, другому девятнадцать лет – женить было обоих собирались – по царскому указу на поселенье в Сибирь послали.

И рассказала Аграфена Ивановна про ссоры и драки миршенцев с якимовскими из-за Орехова поля, из-за Рязановой пожни, из-за Тимохина бора и про то рассказала, что муж ее с сыновьями в тех делах бывали всегда первыми зачинщиками и каждый раз начальству бывали послушниками.

– Хотели миру порадовать, миру послужить, а вон оно куда пошло, – пригорюнясь, молвила Аграфена Ивановна. – Шестеро осталось тогда на руках у меня – четыре мальчика да Аннушка с Даренушкой, – эти были самые махонькие. Аннушке-то восемь месяцев было, когда наших сослали, а Даренушку принесла я через двадцать недель после мужниной ссылки. Ни один из четырех пареньков не дожил до возраста, один за другим на погост ушли. А мое-то дело женское, как без большака, без семейной головушки хозяйством станешь заправлять? И дошло у нас до бедноты, до того дошло, сударыня, что в доме теперь хоть шаром покати.

– Хоть бы дочек-то пристроить вам, Аграфена Ивановна, – после недолгого молчанья сказала Дарья Сергевна. – Обе невесты. Как бы, кажется, не найтись женихам..

– Эх, сударыня! – отвечала с горькой улыбкой Аграфена Ивановна. – Не такие ноне годы, чтобы замуж выходить бесприданницам. Что у господ, что у купцов, что по нашему крестьянству, в теперешни времена все на деньгу пошло. Ну, пушай Аннушка, та личиком по крайности взяла, а Даренушка и тем злой судьбою обижена. Пяти годков оспа побилла ее; не побей, тоже была бы красивая. За кого ж ей, рябенкой-то, замуж идти? За вдовца разве за какого-нибудь, на чужих на малых детей, а не то за пьянчугу урезного?... По нашим местам, сударыня, народ промысловый, потому и давай здешнему жениху девку красовитую да еще с деньгами. Здесь не то, что по хлебопашенным местам. Там берут не жену, а работницу, а по нашим местам такую, чтоб и собой была пригожа и в ларце б у нее побрякивало. А без денег хоть волком вой с девками.

Вот хоть бы Аннушку мою взять – полюбилась она одному пареньку, третий год сохнет, сердечный, по ней и, опричь ее, ни на какой девушке не желает жениться, да и моя-то, пожалуй, не прочь от него. Один сын у отца, а отец богатеи – у него две мельницы-точильни и залежных денег достаточно. Как сын отца ни упрасивает, как он его ни умаливает, заладил старый одно: «Клади невеста триста рублей на стол, в таком разе хоть сегодня же венчайтесь». А где такие деньги возьмешь? Была бы прежняя пора – вдвое, втрое бы выложили, а теперь не из земли триста рублей копать. Так сиротки мои бедненькие в девках и засидятся, так и покончат жизнь свою где-нибудь в кельях. Они ж и грамоте обучены. Сама-то ведь я тоже за Волгой в скитах росла, сподобил там меня господь грамоте. Потом святому делу и дочушек обучила.

– А в каком скиту учились вы, Аграфена Ивановна? – спросила Дарья Сергевна.

– В Комарове, сударыня, – отвечала Аграфена Ивановна.

– А в которой обители? – еще спросила Дарья Сергевна.

– В Манефиной, сударыня, – ответила Аграфена. – Возле самого Каменного Вражка. Много уж тому времени-то. Двадцатый теперь год, как услали моего хозяина, да двадцать два годочка, как жила с ним замужем.

Больше сорока годов, стало быть, тому, как я из обители.

– Уходом? – улыбнувшись, спросила Дарья Сергевна.

– Знамо, уходом, – также улыбнувшись, ответила Аграфена Ивановна. – Нешто из обители девку честью отпустить можно? Так не полагается, сударыня.

– А какая мать при вас в игуменьях сидела? – спросила Дарья Сергевна.

– Матушка Екатерина, – отвечала Аграфена Ивановна. – Строгая была старица, разумная, благочестивая. Всяким делом управить умела. И предобрая была – как есть ангел во плоти, даром что на вид сурова и ровно бы недоступная. Настоящая всем мать была. И необидливая – все у нее равны бывали, что богатые, что бедные; к бедным-то еще, пожалуй, была милостивей.

– А нынешнюю игуменью знаете? – спросила Дарья Сергевна.

– Как же не знать матушку Манефу? – сказала Аграфена Ивановна. – При мне и в обитель-ту поступила. В беличестве звали ее Матреной Максимовной, прозвание теперь я забыла. Как не знать матушку Манефу? В послушницах у матери Платониды жила. Отец горящиной у ней торговал, темный был богач, гремел в свое время за Волгой... много пользовалась от него Платонидушка.

– А еще кого из теперешних обительских знаете? – спросила Дарья Сергевна.

– Многих знала, всех от первой до последней знала я, сударыня, – сказала Аграфена Ивановна. – Не знаю только, в живых ли теперь они. Знала матушку Таифу, матушку Аркадию, матушку Вириною-келаря даже очень близко знала, а живы ль они теперь, того уж не знаю.

– Живы, – молвила Дарья Сергевна. – Все три живы.

– А нешто вы бывали в скитах? – спросила Аграфена Ивановна.

– Больше шести годов у матушки Манефы выжила я в обители, – отвечала Дарья Сергевна. – Сродница моя, дочка купца Смолокурова, обучалась там, так я при ней жила. Всех знаю: и матушку Таифу, теперь она в казначеях, и уставщицу мать Аркадию и Вириною, эта по-прежнему все келарничает.

– Ну вот, сударыня, до чего мы с вами договорились. Так впрямь и в Комарове живали и матушек тамошних знаете, – молвила Аграфена Ивановна. – А матушка Неонила здравствует ли? Подруга была мне самая ближняя, самая любимая, Натальей Васильевной в беличестве-то звали ее.

– Лет пять как преставилась, – сказала Дарья Сергевна. – Я еще застала ее в обители. Хворая была такая, немощная сама, бывало, все у бога просит, чтоб прибрал ее с сего света поскорее.

– Эх, Натальюшка, Натальюшка! – с глубоким вздохом промолвила Аграфена Ивановна и, встав с лавки, положила перед иконами семипоклонный начал за упокой души рабы божией инокини Неонилы.

Пока у хозяйки с гостьей шли разговоры про Манефину обитель, воротилась с самоваром и чайным прибором Даренушка, в то же время Аннушка пришла из задней избы с яичницей. Дарья Сергевна с хозяйкой и ее дочерьми села за чай.

– Что вы, сударыня, осмелюсь спросить вас, в дальний путь отправляетесь аль куда неподалеку отсель едете? – спросила Аграфена Ивановна.

– Сюда было ехала, матушка, да, кажется, понапрасну. Никакого толка добиться не могла, – ответила Дарья Сергевна. – Утишится, бог даст, гроза, прояснится на небе, поеду домой обратно. Мы ведь не дальние наш-от город всего верст сорок.

– Так вы только до Миршени? – спросила Аграфена Ивановна.

– Не до Миршени, а поблизости от вас, – ответила Дарья Сергевна. – Рядом тут поселок новый есть, Фатьянкой прозывается.

Отставив недопитую чашку чая, Аграфена Ивановна пристально поглядела на гостью. И Аннушка с Даренушкой тоже стали смотреть на Дарью Сергевну с удивлением.

А Дарья Сергевна свое продолжает:

– Думали мы, не воротилась ли в Фатьянку тамошняя помещица Марья Ивановна. У сродников гостит она в Рязани, и, кажется, пора бы ей воротиться...

– Не слышать, чтобы приехала, – сдержанно и сухо промолвила Аграфена Ивановна. – А у вас какое дело до нее?

– Особенного дела нет, – сказала Дарья Сергевна, – а гостит в тех же местах, куда она уехала, в Рязанской губернии, дочка моего сродника Марка Данилыча Смолокурова... Марья Ивановна, фатьянская-то помещица, обещала ее в наши края привезти. Вот и полагали мы, не в Фатьянке ли она теперь. Марко Данилыч у Макарья в ярманке был и, только что воротился, тотчас меня за дочкой послал, без малого три месяца с ней не видался... Приехали мы в Фатьянку – в барском доме ни огонька, ворота изнутри заперты, частокол высокий-превысокий. Стучались мы, стучались, больше часа стучались, так никакого ответа и не добились. Послышались было людские голоса, и кучер громче стал кричать, а все-таки не было ответа. Поехали по дворам – и там ни в одном не видать огонька, а еще не больно поздно было. Так и не добились ответа. А меж тем гроза собралась, дождик пошел, мы к вам в Миршень и поехали – здесь хоть не узнаем ли, воротилась в Фатьянку Марья Ивановна или нет еще.

– Это у них, у фатьянских, завсегда так, – немного погодя молвила Аграфена Ивановна. – Бог их знает, что за люди. Почитай уж полгода, как они в соседство к нам поселились, а ни с кем из здешних словом даже не перемолвились. Чудные!.. Только и видно их, что иной раз на базар придут – хлеба аль другого чего искупить. А барыни в Фатьянке нет еще. Заверное говорю. Ежели б приехала, беспрременно бы прислала за чем-нибудь на село, насчет съестного там, что ли, али чего другого. Дело-то у нее еще на нове, хозяйства покамест никакого, запасенного нет ничего. Хоть за капустой аль за огурцами прислала бы.

– В лес по грибы сегодня ходила я, – молвила рябая Даренушка. – Всю Фатьянскую долину вдоль и поперек исходила. В барском доме окошки все скрыты (Ставнями закрыты.). Должно быть, барыня еще не приезжала. И никакого знака нет, чтобы дом был жилой.

– Верно, что не приехала, – подтвердила слова дочери Аграфена Ивановна. – На этот счет будьте спокойны, сударыня.

– Кузнец Вахрамей говорил в воскресенье, – прибавила Аннушка, – что к нему на кузницу приходил из Фатьянки какой-то тамошний покузнечить, так он, слышь, поминал, что ихняя барыня раньше Покрова в Фатьянку не будет. А зиму, слышь, здесь будет жить – конопатчиков уж наняли дом-от конопатить. Хотели было и штукатурить, да время-то уж поздненько, да к тому ж и дом-от еще не осел.

– До Покрова не будет, говоришь ты, красавица? – молвила в раздумье Дарья Сергевна.

– До Покрова. Так говорил Вахрамей, – ответила Аннушка.

– Господи милостивый! – вполголоса проговорила тоскливо Дарья Сергевна.

– Насчет самой барыни я вам ничего не скажу, сударыня, потому что вовсе ее не знаю, – сказала Аграфена Ивановна. – А крестьяне у нее и дворовые, что при доме живут, – самые чудные люди. Ни сами ни к кому, ни к ним никто. Только и видишь их на селе, что в базарные да воскресные дни. А в церковь ходят все от мала до велика. Здешний церковный поп не ухвалится ими – не пропустят ни одной праздничной службы, будь дождик проливной, будь грязь по колено, они беспрременно в церковь идут. Богомольны, надо правду говорить, очень даже богомольны.

А все тремя перстами молятся, по Никонову, значит, новшеству. И барыня тоже, слышь, богомольная, и она в церкви кажинный праздник бывает, а теперь вот не видно ее, стало быть не приезжала. И то взять, ежели ехать в Фатьянку, нашего села не миновать; с какой стороны ни поезжай другой дороги нет. А барыню из сельских никто не видал, чтоб она проезжала.

– А что у вас про нее слышно, про барыню-то? Да не барыня она, впрочем, а старая барышня, – сказала Дарья Сергевна.

– Мало ее знают у нас, – отвечала Аграфена Ивановна, – хоть сначала она и проживала на селе. У Мокея Сергеича жила в доме, человек он большой, зажиточный, дом полная чаша, на миру воротило – что на сходе ни молвит, тому так и быть. Кажись бы, добрая она. Всех обдарила, парнишки да девчата особливо остались ею довольны – пряников, бывало, орехов, стручков, всякого другого лакомства чуть не каждый день, бывало, покупает им.

Из соседних деревень даже ребятишки стаями к ласковой барыне прибегали. И наших сельских девушек к себе зазывала, потчевала их всем хорошим и была такая приветливая, что ровно бы и не барского рода, а из простых. И все доброму их учила, как жить девицам по-хорошему, а и то, признаться, еще им говорила: «Не ходите замуж, пташечки, живите на всей своей воле». А сама великая постница – ни мясного, ни вина, ни пива в рот не берет и другим не советует, зато в постные дни и молоко хлебает и яйца ест. Такая чудная, а добрая. А в церковь к службе обо всяку пору.

Церковным попам спервоначалу-то это не больно было в охоту, потому что у них по будням-то одни колокола службу правят, а поп с дьячком да причетники либо спят, либо бражничают, а тут каждый при своем деле будь. Барыня не рядовая, из знатных, родовитая, генеральская дочь, скажет архиерею про поповскую неисправность, космы-то затрясутся. Однако ж по времени и попы ею остались довольны – богатую благостыню им подает.

– А люди-то ее в Фатьянке что поделявают? – спросила Дарья Сергевна.

– А кто их знает, что они делают, – отвечала Аграфена Ивановна. – А надо думать, что у них неспроста что-нибудь... Недоброе что-то у них кроется, потому что доброму человеку с какой же стати от людей хорониться? А они всегда на запоре, днем ли, ночью ли – никогда не пускают к себе. Мудреные!.. Приздумалась Дарья Сергевна. «А что как и Марья Ивановна такая же?.. А что как и Дунюшка?» – подумала она, и кровью облилось сердце ее.

– А по ночам все, слышь, песни поют. Верные люди про это сказывали, – сказала Аннушка. – Идут еще на селе разговоры, что по ночам у Святого ключа они собираются в одних белых рубахах. И поют над ключом и пляшут вокруг.

– Так ли это, верно ли? – спросила Дарья Сергевна.

– Заверяю вас, сударыня, – молвила Аннушка. – Самовидцы говорили. Пляшут и мирские песни поют, а слов разобрать нельзя, потому что далеко. Охают, кричат, иные визжат. И что такое у них делается, никто не знает.

– Говорят старики, что в прежние годы, лет с сотню назад, в той же самой долине, у того же Святого ключа такие ж бывали дела, – сказала Аграфена Ивановна. – Тоже, слышь, по ночам в белых рубахах песни распевали, тоже, слышь, плясали и кружились вокруг Святого ключа, ровно бешеные. Годов пятнадцать, пожалуй и больше, так велось, у них, потом их накрыли, сковали и бог знает куда увезли.. Говорили, что в сибирскую ссылку, говорили и то, что по монастырям в заточенье разослали. Господь знает, какая им в самом-то деле судьба была.

– Что ж у них было такое? Как о том говорят старики? – спросила Дарья Сергевна.

– Никому ихнее дело доподлинно неведомо, – отвечала Аграфена Ивановна. – И тогдашних-то людей теперь никого не осталось. Был у нас древний старик Маркел Пимныч, без малого сто годов прожил он, древний был надревний, всего только пять лет как преставился. Так он сказывал, что в те поры, как те люди были в Миршени, он еще махоньким парнишкой сельских коней на ночное ганивал, и слышал ихние песни, и видал их в белых рубахах, в длинных, по щиколку, ровно бы женские, а надевали те рубахи и бабы, и девки, и мужчины. И плясали они, сказывал Маркел Пименыч, и охали, и кричали неблагим матом, и визжали, и песни пели, все одно как теперь вот фатьянские.

– Что ж про тех людей толковали? Как говорил о том Маркел Пименыч? – спросила Дарья Сергевна.

– Разно, говорил он, тогда толковали про них, – отвечала Аграфена Ивановна. – Кто полагал, что они колдуют; кто думал, что у них особая тайная вера.

– Тайная вера? – быстро подняв голову, спросила Дарья Сергевна.

– Кто их там знает? И веру-то называл он, да я запомнявала, – молвила Аграфена Ивановна. – Вы, девицы, не помните ль?

– Фармазоны, слышь, какие-то были, – промолвила Даренушка.

– Фармазоны!.. Так вот оно что!.. – прошептала Дарья Сергевна. – А теперешних фатьянских тоже фармазонами зовут?.. – прибавила она, обращаясь к Аграфене Ивановне.

– Не слышно этого, – отвечала та. – Фатьянскими зовут, а то еще алымовскими. А что потаенные они, так в самом деле потаенные. Ни к себе никого, ни сами ни к кому. Чудные, право чуд-

ные. Кажись, как бы человеку не жить на людях?.. И думать так не придумать, что за люди такие... Мудреные!..

Меж тем гроза миновалась, перестал и дождик. Рассеянные тучки быстро неслись по небу, лишь изредка застилая полный месяц. Скоро и тучки сбежали с неба, стало совсем светло... Дарья Сергевна велела Василию Фадееву лошадей запрягать. Как ни уговаривала ее Аграфена Ивановна остаться до утра, как ни упрашивала ее о том и Аннушка с Даренушкой, она не осталась. Хотелось ей скорей домой воротиться и обо всем, что узнала, рассказать Марку Данилычу.

Когда Дарья Сергевна воротилась домой. Марко Данилыч давно уж с постели встал. Сидел у окна, пристально глядя на дорогу, а сам все про Дунюшку думал. «Коль не бывала в Фатьянку, надо будет ехать в Луповицы. А то, пожалуй, ее не дожدهшься и до зимы. И дернуло ж меня отпустить ее с Марьей Ивановной... Вот теперь и жди да погоди». Рассказала ему Дарья Сергевна, что в Фатьянке они не могли достучаться, что застала их в дороге гроза с ливнем и что укрылась она в Миршени у вдовы Аграфены. И про то рассказала, что узнала про Фатьянку и про тамошних поселенцев.

– Да что ж это за люди? – досадливо вскрикнул Марко Данилыч. – Что они взаперти-то фальшивы деньги куют аль разбойную добычу делят? Исправник-от со становым чего смотрят? Доброе дело скрытности не любит, только худое норовит от чужих глаз укрыться...

– Нет ли тут чего насчет веры, Марко Данилыч? – вполголоса сказала Дарья Сергевна, робко поднимая глаза на хмурого Марко Данилыча.

– Как насчет веры? – спросил удивленный Марко Данилыч.

– Какая-то, слышь, у них особая тайная вера, сказала Дарья Сергевна. – И в старину, слышь, на ту же долину люди сбирались по ночам и тоже вокруг Святого ключа песни распевали, плясали, скакали, охали и визжали. Неподобные дела и кличи бывали тут у них. А прозывались они фармазонами.

– Фармазонами! – чуть слышно промолвил Марко Данилыч и крепко задумался.

– И тех фармазонов по времени начальство изловило, – продолжала Дарья Сергевна. – И разослали их кого в Сибирь, кого в монастырь, в заточенье. Без малого теперь сто годов тому делу, и с той поры не слышно было в Миршени про фармазонов, а теперь опять объявились – а вывезла тех фармазонов из Симбирской губернии Марья Ивановна и поселила на том самом месте, где в старину бывали тайные фармазонские сборища...

– Нешто и теперешние тоже фармазоны? – спросил Марко Данилыч, облокотясь на стол и склонив на ладони пылавшее лицо.

– Видится, что так, Марко Данилыч, – ответила Дарья Сергевна. – По всем приметам выходит так. И нынешние, как в старину, на тот же ключ по ночам сходятся, и, как тогда, мужчины и женщины в одних белых длинных рубахах. И тоже пляшут, и тоже кружатся, мирские песни поют, кличут, визжат, ровно безумные аль бесноватые, во всю мочь охают, стонут, а к себе близко никого не подпускают.

– Вранье, может быть, – протяжно проговорил Марко Данилыч, а сам пуще прежнего задумался.

– И сдается мне, Марко Данилыч, что сама-то Марья Ивановна не заодно ли со своими переселенцами, продолжала Дарья Сергевна. – И те тоже мясного не едят и не пьют ни вина, ни пива, ни даже браги, а молочное разрешают и в постные дни – все одно как и Марья Ивановна. И, как она, так же в черном все ходят. Сумленье меня берет. Сердитесь вы на меня не сердитесь, Марко Данилыч, а по любви моей к Дунюшке все, что ни есть у меня на душе, я теперь открою вам. Не мало я дорогой-то в это утро надумалась, на волосок не вздремнула, все про Дунюшку раздумывала.

– Что ж вы думали про нее столько времени? – с нахмуренным видом промолвил Марко Данилыч. Тиха была речь его, но видно было, что на душе у него бушевала грозная буря.

– Помните ли, как на Духов день я вам сказывала, что подслушала разговор Марьи Ивановны с Дунюшкой? – сказала Дарья Сергевна. – Говорила я вам тогда, что смущает она нашу голубушку, толкует про какую-то веру, а вы и верить мне не захотели. Думала тогда я, что Марья Ивановна хочет ее в великороссийскую привести. Хоть тут хорошего и немного, хоть каждому

человеку должно помереть, в чем родился, однако ж великороссийская все-таки от господ не отступная. А ежели Марья-то Ивановна про фармазонскую ей говорила? Кто ее знает, может, она с фатьянскими в одном согласе?.. Что у ней за тайна такая сокровенная, про которую Дунюшке она говорила? Что за безгрешные такие люди? Как это в них сам господь пребывает? Тут есть что-нибудь, верьте моему слову. Марко Данилыч.

– Вы уж и невесть чего нагородите, – выходя из комнаты, сумрачно и досадливо сказал Марко Данилыч и крепко хлопнул за собой дверь. А сам решил как можно скорей ехать за Дуней.

В досаде на Марью Ивановну и даже на Дуню, в досаде на Дарью Сергевну, даже на самого себя, пошел Марко Данилыч хозяйство осматривать. А у самого сердце так и кипит... Ох, узнать бы обо всем повернее! И ежели есть правда в речах Дарьи Сергевны да попадись ему в руки Марья Ивановна, не посмотрел бы, что она знатного роду, генеральская дочь – такую бы ческу задал, что своих не узнала бы... И теперь уж руки чешутся. И рвет и мечет, на кого ни взглянет, всяк виноват. Пришел в работную, и потолок и стены новой избы ровно сажа. Развоевался на работников, будто они виноваты, что печи дымят. Кричит, лютует, то на того, то на другого кидается с бранью, с руганью, а сам рукава засучает. Но теперь не весна, работники окрысились, зашумели, загалдели, и, только что крикнул хозяин: «Сейчас велю всех со двора долой», – они повскакали и закричали задорно в один голос: «Расчет давай, одного часа не хотим работать у облая».

Оттого работники ответили так хозяину, что теперь по сельщине-деревенщине новый хлеб поспел, а в огородах всякий овощ созревал – значит, больше нет голодухи. Весной во время бесклубья любого работника колоти сколько влезет, даже выпори своим судом – словечка не молвит, а в осеннее хлебное время последнему наймиту лишнего слова сказать нельзя. Тотчас стачка, тотчас работники гурьбой со двора. Придет опять весенняя бескормица, и они густыми толпами повалят к тому же хозяину, слезно станут просить и молить о работе, в ногах будут у него валяться и всеми святыми себя заклинять, что и тихи-то они, и смирны-то, безответны, а пришла новая осень – сиволапый уж барином глядит, и лучше не подступайся к нему.

Но на этот раз не больно угрожали работники Марку Данилычу – на прядильнях снасти почти допряжены, на пристани тоже дело к концу идет. И без того недели через три пришлось бы распускать летних работников.

На пристань из работной избы пошел Марко Данилыч, а там лесники, развалясь на плотах, спят себе, пригретые солнышком. Стал их хозяин будить суковатой козьмодемьянской палкой. Те повскакали и тотчас в брань. Расходился Марко Данилыч, лицо ровно красным кумачом подернулось, губы задрожали, и, как раскаленные угли, запылали злобные очи. Пошла работать козьмодемьянка, а лесники, ровно стая спуганных птиц, с криком, с гиком, с хохотом понеслись вверх по крутой горе. Марко Данилыч за ними; но как тяжелому на ходьбу старику догнать быстроногую молодежь?.. Кричит в источный голос, задыхается, на каждом шагу спотыкается. Не добежав до венца горы, грохнулся оземь Марко Данилыч.

Пластом лежит на голой земле. Двинуться с места не может, голосу не в силах подать, лежит один-одинехонек, припекаемый полуденными лучами осеннего солнца. Ни на горе, ни под горой никого нет, стая галок с громким криком носится в высоте над головой миллионщика. Лежит гордый, своенравный богач беспомощен, лежит, всеми покинутый, и слова не может промолвить. Тускнеет у него в очах, мутится в голове, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. Забытье нашло на него...

Долго бы лежать тут Марку Данилычу, да увидела его соседка Акулина Прокудина. Шла Акулина с ведрами по воду близ того места, где упал Марко Данилыч. Вгляделась... «Батюшки светы!.. Сам Смолокуров лежит». Окликнула – не отвечает, в другой, в третий раз окликнула – ни словечка в ответ. Поставила Акулина ведра, подошла: недвижим Марко Данилыч, безгласен, рот на сторону, а сам глухо хрипит. Перепугалась Акулина, взяла за руку Марко Данилыча – не владеет рука.

«Господи! Что это? Что ему попритчилось? – думает Акулина. – Надо домашних повестить, всяко может случиться! Еще, пожалуй, к ответу притянут».

И, покинув ведра, поднявши подол, бегом побежала к дому Марка Данилыча.

По ее вестям прибежала Дарья Сергевна, прибежали все домашние – приказчики и прислуга.

Прибежали и работники поглазеть-поглядеть, что приключилось с бранчливым, драчливым хозяином. Обступили домашние вокруг Марка Данилыча, стоят, охают да молитву творят, а работники шепчутся меж собой: «А кто ж теперь будет нас рассчитывать?» Первая нашлась Дарья Сергевна.

– Васильюшка, – сказала она Фадееву. – Беги, родной, за лекарем. Он в городе – давеча ви-дела я, как с исправником мимо нас шел.

Пошел Василий Фадеев, хоть и не так спешно, как бы хотелось Дарье Сергевне. Идет, а сам с собой рассуждает: «Кто ж теперь делами станет заправлять? Дочь молода, умом еще не вышла; разве что Дарья Сергевна? Да не бабье это дело. Дай-ка господи, чтоб не очнулся!.. Пятьсот рублей у меня на руках, а опричь его, никто про это не знает».

Лекарь жил на самой набережной. Случилось, что он был дома, за обедом сидел. Ни за какие бы коврижки не оставил он неконченную тарелку жирных ленивых щей с чесноком, если бы позвали его к кому-нибудь другому, но теперь дело иное – сам Смолокуров захворал; такого случая нескоро дождешься, тут столько отвалят, что столько с целого уезда в три года не получишь. Сбросив наскоро халат и надев сюртук, толстенький, приземистый лекарь побежал к Марку Данилычу.

– Маркелов!.. – на бегу крикнул он городовому, штопавшему рубаху, сидя на чурбане возле развалившейся будки. – Живее к фельдшеру! Тащил бы все с собой, и банки, и пиявки, все, все до капельки. Под гору тащил бы. Да забеги в аптеку, скажи там: ежели Карло Хрестьяныч куликов стреляет, наспех бы бежали за ним, отпер бы аптеку и лекарство делать готов был.

– Слушаю, ваше высокоблагородие, – с оттенком досады отвечал, унося в будку рубаху, ленивый, полусонный страж богоспасаемого града.

– Поспешай! – крикнул ему лекарь, быстро удаляясь от будки. – Зайди потом на двор к Смолокурову, хорошо на водку получишь, я скажу там. Сам захворал.

Оживел городской, спешно запер будку и скорым шагом пошел исполнять приказанье лекаря. С кем по дороге ни встретится, всякого извещает, что с Марком Данилычем случилось недоброе: под горой, возле казначейства лежит без памяти. И каждый о том же повещал встречного и поперечного, и все опрорхотом бежали под гору – каждому было лестно поглядеть, как пришибло спесивого миллионщика. Бежали, как на пожар, и вскоре больше сотни людей столпилось вокруг лежавшего без чувств Марка Данилыча.

И городские власти пришли: городничий, исправник с заседателем, стряпчий, секретари, чуть не все приказные, пришел и штатный смотритель училища, а за ним стая ребятишек, только что распущенных из класса, поспешил под гору и отец протоиерей, чтоб еще разок щегольнуть перед горожанами только что полученною камилавкой. Ковыляя, приплелся, на всякий случай, хромой столяр Панкратыч – не понадобится ли гроб сколотить. Городские вестовщицы тоже прибежали поглядеть на редкостное и небывалое еще в ихнем городе зрелище. Тут были и чиновница Ольга Панфиловна и уставщица Красноглазиха. Все шушукуют, каждый думает и говорит про Марка Данилыча по-своему.

– Господь гордым противится, смиренным же дает благодать, – стоя в сторонке, назидательно говорил отец протопоп окружавшим его дьякону, церковному старосте и другим. – Наказующий перст божий того ради коснулся сего прегордого, что, ревнуя богомерзкому расколу, всю свою жизнь чуждался святой церкви. Притом же, хотя и раскольник, однако ж все-таки должен был принимать в дом духовных лиц со святынею. А наш причт от него медного гроша никогда не видывал.

– Вот что значит с никонианами-то водиться!.. строго и учительно говорила уставщица Красноглазиха. – Повелся с еретиками, за одно с ними трапезой насыщался, из одной пивал посуды, и себя тем сквернил и соблазны чинил христианам древлего благочестия.

– Вот всякий гляди да казись, – тараторила разбитная приживалка чиновница Ольга Панфиловна. Всяким добром ублаговторял мерзких паскуд, как вон эта злоязычица Аниська Красноглазиха... Не чем другим, а этим самым и навел на себя гнев господень. И осетрины-то ей, бывало, и белужины, и икры, и дров, и муки, и всякой всячины. Чем бы настоящим бедным подать, тем, что в нищете проводят жизнь благородную, он только этой гадине. А пошарь-ка в коробье у проклятой Аниськи, увидишь, сколь бедна она.

А у самой на уме: «А ну, как помрет, прощай тогда и рыбка, и мучка, и дровешки. Хоша и непутный и самый непостоянный человек, а все-таки продли ему веку господи!»

И не одна Ольга Панфиловна такие думы думала. И городничий, и стряпчий, и другие чиновные были озабочены, будет ли смолокуровская наследница по-прежнему икрой да рыбой их награждать. И все жалели Марка Данилыча. Один протопоп из-под новенькой камилавки злобно на него поглядывал.

Осмотрев больного, лекарь крепко ущипнул его за руку. Марко Данилыч хоть бы глазом моргнул. Тогда лекарь только посвистел. Бросилась к нему Дарья Сергевна.

– Что с ним, батюшка? Скажите на милость!.. Сделайте такое ваше одолжение, – говорила она, обливаясь слезами.

И другие, что тут были, тоже наперерыв друг перед дружкой спрашивали лекаря, что случилось с Марком Данилычем.

– Не мешайте, – с важностью в осанке и голосе сказал толстенький лекарь; а потом попросил городничего, чтоб велел он всем подальше отойти от больного.

Повел рукой градоначальник, ругнулся вполголоса и почтительно отхлынула разнородная толпа. Возле Марка Данилыча остались Дарья Сергевна да еще чиновные люди и приказчики.

Стал лекарь на колени, вынул из кармана ящик с инструментами, одним ланцетом ловко разрезал рукав, другим кровь пустил. Тихо потекла из ранки совсем почти черная кровь.

– Скверно! – шепнул лекарь наклонившемуся к нему городничему. – Надо бы его домой перенести. Носилки бы какие-нибудь, – прибавил он, обращаясь к приказчикам.

Василий Фадеев и еще трое пошли за носилками. Городничий спросил ставшего на ноги лекаря.

– Что с ним?

– Кондрашка! – равнодушно ответил врач, укладывая ланцеты. – Федулов, – сказал он, обращаясь к фельдшеру, – ступай в дом пациента, там и останешься, будешь дежурить у кровати... А что Карл Хрестьяныч дома?.. – спросил он потом у будочника Маркелова, пришедшего на место не столько ради порядка, сколько из любопытства.

– С лягавой сукой, с Динкой, на заводь к Оке отбыть изволили, – буркнул чуть не во все горло городской.

Городничий поднял кулак и примолвил своему подначальному:

– Что горло-то развязал? Скотина!.. На пожаре, что ли, ты?

Оторопел будочник, стал в тупик и вытянулся перед начальством в струнку.

Принесли носилки, что деланы для переноски дров. Василий Фадеев догадался навалить на них побольше трепаной пеньки, помягче бы лежать было хозяину.

Бережно положили на носилки Марка Данилыча и тихо понесли в дом. Густой толпой повалил народ за носилками, пошли и чиновные люди. Дорогой, однако, они разошлись, каждый пошел восвояси. До дому проводили больного только лекарь да городничий. За ними двинулась было на смолокуровский двор толпа горожан и работных людей, но бдительный градоначальник не пустил их. Поставив у ворот Маркелова, он строго-настрого приказал ему не позволять входить на двор никому из сторонних, опричь чиновных людей. Толпа остановилась перед домом Марка Данилыча, а мещанские парнишки с учениками уездного училища взлезли на забор, что стоял насупротив смолокуровского дома, и, как ворбны, расселись на нем. И того не потерпел градоначальник.

– По домам! – крикнул он таким голосом, каким командовал в сражении под Остроленкой, где ранен в руку, за что и получил место городничего. – А вас, пашенки. – прибавил он, обращаясь к мальчишкам, – всех велю забрать в полицию да таких горячих засыплю, что век будете меня помнить.

Слезли с забора мальчишки и разбежались врассыпную. Разошлись и взрослые, что от нечего делать глазели еще на дом Марка Данилыча, ровно на диковину какую.

– Слушай-ка ты, любезный, – сказал городничий Василию Фадееву, побежавшему было в аптеку за лекарством. – Ты ведь приказчик Марка Данилыча?

– Так точно, ваше высокоблагородие, – почтительно скинув картуз, вытянув шею и самодо-

вольно улыбаясь, ответил Фадеев.

– Так вот что: сейчас распорядись, чтоб улицу против дома и против всего дворового места устлали соломой, – продолжал городничий. – Это для порядка. Во всех хороших городах и в самом даже Петербурге так делается, если занеможет знатный или богатый человек, заметил градоначальник стоявшему возле лекарю. Чтоб сейчас же устлали! – прикрикнул он Василию Фадееву. – А ежели через полчаса мое приказанье исполнено не будет, розгачей отведаешь. Шутить не люблю... Смотри ж, любезный, распорядись.

– Да вот я в аптеку прежде сбегая, – начал было Фадеев, но городничий громко крикнул на него:

– Не умничать, делай, что начальство приказывает. В аптеку поспеешь, аптекарь за куликами охотится. Сию минуту распорядись – без соломы нельзя, это для порядка требуется!

И устлали соломой улицу, хоть она травой поросла и в целый день по ней разве две либо три телеги, бывало, проедут.

Не лучше Марку Данилычу. Правая сторона совсем отнялась, рот перекосило, язык онемел. Хочет что-то сказать, но только мычит да чуть-чуть маячит здоровой рукой. Никто, однако, не может понять, чего он желает. Лекарь объявил Дарье Сергевне, что, если и будет ему облегчение, все-таки он с постели не встанет и до смерти останется без языка.

Нежданно-негаданно нагрянула беда на Смолокурова. Какой еще горше беды? Какое богатство на долю человека ни выпадет, какое ни будь у него изобилие, а нагрянет недуг да приведет с собой калечество, так и несметное богатство выйдет хуже нищеты и всякой нужды. Пропал Марко Данилыч, пиши его вон из живых.

А в доме и по хозяйству все врознь поехало. Правду говорят старые люди: «хозяин лежит – весь дом лежит, хозяин с постели – все на ногах». А тут приходится лежать хозяину до той поры, как его в могилу уложат.

Всю жизнь Марко Данилыч никому не доверял вполне, ни на кого не полагался и в торговых и в других делах. От приказчиков да прислужников только и ждал, что обманов да воровства. И был в том прав. Никто не любил его, никто не был ему предан, каждый только и норовил поживиться на его счет. Подозрительный в каждой мелочи, ко всем недоверчивый, сам он вел торговые книги, никогда не бывало у него конторщика, сам все записывал, сам и переписку вел. В каком положении остались у него дела, никто не знал. Никто не знал и о том, сколько у него наличного капитала, сколько и на ком в долгах, сколько сам он должен другим. Тяжко было Дарье Сергевне – за всем гляди, всем распорядись, все управь, охрани и за все будь в ответе. А тут приказчики просят распорядков, рабочие требуют расчетов, а у нее на руках и денег столько нет, чтоб со всеми разделаться.

К сундуку с деньгами и бумагами она без Дуни не смеет прикоснуться, а Дуня бог еще знает когда домой воротится. Послала к ней Дарья Сергевна эстафету с известьем о внезапной болезни отца... Но с кем она поедет и как проедет такую даль по незнакомым местам? Чего не встретится ей на пути?.. Вконец растерялась Дарья Сергевна. Обратиться не к кому – никто не любил Смолокурова, а теперь каждый того еще опасался, что ежели поднимет его бог с одра болезни, так, пожалуй, добром с ним и не разделаешься – скажет, что обокрали его во время болезни, дела привели в расстройство. К кому в городе ни обращалась Дарья Сергевна за помощью, все уклонялись.

Уж после отправки к Дуне письма вспомнила Дарья Сергевна про Аграфену Петровну. Хотя в последнее время Дуня и переменилась к своему «другу любезному», стала к ней холодна и почти совсем избегала разговоров с ней, однако, зная доброе сердце Аграфены Петровны, Дарья Сергевна послала к ней нарочного. Слезно просила ее приехать к больному вместе с Иваном Григорьичем и со всеми детками, самой съездить за Дуней, а Ивана Григорьича оставить для распорядков по делам Марка Данилыча...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В самый тот день, когда Марку Данилычу болезнь приключилась, за Волгой, у Патапа Максимыча, было шумное, веселое пированье. Принесла Прасковья Патаповна первого сыночка Захарушку, первого внука Патапу Максимычу. Светел, радостен заволжский тысячник, радовался он великою радостью. Когда бабушка повитуха показала ему новорожденного младенца, дедушка благословил его и вслух всем промолвил:

– Рости, Захарушка, вырастай, мой родимый, будь матери умней, будь отца дельней!

Василий Борисыч тут же был. Не по нраву ему были слова тестевы, но ведь он из его рук глядел, а потому, не разводя лишних слов, вздохнул и только промолвил вполголоса:

– Ох, искушение!

Полетели от Патапа Максимыча посланцы по всем сторонам – и в Нижний, и в Городец, и в Красную Рамень созывать друзей-приятелей на крестины, а сам он поехал за «проезжающим попом», жившим при городецкой часовне. Много гостей наехало в Осиповку – много навезли они Прасковье Патаповне родильных пирогов и каравайчиков (Родильнице знакомые замужние женщины приносят либо посылают сладкие пироги или сдобные каравайчики вроде пасхальных куличей.).

Аграфена Петровна приехала с мужем и с детками, приехал перепелиный охотник, удельный голова Михайло Васильич в жалованном своем кафтане, прикатил из Нижнего дружок Патапа Максимыча Колышкин, со всех сторон пожаловали гости званые, почетные; не приехала, не пожаловала одна матушка Манефа.

Ни слова не сказала она посланному, приезжавшему в Комаров звать ее на крестины новорожденного внука, а когда вышел тот из игуменьиной кельи, остановила его в сенях мать уставщица Аркадия и гневно ему выговаривала, что, дескать, видно с ума он спятил, затесавшись с таким зовом к игуменье.

– Нешто твой Патап Максимыч не знает, что инокиням на свадьбах да на кстинах быть не подобает?.. не в меру распалившись, кричала она на всю обитель. С ума, что ли, вы сошли со своим хозяином!.. На смех, что ли, он послал тебя? Вон, сейчас же вон из обители!.. Чтобы духом твоим не пахло здесь!..

И выгнала. Добродушная мать Виринея позвала было посланного к себе в келарню угостить как следует, но мать Аркадия и того не допустила. Досталось от нее и Виринее и всем подначальным матери-келарю послушникам. Так расходилась дебелая старица, что еще долго по уходе из обители несолоно хлебавшего посланца не вдруг успокоилась. И отчитала ж Аркадия Патапа Максимыча. Думать надо, что долго и много икалось ему.

Привезли в Осиповку попа городецкого, окрестил он в чапуринской моленной младенца Захария. В кумовьях Иван Григорыч был с женой удельного головы, а знаменитая повариха Никитишна за бабушку повитуху была.

Тотчас после крестин подан был крестильный обед. Сошлись в большой горнице все, кроме потаенного попа, родильницы, да больше года хворавшей и редко когда выходившей из боковуши Аксины Захаровны. Повариха Никитишна тоже не вышла к обеду, много было ей хлопот и встряпущей и у больных. Проезжающего попа тотчас после крестин, прикрыв рогожкой (Так обыкновенно старообрядцы возили беглых от церкви попов, чтоб не попались они в руки полиции.), спровадили обратно в Городец. На всякий случай Патап Максимыч отложил, сколько надо, денег ради умягчения консисторских сердец, на случай ежели б свибловский поп Сушило подал заявление, что, дескать, повенчанный им в церкви купец Василий Борисов купно со своим тестем, торгующим по свидетельству первого рода, крестьянином Патапом Максимовым Чапуриным, главным коноводом зловредного раскола, окрестили новорожденного младенца в доме означенного Чапурина в недозволенной правительством моленной при действии тайно проживающего при городецкой часовне беглого священника Иоанна Бенажавского. Денежки предусмотрительного Патапа Максимыча пошли куда следует и отвели бурю, воздвигнутую было враждебным попом Сушилой.

За столом хозяйничала богоданная дочка Патапа Максимыча Аграфена Петровна. И кругом

стола за каждой переменной кушанья она обхаживала и гостей упрашивала, не обессудили бы хлеб-соль хозяйскую, кушали бы, что на стол поставлено, не бесчестили б усердного угощения, чем бог послал. И все-то старозаветными приговорками она приговаривала, без коих наши прадеды куска хлеба, бывало, не съедят в гостях, пока не услышат их из ласковых уст хлебосольной хозяйки.

– Садитесь, гости дорогие, за скатерти браные, за напитки пьяные, за хлеб, за соль, за крестильную кашу да за курничок, – приговаривала Аграфена Петровна, усаживая гостей за обеденный стол.

– Уговор дороже денег, – подхватил Патап Максимыч, когда уселись все. – Слушайте хозяйна, гости дорогие, – на собак покидайте одни кости, остальное сами доедайте, чтоб на столе у меня все было чистехонько.

Теперича воля не ваша, а моя да хозяйюшкина. Сами знаете, что по-старому святому завету гость хозяину не указчик – что поставят перед ним, то и кушай да хозяев во всем слушай. Ваше дело есть да пить, а наше дорогих гостей потчевать. Кланяйся, зятек, да за гостями приглядывай, пили бы хоть помаленьку да выпили все.

Курник поставили на стол. Отличилась Дарья Никитишна – такой спекла, что чем больше ешь, тем больше хочется. Ходит вокруг стола Аграфена Петровна, ласковые слова гостям приговаривает:

– Кушайте, гости, покушайте! Запросто, без чинов, чем господь послал. Приневольтесь еще маленечко, по другому кусочку курничка-то скушайте. Что перестали? Аль хозяйского хлеба-соли вам жаль?

– Распредовольны, сударыня, Аграфена Петровна,

– молвил ей на ответ удельный голова, отирая бороду.

– А ты, дружище Михайло Васильич, хозяйке-то не супротивничай, ешь, доедай, крохи не покидай, – сказал Патап Максимыч.

– Нельзя, любезный друг, видит бог, не вмоготу. Всего у тебя не переешь, не перепьешь, – тяжело отдуваясь, промолвил голова.

– А тебе бы, Михайло Васильич, да и всем вам, дорогим гостям, распоясаться, кушаки-то по колочкам бы развесить, – сказал Патап Максимыч. – Зятек! Василий Борисыч! Сымай кушаки с гостей, вешай по колочкам. Ну, архиерейский посол, живей поворачивайся.

Сняли гости кушаки, и всем облегчало. Сызнова пошло угощение. И гости веселы, и хозяин радостен. А уху какую сварила Дарья Никитишна, буженину какую состряпала, гусей да индюшек, как зажарила – за какой хочешь стол подавай. Каждый кусок сам в рот просится.

На славу вышел крестильный пир: и подносят частенько, и беседа ведется умненько.

Манефа к слову прилась, и повелась беседа про обители.

– Как слышно?.. Что скитские дела? – спросил Сергей Андреич Колышкин у Патапа Максимыча.

– Ничего пока неизвестно, – отвечал Патап Максимыч. – Думать надо, по-старому все останется. Видно, только поугадили матерей, чтобы жили посмирней. А то уж паче меры возлюбили они пространное житие. Вот хоть бы сестрица моя родимая – знать никого не хотела, в ус никому не дула, вот за это их маленько и шугнули. Еще не так бы надо. Что живут? Только небо коптят.

– А ведь я до сих пор хорошенько не знаю, что сделал генерал, что из Питера в скиты наезжал, – сказал Сергей Андреич.

– Только страху задал, а больше ничего, – ответил Патап Максимыч. – Пачпорты спрашивал, часовни описывал, иконы, что там поставлены, строенья обительские – а больше ничего.

– Матери-то ублаготворили, видно?.. – спросил Сергей Андреич.

– Ни-ни! – ответил Патап Максимыч. – Подъезжали было, первая сестрица моя любезная, да он такого им пару задал, что у них чуть не отнялись языки. Нет, пришло, видно, время, что скитам больше не откупаться. Это ведь не исправник, не правитель губернаторской канцелярии. Дело шло начистоту.

– А после его отъезда так-таки ничего и не вышло? – опять спросил Колышкин.

– Ровнехонько ничего, опричь того, что воспретили шатуньям со сборными книжками шляться, – сказал Патап Максимыч. – Да этих чернохвостниц одной бумагой не уймешь: в острог

бы котору-нибудь, так не в пример бы лучше было.

– Ну, уж и в острог! – вступился удельный голова.

– А для чего ж не в острог? – возразил Патап Максимыч. – Ведь они дармоедницы, мирские обиралы, ханжи, да к тому ж сплетницы и смотницы. За такие художества ихнюю сестру не грех и в остроге поморить.

– Они богу молятся за мир христианский, – заметила жена удельного головы. – Нам-то самим как молиться?.. Дело непривычное, неумелое. У нас и дела, и заботы, и всё, а пуще всего не сумеет нам бога за грехи умолить, а матушки, Христос их спаси, на том уж стоят – молятся как следует и тем творят дело нашего спасения.

– Молятся! Как же!.. Держи карман!.. Знаю я их вдосталь! – сказал на то Патап Максимыч, – Одна только слава, что молятся. У них бог – чрево... Вот что...

Давно бы пора в порядок их привести. Что молчишь, зятек?.. – с лукавой улыбкой обратился Патап Максимыч к Василью Борисычу. – Изрони словечко – ихнее дело тебе за обычай. Молви гостям, правду аль нет говорю.

– Трудно на это что-нибудь сказать, – робко, уклончиво, сквозь зубы проговорил бывший архиерейский посол. – С какой стороны посмотреть.

– Гляди и толкуй прямо, – немного возвыся голос и слегка нахмурясь, сказал Патап Максимыч. – Чего вертеться-то? Прямо сказывай, без отлынивания, без обиняков...

– Оно, конечно, ихней сестры много шатается, переминаясь, заговорил было Василий Борисыч. – Однако ж, ежели взять...

– Чего тут еще «однако да однако»? – вспылil Патап Максимыч. – Тебя до сих пор хорошенько еще не проветрило. Все еще Рогожским да скитами тебе отрыгается. Никуда, брат, не годен ты – разве что в игуменьи тебя поставить... Хочешь на теткино место, на Манефино?

– Ох, искушение! – вполголоса, опуская глаза в тарелку, молвил Василий Борисыч.

– А право, знатная бы вышла из тебя игуменья, смеясь, продолжал Патап Максимыч. – Стал бы ты в обители-то как сыр в масле кататься! Там бы тебе раз по десяти на году-то пришлось крестины справлять. Право...

И раскатился Патап Максимыч громким хохотом на всю горницу.

И все мужчины хохотали, а женщины, потупивши глаза, молчали. Василий Борисыч с сокрушенным сердцем и полными кручины глазами одно твердил:

– Ох, искушение!

– Ей-богу, – продолжал свои глумленья развеселившийся Патап Максимыч. – А вот мы, отобедавши, в игуменьи тебя поставим. У канонницы иночество напрокат возьмем и как следует обрядим тебя... Бородишку-то платком завяжи, невеличка выросла, упрятать можно...

Пожалел Колышкин Василья Борисыча, перервал речи Патапа Максимыча, спросил у него, как скитницы, что перевезли строенья из скитов в город, распорядятся теперь, ежели нечего им бояться выгонки.

– Каждая по-своему распорядилась, – отвечал Патап Максимыч. – Сестрица моя любезная три дома в городу-то построила, ни одного не трогает, ни ломать, ни продавать не хочет. Ловкая старица. Много такого знает, чего никто не знает. Из Питера да из Москвы в месяц раза по два к ней письма приходят. Есть у нее что-нибудь на уме, коли не продает строенья. А покупатели есть, выгодные цены дают, а она и слышать не хочет. Что-нибудь смекает. Она ведь лишнего шага не ступит, лишнего слова не скажет. Хитрая!

– А другие как? – спросил Сергей Андреич.

– Одни продали, другие назад в скиты перевезли, иные внаймы отдали, – отвечал Патап Максимыч. Оленевская мать Минодора под кабак кельи-то отдала, выгодным нашла. И теперь игуменьи с первой до последней ругательски ругают Манефу, что смутила их, запугала петербургским генералом и уговорила загодя перевозить из скитов строенья. «Разорила, расстроила нас Манефа комаровская», – в один голос кричат они. Ну, вот тебе и весь сказ. А теперь Расскажи-ка ты мне, Сергей Андреич, не слыхал ли чего про Алешку Лохматого? Давно ничего про него я не слыхивал.

– В Самару на житье переехал, – ответил Сергей Андреич. – Дела ведет на широкую руку –

теперь у него четыре либо пять пароходов, да, oprичь того, салотопенный завод. Баранов в степи закупает, режет их в Самаре и сало вытапливает. По первой гильдии торгует, того и жди, что в гордские головы попадет.

– Вот как! – промолвил Чапурин. – А про Марью Гавриловну что слышно?..

– Что Марья Гавриловна? Житьишко ее самое последнее, – сказал Колышкин. – За душой медной полушки не осталось. Все муженек забрал... Ситцевое платишко сшить понадобится, так месяца полтора у него клянчит о каких-нибудь трех рублишках... Мало того, в горничные попала к мужниной полубовнице.

– Мамошкой, значит, обзавелся, – заметил удельный голова.

– Много у него их. И сам, пожалуй, не перечтет, сколько их у него перебивало, – с легкой усмешкой сказал Колышкин. – А набоольшая одна... И красавица же!.. Мало таких на свете видано.

– Откуда ж он добыл такую кралю? – спросил Иван Григорьич.

– В приданство Марья Гавриловна принесла, – отвечал Сергей Андреич. – Молоденькая девчонка, Татьяной Михайловной звать.

– Не та ли уж, что у Марьи Гавриловны в Комарове жила? – спросила Аграфена Петровна.

– Она самая, – молвил Колышкин.

– Как же это? – вскрикнула Аграфена Петровна. Да ведь она души не чаяла в Марье Гавриловне. В огонь и в воду была готова идти за нее. Еще махонькой взяла ее Марья Гавриловна на свое попечение, вырастила, воспитала, любила, как дочь родную! Говорила, что по смерти половину имения откажет ей. И вдруг такое дело!.. Господи! Господи!.. Что ж это такое?.. Да как решилась она?

– Зачались дела еще, кажется, с той поры, как только замуж вышла Марья Гавриловна, – сказал Сергей Андреич. – Сначала Татьяна от Алексеевых приставаний из дому хотела уйти, утопиться либо удавиться, а Марье Гавриловне не сказывала, что тому за причина.

А тот не отстаёт и денег не жалеет. Крепилась, крепилась Татьяна Михайловна, наконец покорила. Как у них это сделалось, знают одни они. А между тем Лохматов до последней нитки все перевел на свое имя и, как только перевел, так во всей красе и развернулся. Марье Гавриловне ни копейки, а Татьяне шелковые платья да бархатные салоны на собольем меху. А Марья Гавриловна хоть бы словечко на то промолвила, хоть бы слезинкой на мужа пожаловалась...

– Как же это? Как же это так? Как могла Таня решиться на такое дело? – дрожащим от волнения голосом заговорила Аграфена Петровна. – Ну, не смогла устоять, не угасила постом да молитвой демонских стреляний, так как же можно было ей так обидеть благодетельницу свою, столько горя принести ей?..

– А вино-то на что? – перервал ее речи Колышкин. – Сперва шампанское да венгерское, потом сладенькие ликерцы, а потом дело дошло и до коньяка... Теперь не дошло ли уж и до хлебной слезы, что под тын человека кладет... Совсем скружилась девка, и стыд и совесть утопила в вине, а перед Марьей Гавриловной, в угоду любовнику, стала дерзка, заносчива, обидлива. Терпит Марья Гавриловна, пьет чашу горькую!

– Так-таки и прислуживает Таньке? Так-таки и живет Марья Гавриловна в своем доме, как работница? – волнуясь, спрашивала Аграфена Петровна у Сергея Андреича.

– Совсем как есть, – ответил Колышкин. – И одевает ее, и самовар приносит, и кофей варит, и постель стелет мужу с Татьяной. Совсем как есть работница. Еще удивительно, как бедная Марья Гавриловна из ума не выступила. Богу, слышь, только молится, а говорить – ни с кем ни слова не молвит.

– Бедная, бедная! – промолвила Аграфена Петровна.

– А я так полагаю, что глупая она бабенка и больше ничего, – вставил слово свое удельный голова. Подвернулся вдове казистый молодец, крепкий, здоровенный, а она сдуру-то и растаяла и капитал и все, что было у нее, отдала ему... Сечь бы ее за это – не дури... Вот теперь и казись – поделом вору и мука, сама себя раба бьет, коль нечисто жнет.

– Грех ее осуждать, Михайло Васильич, – вступилась Аграфена Петровна. – Нешто знала она, что будет впереди? Ежели б знала, не так бы делом повела... Из любви все делала, и потому не взыщутся ее грехи. В писании-то что сказано?.. Сказано, что любовь много грехов покрывает.

Даст богу ответ один Алексей.

– Так-то оно так, – отвечал голова, – а по-человечески судя, этак поступать бы ей не следовало. Что она теперь?.. Была богачка – стала нищая, была женщина почтенная, всеми уважена, а теперь хуже последней судомойки!.. Плоть-то уж больно распалила она тогда – вот что... Оттого и попала в кабалу негодному человеку. И хоть бы что-нибудь хорошего в нем было! Так ведь нет ничего. Вон теперь он сворованными у жены сотнями тысяч ворочает, а отцу с матерью поесть нечего. Не раз Христом богом старик Трифон просил сына о помощи.

Ответа даже не выслал. А семья в разор разорилась, девки загуляли, сколько раз ворота дегтем у них мазали (Повсеместный почти деревенский обычай – мазать дегтем ворота того дома, где живет зазорного поведения девушка. Это у крестьян считается величайшим оскорблением для всей семьи, а для девушки особенно. Ту, у которой мазаны ворота, замуж никто не возьмет.).

Саввушка у Трифона меньшей сын – добрый паренек, смысленный, по всему хороший, и тот, по недостаткам родителей, мертвую запил, а теперь, слышь, в солдаты нанимается. А непутный Алексей швыряет тысячами, и горя ему нет, что родная семья вконец разорилась и из честного родительского дома вышел Содом и Гоморр... Не потерпит ему бог. Нельзя тому быть, чтоб не покарал он его в сем веке и в будущем.

Ни слова не сказал Патап Максимыч, слушая речи Михайла Васильича. Безмолвно сидел он, облокотясь на стол и склонив на руку седую голову. То Настю покойницу вспоминал, то глумление Алешки над ним самим, когда был он у него по делу о векселях. Хватил бы горячим словом негодяя, да язык не ворочается: спесь претит при всех вымолвить, как принял его Алешка после своей женитьбы, а про Настю даже намекнуть оборони господи и помилуй!

Вдруг перед честной беседой явилась знаменитая повариха, а теперь и бабушка повитуха Дарья Никитишна. В полушелковом темно-красном сарафане, в гарнитуровом холодильнике, в коричневом платке с затканными серебряными цветочками на голове, павой выплыла она в горницу с уместным горшком пшенной каши. С низким поклоном поставила она его перед Васильем Борисычем и такие речи примолвила ему по-старинному, по– уставному:

– Что туман на поле, так сынку твоему помоленному, покрещенному счастье-талан на весь век его! Дай тебе бог сынка воспоить, воскормить, на коня посадить! Кушай за здоровье сынка, свет родитель-батюшка, опростай горшочек до последней крошечки – жить бы сынку твоему на белом свете подольше, смолоду отца с матерью радовать, на покон жизни поить-кормить, а помрете когда – поминки творить!

Взял ложку Василий Борисыч. А каша-то крутым– накруто насолена, перцу да горчицы в нее понакладено. Съел ложку родитель, закашлялся, а бабушка Никитишна не отстает от него:

– Изволь, государь-батюшка, скушать все до капельки, не моги, свет-родитель, оставлять в горшке ни малого зернышка. Кушай, докушивай, а ежель не докушаешь, так бабка повитуха с руками да с ногтями. Не доешь, – глаза выдеру. Не захочешь докушать, моего приказа послушать – рукам волю дам. Старый отецкий устав не смей нарушать – исстари так дедами-прадедами уложено и навеки ими установлено. Кушай же, свет– родитель, докушивай, чтобы дно было наголо, а в горшке не осталось крошек и мышонку поскресть.

Хоть бежать, так в ту же пору Василь Борисычу. Да бежать-то некуда – горница людей полна, и все над ним весело смеются. С одной стороны держит его Никитишна, а с другой – сам Патап Максимыч стоит, ухвативши за плечо зятя любезного.

– Умел выкрасть жену, умел и сынка родить, доедай же теперь бабину кашу, всю доедай без остатка, – с хохотом говорил Патап Максимыч.

Кашляет Василий Борисыч, что ни ложка, то поперхнется. Давится, охает и шепчет любимое свое: «Ох, искушение!»

А гости хохочут, сами приговаривают:

– Ешь кашу, свет-родитель, кушай, докушивай! Жуй да глотай бабину кашу на рост, на вырост, на долгую жизнь сынка! Все доедай до капельки, не то сынок рябой вырастет.

Три пота слило с Василья Борисыча, покамест не справился он с крестильной кашей. Ни жив ни мертв сидит за столом, охает громче и громче, хоть в слезы да в рыдания, так в ту же бы пору. Но бог его не оставил, помог ему совладать с горшком.

– Теперь, свет-родитель, ложку изволь выкупать, – сказала Никитишна, ставя перед Василием Борисычем подносик.

Выкупил ложку Василий Борисыч, положивши бабушке пятишницу.

Пошла Никитишна вокруг стола, обносила гостей кашею, только не пшенной, а пшена сорочинского, не с перцем, не с солью, а с сахаром, с вареньем, со сливками. И гости бабу-повитуху обдаивали, на поднос ей клали сколько кто произволил. А Патап Максимыч на поднос положил пакетец; что в нем было, никто не знал, а когда после обеда Никитишна вскрыла его, нашла пятьсот рублей. А на пакетце рукой Патапа Максимыча написано было: «Бабке на масло».

Съели кашу и, не выходя из-за стола, за попойку принялись. Женщины пошли в задние горницы, а мужчины расселись вокруг самовара пунши распивать. Пили за все и про все, чтобы умником рос Захарушка, чтобы дал ему здоровья господь, продлил бы ему веку на сто годов, чтоб всю жизнь было у него столько добра в дому, сколько в Москве на торгу, был бы на ногу легок да ходок, чтобы всякая работа спорилась у него в руках.

– А тебе, Василий Борисыч, – обратился к свету-родителю удельный голова, – пошли господь столько сынков, сколько в поле пеньков, да столько дочек, сколько на болоте кочек, и всем вам дай господи, чтоб добро у вас вот этак лилось.

И выплеснул стакан пунша на пол.

– Зачем же столько? – в смущенье и замешательстве тихо и робко промолвил Василий Борисыч. – Этак-то уж не очень ли много будет?

– А за каждого ребенка тебе по сту палок, – прибавил к пожеланьям головы маленько подгулявший Патап Максимыч.

– За что ж это? – стал было говорить в защиту Василья Борисыча Михайло Васильич.

– Дураков не плоди. И без того от них на свете проходу нет, – сказал Патап Максимыч. – Ведь сын по отцу – значит, дураков сын и сам дурак будет... А наш певун разве не дурак?.. К какому делу он пригоден? Петь, да в моленной читать, да еще за девками гоняться, только и есть у него; на другое ни на что не годится. Прасковья – то у меня плоха, дрыхнуть бы ей только, да и она, хоть и сонная дура, а раза четыре драла мужу глаза за девок-то. По-моему, выстегать бы его хорошенько, чтоб ума прибыло. Да уж когда-нибудь дождется он у меня.

Все захохотали, а Василий Борисыч только вздыхает да под нос шепчет себе:

– Ох, искушение!

– Нет, посудите в самом деле, гости дорогие, – продолжал Патап Максимыч, поставив локти на стол и положив бороду на ладони. – Думал я спервоначалу, что парень он толковый. Помните, как он при вашей бытности, на сорочинах покойницы Насти, расписывал про народные нужды и промыслы по разным местам?.. Любо-дорого было послушать. Помнишь, Михайло Васильич, при тебе тогда я его уговаривал заняться делом – на Горах промысла заводить. Денег давал и во всем полную доверенность, бросил бы только чернохвостниц да наплевал бы на своих посконных архиереев. И согласился было он, шесть недель только сроку просил. Так нет, келейницы-то, видно, уж больно тянули его к себе. А как женился и пришлось ему пошабашить и со скитами, и с Рогожским, и с шатущими архиереями, подумал я тогда:

«Слава тебе, господи, выплывает человек на вольную воду, дурости покидает, за разум берется». Не тут-то было. Языком мы с ним города берем, а подойдет дело, сейчас и отлынивать. На поверку вышло, что мой Василий Борисыч ни на что не годен – только и знает что с девками петь да по лесочкам меж кусточков с ними валандаться. Кажись бы, маленький, да приземистый, и слабенький, и жиденек, что ивовый прут, поглядеть, кажись, не на что, а по женской части ух какой ходок. Ни одной проходу не даст. На что работница Матрена и ряба и неуклюжа, вот что кушанья-то носила сюда, больше на черта, чем на девку похожа, и ту в покое не оставил. Теперь запал ему в скиты ход, а то бы у него по честным обителям и в самом деле было сынков, что пеньков, а дочек, что кочек. Правду аль нет говорю я тебе, зять ты мой любезный Василий Борисыч?

И, лукаво прищутив глаза, насмешливо поглядел Патап Максимыч на Василья Борисыча, а под тем стул, ровно железный да каленый. Так бы и вскочил, так бы и побежал из горницы вон, да как убежишь? И стал он безответен.

Тесть из зятя только веревок не вил, был у него Василий Борисыч во всей власти и на всей

его воле. И никоим образом нельзя было Василию Борисычу себя высвободить. Уйти из тестева дома все одно что руки на себя наложить. После венчанья у попа Сушилы из прежних друзей-приятелей никто к дому близко его не подпустит, и всяк будет радехонек какую-нибудь пакость ему сделать. Нечего делать, покоряйся судьбе, терпи попреки от тестя, безответно принимай издевки и насмешки, а сам не смей и рта разинуть. Давно клянет себя Василий Борисыч за сладкую ночку в лесочке улангерском, и ругательски ругает Петра Степаныча с Фленушкой, что ради потехи окрутили его чуть не насильно с Прасковьей Патаповной.

Колокольчик послышался.

– Кого леший несет? – с гневом, с досадой неистово вскрикнул Чапурин. – Не исправник ли почуял, что мы пуншиком забавляемся, аль не к тебе ль из удельной конторы, Михайло Васильич?

– Некому меня разыскивать, – ответил голова. К тебе, должно быть, какой-нибудь запоздалый гость.

– Некому ко мне быть, да еще с колокольцами, молвил Патап Максимыч. – Гости мои все налицо. Должно быть, кто-нибудь незванный-непрошенный. Испортит нашу беседу, окаянный.

Тележка, запряженная почтовыми лошадьми, остановилась у ворот Патапа Максимыча. Бросились к окнам – нет, не исправник приехал, не из удельной конторы, а какой-то незнакомый человек в синей сибирке сборами назад и в суконном картузе. Не то городской мещанин, не то купец небойкого полета.

– А что, старичок почтенный, – спросил приехавший у сидевшего возле ворот Пантелея, – не здесь ли Аграфена Петровна из Вихорева?

– Здесь, – отвечал Пантелей, – а тебе на что ее?

– Письмецо есть, – сказал приезжий. – Из смолокуровского дома от Дарьи Сергевны. Наспех послан. Несчастье у нас случилось.

– Какое? – вскрикнул из окна Патап Максимыч. С кем?

– С самим. С хозяином, значит, с нашим, с Марком Данилычем, – отвечал посланный.

– Помер? – спросил Патап Максимыч.

– Помереть не помер, а близко того, – сказал посланный. – Рука, нога отнялись, рот перекосило, слова не может сказать.

– Ступай в горницу, – сказал Патап Максимыч, и посланный пошел на зов.

Аграфена Петровна пришла из задней и стала читать письмо.

– Ах, господи, господи! Вот беда-то!.. Бедная ты моя Дунюшка! – говорила она, читая.

– Ты, любезный, ступай покамест в подклеть, – сказал посланному Патап Максимыч. – С дороги-то и выпить и закусить не лишнее. Ступай – там напоят и накормят тебя.

Когда тот вышел, Аграфена Петровна передала письмо мужу, и тот прочел его вслух.

Извещая о болезни Марка Данилыча, Дарья Сергевна писала о своей беспомощности и о том, что Дуня все еще не бывала из Рязанской губернии от Луповицких и когда воротится, не знает. Молила, просила Дарья Сергевна Аграфену Петровну съездить за ней в Луповицы, слегка намекнув об опасности для Дуни, у тех-де господ завелась какая-то тайная вера, та, что в народе слывет фармазонскою, и боязно ей, чтобы Дуню они туда не своротили. Ивана Григорыча просила Дарья Сергевна приехать к безгласному, недвижимому Марку Данилычу вступить в его дела и научить ее, как чем надо распорядиться и как в доме порядок держать, чтобы Дуне не потерпеть убытков. «Все от большого да малого только и норовят теперь по сторонам добро тащить – каждому лакомо поживиться достатками Марка Данилыча. И приказчики, и рабочие, и городничий с городским головой, и стряпчий с секретарями, все, у кого нет совести, всячески стараются обобрать сироту». Ответ Дарья Сергевна просила прислать с тем же посланным, написала бы только Аграфена Петровна, приедут они или нет, и ежели согласны Дуне порадовать, так, сколь возможно, поспешали бы.

Вслух прочел письмо Иван Григорыч. Все молча призадумались, неожиданное известие озадачило всех. Каждый подумал: «Все под богом ходим, со всяким то же может случиться».

Долгое было молчанье. Наконец, Патап Максимыч такую речь повел:

– Дело такое, что надо спешить. Вера там какая-то тайная, городничий с секретарями – все это вздор да пустяки, женские выдумки. Главная причина тут – болезнь Марка Данилыча. Судя по тому, как отписывает Дарья Сергевна, кровавой удар ему приключился, попросту говоря – пострелом его пошибло. Он же такой плечистый да короткошея, с такими часто это бывает. Без языка, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может – навряд подняться ему. Не молвив ни словечка, так и покончится. Страшен этот недуг – человек все видит, все слышит, все понимает, а не может слова сказать. Подумайте, каково ему, ежели видит он в доме беспорядок, понимает, что добро его врознь тащут, а сам ни языком, ни рукой двинуть не может. Хуже смерти, особенно такому горячему человеку, как Марко Данилыч. И ко всему этому дочери дома нет. А он-то всю свою жизнь только для нее работал и трудился... И тут на его глазах, может быть, станут грабить скопленное ей именье!.. Такой, муки, пожалуй, и на том свете не будет. Пожалеть надо его по человечеству. Беспременно поезжай к нему, Иван Григорыч, завтра же чем свет поезжай.

– Нельзя мне, Патап Максимыч, никак невозможно, – отвечал Иван Григорыч. – Неотложные дела приспели. На той неделе поярок привезут ко мне, надо будет самому его принять, без своей-то бытности как раз обуют в лапти. А ведь это на целый на год. Сам рассуди.

Замолчал Патап Максимыч. Гости судят да рядят, как бы помочь Смолокурову, а он никому ни словечка. Долго ль, коротко ли гости меж собой разговаривали, а Патап Максимыч сидел, нахмурившись, как осенний день, в стороне от других, у окошка, молчал он и, не слушая разговор, свою думу думал.

«Жаль беднягу!.. Вживе, а не жилец. Растащут его добро. И будет все видеть, а сделать ничего не сможет, Вот мука-то!.. Дарья Сергевна что сделает? А такая беда ведь до всякого может дойти. И со мной может случиться и со всяким другим – все под богом, всем надо помереть, избави только господи от такой кончины... Страшно и подумать... Ни в живых, ни в мертвых... Конечно, доводись до меня – у меня есть и друзья и приятели. Хоть на зятя надежда и плоха, зато Иван Григорыч, Сергей Андреич, Михайло Васильич в обиду домашних не дадут, сохранят все как следует. А у него хоть бы одна душа. Приятелей, пожалуй, и много, да друга нет, а без друга человек все одно, что сирота. На пир, на бражку приятелей, что мух налетит, а при горе, при беде один друг придет... Надо помочь Марку Данилычу. Друзьями мы с ним никогда не бывали, а знакомство и хлеб-соль водили. Ивану Григорычу отлучиться нельзя, так сам я поеду. Груню прихвачу, пушай за Авдотей Марковной едет».

А меж гостями разговоры про Марка Данилыча идут да идут. Всяк бы рад помочь, да кому недосужно, кому нездоровится, а кто мало знакомства имеет со Смолокуровым.

– Груня, сряжайся, – сказал Патап Максимыч. Завтра утром со мной поедешь. Ребятишки с отцом останутся, я буду при болящем, а ты съездишь за Авдотей Марковной. Так делу быть.

– Тебе-то что? – молвил удельный голова. – Тебе-то из-за чего беспокоиться?

– Из-за того, что он беспомощен! По-человеческому, Михаил Васильич, надо так, – подняв голову и выпрямься всем станом, сказал Патап Максимыч. – А ежели мне господь такую же участь сготовил? Горько ведь будет, когда обросят меня и никто не придет ни с добрым словом, ни с добрым делом!..

– В таком разе приказчика послал бы, а то ни с того ни с сего самому трястись, – сквозь зубы проговорил удельный голова.

– А разве он на свою долю не потащит чего-нибудь? – сказал Патап Максимыч. – Все приказчики работаны на одну колодку – что мои, что твои, что Марка Данилыча, не упустят случая, не беспокойся.

– Да у тебя и Анисья Захаровна в болезни и дочь в постели лежит. Как можно тебе дом покинуть? – продолжал Михайло Васильич.

– Зять останется дома, – сказал Патап Максимыч. – На столько-то хватит у него умишка, чтоб больных сторожить. Опять же Марко Данилыч не за морями – отсюда всегда можно весточку дать. Да что переливать из пустого в порожнее? Дело решено, я так хочу, и больше говорить нечего. Сбирайся, Груня... А где повариха наша разлюбезная?..

Эй, сударыня Дарья Никитишна, подавай-ка голубушка, холодненького... А вы, гости доро-

гие, чару выпивать, а друзей не забывать... Подь, Грунюшка, сряжайся – сборы твои бабьи – значит, не короткие, не то что у нашего брата – обулся, оделся, богу помолился, да и в кибитку.

Ни слова не сказала Аграфена Петровна, даже с мужем словечком не перекинулась. Тятенькин приказ ей все одно, что царский указ. Молча пошла в задние горницы укладываться.

Принесла Дарья Никитишна холодненького, разлила его по стаканчикам.

– Дай бог нашему дитяти на ножки стати, дедушку величати, отца с матерью почитати, расти да умнеть, ума-разума доспеть. А вы, гости, пейте-попейте, бабушке кладите по копейке, было б ей на чем с крещеным младенчиком вас поздравлять, словом веселым да сладким пойлом утешать.

Так проговорила Никитишна старорусскую крестинную поговорку, а проговорив, низко поклонилась на четыре стороны.

А после того стала вино разносить. Сначала поднесла молчавшему Василию Борисычу, потом дедушке новорожденного, а затем гостям по их старшинству. И опять на поднос деньги ей клали, хоть и не столько, как за кашу. Опорожнили гости стаканчики, хозяину мало того.

– Наливай, еще наливай, старый верный друг, неизменное ты копье мое, Дарья Никитишна, – говорил Патап Максимыч бабушке-поварихе. – Наливай, хозяйского добра не жалеючи, – седни загуляю, завтра в путь – дороженьку!.. Самоварчик бы теперь хорошо, да еще бы пуншика!.. Ступай, зятек, – не по твоему разуму беседа здесь идет, подь-ка лучше в подклеть да самовар раздуй – спасибо от тестя дождешься за то.

– Ох, искушение! – тихонько молвил Василий Борисыч и, склонив головушку, пошел медленными стопами творить тестеву волю. С той поры как Патап Максимыч уверился, что от рогожского посла все одно что от козла – ни шерсти, ни молока, Василий Борисыч, кроме насмешек, ничего не слышал от него. И пикнуть не смел перед властным тестем.

На другой день после крестин не совсем еще обутрело, и осенний туман белой пеленой растилался еще по полям, по лугам и болотам, как Патап Максимыч, напившись с гостями чаю и закусивши расставленными Никитишной снедями, отправился в путь. В то же время выехали из Осиповки удельный голова с женой, Сергей Андреич Колышкин и другие гости. Остались Иван Григорыч с детьми да Никитишна. Проводя жену, Иван Григорыч сел в боковушке за счетные книги, а в передних горницах остался один Василий Борисыч. И грустно ему было и досадно. Давно ли все старообрядство почитало его за велика человека, давно ли в самых богатых московских домах бывал он дорогим, желанным гостем, давно ль везде, куда ни являлся, не знали, как ему угодить и как доставить все нужное в его обиходной жизни, и вдруг – стал посмешищем!.. Бывало, считали его одним из умнейших людей, а теперь он – шут, скоморох.

Бывало, слово вымолвит – и дивятся собеседники его знаниям и мудрости, и пойдет по людям сказанное слово, а с ним и слава о нем, как о надежде древнего благочестия, а теперь – даже тестевы токари да красильщики над ним насмеваются. Попав в среду трудовых людей, красноглазовый рогожский вития почувал себя чуждым для них и совсем лишним человеком. И тоска обуяла его, такая тоска, что хоть руки наложить на себя. Бежать, воротиться к старым друзьям и поклонникам?..

Но запали пути в среду прежнюю, те люди, что недавно на руках его носили, клянут теперь как отступника, как изменника. До ворот никто не допускает его... Прискорбна душа у Василия Борисыча. Один – одиначенек бродит он по просторным горницам, распевает вполголоса «Всемирную славу» да иной раз, идя мимо стола, где еще стояли графинчики да бутылочки, с горя да с печали пропустит красовулю (Красовуля – монастырская чаша, стопа, большая кружка.).

Гости Патапа Максимыча один за другим по сторонам разъехались. Один Колышкин доехал с ним вместе до губернского города. Там у него и пристал Патап Максимыч с Груней, там и дожидался утра, когда шедший вверх по Оке пароход должен был отваливать.

Жена Колышкина была дома. Только что воротилась она от вятских сродников, где часто и подолгу гащивала. Впервые еще увиделась с ней Аграфена Петровна. Не больше получаса погово-

рили они и стали старыми знакомыми, давнишними подругами... Хорошие люди скоро сходятся, а у них у обеих – у Марфы Михайловны и Аграфены Петровны – одни заботы, одни попеченья: мужа успокоить, деток разуму научить, хозяйством управить да бедному по силе помощь подать.

– Погляжу я на Патапа Максимыча, – сказала Марфа Михайловна. – И весел он кажется и разговорчив, а у него что-то на душе лежит. Горе ль его крушит, али забота сушит?..

– Горя не видится, а заботы много! – ответила Аграфена Петровна. – Вот теперь к Марку Данилычу едем. При смерти лежит, надобно делам порядок дать, а тятенька его дел не знает. Вот и заботно.

– Давеча он говорил об этом и про то говорил, что вам куда-то далеко надо за дочкой Смолокурова съездить, – молвила Марфа Михайловна. – Что ж, эти Смолокуровы сродники будут вам?

– Нет, – ответила Аграфена Петровна. – Ни родства, ни свойства, да и знакомы не очень коротко. Да ведь при больном нет никого присмотреть за делами.

Потому тятенька и поехал.

– Какой он добрый, какой славный человек! – воскликнула Марфа Михайловна. – Вот и нам сколько добра сделал он, когда Сергей Андреич пустился было в казенные подряды, из беды нас вызволил (Вызволить – выручить, освободить. Слово сибирское.).

Тогда еще внове была я здесь, только что приехала из Сибири, хорошенько и не понимала, какое добро он нам делает... А теперь каждый день бога молю за него. Без него идти бы нам с детками по миру. Добрый он человек.

– Да, – примолвила Аграфена Петровна. – Вот хоть и меня, к примеру, взять. По десятому годочку осталась я после батюшки с матушкой... Оба в один день от холеры в больнице померли, и осталась я в незнакомом городе одна-одинешенька. Сижу да плачу у больничных ворот. Подходит тятенька Патап Максимыч. Взял меня, вспоил, вскормил, воспитал наравне с родными дочерьми и, мало того, что сохранил родительское мое имя, а, выдавши замуж меня, такое же приданое пожаловал, какое и дочерям было сготовлено.

И засверкали слезы на ресницах Аграфены Петровны. Эти слезы и простой, бесхитростный рассказ про «доброего человека» растрогали Марфу Михайловну. Не знала еще она, что сделал Патап Максимыч для богоданной дочки своей. «Хорошо на твоём свете, господи, – подумала Марфа Михайловна, – ежели есть еще такие люди на нем».

Вечером долго сидели за чайным столом. Шли разговоры веселые, велась беседа шутливая, душевная. Зашла речь про скиты, и Патап Максимыч на свой конек попал – ни конца ни краю не было его затейным рассказам про матерей, про белиц, про «леших пустынников», про бродячих и сидячих старцев («Лешими пустынниками» зовут беглецов, живущих по за волжским, вятским и пермским лесам, под видом искания отшельнической жизни и с целью душевного спасения.) и про их похождения с бабами да с девками. До упаду хохотал Сергей Андреич, слушая рассказы крестного; молчала Аграфена Петровна, а Марфа Михайловна сказала детям:

– Прощайтесь-ка, детушки, ложитесь спать. Пора.

Старшие, почти уж подростки, вздумали маленько поспорить, говорили, что рано еще и спать им не хочется, но Марфа Михайловна, с доброй кроткой улыбкой любящей матери, строго посмотрела на них и молча пальцем погрозила. С грустным видом дети стали прощаться. А больно хотелось им еще послушать смешных рассказов Патапа Максимыча.

– Этого слушать им еще не годится, – скромно улыбаясь, молвила Марфа Михайловна по уходе детей. Теперь говорите, Патап Максимыч, из детей мы вышли, а я с Аграфеной Петровной не красные девушки, ушки золотцом у нас не завешаны, обе были на божьем суде («Принять закон», «идти на суд божий» – венчаться.). А все-таки вы уж не очень...

– Вот те и на! Вот и попал ерш в вершу... А мне, признаться, и невдомек, – воскликнул Патап Максимыч. – Ну, не взыщите на старике, матушка Марфа Михайловна. Ни вперед, ни после Не буду. А что поначалили меня, за то вам великий поклон.

И поклонился ей в пояс.

– Полноте, Патап Максимыч. Я ведь это только для деточек, – сказала Марфа Михайловна. – Молоды еще, соблазнов пока, слава богу, не разумеют. Зачем прежде поры-времени им знать про эти дела?.. Пускай подольше в ангельской чистоте остаются. По времени узнают все и всего

натерпятся. А память о добром детстве и на старости лет иной раз спасает от худого.

– Верно ваше слово, Марфа Михайловна, – сказал Патап Максимыч и, обратясь к Сергею Андреичу, примолвил: – Ну их к бесам старцев шатунов да скитских матерей. Зачни про них говорить, как раз на грех наскочишь. Ей-богу.

– Как же это, крестный, ты говоришь об них так непочтительно и всегда готов над ними надругаться, а сам держишься ихней веры?.. – спросил его Сергей Андреич.

– Человек в чем родился, в том и помри, – сказал на то Патап Максимыч. – Веру переменить, не рубаху сменить. А ежели до бога, так я таких мыслей держусь, что, по какой вере ему ни молись, услышит он создание рук своих. На что жиды – плут на плуте, мошенник на мошеннике, и тех господь небесной манной кормил. Без конца он милосерд.

– А ежели держишься ты того, в чем родился, так зачем же издеваешься над своим духовным чином? – спросил Сергей Андреич.

– Для того что набитые дураки все они, – отвечал Патап Максимыч. – Ежели правду сказать, умного меж ними и не бывало. Да к тому – каждый из вора кроён, из плута сшит, мошенником подбит; в руки им не попадайся, оплетут, как пить дадут, обмишулят, ошукуют (Обмишулить – обмануть, обсчитать, ошукать – обманом кого провести.). Теплые ребята, надо правду говорить.

– Коли плуты, так не дураки, – заметил Сергей Андреич. – Плуты дураков не бывает.

– Этого не скажи, – молвил Патап Максимыч. Немало есть на свете людей, что плутовства и обманства в них целые горы, а ума и с наперсток нет. Таких много... Из самых даже первостатейных да из знатных бывают. У иного, пожалуй, ум-от и есть, да не втолкан весь. Вот что, дружище!

– Значит, и из ваших духовных сколько-нибудь умных наберется же? – молвил Сергей Андреич.

– Мало, – ответил Патап Максимыч. – Возьми хоть моего зятка. Гремел, по разуму первым человеком считался. А раскуси – дурак дураком. Что на уставах-то собаку съел, так что ж тут доброго да полезного? Пустошь, боле ничего. «Пролога» да «Кормчие», «Златоусты» да «Маргариты», а лошади не умеет запрячь, рожь от овса не отличит. А на дело его и не спрашивай. Дармоед, тунеядец, больше ничего. И все они такие. Сестрицу мою возьми, Манефу, – славят умницей, а я не возьму греха на душу, этого не скажу, потому что знаю ее вдоль и поперек. Ловка, хитра – это так, хозяйка домовитая – и это так, а чтоб ума палата у ней была – это, брат, шалишь-мамонишь! Лукава, и лукавство ее за ум почитают. А что лукава, так лукава; одни уста и теплом и холодком дышат, глаза зараз смеются и плачут.

Подъехать под кого, масленным блином кому в рот залезть, угодить угодному и неугодному – на это ее взять, тут она великая мастерица. Так разве это ум? Что минеи-то наизусть знает от доски до доски, так и это не ум. Ум, Сергей Андреич, в том, чтобы жить по добру да по совести и к тому ж для людей с пользой. А они что? Богу, что ли, в самом деле служат? Как не так! Служба-то у них – работа прибýtка ради, доходное ремесло, больше ничего. Как бондарь долбил – так попы да матери кадилом деньгу себе добывают. Всяк из них спасается, да больно кусается – попадись только в лапы. Вериги на плечах, а черт на шее... Ну их к шути!.. И говорить не хочу... Не люблю паскудных!..

– А скажи ты мне, крестный, по совести: как ты нашу веру разумеешь? Как рассуждаешь об ней, ежели уж так про свою говорить? – погода немного, спросил у Чапурина Сергей Андреич.

– Про великороссийскую то есть? – молвил Патап Максимыч.

– Да, про нашу, про великороссийскую, – сказал Колышкин, пристально глядя ему в глаза.

– По правде сказать тебе, по совести? – понизив голос, начал было говорить Патап Максимыч, но тотчас же смолк и немного призадумался. Потом, с минуту помолчав, так продолжал: – Видишь ли, Сергей Андреич, хоша я не богослов и во святом писании большой силы не имею, однако ж так думаю, что вера Христова и у нас, и у вас – одна. Обе чисты, обе непорочны, и обе спасительны. И нам грех наносить хулу на великороссийскую, и вам не спасенье нашу хулить. А признаться: сдается мне, что ваша-то маленько несправедней будет. Это так. Что наши попы да скитницы ни толкуй, а я верно говорю. Да и разница-то у нас ведь только в обряде. Так аль нет?

– Конечно, все несогласие в обряде, – сказал Сергей Андреич. – А как, по-твоему, обряд-от где правильнее?

– Обряд-от? Да ведь обряд не вера. Что человеку одёжа, то вере обряд, – сказал Патап Максимыч. – Кто к какому обряду сызмальства обык, того и держись. Так, по моему рассуждению, выходит. Мало погода продолжал он:

– По душе сказал я тебе, Сергей Андреич, как перед истинным богом, что великороссийская праведней нашей. Церковь, слышь, говорю, а не вера; вера у нас одна. Много и у вас по церковному делу слабостей, не меньше их и у нас. У вас люди слабоваты, у нас покрепче. Про господ поминать не стану, а по купечеству возьми, даже из нашего брата иных – из крестьян, кои побога-че...

Ежели следует он великороссийской, пост ли нарушить, богу ль не помолиться, восстав от сна или на сон грядущий, в праздник ли у службы не побывать – ему нипочем. А у нас не так; есть, пожалуй, и в нашем согласе, что в среду молока не хлебнут, а молочницу и в велику пятницу не пропустят; а все-таки насчет устава крепки и они. Попов взять: ваших не любят за то, что больно уж жадны и притязательны; за нашими этого поменьше, потому что содержание от общества им большое, зато с первого до последнего попы у нас горькие пьяницы. Ваши попы брак честно содержат, про безобразия их по этой части вовсе почти не слышно, а нашим без сударушек ровно и жить невозможно. Теперь вот у нас архиереи завелись, и с первых же годов пошла вражда между ними. Анафемами, отлученьями да изверженьями друг на друга так и сыплют; у вас архиереи тоже не с неба сошли, такие же человеки, а этого не бывает. А отчего? Ну-ка, скажи, отчего?

– Оттого, – отвечал Сергей Андреич, – что ваши архиереи люди неученые, а у нас неученого не то что в архиереи, и в попы не поставит.

– Не так, – возразил Патап Максимыч. – В том сила, что у вас надо всеми духовными есть законная власть. У вас, ежели чуть кто зашумаркал, – в Соловки либо в Суздаль, а наших кто и в кое место сошлет? Безначалие – вот где беда. До чего ни доведись, до духовного ль, до мирского ль, из безначалья да своевольства толку не будет никогда. Поставили бы над нами крепкую власть, и у нас бы все пошли по– хорошему. Одного только – законной власти нам желательно. Без нее все стало ни на что не похоже: друг дружку проклинаят, предают анафеме, и каждый в свою дуду дует...

На секты пошли оттого делиться, на толки да на согласы, и не стало в старообрядстве ни любви, ни единенья... Всяк умствует по-своему, и до какой чепухи ни дойдет, все-таки отыщет учеников себе, да таких, что на костер либо на плаху пойдут за бредни своего учителя... И вот расползлись теперь старообрядцы, что слепые котята от матери, во все стороны. До того дошло, что в иной избе по две да по три веры – отец одной, мать другой, дети третьей, – у каждого иконы свои, у каждого своя посуда – ни в пище, ни в питье, ни в молитве не сообщаются, а ежели про веру разговаряются, тотчас проклинаят друг дружку. А все оттого, что власти нет.

– Да какой же вам власти? Двери в церковь, где эта власть есть, открыты, – сказал Сергей Андреич. А ежели есть сомненье насчет обряда, в единоверие ступай – там ваш обряд твердо соблюдается.

Не ответил на это ничего Патап Максимыч, и после того разговор не ладился больше. Как ни старался Колышкин своротить беседу на другое, Чапурин ответил двумя-тремя словами да потом и смолк. Ужинать подали, и за ужином все время молчал.

На другой день рано поутру уехал он от Колышкина, торопясь, не опоздать бы на пароход.

Безгласен и недвижим лежал Марко Данилыч, когда, разувшись, чтоб не стучать сапогами, осторожно вошел в его спальню Патап Максимыч. Узнал его больной, чуть-чуть протянул здоровую руку, что-то сказать хотел, но из уст его исходило только дикое, бессмысленное мычанье. Взял его Патап Максимыч за руку, и показалось ему, что она маленько вздрогнула и больной чуть заметно пожал его руку. Устремленный на приятеля здоровый глаз сверкал радостью, и слезы сочились из него. Здоровой рукой и взглядом указал Смолокуров Патапу Максимычу на стоявший возле железный сундук и после того себе под подушку. Догадался Чапурин, что там ключи у него

спрятаны.

– Один я не вскрою, – громко сказал Патап Максимыч. – Другое дело, когда будет налицо Авдотья Марковна... И тогда надо будет вскрыть при сторонних, а еще бы лучше при ком из начальства, наветов бы после не было.

Больной выказал недовольство решением Патапа Максимыча, но тот продолжал:

– Сам не хуже меня знаешь. Марко Данилыч, каковы ноне люди. Конечно, Авдотья Марковна не скажет ни слова, а не сыщется разве людей, что зачнут сорочить, будто мы вот хоть бы с Дарьей Сергевной миллионы у тебя выкрали?.. Нет, без сторонних вскрывать нельзя. Подождем Авдотью Марковну. Груня сегодня же поедет за ней.

– Нельзя мне ждать, Патап Максимыч, – тихо промолвила Дарья Сергевна. – Рабочие расчетов требуют, а у меня всего-навсего тридцать рублей. Как можно дожидаться Дунюшки?.. И то работники бунт подняли, спасибо еще городничему – присмирил их.

– Не говорите, – шепнул ей Патап Максимыч. – Он все слышит и понимает.

– Да как же без денег-то, Патап Максимыч? Ведь у меня послезавтра в дому копейки не останется, – на каждом слове всхлипывая, чуть слышно промолвила Дарья Сергевна.

– Не беспокойтесь, – сказал Чапурин. – Деньги будут. Не к тому я сундук поминал, чтоб деньги вынимать, а надо бы знать, кому сколько платить, с кого получить и в какие сроки. Да мало ль каких делов там найдется а нужно, чтобы все было на описи.

Марко Данилыч, видимо, был тронут неожиданным приездом Патапа Максимыча. Много и сильно чувствовал он, но ни мыслей, ни чувств передать не мог. Один лишь слезящийся глаз говорил, что больной все понимает.

Выйдя из спальни, Патап Максимыч с Груней и с Дарьей Сергевной сел в той горнице, где в обычное время хозяева чай пили и обедали. Оттуда Марку Данилычу не слышно было их разговоров.

Стол был уставлен кушаньями, большей частью рыбными, стояли на нем и бутылки с винами и с той самой вишневкой, что посылал Марко Данилыч хивинскому царю для выручки брата из плена.

– Как это вы вздумали посетить нас при таких наших горестях? – говорила Дарья Сергевна, с любовью и благодарностью глядя на гостя. А он в первый раз еще был в доме у Марка Данилыча, да и Марко Данилыч ни в Осиповке, ни в Красной Рамени у Чапурина не бывал никогда. Были в знакомстве, но таких знакомств у Патапа Максимыча было многое множество. Хлеб-соль меж собой водили, но всегда где-нибудь на стороне.

– В гости приехал, – с улыбкой промолвил Чапурин. – Груня у меня была, когда получила ваше письмо. Крестины мы справляли, внучка господь мне даровал. Вы Ивана Григорыча звали, а ему никак невозможно. Заместо его я и поехал. Выхожу – гость незванный, авось не буду хуже татарина.

– Благодетель вы наш, – отвечала плачущая и взволнованная Дарья Сергевна. – Нежданный-эт гость лучше жданных двух, а вы к нам не гостить, а с божьей милостью приехали. Мы до вас было думали, что Марк– от Данилыч ничего не понимает, а только вы подошли, и за руку-то вас взял, и радостно таково посмотрел на вас, и слезыньки покатались у него. Понимает, значит, сердечный, разум-от, значит, при нем остался. Челом до земли за ваше неоставленье!

И, встав со стула, низко поклонилась Патапу Максимычу.

– Перестаньте, – сказал тот, поднимая Дарью Сергевну. – Что это вы? Я по-человеческому – со всяким то же может случиться. Со мной бы случилось, разве Марко Данилыч не приехал бы ко мне?.. Сказано: «Друг друга тяготы носите и тем исполните закон Христов».

Замолчала Дарья Сергевна, а сама про себя подумала: «Заболеет-ка Патап ли Максимыч, другой ли кто, Марк-от Данилыч пальцем не двинул бы».

– Покушайте, угощайтесь, чем бог послал, – потчевала гостей Дарья Сергевна. – Осетринки-то скушайте – хорошая, на выбор для дому на Низу на ватагах выбирали. Вот и хренук, вот и уксус, и огурчики грядные – редки теперь уж становятся: у нас солили к Успенью, все обрали почти. А водочки-то, гость дорогой?.. Искушайте, сделайте такую вашу милость. Аль винца не желаете ли? А которым прежде, которым после надо потчевать, уж я и не знаю. Был бы в добром здоровье

Марко Данилыч, сумел бы гостя угостить, а на мне, Патап Максимыч, не взыщите – не мастерица я вина-то различать. А вот это наши русские, незаморские наливки, значит. Откушайте-ка... Сама делаю; вот сливяночка, вот рябиновая, а вот и малиновая. Вишнепочки не угодно ли? Все похваляют, четвертый год на новы ягоды наливаю, а косточки в ступе толку да тоже в бутылки кладу. У вас при доме вишенки-то есть ли?

– Какие у нас, матушка, вишни? Опрichь рябины, малины да черники с гонобоблем, и в заводе нет ничего, – отвечал Патап Максимыч, принимаясь за звено жирной, сочной осетрины.

– Да ведь и в самом деле, – молвила Дарья Сергевна. – Когда я в вашей стороне жила, здешних ягод и не видывала – ни вишен у вас в лесах, ни клубники, ни шпанской малины; какая ягода крыжовник, и той даже нет! Брусника да клюква, черника да земляника – и все тут. Такова уж, видно, у вас земля.

– Земля холодная, неродимая, к тому ж все лето туманы стоят да холодные росы падают. На что яблоки, и те не родятся. Не раз пытался я того, другого развести, денег не жалел, а не добился ни до чего. Вот ваши места так истинно благодать господня. Чего только нет? Ехал я сюда на пароходе, глядел на ваши береговые горы: все – то вишенье, все-то яблони да разные ягодные кусты. А у нас весь свой век просиди в лесах да не побывай на горах, ни за что не поймешь, какова на земле божья благодать бывает.

– Ушки-то покушайте, – потчевала Дарья Сергевна. – Стерлядки свеженькие, сейчас из прорези браты, рыбки мерные (Прорезь – живорыбный садок на Волге и на низовьях Оки. Мерная стерлядь – от глаза до пера аршин и больше.). Печенок-то налимьих извольте взять на тарелочку... Грунюшка, а ты что же сложа руки сидишь. Покушай ушки-то, матушка, – дай-ка я тебе сама положу. Седни ведь середина – рыбным потчую дорогих гостей, а завтра доспеем и гусятинки, и поросятинки, уточек домашних, ежели в угоду, и барашка можно зарезать али курочку. Не то буженинки из свинины скушать не пожелаете ль?

– Благодарю покорно, матушка, премного довольны остаемся на вашем угощении. Много об нас не хлопочите, что на столе, тому и рады, – сказал Патап Максимыч. – Лучше теперь про дела потолкуем. Помянули вы, что работники расчета требуют. Нешто летние работы все кончены?..

– Ничего, благодетель, не знаю, никогда до этого не доходила, – отвечала Дарья Сергевна. – Где бы, кажись, кончить?.. В прежние годы к Покрову да на Казанскую работников отпускали, а теперь еще и Воздвижение не пришло и хлеб с поля на гумна еще не двинулся. Поговорите с приказчиком, с Васильем Фадеевым, он должен знать. Сегодня же велю ему побывать к вам.

– Ладно, потолкуем с Васильем Фадеевым, – сказал Патап Максимыч, – а работникам, наперед говорю вам, не дам своевольничать. На этот счет у меня ухо держи остро, терпеть не могу потачек да поблажек. Будьте, матушка, спокойны, вздорить у меня не станут, управлюсь. Поговоря с приказчиком, деньги кому следует отдам, а ежели кто забунтует, усмирю. В городе – то у вас начальство тоже ведь, чай, есть?

– Есть-то оно есть, благодетель, как начальству не быть? – сказала Дарья Сергевна. – Только начальные-то люди потаковщики да поноровщики. Нет чтобы делать дела по справедливости. Много с ними бился Марко Данилыч.

– Может, ладить не умел, – молвил, улыбаясь, Патап Максимыч. – Матушка!... Ведь у начальства-то четыре полы да восемь карманов, а каждый карман на свою долю просит. А карман у полиции что поповское брюхо – сколько в него ни клади, полно не будет. В полиции нельзя не давать, без поджоги и дрова не горят. Нужен тебе подьячий – сунь ему калач горячий, нужен судья – вина сулея, да не простого, а заморского, что не хмельно да разымчато. Понадобился сам воевода, гляди ему в оба да с заднего крыльца тащи хоть мертвеца, лишь бы золотцем был посыпан. В таком разе и благо тебе будет, и, какое у тебя хотенье, такое выйдет и решение. Не свои речи говорю, дошли они до нас от дедов, от прадедов...

А как при них бывало, так, видно, и до нас дошло. Только в том и разница, что теперь берут поискуснее – не подточишь иголки. Зато много дороже. К тому говорю, что надо будет подмаслить кого нужно... Что делать-то? Не нами началось, не нами и кончится.

– А ежели не явит начальство помощи, тогда что делать? – пригорюнившись, молвила Дарья Сергевна.

– Были бы денежки святые, грешная помощь будет. Не беспокойте, не тревожьте себя. Протрем начальству очи золотцем – все будет как следует, – сказал Патап Максимыч.

– Денег-то таких нет, благодетель, при мне, – начала было Дарья Сергевна.

– И не надо, – перебил ее Патап Максимыч. – Без них управимся. А вот покамест до приезда Авдотьи Марковны извольте-ка получить от меня на домашнее хозяйство, – сказал Патап Максимыч. – Да денег-то не жалейте, чтобы все шло по-прежнему. А приказчику сейчас же велите прийти ко мне. Да лошадок готовили бы, Груне ехать пора. Изготовьте что нужно на дорогу Авдотье Марковне.

– А сундук-от как же? – спросила Дарья Сергевна. – Марко Данилыч сам под подушку вам указывал ровно бы говорил, чтобы вскрыли...

– Покамест не приехала Авдотья Марковна, сундука никому тронуть не дам, – решительным голосом сказал Патап Максимыч. – Пошлите же поскорей приказчика.

Дарья Сергевна пошла из комнаты.

После того через четверть часа Патап Максимыч с глазу на глаз беседовал с Василием Фадеевым.

С того часу как приехал Чапурин, в безначальном до того доме Марка Данилыча все само собой в порядок пришло. По прядильням и на пристани пошел слух, что заправлять делами приехал не то сродник, не то приятель хозяина, что денег у него куры не клюют, а своевольничать не даст никому и подумать. И все присмирело, каждый за своим делом, а дело в руках так и горит. Еще никто в глаза не видал Патапа Максимыча, а властная его рука уже чужалась.

– Что за начальство такое у нас проявилось? – заговорили было самые задорные из пильщиков. – Генерал, что ли, он какой, аль архиерей? Всяких видали... Ежели артель положит не уважать его, в жизнь никто не уважит.

– Экой ты прыткой, Маркел Аверьяныч! – сказал молодому пильщику, парню лет двадцати пяти, пожилой, бывалый работник Абросим Степанов. Не раз он за Волгой в лесах работал и про Чапурина много слышал. Поглядеть на тебя, Маркелушка, – продолжал Абросим, – орел, как есть орел, а ума, что у тетерева. Борода стала велика, а смыслу в тебе не хватит на лыко.

Услыхав потешные речи Абросима, артель со смеху покатилась. Маркел замолчал и, как волк в засаде, со злобы да с досады только зубами постукивал. Величался он в артели своим высокоумием, но смех и не таковских в лоск уложит.

– Много слышал я про Чапурина, – обращаясь к артели, продолжал Абросим Степанов – Опречь хорошего слова, ничего про него нельзя сказать. Не одна тысяча людей от него кормится – кто на токарнях, кто в красильнях, кто в Красной Рамени на мельнице, кто на Низу – там у него возле Иргиза большое хлебопашество. Спуску не даст никому, у него всяко лыко в строку, у него гляди в оба да оглядывайся, не то сейчас расправа, а иной раз и своей пятерней за провинность разделяется.

Горячий человек. Нашего, пожалуй, будет горячее. Только от него не то чтоб сойти, не доделавши, аль сделать что супротивное, либо наперекор ему сказать, нет, этого никогда не бывает... Ежели кого он прогнал, тот себе места нигде не найдет и по времени к нему же придет плакаться, взял бы опять в работники... Сила большая!..

С губернатором водит знакомство, а мелкое начальство ему нипочем... Одно слово – человек властный... Что ни скажет, все по его будет. А сам на правде стоит, сроду никого не обидел, а добра делает много. Ни обчетов, ни обмеров у него и не слыхано, обманства и в помышленье ни у кого не бывает, все идет по правде да по божьей истине.

Долго еще рассказывал Абросим Степанов про заволжского тысячника, и по одним его словам артель возлюбила Патапа Максимыча и стала уважать его и побаиваться. «Вот как бы явил он милость да протурил бы Ваську Фадеева с Корнюшкой Прожженным, можно бы тогда было и богу за него помолиться и винца про его здоровье испить», – говорили обе артели – и прядильная и лесная.

Пришел к Патапу Максимычу Василий Фадеев, шепотом читая псалом Давида на умягчение злых сердец.

Сдавалось ему, что приезжий тысячник либо знает, либо скоро узнает про все плутни и ка-

верзы. Не поплатиться бы спиной тогда, не угодить бы на казенную квартиру за решетку. Вытянув гусиную шею, робко вошел он в горницу и, понутив голову, стал у притолоки.

– Ты будешь Василий Фадеич? – ласково спросил у него Патап Максимыч.

– Так точно-с, – с покорным видом отвечал Фадеев, а сам диву дался, отчего это Чапурин не кричит на него, не ругается. «Должно быть, еще ничего ему неизвестно», – думает он сам про себя.

– Садись, Василий Фадеич, – указывая возле себя на стул, еще ласковее сказал ему Патап Максимыч. Вот сюда садись, к столу-то.

– Можем и постоять, – отвечал смущенный непривычным для него обхождением Фадеев. Сколько годов живет он у Марка Данилыча, а тот ни разу его не саживал.

– Садись же, сделай милость, Василий Фадеич, настаивал Патап Максимыч, – а то ведь придется и мне на ногах перед тобой стоять, а я с дороги-то приустал, старые ходуны Ходуны – ноги. спокойя просят.

И тут не согласился сесть Василий Фадеев и не сел бы, если бы Чапурин не взял его за плечи и насильно не усадил. Присел на краешке стула Фадеев, согнулся в три погибели, вытянул шею, а сам, не смигаючи, раболепно глядит на Чапурина

– Ты здесь главным приказчиком? – спросил Патап Максимыч.

Заморгал глазами, ровно взглянул на солнышко, Фадеев. Вытянув шею длинней прежнего, робко и тихо ответил он:

– Не то чтобы главный, а имел иной раз хозяйские порученности по заведениям и по дому, иной год и на рыбных караванах бывал.

– А книги кто вел и счета сводил? – спросил Чапурин.

– Марко Данилыч этим сами распоряжаются, нам не доверяют, – заикаясь, медленно проговорил Фадеев. – Ни книг, ни счетов до меня никогда не доходило.

– Да ведь он бывал в долгих отлучках. Кто ж без него распоряжался?.. – спросил Патап Максимыч.

– Дарья Сергевна, – чуть слышно промолвил Фадеев.

– То есть чем она распоряжалась? Насчет питья да еды да насчет другого домашнего хозяйства?

– Так точно-с, – еще тише прошептал Василий Фадеев.

– А расчеты с рабочими кто вел? Деньги в артель на припасы кто выдавал? Кто с почты деньги получал аль с покупателей? – продолжал расспросы Патап Максимыч.

Василий Фадеев молчал.

– Не Дарья же Сергевна, не Авдотья же Марковна. Я сам не один раз слышал от Марка Данилыча, что обе они в эти дела у него не входят, – сказал Патап Максимыч. – Кто-нибудь распоряжался же, у кого–нибудь были же деньги на руках?

– У разных бывали-с. Чаще всего у Корнея Евстигнееича, – на каждом слове запинаясь, чуть слышно проговорил Фадеев.

– А кто таков этот Корней Евстигнееич? – спросил Чапурин.

– Самый первый и доверенный приказчик, – бойче прежнего промолвил Фадеев. – Он больше других про хозяйские дела знает.

– А где он?

– Надо быть, на Унже теперь. Марко Данилыч леса там на сруб купил, и по весне, около третины дня, туда его отправил.

– Надо будет за ним послать, – сказал Патап Максимыч. – А когда Марко Данилыч в последний раз у Макарья был, кто из вас здесь оставался?

– Я-с, – весь красный, как вареный рак, прошептал Василий Фадеев.

– Счета вел? – строго спросил Патап Максимыч.

– Вел-с.

– Подать на просмотр... Сейчас же, – строже прежнего приказал Чапурин.

Совсем смешался Фадеев. Едва слышно проговорил он:

– Счета у Марка Данилыча. Были ему представлены на другой день, как с ярманки вороти-

лись.

– Хорошо. Вскроем сундук, так посмотрим. Они ведь там?

– Не могу знать-с. Нам до хозяйских делов доходить не доводится, – сказал Василий Фадеев.

– Сколько теперь у тебя налицо хозяйских денег? спросил Патап Максимыч.

– Самая малость, внимания даже не стоит. Работников нечем рассчитать, – отвечал Фадеев, весь дрожа, как в лихорадке.

– Сколько, однако ж? – спросил Чапурин.

– Как есть пустяки-с. Пятидесяти рублей не наберется, – сказал Фадеев. – А работникам на плохой конец надо больше трехсот целковых уплатить.

– Составь список работникам поименно, отметь, за сколько кто подряжен, сколько кому уплачено, сколько кому остается уплатить, – вставая с места, сказал Патап Максимыч. – Сегодня же к вечеру изготуешь, а завтра поутру всех рабочих сбри. Ступай, торопись.

Не говоря ни слова, поклонился Фадеев в пояс и трепетно вышел из горницы. «Этот нашему не чета, – подумал он. – С виду ласков и покладлив, а, видно, мягко стелет, да жестко спать!..»

В тот же день вечером послали эстафету на Унжу.

Дарья Сергеевна писала Прожженному, что Марко Данилыч вдруг заболел и велел ему, оставя дела, сейчас же ехать домой с деньгами и счетами. Не помянула она, по совету Патапа Максимыча, что Марку Данилычу удар приключился. «Ежель о том узнает он, – говорил Чапурин, – деньги-то под ноготок, а сам мах чрез тын, и поминай его как звали». В тот же вечер поехала за Дуней и Аграфена Петровна.

Василий Фадеев, узнав, что Патап Максимыч был у городничего и виделся с городским головой и со стряпчим, почуял недоброе, и хоть больно ему не хотелось переписывать рабочих, но, делать нечего, присел за работу и, боясь чиновных людей, писал верно, без подделок и подлогов. Утром работники собрались на широкой луговине, где летом пеньковую пряжу сучат. Вышел к ним Патап Максимыч с листом бумаги; за ним смиренным неровным шагом выступал Василий Фадеев, сзади шли трое сторонних мещан.

– Здравствуйте, крещенные, многолетствуйте, люди добрые! Жить бы вам божьими милостями, а нам вашими... – громко крикнул Чапурин артели рабочих и, сняв картуз, поклонился.

– На добром слове благодарны. С приездом проздравляем!.. Всякого добра пошли тебе господи!.. Жить бы тебе сто годов с годом!.. Богатеть еще больше, из каждой копейки сто рублей тебе! – весело и приветливо заголосили рабочие.

– Вашего хозяина господь недугом посетил, – сказал Патап Максимыч. – Болезнь хоша не смертная, а делами Марку Данилычу пока нельзя займаться. Теперь ему всего пуще нужен покой, потому и позвал он меня, чтобы распорядиться его делами. И только мы с ним увиделись, первым его словом было, чтобы я вас рассчитал и заплатил бы каждому сполна, кому что доводится. Вот я и велел Василью Фадеечу составить список, сколько кому из вас денег заплатить следует. Кому кликну, тот подходи... Пимен Семенов!.

Выступил из толпы молодой широкоплечий парень, волосом черен, нравом бранчлив и задорен. Всем взял: ростом, дородством, шелковыми кудрями, взял бы и очами соколиными, да они у Пимена завсегда подбиты бывали. Подошел он к Чапурину, шапку снял и глядит бирюком – коли, мол, что не так, так у меня наготове кулак.

– За девять рублей рядился? – спросил у него Патап Максимыч. – За девять рублей в месяц, – нахально ответил Пимен Семенов, глядя в упор на Чапурина.

– Расчету за последний месяц не дано?

– За месяц с тремя днями, – сказал Пимен и стал брюхо чесать.

– Значит, следует тебе девять рублей девяносто копеек? – спросил Патап Максимыч.

– Так, видно, будет, – несколько помягче отвечал Пимен Семенов.

– Праздников не вычитает, – зашептали в артели, не то что Смолокуров. У того праздники из счету вон, а в субботу, если в баню пойдешь, вычет за половину дня.

– Да ведь это не сам он, а вот анафема эта – Васька Фадеев, – заговорили было иные.

– Один черт на дьяволе, на одном бы сучке обоих повесить, – громко сказал пильщик из самых задорных. С криком на него все накупились.

– Маркелка, черт ты этакий, дурова голова! Для че доброму делу мешаешь? Аль язык-от у тебя, что ведьмино помело, зря метет?

А у самих на уме: «Услышит Чапурин, не будет такой добрый». Шепнули Маркелу Аверьянову про то. Тот смекнул, и больше ни гугу.

– Получай, – отдавая Пимену деньги, сказал Патап Максимыч. – Верно ли?

– Верно, – процедил сквозь зубы Пимен Семенов и пошел к стороне.

– Будьте свидетелями, честные господа, что Пимен Семенов деньги сполна получил, а ты, Василий Фадеич, изволь записать.

Так, подзывая рабочих одного за другим, Патап Максимыч рассчитывал их.

Иные, получив деньги, прочь было пошли. Давненько не пивали зелена вина, каждого в кабак тянуло, но Патап Максимыч сказал, чтобы покуда оставались они на месте, что ему надо еще с ними потолковать и, ежели хоть один кто уйдет, другим денег раздавать он не станет.

Все остались, и те, до кого не дошла еще очередь раздачи, зорко караулили, чтобы кто-нибудь тягу не задал. Кончилась расплата. На вынесенном столике Василий Фадеев написал расписку, грамотные сами расписались, за неграмотных один из мещан-свидетелей руку приложил.

– Ну, добрые люди, – сказал тогда Патап Максимыч работникам, – вот про что поговорить хочу я с вами, по душе поговорить, по правде, по совести. Рядились вы кто до Покрова, кто до Казанской, иные даже до Михайлова дня. А теперь, как слышу, с того дня как захворал Марко Данилыч, половина вас не работает, а ест-пьет хозяйское. Праведно ли такое дело, сами посудите.

Конечно, мог бы я на вас пожаловаться и начальство вас по головке не погладило бы, только этого делать не хочу, по-моему, не в пример лучше покончить дело добрым порядком. Оставайтесь-ка каждый до срока, на какой кто рядился, да работайте как следует, а не так чтобы через пень колоду валить.

Загалдели было рабочие. Ругательства на Василья Фадеева послышались, он-де обсчитывает да обманывает. Послышались жалобы и на Марка Данилыча, без пути, дескать, драться охоч – чуть что не так, тотчас в зубы.

– А вы не всяко лыко в строку, – хладнокровно и спокойно сказал им Патап Максимыч. – Зато ведь и не оставляет вас Марко Данилыч. Сейчас заходил я в вашу стряпушую, посмотрел, чем кормят вас. Таковую пищу, братцы, не у всякого хозяина найдете. В деревне-то живучи, поди, чать, такой пищи и во снах не видали... Полноте пустое городить... Принимайтесь с богом за дело, а для ради моего приезда и первого знакомства вот вам красненькая. Пошабашивши, винца испейте. Так-то будет лучше.

Красненькая подействовала, рабочие согласились отработать свои сроки, и хвалам заволжскому тысячнику конца у них не было.

Аграфена Петровна спешила в Луповицы. Хранила она благодарную память о Марье Ивановне, спасшей ребенка ее от неминуемой смерти, но разговоры с Дарьей Сергеевной и замечанья свои над Дуней, пристрастившейся, по указанью Марьи Ивановны, к каким-то странным и непонятным книгам, и в ней возбуждали подозрение, не кроется ли тут и в самом деле чего-нибудь неладного. И про миршенские толки узнала она от Дарьи Сергеевны, но не могла придумать, что это за фармазоны такие, что это за секта... В лесах за Волгой про них слухом не слыхать.

Неспокойно ехала Аграфена Петровна по незнаемым дорогам, робко и недоверчиво встречалась она с людьми незнакомыми, много беспокойства и тревоги, до того ей неизвестных, перенесла она во время пути. Все было ей ново: и невиданная за Волгой черная, как уголь, земля, и красные либо полосатые поневы вместо темно-синих заволжских сарафанов, и голое безлесье, что, куда ни посмотри, ни кустика, ни прутика нет. Без малого целую неделю провела она в дороге, наконец, под вечер мрачного, дождливого дня, ямщик указал ей кнутовищем на каменный помещичий дом, на сады с вековыми деревьями, на большую церковь и сотни на полторы маленьких, невзрачных, свежей соломой покрытых домишек. «Вот и Луповицы!» – сказал он, подстегнув

пристяжную.

Темнело. Хмурые, как будто свинцовые тучи со всех сторон облегли небосклон; мелкий дождик при холодном сиверке моросил, как сквозь сито, когда кибитка Аграфены Петровны по густой, клейкой, по самую ступицу грязи подъехала к Луповицам. А дождик все пуще да пуще, а ветер порывистей и сильнее. Сипит и воет непогода; видно, что подходит затяжное осеннее ненастье.

«Где же мне остановиться?» – тут только пришла на мысль заволжской тысячнице. И прежде приходило это ей в голову, но, зная, что в Луповицах больше полутора ста дворов, и судя по заволжскому, где нет таких больших селений, была уверена, что найдет в селе не один постоянный двор. Но, въезжая в село, узнала от ямщика, что в Луповицах постоянных дворов нет, народ хлебопашец, ни базаров, ни съездов, ни ярманок в селе нет, большая дорога далеко в стороне, оттого и постоянных дворов никто не заводит. На барский двор не хотелось ехать Аграфене Петровне, там мерещились ей фармазоны. Делать нечего, надо пристать, где бог приведет, проведать про Дуню и, ежели не уехала, позвать ее к себе.

– Где ж остановиться? – спросила она у ямщика.

– Не знаю, – отвечал тот. – У крестьян избы-то не больно приборны. Невзрачно живут, с телятинами, с поросятами, избенки махонькие, тесные, лесу ведь здесь ни прутьочка. Воньща одна чего стоит!

– Где же пристать-то мне? – тревожно спросила Аграфена Петровна.

– У попа разве. Домишко у него все-таки приглядней крестьянского, – сказал ямщик.

– А каков поп-от? – спросила Аграфена Петровна. И на мысли никогда не впадало ей, чтобы пришлось когда-нибудь искать приюта у никонианского попа. Претило ей, но все-таки поп лучше фармазонов.

– Ничего, поп хороший, – отвечал ямщик на вопрос ее. – Обстоятельный, хвалят его. – До денег охоч, да уж это поповское дело, на том уж они все стоят. У них ведь толстый карман святее угодников. Обойди весь вольный свет – бессребреника меж попами не сыщешь. А здешнего похваляют – добрый, слышь.

– Вдовец он али семейный? – спросила Аграфена Петровна.

– Семейство при нем – матушка попадья еще вживе да три дочери, одна-то за здешним же дьяконом, две в девках сидят. Их тоже похваляют – добрые поповны, рукодельницы...

– Вези к попу, – решила, наконец, Аграфена Петровна. – Как его звать-то?

– Отец Прохор будет, – ответил ямщик.

– Вези к нему, вези, – сказала Аграфена Петровна.

Хлестнул ямщик лошадок, и хоть шибко они приустали, протащив по размокшему чернозему грузную кибитку, однако ж бойко подкатили к поповскому двору. Там приветливо встретили Аграфену Петровну. Она сказала, что едет на богомолье в Киев.

– Доброе дело, спасённое дело, при том же весьма благочестивое и душе многоспасительное, – сказал отец Прохор, прибирая уютную горенку, где по стульям и на обветшалом диване были разбросаны домашние вещи. И мы вот с матушкой который уж год собираемся к печерским угодникам, да все недосуги да недостатки. Опять же по нашему званию отлучки от прихода, особливо в чужие епархии, крайне затруднительны. Степанидушка! – обратился он к старшей дочери, – поставь-ка, родная, самоварчик, гостье-то с дороги надо отогреться.

Окинула Аграфена Петровна светленькую, чистенькую горенку. Все было старенько, но держалось в порядке. У окон стояло двое пялец, одна поповна вышивала воздухи для церкви, другая широкий пояс к отцовским именинам. На окнах висели белые чистые занавески и стояли горшки с бальзамино, стручковым перцем и розанелью, по углам большие кадки: в одной огромный, чуть не до потолка поднявшийся жасмин, в другой фига.

Все у отца Прохора нравилось Аграфене Петровне, а матушка попадья, полуслепая и плохо слышавшая старушка, показалась ей такою доброю и ласковою, что она ее полюбила с первого раза. Дочери отца Прохора тоже понравились Аграфене Петровне. Как все поповны на Руси, были они из себя некрасивы, но девушки добрые, скромные и тихие. Манефина воспитанница и ревностная старообрядка забыла даже про их никонианство и после долгого душевного разговора за

самоваром решила сказать отцу Прохору, что она приехала в Луповицы за Дуней Смолокуровой. Но не вдруг, не сразу заговорила с ним об этом, прежде издали речь повела, наперед бы у отца Прохора выведать про житье-бытье Луповицких. «Может быть, – она думала, – я узнаю от него, что это за фармазонская вера такая».

– Ведь здесь поместье господ Луповицких? – спросила она у отца Прохора.

– Так точно, – отвечал он. – Нераздельное имение двух родных братьев, Андрея Александрыча и Николая Александрыча. А с того края села домов до сорока принадлежит ихней двоюродной сестре девице Марье Ивановне Алымовой, дочери покойного генерала Алымова.

По службе находился он в воинских чинах, теперь уж более двадцати годов как преставился. Там на том конце села у Марьи Ивановны и усадевка есть невеликая, только она никогда там не проживает. У нее в других губерниях находятся большие и хорошие вотчины, а приезжает сюда в нарочитое токмо время и тогда проживает в большом доме у своих двоюродных братьев...

– И село Луповицы и помещики Луповицкие, – заметила Аграфена Петровна. – Должно быть, они по селу прозвались.

– Нет, неправильно заключать изволите, – отвечал отец Прохор. – Совершенно противоположно. Предки господ Луповицких основали и своим коштом выстроили наше село, по сей причине и назвали его именем своего рода. Их род весьма старинный. Недалеко отсюда Княж-Хабаров монастырь находится. Сей святой обители основание положил князь Федор Иоаннович Хабаров еще во дни царя Михаила Федоровича, а тот князь Хабаров.

Основатель и строитель монастыря, приходился ближайшим сродником жившим в т отдаленные уж теперь времена боярам Луповицким. Наше село всего еще с небольшим сто лет получило основание от господ Луповицких, именно ж от генерал-поручика и кавалера Стефана Феодоровича Луповицкого, бывшего в царствование блаженныя и вечнодостойныя памяти Екатерины Алексеевны Первья в важных государственных должностях. Так и в церковных записях значится у нас. Да-с, род господ Луповицких старинный и даже весьма древний. Столбовые, родовитые дворяне, не то что другие, которые государственной службой приобрели себе дворянское звание...

– Усердны к нашей церкви они? – спросила Аграфена Петровна.

Очень даже усердны, весьма усердны, – с одушевлением отвечал отец Прохор. – По нынешним временам, при всеобщем, с прискорбием можно сказать, падении благочестия, господ Луповицкие, равно как и сестрица их Марья Ивановна, могут служить назидательным примером как для господ дворян, так равно и для поселян. Весьма привержены к церкви божией и христианские обязанности исполняют с достоуважением и благоговением и неопустительно.

Каждый год не токмо во святую великую четырехдесятницу, но в каждый из четырех церковию установленных постов святым божественным тайнам тела и крови господней приобщаются. Правда, что разрешение грехов, не от моего недостойства приемлют, а в монастыре, что здесь неподалеку. Не Княж-Хабаров, а другой, Рясковским называется. Монастырь тот весьма богат иконами, в нем есть пресвятыя богородицы Троеручицы, и от нее по вере много исцелений бывает. В летние месяцы много богомольцев притекает на поклонение... На Пасху, на Рождество Христово, на Богоявление господне, на Происхождение честных древ животворящего креста, а также на Успение пресвятыя богородицы – храм у нас в этот день, и на дни памяти преподобного отца нашего Стефана Савваита и священномученика Феодора, архиепископа александрийского – приделы сим угодникам Божиим устроены при нашем храме, – во все оные праздники здешние помещики, господа Луповицкие, принимают нас с животворящим крестом и со святой водой с достоуважением и благоговением и, могу сказать, с радостью.

И каждый раз в те нарочитые дни дают они всему церковному причту предостаточное даяние и угощают обедом. И моих семейных, и дьяконовых, и причетников приглашают тогда трапезовать; старушка дьяконица вдовая, в просфорнях состоит при нашем храме, и ту даже приглашают. С постной молитвой и на освящение плодов земных также постоянно ходим к ним в дом и, опричь того, в первое число каждого месяца поем молебное пение с акафистом и водосвятием. Ну, и мучки, и крупки, и сенца, и овсеца, и прочего, по хозяйству потребного, господа Луповицкие жертвую преизобильно. А потому долгом обязуюсь сказать, что господа они очень, даже очень усердные. Богадельня у них есть при доме – ну, да это особое дело.

– Как особое дело? – спросила Аграфена Петровна, удивленная тем, что, помянув про богадельню, отец Прохор понизил голос и нахмурился.

– Так, – отрывисто и сдержанно ответил он. – Не нам судить, господь рассудит.

И круто повернул разговор на другое.

Пошли обычные деревенские разговоры: какая летом стояла погода, каков урожай был, каковы были наливывы и пробные умототы, и про ягоды была речь ведена и про то, что яблоков мало в этом году уродилось, а все от тенитника – по весне он еще в цвету погубил яблоки, да и вишням досталось, зато грибов изобильно было и огурцы хорошо уродились.

Вдруг разговор оборвался. Молчание настало: либо тихий ангел пролетел, либо дурак родился. После недолгого молчанья Аграфена Петровна сказала:

– Ехавши сюда, ночевала я в одном селе – забыла, как оно называется. Разговорила с хозяевами – люди они простые, хорошие. Зашла у нас речь про ваши Луповицы. И они говорили, правду иль нет, этого я уж не знаю, будто здешние господа какую-то особую веру в тайне содержат.

– Ничего на это сказать вам не могу, – склонив голову и опустив глаза, едва слышно промолвил отец Прохор. – Не знаю... Не нам судит, един господь все рассудит на праведном суде своем.

Опять дурак родился. Опять никто ни слова.

– А давно в последний раз были вы у господ Луповицких? – – после недолгого молчанья спросила Аграфена Петровна у растерявшегося отца Прохора.

– Да вот на Успеньев день со святыней ходили к ним... и трапезовали у них, – отвечал отец Прохор.

– Недалёко от нас в поволжских местах живут у меня знакомые, – сказала Аграфена Петровна. – Богатый купец, миллионщик, Марко Данилыч, чуть ли не самый первый по всей России рыбный торговец – Смолокуровым прозывается. Дочка у него есть молоденькая, Дуняшей звать. Сказывали мне, что гостит она у господ Луповицких, у здешних помещиков. Марья Ивановна Алымова завезла, слышь, ее сюда еще около троюцна дня. Не видали ль вы эту девицу?

– Как не видать?.. Все мы видели, за одним столом сживали во время обедов. Белокуренькая такая, голубые глаза, стройная, нежная и, по видимости, весьма кроткого нрава.

– И теперь она у них? – спросила Аграфена Петровна.

– Нет, – отрывисто сказал отец Прохор.

– Уехала? По письму, должно быть. Письмо к ней недавно было послано от домашних с эстафетой. Отец у нее при смерти, – молвила Аграфена Петровна.

– Нет, кажется, не к отцу она поехала... А впрочем, бог ее знает, может быть, и к отцу, – медленно проговорил отец Прохор. – Эстафета точно приходила, только это было уж дня через четыре после того, как она девица оставила Луповицы.

– Где ж она? – быстро поднявшись и опершись о стол дрожащими руками, вскрикнула Аграфена Петровна.

– Пропала без вести, – сказал отец Прохор.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Лето на исходе, совсем надвигается на землю осень. Пчелы перестали носить медовую взятку, смолкли певчие птицы, с каждым днем вода холодеет больше и больше, пожелтели листья на липах, поспели в огородах овощи на Николу-кочанного стали и капустные вилки в кочни завиваться. Успенский пост на дворе – скоро придется веять мак на Макавеев (Николы-кочанного – 27 июля, св. мучеников Макавеев 1 августа. В этот день собирают в деревнях мак и веют его.).

А Дуня все в Луповицах, Марья Ивановна и речей не заводит о возврате в Фатьянку.

Не смущается этим Дуня и нимало не печалится. Всей душой она предалась новой вере. На всякий день и на всякий час ищет общения с божеством, стремится к иступленному душевному восторгу, к тому, что у божьих людей зовется «наитием». Все теперь ей чуждо – и родительский – дом, и любящий ее всем сердцем отец, и заботливая Дарья Сергеевна, и столь много любимая Аграфена Петровна. Петр Степаныч, пробудивший было в Дуне дремавшее чувство любви, из памяти вон. Правда, восстаивал иногда образ его перед душевными очами Дуни, но тотчас же она

старалась отогнать от себя этот «греховный помысл», посланный ей злым и лукавым ради соблазна...

Во сне случится увидеть его, в страхе и трепете просыпается она, скорбит по целым часам и со слезами и рыданиями молится богу – да избавит впредь от такой напасти. Наслушавшись чужих толков, Дуня вообразила, что в самом деле бог в ней пребывает, что в самом деле он разверзает уста ее на пророчества, движет ею на радениях и водит по путям непорочным. И в таком самообольщении день и ночь помышляет она, что уж больше ничто земное не должно омрачать ее просветленных дум...

Возненавидела она и прекрасное свое тело, с омерзением и злобой смотрит на роскошные девственные перси, на стройный, гибкий стан, на ноги, будто величайшим художником изваянные из белоснежного мрамора, и... все прокляла, все мирское возненавидела.

Прекрасно созданное тело теперь, на взгляд ее, построенная злым духом темница для мучений души ее. И стремится она умертвить ненавистную плоть, освободить душу из темничного заключения. Как веселится больной, долгое время лежавший на смертном одре, когда начинается в нем возрождение сил, когда видит, что румянец снова начинает оживлять истощенное лицо его и опять блещут потухшие было очи, так радовалась Дуня, глядя на худобу лица своего, на пожелтевшие ланиты, на иссохшие пурпуровые прежде губки, на потухающий блеск прекрасных очей...

«Слава тебе господи!.. – она мысленно говорит. – Тлеет ненавистное тело!.. Изведи меня скорей из смрадной темницы и всели в сонме непрестанно поющих перед престолом агнца».

Со страстным нетерпением ожидает Дуня племянника Варвары Петровны – Денисова. Ждали его в семье Луповичих, как родственника; любопытно было узнать от него про араратских «веденцов» («Веденцы» – слияние молоканства с хлыстовщиной. Это слияние возникло в тридцатых годах нынешнего столетия за Кавказом. Потом оно обнаружилось (в пятидесятых годах) в Таврической, Екатеринославской и других губерниях. Слияние продолжается до сих пор, так что во многих местах нет более ни чистых молокан, ни прежних хлыстов.). В Денисове Дуня надеялась увидеть небесного посланника.

«Приближается к печальной нашей юдоли избранный человек, – так она думает. – Принесет он благие вести, возвестит глаголы мудрости, расскажет о царстве блаженных на Арарате».

Больше всех хочется Дуне узнать, что такое «духовный супруг». Вот уж год почти миновал, как она в первый раз услышала о нем, но до сих пор никто еще не объяснил ей, что это такое. Доходили до Лупович неясные слухи, будто «араратский царь Максим», кроме прежней жены, взял себе другую, духовную, а последователям велел брать по две и по три духовных жены. Егор Сергеич все знает об этом, он расскажет, он разъяснит. Николай Александрыч и семейные его мало верили кавказским чудесам.

Божьи люди, или хлысты, как обыкновенно зовут их в народе, верят в прямое и всегда возможное сообщение человеческой души с божеством. Подобно духовборцам, проповедуют они, что воплощенный Христос живет на земле постоянно. Эту секту нельзя назвать даже христианской ересью. Она стоит вне христианства, хоть и заимствует из него самые священные имена. Учение хлыстов – смесь разных учений, и древних и новых, противных учению и преданиям истинной веры.

Подобно древним персам и дреговичскому учению (Дуалистическая секта богомилов вышла от павликиан, а эти от манихеев, придерживавшихся во многом учения Зердушта (Зороастра); занесена в Болгарию из Армении и на новом месте разделилась на две отрасли – одна у славянского народа дреговичей, другая у болгар (богомилство).) они признают два искони существующие безначальные и конца не имеющие существа, доброе и злое, ведущие между собой нескончаемую борьбу. Хлысты думают, что оба эти существа равносильны. Подобно дреговичской отрасли богомилов, русские хлысты уверяют, будто все видимое и осязаемое создано злым духом и потому тела наши, как темницы душ, должны быть умерщвляемы трудами на радениях, постом и созерца-

нием. Подобно квиетистам, они думают, что таинственный человек в самом своем существе уничтожается и преобразуется в бога.

Такой человек не может помрачить себя никакой нечистотой и никакими пороками, ежели только он не нарушает своего покоя. Покой, праздность, бездействие – вот высшее состояние человека, по хлыстовским понятиям. Проповедуя чистоту и девственность, они, подобно вальденсам, иногда в собраниях своих предаются грубой чувственности (По Балюзиусу в 1303 вальденсы *canebant illi deo nocturnos hymnos, ut aliquo pietatis praetextu flagitum tegerent. Confluebant mulieres ad orgia magus, quam sacra. Coeremonia peracta sacerdos clamabat, ut extinctis luminibus, alto spiritu invocato promiscue coirent. Hinc insectus, pollutiones ets.* (пели богу ночные гимны, чтобы укрыть покровом благочестия позорное дело. Женщин волшебная оргия привлекала больше, чем священнодействие, после которого жрец призывал тушить огни и во имя святого духа совокупляться с кем попало. – Перев ред.). Рожденного после того младенца вальденсы сожигали и, высыпав пепел в вино, приобщали им вновь поступающих в секту. У нас первое известие о подобном изуверстве явилось у св. Дмитрия Ростовского и подтвердилось многими делами, особенно в XVIII веке. См. «Тайные секты», в Русском вестнике. 1868.).

Хлыстовщина появилась во всех слоях русского общества от образованных людей до безграмотных крестьян степных сел и деревень. И учение и верования их разнятся: образованные люди стремятся более к совершенствованию духа, но и они, как простолюдины, стараются «умерщвлять» плоть усиленными движениями и неистовыми плясками до изнеможения, и они, подобно им, убеждены, что во время исступления на них нисходит благодать, зато не верят в сказания о новых непрерывных появлениях божества в человеческом образе. А сказанья об этих явлениях и составляют почти всю сущность учения людей простых, людей «малого ведения», как называют их образованные хлысты. Зато грубая чувственность, похожая на оргии вальденсов, увлекает молодых и сладострастных людей как в образованные, так и в безграмотные хлыстовские корабли.

Егор Сергеич Денисов вез любопытные для сектантов известия. Давно уж, лет полтораста тому назад, явилось у хлыстов верованье, что на горе Арарате для них будет насажден новый земной рай, и только одни они будут в нем наслаждаться вечным блаженством. С каждым годом уверенность в осуществление «благодатного царства араратского» росла, а между тем хлысты стали сливаться с молоканами, отвергающими церковь и всю ее обрядность. Из такого слиянья вышла, сначала за Кавказом, а потом и по другим местам южной России, секта «веденцов», или «прыгунков». В июне 1840 года за Кавказом было страшное землетрясение. Лыдины и скалы, упавшие с вершин Арарата, засыпали окрестности верст на двадцать. В этом грозном явлении природы «веденцы» усмотрели признак приближения к ним араратского царства. Явился какой-то «иерусалимский старец»...

Они каялись ему в грехах, и он, в знак прощенья, осенял их широким разноцветным поясом. Через шесть дней он скрылся, и у веденцов явился царь, пророк и первосвященник. Этот царь Максим (То был молоканин, крестьянин казенного села Алгасова, что на реке Опше, Моршанского уезда. Тамбовской губернии, Максим Рудометкин, он же Комар, сосланный на Кавказ за распространение секты на родине и неповиновение властям.) В 1840 году было ему 46 лет. принял безграничную власть над «прыгунками» и во многом способствовал слиянию их с молоканством.

Говорили, будто он изменяет старое учение хлыстов, предписывает новые законы, велит заводить духовных жен... Но все это до Луповиц доходило и виде неясных слухов.

Кормщик луповицкого корабля хоть и был недоверчив к сказаньям людей малого ведения, однако решился созвать «великий собор» ближних и дальних хлыстов, чтобы предварить их об ожидаемом после с Арарата.

Не день и не два по разным местам разъезжали конторщик Пахом да дворецкий Сидорушка, сзывая «верных-праведных» на собор в Луповицы. За иными приходилось ехать верст за восемьдесят, даже за сто. Не успеть бы двоим всех объехать, и вот вызвались им на подмогу Кислов Степан Алексеич, Строинский Дмитрий Осипыч, да еще матрос Фуркасов. Напрашивался в объезд и дьякон Мемнон, но ему не доверили, опасаясь, не вышло бы от того каких неприятностей.

И собралось к назначенному дню в Луповицы больше пятидесяти человек. Пешком, бодрым еще шагом, пришли старые друзья-приятели: отставной каптенармус Григорий Устюгов да от-

ставной фельдфебель Кузьма Богатырев. У обоих на рукавах по три нашивки, у обоих по четыре медали, у обоих егорьевские кресты за штурм Варшавы. Смолоду в любви и дружестве меж собой жили, из одного села были родом, в один год сданы в рекруты, в одном полку служили, и получивши «чистую», поселились на родине в келье, ставленной возле келейного ряда на бобыльских задворках.

Всегда они бывали людьми трезвыми и набожными, начальство за службу их жаловало и большое имело к ним доверие. Под конец их службы полк сряду шесть лет стоял в Орловской губернии, а там исстари бывало много хлыстов. Любя чтение церковных книг, а больше того устные беседы от писания, Устюгов с Богатыревым стали похаживать в келейный ряд на «вечорки» к одной старой девке, хлыстовской пророчице, и познали от нее «тайну сокровенную». По выходе в отставку, услышали, что верстах в шестидесяти от их села у богатых помещиков Луповицких бывают хлыстовские собрания, и вскоре вошли в корабль Николая Александрыча. За дальностью места и за старостью редко бывали они в Луповицах, но «великих соборов» и годовых радений не пропускали, И ближние и дальние хлысты уважали егорьевских кавалеров, особенно Устюгова, за то, что знал он много сказаний.

На долгих из уездного городка приехал старец Семенушка. Бывал он прежде богатым купцом, многие годы на Морше Моршанск, хлебом торговал и кончил тем, что проторговался дотла. Когда дошел он до того, что не стало у него за душой ни копейки, смирился духом и пустился в набожность. Долго жил он в монастыре у старца Христофора. И настоятель и братия того старца считали полоумным и юродом за «неподобные» его речи, за срамные дела, особенно за то, что, уединясь в келью, певал мирские песни, поминая Христа, богородицу, ангелов и пророков. Инок Христофор держался хлыстовщины и восторженными беседами склонил прогоревшего купчину принять сокровенную тайну. После смерти Христофора Семенушка переехал в город, а там уж было три-четыре человека, «верных-праведных», и у них завелся маленький кораблик. И Семенушка и товарищи его кормились именем Христовым, сбирая по домам и базарам мирское подаянье, а кроме того, получали вспоможенья от Луповицких. На «великий собор» с седовласым старцем Семенушкой приехали и товарищи его, бедные мещане. На наем подводы Пахомушка сколько-то господских денег дал Семенушке.

Приехала небогатая помещица, старая барышня Серафима Ильинишна Липутина. Верстах в семидесяти от Луповиц, проживала она в своей усадьбе. Было у той барышни двадцать тягол крестьян да восемнадцать человек дворовых. Опречь тех дворовых, в доме ее проживали и сторонние. И гости и прислуга в одном согласе с барышней были. Соседи считали Серафиму Ильинишну дурочкой, да и сами хлысты путного ничего от нее не чаяли, тем только и была хороша, что не уставала на раденьях, но «в слове не ходила» никогда.

Чем бы пророчествовать, она хохочет, либо кошкой мяучит, либо собакой лает. Привезла с собой Серафима Ильинишна двух не старых еще монашенок из запустелой Аграфениной пустыни, мать Иларию да мать Сандулию. Обе манатейные (Манатейными зовут монахов и монахинь, еще не имеющих полного пострижения.), обе постригались в Касимове, обе вместе со слепой матерью Крискентией поселились в убогой келье, уцелевшей от упраздненной пустыни, и стали жить возле гробницы игуменьи Аграфены из боярского рода Глебовых, почитаемой в окрестности святою и блаженною. Там слепая, дряхлая Крискентия уверила сожительниц, что в нынешние последние времена истинную веру надо искать только у людей божьих, что они одни знают великую тайну, от мира утаенную. Вскоре в луповицком корабле Илария и Сандулия были «приведены» в новую веру, а по смерти Крискентии чуть не насильно водворились у юродивой Серафимы Ильинишны. И доставалось же от них полоумной хозяйке. Сами день-деньской меж собой бранятся да здорятся и всегда почти кончат ссору дракой, причем, достается, бывало, больше всего гостеприимной хозяйке. Даже колачивали странноприимницу. А творилось это, как думали все, по наитию.

Кроме Иларии да Сандулии, еще несколько духовных пришло на «великий собор». Пришел заштатный поп Меркул, два монаха из окрестных монастырей – люди постные, набожные, незлобивые, строгие в жизни и совершенные бессребреники.

Иные люди разного звания, кто пешком, кто на подводе, добрались до Луповиц к назначенному дню. Были тут и крестьяне и крестьянки, больше все вдовы да перезрелые девки. Софронуш-

ки не было; игумен Израиль на Луповицких прогневался, дынь мало ему прислали, к тому ж отец игумен на ту пору закурил через меру. Сколько ни упрасивали его, уперся на своем, не пустил юрода из-за древних стен Княж-Хабаровой обители.

Настал час «великого собора». Стемнело. Утомленные целодневным жнитвом, крестьяне спать легли. И отец Прохор спит со своей семьей. Спит село, одни собаки настороже.

Когда все стихло и улеглось, божьи люди, неслышными стопами, обычным порядком пошли в сионскую горницу. Там они переоделись в радельные рубахи и расселись по диванам, креслам и стульям. На этот раз мест едва достало – так много набралось верных-праведных. Вступившая уж в корабль Дуня села не у входной двери, а на почетном месте, близ кормщика, рядом с Варварой Петровной, с Марьей Ивановной, с Варенькой и Катенькой. Все верныправедные считали ее уже достигшею полного совершенства, все надеялись, что вот на соборе она дойдет до иступления, заиграет в струны золотые, затрубит в трубу живогласную, и живыми реками польются из уст ее чудные пророчества. Все в том были уверены; все говорили, что Дуня – избранный сосуд благода-ти.

Начался собор тем же порядком, как и обычные раденья. Крестьясь обеими руками и покло-няясь друг другу земными поклонами, хлысты простились, благословились и, усевшись по местам, пребывали в невозмутимом покое. Николай Александрыч сидел у стола, склонив голову, но не читал ни жития царевича, ни сказаний об Алексее божьем человеке. Минут через пять молчанья встал он с места и начал махать пальмовой веткой. Тогда хлысты запели громогласно «Царю небесный», канон пятидесятницы, а затем «Дай к нам, господи, дай к нам Иисуса Христа», – пес-ня, без которой ни одно хлыстовское сборище не обходится, где б оно ни совершалось, в Петер-бурге ли, как бывало при Катерине Филипповне, в московских ли монастырях, когда они были рассадниками хлыстовщины (В первой половине XVIII столетия хлыстовщина была сильно рас-пространена в московских монастырях – мужских: Петровском (иеромонахи Филарет Муратов и Тихон Струков казнены за то смертью – головы отсечены), в Чудове, – в Симонове, также в Пере-рвинском, в Богословской пустыне и в Троицко– Сергиевой лавре; в женских: в Ивановском (мо-нахине Анастасии Карповой отсечена голова), Новодевичьем, Никитском, Рождественском, Страстном, Варсонофьевском (монахине Марии Трофимовой отрублена голова) и Георгиевском.), у старой ли богомолки в избе сельского келейного ряда, или в барском доме какого-нибудь поме-щика. После песни стал говорить Николай Александрыч:

– Братцы и сестрицы! Возвещу вам радость великую, хочу огласить вам веселие.

Все встрепнулись, повскакали со стульев и диванов. Еще не зная, в чем дело, иные женщи-ны уже стали впадать в иступленный восторг... Послышались вздохи, радостные рыдания, гром-кие клики и визг – ровно десятки кликуш в одно место собрались.

Применяясь к людям «малого ведения», а таких больше всего было в сионской горнице, Ни-колай Александрыч обратился к каптенармусу Устюгову:

– Братец Григорьюшка! Лучше всех ты знаешь сказанья про дивные чудеса, в старые годы содеянные. Изрони златое слово из уст твоих... Передай собору про богатого богатыню Данила Филиппыча, про великого учителя людей праведных Ивана Тимофеича.

Не отвечает Устюгов, сидит молча, склонив голову.

Все ему кланяются, просят и молят, отверз бы уста, усладил бы слух сидящих в сионской горнице своими чудными сказаньями.

Целым собором долго молили, усердно просили Устюгова. Наконец он начал сказанья.

Ни слова еще не сказал он, как Марья Ивановна прошептала сидевшей возле нее Дуне:

– Слушай сказанья, но не верь ничему, что ни скажет Григорьюшка. Это притча, это басня для людей малого ведения. Но хоть они и покажутся тебе странными. на правду нимало не похо-жими, не унижай в сердце своем Григорьюшку... Не глумись даже мысленно. Наперед тебе гово-рю: не важно сказанье, важно иносказанье, важен таинственный смысл того, что станет он теперь говорить... Людям малого ведения не понять ни Бема, ни Сен-Мартена, как тебе или мне. Не мо-гут они питаться твердой пищей; как детям, им нужно еще молоко. Не глумись же, ни над чем не глумись, что ни услышишь от Григорьюшки.

Промолчала Дуня.

Рассказывает Устюгов, как в стародавние годы на реке на Оке, в Стародубской стороне (Стародубье, Стародубская сторона – в восточной части Владимирской губернии (на Клязьме есть село Кляземский Городок, в старину Стародуб). Гора Городина Муромского уезда, близ деревни Михалиц, на правой стороне Оки, верстах в трех от нее и верстах в пятнадцати от известного села Павлова (в старину Павлов перевоз), Горбатовского уезда, Нижегородской губернии.), на горе Вородыне явился «верховный гость», богатый богатыня Данило Филиппыч, и как жил он потом в деревне Старовой, в верховой Костромской стороне (Деревня Старово на левой стороне Волги, верстах в пятнадцати от нее и верстах в двадцати от Костромы в приходе села Криушева. На погосте Криушева и схоронен Данило Филиппыч; на могилу его хлысты ходили на поклонение. Незадолго до пятидесятих годов нашего столетия умерла последняя в роде Данилы Филиппыча Устинья Васильевна. Хлысты ее называли «богинею». Данило Филиппыч был из беглых «солдат иноземного строя»), поучая к нему приходивших, Так пришел он однажды на Волгу, а народу было тут много множество. И шли середь людей великие споры о том, которые книги лучше; старые или новые, Никоном печатанные.

И спросили люди богатого богатыню: «По каким книгам велишь молиться нам? Старые оппорочены, новые многим сумнительны». И собрал Данило Филиппыч старые книги и новые, побросал все в Волгу реку и такие слова божьим людям сказал: «Ни старых, ни новых книг не приемлите, да и грамота вся и ученья вам ненадобны. Есть у вас писание. Писано оно не на бумаге, не на хартии, не на скрижалях золотых или каменных, а на скрижалях сердец ваших. Что на сердцах ваших напишется, то прорицайте на радениях, и что ни скажете в восторге неизглаголанном, то и будь вам законом и заповедьми. Будучи в восторге, сам своих слов не поймешь и не услышишь их, зато другим они будут поучением».

Замолк сказатель, и снова стали поклоняться ему бывшие в сионской горнице. Плакали, рыдали, припадая к ногам его.

– Это притча, иносказание, – шепотом сказала Марья Ивановна Дуне. – Смысл его тот, что истина не в книгах, а в слове вдохновенного пророчества, сказанном на радении.

Потом стал Устюгов рассказывать о похождениях Данилы Филиппыча, как странствовал он в рабском, нищенском образе, как учредил радения и как родился ему преемник Иван Тимофеич Суслов.

Так говорил Устюгов:

– А поблизости горы Городины, в той же стороне Стародубской, бедная была, убогая деревня Максакова. А приход той деревни в погосте Егорья (В Егорьеве погосте (поселок одного только церковного причта) есть приходская церковь св. Георгия. К приходу ее принадлежит деревня Максакова.). И содеялось в той деревне неслыханное чудо. Жил в ней и долгий век доживал старейший престарелый нищий Тимофей Суслов. Смолоду, опричь бороны да сохи, ничего не знал и не ведал он, спокон века был бессемейным, под оконом христулюбцев подаяньем питался. Сбирал милостынку Христа ради и весь век старцем был благочестивым. От роду было ему сто лет и двадцать, а подружью его Арине Нестеровне сто лет ровно. А детей у них во всю жизнь не рожалось. Раз в зимнюю стужу, в бурную вьюгу приехал к ним в холодную избу неведомый нищий. У стариков была только одна сухая корочка хлебца. Некая сердобольная вдовица кинула ее старой, безногой собаке своей Лыске. Лыска корочку обнюхала, а грызть не стала. Тогда богатая вдовица, завидя проходившего старца Тимофея, подняла корочку и подала ему Христа ради. И той корочкой люди божьи Тимофей да Арина с нищим убогим человеком поделились, на печке его спать положили, а сами в холодную клеть ночевать пошли. Наутро нищий стал в путь собираться, а старик со старухой его не пускают. Всего животов (Животы – именование.) у них была курочка хохлатка.

Как дочку родную, они ее любили, иной раз сами голодают, а хохлаточку накормят, сами голодают, а курочку в теплое местечко на нашестку сажают. Миловались они на нее, любовались, и была им та курочка в бедной доле единой утехой, была старику со старухой единой отрадой. А к ним уж лет с пятьдесят никто в дом не заглядывал, никто не переступал их порога. К богатому да к чивому на крыльцо не протолкаться, у нищего, убогого нечего взять. Возрадовались нежданному гостю старец Тимофей со старицей Ариной, ровно сокровище какое бог даровал им. На расставанье с нищим угостили они его чем только могли. Горючими слезами обливаясь, с острым ножом

пошел Тимофей к возлюбленной курочке...

Свету не взвидел, как из горлышка ее брызнула горячая, алая кровь. Стонала, рыдала старица Арина, ощипывая ненаглядную пеструшку... И когда нищий уходил от Тимофея, а старица Арина пошла до околицы котомку его донести, сказал он им; «Заплачу вам, добрые люди, за курочку вашу сыном. Ты, Аринушка, родишь сына Тимофеюшке». Старец со старицей хотели было сказать нищему, что несбыточно пророчество его, но убогий не стал говорить с ними... Пошел – и нет его.

– То был богатый богатыня Данило Филиппыч, «господь Саваоф», – заговорили люди божьи, когда смолк ослабевший Устюгов. Волновалась его грудь, восторженным блеском горели глаза. Едва может он сдерживать подступавшие к сердцу рыдания.

Отдохнувши немного, так продолжал он сказанье:

– И родился у Арины сын обетованный. Надивиться не могли, как это родила столетняя старуха. И прежде никто к убогому старцу в домишко не заглядывал, а теперь все от него сторонятся, каждый норовит Тимофееву избенку подальше обойти. Судят да рядят в народе: «Слыхано ль, видано ль, чтоб столетняя старуха сына родила? Тут волхвованье, тут чародейство!» И собрались мужики спалить убогую избенку и в ней Тимофея с Ариной и с их отродьем, да ответа перед судом побоялись. Никто к Тимофею в кумовья не шел – кого ни попросит, всяк смеется над ним да ругается. И не во что было младенца положить: ни зыбки, ни люльки, ни колыбельки – хоть на пол под лавку клади. Поднял Тимофей на улице расколотое корыто; много лет из него соседи кормили свиней, а когда оно расколосось, выкинули долой со двора. И положил Тимофей в то корыто обетованного сына. Шесть недель искал кума, и никто над ним не сжалился, никто не пошел младенца крестить. Тогда повстречал Тимофей того нищего, что предсказал ему рождение сына. Сам он к нему в кумовья назвался и окрестил младенца. И был наречен он Иоанном.

Примолк дряхлый сказатель. Новые клики, новые вопли, новые визги раздались по сионской горнице. Немного отдохнув, продолжал Устюгов:

– Исполнилось Ивану Тимофеичу тридцать лет с годом; тогда «верховный гость» призвал его в свой божий дом в деревню Старову. И когда тот пришел, богатый богатыня повелел своим ученикам, чтоб они во всем слушали его возлюбленного сына и всякую бы волю его исполняли. И пошел после того Иван Тимофеич странствовать, А ходил он в рабском образе, в раздранном рубище, без шапки, без обуви, ходил холоден, голоден, нищ, бесприютен, и не было ему места среди людей. Много страдал от людей неверовавших, а потом жил в Москве на вольной воле, на полной свободе у Донского монастыря, возле улицы

Шаболовки (Из архивных дел видно, что в 1710 году в Москве был дом крестьянина г. Нарышкина, деревни Максаковой, Иван Тимофеева Суслова, за Москвой–рекой, между Шаболовской и Донской улицами. У Ивана Тимофеева была лавка в масленом ряду, чтобы считаться ему торговым человеком, но сам он никогда в той лавке не бывал.).

И не было тут ему ни озлоблений, ни утеснений, а учеников с каждым годом прибывало все больше да больше. Тогда перешел он в новый дом на Мещанской третьей улице. И в тот дом по зову Ивана Тимофеича приходил престарелый верховный гость, богатый богатыня Данило Филиппыч. Не два солнышка в чистом небе сокатились, а Данило Филиппыч с Иваном Тимофеичем соходились, и друг другу они до земли поклонились. Поклоняется Иван Тимофеич, а сам такие речи приговаривает: "Ты добро, сударь, в мою палатушку пожаловал! Не побрезгай, государь, убогой моей кельею. У меня про тебя все припасено, и сготовлено: столы-то расставлены, по столам-то разостланы скатерки камчатные, приготовлены тебе, гость дорогой, яства сахарные со питьями со медвяными.

Добро, государь, ко мне пожаловать, моего хлеба-соли откушати, а я рад тебя послушати. А не сахарные яства поставлю перед тобой, не медвяное питье я налью тебе – поставлю пред тобой учеников моих!" И по сем «верховный гость» со своим сыном возлюбленным не дни, не часы, а многие недели за одним столом беседу вели про спасение верных–праведных.. (Этот стол, взятый в сороковых годах нынешнего столетия у московских хлыстов, близ Сухаревой башни, находится в собрании раскольниковых вещей в Министерстве внутренних дел. На доске его написаны по иконному портреты Данилы Филиппыча и Ивана Тимофеича.) И каждую ночь бывали у них радения. На святом на кругу радел богатый богатыня Данило Филиппыч, «в слове ходил» Иван Тимо-

феич И по малом времени умер Данило Филиппыч, а лет через пятнадцать по кончине его Иван Тимофеич отошел от земной жизни, и схоронили его в Москве при церкви Николы в Грачах (Приходская церковь тогда на Земляном валу, теперь на Садовой. Третья Мещанская улица идет с Садовой в противную от той церкви сторону. Там до 1845 года был хлыстовский дом и в нем святой колодезь. Тот дом стоял на месте «божьего дома», устроенного Иваном Суловым,).

Последних слов Устюгова не было слышно. Дряхлый сказатель ослаб и впал в беспамятство. Тогда началось раденье – кто подпрыгивает, кто приплясывает, иные, ровно мертвые, лежат на полу без движения, глаза у них расширились, глядят бессмысленно, изо рта пена клубом. Падучая! (Между хлыстами много бывало больных падучею болезнью. Сам Иван Тимофеич Сулов, а также и преемник его Прокопий Лупкин подвержены были этой болезни. Из архивных дел видно, что нижегородский стрелец полка Батурина Прокопий Данилыч Лупкин 17-го августа 1710 года был в Москве на смотре у Кирилла Лаврентьевича Чичерина и по осмотре от службы отставлен «за падучею болезнью».).

А песня, грустная, печальная песня громче и громче поется в сионской горнице. Ножной топот, иступленные визги и дикие, неистовые крики раздаются по ней. Поют божьи люди:

Пойду, пойду, сын гостиный,
Ко тихому Дону,
Вступлю на кораблик,
Стану работати.
Труда прикладати,
Пот свой изливати,
В трубушку играти,
Верных утешати,
Верных избранных.
Всех братцев, сестрицев,
Духовных, любовных.
Пойду, сын гостиный,
В зеленый садочек.
В саду побываю,
Древо покачаю.
Одно в саду древо,
Оно было мило,
А нонеча древо
Вдруг печально стало.
Спрошу, сын гостиный,
Печального древа:
Отчего печально,
Отчего кручинно?
Ответит то древо
Гостиному сыну:
"Государь надежа,
Батюшка родимый,
Оттого печально,
Оттого кручинно -
Вершинку сломало
От тучи от грозной,
Погоды холодной".
Во том во садочке
Стояла светлица,
Во той во светлице
Сидела девица,
Плакала, рыдала,

Гостя ожидала,
Гостя дорогого,
Батюшку родного:
"Укрой ты нас, батюшка,
От тучи от грозной,
Погоды холодной!"

Когда все мало-помалу стихло, мерным голосом стал говорить кормщик. Все слушали его с напряженным вниманием. Говорил он, что рассказанное Григорьюшкой в наши дни повторяется. Говорил о бывшем землетрясении на горе Араратской, как вершина ее сизыми тучами облекалась, как из туч лились яркие молнии потоками, как стонала земля и возгремели до той поры неслыханные никогда громы. Затряслась гора Араратская, растрескалась скалась на части, оторвались от нее скалы и вечные льдины...

И тогда вновь явился богатый богатыня господь Саваоф. Имя его осталось неведомым, а велел он себя называть «старцем иерусалимским». Рассказал Николай Александрыч, что за Кавказом их единоверцы, тамошние божьи люди, признали старца того богом. Через шесть дней иерусалимского старца не стало. Но еще прежде, чем оставил он веденцов, назначил им по себе преемника, был бы у них и Христом, и царем, и пророком, и первосвященником. И с той поры пошли по хлыстовским кораблям и корабликам смутные толки и неясные сказанья про араратского царя, Максима Комара. Говорили, что он во многом изменяет верованья и обряды, творит чудеса, и что всякая воля его исполняется беспрекословно, без сомнений, без рассуждений, и что завел он в закавказских кораблях духовных жен.

– Вот он пишет к нам послание, – сказал Николай Александрыч.

И, вынув из стола письмо Егора Сергеича, прочитал:

– «Приведу вас от севера из хладных мразных стран в место вечного покоя, всякой радости и всякой сладости. С плачем изыдите из мест ваших, с весельем приидите сюда, в места благодатные. Через многие воды проведу я вас прямым путем, и вы не заблудитесь. Приидите же ко мне, избранные ото всех племен человеческих, – здесь, на горе Арарате, на райской реке на Евфрате обращаю ваши нужды и печали на покой и отраду. Удержите же рыдания, удержите источники слезные – напою души жаждущие, напитаю души алчущие, на сердцах ваших напишу закон правды».

– Вот, – продолжал Николай Александрыч, – я все вам сказал. А из тамошних мест едет племянник наш Егорушка, скоро увидим его. Привезет он вести обо всем, что творится у наших братьев на подножьях горы Араратской. Вот я поведал собору о «веденцах». Сами судите, идти ли нам из здешних северных мест на юг араратский.

Сильно поразили Дуню сказанья Устюгова про Саваофа богатого богатыню и про Ивана Тимофеича. Хоть и много говаривала она про новую принятую ею веру и с Марьей Ивановной и с Луповицкими, но никто из них, даже ее подруги, Варенька с Катенькой, о том ни слова не говаривали. Много бывало у них бесед, но все говорилось об умерщвлении плоти, о радениях, о хождении в слове, о таинственной смерти и воскресении; сказаний о новых христах разговоры их не касались.

Призадумалась Дуня, услышав столь много нового и непонятного. "Стало быть, не вся их тайна открыта мне... Всего не хотели сказать... И другие, верно, есть тайности, а мне не открывают их... Да, я, видно, из малого ведения! Мне нужно молоко, как сейчас говорила Марья Ивановна... Так вот они какие! А третьего дня уверяли, что ведением своим я достигла всего; Николай Александрыч сказал, что теперь велик мой дух на земле и что мне недостает только духовного супружества... Но что ж это за духовный супруг? Больше года слышу про него, а все еще не знаю, что это такое..."

Скрывают от меня, все скрывают, а уверяют, что вся тайна мне поведана, что я знаю все, и земное и небесное... А я ровно ничего не знаю... Зачем же уверять?... Для чего они таятся?... Живя здесь для них, я отстала от многого... Вот послезавтра первый спас – успенский пост начнется, а я должна буду с ними скоромиться. Согрешила – середу, пятницу нарушила. Петров пост нарушила, успенского нарушить нельзя!.. Что буду делать?.."

Погруженная в раздумья, Дуня не чувствовала восторга, что каждый раз находил на нее на радениях. Сидит безмолвная, недвижимая, взоры у ней строгие, взгляд суровый. А меж тем громче и громче раздаются неистовые вопли, плач и рыдания. Ждут не дождутся на кругу пророчицы. Ждут не дождутся Дуни. Все жаждут слышать из уст ее пророчения... А она ровно мертвая. Склонила голову в изнеможение, пребывая в строгом бесчувственном покое.

– Скажи, блаженная!.. Вещай слова пророчества!.. Прелей из чистых уст твоих сказанья не-сказанные!.. Так сам кормщик молил Дуню, крестясь на нее обеими руками и преклоняясь до земли.

Молчит Дуня. Ни слова в ответ.

Зачем скрывают? – сама думает. – Ведь я приведена. Зачем же смущают ни с чем не сообразными богохульными рассказами про какого-то верховного гостя, про каких-то Ивана Тимофеича да царя Максима?.. Зачем отторгли они меня ото всего, к чему я с малых лет привыкла? А была я тогда безмятежна, сомнений не знала и тревог душевных не знала".

– Вещай, чистая, святая душа!.. Скажи глаголы истины!.. Сподобилась ты дара пророческого, осветилась душа твоя светом неприступным. Ты избранница, ты уготованная агница!.. – Так ублажали Дуню хлысты, собранные в сионской горнице.

И с плачем, и с воплями, и с рыданиями припадали к ногам ее.

Недвижима Дуня. Не слышит слезных молений. Сидевшие возле нее Варенька с Катенькой, Марья Ивановна с Варварой Петровной то просят, то понуждают ее «в слове ходить». И тех не слышит Дуня, вспоминается ей дом родительский.

«У Макарья теперь тятенька, – одна за другой приходит мысли к ней. – В хлопотах да в заботах сидит в мурье каравана. Не так жил летошний год со мной... Кто его теперь порадует, кто утешит, кто успокоит?.. Когда– то увижусь с ним?.. Когда-то по-прежнему стану коротать с ним время, да еще с сердечной Дарьей Сергеевной?.. Что я за агница обетованная? Кому я обетованная?.. Бежать, бежать!.. Или в самом деле нет отсюда возврата?»

И вдруг ни с того ни с сего вспомнилось ей катанье по низовью Оки... Мерещится красивый образ шутивого «капитана»... Стоит со стаканом волжского квасу, а искрометный взор его проникает в самую глубь души ее. Песня послышалась... Послышалась она не в сионской горнице, а в сокровенном тайнике Дунина сердца... Вслушивается – нет, это не та песня, что пелась во время катанья... Но вот опять все перед ней преклоняются, горько плачут, слезно просят, отверзла бы уста, наполнилась духом и прорекла «общую судьбу» кораблю. Выпевают ей молитвенными головами, скорбными, печальными:

Ты блаженна, преблаженна.

Душа девица смиренна,

Изо всех людей избранна!

Ты раскрой свои уста,

Прореки нам чудеса!

Обличи нас обличеньем

И обрадуй разрешеньем

Ото всех наших грехов

Напущенных от врагов!

Не жалея своих трудов -

Духом в небеса лети,

За нас, бедных, умоли.

Милости нам сотвори!

Смани сокола из рая,

Из небесного из края,

Духом правым возгласи,

Своим словом нас спаси!

Не слышит Дуня ни песни, ни восклицаний. Напрасно ждут от нее вдохновений. Видя, что сидит она безответная, бывшие в сионской горнице стали было меж собой переговаривать:

– Накатило!.. Духом завладела!.. В молчанье он открывается.

И, оставив в покое Дуню, стали радеть «Давидовым раденьем». Не вышла на «круг» Дуня, по-прежнему сидит недвижная.

Скачут, вертятся, кружатся. Градом льет со всех пот. Ходит по горнице и чуть не тушит свечей ветер от раздувающихся радельных рубаш и от маханья пальмовыми ветвями. А Дуня все сидит, все молчит.

Вдруг пронзительным, резким голосом взвизгнула Варенька. Пена у нее на губах показалась. С криками «накатил, накатил!» в страшных судорогах грохнулась она на пол.

Очнулась, поднялась. Диким, иступленным блеском горят широко раскрытые ее глаза, кровавым заревом пышет лицо, обеими руками откидывает она падающие на лицо распущенные волосы. Опять все кружатся, опять поют, ударяя ладонями по коленам.

Дикими, громкими голосами они поют:

Затрубила труба, затрубила,

Затрубила труба не простая,

Не простая труба, золотая,

Золотая, архангельская!..

Загудели гусли-мысли,

Гусли-мысли не простые,

Не простые, звончатые,

На них струны не простые,

Не простые, жилковые*

Те архангельские струны – золотые,

На тех гусях звончатых

Возыграли, воспевали

Царь Давид перед ковчегом,

Соломон царь на Сионе,

Гусли, гусли, самогуды!..

Сами на струнах играют, * Жилковая струна – сделанная из сухожилия.

Сами песни воспевают,

Сами пляшут, сами скачут,

Думы за горы заносят,

Думы из-за гор выносят!..

Гусли, гусли звончатые,

Струны, струны, золотые,

Говорите, гусли-мысли.

Воспевайте, струны, песни,

Воспевайте царя неба,

Возносите Христа бога,

Возыграйте духу святу!..

Будь ты пастырь нам единый,

Прими нас в небесно царство

Еще не допели хлысты, как Варенька опять закричала нечеловеческим голосом. Всем телом затряслась она. Ухватясь за угол кормщицкого стола, иступленно озиралась она по сторонам, ежеминутно вскрикивая и всхлипывая от душивших ее рыданий. Говор пошел по сионской горнице:

– Накатил, накатил! Станет в слове ходить! Пойдет!..

А Дуня все сидит, все молчит, едва придерживая склоненную до самого пола пальмовую ветку.

«Выпевает» Варенька:

– Ай дух! Ай дух!.. Ой эва, ой эва!.. («Ой эва!» – древнее вакхическое восклицание, употребляется хлыстами во время их иступленного состояния. См. донесение в святейший синод (1809 года) калужского священника Сергеева, бывшего некоторое время в хлыстовской секте. Употребляются также: «эй эван!», «эваной!», «эвоэ!» – тоже клики вакханок.). Накатил, накатил!.. Эка радость, эка милость, эка благодать, стала духом обладать..

И потом стала говорить, что вот идет посол от закавказских братьев. Наставит он на всяко благо. Забудем скорби и печали, скоро настанет блаженный день света и славы. С любовью и упованием станем ждать посланника. Что ни повелит, все творите, что ни возвестит, всему верьте. Блюдитесь житейской суеты, ежечасно боритесь со злым, боритесь с лукавым князем мира сего, являйте друг ко другу любовь, и благодать пребудет с вами.

Сказала и без чувств упала наземь. Подняли ее, положили на диванчик возле Дуни. Тяжело дышала Варенька. Из высоко и трепетно поднимавшейся груди исходили болезненные, жалобные стоны. Всю ее сводило и корчило в судорогах. Марья Ивановна бережно прикрыла лицо ее покрывцем. Но из других, бывших в сионской горнице, никто не встревожился ее припадком. Все были рады ему. С набожным восторгом говорили хлысты:

– Экая сила в ней вдруг проявилась!

– Велика благодать!

– Велик в ней дух!

А Дуня сидит да молчит. Кончилась другая проповедь кормщика, кончились и пляски и песни, все пошли за трапезу, а Дуня, надевши обычное платье, ушла в свою комнату и заперлась в ней.

Раздвоялись ее мысли. Скучающий отец и призвание от тьмы неведения к свету сокровенной тайны! Обычная жизнь купеческой девушки и вольная, свободная, восторженная искательница благодати. Там «изменщик» Петр Степаныч, – здесь – таинственный духовный супруг... Но что ж это за духовный супруг?.. Узнаю ль когда?.. Скоро ли?

Так раздумывала Дуня, и в этих думах прошло все утро, прошел и целый день у нее.

Под самый уж вечер подошла к Дуниной комнате Варенька и постучалась.

Когда Дуня отперла дверь, Варенька пристально посмотрела на подругу. Дуня немного смутилась.

– Отчего «не ходила в слове»? – с трогим голосом спросила Варенька.

– Не знаю, – чуть слышно ответила Дуня.

– Опять суета отуманила? О житейском раздумалась?.. – сказала Варенька.

– Нет, – прошептала Дуня.

– Духу лжи не работай, слов неправды не говори, строже прежнего заговорила Варенька. – Я заметила, что у тебя на соборе лицо было мрачное. Темное такое, недоброе. Видно, что враг в душе твоей сеял плевелы. Смущает он тебя чем-нибудь?

– Нет во мне смущенья, – твердо ответила Дуня.

– Отчего ж ты на соборе была такая думчивая? продолжала Варенька. – О чем раздумалась?.. Тревога житейская, аль опять сомненья?.. Уныние или мирские заботы?.. Перестань думать о них. Никакие заботы, никакие житейские попеченья не стоят чистых твоих дум... Передо мной не таись, скажи всю правду... Моими или устами других будешь обличена на соборе, тогда все откроется, все, что ни есть у тебя на душе.

Страшна, ужасна показалась Варенька Дуне. Прежде она такая была тихая, нежная, ласковая; теперь совсем иною явилась. Глаза горели иступленьем, взоры, казалось, проникали в самую глубь Дуниной души, и Дуня невольно содрогалась перед пытливыми взорами. Лицо Вареньки пламенело, бледные, сухие ее губы то и дело судорожно вздрагивали. Не было в ней теперь и обычной миловидности; что-то зверское заменило ее. Смутилась Дуня, трепет стал пробегать по ее телу. не в силах она была прямо смотреть на многолюбимую прежде подругу, слезы из глаз выступали. Закрывши платком лицо, робким голосом она промолвила:

– Признаюсь. Сомненье... Послезавтра успенский пост. Что ни помню себя, никогда в этот пост я не скоромилась, а здесь без того нельзя... Тяжело... Смущает меня...

– Только-то? – прежним голосом ласки промолвила с улыбкой Варенька. – Чем же тут смущаться?.. Не в один успенский пост, а всю жизнь надо поститься... Но что такое пост? Не в том он, чтобы молока да яиц не есть – это дело телесное, нечего о нем заботиться. Душой надо поститься, скорбеть, ежели совесть тебя в чем-нибудь зазирает. Сердце смиренное, дух сокрушенный – вот настоящий пост.

– А меня совесть в том упрекает, что постов не держу, не соблюдаю ни среды, ни пятницы,

даже в Петров пост скоромилась. А тут успенский... – сильно волнуясь, говорила Дуня.

– Кто же неволит тебя оставлять мирские посты? Они ведь телесные... – сказала Варенька. – Постничай, сколько душе угодно, только не смущай себя. Было бы у тебя сердце чисто да вера истинная без сомнений. Помни, что ты уж в ограде спасения... Помни клятву, что не будет у тебя сомнений, что всю жизнь будешь удаляться от мира и всех его забот и попечений, ото всей злобы и суеты его... Ведь тебе открыта тайна божия?.. Ведь ты возлюбила праведную веру?..

– Вполне ли тайну-то открыли мне? – после долгого молчания прошептала Дуня. – Все ли рассказали?.. Все ли я знаю?

– Тайна раскрыта, – сказала Варенька.

– Вся ли? – промолвила Дуня.

– Не понимаю, что говоришь, – сказала Варенька. Что ж тебе неизвестно?.. Однако здесь душно, пойдем лучше в сад.

И пошли они в сад и сели там друг против друга за столом, окруженным скамьями.

– Что ж от тебя скрыто? – спросила Варенька, когда уселись они. – Какая тайна тебе не открыта?

– А говорил ли мне кто про гору Городину? А говорил ли кто про Арарат? – обиженно молвила Дуня. – Я приведена, от прежнего отреклась – от веры, от отца, от дома... И, ослепленная, я думала, что все знаю, все постигла, все поняла... А выходит, ничего не знаю. Что ж это?.. Завлекли?.. Обмануть хотели?

– Стой, стой! Опомнись! Удержись от хулы... Ничего нет тяжелее этого греха, – вскрикнула Варенька, зажимая рукой уста Дуни. – Успокойся, слушай!

Ни слова не сказала Дуня. Оперлась локтями о стол и закрыла лицо ладонями. Стала говорить Варенька:

– Не всякому дается постигать умом великие тайны. Для того много надо наперед прочесть, много уразуметь, чтобы потом узнать вполне тайну. Простым неначитанным людям малого ведения она открывается будто под покровом – в сказаньях и притчах... Но и тут каждое сказанье имеет таинственный смысл. Ты много людей видала в сионской горнице, а у многих ли из них есть духовно отверстые уши, чтобы понять «сокровенную тайну»? Не божедомки (Божедом – призреваемый в богадельне.), конечно, не солдаты с крестьянками, не дьякон Мемнон, не юродивый, не Серафима Ильинишна со вздорными монахинями обладают высшим ведением.

Только и есть, что наша семья, Катенька с отцом да еще разве Строинский, Дмитрий Осипыч. И тебя такую же считаем. Твои уши вполне разверсты, ты можешь понимать таинственный смысл сказаний, и старых и новых... Потому тебе про богатого богатыню, про Ивана Тимофеича и про других не говорили, а прямо открывали сокровенные тайны. К чему было говорить тебе про эти басни?.. Лишнего не нужно тебе. Тетенька Марья Ивановна, когда еще привезла тебя, сказала нам, что ты много читала, обо многом говорила с ней и что сокровенная тайна вполне почти известна тебе...

Так и вышло. Зачем же было рассказывать тебе сказки про сошествие на землю Саваофа, про небывалые смерти и телесные воскресения разных христов? Все это вздор, пустяки, никто из нас не верит им, а для людей малого ведения они необходимы... Вот почему не говорили тебе ни про гору Городину, ни про Ивана Тимофеича, ни про других, простыми людьми святыми и даже богатыми почитаемых...

Тяжел был Дуне этот разговор. «Все, видно, у них на обмане стоит, – думала она. – Если меня не обманывают, так этих простых людей обманывают... Зачем же? Для чего открывать одним больше, другим меньше? Где обман, там правды нет... Стало быть, и вера их не права. Страшно было даже слушать, что говорили они на великом соборе!.. У них какому-нибудь Ивану Суслову нипочем назвать себя сыном Божиим – все ему верят... А потом еще будто тело создано лукавым... И я тому верила... Творец – один, а им мало одного, нечистого еще творцом признали... Грех! Грех и безумие. Отшатнулась от них душа моя. В какую, однако, пучину попала я! Господи, помоги, господи, избавь от сети ловчей!»

Как ни заговаривала Варенька, каких речей ни заводила, ответов Дуня не дает. Настала ночь, и разошлись по своим комнатам недовольные друг другом подружки.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

После «великого собора» сторонние люди дня три еще прогостили в Луповицах, а на четвертый стали расходиться и разъезжаться. Остались четыре крестьянки из дальних мест, каптенармус Устюгов с другом своим фельдфебелем Богатыревым да полоумная Серафима Ильинишна с неразлучными спутницами, матерью Сандулией да с матерью Иларией.

Приехавши в Луповицы, барышня с большого ума вздумала попасть лошадей на своей земле верст без малого за сто. В степях у нее была небольшая пожня, никто не нанимал ее, а каждый год бывала она либо скошена, либо потравлена. Опытные в наживе соседи находили, что краденое обходится всегда дешевле купленного, и оттого косили и травили липутинские покосы, не считая того грехом. Заехавши в Луповицы, юродивая барышня разочла, что ей будет выгодно стравить пожню своими конями, для того и послала туда тройку, а сама с монахинями засела в Луповицах, в ожидании когда воротятся покормившиеся лошадки.

Катенька Кислова с отцом в город уехали. Стосковалась по ней больная мать, просила хоть на короткое время побывать у нее. Не хотелось Катеньке ехать, но, делать нечего, – скрепя сердце рассталась с Варенькой и Дуней. Со слезами проводила ее Варенька, сдержанно простилась Дуня.

Когда собравшиеся в дорогу сидели за прощальной трапезой, привезли почту. Николай Александрыч новое письмо от Денисова получил. Писал тот, что его опять задержали дела и что приедет он в Луповицы не раньше, как через неделю после Успенья, зато прогостит недели три, а может, и месяц. Все были рады, а кормщик обещал, только что приедет он, повестить о том всех божьих людей. И за то были ему благодарны.

И Дуня получила письма. Бегло прочтя, торопливо спрятала их. На бледном, исхудалом лице ее тревога показалась, но никому не сказала она, о чем пишут к ней отец и Дарья Сергевна. Спросила было Марья Ивановна, нет ли новенького, но Дуня промолчала. А когда гости разъехались, заперлась она в своей комнате и несколько раз перечитывала письмо Марка Данилыча от Макарья, где он, одинокий, тосковал и скучал по ненаглядной своей дочке. Напрасно стучались к Дуне и Варенька и Марья Ивановна. Притворясь спящею, не отзывалась она.

А сама, лежа на постели, думает: «Тятенька зовет... Сейчас же зовет. Пишет; „Ежель скоро привезет тебя Марья Ивановна, сам приеду за тобой...“ Господи!.. Если в самом деле приедет! Насквозь увидит все, никакая малость не ухоронится от него... И Дарья Сергевна торопит. А как уедешь? Одной нельзя, а Марья Ивановна совсем, кажется, забыла про Фатьянку... А оставаться нельзя. Обман, неправда!.. Как же быть? Научи, господи..вразуми!..»

Солнце было на закате, над потухающим светилom разостлались длинные полосы золотистых облаков. Тускнут лучи, и прохлада разливается в воздухе. После жаркого, душного дня отраднa и сладка вечерняя прохлада! Поглощенная думами Дуня всего и всех избегает.

Ни на что бы ей не глядеть, никого бы не видеть, никого бы не слушать... После разговора с Варенькой сомненья в правоте новой веры растут с каждой минутой... «Как же это, – все думает она, – одно – для знающих Бема и Сен-Мартена, другое – для не читавших их?.. А тем и другим от семьи отлученье. А сами семьей живут...»

Отцовское письмо такое было ласковое, такое тоскливое... И жаль стало Дуне старика, пожившего в нее душу свою. Одинокий, в тоске, в печалях, в заботах, быть может, больной!.. И никто ему не молвит приветного слова! Один, как перст, один-одинешенек...

А в комнате жара, духота – нет сил оставаться в ней. В сад идти – с кем-нибудь встретишься. А это Дуне теперь хуже всего на свете. Хочется быть одной, совсем одной... О! если бы можно было очутиться где-нибудь на безлюдье, в степях, что расстилаются гладью перед Луповицами, либо заблудиться в темных заволжских лесах, либо птичкой нестись в быстрой лодке по широкому раздолью Волги. И опять катанье в косных стало ей вспоминаться... Слышится ласковый голос, раздается за душу хватающая сладкая песня... Как тогда было беззаботно, как весело, счастливо!.. На волю, на волю!

И пришло Дуне на память, что по обеим сторонам дома насажены густо заросшие палисадники и что там никого ни в какое время не бывает. Едва слышными шагами пошла она туда. Через

силу отворила железную калитку на ржавых петлях и медленно пошла по дорожке когда-то усыпанной битым кирпичом, а теперь густо поросшей травой. Вдоль стен разрослись сирень, дикий жасмин, ломонос, трубоцвет, дикий виноград, плющ и вьюнок. Совсем почти закрывали они стены нижнего жилья. Высокой чугунной огорожи, отделявшей палисадник от сада, не видно было из-за кустарников – высокая бузина, густо разросшийся боярышник, дерен, шиповник сплошь застилали ее. С первого взгляда заметно было, что этот когда-то на славу устроенный палисадник был запущен с какой-то целью... Кой-где сохранялись гранитные и мраморные подножья. Когда-то стояли тут изваянья, быть может, дело замечательных мастеров... Заметны были полуразрушенные, обсохшие водоемы... И все было заброшено, как лишняя роскошь.

В укромном местечке села Дуня на железную скамью. Ниоткуда ее не видно. Опять раздумалась о том, что узнала от Вареньки.

И опять ей чудится, что где-то далеко, не то в необозримой степи, не то на золотистых облаках, голоса раздаются. Это не удивило ее – часто ей слышатся неведомые голоса, часто даже видятся незримые телесными глазами бестелесные образы. Не чужды они ей свыклась с ними, не пугают ее ни гласы, ни образы. И вот слышатся отдельные слова... Будто песня. Не один голос поет, а много, много голосов. Грустно поют, в чудной песне слышны мольба и печаль. И чувствует Дуня, что звуки льются не с горных высот, не из степного раздолья, а зарождаются в ее сердце и потом отзываются и в степи, и в облаках, и в листве кустов... Каким-то болезненным и вместе отрадным потоком они не слух ее поражают, а самую душу в глубоких ее тайниках... Не голос ли это просветленной души? Напев знаком... И радостны и отрадны стали вдруг звуки... Век бы слушать их, не наслушаться... Но что поют?... Зачем поют?

Прислушивается Дуня. Голоса громче и громче... Песня знакомая:

Я принес тебе подарок,
Подарочек дорогой,
С руки перстень золотой,
На белую грудь цепочку,
На шеюшку жемчужок,
Ты гори, гори, цепочка,
Разгорайся жемчужок!
Ты люби меня, Дуняша,
Люби миленький дружок!

Встрепенулось у ней сердце и заныло. Чем-то страстно томительным, но свежим и здоровым облилось оно. Подняла Дуня опущенные в землю очи. И – в густой чаще сирени видит...

С места вскочила, крепко прижавши руки к девственной груди.

Смотрит... Нет, это не сонная греза, не таинственное виденье. Совсем не то, что видала она в минуты восторга с сионской горнице и что являлось ей в тиши полуночного часа, когда предавалась она созерцанию.

«Он»! Живой! Тот, по ком когда-то сердце болело, в ком думала счастье найти.

Зорко, участливо, скорбно глядит на нее Петр Степаныч. В глазах укор и раскаянье, на ресницах слезы...

«Фленушка!» – вихрем пронеслось в мыслях Дуни.

Его лицо оросилось слезным потоком. И видит Дуня – робко простирает он к ней руки.. О чем-то молит... Преклоняется... А где-то далеко голоса, тихое бряцание арфы... и чудная песня незримых:

Любовь все прощает,
Все покрывает, все забывает.

Ринулась к «нему» с отверстыми объятьями... Перед ней Варенька.

– Вот куда ты запропастилась, а я искала, искала тебя... Что за охота ходить сюда?... Больше часа искала я тебя по саду... Здесь сыро, мокро – пойдем лучше в сад!.. Еще простудишься... И лягушек здесь множество... Мы никогда сюда не ходим.

Все исчезло, все смолкло от первого звука Варенькина голоса. Молча опустилась Дуня на скамью. Из светлого рая да вдруг на скорбную землю!.. Не знает, что и сказать... Досадно ей на

Вареньку. Зачем нарушила сладкий покой ее? Зачем исчезли прекрасные виденья? Зачем смолкли чудные голоса?..

– А я, искавши тебя, в богадельню заходила, – продолжала Варенька. – У Матренушки целый собор... Хочешь послушать людей «малого ведения»? Много их там. Непременно опять станут толковать про Данила Филиппыча, про Ивана Тимофеича. Ежели хочешь, пойдем. Только не в богадельню, – в вишенье станем. При нас не станут много говорить. Пойдем, послушай.

– Постой! – молвила Дуня, отстраняя рукой Вареньку. – Я устала... Отдохнуть бы мне...

– Так лучше в саду отдохнешь, – сказала Варенька. – Здесь место глухое. Нарочно забросили его, чтобы сторонним этих окон не было видно. Это ведь сионская горница, – прибавила она, указывая на окна нижнего этажа. – Эти восемь окон сионской горницы, рядом в три окна кладовая, тут сложены белые ризы (Белые ризы – рубашки, надеваемые божьими людьми для радений.), знамена, покровцы и свечи. А дальше окна из одевальных комнат.

Бессознательно глядела на все Дуня, думая совсем о другом. Она все еще была под влиянием только что исчезнувшего виденья.

– Пойдем же в сад, – стояла на своем Варенька. Нельзя здесь оставаться. Простудишься!

И, взявши Дуню за руку, почти насильно повела ее за собой. Сели в саду на скамью под широко раскинувшимся дубом, что высился перед входом на длинную дорожку, по бокам обсаженную столетними липами. Напрасно Варенька заводила разговоры. Дуня ни одним словом не отзывалась ей – все еще не выходило у нее из памяти недавнее виденье... И об отце раздумалась, и было ей жалко его, и опять стало занывать ее сердце при воспоминанье, как он теперь один коротает время и возле него нет ни души, чтобы пожалела его, приласкала, приголубила. «Одна я умею ему угодить, – думает она, – одну меня только любит он... А меня-то и нет при нем. Ждет... Как тут быть?..»

Будто поняла Варенька, о чем Дуня перелетные думы раскидывает. Вспомнив, что утром получила она письма, повела речь об отъезде ее из Луповиц.

– Недолго придется нам пожить с тобой, – сказала она. – Скоро надо будет распрощаться... Когда-то в другой раз увидимся? Кто знает?.. Может быть, навсегда распростимся, на всю жизнь.

– Кто знает?.. – едва слышным шепотом промолвила Дуня, склонив белокурую головку. Но в шепоте ее уж не было ничего страстного, ничего восторженного.

– Когда ж опять-то к нам соберешься? – спустя немного спросила у ней Варенька.

– Не знаю, – ответила Дуня.

– Тетенька Марья Ивановна совсем было в дорогу собралась. Осталась только повидаться с Егором Сергеичем. Она очень его любит, – сказала Варенька.

Ни слова Дуня.

Полна теперь она воскресшею любовью к отцу и мечтаньями о Петре Степаныче, не о том Петре Степаныче, что в бестелесном образе сейчас являлся перед ней, а о том человеке плоти и крови, чьи искрометные взоры когда-то бывали устремлены на нее и заставляли замирать ее сердце... Не могла она говорить...

И вот вспоминается ей, сладко вспоминается, как в косной на низовье Оки, пышущий здоровьем и весельем, опершись о бок левой рукой, он стоял перед ней со стаканом волжского кваску и дрогнувшим от сердечной истомы голосом говорил: «Пожалуйста, сделайте такое ваше одолжение!» Слова простые, обычные при всяких угощениях, но глубоко они внедрились в Дунином сердце.

И вот теперь, когда перед ней предстает его образ, она невольно влечется к нему... А вот и другой образ, светлый во мраке, любимый середь людской злобы, бедный, покинутый, одинокий... То зримый Дуниной душе образ Марка Данилыча. Суров, молчалив, все перед ним сторонится, никто не смеет к нему подойти, а он страдальчески страдает одиночеством. Ни от кого участия, ни от кого ласки или привязанности. Одна Дуня и на уме и на сердце. Тоскует он, плачет по дочери... А она ради новой веры, что теперь ей сомнительна, покинула и отца и дом его... Встосковался он – так и пишет.. Простые, бесхитростные, но из души вылившиеся слова Марка Данилыча надрывают Дунино сердце... И зачем она его покинула? Чего искала, чего хотела?.. Истинной веры?.. Вот и узнала. Тот же туман, тот же мрак, что и у матушки Манефы в скиту.

– Когда ж опять приедешь в Луповицы? – повторила свой вопрос Варенька.

– Не знаю, – прошептала Дуня.

– Жили мы, жили с тобой, подружились, съединились душами, – со страстным увлечением, тоскливым голосом продолжала речи свои Варенька. – И вдруг ничего как не бывало!.. Станем мы по тебе тосковать, будем сокрушаться, а ты?.. Забудешь и нас и святую сионскую горницу... Все забудешь... Опять погрознешь в суете, погрузишься в мир страстей и утех... И, горячими слезами обливаясь, будем мы поминать тебя.

– Не приедешь разве к Марье Ивановне? – спросила Дуня. – Ведь от нас до Фатьянки всего сорок верст. Бог даст, увидимся. Погостишь у меня, тятенька рад будет и тебе и Марье Ивановне.

– Как можно мне ехать в Фатьянку? – отвечала Варенька. – У тетеньки там не все еще устроено. И сама – то она, не знаю, как проживет зиму. Соседи – неизвестные, люди, привезенные из Симбирска, какие – то дикие. Знала я их еще в Талызине.

Не отвечала Дуня. Надоела ей Варенька... Если б можно было бежать, минуты не промедлила бы. Но как бежать, куда убежишь?

– Пойдут по окольности праздные толки и пересуды, начнутся сомнения, – продолжала Варенька, – станут подсматривать. Долго ль тут до неприятностей? Она же сказывала, что тамошние мужики сердиты на нее за покупку Фатьянки. Вступаются в какую-то землю. Сенные покосы, что ли. Трудно будет ей там... Опасно даже... Каков еще поп?.. Поп много может повредить. Вот хоть бы нашего отца Прохора взять, всем бы, кажется, должен быть доволен, а пальца в рот ему не клади...

Человек добрый и семья хорошая... А случись что, поможет супротивным... Тьма, мрак!.. Вздумай кто бежать из нашего стада, даст и приют и помощь... Да... А каков поп у тетеньки, она и сама еще не знает.

– Потому-то и надо кому-нибудь ехать с ней и пожить первое время, – помолчав немного, сказала Дуня.

– Конечно, если б из мужчин кто поехал, – отвечала Варенька. – А кому ехать? Батюшке хозяйства нельзя оставить, дяде – корабля.

– Вот тебе бы и ехать, – рассеянно проговорила Дуня.

– Какая я помощница! – возразила Варенька. Чем могу помочь? Еще чего-нибудь напутаю. Хуже, пожалуй, выйдет.

И снова глухое молчанье. Три длинные, через весь сад проложенные дорожки медленно прошли Варенька с Дуней. Обе молчали.

– Вот и Катенька уехала, – сказала, наконец, Варенька. – Без нее как-то пусто... Она ведь такая умная, разговорчивая.

– Да, умная, – промолвила Дуня, не думая ни о Вареньке, ни о Катеньке.

Опять пошли по дорожкам. Опять обе молчат.

– Желтеть стали, – указывая на липы, молвила Варенька.

– К тому идет, – чуть слышно проговорила Дуня.

– Да. Недалеко и до осени, а там не увидишь, как и зима подойдет, – сказала Варенька. – Вон клены-то как покраснели и рябины тоже. А у дикого винограда листья, как кровь.

Дуня промолчала.

– Да что ты какая? Слова от тебя не добьешься, с нетерпением вскрикнула Варенька. – Неприятные письма, что ли, получила?

– Нет, никаких неприятностей, – ответила холодно Дуня.

А тоска так и разливается по бледному лицу ее. Так и гложет у ней сердце... То отец мерещится, то Самоквасов не сходит с ума. Уйти хочется, одной остаться, но Варенька ни на шаг от нее.

Подшли к богадельне. Она была внутри освещена, а окна от духоты растворены настежь. Громкие, нестройные голоса оттуда несутся. Густо обсаженная вишеньем невысокая богадельня стояла в самом глухом месте, в отдаленном углу сада. За ней больше чем на полверсты тянулись ульи старого пасечника Кириллы.

Место укромное, сторонним людям недоступное.

Оттого ни божедомки, ни гости их разговорами не стеснялись, распевали свои песни и громгласно читали поученья и сказанья. Неверных фарисеев и злых иудеев (Фарисеями, иудеями и просто жидами люди божьи зовут не разделяющих их верований.) бояться нечего, а потому в богадельне бывали нередко раденья с криками, с воплями, с оглушительным ножным топотом. Свободно, на всей воле творилось тут все... Здешние сборища бывали не таковы, как в сионской горнице. Там многое умерялось присутствием господ, а здесь был полный простор распущенной свободе и грубой чувственности.

Проходя мимо вишенья, Варенька с Дуней остановились. Сумерки на небо в то время надвинулись, кругом стемнело.

– Послушаем, – останавливаясь, сказала Варенька. Дуня остановилась.

– Тут Устюгов с Богатыревым, – тихонько молвила Варенька. – Опять пойдут сказанья. Будь потише. Заметят, тотчас перестанут.

Опречь Устюгова с Богатыревым, в богадельне сидели пришлые крестьянки и Серафима Ильинишна с монахинями. Были тут и божедомки, и седовласый пасечник Кирилла Егорыч, бодрый не по летам дворецкий Сидор Савельев и конторщик Пахом Петров.

И молодежи было довольно: поваренок Трофимушка, писаренок Ясонушка, что у Пахома в конторе пописывал, еще человек с пяток. Они еще не были «приведены», но хаживали на раденья, потому что одному Василиса, другому Лукерьюшка по мыслям пришлись.

Слышатся громкие крики, задорная брань. Монахини ругаются, и, задыхаясь, неистово хохочет Серафима Ильинишна. Другие кто кричит, кто голосит, кто визжит, кто выкликает, кто выпевает... Ни дать ни взять шабаш на Лысой горе. Ни Матренушке, ни дворецкому с конторщиком, ни каптенармусу с фельдфебелем не унять через край расходившихся девок и баб. Не сразу могли понять Варенька с Дуней, что дело идет об Арарате. В источник голос вопит мать Илария, размахивая четками.

– Про какие выпевал он Арараты? Что за Арары? Не попасть бы за них в тар-тарары!.. Нет Арары!.. Нет Арары!.. Есть тар-тарары, преисподнее царство лукавого!..

– Праздных слов здесь не смей говорить, – унимала визжавшую Иларию Матренушка. – Не твоего ума это дело. Слушай тех, кто тебя поразумней, слушай, матушка, да смирай себя.

И не стало слышно речей Матренушкиных. Заглушили их взвизги Иларии и дикий хохот Серафимы Ильинишны. Попросила Матренушка мать Сандулию унять сожительницу и пригрозила, ежели она не уймется, до утра посадить ее на замок.

– Не дури, не ври, чего не понимаешь, – схватив Иларию за руку, во все горло закричала Сандулия. Откуда взялась такая умница? – обратилась она ко всему собранию. – Откуда дурища ума набралась?.. Молчать. Илария!.. Не то на запор!.. Молчать, говорю тебе!

– Не сама говорю... Я духом говорю!.. Духом прорекаю! – визжала Илария. – Нет Арары!.. Никакой нет Арары!.. У лукавого есть тар-тарары. Кто мне не верит, тому тар-тарары!..

– Перестань дуричь. Не блазни других, не работой соблазнами лукавому, – уговаривала Матренушка через меру раскипевшуюся Иларию. – Не уймешься, так, вот тебе свидетели, будешь сидеть до утра в запертом чулане. Серафимушка, – обратилась она к Серафиме Ильинишне, казалось, ни на что не обращавшей внимания.

Она теперь благодушно строила на столе домик из лучинок. – Уйми Иларию. Вишь, как раскудахталась.

– Куда как так! Куда как так! – вскочив с места и разводя руками, закричала старая барышня по-куричь, а потом громко захохотала.

– Не дури, Серафима, – прикрикнула на нее Сандулия. – Выходишь глупее Иларии!.. Станешь дурачиться, возьму скалку да скалкой! Уймись, говорю!

Стихла в испуге Серафима Ильинишна. Вспрыгнула на лавку и, поджав ноги калачиком, забилась в самый угол и крепко зажмурила глаза.

Не сразу унялась Илария. По-прежнему кричала: – Нет Арары! Никакой нет Арары!

А сама клобучок да апостольник под лавку... Рвет волосы, дерет лицо ногтями, вся искровенилась, раскосматилась, а сама середь горницы на одной ножке подпрыгивает и плечами подергивает, головою помахивает и визжит неистовым голосом:

– Накатил!.. Накатил!.. Накатил!..

– Никак вправду накатил? – стали поговаривать пришлые из дальних деревень хлыстовки, мало знавшие юродивую барышню с буйными ее черницами.

Услыхала те разговоры Сандулия и закричала на всю богадельню:

– На свинство ее озорство накатило! Вот я покажу ей, каков дух в чулане у Матренушки...

И сильной рукой охватив тщедушную Иларию, с помощью божедомок вытащила ее в сени и там, втолкнувши в чулан, заперла замком. С неистовыми криками стала изо всей мочи колотить в дверь Илария, но никто не обращал на нее вниманья. Мало-помалу смолкла честная мать, и тишина настала в богадельне.

Заметила Варенька, что бесчинный шум и крупные ругательства сильно поразили Дуню, никогда не выдавшую и не слыхавшую ничего подобного. Тихонько сказала ей:

– Они обе, и Серафима и мать Илария, с малолетства не в полном разуме. В сионской горнице не смеют своевольничать, а здесь им полная воля.

– Зачем же таких принимают? – спросила Дуня. Кроме шума да безобразий, от них, кажется, нечего ждать.

– А почему знать? Может быть, на ту либо на другую вдруг накатит, а мы отвергнем избранный сосуд? восторженно сказала Варенька, – Сила в немощах является. Теперь они дурачатся; может быть, сегодня же из уст их потекут живоносные струи премудрости... Пока мы во плоти, нам не надо предвешенья...

– Не понимаю, – молвила Дуня.

– И не пытайся понимать, – сказала Варенька. – Непостижимого умом нельзя постигнуть. Много я тебе сказывала, но, может быть, и сама многого не знаю...

– Кто ж знает? Кто, наконец, утвердит меня? Со всем утвердит?.. Я, признаться, колеблюсь... Одно страшно, другое непонятно... – тихо, будто сама с собой, взволнованным голосом говорила Дуня.

– Тетенька Марья Ивановна больше других знает. Она самое Катерину Филипповну знавала, когда святая мать после Петербурга и Кашина в Москве жила (Полковница Катерина Филипповна Татаринова за сектаторство была сослана в Кашин (Тверской губ.), в монастырь. Потом жила почти на полной свободе в Москве, здесь умерла и погребена на Пятницком кладбище.), сказала Варенька. – Она утишит твои душевные волнения. Одна только она может вполне ввести тебя в светлый чертог полного духовного разумения. Заговорили в тиши богадельни. Кого-то просят... О чем-то молят.

– Это они Григорюшку просят, – сказала Варенька. – Устюгова. Просят его еще рассказать... Слушай... Беседа начинается.

В богадельне все встали. Трижды перекрестясь обеими руками, Устюгов стал выпевать хлыстовские сказанья...

Опять начались длинные сказанья про богатого богатыню, про Христа Ивана Тимофеича Суслова, про другого Христа, стрельца Прокопья Лупкина, про третьего – Андрея, юрода и молчальника, и про многих иных пророков и учителей. Поминал Устюгов и пророка Аверьяна, как он пал на поле Куликове в бою с безбожными татарами, про другого пророка, что дерзнул предстать перед царем Иваном Васильевичем и обличал его в жестокостях. И много другого выпевал Григорюшка в своей песне-сказании.

Долго, больше полутора часов разглагольствовал он в богадельне. Наконец, до того утомился, что, как сноп, без чувств повалился на лавку. Хлысты начали радеть.

В богадельне шумней и шумней. Исступленные до самозабвения кричат в источный голос, распевая песню за песней, голосят каждый свое. Вдруг неистово прыгавшая Сандулия схватила с полки обещанную юродивой барышне скалку и стала изо всей мочи колотить себя по обнаженным плечам. Оттуда-то появились толстые веревки, плети, варовенные вожжи, палки и свежие, только что нарезанные батогы. Скача и бегая вприпрыжку по богадельне, хлысты с ожесточением и дикою злобой немилосердно били самих себя, припевая:

Плоти не жалеите,

Марфу не щадите!

Струится кровь по плечам. Кроვენят на себе белые радельные рубахи. Иные головой о стену колотятся либо о печь, другие горячей лучиной палат себе тело, иные до крови грызут себе руки и ноги, вырывают бороды и волосы. Умерщвление плоти!..

Затрепетала Дуня, увидя страшное самоистязанье, слыша дикие вопли, бешеные крики, звонкие удары плетей и батогов. Едва не упала она от ужаса в обморок. Быстро схватила ее за руку Варенька и силой повлекла от богадельни.

– Не удивляйся, – сказала она пришедшей в себя Дуне. – Люди простые, выражают восторг попросту, по– своему. Многого не понимают и понять не могут. А все– таки избранные сосуды благодати.

Ушли в дом, а крики и бичеванья долго еще не кончались в богадельне.

Ушли, наконец, оттуда пасечник Кирилла, Устюгов с Богатыревым и другие старые люди. И только что ушли они, стихли в богадельне и крики и вопли... Вдруг затворились окна, вдруг потухли огни.

До позднего утра мужчины и женщины оставались вместе.

Всю ночь и долгое время на другой день не могла прийти в себя Дуня. Так поразило ее виденное в Матренушкиной богадельне изуверное самоистязанье.

«И это истинная вера... И это молитвенный подвиг!..» – с содроганьем она думала, и к прежним сомненьям в истинах принятой веры прибавилось новое чувство страха и отвращения к ней... «И что ж это у них в самом деле? – размышляла она. – Для одних Бем, Сен-Мартен, Ламотт Гион, Юнг Штиллинг, „Сионский вестник“, вольные каменщики, Эккартсгаузен (Печатный „Путь ко Христу“ Бема и его же рукописные переводы книги „Аврора, или утренняя заря на восходе“, а также сочинения Сен-Мартена, особенно *des erreurs et de la verite*) печатные книги масонские, сочинения Юнга Штиллинга, Эккартсгаузена и Марии Ламотт Гион, «Сионский вестник» Лабзина и другие мистические сочинения были в большом уважении у хлыстов, масонов и в других мистических сектах. Нередко бывали они находимы у хлыстов из простолюдинов, а также у молокан, особенно же у духоборцев. Это видно из архивных дел. Барон Гакстгаузен («*Russische Zustände*») говорит, что он у молокан (простолюдинов) встречал сочинения Юнга Штиллинга.), для других басни Устюгова, дикие песни, неистовые круженья и даже кровавое бичеванье!..

Где ж у них единая вера? Где единство обряда?.. И как я могла вступить в их корабль? Как могла сделаться участницей нелепых их обрядов, доходить до забвенья самой себя, говорить, сама не знаю что и потом не помня ничего сказанного...

Уверяли меня, глупую, будто дух святой сходил на меня, и я, как околдованная, тому верила. Меня обманывали, а я кичилась и величалась увереньями их... Приятно, лестно было слушать их лукавые, обманные речи... Знатные люди, ученые преклонялись передо мной, простой девушкой, только грамоте обучившейся в заволжском скиту!.. Да, в самом деле тут было наитие, но не святое, а вражье, бесовское... Скорей отсюда!.. – К тятеньке!.. К поильцу моему, к кормильцу!.. А я-то, глупая, чуть не девять месяцев огорчала его то молчаньем, то холодным безучастьем...

А он-то, родимый, будто не замечал того, всегда был ласков и приветлив ко мне, больше всего на свете любил меня!.. Простишь ли, голубчик мой, простишь ли глупую дочь свою?.. Не стою твоей любви и попечений!.. И Дарью Сергевну сколько раз оскорбляла я, а она ведь мне была вместо матери, На руках своих вынянчила, научила, как умела, уму-разуму, полюбила, как родную дочь... Обидела я, горько обидела и сердечного друга Груню голубушку, оттолкнула от себя любовь ее... Негодная я, никуда негодная!.. А все от книг, что велела читать Марья Ивановна!.. Господи, господи! помилуй ты меня, великую грешницу, пошли святую помощь свою вырваться из этого богопротивного дома!.. А если Марья Ивановна да не скоро оберется в дорогу, если по моему письму тятенька не тотчас приедет за мной – что тогда буду я делать? Денег на дорогу довольно, да как уедешь? Не пустят, бог знает чего наговорят, мало ль чем могут настрашать... А!.. Вчера Варенька про здешнего попа говорила: «Вздумай кто бежать, даст и приют и помощь». К нему

на первое время? Да ведь он никонианский... Нового греха не нажить бы!.."

Так раздумывая сама с собой, Дуня, решила во что бы то ни стало покинуть луповицкий корабль людей божьих, отречься от их несправедливой веры, во всем и навсегда разорвать с ними и, как блудный сын, возвратиться в дом отчий... И стала она по целым часам и днем и ночью молиться перед иконами, прося у бога помилования в том великом грехе, что не по принуждению, не по нужде, не по страху, но своею волею впала она в греховную пропасть, оставила отеческие законы... И молитва утишала душевные ее волнения. Теперь Дуня только одно и держит на уме, как бы выбраться из дома лжепророков и лжеучителей.

Внезапное охлаждение Дуни к долго желанной и потом столь радостно и искренно принятой ею вере, быстрый переход мечтательной девушки от уверенности в несомненной правоте учения «верных-праведных» к неудержимому от него отвращению – явление нередкое в испуганных и восторженных сектах. Это замечается не только у нас, но и на западе Европы и в Америке; там оно еще чаще случается. То же бывало и в испуганных сектах первых веков христианства. И всегда почти ушедшие из секты, как бы в отместку за временное их заблуждение, делались отъявленными врагами прежних братьев и сестер по верованию.

Хлыстовщина влечет в свои корабли людей всех состояний – от безграмотных до высокообразованных, от полковых музыкантов до александровских кавалеров, от нищих до обладателей громадными богатствами (Дело о Татариновой.).

Что ж влечет их? Конечно, не одно удовлетворение чувственности, в иных кораблях бывающее в полночном мраке после радений. Увлекаются в хлыстовщину и пожилые люди, даже старцы, давно пережившие возраст страстей. Да и из молодых, даже из самых страстных людей каждый ли захочет купить минутное наслаждение ценой кровавых самоистязаний? Двумя путями влекутся люди в пучину хлыстовских заблуждений. Один путь – русская лень. Покой, праздность, отвращение от труда – вот куда, подобно западным квиетистам, стремятся и наши «божьи люди».

Получая от родных и знакомых вспоможения или собирая милостыню Христа ради, они все сносят в корабль, а нужды свои справляют на общий счет. Одни сектанты дают вспоможения некоторым «праведным братцам и сестрицам», другие, как Луповицкие, содержат на свой счет целые корабли. Хлысту немного нужно, ради умерщвления плоти он ест мало и притом самую грубую пищу, пьет одну воду, ходит в отрепье либо в посконном рубище, ему только и нужны деньги на радельные рубахи, знамена и покровцы.

А это дается ему из общего достояния. Телесный труд каждого из них всецело отдается пляскам и круженьям. Вне «святого круга» хлысту нет работы, и у него только одна забота жить бы ему век в покое и праздности. Другой путь, доводящий до хлыстовщины русского человека, – пытливость ума его. Не оторванный от родной, прадедовской почвы, русский человек всегда набожен и во всем ищет правды-истины. Таково народное свойство его. Смысла писания, даже значенья церковных обрядов он, безграмотный, без руководителя постичь не может. Ему нужен учитель, – такой учитель, чтобы всем превосходил его: и умом, и знанием, и кротостью, и любовью, и притом был бы святой жизни, радовался бы радостям учеников, горевал бы о горе их, болел бы сердцем обо всякой их беде, готов бы был положить душу за последнюю овцу стада, был бы немощен с немощными, не помышлял бы о стяжаниях, а, напротив, сам бы делился своим добром, как делились им отцы первенствующей церкви...

А где взять таких руководителей, особенно теперь, когда все на деньги пошло?... Нет учителя, нет руководителя, а пытливый простолюдин ищет себе да ищет разрешенья недоумений и доброго наставника в истинной вере... А его все-таки нет как нет... Хорошо еще, ежели такой искатель истины попадет на раскольника, хоть самого закоренелого, и сам сделается таким же. Раскол, как порождение невежества, отторгся от церковного единения лишь из-за буквы и обряда, но вера его так же чиста, как и в истинной церкви... Если же пытливый искатель правды подпадет под влияние хлыстовского пророка либо хлыстовской богородицы... тогда он больше не христианин. У него свой бог, свои христы, свои пророки, свои богородицы, свои верования, свои обряды, все свое и все чуждое, противное христианству.

В хлыстовские корабли по большей части попадают люди нервные, раздражительные, потерпевшие в жизни кто от житейского горя, кто от обид и огорчений. Забитые мужьями жены, об-

манутые или потерявшие надежду на супружество девушки, люди мечтательные, склонные к созерцанию, юроды, страдающие падучей болезнью – вот кем издавна наполняются хлыстовские общины. Такими людьми скорей, чем другими, овладевает восторг на радениях, им скорей являються призраки и виденья, им громче и ясней слышатся неведомые голоса. Кликуши и икотницы (Икотницами зовут кликуш в Архангельской и других северных губерниях.) по переходе в хлыстовщину всегда почти делаются корабельными пророчицами. Самую болезнь кликушества хлысты считают не напущенной колдуном порчей, как думает весь почти народ наш, а действием духа божия.

При всей нелепости заблуждений хлысты по большей части народ правдивый, по крайней мере со своими. Они ненавидят ложь, говоря, что это возлюбленная дочь нечистого духа. И к тому ж они откровенны – хлыст даже помыслов своих не скрывает от единомысленников; тут действует на него страх, что пророк или пророчица обличат на соборе его тайные помышленья. Зато с посторонними хлысты лукавы и правды ни за что на свете не скажут. Обман кого-либо из своих возмущает весь корабль, а откровенность с чужим – еще больше. Обманщику или выдавшему тайну людей божьих сторонним такое настает житье, что если не удастся ему бежать из корабля, то рано ли, поздно ли он кинется в реку либо в колодезь, а не то отравится либо удушится.

Еще не бывало примера, чтобы тут когда-нибудь открылось убийство от посторонней руки, все объясняется самоубийством в припадке сумасшествия. Нет существа более жалкого, как отвергнутый кораблем хлыст.

Едва выйдя из отрочества, Дуня оставила кров матушки Манефы. Взросла она там не на многолюдстве, а в родительском доме стала совсем одинокой. Всем сердцем любившего ее отца видала редко – то по делам, бывало, уедет он на долгое время, то день-деньской возится с прядильнями и лесной пристанью, то по– своему расправляется с приказчиками и рабочими.

Поглощенная домашним хозяйством, Дарья Сергевна с утра до поздней ночи то хлопочет, бывало, об обеде да об ужине, иной раз и сама постряпает, то присматривает она за стиркой белья, то ходит по кладовым, подвалам, погребам, приглядывая за хозяйским добром, считает кур, гусей, индеек и уток, сидит в коровнике, пока не выдоют коров, ухаживает за новорожденными телятами, а по вечерам и вообще в свободное от хозяйственных забот время стоит по часам на молитве либо читает божественное. Дуня все одна; подруг нет, знакомств нет, а ум пытлив, все ей хочется узнать, постичь то, о чем другие и не помышляют. И стала она в речах сдержанна, стала потом молчалива, а с тем вместе и мечтательна. От природы нервная и впечатлительная, она всем раздражалась. Несправедливости отца к подначальным особенно ее сокрушали, много тайных слез от них пролила она...

Дарья Сергевна в разговорах с ней твердила об одних только обрядах либо читала жития святых... Но все это мало занимало любознательную и пытливую девушку: еще на утре жизни она додумалась, что вера не в обряде, что жизнь дана человеку не для одной обрядности и что обрядность должна иметь таинственный смысл. Никто не мог объяснить ей этого смысла, и равнодушие ко внешностям в деле веры с каждым днем умножалось в ней. Охотно еще слушала она чтения Дарьи Сергевны про святых прежних времен, про пустынников и мучеников. Но это еще больше усиливало ее мечтательность. Ни хозяйство, ни домашние заботы не занимали ее; она считала их житейской грязью, и никакие наставления, никакие уговоры домовитой Дарьи Сергевны, хотевшей из воспитанницы своей сделать хорошую хозяйку, нисколько не действовали на Дуню. Сердце ее стремилось к чему-то неведомому, но правдивому, к какой-то незнаемой еще жизни, провозжаемой в добре и истине. Ее чистая душа в своих мечтаниях стремилась к какому-то непонятному, но доброму существу, из уст которого не могут исходить ни слова лжи, ни слова гнева...

О, если бы скорей предстало перед нею такое существо!.. Будь он ангел, будь человек плоти и крови, все равно – со смирением и любовью преклонила бы она перед ним, и скажи ей то су-

щество хоть одно слово привета, без малейшего сожаления оставила бы она дом отца и его богатство, с радостью и весельем устремилась бы к неведомому, мыслями и помышленьями отдалась бы ему и всю жизнь была бы его безответною рабой и верной ученицей, слила бы с ним свою непорочную жизнь... Но где такой избранник?.. Вкруг Дуни никого нет похожего... Да есть ли и на свете такой человек?.. Разве ангел бесплотный или иная небесная сила...

В самых тайных думах, в самых сокровенных мечтаниях никогда не представлялся Дуне ни муж, ни жених. Супружество считала она неразлучным с заботами по хозяйству, со своенравием мужа, а при случае даже с неправдой, гневом и злобой. Не к женихам, а к познанию добра и правды стремилась ее душа... Пытливость ума, возбужденная чтением книг без разбора и руководителя, крепко слилась в ней с мечтательностью, и Дуня стала вовсе не похожею на скитскую воспитанницу. Но помыслы ее все-таки неясны и ей самой не вполне понятны, а на уме все шатко, не твердо. Она то и дело путалась в своих мыслях.

Стали свататься к Дуне женихи: каждому была охота жениться на богатстве Марка Данилыча. Обилие свахи пороги смолокуровские, сватая молодых купчиков из своего городка, но от Марка Данилыча не слыхали слова приветливого, а Дуня и видеть их не хотела. Потом за «добрым делом» стали наезжать свахи из больших городов – из Муром, из Шуи, из Ярославля, даже из Москвы – везде по купечеству знали, что у Марка Данилыча больше миллиона в сундуке и одна-единственная дочка Авдотья Марковна.

Но и приезжие свашеньки все до одной воротились домой, не выдавши невесты. Ехали сватать да хвастать, ехали на мед да на сладкие пироги, на пиры да на горний стол, ан им, как шест, поворот от ворот, и разъехались кумушки по домам не солоно хлебавши. Через подзорную трубку влюбился в Дуню предводительский сынок, гвардии поручик, бездельный шалопай, игрок, пьяница и собачник, ни на какое дело, опричь кутежей, не годный. Разгорелись несытые очи его на смолокуровские достатки – задумал поручик женитьбой осчастливить купецкую дочь, дав ей дворянство, а кстати и дырявый свой карман починить. Однако и ему был отказ, ни смотрин, ни глядин, ни пропоя невесты, ни рукобיתья не было. Не хотела и смотреть на женихов Дуня, а родительского приказу выходить замуж ей не было – давно дал ей отец полную волю в выборе суженого по сердцу и хотенью. Нисколько не смутили Дуню все эти сватанья. По-прежнему девические думы ее носились в области мечтаний. Но не надеялась она найти человека по душе и по сердцу... Где ж найти такого человека, о каком мечтала она.

И вот является Петр Степаныч Самоквасов. Встрепенулось в Дунином сердце дремавшее до тех пор неизведанное еще чувство любви – весь мир показался ей краше и веселее, и почувствовала она, что сама стала добрее ко всем и ласковее. Книжки забыты, и, сидя по целым часам за рукодельем, она думами увивалась вкруг Петра Степаныча. В ее мечтах являлся он тем носителем добра и правды, какого так долго и напрасно искала она. Мало слов сказала с ним, но думала о нем ежечасно и берегла свои думы как святыню, словечка о них никому не промолвила, одному только старому сердечному другу, Аграфене Петровне, немногими словами наметнула. И как же радовалась она, услышав от Груни одобренье... «Вот она где истина-то, вот оно где добро, каких напрасно искала и так долго найти не могла!» – Так она теперь думала.

И вдруг этот человек добра и правды – обманул. Разбил, растерзал сердце девушки, погасил в нем первое чувство любви... Ни слова никому не сказала Дуня о такой сердечной обиде. И Груне не сказала – гордость не позволяла, самолюбие не позволяло.

Только что успела Дуня открыть тайну любви своей Аграфене Петровне, вдруг слышит, как в смежной комнате Дарья Сергеевна рассказывает Марку Данилычу, что Петр Степаныч, собравшись наскоро, уехал за Волгу. Уехал в Комаров... К Фленушке!.. «Хорошо я ее знаю, – говорила Дарья Сергеевна Марку Данилычу, – племянницей, что ли, она приходится матушке Манефе, угар девка, самая разбитная, а теперь, слышь и попить начала. К ней-то и покотил он. У ней, говорят, уж не первый год с ним шуры-муры». Ровно льдом заковали речи Дарьи Сергеевны разгоревшееся было Дунино сердце. Но и тут никому словечка не вымолвила, виду даже не подавала и ни малейшим движеньем не выразила нежданно нахлынувшего на нее сердечного горя. Только Аграфене Петровне сказала, и то как о пустячной новости, до которой дела ей нет... А что за буря тогда в ее душе бушевала! Что вынесла она в это горькое время, чего ни передумала!.. «Нет правды на свете,

нет в людях добра! – после долгих мучительных дум решила она. Везде обман, везде ложь и при творство!.. Где ж искать правды! Где добро, где любовь? Видно, только в среде бесстрастных духов, в среде ангелов божиих... А ведь они не совсем чужды нам, живущим во плоти!.. В писаниях сказано, что бывали они в сообщении с праведными. Где бы, где найти таких праведных? Есть же они где-нибудь. Без праведников, говорят, и миру не стоять... Где ж они, люди, верные добру и правде? О, если б мне пожить с ними!..»

Совсем, по-видимому, бесчувственная и ко всему равнодушная, Дуня страдала великим страданьем, хоть не замечали того. Все скрыла, все затаила в себе, воссиявшие было ей надежды и неожиданное разочарование как в могилу она закопала. С каждым днем раздражалась Дуня больше и больше, а сердце не знало покоя от тяжелых, неотвязных дум.

И вот стали ей являться призраки, стали слышаться неведомо откуда идущие голоса... Сначала это ее испугало, а потом привыкла она и к призракам и к голосам. Пуще прежнего вдалась в чтение; но путешествия, история, прежде столь любимые, не занимали ее больше... Отыскать истину, неведомое узнать хотелось ей, но таких книг не было. В это время встретила она с Марьей Ивановной. От опытных взоров много искусившейся в делах хлыстовской секты пожилой барышни не укрылись ни душевная тревога Дуни, ни стремление ее к мечтательности, доходившей иногда до самозабвения. Воспользовалась Марья Ивановна таким настроением неопытной в жизни девушки и хитро, обдуманно повела ее в свой корабль. У Марка Данилыча миллион либо полтора, Дуня – единственная наследница, – это еще до первого знакомства со Смолокуровыми провела Марья Ивановна... И задумала перезрелая барышня: «Дуня в ее корабле; миллион при ней... Деньги – сила, деньги дадут полную безопасность от всяких преследований, если бы вздумали поднять их на тайную секту людей божьих... Так ли, иначе ли, надо сделать, чтоб ей не было из него выхода».

Искусно повела Марья Ивановна задуманное дело... Столь много перетерпевшая Дуня увидела в ней отраду и утешение, душевную усладу, самое даже спасение. Чтение мистических книг, купленных у Чубалова, и ежечасные беседы с Марьей Ивановной, когда весной гостила она у Смолокуррвых, довели до такой восторженности Дуню, что она вероученье хлыстов стала принимать за слова божественной истины. Поверила она, что плоть создана диаволом и потому всячески надо умерщвлять ее, поверила, что священное писание есть ряд иносказаний и притчей, хоть и имеющих таинственный и спасительный смысл. Начитавшись Бема, поверила, что радения, серафимские лобзания и круговые пляски снесены на землю с небес, чтобы души человеческие, еще будучи во плоти, молились так же, как молятся силы небесные (У Якова Бема сказано: «У святых ангелов есть дружеское лобзание и обнимание и приятнейшая круговая пляска»). Сравн. «Письма митрополита Филарета к наместнику Сергиевой лавры» (письмо 22 апреля 1833 года).). А когда стала она бывать на радениях, каждый раз приходила в восторженное состояние, «ходила в слове», пророчествовала, но что кому говорила, не помнила ни во время проречений, ни после. И вот она принята в корабль, и вот открыто ей таинственное учение, и вот верит она ему, как несомненной истине.

И вдруг на великом соборе слышит Дуня неведомые ей тайны, слышит и не верит ушам. Рассказывают, что на Городину сходил бог Саваоф, под именем «верховного гостя», что долгое время жил он среди людей божьих, и недавно еще было новое его сошествие в виде иерусалимского старца. «Что за нелепость, что за богохульство! – думает пораженная такими сказаньями Дуня. Это что-то бесовское!..» Сказанья божьих людей продолжают, Дуня слышит о христах, ходивших и теперь ходящих по земле. Слышит рассказы, как они в темницах сживали, как в Москве были распинаемы, но на третий день воскресали. Слышит, что и теперь у подошвы Араарата новый Христос Максим, пророк, первосвященник и царь людей божьих, слышит, что он короновался и, подражая царю Давиду, с гусями в руках радел на деревенской улице.

Чем дольше слушает Дуня хлыстовские сказанья, тем больше ужасается. «А мне ни слова про это не сказали, скрывали... Тут обман, ложь, хитрость, лукавство!.. А где обман, там правды нет... И в ихней вере нет правды».

И противна и мерзка ей стала новая вера. Отшатнулась Дуня душой от общества верных-праведных... Каждое слово, что потом слышала от них – стало ей подозрительным... А тут еще

воспоминанья об отце, о родительском доме, о любящей Груне, о Петре Степаныче!.. Возненавидела почти Дуня и Марью Ивановну, и Вареньку, и всех, всех, кто были в луповицком корабле. И звучат в ушах ее слова евангельские о последних временах: «Тогда еще кто речет вам: се zde Христос или онде – не имите веры; восстанут бо лжехристы и лжепророки и дадут знамения велия и чудеса, яко же прельстят...» «Это они!.. Это они лжехристы и лжепророки!.. Они лжеучители последних дней!.. И я, я впала в греховную их пропасть... Господи! я сама была лжепророчицей!»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Всех чуждается Дуня, большую часть дня запершись сидит в отведенной ей комнатке, а встретится с кем, сама речей не заводит, спросят у нее о чем-нибудь – промолвит отрывисто слова два, три, и в разговоры не вступит. Такая в ней перемена заботила Луповицких, особенно Марью Ивановну.

Дня за два до Успенья Луповицкие всею семьей сидели за утренним чаем. Дуни не было. Тихие речи велись о ней.

– Да отчего ж все это? – настойчиво спрашивал Николай Александрыч. – Так внезапно, так неожиданно!.. Есть же какая-нибудь причина. Писем не получала ли?

– Получила, но после великого собора. А на этом соборе она уж изменилась, – сказала Марья Ивановна. – Я сидела возле нее и замечала за ней. Нисколько не было в ней восторга; как ни упрашивали ее – не пошла на круг. С тех пор и переменялась... Варенька говорила с ней. Спроси ее.

– Что она? – обратился к племяннице Николай Александрыч.

– Не один раз я говорила с ней после великого собора, – отвечала Варенька. – Жалуются, что уверили ее, будто вся сокровенная тайна ей поведана, что она достигла высшего совершенства, а на соборе услышала, что ей не все открыто. С упреками и укорами говорит, что искала в нашей вере истины, а нашла обман и ложь

– Что ж ты ей на это? – спросил Николай Александрыч.

– Говорила, что сказанья о сошествиях Саваофа и христах сложены не для нас, а для людей малого веденья, – ответила Варенька. – Все говорила, все разъясняла. но она меня с толку сбивала, так что не знала я, что и говорить. Это было вечером в саду, а у Матренушки в богадельне тогда было собрание. Мы с Дуней стали в вишеннике. Тут Серафимушка стала безобразничать со своими монахинями... Дуня ко мне приставала – зачем таких, как Серафимушка, вводят в корабль, и тут уж сбивала меня до конца. Тогда призналась она, что стала колебаться в нашей вере, и спросила, кто может ее утвердить... Я не знала, что сказать ей, уклонилась от прямых ответов и посоветовала обратиться к тетеньке.

– Со мной она не говорила, – отозвалась Марья Ивановна, – Я ее совсем почти не вижу.

– Поговори и укрепи, – властным голосом сказал Николай Александрыч. – Не забудь про миллион.

– Поговорю, – ответила покорно Марья Ивановна.

– Мы всё стояли возле богадельни, – опять стала говорить Варенька. – А там Устюгов со своими сказаньями. Выпевал про Ивана Тимофеича, как дважды его в Москве на кремлевской стене распинали, как два раза его на Лобном месте погребали, как он дважды воскресал и являлся ученикам на Пахре (Подольского уезда, Московской губернии. Там до последнего времени водились, а может быть, и теперь водятся хлысты. У них была там община вроде монастыря.), как слеталась к нему на раденье небесная сила и как с нею вознесся он. И о других выпевал Устюгов. Дуня стояла как вкопанная, ни слова не вымолвила. Потом началось у них радение, после раденья бичеванье. Дуня почти в обморок упала, насилу смогла я ее в дом увести.

– Как ты неосторожна, Варенька, – строго сказал Николай Александрыч. – Зачем было водить ее туда?

– Не знала я, что это у них будет, – ответила в смущении Варенька, – мне хотелось только приучить ее хоть немножко к сказаньям. Устюгов много тогда говорил, чуть ли не все сказанья выпел при ней.

– Лучше бы вовсе не знать ей об этих сказаньях, сквозь зубы проговорил Николай Александрыч. – Таких людей, как она, в вере так не утверждают, сказанья только смущают их. Но это уж моя вина, сам я на великом соборе говорил об Арарате, а перед тем старые сказанья про Данилу Филиппыча да про Ивана Тимофеича Устюгову велел говорить.

– Теперь она ни с кем не говорит, – после короткого молчания продолжала Варенька. – Сидит взаперти, плачет, тоскует, жалуется, что ее обманули, уверив, что достигла она совершенного ведения, а всей тайны не открыли. Сильно в ней сомнение... Мир влечет ее. Устоит ли она против прельщений его?

– Что ты об этом с ней говорила? – задумчиво спросил Николай Александрыч.

– Уговаривала ее... Что знаю, как умела, все рассказала ей, – ответила Варенька. – Но без веры она слова мои принимала. Только раз спросила у меня, кто может рассеять сомнения ее и утвердить в праведной вере. Я на тетеньку указала.

– Совсем не узнаю ее, – сказала Марья Ивановна. – Не стало больше в ней ни душевных порывов, ни духовной жажды, ни горячего влечения к познанию тайн. Молчалива, сдержанна, прежней доверчивости и откровенности вовсе в ней нет. Ничто ее не занимает, ничто не возбуждает больше в ней любопытства, кроме духовного супружества... Еще весной об этом у нас была с ней речь, когда гостила я у них, – ответила Марья Ивановна. – На неотступные просьбы Дуни я тогда еще сказала, что если женщина будет приведена в светлый полк верных, то пророк, принявший ее, делается ее духовным супругом.

– Так она, пожалуй, думает, что я ее духовный супруг. Ведь я принимал ее, – с легкой улыбкой молвил Николай Александрыч.

– Может быть, – тоже улыбнувшись, сказала Марья Ивановна. – Только мне кажется, что тут она ничего не понимает, да и, кроме того, многого, многого еще не понимает.

Все промолчали. Но Варенька, как будто что-то вспомнив, вдруг покраснела.

– Я не верю и никогда не поверю, – через несколько времени сказала Марья Ивановна, – чтобы Дуня переменялась от подозренья, что от нее что-нибудь скрывают, что ее обманывают. Тут что-нибудь другое. После великого собора она получила письмо. Прежде каждый раз, как, бывало, получит, обо всем мне расскажет, что напишут, и письма дает читать, и советуется, что отвечать, а теперь хоть бы словечко. И все спрашивает, скоро ли поедem в Фатьянку... Тут, кажется, все дело в письмах. Прежде совсем была равнодушна и к отцу и к этой Дарье Сергевне, а теперь про них слово только скажешь – она тотчас в слезы. Нехорошо мы сделали, что отдали ей письма. Тут я больше всех виновата... Да кто ж мог предвидеть? Боюсь, не напрасны ль были мои годовые труды... В мир не ушла бы.

Снова все примолкли. Сидят, задумавшись. Николай Александрыч спросил Марью Ивановну:

– Как в самом деле велико богатство Смолокурова?

– По крайней мере миллион, – ответила Марья Ивановна. – Сколько именно, кроме его самого, конечно, никто не знает, а Дуня всех меньше.

– Думать надо, его обворовывают. Все тащат: и приказчики, и караванные, и ватажные. Нельзя широких дел вести без того, чтобы этого не было, – молвил луповицкий хозяин, Андрей Александрыч. – И в маленьких делах это водится, а в больших и подавно. Чужим добром поживиться нынче в грех не ставится, не поверю я, чтобы к Смолокурову в карман не залезали. Таковы уж времена. До легкой наживы все больно охочи стали.

– Ну нет, у кого другого, а у Смолокурова не украдут, – сказала Марья Ивановна. – Не из таких. Сам редкого не обсчитает, а кто служит у него, не то что карман, а спину береги.

– А верно ли знаешь, что, кроме дочери, нет у него других родных?.. – спросил Николай Александрыч.

– Это верно, – ответила Марья Ивановна. – Их было два брата, один двадцать ли, тридцать ли лет тому назад в море пропал. Дарья Сергевна потонувшему была невестой и с его смерти живет у Смолокурова хозяйкой. Так это какая ж родня? Какая она участница в наследстве? Безродною замуж шла, ни ближнего, ни дальнего родства нет у нее.

– А сколько лет Дуне? – спросил Андрей Александрыч.

– Двадцатый, кажется, пошел, – отвечала Марья Ивановна. – В марте будущего года двадцать будет, а может, только еще девятнадцать. Хорошенько не знаю и сказать наверно не могу.

– Значит, если бы Смолокуров теперь же покончился, так года полтора либо два с половиной ей быть при попечителе, – сказал Андрей Александрыч. – А есть ли такие люди, кому старик так бы верил, что назначил бы к дочери в попечители?

– Нет, – молвила Марья Ивановна. – Видела я в прошлом году у него большого его приятеля Доронина, так он где-то далеко живет, на волжских, кажется, низовьях, а сам ведет дела по хлебной торговле. Нет близких людей у Смолокурова, нет никого. И Дуня ни про кого мне не говорила, хоть и было у нас с ней довольно об этом разговоров. Сказывала как-то, что на Ветлуге есть у них дальний сродник – купец Лещев, так с ним они в пять либо в шесть лет раз выдаются.

– Ей одной, значит, все без остатку достанется? – спросил Андрей Александрыч.

– Больше миллиона получит, – сказала Марья Ивановна. – А это наличный только капитал, а кроме того, по городам каменные дома, на Низу земли, на Унже большие лесные дачи. Весь достаток миллиона в полтора, а пожалуй, в два надо класть.

– Неосторожно поступили вы, что до великого собора не говорили ей про сказанья, придуманные людьми малого ведения, – с укором промолвил Николай Александрыч Марье Ивановне и племяннице. – Надо бы было понемножку ей открывать их, говоря, какой цены они стоят. А тут еще Варенька бичеванья ей показала. Вот и запугали ее. Ты виновата, Варенька: она была тебе отдана, и ты должна была вести ее, не возбуждая ни сомнений, ни опасений. Вот теперь, по вашей неосторожности, миллионы-то, пожалуй, и поминай как звали. А какая бы сила кораблю прибыла! Испортили вы дело! Тебе-то, Машенька, как не стыдно – ты ведь опытна в этих делах. Зачем не наблюдала хорошенько?

– Я ее предоставила Вареньке, – оправдывалась Марья Ивановна. – Думала, что она моложе меня, к ее годам подходит ближе, и что Дуня больше ей станет доверять, чем мне... Кто ж мог этого ожидать? Впрочем, ничего, по времени все обойдется.

– Ну не знаю, – покачав головой, молвил Николай Александрыч. – Не такова она, чтобы вдруг поворотить ее на прежний путь. Ежели в такую горячую, восторженную голову запало сомнение – кончено... Нечего себя обманывать – улетела золотая пташка из нашей клеточки, в другой раз ее не изловишь.

– Надо, мне кажется, скорей к отцу ее отвезти, чтобы чего-нибудь не вышло, – сказал Андрей Александрыч. – Главное, огласки бы не вышло. Помните, что было с батюшкой, может то же и с нами случиться. Наверху глаза зоркие. Самой пустой молвы довольно, чтобы весь корабль погубить. Увози ее, Машенька, скорей до греха.

– Дождусь Егорушки, непременно хочу его видеть и расспросить об араратских, – сказала Марья Ивановна.

– Уговори ее как-нибудь хоть до Егорушкина приезда остаться, – сказал он. – А там что будет, то будет... Может быть, птичка и не выпорхнет, и богатства ее, рано ли, поздно ли, будут в нашем корабле. Главное – осторожность... Во что бы ни стало, как можно крепче надо привязать ее к нашему союзу, для того прежде всего нужно уничтожить в ней сомненья, чтобы не думала она, что мы хотели обмануть ее. С первого свиданья я заметил, что она сильно восторженна и вполне доверчива, но причудлива, упряма и привередлива.

Обращайтесь с ней осмотрительней, внимательней, с оглядкой. Поставить ее на прежнее – дело трудное, а если еще случится хоть самая малейшая с ней неосторожность, дело будет неоправданное. Не утратьте пророчицу, не теряйте смолокуровского богатства.

Старайтесь больше о том, чтобы с ней вполне примириться, чтобы не выдала она кому-нибудь из сторонних нашей тайны сокровенной... Зима теперь, времена то есть опасные!.. Надо быть скромней и осторожнее. Вот я получил извещение, – в Москве идут большие розыски, и много верных-праведных в гонении.

Всеми мерами стараются разузнать о наших кораблях. И доносчики, искариоты, явились – многих выдали, указали на дом божий и все забрали из него. Малейшая неосторожность может и нас до беды довести. Блюдайте же себя опасно, а главное, о том постарайтесь, чтоб, уехав домой, наша гостья не рассказала кому о том, что видела и слышала здесь. Иначе все пропало, корабль

наш рассыплется, лукавый над нами посмеется своим лютым и злорадным смехом, и впадем мы все в земную погибель... Нужней всего, чтобы добровольно осталась она у нас до приезда Егорушки. Когда приедет Егорушка, мы с ним потолкуем насчет этой Дуни. Разумею о духовном с ним супружестве. Тогда она наша, и миллионы наши, ежели Егорушка решится – мы позволим тебе на совет, Машенька, и с тобой вместе установим, как достичь нашей цели.

Никто не противоречил, Варенька поняла слова дяди и вся внезапно зарделась.

На другой день после совещанья Луповицких кто-то тихими шагами подошел к Дуниной комнате и чуть слышно постучал в дверь. Судя по времени, Дуня подумала, что горничная пришла постель убрать, поспешно отворила дверь и увидела перед собой Марью Ивановну. Вздрыгнула Дуня, и сердце у ней болезненно сжалось. С той минуты, как случилась с ней перемена, не могла она равнодушно смотреть на женщину, завлекшую ее в новую веру, на ту, кого еще так недавно звала своим светом и радостью, говоря: «При вас я ровно из забытья вышла, а без вас и день в тоске и ночь в тоске, не глядела б и на вольный свет».

Величавой походкой вошла Марья Ивановна. Безграничная любовь и нежная заботливость отражались в голубых ее глазах и во всем ее еще прекрасном, хоть и сильно изможденном лице. Протянула она руки, привлекла Дуню в объятия и нежно ее поцеловала.

Ровно кольнуло у Дуни в сердце от этого поцелуя.

– Что с тобой, милая? Что с тобой, дружок мой? – с любовью и участием сказала Марья Ивановна, садясь у изголовья кровати и сажая Дуню на не убранную еще постель.

– Ничего, – холодно и сдержанно отвечала Дуня, опуская глаза. – Домой бы скорей. Соскучилась я по своих.

– Успеешь, красное солнышко, успеешь, моя золотая, – тихо отвечала ей Марья Ивановна. – Повремени немножко. Кой-какие дела по именьям задержали меня здесь. Как только управлюсь, так и поедем. Да что-то вдруг тебе домой захотелось? Прежде про дом и не поминала, а теперь вдруг встосковалась.

– Надо же когда-нибудь домой, – спустя глаза, тихо проговорила Дуня. – Нельзя же навсегда здесь оставаться.

– Конечно, пока жив отец, его нельзя совсем покинуть. А ежели что случится с ним, место тебе здесь, либо у меня в Фатьянке, – сказала Марья Ивановна. Ты ведь от мира отрешенная... Не жить тебе в нем.

Вспыхнула Дуня, дрогнули у ней губы. В горьких слезах чуть слышно она промолвила:

– Не могу я тятеньку покинуть! Без меня помрет он с тоски... И теперь скучает... Один ведь, никого возле него нет. Не с кем слова перемолвить... Нет, не могу я жить без него.

– Так ты нарушаешь данную клятву!.. А ты давала ее вольною волей, помнишь, когда приво-дили тебя к праведной вере... Не помнишь разве, что ты обещала богу забыть отца, род и племя, весь мир с суетой его, – строго, дрожащим от волненья голосом заговорила Марья Ивановна. – Вспомни, кого ты давала по себе порукой... Царицу небесную, пресвятую богородицу дала в поруки!.. Неужли думаешь, что нарушение такой клятвы пройдет тебе даром? Нет. И в писании ска-зано, что бог поруган не бывает... Когда ты давала клятву, в сионской горнице был ангел божий, он невидимо стоял перед тобой и записывал твои обещанья... Так разве можно нарушать их? Все несчастья, все напасти, все печали и безысходное горе еще в здешнем мире над тобой разразятся, а в том веке вечная тебе гибель во узах нечистого... Вот что тебе впереди. Пришла ты на путь пра-вых, отреклась от мира и вдруг бросилась назад, опять хочешь ринуться в его суетность... Ведь это поступок Искарриота... Чашу Иуды до дна изопьешь и с ним разделишь бесконечные мученья в жилищах врага, будешь навеки проклята богом и всею небесною силой...

Привела я тебя к вере праведной, была твоей восприемницей и теперь несу ответ за душу твою... Прими же слова мои как повеления свыше... Кайся в погибельных сомнениях, отгони не-чистого, возвратись в ограду спасенья... Тогда будет на небесах великая радость, отец небесный ведь не столько радуется о девяности девяти овец, мирно пасущихся на спасительной его пажити, как об одной заблудившей и к нему возвратившейся.

Дуня молча плакала. Вспомнилась ей матушка Манефа. Было похожее дело в Комарове. То-гда Дуне было еще только десять лет. С покойницей Настей сидела однажды она за рукодельем в

игуменьиной келье, за перегородкой в боковуше, и от слова до слова слышала, как матушка начала молодую инокиню малого пострига, Евникею. Круглая сирота, дочь тысячника, жила Евникея у дяди и много там терпела от своих и чужих. Раз дядя из дома выгнал купчика, завладевшего сердцем девушки, и она в тоске и слезах ушла в скиты и сыскала там радушный приют в Манефиной обители.

Через сколько-то месяцев дошли до нее вести, что возлюбленный ее покончил жизнь. А она было дала ему доверенность вытребовать у дяди наследственный капитал и потом обещалась замуж за него выйти. Письма дядя ей присылал, чтоб уверилась она в смерти того купчика. И когда она уверилась, опротивел ей божий свет и предалась она безотрадному отчаянию. А скитские матери день и ночь напевают ей: «Поди да поди в лик девственниц, притеки к тихому пристанищу, отрекись от мира, прими иночество». И с горя она приняла его. Прошел месяц после пострига, вдруг приезжает в обитель молодой купчик живехонек, здоровехонек, привозит Евникею двадцать тысяч выхлопотанного ей родительского достоянья...

Тогда стали Евникею ненавистны и черная ряса и черный куколь – и стал ее манить мир, полный счастья и радости. И вздумала она выйти из обители. Узнав о том, Манефа позвала Евникею к себе и с глазу на глаз уговаривала ее оставить суетное желание и тем больше всего грозила ей, что нет большего греха, как снятие с себя иночества. Это значит, говорила она, поругаться чину ангелоподобному... «И вот теперь то же самое говорит мне Марья Ивановна, – думает Дуня. – Так же клятвы поминает, так же помстою (Помета – возмездие, месть, кара, наказание.) от бога грозит, страшит проклятьем, отлученьем, вечною погибелью... Не смутилась того Евникея. Хоть немало слез пролила, а покинула обитель и теперь, окруженная детками, живет хозяйкой честного дома. И нет ей помсты от бога, и нет ни от кого проклятия». Так думала Дуня, слушая угрозы Марьи Ивановны, а бестелесный образ Петра Степаныча ясней и ясней представлялся душевным очам ее.

– Как же у нас будет, милая Дунюшка? – после длинного молчанья ласково спросила у ней Марья Ивановна.

– Не знаю, что сказать вам, – не осушая слез, ответила Дуня.

– В греховную ли пучину внешнего мира ты бесповоротно стремишься, иль пребудешь до конца в стаде избранных? – настойчиво спрашивала Марья Ивановна. – Пребудешь ли верною богородице, своей поручительнице, или, внимая наущеньям лукавого, отринешь чашу благодати и вечной радости? Уйдешь в мир или с нами останешься?

– Что мне мир! Не знаю его и никогда не знавала! Вы знаете мою жизнь. Кого видала я, oprичь тятеньки, Дарьи Сергевны да скитских подружек?.. – печально поникнув белокурой головкой, отвечала Дуня. – Вы думаете, что мир меня прельщает, что мне хочется забав его и шумного веселья? Бывала я в этом мире веселья, в театре даже бывала, и музыку там слышала, и песни, пляски видела, и было мне скучно, тоскливо, никакой не чувствовала я приятности... Нет, мир не прельщает меня и никогда не прельстит.

– Отчего ж ты хочешь оставить корабль? – спросила Марья Ивановна.

Дуня ни слова не сказала на то.

– Ты все думаешь, будто тебя обманули, всех наших тайн не открыли? Ошибаешься. Варенька тебе сказывала, почему тебе не говорили о вымышленных простецами сказаньях. Они нужны одним людям малого ведения. Сколько раз братцу я говорила, что не следует и поминать об них в сионской горнице, как и делалось это в Петербурге у Катерины Филипповны – не послушались моих советов. Тут я нисколько не виновата... К словам Вареньки мне нечего прибавлять. Где ты видишь обман? Мы сами никакой веры не даем этим сказкам, хоть и считаем их нужными, даже необходимыми для простых людей, неначитанных, необразованных. Не обманывали тебя, ничего от тебя не скрывали, а только не хотели смущать тебя пустяками. Я виновата кругом, что не сказала об этом тебе до собора, надо было прежде сказать – хоть за день, хоть за два... И Варенька с Катенькой виноваты, что не сказали тебе наперед об этих сказках.

Дуня по-прежнему молчала.

– Не то тебя смущает, – строго и учительно сказала Марья Ивановна. – Не подозрение в обмане расстроило тебя. Враг бога и людей воздвигает в твоей душе бурю сомнений... Его дело!.. Берегись, чтоб совсем он не опутал тебя... Борись, не покоряйся. Будешь поддаваться сомненьям,

сама не заметишь, как навеки погибнешь. Скоро приедет сюда Егор Сергеич. Подробней и прямее, чем братец Николаюшка, станет он говорить о божьих людях Араратской горы. Будешь тогда на соборе?

– Не буду, – промолвила Дуня.

– Напрасно, – сдержанно ответила Марья Ивановна. – Я сказала тебе, что пророк или кормщик корабля, принимающих в круг верных-праведных женщину, делается ее духовным супругом. А братец Николаюшка говорит, что это не так. Приедет Егорушка, он об этом расскажет точно и подробно.

Приздумалась Дуня. Хотя и решилась она оставить общество людей божьих, но любопытство сильно подстрекало ее. Согласилась быть в сионской горнице и говорить с араратским гостем, но отказалась радеть и пророчествовать, сказала, что будет одета в обычное платье, а «белых риз» ни за что на свете не наденет и сядет не впереди, а у входной двери. Дозволяется же ведь это больным и недужным.

Как ни уговаривала ее Марья Ивановна, Дуня настояла на своем.

Пришел успеньев день – в Луповицах храмовой праздник. Во время поста и Луповицкие и все жившие у них божьи люди, кроме Дуни, говели и накануне праздника приобщились у отца Прохора. И во дни говенья и на самый праздник ничего не было противного церковности, все прошло спокойно и прилично.

Гостей наехало довольно, то были ближние и дальние соседи Луповицких, понятия не имевшие о тайнах сионской горницы. Два либо три раза в году Луповицкие, ради отклонения подозрений в принадлежности к секте, за что дорого заплатился отец их, созывали к себе посторонних гостей на обед. Так и в храмовые праздники бывало. На эти дни в хлыстовском доме все изменялось. Стол бывал изысканный и роскошный, тонкие вина и редкие плоды подавались гостям в обилии, сами хозяева в те дни отступали от постничества – ели и пили все, что ни подавалось на стол. «Нужды ради» женщины снимали даже черные платья и одевались в цветные, а прислуга являлась в ливрейных нарядах, но никогда в числе ее не бывало в эти дни ни дворецкого Сидора, ни других участников собраний в сионской горнице. Не бывало на тех праздниках и близких к Луповицким людей – Кислова, Строинского. Они не езжали на это время, опасаясь искушений мирской суетой. После обеда по комнатам расставлялись карточные столы, раздавались звуки старых, давным-давно расстроенных фортепиан, всюду слышались и веселый говор и шуточный смех. Казалось, давным-давно отжитая в Луповицах шумная жизнь воскресала. Только не было отъезжих полей, попок на охоте, выводки коней, музыкантов, певцов и театра.

Собралось гостей больше пятидесяти человек, все почти мужчины, из соседок приехало не больше пяти человек. Соседи, хоть и считали дом Луповицких загадочным, не поручились бы за благонадежность кого бы то ни было из семьи его хозяев, но обеды и ужины у них бывали так вкусны и редки в степной стороне, что каждый счел бы за грех не приехать на званный пир. Иные приехали еще накануне праздника с вечера, другие рано поутру, и все были в церкви. К обедне только Дуня не ходила. Претило ей войти в церковь и молиться с никонианами. Детские впечатления, суровые наставления в скитской обители, разговоры с Дарьей Сергеевной давно развили в ней нетерпимость, даже ненависть к великороссийской церкви. В своем ослеплении Дуня полагала, что в этой смущенной, по ее мнению, церкви ересей больше, чем в кораблях людей божьих.

После обедни в дом пришел отец Прохор с причтом и со всеми семейными. Отслужив праздничный молебен, пошел он по комнатам кропить их святой водой. Андрей Александрыч нес перед ним чашу. Комнату Дуни миновали, зная, что ей будет неприятно посещение отца Прохора. После того и хозяева и гости, напившись чаю и покушав праздничного пирога, со всякого рода прибавленьями, пошли в сад, где уж были накрыты столы для угощения крестьян. Три праздника в один день сошлись: велика-пречиста – разговенье, сельский храмовой праздник и «дожинки».

Накануне еще бабы и девки покончили яровое, а после обедни, обвив серпы молодой соло-

мой, а иные остававшимися на полях и лугах цветами и высоко держа те серпы над головами, гурьбой повалили на барский двор. Еще выше несли они на руках «последний сноп», одетый в красный сарафан, разукрашенный разноцветными лентами. Сняв шапки, следом за женщинами чинно выступали мужчины – старые, малые, женихи и подростки. Все село сошлось, пришли даже толпы из окольных деревень – всякому в охоту было сытно поесть, пьяно попить на барском пиру-угощении.

Распахнулись ворота, и первыми на господский двор жнеи вошли. Хозяин, Андрей Александрыч, в сношеньях с крестьянами строго соблюдавший народные обряды, вышел навстречу жнеям. Был он без шапки, а в руках держал покрытое расшитым полотенцем деревянное блюдо с большим хлебом, испеченным из новой пшеницы. Завидев Андрея Александрыча, громко закричали жнеи:

– С двумя полями сжатыми, с третьим засеянным проздравляем вас, государь наш батюшка!

Перекрестился Андрей Александрыч, низко поклонился жнеям и молвил:

– Жнеи молодые, серпы золотые, милости просим покушать, нового хлеба порушать.

– На здоровье свет государю боярину ласковому! заголосили и мужчины и женщины. – Сияй, государь, барской лаской-милостью, как на высоком небе сияет красное солнышко. Свети добротой-щедротой, светлая наша боярыня, как ясен месяц светит во темную ночь. Цвети, ненаглядная наша боярышня, расцветай, ровно звездочка яркая. Белей, ровно белый сиег, румяней, как заря зорюшка, нам на радость, себе на пригожество.

И звал тут Андрей Александрыч сельщину– деревенщину в сад покушать, попраздновать. И повалил туда толпами радостный, веселый народ. «Последний сноп» на особом столе поставили, а вокруг его положили цветами и соломой обвитые серпы. Отец Прохор благословил яствие и питье и окропил столы святою водой. Поднесли всем по стаканчику водки, а непьющим ренского. Потом ставили на столы мясные варева: щи со свежиной, лапшу со свининой, пироги, разные каши, яблоки и кислое молоко с толокном, что зовется «деженем». Без дежени на Пречистую, как без кулича на Пасху, и стол не в стол. Подавались вперемежку красоули зелена вина и стаканы браги сыченой, а ядреного квасу, на трех солодах ставленного, было на столах столько, что хоть купайся в нем.

Кончилась трапеза сельщины-деревенщины. Все время кругом ее стояли наезжие гости, а хозяева угощали пирующих. Встали, наконец, крестьяне из-за столов, богу помолились, хозяевам поклонились и пошли в дальний сад на широкую луговину. До позднего вечера доносились оттуда веселые песни успенских хороводов:

Закатилось красно солнышко

За зелен виноград,

Целуемся, милуемся -

Кто кому рад.

До «первого огня» пелись эти песни. В успеньев день в первый раз после лета вздувают по избам огни.

Нет теперь больше добрых, старорусских обрядов, даже и по дальним захолустьям нет. Все потерялось в наплыве чуждых обычаев и вновь создавшихся отношений.

Что ни день, то больше новшеств, а извечные порядки уमाляются – все отрывается от старого корня.

А в дому Луповицких меж тем убрали столы, украшали их, уставляли ценными напитками и плодами своих теплиц. Входили в столовую гости веселые, говорливые, садились за столы по местам. Шуткам и затейным разговорам конца не было, одни хозяева, кроме Андрея Александрыча, все время оставались сдержанны и холодны. Изронят изредка словечко, а ни за что не улыбнутся.

Отобедали и тотчас кто за карты, кто смотреть на хозяйство Андрея Александрыча. Иные по саду разошлись... И Дуня пошла в сад, одинокая, молчаливая. На одной из дорожек неожиданно встретила она с отцом Прохором. Залюбовался он на высокие, густолистные каштаны и чуть слышно напевал какую-то церковную песнь. Сняв широкополую шляпу и низко поклонясь, завел он с Дуней разговор, изредка поглядывая на нее с жалобною улыбкой, будто угадывая душевное

ее горе и бурю тревожных сомнений. Жаль стало ему бедную девушку.

– Скучаете? Так надо понимать, – сказал отец Прохор, пойдя рядом с Дуней.

– Нет, я не скучаю. Не о чем, – промолвила Дуня в ответ.

– Та-а-ак-с... – как-то робко, подергивая редкую седенькую бородку, сказал отец Прохор.

Боялся он, чтобы какие-нибудь неосторожные, спроста сказанные речи не дошли в превратном виде до Луповицких... Перетолкуют ему во вред и поставят в трудное положение по хозяйству. Прощай тогда довольство в жизни, впереди нищета, озлобления, а пожалуй, и хуже того, ежель вздумают господу пожаловаться. Помолчал отец Прохор и, будто в оправдание себе, сказал:

– А ежель и скучаете, так с вашей стороны это совершенно натурально и даже, можно сказать, похвально. В такой великий праздник в чужих людях находитесь, от родителей далече. Хотя, конечно, здешние господа к вам расположены и живете вы у них на положении как бы ихней родственницы, однако же родительский кров всякому должен быть дороже всего на свете и приятнее, тем паче для такой молодой девицы. Что может сравниться с домом родителей или даже с местом, где мы божий свет увидели и возросли? Ничто, поистине ничто.

Там каждая неодушевленная даже вещь представляется родною, всякий уголок драгоценен по воспоминаниям, каждая былинка веселит взоры и услаждает душу... По этому я и спросил вас, не скучаете ли по матушке да по батюшке, а может быть, и по другим близким по плоти.

– У меня нет матушки... Не помню даже ее... – тихо ответила Дуня. – И родных, кроме тятеньки, никого нет, – прибавила она.

– Один только родитель!.. Сиротка вы поэтому, с участием продолжал отец Прохор. – Что ж ваш батюшка дома теперь?

– Нет, теперь он на ярманке у Макарья, рыбой ведь он торгует. Недели через полторы либо через две домой воротится, – сказала Дуня.

– Тогда и вы к нему? – спросил отец Прохор.

– Не знаю, – грустно ответила Дуня. – Я ведь не на своей воле. Марья Ивановна привезла меня сюда погостить и обещалась тятеньке привезти меня обратно. Да вот идут день за день, неделя за неделей... а что-то не видать, чтоб она собиралась в дорогу... а путь не близкий – больше четырехсот верст... Одной как ехать? И дороги не знаю и страшно... мало ли что может случиться? И жду поневоле... А тут какой-то ихний родственник приедет погостить, Марья Ивановна для него остаться хочет – давно, слышь, не видались.

– Знаю, слышали и мы об этом, с Кавказа едет... с глубоким вздохом промолвил отец Прохор. – Егор Сергеич Денисов родным племянником приходится Варваре Петровне. Довольно известны о нем... Не обессудьте, Авдотья Марковна, дозвоьте спросить, вы ведь не нашего православного стада, не церковница?

– Нет, отец Прохор, я не церковница, – нахмурилась несколько, ответила Дуня.

– По старообрядству, стало быть, церкви нашей за свято не почитаете? – продолжал расспросы отец Прохор.

– Мы по спасову согласию, не чуждаемся и приемлющих священство, – отвечала Дуня. – Крестят у нас и свадьбы венчают в великороссийской, а хоронят по-своему, по старине, значит, отдельные кладбища для того отведены.

– Знаем мы эти положения... Очень хорошо известны, хотя по здешним сторонам таковых и не имеется, – сказал отец Прохор. – Не достойно и даже душевредно чуждаться святой церкви, Авдотья Марковна, но не к тому речь веду. Все же вы единую с нами веру исповедуете, разнствуете токмо в обрядах, да вот еще духовного чиноначалия отрицаетесь. Тяжко, но не столь тяжело, как новосоставленные ереси, совсем попирающие святую веру. Как древние фарисеи, часто они во храмах бывают, строгие посты содержат и соблюдают другие обряды, но являют себя как повапленные гробницы, о них же господь сказал: «Внеуду являются красны, внутрьуду же полны суть костей мертвых и всякие нечистоты».

Приздумалась Дуня. Отец Прохор как по книге читал, что было у нее на мыслях.

– Послушайте, Авдотья Марковна. Мне очень жалко вас, – сказал он, когда они вошли в самый глухой, уединенный угол сада. – Не погнушайтесь моими словами, добрый совет желал бы вам дать. А прежде всего попрошу я вас – не глядите на меня, как на попа, да к тому ж, как назы-

ваете нас, «никонианского». Смотрите на меня, как на старика, – по моим годам ведь я вам в душишки гожусь. Добра желая, хочу вам говорить не своими словами, вы, пожалуй, их и не примете, а вечными словами господа. Вспомните, что сказал он ученикам: "Внемлите от лживых пророк, иже приходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы. От плод их познаете их; егда объемят от терния грозды или от репия смоквы?..

Не всяк глаголай ми: господи, господи, внидет в царствие небесное, но творяй волю отца моего, иже есть на небесах. Мнози рекут мне во он день: господи, господи, не в твое ли имя пророчествовахом и твоим именем бесы изгонихом, и твоим именем силы многи сотворихом. И тогда исповем им, яко николиже знах вас, отыдите от мене делающей беззаконие". И он же, сын божий, пречистыми устами сказал: «Блюдите да никто же вас прельстит, мнози бо приидут во имя мое, глаголюще: аз есмь Христос, и многие прельстят...». И дальше изрек: «Аще кто речет вам се zde Христос или онде – не имите веры: восстанут бо лжехристы и лжепророки и ладят знамения и чудеса, яко же прельстят, аще возможно, и избранная».

– Авдотья Марковна, – после долгого молчания сказал отец Прохор, – доходили до меня вести, что хотя ваши годы и молодые, а в писании вы довольно сведущи. Не от себя и не от человеческих писаний предлагаю вам, а сказанное самим истинным Христом возвещаю. Божественные словеса неизмеримо выше всяких слов, всяких писаний и всяких деяний человеческих. Веруете ли вы во святое Евангелие?

– Конечно, верую, отец Прохор, – отвечала Дуня, ласково подняв глаза на деревенского попа, до тех пор редко ею виданного и никогда не обращавшего на себя ее вниманья.

– Верно ли, досконально ли я привел вам слова господни? – спросил он.

– Верно, сколько упомянуть могу, – отвечала Дуня.

– Так слушайте же, – возвысив голос, величаво заговорил отец Прохор. – По господню предсказанию, в наши дни явилось много лжеучителей и лжепророков. Явились даже лжехристы. Они пророчествуют, сказывают, будто чудеса даже творят, и творят так, на прельщение многих. Дьявол помогает им. Сатана водит ими, он в них действует для утверждения заблудших и погрязших в ересях. Свой у них христы. Суслов там какой-то, стрелец Лупкин, Андрей юродивый, свои богородицы – Акулина стрелчиха, другая Акулина, якобы сошедшая с трона царица и поселившаяся в Орловской губернии среди богоборных еретиков... Да что много говорить, чаятельно сами наслушались таких басен.

Молчала Дуня, но слова отца Прохора сильней и сильнее волновали ее. «Не свое ведь он говорил, а господни слова», – в смущенье она думала.

– Забудьте, опять-таки скажу вам, Авдотья Марковна, забудьте на некоторое время, что с вами говорит, по-вашему, поп никонианский, – продолжал отец Прохор. – Из жалости говорю к вам, по человечеству. Вы еще юная, неопытная, вы добры и доверчивы, вас не трудно вовлечь в ров погибельный, легко низвергнуть в бездонную пучину богомерзких заблуждений. Не спрашиваю, что видели вы, какие лстивые и ложные речи слышали. Об одном предварю по вашей неопытности.

Берегитесь, всемерно берегитесь Денисова, когда приедет он. Каждый раз в свои приезды он много памяти оставляет по себе. Много слез пролито по его милости и теперь льются, да никогда и не осушатся. Это великий и самый злой еретик! Особенно пагубен для юных девиц – оскверняет их да еще богохульно говорит: «Я-де их освящаю и от грехов очищаю». Вполне достоверно знаю его злохудожную душу. Все погрязшие в богомерзской ереси, хоть и по наружности, но к церкви божией усердны. Четырежды в году говеют, исповедаются, приобщаются, и тогда иные колеблющиеся открывают мне, как отцу духовному, противные Христову учению тайны.

Оттого-то мне и известно все – тридцать второй год состою при здешнем приходе – всю подноготную их знаю, и пляски, и другие обряды, и все богопротивное их учение... Всякими мерами увлекают они особенно юных, не устоявшихся еще в вере и благочестии, всячески соблазняют их, напускают на них какое-то одурение, и те, потеряв волю и рассудок, приходят в исступление и говорят сами не знают что. И такое исступление богохульно считается у них наитием святого духа, а бессмысленные речи пророчествами. Беглых солдат и простых мужиков признают христами, сквернословят, якобы сам господь Саваоф не один раз на землю сходил и воплощался в

беглых солдатах...

Вот они каковы, лжеучители и лжепророки, Христом прореченные!.. Блюдитесь их!.. Особливо блюдитесь Денисова!.. Берегитесь, Авдотья Марковна, паче всего берегитесь, не ввергайте себя в пучину гибели..

Ни слова не сказала на это Дуня. Все-таки недоверчива была она к никонианскому попу... но ведь он говорил слова евангельские. «Им нельзя не верить, – она думает. – Неверный он, этот поп, но в сионской горнице ересей больше. Там нет правды, а только какая-то насмешка над верой, преданной Христом и святыми отцами. И все это ей открывает, предостерегает от лжеучений и от Денисова никонианин!.. Верить ли? Не хочет ли он увлечь меня в свою церковь?.. Ах, если бы кто из наших теперь поговорил со мною! Но кому говорить? Сама матушка Манефа, наверно, не сумела бы утолить душевных моих страданий... Хозяйство у ней главное, а в писании хоть и сильна, но знает ереси и заблуждения давних только времен, а что теперь проповедуется и творится новыми лжеучителями, о том, кажется, и не слыхивала».

Так думала Дуня, молча ходя с отцом Прохором по отдаленным, тенистым дорожкам садовых окраин. Ни словом, ни видом не выразила она сочувствия к речам его; мысль, что говорит с никонианином, соблазняла ее.

– Не искушайте, – тихо промолвила она. – Не искушаю, – твердо, но с душевною грустью сказал отец Прохор. – Вот что я еще вам скажу. Быть может, вы думаете: «С чего это вздумал меня поучать? Верно, ему хочется ввести меня в свою церковь. Выгодно, дескать, у этой девицы богатое наследство». Мы ведь все знаем, что в этом доме творится, молчим только из страха и опасения... так забудьте все это хоть на малое время.

Как много искусившийся в житейском опыте седовласый старец, говорю теперь вам, едва вступающей в жизнь, говорю из бескорыстной любви и сердечного соболезнования. Перед вами ров погибельный; в исступленье чувств, в беспамятстве, в помрачении ума, легкомысленно, ни о чем не рассуждая, стремитесь вы к его обрыву. Все одно как человек вне ума, никем не гонимый, бежит к омуту... И вот я стою возле, и мимо меня бежит человек к верной гибели... Что ж мне? Спокойно глядеть, как он будет утопать? Нет, Авдотья Марковна, так нельзя... Так не повелел Христос, сын божий. Я кинусь в бездонный омут, ежели угодно господу, спасу того человека, если же не угодно, сам погибну с ним... И не вздыт тогда мне на ум – какой он веры. Будь он сын церкви, будь обрядовый разногласник, как все ваши, будь жид, татарин, даже хлыст, он все-таки человек, все-таки душа в нем от единого. Таким же образом и к вам обратился я и не умолчу, не загражду уст своих, одно стану твердить вам: молитесь, Авдотья Марковна, молитесь богу, да избавит он вас от сети ловчей. Как хотите молитесь, по-нашему ли, по-вашему ли, только не поихнему, не так, как беснуются они в своей сионской горнице.

Мерзки дела их пред господом. Там нет правды, где ее скрывают под спудом, охраняют клятвами, страхом и угрозами. «Светильник истины вжигают на свещнице, да светит всем» (Матв., V-15.).

В это время вдали показалась Марья Ивановна. Медленными, величавыми шагами шла она навстречу, то заглядывая в кусты, то поднимая взоры к вершинам деревьев, то останавливаясь у цветников, любуясь на роскошные цветы и упиваясь их благовонием.

Смутился отец Прохор, увидавши ее. Тихим голосом сказал он Дуне:

– Уж вы, пожалуйста, Авдотья Марковна, не открывайте, о чем мы говорили. Больше тридцати лет здесь живу, привык... а ежели восстановлю их против себя, мое положение будет самое горькое. Из любви к вам говорил я, из сожаленья, а не из чего другого. Богом прошу, не говорите ничего... А Денисова бойтесь... Пуще всего бойтесь... Это такой враг, каких немного бывает. Смотрите же, не погубите меня, старика, со всей семьей моей...

Он весь принизился, тревога и смущенье разлились по старому лицу.

– Будьте спокойны, – отвечала ему Дуня. – А вот что скажите скорей, не случилось ли вам когда-нибудь, как вы давеча говорили, кинуться в воду и освободить человека из здешнего омута? Не случилось ли укрывать кого-нибудь из завлеченных и потом тайно выпроваживать их из Луповиц?

– Не потаю, – шепнул отец Прохор. – Случалось. Закона исполнение в том вижу, обязан-

ность свою...

– А если б я попросила у вас помощи? – трепетным голосом промолвила Дуня.

– Только в укромное время придите... Всего лучше ночью, – низко наклонив к ней голову, прошептал отец Прохор.

– Вот где ты, милая Дунюшка, – раздался громкий и приветливый голос Марьи Ивановны. – С отцом Прохором! Смотри, не пришлось бы мне отвечать перед Марком Данилычем, что ты, живучи у нас, познакомилась с православным священником, – ласково она промолвила.

– Тятенька за это не взыщет, – сдержанно ответила Дуня.

– И сам он водит знакомство с великороссийскими, любит даже с ними беседовать.

Не отвечала Марья Ивановна. Обратясь к Дуне, сказала она:

– Пойдем, скоро чай подадут. Пойдемте, батюшка.

И пошли они в дом. А там стоном стоят голоса: шумят, спорят за картами, кто-то на расстроенных фортепианах разыгрывает давно забытую сонату. На обширной террасе слышатся веселые клики и радостный смех молодых людей.

А в богадельне и на пасеке ровно все вымерли.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Недели через полторы после Успенья, в обеденную пору, на двор Луповицких въехала обрызганная засохшею грязью дорожная карета. Из нее вышел молодой человек лет тридцати, высокого роста, с изможденным и мертвенно пожелтевшим лицом. Все бросились на крыльцо – и оба Луповицкие, и Варвара Петровна, и Варенька, и Марья Ивановна. В передней столпилась входяая в сионскую горницу прислуга. Прибежала, откуда только у старухи прыть взялась, богаделенная Матренушка со своими подначальными, приплелся с клюкой весь медом и воском пропитанный, дряхлый пасечник Кирилла. Дуня смотрела из окна, своей комнаты.

Взглянула... «Силы небесные!.. Что это? Это не Егор Сергеич, не араратский посланник, это он, Петр Степаныч! Но где ж пылающие отвагой и весельем взоры? Где алый румянец полных ланит? Куда делись густые черные кудри? Болезнь его сокрушила или изъела тоска? Голос слабый, какой-то старческий, но вот-вот его привычные ухватки, приемы, самая походка! Во сне я или наяву», – думает Дуня. И болезненно заныло у ней сердце... А голос отца Прохора раздается в ушах: «Берегись его!..» Зазеленело в очах Дуни; не помня себя, едва дошла она до постели и ринулась на нее... Беспамятство ею овладело.

– Христос воскресе (Христос воскресе – обычное приветствие у хлыстов при встречах. Этими же словами всегда почти начинаются и письма их.), Егорушка! Свет ты мой ненаглядный! – с плачем и рыданиями обнимая и целуя племянника, голосила Варвара Петровна. – Насилу-то дождались мы тебя! Со дня на день ожидали.

– Христос воскресе, братец мой милый, желанный! Наконец-то, обрадовал приездом своим. Здоров, ли, миленький? Не было ль какого горя?.. Ты очень изменился в лице! – ласкаясь и ровно ласточка увиваясь вокруг него, с радостными слезами щебетала Варенька.

– Христос воскресе, золотой мой Егорушка! – крепко обнимая Денисова, восклицала Марья Ивановна. – Задержал ты меня здесь в Луповицах, давно пора домой, да вот тебя все дожидалась. Хоть денек хотелось побыть с тобой... Бог знает сколько времени не видались мы... Да как же ты похудел, узнать тебя нельзя...

– Христос воскресе, племянш! Племянник, а также: свой, родной, родич, земляк. Уж мы ждали, ждали тебя, я уж было думал, что ты вовсе не приедешь, целуясь с гостем, радостно говорил Андрей Александрыч.

– Христос воскресе, желанный Егорушка! – по-радельному припрыгивая на правую ногу вокруг Денисова, восторженно вскричал Николай Александрыч.

– Наконец-то услышим от тебя новые глаголы, наконец– то расскажешь ты нам про новые правила горы Араратской.

Денисов никому ни слова в ответ. Его целуют, его ласкают, приветствуют, а он ровно не видит никого, ровно ничего не слышит. Склонив голову, молча идет в дом медленными шагами.

В сенях встретила приезжего прислуга, приведенная в тайну сокровенную. С радостью и весельем встречает она барина, преисполненного благодати. С громкими возгласами «Христос воскрес» и мужчины и женщины ловят его руки, целуют полы его одежды, каждому хочется хоть прикоснуться к великому пророку, неутомимому радельщику, дивному стихослагателю и святому-блаженному. Молча, потупя взоры, идет он дальше и дальше, никому не говоря ни слова.

Удивляются люди божьи перемене в Денисове, такой прежде был он разговорчивый, словоохотливый.

– С дороги притомился, должно быть, – тихонько меж собой переговаривают. – Отдохнет, затрубит в трубу живогласную.

Егор Сергеич в самом деле истомлен был дурною дорогой, две ночи не спал, и теперь очень хотелось ему поскорей отдохнуть. Он сказал про это Николаю Александрычу, тот повел его в приготовленную комнату и сам помог раздеться приезжему гостю.

Подали чай, любимую Денисовым молочную кашу из сорочинского пшена, рыбы, пирожков, варенья, разных плодов и ягод. В его комнату никто не смел войти. Из рук Варвары Петровны и Марьи Ивановны Николай Александрыч за дверьми сам принимал и чай и кушанья, но Егор Сергеич отказался от угощения, пил только чай да съел небольшую грушу, и ту не всю.

За чаем Николай Александрыч успел-таки вызвать его на разговор. Сначала Денисов рассказывал о дорожных приключениях, как в сильной душевной тоске приходилось ему проводить время среди неведущих тайных истин, как суетными разговорами они возмущали слух его.

– От этого мученья больше, чем от дороги, я утомился. Ни думать не могу, ни слушать, ни говорить, сказал Денисов.

Николай Александрыч, однако, свел беседу на араратских.

– Всего не могу сегодня рассказать, – молвил Егор Сергеич. – Дай успокоиться, дай в себя прийти, с мыслями собраться. Духом бодр, но плоть немощна. Отдохну, успокоюсь, завтра все расскажу, что видел и слышал за Кавказом, чему был очевидцем и что слышал от людей, стоящих доверия.

– Максима-то Комара видал? – спросил Николай Александрыч.

– Сколько раз, – ответил Егор Сергеич. – Частенько один на один с ним беседовал. Истинная утеха верных– праведных!

– Откуда он, и как начались его действия? – продолжал свои расспросы Николай Александрыч.

– Был он молоканином. В молодых еще годах сослан на Кавказ и поселен у подошвы горы Араратской, в деревне Никитиной, – слабым, прерывающимся голосом начал говорить Денисов. – Верны-праведные из разных мест до него еще поселены были в том краю – были тут и орловские, и тамбовские, с Молочных Вод, из саратовских степей, из самой даже Москвы. Видит Максим, что у тамошних божьих людей вера стала пестра – в одном корабле один обряд, в другом другой.

И было ему внушено всех соединить во едино стадо, и чтоб в том стаде был один пастырь. Предтечей ему был Семенушка, по–мирскому Семен Матвеич Уклеин, тоже тамбовский молоканин, сосланный с семьюдесятью учениками за Кавказ. А то было еще до пришествия в обетованную страну Максима. Семенушка стал сближать молокан с людьми божьими (Это слух неверный. Его стали распускать прыгунки много времени спустя по смерти Уклеина. Напротив, Уклеин был чистый молоканин, без всяких примесей. И теперь закавказские молокане зовут себя Уклеинами или Семенушкиными, постоянно враждуя с прыгунками. Семен Уклеин пользовался огромным уважением за ум, знание священного писания и строгую жизнь. Его иные молокане даже святым почитают, несмотря на то, что молоканское учение отвергает святых. Этого-то всеми уважаемого человека прыгунки и вздумали после его смерти приобщить к своей вере.), а довершил это дело другой преисполненный благодати предтеча – Сидорушка (Сначала молоканин и, кажется, уроженец Тамбовской губернии, Сидор Андреев. Он долго шатался по турецким и персидским пределам и не раз бывал на Молочных Водах и у закавказских веденцов. Он первый провозгласил о будущем блаженном Араратском царстве. Биография Сидора Андреева очень темна. Около 1842 года был он сослан в Сибирь и едва ли не бежал оттуда.): он перенял у людей божьих раденья и вводил их у молокан. Еще когда Сидорушка был в России, он говорил близким и писал дальним, что у го-

ры Арарат, поблизости райской реки Евфрата, есть земля, верным-праведным обетованная, кипящая млеком и медом. Сидорушка рассказывал, что сам был в той стороне, и все были рады вестям его и веселились духом, а чтобы больше еще увериться в словах Сидора Андреича, посылали с Молочных Вод к Арарату учителя своего Никитушку. И тот был в стране обетованной и, возвращаясь, говорил ученикам: "С востока приходили волхвы поклониться Христу в день рождества его, на востоке же и та земля, что господом обещана праведным последних дней. На востоке был насажден земной рай, на востоке, на горе Арарате, спасся Ной от потопных вод, на том же востоке господу угодно насадить и второй земной рай, создать там «благодатное» Араратское царство, вечное жилище избранных слугителей агнца.

В том же царстве земля нова и небо ново, а нынешнего неба и нынешней земли и моря нет (Апокалипсис), там сшедший с небес снятый град Иерусалим, в нем будут жить люди праведные. И не будет там ни солнца, ни луны, ни звезд, ни тьмы, ни ночи, ни гроз, ни стужи, ни зноя – от лица божия пролиется свет неприступный, и дыхание уст его согреет и напитает праведных". Так говорил учитель Никитушка, и сонм божьих людей уверовал в слова его.

А тут начальство стало и молокан и божьих людей ссылать за Кавказ и селить по деревням, что настроены на подножьях горы Араратской. Сослали туда и Сидорушку с Никитушкой и многих других с Молочных Вод. На новом месте много потрудился Сидорушка, соединяя божьих людей с молоканами, чем и предварил Максима. Соединенных узами правой веры неверные прозвали «веденцами» и «прыгунками», не понимая святости корабельного раденья. Много там всяких неверных живет в одних с божьими людьми деревнях – есть «геры», все одно что жида, только говорят меж собой по-русски, а молятся по-еврейски, приемлют обрезание и празднуют жидовские праздники... Много молокан, отвергающих наитие святого духа на избранных, много армян и татар – и все они над нашей верой насмеваются.

– Да это все известно нам, Егорушка. А ты Расскажи-ка лучше мне про Максима, – прерывая Денисова, сказал Николай Александрыч.

Помолчав немного, Егор Сергеич еще выпил чашку чая и продолжал рассказ, постепенно воодушевляясь и приходя в иступленный восторг:

– Ждали божьи люди с нетерпеньем последнего дня мира сего... Ждали дни и ночи, что вот загремит в небесах труба архангельская и со всех концов вселенной соберутся живые и мертвые люди. Не страшились и боязни не знали люди праведные, ибо мы не уснем, но только изменимся (Посл. к римлянам, XV-51.). По писанию, мертвые о Христе, то есть умершие наши собратья верны-праведные, воскреснут первые, потом мы, в живых оставшиеся, будем вместе с ними восхищены на облаках (Первое послание к солунянам, IV-16, 17.).

И вот в тысяча восемьсот тридцать втором году божьи люди и все другие разных вер ждали последнего дня и пришествия судии небесного. Собрались к Арарату сокровенную тайну познавшие ко дню Пасхи, как заповедано пророком Иеремией (Иеремии, XXX-8, «Соберу их (праведных) от конец земли в праздник Пасхи»). Но тщетна была надежда их – не гремела труба архангельская, не было небесных знамений. Через четыре года, в восемьсот тридцать шестом году снова стали ждать кончины мира, не одни праведные ждали ее, но и неверные, было о том даже в книгах печатано (Со слов Бенгеля и Юнга Штиллинга. Это попало в русские мистические книги и распространилось по России. И молокане с духоборцами, и хлысты, и раскольники, и даже верные православной церкви ожидали страшного суда в 1836 году.).

Явилась звезда хвостатая, больше чем на половину неба раскинулся багряный хвост ее (В 1836 году была видима комета Галлея.). И думали, что это та звезда, ей же дан ключ студенца бездны... Ждали – вот она упадет, и с земли к небесам поднимется дым студеничный, от него померкнет солнце, и изыдут на землю пруги, подобные коням, на брань уготованным, с человеческими лицами, с золотыми венцами на головах, со львиными зубами, с хвостами скорпионовыми...

Ждали и пришествия царя тех чудовищ адской бездны, царя Аполлиона (Апокалипсис, IX-11.). Но время шло, не было ни дыма студеничного, ни солнечного помрачения, ни чудных пругов, ни царя бездны Аполлиона – один умер, другой тогда еще не пришел (Русское простонародье всех верований к апокалипсическому царю бездны Аполлиону по созвучию применяет обоих француз-

ских императоров Наполеонов. Началось это еще с 1812 года.).

И опять не явился господь верным, опять не отверз врат в блаженное Араратское царство. Еще четыре года прошло, и наступил восьмьсот сороковой. Голод тогда был по всей земле и всякая нужда человеческая. Верны-праведные видели в том знамение близкого господня пришествия. И снова на день Пасхи пришли они с севера к подножью горы Араратской, но и тогда не было ничего особенного. Не только на Пасху, но и на Вознесенье и на Троицын день все еще ждали верны-праведные исполнения обетований, но и тут ничего не видали и ничего не слыхали. Но от горы не отошли, плакали, рыдали, руки к небу воздевали, громогласно вопияли, да откроется скорее блаженное царство. Вдруг, нежданно— нежданно, в темные тучи облачился Арарат. Застонала земля стоном, раздалися в ее недрах громовые перекааты, и она затрепетала. Разрушились дома, и много погибло людей. Не стерпел и Арарат. Как тростинка, надломился, оторвались от него каменные скалы и вечные льды, что спокон века лежат на вершине его. Видя такие чудеса небывалые, ждут верны-праведные последнего часа грешному миру, ждут облаков для восхищения их в горний Иерусалим.

Но и тут напрасно ждали совершения пророчеств, не гремела труба архангела, не меркло солнце, не обращалась луна в кровь, звезды с неба не падали. Наконец, престали громы, молнии угасли, трясение земли кончилось, и все утишилось. По— прежнему на старом небе светит старое солнце, попрежнему обычным путем течет Евфрат, ни в чем нет измененья. А праведные все стоят перед святой горой, стоят нерасходно, со слезами богу молятся, покончил бы скорее мрачные, греховные дни века сего. И три дня они молились, не пивши, не евши...

И через три дня на четвертый, на самый Иванов день, опять земля затряслась, опять вострепетел Арарат, опять на всех людей напал ужас, oprичь наших праведных... Но вскоре опять все утишилось, опять пошло все по-старому. И вот видят божьи люди, что с разрушенного Арарата нисходит святолепный, светозарный, никому неведомый старец, брада белая по локоть, лик же юный. Белые ризы блистают на нем, как снег на солнечном свете; чудным разноцветным поясом он опоясан, а на поясе слова: «От вышнего Сиона». И сказал божьим людям неведомый: "По грехам вашим, по неверию вашему мольбы ваши не услышаны, и отсрочен вход в Араратское царство.

Сильный, всемогущий хочет, дабы до кончины мира еще больше людей пришло в покаяние и стали б они достойны небесных венцов, от начала веков уготованных". Со страхом и трепетом божьи люди стали у него спрашивать: «Кто еси и откуда твое пришествие?..» Он же отвечал: «Я иерусалимский старец, пришел с вышнего Сиона, из горнего Иерусалима». И снял с себя и высоко поднял чудный пояс. Ниц на сыру землю пали верные, преклоняясь перед поясом, исповедуя старцу свои прегрешенья. Старец же им грехи разрешал и каждому прощенному давал лоскутки от белых своих риз. И научил араратских божьих людей говорить новыми языками, ввел в закавказские корабли новые законы, разослал по разным сторонам послания, призывая всех к покаянию (В начале сороковых годов ходило по рукам и во множестве переписывалось так называвшееся «иерусалимское письмо» от лица какого-то иерусалимского старца. Оно было распространено не только среди простонародья, но и по домам купеческим, у небогатых помещиков, даже у некоторых из духовных лиц. В «иерусалимском письме» не было ничего противного православной вере или церковности; в нем говорилось только о покаянии. И тогда утверждали, что оно привезено с Кавказа. Кто таков был иерусалимский старец, осталось неизвестным. Думают, однако, что это был Сидор Андреев, предсказавший прежде об Араратском царстве и в 1840 году пришедший к закавказским веденцам из Персии. Виденцы называют его саваофом, а Максима — христом.).

Максим Комар первый уверовал, что иерусалимский старец не прост человек, и за то старец во всем доверился ему и сказал, что много нового надо ввести у араратских, одно исправить, другое дополнить, третье отменить. И объявил верным-праведным, что дает им верховного пророка — сына своего, духовно от него рожденного, Максима Комара во христы, в цари по сердцу и в первосвященники. И тогда все преклонились пред нареченным царем. По малом времени иерусалимский старец и Максим целую ночь радели на святом кругу, а когда божьи люди спать разошлись, оба пошли на Арарат к Ноеву ковчегу. А тот ковчег до сих дней стоит на ледяной вершине, и нет к нему ни ходу, ни езду. К первому земному раю был приставлен на стражу херувим пламенный; к

новому раю приставлен херувим мразный. Хладным дыханьем одел он в снега и нетающие льды верхи Арарата, но старец с Максимом по льдистым местам прошли, как по прохладному саду среди цветов и деревьев красоты неописанной. И там старец поведал Максиму все свои тайны.

И перед склонившимся до земли и коленопреклоненным Максимом старец стал ходить в слове, трубил в золотую трубу живогласную, пророчествовал общую судьбу праведным: «Боритесь с исконным врагом, его же окаянное имя да не взыдет никому на уста. Победившему его дана будет власть над языками – будет горы преставлять, будет мертвых воскрешать – и все ему покорится. Ангелы будут ему слуги, послужат ему солнце, и луна, и звезды, свет, и пламя, и недра земные, реки и моря, ветры и дождь, снег и мороз, и все человеки, и все скоты, и все звери, и все живое, по земле ходящее, в воздухе летающее, в водах плавающее. Имени же его вострепещет сила преисподняя, и убежит лукавый враг в самые темные вертепы геенские. И тогда дан будет избранным праведным кровопийственный меч, и отдадут они его неверным, и станут неверные тем мечом убивать друг друга, многие из них погибнут на войне и в междоусобных бранях. Тогда придет последнее наказание, горшее паче всех бывших. Все испразднятся, все погибнут, останутся одни верны – праведные. Сии же избранные из всех племен человеческих будут введены в блаженное царство Араратское. Тако да будет». И на том слове замолк неведомый, восклонился Максим – а того уж нет. Сам Максим так говорил мне об этом. И воцарился Максим над людьми божьими, венчался царским венцом, и надел багряницу, и под открытым небом на улице деревни Никитиной скакал и плясал по-давыдовски, на струнах – органах возыгрывал, и, ставши Христом, принял чин первосвященника и пророка над пророками.

От длинных речей и подступившего иступленья Денисов больше не мог говорить. Все его тело корчило в судорогах. Учащенно и тяжело вздыхал он, то и дело взмахивая руками, будто что-то ловил, наконец слабым, дрожащим, перерывчатым голосом дико запел:

Кто с богом не водится,
По ночам ему не молится,
На раденьях не трудится,
Сердцем кто не надрывается,
Горючими слезами не обливается
Много, много с того спросится,
Тяжело будет ответ держать,
На том свете в темноте лежать!
А кто с господом водится,
По ночам ему молится,
На раденьях не ленится,
Сердцем своим надрывается,
Живот кровью обливается,
Сердечный ключ поднимается,
Хотя сердцем надрывается
Да слезами оmyвается
За то на небе ему слава велия!

Егор Сергеич закашлялся. Он поднес к губам платок и весь окровенил его. Тусклыми глазами стал он обводить комнату. Когда припадок приутих, Николай Александрыч спросил:

– Что ж Максим повелел творить?

– Не могу... сил нет. Завтра... завтра... – задыхаясь на каждом слове, шептал Егор Сергеич. – Мне бы отдохнуть... успокоиться немножко... Давит... давит гнусную плоть мою... Не могу говорить... Завтра все расскажу... А теперь прощай... прощай!

– Не принять ли тебе чего-нибудь? – спросил Николай Александрыч. – Не позвать ли сестру Варварушку – у ней ото всего есть снадобья... Крестьян лечит.

– Не надо... Покоя... тишины... только...

И с этим словом повернулся на другой бок и лег лицом к стене.

Постоял над ним немного Николай Александрыч. Смотрит, а у Денисова лицо помертвело, руки похолодели, сердце почти не бьется. Только изредка пробегающие по лицу судороги показы-

вали, что он еще жив.

Вышел Николай Александрыч, распорядился... Ни в доме, ни в саду, ни в богадельне, ни в службах и жилищах прислуги нет звуков, даже самого затаенного шепота.

На другой день поутру Николай Александрыч вошел в комнату Егора Сергеича. Ни утомления, ни слабости в араратском госте, по-видимому, не осталось. С веселым взглядом, но задумчивый и сосредоточенный в самом себе, Денисов весело встретил кормщика корабля луповицкого.

– Отдохнул ли, голубчик, успокоился ли? – заботливо спросил Николай Александрыч.

– Немоощность плоти минула, дух обновился, – ответил Денисов.

– Пойдем к нашим, или, может быть, здесь хочешь чай кушать? – спросил Николай Александрыч.

– Мне бы лучше здесь, к ним приду к обеду... – ответил Денисов.

Николай Александрыч распорядился. На серебряном подносе принес дорогой чайный прибор дворецкий Сидорушка. Поставив его на стол, подошел он к Денисову, взял за руку, поцеловал ее, а потом, обняв барина, сотворил с ним «серафимское лобзание», приговаривая:

– Христос воскрес, любезненький ты мой, белокрылый голубчик наш. Милуй тебя господи, примавай чаще на себя божеское наитие, возвещай верным волю вышнюю. Препрославился ты, возлюбленный, во всех коленах земных!.. Избранный ты сосуд, святой и блаженный пророк!

– Здравствуй, любезный Сидорушка! – отвечал Денисов, лобызая дворецкого. – Вот еще восхотел отец небесный, чтоб мы с тобой увиделись на грешной земле. Скажи мне, миленький, как поживаешь?

– Ото всей нетленной души и от плотского сердца не перестаю ежечасно благодарить превышнего за неизреченные милости, мне бывающие. Воспеваю зелен вертоград, садочки пречистые, утреннюю зорюшку неугасающую, солнце правды, праведным сияющее, нескончаемый день господень немерцающий. А насчет святого радения, прости немощного – скоро восемь десятков годов ляжет на кости мои, много радеть на святом кругу не могу.

– Всему свое время, возлюбленный, – сказал Егор Сергеич. – В духе пребывай, почаще на себя его сманивай постом, молитвой и песнопеньем, – проговорил учительно Денисов. – Паче же всего пророчествуй в назидание верных. И сам принимай пророчества, внимай им и твори по их повелениям. Тем душу сохранишь и закон исполнишь. Но теперь пока до будущей беседы... Обо многом надо мне потолковать с братцем Николаюшкой. Теперь потолкуем келейно, а после и с тобой, возлюбленный, побеседую. И на соборе поговорим.

Низко поклонился гостю дворецкий, еще раз поцеловал руку Денисова и вышел. Чай пили только гость с хозяином. Несколько времени они молчали. Наконец, Николай Александрыч сказал:

– Вчера говорил ты мне, Егорушка, про явления, бывшие в недавних годах на Арарате. Долго и много ты говорил, а я слова не вымолвил, хоть твои сказанья почти все известны мне, и недавно еще я сказывал о них на соборе, возвещая о скором приезде твоём. Теперь ты ободрился духом, кажется можно с тобой говорить. Хоть пасмурен ты и угрюм, но я уверен, что можно говорить с тобой по делу, по истине и по правде. Мне нужен ум строгий, холодный, беспристрастный. Можешь ли так говорить? Без восторгов, без увлечений... Скажи... Иначе отложу до другого времени, когда будешь совсем в холодном спокойе.

– Говори, Николаюшка, – отозвался Денисов. Спокойно стану отвечать на твои вопросы, если только вдруг на меня не накатит. А скажу я тебе, сподобился я дара – частенько на меня накатывает. Бываю вне ума, когда сходит на меня ум божественный. Тогда, пожалуй, тебе и не понять моих слов... Дураком сочтешь, юродивым.

– Юродивые и блаженные – истые слуги превышнего разума, – сказал на то Николай Александрыч. Правда, что иной раз невместимо понимать их речи...

– Когда бываю восторжен духом, мои речи еще трудней понять. Сочтешь меня ума лишен-

ным, богохульником, неверным... И все посмеются надо мной и поругаются мне и будет мое имя проречено. Орудием яко зло нечистого сочтут меня, человеком, уготованным геене огненной! – сказал Егор Сергеич. – Дан мне дар говорить новыми языки; новые законы даны мне. И те дары получил я прямо из уст христа и пророка Максима.

– Что ж это за новые языки? Можешь ли им научить нас? – спросил Николай Александрч.

– Не могу, – сказал Егор Сергеич. – То дело святейшее из всех дел. Не всякому доступно оно. Это высочайшая из всех тайн, но мало доступная даже для праведнейшего из праведных... Когда говорю новыми языки, все понимаю и в словах своих чувствую величайший божественный смысл. Но лишь кончится пророчество – ничего не понимаю и не помню ничего.

Другие после скажут, что говорил я на соборе, но ни они, ни сам я не понимаем смысла небесных слов. Теми словами, тем языком говорили небесные силы, а на земле это тайна, открываемая только немногим избранным... И в старом писании сказано: «Глаголяй языки не человеком глаголет, но богу: никто же бо слышит, духом же глаголет тайны... глаголяй языки себе зиждет... Хочу же всех вас глаголати языки» (Коринф, XIV, 2-5.).

– Иногда это и у нас бывает, – после продолжительного молчания сказал Николай Александрч. – Неподалеку отсюда есть монастырь, Княж-Хабаров называется; живет в нем чернец Софронюшка. Юродивый он, разумного слова никто от него не слышал. Иногда бывает он у нас на соборах и, придя в восторг, бог его знает какие слова говорит.

– Это и есть новые языки, – сказал Денисов. Всего чаще юродивым они и открываются. По разным местам замечал я это, не раз замечал и за Кавказом.

– Что ж? И Максим Комар также юродствует? – спросил Николай Александрч.

– Бывает, – несколько подумавши, ответил Егор Сергеич. – Но, кажется мне, иногда он прикидывается юродивым. «Новые языки, – сказал он мне однажды, нужны для привлечения в праведную веру неверных. Они увидят и услышат, и будет это для них знамением, если же на соборе никого нет из неверных, а одни только верные, тогда не нужны и напрасны новые языки, тогда надо только радеть и пророчествовать».

– Ты вчера изнемог, Егорушка, и не мог всего договорить, – сказал Николай Александрч. – Скажи теперь, что говорил ты про иерусалимского старца, в самом ли деле так было, как ты рассказывал, или это вроде сказаний про Данила Филиппыча да Ивана Тимофеича? Были ли сказанному тобой послухи (Послух – свидетель слышанного.) и очевидцы, и что они за люди, и можно ли на слово веригь им?

– Что в нюне сорокового года на Арарате два раза были землетрясения, об этом из тогдашних газет и из книг известно, – сказал Егор Сергеич. – Что во время землетрясения тамошние люди молились, взирая на гору, об этом также все из закавказских божьих людей, от мала до велика, в один голос говорят. Все также в один голос говорят, что, как только кончилось трясение земли, явился старец. Все говорят, что неоткуда было ему прийти, как с Арарата... Со всех других сторон нет ни пути, ни дороги – везде места непроходимые. Сам бывал я в тех местах, сам видел, что нельзя было старцу прийти иначе, как с горы.

– А долго ль жил он у араратских? – спросил Николай Александрч.

– Тут вышло что-то странное, – отвечал Денисов. Все это было так еще недавно, и много людей, видевших его и говоривших с ним, еще живы; рассказы их противоречивы. Понять нельзя... Кто говорит, что пробыл он с людьми божьими только шесть дней, кто уверяет, что жил он с ними три года; а есть и такие, что уверяют, будто старец жил с ними целых двенадцать лет, отлучаясь куда-то по временам.

– В самом деле, странно, – молвил Николай Александрч. – За кого ж его признают там? – спросил он.

– И тут многое непонятно, так много разноречий, – отвечал Егор Сергеич. – Одни почитают его посланным с неба ангелом, другие самым богом Саваофом, есть и такие, что называют его кто Сидором Андреичем, а кто Лукьяном Петровичем (Лукьян Петров Соколов, молоканин из села Саламатина, Камышинского уезда, Саратовской губернии, еще до 1836 года, будучи на Молочных Водах, начал стремиться к слиянию молоканства с хлыстовщиной, но ни мистическое его учение, ни восторженные обряды там успеха не имели. Соколов ушел неизвестно куда, говорили, будто в

Молдавию. В 1836 году, когда ждали кончины мира, на Молочных Водах явились его сообщники (кто – неизвестно), называя себя апокалипсическими Энохом и Илиею. Дерзость их до того доходила, что они вторгались в православные храмы, кричали во время богослужения и делали разные бесчинства. Вслед за ними явился судия живых и мертвых, христос и пророк, Лукьян Соколов. Не раз назначал он день страшного суда, но архангельская труба не гремела, хоть комета Галлея с каждой ночью делалась светлей и светлей и хоть Соколов и указывал на нее, как на предвозвестницу близкой кончины мира. Привыкли и к комете, наконец, стала она удаляться, и тогда не известно куда девались Энох, Илия и сам судия Лукьян Соколов. Вскоре появился он в Самарской губернии и там многих молокан и хлыстов увлек за Кавказ. Не раз водил он толпы увлеченных им на Араратские предгорья и возвращался в завожские степи за новыми переселенцами, наконец пропал без вести. Следы его были обнаружены в Бессарабии. Бывал Соколов и в Азиатской Турции и Персии и, приходя оттуда в Эриванскую губернию, ссоединял молоканство с хлыстовщиной и этим произвел особую ересь прыгунов или веденцов. Был он особенно близок с Максимом Комаром или Рудометкиным, который, говорят, первый из молокан заплясал на хлыстовских радениях в деревне Никитиной. Конец походов Лукьяна Соколова неизвестен.).

Не разберешь. Заводил я об этом разговоры с самим Максимом, христом закавказских божьих людей и верховным их пророком, но он отмалчивался. Между араратскими много ходит рассказов про чудеса иерусалимского старца, даже про чудеса царя Максима. За тайну скажу тебе, Николаюшка: этих чудес сам я не видал и крепко в них сомневаюсь. Мертвых будто бы воскрешали они, а те, слышь, только прикидывались мертвыми, на небеса возносились и с крыши падали; кто поумнее, ждал облака, чтоб ехать на нем в горные селения, но облако не приходило, и чудотворец возвещал, что в среде пришедших видеть вознесение его есть грешники, оттого не было и чуда.

– Стало быть, это все одни сказки, – немного помолчав, сказал Николай Александрыч. – Так я и думал.

– Такие же, как сказанья про «верховного гостя», про стародубского Христа Тимофеича, про мученицу Настасью Карловну, – едва заметно улыбнувшись, ответил Денисов. – Людям «малого ведения» это нужно – сказанья о чудесном их веру укрепляют.

– Да, это так, – подумавши немножко, сказал Николай Александрыч. – А какие ж новые правила вводит Максим? Из твоих писем трудно понять, что это за правила...

– Да хоть бы новые языки... Говорил я тебе про них, – сказал Егор Сергеич. – Приходят в восторг неописанный, чувствуют наитие и пророчествуют. И когда говоришь новыми языки, такое бывает в душе восхищение, что его ни с чем и сравнить нельзя. На небесах тогда себя чувствуешь, в невозмутимом блаженстве, все земное забываешь. На себе испытал и могу поистине о том свидетельствовать.

– А еще какие правила даны Максимом? – спросил Николай Александрыч.

– Полное повиновение ему и посланникам его, – отвечал Егор Сергеич. – Не такое, как в ваших кораблях, а совершенное уничтожение воли, открытие пророку даже самых тайных помышлений. И нам, посланникам его, то же он завещал. Вот каково повиновение у араратских. Один раз на раденьях, – сам я тут был, – указав на ближайшего к себе пророка, Максим сказал: «Смерть ему!», божьи люди всем кораблем ринулись на пророка и непременно бы растерзали его на клочки, если бы верховный пророк не остановил их. Еще: в прегрешениях он не обличает на раденьях, а тайно исповедует, как церковные попы, и в знак разрешения, подражая иерусалимскому старцу, раздает лоскутки от белых своих риз и потом возлагает грехи и неправды божьих людей на быка, и его с проклятиями изгоняют в пустыню (Моисею (Левит, XVI-10-21, 22) повелено было возлагать грехи людей на козла отпущения, араратские же прыгуны возлагают их на быка, хворого либо не годного для хозяйства. Этот обычай начался в сороковых годах. Мясом изгнанного быка пользуются курды, а иногда и армяне.).

– А что ж это за духовные жены у араратских? – спросил Николай Александрыч.

– Тоже Максим завел. Теперь у него две жены, а у иных и по три и больше есть, – нисколько не смущаясь, отвечал Егор Сергеич. – Говорят там: «Мы люди божьи, водимые духом, мы – новый Израиль, а у Израиля было две жены, родные между собой сестры, и, кроме того, две рабыни, и

ото всех четырех произошли равно благословенные племена израильские».

– Знаю, – слегка улыбнувшись, сказал Николай Александрыч.

– Зачем улыбка? – грозно вскрикнул Денисов, – Уничижаешь меня в сердце, как Мельхола, дочь царя Саула, унижила своего мужа Давыда? Не глумись над данным свыше. Иначе участь Мельхолы тебя постигнет. Участь плачевная – до смерти Мельхола детей не имела, а это у ветхозаветных считалось господним проклятьем. Ныне время иное... Храни же себя, да не постигнет тебя больший гнев, чем жену Давыдову, – да не будет твое имя изглажено в книге животной. Мельхола посмеялась пляске Давыда, святому, значит, раденью, – а ты смеешься над законом. Недалеко то время, когда этот закон будет общим. Смотри, не пострадать бы тебе.

Не отвечал Николай Александрыч. В глубокую думу он погрузился, но противоречить не смел, хотя внутренне и сознавал, что слова Денисова были богохульны и безнравственны.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Незадолго до обеда Егор Сергеич вошел в столовую. Все Луповицкие были уж там и обратились к нему, как к милому и дорогому человеку. Наперерыв друг перед другом каждый ласкал и ублажал его. Кто усаживает на диван, кто подкладывает за спину подушку, кто подставляет под ноги скамеечку, а он, принимая такие знаки внимания как нечто должное высокой своей особе, с высокомерием на всех поглядывает и не говорит ни слова. Холодно принимает ласки, держит себя скромно, но величав, как власть имеющий, на приветствия ни словом, ни взглядом не отвечает, будто показывая, что окружающие не стоят его внимания.

– А что ж? Думаю, пора и за стол садиться? – чуть слышно сказал, наконец, Денисов.

– Конечно, конечно, – заговорили все в один голос.

– А Дуня? – обратился Николай Александрыч к Марье Ивановне. – И сегодня не придет?

– Не знаю, – ответила Марья Ивановна. – Схожу к ней, авось уговорю. И с этими словами вышла из столовой.

– Всегда люблюсь вашей столовой, – оглядывая ее стены, вполголоса заметил Егор Сергеич. – Что ни говори, а отцы наши и деды пожить умели. Конечно, все это суета, мирские увлечения, а хорошо, красиво, изящно. Что это за Дуня такая у вас?

– Дочь одного поволжского купца Смолокурова, – отвечал Николай Александрыч. – Рыбой промышляет и ведет большой торг – миллион либо полтора у него состояния, а она единственная дочь и наследница.

– О-о! Полтора миллиона! – воскликнул Денисов. – Что ж она?

– Машенька неподалеку от их города купила именье и познакомилась со Смолокуровым, – сказал Николай Александрыч. – В Дуне встретила она девушку восторженную, склонную к восхищениям. Хоть не образована, но много читала. Машенька указала ей на полезные книги, Гион, Юнга Штиллинга и на другие, что переведены по-русски. Она все это изучила, а сестрица руководила ее душевным преобразованием. Машенька долго гостила у Смолокуровых и начитавшуюся мистических книг Дуню привела к огаде спасения. Она выпросила ее у отца в Луповицы, и здесь Дуня познала сокровенную тайну и мною приведена в сонм верных.

– Каких она лет? – быстро спросил Егор Сергеич.

– Лет восемнадцати либо девятнадцати, – отвечал Николай Александрыч. – А какая восторженная!.. Не была еще приведена, а уж пророчествовала. Чуть не каждый день на нее накатывало. Одно беда, – продолжал Николай Александрыч, – недели за три до теперешнего она вдруг охладела к вере.

– Отчего ж это? – вскинув глазами и нахмурясь, спросил араратский посланник.

– Бог ее знает, – отвечал Николай Александрыч. – Письма, что ли, какие из дома получила, или другое что. Вот Варенька открыла некоторые из тайных ее помыслов.

С малолетства была она мечтательна и восторженна и по природе своей любила возноситься умственно в высшие пределы, не всякому доступные. Бывало, говаривала она и сестрице Машеньке и Вареньке, находило на нее забытие, дух отрешался от мира, и не раз доходила она даже до ясновиденья. А родилась в раскольничьей семье, училась в раскольничьем монастыре. С детства ви-

дела одну сухую обрядность, ни от кого не слыхала живого слова, никто не мог разрешить ей впросов, возникавших в юной душе. Тяжела была ее жизнь в монастыре, тяжелей показалось житье в доме родительском. Одинокая, без подруг, без знакомых, жила ровно в закупоренном тереме – не с кем слова сказать, не с кем поделиться мыслями.

С каждым днем она сосредоточивалась в самой себе, а ум у нее пытлив – ей хотелось до того дойти, чтобы познать в вере истину. Много у нас таких. Но не было никого, кто бы мог вразумить ее, кто бы растопил ее сердце открытием истины, напрасное искание колебало ее душу. Она читала, много читала, но книги, бывшие под рукой, не удовлетворяли ее исканию правды в деле душевном. Была она всегда скромна, сдержанна, да и мало приводилось ей с кем-нибудь говорить откровенно. Совсем чужая была для мира... Тогда случайно встретила она с молодым человеком из ихнего же купеческого сословия. Хоть и не говорит теперь, что она его полюбила, но, кажется, дело так было. Чистая, непорочная, и до сих пор какою осталась, готова была она устроить с тем молодым человеком судьбу свою, а он, вероятно, рассчитывал на ее богатство, что достанется ей по смерти отца. Но вдруг купчик скрылся. Узнала Дуня Смолокурова, что уехал он в раскольничий монастырь к женщине, с которой еще прежде бывали у него греховные любовные дела.

Узнавши о том, Дуня едва не умерла, однако скрепилась и забыла страсть свою, если только была она. Тут встретила с ней Машенька и почти целый год привлекала ее к истине нашей веры, то указывая на книги для чтения, то проводя с нею дни и ночи в назидательных разговорах. Постепенно приводила ее к познанию сокровенной тайны и привела. Летом здесь у нас она была принята в сонм праведных. Дух видимо явился в ней – радела без устали, пламенно пророчествовала, открывая тайные помышления и прегрешения даже тех, кого до тех пор не видала и от кого ни слова не слыхивала. Великую пророчицу чаяли мы в ней со временем увидеть, все наши, от первого до последнего, надеялись, что с каждым днем благодать в ней будет умножаться...

Говаривала она вот Вареньке и Катеньке Кисловой, что в нашем доме нашла она невозмутимый покой и радость, что долговременные искания правды достигнуты ею, что теперь она совершенно спокойна душой, не видя ни обманов, ни прельщений, обуревающих суетный мир. Все было ей открыто и рассказано, но сказаний про Данила Филиппыча и про других ей не передавали – думали, что они для нее излишни. И вот с самого «великого собора», бывшего без малого месяц тому назад, она совсем изменилась: не принимает участия ни на святом кругу, ни за столом, сидит взаперти, тоскует, грустит и просится к отцу домой. И Вареньке и Катеньке прямо говорила, что она охладела к вере божьих людей и в ней, говорит, не нашла истины...

Всех упрекает, будто ее хотели обмануть, не рассказавши сказок, что услышала она на соборе. Мало этому верю я, думаю, что есть другая какая-нибудь причина внезапной перемены. Письма получила какие – то и вдруг затосковала. Одно теперь ее занимает, одно хочется узнать, что это за духовное супружество. Вот я все сказал о ней – пособи, дай совет, как удержать ее в корабле – подумай о том, что ведь тут миллион и даже больше.

Внимательно слушал Егор Сергеич Николая Александрыча, но не сказал ни слова в ответ. Вошла Марья Ивановна, следом за ней – Дуня.

Не мало времени, не мало убеждений и просьб стоило Марье Ивановне, чтоб уговорить Дуню идти в столовую и познакомиться с Денисовым. Долго не решалась Дуня, наконец пересилила себя – пошла. Не желанье познакомиться с араратским посланником, не любопытство, возбужденное рассказами о нем, влекли ее в столовую, совсем другое было у ней на уме. Когда в первый раз увидела она Егора Сергеича при его входе в дом, он показался ей как две капли воды похожим на Петра Степаныча, и вот захотела она теперь увидеть его, чтобы убедиться в таком сходстве.

Чтобы показать Денисову, что стала она чужда людям божьим, вместо обычного черного платья оделась Дуня в цветное, надела дорогие серьги, кольца и перстни, а на плечи накинула богатый кружевной платок.

Напрасно убеждала ее Марья Ивановна идти в черном платье, не слушалась Дуня.

– Пускай и ваш гость, пускай и все, кому до меня есть дело, знают, что я иду в мир, – резким голосом сказала она Марье Ивановне.

– Что это? Что с тобой? – с ужасом промолвила Марья Ивановна. – Образумься, пойми, что делаешь, ведь ты уж приведена.

– Все помню, ничего не забыла, знаю и то, что я больше не ваша, – сказала Дуня. – В мир хочу, хочу его отрад и радостей. Я уж писала к тятеньке, чтоб он скорей приезжал за мной. Жду не дождусь его.

Остолбенела Марья Ивановна, услышав от Дуни такие неожиданные речи. Увидела она, что перед ней стоит не прежняя смиренная, покорная и послушная девушка. Гордый взор Дуни блистал ярким огнем, и Марья Ивановна нашла в нем поразительное сходство со взором Марка Данилыча, когда, бывало, он с ничем неудержимым гневом напускался на кого-нибудь из подначальных.

Должна была уступить и пошла в столовую с разряженной Дуней.

Луповицкие не могли узнать ее, перед ними была не Дуня, а какая-то новая, не знакомая им девушка.

Варенька до ушей покраснела. Варвара Петровна не утерпела, всплеснула руками и с удивлением сказала:

– Что это какая ты, Дунюшка? Ведь у нас нет никого из посторонних. Это мой племянник, Егор Сергеич Денисов. Об нем ты слыхала.

Дуня ни слова не сказала. Села на стул против гостя и вперила в него пытливые взоры.

«Похож, похож, а не он, – думает она. – Этот ростом выше того, а красотой не вышел. Тусклые глаза, точно оловянные, редкие волосы, лицо худое, желтое, как у мертвеца. А тот удалью и отвагой пышет, силой, здоровьем пылает его молодое лицо, блещут умные, искрометные очи, свежий румянец в ланитах горит. Весело смотрит, конца нет затейным речам, а этот!.. Болен, надо думать, видно, тяжелый недуг его сокрушил. Много мне приводилось видеть и мужчин и женщин ихней веры, но такого немощного, такого жалкого я еще не встречала. Краше его мертвых в гроб кладут».

Обратился Денисов к Дуне с обычным при первом знакомстве приветом.

«И голос не такой, – подумала Дуня, – хриплый, ровно могильный».

И не может надивиться она, как это чахлый Денисов показался ей Петром Степанычем.

Подали кушанье, а вносили его седой как лунь дворецкий Сидорушка, конторщик Пахом да горничная Варвары Петровны, всё «праведные» корабля Луповицкого. Перед тем как садиться, Егор Сергеич, перекрестясь обеими руками, с набожным видом прочел искаженную молитву:

– Отче наш иже еси в нас, освяти нас именем твоим и приведи нас в царствие твое, волей нашей води нас по земле и небесам. Хлеб слова твоего дай нам днесь и прости наши прегрешенья, как и мы прощаем своей братии. Сохрани нас от искушений врага, избавь от лукавого (Молитва господня, искаженная русскими хлыстами почти от слова до слова похожа на ту молитву, что употребляли в секте адамитов-микулашенцев, бывших у чехов в XV столетии. Есть основания полагать, что миклашенцы имели долю своего влияния чрез русских, живших около Кракова («Густынская летопись» под 1507 годом в «Полном собрании русских летописей», том II, стр. 365).

Обед прошел в строгом молчанье. Заговорила было Марья Ивановна, но Егор Сергеич властно запретил ей разговаривать во время трапезы. И никто после того не осмеливался слова промолвить. Кончился обед, и, кроме Дуни, все до земли поклонились Денисову, а потом и он каждому поклонился.

Марья Ивановна с досадой шепнула Дуне:

– Что ж ты не кланяешься великому учителю?

– Не знаю его учения, – тихим голосом промолвила Дуня.

Только плечами пожала Марья Ивановна, а все прочие злобно покосились на вышедшую из покорности девушку. Денисов будто не замечал ничего.

Сейчас после обеда подали чай с новым липовым сотом. И за чаем молчали по приказу Егора Сергеича.

Выпило чашек по семи любимого хлыстами напитка. Тогда начались разговоры. Денисов рассказывал о Закавказье, говорил о тамошней природе, о тамошних жителях, об их нравах и промыслах, но ни слова не сказал про араратских веденцов. Когда же Варенька спросила его об иерусалимском старце и верховном пророке, он промолчал и заговорил совсем о другом. Попыталась Варенька, немного погодя, снова спросить его о том же, но Денисов опять как бы не слыхал речей ее. То и дело поглядывал он на Дуню. Не в силах была бедная девушка выдерживать его взоров, то

и дело потуплялась, наконец быстро встала и пошла к двери.

– Куда ж это, милая Дунюшка? – нежно и ласково спросила ее, подойдя к ней, Марья Ивановна. – Посиди, голубчик, послушай Егорушку. Ведь ты прежде любила читать путешествия, а он лучше книги рассказывает. Не отвечала Дуня. Марья Ивановна шепнула ей:

– Посиди, я наведу его на разговор о духовном супружестве.

Поколебалась Дуня, любопытство пересилило отвращенье к Денисову. Она осталась.

Еще поговорил Егор Сергеич, рассказал про бакинские огни, про высокие горы со снежными, никогда не таявшими вершинами; про моря Каспийское и Черное. Рассказы его были занимательны, Дуня заслушалась их, но другие не того ждали от араратского посланника. Ждали они известий о том, что было в последние годы за Кавказом, среди тамошних божьих людей. Николай Александрыч сказал, наконец:

– Егорушка, возлюбленный, любопытны твои рассказы про далекую сторону, но хотелось бы нам послушать про царя и верховного пророка Максима. Писал ты, что он завел какие-то новые правила, установились новые обряды. Расскажи об этом, любезный.

И другие, кроме Дуни, приставали к нему с такою же просьбой.

С укором взглянул на Николая Александрыча недовольный словами его Денисов, потом, помолчавши немного и что-то сообразив, медленно стал говорить, тихо, с расстановками:

– Максим – великий учитель и верховный пророк. Сила, большая сила в духе его является. Все тамошние вполне уверены, что он избраннейший из избранных, праведных последних дней. Все ему повинуются беспрекословно, все признают его волю волей небесною. Послушание ему ото всех праведных беспримерно. Хотя бы он потребовал от кого-нибудь из учеников согрешить или впасть в тяжкое преступление, каждый без рассужденья исполнил бы, что повелел он, будь то воровство, грабеж, поджог, убийство самого близкого и ни в чем не повинного человека. Нет границ воле его. Для чистого все чисто, говорит он, а праведному нет на земле закона. Послушание духоносному пророку, послушание его посланникам, странствующим по разным странам, – вот главный закон араратский. И тот закон не новый. Издавна установлен он, но по слабости человеческой забыт, а во многих кораблях совсем почти оставлен – редко, где соблюдается. Послушание свыше озаренному верховному пророку самый благоуханный фимиам, воскуряемый к небесам, а для врага невыносимый.

Главнейшее свойство лукавого – гордость, и ему, злему, хочется, чтобы все люди пребывали в этом страшнейшем и губительнейшем грехе. Но ежели кто, презирая горделивость, пойдет против врага и противопоставит ему безграничное послушание своему пророку, враг страдает и мучится от такой насмешки над его гордостью. Чем больше покорных воле других людей на земле и чем выше послушание их, тем больше мучений нечистому. Бороться с ним, уничтожая в сердце гордость, – вот величайшая заслуга перед небом, вот посрамление врага и победа над ним. Не поклоняйтесь же адской гордыне и в безграничном, беззаветном послушании людям, более вас вдохновенным, ищите оправдания и спасения.

– А ты, голубчик Егорушка, имеешь этот дар? – после общего молчанья спросила Варвара Петровна.

– Имею, – скромно опуская глаза, промолвил Денисов. – Я послан верховным пророком внушать это верным – праведным. Была некогда проповедь покаяния, теперь в последние дни мира настало время проповеди послушания. Я и другие посланы на такую проповедь. Утвердить в людях божьих беззаветное повиновение воле пророческой – вот зачем послали меня.

– И вводить духовное супружество? – вполголоса спросила Марья Ивановна.

– Да, – отвечал Егор Сергеич.

– В чем же заключается оно? – спросила Марья Ивановна.

Слышала эти речи сидевшая вблизи Дуня. С напряженным вниманьем ждала она ответа.

– Тоже послушание. Кто желает знать подробно, пускай тот спросит меня наедине. Не всякому открою, а на соборе не скажу ни слова. Там ведь бывают и люди малого ведения, для них это было бы соблазном, навело бы на греховные мысли. Теперь не могу много говорить, все еще утомлен дорогой... Пойду отдохну. Когда собор думаешь собрать? – спросил он, обращаясь к Николаю Александрычу.

– Не знаю. Как ты решишь, – отвечал Николай Александрыч. – Соберу дня в три, много в четыре, а день ты назначь.

– Не раньше, как через неделю, – решил Денисов и, не взглянув ни на кого, пошел из столовой. Николай Александрыч следом пошел.

Оба вошли и отведенную Егору Сергеичу комнату, и там он прилег на диване. Николай Александрыч сел у изголовья.

– Нарочно не говорил я, что араратские рассказывают про иерусалимского старца и про Христа и царя Максима, – сказал Денисов. – Боялся запугать ее. Ты ведь говорил, что от этих сказаний возникло в ней охлаждение к вере. Если она будет на соборе, тоже ни слова об этом не скажу. А надо, чтоб она была. Пускай не радуется, пускай ничего не говорит, оденется во что хочет... Шутка сказать – миллион! Не надо его упускать, надо, чтоб она волей или неволей осталась у вас.

После этого Дуня, без уговоров Марьи Ивановны, каждый день приходила обедать, чтобы повидаться с Денисовым. Так ей хотелось узнать подробнее о духовном супружестве. «Не все ж у них ложь и обман, – она думала, – а Денисов кажется, правдив, не то что другие. На другой день после свиданья с ним он прямо мне сказал, что смутившие меня сказанья сущий вздор, пустая, бессмысленная выдумка глупых людей... Но для чего ж он хочет говорить со мной наедине?»

Стала Дуня искать одиночного свидания с Денисовым то в саду, то в теплице, то в доме. С крайним любопытством она заговаривала с ним о вечном союзе душ, но он не давал ей прямого ответа. А когда Дуня сказала, что ведь обещал же он ей все открыть наедине и вот теперь они одни, никто их не видит, никто не слышит, он все-таки уклонялся от прямого ответа, говоря, что не пришло еще время. Каждый день, хоть на короткое время видясь с Денисовым, Дуня, на радость Луповицким, немножко привыкла к нему... И в то же время стала реже вспоминать об отце, а Петр Степаныч и совсем не впадал ей больше на память...

Через неделю по приезде Егора Сергеича, дворецкий Сидор и конторщик Пахом отправились объезжать ближних и дальних божьих людей, с зовом на собор. И, как бывало прежде, сошлись и съехались к назначенному дню почти все, бывшие на «великом соборе», кроме полоумной Серафимы Ильинишны с ее неизбежными спутницами. Боялся Николай Александрыч, чтоб они не наделали каких-нибудь новых бесчинств, по той же причине не звали и дьякона Мемнона, а юродивого Софронушку игумен Израиль опять не пустил, сердился на Луповицких за дыни да к тому же напрасно две недели ждал от них на солку огурчиков.

Накануне собора Николай Александрыч и Марья Ивановна долго сидели в комнате Егора Сергеича и что-то обсуждали.

Когда настал час для сбора в сионской горнице, все собрались и разошлись по одевальным комнатам «облачаться в белые ризы». Потом вошли в сонм верных.

Пришла и Дуня, но не надела она радельной рубахи и села у входных дверей. Сильно была она взволнована. Егор Сергеич обещал ей тотчас после раденья открыть тайну духовного супружества. Марья Ивановна также не сняла обыкновенного своего платья и села рядом с Дуней. Так же точно сидели они теперь, как и в тот раз, когда Дуня в первый еще раз была в сионской горнице.

Началось раденье. Николай Александрыч сидел в стороне, наряду с другими. Его место занял Егор Сергеич, он читал молитвы и поучения, он и распоряжался всем ходом собора. Не сказал он ни слова, что могло бы поразить внимательно слушающую Дуню. Оттого в ней возросло несколько доверие к приезжему пророку. Все другие были им крайне недовольны. Ожидали услышать от него что-нибудь новое, не известное им, с нетерпением ждали, как расскажет он про царя араратского, а Денисов молчал. Просили его, целым кораблем молили, чтобы поведал про новые законы, правила и обряды, данные верховным пророком Максимом.

– Мой час не пришел, – сказал Егор Сергеич, когда мольбы усилились до того, что Николай Александрыч стал опасаться, не услышали бы криков, воплей и стонов в деревне, не узнал бы о

шумном сходбище отец Прохор. Стал он унимать не в меру раскричавшихся праведных:

– Не мешайте, не бесчинствуйте! Зачем так кричать? Дух не дает говорить Егорушке о том, чего вы просите.

Но крики не унимались. Никто, кроме Луповицких, Кисловых и Строинского, слушать не хотел уговоров корабельного кормщика.

Тогда, делать нечего, Николай Александрыч схватил за шиворот одну больше всех кричавшую пришлую какую-то бабу и хотел вытолкать ее из собрания. Та завизжала неблагим матом.

– Матрена! – крикнул Николай Александрыч начальнице богадельни, – возьми кого-нибудь из своих, оттащите бесчинницу в богадельню. Запри там ее в чулан или в подполье на всю на ночь. А завтра я распоряджусь. Матренушка с двумя божедомками тотчас исполнили барский приказ.

Крики и вопли унялись. Стали радеть.

Егор Сергеич дольше всех радел. От изнеможенья несколько раз падал он без чувств. И тут заметили божьи люди, что в минуты бесчувствия не только обычная пена, но даже кровь показывалась на его губах. Это было признано знаком присущей величайшей благодати.

Начались пророчества. Кроме других, сказывал их и Денисов. И опять ни слова о закавказских праведных.

Когда собор подходил уж к концу, Марья Ивановна шепнула Дуне:

– Выйдем минуты на две в коридор, нужно мне с глазу на глаз поговорить с тобой насчет того, знаешь...

– Насчет чего? – спросила Дуня.

– Насчет Егорушки, – молвила ей на ухо Марья Ивановна. – Ведь он говорил, что посвятит тебя в эту тайну?

– Говорил, – ответила Дуня.

– Эта тайна очистит и освятит тебя. Бесплотным силам будешь подобна, и не будет к тебе приступа от горделивого духа злобы и нечестия, – продолжала Марья Ивановна. – Пойдем – ты ведь не принимаешь участия: не радеешь и в слове не ходишь. Все равно, если уйдешь из сионской горницы. Здесь нельзя говорить, а я хочу кой-что сказать тебе. Пойдем же.

Дуня повиновалась и за Марьей Ивановной вышла в коридор.

– Он мне сказал, что только тебе, одной тебе откроет он тайну, – сказала в коридоре Марья Ивановна. Признаюсь, я оскорбилась его словами, обидны они показались мне. «Отчего это, говорю я ему, ты не хочешь мне открыть. Сколько лет, как я в корабле!.. Еще когда жила в Петербурге Катерина Филипповна, я была принята в духовный союз. А ее, то есть тебя, хочешь, говорю посвятить в тайну, хоть она не больше двух месяцев принята». Он отвечал: «Не всякому дано знать сокровенное, нужно для того иметь особенную благодать, а я в ней только вижу избыток благодати». Я сказала ему, что в последнее время ты охладела к союзу верных, а он ответил: «Полную веру имею, что она укрепитя и будет верною до конца». Вот что мы говорили с ним. Скажи, хочешь ли говорить с ним?

– Хочу, – сказала Дуня.

– Войди же сюда, – сказала Марья Ивановна, отворяя дверь в комнату, где обыкновенно складывались радельные рубашки и другие принадлежности хлыстовских молений. – Подожди тут. Только что кончится собор, он придет. Будь ему во всем послушна, во всем, что б ни сказал он, чего б от тебя ни потребовал.

Марья Ивановна ушла. Дуня одна осталась.

Огляделась, видит – комната большая, хорошо прибранная. «Белые ризы» и другие хлыстовские вещи лежали в расставленных по стене глухих шкапах, без стекол. Напротив их по другой стене стоял турецкий диван, обитый старым трипом, возле него стол, а на нем фарфоровый кувшин с водой и несколько тарелок с разным вареньем. На полу во всю комнату был разостлан, хоть и старенький, но довольно еще пушистый ковер. Над диваном по стене развешено несколько масляных картин – на всех религиозно–мистические изображения. Тут и миловидный отрок с ягненком на плечах, и три отрока, выходящие из вавилонской печи, и пророк Иона в шалаше под тенью клещевины (Клещевина – *Ricinus*. Это растение упоминается в еврейском тексте (Ионы, IV-6). В переводе семидесяти вместо него стоит «тыква».).

Окон два, в середине должно быть третье, но оно прикрыто большой картиной кисти известного хлыста и искусного художника Боровиковского. Во весь рост изображен на ней медиоланский епископ Амвросий в богослужебной одежде, стоящий перед престолом. Руки святого воздвигнуты к небу, восторгом горят его очи, а из уст выходит узенькая полоска хартии, и на ней латинская надпись *Te Deum laudamus* («Тебе бога хвалим» – песнь, сочиненная св. Амвросием Медиоланским. Такая картина в тридцатых годах была у петербургских хлыстов из образованного общества.)

Рассматривая это изображение, Дуня бессознательно оперлась рукой на позолоченную и сильно выцветшую раму и почувствовала, что она держится не твердо. Рассмотрев ее внимательнее, увидала, что рама с картиной отворяются, что они поставлены тут, чтобы только закрыть окно. На подоконнике было на палец толщиной пыли, на косяках висели клочья паутины – заметно было, что картина долгое время оставалась нетронутой. Окно за нею было закрыто ставнями, отпиралось оно изнутри, но решеток не было. Вспомнилось Дуне, что недавно еще, когда Варенька отыскивала ее в заброшенном палисаднике, она указывала ей на кладовую с тремя окнами и теперь сообразила, что срединное окно было прикрыто.

Слышит Дуня – смолкли песни в сионской горнице. Слышит – по обеим сторонам кладовой раздаются неясные голоса, с одной мужские, с другой – женские. Это божьи люди в одеальных комнатах снимают «белые ризы» и одеваются в обычную одежду. Еще прошло несколько времени, голоса стихли, послышался топот, с каждой минутой слышался он тише и тише. К ужину, значит, пошли. Ждет Дуня. Замирает у ней сердце – вот он скоро придет, вот она узнает тайну, что так сильно раздражает ее любопытство.

«Я покину их, покину и веру ихнюю, отброшу их, думает она, – но тайну духовного супружества мне хочется узнать... Нежная любовь, невыразимое словами счастье в здешней жизни и в будущей! Не останусь я с ними, но эту тайну вынесу из корабля и к другому применю ее, кто полюбит меня сердцем и душою».

И вспомнился ей Петр Степаныч, и наполнилась она восторгом. Сердце обливается горячей кровью, она дрожит и, почувствовав утомление во всем теле, кидается на диван и закрывает глаза.

Шорох ей послышался. Открыла глаза, пред ней Денисов.

Страстью горят глаза, губы дрожат, по лицу змеются судороги, дыхание сильное, перерывчатое.

Увидав его, Дуня быстро вскочила с дивана, но он схватил ее за руки и трепетным, как бы замирающим голосом сказал:

– Останься, как была!..

И сел возле нее на диване.

От прикосновенья горячих рук Денисова вздрогнула Дуня. Она отстранилась от него, насколько могла, и уселась в глубине дивана.

– Прежде чем с тобой беседовать, должна ты исполнить святой обряд, установленный в корабле людей божьих. После каждого собрания даются там друг другу серафимские лобзанья. Ты прежде лобзаний ушла из сионской горницы, а без них мне нельзя говорить.

Вся покраснела Дуня, но любопытство было так сильно, что она решилась дать Денисову холдное лобзанье, какое дала бы каждому из сидевших в сионской горнице.

Она протянула к нему лицо, а он, целуя ее серафимским лобзанием, вдруг сжал ее в объятьях.

– Что это? – отчаянным голосом вскрикнула Дуня, поняв обман и вырываясь из рук Денисова. На ее крики ответа не было.

Вспомнила Дуня об изображении Амвросия Медиоланского. Быстрым движеньем руки распахнула раму, вскочила на подоконник и, раскрыв ставни, выпрыгнула в палисадник. Другого выхода ей не было, дом наполнен был людьми божьими – ее бы остановили и отдали на жертву Денисову. В отчаянии она и кинулась в окно, между тем как араратский пророк изо всех сил старался ржавым ключом отпереть входную дверь кладовой.

Епископ Амвросий спас Дуню.

Хорошо знала она местность. Выбежав на широкий двор, бросилась было к воротам, но в за-

чинавшемся уже рассвете увидела, что там на лавочке сидит караульный... В сад побежала, там ни души. Она дальше и дальше... Бежит, не переводя духа, и назади сада, вблизи Кириллиной пасеки, перелезает через невысокий плетень, а потом по задам возле длинного ряда крестьянских овинов бежит к попу на край деревни. На него одного вся надежда ее. Подбежав к домику отца Прохора, она крепко постучалась в окно.

– Кто там? – спросил изнутри комнат уже вставший с постели и стоявший на утренней молитве отец Прохор.

– Спасите!.. Укройте! – с горьким плачем взмолилась ему Дуня.

– Это вы, Авдотья Марковна? – спросил отец Прохор, узнавая ее по голосу.

– Я, я, спрячьте куда-нибудь... Скорей, скорее, – говорила навзрыд плачущая Дуня.

– Пожалуйте! – сказал отец Прохор. – Сейчас отопру калитку.

Отец Прохор, впустив Дуню на двор, провел ее в заднюю, говоря, что в передней сидеть ей опасно. Только что узнают хлысты, что она скрылась, говорил он тотчас начнут искать ее и непременно станут заглядывать к нему в окна; немудрено даже, что с обыском придут. Разбудив жену и дочерей, отец Прохор приказал им снарядить в дорогу чересчур легко одетую Дуню, а потом вышел на двор и, разбудив работника, велел ему наскоро запрячь лошадку. Полуслепая и глуховатая матушка попадья надела на Дуню чоботы старшей дочери, свою шубейку и повязала ей голову большим платком по-деревенски. Не прошло получаса, как отец Прохор сел с Дуней в тележку. Уезжая, наказал он домашним, что ежели кто спросит про него, особенно из барского дома, так сказали бы, что еще ранним вечером уехал с требой, а оттуда хотел проехать в город, куда его вызывали в духовное правление.

Предосторожность не лишняя. Только что обутрело, в поповский дом пришел хозяин села, Андрей Александрович Луповицкий, с конторщиком Пахомом.

– Дома ли батюшка? – спросил он у попадьи, встретившей барина у калитки.

– Дома его нет, – почтительно она отвечала. – Еще с вечера в сумерки уехал с требой.

– А скоро ль воротится? – продолжал расспрашивать Андрей Александрович.

– Не знаю, как доложить. Сряжался в дорогу, так говорил, чтоб скоро его не ждали, что ему надо в город проехать. В духовное правление по какому-то делу требуют, рассыльный приезжал третьего дня, – сказала матушка попадья.

– Экая досада! – вскричал Андрей Александрович, садясь на диван в передней горнице. – А я было к нему за делом. Как-то раз батюшка говорил мне, что у вас и домик и надворные службы обветшали, и я обещал ему сделать поправки. А теперь хочу нанимать плотников, теплицы поправить надо, застольную, а скотный двор заново поставить. Так я было и пришел с конторщиком осмотреть, какие поправки нужно сделать у вас, чтоб заодно плотников-то рядить.

Попадья рассыпалась в благодарностях за неожиданные-негаданные милости. Низко кланялись Луповицкому и поповны.

– Благодетель наш, Андрей Александрович, – говорила со слезами матушка попадья. – Истинный вы наш благодетель! Эка, Петрович-от на беду отъехал... А впрочем, что ж его ждать, и без него обойдется дело. Велите конторщику осмотреть, а Степанидушка с ключами с ним пойдет и погреб ему отопрет, и житницу, и клеть, и чуланы. Она и запишет все на грамотке (Грамотка – бумажка.).

– Зачем же это? Сам осматрю, – сказал Андрей Александрович и встал с места.

Осмотрел он передние и задние горницы, посылал Пахома в подполье поглядеть, не загнили ли нижние венцы срубов, сам лазил на чердак посмотреть на крышу, побывал во всех чуланах и в клетях, на погребе сам вниз сходил и в бане побывал, и в житнице, и в сараях, в конюшне, в коровнике и на сеновале, где, похваливая поповское сено, вилами его потыкал. И все на бумажке записывал.

После осмотра до последней щелочки, Андрей Александрович убедился, что Дуни у попадьи

нет. На прощанье сказал:

– Так вы, матушка, готовьтесь к поправкам. Плотники к Воздвиженью придут, а пока до них по этой записке пришлю вам бревен и тесу. Отведите свободное местечко, где сложить.

– Благодетель наш! Век за вас будем бога молить. Не оставляете убогих щедротами... Петрович-от как станет жалеть, что не посчастливилось ему видеть вас у себя в доме.

– Ну, прощайте, матушка. До свиданья, – сказал, собираясь уходить, Андрей Александрыч.

– А чашечку чайку не угодно ли выкушать? – сказала попадья. – Покамест вы трудили себя, Степанидушка и самоварчик поставила и чайку заварила ради дорогого гостя, отца нашего родного, благодетеля.

Андрей Александрыч остался, а Пахому велел идти домой и сейчас же составить смету на постройки при барском доме и поправки в доме отца Прохора. Как ни упрашивала попадья, чтобы позволил Андрей Александрыч Пахому выпить у ней чашечку-другую чаю, но он не согласился и приказал конторщику как можно скорей домой поспешить, доложить Николаю Александрычу, что все строенья осмотрены и что поправки необходимы.

За чаем Андрей Александрыч разговаривал с глуховатой и полуслепой попадьею о разных недостатках поповского хозяйства. И сенокосишка-то у попа мал, и в земле-то скудость, и доходов-то от церковной службы недостаточно. Под конец Луповицкий дал попадье десятирублевую, примолвивши:

– Это вам за беспокойство. Своим приходом ведь я нарушил покой в вашем мирном уголке.

Со слезами на глазах попадья схватила было руку, чтобы поцеловать, но Андрей Александрыч не допустил ее.

– Прощайте, матушка. Кланяйтесь отцу Прохору. Скажите ему, чтобы до Ивана Богослова (26 сентября) непременно приготовился к перестройке дома, – говорил, уходя из поповского дома, Андрей Александрыч. До улицы проводила его попадья с дочерьми, низко кланяясь и благодаря, как только умела. Когда же воротились домой, попадья шепнула Степанидушке: – Хоть все лазы облазил, а не нашел. Пришлет ли, нет ли леску, бог его знает, а красненькую пожаловал. Нам и то годится... А ведь Авдотья-то Марковна богачка страшная, к тому и добра и милостива, как заметила я. Поди, не десять рублей даст Петровичу. Соверши, господи, во благо ее возвращение в дом родительский! Такой богачки ни разу еще не приводилось Петровичу вырывать из этого дома.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Не прежде как отъехавши версты полторы от Луповиц, отец Прохор стал разговаривать с Дуней. Обливаясь слезами, рассказала она все, что случилось с нею минувшей ночью. Все рассказала, ничего не потаила от спасшего ее от гибели. Молча и внимательно слушал отец Прохор исповедь Дуни. Когда ж она все рассказала, спросил у нее:

– Зачем же вы, Авдотья Марковна, ежели решились оставить ересь и самый дом, где были совращены, зачем, говорю, пошли вы ночью на их сборище и даже в особую комнату для свидания со злейшим еретиком Денисовым? Ведь я вас предупреждал об нем...

Еще слава богу, что так обошлось, а то ведь непременно сделались бы его жертвой. Немало бывало примеров. Лишились бы и чести и доброго имени, если бы не молитвы за вас святого отца нашего Амвросия епископа Медиоланского. Так я смотрю на дело вашего спасения и глубоко верую, что совершилось оно не иначе, как по ходатайству пред богом сего святителя. Примите же совет мой, примите стариковскую просьбу: ежели бы вы находились в ограде истинной церкви, я бы, при ваших достоинствах, посоветовал вам устроить хоть придел в честь и славу сохранившего вас от гибели святителя, но как вы принадлежите к тем, что разнятся с нами в обрядах и своих церквей не имеют, так устройте хоть икону святителя Амвросия и всю жизнь свою утром и вечером молитесь перед нею теплою молитвой благодарения. Святитель Амвросий Медиоланский чествуется у ваших, равно как и у нас, – память его совершается в седьмое число декабря, на другой, значит, день зимнего Николая. Последуйте же моему совету, и святой отец не умалит дивных своих к вам

милостей. Скажите мне, исполните ли искренний и душевный совет мой?

– Исполню, отец, Прохор, непременно исполню, – с горячим порывом ответила Дуня.

– А ежели по молитвам отца нашего Амвросия, имеющего дерзновение обращаться с ходатайством к отцу небесному, когда-нибудь, рано ли, поздно ли, войдете вы в ограду святой церкви, на что имею полную надежду, соорудите тогда хоть придел во имя его, а ежели достанет средств, то и новый храм. Не ответила Дуня отцу Прохору.

– А ежели, по божью благословению, вступите в жизнь супружескую, продолжал он, – то первому сыну нареките имя Амвросий. Пускай и на старости ваших лет непрестанно напоминает он вам преславное имя избавившего вас от гибели святителя.

Дуня опять промолчала... Больше версты они проехали молча. Наконец, отец Прохор спросил:

– Скажите мне теперь по чистой совести самую сущую правду, что побудило вас, открыто заявивши фармазонам, что вы душевно и телесно чуждаетесь их, что побудило вас прийти на сходбище оных богопротивников и даже идти на свиданье с Денисовым?

Дуня рассказала, как Луповицкие ее уговорили и как она до последней минуты не предвидела со стороны Денисова ни обмана, ни злого умысла.

– Злодеи, злодеи! – вскрикнул отец Прохор. – Доколе терпит их господь! И, немного погодя, сказал:

– Я отвезу вас в губернию (Губернский город.). Там будет вам безопасно – еретики там ничего не посмеют сделать. Привезу я вас в хороший купеческий дом. Семейство Сивковых есть, люди благочестивые и сердобольные, с радостью приютят вас у себя. Только уж вы, пожалуйста, ни про наших господ, ни про Денисова, ни про их богохульную веру ничего им не рассказывайте. Ежели донесется об этом до Луповиц, пострадать могу. Так уж вы, пожалуйста, богом прошу вас, Авдотья Марковна.

– Будьте уверены, слова никому не вымолвлю, – отвечала Дуня. – И разве можно говорить мне, ежели это повредит вам. Ведь вы мой избавитель, я ведь без вас непременно бы пропала. А как бы после того показалась я на глаза тятеньке?

– Так уж, пожалуйста. Я вполне надеюсь, – сказал отец Прохор. – А у Сивковых как будет вам угодно – к батюшке ли напишите, чтобы кто-нибудь приезжал за вами, или одни поезжайте. Сивковы дадут старушку проводить – сродница ихняя живет у них в доме, добрая, угодливая, Акулиной Егоровной зовут. Дорожное дело знакомо ей – всю, почитай, Россию не раз изъездила из конца в конец по богомольям. У Сивковых и к дороге сготовитесь, надо ведь вам белья, платья купить. Деньги-то есть ли у вас на покупку и на дорогу?

– Денег у меня довольно, на все достанет, – отвечала Дуня.

– Ну вот и хорошо, вот и прекрасно, – проговорил отец Прохор. – А если бы паче чаяния нуждались в деньгах, можно бы было у Сивковых достать, он ведь каждый год к Макарью ездит и порядочное число соленой рыбы закупает. Надо полагать, что и родителя вашего знает, может статься, и знакомство с ним водит. Он ни в чем не откажет вам... Вот еще о чем спрошу я вас, Авдотья Марковна, – немного подумавши, продолжал отец Прохор. – Не осталось ли у вас в господском доме каких-нибудь писем или записок о ваших сношениях с хлыстами?

– Нет, ничего не осталось, – ответила Дуня.

– То-то, этого теперь пуще всего надо опасаться, – молвил отец Прохор. Нужно вам сказать, – только до времени об этом пока никому не говорите, – не в долгом, надо полагать, времени господам Луповицким будет разгром: наедет суд, обыски начнут у них в доме делать, пойдет следствие. Сохрани боже, если найдется какой-нибудь клочок бумажки, где помянуто ваше имя. Это может и вас к делу припутать. А дело, по-видимому, разгорится очень важное, и для всех хлыстов Луповицких и других самое неприятное по своим последствиям.

– Нет, отец Прохор, никаких моих бумаг в ихнем доме не осталось, сказала Дуня. – Но что ж это за следствие? Что такое случилось?

– Всего подробно теперь объяснить вам не могу, – отвечал отец, Прохор. Сам многого не знаю. На третий день после Успеньева дня я ездил в губернию, в консистории по одному делу был. Там один верный человек, хорошо знающий дела, сказывал мне, что новый владыка крепко

принялся за хлыстов. Из Петербурга, слышь, из самого святейшего синода получил он указ насчет господ Луповицких и о том, что скоро к ним должен приехать самый злейший еретик Денисов...

Как он приедет, так их и накроют. А дело о хлыстах началось в Москве, и по взятым у них бумагам открылось, где, в каких, значит, местах теперь они находятся. И повсюду, слышно, розыски пошли до следствия. Не знаю уж, от кого и каким образом узнал владыка, что я в губернии, и велел прийти к нему. И без малого целый час изволил келейно со мной беседовать насчет луповицкой хлыстовщины. Известное дело, перед архипастырем всю правду надлежит рассказывать. Я и рассказал. Тут владыка благословил меня ехать восвояси и примолвил о наших соседях: «Видно, им того же захотелось, что с отцом их было».

– А что такое было с их отцом? – спросила ничего о старых делах не знавшая Дуня.

– Не слыхали разве? – сказал отец Прохор. – Про это не любят они разговаривать. Отец ведь тоже был в этой самой ереси, а как человек был знатный и богатый, то никто к нему и прикоснуться не смел. Сильная рука у него была в Петербурге, при самом царском дворе находились друзья его и благоприяты. А все-таки не избежал достойной участи – в монастырь сослали, там в безысходном заточенье и жизнь скончал.

– А давно ль это было? – с любопытством спросила Дуня.

– Да уж лет тридцать прошло с той поры, как его под стражей из Луповиц увезли. Я был тогда еще внове, только что удостоился принять рукоположение, – отвечал отец Прохор. – Но его хорошо помню – важный такой вид имел, а корабль у него не в пример больше был теперешнего. И в том корабле были все больше из благородных да из нашего брата, из духовенства... А вот мы и приехали, – прибавил отец Прохор, указывая на огоньки и на белевшие в полумраке здания губернского города.

Отец Прохор подъехал к большому каменному дому купца Сивкова. Радужно встретили его и хозяин, только что воротившийся от Макарья, и жена его, и две снохи, и дальняя сродница Акулина Егоровна, та самая, что разъезжала, а иной раз и пешком ходила по богомольям. Отец Прохор рассказал хозяину придуманный дорогой вымысел насчет Дуни.

– Не знаете ли, Поликарп Андреич, Марка Данилыча Смолокурова, рыбой у Макарья торгует? – спросил он Сивкова.

– Как не знать Марка Данилыча! – отвечал Сивков. – На Гребновской он первый воротила. Довольно знаем Марка Данилыча, не раз товар бирали у него, кредитовались, значит.

– Вот это его дочка, – сказал отец Прохор, взявши Дуню за руку.

Хозяйка, обе снохи и Акулина Егоровна стали обнимать и целовать Дуню. Как ни удерживалась Дуня, а от этих искренних ласк незнакомых людей слезы вдруг в три ручья покатились у нее из глаз, а подступавшие рыдания совсем было задушили ее.

– Что с вами? Что с вами? – услуживая Дуне, говорили жена и снохи Сивкова, а старушка Акулина Егоровна со всех ног бросилась за холодной водой и с молитвой напоила Дуню. Той стало немного полегче.

Между тем отец Прохор рассказывал, что Авдотья Марковна с одной пожилой купчихой из ихнего города собралась съездить в Киев на богомолье и далеко еще туда не доехала, как с ней случилось несчастье. Верстах в двадцати пяти от Луповиц остановились богомольцы ночевать на постоялом дворе у крестьянина. И в то время как все уж заснуло, на том дворе загорелось. Авдотья Марковна с вечера не раздевалась и в одном платье выбежала из пылавшего дома, а ехавшая с нею купчиха и еще семь ли, восемь ли богомолков сгорели. Все имущество, и кибитка, и ямские лошади – все погорело.

– А я тогда случился в соседнем селе, – прибавил отец Прохор, – дельцо там было одно у меня. Вот и взял я на свое попечение бесприютную девицу.

– Ах, господи! Ах, горе-то какое! Всякого избави и сохрани господи от такой беды! – воскликнули женщины, осыпая ласками Дуню.

– Это в Перигорове пожар-от был? – спросят Поликарп Андреич.

– Так точно, – отвечал отец Прохор. – А я на ту пору был в селе Слизневе, и версты не будет от Перигорова-то, побежал на пожар, да и нашел Авдотью Марковну.

– И до нас об этом пожаре вести дошли, и про то еще рассказывают, что сколько-то бого-

мольцев тут сгорело, – сказал Сивков.

А дня за три в самом деле был пожар в Перигорове, и несколько человек, бог их знает откуда приехавших, сгорело на постоялом дворе. Отец Прохор этим случаем воспользовался для своего рассказа.

– Как взял я Авдотью Марковну, так и порешил, не заезжая домой, к вам ехать, – продолжал отец Прохор. – На вас рассчитывал, зная, что не покинете бедняжку в трудном ее положении. Опять же и то, что здесь можно ей будет во всем исправиться: белья купить, платья и всего другого, что понадобится. Деньги есть у Авдотьи Марковны, а вот шубейку и платок и черевика у слизневской матушки попадѣи на время для нее я взял, было бы в чем до вас доехать. Уж вы сделайте милость, Поликарп Андреич, примите в ней участие. Родитель ее будет вам очень благодарен за неоставление единственной дочери.

– Об этом, отец Прохор, нечего и толковать, – сказал Поликарп Андреич. Опрічь того, что Марку Данилычу я всегда и во всякое время со всякой моей радостью готов услужить, насколько сил и умения станет, мы бы и по человечеству должны были принять участие в таком несчастье Авдотьи Марковны. Не соскучилась бы только у нас, – прибавил он, обращаясь к Дуне.

– Помилуйте, Поликарп Андреич. Да я к вам точно в рай попала после того, что было со мной, – со слезами благодарности ответила Дуня.

– Полноте, полноте, вы опять за слезы! – вскрикнул Сивков. – По-моему, вам бы теперь отдохнуть, успокоиться. Семеновна, – прибавил он, обращаясь к жене, – и вы, сношеньки, подите-ка, мои матушки, успокойте Авдотью Марковну. А завтра поезжайте с ней за покупками. А ежели у вас, Авдотья Марковна, в деньгах может быть недостача, так вы об этом не извольте беспокоиться – чем могу служить, все для вас и для Марка Данилыча сделаю.

Поликарп Андреич вдвоем остался с отцом Прохором. Долго рассуждали они, как быть с Дуней. Наконец, решили так: только что исправит она свои покупки, отправить ее к отцу с Акулиной Егоровной, а меж тем послать письмо к Марку Данилычу и отписать, где теперь она находится и в какой день намерена в дорогу выехать.

На другой день отец Прохор простился и с Сивковыми и с Дуней. Ее прощанье было самое задушевное. Обливаясь слезами, до земли она преклонилась пред своим избавителем, но благословения не приняла – все-таки ведь он никонианин.

На прощанье дала она отцу Прохору сторублевую. Сначала тот не хотел было брать, однако взял. Дуня обещала писать к нему, никогда не забывать его благодеяний и помогать ему в трудной жизни его.

На другой день стали покупать необходимое для Дуни. Она была окружена самым теплым участием и бесконечными ласками Сивковых. А Поликарп Андреич, зная теперь, что она единственная дочь у Смолокурова, говорил наедине своей Семеновне:

– Вот поторопились мы с тобой Василья-то женить! Вот бы невеста ему. При теперешних обстоятельствах дело-то, может быть, сладилось бы. Поторопились, поторопились. Миллионщица ведь.

– Уж чего ты, батька, не насажешь, – недовольным голосом ответила жена. – Значит, не было на то воли божией. Да кто еще узнал – пошла ли б она за нашего Васильюшку.

– А отчего ж бы и не пойти? – возразил Поликарп Андреич. – Чем парень не вышел? Взял и ростом, и дородством, не обидел его господь и красой и разумом. Отборный жених. А главное то возьми в расчет, что ведь миллионщица! После отца одной ей все достанется.

– Перестань, батька, пустяки городить. Взбрѣдет же такая чепуха в голову, – сказала Семеновна и ушла от мужа в другую комнату.

Покупки были готовы, и Дуня собиралась в дорогу с Акулиной Егоровной. Поликарп Андреич подрядил извозчика на долгих доезвести их до того городка, где жил Марко Данилыч. Решено было ехать на другой же день, а между тем и Сивков и Дуня письма к Марку Данилычу написали, ни одним словом, однако, не помяная о пожаре в Перигорове. Дуня уведомляла отца, что Марья Ивановна едва ли не до зимы пробудет у своих родных и что знакомый ему Поликарп Андреич Сивков, войдя в ее положение, отправляет ее в родительский дом с надежной женщиной, своей сродницей.

На другой день, после того как отец Прохор воротился домой, Аграфена Петровна к нему приехала. Сказанные им слова, что Дуня «пропала без вести», до того поразили вихоревскую тысячницу, что вся она помертвела и долгое время в себя не могла прийти. Отец Прохор догадался, что она не просто знакомая Смолокуровым, а что-нибудь поближе. Когда пришла в себя Аграфена Петровна и немного поуспокоилась, сказал он:

– Из такой вашей тревоги должен я заключить, что вы не совсем чужая Авдотье Марковне. Может статься, сродницей ей доводиться?

– Не родная я ей, зато самая близкая, – едва слышным, прерывающимся от рыданий голосом отвечала Аграфена Петровна. – Ах, господи!.. Господи!.. Беда за бедой!.. Горе следом за горем бежит!

– Вы сказали, что у Авдотьи Марковны родитель при смерти лежит, молвил отец Прохор.

– Да, с ним удар, – ответила Аграфена Петровна. – Без движенья лежит, без языка, а как кажется, в памяти, и вдруг еще это горе! И такое ужасное!

– Смиритесь, сударыня, перед перстом господним, – учительным тоном сказал ей отец Прохор. – Создатель лучше нас знает, что нам на пользу и что во спасенье.

– Вы близко ее знали? – спросила Аграфена Петровна.

– Очень близко, – отвечал отец Прохор. – И ежели, бог даст, увидите, лихом она меня не помянет. А могу ли я у вас попросить какого-нибудь видимого знака в доказательство, что близки вы с Авдотьей Марковной? – продолжал после короткого молчания отец Прохор. – Извините, не зная вас лично, вполне довериться не могу...

– Дунину руку знаете? – несколько подумавши, спросила Аграфена Петровна.

– Знаю.

– Вот ее письмо ко мне, сличите. А письмо-то писано было года полтора перед тем. Дуня называла в нем Аграфену Петровну самым дорогим, самым сердечным другом своим и говорила, что, кроме ее, нет у нее никакого близкого.

Кликнул отец Прохор Степанидушку и велел принести Дунино письмо, писанное к попадье из губернского города с благодарностями за привет и ласки. Когда Степанидушка принесла письмо, отец Прохор, внимательно рассмотрев оба, сказал:

– Теперь вижу, что вы близки, и могу много сообщить вам об Авдотье Марковне.

– Где она? Где? Не мучьте, ради бога, меня, скажите скорей! – быстро схватив отца Прохора за руку, с нетерпением воскликнула Аграфена Петровна.

– Не беспокойтесь. Она в месте безопасном, теперь ей не может быть никакой неприятности, – сказал отец Прохор. – Поезжайте в наш губернский город, там у купца Сивкова найдете Авдотью Марковну. Марку Данилычу тот купец знаком. Дела у них есть торговые.

– Так я сейчас же поеду, – сказала Аграфена Петровна.

– Отдохните немножко, выедете под утро, – молвил на то отец Прохор. Дня три либо четыре Авдотье Марковне надо будет с делами управиться. Ведь она в одном платье из барского дома ушла. Хорошо еще, что деньги-то были при ней.

– Как в одном платье? – с изумлением спросила Аграфена Петровна. – Это как так?

– Ночью она убежала, – сказал отец Прохор. – Грозило ей большое несчастье, беда непоправимая. В окошко выпрыгнула. Не до того было ей, чтоб пожитки собирать... Да я лучше все по порядку расскажу. Неподалеку от того города, где живет родитель Авдотьи Марковны, одна пожилая барышня, генеральская дочь, именье купила. Из семьи здешних господ она – Алымова, Марья Ивановна.

– Знаю я ее, знаю, – торопливо молвила Аграфена Петровна. – С год тому назад сделала она для меня такое благодеяние, что никогда его нельзя забыть. Маленькую дочку мою от верной смерти спасла – из-под каретных колес ребенка выхватила. Не будь Марьи Ивановны, до смерти бы задавили мою девочку... Всегда богу за нее молюсь и почитаю благодетельницей.

– Вот! Одной рукой людей от телесной смерти спасают, а другой ведут их в вечную смерть, в адскую погибель, – вздохнув и поникнув седой головой, сказал отец Прохор.-Доколе, господи, терпишь ты им?

– Неужели Марья Ивановна? – сказала Аграфена Петровна. – Не могу понять, как это случиться могло.

– А вы там, в своей стороне, не слыхали ль чего про Марью Ивановну? – спросил отец Прохор.

– Бог ее знает, – сказала Аграфена Петровна. – Мало ль какие слухи по народу стали теперь обноситься – всего не переслушаешь. Толкуют, что какой-то особой веры держится она, фармазонской, что ли, какой.

Промолчал отец Прохор. Не пускался он с Аграфеной Петровной в откровенности, боясь, чтобы коим грехом его слова не были перенесены в барский дом. Конечно, Дуня обещалась не оставлять его своей помощью, однако ж лучше держать себя поопасливей – береженого и бог бережет. А дело, что началось насчет хлыстов, еще кто его знает чем кончится.

– Увидитесь, бог даст, с Авдотьей Марковной, пусть она сама расскажет вам про все, – молвил отец Прохор. – А теперь вот что я скажу вам: Марья-то Ивановна, стало быть, знает вас? Знает, стало быть, и то, что вы с Авдотьей Марковной близки?

– Знает, все знает, – сказала Аграфена Петровна.

– Так видите ли – хоть мы и рады гостям во всякое время, а советовал бы я вам и ради Авдотьи Марковны и ради меня, чтобы вы теперь же ночью выехали из Луповиц, – сказал отец Прохор. – Не то увидит вас Марья Ивановна да узнает, что вы у меня остановились, тогда чтобы беды какой не случилось, особенно для меня. А я человек зависимый и хоть уверен, что Авдотьей Марковной оставлен не буду, однако ж надо мной есть начальство. Вздумают здешние господа пожаловаться – рука у них сильная, а я человек маленький, безо всякой защиты. Так вы уж, пожалуйте, не посетуйте, хоть мне и очень совестно, да что ж тут делать?

– Вы хорошо придумали, отец Прохор, – сказала Аграфена Петровна. Лошадей я наняла в губернском городе, сюда и обратно. Вот немножко покормят их, я тотчас и в путь. Но где ж найду я там Дунюшку?

– В губернском городе, недалеко возле базарной площади, большой каменный дом купца Сивкова стоит, всякий его укажет вам, – отвечал отец Прохор. – Поклонитесь и Авдотье Марковне, и Сивкову Поликарпу Андреичу со всем его благословенным семейством. Люди они хорошие, сердечные – завтра сами увидите.

Заполночь уж было, когда на покормленных немножко лошадях поехала из Луповиц Аграфена Петровна. С любовью и радушием проводили ее и отец Прохор, и матушка попадья, и обе поповны, говоря, что очень соболезнают, не угостивши как бы следовало приехавшую из такой дали гостью. А когда, проводя ее, воротились в дом и отец Прохор вздумал поправить лампадку, что теплилась перед образами, на полочке киотки увидел сторублевую бумажку! Ясно, что ее оставила Аграфена Петровна. Не ворочать же ее с дороги. Отец Прохор с матушкой решили написать промелькнувшей в доме их гостье благодарное письмо – благо знали, как надписывать письма к Смолокурову. В два дня две сотни прибыли отцу Прохору, не считая десятирублевой, данной Андреем Александрычем. А луповицкий поп в целый год за требы с прихожан не получал таких денег. Да, кроме того, и впереди надежда – Авдотья Марковна со своими миллионами не забудет его, поможет при нужном случае.

Хоть ветер стих немного, но непогода не переставала. Как из сита сыпал мелкий осенний дождик и громко шумел о кожаную крышку дорожной кибитки, где сидела Аграфена Петровна с глухой Степановной, взятой в попутчицы из смолокуровского дома. Наскоро накормленная тройка чуть тащила по глубокой, по самую ступицу, грязи, больше тащилась шагом, а кругом не видно ни зги. Выехавши из Луповиц и добравшись до соседней деревни, Аграфена Петровна успокоилась, а до того все погони из барского дома боялась. Она думала теперь, что Луповицы место недоброе, а барский дом – вертеп самых злых людей. Отец Прохор не сказал ей, какая опасность угрожала Дуне и от какой беды спасена она, потому Аграфена Петровна и не могла понять, отчего это ее подруга убежала из того дома в одном платье, бросивши пожитки. Чего только не приходило ей в

голову, но, не зная тайн фармазонской веры, не могла она представить себе о беде, грозившей Дуне.

Поздно вечером Аграфена Петровна добралась до «губернии». Сыскать дом Сивкова было нетрудно, каждый его знал. Супротив того дома был широкий одноэтажный деревянный постоянный двор; в нем на пути в Луповицы останавливалась на несколько часов вихоревская тысячница, не подозревая, что напротив постоянного двора была тогда Дуня.

Был уже час одиннадцатый, огней у Сивкова не видно, должно быть все спать полегли. Аграфена Петровна решила переночевать в той же гостинице, где останавливалась накануне. Однако ж ей не терпелось. Поглядывая из-за своих запотелых и дождем закрапленных окон, она то и дело посматривала на дом Сивкова. Ни единого огонька, но вот растворилась вделанная в широкие ворота узенькая калитка, и лениво вышел из нее дворник, закутанный в дубленый полушубок, с лицом, наглухо обвязанным платком. Вышел он на улицу, снял шапку, трижды перекрестился на церковь, что стояла середь базарной площади, и, широко, во весь рот зевнувши, уселся на приворотной скамейке. Видит это Аграфена Петровна, и вдруг захотелось ей узнать, тут ли Дуня, или уж уехала.

Не надеясь на глухую и разоспавшуюся Степановну, быстро накинула она на себя шубейку и, выйдя с постоянного двора торопливым шагом, перебежала улицу по булыжной мостовой, покрытой сплошь черной, как смоль, липкой, невылазной грязью.

– Послушай, голубчик, – сказала она, подойдя к дворнику. – Это дом Сивкова?

– Поликарпа Андреича Сивкова – так точно, – хриплым голосом, сквозь зубы промычал дворник, не вставая со скамьи и поворачиваясь спиной к северу, откуда рвался студеной порывистый ветер.

– Послушай, голубчик, я проезжая, часу нет, как пристала на этом постоялом дворе, – начала Аграфена Петровна.

– Понимаем. Это нам можно понимать, – недовольным голосом промолвил дворник.

– Мне бы надо было знать о девушке, третьего дня никак приехавшей со священником, отцом Прохором, – проговорила Аграфена Петровна.

– Не наше дело, – сказал дворник и махнул рукой: убирайся, мол, подобру-поздорову.

– В окошках не видно свету, надо думать, что спать полегли, а то бы я прямо к Поликарпу Андреичу пошла, – сказала Аграфена Петровна. Дворник не дал ответа.

– Послушай, голубчик, – сказала Аграфена Петровна, вынимая зелененькую. – Праздники подходят, скоро будет мала пречиста (Рождество богородицы, 8-го сентября.). Возьми на этот праздник.

Дворник взял бумажку и, несмотря на дождь и на крепкий ветер, подошел к уличному фонарю, разглядел подаренье и, спрятав его, подошел к Аграфене Петровне.

– Много вам благодарны остаемся, – сказал он ей. Дай вам господи всякого благополучия и во всем доброго успеха. В чем же вам до меня надобность? С готовностью могу все для вашей чести. Конечно, люди мы, как изволите знать, маленькие, подчиненные, многого сделать не можем; а о чем спросите, ответ дадим с удовольствием.

– Скажи, пожалуйста, приезжая девица у вас еще иль уехала? – спросила Аграфена Петровна.

– Покамест у нас, – отвечал дворник. – А завтра под вечер либо послезавтра утром поедет она, куда ей надобно, с нашей Акулиной Егоровной, сродница хозяину-то будет. Погорела, слышь, ваша-то знакомая в деревне Перигорове на постоялом дворе. Много, сказывают, людей живьем там погорело, и пожитков, и лошадей, и всякого другого добра. Эти дни приезжая-то все искупала себе на дорогу. По всему видится, что она при больших достатках. А впрочем, дело не наше – верно сказать не могу. А гуторят по дому, в застольных, значит, и у нас на конюшнях. Я ведь, сударыня, у хозяина-то днем конюхом, а ночью на карауле стой. Таков уж распорядок. Хуже крепостных аль дворовых живем, даром что государевыми пишемся. Крепостные да дворовые изленились и стали в тягость барам, а все-таки ихняя жизнь не в пример нашей краснее. Купец ведь совсем тебя вывозжит.

– Скажи, любезный, – перерывая дворника, спросила Аграфена Петровна. Не в задних ли

комнатах приезжая девица? Может, она еще не спит, я бы прошла к ней, коли бы ты провел меня. Я бы за то тебя хорошо поблагодарила. Хочешь пятирублевую?

Жалобно дворник вздохнул. Очень хотелось ему получить благостыню, но сделать не мог ничего. Постоял молча, минуты с две раздумывая, нельзя ли как пробраться к приезжей, но ничего не придумал. Сказал он Аграфене Петровне:

– Теперь никак нельзя. Весь дом, пожалуй, перебулгачишь. Нет, уж вы лучше завтра утром пораньше приходите. Хозяева примут вас со всяким удовольствием – будьте в том несомненны. А поутру, как только проснется приезжая, я ей через комнатных девушек доведу, что вы ночью ее спрашивали, а сами пристали на постоялом дворе супротив нас. Может, и сама к вам прибежит. Как только сказать-то ей про вас?

Аграфена Петровна сказала свое имя, и дворник, удовлетворенный трехрублевою благостыней, на своих руках перенес вихоревскую тысячницу через заплывшую грязью улицу.

На другой день только что проснулась Аграфена Петровна и стала было одеваться, чтоб идти к Сивковым, распахнулись двери и вбежала Дуня. С плачем и рыданиями бросилась она в объятия давней любимой подруги, сердечного друга своего Груни. Несколько минут прошло, ни та, ни другая слова не могли промолвить. Только радостный плач раздавался по горенке.

Изумилась Дуня, увидевши, что такая домоседка, как Аграфена Петровна, покинув мужа, детей и хозяйство, приехала к ней в такие дальние, незнакомые места. Ее сердце почуяло что-то недоброе – она еще ничего не знала о смертной болезни Марка Данилыча и засыпала Груню расспросами.

Только что услышала Дуня о болезни отца, минуты две или три не могла слова сказать. Потом, закрывши лицо руками и громко зарыдав, без чувств упала на не прибранную еще постель Аграфены Петровны. Нескоро пришла в себя, нескоро собралась с силами.

– Тятенька, тятенька! – восклицала она. – Милый ты мой, дорогой, бесценный! И все это без меня, без меня!.. Куда теперь денусь, куда приклоню свою победную голову?

Сколько может, утешает ее Аграфена Петровна, но долго еще лились потоками горячие слезы из глаз безотрадной Дуни. Утишился, наконец, первый приступ страшного горя, перемогла себя Дуня и рассказала обо всем, что случилось с ней в Луповицах. С ужасом выслушала Аграфена Петровна рассказ ее.

– При чем же тут Марья Ивановна? – спросила, наконец, она, все еще сохраняя благодарную память о спасительнице своего ребенка. – Неужели и она такая?

– Ах, ничего ты не знаешь, моя сердечная... И того не знаешь, что за зверь такой эта Марья Ивановна. Все от нее случилось. Она и в ихнюю веру меня заманила!.. Она и к Денисову заманила!.. – вскрикнула Дуня, стыдливо закрыв руками разгоревшееся лицо. – Все она, все она... На всю жизнь нанесла мне горя и печали! Ох, если б ты знала, Груня, что за богопротивная вера у этих божьих людей, как они себя называют! Какие они божьи люди?.. Сатаны порожденья.

И, отвыкшая в продолжение долгого времени произносить имя злого духа, Дуня невольно содрогнулась, когда с чистых, девственных уст ее слетело имя отца нечестия и вечной злобы.

– Да что ж это за вера? – спросила Аграфена Петровна.

– Самая богомерзкая, – быстро ответила Дуня. – Это – лжеучители, лжепророки и лжехристы, про которых истинный Христос сказал, что явятся они в последние времена мира.

– Фармазонами, слышь, зовут их, – молвила Аграфена Петровна. – По нашим местам за Волгой таких нет, что-то не слышно, и ничего про них я не знаю, а слушая тебя, все-таки не возьму в толк, что это за вера. Знаю одно, что на днях в Фатьянке всех переселенных туда Марьей Ивановной из Симбирской губернии людей забрали и куда-то отвезли. Поэтому больше за тобой я сама и поехала. А то было и к Марье Ивановне и к тебе батюшка Патап Максимыч письма с эстафетой послал, прося, чтобы везли тебя скорее, успеть бы тебе увидеть родителя в живых и последнее благословение его получить. А только что пали слухи про фатьянковских, батюшка Патап Максимыч в какие-нибудь полчаса меня в дорогу снарядил. В чем же их вера? Нехорошая, должно быть, ежели за нее людей целыми деревнями забирают.

Дуня рассказала про хлыстовскую веру, не упоминая, конечно, ни про Сен-Мартена, ни про Гиона, ни про других мистических писателей. Она знала, что все это для Аграфены Петровны будет

темна вода во облацех небесных. Сказала, однако, Дуня, что Марья Ивановна сблизила ее со своей верой сперва книгами, потом разговорами.

В ужас пришла Аграфена Петровна, услышавши про радения и проречения, и больше слушать не захотела дальше, когда Дуня стала было рассказывать ей о схождениях самого господа Саваофа на гору Городину, а потом на гору Араратскую.

– Мерзость пред господом! – громко вскрикнула она, перервавши Дуню. – И слушать не хочу, и не говори ты об этом ни мне и никому другому. Подумать страшно, даже в помышлении держать. Великий грех и слушать это безумное вранье.

Облилась Дуня слезами при этих словах давнего, верного друга. Сознавала она правду в речах Груни и не могла ничего возразить. В глубокую думу погрузилась она и через несколько минут, надрываясь от горя, кинулась на постель Аграфены Петровны и, спрятав лицо в подушки, не своим как будто голосом стала отрывисто вскрикивать. Если б эти рыдания, эти сердечные вопли случились в сионской горнице, собор божьих людей возопил бы: «Накатил! накатил!» Хлыстовские душевные движенья оставались еще в Дуне.

Причитала она:

– Тятенька, тятенька! Золотой мой тятенька! До чего дошла твоя любимая дочка!.. Лежишь ты при смерти, а дочка твоя балованная всего натерпелась от злых людей в дальней сторонушке... Зачем ты послушал Марью Ивановну, зачем отпустил меня с ней? Весело было мне и радостно, как поехала с ней, и вот радость и веселье до какой беды дошло. Ох ты, тятенька, тятенька! Чует ли твое сердечушко, что случилось с любимой дочкой твоей? Живучи при тебе, золотой мой тятенька, никем не была я обижена, никем-то не была я огрублена, жила за тобой, как за стеной каменной, не посмел ветерок дохнуть на лицо мое белое, ниоткуда не чаяла я невзгодушки, а теперь вот до чего дошла!.. Хоть бы раз еще на тебя хоть глазком посмотреть!..

Принять бы у твоего смертного одра последнее родительское благословение!.. Знаю я, знаю, красно мое солнышко, в какой путь ты собираешься, куда идти снаряжаешься!.. Сама знаю, сама ведаю, по какой дорожке идти ты отправляешься – на заветное наше кладбище, ко своим милым родителям! Оставляешь меня, сироту бедную, покидаешь несчастную... На кого покидаешь ты победную мою головушку? Оставляешь свою доченьку горькой сиротой, безутешною... Подломились мои ноженьки, опустились руки белые, не радостен стал божий свет!

Больше и больше приходя в восторженность, Дуня приподнялась с подушки, села на постель и стала топтать ногами... Опустила руки на колени, глаза разгорелись у ней, лицо побагровело, и вся затряслась она; мелкие судороги забегали по лицу. Вне себя стала.

– Накатил, накатил! – начала она вскрикивать, еще не вполне очистивши себя от хлыстовского нечестия. – Слушайте волю, слушайте волю!.. Близится финал ярости, близится миру конец... Конец, конец!.. Разрушень!..

Хлебнула Аграфена Петровна холодной воды и неожиданно sprysнула Дуню. Восторженность прекратилась, но корчи тела и судороги на лице усилились еще больше. Аграфена Петровна, придерживаясь старорусского врачевания, покрыла лицо Дуни большим платком. Не прошло и четверти часа, как она очнулась и, слабая, изнеможенная, приподнявшись с постели, спросила Аграфену Петровну:

– Что со мной, Груня?

– Сама не знаю, – отвечала Аграфена Петровна. – По Марке Данилыче причитала, а потом, ровно не в своем уме, бог знает, что говорила, какое-то несообразное – я понять не могла. На-ка выкушай, это облегчит.

И подала Дуне стакан холодной воды. Та с жадностью выпила и пришла в себя.

Когда Дуня успокоилась, она пошла с Аграфеной Петровной к Сивковым. Там с сердечным радушием приняли вихоревскую тысячницу.

Покупки были сделаны, и приятельницы на другой же день поехали домой. Узнав о тяжелой болезни Марка Данилыча, Сивковы не настаивали, чтобы Дуня, как следует по старым обычаям, осталась на сколько-нибудь погостить у них.

Патап Максимыч держал дом умиравшего приятеля в крепких руках, но незнание дел по прядильным и лесной пристани затрудняло его при распорядках. Поверив счеты приехавшего с Унжи Корнея Евстигнеева, он открыл воровство на большую руку и, несмотря на ругательства и даже угрозы Прожженного, при помощи городничего отобрал от него доверенность и прогнал со двора долой. То же постигло и Василия Фадеева. Тогда в доме водворился порядок – работные люди, и годовые и временные, были чрезвычайно довольны распорядками Патапа Максимыча, избавившего их от ненавистных приказчиков.

Они стали усердны к работам и в скором времени должны были покончить их. Но вот беда – в октябре Патапу Максимычу надо непременно заняться своей горящиной, а потому долго оставаться у Смолокурова было ему нельзя. Хоть бы приказчиков до того времени приискать почестнее да поделнее и сдать бы все дело им на руки. Марку Данилычу долго не прожить, это замечал Чапурин, а лекарь говорил, что в таком жалком состоянии хоть и долго продышит, но до смерти останется немым, бесчувственным и безо всякого движенья. Дочь – девица молодая, ни к чему не приучена, да, кажется, и не таковская, чтобы к делам привыкать, рассуждал Патап Максимыч, нужно ей человека два верных людей.

И тут пришел ему на мысли шурин Никифор Захарыч. После Настиной смерти он совсем остепенился и стал другим человеком, добрым, хорошим, сметливым и добросовестным, капли вина в рот не брал, и Патап Максимыч не раз убедился, что какое дело Никифору ни поручи, исполнит его как можно лучше. Вот уж больше года, как стал он нравом тих и спокоен – не то чтоб буяннить да драться, как прежде бывало, теперь он удалялся от всякого шума, и, когда жил у Патапа Максимыча в Осиповке, только у него и выхода было с двора, что на могилку Насти. Будь проливной дождь, будь трескучий мороз, ему все нипочем. Несколько раз посылал его Патап Максимыч по своим делам в дальние места, и Никифор Захарыч так исполнял их, как не всякому удастся. Парень-от был он смысленый и умелый, зелено вино только губило его столько времени. Его-то и решил Чапурин пристроить на время к смолокуровским делам. Но другого приказчика где сыскать?

Уныло глядел дом Марка Данилыча, когда подъезжали к нему изусталые в дороге Дуня и Аграфена Петровна.

Перед домом во всю улицу лежали снопы соломы, дня через три либо через четыре накладываемые по приказанию городничего, все окна в доме были закрыты наглухо, а вокруг него и на дворе тишина стояла невозмутимая, не то что прежде, когда день-деньской, бывало, стоном стоят голоса, то веселые, то пьяные и разгульные. Ровно вымерло все. На крыльце встретили приехавших Патап Максимыч, возвращавшийся с прядилен, и Дарья Сергевна, завидевшая кибитку из окошка своей горенки.

– Что тятенька? – не выходя еще из кибитки, вскрикнула Дуня.

– То же все, – сухо и мрачно отвечал, глядя в сторону, Патап Максимыч.

– Не знаю, как и благодарить вас, Патап Максимыч. До смерти не забуду ваших благодеяний. Бог воздаст вам за ваше добро, – сказала Дуня, подходя к Чапурину и ловя его руку, чтобы, как дочери, поцеловать ее.

– Что это вы, что это, Авдотья Марковна? – не давая руки, вскрикнул Патап Максимыч. – Ведь я не поп, чтоб вам руки у меня целовать. Лучше вот так, попросту, по старине. При моих годах это вам незасорно.

И обнял Дуню и трижды поцеловал ее со щеки на щеку. Вся зарделась она, хоть и немного еще прошло времени с тех пор, как знакомым и незнакомым мужчинам без малейшего зазрения стыда и совести усердно раздавала она серафимские лобзания.

– Здравствуйте, моя милая, здравствуйте, моя сердечная, – обратилась Дуня к Дарье Сергевне и в слезах поцеловалась с нею. Дарья Сергевна зарыдала, склонившись лицом на плечо Дуни. Но что-то недовольное таилось в душе ее с тех пор, как ее воспитанница поддалась влиянию ненавистой Марьи Ивановны.

– К тятеньке, скорей к тятеньке, – надорванным голосом вскрикнула Дуня и, несмотря на

усталость, стремглав бросилась вверх по лестнице.

Навстречу ей лекарь. Как давнишний житель городка, он знал ее.

– Вот какая у вас беда стряслась, да еще без вашей бытности! – сказал он. – Батюшка ваш все в одном положении с того дня, как это с ним приключилось. Голова, по-моему, лучше, начал понемножку людей узнавать, говорит даже изредка, но нетвердо, невнятно, трудно понять. Наперед скажу – может он прожить год, пожалуй и больше, но не поправится никогда и не встанет с постели, до самой смерти останется без языка, без движения и даже почти без сознания. Ужасный удар, редко такой бывает, мне во всю мою многолетнюю практику еще не случалось такого видеть. Каждый день бываю я у вашего батюшки, но, уверяю вас, Авдотья Марковна, созовите вы хоть всех самых ученых и самых опытных врачей, и те его здоровья не восстановят.

– Благодарю вас за ваши попечения о бедном тятеньке, очень благодарю, ото всей души благодарю, но, извините, я спешу к нему. Завтра, если будете у нас, я с вами побольше поговорю, – сказала Дуня.

– Могу и сегодня приехать, ежели угодно вам будет, ответил лекарь. – А теперь попрошу я вас немножко обождать видаться с батюшкой. С четверть часа или минут с двадцать подождите. Надо его приготовить к свиданью, потому что в этой болезни каждый душевный порыв, от радости ли, от несчастья ли, сильно может повредить больному, может даже убить его. Я пойду и предупрежу его... А он вас ждет, сегодня, хоть и очень невнятно, сказал он: «Дуня». А когда я сказал, что вы еще не приехали, он долго метал в тоске здоровой рукой, а потом и глаза закрыл. Опасаюсь, чтоб ваше внезапное появление не было во вред ему. Нет, уж позвольте, я лучше предупрежу его.

Пошел лекарь к Марку Данилычу, а Дуня в бессилии опустилась в кресло и не внимала словам Патапа Максимыча, Дарьи Сергеевны и Аграфены Петровны.

Прошло с четверть часа, лекарь вышел от больного и сказал Дуне:

– Пожалуйста. Наш больной приезду вашему обрадовался, ждет вас... Только одни ступайте к нему и пробудьте не больше десяти минут; я, впрочем, за вами сам приду... Слез вам удержать нельзя, но скрепите себя, сколько возможно. Ни рыданий, ни вскриков, ни других порывов. Помните слова мои.

Неслышными стопами вошла Дуня в комнату, где отец лежал на страдальческом ложе. Не слышал он, как вошла Дуня, и все еще оставался с закрытыми глазами. Она безмолвно опустилась на колени и в тихих слезах склонилась головкой к подушке.

Так прошло минуты две. Слышно только было тяжелое, порывистое дыхание Марка Данилыча. Наконец, открыл он глаза и, увидя возле себя дочь, чуть слышно и едва понятно сказал:

– Дуня!

И потекли из глаз его обильные слезы. Застонал он, но в стоне слышалась радость.

Дуня припала к здоровой руке отца и целовала ее, обливая слезами. Марко Данилыч хотел улыбнуться, но на перекошенном лице улыбка вышла какою-то странною, даже страшною.

Высвободя здоровую руку и грустным тоскливым взором глядя на дочь, Марко Данилыч показывал ей на искривленное лицо, на язык и на отнявшуюся половину тела. С большим трудом диким голосом сказал он:

– Н-нет.

– Успокойся, тятенька, бог милостив, оправишься, – дрожащим от сдерживаемых рыданий голосом промолвила Дуня. – Я сейчас говорила с лекарем, он надеется, что тебе скоро облегчение будет.

– Н-нет, – с усилием сказал Марко Данилыч. И, указывая на стоявший возле постели железный сундук, с чрезвычайным напряжением остававшихся сил, глухо промычал:

– Ты... т... тебе.

В это время вошел лекарь. Обращаясь к больному, сказал он:

– Ну, вот и с дочкой увиделись. Теперь надо успокоиться, не то, пожалуй, утомитесь, и тогда вам хуже будет. Заснуть извольте-ка. А вы, Авдотья Марковна, со мной пожалуйста. Сосните хорошенько, Марко Данилыч, успокойтесь. Дочка приехала в добром здоровье, теперь нет вам ни тревоги, ни заботы из-за нее. Будьте спокойнее духом – это зам полезно. Прощайте, до свиданья.

Завтра навещу; смотрите же, будьте у меня молодцом.

Лекарь с Дуней вышел из комнаты больного, и Марко Данилыч тотчас же сомкнул глаза и вскоре заснул крепким сном.

По уходе лекаря все сели вокруг чайного стола. Немножко успокоенная, но еще вполне не понимавшая опасности, в какой был отец, грустная, печальная, Дуня рассказала о своем с ним свиданье. Дошла речь и до сундука.

– Он много раз на него мне указывал, – возьми, Патап Максимыч, – однако ж я без законной наследницы, без вас то есть, Авдотья Марковна, на это не отважился. Злых людей на свете не перечесть – мало ль чего наплести могут. Пожалуй, скажут, что я тут попользовался. Полицию да подъячих призывать не хотелось бы. Поэтому и поджидал я вас, Авдотья Марковна, чтобы вскрыть сундук на ваших глазах. Там, говорят, у вашего батюшки и деньги и векселя положены. Надо все привести в известность. Завтра, а не то послезавтра покончим это.

– Что ж? Я готова, потому что знаю теперь волю тятенькину, – ответила Дуня.

– И прекрасно, – молвил Патап Максимыч. – Так мы завтра же вскрыем.

– Как вам угодно, а я всегда готова, – ответила Дуня. – Только уж сделайте милость, устройте, сколько можно, наши дела. Ведь я ничего в них не понимаю и сделать ничего не умею. А кроме вас, у меня нет никого, кто бы помог.

– Будьте спокойны, что могу, то сделаю, – сказал Патап Максимыч. – А теперь вот о чем хочу спросить я вас: от слова не сделается, а все-таки... сами вы видели Марка Данилыча... Вон и лекарь говорит и по всем замечаниям выходит, что не жилец он на свете. Надо бы вам хорошенько подумать, как делами распорядиться.

– Ах, что вы говорите, Патап Максимыч! – вскрикнула Дуня. – Бог милостив, тятенька встанет, будет совсем здоров. Зачем же прежде времени об этом говорить? И горько заплакала.

– Конечно, у бога милостей много, – сказал Патап Максимыч, – и во власти его чудеса творить. Но мы по-человечески рассуждаем. Наперед надо все обдумать и к новой жизни приготовиться.

Дуня молчала. Аграфена Петровна сказала Патапу Максимычу:

– Не видишь разве, тятенька, что Дуня ничего не может теперь придумать... Лучше эти разговоры отложить до другого времени.

– Откладывать нельзя, – сказал Патап Максимыч. – Долго мне здесь гостить невозможно – свои дела есть. Наезжать когда дня на два, когда на три могу, но подолгу проживать мне нельзя. Поэтому надо теперь же решить, как вести дела Авдотье Марковне. Продолжать их, как было при Марке Данилыче, нельзя – нужны люди, а где их возьмешь? На улице не сыщешь, на базаре не купишь. Надо людей верных и знающих, как дело вести. Ежели и при Марке Данилыче Корней с Фадеевым все по сторонам тащили да рабочих обирали, что же будет, как Авдотья Марковна сама в дела вступит, – облупят ее, ровно липочку. Поэтому и думал бы я так распорядиться – к Покрову, а может, и раньше, все работы будут кончены; отпустивши работных людей, надо будет счета очистить.

Долги окажутся, расплатиться, с должников деньги получить, рыбные промыслы на Низу и лесные дачи на Унже продать, а не то отдать в кортому – охотники найдутся. А сделавши все это, жить на капитал, положивши его в ломбард, не то держать в сериях. Чтобы устроить все это, я бы пожил здесь до Покрова, а пожалуй, немножко и подольше. Что вы на это скажете, Авдотья Марковна?

– Не знаю, что и сказать вам, Патап Максимыч, – утопая в слезах, ответила Дуня. – Ничего я не знаю, ничего не понимаю. Делайте как угодно, как вам господь бог на мысли положит.

– Хорошо-с. Постараемся услужить, – молвил Патап Максимыч. – Теперь люди нужнее всего: Корней да Василья Фадеева я рассчитал: минуты невозможно было терпеть – отъявленные мошенники! Понять не могу, как столько времени терпел их Марко Данилыч! Одного человека я нашел, сегодня ж к нему напишу, и дён этак через пяток либо через неделю он будет здесь. А другого надо приискивать, а этого скоро не сделаешь. Я, Груня, полагаю Никифора сюда прислать. Аграфена Петровна в недоуменье покачала головой.

– Что головой-то мотаешь, – досадливо сказал Патап Максимыч. – Разве не знаешь, что те-

перь он совсем не тот, каким прежде был?.. Отвечаю за него, как за самого себя, – вот тебе и весь мой сказ. Не беспокойтесь, Авдотья Марковна, останетесь довольны. Он у вас был бы при доме, и на Унжу его можно бы было послать приискивать лесных покупателей.

Вечером Дуня легла в своей комнате, там же приготовили постель и Аграфене Петровне. Хотя обе были утомлены от дороги, но сон ни к той, ни к другой что-то не приходил.

– Что лекарь-то вечером сказал тебе? – спросила Аграфена Петровна у Дуни.

– Что сказал! Нехорошо он сказал, – отвечала Дуня... – сначала, как и Патап Максимыч, советовал дела устроить, а потом сказал, что надо мне быть на все готовой, что тятеньке недолго жить. И зарыдала.

– А что еще говорил? – спросила Аграфена Петровна, когда Дуня успокоилась.

– Что еще говорил! Не в свое дело мешаться вздумал... Глупости! – воскликнула с досадой Дуня.

– Да что такое? Что он сказал? – настоятельно спрашивала Аграфена Петровна.

– Говорил, что, ежели не станет тятеньки, – трудное для меня будет время. Замуж выходить скорей советовал, – немного смущаясь, ответила Дуня.

– А что ж? Ведь он правду сказал, – молвила Аграфена Петровна. – В самом деле, надо об этом подумать. Аль луповицкие бредни у тебя все еще в голове?

– И думать о них забыла, – сказала Дуня. – Но зря за первого встречного замуж не пойдешь.

– Конечно, – согласилась Аграфена Петровна. – Не на улице искать суженого. А все-таки ищи, да не будь чересчур спесива да разборчива. В самом деле, надо тебе об этом хорошенько подумать... Есть ли кто на примете?

– Нет, – робко и чуть слышно промолвила Дуня, и румянец вдруг покрыл лицо ее.

– А что было да прошло, про то совсем, видно, позабыла? – с хитрой улыбкой спросила Аграфена Петровна.

– К чему вспоминать?.. – со вздохом промолвила Дуня. – Про меня ведь и думать забыли.

– А если нет? – возразила Аграфена Петровна.

– Груня, богом тебя прошу, не поминай! – вскрикнула Дуня. – Что тебе за охота?

– Выслушай меня, – прервала ее Аграфена Петровна. – Точно, в прошлом году с ярманки уехал он за Волгу, и то правда, что поехал он в Комаровский скит к Фленушке. Дошли до него тогда слухи, что она закурила, к водочке пристрастилась, так хотел ее уговорить, перестала бы пить, если не хочет вконец погубить себя. Прожил он в Комарове меньше недели. Ни у матери Манефы, ни у матери Таисеи не останавливался, а с Фленушкой виделся всего только раз. И на другой день после ихнего свидания она приняла постриг. Матушка Манефа при всей обители благословила ее быть на игуменстве, и теперь все у нее в руках, а матушка на покое живет и редко входит в обительские дела...

Только что постриглась Фленушка, Петр Степаныч уехал в Казань – дело там у него с дядей было насчет капитала, и он в Казани что-то очень долго прожил. Получил, что ему следовало, а получивши, за Волгу к нам приезжал, до тятеньки Патапа Максимыча в те поры у него было какое-то дело. Жил у него в Осиповке, оттуда и к нам в Вихорево приезжал, с неделю, коли не больше, прогостил у нас. По старой памяти заезжал и в Комаров и опять-таки ни в коей обители не пристал, а где-то у сирот. Приходил и в обитель, однако Фленушка с ним и в разговор не вступила, сказала, слышь, слова два, да тем и кончила.

– Да к чему это ты, Груня, мне все рассказываешь? – сказала Дуня. Ездил он в Комаров, не ездил, – мне-то какое дело? И какое еще время нашла говорить об этом!

– Какое время? – спросила Аграфена Петровна.

– Как какое? – возразила Дуня. – Тятенька при смерти, а она со своими рассказами про Самковасова. И на память-то ему, думаю, никогда я не приходила.

– То-то и есть, что с ума никогда не сходишь... Боится только он тебя. Страшно ему на глаза к тебе показаться, совестно, значит, – сказала Аграфена Петровна. – Ты-то вспоминала ль о нем хоть изредка? Водилась с этой Марьей Ивановной, наслушалась фармазонских бредней и несбыточных затей, убедили тебя, что законные браки богу не угодны, а угодны только духовные, на какие покушался приезжий с Аларата – как бишь его, Денисов, что ли... От их внушений против-

ным казался тебе человек, что готов за тебя хоть сейчас и в огонь и в воду идти... Так, что ли? А он-то, сердечный, гостивши в Вихореве, так тосковал и убивался, вспоминая тебя... Скажи по душе, сущую правду скажи, хоть разок приходил ли он тебе на разум?

– Да... приходил... в последнее время... – чуть слышно промолвила Дуня.

– Скажи, не утай, что было тогда у тебя на душе? – спросила Аграфена Петровна, вставши с постели и и подсев к лежавшей Дуне.

– Вспоминала я про него, – почти вовсе неслышным голосом ответила Дуня крепко обнимавшей ее Аграфене Петровне. – В прошлом году во все время, что, помнишь, с нами в одной гостинице жил, он ни слова не вымолвил, и я тоже... Ты знаешь. И вдруг уехал к Фленушке. Чего ни вытерпела, чего ни перенесла я в ту пору... Но и тебе даже ни слова о том не промолвила, а с кем же с другим было мне говорить... Растерзалась тогда вся душа моя.

И, рыдая, опустила в объятия подруги. Утишились рыдания, и Дуня продолжала исповедь:

– Хотела его совсем позабыть, как будто никогда его и не видывала. Противен он стал мне, возненавидела я его всей душой... Злоба во мне разгоралась... Без содроганья, кажется, я убила бы его... Начались со мной припадочки, особенно по ночам. Никто не замечал их, никто не знал про них, никому я не говорила, даже тебе ни слова не сказала... А сердце кипело огнем...

В Оку думала броситься, зарезать себя думала... Тут появилась Марья Ивановна. Доброй такой она мне показалась, задушевной, участливой... Не уезжай он перед тем, не наругайся надо мной, не бывать бы мне близкой с Марьей Ивановной!.. А может быть, он и не виноват, может, не заметил моей склонности, думал о другой – не знаю, ничего не знаю... Такова уж судьба моя!.. Ну, указала мне Марья Ивановна на книги, и стала я за ними проводить и дни и ночи... Подготавливала она меня, а весной совсем с пути сбила... Ввела меня в корабль, и я не только его, – тятеньку даже забыла, Дарью Сергеевну, всех, всех... А как теперь, со слов отца Прохора, поняла, не я была нужна им, а тятенькин капитал...

Мы, дескать, ее опозорим, ей не за кого будет замуж идти, поневоле у нас останется, и рано ли, поздно ли, достатки ее будут у нас в руках... Дуня замолчала.

– Ты, Дунюшка, обо всем об этом еще дорогой мне рассказывала. Об нем-то почему же не скажешь ничего? – сказала Аграфена Петровна. – Думала ль хоть когда-нибудь о нем? Вспоминала ли?

– Да, с той поры, как стала сомневаться в правоте той веры, – тихо промолвила Дуня. – И тут стал чудиться мне его голос, нежный такой и жалобный, а после и сам всем обличем начал мерещиться мне. Стоит, бывало, ровно живой...

– Что ж, пугалась ты? – спросила Аграфена Петровна.

– Нет, каждый раз, бывало, как увижу его, радостно и весело станет на душе, – отвечала Дуня. – А потом вдруг нахлынет тоска со всего света вольного, и заносит сердце, кровью обливаясь. И каждый раз после того долго бывала я как сама не в себе. На уме мутится, мысли путаются.

– А теперь что? – спросила Аграфена Петровна.

– Как убежала, больше он не казался, и голоса не стало слышно, отвечала Дуня. – Зато тоски вдвое прибыло. Как вспомню про него да подумаю, так и захочется хоть минутку посмотреть на него.

– Может, и увидишь, – улыбаясь, сказала Аграфена Петровна. – Теперь он ведь в здешних местах, был на ярманке, и мы с ним видались чуть не каждый день. Только у него и разговоров, что про тебя, и в Вихореве тоже. Просто сказать, сохнет по тебе, ни на миг не выходишь ты из его дум. Страшными клятвами теперь клянёт он себя, что уехал за Волгу, не простившись с тобой. «Этим, говорит, я всю жизнь свою загубил, сам себя счастья лишил». Плачет даже, сердечный.

– Ну, уж и плачет? – с недоверьем и с тем вместе с довольной улыбкой промолвила Дуня.

– Сколько раз у меня в каморке на ярманке плакивал, – сказала Аграфена Петровна. – А, бывало, молвишь ему, что он тебе по мыслям пришелся, вздохнет, бывало, таково глубоко, да и скажет тоскливо: «Как посмею я к ней на глаза показаться? Моя доля, говорит, помереть с тоски. Порешу, руки наложу на себя – уж лучше один конец, чем всю жизнь в тоске да в печалях изжить». Вот его речи... Однако заговорились мы с тобой, скоро уж полночь. Давай-ка спать, – прибавила

Аграфена Петровна, уходя на свою постель. Покойной мочи, приятного сна! Желаю во сне его увидеть.

Легли и замолчали. Но не успели заснуть, как в доме послышались беготня и громкие клики.

Кто-то из женщин тихонько отворил дверь в Дунину спальню.

– Авдотья Марковна, и вы, матушка Аграфена Петровна, – осторожным шепотом сказала вошедшая женщина. – Пожалуйста! Марку Данилычу что-то неладно.

Мигом и Дуня и Груня набросили на себя попавшиеся под руку платья и побежали к больному. Они услышали в прихожей необычайный шум: кто-то хриплым голосом бранился, а Патап Максимыч громко приказывал.

– Сейчас в полицию его, разбойника, да руки-то хорошенько скрутите. А ты беги скорей за лекарем, спит, так разбудили бы.

Когда Дуня вбежала к отцу, он лежал недвижим.

Помутившиеся глаза тоже были недвижны, здоровая до тех пор рука омертвела. С громким воплем ринулась к нему растерявшаяся Дуня и обхватила его обеими руками. Марко Данилыч уж холодел, и только легкий хрип в горле еще показывал, что последний остаток жизни сохранялся еще в нем. Мало-помалу и хрип затих.

Пришел лекарь, пощупал пульс, пощупал сердце – и, отойдя от постели, сказал:

– Кончено!

Дуню без чувств вынесли из комнаты.

Патап Максимыч вынул из-под подушки ключи от денежного сундука, отнес их к Дуне, но она была без памяти. Он передал их Аграфене Петровне.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вечером в день приезда Дуни, когда все разошлись по местам, комнатная прислуга пошла в кухню ужинать. Разбитной Матрене с начала болезни Марка Данилыча было велено ложиться у дверей его спальни, и она исправно исполняла этот приказ, но теперь не утерпела и тоже в кухню пошла побалаясничать с глухой Степановной, порасспросить ее про чужую сторону и «про людей неведомых». Пошла, да и заболталась, а наружные двери хозяйских покоев остались незапертыми. Заболталась Матрена со Степановной, и прочие все засиделись на кухне, слушая рассказы ездившей в такую даль старушки.

Окна кухни выходили на улицу. Заслушавшиеся рассказней Степановны не заметили, что кто-то, подойдя к окну, долго рассматривал каждого из сидевших и, кажется, считал их. Потом, подойдя к воротам, перелез через забор и отпер калитку. Собаки залаяли было на него, но он поманил их к себе, приласкал, и псы, узнав своего человека, разбежались по конурам.

Осторожно взобрался он на крыльцо, поднялся в верхний ярус дома и вошел в хозяйские комнаты, зная, что там все спят, потому что нигде, кроме комнаты больного, огня не горело.

Знакомым ходом прошел он к Марко Данилычу. Тот спал, но пришлый смело подошел к нему, взял за здоровую руку и сказал вполголоса:

– Проснись, хозяин, пробудись, ваше степенство, Корней Евстигнеевич проститься пришел с твоей милостью.

Открыл Марко Данилыч глаза и, увидав перед собой Прожженного, хотел было вскрикнуть, но вместо крика вырвалось из уст его лишь слабое мычанье.

Заволжский друг-приятель твой с места меня согнал, – продолжал Корней. Рассчитал и меня и Василья Фадеича как следует, ни копеечки против расчетных книжек не удержал. В этом ему надо чести приписать. Да чуешь ли ты, что я говорю тебе?

Марко Данилыч опять промычал неведомо что.

– Знаю, что кондрашка тебя прихватил, еще на Унже пали мне о том вести, – говорил меж тем Корней Прожженный. – Что, язык-от не двигается?.. Ну, да ничего – ты молчи, ваше степенство, а говорить я стану с тобой. Было время – быком ревел, на нашего даже брата медведем рычал, а теперь, видно, что у слепого кутенка, не стало ни гласа, ни послушания.

Марко Данилыч только храпел, глядя на присевшего к нему на кровать Корнея, о чем тот

прежде и подумать бы не посмел.

– Я, ваше степенство, теперича за другим расчетом к тебе пришел, продолжал Корней Евстигнеев. – Лучше меня самого знаешь дела мои. Дела, за какие в Сибирь на каторгу ссылают... Кто велел мне орошинского приказчика Ефима Волчанина избыть? Письмо-то вашей шей милости у меня цело... Утопил я Волчанина, сделал а акурат, а особого награждения не получил. Забыл, видно? А как на Низу поддельные документы мы с тобой сбывали – и это, видно, забыл? А как обобрали сытнинскую купчиху Молодцову – тоже запомнил? А как до смерти угорело у тебя двое молодцов, чтоб только расстаться тебе с ними и чтоб они дел твоих на суде не показали? Печи-то ведь я по твоему приказу топил. Пропадать так пропадать, зато уж и ты, ежели выздоровеешь, пропадешь... Понял дело? Двести тысяч подавай!

Собравшись с последними силами, Марко Данилыч испустил было крик, но так тихо, так беззвучно, что никто и не слышал его. Беспомощным лежал грозный некогда Смолокуров перед Корнеем. Что думал он в то время, один бог его знает, но злобно глядел он померкающими глазами на нахала приказчика.

– Сегодня принцесса твоя воротилась, значит, завтра, а не то послезавтра она с заволжским твоим приятелем вскроют сундук-от, тогда мне полушки не получить. Так разочтемся же теперь. Двести тысяч подавай, не то сам возьму... Давай ключи-то! Не может ни слова сказать Марко Данилыч.

– А не то так, пожалуй, мы и принцессу твою к уголовщине прицепим, продолжал Корней. – Из Фатьянки-то всех фармазонов забрали, ищут и тамошнюю барыню Алымову. Не сегодня, так завтра и она будет за железной решеткой сидеть. А ведь всем известно, что твоя дочка с ней уехала – шабаш, что ли, ихний справлять, аль другое что. Верно говорю. Сгниет твоя принцесса в остроге, и сундук ей впрок не пойдет... Все на суде расскажу. Давай же делиться. Где ключи-то? Под подушкой, что ли? И полез рукой под подушку умиравшего. Напрягши какие оставались силы, Марко Данилыч поднял было здоровую руку, но она упала и осталась неподвижной.

Отведенная Патапу Максимычу комната была рядом со спальней Марка Данилыча. Заволжский тысячник, проснувшись, услышал говор. Голос мужской. "Кому бы это быть? – подумал Чапурин и, накинут халат, босой вошел к больному и увидел Прожженного, запустившего руку под подушку.

Оторопел Корней. Хоть был он и моложе и гораздо сильней Чапурина, хоть после и нашли при нем стальной сахарный топорик, однако он остолбенел и стал у кровати как вкопанный.

Чапурин открыл окно и зычным голосом крикнул караульщику, чтоб скорей бежал к нему, а по пути кликнул людей из кухни. Корней улучил время, когда Патап Максимыч подошел к окну, и хотел было наутек, но Дарья Сергевна, услышав шум и увидев выходящего из спальни Корнея, смекнула, что творится недоброе, и в чем была, в том и побежала за людьми в кухню. Но там уж всполошились по крику караульщика. Домашние терпеть не могли Корнея и, узнав, что он забрался в спальню к Марку Данилычу и сделал что-то неладное, бросились наверх. Там в передней шла уж борьба у Корнея с Чапуриным и подоспевшим караульщиком. Кто-то из прислуги сбежал в работные избы и поднял на ноги всех рабочих. Они ненавидели Прожженного и, не одеваясь, в одних рубахах, толпой человек в семьдесят кинулись к дому. Корнею, крепко оборонявшемуся от Патапа Максимыча и караульщика, теперь пришлось сдаться. Тут нашли у него топорик и много дивились, как это он не пустил его в ход, оставаясь несколько времени один на один с Чапуриным.

Рабочие были уверены, что тут и Василья Фадеева дело, что он где-нибудь спрятался в доме. Все мышинные норки обыскали, но Фадеева не нашли.

Рано утром городничий со стряпчим приехали в дом Смолокурова. Марко Данилыч уж на столе лежал, покрытый простынею. С Дуней беспрестанно делались нервные припадки, однако лекарь сказал, что большой опасности для нее нет, но необходимо, чтоб она, сколько возможно, оставалась в покое. Дарья Сергевна, Аграфена Петровна, глухая Степановна, разбитная Матрена и прочая женская прислуга были безотлучно при Дуне. Городничего со стряпчим встретил Патап Максимыч.

– Что такое случилось? – спросил городничий, звавший уж Чапурина. Заволжский тысячник не раз бывал у него по смолокуровским делам.

– Да вот, ваше высокоблагородие, разбоем ночью прорвался Корней Евстигнеев, – отвечал Патап Максимыч. – Ограбить вздумал умершего.

– Однако ж не ограбил? – сказал городничий.

– Ограбить не успел, а больного добил до конца. Поглядите – лежит, молвил Патап Максимыч.

– Как же это случилось? – спросил стряпчий. Патап Максимыч подробно рассказал обо всем, что знал.

– Улик недостаточно, – вполголоса заметил стряпчий городничему, исподлбья поглядывая на Чапурина.

– Это мы разберем, – отвечал городничий. – Это уж наше дело. Надо вам подать объявление, – прибавил он, обращаясь к Патапу Максимычу.

– Слушаю, ваше высокоблагородие, – сказал Чапурин. – Тут в том главное дело, что уеду я скоро, покойникова дочка останется одна только с женским полом. Мало ль от таких людей что может приключиться.

– В обиду не дадим. Это уж наше дело, – ответил городничий. – Когда хоронить?

– А вот как управимся, – молвил Патап Максимыч. – Держать не будем.

– Попа, чать, своего привезете? – с усмешкой спросил городничий.

– Какие, ваше высокоблагородие, у нас попы по нынешним временам!.. Сами изволите знать. На всю-то Россию, может, двое либо трое осталось, сказал Чапурин. – Кто-нибудь из домашних прочитает молитву над покойником, и дело с концом.

– То-то, смотрите. У меня на этот счет строго.

Высшее начальство обратило внимание на вашего брата. А то и в самом деле очень много уж воли вы забрали, – проговорил, нахмурясь, городничий. Так подайте объявление, а в день похорон я побываю у вас вот с господином стряпчим да еще, может быть, кое с кем из чиновных. А что дочь покойника?

– Лежит, больше все в забытьи, – молвил Патап Максимыч.

– Понятно. До кого не доведись, – сказал городничий. – Ну, покамест до свиданья, прощайте, – прибавил он и из дома пошел со стряпчим.

Патап Максимыч до самых ворот проводил незваных гостей.

Меж тем похоронным делом спешили. Хотелось Патапу Максимычу на третий же день опустить в землю приятеля, чтоб он живым «фрук не вязал», но вышло затрудненье, некому было чин погребения справить, некому над покойником последнюю молитву прочесть. Беглых попов ближе Москвы нет, да рогожский поп и не поедет в такую даль. За Волгу в скиты послать за канонницей некогда – она не поспеет ко времени; наставник спасова согласия, что проживал в городе, сам на смертном одре лежал. Как быть, как извернуться? Нельзя ж такого богача, как Марко Данилыч, просто в землю зарыть. Не зная ни города, ни его окрестностей, Патап Максимыч спросил Дарью Сергевну, кому бы отправить чин погребения.

Не придумала вдруг Дарья Сергевна, на кого указать. Приходилось либо ей самой «читать погребение», либо просить Аграфену Петровну взять на себя такой труд. Она грамотная, в скитах обучалась, пригляделась там к порядкам и не откажется в останний раз послужить Марку Данилычу и тем хоть сколько-нибудь утешить совсем убитую Дуню.

– Разве вот кого попросить, – сказала, наконец, Дарья Сергевна. – Живет недалеко отсюда, всего четыре версты, да и тех, пожалуй, не будет, человек книжный и постоянный. Старинщик он, старыми книгами торгует да иконы меняет. Только вот беда, не уехал ли куда. То и дело в отлучках бывает.

– Кто такой? – спросил Патап Максимыч.

– Чубалов, Герасим Силыч, – ответила Дарья Сергевна. – В деревне Сосновке он живет. Прежде частенько бывал у Марка Данилыча, и обеживал, и ночевывал, а иной раз и по два и по три дня у него гостил. Да вот уж с год, как ни разу не бывал. Болтал Василий Фадеев, что какие-то у него расчеты были с покойником, и Герасим Силыч остался им недоволен. А другое дело, может, все это и вздор. Ведь Фадеев что ни слово, то совет.

– Не поедет, пожалуй, – сказал Патап Максимыч.

– Человек он добрый и по всему хороший, опять же нарочито благочестивый, – ответила Дарья Сергевна. – Ежели только не в отлучке, непременно придет. А ежели отъехал, можно племянника его позвать, Ивана Абрамыча. Парень хоша и молодой, а вокруг дяди во всем божественном шибко наторел. А оно и пристойней бы и лучше бы было, ежели бы чин погребения мужчины исправил. Женщине ведь это можно разве при крайней нужде.

– Так посылайте к нему. Записочку, что ли, напишите, – сказал Патап Максимыч. – А насчет расчетов я сам спрошу у него по совести, сколько считает он за покойным, и заплачу с процентами. Авдотья Марковна, конечно, против того не будет... А плачеи у вас в заведении, вопленицы по-нашему, по-лесному?

– Как же, бывают, без них что за погребение, – сказала Дарья Сергевна.

Позвать надо, – молвил Чапурин.

– Сами придут, столько наберется, что сквозь их и не протолкаешься, отвечала Дарья Сергевна. – То же воронье – как прослышат покойника, особливо достаточного, стаями налетят.

– А домовину кому нести? – продолжал расспросы Патап Максимыч.

– А работники-то на что? – сказала Дарья Сергевна. – Они со всяким удовольствием. Конечно, надо будет их похоронным обедом угостить, вином обнести, ну и по рукам по сколько-нибудь на помин души раздать.

– Кроме того, надо вам, Дарья Сергеевна, озаботиться, чтоб в день похорон изготовлен был самолучший обед, – молвил Патап Максимыч. – Сейчас были городничий со стряпчим – сами назвались. И другого чиновного люда в городе тоже ведь достаточно – надо всех подмаслить, чтобы вам с Авдотьей Марковной было без меня беспечно, да и никаких нападков от начальства тоже не было. Надо замасливать, непременно надобно, особливо в сиротском деле.

– Это точно, – согласилась Дарья Сергевна. – Только вот что я скажу вам, благодетель, – не вскроете ли сундука-то? Денег ведь много понадобится.

– Без Авдотьи Марковны ни за что на свете не вскрою, – повысив голос, промолвил Патап Максимыч. – Вскроем после похорон. А об деньгах не заботьтесь. У меня их достаточно, а расчесться успеем, времени много впереди. Пишите же записку да посылайте скорей за этим старинщиком.

Дарья Сергевна вышла, и Патап Максимыч остался один.

Вошел он в комнату, где лежал Марко Данилыч. Там ни души не было. Покойник, совсем уж одетый, лежал под простыней. Подошел к нему Патап Максимыч и раздумался сам с собою.

«Эх, Марко Данилыч, Марко Данилыч! – думал он. – Много ты на свете жил, а, надо правду говорить, жить не гораздо умел. В каком положении семью оставил!.. Положим, капиталов достаточно, да разве в одних деньгах счастье? Изжил ты, приятель, свой век в этом городе, а друзей не нажил ни одного. Все на тебя глядели, да и теперь глядят, как на мешок, и одно норовят, как бы что-нибудь стащить из него... Бедная Авдотья Марковна, куда-то денется она, как-то пристроится!.. Горькая участь!.. Хоть бы какой хороший человек поскорей взял ее за себя. Надо с Груней об этом посоветоваться».

Вдруг тихими, неспешными шагами вошла Анисья Терентьевна Красноглазиха, в обычном темно-синем сарафане, в черной душегрейке, повязанная по голове белым платком в знак похоронной печали, и с толстой книгой под мышкой. Помолилась она перед стоявшею в головах покойника иконой, поклонилась в землю Марку Данилычу, потом отвесила низкий поклон Патапу Максимычу.

– Что угодно? – мрачно, но вежливо спросил он у заплакавшей Красноглазихи.

– Здешняя обывательница буду, Анисья Терентьевна, по прозванью Красноглазова, – отвечала она. – Сызмальства знала сердечного покойничка, много его милостями пользовалась. Добрейший был человек, истинно ангельская душенька. Всех бедных, неимущих оделял от своих благ со щедротою. Никого не оставлял без помощи.

– Так что же нужно-то? Поклониться, что ли, пришла? – с нетерпением спросил Красноглазиху Патап Максимыч.

– Для того больше пришла я, ваше степенство, что вот лежит теперь милостивый покойничек без молитвы, без чтения. А я бы, по своему усердию и поминаючи его благодеяния, почитала над

ним. Вот и псалтырь нарочно захватила, – унылым голосом проговорила Анисья Терентьевна.

– Я, матушка, человек не здешний, – сказал Патап Максимыч. – Никого из здешних обывателей не знаю, приехал сюда по давнему приятельству с Марком Данилычем единственно для того, чтоб его дела устроить. А насчет похоронного поговорите с Дарьей Сергевной. Это все на ее руках, – как решит, так и быть тому.

В одни двери вышла Красноглазиха, в другие вошла Ольга Панфиловна, вся в черном. Помолвившись и поклонясь до земли покойнику, и она обратилась к Патапу Максимычу с предложением услуг – присмотреть за похоронным столом и за чаем, потому что Дарье Сергевне будет не до того.

– Я здесь по всем домам заправляю столами и по купечеству и у дворян, потому что сама из благородных и все порядки сызмальства до тонкости знаю, вкрадчиво говорила Ольга Панфиловна.

И ей тоже сказал Патап Максимыч, чтоб повидалась она с Дарьей Сергевной.

Через какую-нибудь четверть часа Анисья Терентьевна, став за налой, протяжно и уныло стала псалтырь читать, а Ольга Панфиловна, бегая по комнатам, принялась хлопотать по хозяйству. Первым делом у ней было кутью сварить – много ведь ее потребуется, человек на сто надобно припасти. Кисель сварила и сыту сделала в первый же день своего прихода.

К вечеру и Чубалов приехал. На всякий случай привез он и племянника, чтобы тот помогал ему.

Как скоро Чубалов из письма Дарьи Сергевны узнал о смерти Марка Данилыча, сейчас же стал в путь собираться. Брат Абрам стал его отговаривать.

– Забыл, что ли, как он в прошлом году два раза обидел тебя – здесь да у Макарья в ярманке? – говорил Абрам Силыч. – Не сам ли ты говорил, что твоей ноги у него в доме никогда не будет? А теперь вдруг ехать туда.

– Смерть все покрывает, – сказал брату Герасим Силыч. – На мертвых зла не держат, а кто станет держать, того господь накажет. Марко Данилыч теперь перед божьим судом стоит, а не перед нашим земным, человеческим.

И поехал в город с Иванушкой. Когда вошли они в комнату, где стоял покойник, их встретила Дарья Сергевна. Конца не было ее благодарностям за приезд Герасима Силыча. Познакомила его с Патапом Максимычем.

– А я было и племянника с собой прихватил, – сказал Герасим Силыч, перейдя с Дарьей Сергевной и Патапом Максимычем в другую горницу. – Думал, что псалтырь почитает он.

– И хорошо сделал, что привез, – сказала Дарья Сергевна. – Анисья Терентьевна женщина немолодая, где ей читать все время без роздыха? Мы так уговаривались, что я стану с ней чередоваться. А вот господь и послал помощника, ночью-то он почитает, а я по хозяйству займусь – много ведь дела-то, и то не знаю, Герасим Силыч, как управлюсь.

– Иной раз Груня может почитать, она эти порядки знает, – сказал Чапурин.

– Нет уж, Патап Максимыч, пушай ее при Дуне остается, – молвила Дарья Сергевна.

– Что Авдотья-то Марковна? – спросил Чубалов.

– Плачет, убивается, – отвечала Дарья Сергевна. – Да как и не убиваться, Герасим Силыч, девушка молоденькая, никаких делов не знает, а тут еще по приезде-то всего каких-нибудь полчасика родителя в живых видела. Пошли отдохнуть с дороги, а тут и приключилась беда. Без памяти теперь лежит, сердечная, сиротка наша бедная, горемычная.

– Да скажите, пожалуйста, как это случилось? – спросил Чубалов.

– Господь один знает, как случилось, – отвечала Дарья Сергевна. – Никого тут не было. Корнея-то Евстигнеева знавал?

– Довольно знаю, – сказал Чубалов. – Недобрый человек, разбойником так и глядит, недаром в народе Прожженным его прозвали. Признаться, я всегда дивился, как это Марко Данилыч, при его уме, такого человека в приближение держит. Знаю я про иные дела Корнеевы – давно по нем тюрьма тоскует.

– Ну вот, его Патап Максимыч и рассчитал, – говорила Дарья Сергевна. Потому рассчитал, что из книг узнал, как он плутовал на Унже в лесных дачах, и Василья Фадеева рассчитал для того, что он весь работный народ на каждом шагу безбожно обижал и сполна зажитых денег не отдавал

никому. Житья от него никому не было... Ну вот, вчера ночью и проберись Корней в спальню Марка Данилыча; как он туда попал, бог его знает. Что у них было в спальне, тоже никому не известно – Марко Данилыч был без языка и лежал ни живой ни мертвый. Думается, что Корнею хотелось деньгами из сундука поживиться. И топорик принес с собой, может быть думал сундук-от им разбить. Услыхал Патап Максимыч, прибежал на шум. Корней было бежать, да, спасибо, людей много набралось. Схватили молодца, связали и в полицию отправили.

– Эко дело-то какое, – удивляясь рассказу Дарьи Сергевны, сказал Чубалов.

Дарья Сергевна пошла по хозяйству. Чубалов один на один остался с Патапом Максимычем. Поговорили о том, о другом; Чапурин спросил, наконец, Герасима Силыча:

– Дошли до меня слухи, что у вас с покойником какие-то дела были и он сколько-то вам должен остался.

– У меня никаких нет документов, да никогда их и не бывало, – отвечал Чубалов.

– Ваша совесть, Герасим Силыч, и для Авдотьи Марковны и для меня, душеприказчика покойного, ценнее всяких документов, – сказал Чапурин. Скажите по душе и по правде, много ль он вам должен остался?

– Ни копейки он мне не должен, – отвечал Герасим Силыч. – Ни одной копейки. Точно, были у меня с покойником дела: в прошлом году весной около Саратова редкостные старинные книги продавались – и мне очень хотелось купить их, да купил-то не хватало тогда. Тысячу рублей займовал я у покойника и вексель ему выдал. А он еще задолго до срока маленько поприжал меня, последние восемьсот целковых, что были у меня налицо, должен был я отдать ему, а потом за пятьдесят рублей в том же году у Макарья книг да икон взял он у меня уж чересчур по дешевой цене. Так что ж тут? Было на то мое согласие – никто в шею меня не толкал. Нет, Патап Максимыч, о том нечего и говорить. Сказано, что Марко Данилыч в расчете со мной, – ни он, значит, мне, ни я ему не должны ни копейки. Стало быть, и тому делу конец. Не будем про него разговоров разводить. Не для чего. Когда бы вживе был Марко Данилыч, может статься, я бы и потолковал с ним, а теперь поздно, он говорить не может, а я не хочу.

И, как ни уговаривал его Патап Максимыч, ни единого слова Чубалов больше не сказал.

Понравился он заволжскому тысячнику. «Вот это человек, так человек, думал Чапурин, – мало таких ноне на свете водится».

Схоронили Марка Данилыча. Герасим Силыч и в доме и на кладбище службу по нем отправил, а Патап Максимыч поблагодарил властей, что помехи не было, и просил, чтоб впредь какой-нибудь неприятности не случилось. Без благодарности ведь того и гляди пойдут бумаги писать да всех и приструнят. Городничего и стряпчего, исправника и городского голову просили быть на похоронах и всех угостили на славу. Протопопа с причтом опасались, чтоб он не послал доноса, но, по совету городничего, Патап Максимыч послал на весь клир два воза рыбы, икры и прочего другого, потому все и обошлось благополучно.

После похоронного обеда все, чересчур утомленные, прилегли отдохнуть. Патап Максимыч вместе с Чубаловым легли в спальне покойника и стали говорить.

– Нет, уж как вы хотите, Герасим Силыч, а скоро я вас отсюда не выпущу, – говорил Чапурин. – Завтра, бог даст, сундук будем вскрывать, посторонний человек при таких делах лишним не бывает. Так вы уж, пожалуйста, побудьте здесь. А потом у Авдотьи Марковны и у меня будет до вас просьбица – окажите помощь бедной безродной сиротке.

– Какую ж могу я ей помощь подать? – с удивлением сказал Герасим Силыч. – Человек я маленький, она богатая наследница. Шутите вы, Патап Максимыч, право, шутки надо мной шутите.

– Тут не шутки, а настоящее дело, – возразил Чапурин. – Выслушайте меня да по душе и дайте ответ. Вот дело в чем: Авдотья Марковна осталась теперь как есть круглой сиротой. В торговых и в других делах ни она, ни Дарья Сергевна ничего не понимают – дело женское, эти дела им не по разуму. По моему рассуждению, о чем я Авдотье Марковне еще до кончины покойника говорил и она на то согласилась, – надо ей все распродать либо на сроки сдать в кортому.

– Так лучше, по-моему, будет, – сказал Чубалов. – Где же в самом деле Авдотье Марковне заниматься такими делами, да и Дарье Сергевне не приходится. Правду вы сказали, что это не женское дело.

— А для того, чтоб заведенья и промысла оборотить в деньги, необходимо нужны по крайней мере двое человек: один чтобы унженский лес и на Низу рыбные промыслы и баржи продал, а другой покамест бы здесь при доме понаблюл и тоже продавал бы понемножку, что есть при нем, — сказал Патап Максимыч. — Для посылок в лесные дачи и на волжские промысла есть человек у меня на примете — шурин будет мне, а для здешних дел в виду никого нет. А как вы, Герасим Силыч, здешние обстоятельства знаете и живете отсель только в четырех верстах, так и пришло мне на ум попросить вас принять участие в сироте, приглядеть здесь за всем.

— Что вы, что вы, Патап Максимыч!.. — с живостью вскочив с дивана, воскликнул Чубалов. — Как это возможно? Да и что я за хозяин? Век такими делами никогда не занимался. Не могу, как хотите, не могу; не моего ума это дело. Еще напорчу, пожалуй.

— По крайней мере своими советами не оставьте, бывайте здесь почаще. А всего бы лучше, если бы на это время и поселились здесь в доме у Авдотьи Марковны, — говорил Чапурин. — По осени аль зимой думаю я ее и Дарью Сергевну за Волгу перевезти к себе. Пущай погостят да развеют сколько-нибудь мысли горькие свои. Дом-от на ваши руки в таком разе они покинули бы. Нет уж, Герасим Силыч, не отрекайтесь от этого, по доброй вашей душе сироту не оставьте. Зато вам господь воздаст. Сами вы как начетчик знаете: «Кто призрит сиротку, тот божью волю творит».

— Да не могу же я, Патап Максимыч, никаким способом не могу по-вашему сделать, — сказал Герасим Силыч. — Посоветоваться — отчего ж не посоветоваться иной раз. От этого я не прочь, а чтобы долго здесь заживаться, на это не могу согласиться. У меня ведь тоже свои делишки бывают, частые разъезды, этим ведь мы только и кормимся.

— На этот счет не беспокойтесь, в убытке не останетесь, — сказал Патап Максимыч. — Угодно вам, плату сами назначьте, не хотите, мы назначим. Уверяю вас, останетесь с выгодой.

— Не знаю, что вам и сказать на это, — долго подумав, молвил Чубалов. Да что об этом толковать? Успеет еще — утро вечера мудренее, а я меж тем хорошенько о том поразмыслю.

А сам думает: «Положили бы целковых сотнягу на месяц, куда бы ни шло, можно бы было решиться. Тогда, ежели где и редкостное выпадет, можно послать Иванушку, он натерел и по книгам, и по иконной части, и по редкостным вещам. Удатливая головушка! Хорошо, ежели бы столько положили. Да не дадут. Шутка сказать, тысяча двести целковых на год... Не дадут — это все одно мое пустое рассуждение».

И под эти думы заснул Герасим Силыч, а Патап Максимыч давно уж храпел во всю ивановскую.

С самой смерти Марка Данилыча Дуня почти не приходила в себя. Утомленная дальней дорогой, а потом пораженная смертью отца, не говорила она ни слова и даже мало понимала из того, что ей говорили. Однако в день похорон переломила себя, выстояла в доме длинное погребение и потом версты две прошла пешком до кладбища за гробом. Воротясь домой, удалилась в свою комнату и впала в забытие. Аграфена Петровна ни на минуту не оставляла подруги. Похоронной трапезой в доме распоряжался Патап Максимыч с Дарьей Сергевной. Много пособляла и Ольга Панфиловна. На трапезе у рабочих всем заправлял Герасим Силыч с племянником. Сам на то назвался. И все прошло чинно, стройно, хорошо.

Гости разошлись по домам, и в смолокуровском доме все притихло. Не успокоилась только Дуня: то в беспамятстве лежит, то болезненным стоном проявляет не угасшую еще в ней жизнь, то, очнувшись из забытия, зальется обильными слезами.

На другой день похорон немножко она оправилась, даже поговорила с Аграфеной Петровной о том, что надо ей делать теперь. Дарья Сергевна пришла, и с ней пошли такие же разговоры. С общего согласия стали на том, чтобы все дела предоставить Патапу Максимычу и из его воли не выступать — что ни скажет, исполнять беспрекословно.

Позвала Аграфена Петровна Патапа Максимыча.

– Будьте вы и мне родным отцом... в моем сиротстве... как были вы Груне, – с низким поклоном чуть не до земли отчаянным голосом сказала вся в слезах Дуня, обращаясь к Патапу Максимычу. – Войдите в трудное мое положение! Бог не оставит вас за то своими милостями. Сжальтесь, смилуйтесь надо мной, отец мой второй!

– Ну вот на старости лет еще дочку господь даровал. – Все дочки да дочки! – обнимая Дуню, сказал, улыбаясь, до слез растроганный Чапурин. – Ин быть по-твоему. Здравствуй, дочка богоданная! Смотри ж у меня, нового отца слушаться, а он постарается, чтоб у тебя было все цело и сохранно. И в обиду не дам тебя никому.

И трижды со щеки на щеку поцеловал новую дочку.

– Вот как, по моему рассуждению, надо бы тебе поступить, – сказал Патап Максимыч, садясь на диван возле Дуни, – что ни осталось после Марка Данилыча, в наличные деньги обратить, а заведения и промысла продать хоть и с убытком, а потом и жить на проценты с капитала, какой выручим. Как думаешь?

– Вы лучше меня знаете, я ничего в этих делах не понимаю. Делайте, как надо по-вашему, а я наперед на все согласна, – промолвила Дуня.

Патап Максимыч подробно рассказал ей предположения свои насчет Никифора и Чубалова. Дуня во всем согласилась с ним.

– А пройдут шесть недель, тогда не переехать ли тебе с Дарьей Сергеевной к нам в Осиповку? И у Груни поживешь, – сказал Патап Максимыч. – На людях все-таки меньше тоски.

– А дом-от как же покинуть? Его на чьи руки оставить? Сколько ведь в нем имущества! – возразила Дарья Сергеевна.

– Надо хорошенько будет попросить Герасима Силыча, – сказал Патап Максимыч. – Он за всем присмотрит. Да вот еще что думаю – для чего вам оставаться в здешнем городе, не лучше ль в ином месте устроиться домком? Из близких у вас здесь ведь нет никого. Ни единого человека нет, кого бы можно было пожалеть, с кем бы прощаться было тяжело.

– Ах, батюшка Патап Максимыч, – возразила Дарья Сергеевна. – А могилки-то родительские как же, останутся?

– На помины можно ездить сюда, – молвил Патап Максимыч.

– Конечно, можно, – сказала Дарья Сергеевна. – Да с домом-то как же расстаться? Дунюшка родилась ведь в нем, в нем и выросла, и радости в нем видела, и горя пришлось дожидаться... Тяжело ей будет, Патап Максимыч, с родительским домком расставаться, ой как тяжело.

– Что скажешь на это, Дуня? – спросил Чапурин.

– Что мне дом? – грустно она отвечала. – Что теперь мне в нем дорогого? Не глядела бы ни на что. Одна отрада была, одно утешенье – тятенька голубчик, а вот и его не стало... Одна на свете осталась безродная. И залилась слезами.

– Конечно, – сказала Аграфена Петровна, обращаясь к Дуне, – конечно, ты здесь одна с Дарьей Сергеевной пропадешь с тоски, а за Волгой будешь не одна. Бог даст, твое горе мы и размыкаем. Вы уж не противьтесь, Дарья Сергеевна, право, и самым вам отраднее будет у нас, чем здесь, в опустелом доме.

– По мне, что ж? Я здесь, так здесь, за Волгой, так за Волгой, – не совсем довольным голосом ответила Дарья Сергеевна. – Жить мне недолго, а где в сыру землю ни зароят – все равно. Поверх земли не оставят же.

– Так как же, Дуня? Решай, – сказала Аграфена Петровна.

– У меня теперь новый тятенька, – потупив глаза, тихо промолвила Дуня. Как прикажет, так и сделаю; из его воли не выступлю.

– Ну вот и прекрасно, вот мы и устроим, как только можно лучше, – целуя Дуню, припавшую головкой к его плечу, сказал глубоко тронутый Патап Максимыч.

– С домом-то как же? – всхлипывая от подступивших слез и печально повесивши голову, спросила Дарья Сергеевна.

– Выищется покупатель, продадим, хоть и убытка придется принять, не то отдадим внаймы – это уж нам Герасим Силыч устроит, – сказал Патап Максимыч.

Потом еще довольно потолковали о распоряжениях, какие надо сделать. Дуня казалась спо-

койнее прежнего. Заметивши это, Чапурин сказал:

– Теперь бы надо сундук вскрыть, а то толкуем мы, толкуем, а все равно в потемках бродим. Надо узнать, сколько наличного капитала, сколько векселей, опять же там и счета, покойник-от сам ведь их вел, своей рукой писал. А может статься, найдется и последняя его воля.

– Вскрывайте, – сказала Дуня, подавая ключи Патапу Максимычу.

– Нет, – сказал он, не принимая ключей. – Хоша ты мне и дочка теперь, а без твоей бытности все-таки сундука пальцем не трону. Пойдем туда, ежели есть силы – дело будет недолгое. Дуня встала, повинувшись приказу «нового тятеньки».

– Пойдемте, Дарья Сергевна, а ты, Груня, сыщи Герасима Силыча да вместе с ним и приходи, – сказал Патап Максимыч.

Все сошлись в бывшей спальне Марка Данилыча. Патап Максимыч своими руками отпер железный сундук. На столе, поставленном возле, стал он раскладывать найденные бумаги – в одну сторону откладывать тучные пачки серий, ломбардные билеты, наличные деньги; по другую векселя и сохранные расписки, в третью сторону клал купчие крепости и закладные разных людей. Особо клал Патап Максимыч счета и торговые книги, особо контракты и условия. Завещания не нашлось.

Выбравши все из сундука, Патап Максимыч стал считать, а Чубалов на счетах класть. В сериях, в наличных деньгах и векселях до восьмисот тысяч рублей нашлось, да домов, лесных дач, барж и промысловых заведений тысяч на четыреста выходило, так что всего за миллион перевалило.

Разбирая расписки, Чапурин взял одну из них и, оглядев, подал ее Чубалову и примолвил:

– Что за тарабарщина?

– По-татарски, – сказал Герасим Силыч. – Да вот и перевод, и маклера подпись, и печать казенная.

Читает вслух Патап Максимыч русский перевод расписки.

«Тысяча восемьсот такого-то года, августа в двадцатый день, в Нижегородской ярманке, я, нижеподписавшийся оренбургский первой гильдии купец Махмет Бактемиров Субханкулов, получил от почетного гражданина и первой гильдии купца Марко Данилыча Смолокурова тысячу рублей серебром, с тем, что обязуюсь на будущей Нижегородской ярманке возвратить сии деньги ему самому или кому он прикажет, ежели я, Субханкулов, до тех пор не выведу в Россию из хивинского плена находящегося там Мокея Данилова».

Все диву дались, а Дарья Сергевна, всплеснув руками и громко вскрикнувши, так и покати-лась на стоявший возле диван.

На другой же день Чапурин послал к Субханкулову эстафету, уведомляя о кончине Марка Данилыча и о том, что, будучи теперь душеприказчиком при единственной его дочери, просит Махмета Бактемирыча постараться как можно скорей высвободить Мокея Данилыча из плена, и ежели он это сделает, то получит и другую тысячу. На этом настояла Дуня; очень хотелось ей поскорей увидеться с дядей, еще никогда ею не виданным, хотелось и Дарью Сергевну порадовать.

Но самое Дарью Сергевну нимало не заботило, скоро или поздно увидит она Мокея Данилыча, она даже боялась встречи с бывшим женихом своим. "Что я ему? – она думала. – Больше двадцати годов за упокой его поминала, больше двадцати годов не было об нем ни слуха ни духа... И забыл, чать, про меня совсем. А сам-от сердечный, сколько горя-то в полону натерпелся. Бьют, слышь, там наших-то, мучат. Чего-чего натерпелся он в эти годы. А дурища Матрена еще говорит давеча: «Были похороны, теперь свадьбу надо будет играть... Нашли невесту! Старая я, болящая – куда уж мне об венце помышлять: жених мой – гроб сосновый, давно меня он дожидается. А хочешь не хочешь, придется с Мокеем Данилычем встретиться! Боязно. Ведь ровно с того света выходит... Вот как бы Дунюшке дал бог скорей пристроиться за умного, за хорошего и за доброго человека. Поглядела бы я маленько на новое житье-бытье ее, да и пошла бы в скиты грехи свои

замаливать да за других молиться».

Не любила она даже, когда иной раз о Мокее Данилыче при ней речь заведут. Сейчас замолчит и уйдет вон из комнаты.

Дуня поправлялась помаленьку. Она могла уж разговаривать с Патапом Максимычем об устройстве дел.

Чапурин со дня на день ждал шурина Никифора, чтобы скорее получил он от Дуни доверенность на продажу унженских лесов, баржей и низовых промыслов и ехал бы поспешней на Унжу. Насчет дел по городу разные люди являлись к Чапуруну с предложениями заняться устройством их, были в том числе и отставной стряпчий, и выгнанный из службы становой, и промотавшиеся дотла помещики, и прогоревшие купцы. А сын предводителя, узнав, что Дуне больше миллиона досталось, опять стал свататься, сам предводитель по этому делу приезжал «к мужлану», как звал его, – Патапу Максимычу. Стали разузнавать стороной мысли о замужестве богатой сироты и те кумушки, что прежде были засылаемы к Марку Данилычу сватать купчиков. Но всем от Патапа Максимыча один был ответ: «Авдотье Марковне ни приказывать, ни советовать я не могу, да и раненько бы еще ей о выходе замуж думать – у родителя в гробу ноги еще не обсохли...» И, ругая Чапурина, искатели смолокуровского миллиона в злой досаде расходились по своим местам. «И откуда они этого непутного заволжанина выкопали? – говорили они. – Ни слуху ни духу про него у нас никогда не бывало, вдруг ровно из земли вырос, как из ведьминой трубы вылетел, и ну чужим добром распоряжаться! Хорошо, видно, подмаслил городничего, не то бы давно ему в кутузке сидеть. Да и она-то дура неповитая! Зачем проходимца слушается».

До Патапа Максимыча такие толки не доходили. А и дошли бы, плюнул бы только, да и прочь от сплетников.

Сидели вечером за чаем Дуня, Дарья Сергеевна, Аграфена Петровна, Патап Максимыч и Герасим Силыч, перед тем отправивший племянника в Сосновку. Зашла речь, как бы устроить дела в городе и присмотреть за домом.

По совету Патапа Максимыча, Дуня стала просить Чубалова, чтоб оказал он ей милость, сжалился бы над ней, принял на себя дела в городе.

Герасим Силыч всячески отрицался, говоря то же, что говорил Чапуруну: у него-де свои дела, и покинуть их даже на короткое время нельзя.

– Сказано было вам, Герасим Силыч, что в убытке не останетесь, – громко промолвил Патап Максимыч. – Скажите откровенно, сколько бы взяли вы в месяц с Авдотьи Марковны? Чубалов замолчал и низко склонил голову.

– Да говорите же, Герасим Силыч, – настаивал Чапурин.

– Не знаю, что и говорить, – едва слышно, помолчав, промолвил Чубалов.

– А то и говорите, что для вас не обидно будет, – сказал Патап Максимыч.

– Тут в том главное дело, что совсем должна стать моя торговлишка, и в разъезды за старинной ездить мне не удастся, – сказал Чубалов. – Конечно, Иванушку бы можно посылать, да все уж это не то, как я сам. Да он же в дальних отлучках без меня и не бывал никогда. Парень молодой, иной раз может и прошибиться.

– Ах ты, господи! – повысивши голос, с нетерпением сказал Патап Максимыч. – Этак мы, пожалуй, до смерти не столкнемся.

И, встав из-за стола, закинул руки за спину и широкими шагами стал ходить взад и вперед по комнате.

– Нет, так пива не сваришь! – сказал он. – Ты ближе к делу, а он про козу белу; ты ложки, а он тебе плошки.

И, остановившись перед старинщиком, положил ему руку на плечо и спросил:

– Скажите по совести, много ли в месяц барыша получаете?

– Месяц на месяц не придется, Патап Максимыч, – отвечал Чубалов. – В иной месяц, кроме расхода, нет ничего, а в другой и больно хорошо. К примеру взять: у Макарья в ярманке, на Сборной в Симбирске, в Ирбитской. Да еще когда на Вятку к тамошним домоседкам заедешь либо на Урал к казакам.

– Это так, это во всякой торговле бывает, какую ни возьми, – сказал Патап Максимыч. – А в

год сколько барыша?

– И это мудрено сказать, – уклончиво ответил Герасим Силыч. – И год на год не приходит.

– Фу ты пропасть какая! Чуть не битый час толкуем, а все попусту. Толков много, только толку нет, – вскрикнул, нахмурясь, Патап Максимыч. – Так рассуждать все одно что в решете воду таскать! Давно ль торг ведете?

– Больше пятнадцати годов, – отвечал Чубалов.

– Который из годов самый был прибыльной?

– Первые годы после моего странства были самые прибыльные, – сказал Герасим Силыч. – Потом истратился на семью, дом поставил, землю купил, племянников от рекрутчины свободил, от того капиталу и стало у меня много поменьше. А ведь по капиталу и барыш.

– Вот у нас дело-то как идет, – с досадой молвил Патап Максимыч, обращаясь к Дуне. – Ни из короба, ни в короб, в короб не лезет, из короба нейдет и короба не отдает. В первые-то года по-скольку барышей получали? – прибавил, обращаясь к Чубалову.

– Целковых тысячи по полторы, а были годы, что и по две получал, отирая платком раскрасневшееся лицо, ответил Чубалов и опять понурил голову.

– Так вот какой разговор будет у нас, – сказал Патап Максимыч. – Авдотья Марковна даст вам не две, а две с половиной тысячи в год за хлопоты ваши и за распоряжения по здешнему хозяйству. И будете ли вы ее делами заниматься месяц ли, два ли, целый год, все равно получите сполна две тысячи с половиной целковых. Согласны?

Чубалов не ожидал этого. И на сто рублей в месяц не надеялся, а тут вдруг две с половиной тысячи. По стольку ни в один год он не получал. По-прежнему сидел, опустил голову и не зная, что отвечать.

– Согласны, что ли? – спросил его Патап Максимыч. – Мало, так прямо скажите.

– Согласен, – едва слышно проговорил Чубалов. – Ваш слуга, Авдотья Марковна, хоть по самый конец жизни, – прибавил он, низко кланяясь Дуне.

– Очень, очень рада я, что вы согласились. Теперь я спокойна насчет здешних дел. Да это еще не все, что сказал вам Патап Максимыч. Давеча мы с ним про вас много разговаривали. Он скажет вам.

Оторопел Герасим Силыч. «Что еще такое у них обо мне решено?» – подумал он и повернулся к севшему за стол Чапурину, выжидая слов его.

– Видите ли, любезнейший Герасим Силыч, – сказал Патап Максимыч. Давеча мы с Авдотьей Марковной положили: лесную пристань и прядильни продать и дом, опричь движимого имущества, тоже с рук сбыть. Авдотье Марковне, после такого горя, нежелательно жить в вашем городе, хочется ей, что ни осталось после родителя, в деньги обратить и жить на проценты. Где приведется ей жить, покуда еще сами мы не знаем. А как вам доведется все продавать, так за комиссию десять процентов с продажной цены получите.

И во сне не снилось это Чубалову. Не может слова сказать в ответ. Чапурин продолжал говорить, подавая деньги Герасиму Силычу:

– А это вам пятьсот рублей за труды при погребении Марка Данилыча.

– Помилуйте, Патап Максимыч, это уж чересчур! – воскликнул Герасим Силыч.

– Не моя воля, а молодой хозяйюшки, – сказал Патап Максимыч. – Ее волю исполняю. Желательно ей было, чтобы похороны были, что называется, на славу. Ну, а при нашем положении, какая тут слава? Ни попов, ни дяков – ровно нет ничего. Так мы и решили деньги, назначенные на погребенье, вам предоставить. Извольте получить.

Чубалов ошеломлен был такими милостями, о каких и в голову никогда ему не приходило. Особенно поразили его обещанные проценты с продажной цены. «Ведь это, мало-мало, десять тысяч целковых. Буду богаче, чем тогда, как воротился в Сосновку, да к тому ж и расходов таких, как тогда были, не предвидится. Истинно божеская милость мне, грешному, выпала!»

Молча взял он пятьсот рублей, поклонился Патапу Максимычу и, подойдя к Дуне, сказал:

– Вы, Авдотья Марковна, столько благодеяний мне оказали, что буду я теперь неустанно бога молить, да устроит он ваш жизненный путь. Пошли вам господи доброго и хорошего сожителя, дай бог удесятерить достатки ваши, дай вам бог во всю вашу жизнь не видать ни горя, ни печалей.

А я, после таких ко мне милостей, вековечный и верный служитель ваш. Теперь ли, после ли когда, для вас на всякую службу готов.

– Очень рада, Герасим Силыч, что мы с вами поладили и вы не отказались оказать сироте помощь, – с ясной улыбкой проговорила Дуня.

– Не я вам, а вы мне, Авдотья Марковна, великую, неслыханную помощь являете, – со слезами на глазах ответил Чубалов. – Богачом хотите сделать меня. Воздай вам господи!

– Герасим Силыч, – сказала, потупивши светлые очи, Дуня Чубалову. – Ведь у вас тятенька покойник выменял икону преподобной мученицы Евдокии. Ангел мой. Теперь уж больше года та икона возле кровати в изголовьях у меня стоит.

– Точно так, Авдотья Марковна, Марко Данилыч у меня ту икону выменял, отвечал Чубалов. – Редкостная икона, царским жалованным изографом при святейшем Филарете, патриархе московском, писана. Комнатная была у благочестивой царицы Евдокии Лукьяновны.

– И Марка Евангелиста икона, что у тятеньки покойника при гробе в головах стояла, – тоже от вас?

– И ее у меня же выменял. Она баронских писем, совсем почти фряжская. Эта много будет попростее, чем икона вашего ангела, и помоложе, – сказал Герасим Силыч.

– А нет ли у вас иконы святителя Амвросия Медиоланского? – спросила Дуня.

– Такой не имеется, – отвечал Герасим Силыч. – Да едва ли можно такую найти старинных писем. Сколько годов я по иконной части делишки веду, чуть не всю Россию изъездил из конца в конец и всего-навсего две только старые иконы Амвросия Медиоланского видел. А теперь их нет: одну за перстосложение отобрали, другая в пожаре сгорела.

– Мне хоть бы новую, – сказала Дуня.

– В таком разе можно поморским заказать, а не то в Москве на Преображенском, – ответил Чубалов. – Ежели наскоро требуется, могу в самом близком времени ее получить.

– Сделайте одолжение, – сказала Дуня. – Это самое мое усердное желание иметь икону святителя Амвросия, – молвила Дуня. – Буду вам очень благодарна.

– Постараюсь, Авдотья Марковна, будьте благонадежны, – сказал Чубалов. Штилистовая требуется или побольше?

– Чтобы в киотку, что у меня в комнате, поставилась. Снимите мерочку. Хочу, чтоб она всегда у меня в изголовьях была, – ответила Дуня. – И оклад закажите, пожалуйста, серебряный, густо позолоченный, а каменья на икону я вам сама выдам.

– Слушаю-с. А к какому времени потребуется? – спросил Чубалов.

– Срока не назначаю, а чем скорее, тем лучше, – ответила Дуня.

– Да ты обещаешь, что ли, дала? – спросила Дарья Сергеевна.

– Да, обещаю, – потупившись, сухо промолвила Дуня.

С того дня Чубалов стал хозяйствовать в смолокуровском доме. Съездил он на день в Сосновку и переехал в город со всем книжным скарбом. Иванушку взял с собой.

Устроивши главные дела покойного Марка Данилыча, Чапурин, несмотря на просьбы новой своей дочки, собрался в путь-дорогу в свои родные леса. Аграфена Петровна с ним же поехала. Страшно показалось Дуне предстоявшее одиночество, особенно печалила ее разлука с Груней. К ней теперь привязалась она еще больше, чем прежде, до размолвки.

Уговорились так: к двадцатому дню после кончины Марка Данилыча приедет к Дуне Патап Максимыч и Аграфена Петровна с детками, и все они пробудут до сорочин. После того Дуня с Дарьей Сергеевной двинутся за Волгу со всеми пожитками.

Никифор между тем приехал и, получив доверенность, на другой же день покати в Унжу.

За день либо за два до отъезда Патапа Максимыча Дуня спросила у него:

– В векселях, что выданы тятеньке покойнику, не нашлось ли векселей или расписок купца Поликарпа Андреича Сивкова?

– Есть векселек, – ответил Патап Максимыч. – На нонешней ярманке выдан.

– Велик ли? – спросила Дуня.

– Помнится, тысячи на три, а уплата на будущей Макарьевской, – ответил Патап Максимыч.

– Дайте мне его, а из счетов, пожалуйста, вычеркните, – сказала Дуня.

– Зачем это, дочка? – ласково и озабоченно спросил у нее Чапурин.

– Так надо мне, – сказала решительно Дуня и другого ответа не дала.

Патап Максимыч пристально посмотрел на нее. А у ней взгляд ни дать ни взять такой же, как у Марка Данилыча. И ноздри так же раздуваются, как у него, бывало, когда делался недоволен, и глаза горят, и хмурое лицо багровеет – вся в отца. «Нет, эту девку прибрать к рукам мудрено, – подумал Чапурин. – Бедовая!.. Мужа будет на уздечке водить. На мою покойницу, на голубушку Настю смахивает, только будет покруче ее. А то по всему Настя, как есть Настя».

Отдал он Дуне вексель Сивкова, и та тотчас же разорвала его пополам.

– Что ты? Что сделала? – вскочивши с места, с изумленьем вскрикнул Патап Максимыч. – Теперь вексель не годится.

– Знаю, – равнодушно ответила Дуня.

– Зачем же это?

– Долг уплачиваю. Поликарпу Андреичу я должна больше, чем он был тятеньке должен, – сказала Дуня, переглянувшись с Аграфеной Петровной.

– Как должна? В толк не возьму, – сквозь зубы проговорил недовольный Чапурин. Дуня не отвечала.

– Тятенька, – вступилась Аграфена Петровна, – вы ведь еще ничего не знаете, как мы с Дуней от Луповицких уехали. Много было всяких приключений, говорить теперь не стану, сама когда-нибудь расскажет. Поликарп Андреич да еще один человек и ей и мне много добра сделали. Будь у меня такие же деньги, как у Дуни, я бы и больше трех тысяч не пожалела. – Вот оно что! – тихо промолвил Патап Максимыч. – Да что ж вы ничего не расскажите? Три тысячи деньги ведь немалые, кидать их зря не годится. Может быть, одолжения Сивкова и десятой доли этих денег не стоят.

– Когда Дуня тебе расскажет все, сам увидишь, что помощь Сивковых стоит больше, – сказала Аграфена Петровна.

– Так расскажи, Дуня, не утай от второго отца, – ласково молвил стихший Патап Максимыч.

– После расскажу, после, когда буду у вас в Осиповке, – сказала Дуня, а теперь, видит бог, не могу.

Язык не поворотится. Знаете, отчего мне хочется покинуть этот город и в нем даже родительские могилки? Чтобы подальше быть от этих Луповицких, от Фатьянки, от Марьи Ивановны. Много я от них натерпелась – говорить, так всего не перескажешь.

Навострила Дарья Сергевна уши, услышавши от Дуни такие слова про Марью Ивановну. Довольная улыбка озарила лицо ее. Радостно она вокруг посмотрела.

– Как? С Марьей Ивановной рознь у тебя? – промолвила она. – Слава богу! Никогда я не чаяла в ней толку.

– Все они обманщики, богопротивники! – с горячностью вскрикнула Дуня.

– Уж они тебя в поганую свою веру не приводили ль? – спросила Дарья Сергевна. – Весной, как Марья Ивановна жила у нас, она ведь про какую-то новую веру рассказывала тебе да расхваливала ее. Я слышала сама из каморки, что возле твоей комнаты. Только что слов ее тогда понять не могла.

Дуня не дала ответа.

– А ведь я в Фатьянке-то без тебя была, – продолжала Дарья Сергевна. Покойный Марко Данилыч думал, что ты уж приехала сюда с Марьей Ивановной и, только что воротился с ярманки, посылал меня за тобой. В Фатьянке мы никого не достучались, а ночь провели в Миршени у одной вдовы. Она и порассказала нам кое-что про фатьянских. Это, слышь, особая какая-то вера – фармазонами прозывают тех, кто ее держится. После того и стала я думать: Марья-то Ивановна не той ли же веры? А вот на днях дошли вести, что фатьянских за ихнюю противную веру посадили в острог. Туда и дорога безбожным!

Дуня смутилась. Стала жаловаться, что у ней голова разболелась, и ушла с Аграфеной Петровной в свою спальню.

На возвратном пути Патап Максимыч с Аграфеной Петровной у Колышкиных остановились. Рады были гостям и Сергей Андреич и Марфа Михайловна.

– Что так долго загостились? – спрашивал Сергей Андреич Патапа Максимыча.

– Схоронили ведь мы Марка-то Данилыча, – отвечал Чапурин.

– Как? – воскликнул Колышкин.

– Когда с Груней мы к нему приехали, был он без языка и только одной рукой владел немножко. Груня поехала в Рязанскую губернию за дочерью его. И в тот день, как они воротились, другой удар случился с ним. Так и покончил жизнь.

Подробно рассказал Патап Максимыч, как он ночью застал Корнея возле умиравшего Смолокурова, рассказал и о распоряженьях своих по делам сироты. Колышкин нашел, что крестным все сделано было хорошо.

– А в этот раз, как были вы у меня с Аграфеной Петровной, не успел я вам сказать, что на короткое время я отсюда отлучался. В Казань надобность была съездить. Назад ехал на своем пароходе. Ехал на тот раз со мной молодой купчик с большим багажом, из Казани на житье сюда переселяется он. Разговорились мы, вижу и слышу – парень умный и, надо думать, доброй души, однако, кажется, маленько озорной, кровь-то молодая, видно, еще не совсем уходилась в нем. И тебя знает он и Аграфену Петровну; знал и покойного Марка Данилыча. Здесь покамест стоит на квартире, а сам присматривает, где бы домик купить себе.

– Не Самоквасов ли Петр? как величать по отчеству – забыл, – сказал Патап Максимыч. – Петр-то он, Петр, – в прошлом году на Петров день в Комарове мы именины его справляли. И Марко Данилыч с нами был тогда.

– Он и есть, – молвил Сергей Андреич. – Петром Степанычем зовут его.

– Ну так, так, Петр Степаныч, – подхватил Патап Максимыч. – А что озорной, так впрямь озорной. Сколько он в скитах у матерей начудил, так и рассказывать всего не расскажешь. А голова умная, и точно что доброй души человек. Куролесит, а перейдет время, остепенится, и, ежели возьмет за себя умную да хорошую жену, чистое золото выйдет из него.

– Частенько у меня бывает, – сказал Колышкин, – да и живет неподалеку. С неделю назад прибежал он ко мне, бледный такой, расстроенный, и спрашивает, не слыхал ли я чего про Смолокурова и про его дочь. Я не знал еще ничего и сказать не мог, а он ушел от меня такой притупленный, даже слезы, кажется, из глаз выкатились.

– Как бы с ним повидаться? – сказала вошедшая Аграфена Петровна. – Мы довольно с ним знакомы, в ярманку, бывало, каждый день к мужу в лавку ходил.

– Не придет ли вечером, давно что-то не бывал, – ответил Колышкин. – А не придет, спсылать можно.

– Пожалуйста, Сергей Андреич, спсылайте. Мне непременно хочется с ним повидаться.

– Можно и послать, – молвил Колышкин. И тотчас же послал за Самоквасовым. И записку написал на случай, если бы посланный не застал его. Приписал, что теперь у него Патап Максимыч с Аграфеной Петровной и что на другой день уезжают они в свои леса за Волгу. Прибавил также, что Марко Данилыч приказал долго жить.

Не застал посланный Петра Степаныча, куда-то по делам он уехал. Записку Сергея Андреича оставил.

К вечернему чаю Самоквасов пришел к Колышкиным. Его радушно встретили, и Патап Максимыч вскоре обратился к нему:

– Давненько, Петр Степаныч, мы не видались. Как твое дело с дядей? Покончил ли?

– Слава богу, покончил. Поделились, – отвечал Самоквасов.

– Как же? – спросил Чапурин. – Чем решили?

– Не мы решали, суд порешил, – сказал Самоквасов. – Я получил свое, хоть не без хлопот, надо было выручать присужденное наследство. И надоела же мне эта Казань после этого, хоть и родина, а век бы не видать ее. Сюда на житье переехал, здесь хочу устроиться.

– И дело, – молвил Патап Максимыч. – Хорошо придумано. На новом месте и новая жизнь пойдет. А сколько с дяди-то пришлось?

– Половина, что после дедушки осталось. На двести тысяч, – ответил Самоквасов.

– С таким капиталом можно повести дела, – молвил Чапурин. Переписывайся в здешние купцы да заводи торги. Только чур не шалопайничать – по скитам ради озорства не ездить, не повесничать там. Пора остепениться, любезный Петр Степаныч. А то и не увидишь, как дедушкины двести тысяч вылетят в трубу.

– Что было, то прошло, да и быльем поросло, – с глубоким вздохом промолвил Петр Степаныч. – Был молод, был неразумен, молодая кровь бурлила, а теперь уж я не тот, – укатали сивку крутые горки. Как оглянешься назад да вспомнишь про прежнее беспутное время, самому покажется, что, опричь глупостей, до сей поры ничего в моей жизни не было.

– Ожениться бы тебе, Петр Степаныч. С хорошей женой и сам бы ты был хороший человек, – сказал Патап Максимыч. – Годков-то уж тебе не мало, из подростков вышел, – право, не пора ли? От дяди отделился, имеешь теперь свой капитал, рожна, что ли, тебе еще? Аль в скиты тянет с белицами да с молоденькими старицами валандаться?

– Что мне скиты? Пропадай они пропадом, и ухом не поведу, – сказал Петр Степаныч. – Дядя каждый год меня с милостиной туда посылал, не своей охотой ездил я на Керженец. Теперь то время прошло.

– Толкуй! Знаем и мы кой-чего понемножку, – сказал Патап Максимыч. Никому спуску не давал. Хоть Фленушку взять, сестрицы моей воспитанницу. Валандался ведь с ней? Ну, скажи правду-матку как есть начистоту. И лукаво поглядел на Петра Степаныча.

– В скитах да и везде в ваших лесах много сплеток плетут, Патап Максимыч, – ответил Самоквасов. – А если что и было, так я теперь ото всяких обителей отшатился. Пропадай они совсем.

Все примолкли. Спустя некоторое время Колышкин спросил Петра Степаныча:

– Домика не присмотрели ль?

– Нет, – тоскливо ответил Самоквасов. – Да и на что мне дом, как порассудить хорошенько. Истратишься на него, а после с рук не сбудешь... А где мне еще придется жить, сам покуда не знаю. В Москве ли, в Питере ли, или у черта на куличках где-нибудь...

– А ты, парень, не черкайся (Не поминай черта.), коли говоришь про хорошее дело, – внушительно сказал ему Патап Максимыч. – Зачем супротивного поминать? Говорю тебе – женись. Поверь, совсем тогда другая жизнь у тебя будет.

– И рад бы жениться, да жениться как? – молвил Петр Степаныч. – Нет ли у вас на примете подходящей невесты, я бы со всяким удовольствием.

– Сваха, что ль, я тебе? – засмеялся Чапурин. – Сам ищи, дело-то будет вернее.

Под эти слова еще человека два к Колышкину в гости пришли, оба пароходные. Петр Степаныч ни того, ни другого не знал. Завязался у них разговор о погоде, стали разбирать приметы и судить по ним, когда на Волге начнутся заморозки и наступит конец пароходству. Марфа Михайловна вышла по хозяйству. Улучив минуту, Аграфена Петровна кивнула головой Самоквасову, а сама вышла в соседнюю комнату; он за нею пошел.

– Садитесь-ко возле меня, Петр Степаныч, – указывая на кресло, сказала она. Он сел, Аграфена Петровна продолжала:

– А я ведь далеко за Дуней ездила, в Рязанскую губернию. И только что воротилась, в первую же ночь Марка Данилыча не стало.

– Слышал я давеча утром, тамошние торговцы сказывали, – молвил Петр Степаныч. – Она что?

– Известно что. Плачет, и утешить ее невозможно, – ответила Аграфена Петровна. – Вот я сама всего девяти годков была, как померли у меня батюшка с матушкой и осталась я одна в чужом, незнакомом городе... Мала была и неразумна, а до сих пор сердце кровью обливается, как вспомнишь, как плакала я у ворот Мартыновской больницы... И послал мне тогда бог милосердо-

го человека – тятеньку Патапа Максимыча. И была я у него и до сих пор осталась как родная дочь... А у Дунюшки кто заступа?..

Где покровитель? Одна-одинешенька, что в поле головешка... Дарья Сергевна при ней, да что ж она может? Нашлось в бумагах покойника, что брат не утонул в море, а больше двадцати годов у бусурман в полону живет – выкупают его теперь. Да ежели и вынесет его бог на русскую землю... Какой же он защитник племянницы? Изживши век среди бусурманов, пожалуй, и порядки-то русские все перезабыл. Трудно Дуне, трудно бедняжке.

Денег хоть и много после отца ей досталось – больше миллиона, да ведь не в деньгах людское счастье, а в близком, добром человеке. Пройдут сорочины, придет она с Дарьей Сергевной за Волгу, у меня поживет, у тятеньки Патапа Максимыча погостит, а после того как устроится, один господь ведает. Не раз об этом я с ней заговаривала, только она и речей не разводит: «Во всем, говорит, полагаюсь на власть Божию».

Печально повесивши голову, ни слова не сказал Самоквасов Аграфене Петровне. Лишь минуты через две тихо и робко спросил он:

– Обо мне не было речи?

– Были речи, Петр Степаныч, были. Не один раз заходили, – отвечала Аграфена Петровна. – Да вы прежде скажите-ка мне по душе да по совести – миллиона, что ли, ее вам хочется?

– Что мне миллион! – горячо воскликнул Петр Степаныч. – На что он мне? Теперь у меня у самого денег за глаза – на жизнь хватит, еще, пожалуй, останется. По ней изболело сердце, а не по деньгам, по ней по самой... Вам все ведь известно, Аграфена Петровна, – помните, что говорил я вам в Вихореве?

– Помню. Это было чуть ли не накануне того дня, как в Комаров вы поехали, к матери Филагрии, что ли, – с усмешкой сказала Аграфена Петровна,

– Издали даже не видал ее, – пылко ответил Петр Степаныч. – Что она мне? Ну было, что было прежде, то было, а теперича нет ничего.

– Зачем же вы тогда уехали от нас?

– С тоски, Аграфена Петровна, с одной только тоски, – отвечал Самоквасов. – Опротивел мне божий свет, во всем я отчаялся. «Дай, подумал я, съезжу в Комаров, там много знакомых. Не размыкаю ли с ними кручину». Однако напрасно ездил. Хоть бы словечко кто мне по душе сказал. Все только говорили, что очень я переменялся – ни прежнего-де удалства, ни прежней отваги, ни веселости нисколько во мне не осталось. Тоски в Комарове прибыло, и там я пробыл всего трое суток.

– А потом?

– Потом только и думал что про нее, – сказал Петр Степаныч.

– Так ли, полно?

– Верно, Аграфена Петровна. Бог свидетель, что говорю не облыжно, горячо воскликнул Самоквасов. – Господи! Хоть бы глазком взглянуть! А говорить не посмею, на глаза к ней боюсь показаться. Помнит ведь она, как я в прошлом году за Волгу уехал, а после того, ни с кем не повидавшись, в Казань сплыл?

– Помнит, очень твердо помнит, – сказала Аграфена Петровна.

– Что ж мне теперь делать? Господа ради скажите, Аграфена Петровна, что делать мне? – со слезами на глазах просил Самоквасов.

– Не знаю, что вам сказать, Петр Степаныч. Много бы я вам еще порассказала, да, слышите, Марфа Михайловна идет, – сказала Аграфена Петровна. – После сорочин, когда будет она в Вихореве, приезжайте к нам, будто за каким делом к Ивану Григорьичу. А к двадцатому дню расположили мы с тятенькой Патапом Максимычем ехать к ней. Остановимся здесь. Заходите.

В это время вошла Марфа Михайловна. Разговоры покончились.

С тех пор Петр Степаныч каждый день, а иногда и по два раза заходил к Колышкиным узна-

вать, нет ли каких вестей про Патапа Максимыча и про Аграфену Петровну, но про Дуню Смолокурову даже не заикался.

Раз Сергей Андреич, говоря с Самоквасовым, как думает он устроиться, сказал ему:

– А ведь крестный мой точную правду сказал, как был у меня. Жениться вам надо, Петр Степаныч, молодую хозяйшку под крышу свою привести. Тогда все пойдет по-хорошему.

– Сам понимаю это, – отвечал Самоквасов. – Да ведь невест на базаре не продают, а где ее, хорошую-то, сыщешь? Девушки ведь все ангелы божьи, откуда же злые жены берутся? Жену выбирать – что жеребей метать, – какая попадется. Хорош жеребей вынется – век проживешь в веселье и радости, плохой вынется – пожалуй, на другой же день после свадьбы придется от жены давиться либо топиться.

– С вашим капиталом да не найти хорошей невесты! – молвил Сергей Андреич. – Да возьмите хоть у нас в городе. Здесь всякими невестами, хорошими и плохими, старыми и молодыми, хоть Волгу с Окой запрудит. Словечко только молвите – стаями налетят, особенно ж теперь, при отдельном вашем капитале.

– Не мало уж свах налетало, – сказал Петр Степаныч. – Да это и на дело-то нисколько не похоже. Как я стану свататься, не зная ни невесты, ни семейных ее?

– На невесту-то я вам, пожалуй, укажу, – сказал Сергей Андреич. – Сам ее не видал никогда, а все одобряют, много слышал я про нее хорошего. С миллионом приданого, с вашим-то капиталом до полутора набралось бы... Какую бы можно было коммерцию завести. Про Смолокурову говорю, про сироту. Сама еще молода, из себя, говорят, пригожа, и нравом, вишь, кроткая, и ко всем сердобольная. В своем городе отцовское хозяйство она нарушает, за Волгу едет жить к моему крестному. А крестный, как вижу, вас жалуется. Поищите. Да не зевайте – миллионная невеста, в девках не засидится.

Ни слова не сказал Петр Степаныч, но такая краска бросилась ему в лицо, что он даже побавровел весь. Колышкин будто и не заметил того.

– Знали вы ее когда-нибудь? – спросил он у Самоквасова.

– Знал, – робко ответил Петр Степаныч, понизивши голос. – В прошлом году видались.

– Что ж? Нравится? По мыслям? – спросил, улыбаясь, Колышкин.

Не отвечал смущенный Самоквасов.

– Повидайтесь с моим крестным, как он будет здесь, да поговорите с ним об этом откровенно, – хлопнув ладонью по плечу Самоквасова, сказал Сергей Андреич. – Авось на свадьбе попируем.

Что вы, что вы, Сергей Андреич? – полушепотом только мог проговорить вконец растерявшийся Петр Степаныч.

Колышкин, глядя на него, улыбнулся.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В городе, где жил Смолокуров, только и говора было, что о несметном богатстве Дуни. Досужие языки уж не миллион насчитывали, а пять либо шесть. Иные стали обращаться к ней с просьбами о помощи, другие просто денег просили займы, третьи уж не просили, а просто-напросто требовали крупных сумм на общественные надобности – на дамские вечера в клубе, на музыку, даже на благородные театральные представления, до которых богатой наследнице никакого дела не было. Если б не Герасим Силыч, Дуня не знала бы, как и отделаться от толпы просителей. Он так хорошо их выпроваживал, что Дуня никого из них и не видала. Боясь, чтоб кто-нибудь из просителей вдруг не разжалобил Дуню, Чубалов, оставивши небольшую часть наличных денег для хозяйства, остальное отослал в ломбард и получил именные билеты.

Вексель в три тысячи рублей, выданный Марку Данилычу Сивковым, Дуня послала по почте. В письме к Поликарпу Андреичу, извещая о кончине отца, просила она, чтобы он, взяв половину денег в благодарность за данный ей приют, другую половину вручил бы отцу Прохору.

А отцу Прохору написала, что он навсегда будет получать от нее по пятисот рублей в год и что за первые три года получит полторы тысячи рублей от Поликарпа Андреича Сивкова.

Недели через полторы Дуня получила ответные письма. Сивков рассыпался в благодарностях и в пожеланиях скорей оправиться от горя и счастливо устроить судьбу свою. Насчет отца Прохора писал он, что послал к нему пятьсот рублей, а остальные отдаст после, когда позволят ему торговые обороты. Отец Прохор в самых теплых выражениях благодарил Дуню за полученные от Сивкова пятьсот рублей и за обещание не оставлять его и на будущее время. "А по отъезде из Луповиц Аграфены Петровны, коей при сем покорнейше прошу засвидетельствовать усерднейшее наше почтение и благодарность за неоставление нас, бедных и беспомощных, – писал отец Прохор, – у нас, в Луповицах, произошли неожиданные новости.

Третьего дня приезжал какой-то важный чиновник из Петербурга со здешним исправником и с жандармским полковником. Денисова они взяли, и жандармские солдаты увезли его неизвестно куда. По всему дому был произведен обыск, и меня тут пригласили по моему сану. Сионскую горницу и все, что возле нее, запечатали казенными печатями, а равно и богадельню еретицы Матрены. Здешние господа остаются покамест нетронутыми, но с них, кроме Марьи Ивановны, как заезжей, взяты подписки о невыезде из имения; наблюдение же за ними поручено нашему господину исправнику. А гостившую в Луповицах барышню Кислову отвезли в город к родителям и до времени отдали под полицейский надзор. Чем все это кончится, пока неизвестно, но ходят слухи, что правительство строго взялось за преследование богопротивной секты. Ожидают, что с нашими господами кончится тем же, чем кончилось и с родителем их, сосланным, как известно, в монастырь на неисходное покаяние. Таковые предположения слышатся не токмо от простых людей, но и от чиновных, при коих имел счастье находиться. А они в барском доме не пристали, а остановились петербургский чиновник с жандармским полковником у меня в домишке, а другие у отца дьякона да у причетников.

А Марья Ивановна сегодня в ваши места поехала. О сем пишу по той причине, что, быть может, вздумает она с вами повидаться, так вы обходитесь с ней строго и бережно, дабы снова не уязвила вас. А лучше бы всего, если бы с нею вовсе вы не видались. Узнавши, что теперь вы богаты, она, надо полагать, станет у вас денег просить на ихнее дело, то есть чтобы как-нибудь, и насколько возможно, опять присовокупить вас к их кораблю. Прошу я вас, отнюдь не поддавайтесь просьбам ее – храните себя. Боюсь, не осталось ли у вас в их доме каких-нибудь писем, касающихся до богомерзких их деяний. При обыске таковых не нашлось, но ведь дело не кончено, могут оказаться после. Сами же ни к Марье Ивановне и ни к кому из них ни единой буквы не пишете. Платье и разные ваши вещи, у них оставшиеся, пускай пропадают. Откажитесь от них, и дело с концом. По моему рассуждению, кажется, вам нечего опасаться, а если б и довелось ответ давать, покажите сущую обо всем правду. С таковых взыску никогда не бывает.

А главное, молитесь, ежедневно возносите моления, во-первых, самому господу богу, незримыми путями всякого земнородного руководящему, а во-вторых, святому отцу нашему Амвросию, епископу Медиоланскому. Они спасли вас от страшных бед. Теперь начинает открываться, что Денисов со своей сродницей Варварой Петровной, а также с барышней Кисловой в прежние годы то же самое учинил, на что и относительно вас покушался. Дай боже ему в монастыре раскаться в богопротивных делах... А сколько за то будет избавлено от позора молодых девиц и даже несмысленных отроковиц".

Письмо отца Прохора обеспокоило Дуню – она боялась встречи с Марьей Ивановной. Впрочем, еще надеялась, что, после всего бывшего в Луповицах, она проедет мимо города прямо в Фатьянку.

В самом деле, они не встретились, но вскоре из Фатьянки приехал нарочный от Марьи Ивановны. Он привез два чемодана с платьем и с разными вещами, оставленными Дуней в Луповицах. В одном из чемоданов было положено все хлыстовское, что употребляла Дуня во время радений. Тут были и белые ризы, и покровцы, и знамена, и пальмовые ветки. На вещах было положено письмо.

Вот что писала Марья Ивановна:

"Что это сделала ты с нами, милая, дорогая моя Дунюшка? Сокрушила ты всех нас печалью, а мы столь много и столь пламенно тебя любим. Сколько принесла ты нам горя, тревог и беспокойства своим исчезновением. Долго искали мы, куда могла бы ты скрыться, но не могли узнать;

после уж стороной услышали, что была ты в губернском городе у купца Сивкова, а от него с какою-то женщиной поехала к больному отцу. Не можем придумать, как очутилась ты у Сивковых. Через день после того как ты скрылась, была получена эстафета с письмом ко мне.

Извещали меня о внезапной болезни Марка Данилыча и просили сейчас же тебя привезти, чтоб отца в живых ты застала. И я бы исполнила это, ежели бы ты у нас на ту пору оставалась. А все произошло, я полагаю, из какого-нибудь недоразумения с твоей стороны. Надо думать, что тебе показалось бог знает что такое. Так и Егорушка говорил. Никогда, милый друг мой, не должно действовать под первым впечатлением, иначе это будет опрометчивостью.

Я, впрочем, осталась вполне уверенною, что ты не покинула святого дела и не поругалась ему по вражьему наважденью. Великий, страшный ответ перед богом придется давать тебе, ежели не устоишь против искушений лукавого. Сама знаешь, какою ты приехала к нам и какою, прельщенная миром и суетой его, оставила нас. Ради вечного душевного спасения твоего умоляю тебя, милый дружок, не забывай того, что преподано тебе, и оставайся верною богоу до самой кончины. Теперь, по смерти доброго Марка Данилыча, стала ты ни от кого независимою, тем более, что и достатки тебе достались немалые. Ни о чем об этом не думай, никаких забот на себя не принимай. Угождай только богу святыми делами. Хорошо бы тебе воротиться на прежнее место, либо у меня пожить в новом именье, но этого до некоторого времени исполнить невозможно, потому что случилось у нас неожиданное и великое несчастье. Железная скелетная рука Полифема, сына Посидонова (Это и некоторые другие выражения письма Марьи Ивановны дословно взяты из письма образованной петербургской хлыстовки, писанного во второй половине сороковых годов. Ни означения года, ни имени писавшей нет, но видно, что барыня хлыстовка хоть несколько была знакома с Гомером. Под именем Полифема разумеется правительство, а из сопоставления других подобных документов видно, что это преимущественно относится к министру графу Перовскому, обратившему строгое внимание на распространившуюся в его время хлыстовскую ересь.), коснулась и нашего тихого от суеты мирской убежища и грозит тем, что было со спутниками Одиссея в пещере Циклоповой. Егорушку увезли неизвестно куда, дом братьев описали и отчасти запечатали, я отпросилась в свое именье и дорогой узнала, что Полифем и туда простер ужасную свою руку. По этой причине лучше тебе покамест оставаться в своем доме, а когда утишатся скорби, тогда к нам переезжай. Посылаю тебе покинутые тобою вещи и все нужное для истинного богомоления. Пусть эти принадлежности к работе по святому и спасительному делу напоминают тебе о данных тобой клятвах и обещаниях. С этим же нарочным пришли ответ, человек он совершенно надежный и верный, писать с ним безопасно.

Это письмо на всякий случай сожги, чтоб никаких следов от него не осталось, и я равным образом также поступлю с письмом, которое пришлешь мне. Времена пошли неблагоприятные, подули с севера все доброе и истинное мертвящие холодные ветры, необходимо их переждать и беречь себя как можно осторожнее, чтобы не получить болезни. Прощай, милая моя и дорогая Дунюшка, ты всегда была избранной любимицей моего сердца; забудь же недоразумение, по которому ты исчезла из братнина дома. Уверяю тебя, что тут не было ничего дурного, ничего предосудительного, тебе только показалось что-то нехорошее. Умоляю тебя не забывать, что тобою принято, и вручаю тебя покровительству царицы небесной. Ты ведь ее за себя порукой давала. Не увлекайся мирской суетой и помни всегда, что не в ней заключается полнота духа, праведное восхищение и душевный ни с чем не сравнимый восторг. Ты ведь не раз испытала его".

Раздумалась над этим письмом Дуня. «Все ложь, все обман, правды нет нисколько! – подумала она. – Какое-то недоразумение нашло... Какое тут недоразумение, когда сама ввела меня в ловушку. И про мои недостатки, что остались после тятеньки, поминает. Их хотелось Луповицким... Прочь, лукавые! Ни думать не хочу о вас, ни вспоминать про вашу обманную веру».

Вошла разбитная Матрена.

– Что тебе, Матренушка? – спросила ее Дуня.

– Посланный ответа ждет, – отвечала Матрена.

– Скажи, что ответа не будет, – нахмурилась, сказала Дуня.

– Он говорит, что без вашего письма никак ему нельзя домой воротиться. Строго-настроено ему, слышь, наказывали письмо привезти от вас.

– Скажи ему от меня, что никакого ответа не будет и чтоб он скорей уезжал с моего двора, – повысивши голос, сказала Дуня, и глаза ее загорелись пылким гневом.

Волей-неволей посланный от Марьи Ивановны поехал долой со двора.

– Затопи, Матренушка, в моей спальне печку, – приказала Дуня.

– Да ведь нехолодно на дворе-то, Авдотья Марковна, – сказала было Матрена.

– Затопи, когда приказывают! – повелительно крикнула Дуня.

Изумилась Матрена. Всегда тихая и кроткая смиренница так грозно и властно стала покривать. Ни дать ни взять покойник Марко Данилыч. Видно, яблочко от яблоньки недалеко падает.

Когда печка разгорелась, Дуня заперлась изнутри и покидала в огонь белые ризы, еще недавно так с восторгом ею надеваемые. Знамена, покровцы и пальмовые ветви тоже в печку пошли. Между платьем нашла она писанную водяными красками картину «ликостроения» и несколько мистических книг, купленных Марком Данилычем у Чубалова и взятых Дуней в Луповицы. И это все в огонь полетело. Когда сгорело все, что могло напоминать ей о хлыстах, ровно тяжесть какая свалилась с нее и на душе стало покойней и веселее. Ей казалось, будто вышла она на вольную свободу из душной темницы. Все отношения ее к луповицким хлыстам были навсегда теперь разорваны.

После, когда рассказала она обо всем этом Аграфене Петровне, та похвалила ее.

В тот же день вечером разговорилась Дуня с Чубаловым.

– Скажите мне, пожалуйста, Герасим Силыч, правду ль я слышала, будто вы, странствуя по разным местам, во многих верах перебивали? – спросила она.

– Правда, Авдотья Марковна, вам необязно сказывали, – отвечал Чубалов. – С ранних годов, когда еще я подростком был, с ума у меня не сходило, что вот здесь, вокруг нас, староверы разных толков живут. И каждый толк не любит другие, обзывает их отступниками, отщепенцами. Где ж, думал я, единая, правая Христова вера, в коей вечное спасение несомненно. Кого ни спрашивал, никто прямого ответа мне не дал, свою веру хвалил, другие проклинал... Тогда прочел я книгу Ефрема Сирина. А в ней сказано: в последние времена праведная вера сокроется из мира и мир по своим похотям пойдет и забудет творца своего. Тогда держащие праведную веру побегут в горы и будут пребывать в вертепах и в пропастях земных. И пошел я в странство отыскивать те вертепы и пропасти, чтоб до конца живота пребывать с людьми истинной веры.

Много странствовал, но не мог их найти. Пошел по сектам, – в которой год, в которой больше оставался. А как замечу, бывало, какую ни на есть неправоту, тотчас ухажу в иное место... И таким образом пятнадцать лет провел я в странстве и все переходил из одного согласия в другой. Но нигде не видал прямой истины. Тогда, наскучив праздным шатаньем, домой воротился. И вот теперь провожу житие в той вере, в коей родился, по спасову согласию.

– Вы находите ее всех праведнее? – спросила Дуня. Не вдруг ответил Чубалов. Думал он. Долго думал; потом тихо промолвил:

– Вы, Авдотья Марковна, слышал я, много книг перечитали и с образованными господами знакомство водите. Так не может же быть, чтоб и вам на ум не приходило, до чего дошел я чтением книг.

– Что ж такое, Герасим Силыч? – живо спросила его Дуня. – До чего дошли вы?

– Не в пронос мое слово будь сказано, – запинаясь на каждом слове, отвечал Чубалов. – Ежели по сущей правде рассудить, так истинная вера там.

И показал на видневшиеся из окна церковные главы.

– Как? В великороссийской? – спросила удивленная Дуня.

– Да, в великороссийской, – твердо ответил Герасим Силыч. – Правда, есть в ней отступления от древних святоотеческих обрядов и преданий, есть церковные неурядища, много попов и других людей в клире недостойных, прибытками и гордостью обуйных, а в богослужении нерадивых и небрежных. Все это так, но вера у них чиста и непорочна. На том самом камне она стоит, о коем Христос сказал: «На нем созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ю». Задумалась Дуня.

– Да, между тамошним священством есть люди недостойные, – продолжал Чубалов. – Но ведь в семье не без урода. Зато не мало и таких, что душу свою готовы положить за последнего из

паствы. Такие даже бывают, что не только за своего, а за всякого носящего образ и подобие божие всем пожертвуют для спасения его от какой-нибудь беды, подвергнутся гневу сильных мира, сами лишатся всего, а человека, хоть им вовсе не знакомого, от беды и напасти спасут. И будь хоть немного таковых, они вполне бы возвеличили свою церковь, а в ней неправды нет – одно лишь изменение обряда. А обряд не вера, и церковь его всегда может изменить. Бывали тому примеры и в древней церкви, во дни вселенских соборов.

Дуня молчала, об отце Прохоре она думала: «Разве мне, чуждой его церкви, не сделал он величайшего благодеяния? Разве не подвергался он преследованиям? Разве ему самому не угрожали за это и лишение места и лишение скудных достатков?»

Прошло несколько минут. Дуня спросила у Чубалова, зорко глядя ему в очи и ровно застыдившись:

– Когда вы были в странстве, Герасим Силыч, не случалось ли вам когда-нибудь сходить с людьми божьими? – спросила Дуня.

– Все мы божьи люди, Авдотья Марковна, все его созданыя. Не знаю, про каких божьих людей вы спрашиваете, – отвечал Чубалов.

– Такая секта есть, – сказала Дуня. – Сами себя они зовут людьми божьими, верными-праведными зовутся также и праведными последних дней, познавшими тайну сокровенную.

– Не доводилось знать таких, – ответил Герасим Силыч. – Не знаю, про кого вы говорите.

– Вместо моления они пляшут и кружатся, – тихонько промолвила Дуня.

– Так это хлысты. Фармазонами их еще в народе зовут, – ответил Чубалов. – Нет, бог милостив, никогда на их проклятых сборищах не бывал. А встречаться встречался и не раз беседовал с ними.

– Что ж вы думаете о них? Что это за учение?

– Бесовское, – ответил Герасим Силыч.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Работы на пристани и на прядильнях Смолокурова еще до Покрова были кончены, и Чубалов рассчитал пришлых работников. Рассчитались они честно и мирно – не так, как бывало при Василье Фадееве. После выгонки ненавистного приказчика голоса никто не повышал в работных избах, а ежели и случалось кому хмельком чересчур зашибиться, сами товарищи не допускали его бушевать, а если слов не слушался, так пускали в ход палки и кулаки. Иные работники, особенно дальние, после расчета Христом богом молили оставить их при смолокуровском доме за какую угодно плату, даже из одного хлеба. Чубалов соглашался, и эти работники были полезнее других, они сделались бдительными и верными стражами осиротелого дома. А это было нелишнее. Не раз были попытки подкопаться под какую-нибудь смолокуровскую постройку, где лежало мало-мальски ценное. Охотников до чужбинки в том городке, где жил покойный Марко Данилыч, было вдоволь, и потому Герасим Силыч по ночам в доме на каждой лестнице клал спать по несколько человек, чтоб опять ночным делом не забрался в покои какой-нибудь новый Корней Прожженный.

Тихо, бесшумно шла новая Дунина жизнь, хоть и было ей тоскливо, хоть и болела она душою от скучного одиночества. С нетерпеньем ждала она тех дней, когда заживет под одним кровлей с сердечным своим другом Аграфеной Петровной.

Дни и ночи рук не покладаяючи Герасим Силыч работал над устройством смолокуровских дел. Они шли успешно: кусовые и косные, реюшки и бударки, строенные на пристани, бечева, ставные сети, канаты и веревки, напряденные весной и летом, проданы были хоть и не вовремя, хоть и по низкой цене, но все-таки довольно выгодно. Лес, на пристани заготовленный на два года, был продан дороже, чем обошелся он Марку Данилычу.

Приехал с Унжи Никифор, хорошо уладивши тамошние дела. За унженские дачи в свое время дешево Марко Данилыч заплатил промотавшемуся их барину. Не один год вырубал он десятин по сотне и сплавлял лес на пристани свою и нижегородскую; к тому ж и Корней Евстигнеев, будучи на Унге, не клал охулки на руку, а все-таки Никифор Захарыч, распродавши дачи по участкам, выручил денег больше, чем заплатил Марко Данилыч при покупке леса. С домом оставалось

только развязаться, тогда бы и дело с концом, но продать большой дом в маленьком городке не лапоть сплести.

Из местных обывателей не было такого, кто бы мог купить смолокуровский дом, даже и с долгой рассрочкой платежа, а жители других городов и в помышление не держали покупать тот дом, у каждого в своем месте от отцов и дедов дошедшая оседлость была, – как же оставлять ее, как менять верное на неверное? Старым, насиженным местом русский человек паче всего дорожит – не покинет он дома, где родились и сам и его родители, не оставит места, где на погосте положены его дедушки, бабушки и другие сродники. Внаймы смолокуровского дома сдать было некому – у каждого купца, у каждого мещанина хоть кривенький домишко, да есть, – у чиновных людей, что покрупнее, были свои дома, а мелкая сошка перебивалась на маленьких квартирках мещанских домов – тесно там, и холодно, и угарно, да делать нечего – по одежке протягивай ножки. А главное дело в том, что по всему городку ни у кого не было столько денег, чтоб купить смолокуровский дом, красу городка, застроенного ветхими деревянными домишками, ставленными без малого сто лет тому назад по воле Екатерины, обратившей ничтожное селенье в уездный город. Вот уж семьдесят лет, как тот городок ни разу дотла не выгорал, – оттого и строенье в нем обветшало.

Носились слухи по городу, что молодая наследница Марка Данилыча для того распродает все, что хочет уехать на житье за Волгу. Одни верили, другие не давали веры: «Зачем, – говорили они, – такой молоденькой и богатой невесте забиваться в лесную глушь. Там и женихов-то подходящих нет – одно мужичье: дровосеки да токари, красильщики да валяльщики». Раннюю продажу лодок и прядильного товара тем объясняли, что неумелой девушке не под стать такими делами заниматься, но в продажу дома никто и верить не хотел. Поверили только к Сергиеву дню, когда настали «капустки». В то время по всем городкам, по всем селеньям в каждом доме на зиму капусту рубят, к зажиточным людям тогда вереницами девки да молодки с тятками (Тятка – малый, заостренный, круглый и острый заступ, употребляемый при рубке капусты.) под мышками собираются. А ребятишкам и числа нет, дела они не делают, зато до отвала наедаются капустными кочерыгами. Шум, визг, крики разносятся далеко, а девицы с молодцами, стоя за корытами, «Матушку капустку» поют:

Я на камешке сижу,
Я топор в руках держу,
Изгородь я горожу.
Ой люли, ой люли,
Изгородь я горожу.
Я капусту сажу,
Я все беленькую,
Да кочанненькую.
Ой люли, ой люли,
Да кочанненькую.
У кого капусты нет -
Просим к нам в огород,
Во девичий хоровод.
Ой люли, ой люли,
Во девичий хоровод.
Пойдем, девки, в огород
Что по белую капустку
Да по сладкий кочешок.
Ой люли, ой люли,
Да по сладкий кочешок.
А капуста-то у нас
Уродилась хороша,
И туга, и крепка, и белым-белешенька.
Ой люли, ой люли,

И белым-белешенька.
Кочерыжки – что твой мед,
Ешьте, парни, кочерыжки -
Помните капустки.
Ой люли, ой люли,
Помните капустки.
Отчего же парней нет,
Ай зачем нет холостых
У нас на капустках?
Ой люли, ой люли,
У нас на капустках?
Возгордились, взвеличались
Наши парни молодые,
Приступу к ним нет.
Ой люли, ой люли,
Приступу к ним нет.
А в торгу да на базаре,
По всем лавкам и прилавкам
Не то про них говорят.
Ой люли, ой люли,
Не то про них говорят.
Вздешевели, вздешевели
Ваши добры молодцы,
Вся цена им – кочешок.
Ой люли, ой люли,
Вся цена им кочешок.
Ноне девять молодцов
За полденьги отдают
И дешевле того.
Ой люли, ой люли,
И дешевле того.
Тяпи, тяпи, тяп!..
Тяпи, тяпи, тяп!..
Ой, капуста белая,
Кочерыжка сладкая!

Звонко разносится веселый напев капустной песни, старой-престарой. Еще с той поры поется она на Руси, как предки наши познакомились с капустой и с родными щами. Под напев этой песни каждую осень матери, бабушки и прабабушки нынешних девок и молодок рубили капусту. Из всех домов далеко раздается нескончаемый стук тяпок, а в смолокуровском такая тишь, что издали слышно, как на дворе воробьи чирикают. Бывало, к пристани Марка Данилыча лодок по десяти с капустой приходило – надо было ее на зиму заготовить, достало бы на всех рабочих, а теперь смолокуровские лодки хоть и пришли, но капуста без остатка продана была на базаре. Тут только уверились горожане, что смолокуровские заведения в самом деле закрываются и молодая хозяйка переселяется с родины в иное место.

В то время как рубили капусту, подошел двадцатый день по смерти Марка Данилыча, и к Дуне приехал Патап Максимыч с Аграфеной Петровной и с детьми ее. Похожий на пустыню смолокуровский дом огласился детскими кликами, беготней и играми, и Дуня повеселела при своей сердечной Груне.

В полусорочины (Полусорочины – двадцатый день после смерти.) Герасим Силыч отправил в доме канон за единоумершего, потом все сходили на кладбище помолиться на могилке усопшего, а после того в работных избах ставлены были поминальные столы для рабочих и для нищей братии, а кроме того, всякий, кому была охота, невозбранно приходил поминать покойника. На

другой же день поминовенья начались сборы в путь-дорогу. Одна Дарья Сергевна была недовольна решением переехать за Волгу: сильна в ней была привязанность к дому, где она молодость коротала и почти до старости дожила. Патап Максимыч больше всего заботился, чтобы как-нибудь дом сбыть с рук. Узнавши, что присутственные места в городке до того обветшали, что заниматься в них стало невозможно, он вступил в переговоры с начальством, чтобы наняли смолокуровский дом, ежели нет в казне денег на его покупку. Городничий рассчитал, что в том доме, опричь помещения присутственных мест, может быть и для него отделана хорошая даровая квартира, и потому усердно стал хлопотать о найме. Патап Максимыч, будучи с Дуней один на один, сказал ей про то.

– Знаете ли, что я придумала? – выслушав Чапурина и немного помолчавши, сказала она. – Не надо бы дома-то продавать, лучше внаймы отдать на короткий срок, на год, что ли, а не то и меньше.

– Что ж это тебе вздумалось? – спросил Патап Максимыч.

– А помните, как мы разбирали тятенькин сундук и нашли бумагу про дядюшку Мокея Данилыча? – сказала Дуня. – Ежели, бог даст, освободится он из полону, этот дом я ему отдам. И денег, сколько надо будет, дам. Пущай его живет да молится за упокой тятеньки.

– Добрая душа у тебя, добрая, – ласково улыбаясь, сказал ей Патап Максимыч. – Значит, дом внаймы отдавать только на год?

– Как уж там рассудите, – отвечала Дуня. – А как думаете, скоро ли дядя воротится из полону?

– Не ближе лета. Поглядим, что оренбургский татарин напишет, а ответа от него до сих пор еще нет, – сказал Патап Максимыч. – Схожу-ка я теперь к городничему да потолкую с ним о найме дома на год. Да вряд ли он согласится на такое короткое время, – дело же ведь не его, а казенное.

– Так вовсе не отдавать, – быстро промолвила Дуня. – Караульщикова можно нанять. Герасима Силыча попросить, не согласится ли он пожить здесь до дяди.

– Хорошо, – молвил Чапурин, но все-таки пошел к городничему.

Только что вышел он из Дуниной комнаты, вошла Аграфена Петровна.

– С приезда не удавалось еще мне поговорить с тобой с глазу на глаз, сказала она Дуне. – Все кто-нибудь помешает: либо тятенька Патап Максимыч, либо Герасим Силыч, либо Дарья Сергевна, а не то ребятишки мои снуют по всем горницам и к тебе забегают.

– Что ж? Пусть их побегают, здесь просторно играть им, – молвила Дуня. И, зорко поглядев в глаза приятельнице, сказала:

– По глазам вижу, Груня, что хочется тебе что-то сказать мне. К добру али к худу будут речи твои?

– Каково почтешь, – ответила Аграфена Петровна, тоже улыбаясь. По-моему, кажется бы, к добру, а впрочем, как рассудишь.

– Что ж такое? – немного смутившись, спросила Дуня. Догадывалась она, о чем хочет вести с ней речь приятельница.

– Два раза виделась я с ним у Колышкиных, – сказала Аграфена Петровна. Как за Волгу отсюда ехали да вот теперь, сюда едучи. С дядей он покончил, двести тысяч чистоганом с него выправил, в Казани жить не хочет, а в Нижнем присматривает домик и думает тут на хозяйство сесть.

– Что ж он? – вся потупившись, спросила Дуня.

– Ничего. Жив, здоров, – отвечала Аграфена Петровна. – Про тебя вспоминал. Ни слова Дуни. – Тоже тоскует, как и тогда у нас в Вихореве, немного помолчав, сказала Аграфена Петровна. – Тоскует, плачет; смертная ему охота хоть бы глазком поглядеть на ту, что с ума его свела, не знает только, как подступиться... Боится.

– Так и сказал? – чуть слышно промолвила Дуня.

– Так и сказал, – ответила Аграфена Петровна. – Терзается, убивается, даже рыдает навзрыд. «Один, говорит, свет, одна улада мне в жизни была, и ту по глупости своей потерял». В последний раз, как мы виделись, волосы даже рвал на себе... Да скажи ты мне, Дуня, по истинной правде, не бывало ль прежде у вас с ним разговоров о том, что ты ему по душе пришлась? Не сказывал ли он тебе про свои намеренья?

– Нет, – ответила Дуня, – ни он мне, ни я ему словечка о том не сказала. Он не заговаривал, так как же я-то могла говорить? Мое дело девичье. Тогда же была я такая еще, что путем и не понимала своих чувств. А когда узнала, что уехал он к Фленушке, закипело мое сердце, все во мне замерло, но я все-таки затаила в себе чувства, никому виду не подала, тебе даже не сказала, что у меня стало на сердце... А тут эта Марья Ивановна подвернулась. Хитрая она – сразу обо всем догадалась. Лукавыми словами завлекла она меня в ихнюю веру, и я была рада. У них вечное девичество в закон поставляется, думать про мужчин даже запрещается, а я была тогда им так много обижена, так ненавидела его, всякого зла и несчастья желала ему, оттого больше и предалась душою фармазонской вере... Когда же образумилась и познала ихние ложь и обманы, тогда чаще и чаще он стал вспоминаться мне. Голос его даже слыхала, призрак его видела. И с той поры стала сердцем по нем сокрушаться, жалеть (Жалеть – в простонародье любить.) его.

– И он тебя жалеет, и он по тебе сокрушается, – тихонько молвила Аграфена Петровна. – С того времени сокрушается, как летошний год уехал в скиты. Так говорил он в последнее наше свиданье и до того такие же речи не раз мне говаривал... Свидеться бы вам да потолковать меж собой.

– Нет! Как можно! – покрасневши вся, молвила Дуня. – Не бросаться же к нему на шею.

– Вестимо, на шею не бросаться, а не мешает самой тебе узнать, как он по тебе сокрушается, особенно теперь, как ты осиротела... Как, говорит, теперь она устроится? Беспомощная, беззащитная! – сказала Аграфена Петровна.

Задумалась Дуня. После недолгого молчанья Аграфена Петровна сказала ей:

– Теперь он чуть не каждый день у Колышкиных. Приедем в город, увидишься с ним. Поговори поласковой. Сдается мне, что дело кончится добром.

Не ответила Дуня, но с тех пор Петр Степаныч не сходил у нее с ума. И все-то представлялся он ей таким скорбным, печальным и плачущим, каким видела его в грезах в луповицком палисаднике. Раздумывает она, как-то встретится с ним, как-то он заговорит, что надо будет ей отвечать ему. С ненавистью вспоминает Марью Ивановну, что воспользовалась душевной ее тревогой и, увлекши в свою веру, разлучила с ним на долгое время. Про Фленушку и про поездку Самоквасова в Комаров и помина нет.

Пришел Покров девкам головы крыть (С Покрова (1-го октября) начинаются по деревням свадьбы. После венчания молодой расчесывают косу и кроют голову повойником.) – наступило первое зазимье, конец, хороводам, почин вечерним посиделкам. Патап Максимыч уладил все дела – караульщики были наняты, а Герасим Силыч согласился домовничать. Через недолгое время после Покрова прихлились сорочины. Справивши их, Патап Максимыч с Аграфеной Петровной, с Дуней и Дарьей Сергевной поехали за Волгу. На перепутье остановились у Колышкиных.

И Сергей Андреич и Марфа Михайловна рады были знакомству с Дуней, приняли ее с задушевным радушьем и не знали, как угодить ей. Особенно ласкова была с ней Марфа Михайловна – сиротство молодой девушки внушало ей теплое, сердечное к ней участие. Не заставил долго ждать себя и Петр Степаныч.

Вошел он в комнату, где сидели и гости и хозяева. Со всеми поздоровавшись, низко поклонился он Дуне и весь побледнел. Сам ни словечка, стоит перед нею как вкопанный. Дуня слегка ему поклонилась и зарделась как маков цвет. Постоял перед ней Самоквасов, робко, скорбно и страстно поглядел на нее, потом отошел в сторону и вступил в общий разговор. Аграфена Петровна улучила минуту и прошептала ему несколько слов. Немного погодя сказала она Дуне:

– Пойдем в те комнаты, надо мне на ребятку моих посмотреть, не расшалились ли; да и спать уж пора их укладывать.

Медленно встала Дуня и пошла за подругой. Посмотрели они на детей; те играли с детьми

Колышкина и держали себя хорошо. После того Аграфена Петровна пошла с Дуней в гостиную. Сели они там.

– Ну что? – спросила едва слышно Аграфена Петровна. Не отвечала Дуня.

– Что ж молчишь? говори!

– Жалким таким он мне показался, – немного помедливши, проговорила Дуня.

– Чем же жалок-то? – с улыбкой спросила Аграфена Петровна.

– Так, – пальцами перебирая оборку платья, тихонько ответила Дуня.

– А ты путем говори, – вскрикнула Аграфена Петровна. – Мы ведь здесь одни, никто не услышит.

– Жалкий такой он, тоскливый... – промолвила Дуня.

– По тебе тоскует, оттого и жалок, – сказала Аграфена Петровна.

В это самое время робкими, неровными шагами вошел в гостиную Петр Степаныч и стал у притолоки. Назад идти не хочется, подойти смелости нет.

– Подите-ка сюда, Петр Степаныч, подойдите к нам поближе, – улыбнувшись весело, молвила ему Аграфена Петровна. Тихой поступью подошел к ней Самоквасов.

– Винитесь, в чем согрубли, – сказала Аграфена Петровна.

– Глаз не смею поднять... – задыхающимся, дрожащим голосом промолвил Самоквасов. – Глупость была моя, и теперь должен за нее век свой мучиться да каяться.

– Что ж такое вы сделали?... Я что-то не помню, – вся разгоревшись, промолвила Дуня.

– А уехал-то тогда. В прошлом-то году... Не сказавшись, не простившись, уехал... – сказал Петр Степаныч.

– Что ж? Вы человек вольный, где хотите, там живете, куда вздумали, туда и поехали, никто вас не держит, – проговорила Дуня. – Я вовсе на вас не сердилась, и уж довольно времени прошло, когда мне сказали о вашем отъезде; а то и не знала я, что вы уехали. Да и с какой стати стала бы я сердиться на вас?

– Авдотья Марковна, Авдотья Марковна! Раздираете вы душу мою! – вскрикнул Самоквасов. – Сам теперь не знаю, радоваться вашим словам иль навеки отчаяться в счастье и радости.

Дуня сгорела вся, не может ничего сказать в ответ Петру Степанычу. Но потом эти слова его во всю жизнь забыть не могла.

Немного оправаясь от смущенья, повела она речь о постороннем.

– Что ваш раздел? – спросила она.

– Покончил, судом порешили нас, – отвечал Самоквасов. – Прежде невеликую часть из дедушкина капитала у дяди просил я, а он заартачился, не хотел и медной полушки давать. Делать нечего – я к суду. И присудили мне целую половину всего имения – двести тысяч чистыми получил и тотчас же уехал из Казани – не жить бы только с дядей в одном городе. Здесь решил себя купить и каким-нибудь делом заняться. А не найду здесь счастья, в Москву уеду, либо в Питер, а не то и дальше куда-нибудь... Двухсот тысяч на жизнь хватит, а жить мне недолго. Без счастья на свете я не жилец.

– Ну, будет вам, Петр Степаныч, – сказала Аграфена Петровна. – Мировую сейчас, хоть ссоры меж вами и не было. Так ли, Дунюшка?

– Какая же ссора? – молвила Дуня, обращаясь к подруге. – И в прошлом году и до сих пор я Петра Степаныча вовсе почти и не знала; ни я перед ним, ни он передо мной ни в чем не виноваты. В Комаров-от уехали вы тогда, так мне-то какое дело было до того? Петр Степаныч вольный казак – куда воля тянет, туда ему и дорога.

– Ну, будет, пойдемте, не то придет сюда кто-нибудь, – сказала Аграфена Петровна. – Ступайте прежде вы, Петр Степаныч, мы за вами.

Послушно, ни слова не сказавши, вышел Самоквасов. Когда ушел он, Аграфена Петровна тихонько сказала Дуне:

– На первый раз пока довольно. А заметила ль ты, какой он робкий был перед тобой, – молвила Аграфена Петровна. – Тебе словечка о том не промолвил, а мне на этом самом месте говорил, что ежели ты его оттолкнешь, так он на себя руки наложит. Попомни это, Дунюшка... Ежели он над собой в самом деле что-нибудь сделает, это всю твою жизнь будет камнем лежать на

душе твоей... А любит тебя, сама видишь, что любит. Однако ж пойдем.

И пошли из гостиной в столовую, где и хозяева и гости сидели.

Патап Максимыч дня четыре прожил у Колышкиных, и каждый день с утра до ночи тут бывал Самоквасов. Дуня помаленьку стала с ним разговаривать, а он перестал робеть. Зорко поглядывала на них Аграфена Петровна и нарадоваться не могла, заметив однажды, что Дуня с Петром Степанычем шутят и чему-то смеются.

Перед отъездом Аграфена Петровна сказала Самоквасову, чтобы дён через десять приезжал он к ней в Вихорево.

Переpravясь через Волгу, все поехали к Груне в Вихорево. Эта деревня ближе была к городу, чем Осиповка. Патап Максимыч не успел еще прибраться как следует для Дуни комнаты, потому и поторопился уехать домой с Дарьей Сергеевной. По совету ее и убрали комнату. Хотелось Патапу Максимычу, чтобы богатая наследница Смолокурова жила у него как можно лучше; для того и нанял плотников строить на усадьбе особенный дом. Он должен был поспеть к Рождеству.

Не заставил себя ждать Петр Степаныч, на десятый день, как назначила ему Аграфена Петровна, он как снег на голову. Дуня была довольна его приездом, хоть ничем того и не выказала. Но от Груни не укрылись ни ее радость, ни ее оживление.

– Рада гостю? – спросила она Дуню вечером, когда осталась вдвоем с ней. Дуня поалела, но ничего не ответила.

– По глазам вижу, что радехонька. Меня не проведешь, – улыбаясь и пристально глядя на Дуню, сказала Аграфена Петровна.

– По мне, все одно, – молвила Дуня, облегчив трепетавшую грудь глубоким вздохом.

– Разводи бобы-то! Точно я двухлетний ребенок, ничего не вижу, ничего не понимаю, – с усмешкой сказала Аграфена Петровна. – Лучше вот что скажи – неужто у тебя еще не вышли из памяти Луповицы, неужели в самом деле обрекла ты себя на девичество?

– Про Луповицы не хочу и вспоминать. Если б можно было совсем позабыть их, была бы тому радехонька, – с живостью вскрикнула Дуня.

– Только замужем совсем про них забудешь, – сказала Аграфена Петровна.

– Это почему? – спросила Дуня.

– Да уж так, – ответила Аграфена Петровна. – Не тем будет голова занята. Думы о муже, заботы о детях, домашние хлопоты по хозяйству изведут вон из памяти воспоминанья о Луповицах. И не вспомнишь про тамошних людей. А замуж тебе пора. Теперь то возьми: теперь у тебя большие недостатки, как ты с ними справишься? Правда, тятенька Патап Максимыч вступился в твое сиротство, но все ж он тебе чужанин, а сродников нет у тебя ни души: да тятенька и в отлучках часто бывает, и лета его уж такие, что – сохрани бог, от слова не сделается – и с ним то же может приключиться, что с твоим покойником. На дядю надеешься? Так выйдет ли он из полону, нет ли, одному богу известно. А ежели и выйдет, что за делец будет?

Столько годов проживши в рабстве у бусурман, не то что от наших дел отстал, а пожалуй, и по-русски-то говорить разучился. К тому ж и он уж человек не молодой, и к нему старость подошла. Он же не только тебя никогда не видывал, а даже не знает, что и на свете-то ты есть. Как ему сберечь твое добро, не зная русских порядков? Правду ль я говорю?

– Конечно, правду, – поникнув разгоревшимся личиком, сказала Дуня.

– Иное дело – замужество, – продолжала Аграфена Петровна. – Хоть худ муженек, да за мужниной головой не будешь сиротой; жена мужу всего на свете дороже.

Не отвечала Дуня, крепко призадумалась над речами друга сердечного и противного слова не могла ей сказать.

– А что, Дунюшка, пошла бы ты за Петра Степаныча, если б он к тебе присватался? – спросила вдруг у ней Аграфена Петровна. Слезы выступили у Дуни.

– Не знаю, – она молвила.

– Его-то знаешь, – подхватила Аграфена Петровна. – И то знаешь, что он по тебе без ума. Сам он мне о том сказывал и просил меня поговорить с тобой насчет этого... Сам не смеет. Прежде был отважный, удалой, а теперь тише забитого ребенка.

Молчала Дуня, но Аграфена Петровна по-прежнему приставала к ней:

– Скажи, Дунюшка, скажи, моя милая. Ежели хочешь, словечка ему не вымолвлю. Пошла бы ты за него али нет?

По-прежнему Дуня ни слова.

– Не сионская ли горница тревожит тебя?.. Не об ней ли вспоминаешь? Не хочешь ли сдержать обещание вечного девичества, что обманом взяли с тебя? – сказала Аграфена Петровна. Встрепенулась Дуня при этих словах.

– Нет, нет! – вскрикнула она. – Не поминай ты мне про них, не мути моего сердца, богом прошу тебя... Они жизнь мою отравили, им, как теперь вижу, хотелось только деньгами моими завладеть, все к тому было ведено. У них ведь что большие деньги, что малые – все идет в корабль.

– Да не в том дело, – прервала ее Аграфена Петровна. – Пошла ли бы ты за Петра Степаныча? Вот о чем я тебя спрашиваю... Пожалей ты его... Он, бедняжка, теперь сам не свой, от хлеба даже отбился. Мученик, как есть мученик... Что ж ты скажешь мне? Пошла бы?

Крепко прижалась Дуня лицом к плечу подруги и чуть слышно прошептала ей:

– Что ж нейти, коли есть на то воля божия... И, сказавши, громко зарыдала.

– Так я скажу ему. Поскорей бы уж делу конец... Что томить его понапрасну? – молвила Аграфена Петровна.

– Ах нет, Груня, не говори, – вскрикнула Дуня. – Как это можно?

– Ежели станем молчать, ни до чего не домолчимся, – сказала Аграфена Петровна. – Непременно надо вам переговорить друг с другом, а там – что будет богу угодно.

– Ах, нет!.. Нет, ни за что на свете! У меня и слов не достанет, вскрикнула Дуня.

– Так ин вот что сделаем, – сказала Аграфена Петровна. – Так и быть, хоть я еще и молода, пойду в свахи. Потолкую с ним, а потом и с тобой слажу. Ладно ли будет?..

– Не знаю. Делай как лучше, – чуть слышно прошептала Дуня.

И всю ночь после того глаз не могла сомкнуть она, думы так и путались у ней на уме. А думы те были все об одном Петре Степаныче, думы ясные и светлые. Тут вполне сознала Дуня, что она полюбила Самоквасова.

Заснула только под утро, и во сне ей виделся только он один.

Утром Аграфена Петровна передала Петру Степанычу, что Дуня не прочь за него идти. Он так обрадовался, что в ноги молодой свахе поклонился, а потом заметался по горнице.

– Так и быть, сведу вас, – сказала Аграфена Петровна, – только много с ней не говорить и долго не оставаться. Ведь это не Фленушка. Робка моя Дуня и стыдлива. Испортите дело – пеняйте на себя. Сама при вас буду – меня во всем извольте слушаться; скажу: «довольно» – уходите, скажу: «не говорите» – молчите.

Вечером, когда Дуня с Аграфеной Петровной сидели вдвоем, вошел к ним Петр Степаныч. Не издавши целый день Дуни, он низко ей поклонился, а она ответила едва заметным поклоном. Все трое молчали.

– Я, Петр Степаныч, по вашей просьбе, говорила с Дуней насчет ваших намерений, – начала Аграфена Петровна. – Вот она сама налицо, извольте спрашивать, как она думает.

Неровной, медленной поступью подошел Самоквасов к Дуне. Хочет что-то сказать, да слова с языка не сходят. Сам на себя дивится Петр Степаныч – никогда этого с ним не бывало. Нет, видно, здесь не Каменный Вражек, не Комаровский перелесок.

– Да говорите же! – вскрикнула с нетерпением Аграфена Петровна.

Оправившись от смущенья, тихим, взволнованным голосом, склонив перед Дуней голову, сказал он:

– Ежели не противен... не откажите... явите божескую милость... Богом клянусь – мужем добрым буду, верным, хорошим.

У Дуни в глазах помутилось, лицо вспыхнуло пламенем, губы судорожно задрожали, а дев-

ственная грудь высоко и трепетно стала подниматься, потом слезы хлынули из очей. Ни слова в ответ она не сказала.

– Согласны ль будете выйти, Авдотья Марковна, за меня? – спустя немного промолвил Петр Степаныч. Дуня через силу прошептала:

– Да.

– Ну и слава богу, – радостно вскрикнула Аграфена Петровна. Домолчались до доброго слова!.. Теперь, Петр Степаныч, извольте в свое место идти, а я с вашей невестой останусь. Видите, какая она – надо ей успокоиться.

– На одну минутку, – не помня себя от восторга, вскрикнул Самоквасов и вынул из кармана дорогое кольцо. – Так как вас, Авдотья Марковна, Аграфена Петровна сейчас назвала моей невестой и как я сам теперь вас за невесту свою почитаю, то нижайше прошу принять этот подарочек. Дуня не брала кольца.

– Возьми, Дунюшка, – молвила Аграфена Петровна. – Так водится.

Нерешительно и робко протянула Дуня руку. Петр Степаныч положил в нее подарок.

– Теперь ступайте с богом, Петр Степаныч, оставьте нас, – промолвила Аграфена Петровна. Самоквасов молча повиновался.

На другой день рано поутру Аграфена Петровна послала нарочного с письмом к Патапу Максимычу. Она просила его как можно скорей приехать в Вихорево. Чапурин не заставил себя долго ждать – в тот же день поздним вечером сидел он с Груней в ее горнице.

– Что случилось? Зачем наспех меня требовала? – спрашивал он.

– Худого, слава богу, не случилось, а хорошенького довольно, – ответила Груня. – Так как ты, тятенька, теперь и защитник и покровитель сиротки нашей, считаешь ее за свою дочку, так я и позвала тебя на важный совет. Самой одной с таким делом мне не справиться, потому и послала за тобой.

– В чем дело-то? – спросил Чапурин. – Что тянешь? Скорей да прямой говори.

– Видишь ли, тятенька, дней пять тому назад приехал к нам в гости Самоквасов Петр Степаныч, – молвила Аграфена Петровна. – Дуня крепко ему приглянулась.

– Это я еще у Колышкиных приметил, – сказал Патап Максимыч. – Еще что?

– А еще то, что вечер Дуня согласилась замуж идти за него, – сказала Аграфена Петровна. – Покамест об этом мы только трое знаем: жених с невестой да я. Что ты на это скажешь?

– Что сказать-то? Дело доброе, – молвил Патап Максимыч. – Девица она умная, по всему хорошая, и его из хороших людей не выкинешь. Заживут, бог даст, припеваючи. Помнишь, я еще тогда, как только помер Марко Данилыч, говорил, что при ее положении надо ей скорее замуж идти. Ведь одна как перст... Доброе дело затеяно у вас, доброе... Был он прежде забубенным ветрогоном, проказил на все руки, теперь переменился, человека узнать нельзя. А как женится, еще лучше будет.

– Присватался бы какой-нибудь негодный парень к Дунину миллиону, ну и мучься она с ним до гробовой доски. Что тут хорошего-то? А пожалуй, и такой бы хахаль навернулся, что обобрал бы ее до ниточки, да и бросил, как вон Алешка Лохматый Марью Гавриловну обобрал да бросил. Этот женится не на деньгах – у него двести тысяч в кармане. Нет, вашего дела охаять нельзя, хорошее, очень даже хорошее дело. Одобряю.

– Ты с ней, тятенька, куда об этом не говори, – сказала Аграфена Петровна. – Не вдруг, значит, начинай. Она такая ведь пугливая да робкая. Нельзя покамест с ней много говорить насчет этого. Скажу тебе, когда можно будет.

– А с ним? – спросил Чапурин.

– С ним отчего ж не поговорить, – отвечала Аграфена Петровна, – только бы она не знала об этом. С недельку, пожалуй, надо будет обождать, покамест они привыкнут друг к другу.

– А ведь я было на усаде хотел особый дом для нее ставить; теперь, значит, не нужно? – ска-

зал Патап Максимыч. – Когда свадьба-то?

– Об этом не заводили еще речей, да, признаться, и некогда было, отвечала Аграфена Петровна. – А по-моему бы так: до филипповок с приданым да с тем и другим не управиться нам; хоть бы тотчас после Крещенья свадьбу сыграть. Тем временем Петр Степаныч дом купит и уберет его, как надобно. Это время Дуня у меня бы аль у тебя погостила. А венчаться им в городе и лучше бы всего в единоверческой, тамошний-то венец покрепче сидит на голове. Опять же Петр Степаныч сам говорил мне, что при их достатках, ежели повенчаются они у проезжающего священника, того и гляди доносы пойдут да суды. С Дуней об этом я еще не говорила, а думаю, что и она будет не прочь обвенчаться в единоверческой.

– И распрекрасное дело, – сказал Чапурин. – Что там ни говори, попы наши да скитские келейницы, как ни расписывай они свою правоту, а правда-то на той стороне, не на нашей.

Было уж поздно, наступала полночь, яркими, мерцающими звездами было усеяно темносинее небо. Простившись с Груней, Патап Максимыч из душных горниц пошел на улицу подышать свежим воздухом. Видит – возле дома Ивана Григорьевича сидит человек на завалинке. Высоко он держит голову и глядит на небесные светочи. Поближе подошел к нему Патап Максимыч и узнал Самоквасова.

– Наше вам почтение, – слегка приподнимая картуз, сказал Чапурин.

– Ах, здравствуйте!.. здравствуйте, Патап Максимыч, – вскочив с завалины, с живостью воскликнул Самоквасов. – Слышал, слышал я о вашем приезде, только свидеться не удалось пока.

– У Груни я посидел, – ответил Чапурин, – а теперь вышел на сон грядущий вольным воздухом подышать. А вы здесь какими судьбами?

– Да вот вздумалось у Аграфены Петровны погостить, – отвечал Петр Степаныч. Ивана-то Григорьевича дома нет, а я не знал о том. Да наша хозяйшка такая ласковая, приветливая, хлебосольная, как и сам Иван Григорьич.

– Дела, что ли, какие до него? – спросил Чапурин.

– Особенных пока не заводилось. А кой о чем надо посоветоваться. Вот я и приехал, – отвечал Петр Степаныч.

– Валеным товаром, что ли, заняться? – с усмешкой спросил Патап Максимыч.

– Валеным товаром торговать я не стану, а надо же чем-нибудь заняться, – ответил Петр Степаныч.

– Так ко мне бы приехал. Побольше Ивана Григорьича видов мы видали: по какой хочешь торговле смыслим больше его, – сказал Чапурин.

– К вам-то я не посмел, – отозвался Самоквасов.

– А ты пустяков не плети, – сказал Патап Максимыч. – Сейчас с Груней говорил и знаю, за чем ты приехал. Не к ней пожаловал и не к Ивану Григорьичу, а к кому-то другому.

– Как к другому? – спросил смущенный Самоквасов.

– Невесту высватать приехал. Что ж? Невеста хорошая, – с ясной улыбкой промолвил Чапурин. – Мало таких на свете.

Примолк Петр Степаныч, молчал и Патап Максимыч. Спустя немного времени Чапурин сказал:

– Чего таиться-то? Дело задумано нехудое. Груне я так и говорил: она ведь мне все рассказывала.

– Ежели Аграфена Петровна вам рассказала, так мне таиться не приходится. Да, Патап Максимыч, сдается мне, что попал я на добрую стезю.

– Справедливо. Дай бог совет да любовь, а при них и счастье придет, молвил Патап Максимыч. – Как насчет свадьбы располагаешь? Когда думаете делом-то совсем покончить?

– Хотелось бы тотчас после Крещенья, только не знаю, управимся ли, отвечал Петр Степаныч. – Домик в городе присмотрел, надо купить его да убрать как следует, запасы по хозяйству тоже надо сделать, прислугу нанять, лошадей завести, экипажи купить. Мало ль сколько дела, а на все время требуется.

– Свадьбу-то где думаете играть? – помолчав немного, спросил Патап Максимыч.

– В городе. Стану Сергея Андреича и Марфу Михайловну просить, чтоб они из своего дома

невесту к венцу отпустили, – сказал Петр Степаныч.

– Та-а-к, – протянул Патап Максимыч. – Ладно придумано, лучше не надо. Завтра поутру надо будет мне с Груней покалякать, а потом повидать невесту. Хотя не родная, а все-таки не чужая. Долго ль здесь располагаешь прожить?

– Надо будет Ивана Григорьяча дожидаться, – ответил Петр Степаныч.

– Что ждать-то его? Не скоро воротится, до самого Николы, может, проедит, а тем временем дело-то у тебя будет ни взад, ни вперед, – сказал Чапурин. – По-моему бы, вот как: помилуйся денька три-четыре с невестой, да и поезжай за дела приниматься. Скучно станет, сюда дорога не запала, опять же и близко – хоть каждое воскресенье к невесте приезжай. Таков мой совет. Опять же и то надо сказать, что в добрых людях не водится, чтобы жених с невестой долго под одной кровлей жили. Видеться хоть каждый божий день видайтесь, а жить в доме не приходится. Осудят, а попадешь кумушкам на язычок, того наплетут, что тошно станет и слушать-то.

Тяжело вздохнул Самоквасов, но согласился с Патапом Максимычем. А уж как бы не хотелось ему разлучаться с невестой. Весь бы день с утра до вечера сидел с ней да любовался на ее голубые глаза, стройный стан а девственные перси.

– Однако, парень, не пора ли спать? Пойдем-ка, друг, опочив держать, сказал Чапурин, отходя к воротам. Самоквасов следом за ним пошел.

На другой день Патап Максимыч долго беседовал с Аграфеной Петровной. Обо всем переговорили насчет Дуниной свадьбы. Груня согласилась на все, кроме одного только.

– Как это можно отпускать под венец невесту от Сергея Андреича? – сказала она. – Конечно, дом у него большой, а все-таки всем нам не поместиться. Сметни-ка, сколько на свадьбу-то наедет гостей. Стесним только Сергея Андреича.

– Как же быть-то? – в раздумье спросил Патап Максимыч. – Ты ведь у меня разумница, скажи, как, по-твоему, это дело поглаже обладить?

– По-моему, вот бы как, – ответила Аграфена Петровна. – Нанять в городе большую, просторную квартиру на месяц либо на два и перед свадьбой туда всем переехать. Оттуда отпустим и невесту.

– Ладно-то оно ладно, – покачивая головой, сказал Чапурин. – Только по скорости вряд ли такую квартиру найдешь. Да и сдерут же за нее.

– Насчет денег нечего думать. Дуня за все заплатит, – сказала Аграфена Петровна. – А ежели подходящей квартиры в городе не найдется, в гостинице остановимся. Только заранее надо нанять сколько надо горниц.

– И то правда, – молвил Патап Максимыч. – Теперь как насчет приданого?

– О приданом еще не говорила я с Дуней, – ответила Аграфена Петровна. Одна себе обсудила.

– Как же решила ты, разумница? Это дело бабье, я тут ни при чем. Ни советовать, ни отсоветовать не смогу, – сказал Патап Максимыч.

– Я вот как придумала, – молвила Аграфена Петровна. – Ведь Дуня станет ходить по городскому, поэтому и я тут ни при чем; надо будет Марфу Михайловну попросить, она в этом знает толк. Съезжу к ней, попрошу, авось не откажет.

– Не откажет, об этом нечего и говорить. Что только сумеет, все сделает, – сказал Чапурин. – Она добрая, услужливая.

– Да особенных-то хлопот, кажется, ей и не будет, – сказала Аграфена Петровна. – Вон у меня в кладовой Дунины сундуки стоят, ломаются от приданого, что покойник Марко Данилыч ей заготовил. Как собирались мы сюда, пособляла я укладываться. Чего только там нет – белья носильного и столового видимо-невидимо, и все-то новенькое, ни разу не надетое; три шубы чернубой лисы, одну только что привез покойник с ярманки: серебра пуда три, коли не больше, а шелковых да шерстяных материй на платья целая пропасть... Бриллиантов также множество и других разных дорогих вещей.

Марфу Михайловну не очень затруднит приданое, потому и хочу просить ее.

– Что ж?.. Дело хорошее, – молвил Патап Максимыч. – Съезди в самом деле, попроси. И от меня попроси, она самым лучшим порядком уладит все... Да что невеста не кажется?.. Неужто до

сей поры нежит в постели белое тело свое?

– В светелке наверху сидит. Сейчас кликну ее. Сама еще не видала сегодня ее, – сказала Аграфена Петровна, выходя из горницы. – Только будь ты с ней, тятенька, осторожней, да опасливей, шуточки-то не больно распускай. Она такая стыдливая, совестливая. И с женихом даже стыдится словом перекинуться. Говорила я ей, что так нельзя, – не слушается.

«Прыгает, видно, девка по-козьему, а как косу-то под повойник подберут, станет ходить серой утицей, – подумал Чапурин, когда вышла из горницы Аграфена Петровна. – Девичьих прихотей не перечесать, и на девкин норов нет угодника и не бывало».

Скоро воротилась Аграфена Петровна, а вместе с ней и Дуня пришла. Была она до крайности взволнована, лицо алым румянцем подернулось, от усиленного перерывчатого дыхания высоко подымались девственные ее груди. С потупленными взорами, несмелой поступью подошла она к названному отцу и смутилась, ровно грех какой совершила, либо постыдный поступок.

– Здравствуй, дочка, подходи ближе, – весело и приветливо сказал, увидавши ее, Чапурин. Подошла Дуня, поздоровалась с ним.

– Сядь-ка рядом, покалякаем, – сказал Патап Максимыч, указывая на стоявший возле стул.

Ни слова не молвив, Дуня села возле названного отца.

– Каково поживаешь? Не соскучилась ли? – немного помедливши, спросил Патап Максимыч.

– Нет, – тихонько ответила Дуня.

– Ну, и слава богу. Это лучше всего. А ко мне в Осиповку когда собираешься? – спросил Чапурин.

– Не знаю, – прошептала она. – Вот как Груня.

– А я было у себя на усаде домик для твоего житья хотел ставить, чтобы, значит, жить тебе на своей полной воле, отдельно от моей семьи. Да чуть ли не опоздал, – с ласковой улыбкой проговорил Патап Максимыч.

– Покорно благодарю вас за ваши попечения, – тихо молвила Дуня.

– Какие тут благодарности?.. Что между нами за счеты? – воскликнул Патап Максимыч. – Доброй волей, без твоей просьбы привелось мне взять попечение о тебе и делах твоих... На то была воля божья. Так я рассуждаю. Какие ж тут благодарности? А, кстати, оренбургский татарин письмо прислал.

– Что ж он пишет? – с оживлением спросила Дуня. – Есть ли надежда выручить дядюшку?

– Есть, – отвечал Патап Максимыч. – Обрадовался некрещеный лоб другой тысяче, что ты обещала ему. Беспременно, пишет, выкуплю, а не выкуплю, так выкраду, и ежели только он в живых, к лету вывезу его на русскую землю.

– Слава богу, – сказала Дуня. – Как только вспомню я, что у меня дядя родной в полону, сердце кровью так и обольется... Поскорее бы уж вынес его господь... Дарья Сергевна как у вас поживает?

– Ничего, здорова. С самого приезда в Осиповку не выходит почти из моленной. С канонницей чередуется – службу правит. Только скучает, очень даже скучает, – проговорил Чапурин.

– Жаль мне ее, – молвила Дуня. – Вот я и молода еще, а куда тяжело менять жизнь, а ей-то на старости лет каково?..

– Тебе-то, Дунюшка, от перемены в жизни тяготы не будет, – сказал, улыбаясь, Патап Максимыч. – Да что ж ты все молчишь, что не поделишься со мной своей радостью? Можно, что ли, поздравить тебя с женихом?..

Вспыхнула вся Дуня и с укором взглянула на Аграфену Петровну. «Это она рассказала», – подумала она.

– Чего еще таиться? – молвила Аграфена Петровна. – Еще не долго – и все будут знать, как же тятеньке-то наперед не сказать? Дуня молчала.

– Так можно, что ли, поздравить-то? – ласково улыбаясь, спросил Чапурин.

– Можно, – чуть слышно промолвила Дуня.

Обнял ее Патап Максимыч и трижды поцеловал в горевшие ланиты.

– Вместо отца поздравляю, вместо родителя целую тебя, дочка, – сказал он. – Дай вам бог совет, любовь да счастье. Жених твой, видится, парень по всему хороший, и тебе будет хорошо жить за ним. Слава богу!.. Так я рад, так рад, что даже и рассказать не сумею.

– Благословите меня за тятеньку покойника на новую жизнь, – со слезами на глазах сказала Дуня Патапу Максимычу.

– Изволь, милая, изволь. Благословлю с великим моим удовольствием, отвечал он. – Побудь здесь с Дуней, – прибавил он, обращаясь к Аграфене Петровне, – а я в твою образную схожу да икону там выберу. Своей не привез, не знал. – Не бойсь, Груня, твои благословенные иконы знаю – ни одной не возьму. И вышел вон из горницы.

Вскоре воротился Чапурин с иконою в позолоченной ризе. Следом за ним вошел Петр Степаныч.

– Надо будет нам благословить и невесту и жениха, для того я сюда и привел Петра Степаныча, – сказал Патап Максимыч. – Отдельно каждого станем перед венцом благословлять, а теперь это за рукобיתье пойдет. Ты, Груня, будешь за мать; неси же хлеба каравай, да соли, да чистое полотенце.

Аграфена Петровна вышла, а Чапурин сказал Петру Степанычу:

– С нареченной невестой!.. Поцелуемся. Смотри же, парень, люби ее да береги... Да что это вы, посмотрю я на вас, упырями друг на дружку глядите?.. Словечка меж собой не перемолвите. Так ведь не водится.

Вошла Аграфена Петровна с папушником (Папушник – пшеничный хлеб домашнего приготовления.), покрыла стоявший в красном углу стол скатертью, поставила на нем принесенную Патапом Максимычем икону, затеплила свечку, положила возле иконы хлеб и накрыла его полотенцем.

Положили семипоклонный начал, потом Патап Максимыч с Груней обычным порядком благословили жениха с невестой.

– Ну, юнец-молодец и ты, раскрасавица-девица, – сказал Патап Максимыч. Теперь, по дедовскому и прадедовскому завету, следует вам поцеловаться на любовь, на совет, на долгую и согласную жизнь. Извольте целованьем завершить божие благословенье.

Самоковасов подошел к Дуне. Ни жива ни мертва стояла она и свету не взвидела, когда Петр Степаныч поцеловал ее. Не видала она лица его, только чувствовала, как горячие, трепещущие уста крепко ее целовали. Нет, это не серафимовские лобзання, что еще так недавно раздавала она каждому на раденьях людей божиих.

– Теперь бы следовало про здоровье нареченных князя с княгиней винца испить, – молвил Патап Максимыч. – Тащи-ка, Груня, что есть у тебя про запас. Эка досада, не знал, на что еду. Тебе бы, Груня, отписать, я бы холодненького прихватил с собой. А у тебя, поди ведь, сантуринское либо церковное. Да уж делать нечего, за недостатчей хорошего хлебнем и сантуринского. Тащи его сюда!

– Позвольте, Патап Максимыч, – вступился Петр Степаныч. – Со мной есть маленький запасец. Рассчитывал, что пригодится к седми спящим отрокам (22 октября. Из семи отроков младший назывался Иоанном.), к именинам, значит, Ивана Григорьяча. А теперь вот, на мое счастье, бутылки на другое понадобились.

И, спешно выйдя из горницы, воротился бегом с парой бутылок шампанского. Разлили вино, выпили, и Дуня маленько пригубила.

– Горько! – вскричал на всю горницу Чапурин.

– Горько! – сказала и Аграфена Петровна.

– Надо жениху с невестой поцеловаться, тогда и вино сладко будет, сказал Патап Максимыч.

Делать нечего. Должна была Дуня еще раз целоваться с женихом. Теперь горячий поцелуй Петра Степаныча показался ей таким сладким, таким приятным, что рада бы она была, ежели б еще и еще он целовал ее да все бы чаще да чаще.

– Надо теперь говорить про дело, – сказал Чапурин, когда бутылка была опростана. – В людях водится, чтобы тотчас после рукобיתья и первого благословенья судили-рядили, когда свадьбе быть, а также насчет приданого и другого прочего, как на первое время житье устроить молодым. Рукобיתья у нас не было, да некому и по рукам-то бить – невеста сирота, да и жених все одно что сирота. Зато было у нас божие благословение, на веки веков нерушимое. А это первое дело, много важнее оно рукобיתья. Станемте ж теперь, жених с невестой, толком говорить, как привести ваше дело к доброму совершению. Все молчали.

– На счет приданого я не судья, – продолжал Патап Максимыч. – В этом на Груню надо положить. Что сама сумеет, все сделает, чего не сумеет – у Марфы Михайловны попросит совета. Ладно ль придумано? Скажи, родная, прибавил он, обращаясь к Дуне.

– Кому ж лучше Груни?.. – сказала невеста, потупив свои голубые глаза.

– А ты что, Груня, скажешь? – спросил Патап Максимыч.

– По мне, тятенька, не только в этаким случае, а всегда, во всю жизнь мою, рада я для Дуни всякие хлопоты на себя принять, – ответила Аграфена Петровна. Молча обняла ее Дуня.

– Марфу Михайловну и я стану просить, не оставила бы нас в этом деле; оно ведь ей за обычай, – сказал Самоквасов. – У меня в городе дом есть на примете, хороший, поместительный; надо его купить да убрать как следует... А хотелось бы убрать, как у Сергея Андреича, – потому и его стану просить. Одному этого мне не сделать, не знаю, как и приступить, а ему обычно. А ежели в городе чего нельзя достать, в Москву спылаем: у меня там довольно знакомства.

– Покланяйся в самом деле Колышкиным, попроси – не откажут, – сказал Патап Максимыч. – Только, чур, делать все, как они посоветуют, а не по-своему. Сергей Андреич лучше знает, что и как надо: смолоду по-господски живет, а мы перед ним деревенщина. Твое дело взять: жил ты у дяди, ровно в мурье, только и свету у тебя было, что по скитам с подаяньями разъезжать да там загащиваться. Вот разве как в Москве да в Питере побывал, так, может, нагяделся, как хорошие люди живут. Одними деньгами тут ничего не возьмешь, тут нужны умение да сноровка. Возьми, к примеру, Алешку Лохматого – сколько денег он на дом потратил, а все-таки вышло шут его знает что: обои золотые, ковры персидские, а на окошках, заместо хороших занавесок, пестрядинные повешены. Не нами, а дедами и прадедами сказано: «Всяко дело мастера боится».

– Это так точно, Патап Максимыч, это речи справедливые и согласные, отвечал Петр Степаныч. – Ежели бы Сергей Андреич согласился оказать мне милость, как же бы я мог делать по-своему? Не выступлю из его приказов.

– Проси же его, проси скорее, – сказал Чапурин, – а я и сам отпишу, чтоб он для тебя постарался.

Тем разговор и кончился, а жених с невестой все-таки при людях словечка не сказали, не смотря на старанья Патапа Максимыча и Аграфены Петровны.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Трое суток прогостил Чапурин у богоданной дочки. Собравшись в Осиповку, сказал он Дуне:

– У Груни кладовая-то деревянная, в подклете под домом, а строенье старое да тесное. Долго ль тут до беды? Ну как, грехом, случится пожар? А у меня палатка каменная под сводами и строена на усаде вдалеке от жилого строения. Не перевезти ли до времени твои пожитки ко мне?.. Страху будет меньше. Как думаешь?

И Аграфена Петровна со своей стороны прибавила, что в Осиповке Дунино приданое не в пример будет сохраннее.

– Ведь у тебя в сундуках-то добра больше, чем на сто тысяч, Дунюшка, сказала она. – Шутка ли это? Подумай. Тятенька придумал хорошо. Ты как решишь?

Дуня согласилась и благодарила Патапа Максимыча за его заботы.

В тот же день наняты были подводы и Дунины сундуки отправлены в Осиповку под надзором приказчика, заправлявшего делами Ивана Григорьича. За обозом отправился и сам Патап Максимыч. После того Дуня чаще и чаще видалась с женихом и стала с ним разговорчивей и до-

верчивей. Раза по два да по три на дню бывали у них и молчаливые тайные поцелуи - нравились они Дуне, а об женихе и говорить нечего. Любила Дуня вспоминать с ним про катанье в косных по Оке и про то время, как видались они во время Макарьевской. Но, кроме того, ни о чем из прошлого Дуня речей не заводила. А он другое вспоминал.

– Знаете ли вы, с коих пор полюбил я вас? – спросил он однажды у Дуни.

– Не знаю, – с самодовольной улыбкой отвечала она. – С той, может статься, поры, как мы с Дорониными в косных катались?

– Раньше, – сказал Самоквасов. – Полюбил я вас не за красоту, не за пригожество, а за ваши речи добрые и разумные. Помните ли вы про Ивана-царевича?

– Про какого Ивана-царевича? – спросила Дуня. – Про сказку, что ли, говорите?

– Да, про сказку, – отвечал Петр Степаныч. – Помните, как в Комарове, при вашей там бытности, на другой день после Петрова, Дарья Никитишна, середь молодых девиц сидючи, эту сказку рассказывала? Еще тогда Аграфена Петровна в девичьей беседе сидела.

– Припоминаю теперь что-то, – молвила Дуня.

– А как кончила сказку Дарья Никитишна, всем девицам она молвила: «Сказывай по ряду одна за другой, как бы каждая из вас жила в замужестве, как бы с мужем свою жизнь повела». И стали девицы открывать свои мысли и тайные думы. Ни у одной не было хороших, разумных речей, опричь той, что после всех говорила. А говорила она вот что: «Замуж пойду за того, кого люблю, и стану его любить довеку, до последнего вздоха, только сыра земля остудит любовь мою. А что буду делать я замужем, того не знаю, не ведаю. Одно знаю – где муж с женой в ладу да в совете живут, по добру да по правде, в той семье сам бог живет. Он и научит меня, как поступать». Дуня зарумянилась.

– Помню, теперь помню, – промолвила она, – но как же вы все это знаете? Вы ведь от слова до слова мои речи говорите? Груня, должно быть, рассказала вам.

– Не она, – ответил Петр Степаныч. – Не вспомните ли, чем девичья беседа кончилась?

– Чем кончилась? Посидели, поговорили да по своим местам разошлись, сказала Дуня.

– А забыли, что Аграфена Петровна после ваших слов выглянула в окошко и сказала: «А у нас под окном в самом деле Иван-царевич сидит».

– Что-то припоминаю, – сказала Дуня.

– Я Иваном-царевичем был, я сидел на завалинке и от слова до слова выслушивал девичьи речи, – сказал Петр Степаныч. – И с того часу полюбил я вас всей душой моей. А все-таки ни в Комарове, ни в Нижнем потом на ярманке не смел к вам и подступиться. Задумаешь словечко сказать, язык-от ровно замерзнет. Только бывало и счастья, только и радости, когда поглядишь на вас. А без того тоска, скука и мука.

– Видно, с того ко Фленушке в Комаров вы и уехали? – с хитрой улыбкой спросила его Дуня.

– Именно оттого, – ответил Самоквасов, – только Фленушки я и не видал почти тогда. При мне она постриглась. Теперь она уж не Фленушка, а мать Филагрия... Ну да господь с ней. Прошу я вас, не помышляйте никогда о ней – было у нас с ней одно баловство, самое пустое дело, не стоит о нем и вспоминать. По правде говорю, по совести.

Привыкла Дуня к жениху, не стыдилась больше его и перестала отворачиваться, когда, любясь на свою красавицу, он страстно целовал ее подернутые румянцем ланиты.

Через неделю Петр Степаныч поехал к Патапу Максимычу в Осиповку, а потом в город переговорить с Колышкиными. Он обещал невесте каждый праздник приезжать в Вихорево.

Прощаясь с женихом, Дуня, по настоянию Аграфены Петровны, сказала ему:

– Послушайте, что я скажу вам, Петр Степаныч. В прошлом году, еще прежде того как мы гостили в Комарове, великим постом мне восемнадцать лет исполнилось. На мои именины покойник тятенька подарил меня разными вещами. Тут было и обручальное колечко. И сказал он мне тогда: «Восемнадцать лет тебе сегодня минуло – может статься, скоро замуж пойдешь. Слушай же отца: наши родители ни меня, ни мать твою венцом не неволили, и я не стану неволиять тебя, – вот кольцо, отдай его кому знаешь, кто тебе по мыслям придется. Только смотри, помни отцовский завет, чтобы это кольцо не распаялось, значит изволь с мужем жить довеку в любви и совете, как мы с твоей матерью жили». И заплакал он тут, горько заплакал, ровно знал, что в круглом сирот-

стве придется мне замуж идти... Возьмите. И со слезами на глазах подала ему кольцо.

Взволнованный Петр Степаныч стал целовать невесту. Слов у него не доставало, зато радостные слезы красно говорили.

Поехал он. И только что съехал со двора, Дуне стало тоскливо и скучно.

Когда Патап Максимыч воротился в Осиповку, у крыльца своего дома увидал он Василия Борисыча. Сидя на нижней ступеньке лестницы, строгал он какую-то палочку и вполголоса напевал тропарь наступавшему празднику казанской богородицы. Патап Максимыч сказал зятю:

– Видно, все еще настоящего дела не нашел себе. Палочку строгаешь да напеваешь что-то себе под нос. Беспутный ты этакой!..

– Ох, искушение! – с глубоким вздохом вымолвил Василий Борисыч, бросил палку и пошел вслед за тестем в горницы. На полдороге остановил его Чапурин:

– Кликни Пантелея.

Пантелей был на дворе, слышал приказ и тотчас подошел к хозяину.

– Здорово, Пантелеюшка, – ласково молвил ему Патап Максимыч. – Все ли без меня было благополучно.

– Слава богу, батюшка Патап Максимыч, слава богу, все было благополучно, – отвечал Пантелей. – Посуду красить зачали...

– А токарни что?

– В ходу, батюшка, все до единой.

– Вот что, Пантелеюшка, – сказал Чапурин. – У тебя, что ли, ключи от каменной палатки?

– Надо быть, у Аксины Захаровны, – отвечал Пантелей.

– А что в ней сложено?

– Да так, всякий хлам. Разное старье, – отвечал Пантелей.

– Надо ее опростать, – молвил Патап Максимыч. – Сегодня подводы с сундуками придут из Вихорева. Их туда поставить.

– Не случилось ли чего у Ивана Григорыча? – тревожно спросил Пантелей.

Вспало на ум старику, не пожар ли был в Вихореве и не к себе ль перевозит Патап Максимыч уцелевшие пожитки погоревшего кума.

– Ничего не случилось, – сказал Патап Максимыч. – Смолокуровой Авдотьи Марковны пожитки привезут. Ради сохранности от пожарного случая хочу в палатке поставить их. Надо сейчас же очистить ее от хлама.

Взойдя наверх, Патап Максимыч прошел в горенку Аксины Захаровны, в ту самую горенку, где жила и померла покойница Настя. Василий Борисыч туда же вошел и молча стал у притолки. У Аксины Захаровны сидели Параша и Дарья Сергевна.

– Что, Захаровна? Как можешь, сударыня? – спросил Патап Максимыч у жены, лежавшей в постели.

– Так же все, Максимыч, ни лучше, ни хуже, – отвечала Аксины Захаровна. – С места подняться не могу, все бока перележала. Один бы уж конец, – а то и сама измаялась и других измучила.

– Чепуху не городи! Бог даст, встанешь, оправишься, и еще поживем с тобой хоть не столько, сколько прожили, а все-таки годы... – сказал Патап Максимыч, садясь возле больной.

– Ты насажешь, тебя только послушай, – с ясной, довольной улыбкой тихим голосом промолвила Аксины Захаровна.

– Вы каково, Дарья Сергевна, без меня поживали? – обратился к ней Патап Максимыч. – Авдотья Марковна вам кланяется и Груня также.

– Благодарю покорно, – молвила Дарья Сергевна. – Что Дунюшка-то, здорова ли, сердечная?

– Слава богу, здорова, – отвечал Чапурин.

– Не скучает ли? – спросила Дарья Сергевна.

– В мою бытность не скучала, а скоро, надо думать, придется ей скучать, – с загадочной улыбкой ответил Патап Максимыч. – Захаровна, у тебя, что ли, ключи от каменной палатки?

– У меня, – сказала Аксины Захаровна. – А что?

– Что там лежит у тебя? – спросил Чапурин.

– Прежде приданое дочерей лежало, а теперь нет ничего, – ответила Акси́нья Захаровна. – Хлам всякий навален – старые хомуты, гнилые кожи.

– Поддай-ка мне ключи, – сказал Патап Максимыч. По приказу Акси́нии Захаровны Параша вынула ключи и подала их отцу.

– Авдотья Марковны сундуки хочу там поставить.

Груня говорит, что в них добра тысяча на сотню, – сказал Чапурин.

– По-моему, больше, – заметила Дарья Сергевна.

– Ну вот, видите! Груня поставила сундуки в кладовой, да ведь строенье у кума Ивана Григорыча тесное, случись грех – малости не вытацишь. Потому и решил я сундуки-то сюда перевезти да в палатке их поставить. Не в пример сохраннее будут, – сказал Патап Максимыч.

– Конечно, сохраннее, – примолвила Акси́нья Захаровна. – Это ты хорошо вздумал, Максимыч.

– Сама-то скоро ли Дунюшка приедет? – спросила Дарья Сергевна.

– Этого не знаю, – отвечал Патап Максимыч. – Покамест у Груни остается, а потом вместе с ней в город поедет, к Колышкиным. И не раз еще придется ей до Рождества съездить туда.

– Зачем же ей так разъезжать? – спросила Дарья Сергевна.

– Да самого-то главного я ведь еще и не сказал, – молвил Патап Максимыч. – Замуж выходит Авдотья-то Марковна. После филипповок свадьба.

Все удивились, особенно Дарья Сергевна. Акси́нья Захаровна перекрестилась и пожелала счастья Дуне, Прасковья Патаповна по обычаю равнодушно поковыряла в носу, а Василий Борисыч вздохнул и чуть слышно промолвил:

– Ох, искушение!

«Так вот оно какое вышло положение-то! – думал он сам про себя. – Тогда на Китеже, как впервые ее увидел я, светолепна была – очи голубые, власы – янтарные волны, уста – червленые ленты, ланиты – розовый шипок. Не то что моя колода Парашка. А в Комарове какова была! Ангелам подобна!.. Но вертоград для меня заключен, источник радостей запечатлен. Миллион, oprичь приданого во сто тысяч!.. То-то бы зажили... Бог суди Фленушку с Самоквасовым да с Сенькой саратовцем – окрутили, проклятые, меня, бедного – валандайся теперь век свой с этой дурищей Парашкой».

Больше и больше зло разбирало бывшего посла рогожского. Всех клял, всем просил помсты у бога, кроме себя одного.

– За кого ж это выходит Дунюшка? – чуть слышно спросила у Патапа Максимыча Дарья Сергевна. – Неужто она в лесах могла найти судьбу свою?

– Жених не лесной, а из города Казани. Теперь он с большим наследственным капиталом в Нижнем поселился. Да вы его знаете, у Колышкиных каждый божий день бывал, как мы у них останавливались... Петр Степаныч Самоквасов, – сказал Патап Максимыч. – Груня, кажись, и со сватала их.

– Не пара, не пара, – со слезами на глазах промолвила Дарья Сергевна.

– Чем же не пара? – спросил Патап Максимыч.

– У Самоквасова на уме только смешки да шуточки. Какой он муж Дунюшке?... – сказала Дарья Сергевна. – В прошлом году в одной гостинице с ним стояли. Нагляделась я на него тогда. Зубоскал, сорванец, и больше ничего, а она девица строгая, кроткая. Того и гляди, что размотырит весь ее капитал. Нет, не пара, не пара.

– Женится – переменится, – молвил Патап Максимыч. – А он уж и теперь совсем переменился. Нельзя узнать супротив прошлого года, как мы в Комарове с ним пировали. Тогда у него в самом деле только проказы да озорство на уме было, а теперь парень совсем выровнялся... А чтоб он женины деньги на ветер пустил, этому я в жизнь не поверю. Сколько за ним ни примечал, видится, что из него выйдет добрый, хороший хозяин, и не то чтоб сорить денежками, а станет беречь да копить их.

– Вашими бы устами да мед пить, Патап Максимыч, – грустно проговорила Дарья Сергевна. – А впрочем, мне-то что ж? В ихнем семействе я буду лишняя, помехой, буду, пожалуй. Люди они молодые, а я старуха. Черную рясу решила надеть я. Слезно стану молить мать Манефу,

приняла бы меня во святую свою обитель, а по времени и ангелоподобного чина удостоила бы.

– Нынче, Дарья Сергевна, скитские обители не то, что прежде, – сказал Патап Максимыч. – Со дня на день выгонки ждут. Вон сестрица моя любезная, Манефа-то, целу обитель в городе себе построила, человек на семьдесят, -туда до выгонки хочет переселяться. А как вы к тому городу не приписаны, так вам, пожалуй, и не позволят там проживать. Всегда бывало так по другим местам, где старообрядские монастыри закрывали: на Иргизе так было, и в Стародубе, и по другим местам. Которые были из других местов, тех высылали на родину, и велено было за ними смотреть, чтоб оттоль никуда не отлучались. Так ежели у вас есть твердое желание спастись в какой-нибудь из здешних обителей, так повремените немного время, обождите, чем ихнее дело кончится.

А кончится оно, думать надо, в скором времени.

– Что ж! – молвила Дарья Сергевна. – До времени гостьей у матушки Манефы поживу, чтоб не попасть в скитские списки. А настанет выгонка, куда-нибудь на время уеду.

– У нас живите, Дарья Сергевна, – тихо проговорила Аксиныя Захаровна. При вас мне отрадней, не так скучно, вы со мной и поговорите, вы мне и от божественного что-нибудь почитаете.

– А ко всему, что сказал я, прибавлю вам, Дарья Сергевна, еще, – молвил Патап Максимыч. – Теперь ведь Манефа игуменьей только по имени, на самом-то деле мать Филагрия всем заправляет – и хозяйством, и службой, и переписку с петербургскими да с московскими ведет. Чать, знаете ее? Манефина-то наперсница, взбалмошная, бесшабашная Фленушка.

– Как мне Фленушки не знать? – сказала Дарья Сергевна. – Довольно ее знаю, не мало ведь времени выжила я с Дуней у матушки Манефы в обители.

– Сумасброд была девка! – заметил Патап Максимыч. – Все бы ей какое-нибудь озорство. А теперь, говорят, хозяйство повела мастерски; вся, слышь, обитель в такой у нее строгости, какой и при Манефе не бывало. И вам, сударыня Дарья Сергевна, стало-быть волей-неволей придется из ее рук смотреть и все исполнять по ее приказам. Вы бы об этом хоть порассудили. Не желаете у Дуни жить, найдется угол вам у меня в дому: что есть – вместе, чего нет – пополам. Подумайте хорошенько, матушка. Жалеючи вас говорю. Вот и старуха моя говорит, что ей с вами отраднее. Право, не лучше ли вам у нас остаться. Вы хорошая хозяйка, я это заметил, живучи у вас, а у меня хозяйка с постели не сползает. О Прасковье говорить нечего – сами видите, что умом не дошла – ей бы только сладко поесть да день-деньской на кровати валяться. А за вами по хозяйству я бы ровно за каменной стеной был. Поразмыслите об этом, ежели решились у Дуни не жить.

Пошел Патап Максимыч токарни осматривать. Дарья Сергевна также вышла. Прошла она в моленную, а там наемная канонница за негасимой свечой стоит и псалтырь читает. Там присела Дарья Сергевна на боковую лавочку и поникла головой. Дуня вспоминалась ей. "С детства ровно к родной матери была ко мне привязана, ни одной, бывало, тайной думы от меня не скрывала, – думала она. А в последнее время не такой стала. Полюбились ей мирские книги, и стала она скучать божественными. Читает, бывало, ей из «Пролога» или «Торжественника» – не слушает, зачнешь говорить о душеспасительном -и ухом не ведет.

А тут на беду подвернулась окаянная Марья Ивановна. Совсем с тех пор переменялась Дуня, стала нетерпелива, сумрачна и молчалива. От зари до зари, бывало, сидит над какими-то еретическими, видно, книгами, путного слова тогда от нее, бывало, не добьешься. Не то что со мной, с отцом говорить перестала. А как на Троицу принесло к нам в дом эту проклятую Марью Ивановну – еще хуже пошло... И как воротилась Дуня от нее из гостей к больному отцу, словечка не сказала мне про житье-бытье у Луповицких, хоть я не раз о том речь заводила. О чем ни спрошу – молчит, ровно стена. И по-прежнему ко всему холодна и по-прежнему ко всему безучастна.

Как уехал от нас Патап Максимыч с Аграфеной Петровной, одни мы остались с ней, – известное дело – скука, тоска в одиночестве. Поведешь, бывало, с ней разговор о душеспасительном – молчит, зачнешь читать что-нибудь от святых отец – молчит, зевает, спать на нее охота найдет, вместо душевного-то умиления. Я в тягость ей была. Как же жить мне с ней, как замуж-то она выйдет? Муж еще бог его знает каков человек, как еще поглядит на меня. Нет, не житье у них – и себе в тягость и им не на радость. У Патапа Максимыча остаться тоже не след: по всем замечаньям, Аксиныя Захаровна не жилица на свете, а помрет она, Параша будет хозяйкой, а как с ней ужиться?..

И разумом не вышла, и нрав крутой, и паче меры привередлива; нет, с ней жить нельзя... Стану кланяться матушке Манефе, призрела бы меня, одинокую, поклонюсь до земли и матери Филагрии, не оставила бы меня Христа ради, дала бы кров и пищу. Откажут, в иных обителях пищу благодетельниц. Жить мне недолго, собой никого не отягощу. Что есть в тридцать лет накопленного, вкладом внесу за кусок хлеба да за теплый угол... А Дунюшка!.. Дай ей, господи, всякого счастья!.. Забыла меня – бог с ней. Не поставь этого во грех ей, господи!..

И залилась Дарья Сергевна слезами, сидя в моленной на лавочке.

Вслушивается – канонница дочитывает первую кафизму. Когда кончила она ее, Дарья Сергевна подошла к ней и сказала:

– Давай, я вторую прочитаю. Положив начал, канонница, не говоря ни слова, отошла от наоя. Дарья Сергевна стала на ее место и начала протяжное чтение.

– «Возлюблю тя, господи, крепости моя. Господь утверждение мое, и прибежище мое, и избавитель мой, бог мой, помощник мой и уповаю на нѧ. Защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой. Хвалам призову господа и от врагов спасуся. Одержаша мя болезни смертные и потоци беззакония смутиша мя. Болезни адовы обыдоша мя, предвариша мя сети смертные. И внегда скорбети призвах господа и к богу моему возвах. Услыша от церкви святые своея глас мой и вопль мой пред ним, внидет пред очима его» (По дониконовскому переводу, что теперь в обиходе у единовѣрцев и раскольников.).

Возвышенные и душу возвышающие слова царя-псалмопевца подходили к душевному состоянию Дарьи Сергевны и заставили ее забыть на время заботы и попеченья о будущем житье-бытьѧ. В благочестивом восторге страстно увлеклась она чтением псалтыря. Кончив вторую кафизму, принялась за третью, за четвертую и читала до позднего вечера, а наемная канонница храпела на всю моленную, прикорнув в тепле на лавочке за печкой.

Только что ушли от Аксиньи Захаровны Патап Максимыч и Дарья Сергевна, ушла и Параша, сказавши матери, что надо ей покормить Захарушку. Покормить-то она его немножко покормила, но тотчас же завалилась спать, проснулась вечером, плотно поужинала, потом опять на боковую. Стала звать к себе мужа, кричала, шумела, но никто не знал, куда тот девался.

Василий Борисыч сейчас после жены от тещи ушел; осталась больная одна-одинешенька. Хорошо, что Матрена пришла, а то бы недвижимой хозяйке дома ни достать, ни отдать чего-нибудь было некому.

С тоски, что ни день, ни ночь в тестевом доме не покидала Василья Борисыча, вышел он на улицу и завернул в токарни. Работники всегда бывают чутки к хозяйским делам, давно они уж заметили, что Патап Максимыч зятя в грош не ставит, на каждом шагу глумится на нем и считает ни на что не годным. И от первого до последнего батрака все они не уважали Василья Борисыча, обходились с ним запанибрата и в глаза даже насмехались над ним. Пришлось рогожскому посланнику молчать да терпеть. Года полтора перед тем был он славим по всему старообрядству как сведущий в уставах человек, был принимаем в самых богатых домах «древлего благочестия», а теперь до того дошел, что последний из тестевых батраков смеется над ним в глаза безбоязно и безнаказанно!

Видя, что кончившие работу токари и глядеть на него не хотят, пошел он прогуляться на вспольѧ. И луговая трава и тощая озимь уж поблекли от морозов, лиственные деревья оголели, только один ельник сохранял зеленый свой цвет. Калужины, как стеклом, подернуты были блестящим ледком. Высоко на ясном небе плыл полный месяц, озаря бледным светом замирающие поля, леса и перелески. Стоял легкий морозец. Крепко кутаясь в ватную чуйку, Василий Борисыч шел все дальше и дальше, по дороге к смежной деревушке Ежовой, что стояла верстах в полуторах от Осиповки. Идет Василий Борисыч не спеша и не медля, а сам такие думы в уме раскидывает.

"Вот оно положение-то! Не чаял, в уме даже никогда не держивал дойти до того, что случилось со мной!.. Будь она проклятым проклята ночь в улангерском перелеске, где навернулась мне постылая, ненавистная Парашка..."

А все Фленушка, все это мать Филагрия по-нынешнему! Подурачиться ей вздумалось, вот и подурачилась. А ты век свой страдай да мучься!.. Ни дна бы тебе, ни покрышки – первым бы кусом тебе подавиться! Она и Самоквасова с Сенькой выкрасть меня из Комарова подустила, а по-

том окрутить с этим бревном, паскудной Парашкой! Все ее дело. На первых порах и Прасковья то же говорила... На что ж я стал теперь похож? От берега отстал, к другому не пристал. С Москвой, со всем старообрядством дело вконец расклеилось – клянут меня за то, что женили здесь меня да еще венчали в великороссийской. А разве на то моя была воля? Силком ведь повенчали. Теперь из старообрядцев никто и ко двору меня не подпустит, а ведь я ими только и жил. К единоверцам тоже хода нет, а великороссийские и вниманья на меня не обратят. Допрыгался я, бедный, допрыгался, несчастный, в этих скитах, до того допрыгался, что теперь хоть руки на себя наложи... Сыт, обут, одет – не могу в этом на тестя пожаловаться, зато жена-то какая!.. Глупее барана, злее самого черта. Рассказывает теперь тесть, что сам он нашу свадьбу состряпал. Кто их разберет – он ли в самом деле, или Самоквасов с Сенькой саратовцем".

А вот и Ежова. Первая с краю изба освещена внутри, и в ней не лучина горит, а сальные свечи. И на окошках свечи стоят, и у ворот фонарь с зажженной свечкой повешен. Доносятся из избы веселые девичьи клики, хохот и громкие песни. В той избе жила разбитная, бойкая вдова Акулина Мироновна, та самая, что когда-то верней всех мужиков разгадала, для чего, ожидая в гости Снежковых, Чапурин ни с того ни с сего вздумал большие столы окольному народу ставить. По смерти ежовского десятника осталась Акулина Мироновна бездетною. Сама женщина еще молодая, лет тридцати, любила она с девками да с парнями возиться. Потому и завела у себя в избе посылки; сходилась к ней вся ежовская молодежь, приходили повеселиться и из соседних деревень. Весело было Акулине Мироновне, а вместе с тем и выгодно.

С ранней осени до масленицы по деревням у таких вдовушек, как Акулина, посылки или супрядки по несколько раз на неделе бывают. В назначенный день, только зачнет смеркаться, девушки в нарядных платьях с гребнями и донцами, с шитьем иль вышиваньем, собираются к ней в избу. Ласково каждую гостью встречает хозяйка. Собравшись, девушки садятся по лавкам и заводят меж собой разговоры про домашние дела, наряды и рукоделья. Начинаются шуточные насмешки над ожидаемыми парнями и над их зазнайками. А между тем все усердно работают. Сначала работа спорится, особенно у тех, кому мать урок задала столько-то напярсть, столько-то нашить. Часов в восемь, а иной раз и в девять, один по одному, начинают парни собираться; каждый приносит свечку, пряников, стручков, маковников, подсолнечных зерен и других деревенских лакомств, а иной и пивца притащит, либо молодой осенней бражки, а пожалуй, и штоф зелена вина, а тем, кто не пьет, сантуринаского.

И закуски приносят с собой; кто говядины, кто баранины, кто живых кур либо уток. Их сейчас режут, хозяйка отпаривает, ошипывает, а потом из них к ужину похлебку варит. Другие парни яиц притащат, масла, сметаны, творогу, а иной спроворит с шестка каши горшок либо щей, а попадет под руку – так и цельный каравай хлеба. Оттого матери и злобятся на посылки, что, сколько ни копи, как ни стереги, а добро уходит да уходит на угощение девкам в избе какой-нибудь Мироновны.

Потому еще матери боятся супрядок, что дочери там на шаг от греха. Но, должно быть, вспоминая свою молодость, сквозь пальцы смотрят они на девичьи забавы и такие наставленья дают дочерям: «Любись с дружкой, как знаешь, только чтоб покору на честной родительский дом от того не было. Пуще всего берегись с парнями грешить. Берегись этого пуще огня, пуще полымя. А ежели не устоишь, умей концы хоронить. Не то гулливой прозовут, опозоришь и себя и нас, подруги отшатнутся от тебя, и не будет тебе места ни зимой на супрядках, ни летом в хороводах, а что хуже всего – замуж никто не возьмет».

Собрались к Акулине девки ежовские, шишинские и других деревень. Две пришли из Осиповки. Разговоры зачались у них за рукодельем.

– Чапурин-от, слышь, домой воротился? – спрашивала Акулина у осиповских девок.

– Воротился, – отвечала одна из них.

– Что привез? – спросила Акулина.

– Покамест ничего. Не знаю, что дальше будет, – сказала осиповская девка. – Только женщину неведомо какую привез.

– Сиротку Смолокурову, что ли? – спросила одна из ежовских.

– Нет. Та, слышь, еще молоденькая, а эта старуха, свояченицей, слышь, доводилась она са-

мому-то Смолокурову. Дарьей Сергеевной зовут. Сколько-то лет тому назад в Комарове жила она в Манефиной обители. Смолокурова-то дочь обучалась ведь там в одно время с дочерьми Патапа Максимыча.

– Вот как, – промолвила Акулина Мироновна.

– А сегодня, перед тем как нам сюда идти, – продолжала осиповская девица, – страсть сколько сундуков к Патапу Максимычу привезли, целый обоз. И говорили, что в тех сундуках сложено приданое Смолокуровой. Не на одну, слышь, сотню тысяч лежит в них. Все в каменну палатку поставили, от огня, значит, бережнее.

– Сто тысяч! – вскрикнула Акулина. – Вот где деньги-то! У купцов да у бояр, а мы с голоду помирай! Им тысячи – плевое дело, а мы над каждой копейкой трясись да всю жизнь майся. А ведь, кажись, такие же бы люди.

– А всего-то, говорят, богатства ей после отца досталось больше миллиона, – сказала осиповская.

– Что за миллион такой? Я, девки, что-то про него не слыхивала, сказала ершовская.

– Значит, десять сотен тысяч, тысяча тысяч, – пояснила одна из шишинских, сколько-то времени обучавшаяся в скитах.

– Господи владыка! – на всю избу вскрикнула Мироновна. – Да что ж это такое? Ни на что не похоже! У одной девки такое богатство, а другие с голоду колей! Начальство-то чего глядит?

– А ведь как я погляжу на тебя, тетка Акулина, так глаза-то у тебя не лучше поповских, завидущие, – сказала девушка из ежовских. Сродницей Акулине она приходилась, но за сплетни не больно любила ее.

– А ты, дура, молчи, поколева цела, – крикнула на нее тетка Акулина. – В голове пустехонько, а тоже в разговоры лезет. Не твоего ума дело. Придет Алешка, принесет гармонику, ну и валандайся с ним, а в дела, что выше твоего разума, не суйся. Замолчала ежовская, примолкли и другие девушки.

– Заводи зазывную! – вдруг крикнула пряха из Шишинки. – Пора. Может, парни давно у ворот, да, не слыша зазывной, на двор нейдут.

Зашурчали веретена, громко девки запели. Тетка Акулина суетливо бежит взад и вперед по избе, прибирая в ожиданье гостей разбросанные вещи.

– Заводи, заводите, красны девицы, – говорит она. – Скликайте пареньков, собирайте молодцов. Поют девицы зазывную: (Зазывною песнью зовется всякая, что первую поется на посиделках.).

Летал голубь, летал сизый,

Летал сизый по возгорю,

Искал голубь, искал сизый

Своей сизыя голубки.

Моя сизая голубка очень знакомита:

Через три пера рябенька, головка гладенька,

Руса коса до пояса, в косе лента ала,

Ала, ала, голубая, девонюшка молодая.

Возвивалась голубушка высоко далёко,

Садилась голубушка на бел горяч камень,

Умывалась голубушка водою морскою,

Утиралась голубушка шелковой травой,

Говорила голубушка с холостым парнем:

"Уж ты, парень, паренек, глупенький твой разумок -

Не по промыслу заводи ты заводишь,

Трех девушек, парень, зад один раз любишь:

Перву Машу во Казани

Да Дуняшу в Ярославле,

А душеньку Ульяшеньку в Нижнем городочке;

Купил Маше ленту алу,

А Дунюшке голубую,
А душеньке Ульяшеньке
Шелковое платье.
Ты носи, моя Ульяша, мною не хвалися;
Коли станешь выхваляться -
Нам с тобой не знаться,
А не станешь выхваляться -
Век нам не расстаться.

А меж тем одинокий и грустный, усталый и до костей продрогший, переминаясь с ноги на ногу, Василий Борисыч стоит у ворот Акулины Мироновны. Тянет его в круг девичий, но берет опаска – неравно придет кто из осиповских да потом дома разблаговестит, что хозяйский зять у Мироновны на девичьих поседках был. Дойдут до жены такие вести – жизни не рад будешь, да и тесть по головке не погладит: «Ты, дескать, закон исполняй, а на чужих глаза пялить не смей». Мимо токарен да красилен лучше тогда и не ходи – трунить, зубоскалить станут рабочие, на смех поднимать...

А громкие девичьи голоса в избе Мироновны так и заливаются. Дрожь пробирает Василья Борисыча; так бы и влетел в избу козырем, облюбовал бы, какую помоложе да попригожее, и скоропал бы с ней вечерок в тайной беседе... Издавна на такие дела бывал он ловким ходоком, теперь уж не то. Что было, то сплыло, а бывшее быльем поросло.

Не стерпел, однако, Василий Борисыч, услышавши зазывную. «Эх, была не была, – подумал он. – Авось не узнают, а ежели и явятся праздные языки, можно их закупить, на это денег хватит».

И вошел в беседу девичью, парней никого еще не приходило. Все диву дались, увидавши такого гостя.

Не знает, не придумает Акулина Мироновна, как принять, чем приветить Василья Борисыча. Рада приходу его – такие гости с пустыми руками не ходят; столько отсыплет чапуринский зятек, что, пожалуй, во всю зиму таких денег супрядками и не выручишь... И боязно шустрой вдовушке: "Ну, как проведает Патап Максимыч, что зять его у нее на посиделках был, да взбредет ему на ум, что я прилучила его, пропадай тогда головушка моя. Жить не даст! Доведет до большого начальства, что в дому у меня корчемство, тогда беда неминуемая – в одной рубахе отпустят... Хоть шею тогда в петлю, хоть в омут головой!..

– Здравствуй, Мироновна! – переступая вдовин порог, громко вскрикнул Василий Борисыч. – Здравствуйте, девицы-красавицы!.. Примите меня, голубоньки, во свой круг, во свое веселье девичье, приголубьте меня словом сладким, ласковым, – прибавил он, вешая шапку на колок.

– Милости просим, – в один голос отвечали девушки, раздвигая на лавках донца и опораживая место неожиданному, негаданному гостю.

Оглядел Василий Борисыч девок и вдруг видит двух из Осиповки. Так его и обдало. «Теперь и невесть чего наболтают эти паскуды, – подумал он, дойдет до тестя – прохода не будет, до жены дойдет – битому быть. Хорошенько их надо угостить, чтоб они ни гугу про ночные похождения женатого, не холостого».

В другой раз оглядел Василий Борисыч круг девичий и видит – середь большой скамьи, что под окнами, сидит за шитьем миловидная молоденькая девушка. Сел он возле нее, видит – белоручка, сидит за белошвейной работой. Спросил у нее:

– Как зовут, красавица?

– Как поп крестил – Лизаветой звал, – вскидывая плутовские глаза на Василья Борисыча, бойко отвечала белоручка и захохотала на всю избу. Другие девушки тоже засмеялись.

– А из коей будешь деревни? – спросил Василий Борисыч, подвигаясь к Лизавете. Та от него не отодвигалась.

– Ты, Василий Борисыч, человек поученый, книжный, – сказала она. – Тебе бы прежде спросить, как величают меня по отчеству, а потом и пытаться, из какой я деревни.

– Так как же тебя звать, красавица, по отчеству? – спросил Василий Борисыч.

– Трофимовна, – отвечала она. – Отецкая дочь (Не сирота, а дочь, у которой жив еще отец и притом человек достаточный.). Тятенька Трофим Павлыч не то что по нашей деревне, а по всей

здешней волости из первых людей.

– А чем промышляет? – еще ближе подвигаясь к Лизавете, спросил Василий Борисыч.

– Известно, горянщиной. По всей нашей палестине (Палестина – родные места, своя сторона.) все живут горянщиной, – отвечала отецкая дочь.

Смотрит Василий Борисыч на Лизавету Трофимовну – такая она беленькая, такая чистенькая и миловидная, что другие девушки перед ней уроды уродами, а приемы у отецкой дочери не те, что у тех, и все обхождение, – с первого же взгляда видно, что не в избе она росла, не в деревне заневестилась. Руки нежные, не как у деревенских чупах, тотчас видно, что никогда Лизаветины руки черной работой не бывали огрублены.

Бывший рогожский посол еще поближе подвинулся к Лизавете, положил ей руку на плечо и стал полегоньку трепать его, не говоря ни слова. Отецкая дочь не противилась. С веселой вызывающей улыбкой поглядывала она исподлобья, и, когда Василий Борисыч стал мешать ей шить, она взяла его за руку и крепко пожала ее. Сладострастно засверкали быстрые маленькие глазки бывшего посла архиерейского. Горазд бывал он на любовные похождения, навык им во время ближних и дальних разъездов по женским скитам и обителям.

В это время Акулина Мироновна, из красного угла перетащивши стол направо от входа в избу, покрыла его столешниками (Полотенце, что кладут за столом двум, трем человекам вместо салфеток.) и расставила тарелки с пареной брюквой, солеными огурцами, моченым горохом, орехами, подсолнухами, городецкими пряниками, жомками, маковниками, избойной, сушеной черникой и другими деревенскими лакомствами. Тут же ставлены были ломтями нарезанная солонина, студень, рубцы, соленый судак, вареный картофель. Убирая стол, Акулина подозвала Василия Борисыча и тихонько ему молвила:

– Угощай девиц, Василий Борисыч, ежели на то есть у тебя желание... Можно и пивца достать, пожалуй даже и ренского, а тебе, ежели в охоту, достану и водочки. Да вот что еще хочу сказать тебе, – прибавила она шепотом на ухо Василью Борисычу, – ты к Лизке-то скорохватовской не больно примазывайся. Придет Илюшка пустобояровский да увидит твои шуры-муры с ней, как раз бока тебе намнет – ни на что не поглядит. У него с Лизкой-то еще до Покрова лады зачались; перед масленой, надо быть, поп венцом их окрутит. А Илюшка – косая сажень, сила страшнейшая, кулачище – хоть надолбы вколачивай. Так ты поопасся бы, Василий Борисыч. До греха недолго. Парень же он такой задорный, что беда... Да и к другим-то девушкам не больно приставай, ведь каждая, почитай, из них чья-нибудь зазноба. А вот как нагрянут парни на посиделки, угости ты их всех как можно лучше, тогда и возись себе с любой из девушек. Тогда супротивничать тебе уж не станут.

Покоробило немного Василья Борисыча, но ни слова он Акулине не вымолвил. Подойдя к девушкам и по-прежнему садясь возле Лизаветы, сказал:

– Угощайтесь, красны девицы, берите, что ни ставлено на столе Мироновны... А наперед песенку бы надобно спеть, да, глядите ж у меня, развеселую, не тоскливую.

Улыбаясь, девушки стали словами перекидываться, о чем-то шепотком посоветовались и, наконец, запели:

Ах, зачем меня мать пригожу родила,
Больно счастливую, талантливую,
Говорливую, забавливую.
Что нельзя мне и к обедням ходить,
Мне нельзя богу молиться,
Добрым людям поклониться?
С стороны-то люди галются*,
А попы служить мешаются,
Пономарь звонить сбивается,
Дьячок читать забывается -
Поглядев на меня, дьячок мимо пошел
Да нарочно мне на ножку наступил,
Больно на больно ее мне отдавил,

Посулил он мне просфинок решето,
Из сетечка** семечка,
Крупы черепаиночку***,-
Мне всего того и хочется,
Да гулять с дьячком не хочется.
Увидал меня молоденький попок,
Посулил мне в полтора рубля платок,
Мне платочка-то и хочется,
Да гулять с попом не хочется.
Увидал меня молоденький купец,
Посулил он мне китаечки конец,-
Мне китаечки-то хочется,
Да гулять с купцом не хочется.
Увидал меня душа дворянин,
Посулил он мне мякинушки овин,-
Мне мякины-то не хочется,

С дворянином гулять хочется. * Галиться – глаза пялить, глазеть, дивоваться на что-нибудь, любоваться, засматриваться. ** Сетево, сетечко – лукошко с зерновым хлебом, которое севец носит через плечо. *** Уменьшительное от черепня – глиняная посуда, в которой запаривают толченое конопляное семя для битья масла.

Показалось ли Василию Борисычу, что лучше всех спела песню Лизавета Трофимовна, нарочно ль он это сказал, но, по обычаю посиделок, поцеловал бойкую певунью.

– А вы бы нас петь поучили, Василий Борисыч, как летошний год обучали в Комарове девиц, – немножко погода сказала ему Лизавета Трофимовна.

– А как тебе известно, что я обучал их? – спросил он.

– Сами о ту пору мы в Комарове проживали, – ответила отецкая дочь. – У Глафириных гостила. Хоша с Манефиными наши не выдаются, а все-таки издалечка не один раз видала я вас.

– Как же я-то не видал такой красоточки? – с улыбкой, еще ближе подвигаясь к Лизавете, сказал Василий Борисыч.

– Не до меня вам было тогда, – ответила Лизавета. – И какая ж я красotka?.. Смеетесь только надо мной! Устинья Московка не в пример меня краше, опять же Домнушку улангерскую взяли али Грушеньку, что в Оленеве у матушки Маргариты в келарне живет.

– И тех знаешь? – сказал Василий Борисыч.

– Хоша не больно знакомита, а много известна про них, – отвечала отецкая дочь.

– Ишь ты какая! всех знает! – обнимая стан Лизаветы, промолвил Василий Борисыч.

– Не к лицу вам к девицам-то приставать.

– Это почему? – спросил Василий Борисыч.

– Жена есть у вас, супруга, – ответила Лизавета. – Теперь не прежняя пора – на чужих не след вам и заглядываться! Это для вас грешно.

– Две шубы – тепло, две хозяйки – добро, – прижимаясь к Лизавете, молвил Василий Борисыч.

– Хозяйкой отчего не быть, а в подхозяйки никому неохотно идти, сказала Лизавета, быстро взглянув в глаза послу архиерейскому.

– Все едино – хозяйка ли, подхозяйка ли, любиться бы только, промолвил Василий Борисыч.

– Хорошо вам так говорить, а девушкам и слушать такие речи зазорно. И поминать про эти дела хорошей девице не годится, не то чтобы самой говорить, – сказала отецкая дочь.

– Экая ты сердитая! – вскрикнул Василий Борисыч. – Перестань же сердчать.

В то время не один по одному, как водится, а гурьбой ввалило в избу с дюжину молодых парней. Маленько запоздали они – были на гулянке. В пустобояровском кабаке маленько загуляли, а угощал Илюшка, угождавший Лизавете так, что никто другой и подходить к ней не смел.

Когда распахнулись двери настежь, первым из парней влетел в избу Илюшка. Взглянул он на свою облюбованную, видит возле нее какого-то чужого, но одетого чистенько и по всему похоже-

го больше на купца, чем на простого мужика. Злобой вспыхнуло лицо Илюшки, и кулаки у него сами сжались, когда увидел он, что Лизавета к самым плечам подпустила Василия Борисыча. Грозно сделал Илюшка два-три шага вперед, но Акулина успела ему шепнуть, что с зазновой его сидит не кто другой, а зять Патапа Максимыча, человека сильного и властного по всей стороне. И злобы у Ильи как не бывало, подошел он к парочке и шутливо молвил Василию Борисычу:

– И вы в нашу беседу к Мироновне. Милости просим, напередки будьте знакомы.

И сел по другую сторону возлюбленной. Начали песни петь. Звонко пели девки, громко подпевали парни. Пели сначала песни семейные, потом веселые, дело дошло до плясовых. На славу, ровно на показ, ловчей и бойчей всех других отплясывал Илья пустобояровский, всех величавей, павой выступала, всех красивей плечами подергивала, задорней и страстней поводила глазами и платочком помахивала отецкая дочь Лизавета Трофимовна. Другие, что ступы, толкутся себе на месте, пол под ними трещит, чуть не ломится, а она легко и тихо порхает, ровно метель-порхунок (Мотылек, ночная бабочка.). Хотя и выросла Лизавета в благочестивых скитах, хоть и обучалась у матери Глафиры божественному, а только что вышла из обители, скорехонько обыкла и к мирским песням и к той пляске, что в скитах зовется бесовскою.

Каждый пляшет, каждая голосит развеселую. Пошла изба по горнице, сени по полатам – настоящий Содом. Один Василий Борисыч не пляшет, один он не поет. Молча сидит он, облокотясь на подоконник, либо расплачивается с Мироновной за все, что пьют и едят парни и девки. Раз за три дочиста они разбирали все, что ни ставила на стол досужая хозяйка. Вдобавок к съестному и к лакомствам вынесла она из подполья четвертную бутылку водки да дюжины три пива.

Для того за всех платил Василий Борисыч, что боялся, не осерчали бы парни с девками, не рассказали бы в Осиповке, что были и пили вместе с ним у Мироновны.

Веселая гульба чуть не до света шла. Не раз порывался домой Василий Борисыч, но парни его не пускали, обещаясь проводить до дому и дорогой беречь от волков, а при этом просили поставить на стол кубышечку бальзамчику (Хлебное вино, перегнанное на душистых, смолистых травах.). И бальзамчика Мироновна откуда-то вынесла. Опростили парни кубышку, еще попросили, но у Мироновны бальзама больше не было.

Грустно возвращался домой Василий Борисыч, провожаемый хмельными парнями. И дорогой ни на минуту не сходили у него с ума докучные мысли: как-то он попадет в дом и где-то проведет остаток ночи. К жене идти и думать нельзя, подняться в верхние горницы – разбудишь кого-нибудь. И решил он ночевать в подклете у старика Пантелея. И вовсе почти не спал – то вспоминались ему злобные, язвительные тестевы насмешки и острые женины ногти, то раздавался в ушах звонкий, переливчатый голос отецкой дочери Лизаветы Трофимовны:

Лен, лен, лен не делен,

И посконь не таскан!

Несмотря на все предосторожности, в тот же день провели в Осиповке про ночные похождения Василия Борисыча. Худые вести всегда опережают. Тотчас после обеда не только насмешки, но самые крепкие ругательства и громкие окрики привелось ему выслушать от Патапа Максимыча.

– Так ты вздумал и на стороне шашни заводить, – кричал разъяренный тестюшка. – На супрядки по чужим деревням к девкам ходить! Срамить честной мой дом хочешь! Так помни, бабий угодник, что батраков у меня вволю, велю баню задать – так вспорют тебя, что вспомнишь сидорову козу. До смерти не забудешь, перестанешь бегать от жены!.. Смей только еще раз уйти на посылки!

И выгнал любезного зятя из горницы, а на прощанье еще тумака задал ему в спину.

Как провела про мужнины проказы Прасковья Патаповна, затряслась вся от злобной досады. Увидавши супруга, кинулась на него, ровно бешеная. Василий Борисыч тотчас закрыл лицо ладонями, чтоб милая женушка опять его не искровенила. И кричит она и визжит, шумит, как голик, брюзжит, как осенняя муха, ругается на чем свет стоит и, взявши кожаную лестовку, принялась стегать муженька по чем ни попало. Мало этого показалось Прасковье Патаповне, схватила попавшийся под руку железный аршин, да и пошла утюжить им супруга. Едва вырвался Василий Борисыч из рук разъяренной подруги жизни и опрометью бросился вон из тестева дома. Выбежав

на улицу, стал на месте и так рассуждал: «Что теперь делать?.. Куда идти, к кому? Как в темнице сижу, тяжелой цепью прикован. Нет исхода... Ох, искушение! Удаться ли, утопиться ли мне?»

С самого утра дул неустанный осенний ветер, а Василий Борисыч был одет налегке. Сразу насквозь его прохватило. Пошел в подклет согреться и улегся там на печи старого Пантелея. А на уме все те же мысли: «Вот положение-то! куда пойду, куда денусь?.. Был в славе, был в почестях, а пошел в позор и поношение. Прежде все мне угождали, а теперь плюют, бьют, да еще сечь собираются! Ох, искушение!»

И стал Василий Борисыч раздумывать, куда бы бежать из тестева дома, где бы найти хоть какое-нибудь пристанище. Думает, думает, ничего не может придумать – запали ему все пути, нет места, где бы приютиться.

Дня три шага не выступал он из Пантелеева подклета и обедать наверх не ходил, дрожа дрожал от одного голоса жены, если, бывало, издали услышит его. В доме знали от старика Пантелея, что ему нездоровится, что день и ночь стонет он и охает, а сам с печи не слезает. И в самом деле, железный аршин не по костям пришелся ему. Заходил в подклет и сам Патап Максимыч. Хотелось ему наведаться, чем зять захворал, что за болезнь ему приключилась. Пришел, Пантелея в избе о ту пору не было, а Василий Борисыч стонал на печи.

– Что, распевало? Аль ежовски посиделки отыгаются?.. – с усмешкой спросил у него осиповский тысячник. – Или тебя уж очень сокрушила Лизка скорохватовская? Целу, слышь, ночь у тебя с ней были шолты-болты (Шолты-болты – вздор, пустяки, дрянь, негодные вещи.). Шутка сказать, на десять целковых прокормил да пропоил у этой паскуды Акулины! Станешь так широко мотать, не хватит тебе, дурова голова, и миллиона. Акульке радость, во всю, чать, зиму столько ей не выручить, сколько ты ей переплатил. С похмелья, что ли, хворает?..

– Не с похмелья у меня, батюшка, голова болит, не с поседок мне хворает, – охая, отвечал Василий Борисыч. – Болит головушка и все тело мое от злой жены. Истинно во святом писании сказано: «Удобнее человеку со львом и скорпием жити, неже со злою женой». От дочки вашего степенства житья мне нет. И теперь болею от любви ее да от ласки – полюбилось ей бить меня, железным аршином приласкала меня! В трех местах голова у меня прошиблена до кости, и весь я избит – живого места не осталось на мне... Пожалейте меня хоть сколько-нибудь, пожалейте по человечеству... – со слезами молил тестя Василий Борисыч. – Теперь деваться мне некуда, свадьба с Прасковьей Патаповной затворила мне все ходы к прежним моим благодетелям. Куда денусь? сами посудите.

– Живи с законной женой, да мамошек на стороне не смей заводить... Тогда все пойдет по доброму да по-хорошему, – промолвил, насупившись, Патап Максимыч.

– Нельзя с такой глупой да злой женой жить по-хорошему, – отозвался вполголоса Василий Борисыч.

– А какой леший толкал тебя в улангерском лесу к Параньке? – также вполголоса, с язвительной насмешкой сказал осиповский тысячник. – Ведь я все знаю. И то знаю, как ты по Фленушкиным затеям у свибловского попа повенчался. Не знаю только, кто свадьбу твою сварганил, кто в поезжанах был... А то все, все до капельки знаю. А не вытурил я тебя тогда с молодой женой из дому да еще на друзей и для окольного народа пир задал и объявил, что свадьбу я сам устрепал, так это для того только, чтоб на мой честной дом не наложить позору. Что Прасковья дура, про это я раньше тебя знаю; что зла она и бранчива, тоже давно ведаю. Да ведь не я ее тебе на шею вешал, не я тебя в шею толкал. Тут я ни при чем. Сам свою судьбу устраивал, сам выбирал себе невесту, ну и живи с ней, терпи от нее попреки и побои, а мое дело тут сторона.

– Хоть бы уехать куда на недолгое время, – сказал Василий Борисыч.

– А к какому шайтану уедешь? – возразил Патап Максимыч. – Сам же говоришь, что деваться тебе некуда. Век тебе на моей шее сидеть, другого места во всем свете нет для тебя. Живи с женой, терпи, а к девкам на посиделки и думать не смей ходить. Не то вспорю. Вот перед истинным богом говорю тебе, что вспорю бесприменно. Помни это, из головы не выкидывай.

Долго бранил Патап Максимыч Василья Борисыча, а тот, лежа на печке, только стонет да охает от жениных побой, а сам раздумывает, что лучше: бежать или на чердаке удавиться.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Заходили по народу толки, будто Патап Максимыч привез в Осиповку несметное богатство сироты Смолокуровой и что сложено оно у него в его каменной палатке. А пошли те толки со слов осиповских девок, что пировали на посиделках у Мироновны, и, кроме них, привоз сундуков видели батраки, работавшие в токарнях и в красильнях. По ближним и дальним деревням заговорили об этом, и народная молва гласила уже, что привезено не приданое Смолокуровой, а несметные сокровища, каких ни у кого еще не бывало: сундуки, битком набитые чистым золотом и другими драгоценностями. Толковали: «С давних лет многое множество богатых кладов в земле лежит, но ни в одном нет столько добра, как теперь в каменной палатке у Чапурина. Притом же все земляные клады, сколько их ни есть, кладены с зарокom, а бережет их супротивная сила, а туда положено золото безо всякого зарока, и до него нечистому нет никакого дела». По этому самому никакой и вещбы тут не надо, ни тайного слова. И при таких разговорах много людей зарилось на чапуринскую палатку.

Дён через десять после того как Василий Борисыч был в гостях у тетки Мироновны, у нее опять были посиделки. Народа было множество, особливо парней. Тесно было во вдовьей избе, иным ни на лавках, ни на скамьях не доставало места, – сидели на печи, лежали они на полатах.

Пели песни, плясали, пили, ели, прохлаждались, а веселая, довольная Мироновна, видя, как гости очищают ее стряпню, металась из стороны в сторону, стараясь угодить каждому. Не одну песню спели, не раз поплясали, и тут у парней и девок зачались меж собой суды и пересуды. Судили, рядили обо всех окольных, про ближних и дальних, старух и стариков, про женатых и холостых, про красных девушек и молодых молодух: всем косточки перемыли, всем на калачи досталось, – известное дело, от пересудов, да напраслины, да сплеток ни пешком не уйти, ни на коне не уехать.

Вспоминая Василья Борисыча, ровно по книге рассказывали про его похождение, как не давал он в скитах спуску ни одной белице, что была моложе да попригожей из себя. Осиповские девки рассказали, как ему за посиделки у Мироновны тесть в шею наклал, а женушка железным аршином до костей пробила грешное его тело. И никого не нашлось из всей беседы, кто бы пожалел его; все потешались, а пуще других отецкая дочь Лизавета Трофимовна. Перешла речь на самого Патапа Максимыча. Сидели у Мироновны люди к делам его непричастные, работ и хлебов осиповского тысячника не искавшие и, по зависти к богатству и домоводству его, готовые натворить ему всяких пакостей не только языком, но и делом. И пошли они цыганить Патапа Максимыча, глумиться над ним, надо всей семьей его и надо всеми к нему близкими. Смеха было вволю, а всех больше насмеялся над Чапуриным, пуще всех глумился над ним за то, что он тысячами ворочает, Илюшка пустобояровский. Усевшись на печку и колотя по ней задками сапогов, он мало говорил и то изредка, но каждое слово его поднимало не только веселый, но даже злобный хохот всей беседы, и от того хохота чуть не дрожали стены в Акулининой избе. Зашла речь и о приданом Смолокуровой. Мироновну та речь затронула за живое, рассыпалась она в ругательствах на Дуню за то, что у нее такое несчетное богатство, а ей не на что избенку проконопатить – со всех сторон дует, углы промерзают, житье в ней мало лучше, чем в ином сарае либо на сеннице. И укоряла бога вдовица, что несправедливо он поделил меж людей земные богатства, и начальство бранила, что до сих пор не додумается деньги поровну поделить между крещеными.

– А много ль денег в самом-то деле поставил Чапурин в палатке? – спросил Миней Парамонов, мрачный, никогда не улыбавшийся парень из деревни Елховки, с нахальным взглядом поглядывая на молодежь.

– Десять возов с чистым золотом, – помолчав немного и подыгрывая на гармонике, сказал тот самый Алешка, что ухаживал за Акулининой племянницей.

– Здорово же ты, парень, врешь, – крикнул на всю избу Миней. – Не в подъем человеку вражье твое. Как заврешься, под тобой, парень, и лавка не устоит, – слышь, потрескивает. Поберегись. Убавляй, не бойсь, много еще останется.

– Нет, точно десять возов привезено и в палатку поставлено, – заметил один из осиповских токарей, Асаф Кондратьев, только что прогнанный Патапом Максимычем за воровство и пьян-

ство. – Сам своими глазами видел, – продолжал он. – Вот с места не сойти!

– И золото видел? – спросил Миней.

– Нет, врать не хочу, золота не видал, видел только воза да сундуки, ответил осиповский токарь. – Сундуков, укладок и коробья пропасть.

– Надо думать, что лежат в тех сундуках платья, да шубы, да иное приданое, может статься, есть тут и золото и серебро, а чтобы все десять возов были полны чистым золотом – этому поверить нельзя, – насмешливо молвил Миней и переглянулся с Илюшкой пустобояровским.

Тот будто и не заметил, сидит себе на печи да ногами побалтывает.

– Что, Илюшка? – спросил у него, подходя к печке, Миней.

Илюшка молчал, но, когда Миней, взгромоздясь на печь, сел с ним рядом, сказал ему потихоньку:

– Лишних бревен в избе много, после потолкуем, – прошептал Илья пустобояровский. Меж тем Мироновна продолжала плакаться.

– Господи Иисусе! – причитала она. – И хлеб-от вздорожал, а к мясному и приступу нет; на что уж дрова, и те в нынешнее время стали в сапожках ходить. Бьемся, колотимся, а все ни сыты, ни голодны. Хуже самой смерти такая жизнь, просто сказать, мука одна, а богачи живут да живут в полное свое удовольствие. Не гребтится им, что будут завтра есть; ни работы, ни заботы у них нет, а бедному человеку от недостатков хоть петлю на шею надевай. За что ж это, господи!

И до самого расхода с посиделок все на тот же голос, все такими же словами жалобилась и причитала завидушая на чужое добро Акулина Мироновна. А девушки пели песню за песней, добры молодцы подпевали им. Не один раз выносила Мироновна из подполья зелена вина, но питье было неширокое, нешибкое, в карманах у парней было пустовато, а в долг честная вдовица никому не давала.

– Что сегодня мало пьете, родимые? Нешто зареклись, голубчики? – ласково, заискивающим голосом говорила она парням. – Аль и у вас, ребятушки, в карманах-то стало просторно? Не бывал вот чапуринский зять, то-то при нем было веселье: изломала, слышь, сердечного злая жена железным аршином. Эх, ребятушки, мои голубчики! Раздобыться бы вам деньжонками, то-то бы радость была и веселье! Эй, дружки мои миленькие, оглянитесь-ка, сударики, на все четыре сторонushки, попытайте-ка, не лежит ли где золота казна, клада в околности поискать бы вам.

– Боязно, тетушка, да и грех велик, – вступился Алешка, поглядывая на свою зазнобу, племянницу Мироновны. – Ведь при каждом кладе бесовская сила приставлена, ни отбечь (Отбегать.), ни отчураться от нее никак невозможно... Беда!

Вскинулась на него честная вдовица, обругала на чем свет стоит и под конец прибавила:

– Коли ты из заячьей породы, страховит да робок, лежи себе на полатах, разинь хайло-то (Горло, рот, зев, пасть.), да и жди, что богатство само тебе в рот прилетит. Про бесовские клады по всей здешней палестине и слыхом не слыхать, зато лежат иные, и ни лысого беса к ним не приставлено. Взять те клады легко, все едино что в полое (Заливное, поемное место берега или луга, пойма, займище, остаток весеннего разлива.) рыбу ловить. Нужна только смелость да еще уменье.

Илюшка с Минеем молча переглянулись меж собой, когда Мироновна ругала Алешку.

Вдруг Илюшка прыгнул с печи, стал среди избы, кликнул, гаркнул беседе громким голосом:

– Эй вы, девушки красоточки! Пойте, лебедушки, развеселую, чтобы сердце заскребло, чтобы в нас, молодцах, все суставчики ходенем пошли... Запевай, Лизавета, а вы, красны девицы, подтягивайте. Пляши, молодцы! Разгула хочется. Плясать охота. Ну, девки, начинай!

И запели девки развеселую, и вся беседа пошла плясать, не стерпела сама Мироновна. Размахивая полотенцем вместо платочка, пошла она семенить вдоль и поперек по избе. Эх, был бы десятник жив, уже как бы наkostenял он шею своей сожительнице, но теперь она вдова – значит, мирской человек: ее поле – ее и воля.

А Илюшка пустобояровский, немного поплясав, сел среди шума и гама за красный стол, под образами. Сидит, облокотясь на стол, сам ни слова. Не радуют его больше ни песни, ни пляски. Подошла было к нему Лизавета Трофимовна, стала было на пляску его звать, но возлюбленный ее, угрюмый и насупленный, ни слова не молвивши, оттолкнул ее от себя. Слезы навернулись на глазах отечкой дочери, однако ж она смолчала, перенесла обиду.

И что-то всем стало невесело. Недолго гостили парни у Мироновны, ушли один за другим, и пришлось девушкам расходиться по домам без провожатых; иные, что жили подальше от Ежовой, боясь, чтобы не приключилось с ними чего на дороге, остались ночевать у Мироновны, и зато наутро довелось им выслушивать брань матерей и даже принять колотушки: нехорошее дело ночевать девке там, где бывают посиделки, грехи случаются, особенно если попьют бражки, пивца да виноградененького.

Минею Парамонову с осиповским токарем идти было по дороге, но к ним пристал и дюжий Илья, хоть его деревня Пустобоярова была совсем в другой стороне. Молча шли они, и, когда вышли за ежовскую околицу, вымолвил слово Илья.

– Что ж, други? Станем, что ли, клад-то вынимать?

– Какой клад? – спросил прогнанный Патапом Максимычем токарь. А звали его Асафом Кондратьичем.

– Эх, ты! – с усмешкой сказал ему Илья в ответ. – Сам ходит вокруг клада, каждый день видит его, а ему и невдомек, про какой клад ему рассказывают.

– Я пойду, – молвил Миней Парамонов. – Чем с бедности да с недостатков чужие клети ломать, цапнуть сразу тысячу-другую да и закаяться потом.

– Да где же клад-от лежит? – спрашивает недогадливый Асаф. – И какой зарок на нем?

– Никакого зарок нет, а лежит клад у тебя под носом, – молвил Илья пустобояровский. – Сам же давеча рассказывал, что на десяти возах к Чапурину клад на днях привезли.

– Так ведь он его в каменную палатку сложил, – сказал Асаф.

– А что ж из того? – спросил Илья.

– Ключи у самого, как без них в палатку войти? – молвил Асаф Кондратьев.

– Не то что палатку, городские стены пробивают, – сказал Илья. – Были бы ломы поздоровей да ночь потемнее.

– А как услышат? – промолвил Асаф.

– Надо так делать, чтобы не слышали, – отвечал Илья. – Ты осиповский, тебе придется сторожить. Ходи одаль от палатки, и на задах ходи, и по улице. Ты тамошний, и кто тебя увидит, не заподозрит – свой, значит, человек. А ежели что заметишь, ясак (Сторожевой клик или другой знак, непонятный посторонним.) подавай, а какой будет у нас ясак, уговоримся.

– Ведь десять возов – всего не унести, – заметил Асаф.

– А кто тебе про все говорит? – сказал Илья. – Вестимо, всего не унесешь. Возьмем, что под руку попадется; может, на наше счастье и самое лучшее на нашу долю достанется. Ну что ж, Асаф Кондратьич, идешь с нами или нет?

– В ответе не быть бы... – колеблясь, промолвил Асаф.

– Какой тут ответ, когда только сторожем будешь, – возразил Миней Парамонов. – Да ты стой, погоди, – ночные караулы бывают у вас на деревне?

– Исправник и становой не один раз наказывали, чтобы в каждой деревне караулам быть, только их николи не бывает, – отвечал Асаф. – Дойдет до тебя черед, с вечера пройдешь взад да вперед по улице, постучишь палкой по клетям да по амбарам, да и в избу на боковую. Нет, на этот счет у нас слабовато.

– А у Чапурина есть свои караулы? – спросил Илья.

– Как ему без караулов быть? Нельзя, – отвечал Асаф. – У токарен на речке караул, потому что токарни без малого с версту будут от жилья, а другой караул возле Красилен. Эти совсем почти в деревне, шагов сто, полтора от жилья, не больше.

– А далеко ль от палатки те караулы? – спросил Миней Парамонов.

– Далеконько, – ответил Асаф, – токарни-то ведь по другую сторону от деревни.

– А за палаткой что? Назади-то ее, значит? – продолжал расспросы Миней.

– Да ничего, – отвечал Асаф. – Одно пустое место, мочажина, болотце гладкое, без кочек. А за мочажинкой перелесок, можжевельник там больше растет, а за перелеском плохонький лесик вплоть до Спасского села.

– Так хочешь, что ли, с нами? – спросил Илья.

– Да я, право, не знаю, – нерешительно отвечал Асаф. – Боязно, опасно, ежели проведуют. В

остроге сгниешь.

– Коли что, так мы с Илюшкой в ответе будем, – молвил Миней. – Твое дело вовсе почти сторона, станешь ходить по приказу начальства да по мирской воле. Твое дело только ясак подать, больше ничего от тебя и не требуется. А дуван станем дуванить, твоя доля такая ж, как и наша.

– Вина тогда, Асафушка, будет у тебя вволю. В город поедem, по трактирам станем угощаться. А какие, братец ты мой, там есть любавушки, посмотреть только на них, так сто рублей не жаль, не то что наши деревенские девки, – говорил Илья осиповскому токарю.

Асаф долго колебался, наконец решился. Очень уж прельстился он никогда до тех пор не виданными городскими любавушками, что поют на всякие голоса, ровно райские птицы, а в пляске порхают, как ласточки, что обнимают дружка таково горячо, что инда дух занимается. Знал Илья пустобояровский, за какую струну взяться, знал он, что Асаф чересчур уж падок до женского пола и что немножко брезговал деревенскими чухами. С полчаса он расписывал ему про веселое житье в городе и про тамошних красавиц, что на все руки горазды и уже так ласковы и податливы, что и рассказать не достанет слов. Уговорились ломать палатку, только что настанут темные ночи. Ежели будет сухо, нести добычу к Илюшке в Пустобоярово, а если грязно, так нести сначала прямо в лес по мочажинам, чтобы не было заметно следов.

Подойдя к Осиповке, приятели, по указанию Асафа, свернули в сторону и пошли по задам деревни. Полный месяц обливал чапуринскую палатку. Она ставлена была позади дома на усаде, и усад был обнесен плетнем. Плетень как плетень, пихни ногой хорошенько, он и с места долой. Плетня, однако же, парни не тронули: следа бы не оставить после себя, а перелезли через него, благо ни души нигде не было, обошли палатку кругом и видят, что без большого шума нельзя через дверь в нее попасть, дверь двойного железа, на ней три замка.

– Нет, про дверь и думать нечего, – молвил опытный в воровском деле Миней Парамоныч. Он два года в остроге высидел, но по милостивому суду был оставлен только в подозренье, а по мелким кражам каждый раз отделялся тем, что ему наkostenяют шею, да и пустят с богом на новые дела.

Поднял он валявшуюся неподалеку оглоблю и пошел вокруг палатки, постукивая об ее стены и чутко прислушиваясь ко звукам.

Обойдя кругом палатку, он подумал немножко и молвил товарищам:

– Стены-то, никак, в два кирпича.

– Так точно, – подтвердил Асаф. – Помню я, как Чапурин ее клал, я еще известку тогда ему месил да кирпичи таскал. Точно, в два кирпича строена.

– Ну, айда по домам, – сказал Илья. – Да тише, черти, через плетень-от перелезайте. Перелезли и вышли на проселок одаль от деревни.

– Стену легче пробить, чем дверь сломать, – сказал там Миней. – Ты, Илюха, добудь лом поздоровей, а у меня есть наготове, а ты, Асаф, заранее оповести нас, когда придется тебе на карауле быть.

Затем все трое разошлись по своим местам. В Осиповку приехал Никифор Захарыч. Ездил он на Низ, наполовину покончил смолокуровские там дела, но их оставалось еще довольно, приводилось весной туда плыть, только что реки вскроются. Возвращаясь, Никифор побывал у Чубалова, там все шло хорошо, оттоле проехал в Вихорево, рассказал Дуне все по порядку обо всем, что ни делал он в низовых местах, и выложил кучу денег, вырученных за продажу лодок, снастей (Снасти – сети, мережи, невода и другие делаемые из пряжи орудия рыболовства.) и бечевы. Дуня слушала, мало что понимая из речей Никифора Захарыча, денег не взяла, а просила съездить в Осиповку, обо всем рассказать Патапу Максимычу и деньги ему отдать. Никифор так и сделал.

Выслушав шурина и принявши деньги, Чапурин сказал:

– До весны у меня оставайся, по зиме, может, приведется кой-куда послать тебя по моим делам, не по смолокуровским...

Там к весне-то свой хозяин будет, Авдотья Марковна замуж, слышь, выходить собирается.

– Слышал и я об этом стороной, – ответил Никифор, – только ни Груня, ни сама Авдотья Марковна мне ни слова о том не сказали. Приезжаю в Вихорево, а там Иван Григорыч в отлучке, и большая горница полнехонька девок: семь ли, восемь ли за белошвейною работой сидят, а сами

поют свадебные песни; спрашиваю: «Кому поете?» Авдотья Марковна, сказывают, выходит замуж за приезжего купца. Я Груню спросил, а она говорит: «Немножко повремени, обо всем расскажу, а теперь не скажу». Так ничего я и не добился. А невесту так и не спрашивал, не мое, думаю, дело.

– Самоквасова Петра Степаныча знал? Он еще каждое лето в Комаров с подавняниями от дяди из Казани приезжал, – сказал Патап Максимыч.

– Слышать слышал, а видеть не доводилось, – отвечал Никифор.

– За него выходит, – молвил Чапурин. – Хоть богатством своим много уступит своей нареченной, а все-таки сотни с две тысяч у него и своих наберется.

– Видно, что, как лист к листу, так и деньги к деньгам, – заметил Никифор Захарыч.

– Видно, что так, – сказал на то Патап Максимыч. – Опричь капиталов, домов, земель и прочего, одного приданого у ней тысяч на сто, ежели не больше. Побоялись мы в Вихорева его оставить, не ровен случай, грешным делом загорится, из Груниной кладовой ничего не вытащишь, а здесь в каменной у меня палатке будет сохраннее. Десять возов с сундуками привезли. Шутка ли!

– А караул-от у палатки ставится ли по ночам? – спросил Никифор.

– Не для чего, – ответил Патап Максимыч. – Палатка не клеть, ее не подломаешь, опять же народ близко, а на деревне караулы; оно правда, эти караулы одна только слава, редко когда и до полуночи караульные деревню обходят, а все-таки дубиной постукивают. Какой ни будь храбрый вор, все-таки поопасится идти на свой промысел.

– Оно точно. Справедливо сказано, – промолвил Никифор. – По себе хорошо знаю. Да ведь вот что надо говорить:

«Вор вором, а крадено краденым». В деревенскую клеть залезть нужна отвага, да не больно большая. Что взять с полушубков да с бабьих сарафанов? С голодухи больше клетки подламывают да еще ежели пить хочется, а в кармане дыра... А тут вдруг на сто тысяч! При таком богатстве у всякого вора прибудет отваги, и на самое опасное дело пойдет он наудалую: бог, мол, не выдаст, свинья не съест. Нет, во всяком разе, по-моему, надо бы к палатке караул приставить, да не ночной только, а и денной, палатка-то ведь почти на всполье стоит, всяких людей вокруг бывает немало.

– Крепка, не проломают, – самоуверенно сказал на то Патап Максимыч и повел совсем про другое речь.

– Как озими на Узеньях? – спросил он у шурина.

– Озими хорошие, – отвечал Никифор. – После Покрова зажелтели было, потому что с Семёнова дня дождей не было ни капельки, погода сухая, а солнышко грело, ровно летом, ну а как пошли дожди да подули сиверки, озимые опять зазеленели.

– У Зубкова как? – спросил Патап Максимыч.

– Хорошо, очень даже хорошо, – отвечал Никифор.

– А на моих хуторах, что переснял я у Зубковых, случилось тебе быть? – спросил Чапурин.

– Как же. Нарочно два раза туда заезжал. Все осмотрел, – отвечал Никифор Захарыч.

– Ну, что же?

– Да ничего, все слава богу, сказал Никифор. – Озими тоже зазеленели, скот в теле, овса, сена, яровой соломы и всякого другого корма до будущего хлеба с излишком будет, приказчики на хуторах радивые, рабочий народ всем доволен, соседские, слышь, завидуют ихней жизни.

– Весной, даст бог, сам сплыву, кстати же надо будет с казной новые условия писать, прежним-то к осени предбудущего года сроки минут. Беспременно поеду, коли жив буду, – сказал Патап Максимыч. – Ступай повидай сестру-то, – прибавил он. – Плохо, брат, ее дело, больно плохо... Не знаю, что и будет, какую волю господь сотворит над ней. А сохрани бог, не станет Захаровны, сгинет дом и пропадет моя головушка!.. Как жить с этой дурищей Прасковьей да с ее мужем бездельником?.. Мука будет одна... Да повидай внучонка, Захарушку-то, что наша дурища принесла... Пойдем, Никифор, пойдем, любезный ты мой, к Захаровне.

У изголовья Аксины Захаровны сидела Дарья Сергевна и читала ей из «Пролога» житие преподобно-мучеников Галактиона и Епистемии: память их на другой день (Ноября 5-го.) приходилась. Жадно слушала болящая мирное, протяжное чтение Дарьи Сергевны, с благочестивым упоением; не пророня ни словечка, слушала она про лютые мучения, коим подвергали нечестивые верных рабов божиих, и ровно светочи горели на ее безжизненном, неподвижном лице. Тут же,

тыкаясь носом, дремала в углу Прасковья Патаповна, едва держа у груди заснувшего Захарушку, того и гляди заботливая матушка брякнет об пол своего первенца. Никифор благоговейно вступил в горницу, где умирающая Настя прощальными речами преобразила душу его и возвела падшего из греховной гибели. Навернулись у него слезы, когда клал он поклоны перед святыми. Обратясь потом к сестре, он низко поклонился ей и спросил про здоровье.

Аксинья Захаровна ненавидела брата, когда проводил он беспутную жизнь, проклинала его всякими клятвами, называла кровным врагом своим и в разговорах с мужем нередко желала Никифору сгибнуть где-нибудь под оврагом. Но теперь она переменялась. Не вдруг изменила она об нем свои мысли, не сразу поверила братнину исправлению, думала, что все это у него одно при творство, но мало-помалу уверилась, что он на добрую стезю напал. И тогда возвратила она прежнюю любовь к нему, такую же почти любовь, какую питала, будучи уже маленькой девочкой, когда нянчила маленького своего братишку. Его дельные и всегда удачные распоряжения по даваемым ему Патапом Максимычем поручениям убедили Аксинью Захаровну, что Никифор человек – золото, за что ни возьмется, дело у него так и кипит. И стал он ей дорог и любезен, и, кроме мужа, кажется, она его любила больше всех. Груня, что ни говори, все-таки чужая, а к дочери и зятю сердце ее вовсе не лежало.

– Ну что? Как тебя бог милует? – спросил Никифор, подойдя к сестре.

– Все так же, Микешенька, все так же, родной. Ни лучше, ни хуже, измаялась я совсем, – отвечала со стоном Аксинья Захаровна и с ясной улыбкой глядя на брата. – Ты где летал, где был-побывал? – ласково она промолвила.

– На Низ ездил да вот маленько и замешкался, – отвечал Никифор. Туда-то по Волге сплыл, и скорехонько и без хлопот, а назад ехал на конях, для того что по воде-то стало опасно, через неделю, много через полторы, Волга совсем станет.

– Пора уж, пора, Микеша, ведь Михайлов день на дворе, – заметила Аксинья Захаровна. – По смолокуровским делам, что ли, ездил-то?

– И по смолокуровским и по вашим. Все, бог подал, управил, теперь до весны придется на печи лежать, – сказал Никифор Захарыч.

– Ну, слава богу, слава богу, – проговорила Аксинья Захаровна и смолкла. Тяжело было много ей говорить.

– Вы как поживаете, сударыня Дарья Сергевна? – спросил у ней Никифор Захарыч. Как только дошел он в комнату больной, она сложила «Пролог», положила его на стол и, опустя голову, недвижно сидела у изголовья Аксиньи Захаровны.

– Живу, пока бог грехам терпит, – тихо промолвила Дарья Сергевна. – Вы как, в своем здоровье, Никифор Захарыч? – прибавила она.

– Ничего, – отвечал Никифор. – Вот только теперь дорогой маленько порастрясло меня. Студено, дорога промерзла, езда бедовая, а мне довелось без малого две тысячи верст по такой дороге промучиться.

В это время одадь стоявший Патап Максимыч быстро подскочил к дремавшей дочери и схватил Захарушку, совсем уже почти скатившегося с колен матери.

Очнулась Прасковья Патаповна, зевнула во всю сласть и, впросонках, тупым взглядом обвела всех бывших в комнате.

– Ах ты, дурафья безумная! – вскрикнул на нее Патап Максимыч. – Даже рожденья своего не жалеет! У скотов даже этого не бывает, и у них мать детеныша бережет... Не тебе бы, дура, мужа бить да стегать, ему бы следовало тебе хорошую выволочку задать! Плох, больно плох он у тебя и на то даже умом не вышел, чтобы жену учить!

Затем, подойдя к Никифору и показывая ему глядевшего синенькими глазками и улыбавшегося младенца, сказал ему:

– Гляди, помилуйся на внука-то. Переживешь нас со старухой, береги ты его, Никифор, одного только его береги. Вскорми, воспитай, уму-разуму научи. На отца надежда плоха, о Прасковье нечего и поминать. А я все, что ни есть у меня, вот этому малышу после себя отдам, все доброе пойдет внуку моему любезному, Захарушке. Дура Парашка и муж ее, московский распевало, хоть под оконьем шатайся, Захарушка бы только счастлив был... Эх, Настя, Настя! Была бы жива

ты, – прибавил он надорванным от горя голосом. – Все с собой унесла, белая моя ласточка!

– Все, – едва сдерживаясь от рыданий, молвил Никифор. – Все унесла, все!

Еще при первых словах отца Прасковья Патаповна молча вышла из горницы больной матери. Пришла к себе и прямо на постель. Раскидалась, разметалась на ней дочь осиповского тысячника, закрыла глаза, а сама думает: «Хоть бы Васька пришел, каков ни есть, а все-таки муж!»

А Никифор пошел отдохнуть после трудного и долгого пути в подклеть, на давно облюбованное им место, в боковушу рядом с Пантелеем. Сколько ни уговаривал его Патап Максимыч выбрать жилье где-нибудь наверху, Никифор не соглашался.

Проходя в свою боковушу чрез Пантелееву избу, он услышал стоны, взглянул на печь, там Василий Борисыч лежит.

– Что, друг, лежишь? Аль неможется? – спросил у него Никифор.

– Уж так неможется, Никифор Захарыч, что и рассказать тебе не могу, тихо и жалобно ответил Василий Борисыч.

– Трясучка (Лихорадка.), что ль, одолела? Много теперь народу трясучкой болеет, – сказал Никифор. – А коли так, для чего здесь на печи валяешься, зачем в горницы к жене нейдешь?

– Скорее в лес на съеденье волкам пойду, чем в горницу твоей племянницы, Никифор Захарыч, – оживляясь понемножку, сказал Василий Борисыч. – Сын Сирахов гласит: «Лучше жити со львом и змием, неже с женой лукавою. Всяка злоба мала противу злобы женской» (Иисуса, сына Сирахова, XXV – 18, 21.). А какова Прасковья умом вышла, сам не хуже моего знаешь. От нее болею, от нее горькие мои недуги.

Чуть ли не изломала железный аршин об меня. Ума и рассудливости у нее с накопильник (Поперечный брусок у саней для связки верхних концов копыльев.) нет, а дурости и злобы горы превысокие. Хоть руки на себя наложить, вот она меня до чего довела.

– Человек я не книжный, – сказал на то Никифор Захарыч, – силы писания не разумею, а скажу, что от старых людей слышал: «Не рыба в рыбах рак, не птица в птицах нетопырь, не зверь во зверех еж, не муж в мужьях тот, кем жена владеет». И у меня, голубчик, бывала жена Мавра, не знаю, померла аль в живых еще. Не честью мы с ней были венчаны, похмельным делом окружили нас. Борзая баба была, однако ж я и ее в ежовых рукавицах держал, покамест на сторону она не сбежала. А потачки ей не давал, знала бы, что муж есть глава... А ты что! Фалалей, больше ничего.

– Да, попробуй-ка пальцем тронуть Прасковью Патаповну, – охая, промолвил Василий Борисыч. – Жизни не рад будешь. Хоть бы уехать куда, пушай ее поживет без мужа-то, пушай попробует, небойсь и теперь каждый вечер почти шлет за мной: шел бы к ней в горницу. А я без рук, без ног куда пойду, с печки даже слезть не могу. Нет уж, уехать бы куда-нибудь хоть бы на самое короткое время, отдохнул бы хоть сколько-нибудь.

– Что ж не попросишься у Патапа Максимыча? У него всяких делов по разным местам довольно. Попросись-ка ты, – молвил Никифор Захарыч.

– Не пошлет он меня, ни в каком разе не пошлет, – ответил Василий Борисыч. – И думать об этом нечего.

– Да, – несколько подумавши, молвил Никифор Захарыч. – Не раз он и мне говаривал, что считает тебя ни на какие дела не пригодным. Когда, говаривал, у Насти покойницы он на сорочинах был, говорил он таково умно, что мне он полюбился. Таково хорошо да умно рассказывал про разные страны, в коих быть тебе доводилось, и про всякие промысла, от коих народ божий кормится. И почел он тебя тогда человеком во всем достаточным, и стал он раздумывать, как бы тебе на Прасковье жениться, а потом послать на Горы промысла там заводить. Жениться-то ты женился, а ни на какое дело не сгодился, говорил он после. От того от самого у него и доверия к тебе никакого нет. Точно, что он ни к какому делу тебя ни за что не приставит и одного тебя ни за каким делом не пошлет.

– А зачем же меня женили силом? Хотел разве я жениться на этой колоде, сватался, что ли? Обманом да силой из Комарова меня выкрали, венчали супротив моей воли... А потом говорил он, что все это вот было его рук дело. А теперь отлынивать стал, намедни здесь, на этом самом месте говорил, что он делу тому непричастен, – с озлобленье́м сказал Василий Борисыч и, поворотясь,

застонал и заохал.

– Ишь ты! Отлынивает! – молвил Никифор Захарыч и в сильном раздумье покачал головой. – А прежде точно, что не те слова говорил он.

– Во всем я у него виноват, – горько промолвил Василий Борисыч. – С тоски погулять пойдешь, на людей поглядеть, и тут шуму да гаму не оберешься. Наплетут невесть чего, чего никогда и не бывало. Просто до того я дошел, дядюшка Никифор Захарыч, что хоть руки на себя наложить, так в ту же пору.

– Ну, а ты уж не больно, – сказал Никифор. – Обожди, бог даст, перемелется – все мука будет. То ли еще я терпел по своей глупости, такие ли мы виды видали, а вот, по милости господней, все обошлось как не надо лучше... И ты, друг, потерпи, и все будет хорошо. А главное дело – примись-ка за какую ни на есть работу, пусть бы тесть увидал, что ты не бездельничаешь да пустяковиной больше не занимаешься. Себя в пример приведу: чать, и сам ты слышал, что был я совсем последним человеком. Во хмелю жизнь проводил, воровал, когда не на что стало пить. Здесь, у Патапа Максимыча, и места мне не было, сестра не велела и к дому близко подходить. А вот, как видишь, теперь не на ту стать пошло. А отчего?

Пить бросил, за дело принялся; так и ты, друг, принимайся помаленьку за какое-нибудь дело, да полно день и ночь стихеры да псалмы распевать. Оно хоть и божественное, а все-таки надоело всем.

– Одному этому я, дядюшка, и обык, – молвил на то Василий Борисыч. Смолodu ни к какой работе не был приучен.

– Человек ты еще не старый, Василий Борисыч, ко всякому делу мог бы еще приобыкнуть, – сказал Никифор Захарыч. – Попробуй. Хочешь, я насчет этого поговорю с Патапом Максимычем? Василий Борисыч ни слова не ответил на это.

– Мне бы в Москву, – сказал он, немного повременя. – Хоть и лишился я там благодетелей, а все же своя родная сторона. Хоть мирским подаяньем питаться, только бы там быть.

– Пустое выдумал, – молвил Никифор Захарыч. – От добра добра не ищут, а у тебя добро под руками, только приневожь себя на первый раз, работай хоть в токарне, хоть в красильне. Верь, друг, месяца не пройдет, как Патап Максимыч станет на тебя ласковым оком глядеть. Поговорить, что ли, мне с ним?

– Ни в токарню, ни в красильню ни за что на свете не пойду, – очень уж обидно будет перед батраками, – сказал Василий Борисыч. – Да к тому же за эти дела я и взяться не сумею. Нет, уж лучше петлю на шею, один по крайней мере конец. А уж если такая милость, дядюшка, будет мне от тебя, так похлопочи, чтобы меня при тебе он послал. У тебя на чужой стороне буду рад-радехонек даже на побегушках быть, опять же по письменной части во всякое время могу услужить. Мне бы только от Парашки куда-нибудь подальше.

А у самого не то на уме. «Если бы только из заволжских лесов выбраться, уехал бы к старым своим благодетелям, авось бы поладили как-нибудь».

– Ладно, молвлю ему, – сказал Никифор Захарыч. – Может статься, и согласится; только, друг, на согласие его я не больно уповаю. По себе сужу: когда пришла ко мне божья благодать и над гробом моей белой голубушки, Настеньки покойницы, очувствовался и заклатье сам себе дал бросить непутную жизнь, не сразу он поверил мне, не тотчас даже стал говорить со мной о чем-нибудь дельном. С полгода, а может, и подольше было так, и только тогда, как уверился он во мне, стал дела доверять. Так, думаю, и теперь, что, не выдавши твоей работы и усердия, не отпустит он тебя из Осиповки, хотя бы и со мной.

И то опять возьми, станешь ты отлучаться, станешь впрохолость (Житье по временам не вместе с женой.) жить, а Прасковья бабенка молодая, и хоть дебелая и толстая, а по всему видится, что горячая она и запальчивая, хоть, правду сказать, умом и не вышла. Хоть Патап и сам Прасковью не больно жалует, но не будет согласен, ежели она без мужа по грехам пойдет. Нет, друг, по моему, надо тебе наперед дома каким ни на есть делом хорошенько заняться, а жену вовремя убогаторить, после того он, пожалуй, и пустит тебя на сторону.

– Ох, искушение! Да ведь солдатки мужей и дольше ждут, – тихонько пробормотал Василий Борисыч.

– То солдатки, – заметил Никифор, – а эта – отецкая дочь. Патап Максимыч не дозволит, а ежели бы ты и лыжи куда наострил, так от него, друг, не уйдешь: со дна морского достанет... Однако меня дорогой-то порядком изломало. Пойти бы отдохнуть.

И с этим словом пошел в свою боковушу.

Приходилось Асафу караулить деревню под самый Михайлов день, и о том повестил он друзей своих, приятелей. Ночи стояли безлунные, а темная ночка вора, что матушка. Ждали они полной удачи в задуманном деле. Следов не видно будет. Но с утра Михайлова кануна погода вдруг изменилась, сначала по небу пошли беловатые косички, потом мороз стал быстро спадать, а тут подул ветерок из гнилого угла (Юго-запад.). Мало-помалу надвигалась на небосклон снежная туча и скоро весь его заволокла. Посыпал снег, ветер стих. Чем дольше идет время, тем гуще и сильнее снег валит – и к вечеру всю землю покрыл. Сельщина-деревенщина была рада ему, как дорогому гостю, не радовались только Илья, Миней да Асаф. Того и гляди пороша помешает ихней затее, по первому снежку увидят следы, придется от палатки лесом утекать, а лесом столько добра на себе не сволочешь, сколько можно его по дороге стащить. От дела, однако, все трое были не прочь, задумано-затеяно – на попятный идти не приходится. Смеркалось, когда Илья да Миней, один после другого, пришли в избенку Асафа.

Невзрачная была та изба, сквозь прогнившую тесовую крышу текли ручьи, сама изба скривилась набок, а ставней на окнах давным-давно уже не было. В эту совсем почти заброшенную Асафову избу пришли воровские друзья его, а пришли врознь и в разное время, один пришел с одной стороны Осиповки, другой – с другой, чтобы, в случае коли бы накрыли, не заметили бы по следу, что двое зараз из одного места приходили к Асафу. А ломы были уже наготове, дня за три приятели принесли уж их в Осиповку.

К вечеру ветер потянул с полночи. С каждым часом он больше и больше усиливался, а свеженький, только что выпавший снежок струнками понесся по полям. Выше и выше поднимались с земли эти струйки, повалил пухлый, густой снег, замела метелица, поднялась пурга: завыл полуночник (Северный ветер.), воет он в деревенских печных трубах, хлопает неприпертыми калитками и дверьми, шелестит в соломе на овинах. Закутавшись в шубу, либо в армяк, крестьянин, лежа в избе, не нарадуется. «Пришел и к нам господь с великой своей милостью, принес и нам, грешным, зиму-первопутку, отдохнет теперь божий народ на новой, гладенькой дорожке, отдохнут и наши лошадушки. Слава тебе, господи, всяких благ подателю!»

А в избе у Асафа не тому радуются. Вьюга все следы заметет, никто не приметит их. Вьюга да непогода вора первая подмога.

По всей деревне потухли огни, потухли они и у работников, теплились только лампадки перед иконами в доме Патапа Максимыча. Все заснуло, все притихло, только ветер сильнее и громче завывает в дымовых трубах. Ни на одном дворе собака не взлает. Только что смерклось, Асаф разбросал знакомым псам маленькой деревушки куски говядины с каким-то зельем, принесенными Минеем. Свернувшись в клубок, собаки лежат по дворам и не чувят чужого.

Ясак свой сказал Асаф приятелям. Сам будет тихо ходить, а увидит или услышит что недоброе – станет по клетям и заборам дубиной изо всей силы поколачивать, Тогда хорони концы, береги хвосты, беги наутек, куда кто знает.

И пошли Илья да Миней с ломами к палатке. Окольным путем шли они вокруг деревни. Перелезли через забор в усад Патапа Максимыча, подошли к палатке, слегка постучали по стенам ее ломами и, выбрав более других способное для пролома место, принялись за работу. Асаф между тем тихо похаживал по деревне, прислушиваясь ко всякому шороху.

В эти дни у Василья Борисыча женины побои немного зажили, и начал он ходить не только по избе в подклети, но и по двору, выходя, однако, наружу только по ночам, чтобы, грехом, с женой не столкнуться где. Ненависть к ней сильно накалилась в нем. Дни проводил он в разговорах со стариком Пантелеем да с Никифором Захарычем либо вполголоса напевал себе духовные песни да псалмы, а ночи просиживал на крыльчке подклети. В ночь на Михайлов день и Никифор в своей боковуше и старый Пантелей спали крепким, непробудным сном, а Василью Борисычу с тоски не спалось. В избе было жарко и душно, и он вышел на крыльцо освежиться. Вьюга метет и крутит, но он сидит себе у входа в подклеть, ветром его тут не знобит, снегом не заносит. И раздумался

Василий Борисыч про житье-бытье свое, и, как вспомнится ему, в какую беду попал он, женившись на Прасковье, сердце так и замрет, а на душе станет тоскливо и сумрачно.

Ветер дул с той стороны, где стоял усад Патапа Максимыча и палатка. Василий Борисыч вдруг услышал какие-то странные, глухие удары; сначала подумал, что это ему показалось, но, прислушиваясь, ясней и ясней слышит удары. Раздумывает, что б это такое было, и не может сообразить хорошенько. Наконец, вспало ему на ум, уж не к палатке ли гости с ломами да с пешнями подъехали. Сильней стал он прислушиваться к стуку. Точно, палатку взламывают. Сам идти будучи не в силах, стал он Пантелея да Никифора Захарыча будить, но добудился нескоро, очень уже разоспались и тот и другой. Очнувшись, не вдруг смекнули они, что говорит Василий Борисыч, а когда поняли, пошли все втроем на крыльцо послушать. Слушают, – точно, идет воровская работа ломом да еще не одним. Прислушиваясь к звукам, Никифор заметил, что ломают палатку в два лома, один побольше, другой поменьше.

Тут старый Пантелей, не тревожа народ в деревне, пошел в работные избы людей поднимать, чтоб они на воров осторожней облаву сделали и, окружив их со всех сторон, руками перехватывали бы. На счастье, вышло так, что, когда он переходил улицу, Асаф был на другом конце Осиповки и при разыгравшейся вьюге не заметил вдали человека. Немало нужно было времени, чтобы поднять на ноги токарей и красильщиков, не сразу они оделись. Наконец, человек до сорока работников, на всякий случай с дубинками и рогатинами, двинулись на воров. Тут подоспел Никифор Захарыч, тоже не замеченный караульщиком. Он распорядился, по сколько и куда отправляться рабочим. Сначала они все дальше и дальше отходили в сторону от деревни, потом, вдали друг от друга, пошли к палатке, чтобы густою толпой сразу окружить воров. Немного времени спустя, когда, по расчету Пантелея, облава приближалась уже к палатке, ступая тихо и осторожно и не говоря ни единого слова, один по одному рабочие, до поры до времени остававшиеся в своих избах, стали входить в деревню. Было их всего человек двадцать, у ворот каждого дома в Осиповке стало по человеку, у кого дубина в руках, у кого веревка!

Увидал их Асаф и тотчас смекнул, что дело Илье с Минеем выходит дрянь. Немедля подал он изо всей мочи ясак и зачал колотить в ворота своей избы, стоявшей на краю деревни. Между его избой и палаткой Чапурина никаких не было строений, стало быть Илье да Минеем хорошо был слышен ясак. Они всполошились, побросали ломы и хотели было бежать, но работников Патапа Максимыча набиралось на улице больше и больше, и кроме ставших у каждого двора, их пришло еще по двое и по трое со двора, они стали в каждом проулке между крестьянскими усадьбами, да, кроме того, на чапуринский двор пришло немало батраков, а оттуда на усад, стали по его окраине, а сами вперед ни шагу. Такими распоряжками Никифора да Пантелея воры со всех сторон были окружены, и некуда было выскочить ни Илье, ни Минеем. Завидя работников, приходивших друг за другом в деревню, Асаф уже без счета стал колотить в свои ворота, ровно всполох бить.

– Чего колотишь? – сурово сказал ему ставший поблизости красильщик.

– Караулю, – кутаясь в шубенку, отвечал Асаф.

– Коего лешего караулишь? – зарычал почти на него рабочий. – Кто тебя ставил на караул?

– Миром положено, – отвечал Асаф, – а сегодня мой черед.

В это время слышались неистовые крики на усаде Чапурина. Они становились громче и громче. Раздались отчаянные вопли и стоны. К облаве побежали работники, что оставались на деревенской улице, шум поднялся еще больше, весь народ в Осиповке до последнего ребенка проснулся. Проснулись и сам Патап Максимыч и домашние его. Он выбежал на улицу и увидал, что впереди работники ведут со связанными руками Илью да Минеем, а за ними трех рабочих, всех в крови от ударов ломами. Воры, не зная, что на них собралась целая облава, ударили работников, что прежде других прибежали к палатке, но потом, видя, что народа набежало пропасть, перестали защищаться и молча сдались. По приказу Патапа Максимыча заперли их покамest в пустом амбаре, а только что рассвело, отправили в станковую квартиру.

Когда все успокоилось, Патап Максимыч сел в верхних горницах за самоваром вместе с Никифором. Позвали чай пить и старика Пантелея, а Василий Борисыч в подклети на печке остался. Спать он не спал, а лежа свои думы раздумывал. Между тем Чапурин, расспрашивая, как узнали о подломе палатки при самом начале дела, подивился, что стук ломов первый услышал Василий Борисыч. Не сказал на то ни слова Патап Максимыч, но по лицу его видно было, что он доволен.

– Да что он в подклети-то у вас делает? – погода немного спросил Патап Максимыч.

– Да ничего не делает, – сказал Пантелей. – Теперь вот дня с три ему полегчало, так по дням больше читает, а по ночам сидит на крыльце да что-то потихоньку попевает.

– Гм! – отозвался Патап Максимыч и задумался, барабанив по столу пальцами.

Прошло несколько времени, Никифор Захарыч прервал общее молчанье.

– Можно ли мне попросить тебя насчет его, Патап Максимыч? – сказал он вполголоса.

– О чем это? – быстро спросил у шурина Чапурин, но не гневно, не сурово, как прежде бывало, когда про Василия Борисыча речь заходила.

– Живет он у тебя безо всякого дела, – сказал Никифор Захарыч. – Ну, известно, что каждый человек без дела во всякое время может с ума спятить. По себе сужу, сам от безделья до того, бывало, доходил, что стал по всему нашему Заволжью самым последним человеком, знаться со мной никто не хотел, ребятишки даже походя надо мной смеялись да надругивались, сколько им хотелось. Вывел меня господь на добрую дорогу, и сам ты не один раз говаривал, что дело у меня из рук не валится. Тяжело мне было на добрый путь становиться, да, видно, молитвы Настеньки, нашей голубушки, до бога доходны, ведь у смертного одра ее бог послал мне перемену в жизни. Слушая последние слова ее, решился я переменить жизнь. Она, моя радость...

И не мог больше говорить, залился слезами, склонясь на стол и крепко обхватив голову руками.

– Полно, Микеша, полно, родной ты мой, – с наворачнувшимися слезами молвил Патап Максимыч... – Не поминай! Было время, да уж нет его, была у меня любимая доченька, в могиле теперь лежит, голубушка...

Не воротишь дней прошлых, Микеша... Полно ты меня сокрушать. Бог все к хорошему в здешнем свете строит, ни коему человеку не понять благостных путей его. Про него-то что хотел говорить ты? Про певуна-то нашего, про посланника архиерейского?

– То хотел я сказать про него и о том тебя просить: не вводи ты его во грех и напасть. Дай ты ему какое-нибудь дело, – молящим голосом сказал Никифор Захарыч.

– Много было у меня на него, беспутного, надежды, – несколько нахмурясь, сказал Патап Максимыч. – И никакого толку из него не вышло. К чему ни приставлял его для ради надзора за работами, куда ни посылал его, никакого толка не выходило. Нет, уж такой он беспутный, что на добрую стезю его не направишь. Да еще что на днях вздумал, – ты еще не приезжал тогда: худа ли, хороша ли у него жена, а все-таки, однако ж, жена, а он к девкам на посиделки повадился. Путное ли это дело, сам посуди, ведь это всему дому моему зазор. Так или нет?

– Не мне судить об этом, Патап Максимыч, – сказал Никифор Захарыч, – сам был я во сто крат его хуже, – промолвил он, опустя голову. – А ведь ты отпустил же мне мое беспутство и прегрешения, а им ведь и числа нет. Отчего ж бы тебе не постараться зятя на истинный путь наставить? Ведь не чужой тебе...

– Наставишь его! как же! – молвил Чапурин. Задумался Патап Максимыч и сказал потом:

– Разве вот что: поедешь куда, возьми его, чтоб он во всем из твоих рук смотрел.

– Что ж, я ото всей души рад и на него надеюсь, – ответил Никифор Захарыч.

– Так вот, надо мне послать тебя в Красну Рамень, на мельницы, – молвил Патап Максимыч. – Возьми ты его с собой, только, чур, глядеть за ним в оба, да чтобы не балбесничал, а занимался делом, какое ему поручишь. Да чтобы мамошек там не заводил – не в меру до них он охоч. Хоть и плохонький, взглянуть, кажется бы, не на что, а такой ходок по части женского пола, что другого такого не вдруг сыскать.

– Да уж я постараюсь, чтобы пустяками-то он не занимался, – сказал Никифор Захарыч. – Доброго слова он всегда послушается, а бранью да насмешками... только пуще его раздражишь. Узнал я его хорошо, и сдается мне, что можно исправить его и приспособить ко всякому делу.

– Так бери его в Красну Рамень, поглядим, что выйдет. Поговори сегодня же с ним, а ежели еще подсыплет снежку, поезжайте с богом, – сказал Патап Максимыч. – А теперь немножко и соснуть успеем. Эх они, проклятые, как у нас всю ночь перебулгачили. А ты, Пантелеюшка, наряжай каждую ночь к палатке караул: кто их, мошенников, знает, может статься, не эти двое, а целая шайка стакнулась разграбить ее. Узнали, значит, окаянные, что не пустая стоит. Оборони господи от беды, ведь добро-то в ней не свое, а чужое положено...

Да вот еще, Пантелеюшка: молви заутро стряпкам, чтобы работникам пирогов напекли, да надо будет в Захлыстино за вином да мировом съездить.

После того все по своим местам разошлись.

С большою охотой, даже с радостью выслушал Василий Борисыч от Никифора, что тот хочет взять его с собой в Красну Рамень. Хоть и не на долгое время, а все-таки подальше от постылой жены. Там, на мельницах, по крайней мере не будет слушать ни приставаний, ни ругани ее, ни тестевой брани, ни насмешек работных людей.

Выехали из Осиповки недели через полторы после надлома палатки. На прощанье строго наказывал Патап Максимыч зятю, чтоб он во всем слушался Никифора и без его спроса шага не ступил бы, промолвив, что, ежели на мельницах будет он полезен и о том Никифор скажет по возврате домой, тогда Василию Борисычу будет житье совсем не такое, какое до той поры было. Простился с зятем Чапурин по-доброму, по-хорошему, ласково простилась с ним и теща, а Прасковья Патаповна злобно завывала в источный голос, узнав о внезапном отъезде не один раз битого ею мужа.

– Да на что ж это похоже, да что ж это такое? – на весь дом голосила она. – Нешто на то он женился, чтобы надолго покидать молодую жену? И то недели две он ко мне не прихаживал!.. Хоть бы простился с женой в ее горнице, как быть следует всякому мужу с женой. И того не смыслит, шут этакой.

Молчал Василий Борисыч, ровно воды в рот набрал. Пристала к отцу Прасковья Патаповна, требует, чтоб оставил он дома Василья Борисыча.

Молчал сначала Патап Максимыч, но когда любезная дочка надоела ему просьбами и воплями, строго прикрикнул на нее:

– Замолчишь ли, дурища ты этакая! Хоть бы стен-то постыдилась, бесстыжая. Молчать у меня! Не то плетки попробуешь. Давно она по тебе тоскует.

Прасковья Патаповна вдруг присмирела, услышав родительскую угрозу. Сухо простилась она с мужем, а тот ей хоть бы единое слово промолвил.

Незадолго до сумерек тронулись из Осиповки Никифор с Васильем Борисычем. Никифор правил парой добрых лошадок, хорошо знал он в лесах все пути и дороги, в прежнее пьяное время они были им исхожены. Василий Борисыч сидел с ним рядом в легоньких санках-казанках.

Когда поехали, стала подувать непогода: синее небо потускло, и полный почти месяц заволокло ровно пухлыми белыми тучами, повалили хлопья снега, и забушевала метель. Ничего не стало видно в пяти шагах, дорогу замело, а на беду ехали чащей, ни деревца, ни кустика, и все, что было на виду, сплошь теперь покрыто было снегом. Никифор Захарыч убедился, что он сбился с дороги и не может опознаться, в какие места заехал, а казалось ему, что отъехали они уже верст пятнадцать, если не больше. Деревни в той стороне частые, не больше версты или в полутора друг от дружки стоят, но вот их, как на беду, ни одной не попадается. А волки так и прядают возле санок, еще хорошо, что колокольчик был навязан на дуге, зверь, сколь ни силен, сколько ни зол, все-таки его побаивается. Со страха робкий Василий Борисыч дрожмя дрожал; ему казалось, что теперь такая опасность наступила, пред коей почти ничего не значила даже скачка сломя голову по пылающему лесу на другой день после первого сближенья с постылою теперь и ненавистною женой.

– А ведь мы сбились с дороги-то, – сказал, наконец, Никифор Захарыч.

– Полно ты! – в ужасе вскрикнул Василий Борисыч.

– Ей-богу, сбились, – молвил Никифор. – Судя по времени, надо бы давно нам Зименки проехать, а вот теперь ни их и никакого другого жилья не видать. Беда, просто беда!

– Ох, искушение! – в отчаянии проговорил Василий Борисыч. – Этак, пожалуй, замерзнем, либо волки нас съедят.

– Мудреного нет, – равнодушно отозвался Никифор.

А лошади приустили меж тем и едва двигаются по сугробам, а вьюга разыгрывается все пуще да пуще.

– Что ж нам теперь делать? – слезным голосом спросил немного погодя Василий Борисыч.

– На волю божью положиться. Что пошлет бог, то и будет, – ответил Никифор. – Ежели кони совсем станут, надо будет в снег зарываться. Сказывают, так не замерзнешь.

– Ох, искушение! Господи, господи! Царица небесная, спаси и помилуй, вскрикнул Василий Борисыч и стал читать одну молитву за другою.

А давно ли, кажется, натерпевшись жениных побоев и наслушавшись брани тестя, раздумывал он, как решить с самим собой, утопиться либо удавиться.

Никифор Захарыч опустил вожжи и дал лошадям волю идти куда знают. Только изредка похлестывал их, чтобы не стали. Долго путали они, наконец вдалеке послышались лай и вой нескольких собак: волков, значит, почуяли. Никифор стал править лошадей на доносившийся лай.

– Ну теперь, бог даст, куда-нибудь приедем, – сказал он, и Василий Борисыч начал читать благодарные молитвы за спасение от напрасной смерти.

Собачий лай становился все громче и громче, стало видимо, что путники подъезжают к какой-то деревне. Вот, наконец, и прясла околицы, виднеется и строенье. В крайней большой, но запущенной избе виден огонь. К той избе и подъехали. Никифор постучал в ворота и громким голосом крикнул:

– Эй вы, крещенные! Не дайте людям напрасно погибнуть, укройте от непогоды.

В избе пошел какой-то неясный говор, и через несколько времени послышался старческий голос:

– Постойте маленько, родимые, сейчас отомкнемся. Наталья, подь отопри добрым людям.

Вскоре растворилась калитка. Пред приезжими стояла женщина, сколько можно было заметить, еще молодая.

– Ведите под навес коней, – сказала она, – а в избу-то вот направо будет крыльцо. Уж не попроштите на нас, с лучиной-то на дворе ходить в такую непогоду опасаемся, а фонарика, по недостаткам, у нас не случилось.

Поставив лошадей, Никифор с Василием Борисычем вошли в избу. Не приборна она была, и сразу заметно, что запущена лишь в последнее время, но все же таки в ней было тепло, а для приезжих это было всего дороже.

– Как ваша деревня прозывается, старинушка? – спросил Никифор Захарыч, войдя в избу и снимая с себя промерзшую дубленку. Он позамешкал немного, убирая лошадей. Василий Борисыч в это время успел уж скинуть шубу и залез в теплое местечко на полати.

– Деревня Поромово, милый человек, деревня Поромово, – отвечал старик хозяин.

– А далеко ль от вас будет Осиповка? – спросил удивленный Никифор.

– Да как тебе сказать, не то пять, не то шесть верст – близехонько.

– Проплутали же мы! – молвил Никифор Захарыч. – Я думал, что мы верст пятнадцать отъехали, а всего-то пять проплутали. Да и попали не в ту сторону, куда надобно.

– А в кое место путь держите? – спросил старик.

– В Красну Рамень, – отвечал Никифор.

– И впрямь, заехали не по дороге, не по дороге, – молвил старик. – Да что за мудрость сбиться путем в такую вьюгу. Ведь свету божьего не видно. Долго ли тут до беды!..

Запасливый Никифор Захарыч захватил из Осиповки небольшой самоварчик. Надрогшись от стужи, захотел он чайку испить. Василий Борисыч тоже был не прочь от чая. Никифор принес из саней самовар и погребец с посудой, а хозяин кликнул в сени:

– Наталья, подь-ка сюда!

Немного повременя, вошла в избу молодая девушка, как видно сильная и работающая, но лицо у ней было истощенное, ровно изношенное, бледное, веки красные, глаза масляные, нахальные, бесстыжие, с первого взгляда видно было, что пожила она и потешилась.

– Поставь гостям самоварчик. А что, Параньки все еще нет?

– Еще не приходила, – молвила Наталья.

– Опять на всю ночь загуляла, – сказал старик. – Ну, а ты ставь самовар-от.

И Наталья скорым делом принялась за самовар.

– Из Осиповки едете, честные господа, аль подале откуда? – сидя на передней скамье, спросил хозяин у Никифора, тоже залезшего на полати поразогреть себя после такой выюги.

– Из Осиповки, – ответил тот. Не от Патапа ли Максимыча едете! – опять спросил старик.

От него от самого, – ответил Никифор. – В Красну Рамень на мельницы послал нас.

– Довольно известны про Патапа Максимыча, – сказал старик. – Оно и дело-то соседское и близехонько от него живем. Опять же в красные дни мои много я милостей от него видал.

– А как звать-то тебя, старина? – очнувшись от дремоты, спросил Василий Борисыч.

– Трифон Михайлыч буду, по прозванию Лохматый, – молвил старик.

Всем телом дрогнул Никифор Захарыч. Вот куда занесла его выюга, к отцу ненавистного Алешки. Никогда не мог он простить ему Настинной смерти. Никифор все знал, а чего не знал, о том давно догадался.

Замолчал он, не говорит ни слова и Василий Борисыч. Между тем Наталья поставила самовар на стол, поставила умелой рукой и расставила вынутую из погребца посуду. Видно было, что в прежнее время не жила она в таких недостатках, какие теперь довелось ей испытывать.

Слезли с полатей Никифор Захарыч и Василий Борисыч и, усевшись на скамье, предложили чай-сахар и хозяину и ставившей самовар Наталье. За чаем пошла речь про Патапа Максимыча. Заговорил Трифон Лохматый.

– Благодетель он бывал нам в прежнее время. То есть не самому мне, а большему сыну моему, Алексею. А Алексей в те поры бога еще не забывал, родителям был покорен и деньги, что давал ему своею щедрою рукой Патап Максимыч, в дом приносил. Был тогда я человеком зажиточным, да напасть нашла на меня, токарня сгорела. И послал я тогда Алексея сколь-нибудь заработать, чтобы справиться, а был он самый первый токарь по всей стороне и полюбился Патапу Максимычу, и тот ему беспримерные милости делал. А вы, господа честные, не свои ли будете Патапу Максимычу?

– Да, – сказал Никифор, – я ему шурин, а это зять, на дочери его женат...

– Довольно слыхали, дело ведь недалее, – сказал Трифон Лохматый. Сам-от я хоть отроду не бывал у Патапа Максимыча, а знаю все, народ-от ведь говорлив, и рот у него не зашит, – прибавил от.

– Как же это при таком ближнем соседстве никогда ты не бывал у Патапа Максимыча, – он ведь в здешней стороне человек на виду, – молвил Никифор Захарыч.

– И больно даже на виду, – сказал Лохматый. – Первый человек по всему, да дела-то никогда у меня такого не доводилось, чтоб у него в доме быть. Когда господь меня еще миловал, когда еще он, праведный, не смирял моей гордыни, ни до кого мне не было дела, ни до коего человека. Опречь себя да семейных своих, и знать, бывало, никого не хотел...

А когда дошел я до бедности, стыдно и совестно стало водиться с такими людьми, как Патап Максимыч. Еще, пожалуй, придет ему на мысль, думаю я себе, не за милостью ли какой пришел я, и вот я к нему ни ногой. Ежели я видал от него большие милости, так они были сделаны сыну моему за его усердие. Патап-от Максимыч возлюбил его как родного сына, ничего для него не жалел, ну, а я совсем иное дело... Что ему до меня? Поди, и не знает, каков есть на свете человек Трифон Лохматый. Большому кораблю большое и плавание, а мы что? У меня в последне-то время и мыши в амбаре перевелись с голодухи. Потому по самому в дружбе да в приятельстве мне с Патапом Максимычем быть не доводится, а кланяться ему да всячески подслуживаться не хочу...

Умирать стону с голоду, а никому не поклонюсь; во всю жизнь одному только богачу поклонился я, Христом богом просил помощи моей старости, помощи родной семье, и то ничего не выпросил. И тот богач был свой человек. После того как я чужому богачу руку протяну, как я ему

стану про бедность свою рассказывать? Нельзя, никак нельзя.

Рому бутылку из погребца вынул Никифор Захарыч и пуншик сделал. Три стаканчика опо-
рожнил с гостями Трифон Лохматый и пуще прежнего разговорился.

– Да, Никифор Захарыч, – так начал он, – да, любезный ты мой, надо всяким человеком гос-
подня сила. Но кто знает, как ее снесет? Не в суд и не в осуждение будь тебе сказано, сам ты каков
прежде был человек? По всей стороне довольно про то ведают. А как воссияла над душой твоей
сила господня, стал ты теперь совсем иной... Был ты никуда негодящим человеком, и плохо быва-
ло тебе. А теперь, как послушу, мало на свете таких умных, хороших людей, как ты. А ежели от
кого отступит сила господня, тут сейчас враг. И как только он проклятую свою силу возымет над
каким ни на есть человеком, будь он самый добрый, самый хороший, станет злым и отъявленным
врагом всего доброго. По своим знаю и ведаю, какова бывает сила бесовская, ежели она подведет
хорошего человека под себя...

– Это правда, – молвил Никифор Захарыч. – Как только зачнет человек жить не по-
хорошему, нечистый тотчас в его душу, и господня благодать его покинет... По себе знаю, Три-
фон Михайлыч.

– Был у меня сын Алексей, – после недолгого молчанья продолжал Лохматый. – Парень был
разумный, смирный такой, рассудительный. А из себя красота, всем взял, и лицом, и ростом, и до-
родством. И на всякую работу по дому только его взять, во всяком крестьянском обиходе, бывало,
его только взять, смысленный по всему парень был, любоваться, бывало, только на него. А по то-
карной части до того дошел, что не было ему еще полных двадцати лет, как первым, самым то есть
самолучшим токарем по всей здешней стороне славился. По всему хороший был парень, к отцу, к
матери почтительный, о братишке да об сестрах заботливый, по дому во всем старатель. Спать,
бывало, не ляжет, не присмотревши всего во дворе, хоть за день-от совсем истомится в токарне.

Бывало, мы с женой покойницей не нарадуемся на своего разумника. Подросточек мой Сав-
вушка тоже было по братним стопам пошел, дочери были рукодельницы, хорошие помощницы
моей Абрамовны. Добрая она у меня была хозяйка, вот только еще двадцать недель как померла.
Жили мы в довольстве, жили да бога благодарили... Вдруг иные дни наступили, посетил нас гос-
подь испытаниями, токарня сгорела, лихие люди позавистовали – подожгли. А по скорости и в
клетки похозяйничали, все почти добро повытащали. Коней пару угнали неведомо куда. И с той
поры по бедам я пошел. Послал я тогда большого сына в работу к Патапу Максимычу, и возлюбил
его Патап Максимыч паче всякой меры, деньгами пожаловал, так что мы и токарню новую поста-
вили и животиной обзавелись, только уж такой спорыньи по хозяйству, как прежде была у меня,
не стало. Не на кого было всем делом положиться, большой сын на стороне в работе, Саввушка
еще недоспел, однако ж и его я послал ложкарить – ловкий ложкарь из нашего мальчика вышел.

Взяться нечем, самому не под силу была работа, к седьмому десятку тогда уж подходило, ну
и захирело все по дому. Полугода не прошло, как куда-то послал Патап Максимыч Алексея по
своим делам и наградил его не по заслугам. Ну тут бы еще ничего: в дом деньги отдал, а тут по
скорости пали к нам слухи, что женился он на богатой вдове, а женился без родительского благо-
словения. А дом у меня все падал да падал, беды пришли великие, дочери нехорошими делами
стали заниматься и тем мою Абрамовну в могилу свели. Саввушка тоже недобрым путем жизнь
повел, в солдаты нанялся, где теперь он, сердечный, не знаю, не ведаю, угнали куда-то в дальние
места голубчика. Так вот и остался я бобыль бобылем, в тоске, слова не с кем сказать, а я человек
старый и немощный, вот скоро семьдесят лет исполнится, а ведь и в божьем писании сказано:
«Что больше того, один труд и болезнь».

Под это слово старика Наталья принесла сковороду с яичницей и, низко поклонясь гостям,
вышла вон.

– Покушайте, гости дорогие, – сказал Трифон Лохматый, придвигая сковороду к ним. – Не
посетуйте, что лучше чего-нибудь не поставил. Было бы прежнее время, не так бы я вас угостил, а
теперь, делать нечего, недостатки и бесхозяйство.

– Нечего беспокоиться, не для чего было и глазуню на стол ставить, молвил Никифор Заха-
рыч. – За одно тепло тебе большое спасибо, ишь вьюга-то как разыгралась, так и завывает. Без
твоего крова да без твоей доброты совсем бы нам пришлось замерзнуть.

– Так вот, гости мои дорогие, – немного погодя продолжал свой рассказ Трифон Лохматый, – сынок у меня тысячами ворочает, кажись бы мог помочь отцу при его крайности, ан нет, не туда оно пошло, не тем пахнет, женины деньги и все ее именье мой Алексей к своим рукам подобрал, и она, несчастная, теперь сама без копейки сидит. Отцу тоже ничего не дает, забыл хлеб-соль родительскую, забыл родимый дом и брата забыл и сестер – всю свою семью. Не о том теперь у него думы, не обо мне попечение. Был я у него, как он еще в нашем городе проживал, теперь, слышь, на Низ куда-то уехал и там в Самаре другим домом обзавелся, а прежний продал. Прихожу я к нему в дом, настоящий дворец, мало таких в городе.

Насилу меня до него допустили. Увидались, однако, так он хоть бы бровью повел после долгой разлуки, хоть бы кусок черствого хлеба, хоть бы чашку чаю подал отцу-то. Поговорил я с ним, сказал про свои нужды, так он хоть бы словечко какое-нибудь вымолвил, а на прощанье от такого богатства дал пятирублевую. «Отвяжись, дескать, ты от меня». Так вот какие нынче детки-то бывают: ты их пой, корми, вырасти, а после того они и знать тебя не захотят.

– Давно я его знаю, – нахмурившись и злобно глядя в сторону, сказал Никифор Захарыч, – всегда был беспутным, всегда умел за добро злом платить.

Вьюга не переставала, и Никифор с Василием Борисычем остались ночевать у Лохматого. К утру стихла погода, и они собрались в путь, но Лохматый, как они ни отговаривались, не пустил их, не угостивши на прощанье блинами да яичницей.

На мельницах-крупчатках в Красной Рамени Никифор тотчас по приезде принялся за дело, и оно у него закипело; принялся за него и Василий Борисыч, сначала горячо, а потом с каждым днем охладевал к работе, потом совсем обленился, опустил и все время проводил в постели, не говоря ни с кем ни слова и только распевая стихеры. Скука была для него непомерная, а потом напала тоска. Напрасно Никифор Захарыч уговаривал его приняться за работу, просил и молил его, ничто не помогало. По-прежнему Василий Борисыч валялся на постели да попевал стихеры. А у самого только и на уме: «Куда бы деваться, чтобы не видаться с противною женой. Ни за что на свете не ворочусь к ней в Осиповку. О господи, ежели б ты ее развязал со мной! От нее от одной такое вышло мне положение. Без нее мог бы я к своим воротиться, а при ней сделать того никак невозможно, венчанная жена да еще венчана-то в великороссийской! Вот оно, искушение-то!»

Ровно услышана была молитва Василия Борисыча: за неделю до Рождества получил он от тестя коротенькую записочку: «Приезжай сколь возможно скорее. Параша лежит при смерти».

И лошади были присланы. Нимало не медля, Василий Борисыч собрался в путь и поехал в Осиповку. Дорогой работник рассказал ему все, что знал про болезнь Прасковьи Патаповны. Недели полторы тому, как она в бане парилась, а оттуда домой пошла очень уже налегке да, говорят еще, на босу ногу, а на дворе-то было вьюжно и морозно. Босыми-то ногами, слышь, в сугроб попала, ну и слегла на другой день. Много ль такой надо? Сам знаешь, какая она телом нежная, не то что у нас, простых людей, бабы бывают, той ни вьюга, ни сугроб нипочем.

– Что ж, она в памяти? – спросил Василий Борисыч.

– В памяти-то, слышь, еще покуда в памяти, а сказывают, начала заговариваться, – отвечал работник.

– Что ж? за лекарем в город посылали или нет, – продолжал свои расспросы Василий Борисыч.

– Как же не посылать, посылали, – отвечал работник.

– Что же он говорит?

– Что говорит, про то я не знаю. Знаю только, что пробыл он у Патапа Максимыча не очень долго и, только что уехал, меня за тобой послали, а другого работника, Селиверста, в Городец, за попом.

Встрепенулось сердце у Василия Борисыча. «Авось не отлежится, авось не встанет! Ох, искушение!» – подумал он.

Он застал жену без языка. Так и не пришлось ему двух слов сказать. На похоронах он громко подпевал городецким дьячкам, – скитницы не пожаловали петь к Патапу Максимычу, очень уже сердилась на брата мать Манефа, – и сама не поехала и другим не велела ездить. Все ее слов послушались, никто из сбирательниц не приехал в Осиповку.

Спустя недели полторы после похорон Патап Максимыч позвал зятя к себе в горницу и сказал:

– Вижу я, Василий Борисыч, что из тебя никакого толку не будет. Зачем же вместе нам жить, быть в тягость друг другу? Разойдемся-ка мирно, по-доброму, по-хорошему.

Не поминай меня и дом мой лихом. О сыне своем, о Захарушке, заботы не имей, теперь он на руках у Дарьи Сергевны, а будет у Груни, как ей станет посвободней и ежели Дарья Сергевна хозяйкой в доме останется. А по времени, если будет богу угодно, все мои достатки ему с Груней пополам отдам. А на Аксиною Захаровну рассчитывать нечего, и с радостью бы понянчилась со внучком, да сама на ладан дышит. Лекаря к Параше привозили, поглядел он на Захаровну и сказал, что не жилища она на свете, до весны ни в коем разе не проживет. Так разойдемся-ка лучше, Василий Борисыч: у тебя своя дорога, у меня своя, не будем мешать друг другу. Знаю, что тебе в люди деваться некуда, так вот на обзаведенье да на прожиток. Пиши, чтобы знать, где находишься, по силе возможности стану тебе каждый год присылать на житье. Прощай. Дарю тебе пару лошадок да санки, поезжай, куда знаешь. А это возьми.

И подал ему увесистый бумажник. Молча принял Василий Борисыч подарок тестя и низко ему поклонился.

Так и расстались. Ни с той, ни с другой стороны на расставанье сожалений не было. Василий Борисыч радостно уехал из тестева дома.

Кинулся он в один скит, кинулся в другой, нигде не принимают. Тогда поехал на старое пепище в Москву. Там была такая же встреча от Рогожских. Кланяться даже никто с ним не кланялся. Иудой предателем все обзывали. Купил тогда Василий Борисыч на одной из московских окраин небольшой деревянный домик и поселился там. И вечно один, а без людей жить нельзя – обуюет тоска одиночества, самая мучительная тоска, какая только есть на свете. Отвернулся Василий Борисыч от Рогожских и с другими людьми знакомство повел. Мало-помалу перестал он и думать об архиереях, хотя так недавно еще служил им верой и правдой. Как человек, много видавший и много из старообрядской жизни знающий, он для многих был занимателен. И скоро нашел немало близких приятелей, добрых людей из православных. А на Рогожское ни шага.

Груня с Марфой Михайловной усердно хлопотали над заготовлением приданого, и все сделано ими было так хорошо, что все, кто ни видел его, не мог налюбоваться. Все было сделано и богато и с большим уменьем. Петр Степаныч купил большой, поместительный дом. По советам и указаньям на каждую мелочь Сергея Андреича, он устроил свой дом на славу. С нетерпеньем ждал Самоквасов Крещеньева дня, чтобы сыграть свадьбу, но пришлось помедлить: около Крещенья умерла Прасковья Патаповна, нельзя было Патапу Максимычу прямо с похорон на свадьбу ехать, а без него Дуня никак не хотела выходить замуж. «Он в горькие мои дни вместо отца мне был, – говорила она, – заботился обо мне все одно как об родной дочери, как же можно мне без его бытности, без его благословения венец принять». Решились повременить, а как в том году рождественский мясоед был короткий, то, списавшись с Патапом Максимычем, положили обвенчаться пред масленицей. Хотя не очень-то нравилось это Петру Степанычу, но, делать нечего, надо было согласиться.

Так как Самоквасов еще никаких торговых дел не заводил, то и наперсник его Семен Петрович, саратовец, жил пока у прежнего хозяина Ермолая Васильича. Понадобилось ему по какому-то делу Семена в Москву послать, а кстати свезти на Керженец ежегодное подавание, чтобы потом летом в другой раз туда не посылать. Саратовец по дороге заехал к Самоквасову и застал его в больших хлопотах по отделке новокупленного дома. Не надивится Семен Петрович убранству, каким украшал дом его приятель, а когда узнал, что у него скоро свадьба с богатейшею дочерью покойника Смолокурова, которую видал он в Комарове, так только руками развел от удивленья. Заметил он тут, что Петр Степаныч неохотно говорит про скиты и про былые там проказы, что вместе они там выкидывали.

Поехал Семен Петрович в Комаров и там, по обыкновению, пристал у Таисеи, в обители Бояркиных. Не бывав там года полтора, с тех пор как увезли Василья Борисыча да Прасковью Патаповну, много нового узнал он от Таисеи, узнал, что мать Манефа совсем разошлась с братом, а сама чуть не в затвор затворилась, передав управление обительскими делами Фленушке, для чего та

постриглась в иночество и теперь стала матерью Филагрией.

– Увидите и не узнаете прежнюю Фленушку, – говорила Таисея. – Ровно восемь месяцев, как она уже в инокинях. Все под руку подобрала, никто в обители без позволения ее шагу сделать не может. Строга была Манефа, а эта еще строже; как сам знаешь, первая была проказница и заводчица всех проказ, а теперь совсем другая стала; теперь вздумай-ка белица мирскую песню запеть, тотчас ее под начал, да еще, пожалуй, в чулан. Все у нее ходят как линь по дну. Ты когда идти к ней собираешься?

– Да завтра думаю, – ответил Семен Петрович.

– Иди пораньше, – молвила Таисея. – Скоро-то она до себя никого не допускает, особливо ежели кто из посторонних, не из скитских, значит. А о прежних проказах лучше и не поминай, вон выгонит.

– Ну, уж и выгонит? – голосом сомнения сказал Семен Петрович.

– Вот увидишь. Попробуй только, – молвила Таисея. – Да еще и твоему хозяину напишет, чтобы ни впредь, ни после он тебя в скиты не посылал.

– Не может быть того, – ответил Семен Петрович. – Ведь мы старые с ней знакомые.

– Что было, то былью поросло, благодетель. Говорю тебе, стала она совсем другой человек.

Не очень-то доверял словам Таисеи Семен Петрович и знакомым путем пошел к кельям Манефы. И путь не тот был, как прежде. Тогда по зеленой луговине пролегала узенькая тропинка и вела от одной к другой, а теперь была едва проходима дорожка, с обеих сторон занесенная высокими снежными сугробами чуть не в рост человека. Отряхиваясь от снега, налипшего на сапоги и самое платье, пошел саратовец на крыльцо Манефы и вдруг увидал, что пред ним по сеням идет с какою-то посудой Марьюшка.

– Тебя откуда принесло, непутного? – не то с робостью, не то с радостью спросила она, увидя его.

– Из города Саратова, голубушка ты моя Марьюшка, Ермолай Васильевич прислал с подаением. Ну здравствуй, моя дорогая. Что отворачиваешься? Поздороваемся по-прежнему, обними покрепче, поцелуй горячей, – начал было Семен Петрович, но Марьюшка руками на него замахала.

– Тише, – сказала она, – тише, услышит матушка, беда будет мне, да и тебе неладно. Нынче у нас такие строгости пошли, что и рассказать нельзя, слова громко не смей сказать, улыбнуться не смей, как раз матушка на поклоны поставит. Ты ступай покамест вот в эту келью, обожди там, пока она позовет тебя. Обожди, не поскучай, такие уж ноне порядки.

– И все эти строгости завела Фленушка? А я было совсем иного чаял. Помнишь?

– Молчи, – сказала Марьюшка и, затворивши дверь кельи, скрылась в переходах игуменской стаи.

Долго взад и вперед ходил по келье Семен Петрович. Это была та самая келья, где в прежнее время жила Фленушка. Сколько проказ тут бывало, сколько хохота и веселья, а теперь все стало могилой, с самих стен, казалось, веяло какою-то скукой. Порядочно-таки прошло времени, как вошла в келью молодая, пригожая, но угрюмая и сумрачная белица. Ее никогда не видывал саратовец, бывая прежде в Комарове.

Мать Филагрия сидела за столом, когда вошел Семен Петрович, и внимательно перебирала письма и другие бумаги. Положив уставной начал, низко поклонился он матери игуменьи. Тут только взглянула на него Филагрия и поспешно опустила на глаза флеровую наметку.

– Какими это судьбами не в урочное время пожаловал к нашему убожеству? – тихо промолвила мать Филагрия. – В прежние годы летом всегда приезжал, а теперь, вдруг перед масленицей. Уж здоровы ли все, Ермолай Васильич и домашние его?

– Слава богу, и Ермолай Васильич и все его домашние здравствуют и вам кланяться наказывали, – отвечал Семен Петрович. – А так как довелось мне по хозяйскому делу в Москву ехать, так Ермолай Васильич и заблагорассудил, чтоб я теперь же заехал к вам в Комаров с ежегодным подаением, какое каждый раз от него посылается.

– Спаси господи и помилуй своими богатыми милостями благодетеля нашего Ермолая и всех присных его, – встав с места и кладя малый начал, величаво сказала Филагрия. – Клавдюша! –

кликнула она незнакомую Семену Петровичу послушницу, что у новой игуменьи в ключах ходила.

Неслышными шагами вошла та и смиренно стала у притолки.

– Поставь, Клавдеюшка, самовар да сberi нам чайку поскорее, – сказала мать Филагрия. – Да закусок поставь закусить, водочки, мадерцы, еще что там есть.

– Слушаю, матушка, – с низким поклоном ответила послушница и торопливо вышла вон из кельи.

– Что матушка Манефа, как ее спасение? – спросил, немножко помолчав, Семен Петрович.

– Что матушка Манефа? Стара, дряхла, но духом бодра, плотью же немощна, – отвечала Филагрия. – Всего больше по хилости своей да по слабости телесных сил и поставила она меня на свое место в начальницы обители. А это дело нелегкое. Особенно трудно ладить с окольными мужиками, каждому стащить бы что со скита, бога не бояться, и совести нет в глазах. Ну да, бог даст, ежели оставят нас на старых местах, уладимся с ними, теперь они все нашей выгонки ждут и надеются, что обительские строения им достанутся. Тяжело с ними ладить, ох, как тяжело, Семен Петрович! Скажите Ермолаю Васильичу – не оставил бы нас, убогих, при теперешних наших тяжелых обстоятельствах своими благодеяниями... Привезли ли что-нибудь?

– Как же, привез, матушка, – отвечал саратовский приказчик. – Только Ермолай Васильич наказывал отдать из рук в руки матушке Манефе. Должно быть, не знает о перемене у вас в обители.

– Матушка Манефа ни в какие дела теперь не вступает, все дела по обителям мне препоручила, – сказала мать Филагрия. – Теперь она здесь, в Комарове, приехала сюда на короткое время, а живет больше в городе, в тех кельях, что накупила на случай выгонки. Целая обитель у нее там, а я здешними делами заправляю, насколько подает господь силы и крепости. Отдайте мне, это все одно и то же. И прежде ведь матушка Манефа принимала, а расписки всем я писала. Ермолаю Васильичу рука моя известна.

– А матушку Манефу можно видеть? – спросил Семен Петрович.

– Никак нельзя, – отвечала Филагрия. – Еле бродит, вряд ли до весны дотянет.

Семен Петрович передал письмо и деньги матери Филагрии. Та, прочитавши письмо, молча и низко поклонилась, потом сосчитала деньги и написала расписку.

– Долго ли здесь прогостишь? – спросила она его.

– Гостить долго мне не приходится, – ответил Семен Петрович. – В Москву спешу по хозяйским делам. Завтра бы утром, пожалуй, и выехал.

– А здесь-то у кого пристал? – спросила Филагрия.

– Да все на старом насиженном месте, у матушки Таисеи в обители, сказал Семен Петрович.

– Напрасно, не советовала бы я, – молвила на то мать Филагрия. – И Таисея напрасно приняла тебя. Время теперь опасное, хоть до лета, по письмам наших петербургских благодетелей, ничего и не предвидится, а все-таки на грех могут нагрянуть. И вдруг в женской обители постороннего мужчину найдут. И, бог знает, что из этого выведут. Ноне сторонние, что в Комаров приезжают, у иконника, у Ермилы Матвеича, пристают. Вот бы тебе там и остановиться, а ты по-прежнему прямо в святую обитель. И Таисея-то дура набитая, что пустила тебя... Ну на один-от день еще, пожалуй, ничего, авось бог милостив, а ежели дольше останешься в Комарове, к Ермилу Матвеичу переходи, там дело безопаснее.

Под это слово послушница Клавдеюшка внесла самовар и принялась уставлять стол чайным прибором, а другой разными закусками и напитками.

– Подкрепитесь-ка наперед водочкой либо винцом каким-нибудь, а после того и за чаек примемся, – молвила мать Филагрия.

Семен Петрович не заставил долго просить себя, выпил и закусил.

За самоваром мать Филагрия продолжала рассказ свой о тяжести обительских хлопот, что так неожиданно легли на ее плечи, жаловалась на судьбу, но обо всем говорила строго, с невозмутимым спокойствием.

– И по своей обители хлопотать и по всем другим скитам, – говорила мать Филагрия. – К нам по-прежнему, как при матушке Манефе, все благодетели имеют доверие и на наше имя высылают

подавания. И отовсюду, особенно из Петербурга и Москвы, письма к нам только пишут, а в них пишется все, что и до других скитов касается. От одного от этого голова иной раз кругом пойдет. А тут еще разбирай иной раз ихние свары да ссоры. Тяжеленько, Семен Петрович, иной раз очень тяжело приходится.

Вы скажите обо всем об этом Ермолаю Васильичу, пожалел бы хоть сколько-нибудь нас, смиренных. Водочки-то другую рюмочку искушали бы, прибавила она, указывая гостю на столик с напитками и закусками. – Осетринки кусочек возьмите, отменная осетрина, мало бывает такой, а в продаже и вовсе нет. От Смолокуровых, от Дарьи Сергевны на помин души Марка Данилыча прислана.

– Захлопоталась сама-то, должно быть, – заметил Семен Петрович. – Ведь в скорости после родительских похорон была просватана за Петра Степаныча.

Бровью даже не повела мать Филагрия при словах Семена Петровича. Хоть иноческая наметка была у нее совсем назад закинута, но в лице ее незаметно было ни малейшего волнения, как будто разговор касался людей, совершенно ей чуждых.

– Что же? – твердым и спокойным голосом, помолчав немного, проговорила она. – Оба они люди мирские, иночества на них не возложено. Еще в земном раю, насажденном на востоке, господь бог сказал: «Не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника». Не обретется такового, и господь создал Адаму жену. И апостол сказал: «Лучше жениться, чем разжигаться» (I Коринф, VII – 9.). Самоквасов, сказывают, от дяди большое богатство получил, а у нее в шесть либо в семь раз того больше. Слава богу, есть чем жить, есть чем хозяйство управить. А хозяйство самое первое дело, как у богатых, так и у неимущих. Ее разумом и добрым нравом господь не обидел, и, если удастся ей забрать мужа в руки, у них в дому самым лучшим порядком пойдет и хозяйство и все, а если он станет всем в дому верховодить, рано ли, поздно ли, ихнее богатство прахом пойдет. Кланяйтесь, Семен Петрович, им от меня – и ему и ей; скажите, старица, мол, Филагрия доброго здоровья и от бога счастья желает им.

И с этими словами опустила на лицо наметку из двойного флера.

– Мадерцы хоть рюмочку искушали бы, – величаво промолвила она. – Вино хорошее, из Москвы, благодетелями прислано.

На этот раз твердый голос ее будто немного дрогнул, и, как ни укрыто было лицо ее под двойною наметкой, Семену Петровичу показалось, будто слеза блеснула на очах матери Филагрии. Но тотчас же все исчезло, и пред ним по-прежнему стояла спокойная, ничем не возмущаемая мать игуменьи.

– Еще маленькую калишку, Семен Петрович, извольте выкушать. На дорожку посошок, – сказала она, слегка улыбаясь.

– Прощайте, Семен Петрович, – сказала ему она. – Ермолаю Васильичу и всем домашним его поклонитесь от меня и ото всей нашей обители. Скажите им, что мы всегдашние их молитвенники. А ответ сегодня же вам пришло.

Только насчет будущего времени, прошу я вас, у матери Таисеи и ни в какой другой обители не останавливайтесь, а случится приехать в наш скит, въезжайте к Ермилу Матвеичу, иконнику. Строго об этом накажу и матери Таисеи и прочим игуменьям. Прощайте, Семен Петрович, всякого вам благополучия.

Величаво, спокойно и без малейшего смущения простилась мать Филагрия с заезжим саратовцем, не раз бывшим свидетелем затейных проказ ее. Стояла она пред ним, ровно совсем другой человек, чем полтора года тому назад, когда они собирали к венцу Василья Борисыча.

Несколько времени в глубоком раздумье простояла она среди кельи. Потом, будто оправившись и придя в себя, громко крикнула:

– Клавдеюшка!

Послушница ровно из земли выросла; ожидая приказаний игуменьи, она стояла на месте, низко опустя голову.

– Прибери здесь все. Поскорее, – сказала Филагрия.

Тотчас все было прибрано, и самовар, и водка с московской мадерой, и закуски. А когда совсем прибралась, Филагрия сказала ей:

– Кто бы, по какому бы делу ко мне ни пришел, никого не допускай. Всем говори: письма, мол, к благодетелям пишет.

Вышла послушница из кельи, и Филагрия заперлась изнутри. Потом пошла в боковушу и там ринулась на кровать. Спрятав голову в подушки, судорожно она зарыдала. Но ни малейшего звука, ни малейшего знака внутренней тревоги бывшей Фленушки.

Настало, наконец, давно ожидаемое всеми близкими время Дуниной свадьбы. Венчались они в последнюю пятницу пред масленицей, после того, по церковному уставу, девять недель венчать было нельзя. Дня за четыре до свадьбы Дуня с Груней и с женихом поехали поклониться гробам родителей. Пред вступлением в новую жизнь Дуня считала сердечною необходимостью, по старому обычаю, помолиться над ними. Чубалов встретил приехавших в смолокуровском доме и устроил такие же почти обеды и ужины, какие бывали при жизни Марка Данилыча. Поклонившись родителям, Дуня спешно стала собираться обратно и звала Герасима Силыча к себе на свадьбу. Чубалов, оставив Иванушку домовничать, поехал вместе с ней.

Только что вошла Дуня в отцовский дом, письма ей подали. Они только что получены были Герасимом Силычем, и он, с часу на час ожидая хозяйку, удержал их у себя. Оба письма были из Луповиц: одно от отца Прохора, другое от Вареньки.

Радостно отец Прохор приносил Дуне поздравления со вступлением в супружескую жизнь и благодарил ее за новую, совсем неожиданную присылку с просьбой помолиться об ней и об ее женихе в тот день, когда предположили они венчаться. "А особенно утешили вы меня тем, – писал отец Прохор, – что свадьбу желаете справить в единоверческой церкви и потом остаться в оной навсегда, а зловерный раскол совершенно откинуть и, оградясь истинною верой, до смертного часа пребывать отчужденною от душепагубного раскола.

Хотя и немало соболезную я тому, что не вошли вы прямо во спасительную ограду святой церкви, но и тому несказанно рад, что вошли, так сказать, в церковное средостение. Несказанно ото всей души моей радуюсь, что вы находитесь теперь под церковною сенью; подай вам боже скорей и совершенного душевного исцеления от пагубных язв раскола. Молюсь и непрестанно, дондеже, есмь, буду творить о вас и о будущем вашем супруге молитвы и моления о вашем благочестном житии, мире в вашем семействе и о божественной благодати, которую да ниспошлет владыка мира на дом ваш. Молю же вас и слезно прошу подвизаться в делах христианского милосердия и украшать душу свою посильною милостынею и иными плодами любви евангельской: паче же всего хранить чистоту душевную и телесную.

При сем не умолчу и о здешних происшествиях, в последнее время бывших. Николай Александрыч взят и неведомо куда отвезен, так что в Луповицах теперь остались только Андрей Александрыч с супругой и с дочкой, к имению же приставлена опека, и опекун ни на самое короткое время из Луповиц не выезжает.

О Марье Ивановне имеются самые достоверные сведения, якобы и она взята и неизвестно где заключена, – рассказывают, в каком-то монастыре, где-то очень далеко; слышал я о том в консилии, а там сии вести идут от самого владыки, стало быть совершенно верны. Из простого народа также не мало забрано, даже духовного звания, в том числе известный вам заштатный дьякон Мемнон Ляпидариев. Вообще идет переборка преобладающая не токмо в нашей епархии, но и в соседних открывают множество фармазонов, по преимуществу из благородных. Премного радуюсь, что от вас не было никаких писем или посылок ни к господам Луповицким, ни к Марье Ивановне и ни к кому из открывшихся ныне фармазонов. А то теперь такое время, что за малейшее с ними сношение всякого привлекают к суду и законной ответственности. Взяты, рассказывают, даже два архимандрита, единственно по подозрению в сношениях с фармазонами, не говоря уж о светских людях.

Затем, прекратя сие писание, вновь приношу наичувствительнейшую и глубочайшую нашу благодарность ото всего нашего семейства за ваше неоставление в бедной нашей доле, паче же

всего от всей души моей и от всего сердца молю и просить не престану прещедрого и неистоцимого в своих милостях господа бога, да излиет на супружескую жизнь вашу всякие блага и милости к вам. Да пошлет он, всесвятый, свое благословение на новую жизнь, в кою намереваетесь вступить, да пошлет вам с супругом от горнего престола своего премногие свои милости".

Напротив того, безотрадно и отчаянно было письмо Вареньки. "Господь тебе судья, что ты не захотела разделить с нами плачевную участь, нас постигшую, – писала она. – Впрочем, кто же не старается избежать земного горя, кто не стремится к избежанию житейских печалей? Много ли найдется на свете таких, кто бы не страшился мирского страха, кои бы были беспечальными и радостно пошли бы на земные мучения?"

Поистине только одни избранные и носящие на себе горнее помазание, свыше даруемое. А у нас несчастья великие: дядю Николая Александрыча и тетеньку Марью Ивановну взяли жандармы и неведомо куда увезли, полагают, что в Петербург, думают и то, что оба они заключены в неизвестно каких монастырях. Много взято и других разного звания людей, бывавших у нас на собраниях в Луповицах. А тетеньку забрали в ее новом имении в Фатьянке. Это в вашей губернии, невдалеке от того города, где ты живешь. Неужели ты и этого не знала, а зная, не помогла от великого твоего богатства нужною суммой для освобождения столь много любящей тебя тетеньки?

Говорят, что это сделать было очень легко, да и денег требовалось бы не бог знает сколько, так что при теперешних твоих достатках освободить тетеньку было бы делом пустяшным. Сама я этих дел не понимаю, но наши все в один голос говорят, что ежели бы ты захотела ее выручить, то было бы легко и для тебя безобидно. Очень на тебя сетуют и нехорошо отзываются, но я много короче их знаю тебя и доброе твое к каждому человеку сострадательное сердце, чтобы верить таким наветам.

Скорей так полагаю, что ты вовсе ничего не знала о нашем несчастье, не знала и о положении наших дел. Разве, что не знала, как и к кому обратиться? Так у тебя, конечно, есть доверенные люди, которым без страха и опасения можно было поручить это дело. С тех пор как ты совершенно неожиданно скрылась из Луповиц, кроме того, что батюшка твой скончался и ты стала владеть миллионами, мы о тебе никакой весточки не имеем. Обещала тетенька по приезде в Фатьянку разузнать о тебе и уведомить нас, но от нее писем не получали, потому что меньше чем через неделю ее взяли, а также иных из фатьянских, которых она вывезла из симбирского имения.

Потому я и думаю, что, когда тетеньку взяли, ты о таких наших несчастьях и не знала, а в противном случае непременно бы помогла от своих великих достатков. Иначе и думать нельзя, особенно мне, когда знаю твою доброту и то, сколь много любила ты тетеньку: ведь она тебе вместо матери была и первая озарила тебя не вечерним светом истины. Поддай нам о себе весточку, добрая, милая моя Дуня, как ты поживаешь в новом своем положении, а главное, останешься ли верна тому, куда была приведена безграничною к тебе любовью тетеньки Марьи Ивановны. Пожалей ее, несчастную, пролей слезу от сердечного участия к печальной ее судьбе. А мы и сами находимся в ежедневном страхе, ожидая дней скорби и печалей. Дело, как надобно полагать, еще не кончено, берут то того, то другого из бывавших у нас и других совершенно не известных нам людей, мужчин и женщин, и притом из таких городов и селений, которых никто из наших никогда и не знал. Верно, дело идет большое, до всех добираются, говорят, что даже самые архимандриты призваны к ответу и лишены своих мест, не упоминают уж о попах, монахах и прочего звания духовных людях.

Есть слух о некоторых из помещиков в дальних от нас местах, что одни взяты, а другие отданы под надзор полиции. Мы все, а также иные из наших дворовых и крестьян, тоже находимся под полицейским надзором, недели не проходит, чтобы кто-нибудь не наезжал в Луповицы, исправник либо становой пристав. Впрочем, их надзор легкий, весь состоит из угощения, и батюшка, чем может, не оставляет их. А приставленный от полиции солдат живет в Луповицах безвыходно, но от него никакого беспокойства не видим. Вот каковы печальные наши обстоятельства, милая Дунюшка, пожалей нас в несчастье. Вспомни нашу дружбу, нашу с тобой дружбу и любовь, и не забывай Луповиц и всего, что там узнала и чему научилась".

Прочтя письмо Вареньки, Дуня бросила его в топившуюся печку, а письмо отца Прохора положила в шкатулку, где лежали разные бумаги ее и документы. Это письмо прочитала она потом

жениху.

– Вот как! – выслушав письмо отца Прохора, молвил Петр Степаныч. – С никонианскими попами в переписке.

– Что ж? – сказала Дуня. – Этот самый священник сказывал мне, что разница между нами и великороссийскими в одном только наружном обряде, а вера и у нас и у них одна и та же, и между ними ни в чем нет разности. А вот Герасим Силыч все веры произошел, и он однажды говорил мне, что сколько вер он ни знает, а правота в одной только держится.

– В какой же? – с любопытством спросил Самоквасов.

– В великороссийской, – ответила Дуня.

– В великороссийской, – сказал Петр Степаныч и крепко задумался.

– Я сам тех же мыслей, – тихонько молвил он невесте.

– А давно ли? – спросила Дуня. Но разговор тем и кончился.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Свадьбу сыграли на славу, ни Дуня, ни Петр Степаныч денег на то не жалели. Но свадебный пир прошел скромно и бесшумно, так как Петр Степаныч не успел еще обзавестись знакомыми на новом месте житья-бытья. На свадебном пиру были только совсем осиротевший Патап Максимыч, Аграфена Петровна с мужем, оба Колышкины, Чубалов, Никифор Захарыч, Семен Петрович, только и всего. Как ни звали Дарью Сергевну, сколько ее ни уговаривали, не поехала из Осиповки, говоря, что совсем уж разлучилась со светом и стала чуждою всех его радостей. Только икону на благословенье прислала молодым.

Всю масленицу и великий пост молодые никуда не выезжали, бывали только у Колышкиных, и они у них. Петр Степаныч купил пару кровных рысаков – кони загляденье. На них почти каждый день катались Самоквасовы. Так как Петр Степаныч еще не приискал, каким торговым делом заняться, то и отпустил в Москву своего приятеля Семена Петровича, наказав ему, чтобы по весне он, оставив дела у Ермолая Васильича, приезжал к нему. А сам придумал заняться отцовским промыслом, хлебною торговлей: место же, благо, было подходящее и выгодное, недаром все почти тамошние торговцы вели хлебную торговлю, а он со своим да с жениным капиталами такой мог торг завести там, какого еще и не видавали.

По самой весне Петр Степаныч вздумал ехать в низовые места, там снять из оброка казенные земли и устроить на них хутора и всякое иное хозяйство. Дуня не хотела расстаться со своим молодым, она также собиралась весной ехать с мужем в понизовые места. Патап Максимыч с Никифором Захарычем туда же собирались: там у него было тоже хуторное заведение. Уговорились сплыть все вместе на одном пароходе, ждали только фоминой недели. Как ни уговаривал и Груню съездить вместе Патап Максимыч, с ним не поехала: и то ее дети по случаю свадьбы Самоквасовых долго оставались под призором нянек, хоть и были все время в том же городе, где жила их мать, но за свадебными хлопотами она почти не видала их.

Настала святая неделя, и в последние ее дни Патап Максимыч получил письмо от Махмета Субханкулова.

Тут вышла остановка в поездке на Низ. Дуня и сама не решалась ехать так далеко и мужа не отпускала без себя на пароход – хотелось ей прежде повидаться с незнакомым еще ей дядей.

В надежде на получение двух тысяч целковых, оренбургский бай сдержал слово, данное им покойному Марку Данилычу, а потом Патапу Максимычу, сдержал его даже раньше договоренного срока. Несколькими неделями прежде удалось ему русского полоняника высвободить из хивинского плена. Выкупил ли Махмет Субханкулов его за деньги, или подпоил хана вишневою наливкой, на славу приготавливаемою Дарьей Сергевной, про то они только оба знали; известно было лишь то, что Мокей Данилыч со страстной недели жил в Оренбурге в доме Субханкулова, выжидавшего обещанных ему денег. Мокей Данилыч, совсем было позабывший родной язык, написал Патапу Максимычу письмо какими-то каракульками, наполовину русскими, наполовину татарскими.

О том, что есть у него племянница, покойника Марка Данилыча дочь, он хорошенько не

знал, одно лишь смутное понятие имел об ней от оренбургского бая. Письмо дошло до Чапурина, но нескоро дошло оно до Дуни; а она, как только узнала, тотчас выслала Субханкулову обещанные деньги, а Мокею Данилычу на проезд из Оренбурга, и он вскоре воротился в родную свою губернию. Не мало времени разъезжал он, был в городе, где жил покойный брат его, и теперь встретил его Герасим Силыч Чубалов. Наконец, явился к замужней уже племяннице.

В оборванном и насквозь просаленном архалуке пришел он к Дуне. Глядя на ее богатый дом, не осмелился он вдруг подступиться к нему. Только дворник сказал ему, что действительно тут живет Авдотья Марковна Самоквасова и что она пред масленицей вышла замуж. Робкою рукой позвонил в дом хивинский полоняник; и на каждом шагу надивиться не мог роскоши дома племянницы, бывшего не в пример лучше, чем самые палаты хивинского хана.

Когда ж он сказал свое имя, неведомая дотоле ему племянница и ее муж встретили Мокея Данилыча самым родственным приветом. Несмотря на невзрачный вид дяди, Дуня так и повисла у него на шее и заплакала радостными слезами, а молодой муж также с любовью отнесся к нему. Не прошло и несколько времени, как это была уж одна семья, дружная, любовная. Мокею Данилычу отвели хорошую комнату, а на другой день, по хлопотам Петра Степаныча, готово было ему хорошее платье, и хивинский полоняник надел его вместо истрепанного своего архалука. Он стал в новом наряде таким, что в нем накануне того дня его и узнать было нельзя.

На другой либо на третий день приехал в город Патап Максимыч и познакомился с известным ему заочно Мокеем Данилычем. Не на долгое время приехала и Груня порадоваться радости давнишнего своего друга. Кроме Патапа Максимыча, приехал Чубалов, и пошел у молодых пир, где дорогими гостями были и Колышкины муж с женой. Патап Максимыч звал выходца на русскую землю из басурманского плена к себе в Осиповку и отправился вместе с ним за Волгу.

Еще до отъезда их Дуня сказала дяде, что дарит ему родительский дом, кроме того, вручила ему крупную сумму денег, «на обзаведенье», как сказала она. Света не взвидел Мокей Данилыч, слушая речи племянницы, и в голову никогда ему не приходило так неожиданно вдруг разбогатеть. Сам не знал, что говорил он Дуне, благодаря за ее милости. Ни Патап Максимыч, ни Дуня словом не сказали, и никто из других не сказал Мокею Данилычу, кого встретит он в Осиповке; приехал он туда и был крайне удивлен пустотой в доме.

После смерти Аксиньи Захаровны и Прасковьи Патаповны не было хозяйки в доме. Распорядки по крестьянам и токарям лежали на старике Пантелее, а домом покамест управляла Дарья Сергевна, хозяйство у нее шло как по маслу. В тот же день, как приехали в Осиповку, Мокей Данилыч свиделся с Дарьей Сергевной. Так оба они изменились в двадцать лет, что, встретившись где-нибудь в ином месте, они не узнали бы друг друга.

– Ну что, Мокей Данилыч, узнал ли теперешнюю мою хозяйку? – спросил у Смолокурова Патап Максимыч. Мокей Данилыч отрицательно покачал головой, а Дарья Сергевна, услышав не чуждое ей имя, вся смутилась, не знала, что делать и что сказать. Патап Максимыч, глядя на них, сказал:

– Неужто не можешь признать бывшей своей невесты?

– Нет, не могу, – сказал Мокей Данилыч. – Двадцать лет – многое время, что мы не видались с ней. Я, как вам известно, был в бусурманском плену. Ни письма какого из дому и ни весточки какой-нибудь я не получивал. Мудрено ли в таком случае не узнать самых близких в прежние годы людей? Сами посудите, Патап Максимыч.

– Оно, конечно, времени прошло много. Отца родного позабудешь, не то што кого другого, – сказал Патап Максимыч. – Однако ж мне пора в красильнях моих побывать. Оставайтесь покамест одни, люди ведь знакомые. А ты, Дарья Сергевна, закусочку покамест поставь, да водочки, да винца, какое дома случилось.. А я сейчас и назад. И до возврата моего закуски не убирай.

Он ушел, и бывшие жених с невестой остались наедине.

– Ну что ж, Дарья Сергевна, как без меня поживали? – спросил Мокей Данилыч.

– Как жила я? – отвечала Дарья Сергевна. – Сначала у покойницы Аленушки жила, а потом, как она покончилась, надела на себя я черный сарафан, покрылась черным платком в роспуск и жила в уютной горенке большого, только что построенного дома Марка Данилыча. Повела я жизнь христовой невесты и о брачном деле просила никого со мной и не говорить. И никто меня

не видывал, опричь хозяев да одной старушки, что жила при мне. Чрез четыре года Алена Петровна померла, и стала я Дуне заместо матери. Марко Данилыч, покойник, тогда в торговые дела вдался, завел обширные прядильни для выделки канатов и рыболовных снастей, а на Унже леса скупал, сгонял их в свой город и строил там лодки для каспийских промыслов.

По всем делам то и дело в отлучках бывал, и я одна растила твою племянницу. Когда ж она стала подрастать, отдал он ее в Комаровский скит для обученья. Не могла я расстаться с ненаглядной моею Дунею и тоже поселилась в Комарове. Прошло довольно времени, как мы жили там, и, наконец, возвратилась она в дом родительский. И с тех пор жила я при ней до самого ее замужества. И привел мне бог закрыть глаза Марку Данилычу. На моих руках и помер он. Вот и все мои похождения за все время.

– Ну, и теперь как располагаешь насчет своей жизни. Дарья Сергевна? – спросил у ней бывший ее жених.

– Недаром же надела я черный сарафан и до сих пор не снимаю его, отвечала Дарья Сергевна. – Покамест подомовничаю у Патапа Максимыча, а по времени в скитах поселюсь: там у меня и знакомых и благодетельниц довольно. Найду себе место.

– А как же Патап-от Максимыч один останется? Ведь ты у него домом заправляешь. Как же он один-от останется? – спросил Мокей Данилыч.

– Свято место не будет пусто, – отвечала она. – И кроме меня, найдется много людей. Опять же слыхала я их разговоры с Груней, будет что-нибудь одно: или она со всею семьей поселится здесь, или Патап Максимыч переедет на житье в Вихорево. Здесь будет просторнее, чем там, и верней, ежели их бог сюда перенесет. Усадьба Патапа Максимыча обширная, найдется место, где устроить Ивану Григорьевичу и шляпное и войлочное заведения. К тому же неподалеку отсюда немало таких заведений, какими Иван Григорьевич промышляет. Работников найдется вволю. А про меня, пожалуй, и не вспомнят, как я в черничках буду в каком-нибудь ските.

– А как ты насчет прежнего думаешь, Дарья Сергевна? – спросил у ней Мокей Данилыч.

– Насчет чего это? – в свою очередь спросила она.

– Аль забыла, что было у нас с тобой до моего полону? – сказал Мокей Данилыч. – Таких делов, кажись, до смерти не забывают.

– Что ж это такое? – опустивши глаза, молвила Дарья Сергевна.

– Были мы с тобой, Дарьюшка, жених да невеста. Неужто и этого не вспомнишь? Теперь я по милости племянницы стал богат, и дом, где ты двадцать лет выжила, мой дом. Что бы нам с тобой старину вспомнить? Чего прежде не удалось сделать, то бы мы теперь разом порешили. Были мы жених с невестой, а теперь можно бы было сделаться мужем и женой.

– Голубчик ты мой, Мокей Данилыч, зачем старое вспоминать. Что было когда-то, то теперь давно былью поросло, – сказала, видимо смущенная, Дарья Сергевна. – Вот ты воротился из бурсманского плена, и ни по чему не видно, что ты так долго в неволе был. Одет как нельзя лучше, и сам весь молодец. А вот погляди-ка на себя в зеркало, ведь седина твою голову, что инеем, кроет. Про себя не говорю, как есть старая старуха. Какая ж у нас на старости лет жизнь пойдет? Сам подумай хорошенько!

Ни слова на то не сказал Мокей Данилыч. Смутился он словами бывшей своей невесты.

– Ты теперь в достатках, – сказала Дарья Сергевна, – и на будущее время Дуня тебя никогда не оставит своей помощью. Ежели захочешь жениться, за невестами дело не станет, найдется много. А мой бы совет: к богу обратиться, ты уж ведь не молоденький. Ты же, я думаю, живучи в полону, пожалуй, и Христову-то веру маленько забыл. Так и надо бы тебе теперь вспомнить свято-отеческие предания и примирить свою совесть с царем небесным.

В это время пришел из красилен Патап Максимыч и, взглянув на того и другую, догадался, что без него были меж ними какие-то важные разговоры.

– Дарья Сергевна, матушка! – молвил он, – что ж, я пред уходом сказал вам, чтобы вы закусочку для гостя поставили, а вот у вас на столе и нет ничего. Пожалуйста, поскорей сготовьте, наш гость, пожалуй, теперь и поесть захотел.

Дарья Сергевна вышла, а Патап Максимыч остался вдвоем с Мокеем Данилычем.

– Видится мне, что без меня у вас какие-то особые разговоры были, сказал гостю Патап Мак-

симыч. – Как только вошел сюда, догадался.

– Были разговоры, точно, что были, – сказал Мокей Данилыч.

– О чем же это? – спросил Патап Максимыч.

– Старину вспоминали, – отвечал Мокей Данилыч.

– Какую старину? – спросил Чапурин.

– Старые годы вспоминали, Патап Максимыч. Про то меж собой говорили, как были мы с ней люди друг к другу самые близкие, жених с невестой, сказал Смолокуров.

– Уж не вздумал ли ты опять женихом к ней стать? – промолвил, понизив голос, Патап Максимыч.

– Что ж, я бы не прочь, – отвечал Мокей Данилыч.

– Полно-ка ты, не смущай себя, да и ее не смущай такими разговорами, сказал Патап Максимыч. – Ведь тебе, друг мой любезный, годов немало. Не очень много супротив моих лет. Только что я жил в своей семье, а тебе пришлось в полону жить. А что ни говори, жизнь пленника не в пример тяжелее нашей жизни.

Воли, друг любезный, нет. А без воли всякий человек прежде старится. Нет вам моего совета по прежнему идти. Не смущай ты ее души, она с богом хочет пребывать и концом своих желаний поставляет житье в каком ни на есть ските керженском или чернораменском. Будучи черницей, думает она и век свой скончать. Потому ты ее и не смущай своими запоздалыми разговорами. Отдай ее господу богу на руки и сам подумай о своей душе. Пора, любезный друг, пора, наше время изжито.

– То же самое и она сейчас мне говорила, – сказал Мокей Данилыч. – А как я один-то жизнь свою свекую? Кто ж мне на смертном одре глаза закроет? Кто ж будет ходить за мной во время моих болезней? Спору нет, что будут в моем доме жить Герасим Силыч с племянником, да ведь это все не женская рука. Да и хозяйка в доме нужна будет.

– За хозяйкой и за женским уходом дело у тебя не станет, – молвил Патап Максимыч. – При твоих теперь достатках невест не оберешься, хоть тебе и не мало лет. Только этого я тебе не советую. Известно, что такое молодая жена у старого мужа. Не довольство в жизни будет тебе, а одна только маята.

Замолчал Мокей Данилыч, низко поникнул головой, а после того и не поднимал ее.

Дня через три Патап Максимыч с Никифором Захарычем поехали в город, чтобы сесть там на пароход. С ними и Мокей Данилыч отправился. Пробыв несколько дней у Дуни, он вместе с Чубаловым отправился в новое свое жилище на старом родительском пепелище. Там похлопотал Чубалов, и Мокей Данилыч скоро был введен во владение домом и пристанями, и как отвык от русской жизни и ото всех дел, то при помощи того же Чубалова завел на свой капитал хлебный торг.

Все, что было говорено про Марью Гавриловну, оказалось верным. Завладев ее капиталом, Алексей тотчас же покинул жену для Тани. Но и то было ненадолго, одна за другой являлись новые красотки, и с ними проводил время Алексей, забывал жену и все, что получил от нее. Чтобы быть подальше от отца и вообще от Керженского Заволжья, он завел в Самаре на свое имя такие заводы и зажил на новом месте так, что знавшие его прежде не могли надивиться.

Кроме того, что стал он в короткие отношения с местными властями, прикармливая их роскошными обедами, и в среде купечества он занял почетное место. Меньше чем через год назначены были городские выборы, и гласный думы, первой гильдии купец Алексей Трифонов Лохматов был намечен будущим городским головой или по меньшей мере заступающим его место на собраниях. Переселившись в Самару, он взял с собой и жену, но Марья Гавриловна и здесь терпела прежнюю участь. Не имея ни копейки на свои надобности, она должна была во всем покоряться любовницам Алексея, хозяйничавшим у него в доме и ни малейшего внимания не оказывавшим настоящей хозяйке. Алексей никогда даже не говорил с ней. Когда он покинул Таню, она броси-

лась к ногам Марьи Гавриловны, прося у нее прощения и, по обычаю, сваливая всю вину на смутившего ее беса. Добрая Марья Гавриловна простила возвращенную ею девушку и с тех пор по-прежнему стала с ней неразлучна, как было до ее несчастного замужества. Алексей, казалось, и внимания не обращал на то; он и с Таней никогда не говорил больше ни слова.

Какое-то дело заставило его плыть на Низ. Он сел на один из самых ходких пароходов, ходивших тогда по Волге, на том же пароходе ехали и Патап Максимыч с Никифором Захарычем. Патап Максимыч поместился в каюте. Никифору Захарычу показалось там душно, и он отправился в третий класс на палубу. Чапурин из своей каюты через несколько времени вышел в общую залу. Осмотрелся, видит четырех человек, из них трое были ему совсем не известны, вгляделся в четвертого и узнал Алексея.

Ни к кому не обращаясь, Патап Максимыч снял с головы картуз и положил его на стол.

Алексей сразу узнал бывшего хозяина. Слегка приподнявшись с дивана, он с наглостью во взоре и с большим самомнением проговорил:

– Наше вам наиглубочайшее, господин Чапурин.

Ни слова не ответил на то Патап Максимыч и сел на диван против Лохматова.

– Как вы в своем здоровье теперь? – с тем же нахальным взглядом, смеривая глазами Патапа Максимыча, спросил у него Алексей.

Не ответил ему Патап Максимыч и, уже несколько времени подождав, спросил у него:

– А что Марья Гавриловна? Она как?

– Ничего, – сказал Алексей. – Здорова, кажется. В Самаре осталась, а я вот подальше на Низ сплываю.

– Слухом земля полнится, Алексей Трифонович, а говорят, будто она во многом нуждается, – злобно молвил, взглянув на бывшего своего приказчика, Патап Максимыч.

– Мало ль что по народу болтают, всего не переслушаешь, – сказал на то Алексей, поднимая кверху брови. – Живет она себе как хозяйка дома. И хорошая хозяйка, добрая, в этом надо ей честь отдать. Только все дома сидит да богу молится, ни с кем из наших самарских почти никогда и не видается. Вот они, наши Самарские, – прибавил он, указывая глазами на сидевших в общей зале, никто ее, можно сказать, не видывал, хоть и веду я в городе жизнь открытую. Не только на них, но даже и на всех сослаться могу, что никто ее, богомольницу, в глаза не видывал.

– Это так точно-с, – подхватил один из самарцев. – Марья Гавриловна у нас в городе как есть невидимка.

Промолчал Патап Максимыч и, мало повременя, взял картуз со стола и вышел из общей залы. Ни Алексей, ни его самарцы не знали, что он поместился в каюте как раз рядом с ними.

– Что за господин такой? – спросил у Алексея один из его самарских знакомых, только что ушел от них Патап Максимыч.

– Из наших заволжских. С Керженца, – отвечал Алексей.

– Давно знаете его? – спросил самарец.

– Давненько-таки, – отвечал Алексей. – Когда я еще находился в бедности, а в родительском доме отцовские достатки порасстроились от поджога токарни, а потом клеть у нас подломали, а после того поскорости вору и лошадей свели, я в ту пору слыл первым, самым лучшим токарем в нашей стороне, меня родитель и послал на сторону, чтобы кое-что заработать для поправки семейных наших дел.

И пошел я не по воле родителей, а по своей охоте в деревню Осиповку, что была от нас не вдалеке, к Патапу Максимычу Чапурину, а у него в ту пору токарни были всем на удивленье. Слышал про меня и прежде Чапурин, и очень ему хотелось иметь у себя такого работника, как я, и потому с радостью принял меня в дом. И жил я у него не как простой рабочий, а в его доме внизу, в подклете, в особенной боковуше, а ел и пил с хозяйского стола. И за мое мастерство и за мой добрый обычай, как сына, возлюбил меня Чапурин, и немного месяцев прошло после того, как я у него водворился, он через мои руки доставил отцу моему столько денег, что тот на них мог устроиться по-прежнему.

– Добрый он, значит, человек, этот Чапурин, – сказал один из самарцев. Что ж, долго вы у него в токарях служили?

– Очень даже недолго, – отвечал Алексей. – Тут он со своими приятелями по каким-то случаям вздумал за рекой за Ветлугой на пустом месте золото искать и по доверию ко мне меня послал туда. Тут-то дорогой и спознался я с теперешней женой моей Марьей Гавриловной.

– Ну что же, долго у него еще оставались? – спросил самарец.

– Нет, – сказал Алексей. – Всего моего житья у него и полугода не было. Когда воротился я в Осиповку, хоронили старшую дочку хозяина. После похорон немного дней прошло, как он меня рассчитал. И так рассчитал, что, проживи я у него и два года и больше того, так по уговору и получать бы не пришлось. На этом я ему всегда на всю мою жизнь, сколько ее ни осталось, буду благодарен.

Лежа в соседней каюте, Патап Максимыч от слова до слова слышал слова Алексея. «Вот, – думает он, – хотя после и дрянным человеком вышел, а все-таки старого добра не забыл. А не бойсь словом даже не помянул, как я к его Марье Гавриловне приходил самую малую отсрочку просить по данному векселю. А добро помнит. Хоть и совсем человек испортился, а все-таки помнит».

И, довольный сам собой и даже Алексеем, Патап Максимыч протянулся было спокойно на диване в каюте, как вдруг услышал иные речи из общей залы.

– Что ж за причина была такая, Алексей Трифоныч? – спросил у него один из самарцев. – Чего ж это он вдруг после дочерних похорон спровадил вас от себя из дома? Была же на то какая-нибудь причина.

– Была причина, точно что была, – сказал Алексей, плутовски улыбаясь и почесывая затылок.

– Какая же? – спросил самарец.

– Дочка была у него старшая, Настей звали. Уж сколько времени прошло, как она в могиле лежит, а все-таки и до сих пор вспомнить о ней приятно.

Насторожил уши бывший по соседству Патап Максимыч. И сдается ему, что этот разговор добром не кончится.

– Беленькая такая, – продолжал Алексей, говоря с самарцами, – нежная, из себя такая красавица, каких на свете мало бывает. А я был парень молодой и во всем удатный. И гостила тогда у Чапурина послушница Комаровской обители Фленушка, девка, молодец на все руки, теперь уж, говорят, постриглась и сама в игуменьи поступила. Она в первый раз и свела нас.

«О-о! – подумал Патап Максимыч. – Так вон оно откуда все пошло. Значит, это все Фленушка устроила. На такие дела только ее и взять. Эх, ведал бы да знал я тогда об этом, таких бы надавал ей тузов, что, пожалуй, и в игуменьи теперь не попала бы».

А у самого сердце так и кипит, встал он и ходит, как зверь в узенькой клетке. Лицо горит, глаза полымем пышут, порывается он пройти в общую залу и там положить конец разговорам Лохматого, но сам ни с места. Большого скандала боится.

– Ну вот, и свела она нас, – продолжал Алексей. – Тем временем приезжали к Чапурину гости из Самары, Снежковы, отец с сыном, сродни они, никак, тебе доводятся. И было у них намеренье Настю сватать; только она, зная за собой тайный грех, не захотела того и отцу сказала напрямки, что уйдет в кельи жить, а не удастся, так себя опозорит и родительский дом: начнет гулять со всяким встречным. Раскипятился отец, а моя Настенька и вниманья на то не обращает. Стих Чапурин, а она продолжала наши дела. Меня на ту пору на Ветлугу послали. В эту мою отлучку Настенька догадалась, что она непраздна, что другой кто-то сидит в ней. Во всем открылась матери и, только что все рассказала, упала и с той поры заболела; болезнь недолго продолжалась. Полежала сколько-то времени и покончила свою жизнь, а меня на ту пору у Чапурина не было, все по этому по ихнему золотому делу разъезжал. После об этом Фленушка мне рассказывала.

Воротился я к Чапурину и, подъезжая к деревне, где он живет, похороны увидал. Это моя Настя без меня скончалась. А какая была покойница, теперь и сказать нельзя: страстная, горячо увлекалась всем, сама такая тихая, ровная и передо мной никогда, бывало, противного слова не молвит. Все с покорством, все с подчинением моей воле... Однако ж душно что-то здесь, каково-то ночью будет; впрочем у меня особая каюта; пойти бы на палубу освежиться немного.

Слышит Патап Максимыч, что Алексей вышел из общей залы и идет мимо кают. Не стерпе-

ло у него сердце. Одним размахом растворил он свою дверку, но Алексей уже поднимался вверх. Чапурин за ним вдогонку.

– А кто обещал про это дело никому не поминать? Кто слово давал и себя заклинал? А? – прошипел, подойдя к Алексею, Патап Максимыч. – Забыл?

Повесив голову, не говоря ни слова, Лохматов старался уйти от разъяренного Чапурина, но не удалось ему: куда он ни пойдет, тот за ним следом.

И вспомнились ему тут слова внутреннего голоса, что нередко смущали его, когда он жил у Патапа Максимыча в приказчиках: «От сего человека гибель твоя».

Ни шагу не отступал от него Патап Максимыч. Куда Алексей ни пойдет, он за ним с попреками, с бранью.

Подходили они к пароходному трапу, и ни одного человека кругом их не было. Патап Максимыч поднял увесистый кулак сокрушить бы супротивника, а из головы Алексея не выходили и прежде смущавшие его слова внутреннего голоса: «От сего человека гибель твоя».

Пятится Алексей от Чапурина, пятится. И дошел таким образом до самого трапа. А на станции в Батраках, по оплошности пароходных прислужников, забыли укрепить трап, через который девки да молодки дров натаскали.

Дошли до этого трапа, Алексей задом, Патап Максимыч напирая на него. Что-то такое говорил Алексей, но взволнованный Патап Максимыч не понимал его слов, должно быть каких-нибудь оправдательных. Оперся Алексей Лохматой о трап, Патап Максимыч был возле него. Трап растворился, и оба упали в воду.

– Упали! упали! – раздались голоса по палубе, но никто ни с места. Не зная, кто упал, Никифор Захарыч, мигом сбросив с себя верхнюю одежду, бросился в Волгу. Недаром его смолodu окунем звали за то, что ему быть на воде все одно, что по земле ходить, и за то, что много людей он спас своим умением плавать.

Бросился он в реку, поплыл, первым увидел Алексея, тот даже схватил его, но Никифор Захарыч оттолкнулся от него, увидев невдалеке Патапа Максимыча, поплыл к нему, схватил его, ошеломил, по исконному своему обычаю, и поплыл к корме парохода.

Там с радостью приняли и утопленника и его спасителя. Собрались все бывшие на пароходе, забыв на минуту другого утопавшего, усиленно и неумело боровшегося с волжскими волнами. Кто-то крикнул, наконец:

– Лодку! Живей! Человек тонет! – А сказал это после того, как напрасно всем миром просили Никифора Захарыча спасти и другого утопленника. Все видели, что это на воде не человек, а настоящий окунь. Но Никифор Захарыч упорно отказывался от просьбы.

– Не могу, и с этим устал, – говорил он. – Чего доброго, сам ко дну пойду.

– Лодку! лодку! – кричали между тем бывшие на палубе. – Скорей как можно лодку! Живей! Живей! Человек тонет! И как это трап-от не приперли! Еще, пожалуй, отвечать придется, ежели потонет. А все это наши ребята заболтались в Батраках с девками, да и забыли запереть трап как следует. Ох, эта молодежь, прости господи! – Такие голоса раздавались в то время по палубе, а Алексей Лохматов больше и больше погружался в воду.

Лодку, наконец, снарядили и подали. Быстро она понеслась к утопавшему, но еще несколько аршин не доплыла до него, как тот, с мыслью: «от сего человека гибель твоя», опустился на дно.

Так погиб Алексей Лохматов, нареченный самарский городской голова.

Марья Гавриловна приезжала на похороны и в тот же день, как зарыли ее мужа, уехала в Самару, а оттуда по скорости в Казань к своим родным. Лохматов не оставил никакого духовного завещанья, Марье Гавриловне по закону из ее же добра приходилось получить только одну четвертую долю, остальное поступало в семью Трифона Лохматова. Но Трифон, зная, какими путями досталось богатство его сыну, отступился от неожиданного наследства, и таким образом Марье Гавриловне возвратился весь ее капитал.

Петербургский чиновник, которого так долго и напрасно ждали на Керженце, приехал туда только летом. Долго задержали его в Петербурге. Только что приехал он, тотчас же отправился в Оленевский скит. Оттуда какие-то шатуны, которых в скиту никто и не знал, пошли за Дон за сбором подаваний. Их взяла полиция и отправила сначала в Петербург, а оттуда они были препровождены в ту губернию, где ложно сказались жителями. Там их никто не знал, и они до разъяснения дела посажены были в тюремный замок.

Расспросив их и не добившись никакого путного ответа, петербургский чиновник поехал в Оленевский скит. Тот скит несколько лет пред тем весь выгорел дотла; а между тем дошли до Петербурга сведения, что там есть много обителей, а из них самую главною и многолюдною считается обитель Анфисина, построенная будто бы лет двести тому назад инокиней Анфисой, родственницей, как говорило предание, святого Филиппа митрополита. Чтобы застать службу во всех часовнях и моленных, чиновник выбрал для их осмотра вечер Успеньева дня. Осмотрев и запечатав все до одной моленной, чтобы скитницы чего-нибудь не спрятали, петербургский чиновник остановился в Анфисиной обители, осмотрел ее и составил подробную опись иконам и всему другому, там бывшему.

Игуменья обители Маргарита, известная больше под именем Кузьмовны, с особенным радушием встретила приезжего и разговорила с ним обо всех делах обительских. Ее племянница Анна Сергевна прислуживала гостю, разливала чай и потом сама подавала чем бог послал поужинать. Петербургский чиновник ночевал в обители Анфисиной и потом в ней не раз бывал. Из двадцати с лишком часовен и моленных только три уцелело после бывшего пожара, прочие, как вновь построенные, остались запечатанными и через несколько времени земскою полицией были сломаны.

Из Оленева петербургский чиновник, сопровождаемый местным исправником, отправился в незадолго пред тем обращенный к единоверию Керженский скит, уж обставленный церквями; там игумен Тарасий, после того архимандрит, встретил гостя даже со слезами.

– Ох, любезненький ты мой, – говорил он, – кого мне привел бог встретить в наших местах! Места наши пустые, лесные; как-то ты добрался до нас! Разве что с помощью господина исправника, он в своем уезде везде всю подноготную знает. А у нас место пустынное, как есть настоящее иноческое пребывание. Только и утешения нам, что окуней половить в Керженце да ими маленько себя полакомить. Ты не взыщи с меня, что встречаю я тебя в таком одеянии, прибавил отец Тарасий, указывая на свою свитку, всю вымоченную водой, сейчас в Керженце был, рыбешку ловил, как мне про тебя сказали. Не обессудь ты меня, любезненький мой; надо бы к тебе во всем чину явиться, а я вон какой измоченный да перемоченный. Не обессудь, касатик ты мой, – низко кланяясь, говорил петербургскому гостю отец Тарасий. – Ступай в мою келью, а я меж тем приоденусь и приду как надо встретить дорогого гостя.

– Не беспокойтесь, пожалуйста, отец Тарасий, – сказал на то петербургский чиновник. – Не в одежде дело, а в радушии. Оставайтесь как были, ежели это вас не холодит.

– За ласковое слово много благодарим, – сказал отец Тарасий, но, несмотря на приглашение чиновника, пошел переодеться и вскоре явился к нему в полном чину.

– Напрасно беспокоились, отец Тарасий, – сказал гость, – право, напрасно, разве что простуды боялись.

– Ах ты, мой любезненький, гость ты мой дорогой! – вскрикнул игумен, обнимая чиновника и лобызаясь с ним, – как же смею я быть пред тобой не во всем иночестве! А ты пойдем-ка со мной вот сюда. И повел гостя в другую соседнюю комнату. Там на столах стояли: уха из только что наловленных окуней, пирог с малосольною осетриной, каша с молоком, оладьи, а на другом столике были поставлены: водка, виноградное вино, а к ним копченые рознежские стерляди и другая рыба, икра, соленые рыжики и грузди, маринованные грибы и другие снеди.

– Потрапезуем-ка, любезненький мой, чем бог послал у старца в келье, говорил отец Тарасий. – Водочки прежде всего выкушай, и я вместе с тобой выпью монашескую калишку. Сделай милость, друг, откушай.

Выпив водки, гость расхвалил закуски, к ней поданные, особенно копченых стерлядей. Потом сели обедать.

За обедом, по иноческим правилам, все трое сидели молча. Один лишь игумен изредка гово-

рил, потчuya гостей каждым кушаньем и наливая им в стаканы «виноградненького», не забывая при том и себя. После обеда перешли в прежнюю комнату, бывшую у отца Тарасия приемною. Здесь игумен подробно рассказывал петербургскому гостю о скитах керженских и чернораменских, о том, как он жил, будучи в расколе, и как обратился из него в единоверие вследствие поучительных бесед с бывшим архиепископом Иаковом.

Долго говорил игумен. Затем повел он гостя в церковь, где отправлено было молебное пение. Служил сам отец Тарасий, иноки пели тихо и стройно единоверческим напевом. Приезжий из Петербурга в подробности осмотрел церковь, хвалил ее чистоту и убранство, особенно святые иконы.

– Чудотворной-то нет у нас никакой, – тихо промолвил отец Тарасий, наклоняясь к приезжему, чтобы не смущать напрасно братию, не уходявшую из храма.

– Молитесь богу, он не оставит вас, – так же тихо сказал ему петербургский чиновник.

Обойдя все церкви и кельи иноков, игумен повел гостя на конный и скотный дворы, на пчельник и везде показал ему монастырское свое хозяйство. Потом пошли на реку Керженец, и там послушники занесли бредень для ловли рыбы к ужину. Потом повел его игумен в монастырский лес; когда ж они воротились в игуменские кельи, там их ожидал самовар и блюдо свежей малины с густыми сливками, и все-таки с «виноградненьким».

Петербургский гость остался ночевать у Тарасия, так как время было уже позднее. На ужин явились все те же закуски, какие были поданы к обеду. Уха сварена была из наловленных послушниками окуней, и явился к столу поданный ими жареный судак и другие давешние кушанья, кроме каши, замененной малиной со сливками.

Поутру, отстояв обедню, петербургский чиновник распрощался с отцом Тарасием. Игумен даже расплакался на прощанье со своим неожиданным гостем.

Из керженского Благовещенского скита Петербургский приезжий, пробыв несколько времени в уездном городе, отправился в шарпанский скит, где его вовсе не ждали. Он приехал туда ночью, часу во втором, и прошел прямо в моленную. Там в углу стояла икона казанской богородицы; говорят, что она была комнатною царя Алексея Михайлыча в первые годы его царствования. Она была заслонена другою большою иконой, но пред ней горела лампада. Рассказывали, что та икона во времена патриарха Никона находилась в Соловецком монастыре и что во время возмущения в среде соловецкой братии, когда не оставалось более никакой надежды на избавление обители от окруживших ее царских войск, пред ней на молитве стоял дивный инок Арсений. И видит он во сне, что икона богородицы поднялась в небесную высоту, и слышит он от той иконы глас: «Иди за мной без сомнения и, где я остановлюсь, там поставь обитель, и до тех пор, пока в ней будет сия моя икона, древнее благочестие будет процветать в той стороне», и был Арсений чудною силой перенесен с морского острова на сухопутье. Богородична икона идет по воздуху, а вслед за ней инок Арсений. И стала та икона и опустилась на землю в пустынных лесах Чернораменских, и там на урочище Шарпан поставил Арсений первый скит в тамошних местах. Вскоре больше сотни таких скитов возникло в Черной Рамени, в Керженских и Рышских лесах и по реке Ветлуге.

Таковы были между старообрядцами предания о первых насельниках лесов Чернораменских, и все, как ближние, так и дальние, с особым уважением относились к иконе, принесенной в Шарпан иноком Арсением. Они твердо веровали, что, как только соловецкая икона выйдет из Шарпана и будет поставлена в никонианской церкви, древлему благочестию настанет неизбежный конец. И потому, как только возможно, старались удерживать ее на месте.

Опытный в делах подобного рода петербургский чиновник, войдя в шарпанскую моленную, приказал затушить все свечи. Когда приказание его было исполнено, свет лампы, стоявшей перед образом казанской богородицы, обозначился. Взяв его на руки, обратился он к игумену и многим бывшим в часовне старицам со словами:

– Молитесь святой иконе в последний раз. И увез ее.

Как громом поразило жителей Керженца и Чернораменья, когда узнали они, что нет более соловецкой иконы в шарпанской обители. Плачам и воплям конца не было, но это еще не все, не тем дело кончилось.

Из Шарпана петербургский чиновник немедленно поехал в Комаров. Там в обители Глафириных издавна находилась икона Николая Чудотворца, также почитаемая старообрядцами чудо-

творною. Он ее взял точно так же, как и соловецкую из Шарпана. Страха и ужаса еще больше стало в обителях керженских и чернораменских, там всё считали для себя поконченным. Петербургский чиновник исполнил обещание, данное отцу Тарасию: соловецкая икона была перенесена в керженский Благовещенский монастырь, а икона Николая Чудотворца – в незадолго пред тем обратившийся к единоверию скит Осиповский. После того, объехав все скиты и обители, петербургский чиновник воротился в свое место.

Вскоре от высшего начальства из Петербурга вышло такое решение о скитах: им дозволено было оставаться по-прежнему только на полгода, после этого времени они все непременно должны быть совершенно порушены, тем из скитских матерей, что приписаны были к обителям по последней ревизии, дозволено было оставаться на их местах, но со значительным уменьшением их строений. Тем из обительских матерей, что приписаны были по ревизии к разным городам и селениям, велено было иметь там всегдашнее пребывание без кратковременной даже отлучки в скиты и другие места.

Все это исполнить было возложено на местную полицию, и сам исправник несколько раз объезжал для того скиты. Хоть окрестные крестьяне прежде и радовались тому, что рано или поздно скитские строения пойдут в их собственность, потому что матерям некому будет продать их строений и они поневоле продадут их за бесценок, однако на деле вышло другое. Сколько ни приказывал исправник крестьянам Ронжина и Елфимова ломать обительские строения, никто из них не прикоснулся к ним, считая то великим грехом. Особенно комаровские часовни были для них неприкосновенны и святы.

Сколько ни было у них ссор с Комаровскими матерями, они горько скорбели и плакали над судьбой, постигшею скиты. И не мудрено то было: окрестные крестьяне так долго по праздникам ходили в Комаровские часовни, что им нельзя было не пожалеть соседок; опять же многие из них были женаты на живших прежде в том скиту белицах. Сколько ни бился исправник, увидел, наконец, что тут ничего не поделаешь, и потому собрал понятых, преимущественно из православных. Они мигом приступили к работе. Когда были снесены кровли с Манефиной обители, считавшейся из всех скитов самою главною, стоном застонали голоса. В то время собрались в Комарово почти без исключения все матери из всех обителей: точь-в-точь как съезжались, бывало, они на соборы, там сбиравшиеся. На завалинах и на разрушенных строениях сидят матери и горько плачут, смотря на разрушение старого их пепелища, ожидая и в своих скитах такого же разрушения и неизбежной высылки людей с насиженных ими мест, но не приписанных ко скиту.

Приехала из города и мать Манефа с неразлучною Филагрией. Сели они возле своих келей, но ни плача, ни рыданий с их стороны не было. Переселясь заблаговременно в город, где была приписана по ревизии, Манефа только тихо, безмолвно горевала по своему старинному хозяйству. Так же ко всему равнодушною казалась мать Филагрия: она также приписана была к городу и жила вместе с Манефой. Ничего в ней не было, что бы расстраивало ее при виде разрушения Комаровских обителей. Зато все другие тут бывшие горевали и плакали по случаю постигшего всех их несчастья.

Сидит на завалинке мать Манефа с Филагрией, а рядом с ними все прежние противницы Манефины из-за архиерейства: кривая мать Измарагда, игуменья обители Глафириных, так еще недавно лишившаяся чудотворного Николина образа, мать Нонна, игуменья из скита Гордеевского, мать Евтропия обители Игнатьевой, мать Августа, игуменья шарпанская, у которой также недавно отобрана была соловецкая икона казанской богородицы. Не послушалась тогда мать Августа уговоров на соборе прочих игумений, не свезла в Москву эту икону, с которой связано давнишнее предание, что скиты керженские и чернораменские останутся неприкосновенными до тех только пор, покамест она не будет поставлена в великороссийской церкви, – а вот она теперь у отца Тарасия.

Все эти игуменьи, при виде сломанных Манефиных строений, сотворили с ней прощу и мирно, с плачем и стоном, сидели рядом с бывшей своей несогласницей, ничем не возмутимой старицей. Общая скорбь примирила всех. Против этих игумений, на диванах и стульях из бывшего домика Марьи Гавриловны, сидели более или менее близкие к Манефе: Таисея, игуменья обители Бояркиных, игуменья обители Жжениных и настоятельница мелких Комаровских обителей мать

Улия, игуменья Салоникииных, Есфирь из обители Напольных, настоятельница обителей, а также все улангерские матери, Юдифь и девяностолетняя Клеопатра Ерахтурка, никогда не чаявшая дожить до разорения скитов. Были тут и Агния, игуменья небогатого скита крутовражского, Христодула, начальница такого же скита ворошиловского, дебелая старица мать Харитина, тоже из бедного скита быстренского, и многоречивая Полихрония, настоятельница обители малиновской. Все бывшие слезно молили мать Манефу, чтобы дала им мудрый совет, как помочь себе в настоящие дни напастей.

Опустив голову и потупив очи, ничего никому не говорила в ответ мать Манефа. Ко всему видимому и слышанному, казалось, относилась она совсем равнодушно.

Больше и громче всех голосила добродушная мать Вириная, столь долго бывшая келарем в Манефиной обители. Не будет больше у нее ни пиров, ни соборов, не будут больше собираться к ней белицы работать и петь псалмы, а частенько и мирские песни. А главное, что сокрушало ее, это то, что пришел конец широкому ее домохозяйству, что теперь, ежели она и поселится в городе у матери Манефы, не будет уже больше такого домоводства, какое было до сих пор. Вспоминала и мать Филагрия, прежняя Фленушка, о тех проказах, что выкидывала она у добродушной Вириной тайком от игуменьи. Еще больше вспоминала она гулянки свои по Каменному Вражку, но все застила в сердце, и казалась ничем не возмутимой. За разрушением Манефиной обители последовало разрушение и других обителей Комарова, а затем и разрушение прочих скитов.

Так пали около двухсот лет стоявшие обители керженские и чернораменские. Соседние мужики сначала хоть и не решались поднять руки на часовни и кельи, через несколько времени воспользовались-таки дешевым лесом для своих построек: за бесценок скупили скитские строения. Вскоре ото всех скитов и следов не осталось. Были оставлены на своих местах только приписанные к ним по ревизии, и каждой жительнице отведено было по просторной келье, но таких приписанных ко всем скитам осталось не больше восьмидесяти старых старух, а прежде всех обительских жителей было без малого тысяча. Опустили и Керженец и Чернораменье.

Чрез некоторое время местному губернатору вместе с другим петербургским чиновником велено было осмотреть все скиты. Они нашли всюду полное запустение.

Зато в городе, где было много приписанных келейниц, образовались многолюдные обители с потайными молельными. Из них главной по-прежнему стала обитель матери Манефы.

МЕЛЬНИКОВ-ПЕЧЕРСКИЙ, Павел Иванович (1818-1883)

«На горах» (1875-1881).

Собр. соч. в 8 т., Москва 1976.

Все примечания, данные в скобках, принадлежат автору.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В степной глуши, на верховьях тихого Дона, вдали от больших дорог, городов и людных селений стоит село Луповицы. Село большое, но строенье плохое в нем, как зачастую бывает в степных малолесных местах – избы маленькие, крыты соломой, печи топятся по-черному, тоже соломой, везде грязь, нечистота, далеко не то, что в зажиточном, привольном Поволжье. Зато на гумнах такие скирды хлеба, каких в лесах за Волгой и не видывали.

Овраг, когда-то бывший порядочной речкой, отделяет крестьянские избы от большой, с виду очень богатой господской усадьбы. Каменный дом в два яруса, с двумя флигелями лицевой стороной обращен на широкий двор и окружен палисадником, сплошь усаженным сиренью, жимолостью, таволгой, акацией и лабазником (Жимолость – *Lonicera tatarica*. Таволга – *Spirea crenata*. Лабазник – *Spirea ulmaria*).

За домом старинный тенистый сад с громадными дубами и липами. С первого взгляда на строенье кидается в глаза их запущенность. Видно, что тут когда-то жила на широкую руку, а потом или дела хозяина расстроились, или поместье досталось другим, изменившим образ жизни

прежних владельцев и забросившим роскошные палаты в небрежение. В стороне от усадьбы был огромный, но уж наполовину совсем развалившийся псарный двор, за ним – театр без крыши, еще дальше – запустелый конный завод и суконная фабрика. Зато хозяйственные постройки были в редком порядке – хлебные амбары, молотильня, рига на славу были построены из здорового леса, покрыты железом, и все как с иголочки новенькие.

Отец Луповицких был одним из богатейших помещиков той стороны. Смолоду служил, как водится, в гвардии, но после возврата наших войск из Франции вышел в отставку, женился и поселился в родовом своем именье. Заграничная жизнь хоть и порасстроила немножко его дела, но состояния не пошатнула. Луповицкий барином жил, гости у него не переводились: одни со двора, другие на двор. Пирывывали чуть не каждый день, охоты то и дело, и никто из соседей-помещиков, никто из городских чиновников даже помыслить не смел отказаться от приглашения гостеприимного и властного хлебосола.

Иначе беда: Луповицкий барин знатный, генерал, не одно трехлетие губернским предводителем служил, не только в своей губернии, но в Петербурге имел вес. Связи у него в самом деле были большие – оставшиеся на службе товарищи его вышли в большие чины, заняли важные должности, но со старым однополчанином дружбу сохранили. Приязнь их тщательно поддерживалась породистыми конями Луповицкого, отводимыми в Петербург на конюшни вельможных друзей. На псарном дворе у Луповицкого было четыреста псов борзых да триста гончих. Оркестр крепостных музыкантов управлялся выписанным из Италии капельмейстером. Была и роговая музыка, было два хора певчих, актеры оперные, балетные, драматические, живописцы, всякого рода ремесленники, и всё крепостные. Так широко и богато проживал в своем поместье столбовой барин Александр Федорыч Луповицкий.

Под шумок поговаривали, будто Луповицкий масонства держится. Немудрено – в то время каждый сколько-нибудь заметный человек непременно был в какой-нибудь ложе. Масонство, однако ж, не мешало шумной, беспечной жизни богатых людей, а не слишком достаточные для того больше и поступали в ложи, чтобы есть роскошные даровые ужины. Ежели Луповицкий и был масоном, так это не препятствовало ни пирам его, ни театру, ни музыке, ни охоте. Иное случилось, когда он прожил в Петербурге целую зиму. Воротившись оттуда, к удивлению знакомых и незнакомых, вдруг охладел он к прежним забавам, возненавидел пиры и ночные бражничанья, музыку и отъезжие поля – все, без чего в прежнее время дня не мог одного прожить.

Музыканты, актеры, живописцы распущены были по оброкам, псарня частью распродана, частью перевешана, прекратились пиры и банкеты. Для привычных гостей двери стали на запоре, и опустел шумный дотол барский дом. Луповицкий с женою стали вести жизнь отшельников. Вместо прежних веселых гостей стали приходить к ним монахи да монахини, странники, богомольцы, даже юродивые. Иногда их собиралось по несколько человек разом, и тогда хозяева, запершись во внутренних комнатах, проводили с ними напролет целые ночи. Слыхали, что они взаперти поют песни, слыхали неистовый топот ногами, какие-то странные клики и необычные всхлипывания. Через несколько времени, опричь странников и богомольцев, стали к Луповицким сходиться на ночные беседы солдаты, крестьяне, даже иные из ихних крепостных. Никто понять не мог, что этот сброд грубых невежд и шатунов-дармоедов делает у таких просвещенных, светских и знатных людей, как Луповицкие. Александр Федорыч и в другом изменился: любил он прежде выпить лишнюю рюмку, любил бывать навеселе, любил хорошо и много покушать – а теперь ни вина, ни пива, даже квасу не пьет, только и питья у него чай да вода. Не только мясного – рыбного за столом у него больше не бывало, ели Луповицкие только хлеб, овощи, плоды, яйца, молочное, и больше ничего. Зато и в светлое воскресенье и в великую пятницу с сочельниками подавалась у них одна и та же пища.

Сестра Луповицкого была замужем за Алымовым, отцом Марьи Ивановны, умерла она раньше перемены, случившейся с ее братом. Вскоре умер и муж ее, тогда Луповицкие маленькую сиротку, Марью Ивановну, взяли на свое попечение. Воспитанье давали ей обыкновенное для того времени – наняты были француженка, немка, учительница музыки, учительница пения, а русскому языку, русской истории и закону божию велели учить уволенному за пьянство из соседнего села дьякону. Два сына Александра Федорыча тоже дома воспитывались – целый флигель наполнен

был их гувернерами и разного рода учителями от высшей математики до верховой езды и фехтованья. Все иностранцы были, а русскую премудрость и сынки с Марьей Ивановной почерпали у пропившегося дьякона. Петербургские вельможные друзья в благодарность за резвых рысаков предлагали Луповицкому выхлопотать его сыновьям звание пажей, но Александр Федорыч, до поездки в Петербург сильно тосковавший, что, не будучи генерал-лейтенантом, не может отдать детей в пажеский корпус, и слышать теперь о том не хотел. Хочу из них сделать сельских хозяев, — писал он к старым своим приятелям, и нельзя было разуверить друзей его, что бывший их однополчанин обносился умом, и на вышке у него стало не совсем благополучно.

Все дивились перемене в образе жизни Луповицких, но никто не мог разгадать ее причины. Через несколько лет объяснилась она. Был в Петербурге духовный союз Татариновой (Екатерина Филипповна Татаринова, жена директора рязанской гимназии, урожденная Буксгевден, во втором десятилетии нынешнего столетия собирала таинственные собрания в квартире своей матери в Петербурге, в Михайловском замке. Это было собрание хлыстов из высшего общества, во многом сходное с нынешней редстоковщиной или пашковщиной. Оно называлось «духовным союзом». После того как собрания Татариновой были прекращены, они возобновились в Петербурге же за Московской заставой и в тридцатых годах снова были закрыты. В это время Татаринова и некоторые из ее последователей были разосланы по монастырям.).

Принадлежавшие к нему собирались в ее квартире и совершали странные обряды. С нею через одного из вельможных однополчан познакомился и Александр Федорыч. Вскоре и сам он и жена его, женщина набожная, кроткая и добрая, вошли в союз, а воротясь в Луповицы, завели у себя в доме тайные сборища.

Между тем, когда о духовном союзе узнали и участников его разослали по монастырям, добрались и до Луповицких. Ни их богатства, ни щедрые пожертвования на церкви, больницы и богадельни, ни вельможные однополчане, ничто не могло им помочь. Кончил свои дни Александр Федорыч в каком-то дальнем монастыре, жена его умерла раньше ссылки.

И сыновья и племянница хоть и проводили все почти время с гувернерами и учительницами, но после, начитавшись сначала четьи-минеи и «Патериков» об умерщвлении плоти угодниками, а потом мистических книг, незаметно для самих себя вошли в «тайну сокровенную». Старший остался холостым, а меньшой женился на одной бедной барышне, участнице «духовного союза» Татариновой. Звали ее Варварой Петровной, у них была дочь, но ходили слухи, что она была им не родная, а приемыш либо подкидыш.

Ссылка отца научила сыновей быть скрытней и осторожнее.

Не прекратились, однако, у них собрания, но они стали не так многочисленны. Не было больше на них ни грязных юродивых, ни шатунов-богомольцев, ни странников; монахи с монахинями хоть и бывали, но редко. Притаились и молодые Луповицкие, как-то проведавшие, что и за ними следят. Тогда Марья Ивановна из Луповиц переехала в свое Талызино и там выстроила в лесу дом будто для житья лесника, а в самом деле для хлыстовских сборищ. В тех местах хлыстовщина меж крестьянами велась исстари, и Марья Ивановна нашла много желавших быть участниками в «тайне сокровенной». Но через несколько лет, узнав, что об лесных ее сборищах дошли вести до Петербурга, она решила переехать на житье в другую губернию. Кто-то сказал ей, что продается пустошь Фатьянка, где в старые годы бывали хлыстовские сходбища с самим Иваном Тимофеевичем, Христом людей божиих; она тотчас же купила ее и построила усадьбу на том самом месте, где, по преданьям, бывали собрания «божьих людей» («Божьими людьми» называют сами себя хлысты. Иван Тимофеевич Суслов, христос людей божьих, жил в конце XVII и в начале XVIII столетия, проповедовал свое учение в нынешних Владимирской, Нижегородской, Костромской и Ярославской губерниях, а также в Москве, где и умер.).

Рады были Луповицкие сестрину приезду, давно они с ней не видались, обо многом нужно было поговорить, обо многом посоветоваться. Письмам всех своих тайн они не доверяли, опасаясь беды. Потому раза по два в году езжали друг к другу для переговоров. Луповицкие сначала удивились, что Марья Ивановна, такая умная и осторожная, привезла с собой незнакомую девушку, но, когда узнали, что и она желает быть «на пути», осыпали Дуню самыми нежными ласками. С хорошенькой, но как смерть бледной племянницей Марьи Ивановны, Варенькой, Дуня Смолокурова

сблизилась почти с первого же дня знакомства. Молодая девушка с небольшим лет двадцати, с умными и немножко насмешливыми глазами, приняла Дуню с такой радостью, с такой лаской и приветливостью, что казалось, будто встречает она самую близкую и всей душой любимую родственницу после долгой разлуки.

Обстановка дома Луповицких поразила Дуню, до тех пор сидевшую в четырех стенах отцовского дома и не видавшую ничего подобного. Налюбоваться не могла она на убранство комнат, сохранивших еще остатки былой роскоши. Огромные комнаты, особенно большая зала с беломраморными стенами и колоннами, с дорогими, хоть и закоптелыми люстрами, со стульями и диванчиками, обитыми хоть и полинявшею, но шелковой тканью, другие комнаты, обитые гобеленами, китайские вазы, лаковые вещи, множество старого саксонского и севрского фарфора, вся эта побледневшая, износившаяся роскошь когда-то изящно и свежо разубранного барского дома на каждом шагу вызывала громкое удивление Дуни. Варенька снисходительно улыбалась ей, как улыбается взрослый человек, глядя на любопытного ребенка. На восторженные похвалы Дуни она холодно, презрительно даже сказала:

– Суета! Язычество!.. Удивляюсь, как до сих пор не выкинут всего этого в помойную яму.

– Как это можно! – вскрикнула Дуня. – Такие прекрасные, такие красивые вещи.

– Суета и пустота! – молвила Варенька. – Это ведь все от врага, это все на усладу язычникам.

– Каким язычникам? Кажется, теперь их больше нет, – с удивлением сказала Дуня.

– Земля полна язычниками; избранное стадо не велико, – отвечала Варенька.

– Кто ж язычники? – спросила Дуня.

– Все, – ответила Варенька. – Все, кого до сих пор вы знали, кроме разве одной тетеньки, – сказала Варенька и, не дав Дуне слова вымолвить, спросила у нее:

– Сколько вам лет?

– Девятнадцать, – ответила Дуня.

– Пора отложить суету, время вступить вам на «путь». Я сама в ваши годы пошла путем праведным, – понизив голос, сказала Варенька. – Однако пойдемте, я вам сад покажу... Посмотрите, какой у нас хорошенький садик – цветов множество, дядя очень любит цветы, он целый день в саду, и мама тоже любит... Какие у нас теплицы, какие растения – пойдемте, я вам все покажу.

И девушки, взявшись под руку, вышли на обильно установленную цветами мраморную террасу, а потом медленными шагами спустились в сад по широким ее ступеням.

Меж тем Марья Ивановна сидела в комнате старшего брата с меньшим братом и с его женою.

– Ну как, Машенька, устроилась ты в Фатьянке? – спросил Николай Александрович.

– Слава богу, совсем почти обстроилась, остается внутри кой-что обделать да мебель из Талызина перевезти, – отвечала Марья Ивановна. – К осени, бог даст, все покончу, тогда все пойдет своей колеей.

– Что ж? В самом деле был там корабль Ивана Тимофеича? (Кораблем называется общество хлыстов.) – спросила Варвара Петровна.

– В самом деле, – отвечала Марья Ивановна. – И по преданиям так выходит и по всем приметам. Тут и Святой ключ и надгробный камень преподобного Фотина, заметны ямы, где стоял дом, заметны и огородные гряды.

– Хорошо, что в твои руки досталось место, – сказала Варвара Петровна. Летом на будущий год непременно у тебя побываю. Теперь, говоришь, ничего еще у тебя не приспособлено?

– Еще ничего, – отвечала Марья Ивановна. – Сионскую горницу (Сионской горницей у хлыстов называется комната, где происходят их собрания.) сделали, не очень велика, однако человек на двадцать будет. Место в Фатьянке хорошее – уютно, укомно, от селенья не близко, соседей помещиков нет, заборы поставила я полторы сажени вышиной. Шесть изб возле дома также поставила, двадцать пять душ перевела из Талызина. Все «наши».

– А поблизости есть ли божьи-то люди? – спросил Андрей Александрыч.

– Еще не знаю, – отвечала Марья Ивановна, – пока до меня не доходило. Да я, впрочем, и разыскивать не стану. Не такое время теперь. Долго ли до беды?

– Ну а эта девушка, что с тобой приехала? в самом деле близка она к «пути»? – спросил Николай Александрыч.

– Совсем готова, – сказала Марья Ивановна. – Больше восьми месяцев над Штиллином, Гион и Эккартсгаузенем сидела. И такая стала восторженная, такая мечтательная, созерцательная и нервная. Из нее выйдет избранный сосуд.

– Ну, это еще не угадано, – молвил меньшой Луповицкий. – Бывали и восторженные, бывали и мечтательные, а после назад возвращались в язычество, замуж даже выходили.

– Эта замуж не пойдет, – сказала Марья Ивановна. – Любовь житейская ей противна, в этом я успела настроить ее. И другая есть тому причина – я и той воспользовалась, хоть и ни разу даже не намекнула Дуне об ее сердечных ранах. Понравился ей какой-то купчик, познакомилась я с нею тотчас после разрыва, поговорила с ней, посоветовала читать мистические книги, а теперь, проживши у них больше двух недель, кажется, совсем ее укрепила. Много порассказала я ей, и теперь она горит желанием услышать «живое слово». В первое же собрание можно будет ее допустить, разумеется, пока без «приводу» («Привод» – обряд поступления в секту.).

Я уверена, что она озарится. Когда будет у вас собрание-то?

– Хотелось бы в субботу на воскресенье, – сказал Николай Александрыч. Не знаю, соберутся ли.

– А по многу ль теперь собираются? – спросила Марья Ивановна.

– Умалился корабль, очень умалился, – скорбно промолвил Николай Александрыч. – Которых на земле не стало, которые по дальним местам разошлись. Редко когда больше двадцати божьих людей наберется... Нас четверо, из двора пять человек, у Варварушки в богадельне семеро. Еще человека два-три со стороны. Не прежнее время, сестрица. Теперь, говорят, опять распыхались злобой на божьих людей язычники, опять иудеи и фарисеи (Иудеями и фарисеями хлысты называют православные власти, преимущественно духовные.) воздвигают бурю на Христовы корабли. Надо иметь мудрость змиину и как можно быть осторожней.

И с покорным видом, с умильным взором на Спасителя с апостолами во время бури на Галлейском море, знаменитой кисти известного художника Боровиковского, запел Николай Александрыч вполголоса заунывную песню. Другие вполголоса припевали ему, а у него щеки так и орошались слезами.

Кораблик заливает морскими волнами,
Сверху грозят тучи, стоячи над нами,
Заставляют бедных страдать под водами,
Скудны мы, бедны – нищета вся с нами,
Скудость и бедность всегда жила с нами,
Как в прежних веках, так и ныне тоже.
Ох, много зачинающих, да мало скончевающих!
Припадем коленами на мать-сыру-землю,
Пролием мы слезы, как быстрые реки,
Воздохнем в печали к создателю света:
"Боже ты наш, боже отец наших,
Услыши ты, боже, сию ти молитву,
Сию ти молитву, как блудного сына,
Приклони ты ухо к сердечному стону,
Прими ты к престолу текущие слезы,
Пожалей, создатель, бедное создание,
Пределам нам, боже, к избранному стаду,
Запиши, родитель, в животную книгу,
Огради нас, бедных, своею оградой,
Приди в наши души с небесной отрадой

Всех поставь нас, боже,
Здесь на крепком камне,
Чтоб мы были крепки во время печали;
Мы всегда желаем быть в избранном стаде,
Ты наш учитель, ты наш попечитель,
Просим милости богатой у тебя, владыки,
И всегда ходить желаем под твоим покровом,
Ты нас, батюшка, питаешь и всем одежаешь,
В наших скорбях и печалях сам нас подкрепляешь,

Тебе слава и держава в пречистые руки*. *Эта песня не без основания приписывается одному из участников татаринского корабля (рязанскому помещику Дубовицкому), отправленному лет пятьдесят тому назад в Саровскую пустынь, а потом едва ли не в Соловки. Первоначальная же редакция принадлежала Александру Ивановичу Шилову, крестьянину из Орловской губернии, сначала хлысту, а потом скопческому Иоанну Предтече, умершему в самых последних годах прошлого столетия в Шлиссельбурге.

Все сидели с благоговением и плакали. Не вдруг успокоились, долго сидели после того молча, вздыхая и отирая слезы. Наконец Марья Ивановна спросила у Николая Александрыча:

– А в «слове» кто теперь ходит? (Ходить в «слове» – пророчествовать во время исступления, находящего на иных хлыстов во время радения и после него.).

– Да все те же. Племянница наша, Варенька, стала в слове сильна и с каждым разом сильнее становится, – сказал Николай Александрыч. – Златой сосуд! По времени, будет в нем благодать великая.

– Слава в вышних богу! – благоговейно поднявши глаза, проговорила Марья Ивановна. – На Дуню я тоже много рассчитываю. Помните, как в прошлом году я под осень гостила у вас, про нее тогда я вам рассказывала, что как скоро заговорила я с ней, едва открывая «тайну», дух на нее накатил (Дух накатил, то есть сошел дух (по понятиям хлыстов, святой дух).) – вся задрожала, затрепетала, как голубь, глаза загорелись, и без чувств упала она ко мне на руки. Великим знамением тогда я это сочла. А теперь, как гостила у них, каждый почти день бывала она в восторге, так и трясет ее всю: судороги, истерика, пена у рта. Ни словом ей не заикнулась я, что бывает у нас на радениях, а все-таки ее поднимало.

– Дай господи такую подвижницу, подай истинный свет и новую силу в слове ее, – сложив руки, набожно сказал Николай Александрыч. – Ежели так, можно будет ее допустить на собрание, и если готова принять «благодать», то можно и «привод» сделать... Только ведь она у отца живет... Помнится мне, говорила ты, Машенька, что он раскольник, и совсем плотской язычник, духовного в нем, говорила ты, нет ни капельки.

– Это так, – подтвердила Марья Ивановна. – Как есть плотской – только деньги на уме.

– Как же Авдотьюшка, познав тайну, станет в Гоморре жить? – сказал Николай Александрыч. – Тяжело ведь ей будет меж язычниками... Некому будет ни утешить ее, ни поддержать в ней святого пламени. Устоит ли тогда она на «правом пути», сохранит ли «тайну сокровенную»? Об этом надо обсудить хорошенько. То помни, Машенька, что ангелы небесные ликуют и радуются, когда языческая душа вступает в ограду спасения, но все небесные силы в тоске и печали мечутся по небу, ежели «приведенная» душа возвратится вспять и снова ступит на погибельный путь фарисейский.

– Со мной часто будет видаться, я буду ее поддерживать. Отец обещал отпускать ее ко мне в Фатьянку.

При мне не пойдет она в адские ворота, не возвратится в язычество, твердо и решительно сказала Марья Ивановна. – На «приводе» я, пожалуй, буду ее поручницей и все время, пока обитаю в этом греховном теле, стану поддерживать ее на «правом пути».

– А дашь ли за нее страшное священное зарученье? – строго спросил у сестрицы Николай Александрыч.

– Дам, – ответила Марья Ивановна. – Дам, потому что ручаюсь за нее, как за самое себя.

– Но ведь ты знаешь, Машенька, что бывает с заручниками, если приведенные ими отверг-

нуты «пути»? – спросил Николай Александрыч.

– Знаю, – слегка кивнув головой, ответила Марья Ивановна.

– Отлучение от части праведных, отлучение от небесных сил, отторжение от святейшего сонма поющих хвалебные песни пред агнцем, вечное страдание души в греховном теле, низведение в геенну на нескончаемую власть врага

(Хлысты никогда не употребляют слов: «дьявол», «сатана», «черт» и тому подобных, дабы не осквернить проклятым именем своего языка. Одно у них имя ему – «враг», иногда «враг божий», редко «враг человеческий». Некоторые учителя их о дьяволе так говорят: «Какой он враг человекам? – он друг им и покровитель, как любимым своим созданиям. Он враг только нам, пришедшим из внешнего мира и познавшим правый путь и сокровенную тайну». Хлысты вполне уверены, что смертное тело человека сотворил Сатанаил по образу и подобию своему, потому он и владеет телом, а бог в это тело вдунул дыхание жизни, то есть душу, по своему образу и подобию, оттого душа и бессмертна. Только познавший правый путь и сокровенную тайну, по мнению их, войдут в селения праведных, остальные вечно будут мучиться, заключенные в тела и находясь в полной власти отца своего Сатанаила.), – торжественно говорил Николай Александрыч, – вспомни, сестрица, вспомни, душевная моя.

– Не давала б я, Николаюшка, великого и страшного заручения, не ставила б за чужую душу в залог свою душу, ежели б не знала Дунюшки, – а иступленье, диким, дрожащим голосом сказала брату Марья Ивановна.

И, крепко стиснув руками грудь, со слезами на глазах, задыхаясь от непрерывных вздохов и сильных судорожных движений тела, стала она «выпевать»: («Выпевать» – в беспамятстве говорить с рифмами, импровизировать.).

– Высоко будет ходить во «святом во кругу» («Святым кругом» у хлыстов называется нечто вроде хоровода, исполняющего религиозные пляски.). Высока ее доля небесная, всем праведным будет она любезная. Велики будут труды, да и правильны суды...

Все встали. На Марью Ивановну «накатило». Она была в восторге, в иступленье, слово ее было «живое слово, святое, вдохновенное, пророческое». Всем телом дрожа и сжимая грудь изо всей силы, диким, но торжественным каким-то голосом запела она:

Изведет из темниц
Сонмы чистых девиц.
Привлечет в божий чин
Сонмы грешных мужчин.
Сам спаситель ей рад,
Возведет в вышний град,
Осенит святой дух
Ее огненный дух,
И на радость она
Будет богу верна.
Поручусь за нее,
И молюсь на нее,
То – невеста Христа,
Снимет нас со креста,
Силу вышнюю даст,
Благодать преподаст.

С поникшими головами и сокрушенным сердцем слушали Луповицкие сестрицу свою, затрубившую в трубу живогласную, возглашавшую златые вещания, чудоносные, цельбоносные (Трубой живогласною и златыми вещаниями, чудоносными, цельбоносными хлысты называют слова пророков, сказанные во время иступления.).

В изнеможение, без чувств упала Марья Ивановна на диван. Глаза ее закрылись, всю ее дергало и корчило в судорогах. Покрытое потом лицо ее горело, белая пена клубилась на раскрытых, трепетавших губах. Несколько минут продолжался такой припадок, и в это время никто из Луповицких не потревожился – и корчи и судороги они считали за действие святого духа, внезапно

озарившего пророчицу. С благоговеньем смотрели они на страдавшую Марью Ивановну.

Мало-помалу она успокоилась, корчи и судороги прекратились, открыла она глаза, отерла лицо платком, села на диван, но ни слова не говорила. Подошла к ней Варвара Петровна со стаканом воды в руке. Большими глотками, с жадностью выпила воду Марья Ивановна и чуть слышно промолвила:

– Еще.

Другой стакан подала Варвара Петровна, Марья Ивановна и его выпила, волнение стало в ней прекращаться, только грудь поднималась тяжело и порывисто.

«Живым словом» Марьи Ивановны была решена участь Дуни. Луповицкие с радостью согласились открыть ей всю «сокровенную тайну». В слове Марьи Ивановны и в постигшем ее после того припадке они видели явную на то волю Божию.

– Я пойду... разденусь... лягу в постель... – слабым, упавшим голосом проговорила Марья Ивановна, приподнимаясь с дивана. Варвара Петровна подхватила ее под руку и тихонько, с осторожностью повела едва передвигавшую ноги пророчицу.

В родительском доме в последнее время все дни с утра до ночи Дуня проводила с Марьей Ивановной, в Луповицах стала она неразлучна с Варенькой. Погода на ту пору стояла тихая, теплая, и обе девушки из сада почти не выходили, они бывали в доме только за обедом и за чаем. Постель Дуни на первое время поставили в Варенькиной спальне, пока не приготовили заезжей госте особой комнаты. Все это сделано было по желанию Марьи Ивановны. И во время прогулок, и по ночам, лежа в постелях, Дуня водила с Варенькой такие же разговоры, как прежде с Марьей Ивановной. Рассказы молодой девушки о таинственной вере нравились Дуне больше, чем рассказы Марьи Ивановны. Они были ей проще и понятнее. Иногда приходили к ним в сад и Варвара Петровна и Марья Ивановна, но всегда на короткое время. В совете Луповицких Дуня отдана была для вразумлений Вареньке, потому что эта ближе подходила к ней возрастом и потому могла иметь больше на нее влияния.

Однажды Варенька с Дуней, крепко обнявшись, сидели на уютном диванчике в обширной теплице, уставленной одними пальмами. Других растений в теплице не было. Говорили девушки о «союзе», к которому так неудержимо влеклась мечтательная Дуня.

– Варенька, я тебе еще, кажется, не сказывала, что Марья Ивановна обещалась мне здесь, в Луповицах, показать таких праведных, что говорят «живое слово», – сказала Дуня. – Теперь каждый день я ее спрашиваю, когда ж это будет, а у нее только и ответов: «погоди да погоди».

– А тебе хочется видеть их? – с улыбкой спросила Варенька.

– Господи! Да я бы жизнь отдала, только бы взглянуть на них, только бы одно «живое слово» услышать, – с живым нетерпением отвечала Дуня.

– Разве ты никогда не видала их? – улыбаясь, спросила Варенька.

– Где ж мне видеть их? – грустно промолвила Дуня... – Не такая жизнь выпала на долю мне. Не знаешь разве, что я выросла в скиту, а потом жила у тятеньки в четырех стенах. До знакомства с Марьей Ивановной о духовности и понятия у меня не было. Только она открыла мне глаза.

– А ты и не догадалась, что сама она «просветлена», что в ней самой дух Божий живет, что сама она вещает «глаголы живота»? – спросила Варенька.

– Как? Неужели? – в изумлении вскрикнула Дуня и порывисто вскочила с диванчика.

– Да, «просветлена», – сказала Варенька. – Она уж давно таинственно умерла и давно таинственно воскресла. Нет в ней греховного человека, нет в ней ветхого Адама. Не доступны ей ни грех, ни страсти, свойственные человеку.

Припомнила Дуня слова Марьи Ивановны о людях, что после таинственной смерти таинственно воскресают. Ее слова были памяты ей, в сердце носила их.

– Так в ней сам бог?... Так от нее от самой можно слышать слово вечной жизни? – воскликнула Дуня задрожавшим от волнения голосом.

- Да, она «труба живогласная», – молвила Варенька. – Она святая пророчица, устами ее дух волю свою вещает.
- А я и не знала... И в голову мне не приходило... – тихо опускаясь на диванчик, едва слышно промолвила Дуня.
- Чужому знать этого нельзя, – сказала Варенька.
- Зачем же она не сказала мне?... Зачем говорила, что увижу таких людей только здесь, в Луповицах?... – тоскливо говорила Дуня, не слушая Вареньки.
- Услышишь... И ее услышишь и других услышишь, – сказала Варенька. – В пророческом слове не одна она ходит.
- Кто же еще? – спросила Дуня.
- Дядюшка и еще другие, – ответила Варенька.
- Как? Николай Александрыч?
- Да. Силен в нем дух, сильнее, чем в тете Машеньке. Он ведь кормщик корабля, всем руководит. В нем давно уж нет своей воли, она вся попалена небесным огнем, совсем уничтожена. В нем одна только святая воля духа. Что б он ни приказал, чего б ни захотел, все исполняй, как божье повеленье. Что б ни сказал он, во всяком слове его премудрость божия. Слепым, что живут языческой жизнью в плене вавилонском, тем, что валяются в смрадной тине грехов, слова его, конечно, покажутся безумием. Но помни, Дунюшка, слово, сказанное в писании: «Безумное божие мудрее людей, и немощное божие сильнее человеков» (1. Коринф, 1-25.). Всякий кормщик такой, как дядюшка, что бы ни сделал, все свято сделал. Как бы его поступок ни показался скверным, даже незаконным, все-таки он безмерно выше, нравственнее и законнее высшей чистоты и праведности человеческой. Не кормщик так поступает, а живущий в нем дух. Читала ли ты преподобного отца Макария Египетского?
- Как же не читать? – отвечала Дуня.
- Вспомни, что говорит он: «Душа, которую дух, уготовляющий себе в престол и жилище, удостоит приобщиться его света, осияет неизреченною красотой его славы. Она сама вся становится светом, в ней не остается ни одной части, которая бы не была исполнена духовных очей». А со многими очами многоочитые кто?
- Херувимы, – сказала Дуня.
- Ну да, – подтвердила Варенька. – Так ты понимай, кому подобны божьи люди, особенно кормщики кораблей, одаренные духом сугубой благодатью. Макарий Египетский вот еще что говорит: «Не остается в той просветленной душе ничего темного, она вся делается светом и духом. Такие люди, соединенные с духом Божиим, делают подобными самому Христу, сохраняя в себе постоянно силы духа и являя для всех духовные плоды, потому что когда они духом соделаны чистыми и непорочными – то невозможно, чтобы вне себя приносили они плоды злые. Всегда и во всем являются у них добрые плоды духа» (Св. Макария Египетского «Беседа» I, п. 2, «Слово о любви», п. 7.).
- Долго ничего не могла сказать на это Дуня.
- Когда ж и где Николай Александрыч или Марья Ивановна говорят «живое слово»? Когда бы послушать их, Варенька?... – после долгого молчания спросила Дуня.
- Когда корабль соберется, когда властью и велением духа будут собраны люди божьи во едино место в сионскую горницу, – ответила Варенька, – если будет на то воля божия и тебя допустят посмотреть и послушать, хоть ты пока еще и язычница... Кто знает? Может быть, даже слово будет к тебе. Редко, а это иногда бывает.
- Ах, всем бы сердцем, всей бы душой я хотела войти в корабль, – с глубоким вздохом сказала Дуня.
- Покамест нельзя, Дунюшка. Вдруг никак невозможно, – отвечала Варенька. – Может быть, собрание-то, когда побываешь в нем, соблазнит тебя. Может быть, ты станешь избегать его, как греховного.
- Что ты, что ты, Варенька! – вскрикнула Дуня. – Я и так, кажется, довольно уж знаю... Сколько книг перечитала, сколько Марья Ивановна со мной говорила. Во все, во все верю, и всей душой стремлюсь к раскрытию «сокровенной тайны».

– Не говори так, Дунюшка, – прервала ее Варенька, – не говори с такой уверенностью. Скажала я тебе, что божие безумное премудрей человеческой мудрости, но ведь обыкновенные люди, язычники, в проявлениях духа видят либо глупость, либо юродство, либо даже кощунство и богохульство, кликушами божьих людей называют, икотниками да икотницами, даже бесноватыми

(Кликуши, на северо-востоке икотницы – люди, одержимые особым рода падучей болезнью, в припадках которой теряется сознание и больная (у мужчин эта болезнь бывает чрезвычайно редко) в корчах и судорогах беспрестанно икает либо кричит звериными голосами, изрыгая брань, ругательства и даже богохульство. Народ приписывает эту болезнь напуску от злых колдунов. Сами кликуши всегда почти выкликают, что такой-то испортил их. Считая эту нервную болезнь, истерику в самой сильной степени, за притворство, пробовали лечить баб розгами, иным это лекарство помогало, но в большей части случаев сводило больных в могилу.).

Когда явишься ты в среде малого стада, в сонме племени нового израиля, и божьи люди станут молиться на твоих глазах истинной молитвой, не подумаешь ли ты по-язычески, не скажешь ли в сердце своем: «Зачем они хлопают так неистово в ладоши, зачем громко кричат странными голосами?...»

А когда услышишь вдохновенные, непонятные тебе речи, не скажешь ли: «Безумие это, сумасбродство»?.. Мало того – не скажешь ли ты самой себе: «Это кощунство». Так всегда говорит про божьих людей слепой и глухой языческий мир, так, пожалуй, скажешь и ты, потому что ты язычника.

– Зачем же, однако, на молитве хлопать в ладоши? – с удивленьем спросила Дуня. – Помоему, это нехорошо. Так не водится.

– Псалтырь читывала? – спросила Варенька.

– Как же не читать? Училась по псалтырю. Чуть не весь знаю наизусть, ответила Дуня.

– Помнишь: «Восплещите руками, воскликните богу...» А дальше: «Взыде бог во воскликновении», – сказала Варенька.

– Псалом сорок шестой, в конце о сынех Кореовых, – промолвила Дуня и смолкла.

– Оттого люди божьи и плещут руками. Царь-пророк их тому научил. И восклицают они громкими радостными голосами хвалебные песни, – сказала Варенька. – То не забудь, что сам бог ходит при восклицаниях и в гласе трубном, то есть с пением, с музыкой. Тебе покажется это соблазнительным, потому что привыкла ты к мертвому богопочтению. У вас только поклоны да поклоны. Знай одну спину гнуть – и будешь спасен... Так ведь по-вашему? А у божьих людей не так, у них все тело, все члены его поклоны бьют. А когда увидишь, как это делается, – непременно соблазнишься...

– Что ж это за поклоны всем телом? – с напряженным вниманьем спросила у Вареньки Дуня.

– С первого взгляда похожи они на скачку, на пляску, на языческие хороводы, – ответила Варенька. – И если бы увидел язычник святое «радение» людей божьих, их, непременно назвал бы его неистовым скаканьем, богопротивною пляской. Но это «радение» к богу. Сказано: «Вселюся в них и похожду» – и вот, когда вселится он в людей своих, тогда и ходит в них. Божьи люди в восторге тогда пребывают, все забывают, землю покидают, в небесах пребывают.

– Как же это можно плясать на молитве? – сказала совсем изумленная Дуня. – Ведь это грех... Подумать так страшно...

– Службу на Пасху знаешь? – спросила Варенька. – Всю наизусть, ответила Дуня.

– «Богоотец убо Давид пред санным ковчегом скакаше, играя...» – помнишь? – спросила Варенька.

– Помню, – тихо в раздумье ответила Дуня.

– А в писании читала, как царь Давид плясал перед господом? – спросила Варенька.

– Что-то не помню, – ответила Дуня.

– Шел он в Иерусалим с кивотом божьим, скакал перед ним и играл. Мельхола, дочь Саулова, как язычница, над ним насмехалась, а он ей сказал: «Буду играть и плясать перед господом» (II Царств., гл. 6.). Теперь он в райских светлицах препрославлен, а она в адских муках томится, во власти божия врага.

Не отвечала Дуня. Поражена была она словами Вареньки. Та продолжала:

– Увидишь людей божьих, и мужчин и женщин вместе, в одних белых рубашках, с пальмами в руках – и тоже соблазнишься?.. А между тем тут тайна. Почему святых, праведных зовут «людьми божьими»? Потому что запечатлены они печатью бога живого.

– Об этом я в книге госпожи Гион читала, – молвила Дуня (Госпожа Гион. «Изъяснение на апокалипсис». Москва, 1821.).

– Ну да, – подтвердила Варенька, – и в апокалипсисе тоже есть. Там сказано: «Вот множество людей ото всех племен стоят пред престолом и пред агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветками в руках и восклицают громким голосом...» (Апокалипсис, гл. 7.) Потому люди божьи и «радеют» господу в белых одеждах с пальмами в руках... Конечно, не везде можно достать пальм – а у нас вот их целая теплица для того заведена. По другим местам вместо пальм вербы держат в руках, либо зеленые ветви от какого-нибудь дерева, не то белые платки либо жгутики... Вот отчего люди божьи молятся в одних белых рубашках... А тебе, пожалуй, и это за соблазн покажется. Не отвечала Дуня, погружившись в сильное раздумье.

– А когда услышишь, что восклицают в то время божьи люди, какие слова говорят и поют они – соблазнишься, непременно соблазнишься, – продолжала Варенька.

– Что ж такое они восклицают? – пытливым взором глядя на Вареньку, спросила Дуня.

– Они поют, – сказала Варенька. – Поют «песнь нову», и, кроме их, никто не может научить-ся ее петь, – прибавила она после короткого молчания. – Певцы те искуплены, они первенцы богу и агнцу... В устах их нет лукавства... Непорочны они пред божьим престолом... На них печать божия (Апокалипсис, гл. 7.).

– То же читала я в книге госпожи Гион, – сказала Дуня. – Я бы, кажется, услышавши такую песню, слушала ее не наслушалась.

– А все-таки она бы соблазнила тебя, – ответила Варенька, устремляя пристальный взор на Дуню. – Не забывай, милый друг, что ты еще пока язычница и что враг имеет над тобой полную власть. Он-то и вложит в твою душу нечистый помысл, он-то и скажет тебе, что «новая песня» – безумие... Но помни всегда, всегда помни, моя милая, желанная, что «безумное божие премудрей человеческой мудрости». Что, если услышишь ты в собрание божьих людей не тот напев, к которому привыкла в своих часовнях? Услышишь, что новые песни поются на голос мирских песен – хороводных, например, или таких, что пьяные мужики поют на гуляньях, либо крестьянские девки на посиделках, иной раз плясовую даже услышишь?

– Зачем же так петь? – в сильном смущении спросила Дуня. – Разве нельзя петь как следует?

– Можно бы, – ответила Варенька. – Очень бы можно, ежели бы новую песню пели, как у вас, бездушные кимвалы бряцающие. Но ведь на раденьях людей божьих не сами они поют, не своей волей, не своим хотеньем; дух, живущий в них, и слова песен, и напев им внушает... Опять-таки прежде тебе скажу, не знаю уж в который раз, помни слова писания: «Безумное божие премудрей человеческой мудрости»... Да, во всем, во всем у людей божьих для языческого греховного мира тайна великая. Люди божьи ежечасно славят творца, что дал им познать его тайны, – прибавила Варенька. – Утаил он тайны от премудрых и разумных, открыл младенцам своим неразумным!

– Какие ж это песни? Ты знаешь какую-нибудь? – спросила Дуня.

– Знаю, но далеко не все, – ответила Варенька. – Песен много – на каждом почти собрание новая бывает, и не одна, а сколько дух святой захочет, столько и дает их. Ведь это не то, что у язычников по тысяче лет одно и то же поется. Прислушались, и в старых песнях смысла не понимают. А и те песни святы, потому что в свое время и они внушены были духом же святым. У божьих людей новые песни поются по наитию духа, и никто не может навыкнуть петь эти песни, как сказано в писании... Но есть и старые песни, такие, что давно певались пророками и теперь по церквам и по вашим скитским часовням поются. Их тоже поют на собраниях люди, познавшие «тайну сокровенную».

– Если можно, богом тебя прошу, Варенька, спой какую-нибудь новую песню, – просила Дуня, крепко сжимая Вареньку в объятьях.

Немножко призадумалась Варенька, сказала, наконец:

– Изволь, так и быть, спою одну, но смотри, наблюдай за собой – не посеял бы враг соблазна

в твоём сердце.

– Нет, Варенька, нет. Не мне, самому богу поверь, что не соблазнюсь. Пой, Варенька, пой, – со страстным увлечением говорила Дуня. А сама так и млеет, так и дрожит всем телом.

Помолчала Варенька, потом ясным чистым голосом запела:

Бога человекам невозможно видети,

На него ж не смеют чины ангельские взирати.

– Да это и у нас поется, – сказала Дуня. – Напев только не тот. У нас этот тропарь поют на глас шестый. Не слыхала Варенька слов Дуни. Громче и громче раздавалась ее песня в теплице под сенью длиннолистных пальм.

Тобою, пречиста, дева благодатна,

К нам господь явился в плоти человека.

Люди не познали, что бог с ними ходит.

Над ним надругались – вины не сыскали,

Все не знали в злобе, что тебе сказать,

Рученьки пречисты велели связати,

На тебя плевали, венец накладали.

Отвели к Пилату, чтоб велел распяти,

А ты милосердый, терпеливый агнец,

Грех со всех снимаешь, к отцу воздыхаешь:

«Отпусти им, отче, – творят, что не ведут»,

Благообразный Иосиф упросил Пилата

С древа тело сняти, пеленой обвити,

На тебя глядевши, стал он слезы лить,

И во гробе нове положил, покрывши,

Зарыл тело в землю, камень положивши.

– Это псалма, – сказала Дуня. – Не эту самую, а другие такие же у нас по скитам поют, не в часовне только, а в келарне, либо в келье у какой-нибудь матери, где девицы на поседки собираются.

Не отвечала Варенька. Она уж пришла в восторг и, не слушая Дуни, продолжала:

Ныне наш спаситель просит отпущенья;

Плачем и рыдаем, на страды взираем -

Сокати святой дух царствовать на землю!..

Повелел спаситель – вам врагам прощати,

Пойдем же мы в царствие тесною дорогой,

Царие и князи, богаты и нищи,

Всех ты, наш родитель, зовешь к своей пище,

Придет пора-время – все к тебе слетимся,

На тебя, наш пастырь, тогда наглядимся,

От пакостна тела борют здесь нас страсти,

Ты, господь всемогущий, дай нам не отпасти,

Дай ты, царь небесный, веру и надежду,

Одень наши души в небесны одежды,

В путь узкий, прискорбный идем – помогай нам!

Злые духи тати ищут нас предати,

Идут в путь просторный – над нами хохочут,

Пышность, лесть и гордость удалить не хотят,

Злого князя мира мы не устрасимся,

Всегда друг ко другу, как птицы, слетимся...

Что же нам здесь, други, на земле делить?

У нас один пастырь, а мы его овцы.

Силен всем нам дати, силен и отнять,

Мы его не видим, а глас его слышим:

"Заповедь блюдите, в любви все ходите,
Во Христово имя везде собирайтесь.
Хоть вас и погонят – вы не отпирайтесь",
У пламя вы, други, стойте, не озябьте,
Надо утешати батюшку родного,
Агнца дорогого, сына всеблагого,
Авось наш спаситель до нас умилился,
В наших сокрушенных сердцах изволит явиться,
С нами вместе будет, покажет все лести,
Наших сил не станет тайну всю познати,
Надо крепким быти и всегда молиться,

Тогда и злодей всяк от нас удалится*. * Эта хлыстовская песня тоже принадлежит одному из участников общества Татариновой.

Пропев «новую песнь», Варенька склонилась на диванчик и долго оставалась в забытии. Слезы орошали бледные ее ланиты. Молчала Дуня, перебирая складки передника, и она погрузилась в какое-то особенное состояние духа, не то забытье, не то дремоту... Когда, наконец, Варенька пришла в себя, она спросила у нее:

– А в собраниях ваших крестятся ли?

– Как же можно без креста? – чуть слышно, слабым голосом проговорила Варенька. – Но ты и тут, пожалуй, соблазнишься, увидавши, как божьи люди крестятся. – прибавила она.

– Неужели шепотью? – тревожно спросила Дуня.

– Нет. Крестятся больше двумя перстами, но не одной рукой, а обеими, отвечала Варенька.

– Как обеими руками? Да разве это можно? – воскликнула Дуня.

– А что такое значит крестное знамение на молитве? Что такое значит самая молитва? – спросила Варенька.

– Кто ж не знает этого? – слегка улыбнувшись, молвила Дуня. – Молиться – значит молитвы читать, у бога милости просить.

– Молитва – возношение души к богу, – прервала ее Варенька. – Молитва – полет души от грешной земли к праведному небу, от юдоли плача к неприступному престолу господню. Так али нет?

– Конечно, – тихо ответила Дуня.

– А крестное знамение что значит в этом полете? – спросила Варенька

– Не знаю, как тебе сказать... – в недоумение ответила Дуня. – А как по-твоему?

– В полете к небу, паренье к огнезračному престолу творца крестное знамение крылья означает, – сказала Варенька.

– Да, и я, не помню, где-то об этом читала, – сказала Дуня. – Не в тех книгах, что Марья Ивановна советовала читать, а в отеческих... В «Цветнике» в каком-то или в «Торжественнике» – не припомню. Еще бывши в скиту, читала об этом.

– Ну хорошо, – молвила Варенька. – А где ж ты видала, чтобы птица летала одним крылом? Понимаешь теперь, почему божьи люди крестятся обеими руками?

Призадумалась Дуня. После короткого молчанья спросила она:

– Когда ж я увижу все это?

– Скоро, – молвила Варенька. – Твердо ли только решила вступить на путь праведных?

– Целый год об этом только и думаю, – с увлечением ответила Дуня. Сердцем жажду, душой алчу, умом горю, внутреннее чувство устремляет меня к исканию истины, – говорила она языком знакомых ей мистических книг.

– А знаешь ли, как горька и тяжела, как полна скорбей и лишений жизнь божия человека? – сказала Варенька. – Тесный путь, тернистый путь избираешь ты... Совладаешь ли с собой, устоишь ли против козней врага?.. А ведь он ополчится на тебя всей силой, только бы сбить тебя с пути праведных, только бы увлечь в подвластный ему мир, исполненный грехов и суеты...

– Не послушаю я наветов диавола... – начала было Дуня, но порывистым движением Варенька крепко схватила ее за руку.

– Не поминай, не поминай погибельного имени!.. – оторопелым от страха голосом она закричала. – Одно ему имя – враг. Нет другого имени. Станешь его именами уста свои сквернить, душу осквернишь – не видать тогда тебе праведных, не слышать ни «новой песни», ни «живого слова».

Смутилась Дуня, но, оправившись, сказала:

– Не знала я этого хорошенько.

– То-то, смотри, – молвила Варенька. – Не только не называй его, даже в мыслях не держи скверных имен его. Не то станет он в твоей душе сеять соблазны. Возбудит подозрение и недоверие... Будешь тогда навеки лишена ангельских лобзаний.

– Это что за ангельские лобзанья? – с живым любопытством спросила Дуня.

– Взаимные поцелуи божьих людей на собраниях. Эти лобзанья – великая тайна, – ответила Варенька.

– Как? И с мужчинами целоваться? – с испугом вскрикнула Дуня.

– У божьих людей, как у ангелов – нет ни мужчин, ни женщин, – сказала Варенька.

– Все-таки стыдно, – вся зардевшись, промолвила Дуня.

– Видишь ли? Враг-от не дремлет. Едва сошло с языка твоего прескверное его имя, он уж тут, он уж тотчас к тебе с соблазном подъехал, – сказала Варенька. – Люди божьи, друг милый, живут не по-вашему, не по-язычески. Они живут в боге, в них вселена благодать, мирским людям недоступная. Нет у них приличий, нет запрещений, ни закона нет, ни власти, опричь воли божией. И греха у них нет, потому что они умертвили его в себе. Все они братья и сестры одного святого семейства, живут в чистоте небесной, в ангельской свободе. В их поцелуях ни стыда нет, ни соблазна, ничего нет дурного. Ангельские лобзанья – славословие бога. Великая в них тайна. К духовному супругу ведут они.

– Скажи мне, Варенька, пожалуйста, что это такое «духовный супруг»? – с живостью спросила Дуня. – Слыхала я об нем от Марьи Ивановны и в книгах тоже попадалось, но не могу ясно понять, что это такое...

– О! еще шагу не ступивши по правому пути, ты уж захотела проникнуть в одну из самых сокровеннейших тайн, – улыбаясь, сказала Варенька. – Но так как ты хорошо подготовлена, то можно перед тобой хоть немножко приподнять завесу этого таинства. Видишь ли – один человек не совершен. Сам бог сказал: «Не добро быть человеку единому» – и создал Еву для Адама. Это было еще до греха праотцев. Первые супруги, созданные богом, были «духовные супруги», на всю вечность супруги. Грех, внушенный им от врага, все изменил в них. С тех пор супружество стало только временным, на одну лишь земную жизнь. Со смертью одного супруга обыкновенному плотскому, языческому браку конец, он не может продолжаться на веки вечные. А между людьми, умертвившими в себе грех и ветхого Адама, заключается такое духовное супружество, в каком праотцы жили в раю. Духовное супружество бессмертно, как человеческая душа. Оно не разрывается при освобождении души из созданной врагом темницы смертью, – смертью, как зовете вы, язычники, освобождение души от вражеских уз и плачете притом и рыдаете. А люди божьи смерти праведника радуются – потому что освободил его господь, вывел из смрадной темницы тела, созданного врагом... Поняла?

– Кажется, немного понимаю, – думчиво ответила Дуня. – Но как же вступают в эти духовные супружества?

– Разумеется, они не так совершаются, как браки язычников, – ответила Варенька. – Нет ни предложений, ни сватовства, никаких обрядов. Нет даже выбора. Сам дух указывает, кому надо соединиться, кому из двух составить одно. Тут тайна великая!.. Знаю я ее, испытала, но теперь больше того, что сказала, тебе открыть не могу.

Весь день после этого разговора Дуня была сама не своя. Много думала она о том, что узнала от Вареньки, мысли роились у ней, голова кругом шла. Почти до исступленья дошедшая восторженность овладела ею.

Меж тем Варенька рассказала Луповицким и Марье Ивановне о разговоре с Дуней. Вовлеченную в сети девушку на весь вечер оставили в покое одну – пусть ее думает и надумается.

– Кажется, овечка на пажить готова, – сказала Варвара Петровна. – Когда ее приведем?

– До привода надо ей побывать на соборе, – сказал Николай Александрыч. Да и не все вдруг обнаруживать.

– Кажется, завтра и Лукерьюшка из Маркова в богадельню придет, сказала Варвара Петровна. – Надо и ее уговорить. Кажется, в ней много и силы и духа.

У Варвары Петровны было большое хозяйство – скотный двор, тонкорунные овцы, огромный птичник, обширные, прекрасно возделанные огороды, а за садом возле рощи вековых густолиственных лип большая пасека.

Все было в таком порядке, что из соседей, кто ни взглянет, всяк позавидует. Полевое хозяйство в Луповицах также шло на славу, хоть и велось старинным трехпольным порядком и не было заведено хитрых заморских машин. Оба брата редко-редко, бывало, когда выедут в поле или на ригу, а меж тем ни у кого так хорошо хлеб не родится, хоть земля была и не лучше соседской. На садовые плоды тоже никогда почти не бывало неурожая, в реке и в озерах рыбы налавливалось чуть ли не больше, чем в целом уезде, о лесных порубках, потравах, прорывах мельничных плотин и слухов не бывало. Народ в имении Луповицких был хоть не богат, но достаточен. Все были богомольны, каждый праздник в церкви яблоку бывало негде упасть, воровства и пьянства почти вовсе не было, убийств и драк никогда. И ни малейшей от господ строгости. Все мужики, жены и дочери их барской грозы никогда не видывали, даже сурового слова от них не слыхивали. Луповицкие считали крепостных своих за равных себе по человечеству и, говоря с ними, звали их Иванушкой да Романушкой, Харламушкой да Егорушкой, а баб и девок – Маланыушкой, Оленушкой, Катеринушкой (Хлысты своих и тех из непосвященных, что по общественному положению ниже их, всегда зовут ласкательными полуименами.).

Завидовали Луповицким соседи и не могли придумать, отчего у них все спорится. Сами летом они каждый день с утра до ночи в поле, за всякой безделицей следят зорко, каждое яблоко у них на перечеете, а все ровно ветром метется – нейдет в прок, да и полно. И народ совсем иной у них, чем у Луповицких, избаловался донельзя, воров не оберешься, пьяниц не перечеешь, лень, нищета в каждом доме. А, кажется, все держится строго – всякая вина виновата. «Тут не без колдовства, – говаривали соседи про Луповицких, – отец, был фармазоном, зато на старости лет и в монастырь попал грехи замаливать. А что фармазонство, что чернокнижье – одно и то же. Пошло от колдуна Брюса и досель не переводится, проклятое. Сынки по стопам родителя пошли, яблочко недалеко от яблони падает, такие же фарماзоны. С бесами знают. Чему ж тут дивиться, что им удастся все? Сатана на послугах – а такого работника не всякий наймет... Зато каково-то будет им, как на том свете очутятся в лапах у теперешних работников! Другую песню запоют!» То особенно досадно было соседям, что Луповицкие при таком состоянии отшельниками живут – ни псарни, ни отъезжих полей, ни картежной игры, ни безумной гульбы, ни попок. Два-три раза в году зададут обед – и баста, а сами ни к кому ни ногой... Как ни досадовали соседюшки, как ни честили они Луповицких, а ихних обедов не пропускали. Хоть и противно было Луповицким, а все-таки сзывали они изредка соседей на кормежку – иначе нельзя, не покормишь – как раз беду накачают.

Рано поутру осмотрев хозяйство, Варвара Петровна с пасеки пошла в богадельню. Устроенная ею женская богадельня стояла в самом отдаленном углу сада и была обсажена кругом густым вишеньем. Только крыша виднелась из-за кустов, а окна совсем были закрыты вишневыми деревьями, оттого в комнатах даже и в летние дни был постоянный сумрак. Одна комната была во всю длину дома, и в ней, как в крестьянских избах, вдоль стен стояли скамьи. В переднем углу, как водится, киот с образами, рядом на стене «Распятие плоти»

(«Распятие плоти» – печатная мистическая картина, в особенности любимая хлыстами. Изображается распятый на кресте монах с замком на устах, с открытым сердцем в груди, в руках у него чаша с пламенем, а по сторонам диавол и мир, в виде вооруженного человека с турецкой чалмой на голове, стреляющего из лука в монаха, от его рта лента, на ней написано: «Сниди со креста». В Чернухинском ските на Керженце (поповщинского толка) было такое изображение, пи-

санное на доске; оно стояло в часовне в виде местной иконы.), «Сошествие благодати» («Излияние благодати» рисуется красками от руки, оно изображает отрока в белой рубашке с поднятыми к небу руками и очами. В небесах изображен окруженный ангелами святой дух в виде голубя, изливающий на отрока благодать в виде сияния и огненных языков.) и два портрета каких-то истощенных бледнолицых людей. Комната эта называлась «столовою», хоть в ней ни посуды, ни других домашних вещей не было видно. Сзади столовой, от конца дома до другого, был коридор, а из него двери в темные кельи. Их было семь, и в каждой жило по женщине. К богадельне примыкала пристройка, там быластряпушая, еще три кельи и множество чуланов.

Войдя в столовую, Варвара Петровна села у окна, и к ней медленным шагом одна за другою подошли семь женщин. Все были одеты в черные сарафаны и повязаны черными платками. Ни серег, ни даже медных пуговиц, обыкновенно пришиваемых к бабьим сарафанам, ни у которой не было. Четыре женщины были пожилые, три помоложе, одной по виду и двадцати лет еще нельзя было дать. У всех в лице ни кровинки, глаза тусклые, безжизненные, не было видно в них ни малейшего оживленья. Ровно мертвецы из своих могил пришли на поклон к Варваре Петровне.

Одна за другой подходя к барыне, они с ней целовались.

– Здравствуй, сестрица, – обращалась к каждой из них Варвара Петровна.

– Здравствуй, Варварушка, – каждая ей отвечала. Затем уселись на скамьях по ту и другую сторону от Варвары Петровны.

– Ну что, Матренушка, как тебя государь святой дух милует? – обратилась Варвара Петровна к сидевшей возле нее старушке.

– Милует, Варварушка, милует. В нем, государе, каждый день пребываю. Велика милость, голубушка, велика благодать! – поникнув головой, отвечала старушка.

– Что дочка твоя духовная? – спросила Варвара Петровна, с ласковой улыбкой взглянув на севшую одаль молоденькую девушку.

– Приобывает, Варварушка, приобывает помаленьку, другиня моя, отвечала Матренушка. – Нельзя вдруг – не сразу благодать-то дается... А скоро можно будет ее и к «приводу», – шепотом примолвила Матренушка, наклонясь к уху Варвары Петровны. – Совсем на пути, хоть сейчас во «святой круг» (Нечто вроде хоровода пляшущих или вертящихся хлыстов.), родимая.

– Доброе дело, спасённое дело, Матренушка, – отвечала Варвара Петровна. – Приведет господь, так дён этак через десять, что ли, разом двух приведем.

– Еще-то кого? – спросила Матренушка.

– А ту девицу, что гостит у нас, – сказала Варвара Петровна. – С Волги, купеческая дочь, молоденькая, еще двадцати годов не будет, а уж во многом искусилась, знает даже кой-что и про «тайну сокровенную».

– Не та ли, что с Марьюшкой приехала? – спросила Матренушка.

– Та самая, – ответила Варвара Петровна. – Сам Николаюшка долго к ней приглядывался и говорит: велик будет сосуд.

– Хорошее дело, Варварушка, дело хорошее, – сказала Матренушка. – А родители-то ее? Тоже пойдут по правому пути?

– Не пойдут, – отвечала Варвара Петровна. – Матери у ней нет, только отец. Сама-то я его не знаю, а сестрица Марьюшка довольно знает – прежде он был ихним алымовским крепостным. Старовер. Да это бы ничего – мало ль староверов на праведном пути пребывает, человек-то не такой, чтобы к божьим людям подходил. Ему бог – карман, вера в наживе. Стропотен и к тому же и лют. Страхом и бичом подвластными правит. И ни к кому, опричь дочери, любви нет у него.

Под эти слова растворилась дверь, и в столовую вошла молодая крестьянская девушка, босая и бедно одетая. Истасканная понева из ватулы и синяя крашенинная занавеска

(Понева в Рязанской, Тамбовской, Тульской, а отчасти и в Курской губерниях – юбка из трех разнополосных полотнищ. Ватула или ватола – самая грубая деревенская ткань в Рязанской, Тамбовской и Воронежской губерниях. Основа ватулы из самой толстой пряжи, уток – из скрученных льняных охлопков. Идет больше на покрывку возов, на подстилку и на одеяла. То же самое, что рядом или веретнем по другим местам зовется. Занавеска – передник с лифом и рукавами. Иногда, особенно у бедных, она прикрывает только зад и бока женщины.) были у ней заплаты раз-

ноцветными лоскутками. В одной руке держала она лукошко грибов, в другой – деревянную чашку с земляникой.

– Здравствуй, Лукерьюшка, здравствуй, родная, – приветливо молвила ей Варвара Петровна. – Как поживаешь, красавица?

– Все так же, – тихим, робким голосом сказала Лукерьюшка и, подойдя к Варваре Петровне, подала ей грибы и ягоды, примолвив: – Не побрезгуйте.

– Спасибо, родная, спасибо, – ласково ответила Варвара Петровна и поцеловала Лукерьюшку. – Поставь на скамейку, а уж зайди ко мне, я тебе за этот гостинец платочек подарю, а то вон у тебя какой дырявый на голове-то.

– Не жалуйте платка, Варвара Петровна, – с горькой, жалобной улыбкой сказала Лукерьюшка. – Тетенька отнимет, Параньке отдаст.

– Жаль мне тебя, сиротку бедную... Тяжело у дяди-то? – спросила Варвара Петровна.

– Как же не тяжело? – с глубоким вздохом молвила Лукерьюшка. – В дому-то ведь все на мне одной, тетенька только стряпает. Дров ли принести, воды ль натаскать, огород ли вскопать, корму ли коровушке замесить, все я да я.

– Что же нейдешь сюда, под начал к Матренушке? – спросила Варвара Петровна. – И сыта бы здесь была, и одета, и обута, и никогда работы на тебе не лежало бы.

– Этого мне никак сделать нельзя, сударыня Варвара Петровна. Как же можно из дядина дома уйти? – пригорюнившись, с нахмурившимися на глазах слезами, сказала Лукерьюшка. – Намедни по вашему приказанью попросилась было я у него в богадельню-то, так он и слышать не хочет, ругается. Живи, говорит, у меня до поры до времени, и, ежели выпадет случай, устрою тебя. Сначала, говорит, потрудись, поработай на меня, а там, даст бог, так сделаю, что будешь жить своим домком...

– Замуж прочит тебя? – спросила Варвара Петровна.

– Не знаю, что у него на разуме, – отвечала Лукерьюшка.

– А самой-то охота замуж идти? – спросила старая Матренушка.

– Где уж мне об этом думать! Кто нынче возьмет бесприданницу? – отвечала Лукерьюшка.

– И сыщется, так не ходи, – строго сказала Матренушка. – Только грех один. Путного мужа по твоему сиротству и по бедноте тебе не найти, попадется какой-нибудь озорник, век будет над тобой потешаться, станет пить да тебя же бить, ломаться над тобой: «То сделай да это подай, это не ладно, да и то не по-моему!»... А все из озорства, чтобы только над тобой надругаться... С пьянства да с гульбы впутается в нехорошие дела, а ты должна ему будешь потакать да помогать – на то жена. Узнают, раскроется дело – угодишь с ним, куда ворон костей не заносит... А в богаделенке-то не такая б тебе жизнь была. Была бы ты здесь человек божий, все бы тебя почитали, и денежки бы завелись у тебя, а работы да заботы нет никакой. Знай только молись да душеньку спасай.

Приздумалась Лукерьюшка. Хотелось ей привольной жизни, хотелось отдохнуть от тяжелой, непосильной работы у дяди.

– Дяденька-то не пустит, – со слезами, жалобно она промолвила.

– Пустит ли он даровую работницу! – сказала старая Матренушка. – Да ты пришта, что ли, к нему?... Какой он тебе дядя? Внучатным братом твоей матери доводился. И родства-то между вас никакого нет, хоть попа спроси, и он то же скажет. Сиротинушка ты одинокая, никого-то нет у тебя сродничков, одна сама, как перстик, – вот что... Как же может он насильно держать тебя на работе? Своя у тебя теперь воля... Набольшего над тобою нет.

– Не пустит, – чуть слышно промолвила Лукерьюшка.

– А как он не пустит-то? – сказала Матренушка. – Что у тебя пожитков, что ли, больно много? Сборы, что ли, долгие у тебя пойдут? Пошла из дому по воду, а сама сюда – и дело с концом... Да чего тут время-то волочить – оставайся теперь же. Барыня пошлет сказать дяде, чтоб он тебя не ждал. Как, Варварушка, по-твоему? – прибавила она, обращаясь к Варваре Петровне.

– Что ж? Это можно, – сказала Варвара Петровна. – Оставайся в самом деле, Лукерьюшка.

– Боязно мне, – вздрогнув, промолвила оторопелая девушка.

– Чего боишься?... Кого?... – вскрикнула Матренушка. – Дяди, что ли, али тетки? Так уж ска-

зано тебе, что нет у них над тобой власти. Плюнь на них, да и все тут.

– Прибьет тетенька-то... – шепотом сказала Лукерьюшка.

– Руки короткие – сюда не дотянут, – заметила Матренушка. – Ты то пойми, под чьей защитой будешь жить. Господа-то ведь сильнее твоего дяди.

– Скажет за хлеб за соль не заработала... – молвила Лукерьюшка, утирая рукавом слезы.

– Мало ль что скажут, да ведь на всякий сказ есть свой приказ, сказала Матренушка.

– Намедни как сказала я ему, что зовут меня в Луповицы за старушками в богадельню ходить, так и дядя и тетка так развоевались, что даже страшнехонько стало, – молвила Лукерьюшка. – «Судом, говорят, тебя вытребуем, никому, говорят, не уважим».

– Пустые речи, – молвила Матренушка. – Напугать только хотели. Не бойся, не выдадут. Так али нет, Варварушка?

– Конечно, не выдадим, – отозвалась Варвара Петровна. – Нечего в самом деле тебе, Лукерьюшка, слушать ихние угрозы. Ну еще в самом деле родной бы дядя был, а то и сродником-то он тебе не доводится.

– Грозится дядя-то: «Господам, говорит, своим стану жалобиться, чтобы взяли из Луповиц ихнюю девку», – сказала Лукерьюшка.

– Я у Оброниных тебя выкуплю – будешь моя, – молвила Варвара Петровна. С Оброниным, с Михайлом Григорьевичем, с барином вашим, в ладах живем.

– Чего ж тебе еще, глупенькая? – подхватила Матренушка. – Целуй ручку, благодари барыню-то, да и пойдем, я тебе местечко укажу. А к дяде и не думай ходить – вот что. Живи с божьими людьми; в миру нечего тебе делать. Здесь будет тебе хорошо, никто над тобой ни ломаться, ни надругаться не станет, битья ни от кого не примешь, брани да попреков не услышишь, будешь слезы лить да не от лиха, а ради души спасенья.

Колебалась Лукерьюшка, но когда все пристали к ней с уговорами, выхваляя богадельню, где нет ни холоду, ни голоду, есть во что одеться, есть во что обуться, а жизнь ровно у птицы небесной – о завтрашнем дне и помышленья не имей, она согласилась остаться.

Выйдя из богадельни вдвоем с Матренушкой, Варвара Петровна сказала ей:

– Приучай ее помаленьку, учи, испытывай...

– Будет она, Варварушка, на корабле, безотменно будет. Об этом, голубушка, не беспокойся. Скоро уготоваем девицу к божьему делу... – сказала Матренушка. – Когда собрание-то думаете сделать? – спросила она. – Надо бы поскорее. Ох, как бы надо-то – давненько уж я не радела.

– С той субботы на воскресенье, думаю, соберемся, – отвечала Варвара Петровна. – Приводи Лукерьюшку-то.

– Приведу, Варварушка, приведу, моя родная. Как не привести? Пущай приобькает... Прощай, голубушка, прощай.

– Прощай, – сказала Варвара Петровна и медленными шагами пошла в дом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кормщик корабля возвестил верным-праведным, что в ночь с субботы на воскресенье будет собор. С радостной вестью Варвара Петровна поспешила к своим богаделенным и велела им, готовясь к великому делу, пребывать в посте, молитве и душевном смирении. Велела в субботу, как только смеркнется, приходить ко вратам сионской горницы и пребывать там в благоговейном молчанье, пока не отверзнутся врата истинной жизни и не снимется завеса с сокровенной тайны. Наказывала Варвара Петровна Матренушке, приводила б она и Лукерьюшку, пусть ее поглядит, как радеют господа верны-праведные. Сказала Варвара Петровна про собор и двум своим наперсницам: старой ключнице Прохоровне, что за нею еще в няньках ходила, да Серафимушке, молодой, но невзрачной и сильно оспой побитой горничной Вареньки.

Сам Николай Александрыч объявил «сионскую весть» дворецкому Сидору Савельеву, что без малого сорок годов, еще с той поры, как молодые барчата освободились от заморских учителей, находился при нем безотлучно. Сказал Николай Александрыч и пасечнику Кирилле Егорову, старичку седенькому, приземистому, что принят был в корабль еще покойником Александром Фе-

дoryчем. Не часто «ходил в слове» Кирилло, зато грозно грехи обличал, громом гремел в иступленном восторге, в ужас и трепет всех приводил, в иное же время ни с кем почти не говаривал, редко кто слово от него слово от него слышал. Тих был и кроток, на все безответен, из пасеки ходу ему только и было – в церковь на каждую службу да в сионскую горницу на раденья.

За три дня до собранья призвал к себе Николай Александрыч конторщика Пахома Петрова. Был тот конторщик человек пожилой, немногим помоложе господ, грамоте знал, силен был в счетоводстве, вел книги по имению и служил правой рукой Андрею Александрычу по управленью деревнями. Целые дни корпел он в вотчинной конторе, но, ежели случалось послать куда-нибудь по делам, всегда его посылали; ловкий был человек, во всяких случаях находчив, умел обращаться с людьми, умел и дела обдeldывать с ними. Пахома рассылал Николай Александрыч и к божьим людям с вестями о днях, назначенных для раденья.

– Надо потрудиться, Пахомушка, – говорил он ему, – объезжай святую братию, повести, что в ночь на воскресенье будет раденье. В Коршунову прежде всего поезжай, позови матроса Семenuшку, оттоль в Порошино заверни к дьякону, потом к Дмитрию Осипычу, а от него в город к Кисловым поезжай. Постарайся приехать к ним засветло, а утром пораньше поезжай в Княж-Хабаров монастырь за Софронушкой.

– Не натворил бы он опять чего-нибудь, – молвил Пахом.

– А что?

– Да как в тот раз, – сказал Пахом. – В радельной рубахе к попу на село не побежал бы. Долго ль до огласки? И то, слышь, поп-от грозил тогда: «До архиерея, говорил, надо довести, что у господ по ночам какие-то сборища бывают.. и на них монахов в рубахи тонкого полотна одевают».

– Хорошенько надо смотреть за ним, с глаз не спускать, – молвил на то Николай Александрыч. – А без Софронушки нельзя обойтись, велика в нем благодать – на соборах ради его на корабль дух свят скоро нисходит.

– Не для словес на святой круг принимаем его, а того ради, что при нем благодать скорее с неба сходит.

– Говорит-то всегда такое непонятное – смущает иных, – заметил Пахом.

– Рассуждать о странных и непонятных словах, Пахомушка, нам с тобой не приходится, и смысла в них искать не следует, – молвил Николай Александрыч. Сказано: «Аще неблагоразумные, невразумительные значит, слова кто говорит на собрании верных языком странным и непонятным – как узнают, что он говорит? Будет он на воздух глаголющ...» А ежели я, или ты, или другой кто не понимаем странного языка, то глаголющий для нас все одно что иноязычный чужестранец. Как пойдем его? А что Софронушка угодное духу творит и угодное ему на соборах глаголет, так и об этом сказано: «Ежели кто в собрании верных на странном, непонятном языке говорит, не людям тот говорит, а богу. Хоть его никто не понимает, а он все-таки тайны духом говорит» (I. Коринф., гл.14.).

Сомнительно покачал Пахом головою и, немного помолчав, сказал Николаю Александрычу:

– К игумну-то письмецо, что ли, пожелуете? Без того не пустит.

– Как к нему писать? – молвил в раздумье Николай Александрыч. – Дело неверное. Хорошо, если в добром здоровье найдешь его, а ежели запил? Вот что я сделаю, – вложу в пакет деньги, без письма. Отдай ты его если не самому игумну, так казначею или кто у них делами теперь заправляет. А не отпустят Софронушки, и пакета не отдавай... А войдя к кому доведется – прежде всего золотой на стол. «Вкладу, дескать, извольте принять». Да опричь того, кадочку меду поставь. С пуд, хоть, что ли, возьми у Прохоровны.

И, подавая Пахому запечатанный пакет и золотой, Николай Александрыч примолвил:

– Отправляйся же. Покров божий над тобою!.. Молви конюху Панкратью, заложил бы тебе рыженькую в таратайку... Спеши, пожалуйста, Пахомушка. Завтра к вечеру жду тебя. А о Софронушке не от меня проси, Марья Ивановна, мол, приехала и очень, дескать, желает повидать его. Ее там уважают больше, чем нас с братом; для нее отпустят наверно...

И через час Пахом на рыженькой кобылке ехал уж возвещать божьим людям радость велию – собирались бы они в Луповицы в сионскую горницу, собирались бы со страхом и трепетом поработать в тайне господу, узреть свет правды его, приять духа небесного, исповедать веру истин-

ную, проникнуть в тайну сокровенную, поклониться духом господу и воспеть духу, и агнцу песню новую.

С поля на поле от Луповиц, в котловине, над безводной летом речкой раскинулась деревня Коршунова.

Еще за три часа до полудня Пахом был уж там. Проехав улицей в конце деревни, своротил он направо, спустился по косогору в «келейный ряд», что выстроен курмышом (Курмыш – ряд изб, построенных не улицей, а односторонкой на окраине селения, иногда даже за околицей. Келейным рядом в Нижегородской губернии и в соседних с нею зовут особый ряд избушек, вроде курмыша, где живут бестягольные, одинокие, солдаты, солдатки, а также вдовы и девки, склонные к отшельничеству, к иночеству, ко хлыстовщине.) возле овражка. Там остановил он свою рыженькую у низенькой, старенькой, набок скривившейся избушки. Ворота были заперты. Пахом постучал в окошко, отклика нет.

Бежит мимо девочка подросток с кузовками в руках.

Спрашивает у нее Пахом:

– Куда, красавица?

– В лес по грибы да по ягоды, – бойко отвечала ему девочка.

– Из коего дома? – спросил Пахом.

– У тетушки, у келейницы Катерины в сиротах живу, – молвила девочка.

– Семена Иваныча знаешь?

– Как не знать дедушки Семенушки? – улыбнулась девочка. – С тетушкой он в любви да в совете, в келью к нам похаживает, божественны книги почитывает.

– Что ж он? Ушел, что ли, куда из деревни? – спросил Пахом.

– На огороде работает, гряды полет. Завероти за угол-от, видно оттоль.

– Спасибо, девонька, спасибо, – молвил Пахом и, привязав рыженькую у ворот, пошел по указанью.

Над грядкой капусты наклонился восьмидесятилетний старик, седой как лунь, приземистый и коренастый. Полет он грядку, а сам что-то вполголоса напевает. То был отставной матрос Семен Петров Фуркасов. Тридцать лет с годом служил он в ластовых экипажах в Кронштадте и там вступил в корабль божьих людей. Много было тогда матросов, даже и офицеров, принявших тайну сокровенную. Сначала из любопытства хаживал в их собрании Фуркасов и в «братском обществе» (Так назывались сходбища хлыстов, бывавшие в Кронштадте, на Низкой Широкой улице, в доме Родионова.) сошелся с пророком Яковом (Яков Андреев Кушеровский, хлыстовский пророк – матрос, находившийся постоянно на вестях у корабельного мастера.) и был им увлечен в хлыстовскую веру. С Яковом Фуркасов ездил в Зеленецкий монастырь к старцам Пармену и Савватею (Зеленецкий монастырь в Петербургской губернии. В нем бывали хлысты, даже евнухи. Инок Савватий – в мире Софон Авдеев Попов, родом из Моршанского уезда, в молодости (в 1775 году) за сектаторство сеченный публично батогами и сосланный в Динаминд. Он с иноком Парменом увлек в секту самого зеленецкого архимандрита.), бывал с ними на сходбищах у Фролова в Царской Славянке (Царская (прежде Графская) Славянка близ Царского села. Там у купца Якова Фролова бывали хлыстовские сходбища.), у купца Ненастьева в Петербурге (В Басковом переулке. Дочь купца Ненастьева, Вера Сидоровна, была пророчицей и в ненастьевском корабле и у К. Ф. Татариновой.), а подружившись с пророком Никитушкой (Никитушка (Никита Иванов Федоров) – солдат, музыкант первого кадетского корпуса, был пророком сначала в корабле Ненастьева, а потом у Татариновой, где благодаря хлыстам из высокопоставленных лиц получал чины. И он и жена его за сектаторство сосланы были в новгородские монастыри.), был принят в сионскую горницу Татариновой. Там познакомился он со стариком Луповицким и с его женою. И когда генерал завел в Луповицах «дом божий», Фуркасов вышел в отставку и поселился на родине, в деревне Коршуновой, что была от Луповиц с поля на поле. Тут он сделался одним из самых первых участников

на соборах Луповицкого. Усердно радел на них престарелый матрос, и божьи люди надивиться не могли, как это он, такой дряхлый, с переломленной на государственной службе ногой, скачет, пляшет, кружится, ровно молоденький. «Свят дух укрепляет его, свят дух его водит», – говорили они.

– Христос воскрес! – сказал Пахом Фуркасову и поклонился ему до земли.

– Христос воскрес! – отвечал матрос и тоже до земли поклонился.

Сказал ему Пахом, зачем приехал. Ровно малый ребенок давно желанному гостинцу, обрадовался старый матрос.

– Пора бы, давно бы пора Николаюшке парусами корабль снарядить, оснастить его да в Сионское море пустить, – радостно сказал он Пахому. – Вот уж больше шести недель не томил я грешной плоти святым раденьем, не святил души на божьем кругу.. Буду, Пахомушка, беспременно буду к вам в Луповицы... Апостольски радуюсь, архангельски восхищаюсь столь радостной вести. Поклон до земли духовному братцу Николаюшке. Молви ему: доброе, мол, дело затеял ты, старик Семенушка очень, дескать, тому радуется...

– Тебе бы, Семенушка, в Луповицы-то накануне пожаловать. Переночевал бы у меня, голубчик... Поговорили бы с тобой, побеседовали, прославили бы Божию милость и чудеса господни, – сказал Пахом.

– Ладно, – ответил матрос. – Рад гостить у тебя, Пахомушка, рад и побеседовать, духом святым с тобой, духовный братец, утешиться. А теперь пойдем-ка в келью да потолкуем, сколько господь нам беседы пошлет.

Келья у Фуркасова была маленькая, но светлая и держалась чисто, опрятно. В божнице стоял литой из меди крест да три образа – спасителя, богородицы, Иоанна Предтечи. Под божницей лежали пять-шесть книг и небольшой запас восковых свеч. На стене «Распятие плоти».

Введя гостя в келью, Фуркасов накрыл стол скатерткой, поставил на нее деревянную чашку с медом, горшок молока да белый ровно снег папушник. Затем стал просить гостя преломить хлеб и, чем господь послал, потрапезовать.

– Много ль на соборе-то божьих людей чаете? – спросил за трапезой матрос у Пахома.

– Человек двадцать будет, а может, и больше, – ответил тот. – Домашних пятнадцать, ты, Семенушка, дьякона стану звать, Митеньку, Кисловых, в монастырь по Софронушку еду.

– Малится божие стадо, малится, – грустно покачав головой, промолвил Фуркасов. – Много больше бывало в прежние годы. С той поры, как услали родимого нашего Александрюшку, зачал наш кораблик умяляться. При Александрюшке-то, помнишь, иной раз святых праведных по пятидесяти и больше вкупе собиралось... В двух горницах зараз радели – в одной мужеск пол, в другой женский. А подула-повеяла погодушка холодная, пригнобила-поморозила зелен божий сад.

– Да, – с тяжелым вздохом молвил Пахом. – Великой злобой дышат духи поднебесные, злобные начальники, власти вражие, миродержатели тьмы века сего. Как противустать им в день лютой?.. Как их преодолеть?.. Как против них устоять?..

– И духом и умом надо молиться духу святому. Пой ему духом, пой и умом. Только тем и победишь злобу лукавого, – подняв седую голову, восторженно сказал Фуркасов... Ведь мы сыны света, Пахомушка, сыны дня, не стать же нам спать да дремать, как язычникам... Мы дети дня и света, они сыны ночи и тьмы... Их дело спать, нам же подобает бодрствовать и трезвиться... Тем только и победим врага, тем только миродержатель тьмы века сего и посрамится от светло сияющего зрака людей божиих... Со всех сторон видим козни супротивника, хочет он нас обокрасть, и аще возможет, то и погубить... Но не дает отец небесный в обиду своих детушек. Дарует милость, оградой оградит, покровом святым покроет нас...

С час времени беседовал Фуркасов с Пахомом, наконец они расстались. Резвая кобылка с конюшнями Луповицких быстро побежала в соседнее село Порошино. Там на поповке (Поповка – слободка близ церкви, где живет сельское духовенство. Если при церкви нет крестьянских домов,

а одни только поповские, поселок зовется погостом.), возле кладбища, стояла ветхая избенка дьякона Мемнона Панфилова Ляпидариева. Возле нее остановился Пахом Петрович.

Мемнон прежде служил в соборе уездного городка, потом за какую-то провинность был уволен за штат. В чем состояла провинность его, никто хорошенько не знал. Одни говорили, что владыка, объезжая епархию, нашел у него какие-то неисправности в метриках, другие уверяли, будто дьякон явился перед лицом владыки на втором взводе и сказал ему грубое слово, третьи рассказывали, что Мемнон, овдовев вскоре после посвящения, стал «сестру жену водить» и тем навел на себя гнев владыки. Близко знавшие Ляпидариева говорили, что все это неправда.

С архиереем Мемнон учился в одних классах. Прошли многие годы – вдовый дьякон служил себе да служил, а товарищ, его, постригшись в монахи и затем подвигаясь дальше и выше, сделался на родине владыкой. Сильно возрадовался тому Мемнон. Зароились в голове его золотые мечты, спит он и видит, как бы скорей повидаться со старым товарищем. Увидались наконец...

Мемнон был скор на язык, молвил владыке нечто неуютное, и с той поры черная полоса началась в его жизни. Его уволили за штат. В Порошине, где в прежние годы отец Мемнона был священником, оставалась ветхая его избенка. Там и поселился заштатный дьякон. Другой бы на его месте спился с кругу либо пустился во вся тяжкая, но он не упал духом. При веселом, шутливом и крайне беспечном нраве он относился к превратностям судьбы бесстрастно и оттого не знал ни горя, ни печали.

Прожив последние, что оставались от дьяконства, деньжонки, Мемнон должен был идти по миру; в это время об его судьбе узнали Луповицкие. Николай Александрыч, убедившись, что это был человек для него подходящий, звал его к себе, предлагая и стол, и квартиру, и все, что ему понадобится. Мемнон не согласился, но коротать время в беседах с Луповицким был рад, живал у них по неделям, беседуя о созерцательной жизни, о спасении души, об умерщвлении плоти и осыпая насмешками монашество, доставалось, впрочем, и белому духовенству.

Дал ему Николай Александрыч мистических книг, и пытливый ум Мемнона весь погрузился в них. Года через два пожелал он войти в общество сокровенной тайны и был «приведен». Со страстной пылкостью предался Мемнон учению людей божиих, усердно исполнял их обряды, но не всегда мог совладать с собой – нет, нет, да и отпустит какое-нибудь словечко на соблазн святым праведным. Все они, сами даже Луповицкие, смотрели на его выходки, как на юродство Христа ради, и нимало не соблазнялись. Привыкнув к дьяконству, Мемнон нередко нарушал заведенный на раденьях порядок пением церковной песни, а не то пустится в присядку во время раденья либо зачнет ругать, кто ему подвернется. Но и это люди божьи почитали юродством и в выходках Мемнона думали видеть неизреченную тайну.

Палит июньский зной. Солнце только что своротило с полудня и льет с безоблачного неба на землю обильные потоки ослепительного блеска и нестерпимого, жгучего жара. По всему Порошину тихо, безмолвно, ни ветерок не потянет, ни воробушек не чирикнет, ни ласточка не прощебечет. Душно, чуть можно дышать – все примолкло, все притихло. Облитые потом на утренней полевой работе, крестьяне, пообедавши чем бог послал, завалились часок-другой соснуть, кто в клетки, кто в амбаре, кто на погребнице. Высунув языки и тяжело дыша, приютившиеся в тени собаки ни одна не твякнет – все спят, свернувшись в кружок. Лишь изредка в какой-нибудь избе послышится слабый голосок сонного младенца и затем скрип оцепы зыбки – то полусонная мать укачивает своего ребенка. Издали по временам доносятся веселые клики, резкий хохот и пронзительный визг резвой, шумной гурьбы купающихся в пруде ребятишек. Изредка пропищит парящий в поднебесье ястреб; зорко следит он, не задремал ли где в прохладной тени оплошный, но годный на обед цыпленок. И на поповке все тихо, лишь из крайней, ближайшей к кладбищу избенки через растворенные окна несутся громогласные густые звуки здорового баса. Кто-то распевает духовное.

У той избенки остановился Пахом. Вошел в калитку, растворил ворота и, поставив рыженькую в тени крытого двора, по скривившемуся крылечку без перил и без двух ступенек вошел в тесную, грязную кельенку. Там, задрав ноги кверху и ловя рукой мух, осыпавших потолок и стены, лежал спиной на лавке, в одной рубаше, раскосмаченный дьякон Мемнон и во всю мочь распевал великий прокимен первого гласа: «Кто бог велий, яко бог наш...» Прерывал он пение только руганью, когда муха садилась ему на лицо либо залезала в нос или в уста, отверстые ради славо-

словия и благочестного пения.

– Христос воскрес! – входя в избенку, сказал Пахом.

– «Ты еси бог творяй чудеса!» – допел дьякон прокимен и, лениво привстав на лавке, молвил: – ну, Христос воскрес!.. Эку жару бог послал, яйца на солнышке в песке пеку. Вечор вкрутую испек на завалинке. Что хорошенького?

– Заехал навестить тебя, Мемнонушка, – сказал Пахом. – На воскресенье будет у нас собрание. Придешь, что ли?

– Приду, – ответил дьякон, – чаю давно не пивал. Скажи там: целый бы самовар на мою долю сготовили.

Новую песню зато вам спою. Третий день на уме копошится, только надо завершить.

– Та только песня богу угодна и приятна, что поется по наитию, когда святой дух накатит на певца, – сказал Пахом. – А что наперед придумано, то не годится: все одно, как старая, обветшавшая церковная песня.

– Зато выходит складней, – молвил дьякон. – Так в субботу приходить?

– В субботу, – ответил Пахом.

– Жарко, – молвил дьякон. – Хоть бы дождичка.

– Бог-от лучше нас с тобой знает, Мемнонушка, как надо миром управлять, в кое время послать дождик, в кое время жар, зной и засуху, заметил Пахом. – Не след бы тебе на небесную волю жалиться.

Не ответил дьякон, опять лег спиной на лавку, опять задрал ноги и, глядя в потолок, забасил церковную стихиру на сошествие святого духа: «Преславная днесь видеша во граде Давидове».

Сколько Пахом ни заговаривал с ним, он не переставал распевать стихиры и не сводил глаз с потолка. Посидел гость и, видя, что больше ничего не добьется от распевшегося Мемнона, сказал:

– Поеду я, Мемнонушка. Покров божий над тобою! Дьякон только рукой махнул.

Дальше погнал Пахом. Проехав верст пяток реденьким мелким леском, выехал он на совсем опаленную солнцем поляну. Трава сгорела, озимые пожелтели, яровые поблекли. Овод тучей носился над отчаянно махавшей хвостом, прядавшей ушами и всем телом беспрестанно вздрагивавшей рыженькой кобылкой... Но вот почуяла, видно, она остановку, во всю прыть поскакала к раскинувшемуся вдоль пруда сельцу всего-то с двенадцатью дворами. За тем сельцом виднелась водяная мельница, а повыше ее небольшая усадьба одинокого помещика, отставного поручика Дмитрия Осипыча Строинского.

В молодости служил он в 34-м егерском полку, а в том полку в двадцатых годах сильна была хлыстовщина. Стоя на зимних квартирах в Бендерах, Строинский, как сам после божьим людям рассказывал, впал в плотские грехи и, будучи с самых ранних детских лет верующим и набожным, вдруг почувствовал в себе душевный переворот. Полная страстей жизнь вдруг показалась ему гадкою, и он с ужасом стал вспоминать об адских муках, считая их для себя неизбежными. День ото дня больше и больше приходил двадцатилетний юноша в умиление, плакал горькими слезами, часто исповедовался, приобщался и, по наставлению духовника, решился совершенно изменить образ своей жизни. Наложил на себя пост, стал все ночи напролет молиться богу, не пропускал ни одной церковной службы. Товарищи над ним подсмеивались, осыпали набожность его колкостями. Строинский все сносил, все терпел, не возражая ни единым словом насмешникам и не входя с ними ни в какие рассуждения. Не утаилось это от солдат, стали они с большим уваженьем глядеть на молодого поручика.

Раз приходит к нему с приказом по полку известный набожностью вестовой. Разговорился с ним Дмитрий Осипыч, и вестовой, похваляя его пост, молитву и смирение, сказал, однако, что, по евангельскому слову, явно молиться не следует, а должно совершать божие дело втайне, затворив двери своей клетки, чтобы люди не знали и не ведали про молитву. Призадумался Строинский, сказал вестовому:

– Да ведь в церкви-то молятся же явно.

– Оттого, ваше благородие, внешняя церковь и не дает полного спасенья, – сказал вестовой. – Господь-то ведь прямо сказал: «Не воструби пред собою, яко же лицемеры творят в сонмищах и на стогнах, яко да прославятся от человек». Путь ко спасенью идет не через церковь... Это путь не истинный, не совершенный... Есть другой, верный, надежный...

– Ты назвал церковь внешнею. Разве есть другая какая-нибудь? – спросил удивленный Строинский.

– Есть, ваше благородие, – ответил унтер-офицер.

– Какая же это?..

– Внутренняя, ваше благородие, – ответил унтер-офицер.

– Хорошо, ступай, – приказал он унтер-офицеру, и тот ушел.

Смутил он поручика... С неделю Строинский ходил ровно в тумане. Достал Евангелие и увидал, что в самом деле там сказание о тайне молитвы и что установлена спасителем только одна молитва: «Отче наш». Поразили его слова евангелия: «Молящиеся не лишше глаголите, яко же язычники, мнят да яко во многоглаголании услышаны будут, не подобитеся им...» Яко же язычники!.. Яко же язычники!.. А у нас в церквах молитв сотни, тысячи, по целым часам читают да поют их. А что поют и что читают, не разберешь. Дьячок что барабанщик вечернюю зорю бьет. Яко же язычники, яко же язычники!.. Вот кто мы... Многие молитвы Христом отвержены, и мы язычникам подобимся, читая много молитв", – так рассуждал поколебленный в основе верований Строинский и послал за смутившим его унтер-офицером. Тот пришел. Завязалась новая беседа.

– Ты уверил меня, – сказал поручик. – Читал я Евангелие и увидел, что твои слова правильны... Но если церковью нельзя спастись, где же верный путь?

– Знаю я, ваше благородие, «путь прямой и совершенный», – молвил унтер-офицер. – Идя по тому пути, человек здесь еще на земле входит в общение с ангелами и архангелами.

– Где ж этот путь? Укажи мне его, – сказал удивленный словами нижнего чина поручик.

– Есть, ваше благородие, на земле люди святые и праведные... На них господь животворящий дух святой сходит с небеси, – сказал унтер-офицер. – Он пречистыми их устами возвещает всем спасение, а кто в сомненье приходит, чудесами уверяет.

– Где ж такие люди? – со страстным любопытством спросил Дмитрий Осипыч.

– Много есть таких людей, ваше благородие, – отвечал унтер-офицер. – В Бендерах есть такие, и в нашем полку есть, только все они сокровенны.

– Кто же в нашем полку? – спросил поручик.

– До времени не могу сказать о том, ваше благородие, а ежели решитесь вступить на правый путь, открою вам всю сокровенную тайну, – сказал унтер-офицер. – Господь утаил ее от сильных и великих и даровал ее разумение людям простым, нечиновным, гонимым, мучимым, опозоренным за имя Христово...

– Можешь ли довести меня до этой «сокровенной тайны»? – спросил Строинский. – Можешь ли поставить меня на верный путь ко спасению?

– Могу, ваше благородие, – отвечал унтер-офицер. – Могу, ежели дух святой откроет на то свою святую волю.

После этого разговора Строинский по целым ночам просиживал с унтер-офицером и мало-помалу проникал в «тайну сокровенную». Месяцев через восемь тот же унтер-офицер ввел его в Бендерах в сионскую горницу. Там все были одеты в белые рубахи, все с зелеными ветвями в руках; были тут мужчины и женщины. С венком из цветов на голове встретил Строинского при входе пророк. Грозно, даже грубо спросил он:

– Зачем пришел? Тайны разведывать? Хищным волком врываться в избранное стадо Христово?

Изумился Дмитрий Осипыч, узнав в пророке капитана ихнего полка Бориса Петровича Созоновича (Созонович – штабс-капитан 34-го егерского полка, в 1821 году был сослан за ересь в Соловки, где, кажется, и умер. Во время ссылки ему было всего 22 года.), молодого сослуживца, скоро нахватавшего чинов благодаря связям. Больше всех насмехался он над постом и молитвами Строинского, больше всех задорил его, желая вывести из терпенья. Наученный унтер-офицером,

Строинский с твердостью отвечал Созоновичу:

– Душу желаю спасти, а не тайну врагам предать, как Иуда... И сердцем и душой желаю вечного спасенья. Жажду, ищу.

– На то есть архиереи, на то есть попы и монахи, а я человек неученый, – возразил Созонович.

Но Строинский настаивал, чтоб допустили его на собрание, а потом и «привели» бы, ежели будет то угодно духу святому.

– Без надежной поруки того дела открыть тебе нельзя, – сказал Созонович. – Нельзя и в соборе праведных оставаться. Оставьте нас, Дмитрий Осипыч. Одно могу позволить вам – посмотрите, чем занимаемся мы, слушайте, что читаем... Кого ж, однако, ставите порукой, что никому не скажете о нашей тайне, хотя бы до смертной казни дошло?.. Наученный унтер-офицером, Строинский отвечал:

– Христа спасителя ставлю порукой.

– Хорошо, – сказал на то Созонович. – Но в нашем обществе должно ведь навсегда удалиться от вина, от женщин, от срамословия и всякого разврата. Можешь ли снести это?.. Если не можешь, тайна тебе не откроется.

На все согласился Дмитрий Осипыч и с клятвою дал обещание. Его допустили на беседу. Читали на ней «Печерский патерик», сказания о жизни святых, об их молитвенных подвигах, о смирении, самоотвержении и полной покорности воле божией... И сам Созонович и другие объясняли читанное, и Строинскому понравилась тайная беседа хлыстов. Чаше и чаще стал он бывать на их собраниях, узнал, что такое радение, и сам стал в скором времени скакать и кружиться во «святом кругу». С каждым днем больше и больше увлекался он новою верою... Но вдруг о секте узнали, началось дело, участников разослали по монастырям, до Строинского не добрались. Тяжко ему было оставаться в полку после удаления собратьев по вере...

Вышел он в отставку и поселился в маленьком имении своем, в сельце Муравьевке. Это было в то время, когда генерал Луповицкий, возвратясь из Петербурга, завел у себя корабль людей божиих. Строинский стал ежедневным и больше всех любимым гостем генерала, а когда старик попался, Дмитрию Осипычу опять, как и в Бендерах, посчастливилось. Его даже не заподозрили. С молодыми Луповицкими Строинский сошелся еще ближе, чем со стариком. Ни одного собора без него не бывало.

Маленький, чистенький, уютный домик Дмитрия Осипыча со всех сторон окружен был цветниками. Садоводство и музыка только и остались от прежних страстей у достигшего полного бесстрастия человека. Летом с утра до вечера проводил он в саду, долгие зимние вечера за роялью. И в летние ночи нередко из раскрытых окон его домика лились звуки Гайдна, Генделя, Моцарта, Бетховена; новой музыки Строинский не любил и говаривал, что никогда не осквернит ею ни своего слуха, ни пальцев. Вековые дубы и липы, густолиственные клены, стройные тополи и чинары во множестве росли в саду Строинского. Плодовые деревья всех возможных сортов разведены были его руками и содержались прекрасно. Но всего больше заботился Дмитрий Осипыч о цветах.

Целые рощи высокостволых розанов, красных, белых, желтых, бенгальских, чайных, моховых и центифольных, росли вокруг его домика, целые рабатки засажены были разнородными лилиями, нарциссами, тацетами, тюльпанами, гиацинтами. В трех теплицах содержались редкие растения, полученные большей частью из старинного луповицкого сада. Имея с маленького имения доход незначительный, Строинский больше половины его употреблял на растенья. Без страстей, без прихотей, ведя жизнь, подобную жизни древних отшельников, питаясь только молоком, медом да плодами и овощами, он почти ничего не тратил на себя. Одно еще доставляло ему утешение и удовлетворяло прирожденное чувство красоты и изящества, но оно ничего не стоило. По целым часам слушал он певчих птишек, а весной целые ночи перекликался с соловьями. Соловьи заливаются, а он отвечает им звуками рояля, и слезы, сладкие слезы ручьи текут из очей его.

Дмитрий Осипыч копался в цветниках, пересаживая из ящиков в грунт летники (Однолетние цветы.), как слышал конский топот и стук Пахомовой таратайки. Досадно ему стало, нахмурился. «Кому это нужно мешать мне?» подумал он, но, завидев Пахома, тотчас повеселел и радостно засмеялся, как смеется ребенок, когда после отчаянного, по-видимому, ничем неутешного плача

вдруг сделают ему что-нибудь приятное. Не этим одним Строинский походил на ребенка, младенческая простота его души и полное незлобие, детская откровенность, чистота души, не искажившейся в омуте праздных и суетных страстей, привлекали к нему всех, кто только ни знал его. С распростертыми объятиями пошел он навстречу Пахому.

– Христос воскрес! – радостно сказал он.

– Христос воскрес! – с ясной улыбкой отвечал Пахом. – Все в трудах, все за цветочками!

– Люблю, Пахомушка, цветочки, люблю, мой дорогой... Утешают они меня, сказал Дмитрий Осипыч. – Налюбоваться не могу на них. И, глядя на цветочки и любуясь ими, ежечасно славлю и хвалю творца видимых всех и невидимых... Как он премудростью своей их разукрасил!.. Истинно евангельское слово, что сам Соломон никогда не украшался столь драгоценными одеждами, как эти господни создания... Посмотри, какая свежесть красок, какая нежность в каждом цветочке... А запах!.. Это они, мои милые, молятся творцу всяческих, изливают из себя хвалебный фимиам, возносят к небесам его, как кадило, как жертву хваления.

– А все-таки суета! – едва слышно, но строго промолвил Пахом. Конечно, и цветы божья тварь, да все ж не след к ней иметь пристрастие. Душа, Митенька, одна только душа стоит нашего попечения.

– Да ведь и душа и цветы одного же создателя творенье. Не от врага же родились и древа и цветы, как невесту в брачный день украшающие землю, возразил Строинский. – Враг только злобу сеет, и потому все творенья его гадки, мерзки, противны... А взгляни на красоту этих цветочков... Разве они мерзки, разве противны?

Нет, Пахомушка, и в цветах и в плодах видится великая милость господня к нам. Любуешься на чистые, прекрасные его творения, а трудясь над ними до поту лица, как повелено первому человеку, с любовью лобызаешь край господней ризы...

– Нет, Митенька, не так говоришь, – возразил Пахом. – Особенно про невест да про брачные дни не то чтоб говорить, но и в помышление не след держать!.. Опречь души, что мы ни видим, что ни слышим, все от врага. Душа только дорога нам, тело и все ублажающее его – тюрьма души, темница, врагом согражденная.

Не любить, не ублажать надо эту темницу, а ненавидеть и всеми мерами сокрушать ее. По настоящему, человеку-то божьему не след бы и глядеть на видимый мир. Слеп и глух должен быть праведник ко всему тленному... Довольно с него заботы и о душе... И ту помоги бог упредить – а тут еще суета, мирские попечения, тщета плотской жизни – один только грех. Нельзя так, Митенька, нельзя, мой возлюбленный, ежели хочешь нескончаемые веки предстоять агнцу, пребывать на великой его брачной вечери и воспевать господа аллилуйю спасения, славу, честь и силу (Апокалипсис, гл. XIX.).

Не отвечал Дмитрий Осипыч – знал он, что упрямого Пахома не переспоришь. И Пахом замолчал, опустил в землю глаза, не соблазниться бы как-нибудь пышно расцветшими розами и душистыми пиониями.

– Что новенького? – после недолгого молчанья спросил у него Строинский.

– Сестрица Марьюшка приехала, девицу с собой привезла, купеческая дочь – кажется, желает на путь праведный стать. Приезжай в субботу, в ночь на воскресенье будет собрание. Повестить велел тебе Николаюшка, – сказал Пахом.

– Насилу-то надумал, давно бы пора, – молвил Дмитрий Осипыч.

– Приедешь?

– Как же не приехать! Жаждет душа духа святого, алчет небесной пищи и новых песен, – сказал Строинский. – Кого еще повещал?

– В Коршунове у матроса побывал, в Порошине у дьякона, от тебя проеду в город к Кисловым, а от них в монастырь за Софронушкой.

– Чайку не желаешь ли? – спросил Строинский, но Пахом отказался наотрез.

– Ехать пора, засветло, покамест у Кисловых спать не легли, надо в город поспеть, – сказал он. – Отдохну маленько у них, да пораньше и в монастырь. К вечеру завтра надо домой поспеть...

– Выпей хоть чашечку. Успеешь, – уговаривал его Дмитрий Осипыч.

– Нет, Митенька, не должно плоти угождать, когда творишь дело божие, сказал, выходя из

сада, Пахом. – Кстати ли чай распивать, когда не успел еще повестить всю братию?..

И, не слушая уговоров Строинского, спешно вошел в таратайку и крупной рысью погнал со двора. Дмитрий Осипыч к цветочкам воротился.

Среди необозримых, засеянных хлебом полей стоит уездный городок на речке, впадающей в Дон в его маловодных верховьях. В сухое время та речка совсем иссякает, и горожане испытывают всякого рода невзгоды и лишения от недостатка в воде. Хотя при каждом почти доме выкопан колодезь, но колодезная вода жестка и для варки пищи непригодна. Городок бедный, крыт соломой, по окраинам и в подгородных слободах Казачьей да Солдатской не в редкость и черные курные избы без трубы, с одним дымоволоком (Волоковое окно для выхода из избы дыма.). Улицы прямые, широкие, но от малого езды травой поросли. Тонут дома в зелени яблонных, вишневых и грушевых садов, а кругом города ни лесинки – степь, голая степь. В том городишке нет никаких промыслов. Опрочь попов да чиновников, горожане пахут землю, а зимой ездят в извоз, только тем и кормятся. Торговля в городке грошовая, с выгодой одной водкой торгуют. Ярмарок нет, базары плохие, непривычному худо живется в том городишке.

Солнце уже закатилось, когда приехал Пахом. Почти на самом краю городка, в самом укромном уединенном уголке, стоял обширный деревянный дом, обшитый тесом, выкрашенный дикой краской с девятью окнами по лицу. И дом и надворные строения были построены из хорошего леса, а это большая редкость в том краю. Был тот дом даже железом крыт, а это уж совершенная невидаль в таком городишке. Обширный плодовый сад за домом был без малого на трех десятинах. Урожай плодов бывал в нем обильный, и каждый год горожане от первого до последнего завидовали Степану Алексеичу Кислову, отставному почтмейстеру, хозяину того дома, и обкрадывали его сад без всякого милосердия. Напрасно бы Степан Алексеич стал хлопотать по начальству об опустошении его садов – земля бессудная. К тому же Кислов не охоч был до судов и тяжб. Кроткий и мирный, для всех безобидный нрав не позволял ему ни на кого жаловаться. Миротлюбием и смирением думал он обезоружить мелких врагов, но – воры и воришки в глаза насмехались над ним, больше и чаще опустошая его сад. И скоту Кислова порой доставалось; то барана, то теленка украдут, о курах да утках нечего и говорить, лошадей даже с конюшни сводили, и все оставалось без взысканья и наказанья. Тихоней горожане прозвали Степана Алексеича и открыто говаривали, что украсть у тихони и бог не взыщет и люди не осудят – тащи со двора, что кому полюбилось да под руку попало.

Кислов был старожилом в том городке: и отец и дед его служили там, сам Степан Алексеич, не выезжая из своего захолустья, выслужил Владимирский крест за тридцать за пять лет. С ранней молодости был он набожен и до страсти любил церковную службу, жизнь вел тихую, скромную, удаляясь от шумных соборий, где господствовали картеж да водка. За то его не любили, звали святошей, чуждались. Любимым обществом Кислова были духовные, но и те мало удовлетворяли пытливую его душу. Любимым чтением его были церковные книги.

Сначала читал он четьи-минеи, «Прологи», «Патерики». Сказания о древних пустынножителях, об их отвержении от мира сильно занимали Степана Алексеича, возвышали нравственные его силы, но не могли удовлетворить любознательности. Знал он, что в пустыне ему не жить, что проводить жизнь, подобную жизни отшельников первых веков христианства, теперь невозможно; знал и то, что подвиг мученичества теперь больше немыслим, ни страданий, ни смертных казней за Христа не стало. И начал Степан Алексеич смотреть на жития святых, как на любопытные сказанья. Зато стал углубляться в значение церковных песнопений, от одних умилялся душой, от других приходил в священный восторг; поэзия Дамаскина его восхищала. Но, слушая его песнопения в церкви, слушая чтение возвышающих душу псалмов Давида и молитв, сложенных древними учителями, Кислов доходил до отчаянья. Небрежность служения, мертвенность в духовной среде, господство одной внешности раздражали его и не давали покоя беспокойному и пытливому уму. Хотел доискаться всемирной истины, действительно спасительной веры, обращался с вопросами к

духовным, но они либо не понимали вопросов его, либо советовали ему не мудрствовать, а, положась на волю Божию, ходить усердно в церковь, чаще заказывать молебны да поднимать на дом иконы. Смеялись даже иные над ним, а искание истины называли ересью. Стал тогда Кислов углубляться в чтение священного писания, особенно Евангелия, – это подняло его нравственную силу и еще больше смягчило кроткий от природы нрав. А все-таки не мог он нигде сыскать духовного врача, ни от кого не мог услышать разумного слова. Тут он понял пословицу: «Бывали встарь сосуды деревянные, да попы, золотые, а ныне сосуды золотые, да попы деревянные». Неотвязная мысль, где же всемирная истина, неискаженная Христова церковь, мучительно тяготила Кислова. Тут познакомился он с Луповицкими и по их совету принялся читать мистические книги.

Кислову показалось, что эти книги все ему разъяснили. Дни и ночи проводил он за ними. Еще больше удовлетворяли его пытливість беседы с Николаем Александрычем. Прошло три года, и Степан Алексеич вошел в корабль Луповицкого. За ним пошла и жена его, тихая, добрая, кроткая женщина, примерная жена и мать, преданная церкви. С восторженной радостью ринулись Кисловы в секту, где все казалось им новым, истинным, святым; церкви не покинули, как и вообще все божьи люди ее не покидают. Усердней других исполняли они церковные обряды, чаще других приступали к таинствам, чаще других принимали попов для служенья молебнов и щедро им за то платили. Духовенство считало их лучшими примерными чадами церкви.

Дочь росла у Кисловых – только всего и детей было у них. Из нее, выросшей в набожной семье, вышла богобоязненная и богомольная девушка. Никогда никто не слыхивал, чтоб она громко говорила, смеялась или пела мирскою песню, никто не видал, чтоб она забавлялась какими-нибудь играми либо вела пустые разговоры со сверстницами. Угрюмая, молчаливая, сосредоточенная в самой себе, никем, кроме отца с матерью, она не была любима. Ее считали полоумной, ни на что не годной. Время проводила она за работой либо за книгами. Читала те же, что и отец с матерью, и оттого, будучи еще лет пятнадцати, стала стремиться к созерцательной жизни, желала монастыря. И мать и отец ее от того отговаривали, представляя жизнь монахинь вовсе не такою, как она думала. Что за жизнь в монастыре? – убеждала ее мать. – Один только грех. По наружности там добры, приветливы и снисходительны, готовы на всякую службу, благочестивы, набожны. А поживи-ка с ними, иное увидишь... Не внимала Катенька словам родителей. Случилось ей прогостить несколько дней в одном монастыре у знакомой монахини: там была она окружена такою любовью и внимательностью, провела время так приятно, что монастырь показался ей раем. Вспоминая о том, дни и ночи плакала она, умоляя отца с матерью позволить ей поселиться в какой-нибудь обители... Видя, что никакие убеждения не могут поколебать намерений дочери, Степан Алексеич сказал жене: «Отпустим, пусть насмотрится на тамошнее житье. Век свой после того ни в каком монастыре порога не переступит». Так и случилось. Полугода не выжила Катенька в честной обители. Послала к отцу письмо, слезно моля взять ее домой поскорее.

Болезненно отозвалась на ней монастырская жизнь. Дымом разлетелись мечты о созерцательной жизни в тихом пристанище, как искры угасли тщетные надежды на душевный покой и бесстрастие. Стала она приглядываться к мирскому, и мир показался ей вовсе не таким греховным, как прежде она думала; Катенька много нашла в нем хорошего... «Подобает всем сим быти», говорил жене Степан Алексеич, и Катеньку оставили в покое... И тогда мир обольстил ее душу и принес ей большие сердечные тревоги и страдания.

Вскоре после ее возвращения из монастыря был поставлен в городок на зимние квартиры гусарский полк. Постой большой, вовсе не по крохотному, бедному городку: квартир понадобилось много, и Степан Алексеич волей-неволей должен был принять к себе постояльца. У него в особом флигельке поселился красивый, с светским лоском молодой офицерик князь Рахомский, владелец восьмисот душ в одной из черноземных губерний. Приглянулась ему семнадцатилетняя Катенька, и он, помирая со скуки в уездной глуши, от нечего делать стал за ней ухаживать. Молоденькой, неопытной простушке трудно было устоять перед обаятельным красавцем – она полюбила его всем пылом сердца, еще не изведавшего любви. Зорко следили за ней отец с матерью, но не противились сближению ее с молодым человеком. "Что ж, – говорили Степан Алексеич с женой, – вступит ли она на правый путь, познает ли сокровенную тайну, еще неизвестно. Те ведь только праведны и святы, кого дух привлекает, а кто своей волей, не по избранию духа, входит в корабль,

повинен вечному осуждению.

А в Катеньке нет «движений духа». Будет ли еще она угодна на служение богу, кто ее знает? Если ж не будет это, пускай ее в миру остается... И тогда чего бы лучше, если б стала она богатой княгиней. При нашей старости и нас бы призрела. А князь, по всему видится, человек хороший, к подвластным справедлив и милостив, много потаенного добра он делает. И умен, и благочестив, и родство у него знатное. Вдруг наша дочушка станет княгиней, с царскими вельможами в родстве... А впрочем, буди во всем власть господня".

Сближались молодые люди. Сказал князь Катеньке, что любит ее, она тем же ему отвечала. Он хотел было идти дальше, но, кроме поцелуев, ничего не получил. Тогда стал он уверять Катеньку, что женится на ней, только что съездит в Петербург на короткое время. Катенька сказала о том отцу с матерью. Степан Алексеич завел с князем речь, князь смутился, но просил руки Катеньки. Согласие было дано, и князь с Катенькой стали женихом и невестой. Отъезд князя замедлялся; став в свободные отношения к невесте, молодой человек усилил исканья, но Катенька чиста и непорочна вышла из всех похаживаний с ним. Князь стал тревожен, сумрачен, осыпал невесту упреками и страстными своими порывами то и дело до слез доводил ее. Наконец, уехал, обещал через месяц воротиться и обвенчаться...

Получила от него два письма Катенька, одно другого холоднее; в последнем писал он, что раньше трех месяцев ему нельзя воротиться, и звал невесту в Петербург, обещая до свадьбы окружить ее такою роскошью, таким довольством, каких она и понять не может. По совету отца, Катенька отвечала, что приедет в незнакомый ей город не иначе, как с законным мужем. Ответа не было. Не прошло трех месяцев, как узнали о женитьбе князя Рахомского и об отъезде его с молодой женой за границу.

Когда узнала об этом Катенька, она вскрикнула, тяжело опустилась на стул и, сжав грудь ручками, затрепетала, как подстреленный голубь, но ни одного слова не молвила, ни одной слезинки не выронила. Вдруг быстро вскочила и бегом из дому. Едва успели оттащить ее от колодца. Три дня ни слова не сказала она, потом начались у ней припадочки падучей. Придя в себя, ничего не помнила, забыла и жениха. Прошлое исчезло для нее, как бы его совсем не бывало. Редко, редко вымолвит слово, все молчит, всегда в каком-то тяжелом раздумье.

Каждый отец, каждая мать убивались бы горем при таких страданиях дочери. Кисловы были им рады, ровно счастьем какому. «Открылись движения духа», – сказал Степан Алексеич, жена согласилась с ним, и оба благодарили бога за милости, излианные на их дочь. «Пророчицей будет во святом кругу», сказал Степан Алексеич. «Может быть, и богородицей!» – отвечала жена. И стали готовить Катеньку ко вступлению «на правый путь истинной веры»; когда ж привезли ее в Луповицы и она впервые увидала раденье, с ней случился такой сильный припадок, что, лежа на полу в корчах и судорогах, стала она, как кликуша, странными голосами выкрикивать слова, никому не понятные. Это людьми божьими было признано за величайшую благодать. Все стали относиться к Катеньке с благоговением, звать ее «златым сосудом», «избранницей духа», «божьей отроковицей».

Через неделю она была «приведена» и тотчас начала пророчествовать. И не бывало после того собрания людей божьих без участия в них Катерины Степановны. Прежде езжала она на соборы с отцом и матерью, но вот уж четыре года минуло, как паралич приковал к постели ее мать, и Катенька ездит к Луповицким одна либо со Степаном Алексеичем.

Приехал к Кисловым Пахом и, не входя в дом, отпряг лошадку, поставил ее в конюшню, задал корму, втащил таратайку в сарай и только тогда пошел в горницы. Вообще он распоряжался у Кисловых, как у себя дома. И Степана Алексеича и Катеньку нашел он в спальне у больной и вошел туда без доклада. Все обрадовались, сама больная издала какие-то радостные звуки, весело поглядывая на гостя.

– Христос воскрес, – сказал Пахом, входя в комнату.

– Христос воскрес, – отвечали и Степан Алексеич и Катенька. Больная тоже какое-то слово прошамкала.

– Как тебя дух святой соблюдает, Пахомушка? – спросил хозяин, когда приезжий уселся на стуле возле больной.

– Хранит покамест милостивый, – отвечал Пахом. – Слава в вышних ему!

– Давно ль из Луповиц? – спросила Катенька.

– С утра, – отвечал Пахом. – В объезд послан. Оповестить. Приезжайте. На воскресенье будет собрание. Ждать али нет?

– Будем, будем, – отвечал Степан Алексеич. – Как же не быть? И то давненько не святили душ.

– Лошадку-то я поставил к тебе на конюшню, Степанушка. Переночую у тебя, а только что поднимется солнышко, поеду в монастырь.

– К Софронушке? – спросил Кислов.

– Да. С собой возьму блаженного, ежели отпустят, – отвечал Пахом. – У тебя, друг, все ль по доброму да по-хорошему?

– Ничего. Все слава богу, – отвечал Степан Алексеич. – Хозяйка только вот нас с Катенькой сокрушает. Нет лучше, не поднимает господь.

Больная жалобно зашамкала, печальным взором взглянув на Пахома.

– Не испытывай, Степанушка, судеб божиих, – сказал Пахом. – Не искушай господа праздными и неразумными мыслями и словесами. Он, милостивый, лучше нас с тобой знает, что делает. Звезды небесные, песок морской, пожалуй, сосчитаешь, а дел его во веки веков не постигнешь, мой миленький. Потому и надо предать себя и всех своих святой его воле. К худу свят дух не приводит, все он творит к душевной пользе избранных людей, искупленных первенцев богу и агнцу.

Замолчал Степан Алексеич, благоговейно поникнув головою.

– Марья Ивановна не приехала ль? – спросила Катенька. – Ждали ведь ее в Луповицах-то?

– Приехала, Катеринушка, вот уже больше недели, как приехала, – ответил Пахом. – Гостейку привезла. Купецкая дочка, молоденькая, Дунюшкой звать. Умница, скромница – описать нельзя, с Варенькой водится больше теперь. Что пошлет господь, неизвестно, а хочется, слышь, ей на пути пребывать. Много, слышь, начитана и большую охоту к божьему делу имеет... Будет и она на собрание, а потом как господь совершит.

– Молодая, говоришь ты? – спросила Катенька.

– Молодая, – ответил он. – На вид и двадцати годков не будет. Сидорушка, дворецкий, говорил, что и в пище и в питии нашего держится, по-божьему, и дома, слышь, воздерживает себя и от мясного и от хмельного.

– Родители-то ее на пути? – спросил Степан Алексеич.

– Нет, – отвечал Пахом, – родитель у ней старовер и не такой, чтобы следовать по божьему пути.

– Откуда она?

– С Волги откуда-то. Там ведь Марьюшка-то наша купила имение, Фатьянку, где в стары годы божьи люди живали. Был там корабль самого батюшки Ивана Тимофеича.

– Наслышаны мы о том, Николаюшка сказывал, – молвил Степан Алексеич.

– Родитель нашей гостейки по соседству с Фатьянкой живет, – продолжал Пахом. – Оттого и знакомство у него с Марьюшкой, оттого и отпустил он дочку с ней в Луповицы погостить. Кажись, скоро ее приводить станут.

– Слава в вышних богу! – набожно промолвил Степан Алексеич. Катенька повторила отцовские слова.

После короткого молчанья Степан Алексеич, взяв с полочки книгу, сказал Пахому:

– Не почитать ли покуда? А после и порадеть бы для больной. Теперь при немощах ее редко ей, бедной, доводится освящать свою душу.

Согласился Пахом, и Степан Алексеич, раскрыв книгу, подал ее Катеньке. Та стала читать житие Иоасафа, индийского царевича, и учителя его, старца Варлаама.

После чтения началось пение и скаканье. «В слове ходила» Катенька. Придя в исступление, начала она говорить восторженно глядевшей на нее матери, а Степан Алексеич и Пахом, крестясь обеими руками, стали пред пророчицей на колени.

– Духом не мяться, сердцем не крушиться, – выпевала Катенька, задыхаясь почти на каждом слове. – Я, бог, с тобой, моей сиротой, за болезнь, за страданье духа дам дарованье!.. Радуйся, ве-

селись верна-праведная!.. Звезда светлая горит, и восходит месяц ясный, будет, будет день прекрасный, нескончаемый век!.. Бог тебя просветит, ярче солнца осветит... Оставайся, бог с тобою, покров божий над тобою!

И накрыла лицо больной платком, что был у ней в руках во время раденья.

Перецеловались все, приговаривая: «Христос посреди нас со ангелами, со архангелами, с серафимами, с херувимами и со всею силою небесною».

Один за другим с теми же словами поцеловали и больную.

Затем перешли в другую комнату, там уж давно кипел самовар. Чаю напились, белого хлеба с медом поели, молока похлебали. Солнце стало всходить, и Пахом пошел закладывать быстროную рыженькую. Не уснув ни на капельку, погнал он в Княж-Хабаров монастырь, чтобы к поздней обедне поспеть туда.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Княж-Хабаров монастырь был основан больше двух с половиной веков тому назад. Строен он был вскоре после ляхолетия одним из самых родовитых московских служилых людей, князем Хабаровым. Было у князя пять сыновей, но все они изгибли в смутное время московской разрухи. Трое честно пали в бою с людьми литовскими, четвертый живьем погорел, когда поляки Китай и Белый город запалили, а пятым перекинулся ко врагам русской земли, утек за рубеж служить королю польскому, и не стало вестей о нем. Говорили, что помер, говорили, что в латинство ушел и стал католическим монахом, а наверное никто сказать не мог.

Изводился старый славный род князей Хабаровых, один последыш в живых оставался – престарелый князь Федор князь Иваныч, что, будучи еще в молодых годах, под Казань ходил с первым царем Иваном Васильичем... Много было у князя Хабарова и вотчин и всякого добра – денег, дорогих уборов, золотой и серебряной посуды ни взвесить, ни сосчитать. А после смерти его некому тем богатством владеть – не оставалось ни рода, ни подродка, ни близких сродников, ни дальних. То пуще всего крушило князя Федора, то всего больше его печалило, что некому было приказать свою душу, некому по смерти его быть помянником... И то немало его сокрушало, что в грядущих поколениях забудется громкое имя князей Хабаровых.

Однажды князь Федор Иваныч рано проснулся. Утренняя заря еще не загоралась. И был ли то сон, была ли явь, сам он не знал того, – видит у своего ложа святолепного старца в ветхой одежде, на шее золотой крест с самоцветными камнями, такой дорогой, что не только у князя, да и в царской казне такого не бывало. И сказал неведомый старец: «Почто всеу мятешися, человеце, помышляя о тленных сокровищах? Кто дал тебе богатство, тому и отдай его». Услышав старцевы речи, помыслил князь: «Кто ж дал мне мои именья? То моя отчина, то моя дедина, как же я могу отдать их родителям, дедам и прадедам, в давних летех скончавших живот свой?» И едва помыслил, старец сказал: "Не от родителей, не от дедов и прадедов получил ты богатства: Христос дал их роду твоему, Христу и отдай их, ибо род твой переходит на земле... Монастырь согради на горе возле твоего села, согради его во имя Спаса милостивого, и не будет забвенно на земле имя твое, станут люди честную обитель звать Княж-Хабаровым монастырем.

И много за то будет тебе милостей от господя, егда предстанешь пред лицо его". И по сем невидим был старец, князь же, рассудя о видении, познал, что он от самого бога, и все исполнил по велению святолепного старца. Так писано в старых монастырских записях о начале Княж-Хабаровской Спасской обители.

Княжеское наследство сразу сделало тот монастырь одним из богатейших в России, братии было в нем число многое, строения все каменные, церкви украшены иконами в драгоценных окладах, золотой и серебряной утварью, златотканными ризами и всяким иным церковным имуществом. За трапезу меньше четырех яств, а за ужином меньше трех не ставили. Меды, квасы сыченые, пиво мартовское бочками в монастырских погребах во льду засекались. По праздникам на трапезе, oprичь водки, ставились и фряжские вина и всякие сладкие овощи: дыни, арбузы, яблоки, груши и сливы. Рыбу из Саратова да из Черкаска каждый год по первопутице целыми обозами в монастырь привозили. Во всем было обилие и довольство.

По времени упал монастырь. Набеги разбойников и нередко бунтовавших инородцев, нескончаемые поземельные тяжбы, а больше всего непорядки, возникшие с тех пор, как люди из хороших родов перестали сидеть в настоятелях обители всемилостивого Спаса, а в монахи начали поступать лишь поповичи да отчасти крестьяне отъем населенных не одною тысячею крестьян имений – довели строенье князя Хабарова до оскудения: затем в продолжение многих десятков лет следовал длинный ряд игуменов из поповичей, как всегда и повсюду, мало радевших о монастырских пользах и много о собственной мамоне и кармане. Тогда старинные сокровища были распроданы, и обитель вошла в неоплатные долги.

По такой рачительности поповичей, начиная с архиереев до последнего привратника, почти запустело строенье князя Федора княж Иваныча Хабарова. Прежде монахов считали сотнями, теперь их стало человек двадцать пять. Прежде, когда Княж-Хабаровым монастырем правили люди из хороших родов, призревалося в нем до сотни на войне раненных и увечных, была устроена обширная больница не только для монахов, но и для пришлых, а в странноприимном доме по неделям получали приют и даровую пищу странники и богомольцы, было в монастыре и училище для поселянских детей. И все это рушилось по милости жадных поповичей. Деньги, что шли на училище, велено архиереем доставлять в семинарию, в странноприимном доме срок дарового корма сокращался, а потом и совсем прекратился, больницу закрыли, перестали принимать увечных и раненых, потому-де, что монахи должны ежечасно проводить время в богомыслии, а за больными ухаживать им неуместно. Так угасли и былая слава и бывшее богатство обители, согражденной последышем в роде князей Хабаровых... Кутейники ее съели да пропили.

Правил тем монастырем честной старец игумен Израиль. Роду был, разумеется, поповского и сам попом прежде был, но потом волей-неволей должен был принять на себя ангельский чин. Ради насущного хлеба в монахи постригся, кстати ж был вдов и бездетен. Ловкий инок в гору пошел при новом владыке и через малое время был поставлен в игумены Княж-Хабарова монастыря. И вот уж лет двадцать доедает, допивает и в карман кладет скудные остатки богатств князя Хабарова. Четыре архиерея сидело при нем на владычном столе, и каждому из них отец Израиль приятен и весьма любезен был.

В Княж-Хабаровой обители жил рясофорный монах. Звали его отцом Софронием. Было ему лет за шестьдесят, а поступил он в монастырь лет десяти либо одиннадцати, будучи круглым сиротой. С детства нападала на него черная немочь: по часу и по два бьется, бывало, бедный, лежа на земле без памяти, корчит его и коробит, руки-ноги сводит судорогами. Такой ребенок был миру тягота, ни в работники взять, ни в солдаты отдать, одна маята с ним. Целой волостью кучились мужики игумну принять убогонького в монастырь, он-де ни на что не годен, разве только что богу молиться. Сложились мужики, поклонились, и был взят в монастырь полоумный. Когда мальчуган подрос, увидали монастырские поповичи, что польза из него может быть. Обительский приемыш не был чуток к холоду – в трескучие морозы босиком бегал, в одной рубашонке, и вел нескладные речи.

Вышел из него юродивый первого, самолучшего сорта. Хоть полоумных в монахи не постригают, но ради монастырской пользы его постригли и нарекли Софронием. С той поры приезжих богомольцев стало бывать помногу. Усердствующие с любовью и благоговеньем посещали блаженного Софронушку, а купчихи с дочерьми верст даже из-за двухсот и больше приезжали к нему за полезными словами и пророчествами. В купеческих семьях ни одной свадьбы не венчали без того, чтобы мать нареченную невесту не свозила прежде к блаженному узнать, какова будет судьба ее, не будет ли муж пьяница, жену не станет ли колотить, сударочек не заведет ли, а пуще всего не разорится ли коим грехом. Разболеется кто из богатых, тоже к Софронушке узнать, к животу али к смерти болезнь приключилась. Ребенок родится – едут к юроду проведать, будет ли жить, будет ли умен да счастлив. Затекает купец новое дело, без того не начнет его, пока не спросит Софронушку насчет удачи. От окрестных деревенских баб блаженному не было отбоя, то и дело лезут, бывало, к нему с вопросами: бычком али телочкой отелится коровушка, огурцы да капуста хорошо ль уродятся, выгодно ль на базаре масло да сметану баба продаст.

Софронушка когда коровой мычал, когда пел петухом, а иногда и человеческим языком бессмысленный вздор говорил. Но все это признавалось за пророчество, и жаждущие познания своей

судьбы, подумавши меж собой, оставались уверенными, что они понимают и мычание, и «кукуреку», и бессмысленные речи юрода. О будущем заключали даже по движениям Софронушки. Язык высунет – к худу, выберит кого, а лучше того если ударит – к счастью, свечку подаст либо деревянного масла – к покойнику, просвирку – к изобилию. Блаженный юрод иногда пропадал из монастыря по целым неделям. Чаще всего уходил он в соседний городок: там купцы наперебой его друг у дружки в лавки зазывали, – войдет Софронушка в лавку – счастье, с пользой, значит, будут в ней торговать. А ежели возьмет что в лавке Софронушка, не то чтобы деньги с него спросить, накланяются еще досыта за такую милость, руки и полы расцелуют, потому что если он хоть самую малость возьмет, значит хозяин весь залежалый товар поскорости с барышом распродаст.

Брал Софронушка пустяки – орехов с горсточку, два-три пряника, подсолнухов, пареной груши, и все раздавал уличным мальчишкам, а кому даст, того непременно за вихор либо за ухо. И это за благодать почиталось. Денег в руки никогда не брал. Ежели вздумает кто подать, благим матом закричит: «Жжется! ой жжется!» – и убежит сломя голову. Это очень не нравилось отцу Израилю – «зачем, – говаривал он юроду, – призревшая тебя обитель лишается достодолжной благостыни?» У себя в келье Софронушка только деревянное масло да восковые свечи принимал от приходивших узнавать судьбу. Иная купчиха, желая знать, кого она родит – сынка или дочку, пудовую свечу, бывало, с собой привезет, а невеста, что за судьбой приехала, и пять таких свечей притащит Софронушке. А блаженный все в церковь несет. И бывал от того Княж-Хабаровой обители немалый припен. Иные ревнители выпрашивали у отца Израиля Софронушку погостить к себе. Великим божьим благословением, несказанным счастьем почиталось, ежели он у кого в дому хоть ночь переночует, а с неделю прогостит – так благодати не огребешься, как говаривала благочестивая старуха, первостатейная купчиха Парамонова, век свой возившаяся с блаженными, с афонскими монахами, со странниками да со странницами. Отец Израиль много доволен бывал, ежели просили у него на время Софронушку – не даром ведь. Хорошей доходной статьей был юрод для обители.

Еще при жизни Александра Федорыча в Луповицах обратили на Софронушку внимание. Слышал генерал Луповицкий чуть ли не от самой Катерины Филипповны, что в старые годы у божьих людей и христос и апостолы бывали из юродивых. Таков был Иван Тимофеич, таков преемник его нижегородский стрелец Прокопий Лупкин, таков был и следовавший по стопам его загадочный человек, известный под именем лжехриста Андрюшки. В безумии несчастных, подверженных падучей болезни, божьи люди видели «златые сосуды благодати», верили, что в них святой дух пребывает, «ходит» в них и хождение свое припадками изъясляет. Ни мычаний, ни мяуканья юродов, ни их неразумных слов не понимали познавшие тайну сокровенную, но верили твердо, что люди, подобные Софронушке, вместилища божественного разума и что устами их говорит сама божественная премудрость. Они полагали, что присутствие таких людей в корабле ускоряет нашествие святого духа. Оттого в Луповицах и дорожили Софронушкой.

Когда Пахом подъезжал ко Княж-Хабарову монастырю, совсем уже обутрело, а с высокой колокольни благовестили к поздней обедне. Несмотря на давнюю запущенность монастыря, строения его были еще величественны. Кругом выведена высокая, толстая стена с огромными башнями и бойницами, не раз защищавшая обитель от бунтовавшей мордвы и других инородцев, что, прельщаясь слухами о несметных будто монастырских богатствах, вооруженными толпами подступали к обители и недели по две держали ее в осаде. Стены кой-где давно уж обвалились, зубцы давно пошли на выстройку бани, гостиницы и двух игуменских беседок, башни стояли без крыш... Построенные при царе Михаиле Федоровиче основателем монастыря, церкви были обширны, на них запечатлелась искусная рука знаменитого зодчего Возоулина, но они уж давно обветшали, обвалились, густо позолоченные главы собора облезли, черепица на других церквях и на высокой колокольне рассыпалась. Кельи, когда-то населенные не одной сотней монахов, теперь почти все пустовали. В них и в бывших училище, больнице, богадельне не было ни оконных рам, ни дверей, даже полы были выломаны. Печи разобраны, потолки провалились, а от крыш и следов не осталось. Обширный двор зарос бурьяном – на каждом шагу видно было запустенье.

Подъезжая ко святым воротам. Пахом увидел молодого, еще безбородого монаха. Сидел он на привратной скамейке и высоким головным голосом распевал что-то грустное, заунывное. При-

слушался Пахом к иноческому песнопению:

Не спасибо игумну моему,
Не спасение бессовестному:
Молодехонька во старцы постриг,
Камилавочку на голову надел...
Не мое дело к обедне ходить,
Не мое дело молебны служить -
Мое дело поскакать да поплясать,
Мое дело красных девок целовать!
Уж и четки-то под лавочку,
Камилавочку на стол положу...

– Дома ль отец игумен? – поверставшись с певцом, спросил у него Пахом.

– Дрыхнет, – отвечал монах и продолжал:

Я на стол положу, мою кралю подарю.

Я кралечку подарю, гулять в рощу с ней пойду.

Я в рощице нагуляюсь, со игумном распрошаюсь:

«Ты прощай, мой лиходей, с кралечкой мне веселей».

С кадочкой меда пошел Пахом в игуменские кельи. В сенях встретился ему келейник.

– Встал отец Израиль? – спросил у него Пахом.

– Встал. Чаи распивает с казначеем, – отвечал келейник.

– Нездоров, слышь, он?

– Была хворость, точно что была, больше двух недель держала его. Третьего дня, однако ж, поправился, – сказал келейник.

– Чем хворал-то? – спросил Пахом.

– Известно чем, – отвечал келейник.

– А можно к нему? – спросил Пахом.

– Отчего ж не можно! Теперь к нему можно, – сказал келейник. – Обожди минуточку – доложу. От господ али сам по себе?

– От господ из Луповиц, – молвил Пахом. – Доложи отцу Израилю: приказчика, мол, господа Луповицкие до его высокопреподобия прислали с гостинчиком.

– Ладно, хорошо, – сказал келейник и через несколько минут позвал Пахома к игумну.

Высокий, плотный из себя старец, с красным, как переспелая малина, лицом, с сизым обьемистым носом, сидел на диване за самоваром и потускневшими глазами глядел на другого, сидевшего против него тучного, краснолицего и сильно рябого монаха. Это были сам игумен и казначей, отец Анатолий.

Войдя в келью, Пахом помолился на иконы и затем подошел к тому и другому старцу под благословенье.

– Здоровенько ли, Пахом Петрович, поживаешь? – недвижно сидя на кожаном диване, ласковым голосом спросил отец Израиль. – Господа в добром ли здоровье? Что Николай Александрыч?.. Андрей Александрыч? Барыня с барышней?

– Все слава богу, – отвечал Пахом. – Кланяться приказали вашему высокопреподобию. Гостинчик извольте принять от ихнего усердия.

И, положив на стол золотой, поставил кадочку у дивана.

– Медку своих пчелок прислали, – промолвил Пахом.

– Спасибо, друг, спасибо. Пошли господа здоровья твоим господам, что не оставляют меня, хворого, убогого. А я завсегда ихний богомолец. За каждой литургией у меня по всем церквам части за них вынимают, а на тезоименитства их беспереводно поются молебны Николаю чудотворцу, святителю мирликийскому, Андрею Христа ради юродивому, Варваре великомученице. Каждый раз во всей исправности справляем. А как яблочки у вас в саду?

– Яблоки хороши, – отвечал Пахом. – Ежели до съема хорошо выстоят – большой урожай будет. И груш довольно и дуль...

– А вишенки? – спросил отец Анатолий.

– И вишен довольно, – ответил Пахом. – Слава богу, все уродилось.

– А у нас и на яблонях, и на вишенъе цвету было хоть видимо-невидимо, весь сад ровно снегом осыпало, а плода господь не совершил, – с сокрушенным видом, перебирая янтарные четки, сказал игумен. – Червяк какой-то зловердный напал, всю завязь, самый даже лист паутиной затянул. Так все и погибло – теперь редко-редко где яблочко, а вишен, почитай, вовсе нет. Молви, друг, Андрею-то Александрычу, по осени не оставил бы своих убогих богомольцев – прислал бы яблочков на мочку, сколько господь ему на мысли положит, да и вишенок-то в укусе пожаловал бы бочоночек-другой. А что, поди теперь у вас и дыни и арбузы?

– Есть, – молвил Пахом, – только не совсем еще дозрели.

– Станут дозревать, прислал бы Андрей Александрыч сколько-нибудь на утешение нашему убожеству, а мы всегдашние его богомольцы, – сказал отец Израиль. – Да медку бы свеженького, сотовенького со своей пасеки пожаловал. Прошлого года, по осени, владыка изволил наш монастырь посетить, так очень похвалял он соты, что Андрей Александрыч прислал мне. Чего ни видал, где ни бывал владыка, в шестой, никак, епархии правит теперь, – казалось бы, ничем его удивить нельзя. А изволил говорить, что такого меду в жизнь свою-де не кушивал. Какой-то, говорит, особый, с нарочито прекрасным запахом. Повелел он тогда мне доподлинно разузнать, отчего у вас такой мед выходит...

– Резеду вокруг пасеки-то сеют, дикий жасмин тоже насажен – пчела-то с них обножь (Обножь, также взятки, колошка, поноска – все что пчела собирает с цветов и уносит на ножках.) берет, – сказал Пахом.

– Ишь ты! – качнув головой, молвил игумен отцу Анатолию. – Для пчелы сеют особые травы, особые цветы разводят. Вот бы тебе, отец Анатолий, поучиться...

– Куда уж нам! – сказал казначей. – Пошлет господь и простенького медку, и за то благодарни суще славим великие и богатые его милости. Где уж нам с резедами возиться!.. Ведь у нас нет крепостных, а штатные служители только одна слава – либо калека, либо от старости ног не волочит. Да и много ль их? Всего-то шесть человек. Да и из них, которы помоложе, на архиерейский хутор взяты.

– Не моги роптать, отец Анатолий, – внушительно сказал ему Израиль. Воля святого владыки. Он лучше нас знает, что нам потребно и что излишне. Всякое дело от великого до малого по его рассуждению строится, и нам судить об его воле не подобает.

– Да я и не сужу, отче святой, – робко ответил отец Анатолий. – Как можно мне судить о таком лице, как божий архиерей? Ума достаточно не имею на то... к слову только про штатных помянул, говоря про наши недостатки.

– И того не держай, – рек игумен. – И к слову не моги поминать о владыке, разве только прославляя святую его жизнь, ангельскую кротость, душевное смирение, неумытное правосудие и иные многие архипастырские добродетели... Да... Повеждь людям о милостях, на нас бывших, о великой премудрости святителя... а ты вдруг про хутор да про штатных. Не годится, даже очень не годится. Одобрить не могу. О том помысли, что было бы, ежели б, коим ни на есть случаем, сведал владыка о таковых мятежных речах твоих? Похвалил бы тебя?... Ась?... Как думаешь, отец казначей?

Вскочил Анатолий и, припав к стопам игуменским, промолвил со слезами:

– Прости, отче святой. Не отринь покаяния. Прости великое мое прегрешение, прости мое неразумие и скаредную дерзость мою.

– Бог простит. Разрешаю и благословляю. Покаяние покрывает все грехи. Впредь не греши, отец Анатолий.

Встал казначей и облобызал игуменскую десницу. А Пахом все стоит перед монастырскими властями. Наконец, игумен сказал ему:

– Вот, друг мой, Пахом Петрович, молви-ка господам, сколько мне труда и заботы предложит по моей должности. Всякого научи, всякого наставь, иного ободри и похвали, иного же поначаль и в чувство приведи, а иного, по писанию, и жезлом, яко сына отец, поучи. Ох, любезненький ты мой, ежели бы господа дворяне знали нашу жизнь, много бы благоутробнее были до нашего убогого смирения... Рыбку-то с Дону привезут – не оставил бы Андрей Александрыч. До-

рога нынче рыбка-то стала, в сапожках ходит. Нашей обители, аще забвенна будет благотворителями, и в рождество Христово и в светло воскресенье без рыбной яствы придется за трапезу сесть... Едина надежда на христолюбцев. Молви, друг.

– Доложу, – ответил Пахом.

– Конек угас (Околел.) у меня по весне, любезный мой Пахом Петрович, мало повременя, сказал игумен. – А славный был коняшка, сильный, работающий. И что попритчилось с ним, ума не могу приложить. Должно быть, опоили горячего мошенники конюхи. На все был пригоден – в дорогу ль ехать, возы ли возить. И всего-то девять годков было ему. Теперь у меня на конном дворе всего шесть лошадок, без седьмой невозможно... Достатки скудные, денег ни копейки, а долгов, что грибов в лесу. Озарил наемни меня господь мыслию: стану, думаю, униженно просить я Андрея Александрыча, не пожалует ли какого-нибудь немудрого конька... Не могу наверно сказать тебе, любезный мой Пахом Петрович, а от старых иноков слышал я, что преславный боярский род господ Луповицких, по женскому колену, влечет племя свое от князей Хабаровых. Значит, господа твои сродственники приснопамятному зиждителю нашей обители. Возрадовал бы Андрей Александрыч преподобную душу по плоти своего сродника, ныне в небесных селениях пребывающего князя Феодора. Покучься, Пахом Петрович, не пожертвует ли от своих щедрот коняшку. Попомни, пожалуйста.

– Доложу, – молвил Пахом.

– Новенького нет ли чего у вас? – после недолгого молчанья спросил отец Израиль.

– Марья Ивановна приехала погостить, а больше того никаких нет новостей, – ответил Пахом.

– Ну вот! Впрямь приехала. Надолго ли? – спросил игумен.

– Не могу сказать.

– Не вздумает ли обитель нашу посетить? Давненько не жаловала, третий год уж никак... Поклон ей усердный от меня, да молви, отец, мол, игумен покорнейше просит его обитель посетить, – сказал Израиль.

– Доложу, – молвил Пахом. И, немного переждав, сказал: – Марья Ивановна, почитаячи отца Софрония, наказывала попросить у вашего высокопреподобия, отпустили бы вы его повидаться с ней.

Не сразу ответил отец Израиль. Нахмурился и принял вид озабоченный. Потом, не говоря ни слова, начал пальцами по столу барабанить.

– Ох, не знаю, что и сказать тебе на это, Пахом Петрович. Дело-то не совсем простое. Не в пример бы лучше было Марье Ивановне самой к нам пожаловать, здесь и повидалась бы она с Софронием. В прошлом году, как новый владыка посетил нашу обитель, находился в большом неудовольствии и крепко журил меня, зачем я его к сторонним людям пускаю. За ограду не благословил его пускать. Соблазну, говорит, много от него. Владыке-то, видишь, многие из благородных и даже из простых жалобы на него приносили – бесчинствует-де повсюду. Боюсь, Пахом Петрович, боюсь прогневить владыку. Он ведь строгий, взыскательный...

– Да ведь ежели, ваше высокопреподобие, отпустите отца Софрония, так я до самых Луповиц нигде не остановлюсь и назад так же повезу. А в Луповицах из барского дома ходу ему нет, – сказал Пахом. – Явите милость, Марья Ивановна крепко-накрепко приказала просить вас.

– Нет, друг, нельзя, – решительным голосом сказал Израиль. – Боюсь. Ну, как вдруг владыка узнает?.. Не тебя и не Марью Ивановну станет тазать. Так али нет, отец Анатолий?

– Известно, – молвил казначей, зевая всем ртом нараспашку и творя над ним крестное знамение.

– Видишь ли, – обратился игумен к Пахому. – Нет, друг, поклонись ты от меня благотворительнице нашей, Марье Ивановне, но скажи ей, что желания ее исполнить не могу. Очень, мол, скорбит отец игумен, что не может в сем случае сделать ей угодения... Ох, беда, беда с этими господами!..прибавил он, обращаясь к казначею. – Откажи – милостей не жди, сделаю по-ихнему, от владыки немилости дожидайся... Да... Нет, нет, Пахом Петрович, – не могу.

– Да ведь не на долгое время, ваше высокопреподобие. Пробыл бы он в Луповицах какую-нибудь неделю, много что две, – начал было Пахом.

– Ишь что сказал! – воскликнул отец Израиль. – А разве неизвестно тебе, что к отцу Софронию богомольцы частенько за благословеньем приходят. В две-то недели сколько, ты полагаешь, обитель от того получит?.. Мне от отца казначея проходу не будет тогда. Так али нет, отец Анатолий?

Вместо ответа казначей громогласно икнул и в строгом молчанье перекрестил уста свои.

Вынул Пахом из кармана пакет и, подержав его в руках минуты две, спрятал опять за пазуху.

– Это у тебя что? – любопытствовал отец Израиль.

– Нет, это так, – молвил Пахом. – Теперича, значит, оно не годится, – и, сказав засим: – Прощайте, ваше высокопреподобие, – подошел к благословению.

– Что за пазуху-то сунул? Письмо, что ли?.. – с живостью спросил игумен.

– Нет, это так... Пустое, значит, теперь дело, – молвил Пахом.

– Да что, что такое? – с нетерпением встав с места, сказал отец Израиль.

– Барышня Марья Ивановна приказала было отдать вашему высокопреподобию этот пакетец с деньгами, ежели отпустите отца Софрония, – сказал Пахом.

– Так ты должен мне отдать его, когда барышня приказала?.. Для чего ж не подаешь?.. Странно!.. – молвил игумен.

– Барышня приказывала отдать пакет, когда получу отца Софрония, а ежели не получу, велела деньги назад привезти.

– Гм!.. Вот что!.. Слышишь, отец, Анатолий? Отец казначей вместо ответа опять икнул.

– Что с тобой, отче?.. – спросил игумен.

– Со вчерашнего, – пробасил отец Анатолий.

– А-а! – протянул игумен.

– Кваску чрез меру испил... – молвил казначей. – Холодный, прямо со льду, а я был распотевши.

– Осторожней надо, отче, осторожней, – учительно промолвил отец Израиль. – Ты уж не молоденький, утроба-то обветшала.

– Точно, – заметил отец Анатолий и еще икнул на всю келью.

– Благословите, ваше высокопреподобие, на обратный путь, – сказал Пахом, подходя к игумену под благословенье.

– Постой, друг, погоди. Дай маленько сообразиться с мыслями, – сказал игумен Пахому, не подавая благословения. – Как бы это нам обладать по-хорошему? Отец Анатолий, как бы это?

– Мнение мое таково же, как и вашего высокопреподобия, – молвил казначей, сопровождая ответ свой икотой.

– Хоть бы водицы испил, – молвил игумен. – Слушать даже болезненно. Поди к келейнику – он даст тебе напиться. Да как стакан-от в руки возьмешь, приподними его да, глядя на донышко, трижды по трижды прочти: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его». Помогает. Пользительно.

Безмолвно поднялся с места отец Анатолий и, с поникшей главой и долу опущенными глазами, пошел из кельи. Молчал игумен, молчал и Пахом.

– Какое ж будет решение от вашего высокопреподобия? – спросил, наконец, Пахом.

– Не знаю, друг, что и сказать тебе, – покачивая в раздумье головой, сказал отец Израиль. – Дело-то опасное. Сам посуди! И обители изъян – ропот пойдет, молва меж братии. И Марье-то Ивановне желательно угодить и владычного-то гнева страшусь. «Ты, говорит, не смей Софрона никуда пускать». Так и сказал этими самыми словами. «И без того, говорит, много толков обносится про него, а читывал ли, говорит, ты „Духовный регламент“ Петра Великого? Помнишь ли, что там постановлено о ханжах и пустосвятах, а равно и о разглашении ложных чудес и пророчеств?..» Вот какие слова говорил владыка. Доложи господам, отец, мол, игумен рад бы всей душой, да опасается – в ответ не попасть бы.

– Так уж благословите меня, ваше высокопреподобие, в путь отправляться, – снова подходя к благословению, молвил Пахом.

– Да ты повремени, отдохни сколь-нибудь, – сказал Израиль, не подавая благословения. – Обожди маленько, обедня отойдет сейчас, в трапезу пойдешь, преломишь хлеб с братиею. Сам-то

я не совсем домогаю, не пойду, так отец Анатолий тебя угостит.

– Нет уж, увольте меня, ваше высокопреподобие, – сказал Пахом. – Надо к вечеру домой поспеть.

– Да ты не торопись... Ишь какой проворный, – тебе бы тяп-ляп, да и корабль. Скоро, друг, только блины пекут, а дело спехом творить только людей смешить. Так не подобает, – говорил игумен.

Под это слово воротился казначей. Ему облегчало, и он спокойно уселся на оставленное место.

– Как посоветуешь, отец Анатолий? – молвил ему игумен. – Не отпустить ли уж отца-то Софрония?..

– Все в вашей власти, ваше высокопреподобие, – сквозь зубы пробурчал казначей.

– Конечно, дело такое, что колется, – сказал отец Израиль. Страшливо... Однако ж и то надо к предмету взять, что нельзя не уважить Марью Ивановну – она ведь наша истая благодетельница. Как по-твоему, отец казначей, можно ль ей не уважить?

– Не уважить нельзя, – ответил отец Анатолий.

– И сам я тех же мыслей, – решил игумен. – Хоть маленько и погрешим, да ведь ни праведный без порока, ни грешный без покаяния не бывают на свете. Пушу я Софрона-то.

– Отчего ж и не пустить? – промолвил отец Анатолий. – Пускали же прежде.

– Так облегчись, отче, сходи за ним сам, собери его да приведи ко мне в келью, – сказал игумен. Поклонился отец Анатолий и пошел из кельи.

– Давай письмецо-то, – сказал игумен Пахому, как только вышел казначей.

Тот подал ему запечатанный пакет. Вскрыл его игумен – письма нет, только три синенькие. Нахмурил чело Израиль и, спешно спрятав деньги в псалтирь, лежавшую рядом с ним на диване, сказал вполголоса:

– Ох-ох-ох-ох-ох! На все-то теперь дороговизна пошла. Жить невозможно, особливо с этакой семейкой. А из братии никто и не помыслит попечиться о монастырских нуждах. Как встал поутру, первым делом кричит: «Есть хочу». А доходы умалились – благочестия в народе стало меньше, подаяния поиссякли. Не знаешь, как и концы сводить. Хорошо другим обителям: где чудотворная икона, где ярманка, где богатых много хоронится, а у нас нет ничего. А нужды большие... Великие нужды! Попомни, Пахом Петрович, об этом Андрею Александрычу. Сделай милость.

Воротился казначей с Софронием. Блаженный пришел босиком, в грязной старенькой свитке (Монашеская рубаха.), подпоясан бечевкой, на шее коротенькая манатейка, на голове порыжевшая камилавочка. Был он сед как лунь, худое, бледное, сморщенное лицо то и дело подергивало у него судорогой, тусклые глаза глядели тупо и бессмысленно.

– Кланяйся, проси благословения у отца игумена, – сказал Анатолий, нагибая голову юродивому. Софроний засмеялся, но игумен все-таки благословил его и поднес руку к губам юродивого. А тот запел:

– Глас шестый, подымай шесты на игумена, на безумена.

– Дурак так дурак и есть, – сквозь зубы проворчал отец Израиль. – Что сегодня делал? – обратился он к Софронию.

– Ничего, – заливаясь смехом, тот отвечал.

– Для чего ж не потрудились над чем-нибудь? – спросил игумен.

– Грех!.. Седни праздник, – молвил юродивый.

– Какой праздник?

– Седни праздник – жена мужа дразнит, на печь лезет, кукиш кажет – на тебе, муженек, горяченький пирожок! – нараспев проговорил Софроний и опять захохотал.

– В гости хочешь? – спросил Израиль.

– Харалацы, маларацы, стрень брень, кремь набекрень! – зачастил Софроний и потом высунул игумну язык. Игумен отвернулся.

– Запри его, отче Анатолий, покамест не срядится Пахом Петрович, сказал он. – В сторожку, что ли, на паперти. А то, пожалуй, еще забьется куда-нибудь, так целый день его не разыщешь.

– Да я бы сейчас же в обратный путь, ваше высокопреподобие, – начал было Пахом, но игу-

мен не дал ему и договорить.

– Нет, друг, нет... Уж извини... Этого я сделать никак не могу. Хоть монастырь наш и убогий, а без хлеба, без соли из него не уходят. Обедня на исходе, отпоют, и тотчас за трапезу. Утешай гостя, отец, Анатолий, угости хорошенько его, потчуй скудным нашим брашном. Да мне ж надо к господам письмецо написать...

Да вели, отец Анатолий, Софрония-то одеть: свитку бы дали ему чистую, подрясник, рясу, чоботы какие-нибудь. Не годится в господском доме в таком развращении быть. Раздались редкие удары в подзвонок (Подзвонок – самый маленький колокол, которым пономари начинают трезвон.).

– Ну, вот и братия в трапезу пошла. Ступай, отец казначей, угощай Пахома Петровича, а Софронию пищи в сторожку поставить вели, – сказал Израиль. – Да чтоб чинно в трапезе сидели. А мне ущицу сварить вели – молви отцу эконому, да хоть звено осетринки с ботвиньей, что ли, подали бы, яичек в смяточку да творогу со сливками и с сахаром, да огурчиков молоденьких, да леща свеженького зажарить, яичками начинил бы его повар, и будет с меня. Нemoжется что-то, за трапезу не пойду – поем келейно. Ну, бог вас благословит – ступайте со Христом...

После трапезы, получив от игумна письмо и благословенье, Пахом отправился с блаженным Софронушкой в Луповицы.

– Тебе бы привязать его к таратайке-то веревкой, не то, пожалуй, соскочит, – советовал отец Анатолий, провожая Пахома. Пахом не принял совета.

Приближался день, когда в луповицком корабле надлежало быть собору «верных-праведных». Ни возни, ни суеты, никаких приготовлений не было, все шло в доме обычной чередой. Блаженного сдали на пасеку под смотренье престарелого Кириллы. Николай Александрч наказал ему, глаз бы не спускал он с Софронушки, на одну пядь от себя не отпускал бы, чтоб опять чего не накуролесил. В прежние приезды немало от него бывало проказ: то собак раздражит, а они ноги ему искусают, то с песнию «яко по суху путешествова Израиль» по пруду пойдет шагать и очутится на тинистом дне. Однажды, вообразив себя Христом, вспомнил, что пора ему возноситься на небеса, и вознесся с балкона второго этажа – едва вылезли. С того вознесенья блаженный стал еще глупее, зато стали считать его еще премудрее. «Харалацы да маралацы», «стрень да брень» стали чаще исходить из его уст, а божьи люди говорили одно: «Безумное божие превыше человеческой мудрости».

Вечером в пятницу пришел старый матрос Фуркасов прямо в вотчинную контору. Хоть от Коршунова до Луповиц и трех верст не было, но Семен Иваныч с раннего утра шел почти до сумерек. Дорогой, что ни встретится ему живого на пути, надо всем-то он остановится и, не трогаясь с места, всем налюбуется. Жаворонок взовьется в поднебесье и начнет оттуда заливаться веселыми песнями, матрос замрет на месте, стоит ровно вкопанный, устремив взоры кверху и любуясь божьей пташкой. Заяц, заслышав шаги человека, порскнет из овсов к перелеску, присядет и, прядая ушами, начнет озираться – Фуркасов и на него залюбуется, стоит, пока косой не скроется из виду. Желтенькая стрекогузка (Стрекогузка, трясогузка, иначе мухоловка – двух видов: голубоватая и желтая motacilla. Прыгая, она беспрестанно трясет длинным хвостом своим.) запрыгает вдоль по дороге – он ни с места, чтобы не потревожить чуткую птичку.

Рано в субботу в легоньком тарантасике, один, без кучера, приехал Дмитрий Осипыч Строинский, а вслед за ним, распевая во все горло «Всемирную славу», пришел и дьякон Мемнон, с сапогами за плечьями, в нанковом подряснике и с зимней шапкой на голове. Он тоже у Пахома пристал и, только что вошел в контору, полез в подполье и завалился там соснуть на прохладе вплоть до вечера. Кислов с дочерью приехал поздно, перед самым собранием.

Часу в шестом Луповицкие с Дмитрием Осипычем поехали ко всенощной. Пошли в церковь и конторщик Пахом с матросом, и дьякон, и пасечник Кирилла с блаженным юродом. Пошли и богаделенки... Кисловы тогда еще не приезжали, а Марья Ивановна с Дуней остались дома. Не-

смотря на рабочую пору, церковь была полнехонька, точно в большой праздник. Особенно много было женщин. Разнеслось по селу, что Пахом привез блаженного, и все сошлись хоть поглядеть на него. Софронушка и в Луповицах пользовался всенародным уважением, и здесь его считали святым, принимая каждое слово юрода с благоговеньем.

Дьякон и матрос стали на крылосе дьячкам подпевать, а Софронушка к самому амвону подошел. Толпа расступилась перед ним, и он, усевшись середь церкви на полу, принялся грызть подсолнухи и кидать скорлупами в народ. Их тщательно подбирали и прятали. В кого бросит Софронушка – тому счастье. Кто удостоился такой милости, тот отходит в сторону, давая место другим, жаждущим благодати во образе подсолнушных скорлуп. Еще не отошла всенощна, как Софронушке вздумалось выйти из церкви. Стремительно вскочил он на ноги и, бормоча какую-то бессмыслицу, быстро побежал к выходу. Народ расступался, давая блаженному дорогу, и весь почти вышел за ним из церкви. На погосте сел юрод на свежую могилу, и тотчас бабы окружили его, осыпая вопросами насчет судьбы. Одадь стоявшая старушка, опираясь на клюку, набожно крестилась и в сердечном умиленье плакала радостными слезами.

– На светика на моего, на Самойла Иваныча сел! – говорила недавно схоронившая мужа старушка. – Хорошо, надо быть, другу моему советному на том свете у Христа, у батюшки! Веселится, знать, мой Самойло Иваныч во светлом раю! Недаром сел на могилку его блаженненький.

Молоденькая женщина лет двадцати подошла к Софронушке. Протягивает к нему исхудалого, чуть живого ребенка, а сама умоляет:

– Молви святое слово, батюшка отец Софрон, не утай воли божией... Будет аль не будет жить раб божий младенец Архипушка?

Вскочил блаженный с могилы, замахал руками, ударяя себя по бедрам ровно крыльями, запел петухом и плюнул на ребенка. Не отерла мать личика сыну своему, радость разлилась по лицу ее, стала она набожно креститься и целовать своего первенца. Окружив счастливую мать, бабы заговорили:

– Будет жив паренек, будет жив, родная! Молись богу, благодари святого блаженного!

Вынула молодница из-за пазухи бумажный платок и, с низким поклоном подавая его блаженному, молвила:

– Прими, батюшка отец Софрон, от всего моего усердия. Сделай милость, прими.

Софронушка взял платок, скомкал его и бросил в стоявшую неподалеку девушку.

– Замуж скоро выйти тебе, Оленушка, – заговорили бабы. – Готовь ручники (Ручник – полотенце. Ручниками просватанные невесты дарят жениховых поезжан.), сударыня!

Закраснелась Оленушка, взяла платок и спрятала дар праведного мужа.

– Советно ли с мужем-то будет жить? В достатке ли?... Молви, батюшка отец Софрон! – пригорюнясь, спрашивала, насилу пробившись сквозь толпу, мать Оленушки.

– А у дедушки Кириллушки пчелки-то гудят, гудят, колошки на ножках несут да несут, – запел блаженный и, не допевши, захохотал во все горло.

– В богатстве жить Оленушке, – заговорили бабы.

– Советно ли жить-то будут – не утай, скажи, батюшка отец Софрон!..приставала Оленушкина мать.

В это самое время сквозь толпу продрался мальчишка лет девяти. Закинув ручонки за спину и настежь разинув рот, глядел он на Софронушку. А тот как схватит его за белые волосенки и давай трепать. В источник голос заревел мальчишка, а юрод во всю прыть помчался с погоста и сел на селе у колодца. Народ валом повалил за ним. Осталось на погосте человек пятнадцать, не больше.

– Нишкни, а ты, Ермолушка, нишкни! – унимают бабы разревевшегося парнишку. – Бог здоровья даст, а вырастешь большой, ума у тебя много будет. Счастливый будешь, талантливый.

Парнишка не унимался, хоть и отец его с матерью утешали и приказывали не реветь, а в церковь идти да за великую благодать богу помолиться. Насильно увели мальчугана с погоста.

– А Оленушке житьецо-то придется, видно, не больно ахти, – говорили на погосте бабы. – Бить станет сердечную... Недаром блаженный Ермолке вихры-то натрепал.

– Вестимо, будет драчун, – говорили другие. – Ермолку на счастье блаженный потаскал, а

Оленушке горьку судьбину напороочил.

– Помните, бабы, как он Настасье Чуркиной этак же судьбу пророчил? – бойко, развязно заговорила и резким голосом покрыла общий говор юркая молодая бабенка из таких, каких по деревням зовут «урви да отдай». – Этак же спросили у него про ее судьбину, а Настасья в те поры была уж просватана, блаженный тогда как хватит ее братишку по загорбку... Теперь брат-от у ней вон какой стал, торгует да деньгу копит, а Настасьюшку муж каждый божий день бьет да колотит.

– А для че жену не поколотить, коли заслужила?... – с усмешкой молвил пожилой, мрачный и сердитый мужик. – Не горшок – не расшибешь!..

– А расшибешь, так берестой не обовьешь, – подскочив к нему, подхватила юркая бабенка. – Нам всем в заprimету, у всех чать на памяти, как мужья по две жены в гроб заколачивают. Теперь и на третьей рады бы жениться, да такой дуры не сыскать на всем вольном свету, чтобы за такого драчуна пошла.

– Смотри, егоза, не больно сорочи (Сорочить – резко болтать вздор или пустяки, язык чекать.), не то тако словцо при народе скажу, что до утра не прочихаешься, – огрызнулся драчливый вдовец.

– Како тако слово?... Како?... Говори, говори! – приставала бабенка да так начала на вдовца насакивать, что тот, не говоря худого слова, долой с погоста.

А Оленушка стоит пригорюнившись, а у матери ее на глазах слезы. Бабы их уговаривают, хотят утешить:

– Эх, Оленушка, Оленушка! Да с чего ты, болезная, таково горько кручинишься?... Такая уж судьба наша женская. На том свет стоит, милая, чтоб мужу жену колотить. Не при нас заведено, не нами и кончится! Мужнины побои дело обиходное, сыщница на свете хоть одну жену небитую. Опять же и то сказать: не бьет муж, значит не любит жену.

Не утешили уговоры Оленушку, не осушили они глаз ее матери.

А на селе у колодца вокруг юродивого такой сход собрался, что руки сквозь людей не просунуть. Все лезут к Софронушке про судьбу спросить, а иным хочется узнать: какой вор лошадушку свел со двора, кто новину (Новина – крестьянский суровый холст.) с луга скрал, кто буренушке хвост обрубил, как забралась она в яровое, какой лиходея бабу до того испортил, что собакой она залаяла, а потом и выкликать зачала. Бабы и руки и одежду у отца Софрона целовали. До того были усердны, что вздумали, во что бы ни стало, волосиков с блаженного добыть – пользительны, слышь, очень они, ежели водицы на них налить и той водицей напоить недужного. И до того бабы усердствовали, что блаженный крепился, крепился да как заорет во всю мочь. Насилу вытащили его из толпы дворецких с Пахомом и отвели из села в безопасное место – на пасеку. Бабы тем недовольны остались...

Увели блаженного, и все разошлись по домам. Дослушивать службу в церковь никто не пошел. Большухи (Большуха – старшая в семье женщина.), возвратясь домой, творя шепотом молитву, завертывали в бумажку либо в чистый лоскуток выплюнутые Софронушкой скорлупы, а те, что сподобились урвать цельбоносных волосиков со главы или из бороды блаженного, тут же их полагали, а потом прятали в божницу за иконы вместе с хлопчатой бумагой от мощей, с сухим артосом, с огарком страстной свечи и с громовой стрелкой (Артос – по-гречески, кислый хлеб. У нас артосом, или артусом, зовут хлеб, носимый на Пасху вокруг церкви, а в субботу святой недели раздаваемый народу. Страстная свеча – с которою стояли за Церковными службами вербного воскресенья, великой пятницы, великой субботы и светлого воскресенья. Громовая стрелка – пальчатая сосулька, образовавшаяся от удара молнии в песок, часть которого мгновенно расплавилась. Также – белемнит, окаменелый допотопный червь. И то и другое зовется также чертовым пальцем.).

В каждом доме за ужином только и речи было, что про батюшку отца Софрона – припоминали каждое его слово, каждое движение, и всяк по-своему протолковывал, что бы такое они означали. Поужинавши, спать легли – кто в клети, кто на сеновале, кто на житнице, а кто и на дворе в уголку, либо на матушке на сырой земле в огороде... А в избах пусто. Жарко уж очень и душно, там никак не уснешь.

Сильней и сильнее темнеет, тихий безоблачный вечер сменяется такою же тихою, теплою,

душною ночью. Луны нет, на бледно-сером небесном своде кой-где мерцают звездочки, а вечерняя заря передвигается с солнечного заката к востоку. Пала роса, хоть не очень обильная, но все-таки благоухание испарений с душистых трав и цветов наполнило воздух. Душно. Парит от долгой засухи, скоро, видно, дождет народ православный божьей благодати – грозы с дождем. Без того совсем беда, яровые пожелкли, озимый колос не наливался – травы выгорели. Чего уж ни делали православные! И молебны-то пели, и образа-то поднимали, и по полям со крестами ходили, и попов поили, кормили, – а все господь не шлет дождичка, что хочешь делай... По небесным закряям поминутно вспыхивает зарница. Быть грозе, быть дождю...

Сослал господь с тихого неба на шумную землю покой безмятежный. Ходит сон по селам, дрема по деревням: ни ближнего говора, ни дальнего людского гомона не слышно. Все затихло, все замолкло; лишь кузнечики тянут неугомонные свои песни, перепела во ржи перекликаются да дергач (Дергач, иначе коростель – болотная птица, средняя между перепелом и водяной курочкой. *Rallus hex.*) резким голосом кричит на болоте.

Изредка собаки ни с того ни с сего поднимут бестолковый лай. Померещится кудлашке, что чужой на дворе, тьякнет раз, тьякнет другой, третий, и по всем дворам поднимается лай. Налаявшись досыта, один пес, опустив хвост, уляжется, бурча понемножку, зевнет и заснет. За ним и другая и третья собака, и опять на селе мертвая тишина, и опять нигде ни звука.

Спит село, а в барском доме глаз не смыкают. В ночной тиши незримо от людей нечто необычное там совершается.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В нижнем этаже барского дома, под той самой с мраморными стенами залой, что так понравилась Дуне в день ее приезда, была точно такая же обширная комната, хоть и не так разукрашенная. Никогда не отпиралась она, и ключ от нее всегда был в кармане у Николая Александрыча. Дневной свет не проникал в ту комнату, толстые ставни, вделанные в окна, не отворялись. Во время оно у генерала Луповицкого до перемены его бывало тут беспросыпное пьянство, и туда по бурмистрову приказу десятками приводили разряженных девок и молодежи... Теперь она зовется «кладовою», хоть ни старых, ни новых домашних вещей и никакого хлама в ней нет.

Это – сокровенная сионская горница. Тут бывают раденья божьих людей. Рядом вдоль всей горницы коридор, а по другую его сторону семь небольших комнат, каждая в одно окно без дверей из одной в другую. Во время оно в те комнаты уединялись генеральские собутыльники с девками да молодками, а теперь люди божьи, готовясь к раденью, облачаются тут в «белые ризы». Пред сионской горницей были еще комнаты, уставленные старой мебелью, они тоже бывали назаперти. Во всем нижнем этаже пахло сыростью и затхлостью.

Только что смерклось, в комнату, что перед сионской горницей, стали собираться люди божьи. Прежде всех пришли богаделенные. Привели они и Лукерьюшку, еще не выдавшую соборов людей, познавших тайну сокровенную. Привела Матренушка и дочку свою духовную, не вполне еще приобывшую к таинственным обрядам Василисушку. Раз три бывала она на раденьях, слышала и словеса пророческие и новые песни, но еще не была «приведена».

На Лукерьюшке и на Василисе были надеты синие поневы, новенькие, с иголки. В синих, а не в красных, как ходят девушки в той стороне, они были одеты – то знак отречения от суеты мира и от замужней жизни.

Богаделенные расселись по креслам и стульям, обитым обветшалым бархатом. Немного погодя пришел дворецкий Сидор с целым ворохом пальмовых ветвей. Молча, строгим взором окинул он богаделенных и приведенных ими девиц: нет ли на ком серег либо колец, чисты ль у всех платки и полотенца. За дворецким пришел приказчик Пахом с дьяконом и матросом, пасечник с Софронушкой, ключница с Серафимушкой. Все сидели молча, недвижно склонивши головы и не глядя друг на друга. Блаженный присел возле печки на полу и, рассыпав кучку лутошек, принялся строить из них домик. Никто на него не смотрел.

– Все, кажется, в сборе, – тихо промолвил дворецкий. – Пойти доложить господам. Время.

Ни словом, ни движеньем никто не отозвался ему. Только блаженный ни с того ни с сего за-

хохотал во всю мочь, приговаривая:

– Баре придут, медку принесут, чайком попоят, молочка дадут...

Дворецкий пошел наверх, и не прошло пяти минут, как один за другим пришли: Николай Александрыч с братом, с невесткой и племянницей, Кислов с Катенькой, Строинский Дмитрий Осипыч.

Вошли, стали в круг и начали друг другу земно кланяться.

– Христос воскрес! – сказал Николай Александрыч.

– Свет истинный воскрес! – певучим голосом ответила Катенька Кислова.

– Бог истинный воскрес! – громко вскрикнул сам Кислов.

– Сударь батюшка воскрес! – еще громче закричал Дмитрий Осипыч.

– «Воскрес Иисус от гроба, яко же пророче, даде нам живот вечный и велию милость», – скороспешно заревел дьякон на церковный напев.

А другие продолжали обычные у божьих людей друг другу приветствия.

– Царь царям воскрес!

– Бог богам воскрес!

А блаженный, сидя на полу, строит себе домик да под нос выпекает «Христос воскрес из мертвых».

Вынул из кармана ключ Николай Александрыч и отпер тяжелый замок, висевший на железных дверях сионской горницы. Вошел он туда только с братом и дворецким. Прочие остались на прежних местах в глубоком молчанье. Один Софронушка вполголоса лепетал какую-то бессмыслицу, да дьякон, соскучась, что долго не отворяют дверей, заголосил:

– «Возьмите врата князи ваша и возьмите врата вечные и внидет царь славы! Кто есть сей царь славы? Господь сил – той есть царь славы!» (Псалом XXIV.).

Как ни унимали Мемнона, уйму не было. Очень уж расходился зычный голос отца дьякона.

Растворились, наконец, двери, и божьи люди один за другим вошли в ярко освещенную сионскую горницу. Там в двух старинной работы люстрах, похожих на церковные паникадила со множеством граненых хрустальных подвесок, горело больше полусотни свеч. В трех углах и по сторонам дверей входной и другой, что выходила в коридор, стояли высокие бронзовые канделябры тоже с зажженными свечами, а в переднем углу перед образами теплилось двенадцать разноцветных лампад. Весь потолок был расписан искусной кистью известного в свое время художника Боровиковского (Советник Академии художеств, ученик Лампи (ум., в 1825 г.), был одним из деятельных членов хлыстовского корабля Татариновой. В 1819 году он на потолке сионской горницы, бывшей в квартире Татариновой, в Михайловском замке, написал святого духа, (окруженного девятью кругами небесных сил. Писал картину с портретами членов корабля и другие. Он ездил и в провинции к богатым хлыстам-помещикам.), бывшего в корабле Татариновой и приезжавшего в Луповицы для живописных работ в только что устроенной там сионской горнице.

На потолке были изображены парившие в небесах ангелы, серафимы, херувимы, девятью кругами летали они один круг в другом, а в середине парил святой дух в виде голубя с сиянием, озаряющим парящие круги небесных сил. По стенам развешаны были картины того же художника: «Распятие плоти», «Излияние благодати», «Ликовствование», «Ангельский собор» точно такой же, как на потолке, а возле него собор Катерины Филипповны (Татариновой.). Она была изображена сидящею среди участников «духовного союза», между ними генерал Луповицкий с женой, трое важных духовных особ, несколько человек со звездами, на одном низеньком гладко выбритом старичке была даже андреевская. Вдоль стен расставлены были стулья и диванчики, другой мебели в сионской горнице не было, кроме стола в переднем углу, накрытого чистой скатертью из гладкого серебряного глазета. На нем лежали золотой на престольный крест и в дорогом окладе Евангелие.

Кто ни входил в сионскую горницу, клал по несколько земных поклонов перед образами и перед картинами, и после того уходил в коридор. Остались Лукерьюшка с Василисой; по приказу Матрены они сидели у входной двери. Вскоре пришла Марья Ивановна в черном платье и привела Дуню. На ней было белое платье из пике, подпоясанное белой лентой, на голове и на шее белые из плотной шелковой ткани платки, даже башмачки были белые атласные. Ни серег в ушах, ни колец

на пальцах. Одевая ее, Марья Ивановна даже золотой тельной крест сменила ей на деревянный и повесила его на белом шнурке.

Посадила Марья Ивановна Дуню возле Лукерьюшки, а по другую сторону сама села.

Поразил Дуню вид ярко освещенной и своеобразно убранной сионской горницы. Она пришла в недоумение и на все смотрела удивленными глазами.

– Что это такое? – спросила она у Марьи Ивановны, указывая на потолок.

– Девять чинов агельских в небесном восторге носятся кругами, а посреди их дух святой, – сказала Марья Ивановна. – Знаешь стихеру на Благовещенье: «С небесных кругов слетел Гавриил»? Вот они те небесные круги. Такими же кругами и должны мы носиться пред богом и прославлять его в «песнях новых». Увидишь, услышишь...

– А это что? – спросила Дуня, указывая на картину «Ликовствование». На ней изображен был Христос с овечкой на руках, среди круга ликующих ангелов. Одни из них пляшут, другие плещут руками, третьи играют на гуслях, на свирелях, на скрипках, на трубах. Внизу царь Давид пляшет с арфой в руках и плещущие руками пророки и апостолы. Подвела Марья Ивановна Дуню к картине.

– Читай, – сказала она. – Видишь, над Христом что написано? «Обретох овцу мою погибшую». Читай теперь нижнюю надпись: «Тако радость будет на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девяностах и девяти праведник, иже не требуют покаяния» (Луки. XV – 6 и 7.).

Такое ликовствование бывает на небесах, такое же и здесь у нас бывает. Увидишь. Не блазнишься только, но с верою твердо держи на уме, что враг не дремлет и такие теперь против тебя козни будет строить, каких никогда еще не страивал. Не хочется ему, чтоб ты, ругаясь его миру и злой его власти, вошла во святой круг божьих людей. Всячески будет он соблазнять тебя!.. Как только начнется святое дело, я ни на шаг не отойду от тебя. Сказывай мне каждую свою мысль, каждое сомнение, каждое недоумение. Нарочно не пойду в святой круг, чтоб быть возле тебя.

– Что ж здесь такое? Ни такого убранства, ни такого множества свеч никогда я не видывала, – молвила Дуня.

– Здесь сионская горница, – сказала Марья Ивановна. – Такая же, в какой некогда собраны были апостолы, когда сошел на них дух святой. И здесь увидишь то же самое. Смотри, – продолжала она, подходя с Дуней к картине «Излияние благодати».

– Это что? – спросила Дуня.

– Видишь – отрок в белой одежде, – сказала Марья Ивановна. – Видишь, раскрылись над ним небеса, видишь, дух святой изливает на него свою благодать. Так и здесь, в сионской горнице, она невидимо на круг божьих людей изливается. «Тайная вечеря» здесь уготована, сокровенная небесная тайна земным людям здесь открывается. Блюда же себя, храни душу от лукавого, о каждом помысле мне говори... Забудь о мире и суетах его, забудь и о теле своем, будь равнодушна ко всему, что в мире. Тот лишь достигает блаженства, кто видя не видит, кто слыша не слышит...

Тот блажен, кто глух к говору сердца, тот лишь блажен и преблажен, кто в печали не скорбит и в счастье не радуется. Тот блаженства преисполнен, для кого и радость, и горе, и счастье, и несчастье равны. Главное – возненавидь свое тело, возненавидь его, как темницу души, построенную врагом бога и человеков...

Сама посуди, для чего это тело? На что оно уготовано? Чтобы черви потом съели его. Какая ни будь женская красота, хоть бы весь мир не мог надивиться ей, – что такое она?.. Пища могильных червей... Да и что это за тело? Полно нечистот, называть их даже за стыд почитается самими чувственными людьми. Кости, мясо, жилы, кровь, желчь – вот и все!.. Возьми каждое порознь – мерзость...

А все вместе красивая, состроенная лукавым тюрьма для святой и вечной души человеческой, изливаемой из самого божества. Давно хотела я сказать тебе все это, но, обсудивши, оставила до теперешних минут, когда воочию увидишь корабль людей божьих, управляемый небесным кормщиком, святым духом. Убивай грешное тело, умерщвляй пакостную плоть свою, не давай врагу веселиться. Всячески утомляй тело постом и трудом, чтоб не смело оно, скверное, с твоим духом бороться.

Молчала Дуня, складывая в сердце своем слова Марьи Ивановны.

Вошел в сионскую горницу Николай Александрыч в длинной до самых пят рубаше из тонкого полотна, с необыкновенно широким подолом. Подпоясан он был малиновым шелковым шнурком, на ногах одни чулки. В правой руке держал он пальмовую ветвь, в левой белый платок. Через плечо у него было перекинута тонкое полотняное полотенце без кружев, без вышивок. Точно так же были одеты и Андрей Александрыч, и Кислов, и Строинский. Варвара Петровна с дочерью и Катенька в таких же точно рубашках, шеи у них были повязаны батистовыми, а головы шелковыми белыми платками. Остальные люди божьи в таких же одеждах, только не голландского полотна, а тонкого крестьянского холста. У всех в руках пальмы, у всех белые платки, и у каждого через плечо полотенце. Платки «покрывцами», полотенца – «знаменами» назывались.

Медленным шагом, с важностью во взоре, в походке и голосе, Николай Александрыч подошел к столу, часто повторяя: «Христос воскресе, Христос воскресе!» Прочие стали перед ним полукругом – мужчины направо, женщины налево. И начали они друг другу кланяться в землю по три раза и креститься один на другого обеими руками.

– Зачем это они друг на друга молятся? – прошептала Дуня. – Разве можно молиться на людей? Ведь они не святые, не угодники.

– Именно они святые угодники, – сказала Марья Ивановна. – Великой ценой искуплены они богу и агнцу. Все мы святые праведные, нет между нами ни большого, ни малого, все едино во Христе. Ни муж, ни жена, ни раб, ни господин, ни богатый, ни убогий, ни знатный, ни нищий – не разнятся в сионской горнице. Все равны, все равно святые и праведны.

– Да зачем же молиться на людей? – в недоуменье спрашивала Дуня.

– А помнишь заповедь? – сказала Марья Ивановна. – «Не сотвори себе кумира, ни всякого подобия, да не поклонишься им и не послужиши им»... Когда мы бываем в искаженной и забытой божьи уставы мирской церкви, то и мы поклоняемся подобиям, то есть образам, но делаем это, чтоб избежать подозрений. А здесь, в тайне от темных людей, не разумеющих силы писания, поклоняемся единому истинному образу и подобию божью... В чем его образ и подобие?.. В человеке... Одного человека создал господь по образу своему и подобию. Не тело – снесь червей, а душа, излияние божества его, образ его и подобие. Ей божьи люди и поклоняются.

Сел у стола Николай Александрыч, остальные расселись по стульям и диванчикам. Мало посидя, встал он и, поклонясь собранию в землю, возгласил:

– Простите, братцы и сестрицы мои любезные, простите, ради государя нашего милостивого, ради батюшки нашего света искупителя, ради духа святого, нашего утешителя.

И все земно ему поклонились. И каждый, кланяясь, приговаривал:

– Ты нас прости, батюшка, ты нас прости, красное солнышко, ты нас прости, труба живогласная!.. Созови к нам с небес духа святого утешителя, покрой нас, грешных, господним покровом!..

Снова кормщик сел у стола, выдвинул ящик, вынул книгу, стал ее читать. Все слушали молча с напряженным вниманием, кроме блаженного Софрунушки. Разлегся юрод на диванчике и бормотал про себя какую-то чепуху. А Николай Александрыч читал житие индийского царевича Иоасафа и наставника его старца Варлаама, читал еще об Алексее божием человеке, читал житие Андрея Христа ради юродивого. Потом говорил поучение:

– Прославляйте бога в грешных телесах, прославляйте его во святых душах ваших. Плоть смиряйте, без жалости умерщвляйте, душу спасайте, из вражьей темницы свободжайте. Лукавому не предавайтесь, бегайте его, храните чистоту телесную и душевную. Телесную чистоту надо постом хранить, трудами, целомудрием, больше всего целомудрием. Вы, мужеск пол, сколь можно реже глядите на жен и девиц. Вы, жены и девицы, пуще огня мужчин опасайтесь, враг не дремлет, много святых и праведных погублял он плотскою страстью. Ничего, что живет и что движется на земле и в воздухе, отнюдь не вкушайте, рыбу вкушать можно, а лучше и ее в рот не брать. Вина не пейте, ни браги, ни пива, ничего хмельного, – вино кровь самого князя врагов божьих – бойтесь к нему прикасаться, проклято оно богом вышним. Всего лучше, всего праведней – питаться духом, телесный голод утолять пением и радением. На свадьбы, на родины, на крестины, даже на похороны не ходите, суетных мирских веселий бегайте, как огня, всячески их чуждайтесь. То служение

врагу, отцу лжи и всякого зла. Сердце чисто созиждете в себе, дух правды храните в душах своих праведных.

И долго, долго говорил Николай Александрыч поучение. Дуне понравилось оно.

Близко к полночи. Божьи люди стали петь духовные песни. Церковный канон пятидесятницы пропели со стихирами, с седальными, с тропарями и кондаками. Тут отличался дьякон – гремел на всю сионскую горницу. Потом стали петь псалмы и духовные стихи. Не удивилась им Дуня – это те же самые псалмы, те же духовные стихи, что слыхала она в Комаровском скиту в келарне добродушной матери Виринеи, а иногда и в келье самой матушки Манефы.

На колокольне сельской церкви ударило двенадцать. Донеслись колокольные звуки и в сионскую горницу. Божьи люди запели церковную песнь: «Се жених грядет в полунощи», а потом новую псалму, тоже по скитам знакомую Дуне. Хотя и не слово в слово, а та же самая псалма, что скитская.

Тайно воспещем руками,
Тайно воспляшем, духом веселяще,
Духовные мысли словесно плодяще!
Яко руками, воспещем устами -
Дух святой с нами, дух святой с нами!
Гласы различны днесь съединяйте,
Новые песни агнцу вспевайте,
Дух свят нас умудряет,
Яко же хочет дары разделяет -
Дары превелики – апостольски лики,
Ангельское пенье, небесно раденье...
Дары премноги шлет дух во языки,
Шлет во языки, шлет во языки...
Мужие и жены, силы исполнися,
Яко пианы, язычником явишася,
Древле не знанны, сташа познанны,
Гласы преславны, гласы преславны!..
В немощах силу нам бог обещает,
Дух святой здесь приход совершает,
Из пастырей – царей, из немудрых рыбарей
Апостолов творит, апостолов творит!

Только что кончили эту псалму, по знаку Николая Александрыча все вскочили с мест и бросились на средину сионской горницы под изображение святого духа. Прибежал туда и блаженный Софронушка. Подняв руки кверху и взирая на святое изображение, жалобным, заунывным напевом божьи люди запели главную свою песню, что зовется ими «молитвой господней».

Дай к нам, господи, дай к нам Иисуса Христа,
Дай к нам сына божьего и помилуй, сударь нас!..
Пресвятая богородица, упроси за нас сына твоего,
Сына твоего, Христа бога нашего,

Да тобою спасем души наши многогрешные*. * Из производившихся о хлыстах дел известно, что эта молитва была у них в употреблении еще в начале XVIII столетия. Ею начинается каждое собрание божьих людей. Хлыстовских песен известна не одна тысяча: иные поются в одном корабле, другие – в другом, но «Дай к нам, господи» – во всех непременно. Ее певали у Татариновой, где участвовали очень знатные лица, ее в прошлом столетии певали в тех мужских и женских монастырях Москвы, откуда и распространилась по народу хлыстовщина. Ее поют и во всех крестьянских домах, где только собираются божьи люди. Есть несколько вариантов этой песни, но они незначительны. Здесь приведена она в том виде, как певалась у Татариновой и у других хлыстов из образованного общества.

Громче и громче раздавалась хлыстовская песня. Закинув назад головы, разгоревшимися глазами смотрели божьи люди вверх на изображение святого духа. Поднятыми дрожащими рука-

ми они как будто манили к себе светозарного голубя. С блаженным сделался припадок падучей, он грянулся оземь, лицо его исказилось судорогами, вокруг рта закружилась пена. Добрый знак для божьих людей – скоро на него «накатило», значит скоро и на весь собор накатит дух святой.

Только что кончилось пение «молитвы господней», женщины составили круг, а вне его составилась другой из мужчин. Новую песню запели.

Царство, ты царство, духовное царство,
Во тебе, во царстве, благодать великая,
Праведные люди в тебе пребывают,
Живут они себе, ни в чем не унывают...
Строено ты, царство, ради изгнанных,
Что на свете были мучимы и гнаны,
Что верою жили, правдою служили,
От чистого сердца бога возлюбили.
Кто бога возлюбит, его не забудет.
Часто вспоминает, тяжело вздыхает:
"Бог ты, наш создатель, всяких благ податель,
Дай нам ризы белы и помыслы целы,
Ангельского хлеба со седьмого неба,
Сошли к нам, создатель, не умори голодом,
Избави от глада, избави от ада,

Не лиши духовного своего царства!"* * Редакция песни из корабля Татариновой. Есть и варианты.

Еще половины песни не пропели, как началось «раденье». Стали ходить в кругах друг за другом мужчины по солнцу, женщины против. Ходили, прискакивая на каждом шагу, сильно топая ногами, размахивая пальмами и платками (Это называется «раденье кораблем»). С каждой минутой скаканье и беганье становилось быстрее, а пение громче и громче. Струится пот по распаленным лицам, горят и блуждают глаза, груди у всех тяжело поднимаются, все задыхаются. А песня все громче да громче, бег все быстрее и быстрее. Переходит напев в самый скорый. Поют люди божьи:

Как у нашего царя, Христа батюшки.
Так положено, так уложено:
Кому в ангелах быть и архангелом служить,
Кому быть во пророках, кому в мучениках,
Кому быть во святых, кому в праведных.
Как у нашего царя, Христа батюшки,
Уж и есть молодцы, все молоденькие,
Они ходят да гуляют по Сионской по горе,
Они трубят во трубы живогласные,
От них слышны голоса во седьмые небеса...
Как у нашей-то царицы богородицы -
У нее свои полки, все девические,
Они ходят да гуляют во зеленом во саду.
Во зеленом во саду, во блаженном во раю,
Они яблочки-то рвут, на златом блюде кладут,
На златом блюде кладут, в терем матушке несут.
Государыня примала, милость божью посылала,
Духа свята в них вселяла и девицам прорекала:
"Ай вы, девушки, краснопевушки,
Вы радуйте да молитесь, пойте песни, не ленитесь,
За то вас государь станет жаловать, дарить,
По плечам ризы кроить, по всему раю водить".
Вдруг песня оборвалась. Перестали прыгать и все молча расселись – мужчины по одну сто-

рону горницы, женщины по другую. Никто ни слова, лишь тяжелые вздохи утомившихся божьих людей были слышны. Но никто еще из них не достиг исступленного восторга.

– Ни на кого не накатило! – жалобно молвил старый матрос. – Никому еще не сослал господь даров своих. Не воздвиг нам пророка!.. Изволь, кормщик дорогой, отец праведный, святой, нам про духа провестить, – сказал он, встав с места и кланяясь в ноги Николаю Александрычу.

И другие подходили к кормщику и земно ему кланялись, прося возвестить от святого писания, как дух сходит на божьих людей. И мужчины подходили, и женщин большая часть.

Подошел к столу Николай Александрыч, взял крест и высоко поднял его. Стали на колени, и Софронушка стал. Стих припадок его.

– Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! – торжественным голосом возгласил кормщик. – От бога, от Христа, от духа святого возвещаю вам слово, братцы и сестрицы любезные!.. Скажу вам, возлюбленные, не свои речи, не слова человеческие, поведаю, что сам бог говорит: «В последние дни излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши видения узрят, и старцы ваши сония увидят, и на рабов моих и на рабынь моих излию от духа моего, и будут пророчествовать... И дам чудеса на небеси и знамения на земле» (Деяния. II – 17 и 18.).

– Глаголет бог! – густым басом запел дьякон, и все другие тоже пропели.

И, стоя на коленях, подняв кверху руки, потрясая пальмовыми ветвями и махая платками, «манят» божьи люди святого духа:

Подай, господи!
Тебе, господи,
Порадеть, послужить,
Во святом кругу кружить,
Духа с небеси сманить
Да в себя заманить! Собирались мы, дружки,
Во святы божьи кружки,
Грешны плоти умерщвлять,
Души к небу обращать,
Бога петь, воспевать.
Уж мы пели, воспевали,
Руки к небу воздевали,
Сокола птицу манили:
Ты лети, лети, сокол,
Высоко и далеко,
Со седьмого небеси.
Нам утеху принеси -
Духа истинного,
Животворного,
Чудотворного!
Мы тем духом завладаем,
На соборе закатаем...
Накатись, накатись,
Святый дух, к нам принесись,
Согрей верны их сердца,
Сотвори в нас чудеса,
Избери себе слугу
На святом божьем кругу,
Прореки в нем, прорекай,
Грехи наши обличай,
А праведных утешай,
Ах ты!.. Дух свят, голубок,
Наш беленький воркунок!..

Не пора ли тебе, сударь,
На сыру землю слететь,
На труды наши воззреть?..
Скати, батюшка, скати,
Скати, гость дорогой,
Во чертог свой золотой,
В души праведные,
В сердца пламенные.
Богу слава и держава
Во века веков. Аминь.

Кончилась новая песня, но все еще оставались на коленях с воздетыми руками, умиленно взирая на изображение святого духа, парящего среди девяти чинов ангельских.

Стали потом божьи люди класть земные поклоны и креститься обеими руками, а Николай Александрыч читал нараспев:

– Благослови нас, государь наш батюшка, благослови, отец родной, на святой твой круг стать, в духовной бане омыться, духовного пива напиться, духом твоим насладиться!.. Изволь, батюшка творец, здесь поставить свой дворец, ниспослать к нам благодать – духом дай нам завладеть.

Тут разом все вскочили. Большая часть женщин и некоторые из мужчин сели, другие стали во «святой круг». Николай Александрыч стоял посередине, вокруг него Варенька, Катенька, горничная Серафима и три богаделенные. За женским кругом стал мужской. – Тут были Кислов и Строинский, дворецкий Сидор, Пахом, пасечник Кирилла, матрос. И блаженный Софронушка, напевая бессмыслицу и махая во все стороны пальмовой веткой, подскакал на одной ноге и стал во «святом кругу». Началось «круговое раденье».

– Христос воскрес! – кричал Николай Александрыч. – Братцы, сестрицы! Хорошенько порадейте, батюшку утешьте!.. Не ленитесь, порадейте, своим потом вы облейте мать сырую землю!.. Освятите вы ее, чтоб враги не бродили, одни ангелы ходили, чистоту бы разносили промеж божьих людей!.. Братцы, сестрицы любезны, удаляйтесь вы бездны, походите во кругу – во святом божьем дому!.. Хорошенько порадейте, вы Марию позовите, грешну Марфу прогоните!.. (Хлысты, также последователи некоторых рационалистических сект (молокане, духоборцы и проч.), отрицают действительность существования евангельских сестер Лазаря, утверждая, что это притча и что Мария означает душу, а Марфа – плоть.). Поднимайте знамена во последни времена, послужите вы отцу, богу нашему творцу!..

И вдруг смолк. Быстро размахнув полотенцем, висевшим до того у него на плече, и потрясая пальмовой веткой, он, как спущенный волчок, завертелся на пятке правой ноги. Все, кто стоял в кругах, и мужчины и женщины, с кликами: «Поднимайте знамена!» – также стали кружиться, неистово размахивая пальмами и полотенцами. Те, что сидели на стульях, разостлали платки на коленях и скорым плясовым напевом запели новую песню, притопывая в лад левой ногой и похлопывая правой рукой по коленям. Поют:

Рай ты мой, рай,
Пресветлый мой рай!..
Во тебе, во рае,
Батюшка родимый
Красное солнышко
Весело ходит,
Рай освещает,
Бочку выкатает...
Бочка, ты, бочка,
Серебряна бочка,
На тебе, на бочке,
Обручья златые,
Во тебе, во бочке,

Духовное пиво.
Новое пиво,
Духа пресвятого,
Пророка живого...
Станемте мы, други,
Бочку расчинати,
Пиво распивати,
Бога государя
В помощь призывати,
Авось наш надёжа
До нас умилился,
Во сердца во наши
Он, свет, преселится...
Завладал надёжа
Душою и сердцем,
И всем помышленьем,
Он станет гостити,
Про все нам вестити.

Живей и живее напев, быстрее и быстрее вертятся в кругах. Не различить лица кружащихся. Радельные рубахи с широкими подолами раздуваются и кажутся белыми колоколами, а над ними веют полотенца и пальмы. Ветер пошел по сионской горнице: одна за другой гаснут свечи в люстрах и канделябрах, а дьякон свое выпевает.

– «Бысть шум яко же носиму дыханию бурну и исполни дом, иде же бяху седяще, и вей начаша глаголати странными глаголы, странными учении, странными повелении святыя троицы» (Из стихиры на день пятидесятницы.).

Быстрее и быстрее кружатся. Дикие крики, резкий визг, неистовые вопли и стенанья, топот ногами, хлопанье руками, шум подолов радельных рубах, нестройные песни сливаются в один зычный потрясающий рев... Все дрожат, у всех глаза блестят, лица горят, у иных волосы становятся дыбом. То один, то другой восклицают:

– Ай дух! Ай дух! Царь дух! Бог дух!

– Накати, накати! – визгливо вопят другие.

– Ой ева! Ой ега! – хрипыми голосами и задыхаясь, исступленно в диком порыве восклицают третьи.

– Благодать! Благодать! – одни с рыданьем и стонами, другие с безумным хохотом голосят во всю мочь вертящиеся женщины.

Со всех пот льет ручьями, на всех взмокли радельные рубахи, а божьи люди все радеют, лишь изредка отирая лицо полотенцем.

– Это духовная баня. Вот истинная, настоящая баня паки бытия, вот истинное крещение водою и духом, – говорила Дуне Марья Ивановна, показывая на обливающихся потом божьих людей.

С удивленьем и страхом смотрела Дуня на все, что происходило перед ее глазами, но не ужасало ее невиданное дотоле зрелище... Чувствовала, однако, она, что сердце у ней замирает, а в глазах мутится и будто в сон она впадает.

– Что с тобой? – спросила Марья Ивановна, заметив, что вдруг она побледнела.

Дуня сказала.

– Благодарю бога, – молвила Марья Ивановна. – Это значит дух тебя, еще не приведенной в истинную веру, коснулся своей благодатью... Будешь, будешь по времени богом обладать!.. Велика будешь в божьем доме – во пресветлом раю.

Блаженный радел с великим усердием, выкликивая непонятные слова. Наконец, закричал:

– Пива, пива!

Быстрее закружились в кругах, а сидевшие, привскакивая на стульях, громче и еще более скорым напевом запели:

Эй, кто пиво варил? Эй, кто затирал?
Варил пивушко сам бог, затирал святой дух.
Сама матушка сливала, с богом вкупе пребывала,
Святы ангелы носили, херувимы разносили,
Херувимы разносили, архангелы подносили..
Скажи, батюшка, родной, скажи, гость дорогой,
Отчего пиво не пьяно? Али гостю мы не рады?
Рады, батюшка родной, рады, гость дорогой,
На святом кругу гулять, света бога прославлять,

В золоту трубу трубить, в живогласну возносить*. * Эта песня сделалась известною из донесения святейшему синоду одного из калужских священников (Сергеева), который в первых годах нынешнего столетия сам участвовал в хлыстовских радениях. Песня эта несколько раз была напечатана.

Громче и еще неистовей кричит блаженный:

– Пива, пива!

И упал в судорогах и корчах на пол. Пена пошла у него изо рта. А дьякон церковным напевом громогласно поет из пасхального канона:

– "Приидите пиво прием новое, не от камне неплодна чудодеемое, но нетления источник, в нем же утверждаемся.

Тут Катенька вдруг вся затрепетала, задрожала и, перестав кружиться, звонким, резким голосом закричала в ужасе:

– Накатил!.. накатил!..

Все остановились. Едва переводя дыханье, пошатываясь, ровно пьяные, все пошли к стульям.

– Дух свят!.. Дух свят!.. накатил!.. накатил!.. – громче прежнего кричала Катенька и грянулась на руки подбежавшей Матренушке. Та довела ее до диванчика и с помощью Варвары Петровны уложила. На другом диванчике уложили бившегося о пол блаженного.

Только что уложили Катеньку, радостными голосами божьи люди запели:

Ай у нас на Дону
Сам спаситель во дому.
Со ангелами, со архангелами,
С серафимами, с херувимами
И со всей-то силой небесною...
Эка милость, благодать
Стала духом обладать!..
Богу слава и держава
Во веки веков. Аминь.

Пока пели, Катенька привстала. Она села на диванчик и раз десять провела пальцами по зардевшемуся, как маков цвет, лицу своему. Зарыдала она и, едва переступая, вышла на середину сионской горницы. Глаза горели у ней необычным светом. Они остолбенели, зрачки расширились, полураскрытые посиневшие губы беспрестанно вздрагивали, по лицу текли обильные струи пота и слез, всю ее трясло и било, как в черной немочи (Эпилепсия, то же почти, что падучая болезнь.).

Крепко стиснув руками голову и надрываясь от рыданий, неровными шагами, нетвердой поступью сделала она вперед несколько шагов и остановилась. Все встали и обеими руками начали креститься на Катеньку, а дьякон возгласил:

– Вонмем! Премудрость! Глаголет бог! Все встали на колени, и начала Катенька возглашать «живое слово» и «трубить в трубу живогласную». Сначала всему собранью «общую судьбу» говорила, «пророчество сказывала».

– Вы, любезные мои детушки! Святые, праведные агнцу и мне, богу, искупленные первенцы!.. Молите меня, отца, и будьте мне верны до конца, за то не лишу вас золотого венца... Я, дух свят, с вами пребываю, душеньки ваши в небесный убор убираю... все ваши помышления сам я, дух свят, в сердцах ваших читаю... За добрый помысел сторицей заплачу, а лукавого врага во гроб

заколочу... Не смел бы пугать мой небесный синод, не смел бы тревожить моих верных рабов... А над вами, мои детушки, мой благодатный покров... Вот вам от бега сказ, от меня, духа свята, указ... Оставайтесь, господь с вами и покров божий над вами!..

И на всех махала Катенька платком, что был в руках у ней. Покровцем называют его божьи люди.

Все встали и расселись по стульям, один блаженный все еще бился в припадке на диванчике. Едва переступая, покачиваясь, медленно подошла Катенька к Николаю Александрычу и тот, хоть и кормщик, стал пред нею на колени. Стала Катенька ему «пророчество» выпевать:

– Здравствуй, верный, дорогой изобранный воин мой... Со врагом храбрей воюй, ни о чем ты не горюй! Я тебя, сынок любезный, за твою за верну службу благодатью награжу – во царствие пределю, с ангелами поселю. Слушай от меня приказ: оставайся, бог с тобой и покров мой над тобой.

И трижды махнула на него платком, а он ей еще раз до земли поклонился.

Пошла после того от одного к другому и каждому судьбу прорекала. Кого обличала, кого ублажала, кому семигранные венцы в рай обещала, кому о мирской суете вспоминать запрещала. «Милосердные и любовно все покрывающие обетования» – больше говорила она. Подошла к лежавшему еще юроду и такое слово ему молвила:

– Ты, блаженный, преблаженный, блаженная твоя часть, и не может прикоснуться никакая к тебе страсть, и не сильна над тобою никакая земна власть!.. Совесть крепкая твоя – сманишь птицу из рая. Ты радей, не робей, змея лютого бей, ризу белую надень и духовно пиво пей!.. Из очей слезы лей, птицу райскую лелей, – птица любит слезы пить и научит, как нам жить, отцу богу послужить, святым духом поблажить, всем праведным послужить!.. Оставайся, бог с тобой, покров божий над тобой!..

К Марье Ивановне подошла, хоть та и сидела одаль от круга божьих людей. Встала Марья Ивановна, перекрестилась обеими руками, поклонилась в землю и осталась на коленях. Затрубила пророчица в трубу живогласную:

– Тебе, любезная овца – живое слово от отца, всемирного творца, из небесного дворца. Пребудь в вере до конца. К богу сердцем ты пылай! свое сердце надрывай!.. Я тебя, бог, доведу, до Едемского края, до блаженного рая. Я тебя доведу, да и дочку приведу, будешь с нею ликовать, в вечной славе пребывать!.. Ты на месте на святом, над чистым ключом, устрояй божий дом, буду я, бог, жить в нем... Благодать наведу и к себе вас приведу. А последний тебе сказ, крепкий божий мой наказ – оставайся, бог с тобой, покров божий над тобой!..

Удивились люди божьи, когда Катенька, отступя от Марьи Ивановны, подошла к не приведенной еще Дуне, в первый только раз бывшей в собрании познавших тайну сокровенную. Подошла она к Дуне, хоть никогда ее прежде не видывала.

Оторопела Дуня, недвижно сидела она, вперя испуганный взор на Катеньку.

– На колени стань!.. на колени!.. – тихонько сказала ей Марья Ивановна.

Но Дуня будто не в себе была, ничего не слышала, ничего не видела, кроме исступленьем сверкавших глаз пророчицы и жаром пышущего ее лица.

– На колени становись!.. Крестись перед духом святым! В землю кланяйся! – заговорили вокруг нее, но Катенька вдруг «затрубила в трубу живогласную», и люди божьи смолкли.

– Стой, стой, крепко стой на ногах, зеленое мое древо, избранное, возлюбленное!.. Открою я тебе, отец, великое божие дело, утешу, ублажу, в сердце благодать вложу! Сокровенную тайну открою и чисту овечку, тебя, в седьмом небе устрою... Дам тебе ризу светлу, серафимские крылья, семигранный венец, и тут еще милости моей не конец. Я, бог, никогда тебя не оставлю, сотню ангелов к тебе приставлю. Со страхом и с верой, с надеждой и с любовью слушай, непорочная дева, мое пречистое слово живое: в тайну проникай, знамя божье поднимай, душу духу отдавай! Хоть головушку ты сложишь, зато верно мне послужишь, всем праведным угодишь, свою душу украсишь, будешь духом обладать, хвалы богу воссылать, будешь в трубушку трубить, в живогласну возносить. Оставайся, бог с тобой, покров божий над тобой!

И трижды по трижды махнула на нее покровцем.

Все были вконец изумлены. Редко ходящие в слове обращаются к неприведенным в корабль,

не давшим страшных клятв сохранять сокровенную тайну. Вдруг такие обетования Дуне!

– Преславное видим, пречудное слышим здесь, братцы и сестрицы любезные! – возгласил Николай Александрыч. – Видим духа пришествие, слышим обетования. Да исполнятся наши надежды скорым исполнением пророчества! Да сбудется славное, великое проречение!

Как мертвец бледная, в оцепенении стояла Дуня. Вне себя была она, дрожала всем телом и плакала. Бережно довела ее Марья Ивановна до ближайшего диванчика и уложила. Варенька села возле Дуни, махая над ней пальмовой веткой.

А дьякон, обращаясь к Дуне, изо всей мочи заголо– сил из «Песни Песней»:

– «Вся добра еси, ближняя моя, и порока несть в тебе! Гряди от Ливана, невеста, гряди от Ливана!.. Прииди и преиди из начала веры, от главы Санира и Аэрмона, от оград Львовых, от гор пардалеов...»

– Подальше от нее, отец Мемнон, она непривычна, – сказала дьякону Варвара Петровна.

Дьякон отошел, но не мог уняться. Восторг и его обуял. Лег он в переднем углу на спине и, неистово размахивая над собой пальмой, свое продолжал:

– «Сердце наше привлекла еси, сестро моя, невесто! Сердце наше привлекла еси единым от очию твоею, единым монистом выи твоея!.. Что удобреста сосца твоя, сестро моя, невесто? Что удобреста сосца твоя паче вина, и воня риз твоих паче всех аромат? Сот искапают устне твоя, невесто! Мед и млеко под языком твоим и благовоние риз твоих, яко благоухание Ливана!»

– Да уймись же ты, Мемнонушка! – тихонько сказал ему Николай Александрыч. – Зачем нестроение творишь в доме божием?

– Духом вещаю, – отвечал Мемнон.

– И вовсе не духом, – сказал Николай Александрыч. – Не возлагай хулы. Ведь это грех, никогда и никем не прощаемый. Уймись, говорю!

– По мне и замолчу, пожалуй, – молвил сквозь зубы дьякон и, севши на диванчик, низко склонил голову, думая: «Хоть бы чайку поскорей да поесть».

Очнулся блаженный, тоже на диванчик сел, зевнул раза четыре и, посидев маленько, платком замахал.

– На Софронушку накатило! На блаженного накатило!.. – заговорили люди божьи.

Вышел блаженный на середину сионской горницы и во все стороны стал платком махать. Потом, ломаясь и кривляясь, с хохотом и визгом понес бессмысленную чепуху. Но люди божьи слушали его с благоговением.

– Слушай лес-бор говорит, – начал юродивый... – игумен безумен – бом, бом, бом!.. Чайку да медку, да сахарцу! Нарве стане наризон, рами стане гаризон (Эти бессмысленные слова и подобные им в ходу у хлыстов, особенно на Кавказе, где тамошние «прыгунки» (то же, что хлысты) уверяют, будто это на иерусалимском языке. Непонятные слова в кораблях говорят больше безумными и юродивыми, которых охотно принимают в корабли, в уверенности, что при их участии на других дух святой сходит скорее.).

И, захохотав во все горло, начал прыгать на одном месте, припевая:

Тень, тень, потетень,
Выше города плетень,
Садись, галка, на плетень!
Галки хохлуши -
Спасенные души,
Воробьи пророки
Шли по дороге,
Нашли они книгу.
Что в той книге?

Хоть и знали люди божьи, что Софронушка завел известную детскую песню, но все-таки слушали его с напряженным вниманием... Хоть и знали, что «из песни слова не выкинешь», но слова: «нашли пророки книгу» возбудили в них любопытство. "А что, ежели вместо зюзюки (Детская песня. После слов «что в той книге», она так продолжается:

Зюзюка, зюзюка,

Куда нам катиться?

Вдоль по дорожке, и пр.

Зюзюка – картавый, шепелявый.) он другое запоет и возвестит какое-нибудь откровение свыше?"

В самом деле, блаженный не зюзюку запел, а другое:

А писано тамо:

"Савишраи само,

Капиласта гандря

Дараната шантра

Сункара пируша

Моя дева Луша".

(В двадцатых годах в корабле людей божьих отставного полковника Александра Петровича Дубовицкого этими словами говорил один из пророков. Члены корабля думали, что это по-индийски. Последний стих в нашей рукописи: «Майя дива луча»).

Только и поняли божьи люди, что устами блаженного дух возвестил, что Луша – его дева. Так иные звали Лукерьюшку, и с того времени все так стали звать ее. Твердо верили, что Луша будет «золотым избранным сосудом духа».

И стали ее ублажать, Варвара Петровна первая подошла к ней и поцеловала. Смутилась, оторопела бедная девушка. Еще немного дней прошло с той поры, как, угнетенная непосильной работой в доме названного дяди, она с утра до ночи терпела попреки да побои ото всех домашних, а тут сама барыня, такая важная, такая знатная, целует и милует ее. А за Варварой Петровной и другие – Варенька, Марья Ивановна, Катенька ее целовали.

– Приидите друг ко другу, люди божии, – церковным напевом запел Николай Александрыч. – Воздадим целование ангельское, лобызание херувимское. Тако дух снятый повеле.

И все стали целоваться, говоря «Христос воокресе!» Только к Дуне да к Лукерьюшке с Василисой никто не подходил – они не были еще «приведены».

Все вышли в коридор. Марья Ивановна осталась с Дуней в сионской горнице. Осталась там и Луша с Василисой.

– Ну что? – спросила Марья Ивановна у Дуни.

– Я как во сне, – ответила Дуня. – Все так странно, так диковинно. А сердце так и горит, так и замирает.

– Пресвятый голубь пречистым крылом коснулся сердца твоего, Дунюшка, – сказала Марья Ивановна. Верь и молись, больше углубляйся в себя, а будучи на молитве, старайся задерживать в себе дыханье (Хлысты на молитве и во время радений задерживают дыхание. Этому учили и древние отшельники и пустынножители. Это же в практике и у индийских факиров и у трамблеров Америки.) и тогда скоро придет на тебя благодать. На сколько сил твоих станет, не вдыхай и себя воздуха, ведь он осквернен врагом, день и ночь летающим в нем... Бывали такие праведники, что, задерживая дыханье, достигали высочайшего блага освобождения святой, чистой, богом созданной души из грязного, грешного тела, из этой тюрьмы, построенной ей на погибель лукавым врагом. Конечно, таких немного, но блаженны и треблаженны они в селениях горних. Место их среди серафимов, а серафимы самые великие чины небесного воинства. Они одни окружают огневидный престол царя царей и во всякое время видят лицо его.

Под эти слова воротились люди божии. Они были уже в обычной одежде. Затушив свечи, все вышли. Николай Александрыч запер сионскую горницу и положил ключ в карман. Прошли несколько комнат в нижнем этаже... Глядь, уж утро, летнее солнце поднялось высоко... Пахнуло свежестью в растворенные окна большой комнаты, где был накрыт стол. На нем были расставлены разные яства: уха, ботвинье с осетриной, караси из барских прудов, сотовый мед, варенье, конфеты, свежие плоды и ягоды. Кипел самовар.

И сидели божьи люди за трапезой чинно и спокойно. Проводили они время в благочестных разговорах. Послышался благовест к обедне, и тогда разошлись они по своим местам и улеглись, утомленные, на постелях.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Умаялись люди божьи от радельных трудов. Солнце давно уже с полдён своротило, а они все еще покоятся. Дуня пробудилась всех прежде. Тихо поднялась она с постели, боясь разбудить Вареньку, и не одетая села на кровати.

Сидит и вспоминает сновиденья... Вспоминает и виденное в сионской горнице. Мутится на уме, и не вдруг может она различить, что во сне видела и что наяву...

Не того она ждала от божьих людей. Не такие обряды, не такое моление духом она представляла себе. Иного страстно желала, к иному стремилась душа ее. Бешеная скачка, изуверное кружение, прыжки, пляска, топот ногами, дикие вопли и завыванья мужчин, исступленный визг женщин, неистовый рев дьякона, бессмысленные крики юрода казались ей необычными, странными и возбуждали сомненья в святости виденного и слышанного. Ни о чем подобном в мистических книгах Дуне читать не доводилось. Говорили ей про тайные обряды и Марья Ивановна и Варенька, но не думала Дуня, что это будет так дико, неистово и бессмысленно.

"Не враг ли смущает меня? – приходит ей на мысль. – Ему хочется не допускать меня до общения с людьми божьими? Так и Марья Ивановна говорила, и Варенька, и все. Хитрой, злобной силой ополчается он на меня... Прочь, лукавый!.. Не смутить тебе меня, не совратить!.. Помню писание: «Безумное божие премудрей человеческой мудрости».

А на сердце болезненно. То сомненья пронесутся в отуманенной голове, то бывшая, давнишняя жизнь вдруг ей вспомнится.

Вот завывает выюга, закидало снегом оконные стекла. В жарко натопленной келье Манефы обительские девицы, усевшись кругом стола, в строгом молчанье слушают мать казначею Таифу. Читает она «Стоглав», и после каждого «ответа» («Стоглав» состоит из вопросов царя Ивана Васильевича и Ответов московского собора.) Манефа толкует прочитанное. Все за рукодельем, кто шьет, кто вяжет, Дуня кончает голубой бисерный кошелек отцу в подаренье. До того места доходит Таифа, где собор отцов хулит и порицает пляски, скаканья, плещевания руками, ножной топот и клич неподобный. «Все сие от диавола, – учительно говорит Манефа, – сими кобями приводит он к себе людей, дабы души их в вечной гибели мучились с ним».

И начнет, бывало, рассказывать про адские муки, уготованные уловленным в сети врага божия, отца лжи и всякого зла. «Не то ль и у них в сионской горнице?.. – приходит в голову Дуне. – Не то ли же самое, о чем в „Стоглаве“ говорится?» И сильнее и шире растут в ней сомненья, колеблются мысли, и нападает тяжелое раздумье... Вот она еще маленькая, только что привезли ее в Комаров... Лето, в небе ни облачка, ветерок не шелохнется, кругом кричат кузнечики, высоко в поднебесье заливаются песнями жаворонок; душно, знойно... С матерью Манефой да с тетенькой Дарьей Сергевной идет Дуня по полю возле Каменного Вражка.

Пробираются они в перелесок на прохладе в тени посидеть... Вот яркая зеленая луговина вся усеяна цветами – тут и голубые незабудки, и белоснежные кувшинчики, и ярко-желтые купавки, и пестро-алые одолени. Вскрикнула от радости маленькая Дуня и в детском восторге вихрем помчалась к красивым цветочкам... Манефа не может за нею бежать. Дарье Сергевне тоже не под силу догнать резвого ребенка... «Стой, Дуня, стой! – кричит ей Манефа. Тут болото!.. Загрязнешь, утонешь!..» И теперь только что вспомнит она про раденье, Манефы голос ей слышится: «Загрязнешь, утонешь!..»

«Отчего ж во время раденья так горело у меня в голове, отчего так пылало на сердце? – размышляет Дуня. – Отчего душа замирала в восторге? Марья Ивановна говорит, что благодать меня озарила, святой голубь пречистым крылом коснулся души моей... Так ли это?..»

И стали вспоминаться ей одно за другим только что оставившие ее сновиденья... Вот она в каком-то чудном саду. Высокие, чуть не до неба пальмы, рощи бананов, цветы орхидей и кактусов, да не такие, что цветут в луповицких теплицах, а больше, ярче, красивей, душистей. Бездна их, бездна.. Тут и диковинные деревья – золотые на них яблоки, серебряные груши, и на листочках не капли росы, а все крупные алмазы... птицы распевают на разные голоса, и тихая музыка играет где-то вдали...

А вот и луговина, усыпанная цветами, да не такими, что видала она когда-то у Каменного

Вражка, здесь все чудные, нигде не виданные... А как светло, хоть солнышка и нет. Как тепло, хорошо... И вдруг все мраком подернулось. Гремит несмолкаемый гром, по всем сторонам сверкают синепламенные молнии... Мчатся в воздухе крылатые чудища, раскрыты их пасти, высунуты страшные клыки, распушены острые когти, зелеными огнями сверкают глаза. И по земле со всех сторон ползут седмглавые змии, пламенем пышут их пасти, все вокруг себя пожигая, громадными хоботами ломают они кусты и деревья. А из-под земли, из-за кустов, изо всех оврагов выбегают какие-то ужасные, неведомые люди, дикие крики их трепет наводят, в руках топоры и ножи... Всё на Дуню. Всё кидается на беззащитную... Нож у груди. Кто-то взмахнул топором над ее головой... Хочет бежать – недвижимо ноги, хочет кричать – безгласны уста...

И вдруг – Петр Степаныч... Не то на земле он, не то на воздусех... Недвижно стоит в величавом покое, светлые взоры с любовью смотрят на Дуню, проникая в глубь ее сердца... В руке у него пальмовая ветка. Раз махнул – исчезли чудовища, вдругорядь махнул – скрылись страшные люди... Опять светло, опять дивный сад, опять поют птички и слышится упоительная, тихая музыка...

Нет, это не музыка – это поют... Мужские голоса... Поют стройно и громко. Страстью, любовью дышит их песня:

Я принес тебе подарок,
Подарочек дорогой,
С руки перстень золотой,
На белую грудь цепочку,
На шею жемчужок.
Ты гори, гори, цепочка.
Разгорайся, жемчужок!..
Полюби меня, Дуняша,
Люби, миленький дружок!..

Замерло сердце у Дуни... Вспомнила песню... Вот по сонной, широкой реке тихо плывет разубранная, расцвеченная лодка... Вечереет, темно-вишневыми пятнами стелются тени облаков по зеркальному водному лону, разноцветными переливами блистает вечернее небо... Вот красавец собой, удалой молодец со стаканом «волжского кваса»... стоит перед нею... Низко склоняется он, и слышно Дуне перерывчатое, жаркое дыханье удалого добра молодца... «Пожалуйте-с! сделайте такое ваше одолжение!..» – говорит он, глядя на нее палючими глазами... Но где ж он, где ее избавитель от страшных чудовищ, от ужасных людей?.. Исчез... «Да, он уехал, уехал, – вспадает на ум Дуне. – Покинул, к Фленушке уехал!.. Бог с ним!.. Не надо мне его, не надо!»

И сменяются воспоминанья сновидений воспоминаниями о Манефиной келье. Сидит игуменья среди девиц. Вот и бойкая, разбитная Фленушка, вот и задумчивая Настя, и сонливая Параша, и всем недовольная Марья головщица... Вот и сама Дуня с бисерным кошельком в руках. Перебирая лестовку, кротко, любовно, учительно говорит им игуменья: «Блюдитесь, девицы, да не како лукавый коснется вас своими наважденьями – телесною страстью или душевным беснованием. Ежечасно, ежеминутно строит окаянный враг божий коби и козни, всякими способами соблазняет правоверующих, хотяй от благочестия к нечестью привести. Всякие соблазны творит он – даже в светлую ризу ангелов иногда облачается и слабых яко бы ко спасению ведет в ров вечной погибели. Чудеса даже творит премерзкий, яко бы от господа бываемые – ложных пророков воздвигает, влагая в уста их словеса неправды, яко бы слово господней истины».

Смущают Дуню забытые слова Манефы... «А ту пророчицу, что мне судьбу прорекала, неужели и ее враг воздвиг?.. Что, если и она от врага?.. Но нет!.. Ясно было видимо наитие свыше на Катеньку. В духе была она, в восторге неизреченном, преисполнена была благодати... Лицо сияло, из глаз огненные лучи лились. Дрожа и млея, в священном трепете не свои слова изрекала она дух, в нее вселившийся, устами ее говорил... Никогда меня она не знавала, никогда слышать обо мне не слыхивала, а что говорила!.. Ровно по книге читала в душе моей!.. Нет... Нет тут ни спора, ни сомнений... Зачем же этот „клич неподобный“, зачем эти круженья, неистовые крики, бешеные пляски? О! кто бы вразумил, научил меня!..»

И решила Дуня богу помолиться, трижды по трижды прочесть псалом «Да воскреснет бог» на отогнание супротивного. «Тогда, по моей вере, господь пошлет извещение, где истина... там ли, откуда хочу уйти, там ли, куда иду... Пускай он сам спасает меня, какими хочет путями!.. Пожалеет же он создание свое!.. Должен же он пожалеть, должен вразумить, указать на путь истинный и правый!.. Если нет – так что ж это за бог!..»

И вот Дуня, еще так недавно, стоя на молитве, говорившая в сердечном сокрушении: «Не вниди в суд с рабой твоей», теперь гордостно и высокомерно вздумала судить бога вышнего!..

Встала с кровати, чтобы стать перед иконой, и нечаянно задела стоявший у изголовья столик. Он упал. Варенька от испуга проснулась.

– Что я наделала! – подбегая к ней, вскрикнула Дуня. – Ты так крепко спала, а я разбудила!.. Господи!.. Да что ж это!.. Прости меня, глупую, прости, Варенька, неопасливую.

– Полно, полно, – потягиваясь и зевая на постели, говорила Варенька. – Пора вставать. Который час?

– Третий, – отвечала Дуня.

– Вон как долго я нежилась, – молвила Варенька. А плоти не надо угождать, не надо нежиться, не надо пребывать в лени, не то Марфа как раз поборет Марию.

И, быстро спрыгнув с кровати, стала надевать утреннее платье.

– А ты давно проснулась? – спросила она.

– Давненько уж, – ответила Дуня. – Часа полтора.

– Видишь, какая ты! – улыбнувшись, молвила Варенька.

– Нет, чтоб разбудить меня, сонливую, нерадивую. Что ж ты делала, сидя одна?

– Все думала, – чуть слышно проговорила Дуня.

– О чем?..

– Да все о том... о вашем раденье...

– Что ж ты думала?

– Чудно мне, Варенька, – прошептала Дуня.

– Да. Ты правду сказала. Дела поистине чудные. Устами людей сам бог говорит... При тебе это было. И чем говорил он, превечный, всесовершенный, всевысочайший разум? Телесными устами ничтожного человека, снедью червей, созданием врага!.. Поистине чудное тут дело его милосердия к душам человеческим.

– Не про то говорю я, – молвила Дуня. – То чудно мне, то непонятно, зачем у вас скачут, зачем кружатся, кричат так бесчинно?

– Враг тебя соблазняет, – строго сказала Варенька, став перед Дуней. – Сколько раз говорила я тебе, сколько и тетенька говорила: чем ближе час «привода», тем сильнее лукавый строит козни... Ежели теперь, именно теперь напало на тебя неверие в тайну сокровенную, явленную одним только избранным, – его это дело. Не хочется ему, чтобы вышла ты из-под его злой и темной власти, жаль ему потерять рабыню греха. Всегда так бывает... Погоди, не то еще будет. Тоску нагонит он на тебя, такую тоску, что хоть руки на себя наложить. Ему от того ведь польза, барыш, ежели кто руки на себя наложит... К нему пойдет... Лишнее ему козлище...

– Ах, Варенька! – в сильном смущении, всплеснувши руками, вскрикнула Дуня.

И опустила на стул и закрыла руками лицо.

– Сама я, – медленно продолжала Варенька, не глядя на Дуню, – сама я перед самым «приводом» хотела с тоски посягнуть на свою душу... Из петли вынули... Вот здесь, в этой самой комнате... Видишь, крюк в потолке, лампа тут прежде висела...

И быть бы мне теперь в работе лукавого, быть бы вековечно в его тьме кромешной!.. Но избавлена была богом бедная душа моя. Наблюдали тогда за мной, на шаг от меня не отступали...

И я теперь не отступлю от тебя, ночи спать не буду, сидючи над тобою... И все будут наблюдать, чтобы враг не одолел тебя... Надо скорей «привести» тебя... Тогда наваждение врага как рукой снимется, и святой дух освятит твою душу. Как дым, исчезнут все сомненья, как восходящее солнце, возвысится душа твоя во свете, и посрамленный враг убежит... И с того часа навсегда пребудешь в неизглаголанном блаженстве, в общении с творцом.

– Ох, уж не знаю я, Варенька, что и сказать тебе на это, – с отчаянной тоской отвечала Ду-

ня. – Влечет меня сокровенная тайна. Но зачем эти скаканья, зачем прыганья и круженья? Соблазняет... Зачем кричат, зачем машут полотенцами?.. Ей-богу, ровно пьяные...

– Ты правду сказала, – молвила Варенька. – Не ты первая это говоришь... Тысяча восемьсот лет, даже побольше того, то же самое говорили язычники, увидавши божьих людей, когда на них сошел дух святой. Да, мы все были пьяны, напившись духовного пива... Не глумись!..

Вспомни, что сказано в писании о сошествии святого духа на апостолов? Неверные, глядя на них, говорили, что они пьяны. «Ругающиеся глаголаху, яко вино исполнени суть». Не новое сказала ты, Дунюшка; восемнадцать веков тому назад... рабами лукавого твое слово было уж сказано.

– Да ведь апостолы не плясали, не кружились, сказала Дуня.

– О том в писании прямо не говорится, но предание осталось. А в самом писании нигде нет отрицанья, чтоб у апостолов не было тех самых радений, какие дошли до нас, – сказала Варенька. – Говорится там: «Вселюся в них и похожу». Вот он и ходит в своих людях, и тогда не своей волей они движутся, но волей создателя их душ... И прежде, гораздо прежде апостольских времен бывало то же самое. Вспомни царя Давида, как плясал он перед кивотом. Что ты ни видела в сионской горнице, что ни слышала там – это все земное выражение небесной радости...

Пока ты еще не можешь постигнуть священного таинства, поймешь его, когда будешь приведена. Разверзнутся тогда очи твои, и все непонятное станет тебе ясно, как день... О!.. велика благодать постигнуть тайну сокровенную!

Задумалась Дуня. Спустилась с ее плеч сорочка, обнажилась белоснежная грудь. Стыдливо взглянула она и торопливо закрылась.

– Что? На тело свое полюбовалась? – с усмешкой спросила ее Варенька. – Что?.. Хороша пища для могильных червей? Красиво создание врага? На темницу своей души залюбовалась?.. Есть чем любоваться!.. Что росинка в море-океане, то жизнь земного тела в вечности!.. Не заметишь, как жизнь кончится, и станешь прахом... Гадко тогда будет живому человеку прикоснуться к твоей красе...

Презирай, угнетай, умерщвляй пакостное тело свое, душу только блюди, ее возвышай, поклони б она скверную плоть твою!.. Да будет мерзка тебе красота!.. Она от врага!.. Презирай, губи ее, губи ее, гадкую, мерзкую!..

Так говорила девушка в полном цвете молодости, пышная, здоровая, несмотря на давнее уж умерщвление плоти.

Промолчала Дуня. – Что ж, однако, эта за тайна сокровенная? – промолвила она после недолгого молчанья. – Сколько времени слышу я про нее... Вот и на собрание была, а тайны все-таки не узнала... Где ж она, в чем?.. Не в пляске же, не в круженье, не в безумных речах Софронушки, не в дурацком реве дьякона...

– Тайна, от веков сокровенная, избранным только открыта, – строгим, не допускающим противоречия голосом, садясь на диван, проговорила Варенька. – Тайну от веков и родов сокровенную, ныне же одним святым только открытую, которым восхотел бог показать, сколь велико богатство славы его, сокрытое от язычников в тайне сей (Послание к Колоссеям, I, 26) Поняла?

Молчала Дуня.

– Ты внешний только образ сокровенной тайны видела, – продолжала Варенька, – а пока останешься язычницей, не можешь принять «внутренняя» этой тайны. Когда «приведут» тебя – все поймешь, все уразумеешь. Тогда тайна покажет тебе богатство господней славы... Помнишь, что сказал он тебе устами Катеньки?.. Не колебли же мыслей, гони прочь лукавого и будешь избранным сосудом славы... Истину говорю тебе.

А Дуне слышится голос Манефин: «Болото!.. Загрязнешь, утонешь!..»

– Не знаю, что тебе сказать... – молвила она Вареньке после долгого раздумья. – Сомненье... – чуть слышно она прибавила.

– А ты кто, что с богом споришь? – восторженно вскрикнула Варенька. – Господь тебя сотворил сосудом избранным, а ты смеешь спорить, сомневаться?.. Что Катенька сказала тебе?.. Не ее было слово, а слово вышнего... «Дам тебе ризу светлу, серафимские крылья, семигранный венец, и тут милости моей не конец!..» Вот слова духа святого о тебе, а ты вздумала с богом бороться!.. Он тебя призывает, а ты слушаешь врага!.. Не внимай козням его, плюнь на супостата, отвер-

нись от него, обратиться к богу истинному... Пощади душу свою, милая Дунюшка!

– Боюсь я... Страшно... – после недолгого молчания, трепетным голосом промолвила Дуня. – Все у вас так странно!.. Как же можно богу пляской молиться?

– Боязнь твоя от лукавого. Он вселяет в тебя страх, – сказала Варенька. – Не в телесных движениях, не в круженьях, не в пляске бог силу свою являет, но в откровеньях... Наитие святого духа – вот цель радений... Иного средства призвать его сошествие не знаем. Но так ли, этак ли привлечь его на себя – все равно... Видела Катеньку? Какова она была в святом восторге?.. А не все ли равно, каким путем благодать ни сошла на нее? Скаканьем ли, пляской ли, земными ли поклонами? Подумай хорошенько об этом, обсуди без пристрастия... Пойми, что слава божия, каким бы путем ни сошла она на избранных, – спасительна. Сомнения твои – хула на святого духа, а этот грех не прощается. И в писании так сказано... Помнишь?

– Не то я в книгах читала, – дрожащим голосом скорбно промолвила Дуня.

– А ты хочешь, чтоб сокровенная тайна в книгах была открыта?.. – возразила Варенька. – Да ведь книгу-то всякий может читать, а тайна божия совершается тайно... Нельзя ее всякому открывать – сказано: «Не мечите бисера перед свиньями...» Ты только телесными очами видела и телесными ушами слышала, как совершается тайна; но ведь ты еще не познала ее. Вот когда будешь приведена, тогда очи души твоей откроются и уши твоего ума разверзнутся. Тогда и в прочитанных тобой книгах поймешь все. Сотканная врагом темная завеса спадет с твоих глаз и со слуха.

Молчала Дуня. Борьба веры с сомнениями все ее потрясала... И к тайне влекло, и радельные обряды соблазняли. Чувствовала она, что разум стал мутиться у ней. После долгого колебания сказала она Вареньке:

– Ни Марья Ивановна, ни ты не говорили мне про то, что видела и слышала я на раденьях. Я представить себе не могла, чтоб это было так исступленно, без смысла, без разума.

– «Безумное божие превыше человеческой мудрости»... Кто сказал это? – вскрикнула Варенька. – Да, ни я, ни тетенька тебе не открыли всего, и сделано это не без разума. Скажи мы тебе обо всем прежде времени, не так бы еще враг осетил твою душу. Впрочем, я говорила, что радельные обряды похожи на пляску, на хороводы... Говорила ведь?

– Говорила, – тихо промолвила Дуня.

– Говорила, что в минуты священного восторга сам бог вселяется в людей и входит в них, по писанию: «Вселюся в них и похожду»! – с жаром продолжала Варенька.

– Говорила, чуть слышно ответила Дуня.

– А про то говорила, что в эти минуты люди все забывают, землю покидают, в небесах пребывают? – еще с большей горячностью в страстном порыве вскрикнула Варенька.

– Да, помню... Под пальмами ты говорила это, – ответила Дуня.

– Что делают в то время избранные люди – они не знают, не помнят, не понимают... Только дух святой знает, он ими движет. Угодно ему – люди божьи скачут и пляшут, не угодно – пребывают неподвижны – Угодно ему – говорят, не угодно – безмолвствуют. Тут дело не человеческое, а божье. Страшись его осуждать, страшись изрекать хулу на святого духа... Сколько ни кайся потом – прощенья не будет.

– Непостижимо уму и страшно, – чуть слышно промолвила Дуня.

– Мысль вражья!.. – вскрикнула Варенька. – Гони губителя душ, гони от себя!.. Веруй без рассуждений, без колебаний!.. Веруй, и вера твоя спасет тебя. На господу возложи тревожные думы – он избавит тебя от сети ловчей и от слов мятежных.

Долго говорила с Дуней Варенька. Одевшись, они пошли в пальмовую теплицу и там еще много говорили. Рассеялись отчасти сомнения Дуни.

Идут дни за днями, идет в Луповицах обычная жизнь своей чередой. На другой день после раденья разошлись по домам и матрос и дьякон, уехали Строинский и Кислов; Катенька осталась погостить. Остался на пасеке и блаженный Софронюшка; много было с ним хлопот старому пасеч-

нику Кирилле.. Нет отбоя от баб... Из-за пятнадцати, из-за двадцати верст старые и молодые гурьбами приходили в Луповицы узнавать у юрода судьбу свою. С пасеки его никуда не пускали, бед бы не натворил, потому Кириллина пасека с утра до ночи была в бабьей осаде.

Катеньку поместили в комнате возле Вареньки и Дуни. Все вечера девушки втроем проводили в беседах, иной раз зайдет, бывало, к ним и Марья Ивановна либо Варвара Петровна. А день весь почти девушки гуляли по саду либо просиживали в теплице; тогда из богадельни приходили к ним Василиса с Лукерьюшкой. Эти беседы совсем почти утвердили колебавшуюся Дуню в вере людей божиих, и снова стала она с нетерпением ждать той ночи, когда примут ее во «святой блаженный круг верных праведных». Тоска, однако, ее не покидала.

Грустит, а сама не знает, о чем тоскует. По отце Дуня не соскучилась, к Дарье Сергевне давно охладела, Груню забыла, забыла и скитских приятельниц. «По разным мы пошли дорогам, — думает она, — зачем же мне об них думать? Им своя доля, мне иная...» Не могла, однако, равнодушно вспомнить про Фленушку. Не знала еще Дуня, чем кончилась поездка к ней Самоквасова, и хоть всячески старалась забыть бывшее, но каждый раз, только что вспомнится ей Фленушка, ревность так и закипит в ее сердце. И вспадет ей тогда на память либо сон, что виделся после раденья, либо катанье в косной по Оке. Нет, нет и послышится песня гребцов:

Полюби меня, Дуняша,
Люби миленький дружок.

«Да ведь не мне была та песня пета... — думает она, а тоска щемит да щемит ей сердце. — Наташа замужем, а он меня покинул... Не надо его, не надо!.. И думать о нем не хочу!»

А сама все думает.

Раз с Катенькой вдвоем сидела Дуня в тенистой аллее цветущих лип. Было тихо, безмолвно в прохладном и благовонном местечке, только пчелы гудели вверху, собирая сладкую добычу с душистых цветов. Разговорились девушки, и обмолвилась Дуня, помянула про Самоквасова.

— Когда я в первый раз увидела тебя, Дунюшка, была я тогда в духе, и ничто земное тогда меня не касалось, ни о чем земном не могла я и помышлять, — сказала Катенька, взявши Дуню за руку. — Но помню, что, как только я взглянула на тебя, — увидела в сердце твоём неисцелённые еще язвы страстей... Знаю я их, сама болела теми язвами, больше болела, чем ты.

— Ах нет, ведь я покинутая. Как было мне горько, как обидно, — низко склонив голову и зардевшись, чуть слышно промолвила Дуня.

— Целовал он тебя?.. Обнимал? — бледнея и пылая глазами, спросила Катенька.

— Как можно!.. — пуще прежнего зардевшись, ответила Дуня. — Разве бы я позволила?

— Говорила ему, что полюбила его?

— Что ты?.. — почти с ужасом вскрикнула Дуня.

— Так он один говорил тебе про любовь?.. Что ж он? Уверял, заклинал, что век будет любить?.. Сватался?.. спрашивала Катенька.

А глаза у ней так и пышут, и трепетно поднимается высокая грудь. Едва переводит дыханье.

— Никогда не бывало того, — потупившись, отвечала Дуня.

— Верно говоришь?

— Верно.

— Значит, меж вас ничего и не было, — молвила Катенька. — Не о чем тут и говорить — не язва у тебя на сердце, а пустая царапинка... Не то я испытала... Не то я перенесла...

— Ах, Катенька, не знаешь ты, каково мне было тогда... Исстрадалась я совсем, — крепко прижимаясь к подруге, вскрикнула Дуня. — Даже и теперь больно, как только вспомню... Царапина!.. Не царапина, а полсердца оторвалось, покой навек рушился, душа стала растерзана.

И, стремительно махнув рукой, вперила на Катеньку страстно загоревшиеся очи.

— Слушай теперь мою исповедь, — с грустной улыбкой молвила Катенька. — Слушай, словечка не пророни, а потом и равняй себя со мной...

Твоих лет я была, как спозналась с любовью. С собой красавец, тихий, добрый, умница, скромник, каких мало, богат, молод, со всей петербургской знатью родня, военный князь... Мне, бедной, незнатной, неученой, и в голову не приходило, что я могу понравиться такому человеку... А он ищет моей любви, отрывается в ней...

И я полюбила его... И как любила – то!.. Присватался... Батюшка с матушкой согласны, обо мне и говорить нечего – себя не помнила от радости и счастья... И не видала я, как пролетели три месяца, пролетели они, ровно три минутки... Одни были у нас с ним чувства, одни думы, и ни в чем желанья наши не расходились...

Страстен и пылок он был, но смирял порывы... Предупреждал каждое мое желанье, а когда, бывало, по неумению не так что скажу, научит так кротко, с такою любовью...

Наглядеться на него я не могла... Возненавидела ночи, нельзя было по ночам оставаться с ним, жадно желала венца, чтобы после венчанья ни на миг не разлучаться с ним... Пришла надобность ему быть в Петербурге, поехал ненадолго, и уговорились мы на другой же день после его возврата венчаться... Сколько было слез на расставанье, и он рыдал, жгучими слезами плакал, а я уж и не помню ничего, была вне ума... Писал... Сколько счастья, сколько радостей письма его приносили!.. В разлуке еще сильнее я полюбила его... И вдруг!..

Женился на другой, уехал за границу... С ума, слышь, сходила я... Поднял меня всемогущий отец, возвратил потерянный разум, возвратил и память... Тогда я возненавидела князя... Если бы, кажется, попался он мне, я б на куски его растерзала... Никому ни слова о нем не говорила, и все думали, что он у меня из памяти вон... Но я ничего не забыла... Все думала, как бы злом за зло ему заплатить... Не могла придумать... Писать к нему, осыпать проклятьями, но в объятьях жены он и не взглянет на мое писанье, а ежели и прочитает, так разве только насмеется... Ехать к нему собралась было, пощечиной думала в глазах жены его осрамить, либо подкупить кого-нибудь, чтоб его осрамили, – на поездку средств не достало...

Да и то – рассудила я – оплеуха женщины мужчине не бесчестье, они целуют ударившую руку и потом всякому поперечному рассказывают об этом и вместе смеются... Станут говорить о тебе, как о брошенной наложнице... Будь чиста, будь свята и непорочна – все-таки на тебе бесчестье...

С каждым словом Катенька воспламенялась больше и больше. И вдруг, облокотившись на столик руками и закрыв лицо ладонями, она замолкла, сдерживая подступавшие рыдания. Дуня ни слова.

Отвела руки от лица Катенька, гордо закинула назад красивую головку и сказала, ровно отчеканила:

– Что было, то минуло. От прожитого не осталось ничего.

Глаза горели, но уж не по-прежнему. Иной огонь, яркий и резкий, блистал в ее взорах, – то был огонь исступленья, огонь изуверства.

– Все с меня сошло, все во мне исчезло, – восторженно продолжала она. – Утолились сердечные боли, настал душевный покой. Новое счастье, ни с чьим не сравнимое, я познала... Не может рассказать о нем язык человеческий... Самое полное счастье земной любви ничто перед тем блаженством небесной любви, что ощущаешь в себе во время наития святого духа. То мрак, а это свет лучезарный, то земля, полная горя и плача, а это светлое небо, полное невообразимых радостей, то блужданье во тьме кромешной, это – паренье души в небеса.

– В чем же то счастье? В чем блаженство? Я все еще не могу понять, – после короткого молчанья спросила Дуня.

– Когда дух святой снидет на тебя, душа твоя и тело обратятся в ничто, – сказала Катенька. – Ни тело тогда не чувствует, ни душа. Нет ни мыслей, ни памяти, ни воли, ни добра, ни зла, ни разума, ни безумия... Ты паришь тогда в небесных кругах, и нет слов рассказать про такое блаженство... Не испытавши, невозможно его понять... Одно слово – соединение с богом. В самом раю нет радостей и наслажденья больше тех, какие чувствуешь, когда дух святой озарит твою душу.

– А в другое время? – спросила, подумавши, Дуня. – Тоскуешь? Ведь ежели кто узнал хорошее и потом нет его, тогда и скорбь, и грусть, и тоска.

– Душе, коснувшейся огненного языка святого духа, озаренной его светом, нет ни тоски, ни скорби, ни грусти. Нет для нее ни горя, ни печали, нет и греховных земных радостей... Бесстрастна та душа – и беды, и счастье, и горе, и радость, и скорбь, и веселье не могут коснуться ее... Она бесстрастна – нет для нее ни злобы, ни любви, ни желаний, ни стремлений... Она спит в вечном, невозмутимом покое...

Сердце умерло, страстей нет сожжены они огненным языком святого духа, их нет, и ничего нет, что исходит из страстей: злобы, лжи, вражды, зависти, нет и добра, нет и любви, нет и забот о чем бы то ни было... Одна только забота, одно желанье – поскорей разбить темницу, врагом для души построенную, умертвить греховную плоть... Все остальное чуждо таинственно умершему и таинственно воскресшему... Если б перед его глазами и земля, и весь небесный свод разрушились, и тогда бы он с полнейшим бесстрашьем, безучастно глядел на такое разрушение. Оно бы и не коснулось его, разрушилось бы только тленное тело, но туда ему и дорога!

Еще долго говорила Катенька и совсем склонила Дуню на прежнее. И душой, и сердцем стала теперь она стремиться к «приводе».

И ночь «привода» не замедлила.

Ровно через неделю после собора божьих людей, также в субботу, под вечер, приехали в Луповицы Кислов и Строинский, пришли матрос Фуркасов и дьякон Мемнон. Был на тот день назначен «привод» Дуни и Василисушки.

Смеркалось, собрались божьи люди перед входом в сионскую горницу. Когда Николай Александрыч, осветив ее, отворил двери, прежде всех вошли Дуня с Марьей Ивановной, Варенька с Катенькой, а за ней Василисушка с Варварой Петровной, с Матренушкой и еще с одной богаделенной старушкой. Из сионской горницы они тотчас пошли в коридор. Там в одной комнате Дуню стали одевать в «белые ризы», в другой Василисушку.

Когда другие божьи люди облеклись в «белые ризы», они пошли друг за другом в сионскую горницу, а Дуня и Василисушка остались в полном уединенье.

– Углубись в себя, Дунюшка, помни, какое время для души твоей наступает, – говорила ей перед уходом Марья Ивановна. – Отложи обо всем попечение, только о боге да о своей душе размышляй... Близись к светозарному источнику благодати святого духа – вся земля, весь мир да будет скверной в глазах твоих и всех твоих помышленьях. Без сожаленья оставь житейские мысли, забудь все, что было, – новая жизнь для тебя наступает... Всем пренебрегай, все презирай, "возненавидь все мирское. Помни – оно от врага... Молись!!

Поцеловала Дуню, перекинула ей через плечо «знамя», а сама тихими шагами пошла в сионскую горницу.

Долго еще оставалась Дуня в одиночестве. Пока у божьих людей было общее прощение, пока кормщик читал жития и говорил поучение, она была одна в пустой комнате. И чего тогда она не передумала.

Вспомнила наставленье Марьи Ивановны – думать лишь о боге и душе – и стала молиться на стоявший в углу образ. В небреженье он был – весь в паутине...

Молилась Дуня, как с детства привыкла, – с крестным знаменьем, земными поклонами.

Много раз говаривала ей Марья Ивановна, говорила и Варенька, что, вступая на путь божий, должно отречься от мира, от отца с матерью, ото всего рода, племени. "Ведь сказано, – стоя на молитве, думает Дуня, – оставит человек отца своего и мать свою и грядет по мне...

Ах, тятя, тятя!.. Ах ты, милый мой, милый тятенька!.. Как же я покину тебя, как забуду, что я дочь твоя, рожденье твое?.. Притворяйся, – говорила намеренно Марья Ивановна, – притворяйся, чтоб отец не заметил в тебе перемены... Не умею я, не смогу притворяться... Ведь это значит лукавить... А лукавить – служить лукавому, его волю творить... А я от него бежать хочу... Как же это?"

С того времени, как познакомилась Дуня с Марьей Ивановной и начиталась мистических книг, ко всем ближним своим, даже к отцу, она стала холодна и неприветлива. Не то чтоб она разлюбила отца, но как-то, сама не постигая отчего, сделалась к его горячей, беззаветной любви совсем равнодушною. Не заботили ее отцовские заботы, не радовали его радости, не печалили его неудачи. А когда, поддаваясь увлечениям крутого, вспыльчивого нрава, Марко Данилыч оскорблял кого-нибудь, тогда Дуня почти ненавидела его. Охлаждение росло с каждым днем и особенно

усилилось во время разлуки под влиянием Марьи Ивановны и других людей божиих. По несколько дней отец даже на память ей не прихаживал...

И вдруг перед самым тем часом, как должна она разорвать навсегда сердечные с ним связи, воскресла в ее душе прежняя любовь. Так бы вот вольной пташкой и полетела к нему, так бы вот и бросилась в его объятия, так бы и прижалась к груди родительской.

Припоминает Дуня отцовские ласки, вспоминает его доброту к ней и заботливость, вспоминает и тот день, когда он подал ей обручальное кольцо... «К чему оно теперь!.. Кому?..» – думает Дуня, и вдруг перед душевными ее очами восстает Петр Степаныч... Неясные, однообразные звуки чтения Николая Александрыча едва доносятся из сионской горницы, но вместо их Дуне слышится песенка:

Я принес тебе подарок,
Подарочек дорогой,
С руки перстень золотой...

Вздрогнула она, перекрестилась... «Искушение, – подумала она, – князь мира смущает... Отыди, исчезни!!..»

Но не слышит князь мира ее заклинаний, по–прежнему слышится ей:

На белую грудь цепочку,
На шеюшку жемчужок,
Ты гори, гори, цепочка,
Разгорайся, жемчужок!..

«Господи, господи! – молится Дуня, взирая на подернутый паутиною образ. – Запрети лукавому... К тебе иду.. Порази его, супротивного, своей яростью...»

А Петр Степаныч ровно живой стоит перед ней. Вьются темно-русые кудри, пышет страстью лицо, горят любовью искрометные очи, гордо, отважно смотрит он на Дуню; а гул чтения в сионской горнице кажется ей страстным напевом:

Полюби меня, Дуняша,
Люби, миленький дружок!

Бросилась она на колени и, опершись локтями на кресло, закрыла руками лицо. Слезы ручьями текут по бледным щекам.

Звон на колокольне – двенадцать. Тихо, беззвучно растворилась дверь, – в белой радельной рубахе, с пальмовой веткой в руке, с пылающим взором вошла Марья Ивановна.

– Молилась? Это хорошо! – сказала она. – Идем. И, не выждав ответа, торопливо схватила Дуню за руку и повлекла в сионскую горницу.

Там сидели божьи люди, у всех в руках зажженные свечи, пальмы лежали возле. Стоя у стола, Николай Александрыч держал крест и Евангелие.

Дуня остановилась в дверях, рядом с ней ее восприемница Марья Ивановна. Божьи люди запели церковную песнь. «Приидите поклонимся и припадем ко Христу». Дьякон Мемнон так и заливался во всю мочь богатырского своего горла.

– Зачем ты пришла сюда? – строгим голосом спросил Дуню Николай Александрыч.

Дуня смешалась. Забыла наставленья, из памяти вон, что надо ей отвечать. Марья Ивановна подсказала, и она, опускаясь на колени, слабым голосом ответила:

– Душу спасти.

– Доброе дело, спасенное дело, – сказал Николай Александрыч. – Благо твое хотение, девица. Но без крепкой поруки невозможно мирскому войти во святой круг верных-праведных. Кого даешь порукой?

– Матушку царицу небесную, – чуть слышно промолвила Дуня.

– Хорошо, если так, – сказал Николай Александрыч.

– Смотри же, блюди себя опасно, не была б тобой поругана царица небесная.

– Всегда обещаюсь пребывать в заповедях истинной веры, никогда не поругаю свою поручительницу.

– Доброй ли волей пришла в сей освященный собор? – продолжал Николай Александрыч. –

Не по страху ли, или по неволе, не от праздного ли любопытства?

– Доброй волей пришла. Спасенье получить желаю, – отвечала Дуня.

– А известны ль тебе тягости и лишения, что тебя ожидают? Не легко знать, не легко и носить утаенную от мира тайну, – сказал Николай Александрыч. – Иго тяжелое, неудобноносимое хочешь ты возложить на себя. Размыслила ли о том? Надеешься ли на свои силы?

– Размыслила, решила и на себя надеюсь, – подсказала Дуне Марья Ивановна, и та повторила.

– Должна ты отречься от мира и ото всего, что в нем есть, – продолжал Николай Александрыч. – Должна забыть отца и мать, братьев, сестер, весь род свой и племя. Должна отречься от своей воли, не должна иметь никаких желаний, должна все исполнять, что б тебе ни повелели, хотя б и подумалось тебе, что это зазорно или несправедливо... Должна ты не помышлять о греховной мирской любви, ничего не вспоминать, ни о ком не думать. Должна избегать суеты, в гости не ходить, на пирах не бывать, мясного и хмельного не вкушать, песни петь только те, что в соборах верных поются.

Должна ты быть смиренною, из всех грехов нет тяжелей гордости, это самый великий грех, за гордость светлейший архангел был низвергнут во ад. Ничем не должна ты гордиться, ни даже своим целомудрием... Если б даже было тебе повелено лишиться его – не колеблясь, должна исполнить сказанную тебе волю... О тайне же сокровенной, о святом служении богу и агнцу не должна никому сказывать; ни отцу родному, ни отцу духовному, ни царю и никому, кто во власти...

Доведется пострадать за тайну, должна безропотно принять и гонения и всякие муки – огонь, кнут, плаху, топор, но тайны сокровенной никому не поведать... Если же предашь ее – будет тебе одна участь с Иудой. Исполнишь ли все, что говорю?

– Исполню, – дрожа от волнения, прошептала Дуня.

– Поди сюда, – сказал Николай Александрыч.

Дуня подошла к столу. Положив крест и Евангелие, кормщик взял ее за руку и трижды посопел обвел вокруг стола. Марья Ивановна шла за нею. Все пели: «Елицы от Христа в Христа крестистесь, во Христа облекостесь».

Поставив Дуню перед крестом и Евангелием, Николай Александрыч велел ей говорить за собою:

– Пришла я к тебе, господи, на истинный путь спасения не поневоле, а по своей воле, по своему хотенью. Обещаюсь я тебе, господи, про сие святое дело никому не открыть, даже пред смертною казнию, в чем порукою даю царицу небесную пресвятую богородицу. Обещаюсь я тебе, господи, на всякий день и на всякий час удаляться от мира и всей суеты его и всего разврата его. Обещаюсь я тебе, господи, не иметь своей воли, во всем творить волю старших, что б они ни повелели мне, – все исполнять безо всякого сомнения...

Прости меня, господи, прости, владычица богородица, простите, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и вся сила небесная!.. Прости, небо, прости, солнце, простите, месяц, звезды, земля, озера, горы, реки и все стихии небесные и земные!..

После того Дуня приложилась ко кресту и Евангелию, и кормщик сказал ей:

– В сие время божий ангел сходил с неба. Он стоял перед тобой и записывал обещанья твои. Помни это.

По слову Марьи Ивановны, Дуня перекрестилась обеими руками и поклонилась в землю Николаю Александрычу. Он тем же ответил ей. Потом Марья Ивановна подводила ее к каждому из людей божьих и на каждого она крестилась и каждому отдавала земной поклон.

И они тем же ей отвечали, поздравляя с обновлением души, с крещением святым духом. Поздравляли друг друга с прибылью для корабля, с приводом новой праведной души.

Подала Марья Ивановна Дуне белый батистовый платок, пальмовую ветку и рядом с собой посадила.

После того был «привод» Василисушки. Затем, обращаясь к обеим новым сестрицам, божьи люди запели «приводную песнь».

Ай вы, девушки, девицы,

Вы духовные сестрицы,
Когда богом занялись,
Служить ему задались -
Вы служите, не робейте,
Живу воду сами пейте,
На землю ее не лейте,
Не извольте унывать,
А на бога уповать,
Рая в нем ожидать.

Потом запели: «Дай к нам, господи», и началось раденье. Сначала тихо и робко Дуня ходила в женском кругу, но потом стала прыгать с увлечением, потрясая пальмой и размахивая батистовым покрывцем.

На другой день после привода Дуни ей отвели особую от Вареньки комнату. В то же время привезли к Луповицким почту из города. Между письмами было и к Дуне от Марка Данилыча. Послано оно из Казани. Было в нем писано:

"Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас. Аминь. Любезной и дражайшей дочке моей Авдотье Марковне при сем кланяюсь и посылаю родительское мое благословение, навеки нерушимое. Желаю ото всего моего родительского сердца знать про здоровье и благополучно ли ты доехала с почтеннейшей и нами завсегда уважаемой госпожою Марьей Ивановной до своего места.

Потому отпиши беспрерывно, единого дня не медля, на мое имя в Саратов, в гостиницу Голубова, для того, что там я располагаю пристать, а в Саратов намерение имею сплыть из Казани на пароходе после завтрашнего числа. А еще более того желаю знать, каково тебе в гостях; ты еще николи не покидала дома родительского, и для того мне очень желательно знать, как с тобой господи обходятся, потому что ежели что нехорошее, так я свое рождение в обиду не дам, и будь обидчик хоша разгенерал, добром со мной не разделается.

Всего имения и капиталов не пожалею, а до него доберусь и сделаю над ним свое дело. Так ты и скажи господам Луповицким и другим господам, которые компанию с ними водят, что, мол, тятенька за какую ни на есть обиду полмиллиона, а надо, так и больше не пожалеет, а обидчика, мол, доедет. Скажи им всем – потому они и поопасятся. Ежели какую, хоша самую малую, обиду от кого получила, отпиши без замедления на мое имя в Саратов, в гостиницу Голубова, а я тем же часом сряжусь и приеду, и тогда обидчик милосердия и ожидать не моги.

А ежели тебе, дражайшая моя дочка Авдотья Марковна, житие в Луповицах хорошее и безобидное, то живи у Марьи Ивановны дольше того срока, какой я тебе на прощанье дал, для того, что я из Саратова сплыву в Астрахань, а управившись там, проеду, может статься, в Оренбург по некоему обстоятельству, а домой ворочусь разве к самому Макарью. А потому или я сам приеду за тобой, или Дарью Сергевну с Корнеем пришлю, а не то с Васильем Фадеевым, чтобы доставила тебя домой в сохранности, ежели Марья Ивановна заблагорассудит долго гостить у сродников. А мне было бы желательно попрошлогоднему свозить тебя на ярманку и потешить в Нижнем, как прошлого года.

А ежели, паче чаяния, отпишешь ты ко мне про обиды, тогда не токма в Оренбург – и в Астрахань не поеду. Корнея вместо себя пошлю, а сам самолично приеду в Луповицы и за всякое зло воздам сторицею. Так они это и знай, так им скажи. Очень мне гребтит, что ты, любезная дочка, возлюбленное мое рождение, отчуждена, живучи у господ, от истинной, святоотеческой древле-православной веры – смотри же у меня, не вступай во двор козлищ, иже имут левое стояние пред господом на страшном суде. В ихнюю церковь входить не дерзай и ото всяких ересей блюди себя опасно, дабы не погрешить и к осужденным на вечные муки не быть сопричетной. А насчет рыбы дела плохие, одначе сего не сказывай никому. Веденеев с Меркуловым все дело испортили. Убытков хоша не приму, а барышей и половины не доспею супротив того, как по весне рассчитывал. Одно только и есть утешение, что Орошину при таких ценах совсем несдобровать, и ежели явит господь такую милость, так ему, пожалуй, по скорости придется и несостоятельным объявиться.

Очень вздружили его Веденеев с Меркуловым – изо рта кусок вырвали. А здесь, будучи в Казани, повстречалась мне в Коровинской часовне комаровская мать Таифа. Покамест до Макарья поехала за сборами на Низ, сказывала она про твоих подруг: Флена Васильевна, благую часть избра, яже не отыметя от нее, – ангельский чин приняла и пострижение, и, как надо полагать, по кончине матушки Манефы, сидеть ей в игуменьях. А Патапа Максимыча дочка Прасковья Патаповна тяжела, на сносях, а зятка ихнего Таифа не одобряет: был-де архиерейский посол, а стал собачий мосол – от одного берега отстал, к другому не пристал.

Так этими самыми словами и говорит. Аксинья Захаровна, сказывала мать Таифа, очень скорбна, разболелась вся, на ладан, слышь, дышит. Аграфена Петровна тоже недомогает. От Дарьи Сергевны третьего дня письмо получил – в доме у нас все благополучно, только Василий Фадеев ненароком ногу себе топором порубил. А здесь, в Казани, в Рыбнорядском трактире третьего дня виделся с Петром Степанычем Самоквасовым – может, не забыла, тот самый, что в прошлом году у матери Манефы в обители с нами на Петров день кантовал (Кантовать – пировать, с гульбой, с песнями.), а после того у Макарья нас с Дорониными в косной по реке катал. Еще рыбу тогда ловили.

Дельцо у него есть с дядей по наследству. Хоша его дело и чисто, да у дяди, надо думать, рука сильна, не миновать, слышь, Петру Степанычу, чтоб до московского сената не дойти, – посудят ли там по-божески – один господь ведает, а теперь покамест все закрыто. А Петр Степаныч ровно сам не свой: «Один конец, говорит, хоть в омут головой!» А насчет Коровинской часовни дела происходят не очень того чтобы ладные; склоняются многие на единоверие. Засим, прекратя сие письмо, еще посылаю тебе, любезная дочка моя Авдотья Марковна, заочное родительское благословение, навеки нерушимое, ото всего моего сердца желаю тебе доброго здравия и всякого рода благополучия, а засим остаюсь любящий тебя отец твой Марко Смолокуров. А от бояр и ото всяких господ мужеска пола всячески берегись, дражайшая моя дочка Авдотья Марковна, блюди себя во всякой сохранности, дабы не было бесчестья, на то посылаю тебе строгий мой родительский приказ.

Сколько ни люблю тебя и не жалею, а ежели, помилуй бог, такой грех случится, тогда не токмо ему, треклятому, но и тебе, моей дочке, с плеч голову сорву. Более сего писать не предвижу, прекратив сие письмо, посылаю тебе родительское благословение, навеки нерушимое".

Равнодушно прочитала отцовское письмо Дуня. Тому лишь порадовалась, что можно ей дольше гостить в Луповицах. Что за дело ей до разъездов отца, до Параши, до Аксинии Захаровны, до всех, даже до Груни. Иные теперь мысли, иные стремленья. Злорадно, однако ж, подумала она о постриге Фленушки...

«Ото всяких ересей блюди себя опасно...» – при первом чтении письма эти слова прошли незамеченными, но потом то и дело стали звучать в ушах Дуни. Слышала она, ясно слышала, особенно в ночной тиши, голос отца, тихий и ласковый, каким всегда он говаривал с ней. И задумывалась Дуня, вспоминая, где она теперь, куда ее привели... Всеми силами старается прогнать тревожную мысль. «Вражье искушение! – думает она. – Отец – человек плоти, над ним власть лукавого. Он эти слова ему подсказал... Какая тут ересь?.. Служение богу и агнцу!»

А все-таки ни одной ночи Дуня не может провести спокойно: то звучат отцовские слова, то видится ей Петр Степаныч, скорбный, унылый... И становится Дуне жалко отца, жалко становится и Петра Степаныча.

Из писем к Николаю Александрычу одно всех порадовало. Прислано оно было из Тифлиса племянником Варвары Петровны Егором Сергеичем Денисовым. Ездил он на Кавказ по какому-то казенному порученью. Вот что писал он между прочим:

«Дела подходят к концу, скоро ворочусь в Россию, сверну с прямой дороги и заеду к вам в Луповицы. Был в Ленкоране и везде вокруг Александрополя, видел, беседовал, лично обо всем расскажу». Все, кроме не знавшей Денисова Дуни, просияли от этого послания.

– Егорушка приедет, Егорушка Денисов! – радостно говорил Николай Александрыч жене, брату, невестке и племяннице. И те были также в восторге.

Егор Сергеич Денисов повсюду у хлыстов был велик человек. Знали его и образованные люди божьи, и монахи с монахинями, и сестры женских общин, приведенные к познанию тайны сокровенной, слышали о нем по всем городам, по всем селам и деревням, где только живут хлысты. Не раденьями, не пророчествами достиг он славы, а беседами своими, когда объяснял собратьям правила сокровенной веры, служение богу и агнцу. Был еще он молодой человек с небольшим тридцати лет. Был бы редким красавцем, если б не мертвенная бледность истомленного лица, не вид полуживого человека. Зато большие черные глаза горели у него таким огнем, и было в них так много жизни, что он, смотря на человека, казалось, проникал в его душу. Никто не мог долго смотреть на Денисова, невольно потуплялись глаза, не вынося блеска пронизательных глаз его. Еще в детстве лишившись отца с матерью, был он под опекой Луповицкого. В ранней молодости служил моряком, и тогда в Кронштадте хаживал в «братское общество», где уж мало тогда оставалось людей образованных: Татаринову из Петербурга уже выслали, одноверцев ее тоже разослали по монастырям (Это было в 1837 году. Татаринова сослана в Кашинский монастырь, тайный советник Попов – в Зилантов монастырь в Казани, Федоровы, муж и жена, – в новгородские монастыри, Дубовицкий – в Саровскую пустынь,, а потом в Суздальский Спасо-Ефимьев монастырь либо в Соловки и т.д.).

Еще в Луповицах, где жил он в детстве до поступления в морской корпус, Денисов знал кое-что про людей божьих, но был еще так мал, что не решались ему показать раденья. В Кронштадте случайно узнал он, что тамошнее «братское общество» те же божьи люди, что и в Луповицах. Стал он туда похаживать, но не могли матросы объяснить ему таинственной веры своей. Тогда решился Денисов искать разъяснений ее по хлыстовским кораблям. Рассудив, что на морском корабле не доехать ему ни до какого корабля людей божьих, он вышел в отставку и в гражданской службе занял должность небольшую, но и не маленькую. То было ему дорого, что она требовала дальних разъездов. Сряду несколько лет разъезжал Егор Сергеич то по средней России, то по Волге, то по Новороссии, был даже в Сибири и за границей, в Молдавии. Везде сводил он знакомство с людьми божьими и теперь возвращался из-за Кавказа, познакомившись там с «веденцами» («Веденцами» (от слова ведать) они только сами себя зовут, утверждая, что ведают духа святого. Зовут еще себя духовными. Посторонние, за то что они радеют, как хлысты, зовут их прыгунками, трясунами, а потому, что они уверяют, будто «ведают духа», – духами. Эта секта – смесь молоканства с хлыстовщиной возникла между сосланными за Кавказ с Молочных Вод молоканами. Она считает своим основателем Лукьяна Соколова. Большая часть прыгунов живет в деревне Никитиной, близ Александрополя. Есть они и в Эриванском уезде, и в Ленкоранском, и по другим местам Закавказья. Преемником Соколова был Максим Рудометкин, или Комар-христос, пророк, первосвященник и царь духовных. Он торжественно короновался в деревне Никитиной.), известными больше под именем «прыгунов».

С нетерпением ждали Луповицкие Егора Сергеича. Ехал он с подошвы Арарата, с верховьев Евфрата, из тех мест, где при начале мира был насажден богом земной рай и где, по верованиям людей божьих, он вновь откроется для блаженного пребывания святых – праведных, для вечного служения их богу и агнцу.

Доходили слухи до Луповиц, что там, где-то у подножья Арарата, явился царь, пророк и первосвященник, что он торжественно короновался и, облачась в порфиру, надев корону с другими отличиями царского сана, подражая Давиду, с гуслиями в руках, радел среди многочисленной толпы на широкой улице деревни Никитиной (Тут анахронизм. Комар коронован позже, именно 19 декабря 1857 года.). Доходило до Луповиц и то, что царь Комар, опричь плотской жены, взял еще духовную и что у каждого араратского святого есть по одной, по две и по три духовные супруги.

О духовных супругах Луповицкие имели самые неясные понятия. Читывали они про них в мистических книгах, знали, что тотчас после падения Бонапарта духовные супруги явились в высшем прусском обществе между придворными, принявшими секту мукеров; знали, что есть духовные жены у сектантов Америки, знали, что из Пруссии духовное супружество проникло и в Петербург, но не могли понять, как это учение проникло за Кавказские горы и как ссыльный кре-

стьянин Комар мог усвоить учение кенигсбергского архидиакона Эбея, графини Гребен и других знатных дам и государственных людей Пруссии... «Денисов знаком с царем Комаром, он все разъяснит», – думали Луповицкие... Больше других ожидала гостя Марья Ивановна, хотелось ей хорошенько разузнать о духовных супругах. Дуня, с первого знакомства, то и дело приставала к ней с вопросами о духовном супружестве, но старая дева не умела ей вполне объяснить, в чем тут дело.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Управившись с делами в Астрахани и раздумавши ехать в Оренбург к Субханкулову, Марко Данилыч домой поспешил. Дуня еще не возвращалась, и он написал к ней письмо с приказом ехать скорее домой. «Макарий на носу, – писал он, – а мне желательно тебя на ярманку свозить и потешить по-прошлогоднему».

– Что ж теперь делать? – спрашивала Дуня Марью Ивановну.

– Не ехать, – ответила та.

– Как же можно? – возразила Дуня. – Ведь он будет ждать; а не дождется, приедет сам либо пришлет кого за мной...

– На ярманку, что ли, тебе хочется? – улыбнувшись, спросила Марья Ивановна.

– Что мне до ярманки? – презрительно молвила Дуня. – Чего там не видала? В лодке катанья али театра?..

– Так вот что, – сказала Марья Ивановна. – Пиши отцу, что тебе на ярманку не хочется, а желаешь ты до осени прогостить в Луповицах, а впрочем, мол, полагаюсь на всю твою волю. Поласковой пиши, так пиши, чтоб ему не вспало никакого подозренья. Я тоже напишу.

Как сказано, так и сделано. Марья Ивановна писала Марку Данилычу, что Дуне у Макарья будет скучно, что девушка она строгая, степенная, веселостей и развлечений не любит. Из всего, дескать, видно, что она дочь благочестивого отца и выросла в истинно христианском доме.

Льстивые слова знатной барышни понравились надменному купчине. «Видите, Дарья Сергевна, – говорил он, – видите, как знатные господа, генеральские дети об нас отзываются! Спасибо Дунюшке, спасибо голубушке, что так заслужила у господ Луповицких!» Он согласился оставить Дуню у Луповицких до сентября. Дарья Сергевна была тем недовольна. Расплакалась даже.

А плакала она при Марке Данилыче, такие слова приговаривая:

– Погубят ее! С толку собьют, сердечную!.. Ее ли дело с господами водиться? Не пристанет она к ним, никогда с ними не сравняется... Глядят свысока на нее: «ты, дескать, глупа ворона, залетела в высоки хоромы». А есть господа молодые – тут до греха недалеко... Им нипочем, а ей век горевать.

– Закаркала!.. – резким голосом, сурово вскрикнул Марко Данилыч. – Чем бы радоваться, что Дунюшка со знатными людьми в компании, она невеста что плетет. Я на Марью Ивановну в полной надежде, не допустит она Дуню ни до чего худого, да и Дуня не такая, чтоб на дурные дела идти.

– Дай бог, чтобы было по-вашему, Марко Данилыч, – с тоской и рыданиями отвечала Дарья Сергевна. – А все-таки заботно, все-таки опасно мне за нее. Во сне ее то и дело вижу да все так-то нехорошо: либо раздетую, разубранную в шелках, в бархатах, в жемчугах да в золоте, либо мстится мне, что пляшет она с каким-то барином, а не то вижу всю в цветах каких-то диковиных... Не к добру такие сны, Марко Данилыч.

– Уж вы пойдете, – с досадой промолвил Марко Данилыч. А сам, задумавшись, поспешно вышел из горницы.

Долго еще, долго плакала Дарья Сергевна по любимой воспитаннице. Причитает в горячих слезах, такие речи приговаривает: "Не носила, не родила, не кормила я тебя, Дунюшка, а любила завсегда и теперь люблю, как родную дочь. Будь жива покойница Оленушка, и ей бы так не любить свою дочку, рожоную да кормленую... Растила я тебя, ненаглядная, учила всему доброму, на твою пользу душевную, положила в тебя сердце свое, свет очей моих!..

И всегда-то одну заветную думушку я думывала, как вырастешь, заневестишься и как вый-

дешь за человека доброго, хорошего, из честного роду– племени... Думала я, горемычная, что на старости лет повоюю с твоими деточками, поучу их уму-разуму, наставлю в божьих заповедях... По грехам моим не так сталося-случилося, не по моим гаданьям дело содеялось!.. Умчали белую лебедушку во чужие люди незнаемые, что незнаемые, завистливые, что завистливые, гордые, высокоумные!..

Счастливая ты была девушка, счастливая и таланная; ни тяжелой работой не была окружена, ни бранным словечком огрублена!.. Думала ль, гадала ль я, что придет такое горе великое?.. Думала ль я, что придется жить без тебя в тоске да в беде, в печалях да в горестях?.. Бьется сердце по тебе, убивается, и некому успокоить меня, утешить!.. Ни заем, ни запью горя великого! Ты, душа ль моя Дунюшка, – была ты, белая голубушка, белей снегу белого, была ты, румяная красавица, румяней солнца красного, была ты, свет зорюшка ясная, милей месяца серебряного!.. Поднялись метели со снегами, расходились сизы тучи выюгой грозною – унесли от нас ненаглядный цвет... Ах ты, крошечка-малиновка, золотая моя рыбонька!.. Воротись скорей под батюшкин кров, убеги от людей недобрых, приезжай в свою светлую горенку, во родительский дом белокаменный..."

И ни на один миг не вспомнялась горько плакавшей Дарье Сергевне холодность к ней Дуни.

Первый спас на дворе – к Макарью пора. Собрался Марко Данилыч без дочери и поселился на Гребновской пристани в своем караване. Нехорошо пахивало, да Марку Данилычу это нипочем – с малых лет привык с рыбой возиться. Дня через два либо через три после сего приезда пришел на Гребновскую огромный рыбный караван. Был он «Зиновья Доронина с зятьями».

– Грому на вас нет! – стоя на своей палубе, вскричал Марко Данилыч, когда тот караван длинным строем ставился вдоль по Оке. – Завладели молокососы рыбной частью! – ворчал он в досаде. – Что ни помню себя, никогда больше такого каравана на Гребновской не бывало... Не дай вам бог торгов, не дай барышей!.. Новости затеяли заводить!.. Дуй вас горой!.. Умничать задумали, ровно мы, старые поседелые рыбники, дураками до вас жили набитыми.

А сам дивуется. Стали баржи на месте без руготни, без суетни, даже без лишних криков, никого не задели, никого не зацепили, никому выхода на плес не загородили. Много баржей пришло, а постановкой каравана только двое распоряжались, Меркулов с Веденеевым. На крайних баржах подавали они сигналы свистками. Смеялся на такое новшество Марко Данилыч, но в смехе его зависть и злоба слышались. Хохотали по всей Гребновской и хозяева, и приказчики, и рабочие. Не мало и таких было, что досадовали и злились на тихую постановку каравана – никого он не затронул, и не было ни брани, ни драки, ни свалки, а у гребновских молодцов кулаки давно уже почесывались.

Стал караван, и рабочие от первого до последнего на местах остались, никто не сбежал, никто ничего не украл, никто не запьянствовал, все было тихо и мирно. Много дивились тому.

Оба зятя Зиновья Алексеича с женами приехали на ярманку, с тестем и с тещею. Пристали они в той же гостинице Бубнова, где жили и прошлого года. Сам Зиновий Алексеич рыбным делом не занимался, не взглянул даже на караван, носивший имя его, а Меркулов с Веденеевым каждый день с утра до сумерек по очереди там бывали.

Едва успел установиться караван, на нем, как водится, явились покупатели. Не настоящие то были покупатели, а ищейки. Сами ничего они не покупают, но покупщики рыбного товара подсылают их разузнать цены да посмотреть, какова рыба. Рыбники, особенно приказчики, охотно принимают ищеек, хоть и знают, что ни один из них фунта не купит, но всего товара ни за что им не покажут, прямых цен не скажут, а заломят непомерные. Явились ищейки и на баржи «Зиновья Доронина с зятьями». Там им все показали, а Меркулов каждому сорту товара сказал настоящую цену. Подсылные подивились – низки уж очень были объявленные цены. Зато другая новинка их смутила – в кредит только третья доля товара отпускалась, за остальное наличные деньги клади на стол.

Вечером в Рыбном трактире собрались и рыбники и покупатели. Был тут Орошин, был Марко Данилыч, лысый Сусалин и копне подобный богатырь пискливый Иван Ермолаич Седов. И других рыбников, большого и малого полета, было тут довольно. Сидели они вкруговую за столом, уставленным чайниками, и мирно, благодушно опрастывали дюжины чашек с отваром китай-

ской травки. Только и речи было у всех, что про зятьев Доронина. Ругали их ругательно, особливо Орошин, а покупатели подшучивали над рыбаками. Однако ж и они говорили, что без отдачи рыбы в кредит дело идти не может.

– А все-таки Меркулов-от настоящие цены открыл, и спасибо ему за то, – с усмешкой глядя в упор на Орошина, сказал маленький тщедушный старичок Лебякин, один из самых первых покупателей. – Теперича, примерно сказать, уж нельзя будет хоть вашей милости, Онисим Самойлыч, оченно-то высоко заламывать, потому что прямые цены уж известны.

– Мы знаем свою цену, – надменно взглянув на Лебякина, прошипел Орошин. – Хочешь дешево у них купить, припасай больше наличных. Мы возьмем свое, у нас все по старине будет – кредит, как бывало, а цены, какие меж собой постановим... Так али нет, Марко Данилыч?

– Вестимо, – пробурчал молчаливый на этот раз Смолокуров.

– А ежели и мы со своей стороны в сговор войдем? – вскричал Колодкин Алексей Никифорищ, широкоплечий, объемистый телом купчина, с богатырской головой, обросшей рыжими курчавыми волосами. – Ежели, значит, и мы меж собой цены свои установим и свыше их копейки не накинem? Куда рыбу-то тогда сбудете? Не в Оку ж ее пошвырять.

– Найдем место, – сурово взглянув на Колодкина, сквозь зубы промолвил Орошин. – Не одни вы покупатели.

– Оптовые все здесь наперечет, – сказал Лебякин. – Вы станете сговариваться, а мы – на вас глядя. Тогда, хочешь не хочешь, вся рыба-то у вас на руках и останется.

– Нешто по фунтикам станете продавать, ну тогда, пожалуй, расторгнетесь, – со смехом подхватил слова Лебякина Колодкин. – Тогда можно будет вас с барышами поздравить.

– Разве только и свету в окошке, что вы? – насмешливо пропищал, подбоченясь, Седов. – Не фунтиками, а тысячами пудов станем продавать и все распродадим беспременно.

– Кому распродать-то, Иван Ермолаич? – поворотив к Седову громадную голову, медленно проговорил Колодкин. – Разве по мелочным лавочкам думаете рассовать, так у мелочников ни денег, ни места на то не хватит.

– Сыщутся люди и помимо мелочников, – пропищал Седов. – Будьте спокойны, мы тоже знаем, что знаем: не вчера торговать-то зачали.

– Да кто сыщется-то? – приставал Колодкин к Седову, – Нешто заимуете здесь да морожену рыбу мужикам в развоз продавать (Зимой торговые крестьяне, покупая в Саратове соленую и вяленую рыбу, развозят ее на продажу по базарам среднего и верхнего Поволжья. Это называется «торговать в развоз».) будете?

– А хоша бы и в развоз, – пискнул Седов. – А вы все-таки ни с чем останетесь. Нешто клад выроете да наличными уплатите.

– И без клада, поможет бог, обойдемся, – молвил Колодкин.

– Вот это так. Что дело то дело... Это как есть совершенно верно, – захохотал Седов. – Ежели бог наличными поможет вам, ежели, значит, деньги на вас с неба свалятся, тогда можно вам и без клада обойтись.

– Не извольте беспокоиться, Иван Ермолаич, обернемся, это уж наше дело, – задорно проговорил Колодкин и поднялся с места. – Счастливо оставаться! – примолвил он.

И, поклонясь честной компании, вон пошел.

За ним и Лебякин ушел, а потом и все остальные. Остались одни рыбаки. Молча поглядывали они друг на друга.

– Что, братцы, делать-то? – после долгого молчанья, вытирая вспотевшее от чая лицо бумажным платком, заговорил Степан Федорищ Сусалин.

– По-моему, надо об эвтом деле посудить, – молвил Марко Данилыч.

– Беспременно надо, – подхватили и Седов, и Сусалин, и другие рыбаки.

– Только, чур, наперед уговор, – начал молчавший Орошин. – Ежели на чем порешим, каждую малость делать сообща, по совету, значит, со всеми. Друг от дружки дел не таить, друг дружке ножки не подставлять. Без того всем можно разориться, а ежели будем вести дела вкупе, тогда и барыши возьмем хорошие и досыта насмеемся над Лебякиным, над Колодкиным и над зятьями Доронина.

– Сам-от только не сфинти, Онисим Самойлыч, мы-то заодно будем, – насмешливо промолвил Марко Данилыч.

– Чего мне финтить-то? – гордо взглянув на недруга, вскрикнул заносчиво Орошин.

– Не знаю, что напередки будет, а доселева еще ни одной ярманки не бывало, чтоб ты кого-нибудь не подкузьмил, – сказал ему Марко Данилыч и захохотал на всю комнату. – На всех шлюсь, на всех, сколько здесь нас ни есть, – продолжал он. – Нечего узоры-то разводить, любезный друг!.. Достаточно все тебя знаем. Всем известно, что ловок ты на обманы-то.

Заметно было, что Смолокурову пришла смертная охота разозлить Орошина, чтоб ушел он из беседы. Орошин не замечал того.

– Что ж? – хихикнул он, окинув нахальным взглядом собеседников. – На войне обманом города берут, на торгу неумелого что липку обдерут. Для того не плошай да не глазей, рядись да оглядись, дело верши да не спеши... Так-то, почтеннейший Марко Данилыч.

– Да полно вам тут! – во всю мочь запищал Седов. – Чем бы дело судить, они на брань лезут. У бога впереди дней много, успеете набраниться, а теперь надо решать, как помогать делу. У доронинских зятьев видели, каков караван! Страсть!.. Как им цен не сбить? Как раз собьют, тогда мы и сиди у праздника.

Кой-кто пристал к Сусалину, и общими силами убедили Орошина со Смолокуровым на брань не лезть, а держать «рассуждение».

Молчат приятели, другие не заводят речей.

– Что ж не зачинаете? – пропищал Седов. – Молчанкой делу не пособить. Говори хоть ты, Марко Данилыч.

– Пушай Онисим Самойлыч начинает. Его дело большое, наше маленькое, – сказал с усмешкой Смолокуров.

– Маленькое! Хорошо маленькое! – прошипел Орошин. – А кто верховодит на Гребновской?.. Кто третьего года у всех цены сбил?

– А кто нынешней весной в Астрахани всю икру и рыбу хотел скупить?.. А?.. Ну-ка, скажи? Да, видно, бодливой-то корове бог рог не дает. Не то быть бы всем нам у праздника, всем бы карманы-то наизнанку ты по выворотил... Не выкинь Меркулов с Веденеевым своей штуки, всем бы нам пришлось по твоей милости зубы на полку класть.

– Да перестаньте вы, Христа ради! – вступился опять Сусалин. – Эдак нам никогда толку не дожждаться. Успеете, говорю, набраниться. Теперь дело не в споре, а в сговоре. Говори, что ли, впрямь, Онисим Самойлыч.

И стали все просить Орошина, сказал бы свое слово о том, что надо делать. Один Марко Данилыч сидел молча. Отвернувшись от Орошина, барабанил он по столу пухлыми красными пальцами.

Поломался Онисим Самойлыч, потом зачал говорить:

– Если, примерно будь сказано, теперича нам сложиться наличными, сколько у кого есть, и скупить у доронинских зятьев весь ихний товар, тогда бы, ставь покупатели цены, какие хотят, пуда никому из них негде будет купить. Поневоле к нам придут и заплатят, сколько мы ни запрошим. А купивши у Меркулова с Веденеевым весь караван по объявленной ими цене, какие барыши мы получим!..

– Что ж это такое будет? – перебил Орошина Марко Данилыч. – Складчина, компания на акциях, как ноне стали называть?

– А хоша б и так, – тряхнув окладистой бобровой с искрой бородой и нахмурия брови, молвил Онисим Самойлыч, спесиво поглядев на Смолокурова.

– Складчиной торг барышей не дает, – отвернувшись от него, сказал Марко Данилыч.

Почти все согласились со Смолокуровым. То было у всех на уме, что, ежели складочные деньги попадут к Орошину, охулки на руку он не положит, – возись после с ним, выручай свои кровные денежки. И за то «слава богу» скажешь, ежели свои-то из его лап вытянешь, а насчет барышей лучше и не думай... Марку Данилычу поручить складчину – тоже нельзя, да и никому нельзя. Кто себе враг?.. Никто во грех не поставит зажилить чужую копейку.

Зубами даже скрипнул Онисим Самойлыч, видя, что лакомой складчине в руки его не по-

пасть. Замолчал.

– А ведь Онисим-то Самойлыч сказал правду, – помолчав несколько, молвил Сусалин. – Ежели бы, значит, весь товар был в наших руках, барышей столько бы при шлось, что и вздумать нельзя. Ежели друг дружку не подсидивать, рубль на рубль получить можно. Потому все цены будут в наших руках... Что захотим, то и возьмем.

«Рубль на рубль! – подумал каждый из рыбаков. – Да ведь это золотое дно, сто лет живи, такого случая в другой раз не выпадет. Только вот беда – складчину кому поручить?.. Кому ни поручи – всяк надует...»

Долго молчали, потом опять запищал дородный Седов.

– Хоша я давеча над покупателями маленько и подтрунил, а ведь надо правду сказать, они наличными-то, пожалуй, раздобудутся. Нонче вон эти банки завелись, что под заклад товаров деньгами за малые проценты ссужают.

– Да ведь товар-от надо купить, без того банк денег не даст, – промолвил рыбак – мелкая сошка, человек небогатый.

– Нешто доронински зятя на каку-нибудь неделю либо дён на десяток не поверят. Векселя возьмут, – сказал Седов.

– Как не поверить?.. Поверят, – заговорили рыбаки. – Тогда, значит, у нас по усам текло, а в рот не попало, – продолжала та же мелкая сошка. – Бьем на барыши, а пожалуй, получим голыши (Голыш – твердый камешек, скатанный и оглаженный водою.). Беспременно надо у них перебить. А начинать, так начинать тотчас завтра же.

– Что правда, то правда, – вступился Белянкин Евстрат Михайлыч. Родом и жительством был костромич, рыбак не крупный, такая же мелкая сошка. – Дело тут самое спешное, – сказал он, – товарищества на вере составить некогда, складочны деньги в одни руки отдать нельзя, потому что в смерти и в животе каждого бог волен. Примером сказать, поручили бы вы мне свои капиталы. Не к тому говорю, чтобы в самом деле такое доверие вы мне сделали, – человек я махонький, и мне этого ни в коем разе нельзя ожидать. Единственно для ради примера говорю. Ну-с, вот вы мне свои капиталы и препоручили, чтоб я завтрашний день раным– ранехонько сделал покупку. Хорошо. А я, прошедши отсюда, из Рыбного трактира, возьми да и помри. Потому в смерти и животе бог волен. Ну, вот я и помер, а деньги – то ваши у меня налицо, а у вас документов никаких на меня нет. Нешто, вы думаете, наследники-то мои отдадут вам деньги?..

Как же! держи карман... Ни в каком разе! Припрячут, и вся недолга. И всяк то же сделает, до кого ни доведись... Сами не хуже меня знаете. После там судись да возись, а денежки – пиши пропало... Потому, какие у вас доказательства?.. Какие документы можете вы в суде предъявить?

– Векселя можно взять, – заметил Сусалин.

– Ладно-с, оченно даже хорошо-с. Можно и векселя взять, – сказал Белянкин. – Да дело то, Степан Федорыч, завтра ранним утром надо покончить. Когда ж векселя-то писать? Ночью ни один маклер не засвидетельствует... А после давешнего разговора с Лебякиным да с Колодкиным они завтра же пойдут умасливать доронинских зятёв, чтоб поверили им на неделю там, что ли... Верно знаю о том, сам своими ушами вечер слышал, как они сговаривались.

Все замолчали, а Марко Данилыч ровно ото сна проснулся и, лениво позевывая, промолвил:

– Надо ковать железо, поколь горячо.

Орошин словечка не выронил, другие рыбаки, и тузы, и мелкая сошка тоже помалчивают себе.

А Белянкин свое:

– К примеру, я вам про себя говорил. А ежели б у меня всего капитала не тридцать тысяч, а три миллиона было, а векселей-то с меня не взяли, тогда бы наследникам моим и прятать ваших денег не было надобности. «Тятенькины», да и дело с концом. Вот оно что!

Все молчали. Злобно смотрел Орошин на Белянкина,

– Что ж делать-то? – спросил, наконец, оглядывая собеседников, Сусалин.

Никто ни полслова. Немного подумавши, молвил Сусалин:

– А по-моему, вот бы как. Складчины не надо, ну ее совсем!.. Пущай всяк при своем остается. Смекнемте-ка, много ль денег потребуется на закуп всего каравана и сколь у кого наличных.

Можем ли собрать столько, чтобы все закупить? Кто знает, чего стоит весь товар по заявленным ценам?

– Тысяч триста, пожалуй и больше, – молвил Белянкин.

– Хорошо, – сказал Сусалин и постучал ложечкой о чайную чашку. Стремглав вбежал половой, широко размахивая салфеткой.

– Вот что, любезный, – сказал ему Сусалин, – попроси ты у буфетчика чистый листок бумажки да перышко с чернилкой. На минутку, мол.

– Сейчас-с, – отрывисто промолвил проворный половой и полетел вон из комнаты.

Подали бумагу, перо, чернила. Сусалин сказал:

– Пушай каждый подпишет, сколько кто может внести доронинским зятьям наличными деньгами. Когда подпишетесь, тогда и смекнем, как надо делом орудовать. А по-моему бы так: пушай завтра пораньше едет кто-нибудь к Меркулову да к Веденееву и каждый свою часть покупает. Складчины тогда не будет, всяк останется при своем, а товар весь целиком из наших рук все-таки не уйдет, и тогда какие цены захотим, такие и поставим... Ладно ль придумано?..

– Ладно, ладно, – заголосили все опричь Орошина, Марка Данилыча и Белянкина. У них у троих было что-то свое на уме.

– С молодых начинай, – пропищал Седов. – Большаки добавят, чего у мелкоты не хватит.

Белянкин протянул руку за бумагой, промолвив:

– Слабей меня здесь нет никого.

И подписал. Лист пошел вкруговую. Когда все, кроме первейших тузов, подписали его, лист подали Орошину.

Надменно передвинул он его к Смолокурову.

– Марко Данилыч завсегда говорит, будто я много его богаче, – с усмешкой сказал Онисим Самойлыч. Хоша это и несправедливо, да уж пушай сегодня будет по его. Уступаю... Пушай наперед меня пишет.

Усмехнулся Марко Данилыч, переглянувшись с Белянкиным. Не говоря ни слова, взял он перо, сосчитал, на сколько подписано, и затем, подписавшись на триста тысяч, подвинул лист к Орошину.

Вздел очки Онисим Самойлыч и весь посоловел, взглянув на бумагу.

– Мне-то что ж осталось? – злобно вскрикнул он, глядя зверем на Марка Данилыча.

Никто ни слова, а Онисим Самойлыч больше да больше злобится, крепче и крепче колотит кулаком по столу. Две чайные чашки на пол слетело.

– Подписывайтесь, – с легкой усмешкой сказал ему Белянкин. – После сделаем разверстку.

– Убирайся ты к черту с разверсткой!.. – зарычал Орошин, бросая на стол подписной лист. – Ни с кем не хочу иметь дела. Завтра чем свет один управлюсь... Меня на это хватит. Дурак я был, что в Астрахани всего у них не скупил, да тогда они, подлецы, еще цен не объявляли... А теперь доронинской рыбы вам и понюхать не дам.

И, плюнув, скорыми шагами пошел вон из комнаты. Рыбники, кроме Марка Данилыча да Белянкина, головы повесили... «Рубль на рубль в две-три недели – и вдруг ни гроша!» – думали они. Злобились на Орошина, злобились и на Марка Данилыча.

Взял Смолокуров подписной лист и громко сказал честной компании:

– Себе я возьму этот лист. Каждый из вас от меня получит за наличные деньги товару, на сколько кто подписался. Только, чур, уговор – чтоб завтра же деньги были у меня в кармане. Пушай Орошин хоть сейчас едет к Меркулову с Веденеевым – ни с чем поворотит оглобли... Я уж купил караван... Извольте рассматривать.

– Только, господа, деньги бесприменно завтра сполна, – сказал Марко Данилыч, когда рыбники рассмотрели документ. – Кто опоздает, пеняй на себя – фунта тот не получит. Согласны?

– Согласны, согласны! – закричали рыбники, и каждый от усердия старался всех перекричать.

Поднялись благодарности Марку Данилычу. Заказали ужин, какой только можно было состряпать в Рыбном трактире. Холодненького выпили. Пили за здоровье Марка Данилыча, за здоровье Авдотьи Марковны, на руках качали благодетеля, «многолетие» пели ему. Долго на весь

Рыбный трактир раздавались радостно пьяные голоса:

Еще дай боже, еще дай боже,
Еще дай боже, еще дай боже,
Здравствovati!
Господину, господарю?..
Господину, господарю
Нашему!..
Свет ли Марку, свет ли Марку,
Свет ли Марку, свет ли Марку
Даниловичу!
Еще дай боже, еще дай боже,
Еще дай боже, еще дай боже,
Многая, многая,
Многая лета!
Многая лета!

Благодушно улыбался Марко Данилыч, глядя на воздаваемый ему почет. А больше всего тем был он счастлив, тем доволен, что подставил подножку Онисиму Самойлычу. «Лопнет с досады пес смердящий! – в радостном восторге думал Марко Данилыч. – Передернет его, как услышит он, что я весь караван скупил».

А обработал Марко Данилыч это дельцо тайком и совсем невзначай. Не он товара искал, сам товар привалил к нему.

Узнав, что Марко Данилыч живет на караване, Меркулов улучил минутку, чтоб, по прежнему знакомству, повидаться с ним, узнать про Авдотью Марковну и справить ей поклоны от жены, от тещи и свояченицы.

Не очень приветливо встретил его Смолокуров, но, как обычаев рушить нельзя, тотчас велел Василью Фадееву чайку собрать, мадерцы подать, водочки и разных соленых и сладких закусок.

- Ну что? Каково поживает тестюшка? – спросил гостя Марко Данилыч.
- Помаленьку, – отвечал Меркулов. – Здесь теперь, у Макарья. С нами вместе приехал.
- Вот как! А я и не знал... Где он на квартире-то пристал?
- Да там же все, в той же гостинице, что и в прошлом году.
- Надо будет навестить старого приятеля, беспрременно надо. Да вот все дела да дела, – говорил Марко Данилыч. – А Татьяна Андреевна тоже приехала?
- Здесь, – отвечал Меркулов.
- А вы с супругой?
- Как же, и Дмитрий Петрович с Натальей Зиновьевной. Всей семьей приехали.
- Вот как! Весело, значит, всем-то, нескучно в чужом городе.
- Конечно, – заметил Меркулов. – А вы Авдотьи-то Марковны, видно, не привезли?
- Нет, не привез, – сухо ответил Марко Данилыч.
- Что ж так?
- Да не случилось.
- Как она, в своем здоровье?
- Ничего, слава богу, здорова.
- Жена много ей кланяется, и Татьяна Андреевна, и Наталья Зиновьевна. Надеялись с ней повидаться, молвил Меркулов. – Что ж это она?.. Так и не приедет вовсе на ярманку?
- Так и не приедет, – сказал Марко Данилыч. В гостях теперь гостит.
- У сродников?
- У господ Луповицких в Рязанской губернии, – с важностью приподняв голову, с расставкой проговорил Марко Данилыч. – Люди с большим достатком, знатные, генеральские дети – наши хорошие знакомые... Ихняя сестрица Алымова соседка будет нам. С нашим городом по соседству купила именье, Дунюшку очень она полюбила и выпросила ее у меня погостить, поколь я буду на ярманке.
- Алымова? Марья Ивановна? – спросил удивленный Меркулов.

– Так точно, – подтвердил Марко Данилыч.

– Не та ли, что прошлого года в той же гостинице жила, где и вы, и батюшка тесть останавливались?..

– Она самая, – отвечал Марко Данилыч. – А что?

– Нет... так, ничего, – с недоумением молвил Меркулов.

– Знакомы, что ли, с ней? – спросил Марко Данилыч.

– Нет, в прошлом году на одном пароходе с ней ехал, – ответил Никита Федорыч.

– Хорошая барышня, – заметил Марко Данилыч, разумная такая и ласковая. А ежели взять ее насчет доброты, так лучше и не надо. И хоша знатная, а ни спеси, ни гордости в ней ни капельки.

Перестал расспрашивать Меркулов, а сам про себя думает: «С какой стати связалась Авдотья Марковна фармазонкой? Вот наши-то удивятся, как узнают».

– Ну что, как пошли дела? – немножко погодя спросил Марко Данилыч. – Караванище-то какой вы пригнали на Гребновскую!.. Сколько ни торгую, такого у Макарья не видывал. Теперь вы у нас из рыбаков самые первые...

– Да ведь тут не я один, – сказал Меркулов. – Дело общее: тут и мой капитал, и женин, и Дмитрия Петровича, и его жены, и батюшки Зиновья Алексеича доля есть.

– Значит, и он в рыбаки записался, – с добродушной усмешкой молвил Марко Данилыч. – А бывало, как вздумаешь уговаривать его рыбой заняться, так «ни за что на свете» – говорит.

– Он и теперь в эти дела не входит, – сказал Меркулов. – Капиталом только участвует.

– Так, – протянул Марко Данилыч. – Продали сколько ни на есть рыбки-то?

– Где ж еще? – отозвался Меркулов. – Рано. Кажется, ни с одного каравана не было еще продаж.

– Опрichь мелочей, точно что не бывало, – подтвердил Смолокуров. – Как же вы насчет цен располагаете? Заодно со всеми будете устанавливать аль особняком поведете дело?

– У нас все наперед рассчитано, – сказал Меркулов. – Сегодня отдадим печатать объявление о ценах и об наших условиях, наклеим на столбах, разошлем по рыбным покупателям, в газете напечатаем.

Повернулся на стуле Марко Данилыч. «Всю торговлю вверх дном перевернут, проклятые. Эки штуки откалывают!» – подумал он.

– Не сходней ли будет вам, Никита Федорыч, келейно с кем-нибудь сделаться? – умильным голосом заговорил Марко Данилыч. – А то эти объявления да газеты!.. Перво дело – расходы, а другое, что вас же могут на смех поднять.

– Расходы пустячные, – сказал Никита Федорыч, а станут смеяться, так мы за обиду того не поставим. Смейся на здоровье, коль другого смеха нет.

– Так вы не будете цен таить? – спросил Марко Данилыч, зорко глядя в глаза Меркулову.

– И не подумаем, – тот отвечал.

– И условий таить не станете?

– Да как же таить-то их, Марко Данилыч, ежели на фонарных столбах объявления об них приколотим?.. смеясь, отвечал Никита Федорыч. – Вот наши условия, читайте... В кредит на двенадцать месяцев третья доля, а две трети получаем наличными здесь, на ярманке, при самой продаже.

– Тяжеленьки условия, Никита Федорыч, очень даже тяжеленьки, – покачивая головой, говорил Марко Данилыч. – Этак, чего доброго, пожалуй, и покупателей вам не найти... Верьте моему слову – люди мы бывалые, рыбное дело давно нам за обычай. Еще вы с Дмитрием-то Петровичем на свет не родились, а я уж давно всю Гребновскую вдоль и поперек знал... Исстари на ней по всем статьям повелось, что без кредита сделать дела нельзя. Смотрите, не пришлось бы вам товарот у себя на руках оставить.

– Ну и оставим, – равнодушно сказал Никита Федорыч.

– Анбары найдем, зима придет – рыбу гужом повезем на продажу.

– Останетесь в накладе, Никита Федорыч, – с притворным участием, покачивая головой, сказал Марко Данилыч. – За анбары тоже ведь платить надо, гужевая перевозка дорога теперь, поневоле цены-то надо будет повысить. А кто станет покупать дороже базарной цены? Да еще за

наличные... Не расчет, право не расчет. Дело видимое: хоть по всей России развезите – фунта никто не купит у вас.

– Купят, да как еще раскупят-то!.. С руками оторвут, – спокойно улыбаясь, сказал Меркулов.

– Как же это так? – с недоумением спросил Марко Данилыч. – Разве тайна какая?

– Нашу тайну через три либо четыре дня на фонарных столбах можно будет всякому читать... А вам, пожалуй, сию ж минуту открою ее. Вот она, – сказал Меркулов, подавая Марку Данилычу приготовленное к печати объявление о ценах. – Извольте читать.

Глазам не верит Марко Данилыч – по каждой статье цены поставлены чуть ли не в половину дешевле тех, что в тот день гребновские тузы хотели установить за чаем в рыбном трактире.

– Никак вы с ума сошли, Никита Федорыч! – вскочив со стула, вскричал Марко Данилыч. – По миру нас хотите пустить?.. Ограбить?.. И себя разорите и нас всех!.. Хорошее ли дело с ближними так поступать?

– С какими ж это ближними, Марко Данилыч? спокойно спросил Меркулов.

– С нами, значит, со всеми с нами, с гребновскими рыбниками!.. – кричал Смолокуров.

– Не одни рыбники, Марко Данилыч, наши ближние, – отвечал Никита Федорыч, оглядывая смолокуровскую каюту.

– Да вам-то какая тут польза? – горячился Марко Данилыч. – Ведь вы и десяти копеек на рубль не получите.

– Не получим, Марко Данилыч, – отвечал Меркулов. – Мы только на пять рассчитали. По этому расчету и цены назначили. Пять процентов, право, довольно. Мы ыкдь за скорой наживой не гонимся. За границей купцы-то много побогаче нас, а довольствуются и меньше чем пятью процентами.

– Да ну ее ко псам, вашу за границу-то! – вскричал во всю мочь Марко Данилыч. – Надо вести дела по– русски, а не по–басурмански!.. А то всех разорять... грабить!..

И вдруг стих Марко Данилыч... Вдруг прояснилось мрачное лицо его. Блеснула мысль: «А не скупить ли весь караван целиком? Тогда по ихней дурости какие можно взять барыши!»

– На сколько у вас в караване-то, Никита Федорыч?.. – кротко и ласково спросил он Меркулова.

– Тысяч на триста по нашей расценке, – ответил тот.

– Покупатели предвидятся?

– Пока еще нет, – сказал Меркулов. – Приходили вчера, им и цены и условия сказали и товар показали весь без остатка. Да ведь это не настоящие покупатели, – ищейки.

– А если б кто из рыбников предложил вам купить весь караван дочиста. Продали бы? – подумавши несколько, спросил Марко Данилыч.

– Отчего ж не продать? – ответил Меркулов.

– И уступочка будет?

– Ни копейки.

– Хоть бы процентик один, – прикинувшись казанским сиротой, молвил Марко Данилыч. – Важная вещь копейка в рубле! Пустое дело, плюнуть не на что.

– Сейчас вы сами говорили, Марко Данилыч, что наши пять процентов чуть не смертный грех, а теперь хотите, чтобы мы взяли четыре, – с ясной усмешкой ответил Никита Федорыч.

– Да вы все шутите!.. Балагур эдакий!.. Ей-богу, балагур... – с веселым смехом заговорил Марко Данилыч.

– Скиньте процентик-от... Право, надобно скинуть. Меркулов и слышать не хотел об уступке. Тогда Марко Данилыч на иные штуки поднялся, говорит ему:

– Так хоша условийца-то посягчиге. Третью бы долю наличными после спуска флагов вам получить, а две трети на предбудущей ярманке.

– Ни от единой буквы условий не отступим. Ни от единой буквы, – сказал Меркулов.

– Так вот что, Никита Федорыч, – молвил Марко Данилыч, подойдя к Меркулову и дружески положивши ему на плечо увесистую руку. – С батюшкой с тестем вашим, как сами знаете, старинные приятели мы.

– Нельзя, нельзя, ни по какой причине нельзя менять условий, Марко Данилыч, – решитель-

ным голосом сказал Меркулов.

– Послушайте меня, старика, почтеннейший Никита Федорыч, – продолжал Марко Данилыч, положив и другую руку на плечо Меркулова. – Хоша для того облегчите условия насчет наличных, что я завсегда любил и уважал вашу супругу Лизавету Зиновьевну. Ей-ей, любил не меньше, чем свою Дунюшку. И теперь люблю, ей-богу. Мне не верите, богу поверьте... Сделайте такое ваше одолжение – сейчас же бы заключили мы с вами условие: третью долю наличными тут же вы бы с меня получили, другую, по вашему условию, оставили бы до предбудущей ярманки, а третью потерпите месяцев шесть – на ростовской бы с вами полный расчет учинил...

– Нельзя, Марко Данилыч, никак нельзя, – сказал Меркулов. – Мы положили ни одной йоты не опускать из условий.

– Я бы особую запись дал... Неустойку назначьте... Какую хотите, такую и назначьте.

– Нельзя, Марко Данилыч.

– Хоть на месяц...

– Нельзя.

– На три недели?

– Нельзя.

– На две?

– Нельзя.

– Ден на десять?

– Нельзя, нельзя и нельзя. Марко Данилыч. Лучше и не говорите... Лучше совсем оставим это, – сказал, вставая, Меркулов. – Прощайте... Засиделся я у вас, – давно уж пора кой-куда съездить.

– Послушайте, – крепко ухватившись за руку Никиты Федорыча, задыхающимся почти голосом вскричал Смолокуров. – Хоть на три дня!.. Всего только на три деньки!.. В три-то дня ведь пятой доли товара не свезти с вашего каравана... Значит, не выйду из ваших рук... На три дня, Никита Федорыч, только на три денечка!.. Будьте милостивы, при случае сам заслужу.

Подумал Меркулов и согласился, но с тем, что ежели Смолокуров через три дня не уплатит до последней копейки всего, что следует, то условие уничтожается, и Марко Данилыч заплатит неустойку в двадцать тысяч.

Решились и поехали к маклеру писать условие.

Возвращаясь от маклера на баржу, Марко Данилыч увидал на Гребновской Белянкина. Садился тот в лодку на свою тихвинку ехать.

– Евстрат Михайлыч! Куда, друг, спешишь? – крикнул ему Смолокуров.

– До своей тихвинки, – снимая картуз и почтительно кланяясь рыбному тузу, ответил Белянкин.

– Что за спех приспел? – весело спросил у мелкой рыбной сошки тузистый рыбак Марко Данилыч.

– Самый важный спех, – шутливо отвечал Белянкин. – На всем свете больше того спеху нет – есть, сударь, хочу, обедать пора.

– Охота есть одному!.. Скучно. Айда ко мне на баржу – пообедаем вместе, чем бог послал. У меня щи знатные из свежей капусты, щец похлебаем, стерлядку в разваре съедим, барашка пожужем, винца малу толику выпьем.

– Да мне, право, как-то совестно, Марко Данилыч, – говорил Беляикин, смущенный необычной приветливостью спесивого и надменного Марка Данилыча. Прежде Смолокуров и шапки перед ним не ломал, а теперь ни с того ни с сего обедать зовет.

Схватив Белянкина за руку, Марко Данилыч без дальнейших разговоров увез его в своей косной на баржу.

За обедом рассказал Смолокуров про сделку с зятьями Доронина... Белянкин даже рот разинул от удивленья.

– Говори ты мне, Евстрат Михайлыч прямо, начистоту, безо всякой, значит, утайки, – наливая ему рюмку диковинной вишневки, сказал Смолокуров. – Сколько у тебя наличных?

– Какие у меня деньги, Марко Данилыч! – смиренно отвечал Белянкин. – Ведь я человек ма-

ленький. Есть, конечно, невелика сумма – кой-чего для дома в ярманке надо искупить... А товар еще бог знает когда продам.

– Да сколько, спрашиваю я, наличных-то теперь при тебе? – сказал Марко Данилыч.

– Тысчонки две наберется, – смиренно промолвил Белянкин.

– Хочешь третью нажать, а может, и четвертую? пристально глядя на Белянкина, спросил Смолокуров.

– Как не хотеть. Марко Данилыч, – с веселой улыбкой ответил Евстрат Михайлыч.

– Так вот что: парень ты речистый, разговоры водить мастер. Такого мне теперь и надо, – сказал Марко Данилыч. – Сегодня вечером приходи в Рыбный трактир, там будут все наши. А дело будет тебе вот какое...

И подробно рассказал, что надо Белянкину делать и что говорить.

Затея Марка Данилыча удалась вполне.

На другой день после сиденья рыбаков в Рыбном трактире, чуть не на рассвете, Орошин подъехал в лодке к каравану зятьев Доронина. Ему сказали, что они еще не бывали. Спросил, где живут, и погнал извозчика на Нижний Базар. Ровно молоденький, взбежал он на лестницу Бубновской гостиницы, спрашивает Меркулова, а ежели его дома нет, так Веденеева.

– Еще почивают, – ему отвечали.

Досадно, а нечего делать. Пришлось обождать. Ему, никого выше себя не признававшему, пришлось теперь дожидаться слетышков, молокососов!.. Зато никто из рыбаков раньше его с зятьями Доронина не увидится, никто лакомого кусочка не перебьет. А все-таки жутко надменному гордецу дожидаться... Да еще, пожалуй, кланяться придется им, упрашивать. Что делать? Выпадет случай – и свинье в ножки поклонисься.

Ходит по гостинице Онисим Самойлыч, а сам так и лютует. Чаю спросил, чтоб без дела взад и вперед не бродить. Полусонный половой подал чайный прибор и, принимая Орошина за какую-нибудь дрянь, уселся по другую сторону столика, где Онисим Самойлыч принялся было чай распивать. Положив руки на стол, склонил половой на них сонную голову и тотчас захрапел. Взорвало Орошина, толкнул он полового, крикнул на всю гостиницу:

– Нет, что ли, тебе другого-то места?

– А ты, брат, не больно толкайся, – нахально отвечал половой.

Вскочил Орошин, схватил его за шиворот и прочь отпихнул.

– Мотри ты, проходимец! – закричал ярославец. Тронь – ка еще, попробуй. Половины зубов не досчитаешься.

Онисим Самойлыч вышел из себя, поднял палку. Быть бы непременно побоищу, если б вошедший приказчик Доронина не сказал, что господа проснулись.

Бросил Орошин деньги за чай, молча погрозил палкой половому и пошел вслед за приказчиком.

Встретил его Веденеев. Онисим Самойлыч не видал его с того вечера, как у них в Рыбном трактире вышла маленькая схватка из-за письма о тюлене.

– Онисим Самойлыч!.. – приветливо встретил его Дмитрий Петрович. – Какими судьбами?.. Да еще в такую рань?.. Садитесь, пожалуйста... Чаю скорее! – прибавил он, обращаясь к приведенному Орошина приказчику.

Угрюмо и мрачно молчал Онисим Самойлыч. Маленькие, хитрые глазки его так и прыгали. Помолчав, напрямки повел он речь к Веденееву.

– Наслышан я, Дмитрий Петрович, что вы на свой товар цены в объявку пустили. Нахожу для себя их подходящими. И о том наслышан, что желаете вы две трети уплаты теперь же наличными получить. Я бы у вас весь караван купил. Да чтоб не тянуть останной уплаты до будущей ярманки, сейчас же бы отдал все деньги сполна... Вот извольте – тут на триста тысяч билет. Только бы мне желательно, чтобы вы сейчас же поехали со мной в маклерскую, потому что мне неотложная надобность завтра дён на десяток в Москву отлучиться.

– Не можем вам продать, Онисим Самойлыч, – пожав плечами, сказал Веденеев.

– Отчего ж это? – повысив голос, промолвил озадаченный Орошин.

– Все продано, – отвечал Дмитрий Петрович.

- Как?.. Кому?.. Да когда ж это успели? – вскочив со стула, заговорил Онисим Самойлыч, и голос его задрожал от волнения.
- Вчера подписано условие, и деньги получены.
- Да кому? Кому? я спрашиваю. Целый караван!.. Нет такого человека в ярманке, чтобы мог все купить... Кто, говорю, купил, кто?
- Кому ни продано, Онисим Самойлыч, Сидору ли, Карпу ли, не все ли равно? – отвечал, улыбаясь, Дмитрий Петрович.
- Тайности, что ли, какие тут у вас?.. Сказывайте – ведь все одно, не сегодня так завтра узнается, – задыхающимся от злобы голосом вскричал Орошин.
- Никаких тайностей у нас нет, да и быть их не может. Мы со свояком ведем дела в открытую, начистоту. Скрывать нам нечего, – молвил Дмитрий Петрович. – А если уж вам очень хочется узнать, кому достался наш караван, так я, пожалуй, скажу – Марку Данилычу Смолокурову.
- Черт!.. Дьявол!.. Издохнуть бы ему! – неистово вскрикнул Онисим Самойлыч, хватив изо всей мочи кулаком по столу. Схватил картуз и, надев его в комнате, кивнул головой Веденееву и вон побежал.
- Чайку-то, Онисим Самойлыч? – сказал ему вслед Дмитрий Петрович, увидя приказчика, вошедшего с чайным прибором.
- Ну его к черту! – крикнул взбешенный Орошин и скрылся.
- Только что проснулся Марко Данилыч, опрометью вскочил с постели и, богу не молясь, чаю не напившись, неумывкой поспешил ко вчерашним собеседникам. К первому Белянкину подъехал в косной. Тот еще не просыпался, но племянник его, увидав такого важного гостя, стремглав бросился в казенку дядю будить. Минуты через две, протирая глаза и пошатываясь спросонья, Евстрат Михайлыч стоял перед козырным тузом Гребновской пристани.
- Здорово, дружище, – протягивая ему руку, молвил Марко Данилыч. – Спасибо за вчерашнее. Ловко сварганил, надо тебе чести приписать. Заслушался даже я, как ты пошел валять. Зато и мной вполне останешься доволен. Пойдем в казенку, потолкуем.
- Белянкин повел гостя в грязную, неприглядную казенку. Все там было невзрачно и неряшливо: у одной стены стояла неприбранная постель, на ней, весь в пуху, дубленый тулуп; у другой стены хромой на трех ножках стол и на нем давно не чищенный и совсем почти позеленевший самовар, немытые чашки, растрепанные счетные книги, засиженные мухами счета, засохшие корки калача и решетного хлеба, порожние полуштофы и косушки; тут же и приготовленное в портомойню грязное белье. Обмахнув полой совсем почти развалившийся деревянный некрашенный стул, Белянкин просил присесть Марка Данилыча.
- Присел тот. Предложил было ему Белянкин чайку напиться, но Марко Данилыч наотрез отказался, хоть и говаривал: «От чаю, от сахара отказов у меня нет».
- На дне тысячи подписал? – спросил он.
- Точно так, Марко Данилыч, – отвечал Белянкин.
- Давай.
- Замялась мелкая сошка. Сам ни слова, только вздыхает да суется из угла в угол.
- Чего стал? Не ждешь мне тебя! – нахмутив брови и повышая голос, сказал Марко Данилыч.
- Да я, ей-богу... Марко Данилыч... не знаю... Сами изволите знать... в смерти и в животе бог волен, робко заговорил Белянкин, увидав, что Смолокуров даже побагровел от досады.
- Что еще тут? – крикнул тот. – Деньги!.. Не задерживай!.. Много вас, надо ко всем поспеть.
- Да помилуйте, Марко Данилыч, тут ведь весь мой наличный капитал...дрожа от робости, чуть слышно проговорил Белянкин.
- Украду, что ль, я твои две тыщонки? – вскинулся на него Марко Данилыч. – Зажилю?.. Сегодня вечером получай товаром, а теперь – не смей задерживать!
- В смерти и животе бог волен...– шептал Белянкин.
- Да говори толком, чего тебе надо?.. – зарычал Марко Данилыч. Белянкин в угол со страха прижался.
- Векселек... потому в смерти и животе...– забормотал он, а сам ровно в лихорадке трясется.
- Дураком родился, дураком и помрешь, – грозно вскрикнул Марко Данилыч и плюнул чуть

не в самого Белянкина. – Что ж, с каждым из вас к маклеру мне ездить?.. Вашего брата целая орава – одним днем со всеми не управиться... Ведь вот какие в вас душонки-то сидят... Им делаешь добро, рубль на рубль представляешь, а они: «Векселек!..» Честно, по-твоему, благородно?.. Давай бумаги да чернил, расписку напишу, а ты по ней хоть сейчас товаром получай. Яви приказчику на караване и бери с богом свою долю.

Покорно исполнил Белянкин приказанье Марко Данилыча. Смолокуров стал писать, выговаривая вслух каждое слово:

– Предъявителю сего... Перо-то анафемское какое! вовсе не пишет... приказа... По Костроме, что ли, в гильдии-то?

– По Парфентьеву посаду, подати там маленько полегче, – перебирая пальцами, отвечал Белянкин.

– Парфентьева посада... купцу... По которой гильдии пишешься?

– По третьей, Марко Данилыч, мы ведь люди маленькие, чуть концы с концами сводим, – плаксиво проговорил Белянкин.

– Третьей гильдии... Евстрату Михайлову, сыну... Белянкину... отпустить под собственноручную... его расписку без промедления!.. Видишь, какие тебе милости: «без промедления»... Из купленного мною от господ Меркулова и Веденева... рыбного... каравана, следующее... Сказывай, что требуется.

Белянкин стал говорить, а Марко Данилыч писал. Наконец, приказ был подписан, и Евстрат Михайлыч обменялся двумя тысячами на тот приказ со Смолокуровым.

– Прощай, Евстрат Михайлыч, – сказал Марко Данилыч, выходя спешными шагами из казенки. – Разживайся с моей легкой руки! А это, брат, не похвально, что мне не доверяешь.

Целый почти день разъезжал Марко Данилыч взад и вперед по Гребновской, а все-таки подписных денег не собрал. И Седов и Сусалин только половину отдали, а их подписки были самые крупные.

Посчитал собранные деньги Марко Данилыч, тридцати тысяч нет. Что делать, как извернуться? В банке заложить товар, да когда-то еще из банка-то приедут его посмотреть, а деньги нужны через двое суток. Поехал по должникам – шестьдесят тысяч должны были они ему выплатить, но до срока платежа еще месяц оставался. Христом богом просит, молит их, кланяется, унижается, чуть не плачет и всеми святыми закликает поплатиться раньше срока. Пошел даже на скидки было – пять, потом десять копеек с рубля скидывал, только ради господ уплатите хоть часть...

И рады бы должники на такую сделку идти, да ни у кого нет в сборе наличных. Пустились должники рыскать по ярманке денег искать, нашли самую малость. Ярманка была безденежная, только что начиналась, платежей никто еще не получал, свободных денег ни у кого не было. Измучился Марко Данилыч, измучились и должники его, а все-таки доставало на расплату с зятьями Дорониным.

На другой день рано поутру подплыл Марко Данилыч к доронинскому каравану и крикнул громким голосом: – Есть ли из хозяев кто?

– Есть, – отвечал с палубы рабочий.

– Который?

– Дмитрий Петрович.

«Этот помягче будет, скорее Меркулова даст отсрочку, – подумал Марко Данилыч. – Он же, поди, не забыл, как мы в прошлом году кантовали с ним на ярманке, и ужинали, бывало, вместе, и по реке катались, разок согрелись – в театр съездили... Обласкан был он у меня... Даст, чай, вздохнуть, согласится на маленькую отсрочку!.. Ох, вынеси, господи!» – сказал он сам про себя, взлезая на палубу.

А на барже снял шапку и три раза набожно перекрестился.

В просторной каюте, по убранству во всем походившей на торговую контору, Веденев встретил радушно Марко Данилыча.

– Сколько лет, сколько зим! Как поживаете? Авдотья Марковна как в своем здоровье?

И засыпал Марка Данилыча вопросами, усадил его в мягкое кресло, чаю подать приказал, любезен был с гостем, как нельзя больше.

Отлегло от души у Марка Данилыча. «С этим, бог даст, сладим», – подумал он.

– Так вы нашим покупателем стали, Марко Данилыч, – подавая стакан лянсина, с веселой улыбкой сказал Веденеев. – Да еще покупатель-от какой?.. Главный... единственный даже!..

– Привел господь и с вами, Дмитрий Петрович, делишки завести, – потирая руки, отвечал Марко Данилыч. – Напередки просим не оставить. А я ото всей души и во всякое время желаю вашим покупателем быть... Условийца только стеснительны. Так я думаю, что, сколько ни стоит Макарьевская ярманка, таких условий на ней никогда не бывало...

– Чем же тяжелы-то? – спросил Веденеев.

– Как же? Помилуйте! Слыхано ль по всей нашей коммерции, чтобы две трети платежа наличными сейчас на стол выкладывать? – сказал Смолокуров.

– А слыхано ли, Марко Данилыч, чтобы рыбу где-нибудь так дешево покупали? – молвил Веденеев.

– Это расчет особливый, Дмитрий Петрович. В цене хозяин волен, а в торговых порядках ему воли нет, – заметил Марко Данилыч.

– Дело добровольное: хотите берите, не хотите – просить не станем, – с улыбкой молвил Веденеев.

– Конечно, в этом спору быть не может, – сильно нахмурясь, отозвался Марко Данилыч. – Только послушайте вы меня, Дмитрий Петрович. Жизнь моя, вы сами знаете, не коротенькая. Чего, живучи на свете, не навидался я, вот уж именно, как пословица молвится: «И в людях живал, и топор на ногу обувал, и топорищем подпоясывался». Так я, по моей старости и опытности, скажу вам, Дмитрий Петрович: старые обычаи проставлять не годится – наши отцы, деды, прадеды не глупее нас с вами были, а заведенных порядков держались крепко. С умом, значит, делали. И по писанию выходит то же. Сказано: «Горе народу, иже отеческая предания преставляет». Где, сударь Дмитрий Петрович, новизна, там и кривизна. Поверьте мне – недаром дожил я до седых волос.

– Да нельзя же ведь, Марко Данилыч, и старым-то одним жить, – сказал Веденеев. – Времена и лета переходчивы. Что встарь бывало хорошо, то в нови зачастую никуда не годится.

– А все-таки не след ломать старое, – молвил Марко Данилыч. – Крой новый кафтан, да к старому почаще прикидывай, а то, пожалуй, не впору сошьешь.

Ничего на то не ответил Веденеев. Смолокуров меж тем вынул узелок из кармана, развязал его и подал пачки ассигнаций.

– Должок припас, – сказал он. – Извольте сосчитать и расписочку, как водится.

– Какой вы поспешный! – улыбнувшись, молвил Веденеев. – Срок-от ведь завтра еще...

– Не опоздано, значит, – сказал Марко Данилыч, смакуя лянсин. – Чаек-от новый, видно, купили? – спросил он.

– Где ж еще нового теперь достать? – развязывая пачки, сказал Дмитрий Петрович. – У кяхтинских дела еще не начинались. Это прошлогодний чай, а недурен; нынешний, говорят, будет поплоче, а все-таки дороже.

Не слышал, – промолвил Марко Данилыч и снова принялся за стакан. Веденеев продолжал деньги считать.

– Семьдесят пять тысяч? – сказал Дмитрий Петрович, вопросительно посмотрев на Смолокурова.

– Семьдесят пять, – подтвердил тот.

– Двадцать пять завтра додадите?

Постараюсь, – сказал Марко Данилыч, – Признаться, и наличности таких денег теперь при себе не имею, да не знаю, буду ли и завтра иметь, – дружески улыбаясь, прибавил он. – Теперича не то что двадцати пяти тысяч – ста рублей во всей ярманке не сыщете на самый короткий срок. Такое безденежье, что просто хоть волком вой...

– Да, – сказал Веденеев. – Денег на ярманке в самом деле недостаточно.

– Так я уж вам векселя принес, – кладя на стол три векселя, сказал Смолокуров. – Водопьянова на десять тысяч. Столбова на пять, Сумбатова на пять. Останные пять тысяч до спуска флагов, пожалуйста, обождите.

Взглянул Веденеев на векселя и сказал Смолокурову:

– Мы с Никитой Федорычем решили вести дела безо всякого кредита, на чистые. Сами не будем векселей давать и от других не станем брать. Спора нет, эти векселя надежные – и Столбов и Сумбатов люди крепкие, об Василье Васильиче Водопьянове и говорить нечего, да ведь уплата-то по их векселям после спуска флагов.

– Да как же вы с меня-то на сто тысяч векселей получили?... -прищулив правый глаз, спросил с усмешкой Марко Данилыч.

– Ошиблись. В другой раз не будет этого, – сказал Веденеев. – Если б знали мы, что на другой же день, как с вами мы покончили, явится другой покупатель и все триста тысяч наличными на стол выложит, не так бы распорядились, не согласились бы отдать вам третью долю товара на векселя...

Побагровел Марко Данилыч. Спрашивает Веденеева:

– Кто ж это был у вас?.. Триста тысяч разом на стол!.. Шутка сказать!.. При таком безденежье!.. Кует, что ли, он деньги-то?!

– Орошин, Онисим Самойлыч, – отвечал Веденеев.

– Так и есть, – проворчал под нос Смолокуров и, в досаде вскочив со стула, прошелся раза три взад и вперед по каюте.

Потом остановился и, закинув руки за спину, сказал Веденееву:

– Так как же у нас будет, Дмитрий Петрович?

– Завтра ровно в полдни будем ждать вас с полной уплатой, – с равнодушным спокойствием отвечал Веденеев.

– Надо обождать, Дмитрий Петрович, – перебирая пальцами, сказал Смолокуров.

– Нельзя. На то условие. А в нем что? Извольте-ка посмотреть.

И, вынув условие, прочел:

– «По уплате всей суммы сполна, я, Смолокуров, немедленно вступаю во владение купленным у нас, Меркулова и Веденеева, товаром, если же паче чаяния вся сумма сполна мною, Смолокуровым, к назначенному сроку уплачена не будет, условие сие уничтожается, причем мы, Меркулов и Веденеев, повинны уплатить мне, Смолокурову, деньги с меня ими полученные немедленно за вычетом двадцати тысяч неустойки».

Холодный пот выступил на широком, совсем побагровевшем лице Марка Данилыча. Так и растерзал бы он в ту минуту на клочки Орошина.

– Кстати, – сказал Веденеев. – Приходили к нам на караван кой-кто из рыбников с вашими приказами насчет рыбы. Им не отпустили.

Отчего ж так?.. – весь вспыхнувши, воскликнул Марко Данилыч. – Нешто я ста тысяч рублей вам не выдал?.. На что ж это похоже, сударь мой?..

– А в условии-то, Марко Данилыч, что написано? – хладнокровно отвечал Веденеев раскипавшемуся Смолокурову. – Извольте-ка читать: «По уплате же всей суммы сполна, согласно сему условию, я, Смолокуров, вступаю во владение товаром». Значит, как отдадите вторые сто тысяч сполна, тогда и будете хозяином купленной вами товара, а до тех пор хозяева мы.

– Да вам бы почтеннейший Дмитрий Петрович, ей-огу, не грешно было по-дружески со мной обойтись, – мягко и вкрадчиво заговорил Смолокуров. – Хоть попомнили бы, как мы с вами в прошлом году дружелюбно жили здесь, у Макарья. Опять же ввек не забуду я вашей милости, как вы меня от больших убытков избавили, – помните, показали и Рыбном трактире письмо из Петербурга. Завсегда помню ваше благодеяние и во всякое время желаю заслужить...

– В деле я не один, Марко Данилыч. Со мной Никита Федорыч, – сказал Веденеев.

Передернуло Смолокурова. Вспомнил, как хотел он в прошлом году Меркулова на тюлене разорить... Однако не смутился.

– Вот вам расписка в семидесяти пяти тысячах рублей, а двадцать пять тысяч ожидаем завтра в полдень, сказал Дмитрий Петрович, написавши расписку и подавая ее Смолокурову.

– А ежели не исправлюсь? – спросил Марко Данилыч.

– Тогда будет нарушено условие. За вычетом неустойки, тогда вы сто пятьдесят пять тысяч и векселя обратно получите, а мы весь караван продадим Онисиму Самойлычу. Он и вчера вечером и сегодня чем свет присылал разведать, совсем ли мы покончили с вами, – сказал Дмитрий Петро-

вич.

- Так не будет милости? – сумрачно спросил Смолокуров.
- Что за милости?.. Помилуйте, Марко Данилыч! – сказал Веденеев.
- В таком разе просим прощения, – сказал Смолокуров и поспешно ушел.

Ругает мысленно Марко Данилыч Веденева за его несговорчивость, злобится на Орошина, что того и гляди выхватит он у него из рук выгодное дело, такое, какого на Гребновской никогда еще не бывало, а пуще всего свирепеет на Седова, на Сусалина и других рыбаков, что не дали ему столько денег, на сколько подписались. Не правит и себя Марко Данилыч, досадует и на себя, сам с собой рассуждая. «Как это я обмишурился?.. На такое условие согласился. Заживо гроб себе сколотил... отдал себя своей волей недругам... Конечно – не уганешь (Вместо „угадаешь“.), где упадешь, где потонешь, на всяк час ума не напасешься, а все-таки обидно... Молокососы, слетышки старого воробья объехали!.. Видно, стар становлюсь... Одурел годами – пустобородые мальчишки травленного волка загнали в тенёта».

А тут как нарочно Седов. Пищит Иван Ермолаич на всю Гребновскую, обманщиком, мошенником Марка Данилыча обзывает.

– Чужой товар облыжно за свой выдавать!.. Обманом денежки вытягивать из нас!.. Вот твой приказ! – смеются только над ним. Бери его, а деньги назад подавай, не то в полицию.

Сусалин тоже подходит, ругается, в драку лезет даже. И другие рыбаки собираются и все с яростью кидаются на Марка Данилыча. Один Белянкин стоит одаль. Сам ни слова, а слезы дрожат на ресницах: «Пропали кровные, годами нажитые денежки!» Такую горькую думу он думает.

Закричал во всю мочь Марко Данилыч на рыбаков:

– Эй вы, остолопы!.. Черти этакие!.. Дичь необразованная!.. Чего попусту горла-то дерете? Слушай, что хочу говорить!

Полюбились ли, не полюбились ли рыбакам такие речи Марка Данилыча, их надо спросить, но своего он добился. Без ругани, без крика, без шума выслушали его рыбаки. А сказал он им вот что:

– Глядите: вот расписка в моих ста тысячах, что внес третьего дня. Вот расписка в семьдесят пять тысяч рублей, что с вас собрал. Двадцати пяти тысяч не хватает, а завтра в полдень надо их уплатить. Есть у меня довольно векселей – смотрите – люди верные: Водопьянов, Столбов, Сумбатов, а Веденеев за грош их не принимает. А ежели завтра к полудням останных двадцати пяти тысяч ему не уплачу – все пиши пропало. Орошин перебьет – он им сполна триста тысяч на стол кладет...

И ежели мы завтра всех денег не внесем – убыток всем... Орошин рыбным делом завладеет и каждого из нас под свой ноготь подогнет... То-то будет издеваться над вами!.. То-то заважничает!.. Да и покупатели и сторонние люди вдоволь над вами насмеются!.. Хотите того?.. Аль неохотп сраму принимать?

Крики осиплых голосов, вопли, гам, даже дикие завыванья раздались по Гребновской. Ругательства, проклятья, угрозы, стоны и оханья с каждой минутой усиливались...

– Да что ж вы, ровно псы, воете только да лааетесь? Путного слова, видно, от вас не дожидаться? – в источный голос закричал Марко Данилыч и покрыл все голоса. Хотите барышей, так нечего галдеть, – двадцать пять тысяч где хотите добывайте, а если вам барыши нипочем, в таком разе орите, ругайтесь, покамест печенка не лопнула... А если жалко заведенного дела, ежели неохота верных барышей смердящему псу Орошину под хвост метать – так нечего тут галдеть...

Хоть из земли копайте, а завтра к полудню двадцать пять тысяч чтоб были у меня в руках... Вот вам векселя на Водопьянова, на Столбова, на Сумбатова... Давайте за них чистоганом, а я на вас векселя переведу... Чого еще вам?.. Тут главное дело, чтоб треклятого Орошина одурачить... Не то он, пес треклятый, и барыши-то один заграбастает и всем делом на Гребновской завладеет, а вдобавок надо всеми над вами насмеется: «Было, дескать, у собачонок мяско во рту, да проглотить щенкам не довелось». А щенки-то кто? Вы, вы, гребновские рыбаки.

Примолкли рыбаки – кто чешет в затылке, кто бороду гладит. Будто и не бывало в них ни ярости, ни злобы на Марка Данилыча. Тузы молчали, призадумавшись, но из мелкой сошки иные еще покрикивали.

– Отчего ж нам по твоим распискам не выдают товару?

– Так поди вот с ними толкуй! – кротким обиженным голосом, вздохнув даже от глубины души, отвечал Марко Данилыч. – Тогда, говорит Веденеев, будешь хозяином в караване, когда все до копейки заплатишь.

– С чего ж они, бесовы угодники, взбеленились? Сроду на Гребновской так не водилось, – кричала мелкая сошка, кроме Белянкина. Тот молча столбом стоял.

– Поди вот с ним!.. – говорил Марко Данилыч. Сколько ни упрасивал, сколько ни уговаривал, – все одно что к стене горох. Сам не знаю, как теперь быть. Ежели сегодня двадцати пяти тысяч не добудем – все пойдет прахом, а Орошин цены какие захочет, такие и устави́т, потому будет он тогда сила, и мы все с первого до последнего в ножки ему тогда кланя́йся, милости у него прося. Захочет миловать – помилует, не захочет – хоть в гроб ложись.

Приздумалась и мелкая сошка. Стали рыбники советоваться.

– Что же нам делать теперь? – пропищал, наконец, Седов Марку Данилычу.

– Двадцать пять тысяч добыть! Вот что надо делать! – сказал Марко Данилыч. – Берите мои векселя на Водопьянова, на Столбова, на Сумбатова. Останные пять тысяч собирайте, как знаете... Что?.. И на пять-то тысяч силенки не хватит?.. А еще торговцы гребновские!.. Мочалка вы поганая, а не торговцы – вот что!.. На Гребновской у всех миллиона на три рыбных товаров стоит, а плевых пяти тысяч достать не могут!.. Эх, вы!.. Не рыбой бы вам торговать, а лапти плести – да и на тот промысел вряд ли сгодитесь! Была бы поближе Москва, я бы и слова не молвил, там в ломбарде у меня много побольше трехсот тысяч лежит... Да как их к завтраму доспеешь? А Веденеев ни векселями, ни билетами не берет.

Толковали, толковали рыбники. Наконец, Седов, Сусалин и еще двое-трое согласились купить векселя у Марка Данилыча и тут же деньги ему выложили. А пяти тысяч все-таки нет.

В Рыбный трактир пошли. Там за московской селянкой да за подовыми пирогами сладили дело.

Чуть свет на другой день кинулись к ростовщикам. Этого народу у Макарья всегда бывает довольно. Под залог чего ни попало добыли пять тысяч.

К полудню опять собрались на Гребновской. Шумно вели разговоры и, когда Марко Данилыч поплыл к доронинскому каравану, молча, с напряженным вниманием следили за ним, пока не спустился он в каюту.

И Онисим Самойлыч тоже глядел со своей палубы. Невольно сжимались у него кулаки.

Мало погодя показался Марко Данилыч. Весело махнул он картузом рыбникам. У всех нахмуренные лица прояснились.

Волком взглянул на них Орошин, плюнул и тихо спустился в свою каюту.

Весел, радостен Марко Данилыч по своей каюте похаживает. Хоть и пришлось ему без малого половину дешевой покупки уступить товарищам, а все ж таки остался он самым сильным рыбником на всей Гребновской. Установил по своему хотенью цены и на рыбу, и на икру, и на клей, и на тюленя. Властвовал на пристани, и, как ни вертелся Орошин, должен был подчиниться недругу.

«Верных семьдесят тысяч, не той побольше, будет мне припену от этой покупки, – размышляет Марко Данилыч. – Дураки же, да какие еще дураки пустобородые зятья Доронина!.. Сколько денег зря упустили, все одно что в печке сожгли. Вот они и торговцы на новый лад!.. Вот и новые порядки!.. Бить-то вас некому!.. Да пускай их, – у Дунюшки теперь лишних семьдесят тысяч – это главное дело!»

С Сусалиным встретился. Тот говорит:

– Слышал, Марко Данилыч, новости какие? Меркулов да Веденеев только что получили наши деньги, в другую коммерцию пустились. Красный товар закупают и все без кредита, на чистоган. А товар все такой, что к киргизам да к калмыкам идет – красные плисы, позументы, бахту, бязь и разное другое по этой же самой части.

– Рыбой, видно, не хотят промышлять, – с насмешливой улыбкой молвил Марко Данилыч.

– Кто их знает, – сказал Сусалин. – Только слышал я от верного человека, что красного товара они тысяч на двести накупили и завтра, слышь, хотят на баржу грузить, да и на Низ.

В самом деле, Меркулов с Веденеевым на вырученные деньги тотчас накупили азиатских то-

варов, а потом быстро распродали их за наличные калмыкам и по киргизской степи и в какие-нибудь три месяца оборотили свой капитал. Вырученные деньги в степях же остались – там накупили они пушного товара, всякого сырья, а к рождеству распродали скупленное по заводам. Значит, еще оборот.

А рыбники над ними смеются да потешаются. «Всякой всячиной зачали торговать, – говорят они. – Обожди маленько – избоиной, пареной репой да грушевым квасом зачнут торговлю вести». Но по скорости зятьев Доронина считали в двух миллионах, опричь того, что получают они после тестя.

Чего ни хотелось Марку Данилычу – все исполнилось. Рыбой в том году торговали бойко, к Ивану Постному на Гребновской все до последнего фунта было раскуплено, и, кроме того, сделаны были большие заказы на будущий год. Покончив так удачно дела, Смолокуров домой собрался, а оттуда думал в Луповицы за дочерью ехать. Сильно соскучился он по Дуне, совсем истосковался, и во сне и наяву только у него и дум, что про нее. Ходит по лавкам, покупает ей гостинцы – бриллианты, жемчуга, дорогую шубу чернубой лисицы и другие подарки... "Все годится на приданое..."

Ох, поскорей бы оно понадобилось!.. Тогда бы много забот у меня с плеч долой", – думает он. Марье Ивановне в благодарность за Дуню тоже хорошую шубу купил: «Совсем исправился, завтра домой», – решил он, наконец, и стал укладываться.

Тут только вспомнил он про брата полоняника да про татарина Субханкулова. В ярманочных хлопотах они совсем у него из ума и памяти вон, а ежели когда и вспоминал о Мокее, так каждый раз откладывал в долгий ящик – «успею да успею». Так дело и затянулось до самого отъезда.

«Надо будет повидать татарина, – подумал Марко Данилыч, укладывая дорогие подарки, купленные для Дуни. – Дорого запросит, собака!.. Хлябин говорит, меньше тысячи целковых нельзя!.. Шутка сказать!.. На улице не подыметь!.. Лучше бы на эту тысячу еще что-нибудь Дунюшке купить. Ну, да так уж и быть – пойду искать Махметку».

В темном углу каюты стоял у него небольшой деревянный ящик, весь закиданный хламом. Открыв его, Марко Данилыч вынул бутылку вишневки и сунул ее в карман своей сибирки. Отправляясь на ярманку, вспомнил он, как выходец из полону Хлябин сказывал ему, что Махмет Субханкулов русской наливкой поит царя хивинского, потому на всякий случай и велел уложить в дорогу три дюжины бутылок. А вишневку у Смолокурова Дарья Сергевна такую делала, что подобной по другим местам и днем с огнем не сыщешь. В надежде соблазнить ею татарина, Марко Данилыч тихим, ровным шагом пошел с Гребновской в казенный гостинный двор.

Там в Бухарском ряду скоро отыскал он лавку Субханкулова. Богатый, именитый татарин, почитавшийся потомком Тамерлана, был тоже на отъезде. Перед лавкой стояло десятка полтора роспусков (Дроги для возки клади.) для отвоза товара на пристань, лавка заставлена была тюками. Человек шесть либо семь сергачских татар, сильных, крепких, с широкими плечами и голыми жилистыми руками упаковывали макарьевские товары, накупленные Субханкуловым для развоза по Бухаре, Хиве, киргизским степям. Другие татары, слегка покрякивая, перетаскивали на богатырских спинах заделанные тюки на роспуски. Возни было много, но не было ни шума, ни криков, ни ругани, столь обычных в ярманочных лавках русских торговцев, когда у них грузят или выгружают товары.

В стороне, в углу, за грязным деревянным столиком сидел татарин в полинялом, засаленном архалуке из аладжи и всем распоряжался. По сторонам сидело еще двое татар приказчиков; один что-то записывал в толстую засаленную книгу, другой клал на счетах.

Пробираясь между тюками, подошел Марко Данилыч к старому татарину и, немножко приподняв картуз, сказал ему:

– Мне бы хозяина надо повидать.

– Махмет Бактемирыч наверх пошла. У палатка, – отвечал татарин, оглянув с ног до головы Смолокурова. – Айда наверх!

Вошел Марко Данилыч наверх в домашнее помещение Субханкулова. И там коробка да тюки, готовые к отправке. За легкой перегородкой, с растворенной дверью, сидел сам бай (бай – богатый, сильный, влиятельный человек.) Махмет Бактемирыч. Был он в архалуке из тармаламы, с толстой золотой часовой цепочкой по борту; на голове сияла золотом и бирюзами расшитая тюбетейка, и чуть не на каждом пальце было по дорогому перстню. Из себя Субханкулов был широк в плечах и дороден, имел важный вид крупного богача.

Широкое, скулистое его лицо было как в масле, а узенькие, черные, быстро бегавшие глазки изобличали человека хитрого, умного и такого плута, каких на свете мало бывает. Бай сидел на низеньких нарах, крытых персидским ковром и подушками в полушелковых чехлах. Перед ним на столе стоял кунган с горячей водой, чайник, банка с вареньем и принесенные из татарской харчевни кабартма, куштыли и баурсак (Татарские печенья к чаю: кибиртма вроде наших пышек, куштыли – то же, что у нас хворосты или розаны; баурсак – куски пшеничного теста, варенные в масле.). Бай завтракал.

– Сала маликам (Вместо эсслямин алейкум – обыкновенное татарское приветствие при встрече, то же, что наше «здравствуй». Алейкум селям – ответное приветствие.), Махмет Бактемирыч! – сказал Марко Данилыч, подходя к Субханкулову и протягивая ему руку.

– Алейкум селям, знаком! (Татары всякого и преимущественно незнакомых обыкновенно зовут «знаком».) – обеими руками принимая руку Смолокурова и слегка приподнимаясь на нарах, отвечал Субханкулов. – Как зовут?

– А я буду купец Смолокуров, Марко Данилыч, рыбой в Астрахани и по всему Низовью промышляем. И на море у нас свои ватаги есть. Сюда, к Макарью, рыбу вожу продавать.

Кивнул Субханкулов головой и стал пристально разглядывать Марка Данилыча, но в ответ не сказал ему ни слова.

– Дельце у меня есть до тебя, Махмет Бактемирыч, – помолчав немножко, заговорил Марко Данилыч. – Покалякать с тобой надо.

– Караша садийсь, калякай, – сказал Субханкулов, подвигаясь на нарах и давая место Марку Данилычу. Чай пить хочешь?

– Чашечку, пожалуй, хлебну, – сказал Смолокуров.

Тяжело поднявшись с нар, Субханкулов подошел к стоявшему в углу шкапчику, отпер его, достал чайную чашку и, повернув назад голову, с масляной, широкой улыбкой молвил через плечо Марку Данилычу:

– Арыш-маи хочешь?

– Какой такой арыш? – не понимая слов бая, спросил Смолокуров.

– Ржано масло, – по-русски пояснил Махмет Бактемирыч и, чтоб гостю было еще понятней, вынул из шкапчика бутылку со сладкой водкой и показал ее Марку Данилычу.

Улыбнулся Марко Данилыч и сказал, что не прочь от рюмочки ржаного масла.

Заварив свежего чаю, Субханкулов налил две рюмки водки и поставил одну перед гостем.

– Хватым! – тряхнув головой и принимаясь за рюмку, сказал веселый бай Марку Данилычу.

Выпили. Махмет Бактемирыч пододвинул к гостю тарелку с кабартмой, говоря:

– Кусай, кусай. Караша.

– А нешто можно это тебе употреблять, Махметушка? – с усмешкой молвил Марко Данилыч, показывая на водку. – Кажись бы, по вашему татарскому закону не следовало.

– Закон вина не велит, – сказал бай, так прищурившись, что совсем не стало видно узеньких глазок его. Вино не велит; «арыш-маи» можна. Вот тебе чай, кусай, караша, три рубля фунт.

Принялся за чай Марко Данилыч, а Субханкулов, развалился на подушках, сказал ему:

– Калякай, Марка Данылыш, калякай!

Откашлянулся Марко Данилыч и стал рассказывать про свое дело, но не сразу заговорил о полоняннике, а издалёка повел разговор.

– В Оренбурге проживаешь? – спросил он.

– Аранбург, так – Аранбург, – отвечал бай. Перва гильдя купса, три мендаль на шея, – с важ-

ностью отвечал татарин.

– А торговлю, слышал я, в степях больше ведешь? – продолжал Марко Данилыч.

– Киргизка степа торгум, Бухара торгум, Кокан торгум, Хива торгум, везде торгум, – с важностью молвил татарин и, подвигая к Марку Данилычу тарелку с куштыли, ласково промолвил: – кусай, куштыли. Марка Данылыш, – болна караша.

– Так впрямь и в Хиве торгуешь? – сказал Смолокуров. – Далеко, слышь, это Хивинско-то царство.

– Далека, болна далека, – отвечал бай. – С Макар на Астрахань дорога знашь?

– Как не знать? Хорошо знаю, – сказал Марко Данилыч.

– Два дорога, три дорога, четыре дорога – Хива, сказал Субханкулов, пригибая палец за пальцем правой руки.

– Ой-ой какая даль! – покачав головой, отозвался Марко Данилыч. – А правду ль говорят, Махметушка, что в Хивинском царстве наши русские полонянки есть?

– Минога есть, очинна минога на Хива русска кул Кул – (раб.), даволна минога ест, – сказал Субханкулов.

– Что ж? Так им и нет возврата? – спросил Марко Данилыч.

– Не можна... Ни-ни! – жмуря глаза и трясая головой, сказал Субханкулов. – Кул бегал – бай ловил, кулу – так. И чтоб пояснить Марку Данилычу, что значит «так», стукнул себя по затылку ребром ручной кисти.

– А выкупить можно? – немного помолчав, спросил Марко Данилыч.

– Можна, очинна можна, – отвечал Субханкулов. Я болна много купал, очинна доволна. Наш ампаратар золоту мендаль с парсуной (Парсуна – персона, царский портрет.) давал, красна лента на шея. Гляди!

И, вынув из шкапчика золотую медаль на аннинской ленте, показал ее Марку Данилычу

– А как цена за русского полоняника? – спросил Марко Данилыч, разглядывая медаль и не поднимая глаз на Субханкулова.

– Разна цена – болша бывает, мала бывает, – ответил Субханкулов. – Караша кул – миног деньга, худа кул – мала деньга.

– У меня бы до тебя была просьбица, Махметушка, хотелось бы мне одного полоняника высвободить из Хивы... Не возьмешься ли?..

– Можна, болна можна, – сказал бай, и узенькие его глазки, чуя добычу, вспыхнули. – А ты куштаначи (Куштанач – гостинец.) кусай. Марка Данылыш, кусай – вот тебе баурсак, кусай – караша. Друга рюмка арыш-маи кусай!..

И, налив две рюмки водки, одну сам хлопнул на лоб, а другую подал Марку Данилычу.

– Видишь ли, Махметушка, надо мне некоего полоняника высвободить, – выпивши водки и закусив вкусной кабартмой, молвил Марко Данилыч. – Годов двадцать пять, как он в полон попал. А живет, слышь, теперь у самого хивинского царя во дворце. Можно ль его оттуда высвободить?

– Можна, болна можна, – отвечал Субханкулов. Только дорога кул. Хан дорога за кула брал, очинна дорога.

– А не случилось ли тебе, Махметушка, у ихнего царя полоняников выкупать? – спросил Марко Данилыч.

– Купал, многа купал русска кула... Купал у мяхтыра, купал у куш-бека (Мяхтыр – знатный вельможа. Куш-бек – министр.), у хана купал, – подняв самодовольно голову, отвечал Субханкулов. – А ты кусай баурсак. Марка Данылыш – болна кароша баурсак, сладка.

– А что б ты взял с меня, Махметушка, чтоб того полоняника высвободить? – спросил Марко Данилыч. – Человек он уж старый, моих, этак, лет, ни на каку работу стал негоден, задаром только царский хлеб ест. Ежели бы царь-от хивинский и даром его отпустил, изъяну его казне не будет, потому зачем же понапрасну поить-кормить человека? Какая, по-твоему, Махметушка, тому старому полонянику будет цена?

– Тысяча тилле и болше тысячи тилле хан за кула брал... давай пять тысяч рублей хану, тысячу мне!.. Шесть тысяч целкова, Марка Данылыш.

– Что ты, Махметушка? В уме ли, почтенный? – воскликнул Марко Данилыч. Хоть и думал

он, что бай заломит непомерную цену, но никак не ожидал такого запроса. – Эх, какое слово ты сказал, Махмет Бактемирыч!.. Ведь этот кул и смолоду-то ста рублей не стоил, а ты вдруг его, старого старика, ни на какую работу негодного, в шесть тысяч целковых ценишь!.. Ай-ай, нехорошо, Махметушка, ай-ай, больно стыдно!..

– Шесть тысяч, – крепко прищурясь, сказал Субханкулов. – Дешева не можна. Кул у хана – дешева не можна.

– А как же ты, Махметушка, Махрушева-то, астраханского купца Ивана Филиппыча, у царя за семьсот с чем-то целковых выкупил?.. – сказал Марко Данилыч, вспоминая слова Хлябина. – А Махрушев-от ведь был не один, с женой да с двумя ребятами. За что ж ты с меня за одинокого старика непомерную цену взять хочешь? Побойся бога, Махмет Бактемирыч, ведь и тебе тоже помирать придется, и тебе богу ответ надо будет давать. За что ж ты меня хочешь обидеть?

– Кто калякал, Махрушева я купал? – весь вострепешившись, спросил Субханкулов.

– Слухом земля полнится, Махметушка, – с усмешкой молвил Марко Данилыч. – И про то знаем мы, как ты летошний год солдатку Палагею Афанасьевну выкупал, взял меньше двухсот целковых, а за мещанина города Енотаевска за Илью Гаврилыча всего-навсего триста рублей.

– Кто калякал? – смущаясь от слов Смолокурова, спрашивал бай.

– Да уж кто бы там ни калякал, а ты сам знаешь, что говорю необлжно, – отвечал Марко Данилыч, глядя пристально на прищуренные глазки татарина.

Субханкулов что-то пробормотал сам с собой по-татарски.

– Так как же у нас дело-то будет, Махметушка? спросил Марко Данилыч.

Не сразу ответил татарин. Подумал, подумал он, посчитал на пальцах и сказал, наконец:

– Давай, Марка Данылыш, пять тысяч цалкова. Вывезу кула. Весна – получай.

– Не многонько ль будет, Махметушка? – усмехнувшись, молвил Смолокуров. – Слушай: хоть тот кул и старик, а Махрушев молодой, да к тому ж у него жена с ребятами, да уж так и быть, обижать не хочу – получай Семьсот целковых – и дело с концом.

– Не можна, Марка Данылыш, не можна, – горячо заговорил татарин. – Не можна семьсот цалкова. Четыре тысяча.

– Не дам, – сказал Смолокуров и, вставши с нар, взялся за картуз. – Дела, видно, нам с тобой не сделать, Махметушка, – прибавил он. – Вот тебе последнее мое слово – восемьсот целковых, не то прощай. Согласен деньги сейчас, не хочешь, как хочешь... Прощай...

– Не хады, Марка Данылыш, не хады, – схватив за руку Смолокурова, торопливо заговорил Субханкулов. Караша дела – караша сделаю. Три тысячи дай.

– Не дам, – решительно сказал Марко Данилыч, выдергивая руку у Субханкулова. – А чтоб больше с тобой не толковать, так и быть, даю тысячу, а больше хочешь, так и калякать с тобой не хочу...

– Калякай, Марка Данылыш, пажалыста, калякай, – перебил Субханкулов, хватая его за обе руки и загораживая дорогу. – Слушай – караша дела тащи с карман два тысяча.

– Жирно будет, Махметушка – водой обопьешься! Сказано, тысяча – не прикину медной копейки. Прощай – Недосуг мне, некогда с тобой балясы-то точить, – молвил Марко Данилыч, вырываясь из жилистых рук татарина.

– Тысяча?.. Караша. Еще палтысяча, – умильно, даже жалобно не сказал, а пропел Субханкулов.

– Сказано: не прибавлю ни копейки, – молвил Марко Данилыч, – а как вижу я, что человек ты хороший, так я от моего усердия дюжину бутылок самой лучшей вишневки тебе подарю. Наливка не покупная. Нигде такой в продаже не сыщешь, хоть всю Россию исходи. Домашнего налива – густая, ровно масло, и такая сладкая, что, ежели не поопасишься, язык проглотишь.

У татарина глазки запрыгали. Зачмокал даже.

– Такой тебе, Махмет Бактемирыч, наливки предоставляю, что хивинский царь за нее со всех твоих товаров копейки пошлин не возьмет. Верь слову – не лгу, голубчик... Говорю тебе, как перед богом.

Субханкулов только редкую бородку свою пощипывает. «У какой урус (Урус – русский.), – думает он. – Как он узнал?.. Мулле скажет-ай-ай... ахун узнает – беда...»

– Не калякай, не калякай, Марка Данылыш, – тревожно заговорил он. – Не можна калякать! Пажалыста, не калякай.

– Что мне калякать? Одному тебе сказываю, – добродушно усмехаясь, весело молвил Марко Данилыч. Зачем до времени вашим абызам сказывать, что ты, Махметушка, вашей веры царя наливкой спаиваешь... Вот ежели бы в цене не сошлись, тогда дело иное – молчать не стану. Всем абызам, всем вашим муллам и ахунам буду рассказывать, как ты, Махметушка, богу своему не веруешь и бусурманского вашего закона царей вишневкой от веры отводишь.

– Малши, пажалыста, малши, – тревожно стал упрашивать татарин Марка Данилыча.

Не на шутку струсил бай, чтоб служители аллаха не провели про тайную его торговлю. Тогда беда, со света сживут, а в степях, чего доброго, либо под пулю киргизов, либо под саблю тухмен попадешь.

– А доведется тебе, Махметушка, с царем вашей веры бражничать да попотчуешь ты его царское величество моей вишневкой, так он – верь ты мне, хороший человек, – бутылку-то наизнанку выворотит да всю ее и вылизет, – подзадоривал Субханкулова Марко Данилыч.

– С ханом не можна наливка пить, – чинно и сдержанно ответил татарин. – Хан балшой человек. Один пьет, никаво не глядит. Не можна глядеть – хан голова руби, шея на веревка, ножа на горла.

– Экой грозный какой! – шутливо усмехаясь, молвил Марко Данилыч. – А ты полно-ка, Махметушка, скрытничать, я ведь, слава богу, не вашего закона. По мне, цари вашей веры хоть все до единого передохни либо перетопись в вине аль в ином хмельном пойле. Нам это не обидно. Стало быть, умный ты человек – со мной можно тебе обо всем калякать по правде и по истине... Понял, Махметка?.. А уж я бы тебя такой вишневкой наградил, что век бы стал хорошим словом меня поминать. Да на-ка вот, попробуй...

И с этим словом Марко Данилыч вытянул из кармана бутылку вишневки и налил ее в рюмки. У бая так и разгорелись глазенки, а губы в широкую улыбку растянулись.

– На-ка, Махметка, отведай, да, отведавши, и скажи по правде, пивал ли ты когда такую, привозил ли когда такую царю хивинскому.

Отведал Субханкулов и, ровно кот, зажмурил глаза.

– Якши, болна якши! Якши – хорошо. – промолвил он вне себя от удовольствия.

И, осушив рюмку, поспешно протянул ее Марку Данилычу, говоря:

– Якши!.. Давай... Ешшо давай!.. Болна караша.

– Что ж молчишь, Махметка? Говори – пивал ли такую? – спрашивает Марко Данилыч, а сам другую рюмку наливает.

– Ни... – молвил Субханкулов, принимая рюмку.

И дрожала рука татарина от удовольствия и волнения.

– Идет, что ли, дело-то? – спросил Марко Данилыч, держа в руке бутылку и не наливая вишневки в рюмку, подставленную баем. – Тысяча рублей деньгами да этой самой наливки двенадцать бутылок.

– Ладно... Пошла дела!.. Хлопай рукам!..

И ударили по рукам. Татарин тотчас же протянул рюмку, говоря:

– Ешшо, Марка Данылыш, пажалыста, ешшо давай!

Покончили бутылку. Грустно вздохнул Махмет Бактемирыч, глядя на порожнюю посудину.

– Как кула звать? – спросил он, вынимая из шкафчика бумажки клочок.

– Мокей... Мокей Данилов, – сказал Смолокуров.

Не назвал брата по прозванию, не в догадку бы было татарину, что полоняник братом ему доводится. Узнает некрещеный лоб, такую цену заломит, что только ахнешь.

– Давно ли в Хиве? – продолжал свои расспросы Субханкулов, записывая на бумажке ответы Марко Данилыча.

– Лет двадцать пять, – сказал Смолокуров. Спервоначально грухмены Зерьяну Худаеву его продали, от Худаева к царю поступил. Высокий такой, рослый, чернявый.

– Зерьян Худаев, знаком, кунак до меня, – сказал Субханкулов. – Якши купса болна караша.

Дело сладилось. Марко Данилыч на прощанье с баем даже маленько пошутит.

– Слушай, Махмет Бактемирыч, – сказал он ему, – хоть ты и некрещеный, а все-таки я люблю тебя, каждый год стану тебе по дюжине бутылок этой вишневки дарить... Вот еще что: любимая моя сука ценна, – самого хорошего кутенка Махметкой прозову, и будет он завсегда при мне, чтоб мне не забывать, что каждую ярманку надо приятелю вишневку возить.

Нимало не обиделся на то Субханкулов. Осклабился даже, головой потряхивая. Наливка-то уж очень хороша была.

Выдал Марко Данилыч деньги, а вишневку обещал принести на другой день. Субханкулов дал расписку. Было в ней писано, что ежели Субханкулову не удастся Мокея Данилова выкупить так повинен он на будущей ярманке деньги Марку Данилычу отдать обратно. К маклеру пошли для перевода расписки на русский язык и для записки в книгу.

Расстались. Воротясь домой и развалясь на подушках, Махмет Бактемирыч думал о том, как угодит он хану редкостной наливкой, за десяток бутылок Мокея выкупит а тысячу рублей себе в карман положит.

А Марко Данилыч, шагая на Гребновскую, так размышлял: «Тысяча целковых бритой плеши!.. Лбу некрещеному тысячу целковых!.. Легко сказать!.. Дунюшке изъян – вот оно главное – то дело!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На другой день после того как Марко Данилыч поладил с оренбургским «баем», поднялась с раннего утра сильная буря. Забелелись на Оке и Волге снежки-белячки (Снежками, а также беляками зовут белые пенистые верхи волн.), захлестали валы о пристани, и, громко скрипя, закачались суда, барки, беляны, иные даже с якорей сорвались.

С каждым часом буря лютует пуще и пуще, на лесных пристанях разбивает плоты унженские и немдинские (Строевой лес сплавляется преимущественно из притоков Волги (Костромской губернии) Унжи и Немды.) и по широкому волжскому лону разносит толстые бревна. Расплываются по могучей реке дрова из разбитых барок, захлестывает волнами дощаники и лодки, наносит на песчаные мели шитики, тихвинки, кладнушки (Шитик – небольшое судно, крытое округлою палубой. Тихвинка – такого же устройства судно, поднимающее от двух до двенадцати тысяч пудов груза. Кладнушка – судно с палубой шире бортов, поднимает до восьми тысяч пудов груза.).

Такая страшная, такая грозная буря разыгралась, что такой не запомнят и старожилы.

Опасно было бежать на пароходе, и Марко Данилыч поехал восвояси сухим путем на лошадах... Приехал домой; на дворе пусто, а на крыльце встретила его грустная, печальная Дарья Сергевна.

– А Дунюшка? – быстро спросила она, когда весь прозябший и промокший до костей Марко Данилыч, поохивая и покрывивая, медленно вылезал из тарантаса.

– Нешто она у Макарья была? – отрывисто, с видимой досадой ответил сумрачный Смолокуров. – А я было чаял ее дома найти. Так полагал, что Марья Ивановна привезла уж ее.

Ни словечка Дарья Сергевна не молвила, но две слезы заструились по бледным ее щекам. Недоброе что-то почуяло любящее ее сердце. Изныла она, изболела душой по Дунюшке, и не с кем было ей разделить неутешного горя. Три месяца одна-одинешенька выжила она в обширном и пустом смолокуровском доме, и не с кем ей было слова перемолвить, не с кем было размыкать гнетущее горе, некому рассказать про печаль свою. Только глухая старушка стряпка Степановна да разбитная, быстроглазая молодка Матрена, что приставлена была к горницам, видали Дарью Сергевну. Все дни проводила она либо на молитве, либо за чтением Ефрема Сирина.

Молча вошел в дом Марко Данилыч, молча шла за ним и Дарья Сергевна. Положив уставной семипоклонный начал перед родительскими иконами, оглянул он пустые комнаты и сказал вполголоса Дарье Сергевне:

– А я было думал, что Дуня воротилась. Пора бы, кажется. Двенадцату неделю гостит. Самому, видно, придется ехать за ней.

– Пора бы уж, давно бы пора ей воротиться, с глубоким вздохом промолвила Дарья Сергевна. – Уж не приключилось ли чего с ней? Оборони господи, грехом не захворала ли?

– Нет, этого нет, слава богу, – ответил Марко Данилыч. – Недели две тому получил я от нее письмецо невеликое. Пишет таково весело, извещает, что жива и здорова и что Марья Ивановна зачала в дорогу сряжаться... А вот что на ум не пришло, – продолжал Марко Данилыч и кликнул в окно: – Фадеев!

– Что будет угодно вашей милости? – отвечал приказчик.

– Свежую тройку запрячь в тарантас. В Фатьянку поедешь.

– В какую Фатьянку? – робко спросил Василий Фадеев у хозяина.

– Дурова голова! – закричал зычным голосом Марко Данилыч. – Тебя же ведь я посылал туда, как с Низу воротился. Тебя посылал узнавать, не у тамошней ли барышни гостит Авдотья Марковна.

– Возле Миршени-то? – догадался Василий Фадеев.

– Ну да... возле Миршени. Новый поселок у ручья в долине, – сказал Марко Данилыч. – Тут она Фатьянка и есть. Туда поедешь. Тамошняя помещица Марья Ивановна, что на Троицу гостила у нас, надо думать, теперича в Фатьянке, а с ней должна приехать и Авдотья Марковна. Так ты по-видай Авдотью-то Марковну да скажи ей от меня: тятенька, мол, седни только от Макарья приехали; ехали, мол, на лошадях, потому-де маленько приустали, письма не пишут, а велели на словах вашей чести доложить, чтобы, дескать, на сих же самых лошадях безотменно домой жаловали... Понял?

– Как не понять?... – сказал Василий Фадеев. – Попаду ли только я на барской-от двор. В тот раз не пустили, насилу ответа добился.

– Опасаться, – промолвил Марко Данилыч. – Люди новые, переселенцы, а место глуховато. Ежели Марья Ивановна в Фатьянке, тебя тотчас пустят. Да нечего балы-то точить-сряжайся... Эй вы!.. Черти!.. Что тарантас-от не закладаете? Ждать мне, что ли, вас, анафемские разбойники?... Смотри у меня!.. Шевелись, пошевеливайся!.. Нешто забыли расправу!.. Ироды!..

И, еще крепче выругавшись, тихими стопами отошел домовладыка от косящата окна.

Тут подошла к нему Дарья Сергевна и такую речь повела:

– Послушайте глупого моего слова, Марко Данилыч. Как же это будет у нас? Как наша голу-бушка одна с Васильем поедет? Да еще даль такую, да еще ночью. Хорошо ли это, сами извольте рассудить. А по-моему, нехорошо, даже больно нехорошо. Как молоденькой девице ночью с мужчиной одной ехать! Долго ль до греха?

– Смеет он! – хватаясь за ручку кресла, не своим голосом вскрикнул Марко Данилыч. Потомнел суровое лицо, затряслися злобой губы, а из грозных очей ровно каленые уголья посыпались. Сам задрожал, голова ходенем пошла.

– Не о том я вам, Марко Данилыч, докладываю, спустя глаза и побледнев пуще прежнего, трепетным голосом промолвила Дарья Сергевна. – О том хочу сказать вам как отцу, как родителю, что после этого как раз, пожалуй, сплетки да худые рассказы пойдут по соседству. Чужи языки на цепь ведь не прикуешь. Окриком да грозой ничего тут не поделаете, пуще еще, пожалуй, смотники зачнут языки чесать. Девушкино дело обидливое, а сами вы знаете, сколь здесь недобрых людей. Превознес вас господь перед другими, а превознесенному всегда от людей бывает зависть и злоба!

Больше прежнего нахмурился Марко Данилыч, но ни словом, ни видом не возразил Дарье Сергевне. Мало подумав, сказал:

– Василий знает дорогу, его на козлы, а Степановну либо Матрену в тарантас. Вместе с Дунюшкой и приедут. Не будет тогда глупых речей, не из чего будет анафемам поганые языки свои разнудывать.

– Нет, уж как хотите, Марко Данилыч, гневайтесь вы на меня, не гневайтесь, а того, что вы вздумали, сделать никак невозможно, – горячо вступилась Дарья Сергевна. – Как можно Дунюшке с глухой тетерей Степановной ехать? А Матрена не заграда. Про нее про самое и правды и неправды много плетут. Ехать с ней нашей голубушке, пожалуй, еще хуже, чем с одним Васильем. Нет, уж как вы хотите, а я сама съезжу. Тотчас сберусь, не успеют коней запрячь, как буду готова.

Подумал Марко Данилыч и молвил: – Пожалуй, так-то лучше будет. Только уж богом вас прошу, Дарья Сергевна, не мешкайте – пожалуйста, как можно скорей ворочайтесь. Не терпится, скорей хочется наглядеться на мою ненаглядную. Приедете в Фатьянку, тем же часом и обратно

выезжайте. Ежель у Дунюшки пожитки какие не собраны, без нее сберут, а я завтра за ними подводу вышлю. Лишнего бы не хлопотала. скажите ей от меня... А ежель в Фатьянке нет еще их, тоже не медлите ни часу, скорей домой оборачивайте... Ежели не приехали, тогда завтра же придется самому за Дунюшкой ехать.

Лошадей заложили, и Дарья Сергевна с Васильем Фадеевым поехала в Фатьянку. Напившись чаю, Марко Данилыч пошел хозяйство осматривать: обошел прядильни и лесопильни, погреба и сараи, сад и огороды.

В конюшню зашел – лошадок навестил, на скотном дворе поглядел на коровушек, в овчарню завернул, в свиной хлев, в птичник, даже слазил на голубятню и любимых турманов (Турман – голубь, который кувыркается в воздухе. Одни турмана перекидываются через голову, другие – ничком через хвост, третьи – боком через крыло.) маленько погонял. А на душе как-то все беспокойно – смотрит на хозяйство, глядит в таз с водой (Голубятники на лет голубей смотрят не прямо (так как света глаз не выносит), а в медный таз со свежей водой. В ней, как в зеркале, отражается голубиный полет.), любясь, как турмана кувыркаются в поднебесье, а ровно ничего не видит. Не о том дума. Никогда еще в голову ему не прихаживало, чтобы злые люди чистую, непорочную Дунюшку осмелились сплетнями позорить. Дарья Сергевна разговорами своими возбудила в нем незнаемое до тех пор чувство. «Всё могут, всё, анафемы, могут, – думает он. – Всякую пакость сделать смогут... А главное, никого не доищешься – некому головы будет свернуть... Ну да попробуй они, окаянные!.. Первому встречному такую встряску задам, что во веки веков не забудет... Ох, не роди вас на свет мать сыра земля!..»

Под конец дня Дарья Сергевна доехала до Миршени, и, не останавливаясь там, своротила в Фатьянку. Не совсем еще наступила ночь, когда Фадеев остановил коней у ворот усадьбы Марьи Ивановны. Полный месяц, то и дело выходя из туч, разливал серебристый свет по долине, сверкал в струйках Святого ключа и озарял новые, еще белые постройки. Людей заметно не было, в избах огня не видно, все будто вымерло. Ворота в помещичью усадьбу были заперты изнутри, и, сколько ни стучался в них Василий Фадеев, отклика не было, одни собаки, заливаясь в пять либо шесть голосов, лаяли, рычали и визжали на дворе, просовывая злобные, оскаленные морды в низкую подворотню. Наконец, послышался сдержанный людской говор. Василий Фадеев громче прежнего стал стучать и кричать.

То бранился он на чем свет стоит, то умильно просил отпереть ворота либо подойти поближе и дать ответ какой-нибудь. Но нет ответа. А меж тем ночь наступает и тучки начинают сплошь заволакивать западный вскрай небосклона. Потянуло свежим ветром, месяц прячется за облака, а на западе то и дело вспыхивает. То не зарница, что хлеб зарит, а то грозовая туча надвигается. Пошел вдоль по поселку Фадеев: у одного дома постучится, у другого в источный голос покричит – везде ровно мертвые.

– Что ж нам делать теперь, Дарья Сергевна? – отчаянным голосом спросил Василий Фадеев. – Гроза!.. Не ночевать же под дождем... Пожалуй, волки еще набегут... По здешним местам этого ворога много.

– Делать нечего, Васильюшка, поедем на село, сказала Дарья Сергевна. – Должно быть, они еще не приезжали. На селе узнаем. Да вряд ли приехать Марье Ивановне: во всем ее дому темнехонько, а время еще не позднее – всего только семь часов, восьмой.

Поехали в Миршень. Крупные капли дождя дробно стучали по крыше тарантаса, когда подъезжали к селу.

Блеснула и ослепила путников яркая молния, грянули трескучие раскаты грома.

Стоит на краю села большая, но ветхая, убогая изба. Только взглянуть на нее, так заметно, что приютились в ней голь да нищета. А было время, и не очень чтобы давнее, когда эта изба лучшим и богатейшим домом по всей Миршени была. Кой-где виднелась еще прежняя домовитость – полусгнившая изба строена высоко и широко, а поросшая серо-зеленым мохом крыша была крыта в два теса. Ставни в старые годы были выкрашены, а теперь краска облезла, ворота набок покосились, в красных окнах вместо стекол промасленная бумага да грязные тряпки. Видно, что какая-то невзгода разразилась над хорошим, исправным домом и превратила его исподволь в развалину. Так было и на самом деле.

Во время оно жил в том доме богатый, домовитый крестьянин Степан Мутовкин. Мельницу имел, торговым делом занимался, говядиной по базарам промышлял, барыши бирал хорошие и жил с семьей припеваючи. Да не в меру был горяч – и ушел туда, где ловят соболей, а следом за ним и двое взрослых сыновей за ним туда же пошло.

Осталась ни вдова, ни мужня жена Аграфена Ивановна Мутовкина с шестерыми детьми, мал мала меньше... Поднимала их мать одного за другим на ноги, но как только подрастет работник, смерть тотчас придет к нему. Осталась Аграфена с двумя дочерьми, и пошло бабье хозяйство врознь да мимо.

В окнах Аграфенина дома свет еще виден был. Постучался кнутовищем под окном Фадеев. Отворилось оконце, выглянула пожилая женщина. Добрым ласковым голосом спросила она:

– Чего вам надо, добрые люди?

– В дороге, тетушка, запоздали, – отозвался Василий Фадеев.

А вот дождик припустил, гроза поднимается. Пусти на ночлег, родимая.

– Да вы сами-то кто будете? – спросила Аграфена.

– Проезжает по своему делу купчиха Дарья Сергевна.

Слыхали, может, про Смолокуровых, про Марка Данилыча – из его семьи, – отвечал Василий Фадеев.

– Куда мне с вами, батюшка! – повысив голос, сказала Аграфена Ивановна. – Мне ль, убогой, таких гостей принимать?.. И подумать нельзя! И не приборно-то у меня и голодно. Поезжайте дальше по селу, родимые, – много там хороших домов и богатых, в каждый вас с великим удовольствием пустят, а не то на площади, супротив церкви, постоялый двор. Туда въезжайте – хороший постоялый двор, чистый, просторный, и там во всем будет вам уважение. А с меня, сироты, чего взять? С корочки на корочку, любезный, перебиваемся.

– Нет, уж пожалуйста, матушка, позвольте нам у вас грозу обождать. Сделайте такое одолжение, – выходя из тарантаса, сказала Дарья Сергевна. – Женщина, видится, вы добрая, очень бы хотелось мне у вас пристать. Не в пример было бы мне спокойнее, чем на постоялом дворе.

– Да как же это будет, сударыня?.. Мне ведь и попотчевать вашу милость нечем, и изба-то у нас не приборна, – возразила Аграфена Ивановна. – Наше дело убогое, сиротское. Сама одна с двумя дочками девицами. Какое тут хозяйство.

– Никакого, матушка, угощения мне не надобно, и убранства не надобно. Пустите только, бога ради, укройте от непогоды.

Подумала Аграфена Ивановна и на просьбы Дарьи Сергевны, мокнувшей под расхлывшимся дождем, сказала:

– Ин нечего делать... Подь, Аннушка, отопрй калитку да посвети госте по крыльцу пройти, чтоб, грехом, не зашиблась как-нибудь.

Молодая девушка, редкой красоты, с зажженной лучиной в руке, встретила Дарью Сергевну и проводила ее в избу. То была первая миршенская красавица, сердечная зазноба удалого молодца, отецкого сына Алеши Мокеева, старшая дочка убогой вдовы Аграфены Мутовкиной.

«Экая красавица. Словно Дунюшка голубушка», – подумала Дарья Сергевна. Больше такой похвалы она придумать не могла.

Василий Фадеев растворил меж тем ворота и поставил тарантас с лошадьми на крытом дворе. Овес взят был из дома, задал он его по гарнцу каждой лошадке и завалился спать в тарантасе.

– Добро пожаловать, милости просим, сударыня, – встречая в сенях Дарью Сергевну, радушно привечала ее Аграфена Ивановна. – Только уж вы не обессудьте на наших недостатках. Было, матушка, время, и нас из хороших людей не выкидывали, и мы живали в достатке, и у нас дом полная чаша был, да вот господь горем посетил. Согрешили перед ним мы, окаянные. В разор теперь пришли... Божья воля да царский указ – супротив них не пойдешь!.. Сиротствуем, слезами обливаемся, а роптать не ропщем – хранил бог от такого греха. Ему, батюшке, свету, известно, что с коим человеком надо поделаться... Святая воля!.. Скорбеть скорбим, а ропотом дал господь, – не согрешали.

И поникла головой и тяжелым вздохом облегчила грудь.

– Садитесь, матушка, – обметая передником лавку в красном углу под иконами, сказала

Аграфена Ивановна.

– Садитесь, сударыня, гостя будете. Аннушка, возьми-ка там в чулане яичек да состряпай яиченку.

– Зачем это? Полноте, пожалуйста! Совсем этого не нужно, – сказала Дарья Сергевна.

– Как же можно, сударыня? Без того нельзя. Мы ведь тоже люди крещенные, свят закон памятуем: «Сущего в пути напой, накорми, без хлеба, без соли из дома своего не отпусти», – сказала Аграфена.

– Нет, пожалуйста, не хлопчите, матушка. Напрасно утруждаете себя, – возразила Дарья Сергевна. – Лучше вот что: скажите моему кучеру, поискал бы у кого-нибудь на селе самоварчика. Чай, сахар у меня есть, и вы бы со мной искушали.

– Ох, самоварчик, самоварчик! – скорбно вздохнув, проговорила Аграфена Ивановна, и слезы навернулись на глазах ее. – Два у нас было самовара; раза по три да по четыре на дню-то чаи распивали. Бывало, кто из сторонних как переступит порог в избе, сейчас самовар, на стол... Дарёнушка! – кликнула в сени Аграфена Ивановна, и на зов ее вошла молодая девушка, такая же высокая, стройная, как и Аннушка, такая ж, как и сестра ее была бы она и красивая, да оспа лицо ей испортила. – Сбегай, родная, к Родивону Захарычу, покучься у него самоварчика. Гостей, мол, господь кнам прислал – чайку испить гостям желательно.

Не говоря ни слова, схватила Даренушка с печи заплатанный шушун и, накрывшись им с головы, пошла по материнскому приказу. Как ни уговаривала ее Дарья Сергевна не ходить в такую непогоду, она-таки пошла.

– Вон какая грязь, а дождик так и хлещет! – говорила Дарья Сергевна.

– Не сахарная, не растает, – сказала Аграфена Ивановна. – Опять же и недалече, всего через два двора – не заплутается.

– Что ж у вас за несчастье случилось, матушка?.. Отчего лишились вы достатков? – с участием спросила у Аграфены Ивановны Дарья Сергевна, как только вышла Даренушка.

– Ох, сударыня!.. Велико наше несчастье!.. – со слезами сказала Аграфена Ивановна. – Такое несчастье выпало нам, что горше его на свете, кажется, нет. Двадцать годов теперь уж прошло, как хизнул наш богатый дом.. Хозяина да двух сынов работников: одному было двадцать, другому девятнадцать лет – женить было обоих собирались – по царскому указу на поселенье в Сибирь сослали.

И рассказала Аграфена Ивановна про ссоры и драки миршенцев с якимовскими из-за Орехова поля, из-за Рязановой пожни, из-за Тимохина бора и про то рассказала, что муж ее с сыновьями в тех делах бывали всегда первыми зачинщиками и каждый раз начальству бывали послушниками.

– Хотели миру порадеть, миру послужить, а вон оно куда пошло, – пригорюнясь, молвила Аграфена Ивановна. – Шестеро осталось тогда на руках у меня – четыре мальчика да Аннушка с Даренушкой, – эти были самые махонькие. Аннушке-то восемь месяцев было, когда наших сослали, а Даренушку принесла я через двадцать недель после мужниной ссылки. Ни один из четырех пареньков не дожил до возраста, один за другим на погост ушли. А мое-то дело женское, как без большака, без семейной головушки хозяйством станешь заправлять? И дошло у нас до бедноты, до того дошло, сударыня, что в доме теперь хоть шаром покати.

– Хоть бы дочек-то пристроить вам, Аграфена Ивановна, – после недолгого молчанья сказала Дарья Сергевна. – Обе невесты. Как бы, кажется, не найтись женихам..

– Эх, сударыня! – отвечала с горькой улыбкой Аграфена Ивановна. – Не такие ноне годы, чтобы замуж выходить бесприданницам. Что у господ, что у купцов, что по нашему крестьянству, в теперешни времена все на деньгу пошло. Ну, пушай Аннушка, та личиком по крайности взяла, а Даренушка и тем злой судьбою обижена. Пяти годков оспа побила ее; не побей, тоже была бы красивая. За кого ж ей, рябенькой-то, замуж идти? За вдовца разве за какого-нибудь, на чужих на малых детей, а не то за пьянчугу урезного?.. По нашим местам, сударыня, народ промысловый, потому и давай здешнему жениху девку красовитую да еще с деньгами. Здесь не то, что по хлебопашенным местам. Там берут не жену, а работницу, а по нашим местам такую, чтоб и собой была пригожа и в ларце б у нее побрякивало. А без денег хоть волком вой с девками.

Вот хоть бы Аннушку мою взять – полюбилась она одному пареньку, третий год сохнет, сер-

дечный, по ней и, опричь ее, ни на какой девушке не желает жениться, да и моя-то, пожалуй, не прочь от него. Один сын у отца, а отец богатеи – у него две мельницы-точильни и залежных денег достаточно. Как сын отца ни упрасивает, как он его ни умаливает, заладил старый одно: «Клади невеста триста рублей на стол, в таком разе хоть сегодня же венчайтесь». А где такие деньги возьмешь? Была бы прежняя пора – вдвое, втрое бы выложили, а теперь не из земли триста рублей копать. Так сиротки мои бедненькие в девках и засидятся, так и покончат жизнь свою где-нибудь в кельях. Они ж и грамоте обучены. Сама-то ведь я тоже за Волгой в скитах росла, сподобил там меня господь грамоте. Потом святому делу и дочушек обучила.

– А в каком скиту учились вы, Аграфена Ивановна? – спросила Дарья Сергевна.

– В Комарове, сударыня, – отвечала Аграфена Ивановна.

– А в которой обители? – еще спросила Дарья Сергевна.

– В Манефиной, сударыня, – ответила Аграфена. – Возле самого Каменного Вражка. Много уж тому времени-то. Двадцатый теперь год, как услали моего хозяина, да двадцать два годочка, как жила с ним замужем.

Больше сорока годов, стало быть, тому, как я из обители.

– Уходом? – улыбнувшись, спросила Дарья Сергевна.

– Знамо, уходом, – также улыбнувшись, ответила Аграфена Ивановна. – Нешто из обители девку честью отпустить можно? Так не полагается, сударыня.

– А какая мать при вас в игуменьях сидела? – спросила Дарья Сергевна.

– Матушка Екатерина, – отвечала Аграфена Ивановна. – Строгая была старица, разумная, благочестивая. Всяким делом управить умела. И предобрая была – как есть ангел во плоти, даром что на вид сурова и ровно бы недоступная. Настоящая всем мать была. И необидливая – все у нее равны бывали, что богатые, что бедные; к бедным-то еще, пожалуй, была милостивей.

– А нынешнюю игуменью знаете? – спросила Дарья Сергевна.

– Как же не знать матушку Манефу? – сказала Аграфена Ивановна. – При мне и в обитель-ту поступила. В беличестве звали ее Матреной Максимовной, прозвание теперь я забыла. Как не знать матушку Манефу? В послушницах у матери Платониды жила. Отец горящиной у ней торговал, темный был богач, гремел в свое время за Волгой... много пользовалась от него Платонидушка.

– А еще кого из теперешних обительских знаете? – спросила Дарья Сергевна.

– Многих знала, всех от первой до последней знала я, сударыня, – сказала Аграфена Ивановна. – Не знаю только, в живых ли теперь они. Знала матушку Таифу, матушку Аркадию, матушку Виринею-келаря даже очень близко знала, а живы ль они теперь, того уж не знаю.

– Живы, – молвила Дарья Сергевна. – Все три живы.

– А нешто вы бывали в скитах? – спросила Аграфена Ивановна.

– Больше шести годов у матушки Манефы выжила я в обители, – отвечала Дарья Сергевна. – Сродница моя, дочка купца Смолокурова, обучалась там, так я при ней жила. Всех знаю: и матушку Таифу, теперь она в казначеях, и уставщицу мать Аркадию и Виринею, эта по-прежнему все келарничает.

– Ну вот, сударыня, до чего мы с вами договорились. Так впрямь и в Комарове жила и матушек тамошних знаете, – молвила Аграфена Ивановна. – А матушка Неонила здравствует ли? Подруга была мне самая ближняя, самая любимая, Натальей Васильевной в беличестве-то звали ее.

– Лет пять как преставилась, – сказала Дарья Сергевна. – Я еще застала ее в обители. Хвора была такая, немощная сама, бывало, все у бога просит, чтоб прибрал ее с сего света поскорее.

– Эх, Натальюшка, Натальюшка! – с глубоким вздохом промолвила Аграфена Ивановна и, встав с лавки, положила перед иконами семипоклонный начал за упокой души рабы божией инокини Неонилы.

Пока у хозяйки с гостьей шли разговоры про Манефину обитель, воротилась с самоваром и чайным прибором Даренушка, в то же время Аннушка пришла из задней избы с яичницей. Дарья Сергевна с хозяйкой и ее дочерьми села за чай.

– Что вы, сударыня, осмелюсь спросить вас, в дальний путь отправляетесь аль куда непода-

леку отсель едете? – спросила Аграфена Ивановна.

– Сюда было ехала, матушка, да, кажется, понапрасну. Никакого толка добиться не могла, – ответила Дарья Сергевна. – Утишится, бог даст, гроза, прояснится на небе, поеду домой обратно. Мы ведь не дальние наш-от город всего верст сорок.

– Так вы только до Миршени? – спросила Аграфена Ивановна.

– Не до Миршени, а поблизости от вас, – ответила Дарья Сергевна. – Рядом тут поселок новый есть, Фатьянкой прозывается.

Отставив недопитую чашку чая, Аграфена Ивановна пристально поглядела на гостью. И Аннушка с Даренушкой тоже стали смотреть на Дарью Сергевну с удивлением.

А Дарья Сергевна свое продолжает:

– Думали мы, не воротилась ли в Фатьянку тамошняя помещица Марья Ивановна. У сродников гостит она в Рязани, и, кажется, пора бы ей воротиться...

– Не слышать, чтобы приехала, – сдержанно и сухо промолвила Аграфена Ивановна. – А у вас какое дело до нее?

– Особенного дела нет, – сказала Дарья Сергевна, – а гостит в тех же местах, куда она уехала, в Рязанской губернии, дочка моего сродника Марка Данилыча Смолокурова... Марья Ивановна, фатьянская-то помещица, обещала ее в наши края привезти. Вот и полагали мы, не в Фатьянке ли она теперь. Марко Данилыч у Макарья в ярманке был и, только что воротился, тотчас меня за дочкой послал, без малого три месяца с ней не видался... Приехали мы в Фатьянку – в барском доме ни огонечка, ворота изнутри заперты, частокол высокий-превысокий. Стучались мы, стучались, больше часа стучались, так никакого ответа и не добились. Послышались было людские голоса, и кучер громче стал кричать, а все-таки не было ответа. Поехали по дворам – и там ни в одном не видать огонька, а еще не больно поздно было. Так и не добились ответа. А меж тем гроза собралась, дождик пошел, мы к вам в Миршень и поехали – здесь хоть не узнаем ли, воротилась в Фатьянку Марья Ивановна или нет еще.

– Это у них, у фатьянских, завсегда так, – немного погодя молвила Аграфена Ивановна. – Бог их знает, что за люди. Почитай уж полгода, как они в соседство к нам поселились, а ни с кем из здешних словом даже не перемолвились. Чудные!.. Только и видно их, что иной раз на базар придут – хлеба аль другого чего искупить. А барыни в Фатьянке нет еще. Заверное говорю. Ежели б приехала, беспрременно бы прислала за чем-нибудь на село, насчет съестного там, что ли, али чего другого. Дело-то у нее еще на нове, хозяйства покамест никакого, запасенного нет ничего. Хоть за капустой аль за огурцами прислала бы.

– В лес по грибы сегодня ходила я, – молвила рябая Даренушка. – Всю Фатьянскую долину вдоль и поперек исходила. В барском доме окошки все скрыты (Ставнями закрыты.). Должно-быть, барыня еще не приезжала. И никакого знака нет, чтобы дом был жилой.

– Верно, что не приехала, – подтвердила слова дочери Аграфена Ивановна. – На этот счет будьте спокойны, сударыня.

– Кузнец Вахрамей говорил в воскресенье, – прибавила Аннушка, – что к нему на кузницу приходил из Фатьянки какой-то тамошний покузнечить, так он, слышь, поминал, что ихняя барыня раньше Покрова в Фатьянку не будет. А зиму, слышь, здесь будет жить – конопатчиков уж наняли дом-от конопатить. Хотели было и штукатурить, да время-то уж поздненько, да к тому ж и дом-от еще не осел.

– До Покрова не будет, говоришь ты, красавица? – молвила в раздумье Дарья Сергевна.

– До Покрова. Так говорил Вахрамей, – ответила Аннушка.

– Господи милостивый! – вполголоса проговорила тоскливо Дарья Сергевна.

– Насчет самой барыни я вам ничего не скажу, сударыня, потому что вовсе ее не знаю, – сказала Аграфена Ивановна. – А крестьяне у нее и дворовые, что при доме живут, – самые чудные люди. Ни сами ни к кому, ни к ним никто. Только и видишь их на селе, что в базарные да воскресные дни. А в церковь ходят все от мала до велика. Здешний церковный поп не ухвалится ими – не пропустят ни одной праздничной службы, будь дождик проливной, будь грязь по колено, они беспрременно в церковь идут. Богомольны, надо правду говорить, очень даже богомольны.

А все тремя перстами молятся, по Никонову, значит, новшеству. И барыня тоже, слышь, бо-

гомольная, и она в церкви кажинный праздник бывает, а теперь вот не видно ее, стало быть не приезжала. И то взять, ежели ехать в Фатьянку, нашего села не миновать; с какой стороны ни поеджай другой дороги нет. А барыню из сельских никто не видал, чтоб она проезжала.

– А что у вас про нее слышно, про барыню-то? Да не барыня она, впрочем, а старая барышня, – сказала Дарья Сергевна.

– Мало ее знают у нас, – отвечала Аграфена Ивановна, – хоть сначала она и проживала на селе. У Мокея Сергеича жила в доме, человек он большой, зажиточный, дом полная чаша, на миру воротило – что на сходе ни молвит, тому так и быть. Кажись бы, добрая она. Всех обдарила, парнишки да девчата особливо остались ею довольны – пряников, бывало, орехов, стручков, всякого другого лакомства чуть не каждый день, бывало, покупает им.

Из соседних деревень даже ребятишки стаями к ласковой барыне прибегали. И наших сельских девушек к себе зазывала, потчевала их всем хорошим и была такая приветливая, что ровно бы и не барского рода, а из простых. И все доброму их учила, как жить девицам по-хорошему, а и то, признаться, еще им говорила: «Не ходите замуж, пташечки, живите на всей своей воле». А сама великая постница – ни мясного, ни вина, ни пива в рот не берет и другим не советует, зато в постные дни и молоко хлебает и яйца ест. Такая чудная, а добрая. А в церковь к службе обо всяку пору.

Церковным попам спервоначалу-то это не больно было в охоту, потому что у них по будням-то одни колокола службу правят, а поп с дьячком да причетники либо спят, либо бражничают, а тут каждый при своем деле будь. Барыня не рядовая, из знатных, родовитая, генеральская дочь, скажет архиерею про поповскую неисправность, космы-то затрясутся. Однако ж по времени и попы ею остались довольны – богатую благостыню им подает.

– А люди-то ее в Фатьянке что подельывают? – спросила Дарья Сергевна.

– А кто их знает, что они делают, – отвечала Аграфена Ивановна. – А надо думать, что у них неспроста что-нибудь... Недоброе что-то у них кроется, потому что доброму человеку с какой же стати от людей хорониться? А они всегда на запоре, днем ли, ночью ли – никогда не пускают к себе. Мудреные!.. Приздумалась Дарья Сергевна. «А что как и Марья Ивановна такая же?... А что как и Дунюшка?» – подумала она, и кровью облилось сердце ее.

– А по ночам все, слышь, песни поют. Верные люди про это сказывали, – сказала Аннушка. – Идут еще на селе разговоры, что по ночам у Святого ключа они собираются в одних белых рубахах. И поют над ключом и пляшут вокруг.

– Так ли это, верно ли? – спросила Дарья Сергевна.

– Заверяю вас, сударыня, – молвила Аннушка. – Самовидцы говорили. Пляшут и мирские песни поют, а слов разобрать нельзя, потому что далеко. Охают, кричат, иные визжат. И что такое у них делается, никто не знает.

– Говорят старики, что в прежние годы, лет с сотню назад, в той же самой долине, у того же Святого ключа такие ж бывали дела, – сказала Аграфена Ивановна. – Тоже, слышь, по ночам в белых рубахах песни распевали, тоже, слышь, плясали и кружились вокруг Святого ключа, ровно бешеные. Годов пятнадцать, пожалуй и больше, так велось, у них, потом их накрыли, сковали и бог знает куда увезли.. Говорили, что в сибирскую ссылку, говорили и то, что по монастырям в заточенье разослали. Господь знает, какая им в самом-то деле судьба была.

– Что ж у них было такое? Как о том говорят старики? – спросила Дарья Сергевна.

– Никому ихнее дело доподлинно неведомо, – отвечала Аграфена Ивановна. – И тогдашних-то людей теперь никого не осталось. Был у нас древний старик Маркел Пимныч, без малого сто годов прожил он, древний был надревний, всего только пять лет как преставился. Так он сказывал, что в те поры, как те люди были в Миршени, он еще махоньким парнишкой сельских коней на ночное ганивал, и слыхал ихние песни, и видал их в белых рубахах, в длинных, по щиколку, ровно бы женские, а надевали те рубахи и бабы, и девки, и мужчины. И плясали они, сказывал Маркел Пименыч, и охали, и кричали неблагим матом, и визжали, и песни пели, все одно как теперь вот фатьянские.

– Что ж про тех людей толковали? Как говорил о том Маркел Пименыч? – спросила Дарья Сергевна.

– Разно, говорил он, тогда толковали про них, – отвечала Аграфена Ивановна. – Кто полагал, что они колдуют; кто думал, что у них особая тайная вера.

– Тайная вера? – быстро подняв голову, спросила Дарья Сергевна.

– Кто их там знает? И веру-то называл он, да я запомнила, – молвила Аграфена Ивановна. – Вы, девицы, не помните ль?

– Фармазоны, слышь, какие-то были, – промолвила Даренушка.

– Фармазоны!.. Так вот оно что!.. – прошептала Дарья Сергевна. – А теперешних фатьянских тоже фармазонами зовут?.. – прибавила она, обращаясь к Аграфене Ивановне.

– Не слышно этого, – отвечала та. – Фатьянскими зовут, а то еще алымовскими. А что потаенные они, так в самом деле потаенные. Ни к себе никого, ни сами ни к кому. Чудные, право чудные. Кажись, как бы человеку не жить на людях?.. И думать так не придумать, что за люди такие... Мудреные!..

Меж тем гроза миновалась, перестал и дождик. Рассеянные тучки быстро неслись по небу, лишь изредка застилая полный месяц. Скоро и тучки сбежали с неба, стало совсем светло... Дарья Сергевна велела Василию Фадееву лошадей запрягать. Как ни уговаривала ее Аграфена Ивановна остаться до утра, как ни упрашивала ее о том и Аннушка с Даренушкой, она не осталась. Хотелось ей скорей домой воротиться и обо всем, что узнала, рассказать Марку Данилычу.

Когда Дарья Сергевна воротилась домой. Марко Данилыч давно уж с постели встал. Сидел у окна, пристально глядя на дорогу, а сам все про Дунюшку думал. «Коль не бывала в Фатьянку, надо будет ехать в Луповицы. А то, пожалуй, ее не дождешься и до зимы. И дернуло ж меня отпустить ее с Марьей Ивановной... Вот теперь и жди да погоди». Рассказала ему Дарья Сергевна, что в Фатьянке они не могли достучаться, что застала их в дороге гроза с ливнем и что укрылась она в Миршени у вдовы Аграфены. И про то рассказала, что узнала про Фатьянку и про тамошних поселенцев.

– Да что ж это за люди? – досадливо вскрикнул Марко Данилыч. – Что они взаперти-то фальшивы деньги куют аль разбойную добычу делят? Исправник-от со станowym чего смотрят? Доброе дело скрытности не любит, только худое норовит от чужих глаз укрыться...

– Нет ли тут чего насчет веры, Марко Данилыч? – вполголоса сказала Дарья Сергевна, робко поднимая глаза на хмурого Марко Данилыча.

– Как насчет веры? – спросил удивленный Марко Данилыч.

– Какая-то, слышь, у них особая тайная вера, сказала Дарья Сергевна. – И в старину, слышь, на ту же долину люди собирались по ночам и тоже вокруг Святого ключа песни распевали, плясали, скакали, охали и визжали. Неподобные дела и кличи бывали тут у них. А прозывались они фармазонами.

– Фармазонами! – чуть слышно промолвил Марко Данилыч и крепко задумался.

– И тех фармазонов по времени начальство изловило, – продолжала Дарья Сергевна. – И разослали их кого в Сибирь, кого в монастырь, в заточенье. Без малого теперь сто годов тому делу, и с той поры не слышно было в Миршени про фармазонов, а теперь опять объявились – а вывезла тех фармазонов из Симбирской губернии Марья Ивановна и поселила на том самом месте, где в старину бывали тайные фармазонские сборища...

– Нешто и теперешние тоже фармазоны? – спросил Марко Данилыч, облокотясь на стол и склонив на ладони пылавшее лицо.

– Видится, что так, Марко Данилыч, – ответила Дарья Сергевна. – По всем приметам выходит так. И нынешние, как в старину, на тот же ключ по ночам сходятся, и, как тогда, мужчины и женщины в одних белых длинных рубахах. И тоже пляшут, и тоже кружатся, мирские песни поют, кличут, визжат, ровно безумные аль бесноватые, во всю мочь охают, стонут, а к себе близко никого не подпускают.

– Вранье, может быть, – протяжно проговорил Марко Данилыч, а сам пуще прежнего задумался.

– И сдается мне, Марко Данилыч, что сама-то Марья Ивановна не заодно ли со своими переселенцами, продолжала Дарья Сергевна. – И те тоже мясного не едят и не пьют ни вина, ни пива, ни даже браги, а молочное разрешают и в постные дни – все одно как и Марья Ивановна. И, как

она, так же в черном все ходят. Сумленье меня берет. Сердитесь вы на меня не сердитесь, Марко Данилыч, а по любви моей к Дунюшке все, что ни есть у меня на душе, я теперь открою вам. Не мало я дорогой-то в это утро надумалась, на волосок не вздремнула, все про Дунюшку раздумывала.

– Что ж вы думали про нее столько времени? – с нахмуренным видом промолвил Марко Данилыч. Тиха была речь его, но видно было, что на душе у него бушевала грозная буря.

– Помните ли, как на Духов день я вам сказывала, что подслушала разговор Марьи Ивановны с Дунюшкой? – сказала Дарья Сергевна. – Говорила я вам тогда, что смущает она нашу голубушку, толкует про какую-то веру, а вы и верить мне не захотели. Думала тогда я, что Марья Ивановна хочет ее в великороссийскую привести. Хоть тут хорошего и немного, хоть каждому человеку должно помереть, в чем родился, однако ж великороссийская все-таки от господа не отступная. А ежели Марья-то Ивановна про фармазонскую ей говорила? Кто ее знает, может, она с фатьянскими в одном согласе?... Что у ней за тайна такая сокровенная, про которую Дунюшке она говорила? Что за безгрешные такие люди? Как это в них сам господь пребывает? Тут есть что-нибудь, верьте моему слову. Марко Данилыч.

– Вы уж и невесть чего нагородите, – выходя из комнаты, сумрачно и досадливо сказал Марко Данилыч и крепко хлопнул за собой дверью. А сам решил как можно скорей ехать за Дуней.

В досаде на Марью Ивановну и даже на Дуню, в досаде на Дарью Сергевну, даже на самого себя, пошел Марко Данилыч хозяйство осматривать. А у самого сердце так и кипит... Ох, узнать бы обо всем повернее! И ежели есть правда в речах Дарьи Сергевны да попадись ему в руки Марья Ивановна, не посмотрел бы, что она знатного роду, генеральская дочь – такую бы ческу задал, что своих не узнала бы... И теперь уж руки чешутся. И рвет и мечет, на кого ни взглянет, всяк виноват. Пришел в работную, и потолок и стены новой избы ровно сажа. Развоевался на работников, будто они виноваты, что печи дымят. Кричит, лютует, то на того, то на другого кидается с бранью, с руганью, а сам рукава засучает. Но теперь не весна, работники окрысились, зашумели, загалдели, и, только что крикнул хозяин: «Сейчас велю всех со двора долой», – они повскакали и закричали задорно в один голос: «Расчет давай, одного часа не хотим работать у облая».

Оттого работники ответили так хозяину, что теперь по сельщине-деревенщине новый хлеб поспел, а в огородах всякий овощ созревал – значит, больше нет голодухи. Весной во время бесклубья любого работника колоти сколько влезет, даже выпори своим судом – словечка не молвит, а в осеннее хлебное время последнему наймиту лишнего слова сказать нельзя. Тотчас стачка, тотчас работники гурьбой со двора. Придет опять весенняя бескормица, и они густыми толпами повалят к тому же хозяину, слезно станут просить и молить о работе, в ногах будут у него валяться и всеми святыми себя заклинять, что и тихи-то они, и смирны-то, безответны, а пришла новая осень – сиволапый уж барином глядит, и лучше не подступайся к нему.

Но на этот раз не больно угрожали работники Марку Данилычу – на прядильнях снасти почти допряжены, на пристани тоже дело к концу идет. И без того недели через три пришлось бы распускать летних работников.

На пристань из работной избы пошел Марко Данилыч, а там лесники, развалясь на плотках, спят себе, пригретые солнышком. Стал их хозяин будить суковатой козьмодемьянской палкой. Те повскакали и тотчас в брань. Расходился Марко Данилыч, лицо ровно красным кумачом подернулось, губы задрожали, и, как раскаленные угли, запылали злобные очи. Пошла работать козьмодемьянка, а лесники, ровно стая спуганных птиц, с криком, с гиком, с хохотом понеслись вверх по крутой горе. Марко Данилыч за ними; но как тяжелому на ходьбу старику догнать быстроногую молодежь?... Кричит в источный голос, задыхается, на каждом шагу спотыкается. Не добежав до венца горы, грохнулся оземь Марко Данилыч.

Пластом лежит на голой земле. Двинуться с места не может, голосу не в силах подать, лежит один-одинехонек, припекаемый полуденными лучами осеннего солнца. Ни на горе, ни под горой никого нет, стая галок с громким криком носится в высоте над головой миллионщика. Лежит гордый, своенравный богач беспомощен, лежит, всеми покинутый, и слова не может промолвить. Тускнеет у него в очах, мутится в голове, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. Забытье нашло на него...

Долго бы лежать тут Марку Данилычу, да увидела его соседка Акулина Прокудина. Шла Акулина с ведрами по воду близ того места, где упал Марко Данилыч. Вгляделась... «Батюшки светы!.. Сам Смолокуров лежит». Окликнула – не отвечает, в другой, в третий раз окликнула – ни словечка в ответ. Поставила Акулина ведра, подошла: недвижим Марко Данилыч, безгласен, рот на сторону, а сам глухо хрипит. Перепугалась Акулина, взяла за руку Марко Данилыча – не владеет рука.

«Господи! Что это? Что ему попритчилось? – думает Акулина. – Надо домашних повестить, всяко может случиться! Еще, пожалуй, к ответу притянут».

И, покинув ведра, поднявши подол, бегом побежала к дому Марка Данилыча.

По ее вестям прибежала Дарья Сергевна, прибежали все домашние – приказчики и прислуга. Прибежали и работники поглазеть-поглядеть, что приключилось с бранчливым, драчливым хозяином. Обступили домашние вокруг Марка Данилыча, стоят, охают да молитву творят, а работники шепчутся меж собой: «А кто ж теперь будет нас рассчитывать?» Первая нашлась Дарья Сергевна.

– Васильюшка, – сказала она Фадееву. – Беги, родной, за лекарем. Он в городе – давеча видела я, как с исправником мимо нас шел.

Пошел Василий Фадеев, хоть и не так спешно, как бы хотелось Дарье Сергевне. Идет, а сам с собой рассуждает: «Кто ж теперь делами станет заправлять? Дочь молода, умом еще не вышла; разве что Дарья Сергевна? Да не бабье это дело. Дай-ка господи, чтоб не очнулся!.. Пятьсот рублей у меня на руках, а опричь его, никто про это не знает».

Лекарь жил на самой набережной. Случилось, что он был дома, за обедом сидел. Ни за какие бы коврижки не оставил он неконченную тарелку жирных ленивых щей с чесноком, если бы позвали его к кому-нибудь другому, но теперь дело иное – сам Смолокуров захворал; такого случая нескоро дождешься, тут столько отвалят, что столько с целого уезда в три года не получишь. Сбросив наскоро халат и надев сюртук, толстенный, приземистый лекарь побежал к Марку Данилычу.

– Маркелов!.. – на бегу крикнул он городовому, штопавшему рубаху, сидя на чурбане возле развалившейся будки. – Живее к фельдшеру! Тащил бы все с собой, и банки, и пиявки, все, все до капельки. Под гору тащил бы. Да забеги в аптеку, скажи там: ежели Карло Хрестьяныч куликов стреляет, наспех бы бежали за ним, отпер бы аптеку и лекарство делать готов был.

– Слушаю, ваше высокоблагородие, – с оттенком досады отвечал, унося в будку рубаху, ленивый, полусонный страж богоспасаемого града.

– Поспешай! – крикнул ему лекарь, быстро удаляясь от будки. – Зайди потом на двор к Смолокурову, хорошо на водку получишь, я скажу там. Сам захворал.

Оживел городской, спешно запер будку и скорым шагом пошел исполнять приказание лекаря. С кем по дороге ни встретится, всякого извещает, что с Марком Данилычем случилось недоброе: под горой, возле казначейства лежит без памяти. И каждый о том же поведал встречного и поперечного, и все опрометью бежали под гору – каждому было лестно поглядеть, как пришибло спесивого миллионщика. Бежали, как на пожар, и вскоре больше сотни людей столпилось вокруг лежавшего без чувств Марка Данилыча.

И городские власти пришли: городничий, исправник с заседателем, стряпчий, секретари, чуть не все приказные, пришел и штатный смотритель училища, а за ним стая ребятишек, только что распущенных из класса, поспешил под гору и отец протоиерей, чтоб еще разок щегольнуть перед горожанами только что полученною камилавкой. Ковыляя, приплелся, на всякий случай, хромой столяр Панкратыч – не понадобится ли гроб сколотить. Городские вестовщицы тоже прибежали поглядеть на редкостное и небывалое еще в ихнем городе зрелище. Тут были и чиновница Ольга Панфиловна и уставщица Красноглазиха. Все шушукуют, каждый думает и говорит про Марка Данилыча по-своему.

– Господь гордым противится, смиренным же дает благодать, – стоя в сторонке, назидательно говорил отец протопоп окружавшим его дьякону, церковному старосте и другим. – Наказующий перст божий того ради коснулся сего прегордого, что, ревнуя богомерзкому расколу, всю свою жизнь чуждался святой церкви. Притом же, хотя и раскольник, однако ж все-таки должен был принимать в дом духовных лиц со святынею. А наш причт от него медного гроша никогда не

видывал.

– Вот что значит с никонианами-то водиться!.. строго и учительно говорила уставщица Красноглазиха. – Повелся с еретиками, за одно с ними трапезой насыщался, из одной пивал посуды, и себя тем сквернил и соблазны чинил христианам древлего благочестия.

– Вот всякий гляди да казись, – тараторила разбитная приживалка чиновница Ольга Панфиловна. Всяким добром ублаговляла мерзких паскуд, как вон эта злоязычица Аниська Красноглазиха... Не чем другим, а этим самым и навел на себя гнев господень. И осетрины-то ей, бывало, и белужины, и икры, и дров, и муки, и всякой всячины. Чем бы настоящим бедным подать, тем, что в нищете проводят жизнь благородную, он только этой гадине. А пошарь-ка в коробье у проклятой Аниськи, увидишь, сколь бедна она.

А у самой на уме: «А ну, как помрет, прощай тогда и рыбка, и мучка, и дровешки. Хоша и непутный и самый непостоянный человек, а все-таки продли ему веку господи!»

И не одна Ольга Панфиловна такие думы думала. И городничий, и стряпчий, и другие чиновные были озабочены, будет ли смолокуровская наследница по– прежнему икрой да рыбой их награждать. И все жалели Марка Данилыча. Один протопоп из-под новенькой камилавки злобно на него поглядывал.

Осмотрев больного, лекарь крепко ушибнул его за руку. Марко Данилыч хоть бы глазом моргнул. Тогда лекарь только посвистел. Бросилась к нему Дарья Сергевна.

– Что с ним, батюшка? Скажите на милость!.. Сделайте такое ваше одолжение, – говорила она, обливаясь слезами.

И другие, что тут были, тоже наперерыв друг перед дружкой спрашивали лекаря, что случилось с Марком Данилычем.

– Не мешайте, – с важностью в осанке и голосе сказал толстенький лекарь; а потом попросил городничего, чтоб велел он всем подальше отойти от больного.

Повел рукой градоначальник, ругнулся вполголоса и почтительно отхлынула разнородная толпа. Возле Марка Данилыча остались Дарья Сергевна да еще чиновные люди и приказчики.

Стал лекарь на колени, вынул из кармана ящик с инструментами, одним ланцетом ловко разрезал рукав, другим кровь пустил. Тихо потекла из ранки совсем почти черная кровь.

– Скверно! – шепнул лекарь наклонившемуся к нему городничему. – Надо бы его домой перенести. Носилки бы какие-нибудь, – прибавил он, обращаясь к приказчикам.

Василий Фадеев и еще трое пошли за носилками. Городничий спросил ставшего на ноги лекаря.

– Что с ним?

– Кондрашка! – равнодушно ответил врач, укладывая ланцеты. – Федулов, – сказал он, обращаясь к фельдшеру, – ступай в дом пациента, там и останешься, будешь дежурить у кровати... А что Карл Хрестьяныч дома?.. – спросил он потом у будочника Маркелова, пришедшего на место не столько ради порядка, сколько из любопытства.

– С лягавой сукой, с Динкой, на заводь к Оке отбыть изволили, – буркнул чуть не во все горло городской.

Городничий поднял кулак и примолвил своему подначальному:

– Что горло-то развязал? Скотина!.. На пожаре, что ли, ты?

Оторопел будочник, стал в тупик и вытянулся перед начальством в струнку.

Принесли носилки, что деланы для переноски дров. Василий Фадеев догадался навалить на них побольше трепаной пеньки, помягче бы лежать было хозяину.

Бережно положили на носилки Марка Данилыча и тихо понесли в дом. Густой толпой повалил народ за носилками, пошли и чиновные люди. Дорогой, однако, они разошлись, каждый пошел восвояси. До дому проводили больного только лекарь да городничий. За ними двинулась было на смолокуровский двор толпа горожан и работных людей, но бдительный градоначальник не пустил их. Поставив у ворот Маркелова, он строго-настрого приказал ему не допускать входить на двор никому из сторонних, опричь чиновных людей. Толпа остановилась перед домом Марка Данилыча, а мещанские парнишки с учениками уездного училища взлезли на забор, что стоял насупротив смолокуровского дома, и, как ворбны, расселись на нем. И того не потерпел градоначаль-

ник.

– По домам! – крикнул он таким голосом, каким командовал в сражении под Остроленкой, где ранен в руку, за что и получил место городничего. – А вас, пашенки. – прибавил он, обращаясь к мальчишкам, – всех велю забрать в полицию да таких горячих засыплю, что век будете меня помнить.

Слезли с забора мальчишки и разбежались врассыпную. Разошлись и взрослые, что от нечего делать глазели еще на дом Марка Данилыча, ровно на диковину какую.

– Слушай-ка ты, любезный, – сказал городничий Василью Фадееву, побежавшему было в аптеку за лекарством. – Ты ведь приказчик Марка Данилыча?

– Так точно, ваше высокоблагородие, – почтительно скинув картуз, вытянув шею и самодовольно улыбаясь, ответил Фадеев.

– Так вот что: сейчас распорядись, чтоб улицу против дома и против всего дворового места устлали соломой, – продолжал городничий. – Это для порядка. Во всех хороших городах и в самом даже Петербурге так делается, если занеможет знатный или богатый человек, заметил градоначальник стоявшему возле лекаря. Чтоб сейчас же устлали! – прикрикнул он Василью Фадееву. – А ежели через полчаса мое приказанье исполнено не будет, розгачей отведаешь. Шутить не люблю... Смотри ж, любезный, распорядись.

– Да вот я в аптеку прежде сбегаю, – начал было Фадеев, но городничий громко крикнул на него:

– Не умничать, делай, что начальство приказывает. В аптеку поспеешь, аптекарь за куликами охотится. Сию минуту распорядись – без соломы нельзя, это для порядка требуется!

И устлали соломой улицу, хоть она травой поросла и в целый день по ней разве две либо три телеги, бывало, проедут.

Не лучше Марку Данилычу. Правая сторона совсем отнялась, рот перекосило, язык онемел. Хочет что-то сказать, но только мычит да чуть-чуть маячит здоровой рукой. Никто, однако, не может понять, чего он желает. Лекарь объявил Дарье Сергевне, что, если и будет ему облегчение, все-таки он с постели не встанет и до смерти останется без языка.

Нежданно-негаданно нагрянула беда на Смолокурова. Какой еще горше беды? Какое богатство на долю человека ни выпадет, какое ни будь у него изобилие, а нагрянет недуг да приведет с собой калечество, так и несметное богатство выйдет хуже нищеты и всякой нужды. Пропал Марко Данилыч, пиши его вон из живых.

А в доме и по хозяйству все врознь поехало. Правду говорят старые люди: «хозяин лежит – весь дом лежит, хозяин с постели – все на ногах». А тут приходится лежать хозяину до той поры, как его в могилу уложат.

Всю жизнь Марко Данилыч никому не доверял вполне, ни на кого не полагался и в торговых и в других делах. От приказчиков да прислужников только и ждал, что обманов да воровства. И был в том прав. Никто не любил его, никто не был ему предан, каждый только и норовил поживиться на его счет. Подозрительный в каждой мелочи, ко всем недоверчивый, сам он вел торговые книги, никогда не бывало у него конторщика, сам все записывал, сам и переписку вел. В каком положении остались у него дела, никто не знал. Никто не знал и о том, сколько у него наличного капитала, сколько и на ком в долгах, сколько сам он должен другим. Тяжко было Дарье Сергевне – за всем гляди, всем распорядись, все управь, охрани и за все будь в ответе. А тут приказчики просят распорядков, рабочие требуют расчетов, а у нее на руках и денег столько нет, чтоб со всеми разделаться.

К сундуку с деньгами и бумагами она без Дуни не смеет прикоснуться, а Дуня бог еще знает когда домой воротится. Послала к ней Дарья Сергевна эстафету с известьем о внезапной болезни отца... Но с кем она поедет и как проедет такую даль по незнакомым местам? Чего не встретится ей на пути?... Вконец растерялась Дарья Сергевна. Обратиться не к кому – никто не любил Смоло-

курова, а теперь каждый того еще опасался, что ежели поднимет его бог с одра болезни, так, пожалуй, добром с ним и не разделаешься – скажет, что обокрали его во время болезни, дела привели в расстройство. К кому в городе ни обращалась Дарья Сергевна за помощью, все уклонялись.

Уж после отправки к Дуне письма вспомнила Дарья Сергевна про Аграфену Петровну. Хотя в последнее время Дуня и переменилась к своему «другу любезному», стала к ней холодна и почти совсем избегала разговоров с ней, однако, зная доброе сердце Аграфены Петровны, Дарья Сергевна послала к ней нарочного. Слезно просила ее приехать к больному вместе с Иваном Григорьичем и со всеми детками, самой съездить за Дуней, а Ивана Григорьича оставить для распоряжков по делам Марка Данилыча...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В самый тот день, когда Марку Данилычу болезнь приключилась, за Волгой, у Патапа Максими́ча, было шумное, веселое пированье. Принесла Прасковья Патаповна первого сыночка Захарушку, первого внука Патапу Максими́чу. Светел, радостен заволжский тысячник, радовался он великою радостью. Когда бабушка повитуха показала ему новорожденного младенца, дедушка благословил его и вслух всем промолвил:

– Рости, Захарушка, вырастай, мой родимый, будь матери умней, будь отца дельней!

Василий Борисыч тут же был. Не по нраву ему были слова тестевы, но ведь он из его рук глядел, а потому, не разводя лишних слов, вздохнул и только промолвил вполголоса:

– Ох, искушение!

Полетели от Патапа Максими́ча посланцы по всем сторонам – и в Нижний, и в Городец, и в Красную Рамень созывать друзей-приятелей на крестины, а сам он поехал за «проезжающим попом», жившим при городецкой часовне. Много гостей наехало в Осиповку – много навезли они Прасковье Патаповне родильных пирогов и каравайчиков (Родильнице знакомые замужние женщины приносят либо посылают сладкие пироги или сдобные каравайчики вроде пасхальных куличей.).

Аграфена Петровна приехала с мужем и с детками, приехал перепелиный охотник, удельный голова Михайло Васи́льч в жалованном своем кафтане, прикатил из Нижнего дружок Патапа Максими́ча Колышкин, со всех сторон пожаловали гости званные, почетные; не приехала, не пожаловала одна матушка Манефа.

Ни слова не сказала она посланному, приезжавшему в Комаров звать ее на крестины новорожденного внука, а когда вышел тот из игуменьиной кельи, остановила его в сенях мать уставщица Аркадия и гневно ему выговаривала, что, дескать, видно с ума он спятил, затесавшись с таким зовом к игуменье.

– Нешто твой Патап Максими́ч не знает, что инокиням на свадьбах да на кстинах быть не подобает?.. не в меру распалившись, кричала она на всю обитель. С ума, что ли, вы сошли со своим хозяином!.. На смех, что ли, он послал тебя? Вон, сейчас же вон из обители!.. Чтобы духом твоим не пахло здесь!..

И выгнала. Добродушная мать Виринея позвала было посланного к себе в келарню угостить как следует, но мать Аркадия и того не допустила. Досталось от нее и Виринее и всем подначальным матери-келарю послушницам. Так расходилась дебелая старица, что еще долго по уходе из обители несолоно хлебавшего посланца не вдруг успокоилась. И отчитала ж Аркадия Патапа Максими́ча. Думать надо, что долго и много икалось ему.

Привезли в Осиповку попа городецкого, окрестил он в чапуринской моленной младенца Захария. В кумовьях Иван Григорьич был с женой удельного головы, а знаменитая повариха Никитишна за бабушку повитуху была.

Тотчас после крестин подан был крестильный обед. Сошлись в большой горнице все, кроме потаенного попа, родильницы, да больше года хворавшей и редко когда выходившей из боковуши Акси́ньи Захаровны. Повариха Никитишна тоже не вышла к обеду, много было ей хлопот и в стряпущей и у больных. Проезжающего попа тотчас после крестин, прикрыв рогожкой (Так обыкновенно старообрядцы возили беглых от церкви попов, чтоб не попались они в руки полиции.),

спровадили обратно в Городец. На всякий случай Патап Максимыч отложил, сколько надо, денег ради умягчения консисторских сердец, на случай ежели б свибловский поп Сушило подал заявление, что, дескать, повенчанный им в церкви купец Василий Борисов купно со своим тестем, торгующим по свидетельству первого рода, крестьянином Патапом Максимовым Чапуриным, главным коноводом зловредного раскола, окрестили новорожденного младенца в доме означенного Чапурина в недозволенной правительством моленной при действии тайно проживающего при городецкой часовне беглого священника Иоанна Бенажавского. Денежки предусмотрительного Патапа Максимыча пошли куда следует и отвели бурю, воздвигнутую было враждебным попом Сушилой.

За столом хозяйничала богоданная дочка Патапа Максимыча Аграфена Петровна. И кругом стола за каждой переменой кушанья она обхаживала и гостей упрашивала, не обессудили бы хлеб-соль хозяйскую, кушали бы, что на стол поставлено, не бесчестили б усердного угощенья, чем бог послал. И все-то старозаветными приговорками она приговаривала, без коих наши прадеды куска хлеба, бывало, не съедят в гостях, пока не услышат их из ласковых уст хлебосольной хозяйки.

– Садитесь, гости дорогие, за скатерти браные, за напитки пьяные, за хлеб, за соль, за крестильную кашу да за курничок, – приговаривала Аграфена Петровна, усаживая гостей за обеденный стол.

– Уговор дороже денег, – подхватил Патап Максимыч, когда уселись все. – Слушайте хозяина, гости дорогие, – на собак покидайте одни кости, остальное сами доедайте, чтоб на столе у меня все было чистехонько.

Теперича воля не ваша, а моя да хозяйюшкина. Сами знаете, что по-старому святому завету гость хозяину не указчик – что поставят перед ним, то и кушай да хозяев во всем слушай. Ваше дело есть да пить, а наше дорогих гостей потчевать. Кланяйся, зятек, да за гостями приглядывай, пили бы хоть помаленьку да выпили все.

Курник поставили на стол. Отличилась Дарья Никитишна – такой спекла, что чем больше ешь, тем больше хочется. Ходит вокруг стола Аграфена Петровна, ласковые слова гостям приговаривает:

– Кушайте, гости, покушайте! Запросто, без чинов, чем господь послал. Приневольтесь еще маленечко, по другому кусочку курничка-то скушайте. Что перестали? Аль хозяйского хлеба-соли вам жаль?

– Распредовольны, сударыня, Аграфена Петровна,

– молвил ей на ответ удельный голова, отирая бороду.

– А ты, дружище Михайло Васильич, хозяйке-то не супротивничай, ешь, доедай, крохи не покидай, – сказал Патап Максимыч.

– Нельзя, любезный друг, видит бог, не вмоготу. Всего у тебя не переешь, не перепьешь, – тяжело отдуваясь, промолвил голова.

– А тебе бы, Михайло Васильич, да и всем вам, дорогим гостям, распоясаться, кушаки-то по колочкам бы развесить, – сказал Патап Максимыч. – Зятек! Василий Борисыч! Сымай кушаки с гостей, вешай по колочкам. Ну, архиерейский посол, живей поворачивайся.

Сняли гости кушаки, и всем облегчало. Сызнова пошло угощенье. И гости веселы, и хозяин радощен. А уху какую сварила Дарья Никитишна, буженину какую состряпала, гусей да индюшек, как зажарила – за какой хочешь стол подавай. Каждый кусок сам в рот просится.

На славу вышел крестильный пир: и подносят частенько, и беседа ведется умненько.

Манефа к слову прилась, и повелась беседа про обители.

– Как слышно?.. Что скитские дела? – спросил Сергей Андреич Колышкин у Патапа Максимыча.

– Ничего пока неизвестно, – отвечал Патап Максимыч. – Думать надо, по-старому все останется. Видно, только поугадили матерей, чтобы жили помирней. А то уж паче меры возлюбили они пространное житие. Вот хоть бы сестрица моя родимая – знать никого не хотела, в ус никому не дула, вот за это их маленько и шугнули. Еще не так бы надо. Что живут? Только небо коптят.

– А ведь я до сих пор хорошенько не знаю, что сделал генерал, что из Питера в скиты наезжал, – сказал Сергей Андреич.

- Только страху задал, а больше ничего, – ответил Патап Максимыч. – Пачпорты спрашивал, часовни описывал, иконы, что там поставлены, строенья обительские – а больше ничего.
- Матери-то ублаготворили, видно?.. – спросил Сергей Андреич.
- Ни-ни! – ответил Патап Максимыч. – Подъезжали было, первая сестрица моя любезная, да он такого им пару задал, что у них чуть не отнялись языки. Нет, пришло, видно, время, что скитам больше не откупаться. Это ведь не исправник, не правитель губернаторской канцелярии. Дело шло начистоту.
- А после его отъезда так-таки ничего и не вышло? – опять спросил Колышкин.
- Ровнехонько ничего, опричь того, что воспретили шатуньям со сборными книжками шляться, – сказал Патап Максимыч. – Да этих чернохвостниц одной бумагой не уймешь: в острог бы котору-нибудь, так не в пример бы лучше было.
- Ну, уж и в острог! – вступился удельный голова.
- А для чего ж не в острог? – возразил Патап Максимыч. – Ведь они дармоедницы, мирские обиралы, ханжи, да к тому ж сплетницы и смотницы. За такие художества ихнюю сестру не грех и в остроге поморить.
- Они богу молятся за мир христианский, – заметила жена удельного головы. – Нам-то самим как молиться?.. Дело непривычное, неумелое. У нас и дела, и заботы, и всё, а пуще всего не суметь нам бога за грехи умолить, а матушки, Христос их спаси, на том уж стоят – молятся как следует и тем творят дело нашего спасения.
- Молятся! Как же!.. Держи карман!.. Знаю я их вдосталь! – сказал на то Патап Максимыч, – Одна только слава, что молятся. У них бог – чрево... Вот что...
- Давно бы пора в порядок их привести. Что молчишь, зятек?.. – с лукавой улыбкой обратился Патап Максимыч к Василью Борисычу. – Изрони словечко – ихнее дело тебе за обычай. Молви гостям, правду аль нет говорю.
- Трудно на это что-нибудь сказать, – робко, уклончиво, сквозь зубы проговорил бывший архиерейский посол. – С какой стороны посмотреть.
- Гляди и толкуй прямо, – немного возвыся голос и слегка нахмурясь, сказал Патап Максимыч. – Чего вертеться-то? Прямо сказывай, без отлынивания, без обиняков...
- Оно, конечно, ихней сестры много шатается, переминаясь, заговорил было Василий Борисыч. – Однако ж, ежели взять...
- Чего тут еще «однако да однако»? – вспыхнул Патап Максимыч. – Тебя до сих пор хорошенько еще не проветрило. Все еще Рогожским да скитами тебе отрыгается. Никуда, брат, не годен ты – разве что в игуменьи тебя поставить... Хочешь на теткино место, на Манефино?
- Ох, искушение! – вполголоса, опуская глаза в тарелку, молвил Василий Борисыч.
- А право, знатная бы вышла из тебя игуменья, смеясь, продолжал Патап Максимыч. – Стал бы ты в обители-то как сыр в масле кататься! Там бы тебе раз по десяти на году-то пришлось крестины справлять. Право...
- И раскатился Патап Максимыч громким хохотом на всю горницу.
- И все мужчины хохотали, а женщины, потупивши глаза, молчали. Василий Борисыч с сокрушенным сердцем и полными кручины глазами одно твердил:
- Ох, искушение!
- Ей-богу, – продолжал свои глумленья развеселившийся Патап Максимыч. – А вот мы, ото-бедавши, в игуменьи тебя поставим. У канонницы иночество напрокат возьмем и как следует обрядим тебя... Бородишку-то платком завяжи, невеличка выросла, упрятать можно...
- Пожалел Колышкин Василья Борисыча, перервал речи Патапа Максимыча, спросил у него, как скитницы, что перевезли строенья из скитов в город, распорядятся теперь, ежели нечего им бояться выгонки.
- Каждая по-своему распорядилась, – отвечал Патап Максимыч. – Сестрица моя любезная три дома в городу-то построила, ни одного не трогает, ни ломать, ни продавать не хочет. Ловкая старица. Много такого знает, чего никто не знает. Из Питера да из Москвы в месяц раза по два к ней письма приходят. Есть у нее что-нибудь на уме, коли не продает строенья. А покупатели есть, выгодные цены дают, а она и слышать не хочет. Что-нибудь смекает. Она ведь лишнего шага не

ступит, лишнего слова не скажет. Хитрая!

– А другие как? – спросил Сергей Андреич.

– Одни продали, другие назад в скиты перевезли, иные внаймы отдали, – отвечал Патап Максимыч. Оленевская мать Минодора под кабак кельи-то отдала, выгодным нашла. И теперь игуменьи с первой до последней ругательски ругают Манефу, что смутила их, запугала петербургским генералом и уговорила загодя перевозить из скитов строенья. «Разорила, расстроила нас Манефа комаровская», – в один голос кричат они. Ну, вот тебе и весь сказ. А теперь расскажи-ка ты мне, Сергей Андреич, не слыхал ли чего про Алешку Лохматого? Давно ничего про него я не слыхивал.

– В Самару на житье переехал, – ответил Сергей Андреич. – Дела ведет на широкую руку – теперь у него четыре либо пять пароходов, да, oprичь того, салотопенный завод. Баранов в степи закупает, режет их в Самаре и сало вытапливает. По первой гильдии торгует, того и жди, что в городские головы попадет.

– Вот как! – промолвил Чапурин. – А про Марью Гавриловну что слышно?..

– Что Марья Гавриловна? Житьишко ее самое последнее, – сказал Колышкин. – За душой медной полушки не осталось. Все муженек забрал... Ситцевое платишко сшить понадобится, так месяца полтора у него клянчит о каких-нибудь трех рублишках... Мало того, в горничные попала к мужниной любовнице.

– Мамошкой, значит, обзавелся, – заметил удельный голова.

– Много у него их. И сам, пожалуй, не перечтет, сколько их у него перебывало, – с легкой усмешкой сказал Колышкин. – А набольшая одна... И красавица же!.. Мало таких на свете видано.

– Откуда ж он добыл такую кралю? – спросил Иван Григорьич.

– В приданство Марья Гавриловна принесла, – отвечал Сергей Андреич. – Молоденькая девчонка, Татьяной Михайловной звать.

– Не та ли уж, что у Марьи Гавриловны в Комарове жила? – спросила Аграфена Петровна.

– Она самая, – молвил Колышкин.

– Как же это? – вскрикнула Аграфена Петровна. Да ведь она души не чаяла в Марье Гавриловне. В огонь и в воду была готова идти за нее. Еще махонькой взяла ее Марья Гавриловна на свое попечение, вырастила, воспитала, любила, как дочь родную! Говорила, что по смерти половину имения откажет ей. И вдруг такое дело!.. Господи! Господи!.. Что ж это такое?.. Да как решилась она?

– Зачались дела еще, кажется, с той поры, как только замуж вышла Марья Гавриловна, – сказал Сергей Андреич. – Сначала Татьяна от Алексеевых приставаний из дому хотела уйти, утопиться либо удавиться, а Марье Гавриловне не сказывала, что тому за причина.

А тот не отстает и денег не жалеет. Крепилась, крепилась Татьяна Михайловна, наконец покорилась. Как у них это сделалось, знают одни они. А между тем Лохматов до последней нитки все перевел на свое имя и, как только перевел, так во всей красе и развернулся. Марье Гавриловне ни копейки, а Татьяне шелковые платья да бархатные салоны на собольем меху. А Марья Гавриловна хоть бы словечко на то промолвила, хоть бы слезинкой на мужа пожаловалась...

– Как же это? Как же это так? Как могла Таня решиться на такое дело? – дрожащим от волнения голосом заговорила Аграфена Петровна. – Ну, не смогла устоять, не угасила постом да молитвой демонских стрельний, так как же можно было ей так обидеть благодетельницу свою, столько горя принести ей?..

– А вино-то на что? – перервал ее речи Колышкин. – Сперва шампанское да венгерское, потом сладенькие ликерцы, а потом дело дошло и до коньяка... Теперь не дошло ли уж и до хлебной слезы, что под тын человека кладет... Совсем скружилась девка, и стыд и совесть утопила в вине, а перед Марьей Гавриловной, в угоду любовнику, стала дерзка, заносчива, обидлива. Терпит Марья Гавриловна, пьет чашу горькую!

– Так-таки и прислуживает Таньке? Так-таки и живет Марья Гавриловна в своем доме, как работница? – волнуясь, спрашивала Аграфена Петровна у Сергея Андреича.

– Совсем как есть, – ответил Колышкин. – И одевает ее, и самовар приносит, и кофей варит, и постель стелет мужу с Татьяной. Совсем как есть работница. Еще удивительно, как бедная Ма-

рья Гавриловна из ума не выступила. Богу, слышь, только молится, а говорить – ни с кем ни слова не молвит.

– Бедная, бедная! – промолвила Аграфена Петровна.

– А я так полагаю, что глупая она бабенка и больше ничего, – вставил слово свое удельный голова. Подвернулся вдове казистый молодец, крепкий, здоровенный, а она сдуру-то и растаяла и капитал и все, что было у нее, отдала ему... Сечь бы ее за это – не дури... Вот теперь и казись – поделом вору и мука, сама себя раба бьет, коль нечисто жнет.

– Грех ее осуждать, Михайло Васильич, – вступилась Аграфена Петровна. – Нешто знала она, что будет впереди? Ежели б знала, не так бы делом повела... Из любви все делала, и потому не взыщутся ее грехи. В писании-то что сказано?.. Сказано, что любовь много грехов покрывает. Даст богу ответ один Алексей.

– Так-то оно так, – отвечал голова, – а по-человечески судя, этак поступать бы ей не следовало. Что она теперь?.. Была богачка – стала нищая, была женщина почтенная, всеми уважена, а теперь хуже последней судомойки!.. Плоть-то уж больно распалила она тогда – вот что... Оттого и попала в кабалу негодному человеку. И хоть бы что-нибудь хорошего в нем было! Так ведь нет ничего. Вон теперь он сворованными у жены сотнями тысяч ворочает, а отцу с матерью поесть нечего. Не раз Христом богом старик Трифон просил сына о помощи.

Ответа даже не выслал. А семья в разор разорилась, девки загуляли, сколько раз ворота дегтем у них мазали (Повсеместный почти деревенский обычай – мазать дегтем ворота того дома, где живет зазорного поведения девушка. Это у крестьян считается величайшим оскорблением для всей семьи, а для девушки особенно. Ту, у которой мазаны ворота, замуж никто не возьмет.).

Саввушка у Трифона меньшей сын – добрый паренек, смысленный, по всему хороший, и тот, по недостаткам родителей, мертвую запил, а теперь, слышь, в солдаты нанимается. А непутный Алексей швыряет тысячами, и горя ему нет, что родная семья вконец разорилась и из честного родительского дома вышел Содом и Гоморр... Не потерпит ему бог. Нельзя тому быть, чтоб не покарал он его в сем веке и в будущем.

Ни слова не сказал Патап Максимыч, слушая речи Михайла Васильича. Безмолвно сидел он, облокотясь на стол и склонив на руку седую голову. То Настю покойницу вспоминал, то глумленья Алешки над ним самим, когда был он у него по делу о векселях. Хватил бы горячим словом негодяя, да язык не ворочается: спесь претит при всех вымолвить, как принял его Алешка после своей женитьбы, а про Настю даже намекнуть оборони господи и помилуй!

Вдруг перед честной беседой явилась знаменитая повариха, а теперь и бабушка повитуха Дарья Никитишна. В полушелковом темно-красном сарафане, в гарнитуровом холодильнике, в коричневом платке с затканными серебряными цветочками на голове, павой выплыла она в горницу с уместным горшком пшенной каши. С низким поклоном поставила она его перед Василием Борисычем и такие речи примолвила ему по-старинному, по– уставному:

– Что туман на поле, так сынку твоему помоленному, покрещенному счастье-талан на весь век его! Дай тебе бог сынка воспоить, вскормить, на коня посадить! Кушай за здоровье сынка, свет родитель-батюшка, опростай горшочек до последней крошечки – жить бы сынку твоему на белом свете подольше, смолоду отца с матерью радовать, на покон жизни поить-кормить, а помрете когда – поминки творить!

Взял ложку Василий Борисыч. А каша-то крутым– накруто насолена, перцу да горчицы в нее понакладено. Съел ложку родитель, закашлялся, а бабушка Никитишна не отстает от него:

– Изволь, государь-батюшка, скушать все до капельки, не моги, свет-родитель, оставлять в горшке ни малого зернышка. Кушай, докушивай, а ежель не докушаешь, так бабка повитуха с руками да с ногтями. Не доешь, – глаза выдеру. Не захочешь докушать, моего приказа послушать – рукам волю дам. Старый отецкий устав не смей нарушать – исстари так дедами-прадедами уложено и навеки ими установлено. Кушай же, свет– родитель, докушивай, чтобы дно было наголо, а в горшке не осталось крошек и мышонку поскресть.

Хоть бежать, так в ту же пору Василь Борисычу. Да бежать-то некуда – горница людей полна, и все над ним весело смеются. С одной стороны держит его Никитишна, а с другой – сам Патап Максимыч стоит, ухвативши за плечо зятя любезного.

– Умел выкрасть жену, умел и сына родить, доедай же теперь бабину кашу, всю доедай без остатка, – с хохотом говорил Патап Максимыч.

Кашляет Василий Борисыч, что ни ложка, то поперхнется. Давится, охает и шепчет любимое свое: «Ох, искушение!»

А гости хохочут, сами приговаривают:

– Ешь кашу, свет-родитель, кушай, докушивай! Жуй да глотай бабину кашу на рост, на вырост, на долгую жизнь сына! Все доедай до капельки, не то сынок рябой вырастет.

Три пота слило с Василья Борисыча, покамест не справился он с крестильной кашей. Ни жив ни мертв сидит за столом, охает громче и громче, хоть в слезы да в рыдания, так в ту же бы пору. Но бог его не оставил, помог ему совладать с горшком.

– Теперь, свет-родитель, ложку изволь выкупать, – сказала Никитишна, ставя перед Васильем Борисычем подносик.

Выкупил ложку Василий Борисыч, положивши бабушке пятишницу.

Пошла Никитишна вокруг стола, обносила гостей кашею, только не пшенной, а пшена сорочинского, не с перцем, не с солью, а с сахаром, с вареньем, со сливками. И гости бабку-повитуху обдаивали, на поднос ей клали сколько кто произволил. А Патап Максимыч на поднос положил пакетц; что в нем было, никто не знал, а когда после обеда Никитишна вскрыла его, нашла пятьсот рублей. А на пакетце рукой Патапа Максимыча написано было: «Бабке на масло».

Съели кашу и, не выходя из-за стола, за попойку принялись. Женщины пошли в задние горницы, а мужчины расселись вокруг самовара пунши распивать. Пили за все и про все, чтобы умником рос Захарушка, чтобы дал ему здоровья господь, продлил бы ему веку на сто годов, чтоб всю жизнь было у него столько добра в дому, сколько в Москве на торгу, был бы на ногу легок да ходок, чтобы всякая работа спорилась у него в руках.

– А тебе, Василий Борисыч, – обратился к свету-родителю удельный голова, – пошли господь столько сынков, сколько в поле пеньков, да столько дочек, сколько на болоте кочек, и всем вам дай господи, чтоб добро у вас вот этак лилось.

И выплеснул стакан пунша на пол.

– Зачем же столько? – в смущенье и замешательстве тихо и робко промолвил Василий Борисыч. – Этак-то уж не очень ли много будет?

– А за каждого ребенка тебе по сту палок, – прибавил к пожеланьям головы маленько подгулявший Патап Максимыч.

– За что ж это? – стал было говорить в защиту Василья Борисыча Михайло Васильич.

– Дураков не плоди. И без того от них на свете проходу нет, – сказал Патап Максимыч. – Ведь сын по отцу – значит, дураков сын и сам дурак будет... А наш певун разве не дурак?.. К какому делу он пригоден? Петь, да в моленной читать, да еще за девками гоняться, только и есть у него; на другое ни на что не годится. Прасковья – то у меня плоха, дрыхнуть бы ей только, да и она, хоть и сонная дура, а раза четыре драла мужу глаза за девок-то. По-моему, выстегать бы его хорошенько, чтоб ума прибывало. Да уж когда-нибудь дождется он у меня.

Все захохотали, а Василий Борисыч только вздыхает да под нос шепчет себе:

– Ох, искушение!

– Нет, посудите в самом деле, гости дорогие, – продолжал Патап Максимыч, поставив локти на стол и положив бороду на ладони. – Думал я спервоначалу, что парень он толковый. Помните, как он при вашей бытности, на сорочинах покойницы Насти, расписывал про народные нужды и промыслы по разным местам?.. Любо-дорого было послушать. Помнишь, Михайло Васильич, при тебе тогда я его уговаривал заняться делом – на Горах промысла заводить. Денег давал и во всем полную доверенность, бросил бы только чернохвостниц да наплевал бы на своих посконных архиереев. И согласился было он, шесть недель только сроку просил. Так нет, келейницы-то, видно, уж больно тянули его к себе. А как женился и пришлось ему пошабашить и со скитами, и с Рогожским, и с шатущими архиереями, подумал я тогда:

«Слава тебе, господи, выплывает человек на вольную воду, дурости покидает, за разум берется». Не тут-то было. Языком мы с ним города берем, а подойдет дело, сейчас и отлынивать. На поверку вышло, что мой Василий Борисыч ни на что не годен – только и знает что с девками петь

да по лесочкам меж кусточков с ними валандаться. Кажись бы, маленький, да приземистый, и слабеньк, и жиденек, что ивовый прут, поглядеть, кажись, не на что, а по женской части ух какой ходо. Ни одной проходу не даст. На что работница Матрена и ряба и неуклюжа, вот что кушанья-то носила сюда, больше на черта, чем на девку похожа, и ту в покое не оставил. Теперь запал ему в скиты ход, а то бы у него по честным обителям и в самом деле было сынков, что пеньков, а дочек, что кочек. Правду аль нет говорю я тебе, зять ты мой любезный Василий Борисыч?

И, лукаво прищутив глаза, насмешливо поглядел Патап Максимыч на Василья Борисыча, а под тем стул, ровно железный да каленый. Так бы и вскочил, так бы и побежал из горницы вон, да как убежишь? И стал он безответен.

Тесть из зятя только веревок не вил, был у него Василий Борисыч во всей власти и на всей его воле. И никоим образом нельзя было Василью Борисычу себя высвободить. Уйти из тестева дома все одно что руки на себя наложить. После венчанья у попа Сушилы из прежних друзей-приятелей никто к дому близко его не подпустит, и всяк будет радехонек какую-нибудь пакость ему сделать. Нечего делать, покоряйся судьбе, терпи попреки от тестя, безответно принимай издевки и насмешки, а сам не смей и рта разинуть. Давно клянет себя Василий Борисыч за сладкую ночь в лесочке улангерском, и ругательски ругает Петра Степаныча с Фленушкой, что ради потехи окрутили его чуть не насильно с Прасковьей Патаповной.

Колокольчик послышался.

– Кого леший несет? – с гневом, с досадой неистово вскрикнул Чапурин. – Не исправник ли почуял, что мы пуншиком забавляемся, аль не к тебе ль из удельной конторы, Михайло Васильич?

– Некому меня разыскивать, – ответил голова. К тебе, должно быть, какой-нибудь запоздалый гость.

– Некому ко мне быть, да еще с колокольцами, молвил Патап Максимыч. – Гости мои все налицо. Должно быть, кто-нибудь незванный-непрошенный. Испортит нашу беседу, окаянный.

Тележка, запряженная почтовыми лошадьми, остановилась у ворот Патапа Максимыча. Бросились к окнам – нет, не исправник приехал, не из удельной конторы, а какой-то незнакомый человек в синей сибирке сборами назад и в суконном картузе. Не то городской мещанин, не то купец небойкого полета.

– А что, старичок почтенный, – спросил приехавший у сидевшего возле ворот Пантелея, – не здесь ли Аграфена Петровна из Вихорева?

– Здесь, – отвечал Пантелей, – а тебе на что ее?

– Письмецо есть, – сказал приезжий. – Из смолокуровского дома от Дарьи Сергевны. Наспех послан. Несчастье у нас случилось.

– Какое? – вскрикнул из окна Патап Максимыч. С кем?

– С самим. С хозяином, значит, с нашим, с Марком Данилычем, – отвечал посланный.

– Помер? – спросил Патап Максимыч.

– Помереть не помер, а близко того, – сказал посланный. – Рука, нога отнялись, рот перекосило, слова не может сказать.

– Ступай в горницу, – сказал Патап Максимыч, и посланный пошел на зов.

Аграфена Петровна пришла из задней и стала читать письмо.

– Ах, господи, господи! Вот беда-то!.. Бедная ты моя Дунюшка! – говорила она, читая.

– Ты, любезный, ступай покамест в подклеть, – сказал посланному Патап Максимыч. – С дороги-то и выпить и закусить не лишнее. Ступай – там напоят и накормят тебя.

Когда тот вышел, Аграфена Петровна передала письмо мужу, и тот прочел его вслух.

Извещая о болезни Марка Данилыча, Дарья Сергевна писала о своей беспомощности и о том, что Дуня все еще не бывала из Рязанской губернии от Луповицких и когда воротится, не знает. Молила, просила Дарья Сергевна Аграфену Петровну съездить за ней в Луповицы, слегка намекнув об опасности для Дуни, у тех-де господ завелась какая-то тайная вера, та, что в народе слывет

фармазонскою, и боязно ей, чтобы Дуню они туда не своротили. Ивана Григорьича просила Дарья Сергевна приехать к безгласному, недвижимому Марку Данилычу вступить в его дела и научить ее, как чем надо распорядиться и как в доме порядок держать, чтобы Дуне не потерпеть убытков. «Все от большого да малого только и норовят теперь по сторонам добро тащить – каждому лакомо поживиться достатками Марка Данилыча. И приказчики, и рабочие, и городничий с городским головой, и стряпчий с секретарями, все, у кого нет совести, всячески стараются обождать сироту». Ответ Дарья Сергевна просила прислать с тем же посланным, написала бы только Аграфена Петровна, приедут они или нет, и ежели согласны Дуне порадеть, так, сколь возможно, поспешали бы.

Вслух прочел письмо Иван Григорьич. Все молча призадумались, неожиданное известие озадачило всех. Каждый подумал: «Все под богом ходим, со всяким то же может случиться».

Долгое было молчанье. Наконец, Патап Максимыч такую речь повел:

– Дело такое, что надо спешить. Вера там какая-то тайная, городничий с секретарями – все это вздор да пустяки, женские выдумки. Главная причина тут – болезнь Марка Данилыча. Судя по тому, как отписывает Дарья Сергевна, кровавой удар ему приключился, попросту говоря – пострелом его пошибло. Он же такой плечистый да короткошея, с такими часто это бывает. Без языка, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может – навряд подняться ему. Не молвив ни словечка, так и покончится. Страшен этот недуг – человек все видит, все слышит, все понимает, а не может слова сказать. Подумайте, каково ему, ежели видит он в доме беспорядок, понимает, что добро его врознь тащут, а сам ни языком, ни рукой двинуть не может. Хуже смерти, особенно такому горячему человеку, как Марко Данилыч. И ко всему этому дочери дома нет. А он-то всю свою жизнь только для нее работал и трудился... И тут на его глазах, может быть, станут грабить скопленное ей имение!.. Такой, муки, пожалуй, и на том свете не будет. Пожалеть надо его по человечеству. Беспременно поезжай к нему, Иван Григорьич, завтра же чем свет поезжай.

– Нельзя мне, Патап Максимыч, никак невозможно, – отвечал Иван Григорьич. – Неотложные дела приспели. На той неделе поярок привезут ко мне, надо будет самому его принять, без своей-то бытности как раз обуют в лапти. А ведь это на целый на год. Сам рассуди.

Замолчал Патап Максимыч. Гости судят да рядят, как бы помочь Смолокурову, а он никому ни словечка. Долго ль, коротко ли гости меж собой разговаривали, а Патап Максимыч сидел, нахмурившись, как осенний день, в стороне от других, у окошка, молчал он и, не слушая разговор, свою думу думал.

«Жаль беднягу!.. Вживе, а не жилец. Растащут его добро. И будет все видеть, а сделать ничего не сможет, Вот мука-то!.. Дарья Сергевна что сделает? А такая беда ведь до всякого может дойти. И со мной может случиться и со всяким другим – все под богом, всем надо помереть, избави только господи от такой кончины... Страшно и подумать... Ни в живых, ни в мертвых... Конечно, доводись до меня – у меня есть и друзья и приятели. Хоть на зятя надежда и плоха, зато Иван Григорьич, Сергей Андреич, Михайло Васильич в обиду домашних не дадут, сохранят все как следует. А у него хоть бы одна душа. Приятелей, пожалуй, и много, да друга нет, а без друга человек все одно, что сирота. На пир, на бражку приятелей, что мух налетит, а при горе, при беде один друг придет... Надо помочь Марку Данилычу. Друзьями мы с ним никогда не бывали, а знакомство и хлеб-соль водили. Ивану Григорьичу отлучиться нельзя, так сам я поеду. Груню прихвачу, пушай за Авдотей Марковной едет».

А меж гостями разговоры про Марка Данилыча идут да идут. Всяк бы рад помочь, да кому недосужно, кому нездоровится, а кто мало знакомства имеет со Смолокуровым.

– Груня, сряжайся, – сказал Патап Максимыч. Завтра утром со мной поедешь. Ребятишки с отцом останутся, я буду при болящем, а ты съездишь за Авдотей Марковной. Так делу быть.

– Тебе-то что? – молвил удельный голова. – Тебе-то из-за чего беспокоиться?

– Из-за того, что он беспомощен! По-человеческому, Михаил Васильич, надо так, – подняв голову и выпрямив всем станом, сказал Патап Максимыч. – А ежели мне господь такую же участь сготовил? Горько ведь будет, когда обросят меня и никто не придет ни с добрым словом, ни с добрым делом!..

– В таком разе приказчика послал бы, а то ни с того ни с сего самому трястись, – сквозь зубы проговорил удельный голова.

– А разве он на свою долю не потащит чего-нибудь? – сказал Патап Максимыч. – Все приказчики работаны на одну колодку – что мои, что твои, что Марка Данилыча, не упустят случая, не беспокойся.

– Да у тебя и Анисья Захаровна в болезни и дочь в постели лежит. Как можно тебе дом покинуть? – продолжал Михайло Васильич.

– Зять останется дома, – сказал Патап Максимыч. – На столько-то хватит у него умишка, чтоб больных сторожить. Опять же Марко Данилыч не за морями – отсюда всегда можно весточку дать. Да что переливать из пустого в порожнее? Дело решено, я так хочу, и больше говорить нечего. Сбирайся, Груня... А где повариха наша разлюбезная?..

Эй, сударыня Дарья Никитишна, подавай-ка голубушка, холодненького... А вы, гости дорогие, чару выпивать, а друзей не забывать... Подь, Грунюшка, сряжайся – сборы твои бабьи – значит, не короткие, не то что у нашего брата – обулся, оделся, богу помолился, да и в кибитку.

Ни слова не сказала Аграфена Петровна, даже с мужем словечком не перекинулась. Тятенькин приказ ей все одно, что царский указ. Молча пошла в задние горницы укладываться.

Принесла Дарья Никитишна холодненького, разлила его по стаканчикам.

– Дай бог нашему дитяти на ножки стати, дедушку величати, отца с матерью почитати, расти да умнеть, ума-разума доспеть. А вы, гости, пейте-попейте, бабушке кладите по копейке, было б ей на чем с крещеным младенчиком вас поздравлять, словом веселым да сладким пойлом утешать.

Так проговорила Никитишна старорусскую крестинную поговорку, а проговорив, низко поклонилась на четыре стороны.

А после того стала вино разносить. Сначала поднесла молчавшему Василию Борисычу, потом дедушке новорожденного, а затем гостям по их старшинству. И опять на поднос деньги ей клали, хоть и не столько, как за кашу. Опорожнили гости стаканчики, хозяину мало того.

– Наливай, еще наливай, старый верный друг, неизменное ты копье мое, Дарья Никитишна, – говорил Патап Максимыч бабушке-поварихе. – Наливай, хозяйского добра не жалеючи, – седни загуляю, завтра в путь – дороженьку!.. Самоварчик бы теперь хорошо, да еще бы пуншика!.. Ступай, зятек, – не по твоему разуму беседа здесь идет, подь-ка лучше в подклеть да самовар раздуй – спасибо от тестя дождешься за то.

– Ох, искушение! – тихонько молвил Василий Борисыч и, склонив головушку, пошел медленными стопами творить тестеву волю. С той поры как Патап Максимыч уверился, что от рогожского посла все одно что от козла – ни шерсти, ни молока, Василий Борисыч, кроме насмешек, ничего не слышал от него. И пикнуть не смел перед властным тестем.

На другой день после крестин не совсем еще обутрело, и осенний туман белой пеленой растилался еще по полям, по лугам и болотам, как Патап Максимыч, напившись с гостями чаю и закусивши расставленными Никитишной снедями, отправился в путь. В то же время выехали из Осиповки удельный голова с женой, Сергей Андреич Колышкин и другие гости. Остались Иван Григорыч с детьми да Никитишна. Проводя жену, Иван Григорыч сел в боковушке за счетные книги, а в передних горницах остался один Василий Борисыч. И грустно ему было и досадно. Давно ли все старообрядство почитало его за велика человека, давно ли в самых богатых московских домах бывал он дорогим, желанным гостем, давно ль везде, куда ни являлся, не знали, как ему угодить и как доставить все нужное в его обиходной жизни, и вдруг – стал посмешищем!.. Бывало, считали его одним из умнейших людей, а теперь он – шут, скоморох.

Бывало, слово вымолвит – и дивятся собеседники его знаниям и мудрости, и пойдет по людям сказанное слово, а с ним и слава о нем, как о надежде древлего благочестия, а теперь – даже тестевы токари да красильщики над ним насмеваются. Попад в среду трудовых людей, красноглавый рогожский вития почуял себя чуждым для них и совсем лишним человеком. И тоска обуяла его, такая тоска, что хоть руки наложить на себя. Бежать, воротиться к старым друзьям и поклонникам?..

Но запали пути в среду прежнюю, те люди, что недавно на руках его носили, клянут теперь как отступника, как изменника. До ворот никто не допускает его... Прискорбна душа у Василия Борисыча. Один – одинешенек бродит он по просторным горницам, распевает вполголоса «Всемирную славу» да иной раз, идя мимо стола, где еще стояли графинчики да бутылочки, с горя да с

печали пропустит красовулю (Красовуля – монастырская чаша, стопа, большая кружка.).

Гости Патапа Максимыча один за другим по сторонам разъехались. Один Колышкин доехал с ним вместе до губернского города. Там у него и пристал Патап Максимыч с Груней, там и дожидался утра, когда шедший вверх по Оке пароход должен был отваливать.

Жена Колышкина была дома. Только что воротилась она от вятских сродников, где часто и подолгу гасивала. Впервые еще увиделась с ней Аграфена Петровна. Не больше получаса поговорили они и стали старыми знакомыми, давнишними подругами... Хорошие люди скоро сходятся, а у них у обеих – у Марфы Михайловны и Аграфены Петровны – одни заботы, одни попеченья: мужа успокоить, деток разуму научить, хозяйством управить да бедному по силе помощь подать.

– Погляжу я на Патапа Максимыча, – сказала Марфа Михайловна. – И весел он кажется и разговорчив, а у него что-то на душе лежит. Горе ль его крушит, али забота сушит?..

– Горя не видится, а заботы много! – ответила Аграфена Петровна. – Вот теперь к Марку Данилычу едем. При смерти лежит, надобно делам порядок дать, а тятенька его дел не знает. Вот и заботно.

– Давеча он говорил об этом и про то говорил, что вам куда-то далеко надо за дочкой Смолокурова съездить, – молвила Марфа Михайловна. – Что ж, эти Смолокуровы сродники будут вам?

– Нет, – ответила Аграфена Петровна. – Ни родства, ни свойства, да и знакомы не очень коротко. Да ведь при больном нет никого присмотреть за делами.

Потому тятенька и поехал.

– Какой он добрый, какой славный человек! – воскликнула Марфа Михайловна. – Вот и нам сколько добра сделал он, когда Сергей Андреич пустился было в казенные подряды, из беды нас вызволил (Вызволить – выручить, освободить. Слово сибирское.).

Тогда еще внове была я здесь, только что приехала из Сибири, хорошенько и не понимала, какое добро он нам делает... А теперь каждый день бога молю за него. Без него идти бы нам с детками по миру. Добрый он человек.

– Да, – примолвила Аграфена Петровна. – Вот хоть и меня, к примеру, взять. По десятому годочку осталась я после батюшки с матушкой... Оба в один день от холеры в больнице померли, и осталась я в незнакомом городе одна-одинешенька. Сижу да плачу у больничных ворот. Подходит тятенька Патап Максимыч. Взял меня, вспоил, вскормил, воспитал наравне с родными дочерьми и, мало того, что сохранил родительское мое имя, а, выдавши замуж меня, такое же приданое пожаловал, какое и дочерям было сготовлено.

И засверкали слезы на ресницах Аграфены Петровны. Эти слезы и простой, бесхитростный рассказ про «доброего человека» растрогали Марфу Михайловну. Не знала еще она, что сделал Патап Максимыч для богоданной дочки своей. «Хорошо на твоём свете, господи, – подумала Марфа Михайловна, – ежели есть еще такие люди на нем».

Вечером долго сидели за чайным столом. Шли разговоры веселые, велась беседа шутивая, душевная. Зашла речь про скиты, и Патап Максимыч на свой конек попал – ни конца ни краю не было его затейным рассказам про матерей, про белиц, про «леших пустынников», про бродячих и сидячих старцев («Лешими пустынниками» зовут беглецов, живущих по за волжским, вятским и пермским лесам, под видом искания отшельнической жизни и с целью душевного спасения.) и про их похождения с бабами да с девками. До упаду хохотал Сергей Андреич, слушая рассказы крестного; молчала Аграфена Петровна, а Марфа Михайловна сказала детям:

– Прощайтесь-ка, детушки, ложитесь спать. Пора.

Старшие, почти уж подростки, вздумали маленько поспорить, говорили, что рано еще и спать им не хочется, но Марфа Михайловна, с доброй кроткой улыбкой любящей матери, строго посмотрела на них и молча пальцем погрозила. С грустным видом дети стали прощаться. А больно хотелось им еще послушать смешных рассказов Патапа Максимыча.

– Этого слушать им еще не годится, – скромно улыбаясь, молвила Марфа Михайловна по

уходе детей. Теперь говорите, Патап Максимыч, из детей мы вышли, а я с Аграфеной Петровной не красные девушки, ушки золотцом у нас не завешаны, обе были на божьем суде («Принять закон», «идти на суд божий» – венчаться.). А все-таки вы уж не очень...

– Вот те и на! Вот и попал ерш в вершу... А мне, признаться, и невдомек, – вскрикнул Патап Максимыч. – Ну, не взыщите на старике, матушка Марфа Михайловна. Ни вперед, ни после Не буду. А что поначалили меня, за то вам великий поклон.

И поклонился ей в пояс.

– Полноте, Патап Максимыч. Я ведь это только для деточек, – сказала Марфа Михайловна. – Молоды еще, соблазнов пока, слава богу, не разумеют. Зачем прежде поры-времени им знать про эти дела?.. Пускай подольше в ангельской чистоте остаются. По времени узнают все и всего натерпятся. А память о добром детстве и на старости лет иной раз спасает от худого.

– Верно ваше слово, Марфа Михайловна, – сказал Патап Максимыч и, обратясь к Сергею Андреичу, примолвил: – Ну их к бесам старцев шатунов да скитских матерей. Зачни про них говорить, как раз на грех наскочишь. Ей-богу.

– Как же это, крестный, ты говоришь об них так непочтительно и всегда готов над ними надругаться, а сам держишься ихней веры?.. – спросил его Сергей Андреич.

– Человек в чем родился, в том и помри, – сказал на то Патап Максимыч. – Веру переменить, не рубаху сменить. А ежели до бога, так я таких мыслей держусь, что, по какой вере ему ни молись, услышит он создание рук своих. На что жиды – плут на плуте, мошенник на мошеннике, и тех господь небесной манной кормил. Без конца он милосерд.

– А ежели держишься ты того, в чем родился, так зачем же издеваешься над своим духовным чином? – спросил Сергей Андреич.

– Для того что набитые дураки все они, – отвечал Патап Максимыч. – Ежели правду сказать, умного меж ними и не бывало. Да к тому – каждый из вора кроён, из плута сшит, мошенником подбит; в руки им не попадайся, оплетут, как пить дадут, обмишулят, ошукуют (Обмишулить – обмануть, обсчитать, ошукать – обманом кого провести.). Теплые ребята, надо правду говорить.

– Коли плуты, так не дураки, – заметил Сергей Андреич. – Плуты дураков не бывает.

– Этого не скажи, – молвил Патап Максимыч. Немало есть на свете людей, что плутовства и обманства в них целые горы, а ума и с наперсток нет. Таких много... Из самых даже первостатейных да из знатных бывают. У иного, пожалуй, ум-от и есть, да не втолкан весь. Вот что, дружище!

– Значит, и из ваших духовных сколько-нибудь умных наберется же? – молвил Сергей Андреич.

– Мало, – ответил Патап Максимыч. – Возьми хоть моего зятка. Гремел, по разуму первым человеком считался. А раскуси – дурак дураком. Что на уставах-то собаку съел, так что ж тут доброго да полезного? Пустошь, боле ничего. «Пролога» да «Кормчие», «Златоусты» да «Маргариты», а лошади не умеет запрячь, рожь от овса не отличит. А на дело его и не спрашивай. Дармоед, тунеядец, больше ничего. И все они такие. Сестрицу мою возьми, Манефу, – славят умницей, а я не возьму греха на душу, этого не скажу, потому что знаю ее вдоль и поперек. Ловка, хитра – это так, хозяйка домовитая – и это так, а чтоб ума палата у ней была – это, брат, шалишь-мамонишь! Лукава, и лукавство ее за ум почитают. А что лукава, так лукава; одни уста и теплом и холодком дышат, глаза зараз смеются и плачут.

Подъехать под кого, масляным блином кому в рот залезть, угодить угодному и неугодному – на это ее взять, тут она великая мастерица. Так разве это ум? Что минеи-то наизусть знает от доски до доски, так и это не ум. Ум, Сергей Андреич, в том, чтобы жить по добру да по совести и к тому ж для людей с пользой. А они что? Богу, что ли, в самом деле служат? Как не так! Служба-то у них – работа прибýtка ради, доходное ремесло, больше ничего. Как бондарь долбил – так попы да матери кадилком деньгу себе добывают. Всяк из них спасается, да больно кусается – попадись только в лапы. Вериги на плечах, а черт на шее... Ну их к шути!.. И говорить не хочу... Не люблю паскудных!..

– А скажи ты мне, крестный, по совести: как ты нашу веру разумеешь? Как рассуждаешь об ней, ежели уж так про свою говорить? – погода немного, спросил у Чапурина Сергей Андреич.

– Про великороссийскую то есть? – молвил Патап Максимыч.

– Да, про нашу, про великороссийскую, – сказал Колышкин, пристально глядя ему в глаза.

– По правде сказать тебе, по совести? – понизив голос, начал было говорить Патап Максимыч, но тотчас же смолк и немного призадумался. Потом, с минуту помолчав, так продолжал: – Видишь ли, Сергей Андреич, хоша я не богослов и во святом писании большой силы не имею, однако ж так думаю, что вера Христова и у нас, и у вас – одна. Обе чисты, обе непорочны, и обе спасительны. И нам грех наносить хулу на великороссийскую, и вам не спасенье нашу хулить. А признаться: сдается мне, что ваша-то маленько несправедней будет. Это так. Что наши попы да скитницы ни толкуй, а я верно говорю. Да и разница-то у нас ведь только в обряде. Так аль нет?

– Конечно, все несогласие в обряде, – сказал Сергей Андреич. – А как, по-твоему, обряд-от где правильнее?

– Обряд-от? Да ведь обряд не вера. Что человеку одёжа, то вере обряд, – сказал Патап Максимыч. – Кто к какому обряду сызмальства обык, того и держись. Так, по моему рассуждению, выходит. Мало погода продолжал он:

– По душе сказал я тебе, Сергей Андреич, как перед истинным богом, что великороссийская праведней нашей. Церковь, слышь, говорю, а не вера; вера у нас одна. Много и у вас по церковному делу слабостей, не меньше их и у нас. У вас люди слабоваты, у нас покрепче. Про господ поминать не стану, а по купечеству возьми, даже из нашего брата иных – из крестьян, кои побога-че...

Ежели следует он великороссийской, пост ли нарушить, богу ль не помолиться, восстав от сна или на сон грядущий, в праздник ли у службы не побывать – ему нипочем. А у нас не так; есть, пожалуй, и в нашем согласе, что в среду молока не хлебнут, а молочницу и в велику пятницу не пропустят; а все-таки насчет устава крепки и они. Попов взять: ваших не любят за то, что больно уж жадны и притязательны; за нашими этого поменьше, потому что содержание от общества им большое, зато с первого до последнего попы у нас горькие пьяницы. Ваши попы брак честно содержат, про безобразия их по этой части вовсе почти не слышно, а нашим без сударушек ровно и жить невозможно. Теперь вот у нас архиереи завелись, и с первых же годов пошла вражда между ними. Анафемами, отлученьями да изверженьями друг на друга так и сыплют; у вас архиереи тоже не с неба сошли, такие же человеки, а этого не бывает. А отчего? Ну-ка, скажи, отчего?

– Оттого, – отвечал Сергей Андреич, – что ваши архиереи люди неученые, а у нас неученого не то что в архиереи, и в попы не поставит.

– Не так, – возразил Патап Максимыч. – В том сила, что у вас надо всеми духовными есть законная власть. У вас, ежели чуть кто зашумаркал, – в Соловки либо в Суздаль, а наших кто и в кое место сошлет? Безначалие – вот где беда. До чего ни доведись, до духовного ль, до мирского ль, из безначалья да своевольства толку не будет никогда. Поставили бы над нами крепкую власть, и у нас бы все пошло по– хорошему. Одного только – законной власти нам желательно. Без нее все стало ни на что не похоже: друг дружку проклинаят, предают анафеме, и каждый в свою дуду дует...

На секты пошли оттого делиться, на толки да на согласы, и не стало в старообрядстве ни любви, ни единенья... Всяк умствует по-своему, и до какой чепухи ни дойдет, все-таки отыщет учеников себе, да таких, что на костер либо на плаху пойдут за бредни своего учителя... И вот расплозились теперь старообрядцы, что слепые котята от матери, во все стороны. До того дошло, что в иной избе по две да по три веры – отец одной, мать другой, дети третьей, – у каждого иконы свои, у каждого своя посуда – ни в пище, ни в питье, ни в молитве не сообщаются, а ежели про веру разговаряются, тотчас проклиная друг дружку. А все оттого, что власти нет.

– Да какой же вам власти? Двери в церковь, где эта власть есть, открыты, – сказал Сергей Андреич. А ежели есть сомненье насчет обряда, в единоверие ступай – там ваш обряд твердо соблюдается.

Не ответил на это ничего Патап Максимыч, и после того разговор не ладился больше. Как ни старался Колышкин своротить беседу на другое, Чапурин ответил двумя-тремя словами да потом и смолк. Ужинать подали, и за ужином все время молчал.

На другой день рано поутру уехал он от Колышкина, торопясь, не опоздать бы на пароход.

Безгласен и недвижим лежал Марко Данилыч, когда, разувшись, чтоб не стучать сапогами, осторожно вошел в его спальню Патап Максимыч. Узнал его больной, чуть-чуть протянул здоровую руку, что-то сказать хотел, но из уст его исходило только дикое, бессмысленное мычанье. Взял его Патап Максимыч за руку, и показалось ему, что она маленько вздрогнула и больной чуть заметно пожал его руку. Устремленный на приятеля здоровый глаз сверкал радостью, и слезы сочились из него. Здоровой рукой и взглядом указал Смолокуров Патапу Максимычу на стоявший возле железный сундук и после того себе под подушку. Догадался Чапурин, что там ключи у него спрятаны.

– Один я не вскрою, – громко сказал Патап Максимыч. – Другое дело, когда будет налицо Авдотья Марковна... И тогда надо будет вскрыть при сторонних, а еще бы лучше при ком из начальства, наветов бы после не было.

Больной выказал недовольство решением Патапа Максимыча, но тот продолжал:

– Сам не хуже меня знаешь. Марко Данилыч, каковы ноне люди. Конечно, Авдотья Марковна не скажет ни слова, а не сыщется разве людей, что зачнут сорочить, будто мы вот хоть бы с Дарьей Сергевной миллионы у тебя выкрали?.. Нет, без сторонних вскрывать нельзя. Подождем Авдотью Марковну. Груня сегодня же поедет за ней.

– Нельзя мне ждать, Патап Максимыч, – тихо промолвила Дарья Сергевна. – Рабочие расчетов требуют, а у меня всего-навсего тридцать рублей. Как можно дожидаться Дунюшки?.. И то работники бунт подняли, спасибо еще городничему – присмирил их.

– Не говорите, – шепнул ей Патап Максимыч. – Он все слышит и понимает.

– Да как же без денег-то, Патап Максимыч? Ведь у меня послезавтра в дому копейки не останется, – на каждом слове всхлипывая, чуть слышно промолвила Дарья Сергевна.

– Не беспокойтесь, – сказал Чапурин. – Деньги будут. Не к тому я сундук поминал, чтоб деньги вынимать, а надо бы знать, кому сколько платить, с кого получить и в какие сроки. Да мало ль каких делов там найдется а нужно, чтобы все было на описи.

Марко Данилыч, видимо, был тронут неожиданным приездом Патапа Максимыча. Много и сильно чувствовал он, но ни мыслей, ни чувств передать не мог. Один лишь слезящийся глаз говорил, что больной все понимает.

Выйдя из спальни, Патап Максимыч с Груней и с Дарьей Сергевной сел в той горнице, где в обычное время хозяева чай пили и обедали. Оттуда Марку Данилычу не слышно было их разговоров.

Стол был уставлен кушаньями, большей частью рыбными, стояли на нем и бутылки с вином и с той самой вишневкой, что посылал Марко Данилыч хивинскому царю для выручки брата из плена.

– Как это вы вздумали посетить нас при таких наших горестях? – говорила Дарья Сергевна, с любовью и благодарностью глядя на гостя. А он в первый раз еще был в доме у Марка Данилыча, да и Марко Данилыч ни в Осиповке, ни в Красной Рамени у Чапурина не бывал никогда. Были в знакомстве, но таких знакомств у Патапа Максимыча было многое множество. Хлеб-соль меж собой водили, но всегда где-нибудь на стороне.

– В гости приехал, – с улыбкой промолвил Чапурин. – Груня у меня была, когда получила ваше письмо. Крестины мы справляли, внучка господь мне даровал. Вы Ивана Григорыча звали, а ему никак невозможно. Заместо его я и поехал. Выхожу – гость незванный, авось не буду хуже тарина.

– Благодетель вы наш, – отвечала плачущая и взволнованная Дарья Сергевна. – Нежданный-эт гость лучше жданных двух, а вы к нам не гостить, а с божьей милостью приехали. Мы до вас было думали, что Марк– от Данилыч ничего не понимает, а только вы подошли, и за руку-то вас взял, и радостно таково посмотрел на вас, и слезыньки покатались у него. Понимает, значит, сердечный, разум-от, значит, при нем остался. Челом до земли за ваше неоставленье!

И, встав со стула, низко поклонилась Патапу Максимычу.

– Перестаньте, – сказал тот, поднимая Дарью Сергевну. – Что это вы? Я по-человеческому – со всяким то же может случиться. Со мной бы случилось, разве Марко Данилыч не приехал бы ко мне?.. Сказано: «Друг друга тяготы носите и тем исполните закон Христов».

Замолчала Дарья Сергевна, а сама про себя подумала: «Заболей-ка Патап ли Максимыч, другой ли кто, Марк-от Данилыч пальцем не двинул бы».

– Покушайте, угощайтесь, чем бог послал, – потчевала гостей Дарья Сергевна. – Осетринки-то скушайте – хорошая, на выбор для дому на Низу на ватагах выбирали. Вот и хрен, вот и уксус, и огурчики грядные – редки теперь уж становятся: у нас солили к Успенью, все обрали почти. А водочки-то, гость дорогой?.. Искушайте, сделайте такую вашу милость. Аль винца не желаете ли? А которым прежде, которым после надо потчевать, уж я и не знаю. Был бы в добром здоровье Марко Данилыч, сумел бы гостя угостить, а на мне, Патап Максимыч, не взыщите – не мастерица я вина-то различать. А вот это наши русские, незаморские наливки, значит. Откушайте-ка... Сама делаю; вот сливяночка, вот рябиновая, а вот и малиновая. Вишнепочки не угодно ли? Все похваляют, четвертый год на новы ягоды наливаю, а косточки в ступе толку да тоже в бутылки кладу. У вас при доме вишенки-то есть ли?

– Какие у нас, матушка, вишни? Опрichь рябины, малины да черники с гонобоблем, и в заводе нет ничего, – отвечал Патап Максимыч, принимаясь за звено жирной, сочной осетрины.

– Да ведь и в самом деле, – молвила Дарья Сергевна. – Когда я в вашей стороне жила, здешних ягод и не видывала – ни вишен у вас в лесах, ни клубники, ни шпанской малины; какая ягода крыжовник, и той даже нет! Брусника да клюква, черника да земляника – и все тут. Такова уж, видно, у вас земля.

– Земля холодная, неродимая, к тому ж все лето туманы стоят да холодные росы падают. На что яблоки, и те не родятся. Не раз пытался я того, другого развести, денег не жалел, а не добился ни до чего. Вот ваши места так истинно благодать господня. Чего только нет? Ехал я сюда на пароходе, глядел на ваши береговые горы: все – то вишенье, все-то яблони да разные ягодные кусты. А у нас весь свой век просиди в лесах да не побывай на горах, ни за что не поймешь, какова на земле божья благодать бывает.

– Ушки-то покушайте, – потчевала Дарья Сергевна. – Стерлядки свеженькие, сейчас из прорези браты, рыбки мерные (Прорезь – живорыбный садок на Волге и на низовьях Оки. Мерная стерлядь – от глаза до пера аршин и больше.). Печеноч-то налимьих извольте взять на тарелочку... Грунюшка, а ты что же сложа руки сидишь. Покушай ушки-то, матушка, – дай-ка я тебе сама положу. Седни ведь середина – рыбным потчую дорогих гостей, а завтра доспеем и гусятинки, и поросятинки, уточек домашних, ежели в угоду, и барашка можно нарезать али курочку. Не то буженинки из свинины скушать не пожелаете ль?

– Благодарю покорно, матушка, премного довольны остаемся на вашем угощенье. Много об нас не хлопчите, что на столе, тому и рады, – сказал Патап Максимыч. – Лучше теперь про дела потолкуем. Помянули вы, что работники расчета требуют. Нешто летние работы все кончены?..

– Ничего, благодетель, не знаю, никогда до этого не доходила, – отвечала Дарья Сергевна. – Где бы, кажись, кончить?.. В прежние годы к Покрову да на Казанскую работников отпускали, а теперь еще и Воздвижение не пришло и хлеб с поля на гумна еще не двинулся. Поговорите с приказчиком, с Васильем Фадеевым, он должен знать. Сегодня же велю ему побывать к вам.

– Ладно, потолкуем с Васильем Фадеевым, – сказал Патап Максимыч, – а работникам, наперед говорю вам, не дам своевольничать. На этот счет у меня ухо держи востро, терпеть не могу потачек да поблажек. Будьте, матушка, спокойны, вздорить у меня не станут, управлюсь. Поговоря с приказчиком, деньги кому следует отдам, а ежели кто забунтует, усмирю. В городе – то у вас начальство тоже ведь, чай, есть?

– Есть-то оно есть, благодетель, как начальству не быть? – сказала Дарья Сергевна. – Только начальные-то люди потаковщики да поноворщики. Нет чтобы делать дела по справедливости. Много с ними бился Марко Данилыч.

– Может, ладить не умел, – молвил, улыбаясь, Патап Максимыч. – Матушка!... Ведь у начальства-то четыре полы да восемь карманов, а каждый карман на свою долю просит. А карман у полиции что поповское брюхо – сколько в него ни клади, полно не будет, В полиции нельзя не

давать, без поджоги и дрова не горят. Нужен тебе подьячий – сунь ему калач горячий, нужен судья – вина сулея, да не простого, а заморского, что не хмельно да разымчато. Понадобился сам воевода, гляди ему в оба да с заднего крыльца тащи хоть мертвеца, лишь бы золотцем был посыпан. В таком разе и благо ти будет, и, какое у тебя хотенье, такое выйдет и решение. Не свои речи говорю, дошли они до нас от дедов, от прадедов...

А как при них бывало, так, видно, и до нас дошло. Только в том и разница, что теперь берут покуснее – не подточишь иголки. Зато много дороже. К тому говорю, что надо будет подмаслить кого нужно... Что делать-то? Не нами началось, не нами и кончится.

– А ежели не явит начальство помощи, тогда что делать? – пригорюнившись, молвила Дарья Сергевна.

– Были бы денежки святы, грешная помощь будет. Не беспокойте, не тревожьте себя. Протрем начальству очи золотцем – все будет как следует, – сказал Патап Максимыч.

– Денег-то таких нет, благодетель, при мне, – начала было Дарья Сергевна.

– И не надо, – перебил ее Патап Максимыч. – Без них управимся. А вот покамест до приезда Авдотьи Марковны извольте-ка получить от меня на домашнее хозяйство, – сказал Патап Максимыч. – Да денег-то не жалеите, чтобы все шло по-прежнему. А приказчику сейчас же велите прийти ко мне. Да лошадок готовили бы, Груне ехать пора. Изготовьте что нужно на дорогу Авдотье Марковне.

– А сундук-от как же? – спросила Дарья Сергевна. – Марко Данилыч сам под подушку вам указывал ровно бы говорил, чтобы вскрыли...

– Покамест не приехала Авдотья Марковна, сундука никому тронуть не дам, – решительным голосом сказал Патап Максимыч. – Пошлите же поскорей приказчика.

Дарья Сергевна пошла из комнаты.

После того через четверть часа Патап Максимыч с глазу на глаз беседовал с Васильем Фадеевым.

С того часу как приехал Чапурин, в безначальном до того доме Марка Данилыча все само собой в порядок пришло. По прядильням и на пристани пошел слух, что заправлять делами приехал не то сродник, не то приятель хозяина, что денег у него куры не клюют, а своевольничать не даст никому и подумать. И все присмирело, каждый за своим делом, а дело в руках так и горит. Еще никто в глаза не видал Патапа Максимыча, а властная его рука уже чуялась.

– Что за начальство такое у нас проявилось? – заговорили было самые задорные из пильщиков. – Генерал, что ли, он какой, аль архиерей? Всяких видали... Ежели артель положит не уважать его, в жизнь никто не уважит.

– Экой ты прыткой, Маркел Аверьяныч! – сказал молодому пильщику, парню лет двадцати пяти, пожилой, бывалый работник Абросим Степанов. Не раз он за Волгой в лесах работал и про Чапурина много слышал. Поглядеть на тебя, Маркелушка, – продолжал Абросим, – орел, как есть орел, а ума, что у тетерева. Борода стала велика, а смыслу в тебе не хватит на лыко.

Услыхав потешные речи Абросима, артель со смеху покатила. Маркел замолчал и, как волк в засаде, со злобы да с досады только зубами постукивал. Величался он в артели своим высокоумием, но смех и не таковых в лоск уложит.

– Много слышал я про Чапурина, – обращаясь к артели, продолжал Абросим Степанов – Опречь хорошего слова, ничего про него нельзя сказать. Не одна тысяча людей от него кормится – кто на токарнях, кто в красильнях, кто в Красной Рамени на мельнице, кто на Низу – там у него возле Иргиза большое хлебопашество. Спуску не даст никому, у него всяко лыко в строку, у него гляди в оба да оглядывайся, не то сейчас расправа, а иной раз и своей пятерней за провинность разделается.

Горячий человек. Нашего, пожалуй, будет горячее. Только от него не то чтоб сойти, не доделавши, аль сделать что супротивное, либо наперекор ему сказать, нет, этого никогда не бывает... Ежели кого он прогнал, тот себе места нигде не найдет и по времени к нему же придет плакаться, взял бы опять в работники... Сила большая!..

С губернатором водит знакомство, а мелкое начальство ему нипочем... Одно слово – человек властный... Что ни скажет, все по его будет. А сам на правде стоит, сроду никого не обидел, а

добра делает много. Ни обчетов, ни обмеров у него и не слыхано, обманства и в помышление ни у кого не бывает, все идет по правде да по божьей истине.

Долго еще рассказывал Абросим Степанов про заволжского тысячника, и по одним его словам артель возлюбила Патапа Максимыча и стала уважать его и побаиваться. «Вот как бы явил он милость да протурил бы Ваську Фадеева с Корнюшкой Прожженным, можно бы тогда было и богу за него помолиться и винца про его здоровье испить», – говорили обе артели – и прядильная и лесная.

Пришел к Патапу Максимычу Василий Фадеев, шепотом читая псалом Давида на умягчение злых сердец.

Сдавалось ему, что приезжий тысячник либо знает, либо скоро узнает про все плутни и каверзы. Не поплатиться бы спиной тогда, не угодить бы на казенную квартиру за решетку. Вытянув гусиную шею, робко вошел он в горницу и, понутив голову, стал у притолоки.

– Ты будешь Василий Фадееч? – ласково спросил у него Патап Максимыч.

– Так точно-с, – с покорным видом отвечал Фадеев, а сам диву дался, отчего это Чапурин не кричит на него, не ругается. «Должно быть, еще ничего ему неизвестно», – думает он сам про себя.

– Садись, Василий Фадееч, – указывая возле себя на стул, еще ласковее сказал ему Патап Максимыч. Вот сюда садись, к столу-то.

– Можем и постоять, – отвечал смущенный непривычным для него обхождением Фадеев. Сколько годов живет он у Марка Данилыча, а тот ни разу его не саживал.

– Садись же, сделай милость, Василий Фадееч, настаивал Патап Максимыч, – а то ведь придется и мне на ногах перед тобой стоять, а я с дороги-то приустал, старые ходуны Ходуны – ноги. спокойя просят.

И тут не согласился сесть Василий Фадеев и не сел бы, если бы Чапурин не взял его за плечи и насильно не усадил. Присел на краешке стула Фадеев, согнулся в три погибели, вытянул шею, а сам, не смигаючи, раболепно глядит на Чапурина

– Ты здесь главным приказчиком? – спросил Патап Максимыч.

Заморгал глазами, ровно взглянул на солнышко, Фадеев. Вытянув шею длинней прежнего, робко и тихо ответил он:

– Не то чтобы главный, а имел иной раз хозяйские порученности по заведениям и по дому, иной год и на рыбных караванах бывал.

– А книги кто вел и счета сводил? – спросил Чапурин.

– Марко Данилыч этим сами распоряжаются, нам не доверяют, – заикаясь, медленно проговорил Фадеев. – Ни книг, ни счетов до меня никогда не доходило.

– Да ведь он бывал в долгих отлучках. Кто ж без него распоряжался?.. – спросил Патап Максимыч.

– Дарья Сергевна, – чуть слышно промолвил Фадеев.

– То есть чем она распоряжалась? Насчет питья да еды да насчет другого домашнего хозяйства?

– Так точно-с, – еще тише прошептал Василий Фадеев.

– А расчеты с рабочими кто вел? Деньги в артель на припасы кто выдавал? Кто с почты деньги получал аль с покупателей? – продолжал расспросы Патап Максимыч.

Василий Фадеев молчал.

– Не Дарья же Сергевна, не Авдотья же Марковна. Я сам не один раз слыхал от Марка Данилыча, что обе они в эти дела у него не входят, – сказал Патап Максимыч. – Кто-нибудь распоряжался же, у кого–нибудь были же деньги на руках?

– У разных бывали-с. Чаще всего у Корнея Евстигнееича, – на каждом слове запинаясь, чуть слышно проговорил Фадеев.

– А кто таков этот Корней Евстигнееич? – спросил Чапурин.

– Самый первый и доверенный приказчик, – бойче прежнего промолвил Фадеев. – Он больше других про хозяйские дела знает.

– А где он?.

- Надо быть, на Унже теперь. Марко Данилыч леса там на сруб купил, и по весне, около тро-ицына дня, туда его отправил.
- Надо будет за ним послать, – сказал Патап Максимыч. – А когда Марко Данилыч в послед-ний раз у Макарья был, кто из вас здесь оставался?
- Я-с, – весь красный, как вареный рак, прошептал Василий Фадеев.
- Счета вел? – строго спросил Патап Максимыч.
- Вел-с.
- Подать на просмотр... Сейчас же, – строже прежнего приказал Чапурин.
- Совсем смешался Фадеев. Едва слышно проговорил он:
- Счета у Марка Данилыча. Были ему представлены на другой день, как с ярманки вороти-лись.
- Хорошо. Вскроем сундук, так посмотрим. Они ведь там?
- Не могу знать-с. Нам до хозяйских делов доходить не доводится, – сказал Василий Фадеев.
- Сколько теперь у тебя налично хозяйских денег? спросил Патап Максимыч.
- Самая малость, внимания даже не стоит. Работников нечем рассчитать, – отвечал Фадеев, весь дрожа, как в лихорадке.
- Сколько, однако ж? – спросил Чапурин.
- Как есть пустяки-с. Пятидесяти рублей не наберется, – сказал Фадеев. – А работникам на плохой конец надо больше трехсот целковых уплатить.
- Составь список работникам поименно, отметь, за сколько кто подряжен, сколько кому уплачено, сколько кому остается уплатить, – вставая с места, сказал Патап Максимыч. – Сегодня же к вечеру изготовь, а завтра поутру всех рабочих сberi. Ступай, торопись.
- Не говоря ни слова, поклонился Фадеев в пояс и трепетно вышел из горницы. «Этот нашему не чета, – подумал он. – С виду ласков и покладлив, а, видно, мягко стелет, да жестко спат!..»
- В тот же день вечером послали эстафету на Унжу.
- Дарья Сергевна писала Прожженному, что Марко Данилыч вдруг заболел и велел ему, оста-вя дела, сейчас же ехать домой с деньгами и счетами. Не помянула она, по совету Патапа Макси-мыча, что Марку Данилычу удар приключился. «Ежель о том узнает он, – говорил Чапурин, – деньги-то под ноготок, а сам мах чрез тын, и поминай его как звали». В тот же вечер поехала за Дуней и Аграфена Петровна.
- Василий Фадеев, узнав, что Патап Максимыч был у городничего и виделся с городским го-ловой и со стряпчим, почуял недоброе, и хоть больно ему не хотелось переписывать рабочих, но, делать нечего, присел за работу и, боясь чиновных людей, писал верно, без подделок и подлогов. Утром работники собрались на широкой луговине, где летом пеньковую пряжу сучат. Вышел к ним Патап Максимыч с листом бумаги; за ним смиренным неровным шагом выступал Василий Фадеев, сзади шли трое сторонних мещан.
- Здравствуйте, крещенные, многолетствуйте, люди добрые! Жить бы вам божьими милостя-ми, а нам вашими... – громко крикнул Чапурин артели рабочих и, сняв картуз, поклонился.
- На добром слове благодарны. С приездом проздравляем!.. Всякого добра пошли тебе гос-поди!.. Жить бы тебе сто годов с годом!.. Богатеть еще больше, из каждой копейки сто рублей те-бе! – весело и приветливо заголосили рабочие.
- Вашего хозяина господь недугом посетил, – сказал Патап Максимыч. – Болезнь хоша не смертная, а делами Марку Данилычу пока нельзя займаться. Теперь ему всего пуще нужен спо-кой, потому и позвал он меня, чтобы распорядиться его делами. И только мы с ним увиделись, первым его словом было, чтобы я вас рассчитал и заплатил бы каждому сполна, кому что доводит-ся. Вот я и велел Василью Фадейчу составить списочек, сколько кому из вас денег заплатить сле-дует. Кому кликну, тот подходи... Пимен Семенов!.
- Выступил из толпы молодой широкоплечий парень, волосом черен, нравом бранчлив и задо-рен. Всем взял: ростом, дородством, шелковыми кудрями, взял бы и очами соколиными, да они у Пимена завсегда подбиты бывали. Подошел он к Чапуруну, шапку снял и глядит бирюком – коли, мол, что не так, так у меня наготове кулак.
- За девять рублей рядился? – спросил у него Патап Максимыч. – За девять рублей в месяц, –

нахально ответил Пимен Семенов, глядя в упор на Чапурина.

– Расчету за последний месяц не дано?

– За месяц с тремя днями, – сказал Пимен и стал брюхо чесать.

– Значит, следует тебе девять рублей девяносто копеек? – спросил Патап Максимыч.

– Так, видно, будет, – несколько помягче отвечал Пимен Семенов.

– Праздников не вычитает, – зашептали в артели, не то что Смолокуров. У того праздники из счета вон, а в субботу, если в баню пойдешь, вычит за половину дня.

– Да ведь это не сам он, а вот анафема эта – Васька Фадеев, – заговорили было иные.

– Один черт на дьяволе, на одном бы сучке обоих повесить, – громко сказал пильщик из самых задорных. С криком на него все накинулись.

– Маркелка, черт ты этакий, дурова голова! Для че доброму делу мешаешь? Аль язык-от у тебя, что ведьмино помело, зря метет?

А у самих на уме: «Услышит Чапурин, не будет такой добрый». Шепнули Маркелу Аверьянову про то. Тот смекнул, и больше ни гугу.

– Получай, – отдавая Пимену деньги, сказал Патап Максимыч. – Верно ли?

– Верно, – процедил сквозь зубы Пимен Семенов и пошел к стороне.

– Будьте свидетелями, честные господа, что Пимен Семенов деньги сполна получил, а ты, Василий Фадееч, изволь записать.

Так, подзывая рабочих одного за другим, Патап Максимыч рассчитывал их.

Иные, получив деньги, прочь было пошли. Давненько не пивали зелена вина, каждого в кабак тянуло, но Патап Максимыч сказал, чтобы покуда оставались они на месте, что ему надо еще с ними потолковать и, ежели хоть один кто уйдет, другим денег раздавать он не станет.

Все остались, и те, до кого не дошла еще очередь раздачи, зорко караулили, чтобы кто-нибудь тягу не задал. Кончилась расплата. На вынесенном столике Василий Фадеев написал расписку, грамотные сами расписались, за неграмотных один из мещан-свидетелей руку приложил.

– Ну, добрые люди, – сказал тогда Патап Максимыч работникам, – вот про что поговорить хочу я с вами, по душе поговорить, по правде, по совести. Рядились вы кто до Покрова, кто до Казанской, иные даже до Михайлова дня. А теперь, как слышу, с того дня как захворал Марко Данилыч, половина вас не работает, а ест-пьет хозяйское. Праведно ли такое дело, сами посудите.

Конечно, мог бы я на вас пожаловаться и начальство вас по головке не погладило бы, только этого делать не хочу, по-моему, не в пример лучше покончить дело добрым порядком. Оставайтесь-ка каждый до срока, на какой кто рядился, да работайте как следует, а не так чтобы через пень колоду валить.

Загалдели было рабочие. Ругательства на Василья Фадеева послышались, он-де обсчитывает да обманывает. Послышались жалобы и на Марка Данилыча, без пути, дескать, драться охоч – чуть что не так, тотчас в зубы.

– А вы не всяко лыко в строку, – хладнокровно и спокойно сказал им Патап Максимыч. – Зато ведь и не оставляет вас Марко Данилыч. Сейчас заходил я в вашу стряпущую, посмотрел, чем кормят вас. Таковую пищу, братцы, не у всякого хозяина найдете. В деревне-то живучи, поди, чать, такой пищи и во снах не видали... Полноте пустое городить... Принимайтесь с богом за дело, а для ради моего приезда и первого знакомства вот вам красненькая. Пошабашивши, винца испейте. Так-то будет лучше.

Красненькая подействовала, рабочие согласились отработать свои сроки, и хвалам заволжскому тысячнику конца у них не было.

Аграфена Петровна спешила в Луповицы. Хранила она благодарную память о Марье Ивановне, спасшей ребенка ее от неминуемой смерти, но разговоры с Дарьей Сергеевной и замечанья свои над Дуней, пристрастившейся, по указанию Марьи Ивановны, к каким-то странным и непонятным книгам, и в ней возбуждали подозрение, не кроется ли тут и в самом деле чего-нибудь не-

ладного. И про миршенские толки узнала она от Дарьи Сергевны, но не могла придумать, что это за фармазоны такие, что это за секта... В лесах за Волгой про них слыхом не слыхать.

Неспокойно ехала Аграфена Петровна по неизвестным дорогам, робко и недоверчиво встречалась она с людьми незнакомыми, много беспокойства и тревоги, до того ей неизвестных, перенесла она во время пути. Все было ей ново: и невиданная за Волгой черная, как уголь, земля, и красные либо полосатые поневы вместо темно-синих заволжских сарафанов, и голое безлесье, что, куда ни посмотри, ни кустика, ни прутика нет. Без малого целую неделю провела она в дороге, наконец, под вечер мрачного, дождливого дня, ямщик указал ей кнутовищем на каменный помещичий дом, на сады с вековыми деревьями, на большую церковь и сотни на полторы маленьких, невзрачных, свежей соломой покрытых домишек. «Вот и Луповицы!» – сказал он, подстегнув пристяжную.

Темнело. Хмурые, как будто свинцовые тучи со всех сторон облегли небосклон; мелкий дождик при холодном сиверке моросил, как сквозь сито, когда кибитка Аграфены Петровны по густой, клейкой, по самую ступицу грязи подъехала к Луповицам. А дождик все пуще да пуще, а ветер порывистей и сильнее. Сипит и воет непогода; видно, что подходит затяжное осеннее ненастье.

«Где же мне остановиться?» – тут только пришла на мысль заволжской тысячнице. И прежде приходило это ей в голову, но, зная, что в Луповицах больше полутора ста дворов, и судя по заволжскому, где нет таких больших селений, была уверена, что найдет в селе не один постоянный двор. Но, въезжая в село, узнала от ямщика, что в Луповицах постоянных дворов нет, народ хлебопашец, ни базаров, ни съездов, ни ярманок в селе нет, большая дорога далеко в стороне, оттого и постоянных дворов никто не заводит. На барский двор не хотелось ехать Аграфене Петровне, там мерещились ей фармазоны. Делать нечего, надо пристать, где бог приведет, провести про Дуню и, ежели не уехала, позвать ее к себе.

– Где ж остановиться? – спросила она у ямщика.

– Не знаю, – отвечал тот. – У крестьян избы-то не больно приборны. Невзрачно живут, с телятами, с поросятами, избенки махонькие, тесные, лесу ведь здесь ни пруточка. Вонь одна чего стоит!

– Где же пристать-то мне? – тревожно спросила Аграфена Петровна.

– У попа разве. Домишко у него все-таки приглядней крестьянского, – сказал ямщик.

– А каков поп-от? – спросила Аграфена Петровна. И на мысли никогда не вспадало ей, чтобы пришлось когда-нибудь искать приюта у никонианского попа. Претило ей, но все-таки поп лучше фармазонов.

– Ничего, поп хороший, – отвечал ямщик на вопрос ее. – Обстоятельный, хвалят его. – До денег охоч, да уж это поповское дело, на том уж они все стоят. У них ведь толстый карман святее угодников. Обойди весь вольный свет – бессребреника меж попами не сыщешь. А здешнего похваляют – добрый, слышь.

– Вдовец он али семейный? – спросила Аграфена Петровна.

– Семейство при нем – матушка попадья еще вживе да три дочери, одна-то за здешним же дяконом, две в девках сидят. Их тоже похваляют – добрые поповны, рукодельницы...

– Вези к попу, – решила, наконец, Аграфена Петровна. – Как его звать-то?

– Отец Прохор будет, – ответил ямщик.

– Вези к нему, вези, – сказала Аграфена Петровна.

Хлестнул ямщик лошадок, и хоть шибко они приустали, протащив по размокшему чернозему грузную кибитку, однако ж бойко подкатали к поповскому двору. Там приветливо встретили Аграфену Петровну. Она сказала, что едет на богомолье в Киев.

– Доброе дело, спасённое дело, при том же весьма благочестивое и душе многоспасительное, – сказал отец Прохор, прибирая уютную горенку, где по стульям и на обветшалом диване были разбросаны домашние вещи. И мы вот с матушкой который уж год собираемся к печерским угодникам, да все недосуги да недостатки. Опять же по нашему званию отлучки от прихода, особенно в чужие епархии, крайне затруднительны. Степанидушка! – обратился он к старшей дочери, – поставь-ка, родная, самоварчик, госте-то с дороги надо отогреться.

Окинула Аграфена Петровна светленькую, чистенькую горенку. Все было старенько, но держалось в порядке. У окон стояло двое пялец, одна поповна вышивала воздухи для церкви, другая широкий пояс к отцовским именинам. На окнах висели белые чистые занавески и стояли горшки с бальзамином, стручковым перцем и розанелью, по углам большие кадки: в одной огромный, чуть не до потолка поднявшийся жасмин, в другой фига.

Все у отца Прохора нравилось Аграфене Петровне, а матушка попадья, полуслепая и плохо слышавшая старушка, показалась ей такую доброю и ласковою, что она ее полюбила с первого раза. Дочери отца Прохора тоже понравились Аграфене Петровне. Как все поповны на Руси, были они из себя некрасивы, но девушки добрые, скромные и тихие. Манефина воспитанница и ревностная старообрядка забыла даже про их никонианство и после долгого душевного разговора за самоваром решила сказать отцу Прохору, что она приехала в Луповицы за Дуней Смолокуровой. Но не вдруг, не сразу заговорила с ним об этом, прежде издали речь повела, наперед бы у отца Прохора выведать про житье-бытье Луповицких. «Может быть, – она думала, – я узнаю от него, что это за фармазонская вера такая».

– Ведь здесь поместье господ Луповицких? – спросила она у отца Прохора.

– Так точно, – отвечал он. – Нераздельное именье двух родных братьев, Андрея Александрыча и Николая Александрыча. А с того края села домов до сорока принадлежит ихней двоюродной сестре девице Марье Ивановне Алымовой, дочери покойного генерала Алымова.

По службе находился он в воинских чинах, теперь уж более двадцати годов как преставился. Там на том конце села у Марьи Ивановны и усадьба есть невеликая, только она никогда там не проживает. У нее в других губерниях находятся большие и хорошие вотчины, а приезжает сюда в нарочитое токмо время и тогда проживает в большом доме у своих двоюродных братьев...

– И село Луповицы и помещики Луповицкие, – заметила Аграфена Петровна. – Должно быть, они по селу прозвались.

– Нет, неправильно заключать изволите, – отвечал отец Прохор. – Совершенно противоположно. Предки господ Луповицких основали и своим коштом выстроили наше село, по сей причине и назвали его именем своего рода. Их род весьма старинный. Недалеко отсюда Княж-Хабаров монастырь находится. Сей святой обители основание положил князь Федор Иоаннович Хабаров еще во дни царя Михаила Федоровича, а тот князь Хабаров.

Основатель и строитель монастыря, приходился ближайшим сродником жившим в т отдаленные уж теперь времена боярам Луповицким. Наше село всего еще с небольшим сто лет получило основание от господ Луповицких, именно ж от генерал-поручика и кавалера Стефана Феодоровича Луповицкого, бывшего в царствование блаженныя и вечнодостойныя памяти Екатерины Алексеевны Первоя в важных государственных должностях. Так и в церковных записях значится у нас. Да-с, род господ Луповицких старинный и даже весьма древний. Столбовые, родовитые дворяне, не то что другие, которые государственной службой приобрели себе дворянское звание...

– Усердны к нашей церкви они? – спросила Аграфена Петровна.

Очень даже усердны, весьма усердны, – с одушевленьем отвечал отец Прохор. – По нынешним временам, при всеобщем, с прискорбием можно сказать, падении благочестия, господа Луповицкие, равно как и сестрица их Марья Ивановна, могут служить назидательным примером как для господ дворян, так равно и для поселян. Весьма привержены к церкви божией и христианские обязанности исполняют с достодолжным благоговением и неопустительно.

Каждый год не токмо во святую великую четырехдесятницу, но в каждый из четырех церковию установленных постов святым божественным тайнам тела и крови господней приобщаются. Правда, что разрешение грехов, не от моего недостойства приемлют, а в монастыре, что здесь неподалеку. Не Княж-Хабаров, а другой, Рясковским называется. Монастырь тот весьма богат иконами, в нем есть пресвятыя богородицы Троеручицы, и от нее по вере много исцелений бывает. В летние месяцы много богомольцев притекает на поклонение... На Пасху, на Рождество Христово, на Богоявление господне, на Происхождение честных древ животворящего креста, а также на Успение пресвятыя богородицы – храм у нас в этот день, и на дни памяти преподобного отца нашего Стефана Савваита и священномученика Феодора, архиепископа александрийского – приделы сим угодникам Божиим устроены при нашем храме, – во все оные праздники здешние поме-

щики, господа Луповицкие, принимают нас с животворящим крестом и со святой водой с должным благоговением и, могу сказать, с радостью.

И каждый раз в те нарочитые дни дают они всему церковному причту предостаточное даяние и угощают обедом. И моих семейных, и дьяконовых, и причетников приглашают тогда трапезовать; старушка дьяконица вдовая, в просфорнях состоит при нашем храме, и ту даже приглашают. С постной молитвой и на освящение плодов земных также постоянно ходим к ним в дом и, опричь того, в первое число каждого месяца поем молебное пение с акафистом и водосвятием. Ну, и мучки, и крупки, и сенца, и овсеца, и прочего, по хозяйству потребного, господа Луповицкие жертвую преизобильно. А потому долгом обязуюсь сказать, что господа они очень, даже очень усердные. Богадельня у них есть при доме – ну, да это особое дело.

– Как особое дело? – спросила Аграфена Петровна, удивленная тем, что, помянув про богадельню, отец Прохор понизил голос и нахмурился.

– Так, – отрывисто и сдержанно ответил он. – Не нам судить, господь рассудит.

И круто повернул разговор на другое.

Пошли обычные деревенские разговоры: какая летом стояла погода, каков урожай был, каковы были наливывы и пробные умототы, и про ягоды была речь ведена и про то, что яблоков мало в этом году уродилось, а все от тенитника – по весне он еще в цвету погубил яблоки, да и вишням досталось, зато грибов изобильно было и огурцы хорошо уродились.

Вдруг разговор оборвался. Молчание настало: либо тихий ангел пролетел, либо дурак родился. После недолгого молчанья Аграфена Петровна сказала:

– Ехавши сюда, ночевала я в одном селе – забыла, как оно называется. Разговорила с хозяевами – люди они простые, хорошие. Зашла у нас речь про ваши Луповицы. И они говорили, правду иль нет, этого я уж не знаю, будто здешние господа какую-то особую веру в тайне содержат.

– Ничего на это сказать вам не могу, – склонив голову и опустив глаза, едва слышно промолвил отец Прохор. – Не знаю... Не нам судит, един господь все рассудит на праведном суде своем.

Опять дурак родился. Опять никто ни слова.

– А давно в последний раз были вы у господ Луповицких? – после недолгого молчанья спросила Аграфена Петровна у растерявшегося отца Прохора.

– Да вот на Успеньев день со святыней ходили к ним... и трапезовали у них, – отвечал отец Прохор.

– Недалёко от нас в поволжских местах живут у меня знакомые, – сказала Аграфена Петровна. – Богатый купец, миллионщик, Марко Данилыч, чуть ли не самый первый по всей России рыбный торговец – Смолокуровым прозывается. Дочка у него есть молоденькая, Дуняшей звать. Сказывали мне, что гостит она у господ Луповицких, у здешних помещиков. Марья Ивановна Алымова завезла, слышь, ее сюда еще около троицына дня. Не видали ль вы эту девицу?

– Как не видать?.. Все мы видели, за одним столом сиживали во время обедов. Белокуренькая такая, голубые глаза, стройная, нежная и, по видимости, весьма кроткого нрава.

– И теперь она у них? – спросила Аграфена Петровна.

– Нет, – отрывисто сказал отец Прохор.

– Уехала? По письму, должно быть. Письмо к ней недавно было послано от домашних с эстафетой. Отец у нее при смерти, – молвила Аграфена Петровна.

– Нет, кажется, не к отцу она поехала... А впрочем, бог ее знает, может быть, и к отцу, – медленно проговорил отец Прохор. – Эстафета точно приходила, только это было уж дня через четыре после того, как она девица оставила Луповицы.

– Где ж она? – быстро поднявшись и опершись о стол дрожащими руками, вскрикнула Аграфена Петровна.

– Пропала без вести, – сказал отец Прохор.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Лето на исходе, совсем надвигается на землю осень. Пчелы перестали носить медовую взятку, смолкли певчие птицы, с каждым днем вода холодеет больше и больше, пожелтели листья на

липах, поспели в огородах овощи на Николу-кочанного стали и капустные вилки в кочни завиваться. Успенский пост на дворе – скоро придется веять мак на Макавеев (Николы-кочанного – 27 июля, св. мучеников Макавеев 1 августа. В этот день собирают в деревнях мак и веют его.).

А Дуня все в Луповицах, Марья Ивановна и речей не заводит о возврате в Фатьянку.

Не смущается этим Дуня и нимало не печалится. Всей душой она предалась новой вере. На всякий день и на всякий час ищет общения с божеством, стремится к иступленному душевному восторгу, к тому, что у божьих людей зовется «наитием». Все теперь ей чуждо – и родительский – дом, и любящий ее всем сердцем отец, и заботливая Дарья Сергевна, и столь много любимая Аграфена Петровна. Петр Степаных, пробудивший было в Дуне дремавшее чувство любви, из памяти вон. Правда, восставал иногда образ его перед душевными очами Дуни, но тотчас же она старалась отогнать от себя этот «греховный помысл», посланный ей злым и лукавым ради соблазна...

Во сне случится увидеть его, в страхе и трепете просыпается она, скорбит по целым часам и со слезами и рыданиями молится богу – да избавит впредь от такой напасти. Наслушавшись чужих толков, Дуня вообразила, что в самом деле бог в ней пребывает, что в самом деле он разверзает уста ее на пророчества, движет ею на радениях и водит по путям непорочным. И в таком самообольщении день и ночь помышляет она, что уж больше ничто земное не должно омрачать ее просветленных дум...

Возненавидела она и прекрасное свое тело, с омерзением и злобой смотрит на роскошные девственные перси, на стройный, гибкий стан, на ноги, будто величайшим художником изваянные из белоснежного мрамора, и... все прокляла, все мирское возненавидела.

Прекрасно созданное тело теперь, на взгляд ее, построенная злым духом темница для мучений души ее. И стремится она умертвить ненавистную плоть, освободить душу из темничного заключения. Как веселится больной, долгое время лежавший на смертном одре, когда начинается в нем возрождение сил, когда видит, что румянец снова начинает оживлять истощенное лицо его и опять блещут потухшие было очи, так радовалась Дуня, глядя на худобу лица своего, на пожелтевшие ланиты, на иссохшие пурпуровые прежде губки, на потухающий блеск прекрасных очей...

«Слава тебе господи!.. – она мысленно говорит. – Тлеет ненавистное тело!.. Изведи меня скорей из смрадной темницы и всели в сонме непрестанно поющих перед престолом агнца».

Со страстным нетерпением ожидает Дуня племянника Варвары Петровны – Денисова. Ждали его в семье Луповицких, как родственника; любопытно было узнать от него про араратских «веденцов» («Веденцы» – слияние молоканства с хлыстовщиной. Это слияние возникло в тридцатых годах нынешнего столетия за Кавказом. Потом оно обнаружилось (в пятидесятых годах) в Таврической, Екатеринославской и других губерниях. Слияние продолжается до сих пор, так что во многих местах нет более ни чистых молокан, ни прежних хлыстов.). В Денисове Дуня надеялась увидеть небесного посланника.

«Приближается к печальной нашей юдоли избранный человек, – так она думает. – Принесет он благие вести, возвестит глаголы мудрости, расскажет о царстве блаженных на Арарате».

Больше всех хочется Дуне узнать, что такое «духовный супруг». Вот уж год почти миновал, как она в первый раз услышала о нем, но до сих пор никто еще не объяснил ей, что это такое. Доходили до Луповиц неясные слухи, будто «араратский царь Максим», кроме прежней жены, взял себе другую, духовную, а последователям велел брать по две и по три духовных жены. Егор Сергеич все знает об этом, он расскажет, он разъяснит. Николай Александрых и семейные его мало верили кавказским чудесам.

Божьи люди, или хлысты, как обыкновенно зовут их в народе, верят в прямое и всегда возможное сообщение человеческой души с божеством. Подобно духовборцам, проповедуют они, что воплощенный Христос живет на земле постоянно. Эту секту нельзя назвать даже христианской ересью. Она стоит вне христианства, хоть и заимствует из него самые священные имена. Ученье

хлыстов – смесь разных учений, и древних и новых, противных учению и преданиям истинной веры.

Подобно древним персам и дреговичскому учению (Дуалистическая секта богомилов вышла от павликиан, а эти от манихеев, придерживавшихся во многом учения Зердушта (Зороастра); занесена в Болгарию из Армении и на новом месте разделилась на две отрасли – одна у славянского народа дреговичей, другая у болгар (богомильство).) они признают два искони существующие безначальные и конца не имеющие существа, доброе и злое, ведущие между собой нескончаемую борьбу. Хлысты думают, что оба эти существа равносильны. Подобно дреговичской отрасли богомилов, русские хлысты уверяют, будто все видимое и осязаемое создано злым духом и потому тела наши, как темницы душ, должны быть умерщвляемы трудами на раденьях, постом и созерцанием. Подобно квиетистам, они думают, что таинственный человек в самом своем существе уничтожается и преобразуется в бога.

Такой человек не может помрачить себя никакой нечистотой и никакими пороками, ежели только он не нарушает своего покоя. Покой, праздность, бездействие – вот высшее состояние человека, по хлыстовским понятиям. Проповедуя чистоту и девственность, они, подобно вальденсам, иногда в собраниях своих предаются грубой чувственности (По Балюзиусу в 1303 вальденсы *canebant illi deo nocturnos hymnos, ut aliquo pietatis praetextu flagitum tegerent. Confluebant mulieres ad orgia magus, quam sacra. Coeremonia peracta sacerdos clamabat, ut extinctis luminibus, alto spiritu invocato promiscue coirent. Hinc insectus, pollutiones ets.* (пели богу ночные гимны, чтобы укрыть покровом благочестия позорное дело. Женщин волшебная оргия привлекала больше, чем священнодействие, после которого жрец призывал тушить огни и во имя святого духа совокупляться с кем попало. – Перев ред.). Рожденного после того младенца вальденсы сожигали и, высыпав пепел в вино, приобщали им вновь поступающих в секту. У нас первое известие о подобном изуверстве явилось у св. Дмитрия Ростовского и подтвердилось многими делами, особенно в XVIII веке. См. «Тайные секты», в Русском вестнике. 1868.).

Хлыстовщина появилась во всех слоях русского общества от образованных людей до безграмотных крестьян степных сел и деревень. И учение и верования их разнятся: образованные люди стремятся более к совершенствованию духа, но и они, как простолюдины, стараются «умерщвлять» плоть усиленными движениями и неистовыми плясками до изнеможения, и они, подобно им, убеждены, что во время исступления на них нисходит благодать, зато не верят в сказания о новых непрерывных появлениях божества в человеческом образе. А сказанья об этих явлениях и составляют почти всю сущность учения людей простых, людей «малого ведения», как называют их образованные хлысты. Зато грубая чувственность, похожая на оргии вальденсов, увлекает молодых и сладострастных людей как в образованные, так и в безграмотные хлыстовские корабли.

Егор Сергеич Денисов вез любопытные для сектантов известия. Давно уж, лет полтораста тому назад, явилось у хлыстов верованье, что на горе Арарате для них будет насажден новый земной рай, и только одни они будут в нем наслаждаться вечным блаженством. С каждым годом уверенность в осуществление «благодатного царства араратского» росла, а между тем хлысты стали сливаться с молоканами, отвергающими церковь и всю ее обрядность. Из такого слиянья вышла, сначала за Кавказом, а потом и по другим местам южной России, секта «веденцов», или «прыгунков». В июне 1840 года за Кавказом было страшное землетрясение. Лыдины и скалы, упавшие с вершин Арарата, засыпали окрестности верст на двадцать. В этом грозном явлении природы «веденцы» усмотрели признак приближения к ним араратского царства. Явился какой-то «иерусалимский старец»...

Они каялись ему в грехах, и он, в знак прощенья, осенял их широким разноцветным поясом. Через шесть дней он скрылся, и у веденцов явился царь, пророк и первосвященник. Этот царь Максим (То был молоканин, крестьянин казенного села Алгасова, что на реке Опше, Моршанского уезда. Тамбовской губернии, Максим Рудометкин, он же Комар, сосланный на Кавказ за распространение секты на родине и неповиновение властям.) В 1840 году было ему 46 лет. принял безграничную власть над «прыгунками» и во многом способствовал слиянию их с молоканством.

Говорили, будто он изменяет старое учение хлыстов, предписывает новые законы, велит заводить духовных жен... Но все это до Луповиц доходило и виде неясных слухов.

Кормщик луповицкого корабля хоть и был недоверчив к сказаньям людей малого ведения, однако решился созвать «великий собор» ближних и дальних хлыстов, чтобы предварить их об ожидаемом после с Арарата.

Не день и не два по разным местам разъезжали конторщик Пахом да дворецкий Сидорушка, сзывая «верных-праведных» на собор в Луповицы. За иными приходилось ехать верст за восемьдесят, даже за сто. Не успеть бы двоим всех объехать, и вот вызвались им на подмогу Кислов Степан Алексеич, Строинский Дмитрий Осипыч, да еще матрос Фуркасов. Напрашивался в объезд и дьякон Мемнон, но ему не доверили, опасаясь, не вышло бы от того каких неприятностей.

И собралось к назначенному дню в Луповицы больше пятидесяти человек. Пешком, бодрым еще шагом, пришли старые друзья-приятели: отставной каптенармус Григорий Устюгов да отставной фельдфебель Кузьма Богатырев. У обоих на рукавах по три нашивки, у обоих по четыре медали, у обоих егорьевские кресты за штурм Варшавы. Смолоду в любви и дружестве меж собой жили, из одного села были родом, в один год сданы в рекруты, в одном полку служили, и получивши «чистую», поселились на родине в келье, ставленной возле келейного ряда на бобыльских задворках.

Всегда они бывали людьми трезвыми и набожными, начальство за службу их жаловало и большое имело к ним доверие. Под конец их службы полк сряду шесть лет стоял в Орловской губернии, а там исстари бывало много хлыстов. Любя чтение церковных книг, а больше того устные беседы от писания, Устюгов с Богатыревым стали похаживать в келейный ряд на «вечорки» к одной старой девке, хлыстовской пророчице, и познали от нее «тайну сокровенную». По выходе в отставку, услышали, что верстах в шестидесяти от их села у богатых помещиков Луповицких бывают хлыстовские собрания, и вскоре вошли в корабль Николая Александрыча. За дальностью места и за старостью редко бывали они в Луповицах, но «великих соборов» и годовых радений не пропускали, И ближние и дальние хлысты уважали егорьевских кавалеров, особенно Устюгова, за то, что знал он много сказаний.

На долгих из уездного городка приехал старец Семенушка. Бывал он прежде богатым купцом, многие годы на Морше Моршанск, хлебом торговал и кончил тем, что проторговался дотла. Когда дошел он до того, что не стало у него за душой ни копейки, смирился духом и пустился в набожность. Долго жил он в монастыре у старца Христофора. И настоятель и братия того старца считали полоумным и юродом за «неподобные» его речи, за срамные дела, особенно за то, что, уединясь в келью, певал мирские песни, поминая Христа, богородицу, ангелов и пророков. Инок Христофор держался хлыстовщины и восторженными беседами склонил прогоревшего купчину принять сокровенную тайну. После смерти Христофора Семенушка переехал в город, а там уж было три-четыре человека, «верных-праведных», и у них завелся маленький кораблик. И Семенушка и товарищи его кормились именем Христовым, сбирая по домам и базарам мирское подаянье, а кроме того, получали вспоможенья от Луповицких. На «великий собор» с седовласым старцем Семенушкой приехали и товарищи его, бедные мещане. На наем подводы Пахомушка сколько-то господских денег дал Семенушке.

Приехала небогатая помещица, старая барышня Серафима Ильинишна Липутина. Верстах в семидесяти от Луповиц, проживала она в своей усадьбе. Было у той барышни двадцать тягол крестьян да восемнадцать человек дворовых. Опречь тех дворовых, в доме ее проживали и сторонние. И гости и прислуга в одном согласе с барышней были. Соседи считали Серафиму Ильинишну дурочкой, да и сами хлысты путного ничего от нее не чаяли, тем только и была хороша, что не уставала на раденьях, но «в слове не ходила» никогда.

Чем бы пророчествовать, она хохочет, либо кошкой мяучит, либо собакой лает. Привезла с собой Серафима Ильинишна двух не старых еще монашенок из запустелой Аграфениной пустыни, мать Иларию да мать Сандулию. Обе манатейные (Манатейными зовут монахов и монахинь, еще не имеющих полного пострижения.), обе постригались в Касимове, обе вместе со слепой матерью Крискентией поселились в убогой келье, уцелевшей от упраздненной пустыни, и стали жить возле гробницы игуменьи Аграфены из боярского рода Глебовых, почитаемой в окрестности святою и блаженною. Там слепая, дряхлая Крискентия уверила сожительниц, что в нынешние последние времена истинную веру надо искать только у людей божьих, что они одни знают великую тайну,

от мира утаенную. Вскоре в луповицком корабле Иларию и Сандулия были «приведены» в новую веру, а по смерти Крискентии чуть не насильно водворились у юродивой Серафимы Ильинишны. И доставалось же от них полоумной хозяйке. Сами день-деньской меж собой бранятся да здорятся и всегда почти кончат ссору дракой, причем, достается, бывало, больше всего гостеприимной хозяйке. Даже колачивали странноприимницу. А творилось это, как думали все, по наитию.

Кроме Иларии да Сандулии, еще несколько духовных пришло на «великий собор». Пришел заштатный поп Меркул, два монаха из окрестных монастырей – люди постные, набожные, незлобивые, строгие в жизни и совершенные бессребреники.

Иные люди разного званья, кто пешком, кто на подводе, добрались до Луповиц к назначенному дню. Были тут и крестьяне и крестьянки, больше все вдовы да перезрелые девки. Софронушки не было; игумен Израиль на Луповицких прогневался, дынь мало ему прислали, к тому ж отец игумен на ту пору закурил через меру. Сколько ни упрашивали его, уперся на своем, не пустил юрода из-за древних стен Княж-Хабаровой обители.

Настал час «великого собора». Стемнело. Утомленные целодневным жнитвом, крестьяне спать легли. И отец Прохор спит со своей семьей. Спит село, одни собаки настороже.

Когда все стихло и улеглось, божьи люди, неслышными стопами, обычным порядком пошли в сионскую горницу. Там они переоделись в радельные рубахи и расселись по диванам, креслам и стульям. На этот раз мест едва достало – так много набралось верных-праведных. Вступившая уж в корабль Дуня села не у входной двери, а на почетном месте, близ кормщика, рядом с Варварой Петровной, с Марьей Ивановной, с Варенькой и Катенькой. Все верныправедные считали ее уже достигшею полного совершенства, все надеялись, что вот на соборе она дойдет до исступления, заиграет в струны золотые, затрубит в трубу живогласную, и живыми реками польются из уст ее чудные пророчества. Все в том были уверены; все говорили, что Дуня – избранный сосуд благодати.

Начался собор тем же порядком, как и обычные раденья. Крестьясь обеими руками и поклоняясь друг другу земными поклонами, хлысты простились, благословились и, усевшись по местам, пребывали в невозмутимом покое. Николай Александрыч сидел у стола, склонив голову, но не читал ни жития царевича, ни сказаний об Алексее божьем человеке. Минут через пять молчанья встал он с места и начал махать пальмовой веткой. Тогда хлысты запели громогласно «Царю небесный», канон пятидесятницы, а затем «Дай к нам, господи, дай к нам Иисуса Христа», – песня, без которой ни одно хлыстовское сборище не обходится, где б оно ни совершалось, в Петербурге ли, как бывало при Катерине Филипповне, в московских ли монастырях, когда они были рассадниками хлыстовщины (В первой половине XVIII столетия хлыстовщина была сильно распространена в московских монастырях – мужских: Петровском (иеромонахи Филарет Муратов и Тихон Струков казнены за то смертью – головы отсечены), в Чудове, – в Симонове, также в Перервинском, в Богословской пустыне и в Троицко–Сергиевой лавре; в женских: в Ивановском (монахиня Анастасии Карповой отсечена голова), Новодевичьем, Никитском, Рождественском, Страстном, Варсонофьевском (монахиня Марии Трофимовой отрублена голова) и Георгиевском.), у старой ли богомолки в избе сельского келейного ряда, или в барском доме какого-нибудь помещика. После песни стал говорить Николай Александрыч:

– Братцы и сестрицы! Возвещу вам радость великую, хочу огласить вам веселие.

Все вострепнулись, повскакали со стульев и диванов. Еще не зная, в чем дело, иные женщины уже стали впадать в исступленный восторг... Послышались вздохи, радостные рыдания, громкие клики и визг – ровно десятки кликуш в одно место собрались.

Применяясь к людям «малого ведения», а таких больше всего было в сионской горнице, Николай Александрыч обратился к каптенармусу Устюгову:

– Братец Григорьюшка! Лучше всех ты знаешь сказанья про дивные чудеса, в старые годы содеянные. Изрони златое слово из уст твоих... Передай собору про богатого богатыню Данила Филиппыча, про великого учителя людей праведных Ивана Тимофеича.

Не отвечает Устюгов, сидит молча, склонив голову.

Все ему кланяются, просят и молят, отверз бы уста, усладил бы слух сидящих в сионской горнице своими чудными сказаньями.

Целым собором долго молили, усердно просили Устюгова. Наконец он начал сказанья.

Ни слова еще не сказал он, как Марья Ивановна прошептала сидевшей возле нее Дуне:

– Слушай сказанья, но не верь ничему, что ни скажет Григорьюшка. Это притча, это басня для людей малого ведения. Но хоть они и покажутся тебе странными. на правду нимало не похожими, не унижай в сердце своем Григорьюшку... Не глумись даже мысленно. Наперед тебе говорю: не важно сказанье, важно иносказанье, важен таинственный смысл того, что станет он теперь говорить... Людям малого ведения не понять ни Бема, ни Сен-Мартена, как тебе или мне. Не могут они питаться твердой пищей; как детям, им нужно еще молоко. Не глумись же, ни над чем не глумись, что ни услышишь от Григорьюшки.

Промолчала Дуня.

Рассказывает Устюгов, как в стародавние годы на реке на Оке, в Стародубской стороне (Стародубье, Стародубская сторона – в восточной части Владимирской губернии (на Клязьме есть село Кляземский Городок, в старину Стародуб). Гора Городина Муромского уезда, близ деревни Михалиц, на правой стороне Оки, верстах в трех от нее и верстах в пятнадцати от известного села Павлова (в старину Павлов перевоз), Горбатовского уезда, Нижегородской губернии.), на горе Вородыне явился «верховный гость», богатый богатыня Данило Филиппыч, и как жил он потом в деревне Старовой, в верховой Костромской стороне (Деревня Старово на левой стороне Волги, верстах в пятнадцати от нее и верстах в двадцати от Костромы в приходе села Криушева. На погосте Криушева и схоронен Данило Филиппыч; на могилу его хлысты ходили на поклонение. Незадолго до пятидесятих годов нашего столетия умерла последняя в роде Данилы Филиппыча Устинья Васильевна. Хлысты ее называли «богиною». Данило Филиппыч был из беглых «солдат иноземного строя»), поучая к нему приходивших, Так пришел он однажды на Волгу, а народу было тут многое множество. И шли середь людей великие споры о том, которые книги лучше; старые или новые, Никоном печатанные.

И спросили люди богатого богатыню: «По каким книгам велишь молиться нам? Старые опорожены, новые многим сумнительны». И собрал Данило Филиппыч старые книги и новые, побросал все в Волгу реку и такие слова божьим людям сказал: «Ни старых, ни новых книг не приемлите, да и грамота вся и ученья вам ненадобны. Есть у вас писание. Писано оно не на бумаге, не на хартии, не на скрижалях золотых или каменных, а на скрижалях сердец ваших. Что на сердцах ваших напишется, то прорицайте на радениях, и что ни скажете в восторге неизглаголанном, то и будь вам законом и заповедьми. Будучи в восторге, сам своих слов не поймешь и не услышишь их, зато другим они будут поучением».

Замолк сказатель, и снова стали поклоняться ему бывшие в сионской горнице. Плакали, рыдали, припадая к ногам его.

– Это притча, иносказание, – шепотом сказала Марья Ивановна Дуне. – Смысл его тот, что истина не в книгах, а в слове вдохновенного пророчества, сказанном на радении.

Потом стал Устюгов рассказывать о похождениях Данилы Филиппыча, как странствовал он в рабском, нищенском образе, как учредил радения и как родился ему преемник Иван Тимофеич Суслов.

Так говорил Устюгов:

– А поблизости горы Городины, в той же стороне Стародубской, бедная была, убогая деревня Максакова. А приход той деревни в погосте Егорья (В Егорьеве погосте (поселок одного только церковного причта) есть приходская церковь св. Георгия. К приходу ее принадлежит деревня Максакова.). И содеялось в той деревне неслыханное чудо. Жил в ней и долгий век доживал старей-престарый нищий Тимофей Суслов. Смолоду, опричь бороны да сохи, ничего не знал и не ведал он, спокон века был бессемейным, под оконьем христолюбцев подаяньем питался. Сбирал милостынку Христа ради и весь век старцем был благочестивым. От роду было ему сто лет и двадцать, а подружью его Арине Нестеровне сто лет ровно. А детей у них во всю жизнь не рожалось. Раз в зимнюю стужу, в бурную вьюгу приехал к ним в холодную избу неведомый нищий. У стариков была только одна сухая корочка хлебца. Некая сердобольная вдовица кинула ее старой, безногой собаке своей Лыске. Лыска корочку обнюхала, а грызть не стала. Тогда богатая вдовица, завидя проходившего старца Тимофея, подняла корочку и подала ему Христа ради. И той корочкой люди

божьи Тимофей да Арина с нищим убогим человеком поделились, на печке его спать положили, а сами в холодную клеть ночевать пошли. Наутро нищий стал в путь собираться, а старик со старухой его не пускают. Всего животов (Животы – имение.) у них была курочка хохлатка.

Как дочку родную, они ее любили, иной раз сами голодают, а хохлаточку накормят, сами холодают, а курочку в теплое местечко на нашестку сажают. Миловались они на нее, любовались, и была им та курочка в бедной доле единой утешой, была старику со старухой единой отрадой. А к ним уж лет с пятьдесят никто в дом не заглядывал, никто не переступал их порога. К богатому да к чивому на крыльцо не протолкаться, у нищего, убогого нечего взять. Возрадовались неожиданному гостю старец Тимофей со старицей Ариной, ровно сокровище какое бог даровал им. На расставанье с нищим угостили они его чем только могли. Горючими слезми обливаясь, с острым ножом пошел Тимофей к возлюбленной курочке...

Свету не взвидел, как из горлышка ее брызнула горячая, алая кровь. Стонала, рыдала старица Арина, ощипывая ненаглядную пеструшку... И когда нищий уходил от Тимофея, а старица Арина пошла до околицы котомку его донести, сказал он им; «Заплачу вам, добрые люди, за курочку вашу сыном. Ты, Аринушка, родишь сына Тимофеюшке». Старец со старицей хотели было сказать нищему, что несбыточно пророчество его, но убогий не стал говорить с ними... Пошел – и нет его.

– То был богатый богатыня Данило Филиппыч, «господь Саваоф», – заговорили люди божьи, когда смолк ослабевший Устюгов. Волновалась его грудь, восторженным блеском горели глаза. Едва может он сдерживать подступавшие к сердцу рыданья.

Отдохнувши немного, так продолжал он сказанье:

– И родился у Арины сын обетованный. Надивиться не могли, как это родила столетняя старуха. И прежде никто к убогому старцу в домишко не заглядывал, а теперь все от него сторонятся, каждый норовит Тимофееву избенку подальше обойти. Судят да рядят в народе: «Слыхано ль, видано ль, чтоб столетняя старуха сына родила? Тут волхвованье, тут чародейство!» И собрались мужики спалить убогую избенку и в ней Тимофея с Ариной и с их отродьем, да ответа перед судом побоялись. Никто к Тимофею в кумовья не шел – кого ни попросит, всяк смеется над ним да ругается. И не во что было младенца положить: ни зыбки, ни люльки, ни колыбельки – хоть на пол под лавку клади. Поднял Тимофей на улице расколотое корыто; много лет из него соседи кормили свиней, а когда оно раскололось, выкинули долой со двора. И положил Тимофей в то корыто обетованного сына. Шесть недель искал кума, и никто над ним не сжалился, никто не пошел младенца крестить. Тогда повстречал Тимофей того нищего, что предсказал ему рождение сына. Сам он к нему в кумовья назвался и окрестил младенца. И был наречен он Иоанном.

Примолк дряхлый сказатель. Новые клики, новые вопли, новые визги раздались по сионской горнице. Немного отдохнув, продолжал Устюгов:

– Исполнилось Ивану Тимофеичу тридцать лет с годом; тогда «верховный гость» призвал его в свой божий дом в деревню Старову. И когда тот пришел, богатый богатыня повелел своим ученикам, чтоб они во всем слушали его возлюбленного сына и всякую бы волю его исполняли. И пошел после того Иван Тимофеич странствовать, А ходил он в рабском образе, в раздранном рубище, без шапки, без обуви, ходил холоден, голоден, нищ, бесприютен, и не было ему места среди людей. Много страдал от людей неверовавших, а потом жил в Москве на вольной воле, на полной свободе у Донского монастыря, возле улицы

Шаболовки (Из архивных дел видно, что в 1710 году в Москве был дом крестьянина г. Нарышкина, деревни Максаковой, Иван Тимофеева Сулова, за Москвой– рекой, между Шаболовской и Донской улицами. У Ивана Тимофеева была лавка в масленом ряду, чтобы считаться ему торговым человеком, но сам он никогда в той лавке не бывал.).

И не было тут ему ни озлоблений, ни утеснений, а учеников с каждым годом прибывало все больше да больше. Тогда перешел он в новый дом на Мещанской третьей улице. И в тот дом по зову Ивана Тимофеича приходил престарелый верховный гость, богатый богатыня Данило Филиппыч. Не два солнышка в чистом небе сокатились, а Данило Филиппыч с Иваном Тимофеичем соходились, и друг другу они до земли поклонились. Поклоняется Иван Тимофеич, а сам такие речи приговаривает: "Ты добро, сударь, в мою палатушку пожаловал! Не побрезгай, государь, убогой моей кельею. У меня про тебя все припасено, и сготовлено: столы-то расставлены, по столам-то

разостланы скатерки камчатные, приготовлены тебе, гость дорогой, яства сахарные со питьями со медвяными.

Добро, государь, ко мне пожаловать, моего хлеба-соли откушати, а я рад тебя послушати. А не сахарные яства поставлю перед тобой, не медвяное питье я налью тебе – поставлю пред тобой учеников моих!" И по сем «верховный гость» со своим сыном возлюбленным не дни, не часы, а многие недели за одним столом беседу вели про спасение верных– праведных.. (Этот стол, взятый в сороковых годах нынешнего столетия у московских хлыстов, близ Сухаревой башни, находится в собрании раскольниковых вещей в Министерстве внутренних дел. На доске его написаны по-иконному портреты Данилы Филиппыча и Ивана Тимофеича.) И каждую ночь бывали у них радения. На святом на кругу радел богатый богатыня Данило Филиппыч, «в слове ходил» Иван Тимофеич И по малом времени умер Данило Филиппыч, а лет через пятнадцать по кончине его Иван Тимофеич отошел от земной жизни, и схоронили его в Москве при церкви Николы в Грачах (Приходская церковь тогда на Земляном валу, теперь на Садовой. Третья Мещанская улица идет с Садовой в противную от той церкви сторону. Там до 1845 года был хлыстовский дом и в нем святой колодезь. Тот дом стоял на месте «божьего дома», устроенного Иваном Сусловым,).

Последних слов Устюгова не было слышно. Дряхлый сказатель ослаб и впал в беспамятство. Тогда началось радение – кто подпрыгивает, кто приплясывает, иные, ровно мертвые, лежат на полу без движения, глаза у них расширились, глядят бессмысленно, изо рту пена клубом. Падучая! (Между хлыстами много бывало больных падучею болезнью. Сам Иван Тимофеич Суслов, а также и преемник его Прокопий Лупкин подвержены были этой болезни. Из архивных дел видно, что нижегородский стрелец полка Батурина Прокопий Данилыч Лупкин 17-го августа 1710 года был в Москве на смотре у Кирилла Лаврентьевича Чичерина и по осмотре от службы отставлен «за падучею болезнью».).

А песня, грустная, печальная песня громче и громче поется в сионской горнице. Ножной топот, иступленные визги и дикие, неистовые крики раздаются по ней. Поют божьи люди:

Пойду, пойду, сын гостиный,
Ко тихому Дону,
Вступлю на кораблик,
Стану работати.
Труда прикладати,
Пот свой изливати,
В трубушку играти,
Верных утешати,
Верных избранных.
Всех братцев, сестрицев,
Духовных, любовных.
Пойду, сын гостиный,
В зеленый садочек.
В саду побываю,
Древо покачаю.
Одно в саду древо,
Оно было мило,
А нонеча древо
Вдруг печально стало.
Спрошу, сын гостиный,
Печального древа:
Отчего печально,
Отчего кручинно?
Ответит то древо
Гостиному сыну:
"Государь надежа,
Батюшка родимый,

Оттого печально,
Оттого кручинно -
Вершинку сломало
От тучи от грозной,
Погоды холодной".
Во том во садочке
Стояла светлица,
Во той во светлице
Сидела девица,
Плакала, рыдала,
Гостя ожидала,
Гостя дорогого,
Батюшку родного:
"Укрой ты нас, батюшка,
От тучи от грозной,
Погоды холодной!"

Когда все мало-помалу стихло, мерным голосом стал говорить кормщик. Все слушали его с напряженным вниманием. Говорил он, что рассказанное Григорьюшкой в наши дни повторяется. Говорил о бывшем землетрясении на горе Араратской, как вершина ее сизыми тучами облекалась, как из туч лились яркие молнии потоками, как стонала земля и возгремели до той поры неслыханные никогда громы. Затряслась гора Араратская, растрескалась скалась на части, оторвались от нее скалы и вечные льдины...

И тогда вновь явился богатый богатыня господь Саваоф. Имя его осталось неизвестным, а велел он себя называть «старцем иерусалимским». Рассказал Николай Александрыч, что за Кавказом их единоверцы, тамошние божьи люди, признали старца того богом. Через шесть дней иерусалимского старца не стало. Но еще прежде, чем оставил он веденцов, назначил им по себе преемника, был бы у них и Христом, и царем, и пророком, и первосвященником. И с той поры пошли по хлыстовским кораблям и корабликам смутные толки и неясные сказанья про араратского царя, Максима Комара. Говорили, что он во многом изменяет верованья и обряды, творит чудеса, и что всякая воля его исполняется беспрекословно, без сомнений, без рассуждений, и что завел он в закавказских кораблях духовных жен.

– Вот он пишет к нам послание, – сказал Николай Александрыч.

И, вынув из стола письмо Егора Сергеича, прочитал:

– «Приведу вас от севера из хладных мразных стран в место вечного покоя, всякой радости и всякой сладости. С плачем изыдите из мест ваших, с весельем приидите сюда, в места благодатные. Через многие воды проведу я вас прямым путем, и вы не заблудитесь. Приидите же ко мне, избранные ото всех племен человеческих, – здесь, на горе Арарате, на райской реке на Евфрате обращаю ваши нужды и печали на покой и отраду. Удержите же рыдания, удержите источники слезные – напою души жаждущие, напитаю души алчущие, на сердцах ваших напишу закон правды».

– Вот, – продолжал Николай Александрыч, – я все вам сказал. А из тамошних мест едет племянник наш Егорушка, скоро увидим его. Привезет он вести обо всем, что творится у наших братьев на подножьях горы Араратской. Вот я поведал собору о «веденцах». Сами судите, идти ли нам из здешних северных мест на юг араратский.

Сильно поразили Дуню сказанья Устюгова про Саваофа богатого богатыню и про Ивана Тимофеича. Хоть и много говаривала она про новую принятую ею веру и с Марьей Ивановной и с Луповицкими, но никто из них, даже ее подруги, Варенька с Катенькой, о том ни слова не говаривали. Много бывало у них бесед, но все говорилось об умерщвлении плоти, о радениях, о хождении в слове, о таинственной смерти и воскресении; сказаний о новых христах разговоры их не касались.

Призадумалась Дуня, услышав столь много нового и непонятного. "Стало быть, не вся их тайна открыта мне... Всего не хотели сказать... И другие, верно, есть тайности, а мне не открыва-

ют их... Да, я, видно, из малого ведения! Мне нужно молоко, как сейчас говорила Марья Ивановна... Так вот они какие!. А третьего дня уверяли, что ведением своим я достигла всего; Николай Александрыч сказал, что теперь велик мой дух на земле и что мне недостает только духовного супружества... Но что ж это за духовный супруг? Больше года слышу про него, а все еще не знаю, что это такое...

Скрывают от меня, все скрывают, а уверяют, что вся тайна мне поведана, что я знаю все, и земное и небесное... А я ровно ничего не знаю... Зачем же уверять?... Для чего они таятся?... Живя здесь для них, я отстала от многого... Вот послезавтра первый спас – успенский пост начнется, а я должна буду с ними скоромиться. Согрешила – середу, пятницу нарушила. Петров пост нарушила, успенского нарушить нельзя!.. Что буду делать?.."

Погруженная в раздумья, Дуня не чувствовала восторга, что каждый раз находил на нее на радениях. Сидит безмолвная, недвижимая, взоры у ней строгие, взгляд суровый. А меж тем громче и громче раздаются неистовые вопли, плач и рыдания. Ждут не дождутся на кругу пророчицы. Ждут не дождутся Дуни. Все жаждут слышать из уст ее пророчения... А она ровно мертвая. Склонила голову в изнеможение, пребывая в строгом бесчувственном покое.

– Скажи, блаженная!.. Вещай слова пророчества!.. Пролей из чистых уст твоих сказанья не-сказанные!.. Так сам кормщик молил Дуню, крестясь на нее обеими руками и преклоняясь до земли.

Молчит Дуня. Ни слова в ответ.

Зачем скрывают? – сама думает. – Ведь я приведена. Зачем же смущают ни с чем не сообразными богохульными рассказами про какого-то верховного гостя, про каких-то Ивана Тимофеича да царя Максима?.. Зачем отторгли они меня ото всего, к чему я с малых лет привыкла? А была я тогда безмятежна, сомнений не знала и тревог душевных не знала".

– Вещай, чистая, святая душа!.. Скажи глаголы истины!.. Сподобилась ты дара пророческого, осветилась душа твоя светом неприступным. Ты избранница, ты уготованная агница!.. – Так ублажали Дуню хлысты, собранные в сионской горнице.

И с плачем, и с воплями, и с рыданиями припадали к ногам ее.

Недвижима Дуня. Не слышит слезных молений. Сидевшие возле нее Варенька с Катенькой, Марья Ивановна с Варварой Петровной то просят, то понуждают ее «в слове ходить». И тех не слышит Дуня, вспоминается ей дом родительский.

«У Макарья теперь тятенька, – одна за другой приходит мысли к ней. – В хлопотах да в заботах сидит в мурье каравана. Не так жил летошний год со мной... Кто его теперь порадует, кто утешит, кто успокоит?.. Когда– то увижусь с ним?.. Когда-то по-прежнему стану коротать с ним время, да еще с сердечной Дарьей Сергеевной?.. Что я за агница обетованная? Кому я обетованная?.. Бежать, бежать!.. Или в самом деле нет отсюда возврата?»

И вдруг ни с того ни с сего вспомнилось ей катанье по низовью Оки... Мерещится красивый образ шутивого «капитана»... Стоит со стаканом волжского квасу, а искрометный взор его проникает в самую глубь души ее. Песня послышалась... Послышалась она не в сионской горнице, а в сокровенном тайнике Дунина сердца... Вслушивается – нет, это не та песня, что пелась во время катанья... Но вот опять все перед ней преклоняются, горько плачут, слезно просят, отверзла бы уста, наполнилась духом и прорекла «общую судьбу» кораблю. Выпевают ей молитвенными головами, скорбными, печальными:

Ты блаженна, преблаженна.

Душа девица смиренна,

Изо всех людей избранна!

Ты раскрой свои уста,

Прореки нам чудеса!

Обличи нас обличеньем

И обрадуй разрешеньем

Ото всех наших грехов

Напущенных от врагов!

Не жалей своих трудов -

Духом в небеса лети,
За нас, бедных, умоли.
Милости нам сотвори!
Смани сокола из рая,
Из небесного из края,
Духом правым возгласи,
Своим словом нас спаси!

Не слышит Дуня ни песни, ни восклицаний. Напрасно ждут от нее вдохновений. Видя, что сидит она безответная, бывшие в сионской горнице стали было меж собой переговаривать:

– Накатило!.. Духом завладела!.. В молчанье он открывается.

И, оставив в покое Дуню, стали радеть «Давидовым раденьем». Не вышла на «круг» Дуня, по-прежнему сидит недвижимая.

Скачут, вертятся, кружатся. Градом льет со всех пот. Ходит по горнице и чуть не тушит свежей ветер от раздувающихся радельных рубах и от маханья пальмовыми ветвями. А Дуня все сидит, все молчит.

Вдруг пронзительным, резким голосом взвизгнула Варенька. Пена у нее на губах показалась. С криками «накатил, накатил!» в страшных судорогах грохнулась она на пол.

Очнулась, поднялась. Диким, иступленным блеском горят широко раскрытые ее глаза, кровавым заревом пышет лицо, обеими руками откидывает она падающие на лицо распущенные волосы. Опять все кружатся, опять поют, ударяя ладонями по коленам.

Дикими, громкими голосами они поют:

Затрубила труба, затрубила,
Затрубила труба не простая,
Не простая труба, золотая,
Золотая, архангельская!..
Загудели гусли-мысли,
Гусли-мысли не простые,
Не простые, звончатые,
На них струны не простые,
Не простые, жилловые*

Те архангельские струны – золотые,

На тех гуслиях звончатых

Возыграли, воспевали

Царь Давид перед ковчегом,

Соломон царь на Сионе,

Гусли, гусли, самогуды!..

Сами на струнах играют, * Жилловая струна – сделанная из сухожилия.

Сами песни воспевают,

Сами пляшут, сами скачут,

Думы за горы заносят,

Думы из-за гор выносят!..

Гусли, гусли звончатые,

Струны, струны, золотые,

Говорите, гусли-мысли.

Воспевайте, струны, песни,

Воспевайте царя неба,

Возносите Христа бога,

Возыграйте духу святу!..

Будь ты пастырь нам единый,

Прими нас в небесно царство

Еще не допели хлысты, как Варенька опять закричала нечеловеческим голосом. Всем телом затряслась она. Ухватясь за угол кормщикова стола, иступленно озиралась она по сторонам, еже-

минутно вскрикивая и всхлипывая от душивших ее рыданий. Говор пошел по сионской горнице:

– Накатил, накатил! Станет в слове ходить! Пойдет!..

А Дуня все сидит, все молчит, едва придерживая склоненную до самого пола пальмовую ветку.

«Выпевает» Варенька:

– Ай дух! Ай дух!.. Ой эва, ой эва!.. («Ой эва!» – древнее вакхическое восклицание, употребляется хлыстами во время их исступленного состояния. См. донесение в святейший синод (1809 года) калужского священника Сергеева, бывшего некоторое время в хлыстовской секте. Употребляются также: «эй эван!», «эваной!», «эвоз!» – тоже клики вакханок.). Накатил, накатил!.. Эка радость, эка милость, эка благодать, стала духом обладать..

И потом стала говорить, что вот идет посол от закавказских братьев. Наставит он на всяко благо. Забудем скорби и печали, скоро настанет блаженный день света и славы. С любовью и упованием станем ждать посланника. Что ни повелит, все творите, что ни возвестит, всему верьте. Блюдитесь житейской суеты, ежечасно боритесь со злым, боритесь с лукавым князем мира сего, являйте друг ко другу любовь, и благодать пребудет с вами.

Сказала и без чувств упала наземь. Подняли ее, положили на диванчик возле Дуни. Тяжело дышала Варенька. Из высоко и трепетно поднимавшейся груди исходили болезненные, жалобные стоны. Всю ее сводило и корчило в судорогах. Марья Ивановна бережно прикрыла лицо ее покрывцем. Но из других, бывших в сионской горнице, никто не встревожился ее припадком. Все были рады ему. С набожным восторгом говорили хлысты:

– Экая сила в ней вдруг проявилась!

– Велика благодать!

– Велик в ней дух!

А Дуня сидит да молчит. Кончилась другая проповедь кормщика, кончились и пляски и песни, все пошли за трапезу, а Дуня, надевши обычное платье, ушла в свою комнату и заперлась в ней.

Раздвоились ее мысли. Скучающий отец и призвание от тьмы неведения к свету сокровенной тайны! Обычная жизнь купеческой девушки и вольная, свободная, восторженная искательница благодати. Там «изменщик» Петр Степаныч, – здесь – таинственный духовный супруг... Но что ж это за духовный супруг?.. Узнаю ль когда?.. Скоро ли?

Так раздумывала Дуня, и в этих думах прошло все утро, прошел и целый день у нее.

Под самый уж вечер подошла к Дуниной комнате Варенька и постучалась.

Когда Дуня отперла дверь, Варенька пристально посмотрела на подругу. Дуня немного смутилась.

– Отчего «не ходила в слове»? – с трогим голосом спросила Варенька.

– Не знаю, – чуть слышно ответила Дуня.

– Опять суета отуманила? О житейском раздумалась?.. – сказала Варенька.

– Нет, – прошептала Дуня.

– Духу лжи не работай, слов неправды не говори, строже прежнего заговорила Варенька. – Я заметила, что у тебя на соборе лицо было мрачное. Темное такое, недоброе. Видно, что враг в душе твоей сеял плевелы. Смущает он тебя чем-нибудь?

– Нет во мне смущенья, – твердо ответила Дуня.

– Отчего ж ты на соборе была такая думчивая? продолжала Варенька. – О чем раздумалась?.. Тревога житейская, аль опять сомненья?.. Уныние или мирские заботы?.. Перестань думать о них. Никакие заботы, никакие житейские попеченья не стоят чистых твоих дум... Передо мной не таись, скажи всю правду... Моими или устами других будешь обличена на соборе, тогда все откроется, все, что ни есть у тебя на душе.

Страшна, ужасна показалась Варенька Дуне. Прежде она такая была тихая, нежная, ласковая; теперь совсем иною явилась. Глаза горели исступленьем, взоры, казалось, проникали в самую глубь Дуниной души, и Дуня невольно содрогалась перед пытливыми взорами. Лицо Вареньки пламенело, бледные, сухие ее губы то и дело судорожно вздрагивали. Не было в ней теперь и обычной миловидности; что-то зверское заменило ее. Смутилась Дуня, трепет стал пробегать по ее

телу. не в силах она была прямо смотреть на многолюбимую прежде подругу, слезы из глаз выступали. Закрывши платком лицо, робким голосом она промолвила:

– Признаюсь. Сомнение... Послезавтра успенский пост. Что ни помню себя, никогда в этот пост я не скоромилась, а здесь без того нельзя... Тяжело... Смушает меня...

– Только-то? – прежним голосом ласки промолвила с улыбкой Варенька. – Чем же тут смущаться?.. Не в один успенский пост, а всю жизнь надо поститься... Но что такое пост? Не в том он, чтобы молока да яиц не есть – это дело телесное, нечего о нем заботиться. Душой надо поститься, скорбеть, ежели совесть тебя в чем-нибудь зазирает. Сердце смиренное, дух сокрушенный – вот настоящий пост.

– А меня совесть в том упрекает, что постов не держу, не соблюдаю ни среды, ни пятницы, даже в Петров пост скоромилась. А тут успенский... – сильно волнуясь, говорила Дуня.

– Кто же неволит тебя оставлять мирские посты? Они ведь телесные... – сказала Варенька. – Постничай, сколько душе угодно, только не смущай себя. Было бы у тебя сердце чисто да вера истинная без сомнений. Помни, что ты уж в ограде спасения... Помни клятву, что не будет у тебя сомнений, что всю жизнь будешь удаляться от мира и всех его забот и попечений, ото всей злобы и суеты его... Ведь тебе открыта тайна божия?.. Ведь ты возлюбила праведную веру?..

– Вполне ли тайну-то открыли мне? – после долгого молчания прошептала Дуня. – Все ли рассказали?.. Все ли я знаю?

– Тайна раскрыта, – сказала Варенька.

– Вся ли? – промолвила Дуня.

– Не понимаю, что говоришь, – сказала Варенька. Что ж тебе неизвестно?.. Однако здесь душно, пойдем лучше в сад.

И пошли они в сад и сели там друг против друга за столом, окруженным скамьями.

– Что ж от тебя скрыто? – спросила Варенька, когда уселись они. – Какая тайна тебе не открыта?

– А говорил ли мне кто про гору Городину? А говорил ли кто про Арарат? – обиженно молвила Дуня. – Я приведена, от прежнего отреклась – от веры, от отца, от дома... И, ослепленная, я думала, что все знаю, все постигла, все поняла... А выходит, ничего не знаю. Что ж это?.. Завлекли?.. Обмануть хотели?

– Стой, стой! Опомнись! Удержись от хулы... Ничего нет тяжелее этого греха, – вскрикнула Варенька, зажимая рукой уста Дуни. – Успокойся, слушай!

Ни слова не сказала Дуня. Оперлась локтями о стол и закрыла лицо ладонями. Стала говорить Варенька:

– Не всякому дается постигать умом великие тайны. Для того много надо наперед прочесть, много уразуметь, чтобы потом узнать вполне тайну. Простым неначитанным людям малого ведения она открывается будто под покровом – в сказаньях и притчах... Но и тут каждое сказанье имеет таинственный смысл. Ты много людей видала в сионской горнице, а у многих ли из них есть духовно отверстые уши, чтобы понять «сокровенную тайну»? Не божедомки (Божедом – призреваемый в богадельне.), конечно, не солдаты с крестьянками, не дьякон Мемнон, не юродивый, не Серафима Ильинишна со вздорными монахинями обладают высшим ведением.

Только и есть, что наша семья, Катенька с отцом да еще разве Строинский, Дмитрий Осипыч. И тебя такую же считаем. Твои уши вполне разверсты, ты можешь понимать таинственный смысл сказаний, и старых и новых... Потому тебе про богатого богатыню, про Ивана Тимофеича и про других не говорили, а прямо открывали сокровенные тайны. К чему было говорить тебе про эти басни?.. Лишнего не нужно тебе. Тетенька Марья Ивановна, когда еще привезла тебя, сказала нам, что ты много читала, обо многом говорила с ней и что сокровенная тайна вполне почти известна тебе...

Так и вышло. Зачем же было рассказывать тебе сказки про сошествие на землю Саваофа, про небывалые смерти и телесные воскресения разных христов? Все это вздор, пустяки, никто из нас не верит им, а для людей малого ведения они необходимы... Вот почему не говорили тебе ни про гору Городину, ни про Ивана Тимофеича, ни про других, простыми людьми святыми и даже богами почитаемых...

Тяжел был Дуне этот разговор. «Все, видно, у них на обмане стоит, – думала она. – Если меня не обманывают, так этих простых людей обманывают... Зачем же? Для чего открывать одним больше, другим меньше? Где обман, там правды нет... Стало быть, и вера их не права. Страшно было даже слушать, что говорили они на великом соборе!.. У них какому-нибудь Ивану Суслову нипочем назвать себя сыном Божиим – все ему верят... А потом еще будто тело создано лукавым... И я тому верила... Творец – один, а им мало одного, нечистого еще творцом признали... Грех! Грех и безумие. Отшатнулась от них душа моя. В какую, однако, пучину попала я! Господи, помоги, господи, избавь от сети ловчей!»

Как ни заговаривала Варенька, каких речей ни заводила, ответов Дуня не дает. Настала ночь, и разошлись по своим комнатам недовольные друг другом подружки.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

После «великого собора» сторонние люди дня три еще прогостили в Луповицах, а на четвертый стали расходиться и разъезжаться. Остались четыре крестьянки из дальних мест, каптенармус Устюгов с другом своим фельдфебелем Богатыревым да полоумная Серафима Ильинишна с неразлучными спутницами, матерью Сандулией да с матерью Иларией.

Приехавши в Луповицы, барышня с большого ума вздумала попасть лошадей на своей земле верст без малого за сто. В степях у нее была небольшая пожня, никто не нанимал ее, а каждый год бывала она либо скошена, либо потравлена. Опытные в наживе соседи находили, что краденое обходится всегда дешевле купленного, и оттого косили и травили липутинские покосы, не считая того грехом. Заехавши в Луповицы, юродивая барышня разочла, что ей будет выгодно стравить пожню своими конями, для того и послала туда тройку, а сама с монахинями засела в Луповицах, в ожидании когда воротятся покормившиеся лошадки.

Катенька Кислова с отцом в город уехали. Стосковалась по ней больная мать, просила хоть на короткое время побывать у нее. Не хотелось Катеньке ехать, но, делать нечего, – скрепя сердце рассталась с Варенькой и Дуней. Со слезами проводила ее Варенька, сдержанно простилась Дуня.

Когда собравшиеся в дорогу сидели за прощальной трапезой, привезли почту. Николай Александрыч новое письмо от Денисова получил. Писал тот, что его опять задержали дела и что приедет он в Луповицы не раньше, как через неделю после Успенья, зато прогостит недели три, а может, и месяц. Все были рады, а кормщик обещал, только что приедет он, повестить о том всех божьих людей. И за то были ему благодарны.

И Дуня получила письма. Бегло прочтя, торопливо спрятала их. На бледном, исхудалом лице ее тревога показалась, но никому не сказала она, о чем пишут к ней отец и Дарья Сергевна. Спросила было Марья Ивановна, нет ли новенького, но Дуня промолчала. А когда гости разъехались, заперлась она в своей комнате и несколько раз перечитывала письмо Марка Данилыча от Макарья, где он, одинокий, тосковал и скучал по ненаглядной своей дочке. Напрасно стучались к Дуне и Варенька и Марья Ивановна. Притворяясь спящею, не отзывалась она.

А сама, лежа на постели, думает: «Тятенька зовет... Сейчас же зовет. Пишет; „Ежель скоро привезет тебя Марья Ивановна, сам приеду за тобой...“ Господи!.. Если в самом деле приедет! Насквозь увидит все, никакая малость не ухоронится от него... И Дарья Сергевна торопит. А как уедешь? Одной нельзя, а Марья Ивановна совсем, кажется, забыла про Фатьянку... А оставаться нельзя. Обман, неправда!.. Как же быть? Научи, господи..вразуми!..»

Солнце было на закате, над потухающим светилом разостлались длинные полосы золотистых облаков. Тускнут лучи, и прохлада разливается в воздухе. После жаркого, душного дня отрадн и сладка вечерняя прохлада! Поглощенная думами Дуня всего и всех избегает.

Ни на что бы ей не глядеть, никого бы не видеть, никого бы не слушать... После разговора с Варенькой сомненья в правоте новой веры растут с каждой минутой... «Как же это, – все думает она, – одно – для знающих Бема и Сен-Мартена, другое – для не читавших их?.. А тем и другим от семьи отлученье. А сами семьей живут...»

Отцовское письмо такое было ласковое, такое тоскливое... И жаль стало Дуне старика, положившего в нее душу свою. Одинокий, в тоске, в печалях, в заботах, быть может, больной!.. И

никто ему не молвит приветного слова! Один, как перст, один-одинешенек...

А в комнате жара, духота – нет сил оставаться в ней. В сад идти – с кем-нибудь встретишься. А это Дуне теперь хуже всего на свете. Хочется быть одной, совсем одной... О! если бы можно было очутиться где-нибудь на безлюдье, в степях, что расстилаются гладью перед Луповицами, либо заблудиться в темных заволжских лесах, либо птичкой нестись в быстрой лодке по широкому раздолью Волги. И опять катанье в косных стало ей вспоминаться... Слышится ласковый голос, раздаётся за душу хватающая сладкая песня... Как тогда было беззаботно, как весело, счастливо!.. На волю, на волю!

И пришло Дуне на память, что по обеим сторонам дома насажены густо заросшие палисадники и что там никого ни в какое время не бывает. Едва слышными шагами пошла она туда. Через силу отворила железную калитку на ржавых петлях и медленно пошла по дорожке когда-то усыпанной битым кирпичом, а теперь густо поросшей травой. Вдоль стен разрослись сирень, дикий жасмин, ломонос, трубоцвет, дикий виноград, плющ и вьюнок. Совсем почти закрывали они стены нижнего жилья. Высокой чугунной огорожи, отделявшей палисадник от сада, не видно было из-за кустарников – высокая бузина, густо разросшийся боярышник, дерен, шиповник сплошь застилали ее. С первого взгляда заметно было, что этот когда-то на славу устроенный палисадник был запущен с какой-то целью... Кой-где сохранялись гранитные и мраморные подножья. Когда-то стояли тут изваянья, быть может, дело замечательных мастеров... Заметны были полуразрушенные, обсохшие водоемы... И все было заброшено, как лишняя роскошь.

В укромном местечке села Дуня на железную скамью. Ниоткуда ее не видно. Опять раздумалась о том, что узнала от Вареньки.

И опять ей чудится, что где-то далеко, не то в необозримой степи, не то на золотистых облаках, голоса раздаются. Это не удивило ее – часто ей слышатся неведомые голоса, часто даже видятся незримые телесными глазами бестелесные образы. Не чужды они ей свыклась с ними, не пугают ее ни гласы, ни образы. И вот слышатся отдельные слова... Будто песня. Не один голос поет, а много, много голосов. Грустно поют, в чудной песне слышны мольба и печаль. И чувствует Дуня, что звуки льются не с горных высот, не из степного раздолья, а зарождаются в ее сердце и потом отзываются и в степи, и в облаках, и в листве кустов... Каким-то болезненным и вместе отрадным потоком они не слух ее поражают, а самую душу в глубоких ее тайниках... Не голос ли это просветленной души? Напев знаком... И радостны и отрадны стали вдруг звуки... Век бы слушать их, не наслушаться... Но что поют?.. Зачем поют?

Прислушивается Дуня. Голоса громче и громче... Песня знакомая:

Я принес тебе подарок,
Подарочек дорогой,
С руки перстень золотой,
На белую грудь цепочку,
На шеюшку жемчужок,
Ты гори, гори, цепочка,
Разгорайся жемчужок!
Ты люби меня, Дуняша,
Люби миленький дружок!

Встрепенулось у ней сердце и заныло. Чем-то страстно томительным, но свежим и здоровым облилось оно. Подняла Дуня опущенные в землю очи. И – в густой чаще сирени видит...

С места вскочила, крепко прижавши руки к девственной груди.

Смотрит... Нет, это не сонная греза, не таинственное виденье. Совсем не то, что видала она в минуты восторга с сионской горнице и что являлось ей в тиши полуночного часа, когда предавалась она созерцанию.

«Он!» Живой! Тот, по ком когда-то сердце болело, в ком думала счастье найти.

Зорко, участливо, скорбно глядит на нее Петр Степаныч. В глазах укор и раскаянье, на ресницах слезы...

«Фленушка!» – вихрем пронеслось в мыслях Дуни.

Его лицо оросилось слезным потоком. И видит Дуня – робко простирает он к ней руки.. О

чем-то молит... Преклоняется... А где-то далеко голоса, тихое бряцание арфы... и чудная песня незримых:

Любовь все прощает,

Все покрывает, все забывает.

Ринулась к «нему» с отверстыми объятьями... Перед ней Варенька.

– Вот куда ты запропастилась, а я искала, искала тебя... Что за охота ходить сюда?... Больше часа искала я тебя по саду... Здесь сыро, мокро – пойдем лучше в сад!.. Еще простудишься... И лягушек здесь множество... Мы никогда сюда не ходим.

Все исчезло, все смолкло от первого звука Варенькина голоса. Молча опустила Дуня на скамью. Из светлого рая да вдруг на скорбную землю!.. Не знает, что и сказать... Досадно ей на Вареньку. Зачем нарушила сладкий покой ее? Зачем исчезли прекрасные виденья? Зачем смолкли чудные голоса?..

– А я, искавши тебя, в богадельню заходила, – продолжала Варенька. – У Матренушки целый собор... Хочешь послушать людей «малого ведения»? Много их там. Непременно опять станут толковать про Данила Филиппыча, про Ивана Тимофеича. Ежели хочешь, пойдем. Только не в богадельню, – в вишенье станем. При нас не станут много говорить. Пойдем, послушай.

– Постой! – молвила Дуня, отстраняя рукой Вареньку. – Я устала... Отдохнуть бы мне...

– Так лучше в саду отдохнешь, – сказала Варенька. – Здесь место глухое. Нарочно забросили его, чтобы сторонним этих окон не было видно. Это ведь сионская горница, – прибавила она, указывая на окна нижнего этажа. – Эти восемь окон сионской горницы, рядом в три окна кладовая, тут сложены белые ризы (Белые ризы – рубашки, надеваемые божьими людьми для радений.), знамена, покровцы и свечи. А дальше окна из одевальных комнат.

Бессознательно глядела на все Дуня, думая совсем о другом. Она все еще была под влиянием только что исчезнувшего виденья.

– Пойдем же в сад, – стояла на своем Варенька. Нельзя здесь оставаться. Простудишься!

И, взявши Дуню за руку, почти насильно повела ее за собой. Сели в саду на скамью под широко раскинувшимся дубом, что высился перед входом на длинную дорожку, по бокам обсаженную столетними липами. Напрасно Варенька заводила разговоры. Дуня ни одним словом не отзывалась ей – все еще не выходило у нее из памяти недавнее виденье... И об отце раздумалась, и было ей жалко его, и опять стало занывать ее сердце при воспоминанье, как он теперь один коротает время и возле него нет ни души, чтобы пожалела его, приласкала, приголубила. «Одна я умею ему угодить, – думает она, – одну меня только любит он... А меня-то и нет при нем. Ждет... Как тут быть?..»

Будто поняла Варенька, о чем Дуня перелетные думы раскидывает. Вспомнив, что утром получила она письма, повела речь об отъезде ее из Луповиц.

– Недолго придется нам пожить с тобой, – сказала она. – Скоро надо будет распрощаться... Когда-то в другой раз увидимся? Кто знает?... Может быть, навсегда распростимся, на всю жизнь.

– Кто знает?... – едва слышным шепотом промолвила Дуня, склонив белокурую головку. Но в шепоте ее уж не было ничего страстного, ничего восторженного.

– Когда ж опять-то к нам соберешься? – спустя немного спросила у ней Варенька.

– Не знаю, – ответила Дуня.

– Тетенька Марья Ивановна совсем было в дорогу собралась. Осталась только повидаться с Егором Сергеичем. Она очень его любит, – сказала Варенька.

Ни слова Дуня.

Полна теперь она воскресшею любовью к отцу и мечтаньями о Петре Степаныче, не о том Петре Степаныче, что в бестелесном образе сейчас являлся перед ней, а о том человеке плоти и крови, чьи искрометные взоры когда-то бывали устремлены на нее и заставляли замирать ее сердце... Не могла она говорить...

И вот вспоминается ей, сладко вспоминается, как в косной на низовье Оки, пышущий здоровьем и весельем, опершись о бок левой рукой, он стоял перед ней со стаканом волжского кваску и дрогнувшим от сердечной истомы голосом говорил: «Пожалуйста, сделайте такое ваше одолжение!» Слова простые, обычные при всяких угощениях, но глубоко они внедрились в Дунином

сердце.

И вот теперь, когда перед ней предстает его образ, она невольно влечется к нему... А вот и другой образ, светлый во мраке, любимый середь людской злобы, бедный, покинутый, одинокий... То зримый Дуниной душе образ Марка Данилыча. Суров, молчалив, все перед ним сторонится, никто не смеет к нему подойти, а он страдальчески страдает одиночеством. Ни от кого участия, ни от кого ласки или привязанности. Одна Дуня и на уме и на сердце. Тоскует он, плачет по дочери... А она ради новой веры, что теперь ей сомнительна, покинула и отца и дом его... Встосковался он – так и пишет.. Простые, бесхитростные, но из души вылившиеся слова Марка Данилыча надрывают Дунино сердце... И зачем она его покинула? Чего искала, чего хотела?.. Истинной веры?.. Вот и узнала. Тот же туман, тот же мрак, что и у матушки Манефы в скиту.

– Когда ж опять приедешь в Луповицы? – повторила свой вопрос Варенька.

– Не знаю, – прошептала Дуня.

– Жили мы, жили с тобой, подружались, съединились душами, – со страстным увлечением, тоскливым голосом продолжала речи свои Варенька. – И вдруг ничего как не бывало!.. Станем мы по тебе тосковать, будем сокрушаться, а ты?.. Забудешь и нас и святую сионскую горницу... Все забудешь... Опять погрязнешь в суете, погрузишься в мир страстей и утех... И, горючими слезами обливаясь, будем мы поминать тебя.

– Не приедешь разве к Марье Ивановне? – спросила Дуня. – Ведь от нас до Фатьянки всего сорок верст. Бог даст, увидимся. Погостишь у меня, тятенька рад будет и тебе и Марье Ивановне.

– Как можно мне ехать в Фатьянку? – отвечала Варенька. – У тетеньки там не все еще устроено. И сама – то она, не знаю, как проживет зиму. Соседи – неизвестные, люди, привезенные из Симбирска, какие – то дикие. Знала я их еще в Талызине.

Не отвечала Дуня. Надоела ей Варенька... Если б можно было бежать, минуты не промедлила бы. Но как бежать, куда убежишь?

– Пойдут по окольности праздные толки и пересуды, начнутся сомнения, – продолжала Варенька, – станут подсматривать. Долго ль тут до неприятностей? Она же сказывала, что тамошние мужики сердиты на нее за покупку Фатьянки. Вступаются в какую-то землю. Сенные покосы, что ли. Трудно будет ей там... Опасно даже... Каков еще поп?.. Поп много может повредить. Вот хоть бы нашего отца Прохора взять, всем бы, кажется, должен быть доволен, а пальца в рот ему не клади...

Человек добрый и семья хорошая... А случись что, поможет супротивным... Тьма, мрак!.. Вздумай кто бежать из нашего стада, даст и приют и помощь... Да... А каков поп у тетеньки, она и сама еще не знает.

– Потому-то и надо кому-нибудь ехать с ней и пожить первое время, – помолчав немного, сказала Дуня.

– Конечно, если б из мужчин кто поехал, – отвечала Варенька. – А кому ехать? Батюшке хозяйства нельзя оставить, дяде – корабля.

– Вот тебе бы и ехать, – рассеянно проговорила Дуня.

– Какая я помощница! – возразила Варенька. Чем могу помочь? Еще чего-нибудь напутаю. Хуже, пожалуй, выйдет.

И снова глухое молчанье. Три длинные, через весь сад проложенные дорожки медленно прошли Варенька с Дуней. Обе молчали.

– Вот и Катенька уехала, – сказала, наконец, Варенька. – Без нее как-то пусто... Она ведь такая умная, разговорчивая.

– Да, умная, – промолвила Дуня, не думая ни о Вареньке, ни о Катеньке.

Опять пошли по дорожкам. Опять обе молчат.

– Желтеть стали, – указывая на липы, молвила Варенька.

– К тому идет, – чуть слышно проговорила Дуня.

– Да. Недалеко и до осени, а там не увидишь, как и зима подойдет, – сказала Варенька. – Вон клены-то как покраснели и рябины тоже. А у дикого винограда листья, как кровь.

Дуня промолчала.

– Да что ты какая? Слова от тебя не добьешься, с нетерпением вскрикнула Варенька. – Не-

приятные письма, что ли, получила?

– Нет, никаких неприятностей, – ответила холодно Дуня.

А тоска так и разливается по бледному лицу ее. Так и гложет у ней сердце... То отец мерещится, то Самоквасов не сходит с ума. Уйти хочется, одной остаться, но Варенька ни на шаг от нее.

Подошли к богадельне. Она была внутри освещена, а окна от духоты растворены настежь. Громкие, нестройные голоса оттуда несутся. Густо обсаженная вишеньем невысокая богадельня стояла в самом глухом месте, в отдаленном углу сада. За ней больше чем на полверсты тянулись ульи старого пасечника Кириллы.

Место укромное, сторонним людям недоступное.

Оттого ни божедомки, ни гости их разговорами не стеснялись, распевали свои песни и громко читали поученья и сказанья. Неверных фарисеев и злых иудеев (Фарисеями, иудеями и просто жидами люди божьи зовут не разделяющих их верований.) бояться нечего, а потому в богадельне бывали нередко раденья с криками, с воплями, с оглушительным ножным топотом. Свободно, на всей воле творилось тут все... Здешние сборища бывали не таковы, как в сионской горнице. Там многое умерялось присутствием господ, а здесь был полный простор распушенной свободе и грубой чувственности.

Проходя мимо вишеня, Варенька с Дуней остановились. Сумерки на небо в то время надвинулись, кругом стемнело.

– Послушаем, – останавливаясь, сказала Варенька. Дуня остановилась.

– Тут Устюгов с Богатыревым, – тихонько молвила Варенька. – Опять пойдут сказанья. Будь потише. Заметят, тотчас перестанут.

Опречь Устюгова с Богатыревым, в богадельне сидели пришлые крестьянки и Серафима Ильинишна с монахинями. Были тут и божедомки, и седовласый пасечник Кирилла Егорыч, бодрый не по летам дворецкий Сидор Савельев и конторщик Пахом Петров.

И молодежи было довольно: поваренок Трофимушка, писаренок Ясонушка, что у Пахома в конторе пописывал, еще человек с пяток. Они еще не были «приведены», но хаживали на раденья, потому что одному Василиса, другому Лукерьюшка по мыслям пришлись.

Слышатся громкие крики, задорная брань. Монахини ругаются, и, задыхаясь, неистово хохочет Серафима Ильинишна. Другие кто кричит, кто голосит, кто визжит, кто выкликает, кто выпевает... Ни дать ни взять шабаш на Лысой горе. Ни Матренушке, ни дворецкому с конторщиком, ни каптенармусу с фельдфебелем не унять через край расхोдившихся девок и баб. Не сразу могли понять Варенька с Дуней, что дело идет об Арарате. В источник голос вопит мать Илария, размахивая четками.

– Про какие выпевал он Арараты? Что за Арары? Не попасть бы за них в тар-тарары!.. Нет Арары!.. Нет Арары!.. Есть тар-тарары, преисподнее царство лукавого!..

– Праздных слов здесь не смей говорить, – унимала визжавшую Иларию Матренушка. – Не твоего ума это дело. Слушай тех, кто тебя поразумней, слушай, матушка, да смирай себя.

И не стало слышно речей Матренушкиных. Заглушили их взвизги Иларии и дикий хохот Серафимы Ильинишны. Попросила Матренушка мать Сандулию унять сожительницу и пригрозила, ежели она не уймется, до утра посадить ее на замок.

– Не дури, не ври, чего не понимаешь, – схватив Иларию за руку, во все горло закричала Сандулия. Откуда взялась такая умница? – обратилась она ко всему собранию. – Откуда дурища ума набралась?.. Молчать. Илария!.. Не то на запор!.. Молчать, говорю тебе!

– Не сама говорю... Я духом говорю!.. Духом прорекаю! – визжала Илария. – Нет Арары!.. Никакой нет Арары!.. У лукавого есть тар-тарары. Кто мне не верит, тому тар-тарары!..

– Перестань дури. Не блазни других, не работай соблазнами лукавому, – уговаривала Матренушка через меру раскипевшуюся Иларию. – Не уймешься, так, вот тебе свидетели, будешь сидеть до утра в запертом чулане. Серафимушка, – обратилась она к Серафиме Ильинишне, казалось, ни на что не обращавшей внимания.

Она теперь благодушно строила на столе домик из лучинок. – Уйми Иларию. Вишь, как раскудаhtалась.

– Куда как так! Куда как так! – вскочив с места и разводя руками, закричала старая барышня по-куричьи, а потом громко захохотала.

– Не дури, Серафима, – прикрикнула на нее Сандулия. – Выходишь глупее Иларии!.. Станешь дурачиться, возму скалку да скалкой! Уймись, говорю!

Стихла в испуге Серафима Ильинишна. Вспрыгнула на лавку и, поджав ноги калачиком, забилась в самый угол и крепко зажмурила глаза.

Не сразу унялась Илария. По-прежнему кричала: – Нет Арары! Никакой нет Арары!

А сама клубочок да апостольник под лавку... Рвет волосы, дерет лицо ногтями, вся искровенилась, раскосматилась, а сама середь горницы на одной ножке подпрыгивает и плечами подергивает, головою помахивает и визжит неистовым голосом:

– Накатил!.. Накатил!.. Накатил!..

– Никак вправду накатил? – стали поговаривать пришлые из дальних деревень хлыстовки, мало знавшие юродивую барышню с буйными ее черницами.

Услыхала те разговоры Сандулия и закричала на всю богадельню:

– На свинство ее озорство накатило! Вот я покажу ей, каков дух в чулане у Матренушки...

И сильной рукой охватив тщедушную Иларию, с помощью божедомок вытащила ее в сени и там, втолкнувши в чулан, заперла замком. С неистовыми криками стала изо всей мочи колотить в дверь Илария, но никто не обращал на нее вниманья. Мало-помалу смолкла честная мать, и тишина настала в богадельне.

Заметила Варенька, что бесчинный шум и крупные ругательства сильно поразили Дуню, никогда не видавшую и не слыжавшую ничего подобного. Тихонько сказала ей:

– Они обе, и Серафима и мать Илария, с малолетства не в полном разуме. В сионской горнице не смеют своевольничать, а здесь им полная воля.

– Зачем же таких принимают? – спросила Дуня. Кроме шума да безобразий, от них, кажется, нечего ждать.

– А почему знать? Может быть, на ту либо на другую вдруг накатит, а мы отвергнем избранный сосуд? восторженно сказала Варенька, – Сила в немощах является. Теперь они дурачатся; может быть, сегодня же из уст их потекут живоносные струи премудрости... Пока мы во плоти, нам не надо предведения...

– Не понимаю, – молвила Дуня.

– И не пытайся понимать, – сказала Варенька. – Непостижимого умом нельзя постигнуть. Много я тебе сказывала, но, может быть, и сама многого не знаю...

– Кто ж знает? Кто, наконец, утвердит меня? Со всем утвердит?.. Я, признаться, колеблюсь... Одно страшно, другое непонятно... – тихо, будто сама с собой, взволнованным голосом говорила Дуня.

– Тетенька Марья Ивановна больше других знает. Она самое Катерину Филипповну знавала, когда святая мать после Петербурга и Кашина в Москве жила (Полковница Катерина Филипповна Татаринова за сектаторство была сослана в Кашин (Тверской губ.), в монастырь. Потом жила почти на полной свободе в Москве, здесь умерла и погребена на Пятницком кладбище.), сказала Варенька. – Она утишит твои душевные волнения. Одна только она может вполне ввести тебя в светлый чертог полного духовного разумения. Заговорили в тиши богадельни. Кого-то просят... О чем-то молят.

– Это они Григорюшку просят, – сказала Варенька. – Устюгова. Просят его еще рассказать... Слушай... Беседа начинается.

В богадельне все встали. Трижды перекрестясь обеими руками, Устюгов стал выпевать хлыстовские сказанья...

Опять начались длинные сказанья про богатого богатыню, про Христа Ивана Тимофеича Суслова, про другого Христа, стрельца Прокопья Лупкина, про третьего – Андрея, юрода и молчальника, и про многих иных пророков и учителей. Поминал Устюгов и пророка Аверьяна, как он пал на поле Куликове в бою с безбожными татарами, про другого пророка, что дерзнул предстать перед царем Иваном Васильевичем и обличал его в жестокостях. И много другого выпевал Григорюшка в своей песне-сказании.

Долго, больше полутора часов разглагольствовал он в богадельне. Наконец, до того утомился, что, как сноп, без чувств повалился на лавку. Хлысты начали радеть.

В богадельне шумней и шумней. Исступленные до самозабвения кричат в источный голос, распевают песню за песней, голосят каждый свое. Вдруг неистово прыгавшая Сандулия схватила с полки обещанную юродивой барышне скалку и стала изо всей мочи колотить себя по обнаженным плечам. Оттуда-то появились толстые веревки, плети, варовенные вожжи, палки и свежие, только что нарезанные батоги. Скача и бегая вприпрыжку по богадельне, хлысты с ожесточением и дикою злобой немилосердно били самих себя, припевая:

Плоти не жалеите,
Марфу не щадите!

Струится кровь по плечам. Кроვენят на себе белые радельные рубахи. Иные головой о стену колотятся либо о печь, другие горящей лучиной палат себе тело, иные до крови грызут себе руки и ноги, вырывают бороды и волосы. Умерщвление плоти!..

Затрепетала Дуня, увидя страшное самоистязанье, слыша дикие вопли, бешеные крики, звонкие удары плетей и батогов. Едва не упала она от ужаса в обморок. Быстро схватила ее за руку Варенька и силой повлекла от богадельни.

– Не удивляйся, – сказала она пришедшей в себя Дуне. – Люди простые, выражают восторг попросту, по– своему. Многого не понимают и понять не могут. А все– таки избранные сосуды благодати.

Ушли в дом, а крики и бичеванья долго еще не кончались в богадельне.

Ушли, наконец, оттуда пасечник Кирилла, Устюгов с Богатыревым и другие старые люди. И только что ушли они, стихли в богадельне и крики и вопли... Вдруг затворились окна, вдруг потухли огни.

До позднего утра мужчины и женщины оставались вместе.

Всю ночь и долгое время на другой день не могла прийти в себя Дуня. Так поразило ее виденное в Матренушкиной богадельне изуверное самоистязанье.

«И это истинная вера... И это молитвенный подвиг!..» – с содроганьем она думала, и к прежним сомненьям в истинах принятой веры прибавилось новое чувство страха и отвращения к ней... «И что ж это у них в самом деле? – размышляла она. – Для одних Бем, Сен-Мартен, Ламотт Гион, Юнг Штиллинг, „Сионский вестник“, вольные каменщики, Эккартсгаузен (Печатный „Путь ко Христу“ Бема и его же рукописные переводы книги „Аврора, или утренняя заря на восходе“, а также сочинения Сен-Мартена, особенно *des erreurs et de la verite*) печатные книги масонские, сочинения Юнга Штиллинга, Эккартсгаузена и Марии Ламотт Гион, «Сионский вестник» Лабзина и другие мистические сочинения были в большом уважении у хлыстов, масонов и в других мистических сектах. Нередко бывали они находимы у хлыстов из простолудинов, а также у молокан, особенно же у духоборцев. Это видно из архивных дел. Барон Гакстгаузен («*Russische Zustände*») говорит, что он у молокан (простолудинов) встречал сочинения Юнга Штиллинга.), для других басни Устюгова, дикие песни, неистовые круженья и даже кровавое бичеванье!..

Где ж у них единая вера? Где единство обряда?.. И как я могла вступить в их корабль? Как могла сделаться участницей нелепых их обрядов, доходить до забвения самой себя, говорить, сама не знаю что и потом не помня ничего сказанного...

Уверяли меня, глупую, будто дух святой сходил на меня, и я, как околдованная, тому верила. Меня обманывали, а я кичилась и величалась увереньями их... Приятно, лестно было слушать их лукавые, обманные речи... Знатные люди, ученые преклонялись передо мной, простой девушкой, только грамоте обучившейся в заволжском скиту!.. Да, в самом деле тут было наитие, но не святое, а вражье, бесовское... Скорей отсюда!.. – К тятеньке!.. К поильцу моему, к кормильцу!.. А я-то, глупая, чуть не девять месяцев огорчала его то молчаньем, то холодным безучастьем...

А он-то, родимый, будто не замечал того, всегда был ласков и приветлив ко мне, больше все-

го на свете любил меня!.. Простишь ли, голубчик мой, простишь ли глупую дочь свою?.. Не стою твоей любви и попечений!.. И Дарью Сергевну сколько раз оскорбляла я, а она ведь мне была вместо матери, На руках своих вынянчила, научила, как умела, уму-разуму, полюбила, как родную дочь... Обидела я, горько обидела и сердечного друга Груню голубушку, оттолкнула от себя любовь ее... Негодная я, никуда негодная!.. А все от книг, что велела читать Марья Ивановна!.. Господи, господи! помилуй ты меня, великую грешницу, пошли святую помощь свою вырваться из этого богопротивного дома!.. А если Марья Ивановна да не скоро оберется в дорогу, если по моему письму тятенька не тотчас приедет за мной – что тогда буду я делать? Денег на дорогу довольно, да как уедешь? Не пустят, бог знает чего наговорят, мало ль чем могут настращать... А!.. Вчера Варенька про здешнего попа говорила: «Вздумай кто бежать, даст и приют и помощь». К нему на первое время? Да ведь он никонианский... Нового греха не нажить бы!.."

Так раздумывая сама с собой, Дуня, решила во что бы то ни стало покинуть луповицкий корабль людей божьих, отречься от их несправедливой веры, во всем и навсегда разорвать с ними и, как блудный сын, возвратиться в дом отчий... И стала она по целым часам и днем и ночью молиться перед иконами, прося у бога помилования в том великом грехе, что не по принуждению, не по нужде, не по страху, но своею волею впала она в греховную пропасть, оставила отеческие законы... И молитва утишала душевные ее волнения. Теперь Дуня только одно и держит на уме, как бы выбраться из дома лжепророков и лжеучителей.

Внезапное охлаждение Дуни к долго желанной и потом столь радостно и искренно принятой ею вере, быстрый переход мечтательной девушки от уверенности в несомненной правоте учения «верных-праведных» к неудержимому от него отвращению – явление нередкое в испуганных и восторженных сектах. Это замечается не только у нас, но и на западе Европы и в Америке; там оно еще чаще случается. То же бывало и в испуганных сектах первых веков христианства. И всегда почти ушедшие из секты, как бы в отместку за временное их заблуждение, делались отъявленными врагами прежних братьев и сестер по верованию.

Хлыстовщина влечет в свои корабли людей всех состояний – от безграмотных до высокообразованных, от полковых музыкантов до александровских кавалеров, от нищих до обладателей громадными богатствами (Дело о Татариновой.).

Что ж влечет их? Конечно, не одно удовлетворение чувственности, в иных кораблях бывающее в полночном мраке после радений. Увлекаются в хлыстовщину и пожилые люди, даже старцы, давно пережившие возраст страстей. Да и из молодых, даже из самых страстных людей каждый ли захочет купить минутное наслаждение ценой кровавых самоистязаний? Двумя путями влекутся люди в пучину хлыстовских заблуждений. Один путь – русская лень. Покой, праздность, отвращение от труда – вот куда, подобно западным квиетистам, стремятся и наши «божьи люди».

Получая от родных и знакомых вспоможенья или собирая милостыню Христа ради, они все сносят в корабль, а нужды свои справляют на общий счет. Одни сектанты дают вспоможенья некоторым «праведным братцам и сестрицам», другие, как Луповицкие, содержат на свой счет целые корабли. Хлысту немного нужно, ради умерщвления плоти он ест мало и притом самую грубую пищу, пьет одну воду, ходит в отрепье либо в посконном рубище, ему только и нужны деньги на радельные рубахи, знамена и покровцы.

А это дается ему из общего достоянья. Телесный труд каждого из них всецело отдается пляскам и круженьям. Вне «святого круга» хлысту нет работы, и у него только одна забота жить бы ему век в покое и праздности. Другой путь, доводящий до хлыстовщины русского человека, – пытливость ума его. Не оторванный от родной, прадедовской почвы, русский человек всегда набожен и во всем ищет правды-истины. Таково народное свойство его. Смысла писания, даже значенья церковных обрядов он, безграмотный, без руководителя постигнуть не может. Ему нужен учитель, – такой учитель, чтобы всем превосходил его: и умом, и знанием, и кротостью, и любовью, и притом был бы святой жизни, радовался бы радостям учеников, горевал бы о горе их, болел бы сердцем обо всякой их беде, готов бы был положить душу за последнюю овцу стада, был бы немощен с немощными, не помышлял бы о стяжаниях, а, напротив, сам бы делился своим добром, как делились им отцы первенствующей церкви...

А где взять таких руководителей, особенно теперь, когда все на деньги пошло?.. Нет учителя

ля, нет руководителя, а пытливый простолюдин ищет себе да ищет разрешенья недоумений и доброго наставника в истинной вере... А его все-таки нет как нет... Хорошо еще, ежели такой искатель истины попадет на раскольника, хоть самого закоренелого, и сам сделается таким же. Раскол, как порождение невежества, отторгся от церковного единения лишь из-за буквы и обряда, но вера его так же чиста, как и в истинной церкви... Если же пытливый искатель правды подпадет под влияние хлыстовского пророка либо хлыстовской богородицы... тогда он больше не христианин. У него свой бог, свои христы, свои пророки, свои богородицы, свои верованья, свои обряды, все свое и все чуждое, противное христианству.

В хлыстовские корабли по большей части попадают люди нервные, раздражительные, потерпевшие в жизни кто от житейского горя, кто от обид и огорчений. Забитые мужьями жены, обманутые или потерявшие надежду на супружество девушки, люди мечтательные, склонные к созерцанию, юроды, страдающие падучей болезнью – вот кем издавна наполняются хлыстовские общины. Такими людьми скорей, чем другими, овладевает восторг на радениях, им скорей являются призраки и виденья, им громче и ясней слышатся неведомые голоса. Кликуши и икотницы (Икотницами зовут кликуш в Архангельской и других северных губерниях.) по переходе в хлыстовщину всегда почти делаются корабельными пророчицами. Самую болезнь кликушества хлысты считают не напущенной колдуном порчей, как думает весь почти народ наш, а действием духа божия.

При всей нелепости заблуждений хлысты по большей части народ правдивый, по крайней мере со своими. Они ненавидят ложь, говоря, что это возлюбленная дочь нечистого духа. И к тому ж они откровенны – хлыст даже помыслов своих не скрывает от единомысленников; тут действует на него страх, что пророк или пророчица обличат на соборе его тайные помышленья. Зато с посторонними хлысты лукавы и правды ни за что на свете не скажут. Обман кого-либо из своих возмущает весь корабль, а откровенность с чужим – еще больше. Обманщику или выдавшему тайну людей божьих сторонним такое настает житье, что если не удастся ему бежать из корабля, то рано ли, поздно ли он кинется в реку либо в колодезь, а не то отравится либо удувится.

Еще не бывало примера, чтобы тут когда-нибудь открылось убийство от посторонней руки, все объясняется самоубийством в припадке сумасшествия. Нет существа более жалкого, как отвергнутый кораблем хлыст.

Едва выйдя из отрочества, Дуня оставила кров матушки Манефы. Взросла она там не на многолюдстве, а в родительском доме стала совсем одинокой. Всем сердцем любившего ее отца видала редко – то по делам, бывало, уедет он на долгое время, то день-деньской возится с прядильнями и лесной пристанью, то по– своему расправляется с приказчиками и рабочими.

Поглощенная домашним хозяйством, Дарья Сергевна с утра до поздней ночи то хлопочет, бывало, об обеде да об ужине, иной раз и сама постряпает, то присматривает она за стиркой белья, то ходит по кладовым, подвалам, погребам, приглядывая за хозяйским добром, считает кур, гусей, индеек и уток, сидит в коровнике, пока не выдоят коров, ухаживает за новорожденными телятами, а по вечерам и вообще в свободное от хозяйственных забот время стоит по часам на молитве либо читает божественное. Дуня все одна; подруг нет, знакомств нет, а ум пытлив, все ей хочется узнать, постичь то, о чем другие и не помышляют. И стала она в речах сдержанна, стала потом молчалива, а с тем вместе и мечтательна. От природы нервная и впечатлительная, она всем раздражалась. Несправедливости отца к подначальным особенно ее сокрушали, много тайных слез от них пролила она...

Дарья Сергевна в разговорах с ней твердила об одних только обрядах либо читала жития святых... Но все это мало занимало любознательную и пытливую девушку: еще на утре жизни она додумалась, что вера не в обряде, что жизнь дана человеку не для одной обрядности и что обрядность должна иметь таинственный смысл. Никто не мог объяснить ей этого смысла, и равнодушие ко внешностям в деле веры с каждым днем умножалось в ней. Охотно еще слушала она чтения

Дарьи Сергевны про святых прежних времен, про пустынников и мучеников. Но это еще больше усиливало ее мечтательность. Ни хозяйство, ни домашние заботы не занимали ее; она считала их житейской грязью, и никакие наставления, никакие уговоры домовитой Дарьи Сергевны, хотевшей из воспитанницы своей сделать хорошую хозяйку, нисколько не действовали на Дуню. Сердце ее стремилось к чему-то неведомому, но правдивому, к какой-то незнаемой еще жизни, провозжаемой в добре и истине. Ее чистая душа в своих мечтаниях стремилась к какому-то непонятному, но доброму существу, из уст которого не могут исходить ни слова лжи, ни слова гнева...

О, если бы скорей предстало перед нею такое существо!.. Будь он ангел, будь человек плоти и крови, все равно – со смирением и любовью преклонила бы она перед ним, и скажи ей то существо хоть одно слово привета, без малейшего сожаления оставила бы она дом отца и его богатство, с радостью и весельем устремилась бы к неведомому, мыслями и помышлениями отдалась бы ему и всю жизнь была бы его безответною рабой и верной ученицей, слила бы с ним свою непорочную жизнь... Но где такой избранник?.. Вкруг Дуни никого нет похожего... Да есть ли и на свете такой человек?.. Разве ангел бесплотный или иная небесная сила...

В самых тайных думах, в самых сокровенных мечтаниях никогда не представлялся Дуне ни муж, ни жених. Супружество считала она неразлучным с заботами по хозяйству, со своеобразием мужа, а при случае даже с неправдой, гневом и злобой. Не к женихам, а к познанию добра и правды стремилась ее душа... Пытливость ума, возбужденная чтением книг без разбора и руководителя, крепко слилась в ней с мечтательностью, и Дуня стала вовсе не похожею на скитскую воспитанницу. Но помыслы ее все-таки неясны и ей самой не вполне понятны, а на уме все шатко, не твердо. Она то и дело путалась в своих мыслях.

Стали свататься к Дуне женихи: каждому была охота жениться на богатстве Марка Данилыча. Обилие свахи пороги смолокуровские, сватая молодых купчиков из своего городка, но от Марка Данилыча не слышали слова приветливого, а Дуня и видеть их не хотела. Потом за «добрым делом» стали наезжать свахи из больших городов – из Муром, из Шуи, из Ярославля, даже из Москвы – везде по купечеству знали, что у Марка Данилыча больше миллиона в сундуке и одна-единственная дочка Авдотья Марковна.

Но и приезжие свашеньки все до одной воротились домой, не выдавши невесты. Ехали сватать да хвастать, ехали на мед да на сладкие пироги, на пиры да на горный стол, а им, как шест, поворот от ворот, и разъехались кумушки по домам не солоно хлебавши. Через подзорную трубку влюбился в Дуню предводительский сынок, гвардии поручик, бездельный шалопай, игрок, пьяница и собачник, ни на какое дело, опричь кутежей, не годный. Разгорелись несытые очи его на смолокуровские достатки – задумал поручик женитьбой осчастливить купеческую дочь, дав ей дворянство, а к стати и дырявый свой карман починить. Однако и ему был отказ, ни смотрин, ни глядин, ни пропоя невесты, ни рукобיתья не было. Не хотела и смотреть на женихов Дуня, а родительского приказу выходить замуж ей не было – давно дал ей отец полную волю в выборе суженого по сердцу и хотению. Нисколько не смутили Дуню все эти сватанья. По-прежнему девические думы ее носились в области мечтаний. Но не надеялась она найти человека по душе и по сердцу... Где ж найти такого человека, о каком мечтала она.

И вот является Петр Степаныч Самоквасов. Встрепенулось в Дунином сердце дремавшее до тех пор неизведанное еще чувство любви – весь мир показался ей краше и веселее, и почувствовала она, что сама стала добрее ко всем и ласковее. Книжки забыты, и, сидя по целым часам за рукодельем, она думами увивалась вкруг Петра Степаныча. В ее мечтах являлся он тем носителем добра и правды, какого так долго и напрасно искала она. Мало слов сказала с ним, но думала о нем ежечасно и берегла свои думы как святыню, словечка о них никому не промолвила, одному только старому сердечному другу, Аграфене Петровне, немногими словами наметнула. И как же радовалась она, услышав от Груни одобренье... «Вот она где истина-то, вот оно где добро, каких напрасно искала и так долго найти не могла!» – Так она теперь думала.

И вдруг этот человек добра и правды – обманул. Разбил, растерзал сердце девушки, погасил в нем первое чувство любви... Ни слова никому не сказала Дуня о такой сердечной обиде. И Груне не сказала – гордость не позволяла, самолюбие не позволяло.

Только что успела Дуня открыть тайну любви своей Аграфене Петровне, вдруг слышит, как в смежной комнате Дарья Сергевна рассказывает Марку Данилычу, что Петр Степаныч, собравшись наскоро, уехал за Волгу. Уехал в Комаров... К Фленушке!.. «Хорошо я ее знаю, – говорила Дарья Сергевна Марку Данилычу, – племянницей, что ли, она приходится матушке Манефе, угар девка, самая разбитная, а теперь, слышь и попивать начала. К ней-то и покати́л он. У ней, говорят, уж не первый год с ним шуры-муры». Ровно льдом заковали речи Дарьи Сергевны разгоревшееся было Дунино сердце. Но и тут никому словечка не вымолвила, виду даже не подала и ни малейшим движеньем не выразила неожиданно нахлынувшего на нее сердечного горя. Только Аграфене Петровне сказала, и то как о пустячной новости, до которой дела ей нет... А что за буря тогда в ее душе бушевала! Что вынесла она в это горькое время, чего ни передумала!.. «Нет правды на свете, нет в людях добра! – после долгих мучительных дум решила она. Везде обман, везде ложь и притворство!.. Где ж искать правды! Где добро, где любовь? Видно, только в среде бесстрастных духов, в среде ангелов божиих... А ведь они не совсем чужды нам, живущим во плоти!.. В писаниях сказано, что бывали они в сообщении с праведными. Где бы, где найти таких праведных? Есть же они где-нибудь. Без праведников, говорят, и миру не стоять... Где ж они, люди, верные добру и правде? О, если б мне пожить с ними!..»

Совсем, по-видимому, бесчувственная и ко всему равнодушная, Дуня страдала великим страданьем, хоть не замечали того. Все скрыла, все затаила в себе, воссиявшие было ей надежды и неожиданное разочарование как в могилу она закопала. С каждым днем раздражалась Дуня больше и больше, а сердце не знало покоя от тяжелых, неотвязных дум.

И вот стали ей являться призраки, стали слышаться неведомо откуда идущие голоса... Сначала это ее испугало, а потом привыкла она и к призракам и к голосам. Пуще прежнего вдаль в чтение; но путешествия, история, прежде столь любимые, не занимали ее больше... Отыскать истину, неведомое узнать хотелось ей, но таких книг не было. В это время встрети́лась она с Марьей Ивановной. От опытных взоров много искусившейся в делах хлыстовской секты пожилой барышни не укрылись ни душевная тревога Дуни, ни стремление ее к мечтательности, доходившей иногда до самозабвения. Воспользовалась Марья Ивановна таким настроением неопытной в жизни девушки и хитро, обдуманно повела ее в свой корабль. У Марка Данилыча миллион либо полтора, Дуня – единственная наследница, – это еще до первого знакомства со Смолокуровыми провела Марья Ивановна... И задумала перерзевшая барышня: «Дуня в ее корабле; миллион при ней... Деньги – сила, деньги дадут полную безопасность от всяких преследований, если бы вздумали поднять их на тайную секту людей божьих... Так ли, иначе ли, надо сделать, чтоб ей не было из него выхода».

Искусно повела Марья Ивановна задуманное дело... Столь много перетерпевшая Дуня увидела в ней отраду и утешение, душевную усладу, самое даже спасение. Чтение мистических книг, купленных у Чубалова, и ежечасные беседы с Марьей Ивановной, когда весной гостила она у Смолокуррвых, довели до такой восторженности Дуню, что она вероученье хлыстов стала принимать за слова божественной истины. Поверила она, что плоть создана диаволом и потому всячески надо умерщвлять ее, поверила, что священное писание есть ряд иносказаний и притчей, хоть и имеющих таинственный и спасительный смысл. Начитавшись Бема, поверила, что радения, серафимские лобзанья и круговые пляски снесены на землю с небес, чтобы души человеческие, еще будучи во плоти, молились так же, как молятся силы небесные (У Якова Бема сказано: «У святых ангелов есть дружеское лобзание и обнимание и приятнейшая круговая пляска»). Сравн. «Письма митрополита Филарета к наместнику Сергиевой лавры» (письмо 22 апреля 1833 года).). А когда стала она бывать на радениях, каждый раз приходила в восторженное состояние, «ходила в слове», пророчествовала, но что кому говорила, не помнила ни во время проречений, ни после. И вот она принята в корабль, и вот открыто ей таинственное учение, и вот верит она ему, как несомненной истине.

И вдруг на великом соборе слышит Дуня неведомые ей тайны, слышит и не верит ушам. Рассказывают, что на Городину сходил бог Саваоф, под именем «верховного гостя», что долгое время жил он среди людей божьих, и недавно еще было новое его сошествие в виде иерусалимского старца. «Что за нелепость, что за богохульство! – думает пораженная такими сказаньями Дуня.

Это что-то бесовское!..» Сказанья божьих людей продолжают, Дуня слышит о христах, ходивших и теперь ходящих по земле. Слышит рассказы, как они в темницах сживали, как в Москве были распинаемы, но на третий день воскресали. Слышит, что и теперь у подошвы Арарата новый Христос Максим, пророк, первосвященник и царь людей божьих, слышит, что он короновался и, подражая царю Давиду, с гусями в руках радел на деревенской улице.

Чем дольше слушает Дуня хлыстовские сказанья, тем больше ужасается. «А мне ни слова про это не сказали, скрывали... Тут обман, ложь, хитрость, лукавство!.. А где обман, там правды нет... И в ихней вере нет правды».

И противна и мерзка ей стала новая вера. Отшатнулась Дуня душой от общества верных-праведных... Каждое слово, что потом слышала от них – стало ей подозрительным... А тут еще воспоминанья об отце, о родительском доме, о любящей Груне, о Петре Степаныче!.. Возненавидела почти Дуня и Марью Ивановну, и Вареньку, и всех, всех, кто были в луповицком корабле. И звучат в ушах ее слова евангельские о последних временах: «Тогда еще кто речет вам: се zde Христос или онде – не имите веры; восстанут бо лжехристы и лжепророки и дадут знамения веля и чудеса, яко же прельстят...» «Это они!.. Это они лжехристы и лжепророки!.. Они лжеучители последних дней!.. И я, я впала в греховную их пропасть... Господи! я сама была лжепророчицей!»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Всех чуждается Дуня, большую часть дня запершись сидит в отведенной ей комнатке, а встретится с кем, сама речей не заводит, спросят у нее о чем-нибудь – промолвит отрывисто слова два, три, и в разговоры не вступит. Такая в ней перемена заботила Луповицких, особенно Марью Ивановну.

Дня за два до Успенья Луповицкие всею семьей сидели за утренним чаем. Дуни не было. Тихие речи велись о ней.

– Да отчего ж все это? – настойчиво спрашивал Николай Александрыч. – Так внезапно, так неожиданно!.. Есть же какая-нибудь причина. Писем не получала ли?

– Получила, но после великого собора. А на этом соборе она уж изменилась, – сказала Марья Ивановна. – Я сидела возле нее и замечала за ней. Нисколько не было в ней восторга; как ни упрашивали ее – не пошла на круг. С тех пор и переменялась... Варенька говорила с ней. Спроси ее.

– Что она? – обратился к племяннице Николай Александрыч.

– Не один раз я говорила с ней после великого собора, – отвечала Варенька. – Жалуются, что уверили ее, будто вся сокровенная тайна ей поведена, что она достигла высшего совершенства, а на соборе услышала, что ей не все открыто. С упреками и укорами говорит, что искала в нашей вере истины, а нашла обман и ложь

– Что ж ты ей на это? – спросил Николай Александрыч.

– Говорила, что сказанья о сошествиях Саваофа и христах сложены не для нас, а для людей малого веденья, – ответила Варенька. – Все говорила, все разъясняла. Но она меня с толку сбивала, так что не знала я, что и говорить. Это было вечером в саду, а у Матренушки в богадельне тогда было собрание. Мы с Дуней стали в вишеннике. Тут Серафимушка стала безобразничать со своими монахинями... Дуня ко мне приставала – зачем таких, как Серафимушка, вводят в корабль, и тут уж сбивала меня до конца. Тогда призналась она, что стала колебаться в нашей вере, и спросила, кто может ее утвердить... Я не знала, что сказать ей, уклонилась от прямых ответов и посоветовала обратиться к тетеньке.

– Со мной она не говорила, – отозвалась Марья Ивановна, – Я ее совсем почти не вижу.

– Поговори и укрепи, – властным голосом сказал Николай Александрыч. – Не забудь про миллион.

– Поговорю, – ответила покорно Марья Ивановна.

– Мы всё стояли возле богадельни, – опять стала говорить Варенька. – А там Устюгов со своими сказаньями. Выпевал про Ивана Тимофеича, как дважды его в Москве на кремлевской стене распинали, как два раза его на Лобном месте погребали, как он дважды воскресал и являлся

ученикам на Пахре (Подольского уезда, Московской губернии. Там до последнего времени водились, а может быть, и теперь водятся хлысты. У них была там община вроде монастыря.), как слеталась к нему на раденье небесная сила и как с нею вознесся он. И о других выпевал Устюгов. Дуня стояла как вкопанная, ни слова не вымолвила. Потом началось у них радение, после раденья бичеванье. Дуня почти в обморок упала, насилу смогла я ее в дом увести.

– Как ты неосторожна, Варенька, – строго сказал Николай Александрыч. – Зачем было водить ее туда?

– Не знала я, что это у них будет, – ответила в смущении Варенька, – мне хотелось только приучить ее хоть немножко к сказаньям. Устюгов много тогда говорил, чуть ли не все сказанья выпел при ней.

– Лучше бы вовсе не знать ей об этих сказаньях, сквозь зубы проговорил Николай Александрыч. – Таких людей, как она, в вере так не утверждают, сказанья только смущают их. Но это уж моя вина, сам я на великом соборе говорил об Арарате, а перед тем старые сказанья про Данилу Филиппыча да про Ивана Тимофеича Устюгову велел говорить.

– Теперь она ни с кем не говорит, – после короткого молчанья продолжала Варенька. – Сидит взаперти, плачет, тоскует, жалуется, что ее обманули, уверив, что достигла она совершенного ведения, а всей тайны не открыли. Сильно в ней сомненье... Мир влечет ее. Устоит ли она против прельщений его?

– Что ты об этом с ней говорила? – задумчиво спросил Николай Александрыч.

– Уговаривала ее... Что знаю, как умела, все рассказала ей, – ответила Варенька. – Но без веры она слова мои принимала. Только раз спросила у меня, кто может рассеять сомненье ее и утвердить в праведной вере. Я на тетеньку указала.

– Совсем не узнаю ее, – сказала Марья Ивановна. – Не стало больше в ней ни душевных порывов, ни духовной жажды, ни горячего влечения к познанию тайн. Молчалива, сдержанна, прежней доверчивости и откровенности вовсе в ней нет. Ничто ее не занимает, ничто не возбуждает больше в ней любопытства, кроме духовного супружества... Еще весной об этом у нас была с ней речь, когда гостила я у них, – ответила Марья Ивановна. – На неотступные просьбы Дуни я тогда еще сказала, что если женщина будет приведена в светлый полк верных, то пророк, принявший ее, делается ее духовным супругом.

– Так она, пожалуй, думает, что я ее духовный супруг. Ведь я принимал ее, – с легкой улыбкой молвил Николай Александрыч.

– Может быть, – тоже улыбнувшись, сказала Марья Ивановна. – Только мне кажется, что тут она ничего не понимает, да и, кроме того, многого, многого еще не понимает.

Все промолчали. Но Варенька, как будто что-то вспомнив, вдруг покраснела.

– Я не верю и никогда не поверю, – через несколько времени сказала Марья Ивановна, – чтобы Дуня переменялась от подозренья, что от нее что-нибудь скрывают, что ее обманывают. Тут что-нибудь другое. После великого собора она получила письмо. Прежде каждый раз, как, бывало, получит, обо всем мне расскажет, что напишут, и письма дает читать, и советуется, что отвечать, а теперь хоть бы словечко. И все спрашивает, скоро ли поедem в Фатьянку... Тут, кажется, все дело в письмах. Прежде совсем была равнодушна и к отцу и к этой Дарье Сергевне, а теперь про них слово только скажешь – она тотчас в слезы. Нехорошо мы сделали, что отдали ей письма. Тут я больше всех виновата... Да кто ж мог предвидеть? Боюсь, не напрасны ль были мои годовые труды... В мир не ушла бы.

Снова все примолкли. Сидят, задумавшись. Николай Александрыч спросил Марью Ивановну:

– Как в самом деле велико богатство Смолокурова?

– По крайней мере миллион, – ответила Марья Ивановна. – Сколько именно, кроме его самого, конечно, никто не знает, а Дуня всех меньше.

– Думать надо, его обворовывают. Все тащат: и приказчики, и караванные, и ватажные. Нельзя широких дел вести без того, чтобы этого не было, – молвил луповицкий хозяин, Андрей Александрыч. – И в маленьких делах это водится, а в больших и подавно. Чужим добром поживиться нынче в грех не ставится, не поверю я, чтобы к Смолокурову в карман не залезали. Таковы

уж времена. До легкой наживы все больно охочи стали.

– Ну нет, у кого другого, а у Смолокурова не украдут, – сказала Марья Ивановна. – Не из таких. Сам редкого не обсчитает, а кто служит у него, не то что карман, а спину береги.

– А верно ли знаешь, что, кроме дочери, нет у него других родных?.. – спросил Николай Александрыч.

– Это верно, – ответила Марья Ивановна. – Их было два брата, один двадцать ли, тридцать ли лет тому назад в море пропал. Дарья Сергевна потонувшему была невестой и с его смерти живет у Смолокурова хозяйкой. Так это какая ж родня? Какая она участница в наследстве? Безродною замуж шла, ни ближнего, ни дальнего родства нет у нее.

– А сколько лет Дуне? – спросил Андрей Александрыч.

– Двадцатый, кажется, пошел, – отвечала Марья Ивановна. – В марте будущего года двадцать будет, а может, только еще девятнадцать. Хорошенько не знаю и сказать наверно не могу.

– Значит, если бы Смолокуров теперь же покончился, так года полтора либо два с половиной ей быть при попечителе, – сказал Андрей Александрыч. – А есть ли такие люди, кому старик так бы верил, что назначил бы к дочери в попечители?

– Нет, – молвила Марья Ивановна. – Видела я в прошлом году у него большого его приятеля Доронина, так он где-то далеко живет, на волжских, кажется, низовьях, а сам ведет дела по хлебной торговле. Нет близких людей у Смолокурова, нет никого. И Дуня ни про кого мне не говорила, хоть и было у нас с ней довольно об этом разговоров. Сказывала как-то, что на Ветлуге есть у них дальний сродник – купец Лещев, так с ним они в пять либо в шесть лет раз выдаются.

– Ей одной, значит, все без остатку достанется? – спросил Андрей Александрыч.

– Больше миллиона получит, – сказала Марья Ивановна. – А это наличный только капитал, а кроме того, по городам каменные дома, на Низу земли, на Унже большие лесные дачи. Весь достаток миллиона в полтора, а пожалуй, в два надо класть.

– Неосторожно поступили вы, что до великого собора не говорили ей про сказанья, придуманные людьми малого ведения, – с укором промолвил Николай Александрыч Марье Ивановне и племяннице. – Надо бы было понемножку ей открывать их, говоря, какой цены они стоят. А тут еще Варенька бичеванья ей показала. Вот и запугали ее. Ты виновата, Варенька: она была тебе отдана, и ты должна была вести ее, не возбуждая ни сомнений, ни опасений. Вот теперь, по вашей неосторожности, миллионы-то, пожалуй, и поминай как звали. А какая бы сила кораблю прибыла! Испортили вы дело! Тебе-то, Машенька, как не стыдно – ты ведь опытна в этих делах. Зачем не наблюдала хорошенько?

– Я ее предоставила Вареньке, – оправдывалась Марья Ивановна. – Думала, что она моложе меня, к ее годам подходит ближе, и что Дуня больше ей станет доверять, чем мне... Кто ж мог этого ожидать? Впрочем, ничего, по времени все обойдется.

– Ну не знаю, – покачав головой, молвил Николай Александрыч. – Не такова она, чтобы вдруг поворотить ее на прежний путь. Ежели в такую горячую, восторженную голову запало сомнение – кончено... Нечего себя обманывать – улетела золотая птичка из нашей клеточки, в другой раз ее не изловишь.

– Надо, мне кажется, скорей к отцу ее отвезти, чтобы чего-нибудь не вышло, – сказал Андрей Александрыч. – Главное, огласки бы не вышло. Помните, что было с батюшкой, может то же и с нами случиться. Наверху глаза зоркие. Самой пустой молвы довольно, чтобы весь корабль погубить. Увози ее, Машенька, скорей до греха.

– Дождусь Егорушки, непременно хочу его видеть и расспросить об араратских, – сказала Марья Ивановна.

– Уговори ее как-нибудь хоть до Егорушкина приезда остаться, – сказал он. – А там что будет, то будет... Может быть, птичка и не выпорхнет, и богатства ее, рано ли, поздно ли, будут в нашем корабле. Главное – осторожность... Во что бы ни стало, как можно крепче надо привязать ее к нашему союзу, для того прежде всего нужно уничтожить в ней сомненья, чтобы не думала она, что мы хотели обмануть ее. С первого свиданья я заметил, что она сильно восторженна и вполне доверчива, но причудлива, упряма и привередлива.

Обращайтесь с ней осмотрительней, внимательней, с оглядкой. Поставить ее на прежнее –

дело трудное, а если еще случится хоть самая малейшая с ней неосторожность, дело будет неправое. Не утратьте пророчицу, не теряйте смолокуровского богатства.

Старайтесь больше о том, чтобы с ней вполне примириться, чтобы не выдала она кому-нибудь из сторонних нашей тайны сокровенной... Зима теперь, времена то есть опасные!.. Надо быть скромней и осторожнее. Вот я получил извещение, – в Москве идут большие розыски, и много верных-праведных в гонении.

Всеми мерами стараются разузнать о наших кораблях. И доносчики, искариоты, явились – многих выдали, указали на дом божий и все забрали из него. Малейшая неосторожность может и нас до беды довести. Блюдайте же себя опасно, а главное, о том постарайтесь, чтоб, уехав домой, наша гостья не рассказала кому о том, что видела и слышала здесь. Иначе все пропало, корабль наш рассыплется, лукавый над нами посмеется своим лютым и злорадным смехом, и впадем мы все в земную погибель... Нужней всего, чтобы добровольно осталась она у нас до приезда Егорушки. Когда приедет Егорушка, мы с ним потолкуем насчет этой Дуни. Разумею о духовном с ним супружестве. Тогда она наша, и миллионы наши, ежели Егорушка решится – мы позовем тебя на совет, Машенька, и с тобой вместе установим, как достичь нашей цели.

Никто не противоречил, Варенька поняла слова дяди и вся внезапно зарделась.

На другой день после совещанья Луповицких кто-то тихими шагами подошел к Дуниной комнате и чуть слышно постучал в дверь. Судя по времени, Дуня подумала, что горничная пришла постель убрать, поспешно отворила дверь и увидела перед собой Марью Ивановну. Вздрыгнула Дуня, и сердце у ней болезненно сжалось. С той минуты, как случилась с ней перемена, не могла она равнодушно смотреть на женщину, завлекшую ее в новую веру, на ту, кого еще так недавно звала своим светом и радостью, говоря: «При вас я ровно из забытья вышла, а без вас и день в тоске и ночь в тоске, не глядела б и на вольный свет».

Величавой походкой вошла Марья Ивановна. Безграничная любовь и нежная заботливость отражались в голубых ее глазах и во всем ее еще прекрасном, хоть и сильно изможденном лице. Протянула она руки, привлекла Дуню в объятия и нежно ее поцеловала.

Ровно кольнуло у Дуни в сердце от этого поцелуя.

– Что с тобой, милая? Что с тобой, дружок мой? – с любовью и участием сказала Марья Ивановна, садясь у изголовья кровати и сажая Дуню на не убранную еще постель.

– Ничего, – холодно и сдержанно отвечала Дуня, опуская глаза. – Домой бы скорей. Соскучилась я по своих.

– Успеешь, красное солнышко, успеешь, моя золотая, – тихо отвечала ей Марья Ивановна. – Повремени немножко. Кой-какие дела по именьям задержали меня здесь. Как только управлюсь, так и поедем. Да что-то вдруг тебе домой захотелось? Прежде про дом и не поминала, а теперь вдруг встосковалась.

– Надо же когда-нибудь домой, – спустя глаза, тихо проговорила Дуня. – Нельзя же навсегда здесь оставаться.

– Конечно, пока жив отец, его нельзя совсем покинуть. А ежели что случится с ним, место тебе здесь, либо у меня в Фатьянке, – сказала Марья Ивановна. Ты ведь от мира отрешенная... Не жить тебе в нем.

Вспыхнула Дуня, дрогнули у ней губы. В горьких слезах чуть слышно она промолвила:

– Не могу я тятеньку покинуть! Без меня помрет он с тоски... И теперь скучает... Один ведь, никого возле него нет. Не с кем слова перемолвить... Нет, не могу я жить без него.

– Так ты нарушаешь данную клятву!.. А ты давала ее вольною волей, помнишь, когда приводили тебя к праведной вере... Не помнишь разве, что ты обещала богу забыть отца, род и племя, весь мир с суетой его, – строго, дрожащим от волнения голосом заговорила Марья Ивановна. – Вспомни, кого ты давала по себе порукой... Царицу небесную, пресвятую богородицу дала в поруки!.. Неужли думаешь, что нарушение такой клятвы пройдет тебе даром? Нет. И в писании сказано, что бог поруган не бывает... Когда ты давала клятву, в сионской горнице был ангел божий, он невидимо стоял перед тобой и записывал твои обещанья... Так разве можно нарушать их? Все несчастья, все напасти, все печали и безысходное горе еще в здешнем мире над тобой разразятся, а в том веке вечная тебе гибель во узах нечистого... Вот что тебе впереди. Пришла ты на путь пра-

вых, отреклась от мира и вдруг бросилась назад, опять хочешь ринуться в его суетность... Ведь это поступок Искарота... Чашу Иуды до дна изопьешь и с ним разделишь бесконечные мученья в жилищах врага, будешь навеки проклята богом и всею небесною силой...

Привела я тебя к вере праведной, была твоей восприемницей и теперь несу ответ за душу твою... Прими же слова мои как повеления свыше... Кайся в погибельных сомнениях, отгони нечистого, возвратись в ограду спасенья... Тогда будет на небесах великая радость, отец небесный ведь не столько радуется о девяности девяти овцах, мирно пасущихся на спасительной его пажити, как об одной заблудившей и к нему возвратившейся.

Дуня молча плакала. Вспомнилась ей матушка Манефа. Было похожее дело в Комарове. Тогда Дуне было еще только десять лет. С покойницей Настей сидела однажды она за рукодельем в игуменьиной келье, за перегородкой в боковуше, и от слова до слова слышала, как матушка начала молодую инокиню малого пострига, Евникею. Круглая сирота, дочь тысячника, жила Евникея у дяди и много там терпела от своих и чужих. Раз дядя из дома выгнал купчика, завладевшего сердцем девушки, и она в тоске и слезах ушла в скиты и сыскала там радушный приют в Манефиной обители.

Через сколько-то месяцев дошли до нее вести, что возлюбленный ее покончил жизнь. А она было дала ему доверенность вытребовать у дяди наследственный капитал и потом обещалась замуж за него выйти. Письма дядя ей присылал, чтоб уверилась она в смерти того купчика. И когда она уверилась, опротивел ей божий свет и предалась она безотрадному отчаянию. А скитские матери день и ночь напевают ей: «Поди да поди в лик девственниц, притеки к тихому пристанищу, отрекись от мира, прими иночество». И с горя она приняла его. Прошел месяц после пострига, вдруг приезжает в обитель молодой купчик живехонек, здоровехонек, привозит Евникею двадцать тысяч выхлопотанного ей родительского достояния...

Тогда стали Евникею ненавистны и черная ряса и черный куколь – и стал ее манить мир, полный счастья и радости. И вздумала она выйти из обители. Узнав о том, Манефа позвала Евникею к себе и с глазу на глаз уговаривала ее оставить суетное желание и тем больше всего грозила ей, что нет большего греха, как снятие с себя иночества. Это значит, говорила она, поругаться чину ангелоподобному... «И вот теперь то же самое говорит мне Марья Ивановна, – думает Дуня. – Так же клятвы поминает, так же помстою (Помета – возмездие, месть, кара, наказание.) от бога грозит, страшит проклятьем, отлученьем, вечною погибелью... Не смутилась того Евникея. Хоть немало слез пролила, а покинула обитель и теперь, окруженная детками, живет хозяйкой честного дома. И нет ей помсты от бога, и нет ни от кого проклятия». Так думала Дуня, слушая угрозы Марьи Ивановны, а бестелесный образ Петра Степаныча ясней и ясней представлялся душевным очам ее.

– Как же у нас будет, милая Дунюшка? – после длинного молчанья ласково спросила у ней Марья Ивановна.

– Не знаю, что сказать вам, – не осушая слез, ответила Дуня.

– В греховную ли пучину внешнего мира ты бесповоротно стремишься, иль пребудешь до конца в стаде избранных? – настойчиво спрашивала Марья Ивановна. – Пребудешь ли верною богородице, своей поручительнице, или, внимая наущеньям лукавого, отринешь чашу благодати и вечной радости? Уйдешь в мир или с нами останешься?

– Что мне мир! Не знаю его и никогда не знавала! Вы знаете мою жизнь. Кого видала я, опричь тятеньки, Дарьи Сергевны да скитских подружек?.. – печально поникнув белокурой головкой, отвечала Дуня. – Вы думаете, что мир меня прельщает, что мне хочется забав его и шумного веселья? Бывала я в этом мире веселья, в театре даже бывала, и музыку там слышала, и песни, пляски видела, и было мне скучно, тоскливо, никакой не чувствовала я приятности... Нет, мир не прельщает меня и никогда не прельстит.

– Отчего ж ты хочешь оставить корабль? – спросила Марья Ивановна.

Дуня ни слова не сказала на то.

– Ты все думаешь, будто тебя обманули, всех наших тайн не открыли? Ошибаешься. Варенька тебе сказывала, почему тебе не говорили о вымышленных простецах сказаньях. Они нужны одним людям малого ведения. Сколько раз братцу я говорила, что не следует и поминать об них в сионской горнице, как и делалось это в Петербурге у Катерины Филипповны – не послушались

моих советов. Тут я нисколько не виновата... К словам Вареньки мне нечего прибавлять. Где ты видишь обман? Мы сами никакой веры не даем этим сказкам, хоть и считаем их нужными, даже необходимыми для простых людей, неначитанных, необразованных. Не обманывали тебя, ничего от тебя не скрывали, а только не хотели смущать тебя пустяками. Я виновата кругом, что не сказала об этом тебе до собора, надо было прежде сказать – хоть за день, хоть за два... И Варенька с Катенькой виноваты, что не сказали тебе наперед об этих сказках.

Дуня по-прежнему молчала.

– Не то тебя смущает, – строго и учительно сказала Марья Ивановна. – Не подозрение в обмане расстроило тебя. Враг бога и людей воздвигает в твоей душе бурю сомнений... Его дело!.. Берегись, чтоб совсем он не опутал тебя... Борись, не покоряйся. Будешь поддаваться сомненьям, сама не заметишь, как навеки погибнешь. Скоро приедет сюда Егор Сергеич. Подробней и прямее, чем братец Николаюшка, станет он говорить о божьих людях Араратской горы. Будешь тогда на соборе?

– Не буду, – промолвила Дуня.

– Напрасно, – сдержанно ответила Марья Ивановна. – Я сказала тебе, что пророк или кормщик корабля, принимающих в круг верных-праведных женщину, делается ее духовным супругом. А братец Николаюшка говорит, что это не так. Приедет Егорушка, он об этом расскажет точно и подробно.

Приздумалась Дуня. Хотя и решилась она оставить общество людей божьих, но любопытство сильно подстрекало ее. Согласилась быть в сионской горнице и говорить с араратским гостем, но отказалась радеть и пророчествовать, сказала, что будет одета в обычное платье, а «белых риз» ни за что на свете не наденет и сядет не впереди, а у входной двери. Дозволяется же ведь это большим и недужным.

Как ни уговаривала ее Марья Ивановна, Дуня настояла на своем.

Пришел успеньев день – в Луповицах храмовой праздник. Во время поста и Луповицкие и все жившие у них божьи люди, кроме Дуни, говели и накануне праздника приобщились у отца Прохора. И во дни говенья и на самый праздник ничего не было противного церковности, все прошло спокойно и прилично.

Гостей наехало довольно, то были ближние и дальние соседи Луповицких, понятия не имевшие о тайнах сионской горницы. Два либо три раза в году Луповицкие, ради отклонения подозрений в принадлежности к секте, за что дорого поплатился отец их, созывали к себе посторонних гостей на обед. Так и в храмовые праздники бывало. На эти дни в хлыстовском доме все изменялось. Стол бывал изысканный и роскошный, тонкие вина и редкие плоды подавались гостям в обилии, сами хозяева в те дни отступали от постничества – ели и пили все, что ни подавалось на стол. «Нужды ради» женщины снимали даже черные платья и одевались в цветные, а прислуга являлась в ливрейных нарядах, но никогда в числе ее не бывало в эти дни ни дворецкого Сидора, ни других участников собраний в сионской горнице. Не бывало на тех праздниках и близких к Луповицким людей – Кислова, Строинского. Они не езжали на это время, опасаясь искушений мирскою суетой. После обеда по комнатам расставлялись карточные столы, раздавались звуки старых, давным-давно расстроенных фортепиан, всюду слышались и веселый говор и шутливый смех. Казалось, давным-давно отжитая в Луповицах шумная жизнь воскресала. Только не было отъезжих полей, попок на охоте, выводки коней, музыкантов, певиц и театра.

Собралось гостей больше пятидесяти человек, все почти мужчины, из соседок приехало не больше пяти человек. Соседи, хоть и считали дом Луповицких загадочным, не поручились бы за благонадежность кого бы то ни было из семьи его хозяев, но обеды и ужины у них бывали так вкусны и редки в степной стороне, что каждый счел бы за грех не приехать на званный пир. Иные приехали еще накануне праздника с вечера, другие рано поутру, и все были в церкви. К обедне только Дуня не ходила. Претило ей войти в церковь и молиться с никонианами. Детские впечатле-

ния, суровые наставления в скитской обители, разговоры с Дарьей Сергеевной давно развили в ней нетерпимость, даже ненависть к великороссийской церкви. В своем ослеплении Дуня полагала, что в этой смущенной, по ее мнению, церкви ересей больше, чем в кораблях людей божьих.

После обедни в дом пришел отец Прохор с причтом и со всеми семейными. Отслужив праздничный молебен, пошел он по комнатам кропить их святой водой. Андрей Александрыч нес перед ним чашу. Комнату Дуни миновали, зная, что ей будет неприятно посещение отца Прохора. После того и хозяева и гости, напившись чаю и покушав праздничного пирога, со всякого рода прибавленьями, пошли в сад, где уж были накрыты столы для угощения крестьян. Три праздника в один день сошлись: велика-пречиста – разговенье, сельский храмовой праздник и «дожинки».

Накануне еще бабы и девки покончили яровое, а после обедни, обвив серпы молодой соломой, а иные остававшимися на полях и лугах цветами и высоко держа те серпы над головами, гурьбой повалили на барский двор. Еще выше несли они на руках «последний сноп», одетый в красный сарафан, разукрашенный разноцветными лентами. Сняв шапки, следом за женщинами чинно выступали мужчины – старые, малые, женихи и подростки. Все село сошлось, пришли даже толпы из окольных деревень – всякому в охоту было сытно поесть, пьяно попить на барском пиру-угощении.

Распахнулись ворота, и первыми на господский двор жнеи вошли. Хозяин, Андрей Александрыч, в сношениях с крестьянами строго соблюдавший народные обряды, вышел навстречу жнеям. Был он без шапки, а в руках держал покрытое расшитым полотенцем деревянное блюдо с большим хлебом, испеченным из новой пшеницы. Завидев Андрея Александрыча, громко закричали жнеи:

– С двумя полями сжатыми, с третьим засеянным проздравляем вас, государь наш батюшка!

Перекрестился Андрей Александрыч, низко поклонился жнеям и молвил:

– Жнеи молодые, серпы золотые, милости просим покушать, нового хлеба порушать.

– На здоровье свет государю боярину ласковому! заголосили и мужчины и женщины. – Сияй, государь, барской лаской-милостью, как на высоком небе сияет красное солнышко. Свети добротой-щедротой, светлая наша боярыня, как ясен месяц светит во темную ночь. Цвети, ненаглядная наша боярышня, расцветай, ровно звездочка яркая. Белей, ровно белый сиег, румяней, как заря зорюшка, нам на радость, себе на пригожество.

И звал тут Андрей Александрыч сельщину– деревенщину в саду покушать, попраздновать. И повалил туда толпами радостный, веселый народ. «Последний сноп» на особом столе поставили, а вокруг его положили цветами и соломой обвитые серпы. Отец Прохор благословил яствие и питье и окропил столы святою водой. Поднесли всем по стаканчику водки, а непьющим ренского. Потом ставили на столы мясные варева: щи со свежиной, лапшу со свининой, пироги, разные каши, яблоки и кислое молоко с толокном, что зовется «деженем». Без дежени на Пречистую, как без кулича на Пасху, и стол не в стол. Подавались вперемежку красоули зелена вина и стаканы браги сыченой, а ядреного квасу, на трех солодах ставленного, было на столах столько, что хоть купайся в нем.

Кончилась трапеза сельщины-деревенщины. Все время кругом ее стояли наезжие гости, а хозяева угощали пирующих. Встали, наконец, крестьяне из-за столов, богу помолились, хозяевам поклонились и пошли в дальний сад на широкую луговину. До позднего вечера доносились оттуда веселые песни успенских хороводов:

Закатилось красно солнышко

За зелен виноград,

Целуемся, милуемся -

Кто кому рад.

До «первого огня» пелись эти песни. В успеньев день в первый раз после лета вздувают по избам огни.

Нет теперь больше добрых, старорусских обрядов, даже и по дальним захолустьям нет. Все потерялось в наплыве чуждых обычаев и вновь создавшихся отношений.

Что ни день, то больше новшеств, а извечные порядки умаляются – все отрывается от старого корня.

А в дому Луповицких меж тем убирали столы, украшали их, уставляли ценными напитками и плодами своих теплиц. Входили в столовую гости веселые, говорливые, садились за столы по местам. Шуткам и затейным разговорам конца не было, одни хозяева, кроме Андрея Александрыча, все время оставались сдержанны и холодны. Изронят изредка словечко, а ни за что не улыбнутся.

Отобедали и тотчас кто за карты, кто посмотреть на хозяйство Андрея Александрыча. Иные по саду разошлись... И Дуня пошла в сад, одинокая, молчаливая. На одной из дорожек неожиданно встретила она с отцом Прохором. Залюбовался он на высокие, густолистные каштаны и чуть слышно напевал какую-то церковную песнь. Сняв широкополую шляпу и низко поклонясь, завел он с Дуней разговор, изредка поглядывая на нее с жалобною улыбкой, будто угадывая душевное ее горе и бурю тревожных сомнений. Жаль стало ему бедную девушку.

– Скучаете? Так надо понимать, – сказал отец Прохор, пойдя рядом с Дуней.

– Нет, я не скушаю. Не о чем, – промолвила Дуня в ответ.

– Та-а-ак-с... – как-то робко, подергивая редкую седенькую бородку, сказал отец Прохор.

Боялся он, чтобы какие-нибудь неосторожные, спроста сказанные речи не дошли в превратном виде до Луповицких... Перетолкуют ему во вред и поставят в трудное положение по хозяйству. Прощай тогда довольство в жизни, впереди нищета, озлобления, а пожалуй, и хуже того, ежели вздумают господа пожаловаться. Помолчал отец Прохор и, будто в оправданье себе, сказал:

– А ежели и скучаете, так с вашей стороны это совершенно натурально и даже, можно сказать, похвально. В такой великий праздник в чужих людях находитесь, от родителей далече. Хотя, конечно, здешние господа к вам расположены и живете вы у них на положении как бы ихней родственницы, однако же родительский кров всякому должен быть дороже всего на свете и приятнее, тем паче для такой молодой девицы. Что может сравниться с домом родителей или даже с местом, где мы божий свет увидели и возросли? Ничто, поистине ничто.

Там каждая неодушевленная даже вещь представляется родною, всякий уголок драгоценен по воспоминаниям, каждая былинка веселит взоры и услаждает душу... По этому я и спросил вас, не скучаете ли по матушке да по батюшке, а может быть, и по другим близким по плоти.

– У меня нет матушки... Не помню даже ее... – тихо ответила Дуня. – И родных, кроме тятеньки, никого нет, – прибавила она.

– Один только родитель!.. Сиротка вы поэтому, с участием продолжал отец Прохор. – Что ж ваш батюшка дома теперь?

– Нет, теперь он на ярманке у Макарья, рыбой ведь он торгует. Недели через полторы либо через две домой воротится, – сказала Дуня.

– Тогда и вы к нему? – спросил отец Прохор.

– Не знаю, – грустно ответила Дуня. – Я ведь не на своей воле. Марья Ивановна привезла меня сюда погостить и обещалась тятеньке привезти меня обратно. Да вот идут день за день, неделя за неделей... а что-то не видать, чтоб она собиралась в дорогу... а путь не близкий – больше четырехсот верст... Одной как ехать? И дороги не знаю и страшно... мало ли что может случиться? И жду поневоле... А тут какой-то ихний родственник приедет погостить, Марья Ивановна для него остаться хочет – давно, слышь, не видались.

– Знаю, слышали и мы об этом, с Кавказа едет... с глубоким вздохом промолвил отец Прохор. – Егор Сергеич Денисов родным племянником приходится Варваре Петровне. Довольно известны о нем... Не обессудьте, Авдотья Марковна, дозвоьте спросить, вы ведь не нашего православного стада, не церковница?

– Нет, отец Прохор, я не церковница, – нахмурилась несколько, ответила Дуня.

– По старообрядству, стало быть, церкви нашей за свято не почитаете? – продолжал расспросы отец Прохор.

– Мы по спасову согласию, не чуждаемся и приемлющих священство, – отвечала Дуня. – Крестят у нас и свадьбы венчают в великороссийской, а хоронят по-своему, по старине, значит, отдельные кладбища для того отведены.

– Знаем мы эти положения... Очень хорошо известны, хотя по здешним сторонам таковых и не имеется, – сказал отец Прохор. – Не достойно и даже душевредно чуждаться святой церкви,

Авдотья Марковна, но не к тому речь веду. Все же вы единую с нами веру исповедуете, разнствуете токмо в обрядах, да вот еще духовного чинопочинания отрицаетесь. Тяжко, но не столь тяжело, как новосоставленные ереси, совсем попирающие святую веру. Как древние фарисеи, часто они во храмах бывают, строгие посты содержат и соблюдают другие обряды, но являют себя как поваленные гробницы, о них же господь сказал: «Внеуду являются красны, внутрюду же полны суть костей мертвых и всякие нечистоты».

Приздумалась Дуня. Отец Прохор как по книге читал, что было у нее на мыслях.

– Послушайте, Авдотья Марковна. Мне очень жалко вас, – сказал он, когда они вошли в самый глухой, уединенный угол сада. – Не погнушайтесь моими словами, добрый совет желал бы вам дать. А прежде всего попрошу я вас – не глядите на меня, как на попа, да к тому ж, как называете нас, «никонианского». Смотрите на меня, как на старика, – по моим годам ведь я вам в дедушки гождусь. Добра желая, хочу вам говорить не своими словами, вы, пожалуй, их и не примете, а вечными словами господа. Вспомните, что сказал он ученикам: "Внемлите от лживых пророк, иже приходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы. От плод их познаете их; егда объемлют от терния грозды или от репия смоквы?..

Не всяк глаголай ми: господи, господи, внидет в царствие небесное, но творяй волю отца моего, иже есть на небесах. Мнози рекут мне во он день: господи, господи, не в твое ли имя пророчествовахом и твоим именем бесы изгонихом, и твоим именем силы многи сотворихом. И тогда исповем им, яко николиже знах вас, отыдите от мене делающей беззаконие". И он же, сын божий, пречистыми устами сказал: «Блюдите да никто же вас прельстит, мнози бо приидут во имя мое, глаголюще: аз есмь Христос, и многие прельстят...». И дальше изрек: «Аще кто речет вам се зде Христос или онде – не имите веры: восстанут бо лжехристы и лжепророки и ладят знамения и чудеса, яко же прельстят, аще возможно, и избранная».

– Авдотья Марковна, – после долгого молчания сказал отец Прохор, – доходили до меня вести, что хотя ваши годы и молодые, а в писании вы довольно сведущи. Не от себя и не от человеческих писаний предлагаю вам, а сказанное самим истинным Христом возвещаю. Божественные словеса неизмеримо выше всяких слов, всяких писаний и всяких деяний человеческих. Веруете ли вы во святое Евангелие?

– Конечно, верую, отец Прохор, – отвечала Дуня, ласково подняв глаза на деревенского попа, до тех пор редко ею виданного и никогда не обращавшего на себя ее вниманья.

– Верно ли, досконально ли я привел вам слова господни? – спросил он.

– Верно, сколько упомянуть могу, – отвечала Дуня.

– Так слушайте же, – возвысив голос, величаво заговорил отец Прохор. – По господню предсказанию, в наши дни явилось много лжеучителей и лжепророков. Явились даже лжехристы. Они пророчествуют, сказывают, будто чудеса даже творят, и творят так, на прельщение многих. Дьявол помогает им. Сатана водит ими, он в них действует для утверждения заблудших и погрязших в ересь. Свои у них христы. Суслов там какой-то, стрелец Лупкин, Андрей юродивый, свои богородицы – Акулина стрельчиха, другая Акулина, якобы сошедшая с трона царица и поселившаяся в Орловской губернии среди богоборных еретиков... Да что много говорить, чаятельно сами наслушались таких басен.

Молчала Дуня, но слова отца Прохора сильней и сильнее волновали ее. «Не свое ведь он говорил, а господни слова», – в смущенье она думала.

– Забудьте, опять-таки скажу вам, Авдотья Марковна, забудьте на некоторое время, что с вами говорит, по-вашему, поп никонианский, – продолжал отец Прохор. – Из жалости говорю к вам, по человечеству. Вы еще юная, неопытная, вы добры и доверчивы, вас не трудно вовлечь в ров погибельный, легко низвергнуть в бездонную пучину богомерзких заблуждений. Не спрашиваю, что видели вы, какие лживые и ложные речи слышали. Об одном предварю по вашей неопытности.

Берегитесь, всемерно берегитесь Денисова, когда приедет он. Каждый раз в свои приезды он много памяти оставляет по себе. Много слез пролито по его милости и теперь льются, да никогда и не осушатся. Это великий и самый злой еретик! Особенно пагубен для юных девиц – оскверняет их да еще богохульно говорит: «Я-де их освящаю и от грехов очищаю». Вполне достоверно знаю

его злохудожную душу. Все погрязшие в богомерзской ереси, хоть и по наружности, но к церкви божией усердны. Четырежды в году говеют, исповедаются, приобщаются, и тогда иные колеблющиеся открывают мне, как отцу духовному, противные Христову учению тайны.

Оттого-то мне и известно все – тридцать второй год состою при здешнем приходе – всю подноготную их знаю, и пляски, и другие обряды, и все богопротивное их учение... Всякими мерами увлекают они особенно юных, не устоявшихся еще в вере и благочестии, всячески соблазняют их, напускают на них какое-то одурение, и те, потеряв волю и рассудок, приходят в исступление и говорят сами не знают что. И такое исступление богохульно считается у них наитием святого духа, а бессмысленные речи пророчествами. Беглых солдат и простых мужиков признают христами, сквернословят, якобы сам господь Саваоф не один раз на землю сходил и воплощался в беглых солдатах...

Вот они каковы, лжеучители и лжепророки, Христом прореченные!.. Блюдитесь их!.. Особливо блюдитесь Денисова!.. Берегитесь, Авдотья Марковна, паче всего берегитесь, не ввергайте себя в пучину гибели..

Ни слова не сказала на это Дуня. Все-таки недоверчива была она к никонианскому попу... но ведь он говорил слова евангельские. «Им нельзя не верить, – она думает. – Неверный он, этот поп, но в сионской горнице ересей больше. Там нет правды, а только какая-то насмешка над верой, преданной Христом и святыми отцами. И все это ей открывает, предостерегает от лжеучений и от Денисова никонианин!.. Верить ли? Не хочет ли он увлечь меня в свою церковь?.. Ах, если бы кто из наших теперь поговорил со мною! Но кому говорить? Сама матушка Манефа, наверно, не сумела бы утолить душевных моих страданий... Хозяйство у ней главное, а в писании хоть и сильна, но знает ереси и заблуждения давних только времен, а что теперь проповедуется и творится новыми лжеучителями, о том, кажется, и не слыхивала».

Так думала Дуня, молча ходя с отцом Прохором по отдаленным, тенистым дорожкам садовых окраин. Ни словом, ни видом не выразила она сочувствия к речам его; мысль, что говорит с никонианином, соблазняла ее.

– Не искушайте, – тихо промолвила она. – Не искушаю, – твердо, но с душевною грустью сказал отец Прохор. – Вот что я еще вам скажу. Быть может, вы думаете: «С чего это вздумал меня поучать? Верно, ему хочется ввести меня в свою церковь. Выгодно, дескать, у этой девицы богатое наследство». Мы ведь все знаем, что в этом доме творится, молчим только из страха и опасения... так забудьте все это хоть на малое время.

Как много искусившийся в житейском опыте седовласый старец, говорю теперь вам, едва вступающей в жизнь, говорю из бескорыстной любви и сердечного соболезнования. Перед вами ров погибельный; в исступление чувств, в беспамятстве, в помрачении ума, легкомысленно, ни о чем не рассуждая, стремитесь вы к его обрыву. Все одно как человек вне ума, никем не гонимый, бежит к омуту... И вот я стою возле, и мимо меня бежит человек к верной гибели... Что ж мне? Спокойно глядеть, как он будет утопать? Нет, Авдотья Марковна, так нельзя... Так не повелел Христос, сын божий. Я кинусь в бездонный омут, ежели угодно господу, спасу того человека, если же не угодно, сам погибну с ним... И не взйдет тогда мне на ум – какой он веры. Будь он сын церкви, будь обрядовый разногласник, как все ваши, будь жид, татарин, даже хлыст, он все-таки человек, все-таки душа в нем от единого. Таким же образом и к вам обратился я и не умолчу, не загражду уст своих, одно стану твердить вам: молитесь, Авдотья Марковна, молитесь богу, да избавит он вас от сети ловчей. Как хотите молитесь, по-нашему ли, по-вашему ли, только не по-ихнему, не так, как беснуются они в своей сионской горнице.

Мерзки дела их пред господом. Там нет правды, где ее скрывают под спудом, охраняют клятвами, страхом и угрозами. «Светильник истины вжигают на свещнице, да светит всем» (Матв., V-15.).

В это время вдали показалась Марья Ивановна. Медленными, величавыми шагами шла она навстречу, то заглядывая в кусты, то поднимая взоры к вершинам деревьев, то останавливаясь у цветников, любуясь на роскошные цветы и упиваясь их благовонием.

Смутился отец Прохор, увидавши ее. Тихим голосом сказал он Дуне:

– Уж вы, пожалуйста, Авдотья Марковна, не открывайте, о чем мы говорили. Больше трид-

цати лет здесь живу, привык... а ежели восстановлю их против себя, мое положение будет самое горькое. Из любви к вам говорил я, из сожаленья, а не из чего другого. Богом прошу, не говорите ничего... А Денисова бойтесь... Пуще всего бойтесь... Это такой враг, каких немного бывает. Смотрите же, не погубите меня, старика, со всей семьей моей...

Он весь принизился, тревога и смущенье разлились по старому лицу.

– Будьте спокойны, – отвечала ему Дуня. – А вот что скажите скорей, не случилось ли вам когда-нибудь, как вы давеча говорили, кинуться в воду и освободить человека из здешнего омута? Не случилось ли укрывать кого-нибудь из завлеченных и потом тайно выпроваживать их из Луповиц?

– Не потаю, – шепнул отец Прохор. – Случалось. Закона исполнение в том вижу, обязанность свою...

– А если б я попросила у вас помощи? – трепетным голосом промолвила Дуня.

– Только в укромное время придите... Всего лучше ночью, – низко наклонив к ней голову, прошептал отец Прохор.

– Вот где ты, милая Дунюшка, – раздался громкий и приветливый голос Марьи Ивановны. – С отцом Прохором! Смотри, не пришлось бы мне отвечать перед Марком Данилычем, что ты, живучи у нас, познакомилась с православным священником, – ласково она промолвила.

– Тятенька за это не взыщет, – сдержанно ответила Дуня.

– И сам он водит знакомство с великороссийскими, любит даже с ними беседовать.

Не отвечала Марья Ивановна. Обратясь к Дуне, сказала она:

– Пойдем, скоро чай подадут. Пойдемте, батюшка.

И пошли они в дом. А там стоном стоят голоса: шумят, спорят за картами, кто-то на расстроенных фортепианах разыгрывает давно забытую сонату. На обширной террасе слышатся веселые клики и радостный смех молодых людей.

А в богадельне и на пасеке ровно все вымерли.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Недели через полторы после Успенья, в обеденную пору, на двор Луповицких въехала обрызганная засохшею грязью дорожная карета. Из нее вышел молодой человек лет тридцати, высокого роста, с изможденным и мертвенно пожелтевшим лицом. Все бросились на крыльцо – и оба Луповицкие, и Варвара Петровна, и Варенька, и Марья Ивановна. В передней столпилась входяая в сионскую горницу прислуга. Прибежала, откуда только у старухи прыть взялась, богаделенная Матренушка со своими подначальными, приплелся с клюкой весь медом и воском пропитанный, дряхлый пасечник Кирилла. Дуня смотрела из окна, своей комнаты.

Взглянула... «Силы небесные!.. Что это? Это не Егор Сергеич, не араратский посланник, это он, Петр Степаныч! Но где ж пылающие отвагой и весельем взоры? Где алый румянец полных ланит? Куда делись густые черные кудри? Болезнь его сокрушила или изъела тоска? Голос слабый, какой-то старческий, но вот-вот его привычные ухватки, приемы, самая походка! Во сне я или наяву», – думает Дуня. И болезненно заныло у ней сердце... А голос отца Прохора раздается в ушах: «Берегись его!..» Зазеленело в очах Дуни; не помня себя, едва дошла она до постели и ринулась на нее... Беспамятство ею овладело.

– Христос воскресе (Христос воскресе – обычное приветствие у хлыстов при встречах. Этими же словами всегда почти начинаются и письма их.), Егорушка! Свет ты мой ненаглядный! – с плачем и рыданиями обнимая и целуя племянника, голосила Варвара Петровна. – Насилу-то дождались мы тебя! Со дня на день ожидали.

– Христос воскресе, братец мой милый, желанный! Наконец-то, обрадовал приездом своим. Здоров, ли, миленький? Не было ль какого горя?.. Ты очень изменился в лице! – ласкаясь и ровно ласточка увиваясь вокруг него, с радостными слезами щебетала Варенька.

– Христос воскресе, золотой мой Егорушка! – крепко обнимая Денисова, восклицала Марья Ивановна. – Задержал ты меня здесь в Луповицах, давно пора домой, да вот тебя все дожидалась. Хоть денек хотелось побыть с тобой... Бог знает сколько времени не видались мы... Да как же ты

похудел, узнать тебя нельзя...

– Христос воскресе, племяш! Племянник, а также: свой, родной, родич, земляк. Уж мы ждали, ждали тебя, я уж было думал, что ты вовсе не приедешь, целуясь с гостем, радостно говорил Андрей Александрыч.

– Христос воскресе, желанный Егорушка! – по– радельному припрыгивая на правую ногу вокруг Денисова, восторженно вскричал Николай Александрыч.

– Наконец-то услышим от тебя новые глаголы, наконец– то Расскажешь ты нам про новые правила горы Араратской.

Денисов никому ни слова в ответ. Его целуют, его ласкают, приветствуют, а он ровно не видит никого, ровно ничего не слышит. Склонив голову, молча идет в дом медленными шагами.

В сенях встретила приезжего прислуга, приведенная в тайну сокровенную. С радостью и весельем встречает она барина, преисполненного благодати. С громкими возгласами «Христос воскресе» и мужчины и женщины ловят его руки, целуют полы его одежды, каждому хочется хоть прикоснуться к великому пророку, неумолимому радельщику, дивному стихослагателю и святому-блаженному. Молча, потупя взоры, идет он дальше и дальше, никому не говоря ни слова.

Удивляются люди божьи перемене в Денисове, такой прежде был он разговорчивый, словоохотливый.

– С дороги притомился, должно быть, – тихонько меж собой переговаривают. – Отдохнет, затрубит в трубу живогласную.

Егор Сергеич в самом деле истомлен был дурною дорогой, две ночи не спал, и теперь очень хотелось ему поскорей отдохнуть. Он сказал про это Николаю Александрычу, тот повел его в приготовленную комнату и сам помог раздеться приезжему гостю.

Подали чай, любимую Денисовым молочную кашу из сорочинского пшена, рыбы, пирожков, варенья, разных плодов и ягод. В его комнату никто не смел войти. Из рук Варвары Петровны и Марьи Ивановны Николай Александрыч за дверьми сам принимал и чай и кушанья, но Егор Сергеич отказался от угощения, пил только чай да съел небольшую грушу, и ту не всю.

За чаем Николай Александрыч успел-таки вызвать его на разговор. Сначала Денисов рассказывал о дорожных приключениях, как в сильной душевной тоске приходилось ему проводить время среди неведущих тайных истин, как суетными разговорами они возмущали слух его.

– От этого мученья больше, чем от дороги, я утомился. Ни думать не могу, ни слушать, ни говорить, сказал Денисов.

Николай Александрыч, однако, свел беседу на араратских.

– Всего не могу сегодня рассказать, – молвил Егор Сергеич. – Дай успокоиться, дай в себя прийти, с мыслями собраться. Духом бодр, но плоть немощна. Отдохну, успокоюсь, завтра все расскажу, что видел и слышал за Кавказом, чему был очевидцем и что слышал от людей, стоящих доверия.

– Максима-то Комара видал? – спросил Николай Александрыч.

– Сколько раз, – ответил Егор Сергеич. – Частенько один на один с ним беседовал. Истинная утеха верных– праведных!

– Откуда он, и как начались его действия? – продолжал свои расспросы Николай Александрыч.

– Был он молоканином. В молодых еще годах сослан на Кавказ и поселен у подошвы горы Араратской, в деревне Никитиной, – слабым, прерывающимся голосом начал говорить Денисов. – Верны-праведные из разных мест до него еще поселены были в том краю – были тут и орловские, и тамбовские, с Молочных Вод, из саратовских степей, из самой даже Москвы. Видит Максим, что у тамошних божьих людей вера стала пестра – в одном корабле один обряд, в другом другой.

И было ему внушено всех соединить во едино стадо, и чтоб в том стаде был один пастырь. Предтечей ему был Семенушка, по– мирскому Семен Матвеич Уклеин, тоже тамбовский молоканин, сосланный с семьюдесятью учениками за Кавказ. А то было еще до пришествия в обетованную страну Максима. Семенушка стал сблизать молокан с людьми божьими (Это слух неверный. Его стали распускать прыгунки много времени спустя по смерти Уклеина. Напротив, Уклеин был чистый молоканин, без всяких примесей. И теперь закавказские молокане зовут себя Уклеинами

или Семенушкиными, постоянно враждуя с прыгунками. Семен Уклеин пользовался огромным уважением за ум, знание священного писания и строгую жизнь. Его иные молокане даже святым почитают, несмотря, на то, что молоканское учение отвергает святых. Этого-то всеми уважаемого человека прыгунки и вздумали после его смерти приобщить к своей вере.), а довершил это дело другой преисполненный благодати предтеча – Сидорушка (Сначала молоканин и, кажется, уроженец Тамбовской губернии, Сидор Андреев. Он долго шатался по турецким и персидским пределам и не раз бывал на Молочных Водах и у закавказских веденцов. Он первый провозгласил о будущем блаженном Араратском царстве. Биография Сидора Андреева очень темна. Около 1842 года был он сослан в Сибирь и едва ли не бежал оттуда.): он перенял у людей божьих раденья и вводил их у молокан. Еще когда Сидорушка был в России, он говорил близким и писал дальним, что у горы Арарат, поблизости райской реки Евфрата, есть земля, верным-праведным обетованная, кипящая млеком и медом. Сидорушка рассказывал, что сам был в той стороне, и все были рады вестям его и веселились духом, а чтобы больше еще увериться в словах Сидора Андреича, посылали с Молочных Вод к Арарату учителя своего Никитушку. И тот был в стране обетованной и, возвращаясь, говорил ученикам: "С востока приходили волхвы поклониться Христу в день рождества его, на востоке же и та земля, что господом обещана праведным последних дней. На востоке был насажден земной рай, на востоке, на горе Арарате, спасся Ной от потопных вод, на том же востоке господу угодно насадить и второй земной рай, создать там «благодатное» Араратское царство, вечное жилище избранных служителей агнца.

В том же царстве земля нова и небо ново, а нынешнего неба и нынешней земли и моря нет (Апокалипсис), там сшедший с небес снятый град Иерусалим, в нем будут жить люди праведные. И не будет там ни солнца, ни луны, ни звезд, ни тьмы, ни ночи, ни гроз, ни стужи, ни зноя – от лица божия пролиется свет неприступный, и дыхание уст его согреет и напитает праведных". Так говорил учитель Никитушка, и сонм божьих людей уверовал в слова его.

А тут начальство стало и молокан и божьих людей ссылать за Кавказ и селить по деревням, что настроены на подножьях горы Араратской. Сослали туда и Сидорушку с Никитушкой и многих других с Молочных Вод. На новом месте много потрудился Сидорушка, соединяя божьих людей с молоканами, чем и предварил Максима. Соединенных узами правой веры неверные прозвали «веденцами» и «прыгунками», не понимая святости корабельного раденья. Много там всяких неверных живет в одних с божьими людьми деревнях – есть «геры», все одно что жида, только говорят меж собой по-русски, а молятся по-еврейски, приемлют обрезание и празднуют жидовские праздники... Много молокан, отвергающих наитие святого духа на избранных, много армян и татар – и все они над нашей верой насмеваются.

– Да это все известно нам, Егорушка. А ты Расскажи-ка лучше мне про Максима, – прерывая Денисова, сказал Николай Александрч.

Помолчав немного, Егор Сергеич еще выпил чашку чая и продолжал рассказ, постепенно водухеваясь и приходя в иступленный восторг:

– Ждали божьи люди с нетерпеньем последнего дня мира сего... Ждали дни и ночи, что вот загремит в небесах труба архангельская и со всех концов вселенной соберутся живые и мертвые люди. Не страшились и боязни не знали люди праведные, ибо мы не уснем, но только изменимся (Посл. к римлянам, XV-51.). По писанию, мертвые о Христе, то есть умершие наши собратья верны-праведные, воскреснут первые, потом мы, в живых оставшиеся, будем вместе с ними восхищены на облаках (Первое послание к солунянам, IV-16, 17.).

И вот в тысяча восемьсот тридцать втором году божьи люди и все другие разных вер ждали последнего дня и пришествия судии небесного. Собрались к Арарату сокровенную тайну познавшие ко дню Пасхи, как заповедано пророком Иеремией (Иеремии, XXX-8, «Соберу их (праведных) от конец земли в праздник Пасхи»). Но тщетна была надежда их – не гремела труба архангельская, не было небесных знамений. Через четыре года, в восемьсот тридцать шестом году снова стали ждать кончины мира, не одни праведные ждали ее, но и неверные, было о том даже в книгах печатано (Со слов Бенгеля и Юнга Штиллинга. Это попало в русские мистические книги и распространилось по России. И молокане с духоборцами, и хлысты, и раскольники, и даже верные православной церкви ожидали страшного суда в 1836 году.).

Явилась звезда хвостатая, больше чем на половину неба раскинулся багряный хвост ее (В 1836 году была видима комета Галлея.). И думали, что это та звезда, ей же дан ключ студенца бездны... Ждали – вот она упадет, и с земли к небесам поднимется дым студеничный, от него померкнет солнце, и изыдут на землю пруги, подобные коням, на брань уготованным, с человеческими лицами, с золотыми венцами на головах, со львиными зубами, с хвостами скорпионовыми...

Ждали и пришествия царя тех чудовищ адской бездны, царя Аполлиона (Апокалипсис, IX-11.). Но время шло, не было ни дыма студеничного, ни солнечного помрачения, ни чудных пругов, ни царя бездны Аполлиона – один умер, другой тогда еще не пришел (Русское простонародье всех верований к апокалипсическому царю бездны Аполлиону по созвучию применяет обоих французских императоров Наполеонов. Началось это еще с 1812 года.).

И опять не явился господь верным, опять не отверз врат в блаженное Араратское царство. Еще четыре года прошло, и наступил восемьсот сороковой. Голод тогда был по всей земле и всякая нужда человеческая. Верны-праведные видели в том знамение близкого господня пришествия. И снова на день Пасхи пришли они с севера к подножью горы Араратской, но и тогда не было ничего особенного. Не только на Пасху, но и на Вознесенье и на Троицын день все еще ждали верны-праведные исполнения обетований, но и тут ничего не видали и ничего не слыхали. Но от горы не отошли, плакали, рыдали, руки к небу воздевали, громогласно вопияли, да откроется скорее блаженное царство. Вдруг, нежданно– нежданно, в темные тучи облачился Арарат. Застонала земля стоном, раздалися в ее недрах громовые перекааты, и она затрепетала. Разрушились дома, и много погибло людей. Не стерпел и Арарат. Как тростинка, надломился, оторвались от него каменные скалы и вечные льды, что спокон века лежат на вершине его. Видя такие чудеса небывалые, ждут верны-праведные последнего часа грешному миру, ждут облаков для восхищения их в горний Иерусалим.

Но и тут напрасно ждали совершения пророчеств, не гремела труба архангела, не меркло солнце, не обращалась луна в кровь, звезды с неба не падали. Наконец, престали громы, молнии угасли, трясение земли кончилось, и все утишилось. По– прежнему на старом небе светит старое солнце, попрежнему обычным путем течет Евфрат, ни в чем нет измененья. А праведные все стоят перед святой горой, стоят нерасходно, со слезами богу молятся, покончил бы скорее мрачные, греховные дни века сего. И три дня они молились, не пивши, не евши...

И через три дня на четвертый, на самый Иванов день, опять земля затряслась, опять вострепетал Арарат, опять на всех людей напал ужас, oprичь наших праведных... Но вскоре опять все утишилось, опять пошло все по-старому. И вот видят божьи люди, что с разрушенного Арарата нисходит святолепный, светозарный, никому неведомый старец, брада белая по локоть, лик же юный. Белые ризы блистают на нем, как снег на солнечном свете; чудным разноцветным поясом он опоясан, а на поясе слова: «От вышнего Сиона». И сказал божьим людям неведомый: "По грехам вашим, по неверию вашему мольбы ваши не услышаны, и отсрочен вход в Араратское царство.

Сильный, всемогущий хочет, дабы до кончины мира еще больше людей пришло в покаяние и стали б они достойны небесных венцов, от начала веков уготованных". Со страхом и трепетом божьи люди стали у него спрашивать: «Кто еси и откуда твое пришествие?..» Он же отвечал: «Я иерусалимский старец, пришел с вышнего Сиона, из горнего Иерусалима». И снял с себя и высоко поднял чудный пояс. Ниц на сыру землю пали верные, преклоняясь перед поясом, исповедуя старцу свои прегрешенья. Старец же им грехи разрешал и каждому прощенному давал лоскутки от белых своих риз. И научил араратских божьих людей говорить новыми языками, ввел в закавказские корабли новые законы, разослал по разным сторонам послания, призывая всех к покаянию (В начале сороковых годов ходило по рукам и во множестве переписывалось так называвшееся «иерусалимское письмо» от лица какого-то иерусалимского старца. Оно было распространено не только среди простонародья, но и по домам купеческим, у небогатых помещиков, даже у некоторых из духовных лиц. В «иерусалимском письме» не было ничего противного православной вере или церковности; в нем говорилось только о покаянии. И тогда утверждали, что оно привезено с Кавказа. Кто таков был иерусалимский старец, осталось неизвестным. Думают, однако, что это

был Сидор Андреев, предсказавший прежде об Араратском царстве и в 1840 году пришедший к закавказским веденцам из Персии. Веденцы называют его саваофом, а Максима – христом.).

Максим Комар первый уверовал, что иерусалимский старец не прост человек, и за то старец во всем доверился ему и сказал, что много нового надо ввести у араратских, одно исправить, другое дополнить, третье отменить. И объявил верным-праведным, что дает им верховного пророка – сына своего, духовно от него рожденного, Максима Комара во христы, в цари по сердцу и в первосвященники. И тогда все преклонились пред нареченным царем. По малом времени иерусалимский старец и Максим целую ночь радели на святом кругу, а когда божьи люди спать разошлись, оба пошли на Арарат к Ноеву ковчегу. А тот ковчег до сих дней стоит на ледяной вершине, и нет к нему ни ходу, ни езду. К первому земному раю был приставлен на стражу херувим пламенный; к новому раю приставлен херувим мразный. Хладным дыханьем одел он в снега и нетающие льды верхи Арарата, но старец с Максимом по льдистым местам прошли, как по прохладному саду среди цветов и деревьев красоты неописанной. И там старец поведал Максиму все свои тайны.

И перед склонившимся до земли и коленопреклоненным Максимом старец стал ходить в слове, трубил в золотую трубу живогласную, пророчествовал общую судьбу праведным: «Боритесь с исконным врагом, его же окаянное имя да не взыдет никому на уста. Победившему его дана будет власть над языками – будет горы преставлять, будет мертвых воскрешать – и все ему покорится. Ангелы будут ему слуги, послужат ему солнце, и луна, и звезды, свет, и пламя, и недра земные, реки и моря, ветры и дождь, снег и мороз, и все человеки, и все скоты, и все звери, и все живое, по земле ходящее, в воздухе летающее, в водах плавающее. Имени же его вострепещет сила преисподняя, и убежит лукавый враг в самые темные вертепы геенские. И тогда дан будет избранным праведным кровопийственный меч, и отдадут они его неверным, и станут неверные тем мечом убивать друг друга, многие из них погибнут на войне и в междоусобных бранях. Тогда придет последнее наказание, горшее паче всех бывших. Все испразднятся, все погибнут, останутся одни верны– праведные. Сии же избранные из всех племен человеческих будут введены в блаженное царство Араратское. Тако да будет». И на том слове замолк неведомый, восклонился Максим – а того уж нет. Сам Максим так говорил мне об этом. И воцарился Максим над людьми божьими, венчался царским венцом, и надел багряницу, и под открытым небом на улице деревни Никитиной скакал и плясал по-давыдовски, на струнах– органах возыгрывал, и, ставши Христом, принял чин первосвященника и пророка над пророками.

От длинных речей и подступившего иступленья Денисов больше не мог говорить. Все его тело корчило в судорогах. Учащенно и тяжело вздыхал он, то и дело взмахивая руками, будто что-то ловил, наконец слабым, дрожащим, перерывчатым голосом дико зашел:

Кто с богом не водится,
По ночам ему не молится,
На раденьях не трудится,
Сердцем кто не надрывается,
Горючьими слезами не обливается
Много, много с того спросится,
Тяжело будет ответ держать,
На том свете в темноте лежать!
А кто с господом водится,
По ночам ему молится,
На раденьях не ленится,
Сердцем своим надрывается,
Живот кровью обливается,
Сердечный ключ поднимается,
Хотя сердцем надрывается
Да слезами оmyвается
За то на небе ему слава велия!

Егор Сергеич закашлялся. Он поднес к губам платок и весь окровенил его. Тусклыми глазами стал он обводить комнату. Когда припадок приутих, Николай Александрыч спросил:

– Что ж Максим повелел творить?

– Не могу... сил нет. Завтра... завтра... – задыхаясь на каждом слове, шептал Егор Сергеич. – Мне бы отдохнуть... успокоиться немножко... Давит... давит гнусную плоть мою... Не могу говорить... Завтра все расскажу... А теперь прощай... прощай!

– Не принять ли тебе чего-нибудь? – спросил Николай Александрыч. – Не позвать ли сестру Варварушку – у ней ото всего есть снадобья... Крестьян лечит.

– Не надо... Покоя... тишины... только...

И с этим словом повернулся на другой бок и лег лицом к стене.

Постоял над ним немного Николай Александрыч. Смотрит, а у Денисова лицо помертвело, руки похолодели, сердце почти не бьется. Только изредка пробегавшие по лицу судороги показывают, что он еще жив.

Вышел Николай Александрыч, распорядился... Ни в доме, ни в саду, ни в богадельне, ни в службах и жилищах прислуги нет звуков, даже самого затаенного шепота.

На другой день поутру Николай Александрыч вошел в комнату Егора Сергеича. Ни утомления, ни слабости в араратском госте, по-видимому, не осталось. С веселым взглядом, но задумчивый и сосредоточенный в самом себе, Денисов весело встретил кормщика корабля луповицкого.

– Отдохнул ли, голубчик, успокоился ли? – заботливо спросил Николай Александрыч.

– Нemoщность плоти минула, дух обновился, – ответил Денисов.

– Пойдем к нашим, или, может быть, здесь хочешь чай кушать? – спросил Николай Александрыч.

– Мне бы лучше здесь, к ним приду к обеду... – ответил Денисов.

Николай Александрыч распорядился. На серебряном подносе принес дорогой чайный прибор дворецкий Сидорушка. Поставив его на стол, подошел он к Денисову, взял за руку, поцеловал ее, а потом, обняв барина, сотворил с ним «серафимское лобзание», приговаривая:

– Христос воскрес, любезенький ты мой, белокрылый голубчик наш. Милуй тебя господи, примай чаще на себя божеское наитие, возвещай верным волю вышнюю. Препрославился ты, возлюбленный, во всех коленах земных!.. Избранный ты сосуд, святой и блаженный пророк!

– Здравствуй, любезный Сидорушка! – отвечал Денисов, лобызая дворецкого. – Вот еще захотел отец небесный, чтоб мы с тобой увиделись на грешной земле. Скажи мне, миленький, как поживаешь?

– Ото всей нетленной души и от плотского сердца не перестаю ежечасно благодарить превышнего за неизреченные милости, мне бывающие. Воспеваю зелен вертоград, садочки пречистые, утреннюю зорюшку неугасающую, солнце правды, праведным сияющее, нескончаемый день господень немерцающий. А насчет святого радения, прости немощного – скоро восемь десятков годов ляжет на кости мои, много радеть на святом кругу не могу.

– Всему свое время, возлюбленный, – сказал Егор Сергеич. – В духе пребывай, почаще на себя его сманивай постом, молитвой и песнопеньем, – проговорил учительно Денисов. – Паче же всего пророчествуй в назидание верных. И сам принимай пророчества, внимай им и твори по их повелениям. Тем душу сохранишь и закон исполнишь. Но теперь пока до будущей беседы... Обо многом надо мне потолковать с братцем Николаюшкой. Теперь потолкуем келейно, а после и с тобой, возлюбленный, побеседую. И на соборе поговорим.

Низко поклонился гостю дворецкий, еще раз поцеловал руку Денисова и вышел. Чай пили только гость с хозяином. Несколько времени они молчали. Наконец, Николай Александрыч сказал:

– Вчера говорил ты мне, Егорушка, про явления, бывшие в недавних годах на Арарате. Долго и много ты говорил, а я слова не вымолвил, хоть твои сказанья почти все известны мне, и недавно еще я сказывал о них на соборе, возвещая о скором приезде твоём. Теперь ты ободрился духом, кажется можно с тобой говорить. Хоть пасмурен ты и угрюм, но я уверен, что можно

говорить с тобой по делу, по истине и по правде. Мне нужен ум строгий, холодный, беспристрастный. Можешь ли так говорить? Без восторгов, без увлечений... Скажи... Иначе отложу до другого времени, когда будешь совсем в холодном спокойе.

– Говори, Николаюшка, – отозвался Денисов. Спокойно стану отвечать на твои вопросы, если только вдруг на меня не накатит. А скажу я тебе, сподобился я дара – частенько на меня накатывает. Бываю вне ума, когда сходит на меня ум божественный. Тогда, пожалуй, тебе и не понять моих слов... Дураком сочтешь, юродивым.

– Юродивые и блаженные – истые слуги превышнего разума, – сказал на то Николай Александрыч. Правда, что иной раз невместимо понимать их речи...

– Когда бываю восторжен духом, мои речи еще трудней понять. Сочтешь меня ума лишенным, богохульником, неверным... И все посмеются надо мной и поругаются мне и будет мое имя проречено. Орудием яко зло нечистого сочтут меня, человеком, уготованным геене огненной! – сказал Егор Сергеич. – Дан мне дар говорить новыми языки; новые законы даны мне. И те дары получил я прямо из уст христа и пророка Максима.

– Что ж это за новые языки? Можешь ли им научить нас? – спросил Николай Александрыч.

– Не могу, – сказал Егор Сергеич. – То дело святейшее из всех дел. Не всякому доступно оно. Это высочайшая из всех тайн, но мало доступная даже для праведнейшего из праведных... Когда говорю новыми языки, все понимаю и в словах своих чувствую величайший божественный смысл. Но лишь кончится пророчество – ничего не понимаю и не помню ничего.

Другие после скажут, что говорил я на соборе, но ни они, ни сам я не понимаем смысла небесных слов. Теми словами, тем языком говорили небесные силы, а на земле это тайна, открываемая только немногим избранным... И в старом писании сказано: «Глаголяй языки не человеком глаголет, но богу: никто же бо слышит, духом же глаголет тайны... глаголяй языки себе зиждет... Хочу же всех вас глаголати языки» (Коринф, XIV, 2-5.).

– Иногда это и у нас бывает, – после продолжительного молчания сказал Николай Александрыч. – Неподалеку отсюда есть монастырь, Княж-Хабаров называется; живет в нем чернец Софронушка. Юродивый он, разумного слова никто от него не слышал. Иногда бывает он у нас на соборах и, придя в восторг, бог его знает какие слова говорит.

– Это и есть новые языки, – сказал Денисов. Всего чаще юродивым они и открываются. По разным местам замечал я это, не раз замечал и за Кавказом.

– Что ж? И Максим Комар также юродствует? – спросил Николай Александрыч.

– Бывает, – несколько подумавши, ответил Егор Сергеич. – Но, кажется мне, иногда он прикидывается юродивым. «Новые языки, – сказал он мне однажды, нужны для привлечения в праведную веру неверных. Они увидят и услышат, и будет это для них знамением, если же на соборе никого нет из неверных, а одни только верные, тогда не нужны и напрасны новые языки, тогда надо только радеть и пророчествовать».

– Ты вчера изнемог, Егорушка, и не мог всего договорить, – сказал Николай Александрыч. – Скажи теперь, что говорил ты про иерусалимского старца, в самом ли деле так было, как ты рассказывал, или это вроде сказаний про Данила Филиппыча да Ивана Тимофеича? Были ли сказанному тобой послухи (Послух – свидетель слышанного.) и очевидцы, и что они за люди, и можно ли на слово веригь им?

– Что в нюне сорокового года на Арарате два раза были землетрясения, об этом из тогдашних газет и из книг известно, – сказал Егор Сергеич. – Что во время землетрясения тамошние люди молились, взирая на гору, об этом также все из закавказских божьих людей, от мала до велика, в один голос говорят. Все также в один голос говорят, что, как только кончилось трясение земли, явился старец. Все говорят, что неоткуда было ему прийти, как с Арарата... Со всех других сторон нет ни пути, ни дороги – везде места непроходимые. Сам бывал я в тех местах, сам видел, что нельзя было старцу прийти иначе, как с горы.

– А долго ль жил он у араратских? – спросил Николай Александрыч.

– Тут вышло что-то странное, – отвечал Денисов. Все это было так еще недавно, и много людей, видевших его и говоривших с ним, еще живы; рассказы их противоречивы. Понять нельзя... Кто говорит, что пробыл он с людьми божьими только шесть дней, кто уверяет, что жил он с ними

три года; а есть и такие, что уверяют, будто старец жил с ними целых двенадцать лет, отлучаясь куда-то по временам.

– В самом деле, странно, – молвил Николай Александрыч. – За кого ж его признают там? – спросил он.

– И тут многое непонятно, так много разноречий, – отвечал Егор Сергеич. – Одни почитают его посланным с неба ангелом, другие самым богом Саваофом, есть и такие, что называют его кто Сидором Андреичем, а кто Лукьяном Петровичем (Лукьян Петров Соколов, молоканин из села Саламатина, Камышинского уезда, Саратовской губернии, еще до 1836 года, будучи на Молочных Водах, начал стремиться к слиянию молоканства с хлыстовщиной, но ни мистическое его учение, ни восторженные обряды там успеха не имели. Соколов ушел неизвестно куда, говорили, будто в Молдавию. В 1836 году, когда ждали кончины мира, на Молочных Водах явились его сообщники (кто – неизвестно), называя себя апокалипсическими Энохом и Илиею. Дерзость их до того доходила, что они вторгались в православные храмы, кричали во время богослужения и делали разные бесчинства. Вслед за ними явился судия живых и мертвых, христос и пророк, Лукьян Соколов. Не раз назначал он день страшного суда, но архангельская труба не гремела, хоть комета Галлея с каждой ночью делалась светлей и светлей и хоть Соколов и указывал на нее, как на предвозвестницу близкой кончины мира. Привыкли и к комете, наконец, стала она удаляться, и тогда не известно куда девались Энох, Илия и сам судия Лукьян Соколов. Вскоре появился он в Самарской губернии и там многих молокан и хлыстов увлек за Кавказ. Не раз водил он толпы увлеченных им на Араратские предгорья и возвращался в заволжские степи за новыми переселенцами, наконец пропал без вести. Следы его были обнаружены в Бессарабии. Бывал Соколов и в Азиатской Турции и Персии и, приходя оттуда в Эриванскую губернию, съединял молоканство с хлыстовщиной и этим произвел особую ересь прыгунков или веденцов. Был он особенно близок с Максимом Комаром или Рудометкиным, который, говорят, первый из молокан заплясал на хлыстовских радениях в деревне Никитиной. Конец походов Лукьяна Соколова неизвестен.).

Не разберешь. Заводил я об этом разговоры с самим Максимом, христом закавказских божьих людей и верховным их пророком, но он отмалчивался. Между араратскими много ходит рассказов про чудеса иерусалимского старца, даже про чудеса царя Максима. За тайну скажу тебе, Николаюшка: этих чудес сам я не видал и крепко в них сомневаюсь. Мертвых будто бы воскрешали они, а те, слышь, только прикидывались мертвыми, на небеса возносились и с крыши падали; кто поумнее, ждал облака, чтоб ехать на нем в горные селения, но облако не приходило, и чудотворец возвещал, что в среде пришедших видеть вознесение его есть грешники, оттого не было и чуда.

– Стало быть, это все одни сказки, – немного помолчав, сказал Николай Александрыч. – Так я и думал.

– Такие же, как сказанья про «верховного гостя», про стародубского Христа Тимофеича, про мученицу Настасью Карловну, – едва заметно улыбнувшись, ответил Денисов. – Людям «малого ведения» это нужно – сказанья о чудесном их веру укрепляют.

– Да, это так, – подумавши немножко, сказал Николай Александрыч. – А какие ж новые правила вводит Максим? Из твоих писем трудно понять, что это за правила...

– Да хоть бы новые языки... Говорил я тебе про них, – сказал Егор Сергеич. – Приходят в восторг неописанный, чувствуют наитие и пророчествуют. И когда говоришь новыми языки, такое бывает в душе восхищение, что его ни с чем и сравнить нельзя. На небесах тогда себя чувствуешь, в невозмутимом блаженстве, все земное забываешь. На себе испытал и могу поистине о том свидетельствовать.

– А еще какие правила даны Максимом? – спросил Николай Александрыч.

– Полное повиновение ему и посланникам его, – отвечал Егор Сергеич. – Не такое, как в ваших кораблях, а совершенное уничтожение воли, открытие пророку даже самых тайных помышлений. И нам, посланникам его, то же он завещал. Вот какво повиновение у араратских. Один раз на раденьях, – сам я тут был, – указав на ближайшего к себе пророка, Максим сказал: «Смерть ему!», божьи люди всем кораблем ринулись на пророка и непременно бы растерзали его на клочки, если бы верховный пророк не остановил их. Еще: в прегрешениях он не обличает на раденьях,

а тайно исповедует, как церковные попы, и в знак разрешения, подражая иерусалимскому старцу, раздает лоскутки от белых своих риз и потом возлагает грехи и неправды божьих людей на быка, и его с проклятиями изгоняют в пустыню (Моисею (Левит, XVI-10-21, 22) повелено было возлагать грехи людей на козла отпущения, араратские же прыгунки возлагают их на быка, хворого либо не годного для хозяйства. Этот обычай начался в сороковых годах. Мясом изгнанного быка пользуются курды, а иногда и армяне.).

– А что ж это за духовные жены у араратских? – спросил Николай Александрыч.

– Тоже Максим завел. Теперь у него две жены, а у иных и по три и больше есть, – нисколько не смущаясь, отвечал Егор Сергеич. – Говорят там: «Мы люди божьи, водимые духом, мы – новый Израиль, а у Израиля было две жены, родные между собой сестры, и, кроме того, две рабыни, и ото всех четырех произошли равно благословенные племена израильские».

– Знаю, – слегка улыбнувшись, сказал Николай Александрыч.

– Зачем улыбка? – грозно воскликнул Денисов, – Уничижаешь меня в сердце, как Мельхола, дочь царя Саула, унижила своего мужа Давыда? Не глумись над данным свыше. Иначе участь Мельхолы тебя постигнет. Участь плачевная – до смерти Мельхола детей не имела, а это у ветхозаветных считалось господним проклятьем. Ныне время иное... Храни же себя, да не постигнет тебя больший гнев, чем жену Давыдову, – да не будет твое имя изглажено в книге животной. Мельхола посмеялась пляске Давыда, святому, значит, раденью, – а ты смеешься над законом. Недалеко то время, когда этот закон будет общим. Смотри, не пострадать бы тебе.

Не отвечал Николай Александрыч. В глубокую думу он погрузился, но противоречить не смел, хотя внутренне и сознавал, что слова Денисова были богохульны и безнравственны.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Незадолго до обеда Егор Сергеич вошел в столовую. Все Луповицкие были уж там и обратились к нему, как к милому и дорогому человеку. Наперерыв друг перед другом каждый ласкал и ублажал его. Кто усаживает на диван, кто подкладывает за спину подушку, кто подставляет под ноги скамеечку, а он, принимая такие знаки внимания как нечто должное высокой своей особе, с высокомерием на всех поглядывает и не говорит ни слова. Холодно принимает ласки, держит себя скромно, но величав, как власть имеющий, на приветствия ни словом, ни взглядом не отвечает, будто показывая, что окружающие не стоят его внимания.

– А что ж? Думаю, пора и за стол садиться? – чуть слышно сказал, наконец, Денисов.

– Конечно, конечно, – заговорили все в один голос.

– А Дуня? – обратился Николай Александрыч к Марье Ивановне. – И сегодня не придет?

– Не знаю, – ответила Марья Ивановна. – Схожу к ней, авось уговорю. И с этими словами вышла из столовой.

– Всегда люблюсь вашей столовой, – оглядывая ее стены, вполголоса заметил Егор Сергеич. – Что ни говори, а отцы наши и деды пожить умели. Конечно, все это суэта, мирские увлечения, а хорошо, красиво, изящно. Что это за Дуня такая у вас?

– Дочь одного поволжского купца Смолокурова, – отвечал Николай Александрыч. – Рыбой промышляет и ведет большой торг – миллион либо полтора у него состояния, а она единственная дочь и наследница.

– О-о! Полтора миллиона! – воскликнул Денисов. – Что ж она?

– Машенька неподалеку от их города купила имение и познакомилась со Смолокуровым, – сказал Николай Александрыч. – В Дуне встретила она девушку восторженную, склонную к восхищениям. Хоть не образована, но много читала. Машенька указала ей на полезные книги, Гион, Юнга Штиллинга и на другие, что переведены по-русски. Она все это изучила, а сестрица руководила ее душевным преобразованием. Машенька долго гостила у Смолокуровых и начитавшуюся мистических книг Дуню привела к огаде спасения. Она выпросила ее у отца в Луповицы, и здесь Дуня познала сокровенную тайну и мною приведена в сонм верных.

– Каких она лет? – быстро спросил Егор Сергеич.

– Лет восемнадцати либо девятнадцати, – отвечал Николай Александрыч. – А какая востор-

женная!.. Не была еще приведена, а уж пророчествовала. Чуть не каждый день на нее накатывало. Одно беда, – продолжал Николай Александрыч, – недели за три до теперешнего она вдруг охладела к вере.

– Отчего ж это? – вскинув глазами и нахмурясь, спросил араратский посланник.

– Бог ее знает, – отвечал Николай Александрыч. – Письма, что ли, какие из дома получила, или другое что. Вот Варенька открыла некоторые из тайных ее помыслов.

С малолетства была она мечтательна и восторженна и по природе своей любила возноситься умственно в высшие пределы, не всякому доступные. Бывало, говаривала она и сестрице Машеньке и Вареньке, находило на нее забытие, дух отрешался от мира, и не раз доходила она даже до ясновиденья. А родилась в раскольничьей семье, училась в раскольничьем монастыре. С детства видела одну сухую обрядность, ни от кого не слыхала живого слова, никто не мог разрешить ей вопросов, возникавших в юной душе. Тяжела была ее жизнь в монастыре, тяжелей показалось житье в доме родительском. Одинокая, без подруг, без знакомых, жила ровно в закупоренном тереме – не с кем слова сказать, не с кем поделиться мыслями.

С каждым днем она сосредоточивалась в самой себе, а ум у нее пытлив – ей хотелось до того дойти, чтобы познать в вере истину. Много у нас таких. Но не было никого, кто бы мог вразумить ее, кто бы растопил ее сердце открытием истины, напрасное искание колебало ее душу. Она читала, много читала, но книги, бывшие под рукой, не удовлетворяли ее исканию правды в деле душевном. Была она всегда скромна, сдержанна, да и мало приводилось ей с кем-нибудь говорить откровенно. Совсем чужая была для мира... Тогда случайно встретила она с молодым человеком из ихнего же купеческого сословия. Хоть и не говорит теперь, что она его полюбила, но, кажется, дело так было. Чистая, непорочная, и до сих пор какою осталась, готова была она устроить с тем молодым человеком судьбу свою, а он, вероятно, рассчитывал на ее богатство, что достанется ей по смерти отца. Но вдруг купчик скрылся. Узнала Дуня Смолокурова, что уехал он в раскольничий монастырь к женщине, с которой еще прежде бывали у него греховные любовные дела.

Узнавши о том, Дуня едва не умерла, однако скрепилась и забыла страсть свою, если только была она. Тут встретила с ней Машенька и почти целый год привлекала ее к истине нашей веры, то указывая на книги для чтения, то проводя с нею дни и ночи в назидательных разговорах. Постепенно приводила ее к познанию сокровенной тайны и привела. Летом здесь у нас она была принята в сонм праведных. Дух видимо явился в ней – радела без устали, пламенно пророчествовала, открывая тайные помышления и прегрешения даже тех, кого до тех пор не видала и от кого ни слова не слыхивала. Великую пророчицу чаяли мы в ней со временем увидеть, все наши, от первого до последнего, надеялись, что с каждым днем благодать в ней будет умножаться...

Говаривала она вот Вареньке и Катеньке Кисловой, что в нашем доме нашла она невозмутимый покой и радость, что долговременные искания правды достигнуты ею, что теперь она совершенно спокойна душой, не видя ни обманов, ни прельщений, обуревающих суетный мир. Все было ей открыто и рассказано, но сказаний про Данила Филиппыча и про других ей не передавали – думали, что они для нее излишни. И вот с самого «великого собора», бывшего без малого месяц тому назад, она совсем изменилась: не принимает участия ни на святом кругу, ни за столом, сидит взаперти, тоскует, грустит и просится к отцу домой. И Вареньке и Катеньке прямо говорила, что она охладела к вере божьих людей и в ней, говорит, не нашла истины...

Всех упрекает, будто ее хотели обмануть, не рассказавши сказок, что услышала она на соборе. Мало этому верю я, думаю, что есть другая какая-нибудь причина внезапной перемены. Письма получила какие – то и вдруг затосковала. Одно теперь ее занимает, одно хочется узнать, что это за духовное супружество. Вот я все сказал о ней – пособи, дай совет, как удержать ее в корабле – подумай о том, что ведь тут миллион и даже больше.

Внимательно слушал Егор Сергеич Николая Александрыча, но не сказал ни слова в ответ. Вошла Марья Ивановна, следом за ней – Дуня.

Не мало времени, не мало убеждений и просьб стоило Марье Ивановне, чтоб уговорить Дуню идти в столовую и познакомиться с Денисовым. Долго не решалась Дуня, наконец пересилила себя – пошла. Не желанье познакомиться с араратским посланником, не любопытство, возбужденное рассказами о нем, влекли ее в столовую, совсем другое было у ней на уме. Когда в первый раз

увидала она Егора Сергеича при его входе в дом, он показался ей как две капли воды похожим на Петра Степаныча, и вот захотела она теперь увидеть его, чтобы убедиться в таком сходстве.

Чтобы показать Денисову, что стала она чужда людям божьим, вместо обычного черного платья оделась Дуня в цветное, надела дорогие серьги, кольца и перстни, а на плечи накинула богатый кружевной платок.

Напрасно убеждала ее Марья Ивановна идти в черном платье, не слушалась Дуня.

– Пускай и ваш гость, пускай и все, кому до меня есть дело, знают, что я иду в мир, – резким голосом сказала она Марье Ивановне.

– Что это? Что с тобой? – с ужасом промолвила Марья Ивановна. – Образумься, пойми, что делаешь, ведь ты уж приведена.

– Все помню, ничего не забыла, знаю и то, что я больше не ваша, – сказала Дуня. – В мир хочу, хочу его отрад и радостей. Я уж писала к тятеньке, чтоб он скорее приезжал за мной. Жду не дожусь его.

Остолбенела Марья Ивановна, услышав от Дуни такие неожиданные речи. Увидела она, что перед ней стоит не прежняя смиренная, покорная и послушная девушка. Гордый взор Дуни блистал ярким огнем, и Марья Ивановна нашла в нем поразительное сходство со взором Марка Данилыча, когда, бывало, он с ничем неудержимым гневом напускался на кого-нибудь из подначальных.

Должна была уступить и пошла в столовую с разряженной Дуней.

Луповицкие не могли узнать ее, перед ними была не Дуня, а какая-то новая, не знакомая им девушка.

Варенька до ушей покраснела. Варвара Петровна не утерпела, всплеснула руками и с удивлением сказала:

– Что это какая ты, Дунюшка? Ведь у нас нет никого из посторонних. Это мой племянник, Егор Сергеич Денисов. Об нем ты слыхала.

Дуня ни слова не сказала. Села на стул против гостя и вперила в него пытливые взоры.

«Похож, похож, а не он, – думает она. – Этот ростом выше того, а красотой не вышел. Тусклые глаза, точно оловянные, редкие волосы, лицо худое, желтое, как у мертвеца. А тот удалью и отвагой пышет, силой, здоровьем пылает его молодое лицо, блещут умные, искрометные очи, свежий румянец в ланитах горит. Весело смотрит, конца нет затейным речам, а этот!.. Болен, надо думать, видно, тяжелый недуг его сокрушил. Много мне приводилось видеть и мужчин и женщин ихней веры, но такого немощного, такого жалкого я еще не встречала. Краше его мертвых в гроб кладут».

Обратился Денисов к Дуне с обычным при первом знакомстве приветом.

«И голос не такой, – подумала Дуня, – хриплый, ровно могильный».

И не может надивиться она, как это чахлый Денисов показался ей Петром Степанычем.

Подали кушанье, а вносили его седой как лунь дворецкий Сидорушка, конторщик Пахом да горничная Варвары Петровны, всё «праведные» корабля Луповицкого. Перед тем как садиться, Егор Сергеич, перекрестясь обеими руками, с набожным видом прочел искаженную молитву:

– Отче наш иже еси в нас, освяти нас именем твоим и приведи нас в царствие твое, волей нашей води нас по земле и небесам. Хлеб слова твоего дай нам днесь и прости наши прегрешенья, как и мы прощаем своей братии. Сохрани нас от искушений врага, избавь от лукавого (Молитва господня, искаженная русскими хлыстами почти от слова до слова похожа на ту молитву, что употребляли в секте адамитов-микулашенцев, бывших у чехов в XV столетии. Есть основания полагать, что миклашенцы имели долю своего влияния чрез русских, живших около Кракова («Густынская летопись» под 1507 годом в «Полном собрании русских летописей», том II, стр. 365).

Обед прошел в строгом молчанье. Заговорила было Марья Ивановна, но Егор Сергеич властно запретил ей разговаривать во время трапезы. И никто после того не осмеливался слова промолвить. Кончился обед, и, кроме Дуни, все до земли поклонились Денисову, а потом и он каждому поклонился.

Марья Ивановна с досадой шепнула Дуне:

– Что ж ты не кланяешься великому учителю?

– Не знаю его учения, – тихим голосом промолвила Дуня.

Только плечами пожала Марья Ивановна, а все прочие злобно покосились на вышедшую из покорности девушку. Денисов будто не замечал ничего.

Сейчас после обеда подали чай с новым липовым сотом. И за чаем молчали по приказу Егора Сергеича.

Выпило чашек по семи любимого хлыстами напитка. Тогда начались разговоры. Денисов рассказывал о Закавказье, говорил о тамошней природе, о тамошних жителях, об их нравах и промыслах, но ни слова не сказал про араратских веденцов. Когда же Варенька спросила его об иерусалимском старце и верховном пророке, он промолчал и заговорил совсем о другом. Попыталась Варенька, немного погодя, снова спросить его о том же, но Денисов опять как бы не слышал речей ее. То и дело поглядывал он на Дуню. Не в силах была бедная девушка выдерживать его взоров, то и дело потуплялась, наконец быстро встала и пошла к двери.

– Куда ж это, милая Дунюшка? – нежно и ласково спросила ее, подойдя к ней, Марья Ивановна. – Посиди, голубчик, послушай Егорушку. Ведь ты прежде любила читать путешествия, а он лучше книги рассказывает. Не отвечала Дуня. Марья Ивановна шепнула ей:

– Посиди, я наведу его на разговор о духовном супружестве.

Поколебалась Дуня, любопытство пересилило отвращенье к Денисову. Она осталась.

Еще поговорил Егор Сергеич, рассказал про бакинские огни, про высокие горы со снежными, никогда не таявшими вершинами; про моря Каспийское и Черное. Рассказы его были занимательны, Дуня заслушалась их, но другие не того ждали от араратского посланника. Ждали они известий о том, что было в последние годы за Кавказом, среди тамошних божьих людей. Николай Александрыч сказал, наконец:

– Егорушка, возлюбленный, любопытны твои рассказы про далекую сторону, но хотелось бы нам послушать про царя и верховного пророка Максима. Писал ты, что он завел какие-то новые правила, установились новые обряды. Расскажи об этом, любезный.

И другие, кроме Дуни, приставали к нему с такою же просьбой.

С укором взглянул на Николая Александрыча недовольный словами его Денисов, потом, помолчавши немного и что-то сообразив, медленно стал говорить, тихо, с расстановками:

– Максим – великий учитель и верховный пророк. Сила, большая сила в духе его является. Все тамошние вполне уверены, что он избраннейший из избранных, праведных последних дней. Все ему повинуются беспрекословно, все признают его волю волей небесною. Послушание ему ото всех праведных беспримерно. Хотя бы он потребовал от кого-нибудь из учеников согрешить или впасть в тяжкое преступление, каждый без рассужденья исполнил бы, что повелел он, будь то воровство, грабеж, поджог, убийство самого близкого и ни в чем не повинного человека. Нет границ воле его. Для чистого все чисто, говорит он, а праведному нет на земле закона. Послушание духоносному пророку, послушание его посланникам, странствующим по разным странам, – вот главный закон араратский. И тот закон не новый. Издавна установлен он, но по слабости человеческой забыт, а во многих кораблях совсем почти оставлен – редко, где соблюдается. Послушание свыше озаренному верховному пророку самый благоуханный фимиам, воскуряемый к небесам, а для врага невыносимый.

Главнейшее свойство лукавого – гордость, и ему, злему, хочется, чтобы все люди пребывали в этом страшнейшем и губительнейшем грехе. Но ежели кто, презирая горделивость, пойдет против врага и противопоставит ему безграничное послушание своему пророку, враг страдает и мучится от такой насмешки над его гордостью. Чем больше покорных воле других людей на земле и чем выше послушание их, тем больше мучений нечистому. Бороться с ним, уничтожая в сердце гордость, – вот величайшая заслуга перед небом, вот посрамление врага и победа над ним. Не поклоняйтесь же адской гордыне и в безграничном, беззаветном послушании людям, более вас вдохновенным, ищите оправдания и спасения.

– А ты, голубчик Егорушка, имеешь этот дар? – после общего молчанья спросила Варвара Петровна.

– Имею, – скромно опуская глаза, промолвил Денисов. – Я послан верховным пророком внушать это верным – праведным. Была некогда проповедь покаяния, теперь в последние дни мира настало время проповеди послушания. Я и другие посланы на такую проповедь. Утвердить в лю-

дах божьих беззаветное повиновение воле пророческой – вот зачем послали меня.

– И вводить духовное супружество? – вполголоса спросила Марья Ивановна.

– Да, – отвечал Егор Сергеич.

– В чем же заключается оно? – спросила Марья Ивановна.

Слышала эти речи сидевшая вблизи Дуня. С напряженным вниманием ждала она ответа.

– Тоже послушание. Кто желает знать подробно, пускай тот спросит меня наедине. Не всякому открою, а на соборе не скажу ни слова. Там ведь бывают и люди малого ведения, для них это было бы соблазном, навело бы на греховные мысли. Теперь не могу много говорить, все еще утомлен дорогой... Пойду отдохну. Когда собор думаешь собрать? – спросил он, обращаясь к Николаю Александрычу.

– Не знаю. Как ты решишь, – отвечал Николай Александрыч. – Соберу дня в три, много в четыре, а день ты назначь.

– Не раньше, как через неделю, – решил Денисов и, не взглянув ни на кого, пошел из столовой. Николай Александрыч следом пошел.

Оба вошли и отведенную Егору Сергеичу комнату, и там он прилег на диване. Николай Александрыч сел у изголовья.

– Нарочно не говорил я, что араратские рассказывают про иерусалимского старца и про Христа и царя Максима, – сказал Денисов. – Боялся запугать ее. Ты ведь говорил, что от этих сказаний возникло в ней охлаждение к вере. Если она будет на соборе, тоже ни слова об этом не скажу. А надо, чтоб она была. Пускай не радуется, пускай ничего не говорит, оденется во что хочет... Шутка сказать – миллион! Не надо его упускать, надо, чтоб она волей или неволей осталась у вас.

После этого Дуня, без уговоров Марьи Ивановны, каждый день приходила обедать, чтобы повидаться с Денисовым. Так ей хотелось узнать подробнее о духовном супруестве. «Не все ж у них ложь и обман, – она думала, – а Денисов кажется, правдив, не то что другие. На другой день после свиданья с ним он прямо мне сказал, что смутившие меня сказанья сущий вздор, пустая, бессмысленная выдумка глупых людей... Но для чего ж он хочет говорить со мной наедине?»

Стала Дуня искать одиночного свидания с Денисовым то в саду, то в теплице, то в доме. С крайним любопытством она заговаривала с ним о вечном союзе душ, но он не давал ей прямого ответа. А когда Дуня сказала, что ведь обещал же он ей все открыть наедине и вот теперь они одни, никто их не видит, никто не слышит, он все-таки уклонялся от прямого ответа, говоря, что не пришло еще время. Каждый день, хоть на короткое время видясь с Денисовым, Дуня, на радость Луповицким, немножко привыкла к нему... И в то же время стала реже вспоминать об отце, а Петр Степаныч и совсем не впадал ей больше на память...

Через неделю по приезде Егора Сергеича, дворецкий Сидор и конторщик Пахом отправились объезжать ближних и дальних божьих людей, с зовом на собор. И, как бывало прежде, сошлись и съехались к назначенному дню почти все, бывшие на «великом соборе», кроме полоумной Серафимы Ильинишны с ее неизбежными спутницами. Боялся Николай Александрыч, чтоб они не наделали каких-нибудь новых бесчинств, по той же причине не звали и дьякона Мемнона, а юродивого Софронушку игумен Израиль опять не пустил, сердился на Луповицких за дыни да к тому же напрасно две недели ждал от них на солку огурчиков.

Накануне собора Николай Александрыч и Марья Ивановна долго сидели в комнате Егора Сергеича и что-то обсуждали.

Когда настал час для сбора в сионской горнице, все собрались и разошлись по одевальным комнатам «облачаться в белые ризы». Потом вошли в сонм верных.

Пришла и Дуня, но не надела она радельной рубахи и села у входных дверей. Сильно была она взволнована. Егор Сергеич обещал ей тотчас после раденья открыть тайну духовного супружества. Марья Ивановна также не сняла обыкновенного своего платья и села рядом с Дуней. Так же точно сидели они теперь, как и в тот раз, когда Дуня в первый еще раз была в сионской горнице.

це.

Началось раденье. Николай Александрыч сидел в стороне, наряду с другими. Его место занял Егор Сергеич, он читал молитвы и поучения, он и распоряжался всем ходом собора. Не сказал он ни слова, что могло бы поразить внимательно слушавшую Дуню. Оттого в ней возросло несколько доверие к приезжему пророку. Все другие были им крайне недовольны. Ожидали услышать от него что-нибудь новое, не известное им, с нетерпением ждали, как расскажет он про царя араратского, а Денисов молчал. Просили его, целым кораблем молили, чтобы поведал про новые законы, правила и обряды, данные верховным пророком Максимом.

– Мой час не пришел, – сказал Егор Сергеич, когда мольбы усилились до того, что Николай Александрыч стал опасаться, не услышали бы криков, воплей и стонов в деревне, не узнал бы о шумном сходбище отец Прохор. Стал он унимать не в меру раскричавшихся праведных:

– Не мешайте, не бесчинствуйте! Зачем так кричать? Дух не дает говорить Егорушке о том, чего вы просите.

Но крики не унимались. Никто, кроме Луповицких, Кисловых и Строинского, слушать не хотел уговоров корабельного кормщика.

Тогда, делать нечего, Николай Александрыч схватил за шиворот одну больше всех кричавшую пришлую какую-то бабу и хотел вытолкать ее из собрания. Та завизжала неблагим матом.

– Матрена! – крикнул Николай Александрыч начальнице богадельни, – возьми кого-нибудь из своих, оттащите бесчинницу в богадельню. Запри там ее в чулан или в подполье на всю на ночь. А завтра я распоряжусь. Матренушка с двумя божедомками тотчас исполнили барский приказ.

Крики и вопли унялись. Стали радеть.

Егор Сергеич дольше всех радел. От изнеможенья несколько раз падал он без чувств. И тут заметили божьи люди, что в минуты бесчувствия не только обычная пена, но даже кровь показывалась на его губах. Это было признано знаком присущей величайшей благодати.

Начались пророчества. Кроме других, сказывал их и Денисов. И опять ни слова о закавказских праведных.

Когда собор подходил уж к концу, Марья Ивановна шепнула Дуне:

– Выйдем минуты на две в коридор, нужно мне с глазу на глаз поговорить с тобой насчет того, знаешь...

– Насчет чего? – спросила Дуня.

– Насчет Егорушки, – молвила ей на ухо Марья Ивановна. – Ведь он говорил, что посвятит тебя в эту тайну?

– Говорил, – ответила Дуня.

– Эта тайна очистит и освятит тебя. Бесплотным силам будешь подобна, и не будет к тебе приступа от горделивого духа злобы и нечестия, – продолжала Марья Ивановна. – Пойдем – ты ведь не принимаешь участия: не радешь и в слове не ходишь. Все равно, если уйдешь из сионской горницы. Здесь нельзя говорить, а я хочу кой-что сказать тебе. Пойдем же.

Дуня повиновалась и за Марьей Ивановной вышла в коридор.

– Он мне сказал, что только тебе, одной тебе откроет он тайну, – сказала в коридоре Марья Ивановна. Признаюсь, я оскорбилась его словами, обидны они показались мне. «Отчего это, говорю я ему, ты не хочешь мне открыть. Сколько лет, как я в корабле!.. Еще когда жила в Петербурге Катерина Филипповна, я была принята в духовный союз. А ее, то есть тебя, хочешь, говорю посвятить в тайну, хоть она не больше двух месяцев принята». Он отвечал: «Не всякому дано знать сокровенное, нужно для того иметь особенную благодать, а я в ней только вижу избыток благодати». Я сказала ему, что в последнее время ты охладела к союзу верных, а он ответил: «Полную веру имею, что она укрепитя и будет верною до конца». Вот что мы говорили с ним. Скажи, хочешь ли говорить с ним?

– Хочу, – сказала Дуня.

– Войди же сюда, – сказала Марья Ивановна, отворяя дверь в комнату, где обыкновенно складывались радельные рубашки и другие принадлежности хлыстовских молений. – Подожди тут. Только что кончится собор, он придет. Будь ему во всем послушна, во всем, что б ни сказал он, чего б от тебя ни потребовал.

Марья Ивановна ушла. Дуня одна осталась.

Огляделась, видит – комната большая, хорошо прибранная. «Белые ризы» и другие хлыстовские вещи лежали в расставленных по стене глухих шкапах, без стекол. Напротив их по другой стене стоял турецкий диван, обитый старым трипом, возле него стол, а на нем фарфоровый кувшин с водой и несколько тарелок с разным вареньем. На полу во всю комнату был разостлан, хоть и старенький, но довольно еще пушистый ковер. Над диваном по стене развешено несколько масляных картин – на всех религиозно– мистические изображения. Тут и миловидный отрок с ягненком на плечах, и три отрока, выходящие из вавилонской печи, и пророк Иона в шалаше под тенью клещевины (Клещевина – *Ricinus*. Это растение упоминается в еврейском тексте (Ионы, IV-6). В переводе семидесяти вместо него стоит «тыква».).

Окон два, в середине должно быть третье, но оно прикрыто большой картиной кисти известного хлыста и искусного художника Боровиковского. Во весь рост изображен на ней медиоланский епископ Амвросий в богослужебной одежде, стоящий перед престолом. Руки святого воздеты к небу, восторгом горят его очи, а из уст выходит узенькая полоска хартии, и на ней латинская надпись *Te Deum laudamus* («Тебе бога хвалим» – песнь, сочиненная св. Амвросием Медиоланским. Такая картина в тридцатых годах была у петербургских хлыстов из образованного общества.)

Рассматривая это изображение, Дуня бессознательно оперлась рукой на позолоченную и сильно выцветшую раму и почувствовала, что она держится не твердо. Рассмотрев ее внимательнее, увидала, что рама с картиной отворяются, что они поставлены тут, чтобы только закрыть окно. На подоконнике было на палец толщиной пыли, на косяках висели клочья паутины – заметно было, что картина долгое время оставалась нетронутой. Окно за нею было закрыто ставнями, отпиралось оно изнутри, но решеток не было. Вспомнилось Дуне, что недавно еще, когда Варенька отыскиала ее в заброшенном палисаднике, она указывала ей на кладовую с тремя окнами и теперь сообразила, что срединное окно было прикрыто.

Слышит Дуня – смолкли песни в сионской горнице. Слышит – по обеим сторонам кладовой раздаются неясные голоса, с одной мужские, с другой – женские. Это божьи люди в одеальных комнатах снимают «белые ризы» и одеваются в обычную одежду. Еще прошло несколько времени, голоса стихли, послышался топот, с каждой минутой слышался он тише и тише. К ужину, значит, пошли. Ждет Дуня. Замирает у ней сердце – вот он скоро придет, вот она узнает тайну, что так сильно раздражает ее любопытство.

«Я покину их, покину и веру ихнюю, отброшу их, думает она, – но тайну духовного супружества мне хочется узнать... Нежная любовь, невыразимое словами счастье в здешней жизни и в будущей! Не останусь я с ними, но эту тайну вынесу из корабля и к другому применю ее, кто полюбит меня сердцем и душою».

И вспомнился ей Петр Степаныч, и наполнилась она восторгом. Сердце обливается горячей кровью, она дрожит и, почувствовав утомление во всем теле, кидается на диван и закрывает глаза.

Шорох ей послышался. Открыла глаза, пред ней Денисов.

Страстью горят глаза, губы дрожат, по лицу змеются судороги, дыхание сильное, перерывчатое.

Увидав его, Дуня быстро вскочила с дивана, но он схватил ее за руки и трепетным, как бы замирающим голосом сказал:

– Останься, как была!..

И сел возле нее на диване.

От прикосновенья горячих рук Денисова вздрогнула Дуня. Она отстранилась от него, насколько могла, и уселась в глубине дивана.

– Прежде чем с тобой беседовать, должна ты исполнить святой обряд, установленный в корабле людей божьих. После каждого собрания даются там друг другу серафимские лобзанья. Ты прежде лобзаний ушла из сионской горницы, а без них мне нельзя говорить.

Вся покраснела Дуня, но любопытство было так сильно, что она решилась дать Денисову холодное лобзание, какое дала бы каждому из сидевших в сионской горнице.

Она протянула к нему лицо, а он, целуя ее серафимским лобзанием, вдруг сжал ее в объять-

ях.

– Что это? – отчаянным голосом вскрикнула Дуня, поняв обман и вырываясь из рук Денисова. На ее крики ответа не было.

Вспомнила Дуня об изображении Амвросия Медиоланского. Быстрым движением руки распахнула раму, вскочила на подоконник и, раскрыв ставни, выпрыгнула в палисадник. Другого выхода ей не было, дом наполнен был людьми божьими – ее бы остановили и отдали на жертву Денисову. В отчаянии она и кинулась в окно, между тем как арапатский пророк изо всех сил старался ржавым ключом отпереть входную дверь кладовой.

Епископ Амвросий спас Дуню.

Хорошо знала она местность. Выбежав на широкий двор, бросилась было к воротам, но в зачинавшемся уже рассвете увидела, что там на лавочке сидит караульный... В сад побежала, там ни души. Она дальше и дальше... Бежит, не переводя духа, и назади сада, вблизи Кириллиной пасеки, перелезает через невысокий плетень, а потом по задам возле длинного ряда крестьянских овинов бежит к попу на край деревни. На него одного вся надежда ее. Подбежав к домику отца Прохора, она крепко постучалась в окно.

– Кто там? – спросил изнутри комнат уже вставший с постели и стоявший на утренней молитве отец Прохор.

– Спасите!.. Укройте! – с горьким плачем взмолилась ему Дуня.

– Это вы, Авдотья Марковна? – спросил отец Прохор, узнавая ее по голосу.

– Я, я, спрячьте куда-нибудь... Скорей, скорее, – говорила навзрыд плачущая Дуня.

– Пожалуйста! – сказал отец Прохор. – Сейчас отопру калитку.

Отец Прохор, впустив Дуню на двор, провел ее в заднюю, говоря, что в передней сидеть ей опасно. Только что узнают хлысты, что она скрылась, говорил он тотчас начнут искать ее и непременно станут заглядывать к нему в окна; немудрено даже, что с обыском придут. Разбудив жену и дочерей, отец Прохор приказал им снарядить в дорогу чересчур легко одетую Дуню, а потом вышел на двор и, разбудив работника, велел ему наскоро запрячь лошадку. Полуслепая и глуховатая матушка попадья надела на Дуню чоботы старшей дочери, свою шубейку и повязала ей голову большим платком по-деревенски. Не прошло получаса, как отец Прохор сел с Дуней в тележку. Уезжая, наказал он домашним, что ежели кто спросит про него, особенно из барского дома, так сказали бы, что еще ранним вечером уехал с требой, а оттуда хотел проехать в город, куда его вызывали в духовное правление.

Предосторожность не лишняя. Только что обутрело, в поповский дом пришел хозяин села, Андрей Александрович Луповицкий, с конторщиком Пахомом.

– Дома ли батюшка? – спросил он у попадья, встретившей барина у калитки.

– Дома его нет, – почтительно она отвечала. – Еще с вечера в сумерки уехал с требой.

– А скоро ль воротится? – продолжал расспрашивать Андрей Александрович.

– Не знаю, как доложить. Сряжался в дорогу, так говорил, чтоб скоро его не ждали, что ему надо в город проехать. В духовное правление по какому-то делу требуют, рассыльный приезжал третьего дня, – сказала матушка попадья.

– Экая досада! – вскричал Андрей Александрович, сядя на диван в передней горнице. – А я было к нему за делом. Как-то раз батюшка говорил мне, что у вас и домик и надворные службы обветшали, и я обещал ему сделать поправки. А теперь хочу нанимать плотников, теплицы поправить надо, застольную, а скотный двор заново поставить. Так я было и пришел с конторщиком осмотреть, какие поправки нужно сделать у вас, чтоб заодно плотников-то рядить.

Попадья рассыпалась в благодарностях за неожиданные-негаданные милости. Низко кланялись Луповицкому и поповны.

– Благодетель наш, Андрей Александрович, – говорила со слезами матушка попадья. – Истинный вы наш благодетель! Эка, Петрович-от на беду отъехал... А впрочем, что ж его ждать, и без

него обойдется дело. Велите конторщику осмотреть, а Степанидушка с ключами с ним пойдет и погреб ему отопрет, и житницу, и клеть, и чуланы. Она и запишет все на грамотке (Грамотка – бумажка.).

– Зачем же это? Сам осматриву, – сказал Андрей Александрыч и встал с места.

Осмотрел он передние и задние горницы, посылал Пахома в подполье поглядеть, не загнили ли нижние венцы срубов, сам лазил на чердак посмотреть на крышу, побывал во всех чуланах и в клетки, на погреб сам вниз сходил и в бане побывал, и в житнице, и в сараях, в конюшне, в коровнике и на сеновале, где, похваливая поповское сено, вилами его потыкал. И все на бумажке записывал.

После осмотра до последней щелочки, Андрей Александрыч убедился, что Дуни у попадьи нет. На прощанье сказал:

– Так вы, матушка, готовьтесь к поправкам. Плотники к Воздвиженью придут, а пока до них по этой записке пришлю вам бревен и тесу. Отведите свободное местечко, где сложить.

– Благодетель наш! Век за вас будем бога молить. Не оставляете убогих щедротами... Петрович-от как станет жалеть, что не посчастливилось ему видеть вас у себя в доме.

– Ну, прощайте, матушка. До свиданья, – сказал, собираясь уходить, Андрей Александрыч.

– А чашечку чайку не угодно ли выкушать? – сказала попадьа. – Покамест вы трудили себя, Степанидушка и самоварчик поставила и чайку заварила ради дорогого гостя, отца нашего родного, благотворителя.

Андрей Александрыч остался, а Пахому велел идти домой и сейчас же составить смету на постройки при барском доме и поправки в доме отца Прохора. Как ни упрашивала попадьа, чтобы позволил Андрей Александрыч Пахому выпить у ней чашечку-другую чаю, но он не согласился и приказал конторщику как можно скорей домой поспешить, доложить Николаю Александрычу, что все строенья осмотрены и что поправки необходимы.

За чаем Андрей Александрыч разговаривал с глуховатой и полуслепой попадьей о разных недостатках поповского хозяйства. И сенокосишка-то у попа мал, и в земле-то скудость, и доходов-то от церковной службы недостаточно. Под конец Луповицкий дал попадье десятирублевую, примолвивши:

– Это вам за беспокойство. Своим приходом ведь я нарушил покой в вашем мирном уголке.

Со слезами на глазах попадьа схватила было руку, чтобы поцеловать, но Андрей Александрыч не допустил ее.

– Прощайте, матушка. Кланяйтесь отцу Прохору. Скажите ему, чтобы до Ивана Богослова (26 сентября) непременно приготовился к перестройке дома, – говорил, уходя из поповского дома, Андрей Александрыч. До улицы проводила его попадьа с дочерьми, низко кланяясь и благодаря, как только умела. Когда же воротились домой, попадьа шепнула Степанидушке: – Хоть все лазы облазил, а не нашел. Пришлет ли, нет ли леску, бог его знает, а красненькую пожаловал. Нам и то годится... А ведь Авдотья-то Марковна богачка страшная, к тому и добра и милостива, как заметила я. Поди, не десять рублей даст Петровичу. Соверши, господи, во благо ее возвращение в дом родительский! Такой богачки ни разу еще не приводилось Петровичу выручать из этого дома.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Не прежде как отъехавши версты полторы от Луповиц, отец Прохор стал разговаривать с Дуней. Обливаясь слезами, рассказала она все, что случилось с нею минувшей ночью. Все рассказала, ничего не потаила от спасшего ее от гибели. Молча и внимательно слушал отец Прохор исповедь Дуни. Когда ж она все рассказала, спросил у нее:

– Зачем же вы, Авдотья Марковна, ежели решились оставить ересь и самый дом, где были совращены, зачем, говорю, пошли вы ночью на их сбирище и даже в особую комнату для свидания со злейшим еретиком Денисовым? Ведь я вас предупреждал об нем...

Еще слава богу, что так обошлось, а то ведь непременно сделались бы его жертвой. Немало

бывало примеров. Лишились бы и чести и доброго имени, если бы не молитвы за вас святого отца нашего Амвросия епископа Медиоланского. Так я смотрю на дело вашего спасения и глубоко верую, что совершилось оно не иначе, как по ходатайству пред богом сего святителя. Примите же совет мой, примите стариковскую просьбу: ежели бы вы находились в ограде истинной церкви, я бы, при ваших достоинствах, посоветовал вам устроить хоть придел в честь и славу сохранившего вас от гибели святителя, но как вы принадлежите к тем, что разнятся с нами в обрядах и своих церквей не имеют, так устройте хоть икону святителя Амвросия и всю жизнь свою утром и вечером молитесь перед нею теплою молитвой благодарения. Святитель Амвросий Медиоланский чествуется у ваших, равно как и у нас, – память его совершается в седьмое число декабря, на другой, значит, день зимнего Николая. Последуйте же моему совету, и святой отец не умалит дивных своих к вам милостей. Скажите мне, исполните ли искренний и душевный совет мой?

– Исполню, отец, Прохор, непременно исполню, – с горячим порывом ответила Дуня.

– А ежели по молитвам отца нашего Амвросия, имеющего дерзновение обращаться с ходатайством к отцу небесному, когда-нибудь, рано ли, поздно ли, войдете вы в ограду святой церкви, на что имею полную надежду, соорудите тогда хоть придел во имя его, а ежели достанет средств, то и новый храм. Не ответила Дуня отцу Прохору.

– А ежели, по божью благословению, вступите в жизнь супружескую, продолжал он, – то первому сыну нареките имя Амвросий. Пускай и на старости ваших лет непрестанно напоминает он вам преславное имя избавившего вас от гибели святителя.

Дуня опять промолчала... Больше версты они проехали молча. Наконец, отец Прохор спросил:

– Скажите мне теперь по чистой совести самую сущую правду, что побудило вас, открыто заявивши фармазонам, что вы душевно и телесно чуждаетесь их, что побудило вас прийти на схождение оных богопротивников и даже идти на свиданье с Денисовым?

Дуня рассказала, как Луповицкие ее уговорили и как она до последней минуты не предвидела со стороны Денисова ни обмана, ни злого умысла.

– Злодеи, злодеи! – вскрикнул отец Прохор. – Доколе терпит их господь! И, немного погодя, сказал:

– Я отвезу вас в губернию (Губернский город.). Там будет вам безопасно – еретики там ничего не посмеют сделать. Привезу я вас в хороший купеческий дом. Семейство Сивковых есть, люди благочестивые и сердобольные, с радостью приютят вас у себя. Только уж вы, пожалуйста, ни про наших господ, ни про Денисова, ни про их богохульную веру ничего им не рассказывайте. Ежели донесется об этом до Луповиц, пострадать могу. Так уж вы, пожалуйста, богом прошу вас, Авдотья Марковна.

– Будьте уверены, слова никому не вымолвлю, – отвечала Дуня. – И разве можно говорить мне, ежели это повредит вам. Ведь вы мой избавитель, я ведь без вас непременно бы пропала. А как бы после того показалась я на глаза тятеньке?

– Так уж, пожалуйста. Я вполне надеюсь, – сказал отец Прохор. – А у Сивковых как будет вам угодно – к батюшке ли напишите, чтобы кто-нибудь приезжал за вами, или одни поезжайте. Сивковы дадут старушку проводить – сродница ихняя живет у них в доме, добрая, угодливая, Акулиной Егоровной зовут. Дорожное дело знакомо ей – всю, почитай, Россию не раз изъездила из конца в конец по богомольям. У Сивковых и к дороге сготовитесь, надо ведь вам белья, платья купить. Деньги-то есть ли у вас на покупку и на дорогу?

– Денег у меня довольно, на все достанет, – отвечала Дуня.

– Ну вот и хорошо, вот и прекрасно, – проговорил отец Прохор. – А если бы паче чаяния нуждались в деньгах, можно бы было у Сивковых достать, он ведь каждый год к Макарью ездит и порядочное число соленой рыбы закупает. Надо полагать, что и родителя вашего знает, может статься, и знакомство с ним водит. Он ни в чем не откажет вам... Вот еще о чем спрошу я вас, Авдотья Марковна, – немного подумавши, продолжал отец Прохор. – Не осталось ли у вас в господском доме каких-нибудь писем или записок о ваших сношениях с хлыстами?

– Нет, ничего не осталось, – ответила Дуня.

– То-то, этого теперь пуще всего надо опасаться, – молвил отец Прохор. Нужно вам сказать, –

только до времени об этом пока никому не говорите, – не в долгом, надо полагать, времени господам Луповицким будет разгром: наедет суд, обыски начнут у них в доме делать, пойдет следствие. Сохрани боже, если найдется какой-нибудь клочок бумажки, где помянуто ваше имя. Это может и вас к делу припутать. А дело, по-видимому, разгорится очень важное, и для всех хлыстов Луповицких и других самое неприятное по своим последствиям.

– Нет, отец Прохор, никаких моих бумаг в ихнем доме не осталось, сказала Дуня. – Но что ж это за следствие? Что такое случилось?

– Всего подробно теперь объяснить вам не могу, – отвечал отец, Прохор. Сам многого не знаю. На третий день после Успеньева дня я ездил в губернию, в консистории по одному делу был. Там один верный человек, хорошо знающий дела, сказывал мне, что новый владыка крепко принялся за хлыстов. Из Петербурга, слышь, из самого святейшего синода получил он указ насчет господ Луповицких и о том, что скоро к ним должен приехать самый злейший еретик Денисов...

Как он приедет, так их и накроют. А дело о хлыстах началось в Москве, и по взятым у них бумагам открылось, где, в каких, значит, местах теперь они находятся. И повсюду, слышно, розыски пошли до следствия. Не знаю уж, от кого и каким образом узнал владыка, что я в губернии, и велел прийти к нему. И без малого целый час изволил келейно со мной беседовать насчет луповицкой хлыстовщины. Известное дело, перед архипастырем всю правду надлежит рассказывать. Я и рассказал. Тут владыка благословил меня ехать восвояси и примолвил о наших соседях: «Видно, им того же захотелось, что с отцом их было».

– А что такое было с их отцом? – спросила ничего о старых делах не знавшая Дуня.

– Не слыхали разве? – сказал отец Прохор. – Про это не любят они разговаривать. Отец ведь тоже был в этой самой ереси, а как человек был знатный и богатый, то никто к нему и прикоснуться не смел. Сильная рука у него была в Петербурге, при самом царском дворе находились друзья его и благоприятели. А все-таки не избежал достойной участи – в монастырь сослали, там в безысходном заточенье и жизнь скончал.

– А давно ль это было? – с любопытством спросила Дуня.

– Да уж лет тридцать прошло с той поры, как его под стражей из Луповиц увезли. Я был тогда еще внове, только что удостоился принять рукоположение, – отвечал отец Прохор. – Но его хорошо помню – важный такой вид имел, а корабль у него не в пример больше был теперешнего. И в том корабле были все больше из благородных да из нашего брата, из духовенства... А вот мы и приехали, – прибавил отец Прохор, указывая на огоньки и на белевшие в полумраке здания губернского города.

Отец Прохор подъехал к большому каменному дому купца Сивкова. Радушно встретили его и хозяин, только что воротившийся от Макарья, и жена его, и две снохи, и дальняя сродница Акулина Егоровна, та самая, что разъезжала, а иной раз и пешком ходила по богомольям. Отец Прохор рассказал хозяину придуманный дорогой вымысел насчет Дуни.

– Не знаете ли, Поликарп Андреич, Марка Данилыча Смолокурова, рыбой у Макарья торгует? – спросил он Сивкова.

– Как не знать Марка Данилыча! – отвечал Сивков. – На Гребновской он первый воротила. Довольно знаем Марка Данилыча, не раз товар бирали у него, кредитовались, значит.

– Вот это его дочка, – сказал отец Прохор, взявши Дуню за руку.

Хозяйка, обе снохи и Акулина Егоровна стали обнимать и целовать Дуню. Как ни удерживалась Дуня, а от этих искренних ласк незнакомых людей слезы вдруг в три ручья покатились у нее из глаз, а подступавшие рыдания совсем было задушили ее.

– Что с вами? Что с вами? – услуживая Дуне, говорили жена и снохи Сивкова, а старушка Акулина Егоровна со всех ног бросилась за холодной водой и с молитвой напоила Дуню. Той стало немного полегче.

Между тем отец Прохор рассказывал, что Авдотья Марковна с одной пожилой купчихой из ихнего города собралась съездить в Киев на богомолье и далеко еще туда не доехала, как с ней случилось несчастье. Верстах в двадцати пяти от Луповиц остановились богомольцы ночевать на постоялом дворе у крестьянина. И в то время как все уж заснуло, на том дворе загорелось. Авдотья Марковна с вечера не раздевалась и в одном платье выбежала из пылавшего дома, а ехавшая с

нею купчиха и еще семь ли, восемь ли богомолков сгорели. Все имущество, и кибитка, и ямские лошади – все погорело.

– А я тогда случился в соседнем селе, – прибавил отец Прохор, – дельцо там было одно у меня. Вот и взял я на свое попечение бесприютную девицу.

– Ах, господи! Ах, горе-то какое! Всякого избави и сохрани господи от такой беды! – воскликнули женщины, осыпая ласками Дуню.

– Это в Перигорове пожар-от был? – спросят Поликарп Андреич.

– Так точно, – отвечал отец Прохор. – А я на ту пору был в селе Слизневе, и версты не будет от Перигорова-то, побежал на пожар, да и нашел Авдотью Марковну.

– И до нас об этом пожаре вести дошли, и про то еще рассказывают, что сколько-то богомольцев тут сгорело, – сказал Сивков.

А дня за три в самом деле был пожар в Перигорове, и несколько человек, бог их знает откуда приехавших, сгорело на постоялом дворе. Отец Прохор этим случаем воспользовался для своего рассказа.

– Как взял я Авдотью Марковну, так и порешил, не заезжая домой, к вам ехать, – продолжал отец Прохор. – На вас рассчитывал, зная, что не покинете бедняжку в трудном ее положении. Опять же и то, что здесь можно ей будет во всем исправиться: белья купить, платья и всего другого, что понадобится. Деньги есть у Авдотьи Марковны, а вот шубейку и платок и черевики у слизневской матушки попадья на время для нее я взял, было бы в чем до вас доехать. Уж вы сделайте милость, Поликарп Андреич, примите в ней участие. Родитель ее будет вам очень благодарен за неоставление единственной дочери.

– Об этом, отец Прохор, нечего и толковать, – сказал Поликарп Андреич. Опрichь того, что Марку Данилычу я всегда и во всякое время со всякой моей радостью готов услужить, насколько сил и умения станет, мы бы и по человечеству должны были принять участие в таком несчастье Авдотьи Марковны. Не соскучилась бы только у нас, – прибавил он, обращаясь к Дуне.

– Помилуйте, Поликарп Андреич. Да я к вам точно в рай попала после того, что было со мной, – со слезами благодарности ответила Дуня.

– Полноте, полноте, вы опять за слезы! – вскрикнул Сивков. – По-моему, вам бы теперь отдохнуть, успокоиться. Семеновна, – прибавил он, обращаясь к жене, – и вы, сношеньки, подите-ка, мои матушки, успокойте Авдотью Марковну. А завтра поезжайте с ней за покупками. А ежели у вас, Авдотья Марковна, в деньгах может быть нехватка, так вы об этом не извольте беспокоиться – чем могу служить, все для вас и для Марка Данилыча сделаю.

Поликарп Андреич вдвоем остался с отцом Прохором. Долго рассуждали они, как быть с Дуней. Наконец, решили так: только что исправит она свои покупки, отправить ее к отцу с Акулиной Егоровной, а меж тем послать письмо к Марку Данилычу и отписать, где теперь она находится и в какой день намерена в дорогу выехать.

На другой день отец Прохор простился и с Сивковыми и с Дуней. Ее прощанье было самое душевное. Обливаясь слезами, до земли она преклонилась перед своим избавителем, но благословения не приняла – все-таки ведь он никонианин.

На прощанье дала она отцу Прохору сторублевую. Сначала тот не хотел было брать, однако взял. Дуня обещала писать к нему, никогда не забывать его благодеяний и помогать ему в трудной жизни его.

На другой день стали покупать необходимое для Дуни. Она была окружена самым теплым участием и бесконечными ласками Сивковых. А Поликарп Андреич, зная теперь, что она единственная дочь у Смолокурова, говорил наедине своей Семеновне:

– Вот поторопились мы с тобой Василья-то женить! Вот бы невеста ему. При теперешних обстоятельствах дело-то, может быть, сладилось бы. Поторопились, поторопились. Миллионщица ведь.

– Уж чего ты, батька, не насажешь, – недовольным голосом ответила жена. – Значит, не было на то воли божией. Да кто еще узнал – пошла ли б она за нашего Васильюшку.

– А отчего ж бы и не пойти? – возразил Поликарп Андреич. – Чем парень не вышел? Взял и ростом, и дородством, не обидел его господь и красой и разумом. Отборный жених. А главное то

возьми в расчет, что ведь миллионщица! После отца одной ей все достанется.

– Перестань, батька, пустяки городить. Взбретет же такая чепуха в голову, – сказала Семёновна и ушла от мужа в другую комнату.

Покупки были готовы, и Дуня собиралась в дорогу с Акулиной Егоровной. Поликарп Андреич подрядил извозчика на долгих довести их до того городка, где жил Марко Данилыч. Решено было ехать на другой же день, а между тем и Сивков и Дуня письма к Марку Данилычу написали, ни одним словом, однако, не помянув о пожаре в Перигорове. Дуня уведомляла отца, что Марья Ивановна едва ли не до зимы пробудет у своих родных и что знакомый ему Поликарп Андреич Сивков, войдя в её положение, отправляет её в родительский дом с надёжной женщиной, своей сродницей.

На другой день, после того как отец Прохор воротился домой, Аграфена Петровна к нему приехала. Сказанные им слова, что Дуня «пропала без вести», до того поразили вихоревскую тысячницу, что вся она помертвела и долгое время в себя не могла прийти. Отец Прохор догадался, что она не просто знакомая Смолокуровым, а что-нибудь поближе. Когда пришла в себя Аграфена Петровна и немного поуспокоилась, сказал он:

– Из такой вашей тревоги должен я заключить, что вы не совсем чужая Авдотье Марковне. Может статься, сродницей ей доводиться?

– Не родная я ей, зато самая близкая, – едва слышным, прерывающимся от рыданий голосом отвечала Аграфена Петровна. – Ах, господи!.. Господи!.. Беда за бедой!.. Горе следом за горем бежит!

– Вы сказали, что у Авдотьи Марковны родитель при смерти лежит, молвил отец Прохор.

– Да, с ним удар, – ответила Аграфена Петровна. – Без движенья лежит, без языка, а как кажется, в памяти, и вдруг ещё это горе! И такое ужасное!

– Смиритесь, сударыня, перед перстом господним, – учительным тоном сказал ей отец Прохор. – Создатель лучше нас знает, что нам на пользу и что во спасенье.

– Вы близко её знали? – спросила Аграфена Петровна.

– Очень близко, – отвечал отец Прохор. – И ежели, бог даст, увидите, лихом она меня не помянет. А могу ли я у вас попросить какого-нибудь видимого знака в доказательство, что близки вы с Авдотьей Марковной? – продолжал после короткого молчания отец Прохор. – Извините, не зная вас лично, вполне довериться не могу...

– Дунину руку знаете? – несколько подумавши, спросила Аграфена Петровна.

– Знаю.

– Вот её письмо ко мне, сличите. А письмо-то писано было года полтора перед тем. Дуня называла в нём Аграфену Петровну самым дорогим, самым сердечным другом своим и говорила, что, кроме её, нет у неё никакого близкого.

Кликнул отец Прохор Степанидушку и велел принести Дунино письмо, писанное к попадье из губернского города с благодарностями за привет и ласки. Когда Степанидушка принесла письмо, отец Прохор, внимательно рассмотрев оба, сказал:

– Теперь вижу, что вы близки, и могу много сообщить вам об Авдотье Марковне.

– Где она? Где? Не мучьте, ради бога, меня, скажите скорей! – быстро схватив отца Прохора за руку, с нетерпением воскликнула Аграфена Петровна.

– Не беспокойтесь. Она в месте безопасном, теперь ей не может быть никакой неприятности, – сказал отец Прохор. – Поезжайте в наш губернский город, там у купца Сивкова найдете Авдотью Марковну. Марку Данилычу тот купец знаком. Дела у них есть торговые.

– Так я сейчас же поеду, – сказала Аграфена Петровна.

– Отдохните немножко, выедете под утро, – молвил на то отец Прохор. Дня три либо четыре Авдотье Марковне надо будет с делами управиться. Ведь она в одном платьице из барского дома ушла. Хорошо ещё, что деньги-то были при ней.

– Как в одном платье? – с изумлением спросила Аграфена Петровна. – Это как так?

– Ночью она убежала, – сказал отец Прохор. – Грозил ей большое несчастье, беда непоправимая. В окошко выпрыгнула. Не до того было ей, чтоб пожитки собирать... Да я лучше все по порядку расскажу. Неподалеку от того города, где живет родитель Авдотьи Марковны, одна пожилая барышня, генеральская дочь, именье купила. Из семьи здешних господ она – Алымова, Марья Ивановна.

– Знаю я ее, знаю, – торопливо молвила Аграфена Петровна. – С год тому назад сделала она для меня такое благодеяние, что никогда его нельзя забыть. Маленькую дочку мою от верной смерти спасла – из-под каретных колес ребенка выхватила. Не будь Марьи Ивановны, до смерти бы задавили мою девочку... Всегда богу за нее молюсь и почитаю благодетельницей.

– Вот! Одной рукой людей от телесной смерти спасают, а другой ведут их в вечную смерть, в адскую погибель, – вздохнув и поникнув седой головой, сказал отец Прохор. – Доколе, господи, терпишь ты им?

– Неужели Марья Ивановна? – сказала Аграфена Петровна. – Не могу понять, как это случиться могло.

– А вы там, в своей стороне, не слыхали ль чего про Марью Ивановну? – спросил отец Прохор.

– Бог ее знает, – сказала Аграфена Петровна. – Мало ль какие слухи по народу стали теперь обноситься – всего не переслушаешь. Толкуют, что какой-то особой веры держится она, фармазонской, что ли, какой.

Промолчал отец Прохор. Не пускался он с Аграфеной Петровной в откровенности, боясь, чтобы коим грехом его слова не были перенесены в барский дом. Конечно, Дуня обещалась не оставлять его своей помощью, однако ж лучше держать себя поопасливей – береженого и бог бережет. А дело, что началось насчет хлыстов, еще кто его знает чем кончится.

– Увидитесь, бог даст, с Авдотьей Марковной, пусть она сама расскажет вам про все, – молвил отец Прохор. – А теперь вот что я скажу вам: Марья-то Ивановна, стало быть, знает вас? Знает, стало быть, и то, что вы с Авдотьей Марковной близки?

– Знает, все знает, – сказала Аграфена Петровна.

– Так видите ли – хоть мы и рады гостям во всякое время, а советовал бы я вам и ради Авдотьи Марковны и ради меня, чтобы вы теперь же ночью выехали из Луповиц, – сказал отец Прохор. – Не то увидит вас Марья Ивановна да узнает, что вы у меня остановились, тогда чтобы беды какой не случилось, особенно для меня. А я человек зависимый и хоть уверен, что Авдотьей Марковной оставлен не буду, однако ж надо мной есть начальство. Вздумают здешние господа пожаловаться – рука у них сильная, а я человек маленький, безо всякой защиты. Так вы уж, пожалуйста, не посетуйте, хоть мне и очень совестно, да что ж тут делать?

– Вы хорошо придумали, отец Прохор, – сказала Аграфена Петровна. Лошадей я наняла в губернском городе, сюда и обратно. Вот немножко покормят их, я тотчас и в путь. Но где ж найду я там Дунюшку?

– В губернском городе, недалеко возле базарной площади, большой каменный дом купца Сивкова стоит, всякий его укажет вам, – отвечал отец Прохор. – Поклонитесь и Авдотье Марковне, и Сивкову Поликарпу Андреичу со всем его благословенным семейством. Люди они хорошие, сердечные – завтра сами увидите.

Заполночь уж было, когда на покормленных немножко лошадях поехала из Луповиц Аграфена Петровна. С любовью и радушием проводили ее и отец Прохор, и матушка попадья, и обе поповны, говоря, что очень соболезнают, не угостивши как бы следовало приехавшую из такой дали гостью. А когда, проводя ее, воротились в дом и отец Прохор вздумал поправить лампадку, что теплилась перед образами, на полочке киотки увидал сторублевую бумажку! Ясно, что ее оставила Аграфена Петровна. Не ворочать же ее с дороги. Отец Прохор с матушкой решили написать промелькнувшей в доме их гостье благодарное письмо – благо знали, как подписывать письма к Смолокурову. В два дня две сотни прибыли отцу Прохору, не считая десятирублевой, данной Андреем Александрычем. А луповицкий поп в целый год за требы с прихожан не получал таких денег. Да, кроме того, и впереди надежда – Авдотья Марковна со своими миллионами не забудет

его, поможет при нужном случае.

Хоть ветер стих немного, но непогода не переставала. Как из сита сыпал мелкий осенний дождик и громко шумел о кожаную крышку дорожной кибитки, где сидела Аграфена Петровна с глухой Степановной, взятой в попутчицы из смолокуровского дома. Наскоро накормленная тройка чуть тащила по глубокой, по самую ступицу, грязи, больше тащилась шагом, а кругом не видно ни зги. Выехавши из Луповиц и добравшись до соседней деревни, Аграфена Петровна успокоилась, а до того все погони из барского дома боялась. Она думала теперь, что Луповицы место недоброе, а барский дом – вертеп самых злых людей. Отец Прохор не сказал ей, какая опасность угрожала Дуне и от какой беды спасена она, потому Аграфена Петровна и не могла понять, отчего это ее подруга убежала из того дома в одном платье, бросивши пожитки. Чего только не приходило ей в голову, но, не зная тайн фармазонской веры, не могла она представить себе о беде, грозившей Дуне.

Поздно вечером Аграфена Петровна добралась до «губернии». Сыскать дом Сивкова было нетрудно, каждый его знал. Супротив того дома был широкий одноэтажный деревянный постоялый двор; в нем на пути в Луповицы останавливалась на несколько часов вихоревская тысячница, не подозревая, что напротив постоялого двора была тогда Дуня.

Был уже час одиннадцатый, огней у Сивкова не видно, должно быть все спать легли. Аграфена Петровна решила переночевать в той же гостинице, где останавливалась накануне. Однако ж ей не терпелось. Поглядывая из-за своих запотелых и дождем закрапленных окон, она то и дело посматривала на дом Сивкова. Ни единого огонька, но вот растворилась вделанная в широкие ворота узенькая калитка, и лениво вышел из нее дворник, закутанный в дубленый полушубок, с лицом, наглухо обвязанным платком. Вышел он на улицу, снял шапку, трижды перекрестился на церковь, что стояла середь базарной площади, и, широко, во весь рот зевнувши, уселся на приворотной скамейке. Видит это Аграфена Петровна, и вдруг захотелось ей узнать, тут ли Дуня, или уж уехала.

Не надеясь на глухую и разоспавшуюся Степановну, быстро накинула она на себя шубейку и, выйдя с постоялого двора торопливым шагом, перебежала улицу по булыжной мостовой, покрытой сплошь черной, как смоль, липкой, невылазной грязью.

– Послушай, голубчик, – сказала она, подойдя к дворнику. – Это дом Сивкова?

– Поликарпа Андреича Сивкова – так точно, – хриплым голосом, сквозь зубы промычал дворник, не вставая со скамьи и поворачиваясь спиной к северу, откуда рвался студеной порывистый ветер.

– Послушай, голубчик, я проезжая, часу нет, как пристала на этом постоялом дворе, – начала Аграфена Петровна.

– Понимаем. Это нам можно понимать, – недовольным голосом промолвил дворник.

– Мне бы надо было знать о девушке, третьего дня никак приехавшей со священником, отцом Прохором, – проговорила Аграфена Петровна.

– Не наше дело, – сказал дворник и махнул рукой: убирайся, мол, подобру-поздорову.

– В окошках не видно свету, надо думать, что спать легли, а то бы я прямо к Поликарпу Андреичу пошла, – сказала Аграфена Петровна. Дворник не дал ответа.

– Послушай, голубчик, – сказала Аграфена Петровна, вынимая зелененькую. – Праздники подходят, скоро будет мала пречиста (Рождество богородицы, 8-го сентября.). Возьми на этот праздник.

Дворник взял бумажку и, несмотря на дождь и на крепкий ветер, подошел к уличному фонарю, разглядел подаренье и, спрятав его, подошел к Аграфене Петровне.

– Много вам благодарны остаемся, – сказал он ей. Дай вам господи всякого благополучия и во всем доброго успеха. В чем же вам до меня надобность? С готовностью могу все для вашей чести. Конечно, люди мы, как изволите знать, маленькие, подчиненные, многого сделать не можем; а о чем спросите, ответ дадим с удовольствием.

– Скажи, пожалуйста, приезжая девица у вас еще иль уехала? – спросила Аграфена Петровна.

– Покамест у нас, – отвечал дворник. – А завтра под вечер либо послезавтра утром поедет

она, куда ей надобно, с нашей Акулиной Егоровной, сродница хозяину-то будет. Погорела, слышь, ваша-то знакомая в деревне Перигорове на постоялом дворе. Много, сказывают, людей живьем там погорело, и пожитков, и лошадей, и всякого другого добра. Эти дни приезжая-то все искупала себе на дорогу. По всему видится, что она при больших достатках. А впрочем, дело не наше – верно сказать не могу. А гуторят по дому, в застольных, значит, и у нас на конюшнях. Я ведь, сударыня, у хозяина-то днем конюхом, а ночью на карауле стой. Таков уж распорядок. Хуже крепостных аль дворовых живем, даром что государевыми пишемся. Крепостные да дворовые изленились и стали в тягость барам, а все-таки ихняя жизнь не в пример нашей краснее. Купец ведь совсем тебя вымозжит.

– Скажи, любезный, – перерывая дворника, спросила Аграфена Петровна. Не в задних ли комнатах приезжая девица? Может, она еще не спит, я бы прошла к ней, коли бы ты провел меня. Я бы за то тебя хорошо поблагодарила. Хочешь пятирублевую?

Жалобно дворник вздохнул. Очень хотелось ему получить благодетель, но сделать не мог ничего. Постоял молча, минуты с две раздумывая, нельзя ли как пробраться к приезжей, но ничего не придумал. Сказал он Аграфене Петровне:

– Теперь никак нельзя. Весь дом, пожалуй, перебулгачишь. Нет, уж вы лучше завтра утром пораньше приходите. Хозяева примут вас со всяким удовольствием – будьте в том несомненны. А поутру, как только проснется приезжая, я ей через комнатных девушек доведу, что вы ночью ее спрашивали, а сами пристали на постоялом дворе супротив нас. Может, и сама к вам прибежит. Как только сказать-то ей про вас?

Аграфена Петровна сказала свое имя, и дворник, удовлетворенный трехрублевою благодетель, на своих руках перенес вихоревскую тысячную через заплывшую грязью улицу.

На другой день только что проснулась Аграфена Петровна и стала было одеваться, чтоб идти к Сивковым, распахнулись двери и вбежала Дуня. С плачем и рыданиями бросилась она в объятия давней любимой подруги, сердечного друга своего Груни. Несколько минут прошло, ни та, ни другая слова не могли промолвить. Только радостный плач раздавался по горенке.

Изумилась Дуня, увидевши, что такая домоседка, как Аграфена Петровна, покинув мужа, детей и хозяйство, приехала к ней в такие дальние, незнакомые места. Ее сердце почуяло что-то недоброе – она еще ничего не знала о смертной болезни Марка Данилыча и засыпала Груню расспросами.

Только что услышала Дуня о болезни отца, минуты две или три не могла слова сказать. Потом, закрывши лицо руками и громко зарыдав, без чувств упала на не прибранную еще постель Аграфены Петровны. Нескоро пришла в себя, нескоро собралась с силами.

– Тятенька, тятенька! – восклицала она. – Милый ты мой, дорогой, бесценный! И все это без меня, без меня!.. Куда теперь денусь, куда приклоню свою победную голову?

Сколько может, утешает ее Аграфена Петровна, но долго еще лились потоками горячие слезы из глаз безотрадной Дуни. Утишился, наконец, первый приступ страшного горя, перемогла себя Дуня и рассказала обо всем, что случилось с ней в Луповицах. С ужасом выслушала Аграфена Петровна рассказ ее.

– При чем же тут Марья Ивановна? – спросила, наконец, она, все еще сохраняя благодарную память о спасительнице своего ребенка. – Неужели и она такая?

– Ах, ничего ты не знаешь, моя сердечная... И того не знаешь, что за зверь такой эта Марья Ивановна. Все от нее случилось. Она и в ихнюю веру меня заманила!.. Она и к Денисову заманила!.. – вскрикнула Дуня, стыдливо закрыв руками разгоревшееся лицо. – Все она, все она... На всю жизнь нанесла мне горя и печали! Ох, если б ты знала, Груня, что за богопротивная вера у этих божьих людей, как они себя называют! Какие они божьи люди?.. Сатаны порожденья.

И, отвыкшая в продолжение долгого времени произносить имя злого духа, Дуня невольно содрогнулась, когда с чистых, девственных уст ее слетело имя отца нечестия и вечной злобы.

– Да что ж это за вера? – спросила Аграфена Петровна.

– Самая богомерзкая, – быстро ответила Дуня. – Это – лжеучители, лжепророки и лжехристы, про которых истинный Христос сказал, что явятся они в последние времена мира.

– Фармазонами, слышь, зовут их, – молвила Аграфена Петровна. – По нашим местам за Вол-

гой таких нет, что-то не слышно, и ничего про них я не знаю, а слушая тебя, все-таки не возьму в толк, что это за вера. Знаю одно, что на днях в Фатьянке всех переселенных туда Марьей Ивановной из Симбирской губернии людей забрали и куда-то отвезли. Поэтому больше за тобой я сама и поехала. А то было и к Марье Ивановне и к тебе батюшка Патап Максимыч письма с эстафетой послал, прося, чтобы везли тебя скорее, успеть бы тебе увидеть родителя в живых и последнее благословение его получить. А только что пали слухи про фатьянковых, батюшка Патап Максимыч в какие-нибудь полчаса меня в дорогу снарядил. В чем же их вера? Нехорошая, должно быть, ежели за нее людей целыми деревнями забирают.

Дуня рассказала про хлыстовскую веру, не упоминая, конечно, ни про Сен-Мартена, ни про Гиона, ни про других мистических писателей. Она знала, что все это для Аграфены Петровны будет темна вода во облацех небесных. Сказала, однако, Дуня, что Марья Ивановна сблизилась с ней со своей верой сперва книгами, потом разговорами.

В ужас пришла Аграфена Петровна, услышавши про радения и проречения, и больше слушать не захотела дальше, когда Дуня стала было рассказывать ей о схождениях самого господина Саваофа на гору Городину, а потом на гору Араратскую.

– Мерзость пред господом! – громко вскрикнула она, перервав Дуню. – И слушать не хочу, и не говори ты об этом ни мне и никому другому. Подумать страшно, даже в помышлении держать. Великий грех и слушать это безумное вранье.

Облилась Дуня слезами при этих словах давнего, верного друга. Сознавала она правду в речах Груни и не могла ничего возразить. В глубокую думу погрузилась она и через несколько минут, надрываясь от горя, кинулась на постель Аграфены Петровны и, спрятав лицо в подушки, не своим как будто голосом стала отрывисто вскрикивать. Если б эти рыдания, эти сердечные вопли случились в сионской горнице, собор божьих людей возопил бы: «Накатил! накатил!» Хлыстовские душевные движения оставались еще в Дуне.

Причитала она:

– Тятенька, тятенька! Золотой мой тятенька! До чего дошла твоя любимая дочка!.. Лежишь ты при смерти, а дочка твоя балованная всего натерпелась от злых людей в дальней сторонешке... Зачем ты послушал Марью Ивановну, зачем отпустил меня с ней? Весело было мне и радостно, как поехала с ней, и вот радость и веселье до какой беды дошло. Ох ты, тятенька, тятенька! Чует ли твое сердечушко, что случилось с любимой дочкой твоей? Живучи при тебе, золотой мой тятенька, никем не была я обижена, никем-то не была я огрублена, жила за тобой, как за стеной каменной, не посмел ветерок дохнуть на лицо мое белое, ниоткуда не чаяла я невзгодушки, а теперь вот до чего дошла!.. Хоть бы раз еще на тебя хоть глазком посмотреть!..

Принять бы у твоего смертного одра последнее родительское благословение!.. Знаю я, знаю, красно мое солнышко, в какой путь ты собираешься, куда идти снаряжаешься!.. Сама знаю, сама ведаю, по какой дорожке идти ты отправляешься – на заветное наше кладбище, ко своим милым родителям! Оставляешь меня, сироту бедную, покидаешь несчастную... На кого покидаешь ты победную мою головушку? Оставляешь свою доченьку горькой сиротой, безутешною... Подломились мои ноженьки, опустили руки белые, не радостен стал божий свет!

Больше и больше приходя в восторженность, Дуня приподнялась с подушки, села на постель и стала топтать ногами... Опустила руки на колени, глаза разгорелись у ней, лицо побагровело, и вся затряслась она; мелкие судороги забегали по лицу. Вне себя стала.

– Накатил, накатил! – начала она вскрикивать, еще не вполне очистив себя от хлыстовского нечестия. – Слушайте волю, слушайте волю!.. Близится финал ярости, близится миру конец... Конец, конец!.. Разрушень!..

Хлебнула Аграфена Петровна холодной воды и неожиданно sprysнула Дуню. Восторженность прекратилась, но корчи тела и судороги на лице усилились еще больше. Аграфена Петровна, придерживаясь старорусского врачевания, покрыла лицо Дуни большим платком. Не прошло и четверти часа, как она очнулась и, слабая, изнеможенная, приподнявшись с постели, спросила Аграфену Петровну:

– Что со мной, Груня?

– Сама не знаю, – отвечала Аграфена Петровна. – По Марке Данилыче причитала, а потом,

ровно не в своем уме, бог знает, что говорила, какое-то несообразное – я понять не могла. На-ка выкушай, это облегчит.

И подала Дуне стакан холодной воды. Та с жадностью выпила и пришла в себя.

Когда Дуня успокоилась, она пошла с Аграфеной Петровной к Сивковым. Там с сердечным радушием приняли вихоревскую тысячницу.

Покупки были сделаны, и приятельницы на другой же день поехали домой. Узнав о тяжелой болезни Марка Данилыча, Сивковы не настаивали, чтобы Дуня, как следует по старым обычаям, осталась на сколько-нибудь погостить у них.

Патап Максимыч держал дом умиравшего приятеля в крепких руках, но незнание дел по прядильным и лесной пристани затрудняло его при распоряжках. Поверив счеты приехавшего с Унжи Корнея Евстигнеева, он открыл воровство на большую руку и, несмотря на ругательства и даже угрозы Прожженного, при помощи городничего отобрал от него доверенность и прогнал со двора долой. То же постигло и Василия Фадеева. Тогда в доме водворился порядок – работные люди, и годовые и временные, были чрезвычайно довольны распоряжками Патапа Максимыча, избавившего их от ненавистных приказчиков.

Они стали усердны к работам и в скором времени должны были покончить их. Но вот беда – в октябре Патапу Максимычу надо непременно заняться своей горящиной, а потому долго оставаться у Смолокурова было ему нельзя. Хоть бы приказчиков до того времени приискать почестнее да подельнее и сдать бы все дело им на руки. Марку Данилычу долго не прожить, это замечал Чапурин, а лекарь говорил, что в таком жалком состоянии хоть и долго продышит, но до смерти останется немым, бесчувственным и безо всякого движенья. Дочь – девица молодая, ни к чему не приучена, да, кажется, и не таковская, чтобы к делам привыкать, рассуждал Патап Максимыч, нужно ей человека два верных людей.

И тут пришел ему на мысли шурин Никифор Захарыч. После Настиной смерти он совсем остепенился и стал другим человеком, добрым, хорошим, сметливым и добросовестным, капли вина в рот не брал, и Патап Максимыч не раз убедился, что какое дело Никифору ни поручи, исполнит его как можно лучше. Вот уж больше года, как стал он нравом тих и спокоен – не то чтоб буяннить да драться, как прежде бывало, теперь он удалялся от всякого шума, и, когда жил у Патапа Максимыча в Осиповке, только у него и выхода было с двора, что на могилку Насти. Будь проливной дождь, будь трескучий мороз, ему все нипочем. Несколько раз посылал его Патап Максимыч по своим делам в дальние места, и Никифор Захарыч так исполнял их, как не всякому удастся. Парень-от был он смысленый и умелый, зелено вино только губило его столько времени. Его-то и решил Чапурин пристроить на время к смолокуровским делам. Но другого приказчика где сыскать?

Уныло глядел дом Марка Данилыча, когда подъезжали к нему изусталые в дороге Дуня и Аграфена Петровна.

Перед домом во всю улицу лежали снопы соломы, дня через три либо через четыре накладываемые по приказанию городничего, все окна в доме были закрыты наглухо, а вокруг него и на дворе тишина стояла невозмутимая, не то что прежде, когда день-деньской, бывало, стоном стоят голоса, то веселые, то пьяные и разгульные. Ровно вымерло все. На крыльце встретили приехавших Патап Максимыч, возвращавшийся с прядилен, и Дарья Сергевна, заведшая кибитку из окошка своей горенки.

– Что тятенька? – не выходя еще из кибитки, вскрикнула Дуня.

– То же все, – сухо и мрачно отвечал, глядя в сторону, Патап Максимыч.

– Не знаю, как и благодарить вас, Патап Максимыч. До смерти не забуду ваших благодеяний. Бог воздаст вам за ваше добро, – сказала Дуня, подходя к Чапурину и ловя его руку, чтобы, как дочери, поцеловать ее.

– Что это вы, что это, Авдотья Марковна? – не давая руки, вскрикнул Патап Максимыч. –

Ведь я не поп, чтоб вам руки у меня целовать. Лучше вот так, попросту, по старине. При моих годах это вам незазорно.

И обнял Дуню и трижды поцеловал ее со щеки на щеку. Вся зарделась она, хоть и немного еще прошло времени с тех пор, как знакомым и незнакомым мужчинам без малейшего зазрения стыда и совести усердно раздавала она серафимские лобзания.

– Здравствуйте, моя милая, здравствуйте, моя сердечная, – обратилась Дуня к Дарье Сергевне и в слезах поцеловалась с нею. Дарья Сергевна зарыдала, склонившись лицом на плечо Дуни. Но что-то недовольное таилось в душе ее с тех пор, как ее воспитанница поддалась влиянию ненавистой Марьи Ивановны.

– К тятеньке, скорей к тятеньке, – надорванным голосом вскрикнула Дуня и, несмотря на усталость, стремглав бросилась вверх по лестнице.

Навстречу ей лекарь. Как давнишний житель городка, он знал ее.

– Вот какая у вас беда стряслась, да еще без вашей бытности! – сказал он. – Батюшка ваш все в одном положении с того дня, как это с ним приключилось. Голова, по-моему, лучше, начал понемножку людей узнавать, говорит даже изредка, но нетвердо, невнятно, трудно понять. Наперед скажу – может он прожить год, пожалуй и больше, но не поправится никогда и не встанет с постели, до самой смерти останется без языка, без движения и даже почти без сознания. Ужасный удар, редко такой бывает, мне во всю мою долголетнюю практику еще не случалось такого видеть. Каждый день бываю я у вашего батюшки, но, уверяю вас, Авдотья Марковна, созовите вы хоть всех самых ученых и самых опытных врачей, и те его здоровья не восстановят.

– Благодарю вас за ваши попечения о бедном тятеньке, очень благодарю, ото всей души благодарю, но, извините, я спешу к нему. Завтра, если будете у нас, я с вами побольше поговорю, – сказала Дуня.

– Могу и сегодня приехать, ежели угодно вам будет, ответил лекарь. – А теперь попрошу я вас немножко обождать видаться с батюшкой. С четверть часа или минут с двадцать подождите. Надо его приготовить к свиданию, потому что в этой болезни каждый душевный порыв, от радости ли, от несчастья ли, сильно может повредить больному, может даже убить его. Я пойду и предупрежу его... А он вас ждет, сегодня, хоть и очень невнятно, сказал он: «Дуня». А когда я сказал, что вы еще не приехали, он долго метал в тоске здоровой рукой, а потом и глаза закрыл. Опасаюсь, чтоб ваше внезапное появление не было во вред ему. Нет, уж позвольте, я лучше предупрежу его.

Пошел лекарь к Марку Данилычу, а Дуня в бессилии опустилась в кресло и не внимала словам Патапа Максимыча, Дарьи Сергевны и Аграфены Петровны.

Прошло с четверть часа, лекарь вышел от больного и сказал Дуне:

– Пожалуйста. Наш больной приезду вашему обрадовался, ждет вас... Только одни ступайте к нему и пробудьте не больше десяти минут; я, впрочем, за вами сам приду... Слез вам удержать нельзя, но скрепите себя, сколько возможно. Ни рыданий, ни вскриков, ни других порывов. Помните слова мои.

Неслышными стопами вошла Дуня в комнату, где отец лежал на страдальческом ложе. Не слышал он, как вошла Дуня, и все еще оставался с закрытыми глазами. Она безмолвно опустилась на колени и в тихих слезах склонилась головкой к подушке.

Так прошло минуты две. Слышно только было тяжелое, порывистое дыхание Марка Данилыча. Наконец, открыл он глаза и, увидя возле себя дочь, чуть слышно и едва понятно сказал:

– Дуня!

И потекли из глаз его обильные слезы. Застонал он, но в стоне слышалась радость.

Дуня припала к здоровой руке отца и целовала ее, обливая слезами. Марко Данилыч хотел улыбнуться, но на перекошенном лице улыбка вышла какою-то странною, даже страшною.

Высвободя здоровую руку и грустным тоскливым взором глядя на дочь, Марко Данилыч показывал ей на искривленное лицо, на язык и на отнявшуюся половину тела. С большим трудом диким голосом сказал он:

– Н-нет.

– Успокойся, тятенька, бог милостив, оправишься, – дрожащим от сдерживаемых рыданий

голосом промолвила Дуня. – Я сейчас говорила с лекарем, он надеется, что тебе скоро облегчение будет.

– Н-нет, – с усилием сказал Марко Данилыч. И, указывая на стоявший возле постели железный сундук, с чрезвычайным напряжением остававшихся сил, глухо промычал:

– Ты... т... тебе.

В это время вошел лекарь. Обращаясь к больному, сказал он:

– Ну, вот и с дочкой увиделись. Теперь надо успокоиться, не то, пожалуй, утомитесь, и тогда вам хуже будет. Заснуть извольте-ка. А вы, Авдотья Марковна, со мной пожалуйста. Сосните хорошенько, Марко Данилыч, успокойтесь. Дочка приехала в добром здоровье, теперь нет вам ни тревоги, ни заботы из-за нее. Будьте спокойнее духом – это зам полезно. Прощайте, до свиданья. Завтра навещу; смотрите же, будьте у меня молодцом.

Лекарь с Дуней вышел из комнаты больного, и Марко Данилыч тотчас же сомкнул глаза и вскоре заснул крепким сном.

По уходе лекаря все сели вокруг чайного стола. Немножко успокоенная, но еще вполне не понимавшая опасности, в какой был отец, грустная, печальная, Дуня рассказала о своем с ним свиданье. Дошла речь и до сундука.

– Он много раз на него мне указывал, – возьми, Патап Максимыч, – однако ж я без законной наследницы, без вас то есть, Авдотья Марковна, на это не отважился. Злых людей на свете не перечесть – мало ль чего наплести могут. Пожалуй, скажут, что я тут попользовался. Полицию да подъячих призывать не хотелось бы. Поэтому и поджидал я вас, Авдотья Марковна, чтобы вскрыть сундук на ваших глазах. Там, говорят, у вашего батюшки и деньги и векселя положены. Надо все привести в известность. Завтра, а не то послезавтра покончим это.

– Что ж? Я готова, потому что знаю теперь волю тятенькину, – ответила Дуня.

– И прекрасно, – молвил Патап Максимыч. – Так мы завтра же вскроем.

– Как вам угодно, а я всегда готова, – ответила Дуня. – Только уж сделайте милость, устройте, сколько можно, наши дела. Ведь я ничего в них не понимаю и сделать ничего не умею. А кроме вас, у меня нет никого, кто бы помог.

– Будьте спокойны, что могу, то сделаю, – сказал Патап Максимыч. – А теперь вот о чем хочу спросить я вас: от слова не сделается, а все-таки... сами вы видели Марка Данилыча... Вон и лекарь говорит и по всем замечаниям выходит, что не жилец он на свете. Надо бы вам хорошенько подумать, как делами распорядиться.

– Ах, что вы говорите, Патап Максимыч! – воскликнула Дуня. – Бог милостив, тятенька встанет, будет совсем здоров. Зачем же прежде времени об этом говорить? И горько заплакала.

– Конечно, у бога милостей много, – сказал Патап Максимыч, – и во власти его чудеса творить. Но мы по-человечески рассуждаем. Наперед надо все обдумать и к новой жизни приготовиться.

Дуня молчала. Аграфена Петровна сказала Патапу Максимычу:

– Не видишь разве, тятенька, что Дуня ничего не может теперь придумать... Лучше эти разговоры отложить до другого времени.

– Откладывать нельзя, – сказал Патап Максимыч. – Долго мне здесь гостить невозможно – свои дела есть. Наезжать когда дня на два, когда на три могу, но подолгу проживать мне нельзя. Поэтому надо теперь же решить, как вести дела Авдотье Марковне. Продолжать их, как было при Марке Данилыче, нельзя – нужны люди, а где их возьмешь? На улице не сыщешь, на базаре не купишь. Надо людей верных и знающих, как дело вести. Ежели и при Марке Данилыче Корней с Фадеевым все по сторонам тащили да рабочих обирали, что же будет, как Авдотья Марковна сама в дела вступит, – облупят ее, ровно липочку. Поэтому и думал бы я так распорядиться – к Покрову, а может, и раньше, все работы будут кончены; отпустивши работных людей, надо будет счета очистить.

Долги окажутся, расплатиться, с должников деньги получить, рыбные промыслы на Низу и лесные дачи на Унже продать, а не то отдать в кортому – охотники найдутся. А сделавши все это, жить на капитал, положивши его в ломбард, не то держать в сериях. Чтобы устроить все это, я бы пожил здесь до Покрова, а пожалуй, немножко и подольше. Что вы на это скажете, Авдотья Мар-

ковна?

– Не знаю, что и сказать вам, Патап Максимыч, – утопая в слезах, ответила Дуня. – Ничего я не знаю, ничего не понимаю. Делайте как угодно, как вам господь бог на мысли положит.

– Хорошо-с. Постараемся услужить, – молвил Патап Максимыч. – Теперь люди нужнее всего: Корнея да Василья Фадеева я рассчитал: минуты невозможно было терпеть – отъявленные мошенники! Понять не могу, как столько времени терпел их Марко Данилыч! Одного человека я нашел, сегодня ж к нему напишу, и дён этак через пяток либо через неделю он будет здесь. А другого надо приискывать, а этого скоро не сделаешь. Я, Груня, полагаю Никифора сюда прислать. Аграфена Петровна в недоуменье покачала головой.

– Что головой-то мотаешь, – досадливо сказал Патап Максимыч. – Разве не знаешь, что теперь он совсем не тот, каким прежде был?.. Отвечаю за него, как за самого себя, – вот тебе и весь мой сказ. Не беспокойтесь, Авдотья Марковна, останетесь довольны. Он у вас был бы при доме, и на Унжу его можно бы было послать приискывать лесных покупателей.

Вечером Дуня легла в своей комнате, там же приготовили постель и Аграфене Петровне. Хоть обе были утомлены от дороги, но сон ни к той, ни к другой что-то не приходил.

– Что лекарь-то вечером сказал тебе? – спросила Аграфена Петровна у Дуни.

– Что сказал! Нехорошо он сказал, – отвечала Дуня... – сначала, как и Патап Максимыч, советовал дела устроить, а потом сказал, что надо мне быть на все готовой, что тятеньке недолго жить. И зарыдала.

– А что еще говорил? – спросила Аграфена Петровна, когда Дуня успокоилась.

– Что еще говорил! Не в свое дело мешаться вздумал... Глупости! – вскрикнула с досадой Дуня.

– Да что такое? Что он сказал? – настоятельно спрашивала Аграфена Петровна.

– Говорил, что, ежели не станет тятеньки, – трудное для меня будет время. Замуж выходить скорей советовал, – немного смущаясь, ответила Дуня.

– А что ж? Ведь он правду сказал, – молвила Аграфена Петровна. – В самом деле, надо об этом подумать. Аль луповицкие бредни у тебя все еще в голове?

– И думать о них забыла, – сказала Дуня. – Но зря за первого встречного замуж не пойдешь.

– Конечно, – согласилась Аграфена Петровна. – Не на улице искать суженого. А все-таки ищи, да не будь чересчур спесива да разборчива. В самом деле, надо тебе об этом хорошенько подумать... Есть ли кто на примете?

– Нет, – робко и чуть слышно промолвила Дуня, и румянец вдруг покрыл лицо ее.

– А что было да прошло, про то совсем, видно, позабыла? – с хитрой улыбкой спросила Аграфена Петровна.

– К чему вспоминать?.. – со вздохом промолвила Дуня. – Про меня ведь и думать забыли.

– А если нет? – возразила Аграфена Петровна.

– Груня, богом тебя прошу, не поминай! – вскрикнула Дуня. – Что тебе за охота?

– Выслушай меня, – прервала ее Аграфена Петровна. – Точно, в прошлом году с ярманки уехал он за Волгу, и то правда, что поехал он в Комаровский скит к Фленушке. Дошли до него тогда слухи, что она закурила, к водочке пристрастилась, так хотел ее уговорить, перестала бы пить, если не хочет вконец погубить себя. Прожил он в Комарове меньше недели. Ни у матери Манефы, ни у матери Таисеи не останавливался, а с Фленушкой виделся всего только раз. И на другой день после ихнего свидания она приняла постриг. Матушка Манефа при всей обители благословила ее быть на игуменстве, и теперь все у нее в руках, а матушка на покое живет и редко входит в обительские дела...

Только что постриглась Фленушка, Петр Степаныч уехал в Казань – дело там у него с дядей было насчет капитала, и он в Казани что-то очень долго прожил. Получил, что ему следовало, а получивши, за Волгу к нам приезжал, до тятеньки Патапа Максимыча в те поры у него было какое-то дело. Жил у него в Осиповке, оттуда и к нам в Вихорево приезжал, с неделю, коли не больше, прогостил у нас. По старой памяти заезжал и в Комаров и опять-таки ни в коей обители не пристал, а где-то у сирот. Приходил и в обитель, однако Фленушка с ним и в разговор не вступила, сказала, слышь, слова два, да тем и кончила.

– Да к чему это ты, Груня, мне все рассказываешь? – сказала Дуня. Ездил он в Комаров, не ездил, – мне-то какое дело? И какое еще время нашла говорить об этом!

– Какое время? – спросила Аграфена Петровна.

– Как какое? – возразила Дуня. – Тятенька при смерти, а она со своими рассказами про Самоквасова. И на память-то ему, думаю, никогда я не приходила.

– То-то и есть, что с ума никогда не сходишь... Бойтся только он тебя. Страшно ему на глаза к тебе показаться, совестно, значит, – сказала Аграфена Петровна. – Ты-то вспоминала ль о нем хоть изредка? Водилась с этой Марьей Ивановной, наслушалась фармазонских бредней и несбыточных затей, убедили тебя, что законные браки богу не угодны, а угодны только духовные, на какие покушался приезжий с Арарата – как бишь его, Денисов, что ли... От их внушений противным казался тебе человек, что готов за тебя хоть сейчас и в огонь и в воду идти... Так, что ли? А он-то, сердечный, гостивши в Вихорева, так тосковал и убивался, вспоминая тебя... Скажи по душе, сущую правду скажи, хоть разок приходил ли он тебе на разум?

– Да... приходил... в последнее время... – чуть слышно промолвила Дуня.

– Скажи, не утай, что было тогда у тебя на душе? – спросила Аграфена Петровна, вставши с постели и и подсев к лежавшей Дуне.

– Вспоминала я про него, – почти вовсе неслышным голосом ответила Дуня крепко обнимавшей ее Аграфене Петровне. – В прошлом году во все время, что, помнишь, с нами в одной гостинице жил, он ни слова не вымолвил, и я тоже... Ты знаешь. И вдруг уехал к Фленушке. Чего ни вытерпела, чего ни перенесла я в ту пору... Но и тебе даже ни слова о том не промолвила, а с кем же с другим было мне говорить... Растерзалась тогда вся душа моя.

И, рыдая, опустила в объятья подруги. Утишились рыдания, и Дуня продолжала исповедь:

– Хотела его совсем позабыть, как будто никогда его и не видывала. Противен он стал мне, возненавидела я его всей душой... Злоба во мне разгоралась... Без содроганья, кажется, я убила бы его... Начались со мной припадки, особенно по ночам. Никто не замечал их, никто не знал про них, никому я не говорила, даже тебе ни слова не сказала... А сердце кипело огнем...

В Оку думала броситься, зарезать себя думала... Тут появилась Марья Ивановна. Доброй такой она мне показалась, задушевной, участливой... Не уезжай он перед тем, не наругайся надо мной, не бывать бы мне близкой с Марьей Ивановной!.. А может быть, он и не виноват, может, не заметил моей склонности, думал о другой – не знаю, ничего не знаю... Такова уж судьба моя!.. Ну, указала мне Марья Ивановна на книги, и стала я за ними проводить и дни и ночи... Подготавливала она меня, а весной совсем с пути сбила... Ввела меня в корабль, и я не только его, – тятеньку даже забыла, Дарью Сергеевну, всех, всех... А как теперь, со слов отца Прохора, поняла, не я была нужна им, а тятенькин капитал...

Мы, дескать, ее опозорим, ей не за кого будет замуж идти, поневоле у нас останется, и рано ли, поздно ли, достатки ее будут у нас в руках... Дуня замолчала.

– Ты, Дунюшка, обо всем об этом еще дорогой мне рассказывала. Об нем-то почему же не скажешь ничего? – сказала Аграфена Петровна. – Думала ль хоть когда-нибудь о нем? Вспоминала ли?

– Да, с той поры, как стала сомневаться в правоте той веры, – тихо промолвила Дуня. – И тут стал чудиться мне его голос, нежный такой и жалобный, а после и сам всем обличем начал мерещиться мне. Стоит, бывало, ровно живой...

– Что ж, пугалась ты? – спросила Аграфена Петровна.

– Нет, каждый раз, бывало, как увижу его, радостно и весело станет на душе, – отвечала Дуня. – А потом вдруг нахлынет тоска со всего света вольного, и занает сердце, кровью обливаюсь. И каждый раз после того долго бывала я как сама не в себе. На уме мутится, мысли путаются.

– А теперь что? – спросила Аграфена Петровна.

– Как убежала, больше он не казался, и голоса не стало слышно, отвечала Дуня. – Зато тоски вдвое прибавилось. Как вспомню про него да подумаю, так и захочется хоть минутку посмотреть на него.

– Может, и увидишь, – улыбаясь, сказала Аграфена Петровна. – Теперь он ведь в здешних

местах, был на ярманке, и мы с ним видались чуть не каждый день. Только у него и разговоров, что про тебя, и в Вихореве тоже. Просто сказать, сохнет по тебе, ни на миг не выходишь ты из его дум. Страшными клятвами теперь клянёт он себя, что уехал за Волгу, не простившись с тобой. «Этим, говорит, я всю жизнь свою загубил, сам себя счастья лишил». Плачет даже, сердечный.

– Ну, уж и плачет? – с недоверьем и с тем вместе с довольной улыбкой промолвила Дуня.

– Сколько раз у меня в каморке на ярманке плакивал, – сказала Аграфена Петровна. – А, бывало, молвишь ему, что он тебе по мыслям пришелся, вздохнет, бывало, таково глубоко, да и скажет тоскливо: «Как посмею я к ней на глаза показаться? Моя доля, говорит, помереть с тоски. Порешу, руки наложу на себя – уж лучше один конец, чем всю жизнь в тоске да в печалях изжить». Вот его речи... Однако заговорились мы с тобой, скоро уж полночь. Давай-ка спать, – прибавила Аграфена Петровна, уходя на свою постель. Покойной мочи, приятного сна! Желаю во сне его увидеть.

Легли и замолчали. Но не успели заснуть, как в доме послышались беготня и громкие клики.

Кто-то из женщин тихонько отворил дверь в Дунину спальню.

– Авдотья Марковна, и вы, матушка Аграфена Петровна, – осторожным шепотом сказала вошедшая женщина. – Пожалуйте! Марку Данилычу что-то неладно.

Мигом и Дуня и Груня набросили на себя попавшиеся под руку платья и побежали к больному. Они услышали в прихожей необычайный шум: кто-то хриплым голосом бранился, а Патап Максимыч громко приказывал.

– Сейчас в полицию его, разбойника, да руки-то хорошенько скрутите. А ты беги скорей за лекарем, спит, так разбудили бы.

Когда Дуня вбежала к отцу, он лежал недвижим.

Помутившиеся глаза тоже были недвижны, здоровая до тех пор рука омертвела. С громким воплем ринулась к нему растерявшаяся Дуня и обхватила его обеими руками. Марко Данилыч уж холодел, и только легкий хрип в горле еще показывал, что последний остаток жизни сохранялся еще в нем. Мало-помалу и хрип затих.

Пришел лекарь, пощупал пульс, пощупал сердце – и, отойдя от постели, сказал:

– Кончено!

Дуню без чувств вынесли из комнаты.

Патап Максимыч вынул из-под подушки ключи от денежного сундука, отнес их к Дуне, но она была без памяти. Он передал их Аграфене Петровне.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вечером в день приезда Дуни, когда все разошлись по местам, комнатная прислуга пошла в кухню ужинать. Разбитной Матрене с начала болезни Марка Данилыча было велено ложиться у дверей его спальни, и она исправно исполняла этот приказ, но теперь не утерпела и тоже в кухню пошла побаласничать с глухой Степановной, порасспросить ее про чужую сторону и «про людей неведомых». Пошла, да и заболталась, а наружные двери хозяйских покоев остались незапертыми. Заболталась Матрена со Степановной, и прочие все засиделись на кухне, слушая рассказы ездившей в такую даль старушки.

Окна кухни выходили на улицу. Заслушавшиеся рассказней Степановны не заметили, что кто-то, подойдя к окну, долго рассматривал каждого из сидевших и, кажется, считал их. Потом, подойдя к воротам, перелез через забор и отпер калитку. Собаки залаяли было на него, но он поманил их к себе, приласкал, и псы, узнав своего человека, разбежались по конурам.

Осторожно взобрался он на крыльцо, поднялся в верхний ярус дома и вошел в хозяйские комнаты, зная, что там все спят, потому что нигде, кроме комнаты больного, огня не горело.

Знакомым ходом прошел он к Марко Данилычу. Тот спал, но пришлый смело подошел к нему, взял за здоровую руку и сказал вполголоса:

– Проснись, хозяин, пробудись, ваше степенство, Корней Евстигнеевч проститься пришел с твоей милостью.

Открыл Марко Данилыч глаза и, увидав перед собой Прожженного, хотел было вскрикнуть,

но вместо крика вырвалось из уст его лишь слабое мычанье.

Заволжский друг-приятель твой с места меня согнал,-продолжал Корней.Рассчитал и меня и Василья Фадеича как следует, ни копейки против расчетных книжек не удержал. В этом ему надо чести приписать. Да чуешь ли ты, что я говорю тебе?

Марко Данилыч опять промычал неведомо что.

– Знаю, что кондрашка тебя прихватил, еще на Унже пали мне о том вести, – говорил меж тем Корней Прожженный. – Что, язык-от не двигается?.. Ну, да ничего – ты молчи, ваше степенство, а говорить я стану с тобой. Было время – быком ревел, на нашего даже брата медведем рычал, а теперь, видно, что у слепого кутенка, не стало ни гласа, ни послушания.

Марко Данилыч только храпел, глядя на присевшего к нему на кровать Корнея, о чем тот прежде и подумать бы не посмел.

– Я, ваше степенство, теперича за другим расчетом к тебе пришел,продолжал Корней Евстигнеев. – Лучше меня самого знаешь дела мои. Дела, за какие в Сибирь на каторгу ссылают... Кто велел мне орошинского приказчика Ефима Волчанина избыть? Письмо-то вашей шей милости у меня цело... Утопил я Волчанина, сделал а акурат, а особого награжденья не получил. Забыл, видно? А как на Низу поддельные документы мы с тобой сбывали – и это, видно, забыл? А как обобрали сытнинскую купчиху Молодцову – тоже запамятовал? А как до смерти угорело у тебя двое молодцов, чтоб только расстаться тебе с ними и чтоб они дел твоих на суде не показали? Печи-то ведь я по твоему приказу топил. Пропадать так пропадать, зато уж и ты, ежели выздоровеешь,пропадешь... Понял дело? Двести тысяч подавай!

Собравшись с последними силами, Марко Данилыч испустил было крик, но так тихо, так беззвучно, что никто и не слышал его. Беспомощным лежал грозный некогда Смолокуров перед Корнеем. Что думал он в то время, один бог его знает, но злобно глядел он померкающими очами на нахала приказчика.

– Сегодня принцесса твоя воротилась, значит, завтра, а не то послезавтра она с заволжским твоим приятелем вскроют сундук-от, тогда мне полушки не получить. Так разочтемся же теперь. Двести тысяч подавай, не то сам возьму... Давай ключи-то! Не может ни слова сказать Марко Данилыч.

– А не то так, пожалуй, мы и принцессу твою к уголовщине прицепим,продолжал Корней. – Из Фатьянки-то всех фармазонов забрали, ищут и тамошнюю барыню Алымову. Не сегодня, так завтра и она будет за железной решеткой сидеть. А ведь всем известно, что твоя дочка с ней уехала – шабаш, что ли, ихний справлять, аль другое что. Верно говорю. Сгниет твоя принцесса в остроге, и сундук ей впрок не пойдет... Все на суде расскажу. Давай же делиться. Где ключи-то? Под подушкой, что ли? И полез рукой под подушку умиравшего. Напрягши какие оставались силы, Марко Данилыч поднял было здоровую руку, но она упала и осталась неподвижной.

Отведенная Патапу Максимычу комната была рядом со спальней Марка Данилыча. Заволжский тысячник, проснувшись, услышал говор. Голос мужской. "Кому бы это быть? – подумал Чапурин и, накинут халат, босой вошел к больному и увидел Прожженного, запустившего руку под подушку.

Оторопел Корней. Хоть был он и моложе и гораздо сильней Чапурина, хоть после и нашли при нем стальной сахарный топорик, однако он остолбенел и стал у кровати как вкопанный.

Чапурин открыл окно и зычным голосом крикнул караульщику, чтоб скорей бежал к нему, а по пути кликнул людей из кухни. Корней улучил время, когда Патап Максимыч подошел к окну, и хотел было наутек, но Дарья Сергевна, услышав шум и увидев выходящего из спальни Корнея, смекнула, что творится недоброе, и в чем была, в том и побежала за людьми в кухню. Но там уж всполошились по крику караульщика. Домашние терпеть не могли Корнея и, узнав, что он забрался в спальню к Марку Данилычу и сделал что-то неладное, бросились наверх. Там в передней шла уж борьба у Корнея с Чапуриным и подоспевшим караульщиком. Кто-то из прислуги сбежал в работные избы и поднял на ноги всех рабочих. Они ненавидели Прожженного и, не одеваясь, в одних рубахах, толпой человек в семьдесят кинулись к дому. Корнею, крепко оборонявшемуся от Патапа Максимыча и караульщика, теперь пришлось сдаться. Тут нашли у него топорик и много дивились, как это он не пустил его в ход, оставаясь несколько времени один на один с Чапуриным.

Рабочие были уверены, что тут и Василия Фадеева дело, что он где-нибудь спрятался в доме. Все мышиные норки обыскали, но Фадеева не нашли.

Рано утром городничий со стряпчим приехали в дом Смолокурова. Марко Данилыч уж на столе лежал, покрытый простынею. С Дуней беспрестанно делались нервные припадки, однако лекарь сказал, что большой опасности для нее нет, но необходимо, чтоб она, сколько возможно, оставалась в покое. Дарья Сергевна, Аграфена Петровна, глухая Степановна, разбитная Матрена и прочая женская прислуга были безотлучно при Дуне. Городничего со стряпчим встретил Патап Максимыч.

– Что такое случилось? – спросил городничий, звавший уж Чапурина. Заволжский тысячник не раз бывал у него по смолокуровским делам.

– Да вот, ваше высокоблагородие, разбоем ночью прорвался Корней Евстигнеев, – отвечал Патап Максимыч. – Ограбить вздумал умершего.

– Однако ж не ограбил? – сказал городничий.

– Ограбить не успел, а больного добил до конца. Поглядите – лежит, молвил Патап Максимыч.

– Как же это случилось? – спросил стряпчий. Патап Максимыч подробно рассказал обо всем, что знал.

– Улик недостаточно, – вполголоса заметил стряпчий городничему, исподлобья поглядывая на Чапурина.

– Это мы разберем, – отвечал городничий. – Это уж наше дело. Надо вам подать объявление, – прибавил он, обращаясь к Патапу Максимычу.

– Слушаю, ваше высокоблагородие, – сказал Чапурин. – Тут в том главное дело, что уеду я скоро, покойникова дочка останется одна только с женским полом. Мало ль от таких людей что может приключиться.

– В обиду не дадим. Это уж наше дело, – ответил городничий. – Когда хоронить?

– А вот как управимся, – молвил Патап Максимыч. – Держать не будем.

– Попа, чать, своего привезете? – с усмешкой спросил городничий.

– Какие, ваше высокоблагородие, у нас попы по нынешним временам!.. Сами изволите знать. На всю-то Россию, может, двое либо трое осталось, сказал Чапурин. – Кто-нибудь из домашних прочитает молитву над покойником, и дело с концом.

– То-то, смотрите. У меня на этот счет строго.

Высшее начальство обратило внимание на вашего брата. А то и в самом деле очень много уж воли вы забрали, – проговорил, нахмурясь, городничий. Так подайте объявление, а в день похорон я побываю у вас вот с господином стряпчим да еще, может быть, кое с кем из чиновных. А что дочь покойника?

– Лежит, больше все в забытьи, – молвил Патап Максимыч.

– Понятно. До кого не доведись, – сказал городничий. – Ну, покамест до свиданья, прощайте, – прибавил он и из дома пошел со стряпчим.

Патап Максимыч до самых ворот проводил незваных гостей.

Меж тем похоронным делом спешили. Хотелось Патапу Максимычу на третий же день опустить в землю приятеля, чтоб он живым «рук не вязал», но вышло затрудненье, некому было чин погребения справить, некому над покойником последнюю молитву прочесть. Беглых попов ближе Москвы нет, да рогожский поп и не поедет в такую даль. За Волгу в скиты послать за канонницей некогда – она не поспеет ко времени; наставник спасова согласия, что проживал в городе, сам на смертном одре лежал. Как быть, как извернуться? Нельзя ж такого богача, как Марко Данилыч, просто в землю зарыть. Не зная ни города, ни его окрестностей, Патап Максимыч спросил Дарью Сергевну, кому бы отправить чин погребения.

Не придумала вдруг Дарья Сергевна, на кого указать. Приходилось либо ей самой «читать погребение», либо просить Аграфену Петровну взять на себя такой труд. Она грамотная, в скитах обучалась, пригляделась там к порядкам и не откажется в останний раз послужить Марку Данилычу и тем хоть сколько-нибудь утешить совсем убитую Дуню.

– Разве вот кого попросить, – сказала, наконец, Дарья Сергевна. – Живет недалеко отсюда,

всего четыре версты, да и тех, пожалуй, не будет, человек книжный и постоянный. Старинщик он, старыми книгами торгует да иконы меняет. Только вот беда, не уехал ли куда. То и дело в отлучках бывает.

– Кто такой? – спросил Патап Максимыч.

– Чубалов, Герасим Силыч, – ответила Дарья Сергеевна. – В деревне Сосновке он живет. Прежде частенько бывал у Марка Данилыча, и обеживал, и ночевывал, а иной раз и по два и по три дня у него гостил. Да вот уж с год, как ни разу не бывал. Болтал Василий Фадеев, что какие-то у него расчеты были с покойником, и Герасим Силыч остался им недоволен. А другое дело, может, все это и вздор. Ведь Фадеев что ни слово, то совет.

– Не поедет, пожалуй, – сказал Патап Максимыч.

– Человек он добрый и по всему хороший, опять же нарочито благочестивый, – ответила Дарья Сергеевна. – Ежели только не в отлучке, непременно придет. А ежели отъехал, можно племянника его позвать, Ивана Абрамыча. Парень хоша и молодой, а вокруг дяди во всем божественном шибко натерел. А оно и пристойней бы и лучше бы было, ежели бы чин погребения мужчины исправил. Женщине ведь это можно разве при крайней нужде.

– Так посылайте к нему. Записочку, что ли, напишите, – сказал Патап Максимыч. – А насчет расчетов я сам спрошу у него по совести, сколько считает он за покойным, и заплачу с процентами. Авдотья Марковна, конечно, против того не будет... А плачеи у вас в заведении, вопленицы по-нашему, по-лесному?

– Как же, бывают, без них что за погребение, – сказала Дарья Сергеевна.

Позвать надо, – молвил Чапурин.

– Сами придут, столько наберется, что сквозь их и не протолкаешься, отвечала Дарья Сергеевна. – То же воронье – как прослышат покойника, особливо достаточного, стаями налетят.

– А домовину кому нести? – продолжал расспросы Патап Максимыч.

– А работники-то на что? – сказала Дарья Сергеевна. – Они со всяким удовольствием. Конечно, надо будет их похоронным обедом угостить, вином обнести, ну и по рукам по сколько-нибудь на помин души раздать.

– Кроме того, надо вам, Дарья Сергеевна, озаботиться, чтоб в день похорон изготовлен был самолучший обед, – молвил Патап Максимыч. – Сейчас были городничий со стряпчим – сами назвались. И другого чиновного люда в городе тоже ведь достаточно – надо всех подмаслить, чтобы вам с Авдотьей Марковной было без меня беспечно, да и никаких нападков от начальства тоже не было. Надо замасливать, непременно надобно, особливо в сиротском деле.

– Это точно, – согласилась Дарья Сергеевна. – Только вот что я скажу вам, благодетель, – не вскроете ли сундука-то? Денег ведь много понадобится.

– Без Авдотьи Марковны ни за что на свете не вскрою, – повысив голос, промолвил Патап Максимыч. – Вскроем после похорон. А об деньгах не заботьтесь. У меня их достаточно, а расчесть успею, времени много впереди. Пишите же записку да посылайте скорей за этим старинщиком.

Дарья Сергеевна вышла, и Патап Максимыч остался один.

Вошел он в комнату, где лежал Марко Данилыч. Там ни души не было. Покойник, совсем уж одетый, лежал под простыней. Подошел к нему Патап Максимыч и раздумался сам с собою.

«Эх, Марко Данилыч, Марко Данилыч! – думал он. – Много ты на свете жил, а надо правду говорить, жить не гораздо умел. В каком положении семью оставил!.. Положим, капиталов достаточно, да разве в одних деньгах счастье? Изжил ты, приятель, свой век в этом городе, а друзей не нажил ни одного. Все на тебя глядели, да и теперь глядят, как на мешок, и одно норовят, как бы что-нибудь стащить из него... Бедная Авдотья Марковна, куда-то денется она, как-то пристроится!.. Горькая участь!.. Хоть бы какой хороший человек поскорей взял ее за себя. Надо с Груней об этом посоветоваться».

Вдруг тихими, неспешными шагами вошла Анисья Терентьевна Красноглазиха, в обычном темно-синем сарафане, в черной душегрейке, повязанная по голове белым платком в знак похоронной печали, и с толстой книгой под мышкой. Помолилась она перед стоявшею в головах покойника иконой, поклонилась в землю Марку Данилычу, потом отвесила низкий поклон Патапу

Максими́чу.

– Что угодно? – мрачно, но вежливо спросил он у заплакавшей Красноглази́хи.

– Здешняя обывательница буду, Анисья Терентьевна, по прозванию Красноглазова, – отвечала она. – Сызмальства знала сердечного покойничка, много его милостями пользовалась. Добрейший был человек, истинно ангельская душенька. Всех бедных, неимущих оделял от своих благ со щедротою. Никого не оставлял без помощи.

– Так что же нужно-то? Поклониться, что ли, пришла? – с нетерпением спросил Красноглазиху Патап Максимыч.

– Для того больше пришла я, ваше степенство, что вот лежит теперь милостивый покойничек без молитвы, без чтения. А я бы, по своему усердию и поминаючи его благодеяния, почитала над ним. Вот и псалтырь нарочно захватила, – унылым голосом проговорила Анисья Терентьевна.

– Я, матушка, человек не здешний, – сказал Патап Максимыч. – Никого из здешних обывателей не знаю, приехал сюда по давнему приятельству с Марком Данилычем единственно для того, чтоб его дела устроить. А насчет похоронного поговорите с Дарьей Сергевной. Это все на ее руках, – как решит, так и быть тому.

В одни двери вышла Красноглазиха, в другие вошла Ольга Панфиловна, вся в черном. Помолвившись и поклонясь до земли покойнику, и она обратилась к Патапу Максимычу с предложением услуг – присмотреть за похоронным столом и за чаем, потому что Дарье Сергевне будет не до того.

– Я здесь по всем домам заправляю столами и по купечеству и у дворян, потому что сама из благородных и все порядки сызмальства до тонкости знаю, вкрадчиво говорила Ольга Панфиловна.

И ей тоже сказал Патап Максимыч, чтоб повидалась она с Дарьей Сергевной.

Через какую-нибудь четверть часа Анисья Терентьевна, став за налой, протяжно и уныло стала псалтырь читать, а Ольга Панфиловна, бегая по комнатам, принялась хлопотать по хозяйству. Первым делом у ней было кутью сварить – много ведь ее потребуется, человек на сто надобно припасти. Кисель сварила и сыту сделала в первый же день своего прихода.

К вечеру и Чубалов приехал. На всякий случай привез он и племянника, чтобы тот помогал ему.

Как скоро Чубалов из письма Дарьи Сергевны узнал о смерти Марка Данилыча, сейчас же стал в путь собираться. Брат Абрам стал его отговаривать.

– Забыл, что ли, как он в прошлом году два раза обидел тебя – здесь да у Макарья в ярманке? – говорил Абрам Силыч. – Не сам ли ты говорил, что твоей ноги у него в доме никогда не будет? А теперь вдруг ехать туда.

– Смерть все покрывает, – сказал брату Герасим Силыч. – На мертвых зла не держат, а кто станет держать, того господь накажет. Марко Данилыч теперь перед божьим судом стоит, а не перед нашим земным, человеческим.

И поехал в город с Иванушкой. Когда вошли они в комнату, где стоял покойник, их встретила Дарья Сергевна. Конца не было ее благодарностям за приезд Герасима Силыча. Познакомила его с Патапом Максимычем.

– А я было и племянника с собой прихватил, – сказал Герасим Силыч, перейдя с Дарьей Сергевной и Патапом Максимычем в другую горницу. – Думал, что псалтырь почитает он.

– И хорошо сделал, что привез, – сказала Дарья Сергевна. – Анисья Терентьевна женщина немолодая, где ей читать все время без роздыха? Мы так уговаривались, что я стану с ней чередоваться. А вот господь и послал помощника, ночью-то он почитает, а я по хозяйству займусь – много ведь дела-то, и то не знаю, Герасим Силыч, как управлюсь.

– Иной раз Груня может почитать, она эти порядки знает, – сказал Чапурин.

– Нет уж, Патап Максимыч, пушай ее при Дуне остается, – молвила Дарья Сергевна.

– Что Авдотья-то Марковна? – спросил Чубалов.

– Плачет, убивается, – отвечала Дарья Сергевна. – Да как и не убиваться, Герасим Силыч, девушка молоденькая, никаких делов не знает, а тут еще по приезде-то всего каких-нибудь полчасика родителя в живых видела. Пошли отдохнуть с дороги, а тут и приключилась беда. Без памяти теперь лежит, сердечная, сиротка наша бедная, горемычная.

– Да скажите, пожалуйста, как это случилось? – спросил Чубалов.

– Господь один знает, как случилось, – отвечала Дарья Сергеевна. – Никого тут не было. Корнея-то Евстигнеева знал?

– Довольно знаю, – сказал Чубалов. – Недобрый человек, разбойником так и глядит, недаром в народе Прожженным его прозвали. Признаться, я всегда дивился, как это Марко Данилыч, при его уме, такого человека в приближение держит. Знаю я про иные дела Корнеевы – давно по нем тюрьма тоскует.

– Ну вот, его Патап Максимыч и рассчитал, – говорила Дарья Сергеевна. Потому рассчитал, что из книг узнал, как он плутовал на Унже в лесных дачах, и Василья Фадеева рассчитал для того, что он весь работный народ на каждом шагу безбожно обижал и сполна зажитых денег не отдавал никому. Житья от него никому не было... Ну вот, вчера ночью и проберись Корней в спальню Марка Данилыча; как он туда попал, бог его знает. Что у них было в спальне, тоже никому не известно – Марко Данилыч был без языка и лежал ни живой ни мертвый. Думается, что Корнею хотелось деньгами из сундука поживиться. И топорик принес с собой, может быть думал сундук-от им разбить. Услыхал Патап Максимыч, прибежал на шум. Корней было бежать, да, спасибо, людей много набралось. Схватили молодца, связали и в полицию отправили.

– Эко дело-то какое, – удивляясь рассказу Дарьи Сергеевны, сказал Чубалов.

Дарья Сергеевна пошла по хозяйству. Чубалов один на один остался с Патапом Максимычем. Поговорили о том, о другом; Чапурин спросил, наконец, Герасима Силыча:

– Дошли до меня слухи, что у вас с покойником какие-то дела были и он сколько-то вам должен остался.

– У меня никаких нет документов, да никогда их и не бывало, – отвечал Чубалов.

– Ваша совесть, Герасим Силыч, и для Авдотьи Марковны и для меня, душеприказчика покойного, ценнее всяких документов, – сказал Чапурин. Скажите по душе и по правде, много ль он вам должен остался?

– Ни копейки он мне не должен, – отвечал Герасим Силыч. – Ни одной копейки. Точно, были у меня с покойником дела: в прошлом году весной около Саратова редкостные старинные книги продавались – и мне очень хотелось купить их, да купил-то не хватало тогда. Тысячу рублей займовал я у покойника и вексель ему выдал. А он еще задолго до срока маленько поприжал меня, последние восемьсот целковых, что были у меня налицо, должен был я отдать ему, а потом за пятьдесят рублей в том же году у Макарья книг да икон взял он у меня уж чересчур по дешевой цене. Так что ж тут? Было на то мое согласие – никто в шею меня не толкал. Нет, Патап Максимыч, о том нечего и говорить. Сказано, что Марко Данилыч в расчете со мной, – ни он, значит, мне, ни я ему не должны ни копейки. Стало быть, и тому делу конец. Не будем про него разговоров разводить. Не для чего. Когда бы вживе был Марко Данилыч, может статься, я бы и потолковал с ним, а теперь поздно, он говорить не может, а я не хочу.

И, как ни уговаривал его Патап Максимыч, ни единого слова Чубалов больше не сказал.

Понравился он заволжскому тысячнику. «Вот это человек, так человек, думал Чапурин, – мало таких ноне на свете водится».

Схоронили Марка Данилыча. Герасим Силыч и в доме и на кладбище службу по нем отправил, а Патап Максимыч поблагодарил властей, что помехи не было, и просил, чтоб впредь какой-нибудь неприятности не случилось. Без благодарности ведь того и гляди пойдут бумаги писать да всех и приструнят. Городничего и стряпчего, исправника и городского голову просили быть на похоронах и всех угостили на славу. Протопопа с причтом опасались, чтоб он не послал доноса, но, по совету городничего, Патап Максимыч послал на весь клир два воза рыбы, икры и прочего другого, потому все и обошлось благополучно.

После похоронного обеда все, чересчур утомленные, прилегли отдохнуть. Патап Максимыч вместе с Чубаловым легли в спальне покойника и стали говорить.

– Нет, уж как вы хотите, Герасим Силыч, а скоро я вас отсюда не выпущу, – говорил Чапурин. – Завтра, бог даст, сундук будем вскрывать, посторонний человек при таких делах лишним не бывает. Так вы уж, пожалуйста, побудьте здесь. А потом у Авдотьи Марковны и у меня будет до вас просьбица – окажите помощь бедной безродной сиротке.

– Какую ж могу я ей помощь подать? – с удивлением сказал Герасим Силыч. – Человек я маленький, она богатая наследница. Шутите вы, Патап Максимыч, право, шутки надо мной шутите.

– Тут не шутки, а настоящее дело, – возразил Чапурин. – Выслушайте меня да по душе и дайте ответ. Вот дело в чем: Авдотья Марковна осталась теперь как есть круглой сиротой. В торговых и в других делах ни она, ни Дарья Сергевна ничего не разумеют – дело женское, эти дела им не по разуму. По моему рассуждению, о чем я Авдотье Марковне еще до кончины покойника говорил и она на то согласилась, – надо ей все распродать либо на сроки сдать в кортому.

– Так лучше, по-моему, будет, – сказал Чубалов. – Где же в самом деле Авдотье Марковне заниматься такими делами, да и Дарье Сергевне не приходится. Правду вы сказали, что это не женское дело.

– А для того, чтоб заведенья и промысла оборотить в деньги, необходимо нужны по крайней мере двое человек: один чтобы унженский лес и на Низу рыбные промыслы и баржи продал, а другой покамест бы здесь при доме понаблюл и тоже продавал бы понемножку, что есть при нем, – сказал Патап Максимыч. – Для посылок в лесные дачи и на волжские промысла есть человек у меня на примете – шурин будет мне, а для здешних дел в виду никого нет. А как вы, Герасим Силыч, здешние обстоятельства знаете и живете отсель только в четырех верстах, так и пришло мне на ум попросить вас принять участие в сироте, приглядеть здесь за всем.

– Что вы, что вы, Патап Максимыч!.. – с живостью вскочив с дивана, воскликнул Чубалов. – Как это возможно? Да и что я за хозяин? Век такими делами никогда не занимался. Не могу, как хотите, не могу; не моего ума это дело. Еще напорчу, пожалуй.

– По крайней мере своими советами не оставьте, бывайте здесь почаще. А всего бы лучше, если бы на это время и поселились здесь в доме у Авдотьи Марковны, – говорил Чапурин. – По осени аль зимой думаю я ее и Дарью Сергевну за Волгу перевезти к себе. Пушай погостят да развеют сколько-нибудь мысли горькие свои. Дом-от на ваши руки в таком разе они покинули бы. Нет уж, Герасим Силыч, не отрекайтесь от этого, по доброй вашей душе сироту не оставьте. Зато вам господь воздаст. Сами вы как начетчик знаете: «Кто призрит сиротку, тот божью волю творит».

– Да не могу же я, Патап Максимыч, никаким способом не могу по-вашему сделать, – сказал Герасим Силыч. – Посоветоваться – отчего ж не посоветоваться иной раз. От этого я не прочь, а чтобы долго здесь заживаться, на это не могу согласиться. У меня ведь тоже свои делишки бывают, частые разъезды, этим ведь мы только и кормимся.

– На этот счет не беспокойтесь, в убытке не останетесь, – сказал Патап Максимыч. – Угодно вам, плату сами назначьте, не хотите, мы назначим. Уверяю вас, останетесь с выгодой.

– Не знаю, что вам и сказать на это, – долго подумав, молвил Чубалов. Да что об этом толковать? Успеет еще – утро вечера мудренее, а я меж тем хорошенько о том поразмыслю.

А сам думает: «Положили бы целковых сотнягу на месяц, куда бы ни шло, можно бы было решиться. Тогда, ежели где и редкостное выпадет, можно послать Иванушку, он натерел и по книгам, и по иконной части, и по редкостным вещам. Удатливая головушка! Хорошо, ежели бы столько положили. Да не дадут. Шутка сказать, тысяча двести целковых на год... Не дадут – это все одно мое пустое рассуждение».

И под эти думы заснул Герасим Силыч, а Патап Максимыч давно уж храпел во всю ивановскую.

С самой смерти Марка Данилыча Дуня почти не приходила в себя. Утомленная дальней дорогой, а потом пораженная смертью отца, не говорила она ни слова и даже мало понимала из того, что ей говорили. Однако в день похорон переломила себя, выстояла в доме длинное погребение и потом версты две прошла пешком до кладбища за гробом. Воротясь домой, удалилась в свою комнату и впала в забытие. Аграфена Петровна ни на минуту не оставляла подруги. Похоронной трапезой в доме распоряжался Патап Максимыч с Дарьей Сергевной. Много пособляла и Ольга Пан-

филовна. На трапезе у рабочих всем заправлял Герасим Силыч с племянником. Сам на то назвался. И все прошло чинно, стройно, хорошо.

Гости разошлись по домам, и в смолокуровском доме все притихло. Не успокоилась только Дуня: то в беспамятстве лежит, то болезненным стоном проявляет не угасшую еще в ней жизнь, то, очнувшись из забытья, зальется обильными слезами.

На другой день похорон немножко она оправилась, даже поговорила с Аграфеной Петровной о том, что надо ей делать теперь. Дарья Сергевна пришла, и с ней пошли такие же разговоры. С общего согласия стали на том, чтобы все дела предоставить Патапу Максимычу и из его воли не выступать – что ни скажет, исполнять беспрекословно.

Позвала Аграфена Петровна Патапа Максимыча.

– Будьте вы и мне родным отцом... в моем сиротстве... как были вы Груне, – с низким поклоном чуть не до земли отчаянным голосом сказала вся в слезах Дуня, обращаясь к Патапу Максимычу. – Войдите в трудное мое положение! Бог не оставит вас за то своими милостями. Сжальтесь, смилуйтесь надо мной, отец мой второй!

– Ну вот на старости лет еще дочку господь даровал. – Все дочки да дочки! – обнимая Дуню, сказал, улыбаясь, до слез растроганный Чапурин. – Ин быть по-твоему. Здравствуй, дочка богоданная! Смотри ж у меня, нового отца слушаться, а он постарается, чтоб у тебя было все цело и сохранно. И в обиду не дам тебя никому.

И трижды со щеки на щеку поцеловал новую дочку.

– Вот как, по моему рассуждению, надо бы тебе поступить, – сказал Патап Максимыч, садясь на диван возле Дуни, – что ни осталось после Марка Данилыча, в наличные деньги обратить, а заведения и промысла продать хоть и с убытком, а потом и жить на проценты с капитала, какой выручим. Как думаешь?

– Вы лучше меня знаете, я ничего в этих делах не понимаю. Делайте, как надо по-вашему, а я наперед на все согласна, – промолвила Дуня.

Патап Максимыч подробно рассказал ей предположения свои насчет Никифора и Чубалова. Дуня во всем согласилась с ним.

– А пройдут шесть недель, тогда не переехать ли тебе с Дарьей Сергевной к нам в Осиповку? И у Груни поживешь, – сказал Патап Максимыч. – На людях все-таки меньше тоски.

– А дом-от как же покинуть? Его на чьи руки оставить? Сколько ведь в нем имущества! – возразила Дарья Сергевна.

– Надо хорошенько будет попросить Герасима Силыча, – сказал Патап Максимыч. – Он за всем присмотрит. Да вот еще что думаю – для чего вам оставаться в здешнем городе, не лучше ль в ином месте устроиться домком? Из близких у вас здесь ведь нет никого. Ни единого человека нет, кого бы можно было пожалеть, с кем бы прощаться было тяжело.

– Ах, батюшка Патап Максимыч, – возразила Дарья Сергевна. – А могилки-то родительские как же, останутся?

– На помины можно ездить сюда, – молвил Патап Максимыч.

– Конечно, можно, – сказала Дарья Сергевна. – Да с домом-то как же расстаться? Дунюшка родилась ведь в нем, в нем и выросла, и радости в нем видела, и горя пришлось дожидаться... Тяжело ей будет, Патап Максимыч, с родительским домком расставаться, ой как тяжело.

– Что скажешь на это, Дуня? – спросил Чапурин.

– Что мне дом? – грустно она отвечала. – Что теперь мне в нем дорогого? Не глядела бы ни на что. Одна отрада была, одно утешенье – тятенька голубчик, а вот и его не стало... Одна на свете осталась безродная. И залилась слезами.

– Конечно, – сказала Аграфена Петровна, обращаясь к Дуне, – конечно, ты здесь одна с Дарьей Сергевной пропадешь с тоски, а за Волгой будешь не одна. Бог даст, твое горе мы и размыкаем. Вы уж не противьтесь, Дарья Сергевна, право, и самым вам отраднее будет у нас, чем здесь, в опустелом доме.

– По мне, что ж? Я здесь, так здесь, за Волгой, так за Волгой, – не совсем довольным голосом ответила Дарья Сергевна. – Жить мне недолго, а где в сыру землю ни зароят – все равно. Поверх земли не оставят же.

– Так как же, Дуня? Решай, – сказала Аграфена Петровна.

– У меня теперь новый тятенька, – потупив глаза, тихо промолвила Дуня. Как прикажет, так и сделаю; из его воли не выступлю.

– Ну вот и прекрасно, вот мы и устроим, как только можно лучше, – целуя Дуню, припавшую головкой к его плечу, сказал глубоко тронутый Патап Максимыч.

– С домом-то как же? – всхлипывая от подступивших слез и печально повесивши голову, спросила Дарья Сергевна.

– Выищется покупатель, продадим, хоть и убытка придется принять, не то отдадим внаймы – это уж нам Герасим Силыч устроит, – сказал Патап Максимыч.

Потом еще довольно потолковали о распоряжениях, какие надо сделать. Дуня казалась спокойнее прежнего. Заметивши это, Чапурин сказал:

– Теперь бы надо сундук вскрыть, а то толкуем мы, толкуем, а все равно в потемках бродим. Надо узнать, сколько наличного капитала, сколько векселей, опять же там и счета, покойник-от сам ведь их вел, своей рукой писал. А может статься, найдется и последняя его воля.

– Вскрывайте, – сказала Дуня, подавая ключи Патапу Максимычу.

– Нет, – сказал он, не принимая ключей. – Хоша ты мне и дочка теперь, а без твоей бытности все-таки сундука пальцем не трону. Пойдем туда, ежели есть силы – дело будет недолгое. Дуня встала, повинувшись приказу «нового тятеньки».

– Пойдемте, Дарья Сергевна, а ты, Груня, сыщи Герасима Силыча да вместе с ним и приходи, – сказал Патап Максимыч.

Все сошлись в бывшей спальне Марка Данилыча. Патап Максимыч своими руками отпер железный сундук. На столе, поставленном возле, стал он раскладывать найденные бумаги – в одну сторону откладывать тучные пачки серий, ломбардные билеты, наличные деньги; по другую векселя и сохранные расписки, в третью сторону клал купчие крепости и закладные разных людей. Особо клал Патап Максимыч счета и торговые книги, особо контракты и условия. Завещания не нашлось.

Выбравши все из сундука, Патап Максимыч стал считать, а Чубалов на счетах класть. В сериях, в наличных деньгах и векселях до восьмисот тысяч рублей нашлось, да домов, лесных дач, барж и промысловых заведений тысяч на четыреста выходило, так что всего за миллион перевалило.

Разбирая расписки, Чапурин взял одну из них и, оглядев, подал ее Чубалову и примолвил:

– Что за тарабарщина?

– По-татарски, – сказал Герасим Силыч. – Да вот и перевод, и маклера подпись, и печать казенная.

Читает вслух Патап Максимыч русский перевод расписки.

«Тысяча восемьсот такого-то года, августа в двадцатый день, в Нижегородской ярманке, я, нижеподписавшийся оренбургский первой гильдии купец Махмет Бактемиров Субханкулов, получил от почетного гражданина и первой гильдии купца Марко Данилыча Смолокурова тысячу рублей серебром, с тем, что обязуюсь на будущей Нижегородской ярманке возратить сии деньги ему самому или кому он прикажет, ежели я, Субханкулов, до тех пор не выведу в Россию из хивинского плена находящегося там Мокея Данилова».

Все диву дались, а Дарья Сергевна, всплеснув руками и громко вскрикнувши, так и покати-лась на стоявший возле диван.

На другой же день Чапурин послал к Субханкулову эстафету, уведомляя о кончине Марка Данилыча и о том, что, будучи теперь душеприказчиком при единственной его дочери, просит Махмета Бактемирыча постараться как можно скорей высвободить Мокея Данилыча из плена, и ежели он это сделает, то получит и другую тысячу. На этом настояла Дуня; очень хотелось ей поскорей увидеться с дядей, еще никогда ею не виданным, хотелось и Дарью Сергевну порадовать.

Но самое Дарью Сергевну нimalo не заботило, скоро или поздно увидит она Мокея Данилыча, она даже боялась встречи с бывшим женихом своим. "Что я ему? – она думала. – Больше двадцати годов за упокой его поминала, больше двадцати годов не было об нем ни слуха ни духа... И забыл, чать, про меня совсем. А сам-от сердечный, сколько горя-то в полону натерпелся. Бьют, слышь, там наших-то, мучат. Чего-чего натерпелся он в эти годы. А дурища Матрена еще говорит давеча: «Были похороны, теперь свадьбу надо будет играть... Нашли невесту! Старая я, болящая – куда уж мне об венце помышлять: жених мой – гроб сосновый, давно меня он дожидается. А хочешь не хочешь, придется с Мокеем Данилычем встретиться! Боязно. Ведь ровно с того света выходец... Вот как бы Дунюшке дал бог скорей пристроиться за умного, за хорошего и за доброго человека. Поглядела бы я маленько на новое житье-бытье ее, да и пошла бы в скиты грехи свои замаливать да за других молиться».

Не любила она даже, когда иной раз о Мокее Данилыче при ней речь заведут. Сейчас замолчит и уйдет вон из комнаты.

Дуня поправлялась помаленьку. Она могла уж разговаривать с Патапом Максимычем об устройстве дел.

Чапурин со дня на день ждал шурина Никифора, чтобы скорей получил он от Дуни доверенность на продажу унженских лесов, баржей и низовых промыслов и ехал бы поспешней на Унжу. Насчет дел по городу разные люди являлись к Чапуруну с предложениями заняться устройством их, были в том числе и отставной стряпчий, и выгнанный из службы становой, и промотавшиеся дотла помещики, и прогоревшие купцы. А сын предводителя, узнав, что Дуне больше миллиона досталось, опять стал свататься, сам предводитель по этому делу приезжал «к мужлану», как звал его, – Патапу Максимычу. Стали разузнавать стороной мысли о замужестве богатой сироты и те кумушки, что прежде были засылаемы к Марку Данилычу сватать купчиков. Но всем от Патапа Максимыча один был ответ: «Авдотье Марковне ни приказывать, ни советовать я не могу, да и раненко бы еще ей о выходе замуж думать – у родителя в гробу ноги еще не обсохли...» И, ругая Чапурина, искатели смолочуровского миллиона в злой досаде расходились по своим местам. «И откуда они этого непутного заволжанина выкопали? – говорили они. – Ни слуху ни духу про него у нас никогда не бывало, вдруг ровно из земли вырос, как из ведьминой трубы вылетел, и ну чужим добром распоряжаться! Хорошо, видно, подмаслил городничего, не то бы давно ему в кутузке сидеть. Да и она-то дура неповитая! Зачем проходимца слушается».

До Патапа Максимыча такие толки не доходили. А и дошли бы, плюнул бы только, да и прочь от сплетников.

Сидели вечером за чаем Дуня, Дарья Сергевна, Аграфена Петровна, Патап Максимыч и Герасим Силыч, перед тем отправивший племянника в Сосновку. Зашла речь, как бы устроить дела в городе и присмотреть за домом.

По совету Патапа Максимыча, Дуня стала просить Чубалова, чтоб оказал он ей милость, сжалился бы над ней, принял на себя дела в городе.

Герасим Силыч всячески отрицался, говоря то же, что говорил Чапуруну: у него-де свои дела, и покинуть их даже на короткое время нельзя.

– Сказано было вам, Герасим Силыч, что в убытке не останетесь, – громко промолвил Патап Максимыч. – Скажите откровенно, сколько бы взяли вы в месяц с Авдотьи Марковны? Чубалов замолчал и низко склонил голову.

– Да говорите же, Герасим Силыч, – настаивал Чапурин.

– Не знаю, что и говорить, – едва слышно, помолчав, промолвил Чубалов.

– А то и говорите, что для вас не обидно будет, – сказал Патап Максимыч.

– Тут в том главное дело, что совсем должна стать моя торговлишка, и в разъезды за старинной ездить мне не удастся, – сказал Чубалов. – Конечно, Иванушку бы можно посылать, да все уж это не то, как я сам. Да он же в дальних отлучках без меня и не бывал никогда. Парень молодой, иной раз может и прошибиться.

– Ах ты, господи! – повысивши голос, с нетерпеньем сказал Патап Максимыч. – Этак мы, пожалуй, до смерти не столкнемся.

И, встав из-за стола, закинул руки за спину и широкими шагами стал ходить взад и вперед по

комнате.

– Нет, так пива не сварить! – сказал он. – Ты ближе к делу, а он про козу белу; ты ложки, а он тебе плошки.

И, остановившись перед старинщиком, положил ему руку на плечо и спросил:

– Скажите по совести, много ли в месяц барыша получаете?

– Месяц на месяц не придется, Патап Максимыч, – отвечал Чубалов. – В иной месяц, кроме расхода, нет ничего, а в другой и больно хорошо. К примеру взять: у Макарья в ярманке, на Сборной в Симбирске, в Ирбитской. Да еще когда на Вятку к тамошним домоседкам заедешь либо на Урал к казакам.

– Это так, это во всякой торговле бывает, какую ни возьми, – сказал Патап Максимыч. – А в год сколько барыша?

– И это мудрено сказать, – уклончиво ответил Герасим Силыч. – И год на год не приходит.

– Фу ты пропасть какая! Чуть не битый час толкуем, а все попусту. Толков много, только толку нет, – вскрикнул, нахмурясь, Патап Максимыч. – Так рассуждать все одно что в решете воду таскать! Давно ль торг ведете?

– Больше пятнадцати годов, – отвечал Чубалов.

– Который из годов самый был прибыльной?

– Первые годы после моего странства были самые прибыльные, – сказал Герасим Силыч. – Потом истратился на семью, дом поставил, землю купил, племянников от рекрутчины свободил, от того капиталу и стало у меня много поменьше. А ведь по капиталу и барыш.

– Вот у нас дело-то как идет, – с досадой молвил Патап Максимыч, обращаясь к Дуне. – Ни из короба, ни в короб, в короб не лезет, из короба нейдет и короба не отдает. В первые-то года по-скольку барышей получали? – прибавил, обращаясь к Чубалову.

– Целковых тысячи по полторы, а были годы, что и по две получал, отирая платком раскрасневшееся лицо, ответил Чубалов и опять понурил голову.

– Так вот какой разговор будет у нас, – сказал Патап Максимыч. – Авдотья Марковна даст вам не две, а две с половиной тысячи в год за хлопоты ваши и за распоряжения по здешнему хозяйству. И будете ли вы ее делами заниматься месяц ли, два ли, целый год, все равно получите сполна две тысячи с половиной целковых. Согласны?

Чубалов не ожидал этого. И на сто рублей в месяц не надеялся, а тут вдруг две с половиной тысячи. По стольку ни в один год он не получал. По-прежнему сидел, опустил голову и не зная, что отвечать.

– Согласны, что ли? – спросил его Патап Максимыч. – Мало, так прямо скажите.

– Согласен, – едва слышно проговорил Чубалов. – Ваш слуга, Авдотья Марковна, хоть по самый конец жизни, – прибавил он, низко кланяясь Дуне.

– Очень, очень рада я, что вы согласились. Теперь я спокойна насчет здешних дел. Да это еще не все, что сказал вам Патап Максимыч. Давеча мы с ним про вас много разговаривали. Он скажет вам.

Оторопел Герасим Силыч. «Что еще такое у них обо мне решено?» – подумал он и повернулся к севшему за стол Чапурину, выжидая слов его.

– Видите ли, любезнейший Герасим Силыч, – сказал Патап Максимыч. Давеча мы с Авдотьей Марковной положили: лесную пристань и прядильни продать и дом, опричь движимого имущества, тоже с рук сбыть. Авдотье Марковне, после такого горя, нежелательно жить в вашем городе, хочется ей, что ни осталось после родителя, в деньги обратить и жить на проценты. Где приведется ей жить, куда еще сами мы не знаем. А как вам доведется все продавать, так за комиссию десять процентов с продажной цены получите.

И во сне не снилось это Чубалову. Не может слова сказать в ответ. Чапурин продолжал говорить, подавая деньги Герасиму Силычу:

– А это вам пятьсот рублей за труды при погребении Марка Данилыча.

– Помилуйте, Патап Максимыч, это уж чересчур! – воскликнул Герасим Силыч.

– Не моя воля, а молодой хозяйшки, – сказал Патап Максимыч. – Ее волю исполняю. Желательно ей было, чтобы похороны были, что называется, на славу. Ну, а при нашем положении, ка-

кая тут слава? Ни попов, ни дьяков – ровно нет ничего. Так мы и решили деньги, назначенные на погребенье, вам предоставить. Извольте получить.

Чубалов ошеломлен был такими милостями, о каких и в голову никогда ему не приходило. Особенно поразили его обещанные проценты с продажной цены. «Ведь это, мало-мало, десять тысяч целковых. Буду богаче, чем тогда, как воротился в Сосновку, да к тому ж и расходов таких, как тогда были, не предвидится. Истинно божеская милость мне, грешному, выпала!»

Молча взял он пятьсот рублей, поклонился Патапу Максимычу и, подойдя к Дуне, сказал:

– Вы, Авдотья Марковна, столько благодеяний мне оказали, что буду я теперь неустанно бога молить, да устроит он ваш жизненный путь. Пошли вам господи доброго и хорошего сожителя, дай бог удесятерить достатки ваши, дай вам бог во всю вашу жизнь не видать ни горя, ни печалей. А я, после таких ко мне милостей, вековечный и верный слугитель ваш. Теперь ли, после ли когда, для вас на всякую послугу готов.

– Очень рада, Герасим Силыч, что мы с вами поладили и вы не отказались оказать сироте помощь, – с ясной улыбкой проговорила Дуня.

– Не я вам, а вы мне, Авдотья Марковна, великую, неслыханную помощь являете, – со слезами на глазах ответил Чубалов. – Богачом хотите сделать меня. Воздай вам господи!

– Герасим Силыч, – сказала, потупивши светлые очи, Дуня Чубалову. – Ведь у вас тятенька покойник выменял икону преподобной мученицы Евдокии. Ангел мой. Теперь уж больше года та икона возле кровати в изголовьях у меня стоит.

– Точно так, Авдотья Марковна, Марко Данилыч у меня ту икону выменял, отвечал Чубалов. – Редкостная икона, царским жалованным изографом при святейшем Филарете, патриархе московском, писана. Комнатная была у благочестивой царицы Евдокии Лукьяновны.

– И Марка Евангелиста икона, что у тятеньки покойника при гробе в головах стояла, – тоже от вас?

– И ее у меня же выменял. Она баронских писем, совсем почти фряжская. Эта много будет попростее, чем икона вашего ангела, и помоложе, – сказал Герасим Силыч.

– А нет ли у вас иконы святителя Амвросия Медиоланского? – спросила Дуня.

– Такой не имеется, – отвечал Герасим Силыч. – Да едва ли можно такую найти старинных писем. Сколько годов я по иконной части делишки веду, чуть не всю Россию изъездил из конца в конец и всего-навсего две только старые иконы Амвросия Медиоланского видел. А теперь их нет: одну за перстосложение отобрали, другая в пожаре сгорела.

– Мне хоть бы новую, – сказала Дуня.

– В таком разе можно поморским заказать, а не то в Москве на Преображенском, – ответил Чубалов. – Ежели наскоро требуется, могу в самом близком времени ее получить.

– Сделайте одолжение, – сказала Дуня. – Это самое мое усердное желание иметь икону святителя Амвросия, – молвила Дуня. – Буду вам очень благодарна.

– Постараюсь, Авдотья Марковна, будьте благонадежны, – сказал Чубалов. Штилистовая требуется или побольше?

– Чтобы в киотку, что у меня в комнате, поставилась. Снимите мерочку. Хочу, чтоб она всегда у меня в изголовьях была, – ответила Дуня. – И оклад закажите, пожалуйста, серебряный, густо позолоченный, а каменья на икону я вам сама выдам.

– Слушаю-с. А к какому времени потребуется? – спросил Чубалов.

– Срока не назначаю, а чем скорее, тем лучше, – ответила Дуня.

– Да ты обещаешь, что ли, дала? – спросила Дарья Сергевна.

– Да, обещаю, – потупившись, сухо промолвила Дуня.

С того дня Чубалов стал хозяйствовать в смолокуровском доме. Съездил он на день в Сосновку и переехал в город со всем книжным скарбом. Иванушку взял с собой.

Устроивши главные дела покойного Марка Данилыча, Чапурин, несмотря на просьбы новой

своей дочки, собрался в путь-дорогу в свои родные леса. Аграфена Петровна с ним же поехала. Страшно показалось Дуне предстоявшее одиночество, особенно печалила ее разлука с Груней. К ней теперь привязалась она еще больше, чем прежде, до размолвки.

Уговорились так: к двадцатому дню после кончины Марка Данилыча приедет к Дуне Патап Максимыч и Аграфена Петровна с детками, и все они пробудут до сорочин. После того Дуня с Дарьей Сергевной двинутся за Волгу со всеми пожитками.

Никифор между тем приехал и, получив доверенность, на другой же день покатил в Унжу.

За день либо за два до отъезда Патапа Максимыча Дуня спросила у него:

– В векселях, что выданы тятеньке покойнику, не нашлось ли векселей или расписок купца Поликарпа Андреича Сивкова?

– Есть векселек, – ответил Патап Максимыч. – На нонешней ярманке выдан.

– Велик ли? – спросила Дуня.

– Помнится, тысячи на три, а уплата на будущей Макарьевской, – ответил Патап Максимыч.

– Дайте мне его, а из счетов, пожалуйста, вычеркните, – сказала Дуня.

– Зачем это, дочка? – ласково и озабоченно спросил у нее Чапурин.

– Так надо мне, – сказала решительно Дуня и другого ответа не дала.

Патап Максимыч пристально посмотрел на нее. А у ней взгляд ни дать ни взять такой же, каков бывал у Марка Данилыча. И ноздри так же раздуваются, как у него, бывало, когда делался недоволен, и глаза горят, и хмурое лицо багровеет – вся в отца. «Нет, эту девку прибрать к рукам мудрено, – подумал Чапурин. – Бедовая!.. Мужа будет на уздечке водить. На мою покойницу, на голубушку Настю смахивает, только будет покруче ее. А то по всему Настя, как есть Настя».

Отдал он Дуне вексель Сивкова, и та тотчас же разорвала его пополам.

– Что ты? Что сделала? – вскочивши с места, с изумленьем вскрикнул Патап Максимыч. – Теперь вексель не годится.

– Знаю, – равнодушно ответила Дуня.

– Зачем же это?

– Долг уплачиваю. Поликарпу Андреичу я должна больше, чем он был тятеньке должен, – сказала Дуня, переглянувшись с Аграфеной Петровной.

– Как должна? В толк не возьму, – сквозь зубы проговорил недовольный Чапурин. Дуня не отвечала.

– Тятенька, – вступилась Аграфена Петровна, – вы ведь еще ничего не знаете, как мы с Дуней от Луповицких уехали. Много было всяких приключений, говорить теперь не стану, сама когда-нибудь расскажет. Поликарп Андреич да еще один человек и ей и мне много добра сделали. Будь у меня такие же деньги, как у Дуни, я бы и больше трех тысяч не пожалела. – Вот оно что! – тихо промолвил Патап Максимыч. – Да что ж вы ничего не расскажите? Три тысячи деньги ведь немалые, кидать их зря не годится. Может быть, одолжения Сивкова и десятой доли этих денег не стоят.

– Когда Дуня тебе расскажет все, сам увидишь, что помощь Сивковых стоит больше, – сказала Аграфена Петровна.

– Так расскажи, Дуня, не утай от второго отца, – ласково молвил стихший Патап Максимыч.

– После расскажу, после, когда буду у вас в Осиповке, – сказала Дуня, а теперь, видит бог, не могу.

Язык не поворотится. Знаете, отчего мне хочется покинуть этот город и в нем даже родительские могилки? Чтобы подальше быть от этих Луповицких, от Фатьянки, от Марьи Ивановны. Много я от них натерпелась – говорить, так всего не перескажешь.

Навострила Дарья Сергевна уши, услышавши от Дуни такие слова про Марью Ивановну. Довольная улыбка озарила лицо ее. Радостно она вокруг посмотрела.

– Как? С Марьей Ивановной рознь у тебя? – промолвила она. – Слава богу! Никогда я не чаяла в ней толку.

– Все они обманщики, богопротивники! – с горячностью вскрикнула Дуня.

– Уж они тебя в поганую свою веру не приводили ль? – спросила Дарья Сергевна. – Весной, как Марья Ивановна жила у нас, она ведь про какую-то новую веру рассказывала тебе да расхва-

ливала ее. Я слышала сама из каморки, что возле твоей комнаты. Только что слов ее тогда понять не могла.

Дуня не дала ответа.

– А ведь я в Фатьянке-то без тебя была, – продолжала Дарья Сергевна. Покойный Марко Данилыч думал, что ты уж приехала сюда с Марьей Ивановной и, только что воротился с ярманки, посылал меня за тобой. В Фатьянке мы никого не достучались, а ночь провели в Миршени у одной вдовы. Она и порассказала нам кое-что про фатьянских. Это, слышь, особая какая-то вера – фармазонами прозывают тех, кто ее держится. После того и стала я думать: Марья-то Ивановна не той ли же веры? А вот на днях дошли вести, что фатьянских за ихнюю противную веру посадили в острог. Туда и дорога безбожным!

Дуня смутилась. Стала жаловаться, что у ней голова разболелась, и ушла с Аграфеной Петровной в свою спальню.

На возвратном пути Патап Максимыч с Аграфеной Петровной у Колышкиных остановились. Рады были гостям и Сергей Андреич и Марфа Михайловна.

– Что так долго загостились? – спрашивал Сергей Андреич Патапа Максимыча.

– Схоронили ведь мы Марка-то Данилыча, – отвечал Чапурин.

– Как? – воскликнул Колышкин.

– Когда с Груней мы к нему приехали, был он без языка и только одной рукой владел немножко. Груня поехала в Рязанскую губернию за дочерью его. И в тот день, как они воротились, другой удар случился с ним. Так и покончил жизнь.

Подробно рассказал Патап Максимыч, как он ночью застал Корнея возле умиравшего Смолокурова, рассказал и о распоряженьях своих по делам сироты. Колышкин нашел, что крестным все сделано было хорошо.

– А в этот раз, как были вы у меня с Аграфеной Петровной, не успел я вам сказать, что на короткое время я отсюда отлучался. В Казань надобность была съездить. Назад ехал на своем пароходе. Ехал на тот раз со мной молодой купчик с большим багажом, из Казани на житье сюда переселяется он. Разговорились мы, вижу и слышу – парень умный и, надо думать, доброй души, однако, кажется, маленько озорной, кровь-то молодая, видно, еще не совсем уходилась в нем. И тебя знает он и Аграфену Петровну; знал и покойного Марка Данилыча. Здесь покамест стоит на квартире, а сам присматривает, где бы домик купить себе.

– Не Самоквасов ли Петр? как величать по отчеству – забыл, – сказал Патап Максимыч. – Петр-то он, Петр, – в прошлом году на Петров день в Комарове мы именины его справляли. И Марко Данилыч с нами был тогда.

– Он и есть, – молвил Сергей Андреич. – Петром Степанычем зовут его.

– Ну так, так, Петр Степаныч, – подхватил Патап Максимыч. – А что озорной, так впрямь озорной. Сколько он в скитах у матерей начудил, так и рассказывать всего не расскажешь. А голова умная, и точно что доброй души человек. Куролесит, а перейдет время, остепенится, и, ежели возьмет за себя умную да хорошую жену, чистое золото выйдет из него.

– Частенько у меня бывает, – сказал Колышкин, – да и живет неподалеку. С неделю назад прибежал он ко мне, бледный такой, расстроенный, и спрашивает, не слыхал ли я чего про Смолокурова и про его дочь. Я не знал еще ничего и сказать не мог, а он ушел от меня такой притупленный, даже слезы, кажется, из глаз выкатились.

– Как бы с ним повидаться? – сказала вошедшая Аграфена Петровна. – Мы довольно с ним знакомы, в ярманку, бывало, каждый день к мужу в лавку ходил.

– Не придет ли вечером, давно что-то не бывал, – ответил Колышкин. – А не придет, спосылать можно.

– Пожалуйста, Сергей Андреич, спосылайте. Мне непременно хочется с ним повидаться.

– Можно и послать, – молвил Колышкин. И тотчас же послал за Самоквасовым. И записку

написал на случай, если бы посланный не застал его. Приписал, что теперь у него Патап Максимыч с Аграфеной Петровной и что на другой день уезжают они в свои леса за Волгу. Прибавил также, что Марко Данилыч приказал долго жить.

Не застал посланный Петра Степаныча, куда-то по делам он уехал. Записку Сергея Андреича оставил.

К вечернему чаю Самоквасов пришел к Колышкиным. Его радушно встретили, и Патап Максимыч вскоре обратился к нему:

– Давненько, Петр Степаныч, мы не видались. Как твое дело с дядей? Покончил ли?

– Слава богу, покончил. Поделились, – отвечал Самоквасов.

– Как же? – спросил Чапурин. – Чем решили?

– Не мы решали, суд порешил, – сказал Самоквасов. – Я получил свое, хоть не без хлопот, надо было выручать присужденное наследство. И надоела же мне эта Казань после этого, хоть и родина, а век бы не видать ее. Сюда на житье переехал, здесь хочу устроиться.

– И дело, – молвил Патап Максимыч. – Хорошо придумано. На новом месте и новая жизнь пойдет. А сколько с дяди-то пришлось?

– Половина, что после дедушки осталось. На двести тысяч, – ответил Самоквасов.

– С таким капиталом можно повести дела, – молвил Чапурин. Переписывайся в здешние купцы да заводи торги. Только чур не шалопайничать – по скитам ради озорства не ездить, не повесничать там. Пора остепениться, любезный Петр Степаныч. А то и не увидишь, как дедушкины двести тысяч вылетят в трубу.

– Что было, то прошло, да и бывшем поросло, – с глубоким вздохом промолвил Петр Степаныч. – Был молод, был неразумен, молодая кровь бурлила, а теперь уж я не тот, – укатали сивку крутые горки. Как оглянешься назад да вспомнишь про прежнее беспутное время, самому покажется, что, опричь глупостей, до сей поры ничего в моей жизни не было.

– Ожениться бы тебе, Петр Степаныч. С хорошей женой и сам бы ты был хороший человек, – сказал Патап Максимыч. – Годков-то уж тебе не мало, из подростков вышел, – право, не пора ли? От дяди отделился, имеешь теперь свой капитал, рожна, что ли, тебе еще? Аль в скиты тянет с белицами да с молоденькими старицами валандаться?

– Что мне скиты? Пропадай они пропадом, и ухом не поведу, – сказал Петр Степаныч. – Дядя каждый год меня с милостиной туда посылал, не своей охотой ездил я на Керженец. Теперь то время прошло.

– Толкуй! Знаем и мы кой-чего понемножку, – сказал Патап Максимыч. Никому спуску не давал. Хоть Фленушку взять, сестрицы моей воспитанницу. Валандался ведь с ней? Ну, скажи правду-матку как есть начистоту. И лукаво поглядел на Петра Степаныча.

– В скитах да и везде в ваших лесах много сплеток плетут, Патап Максимыч, – ответил Самоквасов. – А если что и было, так я теперь ото всяких обитателей отшатился. Пропадай они совсем.

Все примолкли. Спустя некоторое время Колышкин спросил Петра Степаныча:

– Домика не присмотрели ль?

– Нет, – тоскливо ответил Самоквасов. – Да и на что мне дом, как порассудить хорошенько. Истратишься на него, а после с рук не сбудешь... А где мне еще придется жить, сам покуда не знаю. В Москве ли, в Питере ли, или у черта на куличках где-нибудь...

– А ты, парень, не черкайся (Не поминай черта.), коли говоришь про хорошее дело, – внушительно сказал ему Патап Максимыч. – Зачем супротивного поминать? Говорю тебе – женись. Поверь, совсем тогда другая жизнь у тебя будет.

– И рад бы жениться, да жениться как? – молвил Петр Степаныч. – Нет ли у вас на примете подходящей невесты, я бы со всяким удовольствием.

– Сваха, что ль, я тебе? – засмеялся Чапурин. – Сам ищи, дело-то будет вернее.

Под эти слова еще человека два к Колышкину в гости пришли, оба пароходные. Петр Степаныч ни того, ни другого не знал. Завязался у них разговор о погоде, стали разбирать приметы и судить по ним, когда на Волге начнутся заморозки и наступит конец пароходству. Марфа Михайловна вышла по хозяйству. Улучив минуту, Аграфена Петровна кивнула головой Самоквасову, а сама вышла в соседнюю комнату; он за нею пошел.

– Садитесь-ко возле меня, Петр Степаныч, – указывая на кресло, сказала она. Он сел, Аграфена Петровна продолжала:

– А я ведь далеко за Дуней ездила, в Рязанскую губернию. И только что воротилась, в первую же ночь Марка Данилыча не стало.

– Слышал я давеча утром, тамошние торговцы сказывали, – молвил Петр Степаныч. – Она что?

– Известно что. Плачет, и утешить ее невозможно, – ответила Аграфена Петровна. – Вот я сама всего девяти годков была, как померли у меня батюшка с матушкой и осталась я одна в чужом, незнакомом городе... Мала была и неразумна, а до сих пор сердце кровью обливается, как вспомнишь, как плакала я у ворот Мартыновской больницы... И послал мне тогда бог милосердного человека – тятеньку Патапа Максимыча. И была я у него и до сих пор осталась как родная дочь... А у Дунюшки кто заступает?..

Где покровитель? Одна-одинешенька, что в поле головешка... Дарья Сергевна при ней, да что ж она может? Нашлось в бумагах покойника, что брат не утонул в море, а больше двадцати годов у бусурман в полону живет – выкупают его теперь. Да ежели и вынесет его бог на русскую землю... Какой же он защитник племянницы? Изживши век среди бусурманов, пожалуй, и порядки-то русские все перезабыл. Трудно Дуне, трудно бедняжке.

Денег хоть и много после отца ей досталось – больше миллиона, да ведь не в деньгах людское счастье, а в близком, добром человеке. Пройдут сорочины, приедет она с Дарьей Сергевной за Волгу, у меня поживет, у тятеньки Патапа Максимыча погостит, а после того как устроится, один господь ведает. Не раз об этом я с ней заговаривала, только она и речей не разводит: «Во всем, говорит, полагаюсь на власть Божию».

Печально повесивши голову, ни слова не сказал Самоквасов Аграфене Петровне. Лишь минуты через две тихо и робко спросил он:

– Обо мне не было речи?

– Были речи, Петр Степаныч, были. Не один раз заходили, – отвечала Аграфена Петровна. – Да вы прежде скажите-ка мне по душе да по совести – миллиона, что ли, ее вам хочется?

– Что мне миллион! – горячо вскрикнул Петр Степаныч. – На что он мне? Теперь у меня у самого денег за глаза – на жизнь хватит, еще, пожалуй, останется. По ней изболело сердце, а не по деньгам, по ней по самой... Вам все ведь известно, Аграфена Петровна, – помните, что говорил я вам в Вихореве?

– Помню. Это было чуть ли не накануне того дня, как в Комаров вы поехали, к матери Филагрии, что ли, – с усмешкой сказала Аграфена Петровна,

– Издали даже не видал ее, – пылко ответил Петр Степаныч. – Что она мне? Ну было, что было прежде, то было, а теперича нет ничего.

– Зачем же вы тогда уехали от нас?

– С тоски, Аграфена Петровна, с одной только тоски, – отвечал Самоквасов. – Опротивел мне божий свет, во всем я отчаялся. «Дай, подумал я, съезжу в Комаров, там много знакомых. Не размыкаю ли с ними кручину». Однако напрасно ездил. Хоть бы словечко кто мне по душе сказал. Все только говорили, что очень я переменялся – ни прежнего-де удалства, ни прежней отваги, ни веселости нисколько во мне не осталось. Тоски в Комарове прибыло, и там я пробыл всего трое суток.

– А потом?

– Потом только и думал что про нее, – сказал Петр Степаныч.

– Так ли, полно?

– Верно, Аграфена Петровна. Бог свидетель, что говорю не облыжно, горячо вскрикнул Самоквасов. – Господи! Хоть бы глазком взглянуть! А говорить не посмею, на глаза к ней боюсь показаться. Помнит ведь она, как я в прошлом году за Волгу уехал, а после того, ни с кем не повидавшись, в Казань сплыл?

– Помнит, очень твердо помнит, – сказала Аграфена Петровна.

– Что ж мне теперь делать? Господа ради скажите, Аграфена Петровна, что делать мне? – со слезами на глазах просил Самоквасов.

– Не знаю, что вам сказать, Петр Степаныч. Много бы я вам еще порассказала, да, слышите, Марфа Михайловна идет, – сказала Аграфена Петровна. – После сорочин, когда будет она в Вихореве, приезжайте к нам, будто за каким делом к Ивану Григорьевичу. А к двадцатому дню расположились мы с тятенькой Патапом Максимычем ехать к ней. Остановимся здесь. Заходите.

В это время вошла Марфа Михайловна. Разговоры покончились.

С тех пор Петр Степаныч каждый день, а иногда и по два раза заходил к Колышкиным узнавать, нет ли каких вестей про Патапа Максимыча и про Аграфену Петровну, но про Дуню Смолокурову даже не заикался.

Раз Сергей Андреич, говоря с Самоквасовым, как думает он устроиться, сказал ему:

– А ведь крестный мой точную правду сказал, как был у меня. Жениться вам надо, Петр Степаныч, молодую хозяйку под крышу свою привести. Тогда все пойдет по-хорошему.

– Сам понимаю это, – отвечал Самоквасов. – Да ведь невест на базаре не продают, а где ее, хорошую-то, сыщешь? Девушки ведь все ангелы божьи, откуда же злые жены берутся? Жену выбирать – что жеребей метать, – какая попадется. Хорош жеребей вынется – век проживешь в веселье и радости, плохой вынется – пожалуй, на другой же день после свадьбы придется от жены давиться либо топиться.

– С вашим капиталом да не найти хорошей невесты! – молвил Сергей Андреич. – Да возьмите хоть у нас в городе. Здесь всякими невестами, хорошими и плохими, старыми и молодыми, хоть Волгу с Окой запрудите. Словечко только молвите – стаями налетят, особенно ж теперь, при отдельном вашем капитале.

– Не мало уж свах налетало, – сказал Петр Степаныч. – Да это и на дело-то нисколько не похоже. Как я стану свататься, не зная ни невесты, ни семейных ее?

– На невесту-то я вам, пожалуй, укажу, – сказал Сергей Андреич. – Сам ее не видал никогда, а все одобряют, много слышал я про нее хорошего. С миллионом приданого, с вашим-то капиталом до полутора набралось бы... Какую бы можно было коммерцию завести. Про Смолокурову говорю, про сироту. Сама еще молода, из себя, говорят, пригожа, и нравом, вишь, кроткая, и ко всем сердобольная. В своем городе отцовское хозяйство она нарушает, за Волгу едет жить к моему крестному. А крестный, как вижу, вас жалуется. Поищите. Да не зевайте – миллионная невеста, в девках не засидится.

Ни слова не сказал Петр Степаныч, но такая краска бросилась ему в лицо, что он даже побагровел весь. Колышкин будто и не заметил того.

– Знали вы ее когда-нибудь? – спросил он у Самоквасова.

– Знал, – робко ответил Петр Степаныч, понизивши голос. – В прошлом году видались.

– Что ж? Нравится? По мыслям? – спросил, улыбаясь, Колышкин.

Не отвечал смущенный Самоквасов.

– Повидайтесь с моим крестным, как он будет здесь, да поговорите с ним об этом откровенно, – хлопнув ладонью по плечу Самоквасова, сказал Сергей Андреич. – Авось на свадьбе попируем.

Что вы, что вы, Сергей Андреич? – полушепотом только мог проговорить вконец растерявшийся Петр Степаныч.

Колышкин, глядя на него, улыбнулся.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В городе, где жил Смолокуров, только и говора было, что о несметном богатстве Дуни. Досужие языки уж не миллион насчитывали, а пять либо шесть. Иные стали обращаться к ней с просьбами о помощи, другие просто денег просили взаймы, третьи уж не просили, а просто-напросто требовали крупных сумм на общественные надобности – на дамские вечера в клубе, на

музыку, даже на благородные театральные представления, до которых богатой наследнице никакого дела не было. Если б не Герасим Силыч, Дуня не знала бы, как и отделаться от толпы просителей. Он так хорошо их выпроваживал, что Дуня никого из них и не видала. Боясь, чтоб кто-нибудь из просителей вдруг не разжалобил Дуню, Чубалов, оставивши небольшую часть наличных денег для хозяйства, остальное отослал в ломбард и получил именные билеты.

Вексель в три тысячи рублей, выданный Марку Данилычу Сивковым, Дуня послала по почте. В письме к Поликарпу Андреичу, извещая о кончине отца, просила она, чтобы он, взяв половину денег в благодарность за данный ей приют, другую половину вручил бы отцу Прохору.

А отцу Прохору написала, что он навсегда будет получать от нее по пятисот рублей в год и что за первые три года получит полторы тысячи рублей от Поликарпа Андреича Сивкова.

Недели через полторы Дуня получила ответные письма. Сивков рассыпался в благодарностях и в пожеланиях скорей оправиться от горя и счастливо устроить судьбу свою. Насчет отца Прохора писал он, что послал к нему пятьсот рублей, а остальные отдаст после, когда дозволит ему торговые обороты. Отец Прохор в самых теплых выражениях благодарил Дуню за полученные от Сивкова пятьсот рублей и за обещание не оставлять его и на будущее время. "А по отъезде из Луповиц Аграфены Петровны, коей при сем покорнейше прошу засвидетельствовать усерднейшее наше почтение и благодарность за неоставление нас, бедных и беспомощных, – писал отец Прохор, – у нас, в Луповицах, произошли неожиданные новости.

Третьего дня приезжал какой-то важный чиновник из Петербурга со здешним исправником и с жандармским полковником. Денисова они взяли, и жандармские солдаты увезли его неизвестно куда. По всему дому был произведен обыск, и меня тут пригласили по моему сану. Сионскую горницу и все, что возле нее, запечатали казенными печатями, а равно и богадельню еретицы Матрены. Здешние господа остаются покамест нетронутыми, но с них, кроме Марьи Ивановны, как заезжей, взяты подписки о невыезде из имения; наблюдение же за ними поручено нашему господину исправнику. А гостившую в Луповицах барышню Кислову отвезли в город к родителям и до времени отдали под полицейский надзор. Чем все это кончится, пока неизвестно, но ходят слухи, что правительство строго взялось за преследование богопротивной секты. Ожидают, что с нашими господами кончится тем же, чем кончилось и с родителем их, сосланным, как известно, в монастырь на неисходное покаяние. Таковые предположения слышатся не токмо от простых людей, но и от чиновных, при коих имел счастье находиться. А они в барском доме не пристали, а остановились петербургский чиновник с жандармским полковником у меня в домишке, а другие у отца дьякона да у причетников.

А Марья Ивановна сегодня в ваши места поехала. О сем пишу по той причине, что, быть может, вздумает она с вами повидаться, так вы обходитесь с ней строго и бережно, дабы снова не уязвила вас. А лучше бы всего, если бы с нею вовсе вы не видались. Узнавши, что теперь вы богаты, она, надо полагать, станет у вас денег просить на ихнее дело, то есть чтобы как-нибудь, и насколько возможно, опять присовокупить вас к их кораблю. Прошу я вас, отнюдь не поддавайтесь просьбам ее – храните себя. Боюсь, не осталось ли у вас в их доме каких-нибудь писем, касающихся до богомерзких их деяний. При обыске таковых не нашлось, но ведь дело не кончено, могут оказаться после. Сами же ни к Марье Ивановне и ни к кому из них ни единой буквы не пишете. Платье и разные ваши вещи, у них оставшиеся, пускай пропадают. Откажитесь от них, и дело с концом. По моему рассуждению, кажется, вам нечего опасаться, а если б и довелось ответ давать, покажите сущую обо всем правду. С таковых взыску никогда не бывает.

А главное, молитесь, ежедневно возносите моления, во-первых, самому господу богу, незримыми путями всякого земнородного руководящему, а во-вторых, святому отцу нашему Амвросию, епископу Медиоланскому. Они спасли вас от страшных бед. Теперь начинает открываться, что Денисов со своей сродницей Варварой Петровной, а также с барышней Кисловой в прежние годы то же самое учинил, на что и относительно вас покушался. Дай боже ему в монастыре раскаяться в богопротивных делах... А сколько за то будет избавлено от позора молодых девиц и даже несмысленных отроковиц".

Письмо отца Прохора обеспокоило Дуню – она боялась встречи с Марьей Ивановной. Впрочем, еще надеялась, что, после всего бывшего в Луповицах, она проедет мимо города прямо в Фа-

тьянку.

В самом деле, они не встретились, но вскоре из Фатьянки приехал нарочный от Марьи Ивановны. Он привез два чемодана с платьем и с разными вещами, оставленными Дуней в Луповицах. В одном из чемоданов было положено все хлыстовское, что употребляла Дуня во время радений. Тут были и белые ризы, и покровцы, и знамена, и пальмовые ветки. На вещах было положено письмо.

Вот что писала Марья Ивановна:

"Что это сделала ты с нами, милая, дорогая моя Дунюшка? Сокрушила ты всех нас печалью, а мы столь много и столь пламенно тебя любим. Сколько принесла ты нам горя, тревог и беспокойства своим исчезновением. Долго искали мы, куда могла бы ты скрыться, но не могли узнать; после уж стороной услышали, что была ты в губернском городе у купца Сивкова, а от него с какою-то женщиной поехала к больному отцу. Не можем придумать, как очутилась ты у Сивковых. Через день после того как ты скрылась, была получена эстафета с письмом ко мне.

Извещали меня о внезапной болезни Марка Данилыча и просили сейчас же тебя привезти, чтоб отца в живых ты застала. И я бы исполнила это, ежели бы ты у нас на ту пору оставалась. А все произошло, я полагаю, из какого-нибудь недоразумения с твоей стороны. Надо думать, что тебе показалось бог знает что такое. Так и Егорушка говорил. Никогда, милый друг мой, не должно действовать под первым впечатлением, иначе это будет опрометчивостью.

Я, впрочем, осталась вполне уверенною, что ты не покинула святого дела и не поругалась ему по вражьему наважденью. Великий, страшный ответ перед богом придется давать тебе, ежели не устоишь против искушений лукавого. Сама знаешь, какою ты приехала к нам и какою, прельщенная миром и суетой его, оставила нас. Ради вечного душевного спасения твоего умоляю тебя, милый дружок, не забывай того, что преподано тебе, и оставайся верною богоу до самой кончины. Теперь, по смерти доброго Марка Данилыча, стала ты ни от кого независимою, тем более, что и достатки тебе достались немалые. Ни о чем об этом не думай, никаких забот на себя не принимай. Угождай только богу святыми делами. Хорошо бы тебе воротиться на прежнее место, либо у меня пожить в новом именье, но этого до некоторого времени исполнить невозможно, потому что случилось у нас неожиданное и великое несчастье. Железная скелетная рука Полифема, сына Посидонова (Это и некоторые другие выражения письма Марьи Ивановны дословно взяты из письма образованной петербургской хлыстовки, писанного во второй половине сороковых годов. Ни означения года, ни имени писавшей нет, но видно, что барыня хлыстовка хоть несколько была знакома с Гомером. Под именем Полифема разумеется правительство, а из сопоставления других подобных документов видно, что это преимущественно относится к министру графу Перовскому, обратившему строгое внимание на распространившуюся в его время хлыстовскую ересь.), коснулась и нашего тихого от суеты мирской убежища и грозит тем, что было со спутниками Одиссея в пещере Циклоповой. Егорушку увезли неизвестно куда, дом братьев описали и отчасти запечатали, я отпросилась в свое именье и дорогой узнала, что Полифем и туда простер ужасную свою руку. По этой причине лучше тебе покамест оставаться в своем доме, а когда утишатся скорби, тогда к нам переезжай. Посылаю тебе покинутые тобою вещи и все нужное для истинного богомоления. Пусть эти принадлежности к работе по святому и спасительному делу напоминают тебе о данных тобой клятвах и обещаниях. С этим же нарочным пришли ответ, человек он совершенно надежный и верный, писать с ним безопасно.

Это письмо на всякий случай сожги, чтоб никаких следов от него не осталось, и я равным образом также поступлю с письмом, которое пришлешь мне. Времена пошли неблагоприятные, подули с севера все доброе и истинное мертвящие холодные ветры, необходимо их переждать и беречь себя как можно осторожнее, чтобы не получить болезни. Прощай, милая моя и дорогая Дунюшка, ты всегда была избранной любимицей моего сердца; забудь же недоразумение, по которому ты исчезла из братнина дома. Уверю тебя, что тут не было ничего дурного, ничего предосудительного, тебе только показалось что-то нехорошее. Умоляю тебя не забывать, что тобою принято, и вручаю тебя покровительству царицы небесной. Ты ведь ее за себя порукой давала. Не увлекайся мирской суетой и помни всегда, что не в ней заключается полнота духа, праведное восхищение и душевный ни с чем не сравнимый восторг. Ты ведь не раз испытала его".

Раздумалась над этим письмом Дуня. «Все ложь, все обман, правды нет нисколько! – подумала она. – Какое-то недоразумение нашло... Какое тут недоразумение, когда сама ввела меня в ловушку. И про мои недостатки, что остались после тятеньки, поминает. Их хотелось Луповицким... Прочь, лукавые! Ни думать не хочу о вас, ни вспоминать про вашу обманную веру».

Вошла разбитная Матрена.

– Что тебе, Матренушка? – спросила ее Дуня.

– Посланный ответа ждет, – отвечала Матрена.

– Скажи, что ответа не будет, – нахмурилась, сказала Дуня.

– Он говорит, что без вашего письма никак ему нельзя домой воротиться. Строго-настрою ему, слышь, наказывали письмо привезти от вас.

– Скажи ему от меня, что никакого ответа не будет и чтоб он скорей уезжал с моего двора, – повысивши голос, сказала Дуня, и глаза ее загорелись пылким гневом.

Волей-неволей посланный от Марьи Ивановны поехал долой со двора.

– Затопи, Матренушка, в моей спальне печку, – приказала Дуня.

– Да ведь нехолодно на дворе-то, Авдотья Марковна, – сказала было Матрена.

– Затопи, когда приказывают! – повелительно крикнула Дуня.

Изумилась Матрена. Всегда тихая и кроткая смиренница так грозно и властно стала покривать. Ни дать ни взять покойник Марко Данилыч. Видно, яблочко от яблоньки недалеко падает.

Когда печка разгорелась, Дуня заперлась изнутри и покидала в огонь белые ризы, еще недавно так с восторгом ею надеваемые. Знамена, покровцы и пальмовые ветви тоже в печку пошли. Между платьем нашла она писанную водяными красками картину «ликовствования» и несколько мистических книг, купленных Марком Данилычем у Чубалова и взятых Дуней в Луповицы. И это все в огонь полетело. Когда сгорело все, что могло напоминать ей о хлыстах, ровно тяжесть какая свалилась с нее и на душе стало покойней и веселее. Ей казалось, будто вышла она на вольную свободу из душевной темницы. Все отношения ее к луповицким хлыстам были навсегда теперь разорваны.

После, когда рассказала она обо всем этом Аграфене Петровне, та похвалила ее.

В тот же день вечером разговорилась Дуня с Чубаловым.

– Скажите мне, пожалуйста, Герасим Силыч, правду ль я слышала, будто вы, странствуя по разным местам, во многих верах перебивали? – спросила она.

– Правда, Авдотья Марковна, вам необлыжно сказывали, – отвечал Чубалов. – С ранних годов, когда еще я подростком был, с ума у меня не сходило, что вот здесь, вокруг нас, староверы разных толков живут. И каждый толк не любит другие, обзывает их отступниками, отщепенцами. Где ж, думал я, единая, правая Христова вера, в коей вечное спасение несомненно. Кого ни спрашивал, никто прямого ответа мне не дал, свою веру хвалил, другие проклинал... Тогда прочел я книгу Ефрема Сирина. А в ней сказано: в последние времена праведная вера сокроется из мира и мир по своим похотям пойдет и забудет творца своего. Тогда держащие праведную веру побегут в горы и будут пребывать в вертепах и в пропастях земных. И пошел я в странство отыскивать те вертепы и пропасти, чтоб до конца живота пребывать с людьми истинной веры.

Много странствовал, но не мог их найти. Пошел по сектам, – в которой год, в которой больше оставался. А как замечу, бывало, какую ни на есть неправоту, тотчас ухожу в иное место... И таким образом пятнадцать лет провел я в странстве и все переходил из одного согласия в другой. Но нигде не видал прямой истины. Тогда, наскучив праздным шатаньем, домой воротился. И вот теперь провожу житие в той вере, в коей родился, по спасову согласию.

– Вы находите ее всех праведнее? – спросила Дуня. Не вдруг ответил Чубалов. Думал он. Долго думал; потом тихо промолвил:

– Вы, Авдотья Марковна, слышал я, много книг перечитали и с образованными господами знакомство водите. Так не может же быть, чтоб и вам на ум не приходило, до чего дошел я чтением книг.

– Что ж такое, Герасим Силыч? – живо спросила его Дуня. – До чего дошли вы?

– Не в пронос мое слово будь сказано, – запинаясь на каждом слове, отвечал Чубалов. – Ежели по сущей правде рассудить, так истинная вера там.

И показал на видневшиеся из окна церковные главы.

– Как? В великороссийской? – спросила удивленная Дуня.

– Да, в великороссийской, – твердо ответил Герасим Силыч. – Правда, есть в ней отступления от древних святоотеческих обрядов и преданий, есть церковные неустройства, много попов и других людей в клире недостойных, прибытками и гордостью обуянных, а в богослужении нерадивых и небрежных. Все это так, но вера у них чиста и непорочна. На том самом камне она стоит, о коем Христос сказал: «На нем созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ю». Задумалась Дуня.

– Да, между тамошним священством есть люди недостойные, – продолжал Чубалов. – Но ведь в семье не без уroda. Зато не мало и таких, что душу свою готовы положить за последнего из паствы. Такие даже бывают, что не только за своего, а за всякого носящего образ и подобие божие всем пожертвуют для спасения его от какой-нибудь беды, подвергнутся гневу сильных мира, сами лишатся всего, а человека, хоть им вовсе не знакомого, от беды и напасти спасут. И будь хоть немного таковых, они вполне бы возвеличили свою церковь, а в ней неправды нет – одно лишь изменение обряда. А обряд не вера, и церковь его всегда может изменить. Бывали тому примеры и в древней церкви, во дни вселенских соборов.

Дуня молчала, об отце Прохоре она думала: «Разве мне, чуждой его церкви, не сделал он величайшего благодеяния? Разве не подвергался он преследованиям? Разве ему самому не угрожали за это и лишение места и лишение скудных достатков?»

Прошло несколько минут. Дуня спросила у Чубалова, зорко глядя ему в очи и ровно застыдившись:

– Когда вы были в странстве, Герасим Силыч, не случалось ли вам когда-нибудь сходить с людьми божьими? – спросила Дуня.

– Все мы божьи люди, Авдотья Марковна, все его созданыя. Не знаю, про каких божьих людей вы спрашиваете, – отвечал Чубалов.

– Такая секта есть, – сказала Дуня. – Сами себя они зовут людьми божьими, верными-праведными зовутся также и праведными последних дней, познавшими тайну сокровенную.

– Не доводилось знать таких, – ответил Герасим Силыч. – Не знаю, про кого вы говорите.

– Вместо моления они пляшут и кружатся, – тихонько промолвила Дуня.

– Так это хлысты. Фармазонами их еще в народе зовут, – ответил Чубалов. – Нет, бог миловал, никогда на их проклятых сборищах не бывал. А встречаться встречался и не раз беседовал с ними.

– Что ж вы думаете о них? Что это за учение?

– Бесовское, – ответил Герасим Силыч.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Работы на пристани и на прядильнях Смолокурова еще до Покрова были кончены, и Чубалов рассчитал пришлых работников. Рассчитались они честно и мирно – не так, как бывало при Василье Фадееве. После выгонки ненавистного приказчика голоса никто не повышал в работных избах, а ежель и случалось кому хмельком чересчур зашибиться, сами товарищи не допускали его бушевать, а если слов не слушался, так пускали в ход палки и кулаки. Иные работники, особенно дальние, после расчета Христом богом молили оставить их при смолокуровском доме за какую угодно плату, даже из одного хлеба. Чубалов соглашался, и эти работники были полезнее других, они сделались бдительными и верными стражами осиротелого дома. А это было нелишнее. Не раз были попытки подкопаться под какую-нибудь смолокуровскую постройку, где лежало мало-мальски ценное. Охотников до чужбинки в том городке, где жил покойный Марко Данилыч, было вдоволь, и потому Герасим Силыч по ночам в доме на каждой лестнице клал спать по несколько человек, чтоб опять ночным делом не забрался в покои какой-нибудь новый Корней Прожженный.

Тихо, бесшумно шла новая Дунина жизнь, хоть и было ей тоскливо, хоть и болела она душою от скучного одиночества. С нетерпением ждала она тех дней, когда заживет под одним кровлей с сердечным своим другом Аграфеной Петровной.

Дни и ночи рук не покладаячи Герасим Силыч работал над устройством смолокуровских дел. Они шли успешно: кусовые и косные, реюшки и бударки, строенные на пристани, бечева, ставные сети, канаты и веревки, напряденные весной и летом, проданы были хоть и не вовремя, хоть и по низкой цене, но все-таки довольно выгодно. Лес, на пристани заготовленный на два года, был продан дороже, чем обошелся он Марку Данилычу.

Приехал с Унжи Никифор, хорошо уладивши тамошние дела. За унженские дачи в свое время дешево Марко Данилыч заплатил промотавшемуся их барину. Не один год вырубал он десятин по сотне и сплавлял лес на пристани свою и нижегородскую; к тому ж и Корней Евстигнейч, будучи на Унже, не клал охулки на руку, а все-таки Никифор Захарыч, распродавши дачи по участкам, выручил денег больше, чем заплатил Марко Данилыч при покупке леса. С домом оставалось только развязаться, тогда бы и дело с концом, но продать большой дом в маленьком городке не лапоть сплести.

Из местных обывателей не было такого, кто бы мог купить смолокуровский дом, даже и с долгой рассрочкой платежа, а жители других городов и в помышление не держали покупать тот дом, у каждого в своем месте от отцов и дедов дошедшая оседлость была, – как же оставлять ее, как менять верное на неверное? Старым, насиженным местом русский человек паче всего дорожит – не покинет он дома, где родились и сам и его родители, не оставит места, где на погосте положены его дедушки, бабушки и другие сродники. Внаймы смолокуровского дома сдать было некому – у каждого купца, у каждого мещанина хоть кривенький домишко, да есть, – у чиновных людей, что покрупнее, были свои дома, а мелкая сошка перебивалась на маленьких квартирках мещанских домов – тесно там, и холодно, и угарно, да делать нечего – по одежке протягивай ножки. А главное дело в том, что по всему городку ни у кого не было столько денег, чтоб купить смолокуровский дом, красу городка, застроенного ветхими деревянными домишками, ставленными без малого сто лет тому назад по воле Екатерины, обратившей ничтожное селенье в уездный город. Вот уж семьдесят лет, как тот городок ни разу дотла не выгорал, – оттого и строенье в нем обветшало.

Носились слухи по городу, что молодая наследница Марка Данилыча для того распродает все, что хочет уехать на жительство за Волгу. Одни верили, другие не давали веры: «Зачем, – говорили они, – такой молоденькой и богатой невесте забиваться в лесную глушь. Там и женихов-то подходящих нет – одно мужичье: дровосеки да токари, красильщики да валяльщики». Раннюю продажу лодок и прядильного товара тем объясняли, что неумелой девушке не под стать такими делами заниматься, но в продажу дома никто и верить не хотел. Поверили только к Сергиеву дню, когда настали «капустки». В то время по всем городкам, по всем селеньям в каждом доме на зиму капусту рубят, к зажиточным людям тогда вереницами девки да молодки с тятками (Тятка – малый, заостренный, круглый и острый заступ, употребляемый при рубке капусты.) под мышками собираются. А ребятишкам и числа нет, дела они не делают, зато до отвала наедаются капустными кочерыгами. Шум, визг, крики разносятся далеко, а девицы с молодцами, стоя за корытами, «Матушку капустку» поют:

Я на камешке сажу,
Я топор в руках держу,
Изгородь я горожу.
Ой люли, ой люли,
Изгородь я горожу.
Я капусту сажу,
Я все беленькую,
Да кочанненькую.
Ой люли, ой люли,
Да кочанненькую.
У кого капусты нет -
Просим к нам в огород,
Во девичий хоровод.
Ой люли, ой люли,

Во девичий хоровод.
Пойдем, девки, в огород
Что по белую капустку
Да по сладкий кочешок.
Ой люли, ой люли,
Да по сладкий кочешок.
А капуста-то у нас
Уродилась хороша,
И туга, и крепка, и белым-белешенька.
Ой люли, ой люли,
И белым-белешенька.
Кочерыжки – что твой мед,
Ешьте, парни, кочерыжки -
Помните капустки.
Ой люли, ой люли,
Помните капустки.
Отчего же парней нет,
Ай зачем нет холостых
У нас на капустках?
Ой люли, ой люли,
У нас на капустках?
Возгордились, взвеличались
Наши парни молодые,
Приступу к ним нет.
Ой люли, ой люли,
Приступу к ним нет.
А в торгу да на базаре,
По всем лавкам и прилавкам
Не то про них говорят.
Ой люли, ой люли,
Не то про них говорят.
Вздешевели, вздешевели
Ваши добры молодцы,
Вся цена им – кочешок.
Ой люли, ой люли,
Вся цена им кочешок.
Ноне девять молодцов
За полденьги отдают
И дешевле того.
Ой люли, ой люли,
И дешевле того.
Тяпи, тяпи, тяп!..
Тяпи, тяпи, тяп!..
Ой, капуста белая,
Кочерыжка сладкая!

Звонко разносится веселый напев капустной песни, старой-престарой. Еще с той поры поется она на Руси, как предки наши познакомились с капустой и с родными щами. Под напев этой песни каждую осень матери, бабушки и прабабушки нынешних девок и молодок рубили капусту. Из всех домов далеко раздается нескончаемый стук тяпок, а в смолокуровском такая тишь, что издали слышно, как на дворе воробьи чирикают. Бывало, к пристани Марка Данилыча лодок по десяти с капустой приходило – надо было ее на зиму заготовить, достало бы на всех рабочих, а теперь смолокуровские лодки хоть и пришли, но капуста без остатка продана была на базаре. Тут только уве-

рились горожане, что смолокуровские заведения в самом деле закрываются и молодая хозяйка переселяется с родины в иное место.

В то время как рубили капусту, подошел двадцатый день по смерти Марка Данилыча, и к Дуне приехал Патап Максимыч с Аграфеной Петровной и с детьми ее. Похожий на пустыню смолокуровский дом огласился детскими кликами, беготней и играми, и Дуня повеселела при своей сердечной Груне.

В полусорочины (Полусорочины – двадцатый день после смерти.) Герасим Силыч отправил в доме канон за единоумершего, потом все сходили на кладбище помолиться на могилке усопшего, а после того в работных избах ставлены были поминальные столы для рабочих и для нищей братии, а кроме того, всякий, кому была охота, невозбранно приходил поминать покойника. На другой же день поминовенья начались сборы в путь-дорогу. Одна Дарья Сергевна была недовольна решением переехать за Волгу: сильна в ней была привязанность к дому, где она молодость скротала и почти до старости дожила. Патап Максимыч больше всего заботился, чтобы как-нибудь дом сбыть с рук. Узнавши, что присутственные места в городке до того обветшали, что заниматься в них стало невозможно, он вступил в переговоры с начальством, чтобы наняли смолокуровский дом, ежели нет в казне денег на его покупку. Городничий рассчитал, что в том доме, опричь помещения присутственных мест, может быть и для него отделана хорошая даровая квартира, и потому усердно стал хлопотать о найме. Патап Максимыч, будучи с Дуней один на один, сказал ей про то.

– Знаете ли, что я придумала? – выслушав Чапурина и немного помолчавши, сказала она. – Не надо бы дома-то продавать, лучше внаймы отдать на короткий срок, на год, что ли, а не то и меньше.

– Что ж это тебе вздумалось? – спросил Патап Максимыч.

– А помните, как мы разбирали тятенькин сундук и нашли бумагу про дядюшку Мокея Данилыча? – сказала Дуня. – Ежели, бог даст, освободится он из полону, этот дом я ему отдам. И денег, сколько надо будет, дам. Пушай его живет да молится за упокой тятеньки.

– Добрая душа у тебя, добрая, – ласково улыбаясь, сказал ей Патап Максимыч. – Значит, дом внаймы отдавать только на год?

– Как уж там рассудите, – отвечала Дуня. – А как думаете, скоро ли дядя воротится из полону?

– Не ближе лета. Поглядим, что оренбургский татарин напишет, а ответа от него до сих пор еще нет, – сказал Патап Максимыч. – Схожу-ка я теперь к городничему да потолкую с ним о найме дома на год. Да вряд ли он согласится на такое короткое время, – дело же ведь не его, а казенное.

– Так вовсе не отдавать, – быстро промолвила Дуня. – Караульщиков можно нанять. Герасима Силыча попросить, не согласится ли он пожить здесь до дяди.

– Хорошо, – молвил Чапурин, но все-таки пошел к городничему.

Только что вышел он из Дуниной комнаты, вошла Аграфена Петровна.

– С приезда не удавалось еще мне поговорить с тобой с глазу на глаз, сказала она Дуне. – Все кто-нибудь помешает: либо тятенька Патап Максимыч, либо Герасим Силыч, либо Дарья Сергевна, а не то ребятишки мои снуют по всем горницам и к тебе забегают.

– Что ж? Пусть их побегают, здесь просторно играть им, – молвила Дуня. И, зорко поглядев в глаза приятельнице, сказала:

– По глазам вижу, Груня, что хочется тебе что-то сказать мне. К добру али к худу будут речи твои?

– Каково почтешь, – ответила Аграфена Петровна, тоже улыбаясь. По-моему, кажется бы, к добру, а впрочем, как рассудишь.

– Что ж такое? – немного смутившись, спросила Дуня. Догадывалась она, о чем хочет вести с

ней речь приятельница.

– Два раза виделась я с ним у Колышкиных, – сказала Аграфена Петровна. Как за Волгу отсюда ехали да вот теперь, сюда еду. С дядей он покончил, двести тысяч чистоганом с него выправил, в Казани жить не хочет, а в Нижнем присматривает домик и думает тут на хозяйство сесть.

– Что ж он? – вся потупившись, спросила Дуня.

– Ничего. Жив, здоров, – отвечала Аграфена Петровна. – Про тебя вспоминал. Ни слова Дуни. – Тоже тоскует, как и тогда у нас в Вихореве, немного помолчав, сказала Аграфена Петровна. – Тоскует, плачет; смертная ему охота хоть бы глазком поглядеть на ту, что с ума его свела, не знает только, как подступиться... Боится.

– Так и сказал? – чуть слышно промолвила Дуня.

– Так и сказал, – ответила Аграфена Петровна. – Терзается, убивается, даже рыдает навзрыд. «Один, говорит, свет, одна услада мне в жизни была, и ту по глупости своей потерял». В последний раз, как мы виделись, волосы даже рвал на себе... Да скажи ты мне, Дуня, по истинной правде, не бывало ль прежде у вас с ним разговоров о том, что ты ему по душе пришлась? Не сказывал ли он тебе про свои намеренья?

– Нет, – ответила Дуня, – ни он мне, ни я ему словечка о том не сказала. Он не заговаривал, так как же я-то могла говорить? Мое дело девичье. Тогда же была я такая еще, что путем и не понимала своих чувств. А когда узнала, что уехал он к Фленушке, закипело мое сердце, все во мне замерло, но я все-таки затаила в себе чувства, никому виду не подала, тебе даже не сказала, что у меня случилось на сердце... А тут эта Марья Ивановна подвернулась. Хитрая она – сразу обо всем догадалась. Лукавыми словами завлекла она меня в ихнюю веру, и я была рада. У них вечное девичество в закон поставляется, думать про мужчин даже запрещается, а я была тогда им так много обижена, так ненавидела его, всякого зла и несчастья желала ему, оттого больше и предалась душою фармазонской вере... Когда же образумилась и познала ихние ложь и обманы, тогда чаще и чаще он стал вспоминаться мне. Голос его даже слыхала, призрак его видела. И с той поры стала сердцем по нем сокрушаться, жалеть (Жалеть – в простонародье любить.) его.

– И он тебя жалеет, и он по тебе сокрушается, – тихонько молвила Аграфена Петровна. – С того времени сокрушается, как летошний год уехал в скиты. Так говорил он в последнее наше свиданье и до того такие же речи не раз мне говаривал... Свидеться бы вам да потолковать меж собой.

– Нет! Как можно! – покрасневши вся, молвила Дуня. – Не бросаться же к нему на шею.

– Вестимо, на шею не бросаться, а не мешает самой тебе узнать, как он по тебе сокрушается, особенно теперь, как ты осиротела... Как, говорит, теперь она устроится? Беспомощная, беззащитная! – сказала Аграфена Петровна.

Задумалась Дуня. После недолгого молчанья Аграфена Петровна сказала ей:

– Теперь он чуть не каждый день у Колышкиных. Приедем в город, увидишься с ним. Поговори поласковой. Сдается мне, что дело кончится добром.

Не ответила Дуня, но с тех пор Петр Степаныч не сходил у нее с ума. И все-то представлялся он ей таким скорбным, печальным и плачущим, каким видела его в грезах в луповицком палисаднике. Раздумывает она, как-то встретится с ним, как-то он заговорит, что надо будет ей отвечать ему. С ненавистью вспоминает Марью Ивановну, что воспользовалась душевной ее тревогой и, увлекши в свою веру, разлучила с ним на долгое время. Про Фленушку и про поездку Самоквасова в Комаров и помина нет.

Пришел Покров девкам головы крыть (С Покрова (1-го октября) начинаются по деревням свадьбы. После венчания молодой расчесывают косу и кроют голову повойником.) – наступило первое зазимье, конец, хороводам, почин вечерним посиделкам. Патап Максимыч уладил все дела – караульщики были наняты, а Герасим Силыч согласился домовничать. Через недолгое время после Покрова пришли сорочины. Справивши их, Патап Максимыч с Аграфеной Петровной, с Дуней и Дарьей Сергеевной поехали за Волгу. На перепутье остановились у Колышкиных.

И Сергей Андреич и Марфа Михайловна рады были знакомству с Дуней, приняли ее с душевным радушьем и не знали, как угодить ей. Особенно ласкова была с ней Марфа Михайловна –

сиротство молодой девушки внушало ей теплое, сердечное к ней участие. Не заставил долго ждать себя и Петр Степаныч.

Вошел он в комнату, где сидели и гости и хозяева. Со всеми поздоровавшись, низко поклонился он Дуне и весь побледнел. Сам ни словечка, стоит перед нею как вкопанный. Дуня слегка ему поклонилась и зарделась как маков цвет. Постоял перед ней Самоквасов, робко, скорбно и страстно поглядел на нее, потом отошел в сторону и вступил в общий разговор. Аграфена Петровна улучила минуту и прошептала ему несколько слов. Немного погодя сказала она Дуне:

– Пойдем в те комнаты, надо мне на ребяток моих посмотреть, не расшалились ли; да и спать уж пора их укладывать.

Медленно встала Дуня и пошла за подругой. Посмотрели они на детей; те играли с детьми Колышкина и держали себя хорошо. После того Аграфена Петровна пошла с Дуней в гостиную. Сели они там.

– Ну что? – спросила едва слышно Аграфена Петровна. Не отвечала Дуня.

– Что ж молчишь? говори!

– Жалким таким он мне показался, – немного помедливши, проговорила Дуня.

– Чем же жалок-то? – с улыбкой спросила Аграфена Петровна.

– Так, – пальцами перебирая оборку платья, тихонько ответила Дуня.

– А ты путем говори, – воскликнула Аграфена Петровна. – Мы ведь здесь одни, никто не услышит.

– Жалкий такой он, тоскливый... – промолвила Дуня.

– По тебе тоскует, оттого и жалок, – сказала Аграфена Петровна.

В это самое время робкими, неровными шагами вошел в гостиную Петр Степаныч и стал у притолоки. Назад идти не хочется, подойти смелости нет.

– Подите-ка сюда, Петр Степаныч, подойдите к нам поближе, – улыбнувшись весело, молвила ему Аграфена Петровна. Тихой поступью подошел к ней Самоквасов.

– Винитесь, в чем согрубли, – сказала Аграфена Петровна.

– Глаз не смею поднять... – задыхающимся, дрожащим голосом промолвил Самоквасов. – Глупость была моя, и теперь должен за нее век свой мучиться да каяться.

– Что ж такое вы сделали?... Я что-то не помню, – вся разгоревшись, промолвила Дуня.

– А уехал-то тогда. В прошлом-то году... Не сказавшись, не простившись, уехал... – сказал Петр Степаныч.

– Что ж? Вы человек вольный, где хотите, там живете, куда вздумали, туда и поехали, никто вас не держит, – проговорила Дуня. – Я вовсе на вас не сердилась, и уж довольно времени прошло, когда мне сказали о вашем отъезде; а то и не знала я, что вы уехали. Да и с какой стати стала бы я сердиться на вас?

– Авдотья Марковна, Авдотья Марковна! Раздираете вы душу мою! – воскликнул Самоквасов. – Сам теперь не знаю, радоваться вашим словам или навеки отчаяться в счастье и радости.

Дуня сгорела вся, не может ничего сказать в ответ Петру Степанычу. Но потом эти слова его во всю жизнь забыть не могла.

Немного оправясь от смущенья, повела она речь о постороннем.

– Что ваш раздел? – спросила она.

– Покончил, судом порешили нас, – отвечал Самоквасов. – Прежде невеликую часть из де-душкина капитала у дяди просил я, а он заартачился, не хотел и медной полушки давать. Делать нечего – я к суду. И присудили мне целую половину всего именья – двести тысяч чистыми получил и тотчас же уехал из Казани – не жить бы только с дядей в одном городе. Здесь решился домик себе купить и каким-нибудь делом заняться. А не найду здесь счастья, в Москву уеду, либо в Питер, а не то и дальше куда-нибудь... Двухсот тысяч на жизнь хватит, а жить мне недолго. Без счастья на свете я не жилец.

– Ну, будет вам, Петр Степаныч, – сказала Аграфена Петровна. – Мировую сейчас, хоть ссоры меж вами и не было. Так ли, Дунюшка?

– Какая же ссора? – молвила Дуня, обращаясь к подруге. – И в прошлом году и до сих пор я Петра Степаныча вовсе почти и не знала; ни я перед ним, ни он передо мной ни в чем не виноваты.

В Комаров-от уехали вы тогда, так мне-то какое дело было до того? Петр Степаныч вольный казак – куда воля тянет, туда ему и дорога.

– Ну, будет, пойдемте, не то придет сюда кто-нибудь, – сказала Аграфена Петровна. – Ступайте прежде вы, Петр Степаныч, мы за вами.

Послушно, ни слова не сказавши, вышел Самоквасов. Когда ушел он, Аграфена Петровна тихонько сказала Дуне:

– На первый раз пока довольно. А заметила ль ты, какой он робкий был перед тобой, – молвила Аграфена Петровна. – Тебе словечка о том не промолвил, а мне на этом самом месте говорил, что ежели ты его оттолкнешь, так он на себя руки наложит. Попомни это, Дунюшка... Ежели он над собой в самом деле что-нибудь сделает, это всю твою жизнь будет камнем лежать на душе твоей... А любит тебя, сама видишь, что любит. Однако ж пойдем.

И пошли из гостиной в столовую, где и хозяева и гости сидели.

Патап Максимыч дня четыре прожил у Колышкиных, и каждый день с утра до ночи тут бывал Самоквасов. Дуня помаленьку стала с ним разговаривать, а он перестал робеть. Зорко поглядывала на них Аграфена Петровна и нарадоваться не могла, заметив однажды, что Дуня с Петром Степанычем шутят и чему-то смеются.

Перед отъездом Аграфена Петровна сказала Самоквасову, чтобы дён через десять приезжал он к ней в Вихорево.

Переpravясь через Волгу, все поехали к Груне в Вихорево. Эта деревня ближе была к городу, чем Осиповка. Патап Максимыч не успел еще прибрать как следует для Дуни комнаты, потому и поторопился уехать домой с Дарьей Сергеевной. По совету ее и убрали комнату. Хотелось Патапу Максимычу, чтобы богатая наследница Смолокурова жила у него как можно лучше; для того и нанял плотников строить на усадьбе особенный дом. Он должен был поспеть к Рождеству.

Не заставил себя ждать Петр Степаныч, на десятый день, как назначила ему Аграфена Петровна, он как снег на голову. Дуня была довольна его приездом, хоть ничем того и не выказала. Но от Груни не укрылись ни ее радость, ни ее оживление.

– Рада гостю? – спросила она Дуню вечером, когда осталась вдвоем с ней. Дуня поалела, но ничего не ответила.

– По глазам вижу, что радехонька. Меня не проведешь, – улыбаясь и пристально глядя на Дуню, сказала Аграфена Петровна.

– По мне, все одно, – молвила Дуня, облегчив трепетавшую грудь глубоким вздохом.

– Разводи бобы-то! Точно я двухлетний ребенок, ничего не вижу, ничего не понимаю, – с усмешкой сказала Аграфена Петровна. – Лучше вот что скажи – неужто у тебя еще не вышли из памяти Луповицы, неужели в самом деле обрела ты себя на девичество?

– Про Луповицы не хочу и вспоминать. Если б можно было совсем позабыть их, была бы то-му радехонька, – с живостью вскрикнула Дуня.

– Только замужем совсем про них забудешь, – сказала Аграфена Петровна.

– Это почему? – спросила Дуня.

– Да уж так, – ответила Аграфена Петровна. – Не тем будет голова занята. Думы о муже, заботы о детях, домашние хлопоты по хозяйству изведут вон из памяти воспоминанья о Луповицах. И не вспомнишь про тамошних людей. А замуж тебе пора. Теперь то возьми: теперь у тебя большие достатки, как ты с ними справишься? Правда, тятенька Патап Максимыч вступился в твое сиротство, но все ж он тебе чужанин, а сродников нет у тебя ни души: да тятенька и в отлучках часто бывает, и лета его уж такие, что – сохрани бог, от слова не сделается – и с ним то же может приключиться, что с твоим покойником. На дядю надеешься? Так выйдет ли он из полону, нет ли, одному богу известно. А ежели и выйдет, что за делец будет?

Столько годов проживши в рабстве у бусурман, не то что от наших дел отстал, а пожалуй, и по-русски-то говорить разучился. К тому ж и он уж человек не молодой, и к нему старость подо-

шла. Он же не только тебя никогда не видывал, а даже не знает, что и на свете-то ты есть. Как ему сберечь твое добро, не зная русских порядков? Правду ль я говорю?

– Конечно, правду, – поникнув разгоревшимся личиком, сказала Дуня.

– Иное дело – замужество, – продолжала Аграфена Петровна. – Хоть худ муженек, да за мужниной головой не будешь сиротой; жена мужу всего на свете дороже.

Не отвечала Дуня, крепко призадумалась над речами друга сердечного и противного слова не могла ей сказать.

– А что, Дунюшка, пошла бы ты за Петра Степаныча, если б он к тебе присватался? – спросила вдруг у ней Аграфена Петровна. Слезы выступили у Дуни.

– Не знаю, – она молвила.

– Его-то знаешь, – подхватила Аграфена Петровна. – И то знаешь, что он по тебе без ума. Сам он мне о том сказывал и просил меня поговорить с тобой насчет этого... Сам не смеет. Прежде был отважный, удалой, а теперь тише забитого ребенка.

Молчала Дуня, но Аграфена Петровна по-прежнему приставала к ней:

– Скажи, Дунюшка, скажи, моя милая. Ежели хочешь, словечка ему не вымолвлю. Пошла бы ты за него али нет?

По-прежнему Дуня ни слова.

– Не сионская ли горница тревожит тебя?.. Не об ней ли вспоминаешь? Не хочешь ли сдержать обещание вечного девичества, что обманом взяли с тебя? – сказала Аграфена Петровна. Встрепенулась Дуня при этих словах.

– Нет, нет! – вскрикнула она. – Не поминай ты мне про них, не мути моего сердца, богом прошу тебя... Они жизнь мою отравили, им, как теперь вижу, хотелось только деньгами моими завладеть, все к тому было ведено. У них ведь что большие деньги, что малые – все идет в корабль.

– Да не в том дело, – прервала ее Аграфена Петровна. – Пошла ли бы ты за Петра Степаныча? Вот о чем я тебя спрашиваю... Пожалей ты его... Он, бедняжка, теперь сам не свой, от хлеба даже отбился. Мученик, как есть мученик... Что ж ты скажешь мне? Пошла бы?

Крепко прижалась Дуня лицом к плечу подруги и чуть слышно прошептала ей:

– Что ж нейти, коли есть на то воля божия... И, сказавши, громко зарыдала.

– Так я скажу ему. Поскорей бы уж делу конец... Что томить его понапрасну? – молвила Аграфена Петровна.

– Ах нет, Груня, не говори, – вскрикнула Дуня. – Как это можно?

– Ежели станем молчать, ни до чего не домолчимся, – сказала Аграфена Петровна. – Непременно надо вам переговорить друг с другом, а там – что будет богу угодно.

– Ах, нет!.. Нет, ни за что на свете! У меня и слов не достанет, вскрикнула Дуня.

– Так ин вот что сделаем, – сказала Аграфена Петровна. – Так и быть, хоть я еще и молода, пойду в свахи. Потолкую с ним, а потом и с тобой слажу. Ладно ли будет?..

– Не знаю. Делай как лучше, – чуть слышно прошептала Дуня.

И всю ночь после того глаз не могла сомкнуть она, думы так и путались у ней на уме. А думы те были все об одном Петре Степаныче, думы ясные и светлые. Тут вполне сознала Дуня, что она полюбила Самоквасова.

Заснула только под утро, и во сне ей виделся только он один.

Утром Аграфена Петровна передала Петру Степанычу, что Дуня не прочь за него идти. Он так обрадовался, что в ноги молодой свахе поклонился, а потом заметался по горнице.

– Так и быть, сведу вас, – сказала Аграфена Петровна, – только много с ней не говорить и долго не оставаться. Ведь это не Фленушка. Робка моя Дуня и стыдлива. Испортите дело – пеняйте на себя. Сама при вас буду – меня во всем извольте слушаться; скажу: «довольно» – уходите, скажу: «не говорите» – молчите.

Вечером, когда Дуня с Аграфеной Петровной сидели вдвоем, вошел к ним Петр Степаныч. Не издавши целый день Дуни, он низко ей поклонился, а она ответила едва заметным поклоном. Все трое молчали.

– Я, Петр Степаныч, по вашей просьбе, говорила с Дуней насчет ваших намерений, – начала

Аграфена Петровна. – Вот она сама налицо, извольте спрашивать, как она думает.

Неровной, медленной поступью подошел Самоквасов к Дуне. Хочет что-то сказать, да слова с языка не сходят. Сам на себя дивится Петр Степаныч – никогда этого с ним не бывало. Нет, видно, здесь не Каменный Вражек, не Комаровский перелесок.

– Да говорите же! – вскрикнула с нетерпением Аграфена Петровна.

Оправившись от смущения, тихим, взволнованным голосом, склонив перед Дуней голову, сказал он:

– Ежели не противен... не откажите... явите божескую милость... Богом клянусь – мужем добрым буду, верным, хорошим.

У Дуни в глазах помутилось, лицо вспыхнуло пламенем, губы судорожно задрожали, а девственная грудь высоко и трепетно стала подниматься, потом слезы хлынули из очей. Ни слова в ответ она не сказала.

– Согласны ль будете выйти, Авдотья Марковна, за меня? – спустя немного промолвил Петр Степаныч. Дуня через силу прошептала:

– Да.

– Ну и слава богу, – радостно вскрикнула Аграфена Петровна. Домолчались до доброго слова!.. Теперь, Петр Степаныч, извольте в свое место идти, а я с вашей невестой останусь. Видите, какая она – надо ей успокоиться.

– На одну минутку, – не помня себя от восторга, вскрикнул Самоквасов и вынул из кармана дорогое кольцо. – Так как вас, Авдотья Марковна, Аграфена Петровна сейчас назвала моей невестой и как я сам теперь вас за невесту свою почитаю, то нижайше прошу принять этот подарочек. Дуня не брала кольца.

– Возьми, Дунюшка, – молвила Аграфена Петровна. – Так водится.

Нерешительно и робко протянула Дуня руку. Петр Степаныч положил в нее подарок.

– Теперь ступайте с богом, Петр Степаныч, оставьте нас, – промолвила Аграфена Петровна. Самоквасов молча повиновался.

На другой день рано поутру Аграфена Петровна послала нарочного с письмом к Патапу Максимычу. Она просила его как можно скорей приехать в Вихорево. Чапурин не заставил себя долго ждать – в тот же день поздним вечером сидел он с Груней в ее горнице.

– Что случилось? Зачем наспех меня требовала? – спрашивал он.

– Худого, слава богу, не случилось, а хорошенького довольно, – ответила Груня. – Так как ты, тятенька, теперь и защитник и покровитель сиротки нашей, считаешь ее за свою дочку, так я и позвала тебя на важный совет. Самой одной с таким делом мне не справиться, потому и послала за тобой.

– В чем дело-то? – спросил Чапурин. – Что тянешь? Скорей да прямой говори.

– Видишь ли, тятенька, дней пять тому назад приехал к нам в гости Самоквасов Петр Степаныч, – молвила Аграфена Петровна. – Дуня крепко ему приглянулась.

– Это я еще у Колышкиных приметил, – сказал Патап Максимыч. – Еще что?

– А еще то, что вечер Дуня согласилась замуж идти за него, – сказала Аграфена Петровна. – Покамест об этом мы только трое знаем: жених с невестой да я. Что ты на это скажешь?

– Что сказать-то? Дело доброе, – молвил Патап Максимыч. – Девица она умная, по всему хорошая, и его из хороших людей не выкинешь. Заживут, бог даст, припеваючи. Помнишь, я еще тогда, как только помер Марко Данилыч, говорил, что при ее положении надо ей скорее замуж идти. Ведь одна как перст... Доброе дело затеяно у вас, доброе... Был он прежде забубенным ветрогоном, проказил на все руки, теперь переменялся, человека узнать нельзя. А как женится, еще лучше будет.

– Присватался бы какой-нибудь негодный парень к Дунину миллиону, ну и мучься она с ним до гробовой доски. Что тут хорошего-то? А пожалуй, и такой бы хахаль навернулся, что обобрал

бы ее до ниточки, да и бросил, как вон Алешка Лохматый Марью Гавриловну обобрал да бросил. Этот женится не на деньгах – у него двести тысяч в кармане. Нет, вашего дела охаять нельзя, хорошее, очень даже хорошее дело. Одобряю.

– Ты с ней, тятенька, куда об этом не говори, – сказала Аграфена Петровна. – Не вдруг, значит, начинай. Она такая ведь пугливая да робкая. Нельзя покамест с ней много говорить насчет этого. Скажу тебе, когда можно будет.

– А с ним? – спросил Чапурин.

– С ним отчего ж не поговорить, – отвечала Аграфена Петровна, – только бы она не знала об этом. С недельку, пожалуй, надо будет обождать, покамест они привыкнут друг к другу.

– А ведь я было на усаде хотел особый дом для нее ставить; теперь, значит, не нужно? – сказал Патап Максимыч. – Когда свадьба-то?

– Об этом не заводи еще речей, да, признаться, и некогда было, отвечала Аграфена Петровна. – А по-моему бы так: до филипповок с приданым да с тем и другим не управиться нам; хоть бы тотчас после Крещенья свадьбу сыграть. Тем временем Петр Степаныч дом купит и уберет его, как надобно. Это время Дуня у меня бы аль у тебя погостила. А венчаться им в городе и лучше бы всего в единоверческой, тамошний-то венец покрепче сидит на голове. Опять же Петр Степаныч сам говорил мне, что при их недостатках, ежели повенчаются они у проезжающего священника, того и гляди доносы пойдут да суды. С Дуней об этом я еще не говорила, а думаю, что и она будет не прочь обвенчаться в единоверческой.

– И распрекрасное дело, – сказал Чапурин. – Что там ни говори, попы наши да скитские келейницы, как ни расписывай они свою правоту, а правда-то на той стороне, не на нашей.

Было уж поздно, наступала полночь, яркими, мерцающими звездами было усеяно темносинее небо. Простившись с Груней, Патап Максимыч из душных горниц пошел на улицу подышать свежим воздухом. Видит – возле дома Ивана Григорьевича сидит человек на завалинке. Высоко он держит голову и глядит на небесные светочи. Поближе подошел к нему Патап Максимыч и узнал Самоквасова.

– Наше вам почтение, – слегка приподнимая картуз, сказал Чапурин.

– Ах, здравствуйте!.. здравствуйте, Патап Максимыч, – вскочив с завалины, с живостью вскрикнул Самоквасов. – Слышал, слышал я о вашем приезде, только свидеться не удалось пока.

– У Груни я посидел, – ответил Чапурин, – а теперь вышел на сон грядущий вольным воздухом подышать. А вы здесь какими судьбами?

– Да вот вздумалось у Аграфены Петровны погостить, – отвечал Петр Степаныч. Ивана-то Григорьевича дома нет, а я не знал о том. Да наша хозяйка такая ласковая, приветливая, хлебосольная, как и сам Иван Григорыч.

– Дела, что ли, какие до него? – спросил Чапурин.

– Особенных пока не заводилось. А кой о чем надо посоветоваться. Вот я и приехал, – отвечал Петр Степаныч.

– Валеным товаром, что ли, заняться? – с усмешкой спросил Патап Максимыч.

– Валеным товаром торговать я не стану, а надо же чем-нибудь заняться, – ответил Петр Степаныч.

– Так ко мне бы приехал. Побольше Ивана Григорыча видов мы видали: по какой хочешь торговле смыслим больше его, – сказал Чапурин.

– К вам-то я не посмел, – отозвался Самоквасов.

– А ты пустяков не плети, – сказал Патап Максимыч. – Сейчас с Груней говорил и знаю, зачем ты приехал. Не к ней пожаловал и не к Ивану Григорычу, а к кому-то другому.

– Как к другому? – спросил смущенный Самоквасов.

– Невесту высватать приехал. Что ж? Невеста хорошая, – с ясной улыбкой промолвил Чапурин. – Мало таких на свете.

Примолк Петр Степаныч, молчал и Патап Максимыч. Спустя немного времени Чапурин сказал:

– Чего таиться-то? Дело задумано нехудое. Груне я так и говорил: она ведь мне все рассказала.

- Ежели Аграфена Петровна вам рассказала, так мне таиться не приходится. Да, Патап Максимыч, сдается мне, что попал я на добрую стезю.
- Справедливо. Дай бог совет да любовь, а при них и счастье придет, молвил Патап Максимыч. – Как насчет свадьбы располагаешь? Когда думаете делом-то совсем покончить?
- Хотелось бы тотчас после Крещения, только не знаю, управимся ли, отвечал Петр Степаныч. – Домик в городе присмотрел, надо купить его да убрать как следует, запасы по хозяйству тоже надо сделать, прислугу нанять, лошадей завести, экипажи купить. Мало ль сколько дела, а на все время требуется.
- Свадьбу-то где думаете играть? – помолчав немного, спросил Патап Максимыч.
- В городе. Стану Сергея Андреича и Марфу Михайловну просить, чтоб они из своего дома невесту к венцу отпустили, – сказал Петр Степаныч.
- Та-а-к, – протянул Патап Максимыч. – Ладно придумано, лучше не надо. Завтра поутру надо будет мне с Груней покалякать, а потом повидать невесту. Хоть не родная, а все-таки не чужая. Долго ль здесь располагаешь прожить?
- Надо будет Ивана Григорыча дожидаться, – ответил Петр Степаныч.
- Что ждать-то его? Не скоро воротится, до самого Николы, может, проедет, а тем временем дело-то у тебя будет ни взад, ни вперед, – сказал Чапурин. – По-моему бы, вот как: помилуйся денька три-четыре с невестой, да и поезжай за дела приниматься. Скучно станет, сюда дорога не запала, опять же и близко – хоть каждое воскресенье к невесте приезжай. Таков мой совет. Опять же и то надо сказать, что в добрых людях не водится, чтобы жених с невестой долго под одной кровлей жили. Видеться хоть каждый божий день видайтесь, а жить в доме не приходится. Осудят, а попадешь кумушкам на язычок, того наплетут, что тошно станет и слушать-то.
- Тяжело вздохнул Самоквасов, но согласился с Патапом Максимычем. А уж как бы не хотелось ему разлучаться с невестой. Весь бы день с утра до вечера сидел с ней да любовался на ее голубые глаза, стройный стан а девственные перси.
- Однако, парень, не пора ли спать? Пойдем-ка, друг, опочив держать, сказал Чапурин, отходя к воротам. Самоквасов следом за ним пошел.
- На другой день Патап Максимыч долго беседовал с Аграфеной Петровной. Обо всем переговорили насчет Дуниной свадьбы. Груня согласилась на все, кроме одного только.
- Как это можно отпускать под венец невесту от Сергея Андреича? – сказала она. – Конечно, дом у него большой, а все-таки всем нам не поместиться. Смекни-ка, сколько на свадьбу-то наедет гостей. Стесним только Сергея Андреича.
- Как же быть-то? – в раздумье спросил Патап Максимыч. – Ты ведь у меня разумница, скажи, как, по-твоему, это дело поглаже обладить?
- По-моему, вот бы как, – ответила Аграфена Петровна. – Нанять в городе большую, просторную квартиру на месяц либо на два и перед свадьбой туда всем переехать. Оттуда отпустим и невесту.
- Ладно-то оно ладно, – покачивая головой, сказал Чапурин. – Только по скорости вряд ли такую квартиру найдешь. Да и сдерут же за нее.
- Насчет денег нечего думать. Дуня за все заплатит, – сказала Аграфена Петровна. – А ежели подходящей квартиры в городе не найдется, в гостинице остановимся. Только заранее надо нанять сколько надо горниц.
- И то правда, – молвил Патап Максимыч. – Теперь как насчет приданого?
- О приданом еще не говорила я с Дуней, – ответила Аграфена Петровна. Одна себе обсуди-ла.
- Как же решила ты, разумница? Это дело бабье, я тут ни при чем. Ни советовать, ни отсоветовать не смогу, – сказал Патап Максимыч.
- Я вот как придумала, – молвила Аграфена Петровна. – Ведь Дуня станет ходить по-городскому, поэтому и я тут ни при чем; надо будет Марфу Михайловну попросить, она в этом знает толк. Съезжу к ней, попрошу, авось не откажет.
- Не откажет, об этом нечего и говорить. Что только сумеет, все сделает, – сказал Чапурин. – Она добрая, услужливая.

– Да особенных-то хлопот, кажется, ей и не будет, – сказала Аграфена Петровна. – Вон у меня в кладовой Дунины сундуки стоят, ломаются от приданого, что покойник Марко Данилыч ей заготовил. Как сбирались мы сюда, пособляла я укладываться. Чего только там нет – белья носильного и столового видимо-невидимо, и все-то новенькое, ни разу не надетое; три шубы чернубурой лисы, одну только что привез покойник с ярманки: серебра пуда три, коли не больше, а шелковых да шерстяных материй на платья целая пропасть... Бриллиантов также множество и других разных дорогих вещей.

Марфу Михайловну не очень затруднит приданое, потому и хочу просить ее.

– Что ж?.. Дело хорошее, – молвил Патап Максимыч. – Съезди в самом деле, попроси. И от меня попроси, она самым лучшим порядком уладит все... Да что невеста не кажется?.. Неужто до сей поры нежит в постели белое тело свое?

– В светелке наверху сидит. Сейчас кликну ее. Сама еще не видала сегодня ее, – сказала Аграфена Петровна, выходя из горницы. – Только будь ты с ней, тятенька, осторожней, да опасливей, шуточки-то не больно распускай. Она такая стыдливая, совестливая. И с женихом даже стыдится словом перекинуться. Говорила я ей, что так нельзя, – не слушается.

«Прыгает, видно, девка по-козьему, а как косу-то под повойник подберут, станет ходить серой утицей, – подумал Чапурин, когда вышла из горницы Аграфена Петровна. – Девичьих прихотей не перечечь, и на девкин норы нет угодника и не бывало».

Скоро воротилась Аграфена Петровна, а вместе с ней и Дуня пришла. Была она до крайности взволнована, лицо алым румянцем подернулось, от усиленного перерывчатого дыхания высоко подымались девственные ее груди. С потупленными взорами, несмелой поступью подошла она к названному отцу и смутилась, ровно грех какой совершила, либо постыдный поступок.

– Здравствуй, дочка, подходи ближе, – весело и приветливо сказал, увидавши ее, Чапурин. Подошла Дуня, поздоровалась с ним.

– Сядь-ка рядом, покалякаем, – сказал Патап Максимыч, указывая на стоявший возле стул.

Ни слова не молвив, Дуня села возле названного отца.

– Каково поживаешь? Не соскучилась ли? – немного помедливши, спросил Патап Максимыч.

– Нет, – тихонько ответила Дуня.

– Ну, и слава богу. Это лучше всего. А ко мне в Осиповку когда собираешься? – спросил Чапурин.

– Не знаю, – прошептала она. – Вот как Груня.

– А я было у себя на усаде домик для твоего житья хотел ставить, чтобы, значит, жить тебе на своей полной воле, отдельно от моей семьи. Да чуть ли не опоздал, – с ласковой улыбкой проговорил Патап Максимыч.

– Покорно благодарю вас за ваши попечения, – тихо молвила Дуня.

– Какие тут благодарности?.. Что между нами за счеты? – воскликнул Патап Максимыч. – Доброй волей, без твоей просьбы привелось мне взять попечение о тебе и делах твоих... На то была воля божья. Так я рассуждаю. Какие ж тут благодарности? А, кстати, оренбургский татарин письмо прислал.

– Что ж он пишет? – с оживлением спросила Дуня. – Есть ли надежда выручить дядюшку?

– Есть, – отвечал Патап Максимыч. – Обрадовался некрещеный лоб другой тысяче, что ты обещала ему. Беспременно, пишет, выкуплю, а не выкуплю, так выкраду, и ежели только он в живых, к лету выведу его на русскую землю.

– Слава богу, – сказала Дуня. – Как только вспомню я, что у меня дядя родной в полону, сердце кровью так и обольется... Поскорее бы уж вынес его господь... Дарья Сергевна как у вас поживает?

– Ничего, здорова. С самого приезда в Осиповку не выходит почти из моленной. С канонни-

цей чередуется – службу правит. Только скучает, очень даже скучает, – проговорил Чапурин.

– Жаль мне ее, – молвила Дуня. – Вот я и молода еще, а куда тяжело менять жизнь, а ей-то на старости лет каково?..

– Тебе-то, Дунюшка, от перемены в жизни тяготы не будет, – сказал, улыбаясь, Патап Максимыч. – Да что ж ты все молчишь, что не поделишься со мной своей радостью? Можно, что ли, поздравить тебя с женихом?..

Вспыхнула вся Дуня и с укором взглянула на Аграфену Петровну. «Это она рассказала», – подумала она.

– Чего еще таиться? – молвила Аграфена Петровна. – Еще не долго – и все будут знать, как же тятеньке-то наперед не сказать? Дуня молчала.

– Так можно, что ли, поздравить-то? – ласково улыбаясь, спросил Чапурин.

– Можно, – чуть слышно промолвила Дуня.

Обнял ее Патап Максимыч и трижды поцеловал в горевшие ланиты.

– Вместо отца поздравляю, вместо родителя целую тебя, дочка, – сказал он. – Дай вам бог совет, любовь да счастье. Жених твой, видится, парень по всему хороший, и тебе будет хорошо жить за ним. Слава богу!.. Так я рад, так рад, что даже и рассказать не сумею.

– Благословите меня за тятеньку покойника на новую жизнь, – со слезами на глазах сказала Дуня Патапу Максимычу.

– Изволь, милая, изволь. Благословлю с великим моим удовольствием, отвечал он. – Побудь здесь с Дуней, – прибавил он, обращаясь к Аграфене Петровне, – а я в твою образную схожу да икону там выберу. Своей не привез, не знал. – Не бойсь, Груня, твои благословенные иконы знаю – ни одной не возьму. И вышел вон из горницы.

Вскоре воротился Чапурин с иконою в позолоченной ризе. Следом за ним вошел Петр Степаныч.

– Надо будет нам благословить и невесту и жениха, для того я сюда и привел Петра Степаныча, – сказал Патап Максимыч. – Отдельно каждого станем перед венцом благословлять, а теперь это за рукобיתье пойдет. Ты, Груня, будешь за мать; неси же хлеба каравай, да соли, да чистое полотенце.

Аграфена Петровна вышла, а Чапурин сказал Петру Степанычу:

– С нареченной невестой!.. Поцелуемся. Смотри же, парень, люби ее да береги... Да что это вы, посмотрю я на вас, упырями друг на дружку глядите?.. Словечка меж собой не перемолвите. Так ведь не водится.

Вошла Аграфена Петровна с папушником (Папушник – пшеничный хлеб домашнего приготовления.), покрыла стоявший в красном углу стол скатертью, поставила на нем принесенную Патапом Максимычем икону, затеплила свечку, положила возле иконы хлеб и покрыла его полотенцем.

Положили семипоклонный начал, потом Патап Максимыч с Груней обычным порядком благословили жениха с невестой.

– Ну, юнец-молодец и ты, красавица-девица, – сказал Патап Максимыч. Теперь, по дедовскому и прадедовскому завету, следует вам поцеловаться на любовь, на совет, на долгую и согласную жизнь. Извольте целованьем завершить божие благословенье.

Самоквасов подошел к Дуне. Ни жива ни мертва стояла она и свету не взвидела, когда Петр Степаныч поцеловал ее. Не видала она лица его, только чувствовала, как горячие, трепещущие уста крепко ее целовали. Нет, это не серафимовские лобзання, что еще так недавно раздавала она каждому на раденьях людей божиих.

– Теперь бы следовало про здоровье нареченных князя с княгиней винца испить, – молвил Патап Максимыч. – Тащи-ка, Груня, что есть у тебя про запас. Эка досада, не знал, на что еду. Тебе бы, Груня, отписать, я бы холодненького прихватил с собой. А у тебя, поди ведь, сантуринское либо церковное. Да уж делать нечего, за недостатчей хорошего хлебнем и сантуринского. Тащи его сюда!

– Позвольте, Патап Максимыч, – вступился Петр Степаныч. – Со мной есть маленький запасец. Рассчитывал, что пригодится к семи спящим отрокам (22 октября. Из семи отроков младший

назывался Иоанном.), к именинам, значит, Ивана Григорьяча. А теперь вот, на мое счастье, бутылки на другое понадобились.

И, спешно выйдя из горницы, воротился бегом с парой бутылок шампанского. Разлили вино, выпили, и Дуня маленько пригубила.

– Горько! – вскричал на всю горницу Чапурин.

– Горько! – сказала и Аграфена Петровна.

– Надо жениху с невестой поцеловаться, тогда и вино сладко будет, сказал Патап Максимыч.

Делать нечего. Должна была Дуня еще раз целоваться с женихом. Теперь горячий поцелуй Петра Степаныча показался ей таким сладким, таким приятным, что рада бы она была, ежели б еще и еще он целовал ее да все бы чаще да чаще.

– Надо теперь говорить про дело, – сказал Чапурин, когда бутылка была опростана. – В людях водится, чтобы тотчас после рукобיתья и первого благословенья судили-рядили, когда свадьбе быть, а также насчет приданого и другого прочего, как на первое время житье устроить молодым. Рукобיתья у нас не было, да некому и по рукам-то бить – невеста сирота, да и жених все одно что сирота. Зато было у нас божие благословение, на веки веков нерушимое. А это первое дело, много важнее оно рукобיתья. Станемте ж теперь, жених с невестой, толком говорить, как привести ваше дело к доброму совершению. Все молчали.

– На счет приданого я не судья, – продолжал Патап Максимыч. – В этом на Груню надо положиться. Что сама сумеет, все сделает, чего не сумеет – у Марфы Михайловны попросит совета. Ладно ль придумано? Скажи, родная, прибавил он, обращаясь к Дуне.

– Кому ж лучше Груни?.. – сказала невеста, потупив свои голубые глаза.

– А ты что, Груня, скажешь? – спросил Патап Максимыч.

– По мне, тятенька, не только в этаким случае, а всегда, во всю жизнь мою, рада я для Дуни всякие хлопоты на себя принять, – ответила Аграфена Петровна. Молча обняла ее Дуня.

– Марфу Михайловну и я стану просить, не оставила бы нас в этом деле; оно ведь ей за обычай, – сказал Самоквасов. – У меня в городе дом есть на примете, хороший, поместительный; надо его купить да убрать как следует... А хотелось бы убрать, как у Сергея Андреича, потому и его стану просить. Одному этого мне не сделать, не знаю, как и приступить, а ему обычно. А ежели в городе чего нельзя достать, в Москву посылаем: у меня там довольно знакомства.

– Поклоняйся в самом деле Колышкиным, попроси – не откажут, – сказал Патап Максимыч. – Только, чур, делать все, как они посоветуют, а не по-своему. Сергей Андреич лучше знает, что и как надо: смолоду по-господски живет, а мы перед ним деревенщина. Твое дело взять: жил ты у дяди, ровно в мурье, только и свету у тебя было, что по скитам с подаяньями разъезжать да там загашиваться. Вот разве как в Москве да в Питере побывал, так, может, нагляделся, как хорошие люди живут. Одними деньгами тут ничего не возьмешь, тут нужны уменье да сноровка. Возьми, к примеру, Алешку Лохматого – сколько денег он на дом потратил, а все-таки вышло шут его знает что: обои золотые, ковры персидские, а на окошках, вместо хороших занавесок, пестрядинные повешены. Не нами, а дедами и прадедами сказано: «Всяко дело мастера боится».

– Это так точно, Патап Максимыч, это речи справедливые и согласные, отвечал Петр Степаныч. – Ежели бы Сергей Андреич согласился оказать мне милость, как же бы я мог делать по-своему? Не выступлю из его приказов.

– Проси же его, проси скорее, – сказал Чапурин, – а я и сам отпишу, чтоб он для тебя поставился.

Тем разговор и кончился, а жених с невестой все-таки при людях словечка не сказали, не смотря на старанья Патапа Максимыча и Аграфены Петровны.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Трое суток прогостил Чапурин у богоданной дочки. Собравшись в Осиповку, сказал он Дуне:

– У Груни кладовая-то деревянная, в подклете под домом, а строенье старое да тесное. Долго ль тут до беды? Ну как, грехом, случится пожар? А у меня палатка каменная под сводами и строе-

на на усаде вдалеке от жилого строения. Не перевезти ли до времени твои пожитки ко мне?.. Страху будет меньше. Как думаешь?

И Аграфена Петровна со своей стороны прибавила, что в Осиповке Дунино приданое не в пример будет сохраннее.

– Ведь у тебя в сундуках-то добра больше, чем на сто тысяч, Дунюшка, сказала она. – Шутка ли это? Подумай. Тятенька придумал хорошо. Ты как решишь?

Дуня согласилась и благодарила Патапа Максимыча за его заботы.

В тот же день наняты были подводы и Дунины сундуки отправлены в Осиповку под надзором приказчика, заправлявшего делами Ивана Григорьяча. За обозом отправился и сам Патап Максимыч. После того Дуня чаще и чаще видалась с женихом и стала с ним разговорчивей и доверчивей. Раза по два да по три на дню бывали у них и молчаливые тайные поцелуи – нравились они Дуне, а об женихе и говорить нечего. Любила Дуня вспоминать с ним про катанье в косных по Оке и про то время, как видались они во время Макарьевской. Но, кроме того, ни о чем из прошлого Дуня речей не заводила. А он другое вспоминал.

– Знаете ли вы, с коих пор полюбил я вас? – спросил он однажды у Дуни.

– Не знаю, – с самодовольной улыбкой отвечала она. – С той, может статься, поры, как мы с Дорониными в косных катались?

– Раньше, – сказал Самоквасов. – Полюбил я вас не за красоту, не за пригожество, а за ваши речи добрые и разумные. Помните ли вы про Ивана-царевича?

– Про какого Ивана-царевича? – спросила Дуня. – Про сказку, что ли, говорите?

– Да, про сказку, – отвечал Петр Степаныч. – Помните, как в Комарове, при вашей там бытности, на другой день после Петрова, Дарья Никитишна, середь молодых девиц сидючи, эту сказку рассказывала? Еще тогда Аграфена Петровна в девичьей беседе сидела.

– Припоминаю теперь что-то, – молвила Дуня.

– А как кончила сказку Дарья Никитишна, всем девицам она молвила: «Сказывай по ряду одна за другой, как бы каждая из вас жила в замужестве, как бы с мужем свою жизнь повела». И стали девицы открывать свои мысли и тайные думы. Ни у одной не было хороших, разумных речей, опричь той, что после всех говорила. А говорила она вот что: «Замуж пойду за того, кого полюблю, и стану его любить довеку, до последнего вздоха, только сыра земля остудит любовь мою. А что буду делать я замужем, того не знаю, не ведаю. Одно знаю – где муж с женой в ладу да в совете живут, по добру да по правде, в той семье сам бог живет. Он и научит меня, как поступать». Дуня зарумянилась.

– Помню, теперь помню, – промолвила она, – но как же вы все это знаете? Вы ведь от слова до слова мои речи говорите? Груня, должно быть, рассказала вам.

– Не она, – ответил Петр Степаныч. – Не вспомните ли, чем девичья беседа кончилась?

– Чем кончилась? Посидели, поговорили да по своим местам разошлись, сказала Дуня.

– А забыли, что Аграфена Петровна после ваших слов выглянула в окошко и сказала: «А у нас под окном в самом деле Иван-царевич сидит».

– Что-то припоминаю, – сказала Дуня.

– Я Иваном-царевичем был, я сидел на завалинке и от слова до слова выслушивал девичьи речи, – сказал Петр Степаныч. – И с того часу полюбил я вас всей душой моей. А все-таки ни в Комарове, ни в Нижнем потом на ярманке не смел к вам и подступиться. Задумаешь словечко сказать, язык-от ровно замерзнет. Только бывало и счастья, только и радости, когда поглядишь на вас. А без того тоска, скука и мука.

– Видно, с того ко Фленушке в Комаров вы и уехали? – с хитрой улыбкой спросила его Дуня.

– Именно оттого, – ответил Самоквасов, – только Фленушки я и не видал почти тогда. При мне она постриглась. Теперь она уж не Фленушка, а мать Филагрия... Ну да господь с ней. Прошу я вас, не помышляйте никогда о ней – было у нас с ней одно баловство, самое пустое дело, не стоит о нем и вспоминать. По правде говорю, по совести.

Привыкла Дуня к жениху, не стыдилась больше его и перестала отворачиваться, когда, любуясь на свою красавицу, он страстно целовал ее подернутые румянцем ланиты.

Через неделю Петр Степаныч поехал к Патапу Максимычу в Осиповку, а потом в город пе-

реговорить с Колышкиными. Он обещал невесте каждый праздник приезжать в Вихорево.

Прощаясь с женихом, Дуня, по настоянию Аграфены Петровны, сказала ему:

– Послушайте, что я скажу вам, Петр Степаныч. В прошлом году, еще прежде того как мы гостили в Комарове, великим постом мне восемнадцать лет исполнилось. На мои именины покойник тятенька подарил меня разными вещами. Тут было и обручальное колечко. И сказал он мне тогда: «Восемнадцать лет тебе сегодня минуло – может статься, скоро замуж пойдешь. Слушай же отца: наши родители ни меня, ни мать твою венцом не неволили, и я не стану неволиять тебя, – вот кольцо, отдай его кому знаешь, кто тебе по мыслям придется. Только смотри, помни отцовский завет, чтобы это кольцо не распаялось, значит изволь с мужем жить довеку в любви и совете, как мы с твоей матерью жили». И заплакал он тут, горько заплакал, ровно знал, что в круглом сиротстве придется мне замуж идти... Возьмите. И со слезами на глазах подала ему кольцо.

Взволнованный Петр Степаныч стал целовать невесту. Слов у него не доставало, зато радостные слезы красно говорили.

Поехал он. И только что съехал со двора, Дуне стало тоскливо и скучно.

Когда Патап Максимыч воротился в Осиповку, у крыльца своего дома увидал он Василия Борисыча. Сидя на нижней ступеньке лестницы, строгал он какую-то палочку и вполголоса напевал тропарь наступавшему празднику казанской богородицы. Патап Максимыч сказал зятю:

– Видно, все еще настоящего дела не нашел себе. Палочку строгает да напевает что-то себе под нос. Беспутный ты этакой!..

– Ох, искушение! – с глубоким вздохом вымолвил Василий Борисыч, бросил палку и пошел вслед за тестем в горницы. На полдороге остановил его Чапурин:

– Кликни Пантелея.

Пантелей был на дворе, слышал приказ и тотчас подошел к хозяину.

– Здорово, Пантелеюшка, – ласково молвил ему Патап Максимыч. – Все ли без меня было благополучно.

– Слава богу, батюшка Патап Максимыч, слава богу, все было благополучно, – отвечал Пантелей. – Посуду красить зачали...

– А токарни что?

– В ходу, батюшка, все до единой.

– Вот что, Пантелеюшка, – сказал Чапурин. – У тебя, что ли, ключи от каменной палатки?

– Надо быть, у Аксиньи Захаровны, – отвечал Пантелей.

– А что в ней сложено?

– Да так, всякий хлам. Разное старье, – отвечал Пантелей.

– Надо ее опростать, – молвил Патап Максимыч. – Сегодня подводы с сундуками придут из Вихорева. Их туда поставить.

– Не случилось ли чего у Ивана Григорыча? – тревожно спросил Пантелей.

Вспало на ум старику, не пожар ли был в Вихорево и не к себе ль перевозит Патап Максимыч уцелевшие пожитки погоревшего кума.

– Ничего не случилось, – сказал Патап Максимыч. – Смолокуровой Авдотьи Марковны пожитки привезут. Ради сохранности от пожарного случая хочу в палатке поставить их. Надо сейчас же очистить ее от хлама.

Взойдя наверх, Патап Максимыч прошел в горенку Аксиньи Захаровны, в ту самую горенку, где жила и померла покойница Настя. Василий Борисыч туда же вошел и молча стал у притолки. У Аксиньи Захаровны сидели Параша и Дарья Сергевна.

– Что, Захаровна? Как можешь, сударыня? – спросил Патап Максимыч у жены, лежавшей в постели.

– Так же все, Максимыч, ни лучше, ни хуже, – отвечала Аксинья Захаровна. – С места подняться не могу, все бока перележала. Один бы уж конец, – а то и сама измаялась и других измучила.

– Чепуху не городи! Бог даст, встанешь, справишься, и еще поживем с тобой хоть не столько, сколько прожили, а все-таки годы... – сказал Патап Максимыч, садясь возле больной.

– Ты наскажешь, тебя только послушай, – с ясной, довольной улыбкой тихим голосом про-

молвила Акси́нья Захаровна.

– Вы какво, Дарья Сергевна, без меня поживали? – обратился к ней Патап Максимыч. – Авдотья Марковна вам кланяется и Груня также.

– Благодарю покорно, – молвила Дарья Сергевна. – Что Дунюшка-то, здорова ли, сердечная?

– Слава богу, здорова, – отвечал Чапурин.

– Не скучает ли? – спросила Дарья Сергевна.

– В мою бытность не скучала, а скоро, надо думать, придется ей скучать, – с загадочной улыбкой ответил Патап Максимыч. – Захаровна, у тебя, что ли, ключи от каменной палатки?

– У меня, – сказала Акси́нья Захаровна. – А что?

– Что там лежит у тебя? – спросил Чапурин.

– Прежде приданое дочерей лежало, а теперь нет ничего, – ответила Акси́нья Захаровна. – Хлам всякий навален – старые хомуты, гнилые кожи.

– Подай-ка мне ключи, – сказал Патап Максимыч. По приказу Акси́нии Захаровны Параша вынула ключи и подала их отцу.

– Авдотьи Марковны сундуки хочу там поставить.

Груня говорит, что в них добра тысяч на сотню, – сказал Чапурин.

– По-моему, больше, – заметила Дарья Сергевна.

– Ну вот, видите! Груня поставила сундуки в кладовой, да ведь строенье у кума Ивана Григорья тесное, случись грех – малости не вытасишь. Потому и решил я сундуки-то сюда перевезти да в палатке их поставить. Не в пример сохраннее будут, – сказал Патап Максимыч.

– Конечно, сохраннее, – примолвила Акси́нья Захаровна. – Это ты хорошо вздумал, Максимыч.

– Сама-то скоро ли Дунюшка приедет? – спросила Дарья Сергевна.

– Этого не знаю, – отвечал Патап Максимыч. – Покамест у Груни остается, а потом вместе с ней в город поедет, к Колышкиным. И не раз еще придется ей до Рождества съездить туда.

– Зачем же ей так разъезжать? – спросила Дарья Сергевна.

– Да самого-то главного я ведь еще и не сказал, – молвил Патап Максимыч. – Замуж выходит Авдотья-то Марковна. После филипповок свадьба.

Все удивились, особенно Дарья Сергевна. Акси́нья Захаровна перекрестилась и пожелала счастья Дуне, Прасковья Патаповна по обычаю равнодушно поковыряла в носу, а Василий Борисыч вздохнул и чуть слышно промолвил:

– Ох, искушение!

«Так вот оно какое вышло положение-то! – думал он сам про себя. – Тогда на Китеже, как впервые ее увидел я, светолепна была – очи голубые, власы – янтарные волны, уста – червленые ленты, ланиты – розовый шипок. Не то что моя колода Парашка. А в Комарове какова была! Ангелам подобна!.. Но вертоград для меня заключен, источник радостей запечатлен. Миллион, опричь приданого во сто тысяч!.. То-то бы зажили... Бог суди Фленушку с Самоквасовым да с Сенькой саратовцем – окрутили, проклятые, меня, бедного – валандайся теперь век свой с этой дурищей Парашкой».

Больше и больше зло разбирало бывшего посла рогожского. Всех клял, всем просил помсты у бога, кроме себя одного.

– За кого ж это выходит Дунюшка? – чуть слышно спросила у Патапа Максимыча Дарья Сергевна. – Неужто она в лесах могла найти судьбу свою?

– Жених не лесной, а из города Казани. Теперь он с большим наследственным капиталом в Нижнем поселился. Да вы его знаете, у Колышкиных каждый божий день бывал, как мы у них останавливались... Петр Степаныч Самоквасов, – сказал Патап Максимыч. – Груня, кажись, и соватала их.

– Не пара, не пара, – со слезами на глазах промолвила Дарья Сергевна.

– Чем же не пара? – спросил Патап Максимыч.

– У Самоквасова на уме только смешки да шуточки. Какой он муж Дунюшке?... – сказала Дарья Сергевна. – В прошлом году в одной гостинице с ним стояли. Нагляделась я на него тогда. Зубоскал, сорванец, и больше ничего, а она девица строгая, кроткая. Того и гляди, что размотырит

весь ее капитал. Нет, не пара, не пара.

– Женится – переменится, – молвил Патап Максимыч. – А он уж и теперь совсем переменился. Нельзя узнать супротив прошлого года, как мы в Комарове с ним пировали. Тогда у него в самом деле только проказы да озорство на уме было, а теперь парень совсем выровнялся... А чтоб он женины деньги на ветер пустил, этому я в жизнь не поверю. Сколько за ним ни примечал, видится, что из него выйдет добрый, хороший хозяин, и не то чтоб сорить денежками, а станет беречь да копить их.

– Вашими бы устами да мед пить, Патап Максимыч, – грустно проговорила Дарья Сергевна. – А впрочем, мне-то что ж? В ихнем семействе я буду лишняя, помехой, буду, пожалуй. Люди они молодые, а я старуха. Черную рясу решила надеть я. Слезно стану молить мать Манефу, приняла бы меня во святую свою обитель, а по времени и ангелоподобного чина удостоила бы.

– Нынче, Дарья Сергевна, скитские обители не то, что прежде, – сказал Патап Максимыч. – Со дня на день выгонки ждут. Вон сестрица моя любезная, Манефа-то, целу обитель в городе себе построила, человек на семьдесят, -туда до выгонки хочет переселяться. А как вы к тому городу не приписаны, так вам, пожалуй, и не дозволят там проживать. Всегда бывало так по другим местам, где старообрядские монастыри закрывали: на Иргизе так было, и в Стародубе, и по другим местам. Которые были из других местов, тех высылали на родину, и велено было за ними смотреть, чтоб оттоль никуда не отлучались. Так ежели у вас есть твердое желание спастись в какой-нибудь из здешних обителей, так повремените немного время, обождите, чем ихнее дело кончится.

А кончится оно, думать надо, в скором времени.

– Что ж! – молвила Дарья Сергевна. – До времени гостьей у матушки Манефы поживу, чтоб не попасть в скитские списки. А настанет выгонка, куда-нибудь на время уеду.

– У нас живите, Дарья Сергевна, – тихо проговорила Аксиныя Захаровна. При вас мне отрадней, не так скучно, вы со мной и поговорите, вы мне и от божественного что-нибудь почитаете.

– А ко всему, что сказал я, прибавлю вам, Дарья Сергевна, еще, – молвил Патап Максимыч. – Теперь ведь Манефа игуменьей только по имени, на самом-то деле мать Филагрия всем заправляет – и хозяйством, и службой, и переписку с петербургскими да с московскими ведет. Чать, знаете ее? Манефина-то наперсница, взбалмошная, бесшабашная Фленушка.

– Как мне Фленушки не знать? – сказала Дарья Сергевна. – Довольно ее знаю, не мало ведь времени выжила я с Дуней у матушки Манефы в обители.

– Сумасброд была девка! – заметил Патап Максимыч. – Все бы ей какое-нибудь озорство. А теперь, говорят, хозяйство повела мастерски; вся, слышь, обитель в такой у нее строгости, какой и при Манефе не бывало. И вам, сударыня Дарья Сергевна, стало-быть волей-неволей придется из ее рук смотреть и все исполнять по ее приказам. Вы бы об этом хоть порассудили. Не желаете у Дуни жить, найдется угол вам у меня в доме: что есть – вместе, чего нет – пополам. Подумайте хорошенько, матушка. Жалеючи вас говорю. Вот и старуха моя говорит, что ей с вами отраднее. Право, не лучше ли вам у нас остаться. Вы хорошая хозяйка, я это заметил, живучи у вас, а у меня хозяйка с постели не сползает. О Прасковье говорить нечего – сами видите, что умом не дошла – ей бы только сладко поест да день-деньской на кровати валяться. А за вами по хозяйству я бы ровно за каменной стеной был. Поразмыслите об этом, ежели решились у Дуни не жить.

Пошел Патап Максимыч токарни осматривать. Дарья Сергевна также вышла. Прошла она в моленную, а там наемная канонница за негасимой свечой стоит и псалтырь читает. Там присела Дарья Сергевна на боковую лавочку и поникла головой. Дуня вспоминалась ей. "С детства ровно к родной матери была ко мне привязана, ни одной, бывало, тайной думы от меня не скрывала, – думала она. А в последнее время не такой стала. Полюбились ей мирские книги, и стала она скучать божественными. Читает, бывало, ей из «Пролога» или «Торжественника» – не слушает, зачнешь говорить о душеспасительном -и ухом не ведет.

А тут на беду подвернулась окаянная Марья Ивановна. Совсем с тех пор переменялась Дуня, стала нетерпелива, сумрачна и молчалива. От зари до зари, бывало, сидит над какими-то еретическими, видно, книгами, путного слова тогда от нее, бывало, не добьешься. Не то что со мной, с отцом говорить перестала. А как на Троицу принесло к нам в дом эту проклятую Марью Ивановну – еще хуже пошло... И как воротилась Дуня от нее из гостей к больному отцу, словечка не сказала

мне про житье-бытье у Луповицких, хоть я не раз о том речь заводила. О чем ни спрошу – молчит, ровно стена. И по-прежнему ко всему холодна и по-прежнему ко всему безучастна.

Как уехал от нас Патап Максимыч с Аграфеной Петровной, одни мы остались с ней, – известное дело – скука, тоска в одиночестве. Поведешь, бывало, с ней разговор о душеспасительном – молчит, зачнешь читать что-нибудь от святых отец – молчит, зевает, спать на нее охота найдет, вместо душевного-то умиления. Я в тягость ей была. Как же жить мне с ней, как замуж-то она выйдет? Муж еще бог его знает каков человек, как еще поглядит на меня. Нет, не житье у них – и себе в тягость и им не на радость. У Патапа Максимыча остаться тоже не след: по всем замечаниям, Аксиныя Захаровна не жилища на свете, а помрет она, Параша будет хозяйкой, а как с ней жить?..

И разумом не вышла, и нрав крутой, и паче меры привередлива; нет, с ней жить нельзя... Стану кланяться матушке Манефе, призрела бы меня, одинокую, поклонюсь до земли и матери Филагрии, не оставила бы меня Христа ради, дала бы кров и пищу. Откажут, в иных обителях пищу благодетельниц. Жить мне недолго, собой никого не отягощу. Что есть в тридцать лет накопленного, вкладом внесу за кусок хлеба да за теплый угол... А Дунюшка!.. Дай ей, господи, всякого счастья!.. Забыла меня – бог с ней. Не поставь этого во грех ей, господи!..

И залилась Дарья Сергевна слезами, сидя в моленной на лавочке.

Вслушивается – канонница дочитывает первую кафизму. Когда кончила она ее, Дарья Сергевна подошла к ней и сказала:

– Давай, я вторую прочитаю. Положив начал, канонница, не говоря ни слова, отошла от наоя. Дарья Сергевна стала на ее место и начала протяжное чтение.

– «Возлюблю тя, господи, крепости моя. Господь утверждение мое, и прибежище мое, и избавитель мой, бог мой, помощник мой и уповаю на нѣ. Защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой. Хвалам призову господа и от врагов спасуся. Одержаша мя болезни смертныя и потоци беззакония смутиша мя. Болезни адовы обыдоша мя, предвариша мя сети смертныя. И внегда скорбети призвах господа и к богу моему возвах. Услыша от церкви святыя своя глас мой и вопль мой пред ним, внидет пред очима его» (По дониконовскому переводу, что теперь в обиходе у единовѣрцев и раскольников.).

Возвышенные и душу возвышающіе слова царя-псалмопевца подходили к душевному состоянию Дарьи Сергевны и заставили ее забыть на время заботы и попеченья о будущем житье-бытьѣ. В благочестивом восторге страстно увлеклась она чтением псалтыря. Кончив вторую кафизму, принялась за третью, за четвертую и читала до позднего вечера, а наемная канонница храпела на всю моленную, прикорнув в тепле на лавочке за печкой.

Только что ушли от Аксины Захаровны Патап Максимыч и Дарья Сергевна, ушла и Параша, сказавши матери, что надо ей покормить Захарушку. Покормить-то она его немножко покормила, но тотчас же завалилась спать, проснулась вечером, плотно поужинала, потом опять на боковую. Стала звать к себе мужа, кричала, шумела, но никто не знал, куда тот девался.

Василий Борисыч сейчас после жены от тещи ушел; осталась больная одна-одинешенька. Хорошо, что Матрена пришла, а то бы недвижимой хозяйке дома ни достать, ни отдать чего-нибудь было некому.

С тоски, что ни день, ни ночь в тестевом доме не покидала Василья Борисыча, вышел он на улицу и завернул в токарни. Работники всегда бывают чутки к хозяйским делам, давно они уж заметили, что Патап Максимыч зятя в грош не ставит, на каждом шагу глумится на нем и считает ни на что не годным. И от первого до последнего батрака все они не уважали Василья Борисыча, обходились с ним запанибрата и в глаза даже насмехались над ним. Пришлось рогожскому посланнику молчать да терпеть. Года полтора перед тем был он славим по всему старообрядству как сведущий в уставах человек, был принимаем в самых богатых домах «древлего благочестія», а теперь до того дошел, что последний из тестевых батраков смеется над ним в глаза безбоязно и безнаказанно!

Видя, что кончившіе работу токари и глядеть на него не хотят, пошел он прогуляться на вспольѣ. И луговая трава и тощая озимь уж поблекли от морозов, лиственные деревья оголели, только один ельник сохранял зеленый свой цвет. Калужины, как стеклом, подернуты были блѣ-

стящим ледком. Высоко на ясном небе плыл полный месяц, озаряя бледным светом замирающие поля, леса и перелески. Стоял легкий морозец. Крепко кутаясь в ватную чуйку, Василий Борисыч шел все дальше и дальше, по дороге к смежной деревушке Ежовой, что стояла верстах в полуторах от Осиповки. Идет Василий Борисыч не спеша и не медля, а сам такие думы в уме раскидывает.

"Вот оно положение-то! Не чаял, в уме даже никогда не держивал дойти до того, что случилось со мной!.. Будь она проклятым проклята ночь в улангерском перелеске, где навернулась мне постылая, ненавистная Парашка..."

А все Фленушка, все это мать Филагрия по-нынешнему! Подурачиться ей вздумалось, вот и подурачилась. А ты век свой страдай да мучься!.. Ни дна бы тебе, ни покрывки – первым бы кусом тебе подавиться! Она и Самоквасова с Сенькой выкрасть меня из Комарова подпустила, а потом окрутить с этим бревном, паскудной Парашкой! Все ее дело. На первых порах и Прасковья тоже говорила... На что ж я стал теперь похож? От берега отстал, к другому не пристал. С Москвой, со всем старообрядством дело вконец расклеилось – клянут меня за то, что женили здесь меня да еще венчали в великороссийской. А разве на то моя была воля? Силком ведь повенчали. Теперь из старообрядцев никто и ко двору меня не подпустит, а ведь я ими только и жил. К единоверцам тоже хода нет, а великороссийские и вниманья на меня не обратят. Допрыгался я, бедный, допрыгался, несчастный, в этих скитах, до того допрыгался, что теперь хоть руки на себя наложи... Сыт, обут, одет – не могу в этом на тестя пожаловаться, зато жена-то какая!.. Глупее барана, злее самого черта. Рассказывает теперь тесть, что сам он нашу свадьбу состряпал. Кто их разберет – он ли в самом деле, или Самоквасов с Сенькой саратовцем".

А вот и Ежова. Первая с краю изба освещена внутри, и в ней не лучина горит, а сальные свечи. И на окошках свечи стоят, и у ворот фонарь с зажженной свечкой повешен. Доносятся из избы веселые девичьи клики, хохот и громкие песни. В той избе жила разбитная, бойкая вдова Акулина Мироновна, та самая, что когда-то верней всех мужиков разгадала, для чего, ожидая в гости Снежковых, Чапурин ни с того ни с сего вздумал большие столы окольному народу ставить. По смерти ежовского десятника осталась Акулина Мироновна бездетною. Сама женщина еще молодая, лет тридцати, любила она с девками да с парнями возиться. Потому и завела у себя в избе посиделки; сходилась к ней вся ежовская молодежь, приходили повеселиться и из соседних деревень. Весело было Акулине Мироновне, а вместе с тем и выгодно.

С ранней осени до масленицы по деревням у таких вдовушек, как Акулина, посиделки или супрядки по несколько раз на неделе бывают. В назначенный день, только зачнет смеркаться, девушки в нарядных платьях с гребнями и донцами, с шитьем иль вышиваньем, собираются к ней в избу. Ласково каждую гостью встречает хозяйка. Собравшись, девушки садятся по лавкам и заводят меж собой разговоры про домашние дела, наряды и рукоделья. Начинаются шуточные насмешки над ожидаемыми парнями и над их зазнаками. А между тем все усердно работают. Сначала работа спорится, особенно у тех, кому мать урок задавала столько-то напярсть, столько-то нашить. Часов в восемь, а иной раз и в девять, один по одному, начинают парни собираться; каждый приносит свечку, пряников, стручков, маковников, подсолнечных зерен и других деревенских лакомств, а иной и пивца притащит, либо молодой осенней бражки, а пожалуй, и штоф зелена вина, а тем, кто не пьет, сантуринского.

И закуски приносят с собой; кто говядины, кто баранины, кто живых кур либо уток. Их сейчас режут, хозяйка отпаривает, ошипывает, а потом из них к ужину похлебку варит. Другие парни яиц притащат, масла, сметаны, творогу, а иной спроворит с шестка каши горшок либо щей, а попадет под руку – так и цельный каравай хлеба. Оттого матери и злобятся на посиделки, что, сколько ни копи, как ни стереги, а добро уходит да уходит на угощение девкам в избе какой-нибудь Мироновны.

Потому еще матери боятся супрядок, что дочери там на шаг от греха. Но, должно быть, вспоминая свою молодость, сквозь пальцы смотрят они на девичьи забавы и такие наставленья дают дочерям: «Любись с дружкой, как знаешь, только чтоб покору на честной родительский дом от того не было. Пуще всего берегись с парнями грешить. Берегись этого пуще огня, пуще полымя. А ежели не устоишь, умей концы хоронить. Не то гулливой прозовут, опозоришь и себя и нас, подруги отшатнутся от тебя, и не будет тебе места ни зимой на супрядках, ни летом в хороводах, а

что хуже всего – замуж никто не возьмет».

Собрались к Акулине девки ежовские, шишинские и других деревень. Две пришли из Осиповки. Разговоры зачались у них за рукодельем.

– Чапурин-от, слышь, домой воротился? – спрашивала Акулина у осиповских девок.

– Воротился, – отвечала одна из них.

– Что привез? – спросила Акулина.

– Покамест ничего. Не знаю, что дальше будет, – сказала осиповская девка. – Только женщину неведомо какую привез.

– Сиротку Смолокурову, что ли? – спросила одна из ежовских.

– Нет. Та, слышь, еще молоденькая, а эта старуха, свояченицей, слышь, доводилась она самому-то Смолокурову. Дарьей Сергевной зовут. Сколько-то лет тому назад в Комарове жила она в Манефиной обители. Смолокурова-то дочь обучалась ведь там в одно время с дочерьми Патапа Максимыча.

– Вот как, – промолвила Акулина Мироновна.

– А сегодня, перед тем как нам сюда идти, – продолжала осиповская девица, – страсть сколько сундуков к Патапу Максимычу привезли, целый обоз. И говорили, что в тех сундуках сложено приданое Смолокуровой. Не на одну, слышь, сотню тысяч лежит в них. Все в каменну палатку поставили, от огня, значит, бережнее.

– Сто тысяч! – вскрикнула Акулина. – Вот где деньги-то! У купцов да у бояр, а мы с голоду помирай! Им тысячи – плевое дело, а мы над каждой копейкой трясись да всю жизнь майся. А ведь, кажись, такие же бы люди.

– А всего-то, говорят, богатства ей после отца досталось больше миллиона, – сказала осиповская.

– Что за миллион такой? Я, девки, что-то про него не слыхивала, сказала ершовская.

– Значит, десять сотен тысяч, тысяча тысяч, – пояснила одна из шишинских, сколько-то времени обучавшаяся в скитах.

– Господи владыка! – на всю избу вскрикнула Мироновна. – Да что ж это такое? Ни на что не похоже! У одной девки такое богатство, а другие с голоду колей! Начальство-то чего глядит?

– А ведь как я погляжу на тебя, тетка Акулина, так глаза-то у тебя не лучше поповских, завидущие, – сказала девушка из ежовских. Сродницей Акулине она приходилась, но за сплетни не больно любила ее.

– А ты, дура, молчи, поколева цела, – крикнула на нее тетка Акулина. – В голове пустехонько, а тоже в разговоры лезет. Не твоего ума дело. Придет Алешка, принесет гармонику, ну и валандайся с ним, а в дела, что выше твоего разума, не суйся. Замолчала ежовская, примолкли и другие девушки.

– Заводи зазывную! – вдруг крикнула пряха из Шишинки. – Пора. Может, парни давно у ворот, да, не слыша зазывной, на двор нейдут.

Зашурчали веретена, громко девки запели. Тетка Акулина суетливо бегаёт взад и вперед по избе, прибирая в ожиданье гостей разбросанные вещи.

– Заводи, заводите, красны девицы, – говорит она. – Скликайте пареньков, собирайте молодцов. Поют девицы зазывную: (Зазывною песнью зовется всякая, что первую поется на посиделках.).

Летал голубь, летал сизый,

Летал сизый по возгорью,

Искал голубь, искал сизый

Своей сизыя голубки.

Моя сизая голубка очень знакомита:

Через три пера рябенька, головка гладенька,

Руса коса до пояса, в косе лента ала,

Ала, ала, голубая, девонюшка молодая.

Возвивалась голубушка высоко далёко,

Садилась голубушка на бел горяч камень,

Умывалась голубушка водою морскою,
Утиралась голубушка шелковой травой,
Говорила голубушка с холостым парнем:
"Уж ты, парень, паренек, глупенький твой разумок -
Не по промыслу заводы ты заводишь,
Трех девушек, парень, зад один раз любишь:
Перву Машу во Казани
Да Дуняшу в Ярославле,
А душеньку Ульяшеньку в Нижнем городочке;
Купил Маше ленту алу,
А Дунюшке голубую,
А душеньке Ульяшеньке
Шелковое платье.
Ты носи, моя Ульяша, мною не хвалися;
Коли станешь выхваляться -
Нам с тобой не знаться,
А не станешь выхваляться -
Век нам но расстаться.

А меж тем одинокий и грустный, усталый и до костей продрогший, переминаясь с ноги на ногу, Василий Борисыч стоит у ворот Акулины Мироновны. Тянет его в круг девичий, но берет опаска – неравно придет кто из осиповских да потом дома разблаговестит, что хозяйский зять у Мироновны на девичьих поседках был. Дойдут до жены такие вести – жизни не рад будешь, да и тесть по головке не погладит: «Ты, дескать, закон исполняй, а на чужих глаза пялить не смей». Мимо токарен да красилен лучше тогда и не ходи – трунить, зубоскалить станут рабочие, на смех поднимать...

А громкие девичьи голоса в избе Мироновны так и заливаются. Дрожь пробирает Василья Борисыча; так бы и влетел в избу козырем, облюбовал бы, какую помоложе да попривожее, и скоротал бы с ней вечерок в тайной беседе... Издавна на такие дела бывал он ловким ходоком, теперь уж не то. Что было, то сплыло, а бывшее быльем поросло.

Не стерпел, однако, Василий Борисыч, услышавши зазывную. «Эх, была не была, – подумал он. – Авось не узнают, а ежели и явятся праздные языки, можно их закупить, на это денег хватит».

И вошел в беседу девичью, парней никого еще не приходило. Все диву дались, увидавши такого гостя.

Не знает, не придумает Акулина Мироновна, как принять, чем приветить Василья Борисыча. Рада приходу его – такие гости с пустыми руками не ходят; столько отсыплет чапуринский зятек, что, пожалуй, во всю зиму таких денег супрядками и не выручишь... И боязно шустрой вдовушке: "Ну, как проведает Патап Максимыч, что зять его у нее на посиделках был, да взбредет ему на ум, что я прилучила его, пропадай тогда головушка моя. Жить не даст! Доведет до большого начальства, что в дому у меня корчемство, тогда беда неминуемая – в одной рубахе отпустят... Хоть шею тогда в петлю, хоть в омут головой!..

– Здравствуй, Мироновна! – переступая вдовин порог, громко вскрикнул Василий Борисыч. – Здравствуйте, девицы-красавицы!.. Примите меня, голубоньки, во свой круг, во свое веселье девичье, приголубьте меня словом сладким, ласковым, – прибавил он, вешая шапку на колок.

– Милости просим, – в один голос отвечали девушки, раздвигая на лавках донца и опоражнивая место неожиданному, нежданному гостю.

Оглядел Василий Борисыч девок и вдруг видит двух из Осиповки. Так его и обдало. «Теперь и невесть чего наболтают эти паскуды, – подумал он, дойдет до тестя – прохода не будет, до жены дойдет – битому быть. Хорошенько их надо угостить, чтоб они ни гугу про ночные похождения женатого, не холостого».

В другой раз оглядел Василий Борисыч круг девичий и видит – середь большой скамьи, что под окнами, сидит за шитьем миловидная молоденькая девушка. Сел он возле нее, видит – белорука, сидит за белошвейной работой. Спросил у нее:

– Как зовут, красавица?

– Как поп крестил – Лизаветой звал, – вскидывая плутовские глаза на Василия Борисыча, бойко отвечала белоручка и захохотала на всю избу. Другие девушки тоже засмеялись.

– А из коей будешь деревни? – спросил Василий Борисыч, подвигаясь к Лизавете. Та от него не отодвигалась.

– Ты, Василий Борисыч, человек поученый, книжный, – сказала она. – Тебе бы прежде спросить, как величают меня по отчеству, а потом и пытаться, из какой я деревни.

– Так как же тебя звать, красавица, по отчеству? – спросил Василий Борисыч.

– Трофимовна, – отвечала она. – Отецкая дочь (Не сирота, а дочь, у которой жив еще отец и притом человек достаточный.). Тятенька Трофим Павлыч не то что по нашей деревне, а по всей здешней волости из первых людей.

– А чем промышляет? – еще ближе подвигаясь к Лизавете, спросил Василий Борисыч.

– Известно, горянщиной. По всей нашей палестине (Палестина – родные места, своя сторона.) все живут горянщиной, – отвечала отецкая дочь.

Смотрит Василий Борисыч на Лизавету Трофимовну – такая она беленькая, такая чистенькая и миловидная, что другие девушки перед ней уроды уродами, а приемы у отецкой дочери не те, что у тех, и все обхождение, – с первого же взгляда видно, что не в избе она росла, не в деревне заневестилась. Руки нежные, не как у деревенских чухач, тотчас видно, что никогда Лизаветины руки черной работой не бывали огрублены.

Бывший рогожский посол еще поближе подвинулся к Лизавете, положил ей руку на плечо и стал полегоньку трепать его, не говоря ни слова. Отецкая дочь не противилась. С веселой вызывающей улыбкой поглядывала она исподлобья, и, когда Василий Борисыч стал мешать ей шить, она взяла его за руку и крепко пожала ее. Сладострастно засверкали быстрые маленькие глазки бывшего посла архиерейского. Горазд бывал он на любовные похождения, навык им во время ближних и дальних разъездов по женским скитам и обителям.

В это время Акулина Мироновна, из красного угла перетащивши стол направо от входа в избу, покрыла его столешниками (Полотенце, что кладут за столом двум, трем человекам вместо салфеток.) и расставила тарелки с пареной брюквой, солеными огурцами, моченым горохом, орехами, подсолнухами, городецкими пряниками, жомками, маковниками, избойной, сушеной черникой и другими деревенскими лакомствами. Тут же ставлены были ломтями нарезанная солонина, студень, рубцы, соленый судак, вареный картофель. Убирая стол, Акулина подозвала Василия Борисыча и тихонько ему молвила:

– Угощай девиц, Василий Борисыч, ежели на то есть у тебя желание... Можно и пивца достать, пожалуй даже и ренского, а тебе, ежели в охоту, достану и водочки. Да вот что еще хочу сказать тебе, – прибавила она шепотом на ухо Василию Борисычу, – ты к Лизке-то скорохватовской не больно примазывайся. Придет Илюшка пустобояровский да увидит твои шуры-муры с ней, как раз бока тебе намнет – ни на что не поглядит. У него с Лизкой-то еще до Покрова лады зачались; перед масленой, надо быть, поп венцом их окрутит. А Илюшка – косая сажень, сила страшнейшая, кулачище – хоть надолбы вколачивай. Так ты поопасся бы, Василий Борисыч. До греха недолго. Парень же он такой задорный, что беда... Да и к другим-то девушкам не больно приставай, ведь каждая, почитай, из них чья-нибудь зазноба. А вот как нагрянут парни на посиделки, угости ты их всех как можно лучше, тогда и возись себе с любой из девушек. Тогда супротивничать тебе уж не станут.

Покоробило немного Василия Борисыча, но ни слова он Акулине не вымолвил. Подойдя к девушкам и по-прежнему садясь возле Лизаветы, сказал:

– Угощайтесь, красны девицы, берите, что ни ставлено на столе Мироновны... А наперед песенку бы надобно спеть, да, глядите ж у меня, развеселую, не тоскливую.

Улыбаясь, девушки стали словами перекидываться, о чем-то шепотком посоветовались и, наконец, запели:

Ах, зачем меня мать пригожу родила,

Больно счастливую, талантливую,

Говорливую, забавливую.

Что нельзя мне и к обедням ходить,
Мне нельзя богу молиться,
Добрым людям поклониться?
С стороны-то люди галются*,
А попы служить мешаются,
Пономарь звонить сбивается,
Дьячок читать забывается -
Поглядев на меня, дьячок мимо пошел
Да нарочно мне на ножку наступил,
Больно на больно ее мне отдал, -
Посулил он мне просфинок решето,
Из сетечка** семечка,
Крупы черепиночку***, -
Мне всего того и хочется,
Да гулять с дьячком не хочется.
Увидал меня молоденький попок,
Посулил мне в полтора рубля платок,
Мне платочка-то и хочется,
Да гулять с попом не хочется.
Увидал меня молоденький купец,
Посулил он мне китаечки конец, -
Мне китаечки-то хочется,
Да гулять с купцом не хочется.
Увидал меня душа дворянин,
Посулил он мне мякинушки овин, -
Мне мякины-то не хочется,

С дворянином гулять хочется. * Галиться – глаза пялить, глазеть, дивоваться на что-нибудь, любоваться, засматриваться. ** Сетево, сетечко – лукошко с зерновым хлебом, которое севец носит через плечо. *** Уменьшительное от черепня – глиняная посудина, в которой запаривают толченое конопляное семя для битья масла.

Показалось ли Василию Борисычу, что лучше всех спела песню Лизавета Трофимовна, нарочно ль он это сказал, но, по обычаю посиделок, поцеловал бойкую певунью.

– А вы бы нас петь поучили, Василий Борисыч, как летошний год обучали в Комарове девиц, – немножко погода сказала ему Лизавета Трофимовна.

– А как тебе известно, что я обучал их? – спросил он.

– Сами о ту пору мы в Комарове проживали, – ответила отецкая дочь. – У Глафириных гостила. Хоша с Манефиными наши не выдаются, а все-таки издалечка не один раз видала я вас.

– Как же я-то не видал такой красоточки? – с улыбочкой, еще ближе подвигаясь к Лизавете, сказал Василий Борисыч.

– Не до меня вам было тогда, – ответила Лизавета. – И какая ж я красотка?.. Смеетесь только надо мной! Устинья Московка не в пример меня краше, опять же Домнушку улангерскую взяли али Грушеньку, что в Оленеве у матушки Маргариты в келарне живет.

– И тех знаешь? – сказал Василий Борисыч.

– Хоша не больно знакомита, а много известна про них, – отвечала отецкая дочь.

– Ишь ты какая! всех знает! – обнимая стан Лизаветы, промолвил Василий Борисыч.

– Не к лицу вам к девицам-то приставать.

– Это почему? – спросил Василий Борисыч.

– Жена есть у вас, супруга, – ответила Лизавета. – Теперь не прежняя пора – на чужих не след вам и заглядываться! Это для вас грешно.

– Две шубы – тепло, две хозяйки – добро, – прижимаясь к Лизавете, молвил Василий Борисыч.

– Хозяйкой отчего не быть, а в подхозяйки никому неохотно идти, сказала Лизавета, быстро

взглянувши в глаза послу архиерейскому.

– Все едино – хозяйка ли, подхозяйка ли, любиться бы только, промолвил Василий Борисыч.

– Хорошо вам так говорить, а девушкам и слушать такие речи зазорно. И поминать про эти дела хорошей девице не годится, не то чтобы самой говорить, – сказала отецкая дочь.

– Экая ты сердитая! – вскрикнул Василий Борисыч. – Перестань же сердчать.

В то время не один по одному, как водится, а гурьбой ввалило в избу с дюжину молодых парней. Маленько запоздали они – были на гулянке. В пустобояровском кабаке маленько загуляли, а угощал Илюшка, угождавший Лизавете так, что никто другой и подходить к ней не смел.

Когда распахнулись двери настежь, первым из парней влетел в избу Илюшка. Взглянул он на свою облюбованную, видит возле нее какого-то чужого, но одетого чистенько и по всему похожего больше на купца, чем на простого мужика. Злобой вспыхнуло лицо Илюшки, и кулаки у него сами сжались, когда увидал он, что Лизавета к самым плечам подпустила Василья Борисыча. Грозно сделал Илюшка два-три шага вперед, но Акулина успела ему шепнуть, что с зазновой его сидит не кто другой, а зять Патапа Максимыча, человека сильного и властного по всей стороне. И злобы у Ильи как не бывало, подошел он к парочке и шутливо молвил Василью Борисычу:

– И вы в нашу беседу к Мироновне. Милости просим, напередки будьте знакомы.

И сел по другую сторону возлюбленной. Начали песни петь. Звонко пели девки, громко подпевали парни. Пели сначала песни семейные, потом веселые, дело дошло до плясовых. На славу, ровно на показ, ловчей и бойчей всех других отплясывал Илья пустобояровский, всех величавей, павой выступала, всех красивей плечами подергивала, задорней и страстней поводила глазами и платочком помахивала отецкая дочь Лизавета Трофимовна. Другие, что ступы, толкутся себе на месте, пол под ними трещит, чуть не ломится, а она легко и тихо порхает, ровно метель-порхунок (Мотылек, ночная бабочка.). Хотя и выросла Лизавета в благочестивых скитах, хоть и обучалась у матери Глафиры божественному, а только что вышла из обители, скорехонько обыкла и к мирским песням и к той пляске, что в скитах зовется бесовскою.

Каждый пляшет, каждая голосит развеселую. Пошла изба по горнице, сени по полатам – настоящий Содом. Один Василий Борисыч не пляшет, один он не поет. Молча сидит он, облокотясь на подоконник, либо расплачивается с Мироновной за все, что пьют и едят парни и девки. Раз-за три дочиста они разбирали все, что ни ставила на стол досужая хозяйка. Вдобавок к съестному и к лакомствам вынесла она из подполья четвертную бутылку водки да дюжины три пива.

Для того за всех платил Василий Борисыч, что боялся, не осерчали бы парни с девками, не рассказали бы в Осиповке, что были и пили вместе с ним у Мироновны.

Веселая гульба чуть не до света шла. Не раз порывался домой Василий Борисыч, но парни его не пускали, обещаясь проводить до дому и дорогой беречь от волков, а при этом просили поставить на стол кубышечку бальзамчику (Хлебное вино, перегнанное на душистых, смолистых травах.). И бальзамчика Мироновна откуда-то вынесла. Опростили парни кубышку, еще попросили, но у Мироновны бальзама больше не было.

Грустно возвращался домой Василий Борисыч, провожаемый хмельными парнями. И дорогой ни на минуту не сходили у него с ума докучные мысли: как-то он попадет в дом и где-то проведет остаток ночи. К жене идти и думать нельзя, подняться в верхние горницы – разбудишь кого-нибудь. И решился он ночевать в подклете у старика Пантелея. И вовсе почти не спал – то вспоминались ему злобные, язвительные тестевы насмешки и острые женины ногти, то раздавался в ушах звонкий, переливчатый голос отецкой дочери Лизаветы Трофимовны:

Лен, лен, лен не делен,

И посконь не таскан!

Несмотря на все предосторожности, в тот же день провели в Осиповке про ночные похождения Василья Борисыча. Худые вести всегда опережают. Тотчас после обеда не только насмешки, но самые крепкие ругательства и громкие окрики привелось ему выслушать от Патапа Максимыча.

– Так ты вздумал и на стороне шашни заводить, – кричал разъяренный тестюшка. – На су-прядки по чужим деревням к девкам ходить! Срамить честной мой дом хочешь! Так помни, бабий угодник, что батраков у меня вволю, велю баню задать – так вспорют тебя, что вспомнишь сидо-

рову козу. До смерти не забудешь, перестанешь бегать от жены!.. Смей только еще раз уйти на посылки!

И выгнал любезного зятя из горницы, а на прощанье еще тумак задал ему в спину.

Как проведала про мужнины проказы Прасковья Патаповна, затряслась вся от злобной досады. Увидавши супруга, кинулась на него, ровно бешеная. Василий Борисыч тотчас закрыл лицо ладонями, чтоб милая женушка опять его не искровенила. И кричит она и визжит, шумит, как голик, брюзжит, как осенняя муха, ругается на чем свет стоит и, взявши кожаную лестовку, принялась стегать муженька по чем ни попало. Мало этого показалось Прасковье Патаповне, схватила попавшийся под руку железный аршин, да и пошла утюжить им супруга. Едва вырвался Василий Борисыч из рук разъяренной подруги жизни и опрометью бросился вон из тестева дома. Выбежав на улицу, стал на месте и так рассуждал: «Что теперь делать?.. Куда идти, к кому? Как в темнице сижу, тяжелой цепью прикован. Нет исхода... Ох, искушение! Удаться ли, утопиться ли мне?»

С самого утра дул неустанный осенний ветер, а Василий Борисыч был одет налегке. Сразу насквозь его прохватило. Пошел в подклет погреться и улегся там на печи старого Пантелея. А на уме все те же мысли: «Вот положение-то! куда пойду, куда денусь?.. Был в славе, был в почестях, а пошел в позор и поношение. Прежде все мне угождали, а теперь плюют, бьют, да еще сечь собираются! Ох, искушение!»

И стал Василий Борисыч раздумывать, куда бы бежать из тестева дома, где бы найти хоть какое-нибудь пристанище. Думает, думает, ничего не может придумать – запали ему все пути, нет места, где бы приютиться.

Дня три шага не выступал он из Пантелеева подклета и обедать наверх не ходил, дрожмя дрожал от одного голоса жены, если, бывало, издали услышит его. В доме знали от старика Пантелея, что ему нездоровится, что день и ночь стонет он и охает, а сам с печки не слезает. И в самом деле, железный аршин не по костям пришелся ему. Заходил в подклет и сам Патап Максимыч. Хотелось ему наведаться, чем зять захворал, что за болезнь ему приключилась. Пришел, Пантелея в избе о ту пору не было, а Василий Борисыч стонал на печи.

– Что, распевало? Аль ежовски посылки отыгаются?.. – с усмешкой спросил у него осиповский тысячник. – Или тебя уж очень сокрушила Лизка скорохватовская? Целу, слышь, ночь у тебя с ней были шолты-болты (Шолты-болты – вздор, пустяки, дрянь, негодные вещи.). Шутка сказать, на десять целковых прокормил да пропоил у этой паскуды Акулины! Станешь так широко мотать, не хватит тебе, дурова голова, и миллиона. Акульке радость, во всю, чать, зиму столько ей не выручить, сколько ты ей переплатил. С похмелья, что ли, хвораете?..

– Не с похмелья у меня, батюшка, голова болит, не с поседок мне хвораете, – охая, отвечал Василий Борисыч. – Болит головушка и все тело мое от злой жены. Истинно во святом писании сказано: «Удобнее человеку со львом и скорпием жити, неже со злою женой». От дочки вашего степенства житья мне нет. И теперь болею от любви ее да от ласки – полюбилось ей бить меня, железным аршином приласкала меня! В трех местах голова у меня прошиблена до кости, и весь я избит – живого места не осталось на мне... Пожалейте меня хоть сколько-нибудь, пожалейте по человечеству... – со слезами молил тестя Василий Борисыч. – Теперь деваться мне некуда, свадьба с Прасковьей Патаповной затворила мне все ходы к прежним моим благодетелям. Куда денусь? сами посудите.

– Живи с законной женой, да мамошек на стороне не смей заводить... Тогда все пойдет по доброму да по-хорошему, – промолвил, насупившись, Патап Максимыч.

– Нельзя с такой глупой да злой женой жить по-хорошему, – отозвался вполголоса Василий Борисыч.

– А какой леший толкал тебя в улангерском лесу к Параньке? – также вполголоса, с язвительной насмешкой сказал осиповский тысячник. – Ведь я все знаю. И то знаю, как ты по Фленушкиным затеям у свибловского попа повенчался. Не знаю только, кто свадьбу твою сварганил, кто в поезжанах был... А то все, все до капельки знаю. А не вытурил я тебя тогда с молодой женой из дому да еще на друзей и для окольного народа пир задал и объявил, что свадьбу я сам устрепал, так это для того только, чтоб на мой честной дом не наложить позору. Что Прасковья дура, про это я раньше тебя знаю; что зла она и бранчива, тоже давно ведаю. Да ведь не я ее тебе на шею вешал,

не я тебя в шею толкал. Тут я ни при чем. Сам свою судьбу устраивал, сам выбирал себе невесту, ну и живи с ней, терпи от нее попреки и побои, а мое дело тут сторона.

– Хоть бы уехать куда на недолгое время, – сказал Василий Борисыч.

– А к какому шайтану уедешь? – возразил Патап Максимыч. – Сам же говоришь, что деваться тебе некуда. Век тебе на моей шее сидеть, другого места во всем свете нет для тебя. Живи с женой, терпи, а к девкам на посиделки и думать не смей ходить. Не то вспорю. Вот перед истинным богом говорю тебе, что вспорю бесприменно. Помни это, из головы не выкидывай.

Долго бранил Патап Максимыч Василья Борисыча, а тот, лежа на печке, только стонет да охает от жениных побой, а сам раздумывает, что лучше: бежать иль на чердаке удавиться.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Заходили по народу толки, будто Патап Максимыч привез в Осиповку несметное богатство сироты Смолокуровой и что сложено оно у него в его каменной палатке. А пошли те толки со слов осиповских девок, что пировали на посиделках у Мироновны, и, кроме них, привоз сундуков видели батраки, работавшие в токарнях и в красильнях. По ближним и дальним деревням заговорили об этом, и народная молва гласила уже, что привезено не приданое Смолокуровой, а несметные сокровища, каких ни у кого еще не бывало: сундуки, битком набитые чистым золотом и другими драгоценностями. Толковали: «С давних лет многое множество богатых кладов в земле лежит, но ни в одном нет столько добра, как теперь в каменной палатке у Чапурина. Притом же все земляные клады, сколько их ни есть, кладены с зарокон, а бережет их супротивная сила, а туда положено золото безо всякого зарока, и до него нечистому нет никакого дела». По этому самому никакой и вещбы тут не надо, ни тайного слова. И при таких разговорах много людей зарилось на чапуринскую палатку.

Дён через десять после того как Василий Борисыч был в гостях у тетки Мироновны, у нее опять были посиделки. Народа было множество, особливо парней. Тесно было во вдовьей избе, иным ни на лавках, ни на скамьях не доставало места, – сидели на печи, лежали они на полотах.

Пели песни, плясали, пили, ели, прохлаждались, а веселая, довольная Мироновна, видя, как гости очищают ее стряпню, металась из стороны в сторону, стараясь угодить каждому. Не одну песню спели, не раз поплясали, и тут у парней и девок зачались меж собой суды и пересуды. Судили, рядили обо всех окольных, про ближних и дальних, старух и стариков, про женатых и холостых, про красных девушек и молодых молодух: всем косточки перемыли, всем на калачи досталось, – известное дело, от пересудов, да напраслины, да сплеток ни пешком не уйти, ни на коне не уехать.

Вспоминая Василья Борисыча, ровно по книге рассказывали про его похождения, как не давал он в скитах спуску ни одной белице, что была моложе да попригожей из себя. Осиповские девки рассказали, как ему за посиделки у Мироновны тесть в шею наложил, а женушка железным аршином до костей пробила грешное его тело. И никого не нашлось изо всей беседы, кто бы пожалел его; все потешались, а пуще других отецкая дочь Лизавета Трофимовна. Перешла речь на самого Патапа Максимыча. Сидели у Мироновны люди к делам его непричастные, работ и хлебов осиповского тысячника не искавшие и, по зависти к богатству и домоводству его, готовые натворить ему всяких пакостей не только языком, но и делом. И пошли они цыганить Патапа Максимыча, глумиться над ним, надо всей семьей его и надо всеми к нему близкими. Смеха было вволю, а всех больше насмеялся над Чапуриным, пуще всех глумился над ним за то, что он тысячами ворочает, Илюшка пустобояровский. Усевшись на печку и колотя по ней задками сапогов, он мало говорил и то изредка, но каждое слово его поднимало не только веселый, но даже злобный хохот всей беседы, и от того хохота чуть не дрожали стены в Акулининой избе. Зашла речь и о приданом Смолокуровой. Мироновну та речь затронула за живое, рассыпалась она в ругательствах на Дуню за то, что у нее такое несчетное богатство, а ей не на что избенку проконопатить – со всех сторон дует, углы промерзают, житье в ней мало лучше, чем в ином сарае либо на сеннице. И укоряла бога вдовица, что несправедливо он поделил меж людей земные богатства, и начальство бранила, что до сих пор не додумается деньги поровну поделить между крещеными.

– А много ль денег в самом-то деле поставил Чапурин в палатке? – спросил Миней Парамонов, мрачный, никогда не улыбавшийся парень из деревни Елховки, с нахальным взглядом поглядывая на молодежь.

– Десять возов с чистым золотом, – помолчав немного и подыгрывая на гармонике, сказал тот самый Алешка, что ухаживал за Акулининой племянницей.

– Здорово же ты, парень, врешь, – крикнул на всю избу Миней. – Не в подъем человеку вранье твое. Как заврешься, под тобой, парень, и лавка не устоит, – слышь, потрескивает. Поберегись. Убавляй, не бойсь, много еще останется.

– Нет, точно десять возов привезено и в палатку поставлено, – заметил один из осиповских токарей, Асаф Кондратьев, только что прогнанный Патапом Максимычем за воровство и пьянство. – Сам своими глазами видел, – продолжал он. – Вот с места не сойти!

– И золото видел? – спросил Миней.

– Нет, врать не хочу, золота не видал, видел только воза да сундуки, ответил осиповский токарь. – Сундуков, укладок и коробья пропасть.

– Надо думать, что лежат в тех сундуках платья, да шубы, да иное приданое, может статься, есть тут и золото и серебро, а чтобы все десять возов были полны чистым золотом – этому поверить нельзя, – насмешливо молвил Миней и переглянулся с Илюшкой пустобояровским.

Тот будто и не заметил, сидит себе на печи да ногами побалтывает.

– Что, Илюшка? – спросил у него, подходя к печке, Миней.

Илюшка молчал, но, когда Миней, взгромоздясь на печь, сел с ним рядом, сказал ему потихоньку:

– Лишних бревен в избе много, после потолкуем, – прошептал Илья пустобояровский. Между тем Мироновна продолжала плакаться.

– Господи Иисусе! – причитала она. – И хлеб-от вздорожал, а к мясному и приступу нет; на что уж дрова, и те в нынешнее время стали в сапожках ходить. Бьемся, колотимся, а все ни сыты, ни голодны. Хуже самой смерти такая жизнь, просто сказать, мука одна, а богачи живут да живут в полное свое удовольствие. Не гребтятся им, что будут завтра есть; ни работы, ни заботы у них нет, а бедному человеку от недостатков хоть петлю на шею надевай. За что ж это, господи!

И до самого расхода с посиделок все на тот же голос, все такими же словами жалобилась и причитала завидуящая на чужое добро Акулина Мироновна. А девушки пели песню за песней, добры молодцы подпевали им. Не один раз выносила Мироновна из подполья зелена вина, но питье было неширокое, нешибкое, в карманах у парней было пустовато, а в долг честная вдовица никому не давала.

– Что сегодня мало пьете, родимые? Нешто зареклись, голубчики? – ласково, заискивающим голосом говорила она парням. – Аль и у вас, ребятушки, в карманах-то стало просторно? Не бывал вот чапуринский зять, то-то при нем было веселье: изломала, слышь, сердечного злая жена железным аршином. Эх, ребятушки, мои голубчики! Раздобыться бы вам деньжонками, то-то бы радость была и веселье! Эй, дружки мои миленькие, оглянитесь-ка, сударики, на все четыре стороны, попытайте-ка, не лежит ли где золота казна, клада в окольности поискать бы вам.

– Боязно, тетушка, да и грех велик, – вступился Алешка, поглядывая на свою зазнобу, племянницу Мироновны. – Ведь при каждом кладе бесовская сила приставлена, ни отбечь (Отбегать.), ни отчураться от нее никак невозможно... Беда!

Вскинулась на него честная вдовица, обругала на чем свет стоит и под конец прибавила:

– Коли ты из заячьей породы, страховит да робок, лежи себе на полатах, разинь хайло-то (Горло, рот, зев, пасть.), да и жди, что богатство само тебе в рот прилетит. Про бесовские клады по всей здешней палестине и слыхом не слыхать, зато лежат иные, и ни лысого беса к ним не приставлено. Взять те клады легко, все едино что в полое (Заливное, поемное место берега или луга, пойма, займище, остаток весеннего разлива.) рыбу ловить. Нужна только смелость да еще уменье.

Илюшка с Минеем молча переглянулись меж собой, когда Мироновна ругала Алешку.

Вдруг Илюшка прыгнул с печи, стал среди избы, кликнул, гаркнул беседе громким голосом:

– Эй вы, девушки красоточки! Пойте, лебедушки, развеселую, чтобы сердце заскребло, чтобы в нас, молодцах, все суставчики ходенем пошли... Запевай, Лизавета, а вы, красны девицы,

подтягивайте. Пляши, молодцы! Разгула хочется. Плясать охота. Ну, девки, начинай!

И запели девки развеселую, и вся беседа пошла плясать, не стерпела сама Мироновна. Размахивая полотенцем вместо платочка, пошла она семенить вдоль и поперек по избе. Эх, был бы десятник жив, уже как бы накомстил он шею своей сожительнице, но теперь она вдова – значит, мирской человек: ее поле – ее и воля.

А Илюшка пустобояровский, немного поплясав, сел среди шума и гама за красный стол, под образами. Сидит, облокотясь на стол, сам ни слова. Не радуют его больше ни песни, ни пляски. Подошла было к нему Лизавета Трофимовна, стала было на пляску его звать, но возлюбленный ее, угрюмый и насупленный, ни слова не молвивши, оттолкнул ее от себя. Слезы навернулись на глазах отечкой дочери, однако ж она смолчала, перенесла обиду.

И что-то всем стало невесело. Недолго гостили парни у Мироновны, ушли один за другим, и пришлось девушкам расходиться по домам без провожатых; иные, что жили подальше от Ежовой, боясь, чтобы не приключилось с ними чего на дороге, остались ночевать у Мироновны, и зато наутро довелось им выслушивать брань матерей и даже принять колотушки: нехорошее дело ночевать девке там, где бывают посиделки, грехи случаются, особливо если попьют бражки, пивца да виноградененького.

Минею Парамонову с осиповским токарем идти было по дороге, но к ним пристал и дюжий Илья, хоть его деревня Пустобоярова была совсем в другой стороне. Молча шли они, и, когда вышли за ежовскую околицу, вымолвил слово Илья.

– Что ж, други? Станем, что ли, клад-то вынимать?

– Какой клад? – спросил прогнанный Патапом Максимычем токарь. А звали его Асафом Кондратьичем.

– Эх, ты! – с усмешкой сказал ему Илья в ответ. – Сам ходит вокруг клада, каждый день видит его, а ему и невдомек, про какой клад ему рассказывают.

– Я пойду, – молвил Минею Парамонов. – Чем с бедности да с недостатков чужие клети ломать, цапнуть сразу тысячу-другую да и закаяться потом.

– Да где же клад-от лежит? – спрашивает недогадливый Асаф. – И какой зарок на нем?

– Никакого зарока нет, а лежит клад у тебя под носом, – молвил Илья пустобояровский. – Сам же давеча рассказывал, что на десяти возах к Чапурину клад на днях привезли.

– Так ведь он его в каменную палатку сложил, – сказал Асаф.

– А что ж из того? – спросил Илья.

– Ключи у самого, как без них в палатку войти? – молвил Асаф Кондратьев.

– Не то что палатку, городские стены пробивают, – сказал Илья. – Были бы ломы поздоровей да ночь потемнее.

– А как услышат? – промолвил Асаф.

– Надо так делать, чтобы не слышали, – отвечал Илья. – Ты осиповский, тебе придется сторожить. Ходи одаль от палатки, и на задах ходи, и по улице. Ты тамошний, и кто тебя увидит, не заподозрит – свой, значит, человек. А ежели что заметишь, ясак (Сторожевой клик или другой знак, непонятный посторонним.) подавай, а какой будет у нас ясак, уговоримся.

– Ведь десять возов – всего не унести, – заметил Асаф.

– А кто тебе про все говорит? – сказал Илья. – Вестимо, всего не унесешь. Возьмем, что под руку попадется; может, на наше счастье и самое лучшее на нашу долю достанется. Ну что ж, Асаф Кондратьич, идешь с нами али нет?

– В ответе не быть бы... – колеблясь, промолвил Асаф.

– Какой тут ответ, когда только сторожем будешь, – возразил Минею Парамонов. – Да ты стой, погоди, – ночные караулы бывают у вас на деревне?

– Исправник и становой не один раз наказывали, чтобы в каждой деревне караулам быть, только их николи не бывает, – отвечал Асаф. – Дойдет до тебя черед, с вечера пройдешь взад да вперед по улице, постучишь палкой по клетям да по амбарам, да и в избу на боковую. Нет, на этот счет у нас слабовато.

– А у Чапурина есть свои караулы? – спросил Илья.

– Как ему без караулов быть? Нельзя, – отвечал Асаф. – У токарен на речке караул, потому

что токарни без малого с версту будут от жилья, а другой караул возле красилен. Эти совсем почти в деревне, шагов сто, полтора от жилья, не больше.

– А далеко ль от палатки те караулы? – спросил Миней Парамонов.

– Далеконько, – ответил Асаф, – токарни-то ведь по другую сторону от деревни.

– А за палаткой что? Назади-то ее, значит? – продолжал расспросы Миней.

– Да ничего, – отвечал Асаф. – Одно пустое место, мочажина, болотце гладкое, без кочек. А за мочажиной перелесок, можжевельник там больше растет, а за перелеском плохонький лесишка вплоть до Спасского села.

– Так хочешь, что ли, с нами? – спросил Илья.

– Да я, право, не знаю, – нерешительно отвечал Асаф. – Боязно, опасно, ежели проведуют. В остроге сгниешь.

– Коли что, так мы с Илюшкой в ответе будем, – молвил Миней. – Твое дело вовсе почти сторона, станешь ходить по приказу начальства да по мирской воле. Твое дело только ясак подать, больше ничего от тебя и не требуется. А дуван станем дуванить, твоя доля такая ж, как и наша.

– Вина тогда, Асафушка, будет у тебя вволю. В город поедem, по трактирам станем угощаться. А какие, братец ты мой, там есть любавушки, посмотреть только на них, так сто рублей не жаль, не то что наши деревенские девки, – говорил Илья осиповскому токарю.

Асаф долго колебался, наконец решился. Очень уж прельстился он никогда до тех пор не виданными городскими любавушками, что поют на всякие голоса, ровно райские птицы, а в пляске порхают, как ласточки, что обнимают дружка таково горячо, что инда дух занимается. Знал Илья пустобояровский, за какую струну взяться, знал он, что Асаф чересчур уж падок до женского пола и что немножко брезговал деревенскими чухами. С полчаса он расписывал ему про веселое житье в городе и про тамошних красавиц, что на все руки горазды и уже так ласковы и податливы, что и рассказать не достанет слов. Уговорились ломать палатку, только что настанут темные ночи. Ежели будет сухо, нести добычу к Илюшке в Пустобоярово, а если грязно, так нести сначала прямо в лес по мочажинам, чтобы не было заметно следов.

Подойдя к Осиповке, приятели, по указанию Асафа, свернули в сторону и пошли по задам деревни. Полный месяц обливал чапуринскую палатку. Она ставлена была позади дома на усаде, и усад был обнесен плетнем. Плетень как плетень, пихни ногой хорошенько, он и с места долой. Плетня, однако же, парни не тронули: следа бы не оставить после себя, а перелезли через него, благо ни души нигде не было, обошли палатку кругом и видят, что без большого шума нельзя через дверь в нее попасть, дверь двойного железа, на ней три замка.

– Нет, про дверь и думать нечего, – молвил опытный в воровском деле Миней Парамоныч. Он два года в остроге высидел, но по милостивому суду был оставлен только в подозренье, а по мелким кражам каждый раз отделявался тем, что ему накомылят шею, да и пустят с богом на новые дела.

Поднял он валявшуюся неподалеку оглоблю и пошел вокруг палатки, постукивая об ее стены и чутко прислушиваясь ко звукам.

Обойдя кругом палатку, он подумал немножко и молвил товарищам:

– Стены-то, никак, в два кирпича.

– Так точно, – подтвердил Асаф. – Помню я, как Чапурин ее клал, я еще известку тогда ему месил да кирпичи таскал. Точно, в два кирпича строена.

– Ну, айда по домам, – сказал Илья. – Да тише, черти, через плетень-от перелезайте. Перелезли и вышли на проселок одаль от деревни.

– Стену легче пробить, чем дверь сломать, – сказал там Миней. – Ты, Илюха, добудь лом по здоровей, а у меня есть наготове, а ты, Асаф, заранее оповести нас, когда придется тебе на карауле быть.

Затем все трое разошлись по своим местам. В Осиповку приехал Никифор Захарыч. Ездил он на Низ, наполовину покончил смолокуровские там дела, но их оставалось еще довольно, приводилось весной туда плыть, только что реки вскроются. Возвращаясь, Никифор побывал у Чубалова, там все шло хорошо, оттоле проехал в Вихорево, рассказал Дуне все по порядку обо всем, что ни делал он в низовых местах, и выложил кучу денег, вырученных за продажу лодок, снастей (Снасти

– сети, мережи, невода и другие делаемые из пряжи орудия рыболовства.) и бечевы. Дуня слушала, мало что понимая из речей Никифора Захарыча, денег не взяла, а просила съездить в Осиповку, обо всем рассказать Патапу Максимычу и деньги ему отдать. Никифор так и сделал.

Выслушав шурина и принявши деньги, Чапурин сказал:

– До весны у меня оставайся, по зиме, может, придется кой-куда послать тебя по моим делам, не по смолокуровским...

Там к весне-то свой хозяин будет, Авдотья Марковна замуж, слышь, выходит собирается.

– Слышал и я об этом стороной, – ответил Никифор, – только ни Груня, ни сама Авдотья Марковна мне ни слова о том не сказали. Приезжаю в Вихорево, а там Иван Григорьич в отлучке, и большая горница полнехонька девок: семь ли, восемь ли за беловшейною работой сидят, а сами поют свадебные песни; спрашиваю: «Кому поете?» Авдотья Марковна, сказывают, выходит замуж за приезжего купца. Я Груню спросил, а она говорит: «Немножко повремени, обо всем расскажу, а теперь не скажу». Так ничего я и не добился. А невесту так и не спрашивал, не мое, думаю, дело.

– Самоквасова Петра Степаныча знал? Он еще каждое лето в Комаров с подаяниями от дяди из Казани приезжал, – сказал Патап Максимыч.

– Слышать слышал, а видеть не доводилось, – отвечал Никифор.

– За него выходит, – молвил Чапурин. – Хоть богатством своим много уступит своей нареченной, а все-таки сотни с две тысяч у него и своих наберется.

– Видно, что, как лист к листу, так и деньги к деньгам, – заметил Никифор Захарыч.

– Видно, что так, – сказал на то Патап Максимыч. – Опричь капиталов, домов, земель и прочего, одного приданого у ней тысяч на сто, ежели не больше. Побоялись мы в Вихорево его оставить, не ровен случай, грешным делом загорится, из Груниной кладовой ничего не вытащишь, а здесь в каменной у меня палатке будет сохраннее. Десять возов с сундуками привезли. Шутка ли!

– А караул-от у палатки ставится ли по ночам? – спросил Никифор.

– Не для чего, – ответил Патап Максимыч. – Палатка не клеть, ее не подломаешь, опять же народ близко, а на деревне караулы; оно правда, эти караулы одна только слава, редко когда и до полуночи караульные деревню обходят, а все-таки дубиной постукивают. Какой ни будь храбрый вор, все-таки поопасится идти на свой промысел.

– Оно точно. Справедливо сказано, – промолвил Никифор. – По себе хорошо знаю. Да ведь вот что надо говорить:

«Вор вором, а крадено краденым». В деревенскую клеть залезть нужна отвага, да не больно большая. Что взять с полушубков да с бабьих сарафанов? С голодухи больше клетки подламывают да еще ежели пить хочется, а в кармане дыра... А тут вдруг на сто тысяч! При таком богатстве у всякого вора прибудет отваги, и на самое опасное дело пойдет он наудалую: бог, мол, не выдаст, свинья не съест. Нет, во всяком разе, по-моему, надо бы к палатке караул приставить, да не ночной только, а и денной, палатка-то ведь почти на всполье стоит, всяких людей вокруг бывает немало.

– Крепка, не проломают, – самоуверенно сказал на то Патап Максимыч и повел совсем про другое речь.

– Как озими на Узеньях? – спросил он у шурина.

– Озими хорошие, – отвечал Никифор. – После Покрова зажелтели было, потому что с Семёнова дня дождей не было ни капельки, погода сухая, а солнышко грело, ровно летом, ну а как пошли дожди да подули сиверки, озимые опять зазеленели.

– У Зубкова как? – спросил Патап Максимыч.

– Хорошо, очень даже хорошо, – отвечал Никифор.

– А на моих хуторах, что переснял я у Зубковых, случилось тебе быть? – спросил Чапурин.

– Как же. Нарочно два раза туда заезжал. Все осмотрел, – отвечал Никифор Захарыч.

– Ну, что же?

– Да ничего, все слава богу, сказал Никифор. – Озими тоже зазеленели, скот в теле, овса, сена, яровой соломы и всякого другого корма до будущего хлеба с залишком будет, приказчики на хуторах радивые, рабочий народ всем доволен, соседские, слышь, завидуют ихней жизни.

– Весной, даст бог, сам сплыву, кстати же надо будет с казной новые условия писать, прежним-то к осени предбудущего года сроки минут. Беспременно поеду, коли жив буду, – сказал Па-

тап Максимыч. – Ступай повидай сестру-то, – прибавил он. – Плохо, брат, ее дело, больно плохо... Не знаю, что и будет, какую волю господь сотворит над ней. А сохрани бог, не станет Захаровны, сгинет дом и пропадет моя головушка!.. Как жить с этой дурищей Прасковьей да с ее мужем бездельником?.. Мука будет одна... Да повидай внучонка, Захарушку-то, что наша дурища принесла... Пойдем, Никифор, пойдем, любезный ты мой, к Захаровне.

У изголовья Аксиньи Захаровны сидела Дарья Сергевна и читала ей из «Пролога» житие преподобно-мучеников Галактиона и Епистемии: память их на другой день (Ноября 5-го.) приходилась. Жадно слушала болящая мирное, протяжное чтение Дарьи Сергевны, с благочестивым упоением; не пророня ни словечка, слушала она про лютые мучения, коим подвергали нечестивые верных рабов божиих, и ровно светочи горели на ее безжизненном, неподвижном лице. Тут же, тыкаясь носом, дремала в углу Прасковья Патаповна, едва держа у груди заснувшего Захарушку, того и гляди заботливая матушка брякнет об пол своего первенца. Никифор благоговейно вступил в горницу, где умирающая Настя прощальными речами преобразила душу его и возвела падшего из греховной гибели. Навернулись у него слезы, когда клал он поклоны перед святыми. Обратясь потом к сестре, он низко поклонился ей и спросил про здоровье.

Аксинья Захаровна ненавидела брата, когда проводил он беспутную жизнь, проклинала его всякими клятвами, называла кровным врагом своим и в разговорах с мужем нередко желала Никифору сгинуть где-нибудь под оврагом. Но теперь она переменялась. Не вдруг изменила она об нем свои мысли, не сразу поверила братнину исправлению, думала, что все это у него одно притворство, но мало-помалу уверилась, что он на добрую стезю напал. И тогда возвратила она прежнюю любовь к нему, такую же почти любовь, какую питала, будучи уже маленькой девочкой, когда нянчила маленького своего братишку. Его дельные и всегда удачные распоряжения по даваемым ему Патапом Максимычем поручениям убедили Аксинью Захаровну, что Никифор человек – золото, за что ни возьмется, дело у него так и кипит. И стал он ей дорог и любезен, и, кроме мужа, кажется, она его любила больше всех. Груня, что ни говори, все-таки чужая, а к дочери и зятю сердце ее вовсе не лежало.

– Ну что? Как тебя бог милует? – спросил Никифор, подходя к сестре.

– Все так же, Микешенька, все так же, родной. Ни лучше, ни хуже, измаялась я совсем, – отвечала со стоном Аксинья Захаровна и с ясной улыбкой глядя на брата. – Ты где летал, где был-побывал? – ласково она промолвила.

– На Низ ездил да вот маленько и замешкался, – отвечал Никифор. Туда-то по Волге сплыл, и скорехонько и без хлопот, а назад ехал на конях, для того что по воде-то стало опасно, через неделю, много через полторы, Волга совсем станет.

– Пора уж, пора, Микеша, ведь Михайлов день на дворе, – заметила Аксинья Захаровна. – По смолокуровским делам, что ли, ездил-то?

– И по смолокуровским и по вашим. Все, бог подал, управил, теперь до весны придется на печи лежать, – сказал Никифор Захарыч.

– Ну, слава богу, слава богу, – проговорила Аксинья Захаровна и смолкла. Тяжело было много ей говорить.

– Вы как поживаете, сударыня Дарья Сергевна? – спросил у ней Никифор Захарыч. Как только дошел он в комнату больной, она сложила «Пролог», положила его на стол и, опустя голову, недвижно сидела у изголовья Аксиньи Захаровны.

– Живу, пока бог грехам терпит, – тихо промолвила Дарья Сергевна. – Вы как, в своем здоровье, Никифор Захарыч? – прибавила она.

– Ничего, – отвечал Никифор. – Вот только теперь дорогой маленько порастрясло меня. Студено, дорога промерзла, езда бедовая, а мне довелось без малого две тысячи верст по такой дороге промучиться.

В это время одаль стоявший Патап Максимыч быстро подскочил к дремавшей дочери и схватил Захарушку, совсем уже почти скатившегося с колен матери.

Очнулась Прасковья Патаповна, зевнула во всю сласть и, впросонках, тупым взглядом обвела всех бывших в комнате.

– Ах ты, дурафья безумная! – вскрикнул на нее Патап Максимыч. – Даже рожденья своего не

жалеет! У скотов даже этого не бывает, и у них мать детеныша бережет... Не тебе бы, дура, мужа бить да стегать, ему бы следовало тебе хорошую выволочку задать! Плох, больно плох он у тебя и на то даже умом не вышел, чтобы жену учить!

Затем, подойдя к Никифору и показывая ему глядевшего синенькими глазками и улыбавшегося младенца, сказал ему:

– Гляди, помилуйся на внука-то. Переживешь нас со старухой, береги ты его, Никифор, одного только его береги. Вскорми, воспитай, уму-разуму научи. На отца надежда плоха, о Прасковье нечего и поминать. А я все, что ни есть у меня, вот этому малышу после себя отдам, все добро мое пойдет внуку моему любезному, Захарушке. Дура Парашка и муж ее, московский распевало, хоть под оконьем шатайся, Захарушка бы только счастлив был... Эх, Настя, Настя! Была бы жива ты, – прибавил он надорванным от горя голосом. – Все с собой унесла, белая моя ласточка!

– Все, – едва сдерживаясь от рыданий, молвил Никифор. – Все унесла, все!

Еще при первых словах отца Прасковья Патаповна молча вышла из горницы больной матери. Пришла к себе и прямо на постель. Раскидалась, разметалась на ней дочь осиповского тысячника, закрыла глаза, а сама думает: «Хоть бы Васька пришел, каков ни есть, а все-таки муж!»

А Никифор пошел отдохнуть после трудного и долгого пути в подклеть, на давно облюбованное им место, в боковушу рядом с Пантелеем. Сколько ни уговаривал его Патап Максимыч выбрать жилье где-нибудь наверху, Никифор не соглашался.

Проходя в свою боковушу чрез Пантелееву избу, он услышал стоны, взглянул на печь, там Василий Борисыч лежит.

– Что, друг, лежишь? Аль неможется? – спросил у него Никифор.

– Уж так неможется, Никифор Захарыч, что и рассказать тебе не могу, тихо и жалобно ответил Василий Борисыч.

– Трясучка (Лихорадка.), что ль, одолела? Много теперь народу трясучкой болеет, – сказал Никифор. – А коли так, для чего здесь на печи валяешься, зачем в горницы к жене нейдешь?

– Скорее в лес на съеденье волкам пойду, чем в горницу твоей племянницы, Никифор Захарыч, – оживляясь понемножку, сказал Василий Борисыч. – Сын Сирахов гласит: «Лучше жити со львом и змием, неже с женой лукавою. Всяка злоба мала противу злобы женской» (Иисуса, сына Сирахова, XXV – 18, 21.). А какова Прасковья умом вышла, сам не хуже моего знаешь. От нее болею, от нее горькие мои недуги.

Чуть ли не изломала железный аршин об меня. Ума и рассудливости у нее с накопыльник (Поперечный брусочек у саней для связки верхних концов копыльев.) нет, а дурости и злобы горы превысокие. Хоть руки на себя наложить, вот она меня до чего довела.

– Человек я не книжный, – сказал на то Никифор Захарыч, – силы писания не разумею, а скажу, что от старых людей слышал: «Не рыба в рыбах рак, не птица в птицах нетопырь, не зверь во зверех еж, не муж в мужьях тот, кем жена владает». И у меня, голубчик, бывала жена Мавра, не знаю, померла аль в живых еще. Не чеством мы с ней были венчаны, похмельным делом окружили нас. Борзая баба была, однако ж я и ее в ежовых рукавицах держал, покамест на сторону она не сбежала. А потачки ей не давал, знала бы, что муж есть глава... А ты что! Фалалей, больше ничего.

– Да, попробуй-ка пальцем тронуть Прасковью Патаповну, – охая, промолвил Василий Борисыч. – Жизни не рад будешь. Хоть бы уехать куда, пушай ее поживет без мужа-то, пушай попробует, небойсь и теперь каждый вечер почти шлет за мной: шел бы к ней в горницу. А я без рук, без ног куда пойду, с печки даже слезть не могу. Нет уж, уехать бы куда-нибудь хоть бы на самое короткое время, отдохнул бы хоть сколько-нибудь.

– Что ж не попросишься у Патапа Максимыча? У него всяких делов по разным местам довольно. Попросись-ка ты, – молвил Никифор Захарыч.

– Не пошлет он меня, ни в каком разе не пошлет, – ответил Василий Борисыч. – И думать об этом нечего.

– Да, – несколько подумавши, молвил Никифор Захарыч. – Не раз он и мне говаривал, что считает тебя ни на какие дела не пригодным. Когда, говаривал, у Насти покойницы он на сорочинах был, говорил он таково умно, что мне он полюбился. Таково хорошо да умно рассказывал про

разные страны, в коих быть тебе доводилось, и про всякие промысла, от коих народ божий кормится. И почел он тебя тогда человеком во всем достаточным, и стал он раздумывать, как бы тебе на Прасковье жениться, а потом послать на Горы промысла там заводить. Жениться-то ты женился, а ни на какое дело не сгодился, говорил он после. От того от самого у него и доверия к тебе никакого нет. Точно, что он ни к какому делу тебя ни за что не приставит и одного тебя ни за каким делом не пошлет.

– А зачем же меня женили силом? Хотел разве я жениться на этой колоде, сватался, что ли? Обманом да силой из Комарова меня выкрали, венчали супротив моей воли... А потом говорил он, что все это вот было его рук дело. А теперь отлынивать стал, наемдни здесь, на этом самом месте говорил, что он делу тому непричастен, – с озлобленьем сказал Василий Борисыч и, поворотясь, застонал и заохал.

– Ишь ты! Отлынивает! – молвил Никифор Захарыч и в сильном раздумье покачал головой. – А прежде точно, что не те слова говорил он.

– Во всем я у него виноват, – горько промолвил Василий Борисыч. – С тоски погулять пойдешь, на людей поглядеть, и тут шуму да гаму не оберешься. Наплетут невесть чего, чего никогда и не бывало. Просто до того я дошел, дядюшка Никифор Захарыч, что хоть руки на себя наложить, так в ту же пору.

– Ну, а ты уж не больно, – сказал Никифор. – Обожди, бог даст, перемелется – все мука будет. То ли еще я терпел по своей глупости, такие ли мы виды видали, а вот, по милости господней, все обошлось как не надо лучше... И ты, друг, потерпи, и все будет хорошо. А главное дело – примись-ка за какую ни на есть работу, пусть бы тесть увидал, что ты не бездельничаешь да пустяковиной больше не занимаешься. Себя в пример приведу: чать, и сам ты слышал, что был я совсем последним человеком. Во хмелю жизнь проводил, воровал, когда не на что стало пить. Здесь, у Патапа Максимыча, и места мне не было, сестра не велела и к дому близко подходить. А вот, как видишь, теперь не на ту стать пошло. А отчего?

Пить бросил, за дело принялся; так и ты, друг, принимайся помаленьку за какое-нибудь дело, да полно день и ночь стихеры да псалмы распевать. Оно хоть и божественное, а все-таки надоело всем.

– Одному этому я, дядюшка, и обык, – молвил на то Василий Борисыч. Смолodu ни к какой работе не был приучен.

– Человек ты еще не старый, Василий Борисыч, ко всякому делу мог бы еще приобыкнуть, – сказал Никифор Захарыч. – Попробуй. Хочешь, я насчет этого поговорю с Патапом Максимычем? Василий Борисыч ни слова не ответил на это.

– Мне бы в Москву, – сказал он, немного повременя. – Хоть и лишился я там благодетелей, а все же своя родная сторона. Хоть мирским подаяньем питаться, только бы там быть.

– Пустое выдумал, – молвил Никифор Захарыч. – От добра добра не ищут, а у тебя добро под руками, только приневоль себя на первый раз, работай хоть в токарне, хоть в красильне. Верь, друг, месяца не пройдет, как Патап Максимыч станет на тебя ласковым оком глядеть. Поговорить, что ли, мне с ним?

– Ни в токарню, ни в красильню ни за что на свете не пойду, – очень уж обидно будет перед батраками, – сказал Василий Борисыч. – Да к тому же за эти дела я и взяться не сумею. Нет, уж лучше петлю на шею, один по крайней мере конец. А уж если такая милость, дядюшка, будет мне от тебя, так похлопочи, чтобы меня при тебе он послал. У тебя на чужой стороне буду радехонек даже на побегушках быть, опять же по письменной части во всякое время могу услужить. Мне бы только от Парашки куда-нибудь подальше.

А у самого не то на уме. «Если бы только из заволжских лесов выбраться, уехал бы к старым своим благодетелям, авось бы поладили как-нибудь».

– Ладно, молвлю ему, – сказал Никифор Захарыч. – Может статься, и согласится; только, друг, на согласие его я не больно уповаю. По себе сужу: когда пришла ко мне божья благодать и над гробом моей белой голубушки, Настеньки покойницы, почувствовался и заклатье сам себе дал бросить непутную жизнь, не сразу он поверил мне, не тотчас даже стал говорить со мной о чем-нибудь дельном. С полгода, а может, и подольше было так, и только тогда, как уверился он во мне,

стал дела доверять. Так, думаю, и теперь, что, не выдавши твоей работы и усердия, не отпустит он тебя из Осиповки, хотя бы и со мной.

И то опять возьми, станешь ты отлучаться, станешь впрохолость (Житье по временам не вместе с женой.) жить, а Прасковья бабенка молодая, и хоть дебелая и толстая, а по всему видится, что горячая она и запальчивая, хоть, правду сказать, умом и не вышла. Хоть Патап и сам Прасковью не больно жалует, но не будет согласен, ежели она без мужа по грехам пойдет. Нет, друг, по моему, надо тебе наперед дома каким ни на есть делом хорошенько заняться, а жену вовремя убоготворить, после того он, пожалуй, и пустит тебя на сторону.

– Ох, искушение! Да ведь солдатки мужей и дольше ждут, – тихонько пробормотал Василий Борисыч.

– То солдатки, – заметил Никифор, – а эта – отецкая дочь. Патап Максимыч не дозволит, а ежели бы ты и лыжи куда наострил, так от него, друг, не уйдешь: со дна морского достанет... Однако меня дорогой-то порядком изломало. Пойти бы отдохнуть.

И с этим словом пошел в свою боковушу.

Приходилось Асафу караулить деревню под самый Михайлов день, и о том повестил он друзей своих, приятелей. Ночи стояли безлунные, а темная ночка вора, что матушка. Ждали они полной удачи в задуманном деле. Следов не видно будет. Но с утра Михайлова кануна погода вдруг изменилась, сначала по небу пошли беловатые косички, потом мороз стал быстро спадать, а тут подул ветерок из гнилого угла (Юго-запад.). Мало-помалу надвигалась на небосклон снежная туча и скоро весь его заволокла. Посыпал снег, ветер стих. Чем дольше идет время, тем гуще и сильнее снег валит – и к вечеру всю землю покрыл. Сельщина-деревенщина была рада ему, как дорогому гостю, не радовались только Илья, Миней да Асаф. Того и гляди пороша помешает ихней затее, по первому снежку увидят следы, придется от палатки лесом утекать, а лесом столько добра на себе не сволочешь, сколько можно его по дороге стащить. От дела, однако, все трое были не прочь, задумано-затеяно – на попятный идти не приходится. Смеркалось, когда Илья да Миней, один после другого, пришли в избенку Асафа.

Невзрачная была та изба, сквозь прогнившую тесовую крышу текли ручьи, сама изба скривилась набок, а ставней на окнах давным-давно уже не было. В эту совсем почти заброшенную Асафову избу пришли воровские друзья его, а пришли врознь и в разное время, один пришел с одной стороны Осиповки, другой – с другой, чтобы, в случае коли бы накрыли, не заметили бы по следу, что двое зараз из одного места приходили к Асафу. А ломы были уже наготове, дня за три приятели принесли уж их в Осиповку.

К вечеру ветер потянул с полночи. С каждым часом он больше и больше усиливался, а свеженький, только что выпавший снежок струнками понесся по полям. Выше и выше поднимались с земли эти струйки, повалил пухлый, густой снег, замела метелица, поднялась пурга: завыл полуночник (Северный ветер.), воет он в деревенских печных трубах, хлопает неприпертыми калитками и дверьми, шелестит в соломе на овинах. Закутавшись в шубу, либо в армяк, крестьянин, лежа в избе, не нарадуется. «Пришел и к нам господь с великой своей милостью, принес и нам, грешным, зиму-первопутку, отдохнет теперь божий народ на новой, гладенькой дорожке, отдохнут и наши лошадушки. Слава тебе, господи, всяких благ подателю!»

А в избе у Асафа не тому радуются. Вьюга все следы заметет, никто не приметит их. Вьюга да непогода вора первая подмога.

По всей деревне потухли огни, потухли они и у работников, теплились только лампадки перед иконами в доме Патапа Максимыча. Все заснуло, все притихло, только ветер сильнее и громче завывает в дымовых трубах. Ни на одном дворе собака не взлает. Только что смерклось, Асаф разбросал знакомым псам маленькой деревушки куски говядины с каким-то зельем, принесенными Минеем. Свернувшись в клубок, собаки лежат по дворам и не чувят чужого.

Ясак свой сказал Асаф приятелям. Сам будет тихо ходить, а увидит или услышит что недоброе – станет по клетям и заборам дубиной изо всей силы поколачивать, Тогда хорони концы, береги хвосты, беги наутек, куда кто знает.

И пошли Илья да Миней с ломами к палатке. Окольным путем шли они вокруг деревни. Перелезли через забор в усад Патапа Максимыча, подошли к палатке, слегка постукали по стенам ее

ломами и, выбрав более других способное для пролома место, принялись за работу. Асаф между тем тихо похаживал по деревне, прислушиваясь ко всякому шороху.

В эти дни у Василия Борисыча женины побои немного зажили, и начал он ходить не только по избе в подклети, но и по двору, выходя, однако, наружу только по ночам, чтобы, грехом, с женой не столкнуться где. Ненависть к ней сильно накопилась в нем. Дни проводил он в разговорах со стариком Пантелеем да с Никифором Захарычем либо вполголоса напевал себе духовные песни да псалмы, а ночи просиживал на крыльчке подклети. В ночь на Михайлов день и Никифор в своей боковуше и старый Пантелей спали крепким, непробудным сном, а Василию Борисычу с тоски не спалось. В избе было жарко и душно, и он вышел на крыльцо освежиться. Вьюга метет и крутит, но он сидит себе у входа в подклеть, ветром его тут не знобит, снегом не заносит. И раздумался Василий Борисыч про житье-бытье свое, и, как вспомнится ему, в какую беду попал он, женившись на Прасковье, сердце так и замрет, а на душе станет тоскливо и сумрачно.

Ветер дул с той стороны, где стоял усад Патапа Максимыча и палатка. Василий Борисыч вдруг услышал какие-то странные, глухие удары; сначала подумал, что это ему показалось, но, прислушиваясь, ясней и ясней слышит удары. Раздумывает, что б это такое было, и не может сообразить хорошенько. Наконец, вспало ему на ум, уж не к палатке ли гости с ломами да с пешнями подъехали. Сильней стал он прислушиваться к стуку. Точно, палатку взламывают. Сам идти будучи не в силах, стал он Пантелея да Никифора Захарыча будить, но добудился нескоро, очень уже разоспались и тот и другой. Очнувшись, не вдруг смекнули они, что говорит Василий Борисыч, а когда поняли, пошли все втроем на крыльцо послушать. Слушают, – точно, идет воровская работа ломом да еще не одним. Прислушиваясь к звукам, Никифор заметил, что ломают палатку в два лома, один побольше, другой поменьше.

Тут старый Пантелей, не тревожа народ в деревне, пошел в работные избы людей поднимать, чтоб они на воров осторожней облаву сделали и, окружив их со всех сторон, руками перехватили бы. На счастье, вышло так, что, когда он переходил улицу, Асаф был на другом конце Осиповки и при разыгравшейся вьюге не заметил вдали человека. Немало нужно было времени, чтобы поднять на ноги токарей и красильщиков, не сразу они оделись. Наконец, человек до сорока работников, на всякий случай с дубинками и рогатинами, двинулись на воров. Тут подоспел Никифор Захарыч, тоже не замеченный караульщиком. Он распорядился, по скольку и куда отправляться рабочим. Сначала они все дальше и дальше отходили в сторону от деревни, потом, вдали друг от друга, пошли к палатке, чтобы густою толпой сразу окружить воров. Немного времени спустя, когда, по расчету Пантелея, облава приближалась уже к палатке, ступая тихо и осторожно и не говоря ни единого слова, один по одному рабочие, до поры до времени остававшиеся в своих избах, стали входить в деревню. Было их всего человек двадцать, у ворот каждого дома в Осиповке стало по человеку, у кого дубина в руках, у кого веревка!

Увидел их Асаф и тотчас смекнул, что дело Илье с Минеем выходит дрянно. Немедля подал он изо всей мочи ясак и зачал колотить в ворота своей избы, стоявшей на краю деревни. Между его избой и палаткой Чапурина никаких не было строений, стало быть Илье да Минеем хорошо был слышен ясак. Они всполошились, побросали ломы и хотели было бежать, но работников Патапа Максимыча набиралось на улице больше и больше, и кроме ставших у каждого двора, их пришло еще по двое и по трое со двора, они стали в каждом проулке между крестьянскими усадьбами, да, кроме того, на чапуринский двор пришло немало батраков, а оттуда на усад, стали по его окраине, а сами вперед ни шагу. Такими распорядками Никифора да Пантелея вору со всех сторон были окружены, и некуда было выскочить ни Илье, ни Минеем. Завидя работников, приходивших друг за другом в деревню, Асаф уже без счета стал колотить в свои ворота, ровно всполох бить.

– Чего колотишь? – сурово сказал ему ставший поблизости красильщик.

– Караулю, – кутаясь в шубенку, отвечал Асаф.

– Коего лешего караулишь? – зарычал почти на него рабочий. – Кто тебя ставил на караул?

– Миром положено, – отвечал Асаф, – а сегодня мой черед.

В это время слышались неистовые крики на усаде Чапурина. Они становились громче и громче. Раздались отчаянные вопли и стоны. К облаве побежали работники, что оставались на деревенской улице, шум поднялся еще больше, весь народ в Осиповке до последнего ребенка

проснулся. Проснулись и сам Патап Максимыч и домашние его. Он выбежал на улицу и увидал, что впереди работники ведут со связанными руками Илью да Минея, а за ними трех рабочих, всех в крови от ударов ломами. Воры, не зная, что на них собралась целая облава, ударили работников, что прежде других прибежали к палатке, но потом, видя, что народа набежало пропасть, перестали защищаться и молча сдались. По приказу Патапа Максимыча заперли их покамест в пустом амбаре, а только что рассвело, отправили в станковую квартиру.

Когда все успокоилось, Патап Максимыч сел в верхних горницах за самоваром вместе с Никифором. Позвали чай пить и старика Пантелея, а Василий Борисыч в подклети на печке остался. Спать он не спал, а лежа свои думы раздумывал. Между тем Чапурин, расспрашивая, как узнали о подломе палатки при самом начале дела, подивился, что стук ломов первый услышал Василий Борисыч. Не сказал на то ни слова Патап Максимыч, но по лицу его видно было, что он доволен.

– Да что он в подклети-то у вас делает? – погода немного спросил Патап Максимыч.

– Да ничего не делает, – сказал Пантелей. – Теперь вот дня с три ему полегчало, так по дням больше читает, а по ночам сидит на крыльце да что-то потихоньку попевает.

– Гм! – отозвался Патап Максимыч и задумался, барабанил по столу пальцами.

Прошло несколько времени, Никифор Захарыч прервал общее молчанье.

– Можно ли мне попросить тебя насчет его, Патап Максимыч? – сказал он вполголоса.

– О чем это? – быстро спросил у шурина Чапурин, но не гневно, не сурово, как прежде бывало, когда про Василия Борисыча речь заходила.

– Живет он у тебя безо всякого дела, – сказал Никифор Захарыч. – Ну, известно, что каждый человек без дела во всякое время может с ума спятить. По себе сужу, сам от безделья до того, бывало, доходил, что стал по всему нашему Заволжью самым последним человеком, знаться со мной никто не хотел, ребятишки даже походя надо мной смеялись да надругивались, сколько им хотелось. Вывел меня господь на добрую дорогу, и сам ты не один раз говаривал, что дело у меня из рук не валится. Тяжело мне было на добрый путь становиться, да, видно, молитвы Настеньки, нашей голубушки, до бога доходны, ведь у смертного одра ее бог послал мне перемену в жизни. Слушая последние слова ее, решился я переменить жизнь. Она, моя радость...

И не мог больше говорить, залился слезами, склонясь на стол и крепко обхватив голову руками.

– Полно, Микеша, полно, родной ты мой, – с навернувшимися слезами молвил Патап Максимыч... – Не поминай! Было время, да уж нет его, была у меня любимая доченька, в могиле теперь лежит, голубушка...

Не воротишь дней прошлых, Микеша... Полно ты меня сокрушать. Бог все к хорошему в здешнем свете строит, ни коему человеку не понять благостных путей его. Про него-то что хотел говорить ты? Про певуна-то нашего, про посланника архиерейского?

– То хотел я сказать про него и о том тебя просить: не вводи ты его во грех и напасть. Дай ты ему какое-нибудь дело, – молящим голосом сказал Никифор Захарыч.

– Много было у меня на него, беспутного, надежды, – несколько нахмурясь, сказал Патап Максимыч. – И никакого толку из него не вышло. К чему ни приставлял его для ради надзора за работами, куда ни посылал его, никакого толка не выходило. Нет, уж такой он беспутный, что на добрую стезю его не направишь. Да еще что на днях вздумал, – ты еще не приезжал тогда: худа ли, хороша ли у него жена, а все-таки, однако ж, жена, а он к девкам на посиделки повадился. Путное ли это дело, сам посуди, ведь это всему дому моему затор. Так или нет?

– Не мне судить об этом, Патап Максимыч, – сказал Никифор Захарыч, – сам был я во сто крат его хуже, – промолвил он, опустя голову. – А ведь ты отпустил же мне мое беспутство и прегрешения, а им ведь и числа нет. Отчего ж бы тебе не постараться зятя на истинный путь наставить? Ведь не чужой тебе...

– Наставишь его! как же! – молвил Чапурин. Задумался Патап Максимыч и сказал потом:

– Разве вот что: поедешь куда, возьми его, чтоб он во всем из твоих рук смотрел.

– Что ж, я ото всей души рад и на него надеюсь, – ответил Никифор Захарыч.

– Так вот, надо мне послать тебя в Красну Рамень, на мельницы, – молвил Патап Максимыч. – Возьми ты его с собой, только, чур, глядеть за ним в оба, да чтобы не балбесничал, а занимался делом, какое ему поручишь. Да чтобы мамошек там не заводил – не в меру до них он охоч. Хоть и плохонький, взглянуть, кажется бы, не на что, а такой ходок по части женского пола, что другого такого не вдруг сыскать.

– Да уж я постараюсь, чтобы пустяками-то он не занимался, – сказал Никифор Захарыч. – Доброго слова он всегда послушается, а бранью да насмешками... только пуще его раздражишь. Узнал я его хорошо, и сдается мне, что можно исправить его и приспособить ко всякому делу.

– Так бери его в Красну Рамень, поглядим, что выйдет. Поговори сегодня же с ним, а ежели еще подсыплет снежку, поезжайте с богом, – сказал Патап Максимыч. – А теперь немножко и соснуть успеем. Эх они, проклятые, как у нас всю ночь перебулгачили. А ты, Пантелеюшка, наряжай каждую ночь к палатке караул: кто их, мошенников, знает, может статься, не эти двое, а целая шайка стакнулась разграбить ее. Узнали, значит, окаянные, что не пустая стоит. Оборони господи от беды, ведь добро-то в ней не свое, а чужое положено...

Да вот еще, Пантелеюшка: молви заутро стряпкам, чтобы работникам пирогов напекли, да надо будет в Захлыстино за вином да мировом съездить.

После того все по своим местам разошлись.

С большою охотой, даже с радостью выслушал Василий Борисыч от Никифора, что тот хочет взять его с собой в Красну Рамень. Хоть и не на долгое время, а все-таки подальше от постылой жены. Там, на мельницах, по крайней мере не будет слушать ни приставаний, ни ругани ее, ни тестевой брани, ни насмешек рабочих людей.

Выехали из Осиповки недели через полторы после надлома палатки. На прощанье строго наказывал Патап Максимыч зятю, чтоб он во всем слушался Никифора и без его спроса шага не ступил бы, промолвив, что, ежели на мельницах будет он полезен и о том Никифор скажет по возврате домой, тогда Василию Борисычу будет житье совсем не такое, какое до той поры было. Простился с зятем Чапурин по-доброму, по-хорошему, ласково простилась с ним и теща, а Прасковья Патаповна злобно завывала в источный голос, узнав о внезапном отъезде не один раз битого ею мужа.

– Да на что ж это похоже, да что ж это такое? – на весь дом голосила она. – Нешто на то он женился, чтобы надолго покидать молодую жену? И то недели две он ко мне не прихаживал!.. Хоть бы простился с женой в ее горнице, как быть следует всякому мужу с женой. И того не смыслит, шут этакой.

Молчал Василий Борисыч, ровно воды в рот набрал. Пристала к отцу Прасковья Патаповна, требует, чтоб оставил он дома Василья Борисыча.

Молчал сначала Патап Максимыч, но когда любезная дочка надоела ему просьбами и воплями, строго прикрикнул на нее:

– Замолчишь ли, дурища ты этакая! Хоть бы стен-то постыдилась, бесстыжая. Молчать у меня! Не то плетки попробуешь. Давно она по тебе тоскует.

Прасковья Патаповна вдруг присмирела, услышав родительскую угрозу. Сухо простилась она с мужем, а тот ей хоть бы единое слово промолвил.

Незадолго до сумерек тронулись из Осиповки Никифор с Васильем Борисычем. Никифор правил парой добрых лошадок, хорошо знал он в лесах все пути и дороги, в прежнее пьяное время они были им исхожены. Василий Борисыч сидел с ним рядом в легоньких санках-казанках.

Когда поехали, стала подувать непогода: синее небо потускло, и полный почти месяц заволокло ровно пухлыми белыми тучами, повалили хлопья снега, и забушевала метель. Ничего не стало видно в пяти шагах, дорогу замело, а на беду ехали чащей, ни деревца, ни кустика, и все, что

было на виду, сплошь теперь покрыто было снегом. Никифор Захарыч убедился, что он сбился с дороги и не может опознаться, в какие места заехал, а казалось ему, что отъехали они уже верст пятнадцать, если не больше. Деревни в той стороне частые, не больше версты или в полутора друг от дружки стоят, но вот их, как на беду, ни одной не попадает. А волки так и прядают возле санок, еще хорошо, что колокольчик был навязан на дуге, зверь, сколь ни силен, сколько ни зол, все-таки его побаивается. Со страха робкий Василий Борисыч дрожмя дрожал; ему казалось, что теперь такая опасность наступила, пред коей почти ничего не значила даже скачка сломя голову по пылающему лесу на другой день после первого сближенья с постылою теперь и ненавистною женой.

– А ведь мы сбились с дороги-то, – сказал, наконец, Никифор Захарыч.

– Полно ты! – в ужасе вскрикнул Василий Борисыч.

– Ей-богу, сбились, – молвил Никифор. – Судя по времени, надо бы давно нам Зименки проехать, а вот теперь ни их и никакого другого жилья не видать. Беда, просто беда!

– Ох, искушение! – в отчаянии проговорил Василий Борисыч. – Этак, пожалуй, замерзнем, либо волки нас съедят.

– Мудреного нет, – равнодушно отозвался Никифор.

А лошади приустили меж тем и едва двигаются по сугробам, а вьюга разыгрывается все пуще да пуще.

– Что ж нам теперь делать? – слезным голосом спросил немного погодя Василий Борисыч.

– На волю божью положиться. Что пошлет бог, то и будет, – ответил Никифор. – Ежели кони совсем станут, надо будет в снег зарываться. Сказывают, так не замерзнешь.

– Ох, искушение! Господи, господи! Царица небесная, спаси и помилуй, вскрикнул Василий Борисыч и стал читать одну молитву за другою.

А давно ли, кажется, натерпевшись жениных побоев и наслушавшись брани тестя, раздумывал он, как решить с самим собой, утопиться либо удавиться.

Никифор Захарыч опустил вожжи и дал лошадям волю идти куда знают. Только изредка похлестывал их, чтобы не стали. Долго путали они, наконец вдалеке послышались лай и вой нескольких собак: волков, значит, почуяли. Никифор стал править лошадей на доносившийся лай.

– Ну теперь, бог даст, куда-нибудь приедем, – сказал он, и Василий Борисыч начал читать благодарные молитвы за спасение от напрасной смерти.

Собачий лай становился все громче и громче, стало видимо, что путники подъезжают к какой-то деревне. Вот, наконец, и прясла околицы, виднеется и строенье. В крайней большой, но запущенной избе виден огонь. К той избе и подъехали. Никифор постучал в ворота и громким голосом крикнул:

– Эй вы, крещенные! Не дайте людям напрасно погибнуть, укройте от непогоды.

В избе пошел какой-то неясный говор, и через несколько времени послышался старческий голос:

– Постойте маленько, родимые, сейчас отомкнемся. Наталья, подь отопрй добрым людям.

Вскоре растворилась калитка. Пред приезжими стояла женщина, сколько можно было заметить, еще молодая.

– Ведите под навес коней, – сказала она, – а в избу-то вот направо будет крыльцо. Уж не пропшите на нас, с лучиной-то на дворе ходить в такую непогодь опасаемся, а фонарика, по недостаткам, у нас не случилось.

Поставив лошадей, Никифор с Василием Борисычем вошли в избу. Не приборна она была, и сразу заметно, что запущена лишь в последнее время, но все же таки в ней было тепло, а для приезжих это было всего дороже.

– Как ваша деревня прозывается, старинушка? – спросил Никифор Захарыч, войдя в избу и снимая с себя промерзшую дубленку. Он позамешкал немного, убирая лошадей. Василий Борисыч в это время успел уж скинуть шубу и залез в теплое местечко на полати.

– Деревня Поромово, милый человек, деревня Поромово, – отвечал старик хозяин.

– А далеко ль от вас будет Осиповка? – спросил удивленный Никифор.

– Да как тебе сказать, не то пять, не то шесть верст – близехонько.

– Проплутали же мы! – молвил Никифор Захарыч. – Я думал, что мы верст пятнадцать отъехали, а всего-то пять проплутали. Да и попали не в ту сторону, куда надобно.

– А в кое место путь держите? – спросил старик.

– В Красну Рамень, – отвечал Никифор.

– И впрямь, заехали не по дороге, не по дороге, – молвил старик. – Да что за мудрость сбиться путем в такую выюгу. Ведь свету божьего не видно. Долго ли тут до беды!..

Запасливый Никифор Захарыч захватил из Осиповки небольшой самоварчик. Надрогшись от стужи, захотел он чайку испить. Василий Борисыч тоже был не прочь от чая. Никифор принес из саней самовар и погребец с посудой, а хозяин кликнул в сени:

– Наталья, подь-ка сюда!

Немного повременя, вошла в избу молодая девушка, как видно сильная и работающая, но лицо у ней было истощенное, ровно изношенное, бледное, веки красные, глаза масляные, нахальные, бесстыжие, с первого взгляда видно было, что пожила она и потешилась.

– Поставь гостям самоварчик. А что, Параньки все еще нет?

– Еще не приходила, – молвила Наталья.

– Опять на всю ночь загуляла, – сказал старик. – Ну, а ты ставь самовар-от.

И Наталья скорым делом принялась за самовар.

– Из Осиповки едете, честные господа, аль подале откуда? – сидя на передней скамье, спросил хозяин у Никифора, тоже залезшего на полати поразогреть себя после такой выюги.

– Из Осиповки, – ответил тот. Не от Патапа ли Максимыча едете! – опять спросил старик.

От него от самого, – ответил Никифор. – В Красну Рамень на мельницы послал нас.

– Довольно известны про Патапа Максимыча, – сказал старик. – Оно и дело-то соседское и близехонько от него живем. Опять же в красные дни мои много я милостей от него видал.

– А как звать-то тебя, старина? – очнувшись от дремоты, спросил Василий Борисыч.

– Трифон Михайлыч буду, по прозванию Лохматый, – молвил старик.

Всем телом дрогнул Никифор Захарыч. Вот куда занесла его выюга, к отцу ненавистного Алешки. Никогда не мог он простить ему Настиной смерти. Никифор все знал, а чего не знал, о том давно догадался.

Замолчал он, не говорит ни слова и Василий Борисыч. Между тем Наталья поставила самовар на стол, поставила умелой рукой и расставила вынутую из погребца посуду. Видно было, что в прежнее время не жила она в таких недостатках, какие теперь довелось ей испытывать.

Слезли с полатей Никифор Захарыч и Василий Борисыч и, усевшись на скамье, предложили чай-сахар и хозяину и ставившей самовар Наталье. За чаем пошла речь про Патапа Максимыча. Заговорил Трифон Лохматый.

– Благодетель он бывал нам в прежнее время. То есть не самому мне, а большему сыну моему, Алексею. А Алексей в те поры бога еще не забывал, родителям был покорен и деньги, что давал ему своею щедрою рукой Патап Максимыч, в дом приносил. Был тогда я человеком зажиточным, да напасть нашла на меня, токарня сгорела. И послал я тогда Алексея сколь-нибудь заработать, чтобы справиться, а был он самый первый токарь по всей стороне и полюбился Патапу Максимычу, и тот ему беспримерные милости делал. А вы, господа честные, не свои ли будете Патапу Максимычу?

– Да, – сказал Никифор, – я ему шурин, а это зять, на дочери его женат...

– Довольно слыхали, дело ведь недалее, – сказал Трифон Лохматый. Сам-от я хоть отроду не бывал у Патапа Максимыча, а знаю все, народ-от ведь говорлив, и рот у него не зашит, – прибавил от.

– Как же это при таком ближнем соседстве никогда ты не бывал у Патапа Максимыча, – он ведь в здешней стороне человек на виду, – молвил Никифор Захарыч.

– И больно даже на виду, – сказал Лохматый. – Первый человек по всему, да дела-то никогда у меня такого не доводилось, чтоб у него в доме быть. Когда господь меня еще миловал, когда еще он, праведный, не смирял моей гордыни, ни до кого мне не было дела, ни до коего человека. Опречь себя да семейных своих, и знать, бывало, никого не хотел...

А когда дошел я до бедности, стыдно и совестно стало водиться с такими людьми, как Патап

Максими́ч. Еще, пожалуй, придет ему на мысль, думаю я себе, не за милостью ли какой пришел я, и вот я к нему ни ногой. Ежели я видал от него большие милости, так они были сделаны сыну моему за его усердие. Патап-от Максими́ч возлюбил его как родного сына, ничего для него не жалел, ну, а я совсем иное дело... Что ему до меня? Поди, и не знает, каков есть на свете человек Трифон Лохматый. Большому кораблю большое и плавание, а мы что? У меня в последне-то время и мыши в амбаре перевелись с голодухи. Потому по самому в дружбе да в приятельстве мне с Патапом Максими́чем быть не доводится, а кланяться ему да всячески подслуживаться не хочу...

Умирать стону с голоду, а никому не поклонюсь; во всю жизнь одному только богачу поклонился я, Христом богом просил помощи моей старости, помощи родной семье, и то ничего не выпросил. И тот богач был свой человек. После того как я чужому богачу руку протяну, как я ему стану про бедность свою рассказывать? Нельзя, никак нельзя.

Рому бутылку из погребца вынул Никифор Захарыч и пуншик сделал. Три стаканчика опорожнил с гостями Трифон Лохматый и пуще прежнего разговорился.

– Да, Никифор Захарыч, – так начал он, – да, любезный ты мой, надо всяким человеком господня сила. Но кто знает, как ее снесет? Не в суд и не в осуждение будь тебе сказано, сам ты каков прежде был человек? По всей стороне довольно про то ведают. А как воссияла над душой твоей сила господня, стал ты теперь совсем иной... Был ты никуда негодящим человеком, и плохо бывало тебе. А теперь, как послушу, мало на свете таких умных, хороших людей, как ты. А ежели от кого отступит сила господня, тут сейчас враг. И как только он проклятую свою силу возымет над каким ни на есть человеком, будь он самый добрый, самый хороший, станет злым и отъявленным врагом всего доброго. По своим знаю и ведаю, какова бывает сила бесовская, ежель она подведет хорошего человека под себя...

– Это правда, – молвил Никифор Захарыч. – Как только зачнет человек жить не по хорошему, нечистый тотчас в его душу, и господня благодать его покинет... По себе знаю, Трифон Михайлыч.

– Был у меня сын Алексей, – после недолгого молчанья продолжал Лохматый. – Парень был разумный, смирный такой, рассудительный. А из себя красота, всем взял, и лицом, и ростом, и дородством. И на всякую работу по дому только его взять, во всяком крестьянском обиходе, бывало, его только взять, смысленный по всему парень был, любоваться, бывало, только на него. А по токарной части до того дошел, что не было ему еще полных двадцати лет, как первым, самым то есть самолучшим токарем по всей здешней стороне славился. По всему хороший был парень, к отцу, к матери почтительный, о братишке да об сестрах заботливый, по дому во всем старатель. Спать, бывало, не ляжет, не присмотревши всего во дворе, хоть за день-от совсем истомится в токарне.

Бывало, мы с женой покойницей не нарадуемся на своего разумника. Подросточек мой Саввушка тоже было по братним стопам пошел, дочери были рукодельницы, хорошие помощницы моей Абрамовны. Добрая она у меня была хозяйка, вот только еще двадцать недель как померла. Жили мы в довольстве, жили да бога благодарили... Вдруг иные дни наступили, посетил нас господь испытаниями, токарня сгорела, лихие люди позавистовали – подожгли. А по скорости и в клети похозяйничали, все почти добро повытаскали. Коней пару угнали неведомо куда. И с той поры по бедам я пошел. Послал я тогда большого сына в работу к Патапу Максими́чу, и возлюбил его Патап Максими́ч паче всякой меры, деньгами пожаловал, так что мы и токарню новую поставили и животиной обзавелись, только уж такой спорыньи по хозяйству, как прежде была у меня, не стало. Не на кого было всем делом положиться, большой сын на стороне в работе, Саввушка еще недоспел, однако ж и его я послал ложкарить – ловкий ложкар из нашего мальчика вышел.

Взяться некем, самому не под силу была работа, к седьмому десятку тогда уж подходило, ну и захирело все по дому. Полугода не прошло, как куда-то послал Патап Максими́ч Алексея по своим делам и наградил его не по заслугам. Ну тут бы еще ничего: в дом деньги отдал, а тут по скорости пали к нам слухи, что женился он на богатой вдове, а женился без родительского благословения. А дом у меня все падал да падал, беды пришли великие, дочери нехорошими делами стали заниматься и тем мою Абрамовну в могилу свели. Саввушка тоже недобрым путем жизнь повел, в солдаты нанялся, где теперь он, сердечный, не знаю, не ведаю, угнали куда-то в дальние места голубчика. Так вот и остался я бобыль бобылем, в тоске, слова не с кем сказать, а я человек

старый и немощный, вот скоро семьдесят лет исполнится, а ведь и в божьем писании сказано: «Что больше того, один труд и болезнь».

Под это слово старика Наталья принесла сковороду с яичницей и, низко поклонясь гостям, вышла вон.

– Покушайте, гости дорогие, – сказал Трифон Лохматый, придвигая сковороду к ним. – Не посетуйте, что лучше чего-нибудь не поставил. Было бы прежнее время, не так бы я вас угостил, а теперь, делать нечего, недостатки и бесхозяйство.

– Нечего беспокоиться, не для чего было и глазунью на стол ставить, молвил Никифор Захарыч. – За одно тепло тебе большое спасибо, ишь вьюга-то как разыгралась, так и завывает. Без твоего крова да без твоей доброты совсем бы нам пришлось замерзнуть.

– Так вот, гости мои дорогие, – немного погодя продолжал свой рассказ Трифон Лохматый, – сынок у меня тысячами ворочает, кажись бы мог помочь отцу при его крайности, ан нет, не туда оно пошло, не тем пахнет, женины деньги и все ее именье мой Алексей к своим рукам подобрал, и она, несчастная, теперь сама без копейки сидит. Отцу тоже ничего не дает, забыл хлеб-соль родительскую, забыл родимый дом и брата забыл и сестер – всю свою семью. Не о том теперь у него думы, не обо мне попечение. Был я у него, как он еще в нашем городе проживал, теперь, слышь, на Низ куда-то уехал и там в Самаре другим домом обзавелся, а прежний продал. Прихожу я к нему в дом, настоящий дворец, мало таких в городе.

Насилу меня до него допустили. Увидались, однако, так он хоть бы бровью повел после долгой разлуки, хоть бы кусок черствого хлеба, хоть бы чашку чаю подал отцу-то. Поговорил я с ним, сказал про свои нужды, так он хоть бы словечко какое-нибудь вымолвил, а на прощанье от такого богатства дал пятирублевую. «Отвяжись, дескать, ты от меня». Так вот какие нынче детки-то бывают: ты их пой, корми, вырасти, а после того они и знать тебя не захотят.

– Давно я его знаю, – нахмурившись и злобно глядя в сторону, сказал Никифор Захарыч, – всегда был беспутным, всегда умел за добро злом платить.

Вьюга не переставала, и Никифор с Василием Борисычем остались ночевать у Лохматого. К утру стихла погода, и они собрались в путь, но Лохматый, как они ни отговаривались, не пустил их, не угостивши на прощанье блинами да яичницей.

На мельницах-крупчатках в Красной Рамени Никифор тотчас по приезде принялся за дело, и оно у него закипело; принялся за него и Василий Борисыч, сначала горячо, а потом с каждым днем охладевал к работе, потом совсем обленился, опустил и все время проводил в постели, не говоря ни с кем ни слова и только распевая стихеры. Скука была для него непомерная, а потом напала тоска. Напрасно Никифор Захарыч уговаривал его приняться за работу, просил и молил его, ничто не помогало. По-прежнему Василий Борисыч валялся на постели да попевал стихеры. А у самого только и на уме: «Куда бы деваться, чтобы не видаться с противною женой. Ни за что на свете не ворочусь к ней в Осиповку. О господи, ежели б ты ее развязал со мной! От нее от одной такое вышло мне положение. Без нее мог бы я к своим воротиться, а при ней сделать того никак невозможно, венчанная жена да еще венчана-то в великороссийской! Вот оно, искушение-то!»

Ровно услышана была молитва Василия Борисыча: за неделю до Рождества получил он от тестя коротенькую записочку: «Приезжай сколь возможно скорее. Параша лежит при смерти».

И лошади были присланы. Нимало не медля, Василий Борисыч собрался в путь и поехал в Осиповку. Дорогой работник рассказал ему все, что знал про болезнь Прасковьи Патаповны. Недели полторы тому, как она в бане парилась, а оттуда домой пошла очень уже налегке да, говорят еще, на босу ногу, а на дворе-то было вьюжно и морозно. Босыми-то ногами, слышь, в сугроб попала, ну и слегла на другой день. Много ль такой надо? Сам знаешь, какая она телом нежная, не то что у нас, простых людей, бабы бывают, той ни вьюга, ни сугроб нипочем.

– Что ж, она в памяти? – спросил Василий Борисыч.

– В памяти-то, слышь, еще покуда в памяти, а сказывают, начала заговариваться, – отвечал работник.

– Что ж? за лекарем в город посылали или нет, – продолжал свои расспросы Василий Борисыч.

– Как же не посылать, посылали, – отвечал работник.

– Что же он говорит?

– Что говорит, про то я не знаю. Знаю только, что пробыл он у Патапа Максимыча не очень долго и, только что уехал, меня за тобой послали, а другого работника, Селиверста, в Городец, за попом.

Встрепенулось сердце у Василия Борисыча. «Авось не отлежится, авось не встанет! Ох, искушение!» – подумал он.

Он застал жену без языка. Так и не пришлось ему двух слов сказать. На похоронах он громко подпевал городецким дьячкам, – скитницы не пожаловали петь к Патапу Максимычу, очень уже сердилась на брата мать Манефа, – и сама не поехала и другим не велела ездить. Все ее слов послушались, никто из сбирательниц не приехал в Осиповку.

Спустя недели полторы после похорон Патап Максимыч позвал зятя к себе в горницу и сказал:

– Вижу я, Василий Борисыч, что из тебя никакого толку не будет. Зачем же вместе нам жить, быть в тягость друг другу? Разойдемся-ка мирно, по-доброму, по-хорошему.

Не поминай меня и дом мой лихом. О сыне своем, о Захарушке, заботы не имей, теперь он на руках у Дарьи Сергевны, а будет у Груни, как ей станет посвободней и ежели Дарья Сергевна хозяйкой в доме останется. А по времени, если будет богу угодно, все мои недостатки ему с Груней пополам отдам. А на Аксиною Захаровну рассчитывать нечего, и с радостью бы понянчилась со внучком, да сама на ладан дышит. Лекаря к Параше привозили, поглядел он на Захаровну и сказал, что не жилища она на свете, до весны ни в коем разе не проживет. Так разойдемся-ка лучше, Василий Борисыч: у тебя своя дорога, у меня своя, не будем мешать друг другу. Знаю, что тебе в люди деваться некуда, так вот на обзаведенье да на прожиток. Пиши, чтобы знать, где находишься, по силе возможности стану тебе каждый год присылать на житье. Прощай. Дарю тебе пару лошадок да санки, поезжай, куда знаешь. А это возьми.

И подал ему увесистый бумажник. Молча принял Василий Борисыч подарок тестя и низко ему поклонился.

Так и расстались. Ни с той, ни с другой стороны на расставанье сожалений не было. Василий Борисыч радостно уехал из тестева дома.

Кинулся он в один скит, кинулся в другой, нигде не принимают. Тогда поехал на старое пепище в Москву. Там была такая же встреча от Рогожских. Кланяться даже никто с ним не кланялся. Иудой предателем все обзывали. Купил тогда Василий Борисыч на одной из московских окраин небольшой деревянный домик и поселился там. И вечно один, а без людей жить нельзя – обуяет тоска одиночества, самая мучительная тоска, какая только есть на свете. Отвернулся Василий Борисыч от Рогожских и с другими людьми знакомство повел. Мало-помалу перестал он и думать об архиереях, хотя так недавно еще служил им верой и правдой. Как человек, много видавший и много из старообрядской жизни знающий, он для многих был занимателен. И скоро нашел немало близких приятелей, добрых людей из православных. А на Рогожское ни шага.

Груня с Марфой Михайловной усердно хлопотали над заготовлением приданого, и все сделано ими было так хорошо, что все, кто ни видел его, не мог налюбоваться. Все было сделано и богато и с большим уменьем. Петр Степаныч купил большой, поместительный дом. По советам и указаньям на каждую мелочь Сергея Андреича, он устроил свой дом на славу. С нетерпеньем ждал Самоквасов Крещеньева дня, чтобы сыграть свадьбу, но пришлось помедлить: около Крещенья умерла Прасковья Патаповна, нельзя было Патапу Максимычу прямо с похорон на свадьбу ехать, а без него Дуня никак не хотела выходить замуж. «Он в горькие мои дни заместо отца мне был, – говорила она, – заботился обо мне все одно как об родной дочери, как же можно мне без его бытности, без его благословения венец принять». Решились повременить, а как в том году рождественский мясоед был короткий, то, списавшись с Патапом Максимычем, положили обвенчаться пред масленицей. Хотя не очень-то нравилось это Петру Степанычу, но, делать нечего, надо было согласиться.

Так как Самоквасов еще никаких торговых дел не заводил, то и наперсник его Семен Петрович, саратовец, жил пока у прежнего хозяина Ермолая Васильича. Понадобилось ему по какому-то делу Семена в Москву послать, а кстати свезти на Керженец ежегодное подавание, чтобы потом

летом в другой раз туда не посылать. Саратовец по дороге заехал к Самоквасову и застал его в больших хлопотах по отделке новокупленного дома. Не надивится Семен Петрович убранству, каким украшал дом его приятель, а когда узнал, что у него скоро свадьба с богатейшею дочерью покойника Смолокурова, которую видал он в Комарове, так только руками развел от удивленья. Заметил он тут, что Петр Степаныч неохотно говорит про скиты и про бывшие там проказы, что вместе они там выкидывали.

Поехал Семен Петрович в Комаров и там, по обыкновению, пристал у Таисеи, в обители Бояркиных. Не бывав там года полтора, с тех пор как увезли Василья Борисыча да Прасковью Патаповну, много нового узнал он от Таисеи, узнал, что мать Манефа совсем разошлась с братом, а сама чуть не в затвор затворилась, передав управление обительскими делами Фленушке, для чего та постриглась в иночество и теперь стала матерью Филагрией.

– Увидите и не узнаете прежнюю Фленушку, – говорила Таисея. – Ровно восемь месяцев, как она уже в инокинях. Все под руку подобрала, никто в обители без позволения ее шагу сделать не может. Строга была Манефа, а эта еще строже; как сам знаешь, первая была проказница и заводчица всех проказ, а теперь совсем другая стала; теперь вздумай-ка белица мирскую песню запеть, тотчас ее под начал, да еще, пожалуй, в чулан. Все у нее ходят как литье по дну. Ты когда идти к ней собираешься?

– Да завтра думаю, – ответил Семен Петрович.

– Иди пораньше, – молвила Таисея. – Скоро-то она до себя никого не допускает, особливо ежели кто из посторонних, не из скитских, значит. А о прежних проказах лучше и не поминай, вон выгонит.

– Ну, уж и выгонит? – голосом сомнения сказал Семен Петрович.

– Вот увидишь. Попробуй только, – молвила Таисея. – Да еще и твоему хозяину напишет, чтобы ни впредь, ни после он тебя в скиты не посылал.

– Не может быть того, – ответил Семен Петрович. – Ведь мы старые с ней знакомые.

– Что было, то былью поросло, благодетель. Говорю тебе, стала она совсем другой человек.

Не очень-то доверял словам Таисеи Семен Петрович и знакомым путем пошел к кельям Манефы. И путь не тот был, как прежде. Тогда по зеленой луговине пролегала узенькая тропинка и вела от одной к другой, а теперь была едва проходима дорожка, с обеих сторон занесенная высокими снежными сугробами чуть не в рост человека. Отряхиваясь от снега, налипшего на сапоги и самое платье, пошел саратовец на крыльцо Манефы и вдруг увидал, что пред ним по сеням идет с какою-то посудой Марьюшка.

– Тебя откуда принесло, непутного? – не то с робостью, не то с радостью спросила она, увидя его.

– Из города Саратова, голубушка ты моя Марьюшка, Ермолай Васильевич прислал с подаянием. Ну здравствуй, моя дорогая. Что отворачиваешься? Поздороваемся по-прежнему, обними покрепче, поцелуй горячей, – начал было Семен Петрович, но Марьюшка руками на него замахала.

– Тише, – сказала она, – тише, услышит матушка, беда будет мне, да и тебе неладно. Нынче у нас такие строгости пошли, что и рассказать нельзя, слова громко не смей сказать, улыбнуться не смей, как раз матушка на поклоны поставит. Ты ступай покамест вот в эту келью, обожди там, пока она позовет тебя. Обожди, не поскучай, такие уж ноне порядки.

– И все эти строгости завела Фленушка? А я было совсем иного чаял. Помнишь?

– Молчи, – сказала Марьюшка и, затворивши дверь кельи, скрылась в переходах игуменской стаи.

Долго взад и вперед ходил по келье Семен Петрович. Это была та самая келья, где в прежнее время жила Фленушка. Сколько проказ тут бывало, сколько хохота и веселья, а теперь все стало могилой, с самих стен, казалось, веяло какою-то скукой. Порядочно-таки прошло времени, как вошла в келью молодая, пригожая, но угрюмая и сумрачная белица. Ее никогда не видывал саратовец, бывая прежде в Комарове.

Мать Филагрия сидела за столом, когда вошел Семен Петрович, и внимательно перебирала письма и другие бумаги. Положив уставной начал, низко поклонился он матери игуменье. Тут

только взглянула на него Филагрия и поспешно опустила на глаза флеровую наметку.

– Какими это судьбами не в урочное время пожаловал к нашему убожеству? – тихо промолвила мать Филагрия. – В прежние годы летом всегда приезжал, а теперь, вдруг перед масленицей. Уж здоровы ли все, Ермолай Васильич и домашние его?

– Слава богу, и Ермолай Васильич и все его домашние здравствуют и вам кланяться наказывали, – отвечал Семен Петрович. – А так как довелось мне по хозяйскому делу в Москву ехать, так Ермолай Васильич и заблагорассудил, чтоб я теперь же заехал к вам в Комаров с ежегодным подаванием, какое каждый раз от него посылается.

– Спаси господи и помилуй своими богатыми милостями благодетеля нашего Ермолая и всех присных его, – встав с места и кладя малый начал, величаво сказала Филагрия. – Клавдюша! – кликнула она незнакомую Семену Петровичу послушницу, что у новой игуменьи в ключах ходила.

Неслышными шагами вошла та и смиренно стала у притолки.

– Поставь, Клавдеюшка, самовар да сberi нам чайку поскорее, – сказала мать Филагрия. – Да закусок поставь закусить, водочки, мадерцы, еще что там есть.

– Слушаю, матушка, – с низким поклоном ответила послушница и торопливо вышла вон из кельи.

– Что матушка Манефа, как ее спасение? – спросил, немножко помолчав, Семен Петрович.

– Что матушка Манефа? Стара, дряхла, но духом бодра, плотью же немощна, – отвечала Филагрия. – Всего больше по хилости своей да по слабости телесных сил и поставила она меня на свое место в начальницы обители. А это дело нелегкое. Особенно трудно ладить с окольными мужиками, каждому стащить бы что со скита, бога не бояться, и совести нет в глазах. Ну да, бог даст, ежели оставят нас на старых местах, уладимся с ними, теперь они все нашей выгонки ждут и надеются, что обительские строения им достанутся. Тяжело с ними ладить, ох, как тяжело, Семен Петрович! Скажите Ермолаю Васильичу – не оставил бы нас, убогих, при теперешних наших тесных обстоятельствах своими благодеяниями... Привезли ли что-нибудь?

– Как же, привез, матушка, – отвечал саратовский приказчик. – Только Ермолай Васильич наказывал отдать из рук в руки матушке Манефе. Должно быть, не знает о перемене у вас в обители.

– Матушка Манефа ни в какие дела теперь не вступает, все дела по обителям мне препоручила, – сказала мать Филагрия. – Теперь она здесь, в Комарове, приехала сюда на короткое время, а живет больше в городе, в тех кельях, что накупила на случай выгонки. Целая обитель у нее там, а я здешними делами заправляю, насколько подает господь силы и крепости. Отдайте мне, это все одно и то же. И прежде ведь матушка Манефа принимала, а расписки всем я писала. Ермолаю Васильичу рука моя известна.

– А матушку Манефу можно видеть? – спросил Семен Петрович.

– Никак нельзя, – отвечала Филагрия. – Еле бродит, вряд ли до весны дотянет.

Семен Петрович передал письмо и деньги матери Филагрии. Та, прочитавши письмо, молча и низко поклонилась, потом сосчитала деньги и написала расписку.

– Долго ли здесь прогостишь? – спросила она его.

– Гостить долго мне не приходится, – ответил Семен Петрович. – В Москву спешу по хозяйским делам. Завтра бы утром, пожалуй, и выехал.

– А здесь-то у кого пристал? – спросила Филагрия.

– Да все на старом насиженном месте, у матушки Таисеи в обители, сказал Семен Петрович.

– Напрасно, не советовала бы я, – молвила на то мать Филагрия. – И Таисея напрасно приняла тебя. Время теперь опасное, хоть до лета, по письмам наших петербургских благодетелей, ничего и не предвидится, а все-таки на грех могут нагрянуть. И вдруг в женской обители постороннего мужчину найдут. И, бог знает, что из этого выведут. Ноне сторонние, что в Комаров приезжают, у иконника, у Ермилы Матвейча, пристают. Вот бы тебе там и остановиться, а ты по-прежнему прямо в святую обитель. И Таисея-то дура набитая, что пустила тебя... Ну на один-от день еще, пожалуй, ничего, авось бог милостив, а ежели дольше останешься в Комарове, к Ермилу Матвейчу переходи, там дело безопаснее.

Под это слово послушница Клавдеюшка внесла самовар и принялась уставлять стол чайным прибором, а другой разными закусками и напитками.

– Подкрепитесь-ка наперед водочкой либо винцом каким-нибудь, а после того и за чаек примемся, – молвила мать Филагрия.

Семен Петрович не заставил долго просить себя, выпил и закусил.

За самоваром мать Филагрия продолжала рассказ свой о тяжести обительских хлопот, что так неожиданно легли на ее плечи, жаловалась на судьбу, но обо всем говорила строго, с невозмутимым спокойствием.

– И по своей обители хлопотать и по всем другим скитам, – говорила мать Филагрия. – К нам по-прежнему, как при матушке Манефе, все благодетели имеют доверие и на наше имя высылают подаяния. И отовсюду, особенно из Петербурга и Москвы, письма к нам только пишут, а в них пишется все, что и до других скитов касается. От одного от этого голова иной раз кругом пойдет. А тут еще разбирай иной раз ихние свары да ссоры. Тяжеленько, Семен Петрович, иной раз очень тяжело приходится.

Вы скажите обо всем об этом Ермолаю Васильичу, пожалел бы хоть сколько-нибудь нас, смиренных. Водочки-то другую рюмочку искушали бы, прибавила она, указывая гостю на столик с напитками и закусками. – Осетринки кусочек возьмите, отменная осетрина, мало бывает такой, а в продаже и вовсе нет. От Смолокуровых, от Дарьи Сергевны на помин души Марка Данилыча прислана.

– Захлопоталась сама-то, должно быть, – заметил Семен Петрович. – Ведь в скорости после родительских похорон была просватана за Петра Степаныча.

Бровью даже не повела мать Филагрия при словах Семена Петровича. Хоть иноческая наметка была у нее совсем назад закинута, но в лице ее незаметно было ни малейшего волнения, как будто разговор касался людей, совершенно ей чуждых.

– Что же? – твердым и спокойным голосом, помолчав немного, проговорила она. – Оба они люди мирские, иночества на них не возложено. Еще в земном раю, насажденном на востоке, господь бог сказал: «Не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника». Не обретется такового, и господь создал Адаму жену. И апостол сказал: «Лучше жениться, чем разжигаться» (I Коринф, VII – 9.). Самоквасов, сказывают, от дяди большое богатство получил, а у нее в шесть либо в семь раз того больше. Слава богу, есть чем жить, есть чем хозяйство управить. А хозяйство самое первое дело, как у богатых, так и у неимущих. Ее разумом и добрым нравом господь не обидел, и, если удастся ей забрать мужа в руки, у них в дому самым лучшим порядком пойдет и хозяйство и все, а если он станет всем в дому верховодить, рано ли, поздно ли, ихнее богатство прахом пойдет. Кланяйтесь, Семен Петрович, им от меня – и ему и ей; скажите, старица, мол, Филагрия доброго здоровья и от бога счастья желает им.

И с этими словами опустила на лицо наметку из двойного флера.

– Мадерцы хоть рюмочку искушали бы, – величаво промолвила она. – Вино хорошее, из Москвы, благодетелями прислано.

На этот раз твердый голос ее будто немного дрогнул, и, как ни укрыто было лицо ее под двойною наметкой, Семену Петровичу показалось, будто слеза блеснула на очах матери Филагрии. Но тотчас же все исчезло, и пред ним по-прежнему стояла спокойная, ничем не возмущимая мать игуменьи.

– Еще маленькую калишку, Семен Петрович, извольте выкушать. На дорожку посошок, – сказала она, слегка улыбаясь.

– Прощайте, Семен Петрович, – сказала ему она. – Ермолаю Васильичу и всем домашним его поклонитесь от меня и ото всей нашей обители. Скажите им, что мы всегдашние их молитвенники. А ответ сегодня же вам пришло.

Только насчет будущего времени, прошу я вас, у матери Таисеи и ни в какой другой обители не останавливайтесь, а случится приехать в наш скит, въезжайте к Ермилу Матвейчу, иконнику. Строго об этом накажу и матери Таисеи и прочим игуменьям. Прощайте, Семен Петрович, всякого вам благополучия.

Величаво, спокойно и без малейшего смущения простилась мать Филагрия с заезжим сара-

товцем, не раз бывшим свидетелем затейных проказ ее. Стояла она пред ним, ровно совсем другой человек, чем полтора года тому назад, когда они собирали к венцу Василья Борисыча.

Несколько времени в глубоком раздумье простояла она среди кельи. Потом, будто оправившись и придя в себя, громко крикнула:

– Клавдеюшка!

Послушница ровно из земли выросла; ожидая приказаний игуменьи, она стояла на месте, низко опустя голову.

– Прибери здесь все. Поскорее, – сказала Филагрия.

Тотчас все было прибрано, и самовар, и водка с московской мадерой, и закуски. А когда совсем прибралась, Филагрия сказала ей:

– Кто бы, по какому бы делу ко мне ни пришел, никого не допускай. Всем говори: письма, мол, к благодетелям пишет.

Вышла послушница из кельи, и Филагрия заперлась изнутри. Потом пошла в боковушу и там ринулась на кровать. Спрятав голову в подушки, судорожно она зарыдала. Но ни малейшего звука, ни малейшего знака внутренней тревоги бывшей Фленушки.

Настало, наконец, давно ожидаемое всеми близкими время Дуниной свадьбы. Венчались они в последнюю пятницу пред масленицей, после того, по церковному уставу, девять недель венчать было нельзя. Дня за четыре до свадьбы Дуня с Груней и с женихом поехали поклониться гробам родителей. Пред вступлением в новую жизнь Дуня считала сердечною необходимостью, по старому обычаю, помолиться над ними. Чубалов встретил приехавших в смолокуровском доме и устроил такие же почти обеды и ужины, какие бывали при жизни Марка Данилыча. Поклонившись родителям, Дуня спешно стала собираться обратно и звала Герасима Силыча к себе на свадьбу. Чубалов, оставив Иванушку домовничать, поехал вместе с ней.

Только что вошла Дуня в отцовский дом, письма ей подали. Они только что получены были Герасимом Силычем, и он, с часу на час ожидая хозяйку, удержал их у себя. Оба письма были из Луповиц: одно от отца Прохора, другое от Вареньки.

Радостно отец Прохор приносил Дуне поздравления со вступлением в супружескую жизнь и благодарил ее за новую, совсем неожиданную присылку с просьбой помолиться об ней и об ее женихе в тот день, когда предположили они венчаться. "А особенно утешили вы меня тем, – писал отец Прохор, – что свадьбу желаете справить в единоверческой церкви и потом остаться в оной навсегда, а зловерный раскол совершенно откинуть и, оградясь истинною верой, до смертного часа пребывать отчужденною от душепагубного раскола.

Хотя и немало соболезнаю я тому, что не вошли вы прямо во спасительную ограду святой церкви, но и тому несказанно рад, что вошли, так сказать, в церковное средостение. Несказанно ото всей души моей радуюсь, что вы находитесь теперь под церковною сенью; подай вам боже скорей и совершенного душевного исцеления от пагубные язвы раскола. Молюсь и непрестанно, дондеже, есмь, буду творить о вас и о будущем вашем супруге молитвы и моления о вашем благочестном житии, мире в вашем семействе и о божественной благодати, которую да ниспошлет владыка мира на дом ваш. Молю же вас и слезно прошу подвизаться в делах христианского милосердия и украшать душу свою посильною милостынею и иными плодами любви евангельской: паче же всего хранить чистоту душевную и телесную.

При сем не умолчу и о здешних происшествиях, в последнее время бывших. Николай Александрыч взят и неведомо куда отвезен, так что в Луповицах теперь остались только Андрей Александрыч с супругой и с дочкой, к имению же приставлена опека, и опекун ни на самое короткое время из Луповиц не выезжает.

О Марье Ивановне имеются самые достоверные сведения, якобы и она взята и неизвестно где заключена, – рассказывают, в каком-то монастыре, где-то очень далеко; слышал я о том в консистории, а там сии вести идут от самого владыки, стало быть совершенно верны. Из простого наро-

да также не мало забрано, даже духовного звания, в том числе известный вам заштатный дьякон Мемнон Ляпидариев. Вообще идет переборка пребольшая не токмо в нашей епархии, но и в соседних открывают множество фармазонов, по преимуществу из благородных. Премного радуюсь, что от вас не было никаких писем или посылок ни к господам Луповицким, ни к Марье Ивановне и ни к кому из открывшихся ныне фармазонов. А то теперь такое время, что за малейшее с ними сношение всякого привлекают к суду и законной ответственности. Взяты, рассказывают, даже два архимандрита, единственно по подозрению в сношениях с фармазонами, не говоря уж о светских людях.

Затем, прекратя сие писание, вновь приношу наичувствительнейшую и глубочайшую нашу благодарность ото всего нашего семейства за ваше неоставление в бедной нашей доле, паче же всего от всей души моей и от всего сердца молю и прошу не престану прещедрого и неистощимого в своих милостях господа бога, да излиет на супружескую жизнь вашу всякие блага и милости к вам. Да пошлет он, всесвятый, свое благословение на новую жизнь, в кою намереваетесь вступить, да пошлет вам с супругом от горнего престола своего премногие свои милости".

Напротив того, безотрадно и отчаянно было письмо Вареньки. "Господь тебе судья, что ты не захотела разделить с нами плачевную участь, нас постигшую, – писала она. – Впрочем, кто ж не старается избежать земного горя, кто не стремится к избежанию житейских печалей? Много ли найдется на свете таких, кто бы не страшился мирского страха, кои бы были беспечальными и радостно пошли бы на земные мучения?"

Поистине только одни избранные и носящие на себе горнее помазание, свыше даруемое. А у нас несчастья великие: дядю Николая Александрыча и тетеньку Марью Ивановну взяли жандармы и неведомо куда увезли, полагают, что в Петербург, думают и то, что оба они заключены в неизвестно каких монастырях. Много взято и других разного звания людей, бывавших у нас на собраниях в Луповицах. А тетеньку забрали в ее новом имении в Фатьянке. Это в вашей губернии, невдалеке от того города, где ты живешь. Неужели ты и этого не знала, а зная, не помогла от великого твоего богатства нужною суммой для освобождения столь много любящей тебя тетеньки?

Говорят, что это сделать было очень легко, да и денег требовалось бы не бог знает сколько, так что при теперешних твоих достатках освободить тетеньку было бы делом пустяшным. Сама я этих дел не понимаю, но наши все в один голос говорят, что ежели бы ты захотела ее выручить, то было бы легко и для тебя безобидно. Очень на тебя сетуют и нехорошо отзываются, но я много короче их знаю тебя и доброе твое к каждому человеку сострадательное сердце, чтобы верить таким наветам.

Скорей так полагаю, что ты вовсе ничего не знала о нашем несчастье, не знала и о положении наших дел. Разве, что не знала, как и к кому обратиться? Так у тебя, конечно, есть доверенные люди, которым без страха и опасения можно было поручить это дело. С тех пор как ты совершенно неожиданно скрылась из Луповиц, кроме того, что батюшка твой скончался и ты стала владеть миллионами, мы о тебе никакой весточки не имеем. Обещала тетенька по приезде в Фатьянку разузнать о тебе и уведомить нас, но от нее писем не получали, потому что меньше чем через неделю ее взяли, а также иных из фатьянских, которых она вывезла из симбирского имения.

Потому я и думаю, что, когда тетеньку взяли, ты о таких наших несчастьях и не знала, а в противном случае непременно бы помогла от своих великих достатков. Иначе и думать нельзя, особенно мне, когда знаю твою доброту и то, сколь много любила ты тетеньку: ведь она тебе вместо матери была и первая озарила тебя не вечерним светом истины. Поддай нам о себе весточку, добрая, милая моя Дуня, как ты поживаешь в новом своем положении, а главное, останешься ли верна тому, куда была приведена безграничною к тебе любовью тетеньки Марьи Ивановны. Пожалей ее, несчастную, пролей слезу от сердечного участия к печальной ее судьбе. А мы и сами находимся в ежедневном страхе, ожидая дней скорби и печалей. Дело, как надобно полагать, еще не кончено, берут то того, то другого из бывавших у нас и других совершенно не известных нам людей, мужчин и женщин, и притом из таких городов и селений, которых никто из наших никогда и не знал. Верно, дело идет большое, до всех добираются, говорят, что даже самые архимандриты призваны к ответу и лишены своих мест, не упоминают уж о попах, монахах и прочего звания духовных людях.

Есть слух о некоторых из помещиков в дальних от нас местах, что одни взяты, а другие отданы под надзор полиции. Мы все, а также иные из наших дворовых и крестьян, тоже находимся под полицейским надзором, недели не проходит, чтобы кто-нибудь не наезжал в Луповицы, исправник либо становой пристав. Впрочем, их надзор легкий, весь состоит из угощения, и батюшка, чем может, не оставляет их. А приставленный от полиции солдат живет в Луповицах безвыходно, но от него никакого беспокойства не видим. Вот каковы печальные наши обстоятельства, милая Дунюшка, пожалей нас в несчастии. Вспомни нашу дружбу, нашу с тобой дружбу и любовь, и не забывай Луповиц и всего, что там узнала и чему научилась".

Прочтя письмо Вареньки, Дуня бросила его в топившуюся печку, а письмо отца Прохора положила в шкатулку, где лежали разные бумаги ее и документы. Это письмо прочитала она потом жениху.

– Вот как! – выслушав письмо отца Прохора, молвил Петр Степаныч. – С никонианскими попами в переписке.

– Что ж? – сказала Дуня. – Этот самый священник сказывал мне, что разница между нами и великороссийскими в одном только наружном обряде, а вера и у нас и у них одна и та же, и между ними ни в чем нет разности. А вот Герасим Силыч все веры произошел, и он однажды говорил мне, что сколько вер он ни знает, а правота в одной только держится.

– В какой же? – с любопытством спросил Самоквасов.

– В великороссийской, – ответила Дуня.

– В великороссийской, – сказал Петр Степаныч и крепко задумался.

– Я сам тех же мыслей, – тихонько молвил он невесте.

– А давно ли? – спросила Дуня. Но разговор тем и кончился.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Свадьбу сыграли на славу, ни Дуня, ни Петр Степаныч денег на то не жалели. Но свадебный пир прошел скромно и бесшумно, так как Петр Степаныч не успел еще обзавестись знакомыми на новом месте житья-бытья. На свадебном пиру были только совсем осиротевший Патап Максимыч, Аграфена Петровна с мужем, оба Колышкины, Чубалов, Никифор Захарыч, Семен Петрович, только и всего. Как ни звали Дарью Сергевну, сколько ее ни уговаривали, не поехала из Осиповки, говоря, что совсем уж разлучилась со светом и стала чуждою всех его радостей. Только икону на благословенье прислала молодым.

Всю масленицу и великий пост молодые никуда не выезжали, бывали только у Колышкиных, и они у них. Петр Степаныч купил пару кровных рысаков – кони загляденье. На них почти каждый день катались Самоквасовы. Так как Петр Степаныч еще не приискал, каким торговым делом заняться, то и отпустил в Москву своего приятеля Семена Петровича, наказав ему, чтобы по весне он, оставив дела у Ермолая Васильича, приезжал к нему. А сам придумал заняться отцовским промыслом, хлебною торговлей: место же, благо, было подходящее и выгодное, недаром все почти тамошние торговцы вели хлебную торговлю, а он со своим да с жениным капиталами такой мог торг завести там, какого еще и не видавали.

По самой весне Петр Степаныч вздумал ехать в низовые места, там снять из оброка казенные земли и устроить на них хутора и всякое иное хозяйство. Дуня не хотела расстаться со своим молодым, она также собиралась весной ехать с мужем в понизовые места. Патап Максимыч с Никифором Захарычем туда же собирались: там у него было тоже хуторное заведение. Уговорились сплыть все вместе на одном пароходе, ждали только фоминой недели. Как ни уговаривал и Груню съездить вместе Патап Максимыч, с ним не поехала: и то ее дети по случаю свадьбы Самоквасовых долго оставались под призором нянек, хоть и были все время в том же городе, где жила их мать, но за свадебными хлопотами она почти не видала их.

Настала святая неделя, и в последние ее дни Патап Максимыч получил письмо от Махмета Субханкулова.

Тут вышла остановка в поездке на Низ. Дуня и сама не решалась ехать так далеко и мужа не отпускала без себя на пароход – хотелось ей прежде повидаться с незнакомым еще ей дядей.

В надежде на получение двух тысяч целковых, оренбургский бай сдержал слово, данное им покойному Марку Данилычу, а потом Патапу Максимычу, сдержал его даже раньше договоренного срока. Несколькими неделями прежде удалось ему русского полоняника высвободить из хивинского плена. Выкупил ли Махмет Субханкулов его за деньги, или подпоил хана вишневою наливкой, на славу приготавливаемою Дарьей Сергевной, про то они только оба знали; известно было лишь то, что Мокей Данилыч со страстной недели жил в Оренбурге в доме Субханкулова, выжидавшего обещанных ему денег. Мокей Данилыч, совсем было перезабывший родной язык, написал Патапу Максимычу письмо какими-то каракульками, наполовину русскими, наполовину татарскими.

О том, что есть у него племянница, покойника Марка Данилыча дочь, он хорошенько не знал, одно лишь смутное понятие имел об ней от оренбургского бая. Письмо дошло до Чапурина, но нескоро дошло оно до Дуни; а она, как только узнала, тотчас выслала Субханкулову обещанные деньги, а Мокею Данилычу на проезд из Оренбурга, и он вскоре воротился в родную свою губернию. Не мало времени разъезжал он, был в городе, где жил покойный брат его, и теперь встретил его Герасим Силыч Чубалов. Наконец, явился к замужней уже племяннице.

В оборванном и насквозь просаленном архалуке пришел он к Дуне. Глядя на ее богатый дом, не осмелился он вдруг подступиться к нему. Только дворник сказал ему, что действительно тут живет Авдотья Марковна Самоквасова и что она пред масленицей вышла замуж. Робкою рукой позвонил в дом хивинский полоняник; и на каждом шагу надивиться не мог роскоши дома племянницы, бывшего не в пример лучше, чем самые палаты хивинского хана.

Когда ж он сказал свое имя, неведомая дотоле ему племянница и ее муж встретили Мокея Данилыча самым родственным приветом. Несмотря на невзрачный вид дяди, Дуня так и повисла у него на шее и заплакала радостными слезами, а молодой муж также с любовью отнесся к нему. Не прошло и несколько времени, как это была уж одна семья, дружная, любовная. Мокею Данилычу отвели хорошую комнату, а на другой день, по хлопотам Петра Степаныча, готово было ему хорошее платье, и хивинский полоняник надел его вместо истрепанного своего архалука. Он стал в новом наряде таким, что в нем накануне того дня его и узнать было нельзя.

На другой либо на третий день приехал в город Патап Максимыч и познакомился с известным ему заочно Мокеем Данилычем. Не на долгое время приехала и Груня порадоваться радости давнишнего своего друга. Кроме Патапа Максимыча, приехал Чубалов, и пошел у молодых пир, где дорогими гостями были и Колышкины муж с женой. Патап Максимыч звал выходца на русскую землю из басурманского плена к себе в Осиповку и отправился вместе с ним за Волгу.

Еще до отъезда их Дуня сказала дяде, что дарит ему родительский дом, кроме того, вручила ему крупную сумму денег, «на обзаведенье», как сказала она. Света не взвидел Мокей Данилыч, слушая речи племянницы, и в голову никогда ему не приходило так неожиданно вдруг разбогатеть. Сам не знал, что говорил он Дуне, благодаря за ее милости. Ни Патап Максимыч, ни Дуня словом не сказали, и никто из других не сказал Мокею Данилычу, кого встретит он в Осиповке; приехал он туда и был крайне удивлен пустотой в доме.

После смерти Аксиньи Захаровны и Прасковьи Патаповны не было хозяйки в доме. Распорядки по крестьянам и токарням лежали на старике Пантелее, а домом покамест управляла Дарья Сергевна, хозяйство у нее шло как по маслу. В тот же день, как приехали в Осиповку, Мокей Данилыч свиделся с Дарьей Сергевной. Так оба они изменились в двадцать лет, что, встретившись где-нибудь в ином месте, они не узнали бы друг друга.

— Ну что, Мокей Данилыч, узнал ли теперешнюю мою хозяйку? — спросил у Смолокурова Патап Максимыч. Мокей Данилыч отрицательно покачал головой, а Дарья Сергевна, услышав не чуждое ей имя, вся смутилась, не знала, что делать и что сказать. Патап Максимыч, глядя на них, сказал:

— Неужто не можешь признать бывшей своей невесты?

— Нет, не могу, — сказал Мокей Данилыч. — Двадцать лет — многое время, что мы не видались с ней. Я, как вам известно, был в бусурманском плену. Ни письма какого из дому и ни весточки какой-нибудь я не получивал. Мудрено ли в таком случае не узнать самых близких в прежние годы людей? Сами посудите, Патап Максимыч.

– Оно, конечно, времени прошло много. Отца родного позабудешь, не то што кого другого, – сказал Патап Максимыч. – Однако ж мне пора в красильнях моих побывать. Оставайтесь покамест одни, люди ведь знакомые. А ты, Дарья Сергевна, закусочку покамест поставь, да водочки, да винца, какое дома случилось.. А я сейчас и назад. И до возврата моего закуски не убирай.

Он ушел, и бывшие жених с невестой остались наедине.

– Ну что ж, Дарья Сергевна, как без меня поживали? – спросил Мокей Данилыч.

– Как жила я? – отвечала Дарья Сергевна. – Сначала у покойницы Аленушки жила, а потом, как она покончилась, надела на себя я черный сарафан, покрылась черным платком в роспуск и жила в уютной горенке большого, только что построенного дома Марка Данилыча. Повела я жизнь христовой невесты и о брачном деле просила никого со мной и не говорить. И никто меня не видывал, опричь хозяев да одной старушки, что жила при мне. Чрез четыре года Алена Петровна померла, и стала я Дуне заместо матери. Марко Данилыч, покойник, тогда в торговые дела вдался, завел обширные прядильни для выделки канатов и рыболовных снастей, а на Унже леса скупал, сгонял их в свой город и строил там лодки для каспийских промыслов.

По всем делам то и дело в отлучках бывал, и я одна растила твою племянницу. Когда ж она стала подрастать, отдал он ее в Комаровский скит для обученья. Не могла я расстаться с ненаглядной моею Дуною и тоже поселилась в Комарове. Прошло довольно времени, как мы жили там, и, наконец, возвратилась она в дом родительский. И с тех пор жила я при ней до самого ее замужества. И привел мне бог закрыть глаза Марку Данилычу. На моих руках и помер он. Вот и все мои похождения за все время.

– Ну, и теперь как располагаешь насчет своей жизни. Дарья Сергевна? – спросил у ней бывший ее жених.

– Недаром же надела я черный сарафан и до сих пор не снимаю его, отвечала Дарья Сергевна. – Покамест подомовничаю у Патапа Максимыча, а по времени в скитах поселюсь: там у меня и знакомых и благодетельниц довольно. Найду себе место.

– А как же Патап-от Максимыч один останется? Ведь ты у него домом заправляешь. Как же он один-от останется? – спросил Мокей Данилыч.

– Свято место не будет пусто, – отвечала она– И кроме меня, найдется много людей. Опять же слыхала я их разговоры с Груней, будет что-нибудь одно: или она со всею семьей поселится здесь, или Патап Максимыч переедет на житье в Вихорево. Здесь будет просторнее, чем там, и верней, ежели их бог сюда перенесет. Усадьба Патапа Максимыча обширная, найдется место, где устроить Ивану Григорьевичу и шляпное и войлочное заведения. К тому же неподалеку отсюда немало таких заведений, какими Иван Григорьевич промышляет. Работников найдется вволю. А про меня, пожалуй, и не вспомнят, как я в черничках буду в каком-нибудь ските.

– А как ты насчет прежнего думаешь, Дарья Сергевна? – спросил у ней Мокей Данилыч.

– Насчет чего это? – в свою очередь спросила она.

– Аль забыла, что было у нас с тобой до моего полону? – сказал Мокей Данилыч. – Таких делов, кажись, до смерти не забывают.

– Что ж это такое? – опустивши глаза, молвила Дарья Сергевна.

– Были мы с тобой, Дарьюшка, жених да невеста. Неужто и этого не вспомнишь? Теперь я по милости племянницы стал богат, и дом, где ты двадцать лет выжила, мой дом. Что бы нам с тобой старину вспомнить? Чего прежде не удалось сделать, то бы мы теперь разом порешили. Были мы жених с невестой, а теперь можно бы было сделаться мужем и женой.

– Голубчик ты мой, Мокей Данилыч, зачем старое вспоминать. Что было когда-то, то теперь давно былью поросло, – сказала, видимо смущенная, Дарья Сергевна. – Вот ты воротился из бурсманского плена, и ни по чему не видно, что ты так долго в неволе был. Одет как нельзя лучше, и сам весь молодец. А вот погляди-ка на себя в зеркало, ведь седина твою голову, что инеем, кроет. Про себя не говорю, как есть старая старуха. Какая ж у нас на старости лет жизнь пойдет? Сам подумай хорошенько!

Ни слова на то не сказал Мокей Данилыч. Смутился он словами бывшей своей невесты.

– Ты теперь в достатках, – сказала Дарья Сергевна, – и на будущее время Дуня тебя никогда не оставит своей помощью. Ежели захочешь жениться, за невестами дело не станет, найдется мно-

го. А мой бы совет: к богу обратиться, ты уж ведь не молоденький. Ты же, я думаю, живучи в полону, пожалуй, и Христову-то веру маленько забыл. Так и надо бы тебе теперь вспомнить свято-отеческие предания и примирить свою совесть с царем небесным.

В это время пришел из красилен Патап Максимыч и, взглянув на того и другую, догадался, что без него были меж ними какие-то важные разговоры.

– Дарья Сергевна, матушка! – молвил он, – что ж, я пред уходом сказал вам, чтобы вы закусочку для гостя поставили, а вот у вас на столе и нет ничего. Пожалуйста, поскорей сготовьте, наш гость, пожалуй, теперь и поесть захотел.

Дарья Сергевна вышла, а Патап Максимыч остался вдвоем с Мокеем Данилычем.

– Видится мне, что без меня у вас какие-то особые разговоры были, сказал гостю Патап Максимыч. – Как только вошел сюда, догадался.

– Были разговоры, точно, что были, – сказал Мокей Данилыч.

– О чем же это? – спросил Патап Максимыч.

– Старину вспоминали, – отвечал Мокей Данилыч.

– Какую старину? – спросил Чапурин.

– Старые годы вспоминали, Патап Максимыч. Про то меж собой говорили, как были мы с ней люди друг к другу самые близкие, жених с невестой, сказал Смолокуров.

– Уж не вздумал ли ты опять женихом к ней стать? – промолвил, понизив голос, Патап Максимыч.

– Что ж, я бы не прочь, – отвечал Мокей Данилыч.

– Полно-ка ты, не смущай себя, да и ее не смущай такими разговорами, сказал Патап Максимыч. – Ведь тебе, друг мой любезный, годов немало. Не очень много супротив моих лет. Только что я жил в своей семье, а тебе пришлось в полону жить. А что ни говори, жизнь пленника не в пример тяжелее нашей жизни.

Воли, друг любезный, нет. А без воли всякий человек прежде старится. Нет вам моего совета по прежнему идти. Не смущай ты ее души, она с богом хочет пребывать и концом своих желаний поставляет житье в каком ни на есть ските керженском или чернораменском. Будучи черницей, думает она и век свой скончать. Потому ты ее и не смущай своими запоздалыми разговорами. Отдай ее господу богу на руки и сам подумай о своей душе. Пора, любезный друг, пора, наше время изжито.

– То же самое и она сейчас мне говорила, – сказал Мокей Данилыч. – А как я один-то жизнь свою свекую? Кто ж мне на смертном одре глаза закроет? Кто ж будет ходить за мной во время моих болезней? Спору нет, что будут в моем доме жить Герасим Силыч с племянником, да ведь это все не женская рука. Да и хозяйка в доме нужна будет.

– За хозяйкой и за женским уходом дело у тебя не станет, – молвил Патап Максимыч. – При твоих теперь достатках невест не оберешься, хоть тебе и не мало лет. Только этого я тебе не советую. Известно, что такое молодая жена у старого мужа. Не довольство в жизни будет тебе, а одна только маята.

Замолчал Мокей Данилыч, низко поникнул головой, а после того и не поднимал ее.

Дня через три Патап Максимыч с Никифором Захарычем поехали в город, чтобы сесть там на пароход. С ними и Мокей Данилыч отправился. Пробыв несколько дней у Дуни, он вместе с Чубаловым отправился в новое свое жилище на старом родительском пепелище. Там похлопотал Чубалов, и Мокей Данилыч скоро был введен во владение домом и пристанями, и как отвык от русской жизни и ото всех дел, то при помощи того же Чубалова завел на свой капитал хлебный торг.

Все, что было говорено про Марью Гавриловну, оказалось верным. Завладев ее капиталом, Алексей тотчас же покинул жену для Тани. Но и то было ненадолго, одна за другой являлись новые красотики, и с ними проводил время Алексей, забывал жену и все, что получил от нее. Чтобы

быть подальше от отца и вообще от Керженского Заволжья, он завел в Самаре на свое имя такие заводы и зажил на новом месте так, что знавшие его прежде не могли надивиться.

Кроме того, что стал он в короткие отношения с местными властями, прикармливая их роскошными обедами, и в среде купечества он занял почетное место. Меньше чем через год назначены были городские выборы, и гласный думы, первой гильдии купец Алексей Трифонов Лохматов был намечен будущим городским головой или по меньшей мере заступающим его место на собраниях. Переселившись в Самару, он взял с собой и жену, но Марья Гавриловна и здесь терпела прежнюю участь. Не имея ни копейки на свои надобности, она должна была во всем покоряться любовницам Алексея, хозяйничавшим у него в доме и ни малейшего внимания не оказывавшим настоящей хозяйке. Алексей никогда даже не говорил с ней. Когда он покинул Таню, она бросилась к ногам Марьи Гавриловны, прося у нее прощенья и, по обычаю, сваливая всю вину на смутившего ее беса. Добрая Марья Гавриловна простила возвращенную ею девушку и с тех пор по-прежнему стала с ней неразлучна, как было до ее несчастного замужества. Алексей, казалось, и внимания не обращал на то; он и с Таней никогда не говорил больше ни слова.

Какое-то дело заставило его плыть на Низ. Он сел на один из самых ходких пароходов, ходивших тогда по Волге, на том же пароходе ехали и Патап Максимыч с Никифором Захарычем. Патап Максимыч поместился в каюте. Никифору Захарычу показалось там душно, и он отправился в третий класс на палубу. Чапурин из своей каюты через несколько времени вышел в общую залу. Осмотрелся, видит четырех человек, из них трое были ему совсем не известны, вгляделся в четвертого и узнал Алексея.

Ни к кому не обращаясь, Патап Максимыч снял с головы картуз и положил его на стол.

Алексей сразу узнал бывшего хозяина. Слегка приподнявшись с дивана, он с наглостью во взоре и с большим сомнением проговорил:

– Наше вам наиглубочайшее, господин Чапурин.

Ни слова не ответил на то Патап Максимыч и сел на диван против Лохматова.

– Как вы в своем здоровье теперь? – с тем же нахальным взглядом, смеривая глазами Патапа Максимыча, спросил у него Алексей.

Не ответил ему Патап Максимыч и, уже несколько времени подождав, спросил у него:

– А что Марья Гавриловна? Она как?

– Ничего, – сказал Алексей. – Здорова, кажется. В Самаре осталась, а я вот подальше на Низ сплываю.

– Слухом земля полнится, Алексей Трифонов, а говорят, будто она во многом нуждается, – злобно молвил, взглянув на бывшего своего приказчика, Патап Максимыч.

– Мало ль что по народу болтают, всего не переслушаешь, – сказал на то Алексей, поднимая кверху брови. – Живет она себе как хозяйка дома. И хорошая хозяйка, добрая, в этом надо ей честь отдать. Только все дома сидит да богу молится, ни с кем из наших самарских почти никогда и не видается. Вот они, наши Самарские, – прибавил он, указывая глазами на сидевших в общей зале, никто ее, можно сказать, не видывал, хоть и веду я в городе жизнь открытую. Не только на них, но даже и на всех сослаться могу, что никто ее, богомольницу, в глаза не видывал.

– Это так точно-с, – подхватил один из самарцев. – Марья Гавриловна у нас в городе как есть невидимка.

Промолчал Патап Максимыч и, мало повременя, взял картуз со стола и вышел из общей залы. Ни Алексей, ни его самарцы не знали, что он поместился в каюте как раз рядом с ними.

– Что за господин такой? – спросил у Алексея один из его самарских знакомых, только что ушел от них Патап Максимыч.

– Из наших заволжских. С Керженца, – отвечал Алексей.

– Давно знаете его? – спросил самарец.

– Давненько-таки, – отвечал Алексей. – Когда я еще находился в бедности, а в родительском доме отцовские достатки порасстроились от поджога токарни, а потом клеть у нас подломали, а после того поскорости воры и лошадей свели, я в ту пору слыл первым, самым лучшим токарем в нашей стороне, меня родитель и послал на сторону, чтобы кое-что заработать для поправки семейных наших дел.

И пошел я не по воле родителей, а по своей охоте в деревню Осиповку, что была от нас не вдалеке, к Патапу Максимычу Чапуруну, а у него в ту пору токарни были всем на удивление. Слышал про меня и прежде Чапурин, и очень ему хотелось иметь у себя такого работника, как я, и потому с радостью принял меня в дом. И жил я у него не как простой рабочий, а в его доме внизу, в подклете, в особенной боковуше, а ел и пил с хозяйского стола. И за мое мастерство и за мой добрый обычай, как сына, возлюбил меня Чапурин, и немного месяцев прошло после того, как я у него водворился, он через мои руки доставил отцу моему столько денег, что тот на них мог устроиться по-прежнему.

– Добрый он, значит, человек, этот Чапурин, – сказал один из самарцев. Что ж, долго вы у него в токарях служили?

– Очень даже недолго, – отвечал Алексей. – Тут он со своими приятелями по каким-то случаям вздумал за рекой за Ветлугой на пустом месте золото искать и по доверию ко мне меня послал туда. Тут-то дорогой и спознался я с теперешней женой моей Марьей Гавриловной.

– Ну что же, долго у него еще оставались? – спросил самарец.

– Нет, – сказал Алексей. – Всего моего житья у него и полугода не было. Когда воротился я в Осиповку, хоронили старшую дочку хозяина. После похорон немного дней прошло, как он меня рассчитал. И так рассчитал, что, проживи я у него и два года и больше того, так по уговору и получать бы не пришлось. На этом я ему всегда на всю мою жизнь, сколько ее ни осталось, буду благодарен.

Лежа в соседней каюте, Патап Максимыч от слова до слова слышал слова Алексея. «Вот, – думает он, – хотя после и дрянным человеком вышел, а все-таки старого добра не забыл. А небойсь словом даже не помянул, как я к его Марье Гавриловне приходил самую малую отсрочку просить по данному векселю. А добро помнит. Хоть и совсем человек испортился, а все-таки помнит».

И, довольный сам собой и даже Алексеем, Патап Максимыч протянулся было спокойно на диване в каюте, как вдруг услышал иные речи из общей залы.

– Что ж за причина была такая, Алексей Трифонович? – спросил у него один из самарцев. – Чего ж это он вдруг после дочерних похорон спровадил вас от себя из дома? Была же на то какая-нибудь причина.

– Была причина, точно что была, – сказал Алексей, плутовски улыбаясь и почесывая затылок.

– Какая же? – спросил самарец.

– Дочка была у него старшая, Настей звали. Уж сколько времени прошло, как она в могиле лежит, а все-таки и до сих пор вспомнить о ней приятно.

Насторожил уши бывший по соседству Патап Максимыч. И сдается ему, что этот разговор добром не кончится.

– Беленькая такая, – продолжал Алексей, говоря с самарцами, – нежная, из себя такая красавица, каких на свете мало бывает. А я был парень молодой и во всем удатный. И гостила тогда у Чапурина послушница Комаровской обители Фленушка, девка, молодец на все руки, теперь уж, говорят, постриглась и сама в игуменьи поступила. Она в первый раз и свела нас.

«О-о! – подумал Патап Максимыч. – Так вон оно откуда все пошло. Значит, это все Фленушка устроила. На такие дела только ее и взять. Эх, ведал бы да знал я тогда об этом, таких бы надавал ей тузов, что, пожалуй, и в игуменьи теперь не попала бы».

А у самого сердце так и кипит, встал он и ходит, как зверь в узенькой клетке. Лицо горит, глаза полымем пышут, порывается он пройти в общую залу и там положить конец разговорам Лохматого, но сам ни с места. Большого скандала боится.

– Ну вот, и свела она нас, – продолжал Алексей. – Тем временем приезжали к Чапуруну гости из Самары, Снежковы, отец с сыном, сродни они, никак, тебе доводятся. И было у них намеренье Настю сватать; только она, зная за собой тайный грех, не захотела того и отцу сказала напрямки, что уйдет в кельи жить, а не удастся, так себя опозорит и родительский дом: начнет гулять со всяким встречным. Раскипятился отец, а моя Настенька и вниманья на то не обращает. Стих Чапурин, а она продолжала наши дела. Меня на ту пору на Ветлугу послали. В эту мою отлучку

Настенька догадалась, что она непраздна, что другой кто-то сидит в ней. Во всем открылась матери и, только что все рассказала, упала и с той поры заболела; болезнь недолго продолжалась. Полежала сколько-то времени и покончила свою жизнь, а меня на ту пору у Чапурина не было, все по этому по ихнему золотому делу разъезжал. После об этом Фленушка мне рассказывала.

Воротился я к Чапурину и, подъезжая к деревне, где он живет, похороны увидал. Это моя Настя без меня скончалась. А какая была покойница, теперь и сказать нельзя: страстная, горячо увлекалась всем, сама такая тихая, ровная и передо мной никогда, бывало, противного слова не молвит. Все с покорством, все с подчинением моей воле... Однако ж душно что-то здесь, каково-то ночью будет; впрочем у меня особая каюта; пойти бы на палубу освежиться немного.

Слышит Патап Максимыч, что Алексей вышел из общей залы и идет мимо кают. Не стерпело у него сердце. Одним размахом растворил он свою дверку, но Алексей уже поднимался вверх. Чапурин за ним вдогонку.

– А кто обещал про это дело никому не поминать? Кто слово давал и себя заклинал? А? – прошипел, подойдя к Алексею, Патап Максимыч. – Забыл?

Повесив голову, не говоря ни слова, Лохматов старался уйти от разъяренного Чапурина, но не удалось ему: куда он ни пойдет, тот за ним следом.

И вспомнились ему тут слова внутреннего голоса, что нередко смущали его, когда он жил у Патапа Максимыча в приказчиках: «От сего человека гибель твоя».

Ни шагу не отступал от него Патап Максимыч. Куда Алексей ни пойдет, он за ним с попреками, с бранью.

Подходили они к пароходному трапу, и ни одного человека кругом их не было. Патап Максимыч поднял увесистый кулак сокрушить бы супротивника, а из головы Алексея не выходили и прежде смущавшие его слова внутреннего голоса: «От сего человека гибель твоя».

Пятится Алексей от Чапурина, пятится. И дошел таким образом до самого трапа. А на станции в Батраках, по оплошности пароходных прислужников, забыли укрепить трап, через который девки да молодки дров натаскали.

Дошли до этого трапа, Алексей задом, Патап Максимыч напирая на него. Что-то такое говорил Алексей, но взволнованный Патап Максимыч не понимал его слов, должно быть каких-нибудь оправдательных. Оперся Алексей Лохматой о трап, Патап Максимыч был возле него. Трап растворился, и оба упали в воду.

– Упали! упали! – раздались голоса по палубе, но никто ни с места. Не зная, кто упал, Никифор Захарыч, мигом сбросив с себя верхнюю одежду, бросился в Волгу. Недаром его смолodu окунем звали за то, что ему быть на воде все одно, что по земле ходить, и за то, что много людей он спас своим умением плавать.

Бросился он в реку, поплыл, первым увидел Алексея, тот даже схватил его, но Никифор Захарыч оттолкнулся от него, увидев невдалеке Патапа Максимыча, поплыл к нему, схватил его, ошеломил, по исконному своему обычаю, и поплыл к корме парохода.

Там с радостью приняли и утопленника и его спасителя. Собрались все бывшие на пароходе, забыв на минуту другого утопавшего, усиленно и неумело боровшегося с волжскими волнами. Кто-то крикнул, наконец:

– Лодку! Живей! Человек тонет! – А сказал это после того, как напрасно всем миром просили Никифора Захарыча спасти и другого утопленника. Все видели, что это на воде не человек, а настоящий окунь. Но Никифор Захарыч упорно отказывался от просьбы.

– Не могу, и с этим устал, – говорил он. – Чего доброго, сам ко дну пойду.

– Лодку! лодку! – кричали между тем бывшие на палубе. – Скорей как можно лодку! Живей! Живей! Человек тонет! И как это трап-от не приперли! Еще, пожалуй, отвечать придется, ежели потонет. А все это наши ребята заболтались в Батраках с девками, да и забыли запереть трап как следует. Ох, эта молодежь, прости господи! – Такие голоса раздавались в то время по палубе, а Алексей Лохматов больше и больше погружался в воду.

Лодку, наконец, снарядили и подали. Быстро она понеслась к утопавшему, но еще несколько аршин не доплыла до него, как тот, с мыслью: «от сего человека гибель твоя», опустил на дно.

Так погиб Алексей Лохматов, нареченный самарский городской голова.

Марья Гавриловна приезжала на похороны и в тот же день, как зарыли ее мужа, уехала в Самару, а оттуда по скорости в Казань к своим родным. Лохматов не оставил никакого духовного завещанья, Марье Гавриловне по закону из ее же добра приходилось получить только одну четвертую долю, остальное поступало в семью Трифона Лохматова. Но Трифон, зная, какими путями досталось богатство его сыну, отступился от неожиданного наследства, и таким образом Марье Гавриловне возвратился весь ее капитал.

Петербургский чиновник, которого так долго и напрасно ждали на Керженце, приехал туда только летом. Долго задержали его в Петербурге. Только что приехал он, тотчас же отправился в Оленевский скит. Оттуда какие-то шатуны, которых в скиту никто и не знал, пошли за Дон за сбором подаваний. Их взяла полиция и отправила сначала в Петербург, а оттуда они были препровождены в ту губернию, где ложно сказались жителями. Там их никто не знал, и они до разъяснения дела посажены были в тюремный замок.

Расспросив их и не добившись никакого путного ответа, петербургский чиновник поехал в Оленевский скит. Тот скит несколько лет пред тем весь выгорел дотла; а между тем дошли до Петербурга сведения, что там есть много обителей, а из них самую главною и многолюдною считается обитель Анфисина, построенная будто бы лет двести тому назад инокиней Анфисой, родственницей, как говорило предание, святого Филиппа митрополита. Чтобы застать службу во всех часовнях и моленных, чиновник выбрал для их осмотра вечер Успеньева дня. Осмотрев и запечатав все до одной моленной, чтобы скитницы чего-нибудь не спрятали, петербургский чиновник остановился в Анфисиной обители, осмотрел ее и составил подробную опись иконам и всему другому, там бывшему.

Игуменья обители Маргарита, известная больше под именем Кузьмовны, с особенным радушием встретила приезжего и разговорилась с ним обо всех делах обительских. Ее племянница Анна Сергевна прислуживала гостю, разливала чай и потом сама подавала чем бог послал поужинать. Петербургский чиновник ночевал в обители Анфисиной и потом в ней не раз бывал. Из двадцати с лишком часовен и моленных только три уцелело после бывшего пожара, прочие, как вновь построенные, остались запечатанными и через несколько времени земскою полицией были сломаны.

Из Оленева петербургский чиновник, сопровождаемый местным исправником, отправился в незадолго пред тем обращенный к единоверию Керженский скит, уж обставленный церквами; там игумен Тарасий, после того архимандрит, встретил гостя даже со слезами.

– Ох, любезненький ты мой, – говорил он, – кого мне привел бог встретить в наших местах! Места наши пустые, лесные; как-то ты добрался до нас! Разве что с помощью господина исправника, он в своем уезде везде всю подноготную знает. А у нас место пустынное, как есть настоящее иноческое пребывание. Только и утехи нам, что окуней половить в Керженце да ими маленько себя полакомить. Ты не взыщи с меня, что встречаю я тебя в таком одеянии, прибавил отец Тарасий, указывая на свою свитку, всю вымоченную водой, сейчас в Керженце был, рыбешку ловил, как мне про тебя сказали. Не обессудь ты меня, любезненький мой; надо бы к тебе во всем чину явиться, а я вон какой измоченный да перемоченный. Не обессудь, касатик ты мой, – низко кланяясь, говорил петербургскому гостю отец Тарасий. – Ступай в мою келью, а я меж тем приоденусь и приду как надо встретить дорогого гостя.

– Не беспокойтесь, пожалуйста, отец Тарасий, – сказал на то петербургский чиновник. – Не в одежде дело, а в радушии. Останьтесь как были, ежели это вас не холодит.

– За ласковое слово много благодарим, – сказал отец Тарасий, но, несмотря на приглашение чиновника, пошел переодеться и вскоре явился к нему в полном чину.

– Напрасно беспокоились, отец Тарасий, – сказал гость, – право, напрасно, разве что простуды боялись.

– Ах ты, мой любезненький, гость ты мой дорогой! – вскрикнул игумен, обнимая чиновника и лобызаясь с ним, – как же смею я быть пред тобой не во всем иночестве! А ты пойдем-ка со

мной вот сюда. И повел гостя в другую соседнюю комнату. Там на столах стояли: уха из только что наловленных окуней, пирог с малосольною осетриной, каша с молоком, оладьи, а на другом столике были поставлены: водка, виноградное вино, а к ним копченые рознежские стерляди и другая рыба, икра, соленые рыжики и грузди, маринованные грибы и другие снеди.

– Потрапезуем-ка, любезненький мой, чем бог послал у старца в келье, говорил отец Тарасий. – Водочки прежде всего выкушай, и я вместе с тобой выпью монашескую калишку. Сделай милость, друг, откушай.

Выпив водки, гость расхвалил закуски, к ней поданные, особенно копченых стерлядей. Потом сели обедать.

За обедом, по иноческим правилам, все трое сидели молча. Один лишь игумен изредка говорил, потчuya гостей каждым кушаньем и наливая им в стаканы «виноградненького», не забывая при том и себя. После обеда перешли в прежнюю комнату, бывшую у отца Тарасия приемною. Здесь игумен подробно рассказывал петербургскому гостю о скитах керженских и чернораменских, о том, как он жил, будучи в расколе, и как обратился из него в единоверие вследствие поучительных бесед с бывшим архиепископом Иаковом.

Долго говорил игумен. Затем повел он гостя в церковь, где отправлено было молебное пение. Служил сам отец Тарасий, иноки пели тихо и стройно единоверческим напевом. Приезжий из Петербурга в подробности осмотрел церковь, хвалил ее чистоту и убранство, особенно святые иконы.

– Чудотворной-то нет у нас никакой, – тихо промолвил отец Тарасий, наклоняясь к приезжему, чтобы не смущать напрасно братию, не уходящую из храма.

– Молитесь богу, он не оставит вас, – так же тихо сказал ему петербургский чиновник.

Обойдя все церкви и кельи иноков, игумен повел гостя на конный и скотный дворы, на пчельник и везде показал ему монастырское свое хозяйство. Потом пошли на реку Керженец, и там послушники занесли бредень для ловли рыбы к ужину. Потом повел его игумен в монастырский лес; когда ж они воротились в игуменские кельи, там их ожидал самовар и блюдо свежей малины с густыми сливками, и все-таки с «виноградненьким».

Петербургский гость остался ночевать у Тарасия, так как время было уже позднее. На ужин явились все те же закуски, какие были поданы к обеду. Уха сварена была из наловленных послушниками окуней, и явился к столу поданный ими жареный судак и другие давешние кушанья, кроме каши, замененной малиной со сливками.

Потру, отстояв обедню, петербургский чиновник распрощался с отцом Тарасием. Игумен даже расплакался на прощанье со своим неожиданным гостем.

Из керженского Благовещенского скита Петербургский приезжий, пробыв несколько времени в уездном городе, отправился в шарпанский скит, где его вовсе не ждали. Он приехал туда ночью, часу во втором, и прошел прямо в моленную. Там в углу стояла икона казанской богородицы; говорят, что она была комнатною царя Алексея Михайлыча в первые годы его царствования. Она была заслонена другою большою иконой, но пред ней горела лампада. Рассказывали, что та икона во времена патриарха Никона находилась в Соловецком монастыре и что во время возмущения в среде соловецкой братии, когда не оставалось более никакой надежды на избавление обители от окруживших ее царских войск, пред ней на молитве стоял дивный инок Арсений. И видит он во сне, что икона богородицы поднялась в небесную высоту, и слышит он от той иконы глас: «Иди за мной без сомнения и, где я остановлюсь, там поставь обитель, и до тех пор, пока в ней будет сия моя икона, древнее благочестие будет процветать в той стороне», и был Арсений чудною силой перенесен с морского острова на сухопутье. Богородична икона идет по воздуху, а вслед за ней инок Арсений. И стала та икона и опустилась на землю в пустынных лесах Чернораменских, и там на урочище Шарпан поставил Арсений первый скит в тамошних местах. Вскоре больше сотни таких скитов возникло в Черной Рамени, в Керженских и Рышских лесах и по реке Ветлуге.

Таковы были между старообрядцами предания о первых насельниках лесов Чернораменских, и все, как ближние, так и дальние, с особым уважением относились к иконе, принесенной в Шарпан иноком Арсением. Они твердо веровали, что, как только соловецкая икона выйдет из Шарпана и будет поставлена в никонианской церкви, древлему благочестию настанет неизбежный конец. И потому, как только возможно, старались удержать ее на месте.

Опытный в делах подобного рода петербургский чиновник, войдя в шарпанскую моленную, приказал затушить все свечи. Когда приказание его было исполнено, свет лампы, стоявшей перед образом казанской богородицы, обозначился. Взяв его на руки, обратился он к игуменье и немногим бывшим в часовне старикам со словами:

– Молитесь святой иконе в последний раз. И увез ее.

Как громом поразило жителей Керженца и Чернораменья, когда узнали они, что нет более соловецкой иконы в шарпанской обители. Плачам и воплям конца не было, но это еще не все, не тем дело кончилось.

Из Шарпана петербургский чиновник немедленно поехал в Комаров. Там в обители Глафириных издавна находилась икона Николая Чудотворца, также почитаемая старообрядцами чудотворною. Он ее взял точно так же, как и соловецкую из Шарпана. Страха и ужаса еще больше стало в обителях керженских и чернораменских, там всё считали для себя поконченным. Петербургский чиновник исполнил обещание, данное отцу Тарасию: соловецкая икона была перенесена в керженский Благовещенский монастырь, а икона Николая Чудотворца – в незадолго пред тем обратившийся к единоверию скит Осиповский. После того, объехав все скиты и обители, петербургский чиновник воротился в свое место.

Вскоре от высшего начальства из Петербурга вышло такое решение о скитах: им дозволено было оставаться по-прежнему только на полгода, после этого времени они все непременно должны быть совершенно порушены, тем из скитских матерей, что приписаны были к обителям по последней ревизии, дозволено было оставаться на их местах, но со значительным уменьшением их строений. Тем из обительских матерей, что приписаны были по ревизии к разным городам и селениям, велено было иметь там всегдашнее пребывание без кратковременной даже отлучки в скиты и другие места.

Все это исполнить было возложено на местную полицию, и сам исправник несколько раз объезжал для того скиты. Хоть окрестные крестьяне прежде и радовались тому, что рано или поздно скитские строения пойдут в их собственность, потому что матерям некому будет продать их строений и они поневоле продадут их за бесценок, однако на деле вышло другое. Сколько ни приказывал исправник крестьянам Ронжина и Елфимова ломать обительские строения, никто из них не прикоснулся к ним, считая то великим грехом. Особенно комаровские часовни были для них неприкосновенны и святы.

Сколько ни было у них ссор с Комаровскими матерями, они горько скорбели и плакали над судьбой, постигшею скиты. И не мудрено то было: окрестные крестьяне так долго по праздникам ходили в Комаровские часовни, что им нельзя было не пожалеть соседок; опять же многие из них были женаты на живших прежде в том скиту белицах. Сколько ни бился исправник, увидел, наконец, что тут ничего не поделаешь, и потому собрал понятых, преимущественно из православных. Они миглом приступили к работе. Когда были снесены кровли с Манефиной обители, считавшейся из всех скитов самою главною, стоном застонали голоса. В то время собрались в Комарово почти без исключения все матери из всех обителей: точь-в-точь как съезжались, бывало, они на соборы, там сбиравшиеся. На завалинах и на разрушенных строениях сидят матери и горько плачут, смотря на разрушение старого их пепелища, ожидая и в своих скитах такого же разрушения и неизбежной высылки людей с насиженных ими мест, но не приписанных ко скиту.

Приехала из города и мать Манефа с неразлучною Филагрией. Сели они возле своих келей, но ни плача, ни рыданий с их стороны не было. Переселясь заблаговременно в город, где была приписана по ревизии, Манефа только тихо, безмолвно горевала по своему старинному хозяйству. Так же ко всему равнодушною казалась мать Филагрия: она также приписана была к городу и жила вместе с Манефой. Ничего в ней не было, что бы расстраивало ее при виде разрушения Комаровских обителей. Зато все другие тут бывшие горевали и плакали по случаю постигшего всех их несчастья.

Сидит на завалинке мать Манефа с Филагрией, а рядом с ними все прежние противницы Манефины из-за архиерейства: кривая мать Измарагда, игуменья обители Глафириных, так еще недавно лишившаяся чудотворного Николина образа, мать Нонна, игуменья из скита Гордеевского, мать Евтропия обители Игнатьевой, мать Августа, игуменья шарпанская, у которой также недавно

отобрана была соловецкая икона казанской богородицы. Не послушалась тогда мать Августа уговоров на соборе прочих игумений, не свезла в Москву эту икону, с которой связано давнишнее предание, что скиты керженские и чернораменские останутся неприкосновенными до тех только пор, покамест она не будет поставлена в великороссийской церкви, – а вот она теперь у отца Тарасия.

Все эти игуменьи, при виде сломанных Манефиных строений, сотворили с ней прощу и мирно, с плачем и стонами, сидели рядом с бывшей своей несогласницей, ничем не возмутимой старицей. Общая скорбь примирила всех. Против этих игумений, на диванах и стульях из бывшего домика Марьи Гавриловны, сидели более или менее близкие к Манефе: Таисея, игуменья обители Бояркиных, игуменья обители Жжениных и настоятельница мелких Комаровских обителей мать Улия, игуменья Салоникеиных, Есфирь из обители Напольных, настоятельница обителей, а также все улангерские матери, Юдифь и девяностолетняя Клеопатра Ерахтурка, никогда не чаявшая дожить до разорения скитов. Были тут и Агния, игуменья небогатого скита крутовражского, Христодула, начальница такого же скита ворошиловского, дебелая старица мать Харитина, тоже из бедного скита быстренского, и многоречивая Полихрония, настоятельница обители малиновской. Все бывшие слезно молили мать Манефу, чтобы дала им мудрый совет, как помочь себе в настоящие дни напастей.

Опустив голову и потупив очи, ничего никому не говорила в ответ мать Манефа. Ко всему видимому и слышанному, казалось, относилась она совсем равнодушно.

Больше и громче всех голосила добродушная мать Вириная, столь долго бывшая келарем в Манефиной обители. Не будет больше у нее ни пиров, ни соборов, не будут больше собираться к ней белицы работать и петь псалмы, а частенько и мирские песни. А главное, что сокрушало ее, это то, что пришел конец широкому ее домохозяйству, что теперь, ежели она и поселится в городе у матери Манефы, не будет уже больше такого домоводства, какое было до сих пор. Вспоминала и мать Филагрия, прежняя Фленушка, о тех проказах, что выкидывала она у добродушной Вириinei тайком от игуменьи. Еще больше вспоминала она гулянки свои по Каменному Вражку, но все застила в сердце, и казалась ничем не возмутимой. За разрушением Манефиной обители последовало разрушение и других обителей Комарова, а затем и разрушение прочих скитов.

Так пали около двухсот лет стоявшие обители керженские и чернораменские. Соседние мужики сначала хоть и не решались поднять руки на часовни и кельи, через несколько времени воспользовались-таки дешевым лесом для своих построек: за бесценок скупили скитские строения. Вскоре ото всех скитов и следов не осталось. Были оставлены на своих местах только приписанные к ним по ревизии, и каждой жительнице отведено было по просторной келье, но таких приписанных ко всем скитам осталось не больше восьмидесяти старых старух, а прежде всех обительских жителей было без малого тысяча. Опустили и Керженец и Чернораменье.

Чрез некоторое время местному губернатору вместе с другим петербургским чиновником велено было осмотреть все скиты. Они нашли всюду полное запустение.

Зато в городе, где было много приписанных келейниц, образовались многолюдные обители с потайными моленными. Из них главную по-прежнему стала обитель матери Манефы.

МЕЛЬНИКОВ-ПЕЧЕРСКИЙ, Павел Иванович (1818-1883)

«На горах» (1875-1881).

Собр. соч. в 8 т., Москва 1976.

Все примечания, данные в скобках, принадлежат автору.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В степной глуши, на верховьях тихого Дона, вдали от больших дорог, городов и людных селений стоит село Луповицы. Село большое, но строенье плохое в нем, как зачастую бывает в степных малолесных местах – избы маленькие, крыты соломой, печи топят по-черному, тоже

соломой, везде грязь, нечистота, далеко не то, что в зажиточном, привольном Поволжье. Зато на гумнах такие скирды хлеба, каких в лесах за Волгой и не видывали.

Овраг, когда-то бывший порядочной речкой, отделяет крестьянские избы от большой, с виду очень богатой господской усадьбы. Каменный дом в два яруса, с двумя флигелями лицевой стороной обращен на широкий двор и окружен палисадником, сплошь усаженным сиренью, жимолостью, таволгой, акацией и лабазником (Жимолость – *Lonicera tatarica*. Таволга – *Spirea crenata*. Лабазник – *Spirea ulmaria*.).

За домом старинный тенистый сад с громадными дубами и липами. С первого взгляда на строенье кидается в глаза их запущенность. Видно, что тут когда-то жила на широкую руку, а потом или дела хозяина расстроились, или поместье досталось другим, изменившим образ жизни прежних владельцев и забросившим роскошные палаты в небрежение. В стороне от усадьбы был огромный, но уж наполовину совсем развалившийся псарный двор, за ним – театр без крыши, еще дальше – запустелый конный завод и суконная фабрика. Зато хозяйственные постройки были в редком порядке – хлебные амбары, молотильня, рига на славу были построены из здорового леса, покрыты железом, и все как с иголочки новенькие.

Отец Луповицких был одним из богатейших помещиков той стороны. Смолоду служил, как водится, в гвардии, но после возврата наших войск из Франции вышел в отставку, женился и поселился в родовом своем именье. Заграничная жизнь хоть и порасстроила немножко его дела, но состояния не пошатнула. Луповицкий барин жил, гости у него не переводились: одни со двора, другие на двор. Пирывались чуть не каждый день, охоты то и дело, и никто из соседей-помещиков, никто из городских чиновников даже помыслить не смел отказаться от приглашения гостеприимного и властного хлебосола.

Иначе беда: Луповицкий барин знатный, генерал, не одно трехлетие губернским предводителем служил, не только в своей губернии, но в Петербурге имел вес. Связи у него в самом деле были большие – оставшиеся на службе товарищи его вышли в большие чины, заняли важные должности, но со старым однополчанином дружбу сохранили. Приязнь их тщательно поддерживалась породистыми конями Луповицкого, отводимыми в Петербург на конюшни вельможных друзей. На псарном дворе у Луповицкого было четыреста псов борзых да триста гончих. Оркестр крепостных музыкантов управлялся выписанным из Италии капельмейстером. Была и роговая музыка, было два хора певчих, актеры оперные, балетные, драматические, живописцы, всякого рода ремесленники, и всё крепостные. Так широко и богато проживал в своем поместье столбовой барин Александр Федорыч Луповицкий.

Под шумок поговаривали, будто Луповицкий масонства держится. Немудрено – в то время каждый сколько-нибудь заметный человек непременно был в какой-нибудь ложе. Масонство, однако ж, не мешало шумной, беспечной жизни богатых людей, а не слишком достаточные для того больше и поступали в ложи, чтобы есть роскошные даровые ужины. Ежели Луповицкий и был масоном, так это не препятствовало ни пирам его, ни театру, ни музыке, ни охоте. Иное случилось, когда он прожил в Петербурге целую зиму. Воротившись оттуда, к удивлению знакомых и незнакомых, вдруг охладел он к прежним забавам, возненавидел пиры и ночные бражничанья, музыку и отъезжие поля – все, без чего в прежнее время дня не мог одного прожить.

Музыканты, актеры, живописцы распущены были по оброкам, псарня частью распродана, частью перевешана, прекратились пиры и банкеты. Для привычных гостей двери стали на запоре, и опустел шумный дотол барский дом. Луповицкий с женою стали вести жизнь отшельников. Вместо прежних веселых гостей стали приходить к ним монахи да монахини, странники, богомольцы, даже юродивые. Иногда их собиралось по несколько человек разом, и тогда хозяева, запершись во внутренних комнатах, проводили с ними напролет целые ночи. Слыхали, что они взаперти поют песни, слыхали неистовый топот ногами, какие-то странные клики и необычные всхлипывания. Через несколько времени, опричь странников и богомольцев, стали к Луповицким сходиться на ночные беседы солдаты, крестьяне, даже иные из ихних крепостных. Никто понять не мог, что этот сброд грубых невежд и шатунов-дармоедов делает у таких просвещенных, светских и знатных людей, как Луповицкие. Александр Федорыч и в другом изменился: любил он прежде выпить лишнюю рюмку, любил бывать навеселе, любил хорошо и много покушать – а те-

перь ни вина, ни пива, даже квасу не пьет, только и питья у него чай да вода. Не только мясного – рыбного за столом у него больше не бывало, ели Луповицкие только хлеб, овощи, плоды, яйца, молочное, и больше ничего. Зато и в светлое воскресенье и в великую пятницу с сочельниками подавалась у них одна и та же пища.

Сестра Луповицкого была замужем за Алымовым, отцом Марьи Ивановны, умерла она раньше перемены, случившейся с ее братом. Вскоре умер и муж ее, тогда Луповицкие маленькую сиротку, Марью Ивановну, взяли на свое попечение. Воспитанье давали ей обыкновенное для того времени – наняты были француженка, немка, учительница музыки, учительница пения, а русскому языку, русской истории и закону божию велели учить уволенному за пьянство из соседнего села дьякону. Два сына Александра Федорыча тоже дома воспитывались – целый флигель наполнен был их гувернерами и разного рода учителями от высшей математики до верховой езды и фехтованья. Все иностранцы были, а русскую премудрость и сынки с Марьей Ивановной почерпали у пропившегося дьякона. Петербургские вельможные друзья в благодарность за резвых рысаков предлагали Луповицкому выхлопотать его сыновьям звание пажей, но Александр Федорыч, до поездки в Петербург сильно тосковавший, что, не будучи генерал-лейтенантом, не может отдать детей в пажеский корпус, и слышать теперь о том не хотел. Хочу из них сделать сельских хозяев, – писал он к старым своим приятелям, и нельзя было разуверить друзей его, что бывший их однополчанин обносился умом, и на вышке у него стало не совсем благополучно.

Все дивились перемене в образе жизни Луповицких, но никто не мог разгадать ее причины. Через несколько лет объяснилась она. Был в Петербурге духовный союз Татариновой (Екатерина Филипповна Татарина, жена директора рязанской гимназии, урожденная Буксгевден, во втором десятилетии нынешнего столетия собирала таинственные собрания в квартире своей матери в Петербурге, в Михайловском замке. Это было собрание хлыстов из высшего общества, во многом сходное с нынешней редстоковщиной или пашковщиной. Оно называлось «духовным союзом». После того как собрания Татариновой были прекращены, они возобновились в Петербурге же за Московской заставой и в тридцатых годах снова были закрыты. В это время Татарина и некоторые из ее последователей были разосланы по монастырям.).

Принадлежавшие к нему собирались в ее квартире и совершали странные обряды. С нею через одного из вельможных однополчан познакомился и Александр Федорыч. Вскоре и сам он и жена его, женщина набожная, кроткая и добрая, вошли в союз, а воротясь в Луповицы, завели у себя в доме тайные сборища.

Между тем, когда о духовном союзе узнали и участников его разослали по монастырям, добрались и до Луповицких. Ни их богатства, ни щедрые пожертвования на церкви, больницы и богадельни, ни вельможные однополчане, ничто не могло им помочь. Кончил свои дни Александр Федорыч в каком-то дальнем монастыре, жена его умерла раньше ссылки.

И сыновья и племянница хоть и проводили все почти время с гувернерами и учительницами, но после, начитавшись сначала четьи-миней и «Патериков» об умерщвлении плоти угодниками, а потом мистических книг, незаметно для самих себя вошли в «тайну сокровенную». Старший остался холостым, а меньшей женился на одной бедной барышне, участнице «духовного союза» Татариновой. Звали ее Варварой Петровной, у них была дочь, но ходили слухи, что она была им не родная, а приемыш либо подкидыш.

Ссылка отца научила сыновей быть скрытней и осторожнее.

Не прекратились, однако, у них собранья, но они стали не так многолюдны. Не было больше на них ни грязных юродивых, ни шатунов-богомольцев, ни странников; монахи с монахинями хоть и бывали, но редко. Притаились и молодые Луповицкие, как-то проведавшие, что и за ними следят. Тогда Марья Ивановна из Луповиц переехала в свое Талызино и там выстроила в лесу дом будто для житья лесника, а в самом деле для хлыстовских сборищ. В тех местах хлыстовщина меж крестьянами велась исстари, и Марья Ивановна нашла много желавших быть участниками в «тайне сокровенной». Но через несколько лет, узнав, что об лесных ее сборищах дошли вести до Петербурга, она решила переехать на житье в другую губернию. Кто-то сказал ей, что продается пустошь Фатьянка, где в старые годы бывали хлыстовские сходбища с самим Иваном Тимофеевым, Христом людей божиих; она тотчас же купила ее и построила усадьбу на том самом месте,

где, по преданьям, бывали собрания «божьих людей» («Божьими людьми» называют сами себя хлысты. Иван Тимофеич Суслов, христос людей божьих, жил в конце XVII и в начале XVIII столетия, проповедовал свое учение в нынешних Владимирской, Нижегородской, Костромской и Ярославской губерниях, а также в Москве, где и умер.).

Рады были Луповицкие сестрину приезду, давно они с ней не видались, обо многом нужно было поговорить, обо многом посоветоваться. Письмам всех своих тайн они не доверяли, опасаясь беды. Потому раза по два в году езжали друг к другу для переговоров. Луповицкие сначала удивились, что Марья Ивановна, такая умная и осторожная, привезла с собой незнакомую девушку, но, когда узнали, что и она желает быть «на пути», осыпали Дуню самыми нежными ласками. С хорошенькой, но как смерть бледной племянницей Марьи Ивановны, Варенькой, Дуня Смолокурова сблизилась почти с первого же дня знакомства. Молодая девушка с небольшим лет двадцати, с умными и немножко насмешливыми глазами, приняла Дуню с такой радостью, с такой лаской и приветливостью, что казалось, будто встречает она самую близкую и всей душой любимую родственницу после долгой разлуки.

Обстановка дома Луповицких поразила Дуню, до тех пор сидевшую в четырех стенах отцовского дома и не видавшую ничего подобного. Налюбоваться не могла она на убранство комнат, сохранивших еще остатки былой роскоши. Огромные комнаты, особенно большая зала с беломраморными стенами и колоннами, с дорогими, хоть и закоптелыми люстрами, со стульями и диванчиками, обитыми хоть и полинявшею, но шелковой тканью, другие комнаты, обитые гобеленами, китайские вазы, лаковые вещи, множество старого саксонского и севрского фарфора, вся эта побледневшая, износившаяся роскошь когда-то изящно и свежо разубранного барского дома на каждом шагу вызывала громкое удивление Дуни. Варенька снисходительно улыбалась ей, как улыбается взрослый человек, глядя на любопытного ребенка. На восторженные похвалы Дуни она холодно, презрительно даже сказала:

- Суэта! Язычество!.. Удивляюсь, как до сих пор не выкинут всего этого в помойную яму.
- Как это можно! – вскрикнула Дуня. – Такие прекрасные, такие красивые вещи.
- Суэта и пустота! – молвила Варенька. – Это ведь все от врага, это все на усладу язычникам.
- Каким язычникам? Кажется, теперь их больше нет, – с удивлением сказала Дуня.
- Земля полна язычниками; избранное стадо не велико, – отвечала Варенька.
- Кто ж язычники? – спросила Дуня.
- Все, – ответила Варенька. – Все, кого до сих пор вы знали, кроме разве одной тетеньки, – сказала Варенька и, не дав Дуне слова вымолвить, спросила у нее:
 - Сколько вам лет?
 - Девятнадцать, – ответила Дуня.
 - Пора отложить суету, время вступить вам на «путь». Я сама в ваши годы пошла путем праведным, – понизив голос, сказала Варенька. – Однако пойдемте, я вам сад покажу... Посмотрите, какой у нас хорошенький садик – цветов множество, дядя очень любит цветы, он целый день в саду, и мама тоже любит... Какие у нас теплицы, какие растения – пойдемте, я вам все покажу.

И девушки, взявшись под руку, вышли на обильно установленную цветами мраморную террасу, а потом медленными шагами спустились в сад по широким ее ступеням.

Меж тем Марья Ивановна сидела в комнате старшего брата с меньшим братом и с его женою.

- Ну как, Машенька, устроилась ты в Фатьянке? – спросил Николай Александрыч.
- Слава богу, совсем почти обстроилась, остается внутри кой-что обделать да мебель из Талызина перевезти, – отвечала Марья Ивановна. – К осени, бог даст, все покончу, тогда все пойдет своей колеей.
- Что ж? В самом деле был там корабль Ивана Тимофеича? (Кораблем называется общество хлыстов.) – спросила Варвара Петровна.

– В самом деле, – отвечала Марья Ивановна. – И по преданиям так выходит и по всем приметам. Тут и Святой ключ и надгробный камень преподобного Фотина, заметны ямы, где стоял дом, заметны и огородные гряды.

– Хорошо, что в твои руки досталось место, – сказала Варвара Петровна. Летом на будущий год непременно у тебя побываю. Теперь, говоришь, ничего еще у тебя не приспособлено?

– Еще ничего, – отвечала Марья Ивановна. – Сионскую горницу (Сионской горницей у хлыстов называется комната, где происходят их собрания.) сделали, не очень велика, однако человек на двадцать будет. Место в Фатьянке хорошее – уютно, укромно, от селенья не близко, соседей помещиков нет, заборы поставила я полторы сажени вышиной. Шесть изб возле дома также поставила, двадцать пять душ перевела из Талызина. Все «наши».

– А поблизости есть ли божьи-то люди? – спросил Андрей Александрыч.

– Еще не знаю, – отвечала Марья Ивановна, – пока до меня не доходило. Да я, впрочем, и разыскивать не стану. Не такое время теперь. Долго ли до беды?

– Ну а эта девушка, что с тобой приехала? в самом деле близка она к «пути»? – спросил Николай Александрыч.

– Совсем готова, – сказала Марья Ивановна. – Больше восьми месяцев над Штиллином, Гион и Эккартсгаузенем сидела. И такая стала восторженная, такая мечтательная, созерцательная и нервная. Из нее выйдет избранный сосуд.

– Ну, это еще не угадано, – молвил меньшой Луповицкий. – Бывали и восторженные, бывали и мечтательные, а после назад возвращались в язычество, замуж даже выходили.

– Эта замуж не пойдет, – сказала Марья Ивановна. – Любовь житейская ей противна, в этом я успела настроить ее. И другая есть тому причина – я и той воспользовалась, хоть и ни разу даже не намекнула Дуне об ее сердечных ранах. Понравился ей какой-то купчик, познакомилась я с нею тотчас после разрыва, поговорила с ней, посоветовала читать мистические книги, а теперь, проживши у них больше двух недель, кажется, совсем ее укрепила. Много порассказала я ей, и теперь она горит желаньем услышать «живое слово». В первое же собрание можно будет ее допустить, разумеется, пока без «приводу» («Привод» – обряд поступления в секту.).

Я уверена, что она озарится. Когда будет у вас собрание-то?

– Хотелось бы в субботу на воскресенье, – сказал Николай Александрыч. Не знаю, соберутся ли.

– А по многу ль теперь собираются? – спросила Марья Ивановна.

– Умалился корабль, очень умалился, – скорбно промолвил Николай Александрыч. – Которых на земле не стало, которые по дальним местам разошлись. Редко когда больше двадцати божьих людей наберется... Нас четверо, из двора пять человек, у Варварушки в богадельне семеро. Еще человека два-три со стороны. Не прежнее время, сестрица. Теперь, говорят, опять распыхались злобой на божьих людей язычники, опять иудеи и фарисеи (Иудеями и фарисеями хлысты называют православные власти, преимущественно духовные.) воздвигают бурю на Христовы корабли. Надо иметь мудрость змиину и как можно быть осторожней.

И с покорным видом, с умильным взором на Спасителя с апостолами во время бури на Галилейском море, знаменитой кисти известного художника Боровиковского, запел Николай Александрыч вполголоса заунывную песню. Другие вполголоса припевали ему, а у него щеки так и орошались слезами.

Кораблик заливает морскими волнами,
Сверху грозят тучи, стоячи над нами,
Заставляют бедных страдать под водами,
Скудны мы, бедны – нищета вся с нами,
Скудость и бедность всегда жила с нами,
Как в прежних веках, так и ныне тоже.
Ох, много зачинающих, да мало скончевающих!
Припадем коленами на мать-сыру-землю,
Пролием мы слезы, как быстрые реки,
Воздохнем в печали к создателю света:

"Боже ты наш, боже отец наших,
Услыши ты, боже, сию ти молитву,
Сию ти молитву, как блудного сына,
Приклони ты ухо к сердечному стону,
Прими ты к престолу текущие слезы,
Пожалей, создатель, бедное создание,
Пределам нам, боже, к избранному стаду,
Запиши, родитель, в животную книгу,
Огради нас, бедных, своею оградой,
Приди в наши души с небесной отрадой
Всех поставь нас, боже,
Здесь на крепком камне,
Чтоб мы были крепки во время печали;
Мы всегда желаем быть в избранном стаде,
Ты наш учитель, ты наш попечитель,
Просим милости богатой у тебя, владыки,
И всегда ходить желаем под твоим покровом,
Ты нас, батюшка, питаешь и всем оделяешь,
В наших скорбях и печалих сам нас подкрепляешь,

Тебе слава и держава в пречистые руки*. *Эта песня не без основания приписывается одному из участников татаринского корабля (рязанскому помещику Дубовицкому), отправленному лет пятьдесят тому назад в Саровскую пустынь, а потом едва ли не в Соловки. Первоначальная же редакция принадлежала Александру Ивановичу Шилову, крестьянину из Орловской губернии, сначала хлысту, а потом скопческому Иоанну Предтече, умершему в самых последних годах прошлого столетия в Шлиссельбурге.

Все сидели с благоговением и плакали. Не вдруг успокоились, долго сидели после того молча, вздыхая и отирая слезы. Наконец Марья Ивановна спросила у Николая Александровича:

– А в «слове» кто теперь ходит?. (Ходить в «слове» – пророчествовать во время исступления, находящего на иных хлыстов во время радения и после него.).

– Да все те же. Племянница наша, Варенька, стала в слове сильна и с каждым разом сильнее становится, – сказал Николай Александрович. – Златой сосуд! По времени, будет в нем благодать великая.

– Слава в вышних богу! – благоговейно поднявши глаза, проговорила Марья Ивановна. – На Дуню я тоже много рассчитываю. Помните, как в прошлом году я под осень гостила у вас, про нее тогда я вам рассказывала, что как скоро заговорила я с ней, едва открывая «тайну», дух на нее накатил (Дух накатил, то есть сошел дух (по понятиям хлыстов, святой дух).) – вся задрожала, затрепетала, как голубь, глаза загорелись, и без чувств упала она ко мне на руки. Великим знамением тогда я это сочла. А теперь, как гостила у них, каждый почти день бывала она в восторге, так и трясет ее всю: судороги, истерика, пена у рта. Ни словом ей не заикнулась я, что бывает у нас на радениях, а все-таки ее поднимало.

– Дай господи такую подвижницу, подай истинный свет и новую силу в слове ее, – сложив руки, набожно сказал Николай Александрович. – Ежели так, можно будет ее допустить на собрание, и если готова принять «благодать», то можно и «привод» сделать... Только ведь она у отца живет... Помнится мне, говорила ты, Машенька, что он раскольник, и совсем плотской язычник, духовного в нем, говорила ты, нет ни капельки.

– Это так, – подтвердила Марья Ивановна. – Как есть плотской – только деньги на уме.

– Как же Авдотьюшка, познав тайну, станет в Гоморре жить? – сказал Николай Александрович. – Тяжело ведь ей будет меж язычниками... Некому будет ни утешить ее, ни поддержать в ней святого пламени. Устоит ли тогда она на «правом пути», сохранит ли «тайну сокровенную»? Об этом надо обсудить хорошенько. То помни, Машенька, что ангелы небесные ликуют и радуются, когда языческая душа вступает в ограду спасения, но все небесные силы в тоске и печали мечутся по небу, ежели «приведенная» душа возвратится вспять и снова ступит на погибельный путь

фарисейский.

– Со мной часто будет видаться, я буду ее поддерживать. Отец обещал отпускать ее ко мне в Фатьянку.

При мне не пойдет она в адские ворота, не возвратится в язычество, твердо и решительно сказала Марья Ивановна. – На «приводе» я, пожалуй, буду ее поручницей и все время, пока обитаю в этом греховном теле, стану поддерживать ее на «правом пути».

– А дашь ли за нее страшное священное зарученье? – строго спросил у сестрицы Николай Александрыч.

– Дам, – ответила Марья Ивановна. – Дам, потому что ручаюсь за нее, как за самое себя.

– Но ведь ты знаешь, Машенька, что бывает с заручниками, если приведенные ими отвергнутся «пути»? – спросил Николай Александрыч.

– Знаю, – слегка кивнув головой, ответила Марья Ивановна.

– Отлучение от части праведных, отлучение от небесных сил, отторжение от святейшего сонма поющих хвалебные песни пред агнцем, вечное страдание души в греховном теле, низведение в геенну на нескончаемую власть врага

(Хлысты никогда не употребляют слов: «дьявол», «сатана», «черт» и тому подобных, дабы не осквернить проклятым именем своего языка. Одно у них имя ему – «враг», иногда «враг божий», редко «враг человеческий». Некоторые учителя их о дьяволе так говорят: «Какой он враг человекам? – он друг им и покровитель, как любимым своим созданиям. Он враг только нам, пришедшим из внешнего мира и познавшим правый путь и сокровенную тайну». Хлысты вполне уверены, что смертное тело человека сотворил Сатанаил по образу и подобию своему, потому он и владеет телом, а бог в это тело вдунул дыхание жизни, то есть душу, по своему образу и подобию, оттого душа и бессмертна. Только познавший правый путь и сокровенную тайну, по мнению их, войдут в селения праведных, остальные вечно будут мучиться, заключенные в тела и находясь в полной власти отца своего Сатанаила.), – торжественно говорил Николай Александрыч, – вспомни, сестрица, вспомни, душевная моя.

– Не давала б я, Николаюшка, великого и страшного заручения, не ставила б за чужую душу в залог свою душу, ежели б не знала Дунюшки, – а иступленье, диким, дрожащим голосом сказала брату Марья Ивановна.

И, крепко стиснув руками грудь, со слезами на глазах, задыхаясь от непрерывных вздохов и сильных судорожных движений тела, стала она «выпевать»: («Выпевать» – в беспамятстве говорить с рифмами, импровизировать.).

– Высоко будет ходить во «святом во кругу» («Святым кругом» у хлыстов называется нечто вроде хоровода, исполняющего религиозные пляски.). Высока ее доля небесная, всем праведным будет она любезная. Велики будут труды, да и правильны суды...

Все встали. На Марью Ивановну «накатило». Она была в восторге, в иступленье, слово ее было «живое слово, святое, вдохновенное, пророческое». Всем телом дрожа и сжимая грудь изо всей силы, диким, но торжественным каким-то голосом запела она:

Изведет из темниц

Сонмы чистых девиц.

Привлечет в божий чин

Сонмы грешных мужчин.

Сам спаситель ей рад,

Возведет в вышний град,

Осенит святой дух

Ее огненный дух,

И на радость она

Будет богу верна.

Поручусь за нее,

И молюсь на нее,

То – невеста Христа,

Снимет нас со креста,

Силу вышнюю даст,
Благодать преподаст.

С поникшими головами и сокрушенным сердцем слушали Луповицкие сестрицу свою, затрубившую в трубу живогласную, возглашавшую златые вещания, чудоносные, цельбоносные (Трубой живогласною и златыми вещаниями, чудоносными, цельбоносными хлысты называют слова пророков, сказанные во время исступления.).

В изнеможение, без чувств упала Марья Ивановна на диван. Глаза ее закрылись, всю ее дергало и корчило в судорогах. Покрытое потом лицо ее горело, белая пена клубилась на раскрытых, трепетавших губах. Несколько минут продолжался такой припадок, и в это время никто из Луповицких не потревожился – и корчи и судороги они считали за действие святого духа, внезапно озарившего пророчицу. С благоговеньем смотрели они на страдавшую Марью Ивановну.

Мало-помалу она успокоилась, корчи и судороги прекратились, открыла она глаза, отерла лицо платком, села на диван, но ни слова не говорила. Подошла к ней Варвара Петровна со стаканом воды в руке. Большими глотками, с жадностью выпила воду Марья Ивановна и чуть слышно промолвила:

– Еще.

Другой стакан подала Варвара Петровна, Марья Ивановна и его выпила, волнение стало в ней прекращаться, только грудь поднималась тяжело и порывисто.

«Живым словом» Марьи Ивановны была решена участь Дуни. Луповицкие с радостью согласились открыть ей всю «сокровенную тайну». В слове Марьи Ивановны и в постигшем ее после того припадке они видели явную на то волю Божию.

– Я пойду... разденусь... лягу в постель... – слабым, упавшим голосом проговорила Марья Ивановна, приподнимаясь с дивана. Варвара Петровна подхватила ее под руку и тихонько, с осторожностью повела едва передвигавшую ноги пророчицу.

В родительском доме в последнее время все дни с утра до ночи Дуня проводила с Марьей Ивановной, в Луповицах стала она неразлучна с Варенькой. Погода на ту пору стояла тихая, теплая, и обе девушки из сада почти не выходили, они бывали в доме только за обедом и за чаем. Постель Дуни на первое время поставили в Варенькиной спальне, пока не приготовили заезжей гостею особой комнаты. Все это сделано было по желанию Марьи Ивановны. И во время прогулок, и по ночам, лежа в постелях, Дуня водила с Варенькой такие же разговоры, как прежде с Марьей Ивановной. Рассказы молодой девушки о таинственной вере нравились Дуне больше, чем рассказы Марьи Ивановны. Они были ей проще и понятнее. Иногда приходили к ним в сад и Варвара Петровна и Марья Ивановна, но всегда на короткое время. В совете Луповицких Дуня отдана была для вразумлений Вареньке, потому что эта ближе подходила к ней возрастом и потому могла иметь больше на нее влияния.

Однажды Варенька с Дуней, крепко обнявшись, сидели на уютном диванчике в обширной теплице, уставленной одними пальмами. Других растений в теплице не было. Говорили девушки о «союзе», к которому так неудержимо влеклась мечтательная Дуня.

– Варенька, я тебе еще, кажется, не сказывала, что Марья Ивановна обещалась мне здесь, в Луповицах, показать таких праведных, что говорят «живое слово», – сказала Дуня. – Теперь каждый день я ее спрашиваю, когда ж это будет, а у нее только и ответов: «погоди да погоди».

– А тебе хочется видеть их? – с улыбкой спросила Варенька.

– Господи! Да я бы жизнь отдала, только бы взглянуть на них, только бы одно «живое слово» услышать, – с живым нетерпением отвечала Дуня.

– Разве ты никогда не видала их? – улыбаясь, спросила Варенька.

– Где ж мне видеть их? – грустно промолвила Дуня... – Не такая жизнь выпала на долю мне. Не знаешь разве, что я выросла в скиту, а потом жила у тятеньки в четырех стенах. До знакомства с Марьей Ивановной о духовности и понятия у меня не было. Только она открыла мне глаза.

– А ты и не догадалась, что сама она «просветлена», что в ней самой дух божий живет, что сама она вещает «глаголы живота»? – спросила Варенька.

– Как? Неужели? – в изумлении вскрикнула Дуня и порывисто вскочила с диванчика.

– Да, «просветлена», – сказала Варенька. – Она уж давно таинственно умерла и давно таинственно воскресла. Нет в ней греховного человека, нет в ней ветхого Адама. Не доступны ей ни грех, ни страсти, свойственные человеку.

Припомнила Дуня слова Марьи Ивановны о людях, что после таинственной смерти таинственно воскресают. Ее слова были памяты ей, в сердце носила их.

– Так в ней сам бог?.. Так от нее от самой можно слышать слово вечной жизни? – воскликнула Дуня задрожавшим от волнения голосом.

– Да, она «труба живогласная», – молвила Варенька. – Она святая пророчица, устами ее дух волю свою вещает.

– А я и не знала... И в голову мне не приходило... – тихо опускаясь на диванчик, едва слышно промолвила Дуня.

– Чужому знать этого нельзя, – сказала Варенька.

– Зачем же она не сказала мне?.. Зачем говорила, что увижу таких людей только здесь, в Луповицах?.. – тоскливо говорила Дуня, не слушая Вареньки.

– Услышишь... И ее услышишь и других услышишь, – сказала Варенька. – В пророческом слове не одна она ходит.

– Кто же еще? – спросила Дуня.

– Дядюшка и еще другие, – ответила Варенька.

– Как? Николай Александрыч?

– Да. Силен в нем дух, сильнее, чем в тете Машеньке. Он ведь кормщик корабля, всем руководит. В нем давно уж нет своей воли, она вся попалена небесным огнем, совсем уничтожена. В нем одна только святая воля духа. Что б он ни приказал, чего б ни захотел, все исполняй, как божье повеленье. Что б ни сказал он, во всяком слове его премудрость божия. Слепым, что живут языческой жизнью в плене вавилонском, тем, что валяются в смрадной тине грехов, слова его, конечно, покажутся безумием. Но помни, Дунюшка, слово, сказанное в писании: «Безумное божие мудрее людей, и немощное божие сильнее человеков» (1. Коринф, 1-25.). Всякий кормщик такой, как дядюшка, что бы ни сделал, все свято сделал. Как бы его поступок ни показался скверным, даже незаконным, все-таки он безмерно выше, нравственнее и законнее высшей чистоты и праведности человеческой. Не кормщик так поступает, а живущий в нем дух. Читала ли ты преподобного отца Макария Египетского?

– Как же не читать? – отвечала Дуня.

– Вспомни, что говорит он: «Душа, которую дух, уготовляющий себе в престол и жилище, удостоит приобщиться его света, осияет неизреченною красотой его славы. Она сама вся становится светом, в ней не остается ни одной части, которая бы не была исполнена духовных очей». А со многими очами многоочитые кто?

– Херувимы, – сказала Дуня.

– Ну да, – подтвердила Варенька. – Так ты понимай, кому подобны божьи люди, особенно кормщики кораблей, одаренные духом сугубой благодатью. Макарий Египетский вот еще что говорит: «Не остается в той просветленной душе ничего темного, она вся делается светом и духом. Такие люди, соединенные с духом Божиим, делают подобными самому Христу, сохраняя в себе постоянно силы духа и являя для всех духовные плоды, потому что когда они духом соделаны чистыми и непорочными – то невозможно, чтобы вне себя приносили они плоды злые. Всегда и во всем являются у них добрые плоды духа» (Св. Макария Египетского «Беседа» I, п. 2, «Слово о любви», п. 7.).

Долго ничего не могла сказать на это Дуня.

– Когда ж и где Николай Александрыч или Марья Ивановна говорят «живое слово»? Когда бы послушать их, Варенька?.. – после долгого молчанья спросила Дуня.

– Когда корабль соберется, когда властью и велением духа будут собраны люди божьи во едино место в сионскую горницу, – ответила Варенька, – если будет на то воля божия и тебя допу-

стоят посмотреть и послушать, хоть ты пока еще и язычница... Кто знает? Может быть, даже слово будет к тебе. Редко, а это иногда бывает.

– Ах, всем бы сердцем, всей бы душой я хотела войти в корабль, – с глубоким вздохом сказала Дуня.

– Покамест нельзя, Дунюшка. Вдруг никак невозможно, – отвечала Варенька. – Может быть, собрание-то, когда побываешь в нем, соблазнит тебя. Может быть, ты станешь избегать его, как греховного.

– Что ты, что ты, Варенька! – вскрикнула Дуня. – Я и так, кажется, довольно уж знаю... Сколько книг перечитала, сколько Марья Ивановна со мной говорила. Во все, во все верю, и всей душой стремлюсь к раскрытию «сокровенной тайны».

– Не говори так, Дунюшка, – прервала ее Варенька, – не говори с такой уверенностью. Сказала я тебе, что божие безумное премудрей человеческой мудрости, но ведь обыкновенные люди, язычники, в проявлениях духа видят либо глупость, либо юродство, либо даже кощунство и богохульство, кликушами божьих людей называют, икотниками да икотницами, даже бесноватыми

(Кликуши, на северо-востоке икотницы – люди, одержимые особым рода падучей болезнью, в припадках которой теряется сознание и больная (у мужчин эта болезнь бывает чрезвычайно редко) в корчах и судорогах беспрестанно икает либо кричит звериными голосами, изрыгая брань, ругательства и даже богохульство. Народ приписывает эту болезнь напуску от злых колдунов. Сами кликуши всегда почти выкликают, что такой-то испортил их. Считая эту нервную болезнь, истерику в самой сильной степени, за притворство, пробовали лечить баб розгами, иным это лекарство помогало, но в большей части случаев сводило больных в могилу.).

Когда явишься ты в среде малого стада, в сонме племени нового израиля, и божьи люди станут молиться на твоих глазах истинной молитвой, не подумаешь ли ты по-язычески, не скажешь ли в сердце своем: «Зачем они хлопают так неистово в ладоши, зачем громко кричат странными голосами?...»

А когда услышишь вдохновенные, непонятные тебе речи, не скажешь ли: «Безумие это, сумасбродство»?.. Мало того – не скажешь ли ты самой себе: «Это кощунство». Так всегда говорит про божьих людей слепой и глухой языческий мир, так, пожалуй, скажешь и ты, потому что ты язычница.

– Зачем же, однако, на молитве хлопать в ладоши? – с удивлением спросила Дуня. – Помоему, это нехорошо. Так не водится.

– Псалтырь читывала? – спросила Варенька.

– Как же не читать? Училась по псалтырю. Чуть не весь знаю наизусть, ответила Дуня.

– Помнишь: «Восплещите руками, воскликните богу...» А дальше: «Взыде бог во восклицании», – сказала Варенька.

– Псалом сорок шестой, в конец о сынех Кореовых, – промолвила Дуня и смолкла.

– Оттого люди божьи и плещут руками. Царь-пророк их тому научил. И восклицают они громкими радостными голосами хвалебные песни, – сказала Варенька. – То не забудь, что сам бог ходит при восклицаниях и в гласе трубном, то есть с пением, с музыкой. Тебе покажется это соблазнительным, потому что привыкла ты к мертвому богопочтению. У вас только поклоны да поклоны. Знай одну спину гнуть – и будешь спасен... Так ведь по-вашему? А у божьих людей не так, у них все тело, все члены его поклоны бьют. А когда увидишь, как это делается, – непременно соблазнишься...

– Что ж это за поклоны всем телом? – с напряженным вниманием спросила у Вареньки Дуня.

– С первого взгляда похожи они на скачку, на пляску, на языческие хороводы, – ответила Варенька. – И если бы увидел язычник святое «радение» людей божьих, их, непременно назвал бы его неистовым скаканьем, богопротивною пляской. Но это «радение» к богу. Сказано: «Вселюся в них и похожу» – и вот, когда вселится он в людей своих, тогда и ходит в них. Божьи люди в восторге тогда пребывают, все забывают, землю покидают, в небесах пребывают.

– Как же это можно плясать на молитве? – сказала совсем изумленная Дуня. – Ведь это грех... Подумать так страшно...

– Службу на Пасху знаешь? – спросила Варенька. – Всю наизусть, ответила Дуня.

– «Богоотец убо Давид пред санным ковчегом скакаше, играя...» – помнишь? – спросила Варенька.

– Помню, – тихо в раздумье ответила Дуня.

– А в писании читала, как царь Давид плясал перед господом? – спросила Варенька.

– Что-то не помню, – ответила Дуня.

– Шел он в Иерусалим с кивотом божиим, скакал перед ним и играл. Мельхола, дочь Саулова, как язычница, над ним насмеялась, а он ей сказал: «Буду играть и плясать перед господом» (II Царств., гл. 6.). Теперь он в райских светлицах препрославлен, а она в адских муках томится, во власти божия врага.

Не отвечала Дуня. Поражена была она словами Вареньки. Та продолжала:

– Увидишь людей божьих, и мужчин и женщин вместе, в одних белых рубашках, с пальмами в руках – и тоже соблазнишься?.. А между тем тут тайна. Почему святых, праведных зовут «людьми божьими»? Потому что запечатлены они печатью бога живого.

– Об этом я в книге госпожи Гион читала, – молвила Дуня (Госпожа Гион. «Изъяснение на апокалипсис». Москва, 1821.).

– Ну да, – подтвердила Варенька, – и в апокалипсисе тоже есть. Там сказано: «Вот множество людей ото всех племен стоят пред престолом и пред агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветками в руках и восклицают громким голосом...» (Апокалипсис, гл. 7.) Потому люди божьи и «радеют» господу в белых одеждах с пальмами в руках... Конечно, не везде можно достать пальм – а у нас вот их целая теплица для того заведена. По другим местам вместо пальм вербы держат в руках, либо зеленые ветви от какого-нибудь дерева, не то белые платки либо жгутики... Вот отчего люди божьи молятся в одних белых рубашках... А тебе, пожалуй, и это за соблазн покажется. Не отвечала Дуня, погрузившись в сильное раздумье.

– А когда услышишь, что восклицают в то время божьи люди, какие слова говорят и поют они – соблазнишься, непременно соблазнишься, – продолжала Варенька.

– Что ж такое они восклицают? – пытливым взглядом глядя на Вареньку, спросила Дуня.

– Они поют, – сказала Варенька. – Поют «песнь нову», и, кроме их, никто не может научить ее петь, – прибавила она после короткого молчания. – Певцы те искуплены, они первенцы богу и агнцу... В устах их нет лукавства... Непорочны они пред божьим престолом... На них печать божия (Апокалипсис, гл. 7.).

– То же читала я в книге госпожи Гион, – сказала Дуня. – Я бы, кажется, услышавши такую песню, слушала ее не наслушалась.

– А все-таки она бы соблазнила тебя, – ответила Варенька, устремляя пристальный взгляд на Дуню. – Не забывай, милый друг, что ты еще пока язычница и что враг имеет над тобой полную власть. Он-то и вложит в твою душу нечистый помысл, он-то и скажет тебе, что «новая песня» – безумие... Но помни всегда, всегда помни, моя милая, желанная, что «безумное божие премудрей человеческой мудрости». Что, если услышишь ты в собрание божьих людей не тот напев, к которому привыкла в своих часовнях? Услышишь, что новые песни поются на голос мирских песен – хороводных, например, или таких, что пьяные мужики поют на гуляньях, либо крестьянские девки на посиделках, иной раз плясовую даже услышишь?

– Зачем же так петь? – в сильном смущении спросила Дуня. – Разве нельзя петь как следует?

– Можно бы, – ответила Варенька. – Очень бы можно, ежели бы новую песню пели, как у вас, бездушные кимвалы бряцающие. Но ведь на раденьях людей божьих не сами они поют, не своей волей, не своим хотеньем; дух, живущий в них, и слова песен, и напев им внушает... Опять-таки прежде тебе скажу, не знаю уж в который раз, помни слова писания: «Безумное божие премудрей человеческой мудрости»... Да, во всем, во всем у людей божьих для языческого греховного мира тайна великая. Люди божьи ежечасно славят творца, что дал им познать его тайны, – прибавила Варенька. – Утаил он тайны от премудрых и разумных, открыл младенцам своим неразумным!

– Какие ж это песни? Ты знаешь какую-нибудь? – спросила Дуня.

– Знаю, но далёко не все, – ответила Варенька. – Песен много – на каждом почти собрании новая бывает, и не одна, а сколько дух святой захочет, столько и дает их. Ведь это не то, что у

язычников по тысяче лет одно и то же поется. Прислушались, и в старых песнях смысла не понимают. А и те песни святы, потому что в свое время и они внушены были духом же святым. У божьих людей новые песни поются по наитию духа, и никто не может навывкнуть петь эти песни, как сказано в писании... Но есть и старые песни, такие, что давно певались пророками и теперь по церквам и по вашим скитским часовням поются. Их тоже поют на соборьях люди, познавшие «тайну сокровенную».

– Если можно, богом тебя прошу, Варенька, спой какую-нибудь новую песню, – просила Дуня, крепко сжимая Вареньку в объятьях.

Немножко призадумалась Варенька, сказала, наконец:

– Изволь, так и быть, спою одну, но смотри, наблюдай за собой – не посеял бы враг соблазна в твоём сердце.

– Нет, Варенька, нет. Не мне, самому богу поверь, что не соблазнюсь. Пой, Варенька, пой, – со страстным увлечением говорила Дуня. А сама так и млеет, так и дрожит всем телом.

Помолчала Варенька, потом ясным чистым голосом запела:

Бога человекам невозможно видети,

На него ж не смеют чины ангельские взирати.

– Да это и у нас поется, – сказала Дуня. – Напев только не тот. У нас этот тропарь поют на глас шестый. Не слыхала Варенька слов Дуни. Громче и громче раздавалась ее песня в теплице под сенью длиннолистных пальм.

Тобою, пречиста, дева благодатна,

К нам господь явился в плоти человека.

Люди не познали, что бог с ними ходит.

Над ним надругались – вины не сыскали,

Все не знали в злобе, что тебе сказать,

Рученьки пречисты велели связати,

На тебя плевали, венец накладали.

Отвели к Пилату, чтоб велел распяти,

А ты милосердый, терпеливый агнец,

Грех со всех снимаешь, к отцу воздыхаешь:

«Отпусти им, отче, – творят, что не ведут»,

Благообразный Иосиф упросил Пилата

С древа тело сняти, пеленой обвити,

На тебя глядевши, стал он слезы лить,

И во гробе нове положил, покрывши,

Зарыл тело в землю, камень положивши.

– Это псалма, – сказала Дуня. – Не эту самую, а другие такие же у нас по скитам поют, не в часовне только, а в келарне, либо в келье у какой-нибудь матери, где девицы на поседки собираются.

Не отвечала Варенька. Она уж пришла в восторг и, не слушая Дуни, продолжала:

Ныне наш спаситель просит отпущенья;

Плачем и рыдаем, на страды взираем –

Сокати святой дух царствовать на землю!..

Повелел спаситель – вам врагам прощати,

Пойдем же мы в царствие тесною дорогой,

Царие и князи, богаты и нищи,

Всех ты, наш родитель, зовешь к своей пище,

Придет пора-время – все к тебе слетимся,

На тебя, наш пастырь, тогда наглядимся,

От пакостна тела борют здесь нас страсти,

Ты, господь всеильный, дай нам не отпасти,

Дай ты, царь небесный, веру и надежду,

Одень наши души в небесны одежды,

В путь узкий, прискорбный идем – помогай нам!
Злые духи тати ищут нас предати,
Идут в путь просторный – над нами хохочут,
Пышность, лесть и гордость удалить не хочут,
Злого князя мира мы не устрасимся,
Всегда друг ко другу, как птицы, слетимся...
Что же нам здесь, други, на земле делить?
У нас один пастырь, а мы его овцы.
Силен всем нам дати, силен и отнять,
Мы его не видим, а глас его слышим:
"Заповедь блюдите, в любви все ходите,
Во Христово имя везде собирайтесь.
Хоть вас и погонят – вы не отпирайтесь",
У пламя вы, други, стойте, не озябьте,
Надо утешати батюшку родного,
Агнца дорогого, сына всеблагого,
Авось наш спаситель до нас умилился,
В наших сокрушенных сердцах изволит явиться,
С нами вместе будет, покажет все лести,
Наших сил не станет тайну всю познати,
Надо крепким быти и всегда молиться,
Тогда и злодей всяк от нас удалится*.

* Эта хлыстовская песня тоже принадлежит одному из участников общества Татариновой.

Пропев «новую песнь», Варенька склонилась на диванчик и долго оставалась в забытии. Слезы орошали бледные ее ланиты. Молчала Дуня, перебирая складки передника, и она погрузилась в какое-то особенное состояние духа, не то забытье, не то дремоту... Когда, наконец, Варенька пришла в себя, она спросила у нее:

– А в собраниях ваших крестятся ли?

– Как же можно без креста? – чуть слышно, слабым голосом проговорила Варенька. – Но ты и тут, пожалуй, соблазнишься, увидавши, как божьи люди крестятся. – прибавила она.

– Неужели шепотью? – тревожно спросила Дуня.

– Нет. Крестятся больше двумя перстами, но не одной рукой, а обеими, отвечала Варенька.

– Как обеими руками? Да разве это можно? – воскликнула Дуня.

– А что такое значит крестное знамение на молитве? Что такое значит самая молитва? – спросила Варенька.

– Кто ж не знает этого? – слегка улыбнувшись, молвила Дуня. – Молиться – значит молитвы читать, у бога милости просить.

– Молитва – возношение души к богу, – прервала ее Варенька. – Молитва – полет души от грешной земли к праведному небу, от юдоли плача к неприступному престолу господню. Так али нет?

– Конечно, – тихо ответила Дуня.

– А крестное знамение что значит в этом полете? – спросила Варенька

– Не знаю, как тебе сказать... – в недоуменье ответила Дуня. – А как по-твоему?

– В полете к небу, паренье к огнезračному престолу творца крестное знамение крылья означает, – сказала Варенька.

– Да, и я, не помню, где-то об этом читала, – сказала Дуня. – Не в тех книгах, что Марья Ивановна советовала читать, а в отеческих... В «Цветнике» в каком-то или в «Торжественнике» – не припомню. Еще бывши в скиту, читала об этом.

– Ну хорошо, – молвила Варенька. – А где ж ты видала, чтобы птица летала одним крылом? Понимаешь теперь, почему божьи люди крестятся обеими руками?

Призадумалась Дуня. После короткого молчанья спросила она:

– Когда ж я увижу все это?

– Скоро, – молвила Варенька. – Твердо ли только решилась вступить на путь праведных?

– Целый год об этом только и думаю, – с увлечением ответила Дуня. Сердцем жажду, душой алчу, умом горю, внутреннее чувство устремляет меня к исканию истины, – говорила она языком знакомых ей мистических книг.

– А знаешь ли, как горька и тяжела, как полна скорбей и лишений жизнь божия человека? – сказала Варенька. – Тесный путь, тернистый путь избираешь ты... Совладаешь ли с собой, устоишь ли против козней врага?.. А ведь он ополчится на тебя всей силой, только бы сбить тебя с пути праведных, только бы увлечь в подвластный ему мир, исполненный грехов и суеты...

– Не послушаю я наветов диавола... – начала было Дуня, но порывистым движением Варенька крепко схватила ее за руку.

– Не поминай, не поминай погибельного имени!.. – оторопелым от страха голосом она закричала. – Одно ему имя – враг. Нет другого имени. Станешь его именами уста свои сквернить, душу осквернишь – не видать тогда тебе праведных, не слышать ни «новой песни», ни «живого слова».

Смутилась Дуня, но, оправившись, сказала:

– Не знала я этого хорошенько.

– То-то, смотри, – молвила Варенька. – Не только не называй его, даже в мыслях не держи скверных имен его. Не то станет он в твоей душе сеять соблазны. Возбудит подозрение и недоверие... Будешь тогда навеки лишена ангельских лобзаний.

– Это что за ангельские лобзанья? – с живым любопытством спросила Дуня.

– Взаимные поцелуи божьих людей на собраниях. Эти лобзанья – великая тайна, – ответила Варенька.

– Как? И с мужчинами целоваться? – с испугом вскрикнула Дуня.

– У божьих людей, как у ангелов – нет ни мужчин, ни женщин, – сказала Варенька.

– Все-таки стыдно, – вся зардевшись, промолвила Дуня.

– Видишь ли? Враг-от не дремлет. Едва сошло с языка твоего прескверное его имя, он уж тут, он уж тотчас к тебе с соблазном подъехал, – сказала Варенька. – Люди божьи, друг милый, живут не по-вашему, не по-язычески. Они живут в боге, в них вселена благодать, мирским людям недоступная. Нет у них приличий, нет запрещений, ни закона нет, ни власти, опричь воли божией. И греха у них нет, потому что они умертвили его в себе. Все они братья и сестры одного святого семейства, живут в чистоте небесной, в ангельской свободе. В их поцелуях ни стыда нет, ни соблазна, ничего нет дурного. Ангельские лобзанья – славословие бога. Великая в них тайна. К духовному супругу ведут они.

– Скажи мне, Варенька, пожалуйста, что это такое «духовный супруг»? – с живостью спросила Дуня. – Слыхала я об нем от Марьи Ивановны и в книгах тоже попадалось, но не могу ясно понять, что это такое...

– О! еще шагу не ступивши по правому пути, ты уж захотела проникнуть в одну из самых сокровеннейших тайн, – улыбаясь, сказала Варенька. – Но так как ты хорошо подготовлена, то можно перед тобой хоть немножко приподнять завесу этого таинства. Видишь ли – один человек не совершен. Сам бог сказал: «Не добро быть человеку единому» – и создал Еву для Адама. Это было еще до греха праотцев. Первые супруги, созданные богом, были «духовные супруги», на всю вечность супруги. Грех, внушенный им от врага, все изменил в них. С тех пор супружество стало только временным, на одну лишь земную жизнь. Со смертью одного супруга обыкновенному плотскому, языческому браку конец, он не может продолжаться на веки вечные. А между людьми, умертвившими в себе грех и ветхого Адама, заключается такое духовное супружество, в каком праотцы жили в раю. Духовное супружество бессмертно, как человеческая душа. Оно не разрывается при освобождении души из созданной врагом темницы смертью, – смертью, как зовете вы, язычники, освобождение души от вражеских уз и плачете притом и рыдаете. А люди божьи смерти праведника радуются – потому что освободил его господь, вывел из смрадной темницы тела, созданного врагом... Поняла?

– Кажется, немного понимаю, – думчиво ответила Дуня. – Но как же вступают в эти духовные супружества?

– Разумеется, они не так совершаются, как браки язычников, – ответила Варенька. – Нет ни предложений, ни сватовства, никаких обрядов. Нет даже выбора. Сам дух указывает, кому надо соединиться, кому из двух составить одно. Тут тайна великая!.. Знаю я ее, испытала, но теперь больше того, что сказала, тебе открыть не могу.

Весь день после этого разговора Дуня была сама не своя. Много думала она о том, что узнала от Вареньки, мысли роились у ней, голова кругом шла. Почти до исступленья дошедшая восторженность овладела ею.

Меж тем Варенька рассказала Луповицким и Марье Ивановне о разговоре с Дуней. Вовлеченную в сети девушку на весь вечер оставили в покое одну – пусть ее думает и надумается.

– Кажется, овечка на пажить готова, – сказала Варвара Петровна. – Когда ее приведем?

– До привода надо ей побывать на соборе, – сказал Николай Александрыч. Да и не все вдруг обнаруживать.

– Кажется, завтра и Лукерьюшка из Маркова в богадельню придет, сказала Варвара Петровна. – Надо и ее уговорить. Кажется, в ней много и силы и духа.

У Варвары Петровны было большое хозяйство – скотный двор, тонкорунные овцы, огромный птичник, обширные, прекрасно возделанные огороды, а за садом возле рощи вековых густолиственных лип большая пасека.

Все было в таком порядке, что из соседей, кто ни взглянет, всяк позавидует. Полевое хозяйство в Луповицах также шло на славу, хоть и велось старинным трехпольным порядком и не было заведено хитрых заморских машин. Оба брата редко-редко, бывало, когда выедут в поле или на ригу, а меж тем ни у кого так хорошо хлеб не родится, хоть земля была и не лучше соседской. На садовые плоды тоже никогда почти не бывало неурожая, в реке и в озерах рыбы налавливалось чуть ли не больше, чем в целом уезде, о лесных порубках, потравах, прорывах мельничных плотин и слухов не бывало. Народ в имении Луповицких был хоть не богат, но достаточен. Все были богомольны, каждый праздник в церкви яблоку бывало негде упасть, воровства и пьянства почти во все не было, убийств и драк никогда. И ни малейшей от господ строгости. Все мужики, жены и дочери их барской грозы никогда не видавали, даже сурового слова от них не слыхивали. Луповицкие считали крепостных своих за равных себе по человечеству и, говоря с ними, звали их Иванушкой да Романушкой, Харламушкой да Егорушкой, а баб и девок – Маланыушкой, Оленушкой, Катеринушкой (Хлысты своих и тех из непосвященных, что по общественному положению ниже их, всегда зовут ласкательными полуименами.).

Завидовали Луповицким соседи и не могли придумать, отчего у них все спорится. Сами летом они каждый день с утра до ночи в поле, за всякой безделицей следят зорко, каждое яблоко у них на перечеете, а все ровно ветром метется – нейдет в прок, да и полно. И народ совсем иной у них, чем у Луповицких, избаловался донельзя, воров не оберешься, пьяниц не перечесть, лень, нищета в каждом доме. А, кажется, все держится строго – всякая вина виновата. «Тут не без колдовства, – говаривали соседи про Луповицких, – отец, был фармазоном, зато на старости лет и в монастырь попал грехи замаливать. А что фармазонство, что чернокнижье – одно и то же. Пошло от колдуна Брюса и досель не переводится, проклятое. Сынки по стопам родителя пошли, яблочко недалеко от яблони падает, такие же фармазоны. С бесами знают. Чему ж тут дивиться, что им удастся все? Сатана на послугах – а такого работника не всякий наймет... Зато каково-то будет им, как на том свете очутятся в лапах у теперешних работников! Другую песню запоют!» То особенно досадно было соседям, что Луповицкие при таком состоянии отшельниками живут – ни псарни, ни отъезжих полей, ни картежной игры, ни безумной гульбы, ни попоек. Два-три раза в году зададут обед – и баста, а сами ни к кому ни ногой... Как ни досадовали соседюшки, как ни честили они Луповицких, а ихних обедов не пропускали. Хоть и противно было Луповицким, а все-таки сзывали они изредка соседей на кормежку – иначе нельзя, не покормишь – как раз беду накачают.

Рано поутру осмотрев хозяйство, Варвара Петровна с пасеки пошла в богадельню. Устроен-

ная ею женская богадельня стояла в самом отдаленном углу сада и была обсажена кругом густым вишнем. Только крыша виднелась из-за кустов, а окна совсем были закрыты вишневыми деревьями, оттого в комнатах даже и в летние дни был постоянный сумрак. Одна комната была во всю длину дома, и в ней, как в крестьянских избах, вдоль стен стояли скамьи. В переднем углу, как водится, киот с образами, рядом на стене «Распятие плоти»

(«Распятие плоти» – печатная мистическая картина, в особенности любимая хлыстами. Изображается распятый на кресте монах с замком на устах, с открытым сердцем в груди, в руках у него чаша с пламенем, а по сторонам диавол и мир, в виде вооруженного человека с турецкой чалмой на голове, стреляющего из лука в монаха, от его рта лента, на ней написано: «Сниди со креста». В Чернухинском ските на Керженце (поповщинского толка) было такое изображение, писанное на доске; оно стояло в часовне в виде местной иконы.), «Сошествие благодати» («Излияние благодати» рисуется красками от руки, оно изображает отрока в белой рубашке с поднятыми к небу руками и очами. В небесах изображен окруженный ангелами святой дух в виде голубя, изливающий на отрока благодать в виде сияния и огненных языков.) и два портрета каких-то истощенных бледноликих людей. Комната эта называлась «столовою», хоть в ней ни посуды, ни других домашних вещей не было видно. Сзади столовой, от конца дома до другого, был коридор, а из него двери в темные кельи. Их было семь, и в каждой жило по женщине. К богадельне примыкала пристройка, там быластряпущая, еще три кельи и множество чуланов.

Войдя в столовую, Варвара Петровна села у окна, и к ней медленным шагом одна за другою подошли семь женщин. Все были одеты в черные сарафаны и повязаны черными платками. Ни серег, ни даже медных пуговиц, обыкновенно пришиваемых к бабьим сарафанам, ни у которой не было. Четыре женщины были пожилые, три помоложе, одной по виду и двадцати лет еще нельзя было дать. У всех в лице ни кровинки, глаза тусклые, безжизненные, не было видно в них ни малейшего оживленья. Ровно мертвецы из своих могил пришли на поклон к Варваре Петровне.

Одна за другой подходя к барыне, они с ней целовались.

– Здравствуй, сестрица, – обращалась к каждой из них Варвара Петровна.

– Здравствуй, Варварушка, – каждая ей отвечала. Затем уселись на скамьях по ту и другую сторону от Варвары Петровны.

– Ну что, Матренушка, как тебя государь святой дух милует? – обратилась Варвара Петровна к сидевшей возле нее старушке.

– Милует, Варварушка, милует. В нем, государе, каждый день пребываю. Велика милость, голубушка, велика благодать! – поникнув головой, отвечала старушка.

– Что дочка твоя духовная? – спросила Варвара Петровна, с ласковой улыбкой взглянув на севшую одаль молоденькую девушку.

– Приобывает, Варварушка, приобывает помаленьку, другиня моя, отвечала Матренушка. – Нельзя вдруг – не сразу благодать-то дается... А скоро можно будет ее и к «приводу», – шепотом примолвила Матренушка, наклонясь к уху Варвары Петровны. – Совсем на пути, хоть сейчас во «святой круг» (Нечто вроде хоровода пляшущих или вертящихся хлыстов.), родимая.

– Доброе дело, спасённое дело, Матренушка, – отвечала Варвара Петровна. – Приведет господь, так дён этак через десять, что ли, разом двух приведем.

– Еще-то кого? – спросила Матренушка.

– А ту девицу, что гостит у нас, – сказала Варвара Петровна. – С Волги, купеческая дочь, молоденькая, еще двадцати годов не будет, а уж во многом искусилась, знает даже кой-что и про «тайну сокровенную».

– Не та ли, что с Марьюшкой приехала? – спросила Матренушка.

– Та самая, – ответила Варвара Петровна. – Сам Николаюшка долго к ней приглядывался и говорит: велик будет сосуд.

– Хорошее дело, Варварушка, дело хорошее, – сказала Матренушка. – А родители-то ее? Тоже пойдут по правому пути?

– Не пойдут, – отвечала Варвара Петровна. – Матери у ней нет, только отец. Сама-то я его не знаю, а сестрица Марьюшка довольно знает – прежде он был ихним алымовским крепостным. Старовер. Да это бы ничего – мало ль староверов на праведном пути пребывает, человек-то не та-

кой, чтобы к божьим людям подходил. Ему бог – карман, вера в наживе. Стропотен и к тому же и лют. Страхом и бичом подвластными правит. И ни к кому, oprичь дочери, любви нет у него.

Под эти слова растворилась дверь, и в столовую вошла молодая крестьянская девушка, босая и бедно одетая. Истасканная понева из ватулы и синяя крашенинная занавеска

(Понева в Рязанской, Тамбовской, Тульской, а отчасти и в Курской губерниях – юбка из трех разнополосных полотнищ. Ватула или ватола – самая грубая деревенская ткань в Рязанской, Тамбовской и Воронежской губерниях. Основа ватулы из самой толстой пряжи, уток – из скрученных льняных охлопков. Идет больше на покрывку возов, на подстилку и на одеяла. То же самое, что рядом или веретем по другим местам зовется. Занавеска – передник с лифом и рукавами. Иногда, особенно у бедных, она прикрывает только зад и бока женщины.) были у ней заплаты разноцветными лоскутками. В одной руке держала она лукошко грибов, в другой – деревянную чашку с земляникой.

– Здравствуй, Лукерьюшка, здравствуй, родная, – приветливо молвила ей Варвара Петровна. – Как поживаешь, красавица?

– Все так же, – тихим, робким голосом сказала Лукерьюшка и, подойдя к Варваре Петровне, подала ей грибы и ягоды, примолвив: – Не побрезгуйте.

– Спасибо, родная, спасибо, – ласково ответила Варвара Петровна и поцеловала Лукерьюшку. – Поставь на скамейку, а уж зайди ко мне, я тебе за этот гостинец платочек подарю, а то вон у тебя какой дырявый на голове-то.

– Не жалуйте платка, Варвара Петровна, – с горькой, жалобной улыбкой сказала Лукерьюшка. – Тетенька отнимет, Параньке отдаст.

– Жаль мне тебя, сиротку бедную... Тяжело у дяди-то? – спросила Варвара Петровна.

– Как же не тяжело? – с глубоким вздохом молвила Лукерьюшка. – В дому-то ведь все на мне одной, тетенька только стряпает. Дров ли принести, воды ль натаскать, огород ли вскопать, корму ли коровушке замесить, все я да я.

– Что же нейдешь сюда, под начал к Матренушке? – спросила Варвара Петровна. – И сыта бы здесь была, и одета, и обута, и никогда работы на тебе не лежало бы.

– Этого мне никак сделать нельзя, сударыня Варвара Петровна. Как же можно из дядина дома уйти? – пригорюнившись, с наворачившимися на глазах слезами, сказала Лукерьюшка. – Намедни по вашему приказанью попросилась было я у него в богадельню-то, так он и слышать не хочет, ругается. Живи, говорит, у меня до поры до времени, и, ежели выпадет случай, устрою тебя. Сначала, говорит, потрудись, поработай на меня, а там, даст бог, так сделаю, что будешь жить своим домком...

– Замуж прочит тебя? – спросила Варвара Петровна.

– Не знаю, что у него на разуме, – отвечала Лукерьюшка.

– А самой-то охота замуж идти? – спросила старая Матренушка.

– Где уж мне об этом думать! Кто нынче возьмет бесприданницу? – отвечала Лукерьюшка.

– И сыщется, так не ходи, – строго сказала Матренушка. – Только грех один. Путного мужа по твоему сиротству и по бедноте тебе не найти, попадется какой-нибудь озорник, век будет над тобой потешаться, станет пить да тебя же бить, ломаться над тобой: «То сделай да это подай, это не ладно, да и то не по-моему!»... А все из озорства, чтобы только над тобой надругаться... С пьянства да с гульбы впутается в нехорошие дела, а ты должна ему будешь потакать да помогать – на то жена. Узнают, раскроется дело – угодишь с ним, куда ворон костей не заносит... А в богаделенке-то не такая б тебе жизнь была. Была бы ты здесь человек божий, все бы тебя почитали, и денежки бы завелись у тебя, а работы да заботы нет никакой. Знай только молись да душеньку спасай.

Приздумалась Лукерьюшка. Хотелось ей привольной жизни, хотелось отдохнуть от тяжелой, непосильной работы у дяди.

– Дяденька-то не пустит, – со слезами, жалобно она промолвила.

– Пустит ли он даровую работницу! – сказала старая Матренушка. – Да ты пришта, что ли, к нему?... Какой он тебе дядя? Внучатым братом твоей матери доводился. И родства-то между вас никакого нет, хоть попа спроси, и он то же скажет. Сиротинушка ты одинокая, никого-то нет у те-

бя сродничков, одна сама, как перстик, – вот что... Как же может он насильно держать тебя на работе? Своя у тебя теперь воля... Набольшего над тобою нет.

– Не пустит, – чуть слышно промолвила Лукерьюшка.

– А как он не пустит-то? – сказала Матренушка. – Что у тебя пожитков, что ли, больно много? Сборы, что ли, долгие у тебя пойдут? Пошла из дому по воду, а сама сюда – и дело с концом... Да чего тут время-то волочить – оставайся теперь же. Барыня пошлет сказать дяде, чтоб он тебя не ждал. Как, Варварушка, по-твоему? – прибавила она, обращаясь к Варваре Петровне.

– Что ж? Это можно, – сказала Варвара Петровна. – Оставайся в самом деле, Лукерьюшка.

– Боязно мне, – вздрогнув, промолвила оторопелая девушка.

– Чего боишься?.. Кого?.. – вскрикнула Матренушка. – Дяди, что ли, али тетки? Так уж сказано тебе, что нет у них над тобой власти. Плюнь на них, да и все тут.

– Прибьет тетенька-то... – шепотом сказала Лукерьюшка.

– Руки коротки – сюда не дотянут, – заметила Матренушка. – Ты то пойми, под чьей защитой будешь жить. Господа-то ведь сильнее твоего дяди.

– Скажет за хлеб за соль не заработала... – молвила Лукерьюшка, утирая рукавом слезы.

– Мало ль что скажут, да ведь на всякий сказ есть свой приказ, сказала Матренушка.

– Намедни как сказала я ему, что зовут меня в Луповицы за старушками в богадельню ходить, так и дядя и тетка так развоевались, что даже страшнехонько стало, – молвила Лукерьюшка. – «Судом, говорят, тебя вытребуем, никому, говорят, не уважим».

– Пустые речи, – молвила Матренушка. – Напугать только хотели. Не бойся, не выдадут. Так али нет, Варварушка?

– Конечно, не выдадим, – отозвалась Варвара Петровна. – Нечего в самом деле тебе, Лукерьюшка, слушать ихние угрозы. Ну еще в самом деле родной бы дядя был, а то и сродником-то он тебе не доводится.

– Грозится дядя-то: «Господам, говорит, своим стану жалобиться, чтобы взяли из Луповиц ихнюю девку», – сказала Лукерьюшка.

– Я у Оброниных тебя выкуплю – будешь моя, – молвила Варвара Петровна. С Оброниним, с Михайлом Григорьевичем, с барином вашим, в ладах живем.

– Чего ж тебе еще, глупенькая? – подхватила Матренушка. – Целуй ручку, благодари барыню-то, да и пойдем, я тебе местечко укажу. А к дяде и не думай ходить – вот что. Живи с божьими людьми; в миру нечего тебе делать. Здесь будет тебе хорошо, никто над тобой ни ломаться, ни надругаться не станет, битья ни от кого не примешь, брани да попреков не услышишь, будешь слезы лить да не от лиха, а ради души спасенья.

Колебалась Лукерьюшка, но когда все пристали к ней с уговорами, выхваляя богадельню, где нет ни холоду, ни голоду, есть во что одеться, есть во что обуться, а жизнь ровно у птицы небесной – о завтрашнем дне и помышленья не имей, она согласилась остаться.

Выйдя из богадельни вдвоем с Матренушкой, Варвара Петровна сказала ей:

– Приучай ее помаленьку, учи, испытывай...

– Будет она, Варварушка, на корабле, безотменно будет. Об этом, голубушка, не беспокойся. Скоро уготоваем девицу к божьему делу... – сказала Матренушка. – Когда собрание-то думаете сделать? – спросила она. – Надо бы поскорее. Ох, как бы надо-то – давненько уж я не радела.

– С той субботы на воскресенье, думаю, соберемся, – отвечала Варвара Петровна. – Приводи Лукерьюшку-то.

– Приведу, Варварушка, приведу, моя родная. Как не привести? Пушай приобьикает... Прощай, голубушка, прощай.

– Прощай, – сказала Варвара Петровна и медленными шагами пошла в дом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кормщик корабля возвестил верным-праведным, что в ночь с субботы на воскресенье будет собор. С радостной вестью Варвара Петровна поспешила к своим богаделенным и велела им, готовясь к великому делу, пребывать в посте, молитве и душевном смирении. Велела в субботу, как

только смеркнется, приходиться ко вратам сионской горницы и пребывать там в благоговейном молчанье, пока не отверзнутся врата истинной жизни и не снимется завеса с сокровенной тайны. Наказывала Варвара Петровна Матренушке, приводила б она и Лукерьюшку, пусть ее поглядит, как радуют господа верны-праведные. Сказала Варвара Петровна про собор и двум своим наперсницам: старой ключнице Прохоровне, что за нею еще в няньках ходила, да Серафимушке, молодой, но невзрачной и сильно оспой побитой горничной Вареньки.

Сам Николай Александрыч объявил «сионскую весть» дворецкому Сидору Савельеву, что без малого сорок годов, еще с той поры, как молодые барчата освободились от заморских учителей, находился при нем безотлучно. Сказал Николай Александрыч и пасечнику Кириллу Егорову, старичку седенькому, приземистому, что принят был в корабль еще покойником Александром Федорычем. Не часто «ходил в слове» Кирилло, зато грозно грехи обличал, громом гремел в иступленном восторге, в ужас и трепет всех приводил, в иное же время ни с кем почти не говаривал, редко кто слово от него слово от него слышал. Тих был и кроток, на все безответен, из пасеки ходу ему только и было – в церковь на каждую службу да в сионскую горницу на раденья.

За три дня до собранья призвал к себе Николай Александрыч конторщика Пахома Петрова. Был тот конторщик человек пожилой, немногим помоложе господ, грамоте знал, силен был в счетоводстве, вел книги по имению и служил правой рукой Андрею Александрычу по управленью деревнями. Целые дни корпел он в вотчинной конторе, но, ежели случалось послать куда-нибудь по делам, всегда его посылали; ловкий был человек, во всяких случаях находчив, умел обращаться с людьми, умел и дела обделявать с ними. Пахома рассылал Николай Александрыч и к божьим людям с вестями о днях, назначенных для раденья.

– Надо потрудиться, Пахомушка, – говорил он ему, – объезжай святую братию, повести, что в ночь на воскресенье будет раденье. В Коршунову прежде всего поезжай, позови матроса Семинушку, оттоль в Порошино заверни к дьякону, потом к Дмитрию Осипычу, а от него в город к Кисловым поезжай. Постарайся приехать к ним засветло, а утром пораньше поезжай в Княж-Хабаров монастырь за Софронушкой.

– Не натворил бы он опять чего-нибудь, – молвил Пахом.

– А что?

– Да как в тот раз, – сказал Пахом. – В радельной рубахе к попу на село не побежал бы. Долго ль до огласки? И то, слышь, поп-от грозил тогда: «До архиерея, говорил, надо довести, что у господ по ночам какие-то сборища бывают.. и на них монахов в рубахи тонкого полотна одевают».

– Хорошенько надо смотреть за ним, с глаз не спускать, – молвил на то Николай Александрыч. – А без Софронушки нельзя обойтись, велика в нем благодать – на соборах ради его на корабль дух свят скоро нисходит.

– Не для словес на святой круг принимаем его, а того ради, что при нем благодать скорее с неба сходит.

– Говорит-то всегда такое непонятное – смущает иных, – заметил Пахом.

– Рассуждать о странных и непонятных словах, Пахомушка, нам с тобой не приходится, и смысла в них искать не следует, – молвил Николай Александрыч. Сказано: «Аще неблагоразумные, невразумительные значит, слова кто говорит на собрании верных языком странным и непонятным – как узнают, что он говорит? Будет он на воздух глаголющ...» А ежели я, или ты, или другой кто не понимаем странного языка, то глаголющий для нас все одно что иноязычный чужестранец. Как поймем его? А что Софронушка угодное духу творит и угодное ему на соборах глаголет, так и об этом сказано: «Ежели кто в собрании верных на странном, непонятном языке говорит, не людям тот говорит, а богу. Хоть его никто не понимает, а он все-таки тайны духом говорит» (I. Коринф., гл.14.).

Сомнительно покачал Пахом головою и, немного помолчав, сказал Николаю Александрычу:

– К игумну-то письмецо, что ли, пожелуете? Без того не пустит.

– Как к нему писать? – молвил в раздумье Николай Александрыч. – Дело неверное. Хорошо, если в добром здоровье найдешь его, а ежели запил? Вот что я сделаю, – вложу в пакет деньги, без письма. Отдай ты его если не самому игумну, так казначею или кто у них делами теперь заправляет. А не отпустят Софронушки, и пакета не отдавай... А войдя к кому доведется – прежде всего

золотой на стол. «Вкладу, дескать, извольте принять». Да опричь того, кадочку меду поставь. С пуд, хоть, что ли, возьми у Прохоровны.

И, подавая Пахому запечатанный пакет и золотой, Николай Александрыч примолвил:

– Отправляйся же. Покров божий над тобою!.. Молви конюху Панкратью, заложил бы тебе рыженькую в таратайку... Спеша, пожалуйста, Пахомушка. Завтра к вечеру жду тебя. А о Софро-нушке не от меня проси, Марья Ивановна, мол, приехала и очень, дескать, желает повидать его. Ее там уважают больше, чем нас с братом; для нее отпустят наверно...

И через час Пахом на рыженькой кобылке ехал уж возвещать божьим людям радость велию – собирались бы они в Луповицы в сионскую горницу, собирались бы со страхом и трепетом по-работать в тайне господу, узреть свет правды его, приять духа небесного, исповедать веру истин-ную, проникнуть в тайну сокровенную, поклониться духом господу и воспеть духу, и агнцу песню новую.

С поля на поле от Луповиц, в котловине, над безводной летом речкой раскинулась деревня Коршунова.

Еще за три часа до полудня Пахом был уж там. Проехав улицей в конце деревни, своротил он направо, спустился по косоугору в «келейный ряд», что выстроен курмышом (Курмыш – ряд изб, построенных не улицей, а односторонкой на окраине селения, иногда даже за околицей. Келейным рядом в Нижегородской губернии и в соседних с нею зовут особый ряд избышек, вроде курмыша, где живут бестягольные, одинокие, солдаты, солдатки, а также вдовы и девки, склонные к отшельничеству, к иночеству, ко хлыстовщине.) возле овражка. Там остановил он свою рыжень-кую у низенькой, старенькой, набок скривившейся избышки. Ворота были заперты. Пахом посту-чал в окошко, отклика нет.

Бежит мимо девочка подросток с кузовками в руках.

Спрашивает у нее Пахом:

– Куда, красавица?

– В лес по грибы да по ягоды, – бойко отвечала ему девочка.

– Из коего дома? – спросил Пахом.

– У тетушки, у келейницы Катерины в сиротах живу, – молвила девочка.

– Семена Иваныча знаешь?

– Как не знать дедушки Семенушки? – улыбнулась девочка. – С тетушкой он в любви да в совете, в келью к нам похаживает, божественны книги почитывает.

– Что ж он? Ушел, что ли, куда из деревни? – спросил Пахом.

– На огороде работает, гряды полет. Завороты за угол-от, видно оттоль.

– Спасибо, девонька, спасибо, – молвил Пахом и, привязав рыженькую у ворот, пошел по указанью.

Над грядкой капусты наклонился восьмидесятилетний старик, седой как лунь, приземистый и коренастый. Полет он грядку, а сам что-то вполголоса напевает. То был отставной матрос Семен Петров Фуркасов. Тридцать лет с годом служил он в ластовых экипажах в Кронштадте и там вступи-пил в корабль божьих людей. Много было тогда матросов, даже и офицеров, принявших тайну со-кровенную. Сначала из любопытства хаживал в их собрании Фуркасов и в «братском обществе» (Так назывались сходбища хлыстов, бывавшие в Кронштадте, на Низкой Широкой улице, в доме Родионова.) сошелся с пророком Яковом (Яков Андреев Кушереvский, хлыстовский пророк – мат-рос, находившийся постоянно на вестях у корабельного мастера.) и был им увлечен в хлыстов-скую веру. С Яковом Фуркасов ездил в Зеленецкий монастырь к старцам Пармену и Савватею (Зеленецкий монастырь в Петербургской губернии. В нем бывали хлысты, даже евнухи. Инок Савватий – в мире Софон Авдеев Попов, родом из Моршанского уезда, в молодости (в 1775 году) за сектаторство сеченный публично батогами и сосланный в Динаминд. Он с иноком Парменом увлек в секту самого зеленецкого архимандрита.), бывал с ними на сходбищах у Фролова в Цар-

ской Славянке (Царская (прежде Графская) Славянка близ Царского села. Там у купца Якова Фролова бывали хлыстовские сходбища.), у купца Ненастьева в Петербурге (В Басковом переулке. Дочь купца Ненастьева, Вера Сидоровна, была пророчицей и в ненастьевском корабле и у К. Ф. Татариновой.), а подружившись с пророком Никитушкой (Никитушка (Никита Иванов Федоров) – солдат, музыкант первого кадетского корпуса, был пророком сначала в корабле Ненастьева, а потом у Татариновой, где благодаря хлыстам из высокопоставленных лиц получал чины. И он и жена его за сектаторство сосланы были в новгородские монастыри.), был принят в сионскую горницу Татариновой. Там познакомился он со стариком Луповицким и с его женою. И когда генерал завел в Луповицах «дом божий», Фуркасов вышел в отставку и поселился на родине, в деревне Коршуновой, что была от Луповиц с поля на поле. Тут он сделался одним из самых первых участников на соборах Луповицкого. Усердно радел на них престарелый матрос, и божьи люди надивиться не могли, как это он, такой дряхлый, с переломленной на государственной службе ногой, скачет, пляшет, кружится, ровно молоденький. «Свят дух укрепляет его, свят дух его водит», – говорили они.

– Христос воскрес! – сказал Пахом Фуркасову и поклонился ему до земли.

– Христос воскрес! – отвечал матрос и тоже до земли поклонился.

Сказал ему Пахом, зачем приехал. Ровно малый ребенок давно желанному гостинцу, обрадовался старый матрос.

– Пора бы, давно бы пора Николаюшке парусами корабль снарядить, оснастить его да в Сионское море пустить, – радостно сказал он Пахому. – Вот уж больше шести недель не томил я грешной плоти святым раденьем, не святил души на божьем кругу.. Буду, Пахомушка, беспременно буду к вам в Луповицы... Апостольски радуюсь, архангельски восхищаюсь столь радостной вести. Поклон до земли духовному братцу Николаюшке. Молви ему: доброе, мол, дело затеял ты, старик Семенушка очень, дескать, тому радуется...

– Тебе бы, Семенушка, в Луповицы-то накануне пожаловать. Переночевал бы у меня, голубчик... Поговорили бы с тобой, побеседовали, прославили бы божью милость и чудеса господни, – сказал Пахом.

– Ладно, – ответил матрос. – Рад гостить у тебя, Пахомушка, рад и побеседовать, духом святым с тобой, духовный братец, утешиться. А теперь пойдем-ка в келью да потолкуем, сколько господь нам беседы пошлет.

Келья у Фуркасова была маленькая, но светлая и держалась чисто, опрятно. В божнице стоял литой из меди крест да три образа – спасителя, богородицы, Иоанна Предтечи. Под божницей лежали пять-шесть книг и небольшой запас восковых свеч. На стене «Распятие плоти».

Введя гостя в келью, Фуркасов накрыл стол скатерткой, поставил на нее деревянную чашку с медом, горшок молока да белый ровно снег папушник. Затем стал просить гостя преломить хлеб и, чем господь послал, потрапезовать.

– Много ль на соборе-то божьих людей чаете? – спросил за трапезой матрос у Пахома.

– Человек двадцать будет, а может, и больше, – ответил тот. – Домашних пятнадцать, ты, Семенушка, дьякона стану звать, Митеньку, Кисловых, в монастырь по Софронушку еду.

– Малится божие стадо, малится, – грустно покачав головой, промолвил Фуркасов. – Много больше бывало в прежние годы. С той поры, как услали родимого нашего Александрушку, зачал наш кораблик умаляться. При Александрушке-то, помнишь, иной раз святых праведных по пятидесяти и больше вкупе собиралось... В двух горницах зараз радели – в одной мужеск пол, в другой женский. А подула-повеяла погодушка холодная, пригнобила-поморозила зелен божий сад.

– Да, – с тяжелым вздохом молвил Пахом. – Великой злобой дышат духи поднебесные, злобные начальники, власти вражие, миродержатели тьмы века сего. Как противустать им в день лютый?.. Как их преодолеть?.. Как против них устоять?..

– И духом и умом надо молиться духу святому. Пой ему духом, пой и умом. Только тем и победишь злобу лукавого, – подняв седую голову, восторженно сказал Фуркасов... Ведь мы сыны света, Пахомушка, сыны дня, не стать же нам спать да дремать, как язычникам... Мы дети дня и света, они сыны ночи и тьмы... Их дело спать, нам же подобает бодрствовать и трезвиться... Тем только и победим врага, тем только миродержатель тьмы века сего и посрамится от светло сияю-

щего зрака людей божиих... Со всех сторон видим козни супротивника, хочет он нас обокрасть, и еще возможен, то и погубить... Но не дает отец небесный в обиду своих детушек. Дарует милость, оградой оградит, покровом святым покроет нас...

С час времени беседовал Фуркасов с Пахомом, наконец они расстались. Резвая кобылка с конюшни Луповицких быстро побежала в соседнее село Порошино. Там на поповке (Поповка – слободка близ церкви, где живет сельское духовенство. Если при церкви нет крестьянских домов, а одни только поповские, поселок зовется погостом.), возле кладбища, стояла ветхая избенка дьякона Мемнона Панфилова Ляпидариева. Возле нее остановился Пахом Петрович.

Мемнон прежде служил в соборе уездного городка, потом за какую-то провинность был уволен за штат. В чем состояла провинность его, никто хорошенько не знал. Одни говорили, что владыка, объезжая епархию, нашел у него какие-то неисправности в метриках, другие уверяли, будто дьякон явился перед лицом владыки на втором взводе и сказал ему грубое слово, третьи рассказывали, что Мемнон, овдовев вскоре после посвящения, стал «сестру жену водить» и тем навел на себя гнев владыки. Ближко знавшие Ляпидариева говорили, что все это неправда.

С архиереем Мемнон учился в одних классах. Прошли многие годы – вдовый дьякон служил себе да служил, а товарищ, его, постригшись в монахи и затем подвигаясь дальше и выше, сделался на родине владыкой. Сильно возрадовался тому Мемнон. Зароились в голове его золотые мечты, спит он и видит, как бы скорей повидаться со старым товарищем. Увидались наконец...

Мемнон был скор на язык, молвил владыке нечто неуютное, и с той поры черная полоса началась в его жизни. Его уволили за штат. В Порошине, где в прежние годы отец Мемнона был священником, оставалась ветхая его избенка. Там и поселился заштатный дьякон. Другой бы на его месте спился с кругу либо пустился во вся тяжкая, но он не упал духом. При веселом, шутилом и крайне беспечном нраве он относился к превратностям судьбы бесстрастно и оттого не знал ни горя, ни печали.

Прожив последние, что оставались от дьяконства, деньжонки, Мемнон должен был идти по миру; в это время об его судьбе узнали Луповицкие. Николай Александрыч, убедившись, что это был человек для него подходящий, звал его к себе, предлагая и стол, и квартиру, и все, что ему понадобится. Мемнон не согласился, но коротать время в беседах с Луповицким был рад, живал у них по неделям, беседуя о созерцательной жизни, о спасении души, об умерщвлении плоти и осыпая насмешками монашество, доставалось, впрочем, и белому духовенству.

Дал ему Николай Александрыч мистических книг, и пыливый ум Мемнона весь погрузился в них. Года через два пожелал он войти в общество сокровенной тайны и был «приведен». Со страстной пылкостью предался Мемнон учению людей божиих, усердно исполнял их обряды, но не всегда мог совладать с собой – нет, нет, да и отпустит какое-нибудь словечко на соблазн святым праведным. Все они, сами даже Луповицкие, смотрели на его выходки, как на юродство Христа ради, и нимало не соблазнялись. Привыкнув к дьяконству, Мемнон нередко нарушал заведенный на раденьях порядок пением церковной песни, а не то пустится в присядку во время раденья либо начнет ругать, кто ему подвернется. Но и это люди божьи почитали юродством и в выходках Мемнона думали видеть неизреченную тайну.

Палит июньский зной. Солнце только что своротило с полудня и льет с безоблачного неба на землю обильные потоки ослепительного блеска и нестерпимого, жгучего жара. По всему Порошину тихо, безмолвно, ни ветерок не потянет, ни воробушек не чиликнет, ни ласточка не прощечечет. Душно, чуть можно дышать – все примолкло, все притихло. Облитые потом на утренней полевой работе, крестьяне, пообедавши чем бог послал, завалились часок-другой соснуть, кто в клети, кто в амбаре, кто на погребнице. Высунув языки и тяжело дыша, приютившиеся в тени собаки ни одна не твякнет – все спят, свернувшись в кружок. Лишь изредка в какой-нибудь избе послышится слабый голосок сонного младенца и затем скрип оцепы зыбки – то полусонная мать укачивает своего ребенка. Издали по временам доносятся веселые клики, резкий хохот и пронзительный визг рез-

вой, шумной гурьбы купающихся в пруде ребятишек. Изредка пропищит парящий в поднебесье ястреб; зорко следит он, не задремал ли где в прохладной тени оплошный, но годный на обед цыпленок. И на поповке все тихо, лишь из крайней, ближайшей к кладбищу избенки через растворенные окна несутся громогласные густые звуки здорового баса. Кто-то распевает духовное.

У той избенки остановился Пахом. Вошел в калитку, растворил ворота и, поставив рыженькую в тени крытого двора, по скривившемуся крылечку без перил и без двух ступенек вошел в тесную, грязную кельенку. Там, задрав ноги кверху и ловя рукой мух, осыпавших потолок и стены, лежал спиной на лавке, в одной рубахе, раскосмаченный дьякон Мемнон и во всю мочь распевал великий прокимен первого гласа: «Кто бог велий, яко бог наш...» Прерывал он пение только руганью, когда муха садилась ему на лицо либо залезала в нос или в уста, отверстые ради славословия и благочестного пения.

– Христос воскрес! – входя в избенку, сказал Пахом.

– «Ты еси бог творяй чудеса!» – допел дьякон прокимен и, лениво привстав на лавке, молвил: – ну, Христос воскрес!.. Эку жару бог послал, яйца на солнышке в песке пеку. Вечор вкрутую испек на завалинке. Что хорошенького?

– Заехал навестить тебя, Мемнонушка, – сказал Пахом. – На воскресенье будет у нас собрание. Придешь, что ли?

– Приду, – ответил дьякон, – чаю давно не пивал. Скажи там: целый бы самовар на мою долю сготовили.

Новую песню зато вам спою. Третий день на уме копошится, только надо завершить.

– Та только песня богу угодна и приятна, что поется по наитию, когда святой дух накатит на певца, – сказал Пахом. – А что наперед придумано, то не годится: все одно, как старая, обветшала церковная песня.

– Зато выходит складней, – молвил дьякон. – Так в субботу приходить?

– В субботу, – ответил Пахом.

– Жарко, – молвил дьякон. – Хоть бы дождичка.

– Бог-от лучше нас с тобой знает, Мемнонушка, как надо миром управлять, в кое время послать дождик, в кое время жар, зной и засуху, заметил Пахом. – Не след бы тебе на небесную волю жалиться.

Не ответил дьякон, опять лег спиной на лавку, опять задрал ноги и, глядя в потолок, забасил церковную стихиру на сошествие святого духа: «Преславная днесь видеша во граде Давидове».

Сколько Пахом ни заговаривал с ним, он не переставал распевать стихиры и не сводил глаз с потолка. Посидел гость и, видя, что больше ничего не добьется от распевшегося Мемнона, сказал:

– Поеду я, Мемнонушка. Покров божий над тобою! Дьякон только рукой махнул.

Дальше погнал Пахом. Проехав верст пяток реденьким мелким леском, выехал он на совсем опаленную солнцем поляну. Трава сгорела, озимые пожелтели, яровые поблекли. Овод тучей носился над отчаянно махавшей хвостом, прядавшей ушами и всем телом беспрестанно вздрагивавшей рыженькой кобылкой... Но вот почуяла, видно, она остановку, во всю прыть поскакала к раскинувшемуся вдоль пруда сельцу всего-то с двенадцатью дворами. За тем сельцом виднелась водяная мельница, а повыше ее небольшая усадьба одинокого помещика, отставного поручика Дмитрия Осипыча Строинского.